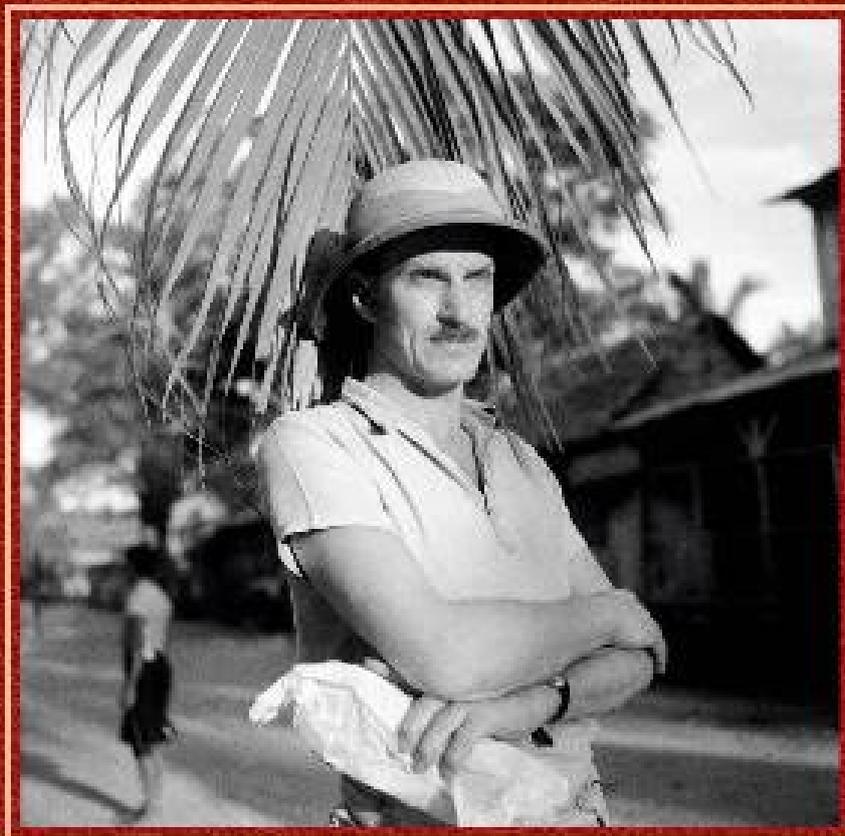


АРКАДИЙ
ФИДЛЕР



ИЗБРАННОЕ

Интернет-издательство
«Stribog»

2021

Аркадий Фидлер

Избранное

Аркадий Фидлер — известный польский путешественник, натуралист и писатель родился в 1894 году. Он окончил Краковский и Познанский университеты, где изучал философию и естественные науки.

Более сорока лет Фидлер путешествует из конца в конец земного шара, сначала как естествоиспытатель, собирая материалы по фауне для музеев, потом — в качестве писателя. Он побывал в Норвегии, Бразилии, Перу, Эквадоре, Канаде, на острове Тринидад, на Мадагаскаре, Таити, в Лаосе, Камбодже, Гвинее и многих других странах. Эти поездки и вызвали появление на свет большинства его книг. Всего Фидлером написано более тридцати книг. Почти все они переведены на языки мира. Многие из них вышли в СССР («Рио-де-Оро», «Зов Амазонки», «Горячее селение Амбинанитело», «Рыбы поют в Укаяли», «Канада, пахнувшая смолой»).

Содержание:

1. Белый ягуар — вождь араваков. Трилогия (*Перевод: В. Киселев*)
2. Маленький Бизон
3. Тайна Рио де Оро (*Перевод: Я. Немчинский*)
4. Зов Амазонки (*Перевод: Л. Чех*)
5. Канада, пахнувшая смолой (*Перевод: Я. Немчинский*)
6. Рыбы поют в Укаяли (*Перевод: В. Ковалевский*)
7. Новое приключение: Гвинея (*Перевод: Л. Малаховская*)
8. Горячее селение Амбинанитело (*Перевод: Л. Чех*)
9. Там, где рыбы странствуют по суше (*Перевод: В. Киселев*)
10. Носухи (*Перевод: В. Киселев*)
11. Скалистые горы и долины (*Перевод: Д. Гальперина*)
12. Об авторе (*Я. Немчинский*)

Содержание

Белый ягуар — вождь араваков Трилогия.....	0009
От автора.....	0009
Остров Робинзона.....	0010
Ориноко.....	0140
Белый ягуар.....	0329
От переводчика.....	0407
Маленький Бизон.....	0410
Вступление Случай в Виннипеге.....	0410
Столкновение с Рукстоном.....	0412
Раскол в племени.....	0414
Закат древних обычаев.....	0419
Под звуки волшебного барабана.....	0423
Ударил гром.....	0426
Моя первая битва.....	0430
Присяга Большому Рогу.....	0435
Вождь Большой Котел.....	0440
Охота на бизонов.....	0446
Танец солнца.....	0453
Комендант Железный Кулак.....	0459
Форт Бентон.....	0465
Злой миссионер и добрая книга.....	0471
Два заряда раскатистого грома.....	0475
Васук-Кена и его конь.....	0482
Натянутый лук.....	0488
Горы, снег и близкая смерть.....	0496
«Никогда не увью волка!».....	0503
Дикие мустанги.....	0507
Тучи над прериями.....	0513
Две ночи.....	0521
Возвращение Ночного Орла.....	0528
На повороте тропинки.....	0534
Смерть Сильного Голоса.....	0538
Послесловие Джека Дэвиса, индейца племени черноногих, о дальнейшей судьбе Маленького Бизона.....	0545
Тайна Рио де Оро.....	0551
#1.....	0551
Часть I На Марекуинье.....	0551
Часть II На Ивай.....	0609
Зов Амазонки.....	0646
1. Амассона, крушитель лодок.....	0646
2. До Амазонки за двенадцать английских фунтов.....	0647
3. Чикиньо.....	0648
4. Пассажиры.....	0649
5. Сдерживает ли «Бус Лайн» свои обещания?.....	0651
6. Пальмы и клещи.....	0652
7. Ягуар в Вер-У-Песу.....	0654
8. Маленький Чикиньо и большая Амазонка.....	0656
9. Тропический лес.....	0658
10. Каучуковая трагедия.....	0659
11. Лес наступает на Манаус.....	0662
12. Жив ли полковник Фосетт?.....	0664

13. Насекомые на пароходе	0666
14. Чикинью ищет муравейник	0668
15. Летят арары	0669
16. Дикае индейцы	0670
17. Драма на границе	0671
18. Эльдорадо	0672
19. Попугай и муравьи в Икитосе	0676
20. Экзотика в каменном доме	0677
21. Город с единственным выходом	0679
22. Хищники Малекона	0680
23. Свежая партия человеческих головок	0681
24. Сто бабочек ежедневно!	0684
25. «Синчи Рока»	0685
26. На границе двух миров	0686
27. Сны на Укаяли	0689
28. Тайна грустного штурмана	0690
29. Паук-великан	0692
30. Прожорливость	0694
31. Чикинью действует по закону	0695
32. Пауки за работой	0697
33. Кумария	0700
34. Дельфины	0701
35. Змея чушупи нападает на человека	0703
36. Цветы, восхитившие весь мир	0706
37. Кто открыл самую прекрасную орхидею?	0707
38. Жестокость	0709
39. Безумствующая природа	0711
40. Старые добрые друзья	0714
41. Перед лицом ужасов	0717
42. Злая капибара и добрый тапирик	0718
43. Нашествие	0719
44. Борьба не на жизнь, а на смерть	0722
45. Колибри	0724
46. Индейцы презирают белых и обезьян	0727
47. Чикинью полон отчаяния	0730
48. Вода, вода, вода...	0731
49. Жара!	0735
50. Рабство на укаяли	0737
51. Приключения маленького кампа	0740
52. Снова ливни!	0742
53. Мы отправляемся к Клаудио...	0744
54. Бабочки	0748
55. Любовь к змее	0751
56. Попугай — царь птиц	0753
57. Барригудо	0756
58. Вот это дружба!	0759
59. Буду любить!	0762
Канада, пахнувшая смолой	0764
Предисловие	0764
Часть первая	0768
Часть вторая	0821
Часть третья	0871
Рыбы поют в Укаяли	0936
Предисловие	0936

Сеньорита из Лиссабона.....	0939
До Амазонки за двенадцать английских фунтов.....	0941
Романтические пассажиры.....	0943
Ягуар на Вер-у-песу.....	0947
«Смерть белым!».....	0950
Маленький Чикиньо и большая Амазонка.....	0953
Девственный лес.....	0955
Эльдорадо.....	0957
Тайна полковника Фосетта.....	0963
Каучуковая трагедия.....	0967
Облавы на индейцев.....	0971
Попугаи над Икитосом.....	0974
Свежая партия человеческих голов.....	0977
Икитос.....	0982
Англичане в Икитосе.....	0984
Много шуму из-за Летисии.....	0989
Американцы.....	0992
В пятидесяти шагах от границы между двумя мирами.....	0995
Сны на Укаяли.....	0998
Пауки.....	1001
Кумария.....	1005
Мы охотимся на Бинуе.....	1006
Жестокость.....	1010
Ожесточенная борьба.....	1014
Цветы, восхитившие англичан.....	1017
Старые добрые друзья.....	1020
Черный поток, несущий смерть.....	1023
Безумствующая природа.....	1028
Индейцы, презирающие белых и обезьян.....	1034
Колибри.....	1038
Юмор кабокло.....	1042
Вода, вода, вода.....	1047
Рабство на Укаяли.....	1053
Изнанка укаяльской романтики.....	1058
Опять идут дожди.....	1062
Когда мы плывем к Клаудио.....	1066
Бабочки.....	1072
«Новая Польша» на Укаяли.....	1076
Жара.....	1080
Зеленые попугаи и пурпурные арары.....	1083
Необыкновенная дружба.....	1087
Иллюстрации.....	1093
Новое приключение: Гвинея.....	1109
Предисловие.....	1109
Лоцманы.....	1115
Ниспровержение.....	1117
Конакри.....	1119
«Отель де Франс».....	1121
Гвинейцы.....	1123
Гвинейки.....	1125
Дороговизна.....	1129
Победа.....	1131
Прорезаются зубы.....	1133
Бабочки.....	1136

Магия	1139
Торговцы	1141
Французы	1145
Помощь	1147
Эскапизм	1150
Сабли	1153
Птица	1156
Гриот	1159
Безопасно	1163
Павианы	1164
Благородство	1168
Сераль	1171
Produce of Poland	1174
Все течет, все изменяется	1177
Невежа	1178
Хижина	1181
Племя кониаги	1183
Несокрушимые	1187
Деревня-крепость	1190
Дисциплина	1193
Автомотриса	1196
Шимпанзе	1200
Шаво	1202
Таити	1206
Орел-скоморох	1209
Мандинго	1211
Страх	1215
Томек	1218
Птица-носорог	1221
Ошибка	1224
Омар	1226
Карабин	1229
Капсюльное ружье	1230
Нигер	1233
Правопорядок	1236
Заговорщики	1240
Духи	1244
Иуда	1245
Чудовища	1249
Слоны	1252
Туманя	1255
Самори	1257
Нзерекоре	1261
Триумфальное шествие	1264
Будет!	1268
Торговля	1270
Дьявол	1273
Горячее селение Амбинанитело	1276
Побережье Мадагаскара	1276
Старый Джинаривело	1284
Отравленный петух	1287
Насекомые в плену	1292
Кроткий, страшный демон	1295
Яркая смерть хамелеона	1297

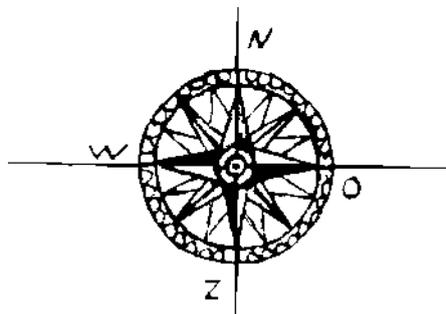
Бенёвский, невластвовавший король Мадагаскара	1299
Лес Сблизил Нас	1303
Рисовое поле	1308
Бездна жестокости	1311
Четыре часа пополудни	1314
Грозное фади	1317
Раяона, шеф кантона	1320
Пираты и любовь	1323
Птица с озорным хохолком	1327
Среди листьев банана	1330
Немного о женщинах	1331
Народ ховы	1335
Гора Бенёвского	1338
«Нет, покоя здесь нет!»	1342
«Создать нечто прочное»	1346
Необузданное богатство природы	1349
Бабочки, лемур и девушка	1352
Ночное пение	1356
Змея анкома	1360
Горе победителю	1363
Великое кабари	1365
Моя вади	1371
Злая река	1372
Амод, сын Амода	1375
Хижина на сваях	1378
Сердце матери	1381
Веломоди и отважная оса	1383
Лолопаты — предвестник смерти	1385
Рассказ о бабакутах	1391
Вооруженное нашествие	1396
Смерть Манахицары	1399
Неприятный обед	1401
Капрал Али извивается от боли	1407
Рождение громадной бабочки	1410
Пути легендарных людей	1412
Там, где рыбы странствуют по суше Сокращенный перевод с польского	1415
Носухи Глава из книги «Звери девственного леса»	1419
Скалистые горы и долины Глава из книги «И вновь манящая Канада»	1422
Банф	1422
Индейские дни	1425
Медведи	1426
Аффект	1428
Супергризли	1429
Об авторе	1431

Аркадий Фидлер
ИЗБРАННОЕ

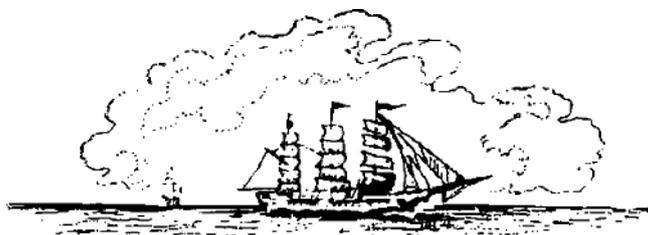
Белый ягуар — вождь араваков

Трилогия

Моим сыновьям — Аркадию, Мареку и Мачею — посвящается



От автора



На побережье Венесуэлы, примерно в трехстах километрах на запад от устья великой реки Ориноко, лежит один из старейших городов Америки — Кумана. Город, основанный испанцами в 1520 году у выхода из глубокой бухты, защищенный от северо-восточных пассатов длинным мысом, с самого зарождения стал оживленным торговым и культурным центром, а также форпостом конкистадорской экспансии. Отсюда в глубь страны, вплоть до самой реки Ориноко, грозные конкистадоры отправлялись в походы покорять индейские племена и захватывать их земли, отсюда во множестве отправлялись и миссионеры поработать, а коль угодно — спасти души индейцев и закладывать богатые миссии. В Кумане, естественно, множество храмов и монастырей, веками копивших за своими стенами разные хроники, документы, летописи. До нынешних дней сохранилась здесь не одна ценная рукопись, проливающая свет на историю страны и людей, на дела минувших лет. В нескольких десятках километров на север от Куманы водами Карибского моря омывается большой остров Маргарита, открытый Колумбом и известный как место ловли жемчуга и бунта последнего из неистовых конкистадоров, жестокого и беспощадного Агирре. Между Маргаритой и материком лежит другой остров, значительно меньший по площади, — Коча, остававшийся необитаемым в течение нескольких веков. Первые поселенцы появились на нем, да и то ненадолго, лишь в середине XVII века. К этому периоду относится хранящийся в одном из куманских архивов отчет францисканца, который, побывав на острове Коча, сообщал, что его жители однажды обнаружили в пещере большую лодку, укрытую там, судя по всему, несколько десятилетий назад. На борту лодки сохранилась таинственная надпись, выдолбленная в дереве: John Vober Polonus, а под ней год — 1726. Францисканец пытался разгадать тайну найденной лодки и загадочной надписи, но безуспешно, хотя и связывал эту находку — и, надо сказать, не без оснований — с нашумевшей в свое время кара-

тельной экспедицией двух десятков испанцев, которые в погоне за беглыми невольниками в том же 1726 году вышли в открытое море и пропали без вести вместе со своим кораблем. В иных документах того времени, находящихся в куманских книгохранилищах, упоминается некий таинственный белый человек, который вскоре после 1726 года объявился среди непокоренных индейцев племени араваков, обитавших в лесах к югу от устья реки Ориноко, и пользовался у них большим влиянием. Прозванный Великим Вождем Джуаном (имя, соответствующее английскому Джон), он сумел объединить под своим началом многие из окрестных племен. Располагая огнестрельным оружием, этот человек в течение многих лет успешно отстаивал независимость индейских племен от посягательств испанских завоевателей. Сломить сопротивление индейцев и покорить их испанцам удалось лишь после его смерти. Уцелевшие записки этого действительно необыкновенного человека, подлинное имя которого Ян Бобер, столь интересны и увлекательны, что трудно удержаться от искушения поведать читателю о необычайных и захватывающих приключениях, пережитых им на необитаемом острове Карибского моря. Послушаем же его собственный рассказ.

Остров Робинзона

«...Вот и давай, Арнак, сами придумаем острову название. Какое? А что, если остров Робинзона? А? Неважно, существовал Робинзон или не существовал, неважно, был он на этом острове или не был. Я ведь жил на нем подобно Робинзону и часто вспоминал здесь книгу о его необычайных приключениях...»

В устье Джеймс-Ривер

— Грести-то умеешь? — шепотом спросил меня Вильям, мой новый знакомый.

— Умею, — тоже шепотом ответил я.

— Ну тогда полный вперед!

Нащупав в темноте борт шлюпки, я прыгнул в нее и, пристроив в ногах котомку со скудным своим скарбом, взялся за весла. Вильям с силой оттолкнул лодку от берега и сел на руль. Лишь теперь, почувствовав, что мы плывем, я смог наконец вздохнуть свободно — погоня осталась позади.

Едва мы отплыли от берега на несколько сажений, как нас подхватило течение — было время отлива, и вода стремительным потоком мчалась вниз, к устью Джеймс-Ривер.

Только что минула полночь. Напитанная мелким дождем мгла укрывала реку и прибрежные строения Джеймстауна. Не слышалось ни единого звука, кроме глухого плеска весел и журчания воды за бортом лодки. Январский холод вирджинской ночи пробирал до костей.

Внезапно Вильяма стал душить безудержный кашель. Разогретый несколькими стаканчиками грога, которыми я угостил его в портовом кабачке, сейчас на холоде Вильям буквально задыхался. В промежутках между приступами кашля он проклинал на чем свет стоит свое горло и пытался зажимать рот поллой куртки, но проку от этого было мало. Мы стали опасаться, как бы шум не привлек к нам внимания речной стражи и не сорвал побег. К счастью, мой избавитель вовремя перестал кашлять.

Впереди на берегу замерцал огонек: сторожевой пост таможенной охраны. Я перестал грести — течение и без того несло нас в нужном направлении, к устью реки, где стоял на якоре корабль — цель нашего ночного путешествия. Откуда-то со стороны берега слышались окрики, но относились они, судя по всему, не к нам. Незамеченными мы проплыли мимо сторожевого поста, а когда огни его исчезли за излучиной реки, можно было вздохнуть спокойней. Опасность осталась позади, впереди нас ждал спасительный корабль.

Немного спустя Вильям сплюнул через плечо и, прервав молчание, заметил:

— Well, пронесло... Часика два еще погребешь...

Он наклонился ко мне и с несвойственной морскому волку мягкостью, какой я не замечал в нем прежде за время нашего двухдневного знакомства, спросил:

— Ну, как Джонни, малыш, у тебя душа не ушла в пятки?

— За мою душу не беспокойся, — огрызнулся я.

— Гром и молния! Тебя ждет каперское[1] судно, Джон! Это не игрушки — я тебе говорил! Придется и грабить и убивать! А попадем в лапы к испанцам, тут уж нам, как бог свят, не миновать виселицы.

Я перестал грести.

— Сражаться мне не привыкать, так что ты, Вильям, зря меня не пугай.

— Чудак ты, Джон! Я и не думаю тебя пугать. Но Старик у нас и впрямь каналья и живодер! Такого капитана-зверя не сыскать на всем Карибском море! Жизнь у нас на посудине — суцая каторга.

— Тебе же под силу? И другим под силу!

— Ха! Мы — другое дело! Мы с пеленок в морской купели... А ты — сухопутная крыса...

Я вспыхнул:

— Эй, Вильям, ну ты, полегче! Я немало поскитался по лесам Вирджинии и не раз смотрел в глаза смерти. Ты же знаешь, почему я бегу!

— Ну ладно, ладно, знаю...

А бежал я от мести вирджинских плантаторов — английских лордов.



Почти тридцать лет назад отец мой, переселенец, в поисках земли обетованной отправился с семьей к западным границам Вирджинии и там, в непроходимых лесах у подножия Аллеганского плато, поставил себе хижину. Корчуя лес, под постоянной угрозой нападения со стороны индейцев, в противоборстве с хищным зверьем и враждебной природой, он пережил тяжкие годы, преодолел наконец все тяготы и стал пожинать достойные своего труда плоды. Со временем по его стопам сюда потянулись и другие. По соседству стали возникать все новые фактории. Долина оказалась счастливой — расцвела, наполнилась жизнью и достатком. И вот тогда-то, а случилось это год назад, грянул гром с ясного неба. В долину явились сатрапы лорда Дунбура, чтобы отнять у нас землю, ссылаясь на какой-то королевский указ, по которому эти земли якобы еще несколько десятилетий назад были дарованы роду Дунбуров. В ответ на этот явный произвол мы подали петицию колониальным властям в Джеймстауне. Но там тоже заправляли аристократы и вельможи, прихвостни лорда Дунбура, и справедливости мы не добились. Когда сатрапы алчного лорда вновь явились в долину, чтобы согнать нас с нашей земли, мы, десятка два пионеров, объединившись, встретили их ружейным огнем. Я был одним из зачинщиков.

Власти, опасаясь, как бы бунт не распространился по всей округе, как это случилось полвека назад, во времена Бэкона, тут же бросили против нас превосходящие силы, быстро нас разгромили, подавив выступление с неслыханной жестокостью. Не скупилась и на виселицы. За мою голову назначили награду. Меня обложили со всех сторон, как зверя, и открытым для меня оставался единственный путь — в столицу, в Джеймстаун. Туда я и бежал, найдя пристанище в корчме на берегу реки.

Добрые люди помогли мне, познакомили с Вильямом, матросом с каперского судна, стоявшего на якоре в устье Джеймс-Ривер. На корабле постоянно нужны были люди, а Вильяму я пришелся по душе, и он охотно согласился тайком доставить меня на борт.

Вот так и оказались мы дождливой январской ночью в лодке, неслышно скользившей вниз по реке.

Прошло больше двух часов, когда голос Вильяма внезапно вывел меня из задумчивости:

— Посмотри, впереди что-то чернеет!..

Это был наш корабль. Окриком мы дали знать о своем прибытии. Сверху сбросили веревочный трап, и по нему мы вскарабкались на палубу. Вильям провел меня в матросский кубрик и велел ложиться спать.

На рассвете он разбудил меня и повел к боцману. Более похожий на какое-то лохматое чудище, чем на человеческое существо, боцман окинул меня мрачным взглядом, бесцеремонно оцупал мои мышцы, потом презрительно сплюнул за борт и, ворча что-то себе под нос, велел следовать за собой.

— Как тебя? — спросил он через плечо.

Я не понял, что его интересует.

— Как тебя зовут, скотина? — рявкнул он.

— Ян, — назвал я своим польским именем; так звали меня дома и все соседи.

— Как? — скорчил гримасу боцман.

— Джон, — послушно поправился я, назвав свое английское имя.

— То-то, так и говори по-человечески! — буркнул боцман.

Он подвел меня к каюте капитана и втолкнул внутрь. Капитан, жирный как боров, с выпученными глазами и пронзительным взглядом, сидел за столом, накрытым к завтраку, но занят был не едой. Подле него стояли два юных индейца, его рабы, как узнал я позже. Старшего из них, парня лет двадцати, капитан с диким остервенением хлестал плеткой по голове. Когда мы вошли, он остановился, но руки не опустил и лишь искоса бросил на нас злобный взгляд.

— Новый матрос Джон, — просипел боцман с нотой иронии в голосе.

Капитан гневно мотнул головой и велел нам убираться ко всем чертям. Боцман, схватив меня за шиворот, вытолкнул на палубу и поспешно притворил за собой дверь каюты.

— Повезло тебе, каналья! — прохрипел он. — Старик был добр...

Меня так и подмывало спросить, в чем состояли мое везение, доброта капитана и что означала эта сцена дикой расправы над индейцем, но боцман, не дав мне раскрыть рта и сунув в руки ведро и швабру с тряпкой, велел драить палубу.

Так я начал свою службу на каперском корабле, безмерно довольный, что мне удалось покинуть землю Америки и уйти от преследователей.

Пиратский корабль

Корабль носил название «Добрая Надежда» и представлял собой трехмачтовую бригадину. На якоре он простоял еще несколько дней. Я стал уже опасаться, как бы вирджинские власти не пронюхали о моем пребывании на борту, но Вильям, старый дока, утешил меня:

— Сюда попал, считай, заживо похоронен... Им теперь тебя не сыскать...

И впрямь меня никто не искал, а вскоре мы подняли якорь и вышли в море.

На корабле царил жесточайший произвол: за малейший проступок тут же следовало наказание. Команда являла собой сборище отпетых головорезов, но все как огня боялись капитана. На меня, как на новичка, сваливали самые тяжелые работы. Передышки не было от рассвета до самой глубокой ночи, и если бы не дружеская рука и ободряющее слово Вильяма, не знаю, как смог бы я перенести этот первый, самый трудный период своего плавания. У Вильяма было хотя и грубое, но честное сердце. Лет на двадцать старше меня, он тем не менее питал ко мне поистине дружескую привязанность. Чуть ли не каждый день перед сном мы вели с ним долгие душевные беседы.

Когда на корабле узнали, что почти четверть века своей жизни я провел в суровых лесах Вирджинии и слыл там искусным охотником, отношение ко мне несколько улучшилось и мной уже не помыкали, как прежде. Боцман приставил меня к пушке Вильяма, велев ему сделать из меня толкового канонира. Орудий на борту корабля было множество.

— Целая плавающая крепость! — высказал я однажды приятелю свое удивление.

— Сто чертей, а ты как думал? Мы же не на бал собрались.

В трюмах корабля я обнаружил отсеки, напоминавшие тюремные казематы, тем более что в них грудями были свалены кандалы.

— Для чего здесь столько кандалов? — спросил я Вильяма.

— Для людей, — ответил тот без обиняков.

— Для людей? Ты что, шутишь?

— И не думаю!

— Для каких людей?

— А всяких: негров, индейцев, метисов, датчан, французов, голландцев, португальцев, испанцев — всяких, какие попадутся к нам в лапы, кроме, конечно, своих земляков — англичан.

— А что мы с ними станем делать?

— Как что? Негров и разных прочих цветных продадим в рабство на наши плантации, а с европейцев сдерем солидный выкуп.

— Но это же разбой!

— Да ну?! — Вильям весело расхохотался.

Чем яснее становилась мне цель нашего плавания, тем более я прозревал: я попал не на обычное каперское судно, а на самый настоящий пиратский корабль.

Выйдя в открытое море, мы взяли курс на юг, на Малые Антильские острова и северное побережье Южной Америки. Рыская между островами, мы готовились к набегам на небольшие селения, чтобы грабить всех, кто попадет под руку. Подкарауливая в укромных морских закоулках проплывающие суда, мы ждали богатой пиратской добычи, особенно тщательно следя за невольничьими судами, плывшими из Африки.

Таков был этот достопочтенный корабль, на который забросила меня злая судьба.

Попав на его борт, я лишился всяких путей к отступлению. Мышеловка хлопнулась. С волками жить, как говорит пословица, — по-волчьи выть.

Когда я пытался укорять Вильяма в том, что он заранее не предостерег меня, в его голубых глазах читалось искреннее изумление.

— Эй, Джонни, гром и молния, как же так? — говорил он с укоризной. — Разве я скрывал от тебя, что это каперский корабль и нам придется сражаться и грабить? Скажи, скрывал или не скрывал?

— Нет, но...

— Вот то-то... А потом, ты же в этих своих лесах на западе тоже устраивал всякие бунты. Разве ты не бунтовал против колониальных властей и не был сам зачинщиком? Был, был, Джонни, не отпирайся. Потому-то тебя и хотели повесить и травили, как дикого зверя! Ты ведь был там отчаянным и храбрым парнем. Был, признавайся?

— Был, но ведь...

— А если был отчаянным и храбрым там, в своих лесах, то будешь таким и на море, сердце у тебя здесь не раскиснет.

Мне хотелось ясно и просто растолковать ему разницу между тем, когда оружие поднимают во имя правого дела, и тем, когда его применяют с целью грабежа и разбоя, но я вовремя удержался, заметив недоумевающий простодушный взгляд Вильяма: вряд ли удалось бы мне убедить его в различии моральных побуждений. Мой приятель и сам не мог похвастать чистой совестью, а потому постарался перевести разговор на другую тему.

Как-то, сидя за кружкой рома, Вильям спросил, отчего в лесу меня звали странным именем Ян, а не просто Джон.

— У меня была мать полька, а отец хотя и англичанин, но тоже польского происхождения, — ответил я.

— Поляки — это там, недалеко от Турции и Вены? — блеснул Вильям своими познаниями в области географии.

— Да, не так чтобы далеко, — смеясь, махнул я рукой.

Он попросил меня рассказать о моей семье. Я рассказал, что знал.

Три английских корабля, впервые вошедших в 1607 году в Чесапикский залив Вирджинии, доставили на американскую землю не одних лишь бродяг, искателей приключений и авантюристов, как свидетельствуют об этом исторические хроники. Среди прибывших была группа промысловиков-смолокуров, поляков, нанятых на работу вирджинской компанией для создания в колонии смолокурного промысла. В их числе был и мой прадед Ян Бобер.

Промысловики горячо взялись за дело, вскоре стали гнать для компании смолу, деготь, добывать поташ и древесный уголь. Дела у них шли настолько успешно, что в последующие годы компания стала вывозить из Польши все новых смолокуров, слывших в те времена на весь мир лучшими мастерами.

Об этом периоде в нашей семье сохранилось одно предание. Будто бы лет через десять — а может, и больше — после образования колонии английские поселенцы добились некоторых — пустячных, правда, — политических свобод, состоявших в том, что получили право выбирать из своей среды депутатов в какой-то там колониальный конгрессик созываемый в столице Джеймстауне. Когда польских смолокуров, как чужеземцев, не захотели допустить к участию в выборах, они, оскорбившись, все как один оставили работу... Однако нужда в них для колонии стала настолько ощутимой, а упорство их в защите своих гражданских прав было столь непреклонным, что власти в конце концов вынуждены были уступить и предоставить им те же права, что и английским колонистам.

— Молодцы смолокуры! — одобрительно буркнул Вильям.

В то время прадед мой женился на одной англичанке, прибывшей в колонию из Англии, и пару лет спустя это спасло ему жизнь. А дело было так. Жена его ждала ребенка, и прадед повез ее из леса рожать в Джеймстаун, где были врачи. А в ту пору как раз местные индейские племена подняли большое восстание и поголовно вырезали чуть ли не всех колонистов в лесных факториях. Один лишь Джеймстаун сумел отбиться и спасти своих жителей.

О родившемся тогда дедушке своем, Мартине, знаю я немного. Жил он в лесу, был фермером, женился тоже на англичанке, имел нескольких детей, из которых Томаш, родившийся в 1656 году, и стал моим отцом. Когда отцу исполнилось лет двадцать, воинственные индейцы с берегов реки Соскуиханны вышли на тропу войны против белых поселенцев. Тогда некто Бэкон, один из первых вирджинских пионеров, собрал отряды добровольцев, которые поголовно истребили индейцев. Одним из первых добровольцев в отряде был мой отец. Бэкон пользовался такой популярностью и славой, что люди стекались в его отряды со всей Вирджинии.

В те суровые времена власть в Вирджинии захватили всякие лорды и прочие богачи, которым принадлежали чуть ли не все земли и разные богатства. Во главе у них стоял присланный из Англии губернатор колонии лорд Бэркли, тиран и душитель народа. Видя, что вокруг Бэкона объединяется все больше недовольных порядками, лорд Бэркли нанес удар своими войсками в тыл добровольческим отрядам, когда те еще сражались с индейцами.

Однако сила добровольческого движения оказалась несокрушимой. Отря-

ды Бэкона повернули оружие против войск губернатора и владетельных лордов. Разразилась кровавая гражданская война, в которой победоносные добровольческие отряды одерживали одну победу за другой, пока не прижали врага к самому океану.

Но здесь Бэкона подстерегла смерть. Это был сокрушительный удар по повстанческому движению. Бэркли воспользовался смятением и паникой в рядах повстанцев, быстро оправился и перешел в наступление. Повстанцы дрогнули и были разгромлены. Огнем, мечом и виселицами победители усмирили народ. В дикой злобе они безжалостным сапогом растоптали ростки свободы в Вирджинии. Это было в 1677 году.

Моего отца, приговоренного к повешению, спасло только то, что дед его считался иностранцем. Поэтому и его, как чужеземца, лишь выслали из Америки. Он отправился в Польшу, не зная в то время ни одного польского слова.

Спустя несколько лет он женился на довольно образованной девице из семьи краковского мещанина. Живя в Польше счастливо, отец тем не менее постоянно тосковал о лесах Вирджинии. И едва лишь в Америке повеяли новые, более благоприятные политические ветры и была объявлена всеобщая амнистия, отец вместе с семьей вернулся к подножию Аллеганских гор. Здесь в последний год XVII столетия появился на свет и я. Несмотря на то, что мать моя была полькой, польских слов я знал мало, зато научился читать и писать по-английски.

И вот, дабы завершить изложение этой семейной хроники, на двадцать шестом году жизни мне довелось снова с оружием в руках отстаивать отцовскую долину, а затем, не устояв перед силой тирании, спастись бегством.

— Сто пухль тебе в печенку, ну и драчливая семейка! — с удовлетворением причмокнул Вильям. — Только и знали бунтовать! Прадед-бунтарь, отец-бунтарь и сын-бунтарь. Наш каперский корабль — самое подходящее для тебя место! Тут тебе и слава, а заодно и карманы набьешь!

— Спасибо за такую славу...

В девственных лесах Вирджинии я вел жизнь привольную и кочевую, богатую всяческими приключениями. Но если кто-нибудь спросил бы меня, какие впечатления того периода наиболее глубоко запали мне в душу, я бы ответил, что это были не охотничьи истории — хотя первого медведя я убил, когда мне исполнилось лет двенадцать, — и не кровавые события последнего восстания. Это были впечатления совсем иного, совершенно неожиданного свойства: книга, всего одна книга, которую я прочитал. Она попала мне в руки года два назад, а начав ее читать, я был ошеломлен, сердце у меня трепетало, и я не мог оторваться от нее, пока не дочитал до конца. Само название этой книги говорило о ее необыкновенной увлекательности. Она называлась:

ЖИЗНЬ

и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка...

Книга, изданная в Лондоне в 1719 году, была написана Даниэлем Дефо. Вот это книга! Вот это да! Ничто ранее меня так глубоко не изумляло, как описания приключений Робинзона на необитаемом острове. Я читал эту книгу, перечитывал ее снова и снова, заучивая наизусть целые страницы. Порой мне казалось, что это я сам попал на необитаемый тропический остров, развожу там коз и спасаю Пятницу от людоедов.

Бежав от сатрапов лорда, я не взял с собой почти никаких вещей, но книгу не забыл. Она сопровождала меня и в изгнании. На корабле я рассказал о ней Вильяму, и мой приятель загорелся таким интересом, что в свободные от вахты минуты я вынужден был читать ему, поскольку сам он читать не умел.

— А ты не знаешь случайно этот остров, на котором жил Робинзон? — спросил я его однажды.

Вильям задумчиво почесал в затылке.

— Таких островов у побережья Южной Америки тьма-тьмущая. Только в устье реки Ориноко их сотни, но там нет гор, как на острове Робинзона. Недалеко от материка есть, правда, один гористый остров, Тринидад называется, но этот, пожалуй, слишком велик...

— А Малые Антильские острова, к которым мы идем?

— Их там много всяких разных: больших и маленьких, гористых и лесистых, заселенных и безлюдных... Но остров Робинзона, похоже, был рядом с материком, а Малые Антилы тянутся цепочкой с севера на юг далековато от Большой земли...

Нас волновало каждое слово книги Дефо и потому несколько огорчало, что он не привел ни названия, ни более точного местоположения своего острова.

— Постой-ка, Джонни! — воскликнул однажды Вильям, осененный новой догадкой. — Тобаго! В цепи Малых Антил это крайний, самый южный остров. Тобаго! С него в ясные дни видны скалы Тринидада. Правда, Тринидад тоже остров, но почти примыкает к Американскому материку. Может, Тобаго и есть остров Робинзона? Он гористый, посредине там лес, все вроде сходится...

— А люди там живут?

— А как же, живут. Какие-то английские поселенцы. Но раньше, мне говорили, остров был необитаем...

— Все сходится. Значит, правда, там, на Тобаго, и жил Робинзон?

— Все может быть...

Мы строили разные догадки, однако и впрямь трудно было с уверенностью заключить, где в таком скопище островов и островков могло находиться место крушения корабля Робинзона.

А тем временем с каждой пройденной милей на нашем корабле все больше нарастала напряженность: мы входили в воды французских островов, и здесь можно было рассчитывать на долгожданную добычу. Известно — вблизи Гваделупы скрещиваются морские пути различных судов, не только французских, но и датских, и голландских.

В один из дней мы заметили вырастающие из-за горизонта паруса, но оказалось, что это целая хорошо вооруженная флотилия, и нам пришлось пожизненно уносить ноги, дабы самим не попасть в переделку. Тогда капитан, раздосадованный неудачей, решил двигаться дальше на юг к торговым путям испанских судов, где добыча доставалась обычно легче, а если повезет, то и более богатая.

— Испанцы — самое милое дело, — разглагольствовал боцман в редкие минуты хорошего расположения духа. — Резать им глотки — одно удовольствие, а серебра у них — целые кучи!

Я скрипел зубами от досады при мысли, что так бездумно впутался в эту грязную компанию, по мне но оставалось ничего иного, как скрывать свое возмущение под маской безразличия. Более того, я заслужил даже определен-

ное уважение у пиратов за сноровку, поскольку в обращении с пушкой добился, кажется, немалых успехов.

В районе Гваделупы мы проплывали мимо другого острова, значительно меньшего по размерам, хотя тоже гористого и покрытого лесом.

— Это не Мартиника? — спросил я у Вильяма.

— Нет, дружище, Мартиника лежит южнее, а это Доминика. Мы, англичане, давно точим на нее зуб, но не одна буйная голова раскроит еще себе череп о скалистые берега этого острова, прежде чем нам удастся заглотнуть этот кусок.

— Что, к острову трудные подступы?

— Да нет, подступы как подступы. Но на острове оказались проклятые индейцы и дерутся как бешеные. Никак к ним не подберешься.

— Слушай, Вильям, — воскликнул я удивленно, — а ты не ошибаешься? Мне казалось, что на всех островах Малых Антил индейцев давно уже поголовно истребили...

— Well, на многих действительно истребили, но не везде. Вот, например, Доминика. И еще... Если дня через два-три благополучно минуем Мартинику, увидим остров Сенте-Люсия. На нем тоже все еще держатся карибы, как и встарь. А еще южнее есть остров Сент-Винсент. Там то же самое. Белый, попади он на этот берег, может прощаться с жизнью. Мы не раз высаживали там вооруженные отряды, чтобы подразжиться рабами для наших плантаций, но эти бестии защищаются с таким упорством, что быстро отбивают охоту с ними связываться. Ну да ладно, ничего... Дойдет и до них черед...

К индейцам я всегда питал непримиримую вражду, поскольку, будучи вирджинским поселенцем, немало наслышался проклятий в их адрес, а мой отец в молодости и сам с ними воевал в рядах Бэкона. Однако теперь мне было как-то трудно разделять ненависть Вильяма к этим островитянам. Они жили на своих островах и никому не причиняли вреда. Можно ли удивляться, что они ожесточенно сопротивлялись попыткам обратить их в рабство, которое, бесспорно, было страшнее смерти. «А может быть, эти дикари переживают всякое угнетение так же болезненно, как и я, как и любой из нас?»

— Они людоеды, эти островитяне? — спросил я Вильяма.

— Известно.

— Откуда известно? — не отступал я.

— Всякий болван знает.

Вероятно, лицо мое не выражало должного доверия к этому утверждению, и Вильям хотел было оскорбиться, но тут же рассмеялся и, помолчав, сказал:

— Если тебе это интересно, спроси у Арнака, у того парня-раба, которого истязал Старик. Правда, сам-то Арнак родом откуда-то из низовьев Ориноко, а не с этих островов, но тоже кариб, как и эти на островах.

— Как же мы с ним пойдем друг друга?

— Поймете. Он говорит по-английски... Не попадись только на глаза капитану. Если Старик заметит, что ты разговариваешь с его рабом, тебе несдобровать. И еще: поторопись, покуда индейцы живы, — Старик скоро замучит их до смерти.

— Страшно подумать, как он измывается над парнями, — вырвалось у меня. — Зачем он это делает?

— Зачем? Не понимаешь, чудак! У него это единственное развлечение. Кро-

вожадная натура этого изверга все время требует жертвы, чтобы медленно доводить ее до смерти. Прежде у него был молодой негр. Старик измывался над ним до тех пор, пока ниггер не сдох как собака. Теперь вот он завел себе этих двух индейцев. Голову даю на отсечение, живыми из этого рейса они не вернуться, не будь я Вильям.

— Скверная история!

— Все нормально, малыш!

— Не понимаю.

— А чего тут понимать? Это хорошо, что Старик измывается над индейцами. По крайней мере, нас, матросов, оставляет в покое.

У Вильяма, в сущности, было незлое сердце, но разбойничьи устои жизни на пиратском корабле извратили в нем все представления о добре и зле. Я искренне привязался к старому матросу и про себя твердо решил сразу же после возвращения в Северную Америку сманить его с корабля, взять с собой в леса Пенсильвании и там помочь стать порядочным человеком и добрым товарищем. В Пенсильвании вирджинским лордам меня не достать.

Капитан и два индейца

Курс наш лежал строго на юг. Был февраль. Приближение к экватору явно ощущалось в самом воздухе. Холодные ветры остались далеко позади, солнце с каждым днем пригревало все жарче, а когда порой мы подкрадывались к берегам островов совсем близко, ветерок, дувший с земли, доносил до нас терпкие ароматы цветов и неведомых растений.

Весна на островах была в полном разгаре. Невзирая на тяжелую корабельную службу, я с радостным волнением встречал здешнее, совсем иное, чем у нас, небо — мне ведь впервые в жизни довелось оказаться в полуденных краях.

Ряд островов мы миновали без приключений, далеко обходя Барбадос, на котором без малого сто лет назад обосновались англичане. Потом мы взяли курс на юго-запад, огибая Гренаду. Приближались морские пути испанских судов. Теперь вахтенный в «гнезде» с особым вниманием всматривался в морскую даль. Но всматривался тщетно. Море до самого горизонта оставалось пустынным, словно никогда и не было здесь человека.

Капитан, взбешенный неудачей, изрыгал проклятья на всех и вся. Ходил он вооруженным до зубов, словно ежеминутно опасался бунта, но на нас рычал лишь издали, зато тем более жестоко вымещал свое бешенство на двух юных индейцах. Чего только не приходилось им терпеть! А когда однажды старший из них, двадцатилетний парень, защищаясь, сделал какое-то непроизвольное движение, капитан выхватил пистолет, готовый тут же его пристрелить. Но затем он передумал и приказал накормить парня до отвала солониной, и, не давая ему ни капли воды, привязать к фок-мачте. Бедняге, выставленному под палящие лучи солнца, предстояло оставаться здесь, пока он не умрет от жажды. Капитан пригрозил, что пристрелит как пса всякого, кто попытается помочь индейцу.

Случилось это в полдень того дня, когда далеко на западе из-за горизонта показались вершины Гренады. Мы взирали на жестокость капитана, как прибитые собаки, запуганные, бессильные что-либо предпринять. Парень стоял у мачты целую ночь и весь следующий день под разящими лучами солнца. У него был сильный характер. Он молчал. Ни словом не выдал он своих мук.

К исходу дня все во мне взбунтовалось, дала себя знать кровь вирджинского поселенца. То, что капитан посмел так бесстыдно и откровенно измываться над человеком на наших глазах, я воспринял как издевательство над самим собой. По всему судя, в глазах капитана мы были сбродом, с которым не стоило считаться.

С наступлением ночи я принял решение прийти парню на помощь. Ночь выдалась пасмурной, черной, как тушь, порывы теплого ветра свистели в снастях. Вероятно, собирался дождь, но уверенности в этом не было: много дней кряду стояла ясная погода.

Под утро мне предстояло заступать на вахту. Поэтому сразу же после полуночи я пробрался к фок-мачте. Все складывалось удачнее, чем я предполагал: никто меня не заметил. С собой я прихватил большую кружку пресной воды и немного размоченных сухарей.

Поблизости никого не было. Индеец со связанными и прикрученными к мачте руками, стоя, дремал. Я поднес кружку к его губам. Несчастный испуганно вздрогнул. Пил он жадно, не отрываясь. Потом маленькими кусочками я совал ему в рот размоченные сухари. Мы не произносили ни слова, и я не думаю, чтобы он меня узнал. Я собирался дать ему еще глоток воды прополоскать рот, но не успел.

Дверь капитанской каюты вдруг распахнулась, и луч света разорвал тьму. Как ошпаренный я отпрянул в сторону. К несчастью, кружка выпала у меня из рук и с грохотом покатила по палубе. Капитан, высоко держа фонарь в поднятой руке, направился в мою сторону. По всей вероятности, он заподозрил что-то неладное, ускорил шаги и, во всю глотку изрыгая проклятия, стал звать вахтенного.

Поблизости от фок-мачты лежали свернутые в бухты канаты, разные ящики и всякая рухлядь. Я нырнул туда и притаился в темном углу. Минуту спустя до меня донеслись яростные крики капитана: обнаружив, видимо, кружку и догадавшись о происшедшем, он тут же приказал матросам искать виновника. Однако добился он немногого — все ненавидели этого изувера и не слишком рьяно выполняли его приказ. Капитан кипел от бешенства, рычал во всю глотку, потом скрылся в своей каюте, грохнув дверь.

Никем не замеченный, я юркнул в кубрик и как ни в чем не бывало улегся на свою койку.

Но я сильно заблуждался, полагая, что этим дело кончится. На следующий день капитан собрал на палубе всю команду и потребовал, чтобы виновник назвал сам, иначе он прикажет всыпать плетей обоим матросам, стоявшим на вахте, во время которой случилось ночное происшествие. С ненавистью глядя на нас, он добавил сквозь зубы, что заставит бить их, пока они не испустят дух.

Среди других на палубе стоял и я. У меня не вызывало сомнений, что этот злодей исполнит свою угрозу и заставит бить двух безвинных людей. Происходило все это вблизи фок-мачты, из-под которой угасающим взором смотрел на нас молодой индеец. Я понимал, чем все это может кончиться.

Внутренне содрогаясь, я выступил вперед и, решительно глядя в глаза капитану, громко и четко заявил, что виновник — я.

— Ты-ы-ы?.. — зловещим хрипом вырвалось из его глотки.

Огромная его голова, выпученные глаза и хищно оскаленный рот предста-

вились мне в этот миг мордой какого-то страшного морского чудища. Капитан медленно приближался, сверля меня взглядом. Внезапно он резко взмахнул правой рукой и нанес мне короткий удар кулаком в лицо. Потеряв всякий рассудок, я бросился вперед, чтобы вцепиться ему в глотку, но сильные руки матросов стиснули меня словно клещами. Капитан выхватил пистолет. Я ощутил резкую боль в виске и потерял сознание...

Придя в себя, я обнаружил, что лежу в кубрике на своей койке. Голова у меня разламывалась от боли я гудела, перед глазами плыли красные круги, все тело сотрясал озноб. Рядом кто-то сидел. Не сразу я понял, что это Вильям.

— Ну, очухался наконец, — прошептал он радостно, склоняясь к моему изголовью. — Чертовски долго ты дрых.

— Он выстрелил в меня? — спросил я.

— Нет. Только ударил рукояткой пистолета.

— Ах, так!

Мысли у меня метались, как взполощенные птицы, и я снова потерял сознание, однако на этот раз ненадолго.

— Значит, он все-таки подарил мне жизнь? — пробормотал я с горечью.

— Черта с два, — ответил Вильям. — Старик думает, что прикончил тебя. Ты валялся будто покойник. Когда стемнело, я перетащил тебя сюда.

— Спасибо, Вилли...

Потом меня начала тревожить мысль — что будет дальше? Я не стал скрывать от Вильяма своего беспокойства. В мстительности капитана сомневаться не приходилось. Однако мой приятель особой тревоги не выказал.

— Лежи тихо, — проговорил он, — и делай вид, что отдаешь концы... Капитану сейчас не до тебя!

Я перевел на Вильяма вопросительный взгляд.

— Разве ты не слышишь?

Матрос жестом укачал на переборку кубрика. Теперь только я ощутил доносившиеся снаружи грохот и шипение волн, с силой бивших о борт корабля. Нас раскачивало во все стороны. Лампа, висевшая под потолком, плясала как бешеная, переборки устрашающе трещали.

— Шторм? — спросил я.

— Еще какой! — Вильям присвистнул. — Суций ад! Почти сутки мы без руля. Половина мачт сломана. Корабль как угорелый мчится в сторону материка.

— Какого материка? — Головная боль путала мои мысли.

— Какого? Ясно какого: Южной Америки. Шторм несет нас на юго-запад, с ума можно спятить... Если не стихнет, нас швырнет на скалы или и того хуже — в лапы испанцам... Страшно подумать, что они с нами сделают...

Вильям заставил меня проглотить какое-то пойло, по вкусу напоминавшее мясной бульон, которое здорово меня подкрепило. Но сразу после этого меня неодолимо потянуло в сон. Я хотел было спросить у своего приятеля о судьбе индейца, привязанного к мачте, но не успел: веки у меня сомкнулись, и я заснул как убитый.

Целительный сон сделал свое дело. После пробуждения голова у меня стала яснее, а боль в виске стихла. Я попытался встать с постели, но вовремя вспомнил о наставлениях Вильяма и остался лежать.

Буря продолжала неистовствовать с прежней силой. С палубы неслись оглу-

шительный грохот, словно там палили из всех орудий. В чреве судна раздавался такой оглушительный треск, что я только и ждал мгновения, когда наша скорлупа развалится и вода хлынет в кубрик.

В полумраке замаячила какая-то фигура. Это был Вильям.

— Ну как, старина? — спросил он приглушенным голосом.

— Лучше. Только холодно очень...

— Ну и дела! В такую жару? Ведь дышать нечем! Ну ладно. Тебе надо подкрепиться...

Он опять принес мне поесть. Внезапный прилив благодарности за трогательную заботу, которой окружал меня этот, по существу, чужой человек, переполнил мне сердце, и я прошептал:

— О, Вилли, Вилли!

Но он отмахнулся, будто отгоняя эти нежности, и буркнул:

— Иди к дьяволу!

— Нет, ты от меня не отвертишься! — проговорил я решительно, приподнимаясь на койке. — Послушай! Там, в Пенсильвании, нас ждут леса. Вместе мы будем корчевать деревья в плодородной долине. Я научу тебя возделывать землю и охотиться... Ты увидишь, какая это замечательная жизнь...

— Разрази тебя гром! Замечательная, замечательная! — передразнивая меня, воскликнул Вильям с иронической усмешкой, которую я скорее угадал в его голосе, чем увидел на лице. — Замечательная! Сначала надо дожить до этой твоей Пенсильвании, а шансов на это маловато... Слышишь, как ревет?

— Слышу.

— На палубе содом и гоморра. Волнами смыло спасательную шлюпку, и у нас теперь осталась только одна небольшая лодка. Такого шторма я не припомню...

Непогоду и качку я переносил не так легко, как Вильям. После еды меня стало подташнивать, но, невзирая на это, я не терял ясного представления о реальной действительности и своем положении.

В голове у меня все отчетливее зрел отчаянный план. Не делаясь им до поры с приятелем, я хотел прежде убедиться сам, насколько задуманное мной было разумным и необходимым.

— Вилли, — обратился я к матросу, — ты хорошо знаешь нашего Старика?

— Этого злодея? Как свои пять пальцев. Три года с ним плаваю.

— В таком случае скажи, что будет, когда шторм прекратится? Когда-то же, черт побери, погода все-таки установится?..

Слова мои привели Вильяма в очевидное замешательство. Он, вероятно, догадался, какие мысли бродили в моей голове, и не спешил с ответом.

— Ну говори, — подбадривал я его, — не будь трусом, приятель! Капитан убежден, что отправил меня на тот свет. Что будет, когда он увидит меня живым?

Матрос пожал плечами.

— Не знаю, убей меня бог, не знаю.

— А не возьмет ли он тогда пистолет и не всадит ли пулю мне в лоб, на этот раз уже без ошибки?

Помолчав, Вилли согласился:

— От этой канальи всего можно ждать. Это мстительная бестия.

— Значит, мне надо защищаться! Это ясно, и ты согласен со мной! — вос-

кликнул я.

— Защищаться — хорошо сказано, но как тебе, бедолаге, защищаться? — озабоченно вздохнул Вильям.

— Я знаю как! — пробормотал я.

— У Старика здесь неограниченная власть. Любого из нас он может отправить на тот свет, как щенка. В команде у него несколько подручных, готовых на любое преступление по одному его знаку. Что ты, Джонни, значишь против него?

Я лежал в кубрике в том же виде, в каком, бездыханного, втащил меня сюда Вильям: в одежде. Я нащупал пояс. На нем с левой стороны висел охотничий нож, верный товарищ моих скитаний по вирджинским лесам. Я вынул его из кожаных ножен и показал Вильяму. Но тут вдруг несколько матросов из команды вошли в кубрик, и я, торопливо пряча нож, выдохнул в ухо своему приятелю:

— Капитан не должен пережить этого шторма!.. Он погибнет, или пусть я буду проклят!

— О'кэй! Ты хочешь его... — И Вильям взмахнул рукой, словно всаживая в кого-то нож.

— Ты угадал.

Мой приятель в смятении бросил на меня встревоженный взгляд. Затем он крепко, в дружеском порыве схватил мою руку и, пожав, прошептал:

— Ты молодчина, Джонни!.. Другого выхода у тебя нет... Прикончи его! Я помогу тебе!..

Он склонился над моим изголовьем и тут же всей тяжестью упал на меня, ибо в это мгновение огромный водяной вал обрушился на корабль и почти положил его на борт. Стол, прикрепленный к полу, сорвался и с грохотом ударился о переборку. Раздался звон разбитой посуды и шум прорвавшейся где-то воды. Мы решили, что это конец. Матросы в панике бросились из кубрика на палубу. Вильям остался подле меня. Корабль лежал на борту, как мне казалось, целую вечность. Но вот он стал медленно выравниваться, возвращаясь в первоначальное положение. На этот раз, кажется, пронесло.

Настала ночь. Я выбрался на палубу. Ураганный ветер хлестал словно бичом, волны то и дело перекатывались через палубу и сносили все, что было недостаточно прочно закреплено. Приходилось изо всех сил хвататься за поручни, чтобы не оказаться за бортом. На свежем воздухе силы мои быстро восстанавливались.

Я затаился поблизости от капитанской каюты, но в такую адскую пепогоду никто не высовывал и носа. Входить же в каюту мне не хотелось. Я рассчитывал расправиться со своим врагом на палубе и тут же выбросить его за борт, в море.

Кружа неподалеку от каюты, я оказался у фок-мачты. Индеец все еще стоял там. Я пошел ва-банк, ни на что не глядя. Парень настолько ослаб, что стоило мне разрезать на нем путы, как он тут же, у мачты, рухнул на палубу. Лишь немного погодя он собрал силы, отполз в сторону и исчез из виду.

Шторм и первая ночь на суше

Чудовищный тропический шторм. Оглушительный рев моря и вой ветра. Ко мне пробрался Вильям, и теперь мы караулили вдвоем. Разговаривать было невозможно: слова застревали в горле.

Бесплодно прождав несколько часов, мы решили перебраться в более тихое место и обсудить план дальнейших действий, но не успели.

Корабль налетел на подводную скалу. Удар был не особенно силен, но скрежет раздираемого под нами корпуса и треск ломающихся балок ничуть не уступали реву моря. Впрочем, я уже почти ничего не слышал. Вздыбленный водяной вал обрушился на меня с такой яростью, что я не в силах был ему противостоять. Ошеломленный, я выпустил из рук канат, за который до того держался. Огромная волна взметнула меня на самый гребень, затем с силой швырнула в пропасть, в водную пучину. Я стремительно летел вниз головой и почти лишился чувств, а когда снова смог открыть глаза, корабля уже не было.

Когда-то я слыл неплохим пловцом, но чем это могло помочь мне теперь, среди разбушевавшейся и обезумевшей стихии? Новая волна накрыла меня с головой, увлекая в бездну. Я ощутил в груди острую боль удушья, потом, теряя сознание, лишь смутно слышал постепенно затихающий шум. Но очередная волна вновь швырнула меня вверх и вытолкнула на поверхность. Продержался я недолго, но все-таки успел перевести дыхание, прежде чем меня накрыло новой водяной громадой.

Сколько длилось все это, не знаю. Тонкая нить меркнувшего сознания то и дело рвалась. Швыряемый из стороны в сторону, я был жалкой игрушкой в руках всемогущей стихии, последняя искра жизни во мне вот-вот готова была погаснуть под грохочущим напором смерти.

Я не поддался смерти. Жизнь восторжествовала. В какой-то миг меня пронзило чувство огромной радости — полуживой, оглушенный и ослепленный, я вдруг ощутил под руками какую-то твердь. В этом зыбком хаосе — и вдруг какая-то опора. Это была скала, и я судорожно в нее вцепился.

В тот же миг вода с шумом откатилась назад, и я смог свободно вздохнуть. Вскочив, я попытался бежать, но, увы, ноги меня не держали. С трудом мне удалось проползти по земле на животе и четвереньках. Но по земле!!!

Однако сзади вдруг накатилась новая волна и опять смыла меня со спасительной суши. Но это была дружественная волна — она отнесла меня дальше в глубь земли и чуть выше. Здесь силы меня оставили, и я потерял сознание.

Сколько часов я пролежал — пять, десять или целые сутки? Сознание возвращалось ко мне медленно, отдельными проблесками. Еще задолго до того, как открыть глаза, я ощутил неопишное блаженство: мне было тепло. Впервые за последние несколько дней — тепло! Море за это время отступило, видимо, шагов на сто: грохот волн, бьющих о берег, доносился приглушенно. Опасность осталась позади. Я был жив!

Тут я почувствовал, что рот мой полон ила, а голова полусасыпана песком.

«Земля, земля! Милая земля!» — было первой моей мыслью, и я едва не зарыдал.

С трудом и не сразу встал я на ноги. Еще труднее оказалось открыть глаза, будто надо было не просто поднять веки, а сдвинуть тяжелые ржавые засовы.

Я отплевался от песка, набившегося в рот, и протер глаза. К горлу подступала тошнота от морской воды, которой я немало наглотался, и, лишь очистив желудок от содержимого, я почувствовал некоторое облегчение.

Благодатное тепло, вернувшее меня к жизни, исходило от солнца. Пополуденное, оно, пробиваясь сквозь тучи, согревало землю, и, несомненно, это его

золотые лучи делали сушу, на которую выбросило меня море, невыразимо прекрасной. Повсюду вокруг песчаные дюны и кое-где небольшие скалы. Неподалеку, в нескольких сотнях шагов от меня, — стройные кокосовые пальмы, а за дюнами — сухие кустарниковые заросли. Редкие деревья, тут и там возвышавшиеся над кустами, в глубине, кажется, переходили в густой лес. Из зарослей кактусов, достигавших порой чуть ли не метра в высоту, доносился веселый щебет птиц. Так и казалось, что это радостный концерт, устроенный в мою честь.

Ветер дул еще сильный, но буря стихла и море почти успокоилось. Лишь белые гривы пенились на гребнях волн там, где совсем еще недавно вздымались грозные валы. Пока я вглядывался в даль океана, ко мне вернулась память.

«Вильям! Вильям! — подумал я со стесненным сердцем. — Где же ты, друг?»

Я оглядел берег. Нигде никого. Тогда я стал кричать, надеясь, что кто-нибудь отзовется, и побрел вдоль берега, торопясь, насколько позволяла мне силы. Никакого ответа. И тут я испугался: «А вдруг поблизости живут дикие индейцы и, привлеченные моими криками, готовятся сейчас напасть на меня? А быть может, здесь обосновались испанцы — враг не менее опасный, чем индейцы?»

Я умолк, хотя и продолжал брести дальше, стараясь теперь держаться поближе к зарослям и бросая по сторонам тревожные взгляды. Чаща стала казаться мне источником опасности, утратив прежнюю прелесть.

Ни Вильяма, ни кого-нибудь другого из команды я не нашел. Однако, бредя по берегу, я вдруг заметил вдали на песке, у самой воды, какой-то темный предмет. Это была разбитая шлюпка с «Доброй Надежды», доски от нее валялись рядом. Я стал лихорадочно обыскивать все вокруг, надеясь найти хоть какую-нибудь провизию, складываемую обычно заблаговременно в спасательные лодки. Увы, не оказалось ни провизии, ни какой-либо другой полезной вещи.

«О ладья, в издевку именуемая спасательной! Мои товарищи, вцепившись в твои борта, уповали, верно, на твою помощь, а ты, разбитая, как и сама их жизнь, жестоко обманула надежды тонущих!»

Вид жалких обломков вернул меня к действительности. Я вдруг с полной ясностью осознал, что все пережитое мной за последние часы и дни не кошмарное видение, каким оно порой мне представлялось. Разбитый руль, сломанная мачта, разбросанные у воды доски с беспощадной очевидностью свидетельствовали о катастрофе. И тут я наконец понял, что вся команда «Доброй Надежды», за исключением меня, погибла. «О, бедный Вильям!»

Я обследовал еще изрядный участок берега, но нигде не встретил не только ни одной живой души, но даже ни малейшего следа человека. Теперь я не сомневался, что никому не удалось спастись. Мысль эта едва не лишила меня рассудка.

Один на чужом берегу, населенном, по всей вероятности, людоедами, перед лицом неведомых опасностей, я оказался не только без товарищей, но и без оружия и без всяких средств к существованию.

Однако мне было всего двадцать шесть, и я был здоров душой и телом. Невзирая на все горести и беды, меня начал одолевать голод. Ну что можно здесь съесть? Какие-то птицы порхали в кустах, и это, конечно, пища, но, увы,

недосягаемая. В заросли кустарника опустилась стая довольно крупных попугаев, подняв невероятный гомон. Я приблизился к ним на несколько шагов и запустил в них камень. Он пролетел мимо, а птицы с громким криком улетели в лес.

Бессознательно возвращаясь к тому месту, куда выбросили меня волны, я двигался вдоль берега моря. От шторма пострадали и всякие морские твари — на моем пути в песке валялось множество ракушек разных сортов и размеров, больших и маленьких. А что, если их попробовать? Мне никогда не доводилось прежде есть моллюсков. Некоторые из них, показавшиеся мне съедобными, я разбил камнями и съел. Они оказались даже вкусными и прекрасно меня подкрепили. Небольшой ручей, впадавший неподалеку в море, напоил меня свежей пресной водой. Моллюски сотнями устилали прибрежный песок, и я с облегчением подумал, что пищи мне хватит на многие недели. Во всяком случае, с голоду на этом диком берегу я не умру.

Наклоняясь за раковинами, я почувствовал в левом кармане широких моих штанов какой-то твердый предмет. Надо сказать, что костюм мой состоял только из рубашки, матросских холщовых брюк, чулок и кожаных башмаков, изрядно пострадавших во время вынужденного купания. Жилет и куртку я потерял в море. Сунув теперь руку в карман, я извлек из него мешавший мне предмет. О радость!

— Нож!

Не веря от счастья своим глазам, смотрел я на свергающую сталь. Вирджинский охотничий нож — сокровище в моем нынешнем положении неоценимое.

— У меня есть оружие! Я могу защищаться! — восторженно повторял я.

Изнуренный выпавшими на мою долю испытаниями, я, как видно, склонен был к экзальтации и легко впадал в экстаз. Нож, конечно, был важным союзником и как-то меня приободрил, но мог ли он надежно защитить от всех неожиданностей, подстерегавших меня в этом незнакомом краю, и от опасностей, уготованных мне неведомым будущим?

Заходящее солнце уже касалось горизонта, и пора было подумать о ночлеге. Ночь обещала быть теплой, одежда моя давно высохла на теле, и бояться холода не приходилось. Зато мысль о хищных зверях не давала мне покоя. Я знал по рассказам, что Южная Америка кишит страшными тварями. В трехстах шагах от моря возвышалось громадное развесистое дерево. Я решил отправиться туда и провести ночь в его кроне.

Под вечер ветер почти совсем стих и море окончательно успокоилось. Бросая взгляды вдаль, на темнеющую поверхность воды, я высматривал какой-нибудь признак человеческой жизни и хоть малейший след разбитого корабля. Увы! На бескрайней морской глади ничто не останавливало взгляда, а пустынная даль лишь усиливала чувство обреченности и полного одиночества.

Дерево, избранное мной для ночлега, было сплошь увито лианами, которые не только во множестве свисали с сучьев на землю, словно толстые канаты, но и опоясывали кольцами ствол, подобно огромным змеям. По ним не составляло труда взобраться наверх. Отыскав на толстых нижних сучьях сравнительно удобное место, я уселся, опершись спиной о ствол, а чтобы во сне не свалиться, сорвал несколько тонких лиан и прочно ими привязался. Эти рас-

тения вполне для этого годились, будучи на редкость гибкими и прочными.

Я дьявольски устал, но заснуть не мог. В голове роились всякие мысли, и особенно тревожил вопрос: куда занесла меня злая судьба?

Направление шторма, а также некоторые особенности природы — ну хотя бы виденные мной крупные попугаи — позволяли предположить, что волны выбросили меня на Южноамериканский материк, возможно, где-то в районе северной части устья реки Ориноко. Если так, то, идя пешком вдоль моря на запад, я мог бы добраться через несколько недель или месяцев до испанских поселений Венесуэлы и оказался бы среди цивилизованных людей. Среди цивилизованных, но среди доброжелательных ли и готовых прийти мне на помощь — это уже другой вопрос.

Я, конечно, скрыл бы от них свою службу на пиратском корабле, но я и без этого рисковал подвергнуться гонениям просто как англичанин. Англичане и испанцы в этих водах Атлантики жили между собой хуже кошки с собакой, грызясь из-за островов. И хотя в Европе мог царить мир, здесь между ними всегда шла война, война необъявленная и тайная, но тем не менее жестокая и кровавая.

Вильям рассказывал мне, что на этих берегах Южной Америки рыщут и племена диких индейцев, карибов, не покоренных европейцами и широко известных своей жестокостью по отношению ко всем чужеземцам.

Да, невеселые мысли бродили в бедной моей голове, пока я сидел на дереве, подобно какой-нибудь обезьяне. Вместе с густеющим мраком в воздухе появились светло-голубые огоньки, метавшиеся во все концы словно угорелые. Некоторые застревали в ветвях моего дерева. Это были жучки-светлячки, крохотные обитатели субтропических лесов. Яростное гудение, жужжание и стрекотание неумолчным потоком наполняли воздух — это сотни сверчков и цикад приветствовали душную ночь. От недалекой речушки неслись дикие вопли жаб, квакавших совсем не так, как у нас в Вирджинии. Ко всему этому меня то и дело окутывали странные ароматы, то сладкие — от неведомых мне цветов, то дурманящие — от корней и гниющих листьев.

Веки у меня слипались, и я впадал в сонную одурь. Но неудобная поза на ветке не давала мне спокойно уснуть. Я поминутно открывал глаза, чутко вслушиваясь в звуки непроглядных джунглей.

В эту ночь время ползло как улитка.

Позже огоньки светляков пропали и звуки вокруг переменялись. Цикады стихли, зато родились неведомо как и кем издаваемые таинственные вопли и рыки, уханье и визги. Луна выплыла на небо, и в мерцающем ее свете чаща подо мной преобразилась в дикое, чудовищное хаотичное царство.

Вдруг волосы на голове у меня встали дыбом, сердце замерло. Внизу появилась какая-то длинная тень, скользившая сквозь заросли. Она то останавливалась, словно следя за мной, то опять бесшумно двигалась вперед. В глазах у меня, заслезившихся от напряжения, стало двоиться.

Я судорожно ухватился за ветку, чтобы не свалиться вниз. Мне показалось, что слышится треск сучьев и глухое сдавленное рычание.

Потом внизу, прямо подо мной, раздались подозрительные скребущие звуки, словно когти огромного хищника царапали кору. Моему разгоряченному воображению представлялся громадный зверь, скребущий когтями передних лап ствол моего дерева. Сжав в правой руке нож, я наклонялся во все стороны,

стараясь разглядеть, что делается внизу, но густые ветви закрывали обзор. Впрочем, под деревом и без того было темно как в погребе. Потом наступила тишина, меня одолел сон, и я перестал думать об опасностях и несчастьях, утешая себя мыслью, что все это, быть может, лишь плод моего разгоряченного воображения. Однако, когда после восхода солнца я осторожно спустился с дерева, внизу на коре ствола виднелись совсем свежие глубокие царапины. Значит, все-таки это был какой-то крупный зверь! Мне стало не по себе. В вирджинских лесах я с детства привык иметь дело с хищным зверем, но здесь, в чужом краю, я оказался один на один с неведомой природой, и притом с каким оружием в руках? Смешно сказать — с ножом!

Бегом помчался я к морю, настороженно всматриваясь в окружающую чащу, и спокойно вздохнул, лишь когда почувствовал под ногами мягкий прибрежный песок, а соленый морской ветерок освежил мне лицо.

Я на острове

Как и на ужин предыдущего дня, на завтрак я собрал моллюсков. К сожалению, теперь на песке их оставалось значительно меньше, чем прежде, а многие стали портиться и были уже несъедобны. Несмотря на это, я наелся досыта и даже пополнил свой завтрак новым блюдом: неподалеку, под пальмами, среди сорванных ветром листьев мне удалось найти несколько кокосовых орехов, упавших на землю во время урагана. Я очистил ножом зеленую кожуру и, разбив скорлупу камнем, напился вкусного кокосового молока, а затем выгрыз и нежную мякоть. Насытившись, я сразу ощутил прилив свежих сил и жажду деятельности. Видя, как моллюски быстро портились, лежа на песке без воды, я решил обеспечить себе постоянный их запас и выкопал на берегу с помощью большой раковины яму, настолько глубокую, что на дне ее выступила из-под песка морская вода. Затем, собрав, я перенес сюда больше двухсот моллюсков — запас, достаточный на несколько дней, если даже не найдется никакой другой пищи. Дабы защитить свой «аквариум» от палящих лучей солнца, я накрыл яму листьями кокосовых пальм.

Внимание мое привлек не очень высокий холм, возвышавшийся неподалеку от берега. «А что, если взобраться на его вершину и осмотреть окрестности? Вдруг сверху удастся обнаружить спасшихся матросов, а возможно, и признаки человеческого жилья?» При всех обстоятельствах лучше заранее знать, с какой стороны может угрожать тебе опасность или прийти помощь.

Путь наверх оказался менее тяжелым, чем я предполагал, и после получаса подъема мне удалось достичь вершины. Стоя от нетерпения, осматривался я по сторонам. Великолепная красочная панорама открывалась подо мной.

И вдруг — о ужас! — со всех сторон меня окружал океан. Я был на острове. На западе и севере суша почти сливалась с морем и небом в мглистой дали, но, несмотря на расстояние в несколько миль, и там ясно просматривалась темно-голубая гладь воды. Вода окружала меня безжалостно, как узника тюремная решетка. Итак, я в безвыходном положении. Нет лодки, нет инструментов для ее постройки, а эти края, насколько мне было известно, вообще никогда не посещались ни одним европейским кораблем. Значит, остров — кто знает, не роковой ли для меня, — мог оказаться местом моего заточения на долгие годы.

Тут впервые после крушения пиратского корабля я вспомнил о Робинзоне Крузо, и меня поразила схожесть моих злоключений с его судьбой. Я, как и он,

потерпел кораблекрушение и тоже выброшен на необитаемый остров. «Прожил двадцать восемь лет на необитаемом острове», — вспомнились мне слова из названия его книги. Неужели и меня ждет такая же судьба?

— Нет! Конечно же, нет! — воскликнул я, воспрянув духом, когда внимательно осмотрелся по сторонам.

В прозрачном воздухе море просматривалось далеко вперед. Остров, на котором я находился, не был одиноким в бескрайнем водном просторе. С севера на горизонте отчетливо вырисовывались над морем контуры другого острова, значительно большего, чем мой. С противоположной стороны, на юге, не далее, вероятно, чем в семи-восьми милях, тоже виднелась обширная и совершенно плоская земля.

Это мог быть материк или какой-нибудь большой остров. Близость этой земли придала мне бодрости.

Продолжая внимательно осматриваться, я отметил, что высокоствольный темно-зеленый лес, там и тут перемежавшийся бесплодно-рыжими пролысынами степи, рос лишь в центре острова. Остальная его часть была покрыта кустарниковыми зарослями. Климат на острове был, судя по всему, сухим. Это подтверждалось и отсутствием рек, и обилием колючего кустарника и разного рода агав и кактусов. Ручей, найденный мной накануне неподалеку от моего ночлега, вытекал из леса посреди острова и был единственным источником пресной воды, какой я сумел заметить с холма. Море у извилистых, изрезанных берегов местами вклинивалось в глубь острова, образуя лагуны и бухты, радующие глаз, особенно там, где вверх взметались веера кокосовых пальм. И если бы не сознание моего печального положения, вполне можно было бы наслаждаться, обозревая великолепный пейзаж. Как ни напрягал я зрение и как внимательно ни осматривал все ближайшие уголки острова, следов присутствия индейцев я не обнаружил. Это меня порадовало.

Холм, на котором я стоял, находился в восточной части острова. С его вершины на севере отчетливо видны были песчаные дюны, где накануне я обнаружил остатки спасательной шлюпки.

Окрестностей с противоположной, южной, стороны я еще не обозревал и обратил теперь туда свой взор в надежде найти там хоть какие-то следы своих товарищей по несчастью.

Зрение у меня острое, тренированное, но, тщательно осматривая пядь за пядью пустынную однообразную чащу, я довольно долго не мог обнаружить ничего примечательного.

Но вдруг что-то привлекло мое внимание. Я до боли в глазах напряг зрение. Далеко на юге, на прибрежном песке, что-то лежало. Не то ствол дерева, не то обломок корабля, во всяком случае, предмет странный, явно инородный, диссонирующий с фоном окружающего пейзажа. «Может быть, это человек?» Всмотревшись внимательнее, я заметил вокруг странного предмета какое-то движение: темные прыгающие точки. Минуту спустя у меня не оставалось сомнений — это черные огромные птицы собирались вокруг падали. «Грифы», — мелькнула мысль. А если это так, то не подбираются ли они к умирающему зверю, а то и человеку? Я сорвался с места и помчался вниз с быстротой оленя. Пробравшись сквозь заросли к морю, я побежал вдоль берега. И вот уже ясно видно: это действительно грифы, а спустя минуту я увидел и лежавшего без движения человека, вокруг которого полукругом расселись хищные

птицы. Сердце у меня колотилось словно молот, готовое выпрыгнуть из груди, но я не замедлял бега: по одежде было видно, что это матрос с нашего корабля.

Он лежал навзничь и был мертв. Я определил это еще издали. Но, увидев его лицо, я едва сдержал крик ужаса. Это был наш капитан. Глаза у него страшно вылезли из орбит, словно не уместались в глазницах. И хотя в них отражались все муки предсмертной агонии, зрачки еще и теперь, даже мертвые, впились в меня с леденящей душу мстительностью, почти как в ту минуту, когда этот злодей собирался меня убить. Я попытался прикрыть ему веки; они отвердели и не поддались. В левой руке капитан судорожно сжимал пистолет, но пальцы так одеревенели, что мне пришлось приложить немало усилий, прежде чем удалось вырвать из них оружие. Радость, охватившая меня в первое мгновение при виде пистолета, длилась недолго. Ствол был наполовину забит мокрым песком, а порох подмочен морской водой. Прекрасное оружие, но совершенно теперь бесполезное, поскольку у меня не было ни крупинки пригодного пороха.



— Вот, Ян, и сбылась твоя мечта! — пробормотал я с горькой иронией. — Оружие есть, но без пороха!

Я был настолько раздосадован, что хотел было зашвырнуть пистолет в кусты, но все-таки сдержался и спрятал его, поскольку привык с уважением относиться к любому, даже непригодному, оружию. Я внимательно осмотрел труп. На голове зияла рана, которая, по всей вероятности, и явилась причиной смерти. Рана образовалась от удара о какой-то твердый предмет — череп в этом месте треснул.

— Вот тебе и на! — воскликнул я, осматриваясь. — Обо что же он мог так сильно удариться?

В этом месте берег устилал мягкий песок, поблизости не было ни одной скалы, и лишь кое-где валялись небольшие камни.

«Неужели он раскроил себе башку об один из этих камней?» — одолевали меня сомнения. Вокруг трупа я заметил много неясных следов, похожих на человеческие. Во всяком случае, мне показалось, что это следы людей, хотя уверенности не было — на песке следы едва угадывались. Возможно, перед смер-

тью капитан метался, прежде чем упасть бездыханным.

«Странно все это! — подумал я. — Загадочная рана на голове, пистолет, зажатый в левой руке. Странно!»

Пока я осматривал труп, грифы, отлетевшие при моем приближении на какой-нибудь десяток метров, терпеливо ждали моего ухода, чтобы приняться за свою добычу. Я не мог, понятно, питать особой симпатии к капитану, но мне показалось кощунством позволить омерзительным хищникам кормиться человечесиной. Я оттащил труп к зарослям и руками закопал в песок. В голову мне пришла мысль снять с трупа одежду, которая наверняка пригодилась бы на этом безлюдном острове, но я не мог преодолеть отвращения и закопал труп вместе с одеждой. С пистолетом за поясом направился я к своему дереву, прихватив по дороге доски от разбитой шляпки. Снова утолил голод моллюсками, напился воды из ручья, а когда предзакатное солнце коснулось своим краем морской глади, влез на дерево. В качестве ложа я использовал доску, положенную на две горизонтальные ветви.

Едва наступила темнота и на небо выплыла луна, джунгли снова наполнились тысячами неведомых звуков. Спал я в эту ночь почти спокойно, то ли оттого, что на доске было удобнее, то ли просто уже стал привыкать к лишениям. Один только раз меня пробудило кошмарное видение: мертвый капитан. Я проснулся весь в поту и, только протерев глаза и окончательно очнувшись, кое-как успокоился.

В эту ночь меня не будило подозрительное рычание под деревом, а когда утром я осмотрел ствол и близлежащие кусты, то не обнаружил никаких следов появления хищников.

Завтрак я съел такой же, как накануне, и оказалось, что этим исчерпал все собранные запасы пищи. Я съел последних живых моллюсков из своего «аквариума» — остальные подохли и протухли — и расколол два оставшихся на земле кокосовых ореха.

Высоко на пальмах висело много плодов, но я не представлял себе, как добраться до них по голым стволам.

Вскоре после рассвета, пользуясь утренней прохладой, я снова отправился на южную часть острова с целью разведки. Вооруженный ножом и увесистой дубиной, вырезанной из твердого дерева, я двигался вдоль берега моря.

С пищей дело обстояло скверно — ни моллюсков, ни каких-либо других даров моря в песке я не находил. Видимо, все, что шторм выбросил на берег, исчезло в желудках птиц и лесных зверей. Утрата этого источника питания привела меня не в слишком веселое расположение духа.

Проходя мимо места, где я захоронил останки капитана, я вспомнил о странной ране на его голове.

«Черт, какая-то непонятная история!»

Я снова внимательно осмотрел все вокруг.

Слабые следы, замеченные мной накануне, совсем исчезли на сыпучем песке. Я не отыскал ничего, что могло бы приоткрыть хоть краешек тайны и пролить свет на загадочную смерть капитана. Махнув на все это рукой, я направился дальше. Мои надежды отыскать в этих местах какие-нибудь следы матросов с нашего корабля не оправдались. Все, вероятно, погибли в море, а свои нравные волны сюда их не вынесли. Примерно через час ходьбы далеко впереди я снова увидел скопища грифов. Описывая в воздухе круги, они то сяди-

лись на прибрежный песок, то взмывали вверх. Подойдя ближе, я увидел, что птиц привлекла огромная мертвая черепаха. Грифы выклевывали из-под ее панциря куски мяса. При моем появлении они, как и прежде, не выказали особого страха. Окружив черепаху тесным кольцом, они позволили мне приблизиться на расстояние в несколько шагов и только тогда стали нехотя взлетать.

Изо всех сил я швырнул в их гущу свою палку и попал. Оглушенная птица по смогла подняться вслед за другими. Мгновенно подскочив к ней, я схватил ее за крыло и скрутил ей голову. Вся стая с шумом улетела.

Убитая птица, величиной с нашего гуся, в пищу оказалась совершенно непригодной. От нее отвратительно несло запахом падали, и невозможно было проглотить ни куска ее мяса.

Я осмотрел останки черепахи.

Овальная ее панцирь в длину составлял три фута, а в ширину был чуть поуже. Грифы, как я знал, никогда не нападают на живых зверей. Следовательно, сам собой возникал вопрос: отчего черепаха погибла и кто ее умертвил?

Не требовалось особой проницательности, чтобы установить истину. На песке, в этом месте плотном и слежавшемся, виднелись округлые вмятины — следы кошачьеобразных лап громадного хищника. Это он убил черепаху и, вероятнее всего, наносил удары сбоку, между верхней и нижней пластинами панциря, потом когтями вырывал куски мяса, а недоеденное оставил грифам. Чья же это работа? Пума или грозный ягуар? Уж не тот ли хищник, что в первую ночь тревожил мой сон на дереве?

Следы не казались свежими. Скорее всего вчерашние. Взвизывая с горечью на жалкое свое оружие — нож и деревянную палку, я тешил себя надеждой, что хищник находится сейчас за много-много миль от меня, быть может, даже где-нибудь на противоположном конце острова. Неподалеку от места, где лежали останки черепахи, росло с десятков кокосовых пальм. Я нашел под ними три ореха. Поскольку поблизости не оказалось подходящих камней, которыми можно было бы расколоть скорлупу, я связал плоды между собой оплетавшими их волокнами и, перекинув добычу через плечо, отправился в обратный путь.

На этот раз я шел по зарослям вдоль побережья. Рокот океана доносился до меня лишь легким шумом. Всюду здесь густо росли кактусы. Местами с трудом удавалось пробраться сквозь колючий кустарник, переплетенный лианами. Поражали богатство и разнообразие пернатого мира. Кроме попугаев, в зарослях порхало множество других птиц, и часто настолько необычных, что, впервые их видя, я не мог надивиться. Одни, например, крупнее нашего голубя, обладали громадными клювами длиной в три четверти их собственного тела.[2] Когда они перелетали с места на место, могло показаться, что летают одни клювы. Вид этих диковинных существ, неведомых в наших родных краях, лишней раз доказывал, насколько чужд мне был здешний мир.

И при всем этом я ни на минуту не отрывался от реальности.

«Да, — думалось мне, — сколько пищи летает здесь по воздуху! Будь у меня хоть плохонькое ружье, недурное блюдо можно бы заполучить...»

В одном месте я вспугнул в зарослях крупную черную птицу из семейства куриных, которая, не поднимаясь в воздух, резво убежала от меня по земле. Я метнул вслед ей палку, но промахнулся. Да, без ружья я был здесь бессилен, как младенец, несмотря на все богатство природы.

Пробираясь дальше сквозь чащу, я добрался до подножия холма, с вершины которого накануне осматривал остров, и вышел на небольшую песчаную поляну, лишь кое-где поросшую редкими пучками травы. Выбираясь из последних кустов, я заметил на поляне какое-то движение и панику: ящерицы, и притом очень крупные! Они, видимо, грелись на солнце, а теперь, напуганные моим появлением, бросились врассыпную. Одна из них, довольно большая, длиной, пожалуй, с мою руку, приостановилась шагах в двадцати от меня и, застыв, крохотными глазами следила за неведомым ей врагом. Я осторожно поднял свою палку и метнул ее в пресмыкающееся. Палка стрелой просвистела в воздухе, но ящерица оказалась еще быстрее. Прежде чем тяжелый снаряд достиг цели, она скрылась, юркнув в нору.

Здесь, на поляне, обитала целая колония этих рептилий! Тут и там в земле темнели входы в их норы, очень похожие на кроличьи, разве чуть поменьше. Мне сразу же вспомнилось, что у индейцев Северной Америки ящерицы считались изысканным деликатесом. Не отведают ли и мне по их примеру мяса ящерицы? Стоя на поляне, я ломал голову, как добыть соблазнительную дичь. Попробовать выкопать? Но чем? Не исключено, что норы очень глубокие. И тогда я перенесся памятью в далекие годы своего детства, когда вместе со сверстниками охотился в нашей вирджинской долине на разную мелкую дичь. Из бечевки мы вязали тогда хитроумные силки и укладывали их на звериные тропы или у входов в норы.

— О давние милые времена! — воскликнул я, исполненный горести, когда перед мысленным взором моим промелькнули картины далекого прошлого.

Эти воспоминания заставили меня еще острее ощутить всю бедственность нынешнего моего положения и одиночества. Я срезал несколько длинных тонких лиан, гибких, как шпагат, смастерил из них, как в детстве, силки и разложил у нор. Во время этих приготовлений прошел проливной дождь, хотя через минуту снова засияло солнце. Расположившись неподалеку, я прокараулил целый час; к сожалению, ни одна ящерица так и не высунула носа. Солнце клонилось к западу, и, потеряв на сегодня всякую надежду что-либо раздобыть, я решил вернуться сюда завтра.

Еле волоча ноги, побрел я к своему дереву. Самочувствие мое заметно ухудшилось. Порой кружилась голова, докучала нарастающая боль в висках, появился озноб. С ужасающей быстротой, буквально с каждой минутой, я терял силы. Ко всем испытаниям последних дней добавилась какая-то болезнь.

Я едва смог вскарабкаться на дерево и привязаться лианами. К принесенным орехам я так и не притронулся. К горлу подступала тошнота.

Закон жизни

Это была ужасная ночь. Я почти не спал. Меня мучили страшные кошмары и видения. Мне казалось, будто я лечу в пропасть, и я наверняка свалился бы с дерева, не привяжись я лианами. В лихорадочном бреду мне представлялось, будто я черепаха, на которую с грозным рыком бросается огромный хищник и рвет ее, то есть меня, на части. Когда наконец забрезжил рассвет, я чувствовал себя настолько ослабевшим, что мне не хотелось даже спускаться вниз. Всю ночь шел дождь. Я насквозь промок, и это еще более усугубляло и без того бедственное мое положение. Несмотря на сильный жар, я весь дрожал от холода. Восход солнца вселил в меня надежду на облегчение, а по мере того, как наступал жаркий тропический день и одежда моя просыхала, я дей-

ствительно почувствовал себя лучше.

Со вчерашнего утра во рту у меня не было и маковой росинки. Около полудня я спустился все-таки с дерева и с тремя кокосами поплелся к морю, чтобы отыскать там подходящие камни и разбить орехи.

Как же я ослабел за одну эту ночь! Мне никак не удавалось расколоть скорлупу кокосов. Она оказалась слишком твердой для моих немощных ударов. К счастью, острием ножа я сумел просверлить небольшое отверстие и через него выпить немного кокосового молока. По-прежнему страдаемый диким голодом, я побрел на поляну ящериц. К неопишуемой моей радости, в один из силков ящерица попалась. Она была уже мертва.

Новая забота! Как съесть ящерицу?

Индейцы пекли их на углях. У меня, к несчастью, не было ни огня, ни какого-либо способа разжечь костер. Я решил съесть добычу сырой и, вырезав все мясистые части, на гладком камне разбил их в мелкое месиво. За приготовленное таким образом блюдо я принялся с опаской, но, как ни странно, белое мясо оказалось довольно вкусным.

Во время этой трапезы меня одолевали невеселые мысли.

— О Янек, — говорил я себе с горечью, — как же низко ты пал! Даже дикие индейцы, поедая ящериц, пекут их на огне. Ты же лишен и такой возможности! Ты живешь теперь хуже, чем дикарь, и уподобился зверю.

Ясное понимание даже самых трагических обстоятельств всегда пробуждало во мне инстинкт самосохранения. Оно порождало сопротивление злой воле, вызывало к жизни скрытые силы и стремление вырваться из беды. Так случилось и теперь. Я не хотел поддаваться злему року, подобно немощному ягненку, во мне пробудилась жажда борьбы — вероятно, мясо ящерицы пошло мне впрок. В этот день солнце пекло немилосердно, стояла страшная жара, и я беспомощно озирал окрестности в поисках тени, где можно было бы прилечь.

Недалеко от поляны ящериц, как я уже упоминал, возвышался холм. У подножия его я и решил несколько часов поспать. Пройдя сто шагов по чаще, я оказался у цели. В поисках тени я обнаружил в скале углубление, похожее на пещеру, чему немало обрадовался. Ведь это же прекрасное убежище! Не очень глубокая — всего шагов пять в глубину — пещера тем не менее вполне могла укрыть от непогоды. А от хищных зверей? Я нашелся и тут. Поскольку вход в пещеру был достаточно узким и невысоким — входя в нее, мне пришлось согнуться, — достаточно загородить его несколькими досками от разбитой шлюпки, и в пещере можно будет чувствовать себя хотя бы в относительной безопасности.

Охотнее всего я тотчас же приступил бы к перетаскиванию досок, но меня охватила такая слабость, что я рухнул на землю и тут же погрузился в глубокий сон. Спустя несколько часов я проснулся, чувствуя себя значительно бодрее. От места, где валялись доски, до пещеры было около тысячи шагов. Мне трижды пришлось сходить туда и обратно, волоча за собой по песку груз. Нести его у меня не доставало сил. Солнце клонилось к западу, когда все наконец было готово; доски, связанные лианами, так плотно закрыли вход, что и сам дьявол не пробрался бы в пещеру.

Днем в мои силки, увы, ничего не попало. В этот вечер я съел последний кокосовый орех и, устроив в пещере ложе из ветвей, рано лег спать. Совершенно лишенный сил, я отупел до такой степени, что не испытывал даже го-

лода. У меня опять стало мутиться сознание и возвращался прежний жестокий озноб. Однако, лежа в пещере, отгороженный прочным щитом от ночных звуков и всего, что творилось вокруг, я по крайней мере мог чувствовать себя спокойнее, чем прежде.

Как долго я спал — не знаю. Пробудило меня внезапное предчувствие какой-то близкой опасности. Сердце, объятая непонятной тревогой, учащенно билось. Я прислушался. «Что меня испугало? Быть может, какой-либо звук, от которого страх обуял меня даже во сне?» Во мраке пещеры я нащупал нож и крепко сжал его рукоять. Но как ни напрягал я слух, ничего подозрительного уловить не смог среди обычных ночных звуков джунглей. Сквозь щели в досках виднелись ближайшие заросли, а по серебристо искрящимся кактусам можно было определить, что взошла луна.

И вдруг — что это? Чуть слышный шорох в траве, колеблющаяся тень у пещеры. Молниеносный прыжок. Мощное тело с грохотом обрушилось на мой деревянный щит. Треск досок, раздираемых страшными когтями.

Две доски, сорванные с бешеной силой, вывалились наружу, загрохотав по камням. От них в испуге отпрянул огромный зверь. Отскочив на три-четыре шага, он остановился. Длинное, гибкое, пятнистое тело. Ягуар! Сердце у меня замерло. Хищник притаился, прижав плоскую морду к земле. Он пожирал меня зелеными горящими глазами и щерил пасть, обнажая громадные белые клыки.

Парализованный ужасом, как зачарованный уставился я в его зрачки, ожидая, когда он бросится. В руке я сжимал нож. Ему достаточно одного прыжка, чтобы достичь меня, одного удара страшной лапы, чтобы со мной покончить. Ягуар яростно, приглушенно зарычал. Несмотря на потрясение, я отчетливо видел — бесплодная реакция перенапряженных нервов! — да, я отчетливо видел, как хищник бьет хвостом по земле.

«Когда он прыгнет?»

Секунды казались вечностью. Неминуемая гибель, грозившая мне с минуты на минуту, все еще не наступала. Я едва не терял сознание: когда же он прыгнет?!

Вдруг ягуар шевельнулся. Потом, не сводя с меня горящих глаз, стал медленно отступать. Его мощное тело постепенно скрывалось в кустах и вот исчезло совсем. Там, где минуту назад к земле припадал грозный хищник, теперь лишь темнела примятая трава. С минуту еще слышался треск сучьев и удаляющийся шорох листьев. Потом тишина.

Без сил упал я на свое ложе и долго лежал не двигаясь. Наконец мало-помалу стал приходить в себя. А вдруг хищник вернется? Я напряг зрение, всматриваясь в заросли, — ягуар не появлялся. Вероятно, владыка джунглей хотел лишь продемонстрировать свою мощь двуногому существу, осмелившемуся вторгнуться в его владения. Он предостерег меня и скрылся в чаще.

Я не осмеливался выйти из пещеры, опасаясь засады. Когда же силы понемногу вернулись ко мне, я осторожно собрал оторванные доски и укрепил их на прежнем месте. Теперь я знал, что это ненадежная защита, но пусть лучше такая, чем вовсе никакой.

Остаток ночи прошел спокойно.

До рассвета я неплохо выспался и, проснувшись утром, чувствовал себя довольно бодро, во всяком случае, голова у меня не болела, озноб прошел, а доку-

чал мне лишь жестокий голод.

Первая мысль была о ночном происшествии.

— Ягуар! Ягуар! — повторял я с ненавистью и страхом.

Будучи опытным охотником, я отдавал себе отчет в грозящей мне опасности. Приди хищнику, многократно превосходящему в силе человека, желание полакомиться человечиною, и какая участь ждала бы меня, вооруженного всего лишь ножом да деревянной палкой?

В то же время я задавал себе вопрос, как попал ягуар на этот остров и чем мог здесь питаться такой прожорливый хищник. Хорошо известно, что ягуары отлично плавают, значит, возможно, он переплыл пролив, отделяющий остров от земли на юге. А если это так, то не следует ли предположить, что земля на юге — Южноамериканский материк?

С раннего утра голову мою занимали две главные проблемы: как обезопасить себя от ягуара и как добыть пищу. Ягуар при свете дня редко выходит на охоту, значит, время до вечера в полном моем распоряжении. Как бы там ни было, я твердо решил оставаться в пещере и не возвращаться больше на ночлег на дерево.

Голод. Меня мучил голод, лишая последних сил. Хитроумные петли мои опять оказались пустыми. День наступал пасмурный, душный, и ящерицы не покидали своих нор.

К полудню у меня хватило еще сил смастерить из упругой ветви и гибкой тонкой лианы лук, а из твердых стеблей тростника, росшего у ручья, нарезать с десятков стрел. Будучи еще мальчишкой, я нередко забавы ради мастерил себе луки, видел и настоящие индейские луки, так что дело для меня не было новым. Небольшой лук, который я смастерил теперь, был мне всего по грудь, однако стрелы выпускал недурно — шагов на пятьдесят с лишним. Птицы стаями порхали в зарослях и отнюдь не отличались пугливостью, но стрелок оказался ниже всякой критики. Сколько я ни стрелял, попасть в цель мне не удалось ни разу.

В конце концов, устав, я прилег в своей пещере, но ненадолго, ибо мысль о предстоящей ночи не давала мне покоя. В глубине моего прибежища была осыпь обломков скалы разной величины. Я решил перетащить или перекачать их к выходу и соорудить нечто вроде баррикады.

Понимая, сколь много зависело от этой работы, я немедля взялся за дело. Перенести мелкие камни не составило особого труда, зато более крупные требовали усилий, превосходивших мои возможности, а ведь только они и могли устоять под напором хищника.

Сколько же пришлось затратить мне сил и труда! Лишь используя в качестве рычага принесенные накануне доски, я сумел в конце концов кое-чего добиться. Теряя иссякающие силы, я то и дело вынужден был прекращать работу, чтобы немного отдышаться. Когда же дело все-таки подошло к концу, я был едва жив и около часа провалялся, не двигаясь.

День тяжелого труда близился к исходу, а во рту у меня не было еще ни крошки.

Солнце вышло из-за туч и, освещая сбоку деревья, отбрасывало длинные тени. Птицы, как обычно в предвечерние часы, оживились и заливались на все голоса.

Вдруг у самого входа в пещеру раздался пронзительный вопль:

— Пьоонг!

И тут же со всех сторон ему стали вторить:

— Пьоонг! Пьоонг! Пьоонг!

До ушей моих донесся шум крыльев.

Я приподнялся на локте и стал прислушиваться. Убедившись по звукам, что птицы находятся совсем рядом, я схватил лук, стрелы и выскочил из пещеры.

Птиц было десятка два. Величиной с нашу галку, они относились, вероятно, к какому-то виду семейства вороновых, были сплошь черными, а клювы у них, тоже черные, в верхней части имели большой выпуклый горб.[3] Заметив меня, «вороны» громким «пьоонг» выражали свое изумление или неудовольствие, однако и не помышляли улетать. Некоторые, наиболее нахальные, летели прямо на меня и при этом возбужденно кричали.

Ближайшая птица была не более чем в десяти шагах. Широко расставив на ветке лапы, она возмущенно кричала на меня своим пронзительным «пьоонг». Я прицелился и выпустил в нее стрелу. Цель была близко, однако стрела пошла в сторону. Птица заметила что-то мелькнувшее неподалеку от нее, но на этом острове ей неведом был человек, и она, оставаясь сидеть, продолжала надрываться.

Вторая стрела пролетела значительно ближе к цели, третья, к сожалению, взмыла высоко вверх, зато четвертая — ура, трубите, фанфары, победу! — четвертая угодила прямо в цель, пронзив жертве крыло и свалив ее на землю. Одним прыжком я настиг птицу и прижал ее к земле — попалась!

Вся стая подняла сразу невообразимый крик и, кружа надо мной, казалось, намерена была отомстить за гибель своего сородича. Я посылал в гущу птиц стрелу за стрелой, но впопыхах позорно промахивался. Потом стрелы у меня кончились, а птицы, наконец осознав опасность, улетели.

Прежде чем убитая птица успела остыть, я оципал ее и целиком съел, оставив только кости и внутренности.

Ночь прошла без происшествий, хотя жестокие спазмы в желудке не давали мне покоя. На следующий день я встал ослабевшим, все мышцы ныли от вчерашней работы.

Болезнь и голод давали себя знать. Я понял: если в самое ближайшее время не произойдет коренных перемен, долго мне не протянуть и придется прощаться с этим миром. Правда, мир этот в последнее время немного доставлял мне радости, но все-таки уходить со сцены так бесславно не хотелось.

«Прежде всего надо обеспечить себя запасом пищи. Нельзя больше топтаться на одном месте, надо отправляться дальше на поиски еды». Мысль эта настолько захватила меня, что поутру, едва напившись воды из ручья, я отправился в путь, невзирая на пустой желудок.

На этот раз я направился на север, туда, где на берегу валялись остатки спасательной шлюпки. Я пошел, как прежде, берегом моря, и, оказалось, не зря. Мне попался новый предмет, выброшенный волнами после крушения нашего корабля: деревянный сундучок, в каких матросы обычно хранят свой нехитрый скарб. Сундучок был заперт и совершенно не поврежден.

Я попытался открыть крышку, но она не поддавалась. Тогда я потряс сундучок — в нем что-то было. А вдруг там кресало, так необходимое мне для разведения огня? Увы, я не мог пока в этом убедиться: разбивать крышку у меня не

было времени. Я лишь оттащил свою находку подальше от моря в безопасное место, чтобы вечером вернуться, и двинулся дальше.

В этой стороне острова растительность за линией песчаных дюн была реже и просматривалась лучше, чем заросли вокруг моего холма. Время от времени я отклонялся от своего пути, углубляясь на несколько сот шагов в чащу, и делал это не только затем, чтобы попытаться кого-нибудь подстрелить. Из книги о Робинзоне я живо помнил главы, в которых он описывал, как исследовал свой остров. Он отыскивал полезные для себя растения и плоды. А вдруг и я найду здесь какое-нибудь дикое поле кукурузы или риса?

Увы, поиски мои не увенчались успехом. Вся растительность была мне незнакома, а внешним видом своим внушала скорее опасения. Я знал, что в этих джунглях множество ядовитых растений со смертоносными плодами.

Часто стрелял я из лука в птиц, и, хотя постоянно промахивался, занятие это не пропало даром — постепенно приобретался навык. И не знаю, быть может, мне только так казалось, но после нескольких десятков выстрелов стрелы как будто стали лететь точнее. Подкрадываясь к птицам и наблюдая за их повадками, я напал на счастливую мысль, показавшуюся мне настолько важной, что в эти первые дни пребывания на острове я счел ее решившей все проблемы дальнейшего моего существования. Что с того, что я хорошо знал леса Вирджинии, если здешние джунгли — я повторяю — являли собой для меня неразгаданную и зловещую тайну? Как же мог я, без риска отравиться, определить, какие плоды съедобны, а какие нет? И вдруг ответ пришел, как мгновенное прозрение.

— Птицы! — торжествующе воскликнул я. — Птицы мне подскажут! Птицы наверняка не тронут ядовитых плодов. Значит, все, что клюют птицы, могу спокойно употреблять в пищу и я.

Теперь я стал внимательнее приглядываться к возне пернатых существ. Понадобилось немного времени, чтобы заметить, на какие деревья и кусты они охотнее всего садятся, лакомясь их плодами. Особое мое внимание привлекли невысокие, карликового вида деревца с красными плодами, похожими на ягоды рябины. Как видно, эти плоды представляли собой для маленьких гурманов изысканный деликатес, ибо привлекали к себе самые разные породы птиц, а когда среди прочих я заметил и попугаев, то решился и сам отведать это лакомство.

Ягоды оказались на вкус довольно приятными, чуть сладковатыми. Я набросился на них с волчьим аппетитом, но на всякий случай поначалу съел немного, всего горсти две, решив непременно нарвать их больше на обратном пути, а пока, неплохо подкрепившись и сразу повеселев, отправился дальше.

Вот так птицы оказались первыми моими учителями на острове.

Среди поредевшей чащи стали попадаться песчаные прогалины. Часто на моем пути встречались агавы с мощными мясистыми листьями, утыканными острыми иглами. На некоторых кактусах виднелись прекрасные розовые цветы и, что того важнее, кое-где зеленые плоды, похожие на небольшие яблоки. Мякоть их имела приятный вкус, и я нарвал столько плодов кактуса, сколько уместилось в моих карманах.

Здесь я обнаружил еще один ручей с широким, хотя и мелким устьем, впадающий в море. По его берегам тянулся небольшой лиственный лес, сплошь переплетенный лианами. Из него далеко окрест разносился оживленный пти-

чий гомон. Издавали его попугаи, которых оказалось здесь великое множество. Очутившись в тени первых деревьев на опушке леса, я был буквально оглушен воплями попугаев и тут же, подняв голову, увидел в ветвях множество гнезд. Как только птицы меня заметили, они сразу же смолкли, но было поздно — я обнаружил гнездовье попугаев.

Многие птенцы были уже почти взрослыми, хотя и летали еще с трудом. Они сидели на ветвях возле гнезд. Подкравшись и выбрав удобную позицию, я стал осыпать их стрелами. Наконец мне удалось свалить на землю сначала одного попугая, а потом и второго. Тем временем на вершинах деревьев возобновились прежние суета и крики, на меня же птицы не обращали больше никакого внимания. Я мог бы свалить на землю еще не одного птенца, если бы не оборвалась тетива лука.

И тут меня заставил вздрогнуть раздавшийся вдруг неподалеку треск сломанного сучка. Шагах в двадцати я заметил в траве рыжевато-зеленого зверька величиной с нашу лису. У него была продолговатая морда и пушистый хвост.[4] Зверек с нескрываемым вождением поглядывал вверх на попугаев. Потом он прыгнул на ствол и, помогая себе острыми когтями, стал ловко по нему карабкаться. Не имея под рукой ничего более подходящего, я швырнул в него лук. Мой снаряд стукнулся о ствол, а перепуганный зверек с тонким писком соскочил на землю и юркнул в заросли.

«Соперник!» — мелькнула у меня шутовская мысль. Внимательно осмотрев гнездовье, я остался доволен. Гнезд здесь было несколько десятков, практически исчерпаемая кладовая. Конец моему голоду!

— От голода я не погибну! Не погибну! — торжествовал я и, наверное, впервые за все время пребывания на этом острове сам себе радостно улыбнулся.

Как же переменялся я за эти несколько последних дней! Как одичал, балансируя на грани между жизнью и смертью! Чувство простой человеческой признательности мешалось в моей душе с дикой кровожадностью, когда, наблюдая за стайей птиц, я строил планы, как лучше в последующие дни добыть здесь побольше мяса.

До моей пещеры отсюда было часа два пути. Боясь преждевременно растрезвожить попугаев, я решил поскорее убраться восвояси. Поскольку красные ягоды не причинили мне вреда, я набрал их с собой про запас. Нагруженный добычей, добрал я наконец до спрятанного мной матросского сундучка и, обвязав его лианами, потащил за собой по песку.

Подходя к пещере, я благословлял счастливый день, принесший мне столько удач.

Силы мои иссякали; простой матросский сундучок казался пудовым, но сердце мое согревала надежда.

Озеро Изобилия

Выброшенный на берег матросский сундучок надежд моих не оправдал: ни огня, ни какого-либо полезного инструмента в нем не оказалось. Там было немного поношенной одежды: рубашка и кафтан, а также горсть английских монет, кусок корабельной веревки и небольшой мешочек с кукурузным и ячменным зерном! Крепко сколоченный сундучок не пропустил ни капли морской воды, и все предметы в нем оказались сухими и нисколько не пострадали. Зерно я мог съесть, но мне не хотелось — у меня в достатке было теперь свежих плодов.

Один из матросов «Доброй Надежды» держал голубей — вероятно, ему и принадлежал этот сундучок с зерном. Позднее я вспомнил, какую важную роль в жизни Робинзона Крузо сыграл ячмень, который он с таким успехом сеял на своем острове, благодаря чему у него был хлеб и он в течение долгих лет смог жить на необитаемом острове. В моем положении не было необходимости возделывать землю и сеять хлеб: я был убежден, что не пробуду на острове так долго, как Робинзон, живший в этих краях более полувека назад. С тех пор многое изменилось в водах Карибского моря. Здесь больше стало людей, а значит, и больше вероятности перебраться с моего острова на лежащий неподалеку материк.

На рассвете следующего дня я поспешил в рощу Попугаев на охоту, главным образом в расчете наловить как можно больше живых птиц, чтобы выращивать их про запас. Лук я починил и подстрелил из него двух попугаев. Потом, стараясь не шуметь, взобрался на дерево и длинным шестом попытался сбросить ближайших ко мне молодых попугаев на землю. Однако старания мои поначалу не увенчались успехом — попугайчики крепко держались за ветки. Тогда я привязал к шесту петлю из гибкой лианы и на этот раз добился успеха. За полчаса ловли набрался целый десяток. Больше ловить не имело смысла.

Пока я привязывал пойманных попугайчиков к шесту, они во все горло верещали, а со всего леса им вторили крики сотен сородичей. Я счел за благо поскорее ретироваться и поспешил к своей пещере.

По пути у меня было немало хлопот. Хотя путы из лиан были достаточно прочными, попугайчики легко перекусывали их острыми клювами, и, чтобы не лишиться добычи, мне то и дело приходилось унимать их страсть к уничтожению. Попугаи, сплошь зеленого цвета, с желтыми и красными пятнами на голове, были почти взрослыми и крупнее наших голубей.

Вернувшись в пещеру, я не знал, как их удержать. Чем бы я их ни связывал, они сразу же все перекусывали. Не оставалось ничего иного, как закрыть их в пещере, а тем временем на скорую руку соорудить клетку из толстых веток. Работа эта — и заготовка нужных веток, и связывание их лианами — заняла несколько часов. После полудня клетка наконец была готова и стояла у входа в пещеру. Затем я принес — и для себя, и для моих узников — гроздь красных ягод. По дороге в лесу мне попалась весьма полезная в хозяйстве посуда: вид тыквы, плоды которой, с твердой кожурой и полые внутри, представляли собой отличные сосуды для воды. Я перенес попугаев в клетку, набросал им туда ягод, поставил для питья воду, сам недурно поужинал, а до захода солнца все еще было далеко.

Довольный сделанным за день, я весело поглядывал на свой «курытник». Подавленное настроение последних дней вдруг исчезло; я оживился, стал дышать полной грудью, во мне пробудилась надежда. Освободившись от повседневных забот о пище, мысль моя раскрепостилась, заработала живей и шире; вновь первостепенным стал вопрос: как выбраться с острова?

День еще догорал, было светло, и я взобрался на вершину холма. Солнце сидело в безоблачном небе, воздух был чист и прозрачен. Я обводил взглядом окрестности в надежде отыскать или признаки человеческой жизни, или спасительный парус. Но тщетно. Беспредельная ширь океана оставалась пустынной.

Когда я спускался с холма, солнце погружалось в море. Птицы в клетке уже спали, но я с удовольствием отметил, что большая часть ягод ими съедена.

Ночью меня внезапно разбудили крики переполошившихся попугаев. Высунувшись из пещеры, я заметил у клетки подозрительную тень. Крикнув, я швырнул туда камень. Тень метнулась и, зашелестев ветвями, исчезла в зарослях. С палкой в одной руке, с камнем в другой, с сердцем, бухающим как молот, я выбрался из своего укрытия. В клетке зияла дыра, но — насколько можно было рассмотреть в темноте — попугаи были на месте. Я заделал дыру, для вящей безопасности придвинул клетку ближе ко входу в пещеру и сверх того обложил ее камнями. До утра покоя моего ничто больше не нарушало.

Однако утром оказалось, что не хватает четырех попугаев. Повсюду были разбросаны перья. Какой хищник устроил ночью набег, установить по неясным следам мне не удалось.

Визит ночного разбойника и понесенные потери не охладили, однако, моего пыла выращивать попугаев. Ошибку совершил я сам, соорудив слишком слабую клетку. Ведь есть еще доски от разбитой шлюпки, их можно использовать.

Чтобы перетащить все оставшееся на берегу моря от разбитой шлюпки, понадобилось несколько часов. Доски были разных размеров и в большинстве сломанные, поэтому, прежде чем приступить к сооружению клетки, пришлось их тщательно подобрать и подогнать. Для связывания досок служили лианы, а также длинные, тонкие и гибкие ветви росшего повсюду колючего кустарника. Меж досок я оставил щели шириной в два пальца. К полудню клетка была готова. Восьми футов в длину и в ширину, четырех футов в высоту, она могла вместить не менее сотни попугаев. Но главное — она была прочной и надежной.

Я посадил в нее оставшихся шесть птиц и направился в рощу Попугаев. На этот раз я подстрелил трех взрослых птиц, а девять молодых поймал живыми. Времени на это ушло много, и, когда вечером я возвращался в пещеру, было уже темно.

В этот день, особенно пополудни, стояла страшная жара, к которой я, обитатель севера, совершенно не был привычен. Спешка, с какой в этот день приходилось все делать, снова подорвала мои силы. Я долго не мог уснуть, мучимый ознобом и страшной головной болью.

Несколько раз за ночь попугаи поднимали ужасный гомон. Я вставал и, крича, швырял из пещеры в их сторону камни. Выйти дальше в темноту я не отваживался. Утром я убедился, что ночью вокруг шныряли какие-то не очень крупные зверюшки, но повредить клетку им не удалось. Я был горд своей работой.

Но все-таки я был болен и очень слаб. Весь день мне пришлось пролежать в своем убежище и прийти еще к одному печальному выводу: в жарком климате, особенно под солнцем, нельзя ни бегать, ни вообще перенапрягаться, а тем более выполнять тяжелые работы. Все здесь надо делать не спеша.

На третий день, почувствовав себя лучше, я побрел неторопливым, спокойным шагом в рощу Попугаев. Было душно. Шел мелкий дождь, мокрые птицы сидели на ветвях, их было легко поймать. И вот результат: два попугая убитых и двенадцать живых. Теперь я ежедневно совершал такие походы и каждый раз возвращался с добычей. Но вскоре попугаи поуменьли. Взрослые поняли

опасность и держались от меня подальше. Молодые же подросли быстрее, чем я предполагал, и редко теперь сидели на месте. На пятый или шестой день мне удалось добыть только две птицы. Ходить сюда больше не имело смысла.

Кроме того, возникла и еще одна, более важная проблема, из-за которой пришлось отказаться от ловли живых попугаев: корм. Птицы пожирали немислимое количество красных ягод. За кормом для них мне приходилось ежедневно ходить в лес не менее двух раз. Так что в ближайшей округе все запасы ягод вскоре были исчерпаны. Давал я своим зеленым пленникам и кактусовые «яблочки», однако всего этого было мало и хватало ненадолго. Следовало отыскать новый источник корма, и я решил предпринять дальний поход в глубь острова.

Тут следует упомянуть о некоторых событиях этих нескольких дней. Прежде всего я усовершенствовал свое оружие: смастерил большой по размеру лук, используя для тетивы корабельную веревку, найденную в сундучке; стрелы изготовлял по-прежнему из тростника, но стал привязывать к ним наконечники из твердого дерева. В стрельбе постепенно приобреталась сноровка. Из твердого же дерева я изготовил крепкое копьё с остро заточенным концом.

На ящеричной поляне в расставленные силки попало несколько ящериц, доходивших размером до двух локтей. Под сенью ближайшего дерева я связал их, радуясь пополнению моих продовольственных запасов.

На рассвете одного из погожих дней я отправился в глубь острова, захватив с собой не только все свое вооружение, но и вместительную, хотя несколько и неказистую на вид корзину, сплетенную из лиан. Мой запас провизии состоял из одной ящерицы и красных ягод. Я шел вдоль ручья, протекавшего неподалеку от пещеры, и, не удаляясь от него, пробирался сквозь чащу. Растительность по берегам ручья была пышнее, чем в других местах. Здесь произрастали даже лиственные деревья с густым подлеском.

Я шел, настороженно вслушиваясь в каждый шорох, но не забывая при этом отыскивать взглядом какие-нибудь съедобные растения.

Свежее раннее утро вселяло в меня бодрость и силы, которых за последние дни значительно прибавилось. Вдруг впереди, прямо передо мной, выскочили два коричневых зверька, очень похожих на зайцев, но, прежде чем я успел прицелиться в них из лука, проворные зверьки юркнули в чащу. Через несколько сот шагов я заметил трех новых зайчиков.[5] Они были так заняты собой, что мне удалось незамеченным подойти к ним шагов на тридцать. Тогда только они почували опасность, мгновенно замерли, вытянув вверх свои маленькие мордочки и наблюдая. Я пустил в них стрелу. Мимо. Зверьки одним прыжком скрылись в кустах.

Меня удивила их пугливость — ведь остров необитаем.

Я понимал, что был первым человеком, который появился в этих дебрях. Однако с каким испугом удирали от меня зверьки! Где же та райская идиллия, какая согласно устоявшимся представлениям должна царить на безлюдном острове?

Ее не было. Она существовала лишь в моем воображении. В этих девственных лесах рыскали разные хищники, пожиравшие более слабых зверьков, здесь, как и всюду, шла постоянная борьба за существование. Поэтому появление дотоле не виданного двуногого существа породило всеобщий переполох и

страх. Лишь ягуара не испугала моя особа, да и он не отважился напасть на человека и отступил. Я поднял стрелу и осмотрел место, где недавно сидели три зайца: должно быть, здесь немало этих зверьков. Повсюду виднелись многочисленные следы.

«Сюда стоит как-нибудь наведаться, — решил я, — и поставить здесь силки, как на ящериц».

Я не прошел и ста шагов от этого места и остановился как вкопанный. Среди кустов кое-где проглядывали известковые прогалины, лишенные растительности, на одной из них я вдруг заметил прямо перед собой свернувшуюся в клубок змею. Она грелась в лучах утреннего солнца и, видимо, спала. Я хотел было выстрелить в нее из лука, но тут же отказался от этого намерения. Подкрался ближе. Когда разбуженный гад стремительно поднял голову, шипя и пронзая меня злобным взглядом своих маленьких глаз, я копьем, словно молотом, нанес ему сильный удар. Он дернулся, но уже обессиленный. Еще несколько ударов, и все было кончено.

У змеи длиной в несколько футов было сравнительно толстое тело с величественным зигзагообразным черно-коричневым рисунком. Я, разумеется, не знал этого вида, но, когда с помощью двух прутьев разжал ей пасть, увидел меж других зубов два больших ядовитых клыка. Я содрогнулся при мысли, что произошло бы, не заметь я вовремя эту тварь. Теперь я стал более внимательно смотреть себе под ноги.

Два часа минуло от восхода солнца, когда я добрался до небольшого озера, из которого вытекал мой ручей. Озеро шириной в четверть мили со всех сторон окружала топкая трясина, поросшая камышом и обычной прибрежной растительностью. В одном только месте был доступ к воде. Вокруг озера тянулись настоящие тропические джунгли, непроходимые, но кончавшиеся не далее чем в ста шагах от воды. Из прибрежных зарослей доносился шумный птичий гомон. Дикая утка и похожие на них птицы, плавая, весело резвились на середине озера, а в трясине на длинных ногах стояли полуукрытые зеленью цапли, изумительно розовые, с изогнутыми клювами.

Поблизости что-то зашелестело. Верхушки осоки на болоте в одном месте сильно качались, слышался хруст сломанного тростника и сухой треск. Там возился какой-то зверь, явно не из мелких. Дерево, за которым я укрывался, стояло на небольшом возвышении, но, как ни вытягивал я, словно цапля, шею, любопытства своего удовлетворить так и не мог. Карабкаться на дерево тоже не имело смысла — я просто вспугнул бы зверя. Впрочем, после недолгого ожидания счастье улыбнулось мне само.

Раздвинулась стена зарослей камыша. Зверь вышел на поляну в каких-нибудь пятидесяти шагах от меня. Крупный, величиной примерно с полугодовалого поросенка. У него была громадная голова какой-то забавной формы, а толстое тело покрывала бурая шерсть. На первый взгляд какая-то уродливая порода свиньи, но это был не кабан. За первым зверьком появились еще четыре, из которых один взрослый, а три других — молодые поросята.[6]

Все семейство не спеша покинуло прибрежное болотце и направилось в сторону леса, двигаясь прямо на меня. Я медленно натянул лук.

Звери приближались, не догадываясь о присутствии человека. От стада чуть отбилась один поросенок и приблизился ко мне едва ли не на десять шагов. Как только он повернулся боком, я выстрелил. Ловко пущенная стрела по-

пала в самое сердце, пробив тело навывлет. Зверь лишь жалобно тихо хрюкнул и забился в последних судорогах. Остальные пустились наутек.

Не помня себя от радости, я бросился к добыче. Славный выстрел! Зверь был мертв. По форме зубов я определил, что это грызун. Весил он добрых десять фунтов — в два раза больше, чем взрослый заяц. Тут же на месте я его освежевал и сунул в корзину за спину.

«Добрый, славный лук!» — нежно взглянул я на свое оружие и погладил его, будто живое существо.

Стоило ли идти дальше с таким грузом? Солнце поднялось высоко, усиливался зной, с каждой минутой становясь все невыносимее. Я повернул назад, пообещав себе завтра задолго до рассвета предпринять сюда новую вылазку.

Я размышлял, какое название дать вновь открытому озеру. Не подобает такое богатое птицей и дичью место оставлять безымянным. И придумал: «озеро Изобилия».

...К сожалению, проблема корма для моих попугаев ничуть не сдвинулась с места. А это было делом неотложным.

Таинственный враг

Мне катастрофически не хватало огня! Убитый зверь оказался жирным и был бы хорош поджаренным на вертеле. Мне же пришлось удовольствоваться сырым мясом. Съев изрядный кусок, все остальное я спрятал в глубине пещеры, где было несколько прохладнее.

Два или три дня назад мне попался на берегу моря небольшой камень, похожий на кремь. Я сильно ударял им о другие камни, но безуспешно — искр не появлялось.

На следующий день после открытия озера Изобилия я покинул пещеру очень рано и до заячьей поляны добрался; едва стало светать. С собой я принес около двадцати силков и разложил их на тропинках и тропках, проторенных зайцами в зарослях.

Озеро Изобилия встретило меня по всем птичьим великолепии: разноголосым предрассветным концертом всевозможных трелей, писков, свистов, хлопанья крыльев.

Я затаился, стараясь по вызвать переполоха, в надежде выследить крупного зверя. Но на этот раз меня ждало разочарование, хотя свежих следов было множество, а земля вокруг взрыта.

Поистине озеро Изобилия! Обойдя его полукругом, я направился дальше в ранее намеченном направлении. Ручья тут уже не было, всюду стоял сплошной девственный лес.

Не прошел я и четверти мили, как сделал новое радостное открытие: мне попались невысокие деревья, густо увешанные желтыми плодами, по величине и форме напоминающими яблоки. У плодов была мучнистая розовая мякоть, настолько сладкая и нежная, что прямо сама таяла во рту. Тут же, нарвав побольше этого лакомства, я стал уплетать его за обе щеки. Этих райских деревьев росло здесь довольно много; немало зрелых плодов валялось на земле, а на ветках висели еще недозревшие, мелкие и зеленые. Разное время созревания позволяло надеяться, что пища мне здесь обеспечена на многие недели, а может, и месяцы.

— Райские яблоки! — возбужденно восклицал я, наблюдая, как питатель-

ное лакомство привлекает к себе всяческих птиц и насекомых, особенно крупных ос.

Это было важное для меня открытие, возмещавшее конец прежним трудностям и спасавшее меня от голода. Можно ли дивиться моей радости?

Было раннее утро, день едва начинался, и я двинулся дальше, горя желанием узнать, что же ждет меня там, в глубине острова. Однако ничего особенного я там не обнаружил. Лес скоро кончился, сменившись разбросанными тут и там густыми бамбуковыми рощами и травянистыми полянами. Потом снова потянулся сухой колючий кустарник и кактусы, доходившие, похоже, до самого западного побережья. Я добрался до середины острова, однако никакой дичи больше не встретил.

На обратном пути я не поленился и набрал столько яблок, сколько уместилось в мою корзину. Ноша была нелегкой для моих подорванных болезнью сил, но в душе все пело от радости, а ноги сами несли вперед. Приятные неожиданности в этот день сыпались на меня как из рога изобилия: проходя мимо заячьей поляны, я обнаружил в расставленных часа два назад силках двух отчаянно бившихся в бесплодных попытках вырваться зайчишек.

Теперь я мог рассмотреть их вблизи. Это были грызуны с на редкость длинными лапками. На наших зайцев они совсем не походили, но, коль уж я окрестил их так, буду звать зайцами и дальше.

Осторожно, стараясь не поранить, я связал им лапы и, приторочив зверьков сверху корзины, с луком и стрелами в одной руке, с копьём в другой, в приподнятом настроении направился к пещере.

Итак, в моем хозяйстве стало три вида животных: попугаи, ящерицы и зайцы. С содержанием грызунов опять возникли трудности. Как только я посадил их в одну клетку с попугаями, задиристые птицы тут же бросились клевать прищельцев, а клювы у них были ого-го! Зайчат пришлось срочно, пока живы, вытаскивать. Я пустил их пока к себе в пещеру и тщательно забаррикадировал вход. На изготовление новой клетки у меня не было времени. «Надо выкопать для грызунов яму».

Как только полуденный зной немного спал, я поспешил берегом моря к месту, где лежал панцирь погибшей от зубов хищника черепахи. Нашел я его сразу. Отбив часть панциря камнем, я насадил его в виде клина на крепкую, расщепленную на конце палку, прочно привязал лианами — и лопата была готова. Я тут же ее опробовал, и — да здравствует смекалка! — инструмент оказался достаточно надежным.

В пятнадцати примерно шагах от пещеры я выкопал яму. Дело шло споро, земля тут оказалась мягкой. Яма представляла собой квадрат со сторонами в двадцать пять футов и глубиной в человеческий рост. Поместив в нее зайцев, я накрыл яму ветвями, чтобы грызуны не выскочили, они были защищены от солнца и — пусть хоть как-то — от непрошенных гостей. Зайчишки в этот же день охотно принялись за райские яблоки, которые и попугаям пришлось настолько по вкусу, что, не выдели я им небольшую порцию, они в полчаса склевали бы весь мой запас. В яму к зайцам я поместил и ящериц, учитывая сходный характер их нравов.

Только теперь, справившись с первыми трудностями и обеспечив в какой-то мере свое существование, я мог передохнуть. По примеру Робинзона Крузо я решил сделать календарь, но вспомнил об этом слишком поздно — по-

что через месяц после высадки на острове. Дни в моей памяти перепутались, и я не знал, когда будни, когда праздник. Я помнил лишь, что корабль потерпел крушение в первых числах марта, а мысль о календаре пришла мне в голову где-то в начале апреля. Я наугад установил дату — десятое апреля — и с этого момента каждый день стал делать зарубки на коре ближайшего дерева. Тут же вырезал: год 1726-й от рождества Христова.

Устранив угрозы голода и почувствовав прилив сил, я все чаще стал задумываться, как мне вырваться из заточения на этом острове. Тоска по людям, по их миру охватывала меня остро, как физическая боль. Теперь я каждый день взбирался на вершину холма и смотрел на море. Пусто, всюду, куда ни глянь, безбрежное море, и лишь на севере — очертания острова, а на юге — какой-то земли, быть может, даже материка, и больше ничего, ни малейшего признака человеческой жизни.

Мой холм, как я уже упоминал, находился на восточном берегу острова, и я собирался предпринять дальнюю вылазку на южную его оконечность и оттуда с более близкого расстояния постараться детальнее рассмотреть материк. Чтобы выбраться с острова и преодолеть морской пролив, понадобилась бы хорошая лодка, а как тут мечтать о лодке, не имея никаких инструментов, кроме охотничьего ножа? Робинзон Крузо с набором всяких инструментов, топоров, оружия и запасами продовольствия с разбитого судна в сравнении со мной был могущественным лордом.

Но присутствия духа я не терял ни на минуту. Было бы здоровье, а выход найдется. Время проходило в трудах. Апрель выдался погожим, дожди шли редко, но становилось все жарче, а солнце, прежде стоявшее на юге, поднималось в зенит. Около двенадцати часов оно находилось почти прямо надо мной, так что тень моя пряталась под ногами. Позже оно перемещалось дальше на север и — о чудо! — в полдень светило с севера.

Я уже говорил — бездельничать не приходилось. Ежедневные походы на озеро Изобилия обеспечивали нас, меня и мою живность, пищей. Лук, становясь в моих руках все более метким, часто доставлял дичь, а в силки время от времени попадались зайчишки. В течение месяца в одном и том же месте я поймал их около десятка.

Когда зной усиливался, ходить в плотных штанах, рубахе и башмаках было неудобно, и я часто их снимал, хотя и делал это неохотно, поскольку, не привыкнув к наготе, стыдился самого себя. Приходилось остерегаться и всяких насекомых: комаров, клещей, ос. Лицо мое заросло косматой бородой, и однажды, увидев свое отражение в стоячей воде, я едва не пришел в ужас от разбойничьей своей физиономии.

В конце апреля мне довелось пережить дни, полные беспокойства и тревоги. Поблизости объявился грозный хищник и стал наведываться в мой зверинец. Делал он это настолько хитро и скрытно, что поначалу представлялся мне какой-то нечистой силой, лишавшей меня по ночам сна.

Началось все с того, что в один из дней я недосчитался зайца. Должно было быть двенадцать, а стало одиннадцать. В ветвях, прикрывавших яму, виднелась небольшая дыра, но это могло быть и случайностью. Никаких других следов поблизости я не обнаружил. Трава здесь была мной изрядно вытоптана.

На следующий день считаю: десять зайцев. Невероятно, чтобы заяц мог выскочить. Вокруг опять никаких следов, и лишь стена ямы в одном месте слег-

ка осыпалась, словно там кто-то неосторожно полз. Причем зайцы никогда не пропадали ночью, а только днем, когда я ходил в лес за пищей. С каким-то дьявольским постоянством почти за каждую отлучку мне приходилось плачливаться одним, а то и двумя зверьками. Таинственный враг истрепал мне нервы до такой степени, что я опять стал всерьез опасаться за свое здоровье.

Эта бестия постоянно держала меня в поле своего зрения, в чем я не имел возможность убеждаться. Знать, что враг неустанно следит за тобой и притаился где-то рядом, а ты не можешь сказать, где он, не знаешь даже, как он выглядит и не бросится ли в следующую минуту тебе на спину, — это поистине скверное чувство, дьявольская игра в прятки. Однажды я отошел всего на каких-нибудь пятнадцать минут за водой к ручью, вернулся — одного зайца уже недосчитался. А вокруг все оставалось как прежде — ни малейшего движения в кустах, никакого подозрительного шороха. Я начинал уже сомневаться: в здравом ли я рассудке.

Прожорливость врага была под стать его несвойственному зверям небывалому нахальству и коварству. Или он невидимка? Я с величайшей осторожностью осмотрел каждый куст, каждое дерево поблизости, не пропустив ни одного дупла, ни одной норы, и все безрезультатно — нигде ни малейшего следа. Тогда я окопал злосчастную яму широкой полосой, удалив с нее всю траву, чтобы узнать, следы каких лап оставит за собой хищник. Вернувшись после часовой прогулки, я обнаружил, что он появлялся. И на этот раз он утащил одного зайца, но четких следов не оставил. На вскопанной земле, правда, что-то изменилось, появились какие-то вмятины, но я безуспешно высматривал следы лап. Близкий к умопомешательству, я опрометью бросился в пещеру, гонимый страхом, что враг бросится и на меня, но ведь он мог затаиться в глубине моей пещеры. Ах, нервы, нервы!

Придя в себя и вновь обретя присутствие духа, я дал себе клятву не знать покоя, отказаться от всего, чем дотоле занимался, пока не разгадаю тайну и не схвачу дьявола за рога.

На следующий день, в обычное время, вооруженный, как всегда, ножом, луком и копьем, я покинул пещеру, но, не пройдя и двухсот шагов, припал к земле за одним из кустов. Ползком, стараясь не шуметь, как вор, направился я к своей собственной обители. До ямы оставалось шагов пятьдесят. На этом безопасном расстоянии я притаился за кустом, выбрав позицию, с которой хорошо просматривалась и пещера, и яма с зайцами, и клетка с попугаями. Враг мог быть поблизости, наблюдая за мной из ближайших зарослей, но я об этом уже не думал. Меня охватил гнев, и я не хотел отступать.

Ждать пришлось недолго. Я заметил какое-то движение, но не в зарослях, где я укрывался, а на склоне холма. Над моей пещерой нависал довольно крутой склон, который вел к вершине холма. Этот склон, изрезанный расселинами и трещинами, был покрыт осыпями и низкорослым кустарником. Оттуда-то и двигался мой враг, спускаясь вниз. Он старался держаться расселины меж камнями, поэтому я не мог его толком рассмотреть.

И только когда он сполз к самому подножию холма, я разглядел его. Огромная змея медленно ползла, извиваясь, прямо к моей яме с зайцами. Она казалась каким-то адским чудищем. Тело ее, толщиной почти с бедро человека, выражало страшную силу и наверняка могло, опоясав взрослого вола, раздавить ему все ребра. Как же против такой громадины выйти с моим жалким

оружием? Я заколебался в нерешительности.

Тем временем змея подползла к яме и остановилась, вытянув голову. Замерев в полной неподвижности, она довольно долго прислушивалась, сверля своими крохотными глазками заросли, в которых я притаился, словно чуя опасность. Потом она раздвинула головой ветви настила и сунулась в яму. Большая часть тела ее при этом осталась снаружи.

«Сейчас она схватит моих зайцев!» — захлестнула меня ярость.

Не владея более собой, я вскочил на ноги и бросился вперед. Змея, как видно, меня учуяла: внезапным стремительным рывком она вырвала голову из ямы и вскинула ее высоко над землей. В пасти у нее судорожно трепыхался зайчонок. Заметив меня, змея откинулась назад, выгнув тело широкой дугой и готовясь то ли нападать, то ли обороняться. Подбежав шагов на пять, я отпустил тетеву — стрела пронзила ей шею навывлет. Удав чуть дрогнул, как бы дивясь, выпустил из пасти добычу и тут же, шипя, пополз на меня. Я едва успел отбросить лук и схватить копьё. В тот миг, когда враг был совсем рядом, я изо всех сил размахнулся и нанес ему удар в шею. Змея пронзительно зашипела и закачалась, неестественно запрокинув голову. Кажется, я перебил ей шею. Долго раздумывать не приходилось, я нанес еще один удар, сильнее прежнего.

Этого оказалось достаточно — удав обратился в бегство. Стрела, все еще торчавшая в его теле, разлетелась вдребезги.

Живучесть чудовища была поистине поразительной. Извиваясь, удав мчался такими прыжками, что я едва поспевал за ним. Лук и стрелы снова были у меня в руках.

Если бы удав устремился вниз, в заросли, ему наверняка удалось бы спастись. Но он, повинувшись силе привычки, стал взбираться на холм — к своей гибели. Тут я догнал его и, не слишком приближаясь — сил у него было еще достаточно, — стал осыпать его градом стрел. Чаще я промахивался, но несколько раз все-таки попал. Он вновь сделал попытку броситься на меня, но силы его иссякли. Я без труда отскочил в сторону. Схватив копьё за острие, я тупым концом ударил его по голове раз, второй, третий. Уже бессильный, он все еще извивался, и я долго опасался к нему приблизиться.

Потом я измерил его. В длину он составлял пятнадцать футов, тело его украшал великолепный рисунок из линий, зигзагов и пятен. Цветов было несколько: светло- и темно-коричневый, черный и желтый.

Я был так измотан борьбой, что вынужден был лечь и несколько часов отдыхать.

Помятый удавом заяц сдох. В яме их осталось только четыре.

Огонь

После этих бурных событий наступили более спокойные дни. Каждый день утром, если только благоприятствовала погода, я отправлялся в лес и всякий раз что-либо приносил: то птицу, то зайца, то фрукты. Одним словом, недостатка в пище я не испытывал, а это было сейчас самым важным.

На заячьей поляне я, кажется, истребил всех зверьков: они все реже попадали теперь в мои силки. Но я открыл в другой части острова хорошее место для лова, и моя яма опять стала заполняться четвероногими обитателями.

В окрестностях озера Изобилия мне часто попадались болотные свиньи. К сожалению, мне ни разу не удалось приблизиться к ним на расстояние выстрела.

Становилось все жарче, под конец апреля солнце жгло немилосердно. Я стал ломать голову, как одеваться. Робинзон Крузо, мой любимый герой и предшественник на этих островах, защищался от солнца зонтиком, а когда его европейская одежда пришла в негодность, Сшил себе из козьих шкур нечто вроде кожуха, а на голову — меховую шапку. На моем острове коз не было. Имея, однако, столь привлекательный пример, я хотел быть верным и достойным последователем моего героя, хотя поначалу мне пришлось немало поломать голову. Из пальмовых веток и листьев я смастерил роскошный зонтик, но, когда попытался им пользоваться, — полное фиаско. С таким снаряжением оказалось совершенно невозможно продираться сквозь заросли леса. В конце концов я зашвырнул бесполезную игрушку в угол и больше к ней не возвращался.

С одеждой дела обстояли не менее скверно. Все, что было на мне после кораблекрушения, включая и вещи, найденные в сундучке, быстро изорвалось в чащобах, сплошь утыканных колючками. Близился день, когда мне вообще нечего будет на себя надеть.

Шкурок от съеденных зайцев у меня скопилось уже не менее двадцати, и при желании из них можно было бы сшить что-то похожее на одежду. Но при одной мысли — носить в такую жару меховую шубу, мне становилось дурно. Под полотняной рубашкой пот лил с меня ручьями, что же будет под шубой? Нет, не верю, что Робинзон ходил в шкурах и в этом климате чувствовал себя хорошо.

Преодолевая ложный стыд и стремясь сберечь остатки одежды, я ходил раздетым, в одной набедренной повязке.

Кожа моя, с течением времени более похожая на кожу индейца, чем белого человека, становилась все более устойчивой к солнечным лучам. На голове у меня выросла буйная шевелюра, длинные волосы ниспадали на шею, и этой естественной защиты оказалось вполне достаточно. Днем я ходил раздетым, а на ночь надевал рубашку, поскольку в пещере порой было изрядно холодно.

Мои кожаные башмаки тоже стали понемногу разваливаться. Я попробовал привязывать к ногам деревянные сандалии, но в них неудобно было ходить, и я вскоре их забросил. Почти все время теперь я ходил босиком, а когда кожа на моих подошвах достаточно загрубела, без сожаления расстался и с башмаками. «Дикарь!» — могут мне сказать. «Возможно, дикарь!» — отвечу я, но разве на острове я не жил в условиях дикого человека, не имевшего даже огня, и разве, чтобы дожить до лучших времен, не следовало прежде всего обрести именно черты человека, именуемого диким?

Огонь! Отсутствие его я начинал ощущать все острее. Сырая пища давала себя знать, и, хотя я оправился от болезней, одолевавших меня в первые дни жизни на острове, я тем не менее понимал, что длительное употребление сырого мяса к добру не приведет. И я все искал и искал кремни, стучал камнями друг о Друга. И все напрасно — ни одной живительной искры я так и не добыл.

И вот однажды, в какое-то счастливое утро, меня словно осенило, я хлопнул себя по лбу и вскрикнул от радости. За всеми своими горестями я совершенно об этом забыл. Ведь у меня же с самого начала было отличное кресало, стоило только протянуть руку, и притом какое кресало!!! Кремневый пистолет, найденный мной возле капитана! Пороха у меня, правда, не было, и стре-

лгать из него я не мог, но разве, отводя и спуская курок, нельзя высечь искру?

Со всех ног я бросился в пещеру. В углу в пыли нашел пистолет, протер его, проверил — пружина курка была цела и лишь заржавела. Несколько раз я отвел и спустил курок, пока не пошло легче. Когда я очистил железную полку от ржавчины и спустил на нее курок, я чуть не ошалел от радости: искра высеклась — яркая, веселая, жаркая искра.

Второй вопрос: удастся ли найти трут для разведения огня? Сухая трава не хотела заниматься, мелко наструганное сухое дерево — тоже нет. Тогда я нашел в лесу старое трухлявое дерево, выгреб из него немного пыли, тщательно ее растер и высушил на солнце. Потом я насыпал ее на полку пистолета. Щелчок спущенного курка — и искра. Пыль затлела! Я подул: робкий голубоватый язычок пламени. Я добавил веточек — огонь!

— Огонь! Огонь! — закричал я как ребенок.

Я подложил сухих веток — огонь усиливался, разрастался, трещал. Волнение душило меня. Еще веток! Пламя выросло в рост человека, победно гудело, сыпало искрами. Новый, животворный, могущественный союзник!

Бегом таскал я сухие ветки, в избытке валявшиеся поблизости. Когда огонь набрал силу и я убедился, что он не зачухнет, я забил зайца, освежевав, нанизал тушку на прут и стал медленно вращать над костром. Вскоре в воздухе разнесся восхитительный аромат печеного мяса. Он был так ошеломителен, что у меня закружилась голова и потекли слюнки.

Я никогда не забуду вкуса этого первого пиршества. Пока костер трещал и гудел все веселее, я стоял рядом, упиваясь и лакомством, и гордясь тем, что вырвал у сил природы такой бесценный дар.

Снова сослужил службу опыт, приобретенный в лесах Вирджинии. Я умел без особых усилий поддерживать костер так, чтобы он не затухал. Правда, теперь у меня стало больше работы, поскольку к прежним обязанностям добавилась новая — доставка из леса запасов топлива.

Обладание огнем как бы расширило мой взгляд на мир, вселило в меня надежду, приумножило мои силы, придало мыслям моим смелости и полета. Я стал уже задумываться, как по примеру Робинзона обжечь посуду из глины и готовить в ней пищу. Но тут подоспела Другая, более неотложная работа.

В этот период, в первой половине мая, стала серьезно меняться погода. Лохматые тучи, день от дня все более темные, громоздились над островом, и дожди шли с каждым днем все сильнее. Не приходилось сомневаться, что приближается период дождей.

На острове я жил уже два с лишним месяца. Сколько раз за это время взбирался я на вершину холма и понапрасну всматривался в даль! Я все больше свыкался с мыслью, что пробуду здесь дольше, чем поначалу предполагал, и к этой неизбежности следовало как-то приспособиться. В мешочке у меня было немного кукурузных и ячменных зерен. Свежие фрукты, как и сырое мясо, начинали вызывать у меня отвращение. Добытый огонь открывал передо мной возможность разнообразить свой стол — будь у меня больше зерна, я мог бы растереть его в муку и испечь хлеб. Из рассказов Робинзона Крузо я помнил, что пора дождей — лучшее время для посева, а поэтому решил немедля взяться за возделывание земли.

В двухстах шагах от пещеры, на берегу ручья, я отыскал подходящее место. Почва здесь показалась мне плодородной, трава и кустарник были особенно

густы. Со всей скрупулезностью приступил я к уничтожению буйной растительности. Она испокон веков полонила здесь землю, глубоко пустив корни, и борьба с ней была тяжелой, а орудия мои более чем примитивны. Не одна капля пота упала с моего лба, и прошла неделя, прежде чем я очистил поле размером пятьдесят на пятьдесят шагов. Я хотел вскопать землю, но это оказалось делом нелегким — она слежалась и сплошь проросла корнями. Лопата моя из панциря черепахи сломалась, и пришлось от этой затеи отказаться. Выкорчеванные кусты и травы высохли, я их сжег и этим ограничился.

Зерна я посеял на двух отдельных участках: на одном — кукурузу, на другом — ячмень. Оказалось, что участок я приготовил больше, чем у меня было зерен. Закончив сев, я пробороновал поле веткой, чтобы не соблазнять пернатых, и наконец мог разогнуть натруженную спину и с облегчением вздохнуть.

— Дело сделано важное! — проговорил я с удовлетворением, глядя на поле. — Любопытно, что из этого вырастет.

Кончался май. Дожди все шли, частые, грозовые, ливневые, но непродолжительные. Солнце по нескольку раз в день выходило из-за туч. Влажный воздух напоен был ароматом мокрой разогретой зелени.

Я вижу двух людей

Одиночество давало себя знать все сильнее. Я все чаще громко разговаривал сам с собой. Личность моя раздвоилась, и стало как бы два Яна: один — горячий и нетерпеливый, другой — рассудительный и сдержанный. Если один, горячий, на чем-то настаивал, то второй ему перечил и возражал. Очевидно, разум мой, привыкший к мышлению в человеческом обществе, должен был с кем-то общаться, пусть даже с самим собой. Такие вот странности порождает мое одиночество.

Однажды, как и много раз прежде, я стоял на вершине холма, наслаждаясь хорошей погодой и чистым воздухом. Именно теперь, в пору дождей, если выходило солнце, отдаленные предметы различались особенно четко и явственно, как на ладони. Суша на южном горизонте рисовалась отчетливее, чем когда бы то ни было, и казалась удивительно близкой.

— Янек! — заговорил во мне предприимчивый «я». — Ты обошел остров вдоль и поперек, а там, на южной его оконечности, еще не был!

— Ну и что, что не был? — буркнул в ответ тот, второй, сдержанный. — Мне хватало и другой работы!..

— Пора подумать о том, как вырваться из этого заточения! Прошло уже три месяца! Не стану больше ждать. Завтра же иду на южный берег! Интересно посмотреть...

— Нет, не пойдешь, тут еще дел много...

— Интересно с близкого расстояния посмотреть на ту землю...

— А костер?

— Что костер?

— Ты обязательно должен построить шалаш, чтобы укрыть костер от дождя.

— Хорошо, я построю шалаш. Но потом сразу же отправлюсь на юг!

— Как хочешь...

Порой мне казалось, что эти наивные беседы с самим собой помогали мне оставаться в здравом уме, не давая рассудку помутиться.

Костер горел перед пещерой, и дожди часто его гасили. На нескольких вы-

соких кольях, вбитых в землю вокруг костра, я устроил навес из больших пальмовых листьев. Он был достаточно высок, чтобы я мог свободно под ним ходить, и достаточно широк, чтобы ливни, хлеставшие сбоку, не загасили огонь. Стены строить я не стал. Все это отняло у меня три дня.

На четвертый день утром я оставил попугаям и зайцам еды на два дня и отправился на юг. Как обычно, за спиной я нес корзину с провизией, в руках лук, стрелы и копье, а за поясом нож. Взял я и пистолет, а также горсть высушенной трухи для разведения огня.

Насколько я мог установить со своего холма, остров имел примерно овальную форму, с неровными берегами, изрезанными бухтами и заливчиками. От моей пещеры на восточном берегу кратчайший путь на юг вел прямо через остров, но этот путь в то же время был и самым трудным, так как пролегал через сплошной кустарник. Поэтому я предпочел пойти кружным путем по берегу моря. Здесь и легче идти, и не было риска заблудиться.

Вскоре я миновал место, где закопал труп капитана. В последнее время отчаянная борьба за жизнь и всяческие испытания, выпавшие на мою долю, заставили меня начисто забыть о его таинственной смерти. Теперь, проходя мимо его могилы, я невольно опять вспомнил все обстоятельства и снова задумался о загадочной ране.

Продолжая путь, я вскоре добрался до новой, дотоле незнакомой мне местности. Тут росло много кокосовых пальм, особенно у берега, и я легко и с удовольствием шел под зеленым шатром их листьев. С вершин свисали зрелые плоды. Я смотрел на них с вожделием. Многие пальмы, поддавшись в свое время напору вихрей, росли наклонно, и при случае можно было попробовать взобраться на них обезьяньим способом, обхватывая ствол руками и босыми ногами.

По утреннему холодку идти было легко. Я отмерял милю за милей и через несколько часов, когда солнце стало припекать, добрался до южной оконечности острова. Пейзаж всюду был одинаковый: по берегу песок и кокосовые пальмы, кое-где небольшие скалы, потом кустарниковые заросли, а дальше, в глубине острова, кое-где редкие деревья.

Суша, расположенная южнее моего острова, просматривалась отсюда несколько четче, чем с вершины холма, но все же была довольно далеко. Удастся ли переплыть разделяющий нас пролив на плоту или на чем-либо подобном? Нет, тут, пожалуй, нужна хорошая лодка. Мысль эта развеяла робкую мою надежду без труда добраться до материка. Но зато теперь я знал, по крайней мере, на что можно рассчитывать.

Берегом моря я пошел дальше. И вдруг остановился как вкопанный, потрясенный до глубины души: на песке виднелся четкий свежий след человеческой ступни. Это было столь неожиданно, что у меня едва не подкосились ноги. Я всмотрелся внимательней. Сомнений не оставалось. И не один след, а следы двух человек отчетливо отпечатались на песке и в моем разгоряченном сознании.

Инстинктивно я спрятался за ближайший куст и настороженным взглядом обвел все вокруг. Ветер с моря раскачивал кусты, и в этом неустанном движении трудно было что-либо различить. А тут еще шумели волны, ветер шелестел в агавах, щебетали птицы — и все это вместе создавало такую раздражающую какофонию звуков, из которой слух мой не мог ничего выловить.

После ошеломления первых минут ко мне вернулось наконец самообладание. Сидеть дальше под кустом не имело смысла. Если где-то для меня зрела опасность, ее следовало выявить, и чем быстрее, тем лучше, а выявив, приготовиться к сопротивлению.

Я еще раз осмотрел следы. Они были совсем свежие. Не ранее сегодняшнего утра тут прошли два человека босиком, а значит, вероятно, индейцы. Они дошли до этого места и вернулись той же дорогой вдоль берега. Я решил пойти за ними со всей осторожностью и узнать, кто они. Матросы с пиратского корабля рассказывали страшные истории о жестокости здешних индейцев.

Тут же я припомнил, как в подобной ситуации вел себя Робинзон Крузо. Едва он обнаружил след человеческой ноги на своем острове, им овладел такой панический ужас, что он как ужаленный бросился в свою «крепость», заперся в ней на несколько дней, от страха не спал и, хотя молил бога о помощи, долгое время не мог собраться с мыслями. Даже от одного чтения об этих ужасных переживаниях у меня мурашки пробегали по коже.

«Почему же я не переживаю ничего подобного?» — подумалось мне.

И я действительно не переживал. Бдительность моя была доведена до предела, но это и все. Я понимал, что с того момента, как обнаружил присутствие индейцев, пришел конец моему спокойствию на острове и в тартарары полетела кажущаяся безмятежность мнимой идиллии, в какой я жил; пусть мнимой, но все-таки идиллии. Люди, следы которых я обнаружил, всего вероятнее, были врагами, с которыми рано или поздно мне придется сразиться. Если, несмотря на это, я не испытал страха, как Робинзон Крузо, то, вероятно, потому, что был слеплен из другого теста и жизнь в лесах Вирджинии научила меня смотреть прямо в глаза любой опасности. У Робинзона на его острове было больше оружия, я же был вооружен большим опытом.

Следы шли по самому берегу, а я, не желая подвергаться риску быть замеченным издали на открытой местности, крался краем чащи вдоль песчаных дюн, зная по опыту, что рано или поздно следы свернут в эту сторону.

И тут я остановился. В голову мне вдруг пришла мысль о капитане со странной раной на голове и пистолетом в руке. Казавшаяся прежде непонятной причина его смерти не объяснялась ли теперь присутствием на острове чужих, враждебно настроенных людей? Это они убили капитана, когда он добрался до острова, а следы, по которым я теперь шел, несомненно, были следами его убийц. Сообразив все это, я понял, что ждет меня впереди, и стал еще осторожнее.

Вскоре я добрался до бухты, довольно далеко вдававшейся в глубь острова. Противоположный ее берег белел прибрежным песком на фоне зеленых зарослей примерно в четверти мили от меня. Я укрылся за стволом кокосовой пальмы, откуда открывался отличный обзор всей бухты.

Внезапно я вздрогнул. Я увидел их. На той стороне бухты. Они бежали в сторону чащи и, прежде чем мне удалось их рассмотреть, скрылись в кустах. Против солнца на таком расстоянии трудно было определить, кто они: белые или индейцы. Я успел только заметить, что на них была какая-то одежда. Значит, это, возможно, белые? Индейцы в этих краях одежды не носили, разве лишь набедренные повязки.

Я до такой степени отвык от людей, что при виде этих двух человек почувствовал, как у меня сжалось горло и закружилась голова. В равной степени

меня волновало и сознание близкой опасности, и необычность появления здесь человека. Я еще раз проверил свое оружие, приготовив его к бою.

«Почему они так бежали? — задал я себе вопрос. — Заметили меня?»

«Вряд ли! — тут же ответил я сам себе. — Ведь я и носа не высунул из укрытия...»

«Но если это индейцы, у них острый глаз. Могли и заметить...»

Скверно. Лишь внезапность давала мне шанс на победу, тем более что их двое, а может, и больше.

«Идти ли дальше? — возник вопрос. — Может, лучше вернуться в пещеру?»

Нет, непременно надо идти дальше и выяснить, кто они и какие у них замыслы.

Зная теперь приблизительно, где их искать, я отступил в глубь чащи и под ее покровом стал торопливо продираться сквозь кусты. Обогнув бухту по широкой дуге и оказавшись на противоположном ее берегу, я удвоил внимание и осмотрительность, какой научила меня лесная жизнь. Если меня обнаружили раньше, то моего появления, наверное, будут ждать со стороны бухты. Желая сбить их с толку, я еще больше углубился в чащу, чтобы, описав большой круг, выйти им в тыл со стороны, противоположной бухте. Оттуда они наверняка не ждут моего появления.

Густые заросли здесь, к сожалению, как и везде на острове, были сплошь в колючках, раздиравших мне кожу. Нередко приходилось пробираться ползком. У меня была лишь одна цель: обнаружить их прежде, чем они меня, и захватить врасплох.

Но все произошло наоборот. Они увидели меня раньше, и, когда я меньше всего был к этому готов, коварная стрела просвистела возле моего уха и вонзилась в ближайший сук. Я бросился на землю и тут же отполз в сторону. Прошла минута, другая. Тихо. Никто меня не преследовал. Я отполз еще дальше и прислушался. Ни шороха, ни звука. Ничто не подтверждало присутствия противника. За мной не гнались. Я знал, в каком направлении притаился тот, что выпустил в меня стрелу, но где второй? Может быть, где-то рядом?

Не мешкая, я стал быстро выбираться из засады, и, только пройдя полмили, смог наконец перевести дух.

К пещере я пробирался кружным путем, по дороге петлял и несколько раз устраивал засады, стремясь выявить намерения противника. Но меня никто не преследовал. Чтобы окончательно сбить со следа возможную погоню, в удобных местах, где были бухточки и мелководье, я заходил в море и шел вброд по воде вдоль берега. При подходе к пещере я замел за собой все следы. Несколько часов, остававшихся до вечера, я использовал для устранения окрест всех признаков человеческого жилища. Это была работа тяжелая, но необходимая. Уверенный, что теперь нелегко будет обнаружить мое пребывание, я лег спать.

Обдумывая события дня, я хорошо понимал, что в самом ближайшем будущем предстоит решительная схватка с пришельцами. Но я был слишком утомлен, чтобы думать о каком-либо плане действий, и быстро уснул.

Арнавк и Вагура

Проснувшись ранним утром, я увидел мир иным, чем прежде: чужим и враждебным, с притаившимися за каждым кустом неведомыми опасностями. Но как только взошло солнце и орущие в клетке попугаи по обыкновению

стали требовать пищи, а я накормил их и поел сам, я вновь воспрянул духом. Жизнь диктовала свои права, требуя соблюдать установленный порядок вещей. А к ним прежде всего относились охота и заботы о хлебе насущном.

Выйдя, однако, из пещеры и углубившись в чащу, я шел уже не так беззаботно, как прежде, когда внимание мое привлекали лишь дичь да четвероногие хищники. События вчерашнего дня не выходили у меня из головы. Появление на острове таинственных людей как бы вводило военное положение. И в самом деле, направляясь к озеру Изобилия, я чувствовал себя, как солдат на войне, со всех сторон окруженный опасностями.

Тем не менее ничего особенного не случилось. В пещеру я возвращался нагруженный корзиной желтых плодов, «райских яблочек», и подстреленным из лука зайцем. По пути заглянул на свое поле. Кукуруза всходила прекрасно, как на дрожжах, и было радостно смотреть на ее свежую зелень, зато с ячменем — горе. Появились, правда, какие-то робкие стебельки, но настолько чахлые и рахитичные, что при виде их сердце обливалось кровью.

Я размышлял, стоит ли разводить костер. Спокойнее, конечно, было бы обойтись без костра. Но, несмотря на это, я все-таки разжег его, хотя и небольшой, чтобы поменьше было дыма. Обжаривать зайца пришлось дольше обычного, но мясо хорошо подрумянилось и было вкусным.

День прошел в обычных заботах, разве что больше внимания приходилось обращать на соблюдение всяких мер предосторожности. Я ни разу не выходил на открытое место, где легко было бы заметить меня издалека. Внешне оставался спокоен, но сколько во взбудораженной моей голове роилось планов, догадок, намерений и сомнений! Ясно было одно: нельзя медлить и колебаться, необходимо как можно быстрее выявить замыслы обнаруженных мной людей и, если это враги, уничтожить их. В противном случае они могут упредить меня и зарезать в пещере, как кролика в норе.

Но что предпринять? Как к ним подобраться?

На четвертый день после памятной моей вылазки на южную оконечность острова задолго до рассвета я вновь отправился туда с твердым намерением вступить в решительный бой с пришельцами. Я искал их в течение нескольких часов в окрестностях бухты, у которой впервые их встретил. Безуспешно. По старым следам ничего установить не удалось, а свежие, видимо, были затерты. Во всяком случае, людей здесь не было: видимо, они ушли. Куда? Быть может, на другую сторону острова, дальше на запад? А может быть, у них была лодка и они уплыли на юг, на материк? Я совершенно не знал их намерений, и это больше всего меня тревожило. А вдруг в мое отсутствие они обнаружили пещеру и сейчас, затаившись где-нибудь поблизости, поджидают меня?

Я не на шутку встревожился и, возвращаясь к пещере, пошел не напрямик, а предварительно описав большой круг. Настороженным взглядом ощупывал я каждый куст, каждую пядь земли. Нет, чужих следов не видно. Я вздохнул с облегчением.

На ночь я забаррикадировал пещеру валунами тщательнее, чем когда-либо прежде. Небольшое отверстие, оставленное сверху в каменной кладке, позволяло мне обозревать всю поляну с клеткой попугаев и заячьей ямой посередине. Над островом опускались сумерки.

«Поблизости их нет! — с облегчением подумал я, запершись в своей пещере, где чувствовал себя в относительной безопасности. — Но где они? Где их

искать? Как до них добраться?» — мысленно повторял я.

Неопределенность неведомо с какой стороны грозящей опасности невыразимо угнетала.

Двумя днями позже я внезапно проснулся среди ночи. Разбудили меня странные звуки снаружи: крик перепуганных попугаев и треск ветвей. Мне показалось или впрямь донесся приглушенный крик человека? Выглянув через отверстие, я заметил над заячьей ямой какое-то неясное, подозрительное движение. Я схватил попавшуюся мне под руку палку — лука впопыхах найти не смог. Одним толчком развалил каменную стену и выскочил наружу.

Кто-то — человек или зверь — провалился в заячью яму и теперь отчаянно барахтался, пытаясь выбраться. Он уже почти вылез. Человек! Я подбежал к нему в тот момент, когда он уже выкарабкался и готов был броситься в чащу. Ударом дубины по голове я свалил его на землю. И тут меня пронзила острая боль в левом плече. Стрела из лука впиалась в мышцу. Вторым ударом я хотел разmozжить противнику голову, но теперь было не до этого: вторая стрела могла оказаться роковой. Я мгновенно схватил лежавшего без памяти за ногу и бегом поволок его в пещеру. Еще минута — и я завалил вход камнями. Отыскав в темноте куски лиан, я связал пленнику руки и ноги, а потом занялся перевязкой своей раны, используя для этого старую рубашку. К счастью, рана оказалась неопасной, и кровь удалось легко остановить. Я непрерывно поглядывал сквозь щели в камнях, опасаясь нападения со стороны второго противника. Но на поляне царила тишина.

В томительном ожидании ползли часы. Если пленник жив, он наверняка пришел в сознание, но ничем этого пока не обнаруживал.

Я оказался в странном положении: захватил пленника, но какая от этого польза? Второй противник, притаившийся поблизости в чаще, держит меня в своих руках и, стоит мне попытаться выйти из пещеры, легко может меня застрелить. А в пещере у меня не было никакой провизии.

Хотя уже рассветало, в моем убежище царила тьма, и я не знал еще, с кем имею дело. Несколько раз я пытался заговорить с пленником, разумеется, по-английски, ибо никакого другого языка, кроме нескольких польских слов, не знал, но он не отвечал, хотя и был жив — я слышал его дыхание.

За стенами пещеры стало совсем светло, когда и внутри мрак начал постепенно редеть. Легко понять, какое любопытство снедало меня. Наконец я различил черты лица пленника и не смог сдержать возгласа удивления:

— Это ты?..

Это был тот молодой индеец-раб, которому по воле капитана суждено было умереть медленной смертью у мачты «Доброй Надежды». Я не мог вспомнить его имени.

— Подожди-ка... Как тебя зовут? — спросил я.

Юноша молчал, неподвижно глядя в свод пещеры. Я знал, что он несколько лет пробыл в рабстве у белых и неплохо владел английским.

— Послушай, ты! — проговорил я более строгим голосом. — Посмотри мне в глаза! Ты меня слышишь?

В ответ молчание. Здоровой правой рукой я взял его за голову и резко повернул лицом к себе.

— Больно... — охнул он тихо.

Я, видимо, коснулся ушибленного палкой места. Сам виноват в том, что я

причинил ему боль.

— Не упрямься! — предостерег я его. — Ты в моих руках! Я тебе ничего плохого не сделаю, если ты меня не вынудишь... Как тебя зовут? — снова спросил я, на этот раз мягче.

— Арнак, — пробормотал он вполголоса.

— Ах да, действительно, — вспомнил я, — Арнак! А тот, второй, твой приятель, — указал я движением головы в сторону леса, — его как зовут?

Молчание. Юноша отвернулся от меня и уставился в угол пещеры.

— Кто он? — повысил я голос.

Он не отвечал.

— Смотри на меня! — крикнул я и подскочил к нему.

Он решил, что я его ударю, и послушно повернул ко мне лицо. В глазах его читались беспокойство и страх, но в то же время и упрямство.

— Не бей, господин!.. — проговорил он не то умоляюще, не то угрожающе.

Я вспомнил, как наш изверг капитан издевался над юношей.

— Арнак! — проговорил я менее суровым голосом. — Я сказал, что не трону тебя, если ты не будешь меня влиять своим поведением. Не дури и отвечай мне честно. Кто тот, второй?

— Вагура.

— Индеец?

Юноша утвердительно кивнул.

— Это тот, твой приятель с нашего корабля?

— Да, господин.

— Как вы спаслись?

— Мы плыли. Вода вынесла.

— А кто уцелел, кроме вас?

Арнак снова заколебался. Веки его чуть приметно дрогнули. Он закрыл глаза, чтобы я не заметил его смущения.

— Кто же еще спасся? — настаивал я.

— Он, — шепнул юноша нерешительно. — Но...

Снова молчание.

— Что «но»?

— Но... он умер.

Я догадался, что речь идет о капитане, и решил не касаться щекотливой темы, чтобы не смущать молодого индейца. Выяснить эту историю можно будет позже, в более удобную минуту. Важнее для меня сейчас было другое.

— А кто еще спасся с корабля?

— Больше никто, господин.

— А на острове есть жители?

— Нет, господин.

— Ты уверен, что это необитаемый остров?

— Да, господин.

Сведения были утешительные. Я верил в их правдивость, так как прежде и сам пришел к тому же выводу. Мне жаль было беднягу Вильяма, чего я не мог сказать обо всей остальной команде. Это была банда головорезов, которых на корабле держал в повиновении безжалостный кулак капитана, зато на суше она была способна на любое, самое мерзкое преступление. На необитаемом острове жить с ними было бы невозможно.

И вот я оказался перед лицом новой проблемы, проблемы двух юных индейцев. Что они представляли собой в действительности, я не имел ни малейшего понятия. Целые годы провели они в рабстве, их бесчеловечно истязали, над ними глумился негодяй-хозяин. В таких условиях, уродующих характер, что доброе могло в них развиваться? Коварство, хитрость, вероломство, жестокость — как раз те качества, которые поселенцы и считали свойственными индейцам, — в душах двух угнетенных юношей, несомненно, должны были расцвести полным цветом.

Об индейцах у меня было сложившееся мнение. С самого раннего детства сохранил я в памяти рассказы о жестоких схватках с краснокожими воинами, и, хотя в Вирджинии их давно уже истребили, до нас постоянно доходили страшные слухи из более отдаленных районов Запада.

В истории моей семьи имеется немало кровавых эпизодов войны с индейцами. Моему прадеду, звавшемуся, как и я, Ян Бобер, через несколько лет после прибытия на американскую землю лишь волей случая удалось избежать смерти, когда индейцы неожиданно напали на английские поселки и поголовно уничтожили их обитателей.

Отец мой, Томаш Бобер, в неполных двадцать лет добровольно вступил в армию прославленного Бэкона, очистившего от индейских племен всю долину реки Соскуиханны. В памяти моей свежи были страшные рассказы отца о нападении диких туземцев на землю английского пионера-поселенца, поставившего свой дом слишком глубоко в лесах, в стороне от своих земляков. Правда, затем индейцев постигла заслуженная кара. Отряд мстителей, в числе которых был и мой отец, не знал покоя до тех пор, пока поголовно не истребил в округе всех краснокожих, всех, вплоть до грудных младенцев. Этот рассказ, впервые услышанный мной еще в детском возрасте, произвел на меня неизгладимое впечатление и породил стойкую неприязнь к индейцам.

— Почему ты хотел меня убить? — спросил я Арнака.

Юноша не понял и посмотрел на меня вопрошающе.

— Там, на южном берегу, несколько дней назад ты выстрелил в меня из лука, — пояснил я.

— Это не я, — ответил он тихо. — Это Вагура.

— Зачем он стрелял?

— Ты — белый, господин.

«Вот их благодарность! — с горечью подумал я. — Я спас его от смерти, а мне — стрела в спину. Неужели белый цвет моей кожи достаточный повод для убийства? Разве все белые одинаковы?»

Но минутой спустя в голову мне пришла другая, более трезвая мысль:

«А может быть, этих парней довели до такого состояния, что они уже не способны отличать белого от белого и всех считают законченными негодяями?»

Арнак, будто угадавший ход моих мыслей, нерешительно оправдывался:

— Вагура молодой... горячий...

Луч восходящего солнца пробился в пещеру сквозь дыру в каменной кладке. Время шло, надо было искать выход из неясной ситуации и энергично брать инициативу в свои руки.

— Арнак! — обратился я к индейцу. — Когда ты стоял привязанный к мачте, кто тебе ночью дал воду?

Юноша смотрел на меня испытующе, но не отвечал.

— Ты не помнишь?

— Помню, — тихо проговорил он.

— Так кто?

— Ты, господин.

— А ты знаешь, что из-за этого случилось?

Он не совсем понял вопрос. Тогда я стал ему напоминать.

— На следующий день был сбор команды на палубе, недалеко от твоей мачты, разве ты не видел?

— Видел.

— Кого капитан хотел убить?

— Тебя, господин.

— Вот видишь, ты все помнишь. А кто тебе разрезал путы во время бури, незадолго до крушения корабля?

— Ты, господин? — вырвалось у него.

— Да, я.

— Я не знал... — прошептал он.

Арнак смущенно заморгал. Я видел, что он взволнован.

— А вы, — продолжал я голосом, полным укора, — вы хотели меня убить из лука.

Юноша, явно смущенный, как видно, осознавал недостойность своего поведения. Значит, юный дикарь отнюдь не был туп и обладал способностью понимать свою вину. Более того, от моего внимания не ускользнуло, что он хотел что-то разъяснить, как-то загладить свой поступок, доказать свои добрые намерения, но не знал, как это сделать. В конце концов на мой вопрос, зачем они в меня стреляли, он в оправдание опять повторил то же, что говорил прежде:

— Ты — белый, господин!

«Чья же вина, что у этих туземцев сложилось столь искаженное представление о нас, белых? Быть может, это вина не их, а самих белых?»

Я склонился над ним и взмахом ножа рассек на нем путы.

— Ты свободен! Иди!

Растирая онемевшие ноги и руки, он не сводил с меня изумленного взгляда и глотал слюну, словно у него вдруг пересохло в горле.

— Ты голоден, — заметил я дружеским тоном.

— Да, господин.

— Давай-ка сейчас уберем камни от входа, и ты иди. Кстати, скажи Вагуре, чтобы стрелы поберег для более подходящего случая... Потом вы сходите в лес за хворостом для костра, и мы приготовим себе на завтрак пару зайчишек...

В одно мгновение выход из пещеры был разобран. Арнак выскочил наружу и с громким криком помчался в глубь кустарника. Я взял лук и стрелы, копье, нащупал у пояса нож и медленно вышел вслед за ним. Яркий свет дня ударил мне в глаза. Остановившись посередине поляны, я прищуренным взглядом внимательно осмотрел окружающие меня заросли. Там никого уже не было, Арнак исчез, словно канул в воду, кустарник сомкнулся за ним плотной стеной.

Я занялся костром, присел возле него на корточки и, положив оружие рядом, начал раздувать угли, не успевшие еще остыть со вчерашнего вечера.

Весь я был на виду, и всадить в меня без промаха стрелу из ближайших зарослей не составило бы никакого труда. И потому, взясь с костром, я все же внимательно поглядывал вокруг, готовый в любую минуту схватить оружие и отразить нападение. Но вокруг все было тихо и спокойно.

Когда первые угли в золе стали тлеть, из чащи появились юные индейцы, тащившие огромные охапки сухого хвороста. За Арнаком чуть в стороне шел Вагура. Шестнадцатилетний парнишка не скрывал своего страха и смотрел на меня так, словно я собирался его съесть.

Занявшись приготовлением завтрака, я поторапливал и юношей. Дел было предостаточно: раздуть и поддерживать огонь, извлечь из ямы и освежить зайцев, привести из ручья воды в тыкве, обстругать два прута для вертелов...

— Держи! — крикнул я Арнаку, бросая ему нож.

Поймав оружие и держа его в руке, юноша оторопел. При виде его растерянного лица я от души рассмеялся и объяснил, о чем идет речь:

— Беги в лес, отыщи две прямые ветки и обстругай их! Будем печь на них зайцев!..

Арнак оценил оказанное ему доверие и не мог скрыть своей радости. На лице его промелькнуло что-то похожее на улыбку. Он бросился в чащу кустарника, а возвратившись с прутьями, тотчас же вернул нож.

«Я не Пятница!»

Итак, мы стали жить втроем. Не зная нрава юных моих собратьев по несчастью и вообще не будучи об индейцах особо высокого мнения, я старался по возможности держать их от себя на расстоянии. Шалаш я велел им поставить от моей пещеры шагах в двадцати. Я не настолько им доверял, чтобы торопиться впустить их к себе. Впрочем, индейцы и сами проявляли определенную настороженность и предпочитали спать отдельно.

В хозяйстве моем прибавилось теперь ртов, но зато несравненно легче стало добывать пищу и вообще выполнять любую работу. В лице обоих я обрел недурных помощников. Они отлично стреляли из лука, особенно Арнак, который почти никогда не промахивался. Им знакомы были породы лиан, куда более подходящих для тетивы и веревок, чем те, которыми прежде пользовался я.

Существенные выгоды извлекал я из превосходного знания ими растительности острова. В первый же день Арнак отыскал в зарослях мясистые листья какого-то вида агавы, повязки из которых с поразительной быстротой исцелили мою рану в плече, оставленную стрелой. Значительно разнообразнее стал и наш стол: юноши знали множество дикорастущих овощей и съедобных корней. Не было теперь недостатка и в кокосах: проворные парни вскарабкивались на самые высокие пальмы и стряхивали с них плоды.

Редкостное знание ими здешней растительности неопровержимо свидетельствовало о том, что родом они из местности, расположенной недалеко от острова. В один из первых же дней нашей совместной жизни разговор зашел именно на эту, столь важную для меня тему, поскольку я ни на минуту не оставлял мысли о том, как выбраться с острова. Они рассказали мне, что их племя зовется араваками и живет оно на берегу Большой земли, а их деревня лежит на самом берегу океана.

«Большой земли?» — пронеслось у меня в голове.

— А не знаете ли вы большой реки, которую испанцы зовут Ориноко?

— Я слышал о ней, — ответил Арнак, — в устье этой реки живут индейцы племени гуарани, наши враги.

— Если они ваши враги, значит, живут недалеко от вас?

— Далеко, господин. Чтобы добраться до селений гуарани, наши воины плывут на лодках вдоль берега моря столько дней, сколько пальцев на двух руках.

— А ты знаешь, в какую сторону плывут ваши воины?

— Знаю, господин. В сторону восходящего солнца и до пути переплывают еще большой залив.

Из всего этого напрашивался вывод, что родина юношей лежала где-то на западе от устья реки Ориноко.

Мне нравились ясные, толковые ответы Арнака. Я с симпатией смотрел на его темно-бронзовое лицо, правильные черты которого, не лишённые своеобразной привлекательности, изобличали в нем, что ни говори, существо мыслящее. У него были тонкие, слегка поджатые губы, прямой, красиво очерченный нос и большие черные мечтательные глаза. Стройная фигура придавала ему присущую многим индейцам горделивую осанку в противоположность Вагуре. Вагура, коренастый парень с толстыми губами, широкими ноздрями и живым характером, можно сказать некрасивый, являл собой тип, совершенно отличный от своего старшего товарища, хотя и был из одной с ним деревни.

На корабле я знал их как запуганных, забитых, отупевших от нескончаемых истязаний зверенышей. Этот тяжкий период жизни оставил на обоих неизгладимые следы: тела их были покрыты глубокими шрамами, уши изорваны. Левое ухо у Вагуры было полностью отрезано. К счастью, длинные прямые волосы в какой-то мере прикрывали эти изъяны. Тяжкие травмы с той поры остались и в их душах. Правда, с каждым днем пребывания на свободе состояние подавленности у них постепенно рассеивалось, и хотя от постоянной настороженности они еще не избавились, в остальном как же они преобразились за это время!

Насколько я мог понять из их рассказов, юноши попали в рабство четыре года назад. Арнак был тогда в возрасте Вагуры. За четыре года многие детали, конечно, могли в его памяти стереться.

Я обратил на это его внимание, выразив сомнение в достоверности рассказанных им подробностей.

— Нет, помню, — заверил меня индеец с непоколебимой уверенностью, — помню все, как было.

— А рядом с вашими селениями нет больших островов?

— Рядом нет. У нас широкое море, далеко-далеко; много дней плыть на каное — островов нет.

— Карибское море усеяно островами, — усомнился я, — а ваше море без островов?

— Да, господин.

Оставалось лишь сожалеть, что я так скверно знал географию этих мест... Со слов Арнака у меня сложилась не очень ясная картина, но я не отступал.

— И в селении у вас даже не слышали о каких-нибудь островах?

— О-о, слышали, господин. Есть такой остров, на котором живут плохие люди. Испанцы. Это они напали на нашу деревню и захватили нас в рабство. Им

нужно много рабов, чтобы ловить в море жемчуг. Рабы ныряют...

— Как же ты оказался на нашем английском корабле «Добрая Надежда», если ты, как утверждаешь, попал в руки к испанцам?

— Англичане напали на испанский корабль и захватили всех рабов.

— А ты не помнишь, как назывался остров, на котором ловят жемчуг и живут плохие люди?

Арнак коротко посоветался с Вагурой на своем аравакском языке, а затем уверенно сказал:

— Маргарита, господин.

Это название мне не раз доводилось слышать на пиратском судне. Остров лежал в нескольких сотнях миль западнее устья Ориноко и острова Тринидад. На корабле знали о его богатствах и давно точили на него зубы. На путях к острову можно было перехватывать испанские корабли с богатой добычей.

— Далеко этот остров от вашего селения?

— Несколько дней быстро плыть на каноэ.

— В какую сторону?

— В сторону заходящего солнца.

Картина стала проясняться. Селение юношей находилось на материке, примерно на полпути между устьем Ориноко и островом Маргарита.

— Большой это остров? — спросил я.

— Люди говорят, большой, — ответил Арнак.

У меня мелькнула мысль, а не Маргарита ли часом тот обширный остров на севере, очертания которого видны с вершины моего холма?

— Вы заметили остров на севере? — задал я индейцам вопрос.

— Да, господин.

— Может, это и есть Маргарита?

В глазах юношей мелькнуло беспокойство. Одной лишь мысли, что столь близко могут оказаться те самые «плохие люди», было достаточно, чтобы вселить в них тревогу.

— Мы не знаем, господин, — пробормотал Арнак, — не знаем...

— А на юге от нас тоже остров?

— Нет, там не остров, господин, — живо возразил юноша.

— Не остров?

— Нет, это Большая земля.

— Почему ты так уверен?

Юноши были твердо убеждены, что там Большая земля, и убежденность их основывалась на различных приметах, и прежде всего на том, что наш остров время от времени навещал грозный владыка южноамериканских лесов — ягуар. Ягуары живут только на материке. А если ягуар здесь появлялся, значит, он мог приплывать только с юга через пролив. Это подтверждают и следы на берегу, а однажды юноши даже видели, как он плыл.

— Плыл? Разве он может переплыть такое расстояние по воде? — перебил я их недоверчиво.

— Он плыл, господин. Мы видели своими глазами. Ягуар хорошо плавает...

— Но зачем ему сюда плавать?

— На западном берегу острова много-много черепах. Ягуар любит есть черепах.

Индейцы слыли тонкими знатоками тайн природы я повадок зверей. Не

приходилось сомневаться, что наблюдения юношей были достоверными, а выводы правильными.

— Но если там Большая земля, отчего же вы не переплыли пролив, чтобы добраться к своим?

— Мы пробовали, господин. На плоту, — сказал Арнак, — но в проливе очень сильное течение. Нас вынесло в открытое море. Нужна лодка и хорошие весла...

К такой же мысли, помнится, пришел и я.

Но как построить лодку, если в распоряжении у нас единственный инструмент — мой охотничий нож?

Имея теперь больше свободного времени, я решил заняться гончарным ремеслом. Над костром мы могли печь мясо на вертеле, но из-за отсутствия посуды не могли его варить. Племя араваков владело искусством изготовления посуды из обожженной глины. При активной помощи юношей я вскоре добился неплохих результатов. Неподалеку от озера Изобилия мы отыскивали подходящую для дела глину, рядом с моей пещерой построили из камней печь. Затем занялись лепкой и обжигом. Мне припомнилось из книги о Робинзоне, с каким трудом давалась ему эта работа. Первые попытки оказались неудачными и у нас — горшки поначалу лопались. Но потом дело понемногу наладилось.

Возможность варить пищу оказалась весьма существенной. Мясо, приготовленное теперь разными способами, обрело новые вкусовые качества, а некоторые овощи из тех, что собирали молодые индейцы, особенно разного рода коренья, вообще годились в пищу только в вареном виде.

Воспоминание о Робинзоне Крузо оживило в моей памяти многие из его приключений, и особенно перипетии отношений с Пятницей, таким же, по существу, индейцем, как Арнак или Вагура. Робинзон не питал против краснокожих предубеждения, присущего мне, уроженцу приграничных районов Вирджинии, оттого ему не составило особого труда возлюбить своего Пятницу, подобно тому, как добрый пастырь любит свою преданную паству. К тому же и Пятница был совсем не таким, как мои юные товарищи. Какой восторг он испытывал оттого, что мог служить своему избавителю, с какой радостью ставил его ногу себе на темя в знак полной покорности, каким неизбывным глубоким счастьем наполняла его возможность верного служения своему господину до последнего вздоха!

Идиллический образ столь преданного и благородного дикаря не оставлял теперь меня в покое и порой в свободные минуты будил во мне заманчивые, но, признаюсь, несбыточные мечты. Моим товарищам в отличие от Пятницы не свойственно было впадать в неистовый восторг, они не разражались то и дело приступами буйного детского смеха; особенно сдержанным был Арнак. Однако все работы они выполняли охотно, хотя, впрочем, без особого энтузиазма и не слишком торопясь, но и без проволочек. «Вот бы, — точила меня мысль, — вот бы сотворить из этих парней таких двух новых Пятниц! Перевоспитать их, превратить в усердных, преданных мне до последнего вздоха слуг, готовых всю жизнь следовать за своим господином неотступно как тени, как псы, повсюду, даже в леса Вирджинии или Пенсильвании».

Я был белым, они краснокожими. Обычно принятым в этих краях Америки способом — грубой силой — я мог бы превратить их в рабов, безответных слуг. Но мне хотелось не этого. Мне хотелось взрастить в них идеалы служения

мне, дабы они сами добровольно пошли за мной, своим господином, бесконечно счастливые на манер Пятницы.

Я приступил к осуществлению своего замысла с хитростью человека, наметившего себе определенную цель и стремящегося к ней любыми путями. В один из дней, после захода солнца, мы сидели у костра, умиротворенные сытным ужином и довольные друг другом.

— Я расскажу вам, — обратился я к юношам, — необыкновенную историю одного человека, англичанина, который, как и я, несколько десятилетий назад после кораблекрушения попал на необитаемый остров где-то здесь, в наших краях, и прожил на этом острове половину своей жизни... Хотите послушать?

Они не возражали, а Арнак спросил:

— На необитаемом острове? Здесь, на нашем?

— Нет, — ответил я, — тот остров прежде был необитаемым, а потом на нем обосновались английские и испанские поселенцы... Попавшего в кораблекрушение англичанина звали Робинзон Крузо...

И, стараясь подбирать наиболее простые и понятные слова, я поведал им историю Робинзона Крузо, как она запомнилась мне самому по книге.

Юноши слушали меня с большим интересом: история была занимательной сама по себе, происходила где-то здесь, неподалеку от их родины, героем был их земляк, похожий на них самих и возрастом и родом. Арнак, как обычно, сидел с непроницаемым лицом и спокойным взглядом, однако в глазах его мерцала искра, которой прежде не было.

— Занятная история, правда? — прервал я затянувшееся молчание, которое воцарилось вокруг костра после того, как я кончил рассказ.

Кивками они выразили свое согласие.

— Этому Пятнице, — продолжал я, — посчастливилось изведать в жизни подлинное блаженство оттого, что он имел возможность до самозабвения служить своему господину. Для него дни проносились словно в сказке. Многие люди хотели бы оказаться на его месте и завидовали бы счастьем, какое выпало на его долю...

Юноши молчали, устремив неподвижные взгляды в огонь костра. На лицах у них было какое-то неопределенное выражение.

— Разве вы не разделяете моего мнения? — спросил я удивленно.

Помолчав, Арнак едва слышно проговорил:

— Нет, господин.

— Нет?!

— Нет, — повторил Арнак и бросил на меня испуганный взгляд.

— Ты, вероятно, не понял моего рассказа.

— Нет, я понял.

— И ты не думаешь, что Пятница был счастлив?

— Не думаю, господин...

Он хотел добавить что-то еще, но не решился и замолчал, опасаясь моего гнева.

— Говори все, что думаешь, не бойся, — подбодрил я его доброжелательно.

— Пятница... Пятница был рабом господина Робинзона, — выпалил Арнак.

Признаться, в первое мгновение я опешил.

— Рабом?

— Да, господин. Жалким рабом.

Мне становился понятным ход мыслей Арнака. Я неплохо знал жизнь, обычаи и психологию североамериканских индейцев, и теперь мне это помогло легче проникнуть в мир представлений моих товарищей.

Первобытные, полудикие индейские племена, в том числе, безусловно, и араваки, являли собой слабо связанные сообщества взаимонезависимых людей, выполнявших лишь простейшие функции, необходимые для поддержания жизни, и не знакомых с теми сложными формами труда и зависимости одних от других, какие характерны для нашего цивилизованного общества. На войне индейцы захватывали пленников — да, конечно, — не затем лишь, чтобы допустить их в свое племя на правах равных с равными либо убить для отправления каких-то своих темных религиозных обрядов. Рабства — во всяком случае, в таких формах, как у нас, — насколько мне известно, у них не существовало. Его впервые утвердили в Америке европейцы, и притом жесточайшими методами, на своих плантациях и шахтах. Не существовало у индейцев и никаких форм прислуживания одних другим, будь то добровольное или принудительное. Именно поэтому Арнаку и Вагуре отношение преданного душой и телом Пятницы-слуги к Робинзону представлялось чем-то совершенно непонятным и абсурдным. Если Пятница всю жизнь работал на Робинзона, значит — в примитивном представлении моих юных товарищей — он был рабом белого господина, а если при том еще и радовался, значит, и вовсе был не в своем уме.

Я понял, что в стремлении достичь цели и обратить юных индейцев на путь Пятницы мне предстоит преодолеть упорное сопротивление, но это меня не смутило. Напротив, это только разожгло мое нетерпение. Вероятно, и тут давала себя знать гордыня достойного сына своих вирджинских предков. Я превосходил юнцов и по уму, и по опыту, по возрасту и по крепости своих кулаков, не говоря уже о подавляющей силе моей воли. Так отчего бы мне и не приспособить их для своих нужд?

Я еще раз обрисовал им в самых привлекательных красках жизнь Пятницы, растолковав в наиболее доступной форме всю разницу между свободным слугой и рабом. Парни слушали рассеянно, погруженные в унылое молчание. Всячески расхвалив завидные качества преданного Пятницы, я обратился к Арнаку:

— Как и Робинзон Крузо, я тоже дам тебе новое имя. Теперь ты будешь Пятница.

— Я — Арнак, господин, — тихо ответил юноша, чуть заметно оживившись.

— Арнак — не Пятница!

— Пятница! — произнес я настойчиво. — Сегодня Арнак умер, родился Пятница.

Он взглянул на меня внимательно, словно пытаюсь проникнуть в суть моих замыслов. Минуту спустя с очень серьезным выражением лица он заверил меня:

— Нет, господин, Арнак не умер!

— Неправда! — возразил я, повышая голос. — Арнака больше нет. Ты Пятница, и конец!

Юноша решительно, но очень спокойно произнес:

— А-р-н-а-к, господин!

Его невозмутимое упорство начало меня раздражать. Он открывался для

меня с какой-то новой стороны, несвойственной его обычному поведению. Откуда бралось у этого краснокожего мальчишки такое упорство?

Я решил провести пробу сил, пусть бы мне даже пришлось при этом отхлестать его за непослушание.

— Пятница! — обратился я к Арнаку в тоне приказа. — Подай мне вон ту тыкву с водой!

Тыква лежала в нескольких шагах от костра.

Парень понял, что это вызов. Он замер, в нем вспыхнуло чувство протеста. Взгляд его, обращенный прямо на меня, был тверд. Однако написанное на моем лице выражение твердой решимости, видимо, удержало его от готовой разразиться вспышки. Он сник. Потом встал, медленно отошел от костра и принес мне тыкву с водой.

Я дружелюбно улыбнулся ему. Отпил глоток воды.

— Спасибо тебе, друг Пятница!

Парень сел на прежнее место у костра. Нервно пригладил волосы и, глядя в огонь, пояснил мне вежливо, но твердо:

— Арнак принес тебе воду, господин!

«Вот упрямый бес!» — подумал я с удивлением, хотя меня так и разбирала злость.

Пора дождей подходила к концу, ливни иссякали. Солнце, еще недавно стоявшее в дневные часы на севере, постепенно возвращалось в зенит. Зной с каждым днем становился все нестерпимее. Тяжелые работы мы старались теперь выполнять только по утрам, на рассвете, и вечерами, пока не стемнеет.

Возделанное поле, предмет моей гордости, доставляло не только радости, но и огорчения. Дело в том, что кукуруза взошла буйно и дружно, зато ячмень совсем зачах. С ним происходило что-то непонятное. Мало того, что он очень медленно прорастал, но и, поднявшись с трудом, на какой-нибудь вершок, словно испуганный своей дерзостью, начинал скручиваться, хиреть, сохнуть. Ему явно чего-то не хватало. Для меня так и осталось неразгаданной загадкой, отчего ячмень на острове у Робинзона Крузо так прекрасно прижился и давал богатый урожай, а у меня — полная неудача. Жаркий влажный климат, видимо, все-таки не подходил для культивирования ячменя. Мне становилось ясно, что ячмень — культура умеренного климата — совершенно не переносит тропической жары.

Зато кукуруза моя разрасталась на славу! Однако, когда она вытянулась выше человеческого роста и початки ее, плотно набитые множеством зерен, стали созревать, на нас свалились новые заботы. Многочисленное пернатое, да и четвероногое племя стало точить клювы и зубы на мое поле, с необычайной прожорливостью разворовывая урожай. Поочередно сменяя друг Друга, мы бдительно караулили поле с рассвета дотемна, а потом и круглые сутки, поскольку обнаружилось, что любители полакомиться кукурузой навещают и по ночам.

Я караулил наравне с индейцами. В один из дней в часы моего дежурства мне понадобилось проверить участки леса, где я расставил новый вид силков на зайцев. Арнаку, ничем в тот момент не занятому, я поручил меня подменить.

— Пятница! — окликнул я его. — Мне надо идти в лес проверить силки. А

ты покарауль пока кукурузу.

Уверенный, что он понял меня, я ушел. Каково же было мое изумление, когда, вернувшись из джунглей, я застал его сидящим на том же месте, где я его оставил.

— Ты почему здесь, а не на кукурузном поле? — возмутился я.

Бросив на меня косой взгляд, он ничего не ответил.

— А Вагура на поле? — спросил я.

— Не знаю.

— Кукуруза осталась без надзора?

— Может быть.

Меня охватил дикий гнев.

— Что это значит? Я велел тебе идти на поле!

— Нет, господин.

— Что? Нет? Вдобавок ко всему ты еще и лжешь? — вскипел я и занес руку, чтобы вlepить ему затрещину. В ожидании удара он даже не шелохнулся.

Я не ударил. В его взгляде наряду с упрямством я прочел испуг и что-то похожее на мольбу. Это была немая мольба пощадить его достоинство. Рука у меня опустилась. Я опомнился.

— Арнак, — проговорил юноша сдавленным голосом, — Арнак не лжет.

— Не лжешь? — стиснул я кулаки. — Разве я не тебе велел караулить поле?

— Нет, господин. Не мне.

— Кому же, черт побери?

— Пятнице. — И тише добавил: — Я не Пятница, я — Арнак.

Я стал прозревать. Мне открылись дотоле скрытые тайники его души: это не было простое упрямство дикого индейца.

Бунт молодых индейцев

Проходили недели нашей совместной жизни. Я обретал все большую уверенность, что индейцы не вынашивают против меня враждебных замыслов. Во всяком случае, я не замечал в их поведении ничего подозрительного. Скорее наоборот: это я все еще вызывал у них какие-то опасения. Нередко я подмечал, как они украдкой бросали на меня пугливые взгляды. Я не мог найти этому объяснения, поскольку жили мы довольно дружно, а от мысли навязать им новые имена я быстро отказался, натолкнувшись на столь упорное с их стороны сопротивление.

— Почему вы боитесь меня? — спросил я их как-то без обиняков.

Они переглянулись и ничего не ответили. Молчание их служило лучшим доказательством того, что я не ошибался.

Я всегда относился к ним справедливо, разными способами выказывая свое расположение. Поэтому недоверчивость их меня удивляла.

— Арнак! — допытывался я. — Ты старше и разумнее! Я требую ответить мне, отчего вы меня боитесь! Потому что я белый, да?

Арнак медлил с ответом. Он был явно смущен.

— Причина в том, что я белый? — настаивал я.

— Нет, господин, — ответил он наконец, — не только...

— Да говори же толком, черт побери...

— Ты был на корабле...

— На корабле?

— Да, господин.

— Ну и что из этого? Ведь это я на корабле пришел тебе на помощь. Разве ты забыл об этом?

— Нет, господин. Но корабль был плохой... Он грабил наши деревни, убивал индейцев, увозил людей в рабство, издевался над ними... А ты был с ними...

— Значит, ты считаешь, что я такой же злодей и пират, как и все остальные на корабле?

— Не совсем, но...

— Но все-таки пират, да?

— Да, господин! — ответил индеец с подкупающей откровенностью.

— Ты ошибаешься, Арнак! Я не пират и не злодей! Я попал на пиратский корабль по жестокой необходимости, а не по своей воле... Вы боитесь, что я могу продать вас в рабство?

— Нет, господин! Продать нас нельзя, мы будем драться до последнего вздоха.

— Ты напрасно все это говоришь. До этого дело никогда не дойдет. Я ни за что не применю против вас силы... Если мы когда-нибудь выберемся отсюда, а ведь рано или поздно это случится, вы поплывете в свою деревню, а я — на свою родину, на север.

Для придания этим словам вящей убедительности я рассказал им в доступной для их понимания форме о своих последних злоключениях в Вирджинии, объяснив, как и почему я совершенно случайно оказался на пиратском корабле.

Индейцы слушали меня с напряженным вниманием, но, когда я закончил рассказ, по их замкнутым лицам невозможно было понять, удалось ли мне развеять их сомнения. Хотя казалось, что да.

По вечерам у костра беседы наши нередко обращались к одной и той же теме: как нам вырваться из нашего островного заключения. Я решил, что мне лучше всего было бы добраться вместе с юношами до их родного селения, местоположение которого мы предполагали где-то недалеко к востоку от нас, на побережье материка. Я знал, что шторм, до того как бросить на скалы «Добрую Надежду», нес нас много дней кряду на юго-запад, и, значит, теперь устье реки Ориноко и родную деревню моих новых друзей следовало искать где-то на востоке. Попав в их деревню, я сумел бы затем с помощью индейцев добраться до заселенных англичанами Антильских островов.

В один из дней я отправился с Арнаком — Вагура оставался караулить кукурузу — на южную оконечность нашего острова, чтобы еще раз осмотреть пролив между островом и материком. Пролив был неширок, миль восемь-девять, однако морское течение, как уверял Арнак, было здесь очень сильным и устремлялось сначала с востока на запад, а потом поворачивало на север, в открытое море. Мы нашли место, с которого удобнее всего было бы отчалить от острова, но на чем?

— В том-то и дело — на чем? — произнес я вслух, скорее сам для себя, чем для своего спутника. — Вернее, всего было бы на лодке. Но сколько понадобится времени, чтобы изготовить лодку с помощью одного-единственного небольшого ножа?

— Можно выжечь дерево, господин, — подсказал идею Арнак.

— Выжечь можно, но это тоже потребует многих месяцев. Я думаю, надо

еще раз попробовать на плоту. Как ты считаешь?

— Сильное течение...

— Плот построим попрочнее и с хорошим рулем, а кроме того, выстругаем три прочных весла. Поставим парус и пустимся в путь, когда ветер будет с севера в сторону земли. Я думаю, преодолеем течение.

— Парус? — переспросил индеец.

— Да, простой небольшой парус. У нас нет для этого парусины, но зато вокруг щедрая природа. Сплетем из тонких лиан плотную циновку, легкую и прочную, как полотно. Покроем ее широкими листьями, и получится парус — лучше не надо...

Я был исполнен уверенности в успехе, и вера эта передалась Арнаку. Переплыть втроем пролив с тремя веслами и под парусом представлялось нам теперь предприятием вполне осуществимым. Я не сомневался, что в самом скором времени нам удастся выбраться с острова. К строительству плота мы решили приступить сразу же после сбора кукурузы.

На южную оконечность острова мы добрались довольно быстро: до полудня оставалось еще немало времени. День, довольно пасмурный и не слишком жаркий, давал возможность идти сравнительно быстро, и, воспользовавшись этим, мы направились берегом дальше, на западную оконечность острова, которую я до сих пор совсем не знал. Подтвердились рассказы юношей: по пути мы встретили много следов черепах, выходявших по ночам из моря на сушу. Настоящее черепашье царство разместилось на выступающей в море песчаной косе. Здесь на каждом шагу встречались панцири черепах, нашедших на суше свою гибель.

— Сколько панцирей, — заметил я. — Многодохнет черепах...

— Это его работа! — пояснил Арнак. — Он любит есть черепах.

— Ягуар?

— Да, господин.

— Значит, правда, что ягуар переплывает пролив, как ты однажды рассказывал?

— Конечно, правда.

— Несмотря на течение?

— Он сильнее течения.

Мы обшарили прибрежные заросли, начинавшиеся сразу же за песчаными дюнами, и довольно быстро отыскали черепаху. Средней величины, она весила фунтов около пятидесяти. Мы перевернули ее на спину, прирезали, затем извлекли из панциря мясо и, завернув его в листья, уложили в две корзины, которые были у нас за плечами.

Пора было возвращаться, и тут вдруг Арнак, ходивший неподалеку, издал предостерегающий окрик. Я схватил лук и бросился к нему.

— Он! — прошептал индеец, указывая на землю.

На песке и на траве отчетливо вырисовывались отпечатавшиеся следы ягуара. Присмотревшись к ним внимательнее, я понял предостережение Арнака: следы были свежими. Хищник рыскал здесь не раньше сегодняшнего утра.

Не двигаясь с места, мы внимательно вглядывались в окружающие нас заросли.

— Уйдем отсюда, господин! — прошептал Арнак.

На его посеревшем лице отражалось сильное беспокойство.

До берега моря было недалеко. Два десятка прыжков сквозь колючие заросли — и мы выбрались из чащи на более безопасное место.

Держась ближе к воде, мы пустились в обратный путь.

— Может, он спал недалеко от нас, — оправдывался Арнак, обретая снова свой прежний здоровый бронзовый цвет лица.

— Очень может быть, — согласился я. — Веселенькое было бы дело, разбуди мы его ненароком!

Я взглянул на наши копья, луки и стрелы, которые хотя и были изготовлены из самых прочных сортов дерева, однако представляли собой слишком слабое оружие против такого мощного хищника, как ягуар.

После нескольких часов пути мы подошли к знакомым местам в окрестностях нашей пещеры. Проходя неподалеку от могилы капитана, я отклонился в сторону от дороги, чтобы взглянуть на это место. Арнак молча следовал за мной. Могилы я не нашел. Дожди сровняли холм, смыв все следы.

— Где-то здесь я его похоронил, — проговорил я, обращаясь к индейцу и краем глаза следя за выражением его лица.

Он знал, о ком я говорю, но не выказал ни беспокойства, ни замешательства.

— Долго пришлось с ним драться? — неожиданно спросил я.

— Нет, господин, — отвечал Арнак, глядя мне прямо в глаза.

И здесь меня впервые поразило его необыкновенное прямодушие.

— Когда вы на него напали? — продолжал я допытываться. — Сразу, как он вышел из воды?

— Нет.

— Расскажи, как это было.

Рассказ его был простым и потрясающим.

Волны смыли Арнака с тонущего судна. Из последних сил держась на поверхности, невзирая на шторм, он доплыл до острова и упал на песок. Спустя какое-то время он увидел человека. Это был Вагура, которого волны тоже выбросили неподалеку на берег. Вдвоем они побрели дальше. У опушки леса услышали голос, взывавший о помощи. Подойдя ближе, они буквально наткнулись на капитана, лежавшего на земле. Он был в сознании, но двигался с трудом, кажется, вывихнул ногу. Узнав их он приподнялся на локтях и выхватил пистолет. Видя что они собираются бежать, он грозным голосом, каким имел обыкновение орать на них на корабле, приказал:

— Арнак, ко мне, скотина!

Они убежали. Однако, оправившись от первого испуга, решили, что должны убить его. Тогда они не знали еще, что находятся на острове и что убийство капитана является для них неизбежной необходимостью. В лесу они быстро вооружились двумя дубинами и вернулись к капитану, он выполз из зарослей, опасаясь, очевидно, внезапного нападения, и лежал теперь на прибрежном песке у самой воды.

Недолго думая, они бросились к нему. Он встал. В левой руке у него был пистолет, в правой — толстая палка. Прицелившись в Арнака, он спустил курок, но выстрела не последовало — порох, вероятно, отсырел. Тогда он занес для удара палку, но Арнак оказался проворнее и страшным ударом дубины по голове свалил капитана на землю.

Увидев, что он мертв, они убежали на южную часть острова, опасаясь дру-

гих пиратов, которые, могло статься, тоже спаслись.

Арнак закончил свой рассказ. Он устремил на меня внимательный взгляд и, как видно, отнюдь не чувствовал себя в чем-либо виноватым. Минуту спустя он спросил меня голосом, в котором звучала гордая, чуть ли не вызывающая нота:

— Ты удивлен, что мы его убили?

Поставленный в тупик такой исполненной чувства собственного достоинства позицией этого двадцатилетнего индейца, я окинул мысленным взором все связанные с ним события. Этот юный индеец развеивал в прах мои бывшие представления о краснокожих, представления предвзятые, поверхностные и, стыдно признаться, совершенно ошибочные! А я-то, глупец, собирался превратить его в подобие Пятницы, в этакое безответного херувима в образе дикаря, счастье всей жизни для которого — служить своему белому господину в качестве верного раба.

Поскольку я продолжал молчать, а он ждал, Арнак задал новый вопрос:

— А ты, господин, на нашем месте поступил бы иначе?

— Нет, — буркнул я.

Я не забыл, что на корабле и сам вынашивал планы убийства капитана во время шторма, считая это актом необходимой самозащиты.

В поле дозрела кукуруза. На следующий день после вылазки на южную и западную оконечности острова мы приступили к уборке урожая. Крохотный клочок земли доставил нам не слишком много хлопот: со сбором початков и лущением зерен мы управились за один неполный день. Урожай выглядел вполне прилично, составив что-то около полутора мешков, и после просушки мы наполнили зерном несколько корзин.

Легко себе представить, как вкусны были для нас первые лепешки, испеченные из кукурузной муки! С желтыми плодами, «райскими яблочками» и печеным черепашьям мясом они казались нам королевским лакомством, хотя, думаю, что любой, даже не очень привередливый кулинар счел бы это блюдо более подходящим для собак, нежели для люден. Однако нам на необитаемом острове было не до привередливости, и, не жалуясь в тот период на здоровье, мы поедали все, что было хоть сколько-нибудь съедобным.

Три или четыре дня спустя я испытал потрясение, какого мне еще не приходилось испытывать на острове, разве что в ту ночь, когда я захватил Арнака у заячьей ямы и взял его в плен.

Втроем мы отправились за кокосовыми орехами, росшими в миле на север от нашей пещеры. Парни взбирались на пальмы и срывали плоды, а я стоял внизу. Бросив случайный взгляд на море, я остолбенел. Там, в каких-нибудь четырех-пяти милях от нас, плыл большой корабль. В лучах утреннего солнца сияли белые паруса. В первый миг я решил, что это мираж.

— Арнак! Вагура! — закричал я, указывая на корабль.

Волна счастья захлестнула мне сердце. Я давно готовился к этому и теперь знал, что нужно делать.

— К пещере! — крикнул я своим товарищам и что есть мочи помчался вперед.

Костер после утренней трапезы еще тлел. Мне не составило труда раздуть пламя и подбросить в него сухих веток.

Индейцы явились вслед за мной, но несколько замешкавшись. Бежали они, видимо, не слишком торопясь.

— На гору! — крикнул я. — Тащите хворост, как можно больше!

Сам я схватил пылающую головню и стал взбираться с ней вверх по склону. Холм, у подножия которого находилась пещера, возвышался над уровнем моря саженой на сто — сто пятьдесят. Когда я, обливаясь потом и задыхаясь, достиг вершины, головня еще тлела.

Повсюду вокруг, по склонам и на самой вершине холма, рос кустарник. Я быстро наломал кучу веток и развел костер. Он вспыхнул ярким пламенем, но дыма почти не давал: кусты были сухими, без листьев и все в колючках.

С вершины холма горизонт перед моим взором значительно расширился. Корабль в море был словно на ладони. Он шел под всеми парусами с востока и держал курс прямо на большой остров, очертания которого вырисовывались на севере. Мне пришел на память наш разговор с индейцами об острове Маргарита и наши предположения, что виднеющаяся на севере земля и есть этот остров. Теперь курс корабля, кажется, подтверждал наши тогдашние предположения. Не Маргарита ли это на самом деле?

Надо было быстрее подбросить в огонь зеленых веток, чтобы костер дал побольше густого дыма. Я взглянул вниз, индейцы медленно поднимались по склону.

— Эй, там, быстрее! — крикнул я.

Однако они словно не слышали. Я крикнул еще раз. И тут с удивлением заметил, что они не тащили с собой веток для костра, как я им велел, а держали в руках — я не поверил своим глазам — только луки и стрелы. «Черт побери! Ну, я вам покажу!»

Когда индейцы приблизились, я поразился непривычно замкнутому выражению их лиц. Не доходя до меня шагов двадцать, они остановились.



— Господин, — произнес Арнак мрачно и решительно, — мы не хотим костер!

Меня словно поразило громом.

— Арнак, что ты болтаешь?.. Без костра они нас не заметят.

— И пусть!

— Ты что, с ума сошел?

— Нет, господин!.. Но костра не будет!

Я онемел. Воцарилось молчание. Тишину нарушал лишь треск догорающего костра. Упорство индейцев вызвало у меня недоумение. Устремив на них укоризненный взгляд, я двинулся в их сторону.

— Господин! — торопливо выкрикнул Арнак. — Пожалуйста, не подходи к нам!

Луки они держали натянутыми, хотя, правда, с опущенными вниз стрелами.

Не обращая внимания ни на их слова, ни на луки, я продолжал идти. Они стали медленно отступать, явно уклоняясь от стычки.

— Что вам взбрело в голову? Говорите же, черт побери! — вырвалось у меня в сердцах.

— Мы не хотим быть рабами! — ответил Арнак.

— Вы не будете! Кто вас заставит?

— Ты ошибаешься, господин! Там плохие люди! — Арнак указал глазами на корабль. — Они захватят нас в рабство.

— Ты в этом так уверен?

— Да, господин. Это испанский корабль.

— А если не испанский? Если английский или голландский?..

Арнак не произнес в ответ ни слова и лишь грустно покачал головой, будто говоря, что все это одно и то же.

Парень был, кажется, прав и реально оценивал обстановку. Уроки жизни не прошли для него даром. Да, было горькой правдой: сюда, в богатые воды Карибского моря, все европейские морские державы слали отбросы своего общества. Историю здесь творили и острова во славу корон своих монархов захватывали пираты или люди с пиратскими натурами и склонностями. Здесь, не стихая, бушевала разбойничья война — всяк против каждого, чтобы вырвать друг у друга добычу, захваченную по праву кулака. Однако все они независимо от национальной принадлежности сообща преследовали местное индейское население, расценивая его повсюду лишь как свою добычу, как объект грабежа, истребления или обращения в рабство. Матрос Вильям не раз рассказывал мне и об этом, и о леденящих кровь жестокостях англичан.

Охваченный неожиданной радостью появления — после стольких месяцев вынужденного плена — первой ласточки цивилизованного мира, я не подумал, был ли это провозвестник доброго или злого рока. Для моих товарищей — скорее злого, а для меня — кто знает — доброго ли? Вероятнее всего, судно действительно было испанским. Об этом свидетельствовали разные признаки. Но какая плачевная судьба ждала меня в руках испанцев, пусть бы мне даже и удалось скрыть факт своей службы на каперском судне! Англичане и испанцы, как известно, с давних пор соперничая в этих водах, питали друг к другу непримиримую ненависть.

Все это пронеслось в моей голове с быстротой молнии.

— Хорошо. Огня не будет! — решил я, к видимой радости своих товарищей, и ногой разбросал догоравшие остатки костра.

Спускаясь с горы, я размышлял о поразительной решимости, сказал бы больше — нестигаемости юношей. Не следствие ли это на редкость суровой

жизненной школы?

После стольких недель совместной жизни, протекавшей почти в полном согласии, это было первое по-настоящему серьезное столкновение, столкновение открыто враждебное. А ведь можно было найти другой путь и решить вопрос к общему согласию. Еще до возвращения в пещеру я высказал им откровенно:

— Нехорошо, ребята! Друзья так не поступают!

Они взглянули на меня встревоженно.

— Если у вас возникли какие-то сомнения, — продолжал я, — придите и скажите честно, откровенно, по-человечески... — И добавил с укором: — А луки и стрелы Приберегите для врагов!

Бронзовое лицо Арнака стало пурпурным, а Вагура глубоко вздохнул.

— Да, ты прав, господин, — произнес Арнак.

— Да, да, господин! — как эхо повторил вслед за ним его младший собрат.

До самого позднего вечера мы наблюдали за кораблем. Вне всяких сомнений, он шел к острову на севере. Значит, там все-таки населенный остров, и, вероятно, это Маргарита. Индейцы теперь ничуть в этом не сомневались, и одна эта мысль вселяла в них ужас: ведь, значит, это остров беспощадных охотников за жемчугом и за индейцами.

На следующий день корабля уже не было видно. Пустынное море шумело и билось волнами о наш остров.

Схватка с ягуаром

Появление у наших берегов корабля имело и свои положительные последствия: мне стало ясно, что нам не приходится уповать на помощь со стороны моря. Помощь могла принести нам не радость, а уготовать довольно печальную судьбу, и потому первоначальный план — добраться до материка собственными средствами — стал представляться наиболее верным.

С энтузиазмом принялись мы за работу. Прежде всего следовало построить нетяжелый, прочный, достаточно устойчивый и легкий в управлении плот. Имея в качестве инструмента лишь охотничий нож, не приходилось и думать о рубке деревьев. Впрочем, в этом и не было необходимости — мы использовали омертвевшие, высохшие, но не упавшие еще деревья; использовать поваленные оказалось невозможным, ибо на земле они мгновенно загнивали. Строительный материал собирали по берегам ручья в глубине острова, где лес был гуще и откуда небольшие бревна во время прилива без труда удавалось сплавлять по воде вниз, к морю. Здесь мы устроили свою «верфь».

Заготовив достаточный запас бревен, я поручил юношам собирать лианы, в сортах которых они великолепно разбирались. Длинное лыко из этих растений предназначалось для связывания между собой стволов и долго сохраняло в воде прочность не хуже пеньковых канатов. Для увеличения плавучести мы решили составить плот из двух настилов бревен, причем верхние уложить поперек нижних. Затем возник вопрос, не лучше ли для верхнего настила использовать не бревна, а доски от разбитой спасательной шлюпки, из которых я раньше соорудил клетку для попугаев.

Но, прежде чем мы решили эту проблему, произошли события, едва не стоившие нам жизни и задержавшие наше отплытие на долгие месяцы.

Однажды ночью меня разбудил Вагура. Он торопливо разбрасывал камни, которыми был закрыт вход в мою пещеру. Парни, как и прежде, спали в своем

шалаше неподалеку.

— Что случилось?! — крикнул я, вскакивая.

Парень был так перепуган, что едва выдавил из себя какие-то нечленораздельные звуки.

— Где Арнак?

— Возле костра, — пробормотал Вагура.

Я выглянул наружу. Из-под пепла остывавшего костра выбивались языки пламени. Арнак, раздув огонь и торопливо швырнув в него громадную охапку веток, со всех ног бросился к нам. Вскочив в пещеру, он лихорадочно стал заваливать вход камнями. Я принялся ему помогать.

— Он! — выдохнул Арнак.

— Кто? Ягуар?

— Да, господин.

Сквозь щели в камнях теперь просматривалась вся поляна, освещенная пламенем костра.

— Как вы его заметили?

— Он подкрался к нашему шалашу. Мы крикнули, он отскочил и притаился в чаще. Сидит теперь там.

Я не слышал их крика, вероятно, спал крепко.

— А может, хищник вам только привиделся со сна? — спросил я полушутя.

— Вы, часом, не обознались?

— Нет, господин, это был он! Он был! — вторили они друг другу.

Тем временем костер почти догорел, оставив лишь тлеющие угли, и на поляне воцарилась непроглядная темь. Минуту спустя Вагура, обладавший превосходным обонянием, прошептал, тронув меня за плечо:

— Понюхай, господин!

Я принялся и действительно уловил резкий запах, время от времени доносившийся до нас вместе с легким дуновением ветерка. Такой запах издают хищные звери.

И вдруг все сомнения сразу рассеялись — впереди, прямо перед нами, на поляне показалась длинная громадная тень хищника. Он выскользнул из темной стены зарослей и, припадая к земле, полз к клетке с попугаями.

Потом раздался глухой удар и громкий треск ломающихся досок. Это под тяжкими ударами мощных лап хищника разлетелась клетка. Тут же завопили и захлопали крыльями переполошившиеся попугаи.

— Одни щепки остались от палубы нашего плота, — с горьким юмором проговорил я.

Попугаи надрывались от крика. Вероятно, ягуар рвал их на части. Однако некоторым удалось все-таки вырваться, они сначала кружили в воздухе, хлопая крыльями, потом расселись на ближайших деревьях и продолжали верещать.

Спустя четверть часа все стихло. Смолкла возня и возле клетки. Мы напрягли зрение — нигде никого. Ягуар как будто исчез.

Тщетная надежда! Треск ломаемых сучьев и какой-то не то писк, не то свист со всей очевидностью свидетельствовали, что ягуар добрался и до заячьей ямы. Потом стих писк последнего зайца и хруст его костей в пасти прожорливого хищника, а ягуар все кружил поблизости, то и дело появляясь на поляне, не далее чем в двадцати шагах от нас. При этом он ворчал, шипел, ис-

пуская порой сдавленный раздраженный рык.

— Ищет нас, — прошептал Арнак. — Чует, а как добраться, не знает.

Неподалеку снова раздался треск и грохот. Нетрудно было догадаться, что это разлетелся в щепки шалаш моих друзей.

Потом все стихло до самого утра.

Только после восхода солнца мы набрались решимости выбраться из пещеры. Перед нами предстала печальная картина: клетка разбита, доски переломаны, яма разрушена, зайцев — ни одного; шалаш разнесен в щепы, земля вокруг разрыта. Хищник в ярости разделался со всем, от чего исходил наш дух, расколотил часть горшков, разгрыз даже готовое весло, которое с таким трудом несколько дней выстругивал ножом Арнак.

Охваченные безотчетной тревогой, мы бросились к ручью, где стоял наполовину готовый плот. Он был не тронут. Ягуар, как видно, сокрушал лишь то, что попадалось ему близ нашего жилья. К счастью, корзины с кукурузой находились в пещере.

Несколько попугаев, которым удалось пережить ночное нашествие, вертелись поблизости. Наполовину ручные, они не улетали, и проворные юноши сумели поймать их на деревьях.

Ягуарам свойственно возвращаться на следующую ночь к остаткам своей трапезы. Решив помешать этому, мы закопали глубоко в землю остатки растерзанных зайцев и попугаев. Потом взяли все целые доски от разбитой клетки. Их могло еще хватить на плот. Новый шалаш решили не строить — те немногие дни, что осталось провести нам на острове, парни будут спать у меня в пещере.

Не откладывая, я тут же занялся работой на плоту и выстругиванием весел, а индейцы отправились на охоту. Надо было не только добыть мяса, но и собирать таких корней и плодов, которые можно было бы взять с собой в путешествие. К вечеру мы снова собрались все в пещере.

Как и следовало ожидать, ночью ягуар появился опять. Он бродил по поляне, урчал, пугая нас то хрустом веток, то крадущимися шагами, то грозным рыком. Всю ночь мы не сомкнули глаз. Ближе к утру ягуар вспрыгнул на утес, нависавший над нашей пещерой, и стал когтями рыть землю. Мы отчетливо слышали его прямо над собой — он пытался добраться до нас сверху. Однако, ничего здесь не добившись, ягуар перестал царапать твердую скалу и попробовал проникнуть к нам со стороны входа. Но и тут хитроумно уложенные камни оказались для него непреодолимой преградой. Злобность четвероногого охотника, его кровожадное стремление добраться до нас таили в себе нечто жуткое. Мы пытались отпугнуть его дикими воплями и стрельбой из лука сквозь щели в камнях — детская забава. Он обращал на это внимания не более чем на комариный писк. Спокойно, терпеливо и упорно он продолжал добиваться своего.

Лишь рассвет охладил его жажду отведать человеческого мяса. Ягуар, издав гневный рык, будто прощаясь, удалился и оставил нас наконец в покое, скрывшись в чаще.

После двух бессонных ночей мы поняли, что необходимо принимать решительные меры для своего спасения, иначе рано или поздно нам грозит неминуемая гибель.

Сидя утром у костра, мы разложили на земле все наше оружие и оценили

его критически. Ягуар был на редкость крупным и мощным, это признали даже индейцы, а наше оружие — луки, стрелы, копья, дубины и нож — слишком жалким. С грустью глядя на примитивный наш арсенал, я пытался воспроизвести в памяти, как охотились на крупных хищников южноамериканские индейцы, о чем мне когда-то доводилось слышать.

— А правда, что вы знаете яды, — спросил я, — которые мгновенно убивают?

— Да, господин, такие яды есть, — оживились юноши.

— Вы отравляете ими стрелы, и задень такая стрела зверя — он сразу же гибнет?

— Да, господин, это правда.

— А вы умеете готовить такие яды?

— Я умею, — ответил Арнак.

— Из чего они готовятся?

— Из плодов одной лианы. Их варят...

— А здесь, на острове, такие лианы растут?

— Растут, господин, мы их видели...

— Тогда бегом за ними!

Парни охотно вскочили с земли, но энтузиазм их тут же угас.

— Яд нужен сегодня? — спросил Арнак.

— Конечно, сегодня ночью.

— Не получится, господин. Плоды нужно варить несколько дней, иначе яд не действует...

Это, к сожалению, было непреодолимое препятствие. Вопрос использования отравленных стрел отпадал, во всяком случае, на этот раз. Мы стали искать другой выход. Я расспрашивал индейцев, как их племя охотилось у себя в лесах на ягуаров.

— Наше племя на них не охотится, — ответил Арнак серьезно. — Наше племя боится их и считает священными... Мы приносим им жертвы...

— Людей?

— Нет, господин. Собаку, если сдохнет, или часть зверя после удачной охоты...

— А этого ягуара вы мне поможете убить?

— Да, господин, поможем.

— Не побоитесь священного зверя?

— Нет, мы в это не верим...

Я посмотрел на парней с любопытством. До сих пор мне ни разу не доводилось касаться предмета их религиозных верований. Похоже, что четырехлетнее пребывание в рабстве и знакомство с новым миром оказали по крайней мере хоть то положительное влияние, что развеяли их предрассудки.

— И никто из вашего племени не охотился на ягуаров? — старался я выяснить.

Оказалось, что был шаман, которому требовались шкуры, кости и клыки ягуаров для отправления обрядов, но сам он не охотился, а заставлял воинов племени копать глубокие ямы-западни и привязывал возле них для приманки живую собаку. Если ягуары рыскали поблизости, случалось, что и попадали в ямы, из которых не могли выбраться. Тут их шаман и убивал копьем.

— А ты, Арнак, копал такие ямы?

— Копал, господин.

— Интересно. Надо попробовать.

После всестороннего обсуждения мысль о яме-западне показалась нам превосходной. Для приманки можно было откопать остатки зайцев, а западню соорудить, углубив старую заячью яму. Несколько лопат из черепаших панцирей у нас имелось.

Не откладывая, мы тут же принялись за работу. Заячья яма была чуть глубже человеческого роста. Ее предстояло углубить еще раза в три и притом так, чтобы придать ей форму резко суживающейся книзу воронки. Такая глубокая и узкая внизу яма должна была, по нашим замыслам, сковывать движения провалившегося в нее ягуара.

Мы работали без отдыха, попеременно сменяя друг друга, почти целый день. Сначала дело шло споро, но, когда места внизу осталось лишь для одного человека, работа пошла медленнее. Копать теперь мог только один, два других, стоя наверху, вытаскивали на лианах корзины с выкопанным песком на поверхность. Вагура, как самый слабый из нас, работал только наверху.

Незадолго до наступления вечера работа была почти закончена. На первый взгляд яма казалась прямо бездонной: так она была глубока. Мы с удовлетворением заглядывали в эту пропасть: кто в нее упадет — легко не выберется.

Прикрыть сверху яму ветвями и разложить на них объедки зайчатины дело недолгое. Затем осталось запастись побольше хвороста для костра — и западня готова.

Примерно за час до захода солнца Вагура отправился в лес проверить расставленные на зайцев силки. Едва он успел уйти, как тут же примчался обратно, серый от ужаса, задыхающийся, с обезумевшими глазами.

— Он! — с хрипом вырвалось из его горла. — Он гонится за мной... Бегите! — и сам тут же бросился к пещере. Мы схватили оружие и притаились в засаде, неподалеку от входа.

Действительно, менее чем в ста шагах от поляны в зарослях мелькнуло длинное желтое тело. Открытая встреча с грозным хищником была бы слишком опасной. Пришлось признать свое бессилие и укрыться в пещере.

— Если так пойдет и дальше, — заметил я, — дело для нас может кончиться плохо... Он и днем уже охотится за нами!

Свой расчет мы строили на том, что ягуар выскочит на поляну и, привлеченный разложенной приманкой, провалится в западню. Однако на поляну он не вышел.

Мы съели свой ужин в темноте, не выходя из пещеры, и забаррикадировались камнями. Дежурили попеременно. После полуночи наступила моя очередь. Вокруг по-прежнему все было тихо и спокойно. В предыдущую ночь непрошенный гость к этому времени уже появился.

«Неужели сегодня не придет?» — думал я разочарованно.

Отдежуривав положенное время, примерно около двух часов, я разбудил Арнака и, едва лег на свое ложе, тотчас же уснул мертвым сном, изнуренный целым днем тяжелого труда и двумя предыдущими бессонными ночами.

Внезапно меня разбудил какой-то странный звук, похожий на сдавленный рев. Индейцы вскочили тоже.

— Он! — прошептал Арнак.

Мы напрягли слух и зрение. Бледнеющее на востоке небо предвещало близ-

кий рассвет. Поляна и темные заросли за ней тонули в безмолвии; доносился лишь обычный шелест листвы и стрекотание тропических ночных цикад.

И вдруг со стороны западни — шумная возня и яростный рык!

Ясно: ягуар провалился в яму.

— За мной! — крикнул я сдавленным голосом.

Как можно тише мы разобрали у входа камни, схватили оружие и выскочили из пещеры. Крадучись, осторожно приблизились к краю ямы. Ночная тьма по-прежнему окутывала все вокруг, того и гляди, один неосторожный шаг — и сам угодишь в западню.

Яма оставалась прикрытой ветвями, и лишь в одном месте, там, где провалился хищник, зияла черная дыра. Зверь, вероятно, услышал наше приближение и затаился.

Я велел разжечь неподалеку костер и при свете головни, высоко поднятой Арнаком, заглянул вниз. «Попался, разбойник!» Стиснутый узкой ямой, грозный ягуар сверкал горящими зелеными зрачками, вытянув вверх лапы. Даже в этой ловушке он вселял ужас и повергал в трепет; это действительно был царь джунглей. Сжавшись в комок и глухо ворча, ягуар скалил на нас страшные клыки. Мороз пробежал по коже при одной мысли ненароком свалиться к нему в яму.

— Посвети лучше! — попросил я Арнака.

До отказа натянув лук, я пустил вниз стрелу. Ягуар взревел. Стрелу, вонзившуюся в шею, он тут же вырвал когтями и зубами. Разъяренный, он пытался выпрыгнуть, но безуспешно: земля осыпалась под его когтями.

Вдруг он затих. Я выбрал самое длинное копьё из имевшихся в нашем распоряжении и изо всех сил всадил его в затылок зверю, ощутив, как оно глубоко вонзилось в тело. Однако хищник одним ударом страшной лапы сломал оружие, причем отскочившим древком меня так сильно ударило в плечо, что я откатился на несколько шагов и распластался на земле.

Ягуар, изрыгая ужасающий рев, снова заметался. Вскоре, однако, он опять утих, и тут мы с тревогой обнаружили, что неукротимый зверь, царапая лапами стены ямы, осыпал вниз много земли. Теперь он находился выше, чем поначалу.

Пользуясь минутной передышкой, мы отступили от ямы. Заметно рассветало. Плечо у меня сильно болело, и не знаю, как выглядел я, но на лицах и в глазах моих товарищей явственно читались крайнее возбуждение, страх и замешательство.

— Так мы ничего не добьемся! — заметил я. — Если его сейчас же не убить, он может выскочить и убежать.

— Он не убежит, господин! Сначала он съест нас.

— Вот именно!

Ягуар, оставленный в покое, сидел в яме тихо. Мы решили подождать, пока совсем рассветет, а потом засыпать его градом стрел из трех луков сразу. Стрел у нас было около тридцати. Пускать их следовало с предельной быстротой, чтобы лишить его сил прежде, чем он в ярости наскребет под себя кучу земли и выскочит из ямы.

Прошло полчаса. Взошло солнце. Воспользовавшись перерывом, мы, стоя с луками наготове, наскоро подкрепились желтыми яблоками. Зверь затаился, не издавая ни звука, но мы знали, что смертельной раны я ему не нанес.

— Целиться только в глаза! — напомнил я. — Не в лоб — он у него как железный. Сохранять спокойствие! От нашей меткости сейчас зависит все.

Мы обступили яму с трех сторон и по моему сигналу сорвали маскировку из веток, открыв западную.

Ягуар прищурил зрачки, пригнул голову, сжался, словно готовясь к прыжку, но не прыгнул. Горящий его взгляд источал такую неукротимую ненависть, что мы невольно содрогнулись. Шкура у него была желтая в черных пятнах. Это был настоящий великан.

Тетиву мы спустили почти одновременно. Удачнее всех выстрелил Арнак — его стрела вонзилась хищнику прямо в глаз. Душераздирающий рев, молниеносный скачок. Стрелу зверь вырвал ударом лапы. Не достав в прыжке верхней кромки ямы, ягуар снова грузно рухнул вниз — дрогнула земля.

— Еще! Стреляйте быстрее! — крикнул я возбужденно.

Мы лихорадочно пускали стрелы, одну за другой, без всякого перерыва.

— Во второй глаз! Во второй глаз! — кричали индейцы.

Несмотря на то, что ягуар бешено метался, целиться было нетрудно. На таком небольшом расстоянии почти все стрелы вонзались в зверя. Большинство из них попадало в затылок. Кровь хлестала из ран во все стороны. Ягуар был буквально наспигован-стрелами и тем не менее продолжал с неукротимой яростью карабкаться вверх, разгребая когтями стены ямы и сбрасывая под себя целые груды земли. При этом он ревел, визжал и шипел так, что леденела кровь. Меня стало охватывать отчаяние: запас стрел был на исходе, а зверь, страшный в своей неуязвимости, продолжал неистовствовать с прежним бешенством. Еще несколько минут — он полностью засыплет яму и выберется наверх.

— Камни! Тащите сюда камни! — крикнул я индейцам, указывая на вход в нашу пещеру.

Они поняли и бросились к пещере, а я тем временем продолжал копьем сталкивать ягуара вниз. Притащили камни. Двумя руками я занес над головой обломок величиной в три кирпича и, старательно прицелившись, изо всех сил метнул его в голову ягуара. Зверь издал глухой стон и, оглушенный, свалился на дно ямы. Вслед за первым полетел второй камень. Но, к нашему изумлению, зверь тут же пришел в себя, снова вскочил и стал бесноваться с прежней силой. Его живучесть вселила в нас такой ужас, что, остолбенев, мы на минуту замерли. Однако времени на переживания не оставалось. Ягуар разрыл стены настолько, что вот-вот мог выскочить из ямы. События развивались с молниеносной быстротой. В следующее мгновение должна была наступить развязка. Оставалось еще одно-единственное средство: огонь.

— Вагура! — крикнул я. — Разводи большой костер! Здесь, на самом краю!

Куча сухих ветвей вспыхнула мгновенно, и высоко вверх взметнулись языки пламени.

— Мало, давай больше! — подгонял я. — Подбрасывай еще хвороста! Арнак, помогай!

С ожесточением человека, отстаивающего свое право на жизнь, смотрел я на своего грозного врага. Ему приходил конец. Он выстоял против наших стрел, копий и камней, но перед силой огня ему не устоять!

Общими усилиями мы столкнули в яму громадный пылающий костер. Огонь накрыл дно ямы вместе с ягуаром. Оглушительный рев. Хищник пру-

жиной взвился вверх в головокружительном прыжке и... уцепился передними лапами за кромку ямы. Я подскочил и вонзил ему в затылок копьё, стремясь сбросить его обратно вниз. Но огонь пробудил в звере бешеную силу. Я не смог его удержать, и, прежде чем Арнак и Вагура успели подбежать ко мне на помощь, ягуар выскочил из ямы.

Все остальное произошло в одно мгновение: ягуар вышиб из моих рук копьё, одним ударом лапы свалил меня на землю и придавил всей тяжестью своего тела. Безотчетно я выставил вверх левую руку, пытаюсь прикрыть горло и лицо от его клыков. Он захватил мою руку своей страшной пастью и сжал челюсти. Теряя сознание, я увидел, как Арнак с размаху всадил ему в бок копьё и столкнул с меня. Я видел еще, как зверь прыгнул на Арнака. Потом меня окутала тьма, и я потерял сознание.

Дружба крепнет

Восхитительная музыка ласкает мой слух. В эту мелодию вплетается веселое щебетанье птиц. Вслед за тем баюкающий лепет не то ласкового моря, не то теплого ветерка, напоенного ароматом цветов. Роятся краски, возникают какие-то неясные образы, становясь все яснее, все отчетливее, пока постепенно у меня не раскрываются веки. Раскрываются на один лишь миг, но достаточный, чтобы содрогнуться: прямо передо мной страшное тело ягуара. Преодолев режущий свет солнечного дня, я все-таки вновь открываю глаза и убеждаюсь: то не был сонный мираж. Ягуар, а точнее, его шкура висела распятой у входа в пещеру, между двумя агавами, просыхая на солнце.

Я ощутил прилив острой радости.

— Убит! — с удовлетворением шепнул я себе.

— Да, господин, убит! — раздался голос у моего ложа. Я повернул голову. Рядом со мной лежал Арнак. Я попытался было подняться, но не смог: нестерпимая боль пронзила все тело. Я огляделся. Мы лежали вдвоем близ пещеры. Судя по солнцу, было утро.

— Где Вагура? — встревожился я.

— Пошел в лес. На охоту и за травами...

— А ты? Что с тобой?

— Он разодрал мне ногу. Не могу ходить.

В памяти моей всплыли последние минуты схватки с ягуаром, когда зверь подмял меня под себя.

Если бы не отвага Арнака, хищник, вне всякого сомнения, растерзал бы меня в клочья. Я взглянул на смелого юношу с глубокой признательностью и уважением.

— Ты успел вовремя! Еще одна минута — и мне бы несдобровать!

— Это было последнее его усилие, господин, — ответил индеец просто.

— Спасибо тебе, Арнак!

Юноша указал рукой на группу кактусов, видневшихся в чаще, шагах в трехстах от нас.

— Видишь? — спросил он.

Там в воздухе кружили черные стервятники, другие расселись вокруг на кустах.

— Теперь у них пир! — добавил Арнак. — До этого места он кое-как дотащился и там подох. Вагура заметил птиц... Пошел и увидел его мертвого. Снял с него шкуру... Теперь птицы рвут его мясо, а мы живем...

Арнак улыбнулся.

— Давно мы лежим? — спросил я.

— Пятый день, господин.

— Пятый день! Так долго?

Состояние мое было тяжелым. Когтями ягуар нанес мне глубокие раны на груди и перегрыз мышцу левой руки, не повредив, к счастью, кости. Однако существовала реальная угроза заражения крови и гангрены. По счастливому стечению обстоятельств Вагура не пострадал в схватке, а поскольку прежде в родном селении помогал иногда шаману, он знал кое-какой толк в травах. Эти познания оказались теперь весьма кстати, и, кто знает, не им ли мы были обязаны жизнью. Юноша приносил из леса разные лечебные травы, из которых одни останавливали кровотечение из наших многочисленных ран, другие предохраняли от заражения крови, третьи — в виде отвара для питья — способствовали выведению из организма разной отравы. Арнак, хотя и пострадал не так тяжело, как я, проходил тот же курс лечения. В первые дни жизнь моя висела на волоске, однако понемногу я начал выкарабкиваться, и, когда на пятый день пришел в сознание, стало ясно, что худшее осталось позади.

Схватка с ягуаром и ее последствия существенно нарушили все наши планы о скорейшем отплытии с острова. Раны благодаря заботам Вагуры затягивались довольно быстро, но до полного выздоровления было еще далеко. Силы возвращались ко мне медленно: шли недели и месяцы. Приходилось запастись терпением и лежать, лежать, не вставая.

В пище недостатка у нас не было, хотя на охоту теперь ходил один только Вагура. Природа в избытке снабжала нас фруктами и орехами, овощами и съедобными кореньями. Зайцев, правда, становилось все меньше: в нашей части острова мы, кажется, почти полностью их истребили. Мяса в общем было маловато, но мы как-то обходились и без него. Ходить на западную оконечность острова за черепахами было далеко, а гнезда попугаев, как убедился Вагура, оставались пустыми: вероятно, не наступил еще сезон.

За время недель своего вынужденного бездействия я о многом передумал. Глядя на всюду поспевающего Вагуру, без помощи которого я погиб бы от голода, ведя частые беседы с Арнаком о его родном племени, я стал подмечать в своем сознании важные перемены. Во мне исчезала прежняя нелепая предвзятость против индейцев. Теперь только я начинал понимать, как был прежде не прав! Как несправедливы были вирджинские поселенцы, когда беззастенчиво грабя местное население и стогняя его с исконных земель, в то же время обливали его грязью презрения и ненависти для успокоения своей нечистой совести.

Еще раньше, много недель назад, я заметил, что оба моих товарища — существа отнюдь не темные и невежественные. Когда я стал присматриваться к ним внимательней и ближе, мне начали открываться в них те же черты и качества, которые присущи и нам, европейцам. Юные индейцы подвержены были тем же эмоциям, что и я, испытывали такие же огорчения и радости, так же остро отзывались на всякую несправедливость и чтили те же достоинства и качества, какие и у нас принято считать заслуживающими уважения.

А я-то пытался было превратить их в Пятниц, в безропотных и верных слуг. Какое заблуждение! Они воспротивились этим поползновениям, они не хотели превращаться в слуг, они не уступили мне, но, когда пришла пора тяжелых

испытаний, они, как самые верные друзья, не колеблясь, спасли мне жизнь, рискуя при этом своей собственной.

Меня охватывал стыд за то, что я до сих пор так несправедливо судил об индейцах, мне было совестно за моих английских соплеменников там, на севере. С каждым днем я все отчетливее осознавал то зло, какое белые колонизаторы несли туземным народам. Я твердо решил, что если когда-нибудь вернусь к цивилизованным людям, то приложу все силы, чтобы открыть им глаза на правду и пробудить их совесть, рассказав о незаслуженно трагичной судьбе индейцев. Я решил в будущем углубить свои познания, овладеть писательским мастерством и попытаться описать свои нынешние впечатления, с тем чтобы представить моих краснокожих друзей в истинном свете, так, как они того заслуживают.

Арнак оправился от ран значительно раньше, чем я. Теперь он часто ходил на охоту вместе с Вагу рой, но при этом не забывал о главном: о постройке плота. Ведь предстояло столько дел! И весла, и парус, и руль, и уключины для весел, не говоря уже о самом плоте. Одним словом, работы впереди — непочатый край.

Из головы у меня не выходила одна мысль. После несчастья, постигшего нас в схватке с ягуаром, я, как говорится, обжегшись на молоке, стал дуть на воду. Почувствовав себя лучше, я в один из дней подозвал к себе юношей и вернулся к разговору на тему, которой мы касались и раньше, когда еще только назревал вопрос о схватке с ягуаром.

— Если бы во время нападения ягуара у нас был запас стрел с отравленными наконечниками, — сказал я, — справиться с хищником для нас не составило бы труда.

— Это правда, господин! — согласились индейцы.

— А кто знает, что ждет еще нас впереди, — продолжал я. — Доберемся мы до Большой земли. Там нас будет подстерегать немало опасностей. У нас должны быть отравленные стрелы! И чем быстрее, тем лучше!

— Значит, другую работу отложить? — спросил Арнак.

— Может, и отложить. Вы говорили, что яд надо варить несколько дней, пока он обретет силу? Не будем тогда терять время. Вы готовы идти?

— Да, господин.

Они собрались уходить. Я задержал их. У меня было к ним еще одно дело. Общие радости и горести, и особенно последняя схватка с ягуаром, необыкновенно нас сблизили.

— Послушайте, отчего вы все время обращаетесь ко мне: «Разрешите, господин», «Нет, господин», «Да, господин»? Мне это не нравится. Мы друзья, и я для вас не господин.

Они были несколько озадачены. Арнак в замешательстве не знал, куда деть свои руки, в которых держал Наполовину обструганное весло. Лицо его покраснело.

— Ну как, договорились? — спросил я.

— Да... господин! — ответил он робко и, заметив свою оплошность, рассмеялся.

— Ян, Ян! — воскликнул я, шутливо погрозив пальцем.

Вагура встал между нами и, тыча поочередно в каждого пальцем, словно представляя нас друг другу, начал повторять:

— Вагура, Арнак, Ян!.. Ян, Арнак, Вагура!

Ядовитые лианы в эту пору плодоносили, и юноши, соблюдая всяческие меры предосторожности, собрали целую корзину их плодов, похожих на терн. Поначалу их варили в горшке, а потом, когда отвар начинал густеть, его переливали в каменную чашу и, накрыв черепаший панцирем, продолжали греть на медленном огне. Затем в загустевший совсем отвар грязно-зеленого цвета погружали на несколько часов пучки стрел. Высохнув, стрелы готовы были к применению.

Результаты их испытаний превзошли все ожидания. Большая птица, похожая на индейку, лишь слегка подраненная, пробежала всего несколько шагов и упала как подкошенная. Мгновение еще она конвульсивно подергала ногами и тут же издохла.

— Вот это да! Действует молниеносно! — поразился я. — А сколько времени яд на стрелах сохраняет силу?

— Много лун, — ответил довольный Арнак.

Наконечники стрел, одинаково опасные как для зверей, так и для нас, мои друзья держали завязанными в мешочках из заячьих шкурок.

К этому времени я начал понемногу вставать и, хотя был еще слаб, пытался помогать при некоторых не особенно тяжелых работах. Еще через месяц не только зажили раны, но ко мне почти полностью вернулись прежние силы. Правда, на груди и на левой руке остались глубокие шрамы.

За ноябрем, изобиловавшим ливнями, наступил более сухой декабрь. С началом января совсем распогодилось. Солнце стало клониться к югу и хотя изрядно припекало, но уже не палило таким зноем, как в предыдущие месяцы, когда стояло в зените.

Приготовления к отплытию были завершены.

Плот мы устелили не досками, как первоначально намечали, а стволами бамбука, которые были достаточно прочными и притом значительно легче. Бамбук рос за озером Изобилия. Совершив несколько небольших выходов в море, мы опробовали детище наших многотрудных усилий. Плот держался хорошо.

— Он лучше, чем тот, на котором вас снесло течением? — спросил я индейцев.

— О, — отвечал Арнак, — значительно лучше!

Наступили последние дни нашего долгого пребывания на острове. Почти целый год провел я здесь и перед отъездом не мог не навестить места, с которыми свыкся. Признаться, с чувством какой-то грусти взирал я в последний раз на озеро Изобилия, на ручей, поивший меня пресной водой, на поляну, когда-то названную Заячьей, где мы давно уже истребили последнего зайца, и на скалу Ящериц, на которой вот уже много месяцев не было ни одной ящерицы.

Мы не знали, как поступить с попугаями, которых у нас осталось восемь. Они были совсем ручными, но брать их с собой в путь не имело смысла. Мы выпустили их на волю. Они взлетели на деревья, окружавшие пещеру, и расселись на вершинах, пронзительно вереща и не помышляя улетать.

В один из безветренных дней мы перетаскивали припасы на плот и при полном штиле совершили первый переход по морю вдоль побережья. Высадились мы примерно в трех милях южнее, на мысе, который выступал далеко в

море у юго-восточной оконечности острова. Отсюда решено было переплыть пролив при благоприятном ветре, то есть когда он будет дуть с севера на юг, в сторону материка.

Теперь, когда в любой из дней мы могли покинуть остров, мысли мои нередко обращались в будущее, к испытаниям, которые ждали меня впереди. Мне были мало известны нравы и обычаи племени араваков, к которым мы собирались отправиться, хотя я и знал, что они ненавидели белых колонизаторов и считали за грех людоедство. О людоедстве я немало наслышался леденящих душу рассказов и начитался все в той же книжке о Робинзоне Крузо.

После того как мы прибыли на мыс и разбили лагерь, Я спросил у своих юных товарищей, а не случится ли так, что араваки встретят меня как врага и прирежут как зайца?

Юноши вытаращили на меня глаза.

— Почему они должны встретить тебя как врага?

— Я белый...

— Да, белый, но ты наш друг!

— А если вас не послушают, что тогда?

— Послушают, мы все расскажем вождю: и то, что ты всегда был нашим другом, и... и...

— И этого будет достаточно?

— Достаточно, Ян!

После минутного раздумья Арнак поднял на меня глаза и, не скрывая огорчения, проговорил:

— Белые люди считают нас жестокими дикарями, более похожими на животных, чем на людей. Они думают, что мы глупые существа, лишённые разума. Это не так, Ян!

— Я знаю, Арнак!

— Ты знаешь, другие не знают. Если я объявляю тебя другом в своем племени, то и все араваки — и в лесах, и в прериях — тоже будут считать тебя своим другом. Никто не посмеет даже пальцем тебя тронуть. Этим мы отличаемся от белых людей, — добавил Арнак с горькой улыбкой.

— А людоедство? — не удержался я от вопроса. — Ну, скажи мне честно, есть оно или нет?

— Есть, — ничуть не смущаясь, ответил Арнак, — вернее, было раньше, но все это совсем не так, как хотят представить белые люди. У нас поедали поверженного врага, но не для утоления голода...

— Религиозный обряд! — догадался я.

— Да, Ян! У нас думали, что отвага врага перейдет к победителю, если съест, например, сердце убитого...

Коварное морское течение

Через три дня сложились благоприятные для нас погодные условия. Море было спокойным, дул легкий северный ветер. Спустя час после восхода солнца мы вывели нагруженный плот из устья ручья в море и заняли на нем свои места. Небольшой парус, сплетенный из тонких лиан и натянутый поперек плота, хорошо взял ветер. На левом весле сидел я, на правом — Арнак, на руле — Вагура.

Грести почти не приходилось — ветер нес нас прекрасно, и вскоре мы отделились от берега на добрую четверть мили. Все шло превосходно, мелкие вол-

ны плескались о борта нашего плота.

Легкая грусть охватила меня, когда я окидывал прощальным взглядом берег, узнавая издали ставшие близкими моему сердцу места: холм с пещерой, знакомые опушки леса, мелководное устье ручья, одинокие пальмы — все то, что я так долго наблюдал с другой стороны, со стороны суши.

— Интересно, — проговорил я, — есть ли у этого острова какое-нибудь название?

— Наверно, — ответил Арнак.

— А может, и нет, он же необитаем. Мне кажется, мы были первыми людьми, жившими здесь.

— Возможно, Ян.

— Вот и давай, Арнак, сами придумаем острову название. Какое? А что, если — остров Робинзона? А? Неважно, существовал Робинзон или не существовал, неважно, был он на этом острове или не был. Я ведь жил на нем подобно Робинзону и часто вспоминал здесь книгу о его необычайных приключениях. Да, пусть это будет наш остров Робинзона!.. Вы согласны, Арнак, Вагура?

— Согласны, Ян!

Спустя час мы отделились от острова настолько, что его берега, растительность и даже холм покрылись легкой голубоватой дымкой. Свежий поначалу ветерок по мере выхода в открытое море, к сожалению, слабел и в конце концов совсем стих. Пришлось взяться за весла. Часа через два нелегкой работы нам удалось преодолеть не больше трети всего пути. Очертания берега, к которому мы направлялись, стали отчетливее.

Море было так спокойно, что порой напоминало гладь большого озера. Но, достигнув примерно середины пролива, мы заметили впереди себя полосу воды, покрытую какой-то странной рябью. Это место отличалось от остальной поверхности и более темным, синим, цветом. Индейцы забеспокоились.

— Кажется, там ветер, — указал я вперед.

— Нет, Ян, это не ветер, — ответил Арнак. — Это течение! Мы знаем его.

— Значит, скоро начнется кутерьма?

— О-ей, начнется!

Мы немного подкрепились кукурузными лепешками и сладкими желтыми плодами — нашими «райскими яблочками».

Мы остались на прежних местах: я на левом весле — с этой стороны предстояло грести сильнее, чтобы противостоять течению, Арнак — на правом, а Вагура — на корме плота у руля. Плыли мы, естественно, сидя спиной к направлению движения и плохо видели, что делается впереди, но вскоре почувствовали, что грести стало труднее.

Будто невидимыми лапами вода цеплялась за весла, и приходилось налегать на них изо всех сил, а Вагура с трудом удерживал руль, чтобы не сбиться с курса. Мы входили в полосу течения.

Течение, словно мощная река шириной в несколько миль, устремлялось с востока на север вдоль берега земли, которую мы считали материком. Чем глубже мы вторгались в его пределы, тем оно становилось сильнее. Вода с громким плеском билась о бревна плота. Несмотря на нечеловеческие усилия, нам не удавалось держаться выбранного курса. Течение не только сносило нас в сторону, на запад, но раза два развернуло плот, как игрушку, вокруг оси.

— Ничего! — крикнул я друзьям. — Не страшно, если течение снесет нас на

несколько миль на запад! Главное — не терять спокойствия и грести к материку, Рано или поздно мы пробьемся через это проклятое течение...

— А плот выдержит? — спросил Вагура, глядя на Меня с тревогой. — Трещит!

Плот и впрямь трещал, грозя рассыпаться, хотя для обвязки бревен мы выбирали самые прочные лианы, и пока они держали неплохо.

— Осталось мили три, самое большее — четыре! — прикинул я расстояние, отделявшее нас от возжеленного берега.

Друзья мои не отвечали и лишь с нескрываемой тревогой следили за стремительным дрейфом нашего плота на запад.

Южная оконечность острова Робинзона осталась уже в стороне, а западный его берег был у нас теперь на правом траверзе.

— Прошлый раз тоже так было, — пробормотал Арнак. — А дальше еще хуже будет...

Увы, слова его вскоре подтвердились. Чуть дальше на запад берег материка вдруг обрывался. Линия его круто сворачивала на юг, образуя глубокий залив, из которого на север устремлялось другое мощное течение. Сталкиваясь с нашим западным, оно вспенивалось водоворотами и мчало затем взбешенные массы воды дальше на север.

Мы отчаянно налегали на весла, пытаюсь пробиться на юг. Но что значили наши жалкие весла в сравнении с бешеным напором океанских масс воды?! В этой адской круговерти наш плот выдержал экзамен на прочность, но попытка добраться на нем до материка, увы, не удалась. Течения с непреодолимой силой отбрасывали нас от цели и несли к северу.

— Не удалось! — скрипнул я зубами, отбрасывая в сторону весло, когда бесплодность дальнейшей борьбы стала очевидной. Я задыхался. Пот лил с меня ручьями. Не легче было и моим спутникам. С ненавистью покоренных проклинали мы враждебную стихию.

Но медлить было некогда. Если до сих пор мы стремились пробиться на юг, то теперь оказались перед лицом новой проблемы: встала задача — как вернуться на остров Робинзона? Он находился к востоку от нас, а течение неудержимо несло плот на север, где все отчетливее выступали из моря берега предполагаемого острова Маргарита. Это был, как мы теперь могли воочию убедиться, обширный остров, протянувшийся с востока на запад миль на двадцать, а то и больше.

— О-ей, плохо, плохо! — восклицали индейцы. — Там злые люди!

Течение несло нас к острову. Мы гребли как одержимые, пытаюсь вырваться из цепких объятий стремительного потока. Наконец нам это удалось. После получаса отчаянных усилий мы заметили, что течение ослабело и грести стало легче. Еще одно последнее усилие — и плот закачался на спокойной волне. Мы издали радостный крик. До острова Робинзона оставалось около двух миль. Море снова было ласковым и тихим.

Неторопливо гребя, под вечер мы достигли северо-западной оконечности нашего острова. За день мы обогнули его громадным многомильным полукольцом, были до предела измотаны, удручены понесенным поражением и все-таки ощутили радость, когда плот с шуршанием уткнулся в берег и мягкий песок заскрипел под нашими ногами.

Ночь мы проспали на месте высадки, а на утро следующего дня переправи-

ли плот вдоль берега на восточную сторону острова, к устью нашего ручья, и вернулись в свое прежнее жилище.

Вблизи пещеры ставшие ручными и не помышлявшие разлетаться попугаи приветствовали нас радостными криками, что растрогало нас до слез, и на какой-то миг нам показалось, будто мы вернулись под родной кров.

Морской бой

— Мы совершили две ошибки, друзья, — сказал я индейцам, когда, сидя у костра, мы обсуждали свое будущее и все случившееся. — Совершили две ошибки и потому не сумели переплыть пролив.

— Знаю! — воскликнул Вагура. — Плохой плот!

— Ты угадал. Нужно строить другой плот; полегче, поуже и лучше управляемый.

— Но как сделать легче? — спросил Арнак. — Мы и так брали только сухие бревна.

— А теперь сделаем из бамбука. У озера Изобилия его вполне достаточно. Бамбук легче бревен и достаточно прочен.

Арнак выразил по этому поводу некоторые сомнения, и в конце концов мы сошлись на том, что построим плот из бамбука, но борта укрепим небольшими сухими бревнами.

— А вторая ошибка? — напомнил Арнак.

— Мы слишком рано вошли в течение... В следующий раз нам надо отплыть вдоль берега как можно Дальше на восток и только там начинать пробиваться через течение к материку, чтобы не попасть во встречное течение на западе.

В этот момент хлынул проливной дождь, и нам пришлось укрыться в пещере. В последние дни ливни на остров обрушивались по несколько раз в сутки, обильные, но кратковременные, предвещавшие наступление поры дождей.

Все последующие недели проходили в напряженной работе. Мы охотились, собирали плоды и коренья, строили новый плот и расчищали у реки от кустарника и бурьяна небольшой клочок земли, решив, на тот случай, если нам опять не удастся выбраться с острова, засеять его кукурузой. Теперь нехватки в мясе у нас не было — возвращаясь как-то с западной оконечности острова, мы доставили на своем старом плоту десятка два крупных черепах и держали их живыми.

В один из дней, пользуясь благоприятной погодой, мы засеивали кукурузой свое поле, как вдруг все трое, словно по команде, бросили работу. Откуда-то издали доносились странные громopodobные звуки. Мы обратились в слух. В ту пору над островом нередко гроыхали грозвые раскаты, но доносившиеся сейчас звуки не были обычным громом. В чистом небе ярко светило солнце, и тем не менее непрерывный гул сотрясал воздух.

— Это не гроза! — воскликнул Арнак.

— С моря идет! — поддержал его Вагура.

Бросив лопаты, мы помчались к холму, и, когда, взобравшись по склону выше крон деревьев, взглянули на море, взорам нашим открылась потрясающая картина: не далее мили от острова два корабля, отстоя друг от друга на четверть мили, вели ожесточенную орудийную перестрелку. Ясно видны были разрывы пушечных ядер, с плеском падавших в воду поблизости от кораблей. Клубы порохового дыма окутывали оба корабля.

С затаенным дыханием следили мы за боем. По оснастке я определил, что это двухмачтовые бригантины, каждая со множеством пушек.

Канонада была адская.

Корабли постоянно меняли свое положение, стремясь, как видно, повернуться к противнику так, чтобы обрушить на него всю мощь своих орудий. Многие ядра попадали в борта и в такелаж, разрывая ванты и парусную оснастку, но, несмотря на эти повреждения, не особенно, видимо, опасные, бой продолжался с неослабевающей силой.

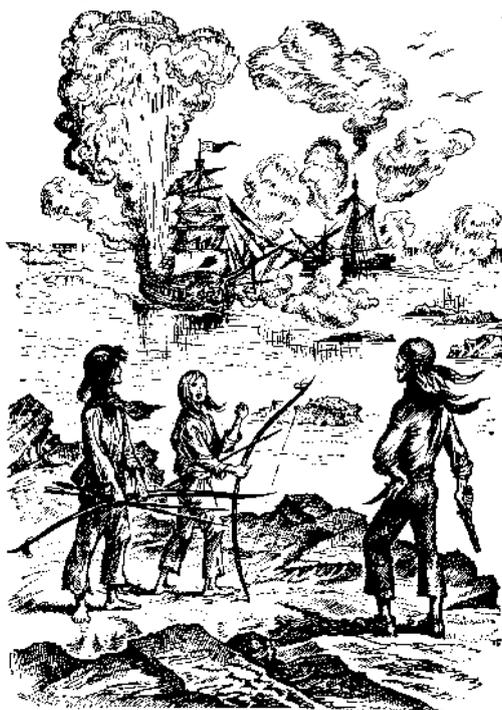
— Кто это, Ян? — тревожно допытывались мои друзья. — Пираты?

На грот-мачте бригантины, находившейся ближе к острову, развевался флаг, и, хотя клубы дыма ограничивали видимость, мне удалось рассмотреть, что это флаг испанский. На другом, чуть дальше отстоявшем корабле я ничего не мог рассмотреть, и, похоже, флага там вообще не было.

— Готов поклясться, что тот второй — пират! — произнес я. — А этот, что ближе, — испанец.

Непрестанно маневрируя, корабли постепенно смещались к северу в район пяти небольших скал, торчавших из воды примерно в полумиле от острова. Теперь они оказались ближе к нам, и сверху, как на ладони, были видны все перипетии сражения.

Бой был жестокий. Пиратский корабль, как я его окрестил, пытался, судя по всему, подойти к борту противника, взять его на abordаж и захватить в рукопашном бою, но испанец держался настороже и искусно уклонялся от сближения. Стоило ему, однако, чуть отступить, как противник еще быстрее бросался вперед. Был момент, когда испанец, казалось, одерживал верх, сбив у пирата метким залпом фок-мачту и сразу ограничив его маневренность. Но спустя несколько минут на палубе испанца раздался страшный взрыв — взлетел на воздух пороховой погреб, — я весь корабль объяло пламенем. Это и решило исход боя в пользу пирата. Орудия смолкли.



Испанцы с пылающей бригантины, спасаясь, прыгали в воду. С борта спустили две шлюпки. Матросы, лихорадочно гребя, спешили удалиться от места пожара, направляясь к нашему острову.

Арнак судорожно сжал мою руку и, указывая на шлюпки, прошептал:

— Горе нам. Это плохие люди!

— Бежим отсюда! — вскочил и Вагура, готовый мчаться куда глаза глядят.

— Спокойно, друзья, спокойно! — удержал я их. — Пока ничего страшного нам не грозит.

— Тебе — нет! — буркнул Арнак, хмуря лоб. — А нам — да!

В сердцах я прикрикнул:

— Не болтай глупостей! Между мной и вами нет разницы! У нас одна судьба! Что бы ни случилось, я вас не брошу и не дам в обиду. Вместе живем, вместе будем и защищаться. Ваши враги — мои враги!

В глазах Арнака что-то мелькнуло, нечто похожее на искру благодарности, и он спросил:

— А эти в лодках тебе враги?

— Враги! — ответил я.

Мы не спускали глаз с двух лодок, приближавшихся к берегу. В них было около трех десятков матросов. Они лихорадочно работали веслами, поминутно оглядываясь назад, и так спешили, что натянули даже какое-то подобие парусов.

Не прошло и получаса, как лодки пристали к острову в полумиле от нашего холма.

Матросы высадились, поставив одну, большую по размерам, лодку на якорь шагах в двадцати от берега. Мы опасались, что пришельцы отправятся в глубь острова, но они расположились лагерем у самой воды и с напряженным вниманием стали следить за происходящим на море.

А там по-прежнему пылал их корабль. Бригантина победителей подошла к нему на расстояние мушкетного выстрела и спустила с борта шлюпку с вооруженными людьми. При виде этого высадившиеся на остров крайне обеспокоились, предположив, вероятно, что это погоня за ними. Они заметались по берегу, выбирая подходящие для обороны позиции и готовя к бою оружие. Мы заметили, что почти у каждого второго матроса был мушкет. Однако страхи их оказались напрасными. Шлюпка с пиратского корабля осталась возле горящей бригантины, обходя ее вокруг. Убедившись, что пламя не даст возможности подняться на палубу, лодка вернулась на свой корабль, который тут же распустил все уцелевшие паруса и стал удаляться в восточном направлении. К вечеру он скрылся из виду за горизонтом.

Итак, на нас свалилось новое несчастье, новая грозная опасность нависла над нами.

Важнее всего сейчас было разведать, что это за люди и каковы их намерения. Скрываясь в зарослях, мы подобралась к их лагерю шагов на сто пятьдесят и затаились в густом кустарнике. Отсюда все было видно как на ладони. На всякий случай мы прихватили с собой луки и отравленные стрелы.

Пришельцев мы насчитали двадцать три. По одежде я сразу определил, что это не англичане и не голландцы. Отплытие пиратского судна несколько их успокоило, но теперь они что-то оживленно обсуждали и даже, казалось, ссорились. Одни кричали, указывая на север, где вырисовывались на горизонте вершины предполагаемого острова Маргарита, другие махали в противоположном направлении, в сторону материка. Нетрудно было догадаться, о чем идет у них спор, и нас несказанно обрадовало, что пришельцы собираются по-

кинуть остров.

Чуть в стороне от группы спорящих в козлах стояло их оружие. Там было десятка два ружей разного калибра и в том числе несколько крупнокалиберных мушкетеров. Жадным взглядом пожирал я это богатство, о котором целый год бесплодно мечтал, и помимо воли стал размышлять, как бы им завладеть.

Вопреки моему утверждению, что я считаю пришельцев своими врагами, в каких-то тайниках моего сознания бродила безумная мысль подойти к ним и поговорить. Давно оторванный от людей своего мира, я, как пустыня влаги, жаждал общения с ними. Меня ужасно занимало, как они отнесутся ко мне. Будь это англичане, я бы ни минуты не сомневался. Но это были не англичане. Их крики, доносившиеся до нашего убежища, рассеяли последние сомнения: это были испанцы. Люди, которых как огня следовало бояться и моим товарищам-индейцам, и мне самому.

Завороженный притягательным видом ружей, я внимательно следил за поведением испанцев и не заметил, что Арнак тихонько толкает меня в бок.

— Ян, — шепнул он наконец, — посмотри туда, на воду!

— На воду?

— Не видишь?

— Вижу две лодки.

— Правильно, две лодки!

Он произнес это таким возбужденным голосом, что я сразу понял ход его мыслей. «Толковый парень этот Арнак, ничего не скажешь!» Пока я пожирал взором соблазнительное оружие, он обдумывал дело куда более важное: как выбраться с острова. У берега были две оснащенные парусами лодки, из которых меньшая словно специально была создана для наших целей. Но как ею завладеть? Наполовину вытащенная из воды на песок, она лежала у самых ног сидевших на берегу людей. Вторая, большая, шлюпка качалась на якоре саженьях в двадцати от берега.

— Лодка бы пригодилась! — проговорил я скорее самому себе, чем товарищам. — Но к ней не подобраться.

День клонился к вечеру. На северо-востоке из-за горизонта над океаном выростала черная грозовая туча. Пора дождей ежедневно одаривала нас обильными ливнями.

Как только испанцы заметили приближение грозы, они очень быстро достали из лодки топоры, тесаки и побежали в заросли. Мы едва успели скрыться. Раздались удары топоров. Вскоре на берегу лежала целая гора жердей и веток, из которых пришельцы соорудили три просторных шалаша. Едва они закончили работу, как первые крупные капли забарабанили по песку и листьям. Испанцы мигом перетасили в укрытие оружие, всякий скарб и укрылись сами.

Наступил вечер. Буря разыгралась вовсю. Море ревело, выл ветер. Лодки остались без присмотра; испанцы не выставили никакой стражи, будучи, очевидно, уверенными, что остров необитаем. Шалаша стояли не далее чем в двадцати шагах от берега, но нам благоприятствовал ливень. В быстро сгущавшемся мраке невозможно было даже на таком небольшом расстоянии рассмотреть, что делается возле лодок.

Мы ждали только наступления полной темноты в надежде, что все обойдется как нельзя лучше. При этих обстоятельствах, когда неосмотрительность

испанцев играла нам на руку, похитить меньшую лодку не составляло особого труда.

Дождь был холодным, и мы основательно продрогли. Медленно ползли минуты. В терпеливом ожидании мы обдумывали, как поступить потом, после похищения лодки.

— Испанцы, — обратился я к товарищам, — не поймут, кто увел у них шлюпку. Буря сотрет все следы. Подумают, что унесло волнами. А что дальше? Вдруг завтра они начнут искать ее по всему берегу?

— Давайте сразу уйдем в море! — предложил Вагура. — Убежим с острова!

— Не болтай ерунды! — осадил его Арнак. — За полночи мы далеко не убежим, а при свете испанцы сразу вас заметят. Да и погода видишь какая?

— Что же делать?

— Сразу выйти в открытое море нам не удастся, — мягко прервал я спор.

— Надо сначала научиться обращаться с парусами и веслами. Значит, придется лодку спрятать...

— Но куда?

— Давайте переведем ее на другой конец острова, — предложил Арнак, — там испанцы искать ее не станут.

— Зачем так далеко? Я думаю, можно перетащить ее вверх по течению нашего ручья и там спрятать в зарослях.

— Правильно! Это лучше всего! — обрадовались индейцы. — Затащим ее в ручей!

— Мне казалось, что испанцы стремятся поскорее выбраться с нашего острова. А если у них не окажется второй лодки, уплывут ли они тогда?

— Уплывут, Ян, уплывут! Поместятся все в большой лодке!

Я в этом был не особенно уверен. Вопрос: уплывут или не уплывут — был для нас едва ли не вопросом жизни и смерти. Если испанцы останутся на острове, они рано или поздно нас обнаружат. Этому надо было воспрепятствовать любой ценой.

— Единственный выход, — заявил я, — переждать в укрытии завтрашний день, а с наступлением ночи сразу же покинуть остров.

Тем временем погода стала меняться неблагоприятным для нас образом. Бури на нашем острове, как я уже упоминал, носили характер сильных, но непродолжительных шквалов. Так и на этот раз — гроза быстро прошла, небо стало очищаться, меж тучами заблестели звезды. После шторма ветер вздымал еще высокие волны, и грохот стоял сильный, но видимость и на земле и на море стала лучше, чем была прежде, в начале ночи.

Мы приступили к осуществлению своего плана. В операции вместе со мной принимал участие только Арнак; Вагура должен был ждать на берегу. Сбросив с себя одежду, в нескольких шагах от шалашей мы вошли в воду, погрузившись по самую шею, и направились вдоль берега, где по дну, а где и вплавь преодолевая глубокие места. Я прихватил с собой охотничий нож и почти весь путь держал его в зубах.

Небо все больше очищалось от туч, и, хотя луны не было, яркий свет звезд позволял нам ориентироваться. Когда впереди замаячили контуры шлюпок, мы удвоили осторожность.

Сначала подобрались к большой лодке, стоявшей на якоре вдали от берега. В ней никого не было, на дне после шторма набралось много воды. В носовой

части возвышалась гряда свернутых парусов. Перебравшись через борт, мы торопливо обшарили всю лодку в поисках чего-нибудь полезного.

— А под парусом? — шепнул я Арнаку. — Пошарь-ка там!

Минуту спустя я услышал радостный возглас.

— О-ей! — ликовал мой юный друг, радостно размахивая в воздухе найденным топором.

— Отлично! Забирай его с собой! — прошептал я. — Сгодится.

Ничего более не обнаружив, мы осторожно соскользнули в воду и повернули к берегу. На мелководье нам пришлось встать на четвереньки и дальше ползком добираться до лодки, лежавшей на берегу.

Издали она казалась нам не особенно большой и тяжелой, но теперь, когда надо было стащить ее с песка на воду, пришлось немало потрудиться. Наконец нам удалось ее сдвинуть.

— Посмотри, есть ли в ней весла и парус! — шепнул я Арнаку.

— Есть, — ответил тот, продолжая толкать лодку.

Мы были так поглощены своим занятием, что совершенно забыли о приближающемся рассвете. И тут я вдруг услышал характерный скрип песка. Повернув голову, я с ужасом увидел приближающегося к нам от шалаша человека. Заметив лодку не на своем месте, испанец на мгновение застыл как вкопанный.

— Каррамба! — закричал он во все горло и еще крикнул несколько испанских слов, а затем одним прыжком, как ягуар, бросился в воду, чтобы удержать уплывающую лодку. Нас, вероятно, он до сих пор не заметил и лез вперед как очумелый. Арнак, изловчившись, хватил его топором по голове. Испанец охнул и без чувств рухнул в воду. Однако поднятый им перед этим крик разбудил людей в шалашах. Они выскочили и мчались теперь к нам.

Не оставалось ничего другого, как бросить лодку и спасаться бегством. Мы нырнули и незаметно быстро отплыли от лодки. Сзади слышались возбужденные голоса испанцев. Отплыв на безопасное расстояние, мы остановились, чтобы посмотреть, что делается в лагере противника. Там разожгли на берегу костер, вытащили на песок лодку, приводили в сознание лежавшего без чувств испанца. Складывалось впечатление, что о нашем существовании там не догадываются.

— Прощай, лодочка! — скрипнул я зубами.

Меня разбирала злость: мало того, что не удалось похитить лодку, так еще вдобавок ко всему я уронил в воду свой охотничий нож, служивший мне верой и правдой.

Вагуру мы нашли в условленном месте, шагах в трехстах от лагеря испанцев. Вместе с ним мы снова подкрались к шалашам и, укрывшись в кустах, стали наблюдать за испанцами.

Оглушенный Арнаком испанец к этому времени пришел в себя, и, как видно, рассказывал своим товарищам ужасающие подробности нападения на него, поскольку в лагере поднялось заметное возбуждение. На большую шлюпку тотчас же выслали двух вооруженных караульных, а меньшую оттащили еще дальше от воды. Опасаясь, видимо, нападения, остаток ночи никто в лагере не спал.

— Пронюхали, собаки! — проговорил Арнак. — Как бы утром они не стали нас искать.

— Побоятся — они же не знают, сколько нас тут.

— И думаешь, оставят нас в покое?

— Конечно.

Все произошло даже лучше, чем я предполагал. Перед рассветом мы заметили в лагере оживленную беготню и испытали немалую радость: испанцы готовились к отплытию. Они лихорадочно носились по берегу и спешили так, словно сам Люцифер наступал им на пятки.

Первые лучи восходящего солнца осветили два развернутых паруса уже далеко на горизонте. Они двигались курсом на север, в сторону острова, который мы считали Маргаритой. С облегчением вздохнув, мы тут же отправились к месту, где недавно лежала на песке лодка, в надежде отыскать мой нож. Нам повезло: Вагура нашел его на мелководе, и я так обрадовался, что обнял и крепко расцеловал парнишку.

Но было бы ошибкой считать, что на этом наши приключения окончились. Оказалось, что вчерашний ливень погасил пожар на испанской бригантине, а буря выбросила ее остов на одну из пяти скал, близ которых произошло морское сражение. Нос корабля, сгоревший дотла, развалился, а корма, казалось, уцелела, хотя из глубины ее все еще валил дым.

В то утро мы занимались обычными делами. Около полудня меня осенила мысль. Поразительно, как она не пришла мне в голову раньше. Остов! На останках бригантины, конечно же, немало крайне нужных нам вещей, быть может, даже доски, молотки и гвозди, с помощью которых можно соорудить неплохую лодку. До остова, торчавшего в полумиле от берега, нетрудно было добраться на нашем плоту.

Сразу же после обеда мы все вместе отправились в путь. С собой взяли топор, нож и несколько пустых корзин. Море было довольно спокойным, и переправа не представляла трудностей.

Из глубины корпуса через все щели валил еще дым, однако кормовые надстройки, высоко торчавшие над водой, казались не слишком пострадавшими.

Мы подплыли к самой палубе. Куда ни глянь, всюду печальные следы опустошения. Однако огонь уничтожил не все. Некоторые балки только обуглились. Паруса, правда, сгорели дотла, но мачты частично уцелели. Да и таке-лаж был уничтожен не полностью.

— Смотри, Ян, сколько здесь всяких канатов! — радовались юноши.

Я не представлял пока себе ясно, чем нам удастся поживиться, но добыча обещала быть богатой.

Привязав плот к мачте, мы вскарабкались на круто накренившуюся палубу и, цепляясь за разные поручни и канаты, добрались до кормы. Огонь как-то пощадил заднюю часть судна, быть может, потому, что путь ему преградили кормовые надстройки из дуба. В них находились каюты, куда можно было заглянуть через иллюминаторы. Но чтобы проникнуть внутрь, пришлось разбивать двери топором. Усилия наши окупились. Здесь, судя по всему, жили офицеры бригантины, и, спасаясь, они почти ничего с собой не взяли. Все это валялось теперь в хаотическом беспорядке и казалось мне после года дикой жизни на острове таким богатством, что я не знал, на чем в первую очередь остановить свой пораженный взор.

Мы радовались и смеялись как дети. Индейцы напяливали на себя всякие одеяния, будто на маскараде, я же надел какой-то парадный мундир, богато

расшитый золотыми галунами, а на голову возложил великолепную шляпу испанского гранда.

— Ты настоящий капитан на параде! — восклицали индейцы, глядя на меня с восхищением и оттенком страха. Им столько довелось претерпеть от людей, носивших такие мундиры, что теперь один вид этой одежды пробуждал в них чувство тревоги.

— Ну хватит дурачиться! — утихомиривал их я. — Раздевайтесь!

— Одежду не возьмем? — в их голосах звучало разочарование.

— Нет. Нам нужны вещи более полезные.

А более полезным было оружие и инструменты. Я нашел пистолет, брошенный в угол, но он оказался неисправным — у него не было курка. Наше внимание привлек мешочек, спрятанный под койкой. Когда я заглянул внутрь, мне стало жарко от охватившего меня волнения: в мешочке оказался порох! Несколько фунтов пороха. Пистолет, спрятанный у меня в пещере, послужит теперь не только для разжигания огня! Нашли мы и большой запас пуль. Давно уже не испытывал я такой радости, как в этот момент. Словно тяжелый камень свалился с моей души. Я знал подлинную цену настоящему огнестрельному оружию — недаром же я был охотником.

И вот новая радость.

Продолжая рыться в каюте, которая, несомненно, принадлежала капитану, я наткнулся на подозрительную трубу. Длинной в полтора фута, она обладала многократным увеличением, и, когда я, наведя резкость, направил ее на остров, листья далеких кокосовых пальм стали видны так отчетливо, словно были на расстоянии полета стрелы. Мои друзья, дотоле никогда не смотревшие в подозрительную трубу, буквально онемели и готовы были верить в колдовские чары. Я от души над ними посмеялся, осторожно уложил трубу в футляр и отдал Вагуре, велел беречь ее как зеницу ока.

В капитанской каюте ничего интересного мы больше не нашли. Зато, вскрыв остальные — а их было четыре, — мы обнаружили в последней настоящий арсенал. Там лежало десятка два ружей самого разного калибра, от изящных нарезных до тяжелых мушкетов, несколько бочонков с порохом и мешки с пулями.

У меня задрожали руки.

— Зачем было им столько оружия? — удивился Арнак.

— Думаю, — высказал я предположение, — что и они тоже были пиратами.

Указав на оружие, я сказал:

— Все это — на плот!

Арнак удивленно вытаращил на меня глаза.

— Все? — спросил он. — Ведь нас только трое!

— Все! — решительно махнул я рукой. — Все до единого ружья.

— Зачем нам столько? Зря будем таскать! Все равно с острова мы все не сможем увезти!

— Неважно! — настаивал я. — Если брать оружие, его надо брать... Понесли!

Должен признаться, оружие было моей слабостью, но что поделаешь, я не был намерен уступать.

Арнак согласился, но выдвинул свое условие:

— Хорошо, Ян, пусть будет по-твоему! Но тогда разреши нам взять на ост-

ров всю одежду!

— Всю? И этот мундир с золотыми галунами?

— Да. И мундир, и шляпу.

Я махнул рукой: ладно, плот у нас вместительный.

Погрузка трофеев заняла немного времени. Я осмотрел палубу, отыскивая доски, пригодные для постройки лодки, но подходящего строительного материала не оказалось. Зато мы вытащили из кают несколько скамеек, столов и стульев и, бросив их в воду, привязали канатом к плоту, чтобы тащить за собой.

На корабле мы пробыли около трех часов. К концу дым, шедший из трюмов, усилился. Он душил нас, глаза слезились. Некоторые участки палубы раскалились от разгоравшегося внизу огня.

Мне хотелось отыскать еще какие-нибудь инструменты, но, кроме топора, ничего не нашлось. Тогда, отчалив от корабля, мы направили свой нагруженный плот в сторону острова. Погода стояла прекрасная. По спокойному морю мы благополучно добрались до берега.

Ночью красное зарево осветило небо над пятью скалами. Огонь вырвался на палубу и пожирал остатки бригантины.

Высадка таинственных людей

Мы продолжили работу там, где ее прервали, встревоженные отголосками морского сражения, — на кукурузном поле. Оставшимся у нас зерном мы старательно засеяли плодородный участок земли у ручья, хотя в душе каждый из нас надеялся, что нам удастся покинуть остров раньше, чем урожай созреет.

Из скамеек и столов, захваченных с бригантины в надежде сколотить из них лодку, ничего не вышло. Нам не хватало необходимых инструментов: пилы, рубанка, молотка, гвоздей, кроме того, строительный материал оказался неподходящим — слишком твердым, и пришлось вернуться к первоначальному варианту — к плоту. Мы несколько раз его переделывали и, выходя в море, проверяли его пригодность. В этой работе у нас был уже некоторый опыт.

Не забывали мы упражняться и в стрельбе. Важно было научить юношей отлично стрелять. За время своей неволи они немало нанюхались пороха и привыкли к грохоту пушек, но никогда не держали в руках оружия. Теперь я быстро научил их заряжать, целиться, стрелять и чистить оружие. Стреляли мы обычно по мишени из двух установленных одна за другой досок от столов. Таким образом, мы сохраняли пули, которые после стрельбы выковыривали из дерева.

После проверки всех ружей два пришлось выбросить как негодные, а из остальных одиннадцати я отобрал три лучших: два легких ружья для юношей и мушкет для себя.

Юным моим друзьям так понравилось стрелять по мишени, что они, дай им волю, только тем бы и занимались, но я вскоре положил конец этому развлечению. Как только индейцы добились того, что без промаха попадали в цель с расстояния в сто шагов, я счел учебу законченной, не желая зря расходовать порох. Из заячьих шкурок мы смастерили себе по два мешочка на дорогу — один для пороха, другой для пуль.

Собственно, ничто больше не мешало нашему выходу в море. Период бурь миновал, погода установилась, наступили жаркие дни, а готовый уже плот

ждал у выхода из ручья. Но нам жалко было расставаться с кукурузным полем. Урожай и на этот раз обещал быть отменным. Еще три-четыре недели, и початки полностью созреют. Мы решили ждать и покинуть остров только после сбора урожая. Как и в прошлом году, поле пришлось охранять. При этом не одна прожорливая птица пала жертвой наших стрел. Я стрелял теперь из лука ничуть не хуже Арнака и Вагуры.

Невероятные и потрясающие события, на много дней нарушившие покой на острове Робинзона, неожиданно обрушились на нас в один из солнечных дней, когда ни одна туча не омрачала голубого неба, а свежий ветерок с моря был полон неги. В тот день утром Вагура отправился в роццу Попугаев посмотреть, не вывелись ли молодые птенцы. Спустя три часа он, задыхаясь, причался обратно с выражением ужаса в глазах.

— Люди... Люди... — заикался он, с трудом переводя дыхание, и как безумный тыкал пальцем куда-то назад, откуда только что прибежал.

— Что «люди»? Какие люди?

— Много людей... Много... Много...

— На море?

— Нет!.. Высадились!

— Далеко отсюда?

Вагура ловил ртом воздух, губы у него дрожали как в лихорадке, и лишь спустя минуту он смог ответить:

— Около леса, где попугаи...

— Сколько их?

— Не знаю. Много... Целая туча!

— Они гнались за тобой?

— Нет.

— А заметили тебя?

— Нет.

— Это хорошо. А кто они? Испанцы?

— Да, испанцы!

— Как ты определил, что это испанцы?

Вагура не смог на это ответить, но продолжал утверждать, что это испанцы.

Внезапно в голову мне пришла мысль, что это, возможно, карательный отряд испанцев с острова Маргарита, посланный против нас. Мы тут же бросились в пещеру за оружием. Три наших ружья были готовы к бою. Восемь остальных мы быстро зарядили и поставили у стены, чтобы иметь под рукой.

Потом мы быстро вскарабкались на холм, но даже с самой вершины и с помощью подзорной трубы нам не удалось обнаружить никаких следов пришельцев. Роцца Попугаев, находившаяся на расстоянии примерно трех миль, скрывалась от нас за мысом, образованным здесь изогнутой линией побережья.

До полудня было еще далеко, а день обещал быть тяжелым и полным неведомых опасностей. Мы решили отправиться навстречу неизвестности, прихватили с собой в путь немного провизии, тщательно проверили ружья, а я еще сунул за пояс заряженный пистолет. Кроме огнестрельного оружия, мы взяли и несколько луков: может случиться, что надо будет стрелять, но не выдавая своего присутствия.

Поначалу я решил оставить Вагуру у пещеры на случай обороны ее от внезапного нападения, но парню это пришлось не по душе, и он совсем приуныл.

— Ты что? Не хочешь оставаться? — удивился я.

— Лучше я пойду с вамп!

— Боишься остаться один? — спросил я раздраженно.

Мой тон его задел.

— Я не трус, Ян, — воскликнул он горячо. — Я не трус.

Я устыдился, что так неосмотрительно задел его честолюбие. Да и что удалось бы ему сделать одному против целой оравы врагов, а вместе с нами он мог бы оказаться полезным.

— Хорошо, Вагура! Пойдешь с нами!

Оставшееся оружие мы на всякий случай спрятали так надежно, что его не нашел бы и сам черт.

Поскольку мы отправились на разведку и не собирались ни на кого нападать, а лишь в худшем случае обороняться, если нападут на нас, тяжелый мушкет был мне ни к чему. Вместо него я взял легкое ружье. Заменяли мы и заряды. Пули вынули, а в ружья набили свинцовую картечь, чтобы в случае нападения поражать сразу нескольких противников.

Молча покидали мы пещеру. Каждый с самого начала был настороже. Шли по опушке зарослей гуськом — первым я, замыкающим Вагура. Часто останавливались, вслушивались в звуки, но, кроме шума морского прибоя и голосов лесных птиц, ничего до нас не доносилось.

Обойдя мыс, мы увидели незваных гостей на расстоянии мили. Я приложил к глазу подзорную трубу. Некоторые из пришельцев лежали на прибрежном песке в тени кокосовых пальм и спали, словно их свалила смертельная усталость. Другие бродили вокруг в поисках, видимо, чего-либо съедобного, а двое-трое забрались на пальмы и рвали орехи. Всего я насчитал около тридцати человек, но могло оказаться, что значительно больше их скрывается в чаще. Поразило меня, что на море не видно было никакого корабля, на котором они сюда приплыли, и только три лодки лежали на берегу.

Я передал подзорную трубу Арнаку, пожав плечами.

— Ослеп я, что ли? Присмотрись-ка получше! Как они сюда попали?

Индеец внимательно всматривался в даль. На его лице было написано удивление, когда он отвел трубу от глаз.

— Корабля не видно! — произнес Арнак. — Может, он высадил их на остров и уплыл?

— Сомневаюсь! Тогда бы у них было не три лодки, а в лучшем случае одна...

— Ты считаешь, что они приплыли на этих трех лодках издалека?

— Трудно сказать! Лодки небольшие, а людей много.

— О-ей, даже парусов нет! На одних веслах плыли. Откуда — вот вопрос?

— Полагаю, с острова Маргарита...

— Значит, это испанцы?!

Все это казалось нам странным и загадочным. Кому могло прийти в голову пускаться в открытое море с таким скудным снаряжением, на таких утлых лодках, к тому же явно перегруженных людьми? Погода, правда, благоприятствовала гребцам, но, случись, что спокойное дотоле море слегка бы вдруг разыгралось, и катастрофы не миновать. Странное легкомыслие!

— А может быть, это индейцы? — вмешался Вагура.

Мы еще раз рассмотрели пришельцев в подзорную трубу. Нет, они не походили на индейцев. Правда, с такого расстояния мы не могли разглядеть их лиц, но на них были — по крайней мере, на некоторых — рубашки или брюки — явное свидетельство того, что это не индейцы: туземцы в этих краях не носили такой одежды. Да и лодки были явно европейского происхождения.

— Ты заметил у них ружья или какое-нибудь другое оружие? — спросил я у Арнака.

— Пока ничего не заметил, — ответил тот.

— Может, у них вообще нет оружия?

— Похоже на то, Ян...

Вдруг Арнак, пристально смотревший в подзорную трубу, издал возглас удивления. Быстро передавая мне трубу, он прошептал:

— Посмотри сам!

Я взглянул. Один из спавших под пальмами встал. Это была женщина. Рядом с ней появилась совсем маленькая фигурка: ребенок. Новая загадка! Что все это значит?!

Как бы там ни было, следовало добраться до сути и установить, зачем они сюда пожаловали.

Не забывая об осторожности, мы двинулись вперед, как и прежде, держась края зарослей. Шагах в пятистах от бивака пришельцев сплошной стеной поднимались громадные кактусы, давая нам отличное укрытие. Мы притаились.

Отсюда открывался прекрасный вид на ручей, впадавший здесь в море, на высокоствольный лес, на рощу Попугаев, зеленевшую чуть дальше от берега, и на лагерь пришельцев, расположившихся тут же за ручьем, на другом его берегу.

Внимательно наблюдая теперь в подзорную трубу за всем происходящим в лагере, я не упускал из виду ни одной мелочи и тотчас же делился своими наблюдениями с друзьями.

— Среди спящих есть женщины и дети...

— Много? — спросил Арнак.

— Немного. Три или четыре — и столько же детей...

— А оружия много?

— Не вижу вообще... О, есть! У одного длинный нож, он сейчас срезает им ветки... Второй ему помогает, у него тоже нож...

— Может, они оружие спрятали?

— Зачем и от кого им прятать оружие на необитаемом острове? Оружие в таких случаях обычно держат под рукой.

Продолжая разглядывать пришельцев в подзорную трубу, я внезапно подскочил от удивления.

— Постойте! Невероятно! Что за странное сборище?! Среди них нет ни одного испанца! Ни одного белого!

— Как это?

— Нет, и все! Там одни индейцы и... негры!

— Негры?!

— Ну да, негры!

Я передал трубу Арнаку. Он подтвердил мое открытие.

— Что заставило их забраться сюда? — задумались мы.

— Во всяком случае, они приплыли из мест, где живут белые, — заявил я.

— Почему ты так думаешь?

— Посмотри, на них жалкие лохмотья, какие носят обычно невольники на плантациях, а кроме того, тут еще и негры! А ведь негры в этих краях не живут.

— Правда.

Присутствие среди пришельцев индейцев вызвало у моих товарищей вполне понятное волнение. Эти индейцы могли оказаться друзьями, по могли принадлежать и к враждебному племени. Рознь между некоторыми племенами так уродливо и глубоко калечила души туземцев, что порой даже жестокое рабство не могло ни вытеснить, ни заглушить у них чувства вражды. Отсюда и беспокойство моих друзей.

Внимательнее рассмотрев бивак, я пришел к выводу, что эти люди прибыли сюда не со злыми намерениями. Они выглядели до предела измученными, подавленными и часто обращали беспокойные взоры на север, туда, откуда, несомненно, прибыли. Они словно боялись, что оттуда им грозит какая-то опасность.

— Они боятся погони! — высказал предположение Арнак.

Такое же впечатление сложилось и у меня.

Один из мужчин, статный и мускулистый, подошел к ручью, напился из пригоршни, потом снял рубашку и стал мыться. Арнак, следивший в подзорную трубу за его движениями, схватил вдруг за плечо Вагуру и прижал трубу к его глазу. Оба возбужденно заговорили между собой по-аравакски, чем-то крайне взволнованные, то с чем-то соглашаясь, то выражая сомнения, то споря; потом снова хватались за подзорную трубу, словно желая еще раз убедиться. Я уловил лишь часто повторяемое слово: Манаури. Их необычайное оживление возбудило мое любопытство.

— Что это за Манаури или как его там? — спросил я.

— О-ей, Ян! — сказал Арнак. — Вон тот, что купается, очень похож на Манаури.

— А кто такой Манаури?

— Манаури — это брат матери Вагуры и один из вождей нашего племени.

— Значит, ваш близкий родич!

— Мы не уверены, что это он. Мне кажется, он, а Вагура сомневается... Мы четыре года не виделись. Можно ошибиться.

— Это не Манаури! — тряс головой Вагура.

— А я думаю, Манаури! Наверняка Манаури, — настаивал на своем Арнак.

Я велел им перестать препираться и сказал:

— Нам очень важно знать точно. Поэтому ныряйте в кусты и подойдите к нему еще на сто шагов, вон туда, к тем зарослям. Может, оттуда его узнаете.

Прихватив подзорную трубу, парни юркнули в кусты и поспешили к ручью. Резвости им было не занимать, и все-таки они не успели. Прежде чем им удалось подойти достаточно близко, индеец вышел из воды, повернулся к ним спиной, надел рубашку и вернулся к своим.

Когда я подошел к юношам, они все еще были взволнованы и не пришли к единому мнению.

В чаще кактусов мы, чуть не касаясь друг друга лбами и не спуская глаз с бивака, стали совещаться, что делать дальше.

Следовало предпринять что-то решительное, ибо пришельцы, как можно

было понять по их поведению, не собирались скоро покинуть остров.

У нас давно уже вошло в обычай перед каждым важным шагом устраивать общий совет. Мнение ребят стоило выслушать, коллектив у нас был сплоченный и дружный, а кроме того, такое уважение к юношам страшно им льстило. Впрочем, они вполне его заслуживали — ведь мне не раз доводилось следовать их на редкость разумным и верным советам, особенно Арнака.

Вот и теперь мы совместно порешили, что лучше будет, если мы сами объявимся пришельцам, до того, как они обнаружат наше присутствие и предпримут какие-либо враждебные по отношению к нам шаги. Эти люди не казались нам опасными, может быть, даже они нуждались в нашей помощи, а возможно, и нам бы пригодилась их помощь, ведь у них было три лодки.

Собираясь выйти из кустов, я положил ружье на землю, не желая пугать людей его видом. Мне достаточно было и пистолета, сунутого за пояс и наполовину скрытого.

— Мы тоже пойдем без ружей? — спросил Арнак.

— Вы не пойдете вообще!

— Как? Что ты говоришь, Ян? Нет, мы тоже пойдем! — попытались возражать юноши.

Я посмотрел на них с чуть иронической улыбкой, что сразу их смутило и несколько охладило их пыл.

— Нам нельзя раскрывать все свои карты.

— Что значит, Ян, «раскрывать карты»?

— Нельзя показывать все наши силы. Сначала пойду я один, и посмотрим, как они поведут себя. Вы — мое войско, останетесь в укрытии до тех пор, пока я не подам знак. Лучше если они не будут о вас знать... Понятно? Вы — мой скрытый резерв. Ну, я пошел!

Чтобы не выдать укрытия Арнака и Вагуры, я сделал в чаще крюк в четверть мили и только потом вышел на берег. Не спеша, будто прогуливаясь, приближался я к биваку. Впереди росли кокосовые пальмы, скрывавшие меня от глаз пришельцев. Потом я вышел на открытое место. С этой стороны пришельцы, вероятно, никого не ждали, и я прошел изрядную часть пути, пока они наконец меня заметили почти у самого устья ручья.

Поднялся страшный переполох! Женщины, крича, бросились врассыпную. На бегу они хватали детей. Мужчины, заметив, что я один, не побежали, а схватились за оружие: кто за ножи, кто за тяжелые дубинки, — и остались стоять каждый на своем месте как вкопанные, пожирая меня взглядом. После паники первых минут наступила зловещая тишина.

Тем же шагом, что и прежде, я шел вперед. Вот и устье ручья. От ближайших мужчин меня отделяло не более тридцати-сорока шагов.

Я сделал дружеский жест рукой и громко поприветствовал мужчин по-английски:

— Welcome! — Привет!

Они не шелохнулись.

— Good day! — Добрый день! — крикнул я и приветливо, во весь рот улыбнулся.

В ответ на мое «Добрый день!» снова глухое молчание.

— Никто из вас не понимает по-английски? — спросил я.

Матрос Вильям научил меня нескольким испанским словам. Я перебрал их

в памяти и крикнул:

— Buenos días! — Добрый день!

С той стороны тишина, ни гугу. По выражению лиц трудно было понять, понимают ли они испанский язык.

Я попробовал еще раз.

— Amigo! — Друг! — Bueno amigo! — Добрый друг!

При этом, ударяя в грудь, я указывал на себя пальцем, дабы не вызывало сомнений, что «добрый друг» — это я и есть.

Но те словно превратились в каменные изваяния. Такого недоброжелательного приема я не ожидал. Неужели их так страшно поразил вид обросшего бродяги, что они оцепенели и лишились дара речи?

Но я не сдавался.

— Amigos! — Друзья! — произнес я и широким жестом обвел их всех, давая тем ясно понять, что всех их Считаю друзьями.

В их толпе раздался кое-где приглушенный шепот, но тут же смолк, и снова никакого ответа.

Я исчерпал уже свой запас и слов и шуток. Что же предпринять еще, чтобы их расшевелить и убедить? Я догадывался, что, судя по бороде, они распознали во мне европейца и этим объяснялось их недоверие.

Оставался еще один способ, но тоже не очень надежный.

— Манаури! — позвал я.

Откуда-то сбоку до меня донесся возглас удивления. Я ухватился за него, как за последнюю соломинку.

— Манаури! — повторил я, произнося имя как можно отчетливее.

— Хо! — ответил рослый индеец, выходя из-за пальмы. Это был тот человек, что недавно купался в ручье.

Волна радости охватила меня. Значит, это земляк моих юношей, родственник Вагуры.

— Манаури? — еще раз повторил я вопросительно, чтобы окончательно убедиться.

— Si, si — Да, да! Манаури! — ответил индеец.

Огромное удивление отражалось на его лице. Я живо представил себе, что творилось в душе этого человека: он бежал вместе с другими на необитаемый остров, и вдруг тут перед ним вырастает призрак незнакомого бородатого мужчины, европейца, которого он никогда в жизни в глаза не видел, и обращается к нему по имени!

Манаури с застывшим на лице выражением удивления собирался приблизиться ко мне, но тут к нему вдруг подбежал огромный негр и остановил его. Негр что-то возмущенно доказывал индейцу, грозно показывая в мою сторону. Он явно предостерегал его.

Манаури был высокого роста, но негр возвышался над ним еще на полголовы. Это был настоящий гигант: на широких плечах и выпуклой груди его играли мощные узлы мышц. Как мне удалось рассмотреть издали, у него были живые пронзительные глаза, резкие движения и властная, повелительная манера держаться. Вероятно, это был вождь.

Разговор между Манаури и негром носил бурный характер. Они спорили: негр — резко, Манаури — сдержанно. Я чувствовал, что негр пытается задержать индейца, а тот хочет подойти ко мне и поговорить.

— Манаури, amigo! — кричал я во всю глотку индейцу, рассчитывая, что он не поддастся уговорам негра — Amigo Манаури!

Но тут я заметил, что негр отдал какое-то распоряжение и несколько человек бросились в заросли явно с целью отрезать мне путь к отступлению. Поняв их намерение, я голосом, движением рук и головы выразил протест, а потом бросился бежать. Преследователи отставали от меня шагов на сто.

Я повернулся к ним и попытался дать понять, чтобы они оставили меня в покое, но они лишь прибавили скорость. Их было шестеро или семеро. Если они наконец не опомнятся, будет скверно: прольется кровь, их кровь.

Направляясь к группе кактусов, за которыми укрывались мои товарищи, я еще издали стал кричать:

— Арнак! Вагура! Выходите... С ружьями! Покажите им ружья!

Все сейчас зависело от того, насколько правильно поймут меня друзья и проявят расторопность. От этого зависела жизнь и семи моих преследователей, а если прольется их кровь, то и наша жизнь!

К счастью, все обошлось благополучно. Юноши правильно оценили происходящее. Они выскочили из укрытия, не только грозно размахивая ружьями, но и крича так пронзительно, что могли бы нагнать страх и на более многочисленного противника.

Когда я подбежал к ним, Арнак бросил мне в руки приготовленное ружье и крикнул:

— Они испугались! Отступили!

Появление на сцене ружей, как и следовало ожидать, выполнило свою задачу — преследователям расхотелось рисковать. Они пустились наутек и скрылись в зарослях.

Кружа и путая, насколько было возможно, следы, мы вернулись в пещеру. Солнце уже пересекло зенит. В этот день мы не ждали непрошенных визитеров, плотно поужинали, а я принялся точить на камне охотничий нож, решив попытаться сбрить свою бороду и хоть как-то привести в порядок прическу.

После долгих трудов и непередаваемых мучений с помощью ребят мне кое-как удалось принять человеческое обличье.

При виде моего лица индейцы прыснули веселым смехом. Я никогда еще не видел их столь веселыми. Даже всегда мрачный Арнак развеселился. Они были уверены, что вскоре независимо от злой или доброй воли огромного негра встретятся со своим сородичем Манаури, и это вселяло в них радость и располагало к шуткам.

— Ты стал не таким красивым, — с притворным сожалением заметил Вагура, — не похож теперь на тигра!

— Зато он больше понравится им! — подхватил Арнак.

— Кому?

— Ну тем женщинам! Ты что, разве их не заметил?

Я добродушно посмеивался. Но шутки шутками, а нам следовало спрятать все ценнейшие вещи на тот случай, если пришельцы появятся здесь в наше отсутствие. Оба плота мы перевели в укрытие, где густые ветви смыкались над ручьем непроницаемым шатром. Запасные ружья закопали в углу пещеры под копной сена. Что можно было, спрятали в ближайших зарослях и даже привязали там несколько живых черепах, остававшихся еще в нашем хозяйстве.

Спокойные теперь за свое имущество, мы снова отправились в путь, к биваку пришельцев. Солнце уже заходило, когда мы добрались до места.

На этот раз в укрытии остался я с двумя ружьями под рукой, а мои товарищи направились в лагерь. Для острастки они взяли с собой ружья, но оба неисправные, да к тому же и незаряженные: если бы ребят схватили и отняли у них оружие, оно не сослужило бы службы против нас.

Перед расставанием я дал моим юным друзьям последние напутствия:

— Идите и поговорите с Манаури! Ни за что на свете не выдавайте, сколько нас. Даже Манаури не должен этого знать.

— А если спросят?

— Скажите, что я запретил вам говорить, — и конец! Не рассказывайте и сколько у нас оружия!.. Убедите Манаури и великана негра, что я надежный человек, хорошо отношусь и к индейцам и к неграм и с радостью им помогу, если они нуждаются в моей помощи.

— Так и скажем, Ян! — заверил меня Арнак. — Все это чистая правда. А если негр надумает нас убить?

— Это маловероятно, все-таки там Манаури. Но если он станет угрожать, скажите, что я нахожусь поблизости в засаде, и прежде чем он успеет причинить вам зло, я всажу ему пулю в лоб. Стоит вам только крикнуть...

— Ладно, Ян! Мы будем держаться возле костра, чтобы тебе лучше было нас видно.

— Отлично!.. Если что-нибудь случится, я буду защищать вас как самого себя. Я уже говорил вам, что никогда не оставлю вас в беде.

— Мы помним об этом, Ян!

Они пошли. Тьма густела, и я смог прокрасться вслед за ними почти до самого берега ручья, где и залег в кустах. Бивак находился от меня в нескольких десятках шагов, и я не только слышал громкую речь, но и видел все там происходящее, несмотря на ночь, так как в центре лагеря горели два костра.

Вскоре до меня донеслись громкие отрывистые голоса. Это в лагере появились юноши. Я видел, как они шли к костру и как вокруг них собиралась толпа.

Из-за сутолоки трудно было рассмотреть, что с ними происходит: толпа загораживала их от меня. Я осмотрелся. В нескольких шагах от меня наклонно росла кокосовая пальма. Босиком я легко на нее взобрался и сверху отлично видел весь лагерь. Юноши стояли у костра, как мы и условились. Нас разделяло шагов восемьдесят — расстояние порядочное для стрельбы ночью. Одно ружье я взял с собой наверх, а второе положил на землю возле ствола.

Я видел Манаури, понял, что он узнал юношей и радостно их приветствовал. Сердечно обнимали их и другие индейцы, очевидно, из их же племени. Стоявшие рядом негры выражали не меньшую радость, и даже на голову возвышавшийся надо всеми великан приветливо встретил юных гостей. У меня отлегло от души, и я с надеждой ожидал дальнейшего развития событий.

Арнак предложил окружающим сесть, и те охотно расселись вокруг костра. Стоять остались только он, Вагура, Манаури и негр-великан.

«Молодчина», — отдал я должное сообразительности юного индейца, поняв, что он намеренно усадил прибывших, чтобы я лучше мог видеть все происходящее.

Разговор у костра, затянувшийся до глубокой ночи, был бурным и, как вид-

но, нелегким.

Наконец там о чем-то договорились, наступило заметное оживление, и Арнак направился в мою сторону, по дороге окликаая меня.

Я отозвался. Подойдя, Арнак кратко обрисовал положение:

— Все в порядке, Ян! Индейцы верят тебе. Негры тоже, но...

— Что «но»?

— Они боятся всех белых. Но мы их убедили.

— Ты уверен?

— Пожалуй.

— А зачем они сюда приплыли? Что говорит Манаури?

— На севере действительно остров Маргарита, мы не ошиблись. Там много негров и индейцев живет в страшном рабстве. Недавно были волнения. Рабы восстали против испанцев. Но их разгромили и теперь жестоко карают, убивают, вешают. Нашим удалось похитить три лодки и ночью тайком уплыть. Через два дня они добрались до нашего острова.

— И что они собираются делать дальше?

— Бежать на материк, а до того немного передохнуть и запастись едой. У них мало пищи...

— Значит, они пробудут здесь несколько дней?

— Ну да.

— И не боятся погони?

— Они бежали ночью, никто их не видел. Пока погони нет. Им кажется, что все обойдется и они сумеют добраться до материка.

— А что они знают о течении?

— Об этом мы не говорили.

Закинув ружье за спину, я последовал за Арнаком. Мы перебрались через ручей и направились прямо к костру.

— Buena noche! — Добрый вечер! — приветствовал меня Манаури.

— Buena noche! — ответил я и, приблизившись, протянул ему руку.

Мы обменялись крепким рукопожатием. Манаури было лет сорок, его спокойное, умное лицо невольно вызывало чувство уважения. На его улыбку я ответил такой же открытой улыбкой.

Вокруг костра стояло несколько индейцев и негров. Я поочередно подходил к каждому и приветствовал его пожатием руки. Негр-великан, стоявший чуть в стороне, хотел было незаметно отойти, но я протянул ему руку и произнес:

— Buena noche, amigo!

Все смотрели на нас, и волей-неволей ему пришлось протянуть мне руку в ответ. С удивлением я отметил, что негр довольно молод, самое большее лет двадцати пяти и, значит, чуть моложе меня.

— Amigos! — обратился я к присутствующим и перешел на английский язык. — Я попал на остров год назад и сердечно вас приветствую. Я готов оказать вам посильную помощь в обретении полной свободы...

Обращение сразу ко всем присутствовавшим оказалось делом непростым: сначала Арнак переводил мой английский на аравакский язык, а потом Манаури с аравакского на испанский.

Индейцы встретили мои слова с нескрываемой радостью, а Матео, так звали негра-великана, лишь сдержанно поблагодарил.

— Давайте обсудим план дальнейших действий, — предложил я, присажив-

ваясь к костру. — В восточной части острова у нас есть жилище, и мы приглашаем всех быть нашими гостями. День-два отдохнете, а затем решим, что делать дальше.

Я ожидал проявлений радости и благодарности, И действительно, Манаури, прижимая руку к груди, сказал, что араваки охотно принимают мое предложение. Они знают, что я хорошо знаком с островом, и во всем будут следовать моим советам и указаниям. Зато негр-великан Матео явно колебался. В глазах его читались сомнения и неуверенность. Затем он встал и, сказав, что должен посоветоваться со своими людьми, направился к пальмам, где расположилась группа негров.

У костра воцарилось молчание. Отсутствовал Матео довольно долго. Из-под пальм доносились возбужденные голоса. Потом они стихли, и в кругу света, отбрасываемого костром, появилась фигура Матео. Теперь он был спокоен и решителен.

— Мы благодарим белого человека за гостеприимство, но не можем им воспользоваться. Мы разобьем свой лагерь в западной части острова. Так мы решили.

Я понял, что спорить бесполезно.

— А ты, Манаури? — повернулся я к индейцу.

— Слово аравака — твердое слово. Мы пойдем с тобой.

Светало. Четче обозначился горизонт. Я поднялся на ближайшую дюну и осмотрел океан. Кругом, куда ни кинь взгляд, пустынный простор. Погони не было.

В большую лодку индейцев уместилось одиннадцать человек — женщины с детьми и шесть гребцов. Остальные вместе с нами пошли пешком. Матео на двух лодках собирался со своей группой обогнуть остров с севера, но я попытался ему отсоветовать: путь с противоположной, восточной и южной, стороны был несколько короче, а главное, безопасней на случай погони, которая может появиться с севера, со стороны острова Маргарита. Но Матео лишь упрямо качал головой и повторял, что все равно поплывет с северной стороны.

Когда женщины садились в лодку, мне показали жену Матео. Это была молоденькая и необычайно красивая индианка, державшая на руках годовалого малыша. Матео с удивительной заботливостью, какой я никак не мог в нем предположить, взял у нее из рук ребенка и помог ей сесть в лодку. Взгляд его, когда он смотрел на жену и ребенка, был полон любви и нежности. Я не мог надивиться.

Манаури подошел ко мне с вопросом, не следует ли уничтожить следы бивака.

— Конечно, — согласился я.

С помощью веток все мы за десять минут навели порядок.

Когда чуть позже мы шли уже вдоль берега к пещере и я взглянул на море, то увидел, что не только большая лодка индейцев, но и обе лодки с неграми плыли на юг. Значит, Матео прислушался все-таки к моему совету.

«Странный человек!» — подумал я.

Тень с острова Маргарита

Всю предыдущую ночь мы не спали, но отдыхать было некогда. Предстояло немало дел. Накормить двадцать шесть ртов в наших условиях — дело

нешуточное.

Как только мы совместными усилиями переправили тяжелую лодку вверх по течению ручья во время прилива и надежно укрыли ее в кустах, я поспешил на кукурузное поле, оставшееся со вчерашнего утра без надзора. Со мной был и Манаури, перед которым мне хотелось похвастаться нашим урожаем.

Как и следовало ожидать, множество попугаев сидело на дозревающих початках, и проказники с удовольствием склевывали спелые зерна. На земле лакомилась стая черных птиц, похожих на кур. Я собрался было распугать обжор, но Манаури остановил меня.

— Устроим охоту, — шепнул он мне по-испански.

— Верно, — согласился я.

Не выходя из зарослей, мы повернули обратно и побежали к пещере. Каждый вооружился чем попало: кто схватил лук и стрелы, кто палку или дубинку, а кто и нож. Охотники цепочкой расположились по опушке леса, вокруг поля, загонщики пошли со стороны ручья. Нам редкостно повезло. Из попугаев, с криком взмывших в воздух, жертвами наших стрел пали только две птицы. Зато кур, бежавших по земле, мы сумели добыть не меньше десятка. Все это сопровождалось веселыми криками и смехом. Такой успех мы сочли за доброе предзнаменование.

Женщины тут же занялись приготовлением птицы и вскоре подали нам роскошный завтрак. За едой мы не тратили времени даром и обсуждали, как лучше распределить между всеми предстоящую работу. Решили так: две группы охотников, одна под предводительством Арнака, другая — Вагуры, немедля отправятся к озеру Изобилия, в глубь острова на север, к роще Попугаев; два рыбака, вооруженных копьями, выйдут на плоту в море на рыбную ловлю к скалам, у которых сторела испанская бригантина; самый старший, пятидесятилетний индеец, останется в лагере и вместе с женщинами займется постройкой шалашей; лучший лучник будет сторожить кукурузное поле; индеец, занимавшийся на острове Маргарита плотничеством, расширит второй плот и сделает к нему новые весла, а я... Меня больше всего волновал вопрос безопасности и защиты от возможного нападения. Пусть даже с Маргариты не будет погони, все равно высадка на Южноамериканский материк, захваченный испанцами, потребует большой осмотрительности. В запасе у нас было восемь исправных ружей. Бесценное это богатство следовало разумно использовать. Восемь ружей в надежных руках, а вместе с нашими одиннадцать — это в тех условиях большая огневая сила. Надо только суметь ее обеспечить — научить людей стрелять. Я обратился к Арнаку:

— Спроси у них, кто умеет обращаться с огнестрельным оружием!

Не все сразу поняли мой вопрос.

— Кто раньше стрелял из ружья? — более понятно поставил я вопрос.

Назвались трое.

— Вы умеете обращаться с оружием? Заряжать, целиться, чистить?

— Умеем.

— Мне нужно еще пятерых, которых я научу стрелять. Кто хочет?

Вызвались все. Все горели желанием овладеть этой наукой. Стать обладателем ружья было мечтой индейца. Манаури отобрал четверых, сам был пятым.

Поскольку я считал важным, не теряя времени, взяться за дело, пришлось изменить состав ранее предложенных групп, главным образом охотничьих.

Когда все разошлись, я с восемью учениками остался неподалеку от пещеры.

Меня поражал энтузиазм индейцев. Зная беспечную леность некоторых северных племен, немало наслушавшись рассказней о сонливых туземцах Южной Америки, я не переставал дивиться усердию моих новых товарищей. Передо мной открывался какой-то совершенно новый, прежде неведомый мне человек.

Трудно было предположить, что ужасы рабства, выпавшие на долю этих людей, могли привести к столь разительным переменам их натуры. Рабство у жестокосердых испанцев могло скорее уничтожить в человеке все человеческое, превратить его в ничтожество. Здесь же наблюдалось нечто совершенно противоположное: жажда свободы — непобедимая сила человеческого духа. Эти люди хотели обрести свободу — вот отчего они не знали усталости, а глаза их горели неукротимым огнем. Они узрели путь к свободе, им виделось светлое завтра, и это вселяло в них энтузиазм, делало их сильными и смелыми.

И как в тот раз, когда я лежал, изодранный когтями ягуара, и думал об Арнаке и Вагуре, так и теперь я вновь вспомнил своих северных соплеменников. И снова меня охватило горькое чувство досады. Сколько же там людей, одержимых ненавистью к индейцам, и притом не только среди яростных пуритан! О, если бы эти слепцы оказались на моем месте и увидели индейцев Манаури, стремящихся к свободе!

В ходе учебы особое внимание я уделял умению быстро заряжать ружье, целиться и сохранять на полке порох сухим. Лишь после этого мы приступили к самой стрельбе. Каждому я позволял стрелять два раза, сначала с небольшой порцией пороха, чтобы не пугать стрелка звуком выстрела, а потом с нормальным зарядом. Ученики оказались прилежными и через несколько часов муштры кое-что усвоили. Их нельзя было считать еще отборными стрелками, но под надзором стрелять они уже могли.

— Будем ежедневно заниматься хотя бы по часу, но без стрельбы. Надо экономить порох! — пояснил я.

До захода солнца оставалось еще несколько часов, и Манаури с двумя своими людьми отправился в лес нарезать веток и лиан для луков и тростника для стрел. Я был этому рад, поскольку луки оставались все-таки основным оружием нашей группы и их не мешало иметь побольше и хорошего качества.

Находясь весь день вблизи пещеры, я чуть ли не каждый час поднимался на вершину нашего холма или посылал туда кого-нибудь из оказавшихся под рукой. Море сверкало приветливо и безмятежно: на огромном пространстве ничего тревожного. Я старался соблюдать все меры предосторожности, чувствуя себя ответственным за судьбы этих людей и как старожил острова, и как честный человек, которому они без колебания вверили свои жизни.

К вечеру охотники стали возвращаться. Добычу несли самую разную: были здесь и зайцы, и птицы, и ящерицы, и даже змеи. Ягод и фруктов принесли несколько корзин, хотя последних, к сожалению, у нас было маловато. Особым лакомством почитались макушки некоторых пальм, срезанные выше одеревеневшей части ствола; и впрямь, в вареном виде они пришлись мне очень по вкусу.

Рыбаки, выходившие в море к Пяти скалам, рыбы наловили, но немного, всего несколько штук. Зато им пришлось пережить волнующие минуты схватки с тюленем или каким-то подобным существом: еще немного — и они

принесли бы в лагерь гору мяса. Но в последний момент раненное копьём животное сорвалось и скрылось под водой.

За ужином мы обсудили план на следующий день и решили выставить постоянный дозор на вершине холма, а кроме охотничьих групп, выслать на западный берег острова плот с несколькими людьми для отлова черепах. Заодно они посмотрят, как устроился Матео со своими людьми.

Мне интересно было узнать подробности о жизни на острове Маргарита. Индейцы рассказали, что там много испанцев, владеющих плантациями, но живущих в основном за счет ловли жемчуга. У берегов острова скалистое дно, на котором селятся особые раковины, образующие жемчуг — редкость, несущую радость избранным и горе угнетенным. Далеко не каждая раковина содержит жемчужину, и надо достать их сотни со дна моря, чтобы напасть на одну с драгоценным плодом.

В качестве ныряльщиков используются исключительно рабы. Труд этот настолько тяжел, что даже самые сильные и выносливые через год погибают от разрыва легких. Ныряльщик в этих условиях приговорен к неизбежной смерти, а недолгая его жизнь — сплошное мучение. Из-за высокой смертности рабов испанцы на Маргарите постоянно испытывают в них недостаток и систематически устраивают охоту на людей на берегах островов Карибского моря, а известных своей силой негров покупают за бешеные деньги где придется. При всем этом испанцы одержимы каким-то бесом жестокости. Они издеваются над рабами на каждом шагу, при любой возможности. Изощренные пытки доставляют им садистское наслаждение.

Когда индейцы рассказали мне все это, на лице у меня, видимо, отразилось сомнение. Они заметили его и тут же стали показывать свои раны, спины с рубцами от плеток, руки с обрубленными пальцами, глубокие язвы на ногах, руках и груди. Где их только не было...

Впервые я так непосредственно столкнулся с чудовищным миром рабства. Рабство существовало и на севере; надо сказать, и в моей Вирджинии одни притесняли и угнетали других, но я не видел этого собственными глазами. Живя в лесах далеко на западе среди вольных поселенцев, я прежде нечасто над этим задумывался. Теперь же меня словно поразило громом. Я смотрел на этих людей, и в голове моей не укладывалось, что для других они служили исключительно рабочим скотом и безжалостно обрекались на гибель по чьей-то злой воле.

В этот вечер у костра на своем острове Робинзона я впервые в жизни болезненно ощутил всю несправедливость, царящую в мире людей. Как можно было ее терпеть?

— Хочешь послушать, — обратился ко мне Манаури, — как погиб брат Матео?

— Расскажи.

Брат Матео был ловцом жемчуга и работал у самого богатого на острове испанца дона Родригеса, одно имя которого вселяло в сердца людей ужас. Хозяин требовал добывать со дна моря все больше раковин, но ловец не мог — он проработал десять месяцев, и силы его были на исходе. Хозяин, видя, что многого от него не добьешься, и стремясь запугать других ловцов, приговорил его к смерти. Приговор исполнить должны были собаки. На Маргарите во множестве содержались огромные, специально обученные собаки. В день казни дон

Родригес пригласил нескольких своих приятелей-испанцев, согнал всех своих рабов, даже маленьких детей, и устроил кровавое зрелище. На специальной арене на приговоренного натравили огромного пса. Брат Матео отбивался как мог — хотя и он, и все остальные знали, что минуты его сочтены, — и держался на ногах, защищая свое горло. Когда испанцы вдоволь насладились ужасом и отчаянной борьбой негра, хозяин велел спустить второго пса. Против двух собак негр устоять не смог. Пока он отбивался от первого пса, второй набросился на него, повалил на землю и разорвал горло. Это были страшные псы, такие же, как и их хозяева.

— Идите отдыхать! — предложил я индейцам в наступившей тишине. — Завтра нам предстоит много работы... И знайте — здесь вы в полной безопасности! Спите спокойно!

Пожелав им спокойного сна, сам я долго ворочался, прежде чем смог уснуть. Горькие минуты, которые я пережил, очевидно, повлияли на нервы.

Знак хищного грифа

Наутро, едва рассвело, все были на ногах, и, наспех позавтракав, каждый отправился по своим делам. Я пошел посмотреть на кукурузное поле, как вдруг ко мне примчался индеец, стоявший в дозоре на верху холма, и, задыхаясь, стал что-то торопливо объяснять, указывая на север.

— *Nispanos! Nispanos!* — только и понял я, но и этого было достаточно.

Я бегом бросился к лагерю и в один миг взобрался в сопровождении индейца на вершину холма.

— Там, — показал индеец рукой.

С севера приближался корабль. Он был еще в десяти-двенадцати милях от нас, но курс держал прямо на остров и через два-три часа мог оказаться здесь. Это была, как я определил, двухмачтовая шхуна под двумя парусами — судно, значительно меньшее по размерам, чем распространенные в этих водах бригантины, и очень быстроходное.

— Собрать всех людей! Вернуть охотников! — крикнул я индейцу, забыв, что это не Арнак и не Вагура, знавшие английский.

В лагере оставалось четверо взрослых: индеец, сообщивший мне о корабле, две женщины и я. Охотники отправились четыремя группами, и каждую следовало предупредить. Арнак повел людей в глубь острова, к озеру Изобилия, Вагура на север — в район рощи Попугаев, Манаури на плоту отплыл на юг за черепахами, а рыбаки на втором плоту снова отправились к Пяти скалам. Жестами, показывая руками и называя имена, я растолковал, кто за кем должен бежать, а сам отправился за Арнаком. Охотники покинули лагерь четверть часа назад, и мы надеялись быстро их нагнать. К сожалению, рыбаки ушли намного раньше и давно уже ловили рыбу у Пяти скал.

Мы двинулись каждый в своем направлении. Обе женщины были сравнительно молоды и здоровы, и на них вполне можно было положиться. Спустя примерно час одна из них привела группу Вагуры, а другая — Манаури, который плыл недалеко от берега и вовремя заметил женщину, подававшую ему знаки. Пока они тщательно укрывали в зарослях плот, вернулся и я с группой Арнака.

— Рыбаков еще нет! — заметил я с беспокойством.

К ним отправился индеец, дежуривший на холме. Он был хорошим плов-

цом, как дал понять мне жестами, и обещал быстро вплавь добраться до Пяти скал.

На приближавшемся корабле наверняка имелась подзорная труба, поэтому я запретил кому бы то ни было показываться на берегу и вообще на открытых местах. Особенно это касалось дозорных на холме. Костры были погашены.

Я осмотрел оружие. Как я был рад, что накануне успел ознакомить с ружьями нескольких индейцев и хоть немного научить их стрелять. Теперь каждому из них я вручил по ружью, причем те, кто посильнее, получили тяжелые мушкеты. Раздав порох и пули на десять выстрелов, я приказал зарядить ружья и предупредил, что каждый должен беречь свое оружие и снаряжение как зеницу ока.

— Рыбаки еще не вернулись? — спросил я.

— Нет.

Не было сомнений, что шхуну интересовал именно наш остров. Она приблизилась на четверть мили к берегу и на этом небольшом удалении дрейфовала вдоль восточного побережья. Укрывшись за валунами на склоне холма, мы прекрасно ее видели.

— Они подплывают к Пяти скалам, — шепнул Арнак.

— Смотрите! — воскликнул я. — Они спустили главный парус.

— Похоже, хотят причалить, — выдохнул Вагура.

— Похоже! — ответил я.

Нет, они не причалили, но сбавили ход. Видимо, им хотелось внимательно, не торопясь рассмотреть остров. Наведя на судно подзорную трубу, я различил у борта группу людей, у одного из них в руках тоже была подзорная труба. Да, сомнений не оставалось — это были испанцы с Маргариты, отправившиеся в погоню за беглыми рабами. Я постарался их пересчитать: человек пятнадцать.

Не подавая вида, в душе я содрогнулся. Полтора десятка до зубов вооруженных испанцев, да еще, возможно, со сворой злобных псов, легко могли одолеть нашу группу, хоть и более многочисленную, но зато гораздо хуже вооруженную. Теперь я уже не возлагал такой, как прежде, надежды на наших свежеепеченных стрелков, и, кто знает, не надежней ли в этой ситуации был бы в их руках простой лук. Своими опасениями я поделился с находившимися рядом Манаури, Арнаком и Вагурой.

— Я думаю, — возразил Арнак, — что те трое, что раньше уже стреляли, нас не подведут.

— А остальные?

— Не знаю.

— А ты что думаешь, Манаури?

— С тремя все в порядке, а другие — трудно сказать.

— Хорошо, в таком случае надо всем им дать, кроме ружей, еще и луки.

— Из луков все хорошо стреляют, — сказал Манаури.

— А может, сделаем так: стрелять будем только мы шестером — те трое, Арнак, Вагура и я, а трое других будут лишь заряжать ружья и подавать нам?

— Так и правда лучше! — согласились они.

Корабль тем временем миновал Пять скал и медленно приближался к нам. Второй, неспущенный парус все явственнее вырисовывался на фоне лазурного океана. Белизной он напоминал голубя, но при столь неподходящем сравнении я содрогнулся, и горестная улыбка тронула мои губы: это не знак голу-

бя, а знак хищного грифа — олицетворение притаившейся смерти, призрак кровожадных угнетателей! Корабль плыл медленно. Он словно крался, и в этом таилось столько глухой угрозы, что невольно пробирала дрожь.

— У них могут быть собаки! — сказал я. — Сколько у нас отравленных стрел?

— Около тридцати.

— Яд на них не испортился?

— Неизвестно. Надо проверить.

Минуту спустя Арнак добавил с особой интонацией в голосе:

— У них могут быть собаки, но сами они хуже собак!

— И что?

— Нужно убить их, иначе они убьют нас.

Шхуна находилась теперь напротив холма, все в той же четверти мили от берега и примерно в полумиле от нас. Благодаря подзорной трубе ни одна мелочь на палубе не ускользнула от моего внимания. Я проверил еще раз: испанцев было пятнадцать. Собак я не видел, если они и были, то где-то в трюме. Все испанцы сгруппировались на палубе и по-прежнему не спускали глаз с острова. По их неторопливым движениям я заключил, что ничего подозрительного они не заметили и вообще не собирались приставать к берегу.

По мере движения корабля на юг отлегло от сердца и у нас. Мы спустились вниз, оставив наверху только двух наиболее зорких индейцев. Каждый час они должны были доставлять нам донесения.

Яд на стрелах не потерял своей силы: слегка раненный заяц через несколько минут был мертв.

Вернулись наконец рыбаки и посланный к ним индеец. Их рассказ возбудил беспокойство. Корабль они заметили поздно, когда он был уже в полумиле от скал. Они тут же бросились наутек. Но, чтобы их не обнаружили, плыли возле плота, пряча за ним головы и слегка его подталкивая. Таким образом они добрались до берега, спрятали плот и укрылись сами среди прибрежных скал.

— Вы безмозглые растяпы, — обрушился Манаури на рыбаков. — Как вы могли так близко подпустить к себе врагов?! Они заметили вас? Плот не щепка, его далеко видно!

— Нет, не заметили. На Пяти скалах много водорослей. Мы забросали ими плот, и он стал похож на плавучий островок... Они не заметили нас.

Перед лицом опасности в индейцах пробудился воинственный пыл, проснулся дремавший дух воинов. Единый порыв вступить в бой с ненавистным врагом охватил весь лагерь.

Три группы охотников сами собой преобразовались в три отряда воинов под предводительством Манаури, Арнака и Вагуры.

А шхуна тем временем шла все дальше на юг. Однако, достигнув юго-восточной оконечности острова, она не повернула на запад, как мы надеялись, а отдалилась от берега и под полными парусами направилась в открытое море, сначала на восток, потом на юг, в сторону материка.

— Кружит, как гриф! — заметил я. — Ищет теперь беглецов в море.

— Не найдут там и, может, оставят нас в покое, вернуться на Маргариту, — оживился Манаури.

Тщетная надежда! Корабль, убедившись, что море пустынно, вновь напра-

вился к нашему острову и стал обследовать южное его побережье с того места, от которого ушел в море. Стало ясно, что испанцы намерены обогнуть весь остров.

День клонился к вечеру. До темноты оставалось около двух часов.

Шхуна шла теперь курсом на восток, а значит, туда, где Матео и его люди расположились лагерем на берегу моря. Их не предостерегли, а сами они не могли, конечно, заметить корабля, поскольку он шел вдоль восточной стороны острова.

Манаури полностью разделял мое беспокойство.

— Надо их предупредить, — заявил он коротко.

Всесторонне взвесив положение группы Матео, я встревожился не на шутку. Приблизительно мы знали, где он расположился, ибо Арнак подробно описал ему Черепаший мыс. Там был источник пресной воды — ручей, впадавший в небольшой залив. У этого залива, безусловно, и расположилась группа Матео. Но разве испанцы, проплывая мимо, не могут заглянуть именно в это укрытие и обнаружить негритянские лодки?

— Идем сейчас же! — заторопился я. — Нельзя терять ни минуты! Надо предупредить Матео.

— Идем! Кто пойдет? — спросил Арнак.

Эхо далеких выстрелов

До тех пор, пока испанская шхуна будет плыть по другую сторону острова, наш лагерь в безопасности. Здесь достаточно оставить небольшой отряд. Но на западе, заметь испанцы беглецов, дело может дойти до стычки. Там нужны будут наши силы.

На поспешно собранном совете, в котором приняли участие все мужчины, я предложил созревший у меня план действий. Суть его состояла в том, что Манаури с отрядом, вооруженным тремя ружьями, останется на месте, а Вагура и Арнак со своими людьми пойдут со мной на запад. Форсированным маршем я надеялся за ночь добраться до Матео прежде, чем это удастся испанцам, которые с наступлением темноты наверняка станут на якорь.

Но с этим планом не согласился Манаури. Человек смелый, честолюбивый и деятельный, в расцвете сил, один из вождей своего племени, он не хотел оставаться в тылу, когда предстояло решение столь важных дел.

— Там будет бой, ты сам говорил, — обиженно произнес он, — а ты хочешь, чтобы я сидел в лагере с женщинами и детьми.

Я понял ненароком допущенную бестактность и нанесенную воину обиду.

— Прости меня, Манаури! Возможно, там будет бой, но, может, и нет! Я надеюсь, нам удастся своевременно предупредить Матео и укрыть его лодки. В то же время у испанцев очень быстроходный корабль, и они могут вернуться сюда раньше нас. Женщины и дети не могут оставаться без защиты.

— Зачем испанцам возвращаться сюда, в наш лагерь?

— Манаури, ты хорошо слышал, что говорили рыбаки сегодня утром? Корабль подошел к ним у Пяти скал на полмили, прежде чем они его заметили и скрылись. А что, если испанцы их видели? Они могли не пуститься за ними в погоню, решив отыскать сначала всех беглецов. Не найдя их, разве они не могут опять вернуться сюда? Ну ладно, не будем об этом... Хорошо, Манаури, ты пойдешь с нами, но кого-то оставить здесь все-таки надо.

Манаури с удовлетворением принял мои объяснения и обратился к своим

людям с вопросом, кто добровольно хочет остаться в лагере. Не вызвался никто, все хотели идти. Тогда Манаури сам назначил четырех человек, и среди них двоих с ружьями. Его уважали и не ослушались.

Я выделил стрелкам по двадцать зарядов на ружье, провизии мы взяли на два дня и, не задерживаясь более, двинулись в путь. Ружья и отравленные стрелы равномерно распределили по всем трем отрядам.

Ускоренным шагом, чуть не бегом, двинулись мы вдоль берега моря цепочкой, след в след, по индейскому обычаю. Всего в трех отрядах было шестнадцать человек, девять ружей и мой старый, но безотказный пистолет.

Преодолев до темноты большую часть пути, у ручья мы устроили короткий привал и немного перекусили. Пользуясь случаем, я поставил вопрос, который считал слишком важным, чтобы оставлять его невыясненным: кто руководит походом.

— Я тоже думал об этом, — воскликнул Арнак. — Ты!

— Нет! — возразил я. — По старшинству руководство принадлежит Манаури. Пусть руководит он.

Манаури, для приличия помолчав, бросил на меня дружеский взгляд, в глазах его сверкнули лукавые искорки.

— О-ей, ты мудрый человек! Но я тоже неглупый...

— Я говорю серьезно, — стоял на своем я.

Индеец беззвучно рассмеялся.

— Слушай, Ян, тебе не надо задабривать меня. Мы и так любим тебя как брата и верим тебе!

Потом он обратился к остальным индейцам, указывая на меня большим пальцем:

— Мы на этом острове всего два дня, он — целый год. Он знает здесь каждую тропу. В лесах своей родины он был великим охотником. Он добыл нам огнестрельное оружие. Кто лучше поведет нас против испанцев? Скажите?

— Он! Он! Он! — дружно отозвались индейцы.

Манаури изобразил на лице притворное огорчение человека, вынужденного подчиниться решению большинства.

— Ты слышишь? — обратился он ко мне. — Они сами решили! Они хотят тебя! Ты не станешь противиться?

— Нет, — ответил я, смеясь.

Прежде чем отправиться в дальнейший путь, я счел нужным дать несколько общих указаний:

— Повторяю еще раз: если испанцы высадутся на остров, главная наша задача — как можно дольше не обнаруживать себя. Вы опытные воины и знаете, как важно захватить врага врасплох. Поэтому, пока можно, будем пользоваться ножами, дубинками, луками, отравленными стрелами и лишь в крайнем случае — ружьями.

Опустилась ночь. Туч не было, и мириады звезд тропического неба рассеивали тьму. Мы без помех продвигались берегом моря, дорогой, вдоль и поперек исхоженной мной, Арнаком и Вагурой. Час пролетал за часом, время мы определяли по звездам. Около полуночи выплыла луна, и стало совсем светло.

В зарослях оглушительно стрекотали цикады, сверчки и кузнечики, упоенные знойной ночью; с моря доносился приглушенный шум волн; волшебная чарующая прелесть кокосовых пальм навевала сладкие грезы.

Мы давно уже миновали залив, где я впервые встретил Арнака с Вагурой, и приближались к цели. Еще миля полторы отделяли нас от Черепашьего мыса.

Вдруг шедший впереди Арнак резко остановился так, что я от неожиданности наткнулся на него.

— Тише, — прошептал он. — Тише! Стойте!

Все остановились, вслушиваясь.

Минуту спустя до нас донесся издали странный звук, раскатившийся эхом. Потом еще и еще, пауза — и в наступившей тишине снова грохот. Сомнений не оставалось: это отдаленные звуки выстрелов. Они неслись откуда-то со стороны Черепашьего мыса.

— Высадились! — прошептал Арнак.

— Мы опоздали, — выдохнул кто-то.

Да, свершилось. Раньше, чем мы предполагали, настала минута грозной опасности, решавшая нашу судьбу.

Впереди все еще разносилось эхо одиночных редких выстрелов. Команда была не нужна. Все бросились вперед.

Стрельба, как ни странно, все не прекращалась, хотя и стала реже. Подойдя ближе, мы стали различать, что выстрелы доносились не из одного места, а неслись с разных сторон. Они раздавались то прямо перед нами, то ближе, то дальше, то справа, то слева, откуда-то из глубины острова.

Бежать дальше сломя голову не имело смысла, это могло кончиться трагически: запыхавшиеся и уставшие, мы не выдержали бы боя с испанцами. Я приказал остановиться и отдышаться.

Внезапно выстрелы прекратились.

— Похоже, они преследуют их по всему лесу! — проговорил Арнак.

Кто-то из индейцев высказал мысль, что нам, быть может, не стоит идти дальше, поскольку группа Матео уничтожена.

— А что делать? Вернуться в лагерь? — ужаснулся я.

— Вернемся и спрячемся.

— Вся ли группа Матео уничтожена — еще вопрос! Возможно, кто-то бежал и скрывается в зарослях. Им надо помочь.

Арнак тут же поддержал меня, обрушившись на малодушного сородича:

— Твой ум съела собака! Ты надеешься спрятаться от них? На этом острове? Они найдут тебя!

— Они не узнают, что мы здесь!

— Не узнают? Думаешь, они не заставят силой говорить тех, кого схватят из группы Матео?

Я не хотел предпринимать ни одного шага, не убедившись в поддержке всех людей, и обратился к ним с вопросом, что они думают делать дальше.

— Отступать сейчас неразумно! — ответил Манаури. — Выход один — идти вперед!

— А твои воины? Они все думают так?

— Все! — выкрикнул кто-то из стоящих сзади.

Вдруг мы насторожились: где-то неподалеку раздались довольно странные звуки. Среди обычных шорохов в отзвуках этой душной ночи явственно различался совсем особый отрывистый звук. Слух не обманул нас: это был лай собак, басовитый, злобный лай больших собак.

— У них собаки! — пронеслось по нашим рядам, как дуновение холодного

ветра.

Я снова напомнил людям:

— Только луки, копья, дубины и ножи! Ружья — лишь по моему приказу!.. Испанцы не должны знать, что у нас есть ружья!

Марш наш сквозь заросли, хотя и покрытые сплошь колючками, проходил довольно успешно. Чаща не была здесь непролазной, редкие кусты то тут, то там уступали место безжизненным прогалинам и полянам. Арнак вел нас прекрасно, я с удовольствием, да что там, с удивлением наблюдал за его действиями. В эту тяжелую минуту он не обманул надежд, которые я на него возлагал.

Яркий свет луны облегчал нам движение, но, с другой стороны, и демаскировал нас, поэтому мы старались по возможности держаться в тени деревьев.

Собаки лаяли где-то впереди и все ближе к нам. В любую минуту они могли нас обнаружить. Меня стали грызть сомнения. Я повел этих людей на опасное дело, но, поступая так, не шел ли я наперекор собственной совести? Меня неотступно преследовала удручающая мысль о слабости нашего вооружения в сравнении с тем, чем располагали испанцы.

Я оценивающе взглянул на своих товарищей. Арнак во главе отряда прокладывал дорогу. Лицо его выражало мрачную отвагу и решимость, в каждом движении его ощущалась непреклонная воля. В плотно сжатых губах Манаури застыло такое упорство, какого никогда прежде я не подмечал у степенного индейца. Вагура с напряженным вниманием вслушивался в доносившиеся до нас спереди звуки и наложил уже на тетиву, вынутую из колчана, отравленную стрелу. Следующий воин, по имени Раисули, был из тех трех, кому прежде доводилось иметь дело с огнестрельным оружием. С мушкетом за спиной, с луком, стрелами и дубиной в руке он был живым олицетворением воинственности и горящим взглядом окидывал чащу, отыскивая врага.

Прочь сомнения! Мне стало ясно, что никакая сила не удержит этих людей. Они шли вперед, ибо это был единственный для них путь к свободе. Я устыдился того, что мог хоть на миг усомниться в них.

Перед нами открылась поляна, залитая лунным светом. Поросшая чахлой травой, с песчаными прогалинами, шагов сто в ширину, она тянулась прямой длинной полосой почти от самого моря на верную тысячу шагов в глубь острова. Мы размышляли, пересечь нам открытое пространство или обойти его стороной, как вдруг в зарослях на противоположной стороне раздался треск ветвей и близкий лай собаки.

— Бежит сюда! — предостерег Арнак.

— В укрытие! — шепотом приказал Манаури.

Из чащи напротив нас на поляну выбежала не собака, а человек. Он упал, но тут же вскочил и двинулся вперед, прямо на нас. Заметно было, что бежит он из последних сил, еле передвигая ноги. Это была женщина. Негритянка из группы Матео.

Едва она успела достичь середины поляны, как из чащи вслед за ней выскочила собака. В несколько прыжков она настигла женщину и прыгнула ей на спину. Несчастливая даже не вскрикнула и рухнула наземь.

Все дальнейшее произошло с быстротой молнии. Индеец из отряда Вагуры выскочил на поляну и, прежде чем собака успела вонзить клыки в горло женщины, выпустил стрелу. Пронзенный насквозь пес злобно захрипел, перегрыз стрелу и тут же упал бездыханным. Индеец подхватил чуть живую женщину

и, взвалив ее себе на спину, в несколько прыжков вернулся к нам.

Шепот восторга вознаградил поступок смельчака. Стоявший сзади меня Раисули впал в экстаз. Он прыгал, приплясывая, и что-то яростно выкрикивал. Ему зажали рот, повалили на землю и наконец успокоили.

— Что он кричал? — встревоженно обратился я к Арнаку.

— Ничего. Только то, что собака убита. Радовался.

Внезапно наше внимание опять переключилось на заросли с противоположной стороны поляны. Там продирался сквозь кусты какой-то человек. Он явно шел следом за собакой и время от времени звал ее свистом. Выйдя на поляну, он остановился, осмотрелся и тут заметил лежащую собаку.

— Испанец! — воскликнул кто-то из наших сдавленным от волнения голосом.

— Тихо! — зашипел Манаури.

Испанец, подойдя к собаке, вскрикнул от удивления, наклонился над животным и перевернул его. Тут он, очевидно, заметил стрелу, мгновенно выпрямился и внимательно посмотрел в нашу сторону.

Несколько стрел сразу просвистело в воздухе. Расстояние было небольшим, и почти все они угодили в цель. Испанец упал. Одна стрела пронзила ему горло.

Прежде чем мы успели опомниться, Раисули выскочил на поляну и, размахивая палкой, стал исполнять вокруг убитого какой-то бешеный ритуальный танец победы. Казалось, он совершенно обезумел.

Мы стояли в немом изумлении, беспомощно взирая на дикое зрелище. Арнак отложил в сторону ружье и собрался броситься к Раисули, чтобы силой утащить его с поляны. Но не успел. С той стороны из чащи грохнул выстрел. Раисули зашатался, словно продолжая свой безумный танец, и упал как подкошенный. Пуля оказалась смертельной.



На поляну вышли два испанца. В руках они держали ружья. Ствол у одного, как мне показалось, еще дымился. О нашем присутствии они не подозревали. Все их внимание сосредоточилось на темневших впереди трупях. К ним они и направились. Они так далеки были от мысли о грозившей им опасности, что

по пути переговаривались и даже, похоже, спорили довольно громко и возбужденно.

— Спроси у Манаури, о чем они говорят? — прошептал я Арнаку.

Мы стояли близко друг от друга и могли не опасаться, что наш шепот услышат. Через минуту Арнак склонился к моему уху:

— Манаури говорит, что один ругает другого за плохой выстрел.

— Но ведь он попал! Раисули убит.

— Да, но тот, что стрелял, должен был только ранить в ногу, а не убивать...

— А... им нужен живой невольник.

— О-ей!

— Значит, возможно, других они тоже не убили?

Это вселило в нас кое-какую надежду, что выстрелы, которые мы прежде слышали, могли и не означать смерть людей Матео. Однако раздумывать было некогда.

Двое испанцев подошли к убитым и — мы видели — остолбенели. Только теперь они узнали в лежащем своего.

Надо было действовать быстро и покончить с ними, пока они не опомнились.

— Арнак! — поторопил я. — Пора!

— О-ей! — кивнул юноша головой.

Несколько отрывистых коротких слов, и лучшие стрелки натянули тетивы луков. Свистнули стрелы.

Увы, результат не оправдал моих расчетов. Упал на месте, едва вскрикнув, только один испанец. Второй же, разобравшись в происходящем, пустился наутек. В него попало две стрелы, но ни одна, как мы потом убедились, не была смертельной. И вот теперь он как безумный мчался в сторону зарослей и неистово орал.

Если он успеет оповестить своих о нашем присутствии, это сулит нам верную гибель. Все теперь решали мгновения: успеет он или не успеет добежать до зарослей. Я молниеносно схватил ружье, прицелился. Была ночь, но свет луны рассеивал мрак. На мушке прыгала спина убежавшего: то выше, то ниже. Вот он в пятидесяти шагах от нас, теперь в шестидесяти. Сколько еще до зарослей? Пятнадцать, десять шагов?

Я затаил дыхание, переводя ствол мушкета в такт его движениям то вверх, то вниз. Всю душу вложил я в этот выстрел. Когда убежавший подпрыгнул особенно высоко и мушка оказалась у него на спине, прямо под левой лопаткой, я спустил курок. Грохот, сноп огня, удар приклада в плечо. Сквозь вспышку мне показалось, что испанец резко взмахнул руками, но густой дым тут же скрыл его от меня.

— Готов! — выкрикнул Вагура. — Убит! Ты попал в него!

Отгремело эхо выстрела, стих шум в ушах, дым рассеивался. Теперь лежавшего увидел и я. Он не шевелился и уткнулся в землю всего в нескольких шагах от темной стены зарослей.

— Выстрел нас не выдал? — подошел ко мне встревоженный Арнак.

— Думаю — нет! Как в лесу отличишь, кто стрелял — я или кто-нибудь из них?

— Да, но испанец кричал...

— Вот это действительно плохо! Они наверняка его слышали.

— Не могли не слышать! Он вопил как бешеный! — подтвердил Вагура.

— Впрочем, и это не страшно! Пока нас не увидят, они не поймут, отчего он кричал.

— Три врага погибли! — хихикнул Вагура. — Трое могли нас видеть, и души троих ушли к праотцам!

После моего выстрела на поляне воцарилась тишина, безмолвствовала и чаща на противоположной стороне. Лай собак и, казалось, даже голоса людей доносились откуда-то издалека. Очевидно, главные силы преследователей направились в другую сторону леса.

Не обнаруживать себя, и притом как можно дольше, — в этом наше главное преимущество. Трупы на поляне, как и следы схватки, могли нас выдать. Их надо было скрыть.

— За дело! — скомандовал я.

Манаури и Арнак быстро распределили обязанности: одни переносили и укрывали трупы, другие собирали стрелы и трофейное оружие, третьи с ружьями в руках залегли на страже.

Я перезарядил мушкет и присоединился к стрелкам.

Не прошло и пяти минут после моего выстрела, как поляна вновь была девственно чиста и пуста.

Край чащи с противоположной стороны тонул в глубокой тиши, нарушаемой лишь однообразным стрекотанием цикад и кузнечиков. Теплая лунная ночь источала тропическую негу и, наверное, навевала бы сладкие грезы, если бы запах крови да изредка доносившийся лай собак не нарушали этой кажущейся волшебной идиллии.

Негры

До рассвета было еще далеко. На небе появились редкие перистые облака, порой закрывавшие луну, и тогда вокруг воцарялась непроглядная темень. После пережитых потрясений наступила некоторая передышка.

Пользуясь затишьем, я, как обычно, через Арнака обратился к Манаури:

— Где спасенная негритянка?

Индеец качнул головой назад.

— Далеко?

— Нет!

— Не знаешь, она пришла в себя?

— Не знаю.

— Идем к ней.

Приказав людям, оставшимся во главе с Вагурой на краю поляны, соблюдать в наше отсутствие особую осторожность, Манаури, Арнак и я двинулись назад.

— Надо пройти шагов сто, — пояснил Манаури.

— Что будем делать дальше? — спросил Арнак.

— Как и решили, пойдем на помощь Матео. Только сначала поговорим с негритянкой. Возможно, от нее узнаем что-нибудь важное.

Негритянка сидела, прислонившись спиной к стволу небольшого дерева. Услышав приближающиеся шаги, она быстро вскочила, готовая бежать, но, узнав нас, тут же успокоилась.

— Долорес, как ты себя чувствуешь? — приветливо обратился к ней Манаури по-испански. — Тебе лучше?

— Лучше, — вздохнула женщина.

— Тебя накормили?

— Да.

Заметив меня, Долорес задрожала всем телом.

— Успокойся, глупая! — ласково произнес Манаури. — Это наш друг. Он спасет Матео.

— Матео убит, — прошептала негритянка.

— Что ты говоришь? Ты уверена?

— Да. Я видела, как его убили.

— Где это произошло?

— Там...

Она замолчала, не в силах продолжать. Манаури осторожно потряс ее за плечи, заклиная взять себя в руки и не задерживать нас.

Индеец уверял меня, что Долорес было лет тридцать, но выглядела она на все пятьдесят: так изнурило ее долголетнее рабство. Увезенная из Африки еще ребенком, она знала только испанский язык. Испанцы дали ей имя, они же, взваливая на нее непомерную работу, лишили ее молодости.

Кое-как женщина наконец вновь пришла в себя и стала отвечать яснее. События, насколько мы могли понять из ее сбивчивых слов, развивались примерно так: Матео со своей группой по нашему совету расположился лагерем неподалеку от Черепашьего мыса. В этот вечер их костер, как всегда, горел на берегу, а примерно через час после захода солнца все отправились спать. Никто не заметил корабля, появившегося в сумерках на горизонте, зато испанцы сразу обнаружили горевший костер. Они высадились где-то недалеко от мыса и стали подкрадываться к спящим. Но одна из находившихся с ними собак преждевременно залаяла и всполошила лагерь. Прежде чем палачи приблизились, люди Матео убежали в заросли. Тяжелее всего пришлось женщинам с маленькими детьми. Пытаясь отвести от них погоню, Матео с тремя или четырьмя товарищами выступил против преследователей и весь удар принял на себя. У них были только палки и копья; против них — разъяренные собаки и превосходящие силы испанцев со шпагами, копьями, ружьями. Матео и товарищи защищались отчаянно и долго — очевидно, враг хотел захватить их живыми, — и, прежде чем они пали под ударами превосходящих сил, беглецы смогли рассеяться по всему лесу. Долорес сразу же потеряла своих и бежала одна куда глаза глядят. В нее два раза стреляли, но не попали.

Наконец она добежала до поляны, где ее настигла собака и где мы пришли ей на помощь.

— А почему ты думаешь, что Матео погиб? — спросил я.

— Потому что все испанцы бросились на него! Я видела, когда обернулась. Его окружили со всех сторон.

— Они могли его ранить, могли взять живым.

Но Долорес была твердо уверена в гибели Матео, как и тех трех или четырех мужчин, которые сражались вместе с ним, хотя и не могла это убедительно доказать.

— Испанцам нужны живые рабы, а не мертвые, — заметил Манаури.

— Жив Матео или мертв, — заметил я, — его последний бой и самоотверженность говорят, что он настоящий герой.

— У Матео всегда было мужественное сердце, — подтвердил Манаури.

Чуть слышный треск сломанного сучка со стороны поляны прервал наш разговор. Появилась расплывчатая фигура быстро бегущего человека.

— Наш, — шепнул Арнак.

Это был один из индейцев, находившихся в карауле. Он принес какую-то важную новость и торопливо излагал ее, обращаясь к Манаури. Арнак перевел:

— Какие-то люди пересекли поляну... и перешли на эту сторону.

— В каком месте?

— Справа от нас, ближе к середине острова, шагах в трехстах...

— С собаками?

— Нет, собак не было.

— Сколько их?

— Четверо или пятеро.

Это была тревожная весть. Мы оказывались в клещах. Враг был перед нами, и какие-то люди, вероятнее всего, тоже враги, зашли нам в тыл. Эти четверо или пятеро в тылу могли доставить нам немало хлопот. От них следовало избавиться как можно быстрее, если понадобится, даже с помощью огнестрельного оружия.

Возвращаясь с соблюдением всех мер предосторожности назад к отряду, я шепотом отдавал на ходу распоряжения. Манаури и его отряду поручалось остаться на месте и внимательно следить за поляной. Арнак и Вагура со своими людьми пойдут со мной. Мушкетеры с длинными стволами, малопригодные в чаще, мы заменили на легкие ружья, зарядив их картечью. Но луки, копья и ножи — три отличных охотничьих ножа достались нам от убитых испанцев в качестве трофея — останутся главным нашим оружием.

— Готовы? — спросил я юношей.

— Готовы, — ответили они.

Задача наша казалась нелегкой. Противник затаился где-то в непроглядной чаще, быть может, совсем рядом, в какой-нибудь сотне шагов. Надо полагать, он, как и мы, держался настороже, напрягая зрение и слух, и все-таки нам предстояло не только приблизиться к нему, но и захватить его врасплох, чтобы ни один не ушел с поля боя живым.

Сначала мы шли по краю поляны. Тучи закрыли луну, и это было нам на руку. Все мы обратились в слух и зрение. Тишина стояла полная — противник ничем не выдавал своего присутствия.

Пройдя более двухсот шагов, Арнак, как обычно, шедший впереди, вдруг остановился и предостерегающе поднял руку. Мы прислушались. Откуда-то сбоку доносился лай собак. Он приближался, казалось, с той стороны, откуда прибыли эти пятеро. Вскоре послышался треск ломаемых на бегу сучьев. Сомнений не было: собака, нет, две собаки неслись через кусты следом за людьми, незадолго перед тем перешедшими поляну.

— Похоже, они их преследуют? — прошептал Вагура.

Собаки изредка издавали короткий призывный лай, характерный для псов, идущих по свежему следу зверя. Вскоре они выскочили на поляну шагах в двухстах от нас и мчались вперед с опущенными к земле мордами. Принюхиваясь, они явно шли по следу.

— Да, они их преследуют! Двух мнений быть не может! — заметил я.

К счастью, псы, увлеченные погоней, нас не учуяли. Они нырнули в чащу с

нашей стороны, и вскоре лес огласился их бешеным лаем.

— Они их нашли! — крикнул Вагура.

— Значит, там негры! — обрадовался Арнак.

— На помощь к ним! — вскочил Вагура.

— Подожди, — остановил я его. — За собаками могут бежать испанцы.

— Что же делать?

— Арнак, укройся со своими людьми в том месте, где собаки пересекли поляну.

— Хорошо, Ян!

— И чтоб ни одна живая душа не проскользнула!

— Понятно!

Собаки заливались таким злобным лаем, что казалось они обезумели.

— Вагура! Скорее! Туда!

Мы бросились напрямик сквозь чащу, не думая больше о том, что нас услышит. Дикий лай собак все еще оглашал воздух.

— Они разорвут их прежде, чем мы добежим! — крикнул на бегу Вагура.

— Вперед! Быстрее!

Мы пробивались сквозь колючий кустарник, ориентируясь на лай собак. И вот мы у цели. Негры, сбившись в кучку, стояли, прислонясь спинами к раскидистому дереву, и палками отбивались от разъяренных псов.

Мы подошли на какой-нибудь десяток шагов, но и люди и животные были так захвачены борьбой, что нас не замечали. Убедившись, что непосредственная опасность людям пока не грозит, индейцы стали спокойно выбирать удобные позиции, окружая сражавшихся полукольцом, так, чтобы случайно не ранить людей.

— О-ей! — громко крикнул Вагура, когда все были готовы и луки натянуты.

Псы, словно пораженные громом, умолкли и на мгновение замерли. Это были громадные доги. Один из них, заметив нового врага, оцетинился, готовый прыгнуть на ближайшего индейца. И тут сразу три стрелы — в пасть, в шею и в грудь — свалили его на месте. Второй пес трусил и хотел было удрать, но, прыгнув, нарвался на крайнего в полукольце индейца. Удар палкой по голове сначала оглушил его, а несколько стрел потом, как первого, поразили насмерть.

— Хорошая работа! — порадовался я.

Описать изумление и радость негров, когда вместо испанцев перед ними появились избавители, невозможно. Спасенных было пятеро: три негра и одна молодая индианка, жена Матео, с ребенком. Сын на ее руках надрывно кричал.

На небо снова выплыла луна, стало светлее. Я подошел к индианке. Меня опять поразила ее необыкновенная красота, черты лица, полные нежной прелести, несмотря на все выпавшие на ее долю переживания и усталость. Внимательнее присмотревшись к ребенку, я едва не вскрикнул от тревоги: личико его залито было кровью. Понятно, отчего он так кричал.

— Что с ним? Он ранен? — спросил я.

— Да, господин, — прошептала мать.

На лбу у ребенка виднелась глубокая длинная ссадина, из которой все еще сочилась кровь.

— Отчего это?

— Колючки на кустах...

К счастью, на мне была выстиранная за день до того рубашка, добытая со сгоревшей испанской бригантины. Недолго думая, я оторвал от нее рукав, разорвал его на лоскуты и ловко перевязал головку ребенка. Я говорю с некоторым бахвальством «ловко», ибо это полезное искусство постиг еще в лесах Вирджинии.

После перевязки малыш тут же перестал плакать, а получив сладкое яблоко, и вовсе успокоился. Я потрепал его по щечке — ребенок улыбнулся.

— Видишь? — весело подмигнул я матери. — Он меня не боится.

— Я тоже! — ответила она тихо и спокойно.

В ее больших глазах светилась благодарность, но вдруг они как-то померкли и подернулись печалью, на лбу пролегла морщинка.

— Что с Матео? — спросила она.

Я растерялся, не зная, что ей ответить. Она взглянула на меня проницательно. Спросила:

— Он убит?

— Не знаю! — ответил я. — Надеюсь, нет.

— Где же он?

— Мы точно не знаем. Но будь уверена, Матео настоящий герой, и ты можешь им гордиться!

Индианка всхлипнула, судорожно прижала к себе ребенка.

— Как ее зовут? — спросил я у Вагуры, переводившего наш разговор.

— Ласана, — ответил юноша.

— Ласана, — произнес я твердо, — ты должна нам верить. Мы не успокоимся, пока не уничтожим бандитов или не погибнем сами. Если Матео жив, он будет свободен.

Обеих освобожденных женщин — Ласану и Долорес — я хотел отправить в лагерь к нашей пещере под охраной двух негров. Но они воспротивились: все негры требовали оружия и хотели сражаться вместе с нами. Ласана тоже не захотела уходить. Она просила дать ей лук и нож и оставить с нами: ее место там, где решается их судьба.

От фигуры ее веяло решимостью и отвагой. В конце концов я разрешил женщинам остаться в укрытии у моря в полумиле от поляны, а трое негров присоединились к нам.

Короткий совет с участием новых союзников, который мы устроили, вернувшись к Манаури, ничего существенного не дал. Считая, что единственное спасение от испанцев в бегстве, трое негров вместе с женщинами и другими бросились бежать из лагеря сразу же после сигнала тревоги, и хотя слышали голос Матео, но не догадались, что это призыв к бою. В зарослях они отстали от своих и теперь не знали, где те находятся.

— Сколько у испанцев собак? — спросил я.

Этого они тоже точно не знали, но предполагали, что, во всяком случае, больше трех.

— Вы сможете провести наш отряд к лагерю, где на вас напали испанцы?

— Сможем.

— Надо идти туда! Если Матео жив и они держат его где-то связанным, то, вероятнее всего, там, где его схватили.

Негры не умели стрелять ни из луков, ни из ружей, зато хорошо метали ко-

пья, и я распорядился выдать каждому из них, кроме ножей и дубин, по два копья. Старший, по имени Мигуэль, подошел ко мне со смущенным выражением лица и спросил, может ли он просить меня о чем-то важном.

— Говори! — сказал я, приветливо на него взглянув.

— Мы трое!.. — Он показал на себя и двух своих товарищей и смущенно умолк. — Нас трое... — начал он опять. — Понимаешь!

— Ничего не понимаю! — ободрил я его улыбкой.

— Нам стыдно! Мы не трусы!.. Поверь нам!.. Мы правда не поняли призывов Матео!

— Вас никто за это не осуждает, — заверил я его.

— Нам стыдно, что он погиб, а мы убежали.

— Что делать! Так случилось!

— Мы хотим искупить...

— Искупить? Как?

— В бою! Своей кровью! Приказывай, что надо сделать! Дай нам любое задание!

Теперь я, в свою очередь, с немым волнением смотрел на возбужденного Мигуэля и его товарищей. Меня взволновал этот простой порыв душевного благородства, которого в этом человеке не смогла убить даже многолетняя каторга тяжкого рабства. Это ли не утверждало веру в человека, в человека вне зависимости от цвета его кожи!

Мысль была мимолетной, неуместной в эту тяжелую минуту. Я тут же пришел в себя и вернулся к реальной действительности.

В этот момент к нам подполз индеец из охранения и сообщил, что на той стороне поляны слышится какая-то подозрительная возня — похоже, скулит и рвется сдерживаемая на поводке собака.

— Ты не ошибаешься? — пытливо взглянул на него Манаури.

— Все рядом со мной тоже слышали, — заверил индеец.

Я поднес к глазам подзорную трубу. Было темно, луна скрылась за тучами, и все-таки я заметил в зарослях с противоположной стороны, правее нас шагах в ста, какое-то неясное движение.

— Внимание! — поднял я руку.

От стены зарослей отделилась фигура человека, бегом пересекавшего поляну. Я поймал его в фокус подзорной трубы. По одежде я распознал врага.

— Испанец! — предупредил я товарищей.

На нашу сторону поляны перебежал только один человек. Если там скрывались и другие испанцы, то, вероятно, это был разведчик.

— Его надо немедленно уничтожить! — прошептал я.

— Я! — Мигуэль стремительно повернулся ко мне. — Я беру его на себя!

— Отлично! — согласился я. — Но не один! Идите втроем!

— Хорошо!

— Помни, это их разведчик, он осторожен и хорошо вооружен. С ним будет нелегко!

— Мы постараемся!

— И, главное, без шума!

После их ухода мы остались на прежней позиции, внимательно следя за поляной, ожидая, не появятся ли новые враги. Никто не появился.

Сдавленный короткий хрип возвестил о безмолвной драме, разыгравшейся

в чаще кустарника. Вскоре вернулись и негры. На их лицах читалось торжество.

— Все! — выдохнул Мигуэль и положил передо мной на землю добытое ружье и пистолет, не забыв и мешочки с порохом и пулями.

— Отлично!

— А это мне! — проговорил Мигуэль и показал сверкнувший сталью кинжал. Я кивнул головой в знак согласия.

— Это наш четвертый нож! — хохотнул Вагура.

В этот момент резкий лай неподалеку разорвал воздух и ударил по нашим нервам. Две собаки выскочили из кустов в том месте, откуда раньше появился испанец. Но они пошли не по его следу, а бросились наискось через поляну прямо к нашему укрытию. Вероятно, они давно уже учуяли нас.

— Стрелы! Отравленные стрелы! — прошипел Арнак индейцам.

Едва собаки добежали до первых отделявших нас от поляны кустов, как бешеным лаем тут же возвестили о найденной добыче. Пораженные сразу несколькими стрелами, они взвыли и на всем бегу грохнулись наземь, но, увы, поздно — мы были обнаружены.

И тут я совершил грубую ошибку, первую за весь поход. Зная, что находящиеся поблизости испанцы, выпустив собак, точно определили место нашего нахождения, я должен был тотчас скомандовать отход. Но я этого не сделал и позволил сначала нескольким индейцам собрать выпущенные в собак стрелы.

— Быстрее, — торопил я их.

Вдруг прямо против нас, с той стороны поляны, ослепительный блеск разорвал тьму, и воздух потряс грохот нескольких выстрелов. Их было восемь или десять, а может быть, даже одиннадцать — целый залп. Под градом свинца зашелестели кусты, в которых мы прятались. Ружья врагов были заряжены картечью.

Лежа на земле, я почувствовал жгучий удар в левую лопатку. К счастью, заряд прошел выше, лишь слегка задев кожу.

Справа и слева раздались приглушенные вскрики и стоны раненых товарищей.

Я рассчитывал, что после залпа испанцы бросятся в атаку. Но, очевидно, они не рискнули. Во всяком случае, из-за дыма, окутавшего противоположную сторону поляны, никто не появился.

— Будем стрелять из ружей? — спросил Вагура.

— Нет! — решительно возразил я. — Не стрелять! Ни в коем случае!.. Всем тихо отступить на сто шагов от поляны! Подобрать раненых! Быстрее!

Оказалось, что, кроме меня, было еще пятеро раненых, и среди них один, раненный в голову, в безнадежном состоянии потерял сознание, когда его переносили в тыл.

— Что делать с собаками? — обратился ко мне Арнак. — Забрать их с собой?

— Заберите.

Я решил до конца выдерживать принцип — не оставлять никаких следов. Испанцы могут предполагать что угодно, но чем меньше будут о нас знать, тем лучше. До сих пор они были в неведении, кем был и каким оружием располагал их противник...

Отступив от поляны шагов на сто, мы остановились. Расставленные на всех

направлениях дозорные сообщали, что врага не видно и не слышно. Это нас тревожило и заставляло предполагать, что испанцы тайком что-то затевают. Я дал команду отходить дальше. Тем временем раненый индеец скончался. Его похоронили рядом с Раисули. Трупы испанцев и собак затащили в такие заросли, что и среди белого дня их не отыскал бы сам дьявол. Раненым, в том числе и себе, я наспех кое-как сделал перевязки. Одного тяжело раненного и неспособного больше сражаться мы отправили в тыл к женщинам, а сами двинулись в сторону моря, выслав вперед на несколько десятков шагов разведку. Теперь нас с учетом трех присоединившихся негров опять было шестнадцать, а оружия стало даже больше, чем прежде.

Более всего меня в эти минуты радовала твердость людей. Первая неудача не подорвала их духа. Они горели жаждой боя и мести. Это были прирожденные воины, не раз выходившие на тропу войны.

Запах пороха и крови

Добравшись до берега моря, мы перешли на другую сторону поляны и по ее краю осторожно двинулись к месту, где засели испанцы, так метко накрывшие нас огнем. Но там мы их не застали. Заросли были пусты.

— Куда они могли деваться? — расстроился Арнак.

— Трудно сказать, — проворчал я, — можно предположить, что вернулись в лагерь. Будем искать.

От поляны, где мы находились, до лагеря было добрых полмили. Мы прошли уже больше половины пути, когда заметили впереди подозрительное движение. Соблюдая всяческие меры предосторожности, несколько испанцев прокладывали себе путь в том же направлении, что и мы. При свете лупы их фигуры ясно различались шагах в двухстах от нас.

— Догоним их! — загорелся Вагура.

— Нет, слишком близко их лагерь, — остановил я его.

— Мы их убьем быстро-быстро! Пойдем!

— Нет! Бой здесь не обойдется без шума.

— Ну и пусть, мы быстро их убьем!

— Рядом могут оказаться другие и напасть на нас сзади. Нет, нельзя!

Испанцы тем временем скрылись из вида. Опасаясь засады, я выслал вслед за ними двух разведчиков, а мы двинулись дальше, но несколько другой дорогой, держась ближе к берегу.

Небо на востоке начинало отливать свинцом, предвещая скорый рассвет, хотя в глубине острова царила еще глубокая ночь. И тут я вдруг ясно осознал, что в ближайший час неизбежно решится наша дальнейшая судьба и лишь десятки минут отделяют нас от последнего боя. Воздух был тих, безветрен, чуть слышно плескались о берег волны. Луна, переплыв на запад, искоса взирала на землю.

Какой-то темный предмет замаячил на море. Это была шхуна, стоявшая на якоре не дальше чем в двух-трех ружейных выстрелах от берега.

— Стоит прямо против лагеря, — прошептал Мигуэль.

Стали слышны неясные звуки, долетавшие откуда-то спереди, видимо, из лагеря.

— Похоже, — обратился я к негру, — испанцы расположились на том же месте, где был ваш бивак.

— Да, — согласился Мигуэль.

Несмотря на все напряжение, я не мог скрыть довольной улыбки: предусмотрительность, с какой мы укрывались, приносила свои плоды — враг все еще не представлял, с кем имеет на острове дело, и вел себя свободно, как дома.

Хотя время шло и звезды на небе уже померкли, нельзя было торопиться и в спешке упустить хоть какую-нибудь мелочь, от которой мог зависеть благополучный исход всего дела. Прежде всего следовало разведать обстановку, и, отложив ружья, мы впятером, Арнак, Манаури, Вагура, Мигуэль и я, отправились на разведку.

Заросли колючего кустарника по мере приближения к лагерю испанцев редели. Почва становилась каменистее, и чем ближе к морю, все больше попадалось камней и валунов. Здесь не было даже кокосовых пальм — обычного украшения других берегов острова. Лагерь Матео лежал на открытом месте. Тут виднелись еще остатки трех шалашей, поставленных неграми и разрушенных во время событий последней ночи.

Из-за отсутствия укрытия подойти к лагерю ближе чем на сто шагов нам не удалось. Испанцы из отряда, несколько минут назад шедшего перед нами, только что вернулись в лагерь и с явным возбуждением делились своими впечатлениями о пережитых приключениях с оставшимися здесь сородичами. На костре что-то варилось.

— Сколько их? Считайте! — распорядился я.

Считали все. Их было одиннадцать.

— Кажется, все здесь! — сказал я. — Четверо убиты, значит, всего пятнадцать. Столько мы и видели их на шхуне.

Это был важный факт. Следовательно, в лесу за спиной у нас никого не осталось.

— А собак не видно?

— Нет, не видно. Наверно, их было только пять и все убиты.

Испанцы пребывали в состоянии крайнего возбуждения. К сожалению, мы находились слишком далеко, и Манаури не мог разобрать, о чем они спорили. Впрочем, это нетрудно было понять по их жестам. Одни возбужденно убеждали в какой-то опасности, другие с ними не соглашались.

В конце концов они разделились на две группы, и одна группа отошла в сторону.

Мы напрягли зрение... и сердца наши забились сильнее. Там, на земле, лежали связанные люди. Одного из них испанцы подняли и поставили на ноги.

— Матео! — прошептал Мигуэль.

К сожалению, Мигуэль ошибся. Это был не Матео, а другой негр из его группы.

Испанцы, как видно, добивались от него ответа на какие-то вопросы, но он молчал, и они подтащили его ближе к костру.

Там, чуть в стороне от других, сидел молодой человек, отличавшийся богатым убранством, — без сомнения, их предводитель, поскольку все обращались к нему с подчеркнутым почтением. Я навел на него подзорную трубу. Это был юноша лет двадцати, не более, с черными тонкими усиками и такими нежными и правильными чертами лица, что в первый миг его можно было принять за красивую девушку, если бы не усы.

Юноша встал, вытащил из костра горящую головешку и с жуткой усмеш-

кой, какую я никогда бы не смог себе представить на столь прекрасном на вид лице, приблизился к связанному негру и стал жечь его тело, прикладывая пылавшую головню то к щекам, то к животу и ногам несчастного.

Тут я понял грозившую нам опасность: враги хотели вырвать у пленного показания. Если им это удастся, мы будем раскрыты.

— Нельзя терять ни минуты! — Я резко оторвал трубу от глаз.

Мои спутники и сами видели, что творится в лагере, и поняли обстановку. Не понадобилось много слов, чтобы разъяснить план, напрашивавшийся сам собой.

— Срочно за подмогой и быстрее обратно! Окружим испанцев, чтобы ни один не смог уйти в заросли. Здесь со мной будет Арнак со своим отрядом! Справа — Вагура, слева — Манаури! Ударим все вместе по моему сигналу! Я крикну или выстрелю...

— Хорошо! — с мрачной решимостью буркнул Вагура.

— Не забудьте мой мушкет, — бросил я вслед уходящим.

Мы остались вдвоем с Мигуэлем. Испанцы продолжали пытаться несчастного негра. Потом юнец приказал подвести к нему другого пленника и подверг его еще более тяжким пыткам. Этот оказался менее стойким и начал кричать.

Я оглянулся: индейцев не было. Начинало сереть, отчетливее становились контуры валунов, обретали окраску ближайшие кусты. Светало.

Мигуэль бормотал под нос испанские слова, полные отчаянного нетерпения. Там, у костра, испанцы плотным кольцом окружили негра, внимательно вслушиваясь в его слова.

«Если бы дать сейчас по ним залп, — подумалось мне, — можно бы уничтожить сразу всю банду».

Испанцы, видно, узнали от пытаемого любопытные вещи, ибо среди них поднялся настоящий переполох. Одни тут же бросились к оружию, составленному неподалеку в козлы. Другие стали лихорадочно совещаться. Я содрогался при мысли, что они успеют уйти в лес. Тогда нам не только не видеть победы, но сомнительно, удастся ли вообще спастись.

Шорох за спиной. Арнак. За ним его отряд. Камень свалился у меня с сердца.

— Где Вагура? — прошептал я.

— По пути к месту, как ты велел.

— Ага!

— Вот два мушкета и еще ружье.

Вагуре, направленному на правый фланг, идти было дальше всех, и приходилось ждать, пока он доберется до места.

Все теперь решали и могли оказаться роковыми секунды.

О благословенная болтливость испанцев! Стоя у костра, они все совещались, размахивая руками и часто поглядывая на небо в ожидании, видимо, полного рассвета. Было уже настолько светло, что я взял для пробы на мушку красавчика юнца, и он великолепно просматривался в прорезь.

Будь на месте испанцев славные охотники из вирджинских краев, они давно бы уже заняли оборону или двинулись на врага. Испанцы же в своей безмерной гордыне не могли осознать, что вместо забитых рабов встретили на острове организованного противника. И медлили.

— Вагура добрался до места, как ты думаешь, Арнак? — спросил я.

— Давно!

Слова эти прозвучали словно приговор. Я тщательно выбирал цель для сигнального выстрела, но тут в лагере вдруг началось движение. Испанцы пришли наконец к какому-то решению, и часть из них с ружьями в руках быстро двинулась влево от нас, к позиции Манаури.

— Арнак! — прошептал я. — Крикни, да погромче! — А сам прицелился в ближайшего испанца, находившегося от меня в каких-нибудь восьмидесяти шагах.

Боевой клич юноши заставил испанцев остановиться как вкопанных. Этого мгновения оказалось достаточно, чтобы выстрел из моего мушкета попал в цель — еще не рассеялся дым, а я уже видел падающего врага.

И сразу же с трех сторон раздались грохот выстрелов и воинственные клики индейцев. К сожалению, огонь их не дал ожидаемых мной результатов. То ли они плохо целились, то ли — и это наиболее вероятно — слишком большим было расстояние, но никто из испанцев, кроме убитого мной, не упал. Возможно, были легкораненые, но серьезного урона врагу наши пули не нанесли.

После залпа индейцы сразу же ураганом ринулись на врага. Испанцы, придя в себя, открыли ответный огонь. Но стреляли они торопливо и в спешке тоже промахивались. Тем не менее урон нам они все-таки нанесли: двое или трое индейцев упали. Испанцы тут же отбросили ружья и схватились за шпаги и пистолеты.

Неудачу залпа из ружей индейцы с лихвой восполнили стрелами. Лук был верным их оружием. Лук и решил исход сражения.

С воинственными воплями в неудержимом порыве индейцы бросились на врага, окружив его с трех сторон, и с расстояния в несколько десятков шагов выпустили стрелы. Убийственные стрелы: трое-четверо испанцев со стоном рухнули на землю. Остальные, видя свое поражение, бросились назад. Несколько человек бежали к морю, и преследовать их не имело смысла. Большинство же пыталось пробиться к лесу. Напрасно. Их догоняли стрелы, копья. Ярость охватила мстителей, ничто не могло устоять перед их порывом.

Хрипы умирающих, стоны раненых, проклятия сражающихся, клубы дыма и пыли, заслонившие поле, едкий запах пороха и крови — все слилось в страшную картину боя.

Ни одному из врагов уйти в лес не удалось.

Я подозвал Арнака, старавшегося быть все время поблизости от меня, и поручил ему собрать людей. В этот момент раздался возбужденный крик Мигуэля:

— Туда убежали! Туда убежали!

Действительно, несколько испанцев, спасаясь от стрел атакующих индейцев, убежали к морю.

— За ними! — вскричал Мигуэль и первым бросился вперед. За ним последовали остальные.

Примерно в ста шагах от лагеря трое убежавших испанцев успели добраться до лодки и с лихорадочной поспешностью столкнули ее в воду. Когда мы добежали до берега, они плыли уже вне досягаемости для наших выстрелов.

Лодка испанцев устремилась к выходу из небольшой бухты, горловина которой суживалась до нескольких десятков шагов. С одной ее стороны подни-

мались невысокие скалы, противоположная сторона была пологой и песчаной.

Все наши бросились к скалам. Однако Манаури быстро оценил обстановку и часть индейцев направил на противоположную, пологую сторону пролива, чтобы лодка оказалась между двух огней.

Испанцы опередили нас на порядочное расстояние и гребли как одержимые, стремясь добраться до пролива раньше нас. Поначалу казалось, им удастся осуществить это намерение. Но долго грести в таком бешеном темпе было невозможно. Вскоре они устали, и лодка продвигалась вперед все медленнее.

Когда первые индейцы добрались до скал, испанцы как раз вошли в теснину, шагах в пятидесяти от берега. В воздухе мелькнули первые стрелы, выпущенные из луков. Несколько индейцев в запальчивости бросились в воду, чтобы вплавь добраться до врага. Стрелы, как я успел заметить на бегу, метко попадали в цель.

Испанцы прилагали лихорадочные усилия, пытаясь уйти от проклятой скалы, но неосмотрительно близко подплыли к противоположному берегу пролива. А сюда тем временем подоспела погоня, высланная Манаури.

Раздался выстрел. Это один из испанцев выстрелил из пистолета в пловцов. С правого, пологого берега тотчас же прозвучал ответный ружейный выстрел. В лодке — стоны и крики. Картечью, словно серпом, скосило гребцов. Их постигла судьба, какую они заслужили.

Когда я добежал до скалы, лодку подтягивали уже к берегу. На дне ее лежали испанцы, и среди них — красавец юнец. Трупы стали вытаскивать из лодки, и тут оказалось, что хитроумный юнец лишь слегка ранен и только притворился мертвым. Индейцы узнали его и буквально впали в неистовство. Они хотели тотчас же его убить, но я решительно этому воспротивился.

— Почему ты его защищаешь? — разъяренно набросились они на меня.

Я заслонил испанца своим телом. В необузданном бешенстве они схватили меня за руки и пытались оттащить силой.

— Арнак! Вагура! — крикнул я.

Арнак подбежал ко мне. Вагура был на противоположной стороне пролива.

— Что случилось? — На лице юноши отразился испуг.

Концом лука Арнак с такой силой ткнул ближайшего воина, что тот, отпустив меня, зашатался. При этом Арнак разразился какой-то гневной тирадой по-аравакски. Вероятно, речь шла о почтении ко мне, ибо воины хоть и с явной неохотой, но отступили от меня на несколько шагов. Однако они не успокоились и, гневно указывая на молодого испанца, требовали его смерти.

— Почему ты не хочешь, чтобы его убили? — обратился ко мне Арнак.

— Сначала надо его допросить! Нужно узнать, что замышляют на Маргарите. Возможно, там готовят еще одну погоню.

— Твоя правда, Ян! Но потом ты позволишь его убить!

— Черт с ним! Делайте с ним потом что хотите!..

Арнак растолковал индейцам мои намерения относительно пленного, но, как видно, не встретил у взбешенных собратьев особого понимания. Теперь только Прояснилась наконец причина их возбуждения и упорства: оказалось, что этот юнец был сыном самого жестокого из рабовладельцев Маргариты, дона Родригеса, того самого дона Родригеса, который приказал отдать на растерзание псам брата несчастного Матео. А сам юнец, такой же бесчеловечный и

жестокий, как и его отец, всегда зверски измывался над рабами.

К счастью, Манаури сумел разрядить обстановку, заверив всех, что преступника не минует справедливая кара. И воины понемногу остыли. Испанца связали по рукам и ногам, бросили обратно в лодку, и два индейца, сев на весла, повели ее к лагерю.

Все еще стоя на вершине скалы, мы со сжатыми кулаками следили за шхунной. Оказалось, на ней оставались два не замеченных нами прежде испанца. Теперь они подняли якорь и распустили паруса. Выходило солнце, дул легкий утренний ветерок. Его порывы надули паруса, и стройный корабль поплыл. Нечего было и думать догнать его на лодках, стоявших в бухте.

— Корабль удирает! — мрачно заметил Арнак. — Если бы его удалось захватить, мы легко добрались бы на нем на Большую землю. Двое все-таки уцелели!

Для меня же их бегство являлось причиной более серьезной тревоги, и я не стал скрывать своих опасений от Арнака и Манаури.

— Эти два испанцы поплывут, конечно, на Маргариту. Там они поднимут тревогу, и через два-три дня сюда явится такая сила, что вмиг разделается с нами... Для нас остается одно спасение...

— Я знаю!

— Ну?

— Бежать на Большую землю!

— Верно! Нельзя терять ни минуты! У нас четыре лодки и два плота...

Последний бой и суд

Вернувшись в лагерь, мы первым делом занялись спасенными неграми. Трое из них, сильно покалеченные, были живы, четвертый, к несчастью, мертв — Матео. Испанцы зверски надругались над его телом, его просто невозможно было узнать. Каждую минуту в лагерь могла вернуться его жена, за которой уже послали, и потому я велел поскорее захоронить останки Матео, чтобы избавить молодую женщину от страшного зрелища.

Из группы Матео недосчитались еще двух негров. Манаури отправил в заросли нескольких индейцев обыскать окрестности, и вскоре были обнаружены их трупы. Теперь, по крайней мере, мы знали, что никого из заблудившихся в лесу не осталось.

Пока индейцы готовили к отплытию две лодки — мы собирались переправить на них раненых в мою пещеру, — я в присутствии Манаури, Арнака и Мигуэля допрашивал пленного. Сколько же дерзости, цинизма и наглости было в этом молодом выродке! На мои вполне корректные вопросы он отвечал лишь отборными ругательствами и гнусностями. Я не переставал удивляться, как из этих нежных уст мог изливаться поток таких мерзостей.

Надменность его не знала предела. Когда я заметил, что ему следовало бы вежливее отвечать человеку, который как-никак спас его от неминуемой смерти, он только издевательски расхохотался мне в лицо. В самонадеянной его башке не укладывалось, что кто-то может посягать на его жизнь.

— Похоже, ты совсем обезумел! — проговорил я. — Взгляни на трупы своих товарищей.

— Ха!.. Не забывай, кто я!

— А кто ты?

— Сын губернатора! Никто из этих рабов не смеет коснуться меня. А ты,

паршивый предатель нашей расы, будешь первым болтаться на веревке.

Меня так и подмывало влечь этому негодяю пощечину, но я вовремя удержался.

— Значит, ты думаешь, что сын губернатора неприкосновенен?

— Да! — Он презрительно скривил лицо.

Удивительное лицо! Даже эта гримаса не могла лишить его невыразимой привлекательности. Невероятно: страшный демон в обличье ангела.

— Ошибаешься! — заметил я. — Жизнь твоя висит на волоске.

Юнец нагло расхохотался.

— Завтра сюда явятся люди, которые покажут вам, мерзавцам, кто здесь господин, а кому висеть на суку...

— Какие люди?

— Не знаешь какие? С Маргариты.

— Зачем им сюда являться?

— Ты что, ослеп? Разве ты не видел нашего уплывшего корабля? Как ты думаешь, куда он направился, а?

Вот, значит, на чем основывалась его самоуверенность! Упования, надо сказать, не иллюзорные и не призрачные, хотя он и не ведал о моих намерениях относительно его будущего. Дело в том, что я решил защищать его жизнь любой ценой, пусть бы даже все индейцы ополчились против меня, — и защищать, конечно, не ради его прекрасных глаз, а ради нашей же безопасности. Он был сыном именитого испанца — это не подлежало сомнению, — и, значит, жизнь его в наших руках как заложника могла оказать нам неоценимую услугу в случае нашествия на остров преследователей с Маргариты. Это могло стать ключом к нашей свободе.

Во время этого дознания со стороны моря раздались вдруг крики. Оттуда к нам бежало несколько индейцев.

— Корабль! — кричали они. — Корабль!

Мы было подумали, что легки на помине преследователи с острова Маргарита, но не это явилось источником шума. Напротив, новость оказалась сверх ожиданий радостной.

Утром, на восходе солнца, в море поднялся ветер, но продержался он не более получаса, а потом совсем стих. На море установился полный штиль. На острове случались иногда такие минуты, но длились они не больше часа-двух, а около полудня всегда поднимался сильный ветер.

Шхуна не успела проплыть и мили, как паруса ее безжизненно повисли при полном безветрии, и корабль потерял ход. Лагерь наш забурлил. Известие об остановке корабля пробудило серьезную надежду, что нам удастся еще его догнать. Все, кто только мог, хватали первое попавшееся под руку оружие и со всех ног мчались к лодкам.

Среди всеобщего возбуждения и суматохи не следовало терять головы. Подозвав Арнака, Вагуру и Манаури, я предложил им следующий план: берем две лодки, на которых прибыл сюда Матео с отрядом; на большую сажусь я с Арнаком, на меньшую — Вагура. Грести будут все здоровые, кроме нас троих, — мы будем стрелять, и потому руки у нас не должны дрожать. С собой заберем все дальнобойные мушкеты, а для повышения дальности их стрельбы увеличим заряд пороха. Часть мушкетов зарядим пулями, а часть — картечью.

— Остальным вообще не брать оружия? — спросил Вагура.

— Пусть берут, это не повредит, но лишь бы не мешали нам троим целиться.

— О-ей! — вскричал Арнак. — Хорошо прицелиться — самое главное!

Манаури выразил полное согласие и тотчас принял на себя командование гребцами, рассадив их по двум лодкам. Мы тем временем зарядили ружья, взяв с собой восемь мушкетов.

— Прихватим и маленькую шлюпку испанцев, — решил я в последний момент, — пусть отвлечет на себя внимание.

Для этой шлюпки хватило трех человек.

Не прошло и четверти часа, как мы отчалили от берега. Гребцы изо всех сил работали веслами — только мелькали смуглые спины. Я встал на носу лодки, Арнак — на корме. Выйдя из бухты, мы оказались в открытом море, тихом и спокойном, как озеро в погожий день. Шхуна стояла как вкопанная, буд-то на якоре. Паруса ее бессильно свисали.

Едва испанцы нас заметили, они как ошалелые заметались по палубе, то хватаясь за паруса, то что-то перетаскивая. В подзорную трубу я видел, как они заряжали мушкеты.

Расстояние между нами быстро сокращалось. Гребцы не жалели сил. Пот ручьями стекал по их спинам. Зной становился все нестерпимее. Тела гребцов истощены были долгой неволей, здоровье подорвано, но эта решительная минута придала им новые силы.

До корабля оставалось четверть мили. На море по-прежнему ни ветерка. Теперь не оставалось сомнений, что мы достигнем цели и шхуна от нас не уйдет. Два испанца могли, защищаясь, нанести нам урон, но окончательная победа должна быть за нами.

Я переглянулся с Арнаком и велел ему еще раз напомнить гребцам, как себя вести: едва только мы подойдем на расстояние выстрела, поднять весла, лечь на дно лодки и не шевелиться.

По носу шхуны шел высокий борт, зато корма была низкой и незащищенной. Поэтому мы обошли корабль сзади. Испанцы, предвидя этот маневр, установили на корме два ящика, за которыми и укрылись.

— Внимание! — крикнул я Арнаку. — Применю небольшую военную хитрость, возможно, они поддадутся.

Я решил выстрелить по испанцам картечью с большого расстояния, рассчитывая вывести их из равновесия и заставить тоже выстрелить. Тогда у них не останется времени перезарядить ружья. Так я и сделал. Шагов с двухсот от кормы шхуны я выстрелил из мушкета, целясь высоко над головами противника. Было ясно видно, как картечь ударила по парусам и палубе корабля. Тут же я схватил второе ружье и прицелился, словно собираясь стрелять вторично. Испанцы, и без того возбужденные, не выдержали и опрометчиво выстрелили. Пули их, как я и предполагал, не долетели и ударили по воде в нескольких десятках шагов от нас.

— Гребите! Быстрее! — крикнул я индейцам. — Теперь прямо на них!

Несколько сильных ударов веслами приблизили нас к кораблю на нужное расстояние.

— Внимание! — закричал я. — Буду стрелять!

— Я тоже? — спросил Арнак.

— Только когда увидишь цель.

Гребцы повалились на дно лодки, продолжавшей по инерции плыть. Она шла плавно, как по маслу, ни чуточки не качаясь.

У испанцев, как видно, было только два ружья, из которых они выстрелили, и теперь, прячась за ящиками, они торопливо их перезаряжали. Из-за укрытия время от времени появлялась то макушка, то локоть, то колено, но лишь на короткое мгновение, не дававшее возможности прицелиться. Несмотря на спешку, противник был начеку.

Но вот чуть больше, чем прежде, появилась спина, и я тут же выстрелил, целясь под лопатку. Пуля попала в цель. Испанец вскрикнул и, потеряв над собой контроль, вскочил. Грохнул еще один выстрел, на этот раз из ружья Арнака, и противник упал смертельно раненный.

Тем временем второй испанец, воспользовавшись замешательством, выстрелил. Ружье его было заряжено картечью. Двое индейцев, лежавших на дне лодки, оказались ранеными в спину. Теперь ружье противника вновь было разряжено, и я решил взять корабль на абордаж. Но это не удалось. Со шхуны снова прозвучал выстрел. Очевидно, испанец воспользовался заряженным ружьем погибшего. К счастью, секундой раньше в него выстрелил со второй лодки Вагура, и хотя не попал, но испанец в испуге тоже промахнулся.

Решив теперь быть осторожнее, мы не спускали глаз со шхуны и стреляли всякий раз, как только враг хоть чуточку появлялся из-за ящика. Таким путем мы обрекли его на неподвижность и рассчитывали, что рано или поздно наша пуля его настигнет.

Не знаю, сколько минут мы так его выслеживали, стреляя раз за разом, как вдруг развязка наступила совершенно неожиданно. Увлеченные боем, мы совсем забыли о маленькой шлюпке с тремя гребцами. За ними никто не следил. А они тем временем обошли шхуну и, пока мы привлекали к себе все внимание испанцев, подплыли к кораблю со стороны носа и незамеченными вскарабкались на борт. Каково же было наше удивление и даже изумление, когда на шхуне раздался вдруг воинственный клич трех индейцев, бросившихся на противника. Луки и копья вмиг решили исход борьбы. Шхуна была паша.

Возможно ли описать мою радость, да что там — безмерный восторг, охвативший меня, когда, взбираясь на палубу испанского корабля, я осознал всю значительность этой минуты? Подойдя к верным своим друзьям, Арнаку, Вагуре, Манаури и остальным индейцам, я взволнованно пожал им руки.

— Победа! — только и мог я проговорить.

— Путь открыт! — добавил Арнак, окидывая взором горизонт на юге, где в дымке вырисовывалась линия материка.

— Да, теперь открыт!

Несколько индейцев, обученных в неволе управляться с парусами, остались на корабле, чтобы, дождавшись ветра, подвести его ближе к лагерю, остальные разместились в трех лодках и направились на них к берегу.

Когда мы вошли в бухту, Манаури знаками дал мне понять, что хочет говорить со мной наедине, в присутствии одного только Арнака как переводчика, и, выйдя на берег, мы тут же отошли в сторону.

— Воздух стал чистым, — начал вождь, — путь свободен. Как ты думаешь, когда мы покинем остров?

— Как можно скорее. Через два-три дня.

— А может, раньше? Разве ты не боишься, что с Маргариты приплывут новые люди?

— Сейчас пока нет. Но позже, через неделю, дней через десять, это не исключено.

— Значит, чем скорее мы отсюда уплывем, тем для нас лучше?

— Конечно.

Я вопросительно взглянул на Манаури, ибо не мог себе представить, что он отзывал меня в сторону для того лишь, чтобы обсудить время отъезда. И оказался прав. Речь шла о жизни молодого пленника.

— Ты защищал его, — сказал Манаури, глядя мне в глаза с каким-то особым выражением, — поскольку хотел добиться от него сведений о Маргарите. Он оскорблял и тебя и нас и ничего не сказал. Ты думаешь, что-нибудь изменилось и теперь он заговорит?

— Давай попробуем.

Манаури прищурил глаза и с непоколебимым упорством покачал головой.

— Нет, Ян! Не надо пробовать, он ничего не скажет! Да теперь это и не нужно!.. Убьем его!

Впервые здесь Манаури высказался с такой твердостью. В сражениях последней ночи, бесспорно, достигнута была и еще одна победа — моральная: в Манаури умер раб и возродился вождь.

Я изложил ему свои мысли насчет юнца, заметив, что нам выгодно держать молодого испанца в качестве заложника как можно дольше.

— Заложника?

— Именно.

— Разве ты не сказал сейчас, что мы отплывем в ближайшие два-три дня, а за это время враг нас не найдет?

— В наших обстоятельствах может случиться любая неожиданность, а мудрый вождь должен предвидеть всякие возможности!

У Манаури вообще было скорее доброе, даже мягкое выражение лица, но в эту минуту черты его казались твердыми, словно высеченными из гранита.

— Мудрый вождь прежде всего считается с тем, что думают и говорят его воины. Поэтому, Ян, выход только один: пленника надо убить!

— А тебе не кажется, что это будет похоже на убийство беззащитного?

— Убийство? Беззащитного? — Манаури возмущенно подчеркнул это слово.

— Справедливую кару ты называешь убийством? Нет, Ян! Мы учиним над пленным честный суд. Мнение сможет высказать каждый, и ты тоже — если захочешь, в его защиту, — но справедливость должна восторжествовать. — Потом он язвительно добавил: — Белые люди тоже ведь устраивают суды, но у них это очень далеко от справедливости.

И к чему я так вступался за молодого испанца, создав впечатление, что питаю к этому преступному выкормышу какое-то особое пристрастие? Не о нем ведь я пекся, а о нашей общей безопасности!

В бою за лагерь погибли два индейца и один негр. Мы похоронили их рядом с Матео. Над могилой великана насыпали громадный холм, отдавая дань уважения бесстрашному человеку. В этой работе я принял самое активное участие, чтобы все видели, что не был на него в обиде. Его обоснованная неприязнь к белым находила у меня полное понимание.

По мере того как солнце поднималось выше, ветер стал усиливаться. Около полудня шхуна вошла в бухту и бросила якорь. Теперь все, за исключением трех дозорных, были в лагере. Манаури тотчас потребовал суда над пленным.

Неподалеку от лагеря одиноко стояло невысокое дерево, под которым и собрались все наши люди. Подле меня по бокам сидели Арнак и Вагура. У ближайших кустов лежал связанный испанец. Горделивый юнец, почувствовав, к чему клонится дело, скис, не осыпал нас больше ругательствами и подавленно молчал.

Манаури в скупых словах обрисовал его преступления перед рабами на острове Маргарита и предложил присутствующим решить его судьбу. Все без исключения, здоровые и раненые, мужчины и женщины — а их было двое: негритянка Долорес и вдова Матео, индианка Ласана, — единогласно высказались за смерть.



Затем Манаури обратил взгляд в мою сторону и предложил мне в заключение высказать свои соображения.

— Зачем тебе мое мнение? — спросил я. — Все требуют его смерти, значит, будет так, как того хочет большинство. Мое мнение здесь ни к чему!

— Ошибаешься, Ян! Мы ценим твое мнение. Тебе мы обязаны победой над испанцами! Мы ценим твое мужество и ум. Ты наш друг и товарищ. А кроме того, ты тоже белолицый, и, значит, твой суд будет самым праведным.

— Так чего ты от меня хочешь?

— Скажи, заслужил этот молодой испанец смерть или нет?

— Заслужил! — ответил я без колебаний.

Мой ответ, переведенный присутствующим Арнаком, вызвал бурную радость и всеобщее ликование. Я попросил тишины и сказал, что должен кое-что добавить.

— Пожалуйста, говори!

— Молодой испанец заслуживает смерти, и смерть от нашей руки его не минует. Но умереть он должен не сейчас и не здесь.

— А где и когда?

— Позже, после нашего благополучного прибытия в ваше родное селение.

В ответ на эти слова разразилась целая буря протеста. Нет, они требовали его немедленной смерти! В сердцах их накопилось столько горечи и желчи, что они как одержимые отметали всякий голос рассудка и возмущенно отвергали мысль о заложнике. Я понял, что бури этой не удастся унять. Вопрос о немедленной смерти пленника был предрешен.

Едва страсти утихли, как разразился новый спор по поводу того, какой смертью должен умереть осужденный.

— Нет, нет, никаких пыток! Никаких мучений! Если честному человеку приходится убивать, он убивает, не обрекая виновного на муки! Так умрет и испанец!

Опять поднялась целая буря. Но я твердо стоял на своем и не думал уступать. Когда крики немного утихли, я повысил голос:

— Только бесчеловечные чудовища издеваются над беззащитными! Если вы хотите остаться моими друзьями, вы должны вести себя по-человечески. Если вы хотите сохранить мою дружбу, будьте настоящими воинами! Пусть вернется к вам разум! Слушайте, что я вам говорю! Это мое последнее слово!

Арнак, Вагура и Манаури активно меня поддерживали, но несколько горячих голов продолжали настаивать на своем и настраивали против нас других. Я оставался непреклонным, хотя последствия и могли оказаться для меня пагубными.

И вдруг воцарилась тишина. Слова попросила женщина. Да, вдова Матео, Ласана. Она приблизилась ко мне и, указывая на меня пальцем, стала что-то говорить. Она отличалась от других необыкновенной выдержкой и обаянием, голос у нее был глубокий и сильный, приятного тембра.

— Что она говорит? — шепнул я Арнаку.

— Она говорит, что правда на твоей стороне... Что они должны тебя слушать, и она, жена Матео, этого требует... И еще... хо-хо!

— Что: хо-хо? — спросил я тихо.

— Интересные вещи мы о тебе узнаем!

Арнак посмотрел на меня искоса, и, что бывало редко, лукавая улыбка появилась на его лице.

— О-ой! — воскликнул и Вагура, поглядывая на меня.

— Да говорите же вы наконец, в чем дело!

— Она говорит — ты великий человек... и дружбу такого человека надо ценить, еще она говорит...

Я не был уверен, не преувеличивают ли мои друзья, Но, как бы там ни было, слова индианки произвели сильное впечатление на слушателей и оказались решающими. Я издали поблагодарил женщину улыбкой.

Дальше все происходило спокойно и в полном согласии.

Было решено повесить испанца на том самом дереве, под которым вершился суд. Ему развязали путы на ногах и подвели под дерево. Глаза у него от страха остекленели, он хотел что-то крикнуть и не успел — суд свершился. И тут с лицом его произошла разительная перемена: черты, прежде столь прекрасные и нежные, вдруг обрели отвратительное выражение изуверства — качества, которое, видимо, составляло при жизни всю суть его мерзкой натуры.

Вся сцена эта могла бы произвести гнетущее впечатление, если бы я не оценил верно основной ее смысл: это была не просто месть двух десятков униженных и оскорбленных индейцев и негров — это была заслуженная кара,

справедливое возмездие угнетенных.

Я открываю человека

После свершения этого тягостного акта мы переправили своих раненых из лагеря на борт шхуны и пустились в путь вдоль острова. Ветер дул с севера, и, плывя поначалу на восток, мы имели его с левого борта, а потом — прямо по носу. Шхуна была маневренной и хорошо слушалась руля. Удачная парусная оснастка позволяла, перекладывая галсы, неплохо идти и под ветер. Все три лодки мы укрепили за кормой.

Еще задолго до вечера нас приветствовали ставшие родными окрестности, и вскоре мы бросили якорь в четверти мили от берега прямо против холма. В пещере все оказалось в полном порядке. Индианки, обрадованные нашим возвращением, тут же приготовили пищу, а раненых перевязали.

Всех способных двигаться я собрал на краткий совет, чтобы обсудить, когда нам лучше покинуть остров.

— Как можно скорее! — заявил Манаури. — Лучше всего завтра утром!

— Хорошо, завтра утром! До захода солнца остается три часа, и работы у нас хоть отбавляй.

Прежде всего надо было собрать с поля кукурузу. Правда, на шхуне обнаружилось большие запасы провизии, но жаль было бросать созревшую кукурузу, которую мы столько недель лелеяли и холили, оберегая как зеницу ока.

Все дружно принялись за уборку урожая, и вскоре около двух десятков корзин наполнились золотистым зерном.

Еще забота: у нас было теперь четыре шлюпки — флотилия, пожалуй, великоватая. Что делать с самой большой лодкой, которая своей тяжестью наверняка лишь снижала бы маневренность шхуны? Порешили оставить ее на острове, а чтобы защитить от непогоды — затащить в пещеру и заложить там камнями.

Незадолго до захода солнца общими усилиями мы переволокли лодку в пещеру. Когда, трудясь в поте лица, мы наконец справились и с этим делом, дневной свет еще не померк. И тут меня осенила мысль оставить о себе на острове память и вырезать ножом на борту лодки свое имя.

На носу лодки я выдолбил слова: John Vober — и тут же заколебался: почему John, а не Ян? Однако сделанного было уже не поправить, и потому я добавил еще одно слово: Polonus. А под ним год: 1726.

За ужином Манаури с торжественным видом попросил минуту внимания. Обращаясь к неграм, он выразил сомнение, сумеют ли они сами, без помощи, устроиться на Большой земле и не попадут ли вновь в руки к испанцам. В связи с этим он предложил им не только гостеприимство и приют в индейском селении, но и принятие их в племя араваков на равных правах со всеми его членами. Негры встретили эти слова с глубокой благодарностью. Потом Манаури обратился ко мне и заверил, что племя окажет мне всяческое содействие, чтобы помочь благополучно добраться до островов, расположенных неподалеку от устья реки Ориноко и заселенных англичанами. Затем он добавил:

— Но если сказать по совести, то нам хочется, чтобы ты оставался у нас гостем как можно дольше, и даже на вею жизнь! В дружбе, уважении и еде ты, Ян, не будешь знать у нас недостатка!

Я от всего сердца поблагодарил его за добрые слова и искреннее приглашение.

В последний день пребывания на острове мы пробудились задолго до рассвета и принялись перевозить на шхуну имущество и раненых. Имевшееся у нас огнестрельное оружие я решил подарить индейцам после прибытия в их селение и с особым вниманием следил, чтобы его ненароком не повредили. У нас было около тридцати мушкетов и ружей с большим запасом пороха и пуль — мощь, разумное использование которой могло гарантировать свободу и само существование араваков на много-много лет вперед. Арнаку и Вагуре, лучше других понимавшим значение этого оружия, я доверил его сохранность.

Якоря мы подняли лишь около полудня, когда посвежел ветер, и курс взяли прямо на восток, стремясь подольше не приближаться к материку, с тем чтобы не попасть во встречное течение. Всего нас на шхуне было тридцать человек: нападение испанцев стоило жизни одиннадцати несчастным, в том числе одной женщине и трем детям. Дорого-доставался нам путь к свободе!

Стоя на палубе, опершись о борт, Арнак, Вагура и я провожали взглядом удаляющийся остров, остров Робинзона, как я его когда-то назвал. Мы прожили на нем более четырехсот дней, тяжелых и напряженных, дней упорной борьбы с болезнями, с дикими животными и с людьми, дней почти непрерывного изнурительного труда и лишений, а порой и отчаяния.

Прощаясь с пальмами, тающими в голубой дали, глядя на исчезающий за горизонтом холм, с которого я столько раз тщетно искал взглядом спасения в пустынном море, я не слал проклятий острову, узником которого столь долго был. На необитаемом острове, как ни странно, я открыл бесценный клад — я открыл человека в себе самом и в своем ближнем.

Именно здесь с незрячих глаз моих спала пелена предубеждений к людям иной расы, здесь сердце мое изведало тепло подлинной человеческой дружбы.

Нет, я не поминал лихом безлюдного острова!

Кто-то сзади подошел к нам и остановился рядом со мной. Ласана. Одной рукой она прижимала к себе ребенка, а другой, как и мы, оперлась о борт. С минуту она смотрела в сторону острова, потом перевела взгляд на меня. Мне показалось, что ее огромные агатовые зрачки излучали тепло.

Я положил свою ладонь на ее руку. Индианка не отстранилась.



Ориноко

Гора Грифов

В течение двух суток после того, как мы покинули остров, корабль наш держал курс строго на восток. Океан был пуст — нигде ни одного корабля, и это немало нас радовало. Ветер дул с северо-востока, и, хотя парусами управляли руки неопытные, а встречные морские течения затрудняли плавание, шхуна легко скользила по волнам и заметно продвигалась вперед.

Все два дня мы не теряли из виду материка, простиравшегося на юге волнистой линией; побережье этой части Южной Америки, а говоря точнее — Венесуэлы, было гористым.

Вождь Манаури и его воины старались рассмотреть на далекой земле знакомую вершину, у подножия которой, как они уверяли, лежали их селения. Вершина эта именовалась горой Грифов.

— Разве можно узнать ее на таком расстоянии? — выразил я сомнение. — От Большой земли нас отделяет много миль. Все горы там кажутся одинаковыми.

— Мы узнаем, Ян, нашу гору, мы сразу узнаем! — ответил Манаури по-аравакски, а мои юные друзья, Арнак и Вагура, как обычно, перевели мне слова вождя на английский.

— Не подойти ли нам ближе к берегу? — предложил я.

— Не надо! Ближе могут быть подводные скалы. Вершину Грифов мы узнаем и отсюда.

Надо ли говорить, с каким усердием высматривали мы эту вершину — предвестницу лучших дней, рассчитывая, что там, в селениях араваков, придет конец нашим бедам. Там мои друзья-индейцы окажутся среди своих, а шестеро негров найдут у дружественного племени защиту и гостеприимство. А я? Я уповал на то, что, оказавшись на Южноамериканском материке, смогу легко с помощью индейцев добраться до английских островов Карибского моря. Я надеялся, что индейцы не обманут моих надежд и помогут мне охотно, от чистого сердца; тяжкие испытания последней недели связали нас верной, до гробовой доски, дружбой.

Солнце клонилось к западу, когда на шхуне поднялся вдруг радостный переполох. Все бросились на нос корабля и оттуда всматривались вперед, указывая руками куда-то вдаль. В синей дымке далеко впереди на берегу вырисовывались очертания горной вершины причудливой формы. Крутой склон с одной стороны и пологий — с противоположной делали ее похожей на огромный, устремленный ввысь клюв какой-то хищной птицы.

— Гора Грифов! — раздавались возбужденные голоса.

Ко мне, стоявшему на руле, подошел вождь Манаури, а вслед за ним толпой и все остальные: Арнак, Вагура, Ласана, индейцы, негры. Лица их выражали столько радости, столько счастья, что и мне невольно передалось всеобщее возбуждение.

— Правь к ней! — только и смог вымолвить Манаури. — Ян! — торжественным тоном произнес он. — Ты наш брат, и мы любим тебя! Тебе мы обязаны своим спасением на острове. Твой разум и твои ружья победили наших преследователей-испанцев. Дружба твоя вернула нас к жизни. Ты, великий воин своего народа, не можешь пока вернуться к своим, и мы просим тебя от чисто-

го сердца: останься у нас! Останься навсегда!

Среди всеобщего радостного оживления все присутствующие встретили его слова горячим одобрением.

— Сердечно благодарю вас за даруемое мне гостеприимство, но, к сожалению, я не могу им воспользоваться, — ответил я твердо. — Я пробуду у вас не дольше, чем потребуется для подготовки моего отъезда на английские острова. Могу ли я рассчитывать на вашу помощь, Манаури?

— Ты — наш брат! — ответил вождь. — Мы сделаем все, о чем ты попросишь...

Вершину Грифов мы увидели, когда до нее оставалось еще немало миль, и лишь после многих часов плавания приблизились наконец к ее подножию. К этому времени солнце уже заходило и близился вечер. До ближайшего селения араваков, лежавшего на берегу лагуны в устье реки по той стороне горы, оставалось плыть еще добрых два часа при попутном ветре и хорошей видимости, а тут, как назло, и ветер под вечер стих, и стали быстро сгущаться сумерки. Не оставалось иного выхода, как подплыть поближе к горе и бросить вблизи от берега на ночь якорь. Индейцы знали здесь каждую пядь морского дна, но предпочитали дожидаться рассвета я лишь при свете дня ввести шхуну в залив.

Совсем стемнело, и лишь звезды светили нам, когда мы покончили наконец со всеми делами и встали на якорь. Никто, кроме детей, и не подумал отправляться на отдых — предстоящий день будоражил всех одинаково: и негров, и индейцев, и меня.

Еще до наступления темноты индейцы надеялись обнаружить в море или на берегу хоть какие-нибудь признаки человеческой жизни — хотя бы лодки рыбаков, вышедших на ловлю, — но зрение они напрягали напрасно.

— Это непонятно, — поделился со мной недоуменном Манаури. — Я хорошо помню, как было прежде, — под вечер рыбаки всегда выходили в море.

— Вероятнее всего, они выходили и сегодня, — высказал я предположение.

— Мы их не видим.

— Просто они, наверно, заметили нас раньше, чем мы их, и, опасаясь чужих людей на шхуне, укрыли свои лодки в бухте.

— Может ли так быть? — задумался вождь.

И тут я вдруг заметил, что в волнении говорю с Манаури по-аравакски. Наверно, я безбожно коверкал слова, по, как бы там ни было, говорил и совсем неплохо понимал все, что говорит Манаури. Как же так, я, англичанин, точнее говоря, вирджинский англичанин польского происхождения, — и вдруг по-аравакски! Как это? Откуда? Ни разу до этой минуты мне не приходило в голову, что я знаю аравакский язык. Впрочем, никакого колдовства тут, вероятно, не было, и все объяснялось очень просто: живя вместе с Арнаком и Вагурой на необитаемом острове более года, я постоянно изъяснялся с ними на английском языке, которым достаточно хорошо владели оба юноши. Но между собой молодые индейцы говорили исключительно на своем родном языке, притом ничуть не смущаясь моим присутствием. Бессознательно я улавливал чужую речь, и притом так успешно, что постепенно, не отдавая себе даже в этом отчета, стал понимать отдельные слова, а потом и целые фразы. Я мало придавал всему этому значения и потому знания обретал незаметно, исподволь, как бы скрытым путем, но вот, когда возникла потребность, знания эти пробились

наружу и полностью проявились. В обстановке всеобщего возбуждения никто этого не заметил, кроме меня самого.

Люди на палубе, привольно расположившись группами, вполголоса переговаривались, впадая порой в долгое молчание. И тогда чуткое ухо легко хватывало звуки, доносившиеся с материка. До берега было не больше пятидесяти-шестидесяти саженей, и до слуха долетали голоса ночных джунглей, а чуть ближе — шум ленивой морской волны, ласково бившей изредка о прибрежный песок. Еще при свете дня я убедился, что растительность здесь была очень похожа на ту, среди которой мне довелось жить на острове: не сплошной непроходимый лес, а высокий кустарник, сухой и колючий, перемежающийся зарослями знакомых мне кактусов и агав, среди которых лишь изредка кое-где возносились стройные пальмы и другие высокоствольные деревья. Отзвуки ночной жизни природы, доносившиеся оттуда, были почти такими же, как и в дебрях моего острова, но насколько же глубже проникали они в душу! Непередаваемым волнением теснили они сердце, будоражили воображение. И я понимал отчего — звуки эти исходили от таинственной огромной земли, покрытой где-то в глубине непроходимыми джунглями, изрезанной руслами громадных рек, от земли, по которой бродили неведомые племена диких туземцев, где жестокие испанцы и португальцы основывали города и беспощадным мечом утверждали свои законы и свою религию. Одним словом, это были звуки земли, сулившей грозное будущее, полное неведомых приключений и опасностей.

Вождь Манаури, Арнак и Вагура сидели рядом со мной. Сгорая от любопытства поскорее узнать, что ждет меня завтра, я стал расспрашивать вождя о селениях араваков. С удивлением я узнал, что деревень здесь было немного, всего пять.

— Только пять селений? И больше нет?

— Здесь нет.

— Зато, наверное, это очень большие селения?

— Есть и большие, есть и маленькие. В моей деревне, одной из самых больших, при мне жили почти три раза по сто человек.

— Триста воинов?

— Нет, триста всего. И воинов, и стариков, и детей, и женщин.

— Сколько же примерно человек во всех пяти деревнях?

— Почти десять раз по сто.

— Вместе с женщинами и детьми?

— Да, вместе с женщинами и детьми.

Я едва верил собственным ушам.

— Значит, вас так мало?! Ты не шутишь, Манаури?

— Нет, Ян, я не шучу.

— И это все племя араваков? Я думал, вас больше.

— Ты не ошибался. Араваков намного больше — это великое племя, но живет оно не здесь, а далеко на юге, в краю, который зовется Гвиана, в месяце пути от нас.

— Месяц пути — это примерно пятьсот миль?

— Возможно, пятьсот, возможно, больше. Чтобы попасть туда, нужно перейти великую реку Ибириноко и еще много-много дней идти на юг от этой реки. Там находятся селения нашего народа.

— Реку Ибириноко?

— Это индейское название реки, которую испанцы зовут Ориноко.

— Значит, здесь живет только небольшой род племени араваков?

— Небольшой род, правильно.

Известие это в первый момент встревожило меня: если здесь так мало людей, то, возможно, не найдется даже охотников доставить меня до английских островов Карибского моря. Но Манаури уверял, что мне не о чем беспокоиться: люди найдутся — это его забота.

Обстоятельства появления здесь, на севере, вдали от основных селений, небольшой части араваков вождь объяснил мне так. Пять или шесть поколений назад, а значит, примерно лет сто тому назад, между племенами араваков на юге произошел резкий раскол и вспыхнула братоубийственная война. Из-за чего — теперь неизвестно. Племена по берегам реки Эссекибо, более многочисленные, чем другие, одержали верх и жестоко притесняли своих противников. Особенно страдали племена, жившие по берегам реки Померун. И вот однажды они погрузили свой скарб на лодки и в поисках новой родины отправились вдоль морского побережья на север. Искать пришлось долго: то негостеприимным оказывался берег, то мешала враждебность чужих племен, но в конце концов они нашли все-таки то, что искали, у подножия горы Грифов. Здесь и осели. С двух сторон соседями у них оказались два воинственных племени карибов. Но жили они довольно далеко и после нескольких неудачных стычек оставили пришельцев в покое и больше не тревожили. Лишь в последние годы на араваков свалились новые беды: на деревни стали устраивать набеги испанские пираты и торговцы невольниками.

— А ты, Манаури, — прервал я рассказ, — был вождем всех араваков здесь, на севере?

— Нет. Каждая из пяти здешних деревень имела своего вождя, главу рода, а я был одним из них.

— А главного вождя у вас не было?

— Был. Его звали Конесо. Но власть у него ограничена, и он решает только самые общие дела.

— Кто же пользуется у вас полной властью?

— Вождь рода или деревни, но и он подчиняется решениям общего совета, в котором участвуют все взрослые мужчины рода.

— А если совет решит, что мне не надо помогать, поскольку я белый и чужеземец?

Манаури возмутился:

— Ты наш брат, Ян, и спаситель, а индейцы имеют разум и сердце, они не покроют себя позором и не допустят неблагодарности!

— А предположим, что за годы твоей неволи твой преемник вкусил сладость власти и встретит тебя теперь как врага, а меня тем более... Разве это невозможно?

Вероятно, это было возможным, поскольку Манаури вдруг умолк. В темноте я не видел его лица, но почувствовал, что оно нахмурилось. Какие-то сомнения, видимо, тревожили и его. Минуту спустя он проговорил:

— Не думай об этом. У нас тебя не ждет обида или неблагодарность. А если — хотя это и невозможно — племя решит отказать тебе в гостеприимстве и помощи, одно не вызывает сомнений, как существование этого моря и этой

вершины: мы твои друзья, мы тебя любим и не оставим в беде. Все, кто на этом корабле, будут стоять за тебя не на жизнь, а на смерть! Прими эти слова, как я их тебе говорю: не на жизнь, а на смерть! Даже вопреки воле всего племени!

Он высказал все это с такой глубокой искренностью, что невозможно было усомниться в добрых чувствах ко мне со стороны этих людей.

И впрямь нас связывали крепчайшие узы, какие только могут связывать человека с человеком: братство, рожденное в совместной смертельной борьбе за жизнь.

Арнак и Вагура, переводившие мне слова вождя, от себя добавили, что никогда не оставят меня ни в какой беде, а зная юных своих друзей как свои пять пальцев, я мог им верить. Они пошли бы за мной хоть на край света. Бок о бок с такими друзьями можно было противостоять любым опасностям на неведомом материке, который все продолжал неустанно нашептывать нам что-то таинственное и тревожное.

Вскоре из-за моря вышла луна и осветила окрестности вокруг корабля. Очертания горы Грифов на фоне неба стали отчетливее и резче. Яснее проступили пятна зарослей на горном склоне, который при лунном свете вдруг как-то удивительно к нам приблизился.

Эта картина вызвала среди индейцев необычайное оживление, дав им реально почувствовать близость родных селений. Ночь обещала быть светлой. Пользуясь этим, Манаури, Арнак, Вагура и еще несколько человек решили, не ожидая рассвета, отправиться на лодках на берег, посетить одну из ближайших деревень и сообщить о нашем прибытии, а к утру вернуться на корабль.

— Я с вами! — решил я.

Индейцы хотели было отправляться немедленно, но Манаури отложил отплытие на чае в ожидании полного восхода луны.

— Оружие будем брать? — спросил меня Арнак.

— Мушкеты, пожалуй, не стоит, — ответил я, — а вот ножи и пистолеты возьмем.

— Хорошо, я заряджу три пистолета: тебе, себе и Вагуре...

Безлюдное селение

По спокойному морю переправа па берег не представляла трудностей. Нас было одиннадцать, и мы свободно разместились в двух лодках. Высадившись на берег, гуськом, след в след, двинулись вперед. Дорога шла все время вдоль подножия горы Грифов, сначала по самому берегу, а потом свернула вправо, в заросли. Продравшись сквозь колючий кустарник, мы вышли к бухте. Собственно, это была не бухта, а скорее лагуна длиной в полмили и с довольно широким выходом в море.

Манаури, указав рукой на противоположный берег, спокойно произнес:

— Там деревня.

Далеко впереди у самой воды темнело что-то похожее на хижины, но рассмотреть яснее с такого расстояния было трудно даже при свете луны.

Через несколько минут быстрой ходьбы мы преодолели половину пути до деревни и уже стали различать отдельные хижины, разбросанные по берегу небольшой речушки. Но до сих пор нигде ни малейшего признака жизни. Тишина показалась мне до такой степени неестественной, что я дал знак остановиться.

— Людей здесь нет! — заявил я. — Тут что-то неладно. Надо соблюдать осторожность. Подкрадываться тихо!

Теперь я сожалел, что мы взяли с собой мало огнестрельного оружия и совсем не прихватили луков, но было поздно — делу уже не поможешь. Прежде всего надлежало выяснить тайну безмолвной деревни.

Ко мне подошел Вагура и сдавленным от волнения шепотом спросил:

— Ты думаешь, здесь случилось какое-то несчастье?

— Не знаю. Во всяком случае, что-то здесь не в порядке, это ясно. Жителей нет.

— Может быть, всех увели испанцы?

— Узнаем, когда доберемся до хижин.

Еще на шхуне меня предупредили, что здесь множество ядовитых змей, заставив надеть добытые у испанцев башмаки, от ходьбы в которых я давно отвык и теперь испытывал от них немало неудобств. Змеи змеями, но сейчас следовало подкрадываться, соблюдая полнейшую тишину, и я не без удовольствия поспешил сбросить проклятую обувь и наконец вздохнул с облегчением. Сколь приятно холодила земля босые ноги! Вагура спрятал башмаки в дупло дерева, росшего на берегу озера.

Дальше мы двигались, прячась под сенью кустарника, и наконец добрались до первой хижины. Стены ее были сплетены из тростника, крыша покрыта листьями кокосовых пальм.

Одного взгляда было достаточно, чтобы определить, что хижина давно покинута и полуразвалилась: тростниковые стены местами прогнили, сквозь дыру в крыше заглядывала луна.

— Проверь, что там внутри! — поручил Манаури Арнаку.

Укрывшись в чаще кустарника, мы ждали возвращения юноши.

— Ты не помнишь, кто жил в этой хижине? — спросил я у вождя.

— Помню. Мабукули, мой друг.

— Когда испанцы напали на вас, он не попал в плен?

— Нет. Во время нападения его здесь не было, как и многих других.

— Значит, после нападения он мог возвратиться и продолжать здесь жить?

— Мог.

Арнак вернулся и сообщил, что ничего подозрительного в хижине не обнаружил; некоторые мелкие предметы обихода, например сосуды из тыкв для воды, валялись еще на земле, а сама хижина производила впечатление оставленной хозяевами добровольно.

— Никаких следов борьбы или насилия ты не заметил? — допытывался вождь.

— Нет.

Вокруг нас царила мертвая тишина; все указывало на то, что деревня пуста. Пораженных этим индейцев охватило глубокое уныние, передавшееся, естественно, и мне. Зловещая тайна окутывала вымершее индейское селение. Когда всей группой мы приблизились к покинутой хижине, я посоветовал спутникам без крайней нужды в нее не входить: изгнать жителей из их обиталищ могла какая-нибудь заразная болезнь.

Продвигаясь дальше, мы миновали пепелище другой хижины. Но тут один из индейцев припомнил, что она сгорела еще во время нападения испанцев, захвативших его в рабство. Следовательно, пожар уничтожил ее давно, тогда

как жители оставили селение значительно позже — год или два тому назад, — о чем свидетельствовали многие приметы, обнаруженные нами возле других хижин.

Эта невыразимо тягостная картина покинутых и заброшенных жилищ сопровождала нас на всем пути к противоположному концу деревни. Хижины и шалаши стояли не друг подле друга, а были разбросаны на довольно значительном расстоянии. Наконец путь нам преградила широкая, но мелководная река, впадавшая в лагуну. На берегу ее мы присели на землю под сенью развесистого дерева и стали совещаться.

— Одно ясно, — проговорил я полушепотом, — ни нападения, ни кровопролития здесь не было.

Все с этим согласились.

— Нигде никаких следов борьбы, хотя бы сломанное копье или стрела — ничего, — добавил Манаури.

— Куда же они могли уйти? — задумчиво проговорил Арнак.

— Думаю, куда-то в глубь материка, подальше от побережья, — высказал я предположение. — У моря им, видимо, постоянно угрожали белые пираты.

Мысль эта пришлась всем по душе, и за нее ухватились; она оставляла надежду, что на деревню не свалилась какая-то ужасная катастрофа или повальный мор.

— Наверно, они ушли от моря не очень далеко, — предположил Манаури, — и завтра мы легко их найдем.

— А где находятся остальные четыре деревни? — спросил я.

— На этой же реке, но выше по течению.

— Далеко отсюда?

— Недалеко. Ближайшая деревня — два раза по десять выстрелов из лука.

— Двадцать выстрелов из лука, — подсчитал я, — это значит примерно полчаса ходьбы. Совсем близко!

— Близко.

Вождь, заметив мое оживление, тотчас же понял его причину.

— Я знаю, о чем ты думаешь! — проговорил он. — Надо посмотреть, что делается там.

— Конечно! Возможно, ваши именно в тех деревнях!

Мы взглянули на небо. До полуночи было еще далеко. На рассвете мы должны вернуться на шхуну, но до того следовало по возможности выяснить положение дел в остальных аравакских селениях. Манаури не мешкая выделил четырех индейцев, хорошо знавших местность, и направил их вверх по реке, велел не жалеть ног. Мы остались ожидать их возвращения здесь, у реки.

На берегу почва была сырой, болотистой, поросшей густой растительностью. Воздух насыщен был нестерпимым, просто одуряющим зловонием прелых листьев и гниющих корней. Полоса прибрежной растительности была сравнительно неширокой, всего каких-нибудь тридцать или сорок шагов в глубину, но из ее чащи доносились невероятные душераздирающие звуки! Там что-то щелкало, верещало, квакало, стонало и вопило, но более всего вселяло ужас, заставляя стыть в жилах кровь, свирепое шипение. Казалось, разверзлись врата ада и страшные чудища, вырвавшись на свободу, предавались теперь дикому разгулу на этом крошечном клочке джунглей.

Ночи в далеких вирджинских лесах тоже имели свои голоса; не было недостатка в разных звуках ночной порой и в зарослях колючего кустарника на острове, недавно нами покинутом, но все это не шло ни в какое сравнение с дикой оргией звуков, раздававшихся здесь, у этой реки.

Индейцы, привыкшие к таким концертам, не обращали на них ни малейшего внимания.

— Это ужасное шипение издают, наверно, цикады, — проговорил я.

— Да. Цикады и разные насекомые, — ответил Манаури.

Какая-то тварь грозно замаякала.

— Дикий кот? — невольно вздрогнул я.

— Нет, древесная жаба.

Потом раздался стук, словно кузнец ковал молотом косу.

— А это кто? Птица?

— Тоже жаба, но водяная.

Вдруг — глухое хрюканье и потом всплеск. Манаури с минуту задумчиво прислушивался.

— Не знаю, что это, — признался он. — Похоже, большая водяная крыса...

— А крупные хищники здесь бывают?

— Наверное, бывают.

Вождь спокойно огляделся, окинул невозмутимым взором заросли и заверил:

— Но сейчас их здесь нет...

Зато примечательной особенностью этого места, истинным его проклятьем были целые тучи комаров, тысячи, миллионы комаров. Они облепляли человека и впивались в него как одержимые. Индейцы, как видно, более к этому привычные, мужественно переносили это бедствие, лишь лениво отмахиваясь. Я же близок был к умопомрачению и в конце концов, отойдя шагов на сто от прибрежных зарослей, взобрался на песчаный пригорок и здесь лишь смог наконец вздохнуть свободно: в воздухе ни одного комара. Довольный, я расположился поудобнее и стал ждать.

Вскоре вернулись наши разведчики. Принесенные ими вести были неутешительны и подействовали на нас удручающе: все четыре селения араваков оказались покинутыми так же, как и деревня на берегу лагуны.

— Нигде ни одной живой души, а хижины и шалаши почти все развалились, — сообщили прибывшие. Не мешкая более, мы отправились в обратный путь к шхуне, оставив на берегу Вагуру и с ним двух индейцев ждать, когда на рассвете мы введем корабль в лагуну. Мы оставили им три пистолета и поручили держать глаза и уши открытыми, дабы утром нас не подстерегла на берегу какая-нибудь неожиданность.

Хромой индеец Арасибо

Едва рассвело, мы подняли якорь. Горловина залива, или — как бы это сказать — протока с моря в лагуну, была достаточно широкая, но мелководная, и Манаури с его индейцами пришлось смотреть во все глаза, чтобы отыскать среди подводных скал и мелей достаточно надежный фарватер. К счастью, шхуна имела небольшую осадку и прошла без помех, а когда первые лучи солнца позолотили склоны горы, мы уже входили в спокойные воды залива.

— Ни одной бригантине сюда не проскользнуть, — заметил Арнак.

— Ты прав. Со стороны моря в бухте нам ничто не грозит, — согласился я.

Вдали, на юго-западе, чернели хижины безлюдной деревни. Мы внимательно всматривались в берега лагуны в надежде отыскать хоть какие-то признаки жизни... и отыскиали. Четыре человека у самой кромки воды подавали нам руками знаки.

— Вот наши! Вагура! Я узнал его! — воскликнул Манаури.

— Но их, кажется, четверо, если я не ошибаюсь! — удивился я.

— Четверо. Один прибавился.

В подзорную трубу я отчетливо рассмотрел трех наших товарищей и с ними кого-то четвертого, совершенно незнакомого. Это был индеец. Судя по всему, наши держали себя с ним по-дружески. Я протянул трубу Манаури.

— О-ей! — воскликнул он возбужденно, едва взглянув в окуляр.

— Ты его знаешь?

— Знаю. Это человек из нашего рода. Арасибо.

— Значит, все-таки какой-то след от ваших остался?

— Остался.

Мы подплыли к месту, где нас ждали четыре индейца. Бухта здесь была глубокой, и нам удалось бросить якорь в каких-нибудь десяти саженях от берега. Радость от неожиданной этой встречи была огромной, но по своему обыкновению индейцы не выражали ее ни словом, ни жестом, и лишь глаза их горели от волнения.

Арасибо, коренастый, невысокий индеец средних лет, заметно хромал на одну ногу. В глазах его таилась не то хитрость, не то скрытность, но, не желая без повода думать о нем дурно, я решил, что такое невыгодное впечатление от его внешности создается, вероятно, из-за его Уродства и какого-то злого выражения глаз, слишком близко друг к другу посаженных и к тому же сильно косивших.

Рассказ Арасибо частично подтвердил наши ночные предположения. Араваки действительно без борьбы оставили свои селения, но все же и не вполне по доброй воле. Они пошли на этот шаг из-за боязни нападений со стороны испанцев. Ловцы рабов нападали на индейские селения не только со стороны моря. Милях в двадцати на запад от залива в горных и степных районах несколько лет назад возникло испанское скотоводческое ранчо названное Ла-Соледад. Основатели его, явившиеся туда со стадами скота из-под города Куманы, опираясь на закон меча и кулака, объявили, что все окрестные земли принадлежат им, а вместе с землями и все живущие здесь индейцы. Непокорных, которые посмеют не подчиниться новой власти, они грозили беспощадно уничтожить. Это были не пустые угрозы. Аравакам предстояло первыми оказаться под ярмом конкистадоров. У индейцев, слишком малочисленных и плохо вооруженных чтобы принять открытый бой, оставался один путь к спасению — бегство. И вот два года назад они ушли из этих мест. Ушли на юг, в давние селения араваков в Гвиане. Большинство отправилось посуху через степи к реке Ориноко и дальше к родным берегам Померуна. Другие погрузили свой скарб в лодки и поплыли вдоль морского побережья, и хотя кружным путем, но тоже добрались по морю к устью реки Померун.

— А как же случилось, что ты остался здесь совсем один? — спросил я Арасибо.

Лицо индейца исказила гримаса, придавшая ему еще более отталкивающее выражение. Мне стало жаль этого человека, имевшего столь безобразную

внешность, хотя, кажется, он был далеко не таким плохим, как казался на первый взгляд.

— Перед самым уходом племени я охотился у реки, — стал рассказывать он печальным голосом. — На берегу большой-большой кайман схватил меня за ногу. Я долго с ним боролся и сумел все-таки вырваться. Я потерял много крови и долго лежал без сознания. Сколько лежал? Никто не знает. Меня нашли в последний вечер перед уходом. Лодки уже ушли в море. Со сломанной ногой я не мог идти. Старый шаман Карапана ненавидел меня, потому что...

Он в нерешительности умолк, как бы сомневаясь, смеет ли продолжать.

— Говори! — потребовал Манаури.

Арасибо махнул рукой, всем видом своим выражая, что об этом не стоит говорить.

— Нет, говори! Почему тебя ненавидел Карапана, ну? — настаивал вождь.

— Ты же знаешь, мы тоже его не любим!

— Он ненавидел меня потому, что я знаю многие его хитрости и уловки. Он боялся за свою власть и подговорил против меня Конесо. Конесо не позволил меня нести и оставил одного, надеясь, что я умру. Все ушли, а меня бросили... Родственники оставили мне немного еды. Но я не умер и даже могу ходить!

— Значит, Конесо все еще главный вождь? — В голосе Манаури прозвучал гнев. — И Карапана с ним?

— Да, главный. И Карапана с ним.

Итак, положение наше прояснилось. Прояснилось?! Никогда, вероятно, в этом слове не звучало столько злой иронии, как сейчас, при наших обстоятельствах. Прояснилось, что мы оказались одни, что мы не можем рассчитывать на чью-нибудь помощь, а все араваки ушли неведомо куда, и теперь ищи ветра в поле. Обстановка вокруг неясная, а соседство алчных испанцев более чем опасно. Оставаться в этом месте дольше означало навлекать на свою голову новые беды. Арасибо в самых мрачных красках описывал жестокость испанцев из Ла-Соледада: силы у них несметные, всех они хотят подавить железной пятой, разбойничают повсюду, а на службе у них много куманато...

— Кто это такие? — поинтересовался я.

— Куманато — это соседнее племя индейцев на западе, — пояснил Манаури. — Кровожадные людоеды.

— Людоеды? Возможно ли?

— Я тебе говорю! — заверил вождь. — Прежде у нас немало было с ними хлопот. Это настоящие карибы.

— А карибы плохие?

— Плохие и дикие. У карибов много разных племен, на все они любители пограбить, а трудиться и обрабатывать землю не любят.

— А разве вы не карибы? — спросил я недоверчиво.

Манаури, Арасибо и все присутствующие индейцы ужасно оскорбились от одной лишь мысли, что их могли принять за карибов.

— Нет! — выкрикнул Манаури. — Мы араваки, мы совсем другое племя. Мы обрабатываем землю, а не только бродим по лесам...

— Ага, так я и думал, — попытался я тут же исправить свою оплошность.

Тем временем женщины приготовили нам обильный завтрак, первую на Большой земле трапезу. Арасибо, заядлый, как видно, охотник на крокодилов, обогатил его мясом каймана. Признаюсь, оно показалось мне отменно вкус-

ным, напоминая телятину, и разве что чуть припахивало тиной.

Сразу после завтрака все, в том числе и женщины, собрались под сенью одной из хижин на общий совет.

По основному вопросу все были единодушны — эти края надо покинуть как можно скорее и отправляться вслед за земляками на юг. Но тут же выявились и разногласия — каким путем: по морю или по суше. Я высказался за первый: мне жаль было оставлять превосходный, с отменными мореходными качествами корабль, который позже мог еще сослужить мне добрую службу и помочь добраться с берегов реки Померун на английские острова. В конце концов после долгих споров и препирательств мое мнение одержало верх.

Ночь мы провели на берегу, выставив часовых. После нескольких часов крепкого сна задолго до восхода солнца мы проснулись бодрыми и отдохнувшими. На темном небосклоне еще сверкали звезды, предвещая рассвет, когда мы подняли якорь и, буксируя шхуну тремя лодками, стали осторожно выбираться из бухты. Восход солнца застал нас уже в море. Свежий северо-восточный ветер надул паруса нашей шхуны, и мы взяли курс вдоль побережья строго на восток, рассчитывая плыть так в течение нескольких дней.

Когда подняты были все паруса, когда ветер посвежел и корабль наш стал рассекать волны, я собрал всех на палубе и произнес речь.

— Я благодарен вам за доверие и горжусь вашей дружбой, — примерно так я начал. — Мы одержали славную победу над испанцами. Но надо, чтобы победы и дальше сопутствовали нам. Этот материк, как вы убедились, жесток и безжалостен к людям слабым, и, если мы не хотим погибнуть, мы должны быть сильными, очень сильными и уметь за себя постоять!

— О-ей! Это правда! — воскликнул вождь Манаури.

— В нашем распоряжении много огнестрельного оружия, — продолжал я, — достаточно пороха и немалый запас пуль! Но какой прок от всего этого, если совсем немногие из нас умеют обращаться с оружием и стрелять? Кроме меня, у нас только два неплохих стрелка — Арнак и Вагура, а ружей почти сорок и столько же пистолетов. Какой из этого вывод?

— Все должны научиться стрелять! — ответил Арнак.

— Правильно, это я и хотел сказать! Каждый должен стать хорошим стрелком и как можно быстрее, уже теперь, во время плавания. Для учебы будем использовать каждый спокойный день.

Необходимость в такой учебе не вызывала ни малейших сомнений, и Манаури встретил мое предложение с энтузиазмом. Однако нашлись и не пожелавшие обучаться. Мне вновь пришлось столкнуться с поразительной чертой индейцев, знакомой мне еще по тем временам, когда я жил в Северной Америке, в вирджинских лесах: с полным отсутствием у этих первобытных людей дара предвидения возможных событий и вопиющей беззаботностью по отношению к будущему. Это меня удручало.

Незадолго до полудня произошло событие, сильно меня взволновавшее. Арнак, перебиравший в каюте оружие, примчался ко мне возбужденный, держа в руках довольно большой лист пергамента.

— Ян, посмотри!

Я взял у него лист и едва не вскрикнул от радости. Это была карта! Карта Карибского моря и северного побережья Южной Америки.

— Где ты ее взял?

— Там, в каюте, в углу под тряпками. И еще там много чистой бумаги, перья и черная вода. Белые этой водой пишут па бумаге.

Действительно, находка оказалась редкостной. Осматривая прежде шхуну, мы второпях, вероятно, не обратили внимания на кучу сваленного в углу какого-то ненужного тряпья. Правда, при внимательном рассмотрении оказалось, что карта выполнена от руки и, очевидно, не отличалась особой точностью, но, как бы там ни было, она давала общее представление об этом районе. Передав руль Арнаку, я тут же углубился в ее изучение.

Линия побережья на карте шла строго на восток еще примерно миль сто двадцать, а затем круто сворачивала вглубь материка и, образуя залив, тянулась на юго-восток до самого среза карты. В месте ее изгиба был нарисован большой остров Тринидад, прикрывающий залив со стороны океана и образующий своеобразную громадную лагуну с двумя выходами в море: на юге и на севере.

Основное русло реки Ориноко в дельте проходило южнее острова Тринидад миль на сто пятьдесят, а сама река тянулась из глубины материка почти по прямой линии с запада на восток. Но примерно в ста пятидесяти милях от устья многочисленные рукава начинали отходить к северу. Часть из них впадала в залив, а часть — в океан. Огромное множество этих рукавов образовало массу островов, составляя дельту реки Ориноко.

Хотя я и гордился кое-каким образованием, научившись в детстве читать и писать, однако, воспитываясь в дебрях вирджинских лесов, сколь же мизерными познаниями о мире я обладал! На карте было множество таинственных обозначений островов, рек, заливов, составлявших для меня книгу за семью печатями, и я с трудом догадывался об их смысле и значении.

— Ба! — Просвещеннее в этой области оказались даже индейцы, и, разглядывая карту из-за моей спины, они совершенно для меня неожиданно узнавали знакомые места и шепотом восхищения подтверждали ее верность.

Индейцы отыскали на карте свою реку Померун. Это была небольшая река, впадавшая в море между дельтой Ориноко и устьем большой реки Эссекибо.

— Это правильно! — воскликнул Манаури.

Устье Эссекибо обозначено было миль на двести юго-восточнее дельты Ориноко, а Померун — миль на пятьдесят севернее Эссекибо. Индейцы единодушно это подтвердили.

Внимательно всматривался я в карту. Она хоть в какой-то мере открывала мне глаза на тот мир, в котором в ближайшие месяцы ждала меня неведомая судьба.

Я отыскал занятый англичанами остров Барбадос, лежавший строго на север от Тринидада. До него от материка было никак не меньше двухсот миль, и я с тревогой подумал, сколько трудностей придется мне преодолеть, чтобы до него добраться.

Манаури, с большим интересом, чем другие, рассматривавший карту, ткнул вдруг пальцем куда-то в устье Эссекибо и проговорил:

— Здесь живут англичане...

Я так и подпрыгнул.

— Ты не ошибаешься?

— Нет, Ян, не ошибаюсь. Мы знаем, что здесь они передрались с испанцами, с голландцами и хотели переманить на свою сторону соседние индейские

племена.

Только значительно позже узнал я, что вождь был прав, в этих краях действительно обосновались не только испанцы: но в устье Эссекибо — англичане, а чуть дальше по берегам реки Куюни — голландцы. Испанцам это очень не нравилось, но справиться с незванными пришельцами у них не доставало сил — края эти лежали в стороне от главных испанских поселений в Венесуэле, а на Гвиану власть их не распространялась. Кроме того, между собственно Венесуэлой и районами, захваченными голландцами, простиралась сплошная стена труднопроходимых тропических лесов, населенных воинственными индейскими племенами, в том числе неустрашимыми акавоями. Племена эти уничтожили не одну экспедицию испанцев. Причем голландцам удалось переманить акавоев на свою сторону и найти в их лице верных союзников. Так или иначе, испанцам пришлось смириться.

Известие о том, что в устье Эссекибо, неподалеку от Померуна, куда мы направлялись, живут англичане, немало меня порадовало и вселило новые надежды. Во всяком случае, это известие коренным образом меняло мои прежние планы о путях возвращения на родину.

На ночь мы, как обычно, приблизились к берегу и стали на якорь, с тем чтобы чуть свет снова пуститься в путь. На следующий день около полудня пейзаж на материке резко изменился: убогие доселе заросли сухого колючего и преимущественно безлистого кустарника сменились высокоствольным лесом, густым, зеленым и сплошь перевитым лианами. Это были джунгли, настоящие знаменитые джунгли полуденных стран, поражавшие буйной пышностью и великолепием растительности, порожденной жарким солнцем и обильной влагой. Я не мог оторвать глаз от подзорной трубы, очарованный неукротимым буйством растительного мира, я, знавший прежде лишь леса своей холодной северной отчизны.

— Теперь, — пояснил Манаури, заметив мой восторг, — пойдет сплошной лес и лес. Ничего больше, повсюду только лес.

— Повсюду?

— Повсюду. И на Эссекибо, и на Померуне, и на Ориноко, и между этими реками, и на острове Каири, который испанцы называют Тринидадом...

Весь этот край покрыт сплошными лесами. Испанцы называют их гилеями. Лесам этим нет ни конца ни края. Человеку не хватит, наверно, и полжизни, чтобы пробраться через эти дебри. Не счесть здесь громадных рек, не счесть индейских племен, живущих в глубине лесов. Племена есть разные — добрые и жестокие, порой больше похожие на диких зверей, чем на людей, племена могущественные и нищенские, кроется там и племя, у которого, говорят, золота больше, чем у нас кукурузы, и даже хижины у них из золота...

— Ты говоришь, наверно, об инках, — прервал я Манаури. — Но испанцы давно уже истребили это племя и отобрали у него все золото.

— Значит, это не инки. Племя, о котором я говорю, не уничтожено и называется маноа, как и главный их город, построенный из золота.

— Что-то мне кажется это сказкой!

— Трудно сказать... В нашем племени араваков сохранились предания прошлых лет о разных испанских походах. Испанцы рвались вверх по реке Карони, чтобы захватить маноа и золото. Но почти все они гибли.

— А эта золотоносная Карони и правда существует?

— А как же, Ян, конечно, существует. Она впадает с юга в Ориноко... В лесах здесь много всяких тайн...

Сентябрь в этих краях — начало сухого сезона, характерного тем, что менее проливными, чем в другие времена года, становятся дожди, реже и слабее бури. Поэтому море было довольно спокойным, путешествие наше протекало без приключений, и мы ежедневно по утрам и под вечер упражнялись в стрельбе из ружей. К моей радости, индейцы делали заметные успехи.

Судя по карте, мы тогда приближались к оконечности мыса Пария напротив острова Тринидад. На юге открывались широкие воды залива Пария, в который нам предстояло войти и плыть затем дальше на юг. Но когда мы подошли к проливу, оказалось, что оттуда в неверном направлении в океан устремляется настолько сильное течение, что нам никак не удавалось его преодолеть. Всякий раз, как мы приближались к входу в залив, течение тут же отбрасывало нас как щепку назад и выносило далеко в море.

«Voca del Drago» — по-испански был обозначен на карте этот пролив между мысом Пария и островом Тринидад, а Манаури, глядя на карту, пояснил:

— «Пасть Дракона». Тут могут проплыть только большие корабли, и то не всегда.

Не оставалось ничего иного, как отказаться от намерения войти в залив Пария и, обогнув проклятую Пасть Дракона на приличном расстоянии, дальше на восток плыть уже вдоль побережья Тринидада. Этот крюк вокруг большого острова удлинял наш путь более чем на сто миль. К счастью, погода нам благоприятствовала. Ни испанских, ни других кораблей не встречалось. Не было видно и туземцев, хотя каждый вечер мы подплывали к берегу пополнять запасы пресной воды. Наконец мы достигли восточной оконечности Тринидада и отсюда взяли курс строго на юг. Проплыв два дня вдоль острова, мы снова подошли к материку.

Сколь же иной встретил нас здесь ландшафт! Куда ни бросишь взгляд — всюду плоская низина без малейшей возвышенности. Это была дельта реки Ориноко, раскинувшаяся в ширину почти на двести миль, край бесчисленных рукавов и протоков, пойм и заливов, край тысяч островов и мелей. Здесь, как и на мысе Пария, как и на острове Тринидад, стояли вековые леса, но если там возвышались холмы и горы, то здесь всюду лишь топи, болота и трясины. На огромных пространствах деревья стояли в воде, опираясь на обнаженные корни, переплетенные меж собой в невообразимом хаосе.

— Людей здесь, наверно, нет? — спросил я.

— Есть. Здесь живет племя гуарауно!

— Где же они живут?

— На сухих островах или на сваях. Занимаются рыболовством...

Море здесь изменило свой обычный цвет, утратив синюю прозрачность и став мутным и желтым от речной воды. Вообще от этой могучей реки Ориноко исходила какая-то таинственная сила, влиявшая на все стихии природы.

День за днем плывя мимо необозримых болот, окутанных какой-то неуловимой таинственностью, мы сами под чарами мрачного величия этого дикого царства не забывали тем не менее обычных своих занятий: я с помощью Манаури пытался хоть как-то изучить испанский, а тайком от всех и аравакский языки, товарищи мои продолжали упражняться в стрельбе из огнестрельного оружия и делали заметные успехи.

Как я уже упоминал, мы ежедневно по вечерам высаживались на берег для пополнения запасов питьевой воды, и, едва перед нашими глазами открылся широкий простор главного русла Ориноко, мы тут же решили подняться вверх по течению в расчете найти там источники пресной воды.

Был час прилива, течение устремлялось вспять к суше, и шхуна легко скользила по волнам, минуя какой-то большой остров. Часа через два мы вошли в боковую протоку и бросили якорь среди зарослей у самого берега.

Несколько человек, высланных нами на разведку, вскоре примчались обратно, несясь со всех ног, словно за ними гналась сама нечистая сила. Они размахивали руками, подавая нам с берега предостерегающие знаки. Торопливо вскарабкавшись на борт шхуны, они сообщили, что совсем рядом здесь находится большое индейское селение, укрытое в зарослях.

У варраулов

Одни из нас тут же бросились к оружию, другие стали поспешно выбирать якорь. К сожалению, мы стояли под самым берегом, а укрывавшая его густая зелень нависала далеко над водой, едва не касаясь нашей палубы. Надеюсь, что индейцы нас не обнаружили, мы рассчитывали незаметно отплыть и перебраться к противоположному берегу протоки, прежде чем на нас свалится какая-нибудь новая беда.

Но случилось не так. Индейцы заметили нас. Вдруг из зарослей прямо напротив нашего корабля раздался громкий окрик. Кричавший, судя по звуку голоса, был буквально в нескольких шагах от нас, но в буйной зелени густо переплетенных ветвей мы не видели его, равно как и не понимали значения его слов. Внезапно откуда-то сверху, скорее всего с вершины ближайшего дерева, раздался второй голос. Мы подняли головы, но, как ни всматривались, так и не смогли никого обнаружить.

— Это, наверно, варраулы! — встревоженно шепнул мне Манаури.

— Варраулы, или гуарауно. Это одно и то же, — пояснил Арнак.

Обращенные к нам на незнакомом языке слова повторились раза два-три и звучали вполне мирно, как вопрос, кто мы такие. Тогда Манаури стал отвечать то по-аравакски, то по-испански, объясняя, что мы араваки, или локоно, как называли себя сами араваки. Слово «аравак» наши невидимые собеседники, кажется, поняли, ибо несколько раз его повторили, а потом стали громко кричать, словно призывая кого-то.

После нескольких минут тишины из зарослей раздался вопрос на вполне понятном нам языке — аравакском:

— Значит, вы араваки?

— Да, араваки, — ответил Манаури.

— Что вы здесь делаете?

— Возвращаемся в родные края, на реку Померун.

— Откуда возвращаетесь?

— Из-под горы Грифов.

В чаще наступила тишина, словно укрывшийся там человек размышлял или шепотом совещался с другими. Минуту спустя раздался его гневный голос:

— У тебя лживый язык! Ты лжешь!

— О-ей! Зачем так говоришь?

— Все араваки из-под горы Грифов давно вернулись на юг! Вы не из-под го-

ры Грифов.

Незнакомец, видно, располагал точной информацией. Это определенно был аравак, но из какого-то другого племени.

— Вождь Манаури никогда не лжет, запомни это! — ответил Манаури укоризненно. — Мы бежали с испанских плантаций и никого не застали в своих селениях, Теперь мы возвращаемся на Померун. А кто ты?

— Меня зовут Фуюди, я с берегов Эссекибо, — ответил невидимый собеседник более мягким тоном.

— А что ты делаешь здесь, в устье Ориноко, так далеко от Эссекибо?

— Я ушел с Эссекибо в прошлый сухой сезон. Сейчас я в гостях у своих друзей из племени варраулов. Я перешел в племя вождя Конесо и живу теперь в устье реки Итамаки...

— Конесо? Не тот ли это Конесо, что был вождем у горы Грифов?

— Тот самый.

— Где он теперь, где его племя? Мы плывем к ним!

— Конесо теперь на Ориноко, недалеко отсюда.

— Он не ушел на Померун?

— Нет. Там сейчас тревожно, акавои вышли на тропу войны! Конесо решил остаться на Ориноко, в устье реки Итамаки...

— Далек отсюда эта река?

— Четыре-пять дней пути на лодке по течению...

Это известие, столь важное для нас, взволновало всех на корабле. Значит, нам не надо плыть к реке Померун; цель нашего путешествия, оказывается, здесь, совсем рядом, на берегах Ориноко.

Словоохотливый доселе Фуюди — как он себя назвал — вдруг умолк, пересказывая, видимо, кому-то в зарослях содержание наших переговоров. Там, судя по всему, возникли относительно нас какие-то новые подозрения, и после долгой паузы Фуюди вновь спросил:

— На вашем корабле не только араваки. Кто с вами еще?

— Негры. Они, как и мы, бежали с плантаций и будут теперь жить с нами, — объяснил Манаури.

— А яланауи?

— Яланауи, — шепнул мне на ухо Манаури, — по-аравакски значит — белолицый. — Повернувшись затем в сторону берега, он громко ответил:

— Это паранакеди (англичанин), великий и богатый вождь своего племени, отважный охотник и воин. У него бесстрашное сердце, зоркий глаз и мудрый ум. В бою нет ему равных!

— О-ей!

— Он близкий наш друг и брат, он могучий вождь, у него много ружей, он победил испанцев и захватил их большой корабль!

— Как его имя?

— Белый Ягуар! — не задумываясь, ответил Манаури.

Позже только узнал я, что с легкой руки Ласаны индейцы давно уже дали мне это имя и меж собой втихомолку так меня звали. Непомерное восхваление сейчас моей особы было не беспричинным и — как я догадывался — служило скрытым целям вождя. Щедро наделяя меня небывалым могуществом и всяческими достоинствами, он рассчитывал, вероятно, на некую выгоду и для себя, как для моего друга и союзника: горе тому, кто рискнет с ним ссориться.

Манаури, не зная, как примут его в родном племени, и рассчитывая скорее на прием недоброжелательный, стремился распространить молву о нашей непобедимости и могуществе.

— Ты говоришь, он богатый, — с сомнением в голосе проговорил Фуюди. — А почему же он ходит голым, как и все мы?

Вот тебе и на! Туземцы, оказывается, не представляли себе европейцев иначе как одетых, обутых, разряженных, в шляпах, да к тому же еще со шпагой на боку. В их сознании сила и власть отождествлялись с пышным убранством. Но Манаури не растерялся.

— Так ему нравится и такова воля великого вождя! — пояснил он важно.

Как видно, на берегу в конце концов сложилось благоприятное о нас впечатление. Фуюди крикнул, что хочет подняться к нам на палубу и просит лодку. Пока он выбирался из чащи на берег, заросли на мгновение раздвинулись, и мы успели заметить множество индейцев с луками в руках, укрывшихся за ближайшими деревьями и кустами. Несладко бы нам пришлось, дойди дело до схватки!

Фуюди, коренастый, мускулистый воин в расцвете сил, с быстрым, хотя и несколько настороженным взглядом и уверенными движениями, производил впечатление человека, стоявшего на довольно высоком уровне развития. Я впервые видел индейца в полном парадном облачении. На голове у него красовался роскошный убор из разноцветных перьев, с шеи на грудь свисали три богатых ожерелья из разного цвета орехов, рыбьих зубов и звериных когтей. Никакой одежды, кроме набедренной повязки, на нем не было, зато все тело его и особенно лицо были богато разукрашены черными и красными полосами.

Спутники мои, изнуренные неволей, оборванные и жалкие, при виде этого великолепия не могли прийти в себя от восхищения, граничившего с завистью. Лишь теперь, узрев этого своего сородича, они, пожалуй, впервые ощутили подлинный аромат свободы и до конца осмыслили все значение своего бегства.

С понятным волнением спрашивали они, как живут теперь их родичи на реке Итамаке, но Фуюди неохотно и скупно отвечал, что все в порядке, зато сам дотошно выпытывал подробности наших злоключений.

Товарищи мои ничего не утаивали.

Затем Фуюди обратился ко мне:

— Мои соплеменники хвалят тебя, Белый Ягуар, за помощь и дружбу. Поэтому я тоже приветствую тебя как друга и брата. Екуана, мой гостеприимный хозяин и вождь варраулов, приглашает тебя и всех других в свое селение. Сегодня у него большое торжество, и он хочет достойно вас встретить!

— Охотно принимаю приглашение! — ответил я. — А какое предстоит торжество?

— Муравьиный суд. Сын вождя женится...

Я плохо понял, о каком муравьином суде идет речь, но все мои спутники встретили это известие с радостным возбуждением, и я не стал вдаваться в подробности.

В этот момент несколько больших лодок с множеством гребцов вынырнуло из-за поворота реки и устремилось к нам. Шхуну взяли на буксир, и в таком строю совместными усилиями мы двинулись к селению варраулов, лежавше-

му совсем рядом, в какой-нибудь четверти мили от места нашей прежней стоянки.

Тем временем Арнак и Вагура принесли испанский мундир капитана корабля, тот самый парадный и чертовски тесный мундир, с которым не пожелали расстаться на сторевшей бригантине, и предложили мне немедля его надеть. Я положился на их знание местных нравов и, не перечая, напялил на себя и камзол и штаны. Кроме того, я надел башмаки, нацепил шпагу с перламутровым эфесом, а за пояс сунул серебряный пистолет.

Но венцом великолепия и могущества оказалась шкура ягуара.

Ах, теперь только я наконец понял! В последние дни путешествия наши женщины извлекли из трюма шкуру убитого на острове ягуара, разложили ее на палубе и с утра до вечера мяли, расчесывали, чем-то натирали, пока она не стала совсем мягкой и нежной, а шерсть обрела чудный блеск. И вот теперь эту шкуру возложили на меня таким образом, что голова хищника прикрывала мою голову, оставляя открытым лишь лицо, а остальная часть свободно ниспадала на спину до самых пят.

Последствия этого маскарада оказались совершенно неожиданными. Друзья смотрели на меня словно на какое-то божество, и даже у строптивой обычно Ласаны глаза потемнели от волнения и стали невыразимо прекрасными. Во мне шевельнулось что-то похожее на тщеславие, но, устыдившись, я тут же подавил это чувство и обратился к Манаури:

— Послушай, вождь! Торжество — это хорошо, но нет ли здесь какого-нибудь подвоха?

— Нет, — заверили меня Манаури и Арнак. — Можешь нам верить!

Тем временем мы подплыли к селению. На поляне, отвоеванной у зарослей, стояло на высоких сваях десятка два хижин, а точнее — шалашей под крышами, но в основном без стен. Жилища были разбросаны там и сям, в отдалении друг от друга. Посередине поляны у самой воды возвышался, опять-таки на сваях, обширный помост шагов сто в ширину и такой же длины. На нем разместилось несколько хижин, но одна подле другой и притом более просторных и внушительных, чем разбросанные по соседству. С трех сторон они окружали незастроенное пространство, образуя на помосте площадку, обращенную к реке.

На этой площадке под обширным навесом из пальмовых листьев нас ожидал вождь Екуана в окружении двух десятков старейшин племени, вооруженных луками, копьями, палицами и щитами. Вождь, индеец на редкость тучный, восседал на богато украшенном резьбой табурете, все же остальные вокруг стояли.

Поблизости пустовали еще три табурета, предназначенные, как видно, для нас — гостей.

Тела всех встречавших нас были богато раскрашены и увешаны ожерельями, лентами и бусами из клыков диких зверей и ярких плодов. Но только у одного Екуаны на голове красовался роскошный головной убор из орлиных перьев, и я сделал вывод, что это символ высшей власти, а значит, и аравак Фуюди, тоже украшенный перьями, почитался равным вождю.

Как меня предупредили, церемония требовала, чтобы Екуана встречал, нас сидя и лишь потом, когда мы совсем приблизимся, встал и обратился к нам со словами приветствия. Меж тем вождь, то ли пораженный, то ли ослепленный

нашим видом, не выдержал. Едва мы взошли по ступеням на помост, он, несмотря на свою тучность, проворно вскочил с места и чуть не бегом бросился к нам.

Речь его, переведенная на аравакский Фуюди, к счастью, не была длинной, но зато отличалась крайней сердечностью. Столь же почтительно отвечивал ему Манаури.

Под навесом рядом с табуретами стояло несколько громадных глиняных кувшинов, каждый из которых вмещал в себя добрых двести кварт и был наполнен мутной желтоватой жидкостью. Едва Екуана, Манаури и я уселись, как из этих кувшинов стали тыквами черпать я подносить нам напиток. Он оказался кисловатым, с резким запахом, но отнюдь не противным на вкус и содержал немного алкоголя.

— Это кашири, — шепнул мне Арнак, — напиток из асаи. Не пей слишком много!

В это время раздался ритмичный бой нескольких барабанов, и на помост трусцой мелкими шажками взбежали два ряда мужчин и женщин. Приплясывая в такт довольно монотонной мелодии, они закружились, сопровождая танец плавными движениями рук. Лица их сохраняли при этом серьезность и сосредоточенность. В кругу танцующих в маске какого-то жуткого чудища извивался человек, выполнявший что-то похожее на роль предводителя. При этом он исполнял танец на свой мадер и метался как одержимый, изображая в пляске не то охоту, не то бой.

— Это шаман! — шепнул мне Арнак.

Екуана был необычным индейцем и отличался не только необыкновенной тучностью, но и крайне веселым нравом. Он непрестанно расточал воем улыбки и особенно вам, гостям, сыпал веселыми шутками, то и дело подливал кашири. Тыквы с напитком переходили по кругу На рук в руки, и, хотя пил я все меньше, а под конец и вовсе лишь пригублял, меня, отвыкшего от алкоголя, все-таки разморило и бросило в жар. В чудовищной духоте тропического дня пот лил ручьями, и не только с меня — со всех.

В какой-то миг в припадке возбуждения и подъема я дерзко сбросил с себя шкуру ягуара, швырнул ее на помост и со злостью прихлопнул каблуком. Я полагал, это вызовет возмущение, но нет. Напротив, Екуана воспринял этот жест с восторгом, как проявление превосходства моего могущества над силой ягуара, и, захлопав в ладоши, воскликнул:

— Белый Ягуар! Наш брат Белый Ягуар!

Поощренный, я стащил с себя капитанский мундир и тоже с маху швырнул его на шкуру ягуара. Индейцы расценили это как презрение по отношению к испанцам и выразили свой восторг кликами:

— Гроза испанцев! Победитель испанцев!

Тем временем песни и пляски на помосте не прекращались ни на минуту, и всеобщее возбуждение заметно росло. Мало-помалу страстный накал праздника стал передаваться и мне.

Вдруг прямо передо мной, словно из сказки, возникла огромная фантастическая птица — белый аист с черным поднятым кверху клювом. С минуту он изумленно всматривался в меня — вероятно, я казался ему столь же странным чудищем, как и он мне, — а потом с невозмутимым спокойствием он принялся заглатывать печеную рыбу, разложенную передо мной на широких пальмо-

вых листьях. Его со смехом отгоняли, но он снова с угрюмым упорством возвращался назад и хватал все, что попадалось ему на глаза. Затем к нему присоединились десятка два ручных обезьян и, подозрительно косясь на диковинное существо с белой кожей, стали торопливо опустошать запасы сладких плодов. Вообще разных птиц и всякой четвероногой живности вертелось под ногами у людей великое множество.

Муравьиный суд

Внезапно все барабаны, кроме одного, смолкли. К сваям, торчавшим из помоста, прикрепили сетки-гамаки. К двум из них подвели новобрачных: юношу в возрасте примерно нашего Вагуры и значительно более юную девушку. Ей можно было дать лет тринадцать, но довольно развитая грудь говорила за то, что это уже не ребенок.

Одетые как и большинство присутствующих — он в набедренной повязке, она в фартучке, прикрывающем лоно, то есть почти голые, они легли в гамаки, висевшие рядом. Шаман, снявший к этому времени с головы маску и оказавшийся довольно старым, хотя и резвым еще человеком, с безумным взглядом стал исполнять вокруг неподвижно лежавшей пары какой-то ритуальный танец, выкрикивая над ними заклятья и потрясая двумя небольшими плотно закрытыми корзинками. Хотя все, не только мужчины, но и женщины и даже дети, были в состоянии заметного опьянения, на помосте воцарялась мертвая тишина.

Я заметил, что Екуана, отец юноши, от волнения почти совсем протрезвел.

В какое-то миг шаман подскочил ко мне и в знак уважения к гостю позволил заглянуть в одну из корзиночек, открыв на мгновение крышку: внутри копошились десятки тысяч свирепых муравьев. Затем среди всеобщего напряженного молчания шаман поставил одну корзинку на голую грудь юноши, а вторую — на грудь девушки. Муравьиный суд начался.

— В корзинках есть маленькие отверстия, — стал объяснять мне Фуюди, — муравьи не могут сквозь них убежать, но могут кусать, О-ей, уже начали!

По лицам несчастных заметно было, что муравьи и впрямь не теряли времени даром. Пот ручьями лил с тел обоих, и они от боли кусали губы, хотя и старались делать это незаметно.

— Они должны терпеть спокойно и стойко, — продолжал объяснять Фуюди.

— Если они пошевелиятся от боли, а еще хуже — застонут, тогда — конец.

— Какой конец? — не понял я.

— Они не смогут жениться и навлекут на себя великий позор!

Шаман же не знал пощады. Он поминутно встряхивал корзинки, доводя муравьев до неистовства, и каждый раз при этом переставлял корзинки с одной части тела истязуемых на другую. Барабан тем временем все наращивал темп своего глухого аккомпанеента, а зрители с безжалостным вниманием все напряженнее следили за юными страдальцами.

Торжественный обряд достиг апогея, когда шаман открыл корзинки и содержимое их высыпал на тела новобрачных. Муравьев было такое множество, что местами они облепили кожу сплошным черным шевелящимся покровом. Жестоко кусая, они мгновенно расползались по телам, и не оставалось уже ни одного живого места, куда бы они не вгрызались, испуская свой жгучий яд.

Юные страдальцы держались стойко и ни разу даже не вздрогнули. Юноше муравьев досталось больше, и порой мне казалось, он вот-вот лишится чувств.

Свирепые насекомые тучами заползали на лица, и мученикам приходилось смежать веки, чтобы уберечь глаза. Но, несмотря ни на что, они переносили боль мужественно, и лишь у юной индианки из-под сомкнутых век ручейками текли слезы. Но и она не издала ни звука и не шевельнулась.

Какое-то время спустя муравьи стали сползать с тел и разбегаться в разные стороны. Шаман признал, что новобрачные выдержали испытание. Но тогда несколько буйных юнцов громогласно возмутились: «Нет, она не выдержала испытания — у нее лились из глаз слезы, значит, они не могут жениться!» Другие же выступили в защиту молодоженов. Поднялся шум, разразилась ссора. И только благодаря присутствию гостей дело не дошло до драки. Большинство варраулов, хотя и не без помощи тычков и подзатыльников, довольно быстро одержали верх над смутьянами и усмирили завистников. На помосте вдруг воцарились мир и согласие. Молодожены избежали беды.

По окончании муравьиного суда веселье и попойка возобновились с еще большей, чем прежде, силой — как-никак теперь праздновалось что-то вроде свадьбы. Для нас, гостей, и для старейшин развесили гамаки, предложив в них улечься. Один из них занял я и, надо признаться, чувствовал себя в нем весьма удобно и покойно. По кругу снова пошло кашири, правда, я лишь делал вид, что пью. Зато многие из моих спутников изрядно упились. К счастью, Арнак, Вагура и Ласана почти совсем не пили и следили за другими. Тем не менее кое-кого из наших, упившихся до беспамятства, пришлось отправить на шхуну проспать.

Манаури, чувствуя себя на седьмом небе, не уклонялся от лишнего глотка. Захмелев и лежа рядом со мной, он через Фуюди о чем-то оживленно беседовал с Екуаной. Как видно, они делились между собой важными тайнами, ибо Екуана теперь реже разражался смехом, часто морщил лоб, то и дело бросая в мою сторону полные благосклонности взгляды. Наконец он вылез из гамака и, придвинув табурет, сел подле меня.

— Анау, великий вождь, о мудрый Белый Ягуар! — нараспев заговорил он, размахивая надо мной руками, что, вероятно, выражало его доброжелательность ко мне. — Ты умный и могучий вождь!

— Перехвалишь ты меня, Екуана, — рассмеялся я. — Манаури, наверное, наговорил тебе обо мне всяких небылиц.

— Небылиц? — повторил вождь, хитро прищурившись. — Белый Ягуар, я вижу, к тому же еще и скромный вождь. А у кого много-много огненных зубов, которые — бум, бум, бум! — и убивают всех врагов?

Екуана с почтением указал на серебряный пистолет, который я, забираясь в гамак, положил подле себя.

— Такие зубы у меня есть, это правда! — согласился я, смеясь.

— А кто научил своих друзей, — продолжал вождь все тем же льстивым тоном, — кусать огненными зубами? Белый Ягуар научил!

— И это правда! — охотно согласился я. — Но взгляни вокруг. Мои огненные зубы умеют больно кусать, но твой кашири, хотя всего лишь напиток, оказался сильнее. — И я выразительно посмотрел в сторону нескольких захмелевших араваков.

Все окружающие нас разразились смехом, а Екуана с притворным огорчением признал, что такова уж натура индейцев — все они неисправимые пьянчуги.

Стремясь перевести беседу на темы более важные, я спросил Екуану, что известно ему об англичанах, живущих якобы в устье реки Эссекибо, куда мне хотелось бы со временем попасть. Но вождь уклонился от вопроса и не мог или не хотел сказать ничего, кроме того, что где-то на юге действительно живут англичане и они намного лучше, чем голландцы, но голландцев значительно больше.

— О-о-о! Голландцы! — Екуана передернулся, будто вспомнил о чем-то крайне неприятном.

— Неужели они настолько вам досадили? — заинтересовался я.

— Еще как! И даже не они, а их наемники — ловцы рабов...

Но тут Екуана словно спохватился и прикусил язык.

— Ты, Белый Ягуар, — спустя минуту вновь обратился он ко мне просительным тоном, — плыви на запад, к реке Итамаке, а не на юг. У нас, варраулов, и у араваков тебя встретят с открытым сердцем и с радостью, ибо ты прибыл в тяжелую для нас минуту, и мы очень, очень тебе рады. У нас ты найдешь верных друзей.

— О какой тяжелой минуте ты говоришь?

Екуана опять уклонился от ответа, сделав вид, будто не расслышал вопроса, а возможно, и впрямь был слишком пьян. Он то и дело хлопал в ладоши, подзывая к себе женщин, разносивших кашири, фрукты и прочую снедь. Разносили их преимущественно молоденькие вертлявые девчушки. Они скакали вокруг вас, как игривые козочки. Были среди них и девушки постарше, хотя не менее игривые и веселые. Две из них присели на корточки возле моего гамака и с комично-озабоченным видом наперебой что-то щебетали мне, словно пичуги.

— Чего они хотят? — спросил я стоящих рядом друзой.

— Да просто дурачатся, проказничают.

— Что значит проказничают? Что они говорят?

— Говорят, что ради тебя не испугались бы муравьев...

Все восприняли это как веселую шутку, но Ласана, хоть и улыбаясь, тут же решительно схватила юных кокеток за вихры, вытолкала из-под моего гамака и прогнала прочь.

Солнце касалось уже кромки леса, день угасал. Екуане не терпелось посмотреть наше оружие, и я отправился с ним на шхуну, велев вынести на палубу все ружья. Они произвели впечатление. Вождь довольно долго смотрел на оружие с немym уважением, а потом спросил, когда мы намерены двинуться в дальнейший путь.

— Завтра, конечно.

— После восхода солнца начнется прилив, давайте тогда и двинемся.

— Разве ты тоже поплывешь с нами?

— Да, я должен проводить вас к Оронапи. Он знает уже о вашем прибытии.

— Кто такой Оронапи?

— Оронапи — верховный вождь всех южных варраулов.

— Мои друзья араваки спешат на Итамаку, — напомнил я.

— Ничего. Вам по дороге: селение Оронапи Каиива находится на берегу Ориноко в двух днях пути отсюда.

— Ну, если так, тогда мы не возражаем.

Судя по всему, Екуана придавал этому визиту какое-то особое значение.

Немного спустя он взял меня за руку и повлек куда-то в сторону, на берег реки, где лежало десятка два лодок, наполовину вытасненных из воды. Здесь были и маленькие каноэ из древесной коры, и значительно большие лодки, сделанные из целого ствола, выжженного в середине. Вождь объявил, что дарит мне одну из этих больших лодок, и предложил самому выбрать любую. Такая лодка, вмещавшая более двадцати человек, была настоящим сокровищем, и неожиданная щедрость Екуаны повергла в приятное изумление и меня, и всех моих спутников.

— Берите, берите, — вождь довольно улыбался. — Три ваши испанские лодки для наших рек слишком тяжелы. А наша легкая лодка вам пригодится — она летит как стрела. На войне, — добавил он с загадочной улыбкой, — нет ничего лучше индейской лодки.

— На войне? Ты угрожаешь нам войной?

— Я не угрожаю, Белый Ягуар. В этих лесах война подстерегает человека за каждым кустом. Не избежать ее и тебе, нет, не избежать! Поэтому и нужна тебе быстрая лодка.

Екуана опять разразился веселым своим смехом, и я не знал, как воспринять странные его слова. Не желая оставаться в долгу, я предложил ему выбрать себе в подарок какое-нибудь оружие из нашего арсенала. Он выбрал шпагу, в его представлении, вероятно, олицетворяющую символ власти ярче, чем ружье.

Позже, перед сном, лежа в гамаке и перебирая в памяти все события этого дня, я не мог надивиться гостеприимству и поистине безграничной сердечности варраулов.

Союз с варраулами

С рассветом следующего дня мы пустились в дальнейший путь вверх по реке. Плавание не доставляло нам никаких хлопот: был прилив, быстрое течение несло нас в глубь материка, и шхуна, ловя к тому же в паруса попутный ветер с океана, мчалась как на крыльях. Когда же ближе к полудню начинался отлив и течение реки изменяло направление в противоположную сторону, мы подходили к берегу, бросали якорь и дожидались очередного прилива.

О боже, сколь же фантастическое, да что там фантастическое — просто безумное богатство являла окружающая нас природа!

И хотя прежде я слышал о ней немало всяких былей и небылиц, мне трудно было удержаться теперь от восторга. Сколько всяких рыб невиданных размеров и расцветок мелькало в мутных водах, выпрыгивая на поверхность, сколько всевозможных обезьян резвилось в прибрежных зарослях! Какие только таинственные звуки не будоражили наше воображение! А что за чудо для глаз и сердца, когда высоко в небе над нами пролетали прекраснейшие из птиц, громадные попугаи, сверкая причудливым сочетанием красок цветных перьев. Сказочные птицы, называемые индейцами араканда и арауна! А, наконец, сами леса, сплошь покрывающие берега! Бушующие океаны лесов, гудящие мириадами насекомых, леса, так яростно сплетенные и дико заросшие, что в них нельзя ступить и шага без топора, — леса эти превосходили всякое человеческое воображение!

Кроме подаренной мне лодки, нас сопровождала вверх по Ориноко еще одна с командой гребцов из двух десятков варраулов. Сам Екуана плыл с нами на шхуне, зато многие из наших араваков предпочли пересечь с корабля в

лодку и плыть на веслах. Отношения приязни, царившие в селении Екуаны, сохранились и здесь. В пути не стихали веселые песни, велись душевные беседы.

Нам предстоял еще день пути до Каивы, когда Ориноко, более похожая в устье на громадный залив, стала принимать приметы реки, правда, реки шириной в несколько миль, но все-таки уже явно реки. Следов человека мы до сих пор не заметили ни разу, но из чащи теперь часто доносились звуки барабанов. Это нас приветствовали жители прибрежных селений, таившиеся в зарослях.

Екуана, явно довольный, обращаясь ко мне, говорил:

— Слышишь — это приветствуют тебя, Белый Ягуар! Ты наш брат!

— Там варраулы?

— О-ей!

Порой от берега отчаливала какая-нибудь небольшая лодка с двумя-тремя гребцами, которые жестами выражали нам издалека свое дружеское расположение.

Прежде чем мы достигли резиденции Оронапи, я собрал на совет Манаури, Арнака и Вагуру.

— Скажите мне, варраулы всегда поддерживали такую дружбу с араваками? — спросил я.

— Нет, — кратко ответил вождь. — Прежде они часто с нами враждовали.

— Чем же объяснить их поведение теперь?

— Теперь все изменилось.

— А тебя не удивляет такая внезапная перемена?

— Меня удивляет, — вмешался Арнак.

— А я говорю вам — все правильно, — решительно успокоил нас Манаури, таинственно улыбаясь, словно ему ведомо было нечто неизвестное нам. — И дело здесь не в араваках, а прежде всего в тебе, Ян. Это тебя они приветствуют!

— Это мне и непонятно.

— А мне понятно. Ты помнишь, Екуана говорил: война подстерегает за каждым кустом? Это не была шутка, а о тебе идет слава великого вождя.

— Это ты наговорил им обо мне всяких небылиц! — возмутился я.

— Манаури говорил правду. Так нужно, — возразил вождь.

— О какой войне идет речь? С испанцами?

— Нет.

— С кем же, черт побери?

— Пока не знаю. Но разве в лесах мало диких карибов?

— А варраулы — это карибское племя?

— Нет.

Вероятность оказаться втянутым в какую-то сомнительную авантюру мне не особенно нравилась, но создавалось впечатление, что это льет воду на мельницу Манаури. Не полагает ли вождь, что в обстановке войны ему проще будет завоевать влияние в своем племени?

Но мере приближения к селению Оронапи, которое варраулы называли Каивой, барабаны на берегу били все громче, не стихая даже ночью, а порой они слышались сразу с нескольких сторон, и тогда впрямь начинало казаться, что это сам лес готовит нам триумфальную и торжественную встречу.

Когда мы подплывали уже к самой Каииве, мне опять пришлось облачиться в шитый золотом капитанский мундир, на ноги надеть тяжелые башмаки, на голову — шкуру ягуара, не забыть о серебряном пистолете и шпаге, украшенной перламутром, а главное, как поучал меня Манаури, напустить на себя грозный и надменный вид.

В Каииве не было такого помоста, как в селении Екуаны, и все хижины стояли вразброс на вбитых в землю сваях. Под сенью самой большой из них, стоявшей шагах в двухстах от берега реки, нас ожидал Оронапи во главе целой свиты своих старейшин. Все, и особенно Оронапи, были разряжены в разноцветные перья и ожерелья, на их телах — свеженанесенная раскраска, сбoku — палицы с богатой резьбой. Как и предписывал церемониал, верховный вождь сидел на табурете, а по бокам от него стояло несколько свободных табуретов.

Когда мы сошли на берег, Оронапи не встал нам навстречу, как Екуана у себя в деревне, а продолжал сидеть горделиво и важно, не сводя взгляда с нашей группы. Неторопливым шагом я шествовал к нему в сопровождении Манаури, Екуаны, Арнака, Вагуры и Фуюди. Оронапи продолжал сидеть. Как видно, он себя ценил высоко и намерен был сидеть, пока мы не подойдем вплотную.

Когда мы прошли уже примерно половину пути, Манаури шепотом посоветовал мне остановиться. Я так и поступил. Тогда Екуана, несмотря на свою тучность, проворно подскочил ко мне и стал горячо убеждать идти дальше. Но Манаури оборвал его, предложив идти одному, без нас. Екуана умолк и горестно сопел, не зная, что предпринять.

Оронапи, заметив издали происходящее, как видно, решил смирить свою гордыню, быстро встал и направился к нам походкой менее важной, чем надлежало, издали выражая свою радость и приветливо взывая:

— Добро пожаловать, друзья! Идите, идите! Идите смело и весело, смело и весело, идите смело, весело и спокойно...

Повторяя без конца эти слова приветствия, он приблизился, взял меня за руку и под доброжелательный гул собравшихся повел под сень навеса.

Холодок между нами если и появился, то вмиг растаял. Остановившись перед табуретом Оронапи, я с показным вниманием стал рассматривать его, словно какое-то диво, и наконец с нарочитой серьезностью спросил:

— Неужели на нем так удобно сидеть, что не хочется даже вставать?

Оронапи понял иронию и обратил ее в шутку, тут же предложив мне самому сесть на этот табурет.

— Попробуй сам, Белый Ягуар!

Я уселся на его царственный табурет, и началось веселье: танцы, песни, поглощение в невероятных количествах печеной рыбы, всяческой дичи, сладких плодов и, конечно же, кашири, которое я теперь лишь пригублял.

Празднество проходило столь радостно, с таким искренним и сердечным радушием, что оставалось только удивляться.

Улучив минуту, я шепотом спросил у сидевшего рядом Арнака:

— Ты что-нибудь понимаешь? Я — нет!

— Да, что-то очень уж они стараются...

— В чем же дело? Может быть, предстоит война?

— Похоже на то. Кажется, на них кто-то готовится напасть...

Оронапи в отличие от жизнерадостного толстяка Екуаны производил, по-

жалуй, впечатление человека хмурого, сурового и даже грубого, но в этот день всячески стремился быть приветливым и обходительным. Он буквально рассыпался в любезностях, стараясь нам угодить и понравиться. Его заинтересованность в нас была настолько очевидной, что явные проявления ее меня порой даже смешили.

Будучи и сам в состоянии приподнятом (как-никак толику кашири я все-таки выпил), я в конце концов решил без обиняков, быть может, несколько бесцеремонно, спросить, чему и каким добрым ветрам мы обязаны столь гостеприимному и радушному приему?

Оронапи взглянул на меня озадаченно, захваченный врасплох таким вопросом, но замешательство его длилось недолго. Он сразу стал серьезен, с минуту задумчиво смотрел на тыкву с кашири, которую держал в руке, потом выплеснул ее содержимое на землю далеко в сторону в знак того, что не хочет больше пить.

— Мне нужен союз с тобой! — твердо проговорил он, глядя мне прямо в глаза. — Мне нужна твоя дружба, Белый Ягуар!

— Догадываюсь, — ответил я полушутливо, не принимая его торжественного тона, — но почему тебе это нужно?

— Ты хочешь знать? Мне это нужно потому, что ты храбрый воин! И ты, и твои друзья — храбрые воины!

Наступила минута молчания.

— Теперь слушай, Белый Ягуар, что скажу тебе я, вождь Оронапи.

И Оронапи изложил просьбу, адресованную не столько мне, сколько Манаури.

Он предлагал нам не плыть дальше, а поселиться здесь, возле его деревни, на высоком берегу, где рос прекрасный лес и было много плодородной, пригодной для обработки земли. Оронапи обещал нам всяческое содействие в устройстве, а поскольку у нас мало женщин, предлагал выбрать из его племени для каждого нашего мужчины в качестве жен и подруг самых здоровых девушек.

Некоторым аравакам слова эти пришлись по сердцу — кашири изрядно подогрел уже их аппетиты, а шнырявшие вокруг варраульские девушки отнюдь не дурны были собой. Манаури, однако, вежливо поблагодарив Оронапи за доброту, заявил, что не может принять его предложения, ибо долгом своим почитает явиться в свое племя.

— Но я всегда буду помнить твои добрые слова, — закончил Манаури, — и если вождю Оронапи потребуется наша помощь, мы тебе в ней не откажем, даже в случае войны с врагами. Пусть свидетелем тому будет сам великий Белый Ягуар. Но и мы тоже надеемся в трудную минуту найти у тебя помощь!

— Вы найдете ее! — поспешил заверить Оронапи.

Мне изрядно надоели все эти церемонии, недомолвки, торжественные заверения, и я решительно предложил Оронапи прямо сказать, какие тучи сгущаются над этой рекой и какой грозы он опасается. Ибо я предпочитаю ясность в любом неясном деле.

— Ты прав, дело неясное! — согласился Оронапи. — И вы должны знать, конечно, чего мы опасаемся.

Празднество с танцами и песнями под бой барабанов шло своим чередом, а мы — Оронапи, Екуана, Манаури, Фуюди, Арнак, Вагура и я — придвинулись

друг к Другу и стали внимательно слушать Оронапи, которого переводил Фуюди.

На западе, на берегах Ориноко, находятся поселения испанцев, которые ведут себя довольно мирно. Зато на юге, ближе к морю, на реках Эссекибо, Демерара и Бербис, в районе, именуемом Гвиана, обосновались голландцы и вроде бы еще англичане и французы. Сначала они занимались лишь обменом товаров с индейцами, и все шло хорошо.

Но вскоре голландцы, которых было больше всего, кроме торговых факторий, стали создавать плантации для выращивания разных ценных культур. Для работы на плантациях им требовалось туземное население, но, поскольку индейцы не склонны были на них трудиться, а плантаций становилось все больше, голландцы стали прикидывать, как попроще выйти из положения.

В тех краях на юге жили разные индейские племена: ближе к морю — араваки, в лесах — родственные им виписана и родовые их ветви — атораи и тарума. Но, кроме этих мирных племен, занятых сельским хозяйством и рыболовством, обитали там и племена карибов, промышлявших в основном разбоем и грабежами.

Особенно воинственными из них были акавои и карибисы, два племени, обитавшие у моря. Дальше, в глубине страны, жили еще макуши и аракуана, или таулипанги.

Голландцы по-разному относились к индейцам и временами с ними братались, а порой вели войны. Но когда нужда в рабах для плантаций стала особенно острой, они снюхались с разбойничьими племенами акавоев и карибов, подбивая их поставлять на плантации пленников-рабов.

И вот теперь, вооруженные голландцами, их отряды стали нападать на соседние племена, захватывая пленников: акавои — на западе и севере до самых берегов Ориноко, а карибы — на востоке и юге, сея смерть повсюду, вплоть до верховьев реки Эссекибо и берегов реки Рупунуни. Некоторые земли они обратили в безлюдные пустыни. Всюду, где пролегает кровавый их путь, — только ужас, слезы и горе. Захваченных пленников они продают на голландские плантации.

— И давно они так разбойничают?

— Давно, а в последнее время совсем озверели.

— Почему же остальные племена терпят и подставляют под нож головы, словно кроткие ягнята? Разве у них нет луков, копий и палиц?

— Есть, но карибы — убийцы и разбойники от рождения, а наши племена мирные и занимаются земледелием или рыболовством. К тому же акавои лучше вооружены, у них есть даже ружья, полученные от голландцев. Нам трудно с ними справиться.

— Значит, вы даже не сопротивляетесь?

— Сопротивляемся, но они сильнее, хотя нам и горько это признавать. Наши люди гибнут или попадают в рабство. Теперь у нас одно спасение — бежать.

— Даже так? Значит, врагов, наверно, значительно больше, чем вас?

Оронапи стал уверять, что их действительно значительно больше, но против этого решительно возразили и Екуана и Фуюди: акавои нападают, как правило, мелкими группами, всего человек по двадцать, и только в редких случаях более крупными отрядами. Но устоять против их хитрости, свирепо-

сти, проворства и кровожадности действительно трудно — это настоящие ягуары...

— А на наших араваков на Итамаке они тоже нападали? — поинтересовался Манаури.

— В открытую еще нет, — ответил Фуюди, — но в прошлую сухую пору наши охотники, ушедшие на юг, в горы Итамаки, бесследно исчезли при загадочных обстоятельствах. А позже мы узнали, что в тех местах рыскал отряд акавов.

— Сухая пора, — подхватил Оронапи, — уже наступила: дождей с каждым днем все меньше, вода в реках спадает — самое удобное время для бандитов. До нас дошли слухи, что акавои на реке Куюни готовятся в поход на наши селения...

— А возможно, они уже вышли? — спросил я.

— Возможно...

Густой лес подступал почти к самым хижинам — до него было не более ста шагов. Обрабатываемые поля жителей Каиивы находились, вероятно, где-то в глубине леса. Насколько же просто врагу при таких обстоятельствах незаметно подобраться к селению и захватить всех врасплох!

— Оронапи, ты выставил часовых? — спросил я.

— Каких часовых?

Он не понимал, зачем выставлять часовых в мирное время, а когда наконец я растолковал трудный для его понимания вопрос, он удивленно пожал плечами и ответил:

— Нет!

— Надо выставить часовых, — посоветовал я.

— Ты думаешь? — пробормотал он, совершенно не убежденный.

И пир продолжался, никаких мер предосторожности так и не было принято.

Слушая рассказ об акавоих, я вспоминал о воинственных племенах ирокезов Северной Америки; можно было назвать акавов ирокезами юга. При всем этом я просто не мог надивиться легкомыслию наших хозяев. Своей неосмотрительностью они просто сами искушали судьбу и навлекали на себя опасность.

В этот же день состоялось заключение союза между Оронапи, Манаури и мной: мы торжественно пообещали друг другу взаимную помощь и защиту. В подкрепление союза Оронапи подарил нам две лодки, одну большую, из выжженного ствола, именуемую итауба — по названию дерева, из которого она сделана, и вторую — маленькую, из древесной коры, именуемую ябото, дабы мы при необходимости могли быстро приплыть к нему на помощь. В ответ на это я вручил вождю испанскую шпагу, инкрустированную еще богаче, чем подаренная Екуане. Кроме того, он получил от нас одну из испанских лодок.

Ночь мы провели в Каииве, но для безопасности я распорядился выставить часового, а своим спутникам спать на шхуне. Корабль давно уже стал для нас добрым другом, нашей крепостью, верной опорой и надежным прибежищем.

Проснувшись ночью, я вышел проверить наше охранение. Индеец, назначенный в караул, к сожалению, спал. Спали и все жители Каиивы, лишь псы порой лаяли кое-где среди хижин да лес по обыкновению полон был ночных шумов.

На следующее утро, едва начался прилив и вода в реке стала подниматься, мы двинулись в дальнейший путь, провожаемые добрыми напутствиями гостеприимных варраулов.

Мы образуем новый род

В детстве мать рассказывала мне о древнегреческом герое Одиссее, странствовавшем по морям и океанам, прежде чем вернуться на родину, и такими вот Одиссеями представлялись мне сейчас мои спутники араваки, возвращавшиеся после долгих лет рабства к своим семьям. Их окрыляла радость предстоящего свидания с родными и близкими.

На второй день после отплытия из Каиивы все мы собрались на палубе, чтобы еще раз сообща обсудить наше положение. Я больше помалкивал. Говорил в основном Манаури, тоже озабоченный неопределенностью нашего будущего. Ему нетрудно было убедить людей: тучи, сгущавшиеся на юге со стороны жестокосердых акавов, грозили обрушиться и на берега Ориноко, на наши селения, лучшим свидетельством чему были не столько предостережения варраулов, сколько само их поведение, их дружеское к нам расположение. Какие же выводы из этого для нас вытекали? Как и прежде, держаться всем вместе, друг за друга. Все мы на шхуне должны считать себя единой семьей, единым родом, связанным братскими узами, тем более что венчала нас общая слава победы над испанцами и широкая молва о непобедимости нашего оружия.

Слова Манаури дошли до сердец; единодушно была одобрена мысль объединиться в единый род, в который, конечно, принять и всех близких родственников, живущих на Итамаке...

— А как мы назовем наш род?

— Род Шхуны! — предложил кто-то.

— Плохо! — покачал головой вождь. — Все роды у нас берут начало от зверей и носят названия зверей!

— Пусть будет род Ягуара! — выкрикнул хромой Арасибо. — Род Ягуара — хорошо!

— И это не годится, — возразил Манаури. — Род Ягуара уже есть. Во главе его Конесо, верховный вождь...

— Я знаю! — вскочил Арнак. — Назовем наш род родом Белого Ягуара!

— О-ей, правильно! — с восторгом хлопнул в ладоши Арасибо.

Индейцы тут же обратили вопросительные взоры на меня — видимо, прозвище Белый Ягуар прочно связывалось теперь с моей персоной. Я не стал противиться. Пусть называют род как хотят, лишь бы это пошло на пользу его членам и всему племени.

— Пойдет на пользу! — снова выкрикнул Арасибо.

Его энтузиазм разделили и другие, ибо, как и Манаури, не ведали, что ждет их на берегах Итамаки, а единение нашей группы здесь было очевидным, искренним и сулило прочность.

Но был на корабле и некто, хмуривший брови и смотревший на все это косо, — Фуюди. На паруснике он находился всего несколько дней и, конечно, не мог принадлежать к нашему роду. И вот теперь в выражениях довольно резких, чуть ли не угрожающих, он стал убеждать, что создание нами нового рода может подорвать освященные веками устои, мир и единство племени.

— Вы прогневите старейшин! — заявил он резко. — Конесо не будет дово-

лен, ему не понравится, что имя вашего рода похоже на имя его рода!

— Зато нам нравится! — вызывающе выкрикнул Арасибо.

Фуюди нахмурился, окинул калеку долгим взглядом и злобно процедил:

— А ты, сын каймана, проглоти свой грязный язык! Не думай, что тебе простят твои проделки!..

Слова эти произвели неожиданное впечатление, словно бичом стегнув несчастного калеку. В косоватых его глазах мелькнул страх, он сразу как-то сник и весь сжался.

— Какие проделки? — спросил Манаури.

— Ладно, — махнул рукой Фуюди, — не стоит говорить! Не хочу вспоминать!

— Ты начал — продолжай! — настаивал вождь.

— Он смутьян, ослушник и подстрекатель! — стал перечислять Фуюди, указывая осуждающим перстом на Арасибо.

— Объясни!

Провинности Арасибо поистине оказались тяжкими: он совершил святотатство. Живя вместе с другими араваками у горы Грифов, он не захотел признать приговора шамана Карапаны, вынесенного какому-то его родственнику, посмел ослушаться шамана, пытался подорвать его могущество и — безумный клеветник! — не остановился перед оскорблением, утверждая, что Карапана — никчемный и слабый шаман.

Только зубы каймана и тяжкие раны спасли тогда Арасибо от смертного приговора, и его лишь бросили одного у горы Грифов.

Все присутствовавшие на палубе смотрели на калеку со страхом, поражаясь, как такой неказистый человек оказался способен на подобную дерзость.

— Это правда? — повернулся вождь к Арасибо.

— Правда! — буркнул тот, но выражение упрямства в его глазах ясно говорило, что он не признает себя виновным.

— Возможно, шаман был к нему несправедлив? — выступил я в его защиту.

На мой вопрос никто не ответил, и вообще трудно было понять, восприняли ли он всерьез. Вероятно, авторитет шамана был непререкаемым, а вода его не подлежала обсуждению.

— Не понимаю, почему создание нового рода должно вызвать гнев старейшин? — с вызовом проговорил Манаури, возвращаясь к ранее сказанным словам Фуюди.

— Конесо этого не любит! — коротко ответил тот.

— Не любит?

— Он может вас не признать.

Манаури гневно сжал губы, глаза его потемнели.

— Но ему придется признать, что мы вернулись! — проговорил он.

— Это правда! А кто будет главой вашего рода? — помолчав, спросил Фуюди.

Манаури и несколько араваков взглянули на меня.

— Нет! — проговорил я твердо. — Не я! Мне вскоре придется вас покинуть и отправиться на юг, в английские фактории. Вашим вождем должен быть Манаури, это ясно!

— Белый Ягуар говорит мудро! — поддержал меня Арнак. — Наш вождь —

Манаури.

Все согласились, и вопрос был решен.

Леса по обоим берегам реки утопали в сплошных непроходимых болотах. На многие мили вокруг деревья росли прямо из воды или из мшистых трясин, залитых водой. Лишь изредка попадались островки сухой земли. Зловоние гниющих растений доводило порой до одури. Жить здесь было бы невозможно. И тем не менее какой богатейший животный мир населял эти болотистые трющобы! Леса звенели от птиц, мириады насекомых жужжали в душном влажном воздухе.

Здесь мне впервые довелось увидеть необыкновенных бабочек, столь великолепных, что, пораженный, я едва верил собственным глазам. Величиной в две человеческие ладони, цвета лазурного неба, к тому же они сверкали на солнце, словно расплавленный металл. Бабочки эти часто вылетали из леса и кружили над кораблем. В них было что-то волшебное: созерцая их голубизну, человек невольно переносился в страну какой-то счастливой сказки. Загадочное очарование их еще более усиливали утверждения индейцев, что некоторые бабочки — это лесные духи, гебу, притом часто духи злые.

Диковинность и безбрежность окружающей природы подавляли человека. Лес был так могуч в своем зловещем величии, что пред ним людские дела и заботы порой казались ничтожными, вздорными и меркли, как меркнет свет свечи в лучах солнца.

В один из дней далеко на юге замаячила длинная гряда не очень высоких, покрытых лесом холмов. Это были крайние отроги большого горного хребта, протянувшегося с запада на юго-восток почти на полтысячи миль и составлявшего барьер, за которым на юге несла свои воды знаменитая река Куюни. Сам по себе вид далеких гор доставил нам облегчение: там по крайней мере не будет гнетущих душу топей и болот.

Поселения араваков на Итамаке лежали на несколько миль выше места впадения этой реки в Ориноко, но еще до того, как мы достигли устья этой реки, берега, хотя все еще и болотистые, стали обретать вид, более привлекательный и радующий глаз.

Весть о нашем приближении опередила нас, и люди выплывали нам навстречу. Из прибрежных зарослей к нашему кораблю устремлялись лодки. Это араваки-туземцы приветствовали возвращающихся родичей; отцы находили Сыновей, братья встречали братьев. Многие поднимались на палубу парусника, наполняя его веселым разговором.

И лишь ко мне туземцы приближались с опаской. Они едва осмеливались смотреть мне в лицо, исполненные страха и почтения, словно я был каким-то божеством. Только убедившись, что я такой же человек, как и все, к тому же дружески к ним расположенный, они понемногу осмелели.

— Люди говорят, ты везешь с собой много-много сокровищ, — смеясь, переводил мне Манаури.

Вождь буквально светился от радости — память о нем в людях за годы его неволи не умерла! Его помнили, признавали, с почетом встречали. Одно лишь огорчало: среди встречавших не было его брата Пирокая, нынешнего вождя рода, человека, как не раз говорил мне Манаури, неприветливого и завистливого. Впрочем, из старейшин вообще никто к нам на корабль не прибыл, и приветствовал нас лишь простой люд: воины и охотники. Зато приветствова-

ли они нас сердечно и радостно.

На четвертый день после отъезда из Каиивы мы подплывали к резиденции верховного вождя Конесо. Селение называлось Серима и лежало на высоком сухом берегу реки Итамаки, окруженное прекрасным высокоствольным лесом. Болота поймы Ориноко сюда не добирались.

Последний день нашего долгого путешествия был пасмурным, жарким и душным, без малейшего ветерка, густая белая пелена горячих испарений скрывала солнце. Индейцы снова велели мне облачиться в капитанский наряд, а сами вырядились во всякие испанские рубахи и штаны, опоясались трофейными кинжалами и шпагами. Выглядели они странно и диковинно.

Меня поразила в этот день необычайная возбужденность Ласаны. Она пыталась о чем-то со мной поговорить, но в последние часы всеобщей суеты и приготовлений к высадке на берег выбрать для этого время все не удавалось. У нее было ко мне какое-то дело, я догадывался об этом по ее частым взглядам.

— Что с ней? — спросил я Арнака.

— Какие-нибудь бабские причуды, — пожал плечами юноша. — Бесится.

— Кто ее укусил?

Арнак не знал, а поскольку молодая индианка находилась неподалеку, я велел ее позвать.

— Что тебя тревожит, Чарующая Пальма? — спросил я прямо. — Тебе что-нибудь нужно?

— Нет...

Индианка смутилась и стала еще привлекательней. Она потупила огромные свои глаза, прикрыв их длинными ресницами.

— Ты чего-нибудь боишься?

— Да, боюсь, — призналась она.

— Все радуются, а ты боишься? Чудеса! — шутливо заметил я.

— А Манаури? — возразила она, и уголки губ ее упрямо дрогнули. — Разве он тоже радуется и спокоен?

— Он — другое дело! Он вождь, а ты молоденькая женщина.

— Вот видишь, ты сам говоришь: молоденькая женщина! — повторила она с ноткой какого-то вызова.

— И к тому же хорошенькая, — добавил я, окидывая ее взглядом.

Нет, на этот раз Ласана против обыкновения не склонна была шутить. Ее что-то тяготило.

— Ну хорошо, чего же ты все-таки боишься?

— Земли! Племена боюсь, законов племена... Разлуки...

Все это звучало довольно загадочно, но сейчас не оставалось ни времени, ни возможности разбираться в сложностях индейских обычаев.

— Ян! — Голос индианки звучал чуть ли не торжественно, лицо ее было серьезно. — Возьми меня под свою защиту.

— Тебя, Ласана?!

— Да, Ян! Меня, меня, женщину, ты, мужчина!

Она сказала это так наивно и простодушно, что я едва не рассмеялся. Вот так задачу задала мне красавица! Ну как ей откажешь?!

— Хорошо, я беру тебя под свою защиту, Чарующая Пальма!

Вождь Конесо

Итамака, река не очень широкая, но необычайно глубокая и даже здесь подверженная влияниям приливов и отливов далекого океана, позволила нам подойти на шхуне почти к самому берегу. С суши перебросили на палубу несколько бревен, и по ним мы сошли на землю.

Мы высадились в самом центре деревни. Серима застроена была редко. Хижины по здешнему индийскому обычаю стояли разбросанно, далеко друг от друга.

Конесо, богато украшенный перьями, бусами и ожерельями, ожидал нас в окружении старейшин под сенью густого дерева. Все напоминало приемы у Оронапи и Екуаны, но, когда мы прошли примерно половину пути от реки до верховного вождя, внимание мое привлекла примечательная деталь: рядом с Конесо, восседавшим на табурете, сидел еще один человек, старец, тогда как все остальные старейшины стояли. Более всего, однако, меня встревожило отсутствие свободных табуретов для нас, гостей.

Уж не хочет ли Конесо, чтобы мы стояли, когда он будет сидеть?

— Арнак, ты видишь? — шепнул я. — Нет табуретов.

— Вижу.

— Что делать?

— Может, дальше не идти? Пусть Конесо подойдет сам.

— Он не подойдет... Сделаем иначе. На шхуне есть табуреты. Вагура, беги на палубу и принеси два. Но мигом!

Вагура понял, о чем идет речь, и помчался на корабль.

— Кто этот старик подле Конесо? — спросил я Манаури, когда мы медленным шагом вновь двинулись вперед.

— Карапана, наш шаман.

— Он такая важная фигура, что может сидеть?

— Это правая рука и голова Конесо. Без его веления ничего не делается...

По индейскому обычаю хозяин ожидает гостей, сидя на ритуальном табурете, но, приветствуя их, встает. Конесо же продолжал сидеть. Он смотрел на нас в упор и молчал! Табуретов для нас и впрямь не приготовили. Враждебность и неучтивость верховного вождя и его свиты производили тягостное впечатление, но в то же время и смешили меня, ибо очень уж разительно отличались от той искренней сердечности, с какой встречало возвращающихся соплеменников большинство подданных Конесо.

Тут как раз примчался Вагура, но лишь с одним табуретом. «Второго не нашел, очень спешил», — объяснил он шепотом. Недолго думая, я придвинул табурет Манаури, а сам небрежным жестом сбросил с себя шкуру ягуара, капитанский камзол и, велев Арнаку сложить их в кучу, удобно на них уселся.

За всеми этими действиями старейшины наблюдали с пристальным вниманием, не лишенным доли страха. Несомненно, они, как и на приеме у варраулов Екуаны, усматривали в этом какой-то символический ритуал, и, бесспорно, им не давала покоя мысль, какой магической силой я наделен. «Неужели даже большей, чем мощь самого ягуара?!»

Манаури, хитрец, знал, что делал, советуя мне облачиться в охотничий трофей!

Конесо, статный, мускулистый, показался мне выше и крепче сложенным, чем другие араваки. Лицо его выражало высокомерие и надменность, но более всего в нем бросались в глаза, вызывая отвращение, явные приметы по-

хотливого сладострастия. Мокрые толстые губы изобличали извращенную чувственность, глаза горели похотью. И все же в эту минуту ни кичливое высокомерие, ни похоть не могли скрыть смятения, охватившего душу верховного вождя.

Иное дело Карапана. Лет ему было немало, глубокие морщины избороздили его старческое лицо, но глаза при этом сохранили удивительную молодость и живость. Он сидел выпрямившись, не двигаясь, положив руки на колени, и мог бы сойти за каменного идола, если бы не острый взгляд, каким он сверлил нас, стараясь, казалось, пронзить насквозь. Невозмутимый, зловецкий и загадочный, он, чувствовалось, хладнокровно, не моргнув глазом пошел бы на любую подлость и способен был уничтожить всякого, кто посмел бы ему воспротивиться. В нем ощущалась душа жестокая и коварная. Недаром араваки боялись его как огня.

Подле Конесо, по другую руку, стоял низкорослый щуплый вождь с юрким бегающим взглядом. Он почти терялся под пышным убранством из цветастых поясов и птичьих перьев: вероятно, богатый убор призван был скрыть тщедушность его фигуры. Это был Пирокай, брат Манаури, завистник и интриган. Он смотрел на своего брата, но особой радости в его глазах не замечалось.

Так, молча, уставившись друг на друга, мы сидели довольно долго. Наконец Конесо откашлялся и открыл рот. Но вместо цветистого приветствия, к каким я привык уже у индейцев, раздалось нечто похожее на хрюканье, обращенное не то к Манаури, не то ко мне:

— Вы... устали?

Ничего лучшего не придумал в такой момент!

— Нет, — буркнул в ответ Манаури.

— Вы испытываете жажду? — продолжал допытываться Конесо.

— Нет, — повторил мой спутник.

Поскольку верховный вождь, как видно, не собирался становиться разговорчивее, не приходилось и нам особенно печься о соблюдении вежливости.

— Я испытываю жажду! Все мы испытываем жажду! — вмешался я.

Едва Арнак перевел мои слова, Конесо приказал стоявшим в отдалении женщинам принести еду и напитки.

— Ты плохо меня понял, вождь! — проговорил я. — Я говорю о другой жажде.

— О какой?

— Мы жаждем теплых слов приветствия!

— Разве вас не приветствовали мои люди и не говорили вам теплых слов? — с явным вызовом ответил Конесо. — Разве они не выходили на лодках вам навстречу и не приветствовали вас как братья?

— Они — да, приветствовали, а ты? Ты — нет.

— Я еще успею! — хмуро буркнул вождь и повернулся к женщинам, подносящим корзины, полные яств, и громадные кувшины с неизменным кашири. Он внимательно следил, чтобы всем досталось поровну: и нам, тридцати прибывшим, и его свите из старейшин племени.

С кислой миной Конесо выпил за мое здоровье, за здоровье Манаури, и началось пиршество. Но как же отличалось оно от празднеств у гостеприимных варраулов! Каким было тягостным, натянутым, без радостных кличей, без веселых улыбок.

Шаман Карапана ничего не пил и не ел, он сидел невозмутимый и курил длинную трубку из бамбука. Изредка затягиваясь, он не сводил с нас холодного, бесстрастного, но пристального взгляда, словно стараясь отметить все наши лица какой-то невидимой печатью. Хромой Арасибо явно пугался его взгляда и прятался за мою спину, но взгляд шамана достигал его и там.

По требованию Конесо Манаури рассказал всю историю пребывания в плену на острове Маргарита, побега оттуда и дальнейших наших приключений вплоть до сегодняшнего дня. Рассказ был долгим. Индейцы, окружив нас плотным кольцом, слушали затаив дыхание, и даже старейшины несколько смягчились, хотя, как видно, и не отрешились полностью от прежней настороженности.

Когда Манаури умолк, воцарилась мертвая тишина. Нарушил ее Конесо. Недобро сверкая глазами, верховный вождь с угрозой в голосе обратился ко мне и к Манаури:

— С чем вы к нам прибыли? Отвечайте!

Эта неожиданная враждебность, как и странный смысл его слов, ошеломили нас, лишив дара речи.

— Какие козни вы замышляете? — рявкнул Конесо.

И тут я впервые увидел, как Манаури вспыхнул диким гневом. Лицо его потемнело, исказилось яростной гримасой хищного зверя. Но он не утратил самообладания, не взорвался, не сделал ни одного непочтительного движения и лишь глухо, сдавленным голосом процедил:

— Как смеешь ты возводить на нас такую клевету? Мы не замышляем никаких козней, знай это, Конесо! Мы пришли сюда как братья к братьям! У нас чистая совесть!

— Чистая?

— Как смеешь ты не верить? Где твой разум?

В ответ Конесо злобно фыркнул.

— А что вы делали у варраулов? Ты станешь отрицать? — спросил он.

— Что плохого мы там сделали?

— Вы с ними сговаривались! Ты будешь это отрицать?

— Сговаривались? Варраулы встретили нас гостеприимно.

— Значит, вы не заключали с ними подлого союза?..

— Подлого?

— Да, Манаури, подлого союза против меня. Вы хотите с помощью варраулов посеять рознь в нашем племени...

Этого Манаури снести уже не мог. Он встал. Медленно, словно крадучись, приблизился к верховному вождю и, наклонившись над ним, гневно бросил ему в лицо оскорбительные слова:

— Конесо, черви сожрали твой разум! Ты плохо встречаешь гостей, пожалел и для нас, и для себя кашири, выпил его мало, а язык твой болтает вздор, будто ты пьян до потери сознания!..

Дело принимало серьезный оборот. Верховный вождь у южноамериканских племен, как правило, не обладая безоговорочной властью, не вершил над подданными суд и расправу и оставался главой племени, лишь пока признавались его ум и храбрость. Теперь же презрительные слова Манаури могли повлечь за собой далеко идущие последствия и даже катастрофу. Конесо мог бросить свою свиту, вооруженную до зубов, на нас, не имевших при себе в эту

минуту почти никакого оружия, и уничтожить всю нашу группу одним ударом. Я решил, что Манаури перетянул струну.

К счастью, до схватки дело не дошло. Конесо ничего не предпринял и продолжал спокойно сидеть. Возможно, он опасался благожелательного отношения к нам со стороны племени? Возможно, вообще по натуре не склонен был к насилию?

Ссору следовало немедленно ликвидировать и не допустить дело до крайности. Я подозревал, что Манаури, хитрец, умышленно довел все до раздора, чтобы проверить свое влияние в племени и, дав резкий отпор грубости Конесо, испытать свои силы. Если он стремился к этому, то, безусловно, цели своей достиг и одержал верх над Конесо, но как бы там ни было, горячие головы обоим следовало остудить.

Среди всеобщего возбуждения я потребовал слова. Арнак и Вагура тут же пришли мне на помощь, и совместными усилиями мы быстро установили тишину.

— Я — друг Манаури, — провозгласил я громким голосом, — но я хочу стать и другом Конесо, и другом Карапаны и Пирокая...

Затем я перешел к тому, как общая доля и недоля сдружили всех нас: араваков, негров и меня, как искренне я привязался к своим товарищам. Они заслужили мое уважение, ибо я открыл в них те качества, мысли и чувства, которые ценю превыше всего, а превыше всего я ценю верность и честность. Ложь никогда не сорвется с моего языка, и потому Конесо должен мне верить, когда я говорю, что все мы пришли сюда с чистым сердцем, как братья к братьям, а союз, заключенный с варраулами, не направлен против верховного вождя...

— Тогда зачем вы его заключали? — огрызнулся опять Конесо.

— Разве тебе не известно, какая угроза нависла над нами с юга? Разве в прошлую сухую пору не пропал без вести отряд араваков? — напомнил я.

И Конесо, и все собравшиеся хорошо знали о планах акавоев, и потому слова мои были встречены шепотом одобрения.

— Варраулы живут не только на Ориноко, — продолжал я, — их селения есть и далеко на юге. Они немало натерпелись горя от акавоев. Они знают, что мы хорошо вооружены, знают о наших победах и хотят с нами мира. Разве это плохо?

— Почему они пришли не ко мне, а к вам? — не успокаивался Конесо.

— Мы плыли мимо их селений. А союз касается всех араваков, живущих на Итамаке, мы только посланцы и сообщаем об этом союзе с варраулами тебе, Конесо...

Но даже такое объяснение не удовлетворило задетое самолюбие верховного вождя.

— А зачем вы создали новый род? — гневно воскликнул он. — Хотите вбить клин в наше племя, внести раздор...

— Нет, — живо возразил я. — Люди, пережившие тяжкое рабство, многие несчастья и беды, вместе добывшие себе свободу, эти люди хотят и дальше жить вместе, одной семьей, единым родом, и притом служить всему племени. Разве можно их за это судить?

— У вас большие богатства! — не унимался Конесо. — Вы всех переманите в свой род! Создадите свое племя! Вы угрожаете...

Шаман Карапана

— Перестань лаять, Конесо! — раздался скрипучий старческий голос. Голос чуть слышный, невыразительный, но какое он произвел впечатление! Конесо не только умолк, но как бы сразу скис. Это вмешался Карапана — шаман. После его слов наступила мертвая тишина.

— Перестань! — повторил Карапана. — Ты, Конесо, лаешь, как глупый пес!

Конесо и впрямь умолк, словно побитая собака. Похотливые его глазки смотрели так обалдело, что нетрудно было понять — от изумления он сразу растерял все свои мысли. Он открывал рот, хотел что-то сказать, казалось, даже возразить, но Карапана не дал ему опомниться и продолжал:

— Это наши братья! Приветствуйте их!

— Да, мы ваши братья! — подхватил я обрадованно.

— Подайте им руки! — живо подбодрил шаман старейшин. — Это обычай белых, но они долго жили среди белых! Не пожалей руки, Конесо, и ты, Пирокай, и вы все!..

Враждебная атмосфера сразу разрядилась, будто по мановению волшебной палочки. Здравый смысл и сердечность восторжествовали. Старейшины приблизились к нам, протягивали руки, расточали улыбки — выражали гостеприимство. Остальные индейцы, стоявшие в стороне и огорченные поначалу враждебностью старейшин, теперь бурно ликовали.

Один лишь Карапана, главный вдохновитель наступившего мира и согласия, не принимал участия в этом всеобщем ликовании. Он по-прежнему сидел на табурете, исполненный старческого достоинства, курил трубку, пронизательно поглядывая из-за клубов дыма, и молчал.

— Варраулам вы привезли подарки, а нам? — воскликнул кто-то из старейшин.

— Привезли и вам! — с готовностью ответил Манаури.

— Я хочу шпагу! — крикнул Фуюди.

— И я хочу шпагу! — поспешил за ним Пирокай.

— И я!.. И я!.. — послышалось со всех сторон.

Видно, испанские шпаги со времени нашей бытности у варраулов вошли в моду на берегах Ориноко. К сожалению, лишних шпаг у нас оставалось всего две, и получили их Конесо и Пирокай. Остальным пришлось довольствоваться разными тряпками, одеждой, несколько кафтанов украсили плечи лучших воинов. Глаза шамана хищно горели, но и он получил свое: богатую капитанскую шляпу с великолепным страусовым пером.

Старейшин буквально обуяло безумство алчности. Они теребили нас и с чисто детской настойчивостью требовали что-нибудь подарить, и притом не одну вещь, а сразу много.

— Дай мне мушкет, — наступал на меня Конесо.

— И мне тоже! — тут же отстаивал от него Пирокай.

— Ружей пока не дам! — ответил я. — Они сейчас нужны мне самому. Вы получите их, но потом.

Страсти понемногу улеглись.

День кончался. Было еще светло, хотя солнце за туманной дымкой клонилось уже к западу.

Итак, утомительное наше путешествие привело нас, или, по крайней мере, моих товарищей, к цели: мы были у своих. Страстная мечта многих месяцев, да что там! — долгих лет осуществилась полностью и самым лучшим образом.

Удалось успешно преодолеть и последнюю преграду — неприязнь со стороны предубежденных старейшин, обезоружить их искренностью, ну и, конечно, дарами.

Очнулся я от устремленного на меня напряженного взгляда шамана. Он смотрел изучающе, с недоброй иронической усмешкой на холодных губах. Как только взгляды наши встретились, жестокость, написанная на его лице, тотчас же смягчилась и пропала. Шаман жестами спросил, не желаю ли я покурить его трубку. Я дал понять, что не возражаю.

— Не бери его трубку в рот! — услышал я за собой испуганный шепот.

Это остерегал меня хромой Арасибо, сидевший на земле за моей спиной. Никто, кроме меня, его не слышал. Но он говорил по-аравакски, и я сделал вид, что не понял предостережения. Я взял трубку из рук Карапаны, вложил ее в рот и сделал глубокую затяжку. В тот же миг, содрогнувшись, я убедился в правоте предостережения, но было поздно. В трубке содержался какой-то яд. Сквозь табачный дым явственно пробивался незнакомый кисловатый привкус. Голова у меня закружилась, фигура Карапаны поплыла перед глазами, и я едва не потерял сознание. Все это произошло с молниеносной быстротой. Недомогание длилось всего несколько секунд, а когда сознание ко мне вернулось, шаман все так же с издевкой усмехался.

В голове у меня еще шумело, но и эти неприятные ощущения вскоре исчезли, и, казалось, отравление не оставило никаких следов.

Карапана с преувеличенным почтением вынул из моей руки трубку и сам затянулся из нее раз, второй, третий, глубоко вдыхая и затем выпуская густые клубы дыма. Я наблюдал за ним с пристальным вниманием: ни одно малейшее его движение не ускользало от меня. Но хотя шаман ничего в трубке не заменил и курил ее так же, как и я, мне не удалось заметить у него ни единого признака недомогания. Яд на него либо не действовал, либо — и это казалось наиболее вероятным — его вообще не было в дыме, когда он курил, и я не мог найти этому объяснения.

Карапана, заметив мое недоумение, удовлетворенно захихикал и с издевкой произнес:

— Кажется мне, табак наш пришелся тебе не по вкусу!

Я встал. Ноги у меня еще дрожали. Наклонившись над шаманом и сурово нахмутив брови, я сжал кулак и процедил сквозь зубы:

— Не советую тебе, Карапана, найти во мне недруга! И глупые свои шуточки со мной ты оставь!

Слова эти, переведенные Арнаком, Карапана пропустил мимо ушей, словно не поняв их смысла и считая все происшедшее просто удачной шуткой. В глазах его светилось немое торжество, торжество и издевка, когда он елеинным голосом, с показным сочувствием и как бы оправдываясь, проговорил:

— Да, не на пользу тебе наш табак. Белый Ягуар, не на пользу!

Все это происшествие, несомненно, призвано было служить скрытым предостережением, и я отлично это понимал. Итак, ослаблять бдительность и благодушествовать в этой обстановке с моей стороны было бы непростительным легкомыслием.

Конесо точит зубы

Яд, данный мне колдуном, не повлек за собой каких-либо особых бед, и спустя полчаса я совершенно пришел в себя. Когда мы остались одни, Арасибо

через Арнака объяснил мне уловку шамана. Его бамбуковая трубка разделялась деревянной пластинкой на две изолированные друг от друга части. В одной находился обычный табак, а в другой — табак с ядом, вероятно, с какой-то ядовитой травой. Там, где трубку держат, незаметно можно было надавить бамбук пальцем, закрыть отверстие с отравой и спокойно втягивать дым из другой трубки с обычным табаком. Не знающий этого вдыхал дым сразу из обеих трубок и, одурманенный, терял сознание.

— А это сильный яд? — спросил я.

— Еще как! — убежденно проговорил Арасибо. — Если принять его чуть больше, человека уже не спасешь.

— Откуда ты, брат, все это знаешь? — взглянул я на Арасибо не без тени удивления.

Охотник, явно польщенный, в улыбке растянул рот до ушей.

— Я подглядывал за ним, подсматривал потихоньку, учился его колдовству и хитростям...

— Поэтому они и не любят Арасибо, — вставил Арнак.

— Карапана и Конесо?

— Да. Будь их воля, они удушили бы его...

Хижина, выделенная мне главным вождем для жилья, находилась на берегу реки в полумиле от резиденции Конесо, а в двух десятках шагов от нее стоял шалаш, в котором должен был пока жить Манаури.

Между Серимой и этим нашим новым поселением протянулась, словно пограничная полоса, небольшая роща, закрывшая нам вид на Сериму. Когда на следующий день утром, после ночи, проведенной на палубе шхуны, я направился в свою хижину, первым, что бросилось мне в глаза, был человеческий череп, венчавший небольшой холмик у стены. Это пугало скалило зубы навстречу входящим. Я содрогнулся при виде жуткого зрелища и поспешил позвать своих друзей. Охваченные ужасом, они сначала остолбенели, потом энергично закивали головами.

— Здесь умер человек, — объяснил мне Арнак, — а это его могила и череп. Карибы хоронят умерших в хижинах, где они жили.

— Ты говоришь, карибы? Разве это хижина не араваков?

— Нет, это старая хижина, и, вероятно, здесь жила какая-то семья карибов. В такой хижине не смеет жить никто, кроме духа умершего.

— Почему же тогда Конесо велит мне здесь жить? — удивился я.

— Возможно, он думает, — сказал Арнак, — что этот обычай касается только нас и не относится к тебе, белолицему...

— Не верю! — буркнул Манаури.

Посоветовавшись, мы единодушно решили, что в — хижине с могилой я жить не стану. Пребывание в хижине, где жил покойник, мало мне улыбалось, а главное — могло восстановить против меня, как против святотатца, многих индейцев.

Временно я разместился в шалаше Манаури, а мои соратники вместе со мной и многими добровольцами из числа туземцев не мешкая тут же принялись возводить для меня новое жилище. Среди всеобщей радости и веселья работа шла споро, и уже к полудню возвышалось строение разве что чуть хуже резиденции самого Конесо. Прочная пальмовая крыша, три бамбуковых стены и четвертая, хотя и частично открытая, но с широким навесом надежно

защищали от бурь и ливней. Хижина, а точнее — просторный шалаш, была настолько вместительна, что я предложил поселиться в ней вместе со мной Арнаку и Вагуре, неразлучным моим друзьям.

Остальные наши товарищи, не теряя времени, тоже сооружали себе хижины, но не вразброс, как это принято у индейцев, а все вместе — одну подле другой. Как видно, род наш намерен был и впредь держаться сообща. Оставалось лишь удивляться, как в расположении хижин, словно в зеркале, отражались личные чувства, симпатии и привязанности: негры построились вокруг хижины Манаури, словно личная гвардия вождя; Арасибо предпочел место подле меня и стал ближайшим моим соседом, по другую сторону, тоже поблизости от моей хижины, расположилась в шалаше Ласана с ребенком.

Под вечер нас посетил Конесо, пришедший посмотреть, как мы разместились, и, пользуясь случаем, я выложил ему все, что думал по поводу хижины с могилой, дав недвусмысленно понять, что характер у меня вспыльчивый, не терпящий оскорблений, и нанесенные мне обиды я не всегда склонен оставлять безнаказанными.

— Обиды? — сказал он с деланным удивлением. — В этом нет ничего обидного.

— А что же тогда? Неудачная шутка или вероломная ловушка?

— Верно, ловушка, — плутовато согласился Конесо, и его мясистые губы сложились в какое-то подобие улыбки, — но не вероломная. Это была просто проверка твоих сил!

— Один сует мне в трубку яд, другой посылает жить в хижину-табу, — стал укорять я его.

— Ты удивлен? — Губы вождя все еще улыбались, но раскосые глаза его смотрели холодно и настороженно.

— Да, удивлен: разве я не гость ваш?

— Ты наш гость. Но какой? Необычный! Не такой, как другие гости. Ты, говорят, обладаешь таинственной силой, и мы хотим подвергнуть ее испытанию.

— Для этого вы сунули мне яд?

— Да! Яд на тебя действует, теперь мы это знаем. И знаем, что дух мертвого сильнее тебя! Ты боишься его! Он вселяет в тебя страх.

— В этом ты ошибаешься, Конесо!

— Разве ты не бежал из хижины-табу?

— Бежал, а как же! Но не из страха перед духом, можешь мне верить!

— О-ей! — На одутловатом лице Конесо отразилась недоверчивая глумливость.

— Я чту ваши обычаи и обряды! — продолжал я многозначительно. — Я не хочу осквернять жилища мертвого! И это все!

Однако сомнение в его глазах не угасло, и он в упор бесцеремонным взглядом изучающе окидывал меня с ног до головы.

— Говорят, мушкетные пули отскакивают от тебя...

— Это выдумки.

— А стрелы из лука не пробивают твоего тела. Это правда?

— Глупости! — не на шутку вскипел я. — Я такой же смертный, как и всякий другой...

Конесо не спускал с меня подозрительного взгляда и, как видно, не очень-

то мне верил. Голова его как-то недоверчиво склонилась и странно подергивалась.

— Не станешь же ты отрицать, что у тебя есть нечто, чего нет в других?

— Не стану! — живо откликнулся я.

— А, вот видишь!

Он произнес это с торжеством, но я тут же охладил его пыл:

— Да, правда, у меня есть нечто, и это нечто — мой большой опыт! Я повидал мир, видел много врагов! Одних побеждал я, другие побеждали меня — и у этих последних я больше всего научился. Научился, слышишь? В этом и кроется вся моя тайна...

Тут мы заметили Ласану, возвращавшуюся от реки к своему шалашу с большой тыквой для воды на голове. При виде стройной индианки глаза Конесо округлились от похоти, и он буквально пожирал ее взглядом.

— Ты здесь? — спросил он удивленно.

— Здесь! — коротко ответила она и пошла дальше, не обращая на нас внимания.

— Стой! Ласана! — окликнул он. — Я что-то тебе скажу! Твое место не здесь!

— А где? — обратила она к нему гневное лицо и замедлила шаг.

— Твое место в моем доме! — объявил он. — Ступай туда сейчас же! Не медли!

Ласана окинула его не слишком приветливым взглядом, но и страха своего скрыть полностью не смогла.

— Что это пришло тебе в голову? — фыркнула она.

— Не спорь, женщина! Покорись и ступай!

— Не пойду! — отказалась она твердо. — Я принадлежу к роду Белого Ягуара, и здесь мое место, да, здесь!

— Нет, пойдешь! — крикнул Конесо резко. — Марш! Живо!

Сопrotивление Ласаны разъярило его. Как видно, эта женщина пришлась ему по вкусу, и он всю точил на нее зубы.

— погоди, Конесо! — вмешался я миролюбиво и придержал его за руку. — Давай поговорим спокойно, по-человечески! У араваков женщины имеют свои права и не являются рабынями мужчин, так мне говорили!

— Ну и что? Что из этого? — вскинулся вождь.

— Значит, она вправе поступить как ей нравится!

— Не совсем! Она еще молода, мужа потеряла, у нее ребенок, значит, она нуждается в защите. Племя возьмет ее под защиту...

— У нее уже есть защитник! — возразил я.

— Кто?

— Я.

Конесо вызывающе прищурил глаза.

— Ты хочешь сказать — она твоя жена? А я знаю, что это не так!

— Да, не так, но я взял ее под свою защиту, а это почти то же самое.

— Разве она хотела твоей защиты?

— Хотела! — Ласана проговорила это громко и так тряхнула при этом головой, что ее черные волосы рассыпались по плечам. — И дальше хочу!

Мы были не одни. Помимо Арнака, эту сцену наблюдало с десятков индейцев из нашей группы и несколько других местных араваков. Последних особенно возмутили наглые притязания Конесо. Вождь заметил это, сбавил тон и

предпочел отступить.

— Ладно, но мы еще встретимся! — пробурчал он себе под нос и хотел уйти.

— Постой, Конесо! — остановил я его. — Этот вопрос ясен. Ласана останется со мной, но сказанное тобой неясно и непонятно!

— О чем ты говоришь?

— Ты строить нам разные козни, а ты ведь привял наши подарки, и шпагу, и другие... Разве этого мало?

— А может, и мало! — засмеялся он вызывающе.

— Одного не понимаю, — продолжал я. — Где-то там, на юге, грозные акавои готовятся, судя по всему, идти против вас сюда, на Ориноко, войной, а вы, вместо того чтобы собрать все свои силы и дух, подрываете их, как безумные слепцы, сеете в племени скандалы и раздоры, навлекаете на себя бурю, а на всех нас — несчастья...

— Кто сеет?! — воскликнул Конесо, будто услышав веселую шутку. — Мы сеем?! Мы навлекаем несчастья? Мы порождаем раздоры?

— А кто же?

— Это вы! Пока вас здесь не было, никто не нарушал у нас мира. Кто лишил племя покоя? Вы своим приходом! Это вы во всем виноваты!

Так, перевернув все с ног на голову и всячески нас понося, Конесо удалился, еще более обострив обстановку. Кое-какие горячие головы из числа моих друзей стали было предлагать даже покинуть Сериму и основать свое селение на берегу Итамаки на несколько миль выше негостеприимной деревни, но большинство, и в том числе Манаури, этому воспротивились, веря, что недоброжелательность старейшин постепенно рассеется и все само собой образуется.

Диковины джунглей

Все последующие дни мы проводили в праздности. Еды у нас было в изобилии, поскольку жители Серимы, за два года неплохо обосновавшиеся, щедро делились с нами своими запасами и даже разрешили собирать на их полях созревший урожай. Основу нашей пищи составляли клубни растения, называемого индейцами маниоккой, из которых сначала надо было выжимать несъедобный сок, а затем уж варить и есть. Прекрасно разнообразили наш стол всевозможные фрукты, как выращиваемые вблизи жилища, так и дикорастущие, но прежде всего, конечно, рыба, кишмя кишевшая в реке и чуть ли не в каждой луже. Кроме того, не было у нас недостатка, естественно, и в разного рода лесной дичи, начиная от диких кабанов и кончая гусеницами, гнездившимися в трухлявых пнях.

Спустя несколько дней люди нашей группы втянулись в ритм жизни индейской деревни. Праздность была им несвойственна. Одни отыскивали в джунглях участки, пригодные для корчевки и распашки под поля, другие отправлялись на реку ловить рыбу, используя при этом либо удочки, либо верши, либо стрелы и луки, а то даже перегораживая течение и применяя яды. Третьи шли в лес за фруктами или на охоту. К этим последним присоединился и я, безмерно довольный, что оказался наконец в своей стихии.

Шхуну мы подвели к самому поселку и поставили на якорь, у берега прямо против моей хижины. Важно было иметь ее всегда под рукой и на виду, поскольку в трюмах судна мы хранили все наши запасы и трофеи, добытые у испанцев.

Опасность, грозившая нам со стороны акавоев, не давала мне возможности

почивать на лаврах, и я часто проводил занятия по стрельбе из ружей. Подопечные мои занимались охотно, радуя мое сердце успехами, и, когда обрели необходимую снаровку, я разрешил им брать ружья на охоту. В лесу индейцы лучше управлялись с луками и стрелами, чем с огнестрельным оружием, но, несмотря на это, охотно брали и ружья, с гордостью перекидывая их через плечо. Они считали, что это придает им больше воинственности и солидности.

В минуты, свободные от вылазок в лес и на реку, мы не пренебрегали занятиями и с другими видами оружия, такими, как лук, копья, палицы и дотоле неведомая мне «воздуходувка» — бамбуковая трубка восьми-девяти футов в длину, из которой с силой выдувались небольшие отравленные стрелы, летевшие на значительное расстояние. Всех нас охватил азарт соревнования, и некоторые стрелки добились поразительного мастерства.

Конесо и пособник его Пирокай с самого начала пытались расколоть нашу группу, сманивая людей всяческими посулами, но добились они немногого.

Все их старания, кроме двух случаев с душами неустойчивыми, окончились неудачей. Наши люди хотели жить вместе, чувствовали себя поистине одним племенем, единой семьей. Их изобретательность и предприимчивость оказывали магическое влияние и на многих жителей Серимы. Не приходилось удивляться, что близкие родственники членов племени Белого Ягуара переехали к нам и поселились в наших шалашах. Но и другие индейцы, не состоявшие в родстве, также тянулись к нам. Они искали нашей дружбы, порой совета, а то и просто душевной беседы и вообще охотно поселились бы поблизости от наших костров. Но Манаури решительно этому противился, стремясь не разжигать зависти старейшин, и без того глядевших на нас косо.

Охотиться в лес мы ходили по двое или по трое; я, как правило, с Арнаком или Вагурой, а порой и с Ласаной, особенно после того, как в хижину к ней переселилась ее мать. Лишь теперь я по-настоящему стал ощущать неопишемую, просто ошеломляющую прелесть окружающего нас леса. В северных лесах моей родины множество всяких деревьев, но в какое сравнение это могло идти с буйной пышностью, со сказочным богатством здешней растительности? В вирджинских лесах немало непроходимых чащ, но разве сравнить их со здешними чащобами, с буйным неистовством зелени, с невообразимым хаосом неукротимых ветвей, листьев, лиан, колючек, среди которых трудно ступить шаг, где все сковывает человека, гнетет его тело и даже мысль его и душу? На первый взгляд безумный, ошеломляющий хаос, но стоит опытному охотнику всмотреться пристальней, и в кажущемся беспорядке он начинает примечать мудрость природы, разумные закономерности ее бытия, начинает постигать дикую ее красу, и более того — находить в ней пленительную терпкую прелесть. И в то же время никогда не ведомо, чем для человека станет непроглядная чаща: добрым другом или коварным врагом.

Кроме ягуара, на охотника могли выскочить тут и другие хищные кошки, из которых одну, сплошь желтую, как лев, называют пумой. Могли попасть на мушку в густых лесах и олени-мазамы, и дикие свиньи-пекари, а по берегам рек водосвинки и тапиры — могучие животные с прочным, как щит, кожным покровом и удлинненным, словно у диковинного слона, носом, и, конечно, бесчисленные стада всевозможных обезьян. Мог здесь охотник встретить и броненосца — животное, сплошь покрытое панцирными щитками, и другое ди-

во — муравьеда, пожирателя муравьев, с нелепо длинной мордой и такими мощными передними когтями, что они могли бы легко надвое разодрать человека; мог встретить здесь охотник и еще большую диковину — ленивца, четвероногое, до беспредельности кроткое существо, постоянно висящее на ветвях головой вниз, и что самое удивительное — почти без движения.

А всевозможные водяные и лесные черепахи, а ящерицы, из которых игуана — по виду и повадкам суций дракон — уступает им разве лишь по размерам, а бесчисленное племя ядовитых змей и громадных удавов, а вероломные крокодилы-кайманы, подстерегающие добычу в тихих заводях, и в этих же водах, кроме множества съедобных рыб, — настоящие чудовища: плоские сипари с ядовитым шипом на хвосте, небольшие рыбы пирайи, отличающиеся поистине дикой прожорливостью, а яринга, рассказы индейцев о которой казались мне сказочным домыслом: эти крохотные чудовища, совсем небольшие по размерам, коснувшись купающегося человека, будто бы поражали его ударом молнии, вызывая полный паралич! А неисчислимый красочный мир тысяч птиц на земле и в воздухе, мир щебечущий, мир прелестный и радостный, над которым высоко в небе царственно парит мрачный властелин — гигантский орел с хохлатой головой — полумифическая гарпия, безжалостный пожиратель обезьян и всякой прочей живности, которому под силу, пожалуй, поднять в воздух даже пятнадцатилетнего подростка.

Араваки, уже два года жившие на берегах Итамаки, не утаивали от меня того, что знали о тайнах джунглей, и я немало наслушался рассказов о разных диковинах. Порой в этих повествованиях трудно было отличить правду от вымысла, ибо с одинаковым выражением подлинного страха меня предостерегали как от встречи с ягуаром, так и с Канаимой — духом мести, одинаково подробно описывали как облик и повадки хищной ящерицы-игуаны, так и внешний вид лесных гебу — мохнатых существ с выпученными глазами, существ, оказывавшихся просто злыми духами умерших. Сообщая мне о случаях нападения на людей большой змеи комути (анаконды), действительно обитавшей в прибрежных зарослях, столь же детально мне описывали и водяных чудищ маикисикири, которые показывались якобы только женщинам и никогда мужчинам и вообще были злейшими врагами женского пола, и только позднее я узнавал, что маикисикири — это не что иное, как лишь водяные духи. Таким вот причудливым образом сплетался в единый клубок мир реальный и мир вымышленный, и, отправляясь в бескрайний лес, ты никогда заведомо не знал, где подстерегает тебя опасность реальная, а где лишь мнимая, и это чувство неопределенности вселяло сладостный трепет, непостижимый и волнующий, как и все в этих джунглях.

Ядовитые змеи

Вокруг нашей хижины было на удивление много отвратительных змей, и притом змей ядовитых, особенно возле тропинки, ведущей от нас к джунглям. На ней мы ежедневно убивали по несколько гадин, но их не убывало, и утром следующего дня появлялись все новые и новые.

— Чем мы им так понравились? — воскликнул я с шутливым негодованием.

— Или они падают с неба?

Друзья мои озабоченно переглядывались, словно испытывая вину или стыд за такую явную немилость природы. Они горячо меня уверяли, что в

здешних местах порой так бывает: в целой округе не найдешь ни одной змеи, а в каком-то месте их тьма-тьмуца. Манаури припомнил, как однажды, несколько лет назад, наткнулся на место, где грелось на солнце сразу десятка два змей, и притом сорораима, самых ядовитых из ядовитых. Он тогда убежал, но долго еще при воспоминании об этой встрече у него мурашки бегали по коже.

Мне не оставалось ничего иного, как примириться с высокими испанскими сапогами и носить их для вящей безопасности — змеи не могли прокусить толстую кожу. А мать Ласаны, женщина необычайно заботливая, помогла по-своему: из прежнего своего жилья она привела ручного туюи — громадного аиста с черной головой и таким же клювом, ярого искоренителя всяческих пресмыкающихся гадов. И впрямь с этих пор ядовитых тварей у тропинки как будто поубавилось.

У меня вошло в обычай посещать по утрам шхуну я проверять трюмы, где у нас хранились бочонки с порохом. По бревнам, которые я перебрасывал с берега на борт, вместе со мной вбегала и пятнистая собачонка, веселый страж нашего жилища.

Однажды собачонка, вскочив, как обычно, в трюм, как-то жалобно вдруг закулила и стремглав в испуге выскочила обратно. Преследуя ее, за ней поползла небольшая темная змея в желто-коричневую крапинку. Ядовитая — сразу определил я по сердцевидной форме головы и едва успел отпрянуть в сторону. К счастью, в руке у меня был железный прут. Я ударил змею по голове раз, потом второй, и она испустила дух. Однако в трюме затаилась еще одна змея, тоже ядовитая, а у руля обнаружилась и третья. Эта, свернувшись в клубок, вытянула голову и готовилась к прыжку. Крохотные глазки ее светились яростью. Мне без труда удалось обезвредить всех трех тварей — по палубе они не могли быстро ползать и были опасны, лишь когда человек неосмотрительно оказывался совсем рядом с ними.

Появление змей на судне не поддавалось никакому объяснению. Шхуна со всех сторон была окружена водой и не соприкасалась с берегом, за исключением тех минут, когда на нее перекидывались бревна. Откуда же взялись здесь три страшные твари? Не подбросил ли их кто-то знающий, где я обычно бываю, чтобы от меня избавиться?

Все это было весьма странно. А змеи действительно оказались ядовитыми — пес, как видно, укушенный змеей, смог лишь добраться до берега и здесь внезапно упал как подкошенный. Минуту или две он еще жил, потом по телу его пробежали конвульсии, из пасти выступила кровавая пена, из глаз и ушей сочилась кровь. Теперь, когда он лежал бездыханный, я мог убедиться в молниеносном действии яда и понял — если бы меня не опередил этот невольный спаситель, сейчас здесь лежал бы мой труп; хотя я не отличался особой впечатлительностью, по спине у меня побежали мурашки.

Я не стал делиться с друзьями возникшими у меня подозрениями, но они и сами тут же пришли к заключению, что это дело вражеских рук. Чьих — нетрудно было догадаться. Теперь и обилие змей у тропы казалось им подозрительным и совершенно противоестественным.

— Да, это он, это его штучки! — заявил Арнак, нахмурившись и воинственно оглядываясь вокруг, словно ища скрытого в кустах врага.

— Ну, сейчас-то его здесь нет! — усмехнулся я. — Змей он, вероятно, подбра-

сывает нам только по ночам...

— Ты говоришь, он подбрасывает? — с явным сомнением в голосе спросил Манаури.

— А кто же еще, если не Карапана? — удивился я.

— Он, ясно, он! Нет сомнений! Но сам ли он это делает?

— Если не сам, значит, его помощники...

— И это сомнительно, Ян!

— Тогда я ничего не понимаю! Откуда же тут берутся змеи?

Лицо Манаури выражало беспокойство и тревогу.

— Он шаман, — напомнил вождь как бы в объяснение.

— Значит, ты думаешь, что он приманил сюда змей заклинаниями? — спросил я.

— Он на многое способен! Это великий и опасный шаман, — ответил Манаури уклончиво.

Становилось очевидным, что вождь связывал появление змей со злыми чарами, а все остальные, за исключением Арнака, похоже, разделяли это убеждение. Колдовство для индейцев — большая сила, противостоять которой бесполезно, и я стал серьезно опасаться, как бы мои друзья-араваки перед лицом высшей силы не отступились от меня или, в лучшем случае, не пали духом. Но оказалось, они и не думали ни отступаться от меня, ни падать духом по причине, которую тут же и высказали: Карапана опасен, но я — паранакеди, англичанин, к тому же Белый Ягуар, и поэтому у меня есть свои заклинания, и я обладаю не меньшей силой расколдовывать заклинания шамана.

— Значит, вы считаете, что я с ним справлюсь? — спросил я.

— Справишься, справишься! — отвечали они.

— Его злую волю я предпочитаю победить более сильным оружием, чем колдовство!

— Нет оружия более сильного! — воскликнуло сразу несколько индейцев.

— Какое ты знаешь оружие?

— Ну хотя бы решительность.

На их лицах отразилось разочарование.

— Да, конечно...

— А вы мне поможете?

— Поможем. Ты наш Белый Ягуар! Ты наш друг! — заверили они. — Поможем.

— Хорошо, я дам вам ружья, и по ночам мы будем караулить. Посмотрим, устоит ли злодей против нашего свинца!

Однако в этом они не хотели участвовать. Стрельба ночью была им не по душе, к этому они не привыкли и вообще не хотели гневить тайные силы. Ночью они предпочитали спать, а не охотиться за чем-то страшным и непонятным.

На рассвете следующего дня в сопровождении Арнака я отправился на охоту. В том месте, где тропа уходила в лес, мы встали как вкопанные. Поперек тропинки, словно преграждая нам путь, лежало несколько небольших, грубо исполненных, словно вылепленных детской рукой глиняных фигурок. Едва увидев их, Арнак замер на месте и резким движением остановил нас, не пуская дальше. С несвойственным для него изумлением уставился он на эти фигурки. Величиной не больше пальца, фигурки изображали разных зверей: ма-

ленькую ящерицу, лягушку, змееныша, какого-то четвероногого зверька, птицу и даже скорпиона. Все фигурки были уложены головами в нашу сторону, а приглядевшись внимательнее, я заметил, что на каждой из них была обезображена какая-нибудь часть тела: сплющена голова, оторвана лапа, выедена спина, выколоты глаза.

— Не подходите близко! — прошептал Арнак взволнованно.

Я удивленно взглянул на юношу, несколько сбитый с толку его поведением.

— Опять колдовство? — проговорил я.

— Да.

— И ты поддался? — сказал я с укором. — Арнак! Опомнись! Это же все чепуха!

— Нет, Ян! — возразил он серьезно. — Это уже не чепуха! Если шаман замышляет кого-то уничтожить, то кладет у него на пути такие заколдованные фигурки.

— Зачем?

— Чтобы ослабить его волю, размягчить сердце, замутить рассудок...

— А я растопчу эти чары, — заявил я.

— Не делай этого! Они могут быть отравлены, и яд войдет через сапоги в твоё тело...

Спустя минуту Арнак как бы опомнился от первого впечатления, лицо его прояснилось, на губах заиграла чуть заметная улыбка.

— Нет, Ян! — сказал он мягко, стараясь меня успокоить. — Ты учил меня, что все это выдумки шаманов, и наука твоя не прошла даром! Но это уже не шутки! Видно, Карапана всерьез решил с тобой покончить, и это меня тревожит...

— А почему ты думаешь, что он решил покончить со мной, а не с нами всеми?

— Смотри!

Он показал глазами вперед. Там, чуть дальше уложенных в ряд фигурок, я увидел на тропинке еще одного вылепленного зверька. Фигурка отдаленно напоминала хищника, точнее, ягуара, выкрашенного в белый цвет, одним словом, белого ягуара. Ага, это определенно уже касается меня. Крохотная стрела навывлет пронзила грудь зверя — такая судьба, вероятно, предназначалась и мне. В ответ на все эти угрозы и попытки устрашить меня с помощью фигурок хотелось лишь пожать плечами, но неумная ярость преследователей невольно вселяла какую-то жуть. Неужто я бессознательно стал поддаваться пагубному воздействию шамана?

Тем временем Арнак отыскал толстый сук и начал изо всех сил колотить по фигуркам, пока не превратил их в пыль, а пыль потом старательно смел с тропинки в сторону. То же он хотел учинить и с фигуркой ягуара, но я его удержал, решив сохранить ее себе на память. Юноша покачал головой, но согласился.

— Только смотри, — предостерег он, — не касайся ее!

Привязав фигурку к тонкой лиане, мы подвесили ее на ветку куста, чтобы забрать на обратном пути.

Когда спустя несколько часов мы возвращались той же тропинкой, нас ждала новая неожиданность — фигурка исчезла. Пока мы охотились, ее кто-то

взял. Никто из наших причастен к этому не был. Значит, поблизости от наших хижин бродит кто-то чужой. Лесная чаща, окружавшая нас стеной, надежно укрывала от нас мрачную тайну, и в этих непроходимых дебрях мы были беспомощны.

— Белый Ягуар с пронзенным сердцем — в руках врага! — проговорил Арнак. — Береги свое сердце, Ян!

— Сердце у меня как у быка! — рассмеялся я.

На вторую и третью ночь после истории со зловещными фигурками я плохо спал, а проснувшись, никак не мог заснуть. Из ближайших зарослей неслась шумная музыка, у реки — концерт другой, но не менее шумный, в камышовых стенах хижины шелестели не то какие-то ящерицы, не то насекомые. Сон не шел, и в голове моей бродили разные мысли. Непостижимая ярость шамана с каждым днем все более обостряла положение, и надлежало предпринять какие-то решительные шаги. Но какие?

Вдруг весь я обратился в слух. Я лежал у самой стены на ложе из веток, покрытых шкурами. И вот прямо над собой я услышал какие-то странные звуки, показавшиеся мне непохожими на привычные ночные шорохи. Раздался то ли треск, то ли шуршание осторожно раздвигаемого тростника. Минуту спустя у меня уже почти не оставалось сомнений: кто-то, стоя снаружи, пытается проделать отверстие в стене хижины. Я хотел было вскочить и выбежать во двор, чтобы схватить таинственного гостя, как вдруг что-то упало мне на живот, и я застыл в неподвижности. Какое счастье, что я не поддался испугу и не пошевелился, — это была змея!

Не очень большая, длиной всего, наверно, фута в полтора, упав, она притаилась и продолжала недвижно лежать на моем теле, словно не зная, что делать дальше. Я боялся дышать, хотя сердце у меня колотилось как бешеное. За последние дни я хорошо изучил повадки этих тварей и прекрасно сознавал, что стоит мне хоть чуть шевельнуться, как раздраженная гадина не замедлит вонзить в меня свой ядовитый зуб.

Спустя минуту, показавшуюся мне вечностью, змея медленно распрямилась и поползла. Я чувствовал скользкое ее тело и напрягал всю силу воли, чтобы не дрогнуть. Наконец змея сползла с моего живота, но не отдалилась, а медленно двинулась вдоль моего тела, потом даже обвилась вокруг ноги у щиколотки и так замерла на несколько минут. Я выдержал и это, и змея наконец соскользнула с моего ложа.

Наконец можно было перевести дух. Холодный пот струился по моему телу. Прошло немало времени, прежде чем снова стала нормально пульсировать кровь и ко мне вернулась способность здраво мыслить.

Все это происходило в кромешной тьме. Непосредственная опасность мне уже не грозила, но я знал, что еще не избавился от нее. Змея находилась где-то рядом, быть может, притаилась всего в нескольких дюймах от меня. Я все еще не отваживался не только пошевелинуться, но даже крикнуть друзьям, спавшим в гамаках.

Так в полной неподвижности я провел несколько часов, пока не наступил рассвет. Когда первые проблески стали проникать сквозь щели в хижину, рассеивая тьму, я внимательно осмотрелся по сторонам. Змеи нигде не было видно. Я разбудил друзей и рассказал им о случившемся.

Обыскав в хижине все углы, мы наконец нашли ее. Укрылась она недалеко

ко — среди ветвей под моим ложем. Это оказалась на редкость ядовитая и злобная змея. Едва мы ее обнаружили, она бросилась на нас. Потребовался мгновенный и точный удар палкой, чтобы ее обезвредить.

Над моим ложем в тростниковой стене виднелась дыра — красноречивая улика.

Итак, это уже явное покушение на мою жизнь. Все поняли серьезность положения и необходимость более решительной, чем прежде, защиты. Теперь никто не противился тому, чтобы выставлять на ночь охрану и стрелять в непрошенных гостей.

— Я буду караулить! — первым вызвался Арасибо.

Глаза его горели ненавистью.

— Будем дежурить все по очереди! — возразил Арнак.

— Я — первый! Я — в эту ночь! — стоял на своем хромой.

На ночь я подготовил для него ружье, заряженное картечью, и велел стрелять не ближе чем на тридцать шагов, а чтобы не убить случайно кого-нибудь из своих, прежде окликнуть и убедиться, кто идет.

— Я узнаю, кто идет! — буркнул Арасибо.

Вечером мы предупредили ближайших соседей, чтобы они не подходили ночью к нашей хижине и к тропе, ведущей от нас в лес.

Около полуночи нас разбудил грохот выстрела. Мы выскочили во двор. Арасибо крикнул, что стрелял в кравшегося человека.

— Ты окликнул его? — спросил я.

— Зачем? Это был враг!

Мы быстро зажгли факелы и побежали к тому месту, на которое указывал Арасибо. Там никого не было. Страж наш либо промахнулся, либо только ранил врага, а быть может, ему и вообще все померещилось.

Утром, едва наступил рассвет, мы еще раз обследовали это место и теперь с успехом: сразу же обнаружили следы крови. Арасибо торжествовал. Крови было много.

Выстрел Арасибо дал блестящие результаты и, похоже, испугал злых духов. Нашествие змей прекратилось, в темноте никто уже не нарушал нашего покоя, и мы напрасно караулили по ночам. Через несколько дней индейцы хотели отказаться от дежурств, но я этому воспротивился и в конце концов настоял на своем: началась сухая пора, пора войн, и охрана по ночам предусматривала теперь не одну, а две опасности: происки шамана и возможность нападения со стороны акавов. К несению караула мы привлекли всех мужчин нашего рода. Такого свойства предусмотрительность была чужда природе здешних индейцев, совершенно лишенных дара предвидеть и упреждать опасность, но мне удалось склонить их к этому, поскольку они уважали меня и не хотели огорчать.

Оставалось загадкой, кого ранил ночью Арасибо. Во всяком случае, не из нашего рода и не Карапану, Конесо, Пирокая или Фуюди, как стало мне вскоре известно.

В предвидении стычек с акавоями мне хотелось иметь подробную карту лесов, гор, рек и тропинок между нижним течением Ориноко и рекой Куюни на юге, и я посылал Арнака к жителям Серимы, которые могли бы дать подробные сведения об этих краях. Они давали их охотно, и в итоге мне удалось составить со слов недурную карту. Заодно Арнак пытался осторожно собрать в

селении сведения о ночном госте. Однако здесь он мало преуспел — тот провалился, словно камень в воду. Если этот человек и отлеживался где-то, излечиваясь от ран, то под большим секретом и весьма тщательно укрытый в каком-то потайном месте.

Однажды утром я отправился с Вагурой и Ласаной на охоту. Мы шли своей обычной тропой, которая уходила, как мне говорили, на десятки миль к югу, ведя через ущелья гор Итамаки в долину реки Куюни, и с незапамятных времен служила индейцам торговым путем. За поясом у меня был пистолет, на плече легкое, но метко бьющее ружье, хотя и не столь дальнобойное, как мушкет. У Ласаны был лук, из которого она редко промахивалась, а Вагура вооружился нечасто применяемым в этих краях оружием — «воздуходувкой». Стрелы ее, небольшие и легкие, представляли тем не менее страшную опасность: отравленные ядом кураре, они, даже слегка задев крупного зверя или человека, через несколько минут его умиротворяли.

Когда часа через два мы добрались до мест, изобиловавших разной дичью, нас застиг такой ливень, что в лесу сделалось почти темно. Ласана и я прижались к стволу могучего дерева, называемого индейцами мора, а Вагура укрылся шагах в двадцати от нас.

Несмотря на сухую пору, мы чуть ли не ежедневно были свидетелями подобных ливней, длившихся час-два, после чего снова вспыхивало жаркое солнце и чистейшая лазурь заливала небо. На этот раз ливень продолжался каких-нибудь полчаса. Вскоре небо начало проясняться, в лесу посветлело.

Мы все еще стояли под деревом, и я по охотничьей привычке стал оглядывать окружающую нас чащу и кроны ближайших деревьев.

В расточительном нагромождении здесь росли как бы сразу три леса в одном: обычный высокоствольный лес, под ним лес непроходимых зарослей кустарника, а сверху, на стволах и ветвях деревьев, лес третий — целые армии паразитирующих растений. К тому же весь этот хаос во всех направлениях перерывался дикой путаницей сетей из лиан-канатов. Я любил вглядываться в эту бурю расточительности и отдаваться ее пьянящему дурману.

Вдруг взгляд мой замер, пульс учащенно забился. Я вскинул к плечу ружье — в каком-нибудь десятке шагов от нас над самой землей на ветвях дерева притаилась огромная змея. Это была не серая анаконда, живущая поблизости от воды, — тело змеи было ярко раскрашено желтоватыми пятнами по серо-красному фону. Я не мог определить ее длины, поскольку видел лишь часть тела, но, судя по толщине, это был настоящий исполин. Высунув голову из-за листьев, змея следила сверху за происходящим на земле. Нас она давно заметила.

Я еще раздумывал, что делать: то ли стрелять, то ли выждать, как вдруг внимание наше было отвлечено от змеи странными звуками, долетевшими откуда-то издали, из глубины леса. Сразу в нескольких местах там трещали ломаемые кусты, и треск этот, поначалу приглушенный, все более приближался, становясь явственнее, а потом мы услышали и другие звуки, глухие и яростные: не то пыхтенье, не то хрюканье.

— Сагуино! — шепнула мне Ласана. — Дикае свиньи!

Целое стадо их двигалось прямо на нас. Я немало наслышался рассказов о том, какие это опасные для человека звери, если их нечаянно раздражить. Слепленные бешенством, они бросаются на любого врага, будь то человек

или ягуар, и, как бы он ни защищался, чаще всего разрывают его на части. Лишь поспешное бегство на дерево может тогда спасти от верной смерти.

Самый нижний сук ответвлялся от ствола моры, под которой мы стояли, на высоте десяти футов от земли, и я, подхватив Ласану, помог ей уцепиться за него и вскарабкаться наверх, а затем взобрался туда и сам. Мы успели заметить, что Вагура тоже взобрался на дерево.

Я проверил порох на полках — не намок ли, что, к сожалению, часто случилось в здешних влажных лесах, — и подсыпал свежего и в ружье и в пистолет.

— Посмотри, — указала Ласана на змею.

Удав, услышавший, как и мы, приближение стада свиней, вдруг ожил. Он медленно сполз чуть ниже. Теперь голова его и верхняя часть туловища висели над самой землей, а хвост обвивал ветви дерева где-то высоко вверху. Повиснув так в полной неподвижности, более похожий на толстую лиану, чем на громадную змею, он таил в себе скрытую угрозу, и под сплюснутым его лбом, как видно, копошились какие-то коварные замыслы.

Стадо тем временем приблизилось. Кабаны не торопясь двигались по кустарнику прямо под нами и вокруг нас. Их было огромное множество, целая лавина, штук сто, а может быть, и больше. Я не спешил стрелять, выжидая, пока пройдет основная масса, зато Ласана с расстояния шагов в двадцать свалила из лука одну из ближайших самок. Пронзительно взвизгнув, свинья вырвала клыками из раны стрелу, но вторая стрела пронзила ей сердце, и она за смертью рухнула на землю. Неистовый визг привлек к себе часть стада. Возбужденные непонятным явлением кабаны обступили погибшую самку и, оцетинив загривки, усиленно принюхивались, но обнаружить нас не смогли.

И тут напал удав. Схватив в пасть поросенка весом никак не меньше нескольких десятков фунтов, он легко, словно крохотного птенца, мгновенно утащил его наверх. Пронзительный визг жертвы разнесся по лесу. Удав, невзирая на вопли и отчаянное сопротивление поросенка, поднялся чуть выше. Там, прижав добычу к стволу, он обвил и ствол и поросенка одним витком своего тела. Объятие было смертельным. С наверняка поломанными ребрами и раздавленными внутренностями поросенок немного подергался и затих.

Все это происходило на глазах стада, наблюдавшего за лесной трагедией с немим отупением. Но уже при последних конвульсиях жертвы кабаны внизу задвигались. Несколько из них бросилось к дереву, на котором находился удав, и принялись рвать ствол клыками. Примеру их последовали и другие.

Дерево не было особенно толстым — четыре мужские ладони, наверное, могли бы его обхватить. Под напором яростных клыков ствол затрясся от корней до самой верхушки. Удав заполз выше. Обезумевшее стадо неистовствовало. От ствола летели щепки. С глухим стуком на землю упало тело мертвого поросенка. Стадо отпрянуло как бы в испуге, но тут же бросилось в новую атаку с удвоенной яростью. Было ясно, что дереву долго не выстоять.

Сообразил это и удав.

А Ласана не теряла времени даром. Схватка происходила прямо под нами, в каких-нибудь двадцати шагах, и каждая стрела из ее лука попадала в цель, хотя и не каждая оказывалась смертельной.

Я невольно то и дело поглядывал на эту редкостную женщину. Как же она была прекрасна, раскрасневшаяся, с развевающимися прядями волос! Обхватив ствол крепкими ногами, она грациозно изгибалась станом, натягивая лук, и не

могла не вызывать восхищения.

Наконец и я решился выстрелить по кабанам из своего ружья. Кабаны, конечно, слышали грохот над головой, но, разъяренные и ослепленные одним врагом — змеей, видели только ее и все относили на ее счет. А я тем временем спокойно перезаряжал ружье и не без успеха слал пулю за пулей в кабанье стадо.

Удав понял, что прибежище его становится все более ненадежным и он в любую минуту может оказаться на земле. По соседству стояли другие деревья, вплетаясь своими ветвями в крону того, на котором притаился убийца. Но ветви эти, слишком тонкие, не выдержали бы тяжести огромного тела. Зато были лианы, притом довольно мощные, которые, перекидываясь, словно гирлянды, с дерева на дерево, связывали меж собой соседние стволы.

Одну из них удав и выбрал себе для бегства. Выбрал неудачно. Сами по себе плети были толстыми и прочными, но с ветвями сплетались слабо. Удав, двигаясь с величайшей осторожностью, не добрался еще и до середины лианы, как помост этот под огромной тяжестью начал медленно оседать.

Удерживаться удаву на столь шаткой опоре становилось делом сложным. В какой-то миг он, словно потеряв равновесие, перевернулся, хвост его при этом оторвался от лианы и повис в воздухе. В это мгновение огромный старый вепрь прыгнул высоко вверх, и на этот раз удачно — он ухватил конец хвоста. Хватка была мертвой. Мощный рывок, и тело удава соскользнуло вниз. Мгновенно подскочили другие кабаны, впились клыками, стащили врага на землю. Удав-великан справился бы, вероятно, с двумя-тремя кабанам, но не со всеми. Пока он сжимал в пасти рыло одного, остальные с неудержимой яростью в мгновение ока его растерзали.

В воздухе пахло мускусом. Кабаны, насладившись одержанной победой, постепенно успокаивались.

И тут несколько животных задрали морды вверх, словно принюхиваясь. Что-то их насторожило. В первый момент я решил, что они обнаружили нас, людей. Но нет, смотрели они не на нас, а, пожалуй, в сторону зарослей, откуда пришли. Зафыркав, они сорвались с места и бросились наутек вдогонку за стадом, ушедшим прежде вперед. Миг, и на поле боя не осталось ни одного кабана, за исключением убитых нами и раненых, находившихся при последнем издыхании.

До нас все еще доносился треск со стороны, куда умчались кабаны, когда в зарослях под нами мелькнуло мощное тело. Желтоватое, пятнистое, длинное.

Ягуар! — тревожно екнуло сердце.

Да, это был ягуар, кравшийся за кабанам по следу. Ему также хотелось урвать что-то для себя. Подкравшись ближе, он остановился, изумленный зрелищем множества валявшихся вокруг трупов и раненых кабанов.

Нас отделяло каких-нибудь тридцать шагов. Он был весь перед нами как на ладони. Хищник, явно озадаченный необычностью картины, припал к земле, рыская по сторонам своими узкими кошачьими зрачками. Он, несомненно, хотел понять, что же тут произошло.

— Смотрит на нас! — шепнула Ласана.

— Не шевелись! — предостерег я.

Ягуар уставился в нашу сторону и больше не отрывал от нас глаз. Зрачки его горели яростью. Вероятно, мы ему приглянулись. Уж не принимал ли он

нас за каких-то аппетитных обезьян?

Не скрою: у меня по телу пробежали мурашки. Ружье мое было разряжено, и заряжать его снова не оставалось времени.

За поясом торчали лишь пистолет и нож. Пистолет, правда, заряженный, но в каком состоянии порох на полке, как знать! Я нащупал осторожно рукоятку, потихоньку вытянул пистолет и взвел курок. Порох на полке казался сухим. Я облегченно вздохнул.

А хищник тем временем, не обращая, как ни странно, ни малейшего внимания на лежавших перед ним кабанов, буквально пожирал нас глазами. Вот он шевельнулся и крадучись пополз в нашу сторону. Казалось, это крадется сама неотвратимая судьба, от которой не было спасения. Наш сук рос достаточно высоко, и ягуар не мог одним прыжком достичь нас, но ловко лазивший по деревьям зверь без труда добрался бы по стволу до приглянувшейся ему дичи.

Держа пистолет двумя руками направленным в сторону ягуара, я краем глаза заметил, что храбрая моя спутница не потеряла самообладания и также готовилась к обороне. Последнюю оставшуюся стрелу она положила на тетиву и сосредоточенно ждала дальнейших событий. Ее спокойствие, ее отвага, ее готовность к борьбе тронули меня до глубины души, наполнив сердце какой-то удивительной нежностью.

Обеими руками сжимал я пистолет, упорно целясь зверю в голову. И когда он весь подобрался, готовясь к прыжку, а мушка пистолета закрыла его глаз, я нажал на спусковой крючок. Одновременно с выстрелом ягуар отчаянно взвился в воздух, издав пронзительный короткий рев. Рев боли. Тяжко грохнувшись оземь, он с минуту лежал словно пораженный громом, потом вскочил и неверными прыжками бросился в глубь леса. Бежал он тяжело, шатаясь, словно ему что-то мешало.

— Попал, попал... — громко закричала Ласана и, в порыве радости схватив меня за руку, привлекла к себе.

— Осторожно, а то упадем! — отбивался я, смеясь.

На нас напал безудержный припадок смеха, пришедший на смену сверхчеловеческому напряжению.

Мало-помалу придя в себя и остыв, мы уже спокойнее окинули взглядом поле битвы под нами. Ягуар скрылся в чаще и больше нам не угрожал: вероятно, пуля угодила ему в голову. Кабаны лежали повсюду — зрелище отрадное и приятное. Мяса мы добыли столько, что еды теперь будет вдоволь для всех соседей и друзей. Счастье нам улыбнулось. Меня так и распирало от радости, я словно опьянел. К тому же выглянуло яркое солнце. Оно снова осветило весь мир, заливая яркими лучами лесные дебри и пробиваясь к нам золотыми нитями.

Прежде чем спуститься с дерева, я предусмотрительно зарядил ружье и пистолет.

Снизу я взглянул на смеющуюся Ласану; никогда прежде она не была так мила моему сердцу. Сложив охотничьи принадлежности под деревом, я протянул вверх руки, предлагая ей спрыгнуть ко мне. Она соскользнула вниз грациозно, словно изящный зверек, и оказалась у меня в объятиях.

Собрав убитых кабанов, мы снесли их в одно место и принялись свежевать. Изнурительная эта работа заняла у нас несколько часов. Затем мы подвесили

туши на сучьях деревьев, с тем чтобы позднее прислать за ними людей из деревни, а двух кабанов подвязали к шесту и понесли сами, я спереди, а Вагура сзади. Всего мы подстрелили больше двадцати штук, в том числе нескольких подстрелил Вагура из «воздуходувки». Ягуара мы не нашли, да, впрочем, и не очень его искали.

Между жизнью и смертью

Когда мы подходили к дому, солнце едва спускалось с зенита. Кабанье мясо портится быстро, поэтому мы шли не отдыхая.

Происшествие, едва не стоившее мне жизни, случилось уже недалеко от хижин, когда до опушки леса оставалось каких-нибудь сто шагов.

Я, как уже говорил, шел первым и шест с тушами держал на плече. Тропинка была узкой, нас то и дело задевали ветки кустов. Вот и сейчас я почувствовал легкий удар в левое плечо, совсем несильный и неболезненный. Взглянув в ту сторону, я вдруг заметил, как что-то юркнуло в ближайший куст. Я посмотрел внимательней — змея, длиной фута в три. Укусила меня она, притаившись на ветке. По форме головы я сразу определил, что змея ядовитая.

— Подождите! — обратился я к своим спутникам сдавленным голосом, стараясь сохранять спокойствие. — Меня ужалила змея.

— Куда?! — подскочил ко мне Вагура. — Куда?!

— В левое плечо, — ответил я. — А змея вон там, на кусте!

Ласана, шедшая следом за нами, оказалась ближе всех к змее. Одним прыжком она подскочила к ней и, размахнувшись луком, как палкой, сильным ударом перебила змее позвоночник. Змея свалилась с ветки, но на землю не упала, а повисла в воздухе.

— Она привязана! — удивился Вагура.

Змея действительно была привязана к ветке за хвост. Кто-то привязал ее над самой тропой, чтобы она ужалила проходящего наверняка. И она ужалила.

Ласана и Вагура подбежали ко мне. Я показал им укушенное место: две крохотные, еле видные точки — не зная, и не заметишь. Испуг отразился на лицах моих друзей.

— Нож! — закричала Ласана не своим голосом.

Она сама выхватила у меня из-за пояса нож, но Вагура вырвал его, заявив, что сделает это лучше. Меня тут же усадили на землю.

Вагура, крепко удерживая меня за плечо, короткими взмахами стал рассекать мне кожу и мышцы в месте укуса. Кровь брызгала вокруг из все более глубокой раны, но он, не обращая внимания, все резал и резал. При этом он изо всех сил мял плечо, стараясь выдавить как можно больше крови. Я молча терпел, зная, что на карту поставлена сама жизнь.

Потом Вагура отбросил нож и припал к ране губами.

— Нет! — вскрикнула Ласана и резким движением оттолкнула его. — Тебе нельзя! У тебя на губе царапина!

Она сама склонилась над моим плечом и стала высасывать кровь, поминутно ее сплевывая.

Все это делалось молниеносно, куда быстрее, чем описывается. С момента укуса прошла, быть может, всего минута, когда Ласана наконец, едва дыша от усталости, на миг прервала свое занятие.

Завидя растерянно стоявшего рядом Вагуру, она набросилась на него:



— Беги скорее к моей матери! Расскажи ей...

— И что?

— Пусть принесет снадобья. Спеши!

Как он помчался! Стремглав, словно олень. Да, они действительно меня любили!

А Ласана все продолжала без устали отсасывать кровь, которая все еще струилась из раны, хотя и меньше, — я потерял ее, наверно, уже целую кварту. Видя бледность лица женщины и непроходящий страх в ее глазах, я спросил:

— А у тебя самой нет какой-нибудь скрытой ранки?

— Кажется, нет.

— Значит, ты не уверена?

— Кто может быть уверен?

— И все-таки ты высасываешь?

— Высасываю, — шепнула она таким тоном, словно подвергать себя опасности было ее естественной обязанностью.

Во время этой короткой беседы я ощутил вдруг сильное головокружение и перепугался не на шутку — вместе укуса я почувствовал резкую боль. Меня сразу же прошиб пот, буквально ручьями ливший со всего тела. Значит, яд все-таки проник глубже и делал свое дело. Картина бившейся в предсмертной агонии укушенной собаки встала перед моими глазами со всей жуткой отчетливостью.

— Ты не умрешь! — услышал я сдавленный шепот Ласаны у самого уха, но голос ее доносился до меня словно сквозь вату. — Ты не умрешь!

Она повторила это как заклинание.

Прибежали люди из селения и, придерживая меня, стали поить ужасно горьким отваром каких-то дьявольских трав. Все внутренности мои выворачивались наизнанку от этой гадости, и действительно, у меня тут же поднялась страшная рвота. По всему телу разлилась слабость, но в голове при этом, кажется, слегка прояснилось, а боль в плече стала стихать.

Затем Арасибо поднес к моим губам большую тыкву и начал насильно вливать в меня очень крепкую кашири. Остальные, помогая ему, удерживали

мою голову. После десятка глотков я был совершенно одурманен напитком, но его все вливали в меня и вливали, пока я совсем не опьянел и не потерял сознания.

...Когда сознание вновь вернулось ко мне, кругом было уже совсем темно. Жизнь медленно, с трудом, словно с другого света, возвращалась в мое онемевшее тело, и лишь непереносимая жажда привела меня полностью в чувство.

Я лежал на ложе в нашей хижине. Снаружи горел костер, отблески его прыгали по стенам. Тут же подле меня на земле стоял кувшин с водой. С трудом я дотянулся до него правой рукой и стал жадно, захлебываясь, пить. Левой рукой я не мог даже шевельнуть. Заслышав мою возню, в хижину вбежали сидевшие у костра моя друзья. Ликованию их не было предела, когда они увидели, что я пробудился.

— Душа возвращается в тело! — восклицал Манаури, радостно улыбаясь. — Теперь надо больше пить воды...

Я был совершенно трезв, но очень ослаб. Боль в левом плече стихла, и все сочли это добрым предзнаменованием. Арнак потрогал мой лоб и с облегчением возвестил:

— Не потеет!

Мне тоже казалось, что кризис миновал и мой организм переборол яд — страшный яд убийственной силы, чудовищный яд какого-то дьявольского отродья! Ведь крохотная капелька этого яда, попавшая под кожу, почти мгновенно была удалена из рассеченной раны, к тому же его тщательно высосали, и тем не менее та тысячная доля капельки, какая, несмотря ни на что, все же вторглась в кровь, эта бесконечно разжиженная частичка словно ударом грома поразила здорового сильного парня. Страшное зло таилось в лесу, и не только в лесу; среди некоторых людей тоже.

— Мы нашли еще двух змей на кустах! — сообщил мне Арнак.

— Привязанных? — спросил я, едва шевеля губами.

— Привязанных! — ответил он, помедлив.

Потом он подошел ко мне и сел на землю подле моего ложа. Лицо нахмуренное, глаза смотрят мрачно.

— Мы совещались, что делать дальше, — сказал он глухо. — Пора с этим кончать...

— С чем? — взглянул я на него внимательно.

— Одни говорят, лучше уйти из Серимы и основать свою деревню в другом месте, выше по течению Итамаки. Другие не соглашаются и говорят: нет, надо остаться, убить Карапану и Конесо. Тех, кто за это, у нас в роду больше...

Арнак, заметив на моем лице гримасу, заколебался.

— Что вы решили? — спросил я.

— Уходить из Серимы опасно — акавои. Они могут явиться в любой день. Все вместе мы сила, порознь — слабы, нас легче разбить и уничтожить. Значит, у нас нет выбора, и остается лишь второй путь: убить их! Так мы и решили. Мы пойдем и убьем их...

Возмущенный, я вскочил со своего ложа, хотя все кости у меня ныли.

— Нет! — воскликнул я гневно. — Делать этого нельзя! Нельзя! — повторил я громче, насколько позволили мне силы.

Арнак, округлив глаза, с безмерным удивлением наблюдал за моим воз-

буждением. Возражения со стороны человека, дважды едва избежавшего смертельной опасности, он никак не ожидал.

— Вспомни, кто подбрасывает тебе змей!

— Я помню!

— И ты их защищаешь?

— Я не защищаю!

— Не защищаешь, а убить не позволяешь?!

— Не позволяю!

Арнак смотрел на меня с явным испугом, словно на помешанного.

— Не теряйте голову! — попытался я улыбнуться.

— Голову?! — повторил он. — Голова говорит одно: убить их как собак!.. Почему ты не позволяешь?

— Нас всего тридцать воинов, их — в десять раз больше...

— Многие пойдут за нами...

— Многие, но не все. Верховный вождь и шаман — это нешуточная сила и власть, ты сам говорил мне... Многие их сторонники пойдут против нас и будут мстить за их смерть. Начнется война братьев против братьев, самая отвратительная из войн, которая привела к гибели не один народ, даже более могущественный, чем ваше племя. А тут еще акавои...

— Я хочу тебе добра, Ян! — проговорил Арнак с отчаянием в голосе.

Хотя лицо его всегда оставалось непроницаемым, при свете костра я все-таки рассмотрел, что в нем скрывалось: тревога и печаль.

Дружески полуобняв его здоровой рукой, я с чувством сказал:

— Я знаю, Арнак, знаю, что ты хочешь мне добра! Поэтому слушай!

И я постарался коротко, но ясно изложить ему свое мнение: именно оттого, что речь идет обо мне, я и не хочу доводить дело до кровопролития. Я здесь пришелец, можно сказать, непрощенный гость, и не могу допустить, чтобы из-за меня дело дошло до братоубийственной войны.

Конесо и Карапана, ослепленные какой-то злой волей, не терпят меня, но я не теряю надежды, что рано или поздно они поймут свою ошибку...

— А если не поймут? — перебил меня Арнак.

— Тогда останется одно — удвоить осторожность. Ты понимаешь меня?

— Понимаю, Ян!

Я попросил юношу передать Манаури и всем остальным: никаких враждебных действий. Это пришлось им, и особенно вождю, не по душе, но они обещали слушать меня.

Близился рассвет, и все мужчины отправились в лес за убитыми кабанам.

— Ласана с матерью будут за тобой ухаживать, — сказал мне перед уходом Арнак. — Тебе дать какое-нибудь оружие?

— Зачем? Впрочем, пистолет, пожалуй, положи рядом...

Разговор с друзьями отнял у меня последние силы. После их ухода пришла Ласана и перевязала мне рану, приложив к ней свежие пучки лечебных трав.

— Спасибо тебе, Чарующая Пальма! — вырвалось у меня от души.

— За что?

— За все. А когда заживет рана?

— Еще не скоро, о, очень не скоро. Левая рука твоя много дней будет слабой...

— Ты, наверно, рада?

— Рада? — удивилась она. — Чему?

Но тут же, чем-то крайне изумленная, она отступила на шаг и посмотрела на меня с таким удивлением, словно видела в первый раз.

— О-ей! — воскликнул я, рассмеявшись. — Ты что, не узнаешь меня?

— Нет! — ответила она резко.

— Это я. Белый Ягуар! — продолжал я шутливо.

— Еще в лесу я заметила, — растерянно пробормотала она, словно говоря сама с собой и не обращая внимания на мой игривый тон, — что ты говоришь по-нашему! Как это?

— Научился.

— Когда, как? — Она не могла опомниться от удивления.

— А вот слушал, как говорят Арнак, Вагура, Манаури, ты, и научился понемногу, — рассмеялся я беззвучно. — Только прошу тебя, никому не говори, что я знаю ваш язык. Пусть это останется между нами...

— Хорошо.

Вода в кувшине

Мной снова стала овладевать такая слабость, что веки склеивались сами собой, а мысли расплывались. Ласана продолжала еще что-то говорить, но это уже не доходило до меня; я заснул воистину мертвым сном. Меня мучили кошмарные видения, какие-то чудовищные драконы, резня и яростные ссоры, нескончаемые и крикливые. Наконец настойчивый шум проник сквозь сонную одурь, и я стал просыпаться.

Снаружи доносились звуки какого-то спора — на этот раз реального.

Я мгновенно пришел в себя, узнав голоса спорящих: Ласаны, Конесо и Караны. Ласана преграждала им вход в мою хижину.

— Нельзя! — стояла она на своем решительно и твердо. — Манаури запретил пускать!..

— Запретил пускать меня, верховного вождя?

— Всех! Никому нельзя!

— Отойди, собака, — зашипел Конесо, — или я раскрою тебе череп! Мы только посмотрим его и поможем ему!

Ласана поняла, что ей одной не справиться с пришельцами, а все мужчины нашего рода были еще в лесу.

— Хорошо! — согласилась она после минутного колебания. — Но оружие сложите перед хижинкой! С оружием не пущу!

— Пусть будет так! — уступил вождь. — Бешеная!

— Собака! — буркнул колдун.

Было уже совсем светло, солнце встало не меньше часа назад. В хижине царил прозрачный полумрак, хотя вход и завешивала шкура. Едва заслышав голоса, я быстро схватил пистолет, взвел курок и сунул оружие под циновку, которой был накрыт, держа палец на спусковом крючке.

Первыми вошли мужчины, за ними Ласана. Вход остался открытым, благодаря чему в хижине стало светлее. Все подошли к моему ложу. Ласана встала сбоку, следя за малейшим движением пришельцев.

Я лежал на спине, с чуть приподнятой головой. Глаза неподвижно и безжизненно устремлены в угол крыши прямо надо мной и полуприкрыты — как обычно у человека парализованного. Краем глаза я едва различал фигуры вошедших.

Довольно долго они молча всматривались в меня, потом Карапана наклонил голову до уровня моих глаз и в упор уставился в них напряженным взглядом. Всматривался он долго, так долго, что я весь оцепенел от напряжения, боясь выдать себя неосторожным движением. Я видел, как на худой шее шамана вверх-вниз прыгает кадык.

— Скрутило его как следует! — вполголоса возвестил наконец Карапана, скорчив довольную мину. — Лежит полумертвый.

— Умрет? — спросил Конесо.

— Должен, должен.

— Когда?

— Не знаю. Может быть, скоро.

Они говорили между собой, не считаясь с присутствием Ласаны и убежденные, что я не понимаю их языка.

— Глаза у него немного открыты! — заметил подозрительно вождь.

— Но видит он мало! — утешил его Карапана. — Если только...

— Что, если только?

— Если только он не притворяется.

Теперь уже Конесо подошел вплотную и долго молча всматривался в меня.

— Совсем бледный, — проговорил он, — но живой.

— Долго не протянет! — буркнул колдун, и передо мной снова появилось его морщинистое лицо. Он устремил на меня взгляд столь ненавидящий и страшный, что нетрудно было понять — это враг беспощадный и жестокий, вынесший мне смертный приговор.

— А если притворяется? — сомневался Конесо.

— Все равно жить ему недолго, успокойся! — повторил Карапана, в своей одержимости как-то слишком уж убежденно.

До сих пор я следил за всем происходившим довольно спокойно, чувствуя в ладони рукоять пистолета. Но при последних словах шамана, таивших какую-то скрытую угрозу, мне сделалось не по себе, и сердце у меня заколотилось. С какой стороны грозит мне опасность?

— Ласана! — обратился шаман к женщине. — Покажи нам его рану.

— Мы не хотим ее сами касаться, — добавил вождь, — не бойся.

— Рана закрыта травами! — противилась Ласана.

— Ничего! Это ты его лечишь?

— Нет, мать.

— Позови мать.

Ласана колебалась, не зная, стоит ли оставлять их одних наедине со мной, но, вероятно, решила, что мне пока ничто не грозит, тем более что далеко не идти — их хижина стояла рядом. Отойдя от входа на два-три шага, она позвала мать, попросив ее прийти, и тотчас же вернулась обратно.

Тем временем, а длилось это всего несколько секунд, у моего ложа происходило что-то странное. Карапана шмыгнул за мое изголовье и, кажется, наклонился вниз, к полу, но что там делал, я не видел, а повернуться не решился. Однако до слуха моего донесся какой-то странный, чуть слышный звук, настолько слабый, что понять его было трудно. Что-то, похоже, тихонько зашестело, или зашипело, или булькнуло?

Впрочем, слишком мало времени оставалось для размышлений — тут же вернулась Ласана, внимательным взглядом окидывая хижину и обоих муж-

чин. Видно, ничего подозрительного она не заметила и спокойно сообщила, что мать ее сейчас придет.

Появившись, старуха обнажила мою рану, к счастью, не отбросив циновку с правой руки, где был пистолет. Карапана похвалил повязку и вручил женщинам свои травы, сказав, что они лучше. Но тут же добавил, что не знает, принесут ли они пользу, ибо больному, кажется, уже ничто не поможет.

— Не поможет? — удивилась старуха. — Ведь ему стало лучше.

— Я улучшений не вижу! — мрачно заявил шаман. — Давно он лежит неподвижно?

— Давно, но до этого двигался.

— А теперь застыл — значит, близится смерть. К вечеру умрет.

Женщина была иного мнения, но перечить Карапане не посмела, а твердость мрачного предсказания еще более усилила ее испуг.

— Умрет! — повторял шаман, упиваясь этой мыслью. — Умрет, потому что его укусила не простая змея.

— Не простая?

— Не простая: заколдованная.

— Я знаю, кто ее заколдовал и повесил на куст! — гневно крикнула Ласана.

— Не умничай! — осадил ее шаман с мрачным видом. — Тебе, глупая женщина, никогда не узнать, кто заколдовал змею!

— Кто же?

— Он сам!

— Он, Белый Ягуар?

— Он сам!

Карапана многозначительно помолчал, а женщины не могли скрыть своего недоверия.

— Да, он сам! — заверил Карапана. — Ты, Ласана, молодая и глупая, но твоя мать знает, что бывают разные Канаимы. Самые худшие Канаимы те, что кажутся хорошими людьми и даже правда хорошие люди, но они сами не знают, что у них злая, пагубная душа Канаимы. Когда тело их спит, душа отделяется от него и приносит несчастья людям и зверям, убивает, отравляет кровь, подбрасывает змей. Скажи сама, есть такие люди? — обратился он к старухе.

— Есть, — подтвердила та испуганно.

— А что вы, глупые, знаете о нем, о вашем Белом Ягуаре? Что вы знаете о его кровавых делах, совершаемых во сне, если он, наверно, и сам об этом не знает, если он и сам, наверно, не знает своей злой души Канаимы?

— А откуда ты знаешь, что у него такая душа? — воскликнула Ласана.

— Посмотри, женщина, на мое лицо и скажи, сколько мне лет. Я знаю столько, сколько мне лет. Умеешь ли ты смотреть и понимать?

— Смотреть я умею, — возразила она, — и не вижу в нем Канаимы, а в тебе вижу злобу и ненависть, хотя ты и великий шаман!

Наступила минута молчания. Я решил пустить шаману пулю в лоб, если он бросится на Ласану. Но он не бросился. Он подавил в себе вспышку ярости и лишь проговорил спокойным хриплым голосом:

— Он сегодня сдохнет! А ты смотри, змея, как бы и тебе не пришлось отправиться вслед за ним!

Проговорив это, он собрался уходить. Тогда Конесо подскочил к Ласане и, схватив ее за плечи, стал исступленно трясти.

— Если ты в своем уме и хочешь жить, — брызгал он слюной в припадке внезапной похоти и бешенства, — если хочешь жить, то ты знаешь, что делать! Только я, я один могу спасти тебя от смерти! Сейчас же отправляйся в мою хижину!..

— Не трогай меня! — услышал я твердый ответ. — Уйди!

— Я хочу, чтоб ты жила! — бесился и в то же время молил он. — Приказываю тебе...

Вдруг Конесо так же неожиданно отпустил ее и бросился вслед за Карапаной.

После их ухода женщины сразу пришли в себя. Мать спросила у дочери, указывая на меня:

— Они трогали его?

— Нет, мама.

Старуху это успокоило, но не развеяло ее опасений. Женщины тотчас же принялись тщательно изучать травы, дарованные Карапаной, — не подмешал ли он туда яда, а я тем временем старательно обследовал пол возле ложа в том месте, где совершал свои загадочные действия шаман. Там стоял предназначенный только для меня кувшин с водой для питья и ничего больше! Вдруг меня осенило! Так вот в чем дело — сомнений не оставалось: услышанное мной бульканье исходило из кувшина, в котором что-то размешивалось. Яд? Конечно, яд. Вот отчего шаман и был так уверен, что еще сегодня я распрощаюсь с этим миром.

Я велел Ласане принести черепок, налить в него воды из моего кувшина и напоить пса, прибежавшего к нашей хижине вместе с двумя непрошеными гостями и продолжавшего бегать поблизости.

— Это пес Конесо, — заметила мать Ласаны.

— Тем лучше!

Я еще не был уверен, подтвердится ли мое подозрение. Пес вмиг вылакал воду и продолжал резвиться перед хижинкой вместе с нашими собаками. Но уже через четверть часа вбежала Ласана с криком, что пес свалился как подкошенный и дергается в предсмертных судорогах. Яд подействовал.

Я лишь понимающе усмехнулся, но на душе у меня заскребли кошки. Дикая ненависть шамана вселяла невольный страх. С твердой решимостью все-таки начать против них борьбу я снова погрузился в сон.

Разбудили меня крики. На этот раз веселые. Это наши несли из леса добычу. Они складывали убитых кабанов перед моей хижинкой, навалив их там целую гору. А внутрь ко мне со счастливыми лицами ворвались Вагура и Арнак, поднимая высоко на бамбуковых жердях шкуру ягуара.

— Видишь? — закричал Вагура.

— Шкура совсем целая! — похвалил Арнак. — Ни одной дырки. Колдовством ты его умертвил, что ли?

Мой юный друг хорошо знал, отчего погиб ягуар, и просто шутил, но шутка его подала мне идею.

— Может, и колдовством! — улыбнулся я. — Это совсем неплохая мысль!.. Далеко ты нашел его от места выстрела?

— Шагах в ста, а то и больше. Ты попал ему в левый глаз.

В хижину вошли Манаури, негр Мигуэль и целая группа индейцев, все в радостном возбуждении.

— Десять, десять и восемь — вот сколько диких свиней! — радовался Манаури. — Скажи, как будем делить?

— Двенадцать людям Конесо, — ответил я, — восемь для Пирокая, остальные восемь нашему роду.

— А Карапана ничего не получит?

— Получит, обязательно. Шкуру ягуара.

— Шкуру ягуара?! Шкуру ягуара?!

Все решили, что ослышались или я неправильно понял вопрос Манаури.

— Все правильно! — повторил я. — Карапана получит шкуру ягуара!

Вагура схватился за голову, остальные загалдели:

— Ян! Такую красивую шкуру этому подлецу? Безумие! Это же твой знак! Ему?

— Ему! — ответил я, от души веселясь при виде их растерянных физиономий.

— Ян! — вскипел Арнак. — Он неправильно это поймет и решит, что ты трусил! Нельзя отдавать ему шкуру!

— Можно, — стоял я на своем, — и увидите, он все правильно поймет!

Женщины тут же рассказали моим друзьям, как шаман вновь покушался на мою жизнь, пытаясь отравить ядом.

Глаз ягуара

Племя араваков, северная ветвь которых обитала теперь на берегах реки Итамаки, несомненно, отличалось более высоким уровнем жизни и нравственных начал от большинства других южноамериканских племен, и особенно от живших в лесах. Племя это, как уже упоминалось, в отличие, скажем, от акавов или других карибов занималось земледелием. Обработка земли во многом и определяла его жизнь. Она не только вынуждала араваков вести оседлый образ жизни, но и давала им возможность развивать некоторые ремесла. Так, араваки, а точнее, их женщины, славились своими гончарными и ткацкими изделиями. Многоцветные ткани, сотканые на примитивных станках, и оригинальных форм кувшины, часто громадных размеров, служили товарами обмена и пользовались большим спросом у других индейцев. Мать Ласаны в дни, когда не было дождей, по нескольку часов кряду ткала на улице из волокон различных растений узорчатые циновки, и притом весьма искусно. Но зато по уровню умственного развития араваки если и стояли выше других племен, то крайне незначительно и точно так же пребывали в плену темных суеверий, разных духов и бесов, заклинаний, чар и колдовства. Порой сумеречные их верования казались мне подобными диким лесным дэбрям, что окружали нас со всех сторон, они были столь же запутаны, столь же мрачны и столь же труднопреодолимы.

Духи, как правило, все злые и враждебные, могли принимать всевозможные обличья: то каких-то страшных зверей, то ужасных чудовищ, а то могли становиться невидимыми и тогда делались еще страшней. Они терзали людей во сне, отравляя им кровь, охотникам в лесу путали тропы и мутили разум, на иных напускали болезни и порчу, несли смерть.

Простой человек против них был, по существу, бессилен и защищался как мог — амулетами. Но находились среди людей и такие, что входили в стовор с нечистой силой, ба! — сами перевоплощались либо в духов, либо в кровососов-вампилов — это уже в зависимости от того, что больше приходилось им

по вкусу.

Подлая мысль Карапаны, будто бы у меня душа оборотня, могла навлечь на мою голову много бед, ибо как отвести подобное обвинение?

К счастью, люди нашего рода не следовали уже так слепо суевериям, а Арнак вообще почти избавился от них.

На следующий день после того, как из леса были доставлены наши охотничьи трофеи, я собрал у своего ложа Арнака, Вагуру, Манаури и Ласану, чтобы посвятить их в план действий против шамана.

— Наконец-то! — зло скрипнул зубами Манаури. — Наконец глаза твои прозрели! Когда его убить?

— О нет! — ответил я. — Убивать нельзя.

— Он будет и дальше вредить!

— Мы поборем его тем же оружием, какое он применяет против меня: колдовством!

— Колдовством? — вождь протянул это слово с явным сомнением.

Не медля более, я объяснил им, о чем идет речь.

— Ты, Арнак, с двумя людьми возьмешь шкуру ягуара, отнесешь ее Карапане и торжественно объявишь, что это дар ему от меня. Скажи ему, что глаз, через который я убил зверя, имеет волшебную силу и видит все, что шаман затевает, сразу доносит черепу ягуара, а череп находится у меня и тут же все мне сообщает. Так, он сообщил мне, что в воду был всыпан яд и поэтому сдохла собака Конесо. Скажи Карапане, если он выбросит или уничтожит шкуру, это ему не поможет, волшебный глаз все равно будет все видеть и сообщать черепу и мне. Еще скажи, что шкура ягуара оберегает меня от всех опасностей и всякое покушение на меня обернется против моего врага. Пока погиб только пес Конесо, но так может погибнуть любой человек — и никакое колдовство его не спасет... Ты пойдешь, Арнак?

— Пойду!

— Испугает ли это Карапану? — с сомнением покачал головой Манаури.

— Думаю, да! — ответил я, хотя и не был полностью уверен.

Мой способ, возможно, казался наивным, но я рассчитывал именно на болезненное воображение, а вместе с тем и суеверное коварство Карапаны и его сообщников.

— Испугай его, испугай! — выкрикнул внезапно Арасибо в припадке радостного возбуждения. — Он испугается. Глаз ягуара его заколдует!

Манаури взглянул на него исподлобья, осуждающе.

— Ты зачем кричишь, глупый? — цыкнул он.

— Арасибо не глупый! — взял его под защиту Арнак и добавил весело: — Он сам наполовину шаман! Он знает все фокусы Карапаны.

Вождь пожал плечами, но Арасибо уверенно воскликнул:

— Карапана испугается, я знаю! Глаз ягуара его испугает!

Шкуру, предварительно обработанную для сохранности отваром ядовитой лианы, можно было отдавать, не опасаясь, что она испортится. Наши посланцы застали Карапану в хижине для обрядов, стоявшей в стороне в нескольких сотнях шагов от других жилищ индейской деревни. Шаман встретил Арнака язвительным смехом, а выслушав его слова, не смутился, не испугался, а, напротив, выразил радость, что получил прекрасную шкуру.

— Левый глаз — волшебный! — еще раз многозначительно повторил Ар-

нак, словно Карапана не расслышал предыдущих его слов. — Глаз зверя послушен Белому Ягуару и все ему рассказывает.

— И Белый Ягуар выбил ему левый глаз? — спросил шаман.

— Да, выбил.

— А правый не выбил?

— Нет.

— Говоришь, не выбил?

Карапана разразился диким нечеловеческим смехом, похожим не то на лай, не то на вой, не то на рычанье, так что у перетрусивших Арнака и двух его спутников на мгновение замерли сердца.

— Не выбил правый глаз? — хохотал шаман. — Значит, только левый глаз послушен Белому Ягуару! А правый глаз послушен ему или нет? Говори!

— Не знаю! — растерялся Арнак.

— О правом глазе Белый Ягуар ничего не говорил? Отвечай!

— Нет.

— Ничего не говорил?! — выкрикнул старик. — Тогда я тебе скажу! Ты знаешь, кому будет послушен правый глаз зверя?

— Э?!

— Левый глаз послушен Белому Ягуару, а правый глаз послушен мне!

Он залился неудержимым смехом, продолжая победно выкрикивать, словно страшное заклинание, будто не словами, а дубиной бил их всех троих по головам: «Послушен мне! Мне послушен!...»

Спустя полчаса все мы, озадаченные и огорченные, слушали в моей хижине отчет Арнака.

— Я говорил! — укорял Манаури. — Карапана великий, непобедимый шаман. Он посмеялся над тобой, Ян! Он издевался над твоими чарами! Пустяками его не проймешь. Против него есть только одно надежное средство...

— Знаю, знаю! — буркнул я раздраженно. — Пуля в лоб!

— Правильно: свинцовая пуля в лоб!

— Нет! — запротестовал я. — Ни в коем случае!

— Он издевался над твоими чарами! — упрямо донимал меня вождь, не отступаясь. — Правый глаз ягуара ему послушен. Ему! А мы и не подумали о правом глазе...

Вдруг к моему ложу подскочил Арасибо. Гнев и возбуждение еще более исказили выражение и без того косоватых его глаз и лица.

— Не будет так! — выдавил он из себя. — Правый глаз ягуара не будет ему послушен!

— О-ей! — насмешливо фыркнул Манаури. — Не будет послушен? Не ты ли помешаешь? Такой ты сильный?

— Я! — отрубил Арасибо, словно топором.

Мы все уставились на странно возбужденного калеку. Глаза его горели лихорадочным блеском. Сдавленным голосом, прерывающимся от волнения шепотом он стал объяснять:

— Белый Ягуар может спать спокойно и выздоравливать. Карапана до него не доберется. Карапана великий и злой шаман, но у него не будет никакой силы над глазом зверя... Череп зверя у нас. Белый Ягуар сказал: только через череп глаза зверя имеют волшебную силу... Он, Арасибо, залепит глиной в черепе правую глазницу, и Карапана этим глазом ничего больше не увидит, нико-

му не причинит зла... А череп ягуара Арасибо повесит перед хижиной, и пусть все знают, что один глаз слепой и бессильный...

— А если череп украдут? — скривил рот и громко хмыкнул носом Манаури.

— Пусть попробуют! — Косые глаза сверкнули ненавистью. — Пусть попробуют! Я днем и ночью буду стеречь череп! Смерть тому, кто захочет его украсть!..

Все стоявшие вокруг задумались. В ту же минуту на меня напала какая-то странная слабость. Голова закружилась, встревоженные мысли отказывались повиноваться, к горлу подступала тошнота. Быть может, это под действием змеиного яда мне вдруг стало так бесконечно, до болезненности одиноко? Что за люди окружают меня? И впрямь ли это друзья? В полумраке бронзовые их лица стали совсем темными, почти невидимыми, и даже это причиняло мне муку. И вот этот внезапный страх пред чуждостью окружавших меня людей и их мира душил меня, вызывая опасение, что мы никогда до конца друг друга не поймем.

Как же это могло случиться? Я придумал проделку с заколдованным глазом ягуара как своеобразную шутку, призванную просто поугадать одержимого безумца, охладить его пыл и озорной шуткой заставить опомниться. Ведь только в шутку, и не иначе, могла родиться такая мысль и у меня, и у моих друзей. А меж тем шутка, будто мяч отбитая от хижины Карапаны, в каком же искаженном виде вернулась к нам! Шутка перестала быть шуткой: и глаз ягуара, и шкура, и череп стали атрибутами, словно и впрямь наделенными магической силой, и вот уже хромой Арасибо, человек верный и преданный, с воодушевлением и необыкновенной серьезностью рассуждал о колдовстве, делая из меня подобие шамана, а мои друзья принимали это как должное и внимательно слушали его.

Страшная тоска сжимала мне сердце: тоска по человеку, по простому, весело смеющемуся человеку, не думающему о магической силе глаза ягуара.

И тут я различил испуганный голос Арнака, доносившийся словно откуда-то издалека.

— Ян, что с тобой?! Он весь в поту! Потерял сознание!

Голос моего юного друга, звучавшая в нем тревога согрели мое сердце, вернули меня к жизни. Я вновь стал чувствовать и понимать происходящее, заставил себя улыбнуться и обвел все вокруг взглядом.

— Кто потерял сознание? — спросил я.

— Я думал, ты... — пробормотал Арнак по-английски.

Как же я был благодарен ему за этот ответ на родном моем языке!

Он коснулся моего лба; в то же время я почувствовал крепкое, нежное пожатие руки — это была Ласана. Я пришел в себя. Силы вернулись ко мне.

Все стояли как и прежде: Манаури с насмешливым выражением лица, Арасибо — взволнованный, с горящим взглядом.

— Карапана? Он смеется над вашим посланием! — упрямо одно и то же повторял вождь. — Он смеется над вашим ягуаром! Смеется прямо вам в глаза! Смеется! Ха, ха!.. — И тут же изменившимся голосом: — Выход один — пуля в лоб!

Арасибо лихорадочно замахал руками на Манаури, пытаясь прервать этот поток язвительности, и обратился к Арнаку:

— Я знаю Карапану как свои пять пальцев! — Голос у него сорвался. — Я

знаю его насквозь как облупленного.

— О-ей! — согласился Арнак, озадаченный его горячностью.

— Говори, Арнак, как он выглядел, когда принимал вас, когда смеялся! Какой он был?

— Какой? Как всегда...

— А кадык у него прыгал вверх-вниз, вверх-вниз, ты не заметил?

— Прыгал, противно прыгал!

— Как крыса в клетке, прыгал? Вверх-вниз?

— О-ей, как крыса в клетке, настоящая крыса...

— Ты не путаешь?

— Нет!

Арасибо медленно повернул к Манаури лицо, перекошенное злобой и презрением.

— Слышишь, что говорит Арнак?

— Слышу! — буркнул вождь. — Ну и что?

— А то, что шаман смеялся только губами, а в сердце у него таился страх! Я знаю эту погань! Если кадык у него прыгает вверх-вниз, значит, шаман встревожен...

Слова калеки произвели впечатление. И лишь Манаури продолжал стоять на своем.

— Все равно он смеялся, смеялся!..

— Он боялся! — крикнул Арасибо.

— Смеялся! — еще громче выкрикнул вождь.

— Нет, боялся, он испугался!

Они стояли друг против друга яростные, охваченные непостижимым, бессмысленным бешенством, пожирая один другого глазами, полными жесточения.

Мне опять становилось дурно, по телу разливались слабость и брезгливое омерзение. Кровь отливала от головы, в глазах темнело.

— Хватит! — застонал я из последних сил.

Они посмотрели на меня смущенно и, устыдившись, смирили свой гнев, притихли, лица их разгладились.

— Пойдем отсюда, — шепнул Арнак, — пусть он уснет.

Они вышли. Осталась одна Ласана. Она подошла к моему ложу, стала на колени, склонилась. В добрых влажных глазах ее — тревога и бесконечная преданность. Сейчас глаза ее более чем прекрасны: в них материнство. Это человек добрый и верный. Но близкий ли? Понимает ли она, что именно вселяет в меня ужас? Понимает ли, как тяготит меня чуждый их мир, мир вражды и предрассудков?

— Меня душит... — простонал я.

Наклонившись ближе, она изучающе взглянула мне в глаза. Волосы ее падали мне на лицо. От них исходил двойственный аромат: теплый запах женщины и тяжкий дух диких джунглей. Ласана заметила, вероятно, мою гримасу и встревожилась.

— Что тебя душит? — спросила она мягко.

— Их ненависть.

— Чья? Карапаны?

— Не только Карапаны: Манаури, Арасибо...

С минуту она молчала, задумавшись, лотом решительно проговорила:

— Во мне ненависти нет!

— Меня убивает их злоба, их вражда! — не смог скрыть я печали.

— Ян, во мне нет вражды! Во мне нет злобы!

— Ах, Ласана, понимаешь ли ты меня? Меня удручает их темнота, их предрассудки ввергают во мрак...

— Во мне все светло, Ян! Солнечно... Я понимаю тебя!

— Ты вместе с ними!

— Нет, Ян, я с тобой!

Голос ее был полон нежности. Она не позволила себя оттолкнуть. Она боролась за свое место подле меня. Глаза ее расширились. Взгляды наши встретились. Кровь снова запульсировала в моих жилах. Я положил руку ей на плечо, и это было как прикосновение к самой жизни. Живительный поток тепла передавался от нее ко мне.

На следующий день, проспав более десяти часов кряду крепким сном, я пробудился, чувствуя себя окрепшим и почти здоровым. Встав с постели, я на несколько минут вышел во двор. От подавленного настроения предыдущего дня не осталось и следа, в меня вселился новый дух.

На шесте высотой в полтора человеческих роста, вбитом в землю шагах в двадцати от моей хижины, торчал череп ягуара. Муравьи в муравейнике очистили его до блеска, и он ярко белел, хищно сверкая грозными клыками. Левая, «моя», глазница чернела пустой впадиной, зато правая, залепленная глиной и щепками, была слепой и на расстоянии почти невидимой. Можно было полагать, что это всего лишь наш родовой знак, а ведь мы наделили его силой магической западни, призванной изловить, сломать и уничтожить врага. Глядя на это творение рук Арасибо, я невольно содрогнулся.

Сам Арасибо притаился поблизости и, едва завидя меня, прихрамывая, вышел из укрытия навстречу. Безобразная физиономия его расплывалась в радостной улыбке.

— Видишь, как красиво висит? — оживленно приветствовал он меня. — Я хорошо его стерегу!

Череп левой своей глазницей был обращен в сторону Серимы и хижины Карапаны. Между самим селением и нами росли деревья не вырубленного здесь леса, узким языком доходившего до берега реки, и за этой преградой деревни, конечно, не было видно, но череп скалил клыки именно в ту сторону.

Арасибо был сегодня на редкость весел.

— Ты чему радуешься? — поинтересовался я.

— Радуюсь! — ответил он с таинственной миной и, не скрывая торжества, хвастливо указал большим пальцем руки на одноглазый череп. — Карапана бесится! Слышишь мараку?

Несколько соседей вышли из хижин и приблизились к нам. Все они были необычайно возбуждены и подтвердили: да, шаман бесится! Как только Арасибо выставил череп, Карапана сразу же об этом узнал от своих лазутчиков и немедля принялся изгонять злых духов, отводить от себя дурной глаз. Он впал в транс, стал как одержимый носиться в бешеной пляске вокруг своего обрядового шалаша и, не сомкнув глаз всю ночь, продолжал пляску и сейчас. При этом он выкрикивал страшные заклятья, дергался в судорогах, брызгал слюной.

Какой-то рокот и гул шаманского бубна действительно непрерывно разносились по всему селению. Людей в Сериме обуял ужас...

— Что такое марака?

— О, это самое главное оружие шамана!..

Оказалось, марака — это пустой твердый плод с насыпанными внутрь камушками, попросту говоря — погремушка, но, поди ж ты, обладающая невероятной магической силой.

— Ему ничто теперь не поможет! — хихикал Арасибо, и лицо его пылало ненавистью и злобной радостью. — Добрались мы до него, Белый Ягуар, добрались! И теперь не выпустим!

— Разве это от нас зависит? — усомнился я.

— От глаза ягуара зависит! — воскликнул он торжествующе. — Глаз его не выпустит.

— А может, он вырвется?

— Не вырвется! Будет теперь метаться до потери сознания, свалится как дохлая собака, опять вскочит, снова будет метаться, опять свалится без сил, и так до конца...

— Умрет?

— Умрет. Потеряет разум, потом у него лопнет сердце, и он умрет...

Арасибо, жаждавший отмщения за нанесенные некогда ему обиды, буквально упивался муками поверженного врага, но многие члены нашего рода не разделяли его настроений. У них цепенели сердца от ужаса, вселяемого Карапаной, и от страха, что шаман, пусть он даже потом и погибнет, в своем безумстве может натворить много страшных бед. Бешеная собака и та опасна, а безумный шаман?! Они боялись, Арасибо — нет; он торжествовал.

— Мы добрались до него! — скрипел он зубами. — Череп убьет его!

Мать Ласаны, завидя меня на поляне, прибежала и, сердито отчитав, загнала в постель. После нескольких часов отдыха я все-таки не выдержал и под вечер опять встал. Чувствовал я себя почти здоровым.

Издали, из-за леса, со стороны Серимы, неустанно доносился глухой рокот бубна. Мы втроем — Арнак, Арасибо и я — отправились на разведку. Поскольку оправился я еще не совсем, шли не торопясь. Я прихватил подзорную трубу, остальные — ружья.

Миновав лес, отделявший наши хижины от Серимы, мы остановились на опушке, укрывшись от глаз жителей селения. Хижина Карапаны стояла в стороне справа, недалеко от леса. На удалении примерно в триста шагов она была перед нами как на ладони.

Карапану мы увидели сразу. Он бегал вокруг хижины, приплясывая, а вернее, шатаясь, словно пьяный. При этом он выкрикивал дикие заклинания, сзывал духов мщения, в припадках безумного бешенства топал ногами и размахивал руками, потрясая двумя мараками, глухой рокот которых несся от леса по реке. Рядом сидел на земле его подручный и отбивал такт на бубне.

Как же его проняло! Вот уже более суток он так неистовствовал без сна и отдыха — вероятно, принял какое-то сильное возбуждающее средство. Он извергал ужасающие заклятья, но было видно, что сам оказался жертвой еще более сильного заклинания, попался в невидимые сети и теперь мечется, как дикий зверь на цепи. Удастся ли ему сорваться с привязи?

— Умрет! — как-то странно забулькал от радости Арасибо. — Сойдет с ума!

Потрясающее это зрелище вызывало омерзение, но в то же время доставляло и какое-то удовлетворение: вот судьба вершит суровый акт справедливости. Происходит нечто таинственное, ужасное, но, как бы то ни было, в одном мы были уверены: Карапана попал в западню, из которой, вероятно, уже не выберется. Ему не миновать своей судьбы.

— Народ говорит, что он может совсем обезуметь и натворить много бед, — заметил я.

— Может, — подтвердил Арнак.

— Не успеет! Раньше сдохнет! — вскипел Арасибо.

Небывалое возбуждение Арасибо отнюдь не притупило его бдительности. Видя, сколь пагубное действие оказал на колдуна череп ягуара, он охранял его как зеницу ока, а на ночь прятал в только ему известном укрытии.

А Карапана меж тем не шел к своей гибели неминуемым путем, как утверждал Арасибо и верили мы. Должно быть, шаман сумел побороть свое бешенство, Он не кружил больше в безумстве вокруг хижины, а сухой треск мараки вскоре стих, и лишь бубен продолжал ворчать. Но бил в него не шаман, а его юный ученик.

— А сам он лежит в хижине, прощается с жизнью! — успокаивал себя Арасибо.

Болезнь ребенка

Но Карапана не прощался с жизнью. Он стал появляться в селении, беседовал с людьми. Глаза у него, правда, были жуткие, словно у безумного дикого зверя. Он вселял страх и почтение еще больше, чем прежде, и, как видно, отнюдь не собирался отступить или отказываться от борьбы. В его изощренном мозгу зрел дьявольский план. Со стороны Серимы на меня надвигалась новая грозная опасность.

На полуторагодовалого ребенка Ласаны, сына погибшего на необитаемом острове негра Матео, напала какая-то загадочная болезнь. Малыша лихорадило, тельце его покрылось волдырями, он целыми днями кричал от боли, худел. Мать Ласаны, лекарства которой так быстро поставили на ноги меня, сбилась с ног, стараясь вылечить внука. Все напрасно. Никакие средства — травы и заговоры — не помогали: ребенок угасал день ото дня.

И чуть ли не с первого же часа его болезни ни с того ни с сего поползли тревожные слухи, поначалу неопределенные и робкие, как дуновение легчайшего ветерка, потом все более назойливые, как мухи, и, наконец, неотступные, как ядовитые испарения: слухи о моей пагубной душе. Меж людьми не только в Сериме, но среди некоторых и у нас начались перешептывания; я то и дело ловил на себе испуганные взгляды; при виде меня люди торопливо отводили глаза.

По мере того как усиливалась болезнь ребенка, ширились и враждебные разговоры, теперь уже откровенно связывавшие с несчастьем меня: это моя душа оборотня убивает ребенка. Ласана, безумно любившая сына, была в отчаянии, видя, что никакие лекарства не дают результата. Однажды она пришла ко мне в хижину и остановилась у порога, прямая, строгая и решительная, и, хотя глаза ее ввалились от горя, она проговорила душевно и смело, с торжественной серьезностью:

— Не слушай, что болтают неразумные. Я с тобой.

В этом же, хмуря брови, заверяли меня и четверо верных моих друзей: Ар-

нак, Вагура, Манаури и негр Мигуэль. Убеждая, что ветер злых сплетен скоро стихнет, минует меня и пройдет, друзья, тем не менее охваченные невеселыми мыслями, внимательно поглядывали по сторонам, на хижины и опушку ближайшего леса. Один лишь Арасибо удрученно молчал, но и он подозрительно осматривался — выжидающе и настороженно.

На третий или четвертый день болезни ребенка среди всех араваков на Итамаке поднялся переполох. Карапана данной ему в племени властью во всеуслышание объявил, что потусторонние силы открыли ему, кто повинен в болезни ребенка. Повинен Белый Ягуар. Верные духи показали шаману во сне такую картину: много недель назад, еще на побережье океана, Белый Ягуар однажды вырвал из рук Ласаны ребенка и, прижав его к своей груди, перенес с корабля на берег. В этом объятии душа Белого Ягуара овладела душой ребенка и обрекла его на смерть. Если ребенок теперь умрет — а умрет он обязательно! — то ясно, кто повинен в его смерти...

— Так было! — схватился за голову Вагура. — Ян переносил ребенка, помогая Ласане. Я помню!

— Мы все помним, — удивленно захлопал глазами Арнак. — Карапана случайно об этом узнал — тайны тут нет — и теперь сочинил эту сказку, обратив все против Яна.

И это были уже не шутки. Надо мной вдруг нависла реальная опасность, разверзлась пропасть, жизнь повисла на волоске. Во враждебно настроенном ко мне окружении Конесо стали раздаваться голоса об изгнании меня из племени, пока я не погубил и других; особо горячие головы требовали моей немедленной смерти. Но сам шаман — милосердный! — вступился за меня: надо подождать, пока ребенок умрет, и только потом убить Белого Ягуара, советовал он возбужденным жителям Серимы. Вести об этих настроениях быстро достигали моей хижины.

— Ребенок умрет! — мрачно заметил Манаури.

Из всех нас особенно вождь был подавлен последними событиями, словно чувствуя себя виновным за приглашение меня в племя. Манаури понимал: после исполнения приговора шамана надо мной следующей жертвой будет он. Это вселяло в него страх, и было видно, как он старается держать себя в руках.

В такие тяжкие дни познаются истинные друзья. Славный мой Арнак ни на минуту не поколебался и не потерял головы. Защищая меня, он был готов погибнуть вместе со мной. То же и Вагура: хотя и юнец, он усомнился лишь на какую-то минуту. Без колебаний встали на мою сторону и пять негров во главе с Мигуэлем. Большинство мужчин нашего рода пришли с заверениями, что не оставят меня, хотя с людьми Серимы их и связывали самые разные узы.

В этот напряженный период серьезное беспокойство вызывал у меня Арасибо. Он очень изменился и странно себя вел: помрачнел, осунулся, косился на всех исподлобья, настороженно молчал, словно у него отнялся язык, но, хотя ни с кем не разговаривал, нас не сторонился, а, напротив, искал нашего общества. Когда мы совещались у меня в хижине, он неизменно сидел у входа и упорно смотрел на улицу, а слух тем не менее обращал в нашу сторону, стараясь не пропустить ни одного слова. Если к нему обращались, он бормотал что-то невнятное и смотрел зло и отчужденно. Арнак и Вагура поглядывали на него с растущим недоверием.

Хотя весь род встал за меня, драться с остальным племенем и доводить де-

ло до кровопролития я не хотел. Все чаще стали раздаваться голоса о переселении куда-нибудь вверх по течению Итамаки. У нас была шхуна, две большие и быстрые лодки, подаренные варраулами, и несколько маленьких ябот. Этого было достаточно для путешествия.

— А ты, Ласана? — спросил я. — Поедешь с нами?

Она удивилась.

— Поеду, конечно.

— С ребенком?

— С ребенком.

Если большинство нашего рода готово было сообща противостоять воинственным намерениям Карапаны, то в отношении меня такого единодушия не было. Ядовитые семена, посеянные Карапаной, запали не в одну душу. Кое-кто, казалось бы, свой, из нашего рода, завидя меня издали, сворачивал и обходил стороной, стараясь не встретиться, а потом, притаившись в кустах, настороженным взглядом следил за моими движениями. То один, то другой прежний добрый друг теперь отводил глаза, боясь моего взгляда. Он не был еще моим явным врагом, но его точил червь сомнения: кто я? Почему знать, не таится ли во мне и впрямь душа оборотня?

Тень сомнения закралась даже в самое близкое мое окружение. Как-то я зашел в шалаш Ласаны о чем-то у нее спросить. Естественно, я бросил взгляд на несчастного ребенка. Заметив это, мать Ласаны дико вскрикнула, бросилась к ребенку, закрыла его от меня своим телом и пронзительным голосом велела убираться прочь. У меня сжалось сердце, я вышел.

У порога моей хижины меня нагнал Арасибо.

Мы присели. Кругом стояла необыкновенная тишина, душный тяжелый воздух был недвижим. Дождь еще не начался, но ливень уже навис над головой. Тяжелые клубы низких туч там и тут цеплялись за вершины деревьев. Все тот же гул бубна в Сериме был слышен отчетливей, чем когда-либо.

Звук этот, словно зловещее ворчание духов, исполнен был жестокого смысла, обретая не вызывавшее сомнений значение. Он возвещал смерть.

Мы оба вслушивались в одно и то же, и одни и те же приходили нам в голову мысли. Арасибо толкнул меня в бок, лениво протянул руку в сторону Серимы и как бы нехотя, с насмешкой пробормотал:

— Глупый Канахоло.

— Какой Канахоло?

— Э-э, — зевнул хромой, — ученик шамана. Глупый.

— Глупый?

— Глупый.

Помолчав, он снова заговорил вяло, вполголоса, словно больше для себя, чем для меня:

— Глупый Канахоло думает, что бьет в бубен на твою смерть, а бьет он на смерть другого...

— Конечно, ребенка Ласаны!

В горле Арасибо что-то забулькало, словно сдавленный смех.

— Не ребенка Ласаны. Он бьет в бубен на смерть Карапаны, но не знает об этом, глупый...

— Вздор ты несешь, Арасибо, вздор, — усмехнулся я горько.

— Карапана умрет сегодня... или завтра...

Он проговорил это нехотя, словно не мог отрешиться от неуместной шутки. Или я неверно его понял?

— Что ты плетешь, Арасибо?

— Карапана умрет сегодня или завтра... ночью...

В показной небрежности его голоса таилась какая-то скрытая жесткая нота, заставившая меня насторожиться. Только сейчас я поднял глаза на Арасибо и онемел: угрюмого оцепенения последних дней у него как небывало! Глаза его вновь горели прежней ненавистью, но, кроме ненависти, они так и светились необузданной радостью.

— Что с тобой? — вскочил я, удивленный.

Он упивался моим изумлением. Grimаса смеха искажала его лицо. Он явно что-то утаивал и теперь потешался надо мной, медля с ответом.

— Говори же, черт побери, Арасибо!

— Когда наш охотник идет на охоту, стрелы его не всегда отравлены ядом кураре — не всегда он есть в лесу. Приходится покупать его у далеких индейцев макуши и дорого платить бездельникам. Но в наших лесах растет свой яд, кумарава, хотя и не такой сильный, как кураре. Мы берем его, он тоже убивает.

— Говори дело, Арасибо!

— Я и говорю дело. Я говорю: кумарава тоже убивает. Коснешься их рукой, сразу образуется волдырь и бредишь как пьяный, коснешься их несколько раз — умрешь. Подлые листья...

— Давай по делу, Арасибо, по делу! Не тяни!

Он окинул меня медленным взглядом — вот каналья! — радуясь моему нетерпению.

— Ты очень нетерпеливый, Белый Ягуар! — забулькал он весело, щуря свои косые глаза. — Интересно, как бы ты себя чувствовал, Ягуар? Каждую ночь тебе в постель кладут лист кумаравы. А ты ничего не знаешь. Стонешь от боли, извиваешься, язвы на всем теле, на глазах чахнешь, гибнешь... Посмотри, вот такой маленький листочек!..

Арасибо развернул лоскут старой тряпки, который держал до того в руке, и показал мне какой-то комочек серо-зеленого цвета, полувысохший, увядший.

— Не трогай! — выпятил он губы. — Кумарава еще кусается, как скорпион!..

Потом вдруг, словно устав от шуток, он стал серьезен и выдавил из себя свистящим шепотом, указывая на ядовитый лист:

— Я нашел его в подстилке ребенка Ласаны... — И добавил, вставая: — Каждую ночь ему подбрасывали... Он не мог не заболеть...

— Кто подбрасывал? — задал я бессмысленный вопрос, начиная что-то понимать.

— Он, он, Карапана!..

Я так и подскочил. Вот это открытие! Я в тот же миг оценил всю его важность. Поймать бы колдуна на месте преступления, вот это была бы победа! С меня снялись бы все страшные подозрения, а его полностью разоблачили бы как явного убийцу. В безумной радости я схватил Арасибо за плечи и тряс его без памяти, пританцовывая и смеясь. Наконец, запыхавшись, я выдавил из себя:

— Как же ты это открыл, дружище?

— А-а-а, открыл... Подумал, поискал...

— А ребенка... ребенка удастся спасти?

— Удастся.

Я готов был задушить этого уродца в объятиях.

— Волшебник! Умница! Ангел!

Когда мы наконец кое-как успокоились и вернулись к действительности, возник естественный вопрос — что делать дальше? Созвать на тайный совет друзей? Кого? Манаури, Арнака, Вагуру и никого больше. Негра Мигуэля? Нет, только индейцев — это дело племени. А Ласану? Ласану да, конечно.

Друзья были поблизости, на реке. Они готовили там шхуну для бегства на случай нападения со стороны Серимы. Они прервали работу и тут же пришли. Позвав Ласану, мы укрылись в моей хижине, и Арасибо поведал всем историю своего открытия. Как и у меня, первоначальное ошеломление у всех сменилось бурной радостью. Тяжкий груз свалился с меня и с моих друзей, но тут же мы поняли: теперь нас ждет самая трудная задача — вынести приговор шаману.

— Смерть! Смерть ему! — твердил Манаури, стиснув зубы.

Мы предполагали, что Карапана подбрасывал ядовитые листья через каждые две или три ночи, а поскольку найденный лист кумаравы уже высох, очередной визит шамана следовало ожидать этой ночью. Решили дежурить во дворе, сменяясь в полночь.

— Ты, Ян, исключаяешься! — объявил Манаури. — Рана твоя еще не зажила.

Действительно, силы ко мне окончательно еще не вернулись, но я не мог оставаться в стороне в эту решающую минуту, и меня подключили третьим к первой смене Арнака и Арасибо.

— Надо решить еще один вопрос, — проговорил вождь после некоторого размышления. — Это удобный случай его убить. Мы должны его убить.

— Должны! — учащенно задыхал Арасибо.

— Кто с этим не согласен? — спросил Манаури, бросив на меня внимательный взгляд.

Арнак и Вагура молча кивнули головой в знак согласия, я тоже. Иного выхода не было — только его смерть.

— Я тоже хочу сторожить! — попросила Ласана.

— Сторожи! Конечно! — ответил Манаури. — Но не с нами на улице, а в своей хижине, возле ребенка...

Никто, даже самые близкие, не должны были знать о наших планах. Ласане поручили сжечь подстилку ребенка и положить ему новую в другом месте шалаша, но так, чтобы ее мать ни о чем не догадалась.

Почему должен был умереть Канахоло

Под вечер прошел проливной, хотя и непродолжительный дождь. Когда он кончился, тучи все еще закрывали небо, и мы опасались, что ночь будет очень темной, но нет: где-то за облаками светила луна, рассеивая мрак.

Шалаш Ласаны стоял примерно в пятидесяти шагах от реки, задней стеной к воде, а входом в сторону леса. Поскольку вокруг шалаша, кроме вытоптанной травы и нескольких оставшихся от леса кустиков, ничего не росло, открытое пространство и сравнительно светлая ночь облегчали нашу задачу.

Вооружены мы были короткими тяжелыми палицами из твердого дерева, кроме того, Арнак и Арасибо взяли ножи, а я заряженный картечью пистолет для стрельбы с короткой дистанции. Согласовав звуковые сигналы, с наступ-

лением ночи мы заняли свои места. Арнак укрылся позади шалаша, со стороны реки, а я и Арасибо — с противоположной стороны, в нескольких шагах от входа.

Внутри хижины, как решил Манаури, караулила Ласана.

Дождь несколько раз обрушивался на наши головы внезапными ливнями, и тогда становилось совершенно темно; воздух по-прежнему оставался теплым и душным. Мы промокли, но делать было нечего.

Приходилось сносить и томительность медленно текущего времени. От постоянного напряжения устремленных в темноту глаз немели мышцы и притуплялось сознание. К тому же не облегчала нам бодрствования и неуверенность в том, что враг явится именно нынешней ночью. Порой зрение нас обманывало. Странные звуки, как всегда, раздавались и на опушке леса, и на берегу реки, а во мраке проносились таинственные тени. Но это были то бегавшие вокруг собаки и другие прирученные зверушки, то какая-нибудь дикая лесная тварь, то громадные ночные бабочки и всякие прочие неведомые обитатели леса.

Близилась полночь, и я стал собираться уходить, чтобы разбудить следующую смену, как вдруг услышал за шалашом трехкратное стонущее кваканье лягушки — условный предупредительный сигнал Арнака. Он, вероятно, что-то заметил. Я крепче сжал в правой руке палицу, а левой нащупал рукоятку пистолета.

Все было как и прежде, в начале ночи — ни темной, ни светлой. Черневшие перед нами стены шалаша, затененные выступавшим навесом, четко вырисовывались на фоне более светлой поляны. Вдруг мне показалось, что на этом фоне с левой стороны появилось какое-то темное пятно, словно кто-то стоял или припал к углу шалаша.

Толкнув Арасибо в бок, я указал ему рукой на этот загадочный предмет.

— Он! — возбужденно шепнул хромой. — Пришел...

Там был кто-то чужой, несомненно, не Арнак. Вечером мы договорились, что не будем покидать своих постов до сигнала тревоги. Но таинственный пришелец не был похож и на Карапану: он казался приземистым и коренастым, тогда как шаман был худ и высок. Человек крадучись пробирался к входу в шалаш. Я утвердился в мысли, что это не Карапана. А может, их двое? Возможно, шаман крался сзади, вслед за этим первым?

Заметив, что Арасибо собирается выскочить из укрытия, я схватил его за руку.

— Видишь? — выдохнул я ему в ухо. — Это не Карапана.

— Да! — согласился он.

— Бери его живым!

— Живым? — В голосе Арасибо слышалось разочарование и протест. — Зачем?

Рассуждать было некогда! Я с силой тряхнул его за плечо и приглушенным голосом прошипел:

— Только живым! И не вздумай иначе!

Арасибо стряхнул мою ладонь и с ножом в правой руке прыгнул вперед. Прыгнул с таким непостижимым проворством, какого я никогда в нем и не предполагал. От цели его отделяло четыре-пять шагов. Но противник был на чеку. То ли его что-то насторожило, то ли он услышал наш шепот, но он вдруг

отпрянул в сторону, и нож Арасибо рассек только воздух, а рука соскользнула с натертого жиром тела.

Враг метнулся к углу шалаша, где я впервые его увидел. Но уйти ему не удалось. Я бросился наперерез и палицей нанес ему удар по голове. Но удар, видимо, был слабым: он зашатался, казалось, вот-вот упадет, но не упал и рванулся было вперед, но тут же попал в объятия Арнака. Оба они упали. Я вновь огрел врага палкой по голове, а Арнак навалился сверху и прижал к земле.

— Бери живым! — крикнул я во весь голос.

— Не могу схватить! — прохрипел Арнак. — Он весь скользкий!

Противник продолжал бешено вырываться, но ему ничто уже не могло помочь. Обеими руками я охватил его за шею и крепко сжал, Арнак же вырвал у него нож и заломил руки за спину так, что хрустнули суставы. Наш пленник был совершенно голым, лишь со шнурком на талии, и весь натерт жиром, чтобы легче ускользнуть.

В темноте трудно было разобрать, кто это, но теперь не вызывало сомнений — это не Карапана. На наш вопрос, кто он, ответа не последовало.

Прибежала Ласана с веревками, и мы связали его. По всему судя, он был один — никого больше мы не нашли.

— Он приплыл на лодке! — сообщил Арнак. — Я слышал, как он причаливал.

— Он был один?

— Один. Больше я никого не видел!

— Сбегай к реке, посмотри, что с лодкой!

Лодка была на месте.

Разбуженная шумом мать Ласаны, решив, что на нас напали враги, подняла оглушительный крик. Проснулись соседи и стали сбегаться со всех сторон, вооруженные чем попало.

Тревога удалась на удивление. Не прошло и минуты после появления первого воина, как на месте оказались и все остальные. Многие были вооружены с ног до головы, никто не забыл и своего мушкета. Наш род оказался на высоте, и меня, несмотря на волнение, охватывала гордость: ведь такая боевая готовность во многом моя заслуга.

Кое-кто из наиболее предусмотрительных прихватил с собой на ходу зажженные факелы, а также плоски с жиром, и, когда их свет упал на лицо пленника, все оторопели: это был юный ученик шамана — Канахоло, парнишка всего лет четырнадцати, но, как видно, уже поднаторевший в преступном ремесле. Отбивался он от нас как звереныш и прихватил с собой нож, зато теперь связанный отравитель, лежа на земле, притих, и душа его, судя по всему, ушла в пятки. Видя над собой множество перекошенных от бешенства лиц, он решил, что наступил его последний час, и, по чести говоря, не так уж ошибался.

Манаури громко, чтобы слышали все, объяснил людям, что привело сюда юного преступника. По мере того как он раскрывал подлые интриги Карапаны, росло негодование против его ученика и сообщника. Более всего возмутились женщины. В какой-то миг мать Ласаны подскочила к мальчишке и хотела выцарапать ему глаза.

— Убийца! — неистовствовала она. — Чудовище! Ты убивал внука, невинное дитя!..

Я с трудом оторвал ее от него. Но другие и не помышляли оберегать жизнь пленника, требуя немедленной его смерти. Такое всеобщее возбуждение могло повлечь за собой непоправимые беды, и потому надо было как-то их усмирить, а из парня вытянуть как можно больше сведений.

Тем временем Манаури велел разжечь поблизости два костра и поручил нескольким юношам постоянно их поддерживать. Стало достаточно светло, и теперь можно было лучше рассмотреть пленника.

В первые минуты после того, как он был схвачен, лицо его не выражало ничего, кроме безумного ужаса, но, как только Канахоло заметил, что немедленная смерть ему не грозит, губы его упрямо сжались, в глазах мелькнуло коварство — конечно, шаман не выбрал бы своим учеником какого-нибудь простака.

Пленник лежал в неестественной позе, боком прижавшись к земле, а когда его перевернули на спину, он тут же переменил положение, приняв прежнюю неудобную позу. Произошло это, быть может, случайно, а возможно, и нет, но во всяком случае, привлекло мое внимание. Не пытается ли Канахоло что-то укрыть от наших глаз под правым боком?

— Вы нашли у него ядовитые листья? — спросил я стоящего рядом Арасибо.

— Нет. Мы еще не искали. Подождем до рассвета. Тогда и поищем в траве...

— Это же самое главное! Листья — неопровержимое доказательство вины!

— Да, но сейчас темно искать.

— А может, надо получше обыскать его самого?

Арасибо окинул лежащего нерешительным взглядом. Пленнику, совершенно нагому, негде было укрыть яд. Ничего не было у него и в руках.

Манаури стал задавать ему вопросы, но ничего не добился: парень хранил упорное молчание и не проронил ни слова.

Люди стояли вокруг — человек тридцать, возможно, сорок: мужчины, женщины, даже дети, — и, хотя первое возбуждение уже прошло, их все еще обуревало неудовлетворенное любопытство; они ждали доказательств вины — доказательств убедительных.

Среди столпившихся вокруг пленника оказались и люди не из нашего рода, несколько ближайших соседей, привлеченных, как и другие, шумом. Они не были моими врагами, но не были и друзьями, а услышав из уст Манаури тяжкие обвинения, клеймящие Карапану, перепугались. Они почитали власть своего шамана, находились под его влиянием и не собирались легковерно отказывать ему в поклонении оттого лишь, что кому-то хотелось метать в него громы и молнии. Они стали перешептываться, а видя, что Канахоло упорно молчит, обступили Манаури:

— Мы слышали тяжкие обвинения, ты говорил дерзкие слова.

— Я знаю, что говорю! — ответил вождь. — Белый Ягуар невиновен, у него добрая душа. Карапана хочет его уничтожить и поэтому отравляет ребенка Ласаны, подбрасывает с помощью Канахоло листья кумаравы...

— А кто видел эти листья?! — выкрикнули те. — Ты говоришь — Арасибо? Арасибо — калека, пустой человек, что от него ожидать? Он ненавидит Карапану и поэтому лжет...

— Я своими глазами видел лист, подброшенный ребенку!

— Кто тебе его показывал? Где?

— Арасибо нашел...

— Нашел? Тебе принес его Арасибо, да?! Арасибо мог принести его из леса!..

— Канахоло, — возмутился Манаури — зачем Канахоло крался ночью сюда, к хижине больного ребенка?

— Мы не знаем! Но и ты не знаешь!

— Я знаю! Завтра мы найдем листья кумаравы около хижины, вот увидите!

— Подброшенные Арасибо? — фыркнули те.

Сорванцы, следившие за кострами, не слишком, видимо, старались подбрасывать хворост, и пламя стало постепенно затухать. Я стоял ближе всех к пленнику. Руки у него были связаны за спиной, он на них лежал. Как только костры притухли — не укрылось от моего внимания, — юнец, пользуясь тьмой, начал вытворять руками какие-то непонятные движения, будто стараюсь ухватить что-то, укрытое у него под правым боком. Но вот вновь взметнулось пламя костров, ярко осветив поляну, и пленник замер в неподвижности. И тут я сделал любопытное открытие: из-под бока лежавшего чуть выступал какой-то предмет. Не кончик ли это бамбуковой трубки, широко применяемой здесь для хранения различных мелких вещей. Теперь я ничуть не сомневался в том, отчего Канахоло так странно лежал: он пытался скрыть под собой нечто, что могло выдать его тайну.

Я повернулся уже к Арнаку, чтобы сказать ему о своем открытии, как вдруг с черепом ягуара в руках прибежал Арасибо, куда-то отлучавшийся. Он вбил в землю над пленником копье и насадил на него череп, уставив открытую глазницу на юнца. В пляшущем свете костра череп словно ожил, хищные клыки его, казалось, ощерились, а черный провал глаза грозно уставился сверху на злодея. Впечатление было потрясающим. Юнец задрожал, глаза его чуть не выскакивали из орбит, но губы в немом упрямстве сжались еще плотней. Его обуял страх, этого скрыть от нас он не сумел.

— Сейчас ты выложишь все, собачий сын! — гаркнул на него Арасибо. — Говори, иначе ягуар тебя растерзает!

Охотнее всего Арасибо сам растерзал бы его собственными руками, но ничего добиться не смог и он. Пленник лишь сжал губы и молчал как могила.

— Ничего вы от него не добьетесь! — раздался ехидный голос из группы сторонников шамана, как бы подбадривая парня.

Манаури послал гонца в Сериму за отцом Канахоло в надежде, что его присутствие сломит строптивость юнца.

— Плохо, — шепнул мне Арнак. — Упрямый, паршивец! Кажется, мы проиграли.

— Проиграли? Что это ты так легко опускаешь крылья?

— Мы не сумели доказать им его вину.

— Не узнаю тебя, Арнак! Ты пасуешь перед каким-то сопляком... Нет, дружок, тебя явно подводит зрение, открой глаза — плоховато смотришь!

Моих друзей поразили, видимо, скрытые в этих словах веселые нотки, как поразила чуть раньше и меня самого внезапная перемена в голосе Арасибо. Арнак устремил на меня вопросительный взгляд.

— Ты что-нибудь обнаружил?

— Обнаружил.

И я поделился с ним догадкой, на которую натолкнули меня странные движения пленника и его попытки скрыть под собой бамбуковую трубку. У Арнака вспыхнули глаза, а спустя минуту он теперь уже и сам убедился в верности

моих наблюдений.

— Паршивец что-то прячет! — прошептал Арнак, взглянув на меня с удивлением и радостью. — Ян, у тебя опять стал зоркий глаз, и к тебе вернулась прежняя сила! Теперь им нас не обмануть! Об одном тебя прошу: позволь мне самому раскрыть их уловку.

— Конечно, действуй как знаешь!

Арнак коротко посвятил в суть дела Манаури, Вагуру и Арасибо, потом велел поярче разжечь костры и подозвал к пленнику нескольких наиболее уважаемых воинов из нашего рода, а также из числа пришельцев, особенно тех, что больше всего кричали. Все подготовив, он громко и торжественно провозгласил, что глаз ягуара нельзя обмануть. Глаз ягуара раскрыл нам преступные замыслы Карапаны и указал, что Канахоло прячет листья кумаравы.

— Хотите знать где? — спросил он, обводя всех торжествующим взглядом.

— Хотим! — раздалась голоса.

— Тогда смотрите!

Арнак подошел к пленнику, схватил его под мышки и рывком поставил на ноги.

— Видите? — воскликнул он, охваченный внезапным гневом.

И все мы увидели: на шнурке, опоясывающем живот юнца, справа висел отрезок бамбука.

— Что у тебя в этой трубке? — рявкнул Арнак.

Теперь это был уже не строптивый, упрямый ученик шамана. Это был жалкий, чуть не до беспамятства перепуганный мальчишка, дрожавший от волнения и страха.

— Что у тебя в бамбуке? — Теперь уже Манаури повторил вопрос резко и повелительно. — Отвечай!

Канахоло забормотал что-то невнятное себе под нос. Все его поведение лишь подтверждало наше предположение: в бамбуке действительно содержалось что-то подозрительное, однако полной уверенности у нас еще не было. Арасибо подскочил к пленнику, сорвал с его пояса бамбук, вынул из него затычку и на глазах у всех вытряхнул содержимое себе на ладонь, забыв в запальчивости о всякой осторожности. Там оказалось несколько смятых листьев.

— Кумарава! — визгливым от волнения голосом выкрикнул хромой, более похожий в этот миг на какого-то злого духа, чем на человека.

Протянув руку к костру, он стал призывать всех подойти и посмотреть самим.

— Кумарава это или не кумарава? — вопрошал он непрестанно, а в горле у него от сдерживаемого волнения что-то хрипело, свистело, булькало.

Он знал — настала минута, которая решит все, которая даст ему возможность свергнуть власть шамана. Торжество, ненависть и бешенство отражались на его искажившемся лице. Словно одержимый, он хрипел в лицо каждому из приближавшихся:

— Скажи, кумарава это или нет?

— Кумарава! — гневно подтверждали люди нашего рода.

Прочие молчали, говорить было нечего: они видели — это кумарава.

Мать Ласаны протолкалась через толпу с белой тряпкой в руках.

— Брось сюда листья! — обратилась она к калеке. — Они могут тебе навре-

дить!

Арасибо бросил листья, взял тряпку и продолжал совать ее всем под нос.

Тем временем Канахоло, которого снова повалили на землю, считая, что настала последняя минута его жизни, трясся как в лихорадке.

— Смотри на ягуара, — крикнул ему Манаури, — и говори всю правду, если тебе дорога жизнь! Будешь говорить?

— Бу... буду! — выдавил из себя пленник.

— Кто тебя послал?

— Карапана.

— Говори громче, чтобы все слышали: кто тебя послал?

— Карапана... шаман.

— Он давал тебе листья кумаравы?

— Да... да... давал.

— И что велел с ними делать?

— Велел подложить ре...ре...ребенку Ласаны в подстилку.

— Сколько раз ты это делал?

— Три... нет, четыре раза... четыре.

— Чтобы ребенок умер?

— Да, да, чтобы умер...

— А вина чтобы пала на Белого Ягуара?

Но в этот момент ужас вновь сковал пленнику язык, и юнец разразился судорожными рыданиями. Впрочем, он и так сказал достаточно. Люди все слышали и поняли: преступление Карапаны вышло наружу, никто теперь не смел сомневаться в его вине.

Явился отец Канахоло, разбуженный нашим посланцем, хотя, собственно, в его присутствии уже не было необходимости, поскольку парень во всем сознался. Арипай — так звали отца пленника — производил впечатление человека порядочного и доброго. Вероятнее всего, он даже не подозревал о проделках сына. Канахоло пришлось повторить при нем свое признание. Отец слушал с удрученным, расстроенным видом, переводя растерянный, опустошенный взгляд то на нас, то на сына.

— Как вы с ним поступите? — спросил он наконец.

Кое-кто требовал смерти виновного, ссылаясь при этом на известные обычаи племени. Но большинство судило не так строго, считая, что Канахоло лишь орудие в руках истинного преступника. Эти, более умеренные, не жаждали его смерти, и, когда спросили мое мнение, я, конечно, решительно их поддержал. Парнишку тут же освободили от пут и отпустили с отцом домой.

— Присматривай за ним, — напутствовал я Арипая. — Не отдавай его в дурные руки...

Индеец рад был, что Канахоло вышел из передряги целым и невредимым, но лицо его оставалось мрачным.

— Мой сын не в моей власти, — ответил он хмуро, — он отдан шаману. К нему должен и вернуться...

На следующий день аравакские хижины облетела печальная весть: Канахоло внезапно умер. Несчастливого парнишку нашли мертвым на опушке леса, неподалеку от Серимы, без каких-либо следов насилия. Люди нашего рода восприняли это известие весьма спокойно: они предполагали, что именно так и случится, что такая кара постигнет беднягу, раскрывшего, хотя и не по доброй

воле, тайну шамана.

Репартиментос

Поимка Канахоло на месте преступления и его признания сняли с меня вздорные обвинения в злокозненности моей души, но изобличить истинного преступника не помогли. Хитроумный шаман сумел выпутаться. Положение его в племени было непоколебимым. Все свидетельствовало против него, даже смерть Канахоло, но трусость, а вернее, запуганность, обитателей Серимы была так велика, что никто не смел возмутиться, и все готовы были принять на веру вздорные вымыслы шамана, распространявшего слухи о том, будто в истории с Канахоло не все чисто: кто знает, какими коварными средствами заставили этого дурачка дать показания, предварительно подбросив ему ядовитые листья? Словом, Карапана ставил все с ног на голову, и кое-кто в Сериме то ли из страха, то ли из корысти ему поддакивал.

В кругу друзей у нас горячо обсуждалось, что делать дальше. В конце концов мы пришли к выводу, что даже теперь влияние шамана, хотя и подорванное, продолжает оставаться достаточно сильным, а уничтожение Карапаны представлялось нам невозможным, ибо неизбежно повлекло бы за собой в племени кровопролитные столкновения.

Взвесив все «за» и «против», мы вернулись к первоначальному плану — покинуть Сериму и немедленно начать для этого необходимые приготовления. Теперь уже весь наш род, как один человек, стремился поскорее оставить эти места и подальше уйти от злых козней Карапаны. В эти последние дни еще более укрепились узы дружбы и доверия между родом и мной, вера в общность нашей судьбы.

Вскоре же выяснилось, что и Серима стала не той, что прежде: она перестала быть единым, сплоченным сообществом людей, связанных единством образа мыслей. Едва туда просочились слухи о нашем отъезде, как многие из коренных жителей Серимы изъявили желание отправиться с нами, лишь бы вырваться из-под власти коварного шамана. Они вольны были так поступить, и никто не имел права запретить им перекочевать, ибо это не противоречило обычаям араваков. Однако это их желание, как и следовало ожидать, крайне обозлило Карапану и встревожило верховного вождя Конесо. С тем чтобы предотвратить развал племени, чего, собственно, оба и опасались более всего с первой минуты нашего появления, шаман в коварном своем мозгу вынашивал чудовищный план нападения на нас и поголовного истребления если и не всего рода, то, во всяком случае, главных его членов, не исключая Манаури и Ласаны. К счастью, наши доброжелатели своевременно нас предостерегли, и мы держались настороже, внимательно следя за каждым движением в Сериме, и, не выпуская из рук оружия, готовились к скорейшему отъезду.

В этот напряженный для обеих сторон момент неожиданно произошли события, в корне изменившие все наши как добрые, так и недобрые намерения.

В тот день, часа через два после восхода солнца, из рощи, отделявшей селение верховного вождя от наших хижин, вдруг выскочили два индейца и бросились по направлению к нам, чем-то крайне возбужденные. Поначалу мы решили, что это какой-то подвох. Но нет. Завидя нас, еще издали бегущие стали громко выкрикивать какие-то малопонятные слова.

— Не обманывает ли меня слух? — обратился я к Арнаку, охваченный недобрым предчувствием. — Испанцы?!

— Да, они кричат об этом, — ответил тот дрогнувшим голосом.

В нашем лагере мгновенно поднялась тревога, и не было ни одной хижины, ни одного шалаша, из которых не выскакивали бы в смятении люди, обеспокоенные необычным происшествием.

Тем временем бежавшие, еле переводя дух и едва держась на ногах, оказались подле нас. Вид их был жалок: судя по всему, не только быстрый бег, но и толкавший их ужас совсем лишили их сил.

— Испанцы!.. — только и смогли они произнести, тяжело дыша и бросая по сторонам испуганные взгляды.

— Где? — набросился на них Манаури.

— У нас в Сериме... Приплыли на лодках... Высадились на берег... Испанцы! Весть тревожная, слово «испанцы» — будто гром с ясного неба. Не у одного из нас втайне екнуло сердце.

— Они напали на вас? Кого-нибудь убили? — продолжал допытываться Манаури.

— Нет, не напали, никого не убили.

— Наши успели бежать из Серимы?

— Нет, не успели. Испанцы захватили нас врасплох, никто их не заметил... Только немногим удалось убежать в лес.

— Испанцы стреляли?

— Нет, не стреляли, но на берег сошли сильно вооруженные, даже страшно смотреть!

— Сколько их?

Гонцы, все еще не отдышавшись, не могли назвать числа пришельцев: один говорил, их столько, сколько пальцев на обеих руках, другой утверждал, будто их в десять раз больше.

— Нет! — возражал первый. — Испанцев мало, остальные — индейцы...

— Из какого племени индейцы?

— Мы их не знаем, какие-то чужие.

— Сколько у них лодок?

— Пять.

— Большие?

— Да, итаубы.

— Не пять, а три, — уточнил второй гонец. — Три лодки.

— А зачем они явились, не знаете?

Они не знали и ничего не могли предположить, но утверждали, что испанцы хотя и не затеяли боя, но вели себя дерзко и грубо, как властные и злобные хозяева, а не как гости. Судя по их поведению, от них можно ждать лишь бед и несчастий...

Обменявшись взглядами с Манаури и Арнаком, я велел всем присутствующим взять оружие и немедля собраться возле моей хижины. К счастью, почти весь род наш был на месте, ибо и прежде жил уже в постоянной боевой готовности.

Не прошло и минуты, как на поляне собрались вооруженные воины нашего рода. Сейчас меня более всего занимал вопрос, откуда и с какой целью явились сюда испанцы. Поскольку Серима лежала в глубине леса, в нескольких милях от впадения Итамаки в Ориноко, то есть в стороне от больших водных путей, можно было предположить, что испанцы явились сюда не случайно, а с

какой-то определенной и заранее обдуманной целью.

— Откуда же и зачем они явились?

Я велел Арнаку принести мне нашу карту и углубился в ее изучение. Но как я ее ни вертел, ничего путного придумать не мог. Рассматривая карту, тесным кругом обступили меня и наши индейцы. В числе их оказалось несколько воинов из других родов. Один из них, высокий, мускулистый и, судя по виду, опытный и немолодой уже воин, ткнул пальцем куда-то в карту, где тонкой нитью проходило среднее течение Ориноко, и произнес только одно слово: Ангостура.

Слово это вызвало среди индейцев заметное оживление. Они явно знали его.

— Что такое Ангостура? — спросил я.

Воин, первым произнесший это слово, выступил вперед:

— Белый Ягуар! Мы знаем, что такое Ангостура... Там испанцы! Они были здесь у нас давно, с тех пор прошло две сухих поры. Мы тогда приплыли сюда от горы Грифов, и они нас нашли. Грозил еще вернуться.

— Расскажи Ягуару, что они тогда сделали, — подтолкнул говорившего другой индеец.

— Что же они сделали? — спросил я.

— Что сделали? — Мой собеседник скорчил гримасу. — Они дали Конесо много всяких вещей, но не в подарок, не думай — не в подарок, нет! Они сказали, что, когда вернутся, мы должны им заплатить за эти вещи... Может быть, это они и вернулись теперь?

— Какие же вещи они дали?

— Всякие, разные! Рубашки, штаны, которые носят испанцы, но совсем старые, рваные. Достались нам и ботинки, но с дырками, сушеное мясо их коров, но совсем тухлое и с червями. Мы скормили его собакам. Дали нам и несколько странных ножей — у тебя есть такой нож, Белый Ягуар! Ты по утрам возле хижины скребешь им свою бороду...

— Это бритва! Они дали вам бритвы? Но у вас же на лице не растут волосы!

Индеец посмотрел на меня удивленно, будто я сделал бог весть какое открытие, потом расхохотался.

— А кто говорит, — на губах его играла ирония, — кто говорит, что этими ножами можно было срезать волосы на бороде?

— Для чего же они еще нужны?

— Ни для чего. Они старые, ржавые и ломаные, ими даже мягкого дерева не обстругаешь, они ломались в руках...

— Зачем же вы их брали?

— Они заставили. Мы не хотели, а они заставили, а то взяли бы нас в рабство...

— Взяли бы в рабство?

— Да. Их прислал испанский начальник из Ангостуры, коррегидор, с солдатами и с заряженными ружьями.

Одним из способов закабаления индейцев были у испанцев так называемые репартиментос. Заключалось это в том, что коррегидоры, то есть префекты округов, принуждали племена, особенно жившие в отдаленных районах, приобретать у них вещи непригодные, но всегда по дико высоким ценам. Индейцам приходилось покупать эти вещи, хотели они или не хотели, ведь они

не платили за них сразу, а лишь значительно позже, через год или два, и, само собой разумеется, платили натурой, плодами земли, леса, изделиями ремесел. Если же выплатить долга они не могли или чем-либо не угождали посланцам коррегидора, в наказание у них угоняли часть молодежи для работы на гасиендах или в шахтах. По закону угоняли будто бы на какое-то время, на год или два, но в действительности никто из них никогда не возвращался в родные селения. Вдали от родных и близких они умирали от истощения и тоски; плантаторы не отпускали их до конца жизни.

«Возможно, сейчас в Сериму и прибыли именно такие посланцы коррегидора для взимания долга», — подумал я.

Манаури еще раньше выслал на опушку леса двух разведчиков с заданием следить за действиями испанцев и уведомить нас в случае их приближения. На реке стояла наша шхуна — заманчивая добыча для алчных испанцев. Из Серимы она не была видна за поворотом реки и рощей. Следовало принять меры, чтобы пришельцы не обнаружили ни парусника, ни наших друзей-негров.

Я незаметно кивнул Манаури, Арнаку и негру Мигуэлю, приглашая их последовать за собой в хижину. Когда мы остались одни, я изложил свой план: Мигуэль с четырьмя земляками срочно отведет корабль вдоль берега вверх по течению Итамаки. Сделать это будет нетрудно, поскольку течение, гонимое морским приливом, как раз повернуло вспять и устремилось от Ориноко вверх по реке. На расстоянии какой-нибудь мили от нас прежнее русло реки узким длинным заливом врезалось в лес. Там, в чаще, шхуна будет надежно укрыта от глаз врага. Все негры, вооруженные ружьями, пистолетами и палками, вместе с негритянкой Долорес останутся на борту и будут охранять судно, не показываясь на берегу.

Друзья одобрили этот план, и только Манаури предложил отвести шхуну несколько дальше: примерно в трех милях отсюда находился второй залив под названием Потаро. Там будет надежнее — дальше от людей.

— Хорошо, — согласился я и обратился к Мигуэлю, — самое главное, чтобы никто не заметил вашего отплытия, никто, понял? Это вполне возможно, поскольку внимание всех сейчас приковано к Сериме, а река — внизу, за склоном холма...

Остальных воинов нашего рода мы разделили на два отряда, один под командой Арнака, второй — Вагуры. Я только собрался было отправиться вместе с Манаури в разведку, как вдруг из рощи примчался один из наших разведчиков с известием, что к нам бежит Конесо.

— Бежит? — спросил я удивленно. — Верховный вождь бежит?

— Да, бежит...

Конесо действительно бежал. Бежал он, конечно, не столь быстро, как два его гонца, — он был поупитанней и постарше, — но бежал. Как видно, мы срочно ему понадобились. Лицо верховного вождя утратило обычную надменность и важность. Сейчас это был просто запыхавшийся перепуганный толстяк.

— Манаури, — взмолился он, — ты мне нужен! Скорее! Скорее! Помоги мне!

— Хорошо, помогу, но в чем? — растерялся Манаури.

— Я не могу с ними договориться. А ты говоришь по-испански...

— Говорю.

— Объясни им, что у меня нет богатств! Они требуют столько, что не укладывается в уме! У нас нет столько! Мы бедные, у нас нет столько. Скажи им это!

— Чего же все-таки они требуют?

— Всего, всего! Спроси лучше, чего они не требуют! Чтобы насытить их алчность, все племя должно работать круглый год в поле, в лесу, на реке — и все равно будет мало! Горе нам! Нам нечем платить, а они требуют!

— Сколько их? — вмешался я в разговор.

Конесо умолк, собираясь с мыслями, потом сказал:

— Испанцев всего десять или двенадцать, а начальник у них дон Эстебан, посланец коррегидора из Ангостуры. Все они увешаны оружием...

— А индейцев сколько?

— Их больше пяти раз по десять. Это гребцы, все они из племени чаима, и тоже вооружены, но индейским оружием...

— Что это за племя, где они живут?

— Возле Ангостуры. Они из миссии доминиканцев...

— А испанцы?. Это те, что приплывали сюда два года назад?

— Да.

Итак, дело прояснилось: речь шла о репартиментос. Испанцы прибыли сюда не с целью убивать и покорять, а; за платой, за данью. А ну как дани они не получают, что тогда? Не нападут ли они на индейцев, всегда готовые к расправе над «дикарями»? Этого и опасался Конесо. Отсюда его возбуждение и лихорадочные поиски выхода.

Вдруг я заметил, что потухшие было глаза вождя внезапно сверкнули каким-то хитрым блеском, будто озаренные новой мыслью, и тут же вновь потухли. Он невольно бросил мимолетный взгляд в сторону реки, где стояла наша шхуна, хотя от нас ее и не было видно за обрывом крутого в этом месте берега. Конесо мгновенно, будто испугавшись, отвел оттуда взгляд, но уже выдал себя именно этим безотчетным испугом и мелькнувшим на лице хитроватым выражением, которого ему не удалось скрыть.

Я все понял. Конесо вспомнил о шхуне. В голове его зрел предательский план — откупиться от испанцев нашим славным гордым кораблем. Такой дар испанцам пришелся бы по душе!

Едва мне стали ясны его подлые замыслы, я шепнул Арнаку по-английски, чтобы он незаметно отправился к реке, велел неграм оставить шхуну и где-нибудь надежно укрыться. Затем я подскочил к Конесо и, указывая на череп ягуара, торчавший неподалеку на жерди, крикнул ему в самое ухо:

— Смотри! Смотри на глаз ягуара. Он мне все говорит!

Стоявшие вокруг воины, испуганные внезапным моим гневом, изумленно таращились то на меня, то на череп ягуара.

Конесо не на шутку всполошился.

— Череп открыл мне, — продолжал я, — что ты замышляешь предательство! Хочешь откупиться за наш счет! У тебя это не выйдет!

— Череп! Череп?! — бормотал перетрусивший вождь. — Заколдованный череп!

— Да! Он все рассказал мне о твоих подлых мыслях...

Явное замешательство вождя подтвердило мои догадки. Оставив его в одиночестве, я отозвал в сторону Манаури и поручил ему идти вместе с Конесо в

Сериму, как того и желал верховный вождь, но взять с собой расторопного парня из нашего рода, хорошо знающего испанский язык. Он должен будет время от времени сообщать мне о положении дел и о ходе переговоров с испанцами. Вскоре Конесо, Манаури, а с ним и этот третий двинулись в Сериму, но прежде Конесо как бы мимоходом приблизился к берегу реки и окинул ее внимательным взглядом. Я не отставал от него ни на шаг. Верховный вождь уже оправился от замешательства и взял себя в руки. При виде судна, пришвартованного, как обычно, к берегу, погруженного в тишину и словно забытого людьми, на лице вождя мелькнуло выражение радости, на моем — тоже.

Вскоре после их ухода я и сам отправился на опушку роци взглянуть на Сериму в подзорную трубу. У незваных гостей были три большие весельные лодки, какие обычно использовались на водах Ориноко. Рядом с лодками на берегу расположились группой несколько десятков индейцев-гребцов, вооруженных луками и палицами. Чуть дальше я увидел испанцев. Они держались несколько особняком, но тоже все вместе, причем одни лежали прямо на траве и спали, другие, казалось, стояли в охранении. Здесь же, рядом с ними, в козлы были составлены ружья.

Насколько мне удалось рассмотреть в подзорную трубу, все стоявшие испанцы, с физиономиями, заросшими густыми черными бородами, выглядели как настоящие разбойники. Души их и совесть, похоже, немногим отличались от их черных бородиц. Предводителя их дона Эстебана, как называл его Конесо, я не обнаружил. Вероятно, он вел сейчас переговоры с верховным вождем и Манаури где-нибудь под сенью одной из крыш Серимы.

В поведении испанцев и сопровождавших их индейцев племени чаима не ощущалось каких-либо признаков беспокойства или тревоги, хотя по занятой ими позиции и по оружию, которое они все время держали под рукой, нетрудно было понять, что держатся пришельцы настороже. Ничего примечательного более не обнаружив, я поспешил назад, к себе.

Часа через два, около полудня, поступили первые известия из Серимы: к соглашению там пока не пришли. Испанцы не желали ничего слушать и требовали безоговорочной уплаты баснословно высокого долга, грозя в случае отказа самыми суровыми карами. Им уже стало известно обо мне и о нашем роде. Но хуже того — какие-то злые языки нашептали им, что весь наш род состоит из бывших рабов, бежавших из испанского рабства и при этом убивших много испанцев. Более всего, однако, меня огорчило то, что среди араваков нашлись столь подлые доносчики: не остановились даже перед тем, чтобы оговорить своих братьев перед ненавистным врагом. Ужель Конесо и другие так низко пали в своем диком ожесточении?

Тем временем шхуна вдруг словно испарилась из-под наших берегов и благополучно добралась до укрытия в отдаленном заливе, о чем мне сразу же сообщили. До того еще все огнестрельное оружие по моему указанию перенесли с борта на берег.

Я сидел в раздумье на пороге своей хижины, как вдруг ко мне подошла мать Ласаны и с загадочной миной шепотом сообщила следующее: она только что вернулась из леса, где собирала травы. На опушке ее остановил старый Катави («Ну, тот, что живет у впадения нашей реки (Итамаки) в Большую реку (Ориноко)») и велел передать мне, чтобы я пришел к нему туда, в лес. У него есть для меня очень важное сообщение. При этом он требовал, чтобы все со-

хранялось в полнейшей тайне.

— Почему же он сам не пришел сюда? — насторожился я, подозревая здесь какой-то подвох, которого женщина по простоте своей могла не почувствовать.

— Он не хочет, чтобы его здесь видели.

— А кто такой Катави? Ты его знаешь?

— Знаю, хорошо знаю. Он добрый человек и не любит шамана. Иди к нему, Катави очень торопится!

Я посвятил в суть дела Арнака и Вагуру, которые хотя и не знали Катави, но с полным доверием относились к уму и сообразительности старой женщины.

— Пойдем втроем! — загорелся Вагура, в глазах которого так и светилась жажда приключений.

Мы отправились, вооружившись будто бы на охоту. Он ждал нас в условленном месте. Это был пожилой, хотя и бодрый еще индеец, промышлявший рыболовством. Хижина его стояла в пяти милях вниз по Итамаке. Хотя он и производил впечатление человека вполне порядочного и вызывающего доверие, в целях осторожности мы все-таки отошли с ним от места встречи шагов на двести-триста, осматривая заросли.

За ним никто не шел.

— Говори, Катави, — подбодрил я нашего спутника, когда мы вчетвером остановились под сенью большого дерева.

Катави, возможно, был неплохим рыбаком, но скверным оратором. Стоило невероятных усилий из обрывков его фраз составить представление о сути дела, которое привело его к нам. Однако, по мере того как она прояснялась, нас охватывало все большее изумление и возбуждение.

На рассвете нынешнего дня Катави был на реке и заметил в предрассветных сумерках пять чужих лодок. Это были итаубы. Они поднимались вверх по Большой реке, в них сидели испанцы: он слышал в темноте, как они отдавали на своем языке приказы индейцам-гребцам. Напротив того места, где прятался Катави, недалеко от берега, в устье Итамаки, находился небольшой остров. К нему и причалили итаубы. Вскоре три лодки поплыли дальше вверх по Итамаке и, как узнал рыбак, сейчас находятся в Сериме. Две другие лодки, оставшиеся на острове, особенно его заинтересовали. Утром, когда совсем рассвело, Катави обнаружил там много пленников, может, три раза по десять, лежавших вповалку и связанных веревками. Чтобы лучше их рассмотреть, он влез на дерево и отсюда, сверху, обнаружил, что все они варраулы.

Поскольку пленники были связаны, испанцы оставили при них малочисленную охрану: всего двух испанцев и двух индейцев. Катави долго следил за ними, но больше стражников не обнаружил.

— Как ты думаешь, они скоро покинут остров? — спросил я у рыбака.

— Не похоже, чтобы они собирались отплывать...

— Они не оставят остров раньше, чем вернутся те, из Серимы, это ясно! — вмешался Вагура.

— Верно!

— А вторая лодка? Ты, Катави, говорил, что у них там две лодки. В одной пленники, а вторая? Пустая? — выпрашивал я подробности.

— Нет, она загружена вся, по самые борта, оставлено только место для гребцов спереди и сзади.

— Чем загружена?

— Не знаю, все прикрыто циновками. Наверно, едой, ведь их получается много, наверно, десять раз по десять.

— Ты уверен, Катави, что связанные — это варраулы?

— Уверен, совсем уверен.

Еще во время рассказа Катави я твердо решил прийти варраулам на помощь и освободить их.

Подтверждалось то, что рассказывали о системе репартиментос. Варраулы, вероятно, не выполнили требований испанцев, и те силой захватили этих тридцать человек в рабство.

— С варраулами мы связаны торжественным союзом, — напомнил я своим товарищам, — они нам братья! Мы не позволим их обижать!

Оба моих друга едва не подпрыгнули от радости, не устоял даже сдержанный Арнак.

— Катави! — почтительно обратился я к рыбаку. — Ты оказал нам большую услугу, и мы тебе благодарны. Но это не все! Ты должен помочь нам их освободить, без тебя нам не справиться. Ты должен показать нам дорогу.

— Хорошо, хорошо, я покажу.

— Как пробраться с берега на остров?

— Просто, очень просто. У меня есть две маленькие лодки тут поблизости.

— Сколько в них может разместиться людей?

— Шесть-семь человек.

— Прекрасно, нас будет шесть, и ты, проводник, седьмой!.. Отправимся, как только наступит ночь!

Катави принадлежала слишком важная роль в предстоящей операции, чтобы хоть на минуту выпускать его из поля зрения. Кроме того, ему предстояло еще подробно описать нам остров и расположение лагеря на нем, что было крайне важно, если учесть, что добираться до незнакомого острова и высаживаться нам предстояло ночью, в полной темноте.

Поэтому без излишних разговоров мы забрали Катави с собой и направились назад, в свое селение, предусмотрительно обходя стороной чужие хижины. Круглым путем через заросли вдоль берега реки мы добрались до нашей хижины. В хижине усадили Катави в самый темный угол и оставили с ним для компании одного из наших воинов.

Важно было, чтобы в ночной операции принял участие кто-нибудь из знавших язык варраулов. И в этом случае весьма полезным оказался совет того же Катави: он порекомендовал отца несчастного Канахоло, уже знакомого нам Арипая, который знал язык варраулов, поскольку жена его была варраулкой. Кроме того, Арипай хорошо к нам относился, Я тотчас же послал за ним гонца, которому также поручил незаметно передать Манаури, чтобы он любыми способами постарался задержать испанцев, если они решат сегодня покинуть Сериму.

Часа через два появились Арипай и гонец с известием, что испанцы не собираются сегодня отплывать. Посвященный в наши намерения Арипай охотно согласился принять участие в ночной операции.

Когда в ходе этой лихорадочной подготовки выдалась наконец свободная минута и напряжение спало, меня невольно охватили раздумья: насколько же все-таки в последние дни осложнились обстоятельства, вызывая тревогу и

неуверенность! Племя араваков расколото на два лагеря, и еще неизвестно, какие вероломные планы вынашивают наши недоброжелатели; как меч над головой нависла опасность со стороны разъяренных испанцев, готовых в любую минуту, по любому поводу выместить на нас свою злобу; шаман Карапана, возможно, замышляющий новые против меня козни; вождь Конесо, неустойчивый и перепуганный, погрязший в предательских планах продать нас испанцам; наша шхуна — достаточно ли надежно она укрыта и сумеет ли Мигуэль отстоять ее в случае нападения; и, наконец, эта новая забота с пленными варраулами и предстоящая ночная операция, которая в случае провала чревата для нас чертовски опасными осложнениями.

Все нити этих запутанных дел сошлись в моих руках, переплелись, спутались, и, того гляди, какая-то из них лопнет первой и обрушится на нас несчастьем. Как же просто тут споткнуться и загреметь в пропасть! Голова шла кругом от всего этого, мысли путались, но я вновь обретал покой и уверенность, стоило лишь взглянуть на поляну перед хижиной: там стояли десять вооруженных воинов нашего рода, готовых на все, ждавших лишь приказа, непоколебимых и невозмутимых, а среди них верные мои друзья — Арнак и Вагура. «Посмотрим еще, кто победит!»

Затишье оказалось недолгим — не прошло и часа, как из рощи примчался индеец, стоявший там на часах.

— К нам направляются семь испанцев! — огорошил он нас известием. — Все вооружены с головы до ног!

— Ты уверен, что они идут к нам?

— К нам, к нам! Сейчас выйдут из рощи!

Воины восприняли это известие с достойным удивления спокойствием. Я поручил Арнаку и Вагуре держать свои отряды неподалеку от моей хижины, но на расстоянии один от другого, и внимательно следить за моими сигналами.

— А мне что делать? — спросил Арасибо.

— Ты пойди в хижину и стереги сложенное там оружие, заодно присматривай за Катави.

Из рощи действительно вскоре показались испанцы. Неторопливым, чинным шагом они направлялись к моей хижине, зная, видимо, ее по описаниям. Мушкетеры они держали в положении «на плечо», как солдаты на марше. Не доходя до меня шагов десять, они остановились, стукнули прикладами о землю. Старший, выйдя чуть вперед, обратился ко мне высокопарно, с подчеркнутым достоинством:

— Сеньор капитан! Дон Эстебан, наш полковник, почтительнейше просит господина капитана пожаловать к нему в гости.

День клонился к вечеру, до захода солнца оставалось не более часа. С наступлением темноты я предполагал сразу же двинуться к устью Итамаки. Таким образом, время для визитов сегодня было уже слишком позднее, тем более что неизвестно, насколько этот визит мог затянуться.

— Поблагодари, ваша честь, дона Эстебана за приглашение и передай, что я нанесу ему визит завтра.

— Он просит именно сегодня!

— А я прошу подождать до завтра.

Лицо испанца потемнело, а рука судорожно дернулась к поясу.

— Мне приказано, — объявил он более жестким, чем прежде, голосом, — со всеми надлежащими почестями сегодня же сопроводить сеньора капитана в наш лагерь.

— Значит, вы почетный эскорт? — оживился я.

— Так точно, эскорт.

К его удивлению, я весело рассмеялся.

— Но я не нуждаюсь в вашем! У меня есть свой собственный эскорт! Взгляните сюда, взгляните туда! — Я повел рукой по сторонам, указывая на отряды Арнака и Вагуры. Воины стояли в непринужденных позах, но ружья держали наготове и спокойно смотрели в нашу сторону.

Испанец понял красноречивый смысл их присутствия и выдавил на лице кислую улыбку.

— Не моя вина, — голос его звучал теперь более любезно, — что я не смог выполнить приказа!

— Нет, не ваша, — охотно согласился я.

Отсалютовав, он собрался было уходить, но я задержал его:

— После захода солнца посторонним возбраняется появляться на этой поляне. Поста́м строжайше предписано стрелять без предупреждения. Индейцам Серимы об этом известно. Да будет известно и вам, гостям.

— Слушаюсь, сеньор капитан!

Испанцы повернулись и пошли, но отнюдь не в сторону Серимы, а к реке, к тому месту, где до недавнего времени стояла наша шхуна. Значит, Конесо все-таки выдал им факт существования судна! По моему знаку отряды Арнака и Вагуры приблизились ко мне в тот момент, когда испанцы как раз возвращались от реки. Возвращались торопливо и крайне возбужденные.

— Там стоял испанский корабль! — воскликнул тот, что прежде разговаривал со мной. — Сеньор, где он теперь?

— Его нет, — ответил я сухо.

— Как это нет?

— Разве вы не видели? Впрочем, вы сильно ошибаетесь, полагая, что это испанский корабль. Это мой корабль!

— Но раньше он принадлежал испанцам!

— Раньше — да, теперь — нет!

— Сеньор! — вспыхнул испанец. — Мы пришли сюда не затем, чтобы вы шутили над нами шутки!

— А зачем, позвольте узнать? — скорчил я глупую мину, подняв брови.

— За кораблем. Верховный вождь разрешил нам взять его.

— Он не имеет на это права.

— Это нас не касается. Корабль наш! Где он находится?

— В безопасном месте.

— Где, каррамба?

Я рассмеялся ему прямо в лицо и ничего не ответил. Испанец близок был к взрыву бешенства, но сдержался, видя, что его постепенно окружают наши воины.

— Если это все, что вы имели мне сообщить, то можете идти, ваша милость, — проговорил я тоном приказа. — А дону Эстебану скажи, что завтра я нанесу ему визит.

Испанец пробормотал сквозь стиснутые зубы себе под нос какое-то грязное

ругательство, и они ушли, на этот раз действительно в сторону Серимы.

— И не забудь, — крикнул я ему вдогонку, — о порядке у нас после захода солнца! Шутить мы тогда не любим!..

Наши люди, в большинстве знавшие испанский язык, от души радовались тому заслуженному отпору, который я дал высокомерным испанцам.

Ночная операция

Солнце зашло, сумерки сгущались. Со стороны Серимы все было спокойно. Я взял Вагуру, отобрал трех лучших воинов, и всемером, с Арипаем и Катави, мы, не мешкая более, двинулись в путь. Арнак остался охранять хижины и запасы оружия, которое он перенес в специальное укрытие. Поскольку все события предстояли ночью, в ружьях и луках нужды не было, но я все-таки, кроме пистолетов, ножей и коротких палиц, велел прихватить с собой еще и четыре лука с изрядным запасом стрел.

Сколько дней не выходил я уже в лес, и вот теперь, когда на меня вновь повеяло его ароматом, когда со всех сторон окружили таинственные шорохи и стрекотание цикад, а мокрые ветви на узкой тропинке хлестали по лицу, я ощутил прилив радости и бодрости. Катави хорошо знал дорогу и уверенно шел впереди, а мы, словно тени, скользили за ним.

Часа через два ходьбы рыбак дал знак, что мы подходим к острову. Слева сквозь прибрежную растительность светлела полоса воды. Внезапно перед нами на тропинке выросла фигура. Раздался условный сигнал — это был сын Катави. С полудня, после ухода отца, он наблюдал за островом. За это время в лагере ничто не изменилось. Днем, правда, стражники выводили пленников ненадолго в кусты, но потом опять загнали их в лодку и, проверив путы на руках, вдобавок связали им еще и ноги.

Остров, по описанию Катави, саженой сто с лишним в длину и всего шагов восемьдесят в ширину, тянулся параллельно берегу, отделенный от него не очень широким, но глубоким рукавом. Представляя собой песчаную отмель, он с течением лет покрылся всяческой растительностью и даже деревьями.

Испанцы разбили свой лагерь у самой воды, напротив берега, и, укрытые со стороны основного русла Итамаки этим леском, были уверены, что никто с реки их не увидит. Костров они не разжигали, опасаясь выдать свое присутствие. Охрану постоянно несли двое: испанец и индеец. Так было и нынешней ночью, насколько мог заметить сын Катави в вечерних сумерках. Пока двое караулили пленников, стоя на берегу реки, их сменщики спали на носу лодки, в которой была сложена провизия.

Поначалу я хотел подплыть к пленникам и, перерезав путы одному, подбросить им ножи и дубины, чтобы они потом уж сами, без нас освободились и расправились со стражей, но, не будучи уверен в их смелости и боевитости, отказался от этого плана и решил провести всю операцию своими силами.

Две небольшие свои лодки рыбак укрывал в прибрежных зарослях несколько выше острова. Мы нашли их в полной сохранности и тихо спустили на воду. Я дал своим спутникам последние наставления, еще раз напомнив, что действовать надо крайне осторожно: испанцы ни на острове, ни в Сериме не должны узнать, кто освободил варраулов.

— Ты говоришь, и на острове тоже? — прошептал Вагура. — Значит, мы не будем их убивать?

— Ты же знаешь, я не люблю убивать без необходимости.

— Но здесь есть необходимость!

— Не думаю! Противников всего четверо. Нас пятеро, а с Арипаем шестеро. Мы подкрадемся и нападём внезапно, оглушив их дубинами. Ну если кому-нибудь и разобьем голову, что ж, жаль, конечно! Но надо бить так, чтобы только оглушить противника, слышишь?!

— Мы их свяжем?

— Конечно! Свяжем, а головы чем-нибудь замотаем, чтобы они ничего не слышали и не видели. Впрочем, возможно, они и не успеют прийти в себя, пока мы не покинем остров.

Мы отплыли от берега. В первой лодке — я, Катави с сыном и один воин, во второй, плывущей вслед за нами, — Вагура и все остальные. Течение подхватило нас и быстро понесло вниз по реке. Небольшие, сделанные из коры лодки едва нас выдерживали.

Спустя какую-нибудь минуту над водой впереди замаячили темные контуры: это был остров. Стараясь не попасть в протоку, мы огибали мыс острова, придерживаясь главного русла реки, и высадились несколькими саженями ниже, оказавшись на острове со стороны, противоположной берегу. Испанцы располагались, как уверял Катави, всего в шестидесяти-семидесяти шагах от нас, и достаточно пробраться сквозь заросли посередине острова, чтобы оказаться в их лагере.

Каждый из нас точно знал возложенную на него задачу, и мы, не мешкая более, стали пробираться сквозь заросли. Они были не особенно густыми, так что, соблюдая осторожность, мы двигались почти бесшумно. Внезапно кусты перед нами оборвались, словно срезанные, и мы оказались на опушке. Дальше, до самой воды, шагов на пятнадцать светлел только песок.

Лагерь испанцев я увидел чуть ниже; в длинном темном предмете, лежавшем на песке, без труда угадывалась одна из лодок, вытасченная на берег, другая покачивалась на воде.

— В лодке на берегу, — шепотом проговорил Катави мне на ухо, — лежат связанные пленники... Видишь, там караульный... их сторожит...

Действительно, впереди темнела фигура человека, сидевшего на борту лодки. Это, конечно, был один из стражников. Он не двигался.

Но где же второй?

— Ты говорил, они караулят по двое, — встревожился я.

— Да, так оно и есть!

— Но второго что-то не видно!

Катави с сыном посоветовались, но отсутствия второго стражника объяснить не смогли.

— Может, он спит?

— А вы точно знаете, что двое других спят во второй лодке?

— Точно! — ответил сын рыбака. — Они спят на носу лодки, а нос повернут в нашу сторону.

— Ты слышишь, Вагура?

— Слышу...

Скрываясь в тени зарослей, можно было подобраться к лодкам еще шагов на двадцать, но потом предстояло преодолеть открытую песчаную полосу между кустами и водой. Эти два десятка шагов таили в себе опасность. Надо было свести ее к минимуму, да заодно и выяснить, где скрывается второй

стражник. Я решил прибегнуть к уловке, знакомой мне еще со времен жизни в вирджинских лесах: вызвать ложную тревогу. Камней, больших и маленьких, здесь было предостаточно. Сказав Катави и его сыну, когда и как они должны бросать их в воду, я взялся за дело.

Было достаточно темно, чтобы прокрасться по берегу вдоль зарослей, не углубляясь в них. Мы шли по песку осторожно, стараясь не скрипеть, и быстро добрались до места напротив лодки с пленниками. Здесь я остался с одним из воинов. Воин этот, Кокуй, слыл одним из самых сильных мужчин нашего рода. Вагура и три его товарища прошли чуть дальше, ко второй лодке.

В стороне от нас, посреди канала, раздался всплеск — это Катави бросил камень. Однако стражник даже не шелохнулся. Дремал он, что ли, сидя на борту лодки? Второй и третий камни шлепнулись с еще более громким плеском. Странные эти звуки создавали впечатление, будто в воде резвились какие-то рептилии.

Ага, наконец-то! Стражник подал признаки жизни. Он встал, потянулся. Таинственные звуки привлекли его внимание, и он стал внимательно всматриваться в темную гладь реки. Услышав новые всплески, он явно встревожился и приглушенным голосом окликнул:

— Сеньор Фернандо! Сеньор Фернандо!

Человек, прежде невидимый, ибо лежал на песке у борта лодки, проснулся и вскочил на ноги.

— Que cosa? Что случилось? — спросил он испуганным голосом.

Это был испанец, а стоявший на страже — индеец.

Я подтолкнул Кокуя в бок и жестом дал понять, что беру на себя испанца, а он — второго...

Мы отделились от стены зарослей. Несколько быстрых осторожных скачков по песку. В реке снова раздался всплеск, к тому же изрядный концерт задавали лягушки и цикады. К лодке нам удалось подскочить незамеченными. Палицы наши почти одновременно обрушились на головы обоих, и стражники как подкошенные рухнули на землю, не издав ни звука. Шум ударов послужил сигналом для Вагуры.

Я бросился ко второй лодке, но моя помощь здесь оказалась ненужной — мои друзья справились уже сами. Спавшие стражники не успели даже проснуться, так внезапно обрушились на них удары. Мы быстро связали всех четверых по рукам и ногам и оттащили в заросли, в глубину острова, а испанцам натянули на головы их собственные рубашки. У индейцев рубашек не было.

Освобождение варраулов заняло у нас не более минуты. Они пытались что-то нам рассказать, объяснить, но мы резко их одернули, приказав молчать, затем общими усилиями столкнули итаубы на воду и рассадили гребцов по лодкам. Весел, к счастью, хватило на всех.

Катави знал поблизости небольшой заливчик, которого не отыскал бы и сам дьявол. Узкий вход в него настолько густо зарос травой и кустами, что мы едва сквозь них продрались, но зато, попав в залив, оказались в полной безопасности. Обследовав здесь спокойно содержимое нагруженной лодки, мы убедились, что в ней действительно запасы продовольствия: кукуруза, корни маниоки, вяленая рыба и сушеное мясо. Нас порадовала богатая добыча, дававшая нам на время независимость от помощи племени, но еще более цеп-

ным для меня оказались два обнаруженных бочонка пороха и порядочных размеров мешок с пулями.

Варраулы подтвердили наши предположения. Они действительно оказались родом из Каиивы, селения главного вождя Оронапи, нашего союзника и друга. Испанцы прибыли к ним несколько дней назад за данью. Поскольку выкуп их не удовлетворил, они вероломно напали на окраины Каиивы и захватили всех мужчин, каких удалось застать врасплох. После этого они сразу же пустились в обратный путь, а поскольку были хорошо вооружены, Оронапи не решился их преследовать.

Пленники хорошо знали, что ждет их в Ангостуре, и были крайне нам благодарны за освобождение. Выделив для них запас провизии на один день, я посоветовал им побыстрее возвращаться в Каииву на той же лодке, на которой их везли испанцы, а в будущем получше заботиться о своей шкуре.

— Огнестрельного оружия, захваченного у испанцев, я вам не дам, — сказал я им на прощание, — поскольку вы все равно не умеете с ним обращаться. Возьмите луки и палицы, отобранные у ваших стражников, а для охоты в пути я дам вам еще четыре лука и стрелы.

Тем временем варраулы, сгрудившись, о чем-то оживленно между собой шептались.

— В чем там у них дело? — спросил я Арипая.

Арипай не расслышал, но из толпы варраулов тут же выступил молодой и сильный, насколько можно было определить в темноте, воин и смело обратился ко мне:

— Белый Ягуар, меня зовут Мендука и все уважают за храбрость. Ты спас нас от рабства и позора. Сейчас здесь, у наших друзей, испанцы. Они нападут на них, как напали на нас. Мы обязаны тебе помочь. Я не хочу возвращаться в Каииву. Я останусь тут и буду сражаться. Дай мне оружие и приказывай, что надо делать. Я с тобой, Белый Ягуар!

— И я... И я!.. — раздался голоса.

Взволнованный и, признаюсь, приятно удивленный такой неожиданной готовностью, я вопросительно взглянул на Вагуру:

— Возьмем их?

— А почему бы нет? Возьмем!

— А с оружием как быть? С луками и стрелами?

— Найдутся и для них.

— Хорошо! — обратился я к Мендуке. — Я охотно принимаю вашу помощь. Сколько вас?

Добровольцев оказалось одиннадцать, и все они рвались в бой с испанцами, чтобы отомстить за нанесенную обиду.

— Я принимаю вас, — повторил я, — но при одном условии — вы будете выполнять все мои приказы. Переводчик у нас — Арипай.

Сразу после того, как прочие варраулы двинулись в свою родную деревню, отправились в обратный путь и мы, оставив одного воина и сына Арипая охранять лодку с провизией и боеприпасами.

Полный успех ночной операции — противник не смог даже узнать, кто на него напал, — привел нас в отличное расположение духа, и, когда около полуночи мы вернулись в наши хижины, в глазах у нас светилось торжество. Арнак ждал нас и тотчас заметил наше приподнятое настроение.

— Мы привели союзников, — торжествовал Вагура. — Одиннадцать варраулов хотят сражаться вместе с нами.

— Это правда, — подтвердил я. — Они у опушки леса! Займись ими! Пусть переночуют в какой-нибудь дальней хижине. А утром выдели им продукты и оружие: лишние луки, палицы, копья, дай несколько ножей, и пусть они ждут дальнейших указаний...

Позже, когда Вагура рассказал Арнаку о событиях ночи, юноша несколько встревожился:

— Вы оставили связанных стражников на острове? Они там погибнут!

— Не волнуйся! — успокоил я его. — Испанцы легко найдут их, когда вернутся из Серимы на остров...

Не спала и поджидала нас еще одна, кроме Арнака, преданная душа — Ласана. Она принесла из своей хижины горячий ужин — вареные плоды пальмы бурити — и стала нас кормить.

Предательство вождя Конесо

Остаток ночи я проспал крепким, здоровым сном. Но утром, когда взошло солнце, а я, разоспавшись, все еще валялся на ложе, меня стали мучить кошмары, и чем дальше, тем сильнее — словно предусмотрительная природа, предостерегая, не давала мне спать в обманчивом состоянии полной безопасности. Наступал день тяжелых испытаний и решающей стычки с противником, с жестоким противником, как об этом свидетельствовали события последней ночи. Как же можно в такой день спать спокойно?

И все же разбудили меня не кошмары, а настойчивый, встревоженный голос:

— Белый Ягуар! Белый Ягуар!

Открыв глаза, я увидел над собой Арипая. Выражение его лица тотчас разогнало мой сон.

— Арипай, это ты? — вскочил я. — Что случилось?

— Плохо, господин...

Я сразу понял, что плохо: вчера еще он обращался ко мне доверительно, а теперь я стал вдруг господином.

— Так что же все-таки случилось, приятель? Говори же, черт побери!

— Измена, господин! — прошептал он. — Затеваается измена. Я убежал из Серимы...

— Что? — встревожился я не на шутку.

— Конесо готовит измену!

— Конесо? Вот черт! Что же он сделал?

— Пока ничего, но замышляет! Он хочет отдать нас испанцам!

— Вас? Кого вас?

— Всех, кто собирался уйти из Серимы вместе с твоим родом после смерти Канахоло...

— Ага, значит, тут, видно, заметан и шаман.

— Не знаю, господин, этого я не знаю! Защити нас, Белый Ягуар, мы не хотим идти в рабство к испанцам!

— Хорошо, Арипай, оставайся здесь... Сколько человек Конесо хочет отдать испанцам, ты не знаешь?

— Много, Белый Ягуар! Всех, кто ему не предан. Я слышал — пять раз по десять, а может, и больше...

— Вместе с семьями?

— Нет, только мужчин. Испанцам женщины не нужны.

— Этих людей уже схватили?

— Пока нет. Многие вместе с семьями заранее убежали и спрятались в лесу. Несколько семей прибежали сюда, к тебе. Моя жена и дети тоже... Но убежать удалось не всем. Те, что остались, не могут уже спастись — их окружили испанцы и индейцы чаима, а к ним присоединились и многие люди Конесо. Конесо пока молчит, но мы знаем, чем это кончится.

— А люди, которых окружили, знают, что ждет их у испанцев?

— Да, знают.

— Значит, они сопротивляются?

Арипай заколебался, нахмурился.

— Против них большая сила! — ответил он неуверенно. — Подумай сам, господин: двенадцать испанцев с мушкетами, индейцы чаима и люди Конесо... Разве с ними можно справиться?

— Неужели все люди Конесо — предатели и готовы отдать своих братьев в испанское рабство?

— Не знаю, господин, все или не все, но этим они хотят купить свою собственную свободу. Каждый дрожит за свою шкуру...

Это были горькие слова, слова жалкие и позорные. Я ощутил полную растерянность. Ведь араваков нельзя назвать ни трусами, ни мерзавцами. Сердцам их чуждо предательство, им можно доверять. В этом я убеждался на каждом шагу. И если среди них оказались люди, способные на такую подлость, чтобы за счет несчастья своих ближних обеспечить свой собственный покой, то, безусловно, вина за это полностью ложилась на растленных старейшин племени. Безвольный и слабодушный Конесо, преступный безумец Карапана, брат Манаури. Пирокай — такие люди скверно влияли на свое окружение. «И такие люди не зря опасались нашего прибытия в селение, нет, не зря!» — размышлял я с чувством растущего гнева.

В хижину ко мне вошли Арнак и Вагура. По их молчанию я понял: слова Арипая — правда, люди Конесо готовят измену.

— Ведь через год испанцы снова вернутся сюда, — возмутился я, — и тогда заберут их самих!

Арипай пожал плечами.

— Что делать, господин?

— А как ты думаешь, Арипай, если наш род выступит против испанцев, что будет?

У индейца вспыхнули глаза.

— Ты победишь, господин! Белый Ягуар непобедим!

— Не о том речь! — пояснил я. — Что будет: люди, которых Конесо решил отдать испанцам в рабство, возьмутся за оружие и окажут сопротивление врагам?

— Окажут, господин! Окажут, — горячо заверил меня Арипай.

— А вы? — обратился я к юным своим друзьям. — Что думаете об этом вы?

— Если у них не отберут прежде оружия, а мы начнем, то и они, наверное, не останутся в стороне, — осторожно ответил Арнак.

— Да, если у них не отберут оружия! — повторил вслед за ним Вагура.

— А такая опасность есть? — спросил я. — Что слышно от Манаури? Гонец

от него еще не прибыл?

— Только что явился. Его едва выпустили из Серимы, он еле вырвался. Все, что говорит Арипай, подтверждается. Надо действовать, Ян, без промедления!

— Как там варраулы?

— Они получили оружие и сидят в пустой хижине, ждут твоего приказа.

— Пусть и дальше сидят тихо! А наши воины готовы?

— В полной боевой готовности.

Мы вышли из хижины. Перед ней собрались все. Лица суровы, в глазах бесстрашие, губы стиснуты, вид решительный и воинственный. Отряд, с ног до головы вооруженный не только мушкетами, пистолетами и ножами, но и луками, палицами и копьями, — настоящий военный отряд — выглядел довольно представительно, внушал почтение и уважение. При виде его на лице у меня появилось, вероятно, довольное выражение, ибо и воины, заметив мое появление, разразились приветственными кликами. Но, бог мой, сколько всего воинов?! Жалкая горстка!

— Здесь все? — спросил я Арнака.

— Все, — ответил юноша и, угадав мое беспокойство, пояснил: — Еще пятеро наших — негры — на шхуне...

Жаль, что я отослал их всех. Там хватило бы и двух.

— Может быть, их вернуть?

— А кого за ними послать?

— Арасибо.

— Нет, Арасибо нужен здесь, он хорошо владеет огнестрельным оружием...

— Тогда Арипая?

— Хорошо, пошли Арипая! Пусть Мигуэль и еще двое с ним вернуться сюда!

— Манаури в Сериме, — продолжал считать Арнак, — один воин сторожит лодку с провизией в устье Итамаки. Двое наших сразу после прибытия в Сериму перешли на сторону Конесо. Поначалу нас было двадцать один, без тебя. Вычешь девять, остается двенадцать. Здесь десять. Вагура одиннадцатый, я двенадцатый...

Двенадцать. Черт возьми, маловато! Со мной тринадцать, а задача перед нами трудная! Испанцев, злобных и решительных, двенадцать, да еще под их началом пятьдесят воинов-индейцев. К тому же лагерь наш разрознен, племя охвачено ссорами, брат готов вцепиться в горло брату — как же с такой горсткой людей противостоять грозному противнику?

При безутешных этих мыслях во мне поднимался гнев против шамана и верховного вождя. Жалкие глупцы объявили мне войну, подбрасывают ядовитых змей, довели меня до тяжелой болезни, а проблемы жизни и смерти племени, важнейшие проблемы предали забвению. Где-то там, на юге, зрела опасность нашествия акавов, и вот появления испанцев оказалось достаточно, чтобы с полной очевидностью выявить всю досадную слабость нашей обороны.

— Арнак, — обратился я к юноше, — сколько у нас в запасе огнестрельного оружия?

— Почти тридцать ружей и двадцать пистолетов.

— Если нам удастся уцелеть в этой истории с испанцами, — а это вилами на воде писано, — надо будет срочно обучить еще группу воинов.

— В нашем роду нет больше мужчин.

— Зато у нас есть друзья в Сериме. Пригласим их к нам в род, не считаясь с Конесо. А теперь пойдем к ним и посмотрим, так ли уж страшен черт, как его малюют...

Прежде чем отправиться в путь, я искупался в реке, тщательно побрился и велел подстричь себе волосы, а затем облачился в начищенный Ласаной капитанский мундир. Теперь я уже не клял ни грубое сукно, ни тяжелые башмаки: приходилось терпеть ради достойной случая представительности. Выглядел я, кажется, и впрямь богато; во всяком случае, так говорили, прищелкивая языками, мои друзья, а у Ласаны глаза увлажнились от восторга.

Арнака, Вагуру, Арасибо, воина Кокуя и Ласану я пригласил в хижину, чтобы доверительно отдать им последние указания:

— У нас, к сожалению, мало воинов, а испанцы и их союзники — сила внушительная. Надо их обмануть, создав впечатление, что нас значительно больше. Оружия у нас достаточно. Сделаем так. Ты, Арасибо, ты, Кокуй, и ты, Ласана, возьмите по шесть, а то и по семь ружей — Ласана возьмет только охотничьи ружья, которые полегче, — зарядите их холостыми зарядами и встаньте вдоль опушки леса, окружающего Сериму, на расстоянии друг от друга. По моему сигналу — какой будет сигнал, мы еще договоримся — каждый быстро начнет стрелять из всех своих ружей по порядку, чтобы испанцы думали, будто в лесу находятся целые вооруженные отряды. Потом вы быстро перебежите на другие места вдоль опушки, зарядите ружья и снова будете ждать моего сигнала. Во второй раз ружья зарядите по-настоящему, пулями...

— А мы? — вмешался Вагура. — Арнак и я, что будем делать мы?

— Вы со всеми воинами пойдете в Сериму в качестве моего эскорта...

Уточнив детали и сигналы, мы двинулись навстречу решающим событиям.

Было душно. Небо затянули низко нависшие опаловые облака ослепительной белизны. Солнце не проникало сквозь них, зато из этого туманного свода над нами, словно из раскаленной печи, на землю дышало невыносимым зноем. Входя в лес, отделявший нашу поляну от Серимы, я бросил взгляд назад, на хижины. За последние недели они стали для меня родными и близкими. Их мирного покоя и счастья я не позволю нарушить ненавистным захватчикам!

Проходя через лес, я указал на опушке позицию Ласаны, сопровождавшей нас до этого места с Арасибо и Кокуем. Им тоже предстояло укрыться здесь, но Арасибо на пятьсот шагов дальше, а Кокуя на тысячу шагов — так, чтобы цепь их как бы полукругом охватывала Сериму.

Я не переставал дивиться спокойствию и хладнокровию Ласаны. Мужественная женщина владела собой не хуже опытного воина. В глазах ее я читал безграничное доверие ко мне.

— Я не обману тебя, Чарующая Пальма! — улыбнулся я.

— Я знаю! — ответила она серьезно, без тени улыбки.

Не слишком ли много я обещал?

В Сериме творилось что-то неладное. Это заметно было издалека. Испанцы и индейцы чаима с оружием в руках рыскали среди хижин. Крики мужчин, плач детей, вопли женщин мешались с резкими словами команд, явственно доносившихся до нас. Испанцы на выбор вытаскивали людей из шалашей и стогнали их на центральную поляну Серимы. Большинство араваков взирало на это молча, опустив руки, ничего не предпринимая для защиты несчастных.

— Кажется, уже началось! — с горькой усмешкой взглянул я на своих спут-

ников. — Друзья! Кто не переносит запаха крови, пусть лучше сразу уйдет в лес помогать там Ласане. Ну! Здесь будет жарко.

— Белый Ягуар! Ты шутишь! — обиженно проговорил Арнак.

— Мы выдержим любую жару! — выкрикнул кто-то из отряда.

— Веди нас, Ян! Нам не страшны испанцы, здесь наша земля! — добавил другой.

— Я горжусь вами, друзья! Но не забывайте: глаза и уши держать открытыми, следите за тем, что делаю я...

Четыре выстрела в Сериме

Едва в Сериме нас заметили, крики тут же стихли, и люди застыли как вкопанные. Все взгляды были обращены к нам. Замерли даже испанцы, вытаращив на нас глаза. Над селением повисла гробовая, тревожная тишина. Несколько сот людей оцепенели в напряженном ожидании новых, необычных событий.

Не обращая внимания на всеобщее изумление, мы не торопясь шли вперед. Под обширным тольдо, навесом без стен, под которым несколько недель назад Конесо приветствовал наше прибытие в Сериму, сейчас стояли старейшины племени и испанский офицер. Мы направились к ним. Вагура во главе девяти воинов остановился в отдалении от тольдо, держа в поле зрения и группу старейшин, и всю площадь до самого берега реки, а Арнак и один из воинов шествовали сзади, прикрывая меня на случай неожиданного нападения.

Когда я приблизился к тольдо на расстояние выстрела из лука, предводитель испанцев вышел мне навстречу и, церемонно поклонившись, еще издали рассыпался в любезностях:

— Позволь мне, о благородный кабальеро, с должным восхищением приветствовать пришельца, что, не страшась, явился сюда, в этот пустынный край, и чело которого увенчано ореолом славы, славы завидной и... грозной!

Столь нежданно учтивые слова, произнесенные к тому же сердечным тоном, до такой степени поразили меня, что на мгновение я буквально онемел. Но, тут же взяв себя в руки, так же учтиво, как и он, отвесил низкий поклон и ответил:

— Почтительнейше приветствую вашу милость. И мне доставляет удовольствие в этой дикой глухомани иметь честь встретить мужа столь учтливому. Однако ж позволь в ответ на твои проникновенные слова заметить, что попал я в эти края не по доброй воле и не по своей воле обрел ту славу, что ваша милость назвал грозной.

Я произнес эти слова по-испански с ошибками и не столь изысканно, как мне бы хотелось, но дон Эстебан прекрасно меня понял и тут же живо возразил:

— Мне ведомо о выпавших на долю вашей милости испытаниях и злоключениях, и знаю я — не по твоей вине пути испанцев и твои пересекались в недобрый час, родив события печальные, не вполне сообразные с поведением людей доброй воли.

Рассыпаясь в таких любезностях, мы приблизились друг к другу и обменялись рукопожатием. Испанцу было, вероятно, лет тридцать пять. Лицо его так и сияло благожелательностью, а рот уж и вовсе растянулся в широчайшей улыбке. Однако, внимательней присмотревшись к нему, я невольно изумился: глаза его оставались холодными и никак не вязались с любезностью слов и

сладостью улыбок. Казалось, они принадлежали совсем другому человеку, и странно-ледяной его взгляд поражал какой-то жуткой жестокостью. Одним словом, глаза выражали нечто совсем иное, чем губы, но что из них выражало подлинные чувства?

Я даже испугался, что так легкомысленно готов был поначалу поверить красивой лжи и клюнул на удочку медоточивых речей. «Уж не волк ли это в овечьей шкуре? — подумалось мне. — А если волк, то глаза явно выдают его истинную натуру».

— Слово чести, я ждал вашу милость, как нетерпеливый влюбленный, — продолжал испанец, улыбаясь и вежливо беря меня под руку. — Мне нужна ваша помощь, без нее дело не двигается с места... Конесо — бессовестный мерзавец, грязный пройдоха и паршивая собака! Дон Хуан согласен со мною?

— Абсолютно.

— Я сразу понял, что мы с вами поладим.

— На мир и лад, сеньор, я всегда готов. Но какой лад ваша милость имеет в виду? — спросил я с невинной миной на лице, слегка приподняв брови.

— Конесо и его люди не хотят выполнять взятых на себя обязательств и крутят хвостами, мошенники! Мало того, что они не собираются выплачивать своих долгов, они еще, канальи, погрязнув в невежестве, не хотят ценить тех великих благ, какие несем мы этим дикарям, и, о неблагодарные, еще сопротивляются!

— Возможно ли? Не хотят благ?

— Вот именно. Племя должно выделить пятьдесят молодых мужчин, которым мы хотим показать в Ангостуре, что есть усердный труд на полях, и научить их правильно обрабатывать землю. Через два года они вернутся сюда и, со знанием дела работая для себя и для племени, приумножат всеобщий достаток и благоденствие.

Сколь красиво звучало это в устах испанцев, и сколь же иначе все выглядело на самом деле! Индейцы слишком хорошо знали, что такое «усердный труд» на испанских гасиендах, во что обернутся эти два года, и не давали себя обмануть.

— Выделить вам пятьдесят молодых мужчин? — присвистнул я от удивления. — А вернувшись из Ангостуры, они сделают араваков самым образцовым и самым счастливым племенем в Венесуэле?

Испанец, внимательно вглядываясь в мое лицо, пытался прочитать, что на нем написано, но, не обнаружив ничего подозрительного, улыбнулся глазами. Впервые в глазах его мелькнули проблески жизни — вот чудеса! Но это была дьявольская улыбка глаз, чуть заносчивая, чуть издевательская и презрительная. Дон Эстебан, видимо, не уловил моей иронии.

— Все верно, сеньор кабальеро, ты все понял правильно, — подтвердил он с оттенком высокомерия, тоном, каким обращаются порой к скудоумному простаку, — все верно, но лишь отчасти. Араваки действительно станут образцовым и счастливым племенем после возвращения этих пятидесяти человек, но в Венесуэле есть и другие племена, более счастливые, уже познавшие прелесть нашей цивилизации.

— О, и впрямь позавидуешь этим племенам! — воскликнул я.

Испанец отпрянул, ибо я выкрикнул это гораздо громче, чем того требовало выражение простого удивления. Двусмысленность моих слов и выражение

лица он приписал тому, что я, как иностранец, неправильно выразился, плохо владея испанским языком.

Сделав широкий жест рукой, дон Эстебан проговорил:

— Я знаю, вы прибыли сюда ненадолго, и знаю также, что, несмотря на это, вы пользуетесь у араваков большим почетом. Не у всех, правда, но у тех, что пришли с вашей милостью и признали вас своим вождем. Конесо подговаривал меня взять в Ангостуру ваших индейцев и негров, но я не стану этого делать, ибо они только что прибыли сюда и ничего в долг у меня не брали, а брали люди Конесо. Теперь же, когда пришло время отдавать людей, Конесо юлит и уверяет меня, что людей у него нет, а те, кого он хотел мне отдать, будто бы убежали в лес. Я знаю, часть действительно убежала, но многие еще остались. Поэтому я прошу, ваша милость, заставь глупых понять свое благо и добром отправляться в Ангостуру. А если Конесо не выдаст мне всех пятьдесят человек, передай ему от меня, я сдеру с него шкуру.

— А что это за люди там стоят? — спросил я, указывая на группу араваков, окруженных неподалеку от нас охраной из числа индейцев чаима. — Чего они ждут?

— Они пойдут с нами. Но их только двадцать три, а мне нужно пятьдесят.

— Что-то они очень уж невеселы.

— Потому что глупы! Не знают, что их ждет...

— А может, слишком хорошо... знают?!

Я произнес эти слова медленно, чуть ли не безразлично, но дон Эстебан снова устремил на меня острый взгляд, настороженный и, как вначале, невыразимо холодный. Он подошел ко мне вплотную. У него были черные нависшие брови, длинные густые ресницы, серые, как свинец, глаза, что придавало его лицу твердое, стальное выражение. Губы его перестали улыбаться и сжались в жесткую складку.

— Сеньор кавалер! — произнес он злобно, чуть ли не дыша мне прямо в лицо. — Сеньор кавалер, надеюсь, ваша милость хорошо слышал и оценил значение того, что я только что сказал.

— Я не совсем понимаю, о чем идет речь. Прошу повторить.

— Я заверил вашу милость, что пощажу ваших людей и не трону их.

— Ах так! Спасибо за доброту, дон Эстебан.

— Но я иду на это с расчетом, что в интересах сеньора помочь мне собрать пятьдесят человек.

— А если и я, подобно аравакам, не сумею оценить своего блага, так ли уж тяжек будет мой грех?

— Теперь я не понимаю, ваша милость! Говори ясней!

— Если я не помогу вашей милости?

Дон Эстебан прищурил глаза, словно целился в меня из невидимого ружья.

— Не думай, сударь, что и прежде я не замечал твоих шуточек! Теперь же ты явно издеваешься! Ладно, тогда шутки в сторону! Если ты не сделаешь того, о чем тебя просят, может случиться, я вспомню, что советовал мне Конесо относительно твоих людей.

— Это угроза?

— Как угодно, сударь, возможно, и угроза!

Изобразив на лице крайний испуг, я покачал головой... и разразился громким смехом.

— Пусть сударь соблаговолит простить меня за дурные манеры, но в голову мне пришла забавная мысль: а что, если и мои люди сбегут в лес, как и прочие, что тогда?

— А разве ты не в моих руках как заложник?

— А если и я убегу?

— Ничего не выйдет, ваша милость: мои люди знают дело и отлично стреляют.

— Позволь, сеньор, обратить внимание твоей милости на то, что и у моих людей есть ружья.

Дон Эстебан пренебрежительно пожал плечами.

— Ха, индейцы — скверные стрелки!

— А может быть, не все!

Мы продолжали стоять — слишком уж долго! — на том же месте, где обменялись рукопожатием, в десятке шагов от главного тольдо. Под этим просторным навесом, ожидая нас, сидел на табурете Конесо, рядом с ним стоял Манаури, как переводчик, и тут же вожди Пирокай и Фуюди, а за ними несколько лучших воинов при оружии. Шамана Карапаны видно не было.

— Прежде чем ответить вашей милости, — обратился я к испанцу, вновь становясь серьезным, — прежде чем произнести свое последнее слово относительно позиции, какую я займу по поводу сделанного предложения, позволь мне сначала поговорить с людьми, отобранными в Ангостуру, и разобраться в обстановке.

Дон Эстебан с минуту колебался, но, заметив мою усмешку и не желая показаться трусом, поспешил согласиться:

— Пожалуйста...

Я подозвал к себе Манаури и, направляясь к группе пленников, попросил его коротко рассказать, что здесь происходило до моего прихода. Вождь подтвердил все, что я уже знал от Арипая и дона Эстебана. Когда он закончил, я переспросил:

— Эти двадцать три человека под охраной действительно все наши сторонники, от которых Конесо хочет избавиться?

— Все, как один.

— Ни одного из своих Конесо не дал?

— Ни одного.

— Вот дрянь!.. А те шесть воинов, что стоят с оружием за спиной Пирокай и Фуюди, кто они?

— Охрана верховного вождя. Трое из них — сыновья Конесо, один — мой племянник, сын Пирокай, два других — братья Фуюди: сплошь близкие родственники.

— Поглядывай за ними, как бы они не пустили предательской стрелы. А пока иди к Вагуре, возьми мой мушкет и сразу же возвращайся! Мушкет заряжен картечью. Потом пойдем вместе к пленникам...

— А дон Эстебан разрешит?

— Уже разрешил.

— Глупец!

— Нет, не глупец; слишком самоуверен и хвастлив.

— Будем драться, Ян?

— Пока не знаю. Может, удастся избежать...

Едва Манаури вернулся, мы тут же направились к несчастным, окруженным стражей. Они стояли посреди поляны, сбившись в жалкую беспомощную кучку, теснимую со всех сторон индейцами чаима. Чаима выглядели воинственно. Это были воины-карибы, жившие на льянос[7] к северу от Ориноко. На груди у каждого висел латунный крестик вместо обычных талисманов — они и впрямь были христианами.

Пленники, заметив, что я направляюсь к ним, подняли головы и оживились, словно стряхнув с себя оцепенение. В глазах у них вспыхнули проблески надежды.

— Вы по доброй воле идете с испанцами? — спросил я у них.

Вопрос прозвучал чуть ли не как оскорбление или насмешка: все бурно запротестовали.

— А если так, то отчего вы не убежали, отчего не защищались?

Один из пленников постарше, лет тридцати, ответил:

— Мы не могли, господин, они напали на нас неожиданно. Некоторым удалось, а нам нет.

— Я хочу вас спасти! Но если я вступлю с испанцами в бой, вы нам поможете?

Они сразу же ожили, прежней угнетенности как не бывало. Обеспокоенные чаима подступили к нам ближе, схватившись за оружие.

В это время Арнак шепнул мне, что от главного тольдо к нам направляется сын Конесо.

— Его послали за нами следить, — проговорил я. — Лучше им не знать, о чем мы говорим. Иди, Арнак, ему навстречу и во что бы то ни стало верни назад.

— А если он не послушает?

— Сделай так, чтобы послушал! До кровопролития не доводи, понятно?

— Еще какой-то испанец идет! Его послал дон Эстебан.

— Этот, наверно, не понимает по-аравакски...

Я снова повернулся к пленникам.

— Если дело дойдет до драки, — продолжал мой собеседник, — мы поможем, конечно! Но не знаем, как это сделать.

— Напасть на охрану.

— С голыми руками?

— Начнется переполох. Люди Вагуры подбросят вам палицы и копья, но больше рассчитывайте на себя и на внезапность. А мы вас поддержим огнем из ружей.

— Хорошо, господин, мы все сделаем!

— Теперь выбирайте из своих двух или трех человек, которых сейчас позовут на совет под главный тольдо.

— Хорошо, господин!

— Еще одно: если мы освободим вас от испанцев, что вы станете делать? Останетесь в Сериме?

— Никогда! Ни за что! — раздались со всех сторон возбужденные голоса.

— Ведь Конесо нас предал! Мы не хотим оставаться у него!

— Значит, пойдете с нашим родом?

— Куда прикажешь, господин!

Арнак не подпустил к нам сына Конесо и спорил с ним на полдороге; впро-

чем, теперь это было уже неважно: мы возвращались к тольдо. Но вдруг на площади послышался какой-то шум. Я обернулся.

Несколько испанских солдат приблизились к отряду Вагуры и стали подтрунивать над нашими воинами. Араваки понимали испанский — еще бы, пробыть столько в неволе, — но, не отвечая на насмешки, держались со спокойным достоинством. Главной мишенью насмешек солдаты избрали ружья, которыми были вооружены наши воины, и, подсмеиваясь, выражали сомнение, заряжены ли ружья вообще. Один испанец, совсем обнаглев, решил вырвать мушкет из рук у Вагуры, чтобы посмотреть, есть ли на полке порох, и схватился обеими руками за ствол. Вагура не дал ему ружья. Завязалась потасовка.

Видя, что из-за этого может вдруг раньше времени вспыхнуть перестрелка, я крикнул Вагуре, чтобы он отпустил мушкет. Юноша тотчас повиновался. К месту скандала вместе со мной подошел, проявив живой интерес, и дон Эстебан.

Не в меру прыткий солдат, посмеиваясь, взвел курок и крайне поразился, увидя на полке порох. Он возбужденно совал ружье своим собратьям, в том числе и дону Эстебану.

— *Que miraculo!* Чудеса! — выкрикнул он. — *Escopeta*, ружье, ружье действительно заряжено!

Дурачась, этот болван не замечал, что Вагура, недобро нахмутив брови, медленно взял в левую руку лук, наложил стрелу, натянул тетиву и направил оружие на своего обидчика. Я приблизился к юноше и всем своим видом дал ему понять, чтобы он утихомирился. Затем я велел солдату вернуть мушкет. Бездельник, однако, не торопился, и только приказ дона Эстебана заставил его смириться и отдать оружие.



— Похоже, особого уважения наши стрелки у вас не вызывают! — смеясь, обратился я к дону Эстебану.

— Слово чести — нет! — рассмеялся и он, хотя глаза его по-прежнему источали холод.

— Может быть, сеньорам как-нибудь доказать способности моих воинов?

— Каким образом? Впрочем, пустая трата времени! — Дон Эстебан махнул рукой.

Оглядев площадь, я заметил в каких-нибудь пятидесяти шагах от нас несколько полых внутри тыкв размером с человеческую голову, развешанных сушиться на протянутой вместо веревки лиане.

— Может быть, изберем их в качестве мишени? — предложил я, указав на тыквы.

— Слишком мелкая цель, — прикинул испанец, — промахнутся!

— А вдруг не промахнутся?

— Хорошо, пусть тогда попытается самый лучший стрелок, посмотрим! — Дон Эстебан не скрывал своего удовольствия.

— Зачем же лучший, — возразил я, — пусть любой! И не один, а три! Выбери сам, ваша милость, любых трех моих индейцев, и пусть стреляют.

Дон Эстебан выбрал, заранее твердо убежденный, что и мои стрелки, и я сам безусловно опозоримся. Двое из стрелков были вполне надежны, что же касается третьего, тут у меня имелись некоторые сомнения.

— Выбери самую большую тыкву, — шепнул я ему, но он, словно обидевшись на неуместный совет, взглянул на меня с укором.

Мы с доном Эстебаном отошли в сторону, а Вагура тем временем давал своим людям последние наставления. Держался он при этом с завидным достоинством. Тем не менее испанские солдаты, посмеиваясь над его молодостью, отпускали шуточки, что, мол, этому грудному младенцу сосать бы соску, а он хватается за оружие.

— Можно стрелять? — обратился ко мне Вагура.

— Разрешите, ваша милость? — повернулся я с подчеркнутой вежливостью к дону Эстебану.

— Ну что ж, три пули за молоком! — Испанец хлопнул в ладоши.

Три стрелка стояли в ряд, один возле другого, с мушкетами у ноги. По сигналу, данному Вагурой, первый поднял ружье, приложил его к плечу, прицелился и выстрелил, затем поочередно то же самое сделали двое других. Первая тыква разлетелась вдребезги, от второй осталась только половинка, третью, как и первую, будто ветром сдуло.

Камень свалился у меня с сердца.

Выстрелив, индейцы, сохраняя полное спокойствие, тотчас же стали перезаряжать ружья, не обращая ни малейшего внимания на шум, поднятый испанцами после первых минут ошеломления. Удивление, недоумение и даже страх читались на их бородатых лицах. А наш отряд продолжал стоять невозмутимо, словно все происходящее вокруг совершенно его не касалось. И лишь Вагура, весело сверкнув глазами, не мог удержаться от ехидной усмешки в сторону испанцев.

Дон Эстебан примолк, явно задетый, и отводил глаза, словно пытаюсь скрыть от меня то, что творилось в его душе.

— Всеми нашими прежними победами над испанцами, — вежливо, но многозначительно пояснил я дону, — мы обязаны тому, что враг нас недооценивал.

Быстрый, острый взгляд дона Эстебана свидетельствовал о том, что он правильно понял мои слова.

— А может, это случайность? — Испанец оживился.

В это время какая-то собачонка, напуганная, вероятно, грохотом выстрелов, выскочила из ближайшей хижины на площадь и, собираясь броситься наутек, заметалась неподалеку. Увидев ее, Вагура вышел чуть вперед, прицелился и выстрелил. У меня не было времени остановить шалопая. Несмотря на то что собака ошалело металась не менее чем в сорока шагах, она свалилась как подкошенная и, пару раз дернувшись, испустила дух.

Стоявший поблизости испанский солдат подбежал к собаке и ткнул ее ногой.

— Попал прямо в голову! — крикнул он, уставясь на нас глазами, полными испуганного удивления.

Дон Эстебан, нервно подрагивая рукой, разглаживал бороду. Он явно померчал, лицо его вдруг словно увяло, хотя он и пытался изобразить на губах улыбку, но она давалась ему с трудом.

— И сколько у вас таких людей? — сверкнул он на меня холодным взглядом.

— К сожалению, немного, совсем немного! — ответил я огорченно. — Вот те, что здесь, перед вами, и еще несколько отрядов, находящихся сейчас в лесу, недалеко отсюда.

— Отряды в лесу? Что они там делают?

— Обучаются и ждут моих указаний.

Он снова пристально на меня посмотрел.

«Дон Хуан, ты дьявол!»

Когда мы не торопясь подходили к главному тольдо, где все еще сидел Конесо в окружении своей свиты, я повернулся к Арнаку и шепотом велел ему отправить гонца к Ласане, Арасибо и Кокою: пусть они не мешкая начинают действовать, как мы договорились.

Под тольдо дон Эстебан и я уселись рядом с верховным вождем на двух приготовленных табуретах.

— А где будет сидеть Манаури? — обрушился я на Конесо. — Прикажи принести табурет и для него.

Верховный вождь, не перечая, послал человека в свою хижину.

Мы молча ждали его возвращения, сидя друг подле друга, за спиной каждого стояла его вооруженная свита. За доном Эстебаном стоял тот самый сержант, что безуспешно искал у нас шхуну, и предводитель индейцев чаима.

Лица у всех нас были внешне непроницаемы, взоры спокойны, но мы настороженно и внимательно следили друг за другом, и все отлично чувствовали тяжесть легшего на нас бремени. Толстая, чувственная нижняя губа Конесо теперь отвисла, будто дряблая кишка, олицетворяя собой все уничижение верховного вождя. Конесо мучила нечистая совесть, к тому же он не знал, что еще ждет его впереди. Дон Эстебан, напротив, был весь собран, хотя и встревожен, ожидая переговоров с едва скрываемым возбуждением. В таком состоянии человек особенно опасен, ибо легко возбудим и склонен к необдуманным действиям.

Я сознавал: события зашли столь далеко, что теперь нет иного выхода — или решительная победа, или смертельный бой.

Когда табурет принесли и Манаури сел, я громко обратился к нему, чтобы слышали все:

— Манаури, ты будешь предельно точно переводить на испанский язык до-

ну Эстебану каждое слово, которое сейчас здесь будет произнесено по-аравакски, а вы, — посмотрел я на Конесо и его людей, — отвечайте мне ясно и честно, если хотите отвратить от племени грозящее ему несчастье.

Они мрачно молчали. С согласия дон Эстебана я приказал привести трех представителей от группы пленников для участия в переговорах. Подойдя, они встали за моей спиной, рядом с Арнаком, сторонясь людей Конесо.

— Кажется, тут еще не все собрались, — воскликнул я. — Конесо! Позови жителей всех ближайших хижин, пусть и они будут здесь.

— Разве это обязательно? — Верховный вождь посмотрел на меня подозрительно. — Там остались одни женщины и дети!

— Пусть придут женщины и дети! Я обещаю им полную безопасность.

Конесо, хотя и неохотно, отдал распоряжение, и вскоре жители с явной опаской стали собираться. Вместе с женщинами отважились прийти и несколько мужчин. Когда собралась достаточно большая толпа, я потребовал тишины и громким голосом, не скрывая гнева, перешел в наступление.

— Где Карапана, убийца юного Канахоло? — обратился я с вопросом ко всем. — Почему его тут нет?

Молчание.

— Отвечайте! — настаивал я. — Ведь он шаман!

— Он ушел в лес, — буркнул Фуюди, — наверно, совершать обряды.

— Что? — возмутился я. — Совершать обряды сейчас, когда здесь, в Сериме, решается судьба племени? Так он печется о вашей судьбе? Трус он, а не шаман.

Люди внимали мне со страхом и трепетом. Карапана все еще оставался грозной силой. Конесо сопел рядом, пытаясь сдержать бешенство и бросая на меня злобные взгляды.

— Я хочу вам помочь, — продолжал я, обращаясь к аравакским старейшинам, — и помогу, но требую правды! Вот эти двадцать три человека, отобранные для испанцев, откуда взяты? Из каких родов?

— Из всех, — проворчал Конесо, — кроме твоего.

— Ах так! А почему вы не дали пятьдесят, как требует дон Эстебан?

— Остальные сбежали в лес.

— Вот как? А ведь еще и сейчас в хижинах Серимы много молодых мужчин, и их можно брать!

— Их не отобрали. Отобрали только тех.

— А что, те разве хуже?

Глаза Конесо сверкнули злым упрямством, и он ответил:

— Да, хуже.

— Говори прямо: вы хотите от них избавиться, отдать испанцам? Изгнать из своего племени?

— Да, изгнать из своих родов, — спесиво проговорил Пирокай, — по только на два года.

— А те, что сбежали в лес, тоже изгнаны из ваших родов?

— И те тоже. Они отобраны для испанцев.

— Отлично! — воскликнул я, повышая голос. — Если вы отказываетесь от власти над этими двадцатью тремя воинами и над теми, что сбежали в лес, я беру их под свою опеку и принимаю в наш род на два года. Вы согласны? — обратился я теперь к трем пленникам.

— Согласны! — с радостью ответил старший из них. — Мы хотим быть с тобой... Спасибо тебе, Белый Ягуар!

Манаури должен был переводить мои слова на испанский язык для дона Эстебана, но я заметил — дело у него шло из рук вон плохо, а последние слова он вообще не перевел.

— Как только я вас освобожу, — продолжал я, обращаясь к пленникам, — вы сообщите всем, кто ушел в лес, чтобы они вместе с семьями и всем имуществом перебрались из Серимы в наше селение...

— Не разрешаю! — вскипел Конесо, а Пирокай и Фуюди вслед за ним:

— Не допустим!

— Где ваш ум? Вы только что сами сказали, что отрекаетесь от этих людей, изгоняете их из своего рода. Или вы совсем пустые люди и отказываетесь от своих же слов, только что сказанных?

— Не разрешаем! — задыхался от злости Конесо.

Тогда я обратил к нему лицо, горевшее от возмущения, и со зловещим спокойствием, едва сдерживая себя, стал цедить сквозь зубы каждое слово:

— Замолчи, несчастный! Если ты не способен защитить своих людей от рабства, то хотя бы помолчи! Ты знаешь, как назвал тебя дон Эстебан? Паршивой собакой, бессовестным бездельником и подлым пройдохой! И теперь так назвать тебя имеет право любой честный человек. Какой же ты верховный вождь, если добровольно, без боя отдаешь своих людей в тяжкое рабство, на верную гибель? И какой же ты верховный вождь, если несправедлив и для одних вероломно готовишь смерть, а других оберегаешь?

— Это ложь! — вспыхнул Конесо.

— Чем хуже те, кого ты предаешь? Разве только тем, что не хотят жить под властью шамана-убийцы? В этом вся их вина?

Припертый к стене Конесо не мог отвести тяжких обвинений и сидел как побитая собака.

— Отчего, — продолжал обвинять я, — ты не отдаешь в рабство трех своих сыновей, стоящих сзади, почему оставляешь сына Пирокая и двух братьев Фуюди — чем они лучше других? Они не лучше, а вот ты действительно никчемный вождь и паршивая собака...

Но тут слова мои прервал грохот выстрела в соседнем лесу. Грозным эхом разнесся он по всему серимскому селению. Все вздрогнули и настороженно прислушались. Не прошло и минуты, как раздался второй выстрел, потом третий, еще и еще. Их трудно было сосчитать.

— Что это? — оторопело воскликнул дон Эстебан, вскочивший с места при первых же выстрелах.

— Ничего. Это мой отряд обучается в лесу стрельбе, — пояснил я по-испански. — Пусть эти выстрелы не тревожат вашу милость, там мои люди.

Испанец окинул пристальным взглядом площадь и, увидев отряд Вагуры, стоявший на прежнем месте, безмерно удивился.

— Но ведь отряд находится здесь.

— Этот здесь, — ответил я, — а в лесу другой... — Затем я продолжал прерванный разговор с аравакскими старейшинами: — Верховный вождь не оправдал вашего доверия и не хочет защищать своих людей. Поэтому я беру их под свою защиту и обещаю — эти двадцать три воина не пойдут с испанцами. Более того, клянусь, ни одного человека из Серимы мы не отдадим без боя.

Воля моя тверда, и у меня достанет сил довести борьбу до победы...

В этот момент внимание наше привлекли новые выстрелы. Они доносились тоже с опушки леса, но теперь с другой стороны. Дон Эстебан опять вскочил с табурета, явно потрясенный.

— Ничего страшного! — насмешливо успокоил я его. — Это все мои люди. Пока я здесь, жизни вашей милости ничто не угрожает.

— Но теперь ведь стреляют совсем в другом месте, — широко раскрыл глаза дон Эстебан.

— Вполне возможно. Это другой отряд. В лесу их у меня сейчас несколько. Они охраняют селение со всех сторон, дабы с нашими гостями не случилось какой беды...

— Прошу сейчас же мне сказать, — возбужденно воскликнул испанец, — прошу сказать, о чем шел у вас разговор с индейцами! О чем шла речь?

— О вещах, для всех достаточно неприятных...

Звуки выстрелов, умноженные эхом, отраженным от деревьев леса, неслись грозно и властно, обрушиваясь на нас один за другим словно удары грома и тая в себе какую-то неведомую сокрушающую силу. Дон Эстебан, почитавший себя до сих пор со своими испанскими головорезами и воинами чайма хозяином положения, стал сознавать, что почва уходит у него из-под ног.

— Тринадцать выстрелов, — побледнев, доложил ему сержант, когда стрельба наконец прекратилась. — Тринадцать выстрелов.

— Нет! — покачал головой вождь-чаима. — Девять!

Ошибались оба: у Арасибо было только семь ружей.

И тут вдруг в другой части леса снова прогремели выстрелы. Это давал о себе знать Кокуй.

— Сто чертей! — скрипнул зубами сержант.

Он как ошпаренный бросился на площадь и стал созывать всех своих людей: как испанцев, так и индейцев. Мы смотрели на него как на помешанного.

— Отчего этот парень так всполошился? — обратился я к дону Эстебану, пожимая плечами, и добавил: — Без стражи все его пленники разбегутся.

Судя по всему, дон Эстебан готов был взорваться: глаза его метали молнии, пот выступил на лбу и обильно струился по лицу.

— Что все это значит? — снова выкрикнул он сдавленным голосом, и трудно было понять, то ли взбешенным, то ли испуганным.

— Сейчас я все объясню вашей милости! — ответил я я, обратившись к Манури, добавил: — Все, что я скажу дону Эстебану, переведи присутствующим здесь на аравакский.

Затем, повернувшись к испанцу, громко отчеканил:

— Ты спрашиваешь, ваша милость, что означают эти выстрелы? Они означают, что вас, сеньоры, почтенных наших гостей, я честь имею покорнейше просить вести себя спокойней, без всяких лишних волнений. Означает это также, что ни теперь, ни позже я не дам вам ни одного обитателя этих берегов для работы в Ангостуре или где-либо еще.

— Что? Что, сударь? Ты что плетешь? — Жилы вздулись у него на висках и на шее, глаза вылезли из орбит. Судорожным движением он схватился за пистолет, торчавший у него из-за пояса.

— Бога ради! — Я был сама любезность. — Не надо так гневаться, ваша милость. Взгляни, будь добр, за мою спину.

Он взглянул — и это помогло. Там стоял Арнак с нацеленным на него ружьем.

— Я уже упоминал однажды в этом почтенном обществе, — сказал я, — что нам доводилось расправляться с вашей милости соплеменниками, ибо они недооценивали наших сил! Ужель и на этот раз предстоит событие столь печальное?

Моя уверенность и спокойствие умили его пыл. Наконец-то он стал, кажется, прозревать и смотрел на меня так, будто хотел насквозь пронзить взглядом.

— Сержант вашей милости чрезмерно горяч и не слишком умен, — продолжал я. — Не откажи, ваша милость, посоветовать ему не принуждать нас вопреки нашей воле оборвать раньше времени его ценную жизнь!

Дон Эстебан, скрипя зубами, последовал моему совету и отдал своим солдатам соответствующий приказ. После первых минут горячки испанец стал обретать равновесие духа и, прищурив глаза, присматриваться к окружающему внимательно и настороженно.

— К чему все же ваша милость клонит? — вдруг прямо спросил он.

— К миру и согласию.

Он вонзил в меня взгляд, словно стилет.

— Это издевка?

— Упаси бог!

— Ты, ваша милость, намерен прибегнуть к насилию?

— Только в случае необходимости.

— Но, надеюсь, ты не сомневаешься, что и мы умеем стрелять?

— Дон Эстебан, кто посмеет в этом усомниться? — Любезным поклоном я выразил свое согласие. — Но сопротивление ничего вам не даст — силы слишком неравны. Если дело дойдет до перестрелки, вы доставите нам крайнее огорчение печальной необходимостью лишить всех вас жизни, прежде чем вы успеете произнести «Отче наш». А жаль!

Наступила минута тягостного молчания. Дон Эстебан понял — с моей стороны это не просто похвальба. Он окончательно подавил в себе гнев и усмирив злобу, которых не на ком было сорвать. С изменившимся, все еще покрытым бледностью лицом, он смотрел на меня озадаченным взглядом, словно только теперь впервые меня увидел и вдруг обнаружил нечто совершенно неожиданное. Он смотрел не только обескураженно, но с каким-то застывшим удивлением.

— Дон Хуан, ты сам дьявол! — пробормотал наконец он. — Но не думай, что убийство испанца на этот раз обойдется тебе безнаказанно! Не забывай, кого мы здесь представляем!

— Ну и что? Разве коррегидор в Ангостуре — господь бог? Вы, кажется, снова переоцениваете свои силы!

— Послушай! — выкрикнул испанец возмущенно. — Ты в Венесуэле, во владениях его королевского величества Филиппа Пятого.

— Я в бескрайних глухих лесах, где ни один белый пока не обрел еще власти! — воскликнул я, перекрывая его голос, но тут же взял себя в руки и уже тише добавил: — Ты говоришь, здесь владения испанского короля? Отчего же тогда ты ведешь себя так, словно находишься в чужой стране и грабишь врагов? Почему сам забываешь, что находишься в Венесуэле?

Я резко поднялся с табурета, подошел к испанцу и, в упор глядя ему в глаза, твердо проговорил:

— Дон Эстебан! Довольно изысканной болтовни и пустопорожних споров! Поговорим наконец как разумные люди, к которым мы себя пытаемся причислять. Я не случайно минуту назад говорил о мире и согласии. Больше здравого ума, сеньор, меньше самонадеянности! У нас общие враги и общие интересы, нужно только смотреть чуть дальше кончика собственного носа. И впрямь ли ваша милость печется о благе Венесуэлы? Если так, то хорошо! Прими тогда к сведению, что вместе с этими индейцами я намерен оказать вашей стране большие услуги и охранять ее границы, если только ваше неблагоприятное этому не помешает...

И тут я выложил ему все, что знал об акавоях, об их предполагаемом нашествии на берега нижнего Ориноко — нашествии, слухи о котором доходили уже до ушей дона Эстебана. Знал он и то, что акавои готовят нападение не по своему почину, а подстрекаемые голландскими плантаторами, обосновавшимися в бассейне реки Эссекибо. Во всяком случае, после того как я раскрыл дону Эстебану более широкий и глубокий смысл этих планов, состоявший, вероятнее всего, не просто в нападении на венесуэльских индейцев, а — кто знает? — не в территориальных ли притязаниях голландцев на устье Ориноко, а значит, на территорию Венесуэлы, глаза испанца вспыхнули новым блеском: он понял. Понял, что такая возможность действительно реально существует, ибо уроки истории прошлого доказывали, что голландцы, англичане и французы однажды уже сумели вторгнуться на испанские земли, в Южную Гвиану, и там силой кулака обосноваться.

Кто же мог поручиться сегодня, что голландцы не точат теперь зубы на Ориноко?

— А если явятся акавои, союзники голландцев, — излагал я испанцу свои соображения, — мы будем, следовательно, защищать и целостность Венесуэлы. Но как же нам устоять против них, если вы сами, испанцы, хотите ослабить наши силы на пятьдесят лучших воинов?

— Вы правы! Правы! — поспешно согласился дон Эстебан, расплывшись вдруг в дружелюбной улыбке. — Я полностью поддерживаю позицию вашей милости, она верна...

Так ли уж искренно он ее поддерживал, в глубине души у меня были основания сомневаться. Я сразу понял, отчего дон Эстебан столь охотно подхватил эту идею: зная, что, оказавшись в ловушке, он вынужден будет отступить, он предпочел теперь отступить с честью, по соображениям якобы высшего порядка, а не по принуждению. Испанец, довольный, что выберется из этой переделки без ущерба для собственной чести, стал горячо мне поддакивать, согласно кивая головой, сладко улыбаясь и похлопывая себя по колену.

— Таким образом, — продолжал я, — при этих обстоятельствах мы союзники испанцев и...

В этот момент истошные, отрывистые вопли прервали вдруг мои разглашательства. Звуки неслись откуда-то издали, со стороны леса. В первый момент трудно было понять, кто кричит и отчего. Но в криках улавливались обрывки испанских фраз. Крики быстро приближались — кричавший явно бежал к нам. Мы все вскочили на ноги, прислушиваясь.

— Бежит какой-то испанец! — сообщил Арнак, отойдя в сторону, чтобы луч-

ше видеть.

— Один? — спросил я.

— Один. И без оружия.

Успокоившись, я снова сел на табурет в ожидании дальнейших событий. Я с первой же минуты сообразил, кто так спешит к нам, а когда увидел бежавшего в изрядно изорванной одежде, с сумасшедшими от ужаса и бега глазами, и особенно после того, как дон Эстебан при виде его удивленно воскликнул: «Фернандо!» — я знал уже достоверно: это испанец, которого ночью я хватил палицей по голове на острове в устье реки.

— Несчастье! — вопил бежавший, хватая воздух открытым ртом. — Беда! Горе нам! Нападение!

— Говори толком! — рявкнул на него дон Эстебан.

— Пленники бежали! — выдавил из себя испанец.

— Бежали? Не может быть! Каким образом?

— Бежали! Им помогли их духи! О боже!

— Какие еще духи? Не болтай чушь, болван! Голову с тебя снять, растяпа! Все убежали?

— Все, сеньор.

— Куда?

— Неизвестно. И лодки забрали.

— Забрали лодки?! — Голос дон Эстебана звучал так, словно его оставляли последние силы. — Вы все спали, мерзавцы, вместо того чтобы караулить.

— Клянусь богом, я не спал!

— Сеньор коррегидор прикажет переломать вам кости, уж я об этом позабочусь! Как все случилось?

— Мы сами не знаем. Нас оглушили ударами по голове, и мы потеряли сознание, а когда пришли в себя, то лежали связанными в кустах. Потом нам удалось освободиться от пут... Лодки и варраулы исчезли... Это дело рук злых духов, сеньор, это темное дело...

— Идиот! — крикнул дон Эстебан, бросая на меня выразительный гневный взгляд. — Знаем мы этих духов!

Фернандо, задыхаясь, прерывающимся голосом рассказывал о случившемся, то и дело со страхом оглядываясь назад, и наконец заключил:

— В лесу полно вражеских индейцев! Они меня преследовали!.. У них ружья!

— Они в тебя стреляли?

— Не знаю. Но я видел — они с ружьями.

— Много их?

— Полный, лес!

Доя Эстебан побледнел еще больше и, прикусив губу, мрачно уставился перед собой. Вероятно, малоутешительные мысли бродили у него в голове.

— Таким образом, при этих обстоятельствах мы союзники испанцев, — продолжал я прерванную фразу с тех слов, на которых остановился, не меняя ни тона голоса, ни выражения лица, словно и не было никакого эпизода с Фернандо, — и требую, чтобы ваша милость, как и коррегидор в Ангостуре, в ваших же интересах признали мою верховную власть над племенами северных араваков и варраулов...

— И варраулов? — переспросил дон Эстебан, нахмутив брови.

— И варраулов. С их верховным вождем Оронапи мы недавно заключили торжественный союз, и теперь мы как бы один народ. Враг варраула тем самым и наш враг независимо от того, акавой он, голландец или кто другой...

Два последних слова я произнес с особым ударением.

— А если коррегидор не захочет признать вашей самозванной власти? — не без раздражения, спросил дон Эстебан.

— Тогда я буду осуществлять власть без его согласия! — вызывающе повысил я голос. — И ставлю вашу милость в известность — отныне, хотите вы этого или не хотите, все селения варраулов и всех северных араваков находятся под моей защитой и под защитой моих мушкетов!

Стоявших вокруг индейцев слова мои взволновали. Люди знали меня уже давно и понимали — это не пустые слова, брошенные на ветер, ибо сами убедились, хотя бы на примере сегодняшних событий, что при необходимости я умею добиться превосходства над противником, навязать ему свою волю. Со всех сторон ловил я взгляды, исполненные благодарности и почтения, и даже старейшины одаривали меня более благосклонными взглядами, хотя в то же время с опаской поглядывали на дона Эстебана, полагая, что горячий испанец вот-вот разразится гневом и еще покажет мне свои зубы.

Но ничего, подобного не случилось. Дон Эстебан показал мне зубы, но... в широкой улыбке. Он встал и протянул мне руку. Мы обменялись рукопожатием.

— Что решит коррегидор, — произнес испанец живо, — дело его. Я же согласен с вашей милостью: правьте обоими племенами. Дон Хуан, ты дьявол, говорю я еще раз! Лучше не быть твоим врагом! Пусть между нами царят мир и согласие! Отбивайтесь от акавоев, бог с вами, я ничего от вас больше не требую!

Обнимая меня, он смотрел мне в глаза, расточая слова сердечной симпатии, но взгляд его снова, как и прежде, стал чужим и загадочным, леденившим кровь.

«Черт побери! — подумал я. — Неужели под покровом этих век и впрямь таится предательство? Разрази его гром с его двуличием в облике, возможно, и мнимым, случайным, но все же жутким!»

Когда Манаури перевел последние слова дона Эстебана, среди всех араваков поднялась буря ликования. Радостные клики неслись со всех сторон и эхом рассыпались среди хижин. Неустанно повторялось одно слово: «Ху-ан! Ху-ан!» — произносимое толпой то ритмично, то напевно. Это было мое имя в переводе на испанский. Повсюду вплоть до самого леса знали уже, что фортуна повернулась и в Ангостуру испанцы никого не уведут. Двадцать три пленника давно разбежались по своим хижинам и, собрав оружие и домашний скарб, спешили со своими семьями перебраться из Серимы в наш поселок.

Тем временем Конесо, несказанно довольный столь успешным оборотом дела, приготовил богатое пиршество для испанцев и нашего рода. Я едва пригублял кашири и друзей своих тоже призывал к воздержанности. Потом начались пляски и песни, среди которых то и дело громко и радостно звучало, словно лозунг, все то же слово: «Ху-ан!»

Пока на площади вовсю шло затянувшееся далеко за полночь гуляние, а пирующие веселились среди всеобщего возбуждения, в других частях Серимы шли лихорадочные сборы. Там осуществлялся переворот, в племени дотоле

невиданный и возвещавший коренные перемены в родовом укладе жизни. Все семьи, подвергшиеся преследованиям мстительного шамана Карапаны и никчемного Конесо, собирали свои пожитки и уходили в наш поселок. Никто не смел им в этом помешать: в данный момент все признавали нашу силу.

Вскоре весь наш род покинул пиршество и вернулся к себе. День ознаменовался блестящей победой, добытой к тому же без кровопролития, сердца наши были исполнены радости. Я от всей души поочередно благодарил наших воинов, ибо все они проявили себя как нельзя лучше, но особенно сердечно обнимал я четырех метких стрелков, которым так редко повезло в стрельбе по целям. Тепло обнимал я и троицу стрелявших в лесу. Вдоволь насмеявшись над страхом, какого мы нагнали на испанцев, все принялись за ждавшие нас неотложные дела: Арнак, замещая все еще отсутствующего Манаури, размещал прибывших по хижинам. Вагуру и часть наших воинов я выслал в дозор, а всех остальных держал под ружьем — рассчитывать на мир, пока хоть один испанец оставался на берегу Итамаки, было нельзя.

Но, как бы там ни было, ничто пока не нарушало покоя. Пир в Сериме продолжался дотемна, а потом люди разошлись спать: испанцы и индейцы чайма — к лодкам на берегу реки, араваки — в хижины. Когда наступила тьма, лишь лес и прибрежные заросли оглашались обычными ночными звуками.

Подозрительная щедрость

Но покой ничто не нарушало лишь до полуночи. Внезапно нас разбудил грохот мушкетных выстрелов, раздававшихся на серимской площади с короткими неравными интервалами: там явно завязалась какая-то схватка. Мы выскочили из хижин и, вооружившись, группой в десяток человек что было духу бросились к месту событий.

Еще издали в испанском лагере заметно было необычайное движение. Несколько торопливо разведенных костров освещали берег реки, а в их отблесках, как в растревоженном муравейнике, металась люди. В десятке шагов от лагеря я приказал отряду укрыться в кустах, а сам с Арнаком двинулся дальше.

— На нас напали! — возмущенно крикнул мне дон Эстебан, едва мы вступили в круг света. — Измена! Позор!

Я никак не мог поверить услышанному.

— Кто мог на вас напасть?

— Кто, кто? — передразнил меня испанец, кипя от злости. — Ты, сеньор, не знаешь или притворяешься?

— Клянусь всеми святыми: не знаю!

— Кто? — с гневом повторил испанец. — Любимые краснокожие вашей милости, аравакские бандиты вашей милости.

— Но может быть. Вам просто показалось.

— Клянись, что не может быть, клянись, что нам показалось, а потом взгляни сюда.

Он указал на берег реки, где прямо у воды лежал труп индейца.

— Кто это? — спросил я растерянно.

— Один из ваших бандитов. Его убили, жаль только, что одного.

— А сколько их было?

— Много.

— Они из нашего селения?

— Черт их знает! Приплыли по реке.

— Кого-нибудь убили?

— Нет, к вашему счастью! Двух наших только ранили ножами. Вы дорого заплатите мне за предательство!..

Загадочное происшествие свалилось на нас как гром с ясного неба. Я был взбешен не менее дона Эстебана и так поражен, что никак не мог собраться с мыслями. Все ужасно запуталось. Что за дикие безумцы заварили эту кашу? Я распорядился поднести труп ближе к костру и взглянул ему в лицо. Убитый был нам незнаком: ни мне, ни Арнаку.

Приковылял Конесо с отвисшей челюстью, еще не протрезвевший, с крайне глупой и перепуганной миной на обрюзгшем лице. Он долго всматривался в труп, перевернул его с боку на бок, потом наконец поднял глаза на дона Эстебана и, скривив губы, произнес:

— Это не наш! Чужой!

Испанец хотел было броситься на него, полагая, что он лжет, ко прочие жители Серимы столь горячо поддержали слова вождя, что дон Эстебан заколебался.

— Это варраул! — объявил вдруг Фуюди, появившийся вслед за нами. — Я хорошо их знаю. Это варраул.

Конесо еще раз внимательно посмотрел на труп и кивнул головой:

— Да, теперь и я узнаю. Это варраул.

Тут я вспомнил о Мендуке и его варраулах, сидевших в одной из хижин. У меня zakралось подозрение. Ничем, однако, не выдавая своей догадки, я обратился к испанцу:

— Если не ошибаюсь, ваш солдат, вчера прибежавший из леса, — его звали, кажется, Фернандо — говорил о каких-то пленниках, вырвавшихся вроде бы на свободу...

Дон Эстебан процедил сквозь зубы что-то о проклятых берегах и ничего не ответил. Ему пришлось согласиться с версией о нападении варраулов, и он тут же потребовал от Конесо повсюду до конца ночи выставить дозоры, на что все охотно и поспешно согласилось. Испанцы понемногу успокоились, мы пожелали им доброй ночи и покинули Сериму.

На обратном пути я поведал Арнаку о своих подозрениях относительно варраулов.

— Это наверняка они. Да, это дело их рук! — обескураженно прошептал Арнак. — Но Арипай не даст соврать, я точно выполнил твой приказ и строго-настрого запретил им выходить из своего убежища. Что будем с ними делать?

— Пойдем к ним.

Мы отправились всем отрядом, взяв с собой Арипая в качестве переводчика. По дороге прихватили факелы, но зажгли их только на месте, окружив хижину, в которой находились варраулы.

Мы их застали лежащими вповалку на полу. Когда факелы осветили помещение, варраулы словно только что пробудились от сна. Позевывая, они протирали глаза. Мендука, лежавший первым от входа, почтительно встал. Я стал считать. Десять, а не одиннадцать.

— Где одиннадцатый? — спросил я Мендуку через Арипая.

Мендука все еще притворился сонным, тер глаза, что-то бормотал и не отвечал.

— Он вышел проветриться, — наглым голосом отозвался кто-то из темного угла.

— Выйди-ка сюда! — сказал я, обращаясь к нему.

Потягиваясь, смельчак встал с недовольной физиономией и не спешил подходить.

— Живей! — прикрикнул я.

Он подошел, все еще надутый.

— Почему ты не спал перед нашим приходом? — спросил я.

— Я спал.

— Откуда же ты знаешь, что одиннадцатый вышел проветриться, если спал?

— Знаю, мое дело откуда!

Я пощупал его набедренную повязку, она была мокрой.

— Мокрая? Ты упал в реку?

— Нет! — лгал он без запинки. — Я ее мочу, потому что больной.

Тут я не выдержал и вlepил наглецу пощечину.

— Кто еще хочет врать? — осмотрел я всех и остановил взгляд на Мендуке.

Юный воин стоял с виноватым видом.

— Прости нас, господин! — произнес он тихо. — Мы скажем правду.

— Это вы устроили нападение?

— Да, господин.

— Зачем?

Мендука посмотрел на меня удивленно:

— Испанцы плохо поступили с нами. Мы их ненавидим и не сдержались.

Я окинул варраулов уничтожающим взглядом.

— Не сдержались? Вы воины или младенцы? Один не сдержался, другой изворачивается как щенок. Вам было приказано не покидать хижину?

— Да, господин! Мы виноваты, мы признаем! Но... днем мы слышали много выстрелов и не могли усидеть на месте... Нам тоже хотелось что-нибудь сделать...

— Глупцы, что можно сделать одним? А вам не пришло в голову, что ваша глупость могла погубить нас всех, всю Сериму?

— Теперь мы знаем! Это никогда больше не повторится, господин!

И все-таки мне нравился этот Мендука и его друзья. У них были мужественные сердца, они не побоялись напасть на более сильного противника. У Мендуки был открытый взгляд, он честно признал свою ошибку.

— Пойдешь со мной, — распорядился я, — и будешь сидеть связанным, пока не уйдут испанцы. Остальные сдайте все оружие и оставайтесь здесь, в хижине! Кто покинет ее без разрешения, получит пулю в лоб.

Я тут же велел связать Мендуку, чтобы люди его видели — это не пустая болтовня. Варраулы вернули нам оружие, хотя и неохотно и не слишком торопясь. Затем, оставив двух воинов из нашего рода вместе с пятью добровольцами из серимских переселенцев сторожить пленников, мы, довольные, что все так или иначе устроилось, отправились поспать пару часов, оставшихся до рассвета.

Остаток ночи прошел спокойно. Спустя два часа после восхода солнца испанцы оставались еще на месте. Получив сообщение, что они даже не собираются к отъезду, я отправился в Сериму разузнать причину их задержки. Не

зная, чем дышат испанцы сегодня, я шел, как и накануне, с вооруженным отрядом Вагуры, а за мной по пятам следовал Арнак.

В Сериме ничто не изменилось. Кое-кто продолжал пиршество, кое-кто валялся в гамаках в тени своих хижин, другие лениво бродили по площади. При свете дня испанские солдаты, а также индейцы чаима узнали в убитом ночью индейце одного из пленных варраулов, что немало порадовало дона Эстебана, и он этого от меня не скрывал: теперь он наконец поверил, что араваки не принимали участия в ночном нападении.

— Я рад, очень рад! — повторял мне испанец с любезной улыбкой, потирая колени. — И признаюсь, мне не хотелось покидать Серимы, не выразив вашей милости своего удовлетворения. В доказательство моих добрых чувств — ведь мы союзники — почту за честь преподнести сеньору и его отважным людям скромный дар...

Услышанное показалось мне столь невероятным, что я вытаращил глаза и пялился на дона Эстебана как на какую-то диковину: ведь хватать и брать, но отнюдь не давать, было основным принципом испанцев в этой стране! И все же слух не обманул меня: любезный бородач не замедлил пояснить свои благородные намерения.

— Я хочу подарить вам мешок оставшихся у меня одеял. Ваша милость доставит мне огромное удовольствие, сообразив принять этот скромный дар...

— Одеяла?

— Да, одеяла. Шерстяные.

Такого рода вещь в наших жарких краях, в наших лесных условиях представлялась настолько ненужной, что я не смог сдержать удивления: нас вполне удовлетворяли плетеные циновки из растительных волокон.

— Если ты так уж щедр, — рассмеялся я, — дай нам, ваша милость, несколько ружей и пороха, от этого будет больше проку в нашей борьбе с акавоями. Но одеяла?!

— Лишних ружей и пороха у меня нет, — возразил он сухо, — поэтому я даю что могу. И прошу принять!

Мои, быть может, не слишком светские, но ведь вполне резонные соображения столь резко испортили ему настроение, что я невольно призадумался. По той настойчивости, с какой он произнес свое «прошу принять», я сразу понял, что ему крайне важно оставить нам эти одеяла, но с какой целью? И зачем он так упорно меня принуждает? Я испытующе взглянул ему в глаза, но снова нашел в них лишь холодную жестокость и затаенную враждебность.

«Что за поразительный человек? — промелькнуло у меня в голове. — Что он замышляет? А если все это мне только кажется, и не более?»

И вот тут, когда уютно развалясь, я сидел на табурете, закинув ногу на ногу и обхватив колени руками, чувствуя себя в полной безопасности под прикрытием отряда Вагуры и настороженного Арнака, мысль моя вдруг перенеслась в далекое прошлое, в пору моих детских лет. На миг перед моим мысленным взором встали некие события, получившие широкую огласку в моей северной отчизне.

В те времена неподалеку от отцовской фермы, в одной из долин Аллеган, жили десятка два индейских семей, уцелевших от уничтоженного полвека назад племени саскуиханна. Жили они в своем селении тихо и мирно, ничем не

досаждая белым пионерам, и никто их не трогал, а порой им даже кое-чем помогали. Однажды кто-то послал им несколько старых шерстяных одеял, и как описать изумление окрестных фермеров, когда на индейцев вскоре напала страшная эпидемия, и спустя несколько недель все они, до последнего ребенка, вымерли с явными признаками болезни, которую у нас называли корью. Для нас болезнь эта, хотя и заразная, была неопасна, но для индейцев оказалась роковой. И тут фермеры поняли, что заразу индейцам занесли с дарованными одеялами, которыми незадолго до того пользовались больные поселенцы.

Когда весть об этом разнеслась по английским колониям, немало нашлось людей, рекомендовавших использовать этот способ для уничтожения еще не покоренные индейских племен, портивших немало крови переселенцам в западных районах.

Любопытно, известно ли об этом в испанских колониях, и если известно, то ужель эти люди здесь до такой степени лишились всякой совести, что способны воспользоваться столь дьявольским способом уничтожения свою ближних? Каким леденящим душу холодом веяло от глаз дона Эстебана! Меня обуял страх перед неведомой опасностью, и я решил еще более, чем когда-либо прежде, держаться настороже.

— Прошу меня простить, дон Эстебан! — заявил я решительно. — Но в одеялах вашей милости мы не нуждаемся, и я не хочу лишать их вас.

Он же лишь пожал плечами.

— Как следует поразмысли, дон Хуан, прежде чем обижать и огорчать меня столь необоснованным отказом. Зачем ты лишаешь радости своих людей?

Последние слова дон Эстебан обратил не столько ко мне, сколько к Конесо и аравакским старейшинам, находившимся тут же, и делал это не без умысла. Алчных старейшин непомерно удивляло и огорчало мое упорство, и Конесо был согласен с испанцем, что я лишаяю индейцев радости.

— Уступи одеяла мне, если не хочешь брать сам, — вмешался верховный вождь.

— А ты знаешь, что такое одеяло? — спросил я его по-аравакски.

Он не знал.

— Это циновки из такого толстого сукна, что неизвестно, для чего они нужны, — пояснил я.

— Пойду посмотрю, — сказал он и встал.

— Прошу тебя об одном: будь осторожен, не прикасайся к ним! — предостерег я его.

— Ты думаешь, они кусаются? — вскинул он голову.

— Я думаю, они могут причинить вред...

Конесо, Фуюди, Пирокай и другие отправились к итаубе испанцев и вернулись по-детски радостными. Особенно восторгался одеялами Конесо.

— Несчастные глупцы! — старался я умерить их восторги, предостерегая самыми убедительными словами, на какие был способен, и заклинал не прикасаться к одеялам. Чтобы избежать их уговоров, я поспешил удалиться.

Пополудни испанцы собрались отплывать. Я пошел проститься с доном Эстебаном и крайне удивился, увидев мешок с одеялами на берегу.

— Спасибо, мне они не нужны! — воскликнул я.

— Бери, ваша милость, бери! — Дон Эстебан так и сиял добродушием. — Ес-

ли они не нужны тебе, отдай воинам своего отряда. Они заслужили награды за меткую стрельбу!.. Там пятнадцать одеял...

— Не отказывайся, возьми, Белый Ягуар! — поддерживал его и Конесо. — А может, эти одеяла еще пригодятся...

Делать было нечего. Две лодки уже отплыли, а в третью как раз усаживались последние испанцы и индейцы чаима.

Когда они исчезли у нас из глаз за излучиной реки, мы окружили подозрительный мешок. Поскольку небывалый прилив щедрости у дона Эстебана лишь утвердил меня в моих подозрениях, я тут же выложил присутствующим аравакам все, что думал.

— Я не верю дону Эстебану, — заявил я под конец, — и боюсь, в этом мешке сидит страшный Канаима белолицых, сеющий смертоносную болезнь. Смотреть на него можно, но прикасаться — болезнь и смерть!

Слова мои произвели впечатление, и люди смотрели на мешок с недоверием и ужасом. К мешку был привязан шест, на котором его, очевидно, вынесли на берег таца за два конца и не прикасаясь к самому мешку, — это мне тоже показалось подозрительным.

Арасибо коснулся моей руки и робко проговорил:

— Белый Ягуар, я знаю заклинания, которые убивают злые чары, отгоняют болезнь...

— Арасибо, друг мой! — улыбнулся я. — Против того зла, какое таится в мешке, не помогут никакие заклинания, и остается лишь одно: бросить мешок в реку, пусть он утонет в море, или закопать его глубоко в землю, или — еще лучше — сжечь без остатка.

Тут подступил Пирокай с хитрыми, бегающими, как у мыши, глазками и обратился ко мне:

— Ты говоришь, что у тебя есть сомнения, но ведь твердо ты не знаешь, что в этом мешке?

— Не знаю, конечно.

— Вот видишь!..

Конесо, пожирая мешок алчным взглядом, сокрушался:

— Такой ценный подарок и уничтожить! Разве не Жаль уничтожить, если ты не уверен? А если там не сидит Канаима?

— А если даже сидит, — вызывающе выкрикнул Пирокай, — ну и что? Разве Карапана у нас не шаман и не прогонит любого Канаиму! Карапана обезвредит мешок!

— Карапана — живой труп! — гневно откликнулся на это Манаури. — Карапана мертв!

Этот резкий окрик произвел сильное впечатление на всех. Но восприняли его по-разному: если наш род бурно приветствовал осуждение шамана, поддержав своего вождя, то кое-кто из Серимы выражал возмущение, а Пирокай вскипел, готовый выдрать брату глаза:

— Ты лжешь, паршивая собака!

Я призвал всех успокоиться.

— Враги не отплыли еще и милю, а эта сорока, — сказал я, указывая на Пирокаю, — трещит как барабан!

Среди воинов нашего рода раздался смех.

— Манаури прав! — продолжал я. — Карапана для нашего племени уже

умер! У нас нет шамана. Когда над Серимой нависла опасность, кто спрятался, как трусливая змея? Карапана. Кто довел до того, что половина ваших братьев покинула Сериму и не хочет больше жить вместе с вами? Карапана.

Сторонники шамана — а их осталось ничтожно мало — не посмели и слова высказать в его защиту, и люди сразу успокоились. Я велел нашим воинам выбросить мешок в реку, но Конесо так умолял, так просил не уничтожать одеяла сейчас, что я в конце концов не устоял и уступил. Мне не хотелось гневить верховного вождя, тем более что он клялся мне всеми святыми последить, чтобы никто не касался вызывавших опасения даров.

Красный мор

Наконец-то мы вздохнули с облегчением. С отъездом испанцев у всех камень свалился с сердца, и жизнь снова вошла в обычное русло. Правда, поселок наш стал сейчас походить на военный лагерь — чуть ли не половина людей из Серимы перешла на нашу сторону. Срочно строились шалаши, люди сновали тут и там, всюду слышалось радостное оживление.

Для вящей уверенности Конесо по моему совету отправил вслед за испанцами четырех разведчиков на двух лодках, чтобы в течение нескольких дней следить за их действиями. Пять воинов из нашего рода взяли большую лодку и поплыли в низовья Итамаки к Катави за итаубой с провизией, захваченной у испанцев. Вечером они ее привели.

Сразу после отбытия испанцев я собственноручно перерезал путы на руках Мендуки, лежавшего в моей хижине, и велел вернуть ему и его варраулам все оружие. Недолгое заточение юный воин воспринял спокойно и не обиделся на меня.

— Это было не наказание, хотя ты вполне его заслужил, — заявил я, — а лишь необходимая мера предосторожности.

— Я знаю, Белый Ягуар! — отозвался он живо. — И больше тебя не подведу, можешь на меня рассчитывать!

— Ты хочешь остаться у нас? — спросил я удивленно.

— Я хочу служить у тебя, пока не пришли акавои... Мы хотим научиться стрелять из мушкетов.

— Хорошо, но ружей потом мы вам не оставим, они нужны нам самим.

— Разреши нам взять их у испанцев.

— Как это взять?

— Дай нам маленькую итаубу и позволь догнать дона Эстебана...

Да, в активности, мужестве и находчивости ему нельзя было отказать.

— Мендука, ты храбрый парень, но, чтобы стать настоящим воином, кроме отваги, нужно еще и благородство. Испанцы оставили нас с миром, и мы сохраним его.

— Варраулы не заключали с ними мира!

— Но вы наши союзники, и наш договор — ваш договор.

И Мендука не поплыл догонять дона Эстебана, а несколько часов спустя случились события, перевернувшие все вверх дном и до основания потрясшие едва установившийся покой над Итамакой.

Мучимый беспокойством, я в сопровождении Арнака, Вагуры и нескольких воинов отправился в Сериму, чтобы теперь, когда страсти несколько улеглись, настоять все-таки на уничтожении опасного дара испанцев.

Когда мы вышли из леса на серимскую поляну, недоброе предчувствие сжа-

ло нам сердце: возле злосчастного мешка суетилась толпа людей, они что-то поднимали, разглядывали, растаскивали по сторонам.

— Мешок вскрыли! — ужаснулся я.

Увы, да. Мешок открыли, вытащили из него одеяла и теперь вырывали их друг у друга из рук, с дикой алчностью норовя завладеть своей частью добычи.

— Не трогайте! — кричали мы еще издали. — Бросьте одеяла! В них смерть! Смерть! Бросьте!..

Где уж там бросать, когда они завладели добычей и уже держали ее в руках! Нас было всего несколько человек — их несколько десятков. Будь у нас оружие, возможно, вид его и отрезвил бы их, вынудив уступить, но оружия с нами не было.

Подбежав к месту событий, я стал кричать, объясняя, какая опасность таится в одеялах, и кое-кто при виде моей горести и бешенства действительно заколебался. Но в этот миг низко склоненный дотоле над землей, словно в молитве, человек внезапно вскочил, и перед нашими взорами предстал шаман Карапана с перекошенным от ненависти лицом.

— Не слушайте его! — захрипел он диким голосом. — Нет в этих циновках смерти! Я изгнал ее. Он вас обманывает. Он хочет захватить все себе!

В разгоряченной толпе был и Конесо. Под мышкой он держал одеяло.

— Вождь! — крикнул я ему. — Ты обрекаешь племя на гибель! Брось одеяло, умоляю тебя!

Гнев, смущение, высокомерие попеременно отражались на его лице.

— Нет! — отрезал он. — Не смей, Белый Ягуар, нам приказывать и навязывать свою волю! Испанцы подарили это нам. Ты хотел выбросить все в воду и лишит нас подарков. Этому не бывать!

Все наши усилия оказались тщетны, и уговоры отскакивали, как горох от стены. Люди оставались глухи и непримиримы. Шаман хохотал, захлебываясь от злорадства и дикого упоения одержанной над нами победой. Кое-кто из наших воинов хотел было броситься на серимцев, невзирая на их численное превосходство, и силой отнять одеяла. Я решительно их удержал: прикосновение к одеялам им тоже грозило заражением. Они поняли это.

Видя, что слепцов нам все равно не убедить, я приказал быстро возвращаться назад. Возбуждение мое улеглось, следовало думать о спасении. Близость нашей поляны от Серимы создавала опасность заражения и для нас. На обратном пути я коротко рассказал друзьям о признаках красной смерти: она необычайно заразна, на теле заболевшего появляются красные пятна, потом развивается горячка, и все кончается сильнейшей слабостью, а для индейцев — неизбежной смертью. Я рассказал им о случае из моего детства, о печальной участи саскуиханна в долине Аллеганского плато.

— Нам остается одно: немедля бежать, не теряя ни минуты! Все, кто не касался еще смертоносных одеял, должны отсюда бежать! — заявил я.

— А если мы уйдем в залив Потаро, где стоит наша шхуна, это нас спасет? — спросил Манаури.

— Думаю, да. Но главное — в ближайшие недели никому из наших не касаться больных, если они появятся! Это самое главное.

— А сколько длится болезнь?

— Спустя несколько дней после заражения, кажется, появляются первые

признаки, а потом дней через десять-пятнадцать наступает смерть или полное выздоровление.

— А как ее лечат?

— Я точно не знаю. Кто-то говорил мне, что надо все время лежать, не раскрываться, когда горячка, упаси бог, не мыться и очень мало есть.

— Если так, надо сообщить в Сериму, как вести себя больным! — задумался Манаури.

— Конечно...

Меня порадовало, что друзья мои так серьезно восприняли все мои советы. Мы тотчас же подняли на ноги обитателей нашей поляны. Шхуна, к счастью, еще накануне вечером вернулась из залива Потаро, и теперь можно было грузить на нее весь наш скарб и припасы, включая гончарные и ткацкие станки и даже стены, столбы и крыши некоторых наспех разобранных хижин и шалашей.

В то время, когда все, обгоняя друг друга, работали, чтобы как можно быстрее покинуть злосчастную местность, десять варраулов с оружием, полученным от нас, выстроились перед моей хижинкой в одну шеренгу, словно отряд солдат, а Мендука подошел ко мне в сопровождении Арипая как переводчика и попросил разрешения поговорить со мной.

— Слушаю, — удивился я торжественности церемонии.

— Белый Ягуар, ты не позволил нам, — проговорил Мендука, — догнать испанцев, и мы тебя послушались. Но теперь ты нам позволишь? Ведь испанцы оказались предателями.

— Ты молодец! — похвалил я. — А твои воины тоже хотят пощипать испанцев?

— Мы хотим отнять у них ружья.

— И не щипать?

— Можно и пощипать.

Я вопросительно взглянул на Манаури, слушавшего наш разговор. Испанцев-предателей, откровенно говоря, следовало проучить, с этим согласен был и Манаури.

— Хорошо, — согласился я. — Но поплывете вы на свой страх и риск, мы не станем прикладывать к этому руку. Вам дадут самую быструю итаубу, запас провизии и оружие, но за это вы сообщите нам, чем все кончится.

— Сообщим.

Спустя каких-нибудь полчаса варраулы уже мчались вниз по реке. Они родились и выросли на воде и были лучшими среди индейцев гребцами. Не вызвало никаких сомнений, что они легко догонят испанцев.

Тем временем великое переселение в залив Потаро началось. С нашим родом двинулось почти пятьсот араваков — мужчин, женщин, детей. Большинство из них шли пешком по тропинке вдоль берега реки, другие плыли на шхуне, третьи — на полутора десятках итауб и на множестве челнов. Люди бежали не только от коварных и злых вождей и от страшного мора — они стремились к новой жизни. Сердца их согревали надежда и радость.

Залив Потаро представлял собой, по существу, длинное озеро, тянувшееся параллельно основному руслу Итамаки и отделенное от нее узкой песчаной косой, в некоторых местах не более ста метров в ширину, зато в длину вытянувшейся на целую милю. Эту песчаную отмель, покрытую, как и вся суша

вдоль реки, буйной растительностью, мы и выбрали себе под лагерь. Хижины и шалаши поставили со стороны озера, расчистив ближайшие заросли от кустов и травы. Это было место, очень удобное для обороны, скрытое от глаз непрошенных гостей, а когда мы выставили еще дозоры по обеим сторонам полуострова, то вообще никто не мог бы проникнуть с берега в поселок без нашего ведома. Поскольку индейцы весьма любили всему давать названия, то и наше новое поселение тотчас же назвали Кумака, что на их языке означало полуостров. Чтобы добраться до большого леса, нужно было переплыть через озеро, составлявшее здесь в ширину примерно полмили; чуть дальше лодкой было до Итамаки: приходилось плыть вдоль полуострова, а потом уж через узкое устье озера выходить на открытую воду.

Окрестности озера — ибо вернее называть его озером, а не заливом — изобиловали великолепными пейзажами, радовавшими глаз. Правда, и здесь, как повсюду, страшная непроходимая чаща скрывала берега, глухой стеной нависая над поверхностью воды далеко от суши и сжимая ее хищным сплетением зелени, но не везде. В этой сплошной стене были кое-где обширные просветы, а порой даже песчаные берега, золотыми косами сбегавшие к воде, и здесь, на манящем фоне песка, возносились стройные пальмы, и среди них сказочно прекрасные асаи и даже кокосовые; вот куда, на сто миль от моря, забрались эти роскошные дочери соленой воды и морского песка. Можно бы думать, что ты оказался в самом раю, если бы не жуткое засилье комаров.

Вновь возникавшее селение сохраняло родовую структуру, как и в Сериме, — каждый род ставил свои хижины обособленно, образуя как бы разные кварталы поселка. Был род Черепахи и род Грифа, род Араканги и род Каймана. Поскольку их прежние вожди остались в Сериме с Конесо, вечером того же дня жители всей Кумаки собрались вблизи моей хижины на совет. При свете двух десятков костров меж стволами лесных великанов, вершины которых сплетались над нашими головами в сплошной шатер, каждый род выбрал себе нового вождя. После этой торжественной церемонии наступила очередь выбирать верховного вождя, и тут при всеобщем одобрении и воодушевлении со всех сторон зазвучало имя Белого Ягуара. Я весьма решительно этому воспротивился.

— Никто лучше не подходит для роли вашего главы, чем ваш собрат, испытанный вождь Манаури! — воскликнул я.

Своим отказом я крайне озадачил большинство присутствующих араваков, по-разному оценивших мою позицию, а старейшина рода Кайманов выкрикнул:

— Значит, в эту трудную минуту ты хочешь нас покинуть?

— Ничуть. Я буду рядом с Манаури и стану во всем помогать ему и вам, каждому из вас.

— Как и до сих пор?

— Да, как и до сих пор.

Все успокоились и единодушно выбрали Манаури. Глаза вождя вспыхнули от радости и счастья, безграничное удовлетворение отразилось на его лице: осуществлялись самые смелые его надежды, о которых год назад невольник с острова Маргарита не смел мечтать даже во сне. Манаури бросил на меня взгляд, полный благодарности и преданности.

В этот вечер все пребывали в радостном возбуждении, а последующие дни

показали, что это была не просто вспышка подъема. Три серьезные задачи вставали перед обитателями Кумаки: защититься от красного моря, сделать достаточные запасы продовольствия и обучиться ведению боевых действий. И за осуществление этих задач все принялись с огромным энтузиазмом.

Как я уже упоминал, это племя индейцев, хотя и жило в лесу, отличалось исключительной понятливостью и трудолюбием; достаточно было подать идею и указать ясную цель, как в людях сразу пробуждалась неожиданная энергия и усердие. Так случилось и теперь. В отношении Серимы все соблюдали такую осторожность, что даже отказались от возделанных полей поблизости от прежнего поселения, лишь бы совсем не общаться с его жителями, и тем усерднее всяк, кто мог, занялся своим делом: кто охотой в лесу, кто рыбной ловлей в реке, внося свою лепту в общее дело. А запасы нам нужны были немалые. В предвидении военных действий Кумака поставила перед собой такую цель: как можно быстрее запасти столько сушеного мяса, рыбы и хорошо хранимых лесных плодов, чтобы прокормить сто пятьдесят воинов в течение полугода.

И вот изо дня в день отряды охотников отправлялись в лес и на реку, а по возвращении добыча их переходила в руки к женщинам для дальнейшей обработки, сами же охотники шли обучаться военному делу. Араваки, недурные земледельцы, по натуре не отличались воинственностью, и приходилось их подтягивать. То, чего им не хватало, они восполняли за счет усердия. Последние события с испанцами стали для них своевременным предостережением и послужили такой встряской, что каждый теперь стремился стать и лучшим стрелком из мушкета, и первым лучником, и ловким метателем копья, обрести силу и гибкость ягуара. Военному искусству их обучали люди из нашего рода, снискавшие себе, понятно, славу знатоков и непобедимых воинов. Особенно заняты были Арнак и Вагура, трудившиеся с рассвета до темна, им некогда было передохнуть, и они были счастливы.

Что касается меня, то, осуществляя общий контроль над всеми, я создал себе отряд из двух десятков разведчиков, в который отобрал лучших воинов из каждого рода. Их я посвятил в разные, известные мне еще по Вирджинии способы обнаруживать и преследовать врага в лесу, раскрывать его замыслы, оставаясь при этом незамеченным.

Однако при всем этом над ними довлела одна беда, одно мерзкое зло, тягостное и путавшее им все карты: их темные суеверия. Столько всяких духов, призраков и демонов бродило якобы по лесам и оставляло за собой столько невероятных следов и знаков, что в этой путанице порой трудно было распознать подлинные следы реального врага из плоти и крови. Поэтому главная моя задача состояла в том, чтобы научить их отличать следы врагов реальных от вымышленных.

Дни тем временем шли, а вести, доходившие до нас из Серимы, ничего особенного не содержали: никаких сведений о каком-либо несчастье. Люди есть люди, и пошли разговоры о ложной тревоге и ненужном переезде на озеро Потаро. Друзья мои убеждали сомневающихся, что так или иначе, но лучше жить подальше от Карапаны и Конесо, тем более что Кумака благодаря своему положению на полуострове занимает неуязвимую позицию в смысле обороны.

Перешептывания, правда, вскоре прекратились, и вот тогда-то — недели

две спустя после нашего прибытия на новое место — как гром с ясного неба разнеслась весть о поражении нескольких детей в Сериме какой-то таинственной болезнью. Дошедшие до нас на следующий день подробности, к несчастью, подтвердили, что это корь, что заболело еще несколько детей, а вместе с ними и взрослых. Это известие вызвало вполне понятное уныние, а когда несколько дней спустя стало известно о первом случае смерти, всех охватила глухая тревога: что же будет дальше? Я распорядился усилить дозоры, напомнил о запрете приближаться к Сериме, и люди старательно все выполняли. Вести из несчастного селения теперь приходили все реже, но с каждым разом все горше и горше. Смерть находила там все новые жертвы, особенно среди малолетних детей. Не доставлял мне утешения и тот горький факт, что оправдались мои напрасные предостережения, а люди теперь стали относиться ко мне с еще большим уважением, чем когда-либо прежде. Горести Серимы особенно близко к сердцу принимал Арипай. Обычно спокойный и добродушно уравновешенный, он выглядел теперь так, словно его сжигал какой-то болезненный пламень и он был болен сам. Глаза его испуганно бегали. Жена его и дети жили в Кумаке в полной безопасности, им ничто не угрожало, и поведение индейца казалось тем более странным.

— Что с тобой, Арипай? — спросил я, встретив его на берегу озера. — Ты плохо выглядишь, брат. Чем я могу тебе помочь?

Он как-то жалко и саркастически усмехнулся — мол, помочь ему невозможно.

— Ты думаешь, я не смогу быть тебе полезен?

— Нет, Белый Ягуар.

— Что все-таки с тобой? Глаза у тебя ввалились.

— Болит не тело — душа.

Он наклонился ко мне, губы его тряслись как в лихорадке.

— Тебе, Белый Ягуар, могу открыть, что со мной, но больше никому об этом не говори: у меня болит душа, в ней сидит Канаима и отравляет мою кровь. Страшный Канаима не дает мне спать, требует крови...

Говоря это, он задыхался, словно ему не хватало воздуха, в глазах застыла боль и таилось что-то похожее да помешательство.

— Ты болтаешь вздор, Арипай, вздор!

— Болтаю, но ум у меня еще есть, хотя душа больная. Канаима.

Наступила минута молчания. Я был озадачен. Мне хотелось обратить слова его в шутку, но как-то не получилось.

Направляя разговор в другое русло, я нарушил молчание:

— Мне говорили, ты, кажется, часто ходишь в лес в сторону Серимы...

Он испугался.

— За мной следили? Да, это правда, меня зовет туда Канаима.

— Именно в Сериму? Не делай этого! Поберегись! А то принесешь еще к нам заразу.

— Я должен туда ходить. Люди гибнут из-за одного злодея, я не могу этого терпеть. Горе нам! Канаима...

— Слушай, Арипай, плюнь ты на этого Канаиму и, вместо того чтобы попусту бродить по лесу, приходи лучше почаще к нам в хижину.

— Не могу. Канаима велит мне убить его...

— Кого?

— Ты не знаешь?

Я внимательно посмотрел на него, не понимая, как воспринять его странные откровения, но в глазах прочитал такое смятение, что предпочел умолкнуть. Он казался мне совершенной загадкой. Я знал его как доброго, уступчивого человека; он даже убийство сына принял покорно. Что же случилось теперь? Что бушевало у него в душе?

Я высказал свои опасения Манаури, другим нашим друзьям, и мы решили всячески опекать Арипая.

Особенной заботой окружил его Арасибо. Хромой впадал порой в какой-то транс, и на него нисходили странные наития. В Кумаке шептались, что он общался с «гебу» и некоторых лесных духов мог полностью подчинять своей воле.

Смятение, охватившее испанцев, в тот памятный для Серимы день, многие индейцы объясняли и тем, что, когда в лесу звучали угрожающие выстрелы Арасибо, там явственно слышались вопли и стоны демонов.

В Кумаке Арасибо полностью завладел черепом моего ягуара и, водрузив его на кол перед своим шалашом, ежедневно совершал вокруг него обрядовые пляски, похожие на шаманские церемонии, размахивая мараками, неизменным атрибутом шаманов; глухой рокот, издаваемый при этом камушками внутри пустого плода, магическим эхом отдавался в душах жителей Кумаки.

— Смерть Карапане! Возвещаю близкую смерть Карапаны! — выкрикивал Арасибо заклинания на разный манер и разные голоса.

И все верили, что теперь уж смерть не минует шамана, а всех истовее верил в это Арипай. Эти заклинания были для него как воздух для утопающего, как влага для прорастающего зерна. Они услаждали его слух, пьянили. Теперь, если бы он даже и захотел отрезветь и отступить, ему это не удалось бы: на него — хотя он об этом и не подозревал — прежде всего и накидывал свои колдовские сети Арасибо.

Смерть шамана

Каждое утро я выводил отряд разведчиков для учебы в ближайший лес, держась, как правило, берега озера.

Вода здесь была застоявшаяся, месяцами прогреваемая солнцем и значительно более теплая, чем в реке. Оттого, вероятно, все кишмя кишело тут от буйства животного и растительного мира. Рыба билась словно в огромном садке, неисчислимы стаи водоплавающих птиц бороздили поверхность озера или с резким шумом проносились в воздухе, а цапли и аисты, розовые и красные, словно громадные цветы, покачивались в прибрежных зарослях. Дополняли, а скорее нарушали эту идиллию буйной природы отвратительные чудовища — кайманы, во множестве привлеченные сюда обилием рыбы. Многие из этих тварей, громадных, достигающих порой пятнадцати футов в длину, грелись на берегу среди зарослей, а когда мимо проходил человек, они срывались с места и с громким плеском бросались в воду. Индейцы уверяли, что на людей, даже купающихся, чудовища не нападали, но вид их был так отвратителен и столько таилось в них ужасающей силы, что встреча с ними каждый раз вызывала во мне отвращение. Охотились на них азартно, ибо мясо их считалось у индейцев деликатесом.

Однажды я привел отряд к верхней оконечности озера. Окруженные со всех сторон непролазной чащей, мы обучались распознавать разные звуки и

определять их происхождение. Из хаоса звуков в основном вылавливались голоса птиц и цикад, различалось кваканье жаб и стук дятла, посвисты обезьян и даже полет бабочек, ибо некоторые бабочки обладали особой способностью на лету потрескивать.

Вдруг спутники мои насторожились и обратили слух в сторону озера. Хотя оно находилось рядом, его не было видно за зеленой стеной зарослей, но время от времени оттуда доносилось до нас какое-то сопение, словно там кто-то покашливал или фыркал.

Индейцы заволновались.

— Какой там зверь? — спросил я. — Такого мне слышать еще не доводилось.

— Апия, — ответили они.

Я не имел ни малейшего понятия, что это за зверь — апия, и описание, которое они мне дали, звучало фантастически: это большое животное, рыба, а может, и не рыба, поскольку рождает живых детенышей, но живет только в воде, ног у него нет, одни лишь передние плавники, а морда как у обезьяны. [8]

— Ну и страшилище! — изумился я. — Они хищные? А мясо вкусное?

— Не хищные. Мясо вкусное! — заверили меня все в один голос.

Мы поспешили к озеру. Индейцы пробирались с шумом, не обращая внимания на хруст веток и шелест листвы, чему я решительно воспротивился.

— Можно не осторожничать! — объяснили мне. — Апия плохо слышит и плохо видит.

На широком мелководье, богатом водорослями, которые были лакомством этих апий, как объяснили мне спутники, то и дело одно из этих чудищ выплывало на поверхность, выставляя из воды морду, чтобы глотнуть воздуха. Тогда-то и слышался этот характерный хлюпающий звук, который долетал до нас. Неподалеку одна апия спала у берега крепким сном, наполовину высунувшись из воды. Я определил, что это животное очень похоже по форме тела и морды на наших морских нерп, с той лишь разницей, что живет в пресной воде и было значительно больше по размерам. Некоторые экземпляры достигали в длину от головы до хвоста десяти футов. Не тревожа стада, мы вернулись в селение и рассказали о своем открытии. День закончился всеобщими приготовлениями к охоте, назначенной на следующее утро.

До рассвета мы были уже на ногах. Охотников набралось около двухсот человек, и пришлось взять все лодки, имевшиеся в Кумаке, как большие итаубы, так и маленькие яботы, изготовленные из коры дерева того же названия. Мы плыли медленно, сразу приняв порядок как для сражения: в первой линии шли итаубы, все в ряд, а за ними на расстоянии броска копья выстроилась вторая флотилия, тоже в одну линию, состоявшая из двадцати с лишним ябот.

Я стоял с Ласаной на одной из итауб рядом с негром Мигелем и Манаури. В руке у меня был лук со стрелой, изготовленной специально для сегодняшней охоты. Стрела представляла собой род гарпуна и была устроена так, что, вонзившись в тело жертвы, влекла за собой веревку с легкой деревяшкой на конце: нырнув, раненое животное тянуло за собой веревку с поплавком, указывая охотнику направление бегства, и тогда легко было догнать и добить добычу. У Мигеля, лучшего нашего копьеметателя, вместо лука были только копья-гарпуны.

Солнце взошло уже над лесом и рассеяло ночной туман, когда мы приблизились к стойбищу апий. Еще издали я заметил на берегу пару крепко спавших лентяек, развалившихся, как и апия, виденная нами накануне, но большинство животных скрывалось в глубине озера на пастбище из водорослей. Их присутствие выдавали лишь водовороты, ни с того ни с сего возникавшие на поверхности, да морды, то и дело появлявшиеся над водой, чтобы подышать.

Великолепное и грозное зрелище являла собой флотилия бесшумно скользящих по озеру лодок. Охотники с луками и копьями наготове, всматриваясь в воду, стояли неподвижно, как статуи, гребцы все осторожнее погружали весла, и все это при гробовом молчании. Я с удовольствием наблюдал за их действиями и был уверен — в годину испытаний каждый воин точно так же до конца выполнит свой долг.

Когда мы были шагах в ста от берега, строгая прежде линия охотников в одном месте дрогнула — на правом крыле произошло какое-то движение. Это один из воинов, вдруг резко размахнувшись, изо всех сил метнул копье. Оно с плеском вонзилось в воду и, видимо, угодило в цель — вода вокруг забурлила. И это первое движение вдруг словно сняло чары — оживились и в других лодках. Наш сосед слева слал в воду из лука одну стрелу за другой.

Неподалеку от меня тоже вынырнула усатая морда апии, готовая в следующий миг вновь исчезнуть в глубине. Но прежде чем погрузиться, она описала круг у самой поверхности воды, а я выпустил стрелу. Она вонзилась в жирный бок. Животное метнулось в глубину и скрылось с глаз, но со стрелы тотчас размоталась веревка с поплавком. Мой поплавок был красного цвета. Сначала он понесся к берегу, потом вдруг резко повернул назад и неподалеку от нашей итаубы пересек линию облавы, тут же угодив под вторую линию наших ябот. Там схватили веревку и, подтянув, метнули багры.

— Хорошо! — шепнула Ласана. Она не скрывала возбуждения и явно гордилась мной.

Раненые апии, бросаясь во все стороны, подняли в воде страшный переполох, и все остальные животные в панике бросились наутек: одни в сторону камышей, другие — к середине озера. Но поскольку им поминутно приходилось подниматься на поверхность, а повсюду, и у самого берега и дальше, их подстерегали лодки с неумолимыми стрелками, скрыться и уйти от преследования им было нелегко. Все больше носилось по озеру цветных поплавков, роковых предвестников смерти, и всюду, где они появлялись, вода розовела от крови.

Людей охватил охотничий азарт. Для них, как и для их жертв, речь шла о жизни и смерти. В людях вспыхнул инстинкт первобытных охотников, проявляясь и в лихорадочном блеске глаз, и в напряженном трепете мышц, и в резких движениях. Но более всего меня поражало, производя просто потрясающее впечатление, то, что вся эта драма страстей и инстинктов разыгрывалась в полнейшей тишине. Ни одного восклицания, ни одного звука, ни одного торжествующего клича: животные, погибая, тоже не издавали ни звука.

Когда спустя час охота близилась к концу, уцелело, наверно, и спаслось бегством к середине озера меньше половины животных. Мы принялись собирать добычу, привязывая ее за кормой лодок. Некоторые туши весили пять-шесть центнеров. Чтобы облегчить себе работу, мы буксировали убитых животных к

берегу, на мель, но при этом возникли вдруг неожиданные осложнения.

Кровь убитых животных, смешавшись с водой, привлекла массу каких-то рыб из породы хищных, не очень крупных, немного меньше фута в длину, но, несмотря на неказистый вид, невероятно прожорливых. Араваки называли их гума.[9] Зубы у них были острые как ножи. Одним молниеносным укусом они вырывали из тела жертвы большие куски и тут же отскакивали в сторону, уступая место другим. Дерзость их не знала предела, они нападали даже на человека, спастись от них можно было лишь бегством.

Вот эти-то маленькие чудовища и собрались сотнями вокруг наших апий, набрасываясь на их туши так, что вокруг вскипала вода. Мы, как могли, отгоняли их палками, но тщетно — они, не обращая внимания на удары и шум, жадно набрасывались на пищу. Место одного-двух хищников, оглушенных палками, тут же занимали пять новых.

Одну из гум, величиной чуть больше пол-локтя, живой выбросили в лодку, и я хотел схватить ее, чтобы лучше рассмотреть вблизи страшные ее зубы.

— Не трогай! — схватил меня за руку Манаури. — Они и на земле кусаются! Многим уже отхватывали пальцы!

— Как же в этом озере купаться? — содрогнулся я.

— Можно только возле берега. К тому же гумы водятся не везде и особенно опасны, когда чуют кровь. Если они нападут на человека вдали от берега, спасения нет...

Вокруг простирался дивный пейзаж, полон сладостной прелести был вид прибрежных пальм, и даже кроткие неуклюжие апии вполне могли сойти за диковинные существа из какого-то сказочного рая, и вот вдруг такая зловещая опасность, дикая прожорливость, при одной мысли о которой стыла кровь.

Отбившись в конце концов от гум, мы привязали нашу добычу к лодкам и оттащили ее в Кумаку. Девятнадцать апий обеспечили весь наш поселок запасами жира и сушеного мяса на много недель вперед. У женщин в течение нескольких дней работы было вдоволь.

В этот период изобилия и сытости много беспокойства доставлял нам Арипай. Сидевший в нем якобы Канаима постепенно лишал его рассудка. Несчастный считал себя околдованным злыми силами и совершенно; терял самообладание. Он до такой степени обезумел, что сбежал из дома и целыми сутками как одержимый бродил по лесам. В Кумаку перестал приходить совсем и даже ночевал в лесу, хотя и поблизости от селения, — наши охотники и сборщики плодов нередко его встречали. При этом, однако, он никого к себе не подпускал, словно дикий зверь, издали ругался, грозил людям кулаком, выкрикивая бессвязные слова и часто повторяя имя Канаимы.

— Надо его спасать! — убеждал я своих друзей. — Давайте приведем его в Кумаку, пусть даже силой.

— Нельзя! — возразил Манаури. — Он ходит в Сериму. Мог заразиться.

— А ты точно знаешь, что он туда ходит?

— Точно, Ян!..

Значит, действительно не могло быть и речи о том, чтобы доставить несчастного в Кумаку, скорее напротив — следовало не пускать его на наш полуостров. Известие о горестной его болезни все наши воспринимали с покорным терпением и объяснили мне ее причину. Этот вид безумия, хорошо им знакомый, нередко нападал на лесных индейцев. Это случалось, когда им на-

носились большая обида. Тогда их посещал дух мести и преследовал до тех пор, лишая душевного покоя и рассудка, пока они не смоят своих страданий кровью виновника, если, конечно, к тому времени не погибнут сами от его руки. И лишь после этого, утолив жажду мести, они снова становятся нормальными людьми. Арипай должен убить шамана Карапану, оттого он и безумствует.

— А если не он убьет колдуна, а тот его? — встревожился я.

— Это зависит от Канаимы, и тут уж ничего не поделаешь.

И действительно, делать было нечего. Мы ничем не могли помочь Арипаю, а он тем временем, как коршун, кружил вокруг Серимы, упиваясь жгучей желчью ее невзгод. А дела там шли все хуже. Большая часть людей заболела, смерть свирепствовала, особенно страдали дети. Скорбь и горечь терзали сердца людей, а гнев и отчаяние понуждали все откровеннее проклинать старейшин. Арипай слышал эти нарекания и сам подливал масла в огонь.

Такова была ситуация в наших краях, когда со мной приключилось в нашем адском озере необычайное происшествие, едва не стоившее мне жизни. Поистине дьяволы сотворили это озеро. Сколько же там еще разных чудищ?!

Берега озера были черными, илистыми, и лишь в одном месте на несколько десятков шагов протянулась светлая песчаная отмель. Она находилась неподалеку от Кумаки, и мы нередко приходили сюда купаться. Многочисленные в Потаро кайманы внимания на нас не обращали, а поскольку на глубину мы никогда не заплывали, то и не подвергались риску стать добычей хищных гум. Там, где отмель кончалась, обрываясь в мрачную глубину, воды мне было едва по грудь. Здесь, как правило, мы охотнее всего и купались.

И вот как-то утром мы пришли сюда небольшой группой. Вдруг один из индейцев, плескавшийся подле меня, издал глухой стон, лицо его исказилось гримасой ужаса и боли. В следующую минуту он как подкошенный рухнул в воду. Мне это показалось совершенно невероятным, ибо глубина здесь не превышала трех-четырёх футов. Бросившись к нему на помощь и увидев его сквозь прозрачную воду лежащим на дне, я схватил его за волосы и потащил вверх. Но едва голова его появилась на поверхности, я — сам в тот же миг ощутил страшный удар. Удар был настолько сильный и болезненный, что на какое-то мгновение лишил меня чувств. При этом боль ощущалась во всем теле и особенно где-то внутри, словно меня схватили огромными клещами и рвали мои внутренности, ломая все кости. Подобной боли никогда в жизни я до сих пор не испытывал. Прежде чем потерять сознание, в какой-то миг я успел заметить в воде черный силуэт метнувшейся в сторону рыбы. Уж не она ли причина случившегося?

Лишившись чувств, на этот раз под водой оказался я. Тут пришедший в себя индеец подхватил меня под руки, и я стал было приходить в себя, как вдруг новый удар окончательно свалил меня с ног. Невыносимая боль парализовала все мое тело, пронзив насквозь, словно волчий клык. Я погрузился в глубокий обморок.

Когда сознание вернулось ко мне, я увидел, что лежу под кокосовой пальмой на берегу озера. Вместе с сознанием возвращалась боль, все сильнее опоясывая тело, парализуя члены, давя на сердце, сжимая горло. В первые минуты я не мог шевельнуть даже пальцем, но потом паралич постепенно стал проходить, а вместе с ним, казалось, покидала тело и боль. Вокруг меня толпились

друзья, радуясь моему возвращению к жизни.

— Что это было? — выдавил я не своим голосом сквозь сдавленное горло.

— Еще бы немного, Ян, и тебе конец! — скалил зубы Вагура.

— Что за чудище на меня напало? — спросил я.

Вагура и другие, сияя радостными улыбками, расступились. В двух шагах от меня на песке лежала рыба весом фунта три, может, чуть больше.

— Это она? — поразился я, с почтением глядя на бестию столь скромных размеров.

— Она. Аримна.

Рыба, формой напоминающая толстого угря, была темно-оливкового цвета с двумя рядами желтых пятен по бокам.

— Мы ее убили! — торжествовал Вагура. — А тебя вытащили чуть живого!

— Но она меня даже не укусила, — удивлялся я.

— Достаточно, если она просто слегка прикоснется. В прикосновении и есть вся ее дьявольская сила! — объяснил мне мой юный друг не без гордости за свои познания. — Индейцы называют ее «лишающей движения».[10]

Ко мне быстро возвращались силы, и уже полчаса спустя я, опираясь на плечи друзей, смог самостоятельно идти в Кумаку. Но боль в теле все-таки не прошла и утихла лишь дня через два.

С тех пор вид нашего озера стал вызывать во мне не только страх, но и чуточку, как ни странно, какого-то непостижимого почитания. Можно ли удивляться, что индейцы, окруженные столь поразительной природой, повсюду видели происки злых демонов, кровожадных духов и вампиров, порожденных людоедом Пиамой или Макунаймой — злыми божевами?

На следующий день после происшествия с трембладором явились гости с Ориноко: Мендука и его варраулы, отправлявшиеся в погоню за испанцами. Вернулись без потерь, все десять. Мендука питал слабость к торжественным церемониям и хотел похвалиться выучкой своих воинов: прежде чем произнести традиционное приветствие, он выстроил своих людей в шеренгу перед моей хижиной и ждал прихода переводчика. Кроме Арипая, в Кумаке было несколько араваков, немного знавших язык варраулов. Наконец один из них явился, и Мендука доложил, что задачу они выполнили; добыли четыре мушкета, четыре пистолета и пять ножей.

— Где вы их настигли? — спросил я.

— На последней стоянке перед Ангостурой. Они считали, что уже дома, и стражу не выставили.

— Обошлось без боя?

— Немного мы их пощипали.

И Мендука выбросил из мешка на землю четырнадцать отрезанных ушей, связанных попарно: четыре пары ушей индейцев и три — белых. Присутствующие араваки ахнули от удивления.

— Дон Эстебан тоже здесь? — спросил я, указывая на этот жуткий трофей.

— Нет.

— Они поняли, кто на них напал?

— Нет.

— Что вы собираетесь делать дальше?

— Остаться здесь, пока не научимся стрелять, а потом вернуться в Каииву, к Оронапи.

— Хорошо. Отдохните, поешьте, а завтра с утра за дело.

Мендука медлил. Я взглянул на него вопросительно.

— Теперь ты доволен нами, Белый Ягуар? — весело сверкнул он глазами.

— Проливать кровь, когда это не вызывается необходимостью самозащиты, мне не по душе. Но надо признать — в смелости вам не откажешь.

Узнав подробности нападения, мы не могли не отдать должное ловкости этой горстки варраулов.

Воспользовавшись ночной темнотой, они без шума разделались с пятью противниками: лишили их жизни я оружия, прежде чем остальные обнаружили их и подняли тревогу, но и потом сумели прикончить еще двух, не понеся при этом никаких потерь.

— Еще должен тебе сообщить, — завершил свой рассказ Мендука, — когда мы плыли мимо Серимы, там что-то происходило, все бегали и кричали, похоже — дрались.

Он не ошибся. В Сериме действительно дело дошло до стычки, против старейшин вспыхнул бунт. Вожди, столь упорно сеявшие злой ветер, пожали наконец бурю. Давно копившееся против них недовольство прорвало в конце концов плотину людского терпения и вылилось в насилие. Конесо избили и лишили всякой власти, в том числе власти вождя рода. Такая же участь постигла его приспешника и правую руку — Пирокая. Но самый страшный гнев Серимы обрушился на шамана Карапану. Возбужденная толпа возвестила месть ему за все злодеяния и порешила его убить, но он, заблаговременно пронюхав, что его ждет, бежал в лес и укрылся где-то в безлюдной чаще. Вероятно, он рассчитывал, что гнев серимцев со временем пройдет и они осознают, какое страшное святотатство хотели свершить, и рассчитывал, надо сказать, не без оснований, если бы не тихое помешательство Арипая.

Душу Арипая, вдвойне терзаемую и общим несчастьем племени, и его семейной трагедией, ничто не могло уже сдержать. Сердце его ожесточилось. Потребность убить шамана обуяла его до такой степени, что днем и ночью, не зная устали, он подкарауливал Карапану на краю леса неподалеку от его хижины. И дождался. Однажды ночью шаман появился. Это было на четвертый или на пятый день после возвращения варраулов. Арипай не испугался ни колдовской силы, ни магического ореола, окружавшего Карапану: на утро следующего дня серимцы нашли окоченевший труп, шамана с ножом в горле, а рядом — Арипая, тяжело раненного Карапаной в ночной схватке.

Итак, Карапана не избежал своей участи, а трагические события последних дней до основания потрясли весь прежний уклад и предвещали людям на берегах Итамаки новую жизнь.

Танец мукуари

Едва до нас дошли слухи о тяжелом состоянии Арипая, как четыре добровольца тут же поспешили в Сериму, чтобы оградить его от возможной мести. Им удалось перетащить его на носилках в Кумаку еще живым, хотя жизнь его и висела на волоске.

Когда я увидел его у нас в селении, он лежал в полусознательном состоянии с закрытыми глазами, худой, осунувшийся, но какой-то умиротворенный и трогательно тихий. Исполнив свой кровавый обет, он изгнал из себя злых демонов. Они оставили его наконец в покое: и в этой кроткой его умиротворенности было что-то необычайно волнующее.



В Кумаке его не оставили и тут же понесли дальше. В укромном углу полуострова несколько его родичей соорудили шалаш и оставили его там под пристроном жены, снабдив запасами продуктов. Здесь, в уединении, ему предстояло оставаться до выздоровления, чтобы в случае, если он заразился в Сериме, не занести болезнь в Кумаку.

Одним из важнейших аравакских ритуалов в те времена был танец мукуари, исполнявшийся каждый раз в случае смерти кого-нибудь из близких. Танец этот имел целью отогнать от человеческого жилья душу умершего, дабы она не вредила живым. Смерть шамана так или иначе касалась всех людей племени, и потому Кумака решила тоже исполнить мукуари.

Обычно ритуальный обряд проводился сразу после смерти, но на этот раз торжество пришлось отложить: один из наших рыбаков в это время обнаружил на Ориноко остров, где крупные речные черепахи как раз откладывали яйца. Это известие взбудоражило и подняло на ноги всю Кумаку — черепаший яйца считались у индейцев любимейшим лакомством. Порешили поэтому сначала отправиться на Ориноко, а уж потом разделаться с душой умершего.

Почти половина жителей Кумаки целыми семьями приняла участие в походе. Речные черепахи в период кладки яиц, а это значит в наших краях в январе — феврале, собирались в стада и, отыскав уединенный остров, по ночам выходили из реки. Яйца они откладывали в прибрежный песок, искусно засыпая их так, чтобы другие звери, падкие на это лакомство, не нашли их. Иногда черепахи проплывали десятки миль до этого единственного облюбованного острова, вверяя ему и теплым лучам солнца судьбу своего потомства.

На таком вот острове наш рыбак и обнаружил в песке следы, характерные для лежбища черепах, и повел туда флотилию кумакских лодок. Когда спустя две недели охотники возвращались домой, по веселым их лицам еще издали можно было определить, что экспедиция прошла успешно. И действительно, две лодки-яботы чуть не по самые борта были заполнены желтой желеобразной массой очищенных от скорлупы яиц.

При виде этой картины я схватился за голову.

— Ведь здесь, наверно, больше двух тысяч яиц, — поразился я. — Вы истре-

бите всех черепах, если ежегодно будете так уничтожать их потомство.

— Каждый год все индейцы по берегам рек с незапамятных времен собирают черепаший яйца, а черепахи не переводятся, — возразил Мабукули, глава рода Черепахи.

Был еще и другой повод для всеобщей радости: болезнь в Сериме пошла на убыль. словно между шаманом и болезнью существовал какой-то дьявольский сговор — примерно со дня смерти шамана Карапаны не появилось ни одного нового случая заболевания. Сваленные болезнью понемногу приходили в себя, и, хотя некоторые дети еще умирали, страшная эпидемия явно отступала, как река после сильного паводка. К людям с каждым днем возвращались силы, а с ними и надежда.

Болезнь унесла четверть взрослого населения, а дети до пяти лет погибли почти все; остальные понемногу поправлялись.

На окраине Кумаки находилась роща прекрасных пальм бурити, и здесь, неподалеку от берега озера, на третий день после возвращения наших людей с Ориноко начался обряд мукуари. Он должен был продолжаться целые сутки и завершиться пиршеством, для которого приготовили разные блюда из черепаших яиц и, конечно же, принесли множество кувшинов неизменного кашири.

В этот день на рассвете меня разбудил гулкий грохот барабанов, доносившийся со всех концов Кумаки, — теперь они будут безмолчно бить в течение многих часов. В тот же момент в мою хижину проскользнуло жуткое чудище. Маска изображала страшного хищника с огромными клыками. Привидение молча выделывало передо мной грозные танцевальные движения, словно стремясь нагнать на меня страх. По легкому прихрамыванию на левую ногу я узнал пришельца.

— Арасибо, не валяй дурака!

Индеец остановился и снял с головы маску.

— Белого Ягуара нельзя обмануть! — проговорил хромой с уважением и таинственно добавил: — Но и Арасибо теперь стал важный!

— Оттого что нацепил это? — спросил я, указывая на его маску.

— Нет, маски на голову для танца все надевают. А я сегодня предводитель мукуари, это большая честь...

Только теперь я заметил на лице его выражение какой-то комичной горделивости. Индеец извлек из мешка, висевшего у него на поясе, две мараки — это символ шаманской власти, поднял их над головой и стал трясти — заключенные внутри камушки резко и вызывающе загремели. Не менее вызывающе Арасибо устремил на меня свой косоватый взгляд и, пританцовывая, засеменил мелкими шажками.

— О-ей! — присвистнул я удивленно. — Высоко же ты метишь! Хочешь занять место шамана?

— Араваки лишились шамана, — ответил он напевно, не прекращая трещать надо мной мараками. — Аравакам нужен шаман.

— Ты в этом уверен, дружище? — выразил я сомнение.

— Нужен! Нужен! — забормотал он убежденно, а лицо его при этом исказилось гримасой исступления. — Скажи, кто убил злого шамана, твоего врага?

— Ты!

— Кто направил руку Арипая! Кто направил глаз ягуара!

— Ты! Но ведь череп ягуара — мой.

— Зато мои руки повесили его на шест. А кто твой самый преданный друг, Белый Ягуар?

— Ты?

— Разве не тебе я обязан тем, что ты защитил меня у горы Грифов, когда другие снова хотели меня бросить? Разве не ты лечил мою ногу, искусанную кайманом?

Отвечая вежливостью на его вежливость, я в тон ему добавил:

— А кто спас ребенка Ласаны от яда, а мою душу от бесчестия?

Арасибо хрипло рассмеялся — смеяться иначе он не умел, — спрятал марачки в мешок и, надев на голову маску, без лишних слов выскользнул из хижины: вероятно, в преддверии знаменательного для него дня он просто хотел заручиться моим расположением.

Минутой позже Ласана внесла завтрак. Как и прежде в Сериме, она и теперь жила с матерью и ребенком подле моей хижины. С ее приходом в хижине словно вспыхнул свет, а я так и онемел от удивления: Ласана была разодета как никогда. Верхняя обнаженная часть ее тела была увешана множеством ожерелий из ярких разноцветных плодов и гирляндами из ароматных красных цветов. Ласана в отличие от большинства индианок была на редкость стройной, с тонкой и гибкой талией. Тело ее, умащенное сегодня благовонными маслами, источало приятный аромат. Черные волосы, вымытые в кокосовом молоке, ореолом обрамляли лицо, нежные губы расцветали в мягкой улыбке, влажный блеск глаз чаровал и был подобен чистому бездонному омуту. Восходящее над озером солнце розовыми лучами высвечивало все очарование Ласаны, и никогда прежде она не была так прекрасна, как в это утро.

Я не вымолвил ни слова, но заметить мое восхищение было нетрудно. Разложив на широких листьях завтрак, Ласана не ушла. Она стояла посередине хижины в гордом своем великолепии и, чуть смущаясь, молча радовалась впечатлению, какое на меня произвела.

Я тоже молчал и лишь взглядом спрашивал, по какому поводу столь необычный наряд. Она не выдержала первой и, нарушив молчание, прошептала:

— Сегодня у меня великий день.

— И у тебя тоже? — весело рассмеялся я. — За сегодняшнее утро это уже второй случай!

— Сегодня мой праздник! — опять повторила она.

— Не мукуари же? Ведь женщины не принимают в нем участия...

— Нет... я переселяюсь...

— Куда, Ласана?

— В твою хижину.

Я внимательно взглянул ей в глаза. В них не было ни капли насмешки. Она проговорила это очень уверенно, спокойно, словно речь шла о каком-то пустяке.

— Хорошо, хорошо, — в тон ей деловито ответил я, — конечно, моя хижина больше вашей и удобнее.

— Не то! — прервала она меня, качнув головой. — С нынешнего вечера я буду твоей женой.

— О-ей! Вот так чудеса! Это ты сама вдруг так решила, никого не спросив о

согласии?

— Я спрашивала.

— Кого, меня?

— Я говорила с Манаури. Он согласился.

— Ах, он согласился! А я? Меня вы спросили?

— Тебя... Но ведь ты... Я думала, Ян...

Бедняжка страшно смутилась, и теперь я уже стал хозяином положения. Я сделал вид, что крайне озадачен ее предложением, и это мое удивление выглядело весьма для нее обидно. Она не знала, как его истолковать, и, пожалуй, впервые за все время утратила обычную уверенность в себе. В глазах ее метнулись искры протеста.

— Если ты отказываешь мне в своей хижине, я могу...

— Совсем напротив, я сам приглашаю тебя к себе. Во всяком случае, — придал я тону своего голоса как можно больше лукавства, — во всяком случае, для меня будет намного удобнее, если ты станешь готовить пищу в моей хижине, а не приносить ее со стороны...

Резкая морщина меж сдвинутых бровей женщины с полной очевидностью свидетельствовала о приближающейся буре. Однако выражение гнева и обиды на смуглом лице отнюдь не лишало его прелести.

— Я всегда буду готовить тебе вкусную пищу, со мной тебе не придется голодать, — проговорила она обиженно и тут же твердо добавила, сверкнув глазами: — Но я хочу, Белый Ягуар, подарить тебе сыновей, которые станут храбрыми воинами!

Она проговорила это с такой наивной простотой и жертвенной решимостью, что я тут же понял: «Хватит, натягивать струну больше не следует».

Сбросив с лица маску показного недовольства, я проворно вскочил, привлек Ласану к себе и, прижав ее голову к своей груди, проговорил:

— О-ей! Да будет так, как хочешь ты!

Видя, с каким неописуемым облегчением она приняла мои слова, я не преминул шутливо заметить:

— Но наперед обещаю: все важные вопросы мы будем обсуждать вместе, вдвоем...

В роще, под пальмами бурити соорудили тольдо для старейшин. Из-под тенистого навеса было удобно обозревать весь ход мукуари. Около полудня я отправился на торжество вместе с Ласаной. По обычаю женщинам возбранялось находиться поблизости, но Ласана пользовалась особым уважением и имела особые права. Все в Кумаке знали уже, что сегодня «ее» день, и поглядывали на нее с уважением.

К нашему приходу мукуари был в полном разгаре и длился уже несколько часов. Этот обряд имел мало общего с обычными ритуальными танцами, и, хотя участники исполняли танцевальные движения в такт гудящим барабанам, суть танца заключалась не в этом, а в избиении друг друга колючими прутьями. Все танцующие были в различных масках. Цель обряда была достаточно ясна: с одной стороны, умиловить душу умершего, показав, какие страдания смерть его доставила живым, а с другой — и это было главным, душеспасительным, — раздавая удары направо и налево, отогнать душу умершего от людей на случай, если она замышляла против них злые козни. Принять участие в танце, продолжавшемся без перерыва целые сутки, должны были все

взрослые мужчины племени.

Когда человек наблюдал эти беснующиеся страшные маски и непрерывное их самобичевание, а в ушах его, не стихая, стоял ритмичный гул барабанов, невозможно было не поддаться впечатлению, производимому этим странным зрелищем. Оно невольно захватывало всех присутствующих, словно какой-то вихрь, лишало человека воли, приводило в странное состояние духа, и отделаться от этого не удавалось никакими силами. Человек словно подпадал под какие-то чары.

Понаблюдав за пляской довольно долго, я спросил у сидевшего рядом Манаури:

— В мукуари должны участвовать все? Без исключения?

— Да, все ставшие мужчинами. Я танцевал утром, в самом начале.

— А я?

— Ты, Ян? — Он задумался.

Под тольдо сидело еще несколько старейшин: Мабукули — вождь рода Черепахи, Уаки — глава рода Арара, Конауро — из рода Кайманов. Они тут же приняли горячее участие в решении вопроса, должен я или не должен участвовать в обряде, и не пришли ни к какому решению. Душа погибшего шамана, что и говорить, была могущественной, и он упорно старался меня уничтожить, но мои чары оказались сильнее его вероломства и его одолели. Может ли мне теперь чем-либо угрожать его душа?

«Нет!» — считали вожди, уверовавшие в мое могущество, другие же лишь качали головами.

Ласана, сидевшая чуть сзади меня, с напряженным вниманием прислушивалась к разговору, не произнося, однако, ни слова. Я повернулся к ней:

— А ты как думаешь?

— Ты должен танцевать! — ответила она не колеблясь.

— Ты думаешь, его душа может причинить мне вред? — удивился я.

— Нет, не может. Его жалкая душа не может сделать ничего плохого Белому Ягуару! — заявила она.

— Тогда зачем же мне танцевать?

— Чтобы... — она запнулась, подыскивая подходящие слова, — чтобы все видели: ты с нами душой и телом.

Среди вождей пронесся шепот одобрения.

— Хорошо! — согласился я и велел Ласане принести мне шкуру ягуара.

Когда она вернулась, я накинул на себя шкуру и подпоясался лианой, чтобы во время танца она не спадала. Голова моя целиком вошла в голову ягуара, и только спереди оставалось небольшое отверстие для глаз и рта. Мне подали прочную розгу, но я потребовал еще одну в левую руку.

— Хорошо, возьми две, — согласился Манаури, добавив: — И помни, чем больше ты кого-нибудь ударишь, тем для него лучше и почетнее...

Очевидно, танцоры хотели сделать мне как можно «лучше и почетнее», ибо едва я оказался в их кругу и меня узнали по шкуре ягуара и росту, как несколько человек сразу набросились на меня. Я отбивался как мог и кое-кому изрядно всыпал, но досталось и мне. Мое одеяние доходило только до икр, а ниже ноги остались голыми. Мои партнеры быстро обнаружили это слабое место и тут же на него обрушились. Пытаясь хоть как-то уклониться от ударов, я как сумасшедший прыгал во все стороны, не выпадая, однако, из ритма,

навязанного нам барабанами, и тем не менее мне изрядно перепало.

Танец при всем кажущемся хаосе совершался в определенном порядке, танцоры двигались вперед по кругу диаметром около тридцати шагов. Для свершения обряда считалось достаточным обойти один полный круг. Поэтому, оказавшись наконец снова возле тольдо и раздав с веселым остервенением последние удары по сторонам, я исполнил тем самым свой долг и в несколько прыжков вырвался из круга.

Барабаны, словно в благодарность мне, перешли вдруг на оглушающий грохот и бешеный темп, а потом сразу опять вернулись к прежнему размеренному ритму. Я же поспешил поскорее занять свое место под тольдо. Все были довольны, но довольнее других казалась Ласана.

Ноги мои были сплошь исхлестаны, на щеке кровоточили две глубокие царапины. Рубцы на ногах тут же подсохли, а вот кровь на щеке Ласана несколько раз слизнула языком, и тогда царапины тоже стали подживать. Сидя на земле и ощущая нежное дыхание склонившейся сзади Ласаны, я невольно вспомнил, как несколько недель назад она спасала мне жизнь, высасывая змеиный яд из моей раны, и меня вдруг охватила такая нежность к этой преданной женщине, что я едва сдержался, чтобы не заключить ее в объятия.

Вскоре к нашему тольдо приблизилась группа индейцев и обратилась к старейшинам с вопросом, кто в племени будет шаманом вместо Карапаны.

— Сразу после окончания мукуари, — ответил Манаури, — мы соберем на совет всех жителей Кумаки и решим, кого хотим избрать шаманом.

— Мы знаем, кого хотим избрать, — твердо заявили воины. — Арасибо.

— Следует спросить мнение и жителей Серимы, — возразил верховный вождь.

— В Сериме нет никого, кто был бы лучше Арасибо, — не уступали воины.

— Мы хотим Арасибо. Разве ты против него, Манаури?

Индейцы, разгоряченные танцем, проявляли настойчивость. Манаури вопросительно взглянул на меня.

— Разве нам обязательно нужен новый шаман? — спросил я с притворной наивностью.

— Обязательно, обязательно! — отвечали они, не представляя, как может быть племя без шамана.

— Нет, нам, людям из рода Белого Ягуара, мне кажется, шаман не нужен, — заметил я.

— О-ей, нашему роду не нужен! — Манаури чуть выпятил губы.

Сидевшие вокруг нас вожди других родов встретили его слова хмуро, усмотрев в них стремление как-то выделиться, а Мабукули, глава рода Черепаци, хотя и близкий друг Манаури, не выдержав, вспыхнул:

— Ты, значит, считаешь, что другие роды хуже вашего?

— Не хуже, Мабукули, но у нашего больше опыта. Ты ведь знаешь, сколько пришлось нам пережить испытаний в рабстве...

— Это я знаю, — ворчливо согласился Мабукули.

Манаури вновь взглянул на меня и спросил:

— Что скажешь ты, Белый Ягуар?

— Если шаман обязательно должен быть, как все вы считаете, то, конечно, лучше всего Арасибо, — заявил я, ко всеобщему удовольствию воинов.

— Я тоже так думаю! — согласился Манаури.

Индейцы, довольные, что желание их исполнилось, разбежались, и скоро вся Кумака знала, что Арасибо станет шаманом.

Под тольдо воцарилось молчание. На лице Манаури не читалось радости, он был хмур и сосредоточен. Устремив взор на танцующих мукуари, мыслями он был где-то далеко от пальмовой рощи. Уже теперь вождь предчувствовал трудности, с какими ему предстоит столкнуться на тернистом пути власти. Склонясь ко мне, шепнул с нотой горечи в голосе:

— Начинается. Арасибо стал уже обрабатывать людей и склонять их на свою сторону.

— Арасибо останется преданным тебе, — заверил я его.

— Надолго ли? — ответил он с горькой усмешкой в уголках губ.

В далекие-предалекие времена

Как уже упоминалось, на тех, кто наблюдал за танцем, мукуари производил ошеломляющее впечатление. Человек словно впадал в транс, в какое-то полусонное оцепенение — сладкое, но в то же время и мучительное. Я пытался постичь причину этого и подметил, что мукуари — это, помимо всего прочего, еще и буйный разгул красок. Маски и наряды танцующих были изготовлены преимущественно из птичьих перьев. И, таким образом, все богатство здешней природы сплелось тут в единый клубок, чаруя человеческий взор и душу переливавшимся и сверкавшим перед нами неопишуемым радужным великолепием красок.

Я обратил на это внимание своих товарищей, не преминув едко заметить, что из-за нечестивой души подлого Карапаны погибло столько прекрасных существ — лесных птиц, но, соглашаясь со мной, старейшины в ответ лишь развели с вежливым огорчением руками в знак беспомощности, а Уаки, вождь рода Аракангов, не то в шутку, не то всерьез проговорил:

— Видишь ли, так уж назначено, что человек птицам враг.

— Враг птицам? — удивился я.

— Да! — ответил он с чуть заметной улыбкой. — Птицы тяжело провинились перед людьми.

— Это что-то новое, Уаки.

— Да, правда, это странная история. Если хочешь послушать, я тебе расскажу.

Он подсел ко мне поближе, долго тер рукой свой подбородок, собираясь с мыслями, потом стал рассказывать:

— Наш род, как ты знаешь, происходит от птиц араара,^[11] ты видел араара и не раз любовался их дивным оперением: это самый большой из наших попугаев, перья у него пурпурные, как свежая кровь, а крылья голубые, как лазурь самого синего неба. Птица нашего рода самая смелая, а как она это доказала, послушай!

И Уаки рассказал мне следующее предание.

В далекие-предалекие времена все было просто, все птицы были серыми, а люди считали себя одной семьей со зверями и птицами и жили с ними в братском согласии. Зато у всех у них был один страшный враг. Это был огромный водяной змей, настоящий дракон, но с чудесной раскраской и ужасно прожорливый. Он выползал из водных глубин на землю и чинил жуткие опустошения среди животных и людей, поголовно пожирая всех, кто попадался ему на пути.

Наконец чаша терпения переполнилась, и родилась отчаянная мысль убить чудовище. Но это был, как уже говорилось, великан непомерной силы, и кто же мог бы отважиться первым напасть на непобедимого владыку. В награду смельчаку предназначалась великолепная шкура змея, но всем дорога была собственная шкура, и долгое время никто не решался. Люди поглядывали на зверей, звери — на птиц, каждый втайне рассчитывал на другого, и никто не осмеливался начать первым. Стыдно было смотреть на такое слабодушие и слушать всякие трусливые отговорки.

Наконец храбрый попугай арара не стерпел позора и вызвался добровольцем.

— О арара! — льстиво заверещали орлы и грифы. — У тебя крепкий клюв, ты справишься лучше всех, ты герой!

— Храбрый арара, — поспешили подхватить люди, — ты прославишь себя на веки вечные!

В нем разжигали честолюбие, превозносили его до небес, восхваляли и прославляли, только бы он первым выступил против змея. Но он отправился бы на бой и без того, ибо у него было мужественное сердце.

Арара выбрал момент, когда чудовище спало не слишком глубоко под водой, взял в клюв стрелу, прикрепленную к концу длинной веревки, набрал в легкие воздуха, нырнул и вонзил стрелу глубоко в тело дракона. Собравшиеся на берегу стали изо всех сил тянуть веревку, вытащили змея на берег, все, как один, бросились на врага и убили его.

Теперь змей лежал у их ног, переливаясь всеми цветами радуги, словно усеянный драгоценными камнями. Все смотрели на него жадными глазами, и самыми жадными — люди. Люди, забыв уговор, вознамерились присвоить себе роскошную кожу змея, а когда арара потребовал обещанную награду, набросились на него с криком:

— Как ты, птица, поднимешь столь тяжелую кожу громадного зверя? Оставь ее нам, сильным людям, а сам поди прочь.

Но арара не собирался уступать. Он призвал на помощь много других птиц: всем вместе им удалось перенести добычу в укромное место. Их громкие угрозы и проклятия провожали взбешенных людей.

У всех птиц, как известно, до той поры было одинаковое серое оперение. Добыв кожу змея, они разрезали ее на мелкие кусочки, и каждое семейство по справедливости получило один или несколько кусочков для нарядов. Поэтому теперь у птиц цветные перья, а самые красивые — у арары, ибо храбрая птица получила, конечно, самые красивые куски кожи.

Но злые люди не забыли своей обиды и долго мстили птицам, преследуя их на каждом шагу. И даже теперь, когда чувство мести забыто, люди постоянно охотятся на птиц и, едва завидя их, сразу думают, как бы их добыть.

— Так вот, — закончил Уаки, указывая на сотни цветных перьев, украшавших маски танцоров, — перед взором твоим отзвуки давних событий, событий героических и печальных, Белый Ягуар. У птиц пестрые перья, а люди жестоко убивают птиц, и даже мы, люди из рода Арара, не в силах их остановить...

Уаки умел рассказывать, и все под навесом тольдо слушали его с интересом, хотя наверняка старое предание было им знакомо. Едва Уаки закончил, наступило всеобщее оживление.

Манаури, лукаво и как бы хитровато взглянув на меня и на Ласану, проговорил:

— А теперь я расскажу вам одну историю. Слушайте.

...Великий охотник, прародитель племени араваков Маканауро однажды с гневом обнаружил, что один наглый гриф повадился таскать добычу из расставленных им силков. Охотник решил покарать разбойника и затаился в кустах. Когда гриф, как обычно, прилетел на приманку — это был молодой королевский гриф — Маканауро выскочил из укрытия и поймал его. Наверно, от прикосновения человеческой руки птица вдруг превратилась в прекрасную веселую девушку.

Обрадованный охотник взял пленницу к себе и сделал своей женой. Они сильно друг друга полюбили и жили счастливо. Но хотя Маканауро чувствовал себя как в раю, с течением времени его все сильнее стала мучить совесть, что он живет с женой без согласия ее родителей — вот как тогда уже чтили у араваков родовые обычаи и нравы! А поскольку и ее охватила великая тоска по своим родственникам, однажды они вдвоем отправились в ее родные края.

У молодой жены охотника была только мать — грозная повелительница всех королевских грифов и звали ее Акату. Маканауро, принятому в ее владениях не очень любезно, пришлось тяжело трудиться, чтобы завоевать расположение тещи. Он приносил из леса столько добычи, что все грифы объедались, без конца пируя за его счет. Но все напрасно — Акату во что бы то ни стало хотелось избавиться от немилого ей зятя, и поэтому она повелела ему исполнить несколько непосильных для простого человека заданий. Однако Маканауро был не просто охотником, а к тому же еще и шаманом. И вот когда ему велели принести воду из реки в корзине, ему помогли лесные муравьи: они залепили отверстия в корзине глиной, и вода не вытекала. Затем ему приказали вырубить участок леса за такой срок, что и впятером не справиться. На этот раз ему помогли разные лесные твари: жуки, ежи, дятлы, грызуны — и задание он выполнил.

Наконец Акату приказала ему вырезать из дерева точную копию ее головы, а сделать это было невозможно, поскольку она лежала, не вставая, в гамаке и все время скрывала голову под циновкой. Тогда друзья охотника — муравьи стали нещадно кусать ее тело. Не выдержав, она откинула циновку, он увидел ее лицо и вырезал его из дерева.

Он выполнял все обязанности, какие Акату на него возлагала как на зятя, и делал это охотно, зная, что теща имеет право требовать от него выкупа за дочь. Но Акату, хотя и не могла не отдать ему дочь, не хотела с этим смириться и решила его убить. Грифы хитростью заманили охотника в ловушку, чтобы там его заклевать. Лишь благодаря тому, что в последнюю минуту Маканауро превратился в муху и незаметно улетел, ему удалось спастись.

— А прекрасная жена последовала за ним? — спросил я.

— Нет, — ответил Манаури, — он лишился ее. Это очень поучительная история — она ясно говорит: жених нес раньше большую ответственность, да и у нас теперь тоже несет перед родителями невесты... или перед старейшинами ее племени, — добавил он, лукаво подмигнув.

Я уж и без последнего намека понял скрытый смысл легенды: с меня причитается старейшинам дар за Ласану. Но какой? Что было у меня ценного? Взгляд мой упал на серебряный, украшенный драгоценными камнями писто-

лет, заткнутый за пояс. Я вынул его и, протягивая Манаури, сказал:

— Прощу тебя, возьми! Более ценной и любимой вещи у меня нет. Я с радостью даю его тебе!

Вожди даже языками прищелкнули от удивления: пистолет был подлинным шедевром оружейного искусства и представлял собой большую ценность.

Манаури и сам опешил, игривая его улыбка исчезла, на лице отразилась озабоченность. Он отшатнулся от пистолета чуть ли не со страхом во взгляде.

— Пусть отсохнет у меня рука, — воскликнул он, — если я возьму это!

— А как же принятый у араваков долг жениха? — возразил я упрямо.

Манаури выпрямился. Лицо его выражало гордость, укор и волнение.

— Ты давно его выполнил, — произнес он строго, — и притом с избытком. Ты дал аравакам в сто раз больше, чем стоит этот дорогой пистолет.

— Ты так считаешь? — рассмеялся я.

— Ты подарил нам дружбу!

— И мудрый совет, и сильную руку вождя! — поспешил не без лести добавить Канауро.

— Не ты наш должник, а мы твои! — поддержал их Мабукули.

— Вы еще скажете, — пошутил я, — что одной девушки для меня мало.

— Если хочешь знать, мало! — живо согласился Манаури.

— Но, но! — запротестовала Ласана. — Ты верховный вождь, а болтаешь глупости...

Мы все рассмеялись, нам было хорошо вместе и весело; пистолет я сунул обратно за пояс.

Уаки, глава рода Арара, жестом попросил слова, а когда все обернулись к нему, смерил Манаури ехидным взглядом и произнес:

— Все хорошо говорил Манаури, но история женитьбы Маканауро закончилась не совсем так, как рассказал нам вождь...

— Значит, охотник не превратился в муху и не спасся?

— Нет, превратился и спасся. Но ты скрыл от нас важную вещь!

— Ну скажи, Уаки, что я скрыл от вас?

— Предание гласит, что прекрасная жена охотника вероломно предала его, подчинилась матери и вместе с другими грифами хотела его убить. Разве было не так?

— Правда, так, так, — признался Манаури.

— Вот подлая змея, если прежде она и впрямь его любила! — полушутя выразил я возмущение. — Вот, значит, какие у вас женщины!

— Бывают и такие! — расхохотались вожди, и под нашим навесом вновь воцарилось веселое оживление.

Ласана поначалу не промолвила ни слова — казалось, ее оскорбили злые шутки, и лишь потом, когда шум немного утих, схватила меня ласково за руку и проговорила достаточно громко, чтобы ее слышали вожди:

— Ты, Ян, их не слушай, это болтливые жабы, у них пустой и глупый язык. Они рассказывали тебе предания, выдуманнные такими же, как они, бездельниками, в них нет правды! Я могу тебе рассказать не одно предание о верных до гроба женах и о такой любви, какая холодным жабам и не снилась.

Вожди встретили ее брань с добродушной снисходительностью и стали сами уговаривать Ласану рассказать что-нибудь интересное.

— Хочешь послушать предание о дочери шамана, любившей охотника? — обратилась она ко мне.

— Конечно.

И она начала своим звучным, глубоким голосом:

— У Вавай, совсем юной дочери шамана, почти еще девочки, было горячее сердце. И вот она полюбила молодого храброго охотника. Но была она столь стыдлива, что не могла ему открыться в своей любви, а он ни о чем не догадывался. У девочек быстро вспыхивает чувство и быстро угасает, но не такой была Вавай. Чем больше проходило времени, тем сильнее становилось ее чувство. Терзавшая ее тоска по милому становилась порой столь невыносимой, что в голову девушке стали приходить безумные мысли. В конце концов, не в силах выдержать разлуку и стремясь постоянно видеть любимого и прислуживать ему, Вавай решилась на отчаянный шаг: она попросила отца-шамана превратить ее в собаку, чтобы постоянно сопровождать охотника. Отец отругал ее и отказался выполнить просьбу, но спустя какое-то время, заметив, как она чахнет от тоски, он уступил и превратил ее в собаку.

В своре охотника она была самой понятливой из всех псов и мгновенно угадывала все мысли и желания хозяина, который очень полюбил смышленное животное и охотно его ласкал. Когда охотник, возвратившись с охоты, отдыхал в своей хижине, собака клала голову на его колени и часами смотрела ему в глаза. Страдала она лишь одним недостатком: была своенравной, обрела странные привычки и почти всегда перед концом охоты на несколько часов убегала от охотника, бесследно исчезая в чаще.

В лесу, где на каждом шагу всякие духи, случаются разные чудеса, и такие же чудеса стали происходить в хижине охотника. Когда он возвращался из леса, хижина его оказывалась чисто подметенной, очаг горящим, а лепешки из маниоки свежее испеченными и даже еще горячими. Тут же вскоре появлялась собака, и, хотя охотник вытянул ее пару раз хлыстом за непослушание, она лишь радостно взвизгивала и ласкалась.

Поначалу охотник приписывал порядок в хижине добрым духам, но потом все это стало казаться ему странным, и он решил докопаться до истины. И вот однажды он вернулся с охоты намного раньше, чем обычно, и, осторожно подкравшись, услышал в хижине какую-то возню. Заглянув через щель внутрь, он увидел там юную девушку, разжигающую очаг, а на стене шкуру любимой собаки. Охотник сразу все понял, мгновенно вбежал в хижину, сорвал со стены шкуру и бросил ее в огонь. Девушка не могла больше вернуться в прежнее состояние и оказалась в руках охотника. Он обнял ее и взял в жены. Жили они, — закончила Ласана рассказ, обводя вождей многозначительным взглядом, — жили они долго и до конца дней своих были неразлучны и счастливы.

— О-ей, о-ей! — снисходительно соглашались вожди. — Наверно, есть и такие девушки.

— Наверняка есть такие девушки! — отрезала Ласана.

Тем временем день, все еще шумный от людского гомона и грохота барабанов, близился к исходу. Все алело в лучах заходящего солнца, тени вытягивались, в лесной чаще уже сгустился сумрак. Но оживление и в самом поселке, и в роце, под пальмами бурити, не спадало, повсюду раздавались крики, бегали и резвились дети.

Бежал и молодой индеец, быстроногий охотник. Бежал к нашему тольдо.

Еще звучал в ушах голос Ласаны, еще стоял перед глазами образ счастливого охотника и его возлюбленной, и оттого на миг — о игра воображения! — бегущий юноша представился нам героем из предания. Но лишь на миг.

В следующую минуту индеец был рядом. От быстрого бега глаза у него округлились, в них застыл испуг. Задыхаясь, он едва смог вымолвить:

— Там акавои! — и показал рукой на противоположную сторону озера.

— Ты что болтаешь? — чуть слышно выдохнул из себя Манаури.

— Акавои... пришли!

Если бы земля вдруг разверзлась у нас под ногами, это не произвело бы большего впечатления. Мы словно окаменели и продолжали сидеть как вкопанные.

— Где, ты говоришь, они? — первым опомнился я.

— Там, на берегу озера... Сейчас уже, наверно, переплывают сюда.

— Сколько их?

— Восемь!

— А откуда ты знаешь, что это акавои?

— Я был у озера, когда они вышли из леса. Они говорили со мной.

— Ты от них убежал?

— Хотел убежать, но они меня поймали. Ничего мне не сделали... Сказали, что хотят прийти в Кумаку...

— Сколько их было, говоришь?

— Восемь.

— Не больше?

— Не знаю. Больше я не видел...

Внезапно вырванный из благостного состояния духа, я вдруг испытал, казалось бы, совсем идиотское чувство: чувство облегчения, что наконец после стольких месяцев напряженного ожидания гром грянул, гроза пришла. Акавои явились.

Все вожди обратили свои взоры на меня, в напряженных их взглядах читались страх и надежда.

Акавои

— Сохранять спокойствие! — проговорил я тихо. — Ничем не выдавать, что мы предупреждены об опасности. Эти восемь пришельцев, мне кажется, опасности пока для нас не представляют. Не исключено, однако, что на нашем полуострове высадились и другие акавои и сейчас подбираются к нам, а быть может, притаились уже за ближайшими кустами...

Непроизвольно вожди оглянулись на ближайшие заросли. Да, они не умели держать себя в руках и не были по крови истинными воинами. Лишь Манаури вел себя достойно.

— Один неосторожный взгляд, — предостерег я, — может стоять в лесу жизни...

Коротко, не тратя лишних слов и времени, я предложил им свой план ближайших действий: незаметно разойтись по своим родам, осторожно оповещая по дороге всех встречных, воинов с оружием собрать по отрядам в хижинах, в то же время выслать разведчиков — пока в пределах пятисот шагов от селения — и осмотреть все заросли, окружающие Кумаку.

— Одним словом, — закончил я совет, — действовать так, чтобы отряды были готовы к отражению нападения, а враг об этом не догадывался. Пусть муку-

ари продолжается и барабаны ни на минуту не умолкают. Я и Манаури пойдем встретить восьмерых акавов, а вы следите за нами издали. Сразу же сообщите мне, какие сведения доставят разведчики из леса...

Мы расстались, отправившись каждый в свою сторону. Те, кто танцевал сейчас мукуари, потихоньку оповещенные, как ни в чем не бывало продолжали танец.

Когда мы подошли к моей хижине, лодка с акавоями как раз причалила к берегу рядом с нашей шхуной. Такой большой корабль в этих пустынных краях был явлением диковинным, однако пришельцы ни малейшим жестом не выдали своего удивления и даже не моргнули глазом. Они, как видно, отличались великолепной выдержкой. Сойдя на берег, акавои остановились, и один из них, видимо старший, стал размахивать перед лицом рукой в знак дружеского приветствия. Манаури ответил ему тем же жестом, после чего акавои вытащили из лодки свое оружие и пожитки: восемь плотно набитых мешков, какие в походах индейцы обычно носят на спине с поддерживающей лямкой на лбу.

— Мы странствующие торговцы из племени капонг, называемого еще акавои, — произнес на ломаном аравакском языке тот, что приветствовал нас рукой, — и хотим с вами торговать. С этим мы сюда и прибыли.

— Если вы прибыли с этим, — вежливо, но весьма многозначительно ответил Манаури, — то мы рады приветствовать вас и считать своими гостями.

— Спасибо. Не сердись, что мы воспользовались вашей лодкой для переправы через озеро: мы добирались сюда из южных лесов пешком, и своей лодки у нас нет.

— Откуда ты знаешь аравакский язык?

— Наши селения у реки Куюни лежат недалеко от костров южных араваков, живущих на реке Померун. Я, Дабаро, часто встречаюсь с вашими братьями...

Достаточно было одного взгляда, чтобы понять — это индейцы не из племени араваков или варраулов: они были на полголовы выше среднего обитателя берегов Ориноко и крепче сложены. Хотя явились они под видом торговцев, в каждом их движении выделась уверенность в себе и ловкость прирожденных воинов. Проницательные, но сдержанные взгляды, горделивое выражение лиц, полная достоинства осанка. Белые матерчатые повязки на предплечье и под коленом, а также черные полосы на лицах, нанесенные краской от уха к носу и к губам, являлись, как видно, племенным знаком. Все были в полном боевом вооружении: у каждого лук со стрелами, копье, палица и щит из прочной звериной шкуры. Они ни на минуту не расставались со своим внушительным оружием и носили его столь ловко, что оно ничуть не мешало их движениям. Военная их выправка невольно вызывала уважение.

Когда все приветственные церемонии были соблюдены, Манаури велел разместить гостей в двух предназначенных для них хижинах, расположенных так, что за ними легко было наблюдать со всех сторон и днем и ночью. Он распорядился также принести им вдоволь еды и в избытке напитков, а также хвороста для костра.

Разведчики, посланные в окрестности селения, ничего подозрительного поблизости не обнаружили. Я их отправил вновь, на этот раз значительно дальше, поручив прочесать весь наш полуостров, а также противоположный берег

озера. Поскольку акавои прибыли именно с этой стороны, я направил через озеро Арнака, велел ему двигаться по их следам до самого наступления темноты.

Потом мы с Манаури собрали вождей на совет.

— Акавои, — сказал я, — чаще всего нападают, кажется, на рассвете, когда все крепко спят. Мы выставим на всю ночь караулы и в самом селении, и вокруг, для чего каждый род должен выделить людей.

— Ты считаешь, Белый Ягуар, что в лесу есть еще акавои? — спросил Мабукули.

— Пока я знаю лишь то, что и вы. Но что-то мне чудится — их пришло больше.

— Даю голову на отсечение — больше! — заявил Конауро.

К этому мнению фактически склонялись все, а поскольку у страха глаза велики, нависшая над нами опасность представлялась особенно грозной: среди племен Гвианы и юго-восточной Венесуэлы ходили страшные слухи о воинственности акавоев, их неумемной жажде крови и зверской жестокости. Вожди араваков не впали в панику лишь благодаря непоколебимой вере в мою счастливую звезду и в меня.

— Среди наших людей есть знающие язык акавоев? — спросил я.

Нет, таких не оказалось, поскольку все жители Серимы и Кумаки переселились сюда с севера, с побережья Карибского моря, лишь два года назад и никогда прежде не сталкивались с акавоями.

— Скверно! — задумался я. — Эти восемь пришельцев наверняка лазутчики. Они, мне кажется, собираются погостить у нас некоторое время, чтобы выяснить все их интересующее. Очень важно для нас подслушать их разговоры между собой.

— У нас некому, — пожал плечами Манаури.

— Есть! — воскликнул Мабукули. — А Фуюди?!

А ведь действительно, Фуюди родом был с юга, с берегов реки Померун, и прибыл сюда лишь год назад.

— О-ей, Фуюди! — подхватили Конауро и Уаки. — Он знает акавоиский язык, это верно.

Фуюди все еще находился в Сериме, не пожелав в свое время оставить Конесо.

— А он болел красной болезнью? — спросил я.

— Нет.

— Тогда, вождь, — обратился я к Манаури, — тотчас пошли в Сериму проворного человека с поручением к Фуюди немедленно, этой же ночью, прибыть к нам... Кстати, в Сериме следует навести порядок: все хижины, в которых были больные, надо срочно сжечь, может быть, даже завтра утром.

— Хорошо, Ян!

Но когда мы приступили к обсуждению, как лучше организовать наблюдение за восемью акавоями, чтобы ни на минуту не спускать с них глаз, Мабукули, Конауро и Уаки заерзали, выражая неудовольствие.

— Белый Ягуар, ты сам признаешь, — заговорил Конауро, — что они шпионы. Ясно — они наши враги. Если их убить, мы сразу избавимся от нарыва на нашем теле, ликвидируем опасность и заодно по справедливости отомстим за смерть наших охотников, погибших в горах в прошлую сухую пору.

— О-ей, убить их! — поддержали его Уаки и Мабукули.

Манаури передернуло, словно его укусила змея. Он молчал, сопел и гневным взглядом окидывал своих вождей. Прошло немало времени, прежде чем он произнес:

— Вы воины, а говорите как дети. Разве мы дикие звери, чтобы не уважать странствующих торговцев? Разве не видели все, как Манаури от имени целой Кумаки обещал пришельцам гостеприимство? Вы унижаете мое достоинство, бесстыдно требуя от меня совершить подлость и нарушить свои обещания, вы, мои друзья и вожди! Вы хотите меня опозорить!

Верховный разгневался не на шутку, а я тайком потирал руки от удовольствия, ибо усматривал в его справедливой вспышке и следствие моего влияния. Разнос вожди восприняли покорно, даже с долей смирения, и лишь Мабукули, ближайший друг Манаури, заметил:

— А если акавои окажутся предателями, что тогда?

— Тогда другое дело! Тогда мы их уничтожим.

— Не было бы поздно! — буркнул Мабукули.

Рассчитывая на поддержку, вожди как на последнюю надежду взглянули на меня и обманулись. Я полностью поддержал позицию Манаури, добавив, что восемь гостей не должны умереть хотя бы еще и потому, что могут нам пригодиться и случайно выдать место, где укрываются остальные акавои, если таковые действительно затаились где-нибудь поблизости.

Еще до наступления темноты мы навестили гостей в их хижинах и убедились, что у них ни в чем нет недостатка, а потом, дружески предупредив их, чтобы в темноте ради собственного же блага они слишком не отдалялись от места ночлега, простились, пожелав им спокойной ночи.

Арнак и другие разведчики с началом ночи вернулись в Кумаку. Они не обнаружили никаких следов чужих людей.

Часа через два после полуночи меня разбудили. Пришел Фуюди. Он был взволнован порученным ему заданием и оказанным доверием. Акавоиским языком он владел неплохо.

— Поручаю тебе акавоев: под предлогом помощи им будешь подслушивать каждое их слово, но смотри, чтобы они не догадались, что ты их понимаешь, — поучал я его. — Главное, чтобы они не знали тебя по прежним временам.

— Не могут они меня знать, — возразил он, — я научился их языку от двух акавоев, постоянно живших в нашем племени на реке Померун, и никогда не был на Куюни...

— Тем лучше!.. Какие новости в Сериме?

— Болезнь вроде бы прекратилась. Выжившие понемногу приходят в себя.

— А Конесо?

— Он совсем пал духом, отупел и сник, целыми днями молчит...

— А другие?

— Все верят в тебя, Белый Ягуар, и хотят соединиться с вами под началом Манаури. Они будут делать все, что вы прикажете.

— Когда сожгут зараженные хижины?

— На рассвете.

Это были добрые вести, предвещавшие в племени мир и согласие, удалось бы только теперь успешно предотвратить опасность со стороны акавоев, если

она существовала.

— Серимцы оповещены о появлении акавоев?

— Да. Там будут теперь начеку.

После разговора с Фуюди я велел ему пару часов поспать, а сам обошел сторожевые посты и застал всех на местах. Навестил я и пальмовую рощу бурити: часть воинов продолжала танцевать мукуари, и грохот барабанов не смолкал до самого утра. Ночь прошла спокойно.

На рассвете вся Кумака была на ногах. Сторожевые посты я выдвинул как можно дальше от селения, а отряды наиболее опытных и умелых охотников и рыболовов выслал на разведку в лес и к реке Итамаке.

С самого утра вокруг хижины акавоев началось оживленное движение. День был солнечный, и пришельцы разложили на земле содержимое своих мешков, воткнув рядом копья и палицы. Их копья имели особую форму и были похожи на огромные стилеты.

Чего только не было среди их товаров! И крохотные горшочки с ценным ядом урари, приобретенным у индейцев макуши, живущих у подножия гор Пакараима, и разные ожерелья, и прочие украшения из клыков ягуара, каймана, обезьян, а также из редких плодов. Все это радовало глаз, а Дабаро охотно объяснял нашим мужчинам и женщинам, от каких племен это получено: карибиси, виписана, арекуна и даже от араваков с реки Эссекибо.

Были там и разноцветные, разных размеров стеклянные бусы, происхождения, бесспорно, европейского, на которые наши люди не могли вдоволь насмотреться. Были и голландские хлопчатобумажные платки, и топоры, тоже из Голландии, и разные ножи, большие и маленькие, а среди них и показавшиеся мне удивительно знакомыми. Взяв один из них в руки и внимательней осмотрев, я прочитал — еще бы! — на рукояти надпись: Ливерпуль. Словно ветер родных краев пахнул мне в лицо, и сердце сжалось от щемящей тоски.

Дабаро, на подбородке которого в этот день, как особое украшение, висела серебряная пластинка величиной с талер, подвешенная к продырявленной нижней губе, обратил внимание на мой повышенный интерес к английским товарам. Он подошел ко мне и, указав на нож, объяснил по-аравакски:

— Это у нас из голландских факторий, а они купили ножи у паранакеди, твоих сородичей, когда плавали на корабле к устью реки Эссекибо.

— Откуда ты знаешь, что я англичанин, если здесь тебе никто этого не говорил? — спросил я.

На замкнутом и сумрачном до сих пор лице акавоья появилась самодовольная усмешка.

— Между реками Ориноко, Эссекибо и Куюни высокие, конечно, горы и непроходимые джунгли, однако вести доходят до нас с быстротою ветра, Белый Ягуар.

— Тебе известно и мое прозвище?

— Как видишь.

— А что вы еще знаете о нас?

— Все, — ответил он серьезно с невозмутимым видом.

Присматриваясь к акавоям, восхвалявшим свои товары с ловкостью завязанных торговцев, и оглядывая огромное множество доставленных ими вещей, я невольно усомнился в справедливости наших подозрений. Между племенами давно осуществлялся оживленный товарообмен, и, возможно, это действи-

тельно простые торговцы, а не воины, прибывшие с враждебными намерениями?

Первая жертва акавоев

В этот момент северную часть небосклона окутал поднявшийся с земли столб черного дыма: это в Сериме жгли хижины больных красной болезнью. Дым, поднявшийся сразу в нескольких местах и слившийся над лесом в одно огромное облако, являл собой грозное зрелище. Жителей Кумаки, не знавших решения старейшин, охватило беспокойство. Никто больше не смотрел на товары акавоев. Раздались враждебные возгласы о нападении на Сериму, и, хотя виновников открыто не называли, гневные взгляды украдкой бросались на акавоев. Кое-кто, поддавшись панике, бросился к своим хижинам за оружием.

Акавои сразу же заметили клубы дыма и слышали недвусмысленные предположения наших людей, а Дабаро их понял. Гости явно остолбенели. Более того, казалось, их охватил гнев на мнимых виновников нападения, во всяком случае, мне казалось, что это гнев. Они стали лихорадочно между собой перешептываться. Стоявший рядом Фуюди наострил уши, стараясь остаться незамеченным. Подслушать ему удалось немного, поскольку акавои, обменявшись несколькими короткими фразами, сразу же замолчали. Фуюди направился в сторону, я последовал за ним. Оказавшись вне поля зрения акавоев, среди хижин, я догнал его.

— Ну что? — спросил я.

— Дабаро, завидя дым, произнес: «Глупцы, не выдержали, выдали себя раньше времени». Второй ответил: «Испортили все дело».

— Значит, Дабаро предполагает, что отряд его сородичей напал на Сериму?

— Не иначе. Еще они шептались, что им следует немедленно бежать и пробиться к нашим лодкам на озере.

— Этому надо помешать! Быстро возвращайся к ним и во всеуслышание объяви, что дело прояснилось: дым над Серимой означает, что там жгут хижины после эпидемии.

Он побежал, выполнил мое поручение и действительно успокоил всех: и жителей Кумаки, и акавоев.

Исполненный мрачных мыслей, я направился к хижине Манаури. Итак, сомнений не оставалось: акавои прибыли крупным отрядом, это ясно, и ясно также — с враждебными намерениями, они скрывались где-то поблизости. Значит, бой неизбежен, и об этом без обиняков несколькими минутами позже объявил я Манаури и остальным вождям.

— Только осторожность и внимание, и еще раз осторожность могут нас спасти! — втолковывал я. — Хижины Кумаки растянулись на четверть мили, их трудно оборонять. Все жители должны немедленно собраться в центре деревни, неподалеку от нашего корабля, и жить пока здесь... Не забудьте переселить Арипая.

Торговля тем временем не прекращалась, хотя и шла медленно, через пень-колоду, поскольку акавои чересчур высоко оценивали свои товары и слишком низко — изделия араваков, особенно разноцветные ткани. Торговцам хотелось закупить побольше продовольствия, а нам не имело смысла его лишаться. Одним словом, когда в полдень торговля из-за жары на пару часов прекратилась, немногие товары перешли из рук в руки. Я понял: акавоям нужно как

можно дольше задержаться в Кумаке.

К полудню переселение жителей в центр деревни завершилось. В хижинах поблизости от шхуны было полно людей, строения же на краю Кумаки совсем опустели. Акавои заметили оживленное передвижение, но понять сути происходящего не смогли и, как подслушал Фуюди, остались в недоумении.

После полудня из леса и с реки вернулись отряды разведчиков. В радиусе нескольких миль они ничего не обнаружили, что свидетельствовало бы о присутствии врага, не заметили никаких подозрительных признаков. Оставалось предполагать, что бивак акавоев находится или еще дальше от Кумаки, или так искусно укрыт, что его трудно обнаружить.

Восемь акавоев сразу же после полудня собрали свои товары и объявили, что хотят исполнить для нас танец в честь огня. Мы ничего не имели против, и многие жители Кумаки собрались поглазеть на зрелище.

Танец исполнялся перед хижинами гостей, рядом с воткнутыми в землю по акавойскому обычаю копьями и палицами. Обряд состоял в том, что один из акавоев, разведя большой костер, то раздувал пламя, то приглушал его, а тем временем остальные воины, взявшись за руки и делая мелкие шажки правой ногой в сторону, под аккомпанемент какого-то воинственного напева кружились вокруг огня.

— Ты понимаешь, о чем они поют? — обратился я к Фуюди.

— Они просят костер принести им победу... и ослепить своим дымом глаза врагов.

— Это их обычный танец?

— Не знаю.

— Ты что-нибудь слышал о нем прежде?

— Нет, первый раз вижу.

Конечно, Фуюди мог и не знать этого танца, но меня в нем поразила любопытная деталь: из костра, по мере того как его раздували или приглушали, вырывались клубы дыма то с большими, то с меньшими интервалами, что показалось мне не случайным. Дым, поднимаясь с перерывами высоко вверх над верхушками ближайших деревьев, наверняка был хорошо виден со всех берегов озера Потаро, а быть может, даже и с противоположного берега Итамаки. Внимательно присмотревшись, я готов был дать голову на отсечение, что это какие-то сигналы.

Толкнув в бок Манаури, я проговорил:

— Акавои недалеко от Кумаки.

— Откуда ты знаешь? — удивился он.

— Мне сказал дым, который танцоры выдувают из костра. Присмотрись получше.

Вождь согласился со мной. В этих прерывистых клубах дыма он тоже усмотрел какой-то скрытый смысл.

— Что будем делать? — разволновался Манаури. — Давай остановим танец и погасим костер!

— Нет. Еще рано.

— Но эти предатели вызовут сюда всю банду!

— Ну что ж, ведь мы начеку! Впрочем, сейчас мы спутаем их планы и вмешаемся в этот дымовой разговор...

Я подозвал Арнака и Вагуру, стоявших неподалеку, и, посвятив их в наши

предположения, велел быстро разжечь поблизости еще два костра и тоже выпускать из них дым через определенные интервалы.

— Это должно спутать сигналы «торговцев», — пояснил я Манаури, — но этого мало: надо снова выслать разведчиков и еще раз обыскать все берега озера, да повнимательнее.

Мои указания были тотчас выполнены. Не знаю, удалось ли акавоям что-нибудь понять, но они танцевали еще добрый час, по-прежнему выпуская облачка дыма, а рядом из двух подобных костров тоже поднимались вверх похожие клубы, но с иными интервалами. Сам дьявол не разобрался бы в этой мешанине. А тем временем два наших лучших отряда прочесывали заросли вокруг озера.

Разведчики вернулись поздно вечером. Никаких известий о противнике они не принесли, но другая весть потрясла всю Кумаку: Арипая и его близких нашли убитыми. На первых порах возникли подозрения, что это месть сторонников Карапаны. Более всего удручен происшедшим был Манаури, который никак не мог себе простить, что своевременно не переправил Арипая в селение, и ходил как в воду опущенный.

Мы были готовы к нападению этой ночью, но враг не появился. Едва рассветало, когда перед моей хижинкой собрался отряд разведчиков и во главе со мной отправился к месту преступления.

Хижина Арипая стояла более чем в полумиле от Кумаки, и, когда мы добрались до нее, было уже совсем светло. В целях безопасности я приказал окружить хижину широким кольцом и направился к ней один, внимательно осматривая следы. Всю семью Арипая, его жену и двоих детей, я нашел в хижине, там, где их настигла смерть. Они были убиты ударами палиц по голове. Никаких признаков борьбы или других следов, по которым можно бы опознать убийц, не было.

Только выйдя во двор и тщательно осмотрев все вокруг, среди множества следов, принадлежавших, конечно, и членам семьи Арипая, я обнаружил на земле два небольших круглых углубления. Мне показалось, что я уже видел где-то подобные углубления, а минуту спустя меня осенило: это обычай акавоев — втыкать свои палицы в землю, и углубления, обнаруженные возле хижины, по размерам точно соответствовали их оружию.

«Значит, акавои? — подумал я, содрогнувшись. — Акавои здесь, на нашем полуострове?!»

Где их лагерь?

По возвращении в деревню новая неприятность: прошедшей ночью у нас украли одну из самых больших итауб. Лодка лежала неподалеку от шхуны. Наша стража бодрствовала всю ночь, и тем не менее кража свершилась. Вор, а скорее воры приплыли, вероятно, по озеру, с редкостной ловкостью стащили лодку на воду и увели. Мы снова, в который уже раз — черт побери! — выслали два отряда разведчиков: один по берегу, другой по воде, чтобы обшарить все вокруг в поисках итаубы. Если ее не найдут, мы, по крайней мере, уверимся в одном: вор или враг — а это одно и то же — приплыл по реке.

Я думал, как лучше организовать нам оборону, и сразу после завтрака велел позвать Фуюди, Арнака и Вагуру. Когда они пришли, я коротко изложил им свой план: жители Кумаки не должны показывать вида, что знают о краже лодки и убийстве Арипая. Затем я назначил через час в пальмовой роще

осмотр всего огнестрельного оружия, имевшегося в нашем распоряжении.

— Отряды, посланные на озеро, взяли с собой несколько ружей, — напомнил Манаури.

— Ладно, обойдемся без них! — ответил я. — Впрочем, они взяли с собой всего три или четыре ружья, это не так уж много.

— Три, — уточнил Арнак.

— Значит, в роце должны собраться все, у кого есть огнестрельное оружие? — спросил Вагура.

— Да, все.

— Наберется около сорока человек. Ты думаешь, Ян, акавои не обратят внимания, что столько людей направляется к роце с ружьями и пистолетами?

— Надо думать, обратят.

— Значит, можно не скрываться?

— Можно, но пусть акавои думают, что мы хотим скрыть от них оружие, а им удалось подсмотреть за нами и его обнаружить.

— О-ей! Понятно! — воскликнул Вагура. — Пусть видят, сколько у нас оружия!

— Именно так! Ты, Арнак, проследи, чтобы в роцу перенесли со шхуны все имеющиеся у нас бочки с порохом.

— Вот всполошатся негодяи! — ликовал Вагура.

Тем временем акавои, как и накануне, разложили перед своими хижинами товар, и пошла торговля. Сегодня здесь толпились в основном женщины, мужчины занимались другими делами, а торговцы теперь не требовали столь высоких цен и охотно покупали аравакские ткани.

В назначенный час пальмовая роца превратилась в арену невиданного зрелища. Индейцы на высоте трех-четырёх футов от земли привязали к стволам деревьев жерди и прислонили к ним стволами свои ружья всех калибров и размеров. Чуть выше на лианах, протянутых от ствола к стволу, развесили один подле другого пистолеты. Всего оказалось тридцать восемь ружей и тридцать четыре пистолета — внушительный арсенал, достойный уважения, есть на что посмотреть.

С помощью Арнака и Вагуры я тотчас же принялся за осмотр, и, надо сказать, весьма своевременно: ржавчина во влажном климате стала разъедать оружие, особенно недавно выданное нашим новым стрелкам. Сало, вытопленное из добытых нами апий, оказалось отличным лекарством от всех поверхностных болезней металла и помогло привести ружья в относительный порядок. Не меньше внимания уделил я тому, чтобы у каждого ружья был кожаный чехол, прикрывающий замок с курком и предохраняющий полку от влаги и дождя.

Осмотр оружия не был еще окончен, когда мне незаметно дали знать, что к нам приближается Дабаро. Рыбка все-таки клюнула на приманку! Мы намеренно не обращали внимания на акавою, и, лишь когда он оказался рядом, я обратил на него вопросительный взгляд.

Нашим гостям — они же торговцы! — не возбранялось днем бродить по всей Кумаке, куда им заблагорассудится.

— У нас кончился хворост для костра, — обратился ко мне Дабаро. — Позволь пойти в лес за дровами. Мы не будем уходить далеко.

— Я велю нашим людям принести вам дров сколько надо, — любезно возра-

зил я.

— Зачем вам трудиться? — не менее любезно ответил он.

— Хорошо, Дабаро, идите в лес сами! Но остерегайтесь, как бы наша стража в лесу не причинила вам вреда.

— А зачем вам стража в лесу? — удивился он.

— Разве я тебе не говорил? На нас собираются напасть испанцы и отомстить за плохой прием, оказанный им недавно.

— Испанцы! — задумался Дабаро, а затем добавил: — Хорошо, тогда дай нам проводника, пусть он объяснит страже, зачем мы идем в лес.

— Ладно, проводник будет.

Он собирался уже уходить, но вдруг вспомнил:

— Да, после полудня мы хотим снова исполнить для вас танец.

— Отлично! Вы превосходные танцоры! Теперь понятно, почему вам нужно так много дров для костра.

— Нет, Белый Ягуар! Костра не будет. Теперь мы исполним вам танец воинов...

Он ушел, даже мельком не взглянув на оружие, чем немало всех нас поразило.

Акавои отправились в лес в сопровождении Фуюди и еще двух наших воинов. Оружие они оставили в Кумаке. Менее чем через час они вернулись, нагруженные дровами. Стража по дороге им попала, но ничего подозрительного замечено не было, и Фуюди тоже не удалось подслушать что-нибудь особенное.

Незадолго до полудня вернулись после осмотра берега озера отряды разведчиков: ничего, никаких следов украденной лодки и вообще никаких особых следов У воды.

— Положение начинает проясняться, — объявил я старейшинам. — Акавои на реке.

— Ты, я вижу, этим доволен, — горько заметил Манаури, качая головой.

— И даже очень. Если сегодня на Кумаку не нападут, то нынешней ночью станет ясно, где размещен их лагерь.

— У тебя есть какой-нибудь план?

— Есть... Но вы должны отобрать мне из всех родов Кумаки пятнадцать воинов с мужественными сердцами, а еще важнее — с глазами филина, способных видеть все в ночи. Пусть они явятся сюда часа через два пополудни.

Воины прибыли точно в срок, а вместе с ними и сами вожди, горя от нетерпения узнать мой план. Я выложил им свои соображения:

— С вечера мы укроем в проливе, соединяющем наше озеро с рекой, две лодки. Уверен, что нынешней ночью акавои, ободренные вчерашним успехом, снова явятся в попытках увести у нас другие лодки. Если мы отбросим их от Кумаки, они наверняка обратятся в бегство и сломя голову поплывут обратно в свой лагерь. Тут-то две наши укрытые в проливе лодки незаметно последуют за ними и таким образом откроют месторасположение их лагеря. Вы согласны?

— А ты, Ян, тоже пойдешь к проливу?

— Конечно. Мы поплывем сразу после наступления темноты. Я поведу одну лодку, Арнак другую.

Не теряя времени, мы тотчас же отправились к проливу, находившемуся в

полумиле от Кумаки, чтобы засветло подыскать подходящее место для ночной засады, оставив в селении Манаури. Берега пролива, довольно узкого, а длинной шагов в двести, были укрыты сплошной стеной из ветвей прибрежных деревьев. Под их сенью не составляло труда надежно укрыть лодки. Выбрав для них наиболее подходящие позиции, мы вернулись в Кумаку.

Вскоре акавои начали свой танец, танец воинов, как и обещал Дабаро. Они снова держались за руки, но на этот раз бешено подпрыгивали на одном месте, издавая дикие вопли, а время от времени то один, то другой выскакивал в центр круга и начинал судорожно извиваться и дергаться как сумасшедший. Костра они действительно не разжигали, но зато один из них выбивал на барабане из полого ствола дерева гулкий, постоянно меняющийся ритм.

— Догадываешься? — спросил я стоявшего рядом Манаури.

— О чем?

— Теперь они передают донесение гулом своего барабана.

— Что будем делать?

— Пока рано срывать с них маски.

— А если они передадут своим что-нибудь важное?

На этот раз выручил Арасибо, наш новоиспеченный шаман. Еще накануне он вбил недалеко от шалашей гостей в землю шест и водрузил на него череп ягуара с одной глазницей, обращенной на акавоев. Когда воины начали сегодня свой танец, похожий на какие-то ритуальные заклинания, он, дабы отвести чары, в ответ тоже стал танцевать вокруг шеста, поминутно подскакивая к своему барабану и слегка ударяя по нему.

Я послал к Арасибо Вагуру с просьбой, чтобы шаман непрерывно бил по своему барабану и заглушал барабан акавоев. Арасибо отменно с этим справился, и теперь в воздух несся слитный гул двух барабанов сразу.

После короткого внезапного дождя вечер наступал тихий и ясный. Мы размышляли, взять ли нам в ночную вылазку Фуюди, и порешили взять. Итаубы отобрали небольшие, каждую человек на восемь. Хотя плыли мы только на разведку, я велел всем полностью вооружиться.

Когда стемнело, мы отчалили от берега, предварительно убедившись, что все наши акавои спят в своих хижинах.

Без всяких приключений добрались мы до пролива и заняли выбранные днем позиции: я на своей лодке — со стороны озера, Арнак — у выхода на реку. В небе собирались тучи, луна появится только во второй половине ночи.

Мы рассчитывали, что акавои, если вообще этой ночью появятся, то появятся до восхода луны, — и рассчитывали правильно.

Около полуночи до нашего настороженного слуха донесся легкий плеск крадущихся весел, и тут же посреди пролива в тумане замаячил темный силуэт, медленно продвигаясь в сторону озера. Какое же мы испытали облегчение, какую радость! Да, это были они, и, когда проплывали мимо, нам удалось различить в лодке пять или шесть припавших к бортам фигур. Мы наблюдали, не появятся ли другие лодки, но нет — акавои приплыли только на одной этой.

Едва они нас миновали, один из моих воинов выскочил на берег и бегом бросился в Кумаку, чтобы уведомить об опасности.

Спустя каких-нибудь полчаса в селении раздались крики: это наверняка обнаружили воров, пытавшихся похитить лодки.

— Все идет как по маслу, — улыбнулся я своим спутникам. — Вот-вот они должны появиться здесь.

Я не ошибся. Они плыли, не жалея рук, — торопились, опасаясь, видимо, погони. Когда они отделились от нас шагов на шестьдесят-семьдесят и почти исчезли уже из глаз, мы бросились в погоню.

— Теперь покажите, чего стоят ваши глаза! — шепнул я команде.

Вскоре перед нами показался выход из пролива в реку. Лодка акавоев выскользнула на более светлую гладь открытой воды, и тут же справа появилась лодка Арнака.

— Близо не подплывать! — предостерег я своих гребцов. — Скверно, если они нас заметят.

Выйдя из пролива, акавои устремились на середину реки. Мы за ними. Итауба наша держалась на таком отдалении, чтобы едва виден был расплывчатый силуэт неприятельской лодки. Гребцы мои с задачей справлялись отменно.

Почти добрую милю акавои плыли серединой течения по Итамаке вверх, потом приблизились к противоположному берегу. Там в реку вдавался мыс, к оконечности которого они прямо и направились. Достигнув его, они вдруг резко свернули в обход вправо, к берегу.

— Собираются высаживаться, — заметил Фуюди.

— Там, за этим мысом, затон, — пояснил один из наших гребцов, — такое же озеро, как у нас Потаро...

Обогнув мыс, мы действительно заметили в черной стене прибрежных зарослей чуть более светлую брешь. Река образовала здесь небольшую заводь, за которой тянулось целое озеро. В эту заводь акавои и направили свою лодку...

Им оставалось до нее еще с сотню шагов, как вдруг случилось непредвиденное. Лодка их замедлила бег — ба! — гребя назад, акавои стали отступать. Мы заметили это слишком поздно: наша итауба, продолжая двигаться в прежнем направлении, приблизилась к ним на угрожающее расстояние: на каких-нибудь двадцать шагов.

Я понял, что произошло: акавои налетели на большой ствол дерева, плывшего по течению, и, обходя преграду, сдавали теперь назад.

Вдруг впереди раздался приглушенный предостерегающий крик: нас обнаружили. В ту же минуту что-то глухо ударило в нашу лодку, и мой сосед со стоном рухнул, пробитый копьем.

К этому столкновению мы были готовы. Передний и задний гребцы продолжали грести, остальные, бросив весла, схватились за оружие. Взвизгнули тетивы. Наши стрелы попали в цель — в лодке врага стоны и крики. Мы подплывали. Копья вязли в людских телах. Я ощутил сильный удар в левое плечо, но, к счастью, палица скользнула боком. Я вонзил копье в противника. Яростное их сопротивление было вмиг сломлено. Один попытался спастись и прыгнул в воду. Палица настигла его, раскроив череп.

На быстрине мы выбросили трупы в воду, чтобы течение снесло их вниз, к Ориноко.

Один оказался еще живым. Фуюди пытался заставить его говорить, но без успеха. Пленный потерял сознание и тут же скончался. Мы отправили его в воду вслед за остальными.

В нашей лодке оказалось двое убитых и один тяжело раненый, досталось и



остальным. Какой же ожесточенностью и страшной воинственностью обладал враг, если, застигнутый врасплох и численно более слабый, смог нанести нам столь чувствительный урон! Схватка завершилась настолько быстро, что лодка Арнака не успела подплыть.

Мы возвращались — борт о борт, вражеская лодка на буксире — в полном молчании, все погруженные в свои мысли.

— Арнак, — проговорил я приглушенным голосом, когда мы наконец подплыли к нашему озеру, — ты понимаешь, что война началась? И будет кровавой. Мы убили шестерых. Теперь я понял: или мы уничтожим их всех до единого, или они нас.

— Мы их! — ответил он спокойно и поразительно твердо. И добавил, как бы поясняя: — Теперь мы знаем, где они укрываются...

Большинство жителей Кумаки в эту ночь не спало, ожидая нашего возвращения. Мы были рады одержанной победе, но оставалась и горечь: не все вернулись живыми.

Для вящей безопасности я распорядился удвоить охрану вокруг хижины акавоев, потом созвал на другом конце селения старейшин и лучших воинов на совет.

— Теперь мы примерно знаем, где находится лагерь акавоев: на противоположном берегу Итамаки, у залива за мысом. Сегодня же ночью туда поплывут наши разведчики и утром точно установят местонахождение их лагеря. Потом будем решать, как лучше их уничтожить.

— Кто поведет разведчиков? — спросил Манаури.

«Кто? Кто же? — размышлял я. — Это важное задание».

— Пожалуй, я...

Раздались возражения:

— У тебя ранено плечо, ты должен сохранить силы на будущее...

Меня тронула эта забота.

— Но кого же все-таки послать? — спросил я.

— Меня! — ответил Арнак.

Английский бриг

Под утро прошел проливной дождь — предвестник приближающейся поры дождей, — и солнце встало багряно-красное, что в Кумаке почиталось за предзнаменование войны. Я проснулся бодрым; левое плечо, хотя и сплошь синее, болело теперь меньше.

После восхода солнца акавои снова разложили на земле свои оставшиеся непроданными товары. Арасибо, расположившись в каких-нибудь ста шагах, не таясь ниспосылал на них из-под черепа ягуара злые заклятья и чары, призванные лишить их воли. Подойдя к ним, я поздоровался кивком головы и сочувственно поинтересовался:

— Сегодня ночью сон ваш, наверно, потревожили?

Дабаро внимательно взглянул мне в глаза.

— Правда, мы просыпались. Был какой-то шум.

— И что вы предположили?

— Мы решили, что на вас напали испанцы, которых вы ожидаете, — ответил он, не моргнув глазом.

— А тем не менее это были не испанцы, а индейцы!

— Индейцы? — повторил акавои с выражением показного изумления и... явного беспокойства.

— Индейцы. Они пытались украсть у нас лодки. Оказалось, что это каналы из Серимы, с которыми мы враждуем.

Едва заметная усмешка скользнула по его губам.

— В самом деле? — удивился он. — Вы их поймали?

— Нет.

— Откуда же ты знаешь, что они из Серимы?

— Кто же мог быть, если не они?

— Да, правда, кто бы мог быть! — поспешно согласился он и, помолчав, добавил: — Послушай, Белый Ягуар, мы гостим у вас уже третий день. Нам пора покинуть ваше селение.

— Вы не хотите больше для нас танцевать? Жаль.

— Потанцевать мы можем, и даже охотно, но нам хотелось бы еще сегодня пополудни отплыть.

— Отплыть? Разве вы прибыли сюда не пешком?

Дабаро не дал обить себя с толку.

— Да, правда, мы пришли пешком, но хотим купить у вас лодку за оставшиеся у нас товары. Разве они того не стоят?

У них оставалось шесть топоров, четыре или пять ножей, несколько глиняных плошек с ядом урари и разная мелочь.

— Ладно, Дабаро, я спрошу старейшин, согласятся ли они отдать лодку...

Тут же я отправился к Манаури, и мы собрали совет. Когда я изложил вождям и присутствовавшим главам некоторых семей просьбу акавоев, первым взял слово Мабукули:

— По моему мнению, хватит играть с ними в гостеприимство. Надо взять их в плен и держать в колодках как заложников, а товары отобрать. Если их шайка на нас нападет, всех заложников убить.

— А если не их шайка на нас нападет, а мы на них, что более вероятно, как тогда поступить с пленными? — перебил его я.

— Они наши заклятые враги, убить все равно!

— Вряд ли с тобой можно согласиться! Эти восемь акавоев ничего дурного

нам пока не сделали.

— Но могут сделать! А у нас на восемь врагов станет меньше! — стоял на своем Мабукули, и большинство присутствующих, особенно воинов, склонялись к его позиции.

Тогда заговорил Манаури:

— Белый Ягуар хочет, чтобы мы поступили как племя благородных воинов, а не вероломных дикарей. Советы Белого Ягуара всегда оказывались мудрыми. Мы не станем брать торговцев в плен и отпустим их с миром. Но как быть с их просьбой? Дать им лодку?

— Я бы не дал! — обиженно буркнул Мабукули. — Зачем помогать врагам в борьбе с нами?

— Разве это помощь, если хорошее оружие — шесть топоров и пять ножей — перейдет из их рук в наши руки? Лодок для боя у нас и так останется достаточно.

В этом вопросе почти все поддержали верховного вождя.

— К тому же, — продолжал Манаури, — отдадим им самую плохую итаубу, у нас есть одна совсем дырявая.

— А если они ее не возьмут?

— Другой не дадим.

— Если станут упираться, — вмешался я, — дадим другую. Все равно этой ночью будет решающий бой, а мы опять вернем себе итаубу.

— О-ей! — на этот раз охотно согласились все.

— Есть еще одно соображение, — продолжал я, — за то, чтобы выполнить их просьбу: акавои собираются покинуть нас сегодня пополудни. За ними скрытно последуют наши разведчики, и мы наверняка узнаем немало интересного...

К концу нашей беседы с противоположной стороны озера донеслись крики: кто-то просил лодку, чтобы переправиться к нам. Это оказался сын рыбака Катави. Заведя нас, он, едва причалив к берегу, проворно выскочил из лодки и бросился к нам со всех ног. Судя по его лицу, по всему его поведению, у него были важные новости.

— Я к тебе, Ягуар, — подбежал он, запыхавшись, — к тебе...

— Говори! — не сдержал нетерпения Манаури.

— К тебе, Белый Ягуар, приплыли паранакеди — англичане!..

— Англичане?! Что ты болтаешь?! Какие англичане?!

— На большом корабле.

— Как наша шхуна?

— О, еще больше, намного больше!

— Рассказывай подробно!

И сын Катави рассказал: вчера вечером с низовьев Ориноко приплыл двухмачтовый бриг и встал на якорь в устье Итамаки, потому что начался отлив и течение в реках усилилось. Матросы на лодке подплыли к берегу, а с ними три проводника из селения Каиива. Они отыскали Катави и объяснили ему, что это английский корабль, а его капитан плывет к Белому Ягуару. Катави отправился на палубу брига, чтобы провести его по Итамаке, а сын тем временем помчался в Кумаку предупредить нас о приближении англичан. Поскольку корабль снялся с якоря, по-видимому, с наступлением рассвета и началом морского прилива, ждать его можно было с минуты на минуту.

— А ты точно знаешь, что они интересовались именно мной? — спросил я у сына Катави, едва веря собственным ушам.

— Да, точно! Я не все понял из того, что они говорили, но они часто повторяли имя Белый Ягуар... и какое-то еще...

— Может быть, Джон Бобер?

— Да, да! Джон Бобер.

Не подлежало сомнению, что эти англичане знали меня и плыли именно ко мне. Это известие., вполне понятно, крайне меня взволновало и даже встревожило. Что им понадобилось от меня, сто чертей, — искать меня в такой безлюдной глуши! Не грозит ли мне с их стороны опасность?

События трехлетней давности в Вирджинии живо всплыли в моей памяти. Неужели вельможные лорды, проведав о моем спасении, вознамерились теперь зацапать меня в свои жестокие лапы? Я знал их злобность, но все-таки, поразмыслив, решил, что столь далеко идущая мстительность маловероятна, тем более что я давно уже не представлял для них никакой опасности. И оттого загадка становилась особенно мучительной: зачем английский бриг прибыл ко мне в эти богом забытые дебри?

— Как тебе показалось, — спросил я сына Катави, — они наши друзья или враги?

— Наверно, друзья, — ответил тот.

— А сколько матросов на корабле?

Он задумался, подсчитывая, потом неуверенно проговорил:

— Наверно, три раза столько, сколько пальцев на руках, и почти все белолицые, паранакеди...

И тут вдруг воздух сотряс гул орудийного выстрела. Звук шел с Итамаки, со стороны пролива между озером Потаро и рекой.

— Надо их проводить к нам на озеро, — обратился я к Манаури, — отправь несколько итауб, пусть они на буксире выведут корабль к нашему селению.

— Ян! — воскликнул вождь предостерегающе. — Разве ты уверен, что это друзья?

— Ты сам слышал, что говорил сын Катави. Наверно, это все-таки друзья, хотя... осторожность не помешает!

Шесть итауб с гребцами устремились к выходу из озера, а я тем временем призвал к себе Вагуру и по-английски сказал ему:

— Не знаю, кто эти англичане и что им от меня надо. Однако следует соблюдать осторожность. Жаль, что в деревне нет Арнака, он очень бы пригодился... Собери с разрешения Манаури самых лучших воинов, в первую очередь из нашего рода, хорошенько вооружи их и с этим отрядом держитесь поблизости от меня, как в прошлый раз в Сериме, когда прибыли испанцы. Следите за моими сигналами.

Войдя в свою хижину, я велел Ласане достать и быстро почистить мундир испанского капитана, потом торжественно в него облачился и даже надел башмаки. Нацепил шпагу и, конечно же, засунул за пояс серебряный пистолет, подсыпав на полку свежего пороха.

Но вот в дальнем конце озера показался бриг. Провести его через пролив не составило труда — было достаточно глубоко. Стояло почти полное безветрие, но передние паруса судна были распущены, и оттого в тесном окружении сплошной зелени он представлялся каким-то сказочным видением и выгля-

дел необычайно помпезно, медленно и величественно приближаясь. В этих диких лесах я настолько отвык от цивилизации, что вид прекрасного брига взволновал и растрогал меня до глубины души. Внезапно, охваченный какой-то странной и безотчетной гордостью, я ощутил на глазах своих слезы.

«Что нес мне могучий корабль, какую предвещал судьбу? Радость или новые беды и горести?»

Когда бриг, носивший название «Каприкорн», бросил в нескольких саженьях от берега, напротив Кумаки, якорь, капитан в сопровождении пяти-шести матросов, а с ними Катави и варраулы спустились по трапу в шлюпку и причалили на ней к берегу. По индейскому обычаю я ожидал гостей под сенью просторного тольдо в окружении Манаури и других вождей. Неподалеку, словно в почетном карауле, стоял Вагура со своим отрядом. Все остальные мужчины Кумаки были вооружены, но, укрывшись в хижинах, не показывались на глаза.

Я встал и встретил гостей на полпути. Капитан, человек лет сорока, высокого роста, крепко сложенный, светловолосый и голубоглазый, выступил вперед. Черты его лица, обрамленного бакенбардами, выражали волю, самоуверенность и бесспорную склонность к упрямству, хотя в целом лицо не было отталкивающим, а, напротив, скорее вызывало симпатию.

Приветственно взмахнув шляпами и поклонившись, мы подали друг другу руки, и я произнес:

— Сердечно приветствую вас, сэр, в наших малогостеприимных дебрях!

Капитан, отступив вдруг от меня на два-три шага назад и в упор разглядывая с ног до головы с нескрываемым и даже беспокойным любопытством, загадочно улыбался. Наконец он добродушно прервал затянувшееся молчание:

— Как дела, мистер Джон Бобер? Well, ваша милость, как я и предполагал, не так ли? Вот я и вижу наконец перед собой человека, поднявшего заваруху в Вирджинии, за голову которого законные власти назначили изрядную цену, человека, примкнувшего к пиратам, потом защищавшего беглых рабов и поголовно истребившего испанский отряд, а заодно захватившего у него шхуну и немало огнестрельного оружия, человека, в бараний рог скрутившего дона Эстебана, посланца венесуэльского corregidora в Ангостуре, и перебившего к тому же его людей, человека, который, завоевав любовь и доверие двух племен, араваков и варраулов, стал некоронованным королем нижнего Ориноко...

Капитан произнес эту длинную тираду в тоне весьма дружелюбном. Я слушал его со всевозрастающим удивлением: откуда этот посторонний человек мог знать столь много подробностей моей жизни? Едва он на минуту умолк, я, заинтригованный, прервал его речь и сказал:

— Если ваша милость намерен был речью своей повергнуть меня в крайнее изумление, то цели своей вполне достиг. Информация у тебя выше всяких похвал, однако же в двух пунктах есть ошибки.

— Не может быть! — изумился он, словно задетой оказалась его честь. — В каких же пунктах?

— Не я перебил людей дона Эстебана...

— Но ведь несколько человек убито?

— Действительно убито, но без моего участия... Ну и насчет короля нижнего Ориноко тоже не совсем... И все же я прошу открыть, сэр, каким чудом

узнал ты обо мне столь много?

— Я плыву с юга, из голландских факторий на Эссекибо, и, можешь мне верить, я там лицо не из последних.

— Значит, ваша милость, ты затем лишь и плыл сюда, в низовья Ориноко, дабы доставить мне удовольствие поведать об этом? — рассмеялся я.

— Я плыву из Гвианы в Бостон и действительно свернул с пути для беседы с твоей милостью, но отнюдь не на тему о твоей популярности, а на предмет куда более важный.

Тем временем мы подошли к тольдо и уселись в его тени.

Я представил капитану вождей, женщины подали угощения, и началась трапеза. Я заметил, что гостю не особенно пришлась по вкусу грубая индейская пища, а к напитку кашири он вообще не прикоснулся, зато подозвал к себе матроса с вместительной корзиной, велел ему выставить несколько бутылок рома. Я настолько отвык от алкоголя, что небольшой глоток обжег мне рот словно кипятком, мгновенно вызвав сильное, но, к счастью, непродолжительное головокружение. На душе у меня было радостно оттого главным образом, что после долгих двух лет я мог наконец снова говорить с земляком, и притом, судя по всему, с земляком, настроенным весьма дружелюбно.

Капитан пожелал попотчевать ромом вождей, и я решил не лишать их этого редкого удовольствия, но следил, чтобы каждому наливали самую малость.

— К чему такая воздержанность? — Гость чуть заметно обиделся.

— Сегодня нам предстоит неприятная необходимость пролить кровь, — просто ответил я.

— Пролить кровь?

— Да, сегодня нам придется вступить в бой с акавоями, явившимися в наши края.

Капитан смотрел на меня так, будто у него сразу спутались все мысли. Спокойствие, с каким я ему об этом поведал, явно вывело его из равновесия. Минуту спустя гость взял себя в руки и несколько раздраженно произнес:

— Молодой человек изволит довольно странно шутить.

— Молодой человек, — отвечивал я мирно, — хотел, чтоб это была шутка. Но, увы, это не так. Сегодня нам предстоит бой...

— Goddam you! Ты говоришь об этом с таким невозмутимым спокойствием?

— Что делать, сэр! Рвать на себе волосы? Этим врага не сразишь!

— А где же акавои?

— Основной их отряд скрывается где-то на противоположном берегу реки, примерно в миле отсюда, а восемь из них здесь, в нашем селении.

— Пленные?

— Да нет, на свободе. Они явились сюда на разведку под видом торговцев...

Видя изумление на его лице, я в деталях изложил ему суть дела. Он слушал, потирая лоб и бросая на меня искоса странные взгляды, а едва я закончил рассказ, вскочил и попросил проводить к этим мнимым торговцам.

— Весьма охотно, — согласился я, — тем более что их нужно проводить. Сегодня после полудня они отплывают.

Как раз в это время люди Манаури подтащили к месту, где расположились акавои, предназначенную для них итаубу. Дабаро с двумя соплеменниками осматривал лодку и при виде скверного ее состояния недовольно сопел.

— Другой не дадим, — проговорил Манаури, — продается только эта.

Неохотно, но они все же согласились. И тогда капитан обратился к ним покавайски:

— Откуда вы родом?

Дабаро, удивленный не менее нас тем, что капитан знает его родной язык, ответил:

— С берегов реки Куюни.

— А точнее? Кто у вас вождь?

— Мы живем в устье реки Тапуту. Агаро наш вождь...

— Где он сейчас?

— Не знаю.

— Значит, ты скверный воин, если не знаешь, где твой вождь... В устье реки Тапуту есть голландская фактория. Ты был в ней?

— Был. Я купил у голландцев товар, чтобы его перепродать.

— Голландцам нужны рабы на плантации. Тебе об этом известно?

— Нет, господин.

— Ах ты каналья! — махнул рукой капитан, и мы вернулись под сень тольдо, а по пути сопровождавший нас Фуюди перевел мне содержание беседы капитана с акавоями.

Капитан угостил нас ямайскими сигарами и довольно долго молчал, над чем-то размышляя. Потом он приказал принести ему с брига карту Гвианы и восточной Венесуэлы. Разложив ее передо мной, он стал объяснять:

— Вот здесь, в устье реки Тапуту, в среднем течении Куюни, находится фактория голландцев, их наиболее выдвинутый на северо-запад форпост, хотя в основном они обосновались на реке Эссекибо и еще южнее. Со времен сэра Уолтера Райли, почти полтора века тому назад побывавшего на этих берегах, мы, англичане, пытаемся утвердиться на реке Эссекибо и ее притоке Куюни. Но, к сожалению, голландцы сидят здесь прочно и не хотят пускать нас в Гвиану. Они сманивают на свою сторону местных индейцев, особенно акавоев, и натравливают их на другие племена, заставляя захватывать рабов для своих плантаций. Эти ваши акавои прибыли сюда на лодках с юга, с берегов Куюни, через плоскогорье Пиака примерно вот здесь, — он провел пальцем по карте, — и, таким образом, оказались у истоков Итамаки. Это, Джон Бобер, еще одно звено наших общих интересов! — Слово «наших» он проговорил с особым ударением и сквозь сигарный дым устремил на меня испытывающий взгляд.

— Еще одно звено? — повторил я. — А разве есть иные звенья наших общих интересов?

Капитан был явно доволен, что я это подметил.

— Есть и другие, — проговорил он, — и касаются они вопросов чрезвычайной важности, в которых тебе, мистер Бобер, предстоит сыграть не последнюю роль. Но прежде позволь тебе представиться.

Звали его Джеймс Пауэлл, и был он не только владельцем брига «Каприкорн», но и, как он сам себя назвал, полномочным представителем интересов английской короны в этих районах Гвианы. В устье Эссекибо он основал было свою собственную факторию (отсюда и его знание акавайского языка), но голландцам пока удалось его оттуда выкурить.

Колонию он пытался основать на спорных землях. Предъявляли на них претензии и венесуэльские испанцы, но в силу значительной удаленности

основных своих центров, расположенных на западе, не смогли силой выкинуть отсюда захватчиков.

Между представителями англичан, имевших свои интересы в Гвиане, и Лондоном, похоже, давно уже велись переговоры об официальной аннексии этой колонии Англией. Все понимали, что рано или поздно так и случится, причем англичане вынашивали также план отторжения у испанцев и острова Тринидад.

— Присмотрись-ка, ваша светлость, повнимательней к карте, — говорил мне капитан, — и сделай из этой географии надлежащие выводы. На севере остров Тринидад, на юге река Эссекибо, а что посередине? Посередине устье Ориноко. Если английское правительство захватит оба крыла, то принятие под свою высокую руку центральной части — устья Ориноко — явится лишь естественным следствием этих устремлений и их логическим завершением. Тогда весь северо-восток Южной Америки перейдет в нашу собственность, а испанцев мы отбросим далеко на запад, к самым Андам...

— А какая роль во всем этом принадлежит мне? — спросил я.

— Исключительно важная. Ты, ваша милость, англичанин, твердо обосновался на Ориноко, имеешь неограниченное влияние на араваков, являешься большим другом и союзником варраулов. О тебе идет молва как о великом вожде, победителе испанцев и защитнике индейцев, а как представитель наших интересов ты станешь и непобедимой силой на нижнем Ориноко. Мы поможем тебе — конечно тайно — захватить Ангостуру и другие испанские поселения на среднем Ориноко и обратить их в руины. Ты склонишь индейцев к дружбе с англичанами, так чтобы они сами возжелали нашего прихода, а когда пробьет великий час истории, власть свою передашь английской короне. Не исключено, что ты станешь губернатором нижнего Ориноко, а если вознамеришься навестить Вирджинию, будь уверен — лорд Дунбур почтет за честь пожать твою дружескую руку.

Заманчиво и сладко звучали слова капитана Пауэлла, соблазнительные рисовались картины, и лишь легкие сомнения закрадывались при упоминании о надменном лорде Дунбуре, за честь почитающем пожать руку Джону Боберу. Слишком хорошо я знал этого джентльмена.

— Когда же, по мнению вашей милости, пробьет этот час истории?

— Такие вещи трудно предвидеть, они зависят от событий на всей великой арене мира. Но присутствие здесь твоей милости и твоя деятельность на Ориноко могут решающим образом ускорить их ход.

Затем Пауэлл рассказал мне, что я не первый англичанин в этих краях и что здесь у нас есть свои традиции. А именно, сэр Уолтер Райли, о котором Пауэлл уже упоминал, в 1595 году поднялся со своей флотилией на четыреста миль вверх по Ориноко в поисках легендарной страны золота. В те времена ходили упорные слухи, что такая страна существует где-то у истоков реки Карони, правого притока Ориноко. Райли удалось добраться лишь до первых порогов Карони и пришлось вернуться без золота, зато результатом этой экспедиции явилась первая английская книга с описанием великой реки. В следующем году соратник Райли, Лоуренс Кеймис, пешком предпринял экспедицию вдоль морского побережья от устья Амазонки до устья Ориноко, а его подробные описания страны и местных индейцев, безусловно, побудили впоследствии английских купцов вынашивать планы создания факторий в Гвиане.

— Теперь, — продолжал капитан Пауэлл, — мы стоим у порога новых, важных событий, итог которых для нас — обширный кус богатейшей земли. А случай как нельзя более подходящий! Рассуди сам, мистер, насколько слабы в этих краях испанцы!

Да, это была правда! Восточной частью Венесуэлы испанцы занимались мало, селений своих основали здесь немного в отличие от центральных и западных районов — главных опорных пунктов своей интенсивной колонизаторской деятельности. Да, здесь, на востоке, они были слабыми.

Эхо истории и эхо у реки

Вскоре Дабаро уведомил нас, что акавои хотели бы исполнить прощальный танец. Мы отправились к ним, отложив продолжение разговора на более позднее время.

Танец мало отличался от вчерашнего, военного. Акавои, держась за руки, притопывали, издавая вопли, а один громко бил в барабан. Арасибо, с достойной удивления выдержкой с самого рассвета посылая на них злые чары, сбивал акавоийский ритм. Я велел Арасибо не мешать им и утихомириться.

Манаури бросил на меня недоумевающий взгляд.

— Пусть сообщит своим обо всем, что у нас здесь происходит, — ответил я, указывая глазами на капитана Пауэлла. — Нам это только на пользу и, уж во всяком случае, повредить не может.

Заблаговременно мы выслали две легкие лодки с двумя разведчиками па каждой с задачей укрыться на реке: одной на милю выше устья нашего пролива, другой ниже и проследить, куда поплывут «торговцы».

Акавои покинули Кумаку два часа спустя.

Солнце давно уже перевалило па западную половину неба, а наши разведчики во главе с Арнаком все еще не вернулись с того берега реки. Невзирая на это, мы занялись подготовкой к ночному бою, в котором предстояло принять участие большинству наших воинов, почти ста пятидесяти человекам. Нужно было разделить их на отряды, распределить между ними лодки, дать предводителям указания. Распорядился я также тщательно замаскировать лодки по бортам ветвями, сделав их похожими на плывущие кусты или деревья. Все с большей тревогой ждал я возвращения Арнака. Неужели с ним что-нибудь случилось? Я стал уже жалеть, что так бездумно его отпустил. Всего час оставался до захода солнца, когда лодка его наконец появилась на озере. О радость! Вся команда в полном составе. Навстречу Арнаку я выслал гонца на яботе, чтобы уведомить его о прибытии англичан.

Юного своего друга я ждал, стоя па берегу. Арнак был сумрачен и, едва выскочив из лодки, сообщил:

— Мы не нашли их лагеря.

Это был удар! Все наши планы рушились. Акавои снова стали неуловимы.

— Вы хорошо обыскали озеро за мысом?

— Еще как! Чуть ли не каждый клочок берега. Поэтому и задержались.

— И никаких следов? Ничего?

— Ничего.

— Значит, они все-таки разбили лагерь выше по течению, чем мы предполагали.

— Наверно.

Подожли Манаури, Мабукули и Уаки. Я коротко изложил им суть дела, до-

бавив:

— Из всего этого один вывод: мы снова переходим к обороне и удваиваем нашу осторожность и внимание. Меня тревожит, что нынешней ночью будет происходить на реке? Куда поплывут восемь акавоев? Установим тщательное наблюдение за рекой.

Выставив дополнительные посты вокруг Кумаки, я выбрал наконец свободную минуту и мог теперь мысленно вернуться к тому, о чем говорил мне Джеймс Пауэлл. Разве это не заманчивые перспективы, позволяющие питать большие надежды? Неприязнь к испанцам и жестокому их обращению с индейцами вошла мне в плоть и в кровь до такой степени, что изгнание их из этой страны представлялось более чем желательным. А кроме того, установление господства здесь Англии разве не привело бы к миру на берегах этой реки и не устранило бы навсегда сложностей, подобных тем, что свалились сейчас на нас со стороны акавоев? И разве в то же время не открылся бы передо мной путь к личной карьере?

Все это сулило бесспорные выгоды, но отчего все же не вызывало во мне того энтузиазма, какого, рассуждая здраво, вполне заслуживало? Быть может, нависшая над нами угроза со стороны акавоев притупила мое воображение, затмила перспективу отдаленного будущего?

«Англия навела бы здесь порядок, — мысленно повторял я, но тут же у меня невольно возник вопрос: — Порядок, но какой?» Что сулил этот английский порядок индейцам, я слишком хорошо знал по личному опыту в наших североамериканских колониях. Прежде, когда я оценивал это исключительно с позиций белого пионера, истребление индейцев представлялось мне делом естественным и даже неизбежным, но теперь все обстояло иначе.

Теперь, когда провидению угодно было бросить меня на сторону индейцев, на многие деяния белых людей я смотрел глазами индейцев.

Солнце касалось уже верхушек деревьев, я отдавал последние распоряжения на ночь, а из головы у меня все не выходила далекая Вирджиния. Перед мысленным моим взором словно живые вставали воспоминания о не столь отдаленных днях зарождения этой колонии, днях, необыкновенно трудных для англичан. Поначалу туда прибывали горе-пионеры, обитатели лондонских трущоб, социальные отбросы. Погаттан и его индейцы приняли их гостеприимно и в течение многих лет не раз спасали от голодной смерти щедрыми дарами. Пришельцы, пока чувствовали свою слабость, были кротки, но, когда их появилось больше, они оперились, открыли забрало, возгордились и обнаглели. На своих недавних благодетелей они смотрели теперь как на диких зверей, которых следует уничтожать. Не прошло и сорока лет со времени прибытия первых англичан, а колонисты истребляли уже остатки некогда великого и славного народа погаттан.

Можно сказать, это неизбежный ход истории, и перед лицом твердости, энергии и деловитости англичан туземцы были обречены на такую судьбу. А должен ли я, зная об этом, способствовать проникновению на Ориноко столь опасных людей, исполненных твердости, энергии и деловитости?

Конечно, Гвиана и устье Ориноко — это не Вирджиния и не Массачусетс. Здесь англичане уже появлялись в прошлом и будут появляться в будущем, преимущественно в качестве купцов, основывающих фактории, но затем неизбежно наступит черед плантаций, для плантаций потребуются руки ра-

бов. Черпать их станут из поработанных индейских племен, как это уже делают сейчас голландцы, а если племена попытаются защищаться, на многих примерах известно, что их ждет. Нет, приглашать сюда столь опасных людей было бы неблагоразумно, их захватническим устремлениям надлежало противостоять упорно и как можно дольше.

Солнце заходило, и на земле сгущался мрак, когда в сознании моем стали проясняться важные вещи. Созрела мысль: в силу своей слабости здесь, на Ориноко, самыми подходящими союзниками являются испанцы, слабость их позиции в этих краях обеспечивает местным племенам относительную независимость и свободу. Впустить сюда других европейских властителей, и особенно моих земляков, — значит, лишь осложнить жизнь туземцев.

Прежде чем вернуться к беседе с Пауэллом, надо было выслать дозоры на реку. Мы выделили для этого четыре небольшие яботы и по два самых зорких воина на каждую, а лодки искусно замаскировали ветвями. Одну яботу предполагалось оставить в проливе между озером и рекой, остальные разместить на реке, но где? Посоветовавшись с вождями, в конце концов решили, что тремя четвертыми мили выше пролива лодки станут на якорях из камней, перегородив на определенном расстоянии друг от друга всю ширину реки так, чтобы никто не мог проплыть мимо незамеченным. Согласовав затем еще способ передачи донесений, я мог наконец поужинать, а затем пригласить на беседу капитана Пауэлла.

В сдержанных, но ясных выражениях я изложил ему у костра свою точку зрения, не скрывая причин, в силу которых не мог поддержать планов англичан. Он слушал меня внимательно и вежливо, но под конец моих рассуждений глаза у него сузились и небольшая вертикальная складка прорезала лоб. Он задумался, не торопясь куря сигару и выпуская клубы дыма, чтобы отогнать комаров. Потом проговорил:

— Положение индейцев на Ориноко нельзя сравнить с тем, что происходило на севере, впрочем, ты, ваша милость, и сам это подметил. Ты правильно определяешь торговый характер интересов нашей колонии в Гвиане. И заметь — мы, англичане, никогда не считали индейцев рабочим материалом для плантаций. Если мы и будем закладывать здесь когда-то плантации, то доставим сюда негров, не трогая индейцев, или, самое большее, потеснив их несколько в глубь джунглей. Но ты ошибаешься относительно испанцев и недооцениваешь опасность с их стороны. Да, сегодня у них здесь слабые позиции, но значит ли это, что так будет всегда? Спустя немного лет положение может в корне измениться. А деспотическую их жестокость по отношению к индейцам ты, видимо, сам знаешь лучше меня. В нашей истории случалось, что в высших государственных интересах нам приходилось бороться с индейскими племенами, — хотя, повторяю, здесь, на юге, это не входит в наши расчеты, — но, борясь, мы никогда не допускали зверств и жестокости.

Он провозглашал все это довольно напыщенным, тоном, и хотя в рамках вежливости, но с оттенком превосходства и убежденности в правоте своего мнения, не допуская, чтобы кто-то мыслил иначе. Кровь ударила мне в голову, но я сжал зубы и сдержался. Лишь минуту спустя я ответил ему:

— Это произошло, если не ошибаюсь, в 1644 году, а значит, около ста лет назад. Индейцы в Вирджинии для наших все более многочисленных колонизаторов стали в конце концов — самым фактом своего существования — непе-

реносимым позором. Было решено нанести туземцам сокрушительный удар. Дабы исполнить это поосновательней, колонисты прибегли — все колонисты края, как один, — к низкому коварству: они вдруг резко изменили свое отношение к индейцам, демонстрируя к ним свою сердечную приязнь, чтобы выманить их из укрытий. Это коварство во имя высших государственных интересов в полной мере удалось, и началось окончательное уничтожение народа погаттана. Колонисты, как это не раз бывало и прежде, убивали всех, в том числе женщин и детей, само собой разумеется — в высших государственных интересах. Индейцы защищались отчаянно, но безуспешно, и одной из последних жертв был мудрый их вождь Опенчаканук, брат давно уже покойного Погаттана. Старца по странной случайности не убили на месте, а взяли в плен и препроводили в Джеймстаун. Здесь губернатор наш измыслил для него ужасную смерть. Посередине городской площади он приказал построить клетку и, словно зверя, посадил в нее пленника на посмешище черни.

Зеваки и впрямь не скупилась на издевательства и насмешки над индейцем, многие плевали в старика и тыкали в него палками. Губернатор обрек его на голодную смерть, и Опенчаканук действительно по прошествии какого-то времени умер от истощения... Единственная его вина, как вынуждены были признать наши историографы, состояла в том, что мудрый вождь до конца сражался за свою землю, за свой народ... Нет, сэр, мы, англичане, никогда не допускали жестокости по отношению к индейцам, никогда, не так ли?

Капитан воспринял мой рассказ спокойно и даже с некоторым юмором. Он долго смотрел на меня сквозь клубы сигарного дыма, потом потянулся, громко зевнув, и проговорил с легкой улыбкой:

— Well, мистер Бобер, вы упрямец, ваша милость, и к тому же, вероятно, возбуждены неопределенностью положения с этими вашими акавоями. Продолжим нашу беседу завтра. Спокойной ночи, молодой человек.

— Спокойной ночи, мистер Пауэлл. Не забудь выставить сегодня ночью на борту брига надежную охрану! И прикажи подсыпать свежего пороха на полки ружей и пистолетов!..

Стояла уже глубокая ночь, когда вернулась одна из двух ябот, высланных пополудни вслед за восемью акавоями. Акавои, выплыв из озера на реку, пустились вниз, к Ориноко, но, не достигнув даже Серимы, высадились на берег и укрылись в зарослях до вечера.

Наши разведчики тоже пристали к берегу, чтобы убедиться, нет ли там других акавов: других не было. С наступлением темноты «торговцы» снова погрузились в лодку и поплыли теперь обратно, вверх по реке, миновали пролив между рекой и нашим озером и продолжали грести дальше. К сожалению, в темноте наши потеряли их из виду, после чего одна ябота вернулась в Кумаку, а вторая осталась в проливе.

Это сообщение лишь подтверждало наши предположения, что лагерь акавов находится где-то выше по течению реки.

Я вернулся к себе в хижину. Ласана, услышав приближающиеся шаги, тотчас же встала и раздула потухающий костер. В одном углу спал Арнак, в другом Вагура, неразлучные мои друзья. Погруженные в глубокий сон здоровых молодых людей после тяжелого труда, они сжимали в руках свои ружья в полной готовности, как и большинство жителей Кумаки в эту ночь. Несмотря на боевое оружие, от них веяло глубоким покоем, лица их выражали умиротво-

ренность и доверчивую безмятежность. Юные индейцы слепо верили в меня, и я вдруг ощутил странное волнение, непреодолимое желание мысленно дать себе клятву не обмануть их доверия. Обняв Ласану, я бросился на подстилку, погрузился в глубокий каменный сон, словно события последних дней придавили меня к земле.

...Меня долго тормозили, прежде чем я стряхнул с себя сон. Еще не пробудившись, я почувствовал в хижине необычайное волнение. Их было несколько, склонившихся надо мной: Ласана, Манаури, Мабукули, Фуюди и группа воинов. Они заполнили всю хижину. Входили все новые.

— Ян! — донесся до меня взволнованный голос Манаури. — Вставай! Акавои выступили...

В мгновение ока я очнулся, сон с меня сняло как рукой. Я вскочил.

— Где они?

— На реке.

— На реке?

— Да. Плывут вниз по течению, проплыли мимо Кумаки, направляются в сторону Серимы.

— Удалось установить, сколько их?

— Больше восьмидесяти. Столько удалось насчитать в темноте нашим постам. На девяти лодках.

— Когда проплыли?

— Только что. Они еще недалеко. Я велел разбудить все селение.

— Хорошо. Вслед за ними кто-нибудь поплыл?

— Да, две яботы, стоявшие на реке.

Проснулся Вагура, Арнак продолжал спать как убитый: беднягу изнурила предыдущая бессонная ночь и на редкость знойный день. Я осторожно потряс его за плечи и ласково, но громко крикнул в самое ухо:

— Арнак, дружище! Вставай, началось!

Он широко открыл глаза.

В Кумаке все кипело — Серима в опасности!

Все думали одинаково: акавои, узнав, что мы в Кумаке настороже и готовы к отпору, решили напасть не на нас, а на Сериму. Вероятно, им известно уже, что болезнь там отступила. Следовало спешить сородичам на выручку. Несмотря на спешку и темноту, не было никакой неразберихи: каждый воин заранее знал свою лодку.

Моя итауба с воинами нашего рода отчалила первой и, рассекая воду, летела как стрела. Вот позади уже озеро, скользнули через пролив. На реке гляди в оба — как бы не нарваться на засаду. Но впереди все было тихо, небо черное, без зловещего зарева.

Вдруг впереди что-то замаячило, вроде бы лодка. По чуть слышной команде гребцы вырвали из воды весла. Несомненно, перед нами что-то двигалось, слышен стал приглушенный торопливый плеск весел. Лодка мчалась в нашу сторону, прямо на нас.

— Хо! — подал я условный сигнал.

Оттуда тотчас же ответили.

Это была одна из трех наших ябот, несших ночью охрану на Итамаке. Обнаружив в полночь плывшие лодки акавоев, она устремилась за ними, а теперь

возвращалась с важной новостью: акавои не напали на Сериму, миновали ее и плывут дальше, к Ориноко.

Мы вздохнули с облегчением. Опасность миновала Сериму, помощь оказалась ненужной.

— Где две другие яботы, стоявшие с вами на реке? — спросил я.

— Двигутся за акавоями.

— Хорошо!

Тем временем из Кумаки приплывали все новые итаубы. Мы остановили их все и рассказали о положении дел.

— Значит, не остается ничего другого, как вернуться в Кумаку, — проговорил Манаури, довольный таким оборотом событий.

— Да, вернемся, — согласился я, — но сначала надо точно узнать, куда акавои поплывут: вниз по Ориноко или вверх, что, впрочем, менее вероятно.

— Правильно. Эту третью, вернувшуюся яботу снова пошлем за акавоями.

Команду лодки не слишком обрадовало решение верховного вождя, и в ней послышался негромкий ропот.

— Не думайте, — предостерег я, — что нам окончательно удалось избежать опасности. Мы не знаем намерений акавоев, а тем не менее они что-то замышляют, это ясно. Не одну, а еще две яботы надо выслать вслед за ними; пусть они наблюдают за действиями акавоев и сообщают нам об их передвижениях. Кроме того, следует уведомить о происходящем всех араваков, живущих на Итамаке и Ориноко ниже Серимы.

— Сообщим этой же ночью, — заверил Манаури.

В приподнятом настроении, которое на первых порах не миновало и меня, возвращались воины в селение. Конечно, можно было понять, что у них наступила разрядка, но, к сожалению, слишком быстро они поддавались беззаботности. Это было понятно после нескольких дней напряжения, но ведь и опасно! Я слишком хорошо знал способность индейцев неосмотрительно забывать о завтрашнем дне и легко поддаваться душевной лени. Этому следовало воспрепятствовать, и на обратном пути я счел нужным высказать старейшинам свои опасения.

Да, акавои уплыли, но куда и с какой целью? Даже капитан Пауэлл подтвердил, что это охотники за невольниками, а значит, если они отказались от нападения на нас, как на плод слишком колючий и для них сомнительный, то на кого они бросятся, кто в этих краях ближе всего? Конечно, варраулы, племя рыбаков, отнюдь не воинственное и достаточно густо заселяющее берега Ориноко. Одним словом, если окажется, что акавои, выйдя из Итамаки, направятся вниз по Ориноко, тогда да смилостивится над варраулами бог!

Сразу же по прибытии в Кумаку я велел позвать ко мне Мендуку и девять его варраулов и в присутствии Манаури, а также Фуюди как переводчика высказал им свои опасения. Мендуке не пришлось долго объяснять.

— Надо предупредить наших! — воскликнул он взволнованно. — Акавои наверняка собираются ударить на наших. Мы готовы сейчас же отправиться, но просим дать нам на время итаубу, на которой мы преследовали испанцев.

— Берите! — разрешил Манаури.

Варраулы со всех ног бросились за своим оружием, а я заявил старейшинам, что нам не годится стоять в стороне, когда решается судьба наших друзей и союзников.

Старейшины встретили мои слова без энтузиазма, колеблясь. Тогда я потребовал немедленно собрать всю Кумаку на общий совет. Когда люди стеклись на поляну перед моей хижиной при свете нескольких костров, я обрисовал им наше положение: несмотря на видимость благополучия, нам нельзя почивать на лаврах; пока враг рыскает поблизости, жизнь наша висит на волоске.

— Мы должны помочь варраулам, и притом не теряя времени! — взывал я.

— Это наша святая обязанность. Если вы хотите жить в будущем спокойно, надо опираться на своих союзников и задать сегодня акавоям такую трепку, чтобы раз и навсегда отбить у них охоту досаждать нам.

По толпе пронесся ропот неудовольствия, а кто-то крикнул:

— А может, акавои на них не нападут!

— Возможно. Но если они поплывут вниз по Ориноко, то, вероятнее всего, нападут! А нет — тем лучше! Во всяком случае, я тотчас же отправляюсь на Ориноко, а кто мне друг и сердцем не трус, пусть следует за мной!

— Все воины должны идти на Ориноко? — спросил Манаури.

— Ни в коем случае. Человек сто, не больше. Остальные нужны здесь: еще неизвестно, не остался ли поблизости какой-нибудь другой отряд акавоев. Должен здесь остаться и ты, Манаури... Итак, кто поплывет со мной?

Я обвел взглядом лица ближайших воинов. Арнак и Вагура согласно кивнули головами и собрались откликнуться, когда воин нашего рода Кокуй, тот самый, что освобождал с нами ночью варраульских пленников, захваченных испанцами, выступил вперед и решительно объявил:

— Я с тобой! Ты великий вождь и в битвах всегда побеждаешь! А со мной пойдут все воины из рода Белого Ягуара. Разве не так? — обвел он вызывающим взглядом присутствующих.

— Так, так, пойдём! — тут и там раздались голоса наших людей.

Вызвались также пятеро негров с Мигуэлем во главе и Арасибо, после чего наступила минута тишины.

— Я пойду с Белым Ягуаром, если воины предпочитают сидеть дома! — выступила вперед Ласана. — И со мной пойдут другие женщины, умеющие держать в руках лук. Мы сумеем заменить никчемных, трусливых воинов...

Это вызвало страшное замешательство и гул обиженных голосов, многие тут же заявили, что пойдут с нами.

В этот момент со стороны реки появилась, мчась во весь дух, ябота с вестью, что акавои, выйдя из Итамаки, направились вниз по Ориноко, а значит, к селениям варраулов.

— Не будем терять времени, — воскликнул я. — Надо спешить!

Нас набралось около ста человек, в том числе действительно и несколько женщин. Десять ружей я оставил Манаури, все остальное огнестрельное оружие и запасы провизии на четыре дня взял с собой. Мы разместились в пяти итаубах и трех небольших лодках. Молодые вожди Уаки и Конауро вызвались плыть с нами. На каждой итаубе, густо утыканной для маскировки ветвями, разместился отряд во главе с вождем, и на моей лодке — часть разведчиков, несколько воинов из нашего рода, Фуюди, Ласана с двумя женщинами и Арасибо. Последний не забыл прихватить с собой череп ягуара.

Основная задача нашей экспедиции состояла в том, чтобы предостеречь варраулов и прибыть к ним возможно раньше, что, безусловно, охладило бы

боевой пыл акавоев. И мы не щадили ни рук, ни весел, мчась как гонимые злыми духами. В устье Итамаки мы попали в полосу густого тумана, покрывшего просторы Ориноко. В радиусе десяти шагов мир словно обрывался, но гребцы знали окрестности настолько хорошо, что мы продолжали плыть, не сбавляя скорости. В верхнем течении Ориноко прошли дожди, вода поднялась, и по реке мчалось множество вырванных с корнем деревьев.

— Туман затруднит акаволям движение, — заметил Фуюди.

— Может, заставит их даже высадиться, — с надеждой поддержал его Конауро.

— Сомневаюсь, — буркнул я, — течение само их несет...

Вскоре темная прежде пелена тумана поредела, то тут, то там в ней замелькали бледные тени. Ночь близилась к концу. Предвещающий скорый рассвет, поднялся легкий ветерок, но мы, постоянно двигаясь, почти не ощутили его, зато заметили: туман стал клубиться, рваться на клочья, редеть. Свет усиливался, перспектива расширялась, по правую руку от нас стали мелькать расплывчатые контуры джунглей. Розовые и золотые блики разбегались по небу и отражались в реке, а когда солнце в конце концов выглянуло из-за леса и ударило нам прямо в глаза, с воды слизнуло последние клочки тумана.

Огромная река распростерлась во всем своем величии. Открывшись нашим нетерпеливым взорам, она бесстыдно обманула нас. На бескрайнем просторе ни живой души, ни следа лодки — ничего, кроме бесчисленного множества водоплавающих птиц да речных дельфинов, тут и там выпрыгивающих из темных глубин. Осмотр реки в подзорную трубу до самого горизонта не дал ничего нового.

Спустя час течение в реке остановилось, а затем повернуло в обратную сторону, вверх: начался морской прилив. Продвигаться вперед становилось все труднее, гребцам после бессонной ночи и всех тревог последних дней требовался отдых, и мы, выбрав удобное место, причалили к берегу, наскоро перекусили и тут же уснули.

Около полудня течение ослабло. Невзирая на страшный зной, мы двинулись дальше. Легкий ветерок со стороны моря нес хоть какую-то свежесть, но все равно требовались нечеловеческие усилия, чтобы не бросить весел и не свалиться от жары. Когда течение окончательно переменялось и снова устремилось к морю, мы набрали скорость, как и ночью.

Вскоре впереди показалось небольшое поселение варраулов, состоявшее всего из нескольких шалашей. Строения, хорошо видные с реки, стояли неподалеку от воды на холме. Нас поразило, что вокруг не было видно ни одной живой души. Арнака, плывшего ближе других к берегу, я послал в деревню на разведку, но едва он добрался до хижин, как стал торопливо подавать нам руками знаки. Мы причалили к берегу и бросились в деревню.

В селении были видны следы недавнего нападения. Хижины, правда, были не тронуты, но между ними и лесом мы обнаружили тела индейцев — мужчин, женщин и даже детей. Нетрудно было понять, что произошло здесь несколько часов назад, на рассвете: жители селения, захваченные врасплох нападавшими со стороны реки, пытались скрыться в джунглях, но их тут же догнали и умертвили палицами. Не пощадили даже детей.

— Опасения наши сбываются, — хмуро проговорил я.

Наскоро мы обыскали ближайшие окрестности, но не нашли ни одной жи-

вой души.

— Если кто и остался в живых, — высказал предположение Конауро, — то, наверно, попал в их руки и взят в неволю.

— Но, интересно, почему они не сожгли хижин? — удивился Вагура.

— Чтобы их не выдал дым, — пояснил я.

Оставив хижины на произвол судьбы, все мы бросились к ближайшей опушке и быстро насобирали громадную кучу сухих и свежих веток. Затем разожгли большой костер и бегом вернулись к лодкам. Нас провожали черные клубы дыма, взмывавшие высоко над лесом, — далеко приметный знак тревоги. Гнев и ярость как клещами сжимали наши сердца и побуждали спешить руки гребцов.

Спустя час или два кто-то на моей итаубе вдруг закричал:

— Внимание! Смотрите! Там!

Далеко впереди нас действительно двигалось что-то подозрительное. На широкой водной глади темнело какое-то странное пятно, похожее на плывущий куст. Таких кустов и ветвистых деревьев, с корнем вырванных из берегов, река несла к морю, как уже упоминалось, множество, но этот отдельный куст вел себя странно: он не плыл по течению, а, напротив, казалось, медленно пробирался против течения, по направлению к нам. И действительно, это оказался не куст, а небольшая лодка, сплошь укрытая ветвями, в чем я без труда убедился, взглянув в подзорную трубу. Через несколько минут уже можно было убедиться, что это одна из ябот наших разведчиков, направленных вдогонку за флотилией акавоев.

Сблизившись с пей, мы наконец получили свежие новости об акавоях: они находились в каких-нибудь десяти милях перед нами и неслись с большой поспешностью вниз по Ориноко.

— Как далеко отсюда до Каиивы? — спросил я у Фуюди.

— Если за меру брать то, что белолицые называют милями, тогда наберется, наверно, семьдесят.

— Сумеем мы их догнать до Каиивы, как вы думаете? — обратился я к воинам на итаубах, остановившихся подле нас.

— Догоним обязательно! Догоним! — закричали в ответ Арнак и другие.

— Вы сосчитали акавоев?.. — продолжал расспрашивать я разведчиков. — Сколько их?

— Их восемь раз столько, сколько пальцев на двух руках. У них девять итауб.

— Для восьмидесяти человек — девять итауб? Зачем так много лодок?

— Это небольшие итаубы, меньше, чем наши. Впереди, перед вами, вдоль южного берега реки плывет восемь итауб.

— Вы же говорили — девять?

— Девятая, самая большая, сегодня утром, еще до рассвета, переплыла на другую сторону реки. Там мы потеряли ее из виду...

— Значит, акавои разделились на две группы? — Меня озадачило это сообщение. — Странно... Ну что ж, будем догонять основную группу!

Не жалея сил, мы ринулись вперед.

— А почему сзади вас был большой черный дым? — успел еще спросить один из разведчиков.

— Ага, значит, вы издалика заметили? Это хорошо...

Бой на реке

В послеполуденные часы зной усилился небывало. На суше в эту пору люди укладывались обычно в тени, разморенные жарой. Солнце прошло над нашими головами и теперь пекло в спины. Меня изумляли выдержка, мужество и самоотверженность воинов, продолжавших неустанно грести, несмотря на жару. В яростном молчании мы только крепче сжимали зубы. Пот лил с нас ручьями.

На итаубе Уаки первыми заметили чужие лодки. Не перед нами — сзади нас. В группе индейцев всегда найдется один с необыкновенно зорким взглядом. Вероятно, нашелся такой и на итаубе Уаки, но останется тайной, как сумел он обнаружить чужие лодки, глядя под солнце, туда, где в ослепительном море пляшущих искр, бликов и вспышек в реке за нами отражалось словно миллион полуденных солнц.

— Акавои! — разнеслось по лодкам.

Даже в подзорную трубу их трудно было обнаружить. Ориноко в этом месте достигала в ширину не менее пяти-шести миль. То, что мы заметили, двигалось милях в четырех за нами, в нашем направлении, и пробивалось через реку с противоположного берега к этому. Но это была не одна лодка: я насчитал четыре.

— Может быть, это не акавои? — возникло сомнение. — У них ведь оставалась там одна лодка...

Нас разделяло слишком большое расстояние, чтобы определить точнее. На таинственных лодках размещалось несколько десятков индейцев, а ведь акавовое на рассвете перебралось на другой берег всего примерно пятнадцать. Так кто же это? Быть может, на противоположный берег перебралось больше акавоиских лодок? Или это варраулы?

Посоветовавшись, мы решили перестать грести и ждать приближения чужих лодок. Переплыв реку, они двигались вдоль нашего берега на расстоянии от него шагов в двести. Соответственно и я расположил наши итаубы в боевой порядок цепью с таким расчетом, чтобы незнакомцам неизбежно пришлось проплывать неподалеку от нас. Можно было не опасаться, что нас преждевременно обнаружат, поскольку тщательно замаскированные ветвями наши лодки даже вблизи были похожи на медленно плывущие по течению островки. Подобных островков — подлинных — река несла вокруг нас множество. Четыре итаубы быстро приближались. Мы неотрывно следили за ними в подзорную трубу, и, когда они подошли на полмили, кто-то, смотревший в это время в трубу, вдруг воскликнул:

— Это же пленники!

И впрямь это были пленники. Мы определили это по тому, что, сидя в лодках один в затылок другому, все они были привязаны запястьем правой руки к одной общей веревке, протянутой от носа лодки к ее корме. Связанные так меж собой, они могли одновременно выполнять только одно и то же движение веслом, а попытаться хоть один уклониться от этого и сделать другое движение, общая веревка послужила бы препятствием.

Но особо меня интересовали в лодках люди, которые не гребли и пленниками, как видно, не являлись. В каждой итаубе их было по несколько на носу и на корме. В руках они сжимали длинные копья, которыми, подгоняя, то и дело били по головам гребцов. С одного взгляда я определил, что это акавои: на ру-

ках у них выше локтя были такие же повязки из материи, какие мы заметили у Дабаро и его людей.

Все прояснилось. Это была та группа акавоев, которая на одной итаубе переправилась перед рассветом, как сообщили нам разведчики, на противоположный берег Ориноко. Очевидно, им удалось напасть врасплох на какое-то большое селение варраулов и увести несколько десятков пленников, с которыми они теперь и спешили догнать на захваченных итаубах свой основной отряд.

Бой был неизбежен — его навязывало само наше положение. Наш боевой порядок оказался настолько удачным, что мчавшиеся к нам итаубы должны были пройти совсем рядом, на расстоянии, меньшем полета стрелы. Я приказал приготовить на всех итаубах ружья.

Акавои приближались, не подозревая засады. К сожалению, плыли они не одной группой. Две первые итаубы шли рядом, одна за другой, зато третья отклонилась вправо и двигалась между двумя первыми и берегом, а четвертая оставалась далеко сзади. Я быстро распределил обязанности: по задней, четвертой, лодке ударит Арнак, находившийся в конце нашей цепи. Уаки, Конауро и Вагура возьмут на себя две рядом плывущие лодки, а я атакую дальнюю, идущую у берега.

Итаубы акавоев росли буквально на глазах. Там не щадили гребцов, и лодки их вспарывали воду с бешеной скоростью. Ничем не укрытые, они видны были как на ладони, и не составляло труда издали отличить врагов от друзей.

Я сидел на корме, держа весло как руль, и не спускал глаз с приближавшейся флотилии противника. Наша маскировка ветвями оказалась, по всей видимости, превосходной: первая итауба акавоев как раз проплывала мимо лодки Арнака на расстоянии каких-нибудь пятидесяти шагов, и незаметно было, чтобы у них возникли какие-либо подозрения. Вслед за первой итаубой сразу же мчалась вторая. Когда в следующий миг они оказались на уровне второй нашей лодки с Вагурой на руле, я во весь голос крикнул:

— Вагура, Конауро, Уаки — огонь!

Грохнуло сразу несколько выстрелов, вслед за ними еще и еще. Убедившись, что залп оказался метким и произвел на обеих итаубах среди акавоев страшное опустошение, я уже больше не смотрел туда и скомандовал своим гребцам:

— Вперед!

Изо всех сил навалившись на руль, я круто развернул лодку направо, к берегу. Точной дугой обогнув две обстрелянные итаубы, еще продолжавшие двигаться, хотя грести на них перестали, мы устремились к третьей неприятельской лодке.

А там происходило нечто неожиданное и скверное. Акавои на руле, поняв, какую ловушку мы устроили, решил спастись бегством на берег, в лес, и тут же повернул туда итаубу. Но он не принял в расчет сопротивление варраулов, которые тоже сразу поняли ситуацию и не собирались помогать врагам. Они продолжали держать весла в руках, но одни отказались грести, а другие пытались даже оказать сопротивление.

Акавои грозными криками их усмиряли, а когда это не помогло, стали лупить по головам и колоть копьями. В безудержном бешенстве они убивали их, сами хватаясь за весла и лихорадочно молотили по воде. Но и это мало им

помогало. До берега оставалось еще шагов сто, когда мы настигли их и, встав между ними и берегом, отрезали путь к бегству. Судьба вынесла акавоям свой приговор, но они не смирились. Их было пять: двое на носу и трое на корме. Когда мы наискось перерезали им путь, четверо из них схватили ружья — имелось у мерзавцев и огнестрельное оружие — и дали залп. Вокруг нас посыпалась картечь. Двое или трое наших оказались ранеными, но другие вовремя пригнулись, спрятавшись за борт, да и целились акавои плохо из раскочавшейся итаубы.

Опомниться мы им не дали. Перестав грести, чтобы лодка не качалась, лучшие стрелки из нашего рода, рода Белого Ягуара, по моему приказу выстрелили из ружей, заряженных пулями. Сам я взял на прицел рулевого. Дав залп, мы устремились вперед, к итаубе. Рулевой лежал с простреленным черепом, наполовину вывалившись из лодки, трое других акавоев корчились в предсмертных судорогах. Пятого, здорового верзилу с бугристыми мышцами и свирепым выражением лица, похоже, не задело. Он молниеносно схватил копье и, размахнувшись, изо всех сил метнул в нас, навывлет пронзив грудь одному из наших гребцов. Затем он с обезьяньей ловкостью соскользнул в реку и скрылся из наших глаз в мутной воде.

Как видно, он был редкостным пловцом и долго оставался под водой. Догадываясь, что он поплывет по течению к берегу, я направил в ту сторону и нашу лодку. Воины замерли у бортов с оружием наготове. Оказалось, расчеты мои подтвердились. Акавои вынырнул в нескольких шагах от нас. Прежде чем ему удалось открыть рот, чтобы захватить воздух, свистнула стрела и впиалась ему глубоко в череп. Так погиб последний из этой пятерки.

На четвертой итаубе бой тоже с успехом подходил к концу. Выстрелы из ружей там только что стихли, и Арнак как раз причаливал к захваченной лодке. Шум боя сменился мертвой тишиной. Над водой медленно поднимались, редая, клубы порохового дыма. Теперь можно было перевести дух.

Вдруг внимание наше привлекли к себе варраулы. Пока мы гнались за пятым акавоем, пленники на атакованной нами итаубе сумели освободиться от пут и выбросили за борт трупы врагов. Теперь они схватились за весла и в спешке, похожей больше на безумную панику, бросились наутек к середине реки.

— Эй! Куда так торопитесь? — крикнул им вдогонку Фуюди по-варраульски.

Но они, не отвечая, с выпученными от страха глазами и ничего вокруг не видя, молча мчались как сумасшедшие — только брызги летели.

— Что они, обезумели? — поразился я. — Даже нас боятся?

— Боятся — они совсем дикие, — презрительно заметил Арасибо. — Дикари с болот.

— Растолкуй им побыстрее, кто мы такие! — велел я Фуюди.

Индеец сложил руки рупором и громко прокричал:

— Мы друзья! Мы плывем в Каиюву спасать Оронапи от акавоев! Мы свои! Стойте!

Этот призыв разнесся далеко, и все варраулы его, конечно, слышали, но никакого впечатления он не произвел. Напротив, беглецы стали грести еще лихорадочней. Варраулы на трех остальных итаубах, видя паническое бегство своих братьев, тоже бросились вслед за ними. Они удирали словно от чумы.

Этому было лишь одно объяснение: страх помутил пленникам рассудок.

Араваки вдогонку смеялись, и в конце концов беглецов стала сопровождать целая буря веселых насмешек и громкие презрительные крики, повторяемые вслед за Фуюди:

— Трусы! Тру-сы!

Я жалел лишь, что варраулы увозили с собой несколько ценных для нас и бесполезных для них ружей.

Стычка с акавоями длилась менее получаса и, к счастью, не вызвала у нас больших потерь в людях: один погиб, а несколько легкораненых; после перевязки могли принимать участие в любой работе.

Течение в реке продолжало оставаться быстрым, и мы мчались как на крыльях. До захода солнца оставалось три часа, до Каиивы сорок миль. Несколько десятков ударов веслами отдалили нас от места боя примерно на полмили. Варраулы, добравшись до середины реки, остановились там и, похоже, совещались. Потом там началось какое-то странное движение: многие стали пересаживаться из одной итаубы в другую. Вслед за тем три лодки двинулись дальше, в сторону противоположного берега, а четвертая повернула к нам. По быстрому блеску весел, сверкавших на солнце, нетрудно было понять, что они спешат нас догнать.

— Чего они хотят? — ворчливо буркнул Фуюди. — Может, с запозданием решились нас поблагодарить? Или попросить извинения?

— Похоже, ты прав, — ответил я.

— Тогда надо им помочь. Давай поплывем медленнее.

— А, нет! Пусть попотеют и покажут, на что способны...

И мы продолжали плыть, будто состязаясь в скорости.

Вид леса заметно менялся. Все меньше по берегам становилось сухой земли, все больше болот. Все окрест преобразалось в одно огромное болото, лишь кое-где перемежающееся островками суши, а лес, насколько хватал глаз, рос прямо из воды, но оттого не становился ни менее буйным, ни менее густым.

Чем ближе к морю, тем гуще становились заросли диковинных деревьев, которые испанцы называли мангровыми.[12] Корни их выступали высоко над илом и только здесь, в воздухе, срастались в ствол, что выглядело фантастично, будто деревья стояли на длинных ходулях. Когда порой нам доводилось подплывать близко к берегу, эти корни, скрюченные словно от боли в самые невообразимые зигзаги и изгибы, создавали впечатление чего-то неземного. И впрямь это было порождение не земли, а болот. Утопая взглядом в этой непролазной и какой-то призрачно диковинной чаще, человек невольно пугался и начинал оглядываться по сторонам: не появится ли сейчас здесь какое-нибудь чудовищное страшилище. Поблизости от мангровых лесов в воде обитали крупные млекопитающие апии, которых испанцы называли также водяными коровами. Других же чудовищ нам не попадалось.

В зависимости от приливов и отливов далекого отсюда моря вода здесь то прибывала, то убывала, обнажая всюду болотные топи. Человек, неосмотрительно покинувший лодку, рисковал по горло увязнуть в липкой грязи, и живым ему без посторонней помощи выкарабкаться уже было невозможно.

Гонимые быстрым течением, через два часа усиленной гребли мы преодолели несколько миль. Потом течение стало слабеть. Все это время итауба варраулов упорно старалась нас настичь и сократила расстояние между нами

примерно до мили. Любопытно было узнать, какое дело заставляло их так спешить, но, несмотря на это, мы ни на минуту не сбавляли скорость.

Вдруг Фуюди, сидевший некоторое время в глубокой задумчивости, обратился ко мне, указывая куда-то вперед:

— Белый Ягуар, через две-три мили главное русло реки, по которому мы плывем, большой дугой должно изогнуться к северу, а потом опять повернет на юг, и тут будет Каиива. — На лице Фуюди была видна усиленная работа мысли. — Но здесь есть узкая протока, которая связывает концы излучины, как тетива лука. Подумай, как мы сократим путь, если поплывем этой протокой, а?

Мысль была действительно важной и ценной. Но есть ли такая протока, соединяющая излучину реки? Возникали сомнения и другого свойства. Все эти края были изрезаны неисчислимой сетью крупных и мелких рукавов, всяческих проток, заливов и проливов. Сколь же легко запутаться в этом водном лабиринте, особенно ночью! Плывущие впереди акаовой, чужаки в этих краях, наверняка не свернут с основного русла реки, которое и нам представлялось наиболее надежным путем.

И тут, случайно оглянувшись назад, где нас все еще догоняли варраулы, я стукнул себя по лбу.

— Варраулы! Это же их родная сторона! — воскликнул я. — Их река!

Все сразу меня поняли. Мы придержали весла, и спустя несколько минут варраулы догнали нас. Я велел им подплыть ближе так, чтобы их и моя итаубы шли борт о борт. Варраулов было восемнадцать, в основном юноши. Я настолько уже научился читать по лицам оринокских обитателей, что без труда разобрался: к нам прибыли юноши с сердцами более отважными, чем у других, храбрецы, стремившиеся отличиться, которых, видимо, обожгли наши насмешки и обвинения в трусости. Лица у них были обескураженные и растерянные: они не знали, как мы их примем. Я сразу же заметил, что оружие убитых акаовоев они привезли с собой.

Рулевой на их итаубе, судя по виду — старший, проговорил виноватым голосом:

— Не суди нас! Мы испугались, совсем голову потеряли...

Я махнул рукой, дружелюбно его прерывая:

— Ладно, это неважно... Вы хотите плыть с нами в Каииву?

— Да, хотим.

— Оружие у всех есть?

— Есть.

— А где ружья?

— Здесь. Мы не умеем из них стрелять.

— Тогда давайте их на мою итаубу.

Мне передали пять ружей в довольно жалком состоянии, совершенно ржавых, и пять бамбуковых труб с порохом и свинцом. Осмотрев оружие более внимательно, я обнаружил на железной пластине приклада знак фирмы и место ее нахождения: рядом со съеденным ржавчиной названием города явно читалось — Нидерланды.

— Как тебя зовут, приятель? — спросил я рулевого.

— Куранай.

— Ты вождь?

— Я старший над этими людьми, — ответил он уклончиво.

— Теперь ты во всем будешь слушаться меня и ничего не делать без моего приказа! Вы хорошо знаете реку и ее протоки?

— Знаем, господин.

— А ты знаешь, что Ориноко здесь делает изгиб к северу?

— Как же, господин, знаю, конечно, знаю! Поэтому мы и торопились. Мы знаем другой путь, более короткий, он называется Гуапо.

— Тебя послало нам само небо, Куранай! Вперед, веди нас по Гуапо!

За два часа до захода солнца мы встретили яботу с двумя нашими разведчиками, плывшими к нам. От них мы узнали, что акавои плывут впереди нас по-прежнему на расстоянии более десяти миль и очень спешат. Плывут по главному руслу реки.

Вскоре стена леса справа расступилась, и мы увидели протоку. Она имела вид залива, сужавшегося вдаль до ширины небольшой реки, которую варраулы называли Гуапо. Сюда нам и предстояло свернуть. Поскольку в главном русле реки течение почти совсем остановилось, а варраулы уверяли, что, отправившись в путь через четыре-пять часов, мы спокойно доберемся до Каиивы задолго до рассвета, было решено устроить в этом месте привал. Берег здесь был чуть выше. Сухой и песчаный. Он клином вдавался в развилку между Ориноко и ее протокой. На этом мысе мы и отыскивали место, удобное для лагеря. Вскоре весело затрещали костры и в воздухе разнесся аппетитный аромат печеного мяса.

Ближайшие деревья опушки леса буйно клубились зеленью шагах в двадцати от нашего бивака, не закрывая нам обзора на берега реки и боковой ее протоки. Солнце хотя и клонилось к закату, но все еще нещадно пекло, и целые тучи дневных насекомых жужжали вокруг. Яркие бабочки, словно желтые и голубые звезды, кружили над нашими головами, а из зарослей неслось предвечернее пение и щебет птиц.

Мы сытно поели, и, хотя было еще светло, я велел всем спать.

Заверениям варраулов, что у нас достаточно времени для отдыха — четыре-пять часов, — я не особенно склонен был верить. До Каиивы по протоке Гуапо оставалось еще, по самым грубым расчетам, около тридцати миль. В случае какого-либо неожиданного препятствия в пути и непредвиденной потери хотя бы двух часов наша помощь явно бы запоздала. Конечно, у акавов, плывших главным руслом, путь длиннее, и встречное течение будет мешать им больше, но если они решат не отдыхать этой ночью, то вполне могут достичь Каиивы до рассвета.

Когда я, так размышляя, сидел у костра, меня все сильнее стали охватывать сомнения. Солнце садилось кроваво-красное, темные тени спускались на лес и ложились на воду, а несказанная печаль этих особых предвечерних минут — на мою-душу. В конце концов наша бездеятельность стала казаться мне настолько невыносимой, что я посвятил в свои тревоги отдыхавших поблизости друзей и велел позвать к себе варраула Кураная.

— Послушай! Когда, ты думаешь, нам надо выступить? — спросил я.

— Не знаю. Часа через два-три. Взойдет луна, станет светло...

— Небо и сейчас чистое. Разве при свете звезд нельзя грести?

— Можно, но зачем? Время у нас есть. Позже плыть лучше — луна...

— А если в пути что-нибудь случится?

— Что может случиться? — На лице его отразилось недоумение.

— Ну хотя бы стволы деревьев, плывущих по течению. Гуапо, ты сам говорил, местами очень узкая. Вдруг образуется затор из этих деревьев, сколько придется убить времени, чтобы перетащить лодки, а?

Куранай не скрывал своей растерянности и озабоченно чесал затылок.

— Я об этом не думал, — признался он тихо.

Арнак вскочил с земли и воскликнул:

— Ян, поплывем сейчас! Мы хорошо поели и отдохнули. Хватит валяться!

И через десять минут, осмотрев еще раз оружие, мы двинулись всей флотилией в кильватерном строю вслед за итаубой варраулов. Когда, переплыв залив, мы вошли в собственно Гуапо и стены чащи с двух сторон сомкнулись в узкую горловину шириной не более ста шагов, наступила ночь. Полного мрака не было — рой звезд сверкали в небе и отражались в воде. Но по мере того как воздух остывал, от теплой воды поднимались быстро густеющие клубы пара, и вскоре сплошной туман скрыл от глаз все, что было на расстоянии больше броска камнем. Пришлось сбавить ход, но мы утешали себя мыслью, что такой же туман затрудняет путь и акавоям.

— А вдруг на большой реке тумана нет? — высказал опасение негр Мигуэль.

Это была бешеная гонка, соревнование не на жизнь, а на смерть. Враг стремился к той же цели, что и мы, где-то рядом, в десятке миль от нас, и мысль эта не оставляла нас ни на минуту. Мы понимали: наше опоздание — это верная гибель для наших друзей, а возможно, и для нас самих. Каждое плывущее дерево, попадавшееся нам по пути, обретало зловещий характер, каждая преграда становилась врагом. Варраулы вели нас уверенно, но не все препятствия давались нам легко.

Потом, когда взошла луна, плыть стало легче, хотя туман все еще висел над рекой. В молчании неумолимо летело время, и лишь ритмичный плеск весел тихо отбивал монотонный такт, словно Великие Часы Судьбы, Я бы сказал: там, в туманной мгле, мчались не люди, а какие-то призраки, лесные духи, и святая ярость в сердцах у нас была так велика, что мы не боялись ни устали, ни тягот.

Когда под утро туман стал редеть и чуть подернулся едва уловимой бледностью, предвещавшей скорый рассвет, мы проплывали мимо хижины живущего здесь рыбака. Каиива была уже недалеко, за поворотом, в каких-нибудь двух милях, там, где протока Гуапо снова впадала в главное русло Ориноко. Селение вождя Оронапи лежало на острове, омываемом с одной стороны великой рекой, а с другой — Гуапо и ее рукавами.

Рыбака мы застали как раз собирающимся на ловлю. На наш вопрос он ответил, что в деревне все тихо и спокойно, никакого шума не было, и крайне удивлялся, видя нашу тревогу.

«Ну, слава богу, кажется, успели!» — подумал я.

На острове кровавой жатвы

Когда несколькими минутами позже мы приближались к повороту, у нас вдруг от ужаса перехватило дыхание. Впереди раздалась дикие, хотя и приглушенные расстоянием вопли, а затем на небосклоне сразу вспыхнуло зарево: это горела со всех сторон объятая пламенем хижина из сухого тростника. Вслед за первым заревом вверх взметнулись еще и еще, и вскоре все небо

сквозь мгlistую пелену багровело в отсветах пожара.

Мы ринулись вперед. У поворота в тени берега остановились, потрясенные открывшимся перед нами зрелищем. Мгла редела, занимался рассвет.

На острове, отстоявшем от нас шагов на триста, догорало несколько хижин. Вооруженное сопротивление, если варраулы вообще оказывали сопротивление, в ближней к нам части Каиивы было, как видно, уже сломлено, и теперь шла дикая охота на людей в жилищах, не охваченных пожаром. Жители рассеялись по всему острову, пытаясь спастись паническим бегством, но их догоняли и сбивали с ног ударами палиц. Вокруг стоял крошечный ад: вопли отчаяния, мечущиеся фигуры людей, стон и крики раненых. Акавоям нужны были живые рабы, но в схватках не обходилось без кровопролития: тут и там на земле лежали трупы.

В сумятице происходящего трудно было определить, где главные силы врага и как лучше по нему ударить. Я приказал немедленно пристать к берегу и здесь быстро вскарабкался на ближайшее дерево. Отсюда, сверху, Каиива, несмотря на плывущие клочья тумана, была видна как на ладони.

Один взгляд прояснил нам положение дел и ход событий. Напав на селение, акавои взяли остров в клещи. Половина их лодок причалила к берегу основного русла, а вторая половина зашла с тыла, со стороны леса, по берегу протоки Гуапо. И там и тут сейчас видны были две группы их лодок, стоявших вместе с предусмотрительно захваченными ранее лодками варраулов, чтобы лишить их возможности бежать с острова.

На страже этих лодок стояло по четыре или пять воинов. Впрочем, основной их задачей, как было видно, являлась не столько охрана итауб, сколько связывание пленных, которых поспешно стоняли к ним со всех сторон Каиивы. Но это было еще не все. На нижнем, дальнем конце острова, утопавшем в полумраке и прикрытом туманной мглой, разыгрывались какие-то неясные события. Судя по шуму, доносившемуся оттуда, можно было предположить, что бой там еще не стих. Вероятно, на том конце защищалась какая-то не сдававшаяся пока горстка варраулов.

План действий напрашивался простой и ясный: захватить оба причала с лодками и одновременно бросить часть сил на помощь сражавшимся в дальнем конце Каиивы. Не теряя больше ни минуты, я соскочил с дерева и вскочил в лодку, отдавая на ходу распоряжения: отрядам с двух итауб — Вагуры и варраулов — захватить ближнюю стоянку лодок на Гуапо, отряду Уаки и Конауро — стоянку на Ориноко; Арнаку с четырьмя яботами поспешить в самый дальний конец Каиивы. После высадки всем прорываться к центру селения. Я решил причалить к острову посередине, между стоянками лодок, с тем чтобы держать в поле зрения сразу все участки боя.

Наша флотилия вмиг разделилась. Одни поплыли вправо, другие влево, моя итауба осталась одна. План наступления на Каииву с четырех сторон представлялся в этих условиях наиболее целесообразным: во-первых, противник был разбросан по всему острову, во-вторых, ему отрезали все пути бегства. С другой стороны, если акавоям удастся каким-то чудом сосредоточить в одном месте хотя бы половину своих сил и бросить их на один из наших отрядов, прежде чем другие подоспеют на помощь, — будет скверно.

С твердым решением не допустить этого направлял я итаубу к берегу Каиивы. Небольшой заливчик перед нами вдавался па несколько десятков шагов

в глубь острова, и мы направились в него. Берег здесь поднимался футов на шесть над водой, и никто с острова нас не заметил. Войдя в залив и высаживаясь на сушу, мы вдруг услышали справа, со стороны, куда я послал отряды Вагуры и Кураная, грохот выстрелов. Два, три, четыре. Оставив лодку на попечение Арасибо и двух женщин, мы опрометью бросились на небольшую возвышенность и здесь укрылись в негустом кустарнике.

Никто пашей высадки в полумраке не заметил. Справа, откуда донеслись первые выстрелы, завязался бой. Воины Вагуры и Кураная тучей высыпали на берег шагах в двухстах от нас и гнали акавойских стражников, уцелевших после первого залпа. На помощь стражникам бросилось несколько акавоев, находившихся поблизости. Но еще один меткий залп из ружей и неукротимый натиск наших воинов сделали свое дело: всего два или три уцелевших врага во весь дух бросились наутек в глубь острова, в сторону хижин. Здесь целая толпа акавоев, заметив опасность, оставила варраулов и с криками стала быстро сбегаться к центру.

Тем временем отряд Вагуры остановился перезарядить ружья, а воины Кураная бросились разрезать пути на своих соплеменниках, лежавших возле лодок. Слева, где высаживался в трехстах шагах от нас второй отряд Уаки и Конауро, акавои оказали более упорное сопротивление. Очевидно, еще на реке они заметили приближение двух подозрительных островков-лодок. Под грохот выстрелов нашим удалось выскочить на берег и оттеснить стражников от лодок, но как раз в этот момент десятка два акавоев пригнали большую группу захваченных варраулов.

Как только эти бандиты поняли, что происходит на берегу, они тут же бросили пленников и выскочили вперед. Люди Уаки и Конауро узрели свирепые физиономии мчавшихся на них воинов. Почти все ружья оказались разряженными. Оставались пистолеты; они дали из них залп, но это мало помогло. Свистнули стрелы из их луков, одного, второго из бегущих они ранили, один, двое упали, но остальные бросились на араваков как хищные звери. Завязался жаркий рукопашный бой, грудь в грудь: бились палицами, копьями, ножами, кулаками — в таком бою акавои не знали себе равных и были несокрушимы.

Видя, что воинам Уаки и Конауро не устоять, мы всем отрядом бросились им на помощь. Вперед, словно смерч, вырвались негры во главе с Мигуэлем и первыми врезались в ряды сражающихся. Акавои, завидя у себя в тылу мощные торсы и гневом пылающие лица наступающих, дрогнули, попытались спастись бегством, но было поздно. Зажатые словно в клещи, они отбивались с бешенством зверя, загнанного в угол. Наторевшие в ремесле убийц, они не одного из наших уложили, прежде чем сами уступили численному превосходству и распрощались с жизнью. На этот раз никто из них не ушел живым, все два десятка были убиты. Двоих, пытавшихся спастись бегством, догнали наши стрелы.

Из отряда Уаки и Конауро семь человек погибли, двое, тяжело раненные, не способны были продолжать бой, а остальные почти все получили разные ранения.

Из моего отряда погиб один. Такой ценой оплатили мы эту победу, уничтожив два десятка врагов.

Освобожденные нами из плена жители Каиивы как угорелые носились по

острову, и я велел Куранаю навести среди них порядок: женщин, детей и стариков немедленно убрать с острова и переправить на лодках на ближайший берег реки, а мужчин по возможности вооружить и разбить на отряды. По берегам реки неподалеку от Каиивы было разбросано немало селений варраулов, хижины которых проглядывали сквозь заросли и на противоположном берегу Гуапо. Поскольку акавои их не тронули, они, осмелев теперь при виде нашей помощи, целыми группами приплывали на остров. Я определил их всех под начало Куранаю и распорядился половину использовать на лодках для охраны берегов острова, чтобы отрезать путь к бегству даже одиночным акавоям, а остальным, наиболее воинственным, вместе с Куранаем оставаться поблизости от нас. Этим последним набралось около шестидесяти человек — сила внушительная, а по реке прибывали все новые.

Описываемые события развивались быстрее, чем их способны передать слова, и не успел еще рассеяться дым от последних выстрелов, как мы сплошной лавиной устремились к главным строениям Каиивы. Мой отряд, как и прежде, оставался в центре, на левом крыло наступали отряды Уаки, Конауро и до двух десятков варраулов, на правом — отряд Вагуры и до полусотни местных жителей с Куранаем во главе.

Пока мы разделялись с последними акавоями, напавшими на отряды Уаки и Конауро, с другого, нижнего конца Каиивы донесся грохот мушкетных выстрелов: это вступил в бой отряд Арнака. Возникла опасность, что против него враг бросит все силы — еще немалые — и легко его сомнет. Но нет, он этого не сделал, ибо, как вскоре подтвердилось, там было еще более тридцати варраулов, оказывавших отчаянное сопротивление. Судя по всему, акавои решили покинуть Каииву с уже захваченными трофеями и устремились к стоянкам своих лодок в верхней части острова. Завидя наши цепи, отрезающие им путь к итаубам, они остановились как вкопанные. Предполагая здесь наше присутствие, поскольку, конечно, слышали раньше стрельбу, они тем не менее не ожидали, что нас так много.

Было уже достаточно светло, хотя рассвет едва наступил и солнце еще не взошло, но диск его уже вышел из-за горизонта и зажег восточную часть неба розовой зарей. Мы были обращены лицами в сторону востока, и вот в лучах зари перед изумленными взорами акавоев предстало более полутора сот вооруженных воинов, освещенных словно каким-то магическим светом. Их же было менее шестидесяти.

Правда, и этот отряд бесстрашных воинов являл бы собой грозную силу, не окажись они захваченными врасплох. Отваги им хватало, не хватило трезвого расчета. Они понимали, что лодки и спасение за нашими спинами, и видели в наших боевых порядках две бреши: одну — между мной и отрядом Вагуры и вторую — между мной и отрядами Уаки и Конауро. И вот вместо того, чтобы всей массой ворваться в одну из них и силой пробиться, они сплосковали и, потеряв голову, разделились на две группы, чтобы пробиться через обе бреши.

Несколькими мгновениями раньше, чем больший, бросился на Вагуру меньший отряд. Поначалу акавои мчались прямо на него, как бы с намерением смять его или запугать, но это была неуклюжая уловка. Приблизившись на расстояние выстрела, акавои внезапно свернули вправо, в сторону разрыва между Вагурой и мной. Но Вагура не дремал. Он тут же бросил своих людей в эту брешь, увлекая за собой варраулов Куранаю.

Свободное пространство между нами сузилось шагов до ста и все уменьшалось. Но акавои решили пробиться любой ценой и ускорили бег, пытаясь опередить Вагуру.

Не опередили. Вагура, памятуя о моих наставлениях, подпустил их шагов на пятьдесят-сорок, а потом с близкого расстояния грохнул в них картечью сразу из всех ружей. Это был разгром. Несколько упали сразу, другие замерли на бегу, словно оглушенные, и только два упряма мчались дальше. Два самоубийцы. Они не пробежали и пятнадцати шагов, как на них обрушился такой град стрел, пистолетных пуль и даже копий, что скосил их как косой.

На остальных, ошеломленных убийственным залпом, все араваки вместе с варраулами набросились как ураган. Акавои не приняли боя и бросились бежать обратно в селение. Одних догоняли и брали в плен, других догоняли стрелы, впиваясь в спины.

Убедившись, что у Вагуры все развивается успешно, я сосредоточил свое внимание на втором отряде акавоев. Больше по численности, воинов из сорока, он несся прямо на вторую брешь, по левую руку от меня. Возглавлял его здоровенный детина с яркими перьями на голове и разноцветными бусами на шее — несомненно, вождь. По мере того как они приближались, мы оттягивались влево, стремясь преградить им путь. Уаки и Конауро — я видел — тоже сдвигались в нашу сторону.

У меня был мушкет отличного боя. Укрепив ствол его па подставке, я взял на прицел разряженного вождя. Я хорошо знал дальность боя своего ружья и ясно видел, что расстояние еще слишком велико, но не мог удержаться от искушения. «Куда ни шло — попытаю счастья». Я целился чуть выше головы вождя и, взяв в расчет всяческие поправки, медленно потянул за спуск. «Ура, попал!» Предводитель широко раскинул рука, и как подкошенный грохнулся на землю, несколько раз перевернувшись. Дикий вопль ужаса акавоев слился с торжествующими кликами радости в наших рядах, а я, что тут скрывать, был горд и счастлив.

Гибель вождя не остановила наступающих. В наших трех отрядах насчитывалось около двадцати ружей, из них добрая половина была в надежных руках. Акавои, словно ослепленные, сами рвались на их дула. Когда наши ружья, а затем град стрел и копий, к тому же еще пистолеты сделали свое дело, для непобедимых досель воинов настал судный день. Расстроенные и поредевшие, их ряды дрогнули и позорно показали спины. Акавои со всех ног помчались обратно, к хижинам деревни, обгоняя тех, что на правом фланге преследовал Вагура. Всего убежало их человек двадцать с лишним — все, что осталось от отряда. Но и в деревне бежавшим не удалось скрыться — здесь их встретил и взял в оборот подоспевший отряд Арнака с вооруженными варраулами. Прижатые и с фронта и с тыла, акавои нашли последнее прибежище в большой хижине на сваях, все стены которой покрывал тростник. Это был сарай Оронапи.

Мы окружили его тесным кольцом, понимая, что бешеному зверю теперь уж не вырваться из западни. Но зверь еще огрызался; несколько варраулов, слишком смело приблизившихся, тут же поплатились жизнью за неосмотрительность: стрелы, выпущенные из укрытия, пробили им горло.

Среди варраулов, сражавшихся вместе с Арнаком, находился вождь Оронапи и юный Мендука, лишь под утро доплывший до Каиивы. Едва он успел раз-

будить верховного вождя, как на селение обрушились акавои. Вождь был крайне удручен несчастьем, постигшим его племя. Выражая признательность за помощь, он двумя руками тряс мою руку и собирался рассыпаться в благодарственных любезностях, но я дружески его остановил и, указав на сарай, дал понять, что дело еще не завершено.

— Выкурим их огнем! — воскликнул вождь и отдал распоряжения.

В уничтожении остатков акавоев принимать участия я не хотел и, встав с Ласаной в стороне, издали наблюдал за последним боем. Стрелы, выпущенные с горящими на конце пучками сухой травы, быстро подождгли стены и крышу сарая, но акавои не вышли. Сухой тростник быстро сторел. Осажденные укрылись за всякой рухлядью и мешками с зерном. Тогда несколько смельчаков подкрались с охалками хвороста к сараю и разождгли огонь под его полом между сваями. Пол был сухой и сразу же вспыхнул. Это и решило судьбу акавоев. Не желая стореть заживо, они выскакивали и тут же находили смерть от пуль, стрел, копий и даже ударов палиц. Некоторые пытались защищаться, но и это не помогло.

Одним из последних выскочил Дабаро, тот самый торговец и шпион. Ему как-то удалось увернуться от пуль и ударов. В мгновение ока он прорвался сквозь строй наших воинов и помчался как стрела — откуда только брались силы. Вдогонку ему стреляли, но не попали.

Тут он вдруг заметил меня, и глаза его вспыхнули волчьим блеском. Он бросился ко мне, сжимая в руке нож. Мушкет за минуту до того я отставил в сторону, и тянуться теперь за ним было уже поздно. Выхватив из-за пояса пистолет, я прицелился ему в грудь и нажал на спуск. Щелк! Осечка. Дабаро издал торжествующий вопль.

Я молниеносно выхватил нож, но меня упредила Ласана. В руке у нее была дубинка. Она метнула ее в безумца и попала прямо в голову. Оглушенный, Дабаро споткнулся, и этого было достаточно. Я подскочил к нему и изо всей силы нанес удар кулаком между глаз. Нож выпал у него из рук, колени подогнулись, и он рухнул на землю.

Подскочили воины, готовые разmozжить ему череп, но я удержал их:

— Берите живым! Вяжите!

Приказ мой встретили недовольным ропотом, но выполнили. Я с нежностью взглянул на Ласану. Она еще не остыла от возбуждения и вся дрожала.

— Сколько же еще раз, — буркнул я, притворяясь разгневанным, — сколько еще раз, скажи, я буду обязан тебе жизнью?

— Столько раз, — ответила она мягко, — сколько потребуется.

Тем временем из сарая выбили последних акавоев, и наступила вдруг полная, оглушающая тишина. Все молчали, словно смертельно уставшие после изнурительного труда. Теперь только проявилось и придавило нас страшной тяжестью все напряжение последних дней и ночей. Я велел Оронапи поскорее приготовить нам еду, За трапезой я привел совет с вождями варраулов и старейшинами араваков, отдав им необходимые распоряжения. При этом не забыл я немедленно отправить и одну варраульскую итаубу к Манаури с известием о победе и мире, вновь воцарившемся на берегах Итамаки и Ориноко. Отряд акавоев, насчитывавший около ста воинов, был разбит: четырнадцать воинов, как оказалось, попали к нам в плен, остальные уничтожены.

— Что будем делать с пленными? — спросил у меня Оронапи.

— Откуда я знаю? — ответил я искренне. — Вот еще забота!

— Они заслужили смерть, потому что хотели нас уничтожить. Но ты не любишь убивать пленных.

— Правильно.

— Тогда мы продадим их в рабство.

— Испанцам?

— Нет, на тот большой английский корабль, что приплыл к тебе в гости... Пусть он увезет их далеко на север.

Это было возможное решение проблемы с пленными, хотя, признаюсь, оно не очень пришлось мне по вкусу. Впрочем, безмерная усталость подавляла всякую мысль, и мы, решив обсудить все проблемы позже и передав опеку над пленными и над собой в руки варраулов, легли спать.

Узы дружбы и братства по оружию, подвергшиеся в эти дни тяжким испытаниям, связали всех нас еще крепче, узы взаимного доверия проявлялись даже во сне — в нескольких выделенных для нас хижинах мы лежали рядом, один подле другого: индейцы, негры и белый, все вместе, спаянные воедино общим трудом и общей победой, хотя каждый из нас, как бы не веря еще в нами свершенное, и во сне по привычке держал руку на оружии.

Заря над джунглями

Пробудил нас близкий орудийный выстрел. Было совсем светло. Мы проспали более двадцати часов кряду, зато проснулись бодрыми и свежими, хотя и голодными как волки.

С встревоженным лицом вошел к нам Оронапи.

— Большой английский корабль спустился по реке и становится на якорь возле нашего острова, — сообщил он. — Что будем делать?

— Приветливо встречать, — ответил я. — Это друзья! Но прежде вели нас покормить.

Не успел я утолить голод, как мне сообщили, что капитан Пауэлл сошел на берег и Оронапи принял его торжественно и чинно, по всем правилам традиционного на Ориноко церемониала. В помощь верховному вождю я отправил в качестве переводчиков Арнака, Вагуру и Фуюди. Пауэлл, раздраженный затянувшейся приветственной церемонией, вежливо, но решительно прервал Оронапи и, обращаясь к Арнаку и Вагуре, попросил их, провести его по острову и познакомить с разыгравшимися здесь событиями. Когда четверть часа спустя мы встретились с ним в поселке, капитан, здороваясь, восторженно воскликнул:

— Well, ваша милость! Чистая работа, черт побери, ничего не скажешь! Даже Мальборо[13] или Фрэнсис Дрейк[14] могли бы позавидовать. Задали вы им трепку, будут помнить до седьмого колена! А что, и впрямь из вашей западни не вырвалась ни одна живая душа?

— По нашим сведениям, не вырвалась...

— Goddam you! Чистая работа! А ты, ваша милость, достаточно хорошо понимаешь все значение тобой свершенного? Отдаешь ли ты себе в этом ясный отчет?

— Побей бог, нет! — изобразил я притворный испуг. — У меня не было времени подумать.

— Смейся, смейся! А я снова скажу тебе: испанцы чувствуют себя на нижнем Ориноко неуверенно, еле-еле дышат. Впрочем, ты им тоже сумел вну-

шить к себе уважение. Теперь ты сломал хребет акавоям, и прийти сюда они больше не отважатся; араваки и варраулы готовы за тебя в огонь и в воду, они полностью у тебя в руках. Одним словом, ты полновластный владыка нижнего Ориноко! Теперь лишь от тебя зависит упрочить свою власть, призвав на помощь британскую корону.

— Ага, старая песня! Все никак не дает покоя?

— Да вот не дает. И знай — не даст дотоле, покуда не воплотится в реальность на этих берегах, а ваша милость не поумнеет и не станет здесь the big governor — губернатором администрации английского правительства.

— Мистер Пауэлл, я предпочитаю быть губернатором сердец и душ этих индейцев, а не администрации его королевского величества.

— Разве одно исключает другое? Напротив, став английским губернатором, ты тем успешнее сможешь опекать туземцев.

— Слишком уж сладостный мираж, сэр, эта ваша английская опека! Жаль, что ваша милость запомнил поведенную мною историю о судьбе народа погаттан в нашей Вирджинии и о смерти несчастного Опенчаканука.

— Это дела давних дней, канувших в прошлое...

— Ой ли?!

Я еще раз повторил ему все, что говорил в Кумаке, и еще присовокупил:

— Я использую здесь свое влияние, чтобы не допустить на нижнее Ориноко колонистов ни одной из европейских наций.

...Среди четырнадцати наших пленников девять, в том числе и Дабаро, оказались совершенно здоровыми, а пятеро имели разного рода, хотя и вполне излечимые, ранения и ушибы. Оронапи обратил на это внимание капитана Пауэлла, когда предложил ему их купить.

— Купить этих акавов? — Пауэлл вытаращил на вождя глаза и замахал руками. — Упаси меня бог!

— Дешево продам, — уговаривал Оронапи.

— Даже если отдашь даром, я ни за что не сделаю такой глупости!

— Почему глупости? — Теперь уже вождь сделал круглые глаза, а я, признаться, тоже несколько удивился, хотя и не принимал участия в разговоре.

— Почему глупости? — ответил капитан. — А потому, что акавои обитают на юге, неподалеку от Эссекибо. Им сразу же станет известно о моем поступке, а ссориться с ними я не хочу. Вам можно все: вы можете убить их, съесть живьем, закопать в землю — это ваше право победителей. Они на вас напали и оказались побежденными. Но если я, человек посторонний, позволю себе увезти их в рабство в дальние края, то в Гвиане лучше уже не появляться ни мне, ни другим англичанам... Нет, Оронапи, лучше уж вы зарежьте их сами, и дело с концом: вам можно... — и Пауэлл сделал жест рукой, дающий понять, что даже говорить об этом больше не хочет.

Итак, возникла новая проблема: что делать с пленными? Оронапи насупился, пугливо поглядывая на меня и обводя взглядом лица своих приближенных как бы в поисках спасительного совета. У всех, как и у меня, был озабоченный вид. Что делать? Абсолютно исключались два крайних варианта: первый — прикончить пленных, против этого восставало все мое существо, второй — отпустить их на свободу — это противоречило всем моральным и этическим представлениям и обычаям индейцев. Но если и одно и другое отпадает, то какой же остается выход? Вот проблема, над которой мы ломали голову. И тут на

помощь нам пришел Арасибо. Хитро прищутив свои косоватые глаза и важно надув губы, он заговорил:

— Великие и храбрые воины! В бою вы проявили мужество и доблесть, но сейчас не можете найти разумного решения оттого, что человеческий разум для этого слишком слаб. Я скажу вам, где следует искать совета и что надо делать с пленными.

Он умолк, по-детски радуясь произведенному впечатлению.

— Если знаешь, — прервал молчание Кокуй, — говори, не теряй время!

— Я знаю! — горделиво ответил Арасибо. — Если человек не может решить, как ему поступать, где следует искать совета, к кому обращаться, а? К тайным силам! Тайные силы лучше знают, чего заслуживают пленники: жизни или смерти!

Индейцы встретили слова Арасибо бурным ликованием.

Я, несколько озадаченный таким оборотом дела, проговорил, обращаясь к нашему новоявленному шаману и не скрывая своего неудовольствия:

— Говори ясней! Что ты предлагаешь?

— Сейчас, сейчас. Белый Ягуар, Арасибо все скажет, не спеши, — затараторил он. — Вода решит, кому из пленников жить, а кому умереть. Вода — великий судья...

И Арасибо изложил нам свой план. От варраулов он проведал, что неподалеку, чуть ниже Каиввы, Гуапо сильно, суживается, и в этом месте кишмя кишат хищные рыбы гумы. Если мы повелим пленникам переплыть здесь Гуапо, тайные силы не замедлят вынести пловцам свой приговор: кому суждено жить, а кому погибнуть. Они, тайные силы, а не мы, жалкие люди, учинят свой суд, и это будет суд праведный!

— Мудрый у вас шаман, знает свое дело! — радостно воскликнул Оронапи, довольный, что и араваки и варраулы с одобрением приняли идею Арасибо.

Мне не оставалось ничего иного, как смириться, тем более что такого рода божий суд мог и не завершиться смертельным исходом.

— А если им удастся переплыть на другой берег, — счел нужным уточнить я, — они будут свободны и смогут уйти?

— Да, смогут уйти! — ответил Арасибо, а Оронапи его поддержал.

Порешили, не откладывая, привести пленников на берег Гуапо. Но тут выявилось новое осложнение: пять из них имели настолько тяжелые раны и повреждения, что не в состоянии были не только плавать, но даже самостоятельно двигаться. Мне удалось добиться согласия варраулов пощадить их пока и подвергнуть испытанию плаванием только через месяц, когда они достаточно окрепнут.

В месте, где пленникам предстояло переплывать на другой берег, Гуапо действительно суживалась шагов до восьмидесяти. Вода, едва струясь, казалась такой спокойной и невинной, что в голову никогда бы не пришла мысль о таящихся под гладью ее поверхности кровожадных гумах. Мне лишь раз довелось столкнуться с этими маленькими хищницами на озере Потаро в день охоты на апий, но каждый раз при воспоминании о них меня невольно пробирала дрожь. А может, именно в этот момент их, к счастью, нет здесь — ведь рыбы непрестанно снуют с места на место?

Оронапи, на правах хозяина осуществляя общее руководство проведением этого ритуала, первым послал в воду Дабаро.

Когда акавоям объяснили суть дела, лица их мало оживились, оставаясь надменными и мрачными. Истинные воины, они хладнокровно смотрели в глаза смерти и невозмутимостью своей очень напоминали индейцев Северной Америки. Дабаро, словно делая великое одолжение, выпятил нижнюю губу и спросил:

— А если мы переплывем, вы нас отпустите?

— Отпустим, — ответил верховный вождь, — и вы сможете спокойно вернуться к себе на Куюнн.

Дабаро, на котором несколько минут назад разрезали путы, осторожно вошел в воду, стараясь не плескаться и не производить шума. Поплыл он тоже медленно, едва шевеля руками и ногами, рассчитывая, видимо, таким путем не привлечь к себе внимания гум.

И действительно, казалось, он не ошибся: плыл себе и плыл. Мы следили за его движениями с напряженным вниманием. Многие желали ему гибели, стограя от нетерпения, а он, медленно продвигаясь, преодолел уже половину пути. Кто-то из варраулов — акавои убили у него жену и брата, как мне объяснили, — не выдержал и швырнул в воду рядом с плывущим толстый сук, пытаюсь плеском привлечь сюда внимание гум. Я гневно обрушился на виновника, крикнув, что это подлая уловка и что нельзя обманывать духов. Оронапи и Арасибо меня поддержали.

А Дабаро тем временем продолжал плыть, и никто на него не нападал. До цели ему оставалось тридцать шагов, потом двадцать: три четверти пути к жизни и свободе он уже преодолел. Несколько сот пар глаз впивались с берега в каждое его движение. Кое-кто так страстно желал его гибели, что в беспомощности исступленно грозил ему вслед кулаками, подпрыгивая и дергаясь от нетерпения. А меж тем спасительный берег был все ближе, ближе и ближе. Стремясь быстрее преодолеть оставшиеся метры, Дабаро рванулся вперед, и тут вдруг его словно чем-то ударило: тело его взметнулось над поверхностью воды и тут же исчезло из наших глаз. Вынырнув в следующий миг, он стал отчаянно барахтаться, стремясь к берегу.

— Попался! — вырвался из сотен грудей радостный клик. — Схватили! Теперь не уйдет!

Сомнений не было — гумы напали на Дабаро. Но до берега оставалось всего несколько шагов. Акавой ошалело рванулся и остатками сил выбросил тело на песок. Издали было видно, как некоторые, особенно яростные, рыбыны выскакивали из воды вслед за ним, но он находился уже вне их досягаемости. Дабаро лежал в трех шагах от воды; из многочисленных ран на животе, на груди и ногах струилась кровь.

— Уцелел, — спокойно заметил Арнак, — будет жить.

Следующий акавой в воду входить не решался: он видел, что там творилось, и смелость ему изменила. Его толкнули силой. Плыл он лихорадочно, колотя руками по воде, и не достиг даже середины, как подвергся нападению хищниц. Он отчаянно метался из стороны в сторону, но после десятка-двух все более слабеющих ударов ушел под воду и больше не появлялся.

— Следующий! — выкрикнул Оронапи.

Кровожадных гум становилось все больше. С берега было видно, как в разных местах вскипала от них вода, и гумы то тут, то там выпрыгивали над поверхностью, сверкая на солнце чешуей. Рыбы проявляли адскую прожорли-

вость, и после короткой борьбы погиб следующий, третий, пленник, а потом четвертый и пятый. Затем Оронапи решил послать в воду сразу троих. Двое, пливших чуть впереди, погибли от зубов гум почти сразу. Зато третьему повезло: гумы, собравшиеся, вероятно, вокруг первых двух жертв, пренебрегли третьей, находившейся чуть в стороне, и ему удалось, хотя и покусанному, обратиться на противоположный берег.

В этот момент ко мне подошел Арасибо и, указав рукой на столпившихся вокруг Оронапи вождей, со свойственной ему хитровой усмешкой сказал:

— Белый Ягуар, вожди племени варраулов и араваков поняли волю добрых духов и хотят даровать жизнь последнему пленнику. Мы не будем посылать его в воду — пусть живет, если ты не против, — и он лукаво взглянул на меня, ясно давая понять, что в решении этом сыграл не последнюю роль, желая мне угодить и доказать, что он добрый шаман.

Я, конечно, не был против, и, таким образом, три пленника избежали смерти.

Спустя минуту капитан Пауэлл, стоявший неподалеку и наблюдавший за происходящим, приблизился ко мне с выражением неподдельного восхищения на лице.

— Я все видел и слышал, — проговорил он, пожимая мне руку. — Боже праведный, как же, однако, эти индейцы боготворят вас! Они полностью в ваших руках. Просто непостижимо!

Меня охватило легкое раздражение.

— Это непостижимо для вашей милости, ибо вы живете исключительно своими собственными, и весьма ограниченными, представлениями, а с индейцами заигрываете. Я же с ними не заигрываю и не притворяюсь. В этом и состоит вся разница между вами и мной: я с ними не заигрываю и не притворяюсь их другом, я — их друг!

— Goddam you! Не понимаю, — буркнул Пауэлл озадаченно.

Часом позже к нам прибыло множество гостей с противоположного, северного берега Ориноко. Там обитал многолюдный род варраулов, неподвластный Оронапи. Вот из этих-то северных селений к нам и прибыли теперь на помощь на двух десятках итауб воины во главе с их верховным вождем Абаси, довольно еще молодым человеком с решительным лицом. Именно этим, северным варраулам, насолили акавои, напав прошлой ночью на одно из их селений и уведя пленных, которых мы потом отбили в стычке на реке. Прибыли они теперь не только со своей несколько запоздавшей помощью, но и с предложением заключить союз с араваками и со мной, как это сделал Оронапи. Согласны ли мы?

— Мы согласны! — с искренней готовностью ответил я.

Здесь же в пополуденные часы на большом совете, в котором приняли участие все присутствовавшие в Каииве вожди и несколько десятков наиболее почетных воинов, было принято решение чрезвычайной важности для всех индейцев нижнего Ориноко. А именно: был заключен торжественный оборонительный союз племен. В состав его вошли северные варраулы, южные варраулы и все итамакские араваки. Мне было поручено верховное руководство союзом. Для обучения стрельбе из огнестрельного оружия и овладения навыками военного дела шестьдесят молодых варраулов направлялись на неограниченный срок вместе с нами в Кумаку. Оба верховных варраульских вождя,

Оронапи и Абасси, обязались в качестве вознаграждения за это регулярно поставлять роду Белого Ягуара продовольствие не только для этих шестидесяти воинов, но в два раза больше, а также доставить определенное количество гамаков и лодок.

Создание союза племен все мы встретили с большим удовлетворением, с не меньшей радостью приветствовал его и капитан Пауэлл. Он не скрывал своих надежд на то, что союз, по существу, направленный против тирании испанцев, рано или поздно облегчит Англии проникновение на Ориноко. А дабы индейцы уже сейчас познали щедрость англичан, Пауэлл, хитрая лиса, даровал союзу десять новеньких ружей, тридцать фунтов пороха, центнер свинца и приспособления для отливки пуль.

Варраулы не остались в долгу и одарили англичанина гамаками искусного плетения, которых имели множество.

Я же капитану сказал:

— Весьма вашей милости признателен за щедрый дар, но знайте — это ничуть не изменит моих взглядов на будущность индейцев в этих краях. Мне будет крайне неприятно, если из полученных от англичанина ружей когда-либо придется убивать англичан, незаконно вторгшихся на Ориноко...

— Придет время — изменишь свои взгляды!

— Время придет, а взглядов своих я не изменю! — ответил я твердо.

Спустя час река потекла в сторону моря, и капитан Пауэлл, а с ним и вся его команда, напутствуемые добрыми пожеланиями, занялись последними приготовлениями к отплытию брига.

И тут вдруг в голову Мне пришла мысль о моей собственной будущности, и я сделал удивительное открытие: я больше не думал столь страстно, как прежде, о возвращении на север, в Вирджинию, будто здесь обрел свою родину и все, что дорого сердцу.

После отплытия корабля Пауэлла я велел привести к себе трех пленников. Вид у них был крайне удрученный, в я не сразу понял, в чем тут дело. Арнак вернул им оружие, а Оронапи приказал выдать запас продовольствия на дорогу и одну небольшую лодку — яботу.

— Вы свободны, — объявил я, — и вольны поступать как вам вздумается. Но если в голову вам взбредет шальная мысль мстить нам, знайте — пять ваших родичей, оставшихся заложниками, тут же распрощаются с жизнью, а я полагаю, что после их выздоровления смогу живыми и невредимыми отправить их домой.

— Мы не собираемся вам мстить, — буркнул Дабаро в ответ.

— Каким путем вы думаете возвращаться на Куюни?

— Вдоль берега моря.

— А почему ты невесел? — спросил я прямо в лоб. — Разве ты не рад, что остался живым?

— Не рад! Лучше бы я подох здесь как последняя собака!

— Ах вот как! Тебя грызет стыд за поражение?

— Да, грызет. На Куюни нас встретят презрением и насмешками, изобьют палками...

— Скажи им, что мы побеждали врагов и сильнее вас, например, испанцев, вооруженных до зубов. Скажи своим — пусть поостерегутся связываться с нами. Расскажи им все, что видел здесь, скажи — мы зубастые ягуары, умеем

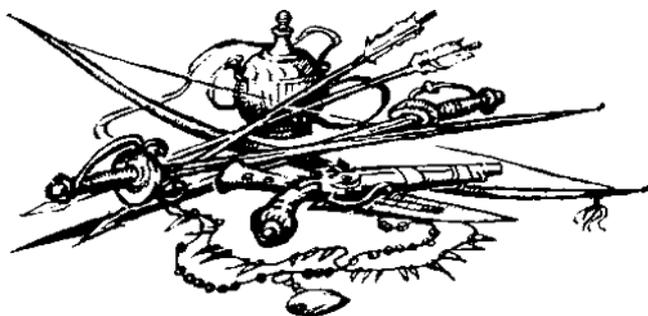
больно кусать, и от нас лучше держаться подальше... А теперь можете отправляться, и не попадайтесь нам больше на тропе войны!

К вечеру селение покинули и наши новые друзья — Абасси со своими варраулами. В Каииве стало тихо и пусто. Над ближайшим лесом мрачно кружили черные стаи хищных грифов.

Утром следующего дня, на заре, пустились в обратный путь и мы. Лес вокруг пробуждался. Пробуждался радостно, в гомоне птиц, в своем неизменно поражающем воображение извечном буйстве пышной зелени и неумемной жажде жизни.

В первых лучах утреннего солнца я увидел в небе летящих с берега на берег огромных птиц. Это были благородные попугаи араара, сверкавшие сказочным великолепием ярких красок. Вид их изумлял, вселяя веру в неисчерпаемое могущество этих джунглей, в их таинственную; и необоримую красу.

Надо ли удивляться, что сердце мое в это утро было преисполнено счастья? Там, высоко вверху, в поднебесье, — сказочные птицы, здесь, рядом, — Ласана, Арнак, Вагура, все мои друзья, здесь — дружный плеск весел, несущих нас к родным берегам Итамаки.



Белый ягуар

После победы

В джунглях Гвианы шел год 1728-й... Хотя наша победа над воинственными акавоями была полной, жестокий враг пролил немало и нашей крови. Мы потеряли почти двадцать араваков и более двадцати варраулов.

За всю свою историю Гвиана не знала столь жестокого сражения и такой блистательной победы над врагом. Почти весь разбойничий отряд акавоев из ста воинов был уничтожен поголовно, за исключением восьми взятых в плен. А ведь акавои считались доселе непобедимыми и наводили ужас на все племена гвианских индейцев. Благодарный за спасение вождь варраулов Оронати на радостях предлагал нам взять в жены или в услужение лучших девушек своего племени. Я, однако, счел за благо вежливо уклониться от этого дара.

Зато мы с радостью согласились взять боевые трофеи: семь итауб и четыре яботы, а также всяческое оружие, копья, луки со стрелами, палицы, голландские топоры и, чему я был особенно рад, дюжину ружей, доставшихся акавоям от голландцев с берегов реки Эссекибо. Радость, увы, омрачалась ужасающим состоянием мушкетов, сплошь изъеденных ржавчиной.

Обратный путь до Кумаки, используя сопутствующий нам морской прилив, можно было пройти не спеша на веслах по Ориноко за три дня. Правда, нас стало теперь меньше: всего около ста двадцати воинов-араваков и нескольких женщин, а лодок — больше, и таким образом на каждую лодку приходилось меньше гребцов. Друзья хотели освободить меня от обязанностей гребца —

как-никак я их вождь! — но я с показным гневом отчитал их и остался на веслах, как все.

Дух одержанной нами виктории еще не остыл в нас и царил на всех пирогах. Я достаточно хорошо изучил жизнь и нравы араваков и знал, что смерть постоянно ходит с ними, а потому кажется им явлением обыденным и заурядным. Оттого потеря без малого двадцати соплеменников для них представлялась неизбежной, естественной и не омрачала радости победы. Причем я с удивлением отметил, что, кажется, я и сам ничуть не лучше их и по характеру становлюсь похожим на индейца. И впрямь я потерял двух близких соратников, храбрых воинов, моих лучших друзей, однако сейчас на итаубе, плывшей по мощной реке вдоль бескрайних джунглей, я, как и все остальные, подпал под всеобщее радостное настроение.

Да, здесь были мои друзья, мы вместе делили радости и горести, мы безгранично верили друг другу, и нам было хорошо. А вокруг нас совсем рядом грозно щетинились немеренными милями джунглей берега реки. Где-то там, на востоке, в двадцати днях пути на быстрой итаубе, в чаще лесов на берегах реки Куюни племя акавоев вскоре станет оплакивать гибель своих воинов. Призовет ли оно демона мести — Канаиму, чтобы покарать нас? Иль, напротив, устранившись, смирится? Кроны могучих деревьев простирали над водой свои мощные ветви; низко свисая над нашими итаубами, они словно стремились схватить нас в свои лапы. А быть может, укрыть?..

Около полудня морской прилив стал спадать и, постепенно ослабевая, наконец совсем прекратился. Река замерла, а час спустя понесла свои воды обратно к морю.

Спешить нам было некуда, и как только нашелся более высокий, незаболоченный берег, мы высадились, разбили бивак с намерением несколько часов передохнуть и уж потом, ближе к полуночи, двинуться дальше. К тому времени течение снова станет попутным, повернет от моря к верховьям реки и понесет наши лодки в глубь материка. Мендука и его варраулы, знавшие тут каждую излучину, залив и протоку, будут служить нам в ночи лоцманами.

Как же пригодились нам теперь добытые у акавоев голландские топоры! Ловко орудуя ими, мы вмиг расчистили участок леса от кустов и молодой поросли. Женщины, разведя костры, готовили пищу. Оронapi, вождь варраулов, щедро снабдил нас в дорогу всевозможной снедью. Особенно хороши были фрукты и сушеная рыба.

Завидев в стороне, в кустах, Арнака, я спросил его шепотом:

— Арнак, ты не забыл об охране лагеря?

Юноша вспыхнул:

— Дозорных выставил?

— Конечно. У реки и со стороны леса.

Мне так и хотелось обнять и расцеловать юношу: моя наука не пропала даром. Он и впрямь стал моей правой рукой и верным другом...

Важное решение

Солнце стояло еще высоко, когда все мы утолили и голод и жажду. Я объявил своим ближайшим сородичам, что хочу сейчас же собрать воинов, особенно вождей и старейшин, на совет и сообщить им нечто весьма важное.

— Жаль, что у тебя нет здесь шкуры ягуара, — огорчился сметливый Вагура.

— И правда, — поддержал его Арнак.

— Не беда! — тут же нашлась Ласана. — Зато у нас есть шкуры пумы, убитой неделю назад. Сойдет и она!

Одним словом, моя свита единодушно решила, что здесь шкура пумы — вполне достаточный символ власти вождя, и мне не оставалось ничего другого, как перекинуть ее через плечо, придав тем самым себе больше важности и значимости, в то время как воины стали собираться и рассаживаться вокруг меня на земле.

— Воины, я буду говорить с вами о том, что уже было и что должно скоро произойти! — обратился я к собравшимся по-аравакски, ибо уже неплохо знал язык. — Дела это большой важности и касаются всего племени. Вы все должны сказать свое слово. Я жду от вас речей разумных и мудрых...

Индейцы слушали меня с любопытством и смотрели дружелюбно, но заметно было, не все: группа Конауро, демонстративно усевшись в самых дальних рядах окружавшей меня толпы, хмуро поглядывала исподлобья.

— Всем ясно, — продолжал я, — на острове Каиива мы одержали большую победу, и это вселяет законную гордость в сердца всех араваков. Но это не все: ваши правнуки и через сто лет будут достойно чтить память всех вас, собравшихся сегодня воинов. Они будут славить ваш подвиг в веках...

Свою речь на совете воинов я ни с кем из друзей предварительно не обсуждал и потому был немало удивлен, когда Арнак, мой столь же смысленный, как оказалось, сколь и храбрый, Арнак вдруг прервал меня, дав знать, что хочет говорить.

Скрыв удивление, я кивнул в знак согласия.

— Воины! — начал Арнак. — Пусть кто-нибудь скажет, что я не знаю, как жили раньше и как живут сейчас индейцы в Гвиане, не только араваки и варраулы, но и акавои, карибы, арекуна, патемоны и макуши. Все скажут: знаю. И я, Арнак, сын вождя, говорю вам: все, что сказал Белый Ягуар, — святая правда, правда правд. В Гвиане, между Ориноко и Амазонкой, никто никогда еще не терпел такого сокрушительного поражения, какое мы нанесли недавно нашим врагам...

— А убитые на Каииве? Наши убитые братья! Кто их вернет нам?! Кто?! Проклятие! — резко прервал вдруг Арнака кто-то из задних рядов отряда Конауро.

— И погибшие зря! Зря!!! — рывкнул сам Конауро, которого я узнал по голосу.

Мы сидели на опушке леса. Стволы лесных великанов заслоняли от меня разъяренного Конауро. Эти гигантские стволы и царящий между ними полумрак создавали неповторимую атмосферу таинственности и даже сказочности.

Слова Конауро и его сородича вызвали ропот недовольства и возмущенные восклицания, ибо среди всех нас в тот день царила радость, и радость понятная: нам удалось навсегда избавиться от грозного врага. Я готов был ответить Конауро, но меня опередил Уаки. Старше меня, но моложе Конауро, это был храбрый предводитель отряда, энергичный и смелый.

— Конауро! — громовым голосом крикнул он. — Ты что, ослеп?! Или разум покинул тебя? Разве тебя не было в нашем селении на берегу залива Потаро и ты не видел, что акавои готовились напасть на нас?..

— Готовились, но не напали! — возразил кто-то из ближайшего окружения

Конауро. — Они пошли на Каииву, на варраулов!

— Не напали! — не сдавался Уаки. — Не напали, потому что мы были сильны и готовы к бою, у нас были ружья и много разного оружия, у нас был мудрый и храбрый вождь, и проклятые акавои в этом сами убедились. Вот почему они не напали на нас, и тебе это известно...

— А знал ли твой мудрый вождь, — взвизгнул кто-то из приспешников Конауро, — что акавои, разбив варраулов и захватив много пленников, вернулись бы довольные на свою Куюни, а нас оставили в покое?

— Эй, вы, храбрецы, потише! — гневно крикнул я. — Варраулы — наши друзья, и прийти к ним на по мощь был наш трудный, но священный долг.

— Канаима лишил Ягуара разума!

Среди араваков поднялся возмущенный гул, словно в потревоженном рое злых ос. Арнак старался перекричать шум, и наконец ему это удалось:

— Конауро, вождь рода трусливых Кайманов, ты ошибаешься! Я много слышал об акавоях и знаю их непомерную гордыню и спесь. Мы вынудили их отказаться от нападения на нас. Они никогда бы нам этого не простили и, захватив Каииву, опьяненные легкой победой, тут же бросились бы на наше селение и Сериму. Я, Арнак, говорю: ты ошибаешься, вождь Конауро!

— Все равно, — донесся откуда-то из-под дальнего дерева странно изменившийся голос Конауро, — все равно, я думаю, как думал, и знаю, что потерял многих воинов моего рода понапрасну! Да падет проклятие на головы тех, кто в этом повинен!

В этот момент наш шаман Арасибо, сидевший до этого рядом со мной с опущенной головой, вдруг резко поднял ее и стал всматриваться в сумрак, туда, где находился Конауро. Как видно, он считал, что проклятия и прочее колдовство — лишь его, шаманское, дело.

— Конауро болен! — бросил он в мою сторону. — Канаима лишил его разума!

— Ты прав! — пробормотал я с горечью. — Меня это очень печалит.

Не все знали, как развивалась смертельная схватка между отрядом Конауро и акавоями. Я попросил Мигуэля рассказать воинам, как все было. Мигуэль, хорошо владевший языком араваков, начал с того, как шло сражение и как потом его отряд бросился на помощь воинам Хаки и Конауро...

— А раньше вы не могли подойти? — буркнул кто-то из отряда Конауро.

— Не могли! Мы бросились сразу же, как увидели акавоев. Быстрее никто бы не смог...

— Все равно мои воины погибли зря! — яростно проревел Конауро. — Пусть будут прокляты те, кто втянул нас в это, пусть будет проклят главный виновник!..

И будто было мало слов этих, он стал метаться в безумном гневе, выкрикивая в экстазе страшные угрозы, Направленные, похоже, в мой адрес.

— Им овладел Канаима! — обеспокоенно шепнул Вагура. — Его надо усмирить!

— Надо, — буркнул Арасибо, и в глазах его сверкнула безжалостная твердость.

Шаман поднялся на ноги и стал пробираться сквозь толпу к Конауро.

— Иди за ним! — шепнул я Арнаку. — Как бы он чего с ним не сделал. Конауро должен жить!..

Спустя некоторое время Арнак вернулся и заявил, что все в порядке.

— Что значит: в порядке? — спросил я.

— Арасибо выкурил два раза дым из волшебной трубки в лицо Конауро, и тот упал без сознания.

— Черт возьми! Он отравил его?

— Да не беспокойся, Конауро придет в себя сегодня или завтра.

Происшествие с Конауро обеспокоило лишь немногих его приближенных, остальные требовали продолжать совет.

— Ты обещал говорить о том, что будет, — напомнил кто-то.

— Да, обещал! Уаки прав, сказав, что акавои отказались от мысли напасть на Кумаку, потому что мы были готовы к бою. Да, мы были готовы к бою, и в этом оказалась главная наша сила.

— Ты поступил мудро, — вмешался Арнак, — когда еще на острове Робинзона стал учить нас стрелять из мушкетов.

— Тебе не откажешь, Арнак, в умении правильно оценивать ситуацию, — ответил я ему любезностью. — Спасибо тебе. И ты не станешь, конечно, отрицать, что племя араваков, или локонов, как вы себя называете, — племя людей рассудительных и добрых, невоинственных и мирных. Но, когда на него нападут, защищаясь, оно способно проявлять редкостную храбрость, какой не знает ни одно другое племя, кроме, пожалуй, двух наших закоренелых врагов: акавов и еще более разбойных карибов. Какие выводы мы должны из этого сделать?

Мой вопрос был обращен ко всем, а не только к Арнаку. Наступило напряженное молчание.

— И скажу еще! — добавил я. — Возможно, акавои с берегов реки Куюни, оскорбленные понесенным поражением, решат отомстить нам и, выбрав подходящий момент, даже в следующий сухой сезон, попытаются напасть на нас втрое большими силами. И я спрашиваю вас: какие выводы из этого мы должны сделать?

— Упредить их! — выкрикнул варраул Мендука. — Самим отправиться на Куюни и перебить всех, кого удастся...

— Это немудрое решение! — возразил я. — Начнется новая затяжная война, новое бессмысленное кровопролитие, и неведомо, чем все это кончится. Есть лучший выход, единственно верный в нашем положении, который, несомненно, принесет нам успех.

— Какой? Скажи нам! — раздалось со всех сторон.

— Научиться воевать лучше, лучше, чем умеет воевать любой из наших возможных врагов...

— А как это сделать?

— Сделать это можно и нужно! А как? Отвечу: надо постоянно учиться воевать, хорошо владеть оружием, уметь применять воинскую хитрость и разгадывать замыслы врага.

Арнак, Вагура и Мигуэль сразу оценили важность моего предложения для тех сложных условий, в которых нам приходилось жить на берегах нашей Итамаки, и загорелись моей идеей. Создание из племени араваков самого мощного боевого отряда индейцев в Гвиане представилось им мыслью на редкость заманчивой, к тому же вполне реальной. Их юношеский запал передался и остальным, всем собравшимся воинам и даже некоторым из рода Конау-

ро.

Солнце еще не зашло, хотя сумрак под деревьями уже заметно сгустился, когда совет единодушно утвердил решение: не откладывая ни на один день, сразу же после возвращения на Итамаку срочно приступить к дальнейшему укреплению оборонной мощи племени араваков и довести ее до совершенства. Это важное задание было поручено мне (друзья по-прежнему считали меня своим вождем) и моим юным соратникам: Арнаку, Вагуре, негру Мигуэлю и варраулу Мендуке.

Над нашим лесным биваком кружили мириады комаров и всякой мошкеры, но я уже не хуже индейцев переносил эту напасть. Все же Мендука счел нужным напомнить, что ночью в этих местах нас подстерегает еще большая пакость — сосущие кровь летучие мыши, которых испанцы называют вампирами.

Чтобы уберечься и от этой божьей кары, я приказал перед сном развесить гамаки по кругу, а с четырех сторон разложить костры; и всю ночь их жечь. Вампиры не терпели даже малейших проблесков света.

От вампиров мы отделались, но примерно за час до рассвета на нас обрушилась иная неожиданная напасть, поднявшая всех на ноги. Огромный, многотысячный поток плотоядных муравьев пересек наш лагерь, подняв в нем страшный переполох. Гамаки у нас были привязаны к стволам деревьев, и не знающие преград муравьи сотнями сначала взбирались на них, а оттуда переползали в гамаки, злобно атаковав спящих. Челюсти у них были дьявольски острыми, и грызли они, как злые собаки. Не оставалось ничего иного, как выскочить из гамаков и, отбежав шагов на двадцать в сторону, судорожно стряхивать с себя злобных дьяволят, вгрызавшихся в наши тела. Прошло немало времени, пока мы освободились от преследователей и муравьиное воинство прошествовало через наш лагерь дальше в поисках новых жертв. Эти плотоядные муравьи несли неизбежную смерть всему живому, неспособному спастись от них немедленным бегством. Ходили слухи, что гвианские плантаторы, когда хотели «достойно» наказать строптивного раба, накрепко привязывали его к дереву на пути шествия этих насекомообразных палачей и так чинили суд и расправу: через час раб погибал в нечеловеческих муках, до костей обглоданный муравьями.

После полуночи течение реки изменило направление, и мы, все-таки кое-как отдохнув, невзирая на муравьиное нашествие, свернули бивак и двинулись дальше, на третий день благополучно достигнув берегов залива Потаро, где и высадились в своем селении Кумака. Здесь нас сердечно и радостно приветствовали верховный вождь Манаури и все наши братья-араваки.

Мы обретаем силу

Наряду со множеством достоинств араваки обладали и одним весьма огорчительным недостатком — неистребимой тягой к алкоголю. И не приходилось удивляться, что в течение трех дней в честь нашей победы на Каииве продолжались бесконечные пьяные оргии. Хмельное до беспамятства хлестали все, кроме Ласаны, ее младшей сестры Симары, Арасибо. Арнака, Вагуры и меня самого, да еще нескольких более рассудительных и благоразумных воинов. Когда пиршества и танцы наконец утихли и все протрезвели, я собрал всех жителей Кумаки во главе с верховным вождем Манаури, главой рода Черпахи, на совет; мне важно было знать, как они отнесутся к созданию в Кума-

ке такого мощного боевого отряда, который навсегда отобьет у кого-либо охоту на нас нападать.

Идею встретили со всеобщим восторгом, особенно доволен был Манаури, обещавший всяческую поддержку во всех моих начинаниях. Не откладывая, мы все, включая и женщин, сразу же принялись за осуществление этого благого дела. Они горячо поддержали нас, хотя на их долю выпала особенно трудная задача, поскольку теперь только часть из них оставалась на сельскохозяйственных работах в поле, а значит, им предстояло трудиться за двоих: за себя и своих боевых подруг, изъявивших желание наряду с мужчинами обучаться военному ремеслу по примеру тех карибок, которые в военном деле не уступали своим мужчинам.

Военному делу я был обучен сызмальства. Живя еще в лесах Вирджинии, я знал, что такое дисциплина, умел выследить врага, любил оружие, особенно огнестрельное, словом, по натуре, привычкам и симпатиям был настоящим солдатом. Теперь я решил привить эти навыки и своим друзьям-аравакам, ибо араваки на Ориноко понимали, что для них это вопрос жизни или смерти.

В Кумаке насчитывалось тогда около пятисот мужчин, женщин и детей, а в расположенной в трех милях от нас Сериме — неполных триста человек, к тому же истощенных опустошительной эпидемией оспы, занесенной испанцами из Ангостуры, а также бесконечными племенными раздорами и губительными интригами старейшин.

К обучению военному делу у нас приступило более ста семидесяти добровольцев, в том числе пятьдесят женщин, в основном девушек и молодых жен наших воинов. Женщины подчинялись Ласане, а весь учебный отряд мужчин и женщин целиком — мне. Мужчин я разделил на восемь групп, во главе которых стали Арнак, Вагура, Мабукули, Уаки, Конауро, Мигуэль с несколькими неграми, Мендука с десятком своих варраулов и я с особым отрядом. В этот отряд входили около двадцати лучших наших разведчиков и шаман Арасибо. Я не упомянул Манаури, поскольку он осуществлял верховную власть над всеми араваками, жившими на берегах Ориноко.

Учеба с самого начала велась напряженно, в ускоренном темпе. Меня, да и всех остальных радовало и приятно удивляло, что энтузиазм воинов не угасал, как вспыхнувшая солома, а напротив, с каждым днем все возрастал — араваки относились к военным занятиям как к увлекательной игре. Дух здорового соперничества вселял в их гордые сердца стремление быть лучшим, самым лучшим! Самым лучшим в стрельбе из мушкета или пистолета по подвижной цели, быть лучшим в метании копья и стрельбе из лука, в плавании, в нырянии и гребле. Стать бегуном, догоняющим серну; борцом, не знающим поражений; следопытом, способным прочесть любые следы; уметь слушать дыхание джунглей и подражать голосам птиц и зверей; постичь тайны земли, воды и неба; изучить все травы, цветы и корни в джунглях, познать их лечебные свойства; развить в себе зоркость орла.

Но и это еще не все. Надлежало до тонкостей постичь все военные премудрости борьбы с врагом: как взаимодействовать в бою друг с другом и отряд с отрядом, как закалять тело и дух, воспитывать в себе отвагу и мужество в сочетании с благородством и милосердием.

С первых же дней я установил суровую и жесткую дисциплину, решив, что плевелы при этом отсеются, слабые и нестойкие уйдут сами, а в отряде оста-

нутя лишь наиболее сильные и выносливые. Но результаты превзошли все мои самые смелые ожидания. Дисциплина никого не испугала, и приходилось только удивляться, сколь глубоко овладело араваками стремление стать сильными и способными противостоять врагу. Наивысших похвал заслуживали наши женщины. Они не уступали мужчинам ни во владении оружием, ни в выносливости. Два десятка пистолетов и мушкетов в их руках стали грозным оружием. Особую гордость вызывали у меня Ласана и ее младшая сестра Симара. Эта восемнадцатилетняя плутовка творила с пистолетом и луком буквально чудеса. Мчись стрелой (а Симара по-аравакски значит — стрела), она из пистолета или лука с расстояния в сорок шагов на бегу без промаха попадала в любую мишень, и притом всегда точно в область сердца.

Примечательно, хотя, впрочем, и понятно, что к моему роду, роду Белого Ягуара, прежде всего тянулись те, кто более других познал в жизни горя и невзгод. Это были араваки и негры, попавшие ко мне еще на острове Робинзона, то есть бывшие рабы испанцев с острова Маргариты. Они-то и стали теперь самыми верными моими помощниками. Впрочем, надо сказать, что недавнее нападение акавов на оринокские племена оказалось силовым потрясением и впредь хорошей наукой и для всех остальных араваков.

Через четыре месяца упорной учебы стали заметны и первые ее плоды: явно выделилось десятка два лучших стрелков, лучников, скороходов, гребцов, копьеметателей, да и остальных было просто не узнать.

Рвение и дисциплина сделали свое дело: араваки стали наконец обретать то, чего прежде всегда им так недоставало, — чувство уверенности в себе и способность себя защитить. Они не были, как прежде, беззащитны пред злыми силами природы и враждебными замыслами людей.

«Нам известно все!»

В один из дней, когда в наших краях уже наступил период дождей, мы, как обычно, проводили занятия в окрестностях залива Потаро. И вдруг в полдень Кумаку охватила паника: оттуда примчался запыхавшийся и насмерть перепуганный парнишка с вестью, что на Кумаку напал большой отряд испанцев.

Наши отряды находились в это время в какой-нибудь полумиле от хижин, и я удивился, ибо не слышал никаких выстрелов:

— Испанцев? Вооруженных? Сколько их?

— Много! Целая куча! Сто! — отвечал парнишка, едва переводя дух.

— Одни только испанцы?

— Нет... Испанцев мало, зато с ними куча индейцев...

— Они напали на вас?

— Нет. Мы раньше заметили их итаубы и убежали из хижин в лес...

— Они из ружей стреляли?

— Не знаю... Не слышал...

— А за вами гнались?

— Вроде бы нет...

В тот день наших в селении оставалось немного — большинство было в лесу на учениях или работало на полях, разбросанные среди джунглей. Неподалеку от моего командного пункта занимались отряды Арнака и Вагуры. Я тут же приказал им немедленно прибыть ко мне, и все вместе мы бросились на берег залива, откуда как на ладони была видна на другом берегу Кумака.

Скрытые в чаще от вражеских взоров, мы сами видели, что хижины наши не тронуты, пожаров в селении нет, никаких грабежей незаметно. У меня случайно была с собой моя верная подозрительная труба, и я без труда высмотрел лодки, причаленные к берегу, — несколько испанцев и с ними группу индейцев. Казалось, настроены они довольно мирно, но, ясное дело, доверять им было бы явной оплошностью. Слишком свежа еще была у меня память об их прошлогоднем вероломном набеге на наши земли. Тогда они тоже явились в таком же составе из Ангостуры, чтобы здесь у нас, в нижнем течении Ориноко, разжиться рабами для своих плантаций и серебряных копей.

Вероятнее всего, и нынешние пришельцы были из той же банды, что и подлый дон Эстебан. Поэтому не приходится удивляться, что их появление вызвало в нашем селении переполох. Я с тревогой всматривался в толпу пришельцев на том берегу, но дон Эстебана среди них не обнаружил. Казалось, испанцы кого-то ждут, возможно, даже меня.

Я долго не раздумывал и решил: боем барабанов, по заведенному у араваков обычаю, оповестить об опасности отряды, находящиеся в лесу, призвав их форсированным маршем двигаться к Кумаке. Затем, оставаясь в лесу, изготовить к бою оружие и скрытно окружить испанцев полукольцом, прижав их к берегу залива. Сам я со своим отрядом прокрался к селению и отправил двух резвоногих юношей в свою хижину за парадным капитанским мундиром. Не пристало мне выходить к испанцам полуголым, в одной набедренной повязке.

Полчаса спустя, одевшись в соответствии с торжественностью случая и уверенный, что пришельцы уже окружены нашими отрядами, я вышел из чащи и размеренным шагом направился к испанцам. Шагах в пятнадцати сзади меня, рассыпавшись широким веером и не скрывая оружия, шествовал мой почетный эскорт.

Завидев нас, испанцы с не меньшей торжественностью двинулись нам навстречу. Их было трое, разодетых как на парад. «Интересно, что им от меня нужно, черт побери? Новой трепки захотели?» Десятков пять индейцев, их гребцов, вооруженных луками и палицами, не представлялись мне грозным противником. Никаких ружей у них не было, разве только, может быть, испанцы припрятали под мундирами пистолеты. Но лица у них, во всяком случае, расплывались в вежливых улыбках.

Когда нас отделяло не больше десяти шагов, мы остановились, а испанцы с галантностью истинных кавалеров приветствовали меня широким взмахом своих шляп, едва не метя поляну украшавшими их перьями. Чуть ли не одновременно с ними, сняв шляпу, и я сделал подобный жест. Стоявший в центре и чуть впереди тридцатипятилетний испанец с гордой осанкой и благородным лицом, в роскошных одеждах, держа шляпу в низко опущенной руке, с на редкость галантной улыбкой представился:

— Дон Мануэль Паррас и Гайегос Годье де Торрес Васкес, посланник его светлости коррегидора Ангостуры и полномочный представитель сеньора губернатора Каракаса.

Я едва не обалдел от столь высокой чести, оказанной мне, и никак не мог прийти в себя от изумления. Чего же, собственно, могут хотеть от меня столь достославные и лукавые сеньоры?

А этот самый дон Мануэль Паррас и т. д. и т. п., не прерывая своей изыскан-

ной тирады, на одном дыхании продолжал:

— ...Свидетельствую свое почтение вашей милости, капитан дон Хуан Бобер, всем известный под высокочтимым именем Белый Ягуар!..

Видя, что пока нам грозит лишь поток любезных комплиментов, притом без всякой злой иронии со стороны непрошенных гостей, я почувствовал некоторое облегчение. Свое изумление тем, что им так хорошо известно мое имя, я в шуточной форме выразил на вполне сносном испанском.

Услышав мои слова, трое испанцев сразу стали серьезными, лица их исполнились многозначительного достоинства, а дон Мануэль сделал паузу, прежде чем с необычайной высокопарностью изрек три слова:

— Нам известно все!

Вероятно, это заявление почему-то казалось ему столь важным, что он изрек его еще раз:

— Нам известно все!

Сознаюсь: я вздохнул с облегчением. Напряжение первых минут постепенно исчезало. Взирая на их чертовски серьезные, источающие галантность лица и слыша столь поразительные слова, я не удержался от шутки и с ироничной улыбкой спросил:

— Так, значит, вы сам господь бог?

— Господь бог? — Дон Мануэль был несколько озадачен. — Как прикажете вас понимать?

— Да очень просто! — На этот раз я уже откровенно рассмеялся. — Ведь только господь бог всеведущ, а вы, ваша милость, утверждаете, что вам известно все!

— Я имел в виду лишь, что нам известно все о вашей милости, досточтимый дон Хуан!.. Именно по этой причине мы здесь!

Странный замысел испанцев

Видя, что со стороны испанцев нам не грозит непосредственной опасности, я частично отменил тревогу, но лишь частично, поскольку в непосредственной близости, в самой Кумаке, находилось все-таки почти пятьдесят индейцев чужого племени с луками и палицами в руках. С этой ненадежной братии, как, впрочем, и с самих испанцев, нельзя было спускать глаз. Испанцы буквально остолбенели при виде выходящих из зарослей наших отрядов, совсем недурно вооруженных всевозможным оружием.

Сохраняя все ту же изысканную вежливость, гости объявили мне, что приплыли с важной миссией, которую хотели бы со мной обсудить. В ответ я пригласил их в свой тенистый бенаб — прохладную хижину под просторной крышей без боковых стен. Пригласил я также Манаури как верховного вождя, Арнака, Вагуру и негра Мигуэля. Гости расселись на циновках, а я — на принесенной Ласаной шкуре ягуара.

На мое приглашение отведать паивари — напиток гостеприимства, дон Мануэль ответил просьбой оказать ему честь и распить привезенную из Ангостуры бутылку рома.

— Отчего же! — откликнулся я охотно. — Только не потерять бы нам при этом головы или не оказаться отравленными...

— Клянусь! — ответил в том же полушутливом тоне дон Мануэль. — Никто головы не потеряет!..

Ром был превосходный, и после того как мы все его понемногу отведали,

дон Мануэль, приступив к главному вопросу, опять почти с маниакальным упорством завел прежнюю песню о том, что им, испанцам, известно обо мне все.

— Рад, искренне рад! Даже счастлив! — Довольно сдержанно изобразил я на лице удовлетворение, выслушав очередное его признание, а про себя подумал: «Сейчас дон Мануэль начнет безудержно превозносить до небес нашу победу на Каииве, которая в известной мере была и победой испанцев». Ведь здесь, на земле, которую испанцы считали своим исконным владением, мы в пух и прах разбили отряд акавоев, снаряженный голландцами — заклятыми врагами испанцев в Гвиане.

Но, оказалось, я был не прав и сильно ошибался — дон Мануэль повел речь совершенно о другом. Не скрывая удовлетворения нашей победой над акавоями, он тем не менее совершенно неожиданно заговорил о визите ко мне в Кумаку Джеймса Пауэлла — капитана английского брига «Каприкорн». Оказалось, испанцы какими-то неведомыми путями узнали о содержании той моей беседы с Пауэллом, когда я несколько месяцев назад категорически отказался от участия в захватнических планах англичан, и теперь всячески меня за это восхваляли.

— Ваша милость, сеньор капитан, — продолжал дон Мануэль, — мы считаем вас своим союзником и готовы всячески поддерживать...

— Меня заботит лишь судьба индейцев! — заметил я.

— Нас тоже! — отвечал испанец. — Наши взгляды полностью совпадают. Мы именно того и хотим, чтобы вы, ваша милость, как и прежде, оставались их покровителем и другом!.. — Потом помолчал и добавил: — С нашей помощью, сеньор капитан, вы сумеете сделать немало добрых дел для своих подопечных, если примете почетное предложение, которое имеет честь сделать губернатор Каракаса.

— Почетное предложение?

— Именно почетное, хотя нелегкое и даже опасное. Но нам известно, что такое Белый Ягуар: храбрости и мудрости ему не занимать?..

Звучало все это в высшей мере лестно и, само собой, разжигало мое любопытство. Дон Мануэль не стал испытывать моего терпения. Испанцы хотели — ни больше ни меньше, — чтобы я, Белый Ягуар, «победоносный вождь, прославленный по всей Гвиане, прославленный и высокочтимый», отправился на берега реки Эссекибо к голландцам и от имени своих индейских племен, а так же от имени испанцев Венесуэлы потребовал от них соблюдения границ и поддержания добрососедских отношений. Каракасский губернатор готов был снабдить меня и моих спутников меморандумом, и эта охранная грамота, составленная на английском, испанском и голландском языках, несомненно, гарантирует, дескать, моей миссии к голландцам полную безопасность.

Дон Мануэль умолк и смотрел на нас, следя за впечатлением, произведенным его словами.

Воцарившуюся тишину первым нарушил Манаури, верховный вождь. Годы рабства, проведенные им у испанцев на острове Маргарита, обогатили его горьким и печальным опытом. Он заговорил резко и гневно:

— От голландцев ваша бумага, возможно, нас и охранит, но Канаима — демон мести акавоев читать не умеет...

— Это правда! — согласился дон Мануэль. — Но Ангостура готова дать Бело-

му Ягуару и его свите все необходимое для защиты: ружья, порох и пули, деньги и даже людей, индейцев...

— Индейцев? Ха-ха! — с иронией отозвался наш шутник Вагура и, указав пальцем на щуплых гребцов, доставивших к нам на лодках трех испанцев, спросил: — Уж не этих ли отощавших от голода вояк с палицами вы хотите нам дать? Можно себе представить, как они защитят Белого Ягуара от акавов!

— Мы предлагаем вам индейцев, ибо испанских солдат посылать туда нельзя. Их вид может вызвать ненужное раздражение у голландцев с Эссекибо, — миролюбиво пояснил дон Мануэль.

Я согласился с его доводами и, не желая понапрасну раздражать испанцев и накалять обстановку переговоров в моей хижине, заявил, что не имею ничего против такого визита к голландцам на берега Эссекибо, поскольку для меня лично превыше всего — мир и благо индейцев. Однако согласие на это должно выразить все племя араваков в Кумаке. Потому я попросил дона Мануэля оказать любезность более подробно изложить весь замысел нашей миссии, а также в деталях обрисовать положение дел на берегах Эссекибо.

— Я готов это сделать сейчас же! — ответил испанец и повелел одному из своих спутников достать из сумки и разложить перед нами карту Гвианы.

Карта меня потрясла. Она была значительно точнее, чем та, какую несколько месяцев назад показывал мне капитан Пауэлл. Реки, насколько я мог судить, были нанесены довольно точно. Не было причудливых фантазий в изображении устья Ориноко и его правых притоков Карони и Итамаки, а также русел Померуна и Эссекибо с их притоками Куюни, Мазаруни и Рупуни. На карте обозначены были реки Демерара, Бербис, Корантейн, цепи гор: Итамака, Эмерия, Отомунг, Пакараима и гордая вершина Рорайма. Но более всего меня поразили точно нанесенные места обитания индейских племен Гвианы: варраулов, араваков, акавов, арекуна, карибов, патамонов, макуши, вапишанов. «Не карта, а просто какое-то чудо!»

— Не подлежит сомнению, — убеждал нас дон Мануэль, — что земли по всем правым притокам Ориноко, таким, например, как Карони и Итамака, принадлежат испанской короне. Что же касается голландских поселений, то большинство их земель расположены преимущественно по нижнему течению Эссекибо, Демерары и рек Бербис и Корантейн. Резиденция голландского губернатора, или, как его называют, генерального директора, сейчас находится, насколько нам известно, в Нью-Кийковерал на берегу Эссекибо, вот здесь, — ткнул он пальцем в карту. — Прошу вас обратить внимание на голландские форты, возведенные главным образом по берегам Эссекибо, особенно в нижнем ее течении, вплоть до впадения в море, и на важнейший из них — старый форт Кийковерал. Он находится в восьмидесяти английских милях от моря, в месте впадения в Эссекибо Мазаруни и Куюни. Кийковерал, возведенный когда-то на одном из островов Мазаруни, считается неприступным. До недавнего времени он был столицей всей голландской колонии и резиденцией ее генерального директора. Ныне в ближайших окрестностях давнего Кийковерала и ниже вдоль Эссекибо расположено множество богатых плантаций сахарного тростника, на которых трудятся сотни африканских рабов. Вам надо знать, что с этими невольниками в результате на редкость жесткого обращения с ними многих плантаторов у голландцев немало хлопот — среди ра-

бов не утихают постоянные волнения и бунты...

— Вы сказали, ваша милость, что Кийковерал до недавних пор был столицей голландской колонии, значит, теперь это уже не столица?..

— Насколько нам известно — теперь нет. Несколько лет назад голландцы, кажется, основали новую резиденцию колониальной администрации, тоже на берегу Эссекибо, но ближе к морю, и назвали ее Нью-Кийковерал. Похоже, там сейчас и обосновался их генеральный директор...

— Правду ли говорят, — поинтересовался Мигуэль, — что многие негры бегут с голландских плантаций в безлюдные джунгли и живут там на свободе?

— Да, это правда! — ответил дон Мануэль. — Они действительно бегут, но джунгли далеко не так уж безлюдны. В них обитают индейцы племени карибов, наиболее воинственные в Гвиане. Карибы верно служат голландцам и непрестанно охотятся за беглыми неграми, а плантаторы щедро им за это платят: за каждого пойманного беглеца — пятьдесят флоринов или два ружья с запасом пуль и пороха, а за руку убитого негра — двадцать пять флоринов. Подкупленные карибы шныряют в лесах вдоль всего морского побережья на протяжении более двухсот английских миль — всюду, где разместились голландские плантации, и вылавливают несчастных беглецов. Повсеместно там зреет недовольство, то и дело вспыхивают бунты. Но, несмотря ни на что, многим неграм все-таки удалось ускользнуть от своих белых и краснокожих преследователей и основать в лесах долины реки Бербиса свои негритянские поселения. Эти так называемые «джука» стали грозной опасностью для голландских плантаторов. Словом, у голландцев там буквально земля горит под ногами, у них масса разных сложностей, и в переговорах с ними у нас будут огромные преимущества...

— А если я соглашусь, ваша милость, с предложением принять на себя миссию проведения переговоров с голландцами, сколько человек я могу взять с собой?

— Чем больше, тем лучше. Свита Белого Ягуара должна выглядеть внушительно...

— Так сколько же, пятьдесят?

— Может быть, пятьдесят, а может быть, и больше.

— Сейчас начинается сезон дождей, и продлится он три, а то и четыре месяца, так что отправиться туда можно будет только с началом сухого сезона...

— Я тоже так думаю: через три-четыре месяца!

— Какой же избрать путь? — спросил я. — Через джунгли, пробираясь реками на итаубах, вероятно, не имеет смысла; целесообразнее, пожалуй, на нашей шхуне вдоль берега океана доплыть до устья Эссекибо под парусами. Это шесть-семь дней пути...

— Конечно, только на шхуне! — согласился дон Мануэль.

Послеполуденное солнце еще стояло высоко в небе. После двухчасовых дебатов все араваки на Ориноко, жившие в Кумаке и многие из соседней Сери-мы, решили согласиться с планом губернатора Каракаса. Руководство экспедицией на шхуне поручили мне, а в состав ее включили около шестидесяти араваков, в том числе десять женщин.

— Я даю согласие на эту экспедицию, — торжественно заявил я в заключение, — только оттого, что таким образом, быть может, сумею послужить делу свободы и безопасности индейцев в низовьях Ориноко. Надеюсь, нам удастся

убедить голландцев...

Хотя миссия наша имела перед собой цели исключительно миролюбивые и дружелюбные, трудно было предвидеть, что может ждать нас среди людей, настроенных к нам недружественно, а потому шестьдесят участников экспедиции надлежало отобрать из числа самых отважных воинов и должным образом их вооружить.

С утра следующего дня мы уведомили дона Мануэля о принятом решении и выставили условие предоставить нам, помимо обещанных верительных грамот, тридцать новых ружей, в том числе десять мушкетов, десять легких ружей, две пищали и восемь пистолетов с запасом пороха и пуль на 1500 выстрелов, шестьдесят одеял, денежную субсидию в золотых голландских монетах на три месяца, провиант для шестидесяти человек на такой же срок и разные подарки для индейцев на случай встречи с ними в голландской колонии.

Дон Мануэль принял все это без возражений и обещал в точности довести до сведения испанских властей, а затем не мешкая вернуться к нам. Вскоре, преисполненный надежд и дружески провожаемый нами, он вместе со своими спутниками покинул Кумаку.

Когда он уже садился в свою итаубу, я все-таки не удержался и тоном спокойным, но не без язвительности спросил:

— А что касается одеял, то не могли бы вы, ваша милость, сказать мне, как поживает сейчас досточтимый дон Эстебан? Этот малодостойный кавалеро несколько месяцев назад предпринял попытку всех нас уничтожить, «одарив» араваков зараженными оспой одеялами!

— Его больше нет в Ангостуре! В наказание он выслан далеко на запад в Кордильеры... Ручаюсь, что на этот раз одеяла будут совершенно новыми...

Симара, младшая сестра Ласаны

После отбытия испанцев мы сразу же приступили к делу. Отобрали шестьдесят лучших воинов и женщин, которым предстояло сопровождать меня к голландцам, но тем не ограничились и в последующие недели стали еще настойчивее заниматься с ними военным делом. Сердце невольно радовалось при виде того, как эти шестьдесят воинов с недели на неделю, все более оттачивая свое боевое мастерство, становились непревзойденными бойцами, сплотившись в поистине непобедимый отряд.

Наряду с боевым мастерством закалялись их дух и воля.

В состав отобранных шестидесяти человек входили, конечно же, и мои ближайшие друзья и соратники, на которых я мог всегда и во всем положиться: Арнак, Вагура, Уаки, негр Мигуэль, шаман Арасибо и моя неразлучная жена Ласана. Включил я и Фуюди, поскольку, будучи родом с берегов реки Померун, он владел акавойским, карибским и немного голландским языками.

Одной из первых наших забот стало создание дополнительного арсенала оружия из копий, палиц, луков, стрел, которое мы намерены были взять с собой.

Чтобы не оставить беззащитной Кумаку на время нашего отсутствия и уберечь ее от любого вражеского нападения, мы обнесли главную, центральную, часть селения крепким частоколом из толстых, заостренных сверху и пропитанных ядом стволов. Я не сомневался в бдительности Манаури и его вождей и был спокоен за судьбу оставшихся в Кумаке.

Араваки на Ориноко не имели обыкновения пользоваться щитами, но в ро-

ду Уаки было несколько воинов, умевших искусно обрабатывать звериные шкуры. И вот однажды, когда мы добыли на охоте двух тапиров, оказалось, что из их жесткой, соответствующим образом выдубленной и высушенной шкуры можно изготовить удобные и легкие щиты, надежно защищающие от копий и стрел. Мы использовали это полезное открытие и вскоре имели для нескольких десятков воинов запас таких щитов.

К концу второго месяца в Кумаку возвратился дон Мануэль и доставил все запрошенное нами снаряжение. Видимо, испанские власти действительно придавали нашей миссии весьма важное значение. Арнак и Вагура тут же приступили к тщательному опробованию оружия — оно оказалось безупречным. Мушкетеры, ружья и пистолеты били без промаха и в руках хорошего стрелка являли собой грозное оружие, а каждый из нашего отряда стал, можно смело сказать, не просто хорошим, но даже отличным стрелком.

Все остальное, доставленное по нашей просьбе, тоже было неплохого качества и в достаточном количестве: порох, свинец и даже запасные кремни для курков, провиант, и особенно мука и сушеное мясо, кроме того — добротные одеяла, разная мелочь для индейцев и тугой кошель бывших тогда в ходу монет из чистого золота.

С Мендукой, вождем отряда варраулов, затеялась дружеская перепалка — он и десять его верных друзей во что бы то ни стало хотели плыть с нами. Однако шхуна была слишком мала и могла вместить только шестьдесят уже отобранных человек. Шаман Арасибо предложил неплохой выход: взять с собой еще две итаубы и две яботы, привязав их на фалах к корме шхуны. Таким образом варраулы действительно могли бы, разместившись в этих лодках, проделать с нами весь этот семи- или десятидневный путь до устья Эссекибо, конечно, при спокойном море. Ну а на время возможного волнения мы пересаживали бы их на борт шхуны. На том и порешили.

Приближался конец сезона дождей, а с ним и день нашего отплытия. И тут вдруг возникли неожиданные осложнения. На этот раз с Ласаной — она ждала ребенка. Мы оба очень обрадовались, но теперь ей нельзя было покидать Кумаку. Весьма суровый и строго соблюдаемый обычай племени обязывал беременную женщину исполнять целый ряд ритуальных обрядов: принимать особую пищу, совершать священные омовения, а все это возможно было только на месте, в Кумаке.

— Ну что ж, — смирился я с судьбой, — обычаи есть обычаи, поеду к голландцам один, без тебя...

— Нет, ты поедешь не один! — возразила Ласана с загадочной улыбкой. — У меня есть младшая сестра...

— Симара? Ну и что?

— Да, Симара. Она поедет вместо меня.

— Да, но ведь я люблю только тебя и никого больше. У нас, белых людей, такой обычай...

— Я знаю. Но ты, Белый Ягуар, живешь в племени араваков. У нас другие обычаи и ничуть не хуже, чем у вас. Уважай их.

— Значит, мне придется иметь двух жен?

— Никогда! — возмутилась Ласана, и лицо ее вдруг вспыхнуло, а глаза за сверкали, как раскаленные угли. В этом праведном гневе она была особенно прекрасна.

— Ты восхитительна, Волшебная Пальма! — Я хотел привлечь ее и, как всегда, обнять.

Но она уклонилась и с проворством белки выскользнула из моих рук.

— Никогда! — сердито повторила она. — Никаких двух жен! Симара поедет с тобой и будет во всем тебе служить — она моя младшая сестра и станет моей заменой. Она плоть от моей плоти, кровь от моей крови и душа от моей души! Она — мое второе «я». Она — то же самое, что я...

Так Симара вошла в состав нашего отряда.

На берегах Померуна

В июле дожди стали стихать, бури раздражались все реже. С каждым днем редели тучи, чаще проглядывало солнце. И вот в одно прекрасное утро провожаемая высыпавшими на берег залива Потаро всеми остающимися в Кумаке араваками шхуна наша отчалила от берега. За ее кормой на длинных фалах легко скользили две итаубы и две яботы с варраулами.

Через три дня мы миновали остров Каиива, посылая издалека дружеские приветствия вождю Оронапи, а на четвертый день вышли из устья Ориноко в открытое море. Был штиль. С запада дул легкий попутный ветерок, наполнивший наши паруса, и мы резво помчались по морской глади на юго-восток. По правому борту на горизонте почти все время виднелся низкий берег Гвианы.

На шхуне было тесно: палуба буквально ломилась от обилия провизии, тщательно упакованной нами в корзины — сурианы. Были тут еще и другие корзины, вариши, предназначенные для походов. Их обычно носят на спине, придерживая ремешками, укрепленными на лбу. Ответственным за провизию был Мигуэль. За огнестрельным оружием, бочонком с порохом и мешочками со свинцом следил Арнак, а Симара была хранительницей моего парадного капитанского мундира, шляпы с плюмажем и шпаги. Управление шхуной и парусами было доверено Мендуке и варраулам.

На четвертый или пятый день плавания в открытом море мы приблизились к устью реки Померун, по берегам которой жило много араваков. Родом из этих краев был Фуюди. Недалеко было уже и до голландцев. Я решил прервать наше путешествие, навестить соплеменников, а заодно разведать, что здесь слышно. На шхуне, ставшей на якорь в устье Померуна, за старших остались Арнак и Уаки, а я на итаубе отправился вверх по реке. Сопровождали меня Фуюди, Вагура, Арасибо, восемь гребцов из моего рода и неутомная Симара, прихватившая с собой на всякий случай бережно уложенный в вариши мой капитанский мундир. Вооружены мы были до зубов: араваки жили только в нижнем течении реки, в средней ее части расселились карибы, а у истоков — акавои. Береженого бог бережет.

Только после двух дней пути на веслах вверх по реке мы добрались наконец до первых поселений араваков и вызвали здесь своим появлением немалый переполох. Фуюди, которого в этих краях хорошо все знали, пролагал нам путь к людским сердцам и душам. Слухи, один фантастичнее другого, о белокожем воине, присоединившемся к аравакам на Ориноко, уже давно доходили до берегов Померуна и возбуждали разного рода толки. Белого Ягуара не замедлили отождествить с добрыми духами, ибо только им было под силу уничтожить столько акавоев.

Прослышав о нашем прибытии, араваки стекались со всех окрестностей, и нам удалось получить массу разнообразных и ценных сведений. Подтверди-

лось, что араваки на Померуне живут с голландцами в мире, поскольку те хоть как-то обороняют их от набегов разбойных карибов.

— Вы поддерживаете эту дружбу и сейчас? — спросил я Варамараку, вождя померунских араваков.

— И сейчас, — ответил он. — Мы часто плаваем морем до устья Эссекибо, а потом вверх по реке неделю на веслах до самого форта Кийковерал. Форт стоит на острове, там, где в Эссекибо приходит вода большой реки Мазаруни и большой реки Куюни.

Полученные сведения совпадали с нашими данными, и Варамарака лишь подтвердил то, о чем говорил нам раньше в Кумаке Мануэль Васкес.

— А как называется новое селение, в котором сидит главный начальник голландцев? — спросил я.

— Нью-Кийковерал. Мы возим туда свои товары, и голландцы всегда нам рады...

— Какие товары вы возите?

— Разные: лесные плоды, прирученных диких зверей, сырой хлопок, глиняную посуду, украшения из перьев...

— А что получаете взамен?

— Топоры, ножи, гвозди, рыболовные крючки, цветные бусы, иногда порох...

— И никто вас там не обижает, не бьет, вы можете ходить в городе всюду, где захотите?

— Мы ходим в городе свободно всюду, где хотим...

— А индейцы других племен тоже появляются в городе?

— Появляются, Белый Ягуар, появляются! Карибы, акавои, арекуна...

— Они приходят в город с оружием?

— С оружием, с оружием: с палицами, луками, иногда даже с ружьями... Карибы всегда ходят с оружием...

— Я слышал, что голландцы на своих плантациях очень жестоко обращаются с рабами-неграми. Так ли это?

Совершенно неожиданно для меня все вдруг растерянно умолкли. Стало совсем тихо. Мой вопрос повис в воздухе. Я с удивлением взглянул на них и, не скрывая иронической усмешки, язвительно проговорил:

— Вижу, страх сковал ваши языки, словно здесь появился Канаима. Не бойтесь, нет тут Канаимы.

Фуюди, хорошо познавший теперь других араваков с Ориноко — людей, наученных жизнью, мужественных в смелых, умевших противостоять превратностям судьбы, устыдился за своих сородичей с Померуна, представавших в глазах гостей забитыми и совсем одичавшими в этих глухих джунглях. Он стал что-то говорить им, притом так быстро, что я едва его понимал. Но, судя по всему, он стыдил их. В конце концов вождь Варамарака с виноватым видом, обращаясь ко мне, сказал:

— Не сердись, Белый Ягуар, мы вынуждены жить с голландцами в мире. Они не трогают нас, а главное, не велят карибам нападать на наши племена, как это было прежде. Мы, локоно, мирный народ.

— Я знаю, — отвечал я, — и за это вас ценю. Больше того, я полюбил вас, а ваша женщина, Ласана, даже стала моей женой. Но испанцы говорят, что плантаторы в голландских колониях жестоко издеваются над своими раба-

ми-неграми, так ли это?

— Да, это так. Не выдерживая мук, некоторые негры сами себя убивают, а другие бегут в ближайшие джунгли. Но это их редко спасает. В джунглях на них как бешеные псы охотятся карибы. Карибы не знают пощады. Голландцы подкупили их, разожгли в них алчность, платят за каждого пойманного невольника. Карибы постоянно устраивают на рабов облавы. С карибами трудно справиться! Они — настоящие яухаху, злые демоны, их нельзя победить!

— Нельзя победить?!

— Ое-й, ое-й, непобедимые! — Досадно и горько было смотреть, как эти несчастные, забитые существа, испуганно озираясь, все разом согласно кивали головами и лепетали: — Да, да, непобедимые. Карибы — сильнее всех, они не знают страха и пощады, они охотятся на людей, жгут и убивают...

Было ясно, что продолжать этот разговор не имеет смысла, и я переменял тему:

— Можно ли подойти к Нью-Кийковералу на нашей шхуне? — спросил я и пояснил: — Вы видите, она в два раза больше самой большой вашей итаубы?

— Можно, можно. Туда плавают совсем большие морские корабли. На них привозят черных рабов. Но там много мелей, их надо обходить.

— А вы знаете эти мели?

— Знаем, знаем. Все мели знаем.

— Тогда дайте нам проводника.

Нет, желающих не находилось. Хозяева извинялись, оправдывались, но поддерживать нас явно опасались.

— Канаима лишил вас разума! — гневно воскликнул Фуюди. — С вашим лоцманом ничего не случится, ведь он будет под защитой самого Белого Ягуара! Голландцы чтят Белого Ягуара не меньше, чем испанцы!

Видя, что слова Фуюди не находят отклика, я решил прибегнуть к более вескому аргументу и протянул Варамараку мой богато украшенный чеканкой мушкет со словами:

— Проводник, который согласится указать нам путь к столице голландской колонии, получит вот это замечательное ружье с порохом и пулями на тридцать выстрелов!..

Плата была щедрой и чертовски соблазнительной; померунские араваки буквально онемели. Но и этим даром никто не прельстился.

В обратный путь мы решили отправиться на рассвете следующего дня, а заночевать всей нашей группой — в шалашах поблизости от селения на берегу Померуна. Около полуночи Арасибо шепотом разбудил меня и, приложив палец к губам, знаками заставил прислушаться: с опушки ближайших джунглей доносились какие-то таинственные звуки. Это было что-то похожее на своеобразный мелодичный свист, несущийся сразу с нескольких сторон.

— Канаима! — чуть слышно прошептал Арасибо.

Я напряг слух. «Ху-ри-сье-ави», «ху-ри-сье-ави», — послышалось мне.

— Наверное, какие-то ночные птицы, — попытался я успокоить взволнованного Арасибо.

— Нет! — возразил Арасибо. — Это не птицы!

— Значит, люди?

— Не знаю; но это — враги.

Ночь была не очень темной, сквозь чащу пробивался яркий свет звезд. Я бесшумно соскользнул с гамака и, прихватив пистолет, решил пойти на ближайший источник свиста, чтобы развеять страхи Арасибо.

— Остановись! — прошипел он. — Не ходи!

В этот момент проснулась Симара, отличавшаяся на редкость чутким сном, и, разобравшись в обстановке, молча встала рядом со мной, сжимая в руке лук.

Мы стали осторожно красться в ту сторону, откуда доносились ближайшие звуки. Заросли были непролазные, и чтобы проскользнуть сквозь них, требовалась немалая сноровка. Сноровки нам было не занимать, но существа, издававшие таинственные звуки, все-таки нас заметили: послышалось, как кто-то находившийся в нескольких шагах от нас бросился наутек. Я еще не успел поднять пистолет, как у меня за спиной фыркнул лук Симары. Судя по всему, стрела достигла цели, раздался приглушенный стон, похожий на человеческий, и удаляющийся треск сучьев — кто-то торопливо убежал. Я выстрелил на шум из пистолета, главным образом для того, чтобы разбудить товарищей.

Я не мог себе простить: близость дружественного нам селения усыпила мою обычную бдительность, и я не выставил охрану. Хорошо, что вовремя проснулся Арасибо. Но что это было, или кто это был? Что значил этот певучий свист мнимого Канаимы?

Едва рассвело, мы отправились в заросли искать следы непрошенных визитеров. И нашли. Это были следы нескольких индейцев. Стрела Симары, как видно, ранила одного из них. Стрелу мы нашли неподалеку в траве. Она была в крови. Ничего больше обнаружить не удалось...

...Только мы успели вернуться, как появился вождь Варамарака и привел с собой своего младшего брата Катеки.

— Катеки покажет вам дорогу в Нью-Кийковерал. Он знает все острова и мели на Эссекибо. Уж очень понравилось ему твое ружье.

— Вот и хорошо! — обрадовался я. — Но скажи мне, вождь, что за таинственные гости были здесь ночью? Что им было нужно?

— Убить тебя. В верховьях нашей реки живут акавой...

В логове льва?

Чез двое суток после выхода из устья реки Померун мы достигли огромной дельты мощной Эссекибо, Текущей, как и все реки Гвианы, с юга. В этой дельте шириной более двадцати миль было несколько крупных островов. Слово «Гвиана» на языках индейских племен означает: «Страна Многих Вод».

Когда мы приблизились к левому берегу устья Эссекибо, солнце клонилось к закату. Используя морской прилив, нам удалось благополучно миновать мелководье и войти в пролив между двумя островами.

— С правой стороны — остров Тигров, так называют его голландцы, — пояснил Катеки, — а с левой — остров Вакенама...

Тиграми европейцы, прибывающие в Южную Америку, называли ягуаров.

— И много там этих хищников? — поинтересовался я.

— Не знаю, господин. Там прежде жили карибы... тоже хищные.

— А теперь их нет?

— Карибы везде... Сегодня их нет... а завтра есть...

Когда стемнело, Катеки посоветовал остановиться, мы бросили на ночь

якорь подальше от берега и только с рассветом снова двинулись в путь. Несмотря на сопутствующий нам прилив с океана, целые сутки мы блуждали среди множества разных, больших и меньших, островов в устье Эссекибо. В конце концов на третий день нам кое-как удалось выбраться из этого островного лабиринта на открытый простор реки, достигавшей здесь добрых шесть миль в ширину.

Я осматривал берега в подзорную трубу — повсюду непроходимые заросли таинственных и зловещих джунглей. Один только раз появился индеец в крошечной яботе, но, едва завидев нас, испуганно бросился наутек и тут же скрылся в прибрежных зарослях.

На четвертый день пути река Эссекибо сузилась до двух миль. И тут на ее правом берегу мы вдруг увидели первые вырубки в джунглях, а на них одну, а затем и вторую плантации сахарного тростника. Здесь в безопасной дали от океана поселились голландцы.

А на следующее утро на том же правом берегу из джунглей показалось большое поселение. Катеки сообщил, что это и есть столица голландской колонии, резиденция губернатора, которого голландцы называют генеральным директором.

Приблизившись к пристани, мы пришвартовались к деревянному помосту. Тут же сразу появилось несколько весьма воинственно настроенных портовых служащих, которые, завидя на палубе толпу индейцев, да с ними еще и негров, подняли было крик, но едва они увидели меня в парадном мундире английского капитана, как физиономии их сразу же преобразились. Уже несколько лет, со времени Утрехтского мира, между Нидерландами и Англией сохранялись добрые отношения, и потому мой мундир произвел должное впечатление: здесь, в голландской колонии, к англичанам тоже относились с надлежащим почтением.

Начальник портовой службы, узнав через Фуюди, что я прибыл к генеральному директору колонии как полномочный посланник, стал еще приветливее и повелел одному из своих людей проводить меня в губернаторский дворец.

Немало времени утекло с тех пор, как я покинул Джеймстаун в Вирджинии, и за все эти годы, скитаясь по необитаемым островам, диким рекам и девственным джунглям, не видел ни одного города. А тут вдруг сразу десятки настоящих домов и даже несколько каменных двух- и трехэтажных зданий, улицы, наполненные шумом и гамом, показавшимся мне оглушительным, всюду говор и суэта, кареты и повозки в конных упряжках, снующие тут и там пешеходы разных национальностей и разного цвета кожи. Торговцы, ряды лавок со множеством всяческих товаров. Городишко был небольшой, но, повторыю, суэта в нем показалась мне невообразимой и пугающей.

Из рассказов померунских араваков я узнал, что по принятому здесь обыкновению всякий уважающий себя белый обычно ходил по городу с эскортом из нескольких вооруженных слуг, индейцев или негров. Поэтому и я, направляясь к генеральному директору, взял с собой в качестве сопровождающих не только Фуюди как переводчика, но также и Арнака и пять вооруженных воинов из его отряда. Резиденция генерального директора находилась на противоположном конце городка и представляла собой довольно большое двухэтажное здание, в котором, кроме того, размещалась и колониальная администрация. В дом мы вошли только вдвоем: я и Фуюди, а моя «свита» осталась на

улице. Принял нас секретарь директора, не старый еще голландец с румяным лицом, в очках, со светлыми и какими-то поразительно мертвыми глазами. Меня обрадовало, что он владеет английским языком, и, объяснив ему цель своего визита, я попросил о встрече с генеральным директором. Лицо секретаря выразило растерянность, будто он не совсем меня понял, но, с минуту помолчав, он ответил:

— Его превосходительства генерального директора ван Хусеса сейчас в городе нет. Из поездки он вернется не раньше чем через неделю.

— А его заместитель?

— Минхер Хенрик Снайдерханс — здесь...

Секретарь смерил меня довольно недоброжелательным взглядом, а на его тонких губах промелькнула какая-то неопределенная усмешка.

— Простите, ваша милость, — недовольно буркнул он, — я что-то не совсем вас понял... В чем, собственно, дело? Вы, ваша милость, — англичанин, не так ли?

— Да, я из Вирджинии.

— А прибыли от имени и по поручению венесуэльских испанцев?

— Именно так!

— С целью вести с нами какие-то переговоры? — продолжал голландец, все менее старательно скрывая издевательскую насмешку в голосе.

— И никак не иначе! — ответил я.

— И вы, ваша милость, непременно хотите видеть вице-генерального директора, минхера Снайдерханса?

— Да!

— Тогда прошу минутку подождать! — сказав это, секретарь с кривой усмешкой на губах направился в соседнюю комнату. Его «минута» длилась чертовски долго. Как видно, им пришлось держать трудный совет, или, еще вероятнее, они хотели продемонстрировать, что не принимают меня всерьез.

Наконец оба вышли в довольно игривом настроении. Хенрик Снайдерханс, несмотря на свой высокий пост, был моложе секретаря и в то же время респектабельнее: резкие черты его лица выражали энергию, спесивость, даже, пожалуй, склонность к жестокости.

— Итак, нам выпала честь, — обратился ко мне тоже по-английски с иронической шутливостью Снайдерханс, — принимать испанского посла в мундире английского капитана.

— По меньшей мере, троекратное преувеличение, минхер! — подхватив его тон, отшутился и я.

— Даже троекратное? — удивился он.

— Троекратное: относительно посла, относительно чести и, наконец, относительно английского капитана.

— Так, значит, вы, ваша милость, не английский капитан?

— Нет.

— Так кто же вы, черт побери?

У них вдруг пропало желание шутить. Улыбки исчезли с лиц, вновь ставших по-чиновничьи серьезными.

— Хватит шуток! — воскликнул раздраженным тоном секретарь. — Как вы, ваша милость, проникли сюда, в нашу колонию?

— На шхуне, с индейцами.

Секретарь пронзил меня гневным взглядом, явно подозревая в скрытой издевке.

— С какими еще индейцами?! — воскликнул он.

— С араваками, — спокойно ответил я.

— Откуда они взялись? — Голос его был раздраженный и чуть недоумевающий.

— С Ориноко, — я был по-прежнему спокоен.

— Там нет араваков! — резко возразил он.

Я посмотрел на него взглядом, исполненным притворного сожаления:

— Ах, так! Нет? А кто в таком случае не так давно уничтожил сотню ваших акавов? Подосланных к нам с разбойной целью?

Слова эти произвели на него такое впечатление, будто с ясного неба внезапно грянул гром. В комнате воцарилось молчание. Оба голландца уставились на меня, словно узрели злого духа или властителя тьмы Вибану. Еще минуту назад столь завидно румяная физиономия секретаря заметно побледнела.

Первым пришел в себя Хенрик Снайдерханс. Его издевательскую игривость словно рукой сняло.

— Так вы, ваша милость... вы?... — и умолк, как бы смешавшись.

— Да, это я! — добродушно кивнул я головой.

— Белый Ягуар?! — В его голосе послышались нотки беспокойства.

— Собственной персоной! — ответил я. — Белый Ягуар к вашим услугам, господа!

Казалось, они никак не могли прийти в себя от изумления и взирали на меня, словно на выходца с того света. Не обращая внимания на их явное замешательство, я с убийственной вежливостью сказал:

— Еще раз убедительно прошу вас, господа, оказать мне содействие во встрече с его превосходительством, генеральным директором ван Хусесом, но прежде прошу не отказать в любезности взглянуть на это вот письмо губернатора Каракаса, с которым мне оказана честь ознакомиться его превосходительством.

Я протянул им рекомендательное письмо на голландском языке. Они тут же внимательно его прочитали и восприняли его с одобрением.

— Я прибыл в вашу колонию вместе с сопровождающими меня лицами с самыми благими намерениями, — подчеркнуто торжественно заявил я, — и был бы весьма признателен за гарантии полной безопасности для меня и моих людей. Их семьдесят человек, в том числе четыре негра.

Снайдерханс обменялся с секретарем понимающим взглядом и учтиво ответил, что охотно это сделает. Все власти колонии будут соответствующим образом проинформированы, а как только генеральный директор вернется в столицу, меня незамедлительно поставят об этом в известность.

Затем я попрощался, сердечно пожав им руки. Хозяева были встревожены, а ладони их влажны от холодного пота.

«Ты — скотина, капитан!»

На обратном пути в порт тут и там нам встречались индейцы разных гвианских племен, в том числе недоброй славы карибы. Их легко можно было узнать по небольшим пучкам белого пуха, приклеенного ко лбу воинов. Это был пух королевского грифа, птицы необычайно красивой и гордой, по духу

близкой надменным карибам.

Карибы, как союзники голландцев, держались спесиво и, казалось, чувствовали себя властителями всех гвианских земель. Заносчивые и злобные, они и мне едва уступали дорогу, а уж мой эскорт из араваков вообще заставляли сходить с тротуара. Но тем не менее я строго запретил своим друзьям затевать с ними ссоры.

На шхуне все было спокойно.

В Нью-Кийковерале, как всегда и везде, мы спали под открытым небом в гамаках, привязанных к бортам корабля, и раздетыми, так же как и днем, в одних набедренных повязках. Лишь кое-кто слегка прикрывался одеялами, дарованными нам испанцами.

Трудно описать нашу горькую досаду, когда утром следующего дня, проснувшись, мы обнаружили на палубе лужи крови, а в теле испытывали слабость и полное нежелание двигаться: последствия большой потери крови. Это потрудились вампиры, омерзительные летучие мыши-кровопийцы, напавшие на нас ночью и притом так незаметно и неощутимо, что жертвы даже ничего не почувствовали.

Единственным спасением от этих тварей, когда нельзя было, опасаясь пожара на шхуне, разводить костры, оставалось как можно плотнее укутываться в одеяло. Но как тут было укутываться, когда в жаркой и влажной духоте ночи мы и без того, как в адском котле, буквально обливались потом?!

Одним словом, это была докучливая неприятность, а пострадавшие лишились сил по меньшей мере на сутки, а чаще всего и на больший срок.

Следующий день надолго врезался мне в память. Из Африки прибыл корабль с невольниками. Это было английское судно «Добрая надежда» под гордым флагом «Юнион Джек» с портом приписки в Ливерпуле. Команда на нем была английская, все как на подбор — крепкие, молодые и... бородатые.

Еще до того, как корабль пришвартовался к причалу, на набережную из города стеклась разряженная толпа — десятка два напыщенных голландцев. Все это были или местные купцы, или приехавшие из окрестностей плантаторы; все в пышных одеждах, важные и чванливые. Вокруг них вились толпы слуг, разных чиновников и прихлебателей. Кое-кто явился с семьями: жены, как видно, тоже интересовались черным товаром. В толпе царил атмосфера оживленного ожидания; порой тут и там раздавались взрывы веселого смеха.

Завидя это ликующее сборище, я с группой своих друзей подошел ближе и смешался с толпой. Сошедший с судна на берег английский капитан, увидев меня и угадав по мундиру своего соотечественника, несказанно обрадовался и быстрым шагом подошел ко мне. Это был субъект лет пятидесяти, с развязными манерами и грубой речью. Пожимая мне руку, он зычно рявкнул:

— Приветствую славного сына моей родины в этой поганой стране! Откуда тебя, сэр, занесло в это дрянное захолустье?

— Сначала из Вирджинии, а потом уж с Ориноко...

— И что загнало сюда твою милость? Торговля?

— Нет. Дружба с индейцами.

— Ха-ха-ха! Разрази меня гром, это интересно! Позволь пригласить тебя, сэр, на стаканчик виски после того, как я выпотрошу эту, с позволения сказать, шайку минхеров.

Проговорив это, он поспешно удалился, поскольку с корабля начали выпус-

кать первых невольников.

Боже милостивый, какое же ужасное зрелище они собой являли! С корабля их не выпускали, а буквально пинками сталкивали. Это были не люди, а какие-то жалкие их подобию, настолько истощенные, что некоторые из них не в силах были держаться на ногах и ползли на четвереньках. Это были живые трупы, одна кожа и кости.

От истощения и болезней кожа на телах негров из черной стала какой-то серой, словно покрытой плесенью. Почти пять месяцев они лежали вповалку в трюмах корабля, закованные в кандалы; тела их были покрыты ранами и язвами, лица ужасны, в глазах — безумный ужас. Те немногие, что нашли в себе силы сойти на берег самостоятельно, оглушенные свежим воздухом и солнцем, шатались словно пьяные, а некоторые прямо тут же валялись с ног на землю.

— Ваша милость, вы смотрите на них с ужасом и скорбью! — по-английски обратился ко мне с сардонической усмешкой стоявший рядом голландец. — Ничего страшного! Это выносливая скотина! Недельки через три, отведав хорошего кнута, придут в себя и станут работать за двоих, а то и за троих!

— Да ну! Неужели?! — пробормотал я, а тот принял это за одобрение.

Капитан корабля, мой новый знакомец, без усталости носился по набережной — это был его светлый день: главное — повыгоднее сбыть свой черный товар, обратив его в деньги.

По установленным голландцами законам только корабли голландской Ост-Индской компании имели право доставлять из Африки в колонию черных рабов. Но кораблей этих не хватало, а спрос на рабов здесь был столь велик, что голландские власти нередко закрывали глаза на появление в здешних портах и других судов, особенно английских.

Итак, началась выгрузка черного товара. Из трюмов появлялись все новые и новые негры. Я был поражен, сколько их могло там поместиться: бедняг, видимо, набили туда как сельдей в бочку. Несколько трупов тут же оттащили в сторону. Совсем больных практичные голландцы, поднаторевшие в этих делах, требовали немедленно убивать, поскольку, мол, проку от них уже не будет. Капитану не хотелось терять свои барыши, между ним и голландцами на этой почве то и дело вспыхивали яростные перепалки. Спорили буквально из-за каждого тяжело больного; порой, хотя и редко, капитану удавалось выиграть спор и отстоять жизнь одного из несчастных, остальных же убивали на месте. Когда с корабля выгрузили последних негров, а было их человек двести (притом столько же примерно погибло в пути), пришла очередь негрятенок. Их было значительно меньше, и выглядели они чуть лучше и здоровее. Последними на берег матросы высадили около двадцати женщин помоложе и явно покрасивее. О них капитан проявлял особую заботу — все они были дороже в цене, чем остальные невольники, поскольку каждая ждала ребенка, а по закону ребенок, родившийся у рабыни, тоже становился рабом и собственностью владельца его матери.

Торгом и товаром голландцы остались довольны, в столь же добром расположении духа пребывал и капитан — перебранка с купцами закончилась.

Он подошел ко мне, довольно улыбаясь и потирая руки:

— Well, рейс завершился удачно. Все устроилось в лучшем виде. Подождем еще пару минут, пока голландцы притащат остальные деньги, а потом отдох-

нем в моей каюте за стаканчиком виски.

Все происходящее было настолько омерзительно, что я не мог больше сдерживаться и голосом, дрожащим от гнева, выплеснул в самодовольную рожу капитана все свое презрение:

— Капитан «Доброй надежды»! Ты — последняя скотина!!!



От неожиданности он буквально остолбенел.

— Что? Что?! — захрипел он, вытаращив глаза.

— Ты — последняя скотина и отъявленный негодяй! — повторил я и спокойным шагом направился к ожидавшим меня аравакам. Они вскинули мушкетеры на изготовку.

Жестокость голландцев

Разгрузка невольников с корабля произвела гнетущее впечатление и на моих товарищей. После возвращения на шхуну весь конец дня только и было разговоров об этом событии; у всех сжимались кулаки и особенно у Мигуэля и наших четырех негров.

Поскольку вестей о скором возвращении генерального директора ван Хусса в столицу все не было, мы решили с пользой провести время ожидания и заняться охотой в ближайших джунглях и ловлей рыбы в Эссекибо. Обычно с рассветом группы наших охотников и рыбаков отправлялись на несколько, а то и на десяток с лишним миль вниз или вверх по реке и там, вдали от города и вообще от людей, прочесывали берега реки и чащу леса. Это приносило двойную пользу: мы добывали пищу и поддерживали свою боевую форму. Кроме того, в итоге мы неплохо изучили ближайшие окрестности и, между прочим, открыли лесную тропу, а точнее — дорогу, ведущую из столицы на юг, вероятнее всего, именно туда, где милях в двадцати от города находились, как мы слышали, голландские плантации сахарного тростника. Местами дорога порой выходила из чащи на берег Эссекибо, к самой воде.

В одном из таких мест однажды мы, скрываясь в чаще, стали свидетелями грустной картины — несколько с ног до головы вооруженных карибов вели по направлению к столице толпу из двух десятков опутанных веревками пленников-негров. Нетрудно было догадаться, что это рабы, бежавшие с планта-

ций и пойманные карибами. Несколько растерявшись от неожиданности, мы не успели что-либо предпринять, и вся группа скрылась в лесу.

Как оказалось позже, пленников бросили в тюрьму, а власти объявили, что утром следующего дня состоится публичный суд над ними и наказание преступников.

На следующий день я разрешил половине команды сойти на берег, чтобы лично убедиться, как отправляется здесь голландское правосудие; остальная часть экипажа с оружием в руках несла на шхуне службу охраны — мне не хотелось каких-нибудь неприятных случайностей.

К судебной процедуре, которую намечалось провести под открытым небом на главной площади столицы, голландцы готовились как к важной церемонии. Для судей установили в тени покрытый зеленой материей длинный стол. Помощники палача — негры и сам палач вбивали в землю какие-то кольца, не то виселицы, не то орудия для пыток, а тут же рядом рыжебородый голландец-костоправ раскладывал на отдельном столике свои инструменты: устрашающего вида щипцы, пилы, ножи, топор. На площади стали собираться белые жители городка со всей своей службой обоюго пола: неграми, мулатами, индейцами. Собрался почти весь город. Под охраной вооруженной стражи привели группы рабов с близлежащих плантаций, чтобы они своими глазами могли убедиться, какая судьба постигнет беглецов.

Мне, как белолицему чужеземцу, к тому же в мундире капитана, и всей моей «свите» были предоставлены своего рода почетные места неподалеку от судебного стола. А лично мне был даже дан табурет. Не очень-то приятно было наблюдать, как жители городка пялили на меня глаза, словно на какое-то диво, и шушукались меж собой, одни с иронией на лицах, другие скорее с любопытством.

Наконец в сопровождении тюремной стражи подвели «подсудимых», причем самых старших из них, признанных, вероятно, зачинщиками, сразу же привязали к кольям, а тех, кто помоложе, выстроили в шеренгу. Все они были ужасно истощены, кости просвечивали сквозь кожу, глаза запали.

Под громкий бой барабанов явились судьи. Их было восемь: все, как один, почтенные горожане, надменные, исполненные чувствами собственного достоинства, самоуверенности и святой своей правоты.

И какими же перед ликом этой добропорядочности столпов колонии омерзительными ничтожествами выглядят жалкие бездельники, бегущие от труда и тем самым посягающие на святая святых — законы, установленные богом и колонией!

Во всяком случае, в таких или примерно в таких выражениях представил дело общественный обвинитель, и за время, не большее, чем нужно, чтобы исполнить «Славься, дева Мария», суд единогласно вынес приговор: смерти под пытками предводителю, отсечение правой ноги пяти беглецам (руками они смогут работать и дальше), остальным — по триста ударов плетью, если выдержат.

К исполнению приговора приступили тут же на месте под бешеное неистовство и восторги толпы.

— Ягуар! — шепнула мне побледневшая от омерзения Симара. — На это невозможно смотреть! Они же настоящие чудовища!

— Д-а, ты права, они — чудовища! Но стисни зубы и будь сильной! — отве-

тил я ей тихо на ухо.

Когда весь этот ужас, истязания и пытки наконец закончились, судьи поднялись со своих мест и стали прощаться друг с другом, обмениваясь изысканными поклонами, как люди, с достоинством исполнившие свой долг. А затем спокойно разошлись по домам. Тогда же двинулись в путь и мы.

По возвращении на шхуну Арнак, редко терявший самообладание, яростно выкрикнул:

— Карибы! Это они выловили негров! На них пала кровь несчастных! Смерть карибам!..

Все горячо его поддержали.

Как же могло случиться, что такие великие и славные мастера, гении живописи, как Рубенс и Рембрандт, тоже были голландцами, а их соотечественники в Гвиане оказались способны на столь чудовищные жестокости?! Как могло случиться, что славный Эразм Роттердамский, великий гуманист, мыслитель и борец за человеческое совершенство, тоже был голландцем, как и эти утратившие всякий человеческий облик голландские колонизаторы?!

«Карибы хотят войны!»

В день зверской экзекуции над неграми и в последующие дни вся наша шхуна буквально кипела от гнева и возмущения. Надо сказать, в Южной Америке индейцы и негры обычно не питали друг к другу особой симпатии, но у нас на Ориноко среди араваков было иначе. Тут общие радости и беды еще со времен рабства на острове Маргариты связали араваков настоящей прочной дружбой с негром Мигуэлем и его товарищами. Именно оттого наши индейцы так близко приняли к сердцу мучения негров, подвергнутых пыткам, и всей душой возненавидели голландцев. Но, пожалуй, чувством еще большего негодования прониклись они к карибам за то, что те устраивали охоту на беглых негров и выдавали несчастных на растерзание безжалостным палачам.

— Эх, жалко! — досадовал Вагура. — Жалко, что тогда на дороге в джунглях мы упустили удобный случай. Надо было бы нам ударить, перебить карибов, а негров освободить.

— Кто же знал, что невольников постигнет такая судьба, — резонно возразил кто-то.

— Но теперь мы знаем, — раздались другие голоса, слившиеся в возмущенный хор.

Когда шум на минуту смолк, я спросил:

— Чего вы, собственно, хотите? Начать войну? Так не годится! Мы — мирные индейцы!

— Белый Ягуар! — с укором в голосе отозвался, как всегда, горячий Уаки. — Почему не годится? Ведь это ты научил нас драться с оружием в руках и бороться за справедливость против всякого зла!

— Не забывайте, — возразил я, — что мы здесь — гости...

— Мы — гости? Мы, араваки, — гости? Это они, голландцы, приехали в чужую страну, и карибы тоже приплыли на нашу землю со своих Карибских островов! Не мы тут гости...

— Вы знаете, что сюда, к голландцам, я прибыл с ответственным поручением, и с этим нужно считаться!..

— О-ей, но ведь ты же прибыл с поручением к голландцам, а не к карибам! — настаивал на своем Уаки.

Утром следующего дня несколько человек из нашего отряда отправились в город, чтобы купить ткань и сшить из нее куртки. Нам стало ясно, что Арнаку, Вагуре, Уаки, Фуюди, Мигуэлю и Симаре не пристало далее ходить по городу раздетыми, в одних только набедренных повязках, как ходили мы в джунглях. Да и я решил сменить слишком жаркий мундир капитана на что-нибудь полегче, типа какой-нибудь куртки из легкой ткани. Деньги, полученные нами от испанцев, оставались пока нетронутыми, и мы без труда приобрели в лавке светло-зеленую ткань, которой хватило на десяток курток.

Выходя из лавки, мы нос к носу столкнулись с группой проходивших мимо карибов. Их было пятеро. Во главе с надменным видом шествовал молодой воин года на два-три постарше меня. Он заметно выделялся мускулистым торсом и мрачным, диким взглядом. На плече его покоилась громадная палица, а голову украшал пышный плюмаж из птичьих перьев. На руках и ногах переливались всеми цветами радуги множество браслетов из разных лесных плодов, а па шее клыками диких хищников ощерилось богатое ожерелье. Как видно, этот воин был большим щеголем. Не обошлось, естественно, и без горделивого символа племени — пучка белого пуха королевского грифа на лбу. Завидя нас, воин с издевкой расхохотался прямо нам в лицо, что-то шепнул своим спутникам, и все они сразу решительно двинулись нам навстречу, загромождавая дорогу с явным намерением заставить нас сойти с их пути.

Такое случалось и прежде, так что им не удалось на этот раз захватить нас врасплох — когда они, весело посмеиваясь, приблизились к нам на расстояние трех-четырех шагов, двое из наших выхватили и направили в их сторону острые ножи, а трое остальных взвели курки пистолетов. Встреченные таким образом вояки опешили, остановились и тут же с позором попятились, угрюмо обходя нас стороной.

— Глупец! — крикнул я моднику, рассмеявшись. — Скажи спасибо, что здесь город, а не джунгли. Там бы мы разделались с вами иначе!..

Я, конечно, говорил по-аравакски, но кариб, как видно, отлично меня понял по выражению моего лица и красноречивым жестам.

За всем этим происшествием со стороны наблюдал торговец, у которого мы только что покупали ткань.

— Что это за птица? — спросил я его через Фуюди.

— Сударь, — с явным испугом ответил купец, — это великий воин, один из карибских вождей.

— Как зовут этого великого вождя?

— Ваньявай. Он глава целого рода...

— Где живет этот род?

— Там, на юге, — махнул рукой торговец, — недалеко от реки Эссекибо...

Вскоре произошли события, которые внесли полную ясность в наши отношения с карибами. А началось все из-за нашей славной Симары. Девушка она была красивая, смелая и во многом нам помогала. Она близко к сердцу приняла поручение Ласаны опекать меня во время путешествия и действительно трогательно заботилась о моих удобствах и оберегала мои вещи, капитанский мундир, оружие, готовила пищу. По вечерам, перед сном, она всегда подвешивала свой гамак рядом с моим и, что называется, не спускала с меня глаз.

Наша восемнадцатилетняя амазонка, не только чертовски ловко владевшая всеми видами оружия, нестройная и статная, умная, как и ее старшая

сестра, приглянулась одному из наших варраулов, юноше по имени Ваника. Он вдруг страстно возжелал ее и решил незамедлительно, не откладывая дела в долгий ящик, взять ее в жены. С этим требованием он и обратился ко мне, как к главе рода, к которому принадлежала девушка, и через посредство Фуюди, согласившегося выступить в роли переводчика, довольно бурно и настойчиво стал излагать свои желания.

Юноша был всего на год старше Симары и в сравнении с другими варраулами отличался на редкость привлекательной внешностью, но в то же время был несколько простоват и сверх меры дерзок. Он поставил меня в сложное положение.

— А она согласна стать его женой? — спросил я Фуюди.

— Он говорит — согласна.

Неплохо зная индейские обычаи сватовства, я стал выяснять, что он умеет: какую лодку сам сделал, какого крупного зверя добыл на охоте и прежде всего, конечно, какой выкуп он может дать за жену.

— Выкуп есть, есть! — воскликнул Ваника и бросился к итаубе варраулов, откуда тут же принес ружье. Ванику, как превосходного стрелка, вооружили хорошим ружьем, принадлежавшим племени араваков.

— Ты с ума сошел?! — возмутился я, показывая на ружье. — Ведь эта вещь не принадлежит тебе!

Я распорядился позвать Симару и спросил ее, действительно ли она дала согласие стать женой Ваники.

— Негодяй! Лгун! — гневно вскричала она. — Да я и словом с ним не обмолвилась! Не нужен мне такой огрызок!

— Ну, положим, он далеко не огрызок! — рассмеялся я, и вслед за мной рассмеялись все остальные.

Дело ясное, в адрес незадачливого поклонника отпускалось немало разных шуточек, а Мендука, как старший отряда варраулов, устроил ему целую головомойку.

На этом, к сожалению, история не закончилась. Обуреваемый страстью Ваника совсем потерял голову. Смертельно разобидевшись на всю шхуну, он схватил свой лук, стрелы, нож и вместе со своим приятелем Аборе сошел с корабля на берег. Правда, ушли они недалеко. Наша шхуна стояла пришвартованной у самого конца деревянного причала, почти уже за городом, всего в каких-нибудь двухстах шагах от опушки джунглей. Вот здесь-то, у первых деревьев леса, юные бунтари в знак протеста и основали свой собственный бивак — соорудили из ветвей небольшой шалаш и развели подле него костер.

Так прошел день, зашло солнце, сумерки тут же сменились ночью, и, как обычно во всех жарких краях, тьма сразу же наполнилась голосами множества разных ночных существ: цикад, сверчков, всяческих жаб, ночных птиц; плескалась рыба, порой у самого борта раздавался такой мощный всплеск, словно какая-то огромная арапаима бросалась из водных глубин на свою жертву.

Индейцам был хорошо знаком и близок весь этот мир ночных шумов, трелей, щебета, воплей. Они отлично разбирались, кто там, во мраке, воет, шипит, свистит, кто квакает или крикает, кто стонет или рычит — всякий, даже едва различимый звук был им понятен, а потому и не страшен.

Но из непролазных дебрей доносились порой и звуки иные, прежде неслы-

ханские и таинственные, а значит, враждебные и наводящие ужас. Горе — услышать стон демона Юрапуры; горе, когда до ушей твоих долетят убийственные голоса дьяволиц Яры и Майданы или кровожадного Ореху из темного омута... Даже храбрая Симара, когда ее ушей касался таинственный ночной звук, похожий на едва слышный свист, — а то мог быть свист демона мести Канаимы, — даже она, не знавшая страха, терялась и судорожно хватала через гамак мою руку, как бы ища защиты.

Около полуночи все на шхуне внезапно проснулись: с берега, со стороны шалаша, в котором расположились два наших юных варраула, донесся пронзительный, короткий крик, такой душераздирающий и отчаянный, какой мог издать, пожалуй, только смертельно раненный человек.

Ночь была не очень темной — светила луна, и ярко горели звезды. Там, под деревьями, метнулись какие-то тени.

— Взять пистолеты и палицы! — скомандовал я, выскакивая из гамака.

В мгновение ока с борта шхуны на берег были переброшены мостки, и мы бросились к лесу.

Вот и шалаш... Ужасающая картина: оба варраула лежали, истекая кровью, головы их были разбиты палицами. Аборе уже не дышал, Ваника умирал. Он хотел что-то сказать, но из его горла лишь вырывались невнятные звуки:

— Кар... кар... — последнее, что нам удалось разобрать.

Кто-то из наших хотел было броситься в погоню за убийцами, но я удержал их: в пылу преследования в темноте они сами могли попасть в засаду. Тела погибших товарищей мы перенесли на шхуну, а на месте преступления оставили двоих караульных. Утром, едва рассвело, я с тремя нашими лучшими следопытами поспешил к месту трагедии. Да, сомнений не оставалось — нападение совершили не голландцы, а индейцы, более того — не акавои, а карибы. Неподалеку от шалаша в траве мы обнаружили пучки белого пуха, коим карибы украшают голову.

— Карибы хотят с нами войны! — объявил я, ступив на палубу шхуны. — Ну что ж, они получают ее! Мы вынуждены защищаться! Вы согласны? — обратился я к обступившим меня воинам.

Со мной согласились все. Не возразил ни один. Гнев, решимость и готовность драться читались на лицах воинов.

Трюк и засада

В тот же день, надев капитанский мундир, я отправился в резиденцию генерального директора, на этот раз в сопровождении солидного эскорта из десяти до зубов вооруженных воинов, и попросил встречи с секретарем. Ждать пришлось недолго, меня впустили.

— I am sorry,[15] — приветливо встретил меня секретарь, — но его превосходительство генеральный директор ван Хусес не вернулся еще из поездки по колонии, и неизвестно, когда прибудет...

— Сколько это может продлиться: неделю, две, три? — спросил я.

— К сожалению, может быть, и две, и три недели...

— В таком случае, я думаю, будет лучше, если мы сегодня же отплывем отсюда обратно на Ориноко в свое селение, а через месяц, скажем, вернемся...

— Прекрасно, так действительно будет лучше...

— Если вы, сударь, не возражаете, я оставлю в дирекции копию моего рекомендательного письма от венесуэльских властей голландским властям...

— Конечно же, пожалуйста!

Когда я собрался уходить, на румянном лице секретаря промелькнула вдруг загадочная усмешка, не то сочувственная, не то ироническая, а мертвые его глаза за стеклами очков как бы вспыхнули на миг искрой смеха. Похоже, он хотел что-то мне сказать и, действительно, состроив сочувственную мину, проговорил:

— Мне стало известно о несчастном случае, происшедшем сегодня ночью на берегу реки. Примите мои сердечные соболезнования...

— Благодарю! — ответил я. — Не скрою, убийство двух наших индейцев-варраулов повлияло на мое решение, не откладывая, покинуть ваши не слишком гостеприимные берега — очень уж у вас здесь неуютно и далеко небезопасно...

— Понимаю, понимаю! Нам тоже негры доставляют марсу беспокойств. Многие бежавшие с плантаций становятся убийцами.

— Разве это они убили двух наших варраулов? — удивился я.

— Они! Конечно же, они, только они, негры!

— Но ведь несчастных юношей убили палицами...

— А вы, сэр, полагаете, у них нет палиц?

— Действительно, палицы у них могут быть...

— Скажу вам больше: они могут даже для правдоподобия одеться под индейцев...

— Неужели они такие хитрецы?

— Хитрецы, лжецы, предатели и убийцы...

— Даже убийцы?! — Я сделал удивленные глаза и попрощался. — Итак, встречаемся через месяц!

— Да, сэр, хорошо — через месяц!

За два часа до захода солнца в разгар отлива мы отчалили от пристани, и шхуна помчалась по течению к устью реки, подхваченная попутным ветром, наполнившим наши паруса. Многие жители столицы прогуливались в этот погожий вечер по набережной и видели наше отплытие. Нам это было на руку.

К заходу солнца мы уже были далеко от Нью-Кийковерала. Но в полночь, еще до восхода луны, когда кромешная тьма окутала весь мир, мы, не доплыв до островов в устье Эссекибо, повернули назад и, пользуясь морским приливом, направились вверх по реке, стараясь держаться ближе к левому, незаселенному берегу. На другом берегу реки в жарком туманном мареве спала столица колонии.

Так, подгоняемые приливом, мы быстро прошли миль десять и свернули на другую сторону реки.

В этих местах во время наших прежних нередких вылазок мы открыли идеальное убежище: небольшой, но достаточно глубокий заливчик, в который можно было ввести нашу шхуну и надежно укрыть ее от слишком любопытных глаз. Заливчик находился примерно в четырех милях на юг от Нью-Кийковерала. Непроходимые заросли кустарника загораживали его со всех сторон и даже со стороны реки. Найти нас тут было так же трудно, как иглу в стоге сена, — со всех сторон простирались непроходимые, безлюдные джунгли; на несколько миль вокруг ни одного человеческого жилья: ни индейской хижины, ни плантации белых поселенцев.

Примерно в миле от нашего убежища с севера на юг шла через джунгли дорога, или, вернее, широкая тропа, о которой я уже упоминал. Она вилась почти вдоль самого берега Эссекибо и связывала со столицей несколько голландских плантаций, расположенных на пятнадцать-двадцать миль южнее. Именно здесь мы и встретили в прошлый раз тех несчастных рабов-негров, которых карибы вели на расправу в столицу.

У этой тропы мы и решили устроить засаду на подлых карибов, когда они в очередной раз поведут по ней рабов, выловленных в джунглях. С целью маскировки залива, в котором мы укрыли свою шхуну, приходилось соблюдать величайшую осторожность. Поэтому мы отплыли на итаубе вверх по Эссекибо мили две от залива и только здесь высадились на берег и стали пробираться сквозь чащу к тропе. Пробирались мы гуськом, след в след, стараясь ничем не выдать своего присутствия.

Для засад мы выбрали такие участки, откуда тропа просматривалась минимум на двести шагов в обе стороны: следовало исключить всякую неожиданность. В каждую из засад мы выделяли по пятнадцать человек, расставляя их по обеим сторонам дороги таким образом, чтобы можно было сразу уничтожить всех идущих по ней карибов, исключив всякую возможность скрыться хоть одному из них.

Из засад мы решили стрелять только из луков, а из пистолетов и ружей — лишь в случаях крайней необходимости, хотя в огнестрельном оружии у нас, как всегда, недостатка не было.

Я занимался устройством всех засад, но непосредственно в их действиях решил не участвовать. В мою задачу входило вместе с несколькими разведчиками следить, чтобы ни один из карибов не сумел от нас уйти. Это было важное и необходимое условие успеха всего нашего замысла. Мы просиживали в засадах от рассвета до поздних сумерек, и меня просто в изумление приводила стойкость моих индейцев, их ни с чем не сравнимое терпение. Часами и целыми днями сидели они в укрытии неподвижно, настороженно вглядываясь в открытый участок дороги.

Однажды мы стали свидетелями поразительного события. Из леса донесся постепенно приближающийся к нам шум и треск сучьев. Тропа, как обычно, была пустынна. Вдруг из лесной чащи на нее выбрался диковинного вида зверь. Ростом со взрослого сторожевого пса, но раза в два длиннее, лохматый и совершенно черный, как сам дьявол, с причудливо вытянутой мордой, похожей на сужающуюся книзу трубу, с торчащим хвостом, покрытым длинной шерстью и с передними лапами, снабженными такими длинными когтями, что, казалось, страшилище, передвигаясь, ступает на суставы, а не на стопы. Редкостное чудище! Я впервые встретил в джунглях такого зверя, хотя много слышал о нем разных рассказов. Это был большой муравьед, существо мирное, но в состоянии раздражения страшное из-за своих когтей, которыми он легко рвал на части нападавшего, в том числе и человека. Этими когтями он мог, словно папиросную бумагу, разрывать стены твердых как камень муравейников и термитников.

Поскольку муравьед, пересекавший тропу, двигался довольно медленно, я бросился за ним в чащу, чтобы подстрелить его из лука. Когда до цели оставалось десятка два шагов и я уже было натянул тетиву, меня опередили... Это был ягуар. В кустах раздался треск, и огромный пятнистый хищник прыгнул

на жертву, но раньше, чем он достиг ее, муравьед успел подняться на задние лапы, а передние когти широко растопырил навстречу врагу. Ягуар мощным прыжком свалил муравьеда на землю, но и сам попал в его цепкие объятия. Прерывистый рев, вой, топот, взрытая земля. Когда я подбежал, звери как раз приканчивали друг друга. У муравьеда было прокушено горло, и он уже выпустил дух, а ягуар с разодранной до ребер спиной еще дергался, но встать уже не мог. Глаза его затягивались пленкой, по телу пробежала мелкая дрожь, и он тоже затих.

Так джунгли на мгновение приоткрыли свое забрало. Схватка двух мощных животных длилась меньше минуты. Повсюду здесь таилась близкая и внезапная смерть!

Тропа, у которой мы устроили засаду, как видно, была важной артерией, и днем она редко пустовала. По ней то и дело кто-нибудь проходил: то негры с котомками за спиной, то несколько индейцев неизвестного нам племени, то идущая из столицы группа из пяти-шести вооруженных карибов. У этих на совесть наверняка были немалые грехи, но без видимых причин я не хотел их трогать, и они проходили мимо, не подозревая, что жизнь их висела на волоске.

На второй или третий день ожидания появилась группа негров, которая несла на носилках пожилого голландца; его богатые одежды и надменная осанка позволяли предположить в нем важную птицу — скорее всего какого-нибудь плантатора. Несколько негров с ружьями на плечах шли по сторонам как охрана или почетный эскорт.

И эту группу мы пропустили, не тронув, и они тоже прошли, никого и ничего не заметив.

Первый удар

Наконец терпение наше было вознаграждено. Мы дождались своего часа — настал день действий. Утром, сидя, как обычно, в засаде, мы издали заметили появившуюся на тропе группу людей. Через подзорную трубу я отчетливо различил: четыре вооруженных кариба конвоировали человек десять опутанных веревками негров и негритянок, привязанных к одному общему канату. Тихим свистом я подал знак тревоги.

Все свершилось в мгновение ока и точно по плану. Когда группа приблизилась к месту нашей засады шагов на пятьдесят, Мигуэль выскочил из зарослей на дорогу и, подняв руку, во весь свой мощный голос крикнул, чтобы они остановились. Захваченные врасплох карибы, а за ними и негры остановились как вкопанные. Секунды замешательства оказалось достаточно. Из чащи зашвыряли стрелы. С такого близкого расстояния мои верные воины не могли промахнуться, и все четыре кариба были сразу же уложены на месте, не успев даже издать стога.

Мы выскочили на дорогу, оттащили в чащу трупы и повели за собой связанных негров. Только отойдя от тропы шагов на сто, мы их развязали. Другая часть нашего отряда в это время быстро собрала оружие карибов и уничтожила на тропе все следы нападения. На все это потребовалось не больше десяти минут. Я подошел к освобожденным пленникам. Со мной были Мигуэль, Фуюди, Арасибо и, как всегда, неотлучный Арнак.

Негры стояли ошеломленные, не в силах понять случившегося. Спины их, особенно у старшего, были покрыты едва подсохшими стружьями — страшны-

ми следами истязаний и пыток. Среди них оказались четыре молодые девушки; судя по следам на спинах, их тоже не миновало истязание плетьюми. Я велел Фуюди и Мигуэлю попытаться выяснить у этих людей, что с ними произошло и как они сюда попали.

Оказалось, это были рабы с плантации Бленхейм, расположенной в пятнадцати милях к югу от столицы Нью-Кийковерал и примерно в десяти милях от нас.

Плантатор и все члены его семьи, а также управляющие и надсмотрщики с такой неслыханной жестокостью обращались с рабами, что многие из них были готовы лишиться себя жизни, а другие пытались бежать. Они слышали, что на реке Бербис, далеко на юго-востоке, в лесах, обосновалось немало беглых рабов. К ним-то и пыталась бежать отбитая нами группа. Однако карибы, рыщущие по лесам вокруг плантации, схватили их и теперь вели в столицу на расправу, надеясь на обещанное голландцами вознаграждение.

— Спроси, хорошо ли они знают, что ждало их в столице? — велел я Мигуэлю.

— Да, кажется, они кое-что знают об истязаниях и пытках... — ответил Мигуэль, переговорив со своими братьями.

— Хорошо, скажи им тогда, что теперь они свободны и могут делать что хотят. Какие у них намерения?

Эти несчастные, совсем потерявшие голову от свалившихся на них бед, истерзанные побоями, вконец измученные голодом, сами толком не знали, чего хотят, и были готовы на все. У нас имелся с собой небольшой запас провизии, и я велел прежде всего их накормить. Утолив голод и жажду, они почувствовали себя немного лучше. Арасибо отыскал в джунглях какие-то травы, которые благотворно действовали на раны. У четверых убитых карибов имелись ружья, но оказалось, что только один из негров, самый старший, умеет пользоваться огнестрельным оружием. Ему я и дал ружье с пулями и порохом примерно на тридцать выстрелов. Все остальные негры получили луки, стрелы и по одному ножу.

Четыре молодые негритянки стояли чуть в стороне и настороженно прислушивались к нашей беседе, негромко перебрасываясь какими-то словами: похоже, о чем-то совещались. С явным любопытством они поглядывали на Мигуэля, такого же негра, как и они сами. Вероятно, именно он вызывал у них наибольшее доверие и вселял какие-то надежды. Наконец одна из девушек, как видно, посмелее других и знавшая голландский язык, приблизилась к нам и сказала, что она и ее подруги не хотят бежать с остальными в джунгли, страшась неизвестности и тягот пути. Они хотели бы остаться с нами, под его защитой — девушка указала рукой на Мигуэля.

Мигуэль был несколько смущен, но по его лицу проскользнула довольная улыбка. Надо сказать, что до сих пор и он сам, и его четыре друга-негра не были женаты. Теперь у них открывалась возможность наконец решить свои семейные проблемы. Я был этому искренне рад. Мигуэль бросил на меня вопросительный взгляд. Я с готовностью кивнул: я, мол, согласен. Мигуэль улыбнулся и попросил девушек отойти в сторону.

И тут вдруг вперед выскочил один из молодых невольников, тщедушный, с жестоко истерзанной плетьюми спиной и до крайности истощенный. С яростью, которая привела нас всех в изумление, он громко запротестовал: это,

мол, его девушка и он не хочет с ней расставаться.

Мигуэль заметно смешался, неуверенно взглянул на соперника, но, видя, что тот едва держится на ногах, вскипел, в свою очередь:

— Твои силы совсем уж на исходе, как же ты будешь ее защищать? А ведь вам предстоит трудный путь!

Несмотря на возмущение, Мигуэль не утратил, однако, чувства справедливости и обратился к девушке с вопросом, куда она хочет идти.

— С вами! Я хочу с вами! С тобой! — Юная негритянка крепко прижалась к Мигуэлю.

И тут в конфликт вмешался самый старый из негров. Он одернул не в меру разгорячившегося юнца, велел ему замолчать; в тяжком пути через джунгли к реке Бербис молодая и слабая девушка могла стать только лишней обузой. Парень смешался и умолк.

Прежде чем уйти, старик негр подошел ко мне и, видя, что я единственный здесь бледнолицый, обратился через Фуюди:

— Вы спасли нас от смерти! Скажи мне, как твое имя? Кому мы обязаны жизнью?

— Никто, даже вы, не должен о нас ничего знать.

— Мы слышали только об одном бледнолицем, способном на то, что свершил сегодня ты, но, говорят, он далеко, на реке Ориноко.

— Ты знаешь его имя?

— Да, его зовут Белый Ягуар...

— Но ты же сам говоришь, что он далеко отсюда...

Негр потупился:

— Да, это правда, он далеко отсюда!

Когда освобожденные негры, исполненные надежды и благодарности, покинули нас и никто из них не явился обратно, мы, дождавшись ночи, вернулись на шхуну, довольные проведенной операцией. Симаре я временно поручил заботу о четырех негритянках. Она быстро с ними сдружилась.

Второй удар по карибам

Молодые негритянки, окруженные всеобщим доброжелательством и заботой, уповая на лучшее будущее, постепенно приходили в себя и час от часу хорошели. В течение каких-нибудь трех дней они полностью оправились. Как глава отряда я пожелал своему другу Мигуэлю и трем его братьям счастья с обретенными подругами жизни.

От засад на лесной тропе мы не отказались. Однако в течение ближайших дней ничего заслуживающего нашего внимания на дороге не появилось.

К счастью, теперь, после захода солнца, с Атлантики до нас долетали свежие ветры, и ночи стали несколько прохладнее. Это позволяло с головой укутываться в одеяла и тем самым хоть как-то спасаться от вампиров, которые никак не хотели оставить нас в покое. Кто спал крепко, не сбрасывая с себя ночью одеял, просыпался целым и невредимым, у кого же во сне из-под одеяла обнажался пусть самый крохотный участок тела — чаще всего нога — лужа крови под гамаком говорила о ночном разбое крохотных чудовищ. Кровопийца-вампир, эта маленькая летучая мышь, никогда не будила жертву, совершенно безболезненно прокусывая небольшую, но обильно кровоточащую ранку. При этом вампиры выпивают лишь мизерную часть, говорят — не более одной десятой доли всей той крови, которая струей вытекает из тела жерт-

вы.

Однажды ночью под утро хлынул проливной дождь, и когда он наконец прекратился, было уже совсем светло. Обычно мы покидали шхуну задолго до рассвета, но в этот день все шло с опозданием. Правда, утром густой туман окутал джунгли, и мы, рассчитывая на него, рискнули все-таки отправиться в путь.

Над туманом, над верхушками деревьев слышен был утренний крик пролетавших попугаев, но мы, к несчастью, на этот раз пренебрегли верной приметой, и, понадеясь на туман, можно сказать, попались на удочку: погода подвела даже индейцев — не успели мы доплыть до места нашей обычной высадки на берег, как туман на удивление быстро рассеялся и ясный день застиг нас на открытой взору со всех сторон реке. Река оказалась отнюдь не безлюдной. В подзорную трубу я рассмотрел на противоположной стороне Эссекибо, примерно в трех милях от нас, две небольшие лодки индейцев-рыбаков. Маловероятно, чтобы они заметили нас на таком расстоянии. Зато не далее чем в миле впереди мы обнаружили другую лодку, плывущую прямо на нас. В ней на веслах сидело девять индейцев, и сомнений не оставалось — карибов; я видел их совершенно отчетливо. Через несколько минут мы сблизимся на расстояние ружейного выстрела. Я быстро передал подзорную трубу Вагуре, отряд которого плыл со мной в тот день, попросив Вагуру проверить мои наблюдения. Он подтвердил: да, карибы. Как всегда, в нашем распоряжении были три дальнобойных мушкета, несколько ружей, пистолеты и одна пицаль, заряженная картечью.

— Карибы плывут на лодке, которая называется кориаль, — пояснил Вагура.

Выхода не было, ситуация становилась угрожающей: чтобы не обнаружить себя, оставалось одно — уничтожить всю команду этого, на свою беду, встретившегося нам кориаля.

— Ты, ты и ты... — указал я пальцем на лучших стрелков отряда, — спрячьтесь за бортами и готовьте ружья и мушкеты!

Шесть человек я оставил на веслах, велел им грести спокойно, как ни в чем не бывало. Сам я остался на руле — раздетый, как и все, загоревший дочерна, я мало походил на бледнолицего, а свои длинные светлые волосы скрыл под платком.

— Вагура, сколько ты их насчитал?

— Кажется, девять...

— Похоже, так и есть.

Я повернул нашу итаубу ближе к берегу, так, чтобы карибы остались справа, а солнце в момент схватки было у нас за спиной. Следовало опасаться только того, как бы карибы, заметив нашу итаубу, не ринулись на нас вместо того, чтобы плыть мимо, подставляя свой борт. Во втором случае было бы нетрудно одним ружейным залпом уложить сразу всю банду. А вот если они поплывут прямо на нас, с первого залпа удастся лишь сидящих на носу, остальные же, пока мы будем перезаряжать ружья, могут представить для нас серьезную опасность — у них наверняка есть ружья, а карибы слыли неплохими стрелками.

На кориале гребли энергично, шестерка наших гребцов тоже не ленилась, и лодки сближались быстро. Нам везло: ослепленные солнцем карибы нас не

замечали и плыли мимо, стороной, не подозревая о грозящей им опасности.

Когда лодка карибов проплывала мимо нас в каких-нибудь тридцати шагах, стрелки по моему сигналу поднялись, вскинули ружья и, прицелившись, дали дружный залп из мушкетов, ружей, пищали. Все вокруг заволкло дымом.

В каких-нибудь пять секунд все было кончено. Мы подплыли к медленно сносимому течением кориалу, чтобы проверить, не остался ли там кто-нибудь в живых. Со дна лодки на нас с ужасом смотрел человек. Арнак хотел было выстрелить из лука, но его удержал громкий окрик Вагуры:

— Не стреляй, это девушка!

Ее оставили в живых.

Следовало как можно скорее убраться с середины реки, на которой нас легко было обнаружить. Поэтому, не теряя времени, половина нашей команды перешла на кориаль, и мы что было сил налегли на весла, устремившись к берегу, и уже здесь, под сенью прибрежных деревьев, поплыли вверх по реке, в известную нам неглубокую заводь, надежно укрытую в густых зарослях.

По пути я приказал Фуюди, нашему переводчику, допросить спасенную девушку, а свободным от гребли воинам собрать оружие убитых карибов.

Через какое-то время Фуюди сказал:

— Я не могу с ней договориться, Белый Ягуар.

— Она не карибка? — спросил я.

— Похоже, она из племени макуши...

— Из таких далеких краев?

...Племя макуши, как я знал по рассказам и карте, подаренной мне испанцем доном Мануэлем, жило далеко на юге, в саваннах, за трехсотмильными джунглями гвианских джунглей. Когда-то многочисленное и воинственное, в последнее время оно заметно теряло былое величие из-за постоянных набегов лучше вооруженных карибов. Беспощадные воители в поисках рабов для голландских колонизаторов добирались даже в те отдаленные края.

Индианка, совсем еще молодая, не старше восемнадцати лет, поняв, что попала к людям, относящимся к ней доброжелательно, а к карибам — враждебно, воспряла духом. На ее до того безжизненном лице появилась улыбка. Она быстро прониклась к нам доверием, как и несколькими днями ранее молодые негритянки. Фуюди, заметив столь благодатные перемены в поведении девушки, еще раз попытался заставить ее рассказать о себе. Но дело это оказалось нелегким: единственным доступным им языком были жесты и мимика. К счастью, девушка проявила редкостную сообразительность.

Вот что удалось узнать Фуюди: девушка действительно принадлежала к племени макуши. Примерно месяц назад ночью карибы напали на ее селение, расположенное у истоков реки Бурро, притока Эссекибо. Но схватить им удалось только ее и ее брата — остальные жители успели скрыться в лесу. В схватке брат был тяжело ранен. Враги бросили его в лодку. Много дней они плыли вниз по реке Бурро, а потом по Эссекибо, брат все больше слабел, и карибы в конце концов убили его палицей. Кое-кто предлагал убить и ее, но главарь банды воспротивился, поскольку обещал девушку одному голландцу, своему покровителю в столице. Так они плыли вниз по Эссекибо больше недели, счастливо преодолели множество водоворотов при впадении Мазаруни в Эссекибо и были уже близки к цели — Нью-Кийковералу, когда неожиданно

наткнулись на нас и здесь нашли свою смерть.

— Заслуженную смерть, — вставил Вагура, внимательно слушавший рассказ Фуюди.

...До захода солнца оставалось еще часа два. Чтобы ни в коем случае не обнаружить себя, мы решили, пока не наступит ночь, не высовывать носа и мучились от безделья.

И тут вдруг ко мне обратился Вагура. Весь вид его выражал смущение и нерешительность.

— Ну что у тебя на душе, приятель? — пошутил я.

— На душе ничего! — ответил он, потупившись.

— Так где же?

— На сердце!

Тут Вагура набрался решимости и выпалил:

— Отдай мне эту индианку!

— Как я могу тебе ее отдать? Разве она моя собственность? — возмутился я.

— Ты — наш вождь.

— Да, но не в сердечных же делах. Главное — хочет ли она?

— Она хочет!

— Ой ли?! На каком языке ты с ней договорился?

— Она мне улыбнулась... Я хочу взять ее в жены...

— В жены? — Я весело махнул рукой. — Ну, тогда бери, но при условии, что и она по доброй воле согласна стать твоей женой!

Так Вагура нашел себе жену.

Страшная плантация Бленхейм

На следующий день мы решили не устраивать засаду, и я собрал всех на шхуне на совет.

— Четырнадцать наших врагов-карибов, — начал я, — бесследно исчезли здесь с лица земли.

— И дальше бы так! — живо откликнулся кто-то.

— Да! — согласился я. — Но, чтобы удача сопутствовала нам и дальше, надо действовать! Нам пора отсюда убираться!

Наступило молчание.

— А не рано? — усомнился Уаки.

— Что думаешь ты, Арасибо? — обратился я к шаману.

— Добрые духи велют нам исчезнуть отсюда как можно быстрее.

— А что думаешь ты, Арнак?

— Я думаю так же, как и ты, Белый Ягуар.

— Хорошо! — заключил я.

— Но куда ты нас поведешь? — посыпались со всех сторон вопросы.

— На это есть только один ответ: среди нас четыре молодые негритянки, любящие, как мне кажется, своих мужей...

— Да, это правда, но что из этого следует?

— А то, что они хорошо знают плантацию Бленхейм и сослужат нам добрую службу. Мы переберемся в окрестности этой плантации и найдем там подходящее убежище для нашей шхуны.

— Белый Ягуар — Великий вождь! — обрадовался Мигуэль. — А плантацию сожжем или...

— Не горячись, друг Мигуэль! — попытался я его сдержать.

— Ну, ладно, тогда поможем рабам устроить побег...

— Это уже лучше!

Плантация Бленхейм лежала на самом берегу Эссекибо; неподалеку находилось еще несколько плантаций. Четыре негритянки оказались на редкость ценными союзницами и были рады нам помочь. Они хорошо знали территорию всей плантации, знали, кому здесь можно довериться, кого надо опасаться, кто — явный предатель, кто — мучитель и палач. Знали они приблизительно и местонахождение ближайшей деревни карибов, расположенной в нескольких милях от Бленхейма, знали и тропы, по которым шныряли людоловы. Узнав эти столь ценные и важные сведения, все единодушно согласились как можно скорее покинуть наш залив и найти новое укрытие вблизи плантации Бленхейм.

Завершая это важное совещание, я обязал мужей молодых негритянок, и прежде всего Мигуэля, немедленно заняться изучением голландского языка. Одна из четырех негритянок владела им вполне сносно, а поскольку все остальные взялись за дело горячо и с охотой, вскоре они добились заметных успехов. Помогал им и Фуюди, в ходе учебы и сам совершенствуя свои знания.

В тот же день, сразу после совета, четыре лучших разведчика нашего отряда были отправлены на разведку в верховья реки на двух небольших яботах. Каждую лодку сопровождала негритянка, хорошо знающая расположение плантации Бленхейм, чтобы помочь разведчикам лучше изучить, что и где там находится.

А тем временем мы продолжали устраивать засады на лесной тропе, и на третий день терпеливого выжидания нам удалось уничтожить трех карибов, возвращавшихся из столицы на юг, вероятно, в свою деревню неподалеку от плантации Бленхейм. Операция прошла успешно и бесшумно.

Командам обеих лодок предстояло разведать оба берега Эссекибо, одной — правый, другой — левый. Когда через четыре дня они вернулись (на следующий день после нашей операции в засаде), обстановка прояснилась. На расстоянии около двадцати миль от нынешнего нашего укрытия и примерно в трех милях от плантации Бленхейм команда, изучавшая левый, западный, берег Эссекибо, отыскала почти идеальное убежище для шхуны в виде глубокой узкой излучины, куда, хотя и с трудом, могла войти наша шхуна. Густо поросшая по берегам излучина представляла собой прекрасное укрытие для корабля. Плантация Бленхейм лежала почти прямо напротив, на другой стороне реки, ширина которой в этом месте достигала примерно полутора миль.

Наш переход в новое убежище прошел успешно и без осложнений в период прилива в одну из особенно темных ночей. Ничто не выдало нашего присутствия. Шхуна, как и пять наших лодок: две итаубы, две яботы и один большой кориаль, добытый у карибов, — исчезли, словно камень, брошенный в воду.

Целый день мы просидели в укрытии, а на следующую ночь я, Фуюди, как переводчик, и Мария, самая старшая и разбитная из освобожденных нами негритянок, вооруженные только пистолетами, ножами и подзорной трубой, переплыли на другую сторону реки. Мария прекрасно знала всю территорию Бленхейма.

В темноте мы подплыли почти к самой плантации и высадились от нее примерно в полумиле. Яботу тщательно замаскировали в речных зарослях. Мария лишь ей известной тропинкой вывела нас на опушку, у которой уже

начиналась плантация.

Оставалось еще с полчаса до рассвета, когда мы взобрались на дерево, растущее на краю леса, чтобы, скрывшись в ветвях, днем получше изучить окрестности.

Где-то на плантации ударили в колокол и гонги, зазвучали человеческие голоса, слышались резкие крики команд. Слышно было, как бегают люди. Все это происходило в предрассветных сумерках, а когда взошло солнце, нашим глазам открылась вся плантация. Она занимала площадь около квадратной мили и представляла собой огромный участок выкорчеванных джунглей, одной стороной выходящий к реке. Почти на всем участке рос сахарный тростник, целое море зеленого тростника, рассеченное вдоль и поперек дорожками и тропинками.

Посреди плантации виднелось множество строений: низкие, приземистые бараки для рабов, амбары, сараи, будки; чуть в стороне высился прочный и обширный, хотя и одноэтажный, дом владельца плантации. Это была помпезная постройка с колоннами у парадного входа — типичная помещичья усадьба времен колониальной эпохи. Все постройки попроще были из тростника и пальмовых листьев, а получше — из дерева, как и роскошная усадьба плантатора.

Чернокожие рабы под присмотром надзирателей торопливо разбежались по полям, но среди хижин все же сновало еще немало людей, наверное, разных управляющих, дворовых и домашних слуг. Большинство из них составляли женщины. Большая группа негров обливалась потом у прессов для выжимания тростникового сока. Заметили мы и невольников-индейцев. Их, правда, не погнали на тяжелые работы в поле, они остались в усадьбе.

Меня поразило отсутствие какой бы то ни было ограды или забора — вероятно, усадьба, закрывшись ставнями, сама превращалась в крепость на случай нападения врагов. Зато я заметил среди хижин нескольких вооруженных мушкетами и саблями негров. Как объяснила через Фуюди Мария, это были стражники из освобожденных негров. Пользуясь привилегиями, они, как собаки, преданно служили плантатору.

— Они и правда как злые собаки! Особенно их главарь! — рассказывала Мария. — Настоящий палач! По воле хозяина он не колеблясь замучит до смерти любого раба.

Все невольники и невольницы ходили почти нагими, в одних только набедренных повязках и своей наготой выделялись среди прочих, более привилегированных обитателей плантации, в том числе и вооруженных стражников, одетых в драные лохмотья, заменявшие им мундиры. Появился во дворе и начальник стражи, мулат, одетый чуть лучше, чем остальная его банда, и даже нацепивший на плечи эполеты.

— Как его имя? — спросил я Марию, разглядывая это чучело в подзорную трубу.

— Мы звали его минхер Давид! Он брал себе в наложницы всех молодых рабынь, а несогласных сжигали на медленном огне...

— Как же это позволял плантатор?

— Плантатор сам не лучше его...

Я постарался запомнить лицо этого Давида, выражавшее беспредельную наглость, и решил: если кому-то и предстоит здесь понести кару, то этому

минхеру Давиду в первую очередь.

— Как зовут плантатора?

— Минхер Хендрик.

— А фамилия?

— Не знаю, господин, право, не знаю.

Чуть позже из усадьбы во двор выбежало трое нарядно одетых белых детей.

— Это дети плантатора, — объяснила Мария испуганно дрогнувшим, как мне показалось, голосом.

Я взглянул на нее удивленно и осторожно спросил, отчего у нее этот страх, ведь ей ничто теперь не грозит и впредь грозить не будет.

— Ах, господин! — Мария судорожно передернулась. — Это очень злые дети. А вот тот мальчик, самый старший, ему всего девять лет, а для рабов он страшнее самой ядовитой змеи. Так его воспитывают родители...

— Не понимаю! Как же они его воспитывают?

— Они учат его ненавидеть рабов, бить их по каждому поводу и всячески над ними издеваться...

— Мария, ты, верно, преувеличиваешь! Ведь это еще дети...

— Да, дети, но родители учат их с детства ненавидеть и презирать нас, рабов...

Весь день нам пришлось провести, укрывшись в ветвях, чтобы не выдать своего присутствия.

Плантация сбегала вниз к реке, и здесь было сооружено некое подобие пристани с небольшим деревянным помостом. Возле него покачивались разной величины лодки, привязанные к доскам веревками. Об этих лодках следовало помнить — они могли представлять для нас определенную опасность.

На закате, после более чем десятичасовой работы в поле под палящим солнцем, невольники вернулись в свои бараки. Видно было, что они едва держатся на ногах.

— На плантации рабы почти совсем не получают пищи в быстро теряют силы, — говорила Мария. — Чтобы принудить их работать, надзиратели непрерывно стегают их плетью.

Еще будучи в столице колонии, я очень быстро понял, в чем состоит главный принцип голландской системы колониальной эксплуатации. Системы на редкость жестокой и даже более страшной, чем колониальные системы других стран, тоже, впрочем, не грешащих особой филантропией. Итак, в основе голландской системы лежал принцип: достаточно, если раб, занятый тяжелым трудом на тростниковых полях, проживет два-три года, а после смерти от истощения и слабости будет заменен новым рабом. В течение этих двух-трех лет его буквально морили голодом, экономя на питании, а как следствие возникающую физическую немощь раба компенсировали постоянными побоями, таким варварским путем повышая производительность его труда. Раб был обречен на верную скорую смерть, но экономика колонизаторства, основанная на беспощадном грабеже человеческого труда, приносила плантатору неслыханные барыши, ибо дешевле было купить нового раба, доставленного из Африки, чем расходовать средства на питание старого.

Часа за два до захода солнца мы стали свидетелями любопытного эпизода. Где-то недалеко от нашего укрытия, вероятно в джунглях, проходила какая-то

тропа, и оттуда на плантацию вдруг вышли пять карибов. Как всегда, вооруженные ружьями, дубинами и копьями, они прошествовали через всю плантацию, никем не задержанные. Судя по всему, здесь они были людьми доверенными; во дворе возле усадьбы они остановились и по-приятельски поболтали с одним из надзирателей, а затем совершенно безбоязненно направились дальше на юго-восток и скрылись в джунглях. Их появление на плантации не вызвало никакого беспокойства — оно и понятно: это были союзники голландцев.

— Скажи, там, где они вошли в лес, находится их селение? — спросил я у Марии.

— Да, господин, оно называется Боровай...

— Далеко она от плантации?

— Полдня пути по тропе...

— Значит, примерно пятнадцать-двадцать миль?

— Наверно...

— В селении много жителей?

— Много, может, сто, а может, двести... Все они охотятся за беглыми рабами. Это они выследили нас и силой пригнали обратно на плантацию. Это плохие индейцы!..

Когда наступила ночь, мы спустились с дерева, размяли затекшие конечности и на яботе вернулись на шхуну.

Зародился план.

Сборы и раздоры

В ту ночь я спал крепко. Симара разбудила меня только часа через два после восхода солнца. Выкупавшись и позавтракав, я собрал всех на шхуне и рассказал о впечатлениях вчерашнего дня. Резкую реакцию вызвало появление на плантации карибов.

— Для нас теперь ясно, что плантация Бленхейм — сущий ад для несчастных рабов. Царящие на ней жестокость и бесчеловечность столь ужасны, что я предлагаю не только освободить здесь всех рабов и отправить их на Бербис, но и покарать всех виновных в издевательствах над людьми, а саму плантацию сжечь.

Со мной согласились.

— Недалеко отсюда, — продолжал я, — насколько мне известно, есть еще две голландские плантации, и нам надо подумать, как освободить работающих там невольников. Все прислуживающие плантатору негры: надзиратели, стража, доносчики и палачи — должны быть преданы суду как преступники и предатели. Плантатора и его семейство следовало бы взять в качестве заложников. Но, прежде чем предпринимать какие-либо действия, нужно установить контакт со старейшими невольниками, достойными нашего доверия. В этом должны нам помочь Мария и ее подруги. К тому же нельзя забывать и о главном!..

Я на мгновение умолк и вопросительно взглянул на Арасибо и Арнака. Верные советчики, всегда отличавшиеся сообразительностью, должны были догадаться, что я имею в виду. Но они молчали, и я посмотрел в их сторону, насмешливо улыбаясь:

— Прежде чем всерьез браться за плантацию, необходимо устранить главное препятствие...

— Да! Я знаю! — вскричал Арнак.

— Знаю, что ты знаешь! — кивнул я головой. — Да, именно — карибы! Необходимо уничтожить карибское селение...

— Да, верно! — поддержал меня Уаки. — Но, кроме плантации и селения карибов, надо сделать еще одну важную вещь!

— Что ты имеешь в виду?

— Сохранить в тайне наше пребывание здесь!

— Это верная мысль!

В этой связи возникала еще одна проблема: пополнение запасов провизии. Джунгли по нашей стороне Эссекибо на десятки миль вокруг казались совершенно безлюдными. Кроме того, неподалеку от нашего убежища в Эссекибо впадала многоводная речушка, и, поднявшись по ней вверх, можно было свободно охотиться, ловить рыбу и собирать съедобные растения, лесные плоды и ягоды. Несколько командированных туда групп из двух-трех человек прекрасно бы способствовали разнообразию нашего стола. Эту речушку мы назвали Майпури — река Тапира.

— Да, но у нас только две яботы!

— Это так. Но разве нет лишних лодок на том берегу? Если сегодня ночью две или три из них случайно сорвутся с причала, это никого не удивит...

Ночью мы добыли две лодки, а Мария, высадившись на другом берегу недалеко от плантации, незаметно пробралась к баракам и установила контакт с рабом по имени Виктор.

Это был пожилой негр, пользовавшийся большим авторитетом среди своих соплеменников и всеобщим уважением. Человек он был рассудительный и смелый. Несколько недель назад по приказу самого жестокого управляющего плантации, голландца Криссена, его зверски избили палками, сломав несколько ребер.

Вернувшись утром, Мария принесла еще одно важное известие: Дамян, один из друзей Виктора, человек, тоже вполне заслуживающий доверия, знает тропинку в джунглях, ведущую к Бороваю — селению карибов. Он хорошо ее запомнил, когда его волокли карибы, поймав в джунглях после бегства с плантации.

— Ты разговаривала с ним? — спросил я Марию.

— Да, господин. Он готов еще раз убежать с плантации и провести нас к селению карибов, если мы позволим ему потом остаться у нас навсегда.

— Хорошо, мы примем его к себе...

Постепенно к нам стекались все более ценные сведения. Так, мы вскоре определили количество троп, ведущих от плантации Бленхейм. Их было три: одна вела вдоль реки Эссекибо, на север, к столице колонии Нью-Кийковерал, вторая — как бы ее продолжение — шла на юг и соединяла Бленхейм с двумя другими плантациями, расположенными на берегах Эссекибо. Одна из них, Блиенбург, лежала в пяти милях от Бленхейма, а вторая, Вольвегат, — на три мили дальше. Третья тропа вела от Бленхейма на юго-восток к селению карибов Боровай, расположенному примерно в пятнадцати милях. Следовательно, чтобы отрезать Бленхейм от внешнего мира, достаточно было перекрыть эти три тропы и отогнать все лодки. На много миль окрест простирались непроходимые джунгли. Возможность побега полностью исключалась.

В течение нескольких дней весь наш отряд занимался активной разведкой

и охотой. Группы, включавшие в себя всех мужчин и почти всех женщин-индианок, ежедневно еще задолго до рассвета отплывали вверх, по Майпури и охотились там, ловили рыбу или занимались сбором лесных плодов и разных съедобных растений.

В одну из первых таких вылазок наши охотники открыли необыкновенное место, удаленное от шхуны мили на три. Майпури там расширилась, превращаясь в озеро, и в самом озере, а также по его берегам кишмя кишела разная живность. Из джунглей к воде выходили стада диких свиней, которых индейцы называли — кайруни, появлялись и капибары, грызуны размером с кабана и с еще более вкусным, чем у него, мясом. Водилось здесь и множество крупных змей, которых индейцы называли камуди, а европейцы — анакондами. В воде озера не счесть крупной рыбы — арапаимы, а страшные кайманы плескались буквально на каждом шагу. Поскольку это место было недалеко, как-то утром вместе с охотниками отправился туда и я, прихватив с собой подзорную трубу и меткий свой мушкет. Солнце уже поднялось над верхушками деревьев, когда мы доплыли до озера. Стараясь держаться поближе к берегу, в тени джунглей, мы гребли осторожно, без всплесков, не нарушая тишины, и тут я увидел в подзорную трубу стадо диких кабанов, кайруни, пришедшее на водопой.

Вдруг все стадо испуганно шарахнулось: из воды высунулся громадный странно черный кайман и, мгновенно ухватив своей усаженной острыми зубами пастью рыло одной из свиней, потащил ее в воду. Она изо всех сил упиралась четырьмя своими копытами, но напрасно: чудовище обладало неодолимой силой и мигом втащило свою добычу в воду.

Несколько минут спустя мы подплыли к месту неравной схватки, но ничего не обнаружили. Резкий запах пота — единственный след, который оставило перепуганное стадо диких кайруни.

Наши охотники, ежедневно посещавшие озеро, еще не раз встречали черного каймана, казавшегося им грозным чудовищем, неуловимым призраком, воплощением всех злых духов, пока однажды не стали свидетелями его гибели, о чем с удовольствием потом мне рассказали.

В тот день кайман грелся на солнце на песке под деревом недалеко от берега. В кроне дерева затаилась громадная камуди, которая, самонадеянно переоценив свои силы, бросилась на каймана. При других обстоятельствах змею наверняка ждала бы смерть. Но на этот раз кайману не повезло — рядом было дерево. Змея, длиной более десяти футов, уцепившись хвостом за дерево, многократно увеличив свою силу, без труда обвила каймана и прижала к дереву. При виде этой картины охотники крадучись приблизились к дереву и выпустили в змею десятка два стрел, которые парализовали ее. Но когда они оторвали ее от жертвы, оказалось, что и кайман уже выпускал дух. Добить обоих чудовищ не составило труда.

Охотники с гордостью доставили на шхуну целую гору преотличнейшего мяса — и кайман и камуди у индейцев считались изысканным лакомством. Но радость охотников имела еще и другую причину: убив двух таких чудовищ, человек, далеко не всегда выходящий победителем в джунглях, хотя бы на миг ощущал свое превосходство над извечным врагом — беспредельной мощью природы, вселяющей постоянный ужас в людские души.

Каждую ночь на другой берег Эссекибо переправлялось несколько наших

индейцев и две-три негритянки, чтобы на следующий день из укрытия наблюдать за всем, что делалось на плантации Бленхейм. Я же в сопровождении Фуюди, Арнака, Вагуры и негра Дамяна, сбежавшего тайком с плантации и присоединившегося к нам, постигал тайны жизни селения Боровай и разведывал ведущие к нему тропы. Дело это было нелегким и небезопасным, поскольку мы ежеминутно рисковали наткнуться на карибов.

Деревня карибов состояла примерно из двух десятков хижин, тесно прижавшихся одна к другой на поляне, расчищенной среди джунглей. Через поляну, почти рядом с крайними хижинами, протекал неглубокий, но быстрый ручей. Три тропы, кроме основной в Бленхейм, вели из деревни к небольшим возделанным полям, разбросанным в окрестных джунглях. По утрам на работу в поля обычно отправлялись женщины и дети, а мужчины либо оставались в деревне у хижин, либо уходили надолго, пропадая в джунглях. Под вечер все, и мужчины и женщины, как правило, возвращались в деревню и оставались там на ночь.

Все говорило за то, что жители деревни Боровай чувствовали себя дома в полной безопасности. Мне доводилось слышать из разных источников, что карибы, живущие в небезопасных для них районах, в окружении недоброжелательно настроенных племен (а откуда бы взяться доброжелательным?), перекрывали тропы, ведущие к их поселениям, очень хитрым и весьма надежным способом — на тропинках вблизи от своих поселений они разбрасывали во множестве едва приметные колючки, отравленные смертоносным ядом, и, если к такому поселению подходил какой-либо незнакомец, он рисковал уколоться и погибнуть. Мы тщательно обследовали тропы, ведущие к Боровая, и нигде не обнаружили опасных заграждений. Похоже, карибы в этих местах не ждали врагов.

Неоднократные вылазки к деревне Боровай и к плантации Бленхейм дали желаемые результаты — мы узнали почти все, что необходимо было для нанесения удара. Негр Виктор, действуя с величайшей осторожностью, вовлек в заговор нескольких заслуживающих доверия рабов с плантациями и только ждал нашего сигнала, чтобы поднять восстание. Что касается деревни Боровай, то, выходя па разведку всегда впятером, в одном и том же составе, мы настолько хорошо изучили ее расположение, что не было никаких сомнений в успехе. Однажды только, и то ненадолго, возникла была угроза раскрытия нашего здесь присутствия: пробираясь как-то по тропе неподалеку от Боровая, мы лицом к лицу столкнулись с двумя карибами, шедшими нам навстречу. Мы заметили их в самый последний момент, буквально в десятке шагов от себя. К счастью, мы были готовы к подобной встрече лучше, чем они. Свистнули стрелы, и оба противника со стоном рухнули наземь. Они не успели издать даже крика, предупреждающего других. Сняв с них всю одежду и украшения, мы закопали их тела глубоко в землю, подальше от тропы; на том и закончилась эта опасная встреча. Таким образом, на нашем счету было уже двенадцать карибов.

Когда настало время решающих действий, я вновь собрал всех на совет и начал так:

— Хочу еще раз воззвать к вашей совести и чувству человечности. Не так давно вы, видя страдания людей, приняли решение освободить с плантации Бленхейм тех рабов, которые захотят обрести свободу. Осталось ли в силе ва-

ше решение?

Все ответили, что да, осталось.

— Но, дабы открыть рабам путь к свободе, — продолжал я, — надо прежде устранить препятствие, стоящее на этом пути. Необходимо уничтожить деревню Боровай и живущих в ней карибов. Другого способа я не вижу.

Все со мной согласились.

— В одну из ближайших ночей нам всем, за исключением трех-четырех человек, которые останутся охранять шхуну, предстоит окружить Боровай, поджечь деревню и уничтожить всех, кто может представлять опасность для нас и освобожденных рабов...

— Какую лучше выбрать ночь — светлую или темную? — спросил Уаки.

— Думаю, лучше светлую, лунную, — ответил я. — Лесная чаща подступает к деревне с трех сторон, и, окружив ее, мы не станем выходить на поляну, а откроем огонь прямо с опушки. Главное — не выпустить из окружения ни одного воина. Поэтому светлая ночь лучше: в деревне поднимется паника, и карибы бросятся бежать во все стороны.

— А как со стороны ручья? — вновь поинтересовался Уаки.

— На противоположной от деревни стороне ручья, тоже по опушке леса, мы расставим своих стрелков...

Слово попросила юная Симара:

— Белый Ягуар, ты сказал, что надо убить только тех карибов из Боровая, которые для нас опасны. А женщин и детей?

— Женщин — только тех, которые возьмут в руки оружие, а мужчин — всех старше четырнадцати лет...

— А кому нет четырнадцати, — враждебно выкрикнул шаман Арасибо, — тех отпустим?! Потом они через три-четыре года ножами перережут нам, аравакам, горло! Будут опять ловить негров и нападать на другие индейские племена! Ты этого хочешь, Белый Ягуар?

Я возмутился.

— Нет, этого я не хочу! Но я не хочу и убивать детей!

— Четырнадцатилетние — это уже не дети! — вскричал, нет, завопил Арасибо. Глаза его сверкнули, словно у разъяренного тигра.

Сразу же начался общий галдеж. Всем на шхуне вдруг захотелось высказать свое мнение. Только четверо: Арнак, Вагура, Мигуэль и Симара — продолжали сидеть молча.

Я встал и велел Симаре подать мне шкуру ягуара, а набросив ее на плечи, дал знак всем умолкнуть. Когда шум стих, я, не скрывая в голосе огорчения, заявил, что уйду и вернусь через десять минут за окончательным решением.

— Оставайтесь, люди племени араваков, прежде слывшие своей добротой и великодушием! — бросил я им. — Я не верю, что вам свойственна жестокость!

Сказав это, я отошел шагов на двадцать и сел на корме. Оттуда мне было слышно все, о чем они говорят.

Конечно же, мои друзья без труда сумели образумить людей, и все решили, что да, детей младше четырнадцати лет трогать не будут. Не прошло и десяти минут, как ко мне прихромал Арасибо и самым дружелюбным тоном, на какой он был способен, стал уверять меня в своей верности и дружбе. Подходя, он дружески протянул мне обе руки:

— Прости меня, Белый Ягуар. Я всегда был и останусь... — Он замялся, и то-

гда я закончил за него:

— Знаю! Ты мой друг! — И добавил: — Но знай и ты, что я тоже хочу быть твоим другом, но другом настоящего аравака!

Разгром гнезда охотников за невольниками

Подготовка к операции заняла у нас целых три дня. Мы не только пополняли запасы провизии, а шаман Арасибо собирал лекарственные травы для ран, но и чистили огнестрельное оружие (а на каждого приходилось больше чем по одному ружью), готовили впрок заряды, точили ножи и топоры, особенно те, что нужны были для рубки проходов в чаще, пополняли колчаны стрелами, изготавливали новые копья и дротики, готовили к бою палицы и щиты.

План наш состоял в следующем: после успешного уничтожения деревни Боровай мы тут же возвращаемся на Эссекибо и в тот же день, не откладывая ни на час, начинаем операцию против плантации Бленхейм: даем сигнал невольникам к началу восстания и помогаем им захватить и покарать их истязателей, затем берем в плен плантатора и его семью, а освобожденных рабов отправляем на восток, на реку Бербис. После этого остается только сравнять с землей всю плантацию.

На шхуне, среди араваков и всех остальных, царил такой подъем и такой боевой дух, что все поголовно хотели идти на Боровай и никто не хотел остаться охранять корабль. Чтобы хоть как-то утешить тех четверых, кому выпало охранять шхуну, я поручил им важное задание: в ночь, когда мы выступим в Боровай, они должны будут с величайшей осторожностью подплыть на яботе к речной пристани в Бленхейм и, срезав с причала все имеющиеся там лодки, отвести их в залив, в котором укрывалась наша шхуна.

К сожалению, кроме четверых воинов, выделенных для охраны шхуны, еще пять человек, четыре воина и одна женщина, стали накануне операции жертвой вампиров (которых немало было и здесь, в устье Майпури), а потому из-за крайней слабости тоже вынуждены были остаться на корабле.

И вот настала решающая ночь, которая должна была нам принести победу или гибель. Как только опустилась тьма, мы, около семидесяти человек, переправились на двух итаубах и одном кориале через реку, и здесь, спрятав лодки в прибрежных зарослях, вошли знакомой тропой в джунгли. Впереди шел Арнак со своим отрядом и Дамяном в качестве проводника, за ним отряды Вагуры и Уаки, потом мой личный отряд разведчиков с Арасибо, Мигуэлем и его неграми и негритянками, а замыкали колонну Мендука и восемь его варраулов. Аравакские женщины, как и мужчины, шли вместе с нами в полном боевом снаряжении.

Было довольно светло — на чистом небе мерцали звезды, а после того, как мы прошли лесом около мили, взошла луна, и свет ее пробивался сквозь ветви деревьев. Джунгли есть джунгли, и, как обычно, в тропическом лесу со всех сторон неслись голоса различных зверей, и кто мог сказать, что это — приветственные клики, предостережение, угроза? Все вокруг вас квакало, шипело, скулило, стонало, хрипело, ах! — да и кому под силу распознать все то, что крылось в густых зарослях и решило вдруг подать свой голос!

И сколь многообразен и дивен был шум вокруг нас в джунглях, столь же разные и противоречивые мысли обуревали человека. Чувство праведного гнева и желание помочь поработенным неграм понуждали нас идти на Боро-

вай и разгромить врага, но исподволь нас начинали точить сомнения: а такое ли уж праведное дело мы вершим, идя убивать? Все мы знали, что да, дело это действительно праведное, но откуда же тогда брались эти навязчивые мысли?

Я огляделся и увидел, что рядом со мной нет Симары, моего верного ангела-хранителя. Оказалось, она идет шагах в двадцати сзади вместе с четырьмя негритянками, которых она в последнее время трогательно опекала. Вскоре она догнала меня, и я воззрился на нее с нескрываемым изумлением: как и все, обнаженная, в одной набедренной повязке, она была увешана оружием, что называется, с головы до ног. Лук размером, правда, поменьше обычного, но в сильных ее руках оружие грозное, висел у нее на левом плече рядом с колчаном, полным стрел; на поясе с одной стороны — пистолет и шомпол, с другой — нож и топорик в ножнах, на спине — плетеная корзина, суриана, с провизией.

И все это словно ничего не весило — она шла легко и мило улыбалась.

...Луна поднялась уже высоко в небо, и стало еще светлее. Около полуночи на подходе к деревне я выслал вперед разведчиков. Ничего особенного они не обнаружили, деревня Боровай спокойно спала, только лаяли собаки. Где и какой отряд должен был расположиться вдоль опушки леса, было оговорено заранее. Мы быстро окружили весь Боровай со всеми его хижинами, в основном построенными без стен, так называемыми бенабами. Селение не имело никакой ограды, а ручей, протекавший с одной стороны деревни, был совсем мелким. Это полное пренебрежение какой бы то ни было внешней защитой следовало отнести лишь на счет уверенности, что никто не посмеет напасть на самых воинственных и храбрых воинов Гвианы.

Сложенные в огнеупорные мешки тлеющие лучины выполнили свою роль. Привязанные к острию стрелы, метко выпущенной из лука, они на лету разгорались, впивались в сухие кровли хижин, и сразу же вспыхивал пожар.



Наши стрелы легко достигли центра деревни, и там начался крошечный ад. Перепуганные обитатели выскакивали во дворы, воины хватали первое попавшееся под руку оружие. Со стороны леса раздались первые ружейные выстрелы и засвистели смертоносные стрелы. Затем мощный грохот разнесся

по верхушкам деревьев: это стрелки, вооруженные дальнобойными мушкетами, дали сверху прицельный залп по воинам, метавшимся в центре селения.

Внезапность оказалась ошеломляющей — полная паника, хаос и растерянность. Казалось, отовсюду со стороны леса неслись тысячи пуль, джунгли превратились для карибов в страшное чудовище, изрыгающее убийственный град. А пули не достигали цели: вот когда сказалась многомесячная тренировка.

С трех сторон, с земли и с деревьев, лес поливал карибов огнем. С четвертой стороны, там, где деревня подходила к ручью, пока было тихо. Здесь затаились варраулы, усиленные пятью неграми Мигуэля, а на самом левом крыле — моим резервным отрядом. Лишь спустя какое-то время карибы разобрались в обстановке и бегом бросились к ручью. Но поздно. Несколько хижин горело уже и здесь, освещая поляну, так что карибы представляли собой прекрасную мишень не только для стрел, но даже и для пистолетов. Женщин и детей мы пропускали, не трогая, и они свободно убегали в лесную чащу.

Стремясь усилить среди карибов панику и не дать им прийти в себя, наши стали выкрикивать, как некий боевой клич: «Белый Ягуар!», и когда клич этот загредел со всех сторон: и со стороны леса, и от ручья, — звучало это впечатляюще и грозно, словно смертный приговор доселе непобедимым карибским воинам. Да, так оно и было. Правда, то одному, то другому карибу в суматохе удавалось достичь какого-нибудь аравака или варраула и пронзить его навывлет копьем, но случалось это редко и притом неизбежно завершалось гибелью кариба.

Часть молодых и здоровых карибок мы задержали, имея в виду использовать их для переноски добытого оружия. Этим занимались Уаки и половина его отряда на восточной окраине деревни, там, где проходила тропа, ведущая на плантацию Бленхейм. Чтобы пленницы не разбежались, правые руки их привязывали к общей веревке. Когда девушек набралось около двадцати, я подошел и спросил, все ли они карибки.

— Все, все, — нехотя откликнулись женщины.

— А я — нет, я-не карибка! — громко выкрикнула одна.

Я велел ей выйти из толпы. Оказалось, это была аравакская девушка с берегов Померуна.

— Как ты сюда попала? — спросил я по-аравакски.

— Меня похитили...

— Когда это было?

— Два года назад.

— Ты хочешь вернуться домой, на Померун?

— Конечно!

— Стань тогда в сторону, да смотри, чтобы тебя не связали вместе с карибками. А больше здесь нет чужих?

Среди задержанных оказалась еще одна девушка из другого племени — макуши. Ее тоже освободили, и она присоединилась к первой. Впрочем, и схваченным карибкам ничто не грозило: после того как они перенесут оружие в Бленхейм, мы их освободим, и они вольны будут идти, куда хотят. Не трогали мы и ребятишек. Они то и дело проскакивали сквозь наши ряды, разбегаясь во все стороны от пылающего селения и устремляясь в спасительный лес.

Деревня разбойных карибов догорала. Мы нанесли ям сокрушительный

удар, но руку нашу направляло само провидение и чувство высшей справедливости.

Я распорядился прочесать все поле битвы, подобрать раненых и брошенное оружие. Карибов, оставшихся в живых, мы не нашли, зато собрали огромное количество оружия, которое предназначали невольникам с плантации.

— Арнак, сколько примерно карибов пало в бою?

— Мы насчитали человек пятьдесят...

— Ну вот, значит, на пятьдесят охотников за рабами в здешних лесах стало меньше! А труп их вождя, этого красавца, Ваньявая, нашли?

— Нет. Похоже, его не было в деревне...

Нагрузив пленных карибок добытым оружием, в том числе несколькими совсем недурными мушкетами и ружьями, мы двинулись в обратный путь по тропе, ведущей в Бленхейм. До рассвета оставалось еще несколько часов...

К сожалению, победу в Боровое нам пришлось оплатить жизнью четырех воинов; шесть человек было ранено.

Конец плантации Бленхейм

План уничтожения плантации Бленхейм был продуман заранее и разработан столь же тщательно, как и план ликвидации деревни Боровой. Предполагалось, что, получив от нас оружие, невольники должны будут сами поднять восстание и сами покарать наиболее жестоких и безжалостных своих угнетателей.

Отряду Уаки предстояло перекрыть все дороги, ведущие из Бленхейма на север, а также на лодках отрезать путь бегства по реке: надо было, чтобы вести о бунте в Бленхейме как можно дольше не дошли до Нью-Кийковерала.

На отряд Вагуры возлагалась обязанность оказать помощь негру Виктору в организации боевых отрядов из числа рабов, при необходимости поддержать восставших. Пожалуй, наиболее трудная задача стояла перед отрядом Арнака: ему предстояло обеспечить, чтобы ни один из двух десятков вооруженных палачей-надзирателей не успел открыть огонь и вообще организовать какое бы то ни было сопротивление. Мой отряд должен был неотступно следовать за мной для охраны плантатора и его семьи.

Владельцы всех трех плантаций с семьями были нужны мне в качестве заложников. Это стало бы важной гарантией успеха при окончательном расчете с колониальными властями.

Когда мы подходили к Бленхейму, уже совсем рассвело и из-за туманного горизонта всходило солнце. Плантация была охвачена волнением. Никто не вышел на работу, все рабы, и мужчины, и женщины с детьми, стояли на открытой лужайке перед домом плантатора. Возбуждение и ярость доведенных до отчаяния людей были так велики, что хватило бы одной искры, и они, вооруженные одними палками, готовы были броситься на усадьбу.

А там, на широкой веранде, в сомкнутом строю уже стояла стража плантации с мулатом Давидом во главе, здесь же были и восемь до зубов вооруженных надзирателей — люди управляющего плантацией голландца Криссена. Криссен был для всех грозой не меньше мулата Давида. Ни самого плантатора, ни его семьи нигде не было видно; вероятно, они отсиживались в доме.

К счастью, наш друг негр Виктор сумел сдержать ярость толпы рабов. Малейший повод с их стороны мог бы привести к ужасному кровопролитию и скорее всего свел бы на нет весь план восстания. Виктор встретил нас с явным

облегчением. Принесенное карибками оружие для восставших сложили в двухстах ногах от усадьбы в поле. Восемнадцать пленных карибок перешли от Уаки под надзор Вагуры, а сам Уаки, освободившись от охраны пленниц, поспешил с частью своего отряда усилить наши дозоры, перекрывшие пути бегства с плантации Бленхейм.

Тем временем Арнак с группой своих отборных стрелков, ни на минуту не теряя связи с основными силами отряда, незаметно смешался с толпой рабов, а Вагура помог Виктору раздать принесенное огнестрельное оружие тем неграм, которые умели им пользоваться. Часть отряда Вагуры, обежав усадьбу и без труда справившись с чернокожей дворней, подожгла дом. А с противоположной стороны, у фасада, в это время Криссен и вся его вооруженная банда, не сознавая, казалось, нависшей над ними опасности, стоя наверху, на веранде, все свое внимание сосредоточили на толпе перед усадьбой. Надрываясь, Криссен изрыгал проклятия, обвиняя рабов в преступлении перед богом и людьми, грозя им страшными карами. Он все орал и орал, но сегодня его страшные угрозы никого не пугали. Рабы, вдохновленные присутствием араваков, пропускали все угрозы управляющего мимо ушей.

Вдруг в какой-то момент два сильных негра подняли на руках Виктора над толпой, и — о диво! — он резким взмахом рук и громовым голосом заставил Криссена умолкнуть. От столь неслыханной дерзости раба Криссен, казалось, не только совершенно остолбенел, но едва не задохнулся от ярости.

— Давид! — рявкнул он, обращаясь к стоящему рядом начальнику стражи и указуя перстом на Виктора. — Этот бандит сошел с ума! Застрели эту собаку! Застрели! Быстро!

Виктор находился от веранды в каких-нибудь сорока шагах, и верный как пес Давид резко вскинул к плечу ружье, но тут же он захрипел и медленно повалился на пол веранды. Горло его было навывлет пробито стрелой. Я оглянулся.

Симары поблизости не было.

— От имени группы освобождения, — продолжал Виктор по-голландски тем же громовым голосом, а Фуюди торопливо переводил мне. — Заявляю: все, кто на плантации Бленхейм издевался над людьми, будут немедленно казнены...

— Иисусе! Что здесь происходит! — во весь голос взвизгнул Криссен и, обращаясь к своим людям, скомандовал: — Огонь! Стреляйте же, черт вас побей... — и на полуслове умолк, пронзенный стрелой.

Кое-кто из его свиты, не целясь, выстрелил из ружей в толпу рабов, но чуть ли не в тот же миг все они были сражены градом пуль, пущенных из толпы, и рухнули на веранду. Оставшиеся в живых предатели бросились было к двери, чтобы укрыться в доме, но их настигли меткие пули. В одну минуту все было кончено — охраны плантации больше не существовало.

Пожар тем временем охватил усадьбу, из верхних ее окон повалил дым. Я велел Фуюди с частью моих разведчиков и Марией, хорошо знавшей расположение комнат, ни минуты не мешкая, ворваться в дом и вывести из огня семью плантатора и его самого, заверив, что их жизни ничто не угрожает. Тем не менее, когда все «святое семейство» тащили из горящего дома, они отчаянно сопротивлялись, особенно плантатор, который в слепой своей ярости отбивался ногами, фыркал и плевался.

— Скрутить его и привязать к столбу! — распорядился я.

Рыдающую его жену я велел отвести в дом и дать ей три минуты, чтобы она собрала все самое ценное, что сможет унести. В помощь ей я выделил двух разведчиков.

— Не пойду, вы хотите меня ограбить! — В глазах ее сквозь слезы сверкнула ярость.

— Глупая женщина, одумайся! — прикрикнул я на нее. — Тебе предстоит начать совсем новую жизнь...

Подгоняемая разведчиками, она наконец вняла голосу разума, бросилась к дому и через минуту выбежала, волоча за собой мешок со своими сокровищами.

Арнаку и его отряду я поручил опекать семью плантатора. Звали плантатора Рейнат.

Многие негры, немало натерпевшиеся от Рейната, хотели тут же расправиться с ним и со всей его семьей. Но более сдержанные и благоразумные вняли увещаниям Арнака и общими усилиями оттеснили обезумевших от праведного гнева людей, убедив их, что сейчас не время упиваться местью и сводить счеты, а нужно как можно быстрее уходить с плантации.

Усадьба догорала, пламя перекинулось на другие постройки, и они тоже запылали огромными кострами. Наспех сформированные Виктором и Дамном отряды негров стали готовиться в путь. Мы снабдили их в дальнюю дорогу на Бербис запасом провизии.

Конец плантации Бленбург

Вдруг все мы, и негры, и араваки, и я, замерли: со стороны реки донесся приглушенный расстоянием выстрел из мушкета, потом еще и еще один. Это не мог быть отряд Уаки, поскольку он охранял выходы с плантации Бленхейм совсем рядом, неподалеку от нас.

Выстрелы же доносились откуда-то с верховьев реки, со стороны плантации Бленбург, удаленной отсюда примерно миль на пять. Именно в той стороне увидели мы и первые клубы дыма на горизонте — явное доказательство того, что в Бленбурге вспыхнуло восстание и начался пожар.

Опрометью мы бросились на высокий берег Эссекибо. На бегу я выхватил подзорную трубу, с которой в последние дни не расставался: от плантации Бленбург по направлению к нам плыли, держась ближе к берегу, две лодки-кориали. И хотя до них было еще довольно далеко, я различил в лодках около двадцати человек, и, судя по одежде, среди них семейство господина Лоренса Зеегелаара — хозяина плантации Бленбург; все они были до зубов вооружены. По всей вероятности, хозяин плантации со своими приспешниками, управляющими, надзирателями и стражей бежали от восставших рабов и решили искать убежище в столице колонии, куда теперь в направлялись. Негры, как можно было догадаться, преследовали их по берегу, а беглецы от них отстреливались. Именно эти выстрелы мы, вероятно, и слышали.

Арнак и Вагура, взглянув попеременно в подзорную трубу, подтвердили верность моих наблюдений и вмиг поняли всю опасность сложившегося положения:

— Если кориали с этими негодьями прорвутся в столицу, нам несдобровать: завтра же на голову нам свалится погоня...

— Что делать?

— Надо их не пропустить!

— Да! — согласился я. — Действуйте, но плантатор и все его семейство должны попасть к нам в руки живыми и невредимыми...

Было решено, что Вагура со своим отрядом и половиной отряда Арнака тотчас же выведет из укрытия наши итаубы и кориаль (вторая итауба с отрядом Уаки находилась в засаде, охранявшей реку неподалеку от Бленхейма) и все три лодки с вооруженными отрядами перекроют путь по реке двум лодкам с плантации Бленбург, заставив их как можно ближе прижаться к берегу в районе Бленхейма. А тут Арнак и я довершим дело.

— Сейчас время морского прилива, и две лодки из Бленбурга едва тащатся против течения, — заметил я, глядя в подзорную трубу. — Здесь они будут не раньше, чем через час, а ты, Вагура, тем временем должен успеть со своими двумя лодками присоединиться к Уаки. Прежде всего следует снять рулевых, а потом и всех вооруженных людей, любой ценой захватив живыми плантатора и его семью.

— А если плантатор начнет отстреливаться? — попытался было возразить Вагура.

— Черт побери! — буркнул я. — Зря вы, что ли, учились метко стрелять? Разве так уж трудно будет прострелять ему руку?

Вагура ухмыльнулся, кивнув в знак согласия, и исчез со своими людьми в зарослях. Не прошло и получаса, как они на итаубе и кориали присоединились к лодке Уаки и вместе перекрыли почти всю ширину реки. По пути Вагура успел к тому же усилить нашу засаду на главной тропе, ведущей с плантации Бленхейм в столицу. Это было нелишней предосторожностью: в окрестных джунглях могли бродить жаждавшие мести карибы, которым, возможно, удалось вырваться из Боровая. Не пренебрегая никакой возможностью привлечь бленбургских беглецов к нашему берегу, я велел нескольким аравакам надеть добытые в прежних стычках карибские украшения и открыто стать на высоком берегу реки. Надменный вид этих «карибов» — верных псов голландских колонизаторов — с их страшными палицами и не менее грозными мушкетерами в руках, горделиво выставляющих напоказ белый пух королевского грифа, не мог, конечно же, не вселить радость и надежду в сердца бленбургского плантатора и его приспешников.

Завидя на середине реки три лодки Вагуры и Уаки с вооруженными воинами, а на высоком берегу среди толпы каких-то людей своих карибов, беглецы действительно стали приближаться к нашему берегу. Когда они были уже совсем близко, над рекой разнесся громкий голос Фуюди, усиленный рупором, который он предусмотрительно смастерил из древесной коры:

— Белый Ягуар повелевает: плантатору минхеру Зеегелаару и его семье немедленно сойти на берег! Белый Ягуар гарантирует им жизнь!

После короткого замешательства на обеих лодках поднялся неописуемый переполох и паника, словно в разворошенном змеином гнезде. Кто-то даже с испугу выстрелил из ружья.

— Спокойно! — вновь прогремел голос Фуюди. — Повторяю в последний раз волю Белого Ягуара! Плантатору и его семье немедленно сойти на берег! Ни один волос не упадет с их головы! На размышление — десять секунд.

Сидевшие в лодках и не думали подчиняться — они совсем потеряли голову. Один из беглецов прицелился из ружья в Фуюди, но, не успев нажать на

курок, рухнул, сраженный пулей с берега: одной из завидных черт наших воинов, кроме меткости, была их молниеносная реакция. И тут же сразу грохот десятка ружей слился в единый сокрушительный залп. С расстояния в пятьдесят или того меньше шагов все пули достигли цели.

— Осторожнее! — крикнул Фууди. — Не стрелять в плантатора и его семью!

К счастью, все семейство еще до залпа легло на дно кориала, и наши пули сверху — с берега и сбоку — с лодок никого из них не задели. Команды же обеих лодок были уничтожены полностью.

Вся операция против беглецов с Бленбурга прошла успешно. Семью плантатора Зеегелаара, состоявшую из его жены и двух малолетних детей, я передал на попечение Арнаку и его отряду.

Все более густевшие клубы дыма над плантацией Бленбург говорили за то, что рабы там довершали дело уничтожения обители своих мук, сжигая, вероятно, все, что способно было гореть. Плантации Бленбург больше не существовало.

Необычная плантация Вольвегат

Насыщенный грозными событиями, день был уже на исходе, а нам предстояло решить еще одну важную и неотложную задачу: без проволочек закончить с третьей и последней в этих краях плантацией — Вольвегат, тоже лежавшей на берегу Эссекибо. Отлив еще не начался, и, пользуясь благоприятным для нас течением, Уаки со своим отрядом на двух лодках поспешил к верховью реки, где в восьми милях от Бленхейма располагалась плантация Вольвегат.

Одновременно по суше тропой, шедшей вдоль Эссекибо, спешили на юг к Вольвегату два отряда: мой и отряд негров под командой Мартина. Арнак со своим отрядом и остальными людьми остался в Бленхейме следить за порядком и заложниками.

Вольвегат была небольшой плантацией, на которой трудилось около ста невольников. Ситуацию здесь мы застали примерно такую же, как в Бленхейме: надзиратели и охрана, всего человек десять, с оружием в руках выстроились па веранде, а возбужденная, хотя и молчаливая, толпа рабов заполняла двор перед усадьбой. Ни плантатора, ни его семьи не было видно, — вероятно, они укрывались внутри усадьбы. Меня удивило, что среди рабов здесь были не только негры, но и индейцы, чего не было на других плантациях.

В Вольвегат наши отряды прибыли одновременно, мы — по суше, а Уаки — па лодках по роке. Уаки, едва высадившись на берег, бросился к заднему двору, собираясь поджечь усадьбу, но я его решительно остановил.

Отличие плантации Вольвегат от иных состояло еще и в том, что стражники и надзиратели здесь не производили впечатления воинственно настроенных. Видя, как мы, увешанные с головы до ног оружием, дружески обнимаемся с невольниками, они заметно струхнули.

— Бросай оружие и сдавайся! — крикнул им Фууди по-голландски. — Дальнейшую вашу судьбу решит суд невольников плантации Вольвегат...

В ответ один из охранников в гневе вскинул ружье и направил его на Фууди. Два выстрела грохнули одновременно, слившись в один, и коварный враг, обливаясь кровью, осел на пол веранды. О, достойные плоды наших тренировок на Ориноко! Остальных Фууди уговаривать не пришлось — все сразу же

стали поспешно бросать не только огнестрельное оружие, но и кинжалы и ножи, а сами, потупясь, отходить в сторону.

Плантация Вольвегат действительно отличалась от других и была не совсем обычной. Поручив двум разведчикам найти и привести плантатора и его семью (плантатора звали Карл Риддербок), я спросил Мартина, как нам, по его мнению, следует поступить со службой: ведь все-таки все они, за исключением одного не в меру горячего глупца, сдались добровольно, без сопротивления. Не убивать же их теперь ни с того ни с сего? Мартин, да и Уаки тоже несколько растерялись.

— Ладно, — решил я, — ответ нам дадут сами невольники с плантации Вольвегат. Пусть решают они.

— О-ей! — согласились Мартин, Фуюди и Уаки. — Да будет так!

— А я думаю иначе! — возразил, насупившись, шаман Арасибо. — Все они угнетатели, потому у них и ружья. Я всех бы их перебил, они того заслужили! Но мы знаем, Белый Ягуар, ты этого не любишь. Хорошо, пусть решают рабы.

Мартин немедля тут же собрал нескольких старших по возрасту невольников, и, отойдя чуть в сторону, мы стали с пристрастием их расспрашивать. Но, черт побери, это действительно была какая-то необычная плантация! Рабы не могли сказать ничего дурного о своих надзирателях; над ними здесь не издевались, не мучили и не подвергали пыткам, как это было на других плантациях. Да, их заставляли работать, но не сверх сил, а главное — здесь не морили голодом и вполне сносно кормили.

— Хорошо, восьмерым стражникам и надзирателям сохраним жизнь! Не тронем и плантацию! — решил я, и все со мной согласились, даже наш непреклонный Арасибо.

Тем временем разведчики, обнаружив плантатора и его семейство в дальних комнатах дома, вывели их на веранду. Семья состояла, кроме самого господина Риддербока, еще из четырех человек: двух женщин, одной постарше — жены плантатора, и другой — помоложе, лет двадцати, и двух детей.

— А кто эта молодая особа, родственница плантатора? — спросил я.

— Нет, это гувернантка.

— Как ее зовут?

— Моника.

Я смотрел на эту молодую девушку как на некое чудо. Она, как и множество других ее соотечественников на плантациях Гвианы, была голландкой, но как же разительно отличалась от них совсем иным, удивительно мягким и человечным выражением лица! В лицах других голландцев, не только мужчин, но и женщин, а часто даже и детей, сквозило, как правило, что-то на редкость жестокое, грозно-властное, более того — безжалостное, а часто и попросту свирепое. У нее же, у этой Моника, все было совсем иным: лицо приветливое, глаза лучились добротой, и, кроме того, она была красивой, очень красивой. В этой голландской Гвиане мне довелось быть свидетелем столь ужасных сцен, видеть столько злых, безжалостных и беспощадных глаз, что эта необыкновенная Моника показалась мне выходцем из каких-то иных земель, из какого-то совсем иного, лучшего мира.

— Фуюди, черт побери! — воскликнул я. — Неужто она, эта Моника, и впрямь голландка? Спроси!

Фуюди перебрисился несколькими словами с плантатором, потом с самой

Моникой и заявил, что да, она действительно чистокровная голландка.

Воистину плантация Вольвегат была необычной, а ее владелец, минхер Риддербок, выглядел менее жестоким, чем другие голландские плантаторы, с которыми мне до сих пор приходилось сталкиваться. И надзиратели у него были получше. Во всяком случае, почти все рабы выразили желание остаться на плантации, и только человек двадцать — пятая часть всех невольников — решили присоединиться к группе Мартина и пробираться с ним сквозь джунгли к свободным джукам, на реку Бербис.

Посоветовавшись накоротке со своими друзьями, я готов был к беседе с плантатором, его семьей, надзирателями и стражей.

— Принимая во внимание желание большинства рабов Вольвегат, — заявил я, — мы решили согласиться с их просьбой плантацию не уничтожать, а персоналу даровать жизнь. Но вплоть до особого распоряжения никому не разрешается покидать Вольвегат. Всякий ушедший с нее будет без предупреждения убит на месте нашими патрулями. По просьбе большинства рабов минхеру Риддербоку и его супруге разрешается остаться в Вольвегате, а в качестве заложников мы возьмем с собой только его детей, опекать которых будет голландка Моника. По нашей вине с их голов не упадет ни один волос, разве что по вине плантатора или колониальных властей столицы...

В ответ жена плантатора разразилась потоком протестующих стенаний, но я довольно резко оборвал ее. Дав знак Уаки собрать оружие, брошенное стражей на пол веранды, я суровым взглядом окинул плантатора и, сдерживая гнев, проговорил:

— Мне стало известно, что на плантации Вольвегат в качестве рабов содержится более двадцати индейцев, силой уведенных из племени макуши. Так ли это?

Вопрос был праздный, поскольку факт этот не вызывал сомнений, и плантатор не мог его отрицать, а потому растерянно молчал.

— Так ли это? — повторил я громче.

— Так! — испуганно выдавил из себя плантатор.

И тут на помощь ему решил прийти управляющий. Резко, чуть ли не гневно, как человек, которого незаслуженно обидели, он вскрикнул:

— Мы купили их законно и недешево за них заплатили!

— Ах так! У кого же вы их купили?

— У карибов...

— Ага, у карибов, у этих отъявленных разбойников и ловцов живого товара! Ваше имя?

— Ван Пиир, управляющий плантации Вольвегат. Все покупают пленников у карибов! — добавил он с вызовом в голосе.

— На ком лежит вина за покупку макуши — на вас или на вашем хозяине?

— Я убедил минхера Риддербока купить макуши! — ничуть не смущаясь, самоуверенно и даже надменно ответил ван Пиир.

— Я — Белый Ягуар, друг и защитник мирных индейцев. Я освобождаю макуши, а вы, господин ван Пиир, отправитесь в качестве нашего пленника на реку Бербис к тамошним джукам!

Протесты, возмущение и даже открытое сопротивление наглого управляющего ни к чему не привели. Два аравака схватили ван Пиира и крепко связали ему руки за спиной. Мартину я поручил доставить его на Бербис и там сдать

кому надо. Я попросил Мартина включить в свою группу и тех двадцать невольников и невольниц, которые не захотели остаться в Вольвегате.

Освобожденным макуши мы роздали оружие и боеприпасы, отобранные у стражников плантации, и две отличные лодки, пожелав им поскорее добраться до родных мест на реке Бурро-Бурро в саваннах Рупунуни. Остальные лодки, принадлежавшие Вольвегату, мы забрали себе. Попрощавшись с плантатором Риддербоком и его женой и еще раз заверив их в полной безопасности детей и гувернантки Моники, мы, не теряя более времени, поспешили в Бленхейм. Здесь все оказалось в порядке: несколько сот освобожденных негров, щедро снабженных провизией и, что еще важнее, большим количеством оружия, были уже готовы в путь на восток, к реке Бербис, под руководством Мартина. Было отрадно видеть, с какой радостью и надеждой отправлялись они навстречу новой жизни.

Солнце клонилось к западу — самое время нам покинуть эти окрестности. Пепелища двух плантаций были грозным предостережением и свидетельством бесчеловечной колониальной политики голландцев в Гвиане.

Всем пятерым взрослым заложникам: двум плантаторам, их женам и Монике — на время путешествия по реке мы завязали глаза, не желая показывать им путь к нашему убежищу в окрестностях плантации Бленхейм. Здесь мы дождались ночи, а потом на лодках переплыли на другую сторону Эссекибо, где в укрытии стояла на якорях наша славная шхуна. Прибыв на место и разместив заложников в просторной каюте, мы сняли с их глаз повязки.

Поручив верным своим друзьям — Арнаку, Вагуре, Уаки и Фуюди — стеречь пленников, а лучшим воинам — охрану шхуны, я бросился в гамак и после целых суток сверхчеловеческого напряжения почти мгновенно уснул как убитый. Сон мой, как всегда, охраняла Симара.

Беречь как зеницу ока!

Проспав более десяти часов кряду, я проснулся бодрым и отдохнувшим. Здоровый организм быстро восстановил свои силы. Симара приготовила сытный обед, а Арнак доложил мне, что ночь прошла спокойно: никаких лодок из столицы на реке не появлялось — похоже, туда еще не дошли вести об уничтожении двух плантаций и карибской деревни Боровай. Пока я спал, как видно, шел сильный дождь — над шхуной были растянуты для защиты насквозь промокшие паруса.

Вечерело. В лесу разноголосым хором заливались птицы, над рекой с берега на берег пролетали попугаи, и среди них порой величественные ара. После прошедшего ливня из-за туч выглянуло солнце и окрасило противоположный берег яркими красками. Эта идиллическая картина действовала на меня успокаивающе, словно целительное лекарство, и робко, как бы пугаясь, освобождала душу от тягостных воспоминаний о пролитой крови и всех ужасах истекшего дня.

Воспрянув духом, я созвал своих ближайших соратников и объявил, что хочу сегодня же, еще до наступления темноты, со всей серьезностью побеседовать с нашими заложниками, устроив нечто вроде торжественного приема или, быть может, даже суда. Для вящей важности на церемонии должны присутствовать все, кроме дозорных, в полном боевом снаряжении. Я в мундире капитана буду сидеть. За мною стоя расположатся предводители отрядов и Симара, которая тоже будет стоять, Заложников разместить напротив, разрешив

женщинам и детям сесть на палубу, а плантаторы пусть стоят.

Прежде чем вывести голландцев из каюты на палубу, я распорядился натянуть вдоль борта шхуны паруса с таким расчетом, чтобы закрыть вид на реку и не дать пленникам возможности сориентироваться на местности.

Итак, мы заняли места: я — сидя, за мной стоя в одном ряду: Арнак, Вагура, Уаки, Мендука, Мигуэль и Арасибо, а рядом, чуть в стороне, — Симара. Фуюди как переводчик встал рядом со мной.

Из каюты на палубу вывели заложников. Надо было видеть гневные лица Хендриха Рейната и Лоренса Зеегелаара, когда им велено было стоять, а женщинам и детям разрешили сесть на палубу.

— Мы тоже стоим! — миролюбиво заметил Фуюди, показывая на себя и всех остальных.

— Я пригласил вас, — начал я, — чтобы внести ясность в некоторые вопросы, непосредственно вас касающиеся. Итак, первое: все вы, двенадцать человек, мужчины, женщины и дети, являетесь нашими пленниками-заложниками, и вам ничто не угрожает, если вы будете вести себя благоразумно, а колониальные власти в столице не проявят безразличия к вашим жизням...

Хендрих Рейнат, отличавшийся непомерной спесью я врожденной грубостью, вскипел от бешенства.

— Я протестую против насилия! — вскричал он, теряя всякое самообладание. — Негодяй! Тебя ждет за это виселица!

— Вполне возможно, но в таком случае прежде лишатся жизни все заложники.

— Подлец! Я свободный гражданин...

— Минхер Рейнат! Еще одно оскорбление, и вы будете наказаны, как непослушный мальчишка...

Рейнат побагровел, но счел за благо умолкнуть.

— Надеюсь на ваше благоразумие и трезвый подход к сложившейся ситуации, — продолжал я. — А сейчас попрошу кратко рассказать о себе. Господин Лоренс Зеегелаар, где и когда вы родились?

— В Амстердаме, в 1693 году.

Ему было тридцать пять лет. Никаких школ он не кончал. Отец его — купец и единственный учитель — послал его в Гвиану заложить плантацию сахарного тростника.

Хендрих Рейнат, сорока лет, точно так же не имел образования и вообще каких-либо признаков принадлежности к цивилизованной нации. Алчное стремление к обогащению на плантациях сахарного тростника за счет чудовищной эксплуатации рабов с помощью кнута, террора и пыток — вот его единственный принцип и жизненное кредо.

— Все системы колониального угнетения позорны и унижительны для человека, — прервал я разглагольствования плантаторов, — но ваша, голландская, — самая гнусная и бесчеловечная из всех: она основана на беспощадной, изуверской эксплуатации раба, который после двух-трех лет изнурительного труда вышвыривается вами как ненужная тряпка, если не умирает сам от голода и побоев...

— Но вы тоже несправедливы к нам, — попытался перейти в наступление Рейнат.

— Несправедлив? Я? — Впору было расхохотаться.

— Да, несправедливы! — повторил Рейнат. — Нас двоих и наши семьи вы взяли заложниками, а Карла Риддербока и его жену с плантации Вольвегат соизволили милостиво отпустить. Вот уж воистину объективность! — с иронией в голосе закончил он.

— Так решил не я, а невольники плантации Вольвегат.

— Не понимаю.

— Конечно, вам, минхер Рейнат, трудно меня понять. Но вот вопрос к вам: помните ли вы тех несчастных беглецов с вашей плантации, которых недели три назад схватили карибы и по вашему велению препроводили в столицу для жестокой над ними расправы?

— Припоминаю, — спокойно ответил Рейнат. — И что же из этого следует?

— Вы постарались, конечно, чтобы слухи об этой экзекуции дошли до ушей всех ваших рабов на плантации?..

— Ну и что же?

— А то, что тем самым вы и решили свою дальнейшую судьбу. Неужели, черт возьми, вы не видите, что творится в вашей богом проклятой колонии? Что в ответ на бесчинства, издевательства и муки, которым вы подвергаете своих рабов на плантациях, они повсюду: на нижней Бербис и на Вируни, на Викки и на Демераре, и здесь, на Эссекибо, — поднимают бунты. Что везде, куда только ступает безжалостный башмак голландского колонизатора, земля под ним становится пороховой бочкой? Неужели в тупой своей спесивости вы всего этого не замечаете?! Ведь в день, когда вспыхнул бунт на плантации Бленхейм, вы и ваша семья, включая и трех ваших детей, должны были первыми пасть и пали бы жертвой справедливого возмездия, не вмешайся вовремя мы, араваки. Об этом, конечно, вы, ваша милость, недальновидный минхер Рейнат, уже забыли?

— А что же принудило почтенных араваков к столь великодушному шагу?

— Война есть война. Вы нам нужны как заложники на случай возможных неумных шуток со стороны голландских властей в столице...

— И как долго вы намерены держать нас в этом унижительном положении?

— Это зависит не только от нас. Через два-три дня мы предполагаем покинуть эти места и вернуться к себе на Ориноко, нанеся по пути визит вашему генеральному директору Карлу Эмилю Хендриху ван Хусесу, который, как я слышал, переживает сейчас печальные дни: его плантация, кажется, тоже пошла прахом, и рабы сожгли ее к свиньям собачьим...

К этому известию голландцы отнеслись с некоторым сомнением, по заметно помрачнели, а физиономии их вытянулись.

— Значит, через два-три дня в столице вы нас освободите? — попытался уточнить Зеегелаар.

— Увы, нет! Вы отправитесь с нами на Ориноко. Позже туда придут посланцы голландской администрации, и там мы передадим им вас, если, конечно, голландские власти того пожелают.

Среди заложников воцарилось грустное молчание — перспектива была малоаманчивой. Беспокойство наконец стало всерьез охватывать их умы и души.

Зеегелаар, похоже, более уравновешенный и рассудительный, чем Рейнат, отрешенно покачал головой:

— Чем же мы против вас провинились?

— Минхер Зеегелаар, не надо притворяться, вы живете не на Луне, да и возрастом, кажется, уже не ребенок! Вы издавна стравливаете индейские племена в своих грязных, корыстных целях. Два самых воинственных и кровожадных племени Гвианы, акавоев и карибов, вооруженных вашим оружием, вы не первый год натравливаете на другие индейские племена и с их помощью добываете себе рабов. Жертвами их становятся, как правило, мирные племена, живущие в разных районах континента. Один такой разбойный отряд акавоев по вашему наущению пытался несколько месяцев назад захватить в рабство, а в случае сопротивления уничтожить индейцев в низовьях Ориноко. Но на этот раз случилась осечка. Араваки оказались вооруженными и готовыми к отпору. Тогда акавои напали на наших соседей и братьев — варраулов. Однако и тут они споткнулись — мы уничтожили почти всех, а их в отряде было около ста человек. Неужели вы ничего не слышали об этом поражении голландцев?

— Да, да, конечно, кое-какие слухи до нас доходили, — ответил Зеегелаар. — Это было поразительно! Поначалу нам даже не верилось...

— А поверите ли вы, что подкупленная вами деревня карибов Боровай позавчера ночью, незадолго до разгрома ваших плантаций, перестала существовать?

Они тупо молчали, души их, как видно, все больше парализовал ужас. Все это как-то не укладывалось в их примитивных головах.

— Да кто же вы все-таки, сударь? — запинаясь, пробормотал Зеегелаар.

Я усмехнулся:

— Друг индейцев и враг негодяев, бездельников и безжалостных изуверов в человеческом облике!..

Оба голландца заметно пали духом.

— Сударь, уж не тот ли вы призрак, которого индейцы нарекли Белым Ягуаром?

— Призрак?! Ха-ха, возможно, я и призрак..

Солнце касалось вершин деревьев. Я счел беседу законченной, заложников отвели обратно в каюту и заперли на ключ. Женщины занялись приготовлением ужина, а я, собрав своих друзей — Арнака, Вагуру, Уаки, Мендуку, Фуюди и Симару — в тесный круг, со всей строгостью сказал, указывая на каюту:

— Ни на минуту не спускать с них глаз!

А для придания своим словам вящей значимости повторил:

— Беречь как зеницу ока!

И снова карибы

В течение двух дней велась подготовка к нашему отплытию сначала в столицу, а потом домой, на Ориноко; важная роль в этой работе отводилась подготовке оружия: его чистили, смазывали, чинили. Впереди меня ждали трудные переговоры с голландскими властями в столице, но это уже последнее усилие перед возвращением на Ориноко.

На третий день после беседы с плантаторами я уснул вскоре после наступления темноты, но ненадолго: кто-то начал осторожно меня будить. Это был один из наших дозорных.

— Белый Ягуар, вокруг нас кружит какая-то чужая лодка с неизвестными людьми... — шепнул он.

Сон мгновенно слетел с меня. Ночь казалась очень темной, хотя на небе тут

и там мглисто мерцали звезды. Привыкнув немного к темноте, я действительно заметил на реке, на расстоянии каких-нибудь двадцати шагов, большую лодку, не то кориаль, не то итаубу, полную гребцов. В какой-то миг с лодки донесся приглушенный женский, как мне показалось, голос: кого-то окликнули по имени... И меня вдруг осенило.

— Скорее зови сюда Вагуру и его жену-макуши, — шепнул я на ухо дозорному.

Оба тут же прибежали. Я велел женщине окликнуть плывущих на ее языке. С лодки сразу же ответили.

— Там моя сестра, — пояснила жена Вагуры. — Это лодка с индейцами-макуши.

Лодка подплыла к борту шхуны. Одного из гребцов, говорившего немного по-аравакски, и сестру мы подняли на палубу.

Они сообщили нам тревожное известие. Когда двадцать индейцев-макуши, которых мы недавно освободили на плантации Вольвегат, находились уже в двух днях пути от плантации, далеко впереди на реке показались три кориалья. Макуши успели скрыться в зарослях, оставшись незамеченными.

К их ужасу, оказалось, что в плывших им навстречу кориальях было около полусотни связанных индейцев макуши и примерно двадцать вооруженных воинов-карибов. Уже вечерело, а когда чуть спустя сумерки совсем стухли, одна из итауб, на которой находилась сестра жены Вагуры, решила вернуться и под покровом темноты опередить лодки разбойных карибов. Пришлось изо всех сил налечь на весла. Они гребли всю ночь, весь следующий день и еще день, пока не добрались до нас, чтобы предупредить о приближающейся флотилии карибов.

По тревоге мы подняли на ноги всю шхуну.

— Братья, — обратился я к своим воинам, — наш долг — освободить пленных макуши...

Все горячо меня поддержали. Уаки и его отряду поручалось остаться на шхуне и обеспечить ее охрану, а всем остальным с ружьями, копьями, палицами и луками на трех итаубах и двух яботах отправиться вверх во Эссекибо.

Плывя вверх по реке и внимательно следя, чтобы карибы не проскочили мимо незамеченными, мы через три часа достигли плантации Вольвегат. Только что минула полночь, небо было затянуто тяжелыми тучами, густая тьма окутывала все вокруг. Наши предположения оправдались: карибы прибыли сюда незадолго перед нами, вероятнее всего, поздним вечером. Бросив якоря шагах в ста от берега, мы выслали на разведку две яботы.

Все три карибских кориалья были пришвартованы у берега и оказались пустыми. Не было даже часовых. Карибы ночевали на берегу, а пленных макуши заперли, как удалось установить, в сарае, где прежде содержались освобожденные нами пять дней назад их соплеменники.

Прежде всего следовало без шума завладеть лодками карибов и отогнать их в другое место. Поэтому, выслав отряды Арнака и Вагуры на двух итаубах с задачей высадиться на берег ниже плантации по течению, выйти в обход к сараю с макуши и, укрывшись, занять там позицию, сам я со своим отрядом и варраулами Мендуки решил завладеть кориальями.

Мы подплыли к лодкам, держа наготове луки. Два варраула соскользнули с ябот в воду и ножами разрубили веревки, которыми лодки были привязаны.

На все это понадобились считанные минуты, и лодки стали медленно отдаляться от берега.

Увы, часовой все же был и скрывался на самом берегу, где-то в зарослях. Заметив уносимые течением лодки, он одним прыжком вскочил в ближайшую и схватил весло, но несколько стрел, пущенных одновременно с нашей итаубы, вонзились ему в сердце и в шею: он не успел даже издать стона.

Один из варраулов спустил тело незадачливого часового в воду и погнал кориали в безопасное место.

Соблюдая все меры предосторожности, мы приблизились к берегу и там, где только что стояли лодку карибов, бесшумно, как тени, с луками на изготовку высадились на обрывистый в этом месте берег. Обрыв был невысокий — метра два-три, и мы, особенно не высовываясь из-за него, могли видеть большую часть территории плантации. Впереди, шагах в ста от нас, темнел едва заметным пятном сарай, в который загнали несчастных макуши. Чуть в стороне высилась небольшая рощица из двух-трех десятков раскидистых деревьев. Было похоже, что именно под этими деревьями разбили лагерь карибы.

Растянувшись в цепь вдоль обрыва на несколько десятков шагов, в двух-трех шагах друг от друга, и вооружившись терпением, мы решили ждать так до рассвета. Беспокоила меня лишь неуверенность: действительно ли карибы разбили свой лагерь в роще, а не в другом месте? К счастью, в течение последующего часа сомнения мой несколько рассеялись.

— Ян, там что-то движется, — шепнул лежавший рядом со мной Мендука, показывая взглядом на рощицу.

И действительно, минуту спустя из-за деревьев появился человек, шедший к реке в нашу сторону. Это был кариб.

— Стрелять точно в сердце и в шею! — шепотом напомнил я ближайшим от меня воинам. — Подпустить на десять-пятнадцать шагов!..

Когда заспанный кариб приблизился, из четырех луков сразу свистнули четыре стрелы, и все попали в цель: две в сердце, две — в шею. Кариб рухнул, не издав ни звука. «Вот что значит постоянная тренировка!» Про себя я от души поздравил моих верных друзей.

Новые опасения охватили меня, когда я сообразил, что к предполагаемому месту карибского лагеря вплотную примыкают густые заросли леса. Его мы под наблюдение не взяли. В случае преждевременной тревоги карибы могли уйти в лес и стать для нас весьма опасной угрозой.

Я поделился своими опасениями с Мендукой и велел ему обходным путем добраться до Арнака и Вагуры, занимавших позиции где-то вблизи сарая с индейцами макуши, и передать им мой приказ: силами одного отряда отрезать карибский бивак от леса.

— И тут же возвращайся назад, — напомнил я Мендуке. — Карибы, конечно, сразу же бросятся в нашу сторону, чтобы прорваться к реке и к своим кориалам. Ты будешь мне нужен здесь!

— Ясно!

Вернувшись через полчаса, Мендука доложил, что все исполнено — отряд Арнака занял опушку леса за лагерем карибов.

В сложившейся напряженной обстановке любая непредвиденная мелочь могла стать чреватой нежелательными последствиями. Так и случилось. Но-

чью, вернее, уже к исходу ночи, в предрассветном сумраке один из карибов, проснувшись, направился в кусты на опушке леса. Наткнувшись неожиданно на засаду, он, хотя и был тут же прошит навывлет стрелами, успел крикнуть и поднять тревогу.

С обеих сторон сразу же поднялась пальба: сначала из ружей, а потом и из луков. Наткнувшись на отряд Вагуры и понеся потери, карибы бросились вон из роци к реке, к оставленным здесь лодкам, и попали под огонь моего отряда.

Хотя предрассветные сумерки еще не рассеялись, но бегущие в нашу сторону фигуры различались отчетливо. Их было человек десять.

— Подпустите ближе! — скомандовал я. — Стрелять только наверняка!

Бегущие буквально нанизывались на наши стрелы и огонь мушкетов. Не прошло и нескольких минут, как все было кончено — отряд карибов перестал существовать. Огонь стих.

И тут вдруг с противоположной стороны поля боя, оттуда, где лес примыкал к роце, донеслись тревожные возгласы и крики. Мне словно нож вонзили в сердце: так ли я понял? Арнак тяжело ранен? Я окликнул Арасибо, еще нескольких человек, в мы со всех вот бросились на крики. Арнак лежал, истекая кровью, бледный, как полотно, — правый его бок был навывлет пробит пулей. Он, видимо, был без сознания, глаза закрыты.

Я в отчаянии опустился перед ним на колени:

— Арнак, дорогой! Верный мой друг! Брат мой! Брат!

Арасибо, оттолкнув меня, стал судорожно его ощупывать. Потом достал из мешочка какие-то только ему ведомые травы и принялся обкладывать ими пулевые отверстия. Кровотечение сразу же заметно уменьшилось. Тут же связали носилки. Все любили Арнака как брата.

Его отряд понес в бою потери: одного убитым, двух ранеными, хотя, правда, нетяжело.

Осторожно повернув Арнака на бок и внимательно осмотрев его раны, Арасибо поднял на меня глаза и хриплым своим голосом буркнул:

— Будет жить!

Мы сразу ему поверили — мы хотели верить.

Пленных макуши тем временем выпустили из сарая, отдали им все собранное на поле боя оружие, три карибских кориала и проводили по Эссекибо на юг.

Светало. На обратном пути к шхуне мы решили сделать привал и, укрывшись в прибрежных зарослях неподалеку от плантации Бленхейм, положили Арнака в тени деревьев на мягкую подстилку. Арасибо тут же разослал половину воинов в джунгли на поиски нужных для исцеления Арнака трав. Никогда, наверное, прежде мы с таким усердием не ползали по гвианским джунглям, как в тот раз в поисках целебных трав.

Сестра жены Вагуры, та смелая девушка, что предупредила нас о приближении карибов, не захотела плыть на юг со своими соплеменниками и осталась с нами.

Это была юная, миловидная и, похоже, очень добрая индианка.

— Почему ты хочешь остаться у нас? — спросил я ее. — Мы ведь скоро возвращаемся на север, на Ориноко.

— Я хочу остаться с вами! Арнак совсем один, и о нем некому заботиться! Я

буду о нем заботиться, и тогда он поправится.

Я испытующе посмотрел ей в глаза:

— Он тебе нравится?

— О да, господин, нравится! — ответила она с чувством. — Он очень мне нравится! Я его вылечу!

— Как твое имя?

— Хайами!

— О-ей, Хайами! Оставайся с ним и верни Арнаку здоровье! Помогай во всем Арасибо!..

Когда опустилась ночь, мы выплыли из временного своего убежища и спустя час достигли заводи, где на якоре стояла наша шхуна.

Здесь все было в порядке.

В ту же ночь я выслал на яботе двух лучших разведчиков проверить, по-прежнему ли безопасен тот залив неподалеку от столицы, что так надежно укрывал нас в первые дни.

Снова в логове льва

На следующий день, часа через два после наступления темноты, разведчики вернулись с добрыми вестями: в заливе под Нью-Кийковералом ничто не изменилось, и, похоже, никто посторонний туда не наведывался. Было время отлива, мы быстро мчались в ночной тьме вниз по реке вместе с нашими лодками и еще задолго до рассвета оказались у цели своего путешествия. На реке лежал туман. Мы спокойно вошли на шхуне в залив, окруженный со всех сторон дикими зарослями.

Весь следующий день мы отдыхали на шхуне и лечили Арнака. Молодой сильный организм давал себя знать — Арнаку стало чуть легче, жар заметно спал, и в нас вселилась надежда на скорое его выздоровление.

Под вечер мы стали готовиться к визиту в резиденцию генерального директора. Для охраны я решил взять с собой три отряда: мой, Вагуры и Уаки. Вышли ночью и уже знакомой нам тропой направились к столице. Часа через четыре, на рассвете, достигли опушки леса, в полумиле от которой стоял дом губернатора. Шагах в двухстах от резиденции, слева от нас, располагались приземистые казармы гарнизона, возле которых слонялось человек двадцать солдат. Отсюда могла исходить главная угроза.

На опушке под сенью крайних деревьев я надел на себя капитанский мундир и собрал своих друзей на короткое совещание.

— Итак, напоминаю еще раз: в здание резиденции со мной пойдет только Фуюди. Отряд Уаки останется здесь как прикрытие и будет следить за местностью и особенно за казармой. Отряд Вагуры будет ждать меня во дворе, с задней стороны дома, а мой отряд — на поляне перед главным входом: и делайте вид, будто болтаетесь здесь от нечего делать...

Когда я входил в подъезд, рабочий день в резиденций уже начался. В приемной я попросил писаря доложить обо мне секретарю. И на этот раз прошло немало времени, прежде чем тот соизволил нас принять. Секретарь с по-прежнему румяным лицом и какими-то мертвыми глазами за стеклами очков встретил меня с плохо скрываемой враждебностью:

— Вот уж никак не ожидал вашей милости!

Говорил он по-английски, но с лица его, все более бледневшего, не сходило выражение враждебности.

— Видит бог, не ждал...

— Как это возможно? — в свою очередь, удивился я. — Ведь мы ясно договорились встретиться через месяц для получения ответа от его превосходительства ван Хусеса на письмо губернатора Каракаса. И вот я здесь.

— Никакого ответа не будет! — решительным тоном ответил секретарь.

Такой поворот дел я принимал в расчет, но, честно говоря, был им несколько ошарашен.

— То есть как не будет ответа?! — переспросил я. — Как следует это понимать?

— Очень просто: буквально. У его превосходительства ван Хусеса не было времени...

Я поглубже вдохнул, чтобы не разразиться в ответ бранью и не дать волю гневу. Чуть успокоившись, я миролюбиво произнес:

— Хорошо, но я хотел бы просить о личной встрече с его превосходительством.

— Это невозможно! — ответил секретарь. — Его превосходительства нет в городе...

— Как, опять нет?

— Увы, нет, мистер Бобер...

— Но минхер Снайдерханс, по крайней мере, здесь?

— Минхер Снайдерханс здесь.

В этот момент дверь в кабинет Генриха Снайдерханса распахнулась, и он предстал перед нами собственной персоной, о чем-то сразу возбужденно заговорив вполголоса с секретарем по-голландски.

Поведение хозяев было явно пренебрежительно-вызывающим.

Я огляделся. Под окном стояло кресло. Кивком головы я велел Фуюди придвинуть его к столу, сел и жестом предложил Снайдерхансу сделать то же. Растерявшись, от моей наглости, он молча сел. Почти минуту длилась полная тишина. Потом я проговорил:

— Собогаволите, ваша милость, внять голосу рассудка, и поговорим серьезно, как пристало культурным людям...

— Культурным? — с издевкой рассмеялся Снайдерханс.

— Конечно, я понимаю, культура — качество, присущее далеко не всем, однако давайте все-таки попробуем. Попробуйте хотя бы на миг представить себя людьми культурными и отрешиться от ваших проблем на плантациях, от бунтов измученных вами рабов, от бесчеловечной жестокости в обращении с ними. Станьте, прошу вас, хоть ненадолго нормальными людьми, и давайте трезво, как добрые соседи, поразмыслим о наших делах...

Оба голландца взирали на меня с мрачным бешенством, но вид моего с ног до головы вооруженного отряда, стоявшего во дворе, смирял их пыл.

— Итак, осмелюсь, — продолжал я, — еще раз покорнейше просить его превосходительство ван Хусеса дать письменный ответ на обращение губернатора Каракаса. То есть я прошу письменного заверения, что голландцы никогда впредь не станут натравливать разбойные отряды карибов и акавов на мирные индейские племена.

— А если его превосходительство ван Хусес не захочет подписать такое письмо?

— Ну что ж, тогда война. Будут гибнуть голландцы, карибы и акавои, го-

реть голландские плантации, на плантациях будут восставать негры-рабы, восстания охватят берега рек Коттика, Демерара, Эссекибо, Бербис, Вируни... Тогда, возможно, будут обречены на смерть или, уж во всяком случае, на долгие годы тяжкого плена двенадцать голландских пленников-заложников...

— Какие заложники? Кто они? Что за вздор вы несете? — подпрыгнул в кресле Снайдерханс.

— Какие заложники? Как, разве вы не знаете? Это владельцы трех восставших плантаций на Эссекибо. Ваши соотечественники, которых мы спасли от гнева восставших рабов, взяв их под свою защиту в качестве заложников...

— Где они, черт вас побери? — прервал меня Снайдерханс.

— О, не тревожьтесь! Они в надежном месте, и пока им ничто не угрожает.

— Вы можете назвать нам их имена? — вмешался секретарь.

— Конечно, отчего же нет. Это минхер Хендрих Рейнат, бывший владелец плантации Бленхейм, его жена и трое их детей; минхер Лоренс Зеегелаар, бывший плантатор Бленбурга, его жена и двое их детей; это, наконец, мисс Моника ван Эйс, гувернантка плантатора Карла Риддербока из Вольвегата и двое его детей.

Секретарь наклонился к Снайдерхансу и что-то зашептал ему на ухо. Потом оба мрачно уставились на меня.

— И что же их ждет? — резко спросил Снайдерханс.

— Они будут нашими гостями, — ответил я, — до тех пор, пока его превосходительство ван Хусес не пришлет за ними своего полномочного представителя, который одновременно доставит письменный ответ на послание губернатора Каракаса.

— А если его превосходительство ван Хусес все-таки откажется дать письменный ответ? — с упрямством, достойным лучшего применения, повторил Снайдерханс.

— Ну что ж! Я уже говорил: взрослые останутся заложниками, а детей придется, вероятно, отправить в какой-нибудь испанский монастырь на воспитание... Одним словом, мы ждем ответа на острове Каииве, в нижнем течении реки Ориноко, в течение трех месяцев, считая с сегодняшнего дня...

— А какие у нас гарантии, что вы сдержите свое обещание?

— О, ну конечно! — Я встал, давая понять, что считаю переговоры оконченными. — Конечно, я понимаю, голова у вас идет кругом от возникших забот, которые вы сами же и породили своей недальновидностью и жестокостью. Неудивительно поэтому, что вы не отдаете себе отчета, с кем имеете дело...

— Мы знаем, с кем имеем дело! — буркнул Снайдерханс.

— А если знаете, то как смее сомневаться в том, что мы выполним свои обещания? Да, кстати, вам следует знать и еще одно: если вы вздумаете послать в погоню за нами своих солдат, не забудьте позаботиться об их вдовах.

Не говоря больше ни слова, я слегка поклонился, и мы вышли из комнаты. Не прошло и минуты, как мой отряд и отряд Вагуры спешно направились к опушке леса, и мы не мешкая двинулись прочь по широкой тропе, ведущей от столицы на юг.

На бегу я стащил с себя неудобный капитанский мундир и бросил его Симаре.

«Довольно, довольно с меня кровопролития! Прочь из этих краев, краев больших полноводных рек и бескрайних лесов, краев прекрасных, но искале-

ченных безжалостным сапогом голландских колонизаторов и жестоких поработителей!» Скорее бежать из этого ада человеческой алчности и ужаса колониального рабства и угнетения — это становилось непреодолимой потребностью моего разума, души и сердца.

Часа через два после захода солнца под темным пасмурным небом начался морской отлив. Течение все ускорялось и уносило наше судно из этой адской тюрьмы.

Полтора дня мы плыли вниз по Эссекибо. Никто не посмел встать на нашем пути. Когда позади остались острова устья реки и впереди открылось море, веселый южный ветер подхватил наши паруса и помчал нас к дому.

С наступлением дня мы были уже на траверзе впадения Померуна в море. Нас никто не преследовал!

Арнак будет жить!

Весь предыдущий день на суше и все дни пути по морю на шхуне я был занят заботами о жизни Арнака. Каждый час я навещался к другу, лежавшему в тени парусов, и со стесненным сердцем подолгу сидел подле него. Он все еще был недвижим, словно спал, но фактически находился в бессознательном состоянии. Два усердных опекуна не отходили от него ни днем ни ночью: наш мудрый Арасибо, знающий все целебные травы и магические заклинания, а также верная индианка Хайами из племени макуши. Она постоянно была при нем и взывала к каким-то своим духам. Родная сестра бы не заботилась о раненом более преданно.

На мои вопрошающие взгляды Арасибо неизменно отвечал, корча свое уродливое лицо:

— Он будет жить, Белый Ягуар! Верь мне!

Какие-то настойки трав, которыми Арасибо омывал раны и поил Арнака на всем пути нашего морского перехода, оказывали чудотворное действие. На второй день Арнак открыл глаза, и, хотя жар все еще не спадал, взгляд его был почти осознанным. Потом он уснул, и это был живительный сон. Глаза Хайами налились слезами радости, да и всем нам, друзьям Арнака, стало легче на душе — призрак смерти, круживший до сих пор над ним, казалось, стал отступать.

Пришло время подумать и о нашем ближайшем будущем. Я призвал негритянку Марию, бывшую няньку детей плантатора Рейната в Бленхейме, Фуюди и молодую голландку Монику. Мы сидели на носу корабля и вели дружескую беседу. Моника была славной девушкой и с жестокими голландскими плантаторами не имела ничего общего, поэтому мне важно было привлечь ее на нашу сторону. На плантации Вольвегат ей редко доводилось наблюдать жестокость по отношению к невольникам, процветавшую на других плантациях, и диким казалось то чудовищное воспитание, которое получили дети Рейната.

— Пока, — начал я, — четырем нашим заложникам-плантаторам придется погостить несколько недель, а может, и больше, у вождя Оронапи на острове Каииве, я хотел бы взять всех детей с собой в Кумаку и просить вас заняться там перевоспитанием этих несчастных, выросших под воздействием родителей безжалостными зверенышами. Не согласились бы вы, мисс Моника, попробовать их перевоспитать, чтобы они хоть немного стали похожими на нормальных детей? Вы ведь учились в школе...

Моника выразила опасение, справится ли она.

— Несомненно! Ведь принцип «Люби ближнего, как самого себя» не так уж трудно вселить в душу ребенка. Было бы желание. А больше ничего и не надо.

В конце концов Моника согласилась. Но на ее миловидном лице я заметил какое-то сомнение.

— Скажите, Моника, что вас смущает? — поинтересовался я.

— А вы обещаете, что потом я буду свободна и мне разрешат вернуться на Эссекибо? — спросила она чуть дрогнувшим голосом.

Я дружески посмотрел на нее.

— Разумеется, вы ведь не заложница, вы совершенно свободный человек! Я лишь прошу вас остаться с нами до тех пор, пока у нас будут находиться доги плантатора Риддербока из Вольвегата.

— А если им придется навсегда остаться в Гвиане?

— Почему?

— Если его превосходительство ван Хусес не выполнит условий и не пришлет требуемое вами письмо?

— Дорогая Моника! Вы имеете дело с честными людьми; нам, правда, приходится убивать врагов, но только на войне, а с детьми и очаровательными девушками мы не воюем...

Спустя несколько часов море начало менять цвет, превращаясь из чисто голубого в желтоватое, — верный признак того, что мы подходили к устью Ориноко. Я велел пригласить к себе плантаторов.

Минхер Зеегелаар, казалось, был спокоен и, похоже, смирился со своей участью, зато истеричный Рейнат не переставал возмущаться и кипятился. Я в нескольких словах обрисовал им ближайшее их будущее: им придется побыть гостями Оронапи, благородного вождя варраулов на острове Каииве, а их дети под опекой Моника ван Эйс поплывут с нами в Кумаку.

— Я протестую! — вскричал Рейнат. — Я не согласен на разлуку с детьми!..

— Прошу не забывать, — возразил я спокойно, — что вы здесь всего лишь пленник-заложник и свои желания можете оставить при себе...

— Это произвол! Это варварство!..

Спустя несколько часов мы вышли к главному, южному, устью Ориноко, достигавшему в этом месте около сорока миль в ширину. Южный, видный нам берег реки, воды которой здесь перемешались с соленой, морской, густо порос суровой растительностью, называемой в этих местах мангровой. И лишь за полосой этих зарослей, наполовину стоящих в воде, клубились настоящие тропические джунгли, которые на нижнем берегу Ориноко были особенно дикими и буйными.

Ночью начался прилив, и течение понесло мощные потоки воды в верховье реки. Мы не преминули этим воспользоваться и, когда наступил рассвет, увидели вдали мыс острова Каииве и деревню варраулов, селение вождя Оронапи.

Лодки на швартовых подтащили шхуну к берегу.

На нижнем Ориноко

Как только Оронапи увидел приближающуюся шхуну, он выбежал из своей хижины, стоявшей на поляне в двухстах шагах от берега, и вместе с другими варраулами поспешно направился к нам. Видя его радостное возбуждение, я с улыбкой вспомнил, как заносчиво и высокомерно он вел себя во время нашей первой встречи два года назад: встречал меня, восседая на своем табурете

вождя. Да, времена переменились. Ох, как переменились!

Теперь Оронапи и бежавшие к нам варраулы встречали нас с искренней радостью, хватали за руки и сердечно обнимали по обычаю белых людей, перемежая свою речь восторженными восклицаниями.

— Слышали о твоих подвигах, Белый Ягуар, и о твоих славных воинах! — воскликнул Оронапи, смеясь и весело приплясывая, невзирая на свои пятьдесят лет.

— Даже подвигах? — удивился я.

— А как же, великих и славных! Достойных похвалы и славы! Прошел слух, что вы, словно демоны мести, были сразу повсюду: и на Бербис, и на Демераре, и на Эссекибо! Громили деревни злых карибов и освобождали из неволи тысячи рабов! Струей огня, пущенной изо рта, поражали врагов! Лесные демоны Юрапури, Яваху, Тамарака бледнели перед вами. Карибы и голландцы трепетали и падали ниц перед Белым Ягуаром.

Нам было смешно, но, не скрою, и приятно слушать о всех этих небылицах.

— А это кто? — удивленно вскричал Оронапи, завидя сходящих на берег пленников. — Уж не голландцы ли?

— Голландцы! — ответил Фуюди. — Это плантаторы, наши заложники!

— Заложники? — Оронапи захлопал от удивления глазами.

Немного спустя, когда вождь пригласил нас под кровлю бенаба, а женщины подали тыквенные чаши с кашири, которого мы давно не пробовали, я подробно рассказал Оронапи о всех наших делах.

Ему, как верховному вождю варраулов, учитывая ключевое положение острова Каиива, предстояло стать посредником между югом и севером, между голландской колонией и племенами араваков на нижнем Ориноко. Не позже чем через три месяца сюда, на Каииву, должны прибыть посланцы его превосходительства ван Хусеса с письмом для губернатора Каракаса, которое и обеспечит мир оринокским индейцам. Взамен он вернет голландцам заложников, четверо из которых будут пока находиться у него, а молодая голландка и дети поплывут с нами в нашу Кумаку. Не возражает ли Оронапи оставить у себя на время четырех заложников?

Это предложение, или, если угодно, честь, явились для Оронапи неожиданностью и несколько его обескуражили, но в то же время и льстили его самолюбию, а поэтому он охотно согласился, и тем более, когда я заверил его, что немедленно, как только он меня уведомит о прибытии голландцев, явлюсь вместе с голландскими детьми и буду лично вести переговоры.

После сытного обеда, согласовав все вопросы, касающиеся заложников, мы, дождавшись очередного прилива, в полдень сердечно попрощались с варраулами и отплыли вверх по Ориноко в сторону Кумаки.

Мы плыли по той же реке, вдоль тех же берегов, что и почти год назад. Тогда, после победы над акавоями, радость переполняла наши сердца, но и теперь нам было чем гордиться.

Еще засветло мы добрались до места, где после победы над акавоями разбивали наш бивак. Я и на этот раз решил остановиться здесь на ночь, а кто хотел, мог сойти со шхуны на берег и ночевать под деревьями. Сам я предпочел остаться на судне.

После двух дней пути на шхуне вверх по Ориноко мы добрались наконец до устья Итамаки, а затем поплыли вверх. Вскоре миновали Сериму. С берега

нас бурно приветствовали наши соседи-араваки. Останавливаться мы не стали, но нам крикнули, что в Кумаке все в порядке. Еще три мили — и через; узкий пролив мы вошли в залив Потаро, издали увидев родную деревню. Сердце у меня забилось живее, и не одному из нас душу захлестнула горячая волна.

Трудно описать радость и гордость наших близких в Кумаке. Почти все жители деревни вскочили в лодки и выплыли нам навстречу, приветствуя нас радостными кликами и помогая швартовать шхуну.

Когда мы сошли на берег, первой, кого я обнял, была Ласана. За время моего пятимесячного отсутствия она заметно округлилась, и не было сомнения, что я скоро стану отцом. Мужественная женщина не могла сдержать слез радости.

— Ян! — Она нежно заглянула мне в глаза. — Мы все время слышали о вас... Мы все о вас знаем...

— Как ты себя чувствуешь, Ласана? Ты здорова?

— Я совсем здорова... Мне все помогали... Скоро у тебя будет сын!

— Будет?

— О-ей!

Она улыбнулась не то гордо, не то застенчиво.

Подошел Манаури, верховный вождь оринокских араваков, мой давний, испытанный и верный друг еще со времен острова Робинзона; мы крепко обнялись.

— Белый Ягуар! Мы все знаем! До нас доходили вести... Все мы гордимся вами...

Приходил и сердечно обнимал меня Мабукули, вождь рода Черепах, и Конауро, вождь рода Кайманов, и силач Кокуй, и многие другие.

Несколько араваков, бывших с нами в гвианском походе, внесли на носилках Арнака, рядом с которым шли Арасибо и Хайами. Увидев изможденного Арнака, женщины сочувственно запричитали, и каждая хотела забрать раненого под свою опеку и лечить своими, только ей известными снадобьями.

Арасибо отогнал их, и они, разобиженные, обратились с жалобой ко мне, но и я их разочаровал:

— Лечить Арнака я поручил Арасибо, а помогать ему будет Хайами, девушка из племени макуши. Она станет женой Арнака...

У всех жителей Кумаки, у мужчин, женщин и детей, огромное удивление вызвала сошедшая со шхуны на берег белая женщина в сопровождении белых детей. Удивлению всех не было конца. Некоторые тут же хотели узнать, что это за люди, но я махнул рукой и сказал, что, когда придет время, обо всем расскажу старейшинам и всем аравакам на общем совете.

Я позвал Вагуру и велел ему найти в центре деревни просторную хижину, в которой можно удобно разместить наших голландских гостей.

— Тебе я поручаю заботу о них.

Потом я отвел вождей Манаури, Мабукули и Конауро на борт шхуны и, открыв непромокаемую парусину, показал им добытое оружие: ружья, луки, стрелы, палицы, ножи, топоры. Они вытаращили глаза от изумления.

— Сколько же тут всего! — удивленно воскликнул Мабукули.

— Что со всем этим делать? — озабоченно спросил Конауро. — Нужно ли нам это?

— Пригодится! — заверил я. — Еще как пригодится!

— Значит, ты собираешься воевать?

— А если на нас нападут и придется защищаться?..

Под вечер вождь Манаури созвал совершеннолетних жителей Кумаки к своей хижине, и мне пришлось рассказать о всех важнейших событиях на юге. Выступили Уаки и Вагура.

Потом я перешел к самому главному:

— Когда несколько месяцев назад мы отправлялись на Эссекибо, нами руководили исключительно мирные намерения и мы не могли предполагать, что впереди нас ждут такие кровопролитные бои. Но нам довелось столкнуться с такой несправедливостью и жестокостью голландцев по отношению к неграм, что мы не могли остаться безучастными, а предательским убийством двух наших воинов карибы втянули нас в настоящую войну с этим племенем. В этой войне погибло много карибов, так много, что весть об этом разлетелась по всей Гвиане. Но всем известно, что карибы — племя спесивое и заносчивое, они не снесут такого позора, постараются отомстить и восстановить свою былую славу. Это может случиться завтра, может — через месяц или через полгода. В течение трех месяцев на Ориноко должны прибыть посланцы голландцев, не исключено, что карибы, союзники голландцев, попытаются воспользоваться случаем и устроить на нас разбойничий набег.

По моему знаку Симара набросила мне на плечи шкуру ягуара, и я продолжал говорить стоя:

— Здравый смысл и опыт учат: если хочешь сохранить мир, будь готов к войне. Пусть же наши ружья и луки будут всегда самыми меткими, наши ноги — самыми быстрыми, наши весла — самыми выносливыми, а наша бдительность — самой неусыпной. Тогда ни один враг, даже самый злобный, никогда нас не победит! Я закончил!

Когда я сел, среди жителей Кумаки воцарилась глубокая тишина. Тогда встал один из старейшин и сказал:

— В том, что говорил Белый Ягуар, много мудрости я правды. Мы должны много учиться и закалять свой дух... О-ей!

Конауро, который все еще не мог смириться с потерями, понесенными его родом в бою с акавоями на Каииве, встал тоже:

— А у меня есть другое предложение. Белый Ягуар прослыл убийцей карибов, и карибы теперь станут охотиться прежде всего за ним. Если Белый Ягуар уйдет из нашего племени, карибы наверняка оставят нас в покое!..

Конауро не успел еще закончить последней фразы, как со всех сторон в незадачливого оратора полетели слова осуждения: предатель, трус и тому подобное.

Вскочил Уаки:

— Позор всем аравакам за то, что один из нас, к тому же глава рода, произнес слова, столь недостойные! Слова позорные!

Видя, какой гнев и возмущение охватили моих друзей, и опасаясь, как бы все это не привело к расколу племени, я попросил слова и воскликнул:

— Друзья, если вы не хотите меня огорчить, прошу вас, успокойтесь! Я должен защитить Конауро! Можно не соглашаться с тем, что он сказал, и даже считать это недостойным, но одно несомненно: Конауро хочет племени добра и все, что он говорил, было направлено на благо араваков... Он ошибся, но это уже другое дело! Ошибаться может каждый!..

Меня поддержал Вагура:

— О-ей, я согласен с тем, что говорит Белый Ягуар. Хватит говорить о Конауро. Поговорим, как нам укрепить свои силы и мощь! Главное — не дать врагу застать нас врасплох!..

Это были мудрые слова, и они несколько умилили пыл собравшихся.

Слово взял вождь Манаури:

— Последние месяцы, во время вашего похода на Эссекибо, мы не теряли времени даром и еще более усердно возделывали наши поля, собрав богатый урожай. Теперь наши молодые воины могут спокойно заниматься военным делом и совершенствовать свое мастерство.

На том и порешили. Чтобы оградить селение от неожиданного нападения, я расставил в джунглях и вдоль реки несколько постов, на которых днем и ночью зорко следили за всем происходящим и должны были предупредить нас в случае появления неприятеля.

Немалую радость доставляло мне воспитание маленьких голландцев. Они жили в хижине в центре Кумаки и могли не только свободно бегать по всей деревне, но и играть и проказничать вместе со своими индейскими сверстниками. Моника лишь издали наблюдала за шалостями детей. Ссор между ними почти не было, зато все сердечнее становилась взаимная привязанность. Голландским детям пришлось по вкусу жизнь юных индейцев, они обожали походы в близлежащие заросли, полюбили выезды на лодках на озеро и ловлю рыбы. У каждого из семерых появился свой индейский друг или подружка. Теперь я был убежден, что ни один из них уже не станет бить ногами свою няню-негритянку.

Но самым радостным событием этих дней было другое: после четырех недель болезни встал на ноги и сделал первые шаги Арнак.

Страшен враг, но мы страшнее

Вскоре на Ориноко стали происходить странные вещи. Однажды, торопясь изох всех сил, приплыл на лодке один из наших дозорных и сообщил, что ночью на реке слышен был плеск весел. Таинственные гребцы не были ни араваками, ни варраулами. С наступлением дня на реке на много миль вокруг никого обнаружить не удалось. Известно, как легко укрыться в прибрежных зарослях тропических джунглей!

Я усилил дозоры и высылал днем и ночью яботы с двумя разведчиками в каждой — прочесывать на Итамаке и Ориноко все заливы и протоки. Вокруг деревни непрерывно кружили дозоры, исследуя каждую пядь джунглей. Ограду вокруг центральной части Кумаки мы укрепили более толстыми бревнами. За ней разместились треть хижин деревни, а в случае нападения здесь могли укрыться все жители.

Однажды примерно в миле от Кумаки, будучи в дозоре, исчез в джунглях и не вернулся один наш воин, отставший от своего товарища. Отправленная в тот же день поисковая группа нашла его в чаще чуть живого. Кто-то, оставшийся неизвестным, оглушил его сзади ударом по голове, а потом вонзил в язык потерявшему сознание воину зуб ядовитой змеи и бросил его. Когда раненого доставили в деревню, Арасибо при виде ядовитого зуба весь передернулся от ужаса:

— Канаима! — хрипло выдавил он из себя.

— Ты можешь его вылечить? — спросил а шамана.

— Не знаю! Это Канаима!..

Канаима. Если индеец решался убить другого, но не просто, а под маской таинственного Канаимы, демона мести, он обрекал жертву на медленную, смерть, прокалывая ему язык зубом ядовитой змеи, и тогда все знали, что это Канаима и что смерть неизбежна.

— Это верный знак, что в джунглях карибы! — шепнул мне Арасибо.

Спасти несчастного не удалось. После нескольких дней мучений он умер.

Близкое присутствие врага не вызывало сомнений. Теперь если из Кумаки и выходили в лес, то только группами по три-четыре человека, держа палец на спусковом крючке.

Окраинные хижины стали у нас своеобразными дозорными постами, а дежурившие в них воины, иногда и женщины, ни днем ни ночью не расставались с оружием. Особенно ночью. Но враг не нападал, предпочитая кружить вокруг деревни и держать нас в постоянном напряжении и страхе.

Тогда мы решили изменить тактику и ударить первыми. Создали несколько отрядов, но восемь-десять человек в каждом, и направили их в лес на поиски врага. И они нашли его. Дважды завязывались жаркие перестрелки. Мы были гораздо подвижнее и лучше стреляли. Враг понес значительные потери и отступил, оставив в наших руках нескольких пленных, которых наши воины и доставили в Кумаку. Все попытки заставить их заговорить ни к чему не приводили. Тогда некоторые горячие головы предложили применить пытки. Но, к моему великому удивлению, этому воспротивился Арасибо.

— У меня есть лучшее средство, — угрюмо буркнул он, — заклинания!

Собственно, это были не заклинания, а ужасно вонючий отвар из каких-то дьявольских трав. Когда пленникам силой влили его в горло, они словно лишились рассудка и впали в своего рода бред — стали как пьяные и в ответ на внезапно поставленные вопросы начали отвечать. К счастью, в Кумаке был аравак, вполне сносно владевший карибским языком. Он-то и вел допрос. Ответы, правда, были достаточно хаотичными, но кое-что все-таки можно было понять: у карибов здесь было два отряда. В боях с нами они были почти полностью уничтожены. В том числе погиб и возглавлявший их небезызвестный нам фронт из деревни Боровай, незадачливый вождь Ваньявай.

Освобождение заложников

Приимерно через два месяца после нашего возвращения в Кумаку от вождя Оронапи явились посланцы, с известием, что на Каииву прибыло голландское посольство.

Около ста воинов, в том числе тридцать женщин, я оставил охранять Кумаку, а человек семьдесят на четырех итаубах и двух яботах взял с собой на Каииву. Прихватили мы и семь карибских пленников.

Голландских детей под опекой Моники разместили в самой большой итаубе, плывшей в центре нашей флотилии. Надо сказать, за прошедшее время детишкам так полюбилась жизнь в индейской деревне, что они с немалым сожалением покидали ее и своих новых друзей.

Мы отплыли ночью, соблюдая все меры предосторожности. Было еще совсем темно, когда позади осталось устье Итамаки рассвет застал нас далеко на Ориноко. Безопасности ради мы старались держаться подальше от берегов, а так как очень спешили, то гребли, невзирая на морской прилив. В сумерки мы причалили к берегу на короткий ночлег, а с рассветом отправились дальше.

Покой и тишина царили над рекой, а парившие в воздухе и щебетавшие в ветвях птицы навевали идиллическое настроение.

К началу третьей ночи мы добрались до западного мыса Каиивы и вошли в рукав Гапо — широкий пролив между островом и материком. Осторожно, без шелеста и плеска, мы гребли еще час или два и достигли небольшого залива на острове в полумиле от деревни Каиивы. Здесь мы остановились и проспали прямо в лодках несколько часов до рассвета.

С наступлением рассвета направились дальше. Но итаубу с Моникой и детьми я счел за благо оставить пока в заливе под охраной Уаки: прежде чем вернуть детей голландцам, важно было выяснить, с чем прибыло посольство с берегов Эссекибо.

Появление в деревне Оронапи трех наших итауб и двух ябот, полных воинов, вызвало у вождя вздох радости, да и голландцев немало обрадовало. Их было трое, и прибыли они морем на огромном кориале в сопровождении двадцати индейцев-гребцов. До сих пор у них не было переводчика, а теперь появился Фуюди. Они привезли письмо от его превосходительства, и, не откладывая дела в долгий ящик, я попросил их прочесть письмо вслух, а Фуюди, не умевший читать, его переводил. Письмо было вполне удовлетворительного содержания во всяком случае, в том, что касалось безопасности индейцев на Ориноко.

Я поблагодарил гостей, а после того, как Оронапи заверил меня, что нам не угрожает никакое предательство, и поблизости карибов не замечено, я распорядился привести раненых карибских пленников и послал гонца за итаубой с детьми.

Голландцы при виде пленных карибов пришли в явное замешательство и глаза их воровато забегали.

— А это кто такие? Откуда? — изображали они удивление.

— Карибы, ваши друзья, ваши лучшие друзья с Эссекибо...

— Как они могли здесь очутиться?

— Если угодно, спросите у них, ваша милость, сами.

— Но как они попали к вам? К тому же они ранены...

— Они дурно воспитаны и собирались напасть на наше селение. Сделайте милость, возьмите их обратно на Эссекибо и всыпьте им плетей! Мы их вам дарим. К сожалению, это все, что осталось от двух отрядов; остальные, в том числе и вождь их Ваньявай, погибли, так что, увы, вернуть их вам не в ваших силах...

Лица у голландцев вытянулись, и они тупо молчали.

В этот момент спесивой походкой с гневным выражением лица к нам подошел плантатор Рейнат.

— Где наши дети? — вскричал он негодуя.

Я знал уже, что все это время четверо заложников жили вполне сносно. Оронапи относился к ним более чем любезно: они могли свободно передвигаться по деревне и не испытывали недостатка в еде.

На гневное восклицание Рейната я ответил молчанием.

— Я спрашиваю, черт побери, где наши дети? — повысил голос голландец, весь трясясь от злости.

Я повернулся к посланцам:

— Не могли бы вы, судари, заставить замолчать этого болвана!

Посланцы были явно смущены ситуацией и в замешательстве не знали, как выйти из неловкого положения. Но тут один из них, сохранивший присутствие духа, повторил вопрос Рейната, но тоном спокойным и вежливым:

— А действительно? И впрямь! Где же дети?

— Они в пути и вот-вот будут здесь! — ответил я. — Но, простите, ваша милость, беспардонность Рейната заставила меня сейчас подумать совсем об ином: не является ли письмо его превосходительства пустой бумажечкой? Разве приход карибов на Ориноко не есть предательство? И не имею ли я в этой связи права отказать вам в выдаче голландских заложников?

Посланцы оторопели. Я указал на пленных карибов:

— Вот неоспоримый довод, что карибы, ваши верные союзники, напали на араваков на Ориноко. Не ставит ли это под сомнение письмо его превосходительства?

На эти доводы посланцам нечего было возразить.

— Итак? — Я вопросительно взглянул на них. — Что же, отказать вам в выдаче заложников и отправить вас ни с чем обратно? Неужели вы не в состоянии унять этого зарвавшегося грубияна Рейната и заставить его вести себя прилично?

Посланцы отвели своего строптивого сородича в сторону и стали что-то ему горячо доказывать, потрясая у него перед носом кулаками. Так продолжалось довольно долго, но зато потом Рейнат подошел ко мне как побитая собака и, силясь придать голосу мягкость, выдавил из себя нечто похожее на «извините».

Как раз в это время подплыла итауба с детьми, и, когда она причалила к берегу, Моника высадила детей. Встреча родителей с детьми сопровождалась изъявлениями бурной радости, поцелуями и слезами, но бросалось в глаза, что больше были рады родители, а не дети. Ребятам, как видно, было жаль их привольной жизни в Кумаке.

Сын плантатора Рейната, девятилетний Вильхельм, любимец своего спесивого отца и до недавних пор сам отъявленный себялюбец, жестоко издевавшийся над своими няньками, после пребывания в Кумаке неприятно поразил родителя и даже вообще не захотел с ним здороваться.

— Что с тобой? — чуть ли не возмущенно воскликнул плантатор.

— Ничего, — буркнул себе под нос Вильхельм.

— Иди сюда, сынок, давай поздороваемся! — позвал отец.

— Не хочу! — с неприязнью отозвался парнишка, повернувшись к отцу боком.

— Иди, будем с тобой играть, как прежде! — уговаривал сына удивленный плантатор.

«Уж не прежние ли игры, заключавшиеся в избиении ногами черных нянек, были у него на уме?»

— Не хочу!!! — ответил Вильхельм сдавленным шепотом и вдруг лихорадочно повторяя свое «не хочу», «не хочу», разразился громкими рыданиями.

— Поздоровайся с отцом! — еще раз повторил Рейнат, но теперь уже резким тоном приказа. Сын не сдвинулся с места, упрямо глядя в землю.

Плантатор Рейнат не узнавал своего сына. Он вдруг весь затрясся от гнева, в отчаянии посмотрел на свою жену, а затем с дикой злобой на Моника.

— Что вы сделали с мальчиком? — крикнул он девушке. — Я привлеку вас

к ответственности!

— Минхер Рейнат, успокойтесь! — с достоинством ответила Моника. — Просто Вильхельм становится на путь нормального человека.

— Абсурд! Подобные штучки со мной не пройдут! — крикнул он.

— Минхер Рейнат! Недавно вы потеряли свою плантацию, а теперь очень близки к тому, чтобы потерять сына!

Рейнат поперхнулся, словно у него перехватило дыхание, и не мог вымолвить ни слова, затем, придя в себя, страшно побледнел и выглядел испуганным: может быть, впервые в его тупую голову пришла мысль, что он — полный банкрот?

В тот же день голландцы уплыли в сторону моря, а вскоре и мы, сердечно и дружески поблагодарив Оронапи за гостеприимство и попрощавшись с ним и его людьми, отправились в путь в противоположном направлении.

Не посрамив чести

От Каиивы мы отплыли в полдень в хорошую погоду, но по страшно бурной реке. Вероятно, где-то в верховьях Ориноко, на западе, прошли обильные дожди и река вздулась; тут и там неожиданно возникали опасные водовороты. Стремительное течение несло по реке вырванные с корнем огромные деревья, которые мчались, словно обезумевшие дикие чудовища, готовые в любую минуту разнести в щепы наши лодки и разметать всю флотилию.

Но благодаря добрым демонам после трех дней изнурительного пути мы благополучно прибыли в Кумаку.

Наконец-то мы дома! Никогда еще не было столько улыбок в Кумаке, как в день нашего возвращения. И как же счастливо улыбалась Ласана, упоенная тихой радостью последних часов ожидания ребенка! Дивной прелестью и мудростью лучилось ее лицо.

Мы стояли у мощного частокола, окружавшего центральную часть нашей деревни. Казалось, что в этот благодатный день даже частокол выглядел весело и весело нам улыбался. Улыбался своей стойкостью, неприступностью для любого готового напасть на нас врага, улыбался своей надежностью, заключенной в его крепких бревнах.

Поддавшись уговорам вождей Мабукули и Конауро, Манаури хотел устроить в нашу честь многодневное пиршество с попойкой, но я решительно этому воспротивился. Следовало прежде всего привести в порядок оружие и все наше снаряжение, а это требовало немалой работы; надо было, кроме того, снарядить посланцев к испанскому коррегидору в Ангостуре.

Вскоре наше посольство отправилось в Ангостуру: одной заботой стало меньше. А через три дня Ласана родила ребенка, мальчика, как и обещала. Здорового, крепкого, крикливого карапуза с почти белой кожей. По аравакскому обычаю мне надлежало как мужу помогать Ласане при родах, но в порядке исключения меня освободили от этой обязанности, охотно выполненной матерью Ласаны и ее многочисленными родичами.

Весть о рождении сына Белого Ягуара, словно в этом было нечто из ряда вон выходящее, молниеносно облетела все нижнее течение Ориноко и произвела до удивления сильное впечатление. Со всех сторон в Кумаку стали стекаться поздравления, пожелания счастья и успехов. Прибыли: Оронапи с огромной свитой и целой горой провизии и напитков; Абасси, верховный вождь северных варраулов с Ориноко, тоже нагруженный всяческой снедью и

питием; все араваки из соседней Серимы на итаубах с разными лакомствами и деликатесами; даже из далекой Ангостуры приплыл дон Мануэль с каким-то пронырливым пастором. Кумака и все берега Потаро заполнились оживленным людом.

— Я доставил его преподобие, отца Киприана, чтобы крестить инфанта! — шутливо воскликнул дон Мануэль.

— Прекрасно! — подхватил я его тон. — У малыша будет два неба: христианское по отцу и аравакское — по матери.

— Аравакское? — удивился улыбавшийся до того пастор. — Две религии иметь невозможно!

— На нижнем Ориноко все возможно: запас карман не тянет.

Среди шума и гама, царившего в Кумаке, и особенно вокруг новорожденного, Арасибо усердно занимался над малышом своей тайной магией. Во главе несколькими старейшин он совершал разные обрядовые церемонии, отплясывал ритуальные танцы, окуривал малыша благовониями, что-то бурчал, и все это, дабы отогнать злых и призвать добрых духов.

Верно, мало было в тот день злых духов в Кумаке: вокруг циновок, заставленных богатыми яствами, обильно запиваемыми пайвари и кашири, становилось все шумнее и оживленнее. Быстро образовалась дружина порядка, которой руководили Вагура, Уаки, Мендука и часть их отрядов. Эта гвардия сама не пила, а занималась поддержанием порядка и дисциплины. Они успешно пресекали пьянство, а пьяных выносили за пределы Кумаки. Благодаря этому вокруг Ласаны и ребенка царила атмосфера торжественности и покоя.

Падре Киприано со снисходительной улыбкой наблюдал за манипуляциями Арасибо, будучи убежденным, что настоящие крестины, которые он свершит через минуту, смоят еретические обряды шамана, как грязную воду. Тем временем Ласана решила назвать сына — Меру, что по-аравакски значит — колибри, ибо мальчишка был живым и подвижным, как колибри. Потом с сердечной улыбкой она добавила:

— Но я хотела, чтобы он носил также имя Ян, как и его отец, и чтобы его звали — Меру-Ян Бобер.

Все ее радостно поддержали. Тут встал падре Киприано, готовясь к церемонии крестин. Крестины прошли вполне благополучно.

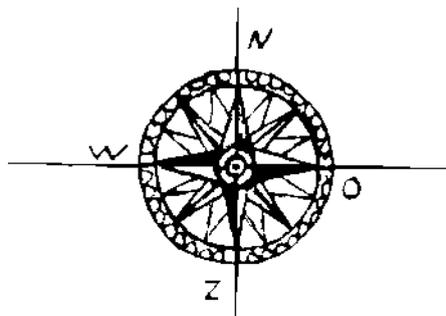
Ласана, окруженная старейшинами, вождями и родственниками, восседала, словно лесная богиня, с изяществом и достоинством принимая поздравления. Из светло-зеленой ткани, которую мы привезли из Нью-Кийковерала, она смастерила себе нечто наподобие туники с обнаженными плечами, и благородная простота этого наряда удивительным образом подчеркивала аравакскую красоту счастливой матери. Подобным же образом принарядилась и Симара, усердно помогавшая сестре все эти дни.

Из такой же зеленой ткани сшили себе легкие куртки некоторые наши вожди и выглядели в них вполне пристойно. Мне тоже сшили подобное платье. В глазах наших испанских гостей мы теперь уже не были полунагими дикарями.

Обаяние моей Чарующей Пальмы, столь прекрасной в своем материнском счастье, и славный карапуз в ее объятиях растрогали меня до глубины души. Горячая волна любви захлестнула мое сердце, и я решил обратиться с речью к этому малышу, моему сыну. Обратиться по-аравакски, дабы меня поняли и все

мои друзья:

— Сын мой, Меру-Ян, — начал я громко, чтобы слышали все. — Я взволнован и потому уже сейчас обращаюсь к тебе, хотя только спустя много лет ты узнаешь от людей, что я тебе сказал. У тебя есть брат по матери, немногим старше тебя. Он — сын твоей матери и главного воина, погибшего в бою на острове Робинзона. Этого брата ты должен всегда верно и горячо любить и чтить. Когда ты вырастешь, у тебя тоже будет сын, а у него дети, потом — внуки, правнуки и праправнуки. И вашим святым долгом, долгом всех моих потомков, будет нести правду и справедливость, ценить то, что ценил Белый Ягуар, и ненавидеть то, что ненавидел он. Белый Ягуар ценил добро и людей честных, ненавидел зло и людей бесчестных. Не щадя сил и жизни, он защищал униженных и оскорбленных, не на жизнь, а на смерть боролся с теми, кто нес людям страдания и муки. Он был отважным воином, но любил не войну, а мир и дружбу! Оттого он любил араваков, индейцев с честной душой, благородным сердцем и мудрой головой... О вы, будущие потомки Колибри-Яна, вы можете гордиться своим предком, а если кто-то из вас когда-нибудь попадет на берега Вислы, откуда начался род Белого Ягуара, пусть разнесет там хвалебную весть о том, что Белый Ягуар прожил свою жизнь, не посрамив ни совести, ни чести своих далеких сородичей! Я закончил!



От переводчика

Человек редкостной эрудиции, богатых и разносторонних знаний, Аркадий Фидлер родился 28 ноября 1894 года в Познани в семье известного в Польше тех лет издателя Антони Фидлера. Он прожил долгую и большую жизнь, насыщенную событиями и приключениями, какие редко выпадают на долю одного человека. Царившая в семье будущего писателя атмосфера почитания литературы и родного языка, любви к природе во многом предопределила его увлечения и пристрастия, а в конечном итоге и весь дальнейший жизненный путь. С детских лет мечтал он о путешествиях и странствиях в неведомые края и дальние страны и шел к этой мечте настойчиво и целеустремленно. Он закончил философский факультет Ягеллонского университета в Кракове, а затем Берлинский и Познанский университеты, где изучал естествознание.

Первые свои путешествия он совершил в 1927 году в Норвегию и в 1928-м — за океан, в джунгли Бразилии, где пробыл больше года. Тогда же увидели свет и первые его книги об этих путешествиях. В 1933–1934 годах он предпринял новое путешествие в восточные районы Перу, на Амазонку, о котором пишет книгу «Рыбы поют в Укаяли». Книга становится сенсацией, переводится на пятнадцать языков мира и выдерживает 32 издания. К Фидлеру приходят признание и слава. В 1935 году за научную и литературную деятельность Польская академия литературы увенчивает его лавровым венком.

За научную, общественную и литературную деятельность А. Фидлер был удостоен многих литературных премий и правительственных наград, в том числе Государственной премии Польши I степени и высшего ордена страны — ордена «Строителей Народной Польши». По праву заслужил он и уникальный, учрежденный в ПНР, «Орден улыбки», присваиваемый детьми деятелям науки, культуры и искусства за особо ценные заслуги в деле заботы о здоровье и счастье детей. Действительно, научный и литературный вклад А. Фидлера в дело просвещения детей и юношества, в дело воспитания их в духе интернационализма, любви к природе поистине трудно переоценить.

За долгую свою жизнь А. Фидлер совершил около тридцати длительных, продолжавшихся по году и больше путешествий в разные страны и самые экзотические уголки планеты: в Норвегию и Канаду, на Дальний Восток, Кавказ и в Якутию, в джунгли Бразилии, Гаяны и Перу, в Мексику и на острова Карибского моря и Юго-Восточной Азии, во Вьетнам, Лаос и Кампучию, в Гвинею, Гану и на Мадагаскар. Последнее путешествие в возрасте уже 88 лет Фидлер предпринял на Мадагаскар.

И каждое такое путешествие неизменно рождало новую книгу, восхитительную книгу о флоре и фауне страны, о жизни ее народа, его быте и нравах. Двадцать семь книг Аркадия Фидлера увидели свет на двадцати двух языках народов мира общим тиражом более девяти миллионов экземпляров. Лучшие из них: «На Амазонке», упоминавшаяся уже «Рыбы поют в Укаяли», «Рио-де-Оро», «Маленький бизон», «Горячее селение Амбинанитело», «Канада, пахнущая смолой», «Остров Робинзона», «Ориноко», а теперь и третья часть этой трилогии — «Белый Ягуар»; рассказы «Две тайры», «Носухи», «Там, где рыбы странствуют по суше», из сборника «Звери девственного леса» известны и советскому читателю по переводам на русский язык и другие языки народов СССР.

Книги Фидлера привлекают читателей разных возрастов и профессий социальной заинтересованностью, острой публицистичностью, равнодушным отношением автора к судьбам людей и окружающего их мира. В этом смысле Фидлер-писатель раскрывается перед читателем как подлинный гуманист, патриот и интернационалист. Польская газета «Литература» в статье, посвященной творчеству Аркадия Фидлера, писала:

«Читатели знают, что найдут в его книгах не только привлекательную экзотику, они найдут в них доброе напутствие в жизни, умение увидеть в ней красоту и добро, клеймить зло; его книги утверждают равенство людей независимо от цвета их кожи, он верит в добрые начала человека и видит их благотворные истоки в гармонии человека и природы».

Провозглашая и утверждая принципы гуманизма, высокой морали и нравственности, воспевая и поэтизируя природу, Фидлер с полным основанием говорил, что старается быть верным в своем творчестве традициям Генрика Сенкевича и Стефана Жеромского — польских классиков, близких ему по духу. Все произведения Фидлера, кроме, пожалуй, вошедших в настоящую книгу и двух, посвященных событиям второй мировой войны — «Дивизион 303» и «Благодарю тебя, капитан», по истокам своим, казалось бы, должны представлять путевые записки путешественника. В действительности это не совсем так.

Повествуя о виденном и пережитом, Фидлер благодаря своему литературному мастерству, тонкому чувству языка, мягкому юмору, искусному построению фабулы и философскому осмыслению описываемых явлений и событий в сочетании с их острой социально-политической заостренностью создает произведения по содержанию, конечно же, научно-популярные, но по форме — художественные. Фидлеру присущ свой особый стиль, заметно выделяющий и делающий легко узнаваемыми его произведения в литературе такого жанра.

Следует, однако, отметить, что в публикуемых в настоящей книге трех частях трилогии «Остров Робинзона», «Ориноко» и «Белый Ягуар» Фидлер впервые, пожалуй, в своем творчестве отходит от своей традиционной, ему присущей жанровой манеры, и, хотя по-прежнему остается верным себе в точности описания жизни и быта южноамериканских индейцев, животного и растительного мира, он беллетризует сюжет, создав, таким образом, художественное произведение остроприключенческого жанра. Благодаря этому его книги эмоционально воздействуют на читателя, в них реализуется основная идея: утверждение принципов равенства всех людей, изобличение хищнической природы колониальной политики западных, так называемых «цивилизованных государств», грабивших и уничтожавших колониальные народы, огнем и мечом утверждавших свое господство на силой отвоеванных территориях Северной и Южной Америки, Африки и Азии.

Книги трилогии порождают в душе читателя глубокие симпатии и сочувствие к угнетенным народам, ненависть к поработителям, колониализму и расизму. Они невольно наталкивают на аналогии с нынешней политикой оголтелого колониализма современных империалистических государств во главе с Соединенными Штатами Америки, стремящихся, не гнушаясь никакими средствами, подавить освободительное движение угнетенных народов мира.

В марте 1985 года на 91-м году жизни Аркадий Фидлер скончался. Польская литература понесла тяжелую утрату. Но книги его живут, они несут людям радость познания, вселяют в них уверенность в неизбежной победе сил добра.

Маленький Бизон

Вступление Случай в Виннипеге

Весной 1945 года я прожил несколько недель в Виннипеге, главном городе Канадской провинции Манитоба, носящей громкое название «Королевы прерий». Однажды заглянул я в знакомый книжный магазин на Портэдж-авеню. Просматривая книги, я заметил одну, возбуждившую во мне исключительное любопытство: лет десять назад, в первый мой приезд в Канаду, я искал эту книжку во всех магазинах Монреаля и, к великому сожалению, не смог найти ее. Это была автобиография индейца, по прозвищу Маленький Бизон, из племени черноногих. Книга была издана в Соединенных Штатах в 1928 году и пользовалась большой популярностью. Образованный, интеллигентный индеец описывал в ней историю своих детских лет, проведенных в прериях Северной Америки.

Владелец виннипегского книжного магазина заметил, что я интересуюсь Маленьким Бизоном, и завел со мной разговор о нём. Кроме меня, в магазине было всего два посетителя, разглядывавших полки с книгами в противоположном углу.

— Что вас так заинтересовало в этой книге? — спросил книготорговец.

День был солнечный и теплый, находка привела меня в хорошее настроение, поэтому я подробно объяснил канадцу, что, будучи писателем-путешественником, долго жил среди индейских племен Канады и Южной Америки и старательно собирал различные материалы об индейцах; в особенности меня интересуют такие достоверные свидетельства, как книжка Маленького Бизона.

Слушая меня, книготорговец несколько раз оборачивался в сторону двух покупателей, что стояли в противоположном углу. Когда я кончил, он проговорил с сомнением:

— Достоверные свидетельства? Боюсь, как бы вы не изменили свое мнение о книге Маленького Бизона.

— Не понимаю. Разве Маленький Бизон не был подлинным индейцем?

— Как же, он был индейцем, и замечательным человеком, умным и образованным. Но что касается его книжки... Впрочем, не буду ничего говорить. Не желаете ли познакомиться с его родственниками? Они вам всё расскажут...

И книготорговец закричал:

— Хелло, Джек, подите-ка сюда на минутку!

Тот, кого звали Джеком, был в мундире канадского солдата и носил на рукаве нашивки капрала. Его спутник был в штатском костюме. Оба направились к нам, и по их лицам я понял, что они индейцы. Расторопный хозяин книжной лавки тут же познакомил нас, хотя отрекомендовал он меня несколько напыщенно: писателем — специалистом по истории индейцев, жаждающим узнать все, что возможно, о Маленьком Бизоне и его книге.

Это обрадовало индейцев, действительно оказавшихся дальними родственниками Маленького Бизона. Капрал Джек Дэвис к тому же был ближайшим сотрудником автора книги и хорошо знал не только всю жизнь Маленького

Бизона, но и историю появления на свет его произведения. Дэвис, угостив меня сигаретой, заметил шутливо:

— Вместо индейской «трубки мира» я предлагаю вам канадскую сигарету... Как мельчают обычаи!

У него были хорошие манеры, он бегло говорил по-английски и охотно рассказал мне, как возникла книга Маленького Бизона. Оказалось, что Маленький Бизон, набрасывая первоначальный текст, описал в соответствии с исторической правдой множество событий и потому книжка была обличительным документом против белых колонизаторов, особенно — американцев. Как и следовало ожидать, американские издатели категорически потребовали вычеркнуть все компрометирующие их собратьев места, в противном случае они отказывались опубликовать книгу. Маленькому Бизону пришлось уступить. Но то, что было напечатано, представляет собой только обрывки первоначальной рукописи и совершенно искажает правдивую картину, данную автором.

Приближалось время обеда. Я пригласил обоих индейцев в ближайший ресторан, и мы пообедали вместе. Капрал Дэвис пересказал мне содержание некоторых глав, изъятых из рукописи по настоянию американских издателей. Эти отрывки были не только интересны, но прямо потрясающи. Мои собеседники, видя, как я увлекся этим близким для них делом, охотно сообщали мне все новые и новые подробности о прежней жизни племени черноногих. В конце беседы молодой индеец Том, брат капрала, сказал:

— Нас радует, что вы так интересуетесь нашей историей. К сожалению, Маленький Бизон умер, а рукопись его пропала. Но вы писатель, у вас уже есть книги об индейцах. Напишите же историю жизни Маленького Бизона, но только правдиво. Пусть это будет повесть о настоящих людях и подлинных событиях, которые происходили у нас в прериях...

— Да, напишите! — подхватил Джек. — Мы расскажем вам обо всем, что нужно для книги. Я остаюсь здесь еще на несколько недель в госпитале для выздоравливающих. Мы сможем видеться.

Мы встречались почти каждый день. Беседы длились часами и крепко сдружили нас. Братья были неутомимы — они вспоминали все новые мельчайшие подробности и живо изображали события, происходившие свыше шестидесяти лет назад. Я усердно записывал всё. Постепенно из хаотического нагромождения отрывочных воспоминаний начала вырисовываться цельная картина прошлого. Когда несколько недель спустя мы прощались на виннипегском вокзале, у меня уже был готовый материал для книги.

Предлагаемое читателям жизнеописание Маленького Бизона имеет мало общего с книгой, выпущенной в свое время американскими издателями в Нью-Йорке. Это правдивый, неискаженный рассказ об эпохе, в которую жил Маленький Бизон. По духу своему, а также по описанным в ней подлинным событиям эта повесть приближается к первоначальному, неопубликованному жизнеописанию индейского автора, но фактический материал пополнен еще и сведениями, представленными мне двумя родственниками Маленького Бизона. Общая же композиция книги и литературный стиль ее — мои.

Аркадий Фидлер

Столкновение с Рукстоном

Я индеец из отважного племени черноногих. Родина моя — одна из самых чудесных стран на свете. Это прерии у подножия Скалистых гор — там, где их пересекает граница между Канадой и Соединенными Штатами. Прерии здесь, как застывшие волны, — словно вихрь созидания всколыхнул это море буйных трав. Множество рек, стекающих со снежных горных отрогов, образовало глубокие, поросшие лесом долины, и леса эти кишат зверем и птицей.

Пушного зверя, особенно бобра, в прежнее время у нас было так много, что соседние племена — кри, ассинибойны, сиу, кроу — то и дело вторгались в наши охотничьи угодья, и приходилось вступать с ними в беспрестанные стычки. Но еще хуже было с белыми охотниками: более столетия, используя превосходство в средствах борьбы (карабины против луков), они оттесняли индейцев. Со всеми врагами наше племя справлялось, но было совершенно бессильно против другого, более убийственного оружия, которое принес с собой белый человек, — черной оспы, свирепствовавшей в прериях в 1838 году и уничтожившей три четверти нашего племени.

Наше племя вышло из этого бедствия ослабленным, хотя таким же мужественным, может быть, даже более отважным и менее уступчивым, чем ранее. Яростно сражаясь с соседними племенами, черноногие отстаивали свои богатые охотничьи угодья. Белый человек в это время прокладывал зловещие тропы в других направлениях. Эти тропы вели в края, где в земле находили золото, — в Калифорнию, Колорадо, Вайоминг, к Черным горам. У нас же золота не было, и потому нам не приходилось вести безнадежно-отчаянные войны, какие выпали на долю сиу и шайенов — наших соседей на юге. Но это, конечно, не избавило нас от общей судьбы всех индейцев: американцы, а позднее и канадцы, пользуясь превосходной военной техникой, захватили прерии и Скалистые горы. Во стократ более многочисленные, они заставили нас уйти на отведенные нам земли, в так называемые резервации. Примерно с 1880 года в прериях наступила мрачная эра господства белого человека, когда бесчисленные стада бизонов — наших кормильцев — стали таять с ужасающей быстротой под выстрелами американских охотников.

Я родился как раз на грани этих двух больших периодов в жизни наших прерий — периода индейского и периода белого человека. Юность моя еще была безмерно счастливой. Мы свободно передвигались по прериям; вражда уступала место дружбе: с приходом колонизаторов яростные битвы с другими племенами прекращались, а гнет белых еще не был таким беспощадным и не отнял у нас свободу. В индейских становищах еще звучали веселые песни и воины совершали военный танец, хотя в глубине души мы уже чувствовали, что и нас неминуемо постигнет горькая судьба.

Одно из первых детских переживаний, которое навсегда осталось с тех лет в моей памяти, было связано с белым человеком. Между моим отцом и моим дядей, Раскатистым Громом, вспыхнул однажды спор. Резкие слова разбудили меня — я впервые сознательно взглянул на окружающее. Мы сидели у очага в просторном типи. На дворе выла буря, от порывов ветра, врывавшихся в вигвам, огонь колебался, и дым резко щипал мне глаза. Я прислонился к отцовским коленям, а он что-то гневно говорил над моей головой. Напротив нас сидел дядя. Раскатистый Гром был так же возбужден, как и мой отец. Мне еще и

сегодня помнятся его сверкающие глаза. В вигваме было много людей.

Тогда я, малыш, не понимал, в чем дело, и лишь много позже уяснил причину ссоры. Дядя благоволил к американцам, почти пресмыкался перед ними; он хотел отдать свою дочь в жены одному из них, торговцу Дику Рукстону. Этот Рукстон находился в нашем лагере, и о нем шла дурная слава: он спаивал молодых воинов. Отец мой противился этому браку, но дядя упорно стоял на своем. За дочь он надеялся получить от Рукстона большой выкуп — много денег и товаров. Дядя верил в могущество американского доллара.

— Не верь им, брат, — говорил отец, — не давайся им в руки! Любое зло, отравляющее сегодня сердца наши, исходит от американцев. Вспомни о страшной болезни прежних лет. Она погасила мощь нашего племени...

— Но от оспы гибли и вашичу, белые люди! — вызывающим тоном ответил дядя.

— Белые торговцы навязывают нам огненную воду, заставляют нас пить до потери разума, а потом бессовестно обманывают нас. Твой Дик...

— Виноваты те, которые пьют водку, а не тот, кто продает ее! — кричал, перебивая отца, Раскатистый Гром. — Отказывайтесь пить — и вам не будут продавать. А Дик хочет заплатить настоящую цену за мою Немиссу.

— Жадность притупила твой острый взгляд, брат мой! Ты уже забыл великое несчастье нашего становища? Вспомни! Мы тогда почти достигли возраста воина. Разве должен я напоминать тебе о вероломном нападении белых людей? Черноногие жили с ними в согласии, не было между нами ни войны, ни раздоров. Солдаты окружили наш лагерь. Без всякой причины они внезапно начали убивать наших безоружных воинов, стариков, женщин. Вспомни: тогда погиб наш младший брат, ему было всего шесть лет. Погиб двоюродный брат — Бродячий Волк. Погибла его мать. Такой резни не может забыть ни один человек, если он сохранил разум и душу.

— Неразумно ворошить старое. Все это случилось много больших солнц назад...

— Ошибаешься! — настаивал отец. — Могут ли годы изгладить из памяти все это?

Возле вигвама слышалась хриплая ругань, и сидевшие у очага смолкли. Они узнали голос Рукстона.

Торговец резким движением отбросил полог вигвама и вошел внутрь. Увидев людей, он остановился в нерешительности, неуверенно покачиваясь на широко расставленных ногах. В руке американец держал бутылку виски. Окинув пьяным взглядом собравшихся, Рукстон грубо захохотал:

— Ого! Вся родня моей краснокожей невесты собралась в кучу...

Он, шатаясь, подошел к моему отцу, сидевшему ближе всех к входу, и, ткнув ему в руки бутылку, приказал:

— Пей, шурин!

Отец спокойно отстранил руку американца:

— Не пью. Благодарю.

— Пей! — заорал Рукстон, пытаясь насильно влить виски в рот моему отцу.

Тогда отец выбил бутылку из рук американца. Она описала в воздухе дугу и упала в дальнем углу вигвама.

— Goddam you![16] — взбесился американец и резким движением выхватил из-за пояса револьвер.

Но прежде чем Рукстон успел выстрелить, несколько воинов бросились к нему и обезоружили его.

Началась свалка. Друзья отца хотели убить Рукстона, но приятели дяди заслонили торговца.

Как и многие другие американцы, жившие в прериях, Рукстон носил густую, до самых ушей, бороду. Он казался мне олицетворением безобразия, каким-то упырем, оборотнем. У индейцев не бывает такой растительности на лице. Во время драки бородач рычал от ярости и был больше похож на злого духа, чем на человека. И он действительно стал злым духом нашего племени.

Все повскакали с мест и метались из угла в угол. Один я остался сидеть у очага, окаменев от испуга. Я видел две группы людей, выкрикивавших слова, полные злобы и вражды. Это привело меня в ужас: я словно предчувствовал трагедию племени — распад на два лагеря.

Дик Рукстон был не единственным американцем в нашем становище — с ним жили еще несколько вооруженных до зубов приятелей. Позже, на рассвете, люди эти выкрали Немиссу (кажется, с ее согласия) и на резвых конях умчались с места нашей стоянки. Не знаю, была ли за ними погоня.

Через несколько недель девушка вернулась к нам подавленная, с поникшей от стыда головой: Рукстон выгнал ее. У индейцев племени кроу, наших заклятых врагов, он нашел другую девушку и взял ее в жены.

Раскол в племени

После этого происшествия я снова стал беззаботным ребенком и смутно помню теперь, что происходило в последующие месяцы. Однажды я проснулся и почувствовал, что лечу по воздуху: оказывается, я упал с коня. Не помню, кто меня посадил на него, но помню, как упал и, даже лежа на спине, удивленно разглядывал черные пятна на белом брюхе коня... Ко мне подскокил старший брат Сильный Голос и, вытащив меня из-под коня, выругался:

— Это еще что? Крепче держись на коне! Если не умеешь ездить верхом, получай девчоночьи тряпки — воспитаем из тебя бабу...

С того дня я стал отчетливее воспринимать происходившие вокруг события. А конь, даже самый норовистый, уже не так легко мог сбросить меня.

В те дни мы еще могли свободно передвигаться по прериям, как и в прежние времена. Просторы, бесконечные просторы прерий были нашей стихией. Когда я теперь закрываю глаза и мысленно переносусь в прошлое, то вижу прежде всего широко раскинувшийся горизонт и безбрежное синее небо. Взор наш всегда был устремлен вдаль. Там ожидали нас опасности, приключения, друзья, там были звери, там скрывались наши враги и таилось неизвестное. Еще не совсем угасли старые раздоры с соседними племенами, и надо было все время быть начеку. Из-за синего горизонта надвигалась на нас беда — грозная, неумолимая, страшная. То был белый человек. О нем все чаще велись разговоры у очагов.

Эти рассказы особенно возбуждали наше ребячье воображение. Мы узнали, что где-то есть «большая вода», которая во много раз обширнее, чем наши прерии; что за нею живут тысячи белых людей — других, лучших, чем те, которые приходили к нам. Те не убивают бизонов, у них есть огромные «плавающие дома», которые называются кораблями и могут быстро, как рыбы, двигаться по воде. Мы, дети, не могли вдоволь надивиться рассказам о «длинном

доме», который стремительно мчится по земле, выбрасывая из себя клубы дыма, пыхтит, как страшный дракон, и похож на гигантскую змею. Как могли мы поверить, что он мчится быстрее, чем десяток наших самых резвых мустангов? Далеко на юге, за рекой Миссури, мой дядя Раскатистый Гром видел этот «длинный дом», или поезд, как его называли белые. Когда он рассказывал об этом, у нас мурашки пробегали по спине, а дядя становился в наших глазах всемогущим мудрецом.

Находились у нас люди, которые не разделяли мнения дяди и часто спорили с ним. Люди эти вечно возвращались к одному и тому же.

— Нет добрых белых людей! — говорили они. — Все они коварны. Все похожи на Рукстона.

— Рукстон не самый плохой, — возражал дядя, — просто у него были скверные товарищи. Он слишком поддавался им... Так же как и в нашем племени, у них есть и хорошие и плохие люди. Те, что живут за «большой водой», — добрые люди. Они не сделают нам ничего плохого.

— Это неправда! Всех их одолевает жадность...

Спор переходил в ссору, и моему отцу часто приходилось мирить спорщиков. Отец высказывал мысли, до некоторой степени удовлетворявшие обе стороны:

— Давайте скажем себе, что там, за «большой водой», живут добрые белые люди, и кто хочет верить в их доброту — пусть верит. Но правда и то, что к нам в прерии приходят самые плохие из них. Они-то и отравляют нам жизнь...

Но в том, что эти пришельцы отравляют нам жизнь, далеко не все в племени были твердо уверены. Только самые дальновидные понимали, почему с каждым годом все меньше приходило к нам бизонов с юга. На юге американцы построили от моря до моря три железные дороги, которые, как три острых ножа, пересекали прерии, неся смерть бизонам. Тысячи белых охотников занимались истреблением этих благородных животных, которые для нас, индейцев прерий, были всем: пищей, одеждой, источником существования. Через несколько лет после постройки железных дорог ежегодные переходы бизонов с юга совершенно прекратились, и нам приходилось долго гоняться даже за маленьким стадом, еще сохранившимся в укромных долинах севера. Но и такие стада быстро исчезали.

В эти годы черноногие часто голодали. Племя охотилось на разных зверей, больше всего на лосей и оленей, и все-таки у нас часто не хватало запасов на зиму. Я помню, одно время был такой голод, что мы, мальчишки, крали из вигвамов у наших матерей кожаные мешки, вываривали кожу на костре и ели. В «год большого снега» наши отцы разбрелись по прерии в поисках бизоньих голов, оставшихся от последней охоты. Они снимали кожу с черепов и готовили из нее пищу. К счастью, наши воины вскоре наткнулись на стадо горных баранов, укрывавшихся от глубокого снега в предгорьях. Охотники вдоволь настреляли этих животных.

В то памятное голодное время мне пришлось пережить тяжелое душевное потрясение, первое в моей жизни. В нашем лагере, как и в других индейских лагерях, было много собак. Они часто служили нам для перевозки вьюков, если не хватало коней. У каждой семьи было много собак, у иной несколько десятков. Моим любимцем и верным другом был Пононка, огромный пес, явная

помесь с лесным волком. Когда голод особенно терзал нас, мы ели собак. Наконец наступил день, когда и Пононка должен был стать жертвой. Я воспротивился этому.

— Маленький Бизон, — уговаривала меня мать, — он должен погибнуть, чтобы спасти жизнь нам, людям...

— Не должен, не может погибнуть! — кричал я. — Пусть пропадет весь свет, только не моя собака. Не дам моего Пононку!..

И собака не погибла. Я так горячо умолял, так страстно заклинал всех, так яростно бросался на защиту собаки, что пораженные люди смотрели на меня с тревогой. И Пононке была дарована жизнь.

Пользуясь нашим ужасным положением, американское правительство подсылало к нам своих агентов. Они уговаривали «продать» правительству наши земли, бросить свободную жизнь кочевников и принять власть американцев. За это американское правительство обещало бесплатно содержать нас в резервации. Зная печальную судьбу южных племен, мы не поддались тогда на эти уговоры — мы все еще надеялись прожить охотой.

Но несмотря на грозные тучи, которые собирались над нами, жизнь для нас, детей, все еще была полна прелести. Мы, как говорится, не вешали нос. С незапамятных времен привыкший ко всяким невзгодам, наш народ и теперь радовался солнцу, теплу. Мы, ребята, бывали очень довольны, когда уходила зима, когда на небе появлялись первые признаки наступающей весны. Полярное сияние полыхало в вышине, а по ночам было слышно гоготанье диких гусей, летящих к северным озерам. Мы уже знали, что несут эти добрые предзнаменования — скоро наши родители свернут вигвамы и начнется радостное для индейца скитанье по солнечным прериям Северо-Запада.

Перед большим походом в прерии последнюю ночь в зимнем лагере обычно ознаменовывали военным танцем. Это был важный обряд. В эту ночь никто не спал, кроме нас, детей. Но и нам подолгу разрешали любоваться на торжества. Танцевали все взрослые мужчины, а их было в нашей группе более ста человек. Сразу же после ужина наши отцы, в одних набедренных повязках, начинали раскрашивать свои тела яркими красками, а матери делали замысловатые прически и одевались в лучшие наряды из оленьих шкур. Празднично одевали и нас, детей. Взрослые не противились, если и мы раскрашивали себе лица.

Этот танец в жизни нашего рода имел огромное значение. То была благодарность Великому Духу за счастливо пережитую зиму и моление о том, чтобы он вдохнул в нас мужество на будущее и мы могли бы стойко встретить любую беду, любое несчастье.

Четыре удара в большой барабан разносились по долине. Это шаман племени возвещал начало торжеств. После этого вступления отзывались другие, меньшие барабаны, и возникал правильный ритм танца, а певцы затягивали заунывную воинственную песнь. В большой вигвам, наполовину заполненный людьми, подпрыгивая, вбегали танцоры. Подхватывая грозную мелодию песни, они медленно строились в круг, в центре которого находился костер. Их размеренные вначале движения становились резче, повинаясь ритму все убыстряющегося напева и все более частых ударов барабана, и переходили в бурную пляску. Танцоры издавали воинственные крики, зубы их злоеще поблескивали, в глазах горела жажда битвы. Устремив взор куда-то вдаль, через

головы собравшихся, они словно вглядывались в таинственную глубину мифов и преданий, из которых родился суровый дух военного танца.

Этот танец возбуждал каждого индейца. Даже мы, малыши, дрожали от возбуждения: нам тоже хотелось кричать и танцевать вместе с нашими отцами, которые высоко подскакивали и пели:

— Пусть победа мчится по нашей тропе впереди, пусть сопутствует нашему оружию! Пусть враг уснет вечным сном!

Воины подбрасывали вверх куски дерева, подхватывали их на острия своих копий и восклицали:

— Так будет с нашими врагами! Мы пронзим их, как связку хвороста. Разведем, как жалкую труху!..

В одну из таких ночей произошло нечто, вызвавшее тревогу. Кто-то заметил, что не все люди нашего лагеря принимали участие в церемониальном танце. Мой дядя Раскатистый Гром и несколько других воинов уклонились от этого обязательного в племени танца и не пришли. Их поступок вызвал такое негодование, что торжество было немедленно прервано. Все были ошеломлены. В обрядовом вигваме стало тихо.

— Раскатистый Гром! — громко, во весь голос, воскликнул вождь лагеря.

Вождя звали Шествующая Душа, это был сравнительно молодой воин. Мужество, проявленное им в нескольких битвах с враждебными племенами, а главное — рассудительные речи на совете поставили его во главе нашей группы.

Дяди вблизи не оказалось, но его нашли и привели в обрядовый вигвам. Он стал в свете костра: лицо его было надменным и какие-то странные огоньки сверкали в глазах; он казался пьяным.

— Чего вам надо? — спросил Раскатистый Гром.

— Ты лишился разума? Как смеешь ты задавать такие вопросы? Ты знаешь, о чем моя речь! — твердо сказал Шествующая Душа.

— А почему ты так кричишь? Чего вы хотите от меня?

— Еще не было случая, чтобы кто-либо уклонился от участия в военном танце перед выходом из зимнего лагеря.

— А теперь есть такой случай: я!..

— Ты безумный человек!..

— Не хочу участвовать в танце!

— Объясни свои слова!

Взгляды всех собравшихся с явной недоброжелательностью были устремлены на моего дядю. Некоторые обряды имели такую силу воздействия и так глубоко укоренились в нашем быту, что малейшее отклонение от них просто не умещалось в наших умах — без этих обрядов не было жизни, как нет человека без дыхания. То, на что решился мой дядя, было не только святотатством в глазах многих из собравшихся — это свидетельствовало о явном помешательстве Раскатистого Грома. Должно быть, дядя был все-таки пьян, хотя отвечал как человек в здравом рассудке:

— Новый ветер идет в прерии. Он меняет все, что устарело. Знаете сами, как силен этот ветер. Ничто его не остановит...

— Значит, ты, Раскатистый Гром, хочешь, чтобы мы покорились ему? Чтобы мы отреклись от наших извечных обрядов? — с презрением крикнул Шествующая Душа.

Дядя не обратил внимания на его слова и продолжал:

— Наш Великий Дух был прежде хорошим, он оберегал нас. Но пришли Длинные Ножи — американцы. И что же? Их Великий Дух оказался сильнее. Зачем же мне танцевать для слабого Духа?

— Молчи!

Слово это прозвучало как резкий удар бича. Произнес его Белый Волк, наш шаман.

Этот необыкновенный человек пользовался огромным уважением и был самым мудрым среди черноногих. Белый Волк прославил себя множеством чудес, совершенных им. Мы верили в эти чудеса, хотя теперь я понимаю, что здесь не было ничего сверхъестественного: Белый Волк обладал небывалой остротой ума, позволявшей ему видеть вещи, скрытые для многих других. Свое влияние и опыт он всегда использовал для блага племени, поэтому мы больше любили его, чем боялись, и он был подлинным вождем нашей группы.

Его короткое слово прекратило всякие разговоры и прозвучало как приговор. Гнетущая тишина воцарилась среди собравшихся. Затем один из воинов принялся бить в барабан, сначала несмело и тихо, потом сильнее, а вскоре подхватили и другие, восстанавливая прежний ритм. Напряглись тела, и танцоры двинулись снова. Всех, как и прежде, захватила пляска, но теперь в ней было уже меньше огня и не так громко звучали песни о победе. Ледяное дыхание чужого ветра ворвалось в наши палатки.

Наши отцы танцевали всю ночь. Детям скоро велели укладываться спать, но дикая и сладостная мелодия тревожила наш сон, порождая жажду великих подвигов.

Было еще темно, когда лагерь огласился возгласами: «Вставать!» Люди тотчас же вскочили и выбежали под звездное небо. Отец ушел в прерию за лошадьми, а мы, малыши, стали помогать матери снимать шкуры, покрывающие вигвам. В путь наша группа выступила на рассвете.

И снова произошло печальное событие, и вновь я не мог удержаться от слез. Мой дядя Раскатистый Гром вместе со своими приверженцами отделился от нашей группы, решив жить и кочевать по прериям отдельно. Эти люди не хотели больше оставаться с нами. Вместе с ними ушли, конечно, и их семьи, а среди них — мой ровесник и самый верный друг, сын дяди Косматый Орленок. До этого дня мы всегда были вместе, нас связывали игры, забавы и большое, ничем не омрачаемое братство.

Приближалась минута нашего расставания. Мы стояли друг против друга, не в силах произнести ни слова, даже посмотреть один другому в глаза. От горя у нас была какая-то пустота в душе. Так и стояли мы в оцепенении, пока родители не позвали нас.

— Едешь? — пробормотал я наконец.

— Еду, — ответил Косматый Орленок, — но скоро вернусь...

— А если твой отец не захочет?

— Если не захочет, я убегу от него!

— Ой-ёй!

— Убегу, говорю тебе...

— Так далеко? Через всю прерию?

Видя мои сомнения, Косматый Орленок протянул мне свой чудесный маленький лук, из которого он уже хорошо стрелял сусликов, и сказал:

— Если не вернусь, лук будет твой!

Лук был очень дорогой, но Косматый Орленок был мне дороже всех луков в прериях. Мне хотелось плакать, слезы застилали глаза. Как в тумане, видел я друга, уходившего к родителям. Лук его остался у меня.

Когда взошло солнце, показались предгорья, а далеко за ними сверкали снежные отроги Скалистых гор. Повсюду еще лежал снег, но уже чувствовалась близкая весна. По мере того как наша колонна опускалась к долинам, казалось, что воздух с каждым часом становится теплее, но это разогревались наши сердца — перед нами, на востоке, расстилали свой красный ковер волнистые прерии.

Закат древних обычаев

В те времена бизоны почти полностью были истреблены в Соединенных Штатах, но они еще водились на севере, в Канаде. Поэтому наша группа направилась к реке Саскачеван. На просторах южной части провинции Альберта, где теперь оживленные города и поселки и колыхается бескрайнее море золотой пшеницы, мы за много дней не встретили ни одного белого человека. Но, несмотря на это, его влияние чувствовалось. Большинство индейских племен, заключивших договоры с обоими правительствами — Соединенных Штатов и Канады, — поняли правду и отказались от войн между собой: с каждым годом все более опасным становился общий наш противник — белый человек. Новая опасность грозила всем племенам, и это сближало нас. Орудие войны — томагавк, если употребить старинное определение, был «закопан в землю», но, однако, не так уж глубоко, — это нам стало ясно в ближайшие же недели.

Следуя все дальше на север, наша группа однажды увидела в прерии отряд воинов чужого племени. В таких случаях всегда соблюдалась большая осторожность.

Чужие воины остановились, как и мы. Издалека они стали делать нам знаки — это был международный язык прерий. Один из них пальцами правой руки коснулся левого локтя, затем вытянутой вперед рукой помахал несколько раз вправо и влево, шевеля при этом пальцами. Прикосновение пальцами к локтю означало: «Какого вы племени?» Шествующая Душа, наш вождь, ответил знаками: «Черноногие», и показал рукой в ту сторону, где был наш зимний лагерь. На это чужие воины ответили знаками, что они принадлежат к племени кри и хотят мира: подняли правую руку, обращенную к нам открытой ладонью, — это означало, что они безоружны. До недавнего времени племя кри было во вражде с нами, но наш вождь ответил им тем же знаком мира.

Оба вождя сошли с коней и встретились на середине пути. Они угостили друг друга табаком, каждый выкурил трубку другого. На этом и закончилась церемония. Затем приблизились и мы.

Оказалось, что это была часть взбунтовавшихся воинов кри. Они отделились от своего племени в знак протеста против заключенного их вождями мирного договора с канадским правительством на условиях, ущемляющих интересы индейцев. Такой оборот дела сильно обеспокоил нас. Мы ни с кем не хотели враждовать: ни с индейцами, ни с канадцами.

— Какие же у вас намерения теперь? — допытывался Шествующая Душа, и голос его звучал не очень доброжелательно. — Разве вы хотите воевать с белыми?

— Нам и в голову не приходила такая мысль! — уверяли кри. — Мы не собираемся воевать с ними, но и лизать им пятки у нас тоже нет охоты. Мы не желаем покоряться им. Зато нам очень нужна ваша помощь. Мы хотим жить с вами в самой тесной дружбе.

Шествующая Душа был в большом сомнении, так как кри тут же признались, что две недели назад они схватились с северной ветвью черноногих, но по счастливой случайности в этой стычке никто не погиб.

Исход переговоров решил Белый Волк, наш шаман, который твердо высказался за дружбу с кри. Совет наших старейшин тоже высказался за это. Как и всегда, слово Белого Волка оказалось самым мудрым. Принятое решение обрадовало всех, и в честь заключенного мира было устроено общее пиршество.

Во время пира один из наших старых воинов, Победитель Шести, сидел напротив воина кри и не спускал с него глаз. Этого кри звали Коричневый Мокасин. Он заметил, что на него пристально смотрят, но не подал виду. На его груди висело ожерелье из зубов бизона, и именно в это украшение Победитель Шести всматривался как зачарованный.

Под конец пиршества Победитель Шести спросил гостя: не сам ли он сделал это ожерелье? Кри засмеялся и, поглаживая пальцами зубы бизона, сказал хвастливо:

— Нет. Я отобрал его у воина черноногих. Убил его несколько лет назад в битве.

— Но разве мы кого-нибудь из ваших убили?

— Да, — ответил Коричневый Мокасин. — Одного кри и четырнадцать сиу. Они сражались на нашей стороне.

Победитель Шести вскочил с места и, задыхаясь от ярости, хотел броситься на воина кри. По ожерелью он узнал убийцу своего сына.

Возбуждение охватило всех и грозило перейти в кровопролитное столкновение, но наши старейшины сумели охладить горячие головы; они успокоили и Победителя Шести. Этот бывалый воин заявил, что для него важнее покой и счастье всего племени, чем личная месть. Закончив свою речь, он протянул руку Коричневому Мокасину в знак мира. Снова воцарилось доброе согласие, и с того момента ничто уже не омрачало взаимной дружбы.

Кри были так обрадованы хорошим исходом этой встречи, что попросили позволения идти вместе с нами в Монтану. Там они собирались заключить мир со всеми племенами, с которыми у них были споры и распри. Мы охотно согласились.

Не встретив нигде во время этого похода бизонов, мы снова повернули на юг. По пути, в качестве мирных посредников, наши группы наведались к сиу, гровантрам, хидатсам, шайенам и к подружившейся с нами группе кроу. Всюду давние враги оказывали воинам кри теплый прием и устраивали пиршества.

Только сиу однажды нарушили общее согласие. Наша группа прибыла как раз в то время, когда миссионеры с помощью американских солдат насильно отбирали у сиу детей и отсылали их в школы. Это насилие и отчаянный плач детей привели в бешенство вождя сиу — Стоящего Быка. Охваченный гневом, он хотел прервать всякие мирные переговоры с племенем кри и начать с ними новую войну на полное истребление. Но рассудительные старейшины сумели восстановить спокойствие, и после долгой беседы мир был заключен.

Когда наш отряд посетил северную группу кроу, возникла опасность столкновения. Вождь кроу благожелательно принял прибывший отряд кри, но он, видимо, недостаточно крепко держал в руках самых горячих своих воинов. Молодежь племени вскоре после прихода отряда кри затеяла военный танец, окружила гостей тесным кольцом, чтобы никто из них не мог ускользнуть. Во время танца они держали оружие под одеялами, которыми были одеты. Можно с уверенностью сказать, что все это кончилось бы кровопролитием, если бы не здравый смысл, который проявил один из наших воинов — Два Броска. В молодости он был взят в плен кроу и через несколько лет вновь отбит нами. Два Броска знал язык кроу и сразу понял, к чему клонится дело. Рискуя жизнью, он вошел в круг танцующих и горячо стал доказывать им необходимость мира между племенами. Он пристыдил молодых кроу, заявив, что они заслужат дурную славу трусов, если предательски нападут на своих гостей кри, прибывших с единственной целью — установить согласие и прочную дружбу.

Вмешательство воина Два Броска помогло. Кроу прекратили танец и велели своим женщинам приготовить угощение, чтобы принять гостей как подобает.

Эти новые проявления дружбы ломали старые предрассудки и освобождали наши племена от варварского бремени вчерашнего дня. Индейцев теперь объединяла общая забота о близком будущем, тем более что натиск белых людей на охотничьи районы индейских племен все усиливался.

Возвращаясь к нашим друзьям кри, я должен заметить, что дружба с ними оказалась крепкой. Многие из них и поныне живут в долине реки К'Апшель, в канадской провинции Саскачеван.

Ко всем этим событиям я внимательно приглядывался, и хотя ум ребенка немного мог понять из того, что происходило вокруг, зато позднейшие рассказы старших дополняли мне картину минувшего. Впрочем, во время летних переходов нас, детей, интересовали свои забавы, а в нашем лагере был настоящий рай для всевозможных игр.

Индейцы прерий, за исключением немногих, не умели еще читать и писать, поэтому устные повествования старших приобретали исключительное значение: они заменяли нам книги. Чаще всего это были рассказы о великих героях и необычайных их приключениях. Сидя у костра, мы слушали затаив дыхание, а потом в наших играх старались воспроизвести великие подвиги предков. Как и мальчики в Европе, мы играли в «индейцев», с той только разницей, что и прерии были настоящие и участники игр были «всамделишными» индейцами.

Разумеется, мы могли играть только во время длительных остановок. Чаще всего это были «битвы», которые мы разыгрывали, стараясь подражать старшим, и заканчивали их всегда танцем победы. Каждый мальчик проходил как бы школу войны и принимал участие в разных состязаниях: конном и пешем беге, стрельбе из лука, метании копья, зимнем плаванье в реке. Все эти игры и забавы были проникнуты духом соревнования, и цель была одна — закалить тело и душу. Трудно представить себе, как велика была физическая выносливость и ловкость даже пятилетнего индейца.

Я припоминаю сейчас мое первое зимнее купанье в реке. Это было на рассвете, в морозный день. Я еще спал. Неожиданно мой старший брат Сильный Голос вытащил меня из-под одеяла и силой потащил к реке, возле которой

был раскинут наш лагерь. Мое отчаянное барахтанье ни к чему не привело. Ударом ноги Сильный Голос пробил тонкий лед и бросил меня в прорубь. Я подумал, что умираю. Купанье длилось всего несколько мгновений, потом мы вернулись в вигвам. Но я даже не схватил насморка.

Сильный Голос был старше меня на шесть лет, но нас связывала крепкая дружба, как и с двоюродным братом — Косматым Орленком. Однако в это утро я был так взбешен, что не мог спокойно смотреть на брата. Я пошел к отцу с жалобой.

— Маленький Бизон, — засмеялся отец, — ведь это я велел ему бросить тебя в воду. А знаешь для чего?

— Знаю. Потому что вчера я был непослушным...

— Что было вчера, нас сегодня не тревожит. Важно то, что произойдет завтра. Ты должен вырасти сильным воином. Купанье — не наказание. С этого дня ты будешь каждое утро купаться на рассвете в холодной реке.

— Хорошо, отец. Но этот Сильный Голос...

— Что «Сильный Голос»?..

Детское упрямство мешало мне преодолеть обиду. Отец посоветовал мне отплатить брату той же монетой: встать завтра раньше, чем Сильный Голос, и попотчевать его куском льда. Так я и сделал. Наутро первым побежал к ледяной проруби, вернулся оттуда с большим куском льда и засунул его под одеяло — прямо на голую грудь брата. Сильный Голос вскочил, оторопев от неожиданности, и в первую минуту готов был избить меня. Потом он рассмеялся, как и все другие в нашем вигваме. Купанье в проруби вскоре стало привычкой для меня и для моего пса Пононки. Мой верный четвероногий друг бегал за мною всюду, даже лез в ледяную воду реки.

Лагерь был общим для нескольких племен. Это благоприятствовало различным состязаниям молодежи. Мы соревновались в ловкости с детьми других племен, и это было одновременно школой послушания, хороших манер и достойного поведения. Предосудительные поступки или грубость карались немедленно и беспощадно. У нас завязывалась дружба, искренняя и верная, сохранявшаяся на долгие годы, а часто и на всю жизнь.

В эти счастливые месяцы радость наполняла мою ребячью душу, и для полного счастья мне не хватало только Косматого Орленка. Временами сердце мое сжималось от боли — я тосковал по двоюродному брату, который ушел от нас за своим отцом, Раскатистым Громом.

Повторяю, Косматый Орленок был самым лучшим моим другом и товарищем детских игр. Правда, у него были несколько коротковатые ноги и в ходьбе я всегда побивал его, зато в езде на коне он оказывался первым, а как стрелок из лука не имел себе равных. Мы словно приросли друг к другу и всегда держались вместе. Без него я был как без рук, без души. Сколько разных проказ придумывал Косматый Орленок, как весело умел он смеяться!..

Свою печаль я поверял брату Сильному Голосу, но он ничем не мог мне помочь. Обращался я и к отцу, всегда готовому прийти на помощь в трудную минуту.

— Отец, — спрашивал я у него, — когда же вернется Косматый Орленок?

— Не знаю, Маленький Бизон! — отвечал отец, хорошо понимавший мою тоску.

— Тогда мы сами поедem к нему! — с ребячьим нетерпением предлагал я.

Отец мягко улыбался и, положив руку мне на голову, тихо говорил:

— Мы не можем покинуть наше племя, дорогой сын. Я не знаю, где теперь Косматый Орленок...

— Он ездит по прерии с дядей Раскатистым Громом!

— С Раскатистым Громом?.. Но где он, твой дядя?

Видно было, что отца тоже тревожит долгое отсутствие брата.

То, что отец делил со мной мою печаль, приносило мне облегчение. Я выходил из вигвама ободренный и бежал к своим ровесникам. Это были хорошие ребята и с ними было неплохо играть, но все-таки ни один не мог заменить мне верного друга. Кто мог сравниться с Косматым Орленком! Кто мог так шалить, как он, так лихо мчаться на спине мустанга по прерии!

Под звуки волшебного барабана

В ту весну я много думал о Белом Волке, нашем шамане. Я верил, что только он один может помочь мне в моих заботах и дать ответ на вопрос, который больше всего мучил меня. Ведь шаман знал все тайны жизни, значит, он должен знать, где сейчас Косматый Орленок и когда я его увижу.

Вигвам Белого Волка стоял несколько в стороне от нашего лагеря; он был большой и издали бросался в глаза своей яркой раскраской. Рядом с изображением Белого Волка были разные цветные знаки, такие таинственные, что нас, детей, охватывала какая-то тревога, когда мы их рассматривали. Сколько раз я приближался к этому вигваму, чтобы заговорить с Белым Волком и спросить, нет ли вестей о Косматом Орленке! Но попытки эти кончались неудачей. Вблизи вигвама горло у меня пересыхало, и язык прилипал к небу; от волнения и страха я не в состоянии был произнести ни слова. Я очень стыдился своей слабости. Мне было хорошо известно, каким добрым человеком был Белый Волк, но сверхъестественная сила, которой он обладал, гасила мой порыв, и я... удирал прочь.

Вигвам Белого Волка сильно привлекал внимание и моего старшего брата Сильного Голоса и его друзей, но по совершенно другим причинам. Каждый индеец уже с юных лет мечтал стать шаманом — человеком с неограниченным могуществом, имевшим часто большее влияние на племя, чем сам вождь. В каждом более или менее многолюдном лагере было несколько вождей и множество членов совета племени, но только один шаман. И шаман оберегал свое достоинство и свои тайны, пожалуй, так же ревностно, как собственную жизнь. Он выполнял три обязанности: врача, советника в сложных делах племени и духовного пастыря.

Шаман сам выбирал себе преемника. Обычно это был мальчик лет двенадцати — тринадцати, обладающий выдающимися физическими и духовными качествами. Преимущественно выбор падал на такого мальчика, который с детства был вожаком своих сверстников в играх и забавах и которому все легко давалось. Шаман обращался к родителям с вопросом, не желают ли они отдать ему сына. Это был большой почет для семьи и для самого избранника, и я не знаю случая, чтобы родители отказали шаману. Обучение и подготовка будущего шамана продолжались несколько лет, и это была суровая школа жизни.

Сперва шаман увозил ученика на полгода в безлюдные места Скалистых гор и там давал ему первые наставления. Самым важным в это время, говорил

шаман, было обрести власть духа над телом. Для этого ученик должен был долго отказываться от еды и учиться мужественно переносить боль. Из далекого путешествия он возвращался совсем другим — он уже не был прежним веселым товарищем своих ровесников.

У ребят этот будущий преемник шамана всегда вызывал изумление; мы чувствовали, что он уже владеет какой-то большой тайной, отделяющей его от нас, — тайной, которую он не поведает даже своим родителям. Такие поездки в пустынные места продолжались три года Тело мальчика становилось закаленным, как сталь, а сила воли была так велика, что любую боль он переносил, не дрогнув ни одним мускулом.

После такой подготовки начиналось настоящее ученье. Мальчик проникал в тайны врачевания, знакомился подробно с действием различных трав. Так как у наших отсталых народностей ничего значительного не происходило без так называемой «магии», то мальчик одновременно обучался разного рода заклинаниям, знахарству и «общению с духами». После многих лет ученья мне стало понятно, что во всем этом было много шарлатанства, но верно и то, что под такой сомнительной «наукой» скрывались и серьезные знания, помогавшие разгадывать тайны природы. Шаман прежде всего был превосходным знатоком флоры и фауны прерий, и это давало ему огромный перевес над другими людьми племени, так сильно зависящими в своей повседневной жизни от стихийных сил и самой природы. Например, шаман предсказывал, в каком месяце и где мы обнаружим больше всего зверей и животных. Очень редко бывало, чтобы такие предсказания не сбывались. Считалось, что это «сообщили» шаману «духи». Но, по сути дела, шаман умел делать из различных явлений природы правильные выводы.

Наиболее сильное впечатление из всего долгого обучения жреческому искусству производил на нас период «семи вигвамов», продолжавшийся семь лет. Шаман собственноручно воздвигал вигвам и помещал туда разнообразные предметы, необходимые для обучения будущего преемника. В вигваме ученик жил целый год и совершенствовался там в разных магических действиях, которые я сегодня назвал бы фокусами. По истечении года ученик проходил перед шаманом недельное испытание, которое должно было показать, насколько ученик овладел его искусством. После этого обучаемый переходил в другой вигвам, с другими священными предметами, и так в течение семи лет он завершал полный цикл жреческой «науки».

Побывав в пяти вигвамах, то есть спустя пять лет, юноша сдавал два испытания на умение вызывать «злые чары». При этом он должен был показать искусство произносить внушительные заклятья и даже призывать смерть. В противоположность распространенному среди европейцев мнению, что все без исключения шаманы и колдуны — злодеи, некоторые наши шаманы не были злыми людьми и не играли человеческими жизнями. Если же возникала (впрочем, очень редко) необходимость покарать кого-либо смертью, то чаще всего речь шла об устранении человека вредного, опасного Для жизни всей группы или всего племени.

Белый Волк был добрым шаманом, и то, что он оказывал положительное влияние на судьбы нашей группы, не подлежит сомнению. Но были и другие шаманы. Большая магическая власть над племенем нередко приводила такого шамана к злоупотреблению ею. Но даже там, где иные шаманы не проявля-

ли злой воли, они все-таки были опорой тех, кто придерживался старого и враждебно относился к прогрессу.

Заклятия Белого Волка казались нам вершиной чародейского искусства и были неопровержимым доказательством его связи с невидимыми силами. Сегодня я объясняю это иначе. Сильное воздействие этих заклятий проистекало в значительной мере из настроения умов — ведь все безгранично верили в их силу. Но в конечном счете все объяснялось простыми причинами: шаман знал свойства различных трав, и искусство его основывалось на том, что он умел незаметно применять и исцеляющие средства и смертельные яды.

Мы частенько останавливались около вигвама Белого Волка и, затаив дыхание, с бешено бьющимися сердцами, вслушивались в раздававшиеся там необычайные звуки. С волнением различали мы удары колдовского барабана «митийявин» и предавались блаженной надежде, что в один прекрасный день шаман появится в нашем вигваме и выберет кого-нибудь из нас в ученики.

Шепотом нам рассказывали, что в вигваме шамана творились вещи, превосходящие человеческое воображение. Помню, какой ужас охватил нас, когда в полумраке вигвама, сквозь приоткрывшийся полог, нам удалось увидеть юношу с уродливым, искаженным лицом. Одна опухшая щека свисала у него, как тряпка, на нижнюю челюсть, веки были выворочены, как у оборотня, нижняя губа опустилась ниже подбородка. Матери говорили нам, что шаман проклял в этом юноше злого духа.

Были в племени старые женщины, которые умели отводить такого рода злые «чары», впрочем, с согласия самого Белого Волка. Они варили лекарственные растения и приказывали больному вдыхать пар. Вскоре бедняга начинал чувствовать что-то у себя на губах. Оказывалось, что это был волос. Когда его вытаскивали, опухшее лицо больного постепенно начинало принимать нормальный вид. Откуда брался этот удивительный волос, никто не мог сказать толком. Много лет спустя я встретил индейца-сиу, который испытал такие «чары», и он раскрыл мне тайну шамана. Это был действительно длинный человеческий волос, смоченный ядом и тайком всаженный в мундштук трубки, которую обычно курил этот сиу. Из мундштука волос с ядом попал в рот. Я уверен, что многие «чудеса» наших шаманов можно объяснить таким же образом.

В ту памятную весну, когда я так жаждал поговорить с Белым Волком о Косматом Орленке, мне довелось неожиданно столкнуться со шаманом. Встретил я его на берегу реки. То был мой первый и последний разговор с этим незаурядным человеком.

Я сидел один вблизи нашего лагеря на реке и ловил рыбу на удочку, сделанную мне старшим братом Сильным Голосом. Внезапно сзади послышались шаги. Я обернулся и увидел Белого Волка. Он пришел за водой для своих таинственных дел. Я остолбенел, когда он очутился со мной рядом. Должно быть, Белый Волк заметил мой испуг — он ласково погладил меня по голове и сказал приветливо:

— Ловишь рыбу, Маленький Бизон?

Круги пошли у меня перед глазами; я не мог вымолвить ни одного слова.

— Здесь нет рыб... — так же ласково продолжал шаман. — Пойдем, я покажу тебе, где они есть.

Я машинально вытащил удочку, забрал червей и поплелся за Белым Вол-

ком. Мы отошли недалеко, всего на несколько шагов.

— Попробуй тут! — показал шаман на одно место у берега, внешне ничем не отличающееся от прежнего.

Тем временем я кое-как пришел в себя и почувствовал прилив смелости. Крепко ухватив шамана за кожаный мокасина, я поднял на него взгляд. Высоко надо мной светились его выразительные глаза. Я говорил что-то, но из моего горла вырывалось лишь бессвязное бормотанье, и только одно имя прозвучало отчетливо:

— Косматый... Орленок...

Белый Волк понял все. Лицо его вдруг омрачилось. Большие его руки обняли меня мягким движением, и я услышал озабоченный голос:

— Не спрашивай меня, Маленький Бизон. Не спрашивай об Орленке.

Уходя, Белый Волк ласково похлопал меня по спине и дружелюбно добавил:

— Налови много рыбы!

Я не понял, почему Белый Волк так опечалился, когда я спросил о Косматом Орленке. Ведь это был мой друг. Спазмы сдавили мне горло. Я был обижен на шамана...

Рыба теперь клевала как замороженная. Я вытаскивал одну за другой, словно они сами лезли на крючок... Я удил и удил не переводя дыхания, но слезы застилали мне глаза, и я уже не различал ни берега, ни реки, ни удочки, ни рыб...

Ударил гром

Двигаясь на юг, наша группа давно уже перешла Молочную реку и несколько дней стояла лагерем в долине ручья, под названием Раковинный. Затем мы снова приблизились к подножию Скалистых гор. Прерия в этой части Монтаны была очень холмистой. Пользуясь долгой стоянкой, ребята устраивали прогулки верхом, нередко удаляясь от лагеря на много километров.

Однажды во время такой поездки мы заметили далеко на юге всадника, галопом мчавшегося по направлению к нам. Как раз в эти дни взрослые предупреждали нас, чтобы мы были особенно осторожны. Принадлежащая к племени кроу группа Окоток, которая всегда была враждебна нам, теперь особенно вызывающе держала себя и готовилась к каким-то враждебным действиям. Мы не имели при себе никакого оружия, за исключением детских луков и ножей, и поэтому решили удирать в сторону лагеря.

Но всадник догонял нас. Когда он подъехал ближе, один из старших ребят, обладавший острым зрением, узнал его. Это был Стремительный Поток, молодой воин нашей группы. Несколько месяцев назад, к концу зимы, после памятного столкновения во время военного танца, он отделился от нас вместе с моим дядей Раскатистым Громом. Мы придержали коней, чтобы дружески приветствовать его, но он, не останавливаясь, крикнул:

— Где лагерь?

Мы показали направление и помчались за ним.

Неожиданное появление Стремительного Потока и его бешеная скачка взволновали нас. Старшие ребята засыпали его вопросами. Он отделялся от них отрывистыми, ничего не значащими словами. Мы догадались, что случилось какое-то несчастье. Я подогнал коня к Стремительному Поток и крик-

нул:

— Где... Косматый... Орленок?

— Умер! — прокричал воин.

От быстрой скачки у меня шумело в ушах, поэтому мне показалось, что я плохо понял воина.

— Где он? — повторил я.

— Умер!.. — заорал Стремительный Поток, повернув ко мне лицо. — Убит...

Теперь я расслышал и закричал изо всех сил:

— Зачем ты так шутишь?

— Глупыш, я не шучу! Убит...

Этот первый в жизни жестокий удар я почему-то принял поразительно спокойно. Только спустя несколько мгновений в моем воображении ярко встала картина нашего расставания: я с луком в руках и Косматый Орленок, уходящий от меня к своим родителям. Ноги его были коротковаты, и это делало его немного похожим на неуклюжего медвежонка... Вспомнилась и та печаль, которая охватила меня, когда Косматый Орленок исчезал из моих глаз. Исчезал насовсем... Исчез! Убит!..

Весь дальнейший путь я уже ни о чем не думал. Здоровая натура ребенка как бы погрузила все в успокаивающий мрак. Только крепче пришлось держаться за гриву коня, чтобы не свалиться в сумасшедшем галопе.

В лагере немедленно созвали совет племени. Мы узнали подробности происшедшего. Воины племени кроу, из беспокойной группы Окоток, напали на отряд Раскатистого Грома, когда он расположился лагерем у подножия Скалистых гор. Слухи о враждебности Окоток, к сожалению, не были выдумкой. Но, что всего примечательнее, среди кроу оказались белые люди — возможно, Рукстон и его шайка. Им понадобились лошади. И тут нападавшим неожиданно повезло: они захватили всех лошадей — свыше ста, — за исключением одной, на которой Стремительный Поток прискакал к нам.

Когда нападающие стали захватывать лошадей, люди из отряда дяди проснулись и дали отпор кроу. Но воинам Раскатистого Грома не удалось даже выступить из лагеря. Их встретил убийственный огонь винтовок: это была засада белых. Несколько наших пали, остальные вынуждены были отступить, а тем временем кроу под прикрытием сильного огня поспешно угоняли лошадей. Погибли четыре наших воина, одна женщина и... Косматый Орленок. Как погиб мальчик, никто не знал. Возможно, что в суতোлке бросился к лошадям и в это время пуля настигла его. Скрытые в ночном мраке белые стрелки били по каждому, кто попадал на мушку.

Нападение произошло два дня назад более чем за сто километров от нас. Раскатистый Гром и его люди не могли пуститься в погоню из-за отсутствия лошадей. Они укрепились в лагере. Но до отъезда Стремительного Потока никто на них не напал. Видимо, грабителям нужны были только лошади.

Совет наших старейшин продолжался недолго. Решено было отбить награбленное и дать кроу хороший урок. Немедленно принялись сворачивать лагерь, и уже через два часа мы выступили.

Быстрота передвижения индейских племен всегда вызывала беспокойство и удивление врагов. Благодаря этой быстроте индейцы прерий в течение десятков лет затяжной войны успевали вовремя оказывать сопротивление медлительным войскам Соединенных Штатов. В нашем лагере было много дрях-

лых старцев, грудных младенцев и много всякого имущества, не говоря уже о сделанных из бизоньих шкур покрытий для вигвамов. Все это было навьючено на коней или уложено на травуа — походные носилки, которые одним концом привязывались к седлу, а другим концом волочились по земле.

Мы ехали всю ночь и так быстро, что на рассвете уже были у цели. Дядю и его людей мы застали невредимыми.

О большой деликатности наших людей говорило поведение вождя Шествующей Души и шамана Белого Волка по отношению к моему дяде. К нему, который сам порвал с нами и был виноват в происшедшем несчастье, отнеслись как к равному: никто не упрекал его, никто даже словом не упомянул о прошлом. Все вели себя так, словно только вчера по-хорошему распростились с ним.

Я стоял возле отца во время встречи братьев. Раскатистый Гром был явно смущен, даже я заметил это. Дядя неуверенно подошел к отцу и крепко пожал ему руку. Говорил он тише, чем обычно:

— Была туча надо мной. Я сам навлек ее на себя... Ударил гром...

— Тучи эти, — мягко прервал его отец, — недолговечны, брат: ветер всегда развеет тучи. А после них появится светлое небо.

— Но вред, который причинил гром, остается: здоровый маленький дубок сломлен.

— Не в наших руках изменить это, брат... Такова судьба всех людей. На каждую падет молния, которая ему предназначена. Один дубок сломлен, но рядом растут другие.

Я был тогда еще мал, но и мне стало понятно, о ком шла речь. Отец и дядя говорили о Косматом Орленке. Я злился на них за то, что они так спокойно беседовали о его смерти, — сам я чувствовал, будто мне кто-то вонзил в грудь отравленную стрелу. О смерти друга я не смог бы сейчас сказать ни слова.

Дядя, оказывается, не тратил времени даром. Он послал по следу врагов своих разведчиков, которые хоть и шли пешком, но узнали многое. Выносили, как антилопы, они шли за врагами много часов без отдыха. Выяснилось, что кроу вышли из предгорий в открытые прерии и направились на юго-запад, видимо, в сторону форта Бентон. Это был единственный в окрестности большой форпост американцев на реке Миссури; он находился в трехстах километрах от нас. С кроу по-прежнему ехали белые. Как оказалось, это действительно была шайка Рукстона. Она, должно быть, собиралась продать в форте Бентон украденных лошадей. Форт, расположенный, так сказать, на границе «цивилизации», был в те времена оживленным торговым центром.

К нашему счастью, грабители не очень спешили. Они считали, что мой дядя не сможет преследовать их. Уверенные в своем численном перевесе, они много и беззаботно охотились по пути. Догнать их не стоило большого труда.

Исконный наш обычай требовал: перед тем как отправиться на битву, надо получить добрый совет от невидимых сил и выслушать предсказания о результатах военного похода. Происходило это по давно установленному церемониалу. Вождь шел к шаману и приносил ему в дар трубку. Если шаман принимал ее и закуривал, это свидетельствовало о том, что он берет на себя ответственность за судьбу похода и обязуется сопровождать воинов во всех сражениях. Вождь перечислял имена добровольцев — у индейцев никогда никого не принуждали участвовать в наступательных военных действиях. Потом

шаман предлагал вождю прийти на следующую ночь для дальнейшего совещания.

После ухода вождя шаман вступал в общение с духами и узнавал от них о том, какая судьба ожидает воинов. Если он получал знамение, что врагов погибнет много, больше, чем наших, то поход получал благословение. Как видно из этого, шаман принимал на себя исключительную ответственность перед племенем и именно он решал, быть войне или нет.

На этот раз все обряды выполнялись поспешно: дело шло о погоне за бежавшим врагом. Уже через несколько часов после прибытия в лагерь Раскати-стого Грома шаман Белый Волк заявил, что поход будет иметь полный успех: врагов погибнет восемь человек, а наши все уцелеют. Людей охватила радость, и к выступлению стали готовиться всем лагерем. Воины, выделенные для битвы, должны были уйти вперед только тогда, когда мы приблизимся к стоянке врагов. Группа оставалась на месте еще несколько часов, чтобы дожидаться наступления ночи и в сумерки выполнить самый важный обряд — «пророчество бизоньего черепа».

Обычно для этого требовалась голова только что убитого бизона. Но за несколько часов, которые оставались до похода, трудно было добыть бизона, поэтому удовольствовались старым черепом, найденным в прерии.

На закате солнца череп положили на то место, где стояли вигвамы лагеря, теперь уже свернутые и навьюченные на коней. В нескольких шагах от черепа уселась в круг вся наша группа, за исключением тех, кто был послан на отдаленные посты сторожить лагерь. Даже детям было разрешено присутствовать на церемонии, только нас поместили вне круга, позади взрослых.

Белый Волк сел около черепа и начал петь заклинания. Приближалась ночь, только на западе еще горела светлая полоска. На ближних холмах, как бы вторя песне шамана, тоскливо завывали степные волки — койоты. Кончив песню, Белый Волк обратился к собравшимся воинам и велел им как можно пристальнее вглядываться в череп бизона. Если голова подаст знак, они должны благодарить духов за хорошее предсказание. В полумраке едва виднелось на земле светлое пятно черепа.

Когда Белый Волк затянул вторую песнь, из глазниц черепа бизона посыпались искры. Череп начал раскачиваться, как голова зверя, только что раненого пулей. Дым повалил из ноздревых отверстий, из черепа раздалось мычание.

Мы, дети, во время этого обряда замирали от страха. Но когда череп изверг искры, да еще стал мычать и раскачиваться из стороны в сторону, мы закричали от ужаса и, как обезумевшие, бросились врассыпную. Старшие погнались за нами и переловили нас по одному. На обратном пути в лагерь они успокаивали нас: нечего, мол, бояться — череп бизона обещал удачный поход. Матери добродушно подсмеивались над нашим страхом и шутливо называли нас «маленькими девчонками». Обижаться не приходилось: мы заслуживали этого.

Я должен еще раз подчеркнуть: то, что в те времена казалось нам сверхъестественным и таинственным, теперь может быть объяснено. В глазницы черепа шаман, наверно, вложил какие-нибудь фосфоресцирующие корешки и в наступившей темноте мог незаметно раскачивать череп при помощи конского волоса. А то, что Белый Волк обладал способностью чрево вещания, теперь

для меня совершенно ясно; не сомневаюсь, что мычанье издавал он. Конечно, его можно упрекнуть в том, что он так дурачил нас своими «чарами». Тогда мы были еще глубоко суеверны, и только такими фокусами шаман мог поддерживать свое постоянное влияние на племя. Сегодня я все это понимаю, но в ту ночь «чары» Белого Волка произвели на меня непередаваемое впечатление. И какой страх тогда испытали мы!

Вскоре группа выступила в путь. Воинственный пыл наполнял сердца всех. Уверенность в победе и мужество сопутствовали нам в походе. Этого, видимо, и добивался Белый Волк.

Моя первая битва

Мы ехали ночь, день и снова ночь. Лишь после этого нам дали двухчасовой отдых. На утро третьего дня вождь принял все меры предосторожности. Враги были близко. Костров не зажигали, расположились в долине. На вершины холмов поднимались только разведчики. Во время похода они все время шли впереди и возвращались к нам лишь с известиями. Кроу старались оставлять после себя как можно меньше следов, но, несмотря на это, даже я в некоторых местах сумел их различить и стал считать себя опытным воином.

Местность изменилась. Было меньше холмов, прерия стала ровнее, но зато ручьи и реки вырыли здесь глубокие овраги. В одном из таких оврагов и был обнаружен лагерь противника. Кроу, как видно, собирались здесь пасти лошадей не один день: из деревянных жердей они соорудили ограду, где ночью собирались держать лошадей.

Группа остановилась в небольшой котловине, километрах в десяти от лагеря кроу. В этом укрытии ждали весь день. Никого не посылали на охоту, питались мясом убитой лошади.

День был солнечный, ночь обещала быть звездной. С наступлением темноты всем лагерем тронулись в путь, чтобы подойти еще ближе к стоянке кроу. Выделенные для боя воины были уже наготове. Ребята собирались поднять плач — им велели все время оставаться в лагере, а это не могло прийти по вкусу. Наконец отцы уступили. Мальчикам было позволено идти за воинами на определенном расстоянии. Назначили взрослого воина следить за нами, но раньше подробно объяснили, как вести себя во время сражения. Среди ребят я был самым младшим.

После ужина вождь приказал воинам и нам выкупаться в реке. Мы изо всех сил терли себя песком, чтобы уничтожить запах съеденной конины. Дело в том, что лошади не переносят запаха собственного мяса, особенно конского жира: учуяв его, они становятся совершенно бешеными и с ними тогда невозможно справиться. А мы хотели отбить наших лошадей тайком, незаметно.

Я был еще слишком мал, чтобы понимать все подробности плана нападения на лагерь кроу. Знал только, что загон, куда враг согнал лошадей, находился у реки, названия которой теперь уже не припомню. Тут же, неподалеку от загона, в низине, стояло несколько вигвамов. Два из них, ближе к загону, занимали Рукстон и его белые сообщники, в остальных разместились кроу и их семьи. Наш план заключался в том, чтобы снять жерди загона со стороны речки и через нее угнать лошадей — как своих, так и неприятеля. Стычки с кроу мы не хотели, но половина наших воинов, имевших ружья, должны были притаиться на холмах над лагерем врагов и, в случае если кроу проснутся,

осыпать оба вигвама Рукстона градом пуль. Важно было держать под ударом прежде всего американцев, которые были хорошо вооружены.

Мы, ребята, пошли за отрядом, которому предстояло захватить лошадей. После ухода со стоянки много хлопот причинили нам собаки. Они чуяли, что предстоит что-то необычное, и потому рвались за нами. У каждого из нас было по одному, а то и по два любимца. Нашим матерям пришлось привязать собак в вигвамах. Мой Пононка, по волчьему обычаю, завыл на прощанье.

Около полуночи старый воин привел нас на берег речки, протекающей неподалеку от вражеского лагеря, и велел всем укрыться в прибрежных зарослях. По условленному сигналу — двукратный громкий вой волка — мы должны были бежать в сторону нашей стоянки. Среди ребят находился Сильный Голос. Он все время держал меня за руку, чтобы я не потерялся в темноте. Это прибавляло мне смелости.

Мы лежали напротив загона для лошадей, совсем близко. Призрачный свет звезд позволял нам различать очертания загородки; немного дальше возвышались более светлые треугольники вражеских вигвамов. Временами до нас доносилось тихое ржанье коней за изгородью.

Видимо, со стороны реки кроу не выставили ни одного часового. Вскоре мы заметили наших воинов, ползущих к загородке. Время от времени мы осторожно шелестели листьями зарослей, чтобы лошади слышали этот шелест и не пугались присутствия чужих людей. То один, то другой воин потихоньку приподнимался и показывался лошадям. Потом мы увидели, как воины начали разбирать изгородь.

В лагере врага среди вигвамов залаяли собаки. Принимались они лаять часто, но не злобно. Тогда наши разведчики, притаившиеся на соседних холмах, начали подражать визгу и вою койотов, чтобы кроу думали, будто их собак беспокоит близкое соседство степных волков.

В одном вигваме заплакал ребенок. В котловине было так тихо, что мы слышали даже голос матери, убаюкивающей дитя. Один из наших ребят, десятилетний Ровный Снег, вполголоса хвастливо заметил:

— Жалко, у меня нет ружья. Я бы сразу утихомирил этого щенка!

Воин, приведший нас, резко остановил его, но Ровный Снег заговорил еще громче:

— А что, не смог бы я влепить пулю в него?

Воин подошел к мальчику, закрыл ему рот рукой и грозно прошипел:

— Молчи, сопляк, а то я сейчас свяжу тебя! Оставлю на добычу кроу, если не успокоишься!..

Это помогло. Ровный Снег умолк. Воцарилась тишина.

И тут мы увидели, как первые лошади стали выходить из пролома в загородке. Табун подошел к реке, и лошади спокойно начали пить воду. Уже самый их вид заставлял бешено колотиться наши сердца. Мы хотели что-то сделать, нам трудно было усидеть на месте.

После первой группы лошадей появились другие. Но они были уже не так спокойны, к реке подбегали рысью и испуганно ржали. Десяток лошадей, другой... темная масса сбившихся крупов... Топот раздавался все громче, лошади уже мчались, все ускоряя бег...

Тревога! Кто-то в палатке кроу поднял крик. Ему ответили другие голоса. Вражеский лагерь сразу ожил.

До этой минуты тишина царила и на соседних холмах. Внезапно яркая вспышка озарила ночь, и воздух дрогнул от множества выстрелов. Это наши сверху стреляли по вигвамам Рукстона, чтобы облегчить угон лошадей тем, кто находился в котловине. Началась невероятная суматоха. Американцы и некоторые кроу стали отстреливаться. А тем временем лошади уже переправились через реку, подгоняемые нашими воинами.

Нам, мальчишкам, тоже хотелось хоть чем-нибудь отличиться. Мы орала во все горло, посылая врагам проклятия. В ответ пули начали свистеть и над нашими головами. Это еще более подстегнуло нас. Но тут вмешался старый воин.

— Глупцы! — вполголоса крикнул он. — По вашему писку враги узнали, что вы просто молокососы... Глупцы, бегите!

Он бесцеремонно начал хватать нас за шиворот и силком гнать из опасного места. Яростная стрельба не затихала. Мы были уже далеко, но звуки боя все еще долетали и сюда. Матери встретили нас не без тревоги. Их заботу мы воспринимали как посягательство на нашу честь — мы совсем не хотели быть маменькиными сынками. Но мальчишеский протест смягчил сопровождавший нас воин. Он рассказал встревоженным женщинам, как враги открыли усиленный огонь по тому месту, где мы сидели. Моя мать с нежностью посмотрела на меня и сказала:

— Это была твоя первая битва, Маленький Бизон, настоящая битва! Ведь пули свистели возле тебя?

— Да, мать! — подтвердил я, а сердце мое ширилось от сознания собственного геройства.

— Жаль только, что тебе нечем было воевать, да?

— Как это так, мать? Я воевал!

— Воевал?

— Я что было сил кричал: «Подлые трусы, я вам кости поломаю!»

— Ну? И что из этого получилось?

— Ого, получилось очень хорошо!

— Что же?

— От страха они плохо стреляли! Не могли попасть ни в одного из нас. Разве не ясно?

Мать как-то странно и таинственно улыбнулась.

— Ясно одно, — ответила она: — что ты будешь таким же великим говорунном, как и воином...

Чувствовалось, что она чего-то не договаривает. Я посмотрел ей прямо в глаза:

— Ты не веришь мне?

Вместо ответа мать обняла меня и долго прижимала к груди.

После двух бессонных ночей мне страшно захотелось спать. Так хорошо было у материнской груди, что сон совсем сморил меня, но я преодолел его и мужественно вырвался из ее объятий.

Пригнали добытых лошадей. Они уже были спутаны и не могли убежать. Мы насчитали их больше сорока. Но оказалось, что это не наши лошади, да и вообще это была только незначительная часть табуна, находившегося в лагере кроу. Предусмотрительный враг за первой загородкой устроил вторую, побольше; в ней и содержались лошади Раскатистого Грома. Увы, наши воины

этого не знали, и в их руки попали только сорок голов, оказавшихся во внешнем загоне. Но нас устраивала и эта добыча, тем более что лошади оказались неплохими.

Было еще темно и далеко до рассвета. Вернулись воины, которые вели огонь с холмов. Их переправа через реку была нелегкой; они хотели поджечь вражеский лагерь, но противник держался крепко и не допустил этого. Зато в качестве трофеев наши принесли двух убитых американцев, одного павшего кроу и одного тяжелораненого, который через час умер. Пока раненый находился в сознании, Два Броска старался выпытать у него побольше сведений. То, что он узнал, вызвало общее возмущение.

Оказывается, кроу вначале и не думали выступать против нас. Рукстон долго уговаривал их — обещал, грозил, спаивал, — и в конце концов они уступили ему. Кроу согласились выкрасть для него наших лошадей, которых он хотел продать, как мы и предполагали, в форте Бентон. Итак, кроу были только орудием, а он, Рукстон, — злым духом и источником стольких несчастий.

С нашей стороны никто не погиб, но несколько человек получили легкие ранения. Наш шаман Белый Волк тоже был ранен и не совсем обычно. Пуля попала ему в самую грудь, но даже не поцарапала тела: она ударила в роговой черепаший панцирь, который шаман носил на груди. Панцирь только треснул. Однако сильный удар в грудь вызвал у Белого Волка кровотечение изо рта, и оно продолжалось несколько часов.

От нашего временного лагеря до стоянки врага было всего пять километров. Наша группа не ожидала никакого нападения со стороны ошеломленных кроу, но осторожность требовала, чтобы мы поскорее уходили отсюда. Все уже было готово к походу. И вдруг кто-то заметил, что нет одного из лучших наших воинов, Ночного Орла. Он был в отряде, который с холмов стрелял по врагу, а потом вместе с другими старался поджечь лагерь кроу. В последний раз его видели у реки. С того момента он исчез.

До рассвета оставалось еще несколько часов. Вождь Шествующая Душа приказал дожидаться: а вдруг Ночной Орел еще вернется? Но он не возвращался.

Весь лагерь ждал в угрюмом молчании. Время уходило. Все решили, что Ночной Орел убит и тело его лежит где-нибудь вблизи вражеского лагеря. Возникли всякие догадки и предположения. Старые воины собрались вместе и о чем-то стали совещаться. Потом плотной враждебной толпой они двинулись к Белому Волку.

Белый Волк все еще сидел на земле. Кровь, не останавливаясь, сочилась из его рта. Воины окружили его, и один из них гневно сказал:

— Белый Волк, ты был великим шаманом! Ты поклялся нам, что мы поразим восемь врагов, а их погибло только четыре.

Белый Волк должен был сплюнуть кровь, чтобы ответить. Он сказал хриплым голосом:

— Откуда ты знаешь, что их погибло только четыре?

— Можешь пойти в кусты и посмотреть. Они лежат там. Больше четырех не насчитаешь...

— А откуда тебе ведомо, что в лагере врага не лежат еще четыре?

На это трудно ответить. Воин уже мягче произнес:

— Этого я не знаю...

Но толпа все еще стояла неподвижно и угрюмо. В темноте она казалась грозной черной стеной.

Через минуту другой воин продолжал обвинять Белого Волка:

— Ты обещал нам, что в этом походе мы не потеряем никого, и ошибся!

— Невидимые силы не ошибаются!

— Мы потеряли одного: погиб Ночной Орел.

— Не погиб!

— Где же он?

— Придет!

— Почему же он не пришел до сих пор? Он погиб, Белый Волк, погиб! — крикнул воин.

Другие стали вторить ему. Даже женщины стонали:

— Погиб Ночной Орел!

— Конечно, погиб!

— Нас обманывают!

Белый Волк медленно встал. Когда он выпрямился, нам показалось, что ростом он много выше всех воинов.

— Люди племени черноногих! — громким, на этот раз звучным, как металл, голосом сказал он. — Помните одно: невидимые силы никогда не ошибаются! Невидимые силы никогда не обманывают!

Под воздействием этих твердых, решительных слов все умолкли. Только через несколько минут кто-то крикнул из последних рядов:

— Это правда, что невидимые силы не ошибаются! Но ошибаться может шаман, если притупился его слух и он не слышит того, что говорят невидимые силы!

— Да, это правда! Виновен шаман! — слышалось с разных сторон.

— Белый Волк! — продолжал первый воин. — Мы все твои друзья, а не враги. Мы тебе советуем искренне: уйди на несколько недель в тайные места, укрепи свою чародейскую власть. Мы советуем тебе это для пользы племени!

— Нет, — крикнул шаман, — власти я не потерял!.. — Потом добавил еще более звучным голосом: — Говорю вам, Ночной Орел жив! Он вернется!

И в голосе его звучала непреклонная сила.

Теперь уже никто не хотел спорить. Бунт воинов угас. Покачивая в раздумье головой, люди расходились. Лагерь все ждал. Напрасно! Светлая полоска на востоке предвещала близкое наступление дня. Пора было уходить...

Присяга Большому Рогу

В последние минуты нашей стоянки на памятном месте, где Белый Волк предсказал возвращение Ночного Орла, я совершил поступок, который потом вызвал во мне самое сильное душевное потрясение, какое я помню за все детские годы. Даже еще сегодня, спустя столько лет, меня сжигает стыд при воспоминании об этом давнем событии.

Никто в эту ночь не спал в нашем лагере, за исключением младенцев. Все сидели угрюмыми, молчаливыми группами и ждали Ночного Орла. В этом общем молчании было что-то зловещее. Все думали об одном и том же. Даже меня, малыша, захватило это общее настроение, и в детской головенке вертелись самые фантастические, отчаянные замыслы. Боль по поводу утраты любимого друга, Косматого Орленка, поднялась во мне снова, с еще большей, чем прежде, остротой.

Трупы четырех врагов лежали неподалеку, среди кустов. Они были совершенно обнажены, но не изуродованы. Еще совсем недавно воины применили бы старинный обычай скальпирования. Кожа, снятая вместе с волосами с головы убитого врага, считалась военным трофеем. Но теперь совет старейшин племени, после короткого, но бурного обсуждения, решил отказаться от варварского обычая. Сказывались новые веяния.

Я тихо сидел возле нашей семьи, погруженный в думы о Косматом Орленке. Мысли мои вдруг начали вертеться вокруг маленького лука, подаренного мне другом при расставании. Лук должен был стать моим, если Орленок не вернется.

В эту ночь ожидание казалось вечностью. Соскучившись, я полез в свой мешок, притороченный к седлу коня, вынул лук Косматого Орленка и несколько стрел — обыкновенных стрел, сделанных из твердого тростника и заостренных на конце. Новая волна тоски и гнева захлестнула мое сердце. Мне хотелось действовать. Я чувствовал, что должен отомстить за смерть друга. А там, невдалеке, лежали трупы четырех врагов, которые, возможно, были убийцами Косматого Орленка. И тут мне в голову пришла мысль: пронзить их сердца стрелами из его лука...

Я ползком добрался до кустов и отыскал трупы. Натянув до отказа лук, я старательно прицелился. Стрела пронзила сердце одного из врагов. Так я поступил и с другими.

Вот-вот все должны были тронуться в путь, и я думал, что никто не заметит моего поступка. Но кто-то из взрослых еще раз подошел к убитым и сразу поднял тревогу. Начался переполох. Старшие воины толпой сбежались к месту происшествия и при свете факелов тщательно осмотрели тела. Громко выражая свой гнев, они прямо назвали это дело позором для всего племени. Я ничего не понимал... Всем было ясно, что стрелы ребячьи, но кто их пустил, оставалось загадкой. Я слышал, как люди требовали, чтобы виновный признался в позорном поступке. Все были так разгневаны, что я не посмел проронить ни слова.

Вдруг было названо имя Ровного Снега: кто-то припомнил, что этот мальчик несколько часов назад, во время нападения на вражеский лагерь, хвастался, что мог бы убить младенца кроу. Он уже получил от своего отца строгий нагоняй, когда вернулся домой. Пустое и глупое хвастовство Ровного Снега на-

влекло теперь на него подозрение.

— Признавайся, Ровный Снег, — требовал наш вождь Шествующая Душа, — ты это сделал?

— Не делал я ничего!.. У меня даже лука нет... и стрел нет... Это не я!

— Может быть, ты взял у другого?

— Не брал!

— Ровный Снег! Если ты лжешь...

— Не лгу, не лгу!..

Во время этого допроса до того скверно было у меня на душе, что я до боли стискивал зубы, лишь бы не выдать себя. Я струсил. Меня напугало гневное возмущение людей, причины которого я все-таки не мог понять. Я прятался за спины родителей и молчал.

Враги — как предполагали наши воины — будут искать убитых и, конечно, найдут их. Наш вождь считал крайне важным, чтобы все в прериях знали, что мы, черноногие, стали на путь отказа от варварских обычаев и чтим останки павших врагов.

Мне было очень тяжело. Понимая, что помешал замыслу наших старейшин, я почему-то не жалел о совершенном поступке. Своим детским умом я не мог постичь, что сделал позорное дело. Считая себя близким другом Косматого Орленка, я, как мне казалось, поступил так, как подсказывало сердце индейца, и потому говорил себе: «Пусть другие думают что хотят!»

Тем временем небо на востоке начало бледнеть и наступило время отправляться в путь. Наш вождь и Белый Волк, хотя и очень ослабевший от потери крови, но сохранивший прежнюю ясность ума и быстроту решений, послали куда-то четырех разведчиков, дав им важное поручение. Во главе был поставлен опытный воин Орлиное Перо, владевший английским языком. Как потом оказалось, Орлиное Перо и три его спутника должны были следить за врагом и немедленно уведомить нас, если бы Рукстон и кроу стали нас преследовать. Если же грабители направились в форт Бентон, — а это было всего вероятнее, — наша группа должна была опередить врага и доложить коменданту форта об учиненной Рукстоном краже. Мы не сомневались, что таким образом нам удастся вернуть украденных лошадей.

К восходу солнца группа была уже далеко. Она поспешно двигалась на северо-запад, в направлении, противоположном тому, в котором пошли Рукстон и кроу.

У меня еще не было собственного коня, и потому я ехал вместе со старшим братом на его коне. Мать подъехала к нам и рассказала забавную сказку о хитром зайце, который все время обманывал разных зверей и некоторое время извлекал из этого пользу, но в конце концов погиб глупой смертью из-за своей лжи.

Родители и все старшие часто рассказывали нам сказки и предания. Так нас познакомили с традициями и историей племени — это была наука, которую постепенно усваивали все молодые индейцы. Но обычно делалось это на стоянках, возле костра, поэтому меня немножко смутило, что мать так долго рассказывает мне сказку во время поспешной, да еще и очень трудной езды. Не было ли в этом какого-то тайного смысла?

— Ложь и сокрытие правды, — говорила мать, — это самый большой позор. Это самый омерзительный род трусости!..

На закате солнца воины разбили лагерь для ночной стоянки. Под защитой сильной охраны люди наконец могли как следует отдохнуть после стольких бессонных ночей. Едва сошли с коней, как отец подошел ко мне и мягко сказал:

— Где твой лук и стрелы, Маленький Бизон?

— В мешке... — угрюмо ответил я.

— Принеси их!

— Отец, но у всех ребят есть луки и стрелы! — прохрипел я с плохо скрытым ужасом.

— Да, я знаю, знаю... — усмехнулся отец. — Мы с тобой пойдем в прерию, немножко поохотимся на сусликов...

Мы пошли. Сусликов поблизости не было, и я стрелял по птицам.

Такого рода упражнения под надзором опытных воинов тоже входили в систему воспитания молодежи, но меня снова удивило, почему отец выбрал как раз этот вечер, когда мы и так сильно измучены.

На обратном пути отец рассказал много прекрасного о своем отце и моем дедушке Резвом Медведе. Дед был славным воином, а кроме того, отличался исключительной честностью, которая вошла в поговорку. Эта благородная черта снискала ему общее уважение, и он был любим всеми.

— Быть правдивыми и похожими на деда, — сказал отец, — это наш прямой и почетный долг.

Дольше я уже не мог выдержать. Чувство вины невыносимо терзало меня, на сердце словно лег огромный камень. Отец всегда проявлял ко мне столько доброты и был таким же близким моим другом, как и Косматый Орленок, только взрослым. Я сторал от стыда, что утаил от него правду. Я хотел признаться в этом.

— Отец...

— Тихо! — прервал он меня, глядя по голове. — Тихо, Маленький Бизон! Не надо. Я знаю всё...

Разговор оборвался, и мы уже больше не возвращались к этому вопросу.

На следующий день, после долгой и быстрой езды, мы остановились на ночлег задолго до заката солнца. Возбуждение по поводу таинственных стрел не утихало. Наоборот, над Ровным Снегом все еще тяготело тяжелое подозрение, и в этот вечер должно было состояться нечто вроде суда. Собственно, это был не суд, а скорее церемония принесения клятвы-присяги перед Большим Рогом. Это была самая торжественная клятва в нашем племени. Достоверность слов того, кто давал ее, уже нельзя было подвергать сомнению. Лживая же клятва влекла за собой немедленную смерть для лжеца.

Братство Большого Рога состояло из двадцати пяти самых выдающихся воинов, избираемых пожизненно из всех групп племени черноногих. Это был верховный орган, решавший самые важные вопросы морального порядка. Уже одна ссылка на авторитет братства имела исключительное значение.

Обычно клятву-присягу приносили в большом совещательном вигваме. Но мы были в пути и вигвамов не ставили; поэтому решено было несколько отступить от обычая, и церемония происходила под открытым небом. День был погожий и теплый. К заходу солнца собрался весь лагерь, тесным кольцом окружив место принесения клятвы. В середине круга стал один из членов Братства Большого Рога, а рядом с ним — Ровный Снег с угрюмым лицом. Нас,

ребят, поставили впереди взрослых — мы должны были слышать каждое слово клятвы.

Никогда до этого я не испытывал такого страха. У меня подкашивались ногги, жгло в груди. Мне пришлось стоять в первом ряду, и я отлично видел, что Ровный Снег едва сдерживает слезы.

В воцарившейся тишине старый воин, член братства, торжественно набил табаком священную трубку, предназначенную для особых обрядов. Потом он стал произносить заклинания, время от времени напоминая Ровному Снегу: вот он сейчас даст клятву Большому Рогу, но вначале пусть глубоко заглянет в свое сердце, дабы лживый язык не навлек на него преждевременную смерть.

Набив трубку, воин четыре раза зажигал ее. Каждый раз он пронизывающим взглядом смотрел сквозь огонь в лицо мальчику и шептал какие-то непонятные слова. Затем поднял трубку, махнул ею на все четыре стороны и подошел к Ровному Снегу. Держа перед мальчиком трубку, он сурово, назидательным тоном произнес:

— Кури трубку, если говоришь правду! Если лжешь — не кури!.. Это ты, Ровный Снег, обесчестил трупы стрелами? Да или нет? Говори!

— Нет! — ответил мальчик тихо.

Но все услышали его, и шепот изумления пробежал по толпе.

Ровный Снег схватил трубку и сделал из нее затяжку. Он выполнил обряд.

— Если ты солгал, — грозно сказал старый воин, — то вскоре умрешь!

Воцарилась гробовая тишина. Как свинцовая туча, она повисла над нами. Я пошевелился. Ноги мои были словно цепями прикованы к земле. Я с усилием оторвал их и шагнул вперед. Никто ничего мне не говорил, но в голове что-то гремело, как во время грозы. Все обернулись ко мне.

О, как смотрели эти люди!.. Казалось, моему пути не будет конца. Наконец я добрал до Ровного Снега и стал рядом с ним, лицом к старому воину. Я хотел выпрямиться, но не было сил. Хотел что-то сказать и не мог. Наконец из горла моего вырвался хрип:

— Ровный Снег...

Старый воин, такой суровый до этой минуты, вдруг усмехнулся, и это прибавило мне смелости.

— Ровный Снег... не умрет... — пробормотал я.

Лицо старого воина снова стало строгим, но я почувствовал, что он настроен уже не так грозно.

— Это ты, Маленький Бизон, пустил стрелы в грудь врагов? — негромко спросил воин.

— Я! — отчетливо прозвучал мой голос.

Силы возвратились ко мне.

Два дня весь лагерь пылал возмущением против виновника позорного поступка. Поэтому мне казалось, что, как только я признаюсь, все бросятся на меня и разорвут на куски... Нет, этого не случилось! Люди стояли недвижимо. Больше того: если некоторые были необычайно изумлены, то на лицах других я видел явную радость. Неужели они радовались тому, что я признался? Непонятные люди!..

Старый воин тоже казался довольным. Он сказал:

— Это хорошо, что ты признался. Но наказание ты понесешь.

Я со страхом уставился на него. Неужели он велит сейчас убить меня?

— Как ты вонзил эти стрелы? Стрелял из лука?

— Да...

— Ладно, принеси сейчас же этот лук. При свидетелях мы разломаем этот лук на части.

Охвативший меня непередаваемый ужас, вероятно, отразился в моих глазах. Старый воин заметил это и, недоуменный, умолк. Что мог он знать о моих чувствах, связанных с этим луком, о моей дружбе с Косматым Орленком? Я не шевельнулся и стоял как вкопанный.

— Принеси же лук! — потребовал воин.

— Не принесу!

Теперь пришла очередь смутиться старому воину. Но он тут же нахмурился и закричал на меня:

— Что это значит, молокосос?

Снова черные круги поплыли перед моими глазами.

— Косматый Орленок... — начал было я, но тут же запнулся.

Говорить дальше я не мог, что-то сжало мне горло...

К счастью, на помощь пришел отец. Он, разумеется знал о моей дружбе с Косматым Орленком и догадался, почему я пронзил стрелами сердца врагов. Он кратко рассказал собравшимся о моей дружбе с Косматым Орленком. По мере того как он рассказывал, настроение толпы менялось, лица людей светлели. А я стоял, прижавшись к отцу и чувствовал себя червяком, который мучительно старается спастись от ноги, готовой растоптать его. Я был еще мал, но сердце мое переполнилось благодарностью к отцу, так мужественно защищавшему меня.

Нет, я не понес наказания. Старый воин только погрозил мне пальцем и, удовлетворенный, отошел в сторону.

В тот же вечер, укладывая меня спать, мать сказала с нежностью в голосе:

— Теперь я уже не буду рассказывать тебе сказку о хитром зайце-лгуне, зато ты услышишь интересное предание о мальчике, который никогда не лгал. Хочешь, Маленький Бизон?

Я очень хотел услышать это предание, но у меня не было сил ответить. Сон одолел меня...

Вождь Большой Котел

Несколькими днями позже к нам присоединился еще один отряд нашего племени. Вождем этой группы был Ниокскатос. Наша группа снова приближалась к подножию Скалистых гор: далеко на западе вставали покрытые вечным снегом вершины, знакомые нам по прежним переходам.

Однажды днем Белый Волк, ехавший впереди всех, подал рукой знак остановиться. Впереди, в долине, виднелся большой лагерь индейцев.

Наскоро созванное совещание вождей и старейших воинов решило соблюдать все меры предосторожности: тут могли оказаться кроу, с которыми всегда следовало быть начеку. По рисункам на вигвамах трудно было издали распознать, какое это племя.

Белый Волк, уже немного оправившийся от контузии, выехал на вершину холма и с помощью условных знаков осведомился о названии племени. Из лагеря ответили: «гро-вантры (название это было дано еще французами и означало «большие животы») и северные ассинибойны». Это были отряды двух друживших между собою племен; они разбили здесь общий лагерь. На встречный вопрос Белый Волк ответил: «Черноногие». Но ассинибойны это не удовлетворило. Они спросили: «Какая именно группа черноногих?»

В этом была вся суть. Племя черноногих делилось на четыре ответвления, а те — на отдельные группы. Одной из таких групп были мы, возглавляемые Шествующей Душой. Некоторые ответвления черноногих с давнего времени вели войну и с ассинибойнами и с гровантрами. Несмотря на то, что общее стремление к миру восторжествовало в прериях, вражда между отдельными племенами все же продолжалась.

Перед Белым Волком встала трудная задача: в нашей группе были члены всех четырех ответвлений черноногих. Но недаром этот шаман носил мудрую голову на плечах. Его ответ был достоин славы большого дипломата: он слез с коня и показал знак племени кри, затем отошел на несколько шагов и сделал знак племени кутенай, а потом соединил оба знака, представляя нас как бы живущими между указанными племенами. На это из лагеря ответили, что с такими черноногими они еще никогда не встречались и потому мы для них не враги. Затем пригласили нас в гости.

Мы спустились в долину. Прежде чем наши воины слезли с коней, один из старших вождей ассинибойнов быстрым шагом подошел к ним и стал рассматривать знаки на щитах. Потом он приблизился к нашему вождю и, протягивая ему руку, сказал:

— Кажется мне, что мы не враги. Я осмотрел все знаки на ваших щитах, но не припоминаю, чтобы мы когда-либо встречали их в битве...

— Когда-то индейцы воевали между собой по любому поводу, а то и без всякого повода, — уклончиво ответил Шествующая Душа, — но теперь это время миновало.

— Миновало, хау![17] — подтвердил ассинибойн.

Когда наши люди поставили палатки в той же долине, вожди, шаманы и выдающиеся воины трех племен сошлись на большой совет. Была выкурена «трубка мира». Чтобы отметить радостный день, решено было устроить большое пиршество, а затем исполнить танец, называемый «Пережитое». Собственно, это был не танец, а скорее рассказ воинов о наиболее значительных

подвигах, причем герои событий сами разыгрывали их перед собравшимися.

Вполне понятно, что нас, детей, больше всего радовало самое зрелище танца и то, что в числе его участников будут воины громкой славы и неустрашимого мужества. Наше внимание, смешанное с чувством преклонения, прежде всего привлекал к себе Большой Котел, прославленный вождь ассинибойнов. Он уже тогда был в преклонном возрасте, но жил еще долго и умер только в 1923 году, имея сто семь лет от роду.

Но в первые часы совместной стоянки гораздо больше внимания обратила на себя одна девушка, имя которой было Добрая Лоша. Она принадлежала к племени ассинибойнов и славилась в прериях своей красотой. Несколько лет назад воины одной из групп черноногих напали на лагерь, где находилась Добрая Лоша, и во время боя нанесли ей несколько ран, оставив девушку на поле сражения. Она выздоровела и по-прежнему была красива. Теперь она впервые столкнулась с некоторыми нашими воинами, принимавшими участие в памятном нападении. Они сразу узнали ее и теперь стыдились совершенного поступка. Заметив Добрую Лошу, они сразу же подошли к ней. Воины приветствовали девушку поднятием правой руки и словами, какими у нас встречают самых близких друзей. Добрая Лоша без обиды смотрела на воинов. Она только спросила, есть ли среди них тот, кто ее ранил.

— Как он выглядел? — спросил вождь Ниокскатос.

— Это был статный, сильный воин! — весело ответила девушка.

— А что бы ты сделала с ним сейчас? — допытывался Ниокскатос.

— Обняла бы за шею и прижала к груди! — со смехом сказала Добрая Лоша*.

Ни один воин не отозвался на эти слова. Если бы виновник был здесь, он сгорел бы со стыда.

Совсем иначе, явно враждебно, держалась старшая сестра Доброй Лоши. Она резко отвернулась и пошла к своему типи. Найдя большой нож, женщина начала точить его, бормоча под нос проклятия и ругательства. Некоторые ассинибойны услышали это и попытались смягчить ее гнев, но тщетно. Когда Добрая Лоша вернулась в своей палатке, сестра подала ей нож и приказала.

— Возьми и испытай его на твоих врагах!

Добрая Лоша заткнула нож за пояс и вернулась к нашим воинам. О ноже она забыла и возобновила прерванный дружеский разговор.

Впоследствии Добрая Лоша вышла замуж за одного из наших вождей. Она и поныне живет вблизи Синталута, в Саскачеване.

Для нас, ребят, многолюдный лагерь трех племен был настоящим раем. Палатки раскинулись на площади в квадратную милю. Сверкая всеми цветами радуги, они были разрисованы родовыми знаками их обитателей. Среди этих палаток мы забавлялись, охотно играя с чужими мальчишками, и, хотя нам нередко приходилось разговаривать на языке знаков (наши языки были различны), ничто не омрачало нашей радости и дружбы.

Естественно, что всего охотнее мы играли с нашими новыми друзьями в войну: ведь мы постоянно слышали рассказы о сражениях, которые наши отцы вели между собой. Однако родители строго-настрого запретили нам эти игры, боясь, что из забавы легко могла возникнуть между нами настоящая драка. Матери сидели у палаток и внимательно следили за нами, но это было излишней предосторожностью: с новыми товарищами мы подружились с пер-

вого же дня, и между нами царило полное согласие.

Взрослые тоже предавались веселью. В прериях это была историческая встреча: впервые так ярко проявились согласие и дружба между племенами. Воины возвели в центре становища огромную палатку, которая могла вместить почти всех, кто находился здесь. Тут и должен был состояться танец «Пережитое».

В полдень мы ели пеммикан. Это кушанье никто не мог приготовить вкуснее, чем ассинибойны. Пеммикан — главная пища индейцев в зимнее время — это сушеное и растертое в муку мясо бизона. Приправленный ягодами растения саскатун, пеммикан был для нас лучшим лакомством на свете.

После раннего ужина все направились к большой палатке. Для участия в танце «Пережитое» каждое племя выделило по пять самых прославленных воинов. Когда эти пятнадцать воинов входили в типи, они являли собою великолепное зрелище. Воины шли обнаженные, в одних набедренных повязках, с украшениями из орлиных перьев на голове. У каждого были ярко окрашены шрамы прежних ран. Поэтому они казались свежими, только что полученными в бою.

Это была группа лучших воинов. Мы видели мужественных обладателей «трех перьев», «четыре перьев», героев с полным «военным венцом», обыкновенно сидевших рядом с вождями и шаманами. Три пера носил на голове воин, уничтоживший трех врагов, а тот, кто одолел больше четырех, имел право носить известное всему миру украшение из орлиных перьев.

Сидя близко к воинам, мы, дети, буквально пожирали их глазами и шепотом обсуждали, который из них самый прославленный воин. Индейцы всегда брали детей на подобные зрелища, чтобы те учились следовать примеру отцов.

Вождь по имени Большой Котел, самый прославленный в этом почетном собрании, должен был первым поделиться своими боевыми воспоминаниями. Никогда не забуду я полный достоинства облик этого вождя, одержавшего столько великолепных побед! Некогда он принадлежал к числу самых грозных воинов. Лицо его было необычайно одухотворенным и благородным, что в моих глазах выделяло Большого Котла из ряда других вождей. Он был очень скромнен: о своих боевых делах всегда рассказывал с большой сдержанностью.

Великий вождь ассинибойнов славился в прериях и как непобедимый бегун. Мы не раз слышали от наших родителей о его дерзкой проделке, когда он оставил в дураках целый отряд наших воинов. Теперь он сам должен был поведать нам историю этого события.

Танец начался. Большой Котел встал и воткнул в землю свое копье, на котором висели старые скальпы. Держась правой рукой за один из шестов типи, он обратился к черноногим, а один из ассинибойнов, бегло говоривший на разных диалектах, переводил его слова на наш язык.

— Расскажу вам, как в поле я одолел вас быстротой моих ног. Хотите ли, черноногие?

— Хотим, хотим! — хором подтвердили наши воины.

— Хау!.. Много больших солнц назад я был еще молодым вождем, и было мне тогда двадцать две зимы. Я вел небольшой отряд воинов против вас, черноногие. Мы хотели отомстить за ваше прежнее нападение на наш лагерь. Перейдя Молочную* реку в Монтане, мы заметили в прерии какое-то непонят-

ное движение. Нельзя было разобрать — то ли это антилопы, то ли бизоны или, быть может, обманчивая игра испарений в утреннем воздухе. Я велел моим людям остановиться. Сам же я подкрался ближе и выглянул из-за холма, но тотчас приник к земле и подал знак: впереди враг! Черноногие танцевали возле убитых бизонов. Мои воины, должно быть, плохо меня поняли или не хотели слушаться, — они вели себя легкомысленно, как дети, и громко разговаривали. Я решил вернуться.

Один из наших воинов был рассудительным юношей. Он говорил другим, что я, вождь, пожалуй, не приму боя: нас слишком мало. «Это ерунда! — воскликнул второй, известный задира. — Если так, то давай сразу нападём на врага, пока Большой Котел не вернулся!» Я был уже возле них, когда они заметили меня. Приказав молчать, я сказал: «Нас всего восемь, а их около ста. Битва эта — верная смерть. Не хочу брать на душу грех за вашу гибель!» Но задира вызывающе заметил: «Зачем же ты привел нас сюда? Разве не для того, чтобы сражаться? А теперь у тебя не хватает смелости, да?» В бешенстве я ответил ему: «Нет, смелости хватит!.. Хорошо же, повернемся лицом к врагу. На всякий случай приготовьтесь к битве. Но главное я беру на себя. Хау!» Молодой задира умолк. Воинам своим я велел ждать в укрытии, пока не подам знак. У меня возникла хитрая мысль: я решил применить военную хитрость и использовать свои быстрые ноги... Вспоминаете?

Большой Котел обратился к двум воинам из числа ассинибойнов. Те подтвердили:

— Помним, хау!

— Итак, я сбросил с себя одежду и побежал пригибаясь, — продолжал вождь ассинибойнов. — Долго пробирался я по впадинам и котловинам: мне хотелось ошеломить противника своим появлением у него в тылу. Но что случилось тем временем? Вы, черноногие, заметили наш маленький отряд и приготовились к бою... Помните это, черноногие?

— Помним! Хау, хау! — ответило несколько голосов.

— Вы сели на коней и помчались в сторону нашей группы. И тут я подумал: «У меня в отряде одни неопытные молокососы». Они даже не заметили, что вы окружаете их. Вы имели большой численный перевес. Ясно было, что вы поголовно уничтожите моих воинов. Тогда я выскочил на вершину холма и закричал во весь голос. Вы остановились ошеломленные: у вас в тылу тоже был враг. Но я тут же исчез. Я стремительно помчался на другой холм, немножко изменил свой наряд и показался снова. Было видно, что беспокойство ваше возрастает. Вы все еще стояли в нерешительности на месте, не зная, что делать, куда ударить сначала — вперед или назад. А я тем временем снова исчез. Ноги мои не бездельничали: я появился на третьем холме. Так у вас создалось впечатление, что вашу группу окружают большие силы врага. Вы отказались от атаки на моих воинов и поспешно отступили... Так мои ноги одержали победу над вами! Мы не собирались охотиться, но все-таки добыли мясо нескольких бизонов, убитых вами. Кроме того, наши жизни были спасены. Я вернулся к моим воинам. Они поздравляли меня с победой и благодарили за спасение. «Благодарите не меня — благодарите его», — ответил я, показывая на забияку. Воины удивились, а я добавил: «Ведь это его длинный язык спас вас. Если бы не этот крикун, я остался бы вместе с вами и мы погибли бы все». Молодой воин с того дня излечился от хвастовства. Вот и весь мой рассказ. Я,

Большой Котел, заверяю вас, черноногие: мы теперь с вами друзья. И дружба наша — как свет солнца, как вода в Миссури — не иссякнет никогда. Помните: Большой Котел слова своего никогда не нарушал. Хау!

— Хау, хау, хау! — кричали наши воины, а вместе с ними и мы, ребята.

Тихие удары барабана, сопровождавшие повествование вождя ассинибойнов, вдруг превратились в бешеный темп танца. Большой Котел и несколько его воинов принялись изображать в сценах рассказанное только что событие. Мы жадно следили за каждым движением танцоров.

Кончив танец, Большой Котел остановился перед вождями черноногих, позвал переводчика и сказал:

— Старею! Не знаю, сойдутся ли наши тропы в другой раз... Мы скоро расстанемся. Но перед этим хочу рассказать вам, как один из ваших вождей спас мне жизнь. Без его помощи я теперь не был бы среди вас. Не вижу его здесь. Поэтому прошу вас, черноногие: как только вернетесь в свои края, повторите ему то, что скажу сейчас... Мне было тогда двадцать шесть зим. Я не был еще достаточно рассудительным. Вместе со своим братом Номпа Винчеста и несколькими товарищами я начал тогда поход против вас, черноногих. У вас было много коней, и нам хотелось отобрать их. Вблизи Молочной реки мы наткнулись на один из ваших лагерей. Наступила ночь. Мы отправились на разведку вместе с братом. Ползли по траве, стараясь найти загон, где вы держите животных. Вдруг одна из лошадей сорвалась с места и помчалась прямо на нас. Через минуту показался гнавшийся за лошадью рослый воин. В темноте он не мог нас заметить. Коня он не поймал, но с ходу налетел на брата. Тот лежал в нескольких шагах от меня. Ваш воин был незаурядным силачом — он быстро справился с братом. Я не успел прийти на помощь.

Воин ваш повел пленника в лагерь. Я прокрался за ними и видел, как оба вошли в большой вигвам. Я был в отчаянии. В голове вертелась только одна мысль: выручить брата. Но как? У входа в вигвам стоял тот же рослый воин. Он опирался на копье. Я обезумел. Смело подойдя к воину, я спросил его о брате. Ни слова не говоря, гигант схватил меня и втащил в вигвам. Там горел очаг. Я увидел брата и какую-то женщину — видимо, жену гиганта. Воин велел ей поджарить для нас кусок мяса. А мы уже семь дней почти ничего не ели и набросились на мясо, как голодные волки. Воин сочувственно смотрел на нас. Потом пришли еще два воина и повели нас в другой вигвам, где совещались старейшины. Видимо, старейшины были очень возбуждены происшедшим. Ко мне подошел молодой воин, знавший язык ассинибойнов. Он сказал: «В последние дни у нас украдено много коней, и вскоре вы будете преданы смерти. По всему племени уже оповещено, что пойманы два грабителя».

Потом все покинули вигвам, уведя с собой только брата. Я остался один. На площади собирался народ. Слышно было, как раздражены и озлоблены люди. Наступал наш последний час... Я огляделся — рядом с костром лежало ружье, видимо забытое кем-то из старейшин. Я подполз к ружью. Оно было не заряжено, но в углу я нашел рог с порохом и мешочек с пулями. Я решил дорого продать свою жизнь, лихорадочно зарядил ружье и уже собирался выскочить на двор. Внезапно меня, как клещами, схватили две пары рук. Я был обезоружен. Разъяренная толпа хотела убить меня на месте. Два воина, продолжавшие крепко держать мои руки, еле отбились от наседавших людей. Потом они бегом направились за пределы лагеря.

Там уже ожидал гигант, накормивший нас. Возле него, связанный, лежал мой брат. Гигант, наверно, был великим вождем черноногих. Он что-то говорил мне, но я не понимал его языка. Потом он разрезал связывавшие брата пути. Он указал нам на двух коней, приготовленных поблизости, и велел скакать как можно быстрее. Мы были свободны. С минуту я еще слышал, как вождь-гигант могучим голосом приказывал своим людям сохранять спокойствие — они хотели преследовать нас. Было темно, ночь еще не кончилась. Не веря своему счастью, мы мчались сломя голову: впереди был родной дом и свобода...

Позднее события той ночи казались мне бредом больного человека. Но это не был бред. Лучше всего об этом свидетельствовали два хороших коня, отданных нам вождем черноногих. Для меня навсегда осталась загадкой, почему он тогда даровал нам жизнь...

Вот весь мой рассказ...

Большой Котел дружелюбным взглядом окинул старейшин черноногих и добавил:

— Я уже стар. Если тот вождь жив, прошу — повторите ему мои слова. Добавьте еще: мы были врагами, но каждый раз, участвуя в танце Солнца, я просил невидимые силы быть милостивыми к нему... На этом я кончаю, черноногие. Я сказал что хотел. Хау!

Когда Большой Котел сел, поднялся один из наших вождей, Ниокскатос. Он сказал, обращаясь к ассинибойну:

— Вождь, даровавший тебе жизнь, был мой отец. Мы тогда были еще детьми, но хорошо знаем об этом случае от отца. Ясно припоминаю эту ночь. Могу сказать тебе сегодня, чему ты обязан жизнью. Собственной отваге и доблести! Ты не оставил брата в беде, потом решил биться до конца, хотя тебе и грозила верная смерть. Отец хотел испытать твою храбрость: это он оставил ружье в вигваме. Он решил, что жалко губить твою молодую жизнь. У нас, черноногих, есть священное правило: каждый воин должен любой ценой спасти своего товарища, если ему грозит опасность. Ты это сделал, храбрый воин и великий вождь всех ассинибойнов. Поэтому мой отец и подарил тебе жизнь.

Ниокскатос шепотом сказал что-то другим вождям черноногих и снова обратился к Большому Котлу:

— Если бы жив был мой отец, то я знаю, что он передал бы тебе свое имя. Это великий почет в нашем племени. У тебя есть сын. Позволь нам передать ему имя Ниокскатоса.

— Хау, хау, хау!.. — радостно закричали все присутствовавшие ассинибойны.

Собравшиеся понимали значительность момента. Такой обмен именами великого вождя между племенами был самым убедительным доказательством дружбы. Воины были растроганы.

На закате своей вольной жизни в прериях индейцы начали постигать эти важные и разумные дела...

Охота на бизонов

После двух дней отдыха в лагере ассинибойнов и гровантров мы покинули наших гостеприимных хозяев и унесли в своих сердцах добрые чувства, как заявил при расставании наш вождь. Мы направились дальше на север в поисках бизонов. Потом мы простились и в течение трех дней, с группой Никокатоса, продвигались к северу. Однажды ночью нас разбудили какие-то звуки. Мы вскочили, чутко прислушиваясь. До нас долетела мелодия, хорошо известная каждому индейцу. То была песнь смерти. Кто-то, умирающий в лагере, затянул свою последнюю песнь. Но кто? Не было у нас никого, кто тяжело болел в эти дни.

— Кто это может быть? Кто? — раздались тревожные восклицания в нашем вигваме.

Отец с минуту прислушивался и вдруг воскликнул:

— Это Белый Волк.

Отец накинул на себя одеяло и выскочил из вигвама. Теперь мы слышали приглушенный топот многих мокасин и босых ног. У нас возникли горькие предчувствия.

Вскоре отец вернулся. Даже в неверном свете догорающего костра мы заметили его волнение. Мать быстро подбросила в огонь хвороста и вопросительно взглянула на отца. Скрестив руки на груди, он недвижимо стоял у входа.

— Белый Волк умер... — наконец сказал он упавшим голосом.

Мать в ужасе широко открыла рот и тут же закрыла его ладонью.

— Да, наш шаман умер! — повторил отец, как бы уверяя себя в том, что это правда.

— Как же это случилось? — спросила мать.

— Неизвестно. Жена Белого Волка тоже не знает. Она проснулась, когда Белый Волк уже затянул песнь смерти. Кровь пошла у него из горла. Он умер с песней на устах...

В наш вигвам вошел Раскатистый Гром. Он хотел поделиться с нами печальной вестью. У дяди блестели глаза, и изо рта у него шел резкий запах.

— Брат, ты пил виски? — огорченно спросил отец.

— Пил... — тяжело вздохнув, ответил дядя.

— Где ты ее взял?

— Хранил ту, что от Рукстона...

— Брат, не пей! — настойчиво говорил отец, тряся дядю за плечи. — Это наша погибель.

Тут отец вспомнил недавние события и ударил себя по лбу: он понял, в чем дело.

— Ну да, конечно: Рукстон и кроу...

Отец был прав. Белый Волк умер от пули, которая несколько дней назад, во время нашего сражения у лагеря врагов, ударила ему в грудь. Она сплюснулась на черепашьем панцире, но от удара началось кровотечение, и вот теперь пришла смерть...

Мы услышали протяжный крик, похожий на вой дикого зверя. Это вдова шамана рыдала от горя. Отозвались другие женщины, и вскоре весь лагерь гудел от жалобных причитаний. Так продолжалось до самого рассвета.

Утром женщины в знак траура выкрасили лица в черный цвет. Некоторые

родственники Белого Волка хотели, по древнему обычаю, отрубить себе по одному пальцу на руках, но старейшины запретили этот варварский обряд.

Днем состоялось погребение. Оно было пышным, как и подобало для похорон такого выдающегося человека племени. Тело шамана было одето в самую красивую одежду и уложено на бизоньих шкурах. Ружье Белого Волка было разломлено на куски, чтобы оно также «умерло» и сопровождало умершего в Край Вечной Охоты. На самом высоком из окрестных холмов было воздвигнуто сооружение из жердей. Там, высоко над землей, были уложены завернутые в шкуру останки нашего шамана. Они должны были возвышаться над всей округой.

Мы потеряли выдающегося шамана, достойного почестей великого вождя. Слава о Белом Волке гремела далеко за пределами кочевий черноногих. Мы чувствовали себя осиротевшими, несмотря на то что место Белого Волка занял достойный его преемник — Кинасы.

Наша группа снова тронулась в путь. Раньше, еще за несколько лет до моего появления на свет, племя наше видело тысячи бизонов, мчавшихся по залитой солнцем прерии. Теперь же на юге — в Арканзасе, Колорадо, Оклахоме — бизонов не было совершенно. Их самым хищным, разбойничьим способом истребили белые авантюристы. Но и здесь, на севере, в Монтане и канадской Альберте, они попадались все реже и реже. Избежавшие гибели бизоны пугливо прятались в пустынных долинах маленькими стадами, чаще всего по две — три головы. В течение нескольких дней после ухода из лагеря Большого Котла мы не встретили ни одного бизона.

Апианистан, вождь пиеганов, одного из ответвлений черноногих, посоветовал нам идти еще дальше на север и держаться подножия Скалистых гор, где еще были не освоенные белым человеком долины. Он уверял нас, что там можно надеяться на лучшую охоту. Мы последовали его совету.

У одного из наших воинов, Киципониста, был, что называется, соколиный глаз. Он-то и увидел однажды стаю птиц — степных дроздов. Они все время то взлетали, то падали вниз в одном и том же месте. Что было на земле, воин не смог различить — местность здесь была неровной. Но все догадались, в чем дело: птицы эти обычно держатся вблизи бизонов, садятся им на спины и выклевают у них клещей.

Наш вождь Шествующая Душа отправился с двумя воинами на разведку. Они галопом вернулись обратно с радостной вестью: впереди большое бизонье стадо, в нем почти сто голов. Такого количества бизонов мы не видели уже более трех лет.

Бизоны были пугливы и чутки. Едва завидев наших всадников, они тотчас пустились наутек. Мы немедленно начали готовиться к погоне. Все ребята, за исключением самых маленьких, должны были сесть верхом на лошадей, по двое на седло. Впрочем, в то время индейцы еще не имели настоящих седел — вместо них применялись кожаные мешки, набитые сеном или бизоньей шерстью. Стремлян тоже не было; чаще всего брюхо коня обматывали двумя кожаными ремнями и на один опирались ногой, когда садились верхом. Вместо уздечки были сыромятные поводья, привязанные прямо к морде коня. Ими пользовались только для остановки коня, управляли же конями исключительно с помощью ног. Наши воины охотнее всего ездили на неоседланных лошадях. «Седло, — говорили они, — хорошо лишь для женщины».

После сражения с кроу наши отцы велели нам, ребятам, заботиться о добытых лошадях и каждому объездить себе верховую. Во время беспрестанного передвижения мы выполняли эту обязанность не слишком добросовестно. И теперь, когда нам пришлось поспешно садиться в седла, кони начали лягаться, становились на дыбы, кусались, немилосердно сбрасывали нас. Мы старались обратить все это в шутку, но сдержатъ диких мустангов и сестъ верхом было для нас делом непосильным. Вокруг начали собираться девчонки — народ, скорый на насмешку. Уже слышался издевательский смех:

— Ой, кипитакикс, кипитакикс! Старые бабы, старые бабы!

У нас и так было по горло хлопот со взбесившимися животными, а тут еще допекало подзуживание девчонок. Отругиваясь, мы позволили себе лишнее и получили за это строгое внушение отцов.

— Девчонки правы, — говорили старшие, — давно бы вам нужно было объездить коней.

Мы даже не смели рта открыть. Всю свою ярость ребята излили на коней, и это помогло: кони начали слушаться нас. Скоро мы управились с ними, и хотя у всех еще были злые лица, но в глазах уже вспыхивали веселые искорки.

Больше всего не повезло Молодому Орлу. Мало того, что он перелетел через голову своего гнедого, но дикий конь еще ухватил его за набедренную повязку и разорвал ее.

Старшие смотрели на нас с добродушной иронией, но, когда мы наконец взгромоздились на коней, наш вождь Шествующая Душа крикнул так, чтобы слышали все девчонки:

— Эгей, молодые воины, вперед! Покажем женщинам, как надо охотиться на бизонов!

Эти слова наполнили нас такой гордостью, что, несмотря на бешеную скачку, мы, крепко держась за гривы, не отставали от старших, а о юных насмешницах даже и не вспоминали.

Впереди меня скакал Сильный Голос. Это был для него торжественный день: брату было уже двенадцать лет, и отец позволил ему принять участие в охоте на бизонов наравне со взрослыми. Сильному Голосу подали лук, правда, чуть меньших размеров, чем у взрослых воинов.

Это был важный день и для меня: мне ведь тоже было разрешено ехать вместе с охотниками и наблюдать охоту вблизи. Я решил держаться возле брата и на всякий случай захватил с собой свой ребячий лук. Конь мой был отличный, буланой масти. Выбрал его отец. Я очень жалел, что мне не позволили взять с собой и Пононку.

Мчась в северо-восточном направлении по холмистой прерии, наша группа переправилась в одной из широких долин через мелкую речушку. Скоро мы очутились на противоположной гряде холмов. Там нашим глазам представилось самое заманчивое для взора индейца зрелище. На ярко-зеленом фоне трав широким черным пятном выделялось большое стадо бизонов. Сбившись в плотную массу, бизоны мчались к северу. Только отдельные животные держались в стороне. В нашем лагере уже ощущался недостаток мяса, а тут были огромные запасы пицци, которой хватит, если не подведет охотников их ловкость и меткость, на всю следующую зиму.

Бизоны заметили нас и перешли в галоп. Не было ни времени, ни возможности обложить стадо. Воины пустились вскачь, стараясь криками разбить

стадо на мелкие группы.

Раздался рев бизонов, топот копыт, дрожала земля. Поднялась такая пыль, что я едва различал мчавшегося впереди брата. Охотники стремительно развернулись в длинную косую линию, стараясь отрезать стадо слева. Через минуту облака пыли остались позади. Бизоны оказались прямо перед нами. Косматые загривки могучих животных то поднимались, то опадали в бешеном беге. Каждый охотник намечал себе самую жирную бизонью самку и подбирался как можно ближе. Уже полетели стрелы из луков. Загремели и выстрелы, но в общем гуле погони они доходили до слуха приглушенными, как бы издалека. Я уже видел, как валялись то тут, то там настигнутые стрелой или пулей животные. Но бизон очень живуч. Даже если попадешь ему в сердце, он еще долго бьется на земле. Признаюсь, очутившись вблизи этих мощных, так грозно выглядевших животных с огромными лбами, я весь дрожал и невольно каменел от страха.

Горный Огонь, мальчик немного постарше меня, скакал слишком близко за своим отцом и едва не поплатился жизнью. Отец его выстрелил в самку, бегавшую между двумя бизонами. Один из них, старый, измученный бык, неожиданно остановился и, выставив рога, бросился на всадника. Конь охотника мгновенно отскочил в сторону. Этим неожиданным движением он так испугал старого быка, что тот немедля обратился в бегство и на всем скаку налетел на двух бизонов. Животные свалились на землю. Горный Огонь, как я уже сказал, мчался за отцом. Он не смог сдержать коня и налетел на эту кучу. Теперь мальчик, конь и три бизона барахтались на земле.

Горный Огонь судорожно уцепился за гриву одного из бизонов. Перепуганное животное вдруг вскочило на ноги и ринулось за стадом, унося на спине помертвевшего от ужаса мальчика.

Охотники пустились вдогонку. Но трудно было стрелять в бизона — можно было угодить в сидевшего на нем «всадника». Наконец одному из охотников удалось вплотную приблизиться к бизону и приставить ружье прямо к его лбу. Грянул выстрел. Животное споткнулось и пало на землю. Горный Огонь описал в воздухе дугу и свалился без сознания. По счастливой случайности он остался цел.

В это время Сильный Голос и я гнались за другими бизонами. Молодому охотнику так и не удалось до сих пор хоть раз натянуть тетиву. Он высматривал себе добычу несколько раз, но либо бизоны были слишком далеко, либо попадался только старый бык. Между тем бизоны перестали держаться вместе — стадо постепенно распадалось на группы.

Вскоре от стада отделилась телка и понеслась в сторону. Брат и я погнались за ней. Через несколько минут мы оказались одни, далеко от остальных. Брат быстро приблизился к животному, натянул лук и пустил стрелу. Она ударила в грудь телки, но та продолжала бежать. Сильный Голос снова догнал ее и пустил вторую стрелу, под левую лопатку. Животное резко повернуло и помчалось в другом направлении, но уже не так быстро. Я скакал за братом, едва дыша от возбуждения.

Брат в третий раз натянул лук. К сожалению, стрела попала в шею. Животное только потрясло головой и продолжало бег. Четвертая стрела была пущена более метко — она попала близко от сердца. Ослабевшая телка побежала медленнее. Пятая стрела угодила в то же место. Животное продолжало ухо-

дить от нас, но мы увидели кровь, сочившуюся у него из носа. Победный крик вырвался из моей груди. Теперь добыча от нас не уйдет!.. Еще стрела! Животное зашаталось, упало и забилось. Тогда, увлеченный внезапным порывом, я соскочил с коня и пустил стрелу телке прямо в бок. Животное затихло.

Мы схватились за руки и в упоении затанцевали вокруг убитого бизона. Когда первый восторг прошел, мы принялись осматривать добычу. В ней торчало шесть стрел, не считая моей. Сильный Голос забеспокоился:

— Шесть стрел — не слишком ли много для молодой самки? Скажи, Маленький Бизон...

— Да, много, — подтвердил я.

— Скажут — плохо стрелял. Будут смеяться надо мной...

— Ничего не поделаешь... Стрелял, стрелял, но все-таки повалил.

— Другие... — брат развивал мою мысль, — другие стреляли раз, два раза и поражали бизона.

— Правда. Но это взрослые воины.

Мы искоса глядели на злополучные стрелы. И чем больше всматривались в них, тем невыносимее страдала наша гордость. Ведь это позор — выпустить столько стрел!.. Вдруг брат решился. Пристально глядя на меня, он спросил:

— Можно тебе верить?

— Можно.

— Будешь молчать, как могила?

— Буду.

— Смотри, Маленький Бизон, не выдавай меня. Иначе — беда!

Сильный Голос изложил мне свой план:

— Мы просто выдернем стрелы. Оставим только две, остальные спрячем. А раны засыплем землей. Все подумают, что это просто наружные царапины. Вот!.. Не выдашь меня?

— Нет! — ответил я.

Брат уже собрался выполнить свое намерение. Но тут я подумал об отце.

— Подожди! — остановил я брата. — Придет отец. Он, наверно, спросит, как было... Что мы ему скажем?

— Скажем, что...

— Что? Что ты скажешь ему?

— Скажу...

Мы словно уперлись в каменную стену. Отец был для нас чуть ли не божеством. Я вспомнил недавние события. Сколько я испытал стыда и страха, когда два дня скрывал свой позорный поступок — надругательство над трупами врагов! Какая это была пытка!

— Нет! — крикнул я так громко, что брат невольно вздрогнул. — Не делай этого.

— Почему? — спросил он, но было видно, что и его одолевают сомнения.

— Мы не можем лгать!

Сильный Голос ничего не сказал. Я тоже. Мне вспомнились слова матери, сказанные несколько дней назад, и я с серьезностью мудреца повторил их:

— Кто хочет стать великим воином, тот должен ненавидеть ложь!

— Верно, — вполголоса подтвердил брат.

Мы успокоились и покорились судьбе. Стрелы, торчащие в теле бизона, уже не вызывали в нас такого стыда. И тут издали донесся окрик, привлек-

ший наше внимание.

— Отец! — вскрикнули мы разом и замахали руками.

Обеспокоенный нашим отсутствием, отец стал искать нас. Когда он подъехал, мы встревожились: что скажет он, когда увидит столько стрел?

Но отец даже не смотрел на нас. Его взгляд впился в мертвого бизона.

— Ого-го! — крикнул он, и это прозвучало как одобрение.

Отец подошел к туше. Глаза его горели, в них не было и тени недовольства. С добросовестностью судьи он осматривал каждую стрелу, торчащую в теле бизона, и вполголоса считал:

— Одна... вторая... третья... четвертая...

Чувствуя свою вину, брат насупился. Мне хотелось его утешить, и я украдкой пожал ему руку.

— ...пятая... — продолжал считать отец, — шестая... А это что такое?

— Это... Это... моя... — заикаясь, пробормотал я.

— Даже и ты, карапуз? — весело переспросил отец.

Тут он заметил наши печальные лица и удивленно посмотрел на обоих:

— Что же вы стоите, словно вас поразило какое-то горе? Ну, говорите!

— Шесть стрел... — простонал Сильный Голос.

— Ах ты, милый глупыш! — рассмеялся отец. — Да знаешь ли ты, сколько мне потребовалось стрел на моего первого бизона? О-дин-на-дцать!.. Шесть стрел — это почетно!

Он схватил нас за руки, и мы втроем закружились в победной пляске вокруг бизона. Стало тепло на душе, сердца наши замирали от радости. Мы плясали.

Отец певуче тянул:

— Шесть стрел — хо-хо, шесть стрел!.. Крепкий охотник выйдет из этого парня, хо-хо, он выпустил только шесть стрел! Он будет хорошим воином, хо-хо!..

Но брат по-прежнему был мрачен.

— Отец! — сказал он. — Я должен признаться: я хотел солгать...

И он рассказал всю историю: как собирался вытащить стрелы из убитого бизона и засыпать раны землей, как я воспротивился этому, сказав, что надо ненавидеть ложь...

Отец внимательно выслушал брата, потом притянул меня к себе и так сильно прижал к груди, что у меня перехватило дыхание. Он отпустил меня. Наши кони стояли поблизости и мирно щипали траву.

— Нравится тебе этот буланый? — улыбаясь, спросил отец, указывая на коня, на котором я прискакал.

Я не понял, о чем идет речь.

— Нравится...

— Это твой! Дарю его тебе.

Я чуть не задохнулся от счастья. В моем возрасте у индейских мальчиков еще не было своих коней.

— Мой? — едва выговорил я. — Мой собственный конь?.. Мой насовсем?

— Да, твой.

От радости у меня кружилась голова. Я сорвался с места и теперь уже один выполнил бешеный танец вокруг мустанга, напевая и вскрикивая от возбуждения. Буланый еще был полудиким, и мне приходилось быть настороже, что-

бы он ненароком не стукнул меня копытом.

Я уверен, что в этот день не было более веселой тройки всадников во всей прерии: взрослый, подросток и малыш.

Мы вернулись к тому месту, откуда началась охота. Женщины уже снимали шкуры и занимались разделкой туш. Подсчитали, что бизонов убито около шестидесяти голов: богатая добыча! Туши были разбросаны по прерии на несколько километров. Каждый охотник ставил на стрелах свои знаки. По этим знакам женщины узнавали добычу, принадлежащую их мужьям или ближайшим родственникам. Охотники, стрелявшие из ружей, клали на тушу свои стрелы, также помеченные личными знаками.

Во время охоты юный сын покойного Белого Волка мчался на коне вместе с другими ребятами. Мать, правда, дала ему колчан и стрелы отца и мальчик повесил все это за спину, но было ясно, что он слишком мал, чтобы добывать зверя так же, как покойный шаман. Он не мог обеспечить семью пищей. Моя мать тихонько вытащила у него из колчана стрелу Белого Волка и позвала нас с братом за собой.

Она привела нас к убитому братом бизону, вырвала все стрелы и воткнула в тушу стрелу Белого Волка, показывая тем, что Белый Волк как бы сам застрелил бизона для своей семьи.

— Ты согласен на это, Сильный Голос? — спросила мать.

— Охотно, мать, — ответил брат.

Он понял, какая это для него честь — быть кормильцем семьи нашего шамана.

— А ты, Маленький Бизон?

— Да, мать... — отвечал я, хотя и был очень смущен: добыча ведь не принадлежала мне.

Мать довольно кивнула головой. Мы вернулись к женщинам, хлопотавшим около бизонов.

Позже мы видели, как вдова Белого Волка остановилась возле нашего бизона. Она поняла, о чем говорила воткнутая стрела. Обливаясь слезами, она стала снимать шкуру с бизона.

Танец солнца

Выделка шкур и сушка мяса на пеммикан продолжались около месяца. Лучшие части туш выделялись старикам и старухам — по освященному у нас обычаю, племя всегда окружало их заботой. Мясо мы ели чаще всего сырым, а если хотели его поджарить, то насаживали кусок на конец копья и держали над костром.

Заготовленные на зиму большие запасы сушеного мяса были уложены в кожаные мешки. Пришло время отправляться в путь, на северо-восток. Там, в Канаде, в середине лета раз в год собирались все группы черноногих, чтобы вместе провести самое большое наше торжество — танец Солнца.

Когда я размышляю сейчас о том необычайном значении, какое придавали тогда танцу Солнца мы и другие племена прерий, я прихожу к выводу, что этот праздник прежде всего сильно содействовал укреплению единства племени. Кочующие группы, не встречавшиеся целый год, собирались в одно место, в них росло и крепло чувство единства. И когда они снова расставались на весь следующий год, то уходили окрепшие духом, гордые своим племенем.

Через несколько дней наша группа достигла реки Намака, на берегах которой с незапамятных времен исполнялся танец Солнца. Там застали большой лагерь — собрались почти все группы черноногих. Лагерь растянулся на три километра. Красивые палатки самой различной окраски окружали место, предназначенное для танца. На подготовленной площадке уже виднелись столбы просторного навеса, под которым будут происходить церемонии. Сам навес еще не был готов. Но и от одних этих приготовлений у нас, детей, сильнее забились сердца.

В лагере заметили наше приближение. Несколько всадников выехали навстречу, чтобы еще в прерии приветствовать нас радостным кличем. Всадники провели нашу группу на предназначенное для нее место. Старшие ребята должны были помогать родителям ставить вигвамы, а мы, мелюзга, свободная от всякой работы, немедленно окунулись в жизнь шумного и оживленного лагеря.

Всюду было много ребят, знакомых нам еще по прошлым годам. Тут же мы потребовали, чтобы они рассказали, много ли было у них приключений.

— Немного, — ответили они. — Только одно. А у вас?

— О, у нас были большие приключения. Хау! Американцы и кроу угнали наших лошадей и убили шесть человек, в том числе Косматого Орленка. Но наши им тоже задали перцу, будут помнить до самой Вечной Охоты!.. Черноногие разбили их в пух и прах, но сколько полегло врагов — не знаем: убитых не считали. Наши отцы позволили нам подкрасться к самому вражескому лагерю, а когда началась стрельба, мы подняли такой страшный крик, что враг подумал, что его атакуют, и стал немилосердно палить в нас. Но мы не испугались — испугался только старший воин, который следил за нами. Он велел всем вернуться к матерям. А тем временем пули дождем сыпались вокруг, но ни одного из ребят не задела. Хау!

Слушавшие нас ребята должны были признаться, что их вожди никогда бы не позволили им участвовать в битве. Они очень завидовали нам. Некоторые даже говорили, что убегут от своих в поисках настоящих приключений. Примем ли мы их к себе? Мы ответили: «Примем каждое отважное сердце. Хау!»

Рассказы были исчерпаны, и мы перешли к играм и состязаниям. Нам хотелось изобразить в танцах нашу последнюю битву, но с распределением ролей возникли трудности: все хотели играть черноногих, мало кто соглашался стать кроу, и уж ни за что на свете никто не хотел быть американцем. Пришлось отказаться от этой затеи и заняться состязаниями, которые продолжались с утра до самого вечера. Каждый мальчик хотел показать свою ловкость в чем-нибудь: в прыжках, беге, бросании камней, в стрельбе из лука, борьбе.

Праздник продолжался десять дней. Барабаны били днем и ночью сразу в нескольких местах лагеря, и все воины танцевали, исполняя церемонию, предшествующую главным торжествам в честь Солнца. Обычно несколько человек или даже несколько десятков танцоров вместе выполняли обряд, обязательный для тайного союза воинов.

По ночам лагерь тоже звенел песнями под аккомпанемент барабанов, а иной раз очень близко слышался тихий шорох индейских мокасин. Снедаемый любопытством, я поднимал полог вигвама. Фигуры воинов, закутанных в одеяла, молча двигались через лагерь, переноса какие-то загадочные предметы, предназначенные для столь же загадочных церемоний. В ночных песнях, в этой общей приподнятости чудилось нечто таинственное. Я снова ложился в углу и сквозь отверстия для дыма пристально всматривался в небо, словно звезды могли успокоить мое волнение. От ожидания неизвестного меня пробирала дрожь.

В последнюю ночь перед праздником никто из взрослых не спал. Лагерь был ярко освещен множеством костров, во всех вигвамах горели огни. Если бы кто-нибудь вышел в эту ночь за пределы лагеря и стал смотреть на него, ему показалось бы, что перед ним чудесное огненное видение. В вигвамах было шумно и весело.

Отец вошел в вигвам быстрым шагом и что-то ласково сказал матери. А нам, ребятам, посоветовал выспаться перед таким большим праздником. Тихонько напевая песню воина, отец одевался в праздничный наряд, который ему заботливо приготовила мать.

Мы, дети, хотели бодрствовать, но в конце концов сон сморил нас. Однако спали мы недолго. Нас снова разбудили самые прекрасные звуки, какие тогда существовали для меня, — торжественный напев отца. От каждого воина требовалось подготовить ко дню праздника песнь, слова и мелодию которой сложил он сам. Индейцы считали что такая песнь имеет особое значение в судьбе человека. Продолжая тихонько петь, отец сидел перед очагом, уже одетый по-праздничному; он был великолепен в своем пышном уборе из орлиных перьев.

Рассветало. Я еще не вставал. По вигваму распространялся запах поджариваемого на огне оленьего мяса. Время от времени мать певуче обращалась к отцу, а отец отвечал ей мягким, теплым голосом. Оба были счастливы и нежны друг с другом.

Если теперь, после многих лет, мне еще вспоминается мое детство, то прежде всего передо мной возникает рассвет этого торжественного дня и лица моих родителей, празднично одетых, довольных.

Постепенно сон покинул меня. Со двора уже доносился громкий гул голосов, весь лагерь пришел в движение. Все громче слышалось пение, чаще и резче звучали удары барабанов. Раздавались окрики распорядителей церемонии,

отдающих последние приказания. Но до полудня ничего особенного не произошло. Однако общее возбуждение в лагере не уменьшалось, а росло.

Только перед самым полуднем громкие крики заставили нас вздрогнуть. Двенадцать молодых всадников вихрем влетели в лагерь, волоча за собой только что срубленные ели. Двое других торжественно везли добытое где-то орлиное гнездо.

В полдень самый старый из шаманов дал знак. Воины начали украшать еловыми ветками огромный навес, предназначенный для танца. На площади начались неопишувемый шум и радостная суматоха. Никогда еще не переживал я такого возбуждения. Воины на взмыленных конях скакали вокруг площади, стреляя в воздух и крича во всю мочь. Женщины, старики, дети — все кричали как обезумевшие; шальной грохот барабанов сливался с переливами свистков и звоном колокольчиков. Чуть не под копыта коней попадали дети, отставшие от родителей, которые обо всем забыли в этой давке. Тучи пыли поднимались в воздухе, пахло порохом и лошадиным потом.

Так началось бурное приветствие Солнца, продолжавшееся четверть часа. Потом шум стих. Старейший из шаманов поднялся, и все собравшиеся стали с напряженным вниманием следить за каждым его движением. Держа в руках орлиное гнездо, он подошел к огромному столбу, положенному на землю рядом с заранее выкопанной ямой. Распластавшись на более тонком конце столба и обхватив его руками, шаман укрылся одеялом. Подбежали несколько воинов. Общими усилиями они подняли столб вместе со шаманом. Когда им удалось поставить столб отвесно, нижний конец опустили в глубокую яму и быстро засыпали землей. Шаман держался высоко на столбе в нескольких метрах от земли, а над ним возвышалось орлиное гнездо. Все присутствующие — а было нас несколько тысяч — затаили дыхание. Если бы шаман случайно свалился со столба, это было бы зловещим знаком со стороны невидимых сил. Но шаман не упал. Он ловко соскользнул по столбу и ступил на землю. Вверху, на острие, осталось орлиное гнездо.

Наступила долгожданная минута. Под навес вбежали юноши, жаждущие получить звание воинов. Они построились в ряд, окидывая горящими взглядами священный столб и орлиное гнездо — символ воинской доблести. Шаман уже приготовил принадлежности для церемонии — острый, узкий нож и несколько метров тонкого ремня. Вот он позвал к себе первого юношу. Сперва шаман в двух местах надрезал ножом кожу и мышцы на левой стороне груди юноши. Расстояние между надрезами равнялось длине мизинца. Сквозь эти надрезы шаман ввел нож, сделав нечто вроде канала, и протянул через него ремень. Затем связал ремень в узел, а концы прикрепил к священному столбу. В ловких руках шамана нож мелькал, как молния. Такую же операцию он произвел и на правой стороне груди. И вот юноша был уже привязан к столбу ремнями, проходящими через его тело.

Во время этих действий мы зорко следили за юношей: мужественно ли он переносит боль? Да, мужественно! Мы смотрели на его пальцы — они не дрогнули. Я тогда был еще ребенком и потому, признаюсь, мне стало не по себе, но все-таки наравне со всеми я был очень горд за молодого героя, за его достойное поведение. А ведь это было только началом: подлинную закалку и презрение к боли юношам предстояло еще доказать.

Остальные юноши проходили по очереди такую же процедуру. А тем вре-

менем первый юноша уже исполнял свой танец. Охваченный каким-то диким восторгом, всматриваясь в светило, он словно искал в нем воодушевления и пел свою песнь, моля Солнце — источник всякой жизни на земле — прибавить ему сил и наполнить мужеством сердце. Барабаны сопровождали песнь юноши громким рокотом, и все присутствующие подпевали испытываемому, пока он танцевал около столба. Поначалу медленные и размеренные, его движения становились все более быстрыми, и вскоре юноша уже подпрыгивал, иступленно метался то в одну, то в другую сторону.

Приближалась самая важная, захватывающая минута танца и вообще всего торжества. Мужественный юноша силился освободиться от пут, разрывая кожу и мышцы на груди. Но ремни крепко держали его, и молодой индеец все более яростно дергал их. Любой ценой требовалось освободиться от пут: варварский, правда, но все же выразительный символ борьбы человека со слабостями тела, — борьбы, в которой он должен остаться победителем, как бы вступив в содружество с Солнцем.

Раны юноши выглядели ужасно, но обычно после танца шаман поливал их каким-то настоем из растений и они быстро заживали. Никогда у нас не было случаев заражения крови. С этой минуты юноша уже носил звание воина. Гордый своим мужеством и похвалой семьи, он быстро овладевал собой.

— Еще шесть зим! — говорил Сильный Голос с ноткой нетерпения, возбужденный, как и все другие. — Еще шесть зим — и я буду воином!

«А мне еще дольше ждать...» — пронеслась в моей голове не слишком веселая мысль.

На следующий день после торжеств в честь Солнца состоялся еще один заключительный танец, очень похожий на танец «Пережитое». Двое самых прославленных воинов изображали в этом танце одну из своих прежних битв.

Среди чужих племен, гостивших в нашем лагере, находилась группа индейцев племени кри. Одним из их вождей был Красивый Юноша, с которым вождь черноногих — Атсистамокон десять лет назад имел славную стычку. Оба они были в лагере, и их попросили изобразить этот давний поединок. Они согласились.

Десять лет назад Атсистамокон вел в Монтане отряд воинов против племени кри. Красивому Юноше, стоявшему во главе группы кри, удалось потеснить черноногих, а их вождя, находившегося вдалеке от своих воинов, загнать в такую ловушку, что он, казалось, был обречен на верную смерть — всюду его окружали враги. Но Атсистамокон, известный своей смелостью, не потерял самообладания. Храбрый воин решился на безумную попытку — прорваться через вражеский лагерь. Он неожиданно вынесся на коне из своего укрытия и с победным кличем, как вихрь, влетел в стан врага. Когда кри увидели его, они бросились к коням. Град стрел и пуль понесся вслед смелому воину, но ни одна не попала в цель, и беглец уже был за пределами лагеря. Вождь кри, Красивый Юноша, обладатель самого резвого коня, пустился в погоню. Он легко догнал нашего воина и с близкого расстояния пустил в него стрелу. Промах! Атсистамокон молниеносно пригнулся, и стрела пролетела над его головой. Тогда он сам повернул коня и так ударил Красивого Юношу томагавком, что тот свалился на землю. Тем временем воины кри уже приближались к Атсистамокону. Недолго думая тот вскочил на коня Красивого Юноши и помчался прочь. Это был лучший скакун во всем вражеском отряде — погоня была бы

бессмысленной. Атсистамокон вернулся к своим со славой и превосходной добычей.

Таково содержание боевого эпизода, который должны были представить в танце главные его герои.

Люди уже собрались на площади и с нетерпением ожидали зрелища. Кроме нас, черноногих, и индейцев кри, были здесь представители и нескольких других племен. Красивый Юноша пошел в свой вигвам переодеться. Застав там жену, он угрюмо сказал ей:

— С Атсистамоконом я еще не примирился. В сердце моем ему нет места. Сегодня он найдет свою смерть.

Заряжая ружье, Красивый Юноша, вместо клона бизоньей шерсти, приготовленного женой, вложил в дуло свинец. Честная индеанка ужаснулась. Как только муж покинул вигвам, она побежала к старшему вождю кри и сообщила ему о намерении Красивого Юноши. Вождь пришел в вигвам, вынул свинец и заменил его клочком шерсти, как следовало по обычаю. Все было сохранено в тайне.

Ребята сидели впереди, чтобы не пропустить ни одной подробности представления. Атсистамокон уже сидел на коне и дружески переговаривался с воинами кри. Готовый к действию, Красивый Юноша подъехал на статном жеребце, как две капли воды похожем на того, который когда-то был добыт в схватке Атсистамоконом.

Наши старые воины, видя это, громко выражали свое изумление. Они складывали крест-накрест указательные пальцы и, протягивая их в сторону кри, кричали на их языке:

— Пегуин тапискуц мист атим! (Точно такой конь!)

Те отвечали таким же знаком, что означало: «Да, точь-в-точь похож!» Они поглядывали в сторону черноногих и доброжелательно кивали нашим воинам.

Представление началось, и все шло хорошо до той минуты, когда Красивый Юноша должен был преследовать Атсистамокона, промчавшегося через самую середину вражеского лагеря. И тут произошло нечто, от чего кровь застыла у нас в жилах.

Преследуя беглеца, Красивый Юноша настиг Атсистамокона. Внезапно он поднял ружье и с близкого расстояния выпалил прямо в лицо вождя. Атсистамокон пошатнулся, кровь залила ему лицо. Опомнившись, он выхватил из-за пояса томагавк и ударил противника по голове. Красивый Юноша свалился на землю. Он был без сознания — как и тогда в битве, что произошла десять лет назад...

Мы были уверены, что сейчас начнется кровопролитие, на этот раз настоящее. Но воины кри вскочили и принялись примирительно кричать нам:

— Мевасин, мевасин! (Так, хорошо, хорошо!)

Подбежал главный вождь кри. Подав руку Атсистамокону, он признал его удар законным и осудил выходку Красивого Юноши. Желая смягчить впечатление, он заявил вождям черноногих, что в честь нашего племени устроит сегодня вечером танец в своем лагере и приглашает нас на общее пиршество.

Вскоре Красивый Юноша пришел в себя, удар не причинил большого ущерба его здоровью. Атсистамокон тоже оправился от раны, только до конца жизни на его лице остались синие следы от пороха.

В тот же вечер, после танца в лагере кри, Красивый Юноша подошел к Атсистамокону. Обратившись к нему, он сказал:

— Незачем нам хватать друг друга за горло. Судьба не хочет этого! Думаю, мы сможем стать хорошими друзьями.

— И я так считаю! — ответил Атсистамокон, пожимая руку недавнему врагу. Веселым взглядом окинув опухшую голову своего собеседника, он добавил: — Ты перестал быть красивым, Красивый Юноша!

Оба рассмеялись. Красивый Юноша ответил:

— Пройдет и это!

— К счастью, все проходит, что плохо!

Так рассеялись признаки ненависти.

Из южной Монтаны прибыл поглядеть на танец отряд дружественных нам кроу. Наш вождь Шествующая Душа посетил палатки кроу и спросил их вождя, не встречались ли они в последнее время с группой Окоток, то есть с теми воинами, которые вместе с Рукстоном напали на наш лагерь и угнали наших коней.

— Слышал об этом... — ответил вождь кроу. — Отряд этот пошел вместе с Рукстоном на восток.

— В форт Бентон?

— Да. Больной воин от них прибрел к нам. Он рассказал все подробности. Вы отбили у них часть лошадей и нанесли им урон...

— А этот больной не говорил ничего о том, что взяли в плен одного из наших?

— Нет, не говорил. Видно, никого не взяли.

Это была печальная весть. Выходило, что Ночной Орел погиб во время сражения у лагеря кроу и Рукстона. Вождь Шествующая Душа объявил нам о смерти Ночного Орла, как о факте, не подлежащем сомнению. На следующий день наша группа совершила заочное погребение, со всеми предусмотренными обычаями церемониями, как если бы тело погибшего находилось у нас.

Этот печальный обряд был особенно горестным для нас: смерть Ночного Орла бросала тень на доброе имя Белого Волка. Ведь наш шаман до последнего дня продолжал утверждать, что Ночной Орел жив...

Когда послышался треск ломаемых стрел, колчана и ружья, приносимых в жертву духам согласно обычаю, все присутствующие почувствовали, что в их душе надламывается нечто более дорогое и важное — вера в безошибочность пророчеств Белого Волка...

Комендант Железный Кулак

Танец Солнца кончился. Праздник еще более сплотил наше племя. В обширном лагере пустело, наступала тишина. Огонь восторга, охвативший всех черноногих, угасал. Одна группа за другой вьючили свои вигвамы и уходили в разные стороны, навстречу новым событиям. Но все уносили с собой бодрость и тихую радость в сердце. Мы, ребята, были, вероятно, самыми счастливыми: мы гордились тем, что несколько наших старших братьев и родственников с честью сдали испытание на звание воина!

Наша группа направилась прямо на юг, к реке Миссури. После беседы с дружественными кроу не оставалось сомнения, что Рукстон повел наших лошадей в форт Бентон, стоящий на берегу этой реки. Наши вожди решили идти туда и получить обратно принадлежащее нам имущество. Мы были уверены в успехе, полагая, что высланные вслед за Рукстоном сразу же после стычки наш воин Орлиное Перо и трое его разведчиков предупредят коменданта форта Бентон об этой краже и с его помощью мы вернем наших коней.

После нескольких дней похода мы достигли местности, носившей название Четыре Холма. С разведчиками было условлено, что здесь группа встретится с ними и что они уведомят вождей о положении дела в форте Бентон. Увы, никто нас тут не ожидал! Приходилось держать путь прямо в форт Бентон, ничего не зная о том, что там происходит. Вождь и старейшины были несколько обеспокоены.

Под вечер третьего дня еще издалека показался поселок. Рядом с характерной американской пограничной крепостью, состоящей из нескольких построек и казарм, огороженных бревенчатым частоколом, в некотором отдалении стояло около десятка домов, принадлежащих торговцам. Форт Бентон был тогда оживленным торговым центром, влияние его распространялось на много сотен километров к югу от Монтаны.

Мы не знали, кого мы там встретим, — может быть, даже враждебных нам кроу из группы Окоток, с которыми нам недавно пришлось сражаться. Поэтому мы приближались очень осторожно и разбили свой лагерь в трех километрах ниже поселка, в овраге, на самом берегу Миссури. Слово «Миссури» на языке сиу означает «илистая вода»; эта могучая река действительно была мутно-желтого цвета. Но что больше всего нас восхищало, это обилие воды и красивые обрывистые берега, меж которых быстрое течение создавало великолепные излучины и бурные водовороты.

Я видел Миссури впервые. Мы уже не раз подходили к реке, но я был еще слишком мал, чтобы запомнить что-нибудь. Признаюсь, огромная река вызывала во мне изумление и некоторую опаску. В тот же вечер наши старшие ребята устроили в реке веселую игру — веселую, но без шума. Я не выдержал и тоже полез в воду. Все мы умели плавать и нырять не хуже выдр, научившись этому еще с малолетства. Более смелые переплывали даже через водовороты, казавшиеся с берега очень опасными. Вода была нашей стихией, и смелое плаванье считалось обязательным в воспитании индейской молодежи.

В эту ночь в нашем лагере кипела жизнь. Многие воины уходили в разведку, чтобы вызнать, какие индейцы расположились станом у форта Бентон. Подкрадываясь вечером к поселку, наши разведчики видели вокруг него много индейских вигвамов. К рассвету вожди уже располагали сведениями, что

возле форта собрались представители почти всех племен, живущих в прериях на Миссури. Среди них были и кроу. Не было только враждебной нам группы Окоток. Удостоверившись в этом, мы перенесли лагерь поближе к поселку и поставили вигвамы в километре от укреплений, снова над самой рекой. Мы были здесь в безопасности и в случае каких-либо недружелюбных действий всегда могли своевременно уйти в прерию.

Среди индейцев, расположившихся у форта, находилась и группа сиу, с которыми этой весной мы установили союз и дружбу. От них вождь Шествующая Душа узнал много важного. Подтвердились все наши предположения: Рукстон и кроу пригнали сюда каких-то чужих лошадей, после чего кроу уехали на запад, а Рукстон и его люди задержались в форте Бентон и уже позже уехали на восток. Что случилось с нашими лошадьми, никто не знал. Побывали здесь и четыре воина из племени черноногих: по описаниям мы поняли, что это были Орлиное Перо и его товарищи; однако через два дня они исчезли самым таинственным образом.

— Они выехали в прерию? — спросил Шествующая Душа.

— Не знаем. Ходили слухи, что их задержали в форте.

— Как это «задержали»?

— Кажется, солдаты арестовали их...

Это было очень неприятное известие. Все воины нашего лагеря долго совещались и раздумывали над тем, идти ли открыто к коменданту форта и заявить свои требования или просить сиу посредничать в нашем деле. Второй выход был более благоразумным, и многие склонялись к нему. Вождь сиу охотно согласился на посредничество и направился к коменданту. Он скоро вернулся, комендант отклонил посредничество сиу и настаивал на том, чтобы черноногие явились сами. Наш вождь Шествующая Душа велел передать коменданту, что черноногие готовы явиться к нему, но требуют заверения, что с ними ничего не случится и они свободно вернутся в свой лагерь. Комендант хотя и рассердился, но дал такое заверение. Он предупредил только, что, если кто-нибудь из наших будет с оружием, он задержит всех. Тут мог таиться какой-то подвох со стороны коменданта, но в конце концов нам пришлось согласиться.

В делегацию вошли шесть человек: вождь Шествующая Душа, шаман Кинасы, мой отец, дядя Раскатистый Гром, знавший английский язык, и еще двое старых воинов. Все одели праздничные наряды, взаимно проверили друг друга, нет ли у кого оружия, и отправились в форт. У входа в казармы солдаты хотели их обыскать. Наши не согласились на это, требуя, чтобы им верили на слово. Дело дошло до коменданта, который наконец велел впустить посланцев без обыска.

Войдя в большой дом, наши увидели коменданта, сидевшего за столом и угрюмо глядевшего на входящих Темная борода, густо покрывающая нижнюю часть лица, и сердито выпученные глаза придавали ему отталкивающий, враждебный вид. Это был пресловутый майор Уильям Уистлер, гроза индейцев, человек, известный своей беспощадностью и прозванный Железным Кулаком. Он и теперь сидел, сжав кулаки и положив их на стол, словно готовился ударить кого-то. Рядом с ним поместились трое молодых офицеров, один из них готовился записывать все, что будет сказано. У стены стояли двое солдат с примкнутыми к винтовкам штыками. Кроме шести белых, в комнате нахо-

дился метис, исполнявший обязанности переводчика.

Сегодня, после стольких лет, я понимаю, что это была встреча двух эпох и двух миров.

Пронизывая входивших пристальным взглядом, комендант сидел неподвижный и молчаливый, как статуя. Из его свиты тоже никто не шевельнулся. Свободных стульев в комнате не было. Нашим пришлось сесть в углу на корточки, по старинному индейскому обычаю.

После нескольких минут молчания комендант неожиданно крикнул:

— Кто вы?

Метис перевел вопрос. Шествующая Душа спокойно ответил, не обращая внимания на грубый окрик:

— Черноногие.

— Я спрашиваю, кто вы? — еще громче заорал майор, и кулаки его нетерпеливо шевельнулись. — Американские или канадские подданные?

Наш вождь шепотом посоветовался со своими спутниками, и с тем же спокойствием ответил:

— Мы принадлежим к южной ветви Черных Стоп. Мы — свободные индейцы, покорные только воле Великого Духа.

— Где живете: в Соединенных Штатах или в Канаде?

— Живем на своих землях, которые нам предназначены Великим Духом. Через эти земли белые люди протянули свою границу между Штатами и Канадой.

— Где зимуете? — Комендант явно хотел добраться до нужной ему сути дела.

— Иногда зимуем на юге от Молочной реки, в стране, которую Длинные Ножи называют своей. Другой раз кочуем к северу от этой реки, в Канаде...

Видно было, что эти ответы пришлись не по душе коменданту. Он махнул рукой и жестко спросил:

— О чем просите?

— Недавно четыре наших воина отправились в форт Бентон, чтобы просить тебя, Железный Кулак, о помощи. Эти воины исчезли.

Комендант протяжно засвистел, обменялся многозначительным взглядом с офицерами и что-то сказал им вполголоса, впрочем настолько внятно, что и Раскатистый Гром понял его.

— Well![18] Я сразу понял, в чем дело. Пташки сами попались в наши сети... — Обращаясь к нашему вождю, он добавил с язвительной усмешкой: — Не беспокойтесь об этих четырех воинах. Они в надежных руках и под хорошим замком. Скоро у них будет более многочисленное общество... Тебя зовут Шествующая Душа, не правда ли?

— Правда.

— А ты Белый Волк? — указал майор на нашего шамана. — Так, кажется?

— Железный Кулак, — ответил шаман, — ты тверд, как железо, самоуверен, как индеец, но всего ты знать не можешь и легко ошибаешься. Меня зовут Ки-насы...

— А где же Белый Волк? — несколько растерянно спросил майор.

— Отправился на Вечную Охоту.

После минутного молчания Шествующая Душа, равнодушный к грубости коменданта, заговорил, подчеркивая значительность своих слов:

— Мы прибыли в форт Бентон, чтобы просить тебя, Железный Кулак, о следующем: мы просим освободить четырех наших воинов, ибо их неправильно задержали. Мы просим помочь нам вернуть более ста лошадей, которых Рукстон с группой Окоток украл у нас и привел сюда. И мы требуем наказать Рукстона и его белых сообщников за то, что в дни полного мира они напали на нас, увели наших лошадей и убили шестерых ни в чем не повинных людей нашего племени...

— Это все? — с издевкой спросил Уистлер. — Больше ничего?

— Больше ничего, — с достоинством ответил вождь.

Комендант снова посмотрел на своих офицеров. Он словно остолбенел от того, что услышал. Движением, выражающим крайнее изумление, он поднял руки и вполголоса прорычал:

— Вы слышали, господа? Это превосходит всякое человеческое разумение... Какова наглость!.. Так поставить все с ног на голову!.. — Он обернулся к индейцам и злобно завопил во все горло: — Бандиты! Убийцы! Воры!

Комендант поперхнулся от крика и умолк. Но Шествующая Душа был по-прежнему сдержан. Он спокойно проговорил:

— Комендант Железный Кулак, ты идешь по ложной тропе ужасного недоумения...

Майор ударил кулаком по столу:

— Еще не хватало, чтобы меня учили краснокожие наглецы!

— Ты на ложной тропе, комендант! — со всей силой убежденности повторил Шествующая Душа.

— Где бумаги? — вдруг обернулся Уистлер к адъютанту.

Тот подал папку с бумагами, и майор быстро, но внимательно перелистал их.

— Рапорты говорят ясно, не остается никаких сомнений! Ты отрицаешь, что вы напали на лагерь Рукстона и кроу и увели у них сорок лошадей?

— Не отрицаю, — ответил вождь, — но...

— Молчи!.. Ты отрицаешь, что вы убили трех американских граждан?

— Мы знаем только о смерти двух Длинных Ножей. Они убиты в бою...

— Их было трое. Ты отрицаешь это?

— Нет, но...

— Молчать!.. А вот письменные показания Рукстона, Твиста, Мак-Грата и Стюарта. Все хорошо видели, как эти четверо ваших родичей из племени черноногих, задержанных мною в форте, принимали активное, непосредственное участие в убийстве американских граждан. На основании показаний, сделанных под присягой, этих четверых ждет петля. Не будь я Железный Кулак, как вы меня называете, если я не вздерну их на виселицу!

— Рукстон и его люди лгут! — твердо произнес наш вождь, но чувствовалось, что в нем что-то надломилось.

— Об одном только я теперь жалею!.. — не обращая внимания на слова вождя, кричал Уистлер. — Жалею, что дал заверение выпустить вас невредимыми из этого форта! Вы тоже заслужили веревочный галстук. Я охотно посадил бы всех вас за решетку, как и тех четырех!

Тогда наш вождь Шествующая Душа поднялся и выпрямился во весь рост, как натянутая струна. Он был одним из самых красивых воинов нашего племени. Выразительно отчеканивая каждое слово, он сказал:

— Довольно этих ложных троп и несправедливых обвинений! Мы пришли говорить с тобой, как свободные люди с настоящим воином. Желаешь ты нас слушать, Железный Кулак?

— Ах, вы хотите говорить как воины!.. Ну-ну, только без ваших выкрутасов и жульничества... Слушаю, слушаю! — издевательски поощрял нашего вождя развеселившийся комендант.

— Много зим назад наши вожди посетили Великого Белого Отца, которого вы, Длинные Ножи, называете президентом. И этот почтенный человек обещал нам, что если когда-нибудь мы обратимся к его представителям в прериях по правому делу, то всегда найдем у них сочувствие и справедливость...

— Ты называешь правым делом убийство американских граждан? — перебив вождя, раздраженно крикнул майор.

— Прошу тебя, выслушай до конца и взвесь каждое слово... Нет таких дел, которые не имели бы причины. Если течет Миссури, то это потому, что в горах она имеет свои источники. Если летом тепло, то потому, что светит могучее солнце. Причиной всех несчастий было предательское нападение Рукстона и его сообщников вместе с кроу на один из наших лагерей. Они решили украсть наших лошадей. Благодаря внезапности нападения им удалось увести более ста лошадей, и при этом они убили шестерых индейцев. То, что мы совершили после, было вызвано желанием отбить украденное имущество, то есть сделать то, что никто не может ставить нам в вину.

— Хороша сказка! Здорово придумано! — Комендант снова пробежал глазами рапорты. — Но в этих бумагах ни одного слова нет о том, что ты тут наплел!

— Но как же мог Рукстон сказать правду, которая свидетельствует против него?

— А какие доказательства приведешь ты, Шествующая Душа, в доказательство того, что не лжешь?

— Есть доказательства. Несмотря на наши усилия, нам не удалось отбить украденных коней. Мы только угнали несколько десятков мустангов, принадлежавших кроу, а наших коней Рукстон привел в форт Бентон, чтобы здесь продать за доллары. Индейцы из племени сиу говорили нам, что видели здесь этих коней.

— Попался ты, Шествующая Душа, попался со своей ложью! Да, были лошади, но они являлись собственностью кроу, и те законно продали их Рукстону... Рапорты по этому делу ясно показывают все, они скреплены подписью Рукстона и удостоверяющими знаками кроу... Есть у тебя еще доводы?

— Здесь сидит Раскатистый Гром, у которого убили малолетнего сына. Рукстон и его шайка напали на лагерь этого человека... — говорил вождь с нарастающим волнением.

— Это так. Хау! — подтвердил дядя.

— Ха, а еще что? — настаивал комендант.

Тогда Шествующая Душа вспыхнул:

— Почему ты не веришь нашим словам, а слепо доверяешь только Рукстону?

— А-а-а! — злобно обрадовался Уистлер. — Наконец-то! Наконец-то мы дошли до сути дела!.. Так знай, ты, Шествующая Душа, и вы все: Рукстон — американец, слово же американца значит во стократ больше, чем болтовня всех

краснокожих! Вы много тут наплели, но... — как он называется?.. — Ага, Орлиное Перо и три его дружка будут вздернуты на виселицу! Для вашей же острастки они будут повешены на основании ясных показаний Рукстона!

— А скажи, Железный Кулак, — вступил в разговор мой отец, — почему ты не принял во внимание, что во время нашей стычки с Рукстоном была непроглядная ночь? Ведь в такой темноте Рукстон не мог видеть, что делает Орлиное Перо. Как же он, Рукстон, присягал против него?.. Я скажу. Он присягал потому, что Орлиное Перо пришел в форт Бентон сообщить власти: Рукстон — вор, он украл наших коней... Комендант, ты слишком поспешно поверил преступнику!

— Кто он, Рукстон? — поддержал отца Шествующая Душа. — Это самый подлый человек, который своими преступлениями, совершаемыми здесь, на границе, приносит Великому Белому Отцу в Вашингтоне только неприятности и хлопоты... Рукстон пришел к нам и старался спойть наших людей. Рукстон пришел к кроу и подговорил их украсть наших лошадей. Это преступник, приносящий ущерб тем Длинным Ножам, у которых честное и правдивое сердце. Почему ты ему веришь?

— Да, я ему верю! — крикнул комендант. — Верю американцу!

Тогда поднялся наш шаман Кинасы.

— Великое и храброе племя Черных Стоп, — сказал он, — вело длительные войны со всеми соседними племенами, но никогда не воевало с вами, Длинные Ножи. Несколько лет назад отряд ваших солдат ворвался в один из наших лагерей и без всякой причины стал убивать стариков, женщин, детей... Но даже это злодеяние черноногие оставили безнаказанным: мы не хотели ссориться с Длинными Ножами. Мы мужественны — история нашего племени показывает это, — у нас смелые сердца, но мы хотим жить в мире с вами. Если комендант Железный Кулак так разговаривает с Черными Стопами и осуждает наших людей, то я прошу — пусть он все время имеет в виду, что между нами не было войны... Сегодня сердце Железного Кулака затуманено гневом. Мы придем сюда через несколько дней. Может быть, тогда комендант увидит, где справедливость, освободит четырех наших воинов и поможет нам вернуть наших коней Хау!

Уистлер уставился на наших людей холодным, враждебным взглядом. Лицо его кривила презрительная гримаса. На дружественные, полные мудрости слова шамана в него был только один ответ — ответ человека, ослепленного ненавистью и злобой:

— Если к тебе в руки попала связанная змея, только глупец рассечет путы и освободит ее. Вот мой ответ вам сегодня, и через несколько дней он будет таким же...

На этом переговоры окончились, не дав никакого результата. Наше посольство — никем, впрочем, не задержанное, — покинуло форт Бентон.

В полном молчании шли все шестеро к своему лагерю. На половине пути Шествующая Душа вдруг остановился и сказал спутникам:

— Он недостойн носить прозвище Железный Кулак! Нет, имя ему — Бешеный Пес!

— Хау! С этого дня так и будем называть его: Бешеный Пес! — подтвердил Кинасы.

Форт Бентон

Я уже говорил, что был тогда слишком юн и не понимал значения всех этих важных событий. Лишь позже, когда я вырос и научился писать, старшие родственники подробно рассказали мне обо всем, и я смог изложить на бумаге то, что произошло.

Разговор с комендантом форта Бентон произвел гнетущее впечатление на весь лагерь, и мы ходили словно пришибленные. Однако смертельная опасность, угрожавшая четверем нашим воинам, не могла прекратить трудной и постоянной борьбы за существование, или, как выражаются американцы, за хлеб.

Мы уже тогда были в такой зависимости от цивилизации белого человека, что продукты ее становились для нас совершенно необходимыми. Такие пограничные пункты, как форт Бентон, играли в нашей жизни большую роль: это были центры обменной торговли. Мы доставляли сюда прежде всего меха, превосходно выделанные нашими женщинами. То были шкурки пушного зверя, добытого в зимнюю пору у подножия Скалистых гор либо в самих горах. Особенно ценился мех бобра. Кроме того, в цене были шкуры бизонов, оленей, антилоп, медведей. В обмен на меха мы приобретали главным образом порох и свинец, ружья, топоры, одеяла — более легкие, чем бизоньи шкуры, но не такие теплые, а также разные другие вещи вроде гвоздей, соли и даже сладостей. Что и говорить, конфеты были любимым лакомством для нас, детей.

В своем описании я не хотел бы создавать ошибочного представления, что в нашем индейском мире все протекало образцово, благородно, дельно и продуманно. Наоборот, мы все еще продолжали оставаться прежними варварами, и наша тогдашняя беспомощность перед новыми условиями жизни до сих пор вызывает у меня легкий румянец смущения. Так, например, огнестрельное оружие уже в течение жизни двух поколений было для нас важным средством борьбы за существование, но, несмотря на это, во всем племени не нашлось человека, который научился бы различать по сортам простой порох, не было и оружейника, умевшего починить испорченное ружье. В этих случаях мы, как дети, зависели от чужой помощи. За эту свою непригодность нам приходилось расплачиваться на каждом шагу дорогой ценой.

Наряду с отсутствием технических навыков сказывалась также определенная умственная неразвитость. Я особенно имею в виду слабоволие наших людей в отношении алкоголя. Пьянство причиняло нам огромный вред, не меньший, чем черная оспа, холера и другие ранее неизвестные у нас болезни, завезенные в прерии белыми людьми. Организм индейца плохо сопротивлялся этой отраве; под одуряющим воздействием водки пьяница превращался в первобытного дикаря. За последние пятьдесят лет наше племя пережило несколько алкогольных «эпидемий», которые едва не привели нас к полному вырождению. Виноваты в этом были белые торговцы: они спаивали мужчин и женщин, чтобы потом за гроши выманить у них все ценное. Но опаснее, чем материальные потери, был огромный ущерб для здоровья индейцев: становясь алкоголиками, они совершенно выбивались из колеи, дичали и гибли, как мухи, от разных заболеваний.

Старейшины насколько могли боролись с этим пороком и всячески оберегали от него племя, но все-таки многие обнаруживали склонность к пьянству.

Теперь, когда мы расположились лагерем около форта Бентон, возможностей напиться стало слишком много, и мужчины нашего племени не могли противостоять этому соблазну.

Я вспоминаю сейчас один неприятный случай, происшедший в нашем вигваме на второй вечер после прибытия Черных Стоп на берег Миссури. Мы сидели у очага. Отец только что вернулся из поселка, куда ходил за какими-то покупками. Он сел рядом со мной. Весело бормоча что-то, ондохнул на меня таким спиртным перегаром, что мне на мгновение стало дурно. Меня начало рвать, и я едва успел выбежать на двор. Мать сильно отчитала отца. В сознании своей вины он сразу протрезвел и, не поужинав, лег спать. С этого дня я почувствовал непреодолимое отвращение к водке.

На следующий день мать нарядила меня в праздничную одежду: мне предстояло отправиться в форт вместе со всей семьей. Мать взяла с собой на продажу только что сшитый, красиво отделанный индейский костюм из оленьих шкур, а отец — несколько меховых шкурок с последней зимней охоты. Я тоже не хотел отставать — взял с собой маленькую лодку — каноэ — игрушку, искусно вырезанную из дерева и ярко раскрашенную отцом.

Когда мы прибыли на место, я был ошеломлен. Такого оживления и таких интересных вещей мне никогда еще не приходилось видеть. Большие деревянные дома, стоящие на значительном расстоянии друг от друга, образовывали два длинных ряда по обеим сторонам улицы. Всюду было множество людей. Опасаясь потеряться в такой огромной толпе, я крепко держался за руку матери и пожирал глазами открывшийся передо мною шумный мир. Больше всего тут было индейцев и индеанок различных племен. Мы различали их по украшениям на голове или по вышивке на мокасинах.

Неожиданно послышался рев, похожий на мычанье бизонов, и топот множества копыт. Среди облаков пыли на огромных конях ехали ловкие белые всадники, гнавшие стадо скота. Так впервые увидел я знаменитых ковбоев — белых пастухов, в шляпах с широкими полями, с длинными лассо у седел.

Меня поразили американские лошади с короткими гривами, намного более рослые, чем лучшие наши мустанги. Впервые столкнулся я и с «пятнистыми бизонами» — домашним скотом белого человека. Зрелище было захватывающим, но запах скота был для нас невыносим. Мы старались держаться подале.

Больше всего возбуждало во мне любопытство обилие товаров в магазинах. Горы самых различных вещей громоздились до потолка и привлекали взор своим великолепием. У меня разбегались глаза.

— Ох, и богаты же эти американцы! — шептал я как зачарованный.

Мне вспомнились рассказы моего дяди Раскатистого Грома, который бывал в американских городах на востоке. По правде говоря, в форте Бентон было не так уж много товаров, но мне, наивному ребенку, все это казалось каким-то чудом.

Мы встретили дружественных сиу. Обрадовавшись нашему приходу, они пригласили нас в свой поселок. Там, на лугу, они развели костер и приготовили чай; это был напиток еще неизвестный у нас. Один из сиу несколько зим прожил в плену у черноногих и знал наш язык.

— Это «коричневая вода» Длинных Ножей! — объяснил он нам, показывая на чай.

Не знаю, как родителям, а мне эта «коричневая вода» пришлось не по вкусу — слишком горькой. Зато с большим интересом прислушивался я к рассказам сиу о белых людях, с которыми ему в течение многих лет приходилось сталкиваться в индейских резервациях... Он жаловался на убийственную тоску нынешней своей жизни, лишенной прежней прелести: кончились для него скачки, переходы в прериях и охота, он чувствовал себя как в тюрьме.

— Вы, — говорил он, — еще счастливы, потому что можете кочевать куда глаза глядят и жить, как сами хотите. Но долго ли продлится ваша свобода?

Потом он предостерег нас от употребления пищи белых людей:

— Не принимайте их еды. От нее выпадают зубы.

Он рассказал нам о губительном действии хлеба и сладостей. Показывая свои зубы, сиу говорил:

— Поглядите! Все они здоровые — такие же, как у наших стариков. Теперь посмотрите на зубы этого парня, который ест мучную пищу белых.

Он подозвал одного из молодых сиу: зубы у того действительно оказались гнилыми.

— До недавнего времени, — продолжал рассказчик, — многие из нас доживали до ста зим, но как только мы покорились белым и стали общаться с ними, нас косят разные смертельные болезни. Мы гибнем, и, наверно, скоро никого из нашего племени не останется в живых...

Он помолчал, потом взял в руки пряди своих длинных волос и заметил скорбно:

— Таких волос у белых людей нет. Я знал только одного белого человека с длинными волосами: это был генерал Кастер. Много зим назад он пал в битве, во время которой мы нанесли ему поражение. Голова белого часто бывает отвратительно лысой и гладкой, как морда бизона. Мы после еды всегда вытираем жирные пальцы о волосы — они поэтому и растут. Белый же человек моет волосы какой-то гадостью, которая называется «мыло», и волосы у него выпадают. Обменивайте свои шкурки только на порох и одеяла — это полезно. Берегитесь, чтобы белые торговцы не всучили вам свою еду и как огня бойтесь этого змеиного яда для мытья волос...

Мы обещали остерегаться и, поблагодарив за чай и добрые советы, вернулись в форт.

Вдруг я остановился как вкопанный, дернул мать за полу ее одежды и едва мог пробормотать от изумления.

— Мать, смотри!..

По улице шли три существа, каких я еще никогда не видел: женщина лет тридцати, с белым лицом такой удивительной красоты, что она показалась мне каким-то неземным созданием; у второй женщины лицо было совсем черное, как бы раскрашенное под траур. С ними рядом шагал белый мальчик, может быть, чуть постарше меня, в коротких штанишках. Я не мог оторвать глаз от всех троих. А они тем временем вошли в лавку — как видно, за покупками.

— Мать, что это? — спросил я. — У той, второй, должно быть, умер муж, раз она такая черная?

— Должно быть... — ответила мать.

Но отец засмеялся и возразил ей:

— Эх, ты!.. Разве ты не знаешь, женщина, что это вовсе не траур? Это ее природная кожа.

— Ой! И никогда не смывается?

— Никогда. Такими они рождаются, такими и умирают.

— Это страшно! Откуда на них такая напасть?

— Ерунду говоришь, жена! Ничего тут страшного нет. Они такие же люди, как мы, у них такие же заботы и радости. Многие их поколения жили под палящим солнцем, вот кожа у них и загорела...

— А как называется их племя?

— Негры. Это была негритянская женщина. Сейчас мы увидим ее, когда она выйдет из лавки.

Я всегда был проникнут трепетным уважением к широким знаниям отца и теперь снова влюбленно посмотрел на него, но лишь на минутку, а затем нетерпеливо впился глазами в дверь лавки, чтобы увидеть то, что больше всего захватило меня: белого мальчика.

Наконец те трое вышли. У мальчика было очень светлое лицо и — о, бедняжка! — волосы так коротко острижены, что видны были уши, смешно отстающие от головы. Его явно изуродовали, и это пробудило во мне жалость. Но мальчик мужественно и спокойно переносил причиненную ему обиду и выглядел молодцом.

Мне трудно теперь передать в точности, что я испытал при виде этого первого белого человека. Что-то потрясло меня и как бы озарило. Было в этом нечто вроде явления неизвестного, нового, незнакомого мира, который, однако, утратил свою пугающую враждебность, представ передо мной в виде этого мальчика.

Что-то будто толкнуло меня.

— Мать, — торопливо зашептал я, — можно отдать ему мою лодку?

— Кому, Маленький Бизон?

— Тому белому мальчику...

— Отдай.

Я перебежал улицу. Замедлив шаг, держа лодку в руках, я приблизился к мальчику. На его лице отразилось крайнее изумление. Сунув ему лодку в руки и смутившись, я стрелой помчался назад к родителям. Я был так сильно сконфужен, что спрятался за мать.

Белая женщина удивленным взглядом как бы спрашивала моих родителей, что ей делать с лодкой. Моя мать знаками ответила, что это подарок от меня ее сыну. Лицо белой женщины просветлело, она поблагодарила нас дружеским поклоном и велела белому мальчику тоже поблагодарить меня. Моя мать настаивала, чтобы и я поклонился, но я не хотел и прятался за ее спину, пока те трое не ушли.

Родители были довольны мною. Самыми важными чертами характера, которые старались воспитать в своих детях индейцы прерий, были щедрость и гостеприимство. Считалось, что наряду с отвагой эти черты украшают воина и вообще человека. По щедрости индейцы прерий не имели, вероятно, равных себе на всем свете: нередко великие воины и вожди из-за своей щедрости оставались самыми бедными членами племени. Видимо, моих родителей радовало, что во мне так рано проявились эти черты.

Мы вошли в одну из лавок, чтобы обменять шкурки на нужные нам товары. Трудно было разговаривать с торговцем, но, к счастью, он немного понимал язык знаков, которыми племена обменивались в прериях.

На складе у торговцев оказались красивые голубые и красные одеяла, седла, ружья, порох, пули, топоры, молотки и десятки других предметов, милых сердцу индейца. Были у него также мука, хлеб и разные консервы, даже молоко в банках, и он настойчиво предлагал нам эти товары. Памятуя предостережения сиу, мы пропускали мимо ушей слова торговца. Ни за муку, похожую на снег, ни за хлеб, напоминавший губку, мы не собирались отдавать наши шкурки.

Тогда торговец протянул отцу открытую банку с какой-то коричневой жидкостью и сказал:

— Это сироп. Попробуй!

Отец взял немножко на палец и, полагая, что это жир, помазал себе волосы.

— Не так! — показал торговец. — Это для еды...

Тогда отец осторожно взял немножко сиропа на язык и дал попробовать нам. Сироп пришелся по вкусу.

— Сколько хочешь за это? — спросил отец.

— Три доллара за банку.

— Дай три банки.

— А деньги у тебя есть?

— Вот! — ответил отец, показывая меха.

В связке среди других шкурок были две горностаевые. Торговец презрительным взглядом окинул меха и, показав на горностаевые шкурки, жестко бросил:

— Этих двух хватит.

Это были прекрасные шкурки, стоившие, как я теперь понимаю, в двадцать, а может быть, в тридцать раз дороже, чем три жалкие банки сиропа. Но лакомство так пришлось нам по вкусу, что отец не колебался ни секунды и отдал ценные шкурки за сироп.

— А порох тебе нужен? — спросил торговец.

— Нужен.

— Сколько фунтов?

Но отец, довольный покупкой трех банок сиропа, решил повременить и не сбывать сейчас свои шкурки. Он знал, что мы пробудем в форте Бентон еще много дней и найдется достаточно времени на покупку нужных товаров. Торговец, казалось, искренне согласился с доводами отца, но заметил вскользь, что жаль тащить шкурки обратно в лагерь. Он хорошо заплатит за них долларами, за которые всегда можно купить любой товар у каждого торговца. Знает ли индеец об этом?

— Знаю об этом, знаю! — ответил отец. — Сколько же ты дашь за эти шкурки?

Торговец внимательно осмотрел всю большую связку.

— Восемьдесят долларов, — ответил он.

— А за этот индейский наряд?

— Двадцать долларов.

Родители с минуту совещались, потом выразили согласие.

— Чтобы у нас было что нести в лагерь, дай нам на двадцать долларов пороха, — попросил отец.

— Весьма охотно! — с наигранной любезностью ответил торговец.

Он отвесил пороху, тщательно запаковал его и отдал отцу. Потом вытащил

из ящика пачку долларов и громко начал отсчитывать положенную сумму. Отложив двадцать двухдолларовых и сорок однодолларовых билетов, торговец подвинул пачку отцу:

— Вот здесь восемьдесят долларов.

Отец не знал, что означают двухдолларовые бумажки, и подозрительно смотрел на них. В лавку вошел американский солдат. Отец обратился к нему и знаками спросил, хорошие ли это доллары.

— Самые лучшие! — решительным тоном заверил солдат.

В веселом настроении, с долларами, сиропом и порохом, возвратились мы в лагерь.

Вскоре к нам пришел Раскатистый Гром, и родители рассказали ему о посещении форта. Дядя потребовал, чтобы ему показали доллары. Едва он взглянул на двухдолларовые бумажки, как с возмущением воскликнул:

— Это не доллары! Это раскрашенные бумажки, они ничего не стоят.

Отец, мать и дядя немедленно отправились в поселок. Торговец стоял за прилавком как ни в чем не бывало.

— Ты дал сегодня... — сказал дядя на ломаном английском языке, — дал моему брату деньги, которые не деньги... Это не доллары.

Торговец осмотрел положенные на прилавок «доллары» и самым спокойным тоном ответил:

— Да, это не доллары. Это подделка, грубая подделка.

— Тогда, прошу тебя, замени их настоящими деньгами.

— Как так? С какой стати я должен менять эти клочки бумаги? Я дал ему правильные доллары.

— Лжешь! — резко сказал дядя. — Ты дал ему эти бумажки.

— Ого-го! Вам скандала захотелось? — закричал торговец и, подскочив к двери, крикнул какому-то человеку, проходившему неподалеку: — Хелло, шериф, зайдите-ка сюда на минутку!

Широкоплечий полисмен, с торчавшими за поясом двумя пистолетами, развязно ввалился в лавку:

— Что с тобой стряслось, Дик?

— Эти краснокожие джентльмены затевают скандал. Они требуют, чтобы я обменял им эти крашенные бумажки на настоящие доллары. Скромное желание, а?

Раскатистый Гром подошел к шерифу:

— Мой брат сегодня продал здесь свои шкурки и получил часть долларами, а часть — этими бумажками вместо долларов.

— Ложь! — закричал торговец. — Как раз тогда в магазине был солдат, он видел доллары, которые я выплатил этому краснокожему джентльмену. Джентльмен сам показывал их солдату и спрашивал его, хорошие ли они. Может быть, он отрицает это?

— Это правда, — подтвердил отец.

— А что сказал солдат? — допытывался полицейский.

— Сказал, что это доллары...

— Так какого же черта вам еще надо? — взбесился шериф.

— Солдат врал! — заявил отец.

На это шериф и торговец ответили смехом. Когда оба успокоились, полицейский пригрозил отцу и дяде:

— Советую вам подобра-поздорову убираться в свой лагерь, если не хотите познакомиться с нашей тюрьмой!

Отец и дядя поняли, что дело их безнадежно, и понутив головы ушли.

В лагере царило большое оживление. Многие наши воины сделали покупки, почти все приобрели порох. Теперь они испытывали его качество. У некоторых порох оказался совершенно негодным: он не воспламенялся. Отец попробовал и свой — увы, он тоже был плохой, поддельный! Приходилось засыпать в ствол тройную меру, чтобы выстрел имел нужную силу. После печального опыта отца и дяди уже не было смысла жаловаться кому-нибудь и вспоминать о своих обидах: все равно никто бы нам не помог. Все решили, что есть только один выход: делать покупки только в присутствии Раскатистого Грома, который знал язык белых и замечал все мошенничества торговцев.

Сильные переживания этого дня не давали мне уснуть всю ночь. Во сне белые торговцы садились мне на грудь и жестоко мучили меня. Только тогда, когда появлялся белый мальчик, кошмар прекращался.

Ласковый белый мальчик снился мне несколько ночей подряд.

Злой миссионер и добрая книга

На следующий день самым полезным человеком во всем лагере оказался мой дядя Раскатистый Гром. С утра он уже бродил среди лавок поселка, посредничал, приценился к товарам. Его бдительность во многом оградила нас от жульничества торговцев; а кто хотел купить порох — тут же в лавке брал щепоть и испытывал огнем, хорошо ли он горит.

В форте Бентон постоянно жил пастор-миссионер. Он выразил желание посетить наш лагерь. Мы любезно пригласили его. Во всей округе мы были единственным независимым племенем, еще не упрятым в резервации. Поэтому пастор, видимо, решил разузнать поподробнее об этих «диких язычниках», как злобно именовали нас американцы в Бентоне. Пастор заявил, что собирается рассказать нам о Великом Духе белых людей.

Желая почтить его приход в лагерь, все взрослые по-праздничному раскрасили себе лица и надели лучшие наряды, а шаман Кинасы достал свой обрядовый барабан. Как только миссионер показался на горизонте, шаман начал бить в барабан и затянул ритуальную мелодию, стараясь как можно торжественнее встретить уважаемого гостя.

Вождь Шествующая Душа и все старейшины вышли миссионеру навстречу, подали ему руки и проводили к нашему шаману. Нас неприятно поразило, что пастора сопровождал все тот же метис, который был переводчиком в штабе коменданта Уистлера.

Едва прекратились удары барабана, как пастор тут же принялся упрекать нас в том, что мы «бродим в потемках ложной веры» и что невидимые силы, которые якобы представляет наш шаман, — это лишь языческий вымысел. После этого он указал на наши лица:

— Не желал бы я так мазаться и вам не советую. Откажитесь от раскраски лиц ваших, уничтожьте колдовские барабаны свои. Есть единый бог на небе, и о нем будет к вам слово мое...

Индейцы никогда не перебивают того, кто говорит, — таково наше правило вежливости. Мы стояли вокруг миссионера и слушали. А он все говорил, не переставая, о боге белых людей. Он напомнил, что индейцы должны отло-

жить оружие в сторону, исправиться и жить в согласии с белыми, которые вскоре придут в этот край.

Когда наконец миссионер закончил свою речь, вперед вышел наш вождь и обратился к нему:

— Почему ты говорил, что мы должны исправиться?.. Мы не дурные люди. Может быть, в ваших вигвамах есть такие, но у нас нет. Мы не занимаемся грабежом, разве только отбиваем коней, которых у нас украли плохие люди. Мы ненавидим ложь и окружаем заботой стариков и слабых, неимущих людей. Нам не нужно всего того, о чем ты тут говорил.

— Но необходимо, — крикнул миссионер, — чтобы вы верили в единого бога, как мы!

— Мы так и делаем. Мы, индейцы, чтим того же самого бога, что и вы, только другими молитвами. Если бог, или Великий Дух, создал мир, то он дал нам, индейцам, свой способ прославлять его, а вам, белым, дал иной. Поэтому вы несколько другие люди и живете иначе, чем мы. Пусть каждый из нас, индеец или белый, хранит свою собственную веру, ибо и та и другая ведут к одной цели. В нас не вызывают отвращения ваши обряды — наоборот, мы уважаем их. Видимо, они лучше подходят вам.

— Но ваш Великий Дух совсем не тот, которому молимся мы! — гневно возразил миссионер.

— В таком случае, существует два бога, — спокойно сказал вождь. — Ваш бог создал вам землю за Большой Водой, дал вам для жилья дома из дерева и камня и быстрые телеги для езды, а наш бог отвел нам место здесь, в прериях, дал нам типи и бизонов, чтобы мы могли питаться. Но вы, белые, видно, не любите вашу землю и приходите сюда отбирать нашу. Раз вы сейчас так поступаете, то как мы можем знать, что произошло бы после нашей смерти, если бы мы пошли за вашим богом? Может быть, там, в Краю Вечной Охоты, вы отнимете у нас все, что останется у индейцев?

— Но индеец должен научиться истинной молитве и стать добрым христианином... — уклончиво сказал миссионер.

Тогда выступил из рядов старый воин и спросил:

— Скажи нам: все ли белые являются христианами?

— Да, почти все, — ответил миссионер.

— А эти торговцы, из форта, тоже христиане?

— Да.

— А шериф?

— Разумеется, он тоже.

— Благодарю тебя. Я все слышал. Хау! — И старый воин, не произнеся больше ни слова, вернулся на место.

По толпе пронесся смех. Когда миссионер спросил, в чем дело, наш вождь рассказал, как нагло и бесчестно торговцы обманули вчера наших людей. Пастор притворно поднял к небу глаза и заломил руки.

— Увы, среди нас есть много грешников! — печально сказал он. — Они отделились от бога и заблуждаются... Их ожидает вечная кара, если они не вернуться на путь добродетели. Но бог наш милосерден и даже великому грешнику может отпустить его вину, если только тот раскается.

— Скажи, белый шаман, а комендант Железный Кулак — на тропе добродетели или нет? — спросил кто-то из толпы.

— Наш всемогущий бог окружает вождей особой милостью и лаской... — торжественным тоном заявил пастор.

На этом беседа закончилась. На прощанье пастор пожал всем старейшинам руки, а ребят оделил конфетами. Вождь Шествующая Душа поблагодарил его за посещение и за то, что он удостоил нас беседы.

Когда на следующий день я снова отправился в поселок, то чуть не столкнулся на углу с белым мальчиком, которому два дня назад подарил игрушечную лодку. Мальчик шел с матерью. Он сразу узнал меня. Мы теперь знали, что это сын жестокого коменданта форта Бентон — майора Уистлера, и поэтому отнеслись к нему и его матери сдержанно. Но мальчик обрадовался, увидев меня; он подошел, подал мне руку и, протягивая какую-то книжку, сказал:

— Это тебе.

Он говорил по-английски, но я понял, что значат его слова. Потом, показав на себя, он добавил:

— Фред.

Это было его имя. Я пальцем ударил себя в грудь и тоже представился по-английски:

— Литтл Буффало.

Мой дядя Раскатистый Гром научил меня этим словам, которые по-английски означают: Маленький Бизон. Желая порадовать мальчика еще большим знанием английского языка, я добавил:

— Блэк Фут. (Черноногие.)

На что белый мальчик ответил:

— Америкэн... — После минутного молчания Фред произнес: — Литтл Буффало — май фрэнд!

Я не знал последнего слова, но кивком головы выразил согласие. Позже дядя пояснил мне, что слово «фрэнд» значит «друг».

Белая женщина с привлекательным лицом, мать Фреда, подала мне продолговатый пакет, завернутый в красную бумагу, после чего они простились с нами. Я не мог понять, почему эта прекрасная женщина стала женой Железного Кулака. Должно быть, подобные странные браки были в обычае среди белых людей... Держа в одной руке пакет, а в другой книжку, полученную от Фреда, я возвращался к родителям гордый, как посол, привозящий славу и дары из чужого государства.

Способ выражать мысли с помощью рисунков был не чужд индейцам. Наши вигвамы всегда были украшены различными рисунками — они имели особое значение для всех, кто мог их разобрать. Некоторые прославленные воины изображали самые знаменитые свои битвы на березовой коре или на выделанной добела коже. Это были четкие силуэты всадников, бизонов, белых людей, погибших врагов, солнца, луны.

Книжка, которую подарил мне Фред, была английским букварем. Никто из наших, даже Раскатистый Гром, не умел читать. Зато мы с увлечением рассматривали прекрасные иллюстрации. Различные сцены из американской жизни, представлявшей для нас какую-то непостижимую и грозную тайну, внезапно предстали перед нами со всей яркостью. И как волнующе правдива была для нас каждая такая сцена! Вот девочка в саду перед домом; вот мальчик, стряхивающий с дерева яблоки; собачка, а рядом котенок, лакающий молоко: дальше — собака на привязи; внутренность дома с причудливой мебе-

лью; вот странное сооружение с какой-то чудовищной трубой, извергающей дым; вот огромные машины; а там железные мосты, мчащиеся поезда, необыкновенно высокие дома на переполненной людьми улице; запряженный лошадьми омнибус, а перед ним бегущий что есть силы мальчик. И малыш, удирающий от лошадей, делал все эти далекие чуждые образы более близкими нам. Но вершиной того, что мы увидели в книге, были мчавшиеся на конях индейцы в уборах из орлиных перьев.

Никогда в наш вигвам не набивалось столько народу. Дети вместе со мной рассматривали книгу. Приходили и взрослые; они с моими родителями обсуждали каждую деталь рисунков. Раскатистый Гром мог объяснить многое из изображенного в книге и этим немало помог нам. Пришел даже вождь Шествующая Душа. Он внимательно пересмотрел страницу за страницей; а еще внимательнее глядел шаман Кинасы. Все говорили о книжке и обо мне, словно я был каким-то героем.

Книжка навела всех, кто умел думать, на разговоры об американцах. Длинные Ножи становились на пути нашей прежней свободной жизни. Мы уже знали, что в недалеком будущем американцы совсем покорят нас. И всех мучила мысль: каков он, этот народ? Ведь невозможно же, чтобы все американцы были такими же, как торговцы из форта Бентон или комендант Железный Кулак. И еще: какими в действительности окажутся они и встретимся ли мы когда-нибудь с более справедливыми американцами?

Вечером к нам пришли несколько старых воинов. Они очень серьезно беседовали с отцом об американцах.

Это были чудесные минуты моего детства. Прикорнув в углу вигвама на теплой бизоньей шкуре, я прислушивался к речам опытных воинов.

Беседа затянулась до поздней ночи. Когда гости уходили, я уже спал. Сквозь сон я почувствовал, как мать заботливо подложила мне под голову подаренную Фредом книжку. Так всю ночь я и проспал на английском букваре.

Два заряда раскатистого грома

Будучи честным и услужливым человеком, мой дядя Раскатистый Гром немало потрудился в эти дни для пользы нашего лагеря. Труднее стало жуликам-торговцам из форта Бентон обманывать наших людей. Все знали, что это заслуга дяди. Знали это и сами торговцы и не раз посылали ему вдогонку самые отвратительные ругательства. Но Раскатистый Гром не обижался: наоборот, он держался с торговцами свободно и где мог подсмеивался над ними. Чем больше они злились, тем веселее было ему. Они неоднократно пытались подкупить его, задаром всучивали разные товары, но дядя не поддавался — взятку он считал позором. Наконец, торговцы пронюхали о слабости Раскатистого Грома к выпивке и стали потчевать дядю водкой. Они хотели обмануть его бдительность. Дядя не отказывался, но пил украдкой, тайком от своих земляков, и каждый раз заводил с торговцом серьезные разговоры:

— Скажи, бледнолицый брат, почему ты угощаешь меня? — начинал дядя.

— Потому, что ты страшная шельма! — обычно отвечал торговец. — Но, несмотря на это, я люблю тебя.

— Значит, ты угощаешь меня по дружбе?

— А как же иначе? Только ради нее.

— И не будешь вмешивать в это дело свои нечистые дела?

— Goddam you[19], где уж там!.. Я никого не обманываю. Впрочем, дружба дружбой, а бизнес бизнесом.

— Я пью только при этом условии, не иначе.

— Пей!

Дядя опрокидывал один, самое большее — два маленьких стаканчика, но от дальнейших отказывался категорически. Затем принимался еще более ревностно защищать соплеменников от жульничества торговцев. Как ни угощали дядю торговцы, но пользы никакой не извлекли. Они все ломали голову: как поймать Раскатистого Грома в свои сети?

Однажды с дядей произошло событие, которое разнеслось по всем северо-западным прериям. Слава Раскатистого Грома дошла до самых отдаленных вигвамов различных племен, не говоря уже о черноногих, и долгое время дядю называли не иначе, как Два Заряда. История эта повсюду вызывала веселый смех. Вот она.

Джон Смит принадлежал к богатейшим из здешних торговцев и слыл самым последним прохвостом. Он-то особенно и взъелся на дядю и все прикидывал, как бы его обезвредить. Раскатистый Гром знал об этом намерении, но, словно бросая вызов опасности, особенно часто заходил в лавку Смита и по долгу просиживал там. В магазине стояли удобные скамьи для покупателей, там можно было вдоволь послушать интересных рассказов бывалых людей. Под маской грубовато-веселой, добродушной беседы между Смитом и Раскатистым Громом шла упорнейшая борьба, но дядя, с его осмотрительностью индейца, все время был настороже.

Как уже сказано, наш лагерь расположился километром ниже форта Бентон, на самом берегу Миссури. Тропа к поселку проходила как раз над берегом. Здесь очень часто попадались дикие утки и другая водоплавающая дичь. Поэтому дядя всегда носил с собой ружье, заранее зарядив его дробью. То была шомпольная, заряжавшаяся с дула рухлядь, но, несмотря на свой преклонный

возраст, была неплохо.

В тот памятный день Раскатистый Гром взял с собой несколько шкурок, но продавать их не торопился. Он заходил в разные лавки, приценивался и, наконец, заглянул к своему «друзжку» Смиту. Связку шкурок дядя бросил на прилавке, ружье, как обычно, поставил в уголок, а сам сел на скамью.

— Хелло, Раскатистый Гром! — весело приветствовал его Смит. — Как живешь, краснокожий шпион? Уже явился ловить нас за руку, а?

— Уэлл! Суди как хочешь, брат надувала... — спокойно парировал дядя.

— Принес шкурки? Ну-ка, покажи, что там хорошего!

— Принес, принес, только для честного торговца.

— Сколько хочешь за них?

— Я сказал тебе ясно: этот товар только для честного торговца.

Нисколько не обескураженный этой колкостью, Смит осмотрел шкурки.

— Даю тебе сорок долларов.

— Тех, фальшивых, или настоящих? — язвил дядя.

— Ладно, пусть прогадаю на этом, но дам тебе пятьдесят. Идет?

Несмотря на ранний час, в лавке уже было несколько покупателей. Они с большим интересом прислушивались к не совсем обычному разговору торговца с Раскатистым Громом. Их разбирало любопытство: поддастся индеец соблазну или нет. Но дядя, заметив усмешки американцев, уперся и не отдавал шкурки, хотя пятьдесят долларов — совсем немалая цена.

— Не продам! — заявил он. — Время еще терпит.

— Как хочешь... Кстати, я только что получил партию первоклассного рома. Не отведаешь немного?

— Дай, но не более полстаканчика.

Торговец налил порцию, а дядя, всячески стараясь держаться с достоинством, бросил на прилавок серебряный полудолларовик.

— Этого слишком много! — с добродушным видом заметил Смит.

— Остальное оставь на будущее.

— Олл райт!

Лавка Смита была, пожалуй, самой большой в форте Бентон: в ней размещались десятка два покупателей на скамейках и столько же — стоя. Большинство посетителей составляли ковбои и белые трапперы — охотники за пушным зверем.

У Смита был помощник. В магазин приходило так много покупателей, что даже двое едва успевали обслуживать всех. Если Смит старался сохранять добродушное выражение лица и только в хитрых глазках светился хищный огонек, то на физиономии его помощника, американца лет двадцати пяти, была написана откровенная и самая грубая алчность. Раскатистый Гром любил наблюдать, как хозяин и приказчик не раз готовы были вцепиться друг в друга, давая волю своей волчьей натуре. Это очень развлекало его.

Не успел Раскатистый Гром выпить первую стопку, как Смит снова шагнул к нему с бутылкой:

— Налить еще?

Дядя кивнул головой.

— А не слишком ли много будет? — притворно забеспокоился торговец. — Это крепкий напиток.

— Не бойся, наливай!

Раскатистый Гром выпил вторую. Шум в магазине все больше веселил его. В лавке Смита были две широкие двери: одна вела на улицу, вторая — на задний двор. На дворе в загородке разгуливало десятка полтора домашних гусей. Они хорошо были видны дяде с его места, и шумный гогот гусей был ему сейчас приятен. Настроение его все поднималось.

Пришло, однако, время возвращаться домой. Дядя встал, забрал шкурки, повесил за плечо ружье и уже собрался выходить из магазина.

— Hallo, old boy![20] Смотри, будь осторожен! — крикнул ему Смит и, когда дядя вопросительно посмотрел на него, добавил: — Это очень крепкий ром. Ты нетвердо держишься на ногах. Не упади в реку!

— Следи лучше за собственным носом, как бы он не отвалился!

— У меня-то не отвалится — я не пью, да водка и не вредит мне так, как тебе. Вон у тебя уже глаза посоловели... Если увидишь диких уток, не стреляй в них, очень тебя прошу!

— Почему не стрелять?

— Жалко заряда: наверняка промажешь!

Этот разговор привлек к себе общее внимание. Чтобы поддержать шутку, американцы начали внимательно и недоверчиво присматриваться к индейцу, словно он и в самом деле был мертвецки пьян. Дядя чувствовал себя немножко навеселе, но не пьяным, и приставание американцев раздражало его.

— Я еще ни разу не промазал! — самоуверенно заявил он.

— Ну, так сегодня промажешь, даю голову на отсечение! — решительным, не терпящим возражения тоном заявил Смит и снова пристально посмотрел на дядю. — Что верно, то верно, краснокожий брат мой: глаза у тебя мутные и ты не заметишь утку даже за двадцать шагов. Советую тебе, не стреляй сегодня.

— Глупости плетешь, чепуху! Ты хочешь меня разозлить, но это тебе не удастся.

Смит обратился к собравшимся трапперам, как бы призывая их в свидетели:

— Я готов биться об заклад, что его пьяные глаза не различат даже моих гусей!

Люди разразились смехом, а дядя окинул Смита холодным взглядом. Торговец зол на него за то, что он, Раскатистый Гром, не позволил обжужливать Черных Стоп, и вот белый высмеивает индейца перед всеми...

— Я вижу твоих гусей, друг Смит! — спокойно сказал дядя. — Что же ты хочешь сказать дальше?

— Кто тебе поверит! Да если ты и выстрелишь в них, то сам увидишь, как позорно промажешь.

— Могу стрельнуть, если позволишь.

— А я уверен, что ты не попадешь в этих гусей. Бьюсь об заклад!

— Хау! Давай биться об заклад! — упрямо возразил дядя и стал снимать с плеча ружье.

У Смита в глазах зажегся довольный огонек, но все отнесли это за счет пробудившегося азарта. Некоторые решили, что торговец заврался и легкомысленно рискует своими гусями.

— А на что будем спорить? — спросил Смит. — Я предлагаю так: ты поста-

вишь свои шкурки, а я поставлю пятьдесят долларов. Промажешь — шкурки будут мои. Убьешь наповал хоть одного гуся — твои пятьдесят долларов! А сверх того заберешь всех гусей, которых подранишь. Ясно?

— Ясно! — подтвердил дядя свое согласие.

Гуси бегали на расстоянии не дальше тридцати шагов. Ружье было заряжено крупной дробью: меткий выстрел должен был произвести среди гусей настоящее опустошение. Дядя взвел курок и не торопясь стал наводить. Он прицеливался добрую минуту. Глаза видели хорошо, руки не дрожали, гуси были как на ладони. Почему же этот глупый Смит поставил заклад? Ведь он должен знать, что проиграет. Дядю вдруг охватило подозрение: он опустил ружье и сказал Смигу:

— Клади рядом со шкурками свои пятьдесят долларов!

— Олл райт, олл райт! — Торговец пожал плечами и, отсчитав бумажки, положил их на прилавок.

Но и это не удовлетворило дядю. Он обернулся к присутствующим в магазине:

— Все ли здесь слышали условия заклада и могут подтвердить их?

— Можем!.. Конечно!.. Слышали!.. Давай!.. — закричали со всех сторон.

И только тогда дядя выстрелил. Он метил точно, в самую середину гусиной стаи. При звуке выстрела гуси испуганно заметались и громко загоготали. Медленно разошелся дым. Несколько пар глаз напряженно впились в цель. Никто не пошевелился — все словно онемели. Гуси были напуганы, но целы: ни один не упал, ни на одном не было следов крови.

— Ага, ты проиграл заклад! — захохотал Смит и уверенным движением сгреб с прилавка шкурки и деньги.

До Раскатистого Грома его голос доносился как сквозь вату. С опущенным ружьем, из дула которого еще струился дымок, дядя стоял как пораженный громом. Глаза его едва не вылезли из орбит.

В лавке раздавались насмешки, издевательские окрики. Эти люди радовались его неудаче.

— Пьяница!.. Пьяная морда!.. Краснокожий алкоголик! — неслись отовсюду язвительные слова.

Раскатистый Гром опомнился только тогда, когда к нему с видом крайнего сожаления подошел Смит, неся стопку рома в руках:

— На, держи! Выпей, — это осушает слезы! — произнес торговец с плохо скрытой иронией.

Дядя растерянно покачал головой и отвернулся. Совершенно разбитый, он, не говоря ни слова, вышел из магазина, провожаемый злорадным смехом собравшихся.

Как дядя дошел до лагеря, он не помнил. Уже в вигваме он повалился на бизонью шкуру и долго лежал с открытыми глазами. В этот день он не говорил ни с кем, да никто и не обращался к нему.

Вскоре весь лагерь уже знал о несчастном закладе и проигрыше. Некоторые соболезнующе качали головой, другие исподтишка насмеялись над дядей. Уважение, которое снискал к себе Раскатистый Гром за последние дни, развеялось как дым. Под вечер дядя ушел далеко за лагерь и уселся на высоком берегу Миссури. Вид его выражал печальную подавленность. Много часов просидел он так, потупившись, глядя в землю. Только поздно ночью он вер-

нулся в вигвам, никем не замеченный.

На следующее утро дядя поднялся повеселевший. В глазах его светилась решимость. Он привел в порядок ружье и велел жене приготовить на продажу новую связку шкур.

— Ты опять идешь в поселок? — забеспокоилась жена.

— Иду, — проворчал дядя. — Не заботься обо мне. Ничего плохого не случится.

— Не заходи к этому дьяволу Смигу.

— Как раз к нему и иду!

— Не пей сегодня!

— Буду пить! Не голоси!

Дядя ушел. Все шло почти так же, как и накануне. Раскатистый Гром заглядывал то в одну, то в другую лавку, неторопливо торговался, но так и не продал шкурки и в конце концов явился к Смигу. Как и вчера, он бросил на прилавок всю связку, а ружье приставил в углу к стене.

— Хелло, дорогой оборванец! — обрадовался Смит при виде Раскатистого Грома. — Может, опять побьемся об заклад, а?

— Goddam you, не подбивай меня! — скрипнул зубами дядя и тяжело опустился на скамью.

— Ты здорово устал, Раскатистый Гром! — с явно наигранным сочувствием заметил торговец.

— Устал, это правда.

— Наверно, баба уши тебе прожужжала упреками, а? Но против твоей усталости есть хорошее средство — стаканчик рома. Хотя я искренне советую тебе — не пей!

— Как раз на зло тебе выпью! Налей! — потребовал Раскатистый Гром.

Смит смиренно поднял глаза к небу и воскликнул:

— Бог свидетель и вы, джентльмены, что я уговаривал его не пить! Но он требует рома...

В магазине толпились белые трапперы. Торговец налил стаканчик и поставил его перед дядей. На этот раз тот выложил долларовую бумажку:

— Сдачи не надо. Оставь ее на будущее.

— Как прикажешь.

Смит осмотрел шкурки и как ни в чем не бывало спросил:

— Сколько хочешь?

— Тебе не продам.

— Даю пятьдесят.

— Нет!

— Олл райт, олл райт! — И Смит отошел с преувеличенно-покровительственной миной, какая бывает у взрослых, когда они имеют дело с расшалившимися детьми.

Магазин наполнился новыми посетителями; люди приходили за покупками, либо просто выпить стопку виски, поболтать, услышать новости. Многие были здесь и вчера. Узнав дядю, они приветствовали его насмешливым: «Хелло, мазила!» Дядя, как всегда, с удовольствием наблюдал оживленную сутолоку в лавке. После второго стаканчика рома он расположился полулежа на скамье и с ничего не выражающей улыбкой на лице продолжал смотреть и слушать. Про свои шкурки и ружье он, казалось, совершенно забыл.

— Ну как, лучше чувствуешь себя? — окликнул Смит. — Много лучше... — признался Раскатистый Гром с таким искренним вздохом, что все засмеялись.

— Может быть, хочешь еще стаканчик? Я не настаиваю, но тебе еще причитается сдача с доллара...

— Тогда налей! — как бы не в силах устоять против соблазна, ответил дядя.

В магазин вошли несколько человек из нашего лагеря; они старались уговорить дядю не пить больше. Похоже было на то, что у него уже шумело в голове — таким неуверенным голосом он успокаивал их. Потом, подмигнув, дядя попросил наших побыть подольше в лавке. Они решили остаться и последить за Раскатистым Громом, чтобы не произошло скандала.

Дядя осушил третий стаканчик. В это время Смит завел с трапперами разговор о пьянстве индейцев. Каждый стал рассказывать какой-нибудь случай из своей жизни, в котором обязательно фигурировал спившийся и учинявший дикие скандалы индеец. То и дело вставляя язвительные словечки, Смит старался еще более разжечь презрение белых к индейцам. Время от времени он бросал на Раскатистого Грома выразительный взгляд, полный насмешки и злобы, понятный всем, в том числе и дяде. Торговец явно издевался, всячески стараясь унижить индейца и разозлить его.

Раскатистый Гром стал собираться домой. Смит подошел к нему и поддразнил:

— Берегись реки, брат, она глубока! И сегодня оставь в покое диких уток.

— Я вовсе не пьян, не дури! — заплетающимся языком, но упрямо, возразил дядя. — Посмотри мне в глаза. Что видишь?

— Они мутные, Раскатистый Гром. Мутные, как никогда...

— Нет, я вижу хорошо!

— Так кажется любому пьянице, это известно... Если бы я не жалел тебя, то готов был бы поспорить опять.

— Мне твоя жалость не нужна. Могу снова биться об заклад...

— И снова проиграть, бедняга?

— Прицелюсь получше. Во что стрелять?

— Как и вчера, в гусей. Бей по ним!

— А на что спорим?

— Ты поставишь шкурки, которые принес сегодня, а я — те, что ты проиграл вчера. А сверх того я прибавлю пятьдесят долларов. Хочу доказать тебе, насколько я уверен в выигрыше... А сколько подстрелишь гусей — все твои.

Смит принес вчерашние шкурки и выложил их на прилавок, а рядом — пачку долларов. Призвав всех присутствующих в свидетели пари, он подал Раскатистому Грому знак:

— Теперь стреляй. Покажи, на что ты способен.

Дядя взял стоявшее в углу ружье, взвел курок и прицелился. Лицо его было непроницаемо, как маска; на нем не отражалось ничего. Грохнул выстрел — и в загородке с гусями начался ад кромешный! Полное опустошение, словно от пронесшегося урагана! Несколько гусей были убиты наповал; десятка полтора трепыхались на земле, раненные насмерть; только два — три остались невредимы.

Все стояли пораженные еще больше, чем вчера.

Первым пришел в себя Смит. Лицо его стало белым, как высушенные кости в прериях. Бешенство сдавило ему горло он захлебывался от злости и хрипел.

Только через минуту Смит с трудом выдавил из себя:

— Э... это... не-воз-мож-но...

— Ты проиграл заклад, — спокойным голосом произнес Раскатистый Гром.

Он дал знак нашим людям, и те забрали с прилавка обе связки шкурок и пачку долларов.

— Проклятый индеец! — рванулся торговец к дяде, ошалело размахивая руками.

Его оттащили.

— Это не-воз-мож-но, джентльмены! — хрипел он, обращаясь к трапперам и скваттерам, как бы ища у них поддержки. Но ни один из них не тронулся с места.

— Это невозможно! — упрямо орал Смит, в отчаянии хватаясь за голову.

Когда шкурки и деньги уже были вынесены на улицу, Раскатистый Гром выпрямился и торжественно подошел к Смицу. Слегка тыкая его пальцем в грудь, он громко, чтобы слышали все собравшиеся, сказал:

— Это очень возможно, пойманный мошенник! Вчера за моей спиной ты вытащил из ружья дробь и поэтому так легко выиграл заклад. Сегодня ты проделал то же самое, но все-таки проиграл!.. В следующий раз, бледнолицый брат, не забудь вынуть и второй заряд дроби. Сегодня в дуле было два заряда — и вот перед тобой неплохой результат стрельбы по гусям... Нашелся кое-кто похитрее тебя, бездельник! Хау!

Дядя размашистым движением завернулся в одеяло и пошел к выходу. У двери он сказал на прощанье:

— А гусей ешь сам, бледнолицый обманщик!

Таков был конец забавного приключения Раскатистого Грома в форте Бентон.

Дядя прославился на все прерии и получил прозвище Два Заряда. О том, как его обманул Смит, он догадался после многочасового раздумья на берегу Миссури. И именно тогда, как он часто говорил нам, к нему снова вернулось желание бороться с обманщиками.

Событие это имело еще один положительный результат: дядя окончательно излечился от пьянства.

Васук-Кена и его конь

Для индейца не было большей ценности, чем конь. Трудно передать, каким Джалким было существование индейцев в прериях, пока там не появилась лошадь. А появилась она не так уж давно: во второй половине XVI века ее завезли в прерии испанцы. Это произвело настоящую революцию в быту, безгранично расширило наш мир, позволило покорить пространства. Лошадь стала нашим лучшим другом, верным товарищем. Она была неизменным спутником и в горе и в радости. В зимнюю пору наши скакуны подчас едва выживали, но оставались до конца верными слугами. Индейцы прерий настолько освоили и изучили лошадь, что даже спесивые американские генералы, потерпевшие от индейцев не одно поражение, вынуждены были признать этих сынов прерий лучшими наездниками в мире.

У индейского мустанга незавидная внешность: он среднего, а часто и совсем низкого роста, косматый, со спутанной, свалявшейся гривой. Слишком толстые ноги и большая голова придавали ему вид дикого животного, невзрачного и тупого. Обманчивое впечатление! Эти толстые ноги могли двигаться с быстротой молнии, а в выносливости с мустангом не могла сравниться никакая другая лошадь, даже самой первоклассной породы. Индейский мустанг был таким же, как и его всадник: он не знал усталости. Что же касается проворства и понятливости мустанга, то достаточно было видеть, как умно он помогал всаднику во время охоты на бизонов. Известная теперь труппа Сидящего Быка, выступающая в цирке, не нуждалась в дрессировке своих коней: животные вмиг усваивали всякие цирковые трюки.

Несомненно, опытным знатоком лошадей и лучшим наездником среди Черных Стоп был воин нашей группы Васук-Кена, что означает «падающий снег». Этот невысокий, коренастый человек сидел на коне как влитой и, хотя был относительно молодым по возрасту, слыл «колдуном мустангов». Люди утверждали, что он умел воздействовать на них заклинаниями. Мустанги и в самом деле слушались его, как покорные дети, и проделывали под ним самые невероятные и удивительные фокусы. У Васук-Кена было несколько коней, которые считались лучшими во всем племени. К сожалению, он потерял их всех в ту зловещую ночь, когда Рукстон и его банда напали на лагерь Раскатистого Грома.

Среди украденных коней был один — истинное диво. Светло-гнедой масти, с белой звездочкой на лбу и белым же хвостом, он выглядел неказисто, даже уродливо. Никто бы и трех грошей не дал за него, увидев это животное с толстыми ногами и угрюмо опущенной мордой, стоящее с видом усталым и равнодушным. А на самом деле эта мнимая кляча своей резвостью превосходила всех других лошадей племени. Коня шутливо прозвали Бешеной Черепахой.

И вот однажды Васук-Кена, бродя по поселку форта Бентон, вдруг уставился глазами на что-то, появившееся в конце улицы. Это был конь, как две капли воды похожий на Бешеную Черепаху. Его вместе с другими тремя вел на поводу американский солдат. Васук-Кена подошел ближе, и у него исчезли последние сомнения: это был его конь. Для большей достоверности воин тихо свистнул особым образом, привычным для Бешеной Черепахи. Конь немедленно наострил уши и поднял голову. Солдат ничего не заметил. Васук-Кена крадучись пошел за ним и вскоре увидел, куда отвели его коня. Это оказалась за-

городка у самой реки, чуть повыше укреплений. Там в загоне стояло еще несколько лошадей. Кроме Бешеной Черепахи, все остальные были не наши — они, видимо, принадлежали гарнизону. У загона стоял часовой.

Васук-Кена бегом вернулся в лагерь и рассказал Шествующей Душе о своем открытии. Немедленно был созван совет. Решили использовать это благоприятное обстоятельство, чтобы попытаться освободить из тюрьмы Орлиное Перо и трех его товарищей: ведь комендант Уистлер потому и держал их за решеткой, что не верил Черным Стопам. А тут налицо доказательство, что Рукстон и его банда первыми напали на нас и увели наших лошадей. Теперь мы имели неопровержимый довод — Бешеную Черепаху.

Прежде всего мы взяли под неусыпное наблюдение то место, где находился конь, стараясь не потерять его из виду. Трое наших разведчиков поочередно следили за загонем. А тем временем наш вождь отправился к Уистлеру с просьбой снова выслушать его. Комендант раздраженно и грубо заявил, что это бесполезно, поскольку ничего не изменилось. В ответ наш вождь выразительно подчеркнул, что, наоборот, произошли перемены, и довольно важные. Тогда комендант назначил прием делегации на следующий день.

Делегация явилась к назначенному времени в том же составе, что и в первый раз, только теперь в числе других был и Васук-Кена. Пришлось ждать несколько часов, пока комендант соблаговолил принять посланцев нашей группы.

Майор встретил вошедших тем же неприязненным взглядом, он и сидел, как прежде, — положив сжатые кулаки на стол.

— Ну, чего вам надо опять? — напустился он на пришедших. — Где они, эти «важные перемены»?

— Мы просим, — начал Шествующая Душа, — освободить четырех наших воинов...

— Это я уже слышал! — перебил комендант. — Эти четверо пока сидят, но скоро будут висеть!

— Железный Кулак обвинял нас в том, — невозмутимо продолжал Шествующая Душа, — что мы напали на лагерь Рукстона и увели у него лошадей. Но Железный Кулак не верил, что Рукстон первым совершил нападение...

— Не верил и не верю! — проворчал комендант.

— А если мы представим тебе доказательство, что было так, как говорим?

— Какое еще доказательство?

— Один из наших коней, украденных Рукстоном, находится здесь, в форте Бентон.

— Где?

— В загоне над рекой, возле твоих укреплений.

— Эти лошади принадлежат армии Штатов. Это наш табунный резерв.

— Нет, наш конь — там.

Комендант окинул делегацию злобным взглядом и, помолчав, издевательски спросил:

— Чем же вы докажете, что это ваш конь? Вы отберете первого попавшегося и будете утверждать, что это тот самый, а я наивно поверю вам на слово? Так вы представляли себе эту новую комедию?

— Здесь находится наш воин Васук-Кена, которому принадлежит конь. Васук может дать клятву.

— Этого мало, это не доказательство.

Васук-Кена был прекрасным наездником, но не отличался большой сообразительностью и совсем не привык к общению с белыми. В этом высоком зале, перед лицом жестокого коменданта, он так смешался, что почти совсем лишился дара речи. Когда ему пришлось давать показания он принялся что-то бормотать под нос, и комендант, видя его смущение, решил, что индеец лжет. Потеряв терпение, Уистлер грубо крикнул:

— Ты утверждаешь, что это твой конь?

— Мой... да... так...

— Прекрасно! Я прикажу привести коня, и мы посмотрим, узнает ли он тебя. Если окажется, что это не твой конь, то за вранье я посажу тебя за решетку и ты отдохнешь там. Можешь считать себя арестованным!

Майор вызвал вахмистра, поручил ему присмотр за Васук-Кена и велел привести коня. Это длилось недолго — загон, в котором находилась Бешеная Черепаха, был рядом с укреплениями и связан с фортом воротами в палисаде.

— Бешеный Пес! — шепнул Шествующая Душа своим спутникам, указывая глазами на коменданта.

Наша делегация пережила минуты большого волнения. Конь за несколько месяцев мог отвыкнуть от своего владельца, мог забыть дрессировку и не послушаться. К тому же Васук-Кена настолько дал сбить себя с толку, что мог забыть все на свете и какой-нибудь глупостью испортить все дело.

Привели Бешеную Черепаху, и все высыпали на плац. Кроме нашей делегации, коменданта, переводчика и вахмистра, здесь присутствовали два старших лейтенанта и несколько солдат.

— Да это коза, а не лошадь! — расхохотался комендант, увидев Бешеную Черепаху.

Васук-Кена понял насмешку, но добродушно запротестовал:

— Нет, сэр, это не коза.

— Верно! Пока это еще... кляча!

Все американцы расхохотались и долго язвили по адресу Бешеной Черепахи.

— Ты сможешь подозвать к себе это пугало? — спросил вконец развеселившийся Уистлер.

— Конь не слышал меня много солнц... — ответил Васук-Кена.

(«Солнцем» мы называли один день, а «большим солнцем» — год.)

— Ага, ты уже виляешь, лжец!

И комендант приказал солдатам отвести коня на противоположный конец плаца, на расстояние примерно в двести шагов.

— Теперь зови его! — крикнул майор.

По свисту Васук-Кена конь послушно сорвался с места и галопом — к немалому изумлению американцев, не подозревавших, что такая уродина способна на галоп, — подскочил к группе стоявших людей. Без малейших колебаний он узнал Васук-Кена и, радостно ласкаясь, положил голову на плечо хозяина.

Среди американских солдат пробежал ропот одобрения.

— Смирно!.. — резко призвал их к порядку комендант и повернулся к Васук-Кена: — Это ни о чем не говорит. Все индейские кони отзываются на свист.

Вождь Шествующая Душа облегченно вздохнул: Васук-Кена не утратил власти над своим конем. Поэтому он с возросшей уверенностью обратился к Уис-

тлеру:

— Потребуй еще чего-нибудь, и конь выполнит.

— Пусть он поклонится! — выпалил майор.

Васук-Кена тихо произнес «хау», и Бешеная Черепаха опустился перед ним на передние ноги. Тогда комендант приказал заставить коня лечь на землю. Раздалось новое «хау», с уловимой только для коня разницей звучания, и Бешеная Черепаха растянулся на земле, притворившись мертвым.

На плацу собиралось все больше любопытных солдат; узнав о цели этого своеобразного «экзамена», они уже не скрывали своего сочувствия индейцу и его коню.

Доказательства были слишком очевидны. Майор подошел к офицерам и о чем-то шепотом посоветовался с ними. Потом он вернулся к делегации и объявил:

— Определенные признаки есть, они производят убедительное впечатление. Однако дело требует тщательного расследования. Поэтому коня и этого индейца, — Уистлер показал на Васук-Кена, — я подвергаю аресту. Конь останется здесь, в конюшне, а индеец отправится в тюрьму и будет сидеть до тех пор, пока не выяснится все дело!

Такое несправедливое решение вызвало недоумение не только у Черных Стоп, но и у американских солдат. Возможно, что сам комендант тоже почувствовал настроение своих подчиненных, которое было явно не в его пользу. Поэтому, когда Васук-Кена попросил через переводчика разрешения показать верхом на коне еще несколько фокусов, майор согласился.

Васук-Кена вскочил на коня и, проезжая рысью вокруг плаца, проделывал на своем мустанге разные головоломные трюки, вызывая шумное одобрение зрителей. Так он сделал два круга. Когда на третьем круге конь поравнялся с воротами, Васук-Кена неожиданно выпрямился, испустил военный клич нашего племени и полным галопом поскакал в ворота. Они были открыты настежь, но посередине проезда стоял часовой, заглядевшийся, как и все остальные, на необыкновенные трюки всадника. Солдат не успел оглянуться, как уже лежал на земле, сбитый с ног конем. Опомнившись, он вскочил и открыл стрельбу из винтовки, но Васук-Кена был уже далеко. Ни одна пуля не достигла его.

Собравшиеся на плацу солдаты не скрывали своего восхищения: проделка индейца показалась им весьма остроумной. Один комендант был вне себя от бешенства. В порыве ярости он уже хотел арестовать всю делегацию Черных Стоп, но офицеры, должно быть, объяснили ему неуместность такого поступка.

Так или иначе, но наш замысел — освободить четырех наших узников — снова окончился ничем. Более того: это дело стало теперь совсем безнадежным.

Опасавшийся погони, Васук-Кена промчался даже через наш лагерь и погнал коня дальше, в прерию. Но его никто не преследовал.

С наступлением ночи Васук-Кена вернулся в лагерь безмерно счастливый. Он нашел своего любимого коня!

Конные состязания, как я уже не раз говорил, были любимым развлечением индейцев с самого раннего возраста. В те дни около форта Бентон собрались группы из разных племен, — это был прекрасный случай для лучших на-

ездников помериться силами. К тому же с этими развлечениями у индейцев была связана и другая страсть: заключать пари.

В воскресенье, через два дня после случая с конем Васук-Кена, начались скачки. Дорожка для состязаний была отмерена уже много лет назад: начиналась она от восточного форта, вела к раскидистой сосне, одиноко растущей в прерии, и кончалась на исходном пункте у тех же ворот. Длина всего круга составляла примерно два километра.

Скачки индейцев продолжались до полудня. Мы, черноногие, выставили несколько коней; три из них пришли к финишу первыми, остальные заняли вторые, третьи и четвертые места. Это был неплохой результат, если иметь в виду, что мы соревновались с лучшими наездниками таких прославленных племен, как сиу, шайены, арапахо, кроу. Мы только сожалели, что Васук-Кена, боясь мести коменданта, не решился участвовать в состязаниях на своем скакуне.

После полудня начались соревнования американцев. Сперва это были скачки ковбоев и солдат, а в заключение, как важнейшее событие дня, на круг выехали на отборных армейских лошадях сержанты и офицеры. Под ними были лошади американской породы, регулярно получавшие овес, красивые и гораздо более рослые, чем наши мустанги.

Недаром говорили, что в Васук-Кена сидит бес: он был завзятым насмешником и задирой, всегда готовым выкинуть забавную штучку. Ему пришло в голову посмеяться над американцами и, не спрашивая их согласия, принять участие в офицерской скачке. Для того чтобы белые не узнали его и Бешеную Черепаху, Васук-Кена раскрасил себе лицо в разные цвета, а белый хвост коня превратил в коричневый. Все мы сторали от любопытства: как-то покажет себя Васук-Кена и что из этого выйдет? Конечно, из нашего лагеря явились на скачки все и в ожидании начала терпеливо расселись вдоль скаковой дорожки.

Васук-Кена привел своего коня заранее и дерзко поставил его вблизи ворот укрепления, откуда начинались скачки. Невдалеке от него проходили американцы, был здесь и майор Уистлер со своим штабом, но американцы не узнали индейца и Бешеную Черепаху. У ворот форта всегда вертелось множество индейцев со своими лошадьми — кто стал бы обращать внимание на мохнатого конька, вяло стоящего на поляне с грустным выражением в глазах!

Наступил момент последней скачки. Звук сигнальной трубы подчеркнул важность минуты. У старта выстроились в ряд одиннадцать всадников — одни офицеры и сержанты. Васук-Кена подвел коня к самой дорожке и что-то прошептал Бешеной Черепахе на ухо. Конь вскинул голову и вызывающе фыркнул.

Выстрел из пистолета! Одиннадцать всадников пришпорили коней. Прекрасные, сильные скакуны, с длинными крупами и широким шагом, рванулись с места в галоп. И только тут нам стала ясна дерзость замысла Васук-Кена, который отважился на своем коньке тягаться с этими кровными скакунами. Разница между ними и нашим карликом была так очевидна, что мы потеряли всякую надежду. Сердца у многих сжимались. И все же нас заранее разбирал смех.

Васук-Кена ждал офицеров в каких-нибудь ста шагах от старта. Когда всадники поравнялись с ним, он с лёту вскочил на коня и громко крикнул ему что-

то. Видимо, Васук-Кена опоздал на секунду, хотя Бешеная Черепаха и взяла с места в галоп, но американцы уже успели пронестись мимо. И с самого начала Васук-Кена очутился в хвосте... Мы знали о неистощимой выносливости Бешеной Черепахи, но надежды на успех у нас теперь не было почти никакой. Я сидел с родителями невдалеке от старта. Через минуту мы уже ничего не видели: клубы пыли поднялись вслед за удалявшимися всадниками. Всюду, на протяжении всей скаковой дорожки, расположились толпы индейцев — не только Черных Стоп, но и других племен. Сначала они держались спокойно, но, когда наездники стали приближаться к сосне, поведение зрителей начало меняться. Несмотря на большую отдаленность, мы слышали усиливающиеся бурные выкрики; напряжение и возбуждение росли с каждой минутой. Всадники обогнули сосну и повернули назад. Их сопровождала буря криков. Индейцами овладели какое-то неистовство, безумная радость.

Возбуждение передалось и нам. На повороте около сосны Васук-Кена опередил всех американцев, и с этого мгновения он повел скачки.

Всадники быстро приближались. Вместе с ними вдоль дорожки катилась волна радостных возгласов индейцев. На половине пути между сосной и финишем Васук-Кена уже был недостижим — настолько он вырвался вперед. И тогда-то шутник позволил себе издевательскую и очень смешную выходку.

Васук-Кена вдруг сделал ловкий прыжок и сел в седле задом наперед. Повернувшись теперь лицом к офицерам, он махал руками, приглашая их догнать Бешеную Черепаху. Он выкрикивал разные советы, не жалел ободряющих слов, призывал отставших всадников приналечь... Американцы делали судорожные усилия, чтобы догнать дерзкого индейца. Напрасно! Несмотря на то что всадник держался на коне таким необычным способом, его вышколенный скакун мчался, как вихрь. Это еще больше увеличивало комичность сцены, которая закончилась почти перед самым финишем: Васук-Кена снова сел в седле, как обычно, и, не снижая скорости, помчался в сторону. Вскоре он исчез в облаках пыли.

Комендант немедленно разослал во всех направлениях конных ординарцев и переводчиков. Они долго ездили среди собравшихся и передавали приказ: индейцу-наезднику немедленно явиться к коменданту Уистлеру. Но это был глас вопиющего в пустыне.

С того дня Васук-Кена обрел новое прозвище: «Обскакавший офицеров».

Натянутый лук

В то самое время, когда в форте Бентон происходили события, прославившие Васук-Кена и Раскатистого Грома, в нашем ребячьем мирке тоже творились занятные вещи. Пока лавки торговцев были еще для нас новостью, мы каждый день ходили в поселок. Но скоро весь этот шум и суета стали нам приедаться. Мы все больше тосковали по свободной кочевой жизни в прериях.

Берега Миссури были здесь кое-где высокими и обрывистыми, а в иных местах — низинными и болотистыми. В многочисленных озерцах, поросших тростником и осокой, водилась всякая дичь. Были здесь и нырки, и цапли, и водяные курочки, но чаще всего тысячами встречались дикие утки. Если идти осторожно, можно было подобраться к ним на расстояние выстрела из лука в упор. Тут были неограниченные возможности для проявления нашей ребячьей ловкости. Юные охотники имели здесь такую возможность отличиться, о какой можно только мечтать. Мы приносили в лагерь немало уток — к великой радости наших матерей и гордости отцов.

Однажды, слоняясь вблизи укреплений, мы издалека заметили выходящего из ворот белого мальчика. Я сразу узнал его: это был мой друг Фред. Он вышел один. Я подбежал к нему и радушно поздоровался. Обрадованные этой встречей, мы оживленно затараторили, хотя и не понимали друг друга. К нам подошли мои товарищи. Их было восемь человек, и вскоре Фред оказался окруженным со всех сторон. Среди индейских ребят находились и мальчишки постарше, у всех были луки и стрелы.

Фреда охватил страх. Он начал беспокойно оглядываться в сторону ворот. Желая убедить его в наших дружественных намерениях, я по очереди подошел к каждому из своих товарищей и, дотронувшись до него рукой, повторял:

— Фрэнд... Фрэнд... Фрэнд...

Это слово я произнес восемь раз. В заключение я пальцем показал на себя, сделал рукой широкий круг в воздухе и крикнул громко, с большим воодушевлением:

— Ф-рэ-н-д!

Все поняли меня и весело рассмеялись. Лед был сломан. Фред заинтересовался двумя дикими утками, которые висели у пояса моего брата Сильного Голоса. Мы знаками объяснили ему, что брат подстрелил их из лука, и это очень понравилось Фреду. Не желая показаться хуже других, я воткнул в землю ветвь толщиной не больше моей руки и с расстояния в двадцать шагов выпустил в нее пять стрел. Все они попали в цель.

— Wonderful![21] — захлопал в ладоши Фред.

— Что он говорит? — спросил Горный Огонь, тот самый, который два месяца назад, во время охоты, влетел в самую гущу бизоньего стада и едва не погиб.

Мы попросили Фреда, чтобы он еще раз повторил непонятное слово, и он кивнул головой:

— Won-der-ful!

— Уандерфул, уандерфул, уандерфул!.. — выкрикивали мы все, догадываясь, что это слово означает какое-то одобрение.

— Фред, уандерфул! — обратился я к белому мальчику и спросил знаками, не хочет ли он пострелять из лука.

Я подал ему лук и стрелу. Фред колебался, говорил, что не умеет, но потом взял, выстрелил и позорно промазал. Стрела пролетела в трех шагах от ветки. Ребята фыркнули и захохотали. Я увидел, как Фред покраснел, — грубоватый смех моих товарищей еще больше смутил его.

— Прикусите языки, вы... сороки! — вырвалось у меня.

Я был зол в эту минуту, как росوماха.

— Эй ты, молокосос! — рванулся ко мне один из старших ребят, Деревянный Нож. — С чего это ты защищаешь белого выроodka? Промазал он так, что стыд и позор!

— Ну и что же, если промазал? — оцетинился я. — Зато он умеет читать книжки, а ты нет...

В спор вмешался мой брат Сильный Голос. Ему было уже двенадцать лет, он считался самым сильным среди нас. Брат решил спор в мою пользу и утихомирил забияку.

— Фред, уандерфул! — дружелюбно сказал он.

Белому мальчику пора было возвращаться домой. На прощанье он протянул каждому из нас руку. Я попросил его и завтра прийти поиграть.

Сильный Голос отцепил от пояса одну из уток и подал ее Фреду:

— Фред, уандерфул — это для твоей матери, порадуй ее.

Мальчик сначала не понял, в чем дело, но, когда мы несколько раз повторили слово «мать» и стали совать ему утку прямо в руки, он догадался. Видимо, добывать еду для матери было для него делом непривычным, и это нас, говоря по правде, неприятно удивило. В конце концов Фред взял утку. Нес он ее неловко, держа за крыло, а руку выставил вперед, как деревяшку.

— Маменькин сынок! — презрительно окрестил его Деревянный Нож.

Когда мы возвращались в лагерь, Сильный Голос шел рядом со мной. Я шепотом спросил у него, задетый за живое:

— Как ты думаешь, может, он и вправду маменькин сынок, этот Фред? Почему он так плохо стреляет?

— Не знаю... — ответил браг, тоже чем-то недовольный. — Очень уж он странный, этот белый мальчик...

Теперь я еще чаще вертелся вблизи ворот укрепления. Через два дня я снова встретил Фреда на том же самом месте. На этот раз со мной никого не было.

— Фред, уандерфул! — приветствовал я его, гордый тем, что запомнил это слово.

В кожаной сумке, которую мать нарочно сшила мне для книг, лежал букварь, подаренный Фредом. Мы отправились к реке и сели неподалеку, над песчаным обрывом. Отсюда открывался широкий вид на Миссури и ее долину. Мы углубились в книгу. Фред был старше меня года на два, умел читать и произносил вслух английские названия предметов на рисунках. В свою очередь, я показал на два рисунка — на мальчика с собачкой возле яблони и на собаку, привязанную к будке. Знаками я дал Фреду понять, что в лагере у меня есть верный друг Пононка и что Фред должен обязательно познакомиться с моей собакой. Хочет ли он этого?

И тут мы услышали чьи-то шаги. Возле нас стояла мать Фреда. Как и все другие матери, она встревожилась, видя нас сидящими так далеко от укрепления. Заметив, однако, что мы перелистываем букварь, она дружески кивнула головой, сказала несколько слов Фреду и ушла.

— Мать, уандерфул! — крикнул я ей вслед.

Женщина обернулась, лицо ее просветлело, и она произнесла еще несколько ласковых слов. Я понял, что «уандерфул» — это какое-то сильное, магическое слово.

Наше внимание особенно привлекла картинка, изображавшая человека, удившего рыбу.

— У меня есть точно такая же удочка! — похвастался Фред, помогая себе выразительными жестами. — Есть много крючков. Я принесу тебе. Знаешь эти крючки для рыбы?

— Знаю! — ответил я. — В нашем лагере тоже есть крючки, мы покупаем их у торговцев...

В это время пришла черная женщина, которую я видел тогда вместе с Фредом в поселке. Ее, видимо, прислала мать белого мальчика. Было уже поздно. Черная женщина велела Фреду возвращаться в форт. Мы расстались.

На следующий день я снова встретил друга. Он принес мне несколько маленьких крючков, а я показал ему Пононку.

Большой пес, почти такого же роста, как я, очень привязанный ко мне, сразу понравился Фреду. Сначала Пононка, не выносивший запаха белого человека, заворчал и оцетинился, но я убедил его, что Фред — надежный друг и что с ним надо быть вежливым. Пононка был умным и понятливым псом, и все обошлось хорошо.

Потом пришли несколько наших ребят. Верховодил ими все тот же завистливый подстрекатель Деревянный Нож. Ребята были не слишком дружелюбно настроены по отношению к Фреду и сразу начали подсмеиваться над ним.

У всех нас, как обычно у индейцев, были длинные, закрывающие уши волосы, Фред же носил коротко стриженные волосы, и уши у него непривычно для нас оттопыривались. Это удивило меня еще во время нашей первой встречи в поселке. Видимо, это было отличительной чертой белых мальчиков. Теперь Деревянный Нож и его товарищи в насмешку над Фредом говорили, что у него злой отец и что он, наверно, долго таскал его за уши, пока не вытянул их.

— Здорово больно было? — спрашивал с притворным сочувствием Деревянный Нож.

Фред, очевидно, как-то понял, о чем его спрашивают, и отрицательно замотал головой.

— А правда, что вас, белых мальчишек, наказывают отцы? — настойчиво допытывался Деревянный Нож.

— Да, вот так... — И Фред показал рукой, как бьют по ягодицам.

Все, за исключением меня, разразились хохотом. Ребята язвили по поводу жестокости белых отцов, но я чувствовал, что мои товарищи ведут себя грубо по отношению к Фреду. Правда, нас, индейских ребят, отцы никогда не били. Они сочли бы безумцем того, кто бьет детей.

На этот раз среди нас не было Сильного Голоса, и ребята собирались вдоволь поиздеваться над Фредом. Видя это, я взял его за руку, позвал Пононку и отвел белого мальчика к воротам укрепления. Там я с ним распрощался.

На следующий день происходили описанные выше скачки. Весь день я со своими родителями смотрел на состязания наездников и потому не встретил Фреда. Но на следующее утро мы снова были на старом месте. И тут случилось

печальное происшествие, грубо нарушившее очарование тех чудесных дней. Еще немного — и наша дружба могла кончиться трагически.

Как это получилось, я и сам не знаю. Мы были, как всегда, втроем: Фред, я и Пононка. Мы с Фредом стояли на самом берегу Миссури и швыряли в воду камешки и куски дерева, а Пононка прыгал в воду и приносил их нам обратно. Вдруг Фред поскользнулся и свалился в воду. В этом месте было глубоко, а мой друг упал так неудачно, что сразу оказался метрах в пяти от берега. Быстрое течение стало относить его все дальше.

Когда Фред нырнул, я засмеялся. Такое случайное падение в воду для нас, индейских мальчишек, было всегда предлогом для веселых шуток. Фред, как и мы в таких случаях, что-то громко кричал. Но тут я вдруг окаменел на месте: белый мальчик кричал от страха, он отчаянно, беспомощно махал руками. Он не умел плавать!.. У меня волосы стали дыбом, и, ни о чем не думая больше, я бросился в реку. К счастью, на мне, кроме набедренной повязки, ничего не было.

Я быстро подплыл к тому месту, где барахтался Фред, но тут он исчез под водой. Только спустя минуту, немного ниже по течению, показалась его рука. Она высунулась из воды на одно лишь мгновение и снова исчезла. Я в отчаянии глубоко нырнул. Фреда нигде не было видно. Внезапно в темно-зеленой мути мелькнуло светлое пятно: Фред был в белой рубашке. Я снова нырнул и, схватив его за плечо, стал тащить вверх, но он был очень тяжелым.

Наконец мне удалось выбраться вместе с ним на поверхность. Фред был почти без сознания, я тоже близок к этому...

Вдруг Фред охватил руками мою шею и сразу потянул вниз. Снова нас поглотила зеленая бездна. Я захлебывался, изо всех сил пытался высвободиться из сжимающих меня, как клещами, рук, но не мог... Я понял, что сейчас мы утонем оба.

И тут откуда-то издали донеслось повизгиванье собаки. Потом что-то попало мне под руки. Это была длинная шерсть Пононки. Ухватившись за собаку, я снова всплыл на поверхность. Теперь, держа на себе вцепившегося в меня Фреда, я сам вцепился в Пононку. Сильный пес преодолевал двойную тяжесть. Яростно перебирая лапами, он рассекал воду и плыл по течению, а мы — за ним.

— Фред, пусти шею! — хрипло стонал я, судорожно хватая воздух, но белый мальчик не понимал меня.

Мы были уже далеко, почти на середине реки. Умный пес повернул к берегу, и расстояние между нами и берегом начало медленно сокращаться. Продолжалось это очень долго — как мне казалось, целую вечность. Я замирал от страха при мысли, что у меня не хватит сил и шерсть Пононки выскользнет из моих онемевших пальцев, — тогда для нас уже не будет спасения. Добрый пес словно чувствовал это и плыл осторожно, избегая резких рывков. Все это происходило ниже форта — между укреплениями и нашим лагерем. Течение относило нас все ближе к последнему.

Индейцы очень быстро улавливают малейшее изменение в окружающей местности, и в лагере еще издали заметили барахтающуюся в реке необычную тройку. Несколько пловцов бросились в воду. Вскоре нас вытащили на берег.

Насколько были истощены мои силы, я понял лишь на берегу. Даже По-

нонка не мог шевельнуть лапой и лег тут же около воды. Меня начало рвать, Фред был без сознания. Шаман Кинасы тут же принял меры, и вскоре белый мальчик пришел в себя. Нас отнесли в вигвам и уложили на мягкие шкуры. Ах, как приятно было лежать на сухих, теплых бизоньих шкурах!

Немного погодя мать дала нам поесть, потом напоила. Фреду не терпелось поскорее вернуться к своей матери, которая, наверно, очень беспокоилась, не зная, куда исчез ее сын. Но, к нашему удивлению, моя мать не позволила Фреду выйти из вигвама. Она ласково, но решительно остановила его.

— Пусть Фред вернется к своей матери! — крикнул я огорченно.

— Вернется, но не сейчас, — спокойно возразила моя мать.

Фред расплакался. Меня охватил такой сильный гнев, что даже помутилось в голове. Я вскочил, схватил Фреда за руку и силой хотел вывести его из вигвама. Тогда мать удержала меня, но я рванулся из ее рук.

— Маленький Бизон! — с испугом прошептала она.

Я опустил руки. Меня обезоружил ее испуг. Вспыхнувший гнев сразу угас.

— Маленький Бизон тоже не должен выходить из вигвама, — знаками объяснила моя мать Фреду. — Пока и он должен остаться здесь.

— Почему, мать? — едва выговорил я, и какая-то страшная догадка внезапно промелькнула в моей голове.

— Белого мальчика нельзя выпустить отсюда, — повторила мать, и я почувствовал, что она скрывает от меня что-то.

— Почему же? Почему, мать? — не отставал я.

— В лагере сейчас идет большое совещание. Старейшины решат, как быть с маленьким Фредом. А до тех пор он должен находиться тут.

— Его хотят убить? — с ужасом спросил я.

Мать с минуту глядела на меня насмешливо, потом проговорила с оттенком укора в голосе:

— Маленький Бизон!

Пристыженный, я успокоился.

В это время слышались быстрые шаги. Кто-то громко отдавал распоряжения. Совещание окончилось. В вигвам вошел отец.

— Выступаем, как можно скорее! — крикнул он. — Немедленно снимать вигвам и укладывать вещи!

— Что будет с Фредом? — спросила мать.

— Это зависит от коменданта. Ему послано сообщение, что мальчик цел, здоров и находится у нас. Мы поставили условия...

— Мальчик поедет с нами?

— Женщина, не теряй времени — собирайся! В любую минуту на нас могут напасть.

По всему лагерю шла лихорадочная суматоха. С пастбищ уже пригнали лошадей, на них поспешно взваливали вьюки. Воины помогали женщинам свертывать вигвамы, вязать тюки. Оружие на всякий случай держали наготове. Наш вигвам, наскоро свернутый, навьючили на коней.

Все спешили, только мы с Фредом сидели на земле, словно покинутые всеми сироты. Мы молчали. Фред тихонько всхлипывал, мне тоже хотелось плакать.

К нам подошла мать и, глядя Фреда по голове, ласково промолвила:

— Не бойся, ничего дурного с тобой не случится.

— Я хочу к маме! — просил он так жалобно, что у меня разрывалось сердце.

— Скоро увидишь ее. Не плачь, милый...

Через несколько минут к нашим вигвамам подъехали четыре всадника: трое солдат и женщина, мать Фреда. В поселке форта Бентон уже все было известно, и не только от нашего посланца: нашлись люди, которые видели, как двое мальчиков боролись за жизнь на середине реки, и донесли об этом коменданту Уистлеру. Прибывшим солдатам наши велели остановиться за пределами лагеря, а жену коменданта привели к нам.

Увидев свою мать, Фред радостно бросился ей навстречу. Она обняла его и, крепко прижимая к себе, долго рыдала. Какие они странные, эти белые люди, — даже взрослые не стыдятся показывать при посторонних свои слезы!

Фреду пришлось рассказать матери все подробности происшествия. Она узнала, как я бросился в реку за ее тонущим сыном, как спас его с помощью Пононки. Белая женщина подошла ко мне и тоже прижала меня к себе. Потом она приласкала Пононку. В это время около нас собрались старейшины во главе с вождем Шествующей Душой. Был здесь и Раскатистый Гром, ему предстояло быть переводчиком.

Времени оставалось мало, наша группа была готова отправиться в путь, и Шествующая Душа не стал медлить.

— Мы знаем... — начал он, обращаясь к матери Фреда, а Раскатистый Гром как умел переводил его слова, — мы знаем, что ты честная и благородная женщина. И мы заверяем тебя, что твоему сыну ничего плохого сделано не будет. Что бы ни ожидало нас — пусть даже самое худшее, — твоего сына мы всегда будем беречь, как сына женщины, заслуживающей уважения...

— Боже мой! Что это значит? — встревоженно воскликнула мать Фреда. — Что плохого еще может случиться с Фредом? О чем ты говоришь?

— Выслушай спокойно. Твой муж, комендант Железный Кулак, был несправедлив к нам. Твой муж незаконно держит в тюрьме четырех наших воинов и даже хочет предать их смерти...

— Я не вмешиваюсь в эти споры и не понимаю их. Это мужские дела.

— Однако теперь тебе придется самой заняться ими для пользы твоего сына. Мы решили натянуть тетиву лука до отказа. Если нужно будет — мы спустим стрелу. Не должны погибнуть четыре наших воина...

— Вы хотите отомстить за них... погубив моего ребенка? — бледнея, крикнула женщина.

— Плохо ты о нас думаешь, жена Железного Кулака! Мы совсем не хотим мстить, а только совершить то, чего требует правосудие. И клянусь тебе Великим Духом, что каждое мое слово — чистая правда. Говорю это тебе только для того, чтобы и ты чувствовала себя вместе с нами ответственной за судьбу своего сына... Те четыре воина ни в чем не повинны. Только жестокость Железного Кулака понуждает его предать их смерти... Теперь слушай, что я тебе скажу: Фред, твой сын, стал нашим пленником. Мы вернем его тебе, если сегодня, до заката солнца, Железный Кулак выпустит на свободу четырех наших воинов. Если он откажет — ты никогда больше не увидишь сына. Мы возьмем его с собой, примем Фреда в наше племя и воспитаем из него мужественного воина. Это всё. Передай мои слова Железному Кулаку. Хау!

Для матери Фреда это был страшный удар. Она бросилась к сыну и судорожно стала целовать его. Выходя из вигвама, она шаталась от горя, но стара-

лась держать себя в руках.

— Я сделаю все, что в моих силах... — сказала она прерывающимся от страдания голосом.

— Скажи Железному Кулаку, — добавил Шествующая Душа, провожая ее к ожидавшим вдали солдатам, — что мы вооружены и будем защищаться до конца. Пусть хорошенько поразмыслит, прежде чем решит послать против нас своих солдат. Мы очень хотим разойтись мирно, по-дружески. Скажи ему это.

— Скажу... — кивнула женщина.

Потом она села на лошадь и уехала.

День склонялся к вечеру, солнце уже отбрасывало длинные тени. Мы полностью свернули лагерь и могли выступить в любую минуту. Кони стояли навьюченными, к некоторым были привязаны травуа. Воины разбились на отряды и принимали меры на случай нападения. Оседланные кони их стояли наготове.

К нам с Фредом снова подошла моя мать и, усевшись рядом с белым мальчиком, сказала мне, но так, чтобы ее понял и Фред:

— Скоро вы расстанетесь. Расстанетесь надолго — может быть, навсегда.

— Фред вернется к матери? — спросил я с проснувшейся вновь надеждой.

— Уверена, что вернется. Все зависит только от его отца. Это был бы очень плохой отец, если бы он не захотел вернуть себе сына...

Слова моей матери подсказали мне одну мысль. Я подошел к своему буланому, на которого Сильный Голос в это время собирался положить седло, и вынул из своего мешка лук Косматого Орленка. Эту ценнейшую для меня вещь я хранил до сего дня как самое дорогое воспоминание об убитом друге. Едва я вернулся к Фреду с луком, как подошел Раскатистый Гром и велел матери, Фреду и мне идти за ним.

Мрачное и в то же время торжественное настроение царило в нашем лагере. Люди приготовились к решительным действиям. Вождь Шествующая Душа был прав: лук — невидимый лук справедливости — был натянут до отказа. Я остро чувствовал это напряжение, когда мы проходили по лагерю. Наши ребята прекратили игры и жались к матерям. Женщины молчали. Воины стояли с оружием в руках, готовые к тому грозному, что могло в любую минуту обрушиться на лагерь. Они провожали нас внимательными взглядами.

Выйдя из лагеря, мы направились в сторону форта Бентон впятером — за нами увязался и Пононка. На половине пути между лагерем и фортом, метрах в пятистах от укрепления, мы остановились, и дядя велел нам сесть на землю. Здесь нам предстояло ждать, что произойдет дальше. Вокруг было ровное, пустое поле. Настороженная тишина сковала форт Бентон и наш лагерь.

Мы ждали в полном молчании. Солнце уже почти касалось горизонта. Я обратился к дяде и объяснил, зачем достал из мешка лук. Это была для меня самая дорогая вещь, мне ее вручил Косматый Орленок, но в знак дружбы я хотел бы подарить лук Фреду, когда нам придется расставаться. Мне очень хотелось, чтобы Фред всю жизнь берег этот подарок. Не сможет ли дядя объяснить это Фреду?

Дядя задумчиво посмотрел на меня:

— Значит, ты, Маленький Бизон, крепко дружил с Косматым Орленком? Я тоже очень любил моего сына — больше всех на свете...

Раскатистый Гром по моей просьбе перевел мои слова Фреду. Я так крепко сжимал лук в руках, что они у меня одеревенели.

С возрастающим беспокойством смотрели мы на заходящее солнце и на воюга форта. Наконец мы заметили там какое-то движение. Из ворот начали выходить люди. Один, двое, трое... четверо... пятеро... Пять человек отделились от укреплений и мерным шагом направились к нам. Это были четыре индейца и одна белая женщина.

— Хо, хо, хо, хо! — тихонько запел дядя и вскочил на ноги.

В его голосе звучало непередаваемое радостное волнение. Нас тоже охватило ликование... Победа! К нам шли освобожденные из тюрьмы Орлиное Перо и три его товарища. Победа!

— Фред, уандерфул! — вырвалось у меня, но волнение сдавило мне горло.

Я отдал ему лук, и, по обычаю взрослых, мы пожали друг другу руку.

— Я буду всегда беречь его! — сказал Фред, закидывая лук за спину.

Пятеро подошли к нам. Расставание получилось коротким, мы должны были спешить. Мать Фреда обменялась рукопожатием с каждым из нас. Подойдя ко мне, она протянула мне небольшой пакет и листок, потом объяснила дяде, что на этом листке указан адрес ее усадьбы возле Нью-Йорка. «Когда Маленький Бизон подрастет, — сказала она, — он в любое время может приехать к Фреду и всегда найдет дружеский прием». Потом Фред и его мать пошли к форту, все время оглядываясь и дружески кивая нам.

Дядя и мать коротко, но зорко взглянули на освобожденных воинов, и Раскатистый Гром крикнул:

— В лагерь, скорей!

Мы пустились бегом. Молчавший до этого Пононка весело прыгал и заливался радостным лаем. Орлиное Перо схватил меня, посадил себе на спину и понес, весело напевая:

*Везу славного молодца, хей-ха!
Дельно отличился он, хей-ха!
Будем его славить, хей-ха!
Ловкого нашего пловца, хиши!*

Это была самая лучшая поездка в моей жизни, и я жалел, что до лагеря было так близко. По дороге я заглянул в пакет, который дала мне мать Фреда. Там было десять плиток шоколада. Я тут же дал по плитке Орлиному Перу и трем его товарищам — пусть поправляются после тюрьмы.

Когда мы достигли лагеря, большинство уже ждали верхом на конях, готовые к походу, остальные вскакивали в седла. Кто-то посадил меня на моего буланого. Семья за семьей трогалась с места, погоняя навьюченных лошадей. Воины ехали по бокам, несколько человек прикрывали нашу колонну сзади. Все были веселы больше, чем обычно при выступлении в путь: мы вернули своих воинов и, кроме того, шли на северо-запад, к родным местам.

Солнце уже закатилось, когда мы покинули миссурийские болота и вступили в прерии. Перед нами пылало вечерним багрянцем небо. Мы бодро и с надеждой смотрели в будущее.

Горы, снег и близкая смерть

Переходы наши могли показаться непосвященному человеку случайными скитаниями. Но они имели строго определенную цель: обеспечить жизненные потребности племени. Группа кочевала там, где можно было надеяться на хорошую охоту.

Пеммикана у нас теперь имелись достаточные запасы на всю зиму. Зато мы распродали в форте Бентон все наши меха и даже часть бизоньих шкур. А лето шло к концу. Было решено зимовать в этом году где-нибудь в Скалистых горах, в местности, изобилующей пушным зверем, и там поставить силки, капканы и ловушки.

Шли слухи, что на севере, в плоскогорьях Британской Колумбии, кое-где еще бродят табуны диких мустангов. У нас теперь не хватало лошадей, и вожди рассчитывали добраться до тех мест будущей весной или даже нынешней осенью, если позволит время.

После нескольких дней перехода на запад группа достигла подножия Скалистых гор. Мы были в местности, которую группа Сукси-сьокетук, ответвление племени ассинибойнов, считала своими охотничьими владениями. И действительно: индейцы этой группы вскоре появились вблизи нашего лагеря. Их вождь, Борись-Под-Ветер, с помощью знаков спросил наших, кто такие и зачем пришли сюда.

— Мы кочевые Сиха-Сапа*, черноногие, из прерий, — ответил Шествующая Душа. — Нашим единственным врагом является теперь только группа Окоток из племени кроу. Со всеми остальными мы живем в мире и согласии.

Нахмутив брови, вождь Сукси-сьокетук сказал с явным неудовольствием:

— Мы не ходим в прерии охотиться на ваших бизонов. Зачем же вы, черноногие, непрошено пришли в горы, где обитают наши козы, горные бараны и лоси?

На это Шествующая Душа ответил:

— Погляди на эти мешки, что висят на конях и находятся под охраной наших женщин. Там лежат запасы пеммикана, нам хватит его на всю зиму. Мы хорошо обеспечены пищей. Нам не к чему заниматься незаконной охотой в чужих владениях. Не беспокойтесь о ваших лосях. Мы ищем в горах укромных мест, которые не принадлежат никому. Хотим лишь пройти через вашу территорию, и как можно быстрее. Совсем не собираемся тут охотиться.

— Ха! Нина вашты, ваштего! Амба ваштеч, Сиха-Сапа! (О! Хорошо, очень хорошо! Приветствуем вас, черноногие!) — воскликнул вождь группы Сукси-сьокетук.

Он пригласил нас сойти с коней и быть его гостями. Пока женщины его группы с помощью наших приготавливали ужин, старейшины сели вокруг общего костра и закурили «трубку мира».

— Плохие времена наступают! — начал вождь Сукси-сьокетук. — Говорят, Длинные Ножи истребили всех бизонов в южных прериях. Правда ли это?

— Правда! — ответил Шествующая Душа. — Бизоны с юга уже не приходят к нам, как несколько больших солнц назад. Тех бизонов, которых нам удалось подстрелить этим летом, мы встретили случайно далеко на севере. Там их всегда было немного, а теперь стало еще меньше.

— В горах не так плохо. У нас тут много лосей и оленей-вапити, есть медве-

ди, козы, бараны... Но, несмотря на это, тяжелая забота легла на наши сердца...

— Почему?

— В трех днях пути отсюда, вон в том направлении, — и вождь Сукси-сьокетуков показал рукой на юго-запад, — засело много Длинных Ножей. Два больших солнца назад там было всего несколько человек, а сегодня их несколько сотен. Они захватили много плодородных долин и непрерывно копают там землю. Они находят в ней золото. Это очень злые и жестокие люди. В той местности они извели всех зверей и всю дичь, а каждого индейца, который им подвернется под руку, беспощадно убивают. Они его даже не спрашивают, друг он или враг. Кто нам поручится, что завтра эти страшные люди не придут и сюда?.. Как черной оспы, избегайте тех мест!

Наши старейшины поблагодарили вождя за это дружеское предостережение. Потом все смолкли в горестной задумчивости: очень уж быстро сокращался наш мир — прекрасный мир индейских владений. Только тогда, когда женщины принесли еду, настроение немного поднялось и все оживились.

Вождь группы Сукси-сьокетук* показал рукой на вершины гор, уже покрытые снегом, и стал рассказывать:

— Наша группа происходит из того района. Там скрывались мы, а прерии всегда были перед нами. Индейцы прерий говорили о нас, что мы обладаем мудростью осмотрительных зверей, так как всегда остаемся в укромных гористых местах. Там веет здоровый, освежающий ветер.

— Наши ручьи и реки прозрачны, как небо, — сказал другой Сукси, — в них много форели. Горы были нашим убежищем. Но разве даже эти горы защитят нас завтра от хищных Длинных Ножей?

— Хо, — отозвался еще один Сукси, — мы, индейцы гор, не раз наводили страх на племена в прериях, но мы не так мудры и прозорливы, как они. Когда мы вступали на военную тропу, шаг наш был похож на шаг неразумного зверя. О да! — И он изобразил движения, напоминающие неуклюжее топтанье медведя и идущую вперевалку утку. — Зато вы, черноногие, — продолжал он, — ходите скоро и легко, как волки, и хитро, как лисицы. Видите все вокруг, а сами остаетесь незамеченными...

Он показал, как ловко ходят черноногие — совсем иначе, чем ассинибойны, к которым принадлежала группа Сукси. Раздался общий веселый смех. Дружеская беседа длилась до самого рассвета.

У добрых ассинибойнов-Сукси* группа наша погостила ночь, а на следующий день вождь их подробно объяснил, вдоль каких рек и через какие перевалы нам нужно идти, чтобы достичь желаемого места. Это было направление на запад, с небольшим отклонением к северу.

Уже через день после ухода из лагеря Сукси группа вступила в область высоких гор, обнаженные склоны и вершины которых гордо вздымались к небу, часто совершенно отвесно. В таких горах я был впервые, и тут было чему удивляться. Снег здесь лежал не только на вершинах, но и на некоторых перевалах, и наши лошади не раз проваливались по самое брюхо. Холод пронизывал до костей. Лишь после того как мы перевалили через цепи этих гор и выбрались на плоскогорье, сразу почувствовалась перемена. Снова нас окружало теплое и сухое лето. Трава для лошадей росла здесь тучная, и это радовало нас больше всего.

Однажды вечером, переправившись через какую-то реку, мы встретились с

индейским племенем, совершенно неизвестным нам. Мужчины Черных Стоп все высокого роста, а эти индейцы были на голову ниже. Они не носили никаких украшений из перьев. Их типи сооружены из сухой травы. Лица у них светлее, чем наши.

Когда они увидели нас, то не выказали никакого недоверия, вопреки обычаям других индейцев. Незнакомцы приветливо глядели на нас, а их дети не убегали в испуге, наоборот — смело подходили и что-то весело лепетали. Наш вождь никак не мог объяснить с этими индейцами, даже при помощи знаков. Видимо, им не был известен привычный в прериях способ переговоров. Они привели какого-то хромого человека, и только с ним одним мы смогли кое-как поговорить. Калека происходил из племени кутенаи, а остальные принадлежали к небольшому племени шусвапов.

Кутенаи часто воевали с нами, поэтому калека сразу узнал нас по рисунку на мокасынах, по которым узнают племена, и поинтересовался, как делают у нас прическу. Наши зачесывают волосы прямо назад и сплетают их по обеим сторонам в косички. Этим черноногие отличаются от ассинибойнов и некоторых групп сиу, которые делают пробор посередине, как наши женщины.

— По вашим волосам и мокасынам, — заявил хромым, — я вижу, что вы не ассинибойны. Если бы вы были из этого племени, ваше пребывание тут стало бы невозможным. Шусвапы враждуют с ассинибойнами.

— А ты что делаешь среди них?

— Живу тут. Одна из их женщин стала моей женой... По какому делу прибыли вы в наши края?

Когда Шествующая Душа рассказал хромому, что мы хотели бы осенью и зимой поохотиться в этих горах, тот посоветовался с вождем шусвапов и ответил:

— Вождь шусвапов заявляет вам, что он союзник кутенаи. Оба эти племени вместе владеют землей, тянущейся отсюда так далеко на юг, сколько может пробежать человек за полных пятнадцать солнц. Мы просим вас не охотиться в этих владениях. Скажите нам, каких зверей вы ищете, и мы покажем вам другие места, где вы найдете дичи вдоволь.

Мы не хотели никаких столкновений и поэтому охотно выслушали шусвапов*. Они показали нам дорогу в северные районы, которые должны полностью удовлетворить все наши желания. У нас не было круглых лыж для глубокого снега, и шусвапы посоветовали нам запастись нужным количеством их: на севере будет много снега, который скоро покроет все долины, и без лыж мы не стронемся с места. Мы согласились, и в обмен на нескольких лошадей шусвапы отдали нам все лыжи, которые нашлись у них в лагере.

После однодневного отдыха наша группа выступила в северном направлении, к неизвестным нам, но расхваленным шусвапами местам. На третий день кончилось теплое плоскогорье, и опять нам пришлось пробираться по узким горным тропам, ущельям и теснинам, переваливать через высокие горные хребты. Здесь было не только холодно, но и лежал глубокий снег. Как хорошо, что наши запаслись у шусвапов необходимыми здесь лыжами! На остановках матери поспешно мастерили лыжи и для нас, ребят.

Переход через тяжелые горы длился семь дней. Пришлось снять с коней часть вьюков и нагрузить их на собак. Это были сильные псы, с примесью волчьей крови, они вполне годились для такой работы, но даже они после

трех — четырех дней стали останавливаться: крепкий снег и комья смерзшейся земли калечили им лапы Женщины сшили для собак некое подобие мокасин, в которых наши псы выглядели как в боксерских перчатках. Это принесло некоторое облегчение бедным животным, но у многих лапы все-таки продолжали распухать.

Все собаки, в том числе и мой Пононка, шли навьюченными, за исключением одной, самой маленькой. Это был карликового роста жалкий песик; если в нем и была волчья кровь, то скорее всего — маленького койота. Жизнь у этого песика была нелегкая. То ли из-за маленького роста, то ли по каким другим причинам, но наши собаки не любили его и преследовали на каждом шагу. Мы, мальчишки, часто становились на его защиту, швыряя в нападавших псов камнями и палками, но это мало помогало. Эта собака-выродок никому из нас не принадлежала и даже не имела клички.

У незадачливого песика был только один друг — мой Пононка. Этот сильный и выносливый пес, видимо, испытывал к малышу какую-то странную слабость. Пононка позволял ему тормозить себя и, когда они были вместе, защищал его от других собак. Во время того памятного перехода через горы наш песик, признанный слишком слабым для вьюка, был свободен от поклаж и мог забегать, куда ему вздумается. На долю же Пононки, наоборот, пришелся тяжелый вьюк, едва ли не сверх его сил. Несмотря на это, он шагал полный достоинства, не оглядываясь ни вправо, ни влево, как это делали другие, легкомысленные собаки. Мне не раз приходила в голову мысль, что если бы Пононка был человеком, то, наверно, стал бы великим вождем. Он мужественно тащил свой груз, но все чаще и чаще спотыкался. Замерзшие лапы его стали кровоточить Пононка оставлял на снегу алые следы.

— Мать, — просил я, — Пононка мучается! Нельзя ли снять с него вьюк?

— Нельзя, Маленький Бизон! Все собаки должны нести груз. Завтра или послезавтра мы дойдем до места.

Но путь становился все тяжелее. Вокруг громоздились горы, могучие и дикие. Несомненно, они были прекрасны и полны, как говорят, величия, но человек не замечает величия, когда страдает.

Тем временем убогий песик всю пользовался свободой и вертелся среди ребят. Вдруг он замер на месте так неожиданно, что я чуть не налетел на него. Песик обнюхал кровавые следы, жалобно завизжал и помчался к Пононке. То, что произошло потом, очень взволновало меня.

Песик понял, что его сильный друг тянет из последних сил. Он подскочил к Пононке, явно желая помочь ему нести тяжелый груз. Всем телом песик прижался к боку друга и так шагал, подпирая Пононку. Одна из наших женщин подошла и пинком ноги отшвырнула малыша. Он подождал, пока она отойдет, и снова прижался к боку Пононки. Женщина вернулась с палкой в руке, но песик уперся и не хотел отходить. Испуганно глядя на нее круглыми глазами и не переставая поддерживать своего друга, он ждал удара.

— Не бей его! — крикнул я. — Он помогает Пононке!

Женщина с минуту удивленно присматривалась, потом приласкала обеих собак:

— Анхх! Он действительно помогает ему!

Тогда я объявил всем, что у меня две собаки, и маленького песика назвал Сердце. Так мне посоветовал Сильный Голос.

После семидневного тяжелейшего перехода через заснеженные горы мы очутились наконец в более приветливых местах. Здесь было меньше снега и не так холодно. Горные хребты и утесы стали менее угрюмыми, долины более обширными. Густая растительность — главным образом ель — покрывала склоны; даже там, где был голый камень, вверх карабкалась карликовая сосна. Но самое главное — мы встретили тут множество всякого зверя. Шусвапы не обманули нас.

Высоко на склонах, на скалистых утесах обитали горные козы, но за ними было очень трудно охотиться. Немного ниже — там, где уже расстилались зеленые поляны, — паслись стада диких баранов с большими рогами. Некоторые долины, особенно лесистые уголки их, изобиловали оленями, лосями и вапити, а по другим долинам среди скал бродили огромные серые медведи-гризли. Там же водились рыси и пумы. Не будет преувеличением, если я скажу, что эти места были раем для охотников.

В этом безлюдном краю мы расположились основательно и решили перезимовать, хотя до настоящей зимы оставалось еще много времени. К нашим услугам было сколько угодно свежего мяса, а в озерах и ручьях в изобилии водилась рыба. Не раз удавалось нам убить и медведя. Наши женщины начали накапливать новые запасы шкурок. Обычно мы жили несколько дней в какой-нибудь богатой зверем долине; охотники расходились во все стороны, часто забредая очень далеко, а женщины оставались в лагере, где у них всегда была работа: они сушили и выделывали шкурки. Распугав дичь в одном месте, мы свертывали вигвамы и переходили в другую долину.

Мальчишки тоже не теряли времени даром. Вблизи лагеря всегда встречались суслики и гофры — нечто вроде горных земляных белок. Разумеется, мы усердно охотились на этих маленьких зверьков. Неуклюжего суслика можно было иногда даже догнать и поймать, зато проворные гофры всегда были на чеку. Прежде чем вылезти из норки, гофры осторожно высовывали головки, зорко оглядывались и только потом выскакивали на поверхность. Мы объявили им войну и ловили их при помощи петли из тонкого ремешка, которую терпеливо держали над норкой, и тот, кто был половчее, успевал затянуть петлю на зверьке.

Этим способом я как-то поймал молодого гофра. Мне жаль было убивать зверька, и я принес его в вигвам. Через несколько дней зверек стал совсем ручным и даже не хотел уходить от нас, а с обеими моими собаками очень быстро подружился и держался с ними на равной ноге.

Этот первый удачный опыт приручения дикого зверька произвел на меня неизгладимое впечатление. Во мне, маленьком дикаре, который прежде стремился убивать каждое более слабое существо, как бы рождался новый человек, разумный и добрый. Мне думается, каждый человек должен пройти через такой переломный момент, только одни переживают его быстрее, другие — медленнее. Но, может быть, есть и такие, которые в своей жизни так и не испытывают этого.

В ту зиму несколько наших ребят, в том числе и я, пережили одно опасное приключение. Оно так потрясло нас, что навсегда осталось самым ярким воспоминанием о периоде нашего скитания в горах.

Однажды утром, вооруженные луками и ремнями, мы взобрались на гору, возвышавшуюся над нашим лагерем. С нами увязались собаки — Пононка,

Сердце и еще два сильных пса. К этому времени лапы у Пононки уже зажили и он совсем оправился. Когда мы достигли вершины, перед нашими взорами открылся чудесный вид. В нескольких стах футов под нами раскинулась очаровательная зеленая долина, которой мы еще не знали. Среди густых елей и пожелтевших лугов блестело небольшое озеро. Поверхность его была гладкой и неподвижной, как зеркало. В воде с удивительной отчетливостью отражались деревья и вершины гор на той стороне.

Увлеченные этим зрелищем, мы уселись на краю обрыва и как зачарованные смотрели вниз. Вскоре мы заметили в долине двух лосей, спокойно направляющихся через луг к озеру. Обычно наши ребята ходили в горы шумной ватагой, но сейчас мы все притихли, как во время торжественного обряда.

— Дошли до воды и пьют... — шепнул мне Сильный Голос и почему-то вздохнул.

— Эх, было бы ружье, да подкрасться к ним! — вполголоса раз мечтался кто-то из ребят.

— Как тут тихо и тепло... — проговорил брат. — Как хорошо!

— А всего несколько дней назад мы еще тащились через горы... Брр! Какой был холод, ветер с ног валил, ух!.. — отозвался другой мальчик.

— А форт Бентон помните? — продолжал Сильный Голос. — Эту чертову сутолоку и обманщиков-торговцев?.. А здесь спокойствие и мир. Люблю такие спокойные долины! Никто не нарушает тишины...

Но тишина была нарушена. Наши собаки, рыскавшие поблизости, нашли какую-то необычную нору. Она была похожа на лисью, но несколько побольше. К ней вели свежие следы. Мы приготовили петлю и притаились. Спустя минуту в дыре показалась большая коричневая косматая морда. Мы затаили петлю, и тут же раздался дикий рев, удивительно похожий на крик разгневанного человека.

При виде страшилища, которое мы на беду чуть не вытащили из норы, ребята помертвели от испуга. Такого страшного зверя мы никогда не видели: у него были уродливые клыки, острые когти, дикие, разъяренные глаза. Зверь молниеносно выскочил из норы и бросился прямо на нас. К нашему счастью, рядом были все четыре собаки; они сейчас же накинулись на чудовище.

Зверь прыгнул к собакам. Ростом он был невелик, чуть побольше моего песика Сердце, но, видно, обладал невероятной, сатанинской силой и сверхъестественным проворством. Честный мой песик Сердце первым налетел на зверя. В одно мгновение чудовище впилось ему в горло с такой яростью, что почти отгрызло псу голову.

Остальные собаки ринулись на врага. Мы дрожали от страха — перед нами барахтался клубок тел, мечущихся в дикой свалке. Зверь, хотя и был вдвое меньше любого п.; наших псов, защищался с неистовством десяти чудовищ. Вернее, не защищался, а нападал! При этом он все время издавал почти человеческие воинственные клики, которые еще больше приводили нас в ужас, чем вся эта неистовая схватка. Кровь брызгала во все стороны...

Наконец мы немного опомнились и кинулись прятаться за ближайшую скалу, готовые в любое мгновение спасаться бегством. Судьба кровавой схватки решалась с невероятной быстротой. Одна из собак куда-то исчезла, словно провалилась сквозь землю. Дрались только две. Вдруг одна из них протяжно взвыла и упала с вывалившимися внутренностями. Остался последний бо-

ец — Пононка!

— Бежим! — прерывающимся голосом завопил кто-то из ребят.

Но тут мы слышали нечто напоминавшее стон умирающего человека. Пононка впился своими сильными клыками в горло зверя и мотал его из стороны в сторону. Он колотил его тело об камни, шатался сам, но не выпустил чудовище до тех пор, пока у него не стали гаснуть глаза. Умный пес бросил врага на землю, но все-таки продолжал зорко следить, не осталась ли в нем хоть искра жизни. Зверь не шевелился. Тогда с победным лаем Пононка прыгнул на него и распорол ему брюхо.

Пононка был изранен и хромал. Доковыляв до своих мертвых приятелей, он обнюхал их, жалобно завыл, потом принялся зализывать свои раны, продолжая выть. И тут до нас вдруг донесся приглушенный хрип. Пононка миглом вскочил, мы побежали за ним. На дне небольшой котловины лежал наш четвертый пес. Дикий зверь прогрыз ему голову; она была так изуродована у бедняги, что стала похожа на голову гремучей змеи. Через минуту пес издох.

Чудовище, нагнавшее на нас столько страха, тоже было мертво. Никто из нас не решился коснуться его. Нас выручил Пононка. Он ухватил зверя зубами за загривок и, выбиваясь из последних сил, торжественно притащил в лагерь.

В лагере поднялась суматоха, слышались громкие возгласы ужаса. Зверь оказался коричневой росوماхой. Это был страшный и беспощадный «хозяин» Скалистых гор, самый дикий из всех тамошних хищников, гроза не только баранов и коз, но даже пум и медведей.

— Росوماха своей силой и проворством одолевает да же медведей! — говорили опытные охотники.

Отцы на этот раз поступили с нами беспримерно строго: они пригрозили, что пустят в ход палки, если мы будем охотиться далеко от лагеря. Притихшие при этой угрозе, мы поняли наконец, какой страшной опасности избежали сегодня в горах.

«Никогда не увью волка!»

Приближалась зима. Все чаще с гор обрушивались на долины вихри; они валяли деревья и срывали бизоньи шкуры с наших вигвамов. С началом снегопада подошло время искать место для зимнего становища. Мы нашли удобную, окруженную со всех сторон горами котловину, хорошо укрытую от морозных ветров. С этого места наши охотники отправлялись — в одиночку или вдвоем — в дальние долины и ставили там силки и капканы. Через несколько дней, а иногда и недель они возвращались в главный лагерь и приносили богатую добычу: шкурки горноста, куницы, бобра, выдры, лисицы, волка, рыси и других зверей.

Ту зиму мы назвали в календаре нашего племени Зимой Орлиного Пера — самым важным событием ее явилось новое необычайное приключение, которое довелось пережить этому воину. Стоит описать это памятное происшествие хотя бы потому, что оно проливает свет на семейный быт Черных Стоп и позволяет проникнуть в обычно скрываемую от посторонних глаз область их внутренних отношений.

Орлиное Перо, дельный и мужественный воин, которого комендант форта Бентон незаконно держал в тюрьме вместе с тремя его товарищами, считался одним из лучших наших охотников. Как и многие выдающиеся звероловы, Орлиное Перо любил охотиться в одиночку. В ту нашу зимовку в Скалистых горах он часто забирался в лесные дебри и всегда возвращался тяжело нагруженный шкурками.

В те времена среди индейцев прерий еще существовало многоженство. У Орлиного Пера была только одна жена. Здоровый и энергичный человек, в полном расцвете сил, он добывал столько пищи, что его очаг славился достатком; несмотря на это, он не хотел иметь несколько жен. Свою единственную жену, красивую, хозяйственную женщину, Орлиное Перо любил всем сердцем. Она отличалась спокойным характером и трудолюбием, хорошо готовила пищу, мастерски выделывала шкурки, которые муж приносил с охоты, — словом, добросовестно выполняла все обязанности женщины-индеанки. Только одно отличало ее от других женщин лагеря — она была бездетна.

Индейцы, как и все первобытные народы, очень любят детей, я бы даже сказал — больше, чем многие цивилизованные люди. Рождение ребенка являлось для индейцев великим праздником. Если какая-нибудь индеанка не имела потомства, муж имел право разойтись с ней, либо — что чаще всего случалось — взять вторую и третью жену, как это было установлено нашими традициями. Орлиное Перо был огорчен бездетностью жены, но боролся с мыслью о том, чтобы приблизить к себе еще одну женщину. Он очень привязался к жене и, не в пример большинству наших мужчин, был однолюбом.

Весь лагерь знал о горе этой супружеской пары, и матери часто посылали ребятишек в вигвам Орлиного Пера, чтобы мы поиграли там. Все знали, что Орлиное Перо и его жена очень любят детей. Действительно, они встречали нас с такой сердечностью, какую мы не всегда видели даже в родном вигваме.

Уже миновали трескучие морозы, зима подходила к концу. Орлиное Перо был па охоте в дикой местности, к северу от лагеря. Однажды, соорудив себе шалаш на ночь, он вдруг увидел, как в ближней чаще промелькнул большой лесной волк. Зверь протяжно завыл. Любопытный, как и все волки, он некото-

рое время зорко следил за каждым движением Орлиного Перо, потом не спеша удалился. В сумерки жаль было тратить заряд.

— Ступай себе, серый брат! — засмеялся охотник. — Завтра я приду к тебе и сдеру твою шубку...

Наутро, чуть свет, захватив лыжи и ружье, Орлиное Перо пустился по следу зверя. На снегу четко отпечатались волчьи лапы. Видно было, что это сильный и крупный зверь: следы его отчетливо выделялись среди следов мелких зверюшек. Сначала они вели вдоль длинной долины, окруженной обрывистыми склонами, потом свернули в сторону и повели охотника к сильно заснеженным, но не очень высоким горам.

Преследование продолжалось уже несколько часов — от склона к склону, из долины в долину. Орлиное Перо был хорошим, выносливым бегуном и отличался большим упорством. Он не дал волку сбить себя со следа. Около полудня охотник убедился по следам, что зверь начинает уставать. Наконец он увидел вдалеке зверя: тот бежал по обнаженному склону, оглядываясь на преследователя.

«Попался, братец! — обрадовался охотник. — Лыжи человека — волшебное средство, более верное, чем твои лапы».

День был ясный и безветренный, хотя и морозный. Но после полудня погода начала портиться. На небе появились тучи. И тут Орлиное Перо с удивлением заметил следы двух людей, идущих в том же направлении, что и он, — к востоку. Следы были вчерашние. Больше всего изумило охотника то, что люди, видимо, были больны либо смертельно устали. Они едва волочили ноги и через каждую сотню метров бессильно падали на снег. По отпечаткам ног охотник легко определил, что это были две индеанки.

Волк тоже заметил следы и, продолжая бежать, уже не отступал от них. Может быть, он звериным инстинктом почуял, что люди ослабели, и задумал напасть на них? Каждый раз, взбираясь на возвышенность, Орлиное Перо напрягал зрение и всматривался в лежащую впереди долину: он надеялся увидеть идущих женщин. Но они были еще далеко от него. Он видел только бегущего волка.

Охотник прибавил шагу. Теперь он уже не спускал глаз с волка, который упорно держался человеческих следов. За час до захода солнца внезапные сильные порывы ветра и небольшие снежные вихри, поднявшиеся над землей, возвестили о приближении метели. С каждой минутой ветер усиливался.

Охотник и волк очутились среди каменистых, поросших редкими елями взгорий. Волк бежал с большим трудом; видно было, как он время от времени спотыкался. Но и охотнику было нелегко: приближалась снежная буря. Орлиное Перо бежал, стараясь догнать волка до наступления непогоды. Он хорошо понимал, что если начнется сильный снегопад, то затеряются следы и волка и женщин.

Зверь бежал в нескольких стах метров впереди. Он направлялся к видневшемуся маленькому еловому леску. Это было единственное укрытие во всей окружающей местности; оно выглядело темным островком среди моря снега. К леску вели и следы женщин.

Наступали вечерние сумерки, вокруг заходящего солнца образовались два зловещих кольца. Орлиное Перо изо всех сил старался догнать волка еще перед леском, но не успел: зверь под самым носом охотника вбежал в лесок и ис-

чез из виду.

Лесок был маленький — может быть, около ста шагов в поперечнике. Орлиное Перо быстро обежал его вокруг. Волк не вышел из леска — следов на поляне не было видно. Но что еще больше потрясло охотника — он не находил больше и следов индейнок. Они вошли в лесок и не вышли из него. Они оставались где-то там, в чаще, вместе с волком!

Орлиное Перо взвел курок, вошел в лесок и стал окликать женщин. Никто не отвечал. В вершинах деревьев уже не на шутку расшумелась буря, ветви раскачивались во все стороны. Начал падать снег, быстро темнело. Охотник переходил с места на место и все время звал, но напрасно. Женщины либо не слышали его, либо боялись отвечать.

Метель становилась все злее, вокруг все трещало, качалось, гудело, выло. Даже под защитой деревьев трудно было устоять на ногах. Орлиное Перо отыскал маленький овражек, пригодный для ночлега, нарубил сучьев и сухих щепок. И вдруг охотник увидел волка, следившего за ним из-за куста. Осторожно потянувшись за ружьем, Орлиное Перо прицелился в сверкавшие в полумраке глаза зверя и спустил курок. Треск пистона — и никакого выстрела. Осечка!

Орлиное Перо зубами открыл охотничий рог и насыпал из него на полку сухого пороха. Волк не трогался с места. Приводя в порядок ружье, охотник, по давнему обычаю индейцев, ворчливо обратился к волку:

— Подожди, серый брат, скоро конец!.. Сейчас я положу новый пистон и пошлю тебе небольшой гостинец из свинца. Потерпи немного..

Когда охотник прицелился снова, волк, стоявший до этого неподвижно, внезапно сделал прыжок в сторону и скрылся из виду. Не пришлось Орлиному Перу добыть его шкуру...

Охотник снова принялся за устройство шалаша. Между двумя порывами метели он неожиданно услышал какой-то странный звук. Орлиное Перо прислушался и, когда звук повторился, вскочил на ноги. То был плач ребенка.

Завернувшись в одеяло, Орлиное Перо двинулся туда, откуда долетал плач. Совсем стемнело; снег бил в лицо. Охотник ощупывал дорогу руками. Вдруг он зацепился за что-то ногой и едва не упал. Сначала Орлиное Перо подумал, что это корень ели, но, пошарив по снегу руками, понял, что перед ним лежала мертвая индейка.

По-прежнему откуда-то доносился приглушенный плач ребенка. Орлиное Перо несколько раз обошел вокруг трупа. Звук, едва слышный в шуме ветра, раздавался то с одной, то с другой стороны, порой даже откуда-то сверху. Орлиное Перо не был свободен от суеверия и начал думать о злых духах, обманывающих человека на его погибель.

Обессиленный, он оперся спиной о ствол дерева, и тут вдруг ясно услышал плач над головой. Посмотрел вверх — что-то маячило среди ветвей. Протянув вверх руку, он нащупал корзинку, в которых индейки обычно носят младенцев. В корзинке, подвешенной так, чтобы ее не могли достать с земли дикие звери, лежал завернутый в шкуры живой ребенок. Ему было всего несколько месяцев.

Сердце охотника бешено заколотилось от радости и страха — страха за жизнь ребенка. Он развел большой костер, хотя в такую бурю это было нелегко. Закутав ребенка в одеяло, Орлиное Перо всю ночь согревал его своим те-

лом. Пеммикан давать ребенку он побоялся: грубая пища могла повредить младенцу.

На рассвете охотник вскочил с земли и вышел на опушку леса. Ночная метель прошла. Жизнь ребенка теперь зависела от ловкости Орлиного Пера и счастливого случая. Ближайший час должен был решить все. Орлиное Перо поставил силки и капкан. Вскоре попался живой заяц, а второго удалось подстрелить. Охотник бегом вернулся к шалашу и выдавил в рот ребенку несколько капель крови убитого зайца.

Потом Орлиное Перо связал из сучьев простые санки и положил на них тело женщины. Корзинку с ребенком он привязал себе за спину и быстро пустился в обратный путь. Другой женщины, сколько он ни искал ее в лесочке, охотник так и не нашел.

Около полудня Орлиное Перо дал ребенку выпить крови второго зайца, которого до поры до времени держал живым.

Только вечером, после долгого и трудного перехода, охотник добрался до желанной цели — перед ним открылся наш лагерь. Ребенок был жив.

Передавая младенца своей жене, Орлиное Перо сказал:

— Вот наше дитя. Теперь уже не будет печали в нашем вигваме — мы будем счастливы!

В ту же ночь старейшины собрались в вигваме Орлиного Пера и при веселом огне очага слушали рассказ о его приключениях. Все одобрили намерение охотника усыновить спасенного ребенка, а так как все любили охотника, то от души разделяли его радость.

— Это добрая новость! — сказал вождь Шествующая Душа. — Однако скажи: заметил ли ты что-нибудь на теле женщины, которая, несомненно, была матерью ребенка?

— Я не осматривал ее... — ответил охотник.

— Тогда приглядишься. По ее мокасинам и ожерелью можно убедиться, что она принадлежала к племени кроу, и как раз к группе Окоток, наших злейших врагов.

— Хау! — изумились все собравшиеся.

Орлиное Перо был ошеломлен, но не поддался:

— А все-таки я не откажусь от ребенка!

— Никто от тебя и не требует этого, — сказал Шествующая Душа. — Наоборот, мы рады. Я говорю лишь, что впервые наше племя встречается с группой Окоток на поле дружбы, а не на поле битвы.

— Удивительно! Странно! — раздавались голоса присутствующих.

— Да, это удивительный и знаменательный случай! — отозвался шаман Кинасы. — Новое время входит в наши прерии и даже в эти горы.

И тут с ближайшего взгорья донесся вой одинокого волка. В вигваме наступила тишина.

— Мокуйи! — крикнул Орлиное Перо. — Это он, это тот самый волк! Тот самый, который указал мне дорогу к ребенку!

— Какое там!.. Не верю в такие чудеса! — буркнул Раскатистый Гром, который сомневался во всем, чего не делал или не видел сам.

Орлиное Перо поднял руку и торжественно произнес:

— С этого дня я больше никогда не убью волка! Волки — мои друзья!..

Затем повернулся к ребенку и дал ему имя Мокуйи Оскон, что означает

Брат Волка.

Мокуйи Оскон вырос дельным человеком и посвятил свою жизнь благородному делу укрепления уз дружбы между племенами индейцев. Но прежде чем выйти на эту широкую дорогу, Мокуйи Оскон еще в младенческие годы сделал не менее прекрасное дело: укрепил супружескую связь и принес солнце в вигвам Орлиного Пера.

Дикие мустанги

С первым дыханием весны мы свернули лагерь и пошли в западном направлении. Переправившись через большую излучину реки Колумбии, мы вступили на плоскогорье, соединяющее Каскадные горы со Скалистыми. Там с незапамятных времен водились большие табуны диких коней. Даже до нынешних времен, уже в XX веке, в малодоступных уголках Каскадных гор сохранилось несколько сот диких мустангов. И это несмотря на наплыв белого населения и ежегодные облавы на дикую лошадь, устраиваемые по поручению властей Британской Колумбии. Итак, мы присмотрели себе табун никому не принадлежавших мустангов, и наши охотники собрались попытать счастья в охоте на них.

Ранняя весна была самой подходящей порой для ловли мустангов. Весной они переходили на новый корм — свежую траву, от этого у них начинались желудочные заболевания, и они становились на время более вялыми и менее чуткими. Впрочем, и теперь они были бы недосыгаемы для охотника, если бы не человеческая хитрость и не любопытство самих животных. Даже вспугнутые, они долго кружили невдалеке от места охоты, то и дело возвращаясь обратно, чтобы увидеть того, кто нарушил их покой.

Такой же была и повадка лесных волков. Во время наших переходов на север эти непрошеные спутники почти всегда следовали за нами, не отставая ни днем, ни ночью. Где бы мы ни делали привал, волки тоже садились и украдкой, издали глядели на нас. Наши крики не пугали их и мало помогали делу. Волки лишь отскакивали в сторону и продолжали следить за нами из-за кустов.

Мы, дети, боялись волков, как злых духов.

— Ничего они вам не сделают! — успокаивал меня отец. — Вблизи лагеря они редко нападают на людей, и то только зимой, когда очень уж голодны.

— Зачем же они идут за нами? — спрашивал я.

— У серых волков любимое лакомство — собачье мясо.

Я с беспокойством подумал о моем любимце Пононке. Правда, этот сильный пес загрыз даже росомаху, но справится ли он с несколькими волками?

Когда мы шли к пастбищам диких мустангов, то все чаще встречали серых хищников. Наглые и надоедливые, они по ночам приближались к нашему лагерю всего на бросок камня. Их вой часто раздавался совсем близко от вигвамов. В те ночи было несколько кровавых схваток между волками и собаками. Мы слышали ужасную грызню, треск веток, внезапный визг и завыванье. Охотники выскакивали из вигвамов и стреляли в воздух. Наутро мы находили только следы крови и недосчитывались одной или двух собак.

— Глупые, легкомысленные псы! — говорил Сильный Голос о погибших собаках.

— Что ты болтаешь! — вспыхивал я. — Они сражались с волками за наш ла-

герь. Они защищали нас!..

— Защищали, но как? Легко быть сожранным волками. Надо их одолеть — вот в чем долг воина!

Отец, как обычно, решал наш спор. Он признавал каждого из нас правым, но при этом прибавлял, что безрассудный задира достоин такого же презрения, как и трусливый плут. Зато тот, кто умеет сочетать отвагу с осмотрительностью, становится хорошим воином.

— Псам, которые погибли, — заключал отец, — нельзя отказать в смелости, но с уверенностью можно сказать, что они вели себя неразумно.

— Разве воин, который погиб в битве, неразумен? — настаивал я.

На это отец уже менее уверенно отвечал, что смерть может настичь каждого воина, даже рассудительного, а сама рассудительность является только хорошим щитом в бою.

Я мысленно возвращался к своему Пононке. «Неужели и Пононка может погибнуть?» — думал я с тревогой.

Пононка всегда спал вместе со мной, но теперь он уходил из вигвама. Назойливость волков злила его, и пес каждую ночь рвался в бой. Только к утру Пононка возвращался ко мне, сильно помятый. Иногда я замечал на нем кровоточащие раны.

— Не бойся за него, — успокаивал меня отец, — Пононка — настоящий воин, хотя ему иногда и не хватает осмотрительности. В нем много волчьей крови. Он не полезет туда, куда не надо.

Но все это не могло меня успокоить. Мой добрый брат Сильный Голос несколько ночей дежурил возле вигвама с луком в руках. Из этого лука он прошлым летом убил бизона, а теперь собирался подстрелить волка. Несколько раз он замечал подозрительные тени, но не решался пустить стрелу, боясь подстрелить вместо волка собаку. А тем временем нас стали интересовать другие, более важные события. Волки отошли на задний план.

Наши разведчики напали на свежие следы диких лошадей. Животные двинулись где-то впереди нас. Еще до того как мы их заметили, мустанги обнаружили наш лагерь: дважды они описывали большой круг и подходили к нам с тыла. Все это мы прочли по следам. Только на пятый день такой игры в кошки-мышки мы увидели самый табун. Он был великолепен: около пятисот лошадей паслись на склоне небольшой горы. Мы издали различали горячих скакунов — их резвые, пружинистые прыжки скорее напоминали оленей, чем лошадей. Мы пожирали мустангов глазами, но понимали, что достаточно какого-нибудь неосторожного движения, и всполошившийся табун умчится, как вихрь, и исчезнет далеко за горизонтом.

Немного в стороне от сбившихся в кучу лошадей щипал траву прекрасный, сизо-стальной масти жеребец. Время от времени он обегал табун. Мы сразу поняли, что это вожак. Наши охотники больше всего следили за ним: от него зависело поведение всего табуна.

Ловцы, не теряя времени, приступили к выполнению хорошо задуманного плана. В своих действиях наши охотники исходили из глубокого знания повадок диких лошадей и решили сначала разными уловками приучить пугливых животных к виду людей. Хитрость здесь сочеталась с терпением. Наша группа продолжала двигаться в прежнем направлении, на виду у мустангов. Только несколько ловцов, тоже совершенно открыто, повернули в сторону табуна.

Одни сидели на конях, другие шли пешие. Их целью было привлечь к себе внимание диких лошадей.

Уже с дальнего расстояния охотники начали покрикивать ласковым голосом:

— Го-го! Го-го!

Сизый жеребец заржал. Все мустанги подняли головы и застыли на месте. Ноздри их раздувались, горящие глаза впились в приближающуюся группу людей. Табун не дрогнул и несколько минут не двигался. Потом вожак рванулся с места и помчался навстречу приближающимся ловцам. Воинственно фыркая, он, видимо, хотел отпугнуть дерзких незнакомцев.

Весь табун бросился за вожаком. На наших охотников несся, если можно так сказать, сплошной поток разъяренных лошадей. Среди оглушающего топота слышалось бешеное фыркание животных. Крепкие ноги злобно били о землю. Но, не домчавшись до ловцов, мустанги вдруг остановились как вкопанные и потонули в облаке пыли. Они некоторое время приглядывались и принюхивались к людям, потом повернули и стали не спеша отходить. Скоро табун исчез за ближайшим взгорьем.

На месте остался только сизо-стальной жеребец. Он словно бросал охотникам вызов на бой. С неудержимой яростью вожак мотал головой, вставал на дыбы, потом внезапно отталкивался от земли всеми четырьмя ногами или начинал вертеться, как собака, вздумавшая поймать собственный хвост. Прodelав все это, жеребец высоко задрал морду, поставил трубой серебристый хвост и так застыл, выражая полное презрение к охотникам. Его бешеные, горящие глаза словно металы молнии. Так показывал он врагам свою отвагу и силу. Наконец мустанг повернулся и рысью пошел к табуну. Ступал он легко, словно летел по ветру.

— Ах, Понокамита![22] — кричали наши ловцы. — Ты храбрый воин. погоди, скоро на твоей спине мы помчимся против кроу!

Пять дней наши ловцы терпеливо преследовали мустангов. Медленно продвигаясь вперед, воины рассчитывали на то, что любопытство заставит животных возвратиться к нам. Так и было: они возвращались несколько раз. А когда дикие лошади выказывали намерение покинуть нас надолго, наши всадники догоняли мустангов и снова начинали поддразнивать их.

Ловцы добились своего. С каждым днем мустанги становились все менее пугливыми. К концу преследования наши охотники могли уже громко перекликаться и даже танцевать вблизи табуна — мустанги продолжали спокойно щипать траву. Лишь когда охотники приближались на расстояние менее ста шагов, табун медленно отходил, уступая место людям. Животные убеждались, что двуногие существа не опасны; правда, они производят много шума, но не причиняют никакого вреда.

Ничто так не пугало мустангов, как тихий и невидимый враг. Они чутьем понимали, какая опасность грозила им от залегшего в кустах ягуара, подкрадывающегося волка или медведя. Поэтому даже легкий шорох мыши в траве мог вызвать дикий переполох и бегство всего табуна. Зато мустанги не обращали никакого внимания на мчащееся стадо бизонов, даже на грохот поезда в прерии. Они видели, откуда шли эти звуки, и умели защититься от явного противника. Поэтому они сравнительно быстро привыкли к шумным охотникам. Существа, так открыто держащие себя, не могли, в представлении му-

стангов, иметь злые намерения. Человеческого же коварства и хитрости табун не знал.

Вся наша группа лихорадочно готовилась к заключительной облаве и напоминала сейчас настоящий военный лагерь. Несколько охотников вместе с женщинами еще три — четыре дня назад уехали далеко вперед и где-то в прерии строили загоны и западни. Остальные охотники осторожно подгоняли табун, направляя его туда же. Нужно было много сметки и расчетливости, чтобы пугливые животные в самый последний момент не сорвали наш план. В качестве естественной ловушки было выбрано не очень широкое ущелье с крутыми, скалистыми откосами. В самой узкой части ущелья было поставлено ограждение из срубленных деревьев и камней, у входа же — сооружены засеки, образующие некое подобие огромной лежачей воронки. Через эту широкую горловину мы рассчитывали загнать табун в ущелье. Чтобы мустанги слишком рано не обнаружили засаду, все ограждения были покрыты свежими ветками растущих поблизости елок.

На десятую ночь все было готово. Табун удалось подогнать к самой запад-не.

Никто не ложился спать в эту ночь. Вскоре после захода солнца половина наших воинов отправились из лагеря, чтобы заблаговременно занять места вдоль ущелья. Всю ночь мы слышали вой волков, гуканье сов и плаксивые стоны пум — это перекликались наши охотники. Облава требовала самого точного распорядка и полной согласованности действий всех участников: даже пустяковый недосмотр мог сорвать весь задуманный план. Все принимали участие в облаве. После полуночи даже нас, детей, вывели из лагеря.

Сильный Голос не хотел идти вместе с ребятами; он заупрямился и требовал, чтобы его отправили со взрослыми, где будет происходить самое важное. За последние дни брат участвовал в серьезном деле — постепенном приручении мустангов — даже отличился в нем. В конце концов ему позволили идти с отцом в отряд загонщиков, которые должны были направить табун в приготовленную ловушку.

Мальчишки пошли вместе с женщинами и разместились у входа в западню, около засек. Нам велели соблюдать полную тишину, запретили даже шептаться.

Ничем не нарушаемое спокойствие царило вокруг. В темноте впереди маячили очертания ущелья, в которое надо было загнать мустангов, а сзади растянулись прерии — там, где-то невдалеке, отдыхал табун, ничего не подозревавший о своей судьбе. Волчий вой и гуканье сов — перекличка наших разведчиков — давно прекратились. Охотники заняли назначенные места и выжидали рассвета. Как и всегда ранней весной, стоял пронизывающий холод. Скорчившись на земле, мы дрожали — не столько от холода, сколько от возбуждения.

Светлая полоска, появившаяся на восточном краю небосклона, еще больше усилила наше волнение. Начинался рассвет решающего дня. Мы напрягали слух. Где-то неподалеку проснулась степная птичка, сонно щебетнула раз, другой и снова смолкла. И вдруг... что это? Еще какая-то птица?..

— Го... гооо! — тихонько доносилось издали, словно дуновение ласкового ветерка.

— Го... гооо! — через минуту снова пронесся звук, приглушенный, но уже

более явственный.

Мы узнали голоса наших загонщиков, осторожно будивших табун. Там были отец и Сильный Голос.

Небо на востоке посветлело, ближайšie кусты стали выступать из темноты. Внезапно мы услышали совсем другие звуки. Сначала это был только шорох. Он быстро приближался, потом явственно послышался глухой топот. Мустанги бежали прямо на нас. Сразу с обеих сторон раздался волчий вой: это притаившиеся охотники подавали друг другу сигналы — гнать табун в нужном направлении. Среди всего этого шума мы уже различали тревожное ржание кобыл, беспокоившихся о судьбе своих жеребят.

Все более гулко гудела земля под ударами сотен копыт. Табун несся, как лавина, лошади ржали от страха, и громче других звучал трубный голос, напоминавший не то рычанье льва, не то рев разъяренного быка. Это выказывал свое бешенство огромный серый жеребец, вожак табуна.

Мы увидели его. Он несся во главе табуна, опередив других лошадей на сотню шагов. Это было воплощение злобы и силы. Он яростно поворачивал голову то вправо, то влево, высматривая врага. Когда он промчался мимо нас, мы вскочили на завал и принялись кричать что было сил и махать руками. Такие же крики подгоняли табун сзади. Мустанги, ошалевшие от невообразимого шума, в диком ослеплении мчались прямо в ловушку. Гладкие спины коней проносились мимо нас, как бурная река в половодье.

Вдруг жеребец врылся копытами в землю и замер. Видно, он почуял впереди что-то опасное. Вожак пытался остановить и табун, но это было уже не в его силах. В первый раз лошади оказались непослушными его воле. Неудержимый разгон табуна гнал серого жеребца вперед...

В жоака словно вселился бес. Должно быть, никогда еще этот могучий дикарь не испытывал такого позора и унижения. Он сделал безумный скачок вверх и пронзительно заржал. Ярость душила его. Он не ржал — он проклинал. Он поносил табун, землю — весь белый свет... Он был готов вступить в драку со всем табуном и неистово грыз соседей. Адский визг взбесившихся лошадей раздавался вокруг него. Он так и не смог сдержать охваченный ужасом табун. Уступая напору, жеребец взвился на дыбы и помчался вперед, в самую пасть ловушки...

Никогда еще я не видел стольких лошадей в одном плотно сбившемся табуне. Мустанги все мчались и мчались. В самом конце его прыгали жеребята, в суматохе потерявшие своих матерей. Когда последние мустанги прошли в ущелье, мы все бросились за ними и завалили деревьями вход. Мустанги были в западне. Люди одержали победу над стихией! Мы не помнили себя от радости... Взошло солнце.

Охотники хотели было сразу поймать серого жеребца с помощью лассо, но тут-то и проявилась его неопиcуемая ярость. Конь не только защищался — он нападал сам! Вожак тяжело поранил четырех воинов и затоптал бы их на смерть, если бы товарищи не бросились им на выручку.

— Понокомита акаи макапе! (Это очень злой конь!) — кричали охотники.

И в самом деле, серый вожак представлял собою редкое явление даже среди диких мустангов, это был настоящий убийца. Жеребец молниеносно наносил удары копытом, кусался, как дьявол, и способен был загрызть противника насмерть. Отогнав охотников, он тут же в беспамятстве ринулся на двух молодых

жеребцов и зубами мгновенно разорвал им глотки.

Наученные горьким опытом, охотники держались настороже. Взобравшись на завал, они старались сверху накинуть лассо на страшного жеребца. Это были мастера лассо, но и на этот раз им не удалось справиться с ним. Серая bestия обладала сатанинской хитростью и ловкостью.

Жеребец не спускал глаз с летящего на него лассо. Когда оно уже должно было обвить его шею, он в последний миг с проворством куницы отскакивал в сторону, и ремень падал на землю. На этого дикаря не было управы. Он ждал, широко расставив ноги, и, казалось, издевался над охотниками. Никто, даже самые старые воины нашей группы, не видел подобного зверя.

Чтобы добраться до табуна, необходимо было отделить осатаневшего жоака от остальных лошадей. Это удалось только при помощи зажженных факелов. Жеребца загнали в угол и там заперли в наскоро построенном малом загоне. После того как он был изолирован, наши охотники принялись накидывать лассо на лучших лошадей. До вечера из табуна отобрали около двухсот голов, а остальных отпустили на волю.

Так мы добыли лучших скакунов на всем северо-западе и стали самой богатой группой племени черноногих.

На следующий день началась кропотливая и трудная работа по приручению мустангов. Четверо охотников держали коня на ремнях, охватывающих его шею, а пятый накидывал на него узду. Но прежде надо было успокоить мустанга так называемым «конским языком» — глухим бормотаньем, производившим на животное удивительно успокаивающее действие. Потом по целым дням перед глазами мустанга махали одеялом, прикасались рукой к его ноздрям и другим частям головы. После того как конь был взнуздан, приступали к постепенному оглаживанию всего корпуса и, наконец, клали на спину одеяло. И вот наступал апофеоз подчас многонедельной работы: на коня можно было садиться верхом. Начиналась дрессировка, и после нескольких недель приручения дикое животное превращалось в то чуткое и послушное орудие человека, каким был скакун в руках индейца прерий.

Между тем содержащийся в малом загоне жеребец все еще не давался в руки людям: набросить на него лассо было невозможно. Решили попытаться приучать его день за днем к присутствию хлопотавших поблизости людей.

Ночью произошло то, чего никто не ожидал: жеребец сбежал. Он вскарабкался на завал, перелез через него, а второе заграждение развалил грудью, со всего разгона бросаясь на препятствие. Он умчался на восток.

Когда через некоторое время мы свернули лагерь и ушли с этого счастливо-го для нас плоскогорья, направляясь к прериям, то в первые дни мы шли по следам бешеного жеребца. По дороге мы нашли семь павших лошадей — это были жеребцы и матки, убитые жоаком. Опытные воины говорили, что жеребец взбесился в тот момент, когда потерял власть над табуном. Он превратился в беспощадного убийцу себе подобных; он сеял вокруг себя смерть.

Несколько лет жеребец скитался по прериям Монтаны и Альберты. Никто не видел его днем. За ночь он пробежал огромные пространства, неожиданно появляясь то тут, то там, и всегда со злобными намерениями. В лунные ночи его часто видели на взгорьях вблизи индейских лагерей и ферм поселенцев. С развевающейся гривой он стоял над долиной, как памятник, — великолепный в своей ярости легендарный властитель прерий. Индейцы прозвали его Шун-

катанка-Вакан — «конь-призрак»...

Тучи над прериями

В ту весну наша группа возвращалась в свои любимые прерии. Мы были довольны жизнью как никогда. Кроме мустангов, за время зимней охоты мы добыли немало количество шкурок пушного зверя. Спешить было некуда, поэтому по пути мы охотились в Скалистых горах на оленей. Посчастливилось нам убить и нескольких медведей-гризли. Пищи было вдоволь. То тут, то там встречались индейцы, и молва о наших успехах широкой волной катилась впереди нас по горам и прериям. Пышные, красивые весенние цветы покрывали долины. Солнце и цветы — употребляя старинное индейское присловье — были и в наших сердцах.

В горах Южной Альберты, уже неподалеку от родных мест, мы неожиданно встретились с отрядом белых людей. Их было около двадцати. Они принадлежали к королевской конной полиции, известной во всей западной и северной Канаде под именем Royal Mounted. Их ярко-красные мундиры были так красивы, что мы, дети, не могли оторвать от них глаз. Во главе отряда ехал человек в обычном костюме белого охотника, а рядом с ним, к нашему изумлению, мы увидели двух индейцев племени черноногих из северной группы сиксиков. Как оказалось, этот человек в гражданском костюме был посланцем канадского правительства. Он выехал в горы специально для встречи с нами. Двое из Черных Стоп, оба старейшины, служили ему переводчиками.

Встреча была торжественной. Агент канадского правительства велел нам остановиться и пригласил нашего вождя к своему костру выкурить «трубку мира» и побеседовать. Прежде чем отправиться к агенту, Шествующая Душа коротко посоветовался с нашими старейшинами. Присутствие двух воинов сиксиков в отряде белых объяснило нам, чего нужно канадцам; оба индейских старейшины были известны как перебежчики, перешедшие на службу к белому человеку. Мы знали, что последует: нам предложат полностью подчиниться власти и воле белых пришельцев. Мы теперь были богаты конями, шкурами, продовольствием; нам и в голову не могло прийти отречься от свободы.

Шествующая Душа поручил людям держать оружие наготове, а сам в сопровождении шамана Кинасы и нескольких выдающихся воинов отправился к представителю канадского правительства.

Едва наши уселись возле костра и выкурили «трубку мира», как один из сиксиков от своего имени и от имени канадского агента поздравил нас со счастливой охотой, о которой все уже знали. Вслед за тем он спросил, дошли ли до нашего слуха вести о великих переменах, которые в последние месяцы произошли в прериях и происходят каждый день.

После минутного молчания Шествующая Душа ответил со всей серьезностью:

— Знаем об этих переменах: солнце с каждым днем греет все сильнее и трава растет все лучше.

— Это насмешка, — заявил канадец, — свидетельствующая о том, что храбрый вождь не понимает того, что происходит в прериях. Прерии заполняются белыми поселенцами.

— Много лет посланцы правительства повторяют нам то же самое! — возразил Шествующая Душа.

— Но на этот раз дело обстоит совсем иначе, — настаивал агент. — Вы должны верить моим словам. Люди в восточных городах нашей страны узнали о том, что в западных прериях есть урожайная земля, и начали великий поход в эти края. Время вашей охоты кончилось!

Наши старейшины слушали эти слова со сдержанным недоверием.

— Все племена, — продолжал канадец, — на юг и на восток от вас заключили договор с правительствами Соединенных Штатов и Канады и находятся теперь в резервациях, где им очень хорошо. Многие группы черноногих тоже согласились отказаться от кочевой жизни. Следуйте их примеру!

Агент разложил на земле пачки долларовых бумажек; они похожи были на разноцветный ковер. Веял легкий ветерок, и на бумажки пришлось положить комья земли, чтобы они не разлетелись.

— Вот первый наш взнос долларами. Если вы подпишете договор и уступите правительству ваши земли, вы каждый год будете получать такую же сумму...

— Зачем ты прикрыл свои деньги землей? — насмешливо спросил Шествующая Душа. — Разве они такие ненадежные? Или они разлетаются, как сороки?

— Сиу, — как бы не заметив насмешки, продолжал агент, — называют эти бумажные банкноты «маса ска», что значит «белый металл», ибо каждый такой билет можно обменять на звонкие серебряные монеты. На них легко приобрести все, что имеет для продажи белый человек. Эти деньги — большая ценность и сила.

Наш вождь взял в руки один из долларов. На нем была изображена голова человека.

— Стики кики насы! — удивленно воскликнул он, обращаясь к своим спутникам.

Слова эти на нашем языке означали: «лысая голова». С того дня у черноногих пошел обычай называть канадские доллары «лысой головой».

— Это великая ценность и сила! — явно теряя терпение, воскликнул агент.

Шествующая Душа взял комок глины, размял, сделал из нее шарик и положил в огонь. Шарик накалился, но не треснул. Тогда вождь обратился к агенту:

— А теперь дай мне горсть твоих долларов. Мы положим их рядом с этим глиняным шариком. Что скорее поддастся огню, то будем считать менее ценным.

Агент отрицательно покачал головой:

— Мои доллары сгорят скорее: они из бумаги. Но это ничего не доказывает, вождь...

— Тогда сделаем иначе, — согласился Шествующая Душа.

Он вынул из-за пояса кожаный мешочек, наполненный сухим песком, и протянул его канадцу:

— Высыпь песок на свою ладонь, считай зерна. А мне дай свои доллары, я тоже буду их считать. То, что можно скорее сосчитать, — в том меньшая ценность.

Агент заглянул в мешочек и тут же вернул его вождю:

— Ты все забавляешься, шутишь! Я не сосчитал бы этих песчинок и до конца жизни. Понятно, что ты скорее сосчитаешь мои доллары.

— Значит, наша земля имеет большую ценность, чем ваши доллары, — заявил Шествующая Душа. — Земля наша будет существовать вечно. Неисчислимые поколения людей многие зимы живут на ней, издавна водятся на ней звери и другие полезные животные. Мы не можем продать вам ни земли, ни животных. Великий Дух создал для нас эти края. Легко сосчитать ваши доллары или обратить их в пепел, но только Великий Дух может пересчитать зерна песка и стебли трав в наших прериях...

Агент встретил отказ сдержанно, скрывая гнев. Должно быть, он не хотел окончательно сжигать за собой мосты. И он произнес спокойным, даже доброжелательным тоном:

— Меня прислала сюда Великая Белая Мать, властвующая над этой огромной страной, простирающейся от Кеватину, Страны Северного Ветра, через Кисаскачеван, Быструю реку, до самого Западного моря. Великая Белая Мать желает, чтобы вы заключили с нами договор и жили в мире, под нашей опекой. Вы никогда не придете к согласию с «голубыми мундирами» — американцами. Поэтому, если они вас будут преследовать, с полным доверием приходите к нам. Всегда смотрите на север и знайте, что здесь страна ваших друзей, «красных мундиров». Вам будет хорошо у нас среди ваших братьев, северных сиксиков.

На прощанье канадец окинул наших старейшин пронизывающим взглядом и, погрозив пальцем, сказал:

— Помните, что прерии теперь уже не те, какими вы их покинули прошлой осенью. В прерии прибыло много фермеров с востока и поселилось там. Их нельзя обижать! Их жизнь и имущество находятся под особой защитой «красных мундиров». Кто провинится перед фермерами, того Royal Mounted будет преследовать хотя бы до самого моря.

— Значит, по твоим словам, белые люди осели на наших землях?

— Да, отчасти это так.

— По какому же праву? Ведь некогда канадское правительство подписало с нами торжественный договор и признало за нами вечные права на эти охотничьи угодья.

— Правильно. Но правительство наше бессильно против стихийного движения фермеров, едущих в прерии. То, что происходит сейчас, делается без его согласия.

— Значит, белые фермеры отбирают у нас земли без согласия правительства?

— Да...

— Так почему тогда «красные мундиры» не прогонят этих нарушителей закона? Почему, наоборот, они берут их под свою защиту? Ты говоришь, что нас, исконных хозяев этой земли, будут преследовать. За что? За то, что мы хотим защитить нашу собственность от тех, кто незаконно отбирает ее у нас? Это ли ты имеешь в виду?

Агент не знал, как ответить на такой прямой вопрос. Он пожал плечами.

— Именно потому я и приехал сюда, — сказал он. — Если бы вы согласились продать ваши земли...

— Об этом не может быть и речи!

Весь следующий день после встречи с канадцами мы продолжали путь к родным местам и скоро вышли из полосы Скалистых гор. Лесистые предгорья,

поднимавшиеся вокруг нас, были уже границей наших охотничьих владений, признанных другими племенами. Еще один день похода — и мы приблизились к прелестным долинам, которые были сердцем нашей отчизны. В одной из этих долин мы ежегодно, в течение многих лет, разбивали свои зимние лагеря, укрываясь на несколько месяцев от сильных морозов.

Это были несказанно прекрасные места. Прекрасные в нашем, индейском, понимании этого слова — они изобиловали пищей. Тут вдоволь было пушного зверя в лесных чащах, рыбы в озерах. Мы нередко в шутку говорили, что Край Вечной Охоты, куда мы отправимся после смерти, вряд ли будет прекраснее. Мы не видели в этом преувеличения — пышная красота природы радовала здесь взор и сердце.

Разговор с канадским агентом вызвал в нашем лагере понятное беспокойство. Было решено поскорее пройти места наших зимних стоянок и в южных прериях отыскать другие группы черноногих, чтобы разузнать от них подробнее, как обстоит дело.

Мы еще не успели покинуть предгорья, как тревожные признаки надвигающейся беды остановили наше движение: мы обнаружили следы белых людей, но не тех, с которыми мы расстались два дня назад. Их было, по-видимому, много; они расположились лагерем где-то невдалеке отсюда. Они даже не старались скрываться, и наши разведчики без труда выследили их лагерь.

Мы были потрясены. Самые худшие предчувствия сбывались. В широкой долине, невдалеке от места нашего зимнего лагеря, уже расположилось более двух десятков белых поселенцев, и, видимо, навсегда. Это можно было заметить по некоторым признакам: они приехали с семьями, привезли с собой имущество, поставили уже первые дома из грубо отесанных бревен, а в кораллах держали скот и лошадей.

Численный перевес был на нашей стороне, и мы не боялись этой встречи. В каком-нибудь километре от домов поселенцев мы стали лагерем на холме, удобном для обороны. Вождь Шествующая Душа и мой дядя Раскатистый Гром немедленно направились в сторону поселка.

Поселенцы, встревоженные нашим появлением, подняли тревогу. Все мужчины с оружием в руках заперлись в самом просторном доме, напоминавшем небольшую крепость. Построенный немного в стороне, на возвышенности, он господствовал над всей долиной.

— Хэлло! Хэлло! — крикнул наш вождь, еще не дойдя до дома.

Только после неоднократных окликов из дома вышли и стали приближаться к нам двое мужчин. В руках у них были ружья, но Шествующая Душа и Раскатистый Гром издали показали им знаками, что они безоружны.

— Но армс! Но армс! (Без оружия! Без оружия!) — громко крикнул Раскатистый Гром.

Двое поселенцев после некоторого раздумья оставили ружья возле дома и подошли к нашим. Один был человек средних лет, обросший темной бородой, другой помоложе. Оба выглядели людьми грубыми, неотесанными и самонадеянными; они свысока смотрели на двух индейцев.

— Ну, чего надо? — грубо спросил бородатый поселенец, презрительно кривя губы.

— Это мы должны спросить, чего вам здесь надо! — твердо ответил Шествующая Душа.

— Ты, наверно, слепой, если не видишь... — и поселенец широко обвел во-круг рукой.

— Вижу, — отозвался вождь, — вижу, что вы распоряжаетесь здесь, словно эта долина принадлежит вам.

— Она нам и принадлежит, краснокожий брат!

— По какому праву?

— По этому!

Бородач поднес сжатый кулак к самому лицу вождя, полагая, что испугает его этим. Но на лице Шествующей Души не дрогнул ни один мускул.

— Когда приходит цивилизация белого человека, — высокомерно сказал поселенец, — ей должны уступать дорогу дикие звери, гремучие змеи и индейцы! Заруби это себе на носу!

— На твой кулак найдутся другие кулаки. Мы хорошо вооружены. И земля эта принадлежит нам с незапамятных времен.

— А у нас есть новенькие двадцатизарядные винтовки Мы сплоченная группа пионеров. Я прибыл с юга, из Колорадо и уложил там не одного краснокожего!

— Ты громко кричишь и строишь из себя смельчака но приходишь на наши земли как трусливый грабитель.

— Врешь!. Это уже не ваша земля! Эту землю у вас купило канадское правительство.

— Еще не купило, нет!.. Три дня назад агент канадского правительства уговаривал нас, чтобы мы продали ему наши владения. Если он так добивался этого, значит, земля эта все еще наша. Понимаешь ты это?

— Он, наверно, сумасшедший, твой агент!

— Агент сказал еще больше. Сказал, что вы вторгаетесь в прерии незаконно, без согласия правительства... по праву кулака, который ты только что показал.

— Агент лжет.

— А ты разве не лжешь?

На этом переговоры закончились, и наши посланцы вернулись в лагерь.

Созванное немедленно совещание всех воинов протекало очень бурно. Многие молодые и горячие головы предлагали, не теряя времени, ударить по наглым захватчикам и уничтожить их поселок. «Канадское правительство, — говорили они, — должно уважать свои прежние договоры, и оно станет на сторону индейцев». Опытные же воины были иного мнения и советовали сначала обсудить дело с другими группами черноногих, а уж затем идти в поход против поселенцев. Эти рассудительные люди оказались в большинстве, и их мнение взяло верх.

Наша группа отошла более чем на десять километров и разбила лагерь в небольшой, хорошо укрытой долине. Наши постарались не оставлять за собой следов, чтобы поселенцы не знали, где находится наш лагерь. Несколько посланцев поехали от нас к другим группам племени. Они должны были спросить совета, как нам быть, и потребовать от сородичей помощи.

В то же время наши разведчики стали зорко следить за поселком. Трудно было сдерживать наших молодых воинов — они рвались в бой. В те дни нашим старейшинам немало хлопот причинила излишняя горячность молодежи, но все-таки привычка повиноваться старшим победила. Некоторые из мо-

лодых отправлялись на холмы вблизи поселка и, показываясь издалека с оружием в руках, лишь беспокоили поселенцев.

Появление белых захватчиков в этой прекрасной местности обрушилось на нас, как тяжелый удар. Долины эти мы с давних времен считали своим священным достоянием. Они олицетворяли для нас все самое дорогое и родное. Здесь мы находили приют в суровые зимы, здесь отбивались от враждебных племен. И вот грубые и наглые захватчики лишили нас мира и покоя, они топчут своими сапогами чудесные наши луга. Они не только отнимают у нас земли, но и грозят истребить нас наравне с дикими зверями...

Через несколько дней начали приходить вести от других групп нашего племени. Вести были неблагоприятные, прямо-таки гнетущие: во многих местах происходило то же самое, что и у нас. Белые поселенцы появились и там и, никого не спрашивая, строили поселки в самых плодородных долинах. Выступать против них с оружием в руках при этих условиях было бы безумием, самоубийством... Все вожди групп призывали нас быть рассудительными, тем более что наш влиятельный вождь Ниокскатос уже начал переговоры с представителями канадского правительства.

Нашествие фермеров на прерии Альберты делало для нас бессмысленным дальнейший переход на север. Мы решили идти на юг, в Монтану, оставив в покое поселок белых в нашей долине.

В последние дни поселенцы дали нам понять, что хотят пойти с нами на мировую. Столкнувшись лицом к лицу с отрядом наших охотников, они сообщили, что хотели бы еще раз переговорить с нашим вождем. Шествующая Душа согласился.

Встреча состоялась на том же самом месте, что и в первый раз. Но теперь пришли сразу несколько поселенцев. От их имени говорил другой человек, такой же бородатый. С первых же слов он старался произвести на нас выгодное впечатление.

— Прерии обширны, — сказал он, — в них достаточно места для вас и для нас. Мы пришли сюда, получив заверение правительства, что оно полностью уплатило вам за эти земли. Мы хотим жить с вами в дружбе и согласии. В доказательство этого мы готовы заплатить вам щедрую цену за земли, которые лежат вокруг нашего поселка.

— Нет такой цены! — ответил вождь.

— Это неверно: каждая вещь имеет свою цену, — живо возразил поселенец. — Мы охотно уступим вам то, что считаем самым ценным: наш живой инвентарь. Дадим вам пять штук наших коров за землю, которую можно объехать рысью за один летний день от восхода до заката солнца.

Это была до смешного низкая цена за такое огромное количество земли. В словах поселенца звучали наглость и скрытое издевательство.

— Нет! — ответил Шествующая Душа, собираясь уходить.

— Подумай хорошенько, вождь! Пользуйся случаем, пока мы хотим решить дело добром. Плохо вам будет, когда мы потеряем терпение!.. Скот, который мы вам предлагаем, будет стоять вон в том корале, в долине, в стороне от поселка. Вы можете в любую минуту забрать его оттуда, разумеется выдав соответствующую расписку, что мы законно купили у вас эту землю.

Поселенцы хотели «законно» получить от нас за бесценок огромную территорию, равную большому уезду в европейском государстве. Видимо, они уже

заранее решили начать торговлю землей, предвидя новый наплыв пришельцев с востока.

— Нет! — повторил вождь, и это было его последним словом.

В этой местности мы прожили еще несколько дней, не слишком стараясь скрываться от жителей нового поселка. Как и обещал их посредник, они вывели пять коров и поставили их в небольшой кораль возле речки. Некоторые воины из любопытства пошли туда, чтобы вблизи поглядеть на «наших коров». Вернувшись, они отплевывались: от коров воняло навозом.

Старший брат Сильный Голос незаметно подал мне знак. Я вышел за ним из вигвама.

— Пойдешь со мной? — спросил брат, когда мы остались одни.

— Куда?

— К коровам, в долину.

— Пойду!

Родители категорически запретили ребятам разгуливать без присмотра вблизи поселка. Белым чужеземцам нельзя было доверять. Для вида мы с братом сначала пошли совсем в другом направлении, потом, за холмами, сделали круг и очутились возле коралья в самую удобную минуту: никого из наших не было видно в долине. Мы остановились в нескольких шагах от животных с подветренной стороны. Душный, сладковатый запах навоза вызывал тошноту, и мы перебежали на другую сторону.

В корале стояли две коровы, два вола и бык. Все они были какие-то вялые, видимо больные. Это можно было понять по их худобе и понуренным головам. Даже и тут поселенцы хотели обмануть нас!.. Только бык проявлял еще какие-то признаки жизни: увидев людей, он замычал раз, потом второй...

— Не любит нас! — засмеялся Сильный Голос.

— Мы его тоже! — бодрился я.

С нами были луки — у брата побольше, у меня поменьше.

— Может быть, всадить стрелу в эту вонючую тушу? — вопросительно посмотрел на меня брат.

— Ой, не надо! — испугался я. — Не убивай его!

— Да я и не думаю убивать! Просто одну стрелку в зад, а? Как ты думаешь, подскочит бык или нет?

Я не знал, что ответить. Нас мучило любопытство. Все сильнее становилось искушение, и долго устоять против него мы не смогли. Было решено пустить одну стрелу, но из моего, маленького лука. Такая стрела не причинит быку большого вреда, но мы полюбуемся всласть на то, как он себя поведет.

Брат спустил стрелу; она попала быку в бедро, войдя в тело на длину моего пальца. К нашему изумлению, бык подскочил и громко взревел. Он отчаянно старался ухватить стрелу губами.

Это зрелище доставило нам большое удовлетворение, нас охватил ребячий восторг. Мы почувствовали себя благородными мстителями за все понесенные обиды. Бык олицетворял в наших глазах жадных поселенцев. Ребята проявляли недовольство взрослыми за то, что они пошли на попятный, и стрела в бедре быка как бы восстанавливала нашу честь. С победной песней на устах возвращались мы в лагерь, но решили пока ничего никому не говорить.

На следующее утро, с рассветом, наша группа выступила в поход на юг. Волнистые прерии и тихие долины Монтаны казались нам раем по сравне-

нию с севером Канады, где мы столкнулись с многими бедами.

Нашим охотникам повезло: они встретили стадо антилоп. Несколько животных удалось подстрелить. Хорошее начало пробудило надежду и прибавило нам бодрости. Был конец весны, погода нам благоприятствовала. Мир, наполненный солнечным теплом, казалось, снова начал улыбаться нам.

На расстоянии примерно двух дней пути от берегов Миссури мы заметили на горизонте облака пыли. Они приближались с востока.

— Бизоны! — крикнул кто-то, не в силах скрыть радость.

Но уже через минуту выяснилось, что это не бизоны, а длинная вереница повозок. Из восточных штатов в прерии тянулись поселенцы. Они ехали нам навстречу. Мы остановились на холме, чтобы пропустить их мимо себя... Значит, и тут, в Монтане, происходит то же самое, что и на севере: все больше белых людей вторгается в наши прерии!

Медленно тянулось несколько десятков фургонов. В каждой запряжке шло от шести до полутора десятков волов. Вокруг повозок гарцевало множество всадников. Увидев нас, они насторожились, но продолжали двигаться вперед, не сворачивая с намеченного направления. Колонна лишь приняла боевой порядок, люди держали оружие наготове. Проходили они мимо нас на расстоянии неполных трехсот шагов. Мы стояли неподвижно, словно каменные изваяния, в полном молчании. Поселенцы тоже ехали молча, но по их напряженным лицам мы видели — они ждут, что предпримем мы. Скрип колес нарушал тишину — впервые в этих местах.

Несколько всадников ехали за последними фургонами.

— Хау! — слышался приглушенный возглас нашего вождя. — Тот, третий всадник от конца! Видите его?

— Рукстон! — изумленно прошептал мой отец.

— Рукстон!.. Рукстон!.. — пронеслось по нашей группе, как грозный рокот бури.

Но ни одним движением не выдали мы впечатления, которое произвело на нас появление в прериях этого зловещего человека.

Повозки прошли. Шествующая Душа хотел убедиться, точно ли это Рукстон. Он послал за фургонами опытного воина, у которого было острое зрение и который хорошо знал американца. Воин поехал вслед за последней группой поселенцев, но скоро вернулся.

— Рукстон! — подтвердил разведчик.

Две ночи

Появление в прериях Рукстона, этого грабителя, укравшего наших коней, не сулило ничего хорошего. Мы решили быть еще осторожнее. Владея большим числом мустангов, мы умножили свою славу и богатство, но — увы! — это принесло нам и новые заботы: надо было охранять табун. Для верности Шествующая Душа отправил вслед за повозками поселенцев еще двух разведчиков. Его интересовало, куда направляется эта колонна и что замышляет Рукстон?

Под вечер следующего дня вернулся один из разведчиков. Он привез сообщение, что прошлой ночью Рукстон и трое других белых отделились от колонны и повернули обратно — видимо, к тому месту, где они встретились с нами. Поселенцы же направились своим путем — дальше на запад. Разведчики сначала видели следы Рукстона в траве. Потом пошел сильный дождь, и следы исчезли.

Шествующая Душа немедленно разослал в разных направлениях небольшие группы воинов, приказав им тщательно осмотреть местность вокруг нашего лагеря. Правда, утренний дождь смыл все прежние следы, но тем отчетливее должен был выступить на земле после дождя каждый свежий след. Наши патрули подробно выяснили, что происходило в это время: Рукстон действительно подъезжал к нашему лагерю, некоторое время наблюдал за ним издали, потом вместе с тремя спутниками ускакал на юг. На юге лежал край, где обитало племя кроу. Неужели Рукстон поехал к ним?

Нам нужно было держаться как можно дальше от белых поселенцев и Рукстона. Группа направилась на восток. Несколько недель кочевали мы между Миссури, Молочной рекой и подножием Скалистых гор. Бизонов там совсем не было, другого зверя тоже стало меньше, чем в прежние годы. Коней своих мы берегли как зеницу ока и на ночь выставляли многочисленную охрану.

В этот период нас, ребят, охватило неудержимое желание бродить в одиночку или группами. Эти наши прогулки продолжались порой по нескольку дней. Мы охотились в прериях, стреляя дичь из луков и даже из ружья, которое один из ребят потихоньку взял у своего отца. Питались мясом небольших зверьков и мечтали о великих подвигах.

Однажды мы впятером оказались в нескольких километрах от лагеря. Нам удалось подстрелить несколько степных перепелок, и теперь мы жарили их над костром, который развели в укрытии, за кустами, неподалеку от берега какой-то речушки.

Внезапно на том берегу послышались детские голоса. Язык был индейский, но чужого племени. Схватив оружие, мы поспешили к месту, где речку легко можно было перейти вброд. Ошибки не было: пришельцы направлялись к нам. Весело переключаясь, они по дороге собирали в кожаные ведра ягоды саскатуна[23]. Ребят было четверо — все примерно нашего возраста.

Как только они перешли на наш берег, мы выскочили из-за кустов и, навевая оружие в упор, грозно закричали:

— Ни с места, койоты! Мы черноногие и сейчас вас уьем!

Результат был ошеломляющим. Пришельцы завопили от страха и, не зная что делать, неожиданно засыпали нас ягодами саскатуна из своих ведер. Этот град, в свою очередь, ошеломил нас, и мы отскочили на несколько шагов. Что

делать дальше, никто не знал. Мы смотрели друг на друга разинув рты, словно свалились с луны. И вдруг все одновременно расхохотались. С помощью знаков мы спросили, кто они, какого племени.

— Кроу... — показали пришельцы руками.

— Из какой группы?

— Окоток.

Как тень злого духа, возникли передо мной воспоминания о событиях прошлого года: нападение группы Окоток на лагерь моего дяди Раскатистого Грома, гибель Косматого Орленка...

— Так вы враги? — закричали наши ребята.

— Да... — несмело признались ребята Окоток.

Сильный Голос приступил к переговорам:

— Вы умеете играть?

— Во что?

— В бег наперегонки.

— Ни у кого нет таких быстрых ног, как у нас! — похвалились пришельцы.

— А конные скачки у вас бывают?

— На каждой стоянке.

— А стрельба из лука? — настаивал Сильный Голос.

— Ежедневно.

— А плавать вы любите?

— Ого, еще как!

Это решило всё. Мы пригласили их к костру отведать перепелок. Правда, дичь немножко подгорела, но она и такая пришлась всем по вкусу. Мы быстро забыли о вражде, разделяющей наших отцов. Нам было хорошо с этими ребятами, и мы решили переночевать здесь же вместе с ними.

Сколько было разных рассказов!.. Нас, правда, удивляло, что о многих делах они рассуждали так же, как и мы.

— Разве это не удивительно? — тихонько спросил нас Сильный Голос.

— Удивительно... — ответили мы.

— Как тебя зовут? — спросил брат старшего из ребят группы Окоток.

— Черный Мокасин. А тебя?

— Сильный Голос.

Нам захотелось осмотреть их оружие. Они ответили, что у них только один лук.

— Что-о? Только один лук?.. И вы покидаете лагерь с одним луком?

— Мы вышли собирать ягоды.

Осмотрев их лук, мы убедились, что он неплохой. Один из наших ребят сказал:

— У нас никто не выходит без оружия. Смотрите, у нас есть даже ружье.

— А кто из вас умеет стрелять из ружья?

— Все... — соврали мы, но тут же поправились: — Почти все... Мы — охотники! Ягоды саскатун у нас собирают только девчонки.

— Я тоже собирал... — вырвалось у меня, но старшие товарищи посмотрели на меня укоризненно.

— Малыши у нас тоже собирают, это верно! — сказал кто-то, и я почувствовал, насколько пренебрежительно это было сказано.

Нужно было немедленно вернуть уважение к себе. Я решил рассказать ка-

кую-нибудь волнующую историю, чтобы заинтересовать ею ребят из группы Окоток. Я спросил:

— Кто из вас убил бизона?

Оказалось, что никто.

— А мой брат Сильный Голос в прошлом году из своего лука убил бизона!

— Правда? — изумились наши новые знакомые.

— Ну уж, какой там бизон! — скромно махнул рукой Сильный Голос, но видно было, что он очень доволен.

— Бизон был могучий, как медведь-гризли! — уверял я.

— Э-э-э, зачем преувеличивать! Он был не больше черного медведя... — возражал брат. — Я всадил в него всего шесть стрел. А он, — показал на меня брат, — вогнал седьмую стрелу, и тогда бизон перестал биться... Живучим оказался!

— Хау, хау! — не переставали удивляться ребята из группы Окоток.

Они все с большим интересом посматривали на нас. Черный Мокасин сокрушался:

— Эх, жалко, нет трубки! Мы бы выкурили ее за вечную нашу дружбу!

— Ничего, останемся друзьями и без трубки! — заверил Сильный Голос.

Желая похвастаться, один из ребят группы Окоток сообщил:

— А в нашем лагере есть четверо американцев!

— Мы знаем об этом, — ответил Сильный Голос, делая важную мину. — Это Рукстон и трое из его шайки.

На лицах ребят группы Окоток отразилось нескрываемое удивление. Кто-то из них крикнул:

— От вас ничего не скроется!

— Конечно, — скромно ответил брат. — Рукстон очень плохой человек. Но вы, кроу, любите его.

— Не все! — возразил один из ребят группы Окоток. — Мой отец зол на него.

— Мой тоже! — признался еще один.

Разговор зашел о прошлогоднем нападении Рукстона и кроу на лагерь дяди и о том, как мы угнали у кроу сорок коней. Ребята из группы Окоток были тогда в вигвамах, по которым стреляли наши. Теперь они с явным недоверием приняли наш рассказ о том, что и мы активно участвовали в боевых действиях.

— А помните вы свою загородку, где стояли лошади? — спросили мы.

— Да, помним.

— Ваши лошади были у самой реки, а мы притаились на другом берегу.

— Так близко? И не боялись?

— Не было времени бояться! — с большим достоинством ответил брат. — В этой битве, под градом пуль, закалялись наши сердца.

После таких возвышенных слов Сильного Голоса наступило минутное молчание. Я прервал его:

— А вы, кроу, боялись тогда? Скажите правду.

— Немножко.

Это искреннее признание очень тронуло нас. Мы заявили, что теперь не будет более верных друзей, чем черноногие и кроу. С этим чувством все улеглись спать, прижавшись друг к другу. Рано утром наши новые друзья распро-

стилились с нами.

По мере приближения к дому нас начали тревожить сомнения. Совесть мучила каждого. Уже много недель наши отцы ни о чем другом не говорили во время бесед у костра, как об опасности, грозившей нам со стороны кроу. Могли ли мы теперь признаться старшим, что встретили ребят из этой группы и что нам было хорошо с ними? Нет, сто раз нет! Ребятня честь повелевала нам сохранить тайну и любой ценой отстоять нашу дружбу с ребятами из группы Окоток. Уже около вигвамов мы, пятеро, пожали друг другу руки и поклялись молчать.

В лагере все было в полном порядке. Никто не обратил особенного внимания на наше отсутствие. Уже не в первый раз мы отправлялись в такие долгие прогулки.

Мать, как обычно, встретила меня вопросом:

— Ну, как там было? Хорошо?

— Хорошо, мама.

— Было что-нибудь интересное?

— О да!.. Нет, нет... собственно, ничего!

Мать внимательно посмотрела на меня, а я отвернулся. Не говоря больше ни слова, она сытно накормила меня. Из таких далеких походов человек всегда возвращался голодным как волк. Наевшись оленьей печени, я впал в блаженное состояние. Родной вигвам был на редкость уютным, близость матери успокаивала.

— Мать, — спросил я, — это очень плохо, когда имеешь много друзей?

— Наоборот, Маленький Бизон! Чем больше друзей, тем лучше для человека. А что?

— Я тоже так думаю... Тут нет ничего плохого...

Язык у меня так и чесался. Мать была очень добра ко мне и достойна неограниченного доверия. Но я ни на минуту не забывал о протянутой товарищам руке и о клятве. Нет, я их не выдам!.. С матерью, которая не могла ни о чем догадаться, можно было вести невинный, хитрый, замаскированный разговор, подсмеиваясь в душе над тем, что она ничего не понимает.

— Мама, а все кроу из группы Окоток плохие люди? — снова спросил я невинным тоном.

— Мы воевали с ними в течение жизни нескольких поколений, — ответила мать. — Они убивали воинов черноногих, мы убивали кроу. Они говорили, что мы плохие люди, мы говорили, что плохие люди они. Разве я знаю, где правда?

— А может быть... — оживленно подхватил я, — а может быть, они такие же хорошие, как и мы?

— Это возможно...

Мать хлопотала, наводя порядок в вигваме, и совсем не смотрела в мою сторону. А меня что-то снова дернуло за язык.

— Мать, — тихо сказал я, — а если случайно... ну совсем неожиданно... мы подружались бы с несколькими ребятами из группы Окоток, ты бы очень рассердилась?

Мать прервала работу и, внимательно посмотрев на меня, подошла ближе.

— Я только спрашиваю, мать... так, интересуюсь... — испугавшись, старался я принять непринужденный вид.

Мать стала передо мной и испытующим, пронизательным взглядом впи-лась в мое лицо.

— Маленький Бизон, — медленно произнесла она, — с кем вы встретились на последней прогулке?

— Ни с кем, мать, ни с кем! Мы охотились на перепелок, собирали ягоды саскатун, сидели возле костра, беседовали...

— Маленький Бизон, — неумолимо продолжала допытываться она, — где вы встретились с ребятами из группы Окоток?

Я перестал дышать от испуга.

— Мать, разве я говорил что-нибудь о ребятах группы Окоток? Ведь нет же!..

Мать быстро повернулась и выбежала из вигвама.

Невдалеке сидели отец и несколько воинов. Поспешно рассказывая им что-то, мать несколько раз показала рукой в моем направлении. Все вскочили. Внезапная мысль пронизала меня: удрать!

Я выскочил из вигвама и, как антилопа, помчался в глубь лагеря. Какой-то вигвам стоял открытым. Я влетел внутрь. На счастье, там никого не было. Около стенки лежала куча бизоньих шкур. Я забрался под шкуру и лежал тихо, словно перепуганная мышь. До меня доносились приглушенные голоса; на улице произносили мое имя, звали. Я не шевелился.

Не знаю, сколько прошло времени. В вигвам вошли люди. Они перерыли шкуры и нашли меня.

— Идем! — коротко приказали они.

Меня повели в сторону главного вигвама. Уже издали я заметил, что там собралась огромная толпа — пожалуй, все обитатели лагеря. При виде такой массы людей я снова попытался бежать, но меня тут же поймали и уже за руку подвели к вигваму.

— Что вы хотите со мной сделать? — спрашивал я, едва сдерживая слезы.

— Не бойся! Голову тебе не отрубим...

Когда мы подошли к толпе, люди стали расступаться перед нами. В вигваме я увидел сидевших на земле старейшин во главе с Шествующей Душой и шаманом Кинасы. Были здесь также мой отец и дядя Раскатистый Гром. Перед ними стояли четверо моих товарищей. Мне велели стать рядом с ними. У всех ребят были измученные и перепуганные лица, как будто всех их собирались предать смерти. Допрашивали моего старшего брата.

— ...Мы дали клятву, — угрюмо бубнил Сильный Голос, — и ничего не скажем. Нельзя нарушать клятву.

— Кому дали клятву? — допытывался вождь.

— Взаимно, друг другу...

— Как ваш главный вождь я освобождаю вас от нее.

Сильный Голос заколебался, но затем сказал:

— Нет, я не изменю ей!

Заговорил, обращаясь ко всем пятерым, шаман Кинасы:

— Молокососы! Вы играете в клятвы, а тем временем грозная опасность нависла над всеми нами! Речь идет о жизни и смерти всего лагеря... Несчастные сопляки! Сейчас же говорите, иначе будете приносить клятву Большому Рогу! Вы хорошо знаете, что это значит!

Да, мы знали! Сколько страха испытал я в тот день, когда по моей вине Ров-

ный Снег должен был приносить клятву Большому Рогу! Мы слепо верили, что клятвопреступление должно караться верной и скорой смертью.

Мы молча взглянули друг на друга. Когда мои глаза встретились с глазами брата, я умоляюще кивнул головой. Он ответил мне таким же кивком.

— Мы встретились, — обращаясь к старейшинам, сказал Сильный Голос, — с ребятами... из племени... из группы Окоток...

Хотя присутствующие уже обо всем догадывались, но слова брата произвели огромное впечатление. Только теперь у меня немного прояснилось в голове и я понял, какое важное значение придавали этому известию.

— Далеко отсюда? — спросил вождь.

— Два часа езды на коне...

Снова общее возбуждение: враг был так близко от нашего лагеря!

— Что вы с ними сделали? Сколько их было?

— Четверо... Ничего мы с ними не сделали. Беседовали, вместе ночевали, говорили меж собой, что...

Сильный Голос заколебался. У него возникли сомнения: говорить или не говорить?

— О чем именно говорили? — сурово настаивал вождь.

— Что... мы теперь... друзья... — дрожащим голосом произнес брат.

Наши старейшины приняли эти слова удивительно спокойно. Раскатистый Гром наклонился к моему отцу и что-то прошептал ему на ухо. Я отчетливо увидел, что отец и дядя улыбнулись. Что это могло значить?

— Видел ли ты, Сильный Голос, в каком направлении пошли от вас ребята группы Окоток? — продолжал спрашивать вождь.

— Видел. Они пошли на юг, а мы — на север...

— Помнишь ли ты дорогу к тому месту, где вы их встретили?

— Помню.

— Хау! Будь готов отправиться в путь. Сейчас пойдёшь туда вместе с нашими разведчиками.

От нас потребовали рассказать и о Рукстоне. Затем по приказанию вождя все разошлись по своим вигвамам. Мой брат с разведчиками выехал из лагеря, другие воины усилили охрану коней на пастбище.

Жизнь в лагере пошла обычным порядком. Никто не упрекал меня. Напротив: ровесники обступили меня и заставили рассказать всё о ребятах из группы Окоток. Невольно я снова почувствовал себя очень важным лицом.

Вернувшиеся вместе с братом разведчики подтвердили, что лагерь группы Окоток близко. До наступления ночи мы загнали своих лошадей в малый загон, построенный в непосредственной близости к нашему лагерю. Каждый воин привязал у своего вигвама лучших верховых коней. Возле нашего вигвама оказалось трое коней — отца, брата и мой буланый. Сильный Голос и я должны были стеречь их ночью; отец ушел с воинами, охранявшими лагерь.

Мы караулили по очереди: первую половину ночи — я, вторую — Сильный Голос.

Держа наготове лук, я стоял около нашего вигвама. Головы лошадей были так близко, что я мог прикоснуться к ним. Вместе со мной караулил и Пононка; он улегся около моих ног. Ничего необычного за это время не произошло.

Когда миновала половина ночи, о чем мы узнавали по звездам, я разбудил

брата, а сам отправился спать.

Заснул я сладко. Разбудил меня Сильный Голос — дернул за руку. Сон мгновенно пропал.

— Вставай, быстро! — шепнул он мне.

— А что случилось?

— Не забудь лук и стрелы... — И брат исчез.

Я потихоньку позвал Пононку и вышел из вигвама.

Звезды уже изменили свое положение. Наступала предрассветная пора, хотя вокруг было еще совсем темно.

— Прислушайся! — тихонько сказал брат.

В лагере, как это обычно бывает, слышались различные звуки: то залает какой-нибудь пес (хотя было велено всех их привязать в вигвамах), то топнет копытом лошадь. Через минуту откуда-то с далеких холмов донесся приглушенный, протяжный вой койота.

— Луны нет, а он так протяжно воет... — тихо сказал Сильный Голос. — Это странно!

Теперь вой донесся с другой стороны лагеря.

— Это уж вовсе непонятно... — буркнул брат.

У наших воинов были другие сигналы. Меня охватила дрожь.

— Может быть, сбегать предупредить нашу охрану? — подал я мысль.

— Зачем? — возразил брат. — Они слышат так же хорошо, как и мы. Давай стеречь вигвам, а то кроу могут ворваться в самый лагерь...

Я не боялся, но мне было как-то не по себе. Я погладил Пононку. Верный пес, конечно, сразу почует чужого и тут же поднимет тревогу.

Мы с братом ощупью нашли коней и, напрягая зрение, старались что-нибудь разглядеть в темноте. Тем временем вой койотов прекратился, и воцарилась полная тишина. Может быть, это действительно были звери?

Внезапно грохнул выстрел с той стороны, где был загон с лошадьми. Я вздрогнул от неожиданности. Все собаки в лагере подняли лай. Еще не отзвучало в долине эхо первого выстрела, как завязалась громкая перестрелка. Но пальба продолжалась недолго. Послышалось еще несколько одиночных выстрелов, затем стрельба прекратилась, и снова наступила такая тишина, что у меня зазвенело в ушах.

— Что это было? — спросил я у брата.

— Это наши стреляли. Наверно, воины Окоток хотели подобраться к лошадям. Будь настороже, они могут явиться и сюда...

Стрельба разбудила весь лагерь. В вигвамах началось движение. Встревоженная мать вышла к нам и стала рядом.

Восточная часть небосклона уже посерела, предвещая близкий рассвет.

Когда рассвело, вождь послал самых умелых разведчиков объехать весь лагерь, а остальным людям строго запретил покидать место стоянки.

Вскоре разведчики узнали по следам, что произошло этой ночью. Это действительно были воины из группы Окоток. Большой их отряд подкрался к загону, где находились наши кони, но, встреченный яростным огнем караульных, обратился в бегство. Другой, меньший по численности отряд Окоток подошел к лагерю с тыла. Выстрелы со стороны загона дали понять этому отряду, что мы начеку. Враг отказался от нападения и отступил.

В тот же день группа пораньше свернула лагерь и тронулась на север.

Местность здесь была явно ненадежная, а соседство — слишком опасным.

Я переживал страшный душевный разлад. События двух последних ночей не умещались в моем детском мозгу. В первую ночь родилась наша искренняя и крепкая дружба с ребятами из группы Окоток, а на следующую ночь их отцы хотели ограбить и убить наших... Все это грубо нарушало мое детское представление о людях, опрокидывало вверх дном весь мир моих чувств. Единственным моим счастьем было то, что я мог в этой неуверенности и замешательстве укрыться под защиту дорогих мне существ и тем успокоить свое сердце. Этими близкими существами были: отец и мать, брат Сильный Голос, а также дядя Раскатистый Гром, теперь такой же близкий, как родители. Но самое главное чувство, которое переполнило меня тогда, — это чувство общности со всеми людьми нашей группы, объединенными одной судьбой.

Возвращение Ночного Орла

После довольно поспешного дневного перехода наша группа под вечер достигла Молочной реки и, перейдя ее, стала лагерем на левом, северном берегу. Большинство воинов занялись установкой вигвамов и постройкой заго-родок для лошадей, а несколько конных и пеших разведчиков рассыпались вокруг, чтобы поохотиться в зарослях над рекой. Скоро мы издали услышали выстрелы.

На закате солнца в лагере началось какое-то движение. В это время я ловил рыбу у излучины реки. Со стороны прерии послышался чей-то крик. На холме, освещенном последними лучами солнца, появились двое людей; они медленно тащились к лагерю. Один из наших охотников поддерживал какого-то человека, то и дело припадавшего на ногу. Ковыляющий индеец был истощен и измучен. Худоба его еще издали бросалась в глаза.

Я не расслышал, что именно крикнул наш охотник — видимо, это было что-то очень важное. Я бросил удочку и помчался к нашему вигваму. У входа стояла мать; она чутко прислушивалась к чему-то.

— Что случилось? — обеспокоенно спросил я.

— Не знаю, не знаю... — приглушенным голосом ответила мать; она была сильно взволнована.

И тут вдруг послышались звуки барабана. Кто-то бил сбор. По глубокому звучанию мы сразу узнали большой барабан Кинасы. В этот барабан били только в важных случаях или при больших торжествах.

Из центра лагеря раздались возгласы:

— К вигваму вождя! Все к вигваму вождя!.. Все!

Прибежал отец и принес новость:

— Вернулся Ночной Орел!

— Ночной... Орел... вернулся! — повторила мать, закрывая рот рукой в знак изумления, и добавила с тревогой: — Живой?

— А как он еще мог вернуться, женщина? Живой... Ну, скорее к вигваму вождя!

Возвращение Ночного Орла взволновало меня не меньше, чем взрослых. Ярko встала в моей памяти та богатая событиями ночь, что была год назад: после стычки с Рукстоном и кроу мы ждали возвращения наших воинов и не дождались только одного — Ночного Орла. Именно в ту ночь мне пришла в голову нелепая мысль пронзить стрелами сердца врагов. Ночной Орел тогда не

вернулся, и воины обрушили свой гнев на шамана, Белого Волка...

Перед вигвамом вождя горел большой костер. Мы застали там огромную толпу: собрались почти все обитатели лагеря. Ночного Орла не было видно. Зато охотник, который привел его, стоял возле костра и рассказывал, как и где нашел воина. Оказывается, он наткнулся на Ночного Орла у самой реки, в часе ходьбы отсюда. Ночной Орел добрался до Молочной реки еще несколько недель назад — он знал, что мы часто приходим туда. Судьбе было угодно, чтобы мы прибыли сегодня в эту местность, и вот один из наших охотников наткнулся на укрытие, где прятался наш пропавший воин. Охотник застал Ночного Орла совершенно ослабевшим от голода и с великим трудом довел его до лагеря...

Рассказчик смолк. Двое воинов на руках вынесли из вигвама вождя совершенно истощенного, худого как скелет человека. Призрак, а не человек!.. Его осторожно усадили неподалеку от костра, на куче бизоньих шкур.

Я дернул мать за руку.

— Мать, — спросил я, — это Ночной Орел?

— Да, это он.

— А может быть, это его дух?

— Нет, он сам... Стой тихо!

Ночному Орлу принесли легкую еду, приготовленную из печени оленя. Все смотрели в трепетном молчании, как ел измученный воин.

— Видишь? — шепнула мне мать. — Дух не мог бы есть!

Потом Ночному Орлу подали трубку. Он долго курил ее и молчал. Придя немного в себя, он попытался выпрямиться.

— Хау ну тики? (Как ты себя чувствуешь?) — спросил вождь Шествующая Душа.

— Нит ахксе!.. (Очень хорошо!) — ответил воин.

Он повел глазами вокруг и хотел улыбнуться, но лишь слабо скривил лицо.

— Братья!.. — тихо начал Ночной Орел. — Смотрю я на вас, вижу себя среди близких, и сердце мое веселится... Хотите знать, что я пережил?.. Много удивительного... Слушайте!

И он начал свое повествование, от слабости часто прерывая речь.

В памятную ночь нашей стычки с Рукстоном Ночной Орел был в отряде воинов, со взгорья обстреливавших врага в долине. Потом он вызвался вместе с другими поджечь лагерь Рукстона. Но враг был настороже и отогнал наших. Пришлось отступать в сторону реки. И тут Ночной Орел был ранен пулей в ногу. Падая, он потерял в темноте ружье. Его падения никто из товарищей не заметил, а звать на помощь Ночной Орел не мог — поблизости был лагерь группы Окоток. Кое-как он дополз до реки. Сражение уже прекратилось. Незаметно для врагов Ночной Орел скользнул в воду, и течение подхватило его. Он проплыл довольно далеко, выполз на берег и хотел добраться до нашего лагеря. Но в реке он потерял много крови, страшная боль раздирала все его тело. Он свалился на землю без сознания. Когда воин пришел в себя, солнце уже стояло высоко. Пришлось отказаться от мысли добраться до своих. Опасаясь погони кроу, Ночной Орел весь день пролежал в зарослях на берегу. Вечером он снова побрел вперед, опираясь на палку. Раненая нога болела все сильнее; несколько раз он терял сознание. На третий день Ночной Орел совсем обессилен; окружающие предметы начали двоиться в глазах. Внезапно он услышал

голоса. Его нашли двое торговцев-метисов. Сжалившись над Ночным Орлом, они посадили его на коня и привезли на свою стоянку. Добрые люди заботились о нем как могли. Когда они выступили на восток, то взяли его с собой. За несколько месяцев рана успела зажить, но нога осталась неподвижной, искривленной в колене... Ранней весной этого года много американских горняков направлялись в горы западной Монтаны, где было обнаружено золото. Ночной Орел присоединился к ним. Среди горняков он встретил хороших людей, которые не отказывали ему в братской помощи...

— Да может ли это быть?! — прервал рассказ кто-то из присутствующих. — Американцы — и вдруг оказались добрыми людьми! Тут что-то не то... И даже не отказывали в помощи тебе, индейцу?

— Да, они много помогали мне.

— Это не американцы!

— Нет, они!.. Но ты прав: то были другие американцы. Правда, ничем особым эти горняки не отличались, разве что очень уж были бедны. Их нанял богатый хозяин, они служили ему и работали на него... Эти бедные горняки были очень добры ко мне.

— Неслыханное дело! Удивительно! — слышались голоса со всех сторон.

Наши воины как бы впервые начали понимать, что рядом с «плохими американцами», с которыми они обычно встречались, существуют и хорошие американцы, вроде тех бедных горняков.

Тем временем Ночной Орел продолжал рассказ.

Во время перехода на запад ему совсем неплохо было среди горняков. Но в том же караване ехал врач. Этот слишком усердный человек непременно хотел отрезать Ночному Орлу ногу. Но воин ни за что на свете не соглашался расстаться с ногой. Он сбежал от горняков и после нескольких недель мучений и голода доплелся до Молочной реки. Рана на колене снова загноилась. Трудно было охотиться, Ночной Орел голодал. Только сегодня к вечеру он услышал осторожные шаги нашего охотника. Теперь он был спасен!

Ночной Орел кончил свое повествование. Он привстал, опираясь на здоровую ногу, и сказал взволнованно:

— Пусть Великий Дух будет так же добр к вам, как и ко мне!

После этих слов встал вождь Шествующая Душа:

— Наш великий шаман Белый Волк никогда не ошибался. Тайные силы давали ему правильные советы. Это мы были виноваты: мы были глухи и слепы, мы не понимали его слов. Белый Волк заверял нас, что ты, Ночной Орел, жив, а мы, неразумные, не верили ему. Белый Волк ушел от нас в Край Вечной Охоты, но дух его живет между нами. Он, как и мы, радуется твоему возвращению... Принесите мне его барабан!

Достали и принесли большой барабан шамана, некогда принадлежавший Белому Волку.

Впервые за целый год зазвучал этот барабан. Теперь сам вождь бил в него. Мы сосредоточенно слушали. Вдова Белого Волка вполголоса затянула мелодию той песни, которую шаман пел перед смертью.

Давно уже наступила ночь. Ветер гулял по прерии и раздувал костер. Жалобно выли собаки...

Спустя минуту в унисон с барабаном Белого Волка заговорил барабан нынешнего шамана, Кинасы. Этим он воздавал должную честь своему предше-

ственнику и, возможно, хотел также обратить внимание людей на то, что теперь он шаман нашей группы. Кинасы не был свободен от чувства зависти...

Когда рокот барабанов стих, вождь сказал:

— Я чувствую, что Белый Волк сегодня среди нас. Он окружает нас своей опекой.

Возвращение Ночного Орла было для нас знаменательным событием. Как и все индейские племена, черноногие слепо верили в неведомые силы, в их могущественное влияние на нашу жизнь. Мнимая прошлогодняя ошибка в торжественном предсказании Белого Волка вызвала сомнение не только в достоверности его слов, но и породила в людях нашей группы неуверенность — не отвратили ли вообще от нас невидимые силы свой благосклонный взор? И вот Ночной Орел вернулся. Это было осязаемое доказательство того, что пророчество Белого Волка полностью соответствовало истине и что духи все время были милостивы к покойному шаману и к нам. Разумеется, сейчас я знаю, что все это было лишь удачным стечением обстоятельств в пользу Белого Волка, но тогда мы верили в духов.

Радость по поводу возвращения Ночного Орла была всеобщей, и она породила великодушную мысль. Наскоро обменявшись мнениями со шаманом Кинасы, Шествующая Душа в ту же ночь созвал совещание всех мужчин. Разожгли большой костер. Воины, сидевшие подальше от костра, совершенно сливались с темнотой ночи; только в глазах у них сверкали отблески огня.

— Великий день, — начал вождь, — должен быть отмечен подобающим образом. Кроу не убили Ночного Орла. В такой день у нас должно быть доброе сердце. Чем же почтим мы память Белого Волка? Протянем группе Окоток из племени кроу руку дружбы...

— Прошлой ночью они хотели напасть на нас! — послышался чей-то предостерегающий голос.

— В такой день мы должны рассеять ненависть, обезоружить гнев. Мы много терпели от них обид, но более тяжелые удары наносили им мы...

— А Рукстон? Он сидит у них.

— Если два племени честно хотят мира и согласия, то нет силы, которая стала бы на их пути. Наше примирение обезвредит Рукстона... Кто не согласен с этим?

Никто не отозвался.

— Все желают мира?

— Да, да, все! — дружно ответили воины.

На рассвете Шествующая Душа выслал на юг всадника с поручением отыскать лагерь Воронов-Окоток, передать их вождю нашу волю установить мир и вручить ему символический дар — пачку табаку киникиник. Наши остались на том же месте, у Молочной реки, но приняли еще более строгие меры предосторожности. Трудно было предвидеть, что ответят кроу.

Но ответ был доброжелательным. На пятый день вернулся наш посланец; он привез от вождя группы Окоток в знак их согласия на мир пачку восточно-индейского табака. Это был табак белого человека. Отдавая отчет нашим старейшинам, посланец подробно описал все, что видел в лагере кроу.

— Я немного знаю их язык, — говорил он. — Я видел: многие из группы Окоток хотят мира с нами.

— Был ли там Рукстон?

— Был. Но кроу очень не любят его. Он спаивает их, подговаривает украсть наших лошадей, как и в прошлом году. Обещает им большую прибыль.

— А может быть, они послушаются его?

— Теперь уж не послушаются. Красть лошадей становится все труднее. Пять дней назад они убедились в нашей бдительности. Это был полезный урок для них и серьезное предостережение.

— Что же они сделают с Рукстоном?

— Они хотят прогнать его и, наверно, прогонят. С нами они желают встретиться на половине пути, у большой излучины Раковинной реки, и там выкурить «трубку мира».

— Был ли ты внимателен? — Вождь пронзил посланца острым взглядом. — Всё ли ты замечал, хорошо ли следил за выражением их глаз, подставлял ли ухо, ловя их перешептывание, не дал ли себя обмануть? Можешь ли ты поручиться, что кроу не готовят нам какую-нибудь западню, а искренне хотят мира?

— Я был чуток, прислушивался ко всему. Кроу хотят мира.

— Хау! Хау! — удовлетворенно сказали воины.

До большой излучины Раковинной реки было полтора дня пути. Мы прибыли туда под вечер следующего дня. Кроу еще не было. Мы выбрали над рекой широкий луг. На нем, в надлежащем отдалении друг от друга, могли поместиться оба многолюдных лагеря. На этот раз мы меньше обращали внимания на меры предосторожности, а заботились о том, чтобы использовать близость воды, набрать топлива и задать корм коням.

На следующее утро наш патруль на южном взгорье донес: приближается многочисленная группа людей. Вороны-Окоток* двигались к нам в обычном порядке и в полном спокойствии, как будто нас, их прежних врагов, не было поблизости. Мы были рады этой мирной обыденности, но нас удивила одна подробность: все кроу — мужчины, женщины и дети — были по-праздничному разодеты. Лица мужчин были раскрашены в яркие цвета; они были великолепны в своих головных уборах из орлиных перьев, а некоторые особенно прославленные воины надели длинные плащи из таких же перьев. Этим праздничным убранством Вороны-Окоток хотели подчеркнуть торжественность момента, показать нам свое уважение. Такие явные знаки почета и вежливости со стороны недавних врагов очень порадовали нас и наполнили гордостью.

Вождь Шествующая Душа выслал навстречу кроу посланцев, которые должны были указать гостям место для их лагеря на другом конце луга. Попутно наш вождь велел нескольким разведчикам выследить, не находится ли среди прибывших Рукстон и его шайка. Вскоре кроу раскинули лагерь, а разведчики донесли, что ни Рукстона, ни его людей среди кроу нет. Это нас успокоило.

После полудня на середине луга, между обоими лагерями, развели большой костер. К нему собрались старейшины обоих племен в сопровождении всех воинов. На нас тоже надели праздничные наряды. Когда все сошлись и уселись на землю напротив друг друга, это было такое красивое зрелище, что я вот уже много лет с волнением и восторгом вспоминаю этот необычный день.

Детям было позволено слушать, как проходит общий совет. Во мне боролись спорные, противоречивые чувства. Воронов-Окоток, наших давних и за-

клятых врагов, мы не представляли себе иначе, как злобными чудовищами, лишенными всяческих человеческих черт. Мы не могли подумать о них, не вспомнив тут же о постоянной опасности, о грозящей смерти, о скальпах, снятых с вражьих голов. А теперь я видел кроу в нескольких шагах от себя — они были совсем другие. Это были нарядные, приятные люди, державшиеся с достоинством — ничуть не хуже нас самих. Право, трудно было поверить, что это те страшные кроу, которых мы так боялись.

Совет длился недолго и протекал в соответствии с освященными временем обычаями. Говорили только оба вождя. Сперва слово взял вождь кроу. В ответ Шествующая Душа обратился к нему со следующими словами:

— Мы были неразумными — мы, черноногие, и вы, кроу: воевали друг с другом всю свою жизнь. Враждовали между собой и наши предки. По какой причине? Разве потому, что мы одного цвета кожи?.. Сегодня прозрели наши глаза — тропу войны надо затоптать навсегда. У нас есть одна общая тропа — бороться против грабежа белого человека. Пока будет всходить на востоке солнце, а трава расти на земле, пока мы будем в силах стоять на ногах, до тех пор ничто не омрачит нашего мира с Воронами-Окоток. Если бы вы не были так мужественны, наше племя и дальше бы воевало с вами. Но вас жаль убивать. Мы ценим вас, как своих собственных воинов. Выкурим же «трубку мира»!

Шаман Кинасы приготовил большую обрядовую трубку, вылепленную из красной глины, разжег ее и подал Шествующей Душе. Вождь потянул один раз и передал трубку вождю кроу. И так, поочередно, курили ее воины черноногих и воины кроу.

Во время этой длинной заключительной церемонии нам, ребятам, стало скучно. Сильный Голос потянул меня за руку, и мы пошли в сторону лагеря кроу. Там мы стали искать нашего друга, Черного Мокасины, и нашли его на лугу, возле реки. Мальчик обрадовался, увидев нас, и начал что-то рассказывать о нас взрослым, стоявшим неподалеку. Видимо, это было что-то похвальное — воины группы Окоток с уважением, крепко пожали руку мне и брату.

— Что они такого нашли в нас? — потихоньку спросил я у Сильного Голоса.

— Наверно, Черный Мокасин рассказал о том, что я убил в прошлом году бизона... — ответил мне брат, полный гордости.

— А-а-а... Да, это так, — подтвердил я.

Сильный Голос уже хотел с помощью знаков описать воинам группы Окоток все это приключение с бизоном, но не успел: их позвали к костру совета. Теперь у нас было много свободного времени, и мы спросили Черного Мокасины о причине таких сердечных рукопожатий, которыми обменялись с нами взрослые воины.

— Ты, наверно, разболтал им о моем бизоне? — покровительственно бросил брат.

— Не-е-ет... — возразил Черный Мокасин. — Они пожимали вам руку потому, что неделю назад вы первыми отнеслись к нам хорошо. С этого и началась дружба наших племен.

— Только-то? — отозвался Сильный Голос, и на лице его отразилась досада.

Но это была маленькая тучка, и она быстро исчезла. Весело смеясь, мы пошли с Черным Мокасином и другими ребятами группы Окоток в наш лагерь. Женщины уже готовили обильное угощение: после церемонии с «трубкой ми-

ра» предстояло общее пиршество с танцами воинов. По пути в свой лагерь мы спросили наших новых товарищей, что сделали кроу с Рукстоном и его шайкой.

— Наш вождь прогнал его! — ответил Черный Мокасин. — Он сказал белому, что воины пристрелят его, если он еще раз появится в нашем лагере.

— Хорошо сказал ваш вождь! — заявили мы.

До самого конца этого счастливого дня мы радовались и веселились, досыта ели, прислушивались к интересным рассказам взрослых и смотрели на их танцы. Мы жадно впитывали в себя прелести свободной жизни в прериях...

На повороте тропинки

Общее веселье по поводу примирения двух враждовавших племен продолжалось до поздней ночи, но к восходу солнца ребята все уже были на ногах. Выкупавшись в реке и наскоро проглотив возле вигвама завтрак, Сильный Голос и я опрометью помчались в лагерь кроу, где нас уже ждал Черный Мокасин.

Друг провел нас по лагерю и показал интересные вещи. Кроу были богаче нас, черноногих. У них чаще бывали белые торговцы и снабжали их товарами из далеких городов. Отец Черного Мокасина был рядовым воином, но у него была десятизарядная винтовка и блестящий новенький шестизарядный револьвер. Это прекрасное оружие мы брали в руки и даже пробовали целиться.

Но и нам удалось похвастаться кое-чем. Я шепнул брату:

— Покажи им книжку Фреда!

Сильный Голос тут же пригласил ребят из группы Окоток к нам в лагерь и обещал показать им такое, чего они еще никогда не видели.

Придя в наш вигвам, я с большой гордостью вынул из кожаной сумки свой букварь и открыл первую страницу с картинкой. Мы даже не ожидали, что это произведет такое сильное впечатление на наших гостей: глаза у них загорелись, они были поражены. Мы начали наперебой объяснять разные сцены из жизни американцев, всячески похваляясь знаниями, почерпнутыми из рассказов Раскатистого Грома. Кроу все это очень понравилось. Я рассказал им и о своей дружбе с Фредом, не забыв упомянуть о том, что когда-нибудь поеду к нему и увижу города белых людей. Не забыл я и о Пононке, представив его великим героем, вытащившим меня и Фреда из Миссури. Все гладили Пононку, а верный мой друг держался с достоинством, словно понимал наши слова.

Мы довольно долго сидели на одном месте, пора было и порезвиться. Ребята из группы Окоток решили показать нам свое умение стрелять из лука. Сбегав к себе в лагерь, они принесли луки и стрелы. И тогда мы предложили устроить общую охотничью вылазку в овраг, который врезался в равнину на расстоянии километра от лагеря. В овраге росли деревья и густые кусты, там мог оказаться дикобраз или другой небольшой зверь. Кроу охотно согласились.

Мы тронулись туда в сопровождении Пононки и двух других собак. Путь к оврагу проходил через луг, на котором паслись наши кони. Увидев, как их много, ребята группы Окоток удивились.

— У нас не так много лошадей, — заметили они, впрочем, без зависти.

— Мы богаты лошадьми еще с весны, — ответил Сильный Голос. — Какая

это была красивая ловля в Скалистых горах!.. У каждого нашего воина — по несколько коней...

— И у меня есть буланный! — вмешался я.

Охоту начали со стороны реки, к которой подходил овраг. Пробирались через заросли, собаки рыскали впереди, принюхиваясь к следам. Мы уже довольно далеко отошли от реки, когда вдруг услышали ожесточенный лай.

— Кого-то нашли! — радостно воскликнул я.

Что было духу помчались мы с братом и Черным Мокасином. Собаки продолжали лаять. Вдруг Сильный Голос резко остановил нас и стал прислушиваться.

— Пононка очень странно лает! — заметил он. — Видно, нашел что-то необычное... Может быть, это медведь?

И в самом деле, Пононка захлебывался от ярости в нескольких десятках шагов впереди нас. Две другие собаки вторили ему. Сквозь густые заросли мы ничего не видели, но ясно слышали треск ветвей.

— Подойдем поближе, но осторожно! — предупредил брат.

Мы крались от куста к кусту и вдруг остановились как вкопанные: невдалеке раздался крик человека. Через минуту он донесся снова, и, несмотря на оглушительный лай собак, мы ясно услышали: кто-то кричал по-английски.

— Рукстон! — испуганно прошептал Черный Мокасин.

— Бежим! — закричал брат.

Мы опрометью бросились обратно к реке. Едва мы сделали несколько шагов, как сзади раздался выстрел, вслед за ним — еще и еще. В овраге эти выстрелы звучали оглушительно. Вдруг Черный Мокасин застонал и свалился на землю.

— Его убили! — услышал я крик брата.

Он подскочил к Черному Мокасину, поднял его и с трудом взвалил обмякшее тело мальчика на спину. Бежать Сильный Голос не мог: он и так шатался от тяжести.

Оглянувшись назад, я заметил белого человека с карабином в руках — он преследовал нас. Ребята продолжали мчаться по оврагу к реке. Я изменил направление и бросился в сторону. Прячась среди кустов, я добежал до края оврага и стал карабкаться по склону. Подъем был крутой, но я хватался руками за траву или просто за землю и быстро взбирался вверх. Кустов здесь росло меньше, и я оказался почти на виду. Снизу раздалось еще несколько выстрелов. Одна из пуль ударила в землю рядом со мной, подняв маленькое облачко пыли... Я рванулся вперед. Еще несколько шагов — и я уже был наверху!

Отсюда хорошо был виден наш лагерь. Я стал кричать во все горло, чтобы поднять тревогу. Но выстрелы в овраге и без того уже обеспокоили людей. Среди вигвамов сновали воины. Я остановился у самого края оврага и продолжал кричать не своим голосом...

— Go back! (Назад!) — слышалось внизу. — Go back!.. — узнал я голос Рукстона.

После этого в овраге все смолкло.

Слышался топот лошадей со стороны нашего лагеря — это приближались воины. Я взбежал на холм, чтобы им было лучше видеть меня, и начал махать руками.

— Там! Там! — кричал я, показывая направление, в котором уходил Рук-

СТОН.

— Что? Что «там»? — спросил ближайший воин, спрыгивая с коня.

— Он, он!

— Да кто «он»?

— Рукстон!

— Где остальные ребята?

— Убежали в сторону реки... Черный Мокасин убит...

Воины спустились в овраг. Одни повернули к реке, другие бросились в противоположном направлении — преследовать Рукстона.

Воинов прибывало все больше. Уже и со стороны лагеря кроу появились всадники. Некоторые вообще не приближались к оврагу, а мчались прямо в прерии, чтобы отрезать Рукстону и его сообщникам путь к бегству.

Я снова спустился в овраг. Несколько всадников осматривали кустарник. Один из них подозвал меня.

— Смотри! — издалека показал он рукой на какой-то предмет, лежавший около кустов, а сам поехал вслед за товарищами.

То был мой любимый Пононка. Голова собаки была прострелена. У меня потемнело в глазах. Я сел на землю, обнял окровавленную голову верного друга и горько заплакал. Остекленевшие глаза Пононки были широко открыты. Когда пес был жив, в этих добрых глазах отражалась вся его верность и привязанность ко мне. Теперь у меня было только одно слабое утешение — сознание того, что храбрый Пононка погиб геройской смертью, защищая нас, ребят. После Косматого Орленка я потерял еще одного друга, и всё от рук тех же самых людей...

Наплакавшись вдоволь, я двинулся по оврагу в сторону реки. На берегу я застал брата, родителей и многих других людей из обоих племен. На земле неподвижно лежал Черный Мокасин, но в глазах его теплилась жизнь. Пуля пробила ему правый бок. Кинасы заливал рану настоем из трав.

Мальчика перевязали, положили на носилки и отправили в лагерь. Люди говорили, что он поправится.

Через несколько часов воины вернулись. Только исключительная удача могла позволить Рукстону и его сообщникам спастись бегством. Но этого не случилось. Правда, у американцев были неплохие кони, но у нас оказались более резвые скакуны. И это предрешило исход погони.

В прерии беглецов легко догнали. Окруженные, они еще продолжали отстреливаться, прячась за трупы своих убитых лошадей.

Взбешенные воины не обратили внимания на огонь и начали яростную атаку. Несколько наших были ранены. Убитых, к счастью, не оказалось ни одного. Рукстон и его сообщники были изрешечены пулями. Их постигла заслуженная кара.

Четверо всадников на длинных лассо приволокли тела убитых конокрадов и положили их на лугу, между обоими лагерями, в том месте, где вчера происходило мирное торжество. Мы с братом сразу помчались туда. Белых бандитов долго волокли по земле; их одежда была изодрана, тела забрызганы грязью.

С отвращением глядел я на Рукстона. Лицо его заросло рыжей бородой, как в ту далекую памятную ночь, когда он, пьяный, целился в моего отца из револьвера. Долгие годы я испытывал чувство омерзения и страха, как только

мне случалось видеть человека с такой бородой.

На совете, созванном старейшинами обоих племен, было выяснено, что Рукстон и его шайка бродили здесь с недобрыми намерениями. Должно быть, они хотели увести лошадей, но, обнаруженные случайно в овраге, начали стрелять в нас, детей. Убийство конокрадов было оправданным актом защиты и справедливой карой. Вожди решили отметить это событие танцем Победы в тот же вечер.

То был последний большой танец Победы в нашей истории. Многочисленные костры освещали луг, вокруг них вертелись полунагие воины, раскрашенные в боевые цвета. Грохот барабанов разносился по всей долине; он заставлял живее биться сердца не только танцующих воинов, но и женщин и детей. Некоторые пили водку, но и те, что не пили, тоже были словно в опьянении.

Я с несколькими ребятами взобрался на холм. Мы уселись на траве. Как зачарованные глядели мы на живописное зрелище. С одной стороны блестели огни костров, звучал колдовской ритм барабанов, мелькали силуэты танцующих воинов и слышалась песнь Победы; с другой стороны лежала погруженная в темноту прерия. Это была безопасная, дружественная прерия, в ней уже не было ни одного врага, ничто больше нам не угрожало. Таким привлекательным рисовался мне и моим товарищам в ту ночь наш индейский мир. Я глубоко чувствовал его красоту, хотя сердце мое и сжимала скорбь о Пононке...

На следующий день к нам приехали несколько сородичей из северной группы черноногих. Они привезли чрезвычайной важности сообщение от Ниокскатоса, которого в последнее время мы считали своим главным вождем. От имени всего племени Ниокскатос подписал с канадским правительством договор, по которому уступал Канаде всю нашу территорию и соглашался перейти в резервации. Главный вождь требовал, чтобы мы прибыли на север и перешли в подчинение канадских властей.

В наших жилах еще горячо билась кровь после вчерашнего танца и песни Победы. Первым нашим откликом на ошеломляющую весть было возмущение и порыв к бунту: по существу, Ниокскатос не имел права распоряжаться нашими владениями без нашего согласия. Нет, мы не покоримся, не отречемся от вольной жизни в прериях!.. Но тут же возникали сомнения: как жить дальше, где найти средства к существованию? Ведь уже целый год мы не видели ни одного живого бизона, даже его следов, и олени тоже исчезли...

Наши старейшины попросили кроу прибыть к общему костру на беседу. Когда все сошлись и выкурили в полном молчании свои трубки, наш вождь Шествующая Душа рассказал о требовании Ниокскатоса и спросил кроу, что они думают об этом.

Вождь кроу быстро ответил:

— Наше племя уже несколько больших солнц назад покорило американским властям и живет в резервациях. Только мы, группа Окоток, продолжаем свободно кочевать по прериям. Еще недавно в прериях были бизоны. А теперь где они?.. Остались от них только иссушенные ветрами черепа да рассыпавшиеся кости. Мы надеялись, что у вас на севере еще есть добыча...

— Уже год, как мы не видели бизонов.

— К осени, — продолжал вождь группы Окоток, — мы переходим в резервации. Иного пути у нас нет. Дети начинают голодать. Белые люди вторглись в

наши охотничьи уголья. А в ваши разве нет?

— Вторглись и в наши.

— Мои люди вернулись сегодня утром с охоты. На расстоянии половины дня пути отсюда они видели множество белых людей. Снова по прерии тянется огромный караван поселенцев.

— Значит, кончились дни нашей охоты и свободы?!

На это восклицание Шествующей Души никто не ответил. Все в полном молчании неподвижно глядели на огонь костра. Костер, верный друг индейцев, свидетель их радостей и забот, не мог поведать, каково наше будущее.

На следующий день мы, повинувшись зову Ниокскатоса, медленно тронулись на север.

Смерть Сильного Голоса

Это было печальное путешествие. Вождь Шествующая Душа оказался прав: кончились дни нашей охоты и свободы. Белые поселенцы, как саранча, из месяца в месяц захватывали наши земли. Двигаясь на север, мы пересекали прекрасные родные долины и потоки, но, вместо того чтобы, как прежде, найти там отдых, мы встречали на берегах рек толпы спесивых и самонадеянных колонистов. Люди эти опутали самые плодородные наши земли ограждениями из колючей проволоки и, едва завидев нас, хватались за оружие.

Запальчивая и порывистая наша молодежь рвалась в бой, ей не терпелось начать войну и отомстить. Старые воины с трудом сдерживали молодых, так как были убеждены, что ничто уже не сможет изменить ход событий в прериях, а искать спасения в оружии значило лишь рисковать полным истреблением племени.

Во время похода старшие собирались каждый вечер у костров, обсуждали вопросы войны и мира, свободы и подневольной жизни в резервации. Мы, ребята, забирались на ближайший холм и размышляли о своей судьбе. С наступлением ночи холод давал себя знать, мы усаживались потеснее и грели друг друга своими телами.

— Родители воспитывали нас воинами, учили быть достойными наших предков... — рассуждали ребята постарше. — Неужели все это впустую? Неужели мы должны стать пленниками белого человека?

Возвратившись с холма, мы спрашивали наших отцов, будет ли война.

— Нет! — с яростью отвечали они. — Будем есть мясо коров!

Осенью канадские власти выделили нам резервацию к северу от Молочной реки. Мы должны были отправиться туда и жить там, как звери в клетке: нам запретили переступать строго установленные границы резервации. Голод заставил нас принять эти жестокие условия. За прошедшее лето мы мало добыли зверя, которого распугали пришельцы, а в резервации нам обещали выдать продовольствие — коровье мясо.

Из опыта других племен наши родители уже знали, чего можно ожидать от жизни в резервации, но все-таки они не предполагали, что принудительное бездействие может превратиться в такой страшный кошмар. Прежняя жизнь свободного индейца состояла из длинной цепи увлекательных приключений, постоянных неожиданностей, трудной борьбы за существование, а тут внезапно исчезли все эти возбудители жизненной энергии. На долгие годы краснокожего человека придавило томительное прозябание, тоска и мертвящая скука.

Мир его представлений рухнул, все словно пошатнулось, затянулось зловещей мглой.

Нас настойчиво толкали на «тропу белого человека», но это еще более усиливало нашу отрешенность. Белые миссионеры были щедры на бесконечные нравоучения о боге белых людей, они выражали подчеркнутое отвращение не только к нашей вере, но и ко всем нашим привычкам и обычаям, которые были нам так дороги и неразрывно связаны со всей нашей жизнью. Миссионеры унижали нас на каждом шагу, а с опытными, заслуженными воинами, великую жизненную мудрость которых мы хорошо знали, они поступали как с несмышлеными ребятами.

Наш бог, если подводить его под европейские понятия, жил в прериях и лесах, где мы знали каждую тропу. Мы верили, что он окружает нас всюду, что он — душа деревьев, животных, зверей, озер, рек и гор. Кто из нас хотел приблизиться к Великому Духу, тот выходил в прерию или к реке и там оказывался в непосредственной близости к нему. Теперь мы начали говорить о новом боге, но никто не мог твердо указать, где именно он находится. Новый бог, говорили нам, велит якобы платить добром за любое зло. Значит ли это, что мы должны любить белых захватчиков, которые безжалостно сгоняют нас с наших же земель? Или делиться с ними порохом и пулями, когда они из-за протянутых колючих заграждений предательски стреляют в нас?

Нас всячески унижали. Приказали остричь длинные волосы — гордость каждого воина. Велели переодеться в европейское платье, в котором индеец выглядит смешно, как чучело. Запретили раскрашивать лицо.

Почти в самом начале нашей жизни в резервации открылась школа. В наших глазах она тоже стала символом власти белого захватчика и потому была встречена недоброжелательно не только родителями, но и детьми. В нас прежде всего говорило чувство сопротивления. Однако отдельные люди нашего племени уже давно начали понимать, что знания необходимы человеку.

Среди своих ровесников я был исключением: я не мог дождаться, когда меня пошлют в школу. Она не внушала мне никакого отвращения, — наоборот, я испытывал радостное волнение. О причинах этого легко было догадаться: букварь, подаренный мне Фредом, вызывал во мне лихорадочную жажду знания. Я часто рассматривал ярко раскрашенные картинки из жизни белого человека, и все сильнее хотелось мне узнать побольше о далеком и неведомом мире белых. Вот уже несколько лет я жил под влиянием этой волнующей книги.

В миссионерской школе нашей резервации мне повезло. Я был понятливым, учительница постоянно отмечала меня. Через несколько месяцев я уже говорил по-английски, кое-что читал, а букварь Фреда знал наизусть. Кроме чтения, письма и арифметики, нас, мальчиков, учили еще обрабатывать землю. Мужчины нашего племени никогда не стали бы копать в земле — это была исключительно женская работа. И как стыдились мы теперь своих лопат! Когда кто-нибудь из взрослых воинов проходил мимо школьного огорода и заставлял нас за этой работой, мы были готовы провалиться сквозь землю.

...Минуло два года ученья в подготовительной школе. Однажды агент нашей резервации получил предписание выслать в Карлисль, штат Пенсильвания, двух способных учеников. Там была школа повышенного типа, с интернатом для индейских детей всех племен. Выбор пал на меня. Второго мальчика пока не нашли.

— Ты хочешь ехать и продолжать учиться? — спросил меня агент в присутствии моих родителей.

Выезд в Карлисль означал разлуку с ними на несколько лет.

— Хотел бы... — ответил я, — но вместе с братом Сильным Голосом.

Это было невозможно, хотя бы уже потому, что Сильный Голос не собирался покидать родной край. Брат рос крепким юношей. В нашем племени мало было таких прекрасных наездников и стрелков, как он, но к ученью его не тянуло.

Я уехал. Вдалеке от своего племени, живя за несколько тысяч километров от него, я на долгое время потерял всякую связь со своими родными и сильно тосковал.

Во время моего отсутствия на наше племя обрушились новые тяжкие удары судьбы. Но лишь много, много позже узнал я о событиях, трагическим героем которых стал мой брат Сильный Голос. Мне уже было пятнадцать лет и я успешно окончил несколько классов, когда пришла эта весть.

Королевский конный корпус полиции в Канаде — уже упоминавшийся Royal Mounted — арестовал брата за то, что он самовольно подстрелил вола. Животное было собственностью властей, но Сильный Голос об этом не знал. Он был уверен, что вол был в числе скота, выделенного нашей семье на питание.

Брата заковали в кандалы и привели на полицейский пост в Дьюк-Лейке, в нынешней провинции Саскачеван Комендант поста, капрал Диксон, желая нагнать на арестованного побольше страха, заявил ему: «За убийство вола ты будешь повешен». Молодой индеец ужаснулся до глубины души, но не потерял мужества и решил защищать свою жизнь до последнего дыхания.

На ночь узника приковали к большому железному ядру и оставили в дежурной комнате. Брат лег на пол, закутался в одеяло и притворился спящим. В этом же помещении до полуночи дежурил капрал Диксон, потом его сменил помощник. Полицейский дремал и нес дежурство спустя рукава. Сильный Голос зорко следил за ним из-под одеяла, и, когда полицейский положил голову на стол, юноша поднял ядро, потихоньку подполз к столу и ключом осторожно открыл замок, запиравший кандалы. Он выскользнул из комнаты — и был таков!

Почти не отдыхая, он пробежал свыше двадцати километров, перед рассветом добрался до родного лагеря и вошел в вигвам родителей.

— Конная полиция сказала мне вчера, — заявил он отцу, — что меня хотят повесить за убийство вола. Никогда они меня не повесят! Прежде чем погибнуть, я буду сражаться!

Отец дал ему двух коней и карабин с большим запасом пороха и пуль. Взяв с собой юную жену, брат помчался на север.

Спустя час явилась погоня — полицейские. Канадская конная полиция отличается прежде всего настойчивостью в преследовании своих жертв, почему-либо признанных преступниками. Вахмистр Кольбрук и некий метис-разведчик, находившийся на службе у полиции, отыскали следы беглеца и, как пиявки, присосались к ним.

После нескольких дней погони преследователи услышали в дикой, безлюдной местности отголосок далекого выстрела. Пришпорив коней, они спустя несколько минут увидели на поляне индейца, поднимавшего из травы под-

стреленную лесную куропатку. Невдалеке молодая индеанка держала двух коней. Кольбрук обрадованно захохотал: «Зверь попался в западню!» Прежде чем Сильный Голос подбежал бы к коню, он получил бы пулю в затылок.

Уверенные в себе, вахмистр и его спутник открыто выехали на поляну. Сильный Голос мгновенно оценил положение и не тронулся с места. Стоя с карабином в руках, он ждал преследователей. Они приблизились на тридцать шагов.

— Стойте, а то буду стрелять! — предупредил брат.

— Посмотрим, братец! — захохотал вахмистр и надменно двинулся вперед.

— Ни шагу дальше! — крикнул еще раз Сильный Голос.

Преследователи не послушались. Тогда юноша молниеносно вскинул карабин и, не целясь, выстрелил. С пробитой головой вахмистр свалился с коня.

— А тебя я только отмечу! — крикнул Сильный Голос метису, и, прежде чем тот успел повернуть коня, пуля раздробила ему локоть. — Если ты еще раз попадешься мне, я застрелю тебя! — крикнул брат вдогонку полицейскому прихвостню, удиравшему бешеным галопом.

Сильный Голос славился как первый стрелок во всей нашей группе, и карабин у него был многозарядный.

Смерть вахмистра Кольбрука взбудоражила умы всего Запада. Конная полиция пришла в ярость и организовала облаву на индейского юношу. Но он был хитрее всех вахмистров и их разведчиков. Несмотря на то что за его голову было назначено большое денежное вознаграждение, охота не принесла успеха: след Сильного Голоса затерялся в безбрежных лесах Севера.

Нашего отца арестовали и только спустя долгое время выпустили на свободу. Когда охота за Сильным Голосом кончилась ничем, вигвам отца взяли под тайное наблюдение, подослав к нам наемных шпионов. Полицейские полагали, что сыновняя любовь когда-нибудь приведет брата в родной вигвам.

Расчеты эти оправдались. После двух лет бесполезных поисков конная полиция получила сообщение, что беглец появился вблизи родного лагеря. Это было тогда, когда брат привез к родителям свою жену с ребенком, родившимся в лесах.

Узнав об этом, комендант полиции в Дьюк-Лейк немедленно выслал в лагерь черноногих двух полицейских и метиса-разведчика, по имени Венне. Однажды, обшаривая округу, все трое остановились закурить у каких-то зарослей. Конь Венне тревожно раздувал ноздри и становился на дыбы, его трудно было успокоить. В кустах послышался подозрительный шорох, и сразу же оттуда грянул выстрел. Венне, раненный в грудь, пошатнулся в седле, но его спутники поспешили на помощь и, забрав раненого с собой, галопом умчались в сторону.

Из зарослей вышли трое молодых индейцев: Сильный Голос и еще двое юношей; они, по индейскому обычаю, присоединились к товарищу, чтобы не оставить его одного в отчаянной борьбе и сражаться вместе с ним до самой смерти. В метиса стрелял один из этих юношей; он плохо прицелился и только ранил шпика. Сильный Голос передал в лагерь, что метису, как предателю индейского народа, не избежать заслуженной кары. Венне так испугался этой угрозы, что немедленно забрал семью и бежал из Канады в отдаленные места Аляски.

После этой стычки Сильный Голос на короткое время вернулся в лагерь,

чтобы проститься с родителями и женой. Ему надоело скитаться по лесам; он больше не хотел скрываться и принял решение — дать последний бой преследователям.

Появление Сильного Голоса в резервации вызвало большой переполох во всем округе. На следующую ночь из Принс-Альберта, окружной комендатуры Королевской конной полиции, в погоню за братом отправился отряд из двенадцати конных полицейских под командованием ротмистра Аллана.

Погоня была удачной. Уже вскоре полицейские заметили в горах Миннехи на три темные точки, двигавшиеся по склону. Сначала преследователи подумали, что это антилопы, но, подъехав ближе, узнали трех разыскиваемых индейцев. Юноши шли пешком. Настигнутые конными, юноши не собирались бежать; они приготовились к бою и ждали приближения врага.

Отряд еще не успел подъехать на расстояние верного выстрела, как Сильный Голос выстрелил дважды. Одна пуля раздробила ротмистру плечо, вторая угодила в бедро вахмистру Рабену. Остальные полицейские, ошеломленные меткостью стрельбы и перепуганные, остановились и стали подбирать раненых. Тем временем Сильный Голос и его друзья отступили к лесочку, растущему на ближнем холме.

Командование отрядом принял на себя капрал Хоккин. Но он не посмел напасть на отважных юношей, а разослал гонцов с просьбой о подкреплении. В тот же день к нему прибыли полицейские с поста Дьюк-Лейк и из окружной комендатуры в Принс-Альберте. Явились также несколько штатских — искателей приключений.

В шесть часов вечера капрал Хоккин во главе девяти добровольцев двинулся в атаку на лесок. Юноши засели на опушке. Прижатые к земле метким огнем, атакующие не смогли приблизиться к индейцам. В самом начале атаки пал сам капрал, смертельно раненный в грудь. Завязалась ожесточенная перестрелка. Меткие пули Сильного Голоса принесли смерть еще двум противникам, со стороны же обороняющихся погиб Топиан, наш далекий родственник, а сам Сильный Голос был ранен в ногу. Атака захлебнулась, полицейские вынуждены были поспешно отступить. Сильный Голос успел за время перестрелки убить четырех полицейских и четверых ранить. Бессмысленная угроза капрала Диксона насчет виселицы вызвала такое кровопролитие!

Наступила ночь. Полицейские пытались поджечь лесок, но брат отогнал их выстрелами. Ночью прибыли новые подкрепления. Весь лесок был окружен кольцом осаждающих. Путь к отступлению индейцам был отрезан.

Той же ночью в городе Регина, столице северо-западной территории Канады, в главном штабе конной полиции, происходил торжественный бал по случаю отъезда в Лондон делегации на празднества в честь королевы Виктории. В разгар бала оркестр вдруг перестал играть веселый вальс и перешел на государственный гимн «Боже, храни королеву». Изумленные гости стали переглядываться. Когда гимн кончился, командуящий полицией полковник Герхимер заявил присутствующим, что высылка делегации откладывается — из округа получены тревожные сведения. Полковник приказал всем присутствующим на балу военным приготовиться к немедленному выступлению в глубь страны.

Первый отряд под командованием полковника Мак-Доннела выехал еще до полуночи, взяв с собой два скорострельных полевых орудия. Второй отряд во

главе с полковником Гагноном выступил утром из Принс-Альберта. К этим силам Королевской конной полиции присоединились сотни штатских добровольцев, каждый со своим охотничьим ружьем. Из Дьюк-Лейка вышла рота людей, вооруженных кирками и лопатами для рытья окопов.

Главный штаб конной полиции приказал не предпринимать прямых атак на лесок, чтобы — как было сказано в приказе — избежать дальнейшего кровопролития. Молодых индейцев должна была издалека обезвредить артиллерия.

Утром того же дня из леска послышался голос моего брата. Юноша обратился к окружившим лесок вооруженным людям:

— Нас ждет сегодня трудный день новой битвы. У нас нечего есть. Мы голодны. У вас же вдоволь продовольствия. Бросьте нам немного!

Слова эти отражали лучшие традиции индейской войны. Можно было яростно сражаться и убивать врага в открытом честном бою, но одновременно требовалось и сохранять к нему человеческое отношение. Призыв брата, разумеется, был гласом вопиющего в пустыне. Слова его привели в изумление конных полицейских — им и во сне не снилось проявлять по отношению к индейцам какое-либо сочувствие или послабление.

Пролетавшая ворона села на вершину одного из деревьев в осажденном лесочке. Раздался выстрел, и птица упала на землю.

— Ну и стрелок! Ни одной пули не выпустит зря! — говорили между собой полицейские, все больше утверждаясь в мысли, что им не следует здесь рисковать своей жизнью.

Тем временем нашего отца снова арестовали. Честная и добрая наша мать прибежала к окруженному леску, когда ее сын уже вступил в свой последний бой. Полиция не подпустила ее к самому лесу, она поднялась на взгорье. Сильный Голос мог оттуда слышать ее. Она напоминала ему героические дела отца и нашего деда Резвого Медведя, призывала сына погибнуть, как подобает мужчине и неустрашимому воину.

Мать кричала ему:

— Не падай духом, сын! Сражайся до самого конца!

Полицейские силой пытались заставить ее уйти, но она не хотела покинуть сына, пока он еще оставался в живых.

В течение всего этого дня прибывали все новые подкрепления. Отряды солдат были поставлены под общее командование штаба Королевской конной полиции. К вечеру уже свыше тысячи вооруженных людей окружали маленький лесок.

Тела трех убитых полицейских все еще лежали вблизи позиции индейских юношей. Один из осаждающих вдруг передал командованию отряда сообщение, что капрал Хоккин еще жив: глядя в бинокль, он якобы заметил движение руки. Находившийся тут же врач Стюарт немедленно вызвался спасти раненого. Это было очень опасное дело. Однако врач на легкой бричке вскачь подлетел к Хоккину, быстро взвалил тело в кузов и вернулся обратно. Ни одного выстрела не раздалось из леска. Сильный Голос лично знал врача Стюарта и хотел показать, что уважает его за смелый поступок. Впрочем, самоотверженный шаг Стюарта оказался бесполезным. Хоккин давно уже был мертв.

К вечеру прибыли артиллерийские орудия. В шесть часов загрели первые залпы. После пристрелки к тому месту, где находились молодые индейцы,

туда было послано несколько десятков снарядов. Когда огонь прекратился, все были убеждены, что от осажденных остались одни клочья. Свыше тысячи воjak ждали затаив дыхание... И тут из леска раздался отчетливый, насмешливый голос моего брата:

— Плохая стрельба! Вы должны стрелять лучше!

Наступила темнота. Командование решило возобновить артиллерийский обстрел на следующий день. Вокруг леска воцарилась тишина. В ту ночь никто из находившихся здесь не сомкнул глаз. Все бодрствовали; всех одолевали угрюмые мысли. Многие понимали, какую жалкую роль они играют в этом позорном деле. То, что против трех индейских юношей были сосредоточены такие внушительные военные силы, отнюдь не венчало лаврами участников облавы, а, наоборот, выставляло их на всеобщее осмеяние. А тем временем, несмотря на разительное неравенство сил, индейцы все еще держались!

С полуночи и до рассвета моя мать пела для Сильного Голоса печальную и грозную песнь смерти, а из леска вторил ей звучный голос моего брата. К утру он умолк. То была лебединая песнь юноши: больше уже никто не услышал его.

В шесть часов утра оба орудия начали свою смертоносную работу. Они были подряд шесть часов, до самого полудня. Не дождь, а сущий ливень металла обрушился на лесок! В полдень отряд добровольцев, состоявший из одних штатских, двинулся к лесу — по приказу свыше командование не рисковало жизнью личного состава Королевской конной полиции; считалось, что полиция и так уже понесла большие потери. Думали ли люди, направлявшиеся к леску, что Сильный Голос бессмертен, что он может еще оказаться живым после такой бешеной канонады? Осторожность их оказалась излишней: Сильный Голос был мертв; тело его в семи местах было пробито осколками шрапнели. Из двух его товарищей Топиан погиб два дня назад, а второй юноша лежал тяжело раненный, без сознания.

В злосчастный лесок набилось столько людей, что невозможно было подступиться к телам. Что чувствовали эти, с позволения сказать, «победители» при виде юношей, старшему из которых было девятнадцать, а младшему всего пятнадцать лет? О чем говорили тела трех юношей, павших с таким мужеством, о каком могли только мечтать самые выдающиеся воины нашего племени?..

Один из полицейских чинов Королевской конной полиции подошел к моему брату и совершил омерзительный поступок — он выстрелил в голову трупа!

В то время, когда происходили эти события, я находился в школе, в далекой Пенсильвании. Весть о гибели брата дошла до меня с опозданием, через много недель, вместе с новостью, что отца опять выпустили из тюрьмы.

С братом нас связывала не только сильная любовь — я видел в нем пример для подражания, он был моим товарищем в общих наших детских переживаниях. Беспощадная судьба словно разгневалась на меня — от рук белых людей я потерял три дорогих существа: Косматого Орленка, потом верного Пононку, а теперь — брата...

Я понимал, что потери эти невозместимы, но не утратил душевного равновесия. Смерть брата нанесла мне неожиданный и жестокий удар, она ввергла меня на время в отчаяние, но впереди были школьные занятия, которые

требовали сосредоточенности, и я довольно скоро пришел в себя. Нет, я уже не чувствовал ни прежней ненависти к белым людям, ни обиды, ни горечи.

В день трагической смерти Сильного Голоса мне было тринадцать лет. Уже тогда я понимал, что погиб он из-за незнания, из-за отсталости. Будь он хоть немного обучен грамоте, будь он лучше знаком с законами белого человека, — он бы знал, что канадские власти не могли повесить его за проступок с волком, который он совершил неосознанно. Школа с каждым месяцем укрепляла мою мысль о том, что знания всемогущи. Когда-то умение владеть луком, стрелять из мушкета, выслеживать зверя было решающим в нашей жизни. Ныне, после того как прерии были захвачены белым человеком, все это оказалось устаревшим: главным оружием в нашей борьбе за существование стало просвещение. Просвещение в условиях наших резерваций было для нас единственным щитом от гибели. Чем скорее индейцы поймут суть происшедших перемен и превосходство просвещения, тем скорее сумеют они защитить себя от окончательного вырождения.

В это тяжелое для племени и для моей семьи время я наметил себе путь в жизни: я решил во что бы то ни стало добыть как можно больше знаний, чтобы позже посвятить свою жизнь распространению просвещения среди людей племени черноногих.

Послесловие Джека Дэвиса, индейца племени черноногих, о дальнейшей судьбе Маленького Бизона

Мне тридцать шесть лет. Моим отцом был двоюродный брат Маленького Бизона, а дедом — Раскатистый Гром, о котором Маленький Бизон часто вспоминает в своих рукописях. Как и все почти черноногие моего поколения, я ношу английское имя, но имею и другое, индейское прозвище: Волчья Голова. По профессии я шофер, владелец грузовика — это источник моего заработка.

Во вторую мировую войну я добровольно вступил в одну из частей канадских вооруженных сил и принимал участие в десанте союзных войск на побережье Нормандии в 1944 году. Раненный в ногу во время наступления на Кан, я был эвакуирован сначала в Англию, а затем в Канаду.

Происхожу я из той же резервации на юге провинции Альберта, к которой принадлежал и Маленький Бизон. Я постоянно находился вблизи этого незаурядного человека, поэтому хорошо знаю его лично, его переживания и убеждения. Еще будучи мальчиком, я ездил с ним три года подряд, когда он выступал с лекциями. Знаю также о том, что в подготовленной им рукописи каждое слово — правда и что автор вынужден был потом исказить первоначальный текст книги под нажимом нью-йоркских издателей. Маленький Бизон сделал это потому, что иначе не было надежды на выход книги в Соединенных Штатах.

Жизнь Маленького Бизона можно разделить примерно на два периода: один — до начала первой мировой войны, второй — после нее. До войны 1914 года Маленький Бизон упорно учился и сумел осуществить заветную цель, о которой он упомянул в последней фразе своей книги. После войны он старался выполнить вторую поставленную им перед собой задачу: с помощью просвещения завоевать лучшие условия жизни для своего племени. Но в этом мужественный боец потерпел поражение. Противоречия были сильнее, чем его

воля; препятствия невозможно было преодолеть — наоборот, они надломили его. Маленький Бизон высказал в своей книге мысль, что просвещение может защитить индейцев от окончательного вырождения и гибели. Увы, беспочвенность этой мысли самым жестоким образом проявилась на нем самом.

Маленький Бизон был в школе необычайно понятливым учеником. Я полностью разделяю его мнение, что букварь, подаренный ему Фредом Уистлером, произвел на него исключительное впечатление и пробудил в нем необычайную жажду знаний. (Заметим в скобках, что своего друга, Фреда, Маленький Бизон никогда в жизни больше не встречал.)

Со времени его обучения в школе для индейцев в Карлисле сохранился документ: аттестат с отметками, выданный ему по случаю окончания школы. Из аттестата явствует, что Маленький Бизон был не только одним из лучших учеников, но и принимал также очень активное участие в общественной и спортивной жизни своего учебного заведения. Он играл на кларнете и принадлежал к прославленному в восточных штатах ученическому индейскому оркестру. Он считался выдающимся игроком и в футбол, а также был капитаном школьной команды по конному спорту. Дискуссионно-риторический клуб в Карлисле избрал его своим председателем. Он выдвигался в любом деле, в котором участвовал.

Вступая на «тропу белого человека», он, однако, не терял своих врожденных благородных черт индейца. Однажды, когда он учился в Карлисле, некая богатая молодая американка, Алиса Фут, заблудилась во время прогулки в горах Тускарора, в Пенсильвании, и пропала без вести. Поиски спасательных команд, высланных ей на помощь, ни к чему не привели. Дело получило широкую огласку во всей Северной Америке. Дальнейшие поиски были признаны бессмысленными. И вдруг кому-то пришло в голову послать на розыски старших учеников из индейской школы в Карлисле. Индейские мальчишки рассыпались по горам Тускарора. Маленький Бизон вскоре напал на след пропавшей, нашел ее и спас от верной смерти. Вся американская печать подняла большой трезвон, расточая похвалы по адресу юного индейца.

Нет сомнения, что молва об этом событии и хорошие успехи Маленького Бизона в школе в Карлисле проложили ему путь к высшему учебному заведению — Военной школе Сент-Джонс, в штате Нью-Йорк. Среди студентов он был единственным индейцем. Маленький Бизон успешно закончил и это военное общеобразовательное учебное заведение. Однако, когда он вернулся в свою резервацию после сдачи заключительных экзаменов, родители подметили в нем какое-то скрытое раздражение.

— Идти с белыми людьми по тропе цивилизации — это непрерывное унижение для индейца! — говорил он близким друзьям.

Но Маленький Бизон был упорен: он собрал в кулак всю свою волю и решительно пошел вперед по избранной им дороге. Незадолго до первой мировой войны президент Соединенных Штатов Вильсон допустил его, в виде особого исключения, в качестве кадета в известную государственную военную школу в Уэст-Пойнте. В эту школу имели доступ только самые способные из молодых американцев, и никогда — ни до этого, ни позже — там не учился ни один индеец или негр.

Разразилась первая мировая война. Маленькому Бизону пришлось прервать занятия в Уэст-Пойнте. Великобритания уже воевала (Соединенные

Штаты вступили в войну значительно позже, в 1917 году), и Маленький Бизон добровольцем вступил в канадские войска. Трижды раненный во Франции, дважды награжденный орденами за боевые заслуги, он кончил войну в чине капитана.

После войны, овеянный боевой славой, образованный, полный творческих замыслов, Маленький Бизон вернулся к своему племени. Он решил теперь посвятить свою жизнь делу подъема культурного уровня черноногих. Приехав в резервацию, он был поражен — настолько ужасно было материальное положение его сородичей, этих ранее свободных людей, которым были насильственно навязаны нечеловеческие условия существования. Не меньше ошеломили его также упадок духа и чувство безнадежности, царившие среди них. Прозабание в резервации совершенно лишило индейцев каких-либо надежд на будущее — вернее, лишило их желания жить. Белые победители, ограбив независимые индейские племена и отобрав у них земли, обещали кормить этих обездоленных людей, но на деле даже это условие не было соблюдено — индейцы в резервациях страшно голодали, погибали от истощения и болезней.

Маленький Бизон с присущей ему энергией пытался исправить эту несправедливость. Он стал напоминать о правах индейцев, но натолкнулся на стену враждебности со стороны тупых администраторов и бесчестных чиновников, «опекавших» индейцев. Маленький Бизон выдвигал перед властями разумные проекты, как лучше втянуть нас, племя черноногих, на путь цивилизации, но и здесь его постигла неудача. Политический режим, существовавший в стране, допускал и порой даже поддерживал выдвигание отдельных индейцев вроде Маленького Бизона из серой массы населения резерваций. Но власти вовсе не собирались создавать для всех индейцев такие же условия жизни, в которых находились их белые сограждане.

Неудача не обескуражила Маленького Бизона. Не добившись ничего прямыми требованиями к правительству о выполнении заключенных с индейцами договоров, он перешел к косвенным формам борьбы, рассчитанным на дальний прицел. Английским языком он владел, как природный англичанин, перо у него было искусное и острое, — он начал писать статьи в канадские и американские газеты. Он рисовал перед общественностью обеих стран картину тяжелой жизни индейцев в резервациях и звал читателей прийти на помощь этим обездоленным людям.

Успех статей поощрил его к публичным выступлениям — лекциям и докладам. Он читал их очень много, и в самых различных слоях общества. Он умел найти доступ к сердцу простого человека, умел убедить самых предубежденных слушателей. Заграничные институты приглашали его сотрудничать с ними.

Его выступления приобрели большую популярность, но они выходили, к сожалению, из рамок описанной выше и явно бесплодной теории. Его проповедь не достигала основной цели — изменения уклада жизни в резервациях. По-прежнему резервации окружала сплошная стена пренебрежения, недоброжелательства и злой воли.

По мере того как Маленький Бизон начал осознавать свое положение, в нем стало нарастать настроение трагической безвыходности. Это была трагедия человека, который на первый взгляд казался избранником судьбы, кото-

рый приобщился к культуре и знанию, обогатил свой ум — и все это словно с единственной жестокой целью: еще яснее увидеть, что как дым рассеиваются его мечты и надежды, еще глубже почувствовать свое поражение.

Приобщение к цивилизации белого человека отдалило Маленького Бизона и от его племени. Эту разлуку он ощущал очень болезненно. Но, как верный сын своего народа, он постоянно думал о том, как бы помочь черноногим получить образование. Этого, однако, он не сумел добиться. Правительственным чиновникам была не по душе идея духовного развития индейского племени. Маленький Бизон, оторванный от родного края, почувствовал себя безнадежно одиноким. Сознание, что он оказался изолированным, все сильнее терзало его.

В главном для себя вопросе Маленький Бизон давно уже не питал иллюзий: несмотря на внешние признаки уважения, мир белых людей не принял его в свою среду, не признал его равным себе, а тем более своим. Правда, ему дали возможность получить образование. Но образование — только средство для достижения цели, целью же является возможность заниматься общественной деятельностью. А в этом Маленькому Бизону упорно, неизменно, неустанно, как бы по негласному сговору, отказывали. Он был умен, у него были приятные манеры, он держал себя с другими на товарищеской ноге, отлично сдавал все экзамены. Но как только дело доходило до того, чтобы воспользоваться заслуженными плодами своих усилий, он видел перед собой наглухо захлопнутую дверь, отвернувшиеся лица, избегающие рукопожатия руки.

Последние годы перед трагической смертью Маленького Бизона я провел с ним вместе. Иногда он поверял мне свои муки и огорчения. Я хорошо видел, как глубоко ранили его все эти проявления несправедливого пренебрежения, дискриминации. Маленький Бизон ничем не отличался от любого высокообразованного и благовоспитанного американца — разве только цветом кожи и индейским происхождением, — и тем не менее перед ним то и дело возникала зловещая, неутолимая пустота. Это была пустота, имевшая для него также и материальные последствия.

После окончания цикла своих докладов Маленький Бизон решил стать пилотом гражданской авиации и с этой целью прошел курс специальной школы в Рузвельт-Фильде, под Нью-Йорком. Здесь, как и везде, он выдвинулся своими способностями, окончил школу с похвальным отзывом — и опять ему не дано было воспользоваться плодами этих новых своих усилий! Работы летчика он не получил. Мне думается, что этот новый удар был последней каплей, переполнившей чашу его горечи.

20 марта 1932 года Маленький Бизон покончил жизнь самоубийством в Калифорнии. Так, вслед за гибелью Косматого Орленка и Сильного Голоса, замкнулась цепь печальных событий, за которыми, смею утверждать, стояла одна и та же направляющая рука. Маленький Бизон совершил свой безрассудный поступок как бы в знак протеста против политики презрения, расовой дискриминации и несправедливости, которую в Северной Америке люди одной расы применяют к людям другой расы.

Мы, черноногие, остались по-прежнему воинами. Маленького Бизона мы все любили как брата и гордились им, но смерть его приняли спокойно, как эпизод великой борьбы, происходящей не только в наших прериях. Наиболее сознательные из нас уже видят, что во всех частях света разгорается борьба за

равные для каждого человека права на хлеб, на солнце, на радость, и этой борьбы уже ничто не остановит — до полной победы.

Всем сердцем — а там, где это возможно, и действием — мы стоим на стороне сил прогресса. Мы непоколебимо верим, что, когда эти силы скажут миру свое решающее слово, лучше станет и нам, индейцам.

Тайна Рио де Оро



Часть I На Марекуинье



Предостережение или угроза?



Я повышаю голос, чтобы перекрыть шум, поднятый попугаями, которые только что прилетели пестрой стайкой и расселись на ветвях ближайшего дерева пиниоро:[24]

— Мне хотелось бы посетить лагеря индейцев на Марекуинье! — говорю я Априсито Ферейро.

— Сеньор хочет посетить лагеря индейцев на Марекуинье? — протяжно повторяет Ферейро, окидывая меня неприязненным взглядом. — Это невозможно!

Ферейро — правительственный чиновник по опеке над индейцами корода, проживающими в долине реки Ивай в бразильском штате Парана. Резиденция этого «опекуна» находится у входа в большую колонию Кандидо де Абреу, которая возникла на недавно раскорчеванных пространствах приивайских лесов и является в этой местности наиболее выдвинутым на запад форпостом «цивилизации». Вот уже несколько месяцев наша зоологическая экспедиция охотится в величественных лесных дебрях вокруг Кандидо де Абреу и добывает для польских музеев различные экспонаты местной фауны. Теперь пришла пора отправиться еще на несколько десятков километров дальше на юго-запад: посетить лагеря индейцев на Марекуинье и организовать там, в лесах, охоту на крупного зверя. Однако я встречаю неожиданное препятствие: Априсито Ферейро — бразилец, от имени правительства штата осуществляющий функции «директора индейцев», — не желает, чтобы мы ехали туда. В его глазах загораются злые огоньки, когда он повторяет твердым голосом:

— Это невозможно!

Меня удивляет такая недружелюбность. Другие бразильцы в общем предупредительны и вежливы. Разъясняю «директору», что мы собираемся охотиться на тапиров и ягуаров на берегах Марекуиньи: там они не редкость. Разумеется, индейцы будут вознаграждены за право охотиться на их территории. Но

Ферейро неуступчив! На Марекуинье, — уверяет он, — нам грозят большие опасности. Климат там исключительно неблагоприятный, свирепствуют смертоносные формы малярии.

В подтверждение этих слов Ферейро указывает на одну из стен своего дома, возле которой сложены большие пакеты и ящики с медикаментами.

Я вспоминаю все, что слышал в колонии о «честности» Ферейро: поговаривали, будто он кладет в свой карман немало денег, нелегально продавая окрестным поселенцам казенные медикаменты, предназначенные для индейцев. Может быть, опасение, что я могу раскрыть все эти мошенничества, и является причиной его возражений против задуманной мною экспедиции на Марекуинью?

— Никто из нашей группы не боится болезней! — отвечаю ему. — У меня есть хорошая походная аптечка...

В это время просыпается прирученный попугай маракана, дремавший на жерди под крышей. словно зараженный возбуждением своего хозяина, он поднимает отчаянный крик и хлопает крыльями. Ферейро быстро хватается попугая и вышвыривает его во двор.

— Не знаю, известно ли сеньору, — продолжает Ферейро, что короады, особенно на Марекуинье, всегда отличались беспокойным нравом. Лет пять назад дело дошло до кровавого бунта, который нам пришлось показательно подавить. Тогда было пролито немало крови, но и до сих пор на Марекуинье нет надлежащего спокойствия. Иной вопрос, поехать куда-нибудь еще, скажем, в другие индейские резервации — туда можно. Но на Марекуинью... Это было бы безумием, сеньор!

— Эти индейцы восстали не против меня, — улыбкой скрывая намек, отвечаю я, — и не мы «показательно» подавляли их...

Наступает неприятное молчание. Я начинаю сожалеть, что вообще пришел сюда. Ферейро не спускает с меня испытующего взгляда и, переводя разговор на совсем другую тему, грубо спрашивает:

— С какой целью, прошу сообщить мне, с какой, собственно, целью, сеньор, вы прибыли в эти места?

— Большинство людей в колонии Кандидо де Абреу, — принимая вызов, парирую я выпад Ферейро, — точно знают это: я прибыл, чтобы заняться вопросом о ваших бразильских сокровищах...

Я не ожидал, что мои слова так подействуют на Ферейро. Он изумлен, в нем пробуждается недоверие, снова в глазах горят зеленые огоньки. С оттенком явной враждебности Ферейро спрашивает:

— Какие сокровища? Не понимаю!

Через открытые двери дома виден лес. На опушке, не дальше чем в ста шагах отсюда, на берегу речки Убасиньо, стоит огромное дерево сумауба. На его крону только что опустились самые необычайные местные птицы — туканы. У них большие, словно нарочно приделанные, похожие на карнавальные носы, клювы. Птицы подняли невообразимый шум.

— Вот одно из сокровищ вашей природы, которые мы здесь собираем! — весело говорю я, показывая на стаю туканов.

Ферейро утвердительно кивает головой.

— Понимаю, — говорит он, — вы натуралист?

Напряженность спала. Мы следим за забавной игрой птиц, но через минуту

туканы перелетают в глубь леса.

— Известна ли вам, сеньор, история немца Дегера из Понто Гросси? — помолчав спрашивает Ферейро.

— Кое-что...

— Дегер был слишком любопытен и пронырлив. Несмотря на предостережение, он отправился на Марекуинью. Это было два года назад. Он погиб. Его убили.

— Но, кажется, вовсе не индейцы!

— Это правда. А все же он погиб, так как был слишком любопытен...

Ферейро говорит таким тоном, что нельзя понять — предостережение это или скрытая угроза.

Когда я покидаю его дом, выброшенный во двор попугай снова начинает орать: «Корра, корра!», что по-португальски означает: «Беги, удирай!».

После столь неприятного разговора с «директором индейцев» перспектива экспедиции на Марекуинью тускнеет и я уже собираюсь отказаться от своего замысла, но вдруг все резко меняется. Мы завязываем знакомство с Томашем Пазио, польским колонистом с реки Байле, протекающей вблизи Кандидо де Абреу. Веселый, смелый колонист-пионер, человек с открытой душой, он знает всех индейских старшин, дружит с вождем Моноисом с Марекуиньи, бывает у него в гостях. О Ферейро и его странных предостережениях Пазио отзывается с презрением:

— Этот Ферейро известный мошенник! — говорит он. — Приехал сюда, чтобы поскорее разбогатеть за счет индейцев.

— Но если это известный мошенник, то его должны выгнать, отстранить от должности!

— Выгнать? На его место придет другой жулик, еще похуже. Да и кто его выгонит? Те, что в Куритибе, в правительстве штата? Так ведь это приятели Ферейро! Все они такие же, как он, и отлично знают, кого послали сюда. В верхах сидит сплоченная шайка негодяев и бездельников, которые поддерживают друг друга и безжалостно грабят страну. Когда они в достаточной мере поживятся, приходит так называемая революция, и другие подобные им жулики подбираются к той же самой кормушке. Мы находимся в тисках алчных паразитов, страна все больше беднеет и из этого заколдованного круга нет выхода!

— Неужели действительно нет выхода?

— А черт его знает! Чтобы стало лучше, надо изменить всю систему управления.

— Вот то-то!

— Но как ее изменить, когда сами эксплуатируемые массы совершенно пассивны?

Забившийся в глухомань этих лесов, Томаш Пазио знает все местные беды и заботы, зато имеет весьма отдаленное представление о том, что происходит в бразильских городах. А именно там массы, о которых он говорит, все больше начинают понимать, в чем причина их нужды и как от нее избавиться.

— Ферейро, — возвращаясь к прерванному вопросу, говорю я, — вспоминал о случае с Дегером, отправившимся на Марекуинью. Что это за история?

— О, история довольно загадочная.

— А зачем Дегер вообще лез туда?

— Он, кажется, искал какую-то золотоносную речку, которая протекает где-

то вблизи Марекуиньи и будто бы таит в себе сказочные богатства. Во всяком случае убили его не индейцы.

— А Ферейро тогда был уже «директором индейцев»?

— Был! — Пазио хитро прищуривает один глаз, угадывая мою мысль. — И не исключено, что он приложил руку к этой грязной афере.

Колонист смеется, нежно похлопывая по кобуре своего огромного пистолета, прикрепленного к поясу, и говорит:

— Будем начеку!..

Ранчо Франсиско Гонзалеса



Четыре недели спустя после этого разговора, в середине февраля, мы добиремся до реки Ивай и останавливаемся в ранчо Франсиско Гонзалеса, расположенном в 20 километрах юго-западнее колонии Кандидо де Абреу. У хозяина, молодого бразильца, несколько диковатый, но не отталкивающий облик лесного человека (по-местному «кабоклё»). Он радушно встречает нас и уступает часть своего убогого ранчо. Вместе со мной в экспедиции участвуют: Томаш Пазио, как всегда веселый и жизнерадостный; Антоний Вишневский, мой энергичный друг из Польши, лесник и замечательный зоолог нашей экспедиции; Михал Будащ, сын польского колониста из Кандидо де Абреу, помощник Вишневского и ловкий препаратор шкур и, наконец, его брат — Болек Будащ, наш четырнадцатилетний повар.

Дом Франсиско Гонзалеса построен в долине реки, но не у самой воды. Надо пройти еще несколько сот шагов по тропинке в зарослях, чтобы достичь берега Ивай — реки, хорошо известной польским колонистам.

Пути, которыми шло открытие различных территорий земного шара, привели к тому, что преобладающее большинство рек, особенно в тропиках, люди скорее и более детально обследовали в устьях, в нижнем их течении — ближе к морю, — нежели у истоков. Но Ивай является исключением. Река эта берет свое начало в густо населенной части бразильского штата Парана, на так называемой Паранской возвышенности, колонизированной уже несколько десятков лет назад. Ивай вначале течет в северо-западном направлении, через старые колонии Кальмон и Терезина, потом постепенно отклоняется к западу, пересекая еще девственный край. Уже там, где раскинулась колония Апукарана, царят нетронутые леса, а колония Кандидо де Абреу, лежащая в 20 километрах дальше на запад (не на самой Ивай, а на ее притоке Убасиньо), — это последний на пути нашей экспедиции населенный пункт колонистов. Вокруг него и несколько дальше, забравшись в лесную глушь, кое-где еще живут немногочисленные кабоклё, но на южном берегу Ивай кочуют только индейцы племени короадо.

Дальше на запад — гигантские, безлюдные неведомые заросли, тянущиеся на сотни километров до реки Параны и Матто Гроссо. Через эти непроходимые дебри, полная быстрин и водопадов, такая же малоизведанная как и

окружающие ее леса, несет свои воды река Иваи.

Вскоре после первой мировой войны известный польский орнитолог Хростовский, автор интересной книги «Парана», вместе с д-ром Ячевским и Борецким совершил на лодке вниз по Иваи смелую экспедицию. На обратном пути Хростовский умер (его скосила малярия), Ячевскому удалось спасти ценные коллекции и доставить их в Польшу. Борецкий поселился в Кандидо де Абреу и живет там до сих пор. Коллекции Хростовского находятся в Государственном зоологическом музее в Варшаве, а д-р Ячевский в качестве профессора Варшавского университета приумножает сегодня славу польской науки.

Когда мы прибыли к Франсиско Гонзалесу, нас ослепило великолепное зрелище. Заходящее солнце освещало горы на противоположном, южном, берегу реки. Это невысокие горы, скорее холмы, но очень изрезанные и крутые; они находятся уже на индейской территории; их покрывает густой дремучий лес. Когда солнце спускается к горизонту, вершины гор вспыхивают таким интенсивным фиолетовым светом, что он просто ошеломляет. Пылающие горы и леса как бы несут нам дружественный привет.

Картина полна чарующей красоты. Наблюдая ее, легко можно забыть, что в глубине леса два года назад произошло мрачное и загадочное происшествие, а пять лет назад разыгралась великая трагедия индейского племени.

Томаш Пазио подходит ко мне, обводит взглядом раскинувшуюся перед нами широкую панораму индейской территории. Он в хорошем настроении и спрашивает меня:

— Знаете ли вы, где Марекуинья впадает в Иваи?

Вопрос явно риторический, так как я, конечно, не знаю этого. Впрочем Пазио сам выручает меня своим ответом. Он протягивает руку на запад, в сторону солнца, и улыбаясь говорит:

— Вон там, в той стороне. На ширину одной ладони вправо от солнца. Как-нибудь 5 километров отсюда.

— Это уже недалеко, — с удовлетворением отвечаю я.

Пазио две недели назад встретил Моноиса, Капитона,[25] или вождя индейцев, на Марекуинье и сторговался с ним. Узнав о моих замыслах, Моноис не только охотно пригласил нас к себе, но и сам пожелал принять участие в нашей экспедиции, разумеется, за соответствующее вознаграждение и на условиях щедрого раздела дичи, добытой на его территории. Кроме того, Пазио договорился, что в назначенный день Моноис и еще двое индейцев придут на лодках к ранчо Франсиско Гонзалеса и отвезут нас и наше имущество в свой лагерь. Помимо индейцев, я взял в сотрудники еще четырех самых способных местных охотников бразильцев, имеющих хороших собак для охоты на крупного зверя. Таким образом мы и обосновались на ранчо Гонзалеса. Завтра должны явиться бразильцы, а через четыре дня — индейцы.

— А где, собственно, находится лагерь индейцев на Марекуинье? — спрашиваю Пазио.

Он вытягивает обе руки в юго-западном направлении:

— Кажется, не ошибаюсь. На две ладони влево от солнца. Там — за той самой большой горой.

— Далек ли это отсюда?

Вопрос застаёт Пазио врасплох. Он откровенно признается:

— Черт его знает! Километров двадцать, возможно и все тридцать...

Пазио был там уже несколько раз, но точно определить расстояние не может: шел туда по очень извилистой тропе вдоль берега Марекуиньи. Я подсмеиваюсь над его смущением и говорю:

— Неважно, сколько километров: все равно, так или иначе мы доберемся туда. Главное то, что над индейской территорией светит такое чудесное солнце. Кажется, будет солнечно...

— Да! — торопливо подхватывает Пазио. — Это хорошее предзнаменование для нашей экспедиции.

Плохие предсказания



На следующее утро являются бразильцы. Они приводят десятка полтора своих собак. Поскольку индейцы должны прибыть лишь через три дня, я решаю пока организовать небольшую охоту неподалеку от ранчо Гонзалеса.

Заметив наши серьезные приготовления, несколько нелюдимый хозяин заметно оживляется и просит меня принять его в число участников экспедиции на Марекуинью. Я отказываю: у меня и так уже много спутников, да и расходы приходится ограничивать. Мой отказ вызывает явное недовольство Гонзалеса, словно я нарушил какие-то тайные его планы. Недовольство хозяина замечает и Пазио:

— А, пес его бери! Гонзалеса считают приспешником Ферейро. Уж не хочет ли он сопровождать нас на Марекуинью в качестве «ангела-хранителя»?

Вечером, когда мы все сидим вокруг костра, неожиданно появляется гость. Мы изумлены: это капитон Моноис.

Капитон — человек в расцвете лет, широкоплечий, коренастый. Одет он, так же как и все местные кабоклё, то есть ходит босиком, носит полотняную рубашку и полотняные сравнительно белые штаны. На голове у него огромная шляпа, сделанная из волокон растения такуара. Выступающие скулы, веки в форме треугольника, небольшой широкий нос и темно-коричневого цвета кожа придают лицу Моноиса явно монгольские черты.

Капитон чуть заметно улыбается, видя, какое впечатление произвел его приход. Он подходит к каждому из нас, церемонно приветствует, протягивая руку, и в знак расположения по бразильскому обычаю хлопает каждого по плечу.

— О компадре,[26] ты ведь должен был прибыть только через три дня! — обращается к нему Пазио. — Разве случилось что-нибудь непредвиденное?

На ломаном португальском языке Моноис отвечает, что ничего особенного не произошло: он заехал сюда случайно, по пути к соседям. Скоро он вернется в свое тольдо, то есть в лагерь на Марекуинье, сразу же соберет людей, возьмет две большие каноэ и в назначенный срок, через три дня, приплывет к нам.

Моноис говорит это тихим низким голосом. Затем садится возле костра и вместе со всеми приступает к еде.

На следующий день капитон покидает нас. Уходя Моноис подает на проща-

ние руку всем, за исключением меня. Просто обходит, не глядя в мою сторону, словно не видит меня.

Об этом странном поведении индейца я немедленно сообщаю Пазио, высказав предположение, что Моноис очевидно был рассеян. На лице Пазио отражаются изумление и озабоченность.

— Рассеянность? Нет! — отвечает он. В таких случаях Моноис не бывает рассеянным.

— Что же тогда? Не захотел проститься со мной?

— Не захотел.

— Почему?

Пазио пожимает плечами:

— Не знаю почему. Какая-то муха очевидно укусила его ночью. Это плохой признак, он не сулит добра.

Невольно вспоминая вчерашний вечер, не могу сдержать улыбки и выкладываю Пазио с притворным сожалением в голосе:

— А ведь солнце вчера предсказывало нам только хорошее!

— Тьфу! — презрительно кривится Пазио. — Такое уж здесь солнце, кабоклё!? Порой оно выкидывает всякие глупые шуточки.

К сожалению, на этом довольно невинном происшествии «плохие приметы» не кончаются. Следующий случай затрагивает нас более чувствительно. Моноис попросту не выполняет соглашения: в назначенный день он не является на ранчо. Гонзалеса и вообще не подает признаков жизни.

До полудня мы тщетно ждем его. Потом, не желая зря терять день, отправляемся на охоту. Под вечер мне удастся подстрелить с лодки бразильского оленя, называемого здесь сеадо пардо, которого выгнали на меня наши собаки. Когда мы возвращаемся в ранчо, совсем темнеет.

Болек Будащ, поваренок экспедиции, услышав, что мы возвращаемся, выбегает навстречу и с беспокойством докладывает, что вскоре после нашего ухода прибыл какой-то индеец, который сидит в ранчо до сих пор. Болек хотел спросить его, но индеец неразговорчив; из него ничего нельзя вытянуть.

— Где он? — спрашивает Пазио.

— Сидит в доме.

Идем к ранчо. Внутри — тьма египетская. Болек приносит от костра лучину, и при ее свете мы разглядываем пришельца. Это молодой индеец: ему, вероятно, не больше двадцати лет. Он лежит у стены и, кажется, спит. Когда мы входим, индеец приподнимается на локтях и, прищурив от света глаза, всматривается в собравшихся.

— Бао нойте![27] — доброжелательно приветствует его Пазио.

— Бао нойте! — едва слышно вполголоса отвечает он.

Пазио ждет, так как считает, что парень прибыл от Моноиса с вестью и начнет говорить первым. Но индеец таращит на нас глаза и молчит. Поэтому Пазио спрашивает:

— Откуда пришел?

— С Марекуиньи.

— Тебя послал к нам капитон Моноис?

Индеец одно мгновение колеблется, потом тихо говорит:

— Нет.

— Нет? — в изумлении повторяет Пазио. — Так зачем же ты прибыл сюда?

- Я иду к землякам в Фачинали и хочу тут переночевать.
- Когда ты в последний раз видел капитона Моноиса?
- Сегодня утром в тольдо.
- Почему капитон не приехал к нам?
- Не знаю.
- Когда приедет?
- Не знаю.
- Он ничего не передавал?
- Нет.

Индеец отвечает коротко, ворчливо, неохотно. В тоне его ответов сквозит явная неискренность. Так ничего и не узнав, мы выходим из дома. Ужинаем в несlišком веселом настроении. Тщетно пытаемся понять, что означает приход молодого индейца. Наконец, Пазио заявляет:

— По каким-то непонятным нам причинам Моноис не выполнил соглашения и вот прислал сюда шпиона, чтобы тот следил за нами.

Предположение, что непрошенный гость — шпион, на следующий день начинает оправдываться. Переночевав в доме, индеец никуда не уходит и остается в ранчо. Он часами не двигаясь сидит около дома, опершись спиной о стену, и зорко следит за всем, что происходит вокруг. Когда его вежливо спрашивают, скоро ли он отправится в Фачинали, парень отвечает, вызываясь усмехаясь:

— У меня еще есть время, много времени.

После полудня, так и не дождавшись Моноиса, мы сходимся в лесок на совещание. В доме остается только Болек: ему поручено присматривать за молодым индейцем. Становится ясно, что Моноис попросту обманул нас. Несмотря на это и наперекор трудностям, мы решаем отправиться на Марекуинью охотиться. Это будет не по вкусу Моноису, но очевидно мы как-нибудь договоримся с ним и поладим. А лодки пока что одолжим у Гонзалеса, их у него три. К счастью, мы захватили с собой достаточные запасы провианта — его хватит на две недели. Это сделает нас независимыми от настроений капризного Моноиса.

Единственная трудность состоит в том, что ни бразильцы, ни даже Пазио не знают опасных и многочисленных быстрин реки Марекуиньи. Продвижение против ее стремительного течения будет нелегким. Поэтому мы решаем: четверо бразильцев и Болек отправляются завтра утром со всем провиантом и багажом на двух лодках, проплывут 5 километров по Ивай до устья Марекуиньи, а затем по этой реке будут постепенно подниматься вверх. Тем временем Пазио, Вишневский и я пойдем как можно скорее по тропинкам прямо через лес к лагерю индейцев. В лагере мы найдем нескольких индейцев, которых немедленно пошлем вниз по Марекуинье навстречу бразильцам, чтобы помочь последним грести и перебраться через быстрыны. Таким образом, все мы сможем через два-три дня встретиться в индейском лагере.

Пазио, Вишневский и я решаем еще сегодня выйти в путь и провести ночь у одного кабоклё на берегу Марекуиньи. Михала Будаща, который сейчас нам не нужен, я временно отправляю в колонию Кандидо де Абреу.

Около четырех часов дня, когда несколько спадает жара, мы с Вишневским и Пазио покидаем ранчо Гонзалеса. Идти нам легко, так как груз наш невелик: берем с собой только ружья, револьверы и фотоаппарат.

На прощанье товарищи шутят над нами, утверждая, что мы выйдем так, будто отправляемся на вооруженный захват индейского лагеря. Пазио со смехом отвечает, что это будет трудная операция, так как у нас всего по нескольку патронов. Чтобы быстрее идти при таком невыносимом зное, мы не хотим слишком перегружать свои карманы.

За час до начала похода молодой индеец исчезает. Мы его ищем повсюду, но тщетно! Пропал.

Измена Капитона Моноиса



На следующий день, несмотря на окружающую буйную лесную растительность, мы с самого утра изнываем от жары бразильского февраля. Пазио, который идет по тропинке впереди нас, млеет, как в бане, а с меня и Вишневого буквально текут ручьи пота. Наконец, лес редет и мы выходим на берег Ивай, почти напротив впадения в нее Марекуиньи.

За последние недели у нас было столько разговоров и столько споров об этой реке, что сейчас я смотрю на ее берега с некоторым волнением. Устье довольно широкое — почти как Варта около Познани, — но Пазио утверждает, что всего в нескольких километрах выше оно значительно сужается и образует предательские быстрины и водопады. В то же время Ивай, в том месте где мы стоим, несет примерно столько воды, сколько Одер перед впадением в него Нейсе.

Не мешкая мы садимся в лодку, которую находим на берегу, чтобы переправиться через Ивай. Неожиданно Пазио останавливается, зорко всматривается в противоположный берег и удивленно вскрикивает:

— Это еще что за чертовщина!

Мы тоже смотрим туда. На фоне плотной стены зелени с Марекуиньи выплывает большая каное, в которой сидят шестеро индейцев: четверо мужчин и две женщины. За первой лодкой появляется вторая, третья — на всех полно людей. Выбравшись на середину Ивай, индейцы направляют каное вниз по течению, проплывая мимо нас. В первой лодке мы узнаем... Моноиса!

Измена его становится явной: если бы Моноис спешил к ранчо Гонзалеса, то должен был бы плыть в противоположном направлении вверх по реке.

— Вот негодяй! — говорит нам Пазио и начинает кричать индейцам, сидящим в первой лодке, чтобы они приблизились к нам.

— Бао дия,[28] компадре! — приветствует Пазио Моноиса. — Подойди ближе, компадре капитон!

— Не могу! — бурчит индеец. — Скоро пойдет дождь, надо спешить.

— Дождь будет и на середине реки и на берегу. Куда ты поплывешь в таком многочисленном обществе?

— В Буфадеру.

Буфадера — это лагерь индейцев, находящийся отсюда на расстоянии двух дней пути на лодке. Из этого явствует, что Моноис собирается пробыть там

долго.

— Жаль! — говорит Пазио. — Мы думали, что ты будешь ждать нас в своем тольдо на Марекуинье. И вот оказывается, что ты уезжаешь.

— Си,[29] уезжаю.

Пазио показывает на меня рукой и разъясняет:

— Охотник из далеких стран хотел у вас поохотиться и даже договорился с тобой. Он друг твой и всех короадов.

Моноис медленно крутит головой и сухо произносит:

— Ошибаешься, компадре Томаис! Он мне не друг и вообще не друг короадов!

— О, черт возьми! Какой-то подлец наварил нам каши! — по-польски говорит мне Пазио и громко обращается к Моноису. — Почему ты так думаешь?

— Он платит бразильцам за работу по пять мильрейсов[30] в день, а нам хочет платить только по два. Он собирался обмануть нас!

Это правда, что с бразильцами я договорился за плату пять мильрейсов в день, а с индейцами — по два. При заключении договора такая разница сразу же показалась мне странной и несправедливой в отношении индейцев, но в Кандидо де Абреу мне категорически заявили, что таков уж местный обычай и мне тоже нельзя отступать от него; индейцам платят значительно меньше, чем белым.

Пазио старается убедить Моноиса, что я плачу бразильцам не только за их работу, но еще и за охотничьих собак, которых у индейцев нет. Эти старания тщетны. Моноис собирается отплыть, и Пазио снова спрашивает!

— Кто же тебе наболтал обо всем этом?

— Априсито Ферейро, наш опекун.

Я шепчу Пазио, чтобы он немедленно сообщил индейцам о повышении им платы.

— Ферейро бесстыдно лгал тебе! — кричит Пазио через разделяющее нас водное пространство.

— Лжешь ты, компадре Томаис! Франсиско Гонзалес точно подтвердил мне все, что сказал Ферейро!

— Ферейро лгал — ты и твои люди получают от сеньора охотника по пять мильрейсов, как и все остальные!

Но обиженный Моноис прерывает разговор: он больше не желает ничего слушать. Капитон снова поднимает весло, и вскоре его каноэ исчезает за поворотом реки, а за ним отплывают и его люди.

Априсито Ферейро, «директор индейцев», в своем загадочном противодействии нашему походу на Марекуинью пошел на явную интригу, и она, надо признаться, удалась ему. Он восстановил против нас Моноиса, который сейчас демонстративно покинул со своими людьми лагерь, чтобы сделать невозможным наше пребывание в нем.

Томаш Пазио, «польский индеец»



Каное индейцев скрываются за поворотом. Черт с ними! Мы переправляемся на ту сторону реки, привязываем лодку к кустам, а затем по тропинке, что тянется вдоль Марекуиньи, вступаем в лес. Хотя бегство Моноиса — досадное происшествие, тем не менее мы не можем отказаться теперь от первоначального замысла и отступить. Где-то по реке уже плывут наши друзья-бразильцы, а провиант и собаки, которых они везут с собой, позволят нам охотиться и без помощи индейцев.

Начинает накрапывать дождь. Лес теряет свои прежние яркие краски, сеет и мокнет. Глохнет шум деревьев, пение птиц и жужжание насекомых, слышится только монотонный плеск дождя и время от времени гул быстрины на реке, скрытой где-то ниже, среди буйной растительности. Неровная извилистая тропинка становится скользкой, и это затрудняет наше продвижение. Когда начинается подъем, становится труднее дышать. Зато, когда спускаемся вниз, снова обретаем силы, возвращается бодрость, в голове появляются более веселые мысли. И тогда я думаю о Томаше Пазио, необыкновенном человеке, который молча шагает впереди меня.

Пазио завоевал себе славу на территории всего бассейна реки Иваи как «польский бугер», то есть польский индеец. С того самого момента, когда юношей, еще перед первой мировой войной, прибыл он из Польши в эти далекие паранские джунгли, Пазио вел жизнь, совершенно не похожую на жизнь других колонистов. Он полюбил лесные тропы. Скрытые в зарослях, они вели его к забытым людям, которым он нес веселую беседу и приятную новость. Чаще всего он бывал среди короадов, владения которых находились вблизи колонии Кандидо де Абреу, его местожительства. Он знал их всех; вел с ними различные дела, на которых, кстати сказать, плохо зарабатывал, а индейцы оказывали ему безграничное доверие и считали сердечным компадре, то есть кумом. Злоязычные и хорошо осведомленные соседи Пазио говорили мне шутливо, что он также пользовался большим успехом у индианок. Словом, Пазио — большой знаток местных взаимоотношений, прекрасный гид по приивайским местам, человек, хорошо знакомый с каждой лесной тропинкой вплоть до Питанги и Сальто Уба.

Несколько лет назад Пазио женился и поселился у истоков реки Байле. Он сажает там кукурузу, разводит свиней, но пока все же испытывает нужду, так как на него часто находит тоска, которая уводит Пазио в лес, а тогда уже вся забота о хозяйстве целиком ложится на плечи его энергичной жены.

Характерным было одно происшествие, случившееся за несколько месяцев до нашего приезда. Пазио вместе с женой валили дерево пиниоро. Во время работы пилу заело так, что ее нельзя было ни продвинуть, ни вытащить. Необходимо было подклинить наполовину спиленное дерево.

— Подожди минутку! — сказал Пазио жене. — Я схожу в лес, сделаю клин. Сейчас вернусь.

Он ушел и вернулся... только через два месяца! Оказалось, что Пазио встретил какого-то кума-индейца, к которому имел важное дело. Возвращаясь домой, Пазио не забыл о клине. Снова вместе с женой он отправился допиливать оставленное дерево пилой, сильно заржавевшей за два месяца.

Естественно, что, прибыв на Иваи, я не мог не познакомиться с этим замечательным человеком и подружиться с ним. Он стал моим хорошим товарищем, переводчиком и посредником между мною и людьми, живущими в

здешних лесах.

Прежде чем мы добираемся до индейского тольдо, спускаются сумерки. Около тропинки виднеется пустой шалаш. Пазио останавливается и говорит:

— До тольдо еще несколько часов пути. В темноте нельзя идти дальше. Переночуем тут!

Мы разжигаем костер, сушим на нем одежду, а затем измученные и голодные, укладываемся спать. Мы взяли с собой в дорогу очень мало еды и во время перехода съели весь запас, надеясь на то, что еще засветло доберемся до индейского лагеря.

«Вы здесь помощи не получите!»



На следующий день с рассветом трогаемся дальше. Мы голодны. Страдаем от головной боли после скверного ночлега и вчерашнего дождя. Через три часа обнаруживаем первый признак лагеря: половину кукурузного початка. Дальше лес редееет, и мы выходим на открытое место, где расположено несколько убогих хижин, стоящих на довольно далеком расстоянии друг от друга: это индейский лагерь, или, по-местному, тольдо.

Перед первой с краю хижиной сидят трое индейцев — один пожилой и два молодых. Они пристально смотрят на нас. Очевидно, это охрана лагеря, ожидающая нашего прихода. Приближаемся к ним, и после обмена приветствиями напрашиваемся на шимарон. Индейцы медленно встают и вводят нас внутрь хижины. С изумлением узнаем в одном из них того молодого парня, который приходил на ранчо Франсиско Гонзалеса, якобы по пути в Фачинали, и два дня назад покинул его, даже не простившись с нами.

— Ты же должен был идти в Фачинали? — с издевкой спрашивает Пазио молодого индейца.

— Си, должен... — отвечает парень.

— Но ты не был там?

— Был и вернулся.

— Хо-хо... Видно, бежал быстрее, чем серна!

— Бежал быстрее... — с невозмутимым спокойствием отвечает индеец.

Лжет! За два дня он не мог успеть побывать в Фачинали и вернуться. Просто удрал от нас сразу на Марекуинью, чтобы предупредить тольдо о нашем приближении.

Индейская хижина, в которую мы входим, построена из такуары, растения, похожего на бамбук и распространенного в сухих частях бразильских лесов. Посреди хижины, прямо на полу, горит костер. Мы складываем наши ружья в углу и садимся на пне с одной стороны костра, а индейцы — напротив, с другой стороны. По давно принятому здесь обычаю сидим в полном молчании, равнодушно глядя друг на друга, пока пожилой индеец, играющий роль хозяина, приготавливает шимарон. Поставив на огонь чайник с водой, индеец достает куйи — выдолбленный плод паранги величиной с мужской кулак — на-

половину засыпает ее сухой травой герва мати, или паранским чаем, обливает все это кипятком и пьет отвар, потягивая его через тростниковую трубочку, по-местному «бомба».

Высосав напиток, индеец снова наливает в куйи кипяток и подает Пазио. Томаш не берет куйи, изумленно поднимает брови вверх и с легким удивлением в голосе спрашивает:

— Почему ты подаешь куйи левой рукой?!

Подача куйи левой рукой считается в здешних местах бестактностью. Индеец улыбаясь извиняется, перекладывает куйи в правую руку и вновь протягивает Пазио. В полном молчании куйи путешествует по кругу. Горячий шимарон производит чудеса. Словно по мановению чародейской палочки, наша усталость исчезает, в жилах быстрее начинает обращаться кровь. Но одновременно усиливается прямо-таки болезненное ощущение голода.

Присматриваюсь к индейцам. У них, как почти у всех короадов, коренастые и мускулистые тела, ростом они примерно на голову ниже меня. Их лица — круглые, смугловатые, монгольского типа — выражают достоинство и спокойствие. Они красивы. Несомненно красивее, нежели лица обычно истощенных бразильцев — кабоклё, встречавшихся нам в бассейне Иваи. Особенно красив один парень, не достигший еще и двадцати лет, с искусственно заостренными зубами: он мог бы сойти за образец мужской красоты. Индейцы одеты только в легкие рубашки и брюки. Под расстегнутыми воротниками выделяются крупные мускулистые груди.

Мы голодны, а у голодных дума только о хлебе. Правда, индейцы хлеба не имеют, зато они едят фаринью — мелко дробленную кукурузу. Пазио просит индейцев продать нам немного фариньи.

— Нельзя! — спокойно отвечает пожилой индеец. — Фаринью съели. Свежая кукуруза только еще замочена в воде, а жена моя куда-то ушла.

— А рис есть?

— Да, есть. Колосится в поле, скоро созреет...

— А может быть у тебя есть какой-нибудь поросенок?

— Нет. Но на следующий год, когда кто-нибудь приедет, поросенок будет и я продам его.

— А яйца есть?

— Есть. Курица сидит на них. Не сегодня-завтра могут появиться хорошие цыплята.

— А фижон?

Фижон — это черная фасоль, самая популярная пища в Бразилии.

— Фижона ни у кого здесь нет.

— А маниоки[31] или бататы?[32]

— Только что посадили.

Наступает молчание. Вопрос ясен: отказывая нам в продаже продовольствия, индейцы хотят заморить нас голодом и вынудить вернуться обратно. Шимарон идет дальше по кругу. И тут пожилой индеец прерывает молчание. Он говорит, что у него есть двухмесячный поросенок.

— Хорошо! Сколько хочешь за него? — спрашивает обрадованный Пазио.

— Пятьдесят мильрейсов.

Это настолько высокая цена, что она не может служить даже основой для переговоров. Индеец насмехается над нами, скрывая насмешку под маской

невозмутимого спокойствия.

От голода нас может спасти только быстрое прибытие наших друзей бразильцев с лодками и провиантом. К сожалению, тридцатикилометровый путь, который может оказаться длиннее, если учесть повороты, займет еще два или три дня. Ведь им придется плыть против быстрого течения. Мы решаем выслать навстречу бразильцам двух молодых индейцев. Чтобы привлечь их на свою сторону, Пазио обещает им очень высокое вознаграждение: по десять мильрейсов каждому, то есть в два раза больше, чем получили бы иные бразильцы. После долгого молчания за них отвечает пожилой индеец:

— Нет! Во всем тольдо нас осталось только трое мужчин. Мы не можем вам помочь. Я должен идти в лес за такуарой, а эти двое отправляются в Питангу.

— Пусть отложат поездку в Питангу!

— Не могут!

— Нам казалось, что один из них должен идти в Фачинали, а не в Питангу.

В глазах индейца неожиданно появляются злые искорки. Он подчеркнуто заявляет:

— Вы здесь помощи не получите!

Однако Пазио не теряет, он объясняет индейцам, сколько разных ценных товаров они смогут купить за десять мильрейсов в венде[33] в Кандидо де Абреу. Зная слабую струнку индейцев, он соблазняет их красочным описанием разных заманчивых товаров. Но все его красноречие расходуется впустую: сказочные соблазны не оказывают на них никакого действия. С издевательской усмешкой пожилой индеец повторяет:

— Вы здесь помощи не получите!

Мы встаем. Закидываем ружья за плечи и выходим из хижины.

Погоня за цыпленком



Минуем несколько хижин тольдо. Вокруг царит зловещая тишина. Большинство хижин, очевидно, пусто, но в некоторых видимо есть люди: мы слышим тихий плач детей. Тропинка ведет нас через узкую полосу леса, оставшуюся после вырубки. Из леса выходим на новое поле, поменьше прежнего, где растет кукуруза, а больше сорняки. Здесь только одна хижина. Она принадлежит капитону Моноису.

На утопанной площадке перед хижинкой играет несколько детей и хлопчет жена Моноиса, довольно симпатичная женщина лет тридцати с небольшим. На вопрос о фаринье, как мы и ожидали, она отвечает отрицательно. Скрипнув зубами, шагаем дальше и в самом скверном настроении выходим к берегу Марекуиньи. Подавленные, садимся у самой воды.

Возникают и тут же отвергаются различные фантастические планы. Вишневский предлагает построить плот и плыть вниз навстречу бразильцам. Мысль эта в основе своей неплохая, однако ее трудно осуществить, так как река изобилует быстринами, к тому же у нас нет на дорогу продуктов.

Сидя в тени могучего дерева имбуи, мы с любопытством следим за стаей крикливых перекит,[34] которые расселись на его вершине. К сожалению, это небольшие птички, в них очень мало мяса, однако у всех текут слюнки; задирая головы вверх, мы думаем: стрелять или не стрелять? У нас по нескольку патронов, но только два заряжены дробью на дичь, остальные же — на крупного зверя. Мы проявили легкомыслие, взяв с собой так мало патронов.

Пока мы сидим и раздумываем, к нам подходит жена Моноиса. По ее озабоченному лицу видно, что она приняла какое-то решение. Действительно, женщина хочет продать нам цыпленка. Наученные горьким опытом, мы слушаем ее недоверчиво. Но в предложении нет ловушки. Мы замечаем, что женщина чем-то обеспокоена. С уверенностью можно сказать, что жена капитона опасается, не замыслиаем ли мы какой-нибудь авантюры? Она видела, что мы ушли в скверном настроении, что у нас имеются три ружья и три пистолета. А вдруг мы учиним скандал? Видимо, придется продать цыпленка...

На площадке перед хижиной женщина указывает нам черного цыпленка и говорит, что это тот самый, которого мы можем застрелить. Создание ничтожно мало для удовлетворения волчьего аппетита трех изголодавшихся путешественников, но для начала и это хорошо. Я поднимаю ружье, но Пазио толкает меня под руку и о комической важности заявляет:

— Нао,[35] сеньор! Не стреляйте. Это божественное жаркое падет от моей руки!

Пазио достает из-за пояса огромный «Смит», подкрадывается к цыпленку и стреляет с расстояния в три метра. Абсолютно не задетый цыпленок немного испуган: он забавно подсакивает, отлетает на несколько шагов и вновь спокойно поклевывает что-то.

Вишне夫斯基 и я валимся от смеха. Тем временем Пазио снова осторожно приближается к жертве и... бац! Стреляет второй раз и опять промахивается. Для цыпленка этого уже чересчур много... Он понял «привет» Пазио и сломя голову мчит в кусты. Пазио и Вишне夫斯基 бегут за ним. Они еще два раза стреляют из револьвера, но мужественный беглец исчезает в кустах.

На наших лицах одинаковые мины раздосадованных людей. Жена Моноиса продать другого цыпленка не желает.

— Я попал в него, даю голову на отсечение! — утверждает Пазио. — Сдохнет где-нибудь в кустах.

Иного выхода, как обыскать заросли, нет. Это трудная задача, ибо капоэйра,[36] несмотря на отсутствие крупных деревьев, представляет собой густые заросли, в которых свободно скроется вол, не говоря уже о цыпленке. Искать цыпленка нам старательно помогают женщины и ребяташки, и счастье сопутствует поискам: цыпленок скоро найден. С него немного каплет кровь — кто-то все же задел его пулей, но в общем он цел. Жена Моноиса добывает цыпленка. На этом заканчивается охота и начинается пир.

Пока мы наслаждаемся шимароном, жена капитона вместе с дочкой приготавливает нам цыпленка. Спустя некоторое время его приносят нам аппетитно зажаренным, в соусе, с хорошей порцией тертой кукурузы.

Мы констатируем, что еще стоит жить, если можно так поесть. В ножке цыпленка, видимо, скрыта чудодейственная сила, потому что мир вновь кажется нам прекрасным.

Уродец



Вишневский и я ошеломленно таращим глаза в сторону хижины Моноиса. Из нее неожиданно вылезает некий индивидуум мужского пола, прикрытый лишь болтающейся тряпкой, обмотанной вокруг бедер. У него выпяченное округлое брюшко, ноги и руки тоненькие, а лицо — помилуй господи! — настоящего кретина. Он смущенно улыбается нам, видя ошеломляющее впечатление, произведенное им, и спешит в лес.

— Кто это? — вслед за Вишневским удивленно спрашиваю я.

Пазио хохочет и отвечает:

— Это Леокадио.

Он рассказывает нам историю странного уродца. До недавнего времени жил на Марекуинье энергичный и смелый индеец Паулино, который добился такого большого влияния среди короадов и уважения бразильских властей, что ему присвоили звание почетного колонеля, то есть полковника, и доверили начальство над всеми вождями племени. Это был незаурядный авантюрист. Лет тридцать-сорок назад, когда в прииваинских джунглях было еще немного белых, он организовывал далекие походы против индейцев другого племени — ботокудов, грабил их лагеря, захватывал людей и обращал их в рабство. Леокадио, схваченный еще ребенком, был одной из ботокудских жертв Паулино. Его привезли на Марекуинью, и он принужден был всю жизнь выполнять самые грязные работы. После смерти Паулино, в 1924 году, он перешел в собственность капитона Моноиса. Сейчас Леокадио около пятидесяти лет и он сжился с короадами, которые представляют его бразильским властям как своего соотечественника.

У Леокадио очень странные привычки. Он умеет лазить по деревьям, как обезьяна, часто ночует в лесу и вообще охотнее бывает под открытым небом, чем в доме. В свое время бразильские власти решили до известной степени «цивилизовать» индейцев этой местности и принудили их одеваться по-европейски. Лишь один Леокадио воспротивился этому и по сей день ходит в чем мать родила. Чтобы сломить его сопротивление, бразильцы одели его насильно, но едва они покинули тольдо, как Леокадио бросился в лес и вскоре вернулся голым. Выданную ему одежду он повесил на недосыгаемой для других вершине самого высокого в окрестности дерева. Таков этот чудак.

Пока Пазио рассказывает о нем, Леокадио возвращается из леса. Когда он проходит мимо нас, я угощаю его сигаретой. Он осторожно берет ее грязной рукой и, бормоча что-то невразумительное, кротко улыбается нам. При этом глаза его становятся детскими и добрыми.

— Ну, этот, пожалуй, будет нашим союзником! — заявляет Пазио.

Новые затруднения

Кажется, что съеденный цыпленок не только возвращает нам хорошее настроение и силы, но и оказывает определенное влияние на все наше окружение.

К нам приближаются трое индейцев, с которыми мы познакомились при



вступлении в лагерь. Очевидно, их обеспокоила наша пальба из револьверов. Они видят, что мы сыты и склонны теперь к дружественной беседе. Индейцы заявляют, что хотят нам помочь во всем. Они вспомнили, что им необходимы многие вещи из венды в Кандидо де Абреу. Стало быть, красноречие Пазио не затрачено впустую. К сожалению, пожилой индеец должен остаться в тольдо, но двое молодых сделают все, что мы им скажем, и, если получат по десять мильрейсов, пойдут вниз по реке так далеко, пока не встретят наши лодки. Тогда они присоединятся к бразильцам, помогут им грести — оба парня сильны, ловки и хорошо отдохнули — и укажут нашим друзьям наиболее удобные проходы через быстрыны.

Слова индейцев звучат искренне. Видимо, как и предвидел Пазио, парни соблазнились высоким заработком. Пазио отвечает, что мы согласны. Пусть двое молодых индейцев немедленно отправляются к реке, а когда вернутся с нашими лодками, то мы тут же выплатим им обоим по десять мильрейсов. За это ручается он, Томаш Пазио, старый испытанный друг короадов. Однако он ставит одно условие: оба парня должны немедленно выступить в путь и как можно скорее привести лодки — желательно сегодня же.

Оба индейца соглашаются на это условие, прощаются и уходят явно довольные. До полудня остается еще два часа, поэтому не исключено, что до вечера, при благоприятных условиях, наши лодки приплывут к тольдо. Мы потираем руки полные приятных надежд. Дела неожиданно приняли хороший оборот.

Поскольку нам пока нечего делать, мы бродим вблизи хижины Моноиса. Около полудня из туч выглядывает солнце и становится очень жарко. Душный, насыщенный влагой воздух сморил нас и мы охотно прилегли бы соснуть часок-другой, если бы не боялись мух, которых бразильцы называют «варега». В лагере мы заметили несколько этих опасных зеленых мух. Они часто откладывают яйца в уши и носы спящих или просто неподвижно лежащих днем людей. Особенно опасно то, что отложенные яйца невозможно удалить. Через несколько суток из этих яичек выходят личинки, которые пожирают мышечную ткань и подкожную мякоть лица. Примерно через десять дней полуторасантиметровые личинки сами выходят из тела человека, оставляя после себя страшные язвы. У людей, пострадавших от варега, обычно остается выеденное нёбо. Однако в тех случаях, когда муха варега откладывает в тело человека большое количество яиц, например двадцать, то, как правило, по рассказам сведущих бразильцев, наступает болезненная смерть несчастной жертвы. В Апукаране, у верхнего течения Иваи, я познакомился с одной польской колонисткой, которая говорила гнусаво через нос в результате повреждения ее лица личинками мухи варега.

Поэтому мы решаем лучше помучиться и не спать, несмотря на охватывающую нас усталость.

Жена Моноиса все еще не желает продать нам второго цыпленка, поэтому

мы после полудня обходим другие хижины тольдо. Находим там нескольких женщин: они проявляют к нам большую неприязнь и отказываются продать какие-либо продукты. Возвращаемся в хижину Моноиса и пьем шимарон в компании пожилого индейца, который остался в тольдо...

Солнце клонится к закату. От реки тянет прохладой и она освежает нас. Но тут, как гром с ясного неба, на нас обрушивается новый удар: слишком уже скоро возвращаются с реки оба молодых индейца. Вместо того чтобы помогать нашим где-то далеко на реке, они здесь и медленным шагом приближаются к нам со стороны лагеря. Садятся рядом и пьют шимарон, как будто ничего особенного не произошло. Оба парня вновь надели на свои лица маски спокойствия и достоинства. Спустя некоторое время Пазио прерывает молчание и деликатно спрашивает пожилого индейца, что происходит на реке. Тот коротко переговаривается с одним из молодых, после чего оправдывает его:

— Эти двое не знают, что происходит на реке. Они вообще не могли пойти туда, так как на них нашла лень — «тем прегуика»...

Мы принимаем это заявление, как вполне достаточное разъяснение, и в добром согласии продолжаем пить шимарон. Позже мы узнаем подробности. Оба индейца проявили искреннее желание, когда ушли от нас, и приняли твердое решение найти лодки. Однако по пути стало жарко, а когда парни добрались до шалаша, в котором мы провели последнюю ночь, то вынуждены были прилечь и поспать. Если мы желаем, то они завтра или послезавтра могут отправиться к берегам Марекуиньи.

Вечер в индейском лагере



В связи с новым положением следует очевидно изменить прежние планы. Встает главный вопрос: проблема продовольствия. Мы решаем, что Пазио и Вишневский немедленно возвращаются на ту сторону Ивай, в поселения белых, закупают у них фижон и фаринью и принесут все это в индейский лагерь. Рассчитываем, что они смогут вернуться завтра к вечеру. На это время я останусь один среди индейцев, чтобы наблюдать за ними и не пропустить изменения их капризных настроений.

Перед уходом Пазио отдает мне на время моего пребывания в тольдо свой шестизарядный «Смит», а я передаю ему свой браунинг. Его «Смит» — это старый, с барабаном, револьвер внушительных размеров; по мнению моего друга, он должен вызывать у индейцев большее уважение, чем скромный браунинг. Такая мера предосторожности кажется Пазио необходимой во время моего одиночества в тольдо, так как все еще неизвестно, как дальше будут относиться к нам его обитатели. Пазио объясняет мне, как нужно обращаться с его «пушкой», сам заряжает барабан и вручает еще несколько запасных патронов, после чего оба моих спутника уходят.

У жены Моноиса трое детей: девочка 12–13 лет и два мальчика — примерно восьми и четырех лет. Дочь капитона — почти зрелая девушка — относится ко мне с большой сдержанностью, как и мать. Мальчишки, веселые сорванцы, постоянно играющие поблизости от хижины, отнюдь не проявляют какой-либо опаски. Любимая их забава — подбрасывать вверх и ловить катышки, сде-

ланные из кукурузных отрубей. Ребята проявляют большую ловкость. У них красивые черные глаза, такие выразительные и быстрые, что в момент напряжения они, кажется, могут пронзить рассматриваемый предмет. Я показываю им, как их сверстники в Польше играют в лапту. Юные индейцы восхищены. Они волокут ко мне свои катышки, и я вынужден играть с ребятами.

Однако пора готовить себе место для сна. Ребята помогают мне. Мы фактом — ножом длиной полметра — срезаем пучки сухой высокой травы и сносим ее к хижине Моноиса, где я собираюсь ночевать. Перед хижинкой имеется нечто вроде навеса — часть крыши выступает вперед, образуя тень в жару и защиту от дождя в случае непогоды. От непрошенных же гостей, например свиней, меня защитит некое подобие забора вокруг хижины.

Дождя наверное не будет. Солнце заходит спокойно, на небе чистая лазурь. Долина уже обволакивается тенью, хотя покрытые лесом окружающие холмы еще освещены солнцем. Деревья отливают то розовыми, то фиолетовыми красками. Со склонов холмов, залитых светом заходящего солнца, доносится щебетание бесчисленных мелких птиц, грубые крики попугаев и громкое карканье туканов.

После тропически знойного дня — это упоительный момент отдохновения для человека. Грудь теперь глубоко вдыхает чистый воздух, удушающая дневная жара уже спала. Почти час, как дует прохладный ветерок. Но облегчение ощущается и еще от чего-то — сразу даже трудно понять от чего. Очевидно, что в природе произошло какое-то изменение. Взор напрасно исследует все вокруг, но ухо, чутко прислушивающееся к звукам, в конце концов открывает причину. Оказывается, назойливые певцы субтропических лесов — цикады — почти умолкли. В течение всего дня их тысячные массы производили неустанный сверлящий шум, который, словно острой сталью, пронзал человеческие нервы и раздражающей болью отдавался в мозг. Теперь их едва слышно. Зато звонче шумят водопады Марекуиньи.

Жена капитона приготовила суп из тертой кукурузы — для меня, себя и детей. Она приносит его в единственной имеющейся в доме тарелке. Ужин, хоть и постный, очень приходится мне по вкусу.

Недоразумение



В сумерки в воздухе появляется множество жуков-светлячков. Они кружат над поляной, в чаще среди деревьев, светлыми фосфоресцирующими огоньками, напоминая невинных эльфов. Светлячки отлично освещают все вокруг на расстоянии двух-трех шагов.

Хозяйка что-то пространно говорит мне, потом забирает детей и уходит. Видимо, она не слишком доверяет белому гостю и, опасаясь за целостность семьи, решает переночевать в другой хижине.

Вскоре из леса возвращается Леокадио. Он приносит на спине большую вязанку сухого хвороста. В левой руке индеец держит большой топор, на который я гляжу с определенным беспокойством. Это опасное оружие в руках чу-

дака, с которым мне по всей вероятности придется ночевать, оставаясь один на один. Решаю при первой возможности забрать у него топор.

Вечер как в сказке. На темное небо выплывает полная луна и волшебным светом заливает пейзаж. Только теперь, когда наступила ночь и окутала все таинственным мраком, начинаешь сознавать, как фантастичен окружающий тебя мир — хижины, кусты и прежде всего деревья, выделяющиеся вокруг на фоне звездного неба странными, неестественными силуэтами. Окрестность так насыщена тропической романтикой, что в какое-то мгновение все это кажется мне сном, а моя жизнь нереальной.. Это не я сижу у хижины Моноиса в захолустном лагере недоброжелательных индейцев, это не меня окружают бразильские леса, полные звуков ночной жизни, и это вовсе не я слышу рядом бормотание чудака Леокадио, раздувающего в хижине огонь. Это кто-то другой сидит тут, смотрит и слушает...

К сожалению, комары напоминают мне, что это все-таки я. Они жалят нещадно. Я вскакиваю и вхожу в хижину. Сажусь у очага напротив Леокадио.

Хижина обставлена очень убого. За исключением маленького шатающегося столика, нет никакой мебели. В одном углу прямо на земле стоит кухонная утварь — горшок, чайник и тарелка. Валяется топор, на стене висит посуда для воды, сделанная из плодов порунги. Тут же на земле лежат несколько широких, грубо отесанных колод, видимо, служащих для спанья. И это все.

Достаю из кармана табак, по бразильскому обычаю сплетенный в виде веревки, отрезаю кусок, мельчу его, растирая между пальцами, затем свертываю сигарку из «паи», сухого листа кукурузы, и угощаю Леокадио. Он протягивает руку и улыбается от уха до уха, бормоча что-то невнятное. Леокадио несколько смущен. Свернув сигарку и для себя, я закуриваю и с наслаждением затягиваюсь ароматным дымом. Бразильский табак очень крепкий и очень хороший.

Надо завязать с улыбающимся Леокадио беседу. Оба мы стремимся установить близкий контакт, но как это сделать?.. Оказывается, это довольно трудная задача, так как Леокадио знает только несколько португальских слов. После бесплодных усилий я отступаю и обращаюсь к нему по-польски:

— Знаешь что, мой добрый ротозей Леокадио? Черт с ним, с бразильским языком! Говори мне по-короадски, а я тебе — по-польски... Бао?[37]

Леокадио радуется тому, что я сразу говорю так много и так гладко; он проворно бурчит:

— Бао, бао!..

И верно: нам как-то легче, разговор идет живее. Правда, мало чего понимает Леокадио, мало чего понимаю и я, но мы беседуем дружески. Леокадио скалит зубы и что-то бормочет довольным шепотом, попыхивая сигаркой.

За стеной хижины в джунглях начинается настоящая какофония звуков. К тысяче голосов разных существ присоединяется хор лягушек. Похоже, будто души безумных воют, смеются и плачут, пугая кого-то...

Под влиянием окружающей обстановки я начинаю петь. Вспоминаю услышанные когда-то песенки и наполняю ими хижину Моноиса так, что она трясется. Из переполненной груди рвутся слова о звездочке, что блистала, о жаворонке, взлетающем ввысь с утренним солнышком, о Зосеньке, желающей одарить Яся букетом белых роз. У меня в Польше много красивых кузин, девушек музыкальных. К сожалению, все они твердят, что я не обладаю ни хорошим голосом, ни слухом. Жаль, что они не слышат меня в хижине Моноиса на Ма-

рекуинье!

Во время исполнения не помню какой по счету песенки я случайно бросаю взгляд в сторону Леокадио и... сразу смолкаю. Чудак испуганно таращит на меня глаза. Страх его передается и мне, когда я вижу, что не только на его лице, но и на всем теле выступает обильный пот. Леокадио страшно боится чего-то. Он молчит, но я вдруг по его глазам читаю, что он испугался именно моих песен. Очевидно он считает их за прелюдию к какому-то мрачному обряду и боится, что ему грозит опасность с моей стороны.

— Ах ты, идиот! — ругаю его от всей души.

Я совершенно сбит с толку. Хорошее настроение улетучилось... Спрашиваю чудака по-португальски — хочется ли ему спать?

— Ох, хочу, хочу, — говорит он и корчится, словно от боли.

Дело трудное, надо идти спать. Приходится отказаться от овладения топом: Леокадио теперь ни на секунду не спускает с меня испуганного взгляда. Ему предстоит спать внутри, а мне — снаружи хижины. Хижина не имеет никаких дверей, есть лишь отверстие для входа. Я заваливаю его несколькими предназначенными для этого досками, а снаружи подпираю их палкой, так искусно поставленной, что Леокадио не отбросит ее, не потревожив меня. Он заперт в хижине, как в клетке.

Две стрелы



Я укладываюсь спать перед хижинкой, но внутри ограды. От комаров и сырого воздуха меня защищает полотно палатки, которым я накрываюсь. Рядом, под рукой, кладу ружье, револьвер Пазио, электрический фонарь и фотоаппарат. Луна высоко поднялась в небе, и стало очень светло. Все вокруг хижины тонет в голубоватом свете.

Вскоре засыпаю, но тут же сквозь сон слышу какой-то подозрительный шорох. Сразу пробуждаюсь, открываю глаза и, не производя ни малейшего движения, весь превращаюсь в слух. Долгое время прислушиваюсь к ночным звукам, но ничего особенного не улавливаю. Постепенно снова погружаюсь в дремоту, но затем опять открываю глаза и чувствую, как бешено начинает колотиться сердце: прямо над головой, в каком-нибудь метре от земли, при свете луны замечаю что-то торчащее в стене хижины. Меня пронизывает сознание, что этого предмета прежде, когда я укладывался спать, тут не было, иначе я должен был бы задеть его. Осторожно протягиваю руку и дотрагиваюсь. Стрела! Она так глубоко вонзилась в стену, что лежа я не могу вытащить ее...

И вдруг новый приглушенный стук. Рядом с первой в стену впивается вторая стрела. К счастью, эти стрелы мне ничем не грозят — защищает ограда, за которой я лежу. По углу падения стрел определяю, что таинственный стрелок находится напротив хижины. Не слишком высываясь из-за ограды, посылаю туда сноп света из моего электрического фонарика. Вижу только заросли высоких сорняков примерно в сорока шагах и... ничего больше. Раздумываю: послать ли туда заряд мелкой дроби из ружья, но сразу же отказываюсь от такого рискованного шага. Зато кричу резко, во все горло, и мой окрик пронзи-

тельным эхом отдается в окружающем лесу:

— Гей, барбаридаде...[38]

И добавляю гадкое, нецензурное слово, случайно услышанное мною в ка-бачке.

Никакого ответа! Стрелы тоже больше не появляются. Зато внутри хижины разбуженный моим криком Леокадио раздувает огонь. Потом он подходит к закрытому выходу, осторожно ощупывает доски, с удивительной ловкостью отбрасывает приставленный мною кол, казавшийся вчера отличным запором, и выходит наружу. Он задает мне какие-то вопросы. Я пользуюсь этим обстоятельством, быстро собираю свои вещи и проскальзываю в хижину.

Плотно закрыв вход, мы укладываемся спать. Буквально лежа на оружии, я, насколько это мне удастся, отгоняю сон. Час проходит за часом, но ни одно происшествие больше не нарушает ночи. Луна переходит на другую половину неба. После полуночи просыпается Леокадио. Он осторожно раздувает огонь и долго испытующе присматривается ко мне. Затаив дыхание и не открывая глаз, я слежу за ним из-за полуопущенных ресниц. Но вот Леокадио тихо приближается к выходу, открывает его и выскальзывает на двор... Он отходит недалеко: на два-три шага. Тихонько кряхтя, он делает то, что послушные дети должны делать с вечера, перед тем, как лечь в постель. Я чувствую себя несколько пристыженным моим прежним подозрением. Леокадио возвращается на цыпочках, чтобы не разбудить меня, так же осторожно закрывает за собой вход и ложится на свое место.

...К утру я все-таки уснул. Меня будит бормотание Леокадио и веселый треск огня в очаге. Рассветает. Леокадио встречает меня мягкой глуповатой улыбкой. Смотрю на свое оружие: в порядке. Оно там, где и было. Револьвер находится под головой, где пролежал всю ночь.

Когда становится светлее, я заглядываю ради осторожности, которая уже кажется мне излишней, в барабан револьвера и... мне становится не по себе! В барабане нет патронов! А ведь они там были вчера. Пазио заряжал барабан в моем присутствии. К счастью, в кармане у меня осталось несколько запасных патронов.

Открываю ружье. Оба патрона лежат в дуле нетронутыми.

Несколько позже бросаю взгляд на хижину снаружи. Обе стрелы торчат на прежнем месте, глубоко впившись в стену...

Маленькие охотники



Вскоре после восхода солнца доносятся звонкие веселые детские голоса. Это два мальчика, мои приятели, сыновья Моноиса, выбрали себе целью ближайшую жердь и стреляют в нее из бодоки. В здешних лесах бодокой называют маленький лук длиной около метра, из которого вместо стрел метают камешки или глиняные шарики. Бразильские кабоклё и индейцы с успехом используют бодоку для охоты на небольших птиц.

Глупо сидеть весь день в хижине Моноиса, как в крепости. Не забывая о мерах предосторожности, внимательно осматривая ближайшие кусты, выхожу

на площадь.

Ребята демонстрируют прямо-таки удивительную меткость. Шарик за шариком с расстояния в двадцать шагов попадают в одно и то же место на жерди, причем младший, четырехлетний сорванец, мало в чем уступает старшему в ловкости. Я не скрываю своего изумления к явной радости ребят.

Умывшись в реке, решаю отправиться в лес, чтобы добыть что-нибудь на завтрак. Ребята тоже изъявляют желание идти со мною. Оба оживлены и держатся свободно. Я не думаю, чтобы они были связаны с таинственным ночным стрелком.

Ближайшая тропинка ведет нас к лесочку, находящемуся между полем Моноиса и полями остальных индейцев. Утро и вечер, особенно утро, — лучшая пора для охоты на пернатую дичь, которая в это время наиболее подвижна и бесчисленными голосами выдает свое присутствие. Лесок полон птиц. На самой опушке мы видим тукана, который медленно перелетает с ветви на ветвь. Мальчик постарше останавливается и взглядом спрашивает меня.

— Оставим его в покое! — жестом отвечаю я: тукан не так жирен, как попугай, хотя и вкусен.

Малыш в знак согласия кивает головой, и мы входим в лесок. Идя по тропинке, я тщательно исследую кусты и стволы — не таится ли за ними какая-нибудь неприятная для меня неожиданность? Затем мы втроем смотрим вверх, прислушиваясь к лесным звукам. Неожиданно с вершины ближайшего дерева срывается стая попугаев, которых мы не заметили в гуще ветвей, и с криком летит на другое, не слишком отдаленное дерево.

Ребята делают мне знак, что эта дичь не для нас. Они правы. По отрывистым крикам птиц я узнаю попугаев тирива... Идем дальше.

Вскоре сбоку мы слышим звонкие крики других попугаев. Это мараканы. У ребятшек горят черные глазенки... Я понимаю их возбуждение. Младший мальчонка остается на тропинке, а старший и я сходим с нее насколько возможно тише и продираемся сквозь кусты. Малыш ведет меня и спустя короткое время указывает пальцем на вершину дерева впереди нас. Там, на ветке, на расстоянии полуметра друг от друга, сидят два маракана. Подхожу к ним сбоку, чтобы они были передо мной на прямой линии, в надежде на то, что одним выстрелом мне удастся свалить обоих.

И действительно, вместе со звуком выстрела один попугай валится на землю, пробитый дробью, но второй — тоже подстреленный — падает на ветвь пониже и цепляется за нее. Он только ранен и собирается удрать. Не успеваю решить — выстрелить ли вторым и последним зарядом дроби, что остается у меня, — как слышу рядом странный свист, и попугай, подбитый вторично, летит на землю. Это мой юный спутник, видя, что может произойти, делает из бодоки меткий выстрел глиняным шариком. В то мгновение, когда маракан валится на землю, мальчишка одним сильным прыжком подскакивает к нему и... попугай уже у него в руках! Довольные, мы возвращаемся к хижине Моноиса.

Жена капитона, которая во время нашей охоты вернулась домой вместе с дочкой, приготавливает нам попугаев в соусе с неразлучной приправой: тертой кукурузой. Соуса, вернее бульона, она делает очень много, чтобы его хватило для всех в хижине. Одного целого попугая женщина подносит мне на тарелке, а мальчишки делятся вторым мараканом. Мы едим втроем и улыбаем-

ся друг другу. Утро было удачным.

Бросив взгляд на стену хижины, я замечаю, что стрелы исчезли. Кто-то выдернул их во время нашей охоты.

Неудачная охота



Около полудня со стороны Марекуиньи неожиданно доносятся громкие звуки охотничьего рога. Это приводит в волнение обитателей тольдо. Я мчусь на берег и вижу живописную картину, которая надолго останется в моей памяти. Четверо бразильцев, участников нашей экспедиции, по грудь в воде, проталкивают через последнюю «коррейдеру», или быстрину, две лодки. В одной из них восседает наш четырнадцатилетний поваренок Болек Будаш. Он окружен сворой охотничьих собак и грудой нашего багажа.

При виде меня наши добрые спутники издают громкие приветственные крики, я тоже отвечаю им радостно и весело. Для радости есть повод: все люди здоровы, а из багажа, несмотря на трудный путь, ничто не погибло в капризной реке.

Я прошу жену Моноиса поскорее вскипятить воду и угощаю прибывших товарищей шимароном. Из запасов достаю водку: надо же «обмыть» встречу! Потом командование принимает Болек и на очаге готовит нам обед из фиждона. Никогда в жизни черная фасоль не казалась мне такой вкусной... На площадке стоят два объемистых мешка — один с фиждоном, второй с фариньей — символы нашей независимости. С этого дня мы сами будем распоряжаться своей судьбой в лесах Марекуиньи.

Четверо наших бразильцев — дельные, смелые товарищи, лучшие охотники в здешних местах, а не какие-нибудь недотепы. Их известность и слава их охотничьих собак распространились далеко, до самых границ заселенных местностей — Тибаги, Терезины и Гуарапуавы. Это простые крестьяне, не слишком крепкие в грамоте, но зато выдержанные, гордые, исполненные какого-то своеобразного благородства. Нет в здешних местах лучших следопытов и преследователей зверя, искуснейших знатоков лесных тайн, чем они: два брата Педро и Альфредо Ласерда, сыновья фациендера[39] Фелисибино де Мораис Ласерда, который, хоть и владеет большими участками леса на Рио Жакаро, но богат не больше, чем другие кабоклё; Лопес Кастильо, привезший нам своих знаменитых псов для охоты на ягуара и тапира, и его друг Эрнесто Пинто.

После обеда бразильцы открывают мне причину своей радости по поводу моего появления. Оказывается, до кабоклё, живущих на Иваи, уже позавчера дошли глухие вести о враждебном приеме, оказанном нам индейцами, и, как это обычно бывает в глуши, слухи были раздуты до фантастических размеров. Мои товарищи опасались, что я быстро покину тольдо и они уже не застанут меня здесь. Отсюда их радость, когда оказалось, что опасения были напрасны-

ми.

Сразу после полудня мы отправляемся на охоту вверх по Марекуинье. Педро, Эрнесто и я — на лодке по реке, а Лопес и Альфредо с собаками — лесом, параллельно нашему пути.

Охота на крупного зверя организуется в бразильских лесах особым образом. Здесь зверь в непрестанной борьбе за жизнь выработал в себе необычайную чуткость и своеобразные умственные способности, проявляющиеся во всех его поступках. Зверь понял, что самую большую опасность представляют для него следы, которые он оставляет на земле и по которым его обнаруживают хищники. Поэтому, испуганный и преследуемый, он всегда по самому короткому пути бежит к реке, а там, в воде, его следы исчезают. Отплывая по течению на некоторое расстояние, зверь невредимым уходит от погони; добравшись до реки, преследователи не знают, где искать зверя. Именно так скрываются тапиры, капивары и серны, а часто и крупные кошки, то есть ягуары, пумы и оцелоты, если им приходится удирать от многочисленной своры псов.

Охота устраивается здесь так: собак пускают в лес над рекой, а сами охотники садятся в лодку и ждут. Псы бегают молча и, только испугнув зверя, напав на его след, начинают с громким лаем преследовать жертву. По гону собак охотник определяет, какого зверя они преследуют и куда надо подплыть на выстрел. Зверь бросается в воду. Охотник быстрыми ударами весел подгоняет к нему лодку и стреляет с нее в упор на расстоянии нескольких шагов.

В этот день счастье не сопутствует нам. Псы отзываются несколько раз, но зверь вопреки обычаю не появляется на реке. Лай собак все отдаляется и вскоре стихает где-то в глубине леса. В довершение всего большой водопад в четырех километрах выше тольдо закрывает нам дальнейший путь.

Лавина воды в несколько десятков метров длины, падающая с оглушающим ревом, создает в колеблющемся тумане прекрасное зрелище.

Во время нашего отсутствия к жене Моноиса прибыли гости, которые долго расположились у нее. Это пожилой индеец Тибурцио, приехавший с женой и двумя взрослыми сыновьями. Видимо, они пронюхали о больших запасах провианта, имеющихся у нас, а может быть, что более вероятно, явились за тем, чтобы сообщать следить за нами.

Одна из вернувшихся собак, к сожалению самая лучшая, ранена когтями какого-то крупного хищника, возможно пумы. Когда я заливаю раны собаки иодом, издали доносятся крики Пазио и Вишневого, возвращающихся из далекого похода. Они приносят с собой новые запасы провианта. Снова начинаются веселая суматоха и угощение шимароном.

Затем я отвожу обоих своих друзей в сторону и подробно рассказываю о том, что произошло минувшей ночью. Пазио очень хвалит мою выдержку, особенно он доволен тем, что я не дал спровоцировать себя и не стрелял в спрятавшегося наглеца: если бы пролилась кровь, наше положение могло стать весьма опасным. Из доброжелательного отношения ко мне жены капитона и особенно ее малышей Пазио делает вывод, что отнюдь не все в тольдо относятся к нам враждебно. Неприязненно настроены лишь те, кто поддался враждебной нам агитации «директора индейцев» Ферейро. Теперь, когда нас здесь уже несколько человек, мы можем противостоять недружелюбно настроенным индейцам, но все же надо глядеть в оба. Решаем, что о наших опасениях бразильцам говорить не надо, чтобы не пугать их.

Трагедия короадов



Ночь уже давно наступила, в лагере тишина. Мы все лежим вповалку на земле перед хижинкой Моноиса. Мои спутники уснули. В хижине спят индейцы — жена капитана с детьми, Леокадио и Тибурцио со своей семьей. Отовсюду доносятся сонные вздохи и тяжелое дыхание людей, измученных дневной работой, кошмарным зноем. Должно быть, я выпил слишком много шамарона, потому что не могу уснуть. При свете луны вижу, что и Пазио, лежащий рядом со мной, тоже не спит. Шепотом спрашиваю его:

— Тибурцио... Что это за личность?

Пазио потягивается, отгоняя сои. Достает из подголовья «паи» и табак. Молча свертываем сигарки, курим. Немного погодя приглушенным голосом Пазио начинает рассказывать о мрачных кровавых событиях, разыгравшихся некогда в окружающих нас лесных дебрях.

...Еще не так давно короады были безраздельными хозяевами обширных участков леса по обоим берегам Иваи. Они населяли территорию между ее многочисленными притоками. От реки Жакар до Убасиньо, от Марекуйнье до Корумбатаи пролегали пути их кочевий. Но в 1920 году белые колонисты открыли на индейской территории между многочисленными разветвлениями рек Иваи и Убасиньо исключительно плодородные земли и без всякого права, огромной вооруженной толпой, хлынули в эти места. Так было положено начало большой колонии белых поселенцев Кандидо де Абреу, возникшей на отнятых у индейцев землях.

Воинственный Паулино, капитан всех короадов, сначала намеревался оружием оборонять свои земли, но потом временно отказался от этой мысли и пошел жаловаться в столицу штата, Куритибу. Разумеется, он ничего не добился, а когда вернулся на Иваи, то застал там уже столько белых, что о победе над ними трудно было даже мечтать. Между тем правительство штата, на совети которого было уже не одно беззаконие, легализовало и это нашествие колонистов.

У короадов остались еще территории на другом, левом, берегу реки Иваи, но уже и с той стороны начали наступать колонисты, жаждущие захватить индейские земли. В лесах, вдоль тракта на Кампо де Моурао, на индейской территории, образовалась длинная цепь поселений белых людей. В противоположность относительно спокойным колонистам Кандидо де Абреу это были авантюристы, готовые на все (чаще всего сброд с темным прошлым), сильно досаждавшие индейцам. Они постоянно искали придирки к короадам и отнюдь не скрывали своего гнусного намерения начисто вырезать индейцев.

В 1924 году они наконец нашли предлог к этому. Доведенные ими до отчаяния короады напали на поселок Питангу и убили нескольких жителей. Застигнутые врасплох колонисты начали спасаться бегством в сторону Гуарапуавы и Кампо де Моурао, хотя их никто и не преследовал. Там они организовались и вскоре вернулись с отрядом, насчитывающим триста карабинов. Тем

временем индейцы несколько поостыли, удовлетворившись захватом некоторого имущества поселенцев Питанги, и возвращались в свои леса. На реке Барболетта их настигли белые. Произошла страшная резня; спаслась бегством едва лишь половина индейцев. Белые не щадили ни женщин, ни детей, стремясь во что бы то ни стало вырезать племя и таким образом раз и навсегда решить дело о земле.

По лесам и реке Иваи до колонии Кандидо де Абреу дошли раздутые авантюристами слухи о восстании и якобы победе короадов, а также о том, что индейцы приближаются сюда с намерением напасть на колонию. В это время Пазио, высланный на разведку, как известный друг индейцев, встретил на Иваи остатки уцелевших короадов, доведенных до предела отчаяния и не способных ни к какому действию.

Теперь после такого погрома осталось значительно меньше индейцев, поэтому правительство могло отвести белым поселенцам больше территорий и изрядно урезать владения короадов.

— А Тибурцио, который сегодня прибыл в тольдо, — какую роль сыграл он во всех этих событиях? — спрашиваю Пазио.

— Вот именно, роль... Тибурцио был ближайшим другом воинственного Паулино. Последний выдал за него свою дочь, которую вы сегодня видели. Паулино и внушил Тибурцио мысль о борьбе за независимость индейцев. У ложа смерти Паулино Тибурцио поклялся, что будет верен его заветам. Тибурцио был одним из первых, кто пошел на Питангу. Тогда восстание не удалось. Но не исключено, что он снова начнет действовать. Это может произойти через год, через два, а возможно и через месяц...

Пазио надолго смолкает. Он потягивается, громко зевает и переворачивается на другой бок. Хотелось бы узнать еще некоторые подробности об этом интересном индейце — ведь теперь он как-никак мой сосед по лагерю, — поэтому я опять спрашиваю Пазио:

— А вдруг ему захочется действовать сегодня или завтра и первыми взять нас на мушку?..

На этот вопрос Пазио не отвечает. Вернее, отвечает и даже слишком красноречиво: заснув, он начинает храпеть, как литовский медведь. Я наклоняюсь над ним и вижу его открытое, широкое лицо, совершенно безмятежное во сне.

Делать нечего: натягиваю на себя полотно палатки и тоже поудобнее устраиваюсь на ночь. Убеждаюсь, что Пазио был прав — завтра будет непогода: вокруг луны появляется туманный круг, который у нас в Польше всегда предвещает дождь.

Тибурцио пристраивает сыновей



Утром на нас нападают тучи маленьких, как маковые зерна, москитов: они очень болезненно жалят и самым неприятным образом пробуждают нас от сна. Небо заволокли тяжелые серые тучи. Дождевые капли еще не падают, но уже буквально висят в воздухе. Мы не знаем: пойти на охоту или нет? Сидим вокруг костра, едим приготовленный Болеком завтрак и бьем надоедливых

МОСКИТОВ.

Из хижины выходит Тибурцио. Он говорит всем «бао диа» и садится у нашего костра. В доказательство расположения к нам он приносит свою куйи с шимароном. Все по очереди потягиваем, как обычно с наслаждением, этот бодрящий напиток. В качестве хозяина костра я свертываю сигарку и угощаю ею Тибурцио, отдавая дань освященной веками форме гостеприимства.

Мы больше молчим и без стеснения рассматриваем друг друга. У Тибурцио суровое, застывшее лицо, только глаза живо блестят под ресницами, сужающимися в треугольник, как и у капитона Моноиса. Нос небольшой, ноздри типично индейские, расставлены широко, но в то же время, что редко встречается, нижние челюсти сильно развиты по бокам. Любопытно, будет ли он нам другом?

В течение добрых пятнадцати минут продолжается ленивый разговор о том, о сем, после чего Тибурцио переходит к существу дела. При посредничестве Пазио, его старого друга, он предлагает мне принять в состав экспедиции своего старшего сына, который расторопен и силен, имеет жену старше себя, что Тибурцио особенно подчеркивает, как свидетельство энергичности и деловитости сына.

— Сколько ему лет? — спрашиваю я.

Тибурцио смущенно молчит.

— Тринадцать... — наконец отвечает он.

— Это плохое число! — усмехаюсь я. — А где он?

— Да, вон, вылезает из хижины!

Тринадцатилетний якобы сынок на самом деле рослый парень, по крайней мере двадцати пяти лет. Округлившиеся плечи отлично свидетельствуют о том, что жена кормит его хорошо.

— А что он будет делать у меня?

— Носить воду, поддерживать огонь в костре, собирать топливо...

Я еле удерживаюсь, чтобы не расхохотаться. Да ведь это работа для ребенка или женщины!.. По-польски спрашиваю у Пазио:

— Этот джентльмен насмехается надо мной?

— Ничего подобного! У него самые лучшие намерения и он всерьез обращается к вам. Просто Тибурцио считает вас богатым дурнем, от которого можно кое-чем поживиться...

Наш разговор на польском языке возбуждает подозрения Тибурцио. С оттенком бахвальства в голосе он продолжает перечислять достоинства своего сына:

— Сын знает, как привести коня из леса, если конь уйдет слишком далеко, умеет накормить и напоить его, даже оседляет...

— Ладно! — прерываю я Тибурцио. — Но у меня нет коня.

— Так купи его! — дает он мне самый простой совет.

Аргумент убедительный. Молчим. Молчание затягивается, Тибурцио чувствует, что я не воспользуюсь его предложением. Тогда он атакует меня с другой стороны:

— У меня есть второй сын. Он хорошо стреляет. Он станет твоим капанго.

Капанго — популярный в местных лесах тип темного человека. Под капанго подразумевается платный телохранитель, а вернее — наемный убийца. Богатые бразильские фациендеры окружают себя многочисленной свитой ка-

панго, что считается признаком хорошего тона. Целыми днями капанго абсолютно ничего не делает, обжирается, вертится возле своего «патрона» с подбострастной миной и всячески расхваливает его. В случае надобности капанго по поручению патрона быстро сводит счеты с неудобными ему людьми.

— Мне не нужен капанго — он уже есть у меня. И это не только капанго, но к тому же мой друг... — отделяюсь я шуткой.

— Кто же он такой?

Я показываю на нашего отважного зоолога Вишневого. Тень едва скрываемого пренебрежения отражается на лице индейца.

— Умеет ли он стрелять? — презрительно спрашивает Тибурцио.

— Отменно! — выручает меня Пазио. — Он попадает пулей в глаз ящерицы. Даже из того оружия, которое сейчас имеет при себе...

Индеец испытующе оглядывает Вишневого и заявляет:

— Это неправда! У него нет при себе никакого оружия.

— Ошибся, компадре! Как раз есть!

По знаку Пазио Вишневский лезет в задний карман брюк и вытаскивает маленький браунинг калибра 6,35 мм, который постоянно носит с собой. Привыкший к огромным барабанным револьверам системы «Смит и Вессон» и к еще большим револьверам кабоклё, Тибурцио и не предполагает, что существуют такие крошечные револьверы, и потому искренне удивляется. Он так изумлен, что приносит свежую порцию герва мати. Мы опять пьем шимарон и ведем веселую беседу.

Но домогательства Тибурцио не прекращаются. Спустя некоторое время он вновь обращается ко мне и говорит, что у него есть для продажи некоторое количество герва мати.

— Хорошо! — говорю ему. — Куплю у тебя герву. Сколько хочешь за нее?

— Один мильрейс за литр.

— Дорого! Венда в колонии Кандидо де Абреу покупает герву от индейцев на Фачинали по четверть мильрейса за литр.

— Это верно. Но индейцы на Фачинали просто глупцы и потому продают так дешево. Тибурцио не дурак и дешево не продаст.

Он окидывает меня выразительным алчным взглядом и добавляет с обезоруживающей откровенностью:

— Владелец венды в Кандидо де Абреу стреляный воробей, он хитрый и мудрый человек, поэтому платит мало. Но ты должен платить больше...

Черт возьми! Хорошее же у него представление о моих умственных способностях! Товарищи исподтишка смеются надо мной. Чтобы разговор не принял еще более оскорбительного для меня оборота, я вношу в дело полную ясность:

— Гервы дороже не куплю и не рассчитывай. Зато, если хочешь, могу принять тебя как проводника на охоту. А не желаешь — оставайся с женщинами.

Тибурцио соглашается. Нам нужен опытный проводник, знающий окрестности, так как мы собираемся теперь охотиться в лесу, а не на реке.

— Вы выиграли поединок! — подшучивает надо мной Пазио. — Но вместе с тем и струсили, купив себе расположение противника.

Спутники мои обсуждают с Тибурцио техническую сторону будущей охоты. В заключение мы протягиваем друг другу руки. Пристально всматриваемся в глаза Тибурцио. Нет, он оружия на нас не поднимет, не выпустит предательских стрел из-за угла: мы читаем в его глазах расположение и добрые пожела-

НИЯ.

«Я очень боялся дождя...»



Поскольку дождя нет, мы отправляемся на охоту. Идем вдоль реки по тропинке, через обширные леса, протянувшиеся до самой Питанги. Тропинка узкая, идем гуськом. Впереди шагают бразильцы, затем мы, поляки. Тибурцио замыкает шествие. Молчим. Хотя до места охоты еще далеко, надо сохранять осторожность.

Минуем грохочущий водопад на Марекуинье и два шупадора. Откуда-то издалека до нас доносятся отголоски грозы. Цель нашего сегодняшнего похода — шупадор, вблизи которого Тибурцио надеется встретить дичь.

Шупадор — такое место в здешних лесах, куда на водопой сходятся тапиры, или анты, как их называют в Бразилия. Обычно шупадор находится у ручья или речушки. Нередко тут имеются выходы каменной соли, привлекающие зверя даже из отдаленных мест. Звери находятся у шупадора обычно несколько часов, вытаптывая вокруг кусты и траву. По размерам шупадора и следам на земле охотники определяют число посещающих его зверей.

К сожалению, начинает накрапывать дождь. Кто-то случайно оборачивается назад и тревожно спрашивает:

— А где Тибурцио?!

Тибурцио исчез. Ждем несколько минут, четверть часа... Тибурцио как не бывало! Он скрытно покинул нас и, видимо, вернулся в тольдо, чего мы не заметили, так как он шел последним.

Тем временем дождь усиливается. Стоим под раскидистым кедром и обсуждаем, как быть дальше. К сожалению, бразильцы не знают шупадора, к которому нас вел Тибурцио. Они припоминают другие шупадоры поблизости, но тут начинается ливень и отбивает у нас охоту продолжать поход. В конце концов мы, поляки, возвращаемся в тольдо, а бразильцы, не утратившие охотничьего пыла, решают переждать непогоду и вновь попытаться счастья.

Возвращаемся. В хижине видим Тибурцио: он спокойно, как ни в чем не бывало, сидит возле очага и сушит одежду. Мы тоже начинаем обсушиваться у очага в соседней хижине, которую индейцы предоставили в наше распоряжение. Когда спустя час дождь прекращается, Тибурцио вылезает из хижины и собирается молча пройти мимо нас. Пазио останавливает его и говорит с упреком:

— Компадре Тибурцио, мы вынуждены были прервать охоту, потому что ты покинул нас!

— Ха, покинул вас... — меланхолически отвечает индеец.

— Почему ты сделал это?

И тогда Тибурцио дает ответ, обезоруживающий нас своей откровенностью. Этот старый опытный индеец, который выдержал не одну битву с судь-

бой, с человеком, со зверем и еще пойдет — как уверяет Пазио — на решительный бой в защиту прав индейцев, этот человек, на которого я готов был смотреть, как на героя одной из повестей Фенимора Купера, отвечает просто и без малейшего стыда:

— Я очень боялся дождя.

Затем с удочкой под мышкой он отправляется на реку ловить рыбу. Ответ Тибурцио звучит гротескно, однако он обоснован. Во время нашей экспедиции мы уже неоднократно убеждались, что в Бразилии надо как огня избегать дождя, иначе промокшая одежда быстро вызывает сильную головную боль, расстройство желудка, лихорадку и иные недомогания. Так действует дождь в Бразилии на нас, европейцев, но неужели он так же опасен и для индейцев?

Остается еще вопрос о невыполнении договора. Тибурцио удит на реке. Через некоторое время он возвращается с изрядным количеством рыбы: самая меньшая из них больше нашей плотвы. Рыбы хватит на ужин для всех обитателей хижины Моноиса. Вероятно, такой обильный улов за столь короткое время как раз и объясняет многие непонятные явления: в счастливом краю, где так легко добыть себе пропитание, можно и не выполнять договора.

— Впрочем, терпение! Завтра Тибурцио пойдет с нами на охоту, — уверяет Пазио.

Охота на... Леокадио!



Если мы не охотимся или не имеем иных занятий в лагере, а стоит хорошая погода и ярко светит солнце, мы делаем равнодушные (для отвода глаз) лица и усердно предаемся совершенно неприличным делам: охотимся в тольдо на людей. У нас два фотоаппарата, и нам нужно сделать снимки из жизни короадов. Вишне夫斯基 и я, а иногда также Пазио и Болек осторожно бродим среди хижин, выкидываем разные фортели, устраиваем неожиданные засады, кружим по лагерю, бегаем наперегонки, но все, к сожалению, без особых результатов: пугливая «дичь» поняла грозящую ей опасность. При одном виде фотоаппарата индейцы поспешно скрываются, приписывая «этому одноокому дьяволу» отрицательное влияние на здоровье. Они твердят, что фотографирование вызывает сильные головные боли. Индейцы так верят в это, что при фотографировании действительно испытывают настоящую боль.

Предметом наших страстных вожделений является наивный голыш Леокадио с его округлым брюшком и доброжелательной улыбкой на лице. С точки зрения фольклора, он представляет значительно большую ценность по сравнению с другими жителями тольдо. Но живописный чудак пугливее других индейцев. Он удирает от фотоаппарата во все лопатки, чем еще больше притягивает нас. На этот «фотоделикатес» мы главным образом и направляем свои «аппетиты».

Солнце наконец выглядывает из-за облаков. Пока индейцы жарят наловленную Тибурцио рыбу, я чищу во дворе штуцер.[40]

Из леса возвращается Леокадио. Разобранное ружье — всегда приятное зре-

лице для индейца, поэтому Леокадио останавливается. Я соблазняю его, словно сирена, и приглашаю приблизиться, для приманки размахивая ружьем. Леокадио заинтригован, но колеблется и, как это обычно бывает в подобных случаях, чешет в затылке.

Чик! — слышу я в этот момент приглушенный щелчок фотоаппарата. Это Болек подкрался сбоку и сделал первый снимок.

Тем временем снедаемый любопытством Леокадио осторожно подходит к нам. Я подаю ему ружье. Через мгновение он уже держит его в своих крепких руках. Пока я смазываю замок, Леокадио, как зачарованный, рассматривает ствол и другие части ружья. Не знаю, сколько тысячелетий развития цивилизации отделяет его от штуцера, который он держит в руках. Ясно одно: Леокадио так увлечен, что даже не слышит второго щелчка фотоаппарата.

Я начинаю чистить ствол, Леокадио внимательно следит за шомполом, исчезающим в его глубине. Индеец подозревает, что я демонстрирую какой-то хитрый фокус, обманываю его: это заметно по выражению его лица. Когда кончик шомпола с протиркой выскакивает с другой стороны ствола, Леокадио стремительно наклоняется, с недоумением смотрит в отверстие ствола и изумленным голосом восклицает:

— У-ааа!

Протирка исчезает. Следующее ее появление уже меньше удивляет Леокадио: вскоре он раздражается веселым смехом. Чудак решил, что это какая-то новая разновидность старой как мир игры в «кошки-мышки», и думает, что я играю с ним.

Чистка ружья окончена. Я вытаскиваю штуцер из крепко вцепившихся в него рук индейца, вставляю замок, соединяю люнет[41] со стволом. Но Леокадио развеселился и отнюдь не собирается уходить. Он хочет поиграть еще. Поэтому я передаю ему штуцер и разъясняю значение люнета. Леокадио смотрит в линзы люнета и видит нелепо увеличенный пейзаж лагеря и леса. Он смеется до упаду, ибо такого забавного оружия никогда еще не видел.

Леокадио начинает шалеть от радости. Понятное дело: обладание оружием всегда выводит человека из состояния равновесия. Леокадио теряет голову и перестает бояться фотоаппарата. Он размахивает ружьем перед самым объективом, закатываясь от беспричинного веселого смеха. Больше того: Леокадио явно позирует для снимка! Приложив штуцер к плечу, как будто для выстрела, он поворачивается к аппарату, смеется и старается принять привлекательную позу.

Веселье Леокадио кажется несколько неестественным. И действительно: он мрачнеет, лицо его становится синим. Поспешно отдав мне штуцер, индеец с болезненно искаженным лицом едва плетется к хижине. В самом темном углу он в полубессознательном состоянии валится на землю. Мы идем за ним. Леокадио жалуется на боль в голове... «Очень болит!» — говорит он. По его глазам видно, как он мучается. Я вливаю ему в рот большой глоток водки, затем даю две таблетки аспирина, и это отлично действует. Через четверть часа Леокадио снова здоров и по-прежнему дружелюбно улыбается нам. Теперь он на собственном опыте убедился в двух вещах: фотоаппарат действительно вызывает головную боль, но белый человек умеет заговорить ее.

Происшествие с Леокадио взволновало меня. Чувствую себя как-то неловко. Я забавлялся с ним, но это была жестокая забава, и мне досадно, что я фото-

графировал чудака. Подхожу к своему вещевому мешку и просматриваю его содержимое. Нахожу вещь, которая вознаградит Леокадио, — перочинный ножик.

Действительно, наш голыш так утешен подарком, что просит меня, вернее требует, чтобы я и дальше фотографировал его, где угодно, когда угодно и сколько угодно, пусть даже ему и будет немного больно...

Ну разве это не подлинный героизм?

Жарарака и нья пинда



Леса на Марекуинье буквально кишат от великого множества ядовитых змей, в особенности так называемых жарарак. Нет такого дня, чтобы мы не наткнулись на двух-трех ядовитых гадов. Жарарака охотится ночью, а днем спит в зарослях, но когда небо ясное, она любит выползти на часок-другой на тропинку и тут погреться в жарких лучах солнца. Мы, европейцы, защищены от змей высокими, до колена шнурованными сапогами. Индейцы же ходят босиком: обладая особым инстинктом, передаваемым из поколения в поколение, они всегда вовремя замечают клубком свернувшуюся на тропинке змею. Мне рассказывали о многих случаях, когда жарараки жалили белых колонистов, но чтобы они кусали индейцев, до сих пор не довелось слышать.

Второй бич на Марекуинье — кустарник нья пинда, встречающийся здесь повсюду. Он достигает трех-четырёх метров высоты, имеет мелкие листья, похожие на листья мимозы, и длинные гибкие ветви, с множеством крепких крючкообразных шипов. Своими цепкими ветками кустарник хватает неосторожных путников и держит их, словно когтями. Если человек пытается силой вырваться из таких объятий, растение оплетает его следующими ветками, шипы раздирают одежду и тело человека, но нья пинда все-таки не выпускает его. Только запасшись терпением, и то лишь при помощи товарища можно освободиться из ловушки. Колонисты шутливо отзываются об этом растении, как о хищном звере, и это сравнение не лишено смысла. Как уверяет Пазио, были случаи, когда молодые олени, запутавшись в ветках нья пинды, напрасно вырывались из нее и становились легкой добычей охотников.

Бродя как-то с ружьем поблизости от тольдо, я вдруг заметил большую змею, клубком свернувшуюся на тропинке. Еще шаг, и я наступил бы на нее. Испуганно отскакиваю в сторону, но убежать не могу: попал в сети нья пинды. Несколько веток вонзают шипы в мою одежду и тело, я чувствую такую сильную боль, что на мгновение забываю даже о страшной змее. Отступить не могу: колючие ветки крепко держат меня.

Очнувшись от сна, жарарака молниеносным движением поднимает голову, впивается в мое лицо маленькими, быстрыми, пронизывающими глазками. В этом положении она замирает, словно превратившись в камень. Зловещая картина подготовки к нападению. Только тонкий язык змеи нервно трепещет: она явно раздражена тем, что я нарушил ее покой.

Это большая ядовитая жарарака толщиной в руку взрослого мужчины и

длиной почти в два метра. Змея лежит от меня на расстоянии полутора-двух шагов. Если она сейчас совершит прыжок, то легко достанет мои колени, не защищенные голенищами сапог. Правда, у нас в лагере есть сыворотка против яда жарараки, но мне известны случаи, когда при укусах этой страшной змеи инъекции не давали ожидаемых результатов.

К несчастью, мое ружье висит на левом плече, а левая сторона моего туловища крепко обвита ветками нья пинды. Не спуская глаз с жарараки, я осторожно поднимаю правую руку, чтобы снять ружье, но даже такое легкое движение колеблет куст и новые ветки впиваются шипами в мое тело.

Жарарака еще больше поднимает голову, готовясь к нападению. Мурашки пробегают по моей спине. Секунды тянутся, словно столетия. Я боюсь шевельнуть даже ресницами и лишь пристально смотрю на гадину. Моя полнейшая неподвижность, кажется, успокаивает ее, так как некоторое время спустя жарарака медленно опускает голову на кольца своего свернувшегося тела. Тем не менее взгляд ее становится еще более пронизывающим. Чувствую некоторое облегчение, поскольку, по рассказам индейцев, жарарака почти никогда не нападает, предварительно не подняв головы.

У этой змеи большая голова — чуть меньше, чем голова ягненка. Она имеет столь характерную для ядовитых змей форму сердца. Под глазами, там, где у гады находятся ядовитые железы, голова шире. Цвет головы, как и всего тела, серовато-коричневый, на фоне которого до самого хвоста очерчивается ряд темных треугольников. Расцветка тела жарараки не лишена своеобразной красоты, но красоты, вызывающей у людей страх.

Так как мне трудно дотянуться до ружья, я сосредоточиваю все свои мысли на браунинге. Он лежит в кобуре у пояса с правой стороны. Опускаю правую, все еще полуприподнятую руку, и, хотя в нее впиваются новые шипы, движение это, к счастью, уже не вызывает нового колебания кустарника. Однако я чувствую, что между пальцами появляется что-то липкое: из ранок начинает сочиться кровь.

Змея все еще держит голову на кольцах свернувшегося тела. Через минуту я нащупываю кобуру. Потихоньку расстегиваю ее и, с трудом сдерживая волнение, сжимаю рукоятку пистолета. Медленно вытаскиваю его из кобуры и сразу отвожу предохранитель. Сердце молотом стучит в груди...

Постепенно выдвигаю оружие вперед. Это дается мне очень трудно, но я все же осуществляю свой замысел — поднимаю руку на уровень глаз, но в это время куст опять колеблется, и жарарака молниеносно вскидывает голову. Однако рука с браунингом уже выдвинута из куста: еще несколько секунд, и змея будет на прицеле.

И тут жарарака атакует. Молниеносно — так, что у меня даже не успевают дрогнуть рука, — змея впивается в ствол браунинга, на один дюйм не дотянувшись до запястья руки, затем так же стремительно отдергивает голову. К сожалению, стреляю на какую-то долю секунды позже. Промахиваюсь... Новый бросок змеи, но на этот раз вторая пуля настигает ее вовремя — на полпути в воздухе — и пробивает ей голову. Третья пуля попадает в шею, четвертая снова в голову. Все это происходит в течение секунд. Больше я уже не стреляю. Змея судорожно извивается, то свертываясь в клубок, то вновь распрямляясь. Она продолжает пронизывать меня злобным взглядом и все еще открывает пасть. Я вижу большие ядовитые зубы гады, но смертельно раненный он уже

не страшен. Жарарака быстро теряет силы, беспомощно извиваясь на одном месте.

Проходят минуты. Только теперь я чувствую, какое страшное нервное напряжение пришлось мне испытать. Холодный пот выступает на всем моем теле, колени подгибаются. Видимо, выстрелы услышали в лагере: до меня доносятся голоса приближающихся товарищей. Они находят меня все еще в плену нья пинды.

— Ого-го, это неплохое приключение! — радуется Пазио счастливому исходу происшествия.

— Лучший из всех прежних экземпляров, отобранных для музея! — деловито оценивает жарараку наш зоолог Вишневский.

— К черту с вашими экземплярами! — ворчу я, — проклятая нья пинда!

Гордость индианки



Не подлежит сомнению, что наша хозяйка, жена все еще отсутствующего капитана Моноиса, расположена ко мне наиболее доброжелательно из всех женщин лагеря. Этим я прежде всего обязан посредничеству ее старшего сына, восьмилетнего Диого, который подружился со мной таким трогательным образом. Жена капитана помнит обо мне и время от времени через мальчишек посылает мне какое-нибудь индейское лакомство — печеные бататы, кукурузу или маниоки. Кроме того, она старательно изготавливает для меня красивые плетенки.

Короады — большие мастера по плетению разных корзинок и шляп с широкими полями. Это единственное их ремесло, ведущееся в широких масштабах, главным образом женщинами. Они плетут корзины и шляпы не только для себя, но и для всего белого населения в окрестности. Плетенки изготавливаются из лыка, которое дерут с коры такуары — распространенного здесь растения, похожего на бамбук. Для раскраски плетенок используются естественные красители. Окрашиваются лишь отдельные ленты лыка, их сплетения с другими, неокрашенными, образуют красивые орнаменты, свидетельствующие о большом художественном вкусе индейских женщин.

Наблюдая за работой жены Моноиса, я поражаюсь ее трудолюбию. Когда идет дождь — а идет он здесь часто, — женщина садится в полутемной хижине возле очага и искусно плетет либо шляпы с такими широкими полями, что они закрывают плечи, либо корзиночки различных форм с плетеными яркими узорами. Все эти изделия я скупаю у нее для своей коллекции.

Из различного скарба жена капитана особенно бережет весьма ценную вещь: сумку из такуары длиной около полуметра, служащую для хранения старых документов. Эта сумка украшена замечательной плетеной отделкой. К сожалению, жена капитана не может продать мне этой вещи: она является наследством и собственностью всего племени. Зато за одни сутки она изготавливает мне новую сумку, совершенно такую же, как и старая. На светлом фоне цве-

та кофе с молоком лесенкой тянутся параллельные коричневые линии. Сумка необычайно красива.

Трудно удержаться от проявления живейшей радости. Я прошу Пазио красивыми словами по-короадски выразить женщине мое восхищение.

— Ваше восхищение? — возмущается Пазио. — Сохрани бог, никогда этого не сделаю.

— Почему? — удивленно спрашиваю его.

— Мильрейс — вот хорошая вещь, а восхищение — это чуждое понятие в здешних лесах... Будем реалистами! Выразив свой восторг, вы много потеряете.

— Не понимаю.

— У бабы все перевернется в голове, и она перестанет работать...

Мы разговариваем, разумеется, по-польски. Женщина, стоя рядом, внимательно присматривается к нам. Ее спокойные глаза следят за выражением наших лиц.

— О чем говорите? — спрашивает она Пазио.

Мой товарищ отвечает без промедления:

— О твоих корзиночках: они неплохие, но очень дороги...

— Подлый вун! — ругаюсь я по-польски, уже не на шутку начиная сердиться.

— Так надо. Это единственный способ повлиять на них, — тоже по-польски невозмутимо отвечает Пазио.

Слова Пазио огорчают женщину. Лицо ее остается таким же, но в ее голосе я улавливаю какое-то злое ехидство, когда она спрашивает меня:

— Для чего сеньор скупает столько плетенки? На продажу?

— Что ей ответить на это? — обращается ко мне Пазио.

— Только правду и ничего больше.

— Так что же все-таки говорить?

— Что я покупаю эти вещи на память. Хочу забрать их с собой в Польшу и украсить ими мой дом, чтобы они напоминали мне гостеприимность этой женщины... Все, баста!

По глазам моего друга я вижу, что ему не хочется переводить такой ответ. Пазио полагает, что он слишком сложен для умственных способностей индианки, но ему все-таки приходится переводить его женщине. На этот раз Пазио ошибся: жена капитана отлично понимает меня. Лицо ее освещается улыбкой.

— Это правда? — обращается она непосредственно ко мне.

— Правда! — отвечаю ей по-португальски. — А твои плетенки совсем недороги...

На бронзовом лице женщины выступает яркий румянец цвета корицы, глаза светятся радостью. Она вручает мне плетеную сумку и просит, чтобы я принял ее как подарок на память.

Мы застигнуты врасплох. Пазио делает удивленную мину, я же растроганно благодарю женщину. Сумка так красива, что я не могу оторвать от нее взгляда.

Замечаю одну, хоть и маленькую, но неприятную деталь. На конце сумки перемычки соединены между собою шнурком, таким, какие обычно продают в немецкой венде в Кандидо де Абреу. Толстый шнурок «Мейд ин Джомени»

производит неприятное впечатление в этом шедевре индейского искусства. Я прошу Пазио, чтобы он осторожно обратил внимание женщины на то, что ее подарок будет для меня еще более ценным, если она вместо шнурка использует нити из лианы сипо, которая растет в джунглях на Марекуинье и обычно употребляется для таких работ.

Жена Моноиса считает мои слова шуткой и смеется. Когда же Пазио разъясняет ей, что это вовсе не шутка, женщина добродушно высмеивает нас. Пазио не сдаётся: он долго и сложно объясняет ей суть дела. Женщина уже перестает смеяться, теряет терпение и заявляет:

— Ты говоришь непонятные и безрассудные вещи. Шнурок, купленный в венде, более красив, чем сипо, найденное в лесу.

— Чужеземный сеньор говорит обратное! — защищается Пазио.

— Потому что чужеземный сеньор не знаком с этими делами. Прежде мы связывали перемычки с помощью сипо, но теперь употребляем шнурок — он красивее.

— Сеньор хотел бы иметь сумку, сплетенную по старому способу.

Женщина хмурится. В глазах ее отражаются обида и упорство.

— Переделывать не буду! — решительно говорит она.

Пазио видит, что разговор принимает совершенно нежелательный оборот и, пытаясь найти какой-нибудь выход, с самыми добрыми намерениями предлагает женщине щедрую плату, если она заменит шнурок на лиану сипо. Но он не берет во внимание утонченности натуры индианки и ее оскорбленной гордости. Индианка бросает:

— Вы, что же, смеетесь надо мной с этим вашим сипо?

— Ты напрасно подозреваешь нас!

— Я пришла с подарком, значит не требую платы. Но раз вам не нужна плетенка со шнурком, я забираю ее.

И оскорбленная женщина удаляется.

— Нужна, нужна! — кричит Пазио. — Давай плетенку такой, какая она есть...

Тогда женщина оборачивается и с враждебным блеском в глазах бросает нам:

— Лжете! Вам она не нужна и вы ее не получите!

Не помогают ни уверения, ни клятвы. Прекрасная сумка потеряна, по крайней мере пока. Я не слишком виню Пазио за его ошибку. В прииваинских джунглях деньги, к сожалению, играют почти ту же роль, что и в городах. А то, что в данном случае их всевластие не проявилось, свидетельствует лишь о высоком уровне духовного развития индианки и исключительной тонкости ее натуры.

Пир в лагере



Бразильские товарищи пристыдили нас, поляков. Мы не выдержали дождя в лесу и вернулись в лагерь с пустыми руками. А они остались и подстрелили

тапира. Лопес Кастильо захватил зверя врасплох возле шупадора и молниеносно всадил ему в брюхо шесть пуль из своего крупнокалиберного «Смита». Тапир свалился на месте. Это самец, весящий вероятно центнеров пять, на его спине видны старые следы когтей ягуара. Четвертую часть туши охотники приносят в тольдо, остальное мясо прячут в лесу.

Анта в лагере — это сытость, смех, радость и всеобщее веселье. Я достаю бутылку водки из своих запасов, и мы пьем за здоровье удачливого стрелка. Вызываем из хижины Тибурцио, чтобы угостить и его.

— В лагере есть анта! — кричит прямо в ухо Тибурцио смеющийся, немного подвыпивший Альфредо Ласерда.

— Анта — это хорошее мясо... — спокойно отвечает Тибурцио, но ноздри у него раздуваются, а глаза возбужденно блестят при виде огромного куска мяса.

Пазио делит его факон[42] на широкие ломти и на вертеле пристраивает над очагом. Когда мясо закоптится над дымом в наполовину подгорит, получится шураско. Пазио вкладывает в эту работу всю душу. Время от времени он обливает мясо соусом, приготовленным из соли, красного перца и каких-то таинственных корешков.

Шураско готово. Уже давно у нас не было мяса, поэтому жаркое, своей жесткостью напоминающее подошву, кажется нам вкуснее самой сочной телятины. В пиршестве принимают участие только старшие: то есть мы, охотники бразильцы и Тибурцио. Женщины, сыновья Тибурцио и дети других индейцев ожидают вдали, пока мы не наедемся досыта.

Два малыша, дети капитона, вылезли из хижины и, как голодные волчата, смотрят на пожираемое нами шураско. Видя это и помня нашу дружбу, я нарушаю обычай и подаю Диого двухфунтовый кусок мяса. Обрадованный малыш исчезает в хижине. Его младший братишка готов разреветься. Но и он получает изрядный кусок, после чего воцаряется полное согласие.

— Мир прекрасен! — философствует Пазио, весело стреляя глазами во все стороны.

— Хороша анта! — бурчит Тибурцио, обгладывая кость.

Над нами что-то прошумело. Это из леса прилетает колибри величиной не больше обычной бабочки. Ее привлекла компания, сидящая возле костра. Птичка словно повисла в воздухе над нашими головами, так быстро взмахивая крыльшками, что их совершенно не видно. Присмотревшись к нам, она стремительно улетает. Явление обычное, однако оно вызывает общее шумное веселье.

По мере удовлетворения голода разговор смолкает. То один, то другой начинает потягиваться, подумывая о том, что надо подремать. Приходят женщины и забирают остатки мяса.

Пообедав, мы все, белые и индейцы, отправляемся в лес и приносим остальное мясо тапира. Вишневский немедленно приступает к препарированию шкуры и черепа, женщины же в это время возводят около хижины нечто вроде помоста из ветвей высотой в полметра, на которые кладут куски мяса. Под ним разводят огонь, который поддерживают несколько часов.

В хижине Моноиса оживление. Слышатся звонкие, веселые голоса индейцев и индианок.

Приближается вечер. Воздух насыщен испарениями, словно перед грозой.

Трудно дышать, все обливаются потом. Лягушки наполняют долину яростным громким кваканьем.

Индейцы начинают петь. Они мурлычат под нос мелодию из четырех тонов, повторяющихся один за другим. Сначала мелодия напоминает поток, с журчанием струящийся по камням. Однако песня тянется бесконечно долго, все усиливаясь, и наконец начинает напоминать отголоски надвигающейся грозы.

Пазио подходит и, наклонившись ко мне, язвительно спрашивает:

— Как вам нравится их пение? По-моему, они поют как те четвероногие соловьи, что крадут у нас свиней.

Это шутовское сравнение с ягуарами и их рыком.

— Пожалуй, хватит этого пения! — говорит Пазио. Он вытаскивает револьвер и стреляет в воздух. Индейцы немедленно смолкают. Они высовывают головы из хижины, но видя, что это выстрел «на виват», успокаиваются.

Коротаем время за едой и питьем шимарона. То и дело кто-нибудь из нас подходит к анте, отрезает кусок и медленно жует. От такого обжорства на лицах выступают красные пятна. Индейцы, живущие в других хижинах лагеря, приходят к нам и принимают участие в пиршестве.

Все радуются, что запасов мяса анты хватит и на следующие дни.

В воздухе появляются жуки-светлячки, наступают ночь. Если не разразится гроза и не принесет прохлады, тропическая ночь будет душной, с тяжелыми снами после такого пиршества.

Болезни, настроения и комары



Убийственный, совершенно невыносимый климат!

Еще сегодня утром, обсуждая охотничьи вылазки, Альфредо Ласерда смеялся вместе с нами, с аппетитом ел приготовленные Болеком фижон и фаринью и запивал все это шимароном. Потом охотно пошел с нами в лес. Смеялся над нами, поляками, что мы удрали от ливня. Остался в лесу и вернулся веселый вместе с остальными бразильцами, принесшими убитую анту. Рослый, здоровый парень с красивыми глазами и смуглым лицом, родившийся и выросший в здешних лесах.

И вот Альфредо лежит на земле, словно подсеченное дерево, сваленный неожиданной болезнью. Не может встать без посторонней помощи. Извивается от боли в желудке. Пот выступает у него на всем теле, температура поднимается до 40°. Это, кажется, последствия дождя — бразильский климат и тропический лес дают о себе знать.

Лечу Альфредо касторкой и другими лекарствами, но болезнь не сдается: лихорадка продолжается всю ночь и следующий день. Мы, здоровые, чтобы не терять времени, продолжаем охотиться, хотя дело и не клеится. Все подавлены болезнью Альфредо, особенно бразильцы.

Под вечер второго дня болезни Альфредо взрывается бомба: бразильцы заявляют мне, что завтра все четверо вместе с собаками вынуждены будут вер-

нуться домой. Это расстраивает все мои планы, но в душе я признаю справедливость решения охотников. У Альфредо температура все еще 39,5°. К тому же он лежит почти под открытым небом. Парень окружен нашим заботливым вниманием. Однако ему нужен хороший домашний уход. Я и мои спутники-поляки решаем остаться в тольдо.

Утром Альфредо почувствовал себя гораздо лучше, температура спала. Поэтому я немало удивлен, что бразильцы все же собираются уходить. Они говорят, что иначе поступить не могут.

— Но ведь Альфредо стало гораздо лучше! — уговариваю их. — Завтра он будет совершенно здоров.

— О сеньор! Возможно, что он и выздоровеет, — отвечает Педро Ласерда, — однако мы должны вернуться домой.

— Почему? — вырывается у меня почти резко. — Я совсем не понимаю этого.

— Нужно. Мы не выдержим здесь!

— Как это не выдержите?

Я испытующе смотрю на лицо Педро. Замечаю на нем то, чего не замечал раньше: безграничную тоску, подавленность и какое-то ожесточение.

— Может быть, вы больны? — спрашиваю его.

Педро пренебрежительно пожимает плечами:

— Болен? Да нет же!

— Может быть, я плохо относился к вам?

— Ничего подобного, сеньор. Не говорите так.

— Тогда плохое питание?

— Нет, достаточно было всего: и фиждона, и фариньи, и сала. Осталось еще много мяса анты.

— Но что же тогда?..

Я охотно добавил бы «...черт возьми!».

Бразильцы угрюмо посматривают на меня:

— Мы должны отвести Альфредо домой.

— Он уже здоров!

— Он еще болен! — не уступают охотники.

— Так пусть один из вас проводит его, а остальные остаются.

— Мы все должны отвести его. Это наш брат и друг.

В это время ко мне подходит Пазио и по-польски шепчет:

— Ради бога не упирайтесь, не задерживайте их!

— Почему?

— Если бы они и остались, то устраивали бы нам скандалы и отравляли нашу жизнь... Ведь они больны.

— Что у них?

— Упадок духа. Они заболели потому, что тоскуют по дому; потому что слишком уж долго льют эти проклятые дожди; потому что тут плохо спать и прочее и прочее... Болезнь Альфредо доконала их.

— Три дня назад, когда подстрелили тапира, все они были в самом лучшем расположении духа.

— Хо, три дня назад! После того дня заболел Альфредо и они впали в меланхолию.

— Это настоящая истерика!

— Возможно. Наш климат так действует на людей, что они становятся вялыми и нерешительными.

Пазио прав: климат отвратительный. Я смотрюсь в зеркальце и не узнаю себя, когда вижу в нем исхудавшее лицо с обострившимися скулами и запавшими глазами. Просто счастье, что мы еще сохраняем бодрость духа и не теряем отваги. Пазио даже смеется над моим исхудавшим лицом:

— Здешние леса немного пообглодали вас.

Пазио шутит, но и его джунгли не пощадили. Уже несколько дней он пробуждается утром с мучительной головной болью. Это вероятно рецидив малярии, которой он тяжело болел три года назад.

Вместо завтрака Пазио пожирает ценный хинин из нашей полевой аптечки. Только после приема большой дозы хинина боль в голове проходит, и он вновь обретает желание жить.

— Значит, отпустить бразильцев? — спрашиваю его, возвращаясь к прерванному разговору.

— Пусть уходят!

— А мы одни справимся?

— Думаю, что да. Правда, нам будет недоставать охотничьих собак, но индейцы проводят нас к шупадорам, на тапиров, а там собаки вообще не нужны. Если подвернется ягуар или пума, то индейцы выследят зверя не хуже хваленых бразильских собак, в этом я убежден.

Я велю Болеку приготовить обильный прощальный завтрак: к фижону прибавить побольше сала, заварить свежий горячий шимарон, а в конце пира потчевать нас черным кофе. Болек в это время извлекал из-под ногтей на ногах вгрызшихся туда земляных блох. Он немедленно прерывает эту «работу» и проворно исполняет мое поручение.

На мою левую руку садится комар. У него светлые ножки. Голову свою он наклоняет к коже больше, чем брюшко. Это малярийный комар, разносчик страшнейшего бича этих мест — малярии. Я убиваю его ударом правой ладони. После него остается маленькая капелька крови. Через две недели будет ясно: заразил он меня или нет.

Впрочем, это уже двадцатый малярийный комар, убитый мной в то утро.

Сложные переговоры



Мы прощаемся с бразильцами сердечно, как с добрыми друзьями. Хотя они и сыграли со мною плохую шутку, я не в обиде на них. После их ухода мы возвращаемся к костру и снова усаживаемся вокруг него, чтобы допить остатки кофе. Оно удалось Болеку — получилось черным и густым, как смола. Разносящийся в воздухе аромат приятно щекочет ноздри.

У Тибурцио хороший нюх: знает, когда появиться. Вот и сейчас он выходит из хижины и садится около нас. Разумеется, он тоже получает кофе.

— Ушли! — громко, с нескрываемым злорадным удовлетворением констатирует Тибурцио.

— Ушли! — тоже с удовлетворением вторит Пазио.

Тибурцио исподлобья смотрит на Пазио. Спустя минуту, никого не спрашивая, он наливает себе вторую кружку кофе и сыплет в нее столько желтого сахара, что влага едва не выливается через край. Для оправдания Тибурцио надо заметить, что в Бразилии все пьют кофе сладкий, как сироп.

— Тем лучше для вас, что ушли! — заявляет Тибурцио.

— Это правда! — подтверждает Пазио. — Но скажи нам, компадре Тибурцио, почему ты считаешь, что так лучше для нас?

— Потому что я укажу вам ант, много ант... — Тибурцио строит лукавую мину и добавляет. — Но проведу в эти места лишь тогда, когда вы хорошо заплатите.

— Разумеется, сеньор заплатит тебе хорошо.

Тибурцио медленно качает головой, измеряет нас надменным взглядом, усмехается и спрашивает:

— А сколько заплатит?

На этом вопросе Пазио ловит его. Не отвечая индейцу, он начинает разговор на совершенно другую тему. Обиженный Тибурцио молчит. Пазио долго беседует со мной, потом с Вишневым. Тибурцио нетерпеливо ерзает, потом встает и уходит в хижину. Когда он возвращается, Пазио все еще занят разговором с нами. Только через час он «вспоминает» о Тибурцио и заверяет его:

— О, сеньор заплатит тебе очень много.

— Сколько? — скромно спрашивает Тибурцио, на сей раз уже без усмешки.

— Столько, сколько ты вообще не заслуживаешь. Станешь богатым человеком, самым богатым во всем племени и сможешь купить в венде все, чего только пожелает твое сердце и сердце твоей жены.

Затем Пазио начинает буйно фантазировать. Он перечисляет чуть ли не весь товар венды и обещает индейцу буквально все, начиная от иглы и кончая ружьем и шелковыми чулками. Пазио выпил немало кофе и теперь с наслаждением рисует перед Тибурцио картину этого великолепия. Меня терзает мысль: какое же вознаграждение назначит Пазио? Ведь из его обещаний можно сделать вывод, что он, пожалуй, предложит Тибурцио пятнадцать или больше мильрейсов в день.

Однако Тибурцио понимает Пазио иначе. С индейцем происходит что-то странное. Он с огромным вниманием прислушивается к словам моего товарища и чуть ли не глядит ему в рот. Сначала он улыбается, затем становится серьезным, но вскоре его уже охватывает беспокойство и растерянность. Вместо того чтобы радоваться, Тибурцио мрачнеет и теряет надежду. Он понимает, что перед ним незаурядный мастер, которого не легко провести. Теперь он уже не ждет многого и только поглядывает на Пазио с испугом и уважением. Когда Пазио на минуту встает, Тибурцио спрашивает тихо, почти смиренно:

— Говори, сколько хочешь дать!

— Два мильрейса в день, не больше.

— Хорошо, хорошо! — устало говорит Тибурцио и в знак согласия хочет подать руку Пазио и мне. Я отвожу его руку.

Отчитываю Пазио по-польски и решительно требую, чтобы он предложил индейцу пять мильрейсов в день, а кроме того, дополнительное вознаграждение в случае успешной охоты. Пазио ворчит под нос, что я порчу ему индейцев, однако выполняет мое требование и разъясняет Тибурцио:

— Поскольку сеньор очень любит тебя, чего ты вовсе не заслуживаешь, то он дает тебе не два, а пять мильрейсов в день. Пять мильрейсов, если мы не подстрелим никакой дичи. Но в тот день, когда мы убьем какого-либо зверя, то есть ягуара, пуму, анту или хотя бы капивару, в этот день ты получишь шесть мильрейсов.

— Бао! — оживляется довольный Тибурцио. — Тогда я буду получать каждый день по шесть мильрейсов, потому что мы каждый день будем убивать зверя.

— Слушай дальше! Получишь шесть мильрейсов, если зверя убьет кто-нибудь из экспедиции, то есть ты или кто другой. Если же его убьет чужеземный сеньор, ты получишь десять мильрейсов.

Тибурцио озабоченно посматривает на пальцы своих ног. Думает. Пазио разъясняет ему:

— Видишь ли, компадре, ты получишь больше за то, что наведешь сеньора на зверя, чтобы именно сеньор убил его, а не кто-либо другой.

Индеец напрягает все свои умственные способности, чтобы понять, в чем дело. Лицо его багровеет от усилий.

— Ты понимаешь меня? — спрашивает Пазио.

— Нет! — вырывается из груди индейца глубокий вздох.

Тогда Пазио на примерах еще раз поясняет, в чем дело. Тибурцио внимательно слушает, прищуривает глаза, кивает головой и наконец прерывает Пазио:

— Подожди! Значит если я, Тибурцио, убью анту, то получу только шесть мильрейсов. Правда?

— Правда.

— А если я, Тибурцио, не убью анты, но чужеземный сеньор убьет ее, то я, Тибурцио, получу за это от него десять мильрейсов. Так ты говоришь?

— Да, получишь тогда десять мильрейсов.

Тибурцио начинает смеяться:

— Так ведь это глупость!

Мы беспомощны. Тибурцио считает нас полоумными и не может удержаться от насмешек. С триумфом он растолковывает нам нашу ошибку:

— Одумайтесь! Если я сделаю корзину, так ведь это моя работа и за нее я по праву получу, скажем, шесть мильрейсов. Верно?

— Верно.

— Если бы чужеземный сеньор научился делать корзинки и сам изготовил их, тогда чья это была бы работа? Его или моя? Его! И заработок его. А вы мне доказываете, что за работу сеньора я должен получить от него вознаграждение, так?.. Ха! Кто вам поверит в такое? Он убьет анту, ему посчастливится, а вы мне за это обещаете награду? Хе-хе! Надуть меня хотите?

Невозможно объяснить ему, в чем дело. Он упорствует и твердит, что мы хотим его обмануть. Тибурцио не понимает охотничьей страсти. Охота для него, лесного индейца, является обычной работой, необходимой для поддержания жизни. Поэтому Пазио встает и обращается к индейцу торжественным тоном, сурово хмуря брови:

— Послушай, Тибурцио! Можно ли тебе доверить великую тайну?

Тибурцио подозрительно смотрит на Пазио:

— Можно.

— Видел ли ты, как чужеземный сеньор в последние дни давал лекарства больному Альфредо?

— Си, видел.

— А видел ли, что Альфредо сегодня выздоровел?

— Си, он сегодня уже мог ходить.

— Так вот, сеньор в своей стране считается великим знахарем. У него есть много сильных лекарств: он изготавливает их из шкур зверей, которых непременно должен убивать сам. Лекарства, сделанные из шкур зверей, убитых другими охотниками, уже не такие сильные... Понимаешь ли ты теперь, почему сеньор приехал сюда и почему заплатит тебе больше, если зверя убьет он сам, а не кто другой?

Да, теперь Тибурцио понимает. Он окидывает меня полным уважения взглядом и, снисходительно улыбаясь, говорит:

— Теперь вы сами видите, что я был прав. Вы скрывали от меня тайну. Хотели обмануть Тибурцио! — и добавляет с мягким упреком. — Надо было сразу же откровенно говорить со мной! — и, уже совсем успокоенный, спрашивает. — Когда вы хотите идти на охоту?

Шупадор



На охоту мы отправляемся еще до полудня. Со мною идут Тибурцио и Пазио. Вишневатский остается в лагере: заканчивает препарирование шкуры тапира.

В последние дни выяснилось, что леса в верхнем течении Ивай изобилуют дичью, поэтому мы направляемся туда. Они сырые, густые, дикие и поистине бескрайние, хотя много индейцев с Ивай и Марекуиньи все же добралось сюда и осело около Питанги, где живут белые поселенцы. Часть лесов там вырублена. Однако за вырубкой опять тянутся бесконечные леса, и никто из местных жителей не прошел их до конца. Впрочем, какой смысл в том, чтобы целыми неделями продирались сквозь недоступные и необжитые дебри к рекам Пикуира и Икуасси? Утвердилось мнение, что и там нет конца джунглям, поэтому и ходить туда не стоит.

Шагаем по тропинке вдоль берега Марекуиньи. После двух часов ходьбы отклоняемся от реки и вступаем в глубь леса по сильно заросшей травой тропинке. Несмотря на это, продвигаемся без задержек. После суматохи, царившей утром в лагере, приятно поражает окружающая тишина.

Закинув за плечо ружье, иду вплотную за индейцем, за его широкой спиной. Иду и думаю: сколько уже в жизни моей по ухабистым дорогам в неизведанных дебрях шагало впереди меня таких вот Тибурцио? Это были старые и молодые проводники разных национальностей, рас и темпераментов, преимущественно мои друзья. Все они были охвачены одной и той же охотничьей страстью: выслеживанием зверя. Бедный, добрый, преследуемый зверь — он объединял всех нас...

Мои воспоминания прерывает Тибурцио. Он останавливается и показывает пальцем вниз. На мягкой земле виднеются свежие следы трехпалых ног. Тибурцио разъясняет:

— Анта проходила тут сегодня утром. Приближаемся к шупадору.

Пазио держит револьвер наготове. Я тоже снимаю с плеча двухстволку, заряженную жаканом. Тибурцио несет мой запасной штуцер. Переходим ручей. Возле него Пазио остается в засаде. Мы с Тибурцио продолжаем путь. За ручьем тропинка поднимается на холм, покрытый густым подлеском такуары. Когда мы спускаемся с холма, кусты редуют и на расстоянии нескольких десятков метров можно обозреть пространство, тонущее в полумраке под необычайно пышной зеленью деревьев.

Тибурцио крадется все более осторожно. Он перестал смотреть на землю. Часто останавливается и шепотом напоминает мне, чтобы я ступал тише. Хорошо ему говорить! Он идет босяком, а у меня тяжелые, как свинец, и твердые, как броня, шнурованные сапоги.

Но вот мы вступаем в часть леса, сильно вытопанную тапирами. Это так называемое барейро, где на пространстве более ста шагов нет почти никакой растительности, кроме толстых деревьев. Все тут уничтожено копытами тапиров. За барейро находится маленькая солнечная поляна, поросшая сочной травой. Под несколькими молодыми пальмами струится ручеек. Зрелище это так привлекательно, что напоминает иллюстрацию к красивой сказке.

— Шупадор! — шепчет Тибурцио, показывая на путаницу следов перед нами.

Итак, именно сюда сходятся тапиры. Мы осматриваем заросли, но зверя пока не обнаруживаем. В нескольких десятках шагов от поляны мы садимся на вывороченный ствол дерева, скрытый в кустах, и ждем. Тибурцио начинает усердно копать в замке штуцера с намерением снять предохранитель. Шепотом просит объяснить ему, как это делается. Улыбаюсь, качаю головой и говорю ему на ухо:

— Подожди, не торопись!

Если бы я показал ему, как снимать предохранитель, то охваченный охотничьим азартом, он мог бы сам выстрелить при появлении зверя. Через минуту обескураженный Тибурцио оставляет штуцер и вместе со мной прислушивается к лесным отголоскам.

Где-то неподалеку кормится стая обезьян. Мы слышим их непрекращающийся угрюмый вой. Этот вой слышится, словно из-под земли, и странное дело: мы не можем определить, с какой стороны он доносится и как далеко от нас находятся обезьяны.

Яростно кусаются комары. Вытаскиваю из кармана табак и, поднося его под нос индейцу, спрашиваю:

— Фума?[43]

— Нао! — отвечает он и энергично трясет головой: курить нельзя. Поэтому я прячу табак, зато из другого кармана достаю фляжку с водкой.

— Агуа арденте?[44] — спрашиваю Тибурцио.

Вижу осветившееся улыбкой лицо и слышу ответ:

— Си, си!

Делаем по глотку.

Проходят часы. Зверь что-то не появляется, поляна лежит перед нами ти-

хая и мертвая. С самого утра небо покрыто тучами, но, несмотря на это, дождя нет, хотя со всех сторон и доносятся отзвуки далекой грозы.

Напряжение возрастает. За два часа до захода солнца мы слышим подозрительный треск ветвей поблизости от шупадора. Тибурцио многозначительно подмигивает мне. Я крепче сжимаю ружье. Замечаем, что кое-где колыхнутся ветки кустов. Не подлежит сомнению — это подходят к шупадору тапиры. В зелени зарослей на короткое мгновение мелькают серые неясные тени.

И тут, как на зло, поднимается ветер. Он дует как раз в сторону тапиров. В чаще воцаряется тишина. Видимо, звери почувствовали наш запах. Новый, еще более сильный порыв ветра. Тибурцио вдруг встает и замирает в такой позе, прислушиваясь к отзвукам далекого грома.

— Шува (дождь)! — испуганно шепчет он.

«Глупости!» — думаю я, вспоминая, что весь день гремело точно так же, как и теперь, однако дождя не было.

— Шува! — решительно повторяет индеец и, видя мое сомнение, поднимает штуцер и быстрым шагом удаляется в сторону тольдо, заявив мне, что анты удрали.

Волей-неволей бегу за ним, убежденный в том, что у индейца появился новый каприз. Мчимся сломя голову. После четверти часа такого сумасшедшего бега я стараюсь остановить Тибурцио насмешливым вопросом:

— Где же твой дождь?

— Будет! — не задерживаясь, отвечает индеец.

Охотнее всего я отругал бы его на чем свет стоит. К сожалению, вскоре оказывается, что Тибурцио был прав: на полпути между шупадором и лагерем нас настигает ливень, даже, собственно, не ливень, а обрушивающийся на наши головы настоящий водопад. В течение нескольких секунд мы промокаем до последней нитки и в таком виде добираемся до тольдо.

Змея «гипнотизирует» птицу



Во время нашей паранской экспедиции, если выдавались минуты, свободные от охоты на зверя и препарирования образцов фауны, мы вели оживленные беседы об окружающей нас природе и наших исследовательских наблюдениях. Вот и теперь на Марекуинье после моего памятного приключения с жараракой и нья пиндой мы часто, сидя у костра, возвращались к разговорам о змеях. Это не только грозный, но также весьма интересный и все еще недостаточно исследованный мир. С того времени, когда человек начал мыслить, он думал о змеях, создавал вокруг них всевозможные легенды, но подлинной их жизни до сих пор по-настоящему не узнал. Взять хотя бы веками дебатлируемый вопрос о гипнотических способностях змей: гипнотизируют ли они своих жертв? Вишневский и я скорее склонны сомневаться, но многие на-

блюдатели природы подтверждают это предположение, ссылаясь на случаи, отмеченные в этом и прошлом столетиях.

На следующий день после неудачного похода к шупадору Вишне夫斯基 и я бродим поблизости от тольдо. Вдруг мой товарищ, идущий впереди по тропинке, останавливается как вкопанный. Жестом руки он велит мне не двигаться и впивается зорким взглядом в кусты перед нами. Я бросаю взгляд в том же направлении и спустя минуту понимаю, в чем дело: на расстоянии нескольких шагов от нас я вижу на низком кусте птичку из отряда воробьиных, а рядом с нею, тоже на кусте, зеленую неядовитую змею, именуемую здесь «кобра верде». Змея вытягивает голову в сторону птички и пронизывает ее, как нам кажется, горящим взглядом. В то же время птичка, находясь от головы змеи не больше чем в четверти метра, смотрит на змею, как зачарованная, конвульсивно трепещет крылышками. Птичка явно загипнотизирована змеей.

Птичка и змея так впились взглядом друг в друга, что мы, незамеченные ими, приближаемся на расстояние всего в несколько шагов. Змея не остается на месте. Она медленно скользит по ветвям куста, затем снова замирает. По мере продвижения змеи движется и птичка: она отступает с ветви на ветвь, порой нервно трепещет крылышками, неподвижно висит в воздухе на манер колибри. Она не отрывает свой взгляд от глаз змеи, причем держится все время прямо против ее головы на одном и том же неизменном расстоянии — четверть метра, — как бы прикованная неодолимой магнетической силой. Трудно представить себе более яркое проявление обессиленной воли, попросту гипноза.

Мы смотрим на это зрелище несколько минут, однако ничего нового не происходит. Нас интересует исход необычайного приключения, но, к сожалению, мы не имеем времени и потому решаем убить змею. Это почти метровый экземпляр, вполне пригодный для нашей коллекции. У Вишневского в стволе ружья заряд мелкой дроби, поэтому стреляет он. Змея свивается в клубок и беспомощно падает с куста на землю, где извивается в предсмертных конвульсиях.

При звуке выстрела птичка срывается с ветки, но отлетает не далее чем на шаг, садится на другую ветку и зорко наблюдает за предсмертными судорогами своего противника. Когда змея подышает, птичка взмахивает крылышками как бы от радости и издает несколько громких посвистов, на которые ей отвечает приглушенное щебетанье из ближайшей купы травы. Мы заглядываем туда. К своему удивлению, обнаруживаем там гнездышко с птенцами. И тут нам вдруг открывается решение всей этой загадки.

То, что раньше казалось демонической силой змеи, было в действительности лишь ошибочным видением. Змея, большая любительница маленьких птенцов, подбиралась к гнезду. Птичка-мать встала на защиту своих детей и старалась отвлечь внимание змеи на себя, увести ее от гнезда. Это она, птичка-мать, гипнотизировала, если так можно назвать ее усилия, змею и, как мы видели, проделала это не без успеха. Она концентрировала на себе все внимание змеи, хотя, наблюдая издалека эту драму природы, можно было бы поклясться, что, наоборот, змея своим злым взглядом подавила бедную пташку. В общем тут действовала иная сила, более могущественная, чем все гипнотизирующие взгляды, — материнская любовь.

Вишневский и я, особенно Вишневский, взволнованы до глубины души. Мы открыли источник векового недоразумения и суеверия. Догадываемся: издавна люди наблюдали подобную борьбу змеи и птицы, но истолковывали ее неверно, не понимая истинных причин этой трагической схватки. Они приписывали змеям таинственную силу, особенно в тех случаях, когда птица-мать в своей заботе о птенцах, забывая об осторожности, сама падала жертвой змеи! «Змея загипнотизировала птицу!» — говорили и писали ради сенсации.

Мы возвращаемся в тольдо в понятном возбуждении.

— Кто знает, — говорит Вишневский и глаза его горят вдохновением, — кто знает, может быть, то, что мы пережили минуту назад, окажется самым интересным приключением в нашем путешествии по бразильским лесам.

Медицина на Марекуинье



Пазио натворил дел, представляя меня, как заморского знахаря: индейцы стали приходить ко мне с просьбой вылечить их. В медицине я разбираюсь столько же, сколько примерно волк в звездах, но делаю соответствующую мину и лечу. К счастью, все это несложные болезни, против которых я нахожу лекарства в нашей полевой аптечке.

Вот, например, Циприано — старший сын Тибурцио — жалуется на зубную боль. Я велю ему раскрыть рот и, заметив сгнивший зуб, заливаю его иодином. Пациент радуется, что у него щиплет во рту и, когда я на минуту отворачиваюсь, хочет проглотить иодин.

Через несколько часов он возвращается с новой бедой. Излеченный мною зуб перестает болеть, зато другой вызывает у него нестерпимую боль. Видимо, этот гурман хочет еще раз полакомиться моим иодином, так как не может показать мне второго больного зуба. Просто не знаю, что делать: у нас осталось очень мало иодина, столь необходимого в джунглях. Видя мое колебание, Пазио предлагает:

— Заговорите его!

Заговор, или по-португальски «симпатия», — чрезвычайно популярный в Бразилии способ лечения. Все здесь — как белые, так и индейцы — свято верят в эффективность «симпатии», даже часть колонистов, немцев и поляков, разделяет это мнение. Заговорами лечат самые различные болезни людей и домашних животных. Некоторые известные знахари умеют заговаривать болезни даже на расстоянии. «Симпатия», как правило, сопровождается сложными обрядами, но бывают и такие знахари, которые лечат лишь внушением.

— Заговорите! — советует мне Пазио и смеется.

— Даже и не подумаю усугублять их суеверия! Впрочем, все равно не удалось бы!

— Удастся: Циприано верит в ваши способности.

И, не ожидая моего согласия, Пазио обращается к индейцу:

— Послушай, компадре! Тебе оказана необычайная честь. Сеньор сделает тебе «симпатию».

— О, «симпатия»! — восклицает обрадованный индеец.

— Видите, как замечательно действует это магическое слово? — по-польски говорит мне Пазио. — Он уже наполовину вылечен...

— Ладно, но что я должен делать?

— Безразлично, что сделаете. Например, стукните его по шее, ибо бездельник заслужил этого. Или надерите ему уши. Только делайте это серьезно и проникновенно.

После минутного размышления я вытаскиваю карманный электрический фонарик и, приставив его к носу больного, свечу ему прямо в глаза. Потом велю ему открыть рот и засовываю в него половину фонаря, так что бедняга давится и готов вот-вот задохнуться. Чувствую себя в положении паяца: я уже по горло сыт такой «забавой». Но Пазио следит, чтобы я довел «лечение» до конца.

— Вы великолепно делаете это! — с восхищением говорит он и острит. — Вы мастер из мастеров.

В ответ на это я велю пациенту три раза высунуть язык в сторону Пазио, после чего трижды сильно надавливаю на подбородок Циприано и считаю комедию оконченной. Со вздохом облегчения говорю индейцу.

— Хега![45]

— Нао хега![46] — вмешивается Пазио и говорит Циприано. — Теперь пойдешь домой, ляжешь животом на землю и с полчаса не будешь думать ни о чем ином, как только о «симпатии» сеньора. Тогда боль навсегда покинет тебя. Если же подумаешь о чем-либо ином, хотя бы даже на минутку, — утратишь «симпатию».

— Бао! — отвечает Циприано и послушно исчезает в хижине.

Пазио объясняет мне:

— Я велел ему проделать это, чтобы в случае неудачи вина пала на него, а не на вас.

— Ну и хитрая же вы лиса! — поражаюсь я.

Спустя час индеец выходит из хижины и улыбаясь говорит нам, что совершенно выздоровел, потому что и голова и зуб перестали болеть.

— Поздравляю вас, магистр всех медицинских наук! — с деланным почтением обращается ко мне Пазио, а в глазах у него мигают хитрые огоньки.

Отголоски интриги Ферейро



Наши отношения с тольдо складываются внешне совсем нормально. Первоначальное явное недоброжелательство индейцев ко мне и нашей экспедиции как бы предано забвению. Проявления враждебности, подобной той, которая в первую ночь в лагере заставила одного из индейцев выпустить в меня злое стрелы из лука и тайком вытащить из моего револьвера патроны, теперь не повторялись. Подлинная дружба установилась у меня с Диого — восьмилетним сыном капитана Моноиса, юным стрелком из бодоки и моим

спутником в первой охоте на попугаев у берегов Марекуиньи. Старый Тибурцио уже охотно ведет меня на тапиров. Поэтому неприятное открытие, которое мы делаем на следующий день после лечения Циприано, едва не выводит нас из равновесия.

Перепуганный Болек рано утром сообщает мне, что этой ночью кто-то перетряхивал все его пожитки и мешки с запасами продовольствия. Осматриваем мои вещи и констатируем то же самое: разбиты замки двух моих чемоданов. Из содержимого ничего, как мне кажется, не украдено, но все страшно разбросано как бы в спешке. Это уже явные поиски предлога для инцидента, и мы решаем как можно скорее покинуть берега Марекуиньи, однако перед этим выложить Тибурцио, как старшему в тольдо, всю правду в нескольких сильных словах. Пазио велит мне и Вишневскому застегнуть все пуговицы блузы, как для парада, прицепить на видных местах наши револьверы, а затем демонстративно ведет нас к хижине Моноиса, где временно живет Тибурцио.

У вызванного во двор индейца смущенный вид, он встречает нас растерянной улыбкой. По его глазам видно, что виноват он. Пазио делает шаг вперед и высказывает ему всю правду. Говорит по-короадски, чтобы Тибурцио лучше понял его. Пока Пазио разносит его громовым голосом, Тибурцио переступает с ноги на ногу и начинает усиленно оправдываться. Пазио прерывает его резким вопросом, а когда индеец отвечает утвердительно, распекает его еще больше, но уже другим тоном — дружески.

Пазио оборачивается и весело подмигивает нам. Стоящему поодаль Болеку он велит бежать к костру и быстро приготовить шимарон и крепкое кофе. Итак, гроза разрядилась: будет небольшой пир. Тибурцио в знак согласия пожимает Пазио руку, потом протягивает ее Вишневскому и мне, и все мы, широко улыбаясь, идем к нашей хижине. Я бросаю на Пазио вопросительный взгляд.

— Шкуру сдеру с этого негодяя! — с шутливой злостью по-польски отвечает Пазио.

— С кого, Томаш, с кого?

— С Априсито Ферейро, директора индейцев! Вот коварная бестия!

— Что он вам сделал?

— Радуйтесь, что индейцы до сих пор не перерезали вам горло.

— Ой, неужели могло так кончиться?

— Да, могло. Ферейро сказал им, что вы землемер и по поручению колонистов из Кандидо де Абреу хотите тайком замерить земли на Марекуинье, чтобы потом отобрать их у индейцев. Никакое вранье не может быть для вас так опасно!

— Ну, ладно, а почему они перерыли все наши вещи?

— Чтобы убедиться, есть ли у нас измерительные инструменты.

— Просто счастье, что они уверились в противном...

— Верно!

Воспоминания о происшествии, которое грозило срывом нашего пребывания на Марекуинье, рассеиваются в приятной беседе и аромате крепкого кофе, на которое Болек не поскупился. Чувствуется, что у индейцев, как говорится, гора с плеч свалилась. Тибурцио тихо говорит Пазио, что наверняка выведет нас на тапиров.

Наслаждение кофе прерывает сильный ливень, и мы прячемся в хижину.

Смотрю на сумрачно свинцовое небо и думаю: не слишком ли много выпадает дождей в этой долине?

Тревожные минуты



В тот же день на индейцев обрушивается несчастье: укус ядовитой змеи. Видимо, поблизости от тольдо множество этих гадов. Случай этот доставляет мне особенное огорчение, так как пострадавший — мой юный приятель Диого. Мальчик был на реке, не далее как в двухстах шагах от тольдо, ловил там рыбу и в прибрежной траве его укусила жарарака. Ее убили, она была невелика, но имела много яда и нога сразу же распухла.

Я предлагаю противоядную сыворотку, несколько ампул которой имеется в моей аптечке, но индейцы не принимают дара. Они хотят лечить Диого своими средствами. Запаривают какие-то травы и этот отвар дают пить мальчику, а другими зельями натирают ему тело, особенно укушенную ногу. При жгли рану огнем, но и это не подействовало.

Состояние Диого ухудшается с часу на час. Иногда его сильно знобит, он страшно потеет, но, несмотря на это, дрожит от холода. Часто теряет сознание, хотя глаза его продолжают оставаться открытыми. Через два часа после укуса начинает сочиться кровь изо рта, носа, ушей. Мальчик никого уже не узнает и выглядит умирающим. Я уговариваю индейцев сделать ему вливание сыворотки, но они по-прежнему отказываются, упорно стоя на своем.

Возвращаюсь в хижину и валюсь на постель. Уже ночь, но спать не могу. У меня нет веры в лекарство индейцев и я опасюсь за жизнь мальчика. Вспоминаю минувшие дни нашей дружбы, возникшей в то утро, когда мы вместе убили на завтрак двух попугаев-мараканов. С того времени Диого часто сопровождал меня в прогулках по окрестным лесам, с трогательным удивлением поглядывая на меня своими черными смысленными глазенками. У нас не было общего языка, так как я совершенно не понимал короадского, а он португальского, зато обоюдная добрая воля давала самые прекрасные плоды. Во время наших прогулок в лесу мы знаками рук, глаз и губ вели друг с другом интересные беседы и охотно обменивались наблюдениями.

Теперь меня охватывает отчаяние при мысли, что чудесный мальчик тут рядом умирает и что я, вероятно, сохранил бы ему жизнь, если бы не упорство или недоверие индейцев. Мучимый тревогой, бужу Пазио, и мы думаем, что предпринять. Каждая уходящая минута ложится мне камнем на совесть.

Приближается полночь. И тут к нам внезапно приходит Тибурцио. Он говорит, что Диого еще жив, хотя и очень слаб. Только что он пришел в сознание и просит, чтобы меня позвали к нему. Мы спешим в хижину Моноиса.

Мальчик лежит у стены на постели из досок. Пазио принес нашу керосиновую лампу, при ее свете глаза мальчика приобретают неестественный стеклянный блеск. Лицо так осунулось за эти несколько часов, что стало неузнава-

емым.

Я улыбаюсь ему, но он уже не в состоянии ответить мне взаимной улыбкой. Лишь поднимает на меня глаза, в которых столько доверия и немой просьбы, что сердце мое разрывается. Прошу Пазио, чтобы он спросил хлопца: что тот хочет. Диого ничего не отвечает, но не спускает с меня умоляющих глаз. Я понимаю, что ему надо. Он ждет помощи от друга. Решаю взять дело в свои руки и уже не обращать внимания на пагубные протесты индейцев.

— Ему становится все хуже! — твердым обвинительным тоном говорю его матери.

— Хуже... — с болью признает она.

— Можно ли еще спасти его, не знаю. Но если и можно, то лишь вливанием сыворотки! — говорю по-португальски всем присутствующим индейцам, и, чтобы они хорошо поняли, Пазио повторяет мои слова по-короадски.

Не ожидая их ответа, выхожу из хижины и вскоре возвращаюсь с сывороткой и шприцем. Моя решительность произвела впечатление на семью Диого: никто мне теперь уже не мешает. Есть правило, что укол делают выше места укуса — между ним и сердцем. К сожалению, укушенная нога чудовищно распухла до самого паха и сделать в нее укол невозможно. Поэтому иду на риск и впрыскиваю дозу сыворотки около сердца. Хорошо понимаю, что в случае смерти Диого вся вина падет на меня. Но, несмотря на это, не задумываясь, ставлю на карту все, видя в этом единственную возможность спасения мальчика, если она еще существует.

В течение ближайших двух часов состояние Диого не ухудшается и он больше не теряет сознания. К утру решаюсь сделать еще одну инъекцию сыворотки и затем ложусь спать.

Когда проснулся, на дворе уже был день. Шел дождь.

— Жив? — спрашиваю Пазио.

— Жив.

— Лучше ему?

— Не знаю.

Когда я с бьющимся сердцем вхожу в хижину Моноиса, Диого не спит. С первого взгляда вижу, что состояние мальчика улучшилось: глаза его утратили стеклянный блеск и смотрят осмысленнее. На этот раз Диого встречает меня улыбкой, правда, едва заметной, но достаточной, чтобы принести мне большую радость. Кризис, видимо, уже миновал. Диого будет жить! Из всех улыбок, доставшихся мне в жизни, улыбка этого маленького индейца с Марекуйнье навсегда останется для меня самым дорогим и пленительным воспоминанием.

Диого что-то шепчет матери. Женщина ищет его бодоку и найдя вручает ее мне. Она говорит, что я должен взять бодоку на память. Это тот самый лук, из которого хлопец убил подраненного попугая в памятный день нашей совместной охоты. Я знаю, какое это сокровище для мальчика. Сколько же в этом подарке самопожертвования! Никак не решаюсь принять лук, но Диого так просит взглядом, что я уступаю. Отдаю ему взамен мой большой перочинный нож.

— Через несколько дней ты срежешь этим ножом сук, сделаешь себе новую бодоку и мы пойдем на охоту... — говорю ему. Пазио переводит мои слова. Глаза мальчика покрываются влагой, но на сей раз не от боли.

Рио де Оро



До полудня льет дождь. Небо проясняется только к вечеру. Завтра может быть хорошая погода, поэтому Тибурцио приходит к нам и с таинственным видом говорит, что завтра поведет меня к интересному месту.

— На охоту? — спрашиваю я.

— Можно и поохотиться по дороге, но ты увидишь там кое-что другое.

— А далеко это?

— Если выйдем утром, то к вечеру вернемся в тольдо.

Тибурцио не желает открыть нам, что это за место, но раз он придает этому походу столь исключительное значение, я соглашаюсь.

На следующий день сразу же после восхода солнца отправляемся в путь: Тибурцио, Пазио и я. Перед уходом заглядываю в хижину Моноиса. Диого стало значительно лучше. Опухоль на ноге уменьшилась, а лицо уже обрело светло-коричневый оттенок, какой бывает у созревающих каштанов, — цвет возвращающегося здоровья.

В течение двух часов мы идем хорошо известной нам по прежним прогулкам тропой, вверх по Марекуинье, затем сворачиваем в лес, на другую тропку, малохоженую и заросшую. Идя впереди, Тибурцио пробивает своим факонем туннель в зарослях. Вступаем в тяжелую гористую местность.

— Куда ты ведешь нас, Тибурцио? — нарушает Пазио долгое молчание.

— На Рио де Оро!

Пазио издает протяжный свист изумления. По пути он говорит мне, что в этой части Параны ходят слухи о какой-то Золотой реке, настолько необычные, что существование самой реки он до сих пор считал вымыслом. По слухам, о Золотой реке еще несколько веков назад знали иезуиты, создавшие свое индейское государство к западу от этих мест. Они являлись к ее берегам намывать из песка золото. В течение жизни нескольких поколений иезуиты выкачали из реки громадное количество золота, и она перестала отличаться от других притоков Параны. Ясное дело, о реке забыли, осталась лишь легенда о ее прежней славе, легенда о Рио де Оро. Иезуиты, которые открыли эту реку, были испанцами. Этим и объясняется испанское название реки, сохранившееся до сих пор, несмотря на то, что в Паране, бразильском штате, господствует португальский язык.

Пазио не знал, что легендарная река протекает так близко, и потому уточняет у Тибурцио:

— Эта та самая река, что славилась в иезуитские времена?

— Та самая... — отвечает индеец.

Пазио приходит в голову какая-то новая мысль, и он вдруг спрашивает Тибурцио:

— А Рио де Оро имеет какую-либо связь со смертью немца Дегера?

— Имеет.

— Какую?

— Дегер слишком много знал и многого хотел, поэтому его и убили на реке.

— Что же он знал?

— Увидите сами.

Если бы мне сказали, что путь будет проходить по такой гористой местности, я наверное не пошел бы. Несмотря на интерес к загадочной реке, нас все больше одолевает усталость. Наконец, мы приближаемся к цели. В час пополудни слышим шум водопада. Тибурцио заверяет нас, что теперь уже близко. Вскоре мы выходим на берег. Небольшая речка шириной около пятнадцати метров низвергается в этом месте гремящим водопадом.

— Рио де Оро... — тихо говорит Тибурцио.

Мы садимся на камнях у берега, чтобы прежде всего отдохнуть, и оглядываем объект легенды. У реки песчаное ложе, и только у водопада громоздятся скалы и огромные валуны.

— А есть ли еще в ней золото? — спрашиваю у Тибурцио.

— Есть, но немного, — отвечает он. — Наши мальчики иногда заглядывают сюда и находят какое-нибудь зернышко, но заработка тут искать не стоит...

В это время Пазио что-то замечает неподалеку от берега и восклицает:

— Что это? Крест?

— Крест! — подтверждает Тибурцио. — Тут застрелили Дегера и тут же через несколько дней мы похоронили его останки.

— Кто же именно застрелил?

— Его друзья и сообщники.

— Все меньше понимаю его... — признаюсь я Пазио.

Тибурцио рассказывает:

— Есть несколько бразильцев — к их шайке принадлежал и Дегер, которые знают этот водопад и его тайну. Они рассчитывали на быстрое обогащение, но держали свой замысел в тайне. Есть доказательства, что Дегер хотел их обмануть. Но они каким-то образом узнали о его намерениях и, когда Дегер однажды явился к водопаду один, напали на него и убили...

— А не принадлежал ли к их шайке и директор индейцев Ферейро? — перебивает Пазио.

— Конечно.

Сразу вспоминается откровенно циничное поведение Ферейро. «Директор индейцев» даже не пытается скрывать своих махинаций и преступлений. Трудно сказать, что больше возмущает: преступность этой личности или порочность системы правления, потворствующей явному беззаконию. Корень зла должен заключаться в строе, господствующем в Бразилии, если он взращивает типов, подобных этому Ферейро.

После минутного молчания Пазио обращается к Тибурцио:

— Я все еще не понимаю одной вещи: о каком обогащении ты все время говоришь, компадре Тибурцио, если в реке уже нет золота? Что-нибудь скрыто в водопаде?

— А вы присмотритесь к нему повнимательнее!

Водопад кажется нам таким же, как и всякий другой: река натолкнулась тут на скалы и вся масса ее воды почти отвесно падает с высоты примерно восьми метров, образуя внизу котел, полный бурных водоворотов. Из этого котла вода вытекает несколькими более мелкими ручьями.

— Видите вы это маленькое озерко под водопадом? — показывает Тибурцио и разъясняет, — оно очень глубокое: дно реки песчаное, однако в этом месте сильное течение, а водовороты не позволяют песку осаживаться и засыпать котловину. Но другое дело золото: оно в несколько раз тяжелее песка. Течение реки так легко его не выплеснет. С незапамятных времен река несла сюда не только песок, но и зерна золота, которые падали в глубокий котел. Зерна эти были слишком тяжелы, чтобы течение могло снова вынести их из котла. На дне озерка, стало быть, должно лежать несметное количество золота.

Ход рассуждений индейца не лишен логики. Природа образовала в этом озерке нечто вроде мешка, в который беспрестанно сыпалось золото. Однако добраться до него в глубокой котловине, наполненной водой, невозможно.

— И вот к этому озерку так рвется Ферейро и его шайка? — спрашивает Пазио.

— Да! — подтверждает Тибурцио. — Они хотят осушить его, но не знают, как это сделать. В нескольких километрах выше по реке можно изменить течение и направить его в другое место, а затем взорвать скалы, образующие озерко, и выпустить из него воду. Но для всего этого нужно много труда и денег. Поэтому бразильцы медлят, но ревниво оберегают тайну...

— А почему ты открываешь эту тайну нам?

— Я хотел бы, чтобы чужеземный сеньор сам взялся за это золото, потому что верю, тогда часть сокровища досталась бы и нам, индейцам.

— Добрый Тибурцио! — восклицает Пазио. — Как же ты представляешь себе это? Они убили своего человека, Дегера, а чужому позволяют из-под носа забрать такой клад?!

— Все индейцы станут на защиту сеньора!

— Индейцы едва защищают свою шкуру, ты хорошо знаешь это, компадре Тибурцио! — говорит Пазио, после чего наступает долгое молчание.

Но дело не в опасности. Золото никогда не действовало на мое воображение. Меня не увлекали соблазны Калифорнии или Клондайка, мне чужда была уродливая романтика золота. Видимо, слишком крепко сидел во мне натуралист. Водопад на Рио де Оро представляет для меня особый интерес, но лишь как своеобразное явление природы, не больше. Близость предполагаемых сокровищ ни капли не волнует меня. Зато меня тревожит другое — судьба индейцев на Марекуинье. Если только разнесется весть о золоте — а она разнесется несомненно, — на индейцев обрушатся полчища подонков общества из бразильских городов. При первой же возможности этот сброд устроит резню индейцев. Роковой слух о золоте может повлечь за собой истребление местных короадов.

— Лучше всего было бы, — прерываю молчание, — подорвать динамитом скалы над водопадом и раз навсегда завалить камнями это опасное золото.

— Мы давно думаем об этом, но у нас нет средств... — грустно признается Тибурцио.

Во время возвращения нас настигает дождь.

Опасное плавание

Каждое дело когда-нибудь да кончается, а наше терпение лопається на следующий день после похода на Рио де Оро. Проснувшись, мы снова видим на небе тяжелые свинцовые тучи; издали уже доносится шум дождя. Нам опро-



тивели эти непрерывные ливни на Марекуинье.

После короткого совещания решаем на следующий же день выступить в обратный путь: нет смысла оставаться дольше в лагере при таких неблагоприятных условиях. Охотиться нельзя, сырость портит наши музейные препараты, а ненастье и скверное помещение начинают подрывать здоровье. Мысль о скором выезде приносит нам подлинное облегчение, зато доброжелательно относящиеся к нам индейцы — Тибурцио, жена капитана и их семьи — принимают это сообщение с явным сожалением. Они хотели бы подольше задержать нас у себя. Со дня болезни Диого и с того момента, когда они убедились, что мы не собираемся делать замеров их земли, индейцы считают нас своими друзьями.

Возвращаться намереваемся по реке — на двух лодках, которые нам оставили бразильцы. Лодки эти вместят и нас и все наше имущество. Поскольку Пазио мало знает реку, Тибурцио и его сын Циприано берутся проводить нас до устья Марекуиньи, до самого ранчо Франсиско Гонзалеса.

На следующий день после завтрака мы укладываем в лодки наши вещи. Иду проститься с Диого. Он чувствует себя значительно лучше. У него опять выразительные, здоровые глазенки. Мальчик держит меня за руку и не хочет отпустить. Мы ничего не говорим друг другу, зато, прощаясь, обмениваемся улыбками. К лодке нас провожают жена капитана Моноиса и семья Тибурцио. Когда мы отталкиваемся от берега, женщина что-то бросает мне в лодку. Это разукрашенная плетенка из такуары, в которой жена Моноиса не хотела заменить шнурок на лиану. Смотрю на сумку: теперь она уже связана нитью лианы сипо.

— Благодарю! — взволнованно кричу я.

Головокружительное течение подхватывает нас и выносит на первую быстрину. Мы стремительно несемся по вспененной индейской реке. Это уже не равная борьба с врагом, а отчаянная защита от ненасытной яростной стихии. На любой быстрине через каждые сто-двести метров нас подстерегает ловушка и чаша весов колеблется: проплывем мы это место или нас ждет катастрофа? Лодки зачерпывают воду, прыгают по грозным камням, ложатся на борт. Река пенится и оглушает нас своим ревом.

Кажется, на двадцатой по счету быстрине находится наиболее опасный проход. Река с ширины в несколько десятков метров суживается здесь до пяти-восьми, сжатая между огромными валунами. Глубокий поток, с ревом несущий свои воды, в конце горловины неожиданно почти под прямым углом сворачивает в сторону. Разбить лодку тут ничего не стоит.

Лицо Тибурцио каменеет от напряжения, глаза чуть не вылезают из орбит. Я сижу посреди лодки, которой правят спереди Пазио, а на корме Тибурцио.

Влетаем в теснину. Лодка мчится с головокружительной быстротой. Индеец что-то кричит Пазио. Тот тоже отвечает криком, прижимает свой длинный шест к камню и упирается им так сильно, что лодка трещит. Нос ее проносит-

ся мимо страшной скалы на расстоянии вытянутой руки и отлетает в сторону, корма описывает головокружительный полукруг.

Но Тибурцио зорек и хорошо выполняет свои обязанности. Он упирает свой шест в камень так, как минуту назад это делал Пазио, и, налегая на него всем напружинившимся от усилия телом, предотвращает катастрофу. Подо дном лодки яростно бурлит вода, борт ее со скрежетом трется о камень. Лодка трещит, но выдерживает.

Через минуту выплываем на широкую спокойную водную гладь. Тибурцио долго и пристально смотрит мне в глаза. Потом улыбается и говорит:

— Тут можно было бы опрокинуться, если бы...

— Если бы что? — спрашиваю его, потому что он вдруг обрывает фразу и молчит.

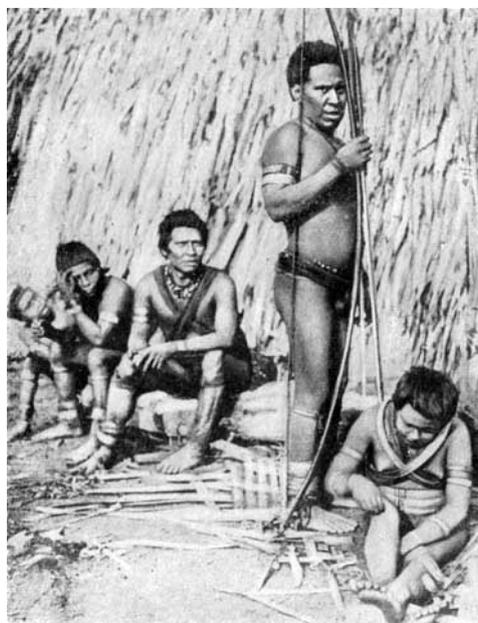
— Если бы мы... не подружились в последние дни!..



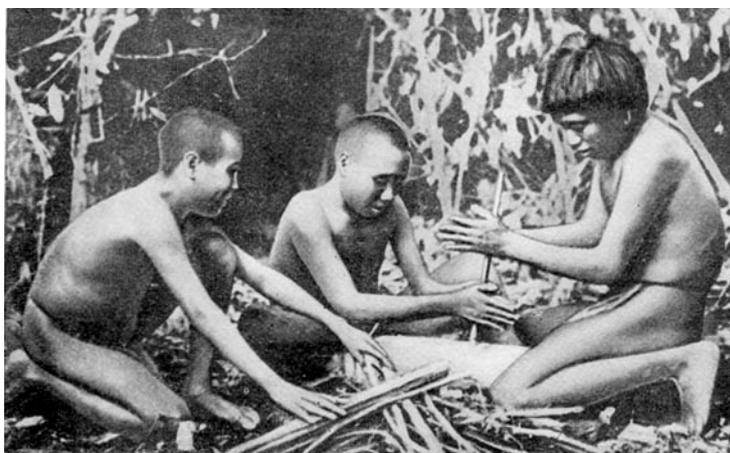
*Аркадий Фидлер с
пойманным броненосцем*



*Жилище короадов, населяющих
джунгли бразильского штата
Парана*



Типы короадов



В малоисследованных лесах западной части штатов Парана и Сан Паулу



*Когда солнце начинает припекать, рыба отправляется к истокам рек.
Следом за ней идут корабли: они ловят ее и бьют из луков...*

Часть II На Иваи



Лес, лес, лес...

Но прежде чем выступить, улаживаем еще одно дело: решаем, что нужно взять с собой. Помимо револьвера, я беру только непромокаемый плащ, а Пазио взамен его — полотнище палатки. Кроме того, Пазио надевает вещевой мешок, в котором лежит фотоаппарат и запас продуктов на два дня. В мешке



много места для предметов, которые мы собираемся приобрести у индейцев.

Пазио задумывается и говорит:

— Мы забыли что-то еще...

— Что?

— Лекарства.

— Вампир! — ругаю его. — Разве я снова должен играть роль знахаря?

— Э, пожалуй, нет... — лицемерно отвечает он. — Но, несмотря на это, хорошо бы взять с собой немного лекарств. А кроме лекарств, неплохо и еще кое-что из «медицины»...

— Какой еще медицины?

— Ну той, что служит для разогревания желудка. На всякий случай.

Вечером мы добираемся до ранчо кабоклё Луиса Мачадо и ночуем у него, как ночевали некогда во время похода на Марекуинью. На рассвете следующего дня отправляемся дальше. Впервые за много недель не имею при себе ружья и это наполняет меня радостью. Теперь мне нет надобности высматривать дичь в кронах деревьев, и я чувствую себя, как отпускник на беззаботной прогулке. Кроме того, в это утро солнце палит не так сильно, как обычно. Лес гудит от криков тысяч птиц и шума крыльев мириадом насекомых. И мы с Пазио, вторя лесу, насвистываем свои песенки.

Становится жарко, а пикада[47] — широкая и удобная около ранчо Луиса Мачадо — делается все труднее. Перестаем петь, а затем и вовсе смолкаем.

Бесконечно тянется лес, лес и лес... Он охватил нас со всех сторон так плотно, что мне кажется, лес врастает в нас самих. Удрученный взгляд не может проникнуть вперед, он томится в этом зеленом разгуле. Неистовство природы так призрачно и так нереально, что выходит за границы того, что может представить себе человеческое воображение. Невозможно описать словами буйство тропического леса.

— Проклятое золото! — оборачиваясь ко мне, неожиданно бросает Пазио и тут же поясняет свою мысль:

— Рио де Оро! Как привлекательно это звучит, но сколько горького смысла в этом слове. Проклятая Рио де Оро совершенно испортила нам пребывание на Марекуинье. Но речь не о нас. Подумайте, сколько еще она испортит людям крови в будущем. То, что постигло покойника Дегера, завтра может постичь каждого из этой шайки и прежде всего Ферейро, но, главное, послезавтра принесет неизбежную гибель индейцам. Люди, которых привлечет это золото, нянчиться не будут ни с ними, ни друг с другом. К тому же еще неизвестно, есть ли на самом деле золото под этим водопадом...

Пазио смолкает, так как тропинка круто идет вверх по каменистой горке и это затрудняет беседу. Потом, когда тропинка вновь выравнивается, я возвращаюсь к прерванному разговору:

— С чего это вы, Томаш, ударились в такие рассуждения?

Мой спутник на мгновение останавливается, широким жестом указывает на окружающие нас заросли и говорит:

— Смотрите на этот лес! Он красив, правда? Сколько в нем силы, тяги к жизни, размаха, сколько попросту говоря страсти! Или поглядите на землю: какая в ней способность к плодородию — просто бурлит!.. А тут приходит жалкий человек, одержимый, одурманенный, черт его дери, каким-то глупым миражем и все свое вожделение направляет на золото. Кроме него, он света не видит — убивает людей, сам готов надрываться... отравляет этот лес — живой, здоровый, отравляет страхом, насилием, предательством, преступлением... А, чтоб такого подлеца черти взяли!.. И все это вместе звучит так красиво и золотисто: Рио де Оро!.. Тьфу!

Пазио парень хоть куда! Люблю его за такие откровенные излияния чувств. Охотно пожал бы ему руку, если бы это не выглядело слишком претенциозно.

Во время нашей беседы мы замечаем в лесу тревожный признак — становится все больше муравьев, длинными вереницами пересекающих тропинку. Собственно говоря, ничего плохого в этом нет, но мы знаем, что такое скопление муравьев предвещает скорый дождь. И действительно, солнце светит все тусклее, едва пробиваясь сквозь сгущающиеся тучи.

Перейдя вброд какую-то речушку, мы спугиваем гревшую на тропинке недовитую змею канинанау, которая при виде нас стремглав исчезает в кустах.

— А, холера! Удрала налево! — Пазио бросается в кусты, и, преграждая путь змее, поднимает невероятный шум. В результате перепуганная канинанау возвращается на тропинку и удирает вправо.

Пазио удовлетворенно смеется и разъясняет:

— Кабоклё верят, что если змея переползает дорогу с правой стороны на левую, то это предвещает несчастье.

— Кабоклё верят, а польский колонист боится! — подсмеиваюсь я.

— Вот еще, боюсь!.. Просто не желаю, чтобы эта змея-бродяга вмешивалась в наши личные дела.

Муравьи предсказали дождь, и он начался. Лес пропитывается водой, как губка. От ливня тело защищает прорезиненный плащ, зато ноги совсем промокли.

После полудня снова выходим к Иваи. На самом берегу тропинка кончается; на той стороне реки находится Росиньо, лагерь индейцев. Его еще не видно, так как он скрыт за высоким, поднимающимся метров на пятнадцать берегом.

Вдали купаются двое индейцев. Кричим им во все горло. Они услышали, и вскоре к нам подплывает каноэ. На веслах сидит старый индеец, который при виде Пазио выражает удивление, но здоровается с ним спокойно, как будто они расстались только вчера. Во время переправы через реку Пазио говорит мне, что хорошо знает индейца; его зовут Жолико, он старый друг и они не делились три года.

От выпавшего дождя похолодало. Ноги промокли, и это вызывает легкий озноб. Чувствую, что заболею, если немедленно не сниму брюк и сапог и не высушу их.



Под дождем мы карабкаемся на скользкий берег, лихо преодолеваем гору, минуем какую-то приземистую хижину и, пройдя сотню шагов, добираемся до цели. Ранчо капитона Зинио (сокращенное от Еугенио) — это большой дом длиной свыше десяти метров. Он производит на нас впечатление дворца — тем более, что построен он из глины, а не из бамбука. По сравнению с шалашами на Марекуинье бросается в глаза его зажиточный вид.

В доме мы застаем множество людей — с десятков мужчин разного возраста, сидящих вокруг очага, а в углу несколько женщин и детей. Мужчины беседуют и курят сигареты из кукурузной пай, женщины старательно плетут шляпы.

Все, так же как и Жолико, приветствуют нас спокойно, почти небрежно, без многословия. Пазио здоровается только с мужчинами, на женщин не обращает внимания, я же говорю «бао диа» всем. Потом садимся среди индейцев.

Меня поражает одна деталь. Индейцы эти одеты гораздо чище, а выражение их лиц — осмысленнее.

— То ли мне так кажется, — тихо обращаюсь к Пазио, — но эти индейцы как будто из другого племени, чем те, с Марекуиньи?

— Они не похожи на тех, это правда, хотя из того же племени... Не похожи потому, что перестали быть лесными кочевниками, как те... А знаете, зачем они собрались сюда? Они советуются, как и что сделать, чтобы у них лучше росла кукуруза...

— Выдумываете, Томаш!

— Пусть мне обезьяна морду искушает, если вру!

По нелепой лесной традиции оживленный разговор не может начинаться сразу. Пазио время от времени говорит с индейцами о каких-то пустяках, те скупно отвечают ему. Так проходит с добрых четверть часа. Наконец меня охватывает беспокойство и я спрашиваю Пазио:

— Кто из них капитон Зинио?

— Его здесь нет. Но он придет с минуты на минуту.

— Томаш! — торопливо говорю я. — Мне холодно, я промок, разболеюсь, как бог свят. Почему они не угощают нас шимароном?

— Потому, что нет хозяина. Они тоже гости, как и мы.

Меня охватывает отчаяние. Мне грозит лихорадка и трехдневная головная боль. Тибурцио не без оснований боялся дождя. Окидываю взглядом сонную компанию и заявляю Пазио:

— Я немедленно снимаю брюки и кальсоны и буду сушить их над очагом!

Пазио удерживает меня:

— Ради бога не надо, нельзя!

— Как так нельзя?

— Неудобно. Индейцы восприняли бы это как оскорбление.

Слушаю совет Пазио и брюк не снимаю. У Пазио есть опыт, он знает, как ве-

сти себя с короадами, а несколько недель назад я дал ему и себе слово, что буду поступать лишь по его указаниям.

— Садитесь хотя бы поближе к огню и старайтесь высушить одежду на теле... — предлагает он.

Легко ему давать столь мудрые советы, когда они невыполнимы! Индейцы тесным кругом сели у очага. Втиснуться между ними невозможно, каждый из них хорошо сторожит теплое место.

— Где же тут сесть? — ворчу я, уже основательно разозлившись.

Пазио в мгновение ока оценивает положение и, ничего не говоря, встает, подходит к дверям, снимает там пояс, торжественно вынимает из кобуры браунинг, возится с ним, делая вид, что протирает его, затем кладет оружие на пенек, за несколько шагов от очага. Садясь, он как бы невзначай говорит присутствующим:

— Это европейское оружие...

Индейцы смотрят на пистолет, как зачарованные. Браунинга они еще не видели, так как редко кто в Южной Америке пользуется револьвером этой системы. Любопытство побеждает. Постепенно все встают, сходятся к пеньку, Жолико первым берет браунинг в руки и осматривает его со всех сторон.

Я пользуюсь тем, что около очага становится свободнее, и удобно усаживаюсь у огня, в душе похваливая находчивость Пазио. Старый лис, добившись своего, бесцеремонно отнимает у индейцев пистолет и садится рядом со мной.

Капитон Зинио читает документ



Вскоре на ранчо прибывает капитон Зинио. Это мужчина лет сорока, невысокого роста, с широкими плечами, но довольно худой, чем отличается от остальных короадов, имеющих более или менее округлые формы тела. Лицо его испещрено множеством морщин, но, несмотря на это, он производит впечатление сравнительно молодого человека благодаря живой улыбке, которая часто появляется на его лице. Выражение лица и глаз Зинио говорит о его недюжинном уме: с первого же взгляда можно узнать в нем человека мыслящего. Свободное, совсем не «индейское» поведение свидетельствует о его умении вести себя с белыми. Зинио говорит много, вежливо, но без униженности и у всех сразу же устанавливается хорошее настроение.

Они с Пазио похлопывают друг друга по плечу и спине, как добрые знакомые, меня Зинио приветствует здороваясь за руку. Вскоре нас потчуют горячим шимароном, и в хижине становится очень уютно.

Пазио выкладывает причины нашего прибытия в лагерь Росиньо. Он разъясняет Зинио, кто я такой, что делаю; объяснения на сей раз весьма похожи на правду. Довольно вразумительно Пазио рассказывает, что я прибыл из далекой Польши в Бразилию, чтобы познакомиться со страной и ее людьми, лесами и всякими живущими в них зверями. Коллекционирую шкуры всяких птиц и разных «бишей» (дословно: червяков), а также собираю всякие предме-

ты, которыми пользуются люди — как кабоклё, так и индейцы. Мы потому и явились в Росиньо, когда из разных источников узнали, что Зинио является наиболее прогрессивным короадам и в его тольдо можно закупить много стрел, луков и корзинок.

Зинио внимательно слушает и проявляет полное понимание. Он вмиг схватывает, в чем дело. Он считает за честь для себя, что мы выбрали его лагерь, и просит объяснить, для чего я собираю столько птиц и «бишей»?

Пазио ломает голову, как бы это вразумительнее объяснить, чтобы индеец понял все, но его выручает сам Зинио:

— Может быть он собирает их... для музеев!

Пазио поражен.

— Вот именно для музеев!.. Но скажи мне, Зинио, откуда ты это знаешь?

— Видел такой музей в Куритибе, — спокойно отвечает индеец, усмехаясь при виде смущенного лица Пазио.

— А-а-а...

Во время этого разговора двое молодых индейцев устанавливают среди нас стол — настоящий стол на четырех ножках. Ставят на него большое фаянсовое блюдо с дымящимся рисом и каждому мужчине — а нас тут собралось восемь человек — подают тарелку и ложку. Это уже не зажиточность, это роскошь!

Итак, в молчании начинается пиршество. Мне и Пазио рис приходится особенно по вкусу, так как у нас его не было ни на Марекуинье, ни у Франсиско Гонзалеса.

Однако после обеда настроение индейцев почему-то начинает портиться. Они шепчутся между собой по углам и бросают на меня все более беспокойные взгляды. В конце концов сам Зинио объясняет причину их озабоченности. Он заявляет Пазио, что у меня вид землемера и спрашивает: не прибыл ли я в Росиньо, чтобы обследовать и замерить индейские территории?

— Тебя мы знаем, компадре Томаис! — говорит Зинио. — Но этого сеньора мы не знаем.

— Замечание правильное! — хвалит его Пазио. — Только пойми, Зинио, что для замера земли нужны приборы, инструменты, а их, как ты видишь, у нас нет. Впрочем, осторожность никогда не помешает!

Сказав это, Пазио обращается ко мне по-польски:

— Ядовитые щупальцы Фереиро дотянулись и сюда... У вас, кажется, среди бумаг имеется удостоверение бразильского посла в Варшаве?

— Да, имеется.

— Тогда давайте его мне.

Вынимаю из бумажника документ, и Пазио вручает его Зинио со словами:

— Знаю, что ты грамотный. Прочти этот документ!

Зинио озабоченно посматривает на бумагу — скорее всего он не умеет читать. Грозит большая компрометация. Но капитон выходит из затруднения весьма ловким способом, достойным настоящего дипломата. Он говорит Пазио:

— Иди сюда и садись возле меня! Будем читать документ вместе. Ты будешь читать документ громко, а я про себя.

Так и поступают. Пазио читает громким, отчетливым голосом, проникнутый важностью момента. Документ, выданный послом и полномочным министром Соединенных Штатов Бразилии в Варшаве господином Пецанья, свиде-

тельствует, что я являюсь натуралистом и направляюсь в штат Парана с целью сбора образцов фауны для польских научных учреждений. Он составлен в очень торжественных выражениях. Когда Пазио доходит до того места, где почтенный министр просит все бразильские власти оказывать мне самую широкую помощь, он еще больше повышает голос.

Пазио читает как проповедник. От документа веет величием, и возбуждение передается всем собравшимся. Даже женщины и дети смолкают в углу, а я, слушая давно известные мне слова, с удивлением открываю, что являюсь столь важной и так высоко котирующейся особой.

Довольный собою и произведенным впечатлением, Пазио умолкает. Воцаряется торжественное молчание. Пазио передает документ Зинио и говорит:

— Как видишь, министр обращается и к тебе за помощью для сеньора, ибо ты — как признанный правительством капитан лагеря в Росиньо — являешься тут бразильской властью.

Индейцы передают друг другу документ и смотрят на него с уважением. Но вдруг что-то поражает их. Доносятся приглушенные изумленные восклицания. Все впииваются взглядом в одно место на документе, а именно — в левый верхний угол. Они сделали там какое-то открытие, и меня охватывает беспокойство.

Еще в Польше, когда я получал удостоверение, мне стало ясно, что это документ, отличный от тех, какие часто выдают различные учреждения. Штамп посольства на бланке не напечатан, как это обычно бывает, а красиво оттиснут. Поэтому издали его не видно и только после внимательного осмотра, особенно когда свет падает на бланк сбоку, можно заметить выдавленный в левом верхнем углу герб Бразилии и надпись:

«ЭСТАДОС УНИДОС ДО БРАЗИЛЬ».[49]

Зная, что во время путешествия мне придется показывать документ разным людям, часто не опытным в чтении, я опасался, что отсутствие четко напечатанного штампа посольства может возбудить недоверие. Вот и сейчас индейцы открыли выдавленный герб, и он привел их в возбужденное состояние. Зинио показывает Пазио герб на удостоверении и спрашивает:

— Что это значит?

— Это? Не знаешь?! Это знак бразильского министра, по нему ты можешь удостовериться, что документ выдан именно им.

Короады еще раз осматривают документ, а выдавленный штамп вызывает восхищение, чего я меньше всего ожидал. Он так им нравится, что последний лед ломается, и индейцы начинают относиться к нам очень доброжелательно. Зинио дружески хлопает меня по плечу и говорит:

— Верим тебе! И вам будет хорошо у нас.

Две приятные церемонии



Около полудня выплываем на реку Иваи и час спустя причаливаем поблизости от ранчо Франсиско Гонзалеса, радуясь, что вся эта канитель закончилась. Мы вновь на берегу, заселенном белыми колонистами. Охотно съездил бы объясниться к Гонзалесу, который так подло подстрекал против меня индейцев, но это невозможно. Мы устали, промокли, изголодались и прозябли. Скоро веселый огонь костра и обильный обед заставляют нас забыть о всех неприятностях. В суровых условиях, в которых нам приходится жить, мы сами стали суровыми. Теперь уже нам не так много надо, чтобы восстановить равновесие и хорошее настроение.

После питья шимарона прощаюсь с Тибурцио и вручаю ему обещанный нож-факон за то, что старик проводил нас. Прощание происходит несколько торжественно, но, клянусь, мои слова не звучат преувеличенно, когда я сердечно благодарю его. Индейцы уходят довольные. Мы глядим на их удаляющиеся фигуры, затем Пазио вздыхает и обращается к нам:

— Итак, вы познакомились с индейским тольдо и самими индейцами. Что вы думаете о них? Удовлетворены ли вы?

После минуты красноречивого молчания Вишне夫斯基 фыркает:

— Если бы не любопытная драма между птицей и змеей, я считал бы все это время потраченным зря.

— Что касается меня, — я делаю серьезную мину, — то дело не так уж плохо: я приобрел друга — Диого. Но забираться с таким арсеналом оружия на Марекуйню только ради того, чтобы приобрести дружбу восьмилетнего мальчика...

Пазио не уверен — шутки это или упреки. Поэтому он ершится и защищает индейцев:

— Ну что вы хотите! Подлец Ферейро испортил нам эту поездку. Он подстрекал индейцев, и нужно еще радоваться, что все так кончилось. Могло быть хуже.

— Самое страшное это дождь, который насылал на нас подлец Ферейро...

Мы хохочем. Потом я говорю:

— Сказать по правде: несчастные эти индейцы. Убогие поля, убогие хижины, низкий интеллектуальный уровень.

Неожиданно Пазио приходит в голову какая-то мысль и он обращается ко мне:

— Есть у вас время? Примерно с неделю?

— Целую неделю? На что вам столько?

— Я проведу вас к другим индейцам.

— Что-о? Опять индейцы?

— Ведь я говорил вам, что у меня есть другие, лучшие индейцы! Гораздо более интересные!.. У них и поля богаче, и хижины добротнее, и культурный уровень выше. Среди них кто-то даже занимается скульптурой.

— Скульптурой?

— Ну да, что-то лепит из глины... А их капитон — порядочный парень, к тому же образованный, прогрессивный человек. Это совершенно другое дело, чем на Марекуйне...

— Так почему же мы не пошли туда с самого начала?

— Потому что там хуже охота.

Сообщение Пазио звучит соблазнительно. Я обдумываю, не попытаться ли

счастья еще раз. Задержаться на неделю — потеря невелика, тем более что Вишневский тем временем вернется в колонию Кандидо де Абреу и сам проведет работу по сбору зоологических образцов.

— Где они, эти индейцы? — спрашиваю Пазио.

— Всего день-два пути отсюда. Там находится лагерь Росиньо, он расположен у самых берегов Иваи.

— Как имя их капитона?

— Зинио... Так что — пойдём?

Была не была, решаюсь:

— Ладно, пойдём! Пойдём вдвоем.

— Тогда выступаем через час.

— Согласен.

В течение этого часа происходит вторая за день приятная церемония, а именно: Пазио и я скрепляем нашу дружбу, взаимно обмениваясь револьверами.

Несколько дней назад Пазио одолжил у меня браунинг, влез на наклонное дерево, стоявшее у самой воды, и оттуда сделал несколько выстрелов по плывущему мимо плоду порунги. Пазио удивился точности оружия: выстрелы были меткими и восхитили его. Этот браунинг калибра 7,65 мм он теперь и получает. Оружие надежное, хотя и скромно покоится в кожаном чехле. Я же получаю его барабанчатый револьвер системы «Смит и Вессон», огромного калибра с рукояткой из искусственной жемчужной массы и длинным никелированным стволом, вызывающе торчащим из кобуры. Это на первый взгляд красивый и внушительный револьвер, но бьет он плохо. Пазио утверждает, что это единственное оружие, приличествующее мне, как начальнику экспедиции, поскольку оно вызывает должное уважение. Ладно, пускай вызывает!

Пользуясь случаем, объясняю Пазио устройство браунинга и разбираю его. Передвигаю кнопку, после чего, к немалому удивлению Пазио, все части выдвигаются одна из другой, пока в руке не остается только рукоятка и ложе. Когда я кончаю разборку, Пазио изумленно восклицает:

— Это же чудесный браунинг! Что за техника! Очень рад такому оружию.

— И это вам не простое оружие! — добавляю я.

— Почему?

— Браунинг принимал участие в освобождении Польши.

Пазио с восхищением смотрит на пистолет. Видимо, что-то волнует его. Спустя минуту он гордо заявляет:

— «Смит» тоже имеет достойное прошлое и немало пережил...

— Неужели?

— Да!.. Он принимал участие в революции.

Что-то в этом сопоставлении не клеится.

— В которой по счету? — жестко спрашиваю я.

Пазио уязвлен вопросом, но отвечает с подъемом:

— Ну, в этой последней!

Затем мы выступаем в Росиньо.

Чудесны поля в Росиньо!

Вскоре небо проясняется, дождь перестает. Даже солнышко выглянуло, и мы, наконец, можем выйти из дому.

Росиньо состоит из тридцати с чем-то семей и такого же количества хи-



жин, разбросанных вокруг ранчо Зинио на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга. Хижины эти не могут сравниться по размерам с домом капитона. Построены они тоже из бамбука-такуары, но своим видом выгодно отличаются от ранее встречавшихся нам индейских хижин. Поселок, окруженный с трех сторон лесом, а с четвертой рекой Иваи, образует в вырубленных зарослях подобие оазиса шириной и длиной 1, 5 км. На этой вырубке разыгрываются изумительные события. В жизни здешних индейцев произошли такие значительные перемены, что я с возрастающим изумлением смотрю на Зинио, на тольдо и на возделанное поле.

Капитон Зинио влюблен в это поле, а все жители тольдо гордятся им. Поэтому они прежде всего ведут нас показывать посевы. Сразу же за хижинами начинаются пахотные земли, преимущественно засаженные овощами и засеянные кукурузой. Они мало чем отличаются от полей индейцев на Марекуйнье и паранских кабоклё. Это небольшие полоски, обработанные лучше или хуже, в зависимости от способностей владельца участка. На краю тольдо замечаем загон, а в нем несколько лошадей. Значит, и лошади есть! Кое-где индейцы лошадей не имеют.

Но подлинный сюрприз ожидает нас за хижинами — между ними и довольно отдаленным краем леса. Тут расстилается огромное поле площадью, видимо, в семьдесят-восемьдесят гектаров, на котором, кроме кукурузы, растут черная фасоль, рис, маниоки, бататы, сахарный тростник и даже кофе. Таких богатых участков с таким разнообразием возделываемых культур мы не видели даже на землях колонистов в Кандидо де Абреу. Они-то и составляют предмет гордости Зинио и всего тольдо. Поле хорошо обработано: видно, что о нем заботятся умелые руки. Только там, где участки подходят к самому лесу, замечаем сорняки. Это месь джунглей за то, что люди вырвали у них такой огромный кусок земли.

Короады являются лесным кочевым племенем, существующим охотой, сбором лесных плодов и лишь случайной, эпизодической обработкой земли. То, что здесь возникло такое прекрасное поле — настоящий образцовый фольварк в этой лесной пустыне, и то, что люди эти проявили столько предприимчивости и решились на такой огромный напряженный труд, кажется неправдоподобным. Трудно поверить, что все это происходит здесь, в прииваинских лесах.

— Наше тольдо, — рассказывает Зинио, — благодаря этим полям получило экономическую независимость. Нам теперь нет надобности идти в лес и, подобно диким индейцам, питаться корешками. Мы не умрем теперь с голоду, мы оторвались от джунглей!

— Кому принадлежит эта земля?

— Всем нам вместе.

— И вы сообща работаете на поле?

— Сообща.

— А урожай?

— Делим поровну.

Мы восхищены тем, что видим. Я говорю Зинио, что он очень энергичный человек и что окрестные колонисты, а тем более кабоклё не имеют так хорошо обработанных полей и что обо всем этом я буду писать по приезде в Польшу. Поскольку упоминание о Польше не производит на индейца должного впечатления, Пазио повторяет:

— Вся Польша и половина Европы узнает о тебе, компадре Зинио!

— А... — совершенно равнодушно бросает капитон.

— А знаешь ты, что такое Польша? Польша имеет столько же населения, сколько и Бразилия, а леса ее еще богаче...

Зинио, насмешливо, но снисходительно улыбаясь, дает нам урок реалистического мышления:

— Знаю, компадре Томаис, что ты немного преувеличиваешь. Но это не беда. Очень хорошо, что сеньор напишет обо мне в Польше. Очень хорошо. Однако лучше будет, если он напишет не в Польше, а в Куритибе: тогда бразильские власти скорее вспомнят о нас и, может быть, помогут нам. До сих пор они еще ничего не сделали для короадов...

После некоторого молчания Зинио добавляет:

— Впрочем, что там Куритиба! Далекие власти хвастаются циркулярами о справедливости и отеческой заботе о индейцах, но по пути к нашим лесам эти прекрасные законы теряются, как зерна кукурузы из дырявого мешка. Какова эта справедливость, мы узнали на собственной шкуре пять лет назад... Помнишь, компадре Томаис?

— Ты имеешь в виду авантюру в Питанге и позднейшую резню? — спрашивает Пазио.

— А как же! Тогда убивали даже наших малых детей, и это делалось с согласия представителей властей — тех самых властей с прекрасными циркулярами об отеческой заботе и опеке...

Мы стоим вблизи поля созревшей кукурузы. Высота ее стеблей такова, что человек может достать початок лишь поднятой рукой. С той стороны доносится скрип колес. На дороге, пересекающей все поле, появляется одноконная повозка. Она невелика и, кажется, уже видала виды, но ее все же доверху нагроутили кукурузными початками. Рядом с лошадьёю идет возчик, а позади несколько молодых индейцев.

— Откуда вы раздобыли эту повозку? — удивляется Пазио.

— Купили у твоего земляка в Апукаране.

— Но как вы доставили ее сюда? Ведь из Апукараны сюда ведут только лесные тропинки... Наверно разобрали ее по частям и несли на плечах?

— Нет. Погрузили ее на две лодки и везли по Иваи. А на быстринах выносили на берег...

Сопровождающие повозку индейцы уже знают о прибытии в тольдо двух белых: видимо, их известили еще на поле. Они дружески протягивают нам руки. Приближается вечер, все возвращаются с поля домой.

Зинио на минутку останавливает повозку. Берет первый с краю початок и протягивает его Пазио со словами:

— Посмотри на него, компадре! Тяжелый, а?

Действительно, это большой початок, зерна в нем крупные и полные. Гордость Зинио вполне обоснована. Мы не скупимся на слова изумления и похвалы.

Неподалеку стоит хижина на сваях, более капитальная, чем все другие. Она сложена целиком из бревен. Из глубины ее до нас долетают веселые голоса женщин.

— Это наш общий амбар! — показывает Зинио на хижину. — Пойдемте, посмотрите его внутри.

На полу амбара возвышается большая куча очищенного зерна кукурузы. Наступил месяц сбора урожая. В амбаре работает несколько женщин. Они лущат зерна, а пустые початки выбрасывают во двор. Кончается первая партия початков. Повозка подъезжает к амбару, и женщины проворно берутся за лущение новой партии.

— Когда мы соберем с поля всю кукурузу, — говорит Зинио, — то в этом амбаре останется очень мало свободного места.

— И этого зерна вам хватит на весь год? — недоверчиво спрашивает Пазио.

— Хватит, компадре, хватит!

На обратном пути к дому Зинио мы минуем группу деревьев. На одном невысоком дереве сидит красивой темно-голубой окраски птица из семейства вороньих, именуемая здесь гралья азуль. Пазио вынимает из кобуры браунинг, показывает его Зинио и хвастает, как в первые часы нашего пребывания в тольдо:

— Это прекрасное европейское оружие. Бьет отлично, такого ты еще не видел.

У Зинио блестят глаза.

— А попадешь из него в гралья? — недоверчиво спрашивает он у Пазио.

— Наверняка! — опять хвастается Пазио.

— Так попробуй!

Пазио не нужно повторять дважды. Он начинает подкрадываться к дереву. Однако попасть из браунинга в гралья азуль, птицу размером не больше нашей вороны, не такое — легкое дело. По мере того как Пазио приближается к дереву, он теряет уверенность в себе. Я замечаю, что Пазио пренебрегает мерами предосторожности и старается незаметно для нас спугнуть птицу. Зинио тоже видит это и многозначительно толкает меня в бок, явно подсмеиваясь над уловками моего товарища.

Но, как на зло, гралья улетать не хочет. Глупая птица спокойно взирает сверху на подкрадывающегося к ней человека. Наконец Пазио останавливается под деревом, поднимает руку и начинает целиться в птицу. Долго целится, но потом опускает руку, прячет браунинг в кобуру и кричит нам, что не хочет стрелять.

— Почему? — спрашивает индеец.

— По разным причинам! — отвечает Пазио. — Во-первых, жалко пули, во-вторых, гралья не стоит хлопот, в-третьих, она оказала мне слишком много доверия...

— А в-четвертых? — поддразнивает его Зинио.

— А до четвертой причины додумайтесь сами! — говорит Пазио в порыве откровения и весело глядит нам в глаза.

— Боялся промазать?

— Не иначе, компадре...

Развеселившись, мы шутливо подсмеиваемся друг над другом. И мне кажется, что нам действительно будет хорошо в тольдо Росиньо.

Дипломатия Томаша Пазио



Вблизи усадьбы Зинио, между его домом и высоким берегом реки, стоит опрятная хижина, в которой живет какая-то индианка. Зинио отсылает женщину в другую хижину, а эту предоставляет под жильё нам.

Пазио немедленно разводит огонь. Наконец-то! Наконец я могу снять брюки, не вызывая возмущения индейцев, и как следует согреться. Мокрое белье и брюки вешаю над огнем — пусть сушатся. Затем приготавливаю из спирта «лекарство», в которое Пазио добавляет свежие красные, как вишня, стручки перца. После принятия половины кружки этой адской микстуры мой желудок совершает безумное сальто-мортале, причем, как уверяет Пазио, здоровье возвращается к нам. Да, мы выздоравливаем, но одновременно «лекарство» здорово ударяет нам и в голову.

В хижину входит Зинио и садится у очага. Он тоже принимает «лекарство» — с тем же, что и у нас, результатом.

Зинио посматривает на развешанное белье и спрашивает, есть ли у меня другая, запасная, пара.

— Нету.

— Жаль! — говорит он. — Я велел бы выстирать эту пару, она грязная.

Барбарриаде! Это уже высшее проявление цивилизации. Мне становится стыдно, потому что белье действительно грязное. По примеру моих товарищей я уже неделю не снимал его с себя, исходя из того, что джунгли — это не салон. Зинио настаивает на своем и повторяет, что как капитан лагеря он обязан приказать выстирать мое белье.

«Лекарство» действует хорошо, на душе у нас становится легко. Мы беседуем, как трое старых друзей, и строим прекрасные планы. Пазио еще раз излагает цель нашего прибытия, а Зинио развертывает подробную картину действий. Мы узнаем, что Жолико со всей семьей будет плести корзинки, Тонико и его женщины возьмутся за изготовление шляп, а Бастион — за стрелы и статуэтки. Зинио уже предугадывает, кто первым охладет к работе и как его надо будет подстегнуть.

Пазио далее говорит Зинио, что я странный человек. Приехал к индейцам не только за корзинками и стрелами, но жажду также познать всю их жизнь, их верования, обычаи и важнейшие события из истории племени. Он добавляет, что меня заинтересовало это большое, отлично возделанное поле.

Последнее сообщение вновь возбуждает подозрение индейца. Зинио, который еще минуту назад дружески улыбался нам, сразу трезвеет и замирает. Потом твердым громким голосом обращается к Пазио:

— Скажи, компадре Томаис, не вынашивает ли сеньор, с которым ты был, какого-нибудь тайного замысла во вред нам? Скажи честно!

Пазио отвечает:

— Если бы я не знал, что сижу рядом с капитаном Зинио, то подумал бы, что разговариваю с неразумным мальчишкой... Извини меня!

— Так зачем же он, собственно, пришел к нам?

— За тем, чтобы увидеть ваши корзинки, шляпы, стрелы и познакомиться с вашими обычаями, как ваш друг. Повторяю: как ваш друг!

Пазио говорит это так убедительно, что Зинио успокаивается. Затем мой товарищ вынимает из кобуры браунинг и говорит:

— Сеньор приехал из очень далекой Европы и познакомился со многими странами. Ваши места, хотя они и красивы, совершенно не привлекают его. Это просто хороший человек, и он хочет лишь дружить с вами. Со мной он уже подружился и в доказательство привез мне из Европы вот это прекрасное оружие, продав мне его за бесценок...

— За сколько? — с любопытством спрашивает Зинио.

— За сто двадцать мильрейсов! — врет Пазио как по писаному, и у меня просто перехватывает дыхание, когда я слышу это наглое вранье.

— Ну, хорошо, хорошо! — отвечает смягчившийся капитан, и все снова в порядке.

Я вижу, что почтенный браунинг приобретает в этой глухомани значение какого-то сильного аргумента. И думаю: почему Пазио все время тычет им в глаза индейцам?

После беседы мы выходим из хижины. Пазио и Зинио идут в тольдо, а я на реку искупаться.

Снова минуты тревоги



Через полчаса мы встречаемся с Пазио. По его лицу вижу — опять что-то случилось.

— Черт возьми! Мне снова пришлось защищать вас, — сообщает он. — Возникли новые сомнения.

— Опять Зинио?

— Нет, на этот раз Жолико. Но я успокоил их и сказал, что вы очень пригодитесь им, как знахарь.

— Ой-ой-ой!

— Поэтому идемте скорее в дом Зинио.

— Зачем?

— У Зинио есть грудной ребенок с каким-то отвратительным заболеванием глаз. Вы должны его вылечить!

У меня волосы встают дыбом. Возмущенно заявляю Пазио:

— Это невозможно, вы с ума сошли! Я не умею лечить глаза! Это трудное дело!.. Особенно у детей! Что я могу сделать со своими иодинами и хининами?.. Будьте здоровы! Я иду спать!..

— Нельзя! Они ждут.

Скандал. Я ругаю Пазио. Потом появляется Зинио. Я умолкаю, и мы вместе идем к маленькому пациенту.

Болезнь действительно отвратительна. Глаза младенца так воспалены, что зрачки и веки исчезли под слоем засохшего гноя. Я не знаком с такой болезнью и не знаю, как подступить к ней. А тем временем мать смотрит на меня с тревогой и надеждой. Она одета в красиво расшитую блузку, имеющую на груди два длинных разреза для облегчения кормления ребенка.

Осмотрев маленького больного, мы возвращаемся в нашу хижину. В присутствии нескольких индейцев я достаю свою аптечку и озабоченным взглядом окидываю ее нищенские запасы. Из имеющихся лекарств выбираю нашатырный спирт. Вливаю несколько капель в полулитровую бутылку. К сожалению, разведенный аммиак утратил свой запах, поэтому для большего впечатления добавляю в бутылку немного валерьянки. Приготовив это «лекарство», я подношу его под нос индейцам, которые подтверждают, что чувствуют хороший запах.

Чтобы нашатырный спирт не повредил младенцу, велю Зинио еще больше разбавить его и три раза в день промывать этим раствором глаза ребенку. Первую процедуру я выполняю сам, показывая на примере, что надо делать. При обтирании глаз смоченной ваткой гной сходит довольно легко, обнажая чистые, хотя и сильно покрасневшие веки. Это хороший признак, и мы все довольны.

Тем временем наступает вечер. На ужин Зинио присылает нам в дар кусок сала, несколько бататов и десятка полтора яиц. Какой-то подросток приносит огромную связку бананов, в которой более сотни плодов. Покупаю ее за один мильрейс.

Мы плотно поужинали и теперь блаженствуем, слушая птиц, которые слетелись к краю леса на противоположном берегу реки.

— Как изменилось наше положение! — обращаюсь я к Пазио. — Подумать только, что всего две недели назад короады на Марекуинье хотели нас выкурить голодом...

— Я сразу говорил, что тут нам будет лучше.

— Одна беда: с этим больным ребенком капитона.

— Э, пустяки!

— А вдруг он случайно умрет сегодня ночью? На нас падет вся вина...

— В случае чего можем бежать. Живем у самой реки... Впрочем, почему ребенок должен сразу умереть? Смертность среди индейских детей велика, но умирают они главным образом от тифа, инфлюэнцы и кори...

Когда становится совсем темно, мы ложимся спать. Сразу засыпаем мертвецким сном, измученные проделанным за день маршем. Вскоре после полуночи я просыпаюсь от того, что кто-то сильно дергает меня за ногу. Это Пазио.

Он высовывает голову из хижины и шепчет!

— Послушайте!

Из дома Зинио, находящегося от нас на расстоянии менее ста шагов, доносится болезненный крик ребенка.

— Что с ним? — сонно спрашиваю я.

— Бог его знает. Ну, что будем делать?

Я так хочу спать, что не талька пошевелиться, но даже думать не могу о ка-

кой-либо опасности. Пазио раздувает огонь, а затем с неожиданным рвением принимается поспешно есть бананы, которых осталось не меньше шестидесяти штук.

— Ко всем чертям! — сердито ворчит он. — Не оставлять же им бананы, если придется удирать!

— Мне хочется спать... — бормочу я и ложусь на постель.

Засыпая, слышу плач ребенка и возню Пазио, который баррикадирует вход. Ночь проходит спокойно, пробуждаемся после восхода солнца. Во время завтрака приходит Зинио и начинает обычный разговор. Он спокоен и вполне доброжелателен к нам. Говорит о разных обыденных вещах, из чего мы делаем вывод, что ничего угрожающего в эту ночь не произошло. Наконец, Пазио задает ему прямой вопрос о здоровье ребенка.

— О, ребенок уже почти здоров! — спохватывается капитан. — Лекарство подействовало хорошо. Благодарю нас.

Пазио вытаскивает браунинг и, сидя у выхода, стреляет в ближайшее дерево, чтобы излить свою радость. На этот раз он отличается и попадает в наметенную цель: не слишком толстую ветку. Ветка отлетает, как срезанная. Зинио удивлен, а Пазио повторяет свою излюбленную фразу:

— Это прекрасное европейское оружие!

Пазио был бы совсем счастлив, если бы ночью не съел столько бананов. Целый день они мучают его, не помогает даже касторка.

Коллективизм индейцев



Загадка большого возделанного поля между тольдо и лесом и благосостояния жителей Росиньо не дает мне покоя. Ранним утром, попивая горячий шимарон, я спрашиваю Зинио, показывая на поле:

— Как вы создали это? Откуда взялась эта смелая мысль?

Сразу на наш вопрос Зинио ответить не может, и я узнаю эту историю лишь после нескольких бесед у костра.

Началось все несколько лет назад и прошло два больших этапа развития. Активной силой был сначала один Зинио, строивший различные планы преобразований, позднее ему стал помогать совет старшин тольдо. Зинио еще смолоду часто покидал лагерь, посещал поселки белых колонистов, добирался даже до городов, всюду зорко присматривался и учился всему. Он пришел к убеждению, что короады должны бросить кочевать. Кочующее племя всегда недоедает, для дальнейшего его существования нужны большие леса, а их у короадов постепенно отбирают белые колонисты.

И Зинио понял, что только в сельском хозяйстве спасение его сородичей. Он начал им разъяснять это. Сперва они хотели его изгнать, отравляли ему жизнь, но в конце концов он их убедил. Начали они в Росиньо обрабатывать землю каждый по-своему, и выходило это у них плохо. Тогда Зинио собрал всех молодых индейцев и послал их к белым колонистам — работать батрака-

ми и научиться методам ведения сельского хозяйства. Молодые индейцы научились и вернулись в тольдо.

Возделывание земли пошло в Росиньо уже лучше, но все еще не давало тех результатов, которых ожидали индейцы. В душе короада все еще сидел кочевник, который охотно удирал в лес, оставляя поле на милость судьбы и сорняков. Короадам нужна была новая, более совершенная форма ведения сельского хозяйства, которая бы полностью обеспечивала им существование.

Такой формой оказалась коллективная работа на общем поле. Откуда взялась эта мысль, Зинио не помнит. Во всяком случае не от соседей, белых колонистов, которые признают только индивидуальное, частнособственническое хозяйство. И Зинио не один придумал это, а вместе с другими. Уже давно в Росиньо вошли в обычай совещания, на которых обсуждалась жизнь всего коллектива, и потому новая мысль пустила ростки, развилась и созрела. «В каждом человеке, — утверждает Зинио, — есть скрытая тоска по содружеству и по общему труду, а для индейцев это является непреодолимой и глубоко врожденной потребностью».

Вскоре все в Росиньо приступили к проведению этой идеи в жизнь. Сообща начали корчевать леса, засевали кукурузой новые участки, коллективно собирали урожай. И хотя даже теперь делается немало ошибок, часто проявляются лень и беспечность, все же в Росиньо можно наблюдать невиданное среди короадов благосостояние. Но это еще не все: положительное влияние коллективности сказалось также и в моральном отношении.

Жители Росиньо почувствовали себя более уверенно. Исчезла прежняя боязнь ненадежного будущего. Кочевникам и охотникам огромный лес был необходим как воздух, — без огромных лесов они гибли. Теперь индейским крестьянам лес уже перестал быть так необходим. Если придут белые и отберут у индейцев эти несколько десятков тысяч гектаров лесов в резервации, жители Росиньо смогут хорошо жить и на своих ста-двухстах гектарах.

У жителей Росиньо прежний период кочевой жизни остался в памяти лишь как неприятный сон, который никогда больше не должен повториться. Индейцы поняли, что теперь они действительно ожили, что они нашли отвечающую особенностям их быта систему работы, обеспечивающую им благосостояние. Теперь жизнь для них имеет большую ценность и они счастливы.

Обо всем этом нам рассказывает капитан Зинио. Я слушаю его с возрастающим интересом. Индейцы Росиньо проделали славный путь борьбы и исканий и неудивительно, что теперь они с уверенностью смотрят в будущее. Но покоится ли их уверенность на прочной основе? Кто даст индейцам гарантию их безопасности в будущем и гарантию сохранности их имущества? Конституция? Строй? Но ведь этот строй создает десятки Ферейро, безнаказанно присваивающих себе общественную собственность и также безнаказанно совершающих преступления! Тех Ферейро, которые завтра с такой же наглостью могут протянуть лапы к плодородным полям беззащитных индейцев и, вероятно, протянут... Существующая система правления как раз и является системой эксплуатации и несправедливости.

Я не высказываю никому своих сомнений, но все же задаю Зинио вопрос:

— Все ли, чем здесь владеют короады, является их общей собственностью?

— Нет! — отвечает Зинио. — Нет, только то большое поле, которое вам так понравилось, и только то, что нужно для работы на этом поле, то есть: лоша-

ди, два плуга, повозка и амбар, где мы храним собранный урожай...

— А как проводится распределение урожая?

Зинио рассказывает, что среди короадов порой вспыхивают раздоры, случаются даже убийства, но отнюдь не по поводу распределения продовольствия. До недавнего времени каждая семья получала равную часть урожая, но такой порядок оказался плох, так как он потакал лентяям, которые работали спустя рукава, но, несмотря на это, получали равную долю. Теперь урожай делится согласно отработанным дням и выполненной работе, причем тяжелый труд, как, например корчевка леса, оплачивается вдвойне. Такое распределение кажется всем справедливым — единственное затруднение в том, что оно требует сложного расчета, а хорошо считать короады еще не умеют. Зинио как капитон получает в шесть раз больше, чем любой другой работник, но должен за это содержать всех одиноких стариков и больных людей, а также принимать тех, кто совещается в его доме о делах всего тольдо. После жатвы сородичи часто заходят к Зинио и угощаются у него до тех пор, пока не иссякнут все его запасы. Зинио же радуется тому, что может быть гостеприимным, ибо это долг капитона и в этом заключается его слава.

Слушая рассказ Зинио, я все более удивляюсь. На каждом шагу вижу я в Ро-синьо положительные результаты преобразований: взрослых людей, уверенных в себе; вполне здоровых на вид детей; радостные глаза. С глубоким волнением думаю я о необычайной истории этого маленького индейского племени. В несколько лет индейцы провели две огромные реформы: перешли от кочевого на оседлое сельское хозяйство, а затем — от индивидуального хозяйства на коллективное.

Можно допустить, что самый верный способ обеспечения себе нормальной жизни подсказал короадам здравый коллективный разум и что этот разум, а также счастливый инстинкт, рожденный в прииваинских лесах, привели их к открытию такой формы ведения хозяйства, которая давно уже считается лучшей в культурных и высокоразвитых странах. Но так ли было в действительности? Только ли в их собственной индейской среде родилась мысль о коллективном труде? Не было ли тут влияния извне?

Когда я спрашиваю об этом Зинио, он сначала отвечает, что это их собственная идея. Потом задумывается. Я напоминаю ему, что он побывал в городах на востоке страны. Оказывается, он там работал на заводах. За горячим шимароном, который пробуждает мысль и оживляет память, мы постепенно, по ниточке, добираемся до клубка: в Понто Гросса, где он когда-то работал, Зинио беседовал со многими рабочими, бывал на собраниях. Время было грозное, нарастала революция, люди восставали против беззакония властей. Был среди них один, который читал зарубежные книги. Он переводил их содержание на язык, простой и понятный всем рабочим в Понто Гросса, и Зинио узнал тогда от него массу невероятных вещей: что можно организовать мир лучше и справедливее — без эксплуататоров и угнетателей — и что даже самые слабые могут обрести силу и найти свое счастье, если объединят свои усилия...

— А о Престесе ты слышал? — спрашиваю капитона.

Вопрос этот возмущает Зинио. Как же он может не знать этого крупнейшего руководителя бразильского народа и лучшего друга индейцев?! Ведь это от Фоза ду Икуасси, от юго-западной границы штата Парана, начал Престес свой победный поход через всю Бразилию, повсюду поражая врагов народа, свергая

их власть, без числа оказывая благодеяния бедным и угнетенным. Как же мог Зинио не знать Престеса, когда из этого вот тольдо ушел к Престесу, в его знаменитую Колонну, племянник Зинио — Мануэло, который сражался в Колонне два с половиной года, даже пробился вместе с Престесом после его поражения в Боливию и оттуда, пробираясь лесами, вернулся на Иваи? Сам Престес подал ему руку на прощанье.

— А где Мануэло?

— Его нет в тольдо, вернется через несколько недель.

Нет, идея коллективного, хозяйства не родилась случайно на Иваи. Здесь в лесах, в глухой индейской деревушке, посев пал на плодородную почву, но семена были занесены из далеких краев. Когда Мануэло, племянник Зинио, вернулся из военного похода обратно в тольдо на Иваи, он принес с собой новые веяния мира. То, чему он научился в Колонне славного Престеса, он передал своим сородичам.

Сидя у очага, мы снова беседуем о большом поле в Росиньо и о соседних кородах, живущих в тольдо на Марекуинье.

— Рио де Оро! — говорит Зинио, прикуривая сигарету от цигарки Пазио. — Наши сородичи на Марекуинье имеют эту несчастную Золотую реку, которая издавна возбуждает в них мучительное любопытство и мелкую алчность и в то же время вселяет в них страх за будущее. Это их злой дух. Они не могут вырваться из когтей джунглей и этой реки, продолжая оставаться дикими. Мы в Росиньо тоже имеем свою Рио де Оро, только она не такая. Мы нашли ее в труде. Эту Золотую реку мы держим в наших руках. Это звучит странно и возвышенно, но очень просто...

Бык и браунинг



Вблизи нашей хижины целый день бродит чей-то индейский бык. Это огромное и нахальное животное, которое, когда мы уходим, просовывает в хижину голову и пожирает бататы, положенные нами в золу. Даже когда мы сидим в хижине, бык подходит к ней и нагло заглядывает внутрь. Стены и крыша трещат под напором громадины быка, а мы, спасая вещи, бьем его палкой по морде. После третьего такого визита Пазио заявляет, что бык ему понравился и что у него есть желание купить его.

Пазио уходит, и вскоре я слышу со стороны дома Зинио несколько выстрелов. Заинтересовавшись стрельбой, иду в этом направлении.

На площади застаю Пазио, Зинио и несколько других индейцев. Зинио стреляет в доску на расстоянии в несколько шагов из... браунинга! Но капитон промахивается, несмотря на то что цель отлично видна и велика, как ворота. Пазио с трудом скрывает свое отчаяние и досаду. Индейцы не верят в меткость его оружия.

— Плохое оружие! — с невозмутимым спокойствием говорит Зинио.

— Неправда! Это самое лучшее оружие! — уверяет Пазио. — Но ты, компад-

ре Зинио, хотя и великий, мудрый капитон, но зато плохой стрелок...

— Молчи, компадре Томаис! — спокойно говорит индеец, стреляет еще раз и снова мажет. — Нет, такого оружия не куплю!

Не купит? Неужели Пазио хотел продать ему полученный от меня браунинг?!

Пазио сам делает два выстрела и оба раза отлично попадает в доску.

— Вот вам доказательство! — с триумфом говорит он.

Однако Зинио и слушать не желает о покупке. Зато среди его сородичей любопытство к браунингу усиливается. Они ни на минуту не сомневаются, что оружие бьет хорошо, а Зинио просто плохо целился.

В быстро завязавшемся споре Пазио одерживает победу. Мне немножко жаль Зинио, тем более, что Пазио «подковыривает» капитона насмешками и подрывает его авторитет.

Чтобы увенчать свою победу, Пазио в присутствии всех индейцев делает то, что несколько дней назад так восхитило его самого: он разбирает браунинг. Передвигает кнопку и затем одним движением вынимает все детали, словно из коробки. Ошеломленные индейцы стоят вокруг и молча смотрят на это чудо.

И тут один из них слегка шалее. Это Бастион. После капитона он считается наиболее значительным жителем тольдо. Короады преимущественно носят маленькие, как бы общипанные усики. По какому-то капризу природы у Бастиона огромные пышные усы. Когда я впервые увидел его, то решил, что это чистейшей воды польский осадник, однако Пазио уверил меня, что Бастион — самый настоящий индеец.

И вот Бастион поддался чарам. Он перестал владеть собой. Глаза его лихорадочно блестят, подбородок дрожит, с губ срывается глухой шепот. Не отрывая глаз от браунинга, он говорит:

— Я куплю его!

— Сколько у тебя денег? — сухо спрашивает Пазио.

— Нет ничего...

Пазио благоговейно собирает пистолет и, вручая его Бастиону, говорит:

— Ладно! Раз у тебя нет денег, совершим меновую сделку. Пусть я потеряю на этом! Слушай внимательно, что я говорю тебе: дашь мне быка.

— Ладно! — с облегчением отвечает Бастион, глядя на браунинг, как зачарованный.

— И свинью...

— Ладно.

Неожиданный успех поощряет Пазио, и он перечисляет дальше:

— И еще одну свинью!

— Хорошо, хорошо...

Видя такую расточительность Бастиона, Пазио задумывается: что бы потребовать еще? Он осматривается вокруг и случайно замечает меня. Оторопев, потому что я бросаю на него возмущенный взгляд, Пазио быстро заканчивает торг:

— Ну, ладно! Больше ничего... Бык и две свиньи.

— Как видишь, — говорит он Бастиону, — я отдаю тебе отличное оружие за бесценок. Поэтому ты должен оказать мне какую-нибудь услугу...

Волна нового беспокойства охватывает честного индейца, и он выжида-

тельно смотрит на Пазио.

— Что еще, компадре? — с трудом выдавливает Бастион.

— Я ко всем вам в Росиньо питаю большое доверие, — продолжает Пазио, — поэтому я на несколько недель оставляю у вас своих животных...

— Ладно, ладно... — с явным облегчением в голосе соглашается Бастион, обрадованный тем, что белый кум уже не выдвигает новых требований.

— Ставлю только одно условие: вы должны хорошо их подкормить, особенно свиней. Когда я вернусь сюда, чтобы забрать свою скотину, она должна быть жирной.

— Постараемся, Томаис!

Я мысленно подсчитываю, сколько Пазио зарабатывает на этой сделке. Пройдоха получает сказочную прибыль. Индейцы в общем не так уж безнадежно наивны и их не легко провести. Откуда же эта необычайная уступчивость в отношении к Пазио? Попросту Бастион любит веселого ловкача и знает, что по существу он хороший друг, а, кроме того, индеец не может устоять против соблазна приобрести прекрасное оружие.

Когда мы возвращаемся в хижину, я обращаюсь к Пазио:

— Не предполагал, Томаш, что вы уподобитесь Априсито Ферейро!

— Как так? — удивленно смотрит он.

— А вот как: Ферейро является «опекуном» индейцев и обкрадывает их как только может, а вы, Томаш, считаете себя их другом. Сегодня вы показали пример этой дружбы, используя наивность Бастиона. Я уже не говорю о том, что оружие, которым мы обменялись, должно было стать свидетельством нашего побратимства...

Пазио некоторое время молчит, подавленный моим обвинением, затем, как будто что-то вспомнив, бросает на меня веселый взгляд и отвечает:

— Вы немножко правы. Торговля белых с индейцами традиционно недобросовестна. Трудно освободиться от давних и распространенных привычек. Но будьте спокойны — я не обижу Бастиона... А что касается оружия, то вы не правы, — смеется он. — Где обычно носят дружбу? В заднем кармане брюк, за поясом или же здесь — в сердце? Я нашу дружбу ношу в сердце и не изменю ей.

— Ладно! Но оружие должно было быть символом нашей дружбы.

— С этого часа символом нашей дружбы будет бык! — напыщенно отвечает он и хохочет.

Потом, словно он ни в чем не виноват, Пазио добавляет с упреком и сожалением:

— Ну, почему этот бык так нахально лез к нам? Какого черта он пожирал наши бататы?

Резервация короадов



Всходит солнце, диск его поднимается над верхушками деревьев и золотит все тольдо. Мы наблюдаем на небе красочный перелет многочисленных стай попугаев над Росиньо. Все они тянутся в одном направлении — на восток, прямо к солнцу, к богатым и только им известным местам кормежки в лесах. Летят они преимущественно парами, рядом друг с другом, а пары образуют стайки по восьми-десяти птиц. В небе появляются все новые и новые отряды. В лучах солнца блестит их яркое оперение — желтое, зеленое, голубое и красное. В течение получаса только одни попугаи властвуют над Росиньо. Их резкие, звонкие крики заглушают все остальные звуки. Это крик лесной радости, приветствующий день и солнце.

Пазио пытается перекричать попугаев. Удобно лежа около очага, мы пьем чудесный шимарон, курим индейские сигарки, крепкие и злые, как тигр, но необычайно ароматные, и смотрим на птичьи состязания. Попугаев пролетает несколько сотен.

Только после их пролета я начинаю внимательно прислушиваться к словам Пазио, рассказывающего мне историю племени короадо. Он не знает точно, сколько их всего, во всяком случае немного. В малоисследованных лесах западной части штатов Парана и Сан Паулу кочует не больше тысячи семей диких короадов, которые, вероятно, еще не видели белых людей. Если же говорить о полуцивилизованных короадах, живущих в полосе между местностью, населенной белыми и первобытным лесом, так называемых пансионированных, то есть облагодетельствованных, то эти бедняги быстро вымирают. Десять лет назад их было в два раза больше, чем теперь. Тольдо Росиньо представляет собой похвальное исключение, но другие поселения похожи на то, в котором мы были на Марекуйнье, а есть еще и похуже.

Некогда короады болели сравнительно редко, но, столкнувшись с белыми людьми, они утратили свою физическую крепость. Их косят теперь эпидемические болезни, которых они не знали раньше. Наиболее распространены инфлюэнца, коклюш, корь и малярия, появляющаяся вместе с тифом. Особенно губительно сказывался на здоровье индейцев неочищенный спирт, который они пили до потери сознания. Теперь продавать им алкоголь запрещено, но кто в этих лесах обращает внимание на инструкции!

Для защиты индейцев в Паране создан ряд резерваций, называемых тут «Постос дос Индиос», организованных по образцу индейских резерваций в Соединенных Штатах Северной Америки. К ним же относится и резервация, в которой мы находимся сейчас на реке Иваи, между Марекуйнией и Сальто Уба. По соседству есть еще резервация Фачиналь, расположенная между колониями белых поселенцев Апукарана и Кандидо де Абреу, индейцы которой по этой причине наиболее подвержены опасности уничтожения. На севере имеются резервации на Рио Каскадо и на Сан Иеронимо, притоке реки Тибаги, где для короадов были построены дома с деревянными полами. Однако индейцы не стали жить в этих домах и вскоре сожгли их. Дальше тянутся индейские территории на Рио Марекуас, на Пикуире, на Ксагу, а также в окрестностях города Пальмас, вблизи реки Икуасси.

С некоторого времени бразильское правительство поставило во главе резерваций так называемых «директоров индейцев» — белых правительственных чиновников, задача которых — заботиться о благополучии короадов и защищать их от эксплуатации белых соседей. Пазио негативно оценивает дея-

тельность этих «директоров». Они прибывают из Куритибы с той лишь целью, чтобы в течение нескольких лет сколотить себе состояние за счет индейцев, вынужденных бесплатно работать на них, например выращивать для них сотни свиней. Значительные партии медикаментов, предназначенных для индейцев, директора продают тайком на сторону, набивая собственные карманы.

Не подлежит сомнению, что директора эти эксплуатируют и обкрадывают индейцев, но все же меньше и осторожнее, чем их белые соседи.

Несколько лет назад короады вообще не знали такой болезни, как корь. Но один ловкий делец познакомил их с ней. В то время в Куритибе в каком-то армейском полку вспыхнула тяжелая эпидемия кори. Эпидемию осилили, полк изолировали, а все снаряжение сожгли, за исключением нескольких сот одеял, которые этот делец, пользовавшийся высокой протекцией, отвез короадам на Иваи. Результат сказался быстро. С того времени короадов губит корь, дающая среди них преимущественно смертельный исход.

Впрочем, истребление индейцев при помощи коварной бактериологической войны отнюдь не является идеей, родившейся в Южной Америке, — она восходит к далекому прошлому: в XVIII в. в Северной Америке англичане вели истребительные войны против североамериканских индейцев. В 1764 г. сэр Эмхерст, главнокомандующий английскими войсками в Северной Америке, поручил своему подчиненному, англичанину генералу Боугэту, подбросить индейцам одеяла, зараженные микробами кори. Следовательно, идея истребления «цветной расы» при помощи бактерий по праву принадлежит этому знаменитому англичанину.

Правдива ли история о зараженных одеялах, привезенных на Иваи, Пазио не знает. Во всяком случае сам факт существования упорных слухов об этом характеризует отношения белых к индейцам. Короады на Иваи являются помехой. И «помеху» устраняют различными способами в зависимости от обстоятельств.

Я спрашиваю Пазио, на чем основаны любовь и исключительное доверие к нему короадов.

— А, это очень забавная история! — весело отвечает он. — Когда-то, несколько лет назад, я продал короадам кобылу. Она была жеребой, о чем ни я, ни кто другой не знал. Спустя некоторое время кобыла принесла индейцам второго коня. То была прекрасная кобыла: она часто имела потомство, и индейцы были очень довольны. С того времени они верят, что я приношу им счастье и что на меня можно полагаться во всем.

— Но вы не злоупотребили их доверием так, как это делают здесь некоторые белые?

Пазио делает рукой пренебрежительный жест:

— Э, только чуть-чуть! Не стоит об этом и говорить.

Бастион стреляет из лука

Я нахожу себе нового друга: это усатый Бастион. Порядочный, хороший, скромный и разносторонне одаренный человек. Он изготавливает для меня лук со стрелами — настоящий уникум точности. Лук сделан из дерева дорэ, тетива — из лианы камуфры. Стрела состоит из двух частей: задняя — из полый внутри такуары, передняя же часть — из тяжелого дерева маипрэ. Перья из птицы пеньби, прикрепленные к стрелам наискосок, обеспечивают их враще-



ние во время полета.

Есть два вида стрел: одни предназначаются для охоты исключительно на птиц и имеют на конце шарик из твердого дерева пиниоро. Стрела с таким шариком не пробивает птицу, а лишь оглушает ее ударом, после чего птица и стрела порознь падают на землю. Другие стрелы имеют заостренный наконечник и ряд зубрин. Они используются для охоты на млекопитающих, а также на рыбу. Такая стрела остается в теле убитого животного.

Я пробую натянуть лук, но, как ни стараюсь, натягиваю только наполовину. Пазио оттягивает тетиву немного больше. Зато Бастион без особого усилия натягивает лук до предела, как будто это детская игрушка. Я искренне удивлен, ибо даже не подозревал, что в нем столько силы.

— Наверное ты пробил бы из лука человека? — спрашиваю его.

— Берусь пробить навывлет даже быка, если позволит компадре Томаис...

Но кум Томаш не позволяет. Поэтому Бастион обращается ко мне и предупреждает:

— Зорче следи за стрелой!

Он поднимает лук и пускает стрелу отвесно вверх. Слабое, еле слышное шипение в воздухе. Стрела взлетает высоко, очень высоко. Она становится все меньше и меньше, пока почти не исчезает у нас из виду. Нельзя заметить, когда она достигла наивысшей точки подъема. Через несколько секунд стрела начинает падать и быстро увеличивается на глазах. Она падает прямо на нас. Бастион хватается меня за плечо и резко отталкивает в сторону. В том месте, где я только что стоял, стрела с шумом вонзается в землю.

Все громко выражают свое восхищение. Затем Пазио разъясняет мне, что короады славятся умением оригинальной стрельбы из лука, когда стреляют не прямо в цель, а вверх. Стрела описывает в воздухе дугу и уже сверху бьет по дичи.

В ближайший же солнечный день Бастион, я и подросток-индеец забираем лук и стрелы и плывем на лодке вверх по Иваи. В километре выше тольдо мы укрываемся на верхушке скалы, на несколько метров выступающей из реки. Под нами широкая отмель.

Ждать нам приходится недолго. У самой поверхности воды проплывает несколько крупных рыб. Бастион выпускает стрелу, врезающуюся в воду с резким булькающим звуком. Вода в этом месте бурлит, как в котле. Подросток несколькими быстрыми ударами весла выталкивает лодку из укрытия и выхватывает из воды рыбу, в которой торчит стрела. Это вкусная рыба дорадо, весящая не менее пяти фунтов.

Дальнейшее пребывание в засаде не дает результата, так как Бастиона одолевает упорный кашель. Уже несколько недель у него болят легкие. Возвращаемся в тольдо.

Новое и старое



Вечером Зинио сидит в нашей хижине и рассказывает о жизни короадов. Кукуруза на Иваи созревает в период с января по апрель, и короады в это время питаются почти исключительно ею. Это период излишеств и полных желудков. Кукурузу пекут или варят из нее кашицу. В мае созревают орехи пиниоро, и короады покидают свои тольдо, отправляясь за ними в леса. Орехи этого дерева очень питательны и вкусны, и короады употребляют их так же, как и кукурузу: пекут, варят или растирают в муку для кашицы. Орехов пиниоро хватает на три-четыре месяца — до августа.

В это время ночи становятся теплее, днем сильнее припекает солнце и рыба из глубинных мест направляется к истокам. За ней следом идут короады и ловят ее или бьют стрелами. Сетей короады не знают. Ловят они рыбу на крючок или в мелких реках загоняют ее в сложенные из камней маленькие затоны, именуемые «парисами». Иногда рыба подводит. Тогда индейцы охотятся на дичь с ружьем или луком, либо ловят ее силками, сделанными из лиан.

Но часто подводит и охота. И тогда короады питаются лесными плодами, чаще всего вкусной гуайябадой. А если и плодов мало, что тоже случается, то тут уже трудно: приходится голодать. Иногда голодовка продолжается с сентября до января, то есть до того времени, когда поспевают кукуруза. В голодный период в индейских тольдо царит подавленное настроение, слабые болеют, а дети зачастую умирают.

Тихим бесстрастным голосом Зинио развертывает перед нами картину жизни индейцев в диких лесах. Он признается, что с самой юности не любит этой жизни, в которой индеец — раб лесов, а леса злы и мрачны, далеко не всегда кормят человека и держат его в темноте. Раньше было лучше: были только индейцы и леса. Теперь плохо: пришли еще и белые люди. Белые не любят лес и индейцев.

Зинио бывал в разных местах и рано понял, почему гибнут индейцы. Гибли они потому, что мало сеяли кукурузы и слишком верили в предрассудки, которыми их питали джунгли. Зинио научил своих людей сеять больше кукурузы, но предрассудки и суеверия еще не выкорчевал. Зинио хочет жить в согласии с белыми людьми и просил у властей, чтобы они открыли в Росиньо школу, в которой старые и молодые индейцы почерпнули бы знания белых. К сожалению, на его просьбы власти до сих пор отделяются молчанием. По мнению Зинио, короады, сохраняя индейские обычаи, должны овладеть образом мышления белых и искоренить темноту и суеверие.

— Искореним суеверия! — громко и твердо заявляет Зинио.

Лицо его каменеет, отблески очага подчеркивают морщины и красивые черты лица.

После некоторого молчания отзывается Пазио.

— Не все короады думают так, как ты!

— Поэтому они погибли! Капитон Моноис и Тибурцио бедны потому, что они дикие: не хотят перемениться. У них нет глаз, нет ушей, нет ума. Они должны погибнуть! Белые истребят их.

Извечная картина — два различных полюса человеческой мысли: здесь человек прогресса, а там люди, смотрящие в прошлое и цепляющиеся за старые привычки. Кто победит, покажет уже ближайшее десятилетие, — история индейцев на Иваи разворачивается в быстром темпе. Во всяком случае часть своей программы Зинио выполнил: расширил пахотные земли в Росиньо и сделал жизнь своих соплеменников в определенной степени независимой от капризов природы.

Поздний вечер. Зинио встает и выходит во двор. Мы идем за ним. Темнота насыщена музыкой леса — кваканьем лягушек, пением птиц и стрекотом мириадов разнообразнейших насекомых. Светляки уже перестали летать: поздно. И вдруг среди какофонии звуков мы различаем далекий таинственный шум.

— Что это такое? — спрашивает Пазио.

— Это водопад на Марекуинье! — живо отвечает Зинио.

— Так далеко слышно?

— Это не так далеко. Иваи делает тут большой изгиб... Завтра будет хорошая погода...

— Откуда ты знаешь?

— С незапамятных времен существует у нас такая примета. Если вечером слышно Марекуинью, то на следующий день наверняка будет погода. Если же Марекуинья молчит, а с другой стороны слышен водопад на реке Барболетта, то на утро будет дождь...

— Вот видишь, капитон Зинио, вы все же нуждаетесь в помощи природы! — смеется Пазио.

— До поры до времени. Один белый инженер говорил мне, что во многих странах водопады перекрывают и черпают из них богатства. Мы когда-нибудь тоже самое сделаем с Марекуиньей и Барболеттой!

— Но тогда вы не будете знать, когда следует ждать дождя...

— Э, компадре Томаис, а трубки, предвещающие погоду или дождь, — те, которые выдумали белые?

— Какие еще трубки?

— Не знаешь? Барометры! — и Зинио тихо посмеивается над нами, снова поражая меня своими познаниями.

Прислушиваясь к далекому шуму, мы стоим недалеко от нашей хижины на высоком берегу Иваи. В темноте реки не видно, но время от времени слышится приглушенный плеск воды.

Неожиданно наше внимание привлекает странное явление. Из леса на противоположной стороне реки, отстоящего от нас примерно на двести метров, выкатывается огненный шар. Впечатление такое, как будто кто-то размахивает горящим факелом. Но никого там нет. Огненный шар около метра в диаметре плывет по воздуху, голубоватым светом озаряя деревья. Потом падает на воду, отскакивает от ее поверхности, снова падает и медленно скользит вдоль реки.

— Бойтата! — встревоженно шепчет Зинио, хватая меня за плечо и резко толкает внутрь хижины.

— Что это? — опешив спрашиваю своих собеседников.

Но они не обращают на меня внимания. Пазио поспешно гасит очаг. Зинио закрывает вход в хижину. В отблесках пламени я замечаю, как исказилось от страха его лицо. Становится темно. Слышу дрожащий голос капитона:

— Бойтата пришла, бойтата пришла!..

— А что в этом страшного? — спрашиваю Пазио.

Хотя Пазио и не так взволнован, как Зинио, однако и он проявляет беспокойство. Шепотом объясняет мне:

— Бойтата это злой дух. Показывается редко, но всегда сеет зло. Вижу бойтату впервые в жизни... Она, говорят, нападает на людей, ранит животных, может опалить волосы, а если от нее бегут, она догоняет и вызывает болезнь...

— Да ведь это блуждающий огонь, болотные газы или что-нибудь подобное!

— Возможно. Но бойтату боятся все... Она нападает на людей, как злой дух.

Мы тихо сидим в хижине. Осторожный шепот Пазио и страх Зинио производят неприятное впечатление. Тягостное настроение висит в воздухе. В течение долгого времени ни чего особенного не происходит. Я подхожу к выходу и в темноте открываю дверь, несмотря на протесты товарищей. На небе блещут звезды. Прибрежные лягушки квакают, так же как и раньше. По-прежнему слышен шум водопада на Марекуинье.

Мои спутники понемногу приходят в себя. Пазио раздувает огонь, а Зинио выходит во двор и становится рядом со мной. Спустя некоторое время к нам подходит и Пазио.

— Нет бойтаты, — говорю я.

Лес на противоположной стороне реки стоит, как черный вал: ни отблесков, ни света.

— Шум с Марекуиньи все отчетливее, — замечает Пазио.

— Не только шум, но оттуда, как мне кажется, идут и суеверия! — подсмеиваюсь я над ними.

— К сожалению, это правда, — откровенно признается Зинио.

Капитон снова обрел равновесие. Ему немного стыдно, что перед этим он так поддался тревоге. Теперь лицо его по-прежнему совершенно спокойно.

Горячий шимарон, который приготавливает Пазио, разогревает наши желудки и возвращает хорошее настроение.

— Нелегко отделаться от леса! — задумчиво говорит Зинио.

Фигурки из глины



Бастион умеет изготавливать не только луки и стрелы, он еще и скульптор. Бастион берет на реке глину, садится где-нибудь в тени, подальше от людей, и лепит замечательные фигурки, незамысловатые, но очень выразительные. Это фигурки размером сантиметров пятнадцать, у которых нет ног, плечи ед-

ва обозначаются, но зато необыкновенно выразительны головы. О них трудно сказать, кому они принадлежат — богам, людям или обезьянам. Некоторые лица таинственно улыбаются, другие печальны, третьи грустно смотрят вверх.

Я спрашиваю Бастиона, кого олицетворяют эти статуэтки: уж не индейских ли богов? Он отвечает, что они вообще никого не олицетворяют.

— Как так? — удивляюсь я. — Зачем же тогда ты лепил их?

— Так, захотелось.

Мы молчим. Затем индеец улыбается и говорит:

— Это ты, это я, это все они...

И смотрит на меня испытующе: верю ли я ему? В эту минуту он заканчивает фигурку со злорадным, жестоким выражением лица. Показываю на нее и говорю со смехом:

— Но вот этот урод — уж наверняка злой дух бойтата!

Бастион пугается и начинает уверять, что это вовсе не бойтата. Быстро замазывает отвратительное лицо и лепит новое, на котором выступает мягкая, грустная улыбка.

— Мы христиане... — говорит Бастион, дабы убедить меня, что это не языческие божки.

Бастион лепит и зверей. Фигурки их очень похожи. Броненосцы, которые во множестве водятся в окрестных лесах, получаются у него отлично. Они как живые. Также хорошо удаются индейцу тапиры и обезьяны, правда, они требуют больше времени. Но с ягуаром дело не клеится: это не ягуар, а скорее собака. Индеец признается мне, что не любит ягуара и что ему редко приходилось видеть его. Но, к моему удивлению, еще неохотнее берется Бастион за лепку попугаев. Попугаев вокруг сколько угодно, но он не может схватить их форму. Когда я обращаю на это внимание, Бастион крутит свой ус, что является признаком озабоченности, и объясняет мне причину:

— Попугаи далеки, очень далеки...

— Ага! — догадываюсь я. — Они высоко на деревьях и потому их трудно подсмотреть?

— Нет, не то! — возражает Бастион. — Я хорошо вижу и верхушки деревьев... Попугаи далеки от человека.

— Далекі?

— Броненосец близко к человеку: ест, пьет, передвигается и живет, как человек. То же самое обезьяны и анты. Человек из их рода. Птицы же не имеют ничего общего с человеком. У птиц есть клюв и перья и они совсем не похожи на него.

Я убедился, что Бастион хорошо лепит только то, что ему близко и понятно.

Мое постоянное пребывание в компании симпатичного лепщика вызывает в Росиньо — как это часто бывает — определенное недовольство. Некоторые индейцы завидуют Бастиону — его заработку. Однако многие рады за него и проникаются к нему еще большим уважением. Капитон Зинио целый день ходит сияющий и гордый за своего земляка. Видя мой интерес, он сам превращается в мецената. Расхваливает способности Бастиона и ищет в окрестностях лучшие сорта глины.

Пазио смотрит на вещи с другой точки зрения. Он полагает, что ему не пристало дружить с кем-либо другим, кроме капитона Зинио. Между тем он счи-

тает себя истым демократом, поэтому я подшучиваю над тем, что он ослеплен «престижем белой расы». Но Пазио не отступает, он смотрит на искусство Бастиона искоса. Он считает такое занятие бесполезным и не верит мне, что эти фигурки имеют большую ценность как образцы индейского искусства.

— Ну, на что все это, на что? — повторяет Пазио и качает головой.

Я подозреваю, что милый лентяй опасается далекого обратного пути к поселениям белых с солидным грузом фигурок.

Вокруг занятого лепкой Бастиона садится несколько зевак. Они присматриваются к его работе и дымят сигарками из листьев паи. Пазио шутливо болтает с ними и рассказывает им что-то смешное о Бастионе, чего я не понимаю, а затем, показывая на фигурки, говорит зевакам, что это «бринкуэдос». Это я понимаю: игрушки.

При этом слове индейцы раздражаются язвительным хохотом. Бастион ничем не проявляет досады, продолжает спокойно работать над фигурками. Индейцы хохочут до упаду и не скупаются на едкие насмешки. Поэтому я вмещаюсь и сухо говорю Пазио, что это вовсе не игрушки, ибо на фигурках Бастиона я много заработаю. Здесь я их покупаю по триста рейсов[50] за штуку, а в Европе, где знают толк в таких вещах, я продам их по десять мильрейсов, стало быть более чем с тридцатикратной прибылью.

Пазио становится серьезным и таращит на меня глаза.

— Неужели они столько стоят там?!

— Вот именно! А теперь прошу перевести мои слова этим хохочущим дурням.

Когда Пазио выполняет мою просьбу, смех немедленно прекращается. Бастион выразительно смотрит на меня. Из-под прищуренных век он без слов выражает мне свою благодарность. Да, мы с ним друзья!

В тот же день сын Бастиона стрижет мне волосы, сильно отросшие за три месяца. Делает он это по короадской моде, превращая мою шевелюру в некое подобие венчика францисканцев. При этом он пользуется такими тупыми ножницами, что я испытываю сущие «индейские пытки». С трудом сдерживаю слезы, выступающие у меня на глазах, но все же выношу испытание до конца. После этого Пазио заявляет мне, что индейцы в Росиньо еще больше любят нас.

Легенды и собаки



На Иваи очень жарко и душно. Пожалуй, нет более жаркой местности во всей Паране. Усердное солнце колдует над тропическим лесом, холит его и оживляет чудеснейшей бабочкой «Морпью», на металлических крылышках которой отражаются его лучи. В то же время солнце отравляет здесь ваше существование. Весь день человек еле дышит и оживает лишь тогда, когда огненный диск скрывается за лесом. Тогда идут по кругу куйи с шимароном, легче становится на душе и кто-нибудь начинает рассказывать предания и легенды.

Особенно интересна легенда о белой саванне.

Есть на далеком западе, среди угрюмых джунглей, счастливая саванна, где полно всякой дичи. Все живущие там существа — белые, и тот, кто откроет это укромное место и возьмет его в свое владение, станет самым счастливым человеком. Никто еще не видел этой белой саванны, за исключением одного индейца, который много лет назад, заблудившись во время охоты, случайно открыл ее. С радостной вестью помчался этот индеец в свое тольдо, а бежать ему пришлось восемь дней. Но когда он вернулся обратно вместе с друзьями, то плодородной саванны уже нигде не нашел. Она как будто провалилась куда-то. С того дня все люди мечтают о счастливой саванне, но никто ее больше не видел.

— Неправда! Счастливая саванна давно уже открыта! — твердо заявляет Зинио, который не верит в чудеса. — Это Кампо Себастао между Иваи и рекой Паранапанема. Там живут люди и у них такие же заботы, как и у всех нас.

Но Бастион, Жолико, Тонико и остальные верят в существование этой еще не открытой счастливой саванны.

Мне приходит в голову мысль, что с большим основанием таким чудесным местом могло бы считаться Росиньо, где люди нашли ключи к изобилию и счастью, но не говорят об этом: для них это слишком близкое и реальное явление, чтобы оно могло иметь очарование легенды.

Вилла Рица еще больше, чем белая саванна, приковывает воображение лесного человека. Вилла Рица — богатый город! Уже само название производит впечатление. Вилла Рица это не легенда — такой город действительно существовал у истоков реки Корумбатай ду Иваи. В глухом лесу построили его в XVII в. иезуиты и столько, по преданию, накопили там золота, что это возбудило жадность завистливых соседей. Из провинции Сан Паулу явились многочисленные шайки бандитов и, превосходя защитников оружием, ограбили город. Население было частью вырезано, частью разогнано, а дома и многие церкви разрушены. Мрачное пепелище поросло лесом. Лес скрыл золотые кубки и бесценные статуи апостолов от алчных грабителей. С того времени в течение трехсот лет лесные жители, сидя вечерами у костров, мечтают о золоте, спрятанном в руинах Вилла Рица.

— Это отдает водопадом на Рио де Оро! — с сомнением в голосе отзывается Зинио. — Не верю я в эту легенду. Мне кажется, что в ней скрыт другой, более глубокий смысл. Не золото лежит погребенным в этих лесах, а лучшее завтра индейцев.

— Но Вилла Рица действительно существовала! — вмешивается Жолико. — Я сам видел у истоков Рио Корумбатай руины домов, заросших кустарником...

— О том, что такой город существовал, свидетельствуют и документы, которые сохранились с тех времен... — говорит Пазио, а затем обращается ко мне и всем присутствующим. — Скажите сеньору, какая самая большая страсть у короадов?

Общее оживление.

— Собачки, — отвечает за них Пазио.

Индейцы смеются, некоторые возражают, другие признают это правильным.

Пазио рассказывает:

— Короады, за исключением вас, в Росиньо, в общем мало ценят коня, сви-

ней, рогатый скот... Зато пес — это вершина их мечтаний. Чтобы приобрести пса, короад не жалеет усилий. Порой это героические усилия. Если владельцем является белый колонист, то за облюбованного у него пса, иногда самой дрянной породы, короад готов отработать несколько месяцев... В конце концов он получает пса, стоимость которого составляет вероятно лишь сотую часть выполненной им работы. Очень характерно, — продолжает Пазио, — что с момента приобретения пса короад перестает им интересоваться. Забавляется им несколько дней, а затем уже и есть ему не дает... Пес дичает, вынужден сам себе добывать пищу в лесу и рано или поздно падает жертвой ягуара или пумы.

Индейцы, слушающие повествование Пазио с большим вниманием, вдруг начинают громко хохотать. Только спустя несколько минут я узнаю причину их веселья. Один из индейцев держит возле себя пса, которого теперь вытаскивает вперед, чтобы мы смогли хорошенько рассмотреть его при свете костра. Разражается настоящая буря смеха: песик отлично откормлен и лоснится от хорошего ухода.

— Компадре Томаис, — торжественно заверяет Зинио, украдкой закусывая губу, — всегда говорит мудро и постоянно прав...

Ружье Бастиона



Как-то утром попугаи начинают пролетать над нами значительно раньше, чем обычно, — уже на восходе солнца. Разбудив нас, Бастион говорит, что вчера отчетливо был слышен шум водопада на Марекуинье, поэтому будет хорошая погода, в виду чего он и другие жители собираются поохотиться на ант. Если я хочу ехать с ними, то должен быстро собраться.

— Да, хочу, — отвечаю ему.

Через полчаса на двух лодках мы отправляемся вниз по Иваи. В первой лодке поместились Бастион, Жолико, я и какой-то паренек, во второй — Тонико, двое других, неизвестных мне по имени индейцев, и три охотничьих пса. Пазио не принимает участия в походе: ему хочется побродить по тольдо. Минуем несколько быстрин — коррейдеро. Берега Иваи представляют всюду одно и то же зрелище: лес непрерывной стеной подходит к самой реке, нависая над ее поверхностью лианами и ветвями кустов. Нигде ни одной радующей глаз полянки или песчаной отмели: всюду сплошные заросли. Берега, кроме того, негостеприимны: к ним трудно причалить.

Проплываем мимо холмистой гряды, дальше опять тянется широкая долина, окаймленная далекими вершинами гор. Индейцы выпускают псов на берег. Собаки исчезают в зарослях, и начинается охота. Надо терпеливо ждать дичь, которую собаки выгонят к реке.

Индейцы не тратят зря времени. Они достают лески и ловят рыбу. Один конец лески они держат в руке, другой с крючком и насадкой бросают в воду. Так в молчании сидят они, впившись взором в глубину, как будто удерживают реку на привязи. Время от времени они вытаскивают рыбу, словно дань,

взимаемую с реки.

Когда начинает сильно припекать солнце, мы подплываем к тенистому берегу. Жолико ударяет длинным веслом по ветвям какого-то буйно разросшегося дерева, с которого в воду падает дождь плодов. Рыба, должно быть привлеченная этим лакомством, клюет наперебой. Самый молодой рыбак, паренек с нашей лодки, подсекает довольно большую рыбину — почти шестифунтовую суруви, похожую на нашего сома. Рыбина яростно сопротивляется и обнаруживает поразительную силу — она тянет за собой лодку, пока ее не вытаскивают, наконец, из воды.

Из глубины леса доносится лай собак. Они еще довольно далеко, однако зоркие глаза индейцев уже заметили на поверхности реки какое-то живое существо.

— Веадо! — объясняет мне Бастион. — Серна...

Бастион подвигается на самый нос лодки, а Жолико и молодой парень гребут изо всех сил. Бастион берет ружье — старую, допотопную пистонку, заряжаемую с дула. Ружье обвязано проволокой, чтобы не рассыпалось раньше времени. Индеец тщательно осматривает его — все ли в порядке. Тем временем мы мчимся вниз по течению с такой скоростью, что вода бурлит и пенится по бокам лодки, а в ушах у нас свистит ветер.

Серна замечает нас и с середины реки поворачивает обратно к берегу. Когда мы приближаемся к ней, она уже добирается до зарослей, исчезает в них, но с берега ее отпугивает пес, и серна снова выплывает на середину реки. Мы за ней. Бастион привстает и готовит свою фузею[51] к выстрелу. И тогда я обнаруживаю странное явление: Бастион, охваченный охотничьим азартом, дрожит, как в лихорадке. Удивительно: индеец и в таком возбуждении!.. Когда лодка почти догоняет серну, он стреляет в нее с расстояния в три шага. Выстрел из такого ружья не простая вещь. Сначала слышно слабое «паф» — это вспышка пистона, потом короткая пауза и лишь после этого звук выстрела. Однако стреляющая рухлядь не разваливается. После выстрела Бастион втаскивает в лодку убитую серну. Ее голова пробита пулей.

К сожалению, кроме серны, мы больше ничего не добываем. Тапиры не появляются. Тщетно ждем несколько часов, затем возвращаемся...

На обратном пути наше внимание привлекают три огромных аиста — белые, с черными ногами, они стоят у берега на стволе поваленного дерева. Эти аисты, пожалуй, вдвое больше, чем наши европейские. Подплываем к ним сначала под прикрытием тенистых деревьев, затем по открытому месту и странно — аисты не удирают! Приближаемся к дереву на расстояние в двадцать шагов, и тут Бастион стреляет из своей фузеи, заряженной крупной дробью. При громовом звуке выстрела аисты срываются и улетают целехонькими.

Бастион молчит, как бы пристыженный. Потом обращается ко мне, защищая свое ружьишко:

— Из этой эспингарды когда-то убили ягуара. Вот они могут подтвердить.

— Да, да! — свидетельствует Жолико.

— Гм, гм... — бормочу я в знак согласия.

Быстрины оказываются теперь менее приятными, чем раньше, когда мы плыли по течению. Приходится изо всех сил грести против течения. Через некоторое время Бастион ложится на дно лодки: у него болит голова. Потом

его начинает душить кашель, мучающий беднягу каждый день. Ясно — туберкулез.

Чтобы облегчить работу гребцов, Бастион и я вылезаем по пути в каком-то маленьком заливчике и старой тропинкой через лес идем в тольдо. Индеец чувствует себя лучше и через некоторое время прерывает молчание:

— Есть ли у тебя лекарство против моего кашля?

Бедный Бастион!

— Нету! — откровенно отвечаю я.

Но его уже мучает другой вопрос — более важный, чем здоровье. Речь идет о доброй славе его ружья. Бастион снова обращается ко мне, пристально и вопрошающе глядя мне в глаза.

— Веришь ли ты, что мое ружье бьет хорошо?

— В моей стране, — чтобы утешить его, говорю я, — есть пословица: человек стреляет, а великий дух пули носит.

— Это правильная пословица. Но ты в самом деле веришь, что моя эспингарда хорошая?.. Веришь?

— Верю.

— Это хорошо! — отвечает Бастион тихим, мягким голосом.

Под вечер мы приходим в тольдо. Бастиона я веду прямо к нам в хижину и отмериваю ему и себе по несколько десятков капель валерианки. Затем Пазио угощает нас шимароном.

— Ты еще чувствуешь себя усталым? — спрашиваю индейца.

— Уже нет.

Помолчав немного, он спрашивает:

— Хочешь ли ты, чтобы я сегодня еще что-нибудь лепил или могу отложить это до завтра?

— Поступай, как хочешь. Пожалуй, начни завтра.

— Начну завтра! — говорит он со вздохом облегчения.

Глаза его улыбаются... Эти черные, немного усталые глаза похожи на глаза серны, которую он сегодня убил.

Заманчивое предложение



Мы сидим как обычно в доме капитана Зинио. Мы — это старшины тольдо: Зинио, Бастион, Тонико, Жолико, еще двое пожилых индейцев, Пазио и я. Ведем немногословную беседу и пьем шимарон.

Внезапно Зинио обращается ко мне и торжественно произносит:

— Мы убедились, что ты хороший человек и любишь нас.

— Разумеется! — отвечаю я.

— Ты познакомился с нашей жизнью и работой. Тебе нравится то большое поле, которое освободило нас от голода и от всяких случайностей. Однако, несмотря на то что мы нашли способ обеспечить свою жизнь, мы понимаем — будущее наше все еще очень ненадежно. Мы знаем, что если сюда доберутся белые, они отнимут у нас все леса, а может быть и нашу жизнь, если только за

это время не произойдут большие перемены.

Зинио смолкает. Заинтригованный Пазио не может удержаться от вопроса:

— Какие перемены ты имеешь в виду, компадре?

— Сейчас объясню. Прежние порядки в стране с давних времен воспитывали хищных людей, считавших нас, индейцев, погаными червями, которых можно обокрасть до нитки, а затем истребить. Я знаю основы христианства, поэтому удивляюсь тому, что существует такая коллективная жестокость среди христиан. Во всяком случае мы все здесь не закрываем глаза на опасность, которая грозит нам, и верим, что только великая революция может спасти нас...

— Еще одна революция? — выражает свои сомнения Пазио. — Сколько их уже было в этой стране?

— Ошибаешься, компадре. То не были революции, то были только выступления одних генералов против других. Нам поможет только одна, великая революция, какой еще до сих пор не было и во главе которой станет Престес...

Этот лесной индеец, капитон Зинио, в глуши паранских джунглей оценивает положение с такой поразительной проникательностью, что только через несколько лет я убеждаюсь в правильности его воззрений. Луис Карлос Престес, совершив свой «Великий поход» через Бразилию, отступил с «Непобедимой колонной» в Боливию, но и на чужбине не прекратил своей деятельности... Наоборот, только там этот еще молодой революционер созрел политически. Он углубил свое знание жизни, осознал подлинный смысл общественных проблем и понял — по примеру людей в Советском Союзе — историческую необходимость творческого сосуществования народов и рас, а тем самым и необходимость борьбы за мир во всем мире. В 1935 г. в Бразилии возник «Национальный освободительный союз», объединивший полтора миллиона людей левого направления и провозгласивший среди других требование «возвращения территорий, насильно отнятых у индейцев». Капитон Зинио прав: только смена строя может спасти индейцев.

— Но все равно, — говорит Зинио, — независимо от того, когда наступит великая революция — раньше или позже, — мы, индейцы, должны работать над собой. Здесь, в Росиньо, мы выполнили пока только одну часть нашего плана обороны. Вторую часть, столь же важную, нам еще предстоит выполнить. Без этой второй части плана обороны мы потерпим поражение... Ты легко можешь помочь нам. Захочешь ли ты нам помочь?

— Я? — ошеломленно спрашиваю Зинио. — Конечно, я хотел бы помочь, но не представляю себе — как?..

— Можешь и легко. Мы победили голод, но осталась темнота. Если мы хотим выжить, то должны обрести знания. Все — старые и молодые — должны научиться читать, писать и считать. Ты научишь нас...

— Но ведь для этого существует правительство штата и оно откроет для вас школу!..

— Как оно открыло, ты видишь сам. Уже много лет мы просим об этом Куритибу и... У нас нет времени ждать. Мы хотим, чтобы ты научил нас самым простым вещам.

Я признаю правоту Зинио: короады должны получить образование, если хотят уцелеть. Но как они получают его? На это нужно время, которого у меня нет, и уже по одной этой причине мне трудно удовлетворить их просьбу.

— Как вознаграждение, — продолжает Зинио, — мы дадим тебе часть урожая — в три раза больше, чем в среднем получают остальные. Переведи сюда, в Росиньо, свою научную экспедицию и собирай тут экспонаты для музеев. Мы будем в лесах ловить для тебя редких птиц...

— Но у меня уже нет времени. Меня ждут обязанности на родине, и я должен как можно быстрее возвратиться туда...

— Останься здесь хотя бы еще на один год.

Индейцы с надеждой ждут моего ответа. Я говорю с сожалением:

— Охотно остался бы, капитон, потому что полюбил вас и хотел бы вам помочь по мере своих возможностей. Но не могу, поверь мне. Не могу остаться дольше, чем на два дня...

Воцаряется глухое молчание. Зинио опускает голову. Видно, что он сильно удручен.

Однако мы остаемся друзьями. Несмотря на то что своим отказом я сильно огорчаю индейцев, они хорошо понимают: у меня слишком серьезные причины, если я не принимаю их предложения.

— Трудно нам! — уже спокойно отвечает Зинио. — Мы должны искать помощи в другом месте и найти выход...

Один шаг



Какой далекой кажется для нас Европа в те дни, насыщенные запахами прикиваинских джунглей. Цивилизация осталась где-то далеко позади — за реками и лесами. Мы не слышим ее отдаленного грохота, зато привыкаем к крику попугаев, пролетающих утром и вечером над Росиньо, и все лучше понимаем язык водопадов на Марекуинье и Барболетте. Когда мы сидим среди короадов и по кругу идут куйи с шимароном, нас всех объединяет подлинная дружба, большая, как окружающие нас леса, и простая, как души этих людей. В эти чудесные идиллические дни рушится стоявшая между нами стена, о которой говорят, что она непреодолима, — стена различия рас, языков, культуры, привычек, — и остаются только люди: добрые и благожелательно настроенные друг к другу. Жизнь наполняется светом и теплом.

Однажды утром идиллия заканчивается. Давно пора возвращаться. Зинио обещает, что скоро навестит нас в Кандидо де Абреу вместе с Бастионом и несколькими другими сородичами, чему я очень рад. Рукопожатия и, с чувством некоторой неловкости, мы выходим из дома Зинио. Индейцы остаются; с нами идет только Жолико, который должен перевезти нас через Иваи.

Во время переправы через реку мы молчим. Солнце поднялось над зарослями, с берега на берег перелетают первые пары попугаев. Свежий утренний воздух наполняет нас упоительной радостью жизни. Нигде так не очаровывает утро, как в тропиках.

Пристаем к берегу и высаживаемся.

— Ате Лого![52] Ате лого! Ате лого!

Подаем друг другу руки и расходимся. Жолико отчаливает от берега.

Не спешу за Пазио... В свете утреннего солнца тот берег особенно привлекателен. Он неодолимо влечет к себе. А что, если бы взять да изменить планы, окликнуть Пазио, который уже вошел в лес, и Жолико, который удаляется на своей лодке, и сказать им, что я возвращаюсь в тольдо? Что хочу помочь этим мужественным людям в их тяжелой борьбе за будущее?..

Но тут Пазио из глубины леса громко кричит мне, чтобы я не мешкал и держался тропинки.

Он прав — пусть будет так! Буду держаться тропинки...

Бросаю последний взгляд в сторону Иваи, делаю один шаг... и деревья уже закрывают от меня противоположный берег.

Один шаг...



Иван всюду являет один и тот же вид: лес сплошной стеной подходит к ее берегам



Капитон Зинио



Только в южноамериканских лесах, изобилующих разнообразными насекомыми и термитами, может жить такой удивительный зверь — муравьед. На спине у муравьеда часто можно увидеть детеныша



Весьма характерна для пейзажа южной Бразилии пиниоро (пиния), принадлежащая к хвойным деревьям. Из паранских лесов пиниоро проникает в саванны.



Чистка ружья закончена. Я хочу вытащить его из рук Леокадио, но он крепко вцепился в ствол...

Зов Амазонки



1. Амассона, крушитель лодок



Когда в 1500 году испанцы открыли побережье нынешней Бразилии, они наткнулись на чудо природы, повергнувшее смелых мореплавателей в панический страх. Таинственная земля низвергала в океан огромные массы клокочущей воды; со стороны казалось, что сам ад развернул во всю ширь свою пасть. Водовороты кишели стволами могучих деревьев, вырванных с корнем, а плавучие лесные островки, отторгнутые от суши, усиливали ужас этого хаоса.[53]

Суеверные испанцы крестились и испуганно спрашивали у своих попутчиков-индейцев:

— Что это?

— Бог, — отвечали туземцы, — великий, грозный бог!

— Какой бог?

— Амассона, — испуганно шептали индейцы; на их языке это означало «крушитель лодок».

По-видимому, это было устье какой-то неведомой могучей реки. Испанцы боязливо обходили грозные водовороты, опасаясь за участь своих судов.

Тридцать лет спустя авантюристы Писарро, завоеватели Перу, вторично открыли ту же реку, но на этот раз у ее истоков, далеко на западе, со стороны Анд.[54] Даже там она своей мощью поражала пришельцев. Самый дерзкий из них, Франсиско де Орельяна, построил бриг и пустился на нем в плавание вниз по реке; когда много месяцев спустя он, наконец, добрался до устья реки, то стал седым — вот что сделала с ним величественная Амазонка! Через три года Орельяна вторично появился у ее берегов, чтобы вслед за этим исчезнуть навсегда.[55]

2. До Амазонки за двенадцать английских фунтов

Среднему европейцу кажется, что Амазонка окружена ореолом таинственности и недоступности и находится за семью морями, за семью горами. А между тем, готовясь к поездке в Перу, я узнал, что Амазонка течет, что называется, под самым носом у Европы. Немногие, вероятно, знают, что проезд в третьем классе парохода от портов Западной Европы — например, Гамбурга, Антверпена или Ливерпуля — до порта Белен-Пара, находящегося в устье Амазонки, стоит всего двенадцать английских фунтов, а до города Манауса, расположенного за тысячу семьсот километров вверх по Амазонке, всего лишь пятнадцать с половиной фунтов.

А вот до штата Пернамбуку, находящегося недалеко от Пара,[56] проезд из Европы в том же третьем классе стоит уже около тридцати фунтов, хотя Пернамбуку лежит на трассе многих пароходных линий, связывающих Европу с восточным побережьем Южной Америки. Чем объяснить такое резкое расхождение в ценах и почему проезд до Амазонки стоит так дешево? Очевидно, потому, что туда мало кто ездит. Основной поток эмигрантов из Европы устремляется в порты, лежащие южнее от Пернамбуку до Буэнос-Айреса. Всех этих бедняков гонит крайняя нужда. И вот их-то алчные пароходные компании немилосердно обирают.

Однажды я отправился в Южную Америку на судне, принадлежащем «Ройаль Мейл компани», и попытался подсчитать доходы, которые пароходство получает от бедняков-пассажиров третьего класса. Я сопоставил их с тем, что приносят пароходству немногочисленные пассажиры первого и второго классов. По моим подсчетам оказалось, что обитатели третьего класса не только сполна оплачивали комфорт и роскошь, которыми пользовались пассажиры двух первых классов, но и приносили пароходству львиную долю гигантских прибылей. К тому же бедняки-эмигранты были обречены на переезд в ужасных антисанитарных условиях, глубоко оскорбляющих человеческое достоинство.

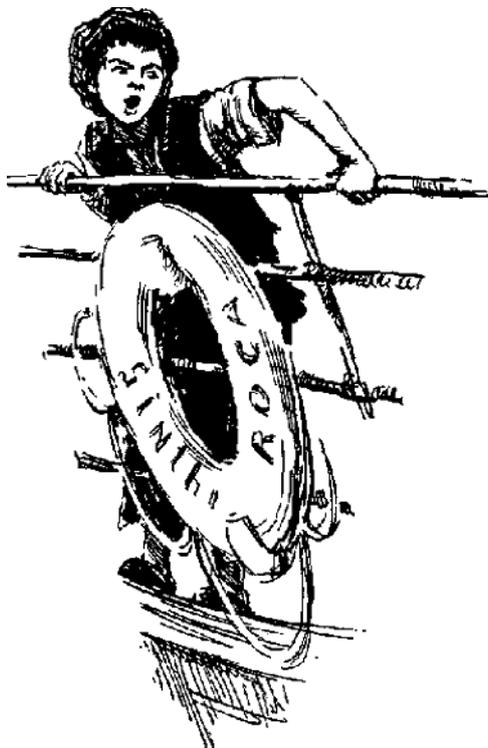
На этот раз, купив билет по дешевой цене, я плыву на судне, носящем звучное имя «Гилярий». Оно принадлежит английской компании «Бус Лайн». Путь мой лежит от Ливерпуля до Манауса. Укажу для точности, что этот переезд стоит мне пятнадцать с половиной английских фунтов плюс еще десять шиллингов.

Пятнадцать фунтов — это плата за проезд, койку и питание в течение почти четырех недель, а за добавочные полфунта, сунутые мною *on the right place to the right man*, — то есть в руку господина главного стюарда, — я получаю в безраздельное пользование еще три койки — иначе говоря, всю четырехместную каюту, да еще сверх того нежные заботы главного стюарда. Как видите, господин стюард гораздо щедрее своих хозяев!

Кормят нас четыре раза в день. Пища обильная, здоровая, но ничего изысканного — типично английский стол. Дважды, под звуки музыки, нам подают горячие мясные и рыбные блюда, картофель, макароны, рис, овощи. После Лиссабона на столе появляется совсем неплохое красное вино. Если у вас аппетит хороший, — можете требовать любое количество еды. Нет, на питание жаловаться нельзя было!

3. Чикиньо

Наше резвое судно «Гилярый» смело рассекает волны и вспугивает стаи летающих рыб. Зрелище занятное: рыбы здесь куда крупнее тех, что встречались нам до сих пор.



Взлетают вверх они у самого парохода. Пассажиры стоят вдоль бортов, возбужденно жестикулируют и обмениваются громкими репликами. Мой сосед, маленький бразилец, в восторге. Он взбирается на перила, размахивает руками и ногами, не замечая в пылу возбуждения, что лупит при этом меня, и истошно вопит:

— Рыбы! Рыбы!..

Но рыбам уже надоело резвиться. Вероятно, они уплыли в другом направлении. Все успокаиваются, мой маленький сосед тоже. Я с удовольствием его разглядываю. На полном загорелом личике блестят черные энергичные глазенки.

— Ты куда направляешься? — заговариваю с ним.

— О, очень далеко! На самую перуанскую границу. Там живет мой отец.

Оказывается, отец мальчонки — кабокло, то есть житель южноамериканских тропических лесов. Кабокло — бразильцы белой расы с примесью индейской, а иногда и негритянской крови. Живут они обычно вдали от городов и селений.

— Тебе предстоит проплыть почти всю Амазонку. Ты не боишься?

Нет, он ничего не боится, и тотчас сам задает мне вопрос:

— А ты куда едешь?

— Еще дальше — до самого Перу, до Икитоса, а потом на реку Укаяли.[57]

— Barbaridade![58] Зачем ты туда едешь?

Когда он узнал, что я еду за образчиками редкой фауны для музеев и за живыми зверями для зоопарков, его снова обуял дикий восторг. Глядя на меня сияющими глазами, точно я был каким-то высшим существом, он спросил:

— Хочешь, будем с тобой дружить? Меня зовут Чикиньо. А тебя?

— Аркадий. Хорошо, Чикинью, como nao.[59]

Так я заключил самую удивительную в моей жизни дружбу. Мы пожали друг другу руки. Его ладошка, маленькая, как птенчик, утопает в моей ладони. Нас разделяют тридцать с лишним лет, но зато объединяет общая страсть к природе.

Горячий и очень непосредственный, этот мальчик обожает все живое. Вместе с тем у обладателя маленьких ладошек уже свой взгляд на мир. Наряду с бурным воображением ему присуще большое чувство собственного достоинства. Но эти свойства его характера я узнал позже, сегодня же — только то, что моему милому резонеру восемь лет. До чего же рано развиваются дети юга!

4. Пассажиры

Среди пассажиров нашего третьего класса больше всего выходцев из Португалии, направляющихся в Северную Бразилию. Едут целые семьи с множеством ребят. Во время неоднократных поездок по Южной Америке мне и раньше доводилось сталкиваться с эмигрантами — поляками и другими, и всегда я наблюдал в них какую-то сосредоточенную настороженность, как бы затаенный страх. Это понятно: все они вырвались из тисков нищеты и теперь, отправляясь в неведомое будущее, со страхом думают о том, что готовит им судьба.

А вот португальцы выглядят совсем иначе! Они веселы, обходительны, держатся свободно, всегда готовы пошутить, посмеяться, поболтать. Вначале я приписывал это их жизнерадостному южному темпераменту, но потом, разговорившись с ними, понял истинную причину. Португальцев не страшит будущее: у каждого из них в Бразилии либо родные, либо друзья, и каждому известно, что его там ожидает. Для них Бразилия — всего лишь продолжение Португалии, а Атлантика — просто широкий канал. Рядом с этими солидными, спокойными, уверенными в себе людьми другие эмигранты, не имеющие никаких определенных целей, выглядят как болезненный, хотя и красочный нарост.

В Сеара на нашем судне появился англичанин — один из самых необычных и, скажу откровенно, самых очаровательных англичан, каких мне когда-либо приходилось встречать. Его зовут Александр Уордлоу. Он похож на путешественников типа Дрейка, Кука или Лоуренса, на тех авантюристов, которые во славу Англии открывали острова и завоевывали колонии. Он рассказывал, как, еще будучи мальчишкой, участвовал в первой мировой войне, сражаясь во Фландрии в рядах стрелков. Позднее, по его словам, он избородил всю Австралию, шесть лет проболтался в Африке и изведal всяческие приключения. Он собирал экспонаты для чикагского музея, занимался ловлей слонов для зоопарков. В качестве бывалого охотника снимался в нашумевшем фильме «Традерхорн», гонялся за пантерами и умирал их голыми руками.

— Не плохо придумано! — говорю ему в глаза, увлеченный занятными рассказами.

Но он распахнул рубашку и показал страшные рубцы, оставшиеся на теле после смертельных схваток с хищниками. Показал также написанную им книгу и множество фотографий.

Этот удивительный человек сложен как Урсус,[60] а лицом и повадками напоминает ребенка. Он непрерывно курит папиросы и крепчайшие сигары,

нянчит на судне всех португальских ребятишек, которые — как и их матери — боготворят его, поет чудесным баритоном английские песенки и ежеминутно заливается звонким смехом. На судне все в него влюблены. Он так не похож на тех скучных, уравновешенных англичан, которые издавна существуют в нашем воображении, что я, плененный его обаянием и энергией, полушутя предлагаю ему отправиться в Перу.

Нет, он не может. Он должен быть в Мату-Гросу.

— Зачем?

— Чтобы вздохнуть полной грудью, — отвечает он, смеясь.

Через два дня, в Пара, Уордлоу сошел на берег, промелькнув, как чарующий метеор. А несколько недель спустя в Манаусе я случайно узнал, что наш очаровательный попутчик — агент английских нефтяных компаний и «специализируется» на провоцировании в латиноамериканских республиках всяческих кровавых столкновений, приносящих добавочные барыши нефтяным монополиям.

Я чуть не забыл об одном, пожалуй, самом удивительном пассажире: о бабочке из устья Амазонки. По прихоти капризной судьбы эта бабочка попала на палубу «Гилярия» еще два месяца назад, когда судно уходило в рейс к берегам мрачного Севера. Бабочка приткнулась где-то в теплом углу парохода и проспала несколько недель. Какие же кошмарные сны должны были мучить маленького обитателя тропических лесов, когда осенние бури трепали судно у холодных английских берегов! Но все это уже позади, а когда на обратном пути «Гилярий» снова вступил в полосу тропиков, очнувшаяся бабочка затрепетала крылышками над палубой судна. Впрочем, она предусмотрительно пряталась за трубой, чтобы свежий ветер не сдул ее с палубы в открытое море.

Бабочка эта крупнее нашей русалки и ярко раскрашена. На светло-коричневом фоне — черные полосы, а по краям крыльев белые точки. Красивого предвестника Амазонки все мы встречаем необычайно оживленно. Некоторые пытаются поймать бабочку, но она удачно уклоняется от чересчур сердечных рук. Самым ревностным охотником оказывается маленький Чикиньо. Мне пришлось потратить немало дружеских усилий, чтобы охладить его пыл. Маленький энтузиаст разошелся не на шутку:

— Пусти! Я ее поймаю!

— Ну поймаешь, а дальше что?

— Она будет моей. Я посмотрю на нее вблизи! Я спрячу ее!

— Ты пальцами помнешь крылышки, изуродуешь ее.

— Ну и пусть!

— Чикиньо, ведь ты ее убьешь!

— А что мне до этого?!

Я гневно сдвинул брови:

— Ах, вот что! А знаешь ли ты, как называется тот, кто без нужды убивает животных? Презренный выродок.

— Ну и пусть я выродок! — мальчишка упрямо надувает губы, но все же ему становится не по себе, и он не знает, то ли ему улыбаться, то ли злиться.

— Послушай, Чикиньо, — продолжаю я, — если ты ее поймаешь, между нами все будет кончено, все!

Но тут на помощь моим педагогическим усилиям приходит сама бабочка.

Она вдруг куда-то исчезает. Впрочем, не совсем. На другой день она снова появляется, и опять радуется нас своей яркой расцветкой и веселым порханием.

С нами едет торговец живыми животными, превосходный знаток амазонской фауны. Он уверяет, что ему достаточно взглянуть на любое живое существо, чтобы определить его вид и группу.

— *Limenitis archippus!* — вещает он с важным видом, бросив взгляд на бабочку. Может быть, он прав, хотя издали и ошибиться не трудно. Но дело не в названии — экзотический пассажир чем-то волнует нас. Есть что-то трогательное в этом крылатом Одиссее, проделавшем огромный путь через океан и теперь возвращающемся на родину целым и, наверное, стосковавшимся.

Когда на горизонте появилось желтое песчаное побережье Сеара, бабочку мы увидели в последний раз. Вздываясь все выше и выше, она покружилась над «Гилярием», как бы прощаясь с судном, и, подхваченная попутным ветром, унеслась в сторону суши. Так скрылся с наших глаз яркий летчик, тронувший наши сердца.

— Улетела, — вздохнул рядом со мной Чикиньо. Он произнес это не то с грустью, не то с облегчением.

5. Сдерживает ли «Бус Лайн» свои обещания?

Передо мной красиво оформленный и богато иллюстрированный путеводитель пароходной компании «Бус Лайн» под названием «Тысяча миль вверх по Амазонке на океанском пароходе». Путеводитель сулит пассажирам всевозможные чудеса, радости жизни, безмятежную идиллию среди лазурных вод, вечерние концерты и дансинги под созвездием Южного Креста; им обещаны чудеса самых больших тропических лесов, окаймляющих самую большую тропическую реку, сказочные лунные ночи под сенью пальм, невиданные звери, причудливые птицы, яркие бабочки и орхидеи. Сдерживает ли компания «Бус Лайн» эти обещания? О, да. Щедрая природа в избытке поставляет все, что перечислено в путеводителе и показано на его фотографиях. Только об одном сюрпризе умолчали составители путеводителя — о том, какой мошеннический трюк выкинет наш «Гилярий» — пассажирский полутуристский пароход. Лишь когда судно уже прибыло в Пара, оказалось, что в трюмах его находится уголь, предназначенный для этого порта. Выгружать его стали тайком, под покровом ночи, но шила в мешке не утаишь, тем более, что все судно заволокло черным облаком угольной пыли. Возмущенные пассажиры громко негодуют, и они правы, потому что кодекс морской чести категорически запрещает перевозку таких грузов на пассажирских судах. Бывалые люди говорят, что «Гилярий» совершил неслыханную низость, и все поносят на чем свет стоит и пароходную администрацию и «Бус Лайн».

Мне тоже хочется считать себя бывалым человеком и присоединить свой голос к общему возмущению, но почему-то у меня это плохо получается. Через иллюминатор каюты я смотрю на воду. Луна протянула серебряную дорожку от бортов парохода до далеких островов, поросших лесом и растворяющихся в ночной мгле.

Давно миновали те годы, когда луна вызывала во мне восторженную экзальтацию. Сейчас я смотрю на лунный пейзаж трезво и спокойно, и все же мне стоит усилий убедить себя, что эта освещенная луной река — настоящая, самая что ни на есть настоящая Амазонка, хотя здесь ее называют Пара. С бе-

регов доносятся острые, пряные ароматы, присущие южноамериканским лесам, слышно пронзительное стрекотание кузнечиков. И запахи и это стрекотание мне хорошо знакомы по прежним поездкам на Парану.[61] На несколько мгновений скрежет грузовых лифтов и грохот сбрасываемого угля заглушают все другие звуки, но вот опять доносится трескотня кузнечиков. И я знаю, что теперь буду слышать ее непрестанно, в любое время дня и ночи, пока не покину Амазонку.

Да, сейчас я не в состоянии сердиться на кого бы то ни было, ничего не поделаешь. Пусть уж «Гилярий» выгружает свой уголь!

6. Пальмы и клещи

Впервые Амазонка ослепила меня ранним утром, когда мы прибыли в Пару. Мы сошли с парохода и отправились побродить по берегу реки. Миновали последние домишки предместья, и в каких-нибудь ста шагах от них оказались уже в лесной чаще. Тут-то я впервые увидел эти сказочные пальмы. Эмильяно — бронзового цвета нищий, забулдыга и хвостун, идальго[62] и оборванец — все в одном лице, пристал ко мне и объявил себя моим проводником и телохранителем. Этот Эмильяно, заметив мое восхищение при виде пальм, поспешил пояснить:

— Асаи![63]

И многозначительно прищелкнул языком.

До этого всюду на юге — в Сеара, Пернамбуку, Баия, Рио-де-Жанейро[64] — мне попадались кокосовые пальмы, и я восхищался ими, полагая, что ничего лучшего быть не может. Оказывается, я ошибался. Пальмы асаи, растущие здесь, красивее кокосовых. Они напоминают их по форме, но куда стройнее, выше, тоньше. Они так привлекательны, что невозможно пройти мимо и не поддаться их очарованию. Вот на самом берегу реки Пару, южного рукава Амазонки, гордо высятся над чащей четыре-пять асаи. Они — как светлый луч в мрачной пуще,[65] как ясная улыбка молодой девушки, приветствующей гостя.



— Вы ели, сеньор, плоды асаи? — спрашивает меня Эмильяно. Не дожидая-

ясь ответа, он причмокивает губами и забавно вращает глазами. — Райские плоды! — И приводит бытующую в этих местах поговорку: — «Кто ел плоды асаи, тот останется здесь навсегда».

Позднее я ел их не раз, они действительно превосходны, и все же в Пара я не остался. Но признаюсь: первое впечатление от красавиц пальм оставило в моей душе неизгладимый след.



Мы идем дальше вдоль реки по тропинке, прорубленной в такой густой чаще, что растительность обступает нас со всех сторон сплошной стеной. Один лишь раз я попытался свернуть с тропинки в сторону, чтобы полюбоваться бабочкой, отдыхавшей на ветке дерева. Тщетно пытался! Протиснуться в глубь чащи дальше, чем на пять-шесть шагов, нет никакой возможности. Я вынужден был вернуться обратно на тропинку весь исцарапанный, как после потасовки. Мое знакомство с пущей Амазонки длилось всего лишь несколько минут, но я уже осыпан злющими клещами с ног до головы. Укусы этих клещей ужасны, и раны болят много дней. Как бы для того, чтобы окончательно отрезвить меня и развеять миф о сказочном пальмовом рае, на обратном пути нас атаковали какие-то маленькие мушки. Укусы их оставляют на коже черные точки и вызывают невыносимый зуд на целых две недели.

7. Ягуар в Вер-У-Песу

И все же больше всего меня поразили в Пара не пальмы асаи, не буйствующий тропический лес, уже завладевший предместьем, не пестрота населения города, как кто-то остроумно заметил — причудливой смеси Парижа, Тимбукту и бразильского леса, не контраст между лощеными щеголями, расфранченными по последней парижской моде, и нищетой большинства населения, — нет, больше всего меня поразила Вер-у-песу.

Вер-у-песу — порт для туземных барж и одновременно рынок. Из лабиринта десятков рек, речушек и лесных ручейков, прорезающих всю страну, сюда стекается самая причудливая в мире флотилия барж и лодок с людьми всевозможнейших оттенков кожи. Это потомки многократно скрещенных на протяжении трех веков португальских конквистадоров, негритянских рабов и индейских племен, ныне уже не существующих.



Они привозят в Пара плоды своих крохотных полей, отвоеванных у лесной чащи на берегу реки, и дары самого леса. Чего только здесь нет! Рядом с неизбежной кукурузой, маниокой,[66] фасолью, рисом — всевозможные рыбы самой необычной формы и окраски. Рядом с бразильскими орехами, известными здесь под названием кастанья ду Пара,[67] и плодами какао десятки, нет, сотни сортов великолепных фруктов. Рядышком с изделиями из пальмовых волокон — красивые, искусно разрисованные горшки, украшенные резьбой тыквы, индейские луки и стрелы, шкуры ягуаров, змеиные кожи и чудодейственные травы, исцеляющие от всех болезней. Рядом с домашней птицей — лесные индюки, игуаны[68] — черепахи (изысканное лакомство!); тут же прирученные попугаи — огромные арары[69] и крохотные перикиты; живые анаконды,[70] пекари,[71] змеи, множество всяких лесных птиц — радужные тангары,[72] касики-япимы, длинноносые туканы.

Солнце едва взошло, а порт уже кишит баржами. Каждая старается пришвартоваться поближе к той полосе берега, где находится торговая площадь.

Над человеческим муравейником высится лес мачт. Несмотря на тесноту, здесь царит удивительное спокойствие — какая-то торжественная тишина. Нет ни суеты, ни шума, обычных для рынков всего мира. Поражают также удивительная приветливость и достоинство, с которым держатся эти лесные обитатели. Лишь немногие из них грамотны и ни на ком вы не увидите целой рубашки — рванье, но как все это чистенько выстирано и выглажено!

Клетку с молодым ягуаром окружила такая густая толпа, что пробраться к ней, казалось, невозможно. Но мой неотступный Эмильяно вежливо, но решительно расталкивает зевак, прокладывая мне путь. Впрочем, люди и сами охотно расступаются. В клетке сидит хищная крупная кошка, величиной с добрую легавую собаку — это юнец, которому понадобится еще не менее года, чтобы достичь нормального роста. Забившись в угол клетки, ягуар притаился. Только сощуренные глаза неуверенно посматривают на окружающих. В зеленых глазах мелькает страх перед неведомыми страшными существами и бесильное отчаяние узника, посаженного за решетку. Владелец ягуара, старый метис, улыбкой и жестами предлагает мне купить зверя. Я отрицательно покачал головой.

— Дешево отдам, — подзадоривает старик.

— Сколько?

— Сто мильрейсов.

Цена действительно очень низкая. Но тут в разговор вмешивается Эмильяно и объясняет метису, что я еду вверх по Амазонке, в Перу, а не в Европу, и мне нет смысла покупать сейчас зверя.

— А, тогда другое дело, — доброжелательно соглашается продавец.

Какой-то подросток просунул в клетку палку и тычет ею в спину ягуара. Он объявил, что ягуар ручной. Но вдруг зверь вскочил с гневной молнией в глазах, яростно зарычал, свирепо щелкнул клыками и вырвал палку из рук паренька. Тот в ужасе отпрянул.

— О да, сеньор, — насмешливо передразнил старый метис, — очень ручной!

Зрители глядят на ягуара с почтительным удивлением. Раздаются одобрителльные голоса:

— Вот так молодец! Лесной смельчак! Такого легко не возьмешь! Он за себя постоит!

У людей засверкали глаза. Они возбуждены, поощрительно улыбаются зверю, как герою. Так бы и погладили его по пушистой шерсти! Внезапная вспышка ягуара, казалось, пробудила в них упрятанную нежность. А может быть, их взволновал сильный протест пленника. В беспросветной, полной лишений жизни этих людей каждое проявление героизма радует, как живительный луч солнца.

8. Маленький Чикиньо и большая Амазонка

Чикиньо с матерью возвращается домой в верховья Амазонки. Три года он пробыл в Португалии. Он уже знаком с Амазонкой, а я еще не видел ее, следовательно, маленький Чикиньо имеет передо мной огромное преимущество. Он рассказывает мне об Амазонке самые невероятные истории. Только один раз мне удалось поставить его в затруднительное положение: я спросил — как велика Амазонка, и Чикиньо не сумел сразу ответить. Он долго что-то прикидывал в своей маленькой головке и, наконец, объявил: Амазонка велика, как его отец, и немножко меньше самого бога.

Чикиньо прав: Амазонка очень велика. Когда мы находились еще в Атлантическом океане, на значительном расстоянии от устья Амазонки, она уже давала о себе знать: вода на наших глазах меняла окраску. Из синей она стала зеленой, потом пожелтела, помутнела и, наконец, через много часов стала совершенно желтой. Тогда нам объявили, что мы находимся на самой середине устья реки, хотя виден только один берег ее, южный, а другого не было и в помине. Вот так река, у которой виден только один берег! Так мы плыли еще несколько часов. Затем на севере стали вырисовываться какие-то туманные очертания (мы подходили к Амазонке с юга, от порта Сеара), и, наконец, появилась земля. Оказывается, это не противоположный берег реки, а лишь остров Маражо.

И тут милый Чикиньо вдруг становится бразильским шовинистом — он хвастливо уверяет меня, что остров Маражо вместе с другими, расположенными в устье Амазонки, занимает такую же большую территорию, как вся Португалия. Я с ним соглашаюсь и между прочим замечаю, что на этом приятном его сердцу острове водятся тысячи препротивных кайманов,[73] каждый из которых способен проглотить в один присест пяток таких Чикиньо. Это ничего, хвастается Чикиньо, когда он подрастет, он перестреляет всех кайманов! Чикиньо очень храбр, но ведь кайманов на этом острове такое множество, что вряд ли удастся всех их истребить!

К северу за островом Маражо начинается, наконец, настоящее северное устье Амазонки, которое вместе с южным (являющимся одновременно устьем реки Токантинс) имеет в ширину около четырехсот километров, то есть больше, чем расстояние от Гдыни до Щецина. Чтобы получить полное представление о той гигантской массе воды, которую Амазонка несет в Атлантику, надо принять в расчет и невероятную глубину этой реки, достигающую в некоторых точках устья ста метров.[74] В Манаусе, находящемся выше устья на тысячу семьсот километров, глубина реки составляет около пятидесяти метров, а под Икитосом — четыре тысячи шестьсот километров от устья, уже вблизи Кордильер — двадцать метров. Это глубина в засушливую пору, а в дождливое время года — май, июнь — вода в Амазонке поднимается еще метров на пятнадцать. Напомню для сравнения, что средняя глубина Вислы под Варшавой два метра.

Такая глубина Амазонки дает возможность обычным океанским пароходам типа нашего «Гилярия» плыть без всяких помех до Манауса и даже выше. За все время пути наше судно село на мель лишь один раз, и то потому, что бразильский штурман не в меру выпил крепкого английского пива стоут. Благодаря такой глубине в Манаусе может пришвартоваться три четверти всех во-

енных кораблей.

Однако тот, кто подумает, что ширина Амазонки здесь соответствует ее глубине, будет разочарован. Вот уже три недели мы плывем вверх по реке, а ширина ее после устья всего лишь в два-три раза превышает ширину Вислы у Торуня. Объясняется это тем, что мы видим не всю Амазонку, а только один из ее многочисленных рукавов. Именно этим Амазонка отличается от большинства других больших рек — она расчленена на русла и рукава, образующие бесчисленное множество островов, иногда очень крупных.

Другая характерная особенность Амазонки заключается в том, что наклон реки незначителен и она подвержена воздействию морских приливов и отливов. В Сантарене, находящемся на расстоянии около тысячи километров от устья реки, маленький Чикиньо чуть не свалился в воду от изумления: он вдруг увидел, что течение реки повернуло вспять, в сторону Анд. Это был морской прилив, докатившийся от океана до Сантарена.

Еще в устье Амазонки можно видеть, какие богатства таят глубины реки. Стаи огромных двухметровых рыб поминутно высовываются из воды, и кажется, что вокруг вас какой-то сказочный зоопарк. Это самые крупные в мире пресноводные рыбы — пираруку (арапаимы), [75] составляющие особенность Амазонки. Вслед за ними из глубин реки, вызывая восхищение маленького Чикиньо и мое, непрерывно появляются всевозможные чудища, речные дельфины, какие-то жирные розовые рыбы со страшной пастью. Вся эта тварь вызывающе шумно плещется у самого борта парохода.

Третью неделю плывем мы и днем и ночью, а река все та же, ничего в ней не меняется, и кажется, что нет ей конца. Она начинает угнетающе действовать на наши нервы и мозг, перевоплощаясь в нашем сознании в некую силу, подавляющую своей суровой мощью.

А по берегам реки в убогих хижинах и шалашах ютятся скромные, тихие люди. Где-то у перуанской границы живет отец маленького Чикиньо. Он сборщик каучука. Мать Чикиньо рассказывает, что когда-то жили они неплохо, но сейчас им приходится туго. Какие разящие контрасты вокруг этой великолепной реки: лесные чащи таят в себе неслыханные богатства, а люди терпят страшную нужду; с одной стороны — изобилие щедрой природы, с другой — тернистый путь и лишения человека.

9. Тропический лес

Весь бассейн Амазонки — кроме тех немногих участков, где вклиниваются похожие на полуострова степи, — покрыт великолепным и недоступным тропическим лесом. Площадь, занимаемая им, составляет около семи миллионов квадратных километров, почти две трети Европы. И хотя это звучит неправдоподобно в нашу эпоху радио и самолетов, вся эта огромная страна, за малым исключением, совершенно не поддалась цивилизации; сегодня она так же дика, таинственна и неосвоена, как и сто — сто пятьдесят лет назад, во времена естествоиспытателей Бейтса[76] и Гумбольдта,[77] а кое-где она сохранилась во всей своей первобытной неприкосновенности со времен Орельяны, то есть на протяжении четырех веков. Железных дорог нет, и связь с другими частями Южной Америки поддерживается только пароходами, курсирующими по Амазонке и некоторым ее притокам.

Впрочем, есть исключение! В городе Икитосе соорудили лилипутную окружную дорогу протяженностью в несколько сот метров. В жаркие воскресные дни жители города путешествуют в миниатюрных вагончиках. Их освежает приятный ветерок мчащегося поезда, и они с гордостью чувствуют себя «железнодорожными пассажирами». Кроме этой железной дороги, на окраине пуши имеются еще две небольшие: между Пара и Браганса и над рекой Мадейрой.

От самой Атлантики нам неизменно сопутствует лес. Зеленая стена его так причудлива, что кажется фантастической декорацией. Пальмы, лианы, бамбук, эпифиты,[78] деревья стройные и с искривленными стволами, деревья, растущие почти горизонтально, кустарник выше деревьев, удивительное многообразие форм и красок: листья белые как снег и алые как кровь. Через каждые сто метров новый пейзаж, новые виды деревьев и растений, но все это те же неизменные леса. В течение трех недель днем и ночью неотступно и неустанно следуют за нами непроходимые могучие леса Амазонки.

Уже около ста лет, со времен знаменитых натуралистов Х. В. Бейтса и А. Р. Уоллеса,[79] бассейн Амазонки является не только Меккой, притягивающей к себе путешественников; об этом тропическом крае написано, пожалуй, самое большое количество книг и исследований. Восседа в покойном мягком кресле библиотечного зала где-нибудь в Европе или Северной Америке, нетрудно изучить все географические особенности Амазонки. И все же, каким бы запасом теоретических познаний вы ни обладали, попав на Амазонку, очутившись лицом к лицу с ее величавой природой, вы испытаете глубочайшее изумление и радостное ощущение первооткрывателя. Нужно самому все это пережить, самому прочувствовать, чтобы понять, сколько волнующей силы в этом крае, казалось бы хорошо знакомом нам по избитым книгам.

Тропические леса Амазонки! Кто-то метко заметил, что человек, попавший в них, дважды испытывает острую радость: в первый день, когда, ослепленный сказочными богатствами Амазонки, он думает, что попал в рай, и в последний день, когда, на грани безумства, он, наконец, удирает из этого «зеленого ада».

Круглый год царит здесь невыносимая жара и угнетает душный сырой воздух. В течение девяти месяцев огромную территорию леса захлестывает половодье. Тысячи неведомых болезней притаились в болотах. Муравьи и терми-

ты, пожирающие на своем пути все живое; тучи mosкитов и комаров, укусы которых отравляют кровь; ядовитые змеи, смертоносные пауки, деревья, источающие опасный дурман, — все это делает леса Амазонки поистине проклятым местом, в особенности для белого человека, пожелавшего остаться здесь навсегда.

И в то же время эти леса — истинный рай, о котором может только мечтать, грезить естествоиспытатель. Углубившись в это пекло, он найдет здесь самые изумительные чудеса природы: цветы невиданной формы и расцветки, таинственные орхидеи с чувственным запахом, бабочек, более пестрых, чем цветы, колибри ярче бабочек и меньше их, и других причудливых птиц, млекопитающих древних, уже исчезнувших родов, муравьиные гнезда, поражающие совершенством своего общественного устройства, — словом, натуралиста захлестнет буйное цветение жизни. Биологические проблемы, над которыми ученые ломают себе головы, здесь, над Амазонкой, лежат как на ладони, только срывай их, как созревшие плоды.

Тайн природы сегодня осталось не так уж много на нашей планете, но здесь, в пущах Амазонки, еще огромный неизведанный мир.

10. Каучуковая трагедия

Когда Форд создал свой первый автомобиль, житель бразильских лесов — кабокло — вел на берегах Амазонки самый неприхотливый образ жизни, питался нередко сырой рыбой и о большом мире знал немного. Когда Форд выпустил тысячный автомобиль, кабокло, бранясь на чем свет стоит и всячески кляня новшества, в конце концов стал подражать своему соседу и тоже надрезать каучуковые деревья. Когда появился пятисоттысячный автомобиль Форда, всей Амазонкой овладело безумие, а кабокло — извините, серингейро, [80] так теперь называли сборщиков каучука! — потягивал в Манаусе французское шампанское, лакомился привезенной из Европы икрой, а гаванские сигары закуривал кредиткой достоинством в сто мильрейсов.

Впрочем, шампанское доставалось только тем ловкачам, которые сумели вырваться из лесных дебрей, добраться до города и стать там «организаторами» новой торговли. Как стая гиен, привлеченная запахом падали, сюда, на берега Амазонки, стали стекаться со всех концов мира проходимцы — зачистую с преступным прошлым. Их манили сказочные богатства. После золотой и бриллиантовой лихорадки человечество познало каучуковую лихорадку. На Амазонку хлынули отовсюду миллионы долларов, фунтов, франков. Хлынули так стремительно, таким бурным потоком, что ошеломленный серингейро действительно не знал, что с ними делать. Баснословные прибыли от проданного каучука уходили на вино, устриц, на сооружение дворцов и памятников, на канализацию и школы, на роскошь, всяческие причуды и распутство. Одна за другой возникали фантастические затеи: проложить в лесу дороги, построить на Амазонке плотину. По берегам реки, как на дрожжах, росли новые города: Пара, Манаус, Икитос. В конце XIX столетия цены на каучук неуклонно повышались. Огромная страна, величиной в три четверти Европы, быстро богатела. Но вдруг...

Началось с того, что некий скромный английский ботаник, коллекционировавший флору юго-восточной Азии, написал пространный доклад и отослал его английским властям. Как это обычно бывает с докладами скромных лю-

дей, власти, даже не дочитав, сунули его под сукно. Позднее труд ботаника случайно попал в руки прибывшего из Англии инспектора, который очень заинтересовался им, добился необходимых ассигнований и проделал первые опыты. Результаты превзошли все ожидания. Оказалось, что в юго-восточной Азии вполне возможно выращивать каучуковые деревья!



Жизненные интересы Англии требовали, чтобы каучуковая монополия была вырвана у Бразилии. И вот на Малайском полуострове одна за другой стали возникать огромные плантации каучукового дерева. Разумеется, бразильский серингейро ничего не знал об этом — что ему за дело до остального мира? По-прежнему он продолжал надрезать деревья, по-прежнему товар вырывали у него из рук и платили огромные деньги.

Грянула первая мировая война. В Европе народы истекали кровью, а вся Америка — от Гудзонова залива до Патагонии — делала на этом великолепный бизнес. И только на Амазонке творилось что-то неладное: цены на каучук, несмотря на войну, стали падать. Никто на Амазонке — ни купцы в городах, ни серингейро в лесах — не могли ничего понять. Война закончилась, а цены все продолжали падать. Плантации в Азии буквально засыпали мировой рынок каучуком. Слабо разбираясь в мировой экономике, жители Амазонки поняли одно: нужно потуже затянуть пояс, распроститься с божественным шампанским, со сказочными мечтами и так полюбившейся вольготной жизнью. Города на Амазонке стали хиреть, а серингейро и комиссионеры пришли к грустному выводу, что незачем возить каучук в города, где его все равно никто не покупает. Многие из них вернулись в чащи и снова превратились в смиренных кабокло.

Но тех, кто прибыл в эти места издалека, обуял дикий страх. До сих пор все они — у кого только хватало сил и здоровья — занимались сбором каучука, ни о чем другом не помышляя. Мало кто обрабатывал землю. Люди предпочитали покупать готовые продукты, доставляемые пароходами, хотя бы и втридорога. Теперь же, когда не стало ни денег, ни продуктов, перед ними встал при-

зрак голода, и они тучами потянулись из леса к великой реке. Охотники за каучуком буквально облепляли пароходы, идущие вниз по Амазонке. Они дрались за каждую пядь на палубе, с револьвером в руках прокладывая себе дорогу. В глазах их светилось безумие и преступность. Эти люди, привыкшие издеваться над индейцами, сейчас позорно улепетывали, гонимые страхом, и напоминали жалкие остатки разгромленной армии.

Леса обезлюдели. Лесные тропы заросли. Казалось, сама природа торопилась стереть ненавистные следы. Замолкли весла на воде... Крупные звери, ранее вспугнутые шумом и покинувшие насиженные места, возвратились в свои логова. В Амазонке по ночам снова стали купаться тапиры,[81] а с берегов ее все чаще доносилось рычанье ягуаров.

Путешествуя по Амазонке, я встретил несколько кабокло, бывших серингейро. Они приплелись на наше судно узнать новости. Жалкие, захиревшие фигуры — жизнь в лесу не сладкая. Они охотно вспоминают былые времена, которые им самим казались сейчас чудесной сказкой. Они рассказывают о прошлом с гордостью старых ветеранов, вспоминающих славные битвы, где они отличались. Время многое стерло из их памяти; они забыли о своих мучениях в лесу, об обидах, которые они терпели от хищных людей и которые, возможно, сами наносили другим, более слабым. Во время этих красочных рассказов глаза бывших серингейро загорались от волнения лихорадочным блеском. Они потухли только тогда, когда наступила пора покинуть наше судно. Оборванцы уныло прощаются и на неустойчивых каноэ возвращаются к себе, в убогие лесные шалаши на сваях.

То, что другим народам и странам доводилось пережить на протяжении веков или по крайней мере десятилетий, здесь, на Амазонке, свершилось за какие-нибудь двадцать лет: фантастический взлет и головокружительный спад, бурный расцвет и трагический финал. Трагедия страны величиной в три четверти Европы. Когда вспыхнула вторая мировая война, у нас это был трагический сентябрь, сердца жителей Амазонки окрылились надеждой: ведь воюющей Европе понадобится много каучука! Тем более, что уже через год японцы отняли у англичан и прибрали к рукам каучуковые плантации на Малайских островах и в Голландской Индии — источник всех бед кабокло. Хотя плантации и были захвачены Японией, положение кабокло несколько не улучшилось. У них появился новый соперник, страшный и всемогущий, сразу убивший все надежды жителей Амазонки. Это был синтетический каучук.

11. Лес наступает на Манаус

Из Пара мы отправились пароходом вверх по Амазонке, и через несколько дней прибыли в Манаус — город, больше других разбогатевший на каучуке и поэтому впоследствии больше других пострадавший. Сейчас Манаус выглядит, как слишком широкий костюм, смешно болтающийся на тощей фигуре. Не могу сказать, сколько жителей в этом городе. Говорят, что в пору наибольшего расцвета, то есть в 1900–1914 годах, численность населения его доходила до ста тысяч. Сейчас называют другие цифры — пятьдесят тысяч и даже меньше. В этом сравнительно небольшом городе множество великолепных, грандиозных зданий, достойных любой столицы.

Лучшее из них — дворец президента. (Манаус главный город штата Амазонка, площадь которого в девять раз превышает территорию Англии, при населении в четыреста тысяч человек, преимущественно неграмотных лесных жителей.) Этому величественному зданию мог бы позавидовать президент любого из европейских государств! Сомневаюсь также, найдется ли в столицах Европы несколько зданий, способных соперничать с монументальным Дворцом Правосудия.

Но, пожалуй, самое примечательное в Манаусе — здание оперы, построенное по образу и подобию Парижской оперы, но еще больших размеров. Одни боги ведают, кому здесь пятьдесят лет назад понадобилась опера! Этот роскошный театр, — истинный курьез на фоне амазонских лесов, — в своих стенах еще никогда не видел оперного спектакля. Обычно он пустует и закрыт. Лишь изредка — раз в несколько лет — заправили города (для поддержания его престижа) приглашают из Рио-де-Жанейро на гастроли труппу актеров, и тогда несколько дней подряд здесь разыгрывают какой-нибудь фарс или сентиментальную приторную пьесу.

Перед театром раскинулась широкая площадь. Она выложена богатой каменной мозаикой и могла бы служить украшением любого европейского города. Всего лишь несколько сот метров отделяют эту мозаичную мостовую от первых могучих деревьев — грозного форпоста лесов, опоясывающих город. Я попросил театрального сторожа провести нас с маленьким Чикиньо на самую высокую точку здания. Какая сказочная панорама открылась перед нами! Манаус расположен несколько в стороне от Амазонки, на берегу Риу-Негру, в десяти километрах от ее слияния с Амазонкой. Огромная масса воды видна сверху. Эти две реки служат жизненными артериями города и единственной базой его существования. За ними во все стороны простирается бескрайнее море густой зелени. Казалось, вот-вот оно подступит к самым стенам здания, с которого мы осматриваем окрестности. Вид этих девственных лесов еще ярче подчеркивает всю нелепость и причудливость постройки здания оперы здесь.

Когда смотришь сверху, видишь, как лес постепенно овладевает городом. Лес буквально поглощает его. Не сразу, не штурмом, но медленно и неуклонно. Он отвоевывает территорию города пядь за пядью, он наступает на окраины, вгрызается в улицы. Здесь не человек наступает, подчиняя себе природу, а, наоборот, природа, в порядке реванша, ведет наступление на человека. Неумолимая стихия точно железным обручем стискивает Манаус, а притихший, грустный город, несмотря на свои асфальтовые мостовые, величественные здания, электричество, телефоны, как будто смирился со своей судьбой и

покорно сдается.



Есть в Манаусе красивые фонтаны, но они без воды. Есть бульвары, но мостовая их выщерблена. На крышах домов маячат черные «урубубу», [82] разглядывающие сверху прохожих. И хотя урубубу — явление обычное для всех городов Южной Америки, здесь их вид оставляет особенно неприятный осадок. Есть в Манаусе и трамвайные линии, проложенные в свое время с расчетом на дальнейший рост города, но роста «не получилось», и трамвайные колеи уходят далеко за пределы города.

В городе несколько кинотеатров новейшей конструкции. Однажды днем мне довелось испытать довольно острые ощущения. Виновницей этого оказалась Грета Гарбо, которую я увидел на экране. Когда сеанс окончился, я сел в трамвай и через каких-нибудь пятнадцать минут очутился на конечной остановке, в самом настоящем девственном лесу, среди лиан, орхидей, истлевших пней, в атмосфере дурманящих запахов безумствующей природы. Еще большее волнение я почувствовал, когда заметил огромных ярко-голубых бабочек морфо, отливающих металлическим блеском, а на дереве обнаружил ящерицу игуану длиной в метр с лишним. Подумать только: Грета Гарбо на экране шикарного кинотеатра и игуана на ветке тропического леса, отделенные друг от друга расстоянием в двадцать минут! Это можно увидеть только в Манаусе, и это не скоро забудешь!

Кстати, на этой же трамвайной остановке какой-то добряк предложил мне живого, почти трехметрового удава боа всего за два мильрейса — почти даром.

12. Жив ли полковник Фосетт?

В Манаусе, в гостинице «Бразиль», я никак не мог за ужином стовориться с кельнером. Тогда хозяин попросил одного из посетителей, сидящего за соседним столиком, помочь мне. Приветливый гость подошел ко мне и помог. Мы познакомились и, разговаривая по-французски, вместе поужинали. Мой новый знакомый — англичанин, зовут его Альберт де Уинтон; ему сорок пять лет, и у него солидная борода. Мы толковали о том, о сем, а когда Уинтон узнал, что я еду в зоологическую экспедицию в Перу, выложил мне цель своего пребывания в Бразилии:

— Я должен отыскать полковника Фосетта.

— Как! — воскликнул я удивленно. — Неужели его гибель до сих пор еще не установлена?

— Для меня, — подчеркнул заметил Уинтон, — это остается вопросом до тех пор, пока я лично не выясню всего до конца. Надеюсь, что через несколько месяцев мир, наконец, узнает всю правду.

Из дальнейшего разговора я узнал от приветливого Уинтона — пожалуй, самого авторитетного источника — все подробности этого загадочного и громкого дела.

Фосетт, английский полковник в отставке, в свое время был членом комиссии, устанавливавшей пограничную линию между Бразилией и Боливией. Он прекрасно изучил южноамериканские тропические леса, и не только их. От индейцев штата Мату-Гросу он узнал, что в глубине штата имеются развалины какого-то города.

Более тщательные исследования навели Фосетта на мысль, что развалины эти могут относиться к легендарной Атлантиде, остатки которой, по мнению некоторых ученых, следует искать именно в бразильском штате Мату-Гросу, между реками Шингу и Арагуая. Одержимый этой навязчивой идеей, Фосетт, как истый романтик, решил проверить свою догадку лично и, после тщательных приготовлений, в 1926 году отправился из Англии в Мату-Гросу.

Свои поиски он начал от города Куяба, столицы Мату-Гросу, по направлению к северо-восточным истокам реки Шингу. В состав экспедиции вошли, кроме Фосетта, его сын двадцати одного года, приятель сына Джек Римль и три собаки. Надо заметить, что штат Мату-Гросу, лежащий в бассейне Амазонки, вообще мало изучен, а район истоков реки Шингу совершенно не исследован. Несмотря на относительную близость столицы Куяба (всего четыреста километров), этот район — «белое пятно» на географической карте Бразилии.

Через двенадцать дней после выхода из Куябы экспедиция добралась до последнего цивилизованного пункта — какой-то фасьенды — в ста пятидесяти километрах от Куябы, и вынуждена была сделать здесь остановку на несколько дней из-за недомогания Фосетта. Когда он поправился, экспедиция двинулась дальше на север, в глубь тропического леса, и с этого момента она как в воду канула. Неделью спустя в фасьенду приплелась одна из собак Фосетта, вся окровавленная. Через несколько дней она издохла. Это был последний след экспедиции. Отправившиеся на поиски ее люди вернулись ни с чем. Пуца поглотила и Фосетта и его спутников.

Весть о гибели Фосетта дошла до Англии через несколько месяцев. Но потом прошел слух, что Фосетт жив, но находится в плену у дикарей-индейцев.

Английские друзья решили собрать средства и организовать экспедицию для его спасения. Первая экспедиция ничего не добилась. Послали вторую, а потом и третью — две английские и одну американскую. Но все было напрасно, никаких следов Фосетта не нашлось.

Уинтон, впоследствии проверивший на месте деятельность этих экспедиций, утверждает, что это был сплошной блеф. Располагая крупными средствами, участники экспедиций — люди, для этого дела мало подходящие, — заботились только о собственных удобствах и широко рекламировали свою деятельность в прессе, что и создало истории Фосетта мировую известность. Они разъезжали в комфортабельных лодках по Шингу[83] и вообще не искали Фосетта там, где он вероятней всего пропал. По-видимому, Фосетт погиб либо в лесах между истоками реки Шингу (их не меньше пяти), либо восточнее — между Шингу и Риу-Мортис, а спасательная экспедиция держалась у берегов реки, не отваживаясь углубиться в чащу.

В начале 1933 года Уинтон сам исследовал окрестности реки Шингу, направляясь с востока на запад. Когда он добрался до реки Арагуая, его люди взбунтовались и отказались идти дальше. Тогда он нанял других бразильцев, готовых на все, и, продираясь сквозь чащу, добрался с ними до Риу-Мортис. Здесь у индейцев бакари он выяснил, что Фосетт (судя по описанию, это был именно он) дошел до Риу-Мортис, оставался здесь в течение года, а затем двинулся обратно на запад, к истокам Шингу. Узнав об этом, Уинтон решил немедленно двинуться по его следам, но во время переправы через реку лодки со всем снаряжением экспедиции погибли, и Уинтону, измученному и заболевшему малярией, пришлось повернуть назад, чтобы поскорее добраться до цивилизованного мира.

Во всяком случае, экспедиция Уинтона дала важные результаты: она доказала, что Фосетт погиб не сразу, как это считали раньше. Почему Фосетт появился у Риу-Мортис один, без своих спутников, — пока еще загадка. Уинтон, которого первые неудачи не сломили, вскоре снова отправится на поиски. На этот раз он пойдет вверх по реке Шингу, к ее истокам и подробно исследует лес у притока Кулуэни, где, по мнению Уинтона, вероятнее всего обнаружатся следы Фосетта.

Итак, жив Фосетт или нет? Возможность того, что он взят в плен индейцами бакари, Уинтон исключает: это не в обычае индейцев. Следовательно, если Фосетт не погиб, — а Уинтон в этом убежден, — он поселился где-то в лесах у гостеприимных индейцев. Индейцы племени бакари славятся своим мягким характером и гостеприимством, а в семье Фосеттов уже бывали случаи бегства на лоно природы. Учитывая романтические наклонности полковника, можно допустить, что нечто подобное случилось и на этот раз. Вся ошибка в том, что до сих пор Фосетта толком не разыскивали. Банда дармоедов тратила напрасно средства его друзей и занималась только саморекламой.

Уинтон ведет поиски за свой счет и на свой риск. Увенчаются ли они успехом? Не знаю. Во всяком случае, глаза его полны энергии.

Два дня спустя мы сердечно распрощались с ним в порту Манаус. Пароход Уинтона отправляется вниз по Амазонке, к устью реки Шингу, а мой — вверх, до Икитоса. Мы пожелали друг другу успеха. Уинтон поклялся, что переверочит землю и небо, но Фосетта отыщет.

Посмотрим, сдержит ли он эту клятву![84]



13. Насекомые на пароходе

В Манаусе мы заканчиваем путешествие на «Гилярии» и пересаживаемся на другое судно — «Белем». Судно принадлежит «Эмзон Ривер Стим Навигейшен Компани» и курсирует исключительно по Амазонке. Эта широкая и плоская коробка в течение месяца проплывает всю реку от устья Пара до города Икитоса в Перу.

Пароход мы сменили, а река осталась все та же — огромная и желтая, и окаймляет ее та же стена сплошного леса. По-прежнему с обоих берегов свисают над рекой и лезут в воду буйно раскинувшиеся ветви деревьев. Пальмы всех видов гордо вздымают в небо свои верхушки — утром, в лучах восходящего солнца, они кажутся розовыми, а вечером фиолетовыми.

С палубы парохода мы смотрим на все это, словно зрители в театре. Часто мы плывем у самого берега, и тогда из лесу доносятся к нам бесчисленные голоса птиц. Какое же здесь неизмеримое богатство пернатого мира! Над водой проносятся цапли, аисты, ибисы, чайки и огромные зимородки. Истошно орут полчища зеленых попугаев. Ветви ближайших к реке деревьев временами резко раскачиваются. Мы не видим виновников, но догадываемся, что это обезьяны.

Каждый день мы причаливаем к берегу у какого-нибудь полуразрушенного селения, и каждый день у нас на столе свежие цветы. И какие цветы! Настоящие, бесценные амазонские орхидеи, сказочные каттлеи всевозможных расцветок. А на палубу слетаются крылатые гости. Днем прилетают к нам красные бабочки — парусники. Они садятся на снасти, на скамьи, но поймать их трудно — они пугливы. За ними с азартом охотится маленький Чикиньо. Он с матерью тоже пересел на «Белем». Мальчик, невзирая на адову жару, весь день неутомимо носится по палубе с сеткой в руках, подкарауливая добычу. Если что-нибудь поймает, то вопит на радостях, как истый индеец, и сломя голову мчится пополнить мою коллекцию бабочек. А по вечерам при свете огней на пароходе происходят настоящие оргии. Целые тучи ночной мошкары

облепляют лампы и вокруг них на стенах образуют живую мозаику сказочной красоты.

Кого только нет среди наших крылатых гостей! Тут и ночные бабочки, и шелкопряды, и толстые жуки, гудящие в полете, и ошалевшая от яркого света саранча, и хищные богомолы. То вдруг загудит над головой колоссальная бабочка бражник, величиной без малого с нашу ласточку, или огромная — в две ладони — бабочка калиго с глазами совы на крыльях. Все это отправляется в мою коллекцию.

Как-то Чикиньо принес необыкновенно красивую бабочку из семейства агриас. При виде этого редкого сокровища у меня глаза разгорелись. Но, увы, незадачливый охотник сломал ей крылья.

— Чикиньо! — завопил я. — Что ты натворил!

— Неважно! — успокаивал меня мальчик. — На Рио-Жавари,[85] где живет мой отец, таких бабочек сколько угодно.

Может быть, там этих бабочек действительно много, но пока что Чикиньо изуродовал настоящее сокровище, за которое я получил бы немало долларов.

Однажды ночью, когда мы проплывали местность Тефе,[86] наше судно атаковали полчища медведок. Они похожи на наших медведок, только раза в два крупнее. Толстые, подвижные, они набились во все щели парохода, их полно в каютах, они забираются под платье, в волосы, кусаются и царапают лицо колючими лапами. Мы топчем их, давим на себе, чувствуя непреодолимое отвращение. Налет продолжался несколько часов, только к утру мы выбрались из этой тучи насекомых и облегченно вздохнули. Медведки исчезли так же внезапно, как налетели, и, к счастью, больше не появлялись.

Таким образом, не сходя с парохода, я уже получил представление о том, что увижу в тропическом лесу, какие чудеса ожидают меня там. Еще не ступив ногой на сушу, я добыл богатейшую коллекцию насекомых.

14. Чикиньо ищет муравейник

В первый же день нашего пребывания на пароходе «Белем» я разложил пойманных бабочек на столике и вышел из каюты. Через несколько минут вернулся и... остолбенел: от бабочек остались рожки да ножки. На столе лежали только остатки истерзанных туловищ и обрывки крылышек. Это — муравьи. Они выползли из всех щелей и набросились на моих бабочек.

— Смотри, Чикиньо, что они наделали! — говорю я мальчику, указывая на разгром.

— О, мать божья из Сан-Паулу-ди-Оливенса! — воскликнул Чикиньо. — Муравьи!

Да, муравьи, муравьи... Тысячи муравьев, больше: миллионы их путешествуют вместе с нами на «Белеме». Пароход буквально пронизан ими. Стоит лишь на минуту оставить где-нибудь мертвую бабочку, как тотчас из стен или из-под пола появляется процессия муравьев и набрасывается на нее — у них какой-то безошибочный, собачий нюх! Они постоянно угрожают моей коллекции, пожирают все отбросы. Счастье еще, что людей не трогают, иначе жизнь на пароходе стала бы невыносимой.

Маленький Чикиньо переживает большое горе. Чикиньо ревностный натуралист и обычно все и всех знает. А сейчас ему неизвестно, где находится муравейник. Нет, он не может примириться с этим. Ведь где-то он должен быть, черт побери! Чикиньо ищет, вынюхивает, выслеживает, ломает себе голову, — все напрасно. Он просто в отчаянии!

Не огорчайся, мой опечаленный друг! Тропические леса, мимо которых мы сейчас проплываем, тебя встретят тысячами других тайн и загадок. Люди сильнее и выносливее тебя, мой отважный маленький Чикиньо, тщетно попытаются проникнуть в эти тайны, разгадать их.

Наш пароход ежедневно причаливает к берегу, чтобы запастись дровами для топки. Пользуясь двух- или трехчасовой стоянкой, мы хватаем сетки и бежим на берег. Сколько тут бабочек, и какие чудесные экземпляры! А сколько муравьев — сущий ад! Охотясь за бабочками, мы боялись как огня одного: встряхивать ветки над головой. Да, буквально как огня: на ветках копошатся полчища красных муравьев, называемых в Бразилии *formiga defogo*, то есть огненные муравьи. Они набрасываются на людей и кусают так яростно, что от боли взвоешь.

В устьях Амазонки эти огненные шельмы стали подлинным бедствием. Нередко они вынуждают к бегству целые селения. Некогда цветущий городок Авейру на реке Тапажос[87] в середине XIX века прекратил свое существование именно из-за нашествия этих тварей. Несколько раз жители, в панике покинувшие город, пытались вернуться обратно, но всякий раз натыкались на хозяйничавших в их домах муравьев. В конце концов обезлюдевший город превратился в руины и покрылся лесом.

15. Летят арары

Я сижу в каюте и пишу письма своим друзьям в Польшу. Вдруг ко мне, как бомба, врывается Чикиньо.

— Иди, скорей иди! Летят попугаи!

Мы выбежали на палубу, и я остановился как вкопанный. Невиданное зрелище ослепило меня: летели арары. Поодиночке, парами, вчетвером, а то и целой стаей. Высоко в небе их десятки. Все тянутся к югу. Арары напоминают огромных фазанов; хвосты длинные, а расцветка перьев просто сказочная.

— Арарауны! — кричит Чикиньо и показывает на птиц, летящих ближе всех. Спинки у них голубые, а брюшки — оранжевые. А вот еще один вид попугаев. Эти похожи на летящие огни.

— Араканги! — вопит Чикиньо.

Араканги окрашены в цвета заходящего солнца, нежно-голубого неба и спелых мандаринов. Жаркая долина Амазонки родина самых красивых попугаев — арара. Это великолепные, величественные существа, а их крикливая расцветка — лазурная, оранжевая, пурпурная — на фоне зеленого леса кажется вызывающей. Когда, распластав крылья шириной в полтора метра, они проплывают в небе, переправляясь с одного берега Амазонки на другой, изумительное зрелище оставляет в душе человека неизгладимое впечатление. Кажется, это не птицы, а какие-то неземные существа, воплощающие наши мечты о прекрасном. Даже агенты пароходной компании «Бус Лайн» в Ливерпуле — деятели с окаменевшими душами — и те, рекламируя путешествие по Амазонке, преподносят перелет арара как одно из самых замечательных чудес этой сказочной страны.

Но вот арары пролетели. Скрылся за лесом пестрый караван, отзвучали птичьи голоса, властные я торжественные. По-прежнему слышен только неумолчный рокот машины, сотрясающей судно. Снова гнетущая жара и духота. Прямо с небес мы опустились на пароходную палубу. Все еще взволнованный, иду в каюту закончить письма моим польским друзьям. Очень хочется передать пером чарующие впечатления только что пережитого, но кто знает, может быть, я добьюсь не большего успеха, чем Чикиньо в поисках муравейника?

16. Дикие индейцы

На расстоянии одного дня пути от городка Сан-Паулу-ди-Оливенса[88] находится одна из многочисленных пристаней, расположенных на берегах Амазонки. Мы остановились здесь, чтобы набрать дров для топки, благо пристань на самой опушке леса. И вдруг — сенсация:

— *Indios bravos!* Дикие индейцы! — кричит кто-то на палубе.

Все, кто был на пароходе: бразильцы, перуанцы, метисы, индейцы, итальянцы, венгерский еврей, поляк и даже кое-кто из экипажа, — все ринулись к борту. По реке плыло несколько быстроходных лодок, с которых индейцы обычно охотятся за рыбой. В каждой лодке по двое индейцев: один на носу с гарпуном и луком в руках, другой, гребец, на корме. Пассажиры нашего парохода, не скрывая любопытства, разглядывают их со смешанным чувством покровительства и уважения.

Индейцы почти голые. Только на шее и бедрах повязки из свободно свисающих волокон. Длинные, черные, как вороново крыло, волосы спадают на спину, а спереди подрезанные челки закрывают лоб. Всеобщее внимание привлекает не только их первобытный, с трудом поддающийся описанию внешний вид, но и поведение гребцов: поглощенные охотой на рыб, они ни на секунду не отрывают глаз от воды. Наш пароход для них как будто не существует. Мир зевак, глазеющих с паровой палубы, настолько им чужд, что они не удостоивают его даже мимолетным вниманием.

Чикинью вытянул шею, как цапля, и перегнулся за перила так, что чуть не потерял равновесия.

— Осторожно, Чикинью! — испуганно кричу. — Свалишься в воду!

— Не свалюсь... Я смотрю...

Внимание мальчика приковано не к индейцам, а к их лодкам.

— Что ты там высматриваешь? — спрашиваю.

— Разглядываю, что они поймали!..

Его интересует только это.

Пассажиры оживленно переговариваются, стараясь угадать, к какому племени принадлежат индейцы. Одни утверждают, что это племя текуна, а другие называют иные племена. А я думаю о том, какой слабый, поверхностный налет цивилизации оставило здесь четырехвековое господство белых. Уже сто лет по Амазонке ходят пароходы, а между тем как ненадежно и неустойчиво положение белого человека в лесах Амазонки! Нет, не пароходы, не нищие и редкие городки, прилепившиеся к отвоеванным у леса опушкам, — не они главенствуют в местном пейзаже. Основным фоном его остаются все та же непокоренная, капризная река, непроходимые болота, протянувшиеся на сотни километров, вездесущие и недоступные леса. И вот эти, почти нагие, индейцы, не желающие даже голову повернуть в нашу сторону! Звучит это парадоксально.

А Чикинью сердито бранится:

— Растяпы! Вороны! Корчат из себя великих индейцев, а ничего не сумели поймать. Растяпы!

Индейцы приплыли сюда по одному из тех рукавов Амазонки, которые тысячами уходят в глубь леса. Живут они, надо думать, на каком-нибудь глухом острове, куда еще не ступала нога цивилизованного человека. Бразильцы на

нашем пароходе, их соотечественники, кроме Чикиньо, смотрят на этих индейцев, как на пришельцев с того света. Невольно возникает вопрос: кто же здесь настоящий хозяин, кто здесь больше в своей стихии — индейцы, плывущие в каноэ, или цивилизованные бразильцы, глядящие на них с паровой палубы?

А Чикиньо, великий охотник Чикиньо, никак не может простить индейцам их неудачной ловли.

— Растяпы! — говорит он с презрением. — Ни одной рыбы еще не поймали! Будут теперь голодать, так им и надо!..

17. Драма на границе

Когда мы прибыли на бразильско-перуанскую границу, Чикиньо и его мать постиг тяжелый удар: выяснилось, что отца Чикиньо здесь не было. Он уехал, вернее сбежал, в Перу. Здесь я имел возможность познакомиться с дикими нравами, господствующими на далекой границе.

Отец Чикиньо, оказывается, повздорил с местным комиссаром полиции, который давно уже преследовал его. Месяц назад в пылу ссоры отец Чикиньо ранил противника. Поскольку его к этому вынудили обстоятельства, закон был на стороне стрелявшего и в обычных условиях ничто бы ему не угрожало. Однако пострадавший имел в Табатинге[89] всемогущего приятеля — комиссара, который поклялся отомстить за него. Поэтому отец Чикиньо счел благоразумным бежать из Бразилии. Он удрал в соседнее Перу, а своих местных друзей просил помочь его жене и сыну перебраться туда.

Разгневанный Чикиньо мечет громы и молнии на ненавистного комиссара из Табатинга:

— Я его убью! — грозит он.

— Как же ты его убьешь? — спрашиваю я.

— Зарежу бритвой!

— А где ты ее возьмешь?

— У меня уже есть. Я взял у тебя лезвие.

Я пользуюсь правом вето[90] и отбираю у него «смертоносное» оружие.

При создавшемся положении Чикиньо с матерью должны немедленно покинуть Бразилию. Но, увы, у них нет ни денег, чтобы продолжать путь, ни визы на въезд в Перу. В конце концов посвященные в их дела друзья принимают решение контрабандой провезти обоих дальше на том же пароходе «Белем». Ни капитан, ни экипаж не должны были знать об этом. Конечно, «тайна» обошлась в некоторую сумму денег. Расходы, связанные с проездом Чикиньо, я взял на себя, а за мать уплатили другие пассажиры. Наш план удался. По эту сторону границы, в Табатинге, и позже на перуанской стороне чиновники не особенно тщательно осматривали пароход.

Мы уже добрый час плывем по территории Перу. Чикиньо выбрался из укрытия и, повернувшись в сторону границы, потрясает кулачком:

— Я еще вернусь сюда. Я с ним расправлюсь!

У Чикиньо на уме комиссар из Табатинга. А я думаю о тропическом лесе. И здесь, в Перу, нас окружает все тот же лес, сплошной стеной тянущийся вот уже несколько тысяч километров, начиная от устья Амазонки. Нескончаемая, сплошная стена того же леса!.. Сознание с трудом постигает эти бесконечные

пространства, их безмерность начинает угнетать.

18. Эльдorado

Испанские конквистадоры, стремившиеся завладеть Америкой, отличались чудовищной, дьявольской жадностью, не имевшей границ. Жадность породила звериную жестокость и наглый авантюризм. И порой до смешного ничтожные горсточки авантюристов захватывали и истребляли целые государства. Днем испанцев снедала золотая лихорадка, а ночью в кошмарных снах им чудились несметные сокровища. Здесь не признавали ни веры, ни любви, ни геройства, ни честности. Все, что мешало добывать золото, здесь попросту не существовало.

Неисчислимы богатства Мексики и Перу стали добычей конквистадоров, но это нисколько не умерило их жажды наживы. Ведь это лишь небольшая часть Америки, а к востоку от Перу простираются огромные неизведанные земли, о богатстве которых ходили такие заманчивые, о Santa Madonna, слухи, такие заманчивые! Говорили, что где-то там, за Черной Рекой Маноа, находится страна короля Эльдorado, владеющего несметными сокровищами.

В 1539 году завоеватель Перу Франсиско Писарро назначил своего брата Гонсало губернатором провинции Кито (где, по слухам, протекала Черная Река), чтобы тот исследовал и захватил леса, простирающиеся к востоку от испанских владений.

После долгих приготовлений, длившихся целый год, Гонсало Писарро во главе трехсот сорока испанцев и четырех тысяч индейцев-носильщиков двинулся завоевывать эти неведомые земли. Пока путь пролегал через горные цепи Анд, испанцы чувствовали себя неплохо, но когда они спустились в низину, на них обрушились всевозможные напасти. Пришлось продираться сквозь непроходимую чащу, терпеть удушающую жару, спасаться от множества хищников, от нашествия комаров и всяких иных паразитов. Но это еще полбеды. Хуже было то, что горные индейцы, не привыкшие к климату тропиков, погибали как мухи от неизвестных болезней. Страшные дни сменялись не менее страшными ночами. Ночи хоть приносили с собой сладкие сны о золоте и золотых городах, маячащих впереди.

Чтобы облегчить свою участь, испанцы построили вместительный бриг, на который погрузили больных и все снаряжение, и отправили его по реке. Более здоровые шли налегке берегом. И все же они так устали и ослабели, что Писарро вынужден был сделать остановку и разбить лагерь. Проведав от окрестных индейцев, что несколько ниже, на реке Напо, расположены деревни, в которых есть запасы продовольствия, Писарро пустился на авантюру: он решил послать туда пятьдесят испанцев и наказал им захватить продовольствие и переправить его как можно быстрее в лагерь. Командовать отрядом он назначил Франсиско де Орельяну, честолюбивого офицера и любимца всего лагеря.

Можно себе представить, с каким нетерпением изголодавшиеся испанцы ждали возвращения брига! Но проходили дни, недели, люди умирали от истощения, а брига все не было. Наконец Писарро понял, что ждать Орельяну безнадежно, и принял отчаянное решение: двинуться с оставшимися в живых, вконец ослабевшими людьми в обратный путь. Но это оказалось выше их сил: в пути, кроме девяти человек, погибли все. Прошло шестнадцать месяцев с тех пор, как отважная экспедиция отправилась завоевывать страну золота, и

вот однажды пораженные жители Кито увидели на улицах своего города девять шатающихся фигур, похожих на страшные призраки. Это был Гонсало и восемь его товарищей.

Что же случилось с Франсиско де Орельяной? Он тоже погиб? Ничуть не бывало. Долго плыл он вниз по реке, гораздо дольше, чем предполагалось по рассказам индейцев, и, наконец, добрался до деревень. Индейцы приняли его очень дружелюбно и снабдили солидным запасом продовольствия. Но тут возникло непредвиденное препятствие. Тяжело нагруженный бриг не мог плыть против быстрого течения, а нести такой груз на плечах было не под силу. Тогда у Орельяны возникла дерзкая мысль: плыть дальше, уже на свой риск и страх. Его товарищи охотно согласились с этой затеей. Всех их манили настойчивые слухи о находящейся неподалеку большой реке, на берегах которой раскинулась сказочная страна Маноа.

Так начался один из самых дерзких походов, какие когда-либо знало человечество. Продвигаясь вдоль реки, Орельяна не имел понятия, где находятся владения золотого короля и много ли у него войска. Смельчаков со всех сторон обступали огромные враждебные леса, судьба их зависела от таинственной реки, реки, которая приводила в ужас индейцев, реки, о которой путники ровным счетом ничего не знали... Куда текут ее воды: в Китай, в Индию или на конец света?

Происшествия и опасные приключения дерзкого похода, предпринятого в пылу золотой лихорадки, впоследствии стали известны благодаря отцу Гаспару де Карваль, духовнику экспедиции, записавшему все подробности похода. 12 февраля 1542 года обе бригадины пришли к устью реки Напо[91] (обе, потому что Орельяна с помощью местных индейцев построил еще одно судно, поменьше), и тут глазам пораженных испанцев предстала могучая река. Противоположный берег ее виднелся на горизонте в виде тонкой голубой полоски.

Это была Амазонка. Впервые белые люди, спустившиеся с Анд в низовья, увидели ее здесь, на западе.

— *Mar dulce* — сладкое море! — вырвалось из уст потрясенных испанцев восклицание, как нельзя лучше выразившее их первое впечатление.

Теперь возбужденные путешественники нисколько не сомневались, что находятся на верном пути, напрямик ведущем к несметным сокровищам золотого короля. Дружески настроенные индейцы омагуа подтверждали, что если плыть вниз по большой реке, то можно добраться до народа маноа (не города Маноа, как до сих пор полагали, а народа), живущего в устье Черной Реки.

По мере продвижения вперед напряжение испанцев все возрастало. Через несколько недель захваченные в плен индейцы подтвердили, что устье Черной Реки уже недалеко.

И вот настал день, когда сердца испанцев бурно забились: их взорам открылось широкое водное пространство. В Амазонку впадала река, лишь немногим уступавшая той, по которой они до сих пор плыли. Уже издали заметно было, как черные струи ее вливались в желтые воды Амазонки.

— Риу-Негру! — Черная Река! — взволнованно шептали испанцы, убедившись, что наконец-то они стоят у порога царства золотого короля.

Преодолев крутые водовороты, образовавшиеся при слиянии обеих рек,

бригантины медленно плыли по Риу-Негру против течения. Спустя три часа испанцы увидели на левом, более высоком берегу реки людную деревню.

Когда бригантины подплыли ближе, от берега отчалило множество лодок и около тысячи воинов напали на них. Испанцы дали залп из мушкетов, зная по опыту, что выстрелы всегда обращали туземцев в бегство. Но на сей раз этого не случилось. Ярость индейцев была сильнее страха, и они не намерены были отступить.

На помощь им с противоположного берега двинулась новая флотилия, напавшая на испанцев сзади. Зажатые со всех сторон, испанцы сражались как львы; они яростно уничтожали карабкавшихся на борта бригантин туземцев, устилая их трупами реку. Черная вода покраснела от потоков крови нападающих. Стрелы и копья индейцев казались жалкими игрушками, бессильными против железных панцирей, которыми были защищены конквистадоры, и тем не менее почти все испанцы вскоре оказались ранеными. А вражеские лодки — целые тучи лодок! — всё прибывали и прибывали. Орельяна понял, что против этих остервенелых полчищ ему не устоять. Единственным спасением было поспешное бегство. С трудом очистив борта бригантин от наседавших индейцев, испанцы в панике повернули назад. Еще несколько миль индейцы преследовали бригантины и отстали только тогда, когда суда вошли в Амазонку.

Попытка достигнуть Эльдorado окончилась поражением. Не могло быть и речи о том, чтобы пробиваться дальше, вверх по Риу-Негру. Беспремерная храбрость индейцев племени маноя окончательно убедила Орельяну, что сокровища золотого короля существуют: разве стали бы индейцы так упорно драться, если б им не надо было защищать эти сокровища? Орельяна понимал, что сейчас игра проиграна, но твердо решил: он еще вернется сюда с более многочисленным отрядом. С этим непреклонным намерением он продолжал свой путь вниз по Амазонке, где путникам встречались преимущественно дружелюбно настроенные индейские племена.

Атлантический океан был еще далеко, но уже чувствовались его приливы и отливы. Изумленные испанцы стали замечать, что на протяжении суток уровень воды в реке регулярно то поднимался, то падал. Они сообразили, что сказывалось влияние моря. Их догадку подтверждали и встречавшиеся индейцы. Поэтому, когда у устья реки Тапауа путники увидели перед собой огромное водное пространство, тянувшееся до самого горизонта, они решили, что это и есть долгожданный океан. Но, увы! До океана оставалось еще не менее тысячи километров.

Испанцы выбивались из сил. Много месяцев они провели в этом аду. Днем и ночью их окружали враждебные, полные опасностей леса. Могучая река, которой, казалось, конца не было, подавляла их. Утратив после поражения на Черной Реке всякую надежду захватить золото, из-за которого они проделали такой мучительный путь, измученные, истерзанные авантюристы были близки к сумасшествию.

26 августа 1542 года после десятимесячных мытарств и блужданий в неведомых водах они добрались, наконец, до океана. Величайшая в мире река выдала свои тайны белым людям. Что всего удивительнее — она выпустила дерзких смельчаков живыми из своих цепких когтей. Только восемь испанцев из пятидесяти погибли.

Первооткрывателям Амазонки сопутствовала редкая удача, но главный секрет успеха заключался в их безмерной храбрости и удивительной жизнеспособности.

Спустя несколько недель бригантины добрались до испанских островов в Карибском море. Отсюда Орельяна направился в Испанию и подал королю рапорт. Ответом на него было королевское разрешение организовать новую экспедицию, которая должна была обогатить испанскую корону, присоединив к ней Амазонку вместе со всеми сокровищами страны Маноа. Теперь, после того, как Орельяна открыл Амазонку и добрался до устья Риу-Негру, существование Эльдorado уже не вызывало никаких сомнений, и охотников отправиться туда оказалось более чем достаточно. Три года готовился Орельяна к новому походу и, наконец, преодолев различные, в том числе и финансовые трудности, которые воздвигали на его пути завистники и интриганы, двинулся со своей флотилией в путь.

И вот в один прекрасный день три больших судна появились в устье Амазонки. Орельяна велел построить на берегу хорошо укрепленный лагерь и оставил в нем большинство своих людей. Сам же во главе ста человек, которых он разместил на двух баржах, поплыл вверх по реке на разведку.

С той поры он пропал — как камень, упавший в воду. Тропический лес Амазонки поглотил его и обе баржи со всем экипажем. О пропавших больше никто не слышал. Неужели лес отомстил смельчакам, открывшим тайну их реки?

Испанцы, оставшиеся в лагере у устья Амазонки, прождали безрезультатно несколько месяцев и двинулись в обратный путь. Они покинули негостеприимную землю Южной Америки, уступив поле деятельности другим авантюристам и другим нациям.

Миф о золотых сокровищах на Риу-Негру оказался сплошным обманом и лопнул, как мыльный пузырь. Орельяна и его товарищи погибли в погоне за призраком. Но чем бы ни были движимы эти люди, важен факт, что благодаря своей беспредельной храбрости и героизму, достойным великанов, они открыли величайшую в мире реку.

19. Попугаи и муравьи в Икитосе

В одно прекрасное утро мы подошли к устью реки Напо, к тому самому месту, где Орельяна и его товарищи впервые увидели Амазонку, а два дня спустя мы прибыли в Икитос. Путешествие из Манауса в Икитос продолжалось месяц.

Сойдя на берег, я отправился в гостиницу. Вдруг над моей головой вдоль улицы пролетела стая орущих попугаев.

— Это, верно, ручные попугаи?! — воскликнул я радостно, обращаясь к моему носильщику, очень красивому бронзовому метису.

Паренек посмотрел на меня, как на сумасшедшего, но ответил очень вежливо:

— Нет, это дикие попугаи.

— Как же они осмеливаются так нагло летать над городом? И откуда они?

— Из леса.

— А куда летят?

— В лес.

Из одного леса в другой — самым коротким путем — через город.

За такие наивные вопросы мне пришлось уплатить носильщику в три раза больше обычного, но зато я в самом начале сделал для себя важное открытие: лесные попугаи, обычно очень пугливые, не испытывают никакого почтительного страха перед Икитосом, столицей перуанского департамента Лорето.

По пути к гостинице нам пришлось остановиться на несколько минут на главной улице. Я поставил свой чемодан на тротуар, а когда через минуту поднял его, по нему бегало несколько десятков юрких муравьев. Великолепные экземпляры солдат, самый настоящий авангард! Мое сердце естествоиспытателя радостно забило и преисполнилось уважением к огромным челюстям, которыми вооружены эти вояки.

— Черт побери! — вырвалось у меня невольно, когда несколько этих молодчиков заползли мне на руки и ноги и не на шутку принялись за меня.

— Это куруинчи! — с олимпийским спокойствием объясняет носильщик и идет дальше: на такие мелочи не стоит обращать внимания!

Итак, в первые же десять минут я имел возможность познакомиться и со второй особенностью Икитоса — муравьями.

О южноамериканских тропических лесах говорят, что там под каждым цветком сидит по крайней мере одно насекомое, а под каждым листом муравей. В Икитосе природа, оказывается, еще щедрее: на каждого жителя приходится по меньшей мере сто тысяч муравьев. Они буквально всюду: в центре города и на окраинах, в домах деревянных и каменных, в столах и шкафах, в сундуках и кроватях. Они не питают почтения даже к верховным властям и забираются, — о наглецы! — в дом самого префекта департамента Лорето.

Когда я пишу эти строки, три пронырливых муравья появляются на листке бумаги и бегут напрямик. Но я пригвоздил их ногтем к бумаге и решил послать в Польшу в виде сувенира. В это мгновение какой-то их собрат больно кусает меня в ногу. А, чтоб вас!..

Икитосские муравьи — самые наглые воры из всех существующих. По наглости и жадности они перещеголяли даже своих сородичей с парохода «Белем». Они забираются повсюду, воруют хлеб из-под рук, припасы из кладовки.

У моих знакомых неделю назад они зернышко по зернышку перетаскали за одну ночь целый мешок кукурузы, и все эти трофеи припрятали в своих подземных муравейниках и катакомбах, которыми подкопан весь город.

Мое болезненное знакомство с икитосскими муравьями не ограничилось первым днем приезда. Однажды среди ночи мне пришлось сорваться с моей походной кровати с быстротой серны и с легкостью балерины, спасаясь от нашествия небольших, но необычайно воинственных муравьев. Это были какие-то новые, неизвестные мне злюки. Покружив четверть часа в необычном возбуждении по полу и по стенам моей комнаты, они исчезли в щелях — к счастью, навсегда.

Икитос считается самой здоровой местностью на всем побережье Амазонки. Здесь не бывает ни тифов, ни холеры, ни других напастей. Миллионы муравьев поедают все отбросы и очищают город наравне с урубубу, которых городские власти признали санитарями города. Муравьи этой чести еще не удостоились, но кто знает, не благодаря ли им Икитос так великолепно очищен и избавлен от всякой заразы?

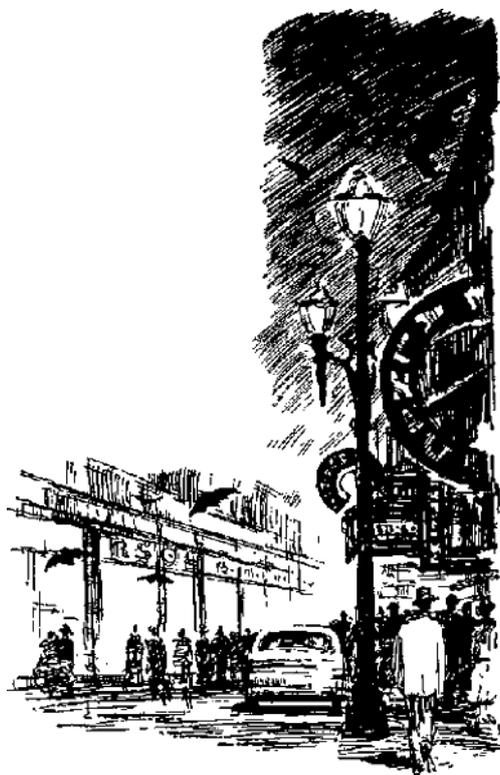
20. Экзотика в каменном доме

Икитос, как и все города Перу, имеет свою Plaza de Armas, обширную площадь и парк в самом сердце города. На этой площади растут чудесные пальмы и громадные аноновые деревья. Вокруг площади проложена мостовая, единственная добротная мостовая во всем городе.

По этой мостовой снуют вокруг площади два с лишним десятка автомобилей — все достояние города. Раздраженные этим колибри, птички, похожие на горящие под лучами солнца драгоценные камни, несутся наперегонки с автомобилями и, разумеется, побеждают в этом соревновании, после чего с веселым характерным писком, выражающим удовольствие, возвращаются в лес. Вечером на площади зажигаются дуговые лампы (в Икитосе есть электричество), и в свете их безмолвно, как духи, проносятся среди прохожих и автомобилей большие, как ястребы, летучие мыши. «Пакарды», вампиры,[92] колибри и электричество уживаются здесь в полном согласии.

Я живу в каменном доме (здесь это большая редкость) у очень милых людей, моих соотечественников Викторových. Однажды в углу моей комнаты я обнаружил какой-то странный, слепленный из опилок шириной в два пальца канал, ведущий от пола к потолку. Внутри этого канала слышен был какой-то таинственный шорох и приглушенный треск. Просверлив дырочку в оболочке, я обнаружил, что канал кишмя кишит термитами. У меня буквально волосы встали дыбом: ведь в этой комнате находятся все мои коллекции — идеальная пища для термитов. Я бью тревогу, но мои хозяева успокаивают меня, уверяя, что термиты находятся в их доме больше года и до сих пор ничего не тронули. Под крышей они устроили себе громадное гнездо, а по этому каналу путешествуют в город. Там они занимаются грабежом, но имущества своих ближайших соседей не трогают.

И вот я живу бок о бок с этими опасными насекомыми. Всю ночь слышатся беспокойные шорохи, а утром я со страхом поглядываю на свой багаж — цел ли он? Цел. Все же, несмотря на благодушное настроение, иногда у меня такое чувство, будто я сплю на бочке с динамитом либо живу на кратере вулкана. Мне кажется, что достаточно малейшей случайности, и сто тысяч термитов



ворвутся ночью в мою комнату и пожрут все мое достояние. Ложась спать, я мысленно обращаюсь к термитному божку, восседающему где-то надо мной в канале и ведающему путями этих разбойников: я молю его пощадить меня и не выкидывать никаких фокусов.

Мы с Чикиньо встречаемся ежедневно. Он со своей матерью живет у знакомых в предместье Икитоса. Встретившись, мы рассказываем друг другу обо всем случившемся с нами в течение суток. Мы хвастаемся друг перед другом знакомством с новыми, все более интересными явлениями.

— Я видел сегодня колибри, — хвалится Чикиньо, — красного-красного, как стручок перца.

— Фи, — оттопыривая губу, говорю я. — У меня в доме живут миллионы живых, ручных термитов.

Чикиньо даже подпрыгнул.

— Не может быть!..

— Приходи ко мне, увидишь.

Чикиньо пришел, посмотрел, убедился. От удивления он широко разевает ротик и шепчет:

— Белые муравьи.

Объясняю ему, что это не белые муравьи, а термиты. Правда, термиты и муравьи похожи; у них одинаковый «общественный строй», и у тех, и у других есть королевы, работники и солдаты, но все же они принадлежат к различным отрядам насекомых.[93] Собственно, Чикиньо этим мало интересуется, зато когда я веду его на чердак и показываю термитное гнездо — солидную гору из твердой, как кирпич, земли — у него дух захватывает.

— Знаешь, — бормочет пораженный малыш, — пожалуй, это самое большое чудо!

Самое большое? Чикиньо, но ведь мы еще не были в лесу...

21. Город с единственным выходом

Сто лет назад в том месте, где река Итая[94] впадает в Амазонку, в глухой чаще высились шалаши индейского лагеря икитов. Около 1860 года здесь появились иезуиты и принялись обращать индейцев в христианскую веру. Позже сюда прибыли несколько белых молодчиков и стали рьяно уничтожать язычников и селиться в их шалашах. Так возникло селение, названное по имени истребленных индейцев — Икитос.

Благодаря своему прекрасному местоположению на берегу Амазонки и расстоянию лишь одного дня пути от устья реки Укаяли Икитос быстро разросся. Годы 1904–1914, когда всех захватила каучуковая горячка и цены на каучук невероятно подскочили, для Икитоса были годами расцвета и обогащения. А затем, вместе со своим бразильским товарищем по счастью и несчастью — городом Манаус, Икитос стал хиреть.

Но и сейчас, хотя над Икитосом так же, как и во времена несчастных индейцев, бесцеремонно проносятся стаи диких попугаев, не следует пренебрежительно относиться к нему. Теперь Икитос имеет немаловажное экономическое значение. Это единственный пункт вывоза продукции, вырабатываемой во всем восточном Перу, так называемой Монтанье, с его огромными пространствами богатых лесов, площадь которых значительно превышает всю территорию Польши. В смысле политическом Икитос играет роль перуанского бастиона, противостоящего трем алчным соседям: Колумбии, Бразилии и Эквадору.

Европейцу кажется невероятным, что оживленный город с двадцатитысячным населением, столица обширного департамента, не имеет никаких сухопутных дорог, которые соединяли бы город с центром страны. Если вы попытаетесь проникнуть в лес, сплошной стеной обступивший город, то, пройдя несколько шагов, наткнетесь на непреодолимые препятствия. Тропинка обрывается, и человек не в состоянии сделать ни шагу дальше. В глубине леса его неминуемо ждет голодная смерть в непроходимой чаще или трясине, а во время дождей в лесной топи.

Икитос — это порт; первоклассный морской порт, несмотря на то, что он отстоит от Атлантического океана на четыре тысячи шестьсот километров. Перед мировым кризисом 1930 года по Амазонке регулярно ходили большие, трансатлантические пароходы.

Когда полиция разыскивает в Икитосе преступника (что, кстати, редко бывает), она устраивает засаду лишь в порту, зная, что только этим путем может уйти преследуемый. Бегство в лес в большинстве случаев равносильно самоубийству.

Вся жизнь зависит здесь от реки. Через Амазонку приходят сюда вести из другого мира, Амазонка кормит людей, обеспечивает их существование. Когда я говорил, что Икитос располагает территорией гораздо большей, нежели Польша, то я имел в виду водные пути. Только реки, большие и малые, являются жизненными артериями Монтаньи, и только на берегах рек живет более или менее цивилизованное население. Все остальное пространство между реками заполняют хищнически, грабительски эксплуатируемые леса.

22. Хищники Малекона

В Икитосе, на высоком берегу Амазонки, который называется Малеконем, построены иностранные торговые дома. Дома эти небольшие — одноэтажные, всего их десятка полтора, но именно эти дома господствуют над рекой. Здесь представлены Англия, Франция, Бельгия, Испания, Соединенные Штаты, Германия. Торгуют тут всем: ввозят всякую заваль и политические интриги, вывозят золото, красное дерево, хлопок и кокаин.[95] Малекон — это международный капитал, это международная дипломатия, это так называемые сливки общества; это угрожающие ноты, ультиматумы, пушки. Если английский консул скажет «нет», суда «Эмзон Ривер Компани» перестанут курсировать по Амазонке, и что тогда будет с Икитосом, отрезанным от всего мира.

К Малекону прилегает центр города. На шумных перекрестках улиц расположились китайские и японские лавки. Немногочисленная группа белых туземцев с гордостью именуется себя подлинными перуанцами. В нее входят: небольшое количество трудовой интеллигенции, большее — бездельников, живущих, как птицы небесные, а также множество чиновников всевозможных и невозможных учреждений. Люди здесь очень вежливы, обходительны, с хорошими манерами и преимущественно красивы. Когда в воскресенье, после богослужения они выходят из кафедрального собора — сколько же там красивых женщин и привлекательных мужчин!

Увы, когда я познакомился ближе с местными условиями, я обнаружил грустный факт: перуанцы не хозяева своей страны, а лишь ее привратники. Они открывают двери и впускают чужой капитал. За это они получают чаевые и в погоне за ними яростно пожирают друг друга. Представители чужеземного капитала вывозят из страны всевозможные богатства, а хозяевам швыряют объедки.

Десять десятых населения Икитоса — потомки смешанных браков белых и индейцев (с преобладанием индейской крови). Их зовут здесь чоло. Они физически хорошо развиты — прекрасная мускулатура, широкие плечи и кожа чудесного каштанового цвета, но в умственном отношении они очень отстали. Так же как и большинство индейцев и метисов, живущих в бассейне Амазонки, они неграмотны или полуграмотны, они совершенно безвольны, инертны, живут беззаботно, не думая о завтрашнем дне.

Конечно, в этом моральном убожестве повинны не чоло. Они лишь жертвы царящей здесь колониальной системы. Белые перуанцы, особенно жители столицы Лимы, смотрят на Икитос, который находится где-то на далекой окраине в отвратительной пуще, — куда по доброй воле никто не отправляется, как на богом проклятое место, и живут здесь как в изгнании. Зато для иностранного капитала это великолепная кормушка, объект беспощадной эксплуатации. Ненависть одних и алчность тех и других держат народ в тисках, темноте и невежестве. У него нет даже тени надежды на лучший завтрашний день.

В белом доме префектуры в Малеконе в обширном зале восседает привлекательный пожилой человек с мужественным лицом и живыми глазами. Это дон Оскар Мавила, префект Монтаньи и начальник вооруженных сил в этом районе страны. Образованный и культурный, он на свой лад любит родину и хотел бы видеть ее счастливой и богатой. Он — «великий привратник» — сла-

живает конфликты с представителями иностранного капитала и после очередной схватки с ненасытным Малеконном предается приятным мечтам, как бы найти выход из создавшегося положения — расшевелить чоло и оживить Монтанью. Увы, он не находит иного выхода, как получить за границей новый кредит и впустить в страну новых грабителей. «Может, найдется хоть один честный банкир, который не потребует разорительных процентов?» — думает этот наивный мечтатель, Дон-Кихот в заколдованном кругу.

Икитос расположен почти у экватора и славится своей невыносимой жарой.[96] Только по вечерам воздух охлаждается, становится легче дышать. Я иду на берег Амазонки, поворачиваюсь спиной ко всем торговым домам, к консулам и метисам. Смотрю на Амазонку, люблюсь резвящимися в ней дельфинами — красивыми созданиями — и все больше поддаюсь обаянию этой реки, над которой веет сейчас свежая вечерняя прохлада, напоенная ароматами далеких орхидей.

23. Свежая партия человеческих головок

Я приобрел хорошего знакомого в Икитосе. Это был некий Мигель Перейра, первый франт в городе, беззаботный, как птица, кабальеро. Он нигде не работал, но зарабатывал неплохо.

Однажды утром, когда я сидел в кафе за завтраком, дон Мигель подошел ко мне и, весело поздоровавшись, сказал:

— Вы естествоиспытатель, не правда ли?

— К вашим услугам.

— Вас интересуют индейские изделия?

— Очень!

— Тогда подождите меня здесь.

Он убежал и спустя четверть часа вернулся с узелком в руках. Таинственно улыбаясь, он стал развязывать узелок, озираясь по сторонам и стараясь скрыть от соседей его содержимое. Наконец он извлек оттуда — что бы вы думали? Бальзамированную человеческую голову. Голова была маленькая — величиной в два кулака, хотя, судя по черным пышным буклям, это была голова взрослого индейца.

— Ну, как? Неплохие мастера эти хибари? — довольным тоном вопрошает дон Мигель, видя, что я внимательно присматриваюсь к ней.

Об этих удивительных головках я слышал уже не раз, но до сих пор мне еще не удалось увидеть их. Рот и глаза у этих головок прошиты тонкими пальмовыми волокнами, — делается это для того, чтобы «душа убитого не отомстила победителю», — а в остальном на них не заметно никаких изменений. Лица кажутся живыми, только уменьшены примерно в три раза. Выражение трогательной печали усиливает это ощущение жизни в лице. Кто был этот индеец, как он погиб?

— Этот индеец из племени, живущего по соседству с хибарами, — сообщает тут же Перейра. — Хибари и их соседи уже давно хотели помириться и прекратить вражду, но мы этого не допускаем... Никто не умеет так красиво выделывать эти головки, как хибари, ну, а для этого необходим свежий материал, — цинично хохочет Перейра. — В мире большой спрос на этот товар. Мы не поспеваем его удовлетворять... Хибарам некогда передохнуть...

Хибари принадлежат к самым диким индейским племенам, которые до сих



пор не поддаются никаким попыткам «цивилизировать» их. В труднодоступных дебрях между тремя северными притоками Амазонки — Сантьяго, Пастасой и Мороной[97] — они и поныне живут той жизнью, какой жили четыреста лет назад, когда их впервые обнаружили испанцы.

Они препарируют головы тотчас же после убийства жертвы. Добытые трофеи привешивают за волосы вокруг пояса.

— Прошу прощения, уточним: привешивали, — поправляет Перейра, — теперь уже этого не делают, ибо головки получили другое назначение: они теперь отправляются путешествовать в большой мир...

Да, я сам убедился в этом. В Пара мне предлагали несколько таких экспонатов по триста долларов за штуку.

— Почему они такие дорогие? — удивился я. — Разве вы много платите хибарам?

— Нет, конечно. Хибари получают гроши, но агенты, занимающиеся этим делом, подвергаются опасности. Они-то и вздули цены.

— А хибарам выгодна такая работа? Ведь за эти гроши, как вы говорите, им, прежде чем добыть трофейные головы, приходится воевать.

— Ну, тут уж наша забота, мы им помогаем. Делается это очень просто. Время от времени мы науськиваем соседей, уговаривая их отомстить хибарам за все нанесенные ими обиды, и волей-неволей хибарам приходится драться и... добывать для нас головы. И добывают, ибо мы даем им немножко больше оружия, нежели их соседям...

Я слушал этот кошмар, и мне становилось страшно. Препарированными человеческими головами забавляется свет, это лишь забавные экспонаты, необычная игрушка, развлекающая пресыщенных снобов, скупающих в салонах далеких городов. Так вот в чем секрет спроса на эти головы! Чтобы угодить чьим-то извращенным вкусам, здесь, над притоками Амазонки, лесные жители вынуждены уничтожать друг друга. Нечего сказать, славная миссия цивилизации!

— А кто больше всего скупает эти головки? — спрашиваю у Перейры.

— Американцы.

— Американцы?

— Да, сеньор! Чикагский музей платит самые высокие цены. Здесь, в Икитосе, у них есть свой представитель, доктор Бесслер.

— А скажите, там, в Америке, знают, каким страшным способом добывают эти препараты?

— Что за вопрос!

— Знают или не знают? — настаиваю я.

— Разумеется, знают. Никакой тайны тут нет. Собственно, сеньор сам может спросить об этом доктора Бесслера.

Оказывается, мой знакомый Перейра — главный поставщик головок во всем Икитосе. Однажды утром он пригласил меня к себе, чтобы показать свой товар, «свежую партию», как он выразился. В потайном углу комнаты стоял сундук. Перейра открыл его, и я увидел более двух десятков головок, установленных рядами на его дне. Густые черные кудри заполнили сундук почти до половины.

При виде этой чудовищной коллекции у меня помутилось в голове. Не надо было особого воображения, чтобы представить себе, сколько человеческого горя и страданий заключено в этом сундуке. А дон Мигель любовно поглядывал на головки, как бы лаская их своим взором, и восхищение, которое я читал в его глазах, усиливало мой ужас.

На одной головке волосы были покороче; внимательно взглядевшись, я заметил, что и цвет кожи у нее светлее других. По-видимому, это был не индеец.

— Сеньор удивлен, да? — спрашивает развеселившийся хозяин.

— Кто это?

— Это Мартине, один из моих агентов, — отвечает Мигель. — Вероятно, не поладил с хибарами — возможно, слишком ретиво требовал головок. И когда он возвращался обратно по реке Пастаса, они его подстерегли и уколошили. А затем его голову продали вместе с другими...

— И что же, американцы купят и эту головку?

— Конечно, купят, почему бы нет? Головка, как и все прочие. К тому же, немалая сенсация... Пожалуй, еще дороже заплатят...

24. Сто бабочек ежедневно!

У маленького Чикиньо и его матери дела очень плохи. Из Икитоса отец Чикиньо убежал. Одно время он был здесь, но мстительная рука всесильного комиссара из Табатинги и тут нашла его. Беднягу хотели арестовать и выдать бразильским властям как уголовного преступника. Не имея другого выхода, он скрылся в лесной чаще. По слухам, он отправился далеко на юг, к притоку Укаяли — Урубамбе, и там пристал к партии сборщиков каучука. Попав в такой сложный переплет, он вынужден был бросить семью на милость судьбы и знакомых.

— Что нам делать? — спрашивает у меня подавленная мать Чикиньо.

Я и сам не знал. Что можно посоветовать, когда человек находится в таком положении? Спустя два дня она снова пришла ко мне с предложением прихватить с собой мальчика в качестве помощника до Кумарии,[98] куда я направился. В Кумарии мальчик будет ближе к отцу и легче выпутается из беды. Я согласился взять мальчика с собой.

Когда Чикиньо узнал об этом, он явился ко мне взволнованный и, протягивая руку, торжественно произнес:

— Спасибо тебе. Ты мой настоящий друг и покровитель. Я буду тебе ежедневно приносить сто бабочек.

— Ежедневно? Ну, ну! А если пойдет дождь?

— В дождливые дни двадцать пять бабочек! — заявил он веско, нисколько не смущаясь.

В конце января мы оба сели на пароходик «Синчи Рока». На второй день пути вошли в устье Укаяли и направились вверх по реке.

25. «Синчи Рока»

«Синчи Рока» — речной пароход водоизмещением в сорок восемь тонн. Каждые полтора месяца он отправляется из Икитоса вверх по Амазонке, а затем по Укаяли почти к ее истокам и обратно. Это маленькая, но крепкая посудина. Все, что необходимо жителям, обитающим на этом кусочке земного шара, протяжением в две тысячи километров, она доставляет исправно. А нужно многое: сукно, соль, керосин, орудия производства и сведения о давно отшумевших революциях.

Владелец этого парохода и капитан — некто Ларсен, норвежец из Осло, вот уже тридцать лет бороздит реки Монтании. В водоворотах Укаяли он потерял все свое достояние и даже семью. «Синчи Рока» — вот все, что у него осталось. О себе он говорит, что умрет жалкой смертью, то есть естественной. Регулярно, раз в полтора месяца он пристает к берегу у каждого шалаша, диктует цены, продает, покупает, сдирая по три шкуры, а в промежутках между этими занятиями толкует о метафизике. Однажды я зашел к нему в каюту; он сидел, углубившись в чтение «Эдды»[99] на древнем языке после недавнего ожесточенного торга с каким-то метисом.

Нашу ланчию — так называют на Амазонке маленькие суда — ведут два штурмана из Пунханы. Пунхана — это деревушка вблизи Икитоса, в которой живут исключительно штурманы, выходцы из самых различных индейских племен. Они изучили капризы здешних рек лучше, нежели капризы собственных жен, и — как утверждает молва — способны жить вместе с рыбами в воде.

У одного из наших штурманов, веселого толстяка со сплюснутым лбом (некоторые индейские племена деформируют детям черепа), живописный фотогеничный вид инкского раба; у второго, худого и мрачного, такой вид, как будто он замышляет какое-то злодейство, но это только кажется. Его сердитые глаза в самые темные ночи прекрасно нащупывали дорогу среди пней и водоворотов, предательски подстерегающих корабли.

На «Синчи Рока» две палубы — верхняя и нижняя. На верхней палубе находится рулевое управление и каюты первого класса. Пассажиры — белые, креолы, люди со смуглой кожей и обостренным честолюбием — ходят в нарядной обуви. На нижней палубе помещаются машинное отделение и третий класс, пассажиры — индейцы, чоло, бедные метисы — ходят тут босиком.

Нет сомнения, что индейцев бассейна Амазонки можно отнести к наиболее отсталым народам. Некоторые исследователи склонны видеть в этом особенность низшей расы — краснокожих, но это, разумеется, вздор. Английский естествоиспытатель Х. В. Бейтс усматривает основную причину отсталости местных индейцев во вредном климате бассейна Амазонки. Он утверждает, что здешние индейцы монгольского происхождения и перекочевали сюда сравнительно недавно из стран с умеренным и здоровым климатом. До сих пор они не могут привыкнуть к тяжелым климатическим условиям этих мест. Пожалуй, это не лишено основания.

Но главная причина, мне кажется, это страшный гнет белых, который в течение нескольких веков душит этих несчастных. Вот что притупило разум индейцев и породило в них непреодолимое отвращение ко всему, что исходит от завоевателей и называется их цивилизацией.

26. На границе двух миров

Вдоль реки Укаяли, так же как и Амазонки, тянется бесконечный лес. На правом, на левом берегу — куда ни глянь, всюду лес! Невероятное, поразительное буйство растительности, невольно вызывающее вопрос: а нет ли в этом безудержном разгуле лесной стихии какого-нибудь скрытого смысла? Может быть, лесной покров, наброшенный на речные берега, прикрывает какую-то неведомую тайну природы? Наивные домыслы, что и говорить, однако трудно отмахнуться от них, когда видишь такую распоясавшуюся лесную оргию.

Сейчас, в феврале месяце, уровень реки поднялся выше нормального на семь метров. Пройдет немного времени, и паводок достигнет самого высокого уровня — десяти метров. Но уже и теперь большие пространства леса залиты водой. Повсюду из воды торчат островки суши. Некоторые из них имеют всего несколько десятков шагов в диаметре, другие несколько сот. На этих лесных островках в сырых, продуваемых ветрами, сплетенных из бамбука хижинах, отрезанный от всего мира, окруженный небом, лесом и водой, живет заброшенный лесной человек.



Троекратно прогудела сирена «Синчи Рока», извещая леса о своем прибытии. Торжественная минута, которую житель хижины с нетерпением поджидал целый месяц! С парохода перебрасывают на берег узкую доску. Человек шатающейся походкой поднимается на палубу. Истощенный, ободранный, со смущенной и жалкой улыбкой на лице, он все же пытается держаться независимо. Если это белый и бывший городской житель, «Синчи Рока» смутно напоминает ему лучшие времена. Если он метис или индеец, «Синчи Рока» для него — мир ошеломляющих мечтаний. Но и белым и индейцам роскошь парохода не сулит ничего хорошего.

На ланчию человек всегда приходит с надеждой, что за мешок принесенной им фасоли он получит равноценный товар: керосин, мыло, материю. (По-

лучить деньги никто не надеется.) Действительно, капитан Ларсен даст все, чего только пожелает лесной житель, но в два раза меньше, чем ему следует. Ибо Ларсен — богатый человек, которому не терпится разбогатеть еще больше, и у него есть пароход, а лесной житель — больной бедняк, и парохода у него нет. Все, что он имеет, — это маленькое каноэ, а ведь на нем до Икитоса не доберешься; до Икитоса пятьсот, а то и тысяча километров!

Ограбив несчастного, «Синчи Рока» дает два гудка, на палубу втаскивают доску, и пароход отчаливает. Еще минуту назад житель побережья и его маленькое поле находились в орбите интересов большого мира, принадлежали этому миру, подчинялись его порядкам. Сейчас, когда трап убран, эта связь оборвалась; снова человек принадлежит только лесу. Тяжелой походкой он возвращается к своему шалашу, к своему повседневному образу жизни, убогому, беспросветному, безрадостному.

На берегах реки Укаяли раскинулось несколько местечек, влачащих жалкое существование, — Рекена, Орельяна, Контамана, Масисеа. Но очень сомнительно, найдется ли на всем этом пространстве, длиной в две тысячи километров, такое же количество жителей, приобщенных к цивилизации. Для них «Синчи Рока» везет четырнадцать писем и три — буквально три! — газеты: одну в Контаману, вторую в Масисеа и третью для врача Здзислава Шимоньского, который живет в Кумарии в польской колонии, впоследствии ликвидированной. Остальные жители, по-видимому, ничего не читают и не желают ничего знать о внешнем мире.



Впрочем, не все. Однажды на какой-то пристани явился к нам человечешка в заштопанной, но чистой рубаше и штанах. По темной коже лица трудно было определить, к какой расе он принадлежит: солнце и местный климат всех нивелируют. Выясняется, что он испанец. На Укаяли прожил сорок лет. Узнав, что я прибыл сюда прямо из Европы, он подошел ко мне и после долгих извинений и церемоний спросил, носят ли еще в Европе цилиндры и в каких именно случаях.

— Ах, Dios, — вздыхает он, — как бы я был счастлив надеть еще хоть разок цилиндр!..

«Синчи Рока» плывет дальше. Все удивительно в этой стране, поражающей богатством своей природы. Здесь попадаются деревья таких гигантских размеров, что каждое из них могло бы осенить своей тенью половину немаленькой деревни. Здесь растут пальмы с листьями в полтора десятка метров каждый. Воздух сотрясают крики бесчисленных пернатых. Летящие стаями арары с ярко-красным оперением снизу и сверкающей лазурью сверху представляют незабываемое зрелище. С глинистого берега сползают в реку кайманы, из воды выскакивают рыбы-чудища, а в лесу роятся миллионы удивительных насекомых. Здесь, невдалеке от подножья Кордильер, природа еще богаче, чем в устье Амазонки. Все вокруг буйно цветет, размножается и жаждет жизни, жизни!

Только человеку здесь плохо. Он страдает от всевозможных тропических болезней и прежде всего от анемии. На его истощенном лице лежит печать вечной грусти. Паразиты пожирают внутренности человека. Здесь водятся глисты и микробы всех «специальностей». Они размножаются в тонких и толстых кишках, в почках, в печени, в крови. Все это живет за счет человека и гасит на его лице улыбку радости. Несмотря на большую рождаемость, прирост населения здесь незначителен — дети мрут как мухи.

Когда «Синчи Рока» причаливает, мы все выходим на берег и отправляемся в чакру. Я обычно разговариваю с людьми, либо брожу среди бананов, а Чикиньо усердно исполняет свои обязанности и носится с сеткой за насекомыми.

Романтический убогий шалаш, полоска бананов, утопающих в ослепительных лучах тропического солнца, цветы и сказочной красоты бабочки, порхающие в душистом воздухе, — все это кажется такой счастливой идиллией! Но вот вы прошли каких-нибудь пятьдесят шагов — бананы кончаются, и начинается чаща. Огромный мрачный мир, у края которого вместе с тропинкой, протоптанной человеком, обрывается всякий след цивилизации.

Нигде, мне думается, граница двух миров не пролегает с такой поразительной отчетливостью, как именно здесь, у порога тропического, девственного леса.

27. Сны на Укаяли

В это время года, в феврале, вечера на реке Укаяли сказочно красивы. С удивительной регулярностью, почти ежедневно, за час перед заходом солнца, на западе, над Кордильерами, скучиваются живописные перистые облака, отливающие всеми цветами радуги. Отблеск их падает на реку и превращает ее как бы в фантастические потоки крови. В кристаллически прозрачном воздухе (еще утром он был как бы затянут пеленой) берега будто сблизились и на ветвях деревьев ясно видны птицы и стада резвящихся обезьян.

Около шести часов вечера солнце заходит и наступают короткие сумерки, продолжающиеся менее одного часа. (Разговоры о том, будто в тропиках день гаснет мгновенно, тут же переходя в ночь, неверны.) Но вот на горизонте за сверкали молнии: февраль здесь пора дождей, тропических ливней и бурь. Однажды ночью над нами разверзся ад. Тысячи молний слились в сплошное море света, создавая какую-то феерическую иллюминацию. Такое зрелище не только никогда не забудешь, но трудно поверить в реальность его, настолько оно фантастично.

В дождливые ночи мы великолепно спим и утром встаем бодрыми, в прекрасном настроении. Но если ночи тихие и ясные, мы буквально погибаем: нас мучают комары! Эти злобные бестии во сто крат страшнее наших европейских невинных созданий: они нападают, жалят, впиваются в тело; ни белье, ни постель не спасают от них. Если каюты не защищены сетками, то ни на минуту не сомкнешь глаз. Ночь проходит в горячечном бреде, а весь день мы бродим сонные и измученные.

На пятый день пути мы подошли к местности, населенной индейцами племени чама. Это первые независимые индейцы, которых мне удалось увидеть в естественном окружении. Правда, мы уже встречали их на Амазонке, но тогда они быстро и молчком проносились на своих каноэ мимо нас, как будто им было не по себе вблизи нашего парохода. На Укаяли все иначе. Чама считаются здесь если и не хозяевами реки, то во всяком случае равноправными обитателями. Они не избегают общения с белыми людьми, но сохраняют независимость своего племени и собственные, хотя и примитивные, традиции.

Остановка в Пантабельо. Берег выше и просторнее, чем в других местах. На широкой поляне стоит хижина белого чакрера — крестьянина. На опушке леса выросли фигуры мужчин и женщин, привлеченных прибытием парохода. Лица их раскрашены в черные и красные полосы, на голове буйная растительность, прикрывающая лбы до самых бровей. Одеты они в мешковину собственного изделия, так называемую «Кузьму». У женщин в носу серебряные кольца.

Близко к пароходу чама не подходят, наблюдают за нами издалека. Вероятно, они уже сталкивались с белыми людьми и знают, что особенно доверять им не следует. В их движениях заметно настороженное любопытство диких зверей, готовых в любую минуту обратиться в бегство.

Я заглянул в лагерь чамов. Несколько пальмовых крыш на сваях, боковых стен не существует — вот их жилье. Под одной из крыш группа мужчин ужинает. Сидят на корточках вокруг горшка и уплетают какую-то желтоватую жижицу, которую берут руками. На одном из них надета Кузьма, разрисованная черными и красными ломаными линиями — чудо примитивного искусства.

Под другой крышей женщина-старуха лепит горшок из глины. Вдруг раздались дикие крики и визгливый смех — это означало радость по поводу удачной охоты. Оказывается, один из чамов пронзил стрелой из лука огромную рыбу, и тотчас все помчались любоваться добычей.

Такое бурное проявление необузданной радости совершенно незнакомо людям цивилизованным. Это как бы стихийный голос природы. И невольно я взволнованно подумал: может быть, две-три тысячи лет назад и наши прадеды встречали подобным образом возвращение счастливого охотника?

На «Синчи Рока» прогудела сирена. Меня зовут обратно. Несколько десятков шагов — и я в другом мире. Сажусь за стол, накрытый белоснежной, прекрасно выглаженной скатертью, и принимаюсь за обильный ужин. Прикасаюсь к ножам, вилкам, тарелкам и испытываю особенную радость. Неожиданное соединение этих двух миров необъяснимо волнует. Вскоре мы двинулись дальше.

Ночью мне снятся дорогие моему сердцу образы ранней юности: Соколиное Око, Винету, Ситтинь Бул, прерии и Скалистые Горы. Разбудили меня дикие вопли. В полусне мне чудится, что мы снова на берегу и какая-то толпа, вооруженная дубинами, штурмует наш пароход. Я цепенею от ужаса — неужели индейцы напали на нас? Срываюсь с койки и мчусь на палубу. Здесь я протираю глаза и замечая свою ошибку: это действительно индейцы, но из команды нашего парохода. Они перетаскивают тяжелые колоды дров для нашей топки. В лучах прожекторов на фоне огромных листов хлебного дерева блестят их нагие, мокрые от пота тела.

28. Тайна грустного штурмана

По мере продвижения вверх по реке Укаяли течение становится все сильнее, берега все выше, а водовороты все более бурными. Не раз «Синчи Рока» с трудом пробиралась через этот водяной хаос, и не один раз грозила нам гибель. В таких водоворотах два года тому назад затонул пароход «Укаяли», принадлежавший Ларсену — нашему капитану и владельцу «Синчи Рока».

Водовороты, попадавшие на нашем пути весь день, преследуют нас и ночью, во сне. Нас душат кошмары. Обливаясь потом, с пульсом, бьющим в висках подобно молоту, мы судорожно хватаемся за поручни коек.

Однажды ночью я снова очнулся от глубокого сна. Машины замерли. В темноте слышен треск ломающегося дерева. Я успокаиваю себя тем, что это мне грезится и что я во сне вижу, как разваливается пароход. Но вдруг в тишину врывается пронзительный вой сирены, долгий, отчаянный сигнал бедствия, и я вскакиваю на ноги как безумный. Нет, это не сон! Последние сомнения развеялись, когда я услышал топот мчащихся по палубе людей. Тут же я почувствовал толчок, от которого стены моей каюты затрещали. Спящий рядом Чикиньо проснулся и дико заорал от страха.

— Ой, мне приснилось что-то ужасное, — застонал он.

— Ничего удивительного.

— А что случилось?

— Не знаю. Видимо, что-то очень неприятное...

Вдруг на палубе раздался нервный окрик Ларсена: «Свет, свет, сто чертей вас возьми!» На носу парохода вспыхнул рефлектор. Из темноты вынырнули мощные ветви огромного дерева. Оказывается, пароход наскочил на дерево,



расщепил его со страшной силой и сам едва не опрокинулся.

— Что за черт? — опять послышался в темноте голос Ларсена. Он в бешенстве набросился на штурмана, по вине которого произошел весь этот скандал. Штурман в ответ бормотал себе под нос что-то нечленораздельное.

— Зачем ты, подлец, вел пароход на берег?! — захлебывается Ларсен. — Говори, красная собака! Зачем ты так рулил?..

— На реке пни... — бормочет штурман.

— Лжешь, хам, нет никаких пней!

— Туман, — оправдывается штурман.

— Лжешь, нет никакого тумана! Пьян ты, что ли?

Взбешенный Ларсен замахнулся на штурмана, собираясь его ударить, но, заметив меня, с трудом сдержался и обратился ко мне:

— Вы видите туман?! — шипит он возмущенно.

Трудно сказать, что вижу: тумана нет. Я смотрю внимательно на штурмана. Это тот грустный индеец из Пунхана, у которого такой странный взгляд. Сжавшись, он сидит на лавке, мрачный и апатичный, точно не слыша угроз Ларсена, и не обращает никакого внимания на волнение окружающих. Трудно его понять. Так, не двигаясь, сидит он обычно часами, и никто не знает, какие мысли бродят в его индейской голове.

Под утро он выходит из этого оцепенения, как ни в чем не бывало становится у руля, сменяя товарища, и весь день безукоризненно ведет пароход.

Вот какие сны мучат нас на реке Укаяли. А к вечеру, когда близится час солнечного заката и тропических чар, когда в небе плывут неистовые пурпурные облака, трудно поверить, что все это явь, а не сон. А может быть, действительно, это только сон — индейцы и колибри, радужные облака и странные штурманы, мощная река и экзотические леса, в которых плутает путник из Польши?

29. Паук-великан

На «Синчи Рока» капитан Ларсен завел электричество, и этим, несомненно, перещеголял своих конкурентов — пароходы «Либертад» и «Либерал», где имеются только керосиновые лампы. Два десятка электрических лампочек, освещающих ночью палубу, производят немалую сенсацию на всем протяжении реки Укаяли, — две тысячи километров. Сияние тысячи свечей придает тропическому лесу дьявольское очарование, сеет на берегах реки переполох и ужас, будоражит и пробуждает от спячки все живущее, ослепляет и нарушает равновесие природы.

Но прежде всего привлекает на палубу лесных обитателей. Бесчисленные насекомые летят на свет, садятся вокруг ламп, ошалелые и безоружные. Свет опьяняет их. В эту минуту ничего не стоит поймать их и отправить в банку с ядом.

Моя коллекция быстро пополняется сказочными богатствами. Но на пароходе у меня появились серьезные соперники: пауки! Как известно, это профессиональные, прирожденные охотники, и разбойничают они свирепо.

Над обеденным столом под потолком висит самая мощная на пароходе лампочка, и ее сияние привлекает наибольшее количество насекомых. И вот однажды из ближайшей щели стремительно выскакивает огромный волосатый паук-птицеед[100] — настоящий великан! — и почти из-под рук выхватывает у меня великолепного шелкопряда. Птицеед не слишком приятное соседство для человека, и капитан Ларсен решает устроить на него охоту. Увы, «Синчи Рока» такая старая посуда, что глубоких щелей в ее крыше сколько угодно. Паука поймать не удалось, и с его пребыванием на пароходе пришлось смириться.

Впрочем, этот паук оказался очень тактичным разбойником. Он как истинно сильный и великий воин держался скромно, не мозолил глаза и показывался лишь один раз в сутки, примерно через час после захода солнца. Тогда он молниеносно выскакивал из своего укрытия, нацеливался на самую аппетитную ночную бабочку и, сцапав ее, возвращался в свою щель. После этого он не появлялся, уступая поле боя мне, двуногому охотнику. Тогда я уже без страха мог заняться охотой.

— Я его не люблю! — изрекает Чикиньо и называет паука «тенентом», ибо «тененты» преследуют его отца и он питает к ним непреодолимое отвращение. — Я бы ему этого не простил...

— Так поймай его! — подшучиваю я.

— И поймаю, обязательно поймаю! Вот увидишь, поймаю.

— Посмотрим.

И вот Чикиньо, вооружившись палкой, метлой и сеткой для ловли бабочек, притаился у щели. С похвальной выдержкой он просидел один вечер, второй, третий. Весть о его воинственных намерениях разносится по палубе, и все пассажиры восхищаются им. Некоторые пытаются помочь и принимают участие в засаде.

Неизвестно, пронюхал ли паук что-либо, или же Чикиньо выбрал неудачное время для охоты, но «дичь» не показывала носа, и физиономии молодого охотника и его сообщников с каждым днем все больше вытягивались. На третий вечер Чикиньо швырнул на пол метлу и заявил:

— Он перебрался в другое место.

— Неужели?

— Либо его уже нет в живых...

— Ну, конечно, он испугался тебя и умер от страха...

Чикинью в бессильном гневе поглядел на потолок, куда в последний раз улизнул хищник, и снова упорство и ожесточение заблестели в его черных глазенках.

— Терпение, — говорю я, — похвальное качество охотника.

— Сам знаю, — ворчит молодой энтузиаст. — А я говорю тебе, что его уже нет!

На следующий вечер на палубе неопиcуемый крик и суматоха. Чикинью вопит что есть мочи, задыхаясь от восторга; пассажиры несутся к нему со всех ног и тоже орут, капитан вылетел из своей каюты, я опрокинул на ходу скамейку.

— Есть! Есть! Поймал! — несутся радостные крики.

Да, Чикинью поймал паука. Только что хищник появился, наконец, на полке, мальчишка метлой стряхнул его на пол и проткнул вилкой. Теперь победитель приплясывает на палубе, размахивает своей добычей и сует ее всем под нос. Волосатый паук величиной с растопыренную ладонь бессильно перебирает лапами.

— Нужно его убить, — предостерегаю я.

Но Чикинью не боится живого паука, он высоко держит его в руке и издает победные вопли. И вдруг случилось несчастье. Очевидно, мальчик неосторожно дернул рукой. Паук соскользнул с вилки на пол и, не теряя времени, помчался к куче свернутых канатов. Все бросились за ним, но, увы! Паук пропал.

Среди пассажиров мнения разделяются: одни утверждают, что паук, проколотый вилкой, все равно сдохнет, другие — что он выздоровеет.

Растерянный Чикинью совершенно убит.

— Вот видишь, — говорю я с напускной серьезностью, — фортуна изменчива. Но истинный философ должен принимать спокойно и победы и удары судьбы.

Однако Чикинью не хочет быть истинным философом. Он смотрит на меня исподлобья и вдруг, выказывая этим свое волнение, бросает два тяжелых коротких слова:

— Сдохнет! Тененте!

По-видимому, он прав. Паук больше не появлялся на палубе.

30. Прожорливость

У других лампочек на «Синчи Рока» орудуют пауки из семейства ликозид, или пауков-волков. Это небольшие, прожорливые твари, юркие и наглые, настоящие волки в паучьей семье! Они караулят по двое, по трое у каждой лампочки, и к ним в жертву попадают чаще всего мухи, хотя ликозиды несколько не гнушаются и более крупной дичью — бабочкой, саранчой, жуком и другими насекомыми. Нападают они так же, как их родич — птицеед мигале: внезапно выскакивают из укрытия и мгновенно набрасываются на свою жертву. Прожорливость этих хищников просто потрясающая. Схватив свою добычу, они бешено тормозят и с нервной торопливостью высасывают внутренности у живого, трепещущего насекомого. Не управившись окончательно с несчастной мухой, они бросают ее, чтобы тут же схватить другую, потом бросают и эту и принимаются за приглянувшуюся бабочку. Под лампой, на палубе, образуется целое кладбище из останков их жертв. К утру здесь скапливается множество искалеченных, разодранных в клочья и еще полуживых насекомых. А тропический лес в безудержной щедрости шлет на заклятие все новые полчища своих летучих обитателей, привлекаемых светом наших ламп.

В центре парохода находится небольшая каюта. В ней хранятся самые ценные сокровища капитана Ларсена. Это сердце парохода — склад товаров, предназначенных для продажи населению Укаяли. На полках, тянущихся от пола до потолка, размещены всевозможные товары, необходимые жителям лесов. Здесь найдется все, начиная от иголки, керосина, сукна и полотна и кончая ружьями и консервами. Четыре стосвечовые электрические лампочки заливают склад потоками яркого света и превращают эту каюту в страну чудес, страстных мечтаний и непреодолимых искушений. На всей Укаяли не найдется человека, который бы не поддался соблазнам, таящимся здесь.

В каюте за столом сидит Ларсен. У него голубые, холодные глаза. У людей Укаяли, наоборот, глаза черные и горячие. Ларсен неторопливо ведет торговлю, а жители Укаяли с покрасневшими щеками и затуманенным взглядом пожирают сокровища, привезенные из далекого мира.

Индеец из племени кампа принес четыре шкуры дикой свиньи, пекари. Ослепленный светом, он осматривается вокруг, и глаза его загораются при виде стольких чудес. Он хочет получить за свои шкуры большой нож — мачете. Шкуры хорошие, тщательно просушенные и стоят не одного, а двух мачете.

— Мачете не получишь, — спокойно заявляет Ларсен. — Он стоит шесть шкур, а у тебя только четыре. За четыре шкуры ты можешь получить лишь материю на платье для своей жены и на брюки для себя.

— Но мне не нужно материи, — объясняет индеец и с просительной улыбкой повторяет: — Мне необходим мачете.

— Мачете дать не могу! — звучит жесткий ответ.

Свет четырехсот свечей ослепительно поблескивает на стали мачете, усиливая искушение. Ларсен приказывает дать сигнал к отходу. Ларсену милосердие не знакомо, страдания кампа его не трогают. Индеец с жестом отчаяния убегает и тотчас снова возвращается. Он тащит еще две шкуры. Вероятно, это все его достояние. За мачете он заплатил втридорога. Но что делать, если нож ему необходим?

— Подлец! — скрипит зубами Чикиньо. Он сжимает кулачки и начинает

шагать по палубе, как маленький дикий звереныш.

31. Чикинью действует по закону

Индеец кампа, получив мачете, возвращается на берег. Там он садится на землю и с грустной покорностью смотрит на пароход. А в это время на складе у капитана продолжается оживленная торговля. Несколько метисов и белых перуанцев торгуются с капитаном, среди них вертится Чикинью.

Спустя некоторое время мальчик прибегает ко мне на палубу и, пряча что-то за спиной, таинственно улыбается.

— Получилось! — торжествует он.

— Что получилось?

Чикинью показывает мне новенький мачете.

— Откуда он у тебя?

— Я взял его на складе у капитана.

Вот так история! Я хватаю мальчишку за ворот и смотрю ему грозно в глаза.

— Украл? Ты что, сошел с ума, Чикинью?

Чикинью перестает улыбаться.

— Я не сошел с ума. Ларсен ведь ничего не заметил.

— Сию же минуту отнеси мачете обратно.

В глазах мальчишки засверкали бунтарские искорки.

— Я взял не для себя, а для кампа! — защищается он.

— Это все равно. Если ты сию же минуту не отнесешь нож на место, я тебя немедленно отошлю к матери в Икитос! Марш!



Я отпускаю Чикинью. Он долго стоит неподвижно, затем стремительно несется, но не на склад. Он сбегает по доске на берег, бросает мачете индейцу и приказывает ему бежать. Потом медленно возвращается на судно и подходит ко мне. В глазах его сверкают слезы, он прерывисто говорит:

— Теперь можешь меня наказать! Но все равно Ларсен чудовище! Он оби-

дел кампа! Подлец, подлец!.. Можешь меня наказать! Я не могу смотреть на такую подлость!.. Кампа бедный индеец! Хорошо, отсылай меня к матери, да, накажи меня...

Он весь дрожит, не будучи в силах сдержать слезы. Он то вспыхивает, то стискивает зубы, то угрожает, то оправдывается. В конце концов мне становится жаль мальчишку. Мои добрые педагогические намерения проваливаются ко всем чертям, и я ухожу, чтобы он не заметил, как угасает мой гнев! Чикиньо бредет за мной по пятам, как тень. Я останавливаюсь и говорю ему:

— Я тебе кое-что расскажу. У нас в Европе, на острове Корсика, много лет тому назад жил храбрый бандит, который поступал не совсем обыкновенно. Он грабил богатых и часть добычи раздавал бедным. Ему казалось, что он народный защитник и благородный герой. И знаешь, чем все это кончилось? Его поймали и повесили. Ну, что в этом хорошего?

— Ах! — воскликнул Чикиньо. — Я расскажу тебе другую историю, историю о славном Престесе. Он тоже отбирал деньги у богатых и отдавал бедным. Был он ужасно храбрым. И знаешь, чем все это кончилось?

Вот шельмец, поймал меня! Конечно, он говорит о Луисе Престесе, мужественном защитнике бразильского народа, славном борце за свободу, который, стремясь восстановить погрязшие права народа, прошел со своей освободительной армией всю Бразилию.

— Так ты считаешь себя похожим на Престеса? — спрашиваю я малыша.

— Да. Я укаяльский Престес.

В этот момент «Синчи Рока» отчаливает от берега. Чикиньо машет рукой в сторону леса. Оттуда, из зарослей, выходит индеец кампа и тоже шлет ему знаки дружбы. Расстояние между нами увеличивается, мы отходим все дальше от берега.

— А теперь, — обращаюсь я к Чикиньо, — идем к капитану и заплатим ему за мачете.

Чикиньо бросает на меня испуганный взгляд.

— Аркадий, зачем ты меня так обижаешь! — восклицает он. — Ведь должна же быть справедливость на свете!..

— Ты прав, мой маленький реформатор мира, но не таким способом нужно восстанавливать справедливость. Поэтому пойдем и расплатимся с капитаном...

32. Пауки за работой

Вокруг всей паровой палубы тянутся поручни. Они предохраняют пассажиров от сомнительного удовольствия свалиться в воду. Все насекомые, привлеченные огнями парохода, вынуждены пролетать между поручнями и краями палубного навеса.

Это обстоятельство хорошо учли пауки. Как только наступают сумерки, по краям палубного навеса начинается лихорадочная работа: пауки плетут предательские сетки из паутины — ловушки для насекомых. Действительно, за ночь пауки собирают здесь богатую жатву. Только крупные бабочки вроде бражников способны прорвать эти преграды. Но и то ненадолго: пауки быстро исправляют нанесенные повреждения.

Каждое утро юнга сметает метлой паутину и уничтожает начисто следы ночной охоты. Но каждый вечер пауки снова начинают свою работу и плетут такие же сети, как и накануне. Вероятно, им выгодно сооружать свои западни даже на одну ночь.

Однажды за ужином кто-то из сидящих за столом двенадцати пассажиров воскликнул:

— Что за гадость эти противные пауки!

— Почему гадость? Почему противные? — обрушился восседающий в капитанском кресле Ларсен. И добавил с насмешливой улыбкой:

— Они такие же пассажиры, как и всякие другие, как каждый из вас, господа.

Видимо, довольный этим сопоставлением, Ларсен продолжает с нескрываемым сарказмом:

— Они даже лучше многих людей. У них, по крайней мере, есть характер.

Кто-то из присутствующих рассмеялся:

— Какой же это характер? Разбойничий, что ли?

Но Ларсен не терпит, когда иронизируют другие. Улыбка мгновенно сползла с его лица. Он обвел сидящих за столом тяжелым, почти враждебным взглядом и бросил, как пощечину:

— Это господствующие насекомые, это сверхнасекомые!

— Пауки, — скромно замечаю я, вмешиваясь к беседе, — совсем не насекомые.[101]

Наступает тишина. Ларсен наливаются гневом. С каким удовольствием он сейчас уничтожил бы нас всех! Он шипит:

— Чушь! Все-таки они выше! Выше всех вас! Да, да, всех вас!

Час спустя я зашел к капитану Ларсену в каюту. Он был в лирическом настроении и с увлечением читал книгу английского писателя Стивенсона «Д-р Жакайль и м-р Хайд»; у героя книги двойственная натура: хорошего доктора Жакайля и злого мистера Хайда. Капитан рассыпается в любезностях, пытаюсь загладить недавнюю неловкость. Мне захотелось поддеть его, и я, указывая на него пальцем, говорю:

— Вот ангел Жакайль и дьявол Хайд.

— Нет, — Ларсен отрицательно помотал головой и задумчиво, с оттенком гордости, проговорил: — Только мистер Хайд.

Это было сказано без тени шутки, вполне серьезно.

Вот уже несколько дней, как я слежу за пауком из семейства *Gasteracantha*,



то есть рогатых пауков. Это великолепное создание цвета лазури отличается оригинальной формой и окраской. На голубом фоне ярко выделяются красные крапинки. Он резко бросается в глаза своей гротескной внешностью. Из его туловища растут желтые дугообразные шипы, напоминающие какой-то странный хвост. Этот хвост в несколько раз длиннее самого паука. В отличие от ликозид, увертливых и беспокойных, красавец паук двигается медленно, важно, как будто сознавая, что он не чета своим сереньким собратьям, что среди них он настоящий павлин.

Франт тотчас после захода солнца принимается за дело и раньше других успевает выткать круглую паутину. Затем скрывается в засаду и подстерегает добычу. Нити его сетей очень крепки, их не могут прорвать даже крупные бабочки и саранча. Паук этот отличается исключительной выдержкой: он показывается из укрытия только тогда, когда в паутине уже барахтаются несколько насекомых. Тогда он медленно приближается к каждому из своих узников и поочередно небрежным флегматичным движением прикладывается к нему, как бы целуя свою жертву. Поцелуй этот страшен. Он длится недолго, и за эти короткие мгновенья паук успевает высосать из несчастного насекомого все жизненные соки. Затем он выбрасывает мертвое насекомое из паутины, тщательно проверяет свои сети и важно шествует на прежнее место. Здесь он снова терпеливо дожидается, пока новые жертвы не угодят в ловушку. Но наступил лень возмездия: мне удалось прикончить этого разбойника. Красавец паук попал в мою коллекцию.

Когда мы миновали местность Пукальпа, капитан Ларсен сообщил мне, что вскоре я увижу некоего чакре — поселенца, большого чудака, авантюриста, свихнувшегося человека. Это эстонец, прибывший из Европы много лет тому назад и осевший на Укаяли. Потеряв состояние, он уже не может оправиться и выбраться из долгов и вынужден влачить нищенское существование. Из слов Ларсена я понял, что он питает какую-то неприязнь к отшельнику.

На следующий день я увидел эстонца. Вечером на стоянке к нам на палубу

поднялся истощенный, жалкий человек с изможденным лицом и ввалившимися глазами. Он хочет купить хинина для уколов против малярии. Видимо, болезнь изнурила его до последней степени и хинин единственное спасение.

— Сколько стоит хинин? — спросил несчастный.

— Четыре соля, — ответил Ларсен.

— У меня только три соля, — грустно проговорил больной.

— Значит, ты не получишь хинина. Либо, — и Ларсен с издевкой смотрит в запавшие глаза пришельца, — попроси, чтобы в третьем классе чоло и индейцы устроили для тебя складчину...

Этого издевательства эстонец не выдерживает, он впадает в неистовство. Он извергает по адресу Ларсена самые страшные ругательства, которые тот выслушивает с поразительным спокойствием. Затем Ларсен велит своим матросам вышвырнуть несчастного.

— Я заплачу за него, — говорю я Ларсену, желая прервать эту тяжелую сцену.

Капитан посмотрел на меня острым уничтожающим взглядом и прошипел:

— Смотрите лучше за своим носом, а в чужие дела не суйтесь!

Обезумевший эстонец стоит уже на берегу, продолжая осыпать руганью я проклятиями капитана и весь пароход. Пока мы медленно отчаливаем, вопли и ругань несчастного доносятся с берега.

Густые лесные заросли скрывают от наших глаз эстонца, и создается страшное впечатление, будто сам лес шлет проклятья капитану, пароходу и всем на свете лекарствам.

С нескрываемым удовольствием Ларсен прислушивается к брани, доносящейся с берега, затем раздражается неистовым, издевательским смехом. Этот смех как бы ответ цивилизованного мира тропическому лесу.

С тяжелым сердцем я возвращаюсь в свою каюту. Наступают сумерки, и на палубе первые пауки уже плетут свои сети.

33. Кумария

Однажды на рассвете юнга шумно распахивает дверь нашей каюты и будит нас криком:

— Вставайте! Подходим к Кумарии!

Это слово звучит как призыв, как лозунг. Мы срываемся с коек. Наконец-то после долгих недель бродяжничанья я добрался до Кумарии, цели моего путешествия. Кумария лежит примерно в тысяче восьмистах километров вверх от Икитоса. Что же это такое — Кумария? Река шириной почти в километр — дикая, необузданная, с кипящими водоворотами, берег высотой в несколько метров — а в иных местах и в полтора десятка метров, — широкая поляна, окаймленная лесом, на поляне десяток-два хижин, сложенных из дикого сахарного тростника, и один низкий, просторный каменный дом. Это асьенда итальянца Дольче.

Кумария — это кладбище несбыточных польских надежд. Привлеченные заманчивыми обещаниями, колонисты из Польши пришли сюда, мечтая о лучшем завтрашнем дне. Но они потерпели поражение. Не выдержав тяжелых условий жизни, созданных враждебной пущей и плохой организованностью, они бежали обратно, все побросав, потеряв все свое достояние. Лишь несколько человек осталось здесь.



Кумария — это клокочущий буйный тропический лес. Ослепительные бабочки, ядовитые насекомые, прекрасные орхидеи, диковинные млекопитающие, ленивцы,[102] змеи. Сплошной клубок растений. Тысячи неизведанных впечатлений, прославившееся, безудержное пиршество природы! Приснившийся рай. Да, здесь, наконец, я доберусь до самого сердца лесов.

Я нахожусь на юго-западной окраине величайших в мире влажных тропических лесов. Если по воздуху отправиться отсюда в направлении Пара, то пришлось бы пролететь три тысячи километров над сплошной гущей лесов. Если на север, до венесуэльских саванн, то полторы тысячи километров такого же леса. Только на западе лес кончается недалеко отсюда, всего в двухстах-трехстах километрах на высокогорных пунах[103] Анд.

На «Синчи Рока» застопорили машины. Краснокожий матрос сбросил трап.

Медленно, почти торжественно мы выходим на берег. На берегу стоит одинокое дерево, покрытое фиолетовыми цветами. На дереве сидит диковинная птица — черный тукан с огромным, апельсинового цвета, клювом почти такой же величины, как и вся птица. Это диво приветствует нас громким карканьем, похожим на карканье нашей вороны.

В Чикиньо просыпается охотник. Он вытаскивает из кармана пращу и хочет прицелиться в птицу.

— Оставь ее в покое! — говорю я. — Лучше помоги мне вытащить тюки.

Тукан будто и впрямь приветствовал нас. Пока мы вытаскивали тюки, он не переставал каркать, и только тогда, когда Чикиньо прицелился в него, он замолчал и улетел в лес.

Этот носатый феномен — яркий символ чудовищности леса, настоящий предвестник тех чудес, которые нас поджидают в лесных чащах.

34. Дельфины

— На реке туман! — этими словами разбудил меня мой слуга, препаратор, охотник, вообще моя правая рука — Педро Чухутали. Он метис, мать его была индианкой племени кечуа.

— Валентин пришел? — спрашиваю я, одеваясь.

— Нет еще! — отвечает Педро пренебрежительно.

Антипатия Педро к Валентину — наболевший вопрос в нашей маленькой семье. Педро приехал в Икитос вместе со мной. За несколько месяцев совместной работы я успел полюбить его. Это был услужливый, деликатный, хотя и несколько замкнутый друг.



Когда мы две недели тому назад прибыли в Кумарию, у меня оказалось столько работы по составлению коллекций, что пришлось пригласить еще одного помощника — Валентина, молодого метиса из племени кампа. Педро был значительно старше Валентина и многим опытнее его в деле коллекционирования насекомых, чем он ужасно гордился. Это забавное соперничанье создавало постоянные конфликты. Много труда пришлось потратить, прежде чем удалось наладить отношения между двумя моими товарищами.

Ночью река опять поднялась, — когда же, наконец, Укаяли остановится,

ведь и так уже потоп! — и залила наше каноэ. Пока мы вытаскивали челнок из ила, наступил рассвет — было половина шестого утра. Наконец появился заспанный Валентин, и мы отправляемся на охоту. Я с ружьем в середине челнока, Чикиньо тут же — за мной, Валентин и Педро на носу и корме на веслах.

Туман скрывает от нас не только противоположный берег, отдаленный почти на километр, но и деревья на нашем берегу реки. Невдалеке выплыла из тумана пальма агуаче. Эта прекрасная пушистая пальма стоит как будто на страже экзотического рая. Пальма агуаче считается самым прекрасным деревом во всем Перу. Говорят, что в ней воплощено очарование заколдованной царевны инков, превращенной в пальму.

В густых зарослях за этой пальмой просыпаются первые птицы. Уже слышится сдержанное чириканье пичужек и крики попугаев. В том месте, где речка Инуя впадает в Укаяли, раздается громкое сопение. Это два речных дельфина буфео весело резвятся в воде и через каждые несколько секунд всплывают на поверхность набрать воздуха. Показываются из воды их блестящие, жирные туловища и раздаются глубокие вздохи.



В водах Амазонки и ее притоков удивительно много дельфинов. Это объясняется, вероятно, тем, что со стороны человека им не грозит никакой опасности; местные жители считают, что убийство дельфина приносит несчастье, а есть их мясо опасно — это грозит проказой. Я думаю, что дело обстоит гораздо прозаичнее: просто мясо дельфинов невкусное.

Когда мы проплывали мимо дельфинов всего в нескольких шагах, Валентин вдруг обратился ко мне с просьбой:

— Застрелите дельфина, вон того, что ближе всех!

Я с удивлением взглянул на него, думая, что он шутит. Но по лицу вижу, что это не шутка.

— Ты что же, хочешь накликасть на меня несчастье? — спрашиваю с улыбкой.

— Ты европеец и сумеешь отвертеться от несчастья. А мне очень нужна кожа дельфина.

— Зачем?

Валентин не желает объяснить. Тогда на помощь приходит Педро. Он говорит, что Валентин суеверен, что он темный чоло, он верит в магическую силу кожи буфео. Валентин убежден, что если приложит ее к своей руке, то достигнет власти над всеми людьми. Этаким чудак. Сам Педро не верит в такие глупости. Нет, Педро не чудак!

— А в то, что убийство дельфина приносит несчастье, ты веришь?

— Да, — признается Педро, — в это я верю.

Тогда я беру ружье и прицеливаюсь, но вдруг неожиданная преграда: Чикиньо твердым голосом просит меня не стрелять.

— Послушай, не стреляй лучше! А вдруг действительно это принесет тебе несчастье?

Вся огромная привязанность мальчика отразилась в его встревоженных

глазах. Что с ними сегодня, с ума посходили, что ли?

В эту минуту наше внимание привлекли две цапли, сидящие на дереве. Это так называемые королевские цапли. Они совершенно белого цвета, но с желтыми клювами и черными ногами. Такие трофеи мне больше по вкусу, нежели дельфины, которые даже подстреленные обычно ныряют в глубину и ускользают.

Но цапли птицы пугливые, они всегда начеку. Еще издали, заметив нас, они срываются с места и улетают на Иную. Прodelав над лесом несколько широких кругов, они поворачивают в сторону Укаяли. Вот они плавно пролетают над нашей головой. Это неосторожно: грохот выстрела потряс пушу, и одна цапля камнем свалилась в воду.

— Хороший выстрел... — слышу я спереди и сзади похвалы своих пеонов. [104]

— Ты ранен! — вдруг восклицает Чикиньо, с ужасом показывая на мой палец, по которому сочтется маленькая капелька крови: очевидно, спуская курок, я прищемил себе палец. Чепуха. Но Чикиньо очень встревожен и говорит с упреком:

— Видишь, видишь... А ты еще хотел подстрелить буфео!..

Дорогой, заботливый дурачок! А дельфины, испугавшись выстрела, мгновенно исчезли в глубине реки.

35. Змея чушупи нападает на человека

Из Укаяли мы попадаем в Иную. Река не особенно широка, и мы можем, сидя в лодке, обстреливать оба берега. Вода в реке черного цвета. Из-за вздувшейся Укаяли течение Инуи пошло вспять, река теперь катит свои воды от устья к истокам.

Вдруг в воздухе замечаем чудесное превращение: серый, низкий туман поднялся над лесом и окрасился в теплый розовый цвет. Как будто над нами раскинулся купол, сотканный из светящихся роз. Затем туман окончательно рассеялся, и первые лучи солнца позолотили верхушки деревьев. Еще минуту назад было прохладно, как бывает ранним июльским утром в Польше. И вдруг сразу тропическая жара, обильный пот выступает на наших лбах.

На болотистом островке лежит притаившееся чудовище — двухметровый кайман. Он кажется мертвой колодой, но только кажется. Когда мы приближаемся шагов на двадцать, кайман поднимает морду и лениво сползает в воду. Удивительно, откуда в такой маленькой речке (она вдвое уже, чем Варта под Познанью) берутся такие громадные чудовища? Я не стреляю в него, меня интересуют только птицы.

А птиц здесь великое множество. Около того места, где лежал гад, рыщут в поисках корма несколько водяных курочек — ясаны — и не подозревают о грозящей им опасности. Подвижные, коричневые, с крыльями, снизу окрашенными в желтый цвет, они воплощение изящества и резвости. Природа наградила их длинными карикатурными пальцами, благодаря которым они могут удерживаться на листьях растений, плавающих на поверхности воды. И сейчас ясаны быстро перебегают с листа на лист, не обращая на нас никакого внимания. Только звук выстрела заставляет их взлететь, но через минуту они снова приземляются в каких-нибудь ста шагах от нас. Удивительная беспечность царит в этом обманчивом раю!

Убитую курочку мы бросили в каноэ, и я уже приготовился к следующему выстрелу, как вдруг над нашими головами пронесся огромный ястреб мартин пескадор. Он сел на ветку дерева неподалеку от курочек. А в тот же миг рядом послышалось: «тук-тук», точно кто-то стучит молотком по дереву. Это желтый дятел, самая ценная из находящихся вокруг нас птиц, и мы направляемся в его сторону. Вцепившись когтями в дерево, дятел ожесточенно долбит его. Но не успел я прицелиться, как он перелетел дальше, в глубь леса, на следующее дерево. Мы за ним.

Когда мы углубились в лес, картина совершенно изменилась. В зеленом полумраке нам предстало необычайное зрелище. Всюду, куда ни взглянешь, из воды вырастают деревья. Наверху, в кронах, светло от солнечных лучей и слышен птичий гомон, а внизу темная неподвижная вода как будто сковала и деревья и кустарники. Это неистовое призрачное видение потопа в судный день, каким он рисовался, вероятно, болезненному воображению художника средних веков! Деревья здесь как бы утратили свою принадлежность к земному миру, они существуют вне времени и пространства. В царящей тишине есть что-то враждебное человеку, кажется, будто природа устроила здесь какую-то ловушку. Ловушка — для кого, зачем? Я убеждаю себя, что все это лишь плод расстроенного воображения, однако уже через минуту оказывается, что мысль о ловушке не лишена оснований.

Наша лодка протискивается среди скользких пней и кустарников, преграждающих путь. Все же кое-как продвигаемся вперед. Как выяснилось потом, мы могли плыть так целую неделю: лес затоплен на протяжении нескольких десятков километров, если не больше. Дятел перелетает с дерева на дерево и уводит нас все дальше и дальше в глубь леса. Мы наталкиваемся на маленький островок. Дятел укрылся в его зарослях и продолжает вызывающе стучать. Дальнейшая погоня в лодке невозможна. Педро хватает мое ружье и выскакивает на островок. Через мгновение прозвучал выстрел.

— Есть! — слышится радостный возглас метиса. Но вслед за тем мы слышим отчаянный крик ужаса и шум панического бегства. Педро с лицом, позеленевшим от страха, выскочил из зарослей и мчится сломя голову к нам. Добежав до лодки, он вскакивает в нее, резко отталкивая от берега, и вопит:

— Чушупи! Гонится за мной!

Действительно, вдруг послышался треск, низко растущие ветки зашевелились, и мы увидели чушупи. Она передвигается большими пружинистыми прыжками, как бы и в самом деле преследуя Педро. Эта страшно ядовитая змея, светло-коричневая гроза укаяльских лесов, кажется, единственная из змей, нападающая на человека.

Чушупи! В памяти живо возник случай, о котором рассказывал мне мой нынешний хозяин, поселенец Барановский. Однажды молодой метис проходил мимо его дома. Вдруг из зарослей выползла огромная, трехметровая змея чушупи и набросилась на юношу. Тот успел увернуться и в несколько прыжков оказался в домике Барановского. Чушупи бросилась за ним. В доме никого не было. Метис выскочил в другую дверь, которую тут же за собой захлопнул, и поднял страшный крик.

Неподалеку работали люди. Услышав крик юноши, они бросились к дому. Двое из них держали в руках винтовки, заряженные дробью. Рассвирепевшая змея выскользнула из дома и ринулась к ним, но охотники, к счастью, не рас-

терялись и меткими выстрелами уложили чушупи на месте.

Когда все это молнией промелькнуло в моей голове, я выхватил из рук Педро ружье. Неужели змея в самом деле хочет напасть на нас? Она уже рядом, продирается сквозь кусты, затопленные водой. Я стреляю, не целясь. Не знаю, попал или промахнулся. Брызги воды разлетаются во все стороны, и с минуту вокруг нас ничего не видно. Потом наступает настороженная тишина. Если бы не пузыри на поверхности воды, трудно было бы поверить, что только что здесь произошла смертельная схватка и на какое-то мгновение вспугнула мрачное спокойствие этих мест!

Педро нервно гребет, торопится убраться подальше от страшного места. Валентин, который до сих пор сидел неподвижно на корме лодки, вдруг раздражается диким хохотом. Педро орет на него, чтобы заставить грести, но это не помогает. Валентин продолжает хохотать так, что лодке грозит опасность перевернуться. Теперь уже я ору изо всех сил:

— Замолчи, черт тебя подери!!!

Это помогает. Валентин замолчал и послушно взялся за весла. Только зубы у него стучат, как в лихорадке. Змея чушупи терзает его нервы.

Когда мы приблизились к опушке леса и перед нами сквозь стволы деревьев засверкала гладь реки, Педро вдруг бросил весла и, сторбившись, застыл.

— Хелло, Педро! — окликаю его.

Вместо ответа слышу глухой стон. Метис сидит не шелохнувшись, точно в столбняке.

— Педро, гребни же!

Педро пытается повернуть ко мне голову, но напрасно. Вдруг он начинает дрожать как осиновый лист. Старается побороть эту дрожь, но, очевидно, не может и содрогается все больше. А тут еще и Валентин громко зарыдал. Я вырываю из его рук весло и с ужасом замечаю, что мои руки тоже трясутся, что мне трудно грести и я тоже теряю над собой власть. Страх, закравшийся в душу, парализует все мои движения.

К счастью, во мне еще уцелела способность к самоанализу.

«Неужели это массовая истерия?» — задаю себе вопрос, удивляясь и даже забавляясь.

Нет, уже не массовая. Чувство юмора и ощущения действительности все же взяли верх. Я ощущаю как бы живительное дуновение рассудка, прогоняющего прочь все лесные страхи. Одновременно я обретаю и физическое равновесие: дрожь унялась, я могу снова грести.

Вскоре лодка наша выплывает на открытую гладь реки, и я пристаю к ближайшему островку, чтобы отдохнуть и выпрямить уставшие члены. Ясное солнышко и речной ветерок оказались самым действенным лекарством для моих товарищей. Спустя четверть часа все приходят в себя.

— Чушупи — страшная змея! — с жаром объясняет мне Педро, к которому вернулся прежний цвет лица. — Вы сами видели: ее яд отравил нас даже на расстоянии!

— Угу! — хмыкнул я в знак согласия.

36. Цветы, восхитившие весь мир

Орхидеи занимают в растительном царстве особое место. Не только потому, что они поражают разнообразием цветовых оттенков — от вульгарных до тончайших; не потому, что они источают тысячи запахов — от аромата фиалок и тубероз до зловония гниющего мяса; не потому, наконец, что орхидеям присущи самые причудливые формы; нет, сила орхидей в том, что они обладают какими-то особыми, необъяснимыми чарами, свойственными лишь живым существам. Роза, бесспорно, один из самых красивых цветков, но человек лишил ее очарования простоты, превратив в некий символ, ставший уже шаблонным. А к орхидее мы относимся, как к существу одухотворенному: общение с ней всегда связано с какими-то приключениями или переживаниями, оставляющими след в нашем сознании.

Во время охотничьих блужданий в окрестностях Кумарии мы почти ежедневно натываемся на новые виды орхидей. Некоторые цветы скромные — серые или желтые. Но иногда совершенно неожиданно где-то среди веток дерева-хозяина заблестит вдруг такой великолепный экземпляр, что трудно отвести от него глаза. Цветок приковывает внимание, его дикая красота пленяет.

Сравнительно недавно изучена интересная биология орхидей. Каждый цветок создает бесчисленное количество крохотных семян, число их достигает двухсот тысяч. Но когда из семян попытались вырастить цветы, то натолкнулись на непреодолимые трудности: проросшие семена погибали. Долгие кропотливые исследования вскрыли причину неудач. Оказалось, что орхидеи живут в симбиозе с некими мелкими грибами, которые служат им пищей в первые дни существования. Без этих грибов-«мамок» цветы не могут выжить. Когда это обнаружили, стали добавлять орхидеям соответствующее удобрение, и они оказались необычайно благодарными объектами. С той поры, собственно, и возник культ орхидей.



В начале XIX столетия насчитывалось только около ста видов орхидей, сегодня их больше пятнадцати тысяч. С каждым днем число их возрастает; кроме многих других удивительных особенностей, цветы эти обладают еще способностью скрещивания, что дает возможность выводить все новые и новые виды.

Почти все дикорастущие виды орхидей науке уже известны. Но сколько на это затрачено труда, усилий, сколько исследователей погибло в скалах Анд или Гималаев!

Более ценные виды орхидей имеют свою историю, зачастую очень романтическую, богатую приключениями и увековеченную на бумаге. Такой является история каттлеи лабиаты — красивой розовой орхидеи, очень распространенной среди садоводов и открытой в начале XIX столетия совершенно случайно. Ботаник Свенсон послал однажды собранный в окрестностях Рио-Жанейро бразильский мох своему коллеге, профессору ботаники в Глазго

Джексону Хукеру. Мох этот он упаковал в какие-то сорняки, которые, к великой радости английского профессора, оказались неизвестным еще видом орхидей. Их назвали каттлея лабиата, вырастили в Англии и размножили. Но когда позже некоторые крупные предприниматели послали своих агентов в Рио-де-Жанейро отыскать этот дикорастущий цветок, посланцы вернулись с пустыми руками. Никто не мог найти место, где вырос таинственный цветок. Свенсон к тому времени пропал где-то в Новой Зеландии. Так по сей день и неизвестно, откуда эта орхидея, которая сейчас миллионами выращивается во всех оранжереях мира и служит их украшением.

37. Кто открыл самую прекрасную орхидею?

Вот уже почти полтора столетия в Великобритании царит культ орхидей. Некоторые англичане посвятили этим цветам многие годы своей жизни, были и такие, что теряли ради них свое состояние. Большую известность приобрел аукцион орхидей известной фирмы Просроу энд Моррис в Чипсайде близ Лондона. На эти аукционы стекались крупнейшие богачи, здесь нередко появлялись и члены королевских фамилий; словом, тут собирался весь «цвет» английской знати, чтобы принести дань восхищения «царице цветов». Эти господа, перед которыми тряслись миллионы людей, от них зависевших, сами дрожали от волнения при виде какой-нибудь новой разновидности орхидей, привезенной из глухих лесов Ориноко. За один экземпляр такой орхидеи платили сказочные суммы, о которых и по сей день ходят легенды. Цена одного цветка нередко превосходила заработок уэльсского горняка за десять лет труда.

В 1862 году фирма Просроу энд Моррис объявила садоводам всего мира сенсационную новость; она обещала им новую, неизвестную до сих пор орхидею, прекраснее которой еще никто не видел. Поскольку Просроу энд Моррис слыли за очень солидных коммерсантов, их заявление произвело сенсацию. Лорд Стенхоуп даже отложил свою поездку в Индию. В день аукциона собрались садоводы со всей Англии. И вот наступила торжественная минута: присутствующие узрели пурпурный цветок с золотисто-желтыми полосками. Эту орхидею привез из Колумбии ботаник Акр.

Молодой лорд Сюссе первым вырвался на «беговую дорожку» и предложил пятьсот гиней. Начались торги. Цены поднимались все выше и выше... Только Стенхоуп сидел мрачный в своем углу, о чем-то размышляя. Вдруг он встал, попросил присутствующих отложить торги на час и поспешно удалился. Он просрочил всего десять минут, — Сюссе, который за эти десять минут успел приобрести цветок, уже выписывал чек.

— Сколько ты уплатил? — спросил его Стенхоуп.

— Тысячу, — с триумфом ответил Сюссе.

— Ты переплатил ровно девятьсот девяносто гиней, — заявил Стенхоуп и тут же все объяснил.

Лет пятнадцать назад он получил из Колумбии от одного ботаника письмо, которое сейчас держит в руках. В этом письме ботаник сообщал об открытии им новой орхидеи — каттлея довиана. Описание ее полностью совпадает с орхидеей, которая продавалась сегодня. Но в то время энтузиазм, с которым ботаник описывал цветок, показался лорду Стенхоупу преувеличенным, он заподозрил ботаника в обмане и оставил письмо без ответа. Сейчас он понял,

какую ошибку совершил тогда, — прекрасная орхидея была открыта и описана еще пятнадцать лет тому назад. Поэтому в присутствии всех собравшихся здесь он хочет загладить свою ошибку перед ботаником и вернуть честь открытия ботанику, фамилия которого (тут лорд Стенхоуп на миг запнулся, не зная, как произнести эту фамилию) Варшевич, он, кажется, поляк.

А ботаник Юзеф Варшевич, открывший очаровательную каттлею довиану и много других новых видов орхидей, в это время погибал от истощения в одной из кордильерских долин. Всю свою бурную и плодотворную жизнь Варшевич боролся с нуждой.

...Мы с индейцем из племени кампа возвращались по лесной тропинке к дому над рекой Укаяли. Мы не знали, сколько нам еще оставалось пройти, а солнце, проникавшее сквозь густую листву деревьев, лиан и огромных колючих бромелий,[105] опускалось все ниже и ниже. И вдруг я остановился как вкопанный, не обращая внимания на тучи комаров.

Среди запахов гниющих листьев, ванили,[106] седро,[107] камфары[108] и какого-то смердящего насекомого, видимо родича нашего клопа, меня поразило совершенно особенный запах — острый и чувственный. Он как бы пронизывал меня насквозь. Его трудно передать. Я почувствовал, что стою перед чем-то необыкновенным. Индеец поднял голову вверх и, указывая на дерево, сказал:

— Горячие цветы.

На высоте нескольких метров среди веток огромного дерева торчит целое семейство орхидей. Их огромные апельсинового цвета с лиловыми полосками цветы напоминают не то притаившихся тигрят, не то какие-то сказочные создания. У меня захватило дух от этой поразительной красоты, так контрастирующей с угрюмым, мрачным лесом.

Надвигается темнота, надо спешить. Бросаю прощальный взгляд, но кампа обещает, что притацит мне в Кумарию целую охапку «горячих цветов»...

38. Жестокость

В 1531 году испанский авантюрист Франсиско Писарро во главе ста восьмидесяти пяти забияк и тридцати восьми лошадей двинулся в поход, намереваясь покорить Перу — громадное индейское государство с высокой культурой, неисчислимыми богатствами и неплохой военной организацией. Высадившись на берег, он встретился в Кахамарка с королем инков Атауальпой, окруженным многочисленной свитой и возглавлявшим тридцатитысячное войско Писарро, не теряя времени на такие мелочи, как объявление войны, свиту вырезал, войско изрешетил пулями, а короля, сына бога солнца, взял в плен.

— Золота! — вопили испанцы.

Атауальпа предложил за себя выкуп золотом. Он пообещал его в таком количестве, сколько уместится в комнате, где они находились, на высоту вытянутой руки стоявшего человека. А было в этой комнате пять метров на семь. Писарро согласился, но когда получил обещанное золото, и не подумал сдержать слово.

Испанские конквистадоры, как известно, были непревзойденными палачами. Выкалывание глаз, отсечение рук, ног были для них делом самым привычным. Но, соревнуясь друг с другом в жестокости, они приговорили короля инков к сожжению на костре. И тут Писарро достиг вершины цинизма: перед смертью разрешил королю принять христианство и «в награду» за это милостиво распорядился не сжигать его на костре, а повесить. Так испанская корона одним ударом убила двух зайцев: приобрела страну сказочного золота и сомнительную славу.

В отряде, который впоследствии отправился покорять столицу Куско, находился молодой офицер с горящими глазами и пылким сердцем. Однажды ему было приказано убить индейских пленных, но он не смог выполнить этот приказ: на поляне офицер увидел белый цветок ослепительной красоты. Очарованный цветком, он опустился на колени и вознес жаркую молитву.

Это заметил начальник отряда Альмагро. Подошел к цветку, сорвал его и растоптал, пленным велел немедленно уничтожить, а поручика предал военному суду. Юношу приговорили к смерти, но белый цветок не был забыт. Испанцы часто встречали его на своем пути. А так как он был похож на белого голубя и своим видом воодушевлял сердца испанцев верой в победу, то они называли его «цветком святого духа» и в честь его истребляли поголовно всех жителей побежденной ими страны. (Позднее эта прекрасная и трагическая орхидея получила название *Peristeria elata*.)





Спустя несколько дней после приключения со змеей чушупи, я охотился в лесу на птиц. Идя по тропинке, я увидел на ветке молодого дерева сетки огромного богомола.[109] Я уже собрался упрятать его в склянку с ядом, как вдруг на этой же ветке заметил восседающего рогатого жука-геркулеса из семейства династидов. Я оценил ситуацию: богомол, одно из самых хищных насекомых, преградил единорогу путь к возвращению на дерево и приготовился напасть на него.

Жук легко мог бы подняться в воздух, но почему-то не сделал этого. Он принял строгий вид и воинственно нацелил на богомола свой длинный, острый рог. Шансы в предстоящей борьбе были примерно равны: хищности богомола противостоял твердый панцирь жука.

Несколько минут я наблюдал, выжидая — что же дальше, но ситуация оставалась прежней: насекомые сидели неподвижно, не спуская друг с друга глаз. Мне надоело ждать, и я отправился на охоту, а когда через час вернулся обратно, то, к своему удивлению, застал все в том же положении. Длинные, как щипцы, передние ноги богомола грозно подняты вверх; кажется, что он возносит ввысь молитвы, призывающие смерть на голову врага. Какой же глубокой должна быть злоба этих двух насекомых, если она заставляет их более часа следить друг за другом в непрерывном напряжении, выжидая удобного момента для нападения!

Но когда я вернулся сюда два часа спустя, трагедия на ветке сетки достигла кульминации. Вот что я увидел: жук своим рогом пробил насквозь туловище богомола. Однако, присмотревшись внимательней, я понял, что единорог тоже обречен на гибель, потому что богомол нащупал незащищенное место в туловище жука и прогрыз в нем большую дыру.

Самое любопытное и отвратительное было то, что насекомые, уже нанеся друг другу смертельные раны, не прекращали борьбы. Равномерным, непрерывным движением своих челюстей богомол продолжал вгрызаться в туловище жука, а жук, тщетно силясь захватить своими челюстями туловище богомола, вынужден был довольствоваться его ногами, продолжая грызть их.

Эта борьба тянется долго, до самой ночи. На следующее утро от сражавшихся насекомых остается лишь твердый панцирь. Все остальное послужило пищей для других обитателей джунглей.

39. Безумствующая природа

Однажды я решил обследовать участок леса. Для этой цели мы отмерили шагами один квадратный километр по соседству с нашим жилищем. Я поручил Педро учесть все виды деревьев толщиной до двадцати сантиметров, растущих на этой площади, и принести разрезы их пней. Проработав неделю, Педро собрал уже более ста видов, а конца работы еще не было видно.

У нас, в Центральной Европе, на площади более двух миллионов квадратных километров растет около сорока видов деревьев. Здесь же, в лесах Укаяли, на площадке в один квадратный километр неопытный Педро насчитал более ста сортов! Как видите, разница довольно внушительная.

Как-то мы прогуливались по улицам Икитоса. Вдруг мой приятель Тадеуш Виктор споткнулся, зацепившись за какую-то сухую палочку — занесенную откуда-то издалека, покореженную, омертвевшую, голую веточку. Он хотел ее отшвырнуть, но, посмотрев внимательней, поднял ее и унес с собой, а дома посадил ее в саду и полил водой. Я посмеялся над ним, но прошло три месяца, и я опешил: из мертвой ничтожной палочки вырос пук листьев, а среди них расцвел огромный, прекрасный, похожий на лилию белый цветок.

Внутри цветка торчало множество пестиков и тычинок, буйно жаждавших размножения.

В зоопарке в Пара недалеко от входа стоит громадное, невероятной высоты дерево сумаума.[110] Дереву этому, судя по надписи, всего 37 лет, а объем его у основания уже четыре метра.

Позднее в лесах мне попадались громадные сумаумы в двадцать и тридцать метров в окружности. Из основания их стволов тянутся ввысь могучие отростки, как бы подпирающие стены, что еще больше усиливает впечатление непреоборимой силы, диковинной красоты и необычности. Посеянный плод мамона[111] спустя несколько месяцев достигает высоты четырех метров и дает плоды величиной с ананас. Остряки шутят, что если в почву на берегах Амазонки воткнуть зонтик, то месяца через два рядом вырастет второй зонтик.

Не знаю, можно ли этому безоговорочно верить. Но то, что в лесах Амазонки притаились безумство и ужас, этому я твердо верю.

Известно много случаев, когда опытные путешественники и исследователи возвращались оттуда неизлечимо больные, а то и вовсе не возвращались — бесследно исчезали в чаще, как камень в воде.

Тропический лес ревниво оберегает свои тайны, и многие смельчаки, даже из числа туземцев, стала его жертвами. Самая страшная из всех опасностей — заблудиться в лесу. Ни один индеец не рискнет отправиться в глубь леса, не оставив за собой нити Ариадны — отметки на деревьях.

Без таких отметок и ему не выбраться из лесу. При обычных обстоятельствах инстинкт поможет ему добраться до жилья, но в тропических лесах человека всегда подстерегает неожиданность. Постоянно надо быть начеку: от случайного укуса маленькой мушки либо прикосновения ядовитого растения можно потерять сознание.

Тропический лес грозит человеку бесчисленными опасностями, он порождает ужас, но вместе с тем в нем таится неотразимое очарование для того, кто хоть раз испытал исследовательский азарт.



Индейцы на Амазонке с незапамятных времен верят в существование лесного духа Курупира. В их представлении, это двуногое чудовище, у которого одна нога похожа на человеческую, а другая — на ногу ягуара. Он бродит по лесу и в своей безграничной злобе приносит гибель встретившимся на его пути живым существам. Это он издает таинственные звуки, так часто пугающие в лесу. Все беды и несчастья — дело его рук, а так как этот злобный дух шатается повсюду, то в амазонских лесах спастись от него невозможно. Наибольшее наслаждение получает Курупира, когда ему удастся свести с ума заблудившихся. Тогда, глядя на погибающих от ужаса людей, он оглашает лес хохотом.

Европеец, который не видел амазонских лесов, имеет о них, как правило, неверное представление. Как же выглядит этот знаменитый лес? Прежде всего в нем относительно светло. Структура его такова, что громадные и тенистые деревья растут не скученной массой, а разбросаны. Благодаря этому солнечные лучи проникают до самой земли и освещают нижние ярусы. Торжественный полумрак, обычный для наших буковых лесов, встречается здесь редко. Но зато если встречается, то господствует полный мрак. Но это уже исключение.

У амазонских деревьев массивные стволы и относительно скудная листва. Разочарованный пришелец убеждается, что у большинства растений листья небольшие и малопримечательные, напоминающие листья сливы. Эти твердые, плотные и блестящие листья лучшая защита от палящих лучей солнца и ливней. исполинские листья вроде банановых не характерны для тропических лесов. Бананы — это красочное и скорее искусственное украшение здешнего пейзажа. Встречаются они вблизи человеческих жилищ.

Новичка озадачивает также кажущееся отсутствие цветов. У нас наибольшее количество цветов собирается на лугах, и цветут они преимущественно весной и летом, а в тропических лесах нет определенной поры цветения. Они цветут здесь круглый год, но скрыты в гуще буйной зелени.



Тропический лес, собственно, двойной лес: один, обыкновенный, растет на земле — это деревья, непроходимая чаща кустарника, бамбука и сорняков; другой растет над землей, на деревьях и кустах — это паразиты или эпифиты. Они, собственно, и придают тропическому лесу экзотический колорит. Обилие их, причудливость форм и цветы сказочной красоты придают пейзажу чарующее обаяние. Пестрые орхидеи иногда покрывают весь ствол; бромелии, или ананасные, растут на ветках деревьев-хозяев, похожи на причудливые огромные розетки; неистово вьются кудри «Авессаломовой бороды».

Лианы! Когда-то деревья этого сказочного леса вздумали бунтовать и кто-то устроил их, обвязав канатами из лиан и соорудив из них решетки и отсеки. Лианы стелются по земле, взбираются на стволы, перебрасываются с ветки на ветку, с одного дерева на другое, снова сползают на землю, исчезают в чаще. В этой путанице невозможно найти ни начала, ни конца. Гирлянды и фестоны уже тысячи лет дожидаются своего сказочного принца, дожидаются, но, увы, тщетно. С почтенного дерева кимали свисают лианы, похожие на изорванные жилы великана. Глядишь на них, и становится не по себе. Иные предательские лианы так крепко опоясали стволы, что деревья, задыхающиеся в этих смертельных объятьях, спустя несколько лет погибают. На их трупах разрастаются новые лианы и позднее сами превращаются в деревья — это фикусы.

Леса Амазонки — это страна лиан. Одни из них тонки, как нити, другие достигают толщины человеческого туловища. На каждом шагу на них натыкаешься и соприкасаешься с ними.

40. Старые добрые друзья

В 1928 году я совершил свое первое путешествие в Бразилию. Это была зоологическая экспедиция, подобная нашей укаяльской. Мне удалось тогда среди других экспонатов заполучить двадцать с лишним живых животных. Об этих милых созданиях я написал потом книгу под названием «Бихос, мои бразильские друзья». Книгу эту я написал всем сердцем и посвятил ее, разумеется, своей дочурке Басе.

Сейчас, когда тоска снова привела меня в тропические южноамериканские леса, я, как и прежде, окружил себя зверюшками. Я разместил их на высоком берегу Укаяли, и их крики и возня разносятся далеко, до самой середины широкой реки. Эта возня, особенно шумная в послеполуденные часы, довольно внушительна, ибо заставляет проплывающих мимо индейцев чама выходить на берег. Заинтригованные, они удивленно рассматривают зверюшек, заглядывают в каждую челюсть и каждый клюв, с видимым удовольствием прислушиваются к адским крикам и одобрительно покачивают головами:

— Приятные звуки, хорошая музыка!..

Но тут же, мгновенно спустившись с заоблачных высот на прозаическую землю, добавляют:

— Да и лакомство хорошее. Сколько мяса...

И, высказав эту наивысшую похвалу, они чмокают губами и садятся в свои челны.

Шестьдесят животных, да это же целый зоопарк! Слава о нем проносится на пятьсот километров вверх и вниз по реке. Чикинью на седьмом небе. Чикинью — владыка моих зверей. Он с ними на короткой ноге, кормит их, называет всех по имени, и звери слушаются его. Всем нашим гостям, особенно индейцам, Чикинью рассказывает придуманные им же истории и сказки, изображая своих воспитанников героями. Он сочиняет страшные приключения, в которых участвуют его звери, и, конечно, лжет безбожно. В конце концов об этом догадываются. Но нередко какой-нибудь индеец сидит, долго слушает, хлопает глазами, разевает рот от удивления, пока, наконец, хитрая, понимающая улыбка не осветит его лицо. Теперь он сообразил, что Чикинью сочиняет все это потому, что очень любит животных.

Среди птиц самый большой озорник тукан. У меня их несколько: черти, а не птицы. Они всюду лазают, всюду суются, запускают в суп свои невообразимые клювы, этим же клювом хватают вас за нос, выщипывают волосы, а когда вы их прогоняете, то они садятся вам на плечи. Если туканы направляются куда-нибудь и вы окажетесь на их пути, они ворчливо требуют, чтобы вы уступили им дорогу. По части еды они не признают шуток. Вечно голодные, они пожирают и собственные порции и все, что удастся урвать у других, более слабых животных. Да что тут говорить: они терроризируют половину моего зверинца, не исключая даже белого ястреба, который хоть и сильнее их, но по молодости еще глуп и поэтому подчиняется их команде.

Единственное, к чему с почтением относятся туканы, это к клювам арар — этих пестро раскрашенных матрон, восседающих на самых высоких ступенях общественной лестницы и, вероятно, поэтому всегда взбирающихся на верхушки жердей. Кроме арар, туканы боятся как огня двух тромпетеров (трубачей). Это почтенные черные птицы с белыми крыльями из семейства журав-

лей. Тромпеты издают глухие звуки, как будто исходящие из недр земли, и своей суровостью усмиряют даже назойливое племя домашних кур. Но, притесняя зверей, к людям эти птицы относятся очень приветливо и доверчиво. Один из них любит, когда я почесываю ему голову и глаза. Другой обожает одного мальчишку из племени чама. Увидев маленького индейца, он мчится к нему, заходит кругами и, распластав крылья, ложится у его ног.

«Много шуму из ничего» производят мои тридцать пивичей — маленькие, величиной с детский кулачок, зеленые горластые попугайчики. Когда ни подойдешь к моему зверинцу, всегда слышны их голоса. Я убежден, что если в пальмовой оранжерее в Познани поместить хотя бы трех таких пивичек, то их голоса заменили бы шум всего тропического леса. Но тридцать пивичей — это уж слишком! Производимый ими адский шум действует на нервы не только двуногих, но и четвероногих соседей.

Самый дикий зверек в моем зверинце — хирара, называемая в Перу манко. Ко мне привезли ее с другого берега реки. Этот храбрый зверек из отряда грызунов, угодив в плен, все время что-нибудь грыз. Ко всему окружающему он был совершенно равнодушен, он только шипел и без устали грыз. Прутья своей клетки, сделанной из дерева седро, он превратил в порошок. Он прогрыз железный лист, из которого мы хотели сделать ему намордник, он лихо расправлялся с древесными колодами, которые Педро впихивал ему в клетку. Два человека постоянно стерегли его, отталкивали, всячески препятствуя его намерениям, но он был неутомим и яростен в своей жажде свободы и продолжал исступленно рваться из клетки. И в конце концов случилось невероятное: зверь победил. Он вырвался из четырех вооруженных палками рук и удрал в лес — бесстрашный, упорный борец за свободу. Он преподал нам урок: отвага и выдержка побеждают даже в самом трудном положении.

Приключения совсем другого рода произошли у нас со змеей анакондой. Ее нашли спящей недалеко от плантаций сахарного тростника и, набросив лассо, привезли на чем-то напоминающем сани. Чудовище это имело пять метров в длину и весило свыше двух центнеров. Анаконду я решил привезти в Польшу живьем и поместил ее в клетку. На съедение ей мы бросили живого цыпленка. Но тут случилось то, чего я меньше всего мог ожидать: цыпленок подружился со своим извечным врагом. Укладывался спать в клубке свернувшейся змеи, нагло клевал ее кожу и буквально лазил по голове. А свирепая анаконда все терпела, видимо не собираясь расправиться с цыпленком.

Миновали две недели такой идиллии, и мы пришли к выводу, что анаконда больна и надо ее умертвить. Но прежде чем сделать это, мне захотелось сфотографироваться с ней: очень уж эта bestия была фотогенична. Не успел я, однако, принять подобающую позу, как вдруг анаконда взвилась и схватила мою руку своей страшной пастью. К счастью, прежде чем ей удалось обвиться вокруг моего тела и сокрушить мне ребра, мои товарищи воткнули ей в пасть кол и освободили мою израненную и обильно кровоточащую руку. Однако этот отчаянный поступок не спас змею от смерти. Ее убили, а из вытопленного сала приготовили какое-то спасительное лекарство, цыпленка же постигла обычная участь: он угодил в горшок.

Однажды в первых числах апреля ко мне пришла старая индианка чама с острова, расположенного выше Кумарии, и спросила, не хочу ли я купить обезьянку. «Куплю, — ответил я, — если она не больна». Тогда индианка развер-



нула какую-то тряпицу, и я увидел большие, испуганные глаза, черный чуб и милостливую мордочку обезьянки капуцина. При виде этой старой приятельницы, знакомой мне еще со времен моей первой бразильской экспедиции, у меня от волнения защемило сердце и защеботало в горле. Ведь это же точь-в-точь тот самый Микуся, которого я тогда привез с собой в Польшу и с которым так подружилась моя дочурка Бася. Сколько тогда было радости, детских шалостей и игр!..

Индианка спрашивает, знаком ли мне этот вид обезьянок.

— Знаком, — отвечаю я и показываю ей фото из моей книжки «Бихос», изображающее Басю с Микусей.

Индианка узнала обезьянку и ужасно обрадовалась. Потом спросила, где эта девочка. Тут-то возникла загвоздка. Как мне было объяснить этой краснокожей даме с разрисованными щеками, с большой серьгой в носу что как раз год тому назад бедную Басю зарыли в землю? И как укрыть от старухи слезы в глазах путешественника? Удивительно это человеческое сердце: ничто не может вытравить в нем память прошлого, ее неспособно выжечь жаркое солнце экватора, ее не могут смыть бурные тропические ливни, не могут покрыть пеленой забвения огромные враждебные леса.

Положение спасает милый тапирчик. Он проголодался и прибежал просить еды. Тапирчик настойчиво трется у моих ног и тянет меня за ботинки. Ладно уж, сорванец, получай свою порцию!

41. Перед лицом ужасов

Ты, дерзкий человек, хочешь добыть для своей коллекции несколько птиц, голоса которых слышатся в глубине чащи? Бери ружье и нож мачете, врейся в чащу и входи. Осторожно, вот дерево с израненной корой, из нее сочатся капли белой смолы. Если одна такая капля попадет тебе в глаз, потеряешь зрение навсегда. Вот что-то грозно зашуршало по земле — змея? Нет, это огромная ящерица.

Пальма пашиуба[112] пирамидой расставила на поверхности земли свои причудливые корни, вооруженные страшными шипами. Укол такого шипа наносит болезненные раны, не заживающие неделями.

От какого-то неведомого растения исходит аромат, вызывающий мгновенно головную боль и тошноту. И так же быстро, как возник, неприятный запах вдруг исчезает, и голова перестает болеть.

Поблизости слышен плач ребятишек. Самый настоящий захлебывающийся плач голодных малышей. Вероятно, это жабы.

А вот доносится звук приближающегося поезда. Чикиньо, широко раскрыв глаза от изумления, смотрит на меня, а я на него. Иллюзия так велика, что мы различаем шипение пара, выходящего из клапанов. Невозможно понять, откуда взялись эти звуки, — ведь ближайшая железная дорога находится за тысячу километров. Пораженный, тщетно стараешься проникнуть взглядом в глубь зеленой чащи, чтобы разгадать загадку.

Тебе преградило путь сваленное дерево. Ты ступил на него и провалился по пояс в труху. Оттуда выбегают длинные сколопендры,[113] опасные и ядовитые твари. Вдруг на сколопендр накидываются великаны муравьи — инсули, длиной свыше двух сантиметров, и тут же разыгрывается ожесточенная битва.

Удирай поскорее, иначе в пылу драки насекомые могут наброситься и на тебя: от яда сколопендры заболеешь на несколько недель, а от укула инсули пять дней будет тебя мучить лихорадка.

Удирая, ты запугываешься в колючей чаще и валишься на землю. Но вдруг над тобой пролетает очаровательная, похожая на колоссальный изумруд, сверкающая бабочка морфо.

Вот ты подходишь к илистой черной воде: это одна из бесчисленных амазонских «таламп» — болото бесконечно длинное, но шириной всего в несколько метров. Надо перебраться через него. Глубоко ли там и не обитает ли в нем какая-нибудь тварь, которая ударит тебя электрическим током? Ступаешь осторожно. Слава богу, ничего не случилось, только несколько пиявок прилипло к ботинкам. Стряхиваешь их, бросаешь последний взгляд на пройденную талампу — и цепенеешь! В мутной воде что-то таинственно и грозно копошится, пробираясь по твоим следам. Хватаешься за ближайшую ветку и взбираешься на берег.

Несчастный, не надо было хвататься за ветку! На ладони вскакивают жгучие волдыри, и пока вернешься домой, у тебя распухнет вся рука.

Ад или рай — неизвестно. Какой-то кипящий котел буйной, бешеной плодовитости, исступленная жажда жизни, где неистово размножаются и пожирают. Выходишь из тропического леса смущенный, уставший от обилия впечатлений, подавленный враждебной средой.

А в глубине чащи все еще слышны заманчивые голоса редких птиц, на которых хотел поохотиться.

Ты вырвался из тропического леса, чтобы перенестись в светлый мир, к человеческим существам, отдохнуть в их братском окружении. Но очарование этих тропических лесов таково, что тысячи неразрешенных загадок будут и впредь привлекать естествоиспытателя. Загадок то страшных, отвратительных — вроде сколопендр, то манящих своей чарующей красотой.

Среди гибельных топей и ядовитых растений можно увидеть на берегах Укаяли прелестный красный цветок. Туземцы называют его «ситули». Он имеет два ряда больших, с человеческую ладонь, чаш в форме сплюснутых сердец, пурпурного цвета, такого яркого и горячего, что кажется, будто сердца эти излучают свет во мраке лесов. Увидев такое чудо, остановишься ослепленный, застынешь в экстазе и поймешь, что стоило приехать на другой конец света хотя бы для того, чтобы взглянуть на цветок ситули.

Я часто смотрю на него и прикасаюсь к мясистым чашам.

42. Злая капибара и добрый тапирик

Еще в городе Икитосе я купил молодую капибару — забавного грызуна, похожего на свинью.[114] Она вместе со мной и Чикиньо проделала длинный путь в леса Кумарии. Это выглядело так, как если бы в Афины ввозить американских сов. Капибарочка любит зеленые бананы, свободу и болота.

В первый же день нашего приезда в Кумарию я при помощи шнура связываю ее сложнейшими узлами. Ночью она с непостижимой легкостью освободилась от своих пут, но почему-то не убежала. Этим она как бы продемонстрировала свое благородное доверие ко мне, и я, со своей стороны, стараюсь с тех пор удовлетворять, по возможности, ее желания.

Но за последнее время моя капибара расхулиганилась не на шутку. Она откровенно издевается над нами, и мы перед ней совершенно бессильны. Все веревки и путы сползают с ее разжиревшего туловища, и вольный дух торжествует. Частенько она исчезает, пропадает по два-три дня в болотах Кумарии (на этих-то болотах несчастные польские колонисты рассчитывали построить свое будущее!) и возвращается лишь затем, чтобы поесть бананов. Но я рад хотя бы тому, что она вернулась.

Хуже то, что она явно деморализует вторую, младшую капибару и юного тапирика. Тапирик это наш любимец. Звереныша я выходил, залечил тяжелые раны, нанесенные ему собаками, и теперь он относится ко мне, как к родной матери, которую убили люди.

На этой почве между мной и капибарой-искусительницей идет упорное соперничество: каждый из нас старается завоевать сердце этого увальня. Капибара соблазняет его лесом и вольным житьем на лоне природы, а я стараюсь привлечь его добрым, человеческим словом и датским сгущенным молоком. У тапирика мучительное раздвоение чувств. Увлекаемый капибарой, он уходит в лес, но когда, обеспокоенный их долгим отсутствием, я тоже мчусь туда и изо всех сил свищу, тапирик из глубины леса свистит мне в ответ. Наконец, не выдержав, он посылает ко всем чертям свою обольстительницу и припадает к моей ноге, после чего мы в самых лучших отношениях возвращаемся домой.

Я заметил, что по утрам побеждает влияние капибары, зато вечера цели-

ком принадлежат мне. С наступлением сумерек тапирчик забирается под стол, принимает участие, правда пассивное, во всех наших разговорах за ужином, и уже никакая сила не выгонит его оттуда.

Мой тапир молодая самочка, а я и доктор Жабинский, милейший директор зоопарка в Варшаве, — мы оба при ней играем роль сватов. Путем оживленной переписки мы договорились, что я привезу девицу в Польшу и мы выдадим ее замуж за тапира-самца, тоскующего в Варшавском зверинце.

Думаю, что пара получится неплохая!

43. Нашествие

Охотясь однажды в чаще несколько дальше обычного, я вдруг заметил, что все живые существа вокруг ведут себя необычайно возбужденно. Птицы как безумные перепрыгивают с ветки на ветку с писком и криком. Какой-то броненосец, очевидно только что проснувшийся, сломя голову мчится со страшным шумом сквозь кустарник. Множество жуков, кузнечиков и других насекомых с громким жужжанием проносятся в воздухе. Некоторые из них, обессилев, на мгновение опускаются на листья, но тотчас продолжают бегство.

Все живое в паническом страхе мчится в одном направлении. А когда мимо меня пробегают испуганный паук-птицеед — свирепый разбойник, перед которым все дрожат, я начинаю понимать, что произошла какая-то катастрофа, повергшая в ужас всех обитателей леса.

Я крепче сжал ружье и, укрывшись за деревом, стал выжидать. Беспокойный крик птиц и ужас насекомых подействовали на нервы. Сердце забилося быстрее. Удивительно неприятно стоять так и дожидаться неведомой опасности. На всякий случай перезаряжаю ружье: закладываю в один ствол шрапнель, а в другой — пулю, предназначенную для крупного зверя.

Перелет насекомых уже прекратился, и теперь до моих ушей доносится непрерывный приглушенный шум, похожий на звук рвущейся бумаги. Трудно понять, откуда исходят эти таинственные шорохи. Затем в воздухе разнесся кисловатый запах как бы испорченного мяса.

Наконец я все понял. В нескольких шагах от меня среди густой растительности показалась на земле черная масса: надвигались муравьи. Эти хищники, муравьи-эцитоны, уничтожают на своем пути все живое. Ничто не может устоять перед ними: ни человек, ни зверь, ни насекомое. Все, что не успело или не сумело удрать, погибает, растерзанное неказистыми разбойниками.

Несколько острых уколов в ноги напомнили мне, что пора ретироваться: десятка два муравьев уже успели взобраться на меня. Я метнулся в сторону, но понял, что уйти не так-то просто. Перескочить через плотный, почти метровой ширины вал муравьев, да еще среди густых зарослей — дело нелегкое. Муравьи чем-то раздражены и мгновенно впиваются в ноги. Бегу в противоположную сторону, но там такая же картина: движется нескончаемая лента. Тем временем к дереву, за которым я скрывался, приближается третья мощная колонна эцитонов, и положение становится серьезным. Я окружен с трех сторон.

Не теряя времени, высматриваю в кустах местечко, где муравьев поменьше, и пробиваюсь сквозь кордон. Бегство удалось, однако не без потерь: пока я пробивался, новые муравьи успели вползти на меня. Некоторые пробрались

в ботинки и, точно колючки, впились в тело с такой яростью, что невозможно было их оторвать. Разодранные пополам, они продолжают вгрызаться в мою ногу. Только раскрошив их, мне удалось избавиться от этих разбойников. Боль от их укусов, очевидно ядовитых, очень сильна. Укушенные места вспухают. Стиснув зубы, я сосредоточил все внимание на происходящем вокруг.

Муравьиная процессия растянулась в длину шагов на восемьдесят, она разделена на несколько групп, которые движутся бок о бок, точно колонны войск. Трудно сказать, сколько здесь муравьев. Может быть, миллион, а может, и все десять. Ширина каждой колонны несколько десятков сантиметров. Передвигаются они со скоростью четырех-пяти шагов в минуту. Муравьи идут такой сплошной массой, что можно подойти к ним на близкое расстояние, не рискуя быть укушенным.

Шествует, по-видимому, весь муравейник, потому что здесь муравьи всех размеров: маленькие, средней величины, большие и, наконец, огромные, почти в полтора сантиметра. Эти держатся по краям колонн, точно фланговые, и бегают то вперед, то назад, наблюдая, видимо, за порядком. Исключительно подвижные и стремительные, они исполняют также роль разведчиков: влезают на кусты и деревья (но не выше двух метров от земли), оттуда ведут наблюдение, а затем возвращаются в строй.

В середине колонн, в самом безопасном месте, множество муравьев тащит на себе потомство муравейника — белые куколки и личинки.

Эта голодная, отчаянная, непобедимая, страшная армия никому не дает пощады. Несколько зеленых гусениц величиной с указательный палец вели безмятежное существование на ветке ближайшего куста. Но вот их заметил муравей-разведчик и тут же доложил товарищам. Мгновенно сотня «воинов» устремилась за добычей. Без долгих церемоний они растерзали безобидных гусениц в клочья и потащили с собой. Вся разбойничья операция продолжалась не более пятнадцати секунд.

Труднее оказалась охота за пауком. Хотя он больше муравья раз в тридцать, однако трусливо убегает на самый конец ветки. Но муравьи настигают его и здесь. Первых двух паук хватает челюстями, третьего давит лапой. Но налетают все новые. Уже впились в него, уже вспарывают ему брюшко, разрывают на куски туловище и голову, и все это тащат вниз, не забыв даже о лапах несчастной жертвы.

А вот истлевший пень поваленного бурей дерева, в нем нашли себе пристанище несколько десятков больших, жирных червей. Муравьи вытаскивают их на свет божий и мгновенно раздирают на куски. При этом они с бешеной яростью вырывают эти куски друг у друга, как бы торопясь поскорее прикончить свои жертвы.

Но в природе существуют насекомые, пользующиеся милостями и даже дружбой черных разбойников. Со своего наблюдательного пункта я хорошо вижу, что творится в муравьиной колонне. В самом центре ее я замечаю красных жучков, принадлежащих к совсем иному отряду насекомых, нежели муравьи, однако бодро шагающих вместе с ними. Многочисленное племя жучков — рабы. Эцитоны ревниво охраняют пленников, доставляющих своим владыкам вкусное, душистое масло. Это, так сказать, муравьиные коровы.

Из любопытства я одного жучка вылавливаю веткой и сажаю на расстоянии метра от колонны. Его исчезновение вызывает в муравьиной толпе

неописуемое волнение. Многочисленные патрули разбегаются во все стороны. Обнаружив беглеца, три муравья схватили его за ноги и поволокли обратно, причем один из муравьев в пылу возбуждения отгрыз ему ногу. Прежде чем жучок успел подумать о свободе (хотя сомневаюсь, способен ли он был на это), его уже втолкнули в ряды колонны и черный поток накрыл его. Эцитоны все делают быстро, решительно, без раздумий и колебаний, с большой целеустремленностью.

Однако не все в этом государстве благополучно. В черной массе я заметил уродливых белых насекомых, не похожих на муравьев. Я схватил одного из них и обнаружил — невообразимое страшилище не что иное, как личинка мухи. Невообразимое потому, что на голове этой личинки торчал в виде колпака пустой внутри остов муравьиной головы. Это на первый взгляд необъяснимое явление стало понятным, когда я увидел, что над муравейником кружат тучи мух. Эти мухи-паразиты сопровождают муравьев во время их передвижения. Они подкарауливают удобный момент, чтобы незаметно отложить яйца на муравьином теле. Через несколько дней из такого яйца вылупится личинка. Она медленно станет пожирать муравья и за его счет будет расти сама, пока в конце концов не доберется до головы муравья и не опорожнит ее. После этого, защищенная маской, она нагло шагает вместе с муравьями, пока не превратится в куколку.

Я вижу среди эцитонов множество таких личинок. В этом таится своеобразная биологическая драма: хищники, немилосердно пожирающие все живое, что попадет на их пути, в своем муравейнике терпят каких-то жалких личинок, которые, в свою очередь, пожирают их. Они совершенно не замечают шагающей рядом с ними опасности! Бывали случаи, когда этот коварный враг уничтожал весь муравейник.

Эцитоны служат пищей также и для птиц. Многочисленные виды пернатых стерегут эту процессию, и среди них выделяются особые специалисты — коричневые муравьеды. Крики их разносятся далеко по лесу.

44. Борьба не на жизнь, а на смерть

Муравьиная процессия все движется мимо меня, углубляясь в чащу, и я все еще не могу оторвать глаз от необычного зрелища.

На ветвях кустарника, тут же, над землей, висит большое, как футбольный мяч, гнездо ос. Полтора десятка эцитонов-патрулей заметили его и мгновенно набросились на серую оболочку гнезда. Для их острых челюстей это пустяк: оболочка затрещала, как бумага. Но в воздухе уже появились осы. Со злобным жужжаньем они набрасываются на налетчиков и мгновенно уничтожают их. Попросту уносят их в воздух, и даже трудно понять, что они там с ними делают. Спустя минуту куст очищен от врага.

Но ненадолго. Очевидно, шествующая колонна узнала от уцелевших патрулей о случившемся. В черной массе возникло нервное замешательство, затем наиболее наглые муравьи взбегают на куст. Осы не допускают их к гнезду, и смертельная схватка завязывается среди ветвей. Каждая из ос во много раз больше и сильнее своего противника, к тому же они более подвижны, ибо располагают крыльями, и смерть густо косит муравьев; их разодранные тела устилают землю.

Место погибших заступают новые, все более многочисленные подкрепления муравьев, но и осы тоже словно двоятся и троятся в глазах. В этой сумятице мне трудно уследить за перипетиями боя. Вижу только, что беснующихся, жужжащих ос сотни, а муравьев — тысячи. Предусмотрительно отодвигаюсь на несколько шагов в сторону, опасаясь, как бы и мне не досталось от взбешенных насекомых.

Но вот что-то серьезное произошло в самом гнезде. По-видимому, муравьи проникли внутрь. Из разодранной оболочки гнезда вдруг стали вываливаться белые личинки, сначала по одной, а потом все больше и больше. Это потомство ос шлепается на землю. Здесь его немедленно раздирают муравьи. Среди падающих личинок я вижу и осу; обессиленная, облепленная муравьями, она слабо обороняется от них и, видимо, погибает. За ней падают все новые побежденные осы. И наверху, на ветвях, где идут самые жаркие бои, среди бесчисленных муравьиных тел валяются тут и там осы.

Тем временем полчища других муравьев, до сих пор не участвовавших в драке, забрались высоко на ветки соседних кустов и оттуда ринулись в атаку. Они падают сверху на гнездо, раздирают остатки его в клочья, забираются внутрь. Осы обороняются изо всех сил, но их становится как будто все меньше. И вот настала минута, когда чаша весов решительно склонилась на сторону муравьев. Множество их орудует внутри гнезда, и оттуда градом валятся на землю белые крупные личинки, муравьи, осы... Все это беспорядочно перемешалось, вгрызлось друг в друга, полуживое, но все еще яростное и подвижное. На земле муравьиная армия добивает остатки не пожелавших спастись бегством и мужественно сражающихся ос и уже готовится сомкнуть ряды, чтобы двинуться дальше, унося с собой добычу. Гнездо грозных ос прекратило свое существование, оно пало под натиском более многочисленного противника.

А одновременно с этой трагедией, на расстоянии ста шагов впереди нас, произошла другая схватка. Патрули соседней муравьиной колонны вспугнули огромную, почти метровую, ящерицу тейю, которая, спасаясь, забралась в ближайшую земляную нору. Тысячи эцитонов ринулись за ней туда. Невидимая



моему глазу борьба длилась недолго: вскоре ящерица появилась на поверхности, черная от облепивших ее насекомых. Муравьи уже успели выесть ей глаза. Ослабевший гад медленно уползает, но недалеко. Вдруг он останавливается, как громом пораженный, широко разевает пасть, злобно скалит зубы на недосыгаемого врага, а сотни муравьев тем временем забираются ему в пасть. Ящерица отчаянно мотает головой, а эцитоны поспешно вырывают из нее куски живого мяса и тащат их в колонну.

Я не могу видеть мучений гада и выстрелом из ружья приканчиваю его. А муравьи продолжают разрывать его внутренности.

Когда минут через пятнадцать проходят мимо последние ряды колонны, им уже ничего не достается. От ящерицы осталась только бесформенная груда костей и горсточка чешуи.



Муравьи прошли.

Черный кошмар исчез в чаще, затихли и крики муравьедов. Солнце жарко светит, и его лучи, пронизывая чащу, проникают местами до самой земли.

Неожиданно в воздухе появляется веселая бабочка геликонида, красивый экземпляр черной окраски с желтым пятном и красной лентой. Бабочка тут же, рядом с останками ящерицы, усердно откладывает на листьях куста свои яйца, заботясь о продолжении рода. Из этих яиц через два месяца вылупятся зеленые гусеницы, которые будут вести безмятежное существование под лучами жаркого солнышка.

45. Колибри

Долорес — дочь Еутиния Арешача, сборщика каучука, моего ближайшего соседа, живущего в километре от меня. Долорес двенадцать лет. У нее светло-коричневая кожа и живые глаза. Она типичное создание этих мест, выросшее на границе пуши и цивилизованного мира, где царит смешение понятий не менее головокружительное, чем водовороты на реке. Хотя Долорес дочь метиса и чистокровной индианки племени кампа, однако она три года посещала школу и выучилась читать и писать по-испански. Девочка еще не оторвалась от лесной чащи, которая крепко держит ее в своих объятиях, но цивилизованный мир уже привил ей огромную любознательность и стремление познать другую жизнь. Рядовой индеец этих мест, темный и неграмотный, не интересуется сложным внутренним миром белого человека, и взгляд у него обычно грустный и тупой. У Долорес, наоборот, глаза смелые и сияющие.

Однажды утром она прибегает ко мне и кричит:

— Сеньор, идите к нам! Возле нашей хижины собралось много птичек.

Я беру ружье и иду вслед за Долорес.

Арешача вокруг своего домика вырубил кусок леса. Между пнями разросся буйный кустарник, покрывшийся сейчас желтыми цветами. Вот к этим цветам и слетелись сказочные птицы — колибри. «Тррр» — слышится энергичный звук, напоминающий шум летящего вдали самолета, и неожиданно в двух шагах от нас в воздухе застыла... птица не птица, скорее изумруд, превратившийся мгновенно в пылающий рубин, а затем в сверкающее золото. В следующее мгновение он уже промелькнул в молниеносном полете и застыл шагах в тридцати у другого желтого цветка, погрузив в его чашу свой длинный острый клювик.

«Тррр» — пролетел мимо второй колибри, за ним третий, четвертый. Они проносятся над ближайшими цветами и исчезают. Три других колибри со свистом прорезают воздух. Вскоре вокруг нас собирается десятка полтора этих пестрых летчиков. Чарующее зрелище!

Колибри! Щедрая южноамериканская природа сотворила много чудес красоты, но колибри, несомненно, должны быть отнесены к ее величайшим шедеврам.

Эта самая маленькая в мире птичка привлекает к себе больше внимания, чем все другие представители пернатого царства. Корнелий Макушинский в одном из своих юмористических рассказов остроумно, хоть и не очень учтиво, сказал об одной даме, что ее мозг не больше мозга колибри. Однако в глазах людей колибри стал олицетворением красоты всей южноамериканской природы, куда более богатой, нежели природа других стран. Все путешественники, побывавшие в Южной Америке, отдали дань восхищения этим «крылатым драгоценностям». Открываю первую попавшуюся книгу о Бразилии, написанную английским художником Кейсом Хендерсоном, под названием «Пальмовые рожи и колибри» (Лондон, 1924 г.) и читаю: «Люблю тебя, крошечный колибри, за твою храбрость и проникновенную красоту. Пленительный чародей, я склоняю голову перед тобой, кого некогда почитали богом!» Допустим, что Хендерсон как впечатлительный художник склонен к преувеличениям, но ведь даже самые закоренелые снобы не могли устоять перед обаянием колибри.

И в самом деле, эти птички по праву заслуживают исключительного внимания. Привлекателен не только их внешний ослепительный наряд, изумляет — пожалуй, это самое точное выражение — быстрота и легкость их полета, смелость и задор. В крохотном тельце колибри — иногда оно не больше нашего шершня — поразительно сильные мышцы.

Эти птицы, точно сказочные существа, всегда появляются неожиданно; они замирают в воздухе, склонившись над цветком, причем крылышки их трепещут так быстро, что кажутся неподвижными. Не присаживаясь, они выбирают из чаши цветка маленьких жучков и высасывают нектар. Этим изумрудам и рубинам, превращенным в птиц, цветы так же необходимы, как бабочкам.

Вот два маленьких воинственных самца ведут ожесточенную схватку. С писком оба они описывают в воздухе стремительные круги и взлетают высоко в небо. Затем, вероятно, немного пощипав друг друга, разлетаются в разные стороны. Один из них стрелой мчится к нам и присаживается на сухой веточке ближайшего куста.

Наглый грохот выстрела из моего ружья разорвал воздух. Колибри камнем упал на землю. Мы бросились искать нашу добычу в густой траве. Искали долго и безуспешно.

— Он упал здесь! — говорит Долорес жалобно. Да, упал, и все же его нет, как будто земля его поглотила.

Вот как началась моя охота на лесную крохотную дичь.

Сердце буквально разрывалось, когда нужно было стрелять по колибри, но этого требовали мои обязанности: ведь я должен был привезти для варшавского музея коллекцию здешней фауны.

Странная это дичь; колибри совсем не боится человека и пролетает иногда так близко, что невозможно выстрелить. В первый же день за два часа я убил двадцать колибри, но, увы, некоторые из них оказались совершенно изрешеченными дробью. Ко всем другим животным нужно подбираться тайком, на расстояние выстрела, а тут наоборот: охотясь на колибри, приходится отдаляться на это же расстояние.

Однажды на третий день охоты мы стали свидетелями захватывающего зрелища. Большой сокол описывал над поляной круги и в поисках добычи все больше снижался. Колибри заметили опасность и мгновенно скрылись. Не все однако. Один бесстрашный малыш принял бой с великаном и с воинственным писком бросился в атаку. В воздухе разыгралась небывалая сцена — ожесточенная схватка двух противников с такими неравными силами, что, казалось, достаточно было одного взмаха огромного соколиного крыла, чтобы убить лилипута. И все же колибри победил! Его молниеносная быстрота, поразительная ловкость и упорные атаки на глаза гигантского противника в конце концов вынудили хищника сдаться: сокол отказался от борьбы и улетел, оставив поле боя за колибри. Долорес и Чикиньо вне себя от радости и громко аплодируют в честь воинственного юнца.

Однажды возле желтых цветов появился какой-то необычайный экземпляр. Я стреляю по нему раз, другой, третий, а он хоть бы что — продолжает спокойно кружиться над цветком! Наконец после четвертого выстрела он падает на землю, и здесь мы обнаруживаем, что это вовсе не птица, а бабочка из семейства дневных бражников. Их способ летать и добывать себе пищу с цветка необычайно схож с колибри.

В последующие несколько дней колибри прилетают в большом количестве. Ежедневно мы видим их не менее ста пятидесяти. За каких-нибудь два часа охоты мы добываем по десять-двенадцать экземпляров. Этого вполне достаточно, чтобы потом весь день спокойно заниматься препарированием шкурок. Но через неделю наплыв колибри ослабевает; с каждым днем их прилетает все меньше и меньше. И тогда происходит занятное явление, типичное для южноамериканской природы, изобилующей различными формами мимикрии:[115] на место колибри прилетают бабочки, которые копируют их во всем.

Из ближайшего леса вылетают бабочки парусники — черные с белыми и красными пятнами, принадлежащие к тому же семейству, что и наша бабочка махаон. Они вылетают на поляну, хотя раньше опасались это делать, и густо облепляют желтые цветы. Безошибочный инстинкт подсказал им, что поляна, вчера еще безраздельно принадлежавшая колибри, сегодня самое безопасное место для них, так как воинственные птички прогнали всех врагов.

И вот мы видим, как бабочки старательно копируют движения колибри. В лесу они летели медленно, степенно размахивая крыльями, теперь же, приближаясь к цветам, они быстро и нервно перебирают крылышками — совсем так, как это делают колибри!

А колибри прилетают теперь так редко и так мало их, что нет смысла охотиться за ними, и мы с Чикиньо решили однажды остаться дома. Но вскоре прибегает раздосадованная Долорес:

- Почему вы не пришли сегодня?
- Потому что колибри уже нет.
- Колибри нет, но зато есть масса других птиц!..

46. Индейцы презируют белых и обезьян

Индейцы из племени чама — честные, добросовестные пожиратели укаяльской рыбы — самого плохого мнения об умственных способностях белого человека; они считают, что белая раса обижена богом, а сам белый человек — растяпа.

— Почему ты считаешь, что я глупее тебя? — спрашивает полуголого чама задетый за живое белый.

— Причин столько, сколько рыбы в реке! Хотя бы потому, что ты не умеешь толком грести! — отвечает индеец.

— Это верно: мы не умеем грести так хорошо, как ты, но зато мы умеем строить пароходы! — парирует белый.

Чама пренебрежительно смеется:

— Скажи, а часто приходят сюда пароходы?

— Ну, примерно раз в месяц.

— Вот видишь! А грести ты должен три раза в день. Так скажи, что важнее?

Он прав, здесь важнее весло!

После такого объяснения индеец плотно закутывается в свою Кузьму — нечто вроде самодельного хлопчатобумажного мешка, защищающего тело от комаров, которые здесь, на Укаяли, немилосердно кусают. Кузьму соткала ему мать двадцать лет назад, и с тех пор чама носит ее, никогда не снимая и не стирая. К чему стирать? Когда-то Кузьма была белой, теперь она уже серая. Лет через пять, когда она от грязи совсем почернеет, ее выкрасят в отваре коры красного дерева, и Кузьма станет темно-коричневой. Так чама и проносит ее до конца своей жизни, ни разу не выстирав.

В верхнем течении реки Укаяли мне все время приходится соприкасаться с индейцами чама. Я познакомился со многими из них и изучил их обычаи. Племя чама занимается исключительно рыболовством и живет только на берегах Укаяли, не уходя далеко в лес. Нет их даже на лесных притоках. В лесах охотятся индейцы другого племени — кампа, весьма воинственный народец, и миролюбивые чама, спасаясь от них, иногда прибегают к защите белых.

Чама — крепыши низкого роста и округлых форм. В чертах лица явно монгольская примесь. Питаются они преимущественно рыбой и бананами. И то и другое они приготавливают на разные лады. Так называемая «патарашка» — рыба, запеченная в пальмовом листе, — могла бы стать украшением стола самого взыскательного лакомки. В любое время дня индейцы поедают невообразимое количество цяпу — что-то вроде супа, приготовленного из вареных и размятых руками бананов. Они обожают водку, добытую из тростника, но когда ее нет, пьют масату — сок юкки. Чтобы получить этот сок, женщины пережевывают юкку.[116]

Очевидно, рыба и бананы идут им на пользу: чама не знают болезней и обычно бывают в прекрасном настроении. Это просто поразительно: всегда они веселы, всегда смеются, даже когда их постигает какая-нибудь беда. На белого пришельца это производит странное впечатление; он смотрит на индейца, больно поранившего себе руку и при этом хохочущего, как на сумасшедшего. Смех чама не похож на наш смех. Он напоминает скорее ржание коня или хихикание, и мне кажется, что чаще всего они зубоскалят. В общем чама — веселые индейцы.

Хотя чама живут среди белых и повседневно соприкасаются с ними, они сумели отгородиться китайской стеной от влияния их цивилизации и культуры. Возможно, поэтому племя чама не погибло, а, наоборот, все больше размножается. Чама приняли христианство, но для них это только форма. Они продолжают соблюдать свои языческие обряды, а о христианском боге имеют самое смутное представление. «Люди без бога» — так называется, кажется, единственная монография о чама, принадлежащая перу выдающегося знатока этого племени — Тессманна. Колдовство играет в жизни чама немаловажную роль. Некоторые из них умеют считать на пальцах рук, а некогда был славен курака (вождь), который умел считать до десяти тысяч. О деньгах чама не имеют понятия. А может быть, и не хотят иметь? Вообще они не знают цены вещам, но зато хорошо знают цену своим капризам и ими руководствуются: если одному из них понравился нож соседа, он охотно отдаст за него свое индейское ружье — эскопету, стоящее раз в двадцать больше, чем нож.

Чама не приходится бороться за существование. В реке полно рыбы, а на берегу вдоволь бананов. Привольно живется этим большим капризным детям!

Среди других племен чама выделяются не только своим веселым нравом, но и художественными наклонностями. Я оговорюсь: наклонности эти присущи только женщинам. Женщины лепят из глины искусные горшки различной формы и украшают их характерными рисунками. Рисунки эти состоят из красных и темно-коричневых полосок. Скрещиваются они под прямым углом и в целом напоминают какой-то таинственный и своеобразный рисунок шахматной доски. Чаще всего они похожи на геометрические фигуры, но изредка похожи на стилизованных людей и животных. Поскольку у всех чама рисунки совершенно одинаковые, можно легко предположить, что они имеют особый смысл. Возможно, это иероглифы — отзвуки забытой письменности. Такие же изображения, как и на горшках, украшают вытканые чама кузьмы, а также женские платки и повязки на бедрах.

Как и у большинства других примитивных племен, женщины чама, в отличие от праздных мужчин, с утра до ночи заняты хозяйством. Мужчины, правда, сажают маниоку, но этим ограничивается вся их работа. Убирают маниоку женщины. Они также высаживают и убирают все другие растения.

Чама считают, что есть обезьян еще можно, но вот когда люди сами похожи на обезьян и имеют такие же круглые головы, это никуда не годится. Поэтому новорожденным они привязывают спереди и сзади головы дощечки, которые через несколько месяцев изрядно сплющивают череп. Такая изуродованная голова впоследствии является гордостью ее обладателя и повышает в нем чувство собственного достоинства. Волосы, растущие на теле, за исключением головы, тоже слишком напоминают обезьяну, поэтому их отовсюду тщательно выщипывают.

Нелегкое, а подчас даже невозможное дело для белого проникнуть во внутренний мир этих людей. Чама старательно прячут свои мысли от белых соседей, так же как и свои обычаи и свою веру. Жить среди белых они не прочь, но брататься с ними упорно не желают. Это умное, веселое племя хочет жить по-своему!

Может случиться, что белому человеку станут невмощны его городские «друзья» и расшатанные нервы; ему захочется уйти от шума на лоно природы,

поселиться на этой благословенной земле, на берегу большой богатой реки, под сенью пальм, среди скромных, честных людей, которые не желают знать, что такое деньги. Ему захочется вместе с ними и по-детски смеяться, и грести, и бросать гарпун в большую рыбу, есть цяпу и восхищаться их примитивным искусством. Словом, он хотел бы прийти к чама, живущим на берегу реки Ука-яли, и с сердцем, полным лучших чувств, просить позволения жить в их шалашах и брататься с ними.

Но, увы, он будет разочарован. Смущенный вождь-курака долго будет почесывать затылок, а затем учтиво предложит вместо дружбы быть их господином или покровителем, а они-де будут его подчиненными. И пусть он построит себе большой дом подалее от их жилищ. Пришелец воскликнет:

— Но я не хочу быть для вас ни господином, ни покровителем!

— О, да, да! Мы будем твоими очень покорными слугами и рабами... — с упорством продолжает курака.

— Нет! Я хочу быть таким, как вы, слышишь? Хочу и жить с вами и веселиться, как вы!

— А, теперь я понял! Как это хорошо будет, как славно! Ты выстроишь себе большой, красивый дом, — о, да! — и с высоты его будешь взирать, о ты, надменный повелитель, белый человек, на своих невольников!

— Слушай, курака, не болтай, прошу тебя. Я не надменный и повелевать вами не желаю. Я хочу только жить в шалаше рядом с твоим шалашом...

— Да, это хорошо, очень хорошо! Твой дом будет большой, на прочных столбах, на высоких и прочных столбах...

Курака произносит эти слова с бесстрастной улыбкой, в состоянии какого-то экстаза. Ему чудится какой-то огромный домище, уходящий в поднебесье, и это кажется ему самой надежной защитой от дурных обычаев белого нахала. Индеец бессмысленно улыбается своим видениям. Потом он переводит взгляд на белого пришельца, все еще продолжая улыбаться, но уже несколько по-иному: с сожалением и мягкой издевкой.

47. Чикиньо полон отчаяния

Чикиньо зол и несчастен. Совершенно убитый ходит он по земле, которая кажется ему поистине долиной слез. Сорок наших попугайчиков пивичей весело кричат и щебечут с утра до ночи, а Чикиньо грустен и мрачен. Тоска грызет и гложет его сердце.

— Прогони ее, друг, прогони Долорес на все четыре стороны! — упрашивает меня Чикиньо и сжимает кулачки. — Зачем тебе нужна эта отвратительная девчонка?

— Чикиньо, ты несправедлив, она ведь ловит для нас бабочек.

— Каких там бабочек! А позавчера кто изувечил редкую бабочку, кто уничтожил ее?

— Согласен, уничтожила она, но зато вчера она принесла сорок других бабочек, а ты только двадцать четыре.

— Но среди моих было четыре морфо, а что у нее? Самые простенькие!

— Преувеличиваешь, дорогой Чикиньо, преувеличиваешь.

— Нет, не преувеличиваю. Разве ты сам не замечаешь, какая она дура, какая назойливая, какая отвратительная? Не замечаешь?

— Нет, не замечаю.

Чикиньо погружается в темную бездну отчаяния. Он не любит Долорес. С тех пор как девочка повела нас охотиться на колибри, она приходит почти ежедневно и ловит для нас бабочек. Вот почему Чикиньо рвет и мечет. Он охотно поколотил бы соперницу, но девочка старше его на четыре года и сильнее.

— Чикиньо, будь рыцарем!

Нет, Чикиньо не желает быть рыцарем. Восьмилетний женоненавистник считает, что право ловить бабочек принадлежит только мужчинам. Поэтому Чикиньо не может примириться с существующим положением и переживает трагедию. Для него гаснет улыбка, меркнет солнце, когда рядом Долорес!

48. Вода, вода, вода...

Рядом с лесными дебрями — жестокими, алчными, полными всяческих ужасов, — существует в бассейне Амазонки стихия еще более страшная, еще более необъятная: это вода.

Здесь самые мощные в мире реки и разливы, в их пучине водятся самые большие в мире пресноводные рыбы. Подогреваемые солнцем, воды рек интенсивно испаряются и повисают в воздухе густым туманом; именно благодаря воде раскинулись здесь эти великолепные леса.

Укаяли один из многих притоков Амазонки. Я живу в Кумарии, недалеко от того места, откуда Укаяли берет свое начало. Уже здесь, почти у подножия Анд, ширина молодой реки около километра. Мне захотелось еще раз измерить ее глубину у моей хижины. Я взял восьмиметровую веревку с привешенным на конце грузом и на расстоянии пяти метров от берега попытался определить глубину. Увы, дна я не нащупал, глубина здесь превышала восемь метров.

У города Икитоса Амазонка так полноводна, что некогда, в лучшие времена, сюда заходили большие океанские пароходы. В мою бытность в Икитосе я восхищался маневрами перуанской военной флотилии, которые производились так свободно, будто это была не река, а по крайней мере большой морской залив.

В районе Табатинги, на границе Перу и Бразилии — относительно недалеко от Кордильер, в Амазонке уже в два раза больше воды, нежели в самой большой реке Европы — Волге. А в своем устье эта речная лавина извергает в океан столько воды, сколько могут исторгнуть двенадцать Волг.[117]

Как-то в марте на Укаяли выдался адский денек. Ночью свирепствовала страшная тропическая буря, и разразившийся ливень не дал нам сомкнуть глаз. А наутро мы не узнали реки. Вода в ней прибыла на четыре метра. Это уже не вода, а какое-то безумство. Она пенилась, клокотала, образовывала бурлящие водовороты и бездонные омуты. Поваленные бурей и вырванные с корнем гигантские деревья — обычные спутники вздувшихся рек — несутся с верховья, со страшным грохотом ударяясь друг о друга, усиливая впечатление хаоса. Плывающих деревьев так много, что порой, сцепившись ветвями, они образуют целые острова. Торчащими кверху изломанными сучьями, похожими на искалеченные руки лесных титанов, взывающих о помощи, они напоминают картину из Дантова ада! Днем и ночью лес все плывет и плывет. Уплывает огромное, не поддающееся учету богатство, но щедрость природы так беспредельна здесь, что убыток этот совершенно неощутим: по-прежнему вдоль берегов реки тянется сплошная лента лесной чащи без единой плешинки.

На три дня была прервана всякая связь с противоположным берегом. Люди, не успевшие вовремя возвратиться домой, остались на другом берегу, отрезанные от всего мира. Только на четвертый день взбесившаяся река начала успокаиваться. Когда-то в этих укаяльских водоворотах погиб вместе со своим пароходом брат капитана «Синчи Роки» Ларсена. Вот как это случилось. Немного выше Кумарии выдвинувшаяся в реку скала образует полуостров, возле которого грохочет страшный водоворот, получивший название Поссо де Хикоса. Весной 1932 года подъем воды в Укаяли проходил особенно стремительно и бурно, но подвыпившему Ларсену море было по колено: он вознамерился пе-

ремахнуть со своим суденышком через водоворот. Рассвирепевшая река жестоко покарала его за дерзость: она швырнула пароход на скалу, раздавила его, как спичечную коробку, и проглотила. Много людей погибло тогда.

Воды Амазонки внушают местным жителям суеверный ужас. Много поколений родилось и выросло на ее берегах, и все же Амазонка осталась для них чем-то таинственным и враждебным. На реках Уаяльге и верхнем Мараньоне есть много «заколдованных» мест, и, проплывая их, гребцы не произносят ни слова. Они верят, что если на этом месте кто-то из них заговорит или, что еще хуже, крикнет, то всех их мгновенно поглотит водоворот. Индейцы и метисы считают, что такова воля злых духов, колдующих здесь; люди более просвещенные полагают, что эти опасные места подвержены действию каких-то еще не открытых законов природы.

Тадеуш Виктор рассказывает, как он, странствуя в поисках золота в горах Эквадора, выстрелил однажды в одном из оврагов и благодаря этому чуть не утонул: не успел отзвучать грохот выстрела, как над долиной за клубились черные тучи, засверкали ослепительные молнии и хлынул такой отчаянный ливень, что вода на дне оврага мгновенно поднялась на несколько метров.

И в Кумарии время от времени слышны какие-то таинственные, глухие раскаты. Вначале я думал, что это гром. Однажды от такого мощного раската затряслась вся наша хижина, и тогда мне объяснили, что это барранко — поединок реки с лесом. Во время наводнения волны подмывают прибрежные деревья, а когда вода спадает, деревья теряют опору и со страшным грохотом валятся в реку. Горе тогда гребцам, сидящим в утлых каноэ! Нависшие над головами деревья ежеминутно угрожают их жизни.

Неудивительно, что люди здесь панически боятся барранко. Когда в тихие, безветренные ночи со стороны реки доносится грохот, бедного Чикиньо, спящего со мной рядом, мучают кошмары, он стонет и рыдает во сне.

В этих водах поразительное обилие фауны. Одна только Амазонка, не говоря уже о ее притоках, располагает более чем одной третью всей пресноводной рыбы земного шара. Здесь ее в шесть раз больше, чем во всей Европе от Нордкапа до Гибралтара. Рыбы Амазонки — огромный, сказочный мир, поражающий своим разнообразием, пестротой окраски, причудливостью форм и больше всего хищничеством. На первый взгляд может показаться, что перед вами благословенный рай, дышащий изобилием; на самом деле это проклятый ад, где все алчно пожирают друг друга. Рыбы Амазонки — основное питание человека, но они же вселяют в него страх!

В местности Орельяна над Укаяли меня как-то познакомили с одним юношей, которого три года назад искусили страшные рыбы. Этот храбрый паренек ничего не боялся и решил искупаться в Укаяли, хотя знал, что ни один здравомыслящий человек не сделает этого, если не хочет погибнуть. Но не успел юноша проплыть и нескольких шагов, как вдруг пронзительно заорал. К счастью, поблизости находились в лодке люди, которые вытащили его из воды. Однако и за это короткое время напавшие на юношу рыбы успели вырвать у несчастного куски тела.

Это были пираньи, небольшие рыбы величиной с нашу плотву, гроза здешних вод, кровожадностью превосходящие акул. Они нападают огромными стаями и, говорят, способны за несколько минут обглодать человека до костей. Эти твари, погубившие много людей и животных, так хищны, что даже выта-

ценные из воды они все еще стараются своими острыми зубами отхватить у вас палец.

Искусанный ими юноша почти полгода находился между жизнью и смертью. Затем раны зажили, но несчастный потерял рассудок и часто заливается слезами.

Рыбы пираньи здесь, на юге, как и медведь гризли на севере, — традиционные герои всевозможных сенсационных историй. Каждый уважающий себя путешественник, побывавший в Южной Америке, считает своим долгом рассказать об этих тварях: либо поведать о каком-нибудь собственном приключении, от которого кровь стынет в жилах, либо, наоборот, подтрунить над преувеличенными страхами местных жителей. Когда английский писатель Питер Блемин писал свою остроумную книгу «Бразильские приключения», изданную в Польше перед войной, он избрал второй путь.

Что касается меня, то мне лично до сих пор не пришлось познакомиться с этими кровожадными рыбками, и, к счастью или несчастью, опасное искушение миновало меня.

Вода в Амазонке и Укаяли желтая и настолько мутная, что в ней ничего не видно. Все, что творится в глубинах реки, скрыто от глаз непроницаемой тайной. Заметить можно только дельфинов и рыб пираруку, иногда всплывающих на поверхность.

Спуская лодку в воду, вы легко можете наступить на огромного ската, который воткнет вам в пятку ядовитый шип. Порой в предвечерние часы из воды доносятся странные звуки, похожие на колокольный звон. Это поют усатые рыбы цилиндрической формы, похожие на сомов. Впервые я услышал их однажды под вечер, когда после бурного дня закат был особенно ярок. В воздухе и на реке стояла мертвая тишина — и вдруг я ясно услышал доносящийся из воды колокольный звон. Зазвонил сначала один колокол, за ним второй, потом третий... Звуки эти были разной тональности, будто звонили колокола и низкие, и высокие, вплоть до детских погремушек. Некоторые звуки доносились как бы издалека, другие раздавались вблизи — казалось, под самым челном, привязанным на берегу.

— Что это? — спрашиваю я у Педро и Валентина, не доверяя собственным ушам. — Неужели рыбы?

— Да, сеньор, рыбы, — отвечает Педро.

— И вы знаете какие?

— Знаем. Они называются корвины.

— Это еще вопрос! — резко протестует Валентин.

Педро не скрывает насмешливой улыбки, вызванной сомнением товарища.

— Он, — говорит Педро, указывая пальцем на Валентина, — хочет быть умнее всех людей. Только ума он занял у своей прабабушки. Видно, она ему и рассказала, откуда исходят эти голоса...

Валентин возмущенно отрицает, но Педро, обращаясь ко мне, говорит:

— Вы заметили, сеньор, какой храбрый наш Валентин? Вы видели, как он попятился, когда зазвучали эти звуки?

— Ну и что? — развеселившись, спрашиваю я.

— Прабабушка внушила его умной голове, что это поют духи. А Валентин все, что слышал от прабабушки, почитает священным.

Валентин хочет что-то сказать в свою защиту, но я прерываю их спор и вежливо обоим замолчать и не мешать мне слушать подводные звуки. Пение рыб так мелодично, что меня невольно охватывает волнение, какое я обычно испытываю в концертном зале. Я забываю о комарах, о солнечном закате. Как зачарованный прислушиваюсь и снова думаю о том же: сколько всяческих чудес таится в этих удивительных лесах!

Ихтиологам[118] знакомы подобные явления: поющие рыбы принадлежат к роду умбрина. Они водятся в морях и реках и от обычных рыб отличаются строением пузыря, внутри которого несколько камер. Воздух, попадая из одной камеры в другую, вызывает вибрацию стенок пузыря; так возникают звуки.



Девять, а то и десять месяцев в году во всем бассейне Амазонки идут ливни, и уровень воды в реках повышается до пятнадцати метров. Амазонка дважды в году взбухает и дважды опадает. В мае, когда вода в реке достигает самого высокого уровня, начинается наводнение, переходящее в потоп. Тогда вся страна представляет собой кошмарное зрелище: вода заливают леса Амазонки на сотни километров в глубину. А куда не достигает разлив рек, там дожди образуют болота и озера такой глубины, что в них утопают деревья высотой в несколько метров. Суций ад! В эту пору человек и носа не может высунуть из своей хижины, которую он предусмотрительно построил на высоких сваях.

В сентябре все меняется. Дожди дают себе короткую передышку, вода спадает, реки обнажают белые пляжи, отовсюду слетаются птицы. Все дышит радостью, купаясь в солнечных лучах. Пищи кругом вдоволь: во время метания икры рыба идет такой густой лавиной, что ход ее слышен издали и ловить ее можно без всякого труда, даже корзинами. Из рек выползают на берег громадные черепахи и откладывают яйца. Черепаховые яйца — излюбленное лакомство прибрежных жителей, которые собирают их по ночам.

Такая идиллия на Амазонке (если вообще слово «идиллия» применимо к джунглям) продолжается не больше трех месяцев — до ноября. В декабре снова наступает пора дождей. Вода снова прибывает. Снова человека одолевают всяческие заботы и хлопоты. Снова в сердце его закрадывается страх — страх гребца, сознающего, что он плывет на утлом каноэ по могучей, враждебной, полной тайн реке.

49. Жара!

Уже четыре дня светит огромное, раскаленное солнце, и с каждым днем жара все больше донимает нас. Мучаются все — и люди и животные. Жара тяжелым камнем придавила мозг и мышцы. Утром встаем с головной болью. Хорошо бы лежать целыми днями, не двигаясь. Но такой роскоши мы не можем позволить себе: нужно идти в лес, нужно охотиться и собирать экспонаты для музеев.

На пятый день рано утром наша тройка — Долорес, Чикиньо и я (Чикиньо уже помирился с девочкой) — отправились в лес. Страшная жара обрушивается на нас. Сегодня, кажется, еще жарче, чем вчера!

От хижины до леса всего несколько десятков метров сплошного кустарника, в котором прорублены тропинки. Вдруг на повороте тропинки я сталкиваюсь, что называется, лицом к лицу с огромной ящерицей, длиной свыше метра. Ящерица грелась на солнце в каких-нибудь двух шагах. Неожиданная встреча испугала ее больше, чем нас. Гад вскочил на свои короткие ноги и помчался по тропинке с быстротой, достойной породистого рысака. Отбежав на расстояние, гарантирующее безопасность, ящерица остановилась и с любопытством оглянулась назад. Это ее и погубило. Одновременно с выстрелом ящерица подпрыгнула вверх и затем повалилась, корчась в смертельных судорогах. Она еще разевает свою страшную пасть, вооруженную острыми зубами, пытаясь схватить меня в последнем предсмертном усилии. Это был прекрасный экземпляр ящерицы тейю (*Tupinambis teguixin*). Кожа ее покрыта свинцово-голубоватой чешуей с белыми красивыми разводами.

Мы повесили трофей на куст в тени дерева, намереваясь забрать его на обратном пути. Вот мы и в лесу. Отовсюду несется птичий гомон. На толстом стволе дерева я заметил черного дятла величиной с ворону. Он яростно стучал клювом по коре и так увлечен был этим занятием, что не заметил нас. Ну что же, и он пригодится в моей коллекции. Грянул выстрел. Стук прекратился. Несколько мгновений птица сидела неподвижно, вцепившись в ствол. Затем упала, издав пронзительный предсмертный крик, похожий на боевой клич. Да, в лесах Укаяли жизнь и смерть сплетены очень тесно!

Убитого дятла мы подвесили на палочку и захватили с собой. Углубляемся в лес, солнце поднимается все выше. От земли, от кустов, от стволов деревьев — отовсюду пышет нестерпимым жаром. Воздух раскален, и дышать все труднее. Мой охотничий костюм, весь пропитанный потом, прилипает к телу, как пластырь. Даже забавно: махнешь рукой — и капельки пота брызжут во все стороны, как будто высосанные из пальцев.

Хуже всего приходится легким: хочу вдохнуть поглубже, но ничего не получается, что-то мешает. Учащенный пульс бьется в висках, глаза застилает пелена. Все большее утомление охватывает нас, все чаще приходится присаживаться и отдыхать.

Не очень густой лес состоит из деревьев, покрытых мелкими листьями, не дающими тени. Солнечные лучи пронизывают их насквозь и ложатся на землю пятнами, особенно яркими на тропинке. Пройти несколько шагов по этим солнечным островкам настоящая каторга! В раскаленном лесу эти лучи разят, как огненные стрелы, даже сквозь одежду. Птицы скрылись. Еще час тому назад они вели себя очень шумно, а теперь умолкли, охваченные дремотой.

Но лес живет. Вот перед нами новое зрелище: как по мановению волшебной палочки, вдруг сразу появились сотни и тысячи насекомых. Жуки, саранча, лесные клопы, бабочки — целая фаланга взбудораженных и все прибывающих насекомых. Они беспокойно снуют по траве и кустам, карабкаются на ветки, мечутся как одурелые по тропинке, носятся в воздухе. Все они охвачены каким-то общим возбуждением.

— Святая богородица из Гваделупы, смотрите! Как их легко ловить! — восклицает, поблескивая глазами, удивленная Долорес и поспешно сует насекомых в банку с ядом.

Она права. В лесу творится нечто необычайное. Какое-то волнение овладело всеми насекомыми и выгнало их из укрытий. Может быть, под влиянием ужасной жары по лесу прошла волна такого необычайного беспокойства? Она всколыхнула лесных насекомых и вдруг разожгла в них инстинкт продолжения рода.

Во всяком случае, такого возбуждения я не видел ни до, ни после. Вокруг нас все волновалось, трепетало. Грозный рогатый жук геркулес догоняет пузатого жука, принадлежащего к совсем другому роду; геркулес заметил свою ошибку не сразу, но потом опомнился и помчался дальше. Рядом огромная цикада поблескивает своими крыльями, отливающими всеми цветами радуги, и пронзительно стрекочет. Ее страстный голос звучит, как отчаянный крик утопающего. Неподалеку, на этом же кусте, несколько раздраженных кузнечиков прыгают на ветках, потрясая дрожащими усиками. Всюду трепещущие крылышки и насекомые, разыскивающие друг друга. Некоторые уже соединились в судорожном объятии и замерли без движения надолго. Таких пар все больше и больше. Они усыпали листья и ветви кустов. В воздухе кружатся соединившиеся пестрые бабочки. Чикиньо и Долорес с легкостью ловят сеткой эту ценную добычу. Нас потрясло это зрелище. Мы поняли, что стали свидетелями редкого явления природы. Я обратил внимание, что насекомые, появившиеся в таком огромном количестве и с такой жаждой соединения, завладели чащей. Сейчас они единственные владыки тропического леса. Они здесь главенствуют, они задают тон всему. Лес сейчас их стихия, он принадлежит им — не птицам, не животным и уж меньше всего человеку с затрудненным дыханием и учащенным пульсом.

Вдруг насекомые исчезли так же внезапно, как появились, солнце скрылось за черной тучей, наступил полумрак, и стала надвигаться гудящая стена дождя. Недалеко от нас стояло великолепное дерево седро, оно спасло от непрошеного купанья. Через минуту дождь кончился, и опять выглянуло солнце. И в то же мгновенье обрушивается жара, пожалуй, еще более тягостная, чем прежде, потому что воздух насыщен влагой. Прохладная передышка была коротка. Насекомые больше не появлялись. Мы отправились домой.

Подойдя к месту, где три часа назад была повешена на куст убитая ящерица, мы остановились как вкопанные. Гад, которого мы считали мертвым, за это время успел очнуться и сползти на тропинку. Увидев нас, он яростно оскалил зубы и, шипя, сверлил нас взглядом. Пораженный его необычайной живучестью, я вторично выстрелил и теперь уже по-настоящему уложил на месте.

Этой ночью меня тревожили странные сны. Мне привиделся жаркий лес, наполненный томными вздохами и яростным, гневным шипением. Потом меня лизала и кусала взбесившаяся ящерица, которую никак нельзя было убить.

Нелегко здесь быть коллекционером!

50. Рабство на укаяли

Верховья Укаяли — это, пожалуй, наиболее отдаленный от цивилизации уголок земного шара. Верховья Укаяли притягивали к себе искателей счастья всех национальностей. Они закладывали здесь асьенды и плантации кофе, хлопка, барбаско и сахарного тростника. Для обработки всех этих плантаций нужны были рабочие руки, и вот сюда стали стекаться в поисках работы испанцы, итальянцы, немцы, поляки... Но европейцы не могли примириться с тяжелыми условиями труда, с низким заработком, с полным отсутствием цивилизации. Они бунтовали и удирали. А владельцам асьенд нужны были дешевые, а главное, покорные и на все готовые руки. Много рук, как можно больше!

Каждое утро, просыпаясь, я вижу голубую цепь гор, виднеющуюся на западном небосклоне. За этой цепью, совсем недалеко от Кумарии, простирается до самых подножий Кордильер таинственная, малоизученная страна, обозначенная на карте белым пятном. Называется она Гран Пахональ, и живет там охотничье племя кампа — непоработанные, рослые, здоровые индейцы.

Кампа ведут кочевой образ жизни и живут преимущественно охотой. Они знают эти леса вдоль и поперек, очень дорожат свободой и как огня остерегаются белых. Руки у них крепкие и выносливые. Такие руки очень нужны владельцам асьенд, и они отправляют на охоту за кампа целые экспедиции, действующие по точно разработанному плану. Хорошо вооруженные пеоны окружают ночью шалаши кампа, запускают на крыши горящие стрелы, и когда пожар бушует, мужчин, оказывающих сопротивление, убивают, стариков и женщин прогоняют, а остальных — главным образом детей и молодежь — захватывают как добычу и уводят с собой. Вот каким способом асьенды на Укаяли обеспечивают себя рабочей силой.

В верховьях Укаяли живет много людей, профессия которых — ловля и продажа индейцев. С этой целью они используют ненависть между отдельными племенами и сами разжигают ее. Ведь, кроме кампа и чама, здесь живут еще и другие племена: мачигенго, пиро, кашибо, амауаса, атуарана. И здесь так же, как на севере, на территории хибаров, умеют препарировать человеческие головы. И здесь белые разжигают войны между жителями лесов, чтобы поживиться на их крови и горе.

Знает ли об этом правительство Перу? Несомненно, знает, но смотрит на все сквозь пальцы. Многие государственные чиновники сами торгуют индейцами. К тому же правительство не располагает здесь никакой фактической властью, ибо Гран Пахональ, как мы уже говорили, представляет собой белое пятно на карте. А сверх того в Перу еще живучи конквистадорские нравы и обычаи.

Самый страшный среди охотников за людьми — плантатор Панчо Варгас, асьендадо[119] из Тамбо и Урубамба, человек крайне жестокий, не брезгающий никакими средствами. Не сотни, а целые тысячи кампа выловил в Гран Пахонале этот разбойник, опустошивший большие территории. «Счастливой рукой» обладает и некий Тригосо — мировой судья и владелец асьенды близ Кумарии, человек ловкий и обходительный. С ним я имел счастье познакомиться лично.

В Икитос «живой товар» доставляет на своем парходике «Либертад» («Свобода») всегда мило улыбающийся толстячок Григорио Дельгадо, получивший образование и воспитание в Женеве. Дальнейшая судьба угнанных в рабство детей внешне выглядит благопристойно: владелец плантации «усыновляет» ребенка, и тот становится одним из членов его многочисленной семьи. Теперь он уже на законном основании обязан работать даром, а в случае побега «неблагодарного сына» все власти — тоже в законном порядке — преследуют, ловят его и водворяют обратно. У такого «сына» только сыновние обязанности, без всяких прав, и, разумеется, наследником своего «папаши» он быть не может. Когда патрону вздумается переуступить своего «сына» кому-нибудь, он это делает за определенное вознаграждение, причем сделка вежливо именуется «возмещение расходов» по воспитанию и образованию ребенка. Покупатель приобретает по такой сделке все права патрона и может перепродавать индейца дальше — так, как продается любой товар или домашнее животное.

Когда ребенок становится взрослым, судьба его как будто улучшается. Патрон дает ему в жены одну из девушек, «продает» небольшой клочок земли вблизи асьенды, большой нож — мачете, немного семян и велит ему самостоятельно хозяйничать. Земля продается, разумеется, не за наличные деньги (ибо у индейца нет денег, да он в них и не разбирается), а за будущий урожай и за будущий труд индейца в асьенде патрона. Вот здесь-то и зарыта собака! Индеец должен отработать свой долг, а асьендадо ведет расчеты так, что индеец всегда остается его должником. Иногда за какой-нибудь кусок тика на костюм индеец обязан работать целый год в поле, добывать дичь, ловить рыбу, колоть дрова. Ясно, что ему никогда не выбраться из долговой петли!

Вот индеец, не выдержав, сбегает, власти преследуют и ловят «бесчестного должника» — так же, как они ловили некогда «неблагодарного сына», — и отдают его обратно в руки хозяина, ибо закон обязывает индейца отработать все свои долги, лишь после этого ему может быть предоставлена свобода... А патрон, со своей стороны, уж позаботится, чтобы краснокожий бедняк никогда не смог рассчитаться с долгами!

Кстати, побеги случаются редко. Асьендадо умеет так затуманить мозги индейца и так привязать его к своей асьенде, что горемыка еще благодарен ему за то, что жив и что кто-то его «опекает». Все индейцы, живущие на Укаяли, за исключением немногих племен, покорны своим патронам в противовес индейцам, живущим в глубине лесов, далеко от реки, где белых гораздо меньше и почти нет асьенд.

Не всегда добывание рабов сопровождается насилием и кровопролитием. Зачастую сами индейцы, особенно из племени кампа, добровольно продают своих детей, которые мешают им кочевать по лесам. Обычно такая участь постигает тех несчастных, которым суеверная молва напороочила, что пребывание их в лагере опасно для всего племени. Поэтому их уничтожают или изгоняют. Когда я был в Кумарии, на таких детей была установлена твердая цена. За каждого ребенка родители получали одно испанское ружье, сумку с порохом и дробью, нож мачете, материю на брюки и рубаху для отца и на платье для матери — все это вместе взятое стоило около семидесяти солей или девяти долларов.

Положение индейцев на Укаяли должно стать предметом обсуждения государства, которое принадлежит, или, во всяком случае, желает принадлежать,

к числу цивилизованных. Безднаказанность таких преступников, как Панчо Варгас, — преступление против всего человечества и приносит немалый вред самим властям Лимы.

В бассейне другой перуанской реки, Путумайо, протекающей в северо-восточной части страны, английская комиссия вскрыла целую систему жестоких издевательств над индейцами и даже многочисленные убийства. Свирепствующие каучуковые компании в своем терроре не останавливаются ни перед чем. Они берут в плен в качестве заложников целые семьи, и если индеец — глава семьи — не приносит столько каучука, сколько они требуют, то всю семью, в наказание «непокорному», расстреливают на его глазах.

В 1915 году капитан Дельгадо на своей «Свободе» не смог добраться до начала Укаяли.[120] В районе Чикоса бушевали пожары, и капитан хотел прийти на помощь пострадавшим, но, получив ранение, предпочел не вмешиваться и бросился наутек. Удирая на всех парах, он включил сигнал тревоги и с сиреной, воющей днем и ночью, мчался к низовьям реки. Проплывая мимо жилищ асьендадо, он кричал им:

— Удирайте! Индейцы нападают! Удирайте!

Индейцы действительно напали. Под предводительством Тасулинчи они двинулись из Гран Пахоналя, чтобы отомстить за все долгие обиды и издевательства. Повстанцы собрались на реке Унуини и отсюда начали совершать набеги на все асьенды, расположенные вниз по Укаяли. Первой подверглась нападению Чикоса, и пятьдесят ее жителей погибли. Обитатели следующих асьенд уже проведали о случившемся и принялись удирать вниз по реке. Но дубины и стрелы сделали свое дело: через несколько дней в верховьях Укаяли на пространстве в двести километров не осталось ни одного белого. Только в Кумарии кампа натолкнулись на организованную оборону белых и, прекратив дальнейшее преследование, ушли в лес.

В течение нескольких последующих лет асьендадос совсем не показывались в верховьях Укаяли. Со временем новые искатели счастья начали заселять эту местность, проделывая то же самое, что и их предшественники: они выращивали кофе, хлопок, барбаско, сахарный тростник и искали дешевые рабочие руки. Строптивное племя по сей день не склонило головы. И сейчас асьендадос бледнеют от страха и сон покидает их, когда проносятся слухи о приближении индейцев-мстителей. Эти тревожные вести несутся, как лавина, от асьенды к асьенде. Иногда они оказываются высосанными из пальца, порой же не лишены основания.

Случилось так, что из Кумарии в Икитос я возвращался на пароходе сеньора Дельгадо «Либертад». Я вез с собой несколько десятков живых зверей. Дельгадо вез одну молодую индианку, крепкую, толстую и некрасивую кампа. Никто о ней не заботился, девушка спала обычно на палубе, приткнувшись в уголке. На ее лице постоянно блуждала бессмысленная улыбка, хорошо знакомая мне, — улыбка индейца, только что оторванного от родных лесов и растерявшегося среди окружающей его враждебной цивилизации.

Индианка подружилась с моими зверюшками. Я был очень доволен, она помогала мне кормить животных, ухаживать за ними и охотно возилась с ними. Ее как бы сближала с ними общность судьбы.

Вечером после ужина мы с капитаном сидели за черным кофе и курили. Дельгадо на недурном французском языке излагал свои мечты о возвращении

в Европу, в Женеву, где прошли лучшие годы его жизни.

— А вас не беспокоит, — говорю ему, — что в Европе существует Лига охраны прав человека и вам могут там всыпать?

Дельгадо весело рассмеялся, сделал презрительный жест рукой и сказал только:

— Oh mon Dieu!..[121]

Он твердо был убежден в полной безнаказанности.

51. Приключения маленького кампа

Разговор о рабстве на Укаяли напомнил мне об одном интересном приключении, случившемся несколько месяцев назад. Когда я ехал из Икитоса в Кумарию, на наш пароход «Синчи Рока» в Контамане села некая малокровная дама, перуанка. С ней был мальчик с глупым выражением лица и цветом кожи еще более бледным, чем у матери, а также другой мальчик, индеец, у которого было красивое личико с пухлыми щечками, блестящие, умные глазенки, изрядный животик. Он чистил бледному сыну сапоги и выносил ночные горшки за малокровной мамашей.

Мы с Чикиньо почувствовали к индейскому мальчику большую симпатию и молча обменивались с ним улыбками. Малокровная дама заметила это и сказала мне:

— Красивый мальчик, не правда ли? Здоровый, прилежный.

— Прилежный? Разве он ходит в школу? — брякнул я.

Дама несколько смутилась.

— Да нет, зачем же... Он прилежен в труде. Нравится он вам?

— Очень. А сколько ему лет?

— Десять. Это кампа, и если хотите — я недорого продам его вам.

Я уже кое-что слышал об укаяльских нравах, и поэтому такое предложение не прозвучало для меня как гром среди ясного неба. Напротив, я даже деловито спросил:

— За сколько?

— За сто соле.

Это была цена стандартного мужского костюма. Не так уж дорого за такого красивого мальчика! Оставалось только узнать, какие права на него я приобрету.

— Права? Да все права! — воскликнула дама. — Он будет вашей собственностью, как и любая ваша вещь — как часы, как ружье, костюм. Существует только одно ограничение, — добавила она, кокетливо улыбаясь. — Его нельзя убить без особенной причины, это запрещено законом.

— А закон не запрещает иметь раба?

— Закон не запрещает усыновить мальчишку.

Пока дама уговаривала меня купить мальчика, он стоял в стороне и, как всегда, улыбался мне своими умными черными глазами, не подозревая, что решается его судьба.

Ночью я спал плохо. Комары не докучали, но зато разговор с дамой не выходил у меня из головы. Судьба мальчика волновала до глубины души, надо было найти какое-то человеческое решение. Но какое? Приобрести мальчика в полную собственность? Невозможно. Я пытался представить себе, как поступил бы на моем месте любой средний европеец. Несомненно, он купил бы



мальчика и возвратил ему свободу. И я решил поступить так же.

На следующий день за завтраком я поведал свои планы капитану Ларсену и попросил у него совета. Ларсен выпучил на меня глаза, как на сумасшедшего, и, ошеломленный, сказал:

— Мне понятно, что вы хотите его купить. Понятно, что вам его жаль... Но то, что вы хотите дать ему свободу, совсем непонятно. Свободу? Скажите, как вы себе это представляете?

— На ближайшей пристани отдам его на попечение местным властям...

— На попечение властям?! — разразился издевательским хохотом капитан.

— Либо отдам его какому-нибудь честному гражданину, — поправился я.

— Честному гражданину?! — повторил Ларсен, продолжая хохотать.

Позже от некоторых пассажиров я узнал, в чем тут дело. Они объяснили мне, что если бы я отдал мальчика кому-нибудь из живущих на берегу, то лицо это сочло бы мальчика своей собственностью и после моего отъезда либо превратило его в раба, либо продало кому-нибудь из пассажиров следующего парохода. Получалось так, что никакого выхода нет. На берегах Укаяли все враждебно маленькому кампа, отовсюду тянутся к нему хищные лапы!

Даже пассажиры на пароходе заволновались. Они пришли к выводу, что я чувствительный филантроп (читай: дурак!), которому денег девать некуда и которого нужно как следует ободрать. И вот все лихорадочно стали придумывать, как бы выклянчить для себя мальчика. Каждый действовал по-своему: кто ложью, кто лестью, кто хитростью, а кто и обезоруживающей искренностью, как, например, преподобный дон Хуан Пинто, у которого глаза с поволокой и сердце, плененное донной Розой де Борда. Кавалер этот с истинной грустью попросил меня, чтобы я купил для него мальчика: он хотел бы подарить его даме своего сердца.

— Так ведь у нее уже трое ребят, — удивился я.

— Вот именно! — вздохнул он. — Поэтому ей и нужен четвертый — слуга...

В конце концов, стиснув зубы, я отказался от попыток решить участь мальчишки. Несмотря на самое горячее желание, мне так и не удалось освободить маленького раба.

52. Снова ливни!

Известно, что солнце на зиму отправляется на юг. Кому из нас не казалось так в детстве? Тогда оно всю освещает Южную Америку и изрядно поджаривает весь континент. Нагретый воздух расширяется и создает барический минимум.[122] Атлантический океан старается использовать это и очертя голову шлет в глубь страны продолжительные морские ветры, насыщенные влагой. Наткнувшись на стену Анд, ветры охлаждаются и в виде ливней обрушиваются на землю в течение последующих трех сезонов. Благодаря этим ливням появились и великолепные леса Амазонки и черная меланхолия у человека, сидящего безвылазно в своей размокшей хижине на берегу Укаяли.

А ливни какие-то колдовские, исступленные! Они падают не сверху, как положено нормальному ливню, а как-то искоса, почти горизонтально, гонимые сильными ветрами. Крыша над головой почти не защищает, и вода проникает в хижину сбоку, сквозь бамбуковые стены. Это приводит человека в отчаяние.

В хижине сушатся мои ценные коллекции, которые должны просохнуть как можно скорее, если я намерен привезти их в Варшаву в пригодном состоянии. Здесь препарированные шкурки укаяльских птиц, коллекция бабочек, жуков и других насекомых — плоды кропотливого и долгого труда. А между тем шкурки не только не сохнут, но, наоборот, все больше пропитываются влагой и покрываются плесенью. Нет ничего более трудного и сложного, чем борьба с плесенью на Укаяли.

В какие только очаровательные цвета не рядится эта отвратительная плесень, покрывшая перышки препарированной кукушки! Все цвета радуги с фосфорическим блеском в придачу! Если завтра не выглянет солнце хотя бы на несколько часов и не подсушит шкурку, то плесень начисто уничтожит мою самую лучшую, самую редкую кукушку.

Однажды мне пришлось познакомиться с осенними ливнями в норвежских фиордах, в Намдалене,[123] и тогда мне казалось, что более грустной картины нет на свете. Но вот на Укаяли я увидел нечто более тягостное. Дожди превращают здесь буйный мир в какое-то сплошное мрачное кладбище. Пальмы агуаче, растущие около хижины (один из красивейших видов перуанских пальм), во время дождя выглядят так уродливо, что испытываешь к ним отвращение. Мрак и ненастье накладывают на всю долину печать какой-то трагической обреченности. Вода, льющаяся с крыши на пол хижины, действует как яд. Дождь кажется страшным чудовищем, а небо — сплошной кровоточащей раной. Я живу остатками нервов. Перспектива потерять коллекции, оторванность от всего мира, сознание беспомощности, липнущая к телу мокрая одежда, жизнь без движения, без книг, без собеседника — все это вызывает удрученное состояние.

За хижинкой, там, где были пастбища, теперь образовались озера. Это и есть прославленные талампы. В лесу их тоже полно. На протяжении многих месяцев талампы наглухо закрывают доступ в чащу. Позже, в сухое время года, они всасываются в землю и исчезают. Однако не все — в некоторых местах остаются опасные трясины.

И у порога нашей хижины образовалась лужа, через которую нужно перепрыгивать. Лужа небольшая, но однажды Долорес нашла в ней несколько ма-

леньких рыбешек. Рыбки весело гоняются друг за другом и охотятся на еще меньших, чем они, головастиков, которые тоже появились в воде. Изумленная Долорес утверждает, что рыбки чудом попали в лужу. Я охлаждаю ее пыл и сомневаюсь в том, что это чудо. Вероятно, их сюда занесли на своих крыльях пролетавшие случайно дикие утки. На следующий день дождь утих, лужа высохла, и мы забыли о рыбках. На третий день снова пошел дождь. Лужа опять наполнилась водой, и — о, чудо! — опять появились те же рыбки. Теперь уже я поражен! Очевидно, остроумные рыбки во время засухи попросту зарылись и спали в ожидании дождя. Порадуемся этому открытию, Долорес. Значит, наши рыбки не простые: это умные шельмы, сумевшие прекрасно приспособиться к жизни, несмотря на то, что их мир — всего лишь маленькая лужица перед нашей хижиной.

Иногда из-за туч выглядывает солнце. Тогда сразу становится очень жарко и так светло, что глазам больно. Весь мир мгновенно и чудесно изменяется. Деревья в лесу, от корней до верхушек пропитанные влагой, на солнечном свете загораются, искрятся, будто осыпанные бриллиантами. Изголодавшиеся птицы устремляются на поиски пищи, от листьев вздымается пар. Душно так, что трудно дышать. В воздухе крик, пение и таинственный шум бурлящей воды. Всюду шумно и неестественно светло от отраженного солнечного света. Всюду сразу забурлила и загудела жизнь, забила ключом, как будто намереваясь порвать все оковы и путы. Это был звонкий гимн в честь солнца! Но вдруг все изменилось: внезапно набежала черная туча, и снова полил дождь.

Однажды я отправился в лес на охоту, но неожиданно мне преградила дорогу огромная река, катящая свои бурные волны между деревьями. Еще вчера я проходил здесь посуху, а сегодня под ногами пенится и шумит могучий поток, сотрясая стволы огромных деревьев и прокладывая себе путь среди водоворотов. Новую реку не питают ни Укаяли, ни ее притоки — она течет прямо из глубины леса. Но как она возникла? Какие стихии сплотили свои усилия, чтобы породить эти бушующие волны, прокладывающие себе дорогу здесь, в густом лесу? А вода все прибывала. Нужно было поскорее поворачивать назад, чтобы новые ответвления воды не отрезали мне пути. В этих намокших лесах таятся неисчерпаемые резервы воды. Они угрожают человеку всевозможными опасностями и делают ненадежным его завтрашний день.

Снова зарядил дождь. Меня гложет безнадежное отчаяние и одолевает самая тяжкая болезнь путешественника: чувство одиночества и безоружности. Потоки дождя заслонили не только укаяльский мир, но и тот, мой мир, из которого я прибыл сюда. В мозгу зарождается тревожная мысль: увижу ли я его когда-нибудь? Окружающее становится для меня все более чуждым и отталкивающим. Во всем — и в крыше, сделанной из пальмы ярины, и в стенах хижины из бамбука, и в запахе намокшей земли — во всем я ощущаю какую-то скрытую враждебность.

В минуту самого мрачного отчаяния я вдруг вспомнил, что мой знакомый в Икитосе, Тадеуш Виктор, дал мне в дорогу несколько номеров «Святовида». [124] Я достаю их из чемодана и медленно, но все более внимательно, страница за страницей, перелистываю. Я замечаю, что рука моя дрожит.

Со страниц журнала на меня глядят знакомые пейзажи с тополями, дома, люди, одетые по-городскому. Все это кажется мне удивительным и неправдоподобным. А вот есть даже новости из моих краев. Пишет о них Людвик Пу-

шет, известный скульптор. Этот великий чародей и почтенный «цыган» написал остроумный фельетон о «Розовой кукушке» — артистическом кабаре в Познани, о польских художниках, о картинах и делах, близких моему сердцу. Рассказывает также о каком-то веселом бале в художественной школе. Когда человек сидит в хижине над рекой Укаяли, где из земли выползают рыбы, то далекий бал и танцы приобретают удивительное значение. И вот чудодейственная сила Пушета и «Святовида»: я обретаю равновесие и снова смелее смотрю на мир. Я все чаще присаживаюсь над лужей у порога своей хижины и все с большим любопытством слежу за игрой сметливых рыбешек.

53. Мы отправляемся к Клаудио...

Мне не дают покоя воспоминания о необыкновенной обезьянке. Я встретил ее однажды в лесу, неподалеку от Кумарии. Тропинка привела меня на небольшую чакру — очищенное от леса поле, приготовленное для посевов, — и тут я увидел появившихся с противоположной стороны поля трех индейцев кампа: мужчину, женщину и мальчика. Рядом с ними бежала на свободе обезьянка — забавное создание, чрезмерно вытянувшееся и поэтому очень тонкое. Длинные ноги и руки, длинная шея и туловище, маленькая головка. Английские зоологи справедливо назвали этот вид обезьян спайдер манки, то есть обезьяна-паук.

Зверек вполне ручной; испугавшись меня, он не удрал в лес, а зарылся в складки платья индианки. Это нас очень рассмешило. Обезьянка — величиной с собаку среднего роста. Она стоит на двух ногах, прижавшись к индианке. Физиономия удивительно напоминает лицо маленького человечка, а мелькающие проблески мысли в ее испуганных глазах усиливают это впечатление.

— Она не привыкла к чужим, — объясняет на ломаном испанском языке индеец.

Это Клаудио из племени кампа; он работает на асьенде Дольча, но живет в нескольких километрах ниже Кумарии, на берегу Укаяли.

— Не продашь ли мне обезьянку? — спрашиваю у него.

Клаудио посоветовался с женщиной и, по обычаю здешних индейцев, промычал сквозь зубы что-то неопределенное — ни да ни нет.

— Ты подумай, — прошу его. — Я охотно куплю.

Когда во время нашего разговора я подошел к обезьянке, чтобы погладить ее, она стала забавно горевать. Не убежала, не завизжала, а схватилась обеими руками за щеки и, качая головой, принялась жалобно стонать. Это было очень забавно и вместе с тем трогательно. Она показалась мне исключительно чувствительным созданием.

Я договорился с Клаудио, что он дома подумает и решит вопрос. За обезьянку я предложил немалую цену и условился, что спустя два дня он сообщит мне свое решение.

Увы, Клаудио не сдержал своего слова. Ни через два дня, ни в последующие дни он не появился, и я решил сам навестить его.

Как-то рано утром я отправился туда с Валентином и молодым индейцем Юлио с асьенды Дольче. Укаяли к этому времени утихла, и вода в ней убавилась. Исчезли и плавучие стволы. Зато у берегов из воды торчит много ветвей, покрытых илом. Мы плывем по реке, течение быстро уносит каноэ. Восходя-



щее солнце застало нас уже на полпути. Вдруг Юлио прерывает молчание и о чем-то договаривается с Валентином на индейском языке, после чего направляет каноэ на середину реки.

— Зачем? — спрашиваю я удивленно. — Ведь на середине реки опаснее, там легко можно попасть в водоворот. Ближе к берегу человек всегда чувствует себя увереннее.

— Барранко, — отвечает индеец, указывая вперед.



Действительно, берег, возвышающийся на три-четыре метра над водой, в этом месте сильно подмыт. Под каждым деревом образовалась глубокая пещера, и обнаженные корни похожи на клубки чудовищных змей. Несколько деревьев, растущих на самом краю, сильно наклонились к реке. Они могут каждую минуту рухнуть, но держат их толстые лианы. Натянутые как струны и соединенные с другими стволами, они пока спасают накренившиеся деревья от катастрофы.

Поразительна солидарность растений перед лицом общего врага. Ненасытная река уже наметила себе лесные жертвы, но пока еще не может распра-

виться с ними: их защищают десятки дружеских рук — лиан. Напряженная борьба между лесом и водой продолжается.

Подмытые рекой, неестественно наклоненные деревья выглядят грозно. Но вид этот обманчив. Участь их предрешена, они вскоре рухнут в воду и страшны лишь для плывущих мимо людей.

Приглядевшись, я понял, что взбесившаяся река унесет не только прибрежные деревья, она унесет и кусок суши, покрытый лесом. Глубокий рукав врезался далеко в глубь леса и подмывает во многих местах землю, образуя остров. Я уже видел такие острова, уносимые течением реки. Мне рассказывали об одном городишке на Укаяли — кажется, Контамане, — окруженном со всех сторон предательской водой, который вот-вот провалится в реку. Укаяли неистовствует: в одном месте разрушает сушу, в другом, наоборот, образует новые берега.

Мы удалились от барранко на безопасное расстояние. Говорят, когда берег рушится, на реке вздымаются огромные волны, способные потопить лодку. Тут я заметил на берегу, среди ветвей, какое-то необычное движение. Мы перестали грести и принялись наблюдать за берегом.

— Обезьяны! — первым увидел Валентин.

Их там целое стадо. На таком расстоянии трудно определить, к какому роду они относятся. Кажется, это ревуны. Они медленно перебираются с дерева на дерево. Ведет их огромный бородатый самец, не спускающий с нас зоркого глаза. Некоторые самки тащат на спине своих детенышей, по-видимому крепко вцепившихся в материнскую шерсть, потому что, несмотря на головокружительные прыжки с ветки на ветку, они все же удерживаются. Меня тронула жизненная сила этого коллектива, охраняемого бдительным самцом, материнская забота о малышах и вместе с тем удивила утрата инстинкта, обычно предупреждающего лесных обитателей об опасности: ведь обезьяны находятся на деревьях, которые могут в любую минуту рухнуть и потопить все стадо!

Но мои парни реагировали по-иному:

— Обезьяны! — кричат они, обрадовавшись, и быстрыми ударами весел направляют лодку прямо на барранко.

— А не опасно ли? — спрашиваю я беспокойно.

— Нет! — отвечает Валентин. — Барранко теперь не опасен!

— Откуда ты это знаешь?

— Обезьяны сказали... Обезьяны знают, когда барранко упадет в воду. Обезьяны никогда не ошибаются...

Увидев приближающуюся лодку, стадо исчезло. А мы, полагаясь на обезьяний инстинкт, продолжаем плыть уже совсем близко от подмытых деревьев. Будь мои юноши старше и опытнее, они знали бы, как иногда подводит инстинкт! Но я молчу, не желая в их глазах прослыть трусом.

Все обошлось благополучно, и вскоре мы добрались до шалаша Клаудио. Увы, нас преследует неудача: в шалаше никого нет. Клаудио со своей семьей бродит по чаще. Было еще рано, и мы решили часок подождать! Чтобы не сидеть без дела, я решил пройти в лес и попытаться счастья, благо ружье для охоты на птиц было при мне.

Иду протоптанной тропинкой. В ста шагах от хижины вижу роскошную пальму пашиубу (приартеа). Всякий раз, натыкаясь на нее, я не перестаю восхищаться. Это просто чудо оборонного искусства! Корни пашиубы выступают

над землей, и только на высоте примерно двух метров образуют ствол пальмы. Корни совершенно прямые и вооружены такими острыми, длинными и необычайно твердыми шипами, что притронуться к дереву нет никакой возможности. Я подумал: сколько же пришлось претерпеть этой пальме от всяких четвероногих любителей ее сладкой коры, что она так оцетинилась и забронировалась! Вот яркий пример разумной борьбы за существование. Идя по тропинке, я всюду видел следы такой борьбы, которая ведется не на жизнь, а на смерть. Ведется за свет, за солнце, за самое право на существование. Растения душат, давят, отравляют друг друга. *«Это не лес, это война; здесь нет лирики уютных лесов Европы, здесь только жестокая война, страшная драма растений»*, — писал немецкий исследователь этих джунглей Р. А. Берманн.

Внезапно со стороны хижины послышались громкие крики Валентина и Юлио. Полагая, что с ними что-то приключилось, со всех ног бросаюсь туда. Примчавшись на опушку, я увидел, что Валентин и Юлио суетятся возле нашей лодки. Затем они вскакивают в нее и быстро отчаливают от берега, направляясь к маленькому заливику.

— Рыбы! — крикнули юноши, увидев меня.

Я уже и сам заметил их. Заливчик, врезавшийся в сушу метров на двадцать, кипит и бурлит. Сюда хлынула такая густая лавина рыб, что заливчик не может вместить ее. Серебряные чешуйчатые тела вытесняют друг друга на поверхность.

Мои парни поспешно подплывают, бьют веслами по воде и швыряют в лодку оглушенных и неоглушенных рыб. Они трудятся как черти. В суматохе некоторые рыбы сами выскакивают из воды и падают в каноэ. Сотни рыб весом в два и больше килограмма шли сомкнутой массой. Если бы я не видел собственными глазами, никогда бы не поверил, что возможен такой сумасшедший лов. Вскоре лавина уходит, заливчик пустеет, а в нашей лодке — несколько десятков рыб. Усталые, но счастливые парни улыбаются. Мы боимся, чтобы наша скоропортящаяся добыча не погибла, и решаем поскорее вернуться домой. Гребем все трое. Тяжело нагруженной лодке нелегко плыть против быстрого течения.

Когда мы подошли к опасному барранко, у юношей возник спор о погоде. Валентин пророчит, что будет дождь, хотя небо совершенно чистое, а Юлио утверждает, что ясная погода еще постоит.



Оба, оказываясь, по-разному толкуют лёт каней. Здесь в воздухе шныряет много этих красивых птиц. Кани похожи на наших ласточек, увеличенных до

огромных размеров. У них длинные, изящные крылья, раздвоенный вилкой хвост и восхитительный типично ласточкин лет, полный изящества, ловкости и молниеносных разворотов. Ко всем этим качествам природа добавила еще изумительное оперение: они белы как снег, а крылья и хвост черные. На фоне леса они выглядят, как чарующее видение. Кани-ласточки питаются всякой живностью. Как и ласточки, хватают на лету насекомых, попадающихся в воздухе, а на земле — змей, жаб, ящериц. Когда они взмывают очень высоко — это признак хорошей погоды. Когда же садятся на деревья или проносятся низко над землей, лучше не выходить из хижины: будет ливень. Сегодня кани летают не высоко и не низко, кружатся над деревьями на высоте нескольких десятков метров. Вот и разберись, будь пророком! Неудивительно, что мои молодчики ожесточенно спорят о предстоящей погоде.

Прелестные птицы приводят меня в восторг. Природа здесь угнетающе действует на человека. Он, слабое создание, топчется обычно на опушке леса и редко видит что-нибудь приятное для глаз. И вдруг такая невыразимая красота, как эти грациозные создания, пляшущие в небе!

Наша экскурсия закончилась неудачей. Клаудио мы так и не увидели. Но я не жалею о потерянном времени. Как это бывало уже не раз, я вернулся из поездки полный новых впечатлений.

54. Бабочки

У бабочек и детей много общего. Так же, как и дети, бабочки беззащитны, так же любят солнце, сладости и игры на полянах. Дети любят бабочек.

Меня научил любить их мой отец. Это был необыкновенный человек. Романтик, великолепный знаток природы, с горячим сердцем и умом. Он учил меня любить то, чего люди часто не замечали, проходя мимо. Когда мне было лет семь-восемь, он брал меня с собой в лес, к реке, на луга. И двое друзей, большой и малый, старались подчинить себе природу, в которой не последнюю роль играли такие существа, как лимонницы, голубянки, радужницы и другие бабочки.

Вечером, вернувшись домой, мы вместе мечтали. Отец рассказывал о жарком солнце, о далеких, буйных лесах с лианами и папоротниками, о громадной реке и необыкновенных, блестящих бабочках. Мы составляли подробные планы будущей экспедиции.

— Когда ты вырастешь, — говорил отец, — мы вместе отправимся на Амазонку.

Увы, смерть сорвала наши планы: отец умер, и я остался один со своими мечтами.

Потом у меня выросла доченька, Бася. Когда ей было шесть-семь лет, я брал ее с собой на цветистые луга над Вартой. Сколько там было смеха, веселых открытий и шумных забав! Мы заключали договор дружбы со всеми бабочками. Как и двадцать пять лет назад, сердце трепетало от восторга, и двое друзей были полны решимости подчинить себе природу.

Когда мы возвращались домой, я должен был рассказывать Басе о еще более красивых лугах, о более пышных лесах, о самой могучей в мире реке и великолепных, сказочных бабочках.

— Когда вырастешь большая, — говорил я Басе, — мы поедем вместе на Амазонку.

В ответ Бася крепко сжимала мою руку. Я знал, что у меня будет достойный товарищ.

Увы, смерть и на этот раз разрушила мои планы. В одно весеннее утро молодое сердечко Баси перестало биться, и опять я остался один.

Я поехал на Амазонку. Работа, которая протекала иногда в очень тяжелых условиях, требовала закалки, напряжения всех сил, крепко стиснутых зубов. Но когда я оставался один на один с миром бабочек, что-то во мне обрывалось. Трудно сохранить холодную созерцательность коллекционера, когда в глубине души оживает прошлое и воскресают давнишние воспоминания. Но как ни смелы были мои детские мечты, природа Амазонки превзошла их, сотворив еще более изумительный мир. Человек ошеломлен, ему трудно объять разумом эту оргию природы, происходящую на его глазах. В конце концов он уже сам не знает, что в этих лесах явь, а что вымысел.

Два дня светит жаркое солнце. Вода в Укаяли спала, обнажились песчаные пляжи. Около полудня, в самое жаркое время дня на песке появляются тучи бабочек, тесно рассевшихся друг подле друга. Сколько их там — тысяча, сто тысяч? Песчаная отмель растянулась в длину на сто метров и в ширину на пятьдесят. Бабочки преимущественно желтой окраски, двух больших семейств, парусников и белянок. Изредка попадаются крупные экземпляры катасилий ярко-желтого цвета; издали они выглядят как спелые великолепные плоды. Бабочки высасывают из влажного песка питательные соки — это обычное явление в Южной Америке.

Когда, проходя через песчаную отмель, спугнешь всю эту компанию, в воздух взвивается плотная желтая туча, создавая феерическое зрелище. По этой туче я как-то махнул два раза сеткой, и в ней оказалось более ста пятидесяти бабочек двадцати видов. В Европе, чтобы обеспечить себе такую добычу, не хватило бы самого длинного июльского дня!

Подсыхающая на тропинке лужа привлекает целую сотню бабочек каликор. Они греются на солнышке и потягивают влагу. Бабочки невелики, но богатой расцветки с голубовато-зеленым блеском. У всех на крыльях снизу две восьмерки. Наши колонисты так и называют их: «восемьдесят восемь». Временами вся сотня каликор сразу взлетает и вьется вокруг головы прохожего сверкающим венком, словно хочет его околдовать. Это необычайно красиво и действительно околдовывает.

Вдруг в воздухе послышался громкий треск, как будто кто-то щелкал пальцами. Это бабочки агеронии — бабочки-трещотки. Они обычно садятся на стволы деревьев, своей окраской почти сливаясь с древесной корой. Над людьми они просто издеваются! Вот уже несколько десятилетий, как они водят за нос самых крупных энтомологов[125] мира, ни за что не желая выдать тайну своего щелканья. Много труда потратили такие крупные исследователи, как Ханель, Годман и Сальвин, чтобы проникнуть в эту тайну. Все напрасно! Загадка так и осталась загадкой. По сей день агеронии выщелкивают свое «трак-трак» на всем пространстве от Мексики до Аргентины, издеваясь над микроскопами и человеческой любознательностью!

А вот геликониды. Очень распространенный род, насчитывающий более четырехсот видов. Всем обитателям леса известно, что бабочка эта невкусная — горькая, с неприятным запахом. Птицы это знают и ни за что не тронут красивую вонючку. Словно пользуясь своей неприкосновенностью, геликони-

ды летают медленно, на виду у всех врагов, вызывая помахивая длинными крыльями, красивой коричневой, желтой, черной и красной расцветки.

И вот случилось необыкновенное. Секрет геликонид подсмотрели другие бабочки. До сих пор совершенно безоружные, они принялись подделывать свои крылья, пока (сколько тысяч лет для этого понадобилось!) не стали похожими как две капли воды на геликонид. Многие виды белянок и данаид так переукрасились, что их не отличишь от подлинника.

У страха глаза велики, а большие глаза тоже наводят страх. У многих бабочек, в особенности из семейства павлиноглазок, на крыльях огромные пятна: они, словно грозные глаза, устрашают насекомоядных птиц. Наибольшего успеха достигли бабочки калиго: на нижней стороне их крыльев изображена настоящая голова совы с двумя выпученными глазищами, острым клювом и точным узором оперения. Эти бабочки летают только в сумерки, когда просыпаются совы-птицы.

Однажды я выстрелил в бабочку, напомиравшую своим полетом колибри, — я принял ее за птицу. Вторично я чуть не сделал такой же ошибки по отношению к другой, пожалуй, самой крупной бабочке в мире, но вовремя остановился. Вот как это произошло. Вместе со своим знакомым, польским колонистом Цесляком, я пробирался заброшенной лесной тропинкой сквозь густые заросли, как вдруг с куста сорвалась птица, своей окраской и размерами похожая на нашу куропатку, только с более медленным и бесшумным полетом. Я вскинул ружье и прицелился, но мой товарищ закричал:

— Да это же бабочка!

Я уже сам заметил ошибку и опустил ружье. Действительно, это была ночная бабочка, совка агриппа (*Thysania agrippina*). Лесные жители много рассказывали мне о ней, но, увидев своими глазами этого великана, я остолбенел, как и всякий раз, когда натыкался на безумства здешней природы.

Схватив сетку, я помчался за бабочкой. Она присела на ствол дерева недалеко от меня, но, вспугнутая шумом, который я производил, продираясь сквозь кусты, взлетела, и фантастическое порождение безумствующего леса исчезло в зеленой чаще. Признаюсь, я пожалел, что не выстрелил раньше.

Самые красивые бабочки здесь — морфиды. Голубизна всех океанов, лазурь всего неба, казалось, слились воедино, чтобы окрасить их крылья в ослепительный цвет. Все путешественники, побывавшие в Южной Америке, признают, что увидеть живую бабочку морфо было для них всякий раз радостным откровением.

Часто случалось, что, возвращаясь с охоты, измотанный жарой и духотой, я еле волочил ноги. Но если в такую минуту среди деревьев появлялась похожая на сверкавшую голубую звезду бабочка морфо, я испытывал чувство физического облегчения, как будто меня освежил повеявший с далекого моря прохладный ветерок. И тогда я бодрее шагал вперед.

Вот уже несколько дней как у меня завязалась дружба с одной прекрасной бабочкой. Я вижу ее ежедневно на тропинке, в одном и том же месте. Когда я подхожу ближе, она взлетает, описывает надо мной несколько кругов в воздухе и улетает в лес. Со временем между нами возникает своеобразная близость. Бабочка уже не боится меня и разрешает подходить к ней совсем близко. Она принадлежит к роду катонифеле и изумительно окрашена. На бархатно-черном фоне нарисованы две апельсинно-желтые ленты. Черный и желтый цве-

та сочетаются удивительно гармонично. Эта бабочка дорога мне, она напоминает Басю. Когда-то, гуляя с Басей по лугам над рекой Вартой, мы пережили такое же приключение, только с лимонкой. Несколько дней мы провели в такой же сердечной дружбе с этой бабочкой.

Мой крылатый друг будто колдует: вдруг передо мной встают, как живые, голубые глаза, светлая головка, дорогое детское личико. Иллюзия так велика, что кажется: сейчас я услышу ее голосок, вот-вот из-за поворота тропинки появится светлая маленькая фигурка. Я хочу крикнуть, позвать ее, но на повороте появляются Чикиньо и Долорес, весело болтающие о жуке, которого они только что изловили.

Нет Баси на Укаяли. Один восхищаюсь я радужными сверкающими бабочками.

55. Любовь к змее

Однажды Хосе, индеец кампа, прибывший с берегов Инуи, принес мне живую змею канинанау, внушительную двухметровую гадину. Канинана — змея неядовитая, но очень увертливая, и когда я вытаскиваю ее из мешка, она извивается и мотает хвостом во все стороны. Увидав змею, Долорес с отвращением попятилась.

— Ты чего боишься? — спрашиваю девочку. — Ведь она неядовитая.

— Ну и что, все-таки она змея, — отвечает Долорес.

В голосе ее слышится врожденное отвращение ко всему змеиному отродью.

— А ты тоже боишься? — обращаюсь к Чикиньо и подсовываю ему змею. — Потрогай ее.

Чикиньо очень хочется потрогать змею. Прежде всего потому, что должен же он показать девчонке, что он не боится. Но он не может, это выше его сил. Капли пота выступили на лбу мальчика — нет, он не может прикоснуться к змее!

— Ах вы, трусы! — издеваюсь я. — Какие же вы друзья животных? При виде первой попавшейся змеи вся ваша любовь улетучилась вмиг!

— У нее такая холодная кожа! — защищается Долорес.

— Не потому, что кожа у нее холодная, — подхватывает Чикиньо, — а потому, что каждая змея — это черт.

— Такой же черт, как ты сам. Чепуху городишь, великий натуралист! — смеюсь я.

Чикиньо болезненно самолюбив. Мой смех его очень задел. Ведь он искренне любит животных. А так как я для него пример во всех делах, касающихся природы, то и сейчас он решает быть моим верным последователем.

В последующие дни он часто останавливается у клетки канинаны и, видимо, внимательно изучает змею. Иногда что-то говорит ей шепотом. Свернувшаяся в клубок змея всегда неподвижна — она спит. Наконец Чикиньо решается осторожно слегка прикоснуться к змее. Восемилетний храбрец ведет сейчас тяжелую борьбу с собой, с суеверием, укоренившимся с незапамятных времен. Здесь, у клетки канинаны, происходит незримая героическая борьба. И победил в этой борьбе в конце концов Чикиньо. Спустя несколько дней он уже без отвращения прикасается к змее. А милый канинана не особенно противится этим ласкам. Очевидно, он уже привык к ним и не кусается.

За успехами Чикиньо ревнивым глазом следит Долорес. Она ни за что не



хочет быть хуже мальчика и тоже решается попробовать. Увы, она успехами похвастать не может. Всякий раз, когда девочка хочет погладить змею, ее пробирает дрожь отвращения. Долорес делает над собой просто нечеловеческие усилия — и все напрасно: протянутая к змее рука дрожит. Но Долорес упряма. Она уговаривает себя, что любит змею; она хитрит, насилует и обманывает сама себя. Лаская канинану, она приговаривает:

— Мой хороший, мой прекрасный европеец...

(Европа для Долорес вершина всего прекрасного, всех ее мечтаний!)

Чикинью громко высмеивает эти хитрости и, в качестве тонкого знатока души животных и верного друга их, поучает девочку, как полюбить змею. Любовь должна быть чиста, как кристалл, и пряма, как тростник! Похлопывая терпеливую змею по животу так энергично, что звуки шлепков далеко разносятся, Чикинью приговаривает:

— Моя хорошая, моя настоящая змея...

Канинана проявляет ангельскую кротость: даже такие энергичные ласки не выводят ее из терпения!

56. Попугай — царь птиц

На рассвете, когда солнце, восходящее над Южной Америкой, еще скрыто за стеной леса, в воздухе разносятся громкие пронзительные крики. Каким бы глубоким сном ни спал обитатель тропического леса, где бы это ни происходило — над Амазонкой или над Параной, — он обязательно проснется и вскочит, проклиная на чем свет стоит виновников шума:

— Проклятые попугаи!..

Да, его разбудили попугаи. И с той минуты весь день до самого вечера, исключая разве только самые жаркие полуденные часы, крики летящих попугаев раздаются непрерывно, напоминая вам о том, что вы находитесь в тропическом лесу.

Летящие попугаи! Когда смотришь на эти быстролетные создания, рассекающие воздух со скоростью пущенной стрелы, трудно поверить, что это те же птицы, которых мы видели в неволе: беспомощные, неповоротливые, сонные — утеха старых тетушек. Здесь, на свободе, они неузнаваемы. Быстротой полета и громкими криками они оживляют местный ландшафт и являются бесспорным его украшением.

До чего же их много! Они встречаются буквально на каждом шагу. Весь день эти беспокойные создания шатаются с места на место. Стоит только остановиться где-нибудь в лесу и прислушаться, как ухо ваше наверняка уловит знаменательный крик попугаев, пролетающих где-то над верхушками деревьев. Очень характерный, пронзительный крик, который издает попугай в полете, имеет определенное значение. По-видимому, этим криком попугаи пытаются утешить и отпугнуть угрожающих им хищников.

Американские попугаи окрашены преимущественно в зеленый цвет, который сливается с зеленым фоном леса и служит наилучшей маскировкой. Всегда ли попугаи были зеленые? Вероятно, нет. Эту интересную тайну веков выдает особенный, сохранившийся по сей день характер окраски и оперения. А именно: в зеленый цвет у них окрашена только верхняя часть перьев, заметная для посторонних глаз, а нижняя, скрытая от наблюдателя, переливается всеми другими цветами — голубым, красным, оранжевым. Это дает основание предполагать, что некогда попугаи имели вызывающе яркую окраску. Очевидно, в последующий период, когда число врагов их приумножилось, мудрая природа прикрыла кричащую расцветку перьев зеленым маскировочным плащом — примерно так, как это сделали люди, нарядив своих солдат в серые мундиры.

Что дело обстоит именно так, подтверждают, как исключение, арары... Их окраска и сейчас очень ярка и криклива, но арары могут позволить себе такую роскошь. Они самые крупные и сильные из всех попугаев в мире и могут с успехом померяться силами даже с ястребом или другими отчаянными разбойниками.

Чем ближе я знакомлюсь с попугаями, тем больше уважения питаю к этим существам. Они обладают исключительными достоинствами, которые выдвигают их на первое место среди всех пернатых. Назвав царем птиц орла, человек тем самым признал, что в его представлении царь самый крупный хищник. Если же достоинства считать ум, верность, неустрашимую храбрость, способность к верной дружбе, то пальму первенства, несомненно, следовало

бы отдать попугаям. В неволе эти птицы часто бывают злобны, сварливы. Но здесь, в лесу, они благородны и удивительно интересны.

Вошла в поговорку супружеская верность попугаев, сохраняемая ими до самой смерти. Когда попугаи всей стаей пролетают над моей головой, я всегда различаю отдельные пары, летающие обособленно. Однажды я наблюдал такую супружескую парочку, сидящую на дереве и осыпавшую друг друга нежными ласками. Они были так трогательны, что рука не поднялась застрелить их. Проявление нежных чувств среди животных не редкость, но обычно это бывает в период размножения, попугаи же ласкаются и в обычное время, под влиянием самого чистого и бескорыстного чувства — истинной дружбы.

В бытность мою в Южной Бразилии, на реке Иваи,[126] я заметил, что несколько стай попугаев байтака каждый вечер возвращаются к месту своей постоянной ночевки в лесу, всегда пролетая над той тропинкой, по которой я частенько бродил. Как-то вечером, когда байтаки пролетали довольно низко, я подстрелил одного из них. Через несколько дней я проходил по той же тропинке, в тот же час, и уже издали заметил первых байтаков, летевших в обычном направлении. Попугаи тоже заметили меня и, видимо, опознали охотника, стрелявшего по ним. Мгновенно они повернули обратно и подняли адский шум, чтобы предостеречь всю стаю. В воздухе поднялась суматоха. После краткого совещания попугаи полетели дальше, но старались обогнуть меня полукругом на приличном расстоянии. Так же поступили все последующие стаи. Последняя группа, всего штук десять, где-то замешкалась и появилась с полчаса опозданием. Разумеется, у них не могло быть никакого контакта со своими собратьями, пролетевшими получасом раньше. Каково же было мое изумление, когда и эта стайка (к тому же не выдавшая меня, потому что я укрылся) точно таким же полукругом обогнула место, где, скрывшись, стоял я. Такая блестяще поставленная служба информации достойна всяческого удивления. Она свидетельствует не только об уме и сообразительности попугаев, но и об их необыкновенной солидарности.



В другой раз я набрел в чаще на целую стаю попугаев из семейства маракан и выстрелом с близкого расстояния уложил двух. Остальные в ужасе взметнулись, но, заметив умирающих товарищей, не улетели, а решили, видимо, отомстить за них. Они подняли шум и грозно стали кружиться над моей головой. При виде такого отчаяния я почувствовал угрызения совести. Мысленно я дал слово никогда больше не стрелять по этим мужественным птицам, в груди которых бьется такое отважное сердце. Между тем мараканы не отлетали, а все продолжали преследовать меня. Сила дружбы у этих птиц сильнее смерти!

Увы, слова своего я не сдержал. Жизнь в чаще — не идиллия, а суровая действительность; я принуждён был охотиться за попугаями, чтобы добыть себе пропитание: у них вкусное мясо. Человек самый заядлый враг попугаев, он охотится за ними, он их безжалостно уничтожает и проклиняет на чем свет стоит за то, что они налетают на его посевы.

Как-то мне довелось быть в колонии Кондидо де Абре, в бразильском штате Парана. Все население штата с лихорадочным волнением следило за разыгравшейся в ту пору войной, которую вел с попугаями некий житель джунглей, старый обрусевший немец, приехавший в Бразилию с Поволжья лет тридцать назад. Это был немного странный и чудаковатый старик. На его кукурузное поле постоянно налетали стаи попугаев, с которыми он никак не мог справиться. Как он ни пугал их, сколько ни гнал — все было безрезультатно. Обнаглевшие попугаи довели бедного колониста до тихого помешательства. Он уже ни о чем другом не мог говорить. Его рассказы о попугаях звучали, как сводки с поля боя, и всех разбирало любопытство: кто же победит в этой войне — человек или попугаи?

Однажды обрадованный старик объявил нам с триумфом, что победа за ним: за весь день ни один попугай не появился на его поле! Но когда все бросились проверить, оказалось, что на злосчастном поле вся кукуруза уже уничтожена и не осталось ни единого зернышка, способного служить приманкой для птиц.

Как бы жители амазонских лесов ни проклинали попугаев, сколько бы австралийские колонисты ни вопили, возмущаясь хищными набегами попугаев на их поля, все же эти птицы были и будут лучшим украшением тропических стран, достойными представителями мира гилей. Среди пернатых это племя выделяется исключительным благородством, заслуживающим и уважения исследователя и вдохновенного пера поэта.

57. Барригудо

У меня не выходит из головы прелестная обезьянка и наше неудачное путешествие к Клаудио. Нет, я должен ее получить.

Однажды я узнал от людей, только что прибывших с низовьев реки, что Клаудио находится в своей хижине. Спешно созываю своих пареньков — Валентина, Юлио и Чикиньо, и на том же каноэ снова отправляемся в путь. Я прихватил с собой лучшие куски материи для обмена и самые сладкие бананы для обезьянки.

Мы резво неслись вниз по течению, час спустя уже увидели знакомую хижину и по некоторым признакам поняли, что хозяева дома.

Клаудио встретил нас несколько смущенно. Да, обезьянка жива, здорова, но... индеец не горит желанием продать ее. Он объясняет, что жена очень привязалась к обезьянке и ни за что не хочет расстаться со своим любимцем. Подходит жена и подтверждает его слова. Даже вид соблазнительных тканей, разложенных мною, не производит на него никакого впечатления.

Мы стоим на берегу реки недалеко от хижины, но я нигде не вижу обезьянки. Спрашиваю у хозяев, где она. Индейцы оглянулись вокруг и, рассмеявшись, показали мне на угол хижины. Оттуда выглядывали коричневая макушка и испуганные глаза, следившие за нами с напряженным вниманием. И тут же рядом — другая, черная, несколько больших размеров голова, тоже с выпученными глазами, и тоже выглядывающая тайком из своего укрытия. Ни дать ни взять пара ребятишек, испуганных видом чужих людей и все же неспособных побороть своего любопытства!

Индейцы зовут обезьянок, но они, точно глухие, не трогаются с места. Потом та, черная, преодолев страх, потихоньку выходит из укрытия. Мне этот вид обезьян знаком. Это красивый экземпляр аспидной обезьяны, названной здесь барригудо, что означает толстобрюхий. Обезьяны эти — одни из самых крупных в Южной Америке. Они в противовес изящным, нервным паукообразным обезьянам коата отличаются крупным, массивным телосложением и медлительностью. Что бы барригудо ни делал, его движения полны необыкновенного достоинства и кажутся глубоко обдуманно; шерсть у барригудо темная, волнистая, чаще всего черная.

Вот и сейчас он послушно выходит из-за угла неуверенным, медленным шагом. На полпути он приподнимается на задние ноги и оглядывается на хижину, где осталась его подружка. Доверительным, широким движением руки барригудо как бы хочет придать смелости обезьянке и приглашает ее подойти к нам. В этом движении, напоминающем человеческий жест, есть что-то очень комичное. Именно так вежливый актер приглашает свою партнершу выйти на аплодисменты из-за кулис!

Мы пытаемся привлечь обезьян ласковыми словами и приветливыми жестами, но они признают лишь вещественные знаки внимания. Только тогда, когда я бросил им два золотистых банана, мы возымели некоторый успех. Коата боязливо расстается со своим укрытием, бросается к барригудо, и уже вместе они подходят к нам. Каждая принимается за свой банан: одна ест жадно и торопливо, другая — медленно, флегматично. До чего разные темпераменты!

Фрукты быстро исчезли — вероятно, понравились, — зверюшки снова потянулись за лакомством.

У солидного барригудо лицо черное, с морщинистой кожей, низким лбом и выпуклыми бровями. Он еще больше, чем коата, похож на человека — то ли движениями рук, то ли сосредоточенным вниманием, с каким он ест, то ли реакцией на внешние явления. У него спокойные, необыкновенно честные глаза, с трогательной прямоотой выражающие все переживания.

Я держу в вытянутой руке банан и подхожу к обезьянам. Испуганная коата быстро отступает назад — вот трусливый дикарь! Зато барригудо стоит на месте, вперив в меня пронизательный взор. На его лице вся гамма чувств: беспокойство, доверие, страх, любопытство. Я вижу, какого напряжения воли стоит ему эта выдержка. Он хватается руками за затылок и приглаживает волосы так, как это обычно делает человек, желая успокоить свои нервы.

Подаю ему банан. Он осторожно берет его и деликатно кладет в рот. Но вдруг коата, охваченная внезапной ревностью, одним прыжком подскакивает к барригудо, вырывает лакомство у него изо рта и удирает. Ограбленный барригудо не подумал ни огрызнуться, ни догнать лакомку. Он только с удивлением посмотрел вслед ей и затем смущенно перевел свой выразительный взгляд на меня, как бы прося еще. Я снова дал ему банан. Тогда произошло то, чего я за все долгое время своего общения с лесными обитателями еще ни разу не видел. Общеизвестно, что алчность является у зверей основным импульсом, законом их бытия. Все звери, с которыми мне до сих пор приходилось общаться, были жадными эгоистами; в лучшем случае они не вырывали пищи у других. А барригудо взял банан, даже не притронулся к нему и, подойдя к своей подруге, подал его ей, как бы говоря: «Если уж ты такая обжора, то на тебе еще!»

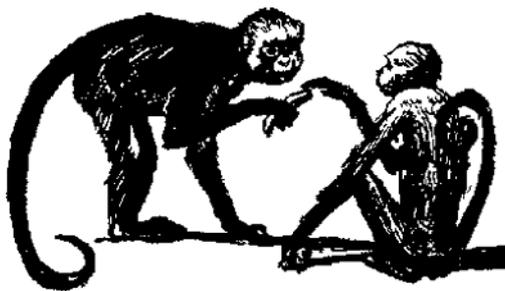
Вот это жест, вот это самопожертвование, вот это дружба!

Барригудо возвращается ко мне и снова просит. Разумеется, я даю. Пока он с удовольствием уплетал банан, я прикоснулся рукой к его голове, и он нисколько не противился. Тогда я протянул ему руку, — барригудо взял ее, крепко сжал и продолжал держать в своей руке.

Морщины на лице старят его, но, очевидно, это особая красота, ибо барригудо находится в расцвете сил. Что больше всего удивляет в нем, это выражение огромной доброты в сочетании с какой-то редкой даже для обезьяны сообразительностью. Удивительно ли, что чудесный толстобрюх покорила меня? Насколько он приятнее своей невоспитанной подружки! Неужели Клаудио откажется мне продать и эту обезьяну?

Индейцы с большим интересом наблюдали за моими заигрываниями. Затем Клаудио подошел ко мне и, показывая на обезьяну, сказал:

— Хорошее мясо...



Я не понял, о чем он говорит, но Валентин пришел мне на помощь и объяснил, что мясо барригудо является для индейцев лучшим лакомством и поэтому лесные жители так рьяно охотятся за ними. Эти обезьяны стали очень ред-

кими гостями в тропических лесах, особенно вблизи человеческих жилищ. В чаще их еще относительно много, но индейцы усиленно уничтожают их.

— А этого тоже держат на убой? — спрашиваю я возмущенно.

Клаудио по свойственной ему манере не дает вразумительного ответа, из чего я заключаю, что вопрос еще не решен окончательно: может, съедят, а может, и нет. Индеец и его жена бросают все более жадные взгляды на два куса цветной материи, которую я прежде разложил перед женщиной в виде предлагаемой платы за обезьяну.

Первым не выдерживает Клаудио и, прикоснувшись к красной материи, смотрит на меня исподлобья.

— А это дашь мне? — бормочет он.

— За что? — спрашиваю.

— За нее, — показывает он глазами на барригудо.

— Дам два куса! — поспешно отвечаю я, стараясь не обнаружить своей радости.

С минуту Клаудио стоит онемевший, думая, что я шучу. Затем он, в свою очередь, поспешно соглашается и велит жене отнести поскорее материю в хижину. А вдруг я раздумаю и пожалею о своей щедрости?

На обратном пути мои парнишки ругали меня, уверяя, что я переплатил за зверя, что он этого не стоит, что материя была очень ценная. От них я узнал, почему обезьяна такая ручная. Оказывается, она долгое время жила у одного из соседей, а затем он отдал ее Клаудио на съедение. Юлио обстоятельно и толково стал ощупывать насупившегося барригудо, привязанного к носу лодки, а потом успокоенно сказал Валентину:

— Мяса у него достаточно, и жирный... Знаешь, может, гринго[127] не так уж много переплатил за нее?

По возвращении в Кумарию снова встал вопрос о съедобных свойствах обезьяны. Педро, осмотрев ее, серьезно посоветовал забирать ее на ночь в хижину и зорко стеречь: кто знает, не польстится ли на нее какой-нибудь пеон из ближайшей асьенды, не захочет ли полакомиться ею?

58. Вот это дружба!

Таким образом я приобрел обезьяну барригудо и завязал дружбу с милейшим созданием, которое мне когда-либо приходилось встречать. Эта была самая крепкая дружба, какая только возможна между человеком и животным. Когда я вспоминаю о ней, то самые нежные слова рвутся из моей души. Трудно осознать, что в этом зверьке так привлекало меня и в чем таилось его обаяние. То ли в доброте и уживчивости характера, то ли в сдержанности — я бы сказал изысканности его манер, то ли в быстрой сообразительности, то ли в удивительной способности глубоко чувствовать?

Наша дружба — особая. В ней нет приторности; ни я, ни барригудо не любим никаких излишней.

Обезьяна почти так же привязана и к другим людям, с которыми ей придется общаться: к моему хозяину Барановскому, к Педро, Валентину, к Чикиньо. Чуждается она только одного Юлио. Позднее, убедившись в ее проницательности, я пришел к выводу, что эта умница поняла, для какой цели Юлио ощупывал ее, когда мы возвращались от Клаудио, и до сих пор не может простить ему этого.

Спустя три дня по возвращении в Кумарию я разрезал путы, связывавшие барригудо, и отпустил его на волю. Но он не сбежал. Целыми днями он кувыркался близ хижины, сердечно приветствуя всех, а вечерами приходил спать ко мне. Охотно, хотя и с достоинством, он играл с другими животными, особенно с обезьянами, на шаловливую резвость которых он смотрел с забавной снисходительностью. В отличие от этих шумных созданий он всегда молчалив.

Я полагал, глядя на его крепкое, приземистое туловище и медлительные движения, что он неуклюж и неповоротлив. Ничего подобного. При желании барригудо умеет проделывать самые невероятные прыжки, а на верхушки высоченных деревьев взбирается с ловкостью, которой могла бы позавидовать любая длинноногая коата. В этих случаях барригудо помогает себе длинным крепким хвостом; зацепившись хвостом за ветку, он любит раскачиваться в такой позе и при этом с особым удовольствием поедает лакомства.

Когда я собрался ехать домой, у меня появились первые заботы.

— Вы хотите взять его с собой в Европу? — спрашивает Барановский.

— Ну, разумеется.

— Но ведь обезьяны обычно не переносят морского путешествия...

Опытные в этих делах перуанцы еще настойчивее предостерегали меня. Они утверждали, что барригудо редко доплывают живыми до Пара, подыхая где-нибудь в районе Манауса.

И все же я настаивал на своем безумном плане. Ободренный добрым состоянием здоровья тех зверей, которыми я обзавелся в Кумарии, я решил перевезти не только барригудо, но и весь зверинец.

И вот начались сборы. Я тщательно упаковал коллекции, предназначенные для музеев, и соорудил нужное количество клеток. В один прекрасный день я погрузил все свое достояние на небольшой пароход и в роли укаяльского Ноя отправился вниз по реке. На пароходе было тесно, но все же первый этап, до Икитоса, мы проплыли счастливо, никого не потеряв.

Хуже было на втором этапе, от Икитоса до Пара. Капитан разрешил мне вы-

пускать зверей из клеток и держать их на палубе — на привязи, конечно. Но, несмотря на это, многие из них начинают прихварывать, а с ними вместе и я — точнее, мои нервы. Все яснее с горечью убеждаюсь, насколько безнадежна и нелегка моя затея. С каждым днем меня все больше гнетет сознание вины перед этими ни в чем не повинными созданиями. Как мог я вырвать их из родной стихии, чтобы обречь на неминуемую гибель? Возле Табантинги, на границе Перу и Бразилии, смерть уносит свои первые жертвы.

Я держу зверей на нижней палубе в защищенном от ветра углу. Пассажиры и матросы могут подходить к ним в любое время дня и ночи. Люди с доброжелательным любопытством часто заглядывают сюда. Однажды утром, придя в обычное время, чтобы задать корм своим зверюшкам, я заметил отсутствие молодого тапира. Ночью веревка развязалась, и мой любимец исчез. Напрасно разыскивал я его во всех уголках палубы. Неужели он свалился в воду?

Барригудо, заметив, что я исследую веревку, на которой привязан был тапир, подходит ко мне, хватая меня за руку и крепко и долго трясет ее. Раньше он никогда так не поступал. Его обычно мягкие глаза теперь смотрят на меня возбужденно, как будто желая что-то сказать. Я решил отвязать обезьяну. Барригудо, видимо, только этого и ждал. Он вскочил и повел меня вдоль палубы к тому месту, где валялась груда ящичков. Возле одного из них барригудо остановился и оскалил зубы с испуганно-напряженным выражением лица. Оказывается, за ящичком валялась часть шкуры моего тапира. Легко понять, что здесь произошло: ночью кто-то выкрал зверька и убил, чтобы поживиться его мясом. Ведь тапиры, как и барригудо, считаются излюбленным лакомством туземцев.

С тех пор я почти не отлучался от своего зверинца, а на ночь забирал обезьяну в каюту. После несчастья, приключившегося с тапиром, я буквально возненавидел себя, а вид веревок и клеток вызывал отвращение.

К счастью, барригудо хорошо переносит путешествие. Это на редкость выносливый и здоровый самец. Невзгоды пути еще больше нас сблизили.

Когда мы вместе сходим утром на нижнюю палубу, проголодавшиеся звери приветствуют нас невообразимым шумом и гамом. Особенно усердствуют обезьяны, которых у меня полтора десятка; все они привязаны в одном углу. Веревки так перепутываются, что их потом трудно распутать, тем более, что обезьяны ведут себя, как истерички. И вот умный барригудо приходит мне на помощь. Он становится со мной рядом и справляется с непослушными по-своему. Он, как суровый наставник, то ругнет, то даст тумака, то укусит, и в результате быстро наводит порядок. Его заботы и помощь просто умиляют меня!

Во второй половине нашего амазонского пути звери стали умирать все чаще. В отчаянии я уже подумывал о том, чтобы на какой-нибудь из пристаней выпустить на свободу весь мой зверинец. Барригудо пока совершенно здоров, но я полон невыразимой тревоги за него. Совесть моя не знает покоя, мысль о том, чтобы освободить его и освободиться самому, стала меня буквально преследовать.

Однажды на стоянке в маленьком порту на Нижней Амазонке, уже пониже Сантарена, я пошел с барригудо в лес прогуляться. Мы углубились в чащу километра на два. И вот, пользуясь тем, что обезьяна скрылась меж деревьев, я удрал от нее. Скорым шагом вернулся я в порт один. Пароход дал уже гудок. Матросы убрали трап, и мы должны были отчалить от берега, как вдруг вижу:

со всех ног катится к нам черный клубок. Матросы узнали барригудо и опустили трап. На палубу вваливается запыхавшийся зверь. Никогда не забуду полных упрека взглядов, которые он бросал на меня в течение целого дня.

Третий этап нашего морского пути, от Пара до Рио-де-Жанейро, превратился в сплошной кошмар. Мы плыли вдоль побережья Бразилии, холодный ветер свистел в снастях и пронизывал насквозь всех моих зверей, находившихся на палубе. Капитан не разрешал перенести их в закрытое помещение, а сверх того потребовал еще такой высокой платы за проезд, что мне пришлось отказаться от затеи перевезти весь зверинец. Я вынужден был раздать зверюшек пассажирам и экипажу судна, а себе оставил только барригудо и нескольких птиц. Из всего моего укаяльского богатства остались жалкие крохи, хорошо еще, что барригудо пока был здоров.

В Рио на суше мы, наконец, вздохнули. В теплых лучах солнца отогрелись и пришли в себя. Но с меня хватило и того, что было. Везти барригудо с собой в Европу через весь Атлантический океан и быть свидетелем его неизбежной смерти — нет, этого допустить я не мог!



К счастью, в Рио я нашел благородных людей. Профессор Тадеуш Грабовский взял обезьяну в свой дом с прекрасным садом, а его милейшая супруга обещала окружить ее самой теплой заботой.

В день отъезда я зашел проститься с моим другом. Я нашел его в саду, привязанным на длинной веревке. Барригудо с присущей ему проницательностью, вероятно, понял, в чем дело. Он судорожно ухватился за мою руку и не отпускал ее. Мне пришлось буквально тащить его за собой, а когда веревка кончилась, я с трудом высвободился из его объятий. Но он продолжал так сильно рваться ко мне, что веревка врезалась глубоко в его тело, и таким запечатлелся он навсегда в моей памяти.

Когда я отошел на несколько шагов, произошло то, чего никогда не случилось. Барригудо, до сих пор не произносивший ни звука, совершенно немой барригудо, теперь, под тяжестью горя, издал какой-то горловой, хриплый звук, похожий на стон:

— Чааа!..

Возвращаясь в Европу один, я думал, что совесть больше не будет меня мучить. Но нет! Призраки веревок и клеток продолжали витать передо мной. Мысль о том, что я плохо поступил с барригудо, угнетала все больше.

Разве не должен был я, хотя бы насильно, вернуть его родным просторам? Страшная веревка, врезавшаяся в его горло в последний миг разлуки, снилась по ночам.

Через два месяца после возвращения в Европу я получил письмо от очаро-

вательной опекунши из Рио-де-Жанейро. Она сообщала о том, что произошло после моего отъезда. Барригудо, писала она, совершенно переменился. Он стал мрачным, диким отшельником. Не подпускал к себе людей, пытался их укусить. И вот однажды ночью ему удалось освободиться от веревки и бежать. Спустя несколько дней соседи увидели его неподалеку, на покрытой лесом горе Пан д'Асукар,[128] но поймать не смогли. После этого его никто больше не видел. Очевидно, он убежал в какие-нибудь безлюдные места.

В тот день, когда я получил это письмо, мои друзья были невероятно удивлены: таким веселым и счастливым они меня никогда не видели!

59. Буду любить!

Хочу еще раз вернуться к последнему дню моего пребывания в лесах Укаяли, к последней минуте, проведенной там.

Пароход «Либертад», на котором я должен был отправиться в Икитос, вздрогнул от заработавшего винта. Я стою на палубе и выкрикиваю последние отрывистые пожелания. На берегу стоит Чикиньо. Он остается в Кумарии, где будет дожидаться своего отца. Чикиньо хочет быть мужчиной и сдерживает слезы. В руках он мнет сетку для ловли бабочек и от волнения не может выдать из себя ни одного слова. Пароход отчаливает. Внезапно Чикиньо провало — он кричит. Вместо обычных прощальных слов он кричит сдавленным от слез голосом:

— Я буду любить всех попугаев!

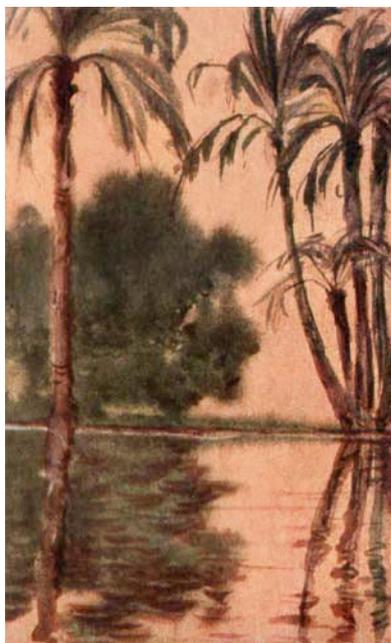
Это звучит, как отчаянная клятва.

— А змей? — спрашиваю я с улыбкой, хотя и мне что-то сдавливает горло.

— Змей тоже люблю, змей тоже...

Наш пароход быстро удаляется, и фигурка мальчика, оставшегося на берегу, с каждой минутой уменьшается. А Чикиньо все машет и машет белой сеткой, пока не сливается в одно пятно со стеной окружающего его леса. Укаяльские леса заслонили Чикиньо. Мальчик исчез с моих глаз, но навсегда остался в моем сердце.







Канада, пахнувшая смолой

Предисловие

Наша литература бедна книгами о Канаде. Мы можем назвать несколько научных работ по географии, истории и экономике Канады, но популярных художественных очерков о ней практически нет. Между тем Канада — страна очень своеобразная, во многом примечательная, и знание ее представляет большой интерес.

Канада — огромная страна (площадь ее около 10 млн. кв. км), протянувшаяся почти на 6,5 тыс. км с востока на запад и на 5 тыс. км с юга на север. На ее территории уместаются многие ландшафтные зоны — степи и леса, тундры и арктические льды. Около трех четвертей территории Канады почти безлюдны: здесь живет всего 300–400 тыс. человек; почти все население (17 млн. человек в 1958 г.) сосредоточено в сравнительно узкой полосе на юге. Нигде в мире за пределами Советского Союза нет таких огромных пространств тайги и тундры, как в Канаде. Таежная область тянется по всей стране с востока на запад. На тысячу — полторы тысячи километров простираются массивы из белой и черной ели, бальзамической пихты, осины, тополя. Сквозь них проглядывает кружево сплетенных между собой многочисленных рек и озер. Повсюду очень обилен животный мир — млекопитающие, птицы, рыбы. К северу от этой зоны протянулась не менее широкая полоса лесотундры и тундры.

Канада прошла своеобразный исторический путь. Вслед за французами, осевшими в стране в начале XVII в., там вскоре появились англичане. Борьба Франции и Англии за захват новых территорий, господство в пушной торговле и политическое первенство закончилась переходом Канады в 1763 г. в руки Англии. Англия, страна более передового, буржуазного строя, победила Францию, которая насаждала в Новом Свете феодальные порядки, сдерживавшие развитие колонии. Колонизация страны европейцами, как англичанами, так и французами, сопровождалась жестокостями и насилиями по отношению к индейцам — коренным обитателям канадских лесов, — разжиганием междоусобиц среди индейских племён.

С заселением Канады выходцами из Европы постепенно росло недовольство трудового населения и формировавшейся канадской буржуазии колониальным ярмом и притеснениями со стороны метрополии. Не раз в стране вспыхивали восстания. Лишь в 1867 г. Канада, получила относительную самостоятельность, став доминионом Англии. Но и после этого она осталась в определенной зависимости от Англии, к которой добавилась все более усиливающаяся зависимость от США.

Хотя европейцы начали колонизацию Канады три с половиной века назад, но быстрое заселение и экономическое развитие ее осуществились лишь в последние 40–50 лет. За короткий исторический срок Канада выдвинулась в число высокоразвитых держав, став одним из самых крупных в капиталистическом мире производителей сельскохозяйственного и промышленного сырья. Она занимает второе место (после США) в мировом экспорте пшеницы, первое место среди капиталистических стран по добыче никеля и по производству бумаги, второе — по добыче золота, урана, цинка.

Высоким темпам развития Канады благоприятствовал ряд важных обстоятельств: отсутствие на значительной части территории пережитков феодализма, исключительное богатство разнообразными природными ресурсами, приток капиталов, благоприятное географическое положение — близость к рынкам сбыта сырья в США и хорошие морские связи с Европой и Азией.

Современное политическое и экономическое положение Канады во многом определяется ее зависимостью от английского и особенно американского капитала. Правящие круги Соединенных Штатов не только проводят экономическую экспансию, но и ущемляют политический суверенитет Канады, превращая ее в военный плацдарм США.

Канада интересна советским читателям сходством своих природных условий с природой значительной части территории СССР, особенно Сибири, Дальнего Востока и Севера. Техничко-экономический опыт освоения новых районов Канады небесполезен для советских людей, осваивающих Север своей страны.

Все это говорит за то, что каждая хорошая книга о Канаде, ее природе, людях, прошлом будет встречена советским читателем с большим вниманием. «Канада, пахнувшая смолой» — несомненно одна из таких книг.

Аркадий Фидлер — польский путешественник и писатель; некоторые из его книг уже известны советским читателям и пользуются у них заслуженной популярностью. Кроме русского, книги Фидлера переведены на многие другие языки мира.

«Канада, пахнувшая смолой» написана Фидлером после путешествия в эту страну в 1935 г. Живо, увлекательно рассказывает Фидлер о природе Канады, о ее жителях, о ее прошлом. Не претендуя на систематическое описание, представляя лишь «путевые зарисовки», книга является тем не менее ярким и многосторонним рассказом о Канаде.

Большую часть страниц своей книги Аркадий Фидлер занимает очерками о природе и истории, а также об охотниках и крестьянах — жителях лесов и полей. Индустриальной, «пахнувшей бензином» Канаде отведено немного строк.

Высокое мастерство рассказов о замечательной и многообразной природе Канады роднит Фидлера с Кервудом и Сетон-Томпсоном, чьи книги о канадских лесах и зверях широко известны во многих странах. Автор очень любит

большой мир зверей и птиц, населяющих необъятные леса Канады, тонко чувствует обаяние девственных канадских пейзажей. Его очерки проникнуты бережным отношением к лесам, исполнены нежности. В этом, пожалуй, главный секрет исключительной лиричности фидлеровских зарисовок канадской природы.

Автор тонко передает смену впечатлений во время путешествия; очень выразительны охотничьи переживания самого автора и его спутников. Рассказы Фидлера насыщены остроумием, пронизаны мягким юмором.

Эмоциональные очерки Фидлера заставляют верить в притягательную силу чудесной природы канадского Севера, они воспевают романтику лесов и озер, безлюдье которых лишь изредка прерывается домиками торговых факторий и горняцких поселков. Правда, за четверть века, прошедшие после путешествия автора, на севере Канады стали гораздо чаще встречаться рудники и заводы, появились новые автомобильные и шоссейные дороги, построено много военных аэродромов, радиолокационных станций. Но все это в конечном счете не так уж сильно изменило облик тысячекилометровых пространств.

Фидлер с возмущением рассказывает о продолжавшемся многие десятилетия хищническом истреблении лесов и животного мира Канады. Он восстает против ненужной жестокости и азарта на охоте, против браконьерства.

Хищничество, неразумное отношение к животным и растительным богатствам нанесли крупный, во многих случаях непоправимый урон канадской природе. Поголовье многих зверей — бизонов, лосей, медведей, диких оленей, мускусных быков, бобров значительно сократилось. Пожары, вызываемые небрежностью людей, ежегодно уничтожают тысячи гектаров ценного леса.

Учитывая интересы частных фирм, грабящих ресурсы страны и боящихся потерять этот источник дохода, а также под давлением общественного мнения правительство Канады приняло, особенно в последние два-три десятилетия, ряд серьезных мер по охране животного и растительного мира. Однако алчность хозяев и отчаянное положение трапперов часто затрудняют осуществление этих мер. Английский писатель Дж. Олдридж в своем романе «Охотник» убедительно показал трагедию канадских охотников — белых и индейцев, вынужденных в поисках выхода из страшной нужды идти на браконьерство.

Интересны, легко читаются разделы книги, посвященные прошлому Канады. Фидлер рассказывает о многих важных событиях из истории Канады: о полуполюгендарных пионерах — первооткрывателях, страны, — о борьбе Англии и Франции за господство в Северной Америке, о борьбе трудовых людей за свою свободу, о коварной политике и несправедливости захватчиков по отношению к исконным обитателям Канады — индейцам. Автор показывает процесс развития местной, канадской буржуазии, экспансию капитала США и проникновение в страну американских порядков. Несмотря на фрагментарность очерков по истории, они создают очень живую и довольно цельную картину становления современной Канады.

По поводу исторических зарисовок хочется высказать еще несколько соображений. Не излишне ли романтизирует и идеализирует автор облик некоторых европейцев, совершавших первые походы в неведомые дебри Канады? Ведь независимо от незаурядных личных качеств и горькой, часто неблаго-

дарной судьбы таких пионеров, как де ля Салль, Радиссон и Грозейе, все они шли в глубь Канады по велению своих хозяев — дворян и купцов Франции и Англии — для захвата, грабежа и наживы. Чрезмерное, на наш взгляд, восхваление личных качеств отдельных исторических лиц заметно и в очерке о Гзовском — «стороннике реакционных взглядов», «оборотистом промышленнике и проницательном финансисте». Автор не всюду (например, в рассказе о восстании Риля) освещает так глубоко, как хотелось бы, истинные, классовые мотивы исторических событий.

На страницах книги проходит не так много людей современной Канады, но образы их типичны и запоминаются. С большой теплотой обрисованы канадские индейцы — народ высоких рыцарских качеств, поставленный ныне в условия прозябания и деградации. «Белая» Канада представлена в книге почти исключительно соотечественниками автора — поляками: охотниками-трапперами и крестьянами. Их жизнеспособность, умение сохранить свою национальную культуру и самобытность не могут не вызвать симпатий. Но автора можно упрекнуть в некоторой идеализации польской общины и католического духовенства.

Несмотря на краткость зарисовок экономически высоко развитых районов «цивилизованной» Канады, автор показал главные черты и этой части страны: соседство расточительства и нищеты, сосредоточение богатств в немногих руках, безработицу, неустойчивость положения трудовых людей. Фидлер видел страну в 1935 г., а с тех пор эти противоречия капиталистической Канады все более обострились.

Аркадий Фидлер попытался в одной, сравнительно небольшой книге не только передать личные впечатления о Канаде, но и нарисовать картины современной жизни и прошлого страны. Это трудная задача. Поэтому нельзя строго судить автора за то, что он о многом совсем не сказал или сказал мало.

«Канада, пахнувшая смолой», несомненно, увеличит популярность в Советском Союзе этого талантливого польского писателя.

Г. А. Агранат

Часть первая

1. Ветер с Лабрадора

Когда я выезжал из Гдыни в Канаду, в Польше светило горячее июльское солнце и люди с песнями приступали к жатве. Балтика была спокойной, Северное море — мрачным, а за Шотландией, как только мы вышли на просторы Атлантики, разбушевался сущий ад. Сильный западный ветер, переходящий в шторм, взял нас в оборот; он дул с таким остервенением, словно хотел содрать с нас кожу. На палубе было трудно устоять. Корабль танцевал на гигантских волнах, как обезумевшая балерина. Холод пронизывал до костей, люди страдали от морской болезни и не поднимались с коек.

На третий день непрекращающихся мучений я спросил одного из офицеров корабля: неужели тут, в северной Атлантике, всегда свирепствуют такие штормы?

— Осенью, зимой и весной — всегда, летом — почти всегда.

— И всегда такие сильные, как сейчас?

— Как правило, еще сильнее.

Ветры, дующие с Лабрадора и Гренландии, пронизывающие, холодные и надоедливые...

Норвежские моряки, подхваченные таким ветром, открыли в 863 году Исландию и заселили ее берега. В следующем столетии какой-то их потомок навестил родную Норвегию, но на обратном пути в Исландию не попал в свой порт, поплыл дальше на запад и открыл берега Северной Америки. Когда позже он снова прибыл в Норвегию, то рассказал об этом открытии своему приятелю Лайфу Эриксону.

Эриксон был отважным вождем; весть о богатой земле породила в его честолюбивой душе мысль о создании там нового государства. Он построил корабли, нашел людей, поплыл и на новой земле основал колонию. И если уже тогда, тысячу лет тому назад, не родилась Америка, то виноват в этом не норвежский смельчак и не его преемники — Норвегия поддержала начинание Эриксона и в течение нескольких веков пыталась осуществить его. Но все усилия были сведены на нет бурными волнами северной Атлантики, отпугнувшими даже викингов. Смелый план создания норвежского Нового Света был развеян штормами с Лабрадора и Гренландии.

И позднее, пятьсот лет спустя, эти же штормы решительно повлияли на судьбу далекой страны. Во времена Христофора Колумба геноузец Джованни Кабото открыл для английской короны Ньюфаундленд. Четверть века спустя другой итальянец, моряк Верраццано, аннексировал побережье североамериканского материка для французской короны. Но это были открытия, не приносившие практической пользы: ни французы, ни англичане не могли там надежно закрепиться. И первые, и вторые (в особенности англичане) панически боялись испанцев, претендовавших на все американские земли. Эмиграции не способствовал также и ряд других причин — внутривнутриполитических и экономических; но больше всего препятствовал наплыву людей в Северную Америку бурливый океан! Ветер охлаждал пыл эмигрантов и допускал на ньюфаундлендские отмели только бывалых рыбаков, сжившихся со штормами. Но они не основывали колоний и каждую осень возвращались в старую Европу.

Через какие-нибудь сто лет условия изменились: люди начали строить

большие корабли, появились подлинныи завоеватели-пионеры, и в начале XVII века на новых землях возникают первые, пока еще небольшие колонии: французская на реке Св. Лаврентия, английская дальше к югу, на Джемс-Ривер в Виргинии. Но, прежде чем это произошло, штормы в течение ста лет задерживали развитие всей северной части материка.

Во время своих путешествий в Южную Америку я несколько раз проделал тот путь, по которому проследовал на запад Колумб со своими испанцами. Колумб плыл в страну вечной весны по солнечному и спокойному океану, подгоняемый легким ветерком. На его пути не было никаких препятствий и ни одной устрашающей бури. Поэтому его открытие свершилось в молниеносном темпе. Открыл, завоевал, а Испания тысячами своих подданных в короткий срок заселила всю южную часть Нового Света, в то время как север, открытый почти одновременно, оставался нетронутым.

Штормы особенно сильно досаждали французам, и именно в этом их историческая трагедия. Из двух народов, колонизировавших Северную Америку, французы проявили неизмеримо большие размах и энергию. Они заняли область, наиболее удобную для проникновения в глубь континента, — устье реки Св. Лаврентия, — а оттуда устремились в далекие леса Запада, достигли Великих озер и за неполные сто лет захватили берега Миссисипи до самого Мексиканского залива. В это время англичане все еще сидели на побережье, ведя жестокую войну с индейцами, и никак не могли перевалить через горную цепь Аппалачей.

Но когда позднее, в середине XVIII века, решался спор о том, какому языку — французскому или английскому — и какой культуре господствовать в Северной Америке, французы потерпели полное поражение. Оказалось, что на всем материке насчитывается два с половиной миллиона англичан и всего лишь около шестидесяти тысяч французов. Энергии и отваги оказалось недостаточно: их перевесила численность противника.

Французов было так мало потому, что идея колонизации Канады никогда не пользовалась популярностью во Франции. Избалованного ласковым небом сына Шампани или Жиронды страшили суровый климат колонии, ее морозные зимы и тяжелый переезд через бушующий океан. Французские поселенцы происходили преимущественно из двух провинций — Бретани и Нормандии, населенных отважными «морскими волками», потомками викингов, в жилах которых текла кровь Лайфа Эриксона. Это они завоевали для Франции Канаду и большую часть Северной Америки; но Франция не пошла за ними. Ее отпугнул холодный ветер Севера.

Этот ветер явно благоприятствовал англичанам. В значительной степени благодаря ему сегодня в Оттаве находится резиденция губернатора ее королевского величества, а не французского генерал-губернатора. Ветер с Лабрадора повинен в том, что неисчислимыи богатства северного материка достались людям, говорящим на английском языке, и в том, что сегодня большие американские города с французскими названиями — Сент-Луис и Новый Орлеан — не имеют ничего общего с Францией. Ветер с Лабрадора не благоприятствовал французам.

Не благоприятствует он и латышу, который едет со мной в каюте. Бедняга вот уже неделю лежит на койке, стонет, мучается и говорит, что умрет до конца плавания.

Не умрет. Современные машины обломали ветру с Лабрадора его острые зубы.

2. Канада, пахнувшая бензином

В Монреале на Джемс-стрит, которая соответствует Уоллстриту в Нью-Йорке, возвышается, окруженный другими исполинскими зданиями, внушительный небоскреб «Ройял Банк оф Канада», мраморная святыня доллара и могущества. Через великолепный портал, отделанный тяжеловесной бронзой, входят и выходят люди, которые распоряжаются миллионами долларов и человеческих душ: в их портфелях, в их не всегда чистых руках судьбы страны.

Тут же, перед входом в банк, втиснувшись в ряды авто, ожидающих своих хозяев, стоит нищий, шарманщик. Он крутит шарманку. Это какой-то хитроумный инструмент, из которого бьют ключом звонкие жизнерадостные плясовые мелодии. Они заражают весельем всю улицу и плещутся о стены «Ройял Бэнк оф Канада». Не трогают они только людей, входящих в банк, — не доходят ни до их сознания, ни до их кармана. Спустя некоторое время шарманщик убеждается, что выбрал плохое место, перестает крутить шарманку, кротко улыбнувшись, взбирается на трехколесный мотоцикл, к которому эта шарманка прикреплена, заводит мотор и отправляется искать счастья в другой район города.

На пересечении двух улиц замешательство. Какой-то растяпа-шофер неожиданно тормозит свой грузовик посреди перекрестка, прерывая тем самым ровный бег длинной вереницы автомобилей.

Ближайшая машина — роскошный «Крайслер» — едва не налетает на грузовик; в последний момент резко сворачивает в сторону, проскальзывает в одном дюйме от заднего колеса злополучного грузовика, опасно сближается с соседним рядом автомобилей, отчаянным виражом втискивается в узкий про свет между ними — единственный выход! — и, ведомая искусной рукой, избегает, казалось бы, неминуемой аварии.

Все затаили дыхание и следят за происшествием, с восхищением глядя на «Крайслер». Им управляет женщина. Ей не меньше семидесяти лет, у нее седые, прекрасно завитые волосы. Старушка ни на мгновение не теряет хладнокровия. Проезжая мимо незадачливого шофера, она лукаво подмигивает ему и говорит что-то, добродушно улыбаясь. Что-то не слишком лестное, потому что шофер краснеет.

С этого момента я внимательно слежу за автомобилями в Монреале и часто вижу, что управляют ими пожилые женщины. Такие бабушки, в Европе доживающие остаток своих дней, в Монреале садятся за руль и становятся моторизованными амазонками...

На Сэнт-Катрин-стрит — улице, длина которой, вероятно, двадцать английских миль, — находится огромный любопытный магазин. В нем происходит постоянный аукцион подержанных автомобилей, но в этом аукционе в отличие от общепринятого цены все время снижаются. Падают каждые несколько дней, а иногда и ежедневно, на 5-10 долларов. Поэтому, если подождать два-три дня, можно купить автомобиль значительно дешевле — разумеется, если кто-нибудь сегодня или завтра не выхватит его у вас из-под носа...

Дешевизна автомашин — свидетельство материального благосостояния — была бы весьма импонирующей, если бы благосостояние шло здесь в ногу с человеческим счастьем и благополучием. Но этого-то в Канаде и нет.

Жители Северной Америки всегда куда-то несутся как безумные, ошалело гоняются за чем-то, подталкивая друг друга, подстегиваемые удивительнейшим тщеславием. Но в этой дикой поспешности они, собственно говоря, так и не знают, зачем и куда торопятся. В их беспокойстве есть что-то болезненное.

Эта монреальская улица Святой Екатерины глубоко врезалась мне в память; в конце концов я сильно затосковал по Европе, по ее незапахавшимся людям, по тихим Августовским озерам,[129] по убаюкивающей тени под рога-линскими дубами. Есть же и в Канаде могучие леса, манящие дебри, но то, что творится в канадско-американских городах, кажется мне трагическим недоразумением, смешением понятий. Ведь назначение технического прогресса — обуздание сил природы на благо человека, облегчение жизни человеческой, а тут получился парадокс: человек, создавший огромную и прекрасную технику, сам попал в рабство к своему творению. Человечество всеми силами должно стремиться — и оно стремится — к благосостоянию. Но пусть добрая судьба хранит его от опасного вида благосостояния, какое возникло на североамериканском континенте.

Люди здесь поступают так: покупают на лето подержанный автомобиль, объезжают на нем часть страны, а затем бросают его на произвол судьбы где-нибудь на проселке и поездом возвращаются домой. При этом создается нелепое положение: бросая автомашину, нужно делать это осторожно, чтобы никто не заметил, особенно полицейские. В противном случае штраф и в, довершение всех бед требование забрать машину. Канада — это страна, где нельзя бросать машины на дорогах.

Все это началось со времен первой мировой войны. Богатство текло в Канаду отовсюду; оно открыло ей автомобиль. Малонаселенная, но невероятно обширная страна требовала наряду с железными дорогами и других быстрых и доступных средств сообщения. Автомобильная промышленность росла, как на дрожжах. Разные американские «Форды», «Дженерал Моторсы» и «Крайслеры», пронюхав о выгодах, которые сулили девственные просторы Канады, строили там огромные заводы-филиалы.

Американец, который беспощадно истребил кочующие племена индейцев, а уцелевших загнал в резервации, сегодня сам стал кочевником. В прошлом различные заразные болезни, занесенные белым человеком, косили туземцев. Сегодня белого человека бичует эпидемия автомобиля. Возник особый культ автомобиля, автомобильная культура, несущая в себе немало элементов варварства. Американец начинает все больше и больше избегать своих домов и квартир, оборудованных по последнему слову техники. Он не выносит домашней жизни, бежит от нее. Кино, дансинги, спорт, непрестанные party[130] должны заглушать его страх перед самим собой. В мчащемся автомобиле его менее остро мучает беспокойство.

Вместе с растущей автомобильной промышленностью в южном поясе Канады возникла очень густая, на тысячи миль, сеть шоссе и автострад. На этих путях совершается ежегодное странствование. Чтобы полюбоваться всякими чудесами природы — от острова Ванкувер до реки Сагены, — рядом с канадцами носятся американцы. Их невероятно много: двадцать миллионов ежегодно.

А авиация? Север, где открываются едва ли не самые богатые в мире зале-

жи ценнейших минералов, не имеет никаких шоссе — одни леса, тундры, реки и озера. Поэтому сегодня самолеты открывают Север. Самолет в Канаде стал уже предметом ежедневного обихода. Некоторые трапперы производят с воздуха проверку капканов, а почтенные дамы, случается, летают с послеобеденным визитом к своим соседкам, живущим за триста километров.

Однажды вечером я выехал вместе с одним знакомым поляком на автомашине за город в направлении Лашина. Вдоль автострады, на протяжении нескольких миль усеянной сотнями движущихся машин, зажиточные люди предаются в эту пору даум страстям.

Старые и молодые, мужчины и женщины, — играют в гольф. Площадок для гольфа множество, а играющих — сотни, если не больше. Уже опустилась ночь, и люди, залитые голубоватым светом ярких прожекторов, похожи на привидения. Издалека они напоминают сумасшедших: суется на поле, то и дело, отчаянно замахиваясь, высоко поднимают палки и изо всех сил бьют по земле, словно наказывая ее за какую-то провинность. Разумеется, они бьют не по земле, а по каучуковым мячикам, стараясь выбросить их как можно дальше на темный луг. Игра, возбуждающая англосаксов до предела. И она, видимо, полезна: то, что несильный автомобиль напортит, должен исправить гольф, укрепляя вялые мускулы обывателя.

А вторая страсть? Стара, как мир: канадский юноша обнимает и целует свою sweetheart.[131] Делает он это в автомобиле. А чтобы не было аварий во время езды, вдоль автострад построено множество автомобильных баров, куда подъезжают, останавливают машину и, не вылезая из нее, заказывают, что душе угодно: или что-нибудь для охлаждения желудка, или что-нибудь для подогрева чувств. Странно выглядит такой бар: в нем нет ни столов, ни стульев, а гости — это ряд стоящих полукругом автомобилей. Обслуживают вас расторопные симпатичные официантки. В этой стране почти совсем нет мужчин официантов.

Из глубины бара доносится более или менее приятная, музыка.

Мы тоже подъезжаем к такому бару и, разумеется, заказываем прохладительное. Спустилась жаркая, почти тропическая июльская ночь. Вокруг стоят автомашины, из которых доносится страстный шепот. Где-то раздается приглушенный смех. А надо всем этим — веселая танцевальная мелодия.

Вдруг напрягаю слух. Ну, конечно, я узнаю эту музыку. Тот самый шарманщик, который утром стоял около «Ройял Бэнкоф Канада», приехал сюда, чтобы радостными мелодиями развлекать влюбленных. Кажется, на сей раз его не постигнет неудача. Здесь его слушают охотнее, чем утром перед банком.

3. Богатство и бедность

«Итон»! На Сэнт-Катрин-стрит, этой главной торговой артерии Монреаля, обосновался «Итон». Он занимает огромный комплекс многоэтажных зданий. Это известный универмаг, самый большой в Канаде. Фирма «Итон», которая вместе с двумя другими такими же компаниями захватила две трети всей внутренней торговли Канады, — титан и монополист в своей области.

Она славится необычайно гибкой организацией. Покупка, на которую в другом месте ушло бы четверть часа, здесь совершается в течение нескольких минут. Фирма «Итон» широкой рекламой сумела убедить покупателей в своей несомненной честности, в том, что продает лучшие товары по строго кальку-

лируемым ценам и что с такой же скрупулезностью устанавливает цены на лодки, как и на шпильки, на столовый гарнитур, как и на ленты.

В магазинах «Итон» с самого утра всегда полно народа; за день проходит около ста тысяч покупателей. Но покупает ли каждый посетитель что-нибудь? Нет, не каждый. Несколько раз я заходил в этот универмаг и всякий раз убеждался, что многие — и мужчины и женщины — ничего не покупают. Эти люди производят странное впечатление: с застывшим восхищением на лицах и благоговением в жестах, словно молящиеся в костеле, они переходят от прилавка к прилавку, окидывая, нет, — пожирая пылающим взором изобилие выставленных товаров. Может быть, у них, ошеломленных великолепием стольких прекрасных вещей, действительно молитвенное настроение?

Спрашиваю об этом одного из своих монреальских знакомых.

— Вы правы, — весело отвечает он, — это в некотором роде их молитва. Они смотрят на товары, как на алтарь. Ничего не покупают да, собственно, и не могут купить...

— Почему не могут?

— У них нет денег. Вероятно, это безработные.

— И, несмотря на это, приходят сюда, чтобы мучить себя напрасным аппетитом?

— А-а, мы ведь самая богатая страна под солнцем! Страна неограниченного оптимизма. Эти непокупающие верят, что завтра судьба улыбнется им, и они смогут покупать... А пока что молятся таким способом и упиваются созерцанием богатства.

— А судьба улыбнется им?

— Всем — нет, некоторым — да. У нас конъюнктура скачет вверх и вниз, как на качелях. Когда она идет вниз, то сотни и тысячи рабочих ежедневно теряют работу и хлеб, а когда идет вверх — некоторая часть рабочих может кое-что купить у «Итона». Но прежде чем это произойдет, каждый мечтает и молится возле этих прилавков... Будьте и вы начеку! — предостерегает меня знакомый.

Мы смеемся, но зря: вскоре и меня охватывает возбуждение. Оказавшись на одном из этажей универмага, осматриваю наиболее интересующий меня отдел: принадлежности для устройства лагеря. Какое разнообразие, какой выбор, сколько тут всего! И когда я разглядываю пятнадцать различных палаток, двенадцать видов каноэ и восемь типов навесных моторов, голова кружится и начинается тихое помешательство...

Канада развилась так же быстро и бурно, как нее старшая сестрица — Соединенные Штаты, только на полстолетия позднее. Благодаря этой задержке она сумела лучше использовать все достижения технического прогресса и догнать, а в некоторых областях даже перегнать свою южную соседку.

О пшенице — богатстве Канады — знают все. Трудолюбивая страна собирает столько пшеницы, что три четверти урожая вывозит за границу. В то же время обе мировых войны, создав в Канаде фантастическую конъюнктуру, способствовали развитию ее промышленности; последняя по размерам своей продукции давно опередила сельское хозяйство.

На севере Канады (в лесах и тундре, все еще недостаточно исследованных) выявлено столько минеральных ресурсов, что они выдвинули Канаду в первые ряды среди других государств. Канада занимает ведущее место в мире как

по добыче никеля, платины, радия и асбеста, так и по производству алюминия, ртути и молибдена, а равно меди, цинка, серебра и мышьяка. Это сейчас. Будущее же сулит Канаде необыкновенные возможности развития горной промышленности.

Использование в гигантских масштабах «белого золота», то есть силы воды, стало могучим стимулом головокружительного подъема промышленности. И в этой области Канада значительно опередила многие другие страны — как по количеству производимой электроэнергии, так и по низкой ее стоимости. Лесная промышленность — только один из многих потребителей электроэнергии; своей бумагой и целлюлозой Канада удовлетворяет потребности огромного американского рынка.

Бурное развитие страны, мировое первенство во многих областях, создание стольких благ (в памяти запечатлелся маленький отблеск этого изобилия — «Итон») и накопление богатств — словом, небывалые достижения энергичного народа, насчитывающего всего четырнадцать миллионов человек, вызывают искреннее восхищение. В этом размахе есть что-то героическое, но в нем, к сожалению, кроется также и много мрачного, досадного.

Меня преследует образ шарманщика на Джемс-стрит, улице банков. Правда, шарманка была у него на мотоцикле, но тем не менее он просил милостыню. Это был нищий. Нищий в такой богатой стране? А что говорил мой знакомый о людях в магазине «Итон», которые ничего не покупают: что это — безработные? Безработные в такой стране?

Увы, да. В стране с таким огромным производством, где магазины битком набиты разнообразными продуктами, есть голодные. Здесь поразительно много желающих работать, но не имеющих работы. Страна, ненасытно эксплуатирующая природные богатства, лишает тысячи людей возможности человеческого существования и даже не знает, как утолить их голод. Пособия выдаются жалкие, несмотря на то, что они поступают из трех источников: муниципальных, провинциальных и общегосударственных. Лишь тогда, когда случайный ветерок улучшившейся конъюнктуры оживит какую-нибудь отрасль промышленности, некоторые из этих людей находят себе работу.

Наличие обездоленных омрачает идиллию счастливых и сытых. А чтобы эти бедняги не нарушали спокойствия, их ссылают в леса! Там, в так называемых «лагерях труда», их превращают в лесорубов и советуют ждать милости судьбы. Иногда заявится какой-нибудь босс — предприниматель из ближайшего городка — и выберет себе работника. Ощупает его мышцы и осмотрит так, как это делали белые плантаторы двести лет назад с черными невольниками, которых покупали в американских портах.

Я встречал людей, побывавших в «лагерях труда». Они не жалуются, что там с ними обходились дурно. Но их рассказы — в стране такой богатой, с такими неограниченными экономическими возможностями — воспринимаются как кошмарный сон.

— ...А потом я снова выстаивал около фабричных ворот в надежде, что освободится какое-нибудь место... — говорит Анджей Пастушак, один из этих несчастных. — Эта борьба за хлеб, за жизнь, за работу доводила до такого одиночества, что человек радовался, если с кем-либо из работавших на заводе случилось несчастье или кто-нибудь заболел; думалось: одно место освободилось, может, меня возьмут...

Разве это не идиотизм, что в современной Канаде, буквально утопающей в богатствах, есть безработные, а также тысячи рабочих, заработок которых вдвое меньше установленного прожиточного минимума? Откуда же этот абсурд? Ответ так же прост, как и печален: неисчислимы богатства Канады захватила в свои жадные руки немногочисленная горстка богачей. Здесь крупный монополистический капитал свирепствует с еще более грубой беспощадностью, чем в соседних Соединенных Штатах.

Канада — рай для финансовых магнатов: сто промышленных и торговых компаний завладели 90 % производства и внутреннего рынка. Директора одиннадцати крупнейших банков держат в своих руках свыше тысячи двухсот руководящих постов в правлениях канадских предприятий. Шестнадцать крупных промышленников и банкиров владеют половиной национального богатства, являясь тем самым хозяевами любого правительства в Оттаве. Один из них — сэр Герберт Семюель Холт, президент сорока двух крупнейших компаний с общим капиталом свыше пяти миллиардов долларов. Не уступают ему президенты «Рой-ял Бэнк оф Канада», «Бэнкоф Монреаль» и некоторых других.

Убедительно и образно писал еще в конце XIX века Модест Марианский в своей книге об окраинах Северной Америки: «Новые силы (развитие техники, рост богатства) служат здесь не всему обществу, а только его верхушке. По своему действию они подобны огромному клину, вбиваемому не в основание всего общества, а в его средние слои. Те, которые очутились над линией расщепления, поднимаются, но зато те, которые находятся ниже ее, оказываются раздавленными».

4. Вольтер заблуждался...

Почтенный Вольтер отозвался когда-то довольно презрительно о Канаде, сказав, что это только несколько акров снега — «quelques arpents de neige». Отрицательное мнение философа получило известность, стало всеобщим убеждением, неоспоримым пророчеством и определило французское представление о Канаде.

А я сейчас живу на этих канадских «акрах». Несколько дней назад, выехав из Оттавы, столицы Канады, я направился за сто с лишним километров к северу, на реку Льевр, и поселился в лесной хижине польского охотника Станислава.

Стоит август. Вольтеровских снегов нет; наоборот, жарко, очень жарко. Минуту назад я пересекал поляну, ступая по густой, высокой траве, радуясь бездонной лазури неба надо мной; в траве кишело множество насекомых и кипела жизнь. Палящий зной струился с неба и поднимался от земли. Внезапно я перестал радоваться: черные круги завертелись перед глазами, и произошло неожиданное. То, чего я не испытал ни в Бразилии на Амазонке, ни у подножий Кордильеров, случилось со мной здесь, в сотне миль к северу от Оттавы: меня поразила солнечный удар! К счастью, поблизости был тенистый клен. Я кое-как добрался до него и лег под деревом.

Лес всех оттенков зеленого окружает эту знойную поляну. Он густой и очень живучий. Хотя он и растет на скалах, а лет двадцать назад его уничтожил пожар (повсеместный бич канадских лесов), и часть деревьев не так уж высока, — однако чувствуется в этом лесу какая-то неумная тяга к жизни, росту и размножению. Соки в стволах здешних деревьев струятся, как видно,

значительно живее, чем в наших европейских, и более щедро выделяются из-под коры пахучие смолы. А с наступлением весны люди выкачивают из кленов в кувшины сладкий сок, не губя деревьев.

Поражает большое разнообразие пород. Лежа под кленом, я различаю вокруг себя более десяти видов лиственных и несколько хвойных. Собралась прекрасная компания: дубы, орешник, буки, осины, ясени, липы, березы, кедры, ели, пихты, сосны и еще какие-то неизвестные мне виды. Все они родственны нашим европейским деревьям, а все же несколько иные — в различных мелочах, в рисунке листы, но прежде всего в пульсе жизни — какие-то более сильные, радостные, пышные. В Европе леса не такие жизнеспособные. В умеренном поясе есть лишь один лесной край — столь же прекрасный, богатый растительностью и зверьем, но еще более обширный — сибирская тайга.

Нигде в Европе я не видел такого количества кузнечиков, как на этой поляне. Уйма кузнечиков! Каждый шаг человека вспугивает из травы сотни этих насекомых. Они разлетаются в разные стороны, словно живое шелестящее облако. Некоторые из них, наиболее крупные, отличаются исключительной красотой. Раскрывая надкрылья, показывают вдруг сказочно голубые крылья и отлетают на несколько метров. Когда надкрылья захлопываются, красота исчезает и кузнечики снова становятся серыми, незаметными, похожими на комочки земли.

Они пожирают траву. Это лучше всего свидетельствует о жизненной силе здешней растительности: несмотря на миллионы обжор, на поляне незаметно ни малейшего ущерба. Обилие насекомых напоминает некоторые местности на Амазонке. Но это шутка природы! То Амазонка, а то страна, о которой содалось нелестное мнение, как о холодной пустыне: «quelques arpents de neige!..» Однако кузнечиков здесь великое множество.

Есть здесь и другие насекомые, настоящие дети солнца — цикады. В разогретом воздухе полудня разносится их звонкое и назойливое стрекотание — металлическое, протяжное шипение, переходящее в скрежет. Этот характерный звук одинаково действует людям на нервы и в Рио-де-Жанейро, и в Канаде. Здешнее лето, хотя и сравнительно короткое, настолько жарче нашего польского, что позволяет жить — правда, кратковременной жизнью — тропическим цикадам.

На этой поляне построил себе Станислав хату. Питается мясом оленей, на которых охотится в соседнем лесу, а все остатки выбрасывает поблизости от жилья. К этим отбросам слетаются бабочки. В погожие дни хижина Станислава окружена летучим нимбом, красочным хороводом веселых русалок, крапивниц, различных мотыльков. Их явно занесло сюда с евразийского материка. Среди этой заурядной «черни» время от времени появляется новый гость — благородный, гордый, величиной с человеческую ладонь. Он красив, яркая бронза оттенка светлого каштана, удачно-подчеркнутая черной обводкой с белыми крапинками, уже издали бросается в глаза. При этом красавец гость поражает своим полетом: он не трепещет крыльями, подобно другим бабочкам (например, нашим капустницам), а распростерши их, неподвижно парит в воздухе. Летит плавно, и его величавый полет исполнен такого покоряющего благородства, что человек смотрит на него, как зачарованный.

Называют его монархом (*Anosla plexippus*). Прилетел он сюда с далекого юга — может быть, из Флориды или Алабамы, — чтобы порезвиться на канад-

ской лужайке и под конец лета вернуться на родину. Это неутомимый бродяга. На обратном пути монархи собираются в стаи, словно перелетные птицы.

Жители Виргинии часто наблюдают коричневую тучу прекрасных летунов, спешащих к теплему солнцу.

Вид монарха вызывает во мне далекие воспоминания и волнует сердце. С его многочисленными двоюродными братьями, происходящими из того же рода, я встречался в Пара, близ устья Амазонки. Мой знакомец с поляны Станислава пустился в путь на север, веря в здешнее солнце, и не ошибся. Теперь кормится соками остатков оленя, убитого польским траппером Станиславом. И живет, славя канадское солнце.

Когда вот так отдыхаешь под кленом, приятно и весело уноситься мыслями в отдаленные страны и в далекое прошлое. Вспомнить хотя бы о Вольтере с его презрительными «несколькими акрами снега». Поспешность иногда подводит даже признанных мудрецов, и они могут выпалить какую-нибудь глупость! «Я гораздо больше жажду мира, чем Канады; полагаю, что мир может быть преспокойно достигнут и без Квебека», — рассуждал Вольтер. Мы знаем, что мир между Францией и Англией не был так благополучно достигнут, зато какие огромные богатства были выхвачены у французов из-под носа в Канаде!

Или вспомнить еще одну роковую ошибку, допущенную другим славным мужем — кардиналом Ришелье. Гугеноты, изгнанные из Франции, хотели поселиться в Канаде — точно так же, как перед ними в Бостоне это сделали пуритане, преследуемые за свою веру в Англии. Ришелье не разрешил: он не хотел «засорять» Канаду «еретиками», хотел видеть ее истинно католической. Гугеноты рассеялись по всей Европе, повсюду своей предприимчивостью и изобретательностью способствуя процветанию других народов, а Канада, действительно истинно католическая, но слабо заселенная, стала добычей Англии...

На верхушку клена, под которым я отдыхал, села какая-то птица и почему-то встревожилась. Крикливая окраска ее оперения — очень яркий пурпур — приковывает взор. Я гляжу и глазам своим не верю: это же, черт возьми, тангар, самый настоящий красный тангар, похожий на тангаров с Амазонки или Параны! Хватит с меня бразильских воспоминаний! Вскокиваю и направляюсь к ближайшей речке — Сен-Дени-крик.

Бултыхнувшись в воду, вспугиваю нескольких форелей. Вода отличная и приятно холодит. Через несколько минут, словно заново рожденный, выхожу на берег. Одеваясь, отгоняю многочисленных ос и мух, больших и злых. Едва отбилась от них, как слышу снова шелест. На этот раз у меня перехватывает дыхание. Неужели колибри?

Да, это колибри! Прилетел, повис в воздухе и разглядывает меня с дерзким любопытством, свойственным всем колибри. Такой же крошечный, проворный, длинноклювый и яркий, как его сородичи на реке Укаяли. Такой же любитель цветов, солнцепоклонник, неутомимый летун — милый малыш колибри.

Колибри — довод, бьющий в глаза. Вольтер решительно был неправ! Кроме суровой зимы, снежной и долгой, в Канаде есть еще и горячее лето с солнечными ударами, с цикадами, тангарами и колибри. Об этом Вольтер забыл.

А действительно ли забыл? Отрицательное суждение Вольтера о Канаде получило широкую известность. Но такую же известность завоевал и другой

француз — Лафонтен — басней о хитрой лисе и кислом зеленом винограде. Вольтер высказал свое отрицательное мнение тогда, когда Франция после проигранной войны с Англией потеряла Канаду. Хитрая лиса назвала виноград кислым тогда, когда не смогла достать его.

А в Канаде есть даже виноград. Он растет вблизи города Торонто и совсем не кислый.

5. Между лесом и богом

Станислав нашел в конце концов свое счастье на солнечной поляне у реки Сен-Дени, которая впадает в реку Льевр. К востоку от поляны раскинулся огромный, бесконечный лес. Там есть холмы, озера, бобры, медведи и олени. Нет людей и тропинок. Люди остались позади Станислава — в городах и поселках. Среди людей он шел тернистым путем, пока не дошел до этой поляны. Сегодня, подкрадываясь к оленям, Станислав тоже продирается сквозь тернии, но на сей раз это просто шипы малины, ежевики и лесных кустарников. И он счастлив.

Его судьба — обычная судьба польского эмигранта. Происходит он из Сроды. Его отец пас овец, был добрым и всеми уважаемым человеком. Станислав помогал отцу, но, когда его захотели забрать в прусскую армию, убежал в Америку. В Америке, как это обыкновенно бывает, перепробовал все: был кондуктором трамвая, рабочим на различных заводах, потом попал в леса к кашубам в Оттер-Лейке. Там взялся за ружье. Лес пришелся ему по душе.

Много лет пробыл в Оттер-Лейке, но потом убедился, что в тамошних лесах уже повывелся настоящий зверь, и начал искать новые места. Так Станислав прибыл на реку Сен-Дени, нашел эту поляну и построил себе хату. Живет здесь уже несколько лет. На соседнем пригорке выращивает картофель, на склонах Ястребиной горы собирает чернику, в Сен-Дени ловит форелей, на реке Льевр — щук, а в окрестных лесах добывает свою основную пищу — оленей. Стреляет мастерски.

Станислав живет одиноко зимой и летом, его единственный товарищ — собака. Это небольшая черная дворняжка, отзывающаяся на кличку Нигер, — неудачная помесь, собачий кретин, верный и бесполезный. Может быть, именно потому, что Нигер кретин, Станислав окружает его заботливой опекой и любовью. Надо же любить что-то живое...

В далеком Монреале у Станислава есть несколько случайных друзей — канадцев. Осенью они приезжают на несколько недель поохотиться и оставляют немного денег, на которые он покупает патроны и непритязательную одежду на зиму.

Станислав очень беден и совсем лишен честолюбия городского человека. Не стремится зарабатывать деньги. Все делает сам: он и портной, и сапожник, и врач, и столяр. Соседи с реки Льевр часто приходят к нему и просят помочь в чем-либо. Он охотно помогает.

Одиночество и постоянное пребывание в лесу, среди деревьев, отразились на его характере, выработали в нем не только физическую крепость, но также необычайное равновесие духа, придали его движениям медлительность, мыслям — простоту; его устаревшие понятия стали еще более косными. Но при всем этом Станислав отнюдь не нелюдим. Он строг, но спокоен и приятной беседы никогда не испортит.

Я долгое время удивлялся, почему он не обзавелся семьей. Ему уже около

пятидесяти. В лесу жена и дети особенно необходимы. Как-то я затронул этот вопрос и спросил Станислава, почему он не женился. Но удовлетворительного ответа не получил.

— Как-то обошлось без жены... — сказал уклончиво траппер.

Может быть, его постигло разочарование в любви? Станислав немного смущен и колеблется, не зная, как мне объяснить это. Под кажущимся спокойствием скрывает что-то.

— Нет... — отвечает с едва заметной улыбкой, — меня не постигло разочарование в любви...

Но, видимо, это слишком поспешное заверение, так как, слегка нахмутив брови, Станислав добавляет:

— А, собственно... Э, да что болтать зря...

Значит, все-таки что-то было. Спрашиваю, хотел бы он иметь детей.

— Никогда о собственных детях не думал... — уверяет он.

Я с сочувствием гляжу на него. Станислав, которого судьба загнала в леса, где он живет в самом тесном соприкосновении с природой, сам так и не испытал наиболее сильного зова природы: стремления к продолжению рода.

Я не сдаюсь:

— Скоро наступит осень и задует северный ветер. Потом выпадет снег и на полгода установится зима. Быть одному в темной хижине все это долгое время, вероятно, мучительно... Не тоскуете ли вы в это время «по человеку, близкому вашему сердцу?»

Станислав задумывается, потом отвечает, что не знает — тоскует ли он. Пожалуй, нет — потому что тогда с ним находится кто-то другой.

— Кто же это?

— Господь бог!.. — тихо отвечает он.

И правда, Станислав ревностно религиозен. Он полон такой горячей и глубокой веры, что порой она кажется болезненной. Бог, без колебания утверждает Станислав, сошел к нему с неба, принимает участие в его делах, находится рядом с ним. Станислав беседует с богом, как с кем-то присутствующим тут же, просит у него совета... Бог разделяет общество Станислава в долгие зимние дни в одинокой хижине, а его присутствие охраняет от нервных потрясений. Какое-то наваждение! И когда Станислав рассказывает мне об этом, его глаза вспыхивают нездоровым блеском.

В жизни Станислава произошли два события, которые он считает делом Провидения. В канадской провинции Квебек, заселенной преимущественно французами-католиками, приверженность к религии и до сего времени сильна, как нигде, и многие места там прославились чудесами. Наиболее известные из них — это церковь св. Иосифа на горе над Монреалем и церковь св. Анны в Бопре, под Квебеком.

Несколько лет тому назад Станислав долго и тяжело страдал болезнью желудка. Он был так плох, что врачи потеряли надежду сохранить ему жизнь; поговаривали, что это рак. В самом безнадежном состоянии поехал Станислав к отцу Андре, настоятелю церкви св. Иосифа. Отец Андре заявил, что Станислав выздоровеет. И действительно, через несколько недель он выздоровел.

В другой раз Станислав принимал участие в паломничестве к церкви св. Анны в Бопре, и, поскольку принято просить о милости, он молился об излечении экземы, которая была у него несколько лет на пальцах. Через несколько

дней, к изумлению Станислава, экзема начала проходить и скоро исчезла окончательно. Если оба эти случая правдивы, то они свидетельствуют разве что о сильном самовнушении Станислава, опирающемся на его огромную веру.

При всем том Станислав отнюдь не обнаруживает признаков подвижничества. Несмотря на набожность, в нем вовсе не бушует пламя, которое сжигало высокомерных рыцарей-крестоносцев. Хотя он и живет в лесу, тело его не напоминает тело Тарзана, а его лицо с запавшими щеками совсем не фотогенично. В нем не кипит жажда великих свершений, как у героев Джека Лондона. Станислав остался тихим, скромным человеком с уравновешенным характером и безмятежными снами; он составил себе полное представление лишь о двух величественных силах, между которыми забросила его жизнь: о лесе и о боге.

Через два-три часа после захода солнца мы ложимся спать. Станислав ложится последним. Прежде чем погасить керосиновую лампу, он чистит ружье, потом опускается на колени перед изображением ченстоховской божьей матери и читает молитвы. Молится долго, пятнадцать-двадцать минут. Воздетые к богу глаза его снова загораются горячечным блеском. Как будто видят и» ой мир. Выражение блаженного покоя и удовлетворенности застывает в такие минуты на лице Станислава.

В это время на соседних склонах начинают выть волки. Они отправляются на свою ночную кровавую охоту, открыто и грубо провозглашая войну всем более слабым обитателям лесов. Потом доносятся иные звуки. Два коротких трубных басовых выкрика заканчиваются третьим — долгим и еще более мрачным: гу-гугууу... Это тоже ночной хищник: сова. Она тоже сообщает, что голодна и опасна для соседей.

Странно сочетаются эти звуки: здесь, в хижине, — призыв к богу, там, в лесу, — призыв к пожиранию.

Вот так — между прожорливой чащобой и такой же всепоглощающей верой Станислава — мы наконец засыпаем в хижине польского траппера.

6. Соседи

Каждый день рано утром мы выходим на охоту. Станислав — мастер читать следы — по дороге объясняет мне шепотом, что происходило здесь ночью. Тут прошли два оленя, там останавливался и грыз кору дикобраз, а здесь еще один олень, испугавшись чего-то, отпрянул в сторону. Встречаем много медвежьих следов, но все они старые: надломленные деревца дикой черешни с объеденными ягодами и полуистлевшие поваленные стволы, ободранные в поисках личинок. Свежих следов, к сожалению, не видно. Не заметно также, к счастью, и свежих следов соседа, Десотеля.

Десотель охотится за нами. Он заявил, отнюдь не в шутку, что будет стрелять, если увидит нас в лесу, в своем лесу. Поскольку это злобный безумец, он действительно будет стрелять. Мы все время начеку.

Десотель жил раньше в деревне, среди людей. Он надоедал соседям и до такой степени отравлял им жизнь, что в конце концов вывел их из себя: его избили, как собаку. Вылечившись от ран, Десотель ушел в леса на реку Сен-Дени и поселился там вместе с женой, несчастной женщиной. Была у него собака: привязал ее однажды к дереву и уморил голодом. Была и лошадь: замучил ее насмерть.

Станислава он ненавидит за то, что траппер поселился вблизи и охотится в лесу. Сам Десотель вовсе не охотник, а лес вообще никому не принадлежит. И все же негодяй не желает, чтобы Станислав охотился, и грозит застрелить его. Теперь угрозу распространил и на меня.

Желая покончить с этой кошмарной «романтикой», я иду к дикарю, чтобы попробовать как-то договориться с ним. Он принимает меня в своей покосившейся хатенке, но разговариваем мы, как слепой с глухим. Представившись, объясняю Десотелю, что приехал сюда в гости, чтобы полюбоваться красотой здешних лесов. На эту французскую любезность Десотель отвечает, что на его ружье отличная мушка и что он метко стреляет. Я прошу разрешения гулять в «его» лесу. Он отвечает, что достал новые патроны... И так весь разговор.

Потом Десотель вдруг вскакивает и в приступе гнева ни с того, ни с сего начинает орать, что это все его леса, что он тут хозяин, что он никого не потерпит. Это не безумие — на его губах пенится безграничная злоба. Но откуда она берется? Привольный богатый край и живительный воздух создают здесь условия жизни для людей здоровых и уравновешенных. Десотель, с его квадратным лицом французского мужика, движениями медведя и глазами волка, похож на злокачественную опухоль, чуждую и враждебную, неведомо как возникшую здесь. В этом лесу он совершенно неуместен.

Совсем иные люди живут с другой стороны, на запад отсюда, у реки Льевр. Там протянулось почти на двадцать миль поселение Валь-де-Буа; все жители его — канадские французы. Они словно выхвачены из XVII столетия. Это милые, тихие, бедные, отсталые крестьяне. Бледны их улыбки и скромны их желания. Они ничего не хотят завоевывать. Пожилые почти все неграмотны. У них небольшие наделы, для обработки которых достаточно серпа и мотыги. Ничего не дают миру, почти ничего от мира не требуют. Из собственной пряжи сами изготавливают себе одежду. Это обыкновенные маленькие люди: немного завистливые, немного мелочные, любящие посудачить, в меру хитрые. Тесный глухой мирок.

В Валь-де-Буа нет Америки. Америка — на юге, всего в трех часах езды на автомобиле: строит небоскребы в городах с миллионным населением, прокладывает железные дороги, напрягает мысль, гудит тракторами, изматывает нервы, творит, бурлит. Но не достигает Валь-де-Буа, которое, как почти все французские поселения в Канаде, не принимает участия в американском разгоне. Здесь не испытывают головокружения. Расположен Валь-де-Буа в стороне, в абсолютной тиши. Два полюса, две парадоксальные противоположности, а между ними всего три часа езды на автомобиле.

Ближе всех к хате Станислава, у впадения Сен-Дени-крик в реку Льевр, живут три большие семьи: Такки и две семьи Колларов. Хорошие, добродушные люди, обремененные, как и все, мелкими заботами. Станислав живет с ними в полном соседском согласии. Мужчины крепкие и статные, женщины — видные. Что больше всего поражает, так это огромное число детей. В трех семьях их, пожалуй, не меньше тридцати, и поскольку усадьбы стоят довольно близко друг к другу, то они производят впечатление целой деревни. Мне трудно разобраться в этой детворе, но, вероятно, в каждой семье рождается по ребенку ежегодно.

Небывало высокая рождаемость — характерная черта французо-канадского населения. Семья в Валь-де-Буа, которая имеет всего несколько детей —

семь или восемь, стыдится этого. Многочисленное потомство считается каждой здешней семьей высшим проявлением патриотизма и исполнением воли божьей; это вопрос не только биологический, но и политический.

Предполагается, что во время господства Франции в Канаду прибыло не более двадцати тысяч французов. В течение полутора веков их стало около шестидесяти тысяч. С момента захвата Канады англичанами приток колонистов из Франции почти совсем прекратился. Несмотря на это, французское население разрослось к нынешнему дню невероятно, почти до шести миллионов человек, из числа которых почти четыре миллиона остались в Канаде; остальные уехали в Соединенные Штаты.

Живя сплоченной массой в провинции Квебек, канадские французы не только защитили свой язык, невзирая на английский натиск, но и в ожесточенной борьбе завоевали равноправие; сегодня они такие же полноправные граждане, как и их английские земляки. Даже канадские банковые билеты выпускаются с надписями на двух языках. Плодовитые французы одержали решающую победу.

Хотя большинство французского населения составляет пассивное и отстающее крестьянство, но в городах существуют многочисленный рабочий класс и трудовая интеллигенция. Имеется густая сеть учебно-воспитательных заведений, средних и профессиональных школ, есть высшие учебные заведения, университеты, но прежде всего духовные семинарии.

Канадские французы принадлежат к числу вернейших чад Рима. Духовенство завладело всей жизнью народа — культурной и даже хозяйственной. Ректор ведущего французского высшего учебного заведения — Монреальского университета — священник. Священники управляют здесь заводами, входят в состав правлений предприятий, собирают налог-десятину для церкви. Зерно, посеянное кардиналом Ришелье, разрослось так буйно, что многие ворчат, намекая на сорняки...

В Валь-де-Буа могущественнейшая сила, безапелляционный судья, высший авторитет — кюре Вильмор, разумеется тоже француз. Аскетичный, беспощадный, деспотичный, он стучит кулаком по амвону и обрушивает громы на головы грешников. Такки, Коллары и все остальные со скорбными минами бьют себя в грудь. Кюре Вильмор думает за них, он их разум, их здравый смысл — их пастырь, подлинный пастырь стада.

Но в последнее время прихожане набрались смелости и поспорили с ним. Нашли повод. Не поставив в известность церковный совет, священник закупил стулья и заменил ими часть скамей, которые выкинул из церкви. Это слишком смелая прогрессивная идея явно пахла нововведением и ересью. Прихожане хотели и впредь сидеть на скамьях и озлились на кюре. Послали в Монреаль к епископу делегацию с жалобой на Вильмора.

И вот в Валь-де-Буа приезжает какой-то страшно веселый, но хитрый прелат и произносит проповедь о слишком длинных языках, ненужных делегациях и горячих головах. Проповедь брызжет такой непосредственной грубоватой веселостью, так напшигована множеством остроумных, даже пикантных «поговорок», что угрюмые лица прихожан расплываются в улыбках. Тучи рассеиваются, улыбок становится все больше, некоторые громко смеются. Когда же попик окончательно высмеял длинные языки и ненужные делегации, он кротко спрашивает: разве плохо сидеть на стульях и в таком удобном положе-

нии возносить хвалу господу богу? Зачем же горячиться, зачем сразу устраивать революцию? Прихожане признают, что он прав... Так кончается «скаменная война», а кюре Вильмор восстанавливает свой авторитет и продолжает осуществлять суровую власть в приходе Валь-де-Буа.

Он снова думает за своих прихожан, остается их пастырем, голосом их совести: о, как жестоко он отчитал прихожан на последней воскресной проповеди за предосудительное забвение ими супружеских обязанностей! Какого стыда пришлось натерпеться хотя бы Терезе Коллар, когда кюре при всех спросил ее: почему, принеся на свет последнего ребенка, которому ныне уже около года, она не обещает ничего нового?

Когда глядишь на этих вялых, забитых крестьян, трудно поверить, что это те самые канадские французы, которые триста лет назад совершили столько подвигов и великих открытий.

Просто удивляешься, как с наступлением английского владычества вымерло племя славных смельчаков, а масса французского крестьянства превратилась в толпу покорных овечек со своими духовными пастырями.

Каждое утро, незадолго до восхода солнца, вокруг нашей хаты разносится звонкий птичий свист и гомон. Это задорные, умные птицы, называемые здесь *blue jays* или попросту канадские сойки. Появляются на краю поляны, в течение нескольких минут галдят и переругиваются, а затем скрываются в чаще на том берегу ручья. Я люблю этих юрких пичуг. Они как-то бодро, весело, с пленительным задором начинают день.

Это не только самые близкие, но и самые милые соседи.

7. Робер Кавелье, сеньор де ля Салль

Coueurs des bois![132] Это были отважные удальцы — сильные, неустрашимые, привыкшие к любым трудностям, неукротимые, полные буйного задора. Пылкие и беззаботные, они всей душой любили лесные дебри, а индейских девушек брали себе в жены. Братья этих девушек помогали им добывать шкурки пушных зверьков, а когда *coueurs des bois* — лесные скитальцы — возвращались в поселения своих земляков на реке Св. Лаврентия, то приносили с собой целые сокровища из шкурок и волнующие рассказы о далеких озерах, сказочных реках и прекрасном безлюдном крае.

Хозяева огромных земельных владений на реке Св. Лаврентия, французские сеньоры, всей душой ненавидели лесных скитальцев и старались насильно удержать их в поселках: убыль рабочих рук в сельском хозяйстве вредила жизненным интересам сеньоров. Но тщетны были строгие декреты и преследования. Чары леса были сильнее, соблазн добыть шкурки пушных зверей неодолим.

Впрочем, не только батраки и арендаторы помещичьих земель стремились в леса. По их стопам ушел не один сын сеньора. Уходили и те, кто мечтали о великих свершениях и завоеваниях, а лесную глушь стремились наполнить новой кипучей жизнью.

Таким деятельным, отважнейшим пионером был Робер Кавелье, сеньор де ля Салль, судьба которого сложилась очень трагично. Он видел дерзостные сны и осуществил их: подарил родине страну, территория которой была в двадцать раз больше, чем сама Франция. Его любили короли, он обладал пламенным и гордым сердцем, завистники ненавидели его и в конце концов веро-

ломно убили.

С детства Кавелье мечтал и грустил. В родном Руане грезил о далекой дикой Канаде и горящими глазами смотрел в сторону заходящего солнца. Когда на двадцать третьем году жизни детские мечты осуществились и Робер поселился на реке Св. Лаврентия вблизи Монреаля, Кавелье продолжал думать о западе и посматривал в сторону Великих озер.

Эти озера — Онтарио, Эри, Гурон — являлись в то время пределом познаний белых поселенцев о Канаде: к их берегам добирались — и то редко — наиболее смелые скупщики шкурок, а также миссионеры. А о том, что было за озерами, к западу от них, никто ничего толком не знал. Ходили только туманные слухи о безмерном богатстве земли и лесов да о какой-то огромной, загадочной реке, текущей неведомо куда и названной индейцами Миссисипи — матерью вод.

В те времена, во второй половине XVII века, еще не угасли планы открытия кратчайшего водного пути в Китай и Индию через Америку. Таинственность неведомого края и великой реки все больше привлекала беспокойную душу де ля Салля, пробуждая в нем лихорадочную тревогу. А пока в течение нескольких лет он знакомился с лесами на реке Св. Лаврентия, изучал индейские диалекты, приобретал закалку и опыт, мужал.

Де ля Салль умел не только мечтать: он зорко всматривался в жизнь и подчинял ее себе твердой рукой и нестигаемой волей. Предложил королю смелый план: он, Кавелье, на свой собственный счет возведет цепь фортов вдоль Великих озер — до самой таинственной реки Миссисипи, если король предварительно облегчит ему получение кредитов для этой цели и передаст в его управление только что построенный на озере Онтарио форт Фронтенак (ныне г. Кингстон), а также предоставит ему монополию на закупку шкурок в тамошних лесах.

Людовик XIV был способен на разумные шаги. Он передал де ля Саллю Фронтенак, и тот начал осуществлять свой грандиозный план, но тем самым навлек на себя ненависть влиятельных торговцев пушниной в Монреале, ревниво оберегавших свои права. Это была ненависть, чреватая трагическими последствиями.

Первый форт де ля Салль построил на Ниагаре. Американский форт — сооружение, сыгравшее важную роль в деле покорения материка, — представлял собой несколько бревенчатых изб-блокгаузов, в целях защиты окруженных укрепленным частоколом.

Затем де ля Салль построил на озере Эри большую шхуну — первый парусник в этих водах, — собрал несколько десятков удальцов и поплыл с ними на запад, через каждые несколько сот километров основывая новый форт. Так он добрался до юго-западного берега озера Мичиган. Там убедился, что дальше плыть нельзя и что необходимо построить новый корабль на реке Иллинойс, чтобы добраться до желанной Миссисипи. Но на Иллинойсе у него уже не хватило для этого ни инструментов, ни денег. Зато он собрал огромное количество шкурок, которые отправил с кораблем на восток, домой, чтобы там превратить их в деньги. Тут на него обрушился первый удар судьбы. Впрочем, неизвестно, чьих рук это было дело — злой судьбы или враждебных ирокезов: судно с ценным грузом не достигло цели; пропало без вести где-то на Великих озерах.

После нескольких месяцев ожидания в глухих дебрях изголодавшиеся люди начали бунтовать. Желая поскорее оказать им помощь, де ля Салль пешком отправился через леса в Квебек, удаленный на две тысячи километров. Перенеся страшные мучения, голод, снежные метели, ночевки в обледенелой одежде, враждебность индейцев, де ля Салль проявил чудеса выдержки и железной воли. Хотя и полумертвый, он достиг цели.

В Квебеке на него обрушился второй удар: он узнал, что в устье реки Св. Лаврентия разбился второй его корабль, доставивший запасы из Франции. Весь груз погиб. Де ля Салль оказался в отчаянном положении, однако не потерял присутствия духа: занял денег и поспешил на помощь своим людям.

Когда де ля Салль прибыл в свой лагерь возле слияния рек Иллинойс и Майами, его постиг третий удар: людей не оказалось; они, обезумев, бежали. Некоторые пропали в лесу, других уничтожили индейцы. Несколько уцелевших де ля Салль поддержал и ободрил (он, который сам вытерпел больше всех!), ни на минуту не теряя несокрушимой веры в себя и в победу.

Для того, чтобы держать под ударом общих врагов — ирокезов, он заключил оборонительные союзы с различными племенами, жившими по восточным притокам Миссисипи. Потом вернулся в Монреаль и собрал новые средства. Во главе пятидесяти человек (из которых половину составили индейцы) снова отправился на запад, чтобы завершить дело, о котором мечтал много лет. По озеру Мичиган добрался до реки Майами, оттуда до реки Иллинойс, по которой доплыл до Миссисипи.

Де ля Салль победил. После двухмесячного путешествия по великой реке достиг ее устья и здесь 9 апреля 1682 года вбил в землю столб с вырезанными на нем тремя лилиями Бурбонов. В торжественном обращении к своим изнуренным спутникам он аннексировал для короля Франции, непобедимого Людовика XIV, великую реку Миссисипи вместе с ее притоками, заливами, островами, со всей землей, с людьми и зверями. Минута эта стала действительно важным историческим моментом и обогатила Францию огромнейшей колонией Луизианой.

Теперь нужно было как можно скорее укрепить власть над новым краем и привлечь побольше людей на Миссисипи. Де ля Салль вернулся за ними тем же путем, каким добрался сюда. Но в Квебеке его ждал новый неожиданный удар. Воспользовавшись тем, что его покровитель, губернатор Фронтенак, был отозван и возвратился во Францию, кредиторы в отсутствие де ля Салля захватили все его форты на Великих озерах; они же добились приказа о заключении его в тюрьму зга долги. Де ля Салль скрывался, как затравленный зверь, и в конце концов бежал во Францию.

Французский король принял его с распростертыми объятиями, назвал своим другом; признав большое значение новой колонии, назначил де ля Салля вицекоролем Луизианы и дал смельчаку четыре корабля и более двухсот человек для основания поселения близ устья Миссисипи.

Во время морского перехода у де ля Салля возникли споры с капитаном флотилии. А когда злая судьба помешала кораблям достичь цели — они пристали к берегу в нескольких сотнях километров к западу от устья Миссисипи, — капитан предательски бежал на двух оставшихся судах (один корабль уничтожила буря, другой захватили испанцы), забрав с собой весь запас продовольствия. Де ля Салль и его люди были брошены на произвол судьбы в ди-

кой нездоровой местности.

Для покинутых начался суший ад. Болезни, голод, распри, братоубийственная зависть, безумие и стычки с индейцами косили людей. Скоро осталась лишь жалкая горстка полуживых теней. Когда ожидание помощи со стороны моря стало безнадежным, де ля Салль выбрал шестнадцать самых верных (как ему казалось) и здоровых товарищей и решил отправиться с ними по суше в Канаду за помощью.

Де ля Салль выбрал плохих товарищей. Они не выдержали испытаний. Когда возросли трудности похода, некоторых охватило неистовство. В их слабых сердцах пробудились подлость и ненависть. Трусливым выстрелом в спину они убили де ля Салля. Потом начали уничтожать друг друга. Оставшиеся в живых, рассыпавшись по лесу, бежали к индейцам. Лишь семеро, не принимавших участия в злодеянии, вернулись в поселения европейцев.

Но дело де ля Салля не пропало даром. Вскоре на Миссисипи выросли французские поселения. Вместе с другими канадскими владениями они широкой цепью окружили английскую колонию. В истории Северной Америки наступил момент, когда казалось, что благодаря смелости одного человека три линии Бурбонов распространятся по всему материку и овладеют им.

Но, как известно, не овладели. Англичане зорко следили за грозящей им опасностью и, как только представился случай — Франция увязла в Семилетней войне в Европе, — разорвали эту французскую цепь, завоевав для английской короны Канаду.

Отважный де ля Салль погиб где-то у реки Тринити в Техасе. Дебри поглотили его. Лесные звери пожрали, вероятно, его останки. Он погиб как настоящий *coureur des bois*.

8. Бобры

В лесу творятся невероятные дела. Три дня назад на дне долины петляла скромная речушка. Идя на охоту, мы перепрыгивали через нее. А сегодня вместо речки перед нами простирается водоем длиной в полмили. Вода затопила траву, кусты и деревья: настоящее большое наводнение. А ведь в течение последних трех дней не выпало ни одного дождя и ни в одной из соседних рек не прибыло воды и на сантиметр. Только одна эта разлилась.

Продвигаясь по берегу водоема, мы доходим до его конца и тут обнаруживаем причину наводнения — длинную, метров в тридцать, плотину из ила, веток, поваленных стволов и камней, воздвигнутую поперек речки. Строители с большим знанием дела использовали местность — плотина возведена в самой узкой части долины — и, таким образом, смогли с относительно небольшими затратами труда создать большое озеро. Взгляд, брошенный на плотину, все открыл Станиславу. Бобры!

Охотник не помнит себя от радости и объясняет мне, что в окрестностях не было бобров с незапамятных времен. Эти, видимо, прибыли с севера.

— Будет суровая зима! — предсказывает он.

Так, почти на наших глазах, возникает озеро — новая географическая единица, и карта этой местности становится неточной. Мы называем водоем Бобровым озером. С этих пор в наших охотничьих походах мы должны обходить его.

Самих бобров пока не видим. Однако всюду заметны их следы: срезанные ветви.

— Почему они построили плотину именно здесь? — спрашиваю Станислава.

Пока он не может ответить. Мы обследуем берега озера и в одном месте обнаруживаем многочисленные следы бобров, выходявших на сушу. Там среди различных хвойных деревьев растет десяток-другой тополей.

— Вот разгадка! — восклицает обрадованный Станислав, показывая на тополя, и с каким-то необычным для него любопытством начинает разглядывать следы...

Кора тополей — лакомство бобров. Эти зверята, живущие исключительно в воде, острыми резцами грызунов спиливают только те деревья, которые растут у воды, чтобы можно было сплавить их туда, куда потребуется. Группа тополей росла не у реки, а в двухстах шагах от нее. Поэтому находчивые бобры построили плотину, искусственно повысив уровень воды так, чтобы она достигала тополей.

— Ну и смышленные же звери! — удивляюсь я.

Бобры возводят плотины и по другим причинам: чтобы вода была достаточно глубокой. Из дерева и хвороста они сооружают на дне сложные жилища, называемые ходами. Ходы выступают над поверхностью озера, но попасть в них можно только через подземные и подводные входы. Эти входы должны находиться очень глубоко, чтобы во время суровой зимы они не замерзли. Бобры, повидимому, отлично предчувствуют и знают, какая будет зима и сколько нужно им воды.

В той местности, где живет Станислав, когда-то было много бобров: почти на каждом озере видны остатки бобровых плотин; это, к сожалению, наследие отдаленных времен: некоторым плотинам несколько десятилетий. И сейчас кое-где на озерах торчат засохшие стволы деревьев, которые некогда росли на суше. Они по сей день гниют в воде.

Плотины в общем сохранились хорошо, свидетельствуя о добросовестной работе строителей. Зато жилища бобров давно разрушились. Только на двух озерах обнаруживаем куполообразные сооружения из ветвей и ила, выступающие над поверхностью воды; но жизнь в них угасла много лет назад. Из этих вод бобры переселились в другие места или, что вероятнее всего, их истребил самый жестокий губитель — человек.

Когда Станислав смотрит на следы бобров под тополями, глаза его начинают беспокойно бегать. Вернувшись домой, он отыскивает капканы. Бобров ловить нельзя, опубликован суровый запрет. Станислав вполне порядочный и благонамеренный гражданин. И тем не менее он готовит капканы. Неужели бобры — непреодолимое искушение для траппера — вывели его из равновесия?

Бедные бобры! Благодаря необычайной смышленности они отлично защитили себя от всех врагов, подстерегающих их в лесу: медведей, волков, росомх, лисиц. Они обильно размножились и никому не заступали дорогу, питаясь древесиной, запасы которой неисчерпаемы. Их было полно во всех реках и озерах, а рек и озер в Канаде, пожалуй, миллион.

Бобры строили плотины, регулировали расход воды, образовывали колонии, проводили каналы, вкладывая в каждое свое занятие энтузиазм, осмотрительность и целеустремленность, не встречающуюся у других зверей. Выполняли работу толковых лесорубов, плотников, архитекторов и каменщиков,

причем их орудиями были зубы-струги, ноги и плоский хвост-кельма.

Индейцы, обладающие тонким пониманием значительных явлений природы, признали бобров своими четвероногими братьями и убийство их считали преступлением. Они называли бобров созданиями с разумом человека и характером ребенка.

Потом пришел белый человек. Он принес в северные леса свою энергию, беспощадность и алчность. Бобровый мех был нужен Европе, так как он подчеркивал красоту женщин и поднимал престиж мужчин. Когда бобры вошли в моду, в канадских лесах началась резня: за море ежегодно отправлялось до полумиллиона шкурок. Белый человек убивал сам и заставлял убивать индейцев.

Бобры, которые так хорошо защищались от обычных своих врагов, теперь ничего не могли поделать. Приспособленные раньше только к мирному труду, целиком поглощенные расширением своих жилищ и жизнью колоний, они не умели так противостоять новой опасности, как волки. Ныне в Северной Америке волков, пожалуй, больше, чем когда-либо. Четвероногие хищники отлично разобрались в оружии двуногого хищника и уже редко попадают в его капканы, на отравленную приманку или под пулю. Бобры этому не научились.

Когда в восьмидесятых-девяностых годах XIX столетия они были почти целиком уничтожены даже в самых отдаленных лесных углах, поднялась паника; было издано строгое запрещение убивать бобров. А ведь погибли они на глазах у канадских властей в результате безрассудной преступной резни: мудрый зверь пал жертвой постыдной человеческой жадности.

Несколькими годами раньше канадцы получили настораживающее предупреждение, когда в прериях Соединенных Штатов в короткий срок американские варвары при злом попустительстве государственных властей истребили одно из самых прекрасных животных на земле — американского бизона. [133] Однако Канада не захотела извлечь урок из этого варварства и допустила у себя такое же уничтожение бобров.

К счастью, правительственные меры по охране принесли успешные результаты. Спустя несколько лет бобры снова расплодились в канадских лесах. Почти на всех тихих реках, удаленных от человеческого жилья, возникли их колонии, и чудесный зверек наряду с лосем вновь стал украшением канадских лесов.

Но близорукие власти решили заработать на этом. В 1914 году отменили охрану бобров. Разразилось нечто вроде «бобровой лихорадки», чем-то напоминавшей «золотую лихорадку» в Клондайке. Жажда быстрой наживы охватила тысячи людей, в том числе и таких, которым охота и не снилась никогда, которые ни разу в жизни не сделали ни единого выстрела. Теперь они поспешно приобрели охотничьи билеты, покупали капканы и ездовых собак и словно одержимые мчались на север. Всюду, где находили зверя, уничтожали его любыми способами — вплоть до подрыва бобровых ходов динамитом. Если другие «охотники» случайно оказывались на их пути, стреляли и по ним. По всем лесам — от Великих озер и прерий до северной тундры — распространилась губительная жажда убийства.

А канадские власти долгое время бесстрастно взирали на все это, радуясь тому, что в казну поступает много денег по налогу на охоту.

После нескольких лет разнузданной резни канадские леса опустели, бобры почти повсеместно были уничтожены. Можно было проплыть сотни километров и не встретить ни одного зверя — лишь вымершие бобровые селища и опустевшие водоемы. Плотины вблизи хаты Станислава — печальное свидетельство недавнего благополучия канадских бобров.

Наряду с бобрами пострадали и лоси. Их убивали на мясо. Нашествие тысяч сезонных «трапперов» и десятков тысяч их собак поглотило в лесах неимоверное количество дичи. Убивали все, что попадало под руку, не исключая стельных лосих и молодых лосят. Глухие медвежьи углы, некогда славившиеся обилием зверя, оскудели: ценный зверь стал редкостью. То, что бобры и лоси в Канаде не были уничтожены полностью, отнюдь не заслуга человека: это объясняется бескрайностью и поныне безлюдных лесов.

У белого человека благодарное сердце — ах, какое благодарное! После едва не поголовного истребления бобров он объявил их... национальной святыней! Признал за ними даже заслуги перед цивилизацией, поскольку «охотники» в погоне за бобрами искаживали страну, открывая при этом девственные леса и находя залежи ценных минералов. Поэтому мы можем теперь увидеть бобров даже на канадском государственном гербе — точно так же, как на монетах Соединенных Штатов изображаются вымирающие индейцы и уничтоженные в прериях бизоны.

Бобры стали героями. Бедные герои!

...Станислав нашел капканы. Приводит их в порядок и заявляет, что завтра пойдет в лес один. Ему не нужны свидетели.

9. Серая Сова и бобры

Станислав приготовил-таки капканы для бобров, но не ставит их. Он изменяет свое решение и заявляет, что ловить зверя сейчас, в августе, когда у него летний, не представляющий ценности мех, не стоит. Итак, бобры, которые построили свою плотину на речке и создали в лесу озерко, могут жить спокойно. Никто не нарушит их покой. Иногда, охваченные любопытством, мы отправляемся к группе тополей и смотрим, сколько из них уже свалили грызуны. Ночные труженики не теряют времени даром. Повсюду щепки, срезанные ветви и торчащие пни.

Идем к самой плотине. Прекрасное творение четвероногих инженеров! Она — восхищает меня, и я не перестаю изумляться ею. Вода переливается через плотину, образуя маленький водопад. Он звенит громко и весело, словно фанфары в честь бобров.

Люди используют бобров всесторонне. С убитых сдирают ценный мех, у живых перенимают смешленность: научились у «их подчинять природу и строить на реках такие же плотины, только из бетона. В Канаде люди ищут прежде всего так называемую мягкую древесину, главным образом канадские кедры. Строят плотины и повышают уровень воды, чтобы добраться до облюбованных деревьев и иметь возможность удобнее сплавить их, при этом поступают точно так, как бобры. Все реки и потоки, текущие на юг, к реке Св. Лаврентия и к Великим озерам, перехвачены цепью многочисленных плотин, а в конце каждой цепи высятся лесопильные заводы и огромные бумажные фабрики.

Бумага, выработанная из древесины северных лесов, — это великое богат-

ство Канады. Соседние Соединенные Штаты поглощают невероятное количество бумаги; бумажная промышленность и связанные с нею отрасли явились одним из главных орудий цивилизации и обогащения этого материка. Но люди, управляющие промышленностью, совершают постыдные ошибки; у них нет четкого плана, а тот, что имеется, базируется на близоруком эгоизме и хищничестве. Поэтому на юге время от времени вспыхивают экономические кризисы, которые своеобразно отражаются здесь, на севере: на канадских реках образуются многомильные заторы скапливающейся древесины. На соседней реке Льевр, непомерно разлившейся из-за подпора, не видно поверхности воды: сотни тысяч стволов неделями ждут решения своей судьбы. Огромное, производящее кошмарное впечатление скопище древесных трупов, лежащих вповалку, призывает небо к мести за бессмысленную, может быть даже преступную, обиду, нанесенную природе. Сплав леса затормозился. Порочная экономика мстит сама себе.

А тем временем мастеровые бобры неустанно трудятся. На отдаленных тихих реках воздвигают свои плотины и продолжают валить тополя. Ведомые безошибочным инстинктом, они не запасают на зиму больше того, что необходимо. Лес бобры никогда не сведут. Свою работу они выполняют с рассудительностью, со строгой целесообразностью, в пределах, предначертанных естественной необходимостью. Они удовлетворены и счастливы. Бобры сооружают свои плотины с незапамятных времен, люди же — едва несколько десятков лет. Бобры мудрее и опытнее.

Хищническая вырубка лесов на так называемом Среднем Западе Соединенных Штатов превратила, как известно, огромные, ранее плодородные территории в бесплодную полупустыню, исхлестываемую пыльными бурями. Канадцы также бессмысленно хозяйничали в лесах Манитобы, Саскачевана и Альберты, граничащих на севере с их пшеничными прериями, — и пришла беда. После сведения лесов ухудшился климат целых областей: стало выпадать меньше дождей, угрожающе понизился уровень озер и рек, весенние паводки начали опустошать край, а летняя засуха — грозить урожаю.

Тогда человек вспомнил, что истребленные в тех краях бобры были лучшими охранителями леса и своими плотинами исправно регулировали расход воды. Сожалея запоздало о содеянном, человек признал свою вину и попытался вновь привлечь бобров на опустевшие реки. Тщетно! Было уже слишком поздно. Даже строжайшие охраняемые законы не восстановили в этих краях былой численности бобров. Тогда человек начал строить плотины и проводить сложные работы по облесению — кропотливую, дорогостоящую и, как потом оказалось, не слишком эффективную канитель. Промахи прежнего недомыслия удалось исправить лишь частично.

Его звали Грей Оул — Серая Сова. Он был метисом. Его отец был шотландцем, мать — индианкой из племени апачей. Так, во всяком случае, всю жизнь говорил и писал он сам, и никто в те времена не подвергал это сомнению. Но когда, незадолго до второй мировой войны, он умер, пресса Великобритании вызвала немалую сенсацию утверждением, что Грей Оул был не метисом, а чистокровным британцем.

Он родился в 1888 году в Англии через несколько недель после возвращения своих родителей из США. Мать его была американкой, следовательно, не

исключено, что она была американкой индейского происхождения.

С детских лет мальчика неодолимо влекло в Канаду. Как и головы многих его ровесников, горячая голова Грея была забита повестями Фенимора Купера. Он мечтал когда-нибудь стать грозой диких зверей и, исхаживая американские леса, изведать романтические, леденящие кровь приключения. Грей Оул не очень утруждал себя занятиями в школе, но жизнь в захолустном английском городке, к тому же еще на попечении почтенной нудной тетки, была для него пыткой. Он сравнивал эту жизнь с чарующими картинами страны индейцев, лосей и медведей, которые рисовала ему детская фантазия.

На тринадцатом году жизни он порвал со всем, что его окружало. Бросив школу и дом, переправился через Атлантический океан (по всей вероятности, без согласия тетки), исполняя в качестве платы за проезд обязанности корабельного юнги.

Следующие годы жизни Грея Оула тонут во мгле. Написанные им позднее автобиографические книги весьма подробно освещают многие его приключения, но в то же время некоторые периоды жизни лишь бегло очерчены, как бы скрыты за завесой недомолвок. По прибытии в Канаду юный сорванец, по видимому, был принят племенем чипева, остался жить среди индейцев и познавать тайны леса. Как состоялся этот его прием чипевами — неизвестно; достоверно одно: юноша основательно познакомился с жизнью леса во время своих многочисленных скитаний по северу.

Все четыре года первой мировой войны Грей Оул провел на европейском фронте, был несколько раз ранен, потом вернулся в канадские леса, где продолжал вести жизнь опытного траппера; часто служил проводником у охотников из городов.

Однажды во время посещения модного увеселительного заведения в одном из канадских национальных парков он встретил милую девушку; она была недурна собой: добрые черные глаза, алые губы и статная, привлекательная фигура. Называли ее по-английски Гертрудой, но, кроме того, у нее было совсем необычное индейское имя: Анахарео. Она была индианкой, а возможно и метиской, происходившей от ирокезских вождей. Современная, хорошо воспитанная девушка, получившая кое-какое образование, но прежде всего отличавшаяся необычайно добрым сердцем.

Грей Оул — тогда он уже носил это имя — влюбился по уши, но, оробев перед очаровательным созданием, не посмел и рта раскрыть. Лишь оказавшись снова в своей лесной глуши, он набрался мужества и написал Анахарео письмо, в котором спросил: не пожелает ли она стать его женой и поселиться в хижине траппера? К его изумлению, девушка сразу же ответила «да». И вскоре сама пожаловала на север.

Так обрели друг друга два человека, как нельзя лучше соответствующие один другому. Их соединила горячая любовь: в глухих дебрях родилось великое чувство. Полный счастья, траппер работал теперь за двоих: закладывал в лесу больше капканов и приносил домой богатую добычу.

Анахарео оказалась благородным человеком и отважным товарищем, стойкой и уравновешенной, равно хорошо владеющей топориком и губной помадой. Поэтому Грея словно громом поразило, когда однажды вечером, вернувшись с охоты, он застал жену всю в слезах, расстроенную, удрученную, съевшуюся в самом темном углу хижины.

— Что» с тобой, darling?[134] — крикнул он испуганно. — Что-нибудь случилось?

Потрясенная, неспособная произнести ни слова, Анахарео слабо покачала головой, давая понять, что ничего не случилось.

— Так что же тогда, скажи! Что с тобой, Анахарео? — умолял траппер, прижимая заплаканную бедняжку к груди.

Мучительные догадки лезли ему в голову... На долгие часы он оставлял жену одну в доме. Опытный охотник знал, чем грозит подобное одиночество. Не раз доводило оно лесных жителей до помешательства. Неужели и у нее на этой почве началось нервное расстройство?

— Скажи, дорогая, это одиночество? — допытывался он. Да, ее угнетало одиночество. Но не это было самым худшим.

— Но что же? — настаивал Грей Оул. — Расскажи, прошу тебя.

С отвращением во взгляде Анахарео показала на дичь, которую Оул принес из леса: к его поясу было привязано несколько убитых ондатр. Он понял этот взгляд. Подобные угрызения совести уже давно мучали и его самого. Зная, что жена не переносит убийства зверей, он почти ненавидел свое ремесло траппера. Но что было делать? Охота была его единственным средством к существованию, и Грей Оул не представлял себе, как иначе можно зарабатывать на жизнь.

Первое время все шло по-прежнему. Анахарео успокоилась, и на ее лице появилась прежняя улыбка. Но с этого дня Грей Оул часто брал жену с собой на охоту, не желая оставлять ее одну.

В начале весны траппер поймал несколько бобров: их ценные шкуркиполнили его добычу. Когда же на следующий день вместе с женой он посетил ту же самую запруду, они увидели двух маленьких бобрят с жалобным писком барахтавшихся на поверхности воды. Легко было догадаться, что это охотник сделал их сиротами.

— Бедняжки! — вырвалось из груди Анахарео.

Мучительный вопрос, который они в течение нескольких недель старались заглушить, внезапно встал перед ними во всей остроте. В лесу эти беспомощные малыши были обречены на верную гибель. Тогда Грей Оул и Анахарео поймали их и решили заменить им мать.

Незначительный случай оказался чреватым большими последствиями. Он явился поворотным моментом в жизни Серой Совы и громким эхом отозвался по всей Канаде...

Осторожно отнесли малышей в хижину, обогрели их, накормили консервированным молоком. Бобрята — меховые клубочки с большими головками — с самого начала перестали бояться людей и с подкупающей доверчивостью глядели в их улыбающиеся лица. Они удивительно быстро освоились, проявили весьма дружелюбный нрав и сразу стали членами человеческой семьи. Спустя некоторое время, когда Грей Оул, желая вернуть бобряткам свободу, вывез их на ближайшее озеро, малыши с плаксивым писком поплыли за лодкой, прибежали в хижину и не дали выгнать себя. Хотели жить вместе с двумя добрыми людьми.

Так началась эта необычайная идиллия в канадском лесу. С тех пор Серая Сова перестал убивать зверей: бобров и любых других. Он перестал быть трапп-

пером, забросил ружье и капканы. Текла в нем кровь индейца или нет — в душе он был подлинным индейцем. А индейцы всегда считали бобров своими четвероногими братьями, которых надо уважать и любить. Грей Оул, представитель истребляемого индейского народа, встал на защиту истребляемых бобров.

Вскоре, к большой радости Анахарео, удалось залучить в хижину и других бобров. Более внимательно присматриваясь теперь к забавам этих своеобразных грызунов, счастливые люди не могли прийти в себя от удивления — такими умными, сообразительными, в то же время ласковыми и нежными зверьками оказались бобры.

Тогда Грей Оул решил бороться за них. В своей лесной хижине он написал с помощью жены пламенную статью в защиту бобров и послал ее в газету. Затем приготовил лекцию и стал знакомить с ней публику. Эффект превзошел все ожидания. Грея Оула слушали, затаив дыхание, его статьями зачитывались. Спешно овладевая вместе со своей верной помощницей писательским мастерством, он продолжал публиковать новые статьи. Выработывал острый стиль, боролся отчаянно и упорно, с нарастающей страстностью популяризируя свой опыт. Оул умел убеждать. Он всколыхнул сердца и общественное мнение страны.

Канадское правительство снова издало суровый закон, запрещающий ловлю бобров. Оно выделило огромные лесные территории, где нельзя было не только убивать бобров, но даже беспокоить их. Одна из таких резерваций к югу от залива Джемс занимает более сорока тысяч квадратных километров, то есть примерно столько же, сколько два польских воеводства. Знаменитый Алгонкин-Парк, к западу от Оттавы (около 60000 га), также стал бобровым заповедником.

Самого Грея Оула назначили государственным смотрителем заповедника вокруг его хижины в провинции Квебек. Несгибаемый борец стал очень популярным в Канаде. Более того: стал знаменем.

И прирученных бобров вокруг хижины Серой Совы становилось все больше. Они чувствовали себя великолепно, часто заглядывали в хижину и не собирались удирать: забавлялись и проказничали на близлежащем озере. Забавные существа — не то дети, не то зверьки — прибегали на зов, ели из рук. Многочисленные туристы приезжали сюда (к отчаянию Серой Совы и Анахарео) и без конца фотографировали эти чудеса. Приезжали также киноэкспедиции и производили съемки. Прославилась Джелли Ролл — бобровая кинозвезда. А канадское правительство использовало сенсацию для пропаганды туризма.

Грей Оул написал несколько захватывающих книг о своей жизни. Они разнесли славу о нем по всему свету — не только по странам английского языка, но и по многим другим. Самая интересная из этих книг, пожалуй, «Pilgrims of the Wild» — «Лесные странники».

Странники — это Серая Сова и его жена. Но больше всего в книге написано о бобрах. Это хорошая книга. Очень хорошая, волнующая и очаровывающая. И удивительно зрелая. Это новое, не известное раньше проявление любви к животным. Грей Оул был поэтом, употреблял слова простые и спокойные, описывал события, внешне заурядные, языком лаконичным, почти скупым, но из всего сказанного внезапно пробивалось огромное, прекрасное пламя любви.

Книга Грея Оула — это документ. Английская литература обогатилась еще одним значительным и своеобразным произведением.

Впрочем, не только английская, но также литературы других народов. В Польше Е. Доброт осуществил прекрасный перевод, и книга, изданная Е. Пшеворским в 1937 году, завоевала легион восторженных поклонников, так же, как и послевоенное ее издание.

Бобры — необыкновенные зверьки. Они удивительно много дали людям. Они научили белых людей строить плотины, смягчили сердце траппера, создали трогательную идиллию, явились героями одной из прекраснейших книг, в которой приемный сын индейцев призывает белого человека любить зверей.

10. Судьба Белого Гурона

Не прошло и полвека после известных открытий Колумба, как на берег Северной Америки высадился Жак Картье, посланный туда королем Франции. Во время своей экспедиции он доплыл до поселения индейцев в верховьях реки Св. Лаврентия, расположенного в том месте, где сейчас находится Монреаль. Этот моряк из Сен-Мало — колыбели самых отчаянных авантюристов — обладал не только неустрашимым сердцем и проницательным взглядом, но и литературным даром. Правда, находились и такие, которые говорили, что писал он плохо, однако же его путевые заметки наделали немало шуму и взволновали Францию. Эти описания отнюдь не были преувеличениями, в них сообщалось, что канадские озера и реки полны рыбы, леса полны дичи и ценных пушных зверей, а индейцы охотно продают все за бесценок заморским пришельцам.

Шкурки бобров, горностаев, голубых песцов! С легкой руки Картье видение пушных сокровищ до такой степени завладело умами французов, что понятие «Канада» они неизменно связывали с обилием ценных мехов; а когда в начале XVII века приступили к созданию постоянной колонии, то главной ее целью была добыча пушнины.

В сущности все было направлено на достижение этой цели — и политика губернаторов, особенно в отношении индейцев; и алчность французских придворных и богатых купцов, основывавших компании для получения сказочных прибылей; и усилия неунывающих бедняков, забиравшихся в самые глухие дебри; и героические дела пионеров.

Хотя все колониальные державы горели одинаковой жаждой легкой наживы, между ними была все же некоторая разница: голландцы отправлялись в колонии главным образом за пряностями; испанцы — прежде всего за золотом, которое грабили у индейцев; англичане — за плодородными землями, которые захватывали у истребляемых туземцев; французы же — за мехами, которые покупали или выменивали у индейцев. Поэтому в противоположность другим захватчикам французы не собирались истреблять туземцев: индейцы были нужны как охотники, причем были нужны живыми и доброжелательными.

Когда основатель канадской колонии Самюэль Шамплен в 1608 году закладывал фундамент будущей столицы Квебек, то в отношении индейцев у него была ясная программа: завоевать дружбу гуронов и алгонкинов и установить с ними сотрудничество. Это были первые из племен, о которых писал Картье, встретившиеся французам. Шамплен направил к ним наиболее толковых сво-

их соотечественников, именовавшихся *interpretes* — переводчиками, посредниками.

К отважным гуронам был послан молодой Этьен Брюле. Могущественное племя — о нем некогда с большой похвалой отзывался Картье — жило в то время далеко на западе, в дремучих лесах, у берегов таинственного озера Гурон. Французы надеялись добыть там много пушнины; поэтому, когда Шамплен поручил столь ответственную миссию такому легкомысленному юноше, многие завистники покачивали головами, а некоторые бурно возмущались: Этьену Брюле исполнилось всего девятнадцать лет, а он уже ругался, как сапожник, пил, как лошадь, и гонялся за индейскими девушками, как мартовский кот. Да и вообще кто знает, верил ли он в бога? Бездельник, развратный сумасброд!..

— Он погубит все! — ворчали купцы. — Оттолкнет от нас гуронов!.. Струсит на пути к ним, молокосос!..

Но Шамплен, веря в Этьена, не изменил своего решения и, посылая юношу с большим запасом меновых товаров, дал ему четкое поручение: узнать дорогу к гуронам, исследовать их земли и выучить их язык, усвоить их обычаи, склонить племя к торговле с французами, а следующей весной привезти кучу мехов.

В течение трех месяцев, используя случайных гребцов-индейцев с верховьев реки Св. Лаврентия, Брюле проплыл на своем каноэ около тысячи пяти-сот километров; преодолев пороги на реке Оттаве, добрался до озера Ниписинг, а оттуда — до Гурона. Этьен Брюле был первым европейцем, который отважился проникнуть в эти неведомые дебри, и, несомненно, самым молодым открывателем новых земель, какому когда-либо приходилось бороться со столькими опасностями.

В период «индейского лета», когда листья кленов загорались осенним пурпуром, безусый посланник Шамплена добрался до гуронских селений и был встречен весьма дружелюбно: отряды неумолимого врага — ирокезов — все больше беспокоили гуронов: появление юного пришельца предвещало помощь французов.

С первых же дней Этьен Брюле доказал, что у него есть голова на плечах. Он превосходно сумел договориться с обитателями лесов и, что еще важнее, завоевал их доверие. Едва он подучился языку гуронов, как они уже втянули его во внутриплеменную борьбу. Тут давно назревала гражданская война или по меньшей мере раскол племени. Молодые воины, недовольные деспотическим правлением старшин, готовились к вооруженному бунту. В случае раскола племя могло быть уничтожено ирокезами. Этьен, став на сторону молодежи, приобрел на нее большое влияние и с необыкновенной ловкостью успокоил недовольных. Молодежь хотела избрать его одним из своих вождей. Благоразумный и тактичный, он не поддавался соблазну. Предпочел остаться посредником и торговцем пушниной. В то же время он уговорил племя отправиться в леса на зимнюю охоту.

Когда на следующий год Брюле вернулся в Квебек, его возвращение было триумфальным: более половины воинов племени сопровождало его на бесчисленных лодках. Брюле привез огромное количество шкурок, с таким же грузом плыли и гуроны.

Прошлогодние хулители Этьена не могли прийти в себя от изумления. Куп-

цы потирали руки. Шамплен, краснея от удовольствия, положил руку на плечо путешественника и заявил ему:

— Ну, теперь, парень, отдохни в Квебеке! Я дам тебе отличное жилье!

— Нет, сударь. Благодарю!

— Отказываешься?

— Да. Я возвращаюсь к гуронам.

Губернатор внимательно посмотрел на загорелое лицо юного смельчака. На Брюле была индейская одежда из оленьей шкуры.

— Эге, Этьен! — засмеялся Шамплен. — Не хочешь ли ты стать гуроном? Тебе так понравились молодые индианки?

...Вскоре гуроны отплыли в свои леса, довольные приобретенными товарами: бусами, разными безделушками, одеялами, ножами, топорами и, к сожалению, всего несколькими ружьями. Они были особенно довольны тем, что заключили с французами союз против ненавистных ирокезов. Вместе с ними отплыл Этьен Брюле.

Это был незаурядный юноша, рано возмужавший, бравый и несдержанный, чувственный и развратный, хитрый, предприимчивый и неутомимый, сумасбродный, веселый и общительный. В этом сыне крестьянина из-под Парижа, родившемся в Шампиньи-сюр-Марн, проявились здесь, в канадских лесах, все галльские добродетели и все галльские пороки. В нем самым странным образом сочетались пылкость и твердость, вздорные капризы и благородные устремления.

Когда на следующий год Шамплен совершил поездку в далекий край, он убедился, что гуроны очарованы *interprete*. Казалось, что Брюле околдовал их: многие воины готовы были пойти за ним в огонь. Только вожди не разделяли восторга молодых, но это объяснялось — и совершенно справедливо — их скрытой завистью.

— Как ты добился этого? — расспрашивал его губернатор. — Ты околдовал их? Может быть, спаиваешь водкой?

— Без водки не обходится, мсье! — дерзко ответил Этьен, смеясь прямо в глаза Шамплону.

— Может быть, ты портишь их? Сбиваешь с пути?

— *Sapristi*, [135] я не святой!..

Французы столкнулись с ирокезами в первый же год своего пребывания в Канаде. Впрочем, они первые заделали индейцев, еще не понимая, какая грозная опасность нависла с юга. Эта опасность в течение целого столетия угрожала обратить их колонию в руины.

Шамплен, раздраженный постоянными нападениями ирокезов, решил, используя ненависть других племен к этим воинственным индейцам, нанести им в 1615 году смертельный удар. Имея в своем распоряжении горстку соотечественников, он созвал многочисленных гуронов и вторгся с севера на земли врага, в то время как верный Этьен Брюле должен был склонить на свою сторону племя сусквеганов и с воинами этого племени ударить с запада.

Брюле добросовестно выполнил свою задачу, но прибыл с отрядами союзника слишком поздно: раненый Шамплен и гуроны уже отступали после безрезультатной многодневной осады укрепленного селения ирокезского племени онондагов.

Отступившие в свою очередь отряды сускеганов также попали в переделку, преследуемые осмелевшим противником. Во время одной из схваток Этьен Брюле, получив удар дубиной по голове, попал в плен. Ирокезы знали отважного француза. Они, ликуя, приволокли его в свой поселок, чтобы после пыток предать смерти.

Хладнокровие и случай спасли Брюле жизнь. На шее у него висело на золотой цепочке небольшое распятие. Зная обычаи индейцев, он перенес, не дрогнув, пытки, а когда прижигали его тело, даже улыбался, что вызывало уважение ирокезов. Но едва вождь, который его пленил, попытался сорвать распятие, Брюлле вдруг притворился ужасно испуганным и крикнул, чтобы вождь не прикасался к «талисману».

Тот невольно отдернул руку и удивленно посмотрел на пленника.

— Если ты прикоснешься к нему, — предостерег Брюле голосом, полным тревоги, — то погибнешь в первом же бою!

Этьен — как известно по его пребыванию у гуронов — обладал необычайной способностью воздействовать на ум и воображение индейцев. Зловещим словам поверили еще и потому, что случайно именно в эту минуту раздался далекий раскат грома. А так как пленник держал себя очень мужественно, вождь в приступе рыцарства подарил ему жизнь и свободу.

Брюле поспешил к ближайшим союзникам — сускеганам. Там он увидел большую реку, текущую на юг и носящую название племени. Неумолимый открыватель, жаждущий новых впечатлений, решил исследовать течение реки. А вдруг она впадает в Тихий океан?

Сопровождаемый несколькими индейцами, Брюле спустился по течению Саскуиханны и через несколько недель добрался до залива, который ныне называется Чезапикским, открыв по пути чудесный плодородный край — теперешнюю Пенсильванию.

Когда много месяцев спустя Этьен снова появился в Квебеке, земляки встретили его как выходца с того света. Однако, сдав отчет губернатору, он незамедлительно покинул Квебек и вернулся к своим гуронам.

В тот самый год, когда состоялся неудачный поход на ирокезов, в Канаду прибыли первые миссионеры. С большим успехом начал свою работу среди гуронов отец ле Карон. В этом не было ничего удивительного. Гуконам, все сильнее теснимым ирокезами, религия, общая с французами, показалась новым звеном, связывающим их с союзниками, новой гарантией безопасности. С небывалым рвением принимали они христианство. Миссионеры — сначала адвентисты, потом иезуиты — нашли благодатное поле деятельности.

Популярность Этьена Брюле была, естественно, бельмом в глазу у миссионеров, хлопотавших о тех самых душах краснокожих, на которые так неодолимо воздействовало обаяние Этьена, этого веселого, разгульного, живого «еретика» Этьена. Он отнюдь не был овечкой: он издевался над кроткими овечками.

Никто — ни сам Брюле, ни миссионеры, ни тем более гуконы — не представлял себе тогда, что в этой далекой лесной стороне постепенно назревает конфликт, который в конце концов должен был привести к трагической смерти ловкого посредника.

А пока звезда его разгоралась все ярче. Этьен трудился без передышки и посылал в Квебек огромные партии пушнины.

Он не обращал внимания на злобный шепот за его спиной. Пользовался дружбой многих гуронов, и этого ему было достаточно. Более того: в своих привычках, в повседневной жизни, даже в образе мышления настолько пропитался всем индейским, что люди в конце концов стали видеть в нем скорее гуруна, чем француза.

При этом Брюле не утратил страсти к открытиям. Его влекли неведомые края и опасные приключения. На утлых пирогах забирался по Великим озерам далеко на запад. Он был первым европейцем, плававшим по Верхнему озеру и озеру Мичиган.

Его отношения с миссионерами складывались довольно странно. Он часто проявлял к ним расположение: помогал своей опытностью, не раз сопровождал как проводник и защитник в путешествиях. В то же время они явно сторонились Этьена, ставили ему в вину множество вещей. Иезуиты, несомненно, домогались власти над индейцами, наподобие той, которая осуществлялась ими в Парагвае и на Амазонке в Южной Америке. Однако несносный соблазнитель Этьен Брюле, сеятель разврата, являлся помехой их планам. Самым своим существованием он разрушал их мечты о власти, срывал честолюбивые замыслы. Миссионеры боролись с ним своими методами: в глазах французов старались преуменьшить его заслуги, отрицая его достоинства и преувеличивая его грехи, а среди индейцев подрывали его популярность. В своих донесениях они не прощали Этьену малейших проступков. С негодованием летописец, брат Сагар, писал о неслыханном поведении отпетого грешника: очутившись однажды перед лицом смерти, Этьен Брюле не смог вспомнить никакой другой молитвы, кроме — о, ужас! — предобеденной. Такой это был выродок!

В Северной Америке, так же как и в Европе, англичане и французы сталкивались друг с другом в непрестанных войнах. В 1629 году, то есть через двадцать лет после создания французской колонии, англичанам удалось напасть на Квебек и завладеть всей колонией. Шамплена и большинству французов пришлось убраться из Канады. Лишь немногие остались на месте, примирившись с новой властью. Среди последних был и Этьен Брюле.

В день отплытия Шамплена во Францию Этьен приплыл в Квебек со своими гурунами и привез большое количество шкурок, на сей раз предназначенных уже английским купцам. Разгневанный Шамплен в присутствии большой толпы бросил в лицо Брюле обвинение в измене.

— Я гурон! — возразил Брюле, оправдываясь. — И забочусь об интересах моего народа!

— Ты такой же гурон, как я англичанин! — прорычал Шамплен и в ярости отвернулся.

Эта сцена, которую сам Шамплен вскоре позабыл, была подхвачена врагами Этьена и громким эхом отозвалась в лесах. Среди гуронов остались некоторые миссионеры, скрывавшиеся от англичан. Они не зевали. Когда через три года в Канаде в результате заключенного в Европе мира вновь утвердилась власть Франции, а Шамплен стал опять губернатором, сбитым с толку гурунам было дано понять, что они должны отречься от изменника, если не хотят навлечь на себя гнев губернатора.

В ту пору французы нужны были гурунам еще больше, чем когда-либо прежде. Им ни за что не хотелось обидеть Шамплена. Помнили, как губернатор назвал Этьена изменником за сотрудничество с англичанами. Верх в пле-

мени взяли те вожди, которые и прежде с тайной неприязнью посматривали на вспыльчивого нахала, а теперь открыто обвинили его в том, что он всегда настраивал молодежь против власть имущих и против священных обычаев.

Этьена схватили где-то в лесной глуши. Там, вдали от друзей, совет племени устроил над ним суд — необычайный суд, политический, суд индейцев над белым. Приверженцев Этьена Брюле запугали, и в этот раз он уже не смог защитить себя. Его приговорили к смертной казни, а тело его ждала исключительная участь: быть съеденным судьями. Приговор был приведен в исполнение, поразив, возможно, даже тайных подстрекателей: они не ждали, что индейцы такими крайними мерами ответят на их интригу.

Немезиде истории было угодно, чтобы несчастный народ гуронов всего на несколько лет пережил Этьена Брюле. На них ополчились с каждым годом все более мстительные ирокезы. Не помогли гуронам ни молитвы миссионеров, ни союз с французами. Ирокезы превосходили соседей осторожностью и хитростью, а также имели огнестрельное оружие, доставляемое им голландцами и англичанами. Ирокезы умело использовали внутренние раздоры противника и уничтожали его селения одно за другим.

Гуроны сражались с необычайным мужеством, но, как и многим другим первобытным племенам, им не хватало осмотрительности и проницательности. В 1649 году, почти поголовно истребленные, они перестали существовать как племя, а немногочисленные жалкие группы их рассеялись по лесам во все стороны.

История Этьена Брюле отнюдь не исключение. Несомненно, задору, самоотверженности и прямо-таки безумной отваге подобных ему канадских французов обязана Франция захватом в Северной Америке тысячемильных территорий. Им же она обязана и тем, что тысячи краснокожих воинов стали на ее сторону, и тем, что после ста пятидесяти лет ожесточенных боев канадские французы все-таки смогли устоять перед двадцатикратным превосходством англичан.

11. Пон-пон

Вицусь Адамкевич из Оттавы приехал вместе со мной к Станиславу на реку Сен-Дени. Вицусь — красивый здоровый мальчик с румяным загорелым лицом, светло-голубыми глазами и льняным чубом. Ему четырнадцать лет, он в меру упрям, иногда непослушен. В его юношеском сердце пылают две страсти: охота и пон-пон.

Мы очень любим друг друга. Вместе ходим на охоту, вместе развлекаемся. У нас много общих симпатий, увлечений и приключений.

Когда Станислав занят работой по дому, мы — Вицусь и я — отправляемся вдвоем на Канада-Лейк за дикими утками. Это «романтическая» прогулка, так как все время нужно быть начеку и помнить о нашем враге — соседе Десотеле. Углубляемся в темный высокий лес канадских кедров, и тропинка, сначала отчетливо различимая, теряется в траве и зарослях дикого кустарника. Внимательно осматриваемся вокруг — здесь можно встретить оленей и лесных куропаток. Потом местность понижается и земля становится скользкой и мягкой.

Внезапно останавливаемся как вкопанные. Лес перед нами редет, оттуда доносятся таинственный плеск, приглушенное кряканье и бульканье.

— Утки! — сдавленным голосом шепчет Вицусь. Щеки его горят, глаза бле-

стят от возбуждения. Вицусь дрожит от волнения и весь в напряжении крадется вперед с еще большей, чем прежде, осторожностью, словно подкрадывается к настоящему бдительному врагу, а не к обыкновенным диким уткам.

Мне знакомо это волнение. Двадцать пять лет назад я переживал то же самое в своих детских снах: в американских джунглях я дружил с индейскими воинами и подкрадывался к врагу; тогда сильно билось мое сердце. А сегодня так же колотится сердце Вицуся. Постепенно приближаемся к опушке и долго, словно зачарованные, любуемся открывшимся зрелищем. На фоне неба высится огромная гора с обрывистыми скалистыми склонами, а у подножия ее раскинулось озеро, почти целиком заросшее камышом и осокой. Странный контраст здешней природы: рядом с высокой скалой — болотистая низина. Недалеко от нашего укрытия на поверхности озера плещется несколько уток.

Вицусь прицеливается и стреляет. Стреляет метко. На озере шум и переполох, а одна подбитая утка остается на воде.

Мальчик ничего не боится. Взбирается на утлый плот, некогда связанный тут Станиславом, и плывет за добычей. Он смеется над опасностью и вязкой топью. Я слежу за ним с берега, чтобы в любую минуту прийти к нему на помощь. Но обходится без происшествий. Вицусь возвращается с уткой.

На обратном пути Вицусь предается мечтам и переносится в совершенно иной мир. Грезит, как обычно, о пон-поне. Рассказывает что-то о железных конструкциях, о своем изобретении, а в это время утка, старательно привязанная к поясу, пачкает кровью его штаны.

Пон-пон — это хитрая игрушка «made in Japan».[136] Это металлический кораблик, внутри которого помещен обыкновенный железный котелок с двумя трубочками, открывающимися у кормы в воду; если разогреть котелок кусочком горячей свечи и опустить кораблик на воду, он приходит в движение и весело мчится вперед. Из погруженных трубок раздаются выхлопы: пон-пон-пон... Гениальная простота этой игрушки очаровала Вицуся. Юный энтузиаст хочет по принципу пон-пона построить на реке Льевр большую шлюпку для Станислава. Но до сих пор не понял этого принципа и вот уже много дней ищет разгадку. Осторожно разбирает кораблик, исследует, собирает, что-то высчитывает, запаивает, испытывает. У Вицуся ум изобретателя, и со временем из него выйдет хороший инженер, но пока пон-пон так и не открывает ему своей тайны.

Иногда мы с Вицусем ходим на реку Льевр ловить рыбу. Щук там много, но все они мелкие. Ловим их на тролля, то есть на блесну, которая на длинной леске тянется за кормой. Вицусю всегда больше везет, и он вытаскивает лучших щук. Ему хочется петь, его охватывает радость.

Незадолго до захода солнца — закаты теперь, в августе, неправдоподобно многоцветны, а жара даже вечером тропическая — мы взбираемся на холм, где у Станислава картофельное поле, и ждем оленей. Они часто приходят сюда. Это виргинские олени, обычные в этой местности, по размерам не превосходящие наших ланей, с небольшими рогами. Не ахти какая добыча, но мясо превосходное. В кладовой Станислава мяса нет, поэтому мы хотим попытаться счастья.

Пейзаж вокруг нашей позиции напоминает Прикарпатье. Те же самые осины и березки с редкими елями, прямо-таки полесские комары. Даже наше ве-

чернее небо порой полыхает. Но через несколько минут после захода солнца иллюзия рассеивается, наступает перемена. Раздается голос whlppoorwitta, птицы из отряда козодоев, распространенной в Северной Америке. Она выкрикивает на соседнем холме два-три раза подряд «уип-пу-уил» так звонко, словно хочет разбудить погружающуюся в сон природу. Спустя некоторое время на далекой вершине ей начинает вторить другой козодой; с противоположного берега реки Сен-Дени им откликается третий, а где-то далеко-далеко, пожалуй над самым Канада-Лейк, слышен голос четвертого. Целые четверть часа разносится над темнеющим лесом большой концерт уиппурвиллов. Он производит фантастическое впечатление, словно таинственные вскрики кающихся лесных духов.

Затем совершенно темнеет, уиппурвиллы успокаиваются; мы убеждаемся, что олени не пришли, и собираемся в обратный путь.

Спускаемся с холма приятно взволнованные. Я шепотом рассказываю Вицусю об уиппурвиллах. Птица эта встречается во всех лесах Северной Америки: известна всюду, вплоть до Техаса, популярна и благодаря своеобразному голосу считается символом американской природы. И символом американской истории: она первой встретила пришельцев из-за океана; подражая ее крику, перекликались индейцы, готовясь на рассвете к нападению на поселения белых захватчиков. Ибо следует отметить, что уиппурвиллы кричат и перед рассветом. Это незаурядная птица — к ее голосу всегда прислушиваются с волнением, любят ее.

— Я тоже очень люблю ее! — с глубокой убежденностью отвечает Вицусь.

Вернувшись в хижину, мальчик снова погружается в мир своих грез и сразу же принимается за пон-пон. Лес и уиппурвиллы его уже не интересуют. Он разбирает механизм кораблика, мастерит и конструирует до тех пор, пока Станислав не гонит его спать.

Порой у людей бывают очень забавные представления о земном рае, то есть о месте самого большого счастья. В моем воображении с раннего детства существовал солнечный островок с несколькими высокими елями, с берегом то скалистым, то песчаным; вокруг голубое озеро, богатое рыбой; его гористые, покрытые густым лесом берега полны зверей. Жизнь на этом маленьком острове, вдали от людей, в постоянном общении с природой представлялась мне тогда вершиной человеческого счастья. Позднее, во время моих путешествий, я обнаружил следующий любопытный факт: индейцы тоже очень любят острова на озерах. Эта склонность родилась из причин практических: прежде, если только было возможно, они разбивали свои стоянки на островах для вящей безопасности.

Однажды, бродя по лесу, мы вышли к какому-то озеру. Не веря глазам своим, я увидел тот островок, о котором издавна так страстно мечтал. Все совпало даже в мелких подробностях: скалистый островок, несколько могучих елей, чудесное озеро, окруженное по берегам яркой каймой густой, травы; за травой на живописных холмах великолепный лес. Так же весело светило солнце, придавая всему озерному пейзажу выражение радости и счастья. Посреди озера плавал одинокий нырок...

Делюсь этим приятным открытием с товарищами, рассказываю им историю моих детских грез. Станислава это не волнует — он молчит. Зато Вицусь

весь загорается и заявляет, что готов тотчас же отправиться со мной на этот остров и жить там, как Робинзон. Мы построим шалаш, будем ловить рыбу и охотиться на уток. В лесу есть ягоды, олени и медведи...

— Стоп! — перебиваю его, смеясь. — Ты забываешь, что по этому острову я тосковал давно, много лет тому назад.

— Ну так что же, если давно? — отвечает Вицусь. — Остров нашелся!

— Да, но сегодня эти мечты покрылись слегка ржавчиной и потускнели... Время развеяло прежнее очарование острова.

— Жаль! — вздыхает Вицусь.

Впрочем, оказывается, что это чарующее и привлекательное озеро таит в себе неприятную неожиданность: тысячи пиявок. Несмотря на быстроту моих движений, пиявки нахально нападают и совершенно серьезно стараются присосаться. Неприятное явление. В прекрасном озере столько дряни. Купаться здесь было бы невозможно.

Возвращаемся. Одурающая жара: идти по тропинке в густом лесу невыносимо. Мы потеем и молчим.

Потом Вицусь, как обычно во время возвращения, первым нарушает молчание: вполголоса мечтает о пон-поне. Он излагает нам свои планы, все смелее развивая их. Говорит о чудесной лодке на древесном топливе. Она будет быстроходной, и Станислав сможет ездить не только по реке Льевр, но даже еще дальше. Вицусь уже заканчивает свои расчеты и вскоре приступит к постройке.

Лес, в котором мы живем, властно околдовал нас. Он великолепен и необычайно выразителен в своей первобытности. В жизни, которую мы сейчас ведем, важнее всего становятся закаты, утки, уиппурвиллы и пиявки. Знакомство с ними немаловажное событие: они с жадностью захватывают все наши чувства и мысли.

Вицусь глубоко чувствует окружающую природу. Когда он подкрадывается к уткам, у него колотится сердце. Но потом — даже в этом чудесном лесу — наперекор запахам смолы и крикам уиппурвиллов возникают его мечты о металлических конструкциях, грезы о сварке металла, расчеты рождающегося изобретения. Оказывается, очарование этих расчетов, этих металлических конструкций сильнее чар, казалось бы, всевластного леса.

12. Опасные медвежата

Медведь ходит на четырех лапах, но умеет ходить и на двух, как человек. Иногда медведь издает крики, напоминающие голос человека. Питается он тем же, что и человек, и так же, как человек, очень любит спелые ягоды. Прежде чем сделать что-нибудь, медведь долго размышляет, и охотник, выслеживающий такого зверя, должен учитывать это и охотиться искусно, как если бы он преследовал не зверя, а человека.

«Медвежья эра» в Канаде еще не закончилась. В слабозаселенных северных лесах медведей много: они по-прежнему полновластные хозяева там. Настойчивости и выдержке человека, его страшному оружию медведь противопоставляет — и пока успешно — звериную хитрость, сообразительность и бдительность.

Все лесные индейцы Севера до сих пор верят, что в медведе таится нечто необычное, выделяющее его среди всех остальных зверей (за исключением бобров): они видят в нем существо со звериным телом, но с человеческой ду-

шой. Если белый человек очень долго живет в северных дебрях, он, как ни странно, тоже начинает верить в это. Медведь, как и прежде, остался мистическим властелином этих мест. Чем дальше на север, тем сильнее его таинственное влияние.

С заселенных южных окраин Канады сегодня регулярно стартуют превосходные гидропланы; пролетая над зеленым морем лесов, они добираются до далеких северных факторий. Но эти леса внизу до сих пор ни в чем не изменились: не уменьшилось количество медведей, не уничтожили гидропланы и странной веры (или суеверия) в необычность души медведя. Своеобразная вера глубоко укоренилась в северных лесах.

Вечер. Темнеет. Мы сидим вокруг стола в хижине Станислава и ужинаем. За ужином обычно царит веселье. Рассказываем друг другу о событиях дня и другие истории..

Как всегда, первые полчаса после захода солнца с разных сторон доносятся голоса козодоев-уиппурвиллов, постоянно напоминающие переключку неземных существ. Потом в окне, закрытом сеткой от комаров, появляется луна. Кузнечики все еще стрекочут. Невдалеке в кустах над рекой какая-то незнакомая птица вызывающе смеется: хе-хе. Силуэт леса уже не виден, зато тем отчетливее слышны голоса.

Вдруг Станислав обрывает свой рассказ на полуслове и настороженно прислушивается. Мы тоже различаем какие-то новые, необычные звуки. Выбегаем во двор. Звуки доносятся со стороны Ястребиной горы, всего в нескольких сотнях шагов от нас. Что это? Не то повторяющийся время от времени плаксивый рев, не то отчаянный писк. Я бы сказал, что это громкий плач ребенка. Нас охватывает волнение.

— Медвежонок, очень молодой медвежонок! — шепчет Станислав.

Превосходно! Ценная добыча чуть ли не сама лезет к нам в руки. Может быть, удастся поймать медвежонка живьем?.. Мы поспешно готовим ружья и веревки. Первым успокаивается Станислав; подавляет свой пыл и говорит: «Нет!» Нельзя ловить медвежонка — он, очевидно, заблудился, потерял мать и поэтому так голосит. Медведица может оказаться поблизости. Защищая своего детеныша, она проявит безумную смелость и, разъяренная, набросится на людей. Хотя луна уже восходит, в лесу еще темно — можно легко промахнуться; у медведицы преимущество. Охота ночью слишком рискованна.

Мы остаемся. Слышим, как постепенно отдаляется медвежонок. Все слабее доносятся его плаксивые призывы и наконец глохнут за вершиной Ястребиной горы. Не приходится удивляться индейскому поверью: медвежонок плакал, как ребенок, изливая жалобу, очень близкую нам и легко понятную.

— А волки не сожрут его? — спрашивает Вицусь.

— Нет. В случае чего он залезет на дерево, — отвечает Станислав, и мы возвращаемся в хижину.

Беседа за столом возобновляется.

В Северной Америке известны четыре вида медведей.

Серый медведь, или гризли, угрюмый житель Скалистых гор; белый медведь, обитающий в приполярных областях; черный медведь, меньший, чем предыдущие, но более крупный, чем его европейский собрат, причем наиболее распространенный — его можно встретить во всех канадских лесах; чет-

вертый, бурый медведь помельче черного, зато более опасный и, пожалуй, более агрессивный, обитающий в лесах Крайнего Севера. Как мы установили на следующий день по следам, наш ужин прервал детеныш черного медведя. У этого медведя преимущественно черная, иногда буроватая шерсть; только возле носа она светлее, серо-желтая. Не гнушаясь мясом, особенно рыбой по весне, он предпочитает растительную пищу — коренья, плоды и ягоды. А ягод на севере полно. Местами от них черно на земле. Они крупнее и слаще наших. Питаясь ягодами, медведь обрастает салом, а затем с наступлением морозов прячется в берлогу и погружается в зимнюю спячку.

В лесу у медведя нет врагов более сильных, чем он. Страшен для него только человек: стреляет и ставит на медвежьих тропах железные капканы. Медведь вынослив; часто он остается в живых даже после смертельного выстрела. Он обладает также огромной силой — иногда ломает капканы, вырывая из них поврежденные лапы. В капканах остаются только клочья кожи, кровь и шерсть. В таких случаях человек понимает, что медведь потерян для него навсегда. Опытный зверь становится осторожным, мстительным врагом, иной раз не менее опасным, чем разъяренная медведица с детенышем.

— Надо быть осторожным с медвежатами! — предостерегает Станислав с оттенком тревоги в голосе.

Он живет в лесу более двадцати лет и уже проникся верой индейцев.

В лесу, недалеко от городка Мон-Лорье, к северо-востоку от Валь-де-Буа, еще в прошлом году жил Морис Жерар. Построил себе большой дом и жил, как и Станислав, охотой.

Однажды в июльский день ему удалось поймать живым медвежонка величиной с легавую собаку. Несмотря на вопли малыша и энергичную защиту, Жерар упрятал его в мешок и быстро отнес домой.

Со штуцером наготове охотник зорко осматривался по сторонам, но все было спокойно. Медведицы, к счастью, не оказались поблизости.

Дома охотник привязал медвежонку ошейник и дал ему молока. Тот пить не стал, а все пищал жалобно и пытался освободиться. Жерар отстегал его.

Ночью охотника разбудил таинственный шорох около дома. Он увидел в окне огромную черную фигуру, упирающуюся лапами в стену. Жерар закричал и выстрелил. Страшный рев потряс ночь. Медведица отпрянула и убежала в лес. Утром Жерар убедился по следам, что промазал; было слишком темно.

С тех пор медведица упрямо кружила вокруг дома, но всегда на безопасном расстоянии. Ночью тут же за стеной раздавалось ее грозное рычание, полное отчаяния и ярости. Медвежонок отвечал пискливым плачем, а Жерар — выстрелом в темноту.

На четвертый день Жерару надоело играть роль осажденного. После стольких бессонных ночей упорство медведицы начало казаться ему чем-то грозным и кошмарным. Поэтому он снова засунул медвежонка в мешок, взял ружье, закрыл наглухо дом и отправился в город. Ничто не помешало ему; возвращаясь на следующий день домой, охотник был в отличном настроении: в Мон-Лорье он выгодно продал медвежонка.

Выйдя на свою поляну, Жерар окаменел: вместо дома увидел кучу дымящихся головешек. Вместе с домом сгорело дотла и все его имущество. По следам он понял, что во время его отсутствия медведица вломилась в дом, уни-

что жала все, что там было, и, видимо, при этом опрокинула печь с непогашенными углями.

У Жерара уже не было сил, чтобы вновь строить дом. Ему опротивело жить в лесу. Подавленный, он вернулся в город и стал подметальщиком улиц.

В ту ночь, когда мы слышали плач медвежонка, я пережил минуту радостного волнения. На северной половине небосклона появилось бледно-голубое зарево — первое в этом году полярное сияние. Это добрый знак. Он предвещает, что вскоре начнутся холода и поэтому пора кончать отдых в долине Сен-Дени; надо двигаться на север, к местам, где обитают лоси, — на Оскеланео-Ривер.

Канадская осень и пора большой охоты начинаются небесным знамением.

13. Тридцатилетняя война с воробьями

Из Валь-де-Буа возвращаюсь в Монреаль, чтобы закончить подготовку к поездке на север.

Во время пребывания в Монреале я посетил однажды порт на реке Св. Лаврентия. Там меня поразили огромные элеваторы, из которых по широким трубам льются в трюмы пришвартованных кораблей потоки золотистой пшеницы.

Одна труба повреждена, и время от времени зерна из нее сыплются на землю. Этим пользуется стайка птиц: они с большим аппетитом, воровской поспешностью и оглушительным чириканьем клюют пшеницу. Я издали узнаю этих воришек. Это воробьи, наши почтенные европейские воробьи.

Когда я подхожу ближе, они нехотя взлетают, садятся на трубу и оттуда с пронзительным писком бранят неожиданного пришельца, не скрывая своего недовольства. Выглядят они смешно, ведут себя вызывающе и как-то более задорно, чем в Европе. Вид этих знакомых уличных разбойников радует меня.

Но еще более обрадовалась им Америка, когда в 1850 году туда явилась первая пара воробьев из Европы. Этой паре был устроен поистине королевский прием. Америка была тогда молода, сентиментальна и склонна к неожиданным проявлениям чувств. Увидев воробья, американцы слегка ошалели. Наиболее ярким выражением их экзальтации явилась пламенная статья орнитолога Хорта Мерриэма в газете «Нью-Йорк геральд». Она начиналась словами:

«Когда двести пятьдесят лет назад в Америку прибыли первые отцы-пилигримы, их встретили кровавые томагавки и воинственные клики ненависти. Сегодня, когда к нам из Англии прилетели первые воробьи, мы раскрываем крылатым пилигримам наши переполненные сердца и нежные объятия и говорим: «Приветствуем вас, приветствуем, о прекрасные божьи птички! Дышите свободой Америки, размножайтесь и пользуйтесь дарами нашей гостеприимной земли!..»»

Так встретили в Северной Америке двух первых воробьев. Счастливая воробьиная пара располагала легионом преданных ей опекунов, которые приносили гостям изысканные лакомства. Их кормили так щедро, что спустя шесть недель эта идиллия завершилась трагически: жадные воробьи обожрались и подохли. Но их смерть не заглушила энтузиазма американцев. Общество «Друзей воробья» вспылало жаждой действия и вскоре завезло из Европы несколько десятков новых воробьиных пар, которые на этот раз отлично прижились.

Окруженные заботливой опекой, воробьи начали быстро размножаться. Они забирались во все более отдаленные города и всюду, куда прилетали, вызвали стихийный восторг и взволнованность. Люди не находили себе места от радости и в своих садах прибывали к деревьям маленькие деревянные домики, чтобы привлечь гостей, в эти уютные гнездышки. В некоторых городах было по два-три домика на каждом дереве. Столяры богатели. В других городах воробьев щедро кормили на общественные средства, а мэры соревновались друг с другом в усердии. Фабриканты придумали, специальный легкий корм для любимых птишек, редакторы хвастались знанием орнитологии, поэты слагали похвальные гимны воробьям...

Вот каких почестей дождались воробьи — наши серые дармоеды! И надо признать, что эти бездельники как следует использовали милость судьбы: они обжирались, не стесняясь, и размножались вовсю — размножались поистине невероятно.

Причиной всеобщего восторга была не только детская чувствительность янки. Тут действовали и другие причины. В те времена — в середине XIX века — Америка все еще тяжело переживала свою неполноценность по сравнению с *old fashionable England*. [137] Богатевший грубоватый американец перенимал английские обычаи и во всем следовал примеру Англии: все, что шло оттуда, принимал с почетом и обожанием. Иногда такое подражание заходило столь далеко и приобретало столь необычные формы, что выглядело смешным. Вероятно, потому, что воробьи происходили именно из Англии, им был оказан такой необыкновенный прием. Характерный штрих: даже в американской научной литературе было четко обозначено, что это «английские воробьи» — «*the English sparrows*».

Но была еще и практическая причина. Как раз в это время в Америке размножилась бабочка-медведица, гусеница которой стала истинным бичом сельского хозяйства. И вот кто-то где-то написал, что воробьи устроят погром скверным гусеницам и пожрут их. Американцы слепо поверили в это: они увидели в воробьях не только веселых птишек, но и желанных избавителей...

Но что тут долго рассказывать! Прохвосты-воробьи не оправдали надежд американцев. Правда, они невероятно расплодились, и повсюду от них проходу не было — и на западе, и на юге, и даже на севере. Но у них было столько лакомой пищи, что не имело смысла охотиться за неаппетитными, отвратительно волосатыми гусеницами.

Впрочем, неудача с гусеницами — это еще куда ни шло. Хуже то, что сорванцов совершенно не привлекали симпатичные домики на деревьях, с такой любовью сколоченные для них и даже красиво раскрашенные гостеприимными американцами. Неблагодарные воробьи не хотели жить в них, зато повадились устраивать налеты на гнезда ласточек, тесня обитателей и истребляя яйца. Спустя четыре-пять лет после нашествия воробьев количество ласточек в Америке катастрофически сократилось. Ошеломленные американцы беспомощно взирали на странное поведение своих любимцев.

Но даже и эти грешки были бы прощены, если бы распоясавшиеся воробьи (приблизительно на десятом году своего пребывания в гостях) не поставили точки над «и». Осенью их многомиллионная армия с ненасытной жадностью обрушилась на пригородные сады и поклевала все плоды. Люди перестали

улыбаться. На следующее лето воробьи набросились на близлежащие поля. Урожаю был причинен колоссальный ущерб. У американцев вытянулись лица.

Когда же год спустя еще большие массы воробьев ринулись грабить поля, люди поняли, что на них обрушилось новое бедствие, что любовь кончилась и надо спасать свое добро. По всей Америке прокатился грозный клич: «Смерть воробьям!»

Весь этот «воробьиный скандал» был одним из тех приступов истерии, которым так легко и так часто поддаются многие американцы и от которых они до сих пор не излечились.

Легко было крикнуть «Смерть воробьям!», да трудно исполнить. Воробьи расплодились в таком количестве и стали такими вездесущими, что вместо одного убитого появлялось десять новых. Серые грабители отступать не собирались. Разгорелась неумолимая, хлопотливая и немного смешная долголетняя война. Правительство назначило награды за отстрел воробьев. Изобретатели и фабриканты изготовляли хитроумные сети, рассчитанные на ловлю воробьев целыми стаями. Химики придумывали специальные яды; в Белом Доме велись дебаты и принимались боевые резолюции; пресса, прежде восхващавшая «божьей птахой», теперь проповедовала беспощадный крестовый поход. Воробьи вызвали у всех лютую ненависть, и казалось даже непонятным, как такие невинные с виду создания могли разжечь такие страсти. Больше всего неистовствовали в Вашингтонском департаменте сельского хозяйства, переживавшем длительный кризис и публиковавшем пространные инструкции о способах борьбы с новым врагом.

В течение долгого времени казалось, что эта война отнюдь не вредит воробьям. Наоборот, они все размножались, а в 1876 году добрались до Канады, появившись в городе Гамильтоне. Канадцам были известны затруднения соседей; несмотря на это, они приняли воробьев с радостью, так как близ Гамильтона не было полей пшеницы. Кроме того, думали, что здесь, на севере, птичка будет вести себя скромнее. Увы! Уже через год воробьи наводнили всю область между озерами Гурон и Эри и подняли забрало: не найдя на полях зерен, они набросились на чудесные виноградники — гордость Канады — и пожрали весь виноград. Тогда Канада охнула и тоже вступила в войну.

Между тем в Соединенных Штатах воробей сыграл некоторую роль даже в политике. Злость на этого маленького обжору была так велика, что достаточно было объявить кандидата в депутаты бывшим воробьиным приверженцем, как его кандидатуру проваливали с треском. Тяжелые, очень тяжелые времена наступили для воробья!

Война тянулась долгие годы, и, разумеется, птицы проиграли. Их количество сократилось до нормальных размеров. Однако неизвестно, что обеспечило эту победу: оружие и усилия человека или кое-какие другие обстоятельства.

«Летит пташка по улице, ищет зерна», — говорит старая, мудрая песенка о воробьях. Следовательно, чтобы на улице были зерна, там должны проходить лошади. В добрые старые времена на улицах американских городов их было много, и воробьям жилось преотлично. Потом явился Форд и ему подобные. Автомобили вытеснили лошадей с американских улиц, смели с мостовых непереваренные зерна и тем самым нанесли воробьям тяжелый удар. Воро-

бьи и сейчас живут повсюду в умеренном поясе Северной Америки, но численность их невелика.

Американцы и поныне немилостивы к воробью. И противный он, и петть не умеет, и нахал, и вообще подозрительное существо. Что вы хотите, the English sparrow!

Преклонение перед Англией миновало; сегодня американцы смотрят на нее иначе, чем сто лет назад. И говорят: чего хорошего ждать от этого английского выродка!

«Sic transit gloria mundi», [138] — могут сказать и воробьи, и англичане.

Но американцы должны признать одно: у их воробья была сказочно яркая история. Противный-то он противный, а между тем всколыхнул целую гамму человеческих чувств от неистойвой любви до бешеной ненависти. Ни один зверь не сумел добиться этого. Притом воробей взволновал всю Северную Америку, вызвал истерию у американцев и долгое время был у всех на устах. Его триумф и падение напоминают судьбу героя, несчастного героя не то из трагедии, не то из оперетки.

14. Ирокезы

Как известно, французы прибыли в Северную Америку скупать пушнину, поэтому они очень быстро подружились с первыми же племенами, встретившимися на реке Св. Лаврентия: алгонкинами и гуронами. Увы! У этой дружбы были печальные последствия для пришельцев — она навлекла на их головы ненависть ирокезов, издавна воевавших с алгонкинами и гуронами.

Известно также, что голландцы и англичане прибыли в Америку в поисках земли; им нужны были свободные территории. Поэтому они сразу же начали безжалостно истреблять индейцев — племена пекодов, нарангансетов, вампеногов. Эти племена также находились в состоянии войны с ирокезами. Так, случайно, родилась дружба между ирокезами, и англичанами.

Роковым для французов был 1629 год. Спустя несколько месяцев после — своего прибытия на реку Св. Лаврентия Шамплен, губернатор колонии, поддался уговорам вождей дружественных племен — гуронов и алгонкинов и согласился принять участие в военном походе против их врагов. Пробился с индейцами сквозь дебри и на озере, названном позднее его именем, дал бой ирокезам. У врага было численное превосходство; к тому же с Шампленом было только двое французов. Но когда разгорелась битва и два ирокезских вождя пали, сраженные выстрелами из мушкета — оружия, прежде неизвестного в тамошних лесах, — ирокезские воины, охваченные страшной паникой, обратились в бегство перед горсткой гуронов и алгонкинов.

Это позорное поражение ирокезы не простили французам и не забыли его даже через сто лет. С невероятной, ненасытной ненавистью они без устали нападали на французские поселения, заливая кровью берега реки Св. Лаврентия; в течение ста лет они тормозили развитие французской колонии и уничтожали ее индейских союзников. Именно ирокезы в значительной мере решили историю Америки в пользу Англии, в ущерб французским интересам, хотя сначала ни французы, ни англичане понятия не имели, какую грозную силу представляет собой это необыкновенное, скрывающееся в лесах племя.

А оно действительно было могущественным. Ирокезы выделялись среди всех соседних индейских племен и более совершенным общественным

устройством и физической подготовкой, но прежде всего изумительной воинственностью. Историки нарекли их «римлянами лесов» и «сверхиндейцами».

Ирокезы занимали территорию к югу от озера Онтарио, но их военный клич раздавался всюду — от Миссисипи до побережья Атлантики. Строили большие поселения и занимались земледелием; несмотря на это, ирокезские воины проводили жизнь в разбойничьих набегах. Они были врагами всех, кто не хотел им подчиниться, никого не щадили и, обрушиваясь, словно молния, всюду сеяли панику и страх. Всех непокорных они считали своей добычей. Снедаемые неумной жаждой боя, они стремились к одной цели: добыть скальпы и славу.

К моменту прибытия белых захватчиков ирокезы подчинили себе соседние племена и образовали большое государство. Но они не успели развить и укрепить его — помешали европейцы.

Неразговорчивые, сдержанные, они сочетали в себе суровое достоинство жителей лесов с пылом и жаждой свершения великих подвигов. Лица их были угрюмы, но не лишены гордой красоты. Воины обладали сильными стройными телами отличных атлетов. Этот их облик и суровые обычаи приукрасило романтическое воображение Европы XVIII века, создав тогда образ краснокожего воина.

Ирокезы не всегда были сильными и воинственными. Сохранившиеся обычаи и другие источники позволяют предположить, что еще в начале XVI века они жили в лесах к северу от реки Св. Лаврентия. Потом на них напали алгонкины, подчинив их или оттеснив к югу.

После, такого печального опыта ирокезы окрепли. Память о недавних несчастьях вселила в них мужество: военное ремесло стало их идеалом и первой заботой. Одновременно разум подсказывал им необходимость объединения. Возникла знаменитая федерация пяти, а позже шести ирокезских племен — «Пять Народов», как их пышно называли англичане, — сильный и мудрый организм, поначалу созданный в оборонных целях, но немедленно переродившийся в неистовую силу алчности и завоеваний.

Кто знает, не объясняется ли лютая ненависть ирокезов к французской колонии, их упорные нападения на поселения вдоль реки Св. Лаврентия именно тем, что французы осели на давней родине ирокезов? Возможно, желая вернуть утраченную отчизну, индейцы проливали столько крови на севере, почти поголовно истребляя гуронов и алгонкинов и приводя в отчаяние французов.

Несмотря на свою вселявшую в людей ужас воинственность, ирокезы отнюдь не были примитивными дикарями. Они стояли даже на более высокой ступени культурного развития, чем окружавшие их племена, и отличались более проницательным умом. Лучшим доказательством этого является упомянутый союз племен, свидетельствующий об организационных способностях ирокезов и о достаточно развитом — для того времени и тогдашнего сознания лесных жителей — политическом чутье.

Ирокезская лига, возникшая приблизительно во второй половине XVI века и умело руководимая, выполняла свою задачу до последнего момента индейской независимости. Судьбами лиги управлял союзный совет, состоявший из пятидесяти вождей, выбираемых из всех племен. Однако самими вождями руководил кто-то другой.

Явление, казалось бы непонятное и все-таки достоверное: ирокезами, самыми дерзкими и наиболее мужественными индейцами, руководили... женщины! Матроны обладали такой властью, что влияли даже на выбор вождей. Им принадлежали земля, очаг, дом, вся утварь и вся добыча; они решали: убить взятых в бою пленных или принять как равных в ряды племени; нередко они решали даже, быть ли войне или миру. Мужчины были только орудиями в руках матрон.

То, что матриархат столь глубоко укоренился среди ирокезов, можно объяснить их воинственностью: в то время как мужчины почти непрерывно носились по лесам в военных походах, на женщин ложились все остальные обязанности — сохранение обычаев племени, забота о домашнем очаге, обработка земли, воспитание молодежи. Ирокезские женщины стали подлинным стовым хребтом народа, поэтому в их руках были и власть, и правление. Французы быстро поняли, какую они допустили ошибку, вызвав вражду ирокезов; они не только отчаянно защищались, нередко переноса пламя войны в самый центр ирокезских поселений, но старались примириться с грозными воинами и завязать с ними дружественные отношения. Веселые и общительные, французы были лишены многих предрассудков, свойственных самоуверенным и сухим англичанам. Поэтому некоторые французские миссионеры пользовались успехом у индейцев, и не один ирокезский вождь был братом французского офицера.

Англичане всеми доступными им средствами боролись с попытками французов наладить взаимоотношения с индейцами. Английским пуританам, мастерам дипломатических интриг, в конце концов всегда удавалось настроить ирокезов — в особенности наиболее преданное англичанам воинственное племя могавков — против французов.

Поэтому войны не затихали. Ирокезы — послушное орудие английской империалистической политики — пролили много французской крови. Из этой борьбы они вышли ослабленными и разбитыми, но и французам было не лучше. Их колония не могла нормально развиваться: опасность в течение всего XVII века отпугивала многих людей, которые хотели бы переселиться сюда из Франции.

Ирокезы, хотя и разбитые, не разделили судьбу иных индейских племен; они не погибли. Укоренившийся обычай усыновления племенем некоторых пленников в какой-то мере восполнял понесенные потери. В период наибольшей славы, то есть в XVII веке, когда от ирокезов в значительной мере зависела судьба колоний двух великих держав, их насчитывалось не более пятнадцати тысяч, в том числе три тысячи воинов.

Во время американской войны за независимость большая часть племен сражалась на стороне англичан. В 1779 году американцы истребили множество ирокезов, и численность их упала до неполных восьми тысяч, но к сегодняшнему дню снова выросла до 15 тысяч. Часть их живет в старых поселениях, находящихся в штате Нью-Йорк, остальные укрылись в Канаде и нашли здесь кров и пищу; немногочисленная группа прозябает в Оклахоме...

Любопытная ветвь ирокезов живет в Конавоге, предместье Монреаля, на правом берегу реки Св. Лаврентия, Это потомки тех самых ирокезов, которые в XVII веке приняли христианство из рук французских миссионеров и стали католиками. Подвергшись нападкам со стороны родичей-англофилов, они по-

кинули ирокезские территории и поселились в Конавоге под боком у друзей французов. Тогда их численность была равна числу жителей поселка Вилла Мари, позднейшего Монреаля. Сегодня их, возможно, столько же, но в Монреале уже в тысячу раз больше жителей, чем в Конавоге.

Прямо напротив Конавоги на монреальском берегу реки возвышаются дома второго предместья — Лашина. Здесь в августовскую ночь 1689 года неистовые ирокезы нанесли французам самый чувствительный удар за всю историю Канады — они поголовно вырезали все население города, посеяв ужас в сердцах всех колонистов.

Лашин и Конавога — это как бы два противоположных символа в истории канадских французов: первый — военного поражения, второй — мирной победы.

Потомки многих тогдашних воинов, виновников кровопролития в Лашине, сегодня преспокойно живут в Конавоге. Давно уже закопали они военный томагавк, подали руку дружбы прежним врагам и теперь в течение жизни многих поколений пользуются плодами мира и спокойной жизни. Однако посмотрим, каковы же эти плоды.

Однажды, сопровождаемый моим монреальским знакомым-поляком, я переправился по мосту на южный берег реки и посетил резервацию. Несколько сот деревянных домишек, опрятных, но жалких, похожих на какие-то миниатюрные бараки. Мало зелени, никаких садов, столь характерных для предместий, где живет белое население. Мало движения на улицах. Люди печальные, сонные и одеты нищенски. Не дерзкие и не гордые, а какие-то тихие и угасшие. Таковы сегодняшние ирокезы.

Через каждые несколько десятков шагов стоит киоск, в котором сидит белый канадец и продает халтурные индейские сувениры, сладкую воду «Canada drink» и фотографии грозных индейцев в фантастических уборах. Для этих фотоснимков, долженствующих изобразить давних ирокезов, позируют в праздничные дни за несколько центов современные ирокезы. Это их единственное занятие. Конавога — большой аттракцион для туристов, толпами приезжающих из Соединенных Штатов.

Я хотел купить на память что-нибудь оригинальное, интересное, но абсолютно ничего не нахожу. Спрашиваю белого канадца: есть ли у него какие-либо подлинные, со вкусом сделанные предметы? Мое требование смешит торговца; он осматривает кучу всякой дряни и, театрально пожав плечами, отвечает с озорной иронией:

— Чего вам захотелось, сир! Это же только для американцев!

— Ну и что же?

— Американцы не такие привередливые! Они рады чему попало и хорошо платят!

Я задаю другой вопрос:

— В этих киосках нет ни одного продавца-индейца. Разве им не разрешена торговля?

— Разрешена, сир, разрешена! Только они сами не хотят торговать — не хватает терпения. Торговля в киосках им не по вкусу — это же были великие воины...

Люди любят смотреть на диких зверей, запертых в клетки. Именно поэтому американцы любят приезжать в Конавогу. Ведь ирокезы некогда были таки-

ми грозными! И теперь, когда они стали слабыми, любопытно посмотреть на них. Вид угасающего в клетке льва не очень приятен, он порой тревожит совесть, однако туристам это не столь уж важно. В интересах города Монреаля ирокезы должны существовать как можно дольше, чтобы, привлекать толпы любопытных туристов и щекотать им нервы.

Одна из основных обязанностей ирокезов — существовать. За это государство дает им каждую неделю немного пищи и ежемесячно четыре доллара на семью... на карманные расходы! Им незачем мучить себя работой, пусть позируют — рассуждают власти. В настоящее время их более двух тысяч; ежегодно это число уменьшается.

Это самый странный на свете люмпен-пролетариат под вывеской «ирокезы». В тени давней, поистине необыкновенной славы возникла целая нищенская организация. Грабительски эксплуатируется — как и многое другое в стране — великое прошлое племени ирокезов. Эти индейцы не занимаются, упаси боже, прямым нищенством. Они всегда продают что-то: иногда вытаскивают из-за пазухи низкопробную открытку, порой улыбаются туристу с заученным высокомерием, произносят несколько ирокезских слов или подают руку... За это обрадованный обыватель из какого-нибудь Питтсбурга щедро сует им в карман смятый доллар.

В Конавоге есть школа. По случаю каникул она, к сожалению, закрыта. Там детей индейцев учат французскому и немного английскому языку. Разговорный язык сохранился здесь ирокезский, в чем мы с удовлетворением удостоверяемся.

Есть также католическая церковь. Священника индейского прихода, старого иезуита, мы застаем дома.

— Удовлетворены ли индейцы таким положением вещей? — прямо спрашиваю его.

Старик не без подозрительности смотрит мне в глаза, потом отрицательно качает головой и искренне отвечает:

— Нет, не удовлетворены.

— А разве нельзя расселить их в безлюдных лесах на севере и создать им естественные условия жизни?

Видимо, это очень щекотливый вопрос, и я не получаю прямого ответа. Впрочем, мне понятна уклончивость миссионера: здесь индейцы у него под рукой, а там, на севере, ему было бы очень трудно оказывать на них свое влияние.

Спрашиваю — как можно более осторожно, чтобы не обидеть милого старичка, — чем занимаются его подопечные. Неужели только поджидают туристов?

— О, нет! — живо протестует он. — Многие трудятся за пределами резервации. Некоторые стали каменщиками и работают на строительстве мостов, многие работают лоцманами на реке выше Монреаля...

Позже я собираю сведения об этих рабочих. Действительно, они существуют, но... их очень немного. Жалкий процент по сравнению с теми, которые прозябают в Конавоге.

Центром и сердцем Конавоги является нечто вроде Луна-парка, с большой вывеской у входа: «TomboLa». Там можно развлечься за небольшую плату.

Таких центров примитивного развлечения в каждом канадском городе

имеется несколько, но этот конавогский парк развлечений вызывает жалость исключительным убожеством выдумки и благоустройства.

Ирокезы заывают бросать кости или стрелять по мишеням. Есть тут и резвые молодые ирокезки, одетые причудливо, словно на бал-маскарад. «Хелло!» — кричим мы, обрадованные их появлением. Они тоже рады нам. Мой спутник фамильярно похлопывает их по спине. Девушки смеются и охотно позируют перед фотоаппаратом. За это они получают полдоллара, чем очень довольны, и готовы хоть сейчас посетить нас в нашей гостинице в городе. Таковы эти дочери суровых ирокезских матрон!

Потом мы преграждаем дорогу одному пожилому индейцу с длинными, спадающими на плечи волосами и заметным брюшком, несколько великоватым для потомка славных воинов. Одетый по-европейски, в распахнутой блузе и в брюках, заложив пальцы за пояс, он медленно шагает по дорожке. На его лице угрюмая гордость и скука, словно он долгие часы напрасно прождал улыбку судьбы. Эта улыбка предстает перед ним в облике двух европейцев: мы фотографируем его. За позирование он получает от моего спутника всего десять центов, но и то доволен.

— Тяжелые времена, а? — завязываю я с ним дружескую беседу.

Какое-то бормотание вырывается из горла ирокеза, и я слышу неохотное подтверждение:

— Тяжелые...

— И всегда они такие тяжелые? — допытываюсь я, — Вероятно, скучно в этой Конавоге? Неужели за весь год не бывает каких-либо перемен?

В сонных глазах индейца я замечаю признак легкого оживления:

— Бывает!

— Видимо, тогда, когда вы покидаете Конавогу, чтобы работать где-то? Вы не речной ли лоцман? — стараюсь я вызвать в нем хоть каплю оживления.

— Я не работаю! — бурчит собеседник, видимо, задетый за живое моим вопросом.

Полноватого индейца не так-то легко вывести из состояния раздумья. Но мы не даем ему покоя. Однако тщетно: все наши добросовестные усилия разбиваются о его высокомерное равнодушие. Он как будто смеется над нами в душе, полный превосходства и презрения.

«Возможно, мы были слишком навязчивы и бесцеремонны?» — тревожит меня сомнение.

— Ну, а американцы? — старается захватить его врасплох мой спутник. Видимо, он знает, какую струну задеть.

Словно чем-то ослепленный, индеец вдруг перестает чваниться. Мысль об американцах пробуждает его и даже вызывает усмешку на его сонном лице. Недобрую, хищную усмешку!

Нам кажется, что лишь теперь мы находим в этом лице черты прежних ирокезских воинов, прославившихся своей жестокостью и страшных любому «бледнолицему». Может быть, этот пузан загорится еще сильнее, и тогда из его горла вырвется военный клич, который проймет нас до мозга костей?..

Куда там! Это только видимость. Нет, наш индеец не страшен «бледнолицым». Правда, он оживляется, но вовсе не от воспоминаний о давних боях и славе. Совсем наоборот!

— О, американцы! — выкрикивает он, и его неожиданно заблестевшие гла-

за светятся восхищением. — Американцы, о'кэй! Хорошие чаевые дают! Много, очень много чаевых!.. Когда они приходят сюда, нам не скучно... Они громко смеются, крикливые... О'кэй!

При воспоминании о щедрых гостях из груди индейца вырывается поразительный звук — бульканье. Ирокез булькает от блаженства и растроганности!

Судьбы народов бывали разные. Некоторые гибли, и после них ничего не оставалось. Другие попадали в рабство и вынуждены были служить победителям. Самые богатые народы порой становились нищими. Но с ирокезами судьба обошлась, пожалуй, наиболее сурово: грозных воинов, «римлян лесов», она превратила в шутов, вынужденных выставлять напоказ свое падение.

Но иногда — только иногда — в этих беднягах что-то пробуждается. Для этого им нужно напиться (поэтому в Конавоге под страхом неслыханно строгого наказания запрещена продажа водки). Напившись, ирокезы начинают безумствовать. Заглушаемые инстинкты ищут выхода. Индейцы выхватывают ножи и с яростью бросаются... На кого? На белых? Нет! Они режут друг друга...

15. Логан — несчастный друг белых детей

Он жил во второй половине XVIII века и был влиятельным вождем ирокезов. В американских лесах наступили тревожные, недобрые времена. Грохот все более многочисленных выстрелов раздирал тишину лесов, раздавались дикие крики: белые люди оказались хищными; они ненавидели друг друга и проливали в междоусобицах собственную кровь и кровь индейцев. На фоне этой смуты сияет, как одинокий луч, образ Логана — ирокеза и воина, человека высоких достоинств, обаятельного и благородного. Не было равных ему среди индейцев и вряд ли мог сравниться с ним кто-либо из белых людей той эпохи.

Это был незаурядный воин, воин с большим сердцем. Сдержанный, задумчивый, полный достоинства, приветливый, он соединял в себе честность и простоту жителя лесов с теми качествами, что особенно ценятся среди белых людей: он был верным другом не только своих братьев индейцев, но также и белых людей, прежде всего белых. Где только мог, он оказывал им благодеяние, заблудившихся выводил из чащи, давал советы неопытным поселенцам, брал на себя опеку странствующих купцов, и не один белый обязан ему своей жизнью. Он был добрым духом лесов и пользовался огромным уважением: индейцы разных племен — не только ирокезы — признавали его своим духовным вождем, белые же платили ему большим уважением и благосклонностью. «Настоящим джентльменом с головы до ног» называл его даже английский губернатор.

Логан много странствовал по лесам, но охотнее всего посещал колонии белых. Его влекло туда чувство необыкновенное, как и он сам, — безграничная любовь к детям белых. Маленьким светловолосым существам старый воин отдал свое большое индейское сердце и питал к ним любовь, пожалуй, большую, чем к собственным внучатам. При виде их льняных головок сердечная улыбка освещала его лицо, глаза загорались радостью. Маленькие друзья, едва завидев Логана, с радостным криком мчались ему навстречу и повисали на нем. Он всегда приносил им новые игрушки, маленькие мокасины или искусно сделанные лодочки. Кроме того, он умел, рассказывать чудесные волнующие легенды о тайнах леса, а иногда играл с детьми, словно сам был ребенком. Матери — жены приграничных колонистов — очень любили его и охот-

но вверяли своих малышей его заботам. Это был необыкновенный индеец...

Наступило тревожное время; все мрачнее стучались тучи, люди недоверчиво смотрели в глаза друг другу. Некоторые индейские племена, охотничьим угодыям которых угрожало нашествие белых поселенцев, все болезненнее воспринимали несправедливость и готовились к отчаянному отпору.

А тем временем в самой колонии белых зародилось брожение против владычества Англии: в ближайшее время оно должно было привести к революции и войне за независимость Америки. Колонию раздирали тяжелые внутренние распри, даже отдельные области враждовали между собой. С незапамятных времен существовала неприязнь между поселенцами Пенсильвании и Виргинии — неприязнь, особенно ярко проявлявшаяся во взаимоотношениях с индейцами. Пенсильванцы, люди более умеренных взглядов, более мирные, жили с аборигенами в дружбе, чтобы иметь возможность вести широкую торговлю. Виргинцы, типичные англосакские пионеры, зарившиеся на земли индейцев, напротив, не выносили последних и стремились к скорейшему их истреблению.

В эти напряженные дни ненависть между белыми соседями дошла до точки кипения, и всех охватило такое возбуждение, что единственным выходом стала казаться гражданская война. Назревала беда: губернатор Виргинии направил в Пенсильванию вооруженный отряд добровольцев под командованием вспыльчивого авантюриста, капитана Конолли, с задачей овладеть фортом Питт на реке Огайо и пустить немного крови соседям-квакерам.

Однако во время похода стало известно, что восставшее племя шаванов спешит на помощь своим друзьям пенсильванцам. Это перечеркнуло все планы капитана. Опасаясь борьбы на два фронта, Конолли отказался от своего первоначального замысла, но зато — взбешенный чванливый виргинец — направил воззвание всему белому населению пограничной полосы, повелевавшее убивать каждого встречного индейца.

«Every Indian is a bad Indian; only a dead Indian is a good Indian». — «Каждый индеец — плохой индеец; хорош только мертвый индеец». Так гласил пресловутый лозунг виргинских поселенцев. По закону Конолли на границе закипели страсти: началось поспешное выслеживание и истребление индейцев: «спорт» приятный, полезный и любимый всеми виргинцами — как сбродом авантюристов, так равно и солидными колонистами..

На Желтой реке вблизи поселений белых жила вся семья Логана: жена, дочери, сыновья, зять и внуки. Они жили далеко от своего племени, так как не опасались белых, уверенные в славе и почете, какими был повсюду окружен Логан. На Желтой же реке поселился и некий Грейтхауз, белый авантюрист, человек весьма темного происхождения..

Когда Грейтхауз прослышал о приказе Конолли, он буквально подпрыгнул от радости: теперь-то можно безнаказанно повеселиться! Пригласил к себе всю семью Логана, не подозревавшую ничего плохого (самого вождя не было дома), напоил всех водкой до потери сознания, а затем устроил чудовищную забаву.

С помощью нескольких приглашенных белых уложил всю семью на плот и пустил его по течению. С расстояния в несколько десятков шагов колонисты открыли по плоту огонь. Стреляли метко; вскоре погибла вся семья Логана, за

исключением одного мальчика.

Это был трехлетний карапуз. При виде умирающих родителей он обезумел от ужаса, подбежал к самому краю плота и там, воздевая к небу ручки, отчаянно зывал о помощи.

Тогда Грейтхауз велел прекратить стрельбу и заключил со своими приятелями пари; выигрывает тот, кто первый убьет ребенка. Каждый должен был стрелять по очереди, определявшейся жеребьевкой. Первые три стрелка промахнулись. Четвертому «повезло» — он выиграл пари. Ребенок жалобно вскрикнул, свалился в воду и утонул... Так погиб последний внук Логана — индеец, который сделал столько добра белым людям и больше всего любил их детей.

Когда весть о зверском убийстве достигла поселений белых, многих из них охватил гнев — не столько из сочувствия к индейцу, сколько из опасения тяжелых последствий, которые могли быть вызваны неслыханным зверством. Опасения оправдались. По лесам прокатилась волна возмущения и ярости. Краснокожие воины схватились за оружие и бросились в бой — бой отчаянный и безнадежный. Их вел Корнстальк, вождь шаванов. Густые леса на реке Огайо стали свидетелями одной из последних трагедий краснокожих. Было это в 1774 году...

А Логан?

Когда Логан собственными глазами увидел изуродованные трупы, он не произнес ни слова. Кое-как дотащившись до леса, индеец замертво пал на землю. Долгие часы пролежал он без движения; ужасные видения теснились в его измученном мозгу. Потом он вскочил и пронзительно завыл. Это была неопишуемая боль, перешедшая в безумие. Кроткий и ласковый индеец превратился в разъяренного зверя. С горсткой преданных ему людей он объявил войну всей белой расе.

Сначала Логан вырезал всю семью жившего неподалеку поселенца, собственными руками перерезав горло шестерым его детям — прежним своим друзьям... Потом в ярости набросился на другие поселения. Путь Логана отмечен потоками крови. В его глазах горело безумие. Он свирепствовал, как взбесившийся зверь, но был хитрым и неуловимым, как лисица. Долгие месяцы Логан был кошмаром белого населения, но потом устал, руки его опустились, а неистовство перешло в тупое безразличие.

Тем временем «индейская война» уже подходила к своему трагическому концу. Корнстальк в битве на реке Канауга нанес белым отрядам сильный удар, но на следующую ночь отступил с поля боя и тем самым признал свое поражение. Его героические усилия ни к чему не привели: слишком велико было превосходство сил противника. Вскоре под влиянием сомнений и колебаний подчиненных ему вождей Корнстальк заключил невыгодное перемирие. Индейцы потеряли свои прежние охотничьи угодья и вынуждены были искать новое пристанище на западе.

Только Логан не заключил мира с белыми, а именно его подпись очень хотелось получить губернатору Денмору. Логан заупрямился. Когда пришли к нему для переговоров, он обратился к послам со страшной жалобой. Это было потрясающее обвинение, которое «цветной» предъявлял белым людям. «Почему, — тщетно спрашивал он, — за верность вам, за помощь, дружбу, любовь, за все услуги вы отплатили мне так жестоко? Почему убили моих детей и вну-

КОВ?»

До конца своей жизни Логан так и не оправился от удара. Целые дни проводил в мрачном раздумье. Пил водку — напиток забвения. Избегал людей, одичал, отощал — стал печальной тенью прежнего вождя, знаменитого Логана. Он разучился улыбаться. Навеки погасло такое горячее прежде сердце.

В нем навсегда остался страх перед белыми людьми. Если кто-нибудь из них приближался к нему, он дрожал всем телом, как в лихорадке. Некогда неустрашимый и властный ирокез, теперь он не мог избавиться от страха: а вдруг беседующий с ним белый выхватит оружие и выстрелит ему в спину?

Лишь несколько лет спустя Логан немного успокоился. Доверие к белым людям не восстановилось, но иногда случалось, что потихоньку, с величайшей осторожностью, ничем не обнаруживая себя, он подкрадывался к поселениям белых. Притаившись за деревом, прячась, словно преступник, он предавался странному чувству: наблюдал издали за играми белых детей, алчущим ухом ловил их звенящие голоса. И тогда взгляд его теплел, глаза заволакивались пеленой, на губах появлялась робкая улыбка, лицо подергивалось. Это были единственные светлые минуты бедного индейца.

У Логана было удивительное сердце!



Сплав леса затормозился. Порочная экономика мстит сама себе



Почти на каждом озере видны остатки бобровых плотин



Станислав нашел свое счастье на солнечной поляне у реки Сен-Дени



Необычайная идиллия в канадском лесу



Анахарео была благородным человеком и отважным товарищем



Для фотоснимков, долженствующих изобразить давних ирокезов, позируют за несколько центов современные ирокезы



Мы преграждаем дорогу пожилому индейцу с длинными, спадающими на плечи волосами и заметным брюшком, несколько великоватым для потомка славных воинов



Грозных воинов, "римлян лесов", судьба превратила в шутов, вынужденных выставлять напоказ свое падение

Часть вторая

16. Мы плывем на Север

Просто голова может закружиться — столько различных впечатлений: прошлой ночью — дансинг в «Лидо», роскошь, тридцать красивейших гёрлс и оргия монреальских богачей. А нынешней ночью — триста миль по железной дороге до станции Оскеланео. Оскеланео — это убогая деревушка, за строенная временками, а также название красивой реки, текущей на запад. Мы спускаем на воду каноэ, грузим в него свои запасы и снаряжение, потом садимся сами — Станислав на носу, я на корме. Траппер едет со мной.

Плывем на север, по течению. За первым поворотом реки теряем из виду здание железнодорожной станции; на нашем пути больше не будет ни одного крестьянина, ни одного пастуха, ни одного поселения белых. Их заменят индейцы, немногочисленные старатели, изредка охотники, иногда какие-нибудь авантюристы. И мы. Всюду будет лес. Не нужно даже бриться.

Лодка наша понравилась мне с первого взгляда. Она прекрасна. В ней свыше четырех метров длины, грузоподъемность до двадцати центнеров. Она так легка, что ее может поднять один человек, и так быстроходна, что один удар весла продвигает ее на тридцать шагов. Сделана она из плотной парусины по типу индейского каноэ.

Когда мы садимся в нее в Оскеланео, я слегка волнуюсь, а Станислав крестится украдкой. На берегу стоят двое индейцев. Рассматривают нас и снисходительно улыбаются.

Сначала гребля не клеится. У каждого в руках только по одному веслу, но гребем мы вразнобой. Естественно: я новичок в индейской езде. Новичок и Станислав — знаток леса, но посредственный гребец. Я замечаю, что гребу сильнее, чем он. Поэтому после двух обычных гребков на каждый третий мне приходится превращать весло в руль. Послушное каноэ не в претензии на нас за такое неуважение к нему; оно легко разрезает воду и мчится вперед как стрела. Отличная лодка!

Индейское каноэ — это венец творения среди всех лодок мира: его красивые линии с забавно (но как целесообразно!) приподнятыми носом и кормой вызывают радостное изумление. Этот шедевр красоты и удобства создали индейцы. И какого удобства! Трудно представить себе жизнь человека без каноэ в северных лесах, где нет никаких иных путей, кроме водных, а лодку часто приходится переносить из реки в реку.

Белые переняли у индейцев этот тип лодки и по-своему улучшили, строя из материала более прочного, чем березовая кора. На таких лодках они совершили все открытия в глубине материка. Понятно, что белые опозитизировали каноэ; канадские поэты, воспевающие жизнь среди природы, достигают наибольшей выразительности в похвалах каноэ.

И в похвалах гребле. Канадцы посвящают проблеме гребли саженные статьи. Создают из нее своеобразный ритуал, доступный только немногим посвященным, а по существу не доступный никому. Ральф Коннор, автор интересной автобиографии, утверждает, что пятьдесят лет плавал на каноэ при любых обстоятельствах, но все еще не знает своей лодки, которая каждый день шутит с ним новые шутки, свидетельствующие о неисследованных тайнах ее природы.

«Хоть бы ты и сто лет прожил, — приводит он признание старого траппера, — все равно не узнаешь ее как следует. Она полна капризов и легкомыслия, как всякая женщина...».

Река Оскеланео отличается особым своеобразием: в ней почти нет течения. По карте мы знаем, что она течет на север, но убеждаемся в этом лишь спустя несколько часов, на первых порогах. Только там направление падающего с камней потока подтверждает верность карты. Кажется, у большинства канадских рек течение стало таким ленивым с тех пор, как на них построили плотины для облегчения лесосплава. Эти реки представляют собой попросту цепи более или менее широких водохранилищ и озер, перемежающихся иногда порогами и водопадами.

Какова ширина реки Оскеланео? Просто не знаю, что сказать: то двести шагов, то — через минуту — сто, а еще через пять минут — две тысячи. В сравнении с неизмеримо более быстрыми и стремительными южноамериканскими реками Оскеланео — река со стоячей водой и постоянно меняющейся шириной — производит странно тревожное впечатление. Сейчас она течет на север, словно убегая от линии железной дороги, — но не думай, путник, что она несет свои воды в Гудзонов залив. Милях в пятидесяти-шестидесяти от станции Оскеланео река наталкивается на непреодолимую цепь скалистых возвышенностей, большим кругом опоясывающих Гудзонов залив, и теряется в переплетении озер у подножия гор. Странные эти озера: большие, вытянутые, с фантастически изломанными очертаниями берегов, словно разодранных когтями чудовищного зверя. В сотнях невероятно причудливых протоков, заливов, полуостровов и островов воплощена поразительная красота природы — девственной, поскольку людей там почти нет.

Из этих озер, носящих название Gouin Reserwuar,[139] в центре которых находится, по-видимому, Обижуан, река вытекает уже под другим названием-Св. Маврикия — и в ином направлении: на юго-восток. Словом, возвращается к югу. Около станции Веймонт она подходит к железной дороге и обжитым местам, а еще дальше образует величественный водопад Iroquois chute [140] (куда только не забирались эти ирокезы!) и, широко разливаясь, впадает под Труа-Ривьер в реку Св. Лаврентия — важнейшую артерию, по которой сплавляется лес для крупного очага деревообделочной промышленности, созданного в Квебеке.

...Меньше чем через два часа наши весла перестают шалить и кое-как выравниваются. Требовательный мастер гребного искусства, возможно, не удозлетворился бы этим, но мы довольны.

Раскладываем перед собой на мешке карту и смотрим — куда мы поплывем? Сначала направимся к озеру Обижуан, до которого пятьдесят миль; там живет агент «Hudson's Bay Company».[141] Добираясь туда, мы пересечем несколько озер с экзотическими названиями. Обижуан будет нашей первой крупной остановкой.

Если бы мы — упаси бог! — приняли в Обижуане сумасбродный план бегства на лодке в неведомое, то нам открыт весь север. Переходя из реки в реку, из озера в озеро, через неправдоподобный лабиринт водных артерий, мы могли бы пересечь весь Лабрадор и закончить свои приключения на его восточ-

ном побережье. Но мы могли бы направиться и в другую сторону — через весь канадский запад, закончив путь на Аляске.

Названия рек и озер на карте звучат так: Шибугамо, Мистассини, Каниаписко, Абитиби, Васванипи. Названия эти манят своей странностью, возбуждают фантазию, предвещают приключения и поразительные открытия. Они кажутся обманчивыми, но как не поверить этим названиям, если черные и голубые иероглифы карты так чудесно превращаются в действительность? Вот мы проплываем изгиб реки. На карте это обыкновенная черная искривленная черточка; в действительности же — запечатленная в пейзаже сказка. Тучный луг, причудливые скалы, стройные ели-словно какие-то волшебные декорации. Я верю словам на карте, словам, кажущимся такими обманчивыми!

Но пейзажи эти я разглядываю только украдкой: не хочу уже теперь растрачивать весь свой запас энтузиазма. Охотнее всего возвращаюсь в мыслях к лодке, ибо в ней сейчас весь наш мир. Станислав на носу, я на корме — два полюса на страже этого мира. Между нами лежат узлы, мешки и чемоданы. Беспорядочная куча, прикрытая брезентом. Инертная, перевязанная и неподвижная; даже трудно поверить, что она так важна, что она — основа нашей экспедиции. Каждый находящийся в ней предмет оживет в свое время, выполнит какую-то важную, необходимую функцию. Ничто нам не мешает в лесах, преодолеем все препятствия.

К сожалению, оказывается, не все... Плыдем у левого берега, когда Станислав вдруг прерывает мои размышления пронзительным криком:

— Направо! Быстрее направо! Правее, правее!

На самом берегу под кустом ивняка стоит какой-то зверек величиной с небольшую лису. На черной шкуре, вдоль хребта, протянулись две светлые полосы. Зверек явно презирает нас: он отнюдь не убегает, а поднимает пушистый хвост и неприлично, поворачивается к нам задом. При этом оглядывается на нас исподлобья.

Молниеносными ударами весла Станислав пытается отдалиться от берега. Я помогаю ему что есть силы.

— Скунс! — говорит Станислав.

Теперь и мне понятен испуг траппера, и меня самого охватывает страх. Скунс — это американская вонючка. Едва мы успеваем удрать, как доносится приглушенное шипение: скунс выпускает в нас из своего зада струю зловонной жидкости. Прицеливается метко, но, к счастью, недолет. Не хватает двух шагов до нашей лодки. Но и этого достаточно: в мгновение ока воздух наполняется таким смрадом, что меня вдруг начинает тошнить. Только после нескольких минут отчаянной гребли мы выбираемся из отравленной зоны. Тем временем скунс не спеша исчезает в кустах.

— Если бы хоть несколько капель этой жидкости попало в лодку, — говорит Станислав, — наша экспедиция тут же закончилась бы с позором и нам пришлось бы возвращаться домой... Зловоние скунса может отравить человеку жизнь на несколько недель.

Спустя четверть часа я вижу в мелкой воде щуку. Неплохой экземпляр, фунта на три. Щука неподвижно греется на солнце, вытаращив на меня свои хищные глаза. Затем происходит событие, от которого меня пронимает дрожь. Другая щука, немного большая, фунтов этак на пять, стрелой вылетает из глубины реки и широко раскрытой пастью хватает задремавшую сестрицу.

Силится проглотить ее, но добыча слишком велика. Агрессор заглатывает только хвост и часть тела. Резким рывком подвергшаяся нападению щука пытается вырваться, но тщетно: сильные челюсти держат крепко. Начинается адская суматоха. Вгрызшееся одно в другое тело, удлинившееся, словно чудовищная змея, выполняет в воде какой-то дьявольский танец, то исчезая в глубине, то выпрыгивая на поверхность. Это какой-то неистовый взрыв яростной энергии, судорожных движений, необузданной злобы...

Бой длится недолго. Схваченная щука, сначала бешено вырывавшаяся, быстро теряет силы, движение своеобразного двучлена начинает замедляться. Щуки уже не появляются на поверхности. Видимо, нападающая победила и держит свою жертву внизу. Поверхность воды снова становится зеркальной. Наступившая тишина означает конец подводной драмы...

Слегка приоткрылась завеса над миром лесов. Таинственным миром праинстинктов.

И вдруг мы с изумлением взглядываем на небо. Слышен рокот самолета. Вот он, мы видим его! Появляется на юге, со стороны станции Оскеланео, и летит нашим курсом, на север. Это гидроплан. Он красиво поблескивает в лучах послеполуденного солнца. Парит очень высоко, словно опасается близости дебрей и их инстинктов. Впрочем, он и сам символ не слишком-то благородных человеческих инстинктов: летит к озеру Шибугамо, где белые горняки добывают золото.

Гидроплан пролетает прямо над нами... Сколько удивительных впечатлений за последний час: сперва противный скунс, потом щуки, а теперь вот рокочущая в небе машина! Следим за нею с большим любопытством, хотя еще не остыли от предшествовавших событий. Возбужденные, мы так задираем головы, что начинает болеть шея; Станислав восклицает:

— Голова кружится.

Это правда. Головы действительно могут закружиться, и не только потому, что мы задираем их...

17. Скалы, пихты и черные очи

Мне очень нравится космогония индейцев, верящих в два божества близнеца: в Наньбошо — духа добра, солнца и света, а также в Чакенапенокадуха зла, луны и темноты. Божества эти постоянно воевали друг с другом, но всегда так удачно складывалось, что в конце концов побеждал добрый дух и погибал злой. Издыхая, злой дух лопался от злости и превращался в скалы, горы и камни. Около Гудзонова залива злой Чакенапенек получил, должно быть, хорошую трепку, так как все окрестности на пространстве в несколько тысяч километров — сплошная скала, усеянная валунами и каменистыми возвышенностями.

Мы сейчас плывем по этим следам злого духа. Всюду под нами скала. Разумеется, со временем на нее нанесло немного земли, перегноя и ила, а добрый дух солнца и света развел на этой скудной почве неплохой растительный мир, но злой дух все еще напоминает о себе. Камень часто вылезает на дневную поверхность, особенно там, где вода размыла берега. Он определяет здесь направление и формы всей жизни, неустанно подавляя ее. Камень стал подлинно всевластной силой.

Лес. Местами он великолепен, с густым подлеском, а местами опустошен пожарами — бедствием края. Корни деревьев не проникают в землю глубже

чем на метр-полтора: дальше идет скала.

Это уже явственно лес Севера. В нем преобладают пихты, ели и сосны, кое-где перемежающиеся с березой. Это лес тысячи прелестнейших пейзажей, где в причудливом капризе переплелись четыре стихии: вода, скалы, взгорья и деревья. Они образовали необычайный феномен: бесконечную серию привлекательных ландшафтов. Что ни поворот реки — чудо, что ни шаг — новое очарование.

Тон задают пихты и ели. Я бы сказал: торжественные стройные колонны, вершины которых возносятся к небу. Пихты и ели — это и впрямь изумительные, рослые деревья. Их пирамидальные силуэты придают всему порядок и спокойствие, простоту и степенность. Благодаря им лес обретает черты исключительного благородства и достоинства. Все, что мы видим вокруг, обрамлено снизу гранитом, а сверху зигзагом остроконечных вершин; в центре — широкое водное зеркало. Все это выразительно, светло, прямолинейно, энергично, прочно и както добротнo. Приятно созерцать природу, которая вызывает столько доверия и ласкает взор. Хотелось бы долго жить здесь, отдаваясь чистым, высоким мыслям. Треугольные кроны уводят прямо в голубое небо...

Но я знаю и другие леса — там, далеко на юге, на Амазонке. Люблю их, тоскую по ним. Они пышные, буйные, непроходимые, таинственные и жаркие, как красивая женщина, и притом полны ловушек, коварны, жестоки и ненасытны. Подобно страстной, злой женщине, дебри Амазонки сначала опьяняют, потом мучают и губят. Человек боится их, а все-таки тоскует. Под пальмами и среди лиан бурлят кровожадность и безумие. На севере же, среди елей, царят покой и отдохновение. Среди елей хотелось бы жить...

Солнце клонится к западу, на воде появляются все удлиняющиеся тени. В лесу тишина. Единственный звук на реке — приглушенный плеск наших весел. Блаженство разлито в розоватом воздухе. Неожиданно оно нарушается новым волнующим впечатлением. На одном из поворотов ветерок дует с берега и приносит нам прелестный сюрприз: запах приятный и сильный, словно какой-то расточитель воскурил в лесу огромное количество драгоценнейшего фимиама. Всепроникающее благовоние смолы почти дурманит. Такого приятного аромата я не знал на Амазонке.

— Что это? — пораженный, спрашиваю Станислава.

— Spruce! — скупо отвечает траппер между двумя ударами весел.

Spruce — это пихта. Стало быть, в этом лесу живут скупцы, испускающие такое отвратительное зловоние, и растут деревья с такой благоуханной смолой!

Сравнение тропических джунглей с женщиной вызывает во мне еще одно воспоминание. Во время дальнейшего пути меня преследуют большие черные глаза одной француженки. Я танцевал с ней вчера ночью в монреальском дансинге «Лидо». Прекрасные глаза неотступно предо мной. Эта молодая канадка — красивая девушка, любит прекрасное, верит в идеалы, пописывает слабые новеллы для толстых журналов и отлично танцует. Очаровательное, прекраснoдушное создание, выпестованное состоятельными родителями, собирается в поездку по Европе.

И вдруг за нашим столом разразилась буря: пламенные глаза девушки загорелись гневом и стали еще прекраснее. Виновником оказался я. Когда девушка поинтересовалась моими впечатлениями от посещения Валь-де-Буа — поселка на реке Льевр, я, несчастный, сказал правду о том, что видел, — о низ-

ком интеллектуальном развитии французского крестьянина. Выражался осмотрительно, но и этого оказалось достаточно, чтобы на меня посыпались молнии негодования.

— Это фантазия, это неправда! — восклицала прекрасная патриотка и, желая совершенно уничтожить меня, спросила: — Знаете ли вы книгу Эмона «Мари Шапделен»?

— Знаю... — сокрушенно ответил я.

— Вот видите, — торжествовала девушка, — значит, вы неправы!

Эмон идеализировал канадского крестьянина, наделил его многими добродетелями и при этом хватил через край. Вероятно, он не видел Валь-де-Буа. Там крестьяне иные — темные, отсталые, но подлинные... Впрочем, черт с ним, с Эмсйгом! Моя собеседница была так привлекательна, что я уступил и признал ее правоту. У нее были такие пленительные глаза!..

(Меня мучает вопрос: почему тут, на реке Оскеланео, эти глаза вспоминаются мне так отчетливо и настойчиво?)

Особенное и нелегкое это дело — ощущение действительности. Можно смотреть, но не видеть, можно касаться, но не чувствовать... Невольно возникает тревожный вопрос: увижу ли я подлинный облик чащи, а не ее маску, пойму ли ее истинную сущность? Не повторю ли ошибку Эмона?..

Прелестны эти леса, через которые мы плывем. Живительно их дыхание, стройно высятся пихты, быстро разрезает воду наше каноэ, отлично работают мышцы рук. Я не теряю надежды: пожалуй, сумею найти общий язык с лесом. А может быть, и люблю его?

С некоторого времени меня преследует упорная мысль: окрестности не только безлюдны, как мы и предполагали, но не видно даже никакого зверя.

— Где звери? — спрашиваю Станислава.

Вот уже много часов, километр за километром, мы плывем сквозь богатейшую чащобу: чередуются глухие лесные дебри, болота и заливные луга — подлинные убежища зверя, но самого зверя нет. Пустынность постепенно начинает раздражать и угнетать.

— Где звери? — повторяю вызывающе.

— А скунс? — напоминает товарищ.

— Скунс — это маленький хищник, пустяк. А я имею в виду настоящих зверей...

— Мы все еще близко от железной дэроги. У дикого зверя сотни километров, до самого Крайнего Севера, — зачем ему лезть к людям?.. А может быть, мы гребем слишком шумно и отпугиваем его?

«Ага! — мысленно усмехаюсь я. — Ясное дело. Проживи ты хоть сто лет, все равно не научишься грести!»

В молчании плывем дальше, но я замечаю, что теперь Станислав более внимательно осматривает берега. Особенно зорко исследует он боковые протоки.

И вот мы видим: узкий заливчик вдается в берег — вероятно, устье какойто речушки. Приглушенным голосом Станислав велит мне вынуть из воды весло и соблюдать тишину. Направляет лодку ко входу в залив шириной не больше 15–20 футов, оборачивается ко мне и шепчет:

— «Ремингтон»!

Достаю ружье, но пока не снимаю предохранитель.

— А чего можно ожидать? — спрашиваю таким же глухим шепотом.

Станислав мимикой дает понять, что еще не знает, чего именно можно ожидать, но хочет попытаться заглянуть в глубь леса.

Вплываем в речку. Минуем несколько округлых изгибов. Метров через сто лес начинает редеть, открывается небольшое озеро. К самому берегу мы не подходим. Останавливаемся под прикрытием кустарника, но так, что нам видна вся водная поверхность.

Озерко небольшое, метров двести в поперечнике. Часть его заросла у берегов тростником, другая часть открыта до самого леса. Снова видим чудесный глухой угол, но опять ни одного достойного внимания зверя. Лишь несколько уток вертятся на воде. — Есть! — удовлетворенно бормочет Станислав. — Утки! — подтверждаю я.

— Не только утки... Присмотритесь-ка к тем кустам!

Из воды неподалеку от берега выступает с десятков небольших круглых бугров из травы, формой и размером напоминающих верхушки стогов сена, какие можно увидеть летом на лугах в Польше. Нетрудно догадаться, что эти бугры созданы искусственно.

— Неужели жилища бобров?

— Нет... — отвечает траппер. — Muskrats.[142]

Значит, это знаменитые ондатры, играющие такую важную роль на пушном рынке Канады! Теперь я вижу, что это не бобры: ондатры строят свои жилища преимущественно из травы, а бобры — только из ила и ветвей. Не видно также поваленных или обглоданных деревьев — столь характерных следов деятельности бобров. Судя по обилию бугров заключаем, что колония заселена довольно большим количеством ондатр.

— Стало быть, есть звери! — заявляет Станислав не без бахвальства.

— Есть! — признаю охотно. — Но, пожалуй, мы их так и не увидим. — Да. Они кормятся в основном ночью...

Зато замечаем кое-что иное: лису. Едва различимое, полускрытое травой рыжее пятно притаилось на лугу, неподалеку от озера. Вероятно, подкрадывалась к воде, чтобы поохотиться за утками. Я говорю «подкрадывалась», потому что сейчас она застыла на месте. В бинокль вижу, что она настороженно смотрит в нашу сторону. Утки еще не заметили нас, но лиса мгновенно обнаружила присутствие врага, несмотря на нашу маскировку. Замерла.

— В эту пору у нее уже неплохой мех... — живо шепчет Станислав и глазами показывает на «Ремингтон». — Пальните-ка по ней!

До лисы каких-нибудь шестьдесят шагов, цель нетрудная. Но я восстаю:

— Нет! — кричу громко. — Вы что же это себе думаете? Разве для того я переплывал Атлантику и забираюсь в эти северные дебри, чтобы убить несчастную лису? Не буду стрелять!

Заслышав эту громогласную тираду, перепуганная лиса подскакивает вверх и как угорелая мчится к лесу, а утки с шумом взлетают с озера и скрываются вдали.

Станислав, оторопев сначала, приходит в себя, и на его лице появляется широкая улыбка. Он согласен со мной.

— Возвращаемся в нашу реку! — хватаясь за весло, говорит он.

Выбираемся из заливчика — и снова те же ритмичные всплески весел на широкой воде и та же непрерывная цепь чарующих пейзажей.

— Стоп! — кричит внезапно Станислав, переставая грести.

Я тоже поднимаю весло. Впереди, на поверхности воды, показалось какое-то существо. Когда мы приближаемся, то видим зеленого ужа, плывущего через реку с одного берега на другой. Это неядовитая полуметровая змейка, хорошо знакомая нам по лесам около Валь-де-Буа. Вместе с тем это законченный безумец и явный самоубийца: он бросился в реку, кишащую голодными щуками! Но у него намечена своя цель — противоположный берег, освещенный теплым солнцем. К нему-то и стремится уж по прямой, как веревка, дороге, держа голову высоко над поверхностью воды.

Я жду, что вот-вот щука схватит его и утащит в глубину. Знаю, сколько их в этой реке, поэтому отсчитываю последние минуты смельчака. Но ему, видимо, покровительствует добрый дух — может быть, Наньбошо? И — просто поразительно! — дерзкий благополучно переплывает реку, а выбираясь на землю, еще медлит, вертится; затем покидает воду и спокойно скрывается в кустах, живой и невредимый.

Мы изумлены. Почему его не схватила ни одна щука? Куда смотрели хищницы?.. Это остается тайной реки.

Мне хочется петь, но этого нельзя делать. Станислав замечает на берегу лосиную тропу. Значит, здесь есть и лоси? Мы плывем теперь мимо лугов и болот, зорко высматривая зверя. Но пока ничего не видно.

Потом скалы и лес снова приближаются к реке. Время от времени перед моими глазами появляются глаза красивой француженки, но теперь я уже знаю почему; видимо, они сопровождают меня, как талисман. Пусть сопровождают: на фоне стройных елей и твердых скал хорошо видеть теплые глаза. На душе у меня весело: виной этому приключение с ужом.

На берегу, словно крышки огромных сокровищниц, лежат каменные плиты. Ведь это царство зловещего Чакенапенока! А если бы магической силой поднять эти скалы, убрать враждебную тяжесть и посмотреть: какие сокровища прячет там недобрый божок?..

Со стороны леса долетает ветерок, приносящий упоительное благоухание пихт. Лес пахнет смолой.

18. Леса горят

Около пяти часов вечера я перестаю грести, глубоко вдыхаю воздух и говорю Станиславу:

— Пахнет дымом!

У Станислава насморк, он ничего не чувствует. Говорит, что я ошибаюсь: не видно никакого лагеря, лес на десятки километров вокруг безлюден. Но у меня чуткий нос, и я стою на своем: в воздухе пахнет дымом.

— Откуда ему взяться? — качает головой Станислав, и мы плывем дальше.

По обоим берегам реки Оскеланео высокоствольный хвойный лес. Над бором с запада на восток тянутся, перелетая через реку, стаи птиц. Это канадские сойки с чубатыми головами, blue jays.[143] Знакомые всем птицы, крикливые и любопытные: милые лесные сорванцы и задиры. Сейчас большая стая их — не менее двадцати соек — отдыхает на ближайших деревьях, горланит, словно лес принадлежит только им. Они взволнованы, не перестают назойливо верещать ни на лету, ни тогда, когда сидят на ветвях.

Вдруг с запада доносится далекий, но громкий крик: керррр! «Ага... — с удовлетворением отмечаю я, — сойки встревожены, так как за ними гонится ястреб!» Вскоре появляется в небе большой крылатый хищник с яркой красноватой грудью, величественно проплывает высоко над нами, не обращая внимания на перепуганных птиц, и исчезает из виду за восточной стеной леса.

Сойки, на минуту умолкшие, теперь срываются с места и, подняв тревожный крик, летят на восток, за ястребом.

— Это странно! — говорит Станислав. — Все удирают в одном направлении...

Но странные явления не кончаются. Изменяется и солнечный свет. Час назад он был еще нормальным — розовое предвечернее сияние, а теперь приобретает какой-то неестественный фиолетовый оттенок. Такими же фиолетовыми становятся и все остальные предметы: белое облачко, каменистый берег и даже деревья. На наших глазах происходят чудеса: вода меняет цвет и принимает зловещий, мрачный вид. Потом солнце скрывается.

Когда болотистый луг открывает нам более широкий кругозор, убеждаемся, что солнце зашло не за обычную тучу, а за тяжкую серую дымовую завесу, застилающую небосклон с запада. У нас замирает сердце: лес горит.

Пожар еще очень далеко, но дымом затянуло весь горизонт на северозападе, а ветер дует оттуда прямо на нас. Пожар может захватить нас на реке; и это грозит неожиданными неприятностями. Как явствует из карты, в четырех милях дальше к северу Оскеланео впадает в большое озеро. Если мы доплывем до него раньше прихода пожара, мы избежим опасности.

Гребем изо всех сил. Каноэ с громким шипением разрезает воду. Со лба стекает пот. Надо спешить, тем более что день подходит к концу. Быстро проходим первую милю, потом вторую и третью. Под деревьями протягиваются стущающиеся тени. На третьей миле неожиданно слышим впереди шум и плеск порогов. По мере нашего приближения шум усиливается, переходит в гул!.. Увы! Дорогу нам преграждает водопад, за которым на протяжении нескольких сот метров пенятся пороги.

Раздумывать некогда. Выпрыгиваем на землю, привязываем к носу и корме лодки по веревке и буксируем каноэ вдоль берега. Нелегкое это дело прыгать с камня на камень и в то же время следить, чтобы лодка не разбилась о скалы и чтобы ее не утащило течением. Веревки врезаются нам в руки. Наконец мучение окончено: измученные и вспотевшие, мы благополучно выводим лодку на спокойную воду, но... тут нас ждет горькое разочарование — впереди шумят новые пороги, еще более грозные, чем прежние. Тем временем становится темно. Двигаться дальше в таких условиях нельзя: рискуем разбить лодку и потерять багаж.

— Переночуем здесь! — спокойно говорит Станислав и старательно привязывает каноэ у берега.

Над нашими головами показываются звезды. На западе по небу разливается алая вечерняя заря, но и она необычайна: чем ближе к ночи, тем она кровавее, тем ярче. Зарево пожара ширится. Багровое небо полыхает всё более зловеще. Зрелище, возможно, и захватывающее, но в эту минуту нас пронизывает страх. Алое зарево отражается на ближних стволах. Деревья над нашей стоянкой похожи на злых духов. Запах дыма тревожно усиливается: это авангард приближающегося бедствия.

Станислав, опытный лесной житель, возится несколько минут в темноте, что-то рвет, ломает. Потом неожиданно к небу взвивается столб пламени. Веселый, потрескивающий огонь производит чудеса. Рассеивает подавленное настроение и бросает яркий свет на окружающий, скрытый до этого мир — на уродливо изогнутые сухие ветви, поваленные трухлявые стволы, резкие контуры неожиданно выступившей скалы, — мир фантастический, занятный и в этот момент удивительно дружественный. Я издавна знаю волшебные свойства костра, но никогда его пламя не действовало на меня так благотворно, как в этот вечер над рекой Оскеланео.

Ужин еще больше повышает наше настроение. Отличная пища для проголодавшихся желудков: разогретая на огне банка *roge and beans* — белой фасоли со свиным салом, затем банка мяса, хороший хлеб, свежее масло, банка ананасов, очень крепкий и сладкий чай с консервированным молоком, папиросы. С папиросой нервы совсем успокаиваются. Смело поглядываем на небо и строим планы. Детально обсуждаем защитные средства на случай, если пожар дойдет до реки. Снова чувствуем прилив сил.

Пожар все еще далеко: видно только зарево. Отблеск его неравномерный: временами слабеет, а иногда неожиданно набирает яркость, рассыпается лучами, явственно вздрагивает — как живой. Пожар напоминает чуткого врага, осторожно выпускающего щупальца в небе, как бы раздумывая, где лучше напасть.

Нашествия этого врага люди боятся, как величайшего зла. На всем пути от станции Оскеланео мы не встретили ни одного человека, зато не менее чем на десяти поворотах реки были прибиты к стволам деревьев большие заметные издалека предупредительные плакаты о пожарах. В каждой коробке спичек находится листок с просьбой соблюдать все меры предосторожности во время курения в лесу. На нашей палатке фабрика вывела надпись:

«Не забывайте гасить костры!».

Если какой-нибудь иностранец отправляется в лес, он должен сначала получить контрольный пропуск: на станции Оскеланео нам пришлось изложить чиновнику подробный план экспедиции — куда, как и зачем мы плывем.

Казалось бы, это забавная гипертрофия бюрократизма в почти безлюдной глуши. Однако такая предусмотрительность оправдана. Вероятно, кто-то неосторожный там, на западе, вызвал пожар. Леса, пахнущие благовонной смолой, к сожалению, горят, как порох, особенно к концу лета. Ежегодно огонь пожирает сотни квадратных километров леса. Пожары — это бич Канады, враг всех людей и зверей, живущих в лесу.

Станислав решил дежурить сам и предлагает мне ложиться отдыхать. Ему не приходится повторять дважды: я измотан первым днем гребли. Расстилаю на земле одеяло, накрываюсь с головой непромокаемой парусиной (палатку сегодня не ставим) и стараюсь заснуть. Слышу шум порогов, треск костра, потом громкую молитву Станислава и в конце концов засыпаю. Во сне продолжаю переживать драматические минуты, меня душит кошмар, а горящие деревья валятся мне на грудь. Позже кошмар исчезает и уступает место блаженному ощущению легкости и покоя.

Внезапно вскакиваю, словно почуяв грозящую опасность. Срываю с головы

парусину. Вокруг совершенно темно. Нет костра, нет Станислава, нет дыма в воздухе, нет зарева на небе. Зато моросит холодный дождик, и свежий воздух снова пахнет смолой: дышать им — блаженство. Это не сон — я слышу дыхание Станислава. Он залез под полотнище и спит рядом со мной крепким сном праведника. Опасность миновала. В полночь полил дождь и потушил лесной пожар.

Я обнаружил также причину своего пробуждения. Из-под ближайших деревьев доносится приглушенное повизгивание и возня каких-то зверьков. Освещаю электрическим фонариком соседние кусты, но, разумеется, ничего не вижу. Становится холодно, и я прячусь под парусину. Зверьки умолкли, зато слышен шум обоих порогов: того; который мы преодолели вчера, и того, который ждет нас утром.

Жизнь снова вошла в свою колею. Я спокойно засыпаю.

19. Я обретаю нового друга

Утром, после лесного пожара, Станислав, очевидно, встал с левой ноги: весь день его преследуют неудачи. Начинаются они тут же, на стоянке, — Станислав теряет перочинный ножик. Хаос камней и ветвей вокруг костра поглощает ценную якобы вещь и портит моему товарищу настроение. Затем, когда мы проводим лодку через пороги, Станислав спотыкается на скользком камне и с размаху плюхается в воду. Светит солнце, тепло, и эта неожиданная ванна не страшна, но настроения не улучшает.

За порогами река расширяется — и тотчас же впереди показывается голубая поверхность огромного озера. Возле устья реки стоит хижина, построенная из толстых бревен. В ней живет рыбак, о котором нам рассказали на станции Оскеланео. К сожалению, хижина заперта, окошко закрыто, и ни одна живая душа не отзывается на наши оклики. Зато из соседних кустов выскакивают огромные собаки. Целая стая псов: шесть. Сбегают к берегу и облаивают нас хриплыми голосами. Но делают это по обязанности, а не по убеждению и скверно изображают злость.

— Это Huskies![144] — объясняет Станислав.

Лайки — это эскимосские собаки. Я смотрю на них с уважением. Это слава севера, символ героизма, самоотверженной преданности, самопожертвования. На Аляске человек поставил им памятник благодарности. Зимней порой лайка — единственный союзник человека, обеспечивающий его победу над природой.

Часто, разглядывая фотографии тихих калифорнийских озер, я удивлялся: они настолько неподвижны, что горы отражаются в воде с невероятной четкостью. Теперь я убеждаюсь, что такая тишь бывает и на канадских озерах. Вот гористый берег со скалами и елями над водой, и тот же берег со скалами и елями, но на самой воде. В ней с необычайной четкостью отражены мельчайшие детали деревьев, самые маленькие веточки. Очень странное это зеркало, и вызывает оно очень странные иллюзии: если взглядеться, то отраженный в воде мир покажется более подлинным, более настоящим, чем мир на берегу. На это колдовство природы человек глядит с немым изумлением, но одновременно рассекает прекрасную картину носом своего каноэ, грубо разрушая ее. Остается только волнистая полоса и разрушенный мир, лишенный чар...

На сей раз Станислав оказался прав. Едва мы одолеваем три четверти на-

шего пути (до нашего берега еще добрая миля), погода неожиданно портится, срывается встречный ветер, дующий с неудержимой силой. Просто поразительно, как внезапно, за несколько секунд, поднимается здесь буря, сразу же взгромождая огромные волны.

Бывалые люди рассказывают ужасные истории о дикости подобных вспышек. Чем меньше озеро, тем оно яростнее. Тогда как большим водным пространствам требуется обычно много времени, чтобы разбушеваться, малые озера начинают бушевать сразу и с большой свирепостью. Люди, находящиеся всего в нескольких десятках метров от любого из берегов, часто не могут достичь цели и гибнут.

Такой вот внезапный вихрь — совершенно непредвиденный, так как дело происходит на большом озере! — застигает нас далеко от берега. Тут не до шуток. Счастье еще, что ветер дует прямо в лоб, а не сбоку. Гребем под дождем как одержимые, но продвигаемся как черепаха. Спустя какое-то время Станислав оборачивается ко мне. Лицо его искажено яростью, он что-то гневно выкрикивает. Я не понимаю его, буря поглощает слова. Гребу еще сильнее, чем прежде.

Наконец ценой нечеловеческих усилий приближаемся к берегу. Здесь уже нет таких волн и легче грести. Причаливаем.

Но за первым озером сразу же следует второе.

— Может быть, остановимся тут на ночь? — несмело подсказываю Станиславу. — До утра буря пройдет...

— Нет! — ворчливо отвечает трапшер, не глядя в мою сторону. — Не будем останавливаться!

— Здесь нам было бы неплохо...

— Еще рано ночевать! — возмущается он. — Поплывем дальше! Здесь мало топлива.

Нас окружают ели, в сотне шагов от нас торчит несколько сухих стволов. Топлива, пожалуй, достаточно. Но Станислав зол на меня, умника, который настоял на нелепом плавании через середину озера.

Теперь он в свою очередь говорит повелительным тоном и приказывает:

— Плыдем дальше!

Переправа через озеро вконец измучила нас, но я не спорю, тем более, что ливень прекращается.

Расстояние между озерами невелико, меньше ста пятидесяти шагов. Через портаж,[145] как здесь называют такие места, мы переносим каноэ и наш багаж и плывем дальше. На этот раз держимся вблизи берега. Путь удлиняется, зато треста легче — лес защищает от ветра.

Снова большое озеро. Часа через два, длинной и тонкой линией преграждая путь, перед нами возникает полуостров. Он доходит почти до середины озера. В центре его светлеет желтый песчаный пляж. Место очень привлекательное. Мы измучены. Время идет к вечеру. Добираемся до косы и раскидываем на ночь лагерь. За весь день не прошли и десяти миль; маловато!

Станислав разводит на песке костер и готовит ужин, я ставлю палатку. Полоса леса, покрывающего среднюю часть полуострова, защищает нас от ветра. У меня быстро восстанавливаются силы и хорошее настроение. Зато Станислав что-то переживает; он зол и молчалив.

После ужина взрывается. Говорит, что он опытнее меня в лесу и на воде,

что знает канадскую природу лучше, чем я, что еще немного и благодаря моему безрассудному упрямству мы бы сейчас лежали на дне озера. Он просит вежливо, но решительно, чтобы впредь я считался с его опытом и лучшим знанием лесных обычаев. Это горькая, но заслуженная мной пилюля: посреди озера действительно бушевали опасные волны. Я осознаю свою вину.

Тут мне на помощь приходит неожиданное происшествие. Из леса вдруг доносятся треск ломающихся ветвей и тяжелое дыхание бегущего к нам крупного зверя. Вскакиваем оба и напрягаем зрение. Из леса на песок выбегает — можно ли верить глазам? — мой четвероногий утренний друг, огромный пес с белым носом! Успокоенный, я снова сажусь.

— Ради бога! — кричит перепуганный Станислав. — Немедленно вставайте!

Но я весело смеюсь ему в глаза. Станислав подскакивает ко мне с ужасом во взгляде и пытается силой поднять меня. Тем временем пес уже подбежал ко мне и, повизгивая, исполняет дикий танец радости. Потом ложится у моих ног и на собачий манер выражает свою дружбу. Станислав смотрит на все это, удивленный, сбитый с толку.

Теперь я рассказываю ему об утреннем приключении. Оба весело смеемся. У собаки тоже радостно на душе. Пробежала за нами больше десяти миль по лесам и явилась в самое время, чтобы стащить почтенного Станислава с опасных высот зазнайства и морализма.

Я чувствую, что обрел нового друга.

20. Четыре выстрела по волкам

Нас беспокоят и раздражают таинственные волны на озере. Что вызывает их? Неизвестно.

Перед заходом солнца бурный ветер утих и волны улеглись. К ночи восстановилось такое же нерушимое спокойствие, какое было перед бурей. Станислав отправляется в лес. В воздухе царит глубокая тишина: я слышу на расстоянии ста шагов каждое покашливание товарища и треск каждой ветки.

Теперь я, по-видимому, пугаюсь собственной тени и вижу опасность там, где ее нет: спокойствие, которое так быстро овладело природой, кажется мне подозрительным. Говорю об этом Станиславу.

— Пустые страхи! — успокаивает он меня. — Погода установилась.

Гм, если так, то хорошо.

Вместе с наступлением темноты на востоке выползает полная луна, красная и огромная. Отражается в воде и прокладывает искристую тропу от далекого, далекого берега прямо к нам, почти к нашим ногам. Тропа неподвижна и гладка, как и само озеро.

Вдруг начинаем всматриваться более внимательно в направлении лунного света: в полумиле от нас что-то неожиданно всколыхнуло воду, вызвав волну. Это выдает лунная тропа, которая разбивается на маленькие, сверкающие блики. Ветра нет. Очевидно, какой-то ночной зверь вошел в воду с берега, на котором разбит наш лагерь. Но какой зверь? Может быть, лось?.. Сердце начинает биться учащенно.

С той стороны, где всколыхнулась вода, доносится приглушенный расстоянием протяжный крик: у-у-у-у...

— Loon, — заявляет Станислав.

Лун — нырок, который частенько кричит до поздней ночи. Весьма возмож-

но, что именно он плещется там в воде. Когда крик раздается во второй раз, Станислав изменяет мнение: это не нырок. Но кто? Напрягаем слух, но крик не повторяется. Поверхность воды успокаивается, и луна снова прокладывает ничем не нарушаемую тропку через озеро. Тишина скрывает тайну.

Мой новый друг стал предметом небольшого спора. Станислав не верит ему и говорит, что только плохой пес и бродяга покидает свой дом и шатается по лесу.

— Собака должна быть верной, привязанной к дому! — поучает он.

По существу у Станислава мягкий, даже уступчивый характер, но я уже знаю: если он что-нибудь вобьет себе в голову, то лучше его не трогать. Знаю, но почему же, несмотря на это, вступаю с ним в совершенно ненужные пререкания?

— Мой пес верный! — защищаю я собаку.

— Верный? Такой цыган? — огорченно вздыхает мой спутник.

— Именно верный! — подтверждаю я. — Верный дружбе, которую мы с ним завязали сегодня. Потому он и прибежал в наш лагерь, что искал здесь друга...

Станислав качает головой и молчит. Я хочу сказать ему еще, что собираюсь купить этого пса, но он, к счастью, сдерживается, и я тоже умолкаю. Все это такой вздор! Нас окружает дивный канадский пейзаж, а я, беспутный, не замечая этого, гублю его очарование...

Пора спать. В просторной палатке места хватит на четверых, а нас только двое. Третье существо — пес. Он тихонько залезает в палатку и, припадая к земле, посматривает на нас испытующим и беспокойным взглядом.

— Нет! — противится Станислав. — В палатке спят только люди!

Неужели я должен снова поднять брошенную перчатку и ссориться из-за собаки?

— Надо уважать добрые обычаи! — напоминает мой товарищ. — По канадским обычаям собаки должны ночевать во дворе.

Ну обычай так обычай! Погладив пса, я собираюсь выгнать его из палатки. Но умное животное поняло слова Станислава и само удаляется.

Когда мы залезаем под одеяла, пес жалобно повизгивает, сопит и ворчит. Наверно, ему не по душе такое несправедливое решение, однако вскоре он примиряется со своей собачьей долей. Я слежу за ним сквозь щель в палатке и убеждаюсь, что это опытный бродяга и большой ловкач. Он засыпает песком тлеющие остатки костра и потом ложится на этом припечке, отлично защищающем его от ночного холода.

Лежим. Сон что-то не приходит. Слишком много впечатлений было в этот день. Буря, переправа через вспененное озеро, а перед этим встреча с собаками рыбака... Станислав тоже не спит.

— Что бы это могло быть? — ни с того ни с сего говорит он.

— О чем вы? — спрашиваю.

— Да вот давеча, этот голос издали.

— Может быть, нырок?

Но Станислав не отвечает: его сморил сон. У меня тоже слипаются веки.

Мы спим крепко, как вдруг нас вырывают из сна какие-то звуки из леса. Моментально просыпаемся. Слышим одно, два, три протяжных завывания такие же самые, как и вечером: У-у-у-у... Тоскливые, приглушенные и уже близкие, так как слышны сквозь стены наглухо закрытой палатки. Станислав

быстро поднимает голову.

— Теперь я знаю, кто это! — шепчет он. — Волки! Они близко...

Сдерживая дыхание, я весь превращаюсь в слух. Но из леса не доносится больше ни один звук. Зато пес наш перед палаткой начинает приглушенно рычать. Он рычит тихо, злобно, протяжно и беспрерывно, с жуткой, едва сдерживаемой ненавистью.

— Волки пришли по следам пса! — заявляет мой спутник. — Где наши ружья?

— Под изголовьем...

Ищем на ощупь, находим. Два пятизарядных автоматических «Ремингтона». Осторожно развязываем вход в палатку.

Тем временем луна забралась высоко в небо и, серебряная, освещает сейчас все вокруг. У палатки, припав к земле, непрерывно рычит пес. Он впился глазами в одну точку на опушке леса: группу из четырех стоящих одна возле другой пихт. От деревьев нас отделяет коса шириной в шестьдесят шагов. Но мы напрасно обшариваем взглядом лес. Ничего подозрительного не видно.

Светлый песок перед нами и спящие в ночной тиши деревья создают идиллическую картину. Трудно поверить, что может быть иначе. И все-таки наш пес дрожит от ярости и скалит клыки, не спуская глаз с четырех пихт.

— Бинокль! — шепчет мне Станислав.

Разыскиваю в палатке чемодан, роюсь в нем, возвращаюсь. Не выходя из тени палатки, направляю бинокль на лес и отчетливо вижу по порядку: ствол пихты, часть большого камня, сухие ветки, синеватый пучок травы, снова какой-то ствол, куст дикой вишни, потом какую-то серую массу — неужели зверь? Нет, это куст. Но вот вдруг за отдаленным стволом мерцает и тотчас гаснет какой-то отблеск, словно блуждающий светлячок... Волк! На мгновение его глаза вспыхивают вновь. Различаю морду, шею, лапы. Стоит, словно изваянный из камня. Не отрываясь смотрит в нашу сторону.

Когда я отдаю бинокль Станиславу, то вижу волка значительно хуже и скорее догадываюсь, где он. Показываю на него трапперу и спускаю предохранитель «Ремингтона».

— Видите его? — спрашиваю шепотом.

— Вижу.

— Сколько их там?

— Не знаю.

— Могут ли они броситься на нас?

Станислав не уверен в этом:

— Почему я знаю? У них бывают разные аппетиты... Зависит от того, сколько их там...

Он опускает бинокль и кивком головы указывает на собаку.

— Ясно, что они охотятся за ним.

— Вы полагаете, что они могут кинуться на него?

— Здесь, возле палатки, пожалуй, нет... А там, подалее, в лесу — да.

Волк по-прежнему стоит неподвижно на том же месте, не спуская с нас глаз.

— Стреляйте первым... — бормочет Станислав.

Я прицеливаюсь, набираю в легкие воздух, глазом ищу мушку. Какая неясная цель!.. Нажимаю курок. Из дула вырывается снап огня.

В лесу суматоха: кто-то резко отскакивает в сторону. Три, четыре большие тени в панике мчатся сквозь кустарник, серые на сером фоне. В это время меня оглушает выстрел Станислава. Какое-то движение в дальних кустах, я стреляю второй раз. Станислав тоже. И конец. Волков нет. Исчезли. Даже не слышно их.

Зато теперь со всех концов озера возвращается эхо выстрелов. Гудит над водой, множится, ширится, грохочет, слабеет; потом — где-то в далеком заливе — снова нарастает, гремит и наконец затихает. Различные эхо сталкиваются, отражаются друг от друга, снова уносятся вдаль: какая-то непрерывная колдовская канонада. Когда она, наконец, смолкает, гробовая тишина опускается на озеро и лес. Только у меня в ушах звенит.

Мы все еще стоим с ружьями в руках. Станислав оглядывается и вдруг вскрикивает:

— Где пес? Нет пса!

И, возмущенный, оборачивается ко мне:

— Видите, что это за болван?! Помчался за волками. Они разорвут его...

Не разорвали! Как и несколько часов назад, в лесу слышен треск ломаемых ветвей. Это возвращается пес. Он появляется измученный, с покусанной лапой; морда в крови, но раны на ней нет. Стало быть, это волчья кровь. Собака сразилась и дала взбучку противнику.

В озере я смываю с героя грязь и кровь. Лапу он зализывает сам. Станислав смотрит на него дружелюбнее и признает одобрительно:

— Что правда, то правда — смел, шельма!

Идем с собакой в лес, чтобы установить результаты стрельбы. Увы, никаких следов: ни волка, ни крови. Все четыре выстрела мимо.

Разжигаем костер, завариваем чай, обсуждаем случившееся. Потом возвращаемся в палатку и ложимся спать.

Последним в палатку пробирается пес — ползком, потихоньку, украдкой. Чувствует себя виноватым, бросает подозрительные взгляды в сторону Станислава, от страха сдерживает дыхание и сразу же сворачивается возле моих ног в клубок, такой маленький, что просто трудно понять, куда он дел свое огромное тело.

Теперь никто его не гонит. Добрый канадский обычай предан забвению.

Сначала засыпает Станислав, потом пес и, наконец, я. На песчаном берегу большого озера два человека и одна собака спят в полном согласии под общим кровом.

21. «Siscoe-gold-mine»

В 1891 г. в Кротошинском уезде на Познаныщине родился Станислав Шишка, сын крестьянина из Новой Деревни.

Семнадцатилетним пареньком он выезжает в Канаду. Становится горняком, работает на рудниках в провинции Онтарио.

В 1914 году — когда ему исполнилось 23 года — Станислав Шишка сопровождает на осеннюю охоту директора рудника в Ксбалде, где работал когда-то. Плышет с ним по реке Харрикано на север и ночует на безвестном островке на озере Кенависек. Ночью Шишку мучают тревожные сны. Они прибыли сюда поздно вечером; стемнело, едва успели поставить палатку. Ночью Шишка представляет себе вдруг очертания острова, вскакивает с постели, что-то бормочет. В лунном свете лихорадочно бегаёт вокруг стоянки. Скоро рассвет,

Шишка будит директора и предлагает ему совместное дело.

— Мы станем миллионерами! — кричит он. — На этом острове должно быть золото!

Директор смотрит на Шишку, как на буйно помешанного, улыбается и отвечает спокойно:

— Well,[146] болтаешь вздор! Плохо спал!

Шишка клянется, что знает, о чем говорит. Ведет Йорекка (так звали его спутника) к месту, где в скале четко проступает кварцевая жила. А ведь известно, что в кварцевых жилах есть золото...

— Ну да, кварц есть... — небрежно подтверждает директор и возвращается в палатку.

А у Шишки руки дрожат от волнения.

— Мы будем богаты, сир!.. Тут лежат тысячи... Золото...

— Успокойся и не сходи с ума! Тысячи или не тысячи, иди себе с ними к черту и не морочь мне голову! Лучше приготовь завтрак!

— Так вы не хотите принимать участие в добыче этого золота? — не скрывает своего изумления Шишка.

— Нет, не хочу! — злится Йорекк. — Я хочу стрелять лосей... Сам выбери себе участок и остолби его.

Шишка готовит завтрак, выбирает на острове не один, а целых три участка, но дальше на охоту не плывет. Прощается и возвращается в Тимминс, к своим.

В следующем, 1915 году ранней весной — на реках еще идет ледоход — Шишка снова плывет на север. С ним несколько энтузиастов-усачей. Их собралось шестеро: Шишка, брат Шишки Петр, Анджей Балах, Станислав Хейдыш, Войцех Янец и Плюта. Старатели с золотых рудников в Тимминсе свои люди, связанные издавна, brave служивые из-под Кротошина. В компанию входят еще пятеро, но они пока остались в Тимминсе.

Шестерка с трудом размещается на трех лодках между запасами продовольствия, лопатами, кирками и динамитом. Едут за золотым руном, верят Шишке.

На рассвете смельчаки покидают поселок Амос, вечером причаливают к острову. Молчат и только смотрят. Остров площадью около ста пятидесяти гектаров покрыт еловым лесом, прерывающимся кое-где болотами и скалами.

— Говорите же, черт возьми! — набрасывается Шишка на друзей. — Есть золото или нет?

— А ну, поглядим! — отвечает Анджей Балах и первым ударяет кайлом по скале...

В течение месяца, с рассвета до темноты, шестеро старателей в поте лица копают землю, корчуют деревья, дробят камни. Скала крепка, поддается с трудом, но упорства золотоискателей и их кирок ей не притупить. В нескольких местах находят кварцевые жилы, вгрызаются в глубь земли, взрывают. Но кварц какой-то пустой: ни следа золота. Трудно сдвинуть с места колесо фортуны.

Льют дожди. Комары не дают покоя ни днем, ни ночью.

— Кажись, есть! — кричит неожиданно один из старателей. Нет, это не золото. Это лишь следы меди и никеля. Но там, где есть эти металлы, там долж-

но быть и золото.

А тем временем на смельчаков набрасывается и обращает их в бегство непобедимый враг: комар. Черные тучи комаров. Люди бегут с острова. Не нашли ничего, но не теряют надежды. Верят в существование золота.

За все время между ними не было ни одной ссоры. Возвращаются к повседневной работе в Тимминсе.

Год 1916-й. Весной снова плывут на остров. На этот раз все одиннадцать. Продолжают поиски. Находят новые жилы кварца — их очень много. Самые толстые, достигающие трех футов, взрывают динамитом.

И однажды раздается хриплый крик Антония Дрыгаса:

— Золото! Есть золото!..

Все подбегают к нему. Это не мираж. Во взорванном камне есть золото. То тут, то там в щелях и трещинах поблескивает золотая пыль. Хоть немного золота, но есть! Вера и настойчивость одерживают первую победу. Все резвятся, как дети, шатаются, как пьяные, но больше всех — Шишка. Его хватают за плечи и тормозят, полные радостного возбуждения.

— Ты будешь миллионером, Стах! — кричат ему в самое ухо.

— И стану, если хотите знать! — кричит он в ответ.

— А кто тебе будет чемоданы таскать?

— Не бойтесь, такие найдутся!..

В этот счастливый день старатели отдыхают и только на следующий день принимаются за работу. Снова напряженный и целеустремленный труд: не прекращая дальнейших поисков, воздвигают два крепких домика — один для жилья, другой — под кухню.

Об их удаче узнают люди. По лесу вокруг озера начинают шататься темные личности. Вынюхивают. Шпионят. Но старателям уже ничто не грозит. У каждого при себе ружье или револьвер, а остров — их законная собственность. Их вожак Шишка — большой ловкач, толковый малый — добился в учреждениях разрешения на эксплуатацию.

Опять по целым неделям ни следа золота. Но потом наталкиваются на черную породу, так называемый турмалин. Они уже знают, что это значит: где обнаруживается турмалин, там много золота. Теперь каждый даже невооруженным глазом находит золотую пыль в турмалине.

Показывая на остров, Шишка говорит сквозь зубы, словно произносит заклинание:

— Здесь есть золото!

— Наберется, наверное, на десять тысяч долларов! — определяет Войцех Янец дрожащим от волнения голосом.

— Больше чем на сто тысяч! — хвастливо поправляет его Шишка.

Но и он ошибается: здесь его больше чем на миллион.

Нападения комаров вновь становятся невыносимыми. После двухмесячной работы на острове друзья отплывают. За все это время не было ни одного спора. Люди отплывают, полные надежд, но без золота. Трудно заставить вертеться колесо фортуны.

В тот же год они основывают в Тимминсе акционерное общество «Siscoe Syndicate».[147] Делят между собой большую часть акций, остальные продают по высокой цене. Все уже знают об открытии и помогают доли и акций.

1917-й год. На полученные деньги старатели покупают золотодобывающие

и камнедробильные машины, паровые котлы, буры и лебедки. В мае перевозят все это на остров и теперь уже по-настоящему берутся за скалу. Грохот взрывов и скрежет машин пугают лосей в окрестных лесах. В короткий срок обнажаются одна жила, вторая, третья... На земле растут горы породы, содержащей высокий процент золота.

Старатели уже не одиноки. Чтобы действовать успешнее, они принимают на постоянную работу — в качестве лесорубов и истопников при котлах — четырех французов. С соседними индейцами договариваются о регулярной доставке лосиного мяса.

Неосторожность истопника вызывает пожар. Домики и все имущество становятся жертвой огня. Остаются только машины и сарай с оборудованием.

— Где наше не пропадало! — без огорчения говорят старатели. — Теперь поставим дома получше!

И строят большой жилой дом на пятнадцать человек, приличную кухню и дом под контору. Прииск развивается нормально. Накапливаются горы золотоносного щебня. Старатели видят, что они на пути к богатству. Остается теперь перемолоть щебень и химическим путем извлечь из него золото. Но все это впереди, а пока что в них происходят перемены: становятся молчаливыми, скрытными, подозрительными, не доверяют друг другу. Стали богатыми.

Покидая осенью остров, думают о собственных предприятиях, о собственном оборудовании, о том, чтобы отмежеваться. Возвращаются в Тимминс и в течение зимы снова работают рабочими на прииске.

1918-й год. Еще в конце предыдущего года приезжает некий Сэмюэль Милкман, дает указание инженеру-геологу определить ценность прииска и предлагает за остров двадцать тысяч долларов! Старатели смеются над ним и отказываются.

Три месяца спустя Милкман приезжает снова и предлагает старателям уже восемьсот пятьдесят тысяч долларов, а именно: 150 тысяч наличными, а остальное-долей в прииске. Открытое богатство им не по силам: чтобы перемолоть щебень и извлечь из него золото, нужны большие деньги. У одиннадцати старателей их нет. Поэтому они продают прииск Милкману, а сами занимаются к нему простыми рабочими.

Вместе с другими они работают всю весну, лето и осень. К несчастью, оказывается, что Милкман надул их. Они не только не получают за прииск ничего из того, что было обусловлено договором, но им даже не платят ни гроша за полугодовую работу. Милкман, оказавшись не в состоянии выполнить условий договора, скрывается. Прииск возвращается одиннадцати горнякам из Тимминса, но уже тогда, когда нужда заглядывает ко многим из них.

Не знают даже, что делать с этим богатством на острове. Прииск пустеет на целые годы, никто туда не заглядывает, машины ржавеют. Вся прежняя работа идет насмарку. Золота полно, все знают об этом, но оно недоступно его открывателям. Когда-то в Калифорнии, а позднее в Клондайке, зерна и самородки золота лежали в песке, и каждый бедняк мог своими руками собрать состояние, если ему везло. В восточной части Канады открывают более богатые залежи золота, но в твердой скале, которую можно одолеть только сложными механизмами. Самая дешевая мельница для камня стоит десять тысяч долларов, ее эксплуатация обходится дорого. Золото восточной Канады доступно

лишь крупному капиталу.

Беспомощные и растерянные, старатели из-под Кротошина смотрят в отчаянии на свое незавершенное дело. Богатые бедняки. Чтобы не голодать, они снова работают на чужих приисках, надеясь на ловкость Шишки.

Проходят годы. Шишка, толковый малый, проницательный и неглупый, превращается в Siscoe, американского бизнесмена. Siscoe — это твердая рука, гибкая совесть, крепкая хватка, проницательный взгляд, холодный расчет и болезненное самолюбие, ведущее к цели через трупы: американское самолюбие Рокфеллеров и Вандербильдов. Siscoe привлекает капиталы из Соединенных Штатов и в 1923 году основывает акционерное общество «Siscoe-Gold-Mine» с капиталом в один миллион долларов, увеличивающимся на следующий год до трех миллионов, а позднее — до пяти.

Компания избавляется от десяти старателей подачкой: им выплачивают по 24 000 долларов; одна треть наличными, две трети — акциями. Одиннадцатый поляк, Шишка, делает карьеру и становится директором прииска. Впоследствии компания отбирает у нескольких поляков акции и больше уже не возвращает их. Они жалуются на вероломство, просят, клянут и наконец подают в суд на компанию и на Шишку. Проходят годы, прежде чем поляки выигрывают процесс. Компания возвращает им деньги, но колесо уже завертелось, оно отшвыривает неудачников в тень, и миллионы, которые они помогли открыть, текут в чужие карманы.

А золота — неисчерпаемые запасы. Акционерное общество «Siscoe-Gold-Mine» строит в 1929 году камнедробилку и добывает с тех пор золота больше чем на 30 миллионов. В 1937 году ежегодная добыча достигает двух с половиной миллионов долларов, но затем несколько снижается. Однако на острове, как ни странно, горняки и поныне открывают все новые и новые жилы: золотоносные пласты тянутся повсюду, пронизывают остров, перекрещиваются, уходят глубоко под озеро — им нет конца. Люди забрались уже на глубину до тысячи метров.

На «Siscoe-Gold-Mine» наживаются американцы, англичане, немцы, шведы, французы. Не богатеют лишь те, которые открыли золото и первыми начали добывать его.

А Шишка? Благоденствует, преуспевает, становится силой. Рамки «Siscoe-Gold-Mine» уже тесны ему: он основывает новые общества, загребает миллионы, теряет миллионы, снова наживает их. Выдвигает смелые проекты, осуществляет необыкновенные планы. Не знает отдыха, подхлестываемый безумным честолюбием. Какова цель? Шишка и сам не знает. Болезненно алчный, он производит впечатление маньяка. Раб денег, он не знает обычных радостей жизни. Пылает жаждой действия, любит движение ради движения — этот американец Siscoe.

Когда немецкий писатель и путешественник Колин Росс посетил Канаду, он счел необходимым познакомиться со знаменитым Siscoe. Ему была назначена аудиенция в Амосе. В холле несколько просителей и открывателей новых золотых рудников ждали бизнесмена. Росс нашел то, что искал: любопытную личность.

В апреле 1935 года Шишка трагически погибает. Летит самолетом на поиски новых золотоносных участков. Из-за неисправности мотора самолет делает вынужденную посадку в глухом лесу. Нетерпеливый Шишка пытается пеш-

ком добраться до человеческих поселений, сбивается с пути, падает измученный и замерзает. Последний сон свалил его около Сенетерра, в ста пятидесяти милях от реки Харрикано и острова, на котором более двадцати лет назад лунной ночью тревожил его иной, чреватый многими последствиями вещей сон.

Река Оскеланео, по которой мы сейчас плывем, течет в том самом округе Абитиби, где протекает и река Харрикано. У многих островов обнажено скальное основание: его пронизывают полосы причудливых прослоек, вернее сказать, жил. На этих скалах мы разбиваем лагерь и ночуем. Однако нас не мучают тревожные, золотые миражи. Нам снятся лоси.

22. Чары леса

Здесь леса ошеломляют своими безграничными пустынными пространствами. Это сильные чары. Это фантастическая, властная, неистощимая сила. И опасная.

Уже три дня мы плывем от станции Оскеланео, а все еще не встретили в пути ни одного человека. Зато на каждом шагу нам открываются все более прекрасные виды. Время от времени думаем: если бы через месяц вода не замерзла — можно было бы плыть вот так на северо-запад целый год и каждые четверть часа удивляться новому, безлюдному пейзажу. Богатство впечатлений ошеломляющее и, повторяю, небезопасное.

Накануне выезда из Монреаля я читал в газетах о двух случаях. Какой-то лесоруб с озера Сент-Джон заблудился в лесу и пять дней тщетно искал выхода, пока его случайно не нашли люди. Бедняга лишился рассудка и бредил, словно пьяный. Тяжело больным его положили в больницу.

Второй случай: два спокойных лесника, испытанные друзья, в течение многих месяцев служили на удаленном участке в безлюдном лесу на реке Ноттоуэй. Однажды они поссорились из-за какого-то пустяка, и один из них застрелил другого. Убийца не мог объяснить судье причину своего поступка: он лишь твердил, что не пил, однако находился в беспамятстве в момент выстрела. Судья не поверил — сам он жил почти постоянно в городе.

Дебри севера поглощают ежегодно значительное число заблудившихся людей. Даже охотники, давно привыкшие к лесной жизни, испытывают порой какое-то затмение разума и теряют чувство ориентировки. Недавно один из искуснейших трапперов в результате своеобразного помешательства несколько недель шел к северу вместо юга, навстречу неминуемой голодной смерти. Только случайно самолет нашел его и спас.

Страшнейшим кошмаром Севера является одиночество. Почти каждый, кто прожил несколько лет в лесу без товарища, становится странным, и таких чудаков здесь можно встретить часто. Особенно тяжелы для одиноких трапперов долгие зимние месяцы, когда даже зверь редко выбирается из своего логова, а единственный живой звук, который слышит человек, — это его собственные шаги и собственный голос. И тогда тому, кто не является настоящим человеком леса, крепко укоренившимся там, абсолютно сжившимся с природой и всеми ее неожиданностями, тишина и пустынность взвинтят нервы и уготовят несчастье.

Казалось бы, что от этого есть простое противоядие: найти себе товарища. Но многие жители северных окраин не выносят компании. Сторонятся людей, даже ненавидят их, а столкнувшись с ними, лишь теряют равновесие и совер-

шают безумства.

Казалось бы также, что легко избавиться от этого ада: просто бежать с Севера, не возвращаться туда, спокойно жить в населенных краях. Это также невозможно. Кто один раз по-настоящему узнал вкус жизни на Севере — жизни, полной всяческих страданий и лишений, но вместе с тем полной неограниченной свободы и мужества, — тот уже пропал: он не покинет Север, останется верным ему до конца. Если же он почему-либо и расстанется с Севером, то будет тосковать и вернется, непременно вернется. Эта тоска по Северу — тоже какая-то болезнь, тихое помешательство.

Каждый год Канаду захлестывает поток повестей, плохих романов и новелл, действие которых разворачивается на Дальнем Севере. Подражателей Джека Лондона — легион. Романтика Far West-a[148] спустя полвека перебралась на Far North.[149] Бескрайность лесов и земель Канады — основа и ось этих произведений. Почти во всех сюжет таков: отважный молодой Том или Джек мчится тысячи миль в погоне за своим счастьем в лице очаровательной Алисы или Лилиан, по пути преодолевает множество труднейших препятствий, которые нагромождает перед ним природа, в конце кладет на обе лопатки негодяя и передает его в руки полиции, а возлюбленную с Большого Медвежьего озера или с озера Атабаска заключает в мужественные объятия и прижимает к сердцу. Как у него, так и у нее внешность, характер и костюм высшей марки.

Увы, я в такой happy end[150] не верю. Половина влюбленных Томов наверняка не выдержат тысячемильной гонки сквозь канадские леса — дрогнут в пути, махнут рукой и вернутся без Лилиан. Такой писанный герой неминуемо должен был заблудиться и погибнуть глупой смертью, что, возможно, дало бы автору сюжет для драматического повествования, но весь happy end полетел бы к черту. А такое чтиво непременно должно заканчиваться благополучно — это главное. О драме повести и новеллы молчат: они не рассказывают, какое опустошение произвели в душе Тома чары леса.

А чары эти существуют и действуют. Решительно действуют. Я чувствую это на себе на третий день нашей поездки. Берега как будто те же, те же скалы, ели, та же поверхность воды, а все-таки что-то произошло. Это уже не привычные ландшафты. Порой кажется, что с берега исходит на нас таинственное излучение, что оно проникает в наши нервы и мозг, влияет на ход мыслей, вносит в кровь что-то то ли отравляющее, то ли живительное, во всяком случае что-то дурманящее.

Мы ритмично опускаем в воду весла, каноэ быстро продвигается вперед. Но иногда в душу закрадывается подозрение — иллюзия, почти осязаемая в своей настойчивости, — что мы стоим, а мимо нас движется берег, проносятся деревья, протоки: плывет весь мир.

Ритм весел дурманит: тысячи раз погружаем их в воду и тем же точным движением тысячи раз напрягаем мышцы. Тысячи раз глубоко вдыхаем в легкие воздух. В этом воздухе пьянящий кислород из леса и с реки. Может быть, отсюда исходит избыток сил и повышенная возбудимость? Иначе откуда у нас такое стремление к ссорам из-за пустяков?

А может быть, это обычная усталость, и потому я поддаюсь химерам? Часть ночи мы не спали: появились волки. Но ведь это факт, а не обман зрения, что

в течение трех дней мы не видели ни одного человека! Поразительный факт...

И еще один факт: около нас взлетает цапля. В неторопливом полете пролетает над нашими головами; мы отчетливо видим каждое ее перо и каждый коготь. Машу рукой. Птица, очевидно, должна была тоже заметить нас. Несмотря на это, она отлетает не дальше чем на пятьдесят шагов, спокойно садится на камень и остается там, полная какой-то непонятной, необъяснимой беззаботности.

В ее безразличии, в непонимании грозящей опасности есть что-то неестественное: я чувствую себя как бы перенесенным в другой мир, в другое измерение. Это вызывает странные ассоциации.

— Смотрите, Станислав! — прорываюсь я законным восхищением. — Цапля не знает современного тиранозавра!

— Тиранозавра? — удивляется траппер. — Это еще что за бес?

Развеселившись, я сбиваюсь с ритма гребли и пропускаю несколько гребков.

— Тиранозавр — самый большой хищник, который когда-либо бродил по этой земле... Хотя нет, не самый большой! Этот современный, хо-хо, еще похуже, чем тот!.. Попросту — человек...

— Богохульство! — огорчается Станислав.

— А тот, древний, живший пятьдесят миллионов лет назад, был мерзким уродом, он принадлежал к господствовавшему тогда роду динозавров...

— Э... — с иронией роняет товарищ. — Пятьдесят миллионов лет? Мир не существует так давно...

Когда мы подплываем к цапле шагов на пятнадцать-двадцать, она взмывает лениво и, несколько раз взмахнув крыльями, опускается на болотистую полянку. Нет, она, конечно, еще не видела человека.

Вскоре большой ястреб-рыболов, именуемый здесь *ospreu*, начинает кружить над нами в воздухе. Внезапно он падает как пуля и устремляется на нас. Что он, с ума сошел? Едва не касается наших голов, затем снова взмывает высоко в небо, чтобы через минуту возобновить оттуда атаку. Так бросается несколько раз. Видимо, принял нас за каких-то смиренных зверей и не представляет себе, что ему грозит. Стало быть, и он не знает человека? В конце концов прекращает нападения, как раз вовремя: ему грозила гибель от нашего выстрела.

Озера, острова, заливы, новые озера, полуострова, поймы, необъятный хаос воды, земли, скал и леса.

Наши карты не очень точны. Когда около полудня мы входим в лабиринт озер, я теряю ориентировку: на нашем пути возникают три протоки, и я не знаю — какая нужна нам? В конце концов выбираем среднюю. Если верить карте, то на севере должно быть устье реки. Мы действительно находим устье, но скорее на северо-востоке. Значит, карта подвела.

Входим в эту реку. Жду, что русло ее вскоре свернет к северу, в нужном направлении. А оно не сворачивает. Проходим одну милю, вторую... Река незначительно поворачивает к востоку, потом даже к юго-востоку. Это немного странно. Вдруг Станислав перестает грести.

— Заблудились! — говорит он. — Нельзя продолжать дальше так кружить.

Смотрю еще раз на карту. Черт возьми! Мы действительно заблудились. Теперь я вижу это. Надо было выбрать не среднюю протоку, а ту что слева. Там

выход на север. Как же получилось, что я не заметил этого раньше?.. А все этот остров! Мне стало стыдно перед самим собой и перед Станиславом.

Ведь я же умею читать карты! Сжился с ними с детства, полюбил их и по ним создавал свой мир. Не узнаю себя: что-то с полудня зачаровало меня... Это чары леса!

Теряем несколько часов. Возвращаемся и часов около пяти вечера останавливаемся на ночлег в месте, которое без преувеличения можно назвать райским уголком. Здесь так уютно и так приятно: озеро с холмистыми берегами, напротив — три маленьких, но высоких острова. И вид на залитые солнцем леса. И при этом очень тепло.

Перед заходом солнца я беру леску с никелированной блесной, сталкиваю каноэ в воду и выплываю на середину озера. За невероятно короткое время, всего за одиннадцать минут (я смотрю на часы), вылавливаю приличный запас рыбы на сегодняшний ужин. Пойманы три щуки, по одной для каждого из нас: для Станислава, для пса и для меня.

Возвращаюсь. Издалека вижу, как Станислав разжигает большой костер. Думаю о том, что человек очень сообразителен: он придумал для себя тысячи прекрасных вещей — вот хотя бы каноэ, ружье, блесну, леску, часы, — чтобы этими орудиями и своим острым умом покорить природу. Покорить? Человек едва касается ее поверхности, при всем этом он еще слеп и слаб, он неспособен проникнуть в то, что лежит глубже. А глубже заключена какая-то сила с совершенно фантастическими возможностями и тьмой контрастов: три щуки за одиннадцать минут-и безумие лесоруба с озера Сент-Джон; идиллия солнечных пейзажей, неожиданная буря на озере — и смертельный выстрел лесника. Поймет ли когда-нибудь человек запутанную связь явлений здешней природы?

Во время ужина темнеет, и издалека доносится крик неведомого существа. Вероятно, птицы. Ее раздражает наш костер. Постепенно приближаясь, она громко проявляет свое возбужденное любопытство. Бросаемый ею в нашу сторону крик звучит как тревожный вопрос: что это? что это?

Получит ли птица удовлетворительный ответ? Вряд ли. И она не поймет связи между появлением человека и окружающей ее природой.

23. Таинственная птица

Несколько щук, пойманных два дня назад, к вечеру начали портиться. Я выбрасываю их на песок вблизи нашего лагеря. Станислав протестует и велит мне запрятать рыбу подальше в кусты, чтобы никто ее не видел.

— Почему? — спрашиваю я, удивленный.

Оказывается, нельзя зря растрчивать дары природы и без надобности ловить столько рыбы. За это полагается наказание. Здесь случайно могут проехать люди, увидят щук и по следам дознаются о нашем проступке даже через месяц.

— И дознаются, что это были именно мы?

— Да! Они узнают, что это были мы. Люди здесь по следам угадывают, кто, что и когда делал! — не без хвастовства говорит Станислав.

В общем я собираю щук и отношу их в глубь леса.

Как раз в это время, с наступлением ночи, вновь слышен голос таинственного существа. Сначала он звучит далеко — на той стороне озера. Потом крик слышен все более отчетливо. Приближается вдоль берега, по опушке леса. Раз-

дается каждые несколько минут. Голос нетерпеливый, гневный и вместе с тем удивленный. Кажется, спрашивает нас: что это? что это?

— Что это за существо? — спрашиваю своего спутника.

Станислав поворачивает лицо от костра и долго вслушивается в темную ночь. Он не знает, что это такое, он слышит этот голос первый раз в жизни. Несколько часов назад Станислав язвил по поводу моей ошибки при чтении карты; теперь я сторицей плачу ему за это.

— Знание здешней природы — дело нелегкое. Не каждый способен овладеть им...

Отдыхаем после вкусного ужина. Лежим удобно на земле у костра. Земля сухая и не холодная. Я подбрасываю в огонь топливо.

Станислав снисходительно улыбается, нисколько не задетый:

— Посмеиваетесь надо мной, потому что я честен и не хочу обманывать вас...

— Ага.

— Согласитесь, что я вполне мог бы наговорить вам, что это нырок или еще какая-нибудь птица.

— Согласен.

— А зачем мне лгать? Я не знаю, какой там черт орет — и точка, чего тут много болтать...

Мы разбили лагерь на самой опушке, в нескольких шагах от берега озера. Темно, как в мешке. Луна еще не взошла над лесом.

В таком настроении, когда густой мрак отделяет нас от остального мира, а жизнь, кажется, существует только в узком круге вокруг костра, человек склонен к излияниям и охотно рассказывает.

— Жан Мартэн... — вспоминаю я. — Этот сразу все объяснил бы нам. Хотите послушать о нем?

И я рассказываю о величайшем лесном следопыте, о Жане Мартэне. Это был канадский француз, прославленный *coureur des bois*, траппер, о котором много говорится в старых хрониках. Любитель выпить, подраться и потанцевать, не очень религиозный, отличный рассказчик, веселый компаньон, бесстрашный спутник, но прежде всего сверхзнаток леса. В последнем он превосходил даже индейцев. Книг, шельма, читать не умел, зато вся природа была для него открытой книгой: читал в ней каждый след, даже самый неясный и запутанный. По тому, как звери ели, он узнавал — встречались ли они в этот день с человеком. С безошибочной точностью по вкусу мяса убитого зверя предсказывал погоду! По пению птиц Мартэн угадывал изменение температуры воздуха, и даже вид воды и деревьев говорил ему о многом. При всем этом он обладал таким острым глазом и такой твердой рукой, что, не целясь, попадал в бегущего оленя, летящую утку, в орла, падающего камнем на свою жертву. Ничто на земле не ускользало от его внимания. Ночью видел, как рысь.

Он пил за троих, но его здоровью это не вредило. Лишь в более позднем возрасте сдал. Сгубила его разгульная жизнь.

— Когда жил этот человек? — спрашивает Станислав.

— Около двухсот лет назад, когда Америка еще только начинала крепнуть и леса были мало исследованы... Теперь таких великолепных следопытов, пожалуй, уже нет.

— Есть! — возражает траппер тихим, как обычно, размеренным голосом. —

Есть, но другого покроя.

Наваливает на костер большое бревно дерева сiрго, сухое и почти белое. Пламя с новой силой взрывается к небу, искры вылетают, как рои шершней, дерево трещит, разбрасывая угольки. Когда огонь успокаивается, Станислав рассказывает следующее:

— Уже много лет в Канаде запрещено убивать бобров. Законы очень суровы: браконьеру — тюрьма, а тому, кто схватит преступника, — щедрая награда. В лесах около Манивоки один лесник случайно обнаружил место, где какой-то браконьер поймал бобра и содрал с него шкуру. К сожалению, невозможно было установить, кто убил бобра. Дело произошло за несколько недель до того, как было обнаружено, а за это время были и заморозки, и оттепели, и бури. Браконьер не оставил после себя никаких следов, за исключением полубожденного зверями трупа бобра, разбросанных остатков костра и пня дерева, срубленного на топливо. Лесник в течение часа обыскивал все вокруг, осматривал каждую пядь земли, исследовал каждую веточку, но тщетно. Браконьер был хитер: не оставил никаких следов, даже самой малой вещицы.

И, однако, через пять лет терпеливый лесник выследил виновного в двухстах милях отсюда, на озере Абитиби. И вовсе не случайно. В течение пяти лет он искал в лесу топор, который срубил на топливо дерево в том месте, где был убит бобр. По срезу пня удалось установить, что на лезвии топора была маленькая характерная зазубрина. Топор с зазубриной лесник нашел у озера Абитиби. Владелец топора признал себя виновным.

— Таких энергичных следопытов в Канаде много! — заканчивает Станислав свой рассказ.

Я слушаю его с интересом, хотя вот уже несколько минут мое внимание приковывает то, что происходит в темноте. После долгого перерыва снова отзывается таинственное создание, вопрошающее: что это? Крик его все приближается и с берега перебрасывается теперь на один из трех островов, возвышающихся на озере прямо напротив нашего лагеря.

— А ведь это действительно птица! — обрадовано говорю Станиславу.

Нам доставляет удовольствие приоткрыть хотя бы краешек тайны. Мы идем к берегу, чтобы лучше слышать. Но тогда птица как на зло смолкает. Возвращаемся к костру.

— Настойчивая и осторожная птица! — заявляет Станислав.

— Об осторожной лисе и настойчивом траппере рассказал мне старый Жагевич из Макеза, опытный охотник, у которого я недавно гостил, — говорю я товарищу. — Вот, послушайте.

Было это еще перед войной четырнадцатого года. Один француз, траппер из Ля-Тюка, однажды увидел издали на снегу серебристую лису. Серебристые лисицы, как известно, ценились тогда очень высоко: шкурка стоила около 1500 долларов. При виде лисы сердце траппера забилося: он едва не спятил. Но как добыть шкуру? Он знал, что если неосторожно подойти к лисе и хоть раз испугнуть ее — ценный зверь удерет за тридевять земель и скроется навсегда. В конце концов у траппера возник необычайный замысел: решил ни больше ни меньше, как приучить лису к себе. Прodelал он это ловко. Идя за лисой след в след, он старался не слишком приближаться к ней, но все время показываться ей издали и также издали беспрестанно беспокоить ее. Вытерпел он многое: было холодно, а спать приходилось под открытым небом, но в

течение семи дней он не спускал с лисы глаз и, словно пиявка, присосался к ее следу. Ничто не могло сбить его с тропы. Выдержал. На восьмой день уже смог приблизиться к лисе, выстрелил с расстояния в сорок шагов и добыл богатство...

Когда я перестаю говорить, Станислав недоверчиво смотрит мне в глаза. Его худое лицо вытягивается еще больше. Беспokoйный взгляд полон сомнения.

— Кто это вам рассказывал?

— Старый Жакевич из Макеза, известный охотник.

— Все может быть... — бубнит под нос траппер, но произносит это с такой миной, будто я рассказываю ему сказки.

В эту минуту снова слышится голос таинственной птицы. Обрушивается на нас каскад своих «что это?» Вызывающе, настойчиво и совсем близко — с соседнего островка.

— А, черт возьми! — выходит из терпения Станислав. — Словно насмехается над нами... Что это может быть? Для нырка голос высоковат, для гуся — низковат, для совы — очень отрывист... Может быть, это какой-то редкий вид нырка?

— Или обычный нырок, но с деформированным клювом?

— И это возможно... — соглашается траппер. — Во всяком случае птица явно издевается над нами...

У меня не создается такого впечатления. Просто наш костер беспокоит ее и раздражает. Мы грубо вторглись сюда, нарушив тишину края. Не удивительно, что птица беспокоится.

Действительно, когда мы гасим костер и скрываемся в палатке, птица умолкает. Пожалуй, она сочла вопрос решенным и, вероятно, улетела. Ни в эту ночь, ни позже, мы уже не слышим ее.

Когда я засыпаю, мне кажется смешным, что неизвестная птица в течение целого вечера брала верх над двумя людьми. Двое взрослых, здоровых мужчин долго оставались под ее влиянием. Разве это не смешно? Мы были уверены, что крик птицы выражал нетерпеливый вопрос: что это? А на самом деле мы, люди, все время проявляли нетерпение и задавали тот же вопрос.

24. Многолюдный поселок в безлюдных лесах

Вот уже четыре дня мы плывем на север. Последний раз видели людей на станции Оскеланео. По пути их вообще не было, и мы едва не забыли, как они выглядят. Здесь легко отвыкнуть от человека!

Зато мы знаем, как выглядит зарево лесного пожара и как воют волки по ночам. Знаем также, что в пути нас хотела облить злобная вонючка и что это ей не удалось, что нас хотела напугать таинственная птица, но и ей это не удалось. Мы полюбили смолистый запах леса. Нам нравится сон на каменных плитах. Палатка прочная, дни погожие. Мы любим наши весла, рассекаем воду прозрачных, как хрусталь, озер, мышцы наши полны живительной силы. Нас опалило солнце, мы стали дикарями и огромными глотками пьем нетронутую первозданность природы. Нам хорошо от этого пьянства. Даже стыдно, что мы везем с собой купленные в городе запасы продовольствия и консервы. Цивилизация осталась позади. Кругом неукротимые дебри, а в центре их находимся мы, три дружных спутника: Станислав, собака и я.

На четвертый день утром я напоминаю Станиславу:

— Сегодня мы увидим людей!

Это звучит неправдоподобно, а все же мы увидим человека на северном берегу озера Обижуан. На карте помечена там маленькая точка с надписью: «Н. В. С.[151] Post». Это значит — фактория знаменитой «Компании Гудзонова залива». А поскольку мы веселы и можем фантазировать как хотим, то я представляю себе, будто агент этой компании плечистый мужчина с угрюмым, бородатым лицом и душой младенца. Как в канадских романах. Он приветствует нас, словно посланцев с неба, — этот «сторож маяка»[152] в канадском издании — и радуется тому, что после многих недель одиночества увидел белых людей.

А может быть, рядом с одиноким стариком его дочь, как это показывают в фильмах? Очаровательная дикая девушка в бриджах, воспитанная в глуши и мечтающая о большом приключении?.. Вполне возможно. Стоит побриться.

На станции Оскеланео нам сообщили, что вблизи Обижуана кочуют индейцыохотники и что там много лосей. Посмотрим. Пока что их не было. Мы видели только старые следы.

Около полудня мы выплываем на озеро Обижуан и сразу перестаем грести. На северном берегу озера, удаленном от нас километров на пять, вместо одинокой хижины агента мы видим настоящий поселок. Несколько десятков домов стоит вдоль берега и в глубине; приличные деревянные дома с окнами и дверями. Среди них высокая белая церковь. Словом — большой поселок. Мы потрясены. Откуда здесь, после стольких дней полнейшего безлюдья, вдруг оказался такой человеческий муравейник? В течение четырех дней мы непрерывно видели только зелень, и солнце палило наши головы. Казалось, что на севере мы не обнаружим уже ни одного скопления людей. Может быть, обман чувств?

Я смотрю в бинокль, вижу поселок, а в нем — взрослых и детей, но все еще не хочу поверить себе. А верить надо — это поселок. Карты надули нас. Реальная жизнь смешалась здесь со сценой из какой-то эксцентричной оперетки и сыграла с нами замечательную шутку. Это похоже на возникновение сказочного замка: в безлюдных дебрях — большой, многолюдный поселок.

После четырех дней пути, опьяненные озоном, полюбившие одиночество, устремившиеся к северу, мы неожиданно наталкиваемся на цивилизацию. А чтобы потрясение было еще сильнее, оперетка не заканчивается одной этой сценой. Чудес этого дня оказывается больше.

— Пуф-пуф-пуф-пуф! — Неожиданный шум разрывает тишину озера. Моторка. Вернее, каноэ с навесным мотором. Выходит из какой-то протоки и направляется к поселку. А кто за рулем? Эй, Станислав, кто это там сидит? Индеец! Краснокожий спортсмен с достоинством держит руль и, обходя нас со скоростью двадцать километров в час (а мы делаем только четыре), покровительственно, но вежливо машет нам рукой. Я кричу ему: чья это моторка?

— Моя собственная! — объясняет жестом. Оказывается, он совсем не умеет говорить по-английски, и знает лишь несколько французских слов. Впрочем, нам вообще трудно объясняться. Индеец сильно обгоняет нас и не собирается умерять свой разгон.

Неподалеку от поселка нас обгоняет вторая моторка. И сна-ва ее ведет какой-то индеец. Здесь, наверное, такой обычай: индейцы ездят с мотором, а белые — на веслах.

Причаливаем. Гурьба детей обступает нас и рассматривает с доброжелательным любопытством. Одни индейские ребяташки. Они не проявляют ни малейшей боязни. Щебечут на своем языке, а нам на ломаном французском объясняют, где находится агент компании. В большом зеленом доме. Провожают нас туда. Мы начинаем понимать: Обижуан — это индейское поселение.

От берега озера к дому агента ведет «шедевр цивилизации»: деревянный тротуар, построенный из пригнанных досок, — прямой, как стрела, гладкий, как стол. Вступаем на него, как на святыню. Четыре дня мы выворачивали ноги на камнях, колодах и корнях. Теперь, ступая по тротуару, мы чувствуем себя на седьмом небе.

Только пес, мой приятель, не доверяет благам цивилизации: идет рядом с тротуаром, по матушке-земле, по бурьяну и камням.

Проходя мимо первого дома, я остаиваюсь как вкопанный. В доме какой-то чудесный оркестр играет Грига. Хватающая за сердце мелодия из «Пера Понта», полная великой радости бытия, ударяет меня, лесного бродягу, как обух.

Мои уши еще полны нечленораздельных звуков воды, леса и ветра, а тут вдруг Григ во всем великолепии!

— Радио! — лаконично разъясняют вежливые дети, видя мое изумление, и спокойно провожают дальше.

А вот и дом агента. Его store — пакгауз — находится немного дальше. Идем туда.

— Хелло, где мистер Френкленд? — спрашиваю нескольких ничем не занятых мужчин, находящихся в пакгаузе.

Это все индейцы. Среди них только один белый, очень молодой человек. Это и есть мистер Френкленд, агент «Компании Гудзонова залива».

Обманул все мои «романические» надежды. Нет ни бороды, ни угрюмого лица. Одет по-городскому, чисто выбрит, ясный взгляд, предупредителен, мил, хорошо воспитан. Совсем не лесной человек. Двадцатитрехлетний канадец. Тип обычный: таких в Северной Америке миллион, но ни одного такого нет в канадских повестях.

Он читает мои рекомендательные письма. Очень рад, приглашает к себе, угощает. Все будет all right.[153] Завтра даст нам проводника и отправит за лосями. Разумеется, на моторке. А теперь можно пойти домой, перекусить.

В это время в пакгауз входит дама. Единственная в Обижуане представительница белой расы, француженка, учительница индейской школы. Прощай, чарующий кино-сон о дикой молодой девушке: учительнице лет пятьдесят. Она по-матерински мила, очаровывает нас радушием, в чем ей помогает Френкленд. Мне очень стыдно: среди всех присутствующих обижуанских граждан, не исключая индейцев, мы, двое пришельцев, одеты хуже всех. Оборванцы среди франтов. Мои брюки, разодранные в неприличном месте, выглядят скверно.

К счастью, внимание всех нас отвлекает сильный рокот снаружи. Это делает посадку в Обижуане гидроплан. Летчик в рупор кричит Френкленду:

— Хелло, Джек, есть новости?

— Нет! — отвечает наш хозяин. — Только какой-то охотник приехал из Польши...

На эту новость летчик небрежно машет рукой (не знаю, почему) и дает полный газ. Гидроплан поднимается в воздух. Летит на север. Стальной почтовый голубь, проводник цивилизации; это он, вероятно, привозит индейцам навесные моторы для каноэ.

— Прилетает каждый день! — говорит агент и приглашает к себе в дом.

В этот день мы ужинаем в прекрасном настроении. Все кажется нам необычным: кресла, в которых сидим, иллюстрированные журналы, которые просматриваем, обои. На стене висит и смотрит на нас портрет короля Георга, господина в безупречном мундире.

Френкленд-приятный юноша. Он интересно рассказывает о Лондоне, в котором побывал. Я рассказываю об Амазонке. Нам подыгрывает музыка из Монреаля. Сто с лишним книжек в библиотеке Френкленда манят, как видение из другого мира. Мы сидим за настоящим столом.

Я достаю из чемодана бутылку нашей «особой», привезенной из Польши, и мы пьянеем с первой же рюмки. Наш взор затуманивается. На дворе темнеет, срывается ветер. На озере волны с шумом бьют о берег. Френкленд заявляет, что мы завтра не поедем.

Настраивает приемник: в Нью-Йорке какой-то боксер-негр побеждает противника. Многотысячная толпа зрителей аплодирует и вопит. Френкленд показывает на приемник и кричит, смеясь:

— Прогресс убил романтику лесов!

Я поперхнулся водкой. Протестую. Прогресс не убил романтику. Именно теперь ее больше, чем когда-либо прежде. Романтика живет. Толпа в Нью-Йорке все еще рычит и бурно аплодирует. А в то же время озеро Обижуан гудит и бьет волнами о берег.

Френкленд ошибается: романтика жива.

Из теплой душевной комнаты выходим на улицу. Совсем стемнело. Порывистый ветер свистит над озером, приятно охлаждает наши разгоряченные лица, треплет волосы. Вдали различаем лес, качающиеся верхушки елей и пихт. Как-то радостно на душе: этот канадский ветер словно расправил нам невидимые крылья. Он приносит живительное дыхание огромного леса и, более того, навеивает воспоминания о давних великих событиях, которые происходили в этих краях.

25. Двое смельчаков раздражаются гневом

Стояла ранняя осень 1652 года. Трое молодых французов из Труа-Ривьер на реке Св. Лаврентия отправились на охоту.

Однажды они разбили свой лагерь на краю поляны, где только что убили лося. Пьер Радиссон, младший из них, безусый шестнадцатилетний юнец, всего лишь за год до того прибывший в Канаду из Франции, развел костер, следя за тем, чтобы было поменьше дыма: по лесу могли рыскать отряды ирокезов, переправившихся на северный берег реки Св. Лаврентия.

Внезапно пронзительный военный клич поднял охотников на ноги. Со всех сторон на французов набросились страшные воины. Двое юношей сразу же пали, сраженные стрелами, третий, Пьер, отчаянно защищался. Он свалил одного, затем второго воина, но все же его обезоружили и связали.

В те давние времена, в середине XVII века, это было обычным делом; тогда ирокезам казалось, что они не только смогут истребить гуронов, но сумеют уготовить такую же судьбу и французам.

Так молодой Пьер Радиссон попал в плен к могавам, самому воинственному племени ирокезов. Приведенный в их селение и приговоренный к смерти, он не погиб: один из ирокезских вождей, который только что потерял сына, покоренный мужественным сопротивлением юноши, усыновил его и взял в племя.

Но тут нашла коса на камень. Молодой пленник провел даже столь хитрых индейцев. Усыпил их бдительность показной покорностью, а когда однажды они послали его с тремя воинами на охоту, Радиссон убил всех троих и бежал. Ему не повезло. Не успев добраться к своим на реку Св. Лаврентия, он снова попал в руки разъяренных ирокезов. Отведал их пыток. Но вождь — его названный отец — еще раз спас Пьера от смерти. На этот раз юноша смирился.

Два года он жил среди индейцев. Ему понравилась их жизнь, он был всей душой предан им, а суровая школа, которую ему довелось пройти, отлично пригодилась в последующие годы, когда он прославился как «король следопытов». У могавов он познал тайны леса, как никто другой. Сражаясь бок о бок с индейскими воинами против других племен, он изучил их военные хитрости. Более того: его, полуирокеза, уже не потрясли больше пытки, которым могавки подвергали пленных.

Однажды ему представился случай вернуться на реку Св. Лаврентия: один французский солдат хотел выкупить его из плена. Радиссон отказался. Все же в последующие месяцы в нем проснулась тоска по своим. Юноше, который не знал страха и ни перед чем не отступал, удался побег, и он явился к голландцам на реку Гудзон. Оттуда отправился в Европу и только из Европы вернулся в Канаду. После двухлетнего отсутствия Радиссон появился в Труа-Ривьере — еще молодой, но уже опытный, закаленный превратностями судьбы и столь многочисленными приключениями, что их могло хватить на несколько томов увлекательного романа.

Пребывание у индейцев наполнило его неодолимой любовью к джунглям, и теперь юноша, влекомый тоской по лесу, вернулся к нему. Но не в селения могавов. Его влекли неисследованные пространства на западе, за Великими озерами. Отправившись туда в сопровождении своего шурина Шуара Грозейе, он побывал в краях, где еще не ступала нога белого человека.

Они первыми — задолго до прочих открывателей — добрались до истоков реки Миссисипи и в прерии. Завязали дружбу с различными племенами и даже забрались к неукротимым сиуксам. Радиссону не исполнилось и двадцати лет, а уже во всей Канаде не было более отчаянного *coureur des bois* и более сведущего знатока лесных тайн, чем он. Человек нестигаемого духа, Пьер не выносил никакого ярма. Он был человеком леса.

Глубокое знание Радиссоном индейских обычаев оказало в 1658 году неоценимую услугу его канадским соотечественникам. В этот период кратковременного мира между ирокезами и французами хитрые индейцы устроили необычайную ловушку. Пригласили своих недавних врагов приехать к ним и поселиться на их земле. Два миссионера и около пятидесяти французов поверили индейцам и, как потом оказалось, попали в западню: ирокезы (это было племя онондагов), в руках которых оказалась горстка ненавистных белых, решили вырезать всех при первой же возможности.

Среди тех, кого заманили онондаги, случайно оказался и Пьер Радиссон. Поняв, что бдительность индейцев делает невозможным обычное бегство, он

придумал остроумную уловку. Один из французов притворился больным, в связи с чем все находившиеся в той местности ирокезы были приглашены на большое обрядовое пиршество, которое, согласно индейским верованиям, должно было принести больному исцеление. В таких случаях обычай запрещал не только отказываться от явки, но также и прерывать пир, пока хватало еды. Воины объелись и опились до потери сознания. Хитрость удалась. Пока они крепко спали, французы потихоньку выбрались из лагеря и на ранее подготовленных каноэ спаслись от верной смерти. Удавшаяся хитрость принесла Радиссону новую славу.

Его экспедиции, предпринимавшиеся вначале ради приключений и для того, чтобы найти выход бурлящей энергии, с течением времени приобрели определенную цель: добычу шкурок. Страсть, которой были подвержены все французы, начиная с губернатора, захватила также и Радиссона и постоянно сопровождавшего его Грозейе. Не удивительно, что неутомимые путешественники открыли самые богатые в Америке охотничьи угодья, о которых до тех пор и не мечтали торговцы пушниной, — северные леса вокруг Гудзонова залива. Оттуда они привезли в Квебек — выдержав по пути несколько победоносных схваток с ирокезами — такое большое количество шкурок, что губернатор приветствовал их как победителей, а французские корабли палили в их честь из пушек. Если бы не Пьер и его друг, этим кораблям пришлось бы вернуться в Европу без товара. «Радиссон и Грозейе в тот год столкновений с ирокезами спасли колонию Новая Франция от банкротства», — в один голос писали об этих событиях историки.

В то время когда счастливы, довольны, готовились к новой экспедиции, собирая меновые товары для индейцев, в высших кругах колонии произошли изменения. Прежний благоразумный губернатор ушел в отставку, власть принял новый — Авогур. Глупец, негодяй и корыстолюбец на ответственном посту, гнусный продукт протекции, правивший на погибель людям и в ущерб государству.

Завидую удаче двух смельчаков, Авогур потребовал себе половину их будущей прибыли, имея право лишь на четвертую часть шкурок. Кроме того, он хотел навязать экспедиции своего соглядатая, чтобы тот выведал пути пионеров. Когда же возмущенные путешественники отвергли его домогательства, он попросту запретил им отправляться на запад.

Обманув стражу, Радиссон и Грозейе все же отправились в путь. Близорукый губернатор не понимал, что удальца типа Радиссона нельзя ни запугать, ни подчинить. Путники добрались до самого побережья Гудзонова залива, всюду завязывая торговые отношения с индейцами. У залива Джемса проницательный Радиссон открыл, что в районы, богатые пушниной, легче проникнуть морским путем, через залив, чем по сухопутью. Уже тогда им овладела дальновидная мысль: основать компанию для использования богатств Гудзонова залива.

Однако широкий размах, энергия и далеко идущие замыслы должны были разбиться об упорную злобу деспота и зависть монополистов. Двое смельчаков привезли на сей раз в Квебек еще более богатый груз: такого обилия мехов французская колония никогда не видела. Однако труды Радиссона и Грозейе пошли насмарку. Наглый губернатор наложил арест на все шкурки, то есть попросту ограбил смельчаков, а их самих стал преследовать, как преступни-

ков. Для устрашения он упрятал Грозейе в тюрьму.

Тем временем группа оборотистых квебекских купцов подхватила мысль Радиссона о создании новой фактории в районе Гудзонова залива. Но и тут благие намерения потерпели крах. Ненасытная Вест-Индская компания, обладавшая монополией, пресекла в зародыше чужую предприимчивость, а злобный губернатор поддержал компанию.

Все это побудило Грозейе поехать во Францию, чтобы добиться справедливости при дворе короля. Тщетно! Он всюду натыкался на заинтересованных сообщников губернатора и Вест-Индской компании. Ничего не добившись, он вдобавок был осмеян.

Драма канадских лесов приближалась к решающей фазе. Уже не только судьбы отдельных людей, но и судьба самого континента была брошена на чашу весов. Радиссон был тверд и неуступчив, чувствовал себя властелином лесных дебрей и не мог допустить, чтобы грабили его добычу и присваивали себе его открытия. Грубо обманутый и отвергнутый соотечественниками, он искал иного выхода.

Так он оказался в Бостоне, в английской колонии. Но тамошние боязливые купцы, не очень доверявшие рассказам о северных богатствах, не стремились к большим приключениям. Из Бостона Радиссон поехал в Лондон. Королю Карлу II до зарезу нужны были деньги. Английские придворные, слушая доклад Радиссона, видели дальше бостонских купцов, а принц Руперт, кузен короля, был восхищен услышанным.

Английское адмиралтейство на собственный риск выделило два корабля, которые под командованием Радиссона и Грозейе направились в Гудзонов залив. Два друга отлично знали окрестности залива, среди местных индейцев кри и обйива у них были преданные друзья. Экспедиция оправдала возлагавшиеся на нее надежды, хотя лишь один корабль добрался до намеченной цели. Он вернулся на Темзу с таким обильным грузом шкурок, что всех, естественно, охватил энтузиазм.

2 мая 1670 года в Лондоне на основе декрета английского короля была создана знаменитая «Компания Гудзонова залива», щедро осыпанная милостями короля: ей было дано не только исключительное право торговли на землях у залива, но также передано в суверенное владение несколько миллионов квадратных километров земли, которая (что, впрочем, было не столь важным) никогда не принадлежала английскому королю. Это был подлинный «концерн принцев». Капиталом новую компанию обеспечили богатейшие лондонские купцы, прибылями же они должны были делиться — и щедро делились — с английскими принцами.

И какими прибылями! Уже с самого начала они составляли ежегодно от пятидесяти до ста и более процентов от основного капитала. Так, по инициативе двух французских лесных странников возникла одна из богатейших компаний, превратившаяся в основную опору Британской империи.

А Радиссон и Грозейе? Судьба не благоприятствовала им и раньше, но только теперь началась для них подлинная мука. Великие *couveurs des bois*, точно так же как и лесные звери, не должны покидать своих дебрей, ибо только там они сильны и непобедимы. Среди хитрых людей большого света Радиссон и Грозейе сбились со своей тропы и потерпели поражение. Они доверчиво показали людям путь к огромным богатствам, но, когда наступило время извле-

кать прибыли, их двоих, подлинных открывателей, снова грубо отпихнули от заслуженной доли. Англичане не признали за обманутыми никаких прав. Им даже не дали ни одной акции компании. Более того: подло использовали огромные знания путешественников, наняв их за грошовую оплату... проводниками!

Последующие годы — это одна сплошная полоса бесплодных порывов и непрерывных бунтов, ярости и гнева, по сравнению с которыми прежняя бурная жизнь неукротимого *coiireur des bois* кажется идиллией. Это неистовый зверь, выхваченный из дебрей и запертый в клетке, мечущийся от стенки к стенке; он дергает цепь во все стороны, борется за свое право все отчаянней и горячей, но и все более безрассудно, бессмысленно, безнадежно. Пока не падает.

Достаточно сказать, что, отвергнутый англичанами, Радиссон возвращается к французам, но, оскорбленный их недоверием, снова пытается договориться с англичанами, а затем вновь переходит к французам: мечется от одной крайности к другой.

У французов постепенно открылись глаза: они наконец оценили Радиссона и значение его открытий. И раскрыли ему объятия. Радиссон, полуофициально, скорее на свой риск, но при молчаливом согласии квебекских властей, отправился к Гудзонову заливу. Там силой оружия он отвоевал для Франции северные земли, причиняя англичанам немало хлопот: он захватывал их фабрики, брал в плен агентов компании, перехватывал английские корабли. Но когда непобедимый Радиссон с пленными и богатой добычей пушнины вернулся в Квебек, вероломные правители умыли руки, устроили ему публичный нагоняй и в довершение всего — в который раз! — отобрали все привезенные богатства.

Радиссона уже не хватило на новую борьбу. Измученный, возвратился он во Францию, но и там не признали его правоту и не вернули добытой пушнины.

Он тосковал по жене, оставшейся в Лондоне. Не желая восстанавливать против себя такого опасного рубаку, англичане дали ему возможность приехать в Лондон, пообещав пожизненную ренту, но, когда Пьер поселился там, быстро забыли о своем обещании.

Радиссону пришлось довольствоваться тихим супружеским счастьем и второстепенной должностью в Лондоне. Такая же участь постигла его шурина и верного товарища Грозейе: измученный, он поселился в Труа-Ривьер и остался там навсегда. Радиссон похоронил свое великое честолюбие, перестал быть орлом, крылья его были сломлены — он уже не нарушал ничье спокойствие. Умолк, поник, сошел со сцены и быстро исчез в неизвестности. Еще много лет жил уединенно в нищем квартале лондонского предместья, но мало кто уже вспоминал о нем, а летописи «Компании Гудзонова залива» ни разу не упомянули его имени, словно стремясь вычеркнуть его существование и его заслуги со страниц истории.

В последующие годы, когда могущественные акционеры компании начали, словно в сказке, загребать огромные прибыли, преждевременно сторбившийся, немощный человек рассказывал своим заслушивавшимся детям истории, также напоминающие сказку. Он говорил, что далеко за морем был король лесных странников, который воевал смелее, чем сами индейцы, открывал

необъятные страны, вселял в королей самые смелые надежды, боролся с министрами, водил за нос злобных губернаторов и привозил из леса сокровища; но злые волшебники, почитатели золотого тельца, терзали его на каждом шагу и постоянно захватывали его добычу...

26. «Hudson's Bay Company»

Так, порожденная двумя французами, английская «Компания Гудзонова залива» за короткое время превратилась в невиданную силу. Достаточно сказать, что, наделенная исключительными привилегиями, она долгие годы была монопольным владельцем четырех пятых всей территории Канады, абсолютным властелином с суверенными правами. «Hudson's Bay Company» — ее сокращенное наименование, в обиходе ее называли «Почтенной Компанией». Местопребыванием ее всегда был Лондон. 275-летний юбилей она отметила пышно. Существует и поныне — богатая, все еще живучая, хотя уже без привилегий.

В первые же дни своего существования компания обогатилась в результате случайной, странной конъюнктуры. По-видимому, Англию тогда оевали холодные ветры, ибо люди там страдали от ревматизма и головных болей, ввиду чего вошло в моду носить меховые шапки. Когда появились шкурки бобров, англичане уверовали, что этот мех избавляет от головных болей успешнее, чем другие меха. Поэтому — мех бобров стал утехой всех лысых и ревматиков, а с течением времени вошло в моду одевать в меха и другие части тела. Меха получили признание также и среди женщин. И тогда ежегодно в Европу стали привозить по полмиллиона шкурок зверей.

Знаменательно, что из Англии вывозили в Россию много бобровых шкурок, представлявших важную статью оживленных в те времена торговых отношений между этими странами. После получения в собственность острова Ванкувер на тихоокеанском побережье и основания там порта компания развернула широкую заморскую торговлю на Тихом океане. За вывозимые в Китай шкурки она получала оттуда большие партии чая, которые продавала в Европе с огромной прибылью.

Основная деятельность компании заключалась в меновой торговле с канадскими индейцами. Охотникам платили за пушнину товарами: ружьями, порохом, одеялами, инструментами. Денежной единицей являлась шкурка бобра. Например, за пистонное ружье индеец вынужден был отдавать стопку бобровых шкурок, уложенных одна на другую на высоту, равную длине этого ружья! Это был для компании великолепный бизнес, тем более что англичане, известные ловкачи, начали специально изготавливать ружья с исключительно длинными стволами.

Едва на реках взламывался лед, как индейцы группами на сотнях лодок, доверху нагруженных мехами, отправлялись к Гудзонову заливу. Каждый краснокожий «гость» сначала получал две стопки рому. Спаиваемые чувствовали себя на седьмом небе, и торговля шла вовсю — так, как хотелось компании. Несколько недель длился дикий разгул, а затем, изнуренные, с головной болью и ничтожной выручкой, охотники исчезали в своих дебрях, участникам же компании в Лондоне доставались сказочные прибыли. Время от времени, чтобы успокоить совесть, принимались — на бумаге — запреты спаивать индейцев. Но поскольку такие запреты наносили ущерб интересам компании, то о них быстро забывали. Сто двадцать тысяч литров рому, вполне законно зга-

везенных в Канаду только в одном 1692 году, произвели большее опустошение среди местного населения, чем вражеское нашествие, но зато дали сто двадцать тысяч бобровых шкурок «Почтенной Компании».

«Компания Гудзонова залива» была для англичан отличной школой по созданию и укреплению заморских колоний; в этой области они достигли впоследствии большой сноровки. Вокруг Гудзонова залива англичане уже не истребляли «туземцев», как на юге, у побережья Атлантического океана, а «мирно» использовали их так, как хотели; с индейцев сдирали шкуру (вернее, шкурки), проводя политику беспощадной экономической эксплуатации, позже столь усовершенствованную колониальной системой в странах с «цветным» населением. Достаточно привести хотя бы упомянутый пример: бобровые шкурки, приобретенные в Канаде за одно ружье, в Англии стоили столько же, сколько сто двадцать таких ружей.

Конкуренция легкомысленных французов не была страшна компании, зато подлинная опасность надвинулась со стороны соплеменников. К концу XVIII века несколько предприимчивых шотландцев, жителей Монреаля (в то время находившегося уже во владении англичан), основали конкурирующее общество «North West Company». Оно умело использовало лесной опыт французских купцов и охотников; у него служили наиболее смелые знатоки, леса и метисы, поэтому не удивительно, что новая компания широко проникла в леса. Ее посланцы первыми достигли Тихого океана, а Макенэги даже доплыл по большой реке, названной позднее его именем, до Полярного моря.

«Северо-Западная Компания» начала отвоевывать влияние и шкурки у своей соперницы с Гудзонова залива. Тогда соперница встревожилась: начала посылать своих агентов в глубь лесов и охотнее, чем прежде, заигрывать с индейцами. Более того: во имя бизнеса подавляла расовую предубежденность, предлагая агентам жениться на индианках, по примеру шотландцев из враждебного лагеря.

Но и этим не кончилось: ненависть конкурентов, разгоревшаяся в северных лесах, дошла до кровопролития. Загремели выстрелы из-за угла, разразилась настоящая гражданская война. Люди гибли с обеих сторон.

Подумать только, из-за чего происходили все эти убийства, нападения, проявления ненависти? Из-за шкурок бедных бобров!

Тогда забурлило общественное мнение Англии, заставив правящие круги вмешаться в лесную драму. Обеим соперничающим компаниям пришлось объединиться. Разумеется, «Компания Гудзонова залива» вышла победительницей и сохранила руководящую роль. С этого момента в течение нескольких десятков лет она единолично управляла всем материком от Гудзонова залива до Тихого океана и Полярного моря.

Сеть из более чем ста факторий паутиной опутала канадские леса. Наиболее смелых агентов компании манили громадные, малоисследованные лесные массивы на западе — богатейшая кладовая пушнины, охотничье эльдорадо. Туда, в дебри, шли люди с железной волей и богатым опытом, несгибаемые пионеры и открыватели. Для своих товаров они строили крепкие блокгаузы, подлинные крепости, которые называли фортами. Эти форпосты, в которых поселялось преимущественно по одному человеку, нередко отстояли друг от друга на сотни километров; им неоткуда было ждать помощи; они противостояли многочисленным случайностям. То были бастионы приключений.

«Такой агент, — говорится в описании середины XIX века, — был абсолютным властелином в своем районе: его слово имело силу высшего закона. В суровые зимы, когда индейцы умирали с голоду, он решал вопросы жизни и смерти целых племен. Никто не осмеливался поднять на него руку. Подобно папе римскому, он считался непогрешимым».

О грубом своеволии некоторых агентов компании мы знаем из произведений Кервуда и Лондона.

С развитием цивилизации такой огромный охотничий заповедник и такое странное государство в государстве не могли сохраниться. Плодородные земли Канады как нельзя лучше подходили для сельского хозяйства, поселенцы уже проникали с плугом в леса и прерии: власть «феодальной компании» все больше тормозила прогресс и была бельмом на глазу.

В 1869 году, когда окрепла государственная власть в западных провинциях, суверенные права перешли к канадскому правительству и компания утратила свои привилегии. Но, потеряв мнимые выгоды, сколько приобрела она подлинных! Прежде всего она получила неплохую компенсацию наличными, за ней было признано право собственности на несколько миллионов гектаров аемли — именно тех, где ныне добываются наиболее ценные ископаемые. Разумеется, компания сохранила все свои фактории. Хотя официально монополия на торговлю пушниной отменена, но в силу обстоятельств и она сохранилась за компанией по сей день.

Именно после утраты политических прав компания приобрела, как никогда раньше, небывалую экономическую силу, о какой даже и не мечтали первые акционеры XVII века. В больших канадских городах «Н.В.С.» владеет огромными торговыми домами, по рекам плавают множество ее пароходов, на двух океанах она имеет флоты под своим флагом. Нужно ли удивляться, что директора компании наживают сказочные богатства и что один из них, благородный лорд Стрескон, смог на собственный счет экипировать для английской короны кавалерийский полк против буров?

И до сего времени могущественное влияние компании распространяется в Канаде на все лесные пространства — повсюду, где кончается цивилизация и начинается безбрежье лесов и тундры. «Почтенная Компания» так же, как встарь, манит необыкновенными приключениями, разжигая воображение британской молодежи.

Френкленд, агент «Hudson's Bay Company» в Обижуане, с гордостью показывает мне обозначенные на стенной карте Канады фактории компании. Они всюду: от восточной оконечности Лабрадора до устья реки Макензи. Вот там, в форте Макферсон, служит личный друг и коллега Френкленда. На фасаде его пакгауза красуется такая же вывеска, как и здесь, в Обижуане, выписанная старинными письменами:

«Hudson's Bay Company incorporated 2nd May 1670»

Те же самые буквы и слова, не изменившиеся в течение более двухсот пятидесяти лет, виднеются повсюду — в Обижуане, так же, как в Монреале и Лондоне, на всевозможных письмах и конвертах компании, на ее посылках, картонках, банках, одеялах. Это эмблема старинной традиции и некогда больших привилегий. Френкленд любит компанию, как сын — мать.

В прежние времена агенты, жившие в глуши в одиночестве по многу месяцев, часто доходили до помешательства, безлюдье приводило их в отчаяние. Ныне компания дает им радио и журнал «Beaver» («Бобр») — наиболее, пожалуй, читаемый и самый полезный журнал на английском языке. Богато оформленный, со множеством великолепных фотографий, редактируемый самими сотрудниками компании, он любопытен как хороший журнал, освещающий жизнь на факториях, публикующий сообщения из самых глухих лесных углов. Безумия от одиночества уже не существует. Его успешно преодолели «Бобр» и радиоприемники,

27. Индейцы кри

В Обижуане живет более шестидесяти семей индейцев кри. Это одно из ответвлений могущественного племени, разбросанного на огромном пространстве в лесах к югу и западу от Гудзонова залива. Люди эти хорошо сложены, статные, рослые и при этом тихие, спокойные и честные.

До тех пор пока белые не вложили в руки охотников-кри огнестрельное оружие, им даже и не снились войны, подобные тем, что вели ирокезы или сиуксы. Получив оружие, они стали выходить из лесов на юг, в прерии, чтобы добывать мясо бизонов. В те времена они уже предпринимали смелые походы к самому подножию Скалистых гор, побеждая другие племена, особенно сиуксов и черных стоп. Они побеждали, так как превосходили противников более совершенным оружием. Однако они не думали о завоеваниях: на севере хватало лесов. Более того: когда ассинбоины, ветвь сиуксов, обратились к кри за помощью, лесные индейцы великодушно уступили им часть охотничьих угодий для постоянного жительства, и с того времени по сей день оба племени связаны нерушимой дружбой.

Кри никогда не воевали также с белыми — ни с англичанами, ни с французами. Краснокожие охотники поставляли пришельцам пушнину, став главной опорой «Компании Гудзонова залива». Лесная охота всегда была и осталась поныне основой их существования. Лес — их стихия.

В Обижуане белые построили им небольшую школу. Учительница-француженка знакомит индейских детей с жизнью и делами белых, расхваливает красоту их городов. Но после окончания школы дети кри не торопятся познакомиться поближе с миром белых. Кажется, никто еще не выехал в Квебек: молодежь бежит на север. Туда ее тянет природа и голос крови — на тропы волков, лосей, медведей и бобров.

В Обижуане белые построили также церковку. Опрятную, симпатичную, светлую. Индейцы кри легко приняли христианство: им была близка проповедь единобожия и любви к ближнему — они задолго до белых признавали великого духа Маниту и любили людей и животных.

Два-три раза в год в Обижуан приезжает миссионер, владеющий языком кри, служит мессу, произносит проповеди. Надо сказать, что индейцам несколько убогой кажется новая вера, хвастливо утверждающая, что только у человека есть душа. Как же так? А медведь, а бобр, а деревья — разве у них нет души? Родятся, живут, чувствуют — без души?... Все же, несмотря на свои сомнения, индейцы аккуратно посещают церковные службы, слушают миссионера, который часто рассказывает им любопытные историйки и привозит небольшие подарки взрослым и лакомства детям.

Никто лучше кри не знает леса и его красот. Ни один белый человек нико-

гда не сравнится в этом с кри, за исключением разве французского траппера Жана Мартэна. Но Жан Мартэн жил почти двести лет тому назад и уже стал легендой. Зато нынешние познания кри — отнюдь не легенда: они могут предсказать погоду по виду растительности, понять голос птицы, раскрыть историю сломанного стебелька травы, разгадать тайну следа. Мудрый бобр — их брат, только он принял вид зверя. Сильный медведь — их двоюродный брат, выносливое дерево — их друг. Индеец кри не считает себя лучше их. Нет! Наравне с ними он житель лесов и потому, как и лес, чуток, честен, великодушен и полон достоинства.

Способности индейца кри нещадно эксплуатируют белые. Он служит им проводником в лесах, когда идут поиски скрытых в земле минералов. Несмотря на то что много белых трапперов ставит на звериных тропах железные капканы, большая часть пушнины и по сей день поступает от индейских охотников. Поэтому индеец нужен белым. Поэтому они охотно строят для него небольшие школы, присылают миссионеров и ставят аккуратные домики в каком-нибудь Обижуане. В этих домиках даже имеются швейные машины и стиральные доски. Но рядом с домиками индеец ставит свои полотняные палатки. Днем, по обычаю белых людей, он находится в доме. Ночью, по обычаю своих отцов, он спит на земле в палатке.

В начале осени все индейцы с женами и детьми покидают Обижуан и разбредаются по северным лесам до самого озера Мистассини и залива Св. Якова. Наступает пора большой охоты и расстановки капканов на пушного зверя. Охотники уплывают за десятки миль на своих моторках, а возвращаются лишь под конец зимы — уже на санях, запряженных собаками. Каждая семья добывает за этот период шкурок в среднем на 500–600 долларов. В Обижуане их продают Френкленду, агенту «Компании Гудзонова залива». За эти шкурки индейцы получают разные товары: бензин, муку, одежду, капканы. Не так уж много товаров, чтобы у хороших людей не закружилась голова от излишеств, — ровно столько, чтобы держать кри в постоянной зависимости от компании, которая отлично зарабатывает на них.

Охота на пушного зверя — единственный заработок индейцев кри; источник их существования — охота и рыболовство. Охота обеспечивает им также и пищу на каждый день: кри разрешается охотиться на лося без ограничений в течение всего года. Обижуан съедает ежегодно до ста пятидесяти лосей, но не имеет ни пяди пахотной земли.

В 1776 году европейцы одарили леса севера вторым — наряду с повальным алкоголизмом — страшным бедствием: оспой. Ужасная эпидемия в одном только этом году унесла половину индейцев кри.

Третье бедствие привезли с собой белые незадолго до первой мировой войны. В 1911 году было закончено великое дело цивилизации — строительство северной железнодорожной магистрали от Квебека (через ст. Оскеланео) на запад до Виннипега. Но одновременно белые, работавшие на строительстве, занесли в леса неизвестные здесь раньше венерические болезни. Племя кри вновь начало вырождаться и гибнуть. Лишь после многолетней борьбы удалось победить это бедствие. Индейцы вышли из столь тяжелого испытания разбитыми и униженными.

А сегодня?

Появилось четвертое бедствие — туберкулез. Поистине трагична цивилиза-

ция белых в Америке! Ее прикосновение злополучно для индейцев, подобно прикосновению грубых пальцев к крыльям мотылька: оно сдирает краски и губит. Губит даже тогда, когда белый человек проявляет дружбу и хочет — а он не всегда хочет — сохранить жизнь «туземцам».

Белый человек как будто проявляет доброжелательность к индейцам кри. Он громко заявляет, что желает им добра. И потому снабжает кри своим оружием для борьбы за существование, навешивает моторы на их каноэ, покрывает их тела шерстяной одеждой, снабжает их своими продуктами — мукой, сахаром, хлебом. Результат этих даров цивилизации — заболевание легких. Ведь индеец — лесной человек. А лесной человек всегда носил одежду из лосиной шкуры, оберегающую его от дождя лучше, чем шерстяная ткань: он никогда не знал шерсти. Лесной человек всегда питался лесной пищей: мясом зверей. Ему была чужда пища полей — хлеб и мука.

Теперь Обижуан втянут в круговорот мировой экономики. Иными словами — белому человеку нужны меха. Он посылает за ними в лес простых индейцев кри и платит им изысканными товарами: моторами, бензином, шерстью. Одежда из шерсти прокладывает среди индейцев дорогу легочным заболеваниям.

Цивилизаторы знают об этом, но в Манчестере не производят одежды из лосиной шкуры! Стало быть, индейцы в Обижуане должны одеваться в шерстяную ткань и харкать кровью...

Один из наиболее видных индейцев кри, проживающий в Обижуане, — Джон Айзерхофф, бодрый шестидесятилетний старец с красивым точеным лицом и мудрыми глазами. Джон — правая рука Френкленда. У него мягкая улыбка и открытый взгляд. Он знает все тайны леса. Вероятно, знает все убежища лосей. По совету Френкленда беру его в проводники. Старик отвезет нас к озеру Першо, или Першамб, где будто бы находится охотничий рай. Озеро далеко — в сорока милях от Обижуана.

Ищу на карте озеро Першо, или Першамб, но там его нет. Скорее всего такое озеро вообще не существует, это фантазия Джона Айзерхоффа. Джон выдумал его, чтобы выцыганить у меня побольше бензина для своей моторки. Бензин дорог, а врать он научился у белых людей.

Это единственное жульничество старого Джона. С тех пор он говорит только правду. Отвозит меня на озеро Чапмен и показывает мне великолепную дичь. Много долгих ночей старик спит в своей палатке, стоящей рядом с моей. Дружно гребя, мы подплываем к зверям. Джон — хороший товарищ в лесу. Лед недоверия начинает таять в нем, когда он убеждается, что я не такой, как другие белые, что я готов даже поверить, будто у деревьев есть душа. Но пока индеец оттаивает, нужно уже расставаться с ним и возвращаться к своим.

Прощаясь, Джон предлагает мне отправиться с ним зимой на охоту за пушным зверем. Передо мной вдруг открывается возможность испытать большое приключение, проникнуть в сердце лесной поэзии, где царит «белое безмолвие» Джека Лондона. Но я отказываюсь: дома меня ждут мои обязанности...

— Правда! — сочувствующе улыбается Джон. — Мы принадлежим лесу и деревьям, а вы, белые, — каменным городам.

Вдруг Джон Айзерхофф, индеец из племени кри с красивым точеным лицом, заходится долгим изнурительным кашлем. Значит, и его не миновал гу-

бительный дар, завезенный из каменных городов белого человека.

28. Любовь бедной Покахонтас

В факториях «Компании Гудзонова залива» скрещиваются пути всех лесных людей. Туда ведет случай.

Рано утром на третий день нашего пребывания в Обижуане кто-то с грохотом вваливается в дом Фргнкленда и будит нас. Оказывается — четверо путников из Соединенных Штатов: профессор какого-то университета и три молодых студента. Они проводят экскурсию по рекам. Вот уже две недели туристы плывут по лесам. Стали бронзовыми от солнца, шумливыми от избытка воздуха, опьянены лесом, как и мы три дня назад. Смеются и проказничают, как расшалившиеся мальчишки. Заражают нас и весь дом стихийным весельем.

Торжественно вносят свои запасы продовольствия — «ура!»; профессор стряпает блинчики — «ура!»; Френкленд готовит кофе — «гип, гип, ура!» Я открываю мясные консервы. Шикарный завтрак, сытный, шумный, полный радостных криков. Гости кладут ноги на стол и на книжные полки, но мы не слишком сердимся на них: проделывают они это с ребячьей прелестью и юмором, сами осмеивая себя за это. Кто-то из них разворачивает мою монреальскую газету недельной давности.

— Свежая газета! — рычит профессор и бросается на нее, как лев на добычу. Лихорадочно ищет результатов бейсбольных матчей.

Утолив первый голод, братия успокаивается. Рассказывают о своих переживаниях в пути. Слышу, как одного из них называют Рольфом. Рольф? Это имя мне знакомо. Рольф?

Американцы замечают мое любопытство и весело кричат:

— Да, это настоящий Рольф!

Теперь я припоминаю: недавно довелось мне читать историю какой-то известной индейской королевы, жизнь которой (триста пятьдесят лет назад) была едва ли не самой романтической историей, сотканной судьбой.

Девушку звали Покахонтас. Еще до того как англичане поголовно истребили ее племя, она вышла замуж за одного из них, Рольфа. Ее потомки, кажется, живы и по сей день и гордятся таким происхождением.

— Рольф! Но, к сожалению, не из тех «настоящих»! — кричит студент, смеясь, как и все остальные.

Но профессор и коллеги не принимают его возражений и утверждают весело, что он именно из тех, «настоящих». Призывают меня в свидетели. Я присматриваюсь к нему. Рольф статный, атлетически сложенный юноша с каштановыми волосами и темными глазами; у него действительно смуглое лицо, нетипичное для американцев.

— Ну, что? — шутливо грозит ему профессор... — Сразу видно, что в тебе течет индейская кровь!

— Моя бабка, — клянется всеми святыми Рольф, — моя бабка была гречанкой!..

В то время когда хохочущие гости шутливо ссорятся между собой и подтрунивают, я спрашиваю Френкленда: нет ли среди его книг истории Покахонтас? Разумеется, есть...

Не было бы Британской империи, если бы в прежние века среди англичан не нашлось недисциплинированных авантюристов, в числе которых наряду

с людьми честными было много мерзавцев, подонков и пиратов, плававших под черным флагом. Первые годы существования Виргинии — лучшее доказательство этому: создается впечатление, что нынешний гангстеризм, столь распространенный в Соединенных Штатах, не был чужд уже первым англосаксам, прибывшим на американскую землю три с половиной века назад.

Вот, например, на рубеже XVI и XVII веков Джон Смит. Черт, а не человек — такой темперамент! Казалось бы, законченный негодяй. Хотя ему неплохо жилось в зажиточном доме, он тринадцатилетним сопляком удрал в море. Искал по свету приключений, устремляясь только в те страны, где шла война. Четыре года воевал в Голландии против испанцев. Потом ера-жался во Францию. У него было много дуэлей из-за красивых женщин. Всюду он находил преданных друзей и лютых врагов. Был, по-видимому, чертовски красив: женщины липли к нему, словно мухи к меду. Поплыл однажды из Марселя, но во время шторма матросы выбросили его за борт, поскольку Смит был еретиком, а стало быть, и виновником бури. Спасся чудом. Позднее Смит воевал с турками, попал к ним в плен и, проданный как невольник, был подарен наложнице султана, прекрасной Трагабизанде. Вспыхнула любовь. Джон провел в Царьграде божественные часы: ел и пил, любил и даже толстел. Идиллию нарушил Тимур, брат Трагабизанды. Он похитил любовника сестры и хотел его умертвить. Джон освободился, убил Тимура и на его коне удрал на север, к казакам. Там Джона подкормили, а затем авантюрист через Польшу, Германию и Голландию возвратился в Англию, чтобы вскоре совершить всемирно историческое деяние: стать великим пионером колонизации, «отцом Виргинии», национальным героем Англии.

В 1607 году по поручению английского правительства Смит переплыл Атлантический океан во главе 105 эмигрантов и на нынешней Джемс-Ривер, в штате Виргиния, основал первое английское поселение на американской земле — Джемстаун. Смит оказался отличным командиром и организатором. Однако вскоре обнаружилось, что его люди — дрянь, законченные дармоеды, ловцы фортуны, беспутные сыновья аристократов, накипь. Работать они не хотели. Уже спустя несколько недель в колонии начался голод.

Смит совершил несколько разведывательных экспедиций в глубь края, но прежде всего нанес визит королю Погаттану, жившему в верховьях реки. Властелин южных индейцев алгон-кинов принял Смита с враждебной сдержанностью, однако в конце беседы, покоренный привлекательной внешностью Смита, не только согласился с пребыванием белых пришельцев на своей реке, но даже оказал им продовольственную помощь.

Во время этого визита привлекательную внешность Смита оценила также пара юных очей, черных и пылких: в сердечко двенадцатилетней девочки запало колдовское зерно. Но пока об этом ни Смит, ни кто-либо другой так и не узнали.

Дела в колонии белых шли все хуже и хуже. Люди бездельничали, мечтая о легком обогащении, об открытии золота. А так как сокровища не находились, обманувшиеся в своих надеждах, обозленные колонисты начали бунтовать и грызться друг с другом. В то же время участились их столкновения с индейцами, и вскоре Погаттан пожалел о своей доброте к наглым и неблагодарным захватчикам.

Во время одной из охотничьих экспедиций товарищи Смита вопреки его

запрещению напали на индейцев, переполнив чашу их терпения. Алгонкины истребили отряд, Смита же взяли живьем и связанного привели к ногам Погаттана. Военный совет постановил предать пленника смерти, отрубив ему голову. Но, когда приступили к церемонии исполнения приговора, произошло нечто совершенно неожиданное.

Из королевской свиты стрелой вылетела девочка. Припав к приговоренному, она закрыла его своим телом, смело и громко протестуя против приговора. Девочка решительно заявила, что желает взять пленника себе в мужья и, согласно обычаю, потребовала немедленного освобождения. В немом изумлении король Погаттан таращил глаза на свою двенадцатилетнюю дочку Покахонтас. Члены военного совета долго скрежетали зубами, но противиться смелой девочке было трудно. За нею стоял обычай. В результате Смита освободили. Ошеломленный больше всех, он воочию убедился, что и на новой земле ему сопутствовали прежняя удача и женская привязанность.

Так изменилось его положение. Как нареченный королевны Смит несколько недель гостил при дворе Погаттана, окруженный благосклонностью индейцев. Неутомимому покорителю сердец новая роль пришлась по душе, и он искренне полюбил девочку. В Покахонтас ему открылось необычайное существо. Несмотря на юный возраст, она была смышленной, великодушной, обладала сильным характером, при всем этом была красива и обаятельна, выделяясь своей миловидностью из всего королевского окружения.

Когда через несколько недель Смит вернулся в Джемстаун, у него волосы стали дыбом при виде того, что он застал там. Болезни, нехватка продовольствия, беспомощность и убийства — бедствия, характерные не только для английских пионерских начинаний, — уменьшили число поселенцев со 105 до 38 полуживых, одичавших скелетов, злых и опустившихся. Смит с трудом навел порядок в поселке.

Вскоре из Англии прибыла новая партия эмигрантов. К сожалению, это были такие же отбросы общества. С ними Смицу пришлось еще больше помучиться. Когда он был на месте, ему еще кое-как удавалось сохранять власть над бандой; но едва он отправлялся в глухие углы, как тотчас же преступные инстинкты и безделье брали верх в колонии. Начало колонизации Виргинии складывалось бесславно.

Часто возникали распри с индейцами. В большинстве случаев виновниками были белые. Краснокожие воины давно бы уничтожили это осиное гнездо, если бы не Покахонтас.словно ангел-хранитель, защищала она колонию, как волчица, боролась за жизни поселенцев, смягчая гнев своих братьев. Несколько раз предотвращала нападение на Джемстаун. Она любила и, верная своей любви, предавала интересы своего народа. Это был трагический героизм молодой девушки; любовь маленькой индианки охраняла жизнь двухсот разнузданных англичан.

Пришел еще один корабль из Англии и привез наконец немного приличных людей, стремившихся к честному труду. Но именно в это время на колонию обрушился тяжелый удар. Во время случайного взрыва пороха Джона Смита ранило, и, чтобы спасти жизнь, он вынужден был немедленно уехать в Англию. Уезжая, Смит поклялся опечаленной девушке вернуться тотчас же после излечения.

Только теперь все поняли, как нужна была колонии твердая рука Смита.

После его отъезда поселок превратился в ад. Снова начался голод, усилился хаос, участились разбои, никто не работал, дошло даже до людоедства. Отношения с индейцами стали натянутыми — наступил период ни войны, ни мира. Отчаявшаяся Покахонтас не знала, что предпринять. Она потеряла влияние на своих соплеменников и утратила их расположение. Ее едва не обрекли на изгнание; с белыми она не решалась сблизиться, так как они стали похожими на диких зверей.

Среди англичан был некто Арголл, капитан каперского корабля, плававшего под английским флагом, — человек без совести, работороговец, пират и бандит. Когда он узнал случайно о том, что Покахонтас находится вблизи лагеря белых поселенцев, он решился на подлое дело. Напал со своей бандой на королеву, захватил ее и с триумфом привез как пленницу в Джемстаун. Затем потребовал от ее отца, короля Погаттана, огромный выкуп. Трудно представить себе, что творилось в голове девушки. Ее унизили и пленили люди, которых она столько раз уберегала от верной смерти. Жестокая награда за великодушные!

Когда Погаттан, возмущенный бандитским поведением Арголла, ответил презрительным молчанием, жители Джемстауна решили отомстить и стали подумывать о том, чтобы продать девушку в рабство плантаторам с острова Ямайка. Но до этого не дошло. Один молодой человек по имени Джон Рольф, по уши влюбленный в очаровательную девушку, предложил ей свою руку. Предложение было принято: у несчастной Покахонтас не было другого выхода. Впрочем, от добрых людей она узнала, что Джон Смит, неверный возлюбленный, забыл о ней и вообще не собирался возвращаться в Джемстаун. Жизнь и тут болезненно ранила ее.

Проблеск счастья сверкнул ей, когда рядом оказался заботливый муж. Приняв христианство и пройдя некоторую подготовку, она легко усвоила манеры белых и вскоре выехала с Рольфом в Англию. Встретили ее с почетом: представленная ко двору и хорошо принятая там, Покахонтас стала любимицей лондонского общества. В Лондоне она родила сына, Томаса Рольфа.

Но в дворцовых покоях она пережила и тяжелые минуты. Совершенно случайно встретилась лицом к лицу с неверным, вероломным Смитом. Вздвогнув от боли, она отвернулась и молча прошла мимо. Старый ловелас, который ловко выпутывался из всех бед, нашел выход и теперь. Он уверил Покахонтас, что сможет быть таким же хорошим ее другом, каким был возлюбленным когда-то.

На родине Покахонтас, над рекой Погаттана, шумели бескрайние леса; над ними распростерлось ясное, голубое небо. Над Темзой не было лесов и стлались густые туманы. Туман с Темзы проникал в легкие, сердце рвалось к родным лесам... Несмотря на то, что Покахонтас была окружена в Англии заботой, уважением и удобствами, она прожила недолго. Умерла на двадцать первом году жизни. Ее убили тоска и туберкулез.

Но ее потомки прожили долго. Сын-Томас Рольф — стал родоначальником многих семей и поныне живущих в Америке. Потомки благородной индианки Покахонтас горды тем, что у них такой предок. Но сколько трагедий и несправедливости, причиненной индейцам белыми людьми, связано с этой историей!

29. Индейские дети, их собаки и мой пес

В Обижуане живет необыкновенное племя, очень веселое, удалое, игривое и подвижное: это дети индейцев кри. Они круглолицы, как пончики, подвижны, как мухи, и почти все очень красивые. Туберкулез, болезнь отцов, еще не коснулся их, здоровье брызжет с их толстых щечек и из смеющихся черных глазенок.

У них свой собственный мир. Он заключен в границы поселка — между церковью и пакгаузом «Hudson's Bay Company», между пакгаузом и пристанью на озере. Здесь они резвятся, играют, здесь их укрытия, здесь они переживают волнующие минуты, когда видят кружащего в небе рыболова или убитую дичь; здесь они мечтают, здесь познают чары природы — и счастливы.

Все сказки индейских детей разыгрываются в лесу. В глухом, таинственном лесу, которого не нужно искать далеко. Именно такой лес начинается сразу за последним домиком Обижуана и тянется, насколько хватает взгляд, без конца. В этом лесу, в воображении детей, происходят чудеса и волшебства, бродят кудесники и необычайные звери. Дети индейцев кри родились в сорочке; они не только окружены всеобщей любовью взрослых, не только могут резвиться с утра до вечера, но в довершение всего они целыми днями видят лес, в котором разыгрываются их сказки и осуществляются мечты.

В последние дни детей охватило волнение. Вскоре они вместе с родителями отправятся в леса на большую зимнюю охоту. По всему поселку заметна лихорадочная подготовка: ремонтируются лодки и сани, смазываются капканы, готовятся запасы пищи. Живее бьются сердечки малышей. Они беспокоятся и посвоему тоже готовятся к походу: учатся бросать камни. Целью им служат зимородки на берегу озера и — при отсутствии оных — собаки.

Где бы ни появился индейский ребенок — там неотступно, словно тень, следует за ним свита, состоящая из нескольких собак. Все они более или менее подозрительного происхождения, помесь; среди них мало настоящих лаек. Заморыши переживают сейчас летний период безработицы, большой нужды и голода. Летом индейцы собак не кормят. Корм им полагается только зимой, когда они несут тяжелую службу в санях. Летом собакам — собачий удел; им частенько приходится — о, собачья доля! — подкармливаться сладкими лесными ягодами.

Несмотря на это, индейская собака — ласковое и преданное создание — не покидает индейцев. Но более всего она привязана — безмерно, самозабвенно, рабски — к индейским детям: принимает участие во всех их забавах, терпеливо сносит любые муки и испытывает, кажется, ту же тоску — мечтает о походе в леса, где будет вволю всяких приключений и мяса... Симпатичный четвероногий бродяга!

Пятилетний толстопузый кри бросает камнем в собаку. Он вкладывает в это действие всю свою детскую страсть, словно выполняет важный обряд. Собака понимает важность момента. Летящие в нее камни воспринимает спокойно, как предначертание судьбы. Разумеется, опытная шельма не ждет их удара: словно танцмейстер, красиво и легко ускользает от любых метких бросков. Хитрая, она встречает при этом каждый камешек радостным повизгиванием, словно приветствуя его. Спустя минуту обе стороны по горло сыты забавой. Пес лижет мордашку приятеля, ребенок горячо обнимает пса. Потом они вместе смотрят на лес.

Наше появление в Обижуане становится большим событием также и для

детей. Сразу же завоевываем их расположение, в основном благодаря двум факторам: фотоаппарату и псу.

Индейские дети знают, что такое фотоаппарат, уже видели его, и учительница рассказывала о нем. Но у меня «Роллей-флекс» с двумя объективами. На его матовом стекле можно увидеть весь окружающий мир, прекрасный и яркий. Туда заглядывают черные глазенки и прямо сверкают от радости. Чудеса: все, что происходит на самом деле, видно в маленьком стеклышке. Вот по тропинке бежит собака, а дальше стоит палатка, а там отец вбивает гвозди в каню. Чудеса! Восторг охватывает ребятишек, вся детвора сбегается к этому магическому предмету. А ты, пришелец, терпеливо сиди на земле и показывай аппарат. Детские головки сдвигаются плотнее, сорванцы взбираются мне на колени, на спину, заглядывают через плечо...

Мой пес — благородный великан. Широкая натура, открытое сердце, горячая голова. У него нет и на грош обычного собачьего представления о долге, зато он отличается избытком чувств и тоской по дальним походам. Большой бродяга. Из-за этого его так мало ценит Станислав. И именно поэтому мы так привязались друг к другу. Нас связывает нечто большее, чем обычная дружба человека с собакой; наверно, это какая-то общность склонностей. Пес путешествует с нами, у него равные с нами права на костер, на пищу, на палатку.

И вот мой пес производит в Обижуане фурор. Ребятишки дивятся псу и очень любят его. Отблески его славы падают и на меня: пес прокладывает мне путь к ребячьим сердцам. Завоевываю всеобщее уважение и дружбу. Матери даже доверяют нам младенцев.

Среди изголодавшихся беспризорных собак Обижуана мой пес могучий и гордый король; старается не замечать их оскаленных клыков, а когда они преграждают ему путь — попросту опрокидывает нападающих ударом своей широкой груди, даже не кусая.

Находясь среди индейской детворы, я неожиданно припоминаю один эпизод из жизни моей Баси. Много лет назад — дочурка тогда еще была жива, ей минуло шесть лет — после возвращения из моей первой экспедиции в Бразилию я рассказывал ей о жизни индейцев. Особенно интересовали Басю дети. Во время беседы она вдруг заявила, что индейские дети ездят на собаках верхом, как на лошадях. Я старался разубедить ее, но Бася, которая вовсе не была упрямой, на этот раз упорно стояла на своем и твердила, что хорошо знает: индейские дети ездят на собачках.

Это воспоминание подсказывает мне вдруг любопытную мысль. Хватаю первого попавшегося малыша и сажаю его верхом на моего пса. Пораженный пес отскакивает, но через мгновение догадывается, что это игра, и соглашается с ролью скакуна. Удалой малыш под торжествующие крики ездит по кругу гордый, как павлин. Ровесники завидуют его успеху и сами пробуют покататься. Пес учится терпению и, мужественно перенося пытку, послушно возит наездников. На протяжении нескольких часов новая забава, словно эпидемия, распространяется по всему поселку и становится сущей манией. Все сорванцы садятся верхом на своих собак. Отсюда новые волнения, много крику, много радости.

Но больше всех радуюсь я: наперекор действительности моя Бася оказалась права. Маленькие индейцы ездят на собаках!

Увлечение катанием на собаках длится день. Потом быстро стынет, и собачьи скачки забываются.

С этого дня я полюбил моего пса еще больше. Следовало бы купить его. Но хозяин собаки, рыбак с реки Оскеланео, неуловим. Он уехал куда-то в леса и неизвестно когда вернется, а без его согласия я не волен взять пса с собой. Это могло бы повлечь за собой неприятные последствия, как доброжелательно заявляет мне Френкленд. Поэтому он, к сожалению, забирает пса к себе и в момент нашего выезда на охоту держит его за шею, стоя на берегу озера.

Это торжественный отъезд. На пристани собралась толпа индейцев, тьма детей и собак. Неожиданно, в тот момент, когда лодка отчаливает от берега, мой пес вырывается из рук Френкленда, прыгает в каноэ и ложится у моих ног. Замешательство. Выгнать собаку невозможно. Она глуха ко всем моим просьбам и угрозам, только распластывается на дне лодки.

— Я не могу его сдвинуть с места! — кричу, раздраженный неприятным происшествием.

Кричу громко. Громче, чем нужно. Я неистовствую от волнения и жалости.

Но пес должен остаться в Обижуане. Станислав резко схватывает его за шею и шерсть на спине и бросает в воду. Бедняга молит меня последним отчаянным взглядом. Не может понять, почему я порываю нашу дружбу.

Фыркнул мотор, лодка рванулась вперед. Джон Айзерхофф, мой индейский проводник, садится за руль. Мы быстро удаляемся. Пес доплывает до берега и начинает выть. Громко, прерывисто, страшно.

Теперь я знаю, как плачут собаки.



Оскеланео - река со стоячей водой



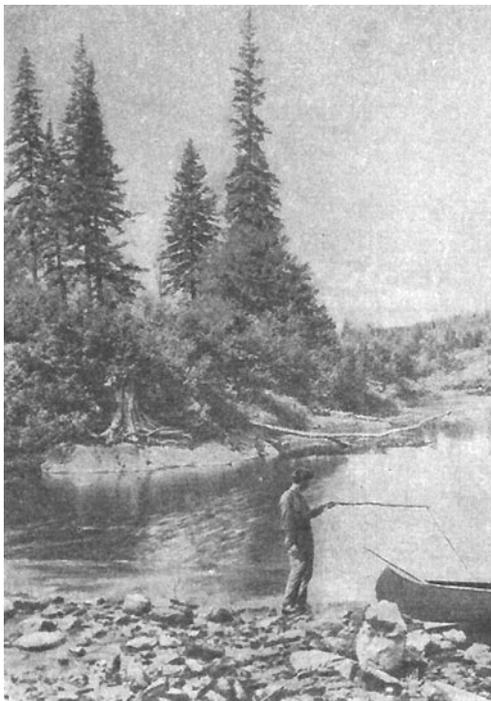
Каное -
отличная
лодка



В северных лесах,
где нет никаких
иных путей, кроме
водных, лодку час-
то приходится пе-
реносить из реки
в реку



Маленькие кри круглолицы, как пончики



Здесь можно было бы жить счастливо, в нерушимом согласии с самим собой и с природой

*Дети
индейцев
кри*



Гидроплан делает посадку на озере Обижуан



*Здоровье брызжет из его смеющихся черных
глазенок*



*Самый большой пес - черный гигант
с белым носом*

Часть третья

30. Следы... одни следы

Всюду следы лосей. Много старых затертых, но есть и свежие, порой такие отчетливые, как будто лоси прошли всего минуточку назад. Следы всюду: в траве, в грязи, на песке-вдоль всего берега. По мере того, как мы удаляемся от Обижуана, их становится все больше и больше; значит, мы приближаемся к местам большой охоты. Мой поход близится к цели: об этом свидетельствуют многочисленные следы, но — черт возьми! — где сама дичь? Мне уже осточертел вид одних следов.

Когда неделю назад мы заметили первые следы лосей у реки Оскеланео, они обрадовали нас и распалили воображение как предвестники будущих треволнений. Теперь они перестали меня радовать, наскучили. Следы — словно красивые обещания: слишком долго, раздражающе долго не исполняющиеся. Явно пустые и бесполезные, они дразнят и мучают.

Несколько раз мы включаем мотор и высаживаемся на берег. Исследуем местность, внимательно осматриваем все вокруг, словно сыщики. В следах меньше всех разбираюсь я. Хорошо читает их Станислав, еще лучше, естественно, старый индеец кри Джон Айзерхофф; но подлинным мастером, кажется, является Лизим, наш четвертый товарищ.

Лизим, хотя и моложе Джона на двадцать лет, выдвинулся на первое место в экспедиции как выдающийся проводник. Вообще это незаурядный индеец; черты лица у него монгольские, он носит очки и умеет ремонтировать моторы. Когда в пути глохнет мотор, Лизим разбирает его до последнего винтика, чинит, собирает — и мотор снова работает.

Во время осмотров берега Лизим делает какие-то наблюдения и открытия; тихим голосом, на языке кри, он сообщает эти сведения Джону, а тот рассказывает мне по-английски, что там вчера купались два лося, здесь проходил большой бык, а вот здесь стояла когда-то лосиха.

— Здесь наверняка есть лоси! — заканчивает он.

— Где же они? — насмешливо спрашиваю я и демонстративно оглядываюсь вокруг. — Я вижу одни только следы! Nothing but tracks![154]

Лес у озера распростерся привольно, прекрасный, как мечта, но такой пустынный, словно его опустошила эпидемия.

У Джона мягкий характер, он озабоченно улыбается и вежливо бормочет что-то под нос. Белый человек очень нетерпелив.

Проплыв более тридцати километров, мы попадаем в местность с несколько иным ландшафтом: в густом до этого массиве хвойного леса все чаще появляются светлые пятна лиственных деревьев. Множество осин и белоствольных берез растет среди пихт и елей. Скалистый берег очень изрезан: в гущу леса глубоко вдаются луга и болота, — излюбленные пастбища лосей.

Плывем на юго-восток по огромному продолговатому озеру с путаницей протоков и многочисленными островками: озеро Мармет. Тянется оно более чем на двадцать километров. У южной его оконечности перед нами вырастает полуостров — тонкий и длинный, словно вогнанный в озеро стилет. Высаживаемся на мысу. Джон заявляет, что мы достигли цели. Здесь самый центр лучших охотничьих мест. Отсюда мы можем отправляться на охоту во все стороны — на запад, на юг, на восток и даже на север, откуда мы прибыли. Всюду

встретим лосей.

Полуостров окаймляет песчаная полоса, за которой виден лесок с длинными и тонкими, как сам полуостров, деревьями. В этом лесочке, в небольшой впадине, в тени берез и молодых пихт, раскидываем наш лагерь. Котловинка гарантирует нам полную безопасность: ничьи чужие глаза не заметят пламени нашего костра. До воды недалеко — меньше сорока шагов. Мне нравится это место.

Пока разбиваются палатки (две, так как индейцы ставят свою отдельно), в лагере вдруг появляется странный гость. Это лесная куропатка. Она садится на поваленное дерево почти рядом — до нее не больше двадцати шагов — и не выказывает ни малейшего страха. Наоборот! Она забавно и вызывающе вытягивает и втягивает шею, то поднимая, то наклоняя голову. Видимо, она возмущена, ее снедает любопытство, она хочет понять: что это за нахалы нарушают покой леса? Fool hen, глупой курицей называет ее Лизим, и, кажется, справедливо. Оперением она напоминает нашего рябчика, только немного крупнее.

У Лизима с собой шестимиллиметровый винчестер. Он достает оружие из вещевого мешка и, пока Джон оправдывает передо мной его поступок — выстрел будет негромкий, крупного зверя не встревожит, — спокойно заряжает винчестер, секунду целится и стреляет. Прекрасный выстрел! Пулька попадает куропатке в голову, и птица падает на месте. За свое легкомыслие она заплатила жизнью, а нам открыла замечательного стрелка и обеспечила вкусное жаркое.

В нескольких шагах за лагерем индейцы показывают мне следы лося. «Крупный самец! — хвалит его Джон. — Он проходил тут лишь вчера». Действительно, на песке резко вырисовываются большие овальные углубления. Но следами я уже сыт по горло...

— Опять следы! — с деланным возмущением кричу я и смеюсь Джону в лицо.

Старый индеец огорчен. Его задевают мои насмешки. Советуется о чем-то с Лизимом, после чего предлагает мне еще сегодня, несмотря на позднее время, совершить недолгую разведывательную поездку. Темнота наступит только через час.

— Согласен, едем! — отвечаю.

Джон, Лизим и я сталкиваем на воду мое каноэ, как более легкое, садимся и плывем в южном направлении. Огибая полуостров, мы добираемся до его основания, там вплываем в какой-то пролив и вскоре оказываемся в новом озере, значительно меньшем, чем предыдущее, с километр длиной. Позже мы назвали его озером Смелой Щуки.

Над озером, впереди нас, повисает великолепная радуга с исключительно яркими красками. Одним концом она упирается в край воды неподалеку от нас, превращая луг в какой-то оторванный от земли и жизни лучезарный уголок. Освещает нас, словно зарево. Она напоминает волшебную триумфальную арку. Может быть, это действительно, ворота в охотничий рай? Редкое явление волнует индейцев: они о чем-то шепчутся между собой.

Спустя минуту солнце скрывается за лесом и радуга гаснет. Тени под деревьями густеют. Приближаются сумерки.

Проехав озеро, мы вступаем в узкое, извилистое русло — не то реку, не то старую протоку. Над поверхностью воды то и дело выступают разные камни,

кучи ила. Между ними трудно грести, но индейцы без видимых усилий преодолевают все препятствия, ловко обходя островки. Удивляюсь их проворству. Они гребут, так осторожно погружая в воду весла, что не слышно никакого плеска, кроме звука падающих капель.

Нерушимая тишина наполняет лес. Листья и стебли травы не шелохнутся, погруженные в предвечерний сон. В этот полумрак, в это великое лесное безмолвие мы вступаем, чуткие и тихие, словно призраки, притаившиеся, как хищные звери.

Вдруг сидящий за моей спиной Джон резко толкает меня и молча показывает пальцем вперед. Я шарю взглядом по хаотическим изломам берега: везде камни. Наконец вижу: лось! Ей-богу, лось! От волнения меня пронизывает дрожь. Лось стоит у самой воды, не дальше чем в нескольких десятках шагов от нас. Это колосс, подлинное воплощение силы, гордый лесной великан, почти допотопное существо. На фоне пепельного берега отчетливо вырисовывается его серокоричневый круп и белесые задние ноги, но голову и плечи скрывает прибрежный Камень. Еще неизвестно — бык это или лосиха. Если бык — то, пожалуй, крупный. Он еще не заметил нас.

Осторожно спускаю предохранитель, индейцы неслышно продвигают лодку. Сердце колотится, глаза от волнения увлажняются. Я поднимаю ружье для выстрела.

Медленно приближаемся к камням. Еще тридцать шагов... еще двадцать... Наконец пристаем к каменной стене, тихонько высовываемся из-за угла. Вдруг резкий поворот головы зверя — и на нас исподлобья смотрят испуганные глаза. На голове животного торчат большие уши-рожки, но... никаких рогов! Огорченный, опускаю ружье.

Перепуганная лосиха задирает морду, поворачивается на задних ногах и делает прыжок, чтобы удрать. Но в спешке она плохо рассчитывает крутизну берега и съезжает обратно в воду. При этом комично раскорячивает задние ноги, выпячивая в нашу сторону свой широкий зад.

Нервное напряжение спадает. Забавное зрелище вызывает веселость. Начинаем смеяться, как дети, — все трое смеемся весело, открыто, безудержно, разражаясь хохотом снова и снова.

Есть чему радоваться: закат обещает хорошую погоду, лосиха наконец удрала, обида исчезла, наступает примирение с лосями и согласие между людьми.

Когда мы собираемся в обратный путь, старый Джон показывает следы, оставленные на берегу лосихой, и, шутливо передразнивая меня, говорит с деланной досадой:

— Опять одни следы! Nothing but tracks!

31. Вильно в Онтарио

Вернувшись в лагерь, мы застаем Станислава с уже готовым ужином. Он отличился, и мы не жалеем похвал: поджаренная в масле *fool hen* так вкусна, что пальчики оближешь. Копченая грудинка с консервированной фасолью, бисквит, консервированные персики и крепкий чай дополняют пир. А как приятно потом растянуться на земле около костра, закурить хорошую папиросу: чувствуешь себя счастливым в этих лесах.

Целый день пути на лодке с навесным мотором не утомил нас. Спать не хочется. Радость, вспыхнувшая при виде первого лося, уже улеглась, зато меня

волнуют многообещающие перспективы завтрашнего и последующих дней.

Два индейца, сидящие по другую сторону костра, то и дело подкидывают в него сухие ветки и молча курят свои трубки. Станислав тоже говорит мало. Он уже столько побродил по этому лесу, столько настрелял зверя, что наверняка мало думает о завтрашней охоте.

Вдруг он поднимает на меня глаза и произносит тихим голосом, как всегда на один тон более серьезным и торжественным, чем следует:

— Знаете... Когда я сижу вот так у костра и вокруг меня только леса и озера, знаете, что приходит мне в голову? Наши кашубы.[155]

— Кашубы?

— Да, кашубы. Те самые, из Барри-Бея и Вильно — из канадского Вильно... Слыхали о них?

— Кое-что слышал. Но мало.

— Я у них, как вам известно, прожил несколько лет в Оттер-Лейке и немного в Вильно... Понаслышался я там множества рассказней о первых кашубах — о тех, кто почти сто лет назад прибыли в совершенно дикие и безлюдные дебри... Те дебри напоминали эти вот, и кашубам пришлось, пожалуй, не один месяц прожить в таких вот лагерях, как наш. Еще и по сей день леса там обширные, но это уже не то, что было тогда... Вам непременно следует увидеть Вильно!

— Потому что это самый старый польский приход в Канаде?

— Хотя бы... Но не только поэтому. Нигде в Канаде вы не встретите ничего подобного: клочок кашубской отчизны, целиком перенесенный из Тухольской пуци в эти леса. Люди там всегда говорят на том же диалекте, что и век назад, соблюдают те же обычаи... А какая набожность! Какая глубокая вера в бога! Какие там костелы!..

При одном упоминании о такой религиозности глаза Станислава загораются. Но быстро гаснут — в них отражается беспокойство, когда он поворачивает ко мне лицо.

— Я должен вам кое-что рассказать... — говорит он озабоченно. — Я в разладе с собой, грызет меня совесть...

— Я слушаю... Пожалуйста! — поощряю его, удивленный, и, поднимаясь с места, на котором лежал, сажусь на корточки.

— Если вы помните, мы как-то беседовали в Валь-де-Буа о моей прежней жизни?

— Разумеется, помню.

— Вы спрашивали, не постигло ли меня когда-то разочарование в любви... а я ответил, что нет?

— Да, конечно.

— Я не сказал тогда всей правды, стыдился, видите ли. Все было иначе. Меня постигла неприятность. Теперь мне стыдно, что я скрыл от вас правду...

Видя, какое значение Станислав придает этому делу, я стараюсь обратить все в шутку, заверяю его, что это не важно, что это его сугубо личное дело.

— Личное, понятно, что личное, однако...

Станислава это мучает. Он чувствует себя обязанным все объяснить, расположен к откровенности.

— Вам спать не хочется? — спрашивает он.

— Пока нет.

— Это хорошо. Я расскажу все...

В это «все» вмещаются не только его собственные, пожалуй незначительные, хоть и мучительные, переживания, но прежде всего история необыкновенной общины стойких кашубов.

Они прибыли в Канаду около 1860 года, изгнанные с кашубской земли. Преследуемые прусскими властями за свой язык и религию, они отстаивали эти две святыни, предпочтя изгнание и скитания.

Особенно далеко проникла в леса группа из нескольких десятков семей, искавшая такого укромного места, которое больше всего напоминало бы им родной — край. Были эти кашубы бедны, упорны и благочестивы. То, что они искали, нашли в Онтарио, в ста шестидесяти километрах к западу от города Оттавы и в ста километрах за станцией Ренфру.

У них не было ни лошадей, ни повозок; на собственных плечах несли они свой скарб и малых детей. Пять дней продирались кашубы по страшному бездорожью, пока не достигли цели.

Их встретили каменистые взгорья, густые леса и озера, полные рыбы, — местность, удивительно похожая на родину кашубов, только дикая, безлюдная и, увы! с такой же плохой землей, как в Тухольской пуще. Несмотря на это, одолеваемые тоской по родной стороне, они остались именно тут. Всюду был лес, огромный и пугающий; он скрыл от кашубов небо и остальной мир. Брошенные на произвол слепой судьбы, окруженные чужой природой и чужими людьми, не зная языка этой страны, они все же ни на миг не утратили присутствия духа. У них были жилистые руки, тяжелые топоры и лопаты, и они обладали непоколебимой верой, отвагой и упорством.

Это было поколение Якуба Морлоха, который сломанную левую руку, грозившую гангреной, сам себе отрубил топором и остался жив. Судьба была сурова к кашубам. Им пришлось испытать все трудности, какие только выпадают на долю пионера в этом диком краю, — и они все преодолели. Упорным трудолюбием в конце концов добились своего. Построили хаты, раскорчевали лес вокруг, на непокорной земле вырастили жито. Теперь у них было что есть.

И хотя рядом постоянно темнели канадские дебри, они уже были не так страшны: они давали обильную пищу. Лес кишел оленями, лосями и медведями, озера — форелями и щуками. Осенью склоны чернели от обилия сладких и крупных ягод. Голод уже не грозил кашубам.

Идеально чистый живительный воздух предотвращал болезни, в этом прямотаки чудесном климате здоровье всех стало цветущим.

За десять лет поселенцы крепко осели на этой земле и набрались сил. Тогда они построили себе костел — первый польский костел в Канаде — и пригласили ксендза. Когда позже неподалеку открылась почта, местность эту по просьбе ксендза назвали Вильно; ксендз Людвиг Дембский был уроженцем Вильно. Таково объяснение парадокса, что почтенные кашубы живут в канадском Вильно, а не в каком-нибудь Луцке или Вейхерово.

Небывалое трудолюбие и чистота нравов быстро привели кашубов к благосостоянию. Они поразительно, неправдоподобно плодовиты. Многие семьи — пожалуй, половина этой общины — насчитывают больше десяти детей, а семьи с двадцатью детьми — отнюдь не редкость. Возможно, это отражение могущественного влияния церкви: то же происходит у французов в Квебеке. Как и там, первая горстка людей с небольшим добавлением извне невероятно раз-

множилась: ныне в этой местности проживает более четырех тысяч, человек кашубского происхождения.

Но что самое интересное-дети кашубов не бегут в города, не рассеиваются по свету, как дети из других канадских поселений. Верные земле, они остаются на месте, корчуют лес под новые усадьбы и даже покупают соседние фермы ирландцев, лишь: бы только быть вместе со своими. В непосредственном соседстве с Вильно возникает второй приход в Барри-Бее и третий — в Раунд-Лейке. Если же кто-то по каким-либо причинам покидает кашубскую общину, он неизбежно возвращается к ней: даже солдаты, повидавшие большой мир не на одном фронте во время войны, снова вернулись в родной приход.

Это тихий островок необоримого землячества в чужом море. Старый язык здесь не угас, и хотя дети часто уже не владеют им, они охотно прислушиваются к говору родителей и понимают его. Когда в дом приходят гости, когда кашубы встречаются на лесных тропах — под канадскими пихтами неизменно раздаются приветственные слова: «Нех бендзе похвалены Езус Христус» и ответ: «На веки веков, аминь!». Уходящему всегда желают, чтобы шел с богом. На пасху молодежь все еще шалит, поливая друг друга водой, в сочельник люди высказывают друг другу добрые пожелания, а на шумных свадьбах верховодят многочисленные шаферы.

В этой общине крестьян и лесорубов не было и нет людей с высшим образованием, кроме ксендзов. Больше того: никто отсюда не стремится в город, чтобы получить образование, и никого не поощряют к этому. Все верят, что в городе — обители зла, греха и распущенности — легко сойти с пути добродетели. Из Вильно или из Барри-Бея не вышел ни один врач, юрист или инженер; зато оттуда вышло много ксендзов и монахинь. Многие из них вернулись. Ксендз из Барри-Бея, искусный охотник, родился здесь как кашуб и вернулся сюда как пастырь кашубов.

Нигде, даже в самых отдаленных и глухих французских селениях Квебека, священники не обладают такой властью и таким влиянием, как здесь. Их авторитет неограничен, непререкаем. Станислав, который все-таки немного узнал жизнь и людей, понимает, что священники, так бдительно оберегающие своих прихожан от влияния грешного мира, одновременно заключают их в стеклянный колпак, подальше от всяких соблазнов прогресса.

Но Станислав не скрывает своего удовлетворения таким положением вещей. Он рад, что так получилось, что все там делается во имя божье, к его вящей славе и с его благословения...

— А ваши собственные переживания, Станислав? — напоминаю я. — Неприятность, которую вы испытали...

Станислав явился к кашубам в Оттер-Лейке еще перед первой мировой войной, и, хотя сначала его приняли недоброжелательно, с течением времени своей пылкой набожностью он снискал их признание и дружбу. Ему было хорошо среди богобоязненных поселенцев, всех этих Лорбешших, Бурхатов, Этманских, Щипёров. Он много работал на них и носил им из леса дичь.

Но в Оттер-Лейке не было прихода, была только миссия. Поэтому, чтобы быть ближе к костелу, Станислав перебрался в Вильно. Там батрачил у одного из хозяев.

Был тогда Станислав молодым и, хоть жил смиренно и богобоязненно, не чуждался людей и дозволенных развлечений. Соседи охотно приглашали его

в свои дома, и всюду, где он бывал, видел семейное счастье. Люди спрашивали его, когда же он сам обзаведется семьей?

У его хозяйина работала Агнешка, дальняя родственница хозяйки, сирота, девушка здоровая, сильная, статная и очень набожная, но бедная. Она как-то не привлекала до тех пор внимания парней, имевших серьезные намерения. Агнешка очень понравилась Станиславу, да и он не был ей безразличен. Поэтому Станислав решил приобрести участок леса поблизости, основать свое хозяйство и жениться на Агнешке. Она охотно согласилась.

Но в это время в приход приехал в гости молодой священник из Ренфру, ирландец. Среди его прихожан было несколько поляков, поэтому он умел немного говорить по-польски. Волосы цвета воронова крыла и черные, полные огня глаза подчеркивали особую красоту священника, слывшего к тому же одним из лучших проповедников.

Прежняя его экономка вышла замуж, теперь ему была нужна новая, поэтому он и приехал к приятелям кашубам. Приход и хозяйева единодушно порешили, что на эту почетную должность пойдет Агнешка. Девушка сразу же согласилась. Только Станислав опечалился, но ирландский священник утешил его тем, что берет ее ненадолго — на несколько месяцев или даже недель.

Назначенное время прошло, но Агнешка не вернулась. Станислав тревожился, тосковал. Наконец он поехал в Ренфру. Когда Агнешка увидела его, она на мгновение покраснела и онемела, но встретила его очень мило и радушно. Объяснила, что не могла до сих пор вернуться, так как еще не нашли ей замену, но теперь уже ждать недолго. Жизнь в доме приходского священника пошла ей на пользу: она раздобрела и стала еще красивее.

Агнешка пригласила Станислава в костел. Ирландский священник произнес выспреннюю проповедь и взволновал всех благородными словами. На амвоне он выглядел прекрасно: его огневые глаза горели вдохновением. Агнешка впиалась в него взглядом, словно в икону. И не она одна-все.

Станислав вернулся в Вильно и стал ждать. Снова прошло несколько недель — девушка не подавала признаков жизни. Постепенно Станислав примирился с судьбой: так, видно, ему на роду написано. Со смирением приучал себя к мысли, что Агнешка уже не вернется к нему. Он не чувствовал зависти: очевидно, девушка служила более достойному делу; очевидно, там она была ближе к истокам света и вечной истины, чем рядом с ним, недостойным.

Но однажды в нем вспыхнул бунт. Два подвыпивших подростка (и такие ужасные вещи случались иногда в Вильно) избрали его предметом своего злословия, начали подтрунивать над ним, поддразнивать его, роняя какие-то дурацкие недомолвки в адрес Агнешки. Это задело его. Станислав решил съездить еще раз в Ренфру.

Девушка встретила его не так доброжелательно, как в первый раз. Станислав заметил, что она слегка нахмурила брови; такого прежде не бывало. Она избегала его взгляда. Смотрела все время вдаль, и Станислав не узнавал ее лица: была в нем какая-то новая, чуждая сила и какая-то странная неопределенность. Он даже испугался. Понял все еще до того, как она открыла рот.

Агнешка сказала ему, что решила. Отказаться от земных радостей и не выходить замуж ни за него, ни за кого-либо другого. Многие девушки из Вильно последовали духовному призванию, и она тоже думает посвятить себя возвышенным целям. Перед таким решением Станислав склонил голову и, запечат-

лев поцелуй на ее ясном лбу, простился в мире и дружбе.

— В Вильно, — закончил он свой рассказ, — я долго не задержался: как-то неловко было. Покинул счастливых кашубов, ибо можно славить бога и где-нибудь еще, и нашел свою поляну около Валь-де-Буа. О женщинах перестал думать.

— А Агнешка?

— Сдержала слово и не вышла замуж. Только...

Глаза Станислава едва заметно заморгали. Мне показалось при свете костра, что я прочел в них какое-то отражение тревоги, печали и стыда.

— Что «только»?

— Только она, — тихим, угасшим голосом ответил траппер, — не ушла в монастырь. Осталась навсегда в Ренфру, в доме священника...

Индейцы давно уже улеглись в своей палатке. Время отдыхать. Ночь наступила холодная, дрожь пробирает до костей. Прежде чем лечь, Станислав наваливает в костер топливо.

— Чтобы отогнать холод и горести, — грустно улыбается он.

32. Охотничий рай

Утром следующего дня густой туман окутывает лес и озеро. Мрачный и безнадешный встает день, который потом чудесно распогодится и преподнесет нашим изумленным взорам столько великолепных сюрпризов. День славы этих лесов.

Из лагеря выступаем на рассвете, в тумане, в мрачном настроении. Так же, как и вчера, нас в лодке трое: оба индейца и я. Станислав снова остается в лагере. И так же, как вчера, первую часть пути мы плывем по озеру Смелой Щуки. В том месте, где вчера вечером мы увидели лосиху, наше появление вспугивает стаю диких уток. Их семь. Непрошенные мокрохвостки взлетают со страшным шумом и, крякая, кружат над нами. Пронзительное кряканье воспринимаем как удар бича: оно грубо врывается в тишину утра и тревожит все вокруг. Наконец утки скрываются вдали.

Вскоре поднимается легкий ветерок и в несколько минут разгоняет туман. Видимость улучшается. На небосклоне с востока появляется солнце, и в первых его чистых алых лучах мы черпаем бодрость. К счастью, утки не встревожили остальных зверей: вон впереди, на мели посреди протоки, стоя почти по колена в воде, спокойно пьет лось. С первого взгляда можно подумать, что это взрослый самец. Увы, мы уже издалека видим, что это молодой бычок. Малыш не стоит выстрела. Я откладываю ружье.

Индейцы снова вызывают мое удивление. Они гребут так осторожно, что только на расстоянии тридцати метров лось замечает нашу лодку и с перепугу забывает о бегстве. Смотрит на нас как зачарованный.

— Стреляйте вы! — шепчу я индейцам и делаю едва заметный приглашающий жест в направлении животного.

Нет, стрелять они не будут, отвечает Джон: не хотят пугать выстрелом другого, лучшего зверя. Я с благодарностью принимаю их предупредительность. Понимаю, что это благородное самопожертвование: среди индейцев Обижуана сейчас ощущается острая нехватка мяса и вообще продовольствия.

В конце концов лось трогается с места и удаляется. Делает он это медленно, не спеша, как бы не ощущая грозящей ему опасности. Словно еще не знает людей. Джон объясняет, что последний раз люди проплывали здесь год назад.

Вскоре речка заканчивается в болоте. Приходится перетаскивать лодку через перешеек в следующее озеро. Такой волок часто становится пыткой для гребцов, так как водораздел очень широк, а багаж слишком тяжел. Но этим способом через неминуемые волокни можно пересечь всю Канаду, переходя из реки в реку.

На сей раз нам предстоит пройти только сто шагов. Тут растет кустарниксу-мах со странными, красными, как кровь, гроздьями ягод. Это любимая пища лесных куро-паток. И впрямь две куро-патки вспархивают у нас из-под ног и отлетают на несколько шагов. Мы даже не смотрим на них.

Новое озеро площадью более двух квадратных километров не имеет названия. Нет его и на карте. Зато оно отличается одной особенностью. Во многих местах, словно грозящие кому-то огромные пиццали, из воды торчат сухие стволы мертвых деревьев высотой в несколько метров. Это затопленный лес, лес мертвецов. Плыдем здесь с удвоенной осторожностью. Недолго и до беды. Если задеть ствол, подгнивший снизу, то он может потерять свое шаткое равновесие и, падая, затопить лодку.

Джон показывает мне на берег. Во впадине, среди поваленных стволов, виден хребет лося.

— Cow.[156] Лосиха! — говорит индеец, хотя я не понимаю, как он определил это. Головы животного не видно.

Из любопытства подплываем ближе. Тихий треск нашей лодки, задевшей ветку, предостерегает лося. Зверь быстро поднимает голову: действительно, самка. Она встревожена и таращит на нас изумленные глаза. Ее мучает сомнение: враги это или дружественные существа? В конце концов, проявляя испуг, она начинает отступать, крича тревожно: уэ, уэ...

На этот крик отзывается вблизи такой же голос, и теперь мы понимаем испуг лосихи: из-за бурелома появляется небольшой лосенок-сосунок и, жалобно мыча, бежит за матерью. Оба исчезают в лесу.

Но ненадолго. Вскоре лосиха появляется одна и, вызываяще мыча, приближается к берегу. Уши прижала к голове, словно злой конь, шерсть на хребте взъерошилась. При этом она вытягивает шею и высокомерно ставит длинные ноги: все ее поведение выдает воинственные намерения. Готова броситься на нас.

Не надо, оскорбленная мать! Мы уходим... Сильными гребками весел индейцы выводят лодку на середину озера. Близкая встреча с лосихой грозит неприятностью, если с ней ее детеныш.

Снова волок. На этот раз нужно переносить лодку почти на километр по болоту, поросшему буйной травой и маленькими елочками. Несколько раз встречаем глубокие следы в траве, непохожие на прежние следы лосей, более широкие. У самого большого из них индейцы останавливаются. Здесь утром проходил крупный медведь. Медведей много в окрестности. Все их следы ведут в одном направлении — к высоким холмам, поднимающимся левой, наискосок от нас.

— Медвежьи горы! — говорит Джон и смотрит на них задумчиво.

Выйдя из чащи, мы останавливаемся у широкого залива, за которым голубеет большое озеро. Это озеро Чапмен, окруженное Медвежьими горами.

Джон просит, чтобы я разглядел в бинокль темное пятно, движущееся на противоположном берегу залива. Смотрю и вижу: лосиха.

Садимся в каноэ, плывем. Медвежьи горы вырастают перед нами, все более отчетливые и высокие. Ближайшая из них возвышается над уровнем озера метров на двести. Ее покрывает великолепный густой бор, кое-где испещренный светлыми шрамами голых скал. На самой вершине зеленеет открытая поляна, залитая полуденным солнцем. Там, должно быть, красиво: вершина манит к себе.

— Я хотел бы побывать там, наверху, — говорю Джону.

— Хорошо. Поднимемся.

Обогнув широкий полуостров, подплываем к подножию горы и высаживаемся. Взбираемся. В некоторых местах приходится карабкаться на четвереньках, но вообще-то подъем легкий: среди деревьев немало голых мест, невидимых снизу. Через час, вспотев, достигаем вершины.

Зрелище, которое я ожидал. У подножия нашей горы темнеет изогнутое полумесяцем озеро Чапмен с заливом, вдоль которого все еще бредет лосиха. Несколько в стороне Безымьянное озеро, где произошла неприятная встреча с самкой и лосенком. Дальше к северу озеро Мармет. Лишь полуострова с нашим лагерем не видно — он слишком далеко.

Под нами всюду лес — безбрежная густая зелень лесов. Море зелени, а на этом море светлые острова: озера. Только глядя с горы, познаешь истинную сущность леса, явственно видишь его основную особенность — бескрайность, ощущаешь всеми чувствами, почти осязаешь его величие, его бесконечность. Лес, на который я гляжу, беспределен. И благоухает.

Снизу долетает порыв ветра и обдает нас сильным ароматом смолы, хорошо мне знакомым, упоительным запахом пихты. Это радостный привет, знак благожелательности. Разогретые сентябрьским солнцем, леса пахнут смолой.

У индейцев соколиные глаза. Замечают зверя и просят меня посмотреть в бинокль — туда, на северный берег озера Чапмен. Смотрю и вижу лосиху. Немного ближе, рядом с песчаной полосой, — лосиха с лосенком. А с той стороны, на поляне? Тоже лосиха! А, чтоб вас черти побрали! Одни самки с телятами... Это же настоящее бабье царство! На восемь встреченных нами сегодня лосей — только один самец, да и тот маленький, жалкий.

Пока Лизим разжигает костер и готовит завтрак из захваченных с собой продуктов, Джон тихим, несколько гортанным голосом рассказывает мне о тайнах лосей.

Он говорит: солнце все еще греет, ночи теплые, не пришло еще время. Самцы есть, но они скрываются в чаще: спят лениво и пока спокойны. Период сближения еще не наступил. Рогатые великаны выйдут из чащи, когда в них забурлит кровь, когда их потянет к самкам. Тогда они начнут тревожно трубить, искать самок и бродить по лесам. Это случится, когда наступит первая понастоящему морозная ночь. В эту ночь, возможно, покажется в небе большое полярное сияние. А до тех пор пока оно не покажется, самцов не будет, и охотиться не имеет смысла. Поэтому Джон и Лизим завтра покинут нас и уедут к своим, в Обижуан. Они возвратятся после первого заморозка. Это произойдет скоро. Через несколько дней, через неделю, может быть через две.

Во время рассказа Джона порывы теплого ветра из долин все время приносят сильный запах смолы. Я вдруг понимаю безмерную, почти неземную безмятежность, разлитую повсюду вокруг: в благоуханном осеннем воздухе, на солнечных склонах холмов, в тихих, словно прильнувших к земле лесах, но

прежде всего среди пасущихся внизу лосих, полных спокойствия и доверчивости. Под нами спокойствие рая. Рая? Да! Усиленно и настойчиво возникает мысль, что именно здесь можно было бы жить счастливо, в нерушимом согласии с самим собой и с природой, именно здесь можно было бы быть тихим, добрым и сильным человеком — без потрясений, без дурных страстей...

И объемлет человеческую душу еще одно чувство: необыкновенное, властное чувство свободы. Весь этот лесной край, на много бесчисленных миль охваченный нашим взором, открыт нам — мы можем упиваться его могучим очарованием до пресыщения, купаться в его богатствах, питаться вволю всем, что он дает. Безлюдный, он сейчас наша исключительная собственность. Можем созерцать эти чудеса, словно они наши, и, насытившись, в любую минуту уйти без сожаления.

Не знаю, влияние ли это такого чистого воздуха и его просто фантастической свежести, только ясно, что человеком здесь овладевают упоительная радость и невозможная где-либо еще бодрость.

Вдруг Джон, толкнув меня, показывает на склон соседней горы: черное пятно показалось там в зарослях и пропало. Всего мгновение, но и его достаточно, чтобы быстрее забилося мое сердце и меня снова охватила жажда убийства.

На склоне появился медведь.

33. Медведица

Как ошпаренные вскакиваем мы с травы и напряженными взглядами впишемся в лесную чащу на склоне соседней горы. Неужели, скрываясь, медведь заметил нас? Вряд ли: ветер благоприятствует нам — он дует в нашу сторону. Но мы напрасно всматриваемся — медведь спрятался. Его скрыли пихты и густой кустарник.

С пальцем на курке, ступая как можно тише, спускаемся вниз шагов на триста. На том месте, где мы видели медведя, находим многочисленные следы. Взглядом и слухом стараемся проникнуть в чащу. Ничего! Мы находимся на полпути между вершиной и берегом озера. Белая поверхность воды поблескивает под нами между ветвями деревьев. Всюду глубокая тишина, на всем склоне ничто не шелохнется.

Индейцы обнаруживают нечто важное. Оживленно шепчутся между собой и снова осматривают следы. Джон разъясняет мне, что здесь проходил не один, а три медведя. А точнее, медведица с двумя довольно большими пестунами. Надо быть начеку. Медведица в подобных случаях становится опасным врагом и часто первой бросается на человека.

Осторожно, потихоньку пробираемся мы сквозь подлесок по звериному следу. Под одним из деревьев обнаруживаем довольно обильные медвежьи испражнения. Джон дотрагивается рукой и отмечает с удовлетворением:

— Теплые.

Хотя звери бродят где-то рядом с нами и следует предполагать, что их ничто не встревожило, нам все-таки трудно их догнать. Через минуту следы выводят нас на полянку шириной примерно в сто шагов и, пересекая ее по самой середине, исчезают на той стороне, в лесу. Останавливаемся на краю поляны в безопасном укрытии.

Преследовать дальше не стоит, заявляет Джон. И предлагает такой план действий: медведи наверняка бредут вдоль озера — между берегом и цепью высот. Лизим быстро сбежит вниз, сядет в лодку, выплывет на озеро и, быстро

продвинувшись на добрую милю, высадится и преградит им путь. Почуввав впереди человека, медведи непременно повернут обратно и придут к нам по собственному следу. Будем ждать их здесь. В сторону они наверняка не свернут: с одной стороны у них озеро, а с другой — горы с открытыми вершинами и видимыми издали полянами. Стало быть, если они вернутся, то лишь вдоль опушки, прямо на нас.

План кажется приемлемым. Лизим бежит вниз, а мы — Джон и я — остаемся, наблюдая за поляной.

Наступившую тишину вдруг нарушают отдаленные звуки: то треск деревьев, то повторяющийся хруст. Джон судорожно хватается за плечо и сдавленным голосом шепчет:

— Медведи ломают деревья и ищут там личинок!..

С любопытством вслушиваюсь в эти звуки, но с еще большим удивлением смотрю на дрожащую руку индейца и на его лицо. Джон взволнован. Мне это кажется непонятным сюрпризом: неужели индейца до такой степени встревожила близость медведей? Внезапно спрашиваю его:

— А что, индейцы кри все еще верят, что у медведя человеческая душа?

Застигнутый врасплох, Джон отдергивает руку и пытается скрыть свое замешательство. Сбивчиво и шутливо отвечает, что прежде среди индейцев были распространены разные суеверия, но теперь — хо-хо! — многое изменилось. Джон первым отверг старые суеверия и, например, уже не жертвует первого бобра, убитого в начале года, духам природы, а сдирает с него шкуру и с выгодой продает белым... Пользуясь случаем, Джон поучительно замечает, что запрещение охотиться на бобров не распространяется на индейцев.

Это правда, что Джон — незаурядный индеец. Так говорил Френкленд, характеризуя Джона как прогрессивного человека и одного из умнейших индейцев кри.

Долгое время в лесу царит глухая тишина. Треск ломаемого дерева прекратился. Только назойливые осы жужжат над ухом. Лесная тишь навеивает мучительную неуверенность, и с каждой новой минутой растет опасение, что мы ждем напрасно, что медведи ушли далеко и теперь уже не вернуться...

Высоко в небе летят три вороны. По всей видимости, они шатаются без всякой цели, время от времени лая, как собаки. Да, да, именно лая! Забавная вещь: здешние вороны лают, как собаки. Буквально так: гав, гав, гав...

Пролетают над нами, потом над поляной, затем над лесом. Но вот что-то меняется: вороны несколько раз пролаяли по-своему, как бы встревоженные чемто, и вдруг умолкли. Умолкли надолго.

Джон толкает меня — на этот раз легко, почти незаметно — и, улыбаясь, показывает на удирающих ворон: — Они увидели медведя!..

Снова воцаряется спокойствие. Оно длится добрых пятнадцать минут. Потом над нашими головами, там, где летели вороны, появляются две сойки, blue jays. Эти лесные повесы и крикуньи всегда орут во все горло, если замечают на земле что-нибудь необычное. Мы следим за их полетом и внимательно прислушиваемся. Но птицы разочаровывают нас. Знать, они не видят внизу никаких зверей. Над лесом сойки пролетают спокойно и молчаливо. Либо медведей нет, либо они хорошо укрылись.

Послеполуденное солнце клонится все ниже к западу. В эту пору дня канадские белки весело играют среди ветвей. Каждую минуту раздастся их громкая

трескотня: тррррр, тррррр... Одну белку мы слышим где-то внизу, у самого озера, вторую ближе — по ту сторону поляны, в том месте, где уходят в чащу следы медведей.

Но вот голос ближней белки меняется. Она начинает быстро, прерывисто чмокать, потом громко фукает, затем свистит: пух-циик, пух-циик. Заметила что-то, возбуждена и громко разглашает свою тайну. Выдает присутствие крупного зверя. Она ругает его, поносит и предостерегает других. Неистовствует. Лес полон ее крика.

Сердце мое громко стучит.

На опушке растут высокие папоротники, не позволяющие заглянуть вглубь. Один из кустов, взметнувшийся выше других великолепным двухметровым султаном, внезапно сильно встряхивается и колыхается. Теперь я знаю: медведи вернулись. Они остановились перед поляной. Проходят долгие томительные минуты. Тем временем папоротник выпрямился и вновь неподвижен. У нас глаза вылезают из орбит от напряжения. Но зверей все еще не видно.

Как бы вознаграждая нас за часы напряженного ожидания, последующие события разыгрываются с молниеносной быстротой. Легкий треск ветки. Не там, впереди, где мы ждали, а рядом, слева, значительно ближе. Три черных клубка мелькают среди деревьев, пробегают крадучись, но резво, боком к нам. Я стреляю в первого из них, который побольше. Спуская курок, уже чувствую, что промазал. Второй выстрел лучше. Попал! Медведь валится словно подкошенный и бессильно скатывается по склону. Дышит тяжело.

Два других медведя, а вернее, медвежонка, обалдев от ужаса, топчутся как шальные. Потом удирают.

Раненый медведь грызет корни и страшно хрипит. Когтями раздирает землю. Я подбегаю и с расстояния в несколько шагов всаживаю ему пулю в затылок. Страшные лапы слабеют. Хрипение прекращается. Последним судорожным движением медведь впивается зубами в ствол дерева и остается в этой позе: с оскаленными зубами, с вывалившимся языком — черный, косматый, грозный, величественный.

Меня охватывает внезапная радость: есть добыча! Это медведица. Вторая пуля перебила ей позвоночник. Пестуны тем временем ушли недалеко. Спрятались в соседних кустах. Оттуда неожиданно доносится их громкий крик. Это не рычание, не бормотание, а именно крик. Они громко плачут и жалуются. Плач душераздирающий, пронзительный. Он треплет нервы. Так же горько плачут человеческие дети, когда их обижают.

Сначала я слушаю, удивленный, потом моя радость гаснет; просыпается совесть, в сердце закрадывается горечь. Псякрев! Скверно я поступил! Не надо было убивать мать.

Медвежата не умолкают: плачут навзрыд. В конце концов меня охватывает бешенство. Зарядив ружье, бегу в лес. К счастью, медвежата чутки. Удирают незаметно в глубь чащи и лишь на дальних склонах раздражаются новым приступом отчаяния. Оставляю их в покое.

Когда, разбитый и подавленный, возвращаюсь на поляну, то останавливаюсь как вкопанный: Джон! Недавно он хвастался своей прогрессивностью, и вот — прорвало его. Он обходит медведицу каким-то торжественным, ритуальным шагом, машет в ее сторону руками и что-то оживленно говорит ей: ве-

роятно, таинственные заклинания. Суровая сосредоточенность отражается на его лице.

Когда я, кашлянув, медленно подхожу, Джон умолкает и возвращается к действительности. Снова становится Джоном Ай-зерхоффом, гражданином «доминиона Канады» и проводником, мягко и стыдливо улыбается. Он быстро притрагивается к медведице и показывает, старательно и толково разъясняя:

— Пуля раздробила хребет. Сюда вот вошла, а вышла отсюда... Это был смертельный выстрел... Вторая пуля...

Говорит громко, усердно, больше чем нужно, как бы стараясь замаскировать и скрыть свой стыд.

Не скрывай, Джон! Это я стыжусь!..

Индеец, догадывающийся о муках моей совести, старается успокоить меня, не зная, что этим невольно усиливает мой стыд.

— Это ничего. Пестуны, которые удрали, довольно большие... Они теперь и сами проживут...

Не в этом дело, Джон, не только в этом.

На следующий день утром я отправляюсь на озеро ловить рыбу и... новое приключение — на этот раз с большой щукой, которую я вытаскиваю из глубины только с помощью индейцев! Вернувшись в лагерь, делим перед отъездом Джона и Лизима мясо медведицы. Индейцы получают львиную долю, мы оставляем себе только один окорок и лапы.

— Нам хватит на несколько дней, — говорит Станислав. — Больше нам не нужно, а то испортится в тепле...

Меня радует, что мы можем помочь индейскому поселку продовольствием.

Станислав вешает мясо на ближайшую пихту в тени ветвей, чтобы сохранить его как от лучей солнца, так и от малых хищников; рядом сохнет выделанная шкура. Потом, распростившись с индейцами, Станислав и я отплываем на охоту.

День погожий и солнечный: настоящее «бабье лето». Снова плывем по тому же маршруту, что и вчера, — через озеро Смелой Щуки до самого волока. Утро давно прошло, поэтому нас не удивляет, что зверя не видно и не слышно. На портаже высаживаемся. Берега Безымянного озера пустынные, насколько хватает глаз. Решаем вернуться в лагерь, но перед этим отдохнуть на красивой поляне с видом на озеро.

Вокруг баюкающая тишина. На поляну, в каких-нибудь ста шагах от нас, вышли два зайца. Они, точно так же как и мы, радуются солнышку, скачут туда-сюда и едят траву.

Но вот оба наостряют уши и застывают. В воздухе промелькнуло что-то. Ястреб! Нападает сверху!.. Зайцы обращаются в бегство. Они делают резкие повороты, бросаются то вправо, то влево, ускользая от хищника. Но, прежде чем зайцы достигают леса, ястреб когтями впивается в одного из них. Бьет его клювом и крыльями. Раздается отчаянный вопль убиваемого.

— Обычный конец... — с сочувствием говорит Станислав. Еще не конец! Второй заяц, вместо того чтобы удирать в чащу и спасать свою жизнь, ведет себя беспримерно. Он смело нападает на хищника! Подпрыгивает вверх и сильным ударом передних лап сбивает птицу на землю. Освобожденная жертва делает скачок. Ястреб взмывает и устремляется в новую атаку, но на секунду опаздывает: зайцы скрылись в кустах!

— «Трусливый как заяц»... — говорю я. Поговорка, наверняка не относящаяся к этому зайцу. Он — герой!

— Канадские зайцы, — не без хвастовства отвечает Станислав, — совсем не такие, как европейские.

На обратном пути рассказывает мне о здешних зайцах. Это беляки, обитающие в лесах повсюду и носящие зимой белые шубки. Обильно размножаясь, они составляют основную пищу малых крылатых и четвероногих хищников — филинов, лисиц и куниц. Этим, вероятно, объясняется сравнительно большое количество пушных зверей в канадских лесах. Каждые несколько лет — некоторые утверждают, что каждые семь, — зайцев становится так много, что они превращаются в подлинное бедствие: к отчаянию трапперов, зайцы часто попадают в капканы, поставленные на ценного зверя, и доводят многих охотников до разорения. Только поставят капканы — через час во всех оказываются противные грызуны.

Но именно в эти периоды зайцев поражают убийственные эпидемии. Внезапно превращаясь в настоящие скелеты, почти все они гибнут. На каждом шагу человек натывается на их трупы, обильно разбросанные по земле, а иногда лежащие кучами в десять-двадцать штук. После этого года два зайцев в лесу не видно, и лисиц становится меньше. Потом зайцы снова размножаются до размеров бедствия, и цикл повторяется.

34. «Где же она, эта идиллия?»

Когда мы пристаем к берегу вблизи нашего лагеря, нас ждет неожиданность. Там лежит вытащенное на песок каноэ с навесным мотором.

— Неужели индейцы вернулись? — спрашиваю, заинтригованный.

— Это не их каноэ! — возражает Станислав. — Приехал кто-то другой.

— Значит, у нас гость?..

— Кажется, да...

Не успеваем мы пройти несколько десятков шагов, отделяющих нас от лагеря, как из-за деревьев появляется человек. Сразу можно узнать француза: черные живые глаза, невысокая фигура, весело улыбающееся, как бы сконфуженное лицо, проворные движения. Нашему гостю, очевидно, около сорока лет. Удивляют выступающие скулы и сжатые губы: они не столько французские, сколько индейские.

Пришелец вежливо представляется: Жан Морепа. Он инженер-гидротехник на службе у компании по строительству больших плотин в нижнем течении реки Св. Маврикия. Сейчас обследует озера, питающие реку, носящие название водохранилище Гуэн. Сегодня встретил по дороге знакомых индейцев — Джона и Лизима, которые указали ему местонахождение лагеря. Вот уже несколько дней он не беседовал с людьми, поэтому решил заглянуть сюда. Не помешал ли нам?

Разумеется, не помешал. Мы заверяем его, что он *le bien-venu*. [157] Приглашаем его в лагерь и сразу же включаем в работу: втроем готовим обед. Главное блюдо — медвежатина.

По-видимому, Джон наговорил о нас французу всякую всячину: что я пишу книги, что я дружелюбно расположен к индейцам.

— Моя бабушка была индианкой... — немного робея, признается Морепа. — Я метис.

И добавляет с улыбкой:

— Так же, как Луи Риль.

— Вы имеете в виду известного бунтовщика XIX века? — спрашиваю его.

— Да. Но бунтовщиком называли его только враги. Мы — никогда.

Он говорил это без обиды и вежливо, но серьезно и решительно.

Морепа выходец из Манитобы. Молодым приехал с запада в Квебек учиться и остался там. Он начитан, обладает ясным умом. Быстрые искорки в его глазах вспыхивают не без причины. Он приобрел обширные знания о Канаде и ее истории, но особенно о прошлом индейцев и метисов. Знания эти не укрывает под спудом. — Весьма разговорчив, но не назойлив. Отличается редкой у таких рассказчиков чертой: знает, когда умолкнуть.

— Мы народ побежденный... — неожиданно говорит после долгого молчания.

Кого он, собственно, имеет в виду? Французов? Индейцев? — Ни тех, ни других, — отвечает Жан. — Метисов.

— Вы называете метисов народом?

— Вот именно! — живо отвечает он. — В прошлом столетии был период, когда появился в Канаде новый народ — отличный от других, — народ французских метисов. Он зародился там, на западе, в Манитобе и Саскачеване. Но ему не дали развиваться. Пришли грубые насильники, покорили, убили тело, растоптали душу...

— Вы говорите это в переносном смысле?

— Какое! Я говорю о совершенно реальных фактах!

— Кто же эти грубые насильники?

— Люди с Онтарио. Миру известно немного об этих битвах, а ведь они были ожесточенными и кровопролитными... Нас разгромили, так как их была тьма. Только немногие — как я, например, — вошли во французское общество и стали французами. Большую же часть метисов развеяли; как пыль, по лесам, обрekli на нищету и скитания... Вы, я вижу, мало что знаете об этом...

— Очень мало... — признаюсь я.

— А для нас это слишком важно — мы не можем позволить себе не знать. Простите, я должен рассказать вам об этих делах.

Впечатляющ пионерский размах первых канадских французов! Едва они закрепились на реке Св. Лаврентия и на Великих озерах, как уже их *coureurs des bois* пошли дальше на запад. По реке Миссисипи они добрались до Мексиканского залива, а на севере еще в первой половине XVIII века проникли в прерии и первыми увидели снежные вершины Скалистых гор.

Варенн дела Верандри с сыновьями и группой из пятидесяти смельчаков в 1731 году пробился сквозь леса Онтарио и основал на Ривьер-Руж (нынешняя Ред-Ривер) французское поселение.

Установил дружественные отношения с индейцами, преодолел первые трудности, а когда тридцать лет спустя Канада перешла в руки англичан — в бассейне Ред-Ривер, в двух с половиной тысячах километров от родного Квебека, существовала жизнеспособная колония отважных французов, состоявшая из нескольких поселений.

Французы осели прочно, хотя и не испытывали особой склонности к занятиям сельским хозяйством. Они страстно предавались охоте, ловили бобров и других зверей, но больше всего ездили по стоянкам индейских племен и ску-

пали пушнину. Сюда прибывали преимущественно холостые французы, поэтому они быстро вступали в брак с индианками. Возникло смешанное население. Спустя сто лет оно состояло почти исключительно из метисов, которые необычайно размножились. Его языком был французский. В Квебеке оно черпало патриотизм и культуру, но исконных французов там было немного.

Метисы, как и все *coureurs des bois*, отличались мужеством и знанием леса, были гостеприимны, оборотисты, сметливы, веселы, способны на большие чувства, но легко поддавались и минутным страстям. К сожалению, они были также очень падки на выпивку и, подобно своим индейским предкам, не слишком заботились о завтрашнем дне. Большинство из них своим примитивным образом жизни мало чем отличалось от соседних индейцев кри или одшибва, но были среди них и такие, которые получили образование в высших учебных заведениях Квебека и Монреалья.

Охоту на пушного зверя и торговлю шкурками метисы первоначально вели на свой риск, но потом стали преданными сотрудниками «North-West company», а когда она в 1821 году слилась с «Компанией Гудзонова залива», метисы так же охотно и верно стали служить новому хозяину. В свою очередь компания в свое время посылала в этот край много агентов-шотландцев, потомки которых, тоже смешанной крови, жили в согласии с французскими метисами.

До середины XIX века в северо-западных лесах было вообще спокойно. Каждая семья жила на своем клочке земли, унаследованном от родителей, охотилась в окрестных лесах и не испытывала недостатка ни в пище, ни в спокойствии духа. Но потом все изменилось. В 1867 году четыре восточные канадские провинции объединились в «доминион Канада», и грянула весть, что «Компания Гудзонова залива» вынуждена будет передать свои огромные территории новым властям. Чужие люди должны были явиться на Ред-Ривер вводить новые порядки. Что это за порядки? И что за люди? Очевидно, англичане с Онтарио, которые всегда относились враждебно ко всему французскому, а еще более враждебно к метисам. В бассейне Ред-Ривер повеяло тревогой, все забурлило.

Дурные предчувствия оказались весьма обоснованными. Из Онтарио под охраной милиции прибыли землемерные комиссии; они начали отмерять для будущих английских поселенцев земли, которые метисы испокон веков считали своими. Протесты исконных хозяев отвергали грубо, с презрительной насмешкой, либо требовали от метисов предъявления официальных документов о праве собственности. Таких документов не существовало: управлявшая прежде краем «Компания Гудзонова залива» не забивала себе голову такими пустяками.

Луи Риль, француз с примесью индейской крови, принадлежал к воинственно настроенной молодежи, ясно представлявшей себе опасность. Страстный оратор и неплохой организатор, он быстро выдвинулся в руководители движения Сопротивления. Двадцатипятилетний воспитанник монреальского университета, с лицом «открытым, интеллигентным и располагающим» (как об этом пишет хроникер того времени) обладал типичными качествами французских метисов: живым умом и горячим сердцем, но, кроме того, умел настойчиво стремиться к намеченной цели.

Нашествие землемерных комиссий было палкой, воткнутой в муравейник.

Но вскоре стало еще хуже: назначение пресловутого Мак-Дугалла губернатором еще не созданной провинции подействовало как масло, пролитое в огонь. Самонадеянный и беспощадный Мак-Дугалл слыл заядлым врагом французов.

В ответ на весть о его приближении во главе огромной свиты чиновников, везущих большое количество оружия и боеприпасов, был создан Национальный комитет, вставший на защиту прав метисов (как французских, так и шотландских). Вооруженные отряды метисов выступили против вторжения.

Разъяренный дерзостью «диких», Мак-Дугалл предпочел уклониться от сражения и отступил на территорию Соединенных Штатов. Однако там он не зевал: посылал на Ред-Ривер своих агентов, стараясь поссорить между собой отдельные группы населения и прежде всего натравить на неуступчивых французских метисов метисов шотландских, а также англичан, прибывших недавно из Онтарио. Это ему удалось полностью.

Вспыхнула гражданская война. Национальный комитет распался, французские метисы во главе с Рилем захватили власть. Английское население, поддерживаемое и подстрекаемое Мак-Дугаллом, объявило им «войну не на жизнь, а на смерть», но всюду терпело поражения. Мак-Дугалл пытался также настроить против повстанцев индейцев сиуксов, но те не поддались на провокацию.

Созданное французскими метисами Временное правительство не хотело порвать связи с остальной Канадой. Оно хотело лишь, чтобы были признаны истинные права людей, живущих на Ред-Ривере. Соответствующая декларация, составленная в умеренном тоне, была направлена канадскому правительству.

Тогда возникла афера Томаса Скотта, которая вызвала новую бурю. Это произошло в 1870 году.

Англичанин Скотт — фанатик и сутяга с Ред-Ривера, презиравший «туземцев», — в одной из стычек был взят в плен отрядом французских метисов, но сумел бежать, после чего стал яростно натравливать английскую часть населения на французскую. Пойманный вторично, он был предан военному суду, приговорен к смерти и расстрелян.

Смерть его — один из эпизодов гражданской войны на Ред-Ривере — послужила предлогом для проявления английским населением Канады истерического негодования и вызвала дикую травлю метисов. Канадское правительство назначило, награду за голову Рилия и его товарищей, а также послало сильную армию под командованием высококомерного сэра Гарнетта Уолслея.

Кое-как, не оружием, а коварной дипломатией, восстание было подавлено. Канадское правительство немедленно вызвало из Рима епископа Таше, пользовавшегося среди французских метисов огромной популярностью. Ловкому пастырю душ человеческих удалось прекратить сопротивление населения. Это удалось ему сравнительно легко, так как канадское правительство одновременно пообещало признать все права метисов и объявить амнистию вооруженным отрядам. Сэр Гарнетт Уолслей смог, не встречая сопротивления, вступить в новую провинцию и занять все стратегические пункты.

Когда люди из Онтарио захватили власть на Ред-Ривере, метисы почувствовали на себе тяжкое ярмо. Злобный враг преследовал их всеми способами, устраивал дикие облавы. Много метисов гибло от рук преступников, а суды освобождали убийц от наказания. Метисы не получили ни признания прав,

ни полной свободы. Отнесенные к низшей категории граждан, они вынуждены были уступать пришельцам, зарившимся на их плодородные земли. Луи Рилья, избранного земляками при новом строе в парламент в Оттаве, травили, как зверя: в конце концов он спасся, бежав в Соединенные Штаты. В Монтане он стал фермером.

Тем временем многие метисы и индейцы, грубо изгнанные с Ред-Ривера, отправились дальше на запад, где среди индейских племен, живших на реке Саскачеван, и у тамошних метисов нашли поддержку, землю и места охоты. Но через несколько лет и там их настигла неумолимая поступь «колонизации». Снова нахлынули ненасытные пришельцы с востока из Онтарио, присваивая себе земли и леса. И снова прибыли правительственные землемерские комиссии, преисполненные презрения к «туземцам» и их правам. Это был явный грабеж и уничтожение.

Незадолго до этого белые перебили в прериях последних бизонов. Нищета и голод пришли к индейцам Канады, а также ко многим метисам. Их охватило вполне понятное раздражение. Индейцев, насильно водворенных в бесплодные резервации, обманываемых на каждом шагу правительственными агентами, довели до крайней степени отчаяния. Не лучше было и метисам. Кроме того, что они подвергались угрозам на собственной земле, они вынуждены были сносить ненависть захватчиков и терпеть всевозможные унижения.

Угнетаемые «туземцы» вспомнили о человеке, который некогда так мужественно защищал их права на Ред-Ривер, и направили к нему делегацию. Луи Рилья не обманул их ожиданий. Примчался на Саскачеван. Созвал большие митинги метисов, сумел договориться с индейцами и даже с некоторыми белыми. В результате всех переговоров канадскому правительству в Оттаве была послана петиция — новая «декларация прав». В ней содержались простые и бесспорные требования: подтверждение права собственности на земли, которыми владели индейцы и метисы, представительство в парламенте, отвод необходимого количества земли для школ. Земли было достаточно, но доброй воли со стороны правительства — маловато.

Желая придать организованность всеобщему возмущению индейцев и метисов, Рилья создал Временное правительство, а метке Габриэль Дюмон приступил к формированию вооруженных отрядов.

— Мятеж! — завопили канадские власти вместе со всей реакционной прессой.

Чтобы примерно наказать «бунтовщиков», против них были посланы крупные отряды пресловутой North-West Mounted Police[158] под командованием полковника Крозье. Но под Дак-Лейком эти отряды потерпели поражение и, отступая в панике, сеяли ужас среди белых поселенцев. За исключением черных стоп, все индейские племена этой части Канады поддержали дело французских метисов и взялись за оружие. Весной 1885 года индейцы вновь овладели лесами в бассейне реки Саскачеван.

Весть о победном восстании «туземного населения» всколыхнула всю Канаду. Правительство доминиона бросило к очагу «бунта» все имевшиеся под рукой вооруженные силы. Этой операцией руководил генерал британской армии Миддлтон.

Вблизи Батоша, центра повстанцев, метисы построили сильные укрепления. Миддлтон, уверенный в своем превосходстве, хотел сломить сопротивление фронтальной атакой. Однако под метким огнем охотников и воинов его отряды дрогнули и, понеся потери, бросились наутек. Новая атака также ничего не дала: день закончился победой повстанцев.

Наученный поражением, Миддлтон предпочел подождать прибытия новых подкреплений. Прошло две недели, пока он снова решился наступать. В это время повстанцы отступили в Батош. Там они оказали такое сопротивление, что в течение многих дней их победа казалась обеспеченной.

Не победили. В неравной борьбе уступили силе. Англичане ударили по Батошу с тыла. Их силы были несравнимо более крупными. В кровопролитной битве, неся огромные потери, враги смяли ряды метисов и захватили Батош.

Это сражение решило судьбу восстания, но не привело к прекращению борьбы в других местах. С отчаянием людей, доведенных до крайности, индейцы продолжали защищаться в лесах. Воины вождя Паундмейкера разгромили отряд полковника Оттера, а вождь Big Bear[159] в течение нескольких недель успешно отбивался от захватчиков в своих лесных дебрях. Но в конце концов и они не смогли устоять против подавляющего превосходства врагов.

Возмездие победителей, по мнению канадских историков, было «мягким»: Луи Риль и другие вожди восстания погибли на виселице или же были поставлены к стенке и расстреляны; многие повстанцы были на долгие годы заключены в тюрьмы. Индейские племена загнали в резервации, сильно урезанные в результате последних событий, а метисов просто согнали с земли, отобрав у них почти все, что они имели.

— Официальные круги Канады, — заканчивает свой рассказ Жан Морепа, — похваляются тем, что у них не было таких хлопот «с туземным населением», как в Соединенных Штатах, что колонизация Канады проходила гладко, без сопротивления индейцев и метисов, как идиллия... Где же она, эта идиллия? События на Ред-Ривере и на Саскачеване говорят другое. В защиту свободы было пролито столько крови, что ею переполнились реки Канады.

35. Польский борец за свободу Канады

На следующее утро Морепа покидает наш лагерь. Говорит, что весь день проведет поблизости, будет исследовать уровень воды в озерах. Мы, разумеется, приглашаем милого гостя к себе ночевать, тем более, что я хочу рассказать ему и Станиславу необычайную историю другого борца за свободу Канады — поляка Николая Густава Шульца.

— Обязательно вернусь! — охотно соглашается Жан, уезжая.

В этот день дикие гуси большими стаями тянутся в теплые страны, к солнцу. Отдаленный шум их крыльев, приглушенное гоготанье сменяются хриплым курлыканьем летящих в темноте журавлей; а здесь, рядом, веселое потрескивание костра — разве можно желать лучшего аккомпанемента и большего стимула для рассказчика?

А. Беспкойные, капризные

Было их несколько сот человек — обломок «большой эмиграции». Переехав бурный Атлантический океан — бурный, как их собственная жизнь в последние несколько лет, — и в марте 1834 года пожаловали в Нью-Йорк. Судьба дважды посылала им испытания: вооруженный разгром в Польше, а затем

двухлетнее тюремное заключение в Австрии. Потом Австрия изгнала их из Европы. Единственную надежду, последнюю и поэтому фантастическую, необузданную, розовую, они возлагали на американское пристанище.

Это была странная компания. До наших дней сохранились дневники, написанные во время той поездки, поэтому можно легко представить себе несчастных эмигрантов и их настроения. Почти все они происходили из польских помещичьих семей или из мелкой шляхты, многие из них были кадровыми офицерами. Перенесенные несчастья наложили на них печать обреченности и лишили их душевного равновесия. Беспокойные, раздражительные, сварливые, капризные, бросающиеся направо и налево «честью» и «отечеством», они являли поразительное сочетание самоуверенности и слабости, спеси и покаяния. Но прежде всего их отличала просто непонятная житейская беспомощность: это были дети, усатые дети, а самыми детскими были их золотые миражи, грезы о том, что им даст Америка.

Немногочисленные более трезвые голоса заглушались нетерпеливыми окриками. Майор Шульц, в осторожных выражениях призывавший товарищей опомниться и быть рассудительными, восстановил против себя, не желая того, весь корабль. Все набрасывались на него:

— Значит, Америка, страна революции и свободы, не сможет достойно встретить солдат революции, которые сражались за свободу?

— Встретит, но не так, как вы себе представляете! — спокойно отвечал Шульц.

— Солонка! — с презрительной насмешкой называли его за глаза.

Майор Николай Шульц не был кадровым офицером. Поляк, родом из Галиции, он до вступления в 1830 году в ряды повстанцев работал инженером на соляном руднике в Величке — так же, как и его отец. Поэтому в компании эмигрантов на «Солонку» смотрели немного свысока и немного исподлобья, но даже отъявленные забияки — а в таких на корабле не было недостатка — предпочитали в его присутствии глушить свои буйные порывы: уж очень внушителен был послужной список Шульца. Во время кампании в отряде, командиром которого был его отец, Шульц участвовал в ряде битв и стычек, а когда отец погиб, сам принял командование. Под Яблонной и Вавром он отличился, проявив неподдельные мужество и отвагу, завоевав на поле боя награду и повышение. «Шульц обладал большим запасом военных знаний, у него был обаятельный характер, его ценили все, кто был знаком с ним», — напишет о нем много лет спустя в своих исторических воспоминаниях канадский шотландец Дональд Мак-Леод. И хотя на корабле Шульц раздражал товарищей своими «слишком трезвыми» взглядами, путешествие обошлось как-то без особого скандала.

Когда прибыли наконец в Нью-Йорк, встреча, какую им устроили американцы, превзошла самые смелые их ожидания. Янки только что не лезли из кожи вон, чтобы угодить приезжим. Создали ряд гражданских комитетов, которые обеспечивали мужественных борцов за свободу всем: средствами, крышей над головой, вниманием и даже ушами, готовыми слушать маловразумительные рассказы. Сначала поляки должны были хорошо отдохнуть.

Отдохнули.

Затем спустя много недель американцы приступили к осуществлению дальнейших планов: предложили ветеранам приличные должности, чтобы

пришельцы стали на ноги и почувствовали себя равными среди равных. Но тут изумленные янки наткнулись на непреодолимые трудности. Пришельцы отказались: они не могли работать, не хотели и не умели. Не умели включиться в практичный американский образ жизни. Настроенные патетически, они хотели — если употреблять определения, которыми в более поздние годы наделили поляков, — быть «распятой нацией» и «вдохновением народов».

В течение последующих месяцев недоразумения усиливались и дошли до предела: разочарованные и огорченные поляки сели на корабль и поплыли во Францию, чтобы окончательно слиться с основным ядром «большой эмиграции».

Лишь немногие из них остались в Америке. И в том числе Николай Шульц.

Б. Американская карьера

Чтобы как следует понять и правильно оценить невероятные события, которые разыграются в жизни Шульца четыре года спустя, надо немного познакомиться с его духовным обликом, заглянуть в его личную жизнь.

Николай Шульц был не только патриотом и доблестным солдатом и обладал не только обаятельным характером, как о том рассказывает канадский хроникер; Шульц отличался, кроме того, очень проницательным умом и открытым сердцем. Весенние веяния, которые в те годы проносились над Европой, не были чужды ему: он вдыхал их полной грудью, жил ими. Прогрессивные идеи Лелевеля[160] находили громкий отзвук в его воззрениях. С восторгом воспринимал он также полные юношеской страсти слова товарища по оружию в битве под Остроленкой, радикала Маврикия Мохнацкого.[161]

После косной Европы — в то время континента деспотизма и тюрем — Америка показалась Шульцу настоящим раем свободы. «Приют гуманности» — как еще во второй половине XVIII века назвал ее американский патриот Томас Пенбыл и для Шульца каким-то чудесным убежищем, страной-откровением, где взгляды Лелевеля и идеалы Мохнацкого облекались, как казалось изгнаннику, в живую плоть и горячую кровь.

Нет, нельзя сказать, чтобы здесь господствовали идеальные отношения. Шульц видел и трещины в здании. Но Америка была тогда молодой страной с безлюдными пространствами и многими возможностями; а люди еще не давали себя дурачить.

На каждом шагу Шульц с восторгом наблюдал, каким метким, хоть и шаблонным, было сравнение американского общества с молодым удальцом. Удалец этот ценил свою свободу, был полон энергии — он возводил для себя просторное здание. Архитекторы были разные — хорошие и плохие, — но ни один из них не смел забывать тогда о правах, записанных в конституции. Американская Декларация независимости в те времена не была пустым звуком.

Вскоре после прибытия в Нью-Йорк Шульц начал присматриваться к стране и искать работу по специальности. Ему удалось получить второстепенную должность на соляном руднике. Тщательно знакомясь с американскими методами добычи соли, инженер Шульц не мог надивиться тому, как они примитивны и непроизводительны, насколько хуже тех, с которыми он познакомился в Величке. Тогда он принялся за разработку собственного метода улучшения производства, приспособленного к условиям американских рудников. В этой области Шульц достиг полного успеха. Начальство хвалило его, прини-

мало у себя, назначало на более ответственные должности. Шульц не только рос как специалист, но и нажил неплохое состояние: быстро и хорошо разобравшись в нравах этой страны, он не замедлил запатентовать свою идею.

На четвертом году жизни в Штатах он уже принадлежал к кругу зажиточных граждан Салинаса, неподалеку от города Сиракузы. Там он приобрел много преданных друзей. Владея английским языком, как истый американец, Шульц устроился отлично и всеми корнями врос в землю новообретенной родины. Был богатым и пользовался всеобщим уважением. Кроме того, он завоевал искреннюю любовь красивой и благородной женщины, на которой вскоре должен был жениться.

Лишь в одном он отличался от тысяч других эмигрантов — ирландцев, немцев, норвежцев, шведов, англичан: он не только стремился к материальному благосостоянию, но и был чувствителен к превратностям судеб своих ближних и к страданиям народов. Ведь именно за свободу дрался он на полях сражений в Польше. Таким он остался и теперь.

Даже удобства американской жизни не могли заставить его забыть, что где-то есть менее счастливые люди. Улыбка судьбы не заглушила его совести, и Шульц обостренным слухом ловил стоны угнетаемых на всем белом свете, стоны, доносившиеся и из-за моря и из-за канадской границы.

В. Революция в Канаде

В те времена в Канаде творилось недоброе. Там царил деспотизм реакции. Бывшая французская колония, завоеванная англичанами восемьдесят лет назад, спустя два десятилетия пережила большой наплыв людей из Соединенных Штатов — так называемых лоялистов, которые, будучи верны английской короне, не хотели признавать ни американскую революцию, ни демократию.

Это были крайние националистические элементы, заядлые консерваторы, фанатичные враги любой прогрессивной идеи, себялюбцы. Располагая поддержкой центральных властей в Лондоне, лоялисты хотели, чтобы их считали истинной аристократией Канады. В короткое время они захватили все доходные должности и стали смотреть на страну, как на свою вотчину. Всевластный тогда «Семейный пакт», заключенный, без сомнения, с целью дать малочисленной группе привилегированных возможность держать в ярме всю страну с ее политикой и финансами, являл классический пример грубого цинизма правящего класса, не скрывающего своей хищности.

Это было также свидетельством узости политического кругозора тогдашних государственных мужей в Лондоне. Широкие круги канадской общественности в течение десятков лет добивались изменения существующего положения вещей. Всего в нескольких шагах, за пограничной линией, развивался демократический эксперимент американцев — столь заманчивый, столь соблазнительный. Англия не хотела видеть этого, закрывала глаза на неблагополучие, предпочитая верить словам герцога Веллингтона, который кричал в парламенте: «Местное самоуправление в Канаде совершенно невозможно примирить с суверенитетом Великобритании».

Поэтому в Канаде нарастало все более сильное брожение — как в английском Онтарио, так и во французском Квебеке. Недовольных французов возглавил Папино, а канадцев, говоривших на английском языке, — Лайон Макензи.

Оба патриота горячо боролись за демократизацию страны, умели увлекать массы, но, хотя они добивались умеренных политических реформ, ни английскому губернатору, ни лоялистам не приходило в голову уступить хоть на йоту.

Летом 1837 года брожение дошло до предела. Осенью вспыхнуло вооруженное восстание в Торонто и в окрестностях Монреаля. Ни в людях, ни в оружии у повстанцев недостатка не было, но организация была неумелой, поэтому армия и проправительственная милиция, давно находившиеся в состоянии готовности, в течение нескольких недель подавили восстание.

Победители не жалели крови противников. Тех повстанцев, которые не пали в бою, ждала тюрьма, предводителей же публично вздергивали на виселицы. Многие спаслись бегством в соседние Штаты, куда скрылся и Лайон Макензи.

В Соединенных Штатах он и его друзья не прекратили агитацию, находя, естественно, в американском обществе живое понимание. Возмущение было таким всеобщим, что вскоре в северных штатах начали возникать тайные отряды для борьбы с канадской тиранией — так называемые стрелковые ложи, которые сильно разрослись в 1838 году. Правительство в Вашингтоне, хотя и знало, безусловно, о их существовании, пока не вмешивалось в эти дела.

В сентябре того же года в Кливленде состоялся съезд, на котором канадские эмигранты и руководители лож утвердили конституцию Канадской Республики и разработали план вооруженного вторжения в Канаду.

Все это происходило под влиянием горячих заверений Лайо-на Макензи в том, что вся Канада восстанет, как только первые отряды перейдут границу.

Разумеется, Николай Шульц не мог быть равнодушным к тому, что происходило вокруг него. Душой и сердцем он был на стороне угнетенных, искренне желая победы борцам за свободу. Он настежь распахнул перед изгнанниками двери своего дома под Сиракузами.

Долгое время гостил у него и Лайон Макензи, с которым он подружился. Между ними шли долгие беседы. Крепла уверенность Шульца в том, что речь идет о защите самых святых прав человека и о борьбе, в которой он не может оставаться пассивным. Включаясь в движение, Шульц отдал революционерам большую часть своего состояния — сто тысяч долларов. Сам организовал и экипировал на свой счет отряд из ста восьмидесяти добровольцев и, возглавив его, заявил, что готов к действиям.

Впоследствии канадские военные и историки лишили (можно только с горечью добавить: «естественно»!) этих энтузиастов чести и славы, назвав их обыкновенными пограничными бандитами, способными только на грабеж и ни на что больше.

Между тем не подлежит сомнению, что большинство добровольцев, преимущественно людей очень молодых, руководствовались благородными побуждениями. Что же касается чистых намерений Николая Шульца, то здесь не может быть двух мнений: он считал эту борьбу делом благородным и ради нее пожертвовал состоянием, уютом богатого дома и личным счастьем — союзом с любимой женщиной, откладываясь на неопределенный срок.

Г. Отважные и трусливые

Со своим отрядом Шульц направился на север, где ему надлежало присоединиться к армии (если только можно было назвать армией неорганизован-

ные отряды американских добровольцев), находившейся под командованием некоего «генерала» Бёрджа. В первых числах ноября произошла встреча. «Благородное поведение Шульца, мужественная внешность, живой ум и красноречие обеспечили ему хороший прием», — писал канадский ирландец Е. А. Теллер. Одновременно выяснилось, что, кроме указанных достоинств, Шулец превосходил этих вояк отвагой и военными знаниями.

Первая тактическая задача Бёрджа заключалась в овладении городом Прескоттом на канадском берегу пограничной реки Св. Лаврентия. Выполнить ее генерал предполагал с помощью трех отрядов: своего, Шульца и полковника Джонсона. Хорошо вооруженных карабинами добровольцев насчитывалось сначала несколько тысяч. Когда же дошло до дела, их осталось всего несколько сотен. Однако было решено, что и этого достаточно для овладения городом Прескоттом.

Началось с несколько мелодраматичной уловки, увенчавшейся, однако, неожиданным успехом. В Осуиго Бёрдж посадил своих людей, переодетых туристами, на американский пароход. Когда пароход вошел в реку Св. Лаврентия, Бёрдж упрямил ничего не подозревавшего капитана парохода взять на буксир два больших парусника, закрытых брезентами. Вскоре «туристы» извлекли оружие и принудили капитана к повиновению. Из-под брезентов на парусниках показались люди из отрядов Шульца и Джонсона, а затем и несколько небольших пушек.

Во время дальнейшего пути вниз по реке между враждебным канадским берегом слева и дружественным американским справа Бёрдж созвал командиров отрядов на последнее совещание. К удивлению Шульца, «генерал» заявил, что пока не собирается брать Прескотт, а сначала остановится в американском городке Огденсбёрге, чтобы прихватить там еще добровольцев.

— Это исключено! — вскричал Шулец. — Если мы не атакуем сегодня и притом немедленно — неприятель узнает об экспедиции и мы лишимся преимущества внезапности.

— Это неважно! — невозмутимо ответил Бёрдж. — Завтра мы возьмем Прескотт.

— Завтра будет уже поздно!

Шулец выразил готовность взять на себя самую трудную часть задачи: фронтальный удар по Прескотту, тогда как отряды Бёрджа и Джонсона должны будут только обеспечить фланги. Но этот разумный план, признанный историками единственно целесообразным, натолкнулся на упорное сопротивление Бёрджа и остальных командиров.

Шулец с удивлением оглядел своих товарищей, словно впервые увидел их. Только теперь он все понял.

В конце концов Шулец настоял на своем: он и Джонсон атакуют ночью Прескотт, а Бёрдж со своим отрядом поспешит на пароходе в Огденсбёрг, возьмет там на борт новых добровольцев и тотчас же вернется с подкреплением.

Незадолго до полуночи — это было в воскресенье 11 ноября — три корабля снялись с якорей и направились каждый по своему назначению. Первый, увы! — к своей гибели, а два других — к своему позору.

Парусник с отрядом Джонсона по какой-то загадочной случайности вскоре сел на мель; а так как произошло это вблизи американского берега, то вояки пустились вплавь и рассеялись под покровом темноты. Тем временем Бёрдж

на пароходе плыл дальше. В понедельник утром он благополучно причалил в Огденсбёрге, но, едва ступив на американскую землю, занемог. Большая часть офицеров и солдат последовала его примеру и разбрелась по домам. И этот отряд, как и отряд Джонсона, перестал существовать как боевая единица.

Один лишь Шульц поплыл на своем корабле к намеченному месту и утром был у Прескотта. Но в городе уже была поднята тревога и велась подготовка к обороне. Настал день, а Джонсона не было видно на реке, Шульц резонно отказался от атаки и, проплыв три километра вниз по течению, высадился на канадском берегу около заброшенной ветряной мельницы. Там было несколько массивных построек, словно специально возведенных как оборонительные сооружения. Шульц разместил в них своих людей и спешно начал рыть окопы, чтобы к прибытию подкреплений с американского берега подготовить плацдарм. Он верил, что помощь придет с минуты на минуту.

Так Николай Шульц, в прошлом майор польских войск, стал участником войны в Канаде — в авангарде сил, которые должны были освободить страну от гнета и несправедливости.

Д. Бой за мельницу

Ожидаемые подкрепления, разумеется, не прибыли. Трудно назвать подкреплениями нескольких удальцов, которые, мучимые угрызениями совести, приплыли в понедельник на лодках из Огденсбёрга. Они-то и привезли Шульцу трагическую весть о судьбе основных подразделений.

Цитированный уже Е. А. Теллер так характеризует эти события: «История знает немного примеров такой нерешительности, трусости и вероломства, какими отличился Бёрдж...»

Полученная весть была тяжелым ударом для Шульца, но ни в чем не изменила его решения выстоять, а затем перенести огонь борьбы в глубь Канады. Это решение было свидетельством героизма, а не безрассудства. Опытный солдат трезво оценил военную обстановку. Он был уверен, что его появление в угнетенном краю явится сигналом ко всеобщему восстанию, в чем все лето убеждали его и членов «Стрелковых Лож» Лай-он Макензи и другие канадские изгнанники. В нем еще теплилась вера в то, что американские товарищи по оружию все-таки опомнятся и поспешат с помощью.

Так прошел весь понедельник, и только к вечеру на реке появилась английская канонерка. Она сделала несколько выстрелов по укреплению, но, встреченная огнем с плацдарма, быстро ретировалась. Добровольцы напряженно всматривались в даль, ожидая появления канадских повстанцев. Но берег был глух и безмолвен. В течение всей ночи никто не явился.

Во вторник, на рассвете, с реки донесся шум приближающегося со стороны Огденсбёрга парохода. Когда в предрассветной мгле добровольцы разглядели на палубе фигуры солдат, их охватила безумная радость:

— Подкрепления идут, подкрепления!

Увы! Это был отряд американских правительственных войск. Соединенные Штаты не хотели дипломатических конфликтов, поэтому у Шульца был отобран парусник с частью снаряжения и продовольствия, которую не успели выгрузить. Это была чувствительная потеря. Едва американцы удалились, как подошло несколько английских канонерок. Они начали артиллерийский обстрел, на что, впрочем, получили решительный ответ.

Наконец смельчаки заметили на берегу группы вооруженных людей. Сно-

ва горькое разочарование! Это была преданная англичанам милиция — злобная, дышащая ненавистью к «бандитам», та самая, которая год назад пылала жаждой вешать повстанцев. Когда этих людей набралось с полтысячи, они устремились в атаку, обрушив на осажденных свинцовый ливень. Отбитые, они шли на штурм второй, третий, четвертый раз, разъяренные, уверенные в своем численном превосходстве. Только огромные потери и постоянные неудачи убеждали их, что перед ними настоящие солдаты, а не бандитская шайка.

Отряд американских добровольцев отлично выдержал испытание огнем. Это была достаточно дисциплинированная молодежь, несколько недель находившаяся под влиянием Шульца. Когда под вечер милиция прекратила атаки, она вышла из боя разбитой. Но оказалось, что и отряд Шульца понес большие потери, доходившие в убитых и раненых до трети состава, не считая нескольких добровольцев, отрезанных врагом и взятых в плен.

Ширина реки в этом месте не превышала полутора километров и позволяла подробно наблюдать с американского берега ход битвы. Берег облепили тысячи зевак, среди которых находились вояки Бёрджа и Джонсона. Все были страшно заинтригованы исходом боя, повторяли все время: «It is a fine show» — «Великолепное зрелище!» — и заключали пари.

В эту ночь вокруг снова установилось безмолвие, и осажденные напрасно прислушивались к таинственным шорохам в глубине леса. Где же канадские повстанцы?.. Повстанцев не было. Стояла зловещая тишина.

Шульц начал догадываться о трагической правде: ожидаемая революция не состоялась, прошлогодние виселицы, очевидно, сделали свое дело. В ту же ночь он отправил на плоту в Огденсбёрг верного человека с просьбой о присылке парусника для эвакуации отряда. Посланный благополучно достиг Огденсбёрга, но подлые трусы даже теперь не захотели помочь товарищам: они медлили, а когда лишь на третью ночь отправили наконец корабль — было уже слишком поздно. Река кишела английскими канонерками; героическому отряду были отрезаны пути отступления.

А отряд был подлинно героический: после неудачи во вторник милиция два дня зализывала свои раны и только в четверг к вечеру, получив многочисленное подкрепление, решилась на новый решительный штурм. Но, несмотря на превосходство, была еще раз отбита с большими потерями.

Когда вечером утих шум боя и дым развеялся, защитников плацдарма осталось меньше сотни. Невыспавшиеся, голодные смертники, черные от пороха, с осунувшимися лицами и воспаленными глазами, они пылали решимостью отчаяния.

Ночью, когда с поля боя доносились стоны раненых, добровольцы, напрягая слух, все еще всматривались в направлении берега и реки и не теряли надежды. С реки должны были прийти помощь и спасение, а с берега — нечто неизмеримо большее: признание того, что их упорная борьба имеет смысл, что Канада с ними. Но и река и берег были безмолвны, не отвечали. Как и враг, они не ведали жалости.

Шульц и его люди знали только одно: они должны сражаться дальше, до конца. У обреченных не было выхода.

Е. Благородный до последней минуты

На следующий день, в пятницу, с самого утра было замечено усиленное движение со стороны Прескотта. Показались отряды регулярной английской армии и тучи, буквально тучи, канадской милиции. Одновременно прибыла артиллерия. Число атакующих, сообщенное Мак-Леодом (пять тысяч), некоторые историки считают преувеличенным, но так или иначе численное превосходство осаждающих было просто подавляющим. Приближался заключительный акт трагедии.

Командующий английскими войсками полковник Дандас послал к Шульцу парламентаря с лаконичным приказом о безоговорочной капитуляции. Видя безнадежность своего положения, Шульц готов был сдаться при условии, что противник признает его отряд воюющей стороной.

— Нет! Только бунтовщиками и убийцами, сдающимися на милость победителя! — жестко отрезал англичанин.

Это значило, что снова будут пущены в ход виселицы.

— Продолжаем сражаться! — ответил Шульц.

Тогда Дандас потребовал перемирия на один час для погребения павших, оставшихся на подступах к укреплению со вчерашнего дня. «Бунтовщик» не только согласился, но прислал англичанину в течение этого часа всех раненых канадцев, попавших в плен во время последних боев. В личном послании к полковнику Шульц объяснил этот гуманный поступок: у него не хватало перевязочных средств, поэтому он не мог оказать раненым необходимой помощи. Взамен просил только о хорошем отношении к людям, взятым в плен англичанами. Затем, как бы соглашаясь на безоговорочную капитуляцию и желая найти хоть какую-нибудь возможность почетного исхода, Шульц дописал в конце: «Если Вы можете под честным словом заверить меня, что канадское население не приветствует нас как освободителей, то лишь от Вас зависит прекращение дальнейшего кровопролития».

Но высокомерный английский командующий не желал вдаваться в такие тонкости и вообще вступать в переговоры. Он с презрением заявил, что с бандитами не может быть переговоров.

Шквалом артиллерийского и ружейного огня начался последний бой. Добровольцы защищались с беспримерным мужеством. На них обрушился ливень металла и щебня, но они стреляли из-под развалин, нанося врагу немалый урон. Не подпускали его близко. Понимали, что это их последняя схватка, но не теряли присутствия духа. Шульц был всюду: его видели на каждом угрожаемом участке плацдарма. Этот пронзительный командир и неустрашимый солдат увлекал людей своим примером. Несмотря на это, трудно понять, как могли добровольцы выстоять в таком аду от полудня до вечера.

Только к вечеру их огонь стал слабеть. В глаза храбрецам заглянул кошмар солдата: недостаток боеприпасов. В сумерках расстреляли последние патроны. Обнаружив это, канадская милиция с удвоенной яростью бросилась на легкую добычу. Почти без сопротивления сдавалось строение за строением; лишь немногие оставались там в живых. Последним был схвачен Шульц. В эти завершающие минуты боя творились позорные дела. Озверевшие милиционеры расстреливали пойманных добровольцев, добивали раненых. Еще немного, и вспыхнула бы новая бойня — на этот раз между английскими солдатами и милицией. Солдаты с трудом усмирили безумцев.

Так 16 ноября 1838 года закончилось это крупное столкновение, известное

в истории канадского восстания под названием «Битвы за ветряную мельницу» («Battle the Windmille Point»).

Дни Шульца, взятого полуживым в плен, были, разумеется, сочтены. В стране, разъедаемой социальными противоречиями, победители, беспокоившиеся о своих привилегиях, беспощадно уничтожали людей подобных Шульцу — деятелю, особенно ненавистному канадским лоялистам и опасному для них. Через несколько дней после пленения Шульца военный суд приговорил его — как «бандита»! — к смерти (разумеется, через повешение). Приговор был приведен в исполнение незамедлительно: 8 декабря.

За несколько дней до казни Шульца к нему был допущен молодой адвокат Джон А. Мак-Дональд (позднее премьер Канады), чтобы записать последнюю волю приговоренного. Как текст завещания, так и беседы с Шульцем произвели на Мак Дональда глубокое впечатление. Молодой адвокат не мог спасти Шульцу жизнь, но решил защитить память о нем.

Вся жизнь Николая Шульца отмечена каким-то необыкновенным великодушием, исполнена возвышенных порывов и при всем этом — трезвой рассудительности. Его последние дни также были полны благородства и вызывающего восхищение самообладания. После объявления смертного приговора Шульц спокойно простился с миром, написав своим друзьям в Штатах мужественно-сдержанные письма и составив завещание. Необходимо подчеркнуть два происшедших тогда случая, проливающих яркий свет на его характер и рыцарство... Шульц был чувствителен к любому проявлению человеческой порядочности, подмеченной хотя бы и у врага. Даже тот факт, что английские солдаты встали на защиту добровольцев от мстительной милиции, вызвал в Шульце чувство благодарности. Сообщая об этом своим друзьям в Штатах, приговоренный к смерти хотел, чтобы об этом узнали все его единомышленники и в случае встречи с солдатами этого полка-83 полка канадской пехоты — проявили к ним радушие и гостеприимство. Вот о чем думал этот человек за минуту до виселицы, на которую повели его эти самые солдаты!

С еще лучшей стороны характеризует Шульца другое обстоятельство, едва ли не единственное в своем роде в истории всех войн, которые вело человечество. Поняв, что Канада еще не созрела для свободы и что поэтому его борьба была преждевременной, а канадские солдаты, убитые добровольцами, погибли напрасно, Шульц с беспримерной честностью и мужеством взял этот моральный груз на себя; это выразилось в прекрасном поступке: он завещал часть своего состояния осиротевшим семьям погибших канадских солдат. Подобный пример великодушия по отношению к победившему врагу — мстительному, карающему виселицей врагу — действительно нелегко найти в истории.

Ж. Победа после смерти

В этой трагедии борца самое странное то, что битву за мельницу Шульц по существу выиграл, а его противники потерпели там тяжелое поражение. Капризно извиваются и петляют пути человеческих побед и поражений!

Весть о кровавом столкновении дошла до Англии. В официальных кругах пытались заглушить ее, изобразить как пустяк; утверждали, что это вылазка пограничных бандитов. Но эти попытки не удались, остались безрезультатными. Все больше просачивалось сведений о безупречном облике руководителя восстания. Вопрос о том, каков был Шульц, приобрел вдруг важное значение

в политических спорах, и, хотя реакционные круги смешивали его с грязью, встревоженное общественное мнение Англии не было удовлетворено этим — то общественное мнение, которое в критические для Британской империи моменты становилось более могучей силой, чем партии и министры, и которое лучше окостеневших мамонтов из министерства колоний поняло, чём грозит Англии политический хаос в Канаде: колония отпадает от метрополии и пойдет по стопам Соединенных Штатов.

Поэтому спустя несколько месяцев после казни Шульца английский парламент направил в Канаду лорда Дарема, которому были предоставлены широкие полномочия для расследования обстоятельств на месте и составления доклада.

Дарем не был ни слеп, ни туп; он представил смелый доклад о необходимости ликвидации бесправия в Канаде и признания ее самоуправления. Эта смелость дорого стоила Дарему: его политическая карьера кончилась, но колонию для Англии он спас. В 1840 году Канада получила основы парламентского управления — первый шаг на пути к завоеванию статуса доминиона.

Таким образом, жертва Шульца и борьба патриотов в 1837 и 1838 годах — не прошли бесследно. Шульц погиб на виселице так же, как полвека спустя погиб другой пламенный борец за свободу — Луи Риль, боровшийся за лучшую жизнь для метисов и индейцев. К сожалению, Риль не добился своего, а Шульц победил, хотя и после смерти.

36. Чудовищная алчность

Безгранична и не имеет себе равных чудовищная, поразительная хищность щук — хищность кошмарная, апокалиптическая, хищность неистовая, безумная, слепая, — щука не только пожирает других щук, но с таким же ожесточением бросается на сверкающую блесну, на плывущий кусок дерева или на руку человека. Хищность наглая, бесстыдная, ничем не сдерживаемая, без маски — щука не лицемерит, не лжет, не шутит, ее жадные глаза всегда выражают жестокость, широкая пасть олицетворяет вечный голод. Щука бросается на жертву как молния и в тот же миг пожирает ее живьем. Нападает она один раз, по обычаю всех больших хищников. Если промахнется — не преследует. Промахивается редко.

Джон рассказывает, что в озере Мармет, у которого сейчас раскинут наш лагерь, водятся огромные щуки: там живут столетние чудовища, достигающие полутора метров длины. Верю. Без особых стараний мы ловим экземпляры по 10–15 фунтов.

Странное дело: ни в озере Мармет, длиной около двадцати километров и безмерно глубоком, ни в соединенных с ним озерах, как, например, озеро Чапмен, не видно никаких других рыб, кроме щук. Одни щуки. Но еще более странно их невероятное количество, неправдоподобное, почти чудовищное. Достаточно забросить где-нибудь удочку — в любую пору дня и при любой погоде, — как на приманку набрасывается глубинный разбойник. Здешние водоемы — это небывалые заповедники щук, подлинны резервуары хищности.

Мы ловим щук с лодки на блесну, которую здесь называют тролль. Никелированная блесна изогнута в виде пропеллера и благодаря этому вращается, поблескивая, вокруг своей оси, когда мы тянем ее за лодкой на длинном шнуре. К блесне припаян крепкий крючок. Движение и мелькающие отблески производят магическое действие: щуки с яростью набрасываются на блесну и про-

глатывают ее вместе с предательским крючком.

Это наиболее волнующий момент. Руки заняты веслом, шнурок приходится держать зубами. Резкий, неожиданный рывок сворачивает человеку голову на сторону — столько в этом рывке неодолимой силы. На обоих концах шнура противостоят друг другу два враждебных мира: там — зубы хищника, здесь — зубы человека, в эту минуту не менее хищного, чем тот, под водой. От зубов до позвоночника, до ног пронизывает рыболова наслаждение. Атавистическое наслаждение пещерного человека, рвущего зубами свою добычу...

Тогда весло кладется в лодку и шнур выбирают руками. Возникает ожесточенная, короткая борьба. Щука отчаянно защищается, уходит в глубину, мечется, раскачивает лодку. Расходует последние силы. Иногда взлетает высоко в воздух. Все напрасно. Вытащенная в лодку, она проигрывает жизнь.

Сначала я удивлялся: чем кормится столько щук, если у них нет на прокорм других рыб? Исследование желудков щук раскрыло все. Маленькие щуки, длиной в палец, глотают преимущественно водяных блох, которыми кишат озера. Одно- и двухфунтовые подростки питаются этими щучками и рачками; щуки в несколько и в десять-двадцать фунтов пожирают, как правило, щук, которые поменьше. Таким образом, подводный мир здесь основан на иерархическом пожирании собственного потомства и, видимо, только огромной плодovitости обязан тем, что потомства все еще достаточно.

На следующий день после убийства медведицы отправляюсь утром на лодке за щуками. В свое каноэ я прямо влюблен: когда сижу один на корме, нос его изящно поднимается из воды, и тогда достаточно одного удара весла, чтобы каноэ стрелой рванулось вперед. Однако стоит слегка наклониться — и лодка опрокидывается. Каноэ очень неустойчиво.

В это утро я не уплываю далеко от лагеря. Неподалеку от берега есть глубокое место — котловина в дне озера. В ней полно щук. Вода приобретает здесь мрачный оттенок темно-гранатовой бездны. Медленно проплывая там, я вдруг чувствую зубами резкий рывок, и леска уносится вниз, как свистящая струна: попалась большая щука. Пока я тащу щуку — она метрах в пятнадцати подо мной, — леска запутывается и обвивается вокруг ноги. Хочу распутать ее, но неожиданный рывок делает мое намерение невыполнимым. Хуже того: рыба тянет за ногу так сильно, что я вынужден изо всех сил упираться в борт лодки и держаться обеими руками, чтобы не свалиться в воду. Я не могу пошевелиться. Инициативу захватила щука. Это, по-видимому, великан. Каноэ угрожающе раскачивается, кренится и грозит перевернуться.

Единственный выход из неприятного положения — подвести лодку к берегу. Но когда я оглядываюсь, то с неприятным изумлением замечаю, что во время борьбы со щукой каноэ отплыло от берега довольно далеко. Ветерок, дующий с берега, подхватил каноэ и уносит на середину озера. Кичливо торчащий из воды нос лодки — то, чем я недавно восторгался, — уподобился теперь зловещему парусу.

Хватаю весло и бью по воде, чтобы направить каноэ к берегу. Напрасный труд: ветер сильнее, он не дает повернуть лодку. В довершение всего щука в то же мгновение начинает дергать с удвоенной силой. Быстро отбрасываю весло и упираюсь в дно лодки, чтобы не потерять равновесие. Несколько раз предпринимаю подобные попытки — все они ни к чему не приводят.

Минутное затишье предвещает близкую опасность. Соображаю, что в случае падения в воду я не смогу плыть, так как привязан к щуке. Она тотчас же затянет меня в глубину. Нужно судорожно держаться за лодку — буквально последнее средство спасения. Вспоминаю о своем ноже. Увы, он лежит на носу каноэ и недосягаем.

Рассчитываю на усталость щуки. Она уже не тянет так упорно, как раньше, иногда я чувствую, как слабеет натяжение лески. Но малейшее мое движение немедленно вызывает бурю и резкие рывки. Все еще сильная щука начеку.

Пока я тревожно раздумываю о том, что мне придется тащиться еще добрых два километра до противоположного берега, а в пути возможны всякие неожиданности, — внезапно приходит помощь от тех, о ком я не должен был бы забывать: от моих товарищей. Джон и Лизим заметили мои странные движения, спустили на воду свою лодку, и вот я слышу рокот мотора. Приключение, в котором я завоевываю сомнительной ценности лавры, заканчивается «хэппи эндом»: мы сообща вытаскиваем из воды щуку. В ней около двадцати фунтов.

Однажды вечером, перед закатом, мы со Станиславом пересекаем озеро, раскинувшееся на юге, неподалеку от лагеря — между нашим полуостровом и пастбищами лосей. На носу гребу я, на корме — мой товарищ. Храним полное молчание, так как поблизости может встретиться лось. Неожиданно я вздрагиваю, испуганный: позади меня раздается страшный всплеск, словно кто-то с силой швырнул в воду целое дерево. Оглядываюсь и в последнюю долю секунды вижу погружающийся в воду рядом со Станиславом хвост огромной щуки. Разыгравшаяся нахалка выскочила из воды, словно намереваясь броситься на Станислава или по крайней мере схватить весло. Не схватила, зато обрызгала моего спутника с ног до головы и исчезла. С тех пор мы называем это озеро озером Смелой Щуки.

На Безымянном озере есть маленький, но глубокий залив, окруженный с трех сторон великолепными пихтами. Однажды Станислав забрасывает там спиннинг, и сразу же крупная рыбина хватает блесну. К сожалению, после нескольких рывков она освобождается.

В глазах Станислава изумление.

— Что это было? — кричит он, пораженный.

— Разве не щука? — спрашиваю я.

— Рванула, как дьявол... Пожалуй, не щука! Машинально траппер забрасывает блесну еще раз в том же самом месте, но едва он начинает сматывать леску, как вдруг подпрыгивает и кричит приглушенным голосом: «Есть!». В это время натянутая, как струна, леска быстро уходит в сторону. Станислав с усилием вертит барабан, но через минуту перестает.

— Опять удрала! — меланхолично заявляет он. Выражение его лица не очень умное. Притихнув, он кладет удочку в каноэ.

— Бог любит троицу! — шепчу я. — Может быть, еще клюнет? На этот раз я беру удочку и, улыбаясь, забрасываю блесну в воду.

И что же? Берет! Сразу же. Очень резкий рывок, и затем бешеное, неистовое сопротивление рыбины. Я подтягиваю мечущуюся рыбу к самой поверхности воды и уже вижу мелькание серебристого тела, как вдруг добыча опять

срывается, а блесна со свистом выскакивает из воды.

— Это не щука! — решительно заявляет товарищ. — Это та самая бестия!

— Она ничего не боится! — удивляюсь я. — Ведь должна же она была почувствовать острый крючок!..

По лицу Станислава я вижу, что он охотно перекрестился бы — уж эти дьявольские штучки! С мрачной ожесточенностью он берет удочку и еще раз забрасывает блесну. На сей раз впустую. Рыба, вероятно, испугалась и удрала. Станислав вытаскивает блесну и пробует снова то тут, то там. На глубине все спокойно.

Все же не то на четвертый, не то на пятый раз товарищ неожиданно поворачивает ко мне лицо и медленно, сквозь стиснутые зубы, произносит чужим голосом:

— Взяла!

— Та самая?

Траппер не отвечает, лишь кивает головой: да, та самая. Осторожно, не спеша, с абсолютным спокойствием он наматывает леску на барабан. Рыба на глубине мечется во все стороны, сопротивляется с невероятным бешенством и упорством. Станиславу приходится напрягать все силы, чтобы дюйм за дюймом подтягивать ее к каноэ. Наконец рыба у борта. Траппер хватает ее за жабры и совместными усилиями мы втаскиваем добычу в лодку.

— Grey trout! — кричит обрадованно Станислав. — Серая форель!

У этой рыбы, называемой здесь также salmon trout — лососевая форель, чешуя серебристая с белыми крапинками. Наша не весит и шести килограммов, стало быть сравнительно небольшая рыба, но с каким остервенением она сопротивлялась!

Мы удим в заливе еще некоторое время, но рыба уже не клюет. Видимо, здесь была только одна эта форель. Четыре раза подряд, не испугавшись больно ранящего крючка, бросалась она на приманку!

Поверхность воды — завеса, скрывающая таинственный мир, мир воды и щук.

У щук особенные повадки: мы почти ничего не знаем о них. Не знаем их поведения и инстинктов; они для нас — цепь загадок. Лишь иногда, случайно, блеснет искорка, мрак на мгновение рассеется, и человек — ошеломленный, застигнутый врасплох — увидит вдруг какое-нибудь изумительное звено. Но только одно. Остальные по-прежнему остаются великой загадкой.

Однажды ночью я выезжаю на лодке в сопровождении Ли-эгима. В небе полная луна, на озерах тишина; поверхность воды серебрится от лунных бликов, ничто нигде не шелохнется. Холодно. На самой середине озера нам предстоит проплыть мелководьем. На протяжении более ста шагов вода не доходит до колен. Здесь возвышается какой-то песчаный подводный остров, окруженный со всех сторон значительными глубинами. Это место хорошо знакомо нам по прежним вылазкам.

Когда мы плывем по мелководью, происходят странные вещи. Из-под лодки разбегаются встревоженные существа: торпеды — не торпеды, черти — не черти. Проносятся под самой поверхностью воды, поднимая волны. Все новые и новые тени выскакивают перед нами — вереницы странных, грозных, неожиданных подводных ракет, испуганных и пугающих. Удирая, они сеют

панику, нарушая сон своих сестер, — нарастающая лавина ужаса. Это щуки. Их на этой отмели тьма. Вокруг сразу же образуется водоворот вспененной воды, мчащихся тел, всеобщего панического безумия.

Минуту спустя эта дьявольская вакханалия заканчивается. Щуки скрываются с отмели и прячутся в глубине. После них по озеру долго ходят беспокойные волны.

Тревога вспугнутых нами щук понятна. Но какая тайная сила природы выманила их из глубин озера, где они проводят все время? Какой инстинкт собрал их всех на мели в таком бессчетном количестве? Куда девалась их хищность? И вообще бодрствовали они или дремали? А может быть, пораженные чем-то, пребывали в забвении? Может быть, очарованные лунным светом, они разомлели, стали сонными, вялыми?

Индейцы верят, что богу солнца, радости и добра противостоит столь же могущественный бог луны, зла и ужаса. Может быть, это он вывел свои хищные отряды на отмель, и щуки, рабыни ночи и зла, держали свой мрачный лунный совет?..

Места здесь здоровые. Живительный воздух, высокое небо, солнечные берега озер, светлые скалы, разнообразная зелень лесов, спокойствие крупного зверя — все это признаки доброго здоровья и порядка в природе. Но тогда откуда же вдруг в воде столько алчности?

Голод наряду с любовью важнейший двигатель жизни. Любовь и голод служат высшей цели природы: сохранению рода. Стало быть, если щуки в своей непостижимой алчности пожирают собственных детей и уничтожают свой собственный род — в этом есть какое-то противоречие природы. Какой-то парадокс. Природа обезумела и сама попирает свой великий закон — закон размножения. Почему это так — было, есть и, вероятно, останется мрачной тайной этих озер. Только индейцы нашли свое решение загадки: они просто верят в существование злого бога Чакенапенока — бога ночи и истребления, заядлого нарушителя всякого порядка.

Мне любопытно, что думает об этой щучьей тайне озера Мармет Лизим, гребущий за моей спиной. К сожалению, Лизим неразговорчив.

37. Гости в лагере

От нашей палатки до костра недалеко: шесть шагов. На полпути, несколько в стороне, растет молоденькая елочка — красивая, стройная малолетка. На ее ветвях Станислав развесил куски мяса, вырезанные из ягодиц убитой медведицы.

Часа через два прилетает птичка, чужая; такой я до сих пор еще не встречал на нашем мысу. Она садится прямо на мясо, выклевывает из него кусочки и с аппетитом глотает их. Эта птичка относится к семейству дроздов: у нее черно-белая полосатая головка и белесая грудка. Я встаю от костра, подхожу, а птичке хоть бы что — не улетает. Подхожу еще на шаг, уже почти могу дотянуться до нее — не боится. С удивлением гляжу на отважную малышку. Смелая пичужка доверчиво смотрит на меня. У нее озорные черные глазки. Я подзываю Станислава.

— Meat bird,[162] — радуется товарищ, словно увидел хорошего знакомого.

Оказывается, он часто видел у себя, в Валь-де-Буа, «мясную пташку». Крылатый удалец славится тем, что любит мясо и почти не боится людей. Это назойливый и неприменный гость охотничьих лагерей.

В этот же день после обеда гость приводит с собой подружку, и они вдвоем жадно набрасываются на мясо. Но Станислав охраняет наши запасы и отгоняет обжор. Несмотря на это, на третий день появляется третья птица, а на следующий день их уже пять. Мы больше не бережем медвежатину, сыты ею по горло. Птички получают огромное наслаждение, а мы — веселых компаньонов. Утром милые ветреницы будят нас громким щебетанием, а в течение всего дня радуют играми, шалостями. Они оживляют верхушки соседних деревьев и проявляют ненасытный аппетит — каждую минуту подлетают к молодой елочке.

Новые друзья наполняют меня гордостью и огромным удовлетворением. Ведь это возникает мост дружбы между нами, людьми, и лесом — мост, отсутствие которого ощущалось все время. Эти гости дороги мне. Неприятно лишь одно: их появлением мы обязаны столь печальному и мучительному приключению, как убийство медведицы.

Лагерные знакомства не ограничиваются птичками: к палаткам тянутся и другие звери. В первую же ночь, перед тем как заснуть, я слышу над головой приглушенную возню. Какой-то зверек залез на палатку и нахально носится по верхней кромке так, что гудит парусина. Останавливается на мгновение, прислушивается. По-видимому, это шпион, разведчик. Потом он отправляется дальше, быстро скатывается по парусине и исчезает.

На следующую ночь все повторяется, но зверьков уже несколько. Они носятся по палатке как безумные, словно у них нет иной дороги, а прогулка по парусине доставляет им особенное удовольствие. Утром, перед рассветом, зверьки забираются в палатку и гарцуют по нашим телам. Мы просыпаемся. Когда зажигаем свет — никого нет.

Вечером зверьки появляются уже возле костра. Тут же за нашей спиной, в тени ветвей, они шуршат, скребутся, возятся и прячутся. Сразу в нескольких местах. А потом, когда мы входим в палатку и поднимаем с земли постели, из-под одеял выскакивает стая перепуганных зверюшек. Облава. Убиваем двух, и тайна раскрывается: лесные мыши.

На следующее утро мы убеждаемся в худшем: это нашествие лесных мышей! Они напали на наши запасы в коробках: им понравились овсяные хлопья, крупа, макароны и копченая грудинка. Они пожирают это днем, когда мы отсутствуем, и ночью, когда мы спим. Мы устраиваем облавы, убиваем ежедневно по четыре-пять штук. Но это мало помогает. Подвешиваем наши запасы к высоким веткам. Некоторые мыши взбираются на ветки, а затем спускаются по веревкам. Нет от них спасения! Мы уже подумываем: не перенести ли лагерь в другое место?

Однажды ночью мы слышим, как какой-то новый, неизвестный нам зверь хозяйничает у погасшего костра. Гость с грохотом опрокидывает жестяную банку, забытую под деревом. Медведь? Нас охватывает тревога; советуемся, что предпринять. Но больше не слышно ни одного звука. Выглядываем из палатки — кругом темная ночь, ничего не видно. Наружу не выходим.

Мыши — уж не громом ли их поразило? — в эту ночь притихли, притаились. Напуганы чем-то.

Утром узнаем, кто их напугал. Лиса, большая любительница мышей! Сомнений нет: на нашей банке из-под сахара она оставила выразительный

след — свой помет; таков уж лисин обычай.

С той поры добрый дух посещает нас еженощно. Это можно узнать по поведению мышей. К ним пришла беда, их обуял ужас; лиса убивает их все больше и больше. О визитах лисы мы узнаем по банке из-под сахара. Каждое утро — удивительная последовательность! — мы находим на ней свежее и выразительное свидетельство того, что лиса чувствует себя прекрасно и отлично переваривает мышей.

Бедствие миновало. Побеждает мудрое правосудие природы. Грозен ее меч, карающий необузданное излишество. Безмерен аппетит лисы, пожирающей мышей! Хотя мы и в глаза не видели доброго гостя, однако хвалим его, любим его и лишь изредка удивляемся: почему эта упрямая шельма так невзлюбила именно банку из-под сахара? Оставляем ей на ночь различные банки на выбор — большие, маленькие, широкие, узкие. Но она всегда марает только одну: ту, что из-под сахара. Гм, ничего не поделаешь — такова господская воля, таков каприз лисы, нашей благодетельницы...

На нашем мысу появляются большие черные вороны. Они кружат над лесом, перелетая с одного конца на другой, наблюдают за нашим лагерем. У Аллана Эдгара По вороны предрекали смерть, возвещая: «Never more»;^[163] на озере Мармет они кричат лишь: «Клук-ук, клук-ук», словно лягушки-кумушки, но все-таки кажется, что они тоже вещают о смерти. Видимо, их внимание привлекли *meat birds*, гостящие в лагере. Воронье карканье мы слышим в любую пору дня — иногда далеко, чаще близко. Пугливые и осторожные, вороны еще не набрались смелости, чтобы открыто напасть на птичек; но они здесь — высматривают, кружат, пугают, не улетают; нависли над лагерем как постоянная угроза. Решатся ли они вообще, нападут ли...

Однажды темным вечером мы слышим, как недалеко от лагеря движется, громко шаркая и ломая ветки, какой-то медлительный грузный зверь. С электрическим фонариком и ружьем мы мчимся в лес. Под одним из кустов открываем причину тревоги: дикобраз. Он шипит, пугая нас, свивается в клубок, выставя колючки. Когда мы подходим совсем близко, он дрожит, как в лихорадке.

— Осторожно, — предостерегает меня Станислав. — Колючки легко вонзаются в тело!

— А что?

— Скверно! Если уж вонзятся, вытащить их очень трудно... Ох, как подскакивает!

Действительно, дикобраз неуклюже подпрыгивает — вероятно, желая уколоть нас своими иглами.

Подступая к нему как можно осторожнее, мы связываем ему ноги, волочим в лагерь и привязываем длинной веревкой к молодой елочке между палаткой и костром.

Дикобраз, грызун величиной с нашего барсука, весьма распространенный здесь. Природа вооружила его броней из роговых игл, но обделила энергией и разумом. Это глупое, неповоротливое и смирное создание. Единственную надежду он возлагает на колючки, которые действительно хорошо защищают его. Длинные (до десяти-двадцати сантиметров), они, подобно копьям, вонзаются в тело нападающего и, вооруженные изогнутым шипом, входят все глубже и глубже в тело, нанося тяжелые раны. Беда хищнику, пытающемуся уку-

силь дикобраза: он отскочит с исколотой мордой и скорее всего погибнет от удушья, когда колючки проникнут к горлу. Дикие хищники и умные собаки знают об этом и ни за что не тронут дикобраза.

Питается дикобраз корой деревьев и причиняет значительный ущерб насаждениям. Поэтому люди не выносят его соседства и яростно уничтожают его вблизи поселений. Несколько лет назад было иначе: дикобраза охранял закон; запрещалось уничтожать его под угрозой сурового наказания. Этим он был обязан своей неповоротливости и глупости — единственная дичь, легко доступная безоружному человеку, заблудившемуся в лесу, он играл роль живого хранилища пищи.

...Наш пленник некоторое время возмущается, сопит, взъерошивает колючки и неуклюже пытается высвободиться. Минут через пятнадцать он перестает бороться за свободу и впадает в глубокое молчание. Исподлобья, из-за колючек, смотрит на нас спокойным, затуманенным взглядом. Мы подсовываем ему остатки нашего ужина. Как описать наше изумление, когда дикобраз после недолгих церемоний с аппетитом принимается за еду! Легко же он примирился с судьбой. Вот стойк! Нельзя не почувствовать радости, смешанной с легким презрением.

Ночью зверь не спит, ворчит негромко и лишь к утру наступает тишина. Выйдя из палатки, мы обнаруживаем причину молчания: дикобраз удрал. Значит, он не смирился с судьбой! Острыми зубами грызун перепилил ствол елочки и скрылся.

Елка лежит на земле. Это влечет за собой, кроме бегства дикобраза, цепь роковых последствий. Вместе с деревом на землю свалились и запасы медвежьего мяса. На рассвете кто-то сожрал их подчистую. Нам ничего не осталось. Еще до обеда все наши *meat birds* покидают лагерь: медвежьего мяса больше нет. До наступления следующего дня исчезают с полуострова и вороны.

Не уходит только виновник случившегося — дикобраз. Приключения с человеком он не понял, не принял к сердцу. Каждый вечер он ходит вокруг лагеря. Слышим его в темноте. Ломает ветки, передвигаясь, как растяпа; ступает тяжело и медленно, иногда сопит. Так бродит он каждую ночь — от лагеря до оконечности мыса — беспечный недотепа, верящий в действие своих колючек, ничем не волнуемый, безразличный ко всему. Не могу понять, кто он — циник или идиот?

38. Победитель Ниагары

Сколько дней прошло с тех пор, как Жан Морепа покинул наш лагерь? Четыре, пять? Я уже не помню. До возвращения Джона и Лизима ничего особенного в лагере не происходит. Мы со Станиславом живем в полной беспечности, заботясь лишь о сегодняшнем дне и наслаждаясь прелестнейшим отдыхом, какой только можно себе представить в столь очаровательном уголке.

Днем мы во власти чар природы. Устраиваем охотничьи вылазки, хотя крупного зверя почти не встречаем: он еще не выходит из чащи. Ловим щук, иногда отправляемся за форелями на Безымьянное озеро, греемся среди черных ягод на солнечных полянах, укрываемся под елями от ливней, жадным взором осматриваем берега озер, упиваемся благоуханием смолы, укрепляем мышцы греблей — словом, весь день предаемся всяческому соблазнам природы.

Не то вечером. Вечером мы пребываем под чарами костра и бесед о людях. О себе и о других. Станислав, смущаясь, открывает свои житейские заботы,

мечтает. Я узнаю постепенно историю его жизни и жизни его соседей. Какое это неопишное блаженство — после целого дня, полного светлыми озерами, запахами воды и хвои, когда в глазах еще рябит от лесных пейзажей, деревьев, зверей, птиц, скал, — вернуться у костра к людям! Какое блаженство забыть об этом нагромождении ветвей, елей, всплесков воды, болотных испарений, агверинных следов, погрузиться в такие понятные человеческие дела!

Это все магическое влияние костра. Языки пламени, шипя, взлетают вверх, устремляются куда-то нетерпеливо. Поток тепла и багрянца увлекает мысли в далекие странствия, пробуждает воспоминания о людях. В такие часы затухающие временем образы проясняются, вырисовываются во всех подробностях. И вот уже текут рассказы — о них. Станислав подбрасывает ветки в костер. Рассказы о людях — обязательное дополнение здешней природы. Они необходимы в лагере.

За свою короткую, но бурную историю Канада знала многих отважных пионеров, людей, приобретших большие состояния, горячих патриотов — достойных сынов своей страны, прогрессивных деятелей и деятелей, сделавших сказочную карьеру. Но сочетать все это в одном лице было дано лишь чужеземцу, который прибыл в Америку как бедный эмигрант, изгнанный врагами со своей родины, короче, это было дано поляку, Казимежу Рзовскому.

С тех пор как существует Канада, не было еще случая, чтобы какой-нибудь чужеземец завоевал такое уважение и удостоился таких почестей от канадского общества, правительства и английской королевы. Причиной этого были благородный характер Гзовского, его верность приемной родине, но прежде всего выдающиеся заслуги в развитии Канады, в ее техническом прогрессе.

Родился он на Минщине, в дворянской семье. Отец его, потомственный военный, после раздела Польши служил в царской гвардии в Петербурге; желая, чтобы и сын был военным, он определил Казимежа в военно-инженерную школу в Каменец-Подольске. Однако, когда вспыхнуло ноябрьское восстание 1830 года, Казимеж Гзовский, в то время подпоручик, порвал связи с царской Россией и с оружием в руках вступил в борьбу за освобождение Польши.

После поражения 1831 года — бегство в Галицию, тюрьма в Австрии, изгнание в Америку. Его постигла почти та же судьба, что и Николая Шульца — его товарища по несчастью. И так же, как Шулец, он выдвинулся в Соединенных Штатах.

Двадцатидвухлетнему юноше сразу понравилась пионерская страна янки. Изгнанник был более глубоко образован и обладал более изворотливым умом, чем большинство его товарищей по оружию, умел крепче сжимать зубы. Музыкальный, он первое время зарабатывал на хлеб преподаванием музыки, а также фехтования.

Позже, желая учиться, поступил учеником в адвокатскую контору. Там он изучал одновременно язык, законы и обычаи новой страны. Постиг все это удивительно быстро и уже спустя несколько лет стал адвокатом. Перед ним открывалась карьера американского юриста.

Но именно тогда у Гзовского наступила счастливая минута, когда он понял, в чем его истинное призвание. Это была одна из тех минут, в которые решается, пойдет ли человек вверх или вниз, станет чем-то или растворится в обыденности. Гзовский понял, что его призвание — творческое созидание, а не ве-

дение процессов; поэтому с присущей ему решительностью он бросил адвокатуру и стал инженером — вернулся к своей первой профессии каменец-подольских времен.

Выполняя по поручению своей фирмы работы на канадской границе, Гзовский остановился однажды в гостинице в Кингстоне, тогдашней столице Канады. На следующий день к нему явился адъютант генерал-губернатора и спросил официальным тоном, не родственник ли мистер Гзовский Станиславу Гзовскому, бывшему офицеру царской гвардии в Петербурге? Молодой эмигрант, предчувствуя дурное, признался, что это его отец. Гзовский был уверен, что его вышлют из этой страны за участие в польском восстании. Но на сей раз он ошибся.

Сэр Чарлз Багот, генерал-губернатор Канады, находясь в свое время в русской столице, подружился с отцом Гзовского и теперь с радостью приветствовал сына своего старого друга.

В приятельской беседе он расспросил инженера о его жизни и планах на будущее и предложил ему работу в Канаде.

— Нашей стране нужны такие люди, как вы!

Гзовский ничего не ответил: сколько раз слышал он то же самое от американцев в Штатах. Губернатор понял его сомнения и добавил:

— Канада — это более молодая страна, чем Соединенные Штаты, она больше нуждается в строителях!

В честолюбивом воображении молодого инженера возникло видение дорог, мостов, каналов, которых еще не было, но которые он мог создать.

Он согласился. Его не изгнали, как он опасался, а пригласили в страну, где его ждала карьера, выпадающая на долю лишь немногим.

Людям старой Европы трудно представить себе, что значили сто с лишним лет тому назад пути сообщения для таких девственных стран, как Канада. Предприимчивый эмигрант был там желанным гостем, упорный крестьянин-пионер ценился еще больше, но основой всего в этой пионерской жизни были дороги: без них энергия человека только растрачивалась бы зря в этих лесных дебрях. Только дороги пробуждали к жизни неосвоенную канадскую глушь.

Инженер Гзовский, назначенный руководителем общественных работ в западном Онтарио, сразу же вложил в эту работу весь свой юношеский пыл и темперамент. Это был героический, полный славы эпос, создаваемый на карте Канады; он писался не привычными словами, но песней мостов, шоссе, портов, морских маяков.

Пришелец из Польши оказался выдающимся работником. Он учил канадцев тому, как следует осваивать в стране новейшие достижения техники.

Иногда при этом случались забавные происшествия. Так, когда Гзовский построил мост через реку Темз возле Лондона в Онтарио, почтенные граждане этого городка боялись пользоваться сооружением: новейшая металлическая конструкция моста показалась им слишком легкой и ажурной, несолидной.

К счастью, в Лондоне был расквартирован артиллерийский полк, и Гзовский попросил командира послать для пробы на другой берег Темза одну батарею.

Вояка с пышными усами грозно посмотрел на молодого инженера, затем недоверчиво взглянул на мост, и его глаза озорно заблестели.

— Well, согласен! — ответил полковник. — Но с условием, что вы будете стоять под мостом.

Батарея прошла благополучно, прошел и весь полк. Инженер и мост завоевали доверие населения как этого города, так и всей Канады.

Минуло шесть лет. Не было такой местности в западном Онтарио, где молодой инженер не оставил бы следов своей напряженной деятельности; новые порты на Великих озерах, мосты над реками, тысячи километров шоссе пробуждали к жизни дремавшие в земле богатства, направляя этот плодородный треугольник между озерами Гурон и Эри с Онтарио — прежде полудикий — на путь быстрого развития. Гзовский, зорко следивший за всем новым, одним из первых в Канаде понял значение железных дорог, которые тогда, в середине XIX века, начали свое победное шествие по Америке. Ненасытный к знаниям, он быстро постигал тайны новой отрасли техники и в качестве главного инженера начал строить первую железнодорожную линию между Канадой и Соединенными Штатами.

Затем последовал еще один шаг: организация частной компании по строительству железных дорог. Возглавленная Гзовским, она превратилась в одну из самых могущественных компаний в стране. Магистралей, которые компания строила по правительственным заказам, славились отличным качеством работ.

От той поры сохранился рапорт правительственного инженера-инспектора, проливающий яркий свет на ум Гзовского и на тайну его успехов в Канаде. Инспектор не только похвалил добросовестную работу Гзовского, но и с уважением подчеркнул, что Гзовский за ту же сумму сделал больше, чем было обусловлено по контракту. А ведь в Соединенных Штатах и Канаде не было тогда ни одного железнодорожного строительства без злоупотреблений и жалоб на исполнителей. Поэтому такая честность польского инженера произвела особенное впечатление.

Вскоре неутомимому Гзовскому и этого показалось мало. Получаемые им железнодорожные рельсы бывали часто низкосортные. Поэтому он построил собственный завод металлоконструкций и начал производить рельсы — хорошие рельсы для своих смелых предприятий.

Спустя несколько лет, около 1860 года, Гзовский — выдающийся инженер, оборотистый промышленник и проницательный финансист — был уже одним из богатейших людей в Канаде. Следует добавить: и одним из популярнейших людей, хотя лишь в 1873 году он завершил самую большую из своих инженерных работ — постройку моста через реку Ниагару.

Это был второй мост между Канадой и Соединенными Штатами. Огромное, исключительно трудное строительство, требовавшее не только инженерного искусства, но и необычайной энергии и силы духа, — плод ожесточенной трехлетней борьбы человека со стихиями, которые сговорились уничтожить все то, что делали люди. Однажды нагромождение льдин чуть не разрушило опоры, в другой раз это едва не сделал огромный, длиной почти в милю, плот. Гзовский, инженер и борец, ревностно защищал свое творение, противопоставляя яростным атакам стихий свою непреклонность... и новые замыслы. В конце концов Гзовский выиграл битву, преодолев все препятствия... Мост был построен и, отданный людям, признан одним из чудес того времени. Пораженные инженеры, скорые на суровую критику, но не на похвалы, заявили:

«Это одна из наиболее гигантских работ на американском континенте».

Мост был назван Международным, поскольку он соединял два народа, но название соответствовало истине и по другой причине: творческим двигателем стройки был гений поляка — сына третьего народа.

Гзовского отличали самые разнородные интересы; велики его заслуги в различных сферах деятельности. Он провидел огромные минеральные богатства Канады и предложил властям план их добычи. Трезвый строитель канадских дорог и мостов, он сумел полюбить красоту окрестностей Ниагарского водопада и добился создания национального парка для их охраны. Этот инженер с большими замыслами был одновременно страстным любителем цветов и радовался, как ребенок, если ему удавалось вырастить новый сорт хризантем, за который он получал награду на выставке.

При мысли о стремительном взлете Гзовского и его карьере напрашивается удивительно контрастное сравнение: там, в глуши Минцины, предки, погрязшие в затхлом кругу ничтожных интересов — оружие, лошади и панцина; здесь — их потомок, прославленный инженер-строитель, борец за технический прогресс, который выдвинулся на первое место среди выдающихся инженеров своей эпохи.

Приемной родине он хотел служить и на военном поприще. Когда в 1861 году натянутые отношения с Соединенными Штатами начали угрожать вооруженным конфликтом, Гзовский представил центральным властям подробный план обороны страны и даже сам хотел финансировать строительство арсеналов и оружейных заводов. До этого не дошло, зато инженер организовал во всей Канаде стрелковые союзы, которые под его руководством и при его большой финансовой поддержке превратились в постоянную национальную военную организацию.

Дожив до 85 лет, Гзовский умер в 1898 году в зените славы, окруженный всеобщим почетом, оплакиваемый общественностью и большой семьей. Вступив еще во время пребывания в Соединенных Штатах в брак с дочерью американского врача, он оставил после себя многочисленное потомство: детей, внуков и правнуков. Ныне многие канадские семьи гордятся тем, что ведут свой род от этого предка. Некоторые из лиц, носящих его фамилию, тоже стали известными инженерами. И хотя большинство этих семей относится к виднейшим семьям Канады и Великобритании, пожалуй, никто из их членов не может сравниться со своим предком ни значимостью, ни способностями.

Неужели у обладателя стольких достоинств не было никаких недостатков? Помимо всех своих способностей, Гзовский отличался исключительным умением применяться к обстоятельствам. Поэтому, будучи прогрессивным инженером в развивающейся стране, он мог одновременно придерживаться реакционных взглядов; поэтому он легко стал канадцем и быстро забыл польский язык, поэтому, живя среди протестантов, он даже сменил веру и перешел в протестантизм. Все говорит о том, что Гзовский ничем не брезгал для того, чтобы сделать карьеру.

Жестоко и несправедливо рассудила судьба Николая Шульца и Казимежа Гзовского! Оба равно мужественные, энергичные, честлюбивые, способные; однако, одного канадцы повесили, а второго носили на руках, ничего для него не жалели! Но при всем этом — о, превратность судьбы! — неизвестно, который из этих двух поляков больше сделал для Канады: тот, кто строил ее мо-

сты, или тот, кто пробуждал ее совесть!

Через сто лет после смерти Николая Шульца на том месте, где он был повешен, Канада воздвигла ему памятник.

39. Торжественно, шумно, в алых красках

Размашисто, пышно, в ярком багрянце вступает осень в здешние леса. Без унылых туманов, без затяжных дождей, без долгих сумерек. Ничто не предвещает близкого зимнего омертвения. Природа впадает в какую-то радостную гиперболизацию, становится театральной, ею овладевает веселое беспокойство; буйная, яркая, она скрывает в себе множество неожиданностей.

Я удивляюсь небывалой переменчивости погоды: в течение суток и дождь, — и солнце, и тишина, и тепло, и холод. Не хватает только мороза. Внезапные бури, налетают на вспененное озеро, вечерний покой выравнивает поверхность воды, образуя зеркальную гладь. Дождь льет потоками, но вдруг над озером проглядывает солнце, озаряя скалистые берега и освещая зелень. В солнечный полдень бывает так жарко, что приходится раздеваться, а вечером пронизывающий холод гонит нас к костру. По небу мчатся, клубясь, рваные чудища туч, то белые, то цветные, но само небо как бы зачаровано — такое темно-сапфировое, что напоминает морскую бездну. Закаты пламенны и фантастичны.

В облаках, солнце, дожде — во всем скрытое беспокойство. Осень здесь совсем другая, чем где-либо; таинственная, она тревожит, волнует и пугает своими внезапными пароксизмами. В насыщенном электричестве и мятежом воздухе таится предвестие чего-то огромного, могучего. Мы знаем-это предвестие зимы. А пока зима не наступила, природу лихорадит: она утопает в красках и, не жалея великолепия, неукротимая и сияющая, чарует, словно героическая песня. Возбужденность природы передается всему живому — животным, растениям и нам.

Кто-то подсказал осам, что у нас есть чем поживиться. Налетели тучей и остались, а новые все подлетают. В полдень, когда солнце согревает лагерь, они гудят и носятся в воздухе, желтыми роями облепляя миски, банки и наши засаленные брюки. Голодные, подвижные, возбужденные, они поедают все лагерные остатки, особенно сласти. Опасное и шумное нашествие.

Мы предложили им перемирие. Они приняли его. Борьба с ними была безнадежной. Изгоняемые, они яростно набрасывались на нас и жалили. Оставленные в покое, осы оказались терпимыми, благоразумными и покладистыми. Иногда даже ползают по нашим рукам. Обходимся с ними, как с хрупкими безделушками; беспокойно следим, чтобы не обидеть их и не разозлить. Так и ладим между собой. И все же мы немножко побаиваемся ос. Это насекомое — тиран, ласковый и добрый, пока угождаешь ему.

На ночь многие осы прячутся в нашу палатку. Сначала они хотели спать под рюкзаками, которые мы используем как подушки. Из-за этого возникало много стычек и неприятностей. В конце концов осы уступили. Теперь они спят вверху, под сводами палатки над нашими головами, образуя там желтые клубки. И им тепло, и нам удобно.

А ночи все холоднее. Вскоре наступят желанные морозы. В пронизывающем холоде насекомые коченеют, почти совсем замирают. Но стоит только пригреть солнышку, как осы снова оживают и тотчас же возвращаются к активной, яростной, полной голода и торопливости жизни. Они вызывают во

мне искреннее восхищение и симпатию. Это особенные осы. Они не хотят гибнуть от холода, обуреваемые страстью — той самой, которая овладела всей природой и бросает осень из одной крайности в другую.

Нередко сильный ветер свищет в кронах деревьев, гудит на озере, поднимает высокие волны и задерживает нас на целый день в лагере. Тогда нам плохо, холодно и грустно. Мы срываем с соседних берез кору — испытанное средство для растопки, — притаскиваем в лагерь груды сухих стволов и разводим огонь. Получается большой костер. Пьем Red Rose Orange Pесоа Tea — хороший и ароматный чай. Слушаем шум озера и почти не разговариваем друг с другом. Станислав так же угнетен, как и я, он тоскует по своей хате в Валь-де-Буа.

В один из таких вечеров мы становимся свидетелями необычного явления. С верхушки ближайшей ели прямо над нами неожиданно срывается какое-то существо. Светлый зверек проносится плавно над открытым пространством, где разведен наш костер, и исчезает в ветвях дерева напротив. Это не птица, да и полет не полет, а очень медленный, огромный многометровый прыжок какого-то млекопитающего. Освещенный снизу огнем костра, зверек на фоне черного неба кажется чем-то сверхъестественным.

— Ассапан, летающая белка, — говорит, придя в себя, Станислав.

Летающая белка, или летяга, — зверек особенный: ноги его соединены широким куском кожи, служащим превосходным парашютом. Потому-то летяга и может совершать такие большие прыжки. А поскольку наша летяга появилась так внезапно — пролетела прямо над нами, как привидение, и, как привидение, исчезла, — она произвела особенное впечатление.

Среди ветвей раздается громкий резкий крик, словно вызов. Вздвогнув, мы взглядываем наверх.

— Это сова, — говорит Станислав.

Он подбрасывает в костер целую охапку сучьев. И вдруг мы замечаем в темноте два светящихся глаза. Траппер говорит, что это большой северный филин. Хищник сидит на ветви ближайшей к нам ели и таращит на нас глаза.

— Теперь я понимаю... — произносит траппер, — летяга удирала от него, потому и решила пролететь над самым костром...

Филин упорно наблюдает за нами и не собирается улетать. Припоминаю романы Кервуда, в которых такой вот Ухумиси изображен грозным врагом лесных зверьков. Может быть, этот принимает и нас за лесную добычу? В его взгляде чувствуется наглость хищника. А не выстрелить ли в него?

— Жаль заряда, — машет рукой Станислав.

Вскоре глазищи исчезают.

Несмотря на то что мы находимся в котловине, окруженной густыми зарослями, ветер нет-нет да и ворвется к нам, пригибая огонь к земле. Костер гудит и шипит. При каждом порыве ветра он становится выше и светлее, и тогда я отчетливо вижу осунувшееся лицо Станислава, его запавший, словно беззубый рот, его горящие глаза.

Спины наши охватывает пронизывающий холод. Станислав ежится и спрашивает:

— В Бразилии, где вы путешествовали, было, наверное, жарко...

— Очень жарко! Солнце стояло над головой. Люди обливались потом...

Приятно задержаться на этой теме, смаковать ее долго-долго, так долго, как

это только возможно, согреться воспоминаниями о кокосовых пальмах, об изящных пальмах ассаи, склонившихся к Амазонке.

Станислав припоминает:

— Есть там, в Бразилии, город, в котором больше всего на свете церквей. Забыл, как он называется...

— Это, наверное, Баия. В ней около шестисот церквей.

— О боже! — вскрикивает взволнованный и восхищенный Станислав. — Шестьсот церквей! Шестьсот церквей!..

— Там растут также солнечные пальмы, великолепные пальмовые леса, — добавляю я.

Но Станислав не хочет отвлекаться от своих церквей, цепляясь за любимую тему с упорством маньяка.

В этот вечер мы грустим. За весь день мы так и не увидели диких гусей: ни одна стая не пролетела с севера. У костра так тоскливо, что видения далеких церквей и пальм быстро меркнут. Печальные мысли, как покалеченные птицы, не хотят лететь — даже к воспоминаниям о людях. В этот вечер нет никаких рассказов.

Ночью разражается сильнейшая буря. Гул озера доносится с обеих сторон полуострова. Волны бьют о скалистый берег с таким остервенением, будто хотят разрушить весь мыс.

А утром — тишина. Встает великолепный день — теплый, солнечный, гудящий осами, лазурный, блистающий. День мечтаний, охоты и радости.

После полудня на нашем полуострове происходят чудеса. На конце мыса, в нескольких десятках шагов от лагеря, растут под березами дикие черешни — black cherries — убогие, скромные невзрачные деревья, конечно зеленые. Утром, когда мы отплывали на рыбную ловлю, они ничем не привлекли нашего внимания: мы их, как всегда, вообще не заметили. Но вернувшись после полудня, мы остолбенели: быть не может, это не наш полуостров! Он весь утопает в багрянце, ярком и буйном. Дикие черешни неистовствуют. Их листья зарделись. Они теперь горят огнем, алеют румянцем, полыхают пурпуром. Занялись могучим, волшебным огнем!

А ведь все это не огонь и не волшебство: просто осень пришла на полуостров. Торжественно, шумно, радостно, в алых красках.

40. Ян Флис, канадский лирник

... Снова летят и летят дикие гуси. Тысячами тянутся они с северных гнездовий, наполняя воздух гоготом и свистом крыльев. От неба исходит живительная сила и радость, тревога и грусть. Хотелось бы вырваться из этих лесов и тоже лететь на юг — к солнцу и людям.

В такие дни охотник мечтает о вечерней беседе и радуется, когда меркнет солнечный свет. Костер вновь раскрывает нам гостеприимный, замороженный мир... Он сужен до нескольких шагов, — этот мир, а вне его все исчезает в темноте: нет леса, а только мы, тишина, вздымающееся алое пламя и желание рассказывать.

— Хотите, Станислав, узнать об интересном человеке, который не строит железных дорог, не накапливает богатств, не становится, подобно Гзговскому, английским лордом, но умеет пробуждать многие сильные чувства, умеет быть замечательным инженером, строящим не стальной мост через Ниагару, но мост любви от берегов Атлантики до берегов Тихого океана?

А. Ива над Вислокой

Повсюду в Канаде, где звучит польская речь, знают и часто вспоминают Яна Флиса. При звуках его имени светлеют глаза, поляков, шахтеров Новой Шотландии, железнодорожников Монреаля, металлистов Торонто, горняков Тимминса, Садбери и К^оле-мана, фермеров Босежура и Принс-Альберта, лесорубов с реки Фрейзер, садоводов Ванкувера. Отовсюду с бескрайних просторов Канады стекаются в Гамильтон, где живет Флис, изъявления благодарности — небывалое явление в стране автомобилей и электрохолодильников. Деспотическому материализму Флис противопоставляет такие неуловимые и непрактичные вещи, как любовь к далекой Польше, теплые, тихие слова, выражающие эту любовь, — и побеждает. Он одерживает и другие, еще более трудные победы: удары, которые в течение всей жизни безжалостно обрушивались на него, Флис сумел переплавить в своем сердце в какие-то живительные токи, придающие силы и ему самому и всем его землякам.

Он родился в конце XIX века в Гавлушовицах, у впадения Вислоки в Вислу — то есть в местах, как бы нарочно созданных для того, чтобы настраивать душу на возвышенный лад. Чуть ли не всюду близ устьев рек и речушек, впадающих в Вислу, рождаются люди, которые, оторвавшись от родных мест, мучительно и упорно тоскуют по ним. В Гавлушовицах жили крестьяне небогатые, но относившиеся с презрением к еще более бедным, безземельным горемыкам. Одним из таких горемык был отец Яна, зарабатывавший на жизнь плетением ивовых корзин. Вся юность Флиса прошла в бедности.

Мальчик старательно учился в маленькой гминной[164] школе в родном селе. Поехать же для дальнейшего учения в уездный город он не смог. Маленький Янек лишь тщательно собирал крохи знаний, которые уделяли ему другие его счастливые ровесники, учившиеся в городской гимназии и приезжавшие на каникулы в родное село. Он собирал знания с таким старанием и понятливостью, что мог бы легко сдать вступительный экзамен в третий класс гимназии, если бы гмина согласилась выдать его отцу свидетельство о бедности. Но войт отказал, считая, что сын безземельного не должен стремиться к образованию.

— Еще чего! — без обиняков заявил войт. — Зачем нищему мальчишке школа? Еще захочет, чего доброго, стать инженером!

На этом дело кончилось. В гимназию Янека не пустили: Флис был слишком беден, чтобы получить свидетельство о бедности!

Когда позже, на восемнадцатом году жизни, Ян уехал из Гавлушовиц в поисках хлеба за морем, казалось бы естественным предположить, что он покинул родное село с горечью, с незабываемой обидой. Ничего подобного! В течение последующих — десятилетий именно воспоминание о родном селе стало неисчерпаемым источником самых прочувствованных порывов Флиса. Именно любовь к родному краю заставляла его писать чудесные очерки, одаряя своих канадских соплеменников тем, чего больше всего жаждали их сердца.

Б. То вверх, то вниз

У восемнадцатилетнего Яна Флиса были все четыре условия, необходимые в те времена для того, чтобы вырваться в Новый Свет: крепкое здоровье, спокойная натура, канадский адрес и деньги на билет. Первые три он получил от отца, а деньги заработал на шахте в Моравской Острове.

Когда в 1913 году Ян прибыл в Гамильтон, земляк, друг его отца, принял юношу благожелательно; зато чужая страна — гораздо менее дружелюбно: в этом долларовом «раю» было чрезвычайно трудно получить работу. Как и многие другие, Флис ежедневно выстаивал по несколько часов в длинных очередях перед заводскими воротами. В цветных фильмах о жизни вест-индских колоний всегда бывает так: жестокий хозяин обводит свирепым взглядом ряды черных невольников, и тому, на кого он посмотрит или укажет пальцем, грозит беда — невольника ждет тяжелая работа. Флис же молил судьбу, чтобы какой-нибудь заводской босс обратил на него внимание и ткнул пальцем, но так и не дождался этого.

Шли недели. Ян голодал.

Однажды ему пришла в голову мысль проскользнуть на завод, смешавшись с группой постоянных рабочих. Это удалось, но, проникнув за заводские ворота, он не знал, с чего начать. Охранник поймал его. И снова беда. Ян не умел говорить по-английски. На его счастье, охранник оказался поляком; он уже попольски спросил, что здесь нужно бродяге?

— Работы, — ответил испуганный Ян.

Флису повезло: охранник крепко выругал его, но оказался добрым человеком и помог юноше устроиться на завод.

Разразившаяся вскоре первая мировая война закрыла многие канадские заводы, и Флис снова ок-азался на мостовой. Он попытал счастья в Соединенных Штатах, но и там было не лучше.

Возвратившись из Штатов, Ян остановился в Гамильтоне — городе, ставшем средоточием поляков в Канаде. Здесь бурно развивалась деятельность землячеств, а в 1917 году неподалеку от Гамильтона в городе Ниагаре на озере Онтарио создавалась польская армия. Из всех польских центров в Канаде гамилтонское отделение «Сокола» выставило наибольшее число добровольцев. Флис, хотя и освобожденный от военной службы как единственный кормилец жены и ребенка, все свое свободное время и всю энергию отдавал армейским делам.

В 1918 году по Канаде прокатилась смертоносная эпидемия инфлюэнцы. Умирало столько людей, что их не успевали хоронить. Заболела и молодая жена Флиса. Она преждевременно родила второго ребенка, умершего сразу после рождения, и умерла сама. Вдовец остался с полуторагодовалой дочкой. Раскрывшуюся перед ним бездну отчаяния Флис старался заполнить работой и общественной деятельностью.

В эти военные годы, как и в предшествовавший период, молодого эмигранта швыряло то вверх, то вниз, словно на качелях. Канада то посылала ему дружескую улыбку, то корчила зловещую гримасу.

В. Движение и разбег

Польская община в Канаде (как, вероятно, и в Соединенных Штатах) по своему внутреннему устройству была подобна прорастающему зерну: слабенькая, она прежде всего старалась войти маленькими корешками в чужую почву, все усилия вкладывая в одну-единственную заботу, чтобы ее не сокрушили всевозможные превратности судьбы. Этому растению было далеко до превращения в сочный стебель, еще дальше — до цветения; а уж о плодах и думать было нечего. Занимало оно исключительно оборонительную позицию: канадские поляки большую часть своих сил вкладывали в самозащиту.

В 1911 году в городе Гамильтоне проживало более ста польских семей. Зародившаяся еще на родине приверженность к религии толкнула их прежде всего на организацию прихода и постройку костела. После этого стали думать о материальном благополучии. В следующем, 1912 году возникло Общество взаимопомощи, которое страховало членов, вносящих небольшие паи на случай болезни, инвалидности или смерти. Вскоре пробудились культурные потребности, возникли драматический кружок, хор, польская библиотека.

В 1917 году в крепнущем польском коллективе наметилось стремление отделиться от церковного прихода: созданное с этой целью Общество Польского дома построило собственное здание. В конце войны костел и Польский дом развили оживленную деятельность. В послевоенный период польская колония в Гамильтоне вступила окрепшей, организованной, более жизнеспособной.

В жизни польской колонии важную роль играла деятельность Яна Флиса. Лишенный мелочного самолюбия, исполненный юношеского воодушевления, он устремлялся всюду, где был нужен добросовестный труд: был казначеем различных обществ, руководителем любительского театра, регентом хора, выполнял ряд других работ. Но больше всего сердечного тепла он отдавал учительствованию в маленькой школе, созданной в 1917 году, где изучался польский язык. Там, в часы вечерних раздумий, родился тот настоящий несравненный Флис, все более осознающий свою животворную любовь к надвислянской родине и ее людям, способный высказать эту любовь спокойными, выразительными, проникновенными словами.

При этом Флису приходилось заботиться и о хлебе насущном. Он старательно изучал английский язык, посещал вечернюю школу, а затем перешел на высшие заочные курсы. После войны Флис перестал скитаться по заводам и поступил служащим в банк. Продолжая учиться, посещал лекции по английской литературе и слушал университетский курс банковской бухгалтерии.

Убедившись, что дирекция банка задерживает его повышение в должности, Ян Флис перешел на другое предприятие, где работает и поныне главным бухгалтером. Свидетельством высокой оценки Флиса-специалиста канадцами служит одновременное назначение его финансовым инспектором нескольких смежных фабрик. Такое продвижение эмигранта, прибывшего в Америку с небольшим запасом знаний, — явление исключительное.

Г. Большое сердце

После первой мировой войны в Гамильтон стали прибывать новые группы польских эмигрантов. Своим темпераментом и жизненным опытом они отличались от прежних: были более подготовленными, расторопными, но и более беспокойными, сварливыми. Они принесли в колонию свежую струю и большое честолюбие; началась организация новых кружков и объединений. К сожалению, часто возникали разногласия, зависть, раздоры. Поляки ссорились неведомо из-за чего.

Флис улаживал распри как только мог; в это время он начал писать, словно желая напомнить ссорящимся об одном большом чувстве, связывающем их всех. В польских газетах Канады и Соединенных Штатов появились его статьи — остроумные, веселые, живые фельетоны о жизненных передрягах маленького человека в Канаде; но чаще он писал серьезные статьи, пронизан-

ные мягкой задумчивостью, добродушной улыбкой и воспоминаниями о родном селе над Вислокой. Польская Америка узнала Гавлушовицы, как свой переулочек — и даже лучше. Поляки читали о листовничной церквушке, о прибрежных ивах и крытых соломой хатах, о людях и их обычаях — и глаза их наполнялись слезами.

В этих статьях был весь Флис — скромный, горячо любящий людей. На фоне назойливой, я бы даже сказал, хамски крикливой американской прессы его статьи привлекали спокойной мягкостью; умело найденные слова словно произносились проникновенным шепотом и, может быть, поэтому так много говорили сердцам и воображению. Эти слова затрагивали самые чувствительные струны в душах людей суровых, еще более огрубевших в чужом, жестоким мире.

О широком диапазоне затрагиваемых Флисом тем свидетельствуют хотя бы заголовки его статей: «Пасха в Гавлушовицах», «Жатва в Польше», «Прекрасные польские народные обычаи», «Родное село», «Моя встреча с внучкой», «Воспоминания о тридцатилетней эмиграции», «Сочельник», «Твой сын погиб», «Страх — опасения — боязнь», «Мечты о «богатстве»», «Нужны ли игрушки?», «Женщины и красота» и так далее.

Огромная популярность Яна Флиса проявилась особенно ярко во время третьего съезда Объединения польских обществ в Канаде, состоявшегося в Гамильтоне в 1934 году. Польские общественные деятели, прибывшие со всех концов доминиона, в сердечных рукопожатиях, визитах и всевозможных речах выразили то, что чувствовали к нему все поляки: уважение, признательность и нежность.

Несмотря на это, путь Флиса не был усеян розами. Свара среди эмигрантских руководителей задела и его. Любимым занятием Флиса было обучение детей поляков родному языку. Он прививал сотням юных сердец такую большую любовь ко всему польскому, что она сохранялась ими на всю жизнь. Делал он это почти без вознаграждения — самой ценной наградой ему были впившиеся в него горящие детские глазенки.

Мелкие, завистливые душонки добились отстранения Флиса от руководства польской школой. Поступок грубый и неразумный, так как бил он прежде всего по молодежи, которая лишилась возможности изучать польский язык. Разумеется, Флис охотно вернулся в школу, как только перед ним извинились и пригласили его вновь. Он простил и этот, и другие подобные укусы, как ни страдало его впечатлительное сердце.

Состояния Флис не нажил — слишком много отдавал себя людям. Все, что он имеет, — это маленький милый домик. Зато он обрел более ценное достоинство: семейное счастье. Рядом с ним — энергичная, очаровательная жена, в брак с которой он вступил спустя четыре года после смерти первой. Лучшего друга он не смог бы найти.

Д. Ржаной хлеб

Не один эмигрант в Канаде и в Соединенных Штатах брался за перо, чтобы излить на бумаге то, что диктовало ему сердце, но никто другой не сумел выразить так искренне и убедительно печали эмигрантов, как Флис. Возьмем первое попавшееся предложение, например, из статьи о родном селе в отчем краю. Это слова, которые трогали эмигрантов до слез:

«...Хлеб из обыкновенной ржаной муки казался мне вкусным даже то-

гда, когда я съедал последний кусок, пролежавший две недели. А если еще мама добавляла к нему кусочек сыру, творогу или немного масла, то он казался мне вкусней, чем бифштекс, который я ем сейчас...»

А сколько трогательной шутливости, так выразительно и умело выраженной в следующей картине:

«...В Гавлушовицах в жаркие дни, когда в костеле во время богослужения становилось тесно, люди преклоняли колени в тени лип и — вместе с теми, в костеле — смиренно возносили молитвы: одни о хорошей погоде, так как недавно скосили траву, а другие о дожде, потому что сохла рассада капусты и свеклы... Липы, тихо шелестя, вторили людской молитве, и, наверное, все делалось так, как хотелось людям. Бывали дожди, бывали и погожие дни...»

Но дожди проходили, проходило ненастье, а на душе у Фли-са всегда было ясно, солнечно. Поэтому он покорял и привлекал к себе столько польских сердец в Канаде.

41. Тропинки

За несколько лет до первой мировой войны, когда я носил еще короткие штанишки, у меня с отцом состоялся серьезный разговор. Дело было в Рогалине на Варте. Мы возвращались с рыбной ловли по протоптанной в буйной луговой траве тропинке. Вокруг росли одинокие великаны дубы.

Вдруг отец сказал:

— Помни, что каждая тропинка, даже самая незаметная, выводит в большой мир.

— В большой мир? — переспросил я с удивлением. — Каждая тропинка? Даже вот эта, над Вартой?

— Да, даже эта.

Это было для меня подлинным открытием. Я тогда бредил путешествиями и большим миром, далеким, туманным и сложным; но я и не подозревал, что по этой рогалинской тропинке, так хорошо мне знакомой, можно выбраться туда. И потому большой мир вдруг стал другим — близким и осязаемым.

С того дня я по-иному смотрю на тропинки. Они стали для меня отпечатками чего-то более важного, чем ноги: в них отражены человеческие инстинкты. Тропинки ожили, обрели смысл. Мне чужды большие тракты и оживленные шоссе, а тропинки — близки, я люблю их. Они разговаривают со мной. Я многим обязан им, на них я провел большую часть своей жизни.

В первый день после высадки на нашем полуострове мы сначала складываем тюки и ружья на берегу, а потом относим их на место будущего лагеря. Шагаем гуськом друг за дружкой — Джон, Лизим, я и Станислав. Возвращаемся в том же порядке. Во время третьего перехода мы замечаем, что идем по полосе, четко обозначившейся на песке и гравии: проложили тропинку. Еще до того как на полуострове возник лагерь и выросли палатки, появилась тропинка. «Индийская тропа», так как начали прокладывать ее Джон и Лизим.

Тропинка не следует прямо к цели — она извилиста. Огибает купу деревьев, густо разросшихся на опушке. Проходя песчаной береговой полосой, она причудливо извивается, обходя различные препятствия — то сухое дерево, то поваленный ствол, то большой камень. Просто удивительно, сколько преград возникает на таком небольшом расстоянии. Как трудно ходить прямым путем!

В течение нескольких дней я подозревал Джона в нелепой причуде. Он проложил тропинку вокруг широкой каменной плиты, вместо того чтобы просто пройти по ней и сократить дорогу себе и нам. «Вот здесь Джон напрасно удлинил путь», — смеюсь я про себя каждый раз, проходя здесь, — «а вон там Джон сглупил», — ругаюсь в душе. Но когда идет дождь, каменная плита становится скользкой, как лед. Я рассекаю себе колено и в тот же миг признаю Джонову тропу и свою ошибку. Старательно обхожу плиту.

Со временем тропинка обретает свое лицо, соответствующее нашему настроению. Утром она приводит нас в восторг — с нее открывается озеро, когда полные бодрости мы направляемся к лодке. Когда же, усталые, мы возвращаемся вечером с охоты, тропинка всегда обещает приятное: близость костра, ужин, беседу, палатку, сон. Я равнодушен к нашей тропинке.

Другое дело Станислав. Он не любит ее, крутит носом, а когда индейцы уезжают, поднимает открытый бунт: ищет иную, более короткую тропу. Находит такую, но она никуда не годится: неудобная, проходящая сквозь густые заросли, изобилующая выбоинами и корнями. Станислав расхваливает ее преимущества. В первую же ночь он спотыкается о корень и летит кувырком. Несмотря на это, остается при своем мнении. Утром он снова спотыкается и проливает воду из ведра, но мнения не изменяет. Раздраженный, продолжает упрямо нахваливать свою тропинку. Так продолжается несколько дней. Такое упорство из-за пустяка!

Я храню верность старой «индейской тропе».

Во всех окрестностях озера Мармет это единственные человеческие тропинки. Протяженность их ничтожна: сорок шагов в радиусе сорока километров.

Зато мы часто встречаем в лесу иные тропы — звериные. Как и у людей, у зверей свои постоянные маршруты, закрепленные извечными обычаями. Некоторые тропы неподалеку от нашего лагеря — это глубокие борозды: тысячи копыт, тысячи лап выдолбили их за долгие годы. Мы знаем: там, на дне долины, в непроходимой чащобе проходят медвежьи пути, а на вершине холмов — дорога лосей. Но больше мы ничего не знаем. Тропы исчезают в бескрайних лесах. Они ведут от одного неведомого места к другому. Это — символы жизни в лесах, но одновременно и символы звериных тайн и скрытых в зарослях радостей и бед.

За озером Смелой Щуки мы часто встречаем лосиху с лосенком. Это наша знакомая — степенная самка и забавный, симпатичный сосунок. Они приходят к воде ежедневно в одно и то же время, как неотъемлемое украшение пейзажа. Они приходят по вершинам холмов и уходят тем же путем — старой, утоптанной тропой.

По поведению лосихи мы узнаем, что время течки еще не наступило. Самка спокойна и уравновешенна: своего детеныша она окружает ничем не нарушаемой любовью. Мы не пугаем их. Проплываем вдали от тихого укромного уголка любуясь прекрасными животными. Очарование играющего лосенка и привязанность лосихи трогают нас. Мы наблюдаем украдкой за их тихим счастьем, нам нравится роль доброжелательных опекунов.

Однажды лоси не появляются. Когда это повторяется и в следующие дни, мы с сожалением решаем, что они покинули эти места — вероятно, что-то их испугало. Исследуем их тропу. Типичный лосиный путь, тянущийся среди

пихт от холма к холму без конца — в глубины леса. Он так плотно утоптан, что мы легко шагаем даже в густом кустарнике.

Вдруг Станислав издает тихий свист. Смотрит на землю и показывает мне следы огромного медведя. Зверь хотел пересечь лосиную тропу, но остановился, передумал и изменил направление: пошел по тропе за лосями.

— Плохо! — заявил Станислав. — Он разогнал лосей...

В лесу по сей день царит неписанный, но укоренившийся издавна закон: звери уважают чужие тропы. Медведь не посчитался с лосиной тропой. И это было проявлением злой воли: медведь замышлял недоброе.

Уже через несколько сот шагов выясняется, каковы были его намерения. Поперек тропы лежит мертвая лосиха с перегрызенным горлом и вспоротым брюхом. Ее задрал медведь.

Станислав по следам прочел ход трагедии. Когда медведь приблизился к тропинке, лосиха и лосенок, наверное, как раз шли мимо; медведю захотелось мяса. Он пошел за лосями и напал на лосенка. Лосиха бросилась защищать детеныша. Но медведь был исключительно сильным: ударом по шее он повалил ее, затем выпустил ей внутренности и ушел, забрав лосенка. Волок его по земле.

Глаз несчастной лосихи широко открыт и страшно пуст. Эта пустота пронизывает ужасом. Лосиная тропа вдруг оборвалась навсегда.

Одновременно с жизнью лосихи кончилась и жизнь тропы. Вскоре эта тропа зарастет травой, перестанет существовать. Я знаю несколько таких забытых тропинок в лесу.

Когда поздним вечером того дня мы причаливаем к нашему полуострову и ступаем на «индейскую тропу», наши шаги стучат по земле и гулко отдаются в воздухе. Тропинка затвердела, замерзла.

— Мороз! — кричит обрадованный Станислав.

В этот вечер тропинка обещает не только близость костра, беседу и сон, но и желанную охоту.

42. Лоси тронулись

В течение всего дня мы слышим только два звука: плеск волн и шум деревьев. После трех часов наступает торжественная тишина. Стихает ветер. Озеро неподвижно.

Вдруг в шестом часу с противоположной стороны залива доносится рев. Ослабленный расстоянием, он едва слышен, словно глубокий вздох, словно глухой стон.

На озере Мармет затрубил первый лось, жаждущий любви. Он пробудился и отправился на поиски самки.

После бурной осенней прелюдии — сильных ветров, кровавых закатов, всеобщего беспокойства — возникает самое сильное беспокойство, начинается клочкотать самая бурная стихия: страсть лосей. Безграничные леса Канады — от Лабрадора до Аляски — охватывает таинственная судорога: лоси ищут лосих. Величественный зверь выходит из чащобы, исполненный сил, жаждущий, страстный, снедаемый огнем, глухой к опасностям, опасный сам, не замечающий преград, ломающий в ярости кусты: он хочет любить. Великое таинство природы, клубок желаний, безумие страсти: лось жаждет любви.

От гула kloкочущей крови лось почти ничего не видит, не слышит: это ис-

пользуют всякого рода хищники — медведи, волки, рыси, люди...

В сумерках мы переплываем залив. Крадучись, осторожно взмахиваем веслами, скользя по воде, причаливаем.

На берегу высится песчаный холм с несколькими пихтами на вершине. За холмом тянется широкий луг, за лугом — лес. Он еще различим, хотя уже стемнело. Где-то здесь трубил лось. Мы прячемся среди прибрежных пихт. Ни малейшего ветерка.

Станислав после обеда содрал со старой березы большой кусок коры и свернул ее в трубку. Сейчас он прикладывает трубку ко рту, но не трубит. Колеблется: фальшивый звук может испортить нам охоту и напугать зверя. Я дружески подталкиваю товарища в бок, подбадривая его. Станислав вздыхает, смотрит на небо и наконец трубит.

Здорово! Приглушенный стон, как бы из-под земли, — уеее, — воспроизводящий крик самки, тоскующей по лосю. Так она призывает самца-лося.

На лугу нерушимая тишина, никакого ответа. Неужели лось ушел? Через несколько минут Станислав трубит снова, но громче.

На этот раз удачно. С болота долетает хриплый голос, как бы приглушенное ворчание. Лось! Луг, напоминавший до этой минуты мертвую бездну, вдруг ожил: где-то там, на другом его конце, стоит желанный зверь. Станислав прикасается к моему ружью. «Я готов»! — отвечаю ему кивком головы.

Он снова трубит. Лось отзывается из темноты, но как-то сдержанно, словно неохотно. Станислав время от времени трубит, не жалея сил. Но тщетны неустойчивые призывы. Лось остается спокойным, только тихо мычит. Станислав вопиет в пустыне.

Необычный это диалог: здесь — ухаживание, призыв, мольба, там — спокойствие, равнодушие, холодность. Здесь — усердное «уеее», там-ленивое «оооо». Немножко смешон этот «разговор», но в любую минуту он может стать драматичным: предохранитель «Ремингтона» уже спущен.

Внезапно в этот диалог вмешивается кто-то третий. Кроме стога самца, на лугу раздается приглушенное призывное всхлипывание — «уеее», — и все сразу проясняется. Рядом с лосем лосиха. Она удерживает его. Поэтому самец не очень охотно отзывается на призывы Станислава.

— Хватит на сегодня ухаживаний! — шепчет мне товарищ. — Придем сюда завтра.

Мы потихоньку спускаемся к берегу и возвращаемся в лагерь.

Сомнений больше нет: лоси тронулись. В ту же ночь нас будит шумный плеск воды. Недалеко от лагеря несется по отмели самец. Выбегаем слишком поздно. Подняв волну, лось исчезает в чаще.

Весь следующий день луг пуст. Но вечером, когда мы снова подплываем к нему, еще издали слышны странные звуки, повторяющиеся время от времени сильные удары, возня, какое-то небывалое оживление.

Мы перестаем грести и чутко прислушиваемся. Станислав неожиданно вскакивает:

— Это два самца! Ей-богу, два самца!..

Плывем дальше, гребем как можно тише. Причаливаем на опушке, там, где начинается луг.

Темно. Звезды на небе еле светят. На земле ничего не видно. На земле мож-

но только слушать. Такой шум и топот, словно разверзлись врата ада. Потрясающее впечатление производят эти звуки: треск сломанных деревьев, яростный хрип, потом вдруг топот или тяжкое сопение, затем резкое хрипение, а время от времени сухие короткие удары, страшный треск рогов. Мы знаем: это дерутся друг с другом два самца. Но в темноте на лугу во всеобщей тишине их бой обретает фантастические черты: это поднялись скрытые в дебрях силы и бьются друг с другом — сталкиваются в бешенстве.

Я дрожу всем телом. Сдерживаю дрожь как могу, но тщетно. Иду за Станиславом, ставлю ноги осторожно, чтобы не наступать на ветки. Продвигаемся вдоль опушки, ориентируясь по слуху. Затем Станислав оборачивается и дает мне последние указания. Кончает словами:

— Стреляйте в правого, а я попробую в левого!

— Хорошо! — отвечаю я и неожиданно успокаиваюсь, как будто произнесенные шепотом слова трапфера принесли чудодейственное облегчение.

— Осторожнее! — то и дело напоминает мне ворчливо Станислав.

Вот уже несколько минут на лугу царит тишина. Одновременно и в воздухе произошла явная перемена. Светает. Смотрю на небо: на севере появляется синеголубое зарево — полярное сияние. Это хорошо: будет светлее, можно лучше прицелиться.

Бой возобновился. Слышны топот и свистящее дыхание. Уже можно различить кое-что. На лугу видны две неясные тени. Они словно в тумане и кажутся далекими. Бегут. Вдруг сталкиваются с разбегу. Ужасающий треск удара. Сцепившиеся тела сливаются в одну темную раскачивающуюся массу. Скрипят рога, из легких вырывается тяжелое дыхание.

Великолепный образчик первобытности: огромная сила, скопившаяся в мышцах животных, и взрыв безудержной ярости. Вспышка разбушевавшихся стихий завораживает. В сравнении с этими силами человек — слабый, тщедушный червь с хрупким телом и немощными членами. Удрал бы в страхе за свою жизнь, если бы не коварный союзник — ружье. Без ружья и без пуль человек здесь ничто. Оружие — безотказный и могучий, но варварский и чуждый союзник; он чужд самой природе борьбы, которая кипит здесь, чужд окружающему лесу, чужд полярному сиянию, все ярче занимающемуся в небе...

— Подойдем ближе! — слышу шепот Станислава. Мы крадемся от куста к кусту, от дерева к дереву. Это не требует усилий. Разъяренные животные видят только друг друга. Но внезапно прямо перед нами из чащи выскакивает третий зверь. Подняв страшный шум, он в панике удирает, издавая пронзительный предостерегающий крик:

— Уеее!

Лосиха! В то время, когда самцы дрались за ее расположение, она стояла в сторонке на страже.

Как громом пораженные, самцы в мгновение ока приходят в себя. Разойдясь, они огромными прыжками мчатся к лесу и исчезают, как призраки. Полная тишина воцаряется на лугу и в лесу — такая торжественная и полная, словно ничто ее не нарушало.

Мы ошеломлены.

Потом Станислав смело выходит из зарослей и громко, с возмущением изрекает:

— Мерзкая лосиха!

Человеческий голос удивительно неестественно и глухо звучит на опустевшем лугу.

43. Индеец Джон

На озере Мармет, далеко-далеко на северо-западе, у самого горизонта, видно приближающееся каноэ. Мы смотрим в бинокль и с радостью узнаем знакомую фигуру:

— Джон! Индеец Джон!

— Заморозок потянул его к нам. Он так и обещал...

— Но он плывет один. Без Лизима?!

— Один.

Джон минует мыс, где наш полуостров каменными уступа-ми отлого спускается к озеру, и вот мы уже сердечно приветствуем друг друга. Джон говорит, что все в порядке, а Лизим прибудет в лагерь завтра или послезавтра. Наши сообщения о лосях Джон принимает довольно равнодушно.

— Еще есть время, — говорит он.

Мы вскрываем банки с консервами, закусываем. Свежего мяса уже нет, есть только щуки. Во время еды Джон, который не так молчалив, как Лизим, пространно рассказывает, каким трудным было его плавание, — дул встречный ветер, спущены все псы Гайаваты. Я понятия не имею, что такое псы Гайаваты, но не хочу мешать еде. Лишь значительно позже, когда мы закуриваем, я спрашиваю о них Джона.

— Ага! — с шутливым злорадством улыбается индеец. — Вот, что тебя мучает!.. Да, псы Гайаваты.

— Это что же, чьи-то собаки или псы того Гайаваты, из легенды?

— Из легенды. Если дашь папиросу, то я тебе расскажу... — подтрунивает Джон.

Как известно, Гайавата был великим пророком индейцев, олицетворением всех достоинств и неутомимым воспитателем: от него все, что есть возвышенного и благородного в их характере. Он учил людей совершенству, боролся против братоубийственных войн и требовал, чтобы все любили друг друга, как братья. Гайавата — это не просто плод воображения; вероятно, такой индеец существовал, а позднейшие поколения окружили его имя мечтами и легендами.

Легенда гласит, что Гайавата, увидев первые паруса белых пришельцев, угадал суровую, но неизбежную судьбу краснокожих. Погруженный в печаль, он призвал своих псов, волков, лосей, бобров, птиц, с которыми жил, как с равными, и, сев с ними на большое каноэ, навсегда покинул людей. Гайавата укрылся в глубокой пещере и там, среди зверей, погрузился в долгий сон. Когда придет назначенное время, он вернется на землю и освободит поработанных братьев.

Но раз в год, осенью, Гайавата просыпается ненадолго и облетает северные леса. Вместе с ним мчатся его звери: псы, превращающиеся в стонущие вихри, волки, перевоплощающиеся в грозные облака, птицы, преображающиеся в шумящую листву. Когда волки воют в лесной глухомани, индейцы догадываются, что это волки — спутники Гайаваты.

После ежегодной безумной гонки Гайавата убеждается, что еще не наступило время освобождения; поэтому он возвращается со всей своей дружиной в пещеру на отдых, и после осенних бурь наступает белое безмолвие зимы.

— Теперь ты знаешь, — с улыбкой заканчивает Джон, — почему мне было трудно грести: псы Гайаваты неслись в воздухе...

— Это своеобразный вариант нашей легенды о спящих рыцарях в Татрах... — обращаюсь я к Станиславу.

Легенда о Гайавате не отрывает Джона от земных дел; он прислушивается к звукам, долетающим из леса. Ухо индейца улавливает там что-то. Закончив рассказ, он поворачивается к нам и спрашивает, хотим ли мы свежего мяса? Что за вопрос?

— Ну так Джон добудет его! — серьезным тоном заявляет индеец и, захватив привезенный с собой мелкокалиберный «Винчестер» Лизима, идет к лесу.

Я — следом за ним.

Сначала мы идем быстро, почти бегом. Пройдя метров двести, начинаем ступать осторожнее, а Джон зорко вглядывается в заросли. Здесь среди пихт растет много молодых буков и лиственниц. Вдруг индеец останавливается и показывает на что-то впереди.

Там птицы. Целая стая fool hen — «глупых куриц», именуемых spruce partridge, то есть пихтовыми куропатками. Их семь или восемь. Некоторые что-то клюют в траве, другие сидят на кустах и нижних ветках деревьев.

— Сколько подстрелить? — спрашивает меня Джон, словно речь идет не об охоте, а о покупке какой-то вещи в магазине. — Пять хватит?

Мне кажется невероятным, чтобы из одной стаи можно было убить столько сразу, но Джон объясняет мое молчание иначе.

— Пять это не очень много, — говорит он. — Не забывай, что скоро придет Лизим...

С еще большей осторожностью мы приближаемся к стае. Вот уже до ближайших куропаток тридцать шагов.

Укрывшись за стволом пихты, Джон стреляет. Попадает прямо в голову. Куропатка падает на месте. Другие, не путаясь звука выстрела, ведут себя так, словно это их не касается.

Второй меткий выстрел сбивает с куста еще одну птицу; она с глухим стуком падает на землю. Сидящая рядом куропатка удивлена: она смотрит на упавшую соседку и, словно огорченная, кудахчет «гок, гок», что звучит, как «смотрите, смотрите!»

Два новых выстрела — один сразу же за другим, — и снова две куропатки. Четвертая, раненная в горло, еще трепещет на земле. Остальные наблюдают странное поведение товарок, вьн давая свое изумление — «гок-гок-гок», — но улетать и не собираются.

Поразительное отсутствие осмотрительности, самого обычного житейского инстинкта! Трудно понять, как живут в лесах, где полно всяких хищников, такие беззаботные существа. А ведь в некоторых местах их великое множество.

После пятого выстрела мы выходим из-за пихты, чтобы подобрать добычу. Оживленная стрельба не взволновала уцелевших птиц, и, лишь заметив наше приближение, они обратились в бегство; отлетели на несколько десятков шагов.

Пять выстрелов — пять куропаток.

В прежние времена, когда в XVIII веке индейцы мужественно сражались против белых захватчиков и имели уже огнестрельное оружие, их повсюду считали негодными стрелками. Их неумение метко стрелять даже вошло в по-

говорку. Какое недоразумение! У индейцев всегда был меткий глаз, но зато очень мало пороха, отпускаявшегося весьма скупой белыми. Они слабо заряжали ружья и, естественно, промахивались.

— Отлично! — хвалю я Джона и даю ему в награду целую пачку папирос.

Джон не только доволен, но еще как-то странно смеется, пряча папиросы; вспомнил что-то смешное.

Лишь часом позже, когда мы снова удобно рассаживаемся у костра, Джон объясняет мне причину своего смеха при вручении ему папирос:

— Грей Оул... — говорит он, потирая нос, — Грей Оул рассказывал мне...

— Ты был лично знаком с Греем Оулом? — прерываю его.

— Лично, а как же! Мы часто вместе бывали проводниками у охотившихся здесь американцев... Разумеется, это было давно...

— И кем он был? Действительно метисом? Или происходил из индейцев?

На лице Джона появляется гримаса неуверенности, в глазах загораются насмешливые огоньки.

— А дьявол его знает! Я с его матерью не был знаком, в люльку к нему не заглядывал...

— Но все же он мальчиком жил среди индейцев?

— Жил, это правда. И так сильно полюбил нас, что стал потом большим индейцем, чем все мы, вместе взятые... Это ему очень нравилось — и американцам тоже!

Джон с сожалением показывает на свои старые брюки и потертую шерстяную куртку, которую носят все канадцы, живущие в лесах, и ворчит:

— Вот Грей Оул нигде не показался бы в такой одежде... Особенно при таком госте, как ты.

— А как бы он оделся?

— Как на обряд, по-индейски, как на праздник. Одежду он носил всегда из оленьей шкуры, а на ней много кожаной бахромы — на груди, на спине, на рукавах... Сплошная бахрома. Любил блеснуть! Зато американцы охотно фотографировались с ним.

— А что... он был пустой человек? Джон задумывается на минуту.

— Трудно сказать. Иногда бывал пустым, а иногда казался другим...

— Но леса-то хоть знал хорошо?

— Леса знал хорошо! — уверенно, со всей искренностью подтверждает Джон. — Знал, пожалуй, лучше многих индейцев... Ну, а теперь послушай, что Грей Оул рассказал мне однажды...

«Прежде чем посвятить свою жизнь бобрам, Оул, как известно, был проводником охотников. Клиентуру имел преимущественно американскую и зарабатывал в день от шести до восьми долларов. Но часто ему перепали дополнительные вознаграждения, так как, отлично зная канадские леса, Грей был следопытом и почти всегда наводил охотников на крупного зверя — лося или медведя.

Однажды Грей Оул сопровождал какого-то американца, лакомого до зверя, но горе-охотника. Янки был богат, одет с иголочки; он всегда носил с собой тяжелый золотой портсигар и обещал Серой Сове золотые горы, если тот наведет его на настоящего зверя.

— Если я подстрелю что-нибудь стоящее, — уверял американец, то награжу тебя по-королевски!

В Штатах у него осталась невеста, которую он хотел поразить пышным охотничьим трофеем.

Серая Сова старался как мог, чтобы угодить американцу, но нетерпеливый растяпа то вспугивал лосей, то мазал. Он был слишком горяч. Наконец ему удалось убить отличного самца. Когда янки подбежал к своей добыче, то его охватила такая радость, что он производил впечатление человека, ошалевшего от счастья: швырял «Винчестер» на землю, дергал великолепные рога, хлопал Серую Сову по плечам и обнимал его, бормоча несвязные слова благодарности. Потом, как бы вспомнив свое обещание, начал нервно шарить по карманам.

— Ну, goddam you![165] где же этот чертов портсигар? — хрипел он, багровея. — Я твой должник, Грей Оул... О-о-о-о-о, тебе причитается... Ты заслужил...

В своей скромности Серая Сова хотел уже протестовать против такой щедрой награды, но разгоряченный охотник даже рта не дал ему раскрыть. Найдя наконец портсигар и отворив крышку, он резким движением поднес драгоценную вещь к самому носу проводника и закричал радостно и повелительно:

— Возьми! Возьми все!.. Возьми все папиросы, не стесняйся! Смелее, Грей Оул!..

А когда Серая Сова, оторопев, заколебался на мгновение, американец сам помог ему: порывисто вытащил из портсигара папиросы и засунул их Грею Оулу в карман, зардевшись от щедрой доброжелательности. Потом закрыл портсигар и спрятал его в карман...»

— Вот что я вспомнил, — заканчивает Джон, обращаясь ко мне, — когда ты наградил меня папиросами за куропаток!

Мы собираем топливо для вечернего костра, пересчитываем стаи летящих на юг гусей. Джон говорит, что только после прибытия Лизима начнется настоящая охота на лосей. Куропаток он запекает в горячей золе прямо с перьями и очень доволен, что печеные птицы приходятся нам по вкусу. Потом угощает нас папиросами из подаренной ему пачки и заявляет, что метис Морепы, с которым он встретился еще раз, велел передать нам привет, а его, Джона, очень просил рассказать мне, пишущему книги, побольше интересных историй.

— Но что рассказать тебе? — задумывается индеец. Потом спрашивает нас:

— Верите ли вы, что душа странствует после смерти?

— Разумеется, верим! — поспешно отвечает Станислав.

— Я тоже верю, — говорит Джон.

Он берет череп убитой нами медведицы и, всыпав внутрь немного табаку, насаживает его на большую ветку соседней ели.

— Это старый обычай, — объясняет он, — чтобы извиниться и задобрить душу медведицы...

Станислав не скрывает своей досады: он предполагал, что Джон говорит о странствиях человеческой Души.

Тем временем индеец садится на корточки рядом с нами. В уголках его глаз под маской серьезности поблескивают мерцающие искорки. Неужели это отблески скрытой насмешки? Джон чертовски наблюдателен и догадлив. Он понял, какое впечатление произвели его слова, и подметил разочарование Станислава. Теперь он обращается к трапперу, как бы объясняя его ошибку.

— Ты был прав, Стенли. Я имел в виду человеческую душу.

— И, наверное, хочешь рассказать что-нибудь интересное? — догадываюсь я.

— Хочу.

Сто лет тому назад один молодой индеец, который стал христианином, вскоре после крещения испустил дух. Весь лагерь охватила тревога: душа умершего, на манер душ осужденных на вечные муки, блуждала среди вигвамов, стонала, мучила людей, но чаще всего стучалась в вигвам его родителей. Им однажды удалось задержать эту душу и вызвать на разговор. И вот что рассказала душа сына:

«Как душа христианина, она полетела в рай, но страж, приглядевшись внимательнее, не впустил ее.

— Ты душа краснокожего! — заявил он. — Ступай прочь! Здесь рай только для белых!

Загубленная душа упала в глубокую пропасть, прямо к воротам ада, за которыми притаился дьявол.

— Это что еще за нахал! — заорал Вельзевул — Краснокожий? Скройся с глаз! Здесь место только грешникам белой расы!

Тогда душа молодого индейца вспомнила, что есть рай ее предков, и поспешила в счастливые луга Вечной Охоты. Но — о жестокая судьба! — знак креста выдал ее, и Великий Маниту прогнал несчастную.

— Вот почему, — сказала душа сына родителям, — отвергнутая богом белых людей и богом красных людей, я блуждаю среди ваших вигвамов. И до тех пор я не обрету покоя, пока ваши молитвы и ваша верность старым обычаям не умолят Великого Маниту...»

Когда Джон заканчивает свой рассказ, никому из нас не хочется продолжать беседу. За внешней наивностью сказки мы чувствуем глубокую правду трагедии индейцев. Они как бы повисли в мертвой пустоте между старым миром, который у них отняли, и чуждым, почти недоступным для них миром белых людей.

44. «Стреляй ты!»

Громкий рокот мотора на озере. Выскакиваем на берег. Ур-ра! Лизим приехал. Наконец-то! Камень сваливается с наших плеч.

Индеец сердечно улыбается при встрече и, как обычно, неразговорчив. Средоточенный, исполнительный, замкнутый, таинственный. Приходится все время угадывать его мысли. Когда Станислав показывает ему свою трубу из бересты, Лизим внимательно осматривает ее, потом еще более внимательно смотрит на Станислава; не говоря ни слова, отправляется в лес, приносит кусок бересты и свертывает трубу, в два раза большую, чем у траппера.

Потом Лизим съедает обед за двоих и ложится в палатке. Спит до вечера, съедает ужин за троих и говорит, что мы едем на охоту. Я и он. Станислав останется в лагере. Я пытаюсь узнать подробности:

— Надолго мы едем?

— Оденься потеплее! — мягко отвечает Лизим на смешанном англофранцузском языке.

Я одеваюсь тепло, и мы выезжаем на темное озеро.

Ритм весел завораживает: с тихим всплеском они погружаются в воду, затем слышится тихое протяжное бульканье, после чего следует резкий выход

из воды, рывок вперед, легкий каскад брызг — и все повторяется сначала: весла погружаются в воду, а лодка продвигается шагов на десять. Неустанный ритм рождает в душе певучие слова. Возникает какая-то бессвязная песня. О чем? Двести лет назад прославленные французские *coureurs des bois*, неустрашимые гребцы, пели о любви и подвигах, пробираясь в глубь канадских лесов.

Сегодня ни у Лизима, ни у меня нет в душе слов о любви и подвигах; мы хотим убить лося. Через каждые четверть часа перестаем грести, и Лизим посылает в темную чащу призыв. Громкий, густой звук, извлекаемый из длинной трубы, подражает призыву лосихи более глубоким тоном, чем вчерашний зов Станислава. «Лосиха» Лизима манит настойчивее.

Мы давно проехали озеро Мармет: уже два часа плывем по лабиринту проток по незнакомому лесу. Светят звезды, но видно плохо. Я опасюсь за меткость выстрелов. Мы напряженно вслушиваемся в ночь: придет ли ответ на брошенный Лизимом призыв?

Приходит. Откуда-то сбоку от залива отзывается лось. Мы подплываем к берегу, он тоже приближается к нам. Но счастье опять изменяет нам. Зверь обнаруживает опасность и удирает. Запах человека — это кошмар леса. Он охлаждает даже любовные порывы.

В миле отсюда слышен голос второго самца. Лизгим оживляется и говорит, что это большой лось:

— Big moose!

Мы осторожно высаживаемся на лугу. Впереди в нескольких десятках шагов черная стена леса. Из чащи доносится хриплый рев. Мы останавливаемся на берегу у самой воды за небольшим кустом. Ждем.

Лизим трубит. Лишь теперь я узнаю настоящего мастера. Призыв лосихи я слышал не раз, хорошо знаю его. Лизим не только искусно подражает естественным звукам, но манит даже лучше, чем живая лосиха. Он более пылко выражает желания, взывает более страстно, более выразительно возвещает о бурлящей крови. Это звучит сложно, как-то вроде уооауу-х.

Призыв этот неодолим, полон нескрываемого искушения: лосиха громко требует лося. Прекрасно трубит Лизим!

А там, в лесу, самец изнемогает от страсти. Его захватило: мы это слышим отчетливо. Он околдован. Трещат ветки. Лось отвечает на каждый наш трубный призыв. Он мечется. В его голосе столько явного, безудержного желания, что он приобретает какую-то особенную выразительность. Я бы сказал, что это голос всего леса, что отозвалось и приближается само олицетворение любви. Это пламенный порыв природы, ее всеобщее влечение, ее самый могучий поток катится на нас. Идет лось, оглушенный любовью.

С трудом подбирая слова, Лизим шепотом объясняет мне, когда стрелять. Я должен дожидаться, пока самец достигнет середины луга шагах в двадцати от нас, и лишь тогда — не раньше, но, боже избави, не позже! — стрелять.

— А если я не выстрелю?

— Должен выстрелить! — сердито бормочет индеец. — Иначе самец придет и затопчет нас насмерть.

А если я все-таки не выстрелю?.. Посматриваю на свой «Ремингтон». На тусклой поверхности ствола отражаются звезды. Знакомый мне прямой стальной ствол обращен к лесу. Хорошее оружие. Я смотрю, не дрожат ли у ме-

ня руки от волнения. Не дрожат.

А если я не выстрелю?..

Что-то происходит со мной. Вокруг все в порядке. «Ремингтон» — точное ружье. Лизим, выполняющий свои обязанности, на своем месте. Лось, сжигаемый жаждой, тоже на своем месте. Только во мне что-то надломилось. Где-то, в самом глухом уголке души, поднимается бунт — еще неясный, еще бессознательный. Просыпается недовольство...

Как великолепно Лизим подражает лосихе! В его обмане сатанинское двуличие: спокойно, расчетливо, ловким фокусом он воссоздает иллюзию самого прекрасного проявления природы. В этих искусных звуках и пламя чувств, и страстность, и подлая ложь. Лизим лжет превосходно и достигает желаемого — он лжет с неодолимой притягательной силой... Во мне что-то бунтует.

А лось идет вслепую, словно опутанный сетями. Ослепленный глупец, одержимая жертва. Время от времени трубя, он с силой продирается сквозь заросли. Должно быть, это крупный самец; с глухим треском ударяются его рога о деревья. Лось спешит к нам; он уже подходит к опушке.

Нет, я не буду стрелять! Пламя, сжигающее лося, — это самое святое безумие леса, благороднейший огонь природы. Его нельзя гасить коварством. Это пламя охватывает в минуты высочайшего экстаза человека так же, как и зверя. Оба черпают из того же самого источника, обоим пронизывает одно и то же влечение. Лось близок мне. Он ближе мне, чем человек, который хитро обманывает его. Не буду стрелять!

«Стреляй! — кричит во мне охотник. — Может быть, это единственный случай в жизни...»

Зверь уже вышел на луг. Могучий, великолепный, рослый! В темноте голова его увеличивается до неестественных, невероятных размеров: какие огромные рога! Крупный зверь. Он быстро приближается к нам, увеличиваясь на глазах.

— Shoot! Стреляй! — шепчет мне на ухо Лизим.

В это мгновение я вспоминаю неприятное чувство, какое овладело мной несколько дней назад, когда я убил медведицу. Не выстрелю!

Лось вырастает на лугу, как величественное изваяние. Можно уже различить высокие ноги, мощную грудь, склоненную голову. Нас разделяет лишь несколько шагов.

— Shoot! — отчаянно и громко настаивает Лизим.

Лось опускает грозно голову, готовясь к атаке. Но я по-прежнему не хочу, не могу стрелять. К сожалению, иного выхода нет: слишком поздно.

Я сую ружье Лизиму и кричу:

— Стреляй ты!

Индеец бросает на меня испуганный взгляд, словно я свихнулся. Хватает ружье и в последнюю минуту стреляет, едва не упираясь дулом в голову зверя. Стреляет дважды — выстрелы следуют один за другим.

Глухой звук падающего тела, резкий стон, короткая дрожь, тишина...

Над мертвым телом высоко возносятся огромные ветвистые рога. При жизни — эмблема власти, а теперь — всего лишь охотничий трофей...

Лизим все еще испуган. Поглядывает на меня украдкой, какой-то удивленный, обеспокоенный, неуверенный, сомневающийся. По-видимому, в его индейской душе что-то проясняется. Может быть, индеец начинает понимать бе-

лого человека?

Возвращаемся. Снова ритм весел. Я не узнаю ворчливого Лизима: он напевает. Это какая-то стремительная, радостная песня. О добыче и о победе. Простая и четкая, как удар весла — мужественная и задорная, как торжество победителя.

Северное небо охвачено полярным сиянием. Кто-то — великий чародей — развернул за горизонтом яркий блестящий веер. Этот веер вздымается вверх, захватывая почти полнеба; он распространяет неземное очарование, мечет светло-голубые, зеленоватые, розовые, красные стрелы. Волшебный веер все время в движении, все время трепещет, то сжимаясь, то широко раскрываясь. Снопы лучей то проносятся по небу, взвиваясь к зениту, то вдруг опадают, то снова вспыхивают, расточая блеск, великолепие, буйство. И так от одного края небосклона до другого переливается это таинственное, необъятное, величественное зрелище. Великий гимн ликующего света.

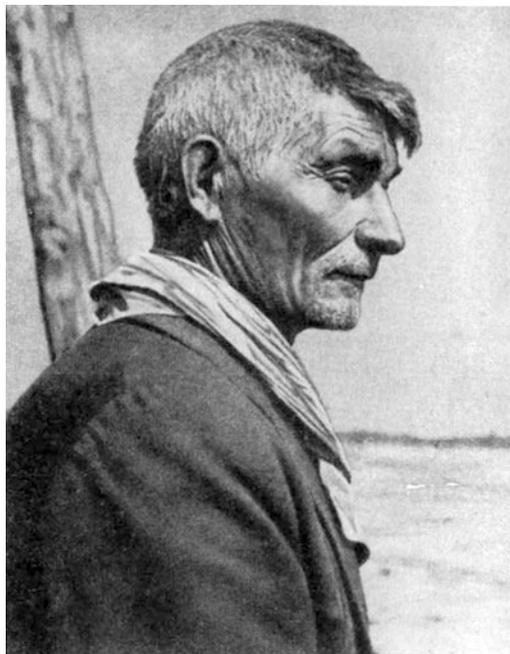
Сияние очаровывает мой взгляд, а песни Лизима — мой слух.

И в разбушевавшемся небе, и в удалой песне — захватывающая, властная сила. Неожиданно мне начинает казаться, что в этом заколдованном кругу проходила вся жизнь северных лесов; в этом волшебном сиянии купались все — нестигаемый де ля Салль и несчастный Логан, обозленный Пьер Радиссон и бедная Покахонтас, миллионер Шишка и старый индеец Джон Айзерхофф, мой верный пес, мудрые бобры, заботливая медведица и плачущие медвежата, пахнущие смолой ели, скалистые острова и странные озера, полные хищных щук. И, наконец, ошалевший лось, трагический и прекрасный, опьяненный зовом любви, нашедший безжалостную смерть.

Кажется, что всех их окутало волшебное сияние, соединил один круг — заколдованный круг северных лесов.



*Леса, пахнущие благовонной смолой,
горят, как порох*



Джон тихим гортанным голосом рассказывает мне о тайнах лосей



Огромные, ветвистые рога: при жизни - эмблема власти, а теперь - всего лишь охотничий трофей



Разыгравшаяся нахалка выскочила из воды, словно намереваясь броситься на Станислава



В ту же ночь нас будит шумный плеск воды: недалеко от лагеря несется по отмели самец



Лизим - незаурядный индеец; он выдвинулся на первое место в экспедиции как выдающийся проводник

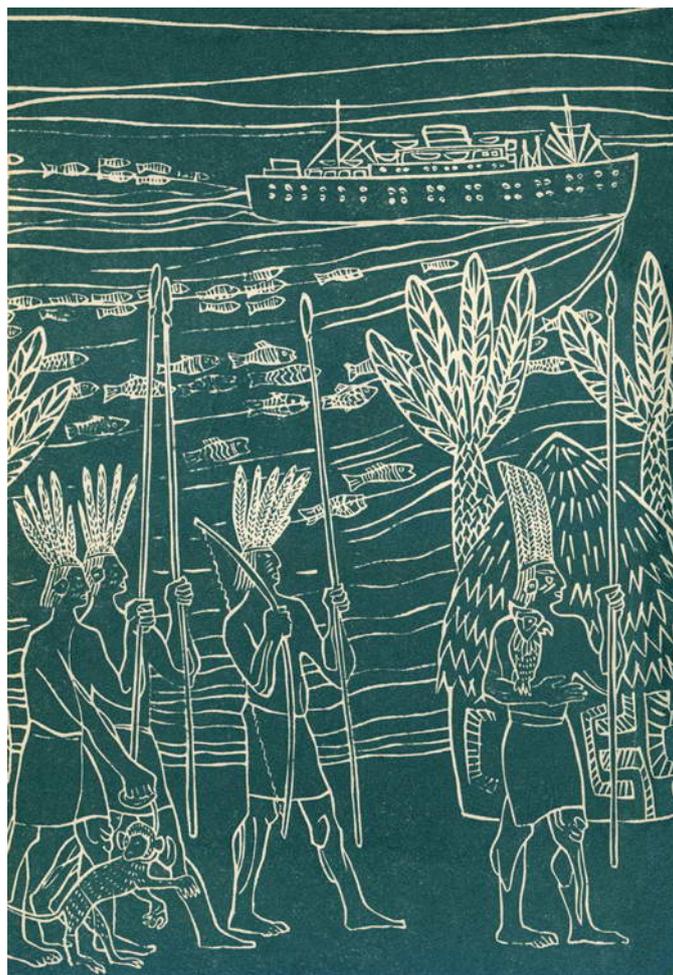


На склоне появился медведь



Не могу понять, кто он - циник или идиот?

Рыбы поют в Укаяли



Предисловие

Бассейн величайшей реки мира Амазонки издавна привлекал и продолжает привлекать внимание мужественных путешественников, пытливых исследователей-натуралистов и просто любителей приключений. Многие из них, вернувшись на родину, писали и пишут отличные путевые очерки об Амазонке. Имена Генри Бейтса, Ральфа Бломберга, Эльгота Ленджа, Уильяма Мак-Говерна и некоторых других исследователей этой части земного шара хорошо известны советским читателям.

В сознании многих Амазония — это мир чудес, страна девственных тропических лесов, где можно встретить самые причудливые растения и самых необыкновенных, порой прямо-таки фантастических животных, край неизведанного, таинственного и прекрасного. Но такое представление не совсем правильно. И в этом вина тех путешественников, которые, будучи очарованными роскошной природой, видели только экзотику лесов, чарующую красоту орхидей, великолепное разнообразие животного мира и богатырское величие гигантской реки, не обращая внимания на трагическую судьбу обитателей этого «земного рая», не задумываясь над печальными страницами истории многострадального края.

Книга польского писателя и путешественника Аркадия Фидлера «Рыбы поют в Укаяли» дает более полную и яркую картину Амазонии, восполняя в известной мере пробелы в трудах перечисленных выше авторов. Образный и живой и в то же время точный и лаконичный язык делает эту книгу интересной и легко читаемой. Создается ощущение, словно ты сам являешься участником путешествия автора и видишь все, что он описывает.

За свою жизнь, а ему сейчас 69 лет, Аркадий Фидлер объездил немало стран. Как естествоиспытатель он побывал в Бразилии, Перу, Мексике, Канаде, Норвегии, на Мадагаскаре, в Камбодже, на Таити и в других уголках нашей планеты, собирая гербарии для музеев, коллекции животных, птиц, насекомых. Наблюдательность, умение видеть то, чего не замечают другие, сочетаются у него с незаурядным литературным даром и страстным, активным отношением к жизни. Многие замечательные, полные неповторимого обаяния книги Фидлера рождались из ярких злободневных репортажей. Одной из них является «Рыбы поют в Укаяли» — книга с таким необычным названием.

Разве могут петь рыбы? Оказывается, могут. Их чудесными песнями, напоминающими звуки колокольчиков, заслушивался Фидлер.

«Пение рыб, — пишет он, — так своеобразно и гармонично, притом само это явление такое ошеломляющее, что спустя некоторое время меня охватывает волнение, какое я иногда ощущаю в концертном зале. Я забываю о комарах, о закате. Я вслушиваюсь, зачарованный, и снова поражаюсь тому, сколько чудес таит этот неповторимый девственный лес. Как и пение рыб, вся природа здесь эксцентрична и необычайна. Она раскрывает перед человеком мажущий омут необузданности» (стр. [166]).

В 1933–1934 гг. Аркадий Фидлер совершил путешествие в верховья Амазонки. В те же годы в польской печати появились его первые репортажи с берегов Укаяли. В 1936 г. они были собраны и изданы отдельной книгой — «Рыбы поют в Укаяли», — которая впоследствии неоднократно переиздавалась. В 1942–1943 гг. автор во второй раз побывал на Амазонке. В результате этой по-

ездки книга была переработана и издана в Варшаве в 1955 г. С этого издания и сделан настоящий перевод.

Умело выделяя главное, наиболее характерное, автор немногими сочными мазками рисует запоминающиеся картины южноамериканской природы, бразильских городов Пара, Манауса, перуанского города Икитоса, лепит рельефные портреты людей.

Фидлер — не турист или искатель приключений, а прежде всего ученый-исследователь, влюбленный в свое дело коллекционер. Со страстью, вызывающей глубокую симпатию, описывает он свой нелегкий, полный опасностей труд в дебрях Амазонии. Как и других путешественников и исследователей, его поражают своим величием, своей необузданной мощью Амазонка и Укаяли. Его приводит в восхищение буйная сила жизни, настоящая «зеленая оргия» природы, среди которой человек чувствует себя маленьким и слабым. Он приходит в восторг от безграничного обилия видов растений, от яркости и выразительности их красок, разнообразия их форм. Но в то же время Фидлер далек от того, чтобы умиляться и идеализировать экзотику тропиков. На убедительных примерах он показывает читателю, что джунгли Южной Америки — не то место, которое можно назвать «земным раем». Человека здесь на каждом шагу подстерегают тысячи всевозможных опасностей: неведомые болезни, возможность затеряться в девственном лесу и погибнуть от голода или от укусов ядовитых змей и насекомых, стать жертвой хищных зверей, кайманов, страшных пирай (небольших рыб с поистине волчьей пастью) или «черной смерти» — муравьев. Леса Амазонии — это поле непрекращающейся битвы за существование. «Ад это или рай — трудно сказать, — пишет Фидлер. — Скорее средоточие буйной, неистовствующей плодовитости и исступленной жажды жизни, бурлящий водоворот, в котором все живое неумолимо размножается и жадно пожирает друг друга. Выходишь из этого леса растерянный, утомленный обилием впечатлений, подавленный враждебностью среды» (стр. [167]).

С удивительной теплотой и хорошим юмором пишет Фидлер о пассажирах парохода «Хилари», на котором он едет в глубь Амазонии. Их выразительные портреты запоминаются надолго. Много душевной теплоты он вкладывает в изображение своих друзей и помощников — Эмилиано, девочки метиски Долорес, проводников-индейцев. Он с уважением пишет о вековой культуре индейских племен, об их нравах и обычаях.

Но совершенно другим предстает пред нами Фидлер, когда он пишет о тех, кто стремится на Амазонку ради легкой наживы, кто нещадно эксплуатирует индейское население, занимается разграблением природных богатств Латинской Америки и ради увеличения своих прибылей не останавливается ни перед какими преступлениями. Здесь автор выступает как талантливый публицист. Он гневно разоблачает всякого рода авантюристов, агентов империалистических монополий США, Англии и других капиталистических государств, которые приносят в жертву золотому тельцу сотни людей. Вот Уордлоу: этот на первый взгляд добрый мальчик, прекрасный рассказчик, который буквально очаровывает всех пассажиров своей непринужденностью и своими песнями, — на самом деле хитрый и опытный агент английских нефтяных монополий, рыщущий по всему свету в поисках выгодных концессий для своих патронов. Вот Мэсси — консул Великобритании. Это «настоящий англичанин,

энергичный и высокомерный, — пишет Фидлер. — Разумеется, он считает англичан первой нацией в мире. Он получает самое большое жалованье в Икитосе и придерживается самого худшего среди всех жителей этого города мнения о Южной Америке... Прожив здесь немало лет, он так и не научился как следует говорить по-испански...» (стр. [168]). Мэсси — «некоронованный король восточной части Перу». Местных жителей он не считает людьми и живет в Икитосе лишь потому, что это приносит огромные выгоды компании, которую он представляет.

Аркадий Фидлер писал свою книгу в то время, когда империалистические монополии США, усилив проникновение в страны Латинской Америки, начали теснить своих английских конкурентов. Представитель американских монополий Гарвей Бэсслер — геолог, энтомолог и агент «Стандард ойл компани» — действует более хитро и осторожно, чем англичане. Он любезен и вежлив, его дом открыт для всех. Он не жалеет денег на прямой и косвенный подкуп, и по всему чувствуется, что приближается время, когда хозяином в Икитосе станет он. Так оно и случилось. Сейчас «Интернейшнл петролеум компани» филиал «Стандард ойл» — монополизировала нефтяные месторождения в Перу и самовластно хозяйничает в восточных провинциях страны.

С гневом пишет Фидлер и о тех, кто помогает империалистам осуществлять их политику, — о погрязших в коррупции властях, о феодалах-помещиках, о различных дельцах, греющих руки на страданиях народа. Таков Мигель Перейра — торговец головами, который провоцирует столкновения между индейскими племенами, обеспечивая тем самым постоянное поступление «товара». Циничный и наглый, этот палач утратил все свойственное человеку. «На берегах Пастасы скоро начнется война», — с нескрываемым удовольствием говорит он, предвкушая прибыльную операцию. У Перейры влиятельные покупатели в Чикаго, откуда он получает заказы на свой ужасный товар.

С возмущением описывает Фидлер современных рабовладельцев: хозяева крупных асьенд на Укаяли владеют тысячами рабов-индейцев, нещадно эксплуатируя их; они торгуют людьми и распоряжаются их жизнями по своему усмотрению.

Великолепны в книге странички истории. Автор умело восстанавливает картины завоевания Южной Америки испанскими и португальскими конкистадорами, осуждая зверства отрядов Франсиско Писарро — вице-короля Перу, Франсиско Орельяны и Франсиско-Лопеса Агирре, а также изуверскую политику колонизаторов, направленную на уничтожение индейского населения. С симпатией пишет он о мужественной борьбе индейских племен против захватчиков.

С болью в сердце описывает Аркадий Фидлер «каучуковую трагедию», которая разыгралась в районе Амазонки в конце XIX — начале XX века. Когда стал возрастать спрос на резину, необходимую для развивающейся автомобильной промышленности, вспыхнула каучуковая лихорадка, по своим размерам и трагическим последствиям намного превзошедшая «золотую лихорадку» в Калифорнии и Клондайке. В бассейне Амазонки, по самым скромным подсчетам, имеется свыше трехсот миллионов дикорастущих каучуковых деревьев. Уже в 1909 году Бразилия дала около семидесяти процентов мирового сбора каучука. Тысячи людей со всего света устремились на Амазонку. Но с организацией плантаций каучуковых деревьев в Малайе, с изобретением синтетического

каучука спрос на амазонский каучук стал стремительно падать. Как гигантский паук, высосавший свою жертву, монополии США, использовав каучуковую армию, забыли о ней. Десятки тысяч рабочих, брошенные на произвол судьбы в лесах Амазонии, были обречены на гибель.

Нетрудно увидеть, что Фидлер обращается к истории не случайно. Он сопоставляет прошлое Южной Америки с тем, что происходит там в середине XX века, разоблачает политику современных колонизаторов, действия монополий США и других капиталистических стран, развенчивает миф о «цивилизаторской миссии» белых.

Читая эту книгу, не следует забывать, что многое в странах Латинской Америки выглядит сегодня не совсем так, как это видел Фидлер в 30-е годы и в начале 40-х годов. Резко усилилось проникновение монополий США в Латинскую Америку, но, пожалуй, еще в большей мере выросло национально-освободительное движение народов этих стран против иностранного империализма.

И тем не менее книга Фидлера «Рыбы поют в Укаяли» сохранила свою познавательную ценность. Написанная просто и увлекательно, она дает возможность ознакомиться с интереснейшим уголком нашей планеты. Выход этой книги в свет весьма современен и будет встречен нашими читателями с большим интересом.

В. Борисов

Сеньорита из Лиссабона



Из Ливерпуля в третьем классе «Хилари» нас едет всего десять человек. Коварный Бискайский залив, как всегда, пенится и неистовствует, но у берегов Португалии море успокаивается. В Лейшойнше[166], а затем в Лиссабоне мы берем на борт более ста пятидесяти беспокойных и шумных пассажиров. Среди них эта девушка. Необычайной красотой она так выделяется в толпе, что ее появление на палубе напоминает шествие королевы с многочисленной свитой.

Увидев девушку, мой сосед, заносчивый молодой грек, не знающий ни одного языка, кроме родного, и тем не менее едущий в Боливию в поисках приключений, судорожно хватается за мое плечо и, уставившись на нее, начинает возбужденно шептать мне на ухо что-то на греческом языке.

Действительно, это необычайное явление. словно все солнце и вся красота Португалии воплотились в этом существе с горящими черными глазами и жаждущими губами. Улыбкой, обаянием или просто бессовестным кокетством она в одно мгновение подчиняет себе любого мужчину. Ей восемнадцать лет, родом она из португальской Эстремадуры. В Бразилию едет со своей матерью, безобразной молчаливой женщиной.

Чудесная девушка с первого же дня вскружила голову шеф-стюарду[167], который помимо сердца отдал ей и матери собственную каюту и вообще глупеет прямо на глазах. Однако на следующий день сеньорита довольно решительно ставит его на место, и правильно делает, потому что у шеф-стюарда на судне свои обязанности, да и вообще он всего-навсего весьма пожилой англичанин.

На Мадейре хорошо сложенные мальчуганы ради заработка занимаются опасным «спортом». Они ныряют рядом с судном и ловят монеты, которые бросают в воду пассажиры.

Сеньорита из Эстремадуры тоже хочет позабавиться, но денег у нее нет, и она просит их у стоящего рядом сирийца. Сириец охотно дает. Сначала он дает несколько португальских полуэскудо, потом целые эскудо, а когда те кончаются, английские шиллинги. Девушка увлекается забавой, вода внизу кипит от множества ныряльщиков, а сириец все дает и дает.

В конце концов это ей надоедает, она извиняется перед сирийцем и благодарит его самой милой из своих улыбок.

— *Oh les femmes, les femmes!*[168] — все еще никак не может успокоиться сириец, когда мы спустя полчаса представляемся друг другу.

Это тучный мужчина с пронизательным взглядом и большими бриллиантовыми перстнями на толстых пальцах. Узнав, что я собираюсь побывать в Манаусе, он сообщает, что у него там шикарный публичный дом, и советует мне посетить его. Этот человек обладает необыкновенной способностью облекать грязные мысли в возвышенные слова.

Потом наступают горячие деньки. Оживление вокруг девушки не прекращается. Ее расположения домогаются два португальца, венгр, англичанин и француз. Мы узнаем, что португальцы хотят поколотить какого-то немца, позволившего себе несколько циничных замечаний в адрес девушки. Они заявляют, что та происходит из старинной дворянской — хоть и обнищавшей — португальской семьи из-под Лейрии; они хорошо знают сеньориту и уверены в ее безупречной репутации.

Однажды красавица появляется на палубе с золотым колечком, которое подарил ей сириец. Этот факт ужасно волнует остальных поклонников. Они стараются развлечь девушку как только могут и показывают ей летучих рыбок, которые появились в большом количестве, едва мы вошли в теплые воды. Навивность мужчин забавляет ее.

Вскоре наша красотка поднимает на «Хилари» страшный переполох. Заплаканная, что ей ужасно к лицу, она кричит, что ее оскорбило это чудовище, сириец, и призывает всех благородных, сильных мужчин отомстить за ее честь. Возбужденная до предела, она швыряет в море колечко и клянется, что засадит негодяя за решетку.

Мы посмеиваемся украдкой, глядя на прелестную фурию, но, увы! кое-кто принимает ее слова всерьез, и среди них мой грек. Он отвечает сирийцу пощечину. Дело начинает принимать серьезный оборот. Товарищеский суд, в состав которого входят португалец, француз, англичанин и поляк (это я), приговаривает грека к «заключению» в каюте до конца плавания. Однако все на судне осуждают сирийца.

По мере того как мы приближаемся к устью Амазонки, жара донимает нас все сильнее и сильнее: опухают пальцы на руках, краснеют лица. Духота обес-

силивает. В течение двух дней девушки не видно на палубе, а когда наконец она появляется — как всегда, темпераментная и обаятельная, — влюбленные мужчины выходят из себя: на шее у нее, под ухом, отчетливый след поцелуя. Как злые собаки, поклонники начинают ходить друг за другом, всех подозревая, готовые выцарапать друг другу глаза.

Хотя за время плавания сеньорита выкинула немало фортелей, самая большая неожиданность готовится нам под конец.

За несколько часов до прихода в Пара[169] распространяется слух, что красотка обручилась с сирийцем. Никто этому не верит, и все-таки оказывается, что это правда. В Пара девушка выходит на палубу под руку со своим женихом, улыбающаяся и очаровательная. Я разглядываю странную пару — одутловатого сирийца рядом со стройной газелью — и невольно думаю, чем все это кончится: она его упрячет в тюрьму или он ее в публичный дом?

И еще одна неожиданность, но только для меня, исключительно для меня. Когда эта пара проходит рядом со мной, девушка извиняется перед своим женихом и подбегает ко мне. Протягивая мне руку, «аристократка из Эстремадуры» говорит с лукавой усмешкой на чистом польском языке:

— До свиданья, земляк! Может быть, мы еще увидимся!

— Каррамба!!![170]

До Амазонки за двенадцать английских фунтов



В представлении среднего европейца Амазонка находится где-то в тридевятом царстве и окружена ореолом таинственности и недоступности. Однако, собираясь отправиться в Перу, я обнаружил, что Амазонка течет, можно сказать, под боком у Европы, так как — об этом знают немногие — путешествие от какого-нибудь порта Западной Европы, например, Антверпена или Лондона, до Пара (порт в устье Амазонки) обходится, если ехать в третьем классе, всего лишь в двенадцать английских фунтов, и до Манауса, расположенного в тысяче семистах километрах вверх по реке, около пятнадцати с половиной фунтов.

А недалеко от Пара («недалеко» в американском понимании) находится Пернамбуку[171], куда поездка из Европы даже в третьем классе стоит уже около тридцати английских фунтов. Правда, Пернамбуку расположен на трассе совсем других морских линий, обслуживающих восточное побережье Южной Америки вплоть до Буэнос-Айреса.

Чем же все-таки объяснить такую огромную разницу в ценах? Пожалуй, тем, что по Амазонке мало кто ездит, тогда как на юг во все порты от Пернамбуку до Буэнос-Айреса устремляется многотысячный поток эмигрантов. Это европейская беднота, и денег у них немного, но зато так много их самих, что пароходные компании могут спокойно взвинчивать цены.

Как-то, направляясь в Южную Америку на судне линии «Ройял Мейл ком-

пани», я прикинул, какую прибыль приносят пароходству многочисленные пассажиры третьего класса. Потом сравнил это с доходами от небольшой кучки людей, едущих в первом и во втором классах. Результат был поразительным. Пароходные компании прямо-таки беззастенчиво грабят бедняков: именно пассажиры третьего класса платили за комфорт пассажиров первого и второго классов и обеспечивали дивиденды акционерам компаний. Вдобавок ко всему эти несчастные размещались на судне в ужасной тесноте, в чудовищно плохих, антисанитарных условиях, унижительных для человека.

Итак, я еду из Ливерпуля в Манаус на судне со звучным названием «Хилари», принадлежащем английской компании «Бус Лайн». Ради точности укажу, что проезд стоит мне пятнадцать с половиной фунтов плюс еще полфунта. Первая сумма пошла на оплату переезда, постели и питания в течение четырех недель, за полфунта же, сунутые мною *to the right man in the right place* [172], то есть шеф-стюарду, я обеспечил себе на все время плавания отдельную четырехкочную каюту и заботливое отношение. Шеф-стюард менее корыстолюбив, чем его хозяин.

Кормят нас на судне четыре раза в день. Пища обильная и вкусная. Дважды под звуки музыки горячие блюда из мяса или рыбы, картофель, макароны, рис и овощи; после Лиссабона — красное вино, совсем неплохое. Человек с хорошим аппетитом может получить мяса или рыбы сколько захочет. Словом, питание хорошее.

Передо мной лежит красивый, богато иллюстрированный проспект под названием: «Тысяча миль вверх по Амазонке на океанском лайнере». В этом проспекте «Бус Лайн» обещает своим пассажирам всевозможные диковинки, безмерно хорошее настроение, счастливые дни среди голубых вод, вечерние концерты и танцы под Южным Крестом. Обещает чудеса самого большого на свете тропического леса у самой большой реки, пальмы в волшебные лунные ночи, невиданных зверей, сверкающих бабочек, ярких птиц и орхидеи. Сдерживает ли «Бус Лайн» свои обещания? Несомненно: многочисленные захватывающие, разжигающие воображение фотоснимки, помещенные в проспекте, верны до мельчайших подробностей.

Лишь об одном «Бус Лайн» умалчивает: пароходство пошло на самое большое мошенничество, какое только допускается кодексом морской чести в отношении пассажирского полутуристского судна. Как выяснилось в Пара, «Хилари» вез уголь, который был там выгружен. Делалось это ночью, украдкой, но все пассажиры узнали об этом и выражают вслух свое негодование. Знатки морских законов и правил утверждают, что такой поступок — ужасное свинство. Вот уже несколько часов, то есть с момента пребывания в Пара, считается хорошим тоном ругать судно и «Бус Лайн».

Я тоже хочу выглядеть знатоком и проклинать компанию, но мне как-то не до этого. Выглядывая в иллюминатор, я смотрю из каюты на воду. Месяц проложил на поверхности реки светлую полосу, которая уходит к далеким лесистым островам, теряющимся в полумраке. Прошло уже то время, когда лунная дорожка на воде приводила меня в восторг; сейчас я смотрю на это спокойно и просто констатирую, что река, освещенная луной, и есть настоящая, самая настоящая Амазонка, хотя здесь она называется рекой Парой.

С берега доносится сильный пряный запах, свойственный южноамериканским лесам, слышится пронзительное стрекотание бесчисленных кузнечиков.

И этот запах, и стрекотание хорошо знакомы мне по моим прежним путешествиям на Парану. На несколько секунд скрежет судовых подъемников и грохот выгружаемого угля заглушают все, но потом снова слышится стрекотание — теперь я буду слышать его до последнего дня моего пребывания на Амазонке.

Трудно в такие минуты никому ничего не прощать — пускай себе «Хилари» выгружает свой уголь.

Романтические пассажиры



Альберт Гуммель, мой сосед за столом, весьма своеобразная личность. Вот уже шесть лет он торгует живыми зверями из лесов Амазонки и три раза в год отвозит муравьедов, туканов и гарпий в Гавр и Гамбург; на обратном пути в Южную Америку занимается для разнообразия контрабандой. Молодой, подвижный мужчина, он обладает большим опытом обращения с животными и интересно о них рассказывает, так что я охотно слушаю его.

Спустя несколько часов по прибытии нашего судна в Пара, когда уже спустились сумерки, Гуммель, выпив несколько рюмок рому в баре «Хилари», делится со мной подробностями своего бизнеса. Помолчав минуту, он говорит, устремив на меня испытующий взгляд:

— Ваше лицо мне нравится! Вы производите впечатление человека предприимчивого и честного, да, честного!

— О, благодарю, благодарю, — отвечаю я смеясь. — Таких комплиментов мне еще никто не говорил.

— Я вам очень доверяю и поэтому прошу помочь мне.

— Помочь? Но как?

— Мне надо освободиться от трех чемоданов с будильниками, которые я везу с собой.

— И для этого вам нужен честный помощник?

— Да. Сегодня в полночь, то есть через четыре часа, к нашему судну со стороны реки пристанет лодка, в которую надо спустить чемоданы. Одному мне, пожалуй, не справиться...

— Понимаю, понимаю. Но я, наверное, тоже не справлюсь...

— Не справитесь... С чемоданом? — Гуммель раздражается нервным смехом.

Потом, заметив мои колебания, заявляет, надеясь успокоить меня:

— Уверю вас, что в чемоданах действительно будильники, а не что-нибудь другое.

И, чтобы придать вес своим словам, выкладывает главный козырь, произнося с каким-то ужасным акцентом:

— Parole d'honneur![173]

Однако я не в восторге от этой «честной» затеи и остаюсь в баре «Хилари», чтобы писать о своих романтических спутниках.

Из Константинополя[174] в Манаус едут две молодые левантинки. С виду они действительно напоминают женщин Востока, но между собой говорят по-французски, а песни поют по крайней мере на десяти различных языках. Даже трудно определить, какой язык для них родной. По-немецки они поют «Adieu, du mein Gardeoffizier»[175] с такой трогательной проникновенностью, словно простились с этим офицером только вчера.

Девушки направляются в Манаус, чтобы выйти там замуж и осчастливить двух своих земляков, которых даже не знают: влюбились по переписке.

Совершенно неожиданно около Мадейры в младшую левантинку, очень милостивую, влюбился — отнюдь не по переписке — какой-то молодцеватый бразилец, едущий в первом классе. Вблизи экватора, кажется, она стала отвечать ему взаимностью, а когда мы двое суток стояли в знойной Ceare[176], на северо-восточном побережье Бразилии, они вместе высаживались на берег.

В Пара идиллии пришел конец. Бразилец попрощался со всеми и покинул судно, левантинки остались и едут в Манаус, к женихам. Несколько часов туманились грустью глаза младшей, но сейчас все прошло. Обе снова напевают «Adieu, du mein Gardeoffizier», а деликатные пассажиры «Хилари» ничего не видели и ничего не знают.

Вместе со мной из Ливерпуля выехали две женщины. За столом они сидят напротив меня, так что между нами устанавливается какая-то близость. Это мать с дочерью. Обе певицы, но мать гораздо привлекательнее дочери, несмотря на свой возраст и седые волосы. Она родилась в Бразилии, вышла замуж за европейца (не знаю уж, какой национальности), жила в Англии, где и воспитала дочь, как англичанку; вместе с тем обе прекрасно знают Париж, где вращались в артистических кругах.

К этой поездке их вынудила какая-то семейная драма. Мать, всегда такая непринужденная и веселая, однажды разражается рыданиями при звуках какой-то мелодии. На редкость интеллигентные, эти женщины, должно быть, перенесли немало ударов судьбы; им хорошо знакомы и горе, и радость. Слово красивые бабочки, они привыкли и к солнцу, и к несчастью. Жизнь их проходила среди бурных волн, вдали от тихих гаваней и — буквально — на многих судах.

К этим удивительным женщинам все пассажиры относятся с большим уважением и охотно поверяют им свои заботы и тайны.

Самая многочисленная категория пассажиров в третьем классе — это эмигранты, португальцы, направляющиеся в северную Бразилию. Едут они, как правило, целыми семьями со множеством ребятишек. Я несколько раз плыл в Южную Америку вместе с эмигрантами из Польши и других стран, и мне всегда бросалось в глаза, что они в пути как-то жмутся друг к другу, возможно инстинктивно. Я понимал их страх перед будущим: они бежали от нищеты родного края и устремлялись навстречу неведомой судьбе.

Иначе ведут себя португальцы. Непринужденные, веселые, разговорчивые, они всегда готовы шутить и смеяться. Сначала я приписывал это их темпераменту южан, но, поговорив с ними, узнаю настоящую причину: они не едут в неведомое, у каждого из них в Бразилии родные или друзья, и каждый из них знает заранее, где и что его ждет. Для них Бразилия — это продолжение Португалии, отдаленное Атлантическим океаном.

Рядом с этими добропорядочными солидными людьми кучка «романтиче-

ских» пассажиров с их неясными целями выглядит как яркий, но болезненный нарост.

В Сеаре к нам на судно попал один из самых загадочных и, признаюсь, самых приятных англичан, каких я когда-либо знал. Его зовут Александр Уордлоу. Он напоминает мне путешественника типа Дрейка, Кука или Лоуренса [177] — одного из тех авантюристов, которые завоевывали для Британии колонии и открывали острова. Еще подростком во время первой мировой войны Уордлоу дрался в окопах с немцами, потом путешествовал по Австралии, шесть лет прожил в Африке. Там он собирал образцы фауны для музея в Чикаго, ловил слонов для Гагенбека [178], снимался в нашумевшем фильме «Торговец бивнями» в роли охотника и даже будто бы голыми руками ловил пантер.

— Не может быть! — говорю я ему прямо в глаза, пораженный его рассказами.

Но он показывает мне на груди и животе страшные следы когтей (в свое время раны приковали его на полгода к постели), показывает написанную им книгу и многочисленные фотографии.

У Уордлоу фигура Урсуса [179], а лицо и характер ребенка. Он непрерывно курит сигареты и крепчайшие сигары, нянчит всех португальских ребятишек, которые вместе с матерями его боготворят, поет приятным баритоном английские песни и смеется самым безмятежным на свете смехом. Все в него влюблены. Он настолько отличается от сложившегося у меня представления об англичанине как о флегматичном бесцветном существе, что, восхищенный его энергией и обаянием, я полусхвачен предлагаю ему отправиться со мной в Перу.

Не может. Он должен ехать в Мату-Гросу [180].

— Зачем?

— Вдохнуть всей грудью свежий воздух! — отвечает он смеясь.

Он сел на «Хилари» в Сеаре, а спустя два дня высадился в Пара. Исчез, как падучая звезда.

Через несколько недель, уже в Манаусе, я узнал, что этот симпатичный, обаятельный Уордлоу — агент английских нефтяных компаний, специалист по организации переворотов в южноамериканских республиках.

Пять минут пополуночи. Сидя в баре «Хилари», я вдыхаю приятный аромат, который приносит ветерок с суши.

Неожиданно где-то у борта судна, погруженного во мрак, слышатся приглушенные людские голоса, взволнованные крики; на палубе топот, беготня. Через минуту снова наступает тишина. Вскоре в бар входит раскрасневшийся, улыбающийся Гуммель.

— О'кей! — бросает он, довольный.

— Удалось? — удивляюсь я.

— Удалось.

— Что же означали тогда эти крики? Я думал уже, что вас накрыли.

— Верно, накрыли, но... отпустили, как видите. Не выпьете ли со мной рюмочку коньяку?

У всего этого более чем пряный аромат.

Характерной чертой природы в бассейне Амазонки является гротескность. Гротескны формы и цвета, причудливы насекомые, млекопитающие, птицы. И многие люди при приближении к устью Амазонки обнаруживают в себе и

других что-то необычное. Рекламные заявления «Бус Лайн» о том, что мы увидим на Амазонке много интересного, приобретают гораздо более глубокий смысл, о котором и не подозревали авторы проспекта; необычное начинается еще на «Хилари», среди самих пассажиров.

Я чуть не забыл еще об одном романтическом пассажире — о бабочке с устья Амазонки. Когда наше судно два месяца назад оставило побережье Южной Америки и направилось на мгlistый север, она случайно оказалась на борту. Забившись где-то в темном углу «Хилари», бабочка заснула на несколько недель. Какие же кошмарные сны мучали эту жительницу знойного леса, когда осенний ветер свистел у Британских островов! Однако бабочка выжила и, как только наше судно вновь пересекало тропик Рака и вошло в область теплых ветров, запорхала в солнечных лучах. Но далеко она не улетала, предусмотрительно держась позади трубы, чтобы ветер не сдул ее с палубы.

Несколько крупнее, чем наша крапивница, она была светло-коричневая с черными крапинками и рядом белых точек на краях крыльев. Мы оживленно приветствовали прекрасную предвестницу Амазонки. Некоторые пытались поймать ее, но она счастливо избежала чересчур ласковых рук, а потом куда-то исчезла. Впрочем, бабочка не покинула судна. На следующий день мы увидели ее снова и затем ежедневно любовались по несколько минут порханием нашей цветистой спутницы.

— *Limenitis archippus!* — определил Гуммель с важностью. Впрочем, с такого расстояния он мог и ошибиться.

Каждый раз вид этого экзотичного пассажира трогал меня до глубины души. Было что-то очень привлекательное и забавное в этом крылатом Одиссее: сама того не желая, бабочка пересекла океан, а сейчас, невредимая и, вероятно, истосковавшаяся, возвращается в родные края.

Я увидел ее в последний раз вблизи Сеары, когда перед нами показался песчаный берег. Поднимаясь все выше и выше, она сделала несколько кругов над «Хилари», словно прощаясь с нами, и, уносимая попутным ветром, устремилась к берегу. И вот уже яркая бабочка, сумевшая затронуть сердца стольких людей, скрылась из виду.

Ягуар на Вер-у-песу



На другой же день после прибытия «Хилари» в Пара, прогуливаясь по берегу реки, в нескольких сотнях шагов от крайних домов предместья, в густом лесу я увидел поразившую меня картину — группу чудесных стройных пальм.

Приветливый Эмилиано — смуглый бродяга, ленивый и гордый, идальго и оборванец в одном лице, мой самозванный опекун и проводник, который привязался ко мне и теперь не отстаёт, — заметив мое изумление при виде пальм, услужливо поясняет:

— Асаи!

И восхищенно цокает языком.

Всюду на Юге — в Сеаре, Пернамбуку, Байе, Рио-де-Жанейро — я встречал кокосовые пальмы и любовался ими, полагая, что именно они наиболее живописные представители тропической флоры. Я ошибался: пальмы асаи на Амазонке еще красивее. Они напоминают кокосовые, но еще более стройные, более изящные, невероятно высокие и тонкие. Они так прекрасны, что вы обязательно будете восхищаться ими, не в силах противиться их очарованию.

И вот над самым берегом реки Пара, которая является всего лишь южным рукавом Амазонки, вознеслись высоко-высоко над лесом четыре или пять пальм асаи. Изящные опахала их листьев колышутся над водой; кажется, что асаи, словно светлые посланцы сумрачного тропического леса, из которого они вырвались, радостно приветствуют гостей.

— Ел ли сеньор орехи асаи? — спрашивает меня Эмилиано.

— Нет.

Эмилиано причмокивает и смешно поводит глазами.

— Райский плод! *Quern tomo assay, para agui*, — говорит он, что означает: кто ел асаи, тот останется здесь навсегда.

В Пара, правда, я не остался, хотя позднее не раз лакомился поистине изумительными орехами. Но первое впечатление, которое произвела на меня красота пальм асаи, сохранится в моей душе, пожалуй, навсегда.

Тропа, по которой мы пробираемся вдоль берега, проложена в такой густой чаще, что, кажется, справа и слева над нами нависают две зеленые стены. Один только раз я попробовал сойти с тропы, пытаясь пробраться между кустами, чтобы поближе рассмотреть какую-то необыкновенно яркую бабочку, сидящую на листе, но не тут-то было. Мне удалось сделать только пять-шесть шагов. Исцарапанный, я вернулся обратно, сознавая, что потерпел поражение.

Всего несколько минут длится это первое непосредственное соприкосновение с девственным лесом, а я уже весь облеплен злющими клещами; ранки от укусов будут мучать меня несколько дней. Словно стараясь окончательно развеять иллюзию сказочного рая, где растут чудесные пальмы, на обратном пу-

ти на нас нападают маленькие докучливые мушки, после которых на коже появляются черные пятнышки и невыносимый зуд в течение двух недель.

Но больше всего меня поразили в Пара не пальмы асаи, не могучий натиск тропического леса, врывающегося в пригороды, не разнородный состав жителей — как остроумно заметил кто-то, этот город кажется удивительной смесью Парижа, Тимбукту и бразильского леса, — не контраст между нищетой трудящихся и элегантностью франтов, одетых по последней парижской моде, не пылкая, широко известная страстность ее граждан: нет, больше всего меня поразила Вер-у-песу.

Это одновременно рынок и пристань туземных лодок. Из лабиринта десятков рек, речушек и всевозможных протоков, прорезающих леса вокруг Пара, приплывает сюда самая живописная на свете флотилия лодок с гребцами всех оттенков кожи. Это потомки португальских конкистадоров, негритянских невольников и представителей давно вымерших или истребленных индейских племен; в течение трех столетий они успели основательно смешаться. Они привозят в Пара урожай со своих крохотных участков, отвоеванных у чащи где-нибудь на речном берегу, или дары самого леса.

Какое невероятное разнообразие товаров! Рядом с неизменными кукурузой, фасолью, маниоком, рисом — различные рыбы самых фантастических форм и расцветок. Рядом с бразильскими орехами, называемыми здесь кастанья ду Пара, и бобами какао — десятки, нет, — сотни видов причудливейших плодов. Рядом с изделиями из пальмовых волокон — глиняные горшки, покрытые тонким рисунком, полые тыквы, украшенные резьбой, индейские луки и стрелы, змеиные кожи и шкуры ягуаров, чудодейственные травы, помогающие от любой немочи. Рядом с домашней птицей — лесные индейки, легуаны и черепахи — излюбленный деликатес местной кухни, прирученные попугаи — огромные араара или маленькие перикиты, пойманные живьем анаконды, пекари, жакуару, всевозможные птицы — ярко-радужные тангары, касики-жапины, носатые туканы.

Сразу же после восхода солнца пристань заполняется лодками, каждая старается протиснуться поближе к берегу, где расположена рыночная площадь. Над человеческим муравейником вздымается лес мачт. Несмотря на многочисленность продавцов и покупателей, здесь стоит торжественная тишина: нет шума и гама, присущих подобным торжищам в других частях света. Поражает изумительная вежливость и своеобразное достоинство, с каким держат себя эти лесные жители, хотя ни на одном из них нет целой рубашки и лишь немногие умеют читать. Поражает также и то, что хотя на человеке рваная рубаха, она свежевывестирана и даже выглажена.

Вокруг клетки с молодым ягуаром большая толпа, сквозь которую трудно пробиться. Настойчивый Эмилиано вежливо, но решительно расталкивает зевак, расчищая мне дорогу; они охотно расступаются.

В клетке крупный и сильный «котенок» величиной с легавую собаку; пройдет еще не менее года, прежде чем он станет взрослым зверем. Загнанный в угол клетки, он свернулся в клубок и притих, недоверчиво рассматривая людей прищуренными глазами. В этих зеленых глазах и испуг перед столькими враждебными существами, и отчаяние, и тоска пленника, брошенного за решетку.

Владелец ягуара пожилой метис жестом и улыбкой предлагает мне купить

зверя. Я отрицательно качаю головой.

— Дешево отдам, — не отстают он.

— Сколько?

— Сто мильрейсов.

Это примерно двадцать долларов. В самом деле недорого. Эмилиано объясняет метису, что сейчас мне нет смысла покупать ягуара, так как я еду вверх по Амазонке в Перу, а не в Европу.

— А, ну тогда другое дело! — понимающе соглашается тот.

Какой-то подросток тычет палкой в спину ягуара, принимая его за ручного. Неожиданно у хищника загораются глаза, с яростным рычанием он срывается с места и в одно мгновение вырывает у мальчишки палку. Паренек и стоявшие с ним рядом в страхе отпрянули.

— Si, senhor![181] — передразнивает метис. — Он совсем ручной!

Люди рассматривают ягуара с непритворным восхищением.

— Вот это молодец! — слышится чей-то одобрителный голос. — Лесной храбрец! Такой легко не дастся! Смотрите на него, смотрите! Ну и злой же!..

Глаза у всех блестят. Люди довольны и возбуждены. Каждый из них охотно погладил бы зверя по пушистой шерсти. Внезапный прыжок ягуара как будто затронул к ним какие-то сокровенные чувства. А может быть, просто напомнил о преклонении перед отвагой, воспитанной у них беспросветной, суровой, полной лишений жизнью в девственных лесах.

Уже девятый час; солнце палит нещадно. Мы с Эмилиано прячемся от жары в ближайшем кафе; их в Пара огромное множество. Сначала, правда, мой спутник колеблется, не решаясь войти в кафе вместе со мной. Когда же я приглашаю его, он принимает приглашение с достоинством гранда. Это уже не тот попрошайка или бродяга, который хотел заработать на мне мильрейс-другой. По его лицу больше не скользит хитроватая, неискренняя усмешка.

Кофе, подаваемый в кофейнях бразильских портов, не имеет себе равного во всем мире — такой он вкусный, сладкий и ароматный. И притом до смешного дешевый: двести рейсов или около двадцати грошей за чашку. Когда в одном из бразильских штатов торговцы вознамерились поднять цену до трехсот рейсов за чашку, любители кофе пригрозили бунтом, и цена осталась прежней.

Мы выпиваем по две маленьких чашки горячего кофе — и мир кажется мне более привлекательным, чем раньше, а Вер-у-песу, за которым мы наблюдаем, сидя в тени, еще более живописным.

— Что это за люди? — спрашиваю я у Эмилиано, указывая глазами в сторону пристани. Вопрос не совсем точный, потому что я хотел знать, откуда они.

— Это настоящие бразильцы! — отвечает он серьезно.

Он произнес это без пафоса, без нажима, что меня удивило. Истолковав мою улыбку как выражение сомнения, но нисколько не задетый этим, Эмилиано повторяет подчеркнuto:

— Да, сеньор, настоящие бразильцы!

Он кладет обе руки на столик и, не сводя с меня пристального взгляда, сообщает горькую правду:

— Пара, сеньор, это не только торговцы и шикарные магазины на Rua João Alfredo, не только дворцы и виллы богачей, не только церкви и роскошные отели, полицейские на углах улиц и трамваи, принадлежащие англичанам...

Он прерывает на минуту свой монолог, не зная, как я его воспринимаю. Видя, что я слушаю с любопытством, продолжает:

— Нет, Пара выглядит иначе: это те люди, которых вы видите там на Вер-у-песу. Они — подлинная Бразилия...

Я спрашиваю его, чем он занимается, где работает.

— Нигде, — с горечью, будто стыдясь своих слов, отвечает он.

— Вот уже полгода как я безработный...

— А до этого?

— В доках. Портовый грузчик.

Я внимательно вглядываюсь в его смуглое лицо. На Эмилиано рваная рубашка, но он не бродяга, за которого я принимал его раньше. Несомненно, он много испытал и о многом передумал...

Он с досадой взмахивает рукой, словно отгоняя мысли, докучливые, как комары, и снова говорит о Вер-у-песу. Он знает там всех, знает, откуда кто пришел, и рассказывает массу интересных историй о многих из них. При этом он возбуждается, и я начинаю понимать, куда стремится поток его мыслей. Потом, словно успокоившись, он пробует объяснить свою страстность и говорит:

— Эти люди, сеньор, кажутся мрачными и неприглядными, но поверьте, у каждого из них бьется в груди большое и пылкое сердце.

«Смерть белым!»



Когда одним из самых незаконных, самых чудовищных актов в истории дипломатии, Тордесильясским договором 1494 года, папа даровал все заморские земли двум любезным его сердцу державам — Испании и Португалии, то, как известно, в Южной Америке португальцам досталась восточная ее часть — Бразилия. Однако земляки Васко да Гамы, зачарованные видениями островов пряностей на Дальнем Востоке, сначала не знали, что им делать с таким подарком, и ничего там не предпринимали.

К тому времени, когда испанцы, освоив свою часть Америки, стали грабить ее богатства, угнетать индейцев и рыскать по континенту в поисках страны легендарного золотого короля — Эльдорадо, пускаясь в плавания по неистой Амазонке, португальцы только делали там свои первые неуверенные шаги. Прошло еще несколько десятков лет, прежде чем темп колонизации бразильского побережья оживился. Сначала был заложен порт Байя, а позднее — небольшая португальская деревушка в заливе Рио-де-Жанейро.

Пока освоение колонии шло в южном направлении, никто не интересовался страшными джунглями в устье Амазонки. Но вот на юге алчным колонизаторам уже стало не хватать земли и в еще большей степени — ведь коренное население там было истреблено — рабочих рук, тогда как в верховьях Амазонки обитали бесчисленные индейские племена.

В 1615 году, спустя сто пятнадцать лет после того как было открыто устье

реки, был заложен поселок Пара-ду-Белен. Огромные природные богатства лесного края, удобные речные пути, плотная заселенность — все это привлекало толпы авантюристов, снедаемых жаждой наживы и легкого заработка. Они слетались сюда не только из других областей Бразилии, но даже из самой Португалии.

Племена, сопротивлявшиеся пришельцам, беспощадно истреблялись. Мужчин убивали, женщин насиловали, детей и подростков продавали в рабство. Индейцев, которые покорялись победителям, тоже продавали в рабство или натравливали против других, менее покорных племен. В XVII и XVIII веках на Амазонке творились ужасные вещи; зверства португальских купцов, превратившихся в конкистадоров, превзошли жестокость испанских завоевателей.

В течение двух столетий белые фазендейро[182] захватили все плодородные земли на нижней Амазонке, а аборигенов, уцелевших от истребления, превратили в рабов. Те же, кто, спасаясь от рабского ярма, укрылись в лесных чащобах, медленно умирали голодной смертью среди малярийных болот, затопляемых во время разлива Амазонки.

Конкистадоры, жившие здесь, как правило, одни, без белых женщин, не испытывали расовых предубеждений по отношению к индианкам. К тому же в XVII веке сюда начало прибывать все больше невольников и невольниц из Африки. Три расы, смешавшись между собой в различных пропорциях, дали не только метисов, мулатов и самбо, предками которых были чистокровные белые, негры и индейцы, но и несколько промежуточных помесей. Появилось население, поражающее своей пестротой и многоцветностью, объединенное общей горькой долей: нищетой и бесправием перед белыми хозяевами.

Но и белое население не составляло единого целого. Глубокая пропасть разделяла белых на два враждебных лагеря: португальцев-креолов, родившихся уже в колонии, и португальцев, родившихся в Португалии и лишь потом приехавших в Бразилию. Эти последние с высокомерием относились к креолам, как к людям низкого происхождения; располагая влиятельными связями на родине, они захватывали доходные должности, добивались всевозможных привилегий и почестей. Креолы все более остро ощущали свою «неполноценность». Эти различия, существовавшие не только на Амазонке и в других частях Бразилии, но также и в испанских колониях, привели в начале XIX века к отделению колоний от метрополий.

Таково было общественное и политическое соотношение сил на нижней Амазонке, когда в 1822 году Бразилия добилась независимости от Португалии. Пришел конец власти европейцев, новые люди, бразильцы-креолы, захватили ее в свои руки.

Но Амазонка находилась далеко от Рио-де-Жанейро, на задворках Бразилии, и хотя в Пара, как и в других местах, официально произошел государственный переворот, у власти там остались те же люди, что и прежде. Португальцы и не думали отказываться от своего привилегированного положения; владея основными богатствами края, они продолжали цепляться за власть, пытались задавать тон. Недовольство среди креолов возрастало, и вот в 1835 году произошел взрыв.

Началось с нападения на дворец губернатора провинции Пара. Были убиты несколько сановников, в том числе комендант гарнизона и сам губернатор, бразилец, который, хотя и был прислан из объятого революционным пожаром

Рио-де-Жанейро, однако играл на руку прежним хозяевам — португальцам. Креолы призвали народные массы к восстанию и с их помощью овладели городом Пара и его окрестностями.

Но, придя к власти, креолы по существу оставили все по-старому. Как это часто бывает в Южной Америке, новая клика, силой вытеснив старую, заняла ее место. Через полгода из Рио-де-Жанейро прибыл новый губернатор и с согласия победителей принял бразды правления.

Зачинщикам бунта, креолам, ничего не сделали, но чернь, осмелившуюся поднять руку на «gente de raza»[183], то есть белых, следовало примерно наказать. Поэтому новый губернатор отдал приказ арестовать бывших предводителей народных отрядов, среди которых был и любимец народа Винагр.

Узнав об этом, население Пара и селений по берегам Амазонки заволновалось. Вооруженные отряды направились к городу. Этот неожиданный и бурный порыв укрепил губернатора в убеждении, что только твердой рукой можно навести порядок.

Тем временем в окрестностях Пара собралось большое число вооруженных индейцев, метисов, мулатов. Они прибыли, чтобы освободить Винагра. Угнетенные угрожали бунтом.

После того как брат Винагра трижды просил губернатора об освобождении узника и три раза получал отказ, вооруженные отряды вторглись в город. Вспыхнул жестокий бой. На стороне губернатора была только часть войска — другая часть перешла на сторону повстанцев — и почти все белые, которые жили в Пара.

Это была одна из самых кровавых битв в истории Южной Америки. Она продолжалась девять дней; пылающие дома переходили из рук в руки. Сражение окончилось поражением белых, остатки которых, спасая жизнь, бежали на острова в устье Амазонки и укрылись там под защитой иностранных военных кораблей.

Весть о победе в Пара молнией разнеслась по рекам Амазонии, всюду вызывая необычайный подъем. Люди брались за оружие. Над Амазонкой пронесся клич: «Смерть белым!» На пространстве в две тысячи километров, от океана до устьев Риу-Негру и Мадейры, происходили ожесточенные схватки.

Но прежде чем повстанцы преодолели первые трудности и окрепли, в Амазонку вошли бразильские военные корабли. Они привезли войска, не зараженные «ядом анархизма». Несмотря на самоотверженность и отвагу, повстанческие отряды терпели поражение за поражением от регулярных войск. Опьяненные победами, креолы хотели потоками крови утолить жажду мести. Полегло немало борцов, но многих укрыли девственные леса.

Маленький Чикиньо и большая Амазонка



Маленькому Чикиньо шесть лет. После трехлетнего пребывания в Португалии он возвращается с матерью на Амазонку. Однажды он уже видел Амазонку, я же не видел ее ни разу — в этом огромное преимущество маленького Чикиньо передо мной. Он рассказывает мне об Амазонке невероятные вещи. Лишь раз мне удастся смутить его, спросив, как велика Амазонка. Он долго прикидывает что-то в своей маленькой головке и в конце концов заявляет, что Амазонка такая же большая, как его отец, к которому он сейчас возвращается, и чуть меньше, чем сам господь бог.

Чикиньо прав — Амазонка действительно очень большая. Мы находились еще на просторах Атлантики, а море уже начало изменять свою голубую окраску. Это давала знать о себе близость Амазонки. Вода становилась все более зеленоватой, потом желтоватой и мутной, и наконец спустя несколько часов она стала совсем желтой. Нам объяснили, что мы уже в устье Амазонки; однако мы видели только один берег — южный, другого не было и следа. Хороша река, у которой виден только один берег!

Так мы плыли несколько часов. Постепенно на севере (мы приближались к Амазонке с юго-востока, со стороны Сеары) стали вырисовываться какие-то неясные контуры. Мы думали, что это противоположный берег, но это был лишь остров Маражо.

Маленький Чикиньо вмиг стал ярым бразильским шовинистом и заявил, что остров Маражо вместе с другими островами в устье Амазонки так же велик, как и вся Португалия. Я согласился с ним, но кстати напомнил, что на этом милом острове обитают тысячи отвратительных кайманов, каждый из которых мог бы проглотить сразу пять таких Чикиньо. Ничего, хвастается Чикиньо, когда он станет взрослым, то перестреляет всех кайманов. Чикиньо, конечно, очень храбр, но кайманов там такое множество, что вряд ли ему удастся истребить их.

Только за островом Маражо начинается собственно северное устье Амазонки, которое вместе с южным, являющимся в то же время устьем реки Токантинс, имеет в ширину около четырехсот километров. Это больше, чем расстояние между Гданьском и Щецином. Но ширина устья еще не дает достаточного представления о массе воды, которую Амазонка несет в Атлантический океан. Следует учесть также неправдоподобную глубину этой реки, достигающей близ устья местами ста метров, в Манаусе — в тысяче семистах километрах от устья — пятидесяти, а вблизи Икитоса — в четырех тысячах шестистах километрах от устья и у самых Кордильер — двадцати метров. Это глубина реки в засушливую пору. В период же дождей, в мае и июне, она увеличивается еще метров на пятнадцать. Для сравнения укажу, что средняя глубина Вислы под Варшавой составляет всего лишь два метра.

Глубина позволяет обычному океанскому пароходу вроде нашего «Хилари» спокойно плыть до Манауса и, если бы потребовалось, еще дальше. Лишь один раз мы сели на мель, да и то потому, что бразильскому лоцману ужасно понравилось крепкое английское пиво «стаут». К Манаусу могли бы подойти три четверти всех существующих военных кораблей.

Однако тот, кто думает, что Амазонка очень широка на всем своем протяжении, сильно ошибается. Мы плывем по ней вот уже третью неделю, но если не считать устья, ширина ее лишь в два-три раза превосходит ширину Вислы под Торунью. Впрочем, то, что мы видим, это не вся Амазонка, а всего лишь один из ее многочисленных рукавов. Амазонка отличается от остальных великих рек тем, что состоит из множества русл и протоков с мешаниной островов (иногда очень больших) между ними.

Другой характерной чертой является то, что в результате незначительного падения реки приливы и отливы дают о себе знать довольно далеко от устья. В Сантарене, городе, лежащем почти в тысяче километров от устья реки, маленький Чикиньо едва не падает в воду от изумления, видя, что река вдруг начинает течь в противоположном направлении, в сторону Анд. Это докатился сюда океанский прилив.

Уже в устье Амазонка показывает нам, какие богатства таит она в своих глубинах. При виде бесчисленных стай огромных двухметровых рыб, то и дело всплывающих на поверхность, начинает казаться, что мы плывем в каком-то сказочном аквариуме. Это пираруку, самые большие пресноводные рыбы, столь характерные для Амазонки. И так все время из глубины то и дело выплывают странные существа, вызывая восхищение маленького Чикиньо и мое; у бортов нашего судна кувыркаются с плеском пресноводные дельфины и какие-то рыбы с розовыми телами, свирепые и наглые.

Мы плывем днем и ночью вот уже третью неделю. Все время одна и та же река, которая сегодня выглядит так же, как и в первый день нашего плавания по ней. Ничто в ней не меняется, и, кажется, нет у нее конца. Ее величие поражает, вызывая в нашем представлении туманный образ какой-то сверхъестественной силы.

На берегах Амазонки живут в хижинах и шалашах скромные тихие люди. Где-то близ перуанской границы живет и отец маленького Чикиньо. Он сборщик каучука. Жена его, мать Чикиньо, рассказывает мне, что когда-то им жилось неплохо, но сейчас приходится несладко, потому что жадные дельцы захватили берега реки и эксплуатируют серингейро — сборщиков каучука — самым нещадным способом.

Девственный лес



Весь бассейн Амазонки — за исключением нескольких мест, где вклиниваются, словно полуострова, небольшие остепненные участки, — покрыт великолепным девственным лесом. Территория, занимаемая им, составляет семь миллионов квадратных километров, или почти две трети Европы. И, хотя в век радио и авиации это звучит неправдоподобно, весь этот огромный край сегодня так же полон тайн, дик и неисследован, как и сто лет назад, во времена естествоиспытателя Бейтса[184], или сто пятьдесят лет назад, во времена Гумбольдта[185], а местами — как четыреста лет назад, во времена Орельяны. Железных дорог, соединяющих эту часть Бразилии с другими районами страны, нет; единственное средство сообщения — два десятка пароходов, курсирующих по Амазонке и некоторым ее притокам.

Впрочем, кое-где железнодорожные линии все-таки проложены. В Икитосе, например, есть карликовая окружная железная дорога, длина которой всего лишь несколько сот метров; она функционирует только по воскресным дням, доставляя икитосским гражданам развлечение — возможность прокатиться «с ветерком» и давая пищу их гордости. Кроме того, на окраинах этого обширного леса проложены еще две линии: между Пара и Брагансой и вдоль реки Мадейра.

Лес сопровождает нас от самого океана. Зеленая стена растительности так фантастична, что кажется необыкновенной декорацией, нарисованной сумасшедшим художником. Пальмы, лианы, бамбук, эпифиты, деревья, прямые и искривленные, деревья, стелющиеся по земле, кустарник более высокий, чем деревья, разнообразие форм и красок, листья белые, как снег, и красные, как кровь, каждые сто метров картина меняется и все-таки остается той же самой; просто перед нами новые деревья, новая растительность. И так три недели — днем и ночью, неутомимо и без перерыва сопутствует нам девственный лес Южной Америки, самый большой и буйный тропический лес на Земле.

Вот уже сто лет, со времен известных натуралистов Г. У. Бейтса и А. Р. Уоллеса[186], бассейн Амазонки является Меккой путешественников; ибо об этом районе тропиков написано, пожалуй, больше всего статей и книг. И теперь уже не обязательно отправляться на Амазонку, чтобы познакомиться со всеми особенностями ее природы, это можно сделать, удобно устроившись в кресле, почти в любой библиотеке.

И все же даже хорошо подготовленный путешественник, очутившись лицом к лицу с этой знойной явью, испытывает чувство глубочайшего изумления и острой радости, словно открыл что-то новое и значительное. Нужно пережить это самому, чтобы понять, сколько волнующего скрыто во всем этом, казалось бы, давно известном и изученном.

Девственный лес Амазонии! Кто-то сказал, что у человека, отправляющегося

ся в этот лес, может быть только два радостных дня: первый, когда, ошеломленный сказочной пышностью и великолепием, человек считает, что попал в рай, и последний, когда, близкий к помешательству, он стремится поскорее выбраться из «зеленого ада».

Тяжкий влажный зной, царящий круглый год; паводки, заливающие огромные пространства леса на девять месяцев в году; тысячи неведомых болезней, таящихся в трясине; муравьи и термиты, пожирающие все, что попадает им на пути; тучи москитов, отравляющих кровь; ядовитые змеи; пауки, чей укус смертелен; деревья, источающие запахи, которые дурманят, — поистине проклятое место эти дебри на Амазонке; особенно страшны они белому человеку, который хотел бы поселиться здесь навсегда.

Зато для натуралиста этот лес — настоящий рай, о котором можно лишь мечтать, сказочная страна, которую можно увидеть только во сне. Углубившись в это пекло, он обнаружит там самые причудливые из чудес природы, цветы диковинной расцветки, таинственные орхидеи с чувственным ароматом, бабочек более ярких, чем цветы, колибри, которые меньше и ярче бабочек, самых невероятных птиц, млекопитающих, которые в других местах вымерли много миллионов лет назад, муравьев с такой совершенной общественной организацией, что человеку остается только развести руками, — словом, натуралист повсюду столкнется с необузданным буйством проявлений жизни. Биологические проблемы, которые где-нибудь в другом месте скрыты глубоко, здесь, на Амазонке, лежат как на ладони: остается лишь собрать их как созревшие плоды.

Много открытий сделано уже на Земле, но в девственных лесах Амазонии огромный неведомый мир еще ждет своих открывателей.

С палубы нашего судна мы смотрим на все это, как зрители в театре, издали, хотя плывем вблизи от берега и по вечерам на нас падает тень леса. Тогда из чащи доносятся бесчисленные птичьи голоса, свидетельствующие о сказочном изобилии мира крылатых. Цапли, аисты, ибисы, чайки и огромные зимородки носятся над водой, а высоко в воздухе парят большие и яркие ара — царственные попугаи, словно взятые из описаний Бейтса.

Ежедневно пароход пристает к берегу у какого-нибудь селения, и ежедневно у нас на столе свежие цветы. И какие цветы! Настоящие бесценные амазонские орхидеи, чудесные *cattleya* ярких расцветок.

Нашу палубу посещает немало лесных обитателей. Это насекомые. Днем то и дело мелькают красивые булавоусые бабочки. Но поймать их мне не удастся: они очень пугливы. Вечером на свет ламп прилетают похожие на ласточек ночные бабочки. Иногда среди них можно увидеть огромную бабочку калиго с совиными глазами на крыльях или какого-нибудь диковинного богомола.

Все еще едет со мной маленький Чикиньо, мой большой друг. Дружище Чикиньо знает все и обо всем, но одного он, увы, не может понять: где у муравьев на пароходе муравейник. На нашем судне их миллионы. Они съедают наши коллекции, а защититься от них трудно, потому что они малы, отважны и проникают повсюду. Стоит положить на стол мертвую бабочку, как через несколько минут — можно подумать, что у них собачий нюх! — из щели в стене или палубе появляется вереница муравьев. Хорошо еще, что они не нападают на людей, иначе жизнь на судне была бы невыносимой.

Успокойся, дружище! Ты опечален, что не можешь найти муравейник? В лесу, по которому мы плывем, тысячи загадок и тайн, разгадать которые стремилось множество людей, более настойчивых и сильных, чем ты, мой бравый маленький Чикиньо.

Эльдорадо



Испанских конкистадоров, завоевывавших Америку, обурежала безумная, безграничная, безудержная жажда золота. Это она породила непостижимую хищность и дерзость, благодаря которой до смешного ничтожные кучки авантюристов завоевывали и уничтожали могучие государства. Золотая лихорадка терзала испанцев днем, кошмарные сны о сокровищах мучили их по ночам. Вера, честность, доблесть, верность, любовь не существовали, если они преграждали путь к золоту.

Огромные богатства стали добычей конкистадоров в Мексике и Перу, но жажды завоевателей не утолили. Им была известна лишь небольшая часть Америки, в то время как к востоку от Перу находились таинственные страны, о богатствах которых ходили возбуждающие и — о Santa Madonna! — такие захватывающие слухи.

Где-то на Черной Реке Маноа лежала страна Кури-кури, где золота было в сто раз больше, чем в Перу. Где-то еще находился город Пайтити, улицы которого были вымощены золотыми брусками. А над озером Париме жил король Эльдорадо, которого звали Золотым. Каждое утро он украшал свое тело драгоценностями и посыпал его толстым слоем золотой пыли, а вечером смывал все это в озере и отправлялся гулять по городу с золотыми куполами, с домами, стены которых были из серебра, пороги — из яшмы и лестницы — из оникса.

Легенды? Химеры? Порождение нездоровой фантазии? Бред индейцев, обзумевших от пыток? Но разве не под пытками индейцы рассказали о сокровищах Мексики и разве Кортес не подтвердил впоследствии, что они говорили правду? Разве о сокровищах инков не ходили самые фантастические слухи и разве они не оказались верными, когда испанцы схватили Атауальпу, а позднее ворвались в Куско?

Завоеватель Перу Франсиско Писарро назначил в 1539 году своего брата Гонсало губернатором провинции Кито и потребовал, чтобы тот исследовал и покорил леса, расположенные к востоку от испанских владений. Где-то в глубине этих лесов несла свои воды Черная Река и блестело золото Маноа и Кури-кури, Пайтити и Париме, а золотой король Эльдорадо расточал каждый вечер огромные богатства.

После года приготовлений, поглотивших огромное состояние губернатора, Гонсало Писарро двинулся в неведомое, сопровождаемый двумя сотнями ис-

панцев и четырьмя тысячами индейцев-носильщиков. Он взял с собой несколько сот собак, чтобы выслеживать туземцев, много свиней, лам и лошадей.

Благополучно преодолев предгорья и цепи Анд, экспедиция вступила в низинные леса. День за днем пробирались они сквозь густые заросли. Страшная духота, множество хищных зверей, тучи комаров и всевозможных паразитов — все это было только полбеда. Хуже всего было то, что животные и горные индейцы, непривычные к тропическому климату, стали гибнуть как мухи от неизвестных болезней.

Пока было что есть, испанцы еще кое-как держались, но в конце концов наступил голод. Все ужасней становилось для путников и дни, и ночи. Но по ночам можно было по крайней мере видеть во сне золото и богатые города; поэтому, когда на рассвете они с трудом поднимались с сырой земли, их глаза светились горячечным блеском, а на устах у них снова были магические слова: Маноа, Пайтити, Париме. Конкистадоры с новыми силами прорубали мечами проходы в густых зарослях, устремляясь дальше. Им попадались целые леса коричневого дерева, о которых мечтал Колумб, отправляясь в заморские страны, но они, не останавливаясь, двигались вперед, в поисках еще больших богатств.

Чтобы облегчить себе путь, испанцы построили на берегу реки, у подножия Анд, вместительную бригантину, на которую погрузили несколько десятков больных товарищей и все свое снаряжение.

Здоровые налегке шли берегом, но, несмотря на это, через несколько дней они совершенно обессилели, и им пришлось остановиться.

Писарро приказал разбить лагерь и принял рискованное решение: узнав от индейцев, что невдалеке, на берегах реки Напо, есть селения, богатые продовольствием, он послал туда на бригантине пятьдесят испанцев с наказом добыть провизию и привезти ее как можно скорее в лагерь. Во главе отряда он поставил молодого честолюбивого офицера Франсиско Орельяну, любимца всей экспедиции.

Можно себе представить, с каким нетерпением голодные испанцы ждали возвращения бригантин. Но корабль не возвращался: ему не суждено было вернуться. Проходили дни, недели; люди в лагере начали умирать от истощения. В конце концов Писарро понял, что дальше дожидаться Орельяну не имеет смысла, и решился на отчаянный шаг: с изнуренными людьми он пустился в обратный путь. Это путешествие было им не по силам: в живых остались только девять человек, все остальные погибли. И вот однажды, спустя шестнадцать месяцев после того как экспедиция двинулась завоевывать страну золота, удивленные жители Кито увидели девять едва державшихся на ногах людей. Это были Гонсало Писарро и восемь его товарищей.

А Франсиско Орельяна? Он погиб? Отнюдь нет. Много дней плыл он вниз по реке — гораздо дольше, чем можно было предположить, судя по словам индейцев, пока не достиг наконец желанных селений.

Индейцы не только радушно приняли его, но и щедро снабдили продовольствием. Однако оказалось, что доставить его в лагерь, плывя против течения на тяжелой бригантине, не удастся. Нести его туда на себе? Это заняло бы много времени, если бы даже и удалось. Тогда Орельяне пришла в голову дерзкая мысль. Он на свой страх и риск решил плыть с товарищами дальше. Его спут-

ники охотно согласились. Каждого из них разжигали все более подробные сведения о протекающей невдалеке огромной реке и все чаще повторявшиеся слухи о существовании на ее берегах богатой страны Маноа.

Так началась одна из самых дерзновенных экспедиций в истории человечества. Какая смелость замысла, сколько несокрушимой отваги, презрения к смерти и всяческим опасностям! Когда Кортес двинулся на ацтеков, у него было пятьсот человек; у Франсиско Писарро, отправившегося завоевывать государство инков, было сто восемьдесят пять человек; у Орельяны же было всего сорок девять человек, с которыми он намеревался покорить неведомую великую державу легендарного короля Эльдорадо. При этом Орельяна даже не представлял себе, где царствует этот владыка, сколько у него воинов; смельчачка со всех сторон окружала враждебная, зловещая чащоба, грозившая тысячами таинственных болезней, а судьбу свою он вверял загадочной реке, которая пугала индейцев, реке, о которой он даже не знал, куда она течет — может быть, на край света, в Китай, в Индию?

Нам известны все испытания и приключения этих храбрецов, охваченных золотой лихорадкой, так как капеллан экспедиции, отец Гаспар де Карвахаль, подробно описал все путешествие. 12 февраля 1542 года обе бригантины приплыли к устью реки Напо, обе, потому что Орельяна построил с помощью лесных индейцев еще один небольшой корабль, — и изумленным глазам испанцев предстала огромная река. Противоположный берег ее неясной полосой виднелся на горизонте. Это была Амазонка, которую белые впервые увидели здесь, на западе, спустившись с Анд на равнину.

— *Mar dulce!* Пресное море! — вырвался из уст потрясенных испанцев крик, лучше всего выразивший их первое впечатление.

Обрадованные путешественники больше уже не сомневались, что находятся на пути к цели. Дружески настроенные индейцы омагуа подтвердили, что, плывя вниз по большой реке, можно добраться до народа маноа (не города Маноа, как думали раньше, а народа), живущего в устье Черной Реки.

Испанцы, снедаемые нетерпением, торопили гребцов индейцев, которых предоставил в их распоряжение гостеприимный вождь. Но проходили недели, а река и лес были все те же и конца путешествию не было видно. Индейцы, обитавшие по берегам реки, не всегда охотно снабжали их продуктами, снова наступил голод, росло недовольство.

В устье реки Тефе им показалось было, что они достигли озера Париме, но обнаружив вместо блестящих куполов королевских дворцов только изящные пальмы, испанцы пришли в бешенство. Орельяна берет порох, считая, что он еще пригодится, когда они разыщут Золотого короля и его воинов, но теперь его взбешенные спутники не выдержали и, вспомнив старый обычай конкистадоров, стали убивать встречавшихся в пути индейцев, сжигать селения.

Однако это не всегда сходило им с рук. Недалеко от реки Жапуры целая флотилия лодок с вооруженными индейцами преградила им путь к берегу. Испанцы, вынужденные отступить, с трудом ушли от погони. Это произошло во владениях могущественного вождя Мачипаро. Тут испанцы впервые за время пребывания в бассейне Амазонки встретили индейцев, стоявших на довольно высокой ступени духовной и материальной культуры.

Но золота не было.

Возбуждение испанцев нарастало с каждым днем. Индейцы, которых уда-

лось схватить, единодушно показывали, что устье Черной Реки близко. Конкистадоры узнавали все больше и больше о загадочном и суровом племени маноа.

Однажды их сердца взволнованно забились. Слева открылось обширное водное пространство: там впадала в Амазонку какая-то большая река. Уже издали было видно, что вода в ней черная, сильно отличающаяся от желтых вод Амазонки.

— Риу-Негру! Черная Река! — взволнованно шептали испанцы, уверенные в том, что прибыли наконец к порогу страны Золотого короля.

Пройдя через водовороты у слияния обеих рек, бригантины выплыли на Черную Реку и медленно двинулись против течения. Спустя часа три испанцы обнаружили на левом возвышенном берегу многолюдное селение. Едва корабли подошли ближе, от берега отделилось множество лодок, и около тысячи воинов напало на бригантины. Испанцы дали залп из мушкетов, зная по опыту, что оглушительный грохот выстрелов всегда вызывает панику среди туземцев. Но на этот раз ожесточение индейцев превозмогло страх. Лодки приближались к кораблям.

В это время на противоположной стороне показалась другая, еще более многочисленная флотилия и атаковала бригантины с тыла.

Взятые в клещи, испанцы дрались как львы, убивая каждого, кто взбирался на бригантины. Черная Река побагровела от крови индейцев. Их стрелы и копья были слабым орудием против закованных в латы конкистадоров, но, несмотря на это, вскоре большинство испанцев было ранено. Лодки индейцев все прибывали. Орельяна, видя безудержную, неистовую ярость нападающих, понял, что испанцам грозит гибель. Единственным спасением было быстрое отступление. С трудом удалось очистить бригантины от тьмы индейцев, облепивших их. Отступление превратилось в паническое бегство. Много миль индейцы преследовали испанцев и отстали лишь тогда, когда бригантины вышли на Амазонку. Итак, первая попытка достичь Эльдорадо окончилась поражением.

О продолжении плавания вверх по Риу-Негру в этих условиях не могло быть и речи. Беспремерная отвага индейцев маноа укрепила убеждение Орельяны в том, что те бились так упорно потому, что охраняли подступы к сокровищам Золотого короля. Признав себя на сей раз побежденным, Орельяна понял, что сюда надо будет вернуться с более многочисленным отрядом. Приняв такое решение, он поплыл дальше вниз по Амазонке.

Теперь путешественники плыли вдоль берегов, заселенных по большей части дружелюбно настроенными индейскими племенами. Но однажды по собственной вине они попали в такую переделку, что едва унесли ноги. У знав о существовании на реке Жамунде[187] необычного государства, состоящего из одних женщин, весьма воинственных и не переносящих присутствия мужчин, испанцы загорелись желанием покорить индейских амазонок. Предостережения лишь разожгли их любопытство. Бригантины поплыли вверх по Жамунде и достигли большого селения индианок, но жительницы его, заблаговременно предупрежденные, скрылись. Испанцы повернули обратно... и попали в засаду, устроенную воительницами. Амазонки славились прекрасной стрельбой из луков, они стреляли дальше и более метко, чем мужчины: конкистадорам пришлось убедиться в этом на собственной шкуре. Жажда похож-

дений покинула их, и они поспешно спустились вниз по негостеприимной Жамунде, чтобы спастись от разъяренных фурий. Вдобавок ко всему в устье реки на них напали юные воины из племени мура, которых амазонки раз в год приглашали в свои селения на празднества, длившиеся по нескольку дней. Правда, справиться с воинами оказалось легче, чем с отважными женщинами.

Атлантический океан был еще далеко, но испанцы уже почувствовали его присутствие. С изумлением наблюдали они каждый день, как уровень воды в реке регулярно поднимается и опускается, что они совершенно справедливо объяснили влиянием моря. О море все чаще говорили и индейцы, и поэтому, когда путешественники у устья реки Тапажос выплыли на огромное водное пространство, тянувшееся до самого горизонта, им показалось, что это и есть желанное море. Но до него было еще более тысячи километров.

На реке Тапажос испанцы встретили индейцев, вероятно, из племени мундуруку, стоявших на еще более высокой ступени развития, чем подданные Мачипаро. Многочисленные селения с большими хижинами, хорошо одетые люди, особенно женщины, искусно сделанные предметы обихода, свидетельствовавшие о трудолюбии и мастерстве туземцев, — все это вызывало изумление пришельцев. Золота у этих индейцев не было. Конкистадоры поэтому не стали их грабить. Это было племя, занимавшееся торговлей на Амазонке, и от него Орельяна получил точные сведения о нижнем течении реки.

Испанцы выбивались из последних сил. Много месяцев пробыли они в этом пекле, днем и ночью со всех сторон окружал их враждебный лес, просторы реки казались бесконечными. После поражения на Черной Реке, потеряв всякую надежду найти золото, за которым, собственно, и отправились, авантюристы были близки к отчаянию.

В таком состоянии после девяти месяцев скитания вслепую по неведомым рекам они достигли наконец моря. Это произошло 26 августа 1542 года. Самая большая река на свете перестала быть загадкой для людей белой расы. Просто поразительно, что экспедиция все же была закончена, что из пятидесяти испанцев только восемь не доплыли до океана.

Через несколько недель бригантины благополучно добрались до испанских островов в Карибском море. Откуда Орельяна выехал в Испанию, где после доклада королю получил разрешение на новую экспедицию, целью которой было завоевание Амазонки вместе с сокровищами страны маноя для испанской короны. Теперь, когда Орельяна открыл Амазонку и побывал в устье Риу-Негру, существование Эльдорадо казалось столь несомненным, что добровольцев для участия в экспедиции было больше чем нужно. Преодолев множество трудностей, не только финансовых, но и тех, какие возникали в результате зависти и интриг, Орельяна после трехлетних приготовлений двинулся со своей флотилией в путь.

Вскоре три больших корабля достигли устья Амазонки. Орельяна приказал возвести на берегу сильное укрепление и оставил там большую часть своих людей, а сам во главе авангарда — сотни испанцев — пустился на двух барках вверх по реке.

С того дня о нем никто ничего не слышал. Леса Амазонки поглотили его самого, всех его людей[188] и обе барки. Может быть, таким образом дебри отомстили людям за то, что они раскрыли тайну их реки?

После нескольких месяцев напрасного ожидания в устье Амазонки испанцы, напуганные враждебностью дикой природы, снялись с лагеря и уплыли, предоставив эту часть Америки предприимчивости других авантюристов.

Река некоторое время носила название Рио-Орельяна, пока не была переименована в Рио-де-лас-Амазонас в честь женщин-амазонок или, как объясняют другие, по индейскому слову «амазуну», что означает «укротительница волн». Так, по слухам, индейцы называли устье Амазонки.

Миф о золотых сокровищах Риу-Негру вскоре был развеян и лопнул как мыльный пузырь. Орельяна и его спутники погнались за призраком и погибли зря. Но одно не подлежит сомнению: самую большую в мире реку открыли люди, которым нельзя отказать в отваге и дерзости.

Papilio Orellana — одна из самых великолепных бабочек на Амазонке. Большая, черная, с красными пятнами на крыльях, она выделяется среди многочисленных представителей семейства *Papilionidae* своей необычайной, можно сказать благородной, красотой.

Однажды я видел ее сидящей у самой воды на песчаном берегу реки. Когда я подошел, она сорвалась с места и сделала несколько величавых кругов над берегом. Очевидно, она не утолила жажду, так как пыталась снова усесться на песке. Но победила осторожность: поднимаясь все выше, бабочка полетела к лесу и исчезла среди деревьев.

Я стою под палящими лучами солнца Амазонки и улыбаюсь, потому что мне сейчас пришла на ум забавная аналогия: как и эта бабочка, Орельяна пытался утолить свою жажду водой Амазонки, а потом навсегда исчез в ее девственном лесу.

Тайна полковника Фосетта



В Манаусе, в отеле «Бразилия», я никак не могу объясниться с кельнером. Тогда хозяин просит одного из посетителей, сидящих за соседним столиком, помочь мне. Тот любезно подходит и все улаживает. Мы знакомимся, договариваемся, что будем беседовать по-французски, и вместе ужинаем. Он англичанин, Альберт де Уинтон; ему около сорока пяти, борода придает его лицу энергичное выражение. Мы говорим о том о сем, а когда Уинтон узнает, что я еду в Перу за зоологическими коллекциями, он выкладывает мне цель своего пребывания в Бразилии: поиски полковника Фосетта.

— Как? — изумленно спрашиваю я. — Разве не установлено, что он погиб?

— Для меня, — скромно и в то же время твердо отвечает Уинтон, — вопрос о его гибели еще не решен. Надеюсь, что через несколько месяцев мир узнает наконец всю правду.

Во время беседы я узнаю — благодаря любезности Уинтона из самого, пожалуй, достоверного источника — подробности этого таинственного, так шумевшего когда-то дела.

Фосетт, английский полковник в отставке, в свое время входил в комиссию, которая устанавливала границу между Боливией и Бразилией. Он великолепно изучил южноамериканские девственные леса. От индейцев, бывавших в бразильском штате Мату-Гросу, он узнал, что в глубине лесов находятся развалины какого-то древнего города.

Детальное изучение вопроса привело Фосетта к мысли, что эти развалины могли быть остатками легендарной Атлантиды, которую, по мнению некоторых ученых, следует искать как раз в штате Мату-Гросу, между реками Шингу и Арагуая. Одержимый этой мыслью, Фосетт решил сам все выяснить и после тщательных приготовлений отправился в 1926 году из Англии в Мату-Гросу.

Экспедиция вышла из Куябы, столицы штата Мату-Гросу, и двинулась на северо-восток, к истокам реки Шингу. Только два человека сопровождали Фосетта: его сын, которому был 21 год, и приятель сына Джек Риммель. С ними было три собаки.

Если территория самого Мату-Гросу, большая часть которого расположена в бассейне Амазонки, мало исследована, то места у истоков реки Шингу не исследованы совсем. Несмотря на относительную близость к Куябе — около четырехсот километров, — эти истоки обозначены на картах прерывистой линией.

Спустя двенадцать дней после того как экспедиция покинула Куябу, путешественники добрались до небольшой фазенды — последнего форпоста цивилизации. Там Фосетт, прихворнувший в пути, отдыхал несколько дней. Затем экспедиция двинулась на север, в глубь леса, и с тех пор никого из путешественников больше не видели. Через неделю в фазенду возвратилась, вся в

крови, одна из собак Фосетта; вскоре она сдохла. Это был последний след экспедиции. Фазендейро послал своих людей в лес на поиски, но те вернулись ни с чем: чаща поглотила Фосетта и его спутников.

Через несколько месяцев весть об исчезновении Фосетта достигла Англии. Так как кое-кто предполагал, что Фосетт жив, но находится в плену у индейцев, его друзья собрали средства и организовали спасательную экспедицию. Эта экспедиция ничего не достигла; вслед за ней отправилась вторая, затем третья — на этот раз американская, — все было напрасно.

Уинтон на месте ознакомился с деятельностью этих экспедиций и утверждает, что это было сплошное надувательство. Располагая значительными средствами, участники экспедиции, люди, по большей части мало подготовленные для той роли, за которую они взялись, настойчиво рекламировали себя в печати (отсюда широкая известность «дела Фосетта»), разъезжали в удобных лодках по реке Шингу и вовсе не искали Фосетта там, где он вероятнее всего пропал. Фосетт исчез в лесу между истоками Шингу (их пять или даже больше) или же к востоку от Шингу, между нею и Риу-Мортис; они же искали его лишь у самой реки и даже не собирались углубляться в лес.

В начале 1933 года Уинтон уже организовал одну экспедицию к верховьям Шингу. Двигаясь на запад, он вышел к реке Арагуая, но тут его люди взбунтовались и наотрез отказались следовать дальше. Тогда он нанял других бразильцев, готовых на все, и пробирался с ними сквозь дебри, выйдя к Риу-Мортис. Там у индейцев племени бакайри он узнал о том, что Фосетт — а судя по описаниям, это действительно был Фосетт, а не кто-либо другой — появился несколько лет назад на Риу-Мортис, пробыл там около года, а затем снова отправился на запад, к истокам Шингу. Уинтон хотел немедленно двинуться по его следам, но во время переправы через реку лодки, на которых находилось все снаряжение экспедиции, затонули, и путешественнику, измученному вконец и больному малярией, пришлось как можно скорее вернуться назад.



Тем не менее его экспедиция дала очень важный результат: было установ-

лено, что Фосетт не погиб сразу же после того, как ушел из фазенды, как полагали прежде. Однако остается загадкой, почему на Риу-Мортис он был один, без своих спутников.

Не обескураженный неудачей, Уинтон вскоре снова отправится на поиски Фосетта. На этот раз он поплывет вверх по реке Шингу до ее истоков и попытается особенно тщательно исследовать лес по берегам одного из них — Кулузни, где, по-видимому, вероятнее всего можно отыскать следы полковника.

Итак, жив ли Фосетт?

Уинтон исключает возможность того, что Фосетт находится в плену у индейцев бакайри, поскольку это не согласуется с их обычаями. Если Фосетт не погиб сразу же, то, по мнению Уинтона, он живет где-нибудь в лесу, возможно, как гость индейцев.

Индейцы бакайри приветливы и известны своим гостеприимством. Когда-то в семье Фосетта уже был подобный случай бегства на лоно природы; учитывая романтические наклонности полковника, это не исключено и на этот раз. Ошибка заключается в том, что до сих пор Фосетта не разыскивали как следует; орава дармоедов только транжирила деньги его друзей и поднимала шум в печати.

Уинтон ищет его на свой страх и риск и на свои средства. Найдет ли? Взгляд его полон решимости.

Два дня спустя мы прощаемся с ним на пристани в Манаусе. Судно Уинтона отправляется вниз по Амазонке, к устью Шингу, мое — вверх, к Икитосу. Желаем друг другу удачи; Уинтон обещает, что перетрясет небо, землю и лес, но отыщет Фосетта.

Увидим, сдержит ли он свое обещание[189].

Каучуковая трагедия



Когда Форд создавал свой первый автомобиль, кабокло, обитатель бразильского леса, жил вместе со своей женой где-нибудь на берегу Амазонки, довольствуясь малым, питаясь зачастую лишь сырой рыбой и не имея никакого представления о большом мире. Когда Форд выпускал свой тысячный автомобиль, кабокло, кляня на чем свет стоит новые веяния, тоже взялся по примеру своего кума-соседа за подсочку каучуковых деревьев. Когда Форд произвел пятьсот тысяч автомобилей, всю Амазонку охватило безумие, а кабокло — простите, серингейро, так теперь стали называть сборщиков каучука — попивал в Манаусе французское шампанское, ласкал привезенных из Европы блондинок, а гаванские сигары прикуривал от бумажки достоинством в сто мильрейсов.

После всевозможных золотых и алмазных лихорадок человечество узнало каучуковую лихорадку. К Амазонке отовсюду стекались миллионы. Миллионы долларов, фунтов, франков, марок. Их было так много, что люди не знали, что с ними делать. Деньги, которые давал каучук, шли на вино, устрицы, на всяческие причуды, на строительство дворцов, на разгул. Рождались безумные идеи: проект прокладки дорог через девственный лес, проекты сооружения плотин на Амазонке.

Как на дрожжах росли на берегах великой реки города: Пара, Манаус, Икитос. Начиная с конца XIX века непрерывно росли цены на каучук.

Богатели маклеры, торговые агенты, купцы, судовладельцы, но больше всего — гигантские концерны.

Вначале, когда каучуковая лихорадка только вспыхнула, простой серингейро, обреченный на тяжелый труд и тяготы жизни в лесу, тоже неплохо зарабатывал. Но по мере роста добычи каучука посредников между серингейро и Фордом все больше охватывал дух наживы, и эксплуатация трудящихся в лесах Амазонки приобрела исключительно гнусные формы.

Местные касики[190] с помощью вооруженных бандитов терроризировали кабокло и индейцев, вынуждая их сдавать все больше и больше каучука за все меньшую и меньшую плату. Каучук, основное сырье новой отрасли промышленности в Европе и Америке, был щедро полит не только потом, но и кровью серингейро.

В то время когда каучук стал мировой проблемой, один скромный, малоизвестный ботаник, собиравший коллекции в Юго-Восточной Азии, послал английским колониальным властям свой проект. Проект этот как часто случается с проектами никому не известных людей, был положен под сукно. Но спустя какое-то время совершенно случайно труд ботаника попался на глаза молодому чиновнику, незадолго до этого прибывшему из Англии. Тот заинтересовался предложениями ученого, раздобыл необходимые средства и проделал

кое-какие опыты. Результаты превзошли все ожидания. Оказалось, что по своим климатическим условиям Юго-Восточная Азия как нельзя лучше подходит для выращивания там каучуковых деревьев.

Жизненные интересы Англии требовали, чтобы Бразилия лишилась монополии на каучук, и вот на Малайском полуострове приступили к закладке обширных плантаций гевеи — каучукового дерева. Этому способствовало одно происшествие, ярко характеризующее те средства, к которым прибегает крупный капитал в конкурентной борьбе.

Англичанам нужны были семена гевеи, но правительство Бразилии охраняло свою монополию на них. Тогда английский агент Генри Уикхем, выдававший себя за зоолога, исследующего фауну Амазонки, выкрал драгоценные семена и вывез их из Бразилии в чучелах кайманов. Эта кража, что характерно для «этики» определенных кругов лондонского Сити, восхвалялась там как спортивный подвиг Уикхема.

О том, что творилось на Востоке, бразильский серингейро, разумеется, ничего не знал, да и что ему было до остального мира? Он по-прежнему подсекал деревья, расправлялся в лесу с конкурентами и отвозил каучук в город, привыкнув к тому, что товар у него прямо вырывали из рук и платили хорошие деньги.

Затем вспыхнула первая мировая война. Вся Америка от Гудзонова залива до Патагонии наживалась на нуждах Европы. И лишь на Амазонке что-то не ладилось. Несмотря на войну, цены на каучук падали. Никто на Амазонке — ни купцы в городах, ни серингейро в лесу — не понимал, в чем дело.

Война закончилась. Цены на каучук продолжали падать, так как плантации на Востоке поставляли его на мировой рынок во все большем и большем количестве. Люди на Амазонке все еще недоумевали, но уже поняли, что придется затянуть пояса, распрощаться с шампанским, отказаться от прихотей и жить поскромнее.

Города на берегах Амазонки постепенно приходили в упадок. Серингейро и маклеры обнаружили, что не имеет смысла возить каучук в город, так как там никто его не покупает. Многие из них смирились с этим и снова превратились в скромных, непритязательных кабокло.

Но тех, кто прибыл сюда издалека, охватила ужасная паника. До этого все они занимались лишь сбором каучука и ни о чем другом не думали. Мало кто из них обрабатывал землю, предпочитая покупать продукты на пароходах, курсирующих по реке, хотя и приходилось платить втридорога. Теперь же, когда и деньги, и продукты иссякли, над «рыцарями» каучука нависла угроза голода. Толпами потянулись они из леса к реке. Пароходы, идущие вниз по Амазонке, были просто облеплены ими. Дрались за каждое место на палубе, прокладывая дорогу револьвером. В их глазах светилось безумие. Эти люди, привыкшие издеваться над индейцами, сейчас ошалели от страха и напоминали остатки армии, разбитой в ожесточенном сражении.

Опустели лесные тропы и тропинки. Буйная чаща скрыла их, словно стараясь уничтожить ненавистные следы. Смолк плеск весел на реках. Крупные звери, вспугнутые человеком и скрывавшиеся в дебрях, вернулись в старые логовища. Ночами в Амазонке снова купались тапиры, и все чаще на ее берегах слышался рев ягуара.

Путешествуя по Амазонке, я познакомился с городом, который больше всех

заработал на каучуке и больше всех пострадал во время кризиса, — с Манаусом. Город этот производит такое же впечатление, как слишком просторная одежда на исхудавшем теле. Сколько жителей в Манаусе, я так и не смог установить. Говорят, что в старые добрые времена, то есть в период между 1900 и 1914 годами, число их доходило до ста тысяч. Сейчас тут, наверное, тысяч пятьдесят или даже меньше. В этом сравнительно небольшом городе множество великолепных зданий, которые скорее подошли бы для большого столичного города.

Например, дворец губернатора (Манаус — столица штата Амазонас, площадь которого в несколько раз больше, чем площадь Польши, но население составляет всего лишь четыреста тысяч человек, в большей своей части неграмотных) столь монументален, что мог бы вызвать зависть не одного президента крупного европейского государства. Затем в городе есть дворец правосудия (здесь на каждом шагу — «дворец») — здание столь величественное, что я сомневаюсь, найдется ли где-нибудь в европейских столицах подобное убежище правосудия.

Однако самое примечательное в Манаусе — оперный театр, построенный по образцу парижской Оперы, но только, пожалуй, бóльших размеров. Бог знает, для кого его строили полвека назад. В этом роскошном здании — подлинном курьезе Амазонии — оперы никогда не ставились. Театр всегда закрыт, за исключением нескольких дней в году, когда для поддержания престижа города сюда приглашают из Рио-де-Жанейро актерскую труппу, и та ставит какой-нибудь водевиль или сентиментальную пьесу.

Перед театром раскинулась огромная площадь, украшенная изумительной каменной мозаикой, но уже в нескольких сотнях метров отсюда растут огромные деревья, эти грозные щупальца девственного леса, протянувшегося во все стороны на тысячи километров.

Однажды я упросил сторожа театра разрешить мне выглянуть в окно верхнего этажа. Оттуда моему взору представилась сказочная картина. Манаус лежит не на самой Амазонке, а на Риу-Негру, менее чем в десяти километрах от ее устья. Сверху видны огромные водные пространства — плес Риу-Негру, сама Амазонка. Эти реки — животворные артерии города, единственная основа его существования. А за ними повсюду бескрайнее море зелени — сомкнутое, непрерывное, — подступающее, мне кажется, прямо к стенам здания, с которого я смотрю. Зрелище окружающего меня со всех сторон леса еще ярче подчеркивает бессмысленность этой оперы, ее нелепость.

Сверху хорошо видно, как лес неодолимо теснит город. Лес буквально поглощает Манаус. Не сразу, а словно осуществляя планомерное наступление, отвоевывает участок за участком — вторгается в пределы города, захватывает улицы. Тут не человек покоряет природу, а, наоборот, природа перешла в контрн наступление против человека. Словно железным обручем, неумолимая стихия сжимает Манаус, и печальный, сонный город с его асфальтированными улицами, величественными зданиями, телефоном, электричеством как будто поддается, смирясь со своей судьбой.

В Манаусе есть прекрасные фонтаны, но в них нет воды, брусчатка городских бульваров выщерблена, а торчащие, как и во всех других городах Южной Америки, на крышах домов черные грифы урубу производят здесь особенно

неприятное впечатление.

В Манаусе есть и трамвай, линии которого, рассчитанные когда-то на бурный рост города, тянутся далеко за его предместья. Есть в нем и несколько современных кинотеатров.

Однажды во второй половине дня, пережив несколько чудесных минут с Гретой Гарбо[191] я, выйдя из кино, сел в трамвай и через пятнадцать минут оказался на конечной остановке, в девственном лесу среди лиан, орхидей, истлевших пней, одуряющих запахов и шального буйства природы. Увидев больших бабочек морфо, крылья которых отливают металлическим блеском, и обнаружив на дереве ящерицу легуану длиной почти в метр, я чувствую себя окончательно потрясенным. В течение каких-то двадцати минут Грета Гарбо на экране роскошного кинотеатра и легуана в глубине тропического девственного леса! Такое можно увидеть только в Манаусе, и такое не скоро забудешь.

Кстати сказать, на этой же самой конечной остановке какой-то добряк предложил мне купить у него живого удава боа длиной почти в три метра всего за два мильрейса — буквально за гроши.

Позднее, путешествуя по Амазонке, я встретился с несколькими кабокло, бывшими серингейро. Они приходят к нам на судно за новостями. Жалкие фигуры в лохмотьях — свидетельство того, каково жить в лесу. И еще деталь. Один из них горько жалуется на тяжелые времена, вот уже несколько месяцев он не может купить сальварсана[192]. Он не ищет сочувствия, нет, просто мельком касается этой темы в разговоре.

Люди эти охотно вспоминают о прошлом, которое рисуется им сейчас как какая-то чудесная сказка, рассказывают обо всем с такой же гордостью, с какой ветеран повествует о своем участии в исторической битве. С годами они забыли и о своем каторжном труде в лесу, и об обидах, которые они вытерпели от злых людей или, может быть, сами наносили другим. Они предаются упоительным воспоминаниям, а их глаза загораются лихорадочным блеском и светятся даже тогда, когда эти оборванцы покидают палубу и на юрких каноэ возвращаются в свои хижинки на сваях.

То, что другие народы и страны переживают в течение веков или, по крайней мере, жизни нескольких поколений, здесь, в девственном лесу над Амазонкой, было пережито за два десятилетия: ошеломительный взлет и головокружительное падение, фантастический разбег и мрачный финал.

Когда безумцы разожгли войну, которая у нас началась трагическим сентябрем, у людей с берегов Амазонки засветились глаза и сердца преисполнились надеждой — ведь война в Европе потребует огромных количеств каучука! К тому же через год японцы прибрали к рукам плантации каучука в Азии и Нидерландской Индии, те самые плантации, которые явились причиной всех бед, обрушившихся на жителей девственного леса. Но и это не помогло бразильскому каучуку. К тому времени у него появился еще один соперник, который окончательно погубил все надежды, — синтетический каучук.

И все-таки синтетический каучук так и не решил проблемы. Гевея, каучуковое дерево, по-прежнему сохранила свое значение. Английские плантации в Малайе, голландские в теперешней Индонезии и после войны оставались важнейшим фактором мировой экономики. Да и не только экономики. План-

таторы использовали в обращении с рабочими Юго-Восточной Азии те же методы, что лесные касики — с серингейро и индейцами. Индонезийцы поднялись против угнетателей, начав борьбу за социальное и национальное освобождение[193].

Во время путешествия по Амазонке я несколько раз имел возможность убедиться, что бразильский каучук еще не окончательно сошел со сцены. На стоянках нашего судна лесные жители предлагают наряду с разнообразными плодами, шкурками животных и бразильскими орехами большие черные комья каучука, которые ни с чем нельзя спутать.

Согласно статистическим данным, плантации на Востоке дают каучука почти в пятьдесят раз больше, чем бассейн Амазонки. Однако по качеству дикий каучук превосходит каучук, который получают на плантациях и на мировом рынке ценится дороже. Старый ветеран никак не соглашается признать себя ни на что не годным и по-прежнему приносит небольшой доход Бразилии.

Облавы на индейцев



В Манаусе на площади перед зданием оперы в тени манговых деревьев резвятся дети. Судя по тому как они одеты, родители их люди состоятельные. Два мальчугана лет десяти из-за чего-то повздорили. Раскипятившись, молокососы вступают в ожесточенный спор, бросают в лицо друг другу изощренные оскорбления, но хотя оба очень возбуждены, до драки дело не доходит. Наоборот, чем дольше длится перепалка, тем спокойней и сдержанней cedят они слова, которые должны сокрушить противника. Смотрю на этих забияк и не знаю чему больше поражаться — их умению владеть собой, словно настоящие дипломаты, или их необыкновенному красноречию. Оба эти качества — характерные черты многих бразильцев, независимо от цвета их кожи.

У одного из противников кожа очень смуглая; в нем несомненно, значительна примесь индейской крови. И вот он, выкладывая свой главный козырь, неожиданно восклицает, захлебываясь от возбуждения:

— Я... я... мои предки были маноа! А ты?

Предки другого не могли быть маноа, потому что он белый; ему нечего возразить, и он теряется. Остальные дети, с любопытством следившие за их словесной стычкой, тут же признают превосходство метиса.

Сцена эта, на которую я случайно обратил внимание, помогла мне подметить любопытную особенность общественных отношений на Амазонке. Несмотря на то что здесь, как и вообще в Бразилии, расовой дискриминации нет, все же то и дело приходится сталкиваться с фактами, свидетельствующими о привилегированном положении белых в обществе, особенно в распределении материальных благ. Местные богачи в подавляющем большинстве белые. И поэтому, если вопреки всему упоминание о маноа во время ссоры двух

мальчишек оказывает такое влияние на исход словесного поединка, стоит, пожалуй, добраться до сути и выяснить, почему эти маноа пользуются здесь таким исключительным авторитетом.

Индейцев этих давно уже нет, и только название Манаус, присвоенное городу в середине XIX века, напоминает, что когда-то они здесь жили. Известно, какое яростное сопротивление оказало это племя Орельяне и его спутникам, когда те попытались прорваться вверх по Риу-Негру. Неистовые маноа навели ужас как на соседние племена, так и на белых завоевателей, напрасно старавшихся поработить их.

Так продолжалось десятки лет, пока португальцы не изменили своего отношения к непокорному племени и, заключив с ним союз, не использовали его воинственность в своих низких целях.

Какие же это были цели? Дело в том, что вся Амазония — а по берегам Амазонки и ее бесчисленных притоков жило тогда свыше четырехсот племен — была для португальцев лишь огромным поставщиком рабочих рук, который мог снабжать — и снабжал — краснокожими невольниками плантации в Байе и Рио-де-Жанейро. Негры из Африки были, правда, лучшими работниками, но они дорого стоили; здесь же, в колонии, обитали многочисленные племена, неиссякаемый источник даровой рабочей силы.

В первые столетия хозяйничанья европейцев на Амазонке в книгу истории была вписана одна из самых постыдных страниц. Началось с варварских гигантских облав на людей, бесстыдного издевательства над тем, что так высокопарно называлось цивилизаторской миссией.

Договорившись с маноа, португальцы щедро вооружали их и посылали против соседних индейских племен, приказывая поменьше убивать и побольше приводить пленных. Этим последним белые торговцы покупали за гроши — с обычным для того времени ханжеством называя себя при этом гуманными людьми — и везли в лодках в низовья Амазонки. Чтобы торговля живым товаром не испытывала перебоев, португальцы построили близ устья Риу-Негру укрепленное поселение Барру. Когда в 1852 году это поселение — в ознаменование заслуг индейца маноа перед белыми колонизаторами — было переименовано в Манаус, самого племени маноа, бывшего в течение многих лет кошмаром своих соседей, уже не существовало; немногочисленные остатки его растворились среди бразильцев, чтобы спустя много лет напомнить о себе на площади перед зданием оперы в Манаусе столь необычным способом — исходом ссоры двух мальчишек.

Когда до городка Сан-Паулу-ди-Оливенса остается десять часов пути, мы останавливаемся у одной из многочисленных пристаней на Амазонке. Наш пароход берет здесь дрова для своей машины. И вдруг — неожиданная сенсация. Бразильцы, перуанцы, метисы, индейцы, немцы, итальянцы, венгерский еврей, поляк и даже кое-кто из команды судна — все бегут к борту, откуда открывается вид на реку.

Там появилось несколько стремительных пирог с индейцами, занятыми рыбной ловлей. В каждой из лодок двое: один стоит на носу с луком или острогой в руках другой гребет на корме.

Пассажиры следят за ними с откровенным любопытством, в выражении их лиц чувство превосходства сочетается с восхищением.

Индейцы почти нагие, лишь на шее и бедрах повязки из свободно свисающих волокон. Длинные цвета воронова крыла волосы спадают им на плечи, а спереди челка, подрезанная прямо над бровями, закрывает лоб. Что-то непередаваемо первобытное в облике этих индейцев поражает всех нас. Необычен не только их облик, но и поведение: проплывая рядом с бортом парохода, они поглощены своим делом и ни на миг не отрывают взгляда от поверхности воды. Парохода для них не существует. Мир людей, которые сейчас глазают на них, настолько чужд им, что они не достаивают его даже мимолетным вниманием.

Пассажиры теряются в догадках, к какому племен принадлежат эти индейцы. Одни утверждают, что это такуна, другие перечисляют еще какие-то названия, прочем это не столь уж важно. Меня поражает другое: четыреста лет господствуют здесь белые, сто лет снуют по этой реке пароходы, а цивилизация дала чахлые всходы лишь на узкой-узкой прерывистой полоске по берегам Амазонки. Как еще слабо и непрочно проникновение белого человека в девственный лес!

Не пароходы и не убогие селения, разбросанные по узким вырубкам на краю этого леса и отделенные друг от друга десятками километров дебрей, определяют здешние пейзажи, а, как и прежде, могучая и капризная река, непроходимые топи, тянущиеся на сотни километров, вездесущий и неодолимый лес. И эти полунагие «дикари», не соизволившие даже взглянуть на нас, принадлежащие каменному веку.

Они приплыли сюда по какому-нибудь притоку Амазонки, каких в лесу неисчислимо множество; живут они, вероятно, на одном из многочисленных речных островов, по которому, возможно, еще не ступала нога белого человека. Бразильцы на палубе, их соотечественники, смотрят на них как на пришельцев из другого мира. И тут возникает вопрос: кто же хозяева этого девственного леса — дикие индейцы на каноэ или «цивилизованные» бразильцы на палубе парохода?

Попугаи над Икитосом



Когда я высадился в Икитосе, первое, на что я обратил внимание, была стая шумливых попугаев, пролетающих прямо над крышами домов.

— Это, наверное, ручные попугаи? — спросил я, пораженный увиденным, у своего носильщика, миловидного смуглого паренька метиса.

Он посмотрел на меня как на сумасшедшего, но вежливо ответил:

— Это дикие попугаи.

— Почему же они так бесцеремонно летают над домами и откуда они взялись?

— Из леса.

— А куда летят?

— В лес.

Кратчайший путь из леса в лес — через город. А за наивные вопросы мне пришлось заплатить носильщику в три раза больше, чем полагалось. Зато я с самого начала узнал, что Икитос, главный город перуанского департамента Лорето, не внушает лесным попугаям, обычно таким пугливым, ни страха, ни уважения.

По пути в гостиницу мне пришлось ненадолго остановиться на главной улице. Чемодан я поставил на тротуар. Когда через минуту я взял его снова, по нему шныряло несколько десятков муравьев. Великолепные экземпляры солдат, настоящая гвардия. При виде их огромных челюстей, внушающих почтение, мое сердце естествоиспытателя начинает взволнованно биться.

— Черт побери! — вырывается у меня, когда несколько этих «гвардейцев», взобравшись по моим ногам и рукам, принимают за меня всерьез.

— Это куруинчи! — с невозмутимым спокойствием поясняет носильщик и идет дальше; на такие мелочи не стоит обращать внимания.

Итак, не прошло и десяти минут, как я получил возможность познакомиться еще с одной особенностью Икитоса — с муравьями.

О тропических лесах Южной Америки говорят, что там под каждым цветком сидит по крайней мере одно насекомое, под каждым листом — один муравей.

Однако здесь, в Икитосе, природа щедрее: на каждого жителя города приходится по крайней мере сто тысяч муравьев. Они всюду — в центре города и на его окраинах, в деревянных и каменных домах, на столах и в шкафах, в сундуках и постелях. Они не испытывают почтения ни к высшим властям, ни к дому досточтимого префекта департамента Лорето и даже докучают — вот наглость-то! — самому консулу его величества короля Великобритании!

(Пока я пишу эти строки, три подвижных муравья появляются на листе бумаги, по которому я вожу пером, и начинают бегать наперегонки. Я придавливаю их к бумаге, решив послать в качестве сувенира в Польшу. В этот момент

какой-то их сородич больно кусает меня в икру. А, черт бы побрал этих нахалов!)

Икитосские муравьи — самые наглые грабители, каких только можно представить. Они проникают повсюду: воруют хлеб прямо из-под рук, очищают кладовые. Неделю назад они за одну ночь опустошили у моих знакомых целый мешок кукурузы — до единого зернышка! — и упрятали добычу в своих подземных муравейниках и катакомбах, на которых, собственно, и расположен город.

Икитос считается самым здоровым местом в бассейне Амазонки, и такой божьей напасти, как тиф или холера, здесь не бывает — пожалуй, благодаря именно этим миллионам муравьев, съедающих все остатки и очищающих город наравне с грифами урубубу, которых городские власти называют санитарной полицией. Муравьи, правда, этого звания пока еще не удостоились.

Если не считать неприятного знакомства с икитосскими муравьями в день приезда, то за все время моего пребывания в этом городе они испортили мне настроение лишь один раз: однажды ночью моя кровать подверглась нашествию полчища небольших, но чрезвычайно воинственных муравьев, спасаясь от которых я соскочил с постели с легкостью серны или балерины. Это какие-то новые, неизвестные мне злодеи, а не те муравьи сауба, которые крадут кукурузу или другие продукты. Покружив минут пятнадцать в необычайном возбуждении по стенам и полу моей комнаты, они исчезли в щелях, и, к счастью, навсегда.

Но так только в центре города; в предместьях же и на изреженной опушке леса какая-то муравьиная оргия, какой-то ад! Охотясь там за птицами или гонясь за бабочками, я должен как огня остерегаться, чтобы не встряхнуть какую-нибудь ветку над собой. Буквально как огня, потому что кусты кишат тысячами красных муравьев, называемых тут *hogmiga de fuego* — огненными муравьями. Они падают на человека сверху и кусают так, что хочется кричать от боли.

Кое-где в бассейне Амазонки эти огненные дьяволы являются сущим бичом, зачастую вынуждающим жителей целых районов к бегству. Например, процветавший некогда городок Авейрос на берегу Тапажоса в середине XIX века перестал существовать после нашествия красных муравьев. Когда позднее жители города несколько раз предпринимали попытки поселиться там снова, муравьи все еще владели местностью и хозяйничали в домах. Город, окончательно покинутый людьми, вскоре превратился в груды развалин, которые поглотил лес.

Как и во всех перуанских городах, в Икитосе есть своя Пласа де Армас (Оружейная площадь). Люди здесь часто задают себе вопрос, почему она так называется — неужели только потому, что вечерами местные донжуаны завоевывают тут сердца красоток? На икитосской Пласа де Армас растут чудесные пальмы и огромные ананасы, а ее проезжая часть вымощена кирпичом — это единственная сносная мостовая в Икитосе.

По этой мостовой снуют вокруг площади десятка два автомобилей, все, что есть в городе. Колибри, больше похожие на сверкающие в солнечных лучах драгоценные камни, чем на птиц, вступают с автомобилями в состязание и, разумеется, выигрывают, после чего, радостно попискивая, улетают в чащу.

По вечерам на площади зажигаются дуговые лампы (в Икитосе есть электричество), и при их свете в душном воздухе бесшумно, как призраки, носятся над автомобилями и пешеходами огромные летучие мыши величиной с ястреба. Паккарды, вампиры, колибри и электричество в Икитосе прекрасно уживаются между собой.

Я живу в каменном доме (здесь это всегда подчеркивается) в семье своего симпатичного земляка Виктора. Однажды я обнаруживаю в углу своей комнаты какой-то кабель толщиной в два пальца, словно из прессованных опилок, идущий от пола к потолку. Из него доносятся таинственный шорох и приглушенный треск. Пробив в оболочке отверстие, я вижу, что это не «кабель», а ход термитов. Волосы у меня встают дыбом: ведь в этой комнате хранятся мои коллекции, идеальная пища для термитов. Я поднимаю тревогу, но хозяева успокаивают меня, уверяя, что термиты живут в доме около года и пока их не беспокоят. На чердаке они соорудили себе большое гнездо, а по этому каналу отправляются в далекие грабительские экспедиции по городу. Дом же, который дал им приют, они щадят.

Так вот я и живу по соседству с этими опасными насекомыми. Ночью прислушиваюсь к их тревожному шелесту, а утром первым делом осматриваю багаж — цел ли? Цел. Однако у меня такое чувство, словно я сплю на бочке с динамитом; мне кажется, что в одну прекрасную ночь сто тысяч термитов набросятся на мои коллекции и сожрут их. Ложась спать, я невольно обращаюсь к таинственному божеству термитов, восседающему, по-видимому, в гнезде надо мной и ведающему маршрутами «налетчиков». Я упрашиваю его не устраивать со мной никаких глупых шуток.

Мой хороший знакомый в Икитосе дон Мигель Перейра — перуанец с гор. Четыре пятых своего времени он занят любовными делишками и какими-то темными аферами, остальное отдает политике, что выражается в основном в высокопарных излияниях.

Однажды, когда мы с ним стоим на Пласа де Армас (где же еще можно здесь стоять?), над нами с шумом пролетает стая попугаев. Дон Мигель, такой же большой патриот, как и политик, указывая на них, заявляет:

— Смотрите! Это перуанские попугаи, и даже они требуют: «Летисия!»... Летисия должна принадлежать нам! — торжественно восклицает он.

Перу и Колумбия как раз воюют между собой из-за Летисии. Когда я шутливо отвечаю ему, что, возможно, это колумбийские попугаи, потому что в их криках скорее можно услышать «Лорето» (перуанская провинция, на которую зарится Колумбия), дон Мигель не отвечает мне: рядом с нами в этот момент проходят две улыбающиеся черноокие красотки, которые сразу же поглощают все его внимание — попугаи, война и политика попросту перестают для него существовать.

Свежая партия человеческих голов



Чем дальше вверх по Амазонке, тем больше меняется состав населения. На реке и в селениях встречается все больше индейцев. Уже в Манаусе я вижу их значительно чаще, чем в Пара, а Икитос — это вообще город индейцев и метисов с незначительной, почти незаметной прослойкой белых. С индейцами сталкиваешься здесь повсюду: в порту, на таможне, в мастерских, на улице. Больше всего, разумеется, на улицах и площадях. Они шатаются там безо всякой цели, убивая время, охотно присаживаются где-нибудь в тени и часами судачат.

Я завтракаю в ресторанчике на одной из улиц, ведущих к пристани. Мимо открытых настежь дверей снуют прохожие; смуглые, различных оттенков бронзы и, как правило, красивые лица икитосцев приятны мне. А вот кофе, который пью, гораздо менее приятен. Своего кофе в Перу нет, и здесь пьют какую-то невкусную кисловатую бурду. С милыми бразильскими кофейнями, встречающимися буквально на каждом углу в Пара или Манаусе, и с божественным напитком, подаваемым там, пришлось распрощаться на границе в Табатинге.

— Буэнас диас, амиго! — прерывает мои размышления чей-то бодрый низкий голос.

Это дон Мигель Перейра, мой бравый амиго — друг, первый франт в Икитосе, кабальеро, жизнерадостный, как птица, и, как птица, беззаботный. Он хоть и не работает, но зарабатывает неплохо.

— Притаились в засаде, подстерегаете добычу? — бросает он мне шуточный вопрос и поглядывает оценивающим взглядом на проходящих мимо нас женщин. — Охотитесь за ланями?

Я приглашаю его присесть и угощаю пивом. Дело в том, что в этом районе Южной Америки самым благородным напитком считается пиво, которое ценится здесь гораздо больше, чем вино.

В жизни Икитоса — немало любопытного, а Перейра знает здесь всех и обо всем. Я спрашиваю его, какие новости.

— Ах, сеньор! — он хмурится и недовольно машет рукой. — Пожалуйста, не портьте мне настроение в такое чудесное утро! Лучше не спрашивайте!

— Дон Мигель! — настаиваю я, заинтригованный. — Ну скажите же, что случилось?

— Плохи дела! Хибаро забастовали!

— Кто? Хибаро?

— Ну да, хибаро! У них мало кто умирает, а охотиться за людьми эти сукины сыны больше не хотят! Проклятые язычники!

Хибаро (по-испански пишется *jibaros*) — это одно из самых отсталых индейских племен, которому до последнего времени удавалось устоять перед натис-

ком цивилизации. В труднодоступных дебрях в междуречье трех северных притоков верхней Амазонки — Сантьяго, Пастасы и Мороны — они ведут точно такой же образ жизни, как и четыреста лет назад, когда с ними впервые познакомились испанцы. Выражение «забастовали» в применении к ним и непонятное негодование моего «амиго» по этому поводу заставляют меня рассмеяться.

— Чем же они провинились? — спрашиваю я.

Но Перейра не спешит ответить, он напряженно о чем-то думает.

— Вы естествоиспытатель, не так ли?

— Верно.

— Вас интересуют изделия индейцев?

— Очень.

— Тогда подождите немного!

Он исчезает и спустя четверть часа, загадочно усмехаясь, появляется с каким-то предметом, завернутым в кусок полотна. Осторожно разворачивает его, озираясь по сторонам, чтобы не привлечь внимание когонибудь из наших соседей, и показывает мне высушенную человеческую голову. Хотя это, несомненно, голова взрослого индейца, что видно по пышным прядям длинных черных волос, величиной она примерно в два сложенных вместе кулака.

— Ну, как? Эти хибаро — мастера своего дела! — удовлетворенно шепчет Перейра.

Со дня моего приезда в Икитос я все время слышу о таких головах, однако до сих пор мне не представилась возможность увидеть их; поэтому сейчас я рассматриваю то, что принес Перейра, с понятным любопытством.

Веки и губы сшиты тонкими пальмовыми волокнами — вероятно, для того, чтобы дух убитого не смог отомстить победителю, — в остальных же чертах лица ничего не нарушено. Они столь же правильны, как и у живого человека, хотя голова и уменьшена втрое. Застывшее на лице выражение глубокой печали еще больше усиливает иллюзию: голова словно живая. Кто был этот индеец? Как он погиб?

— Он принадлежал к племени, живущему по соседству с хибаро, — объявляет мне Перейра. — И те и другие давно уже хотят помириться и жить в согласии, но мы этого не допускаем... Никто не умеет так здорово выделывать головы, как хибаро, но для этого им постоянно нужны свежие покойники...

Перейра начинает цинично хохотать:

— В мире на них большой спрос. Мы не успеваем удовлетворять все требования... Хибаро не должны сидеть сложа руки!

Мне приходилось уже немало читать и слышать о хибаро. Громкую славу себе они снискали еще тогда, когда оказали яростное сопротивление испанским конкистадорам, пытавшимся покорить их и поработить. Много крови испортили они испанцам.

Обычай носить в качестве трофея искусно высушенные головы убитых врагов существовал когда-то у многих племен, обитавших в бассейне Амазонки. Но затем большинство этих племен было истреблено или вымерло, обычай исчез; и только индейцы хибаро, живущие и поныне вдали от путей цивилизации и ведущие свой извечный образ жизни, по-прежнему владеют искусством препарировать головы.

Эта процедура совершается сразу же после смерти жертвы. Голову вымачи-

вают в густом отваре ядовитых растений, чтобы предохранить ее от поедания молью и другими насекомыми. Внутреннюю полость заполняют горячим песком и опилками, а в это время умелые руки придают лицу то выражение, какое было у жертвы при жизни. Горячий песок и опилки меняют несколько раз, кожа высыхает, и голова приобретает размеры двух кулаков, сложенных вместе. Тогда победитель зашивает рот и глаза своего «трофея» и подвешивает его за волосы к поясу.

— Вернее, подвешивал! — подчеркивает Перейра. — Сейчас уже этого не делают, потому что у голов теперь другое назначение: они изготавливаются для продажи...

— Сколько же вы за них берете? — спрашиваю я.

— Сколько дадут. Иногда двести долларов, случается — и триста.

— Почему так дорого? — удивляюсь я. — Неужели вам приходится так много платить хибаро?

Хибаро получают за них гроши, да и то не деньгами, а товаром. Платить приходится агентам, которые ведут с ними дела, потому что те рискуют своей головой. Не один из них погиб от рук дикарей.

— А выгодно ли заниматься этим хибаро? Ведь за гроши, как вы сказали, им приходится вести войны для того чтобы добыть головы?

— Ну, это уже наша забота — подогнать им побольше голов. Время от времени мы подстрекаем соседние племена отомстить за все обиды, которые те вынесли от хибаро, так что хибаро волей-неволей вынуждены воевать и... добывать для нас головы. И они добывают их, потому что мы даем им оружия немного больше, чем их соседям...

Постепенно я начинаю постигать детали этой кошмарной аферы. Препарированные человеческие головы считаются необычайной забавой, курьезом, щекочущим нервы пресыщенных снобов в далеких больших городах, — поэтому на них такой спрос. И вот, чтобы удовлетворить чьи-то извращенные капризы, здесь, на притоках Амазонки, предприимчивые дельцы стравливают друг с другом племена лесных индейцев и наживаются на их крови. Весьма своеобразное проявление цивилизаторской миссии!

— Кто же покупает эти головы?

— В основном американцы.

— Американцы?

— Si, senhor! Чикагский музей платит лучше всех, здесь есть даже представитель музея, доктор Бесслер...

— А там, в Америке, знают, каким образом вы добываете эти головы?

— Что за вопрос!

— Так знают или не знают?

— Разумеется, знают — это ни для кого не секрет... Вообще же вы можете спросить об этом доктора Бесслера.

Икитос небольшой городишко, здесь все друг друга знают. На следующий день, проходя по улице вместе с Перейрой, я познакомился с доктором Бесслером. Это на редкость интересный мужчина, всегда улыбающийся и необычайно обходительный; отношения между ним и доном Мигелем самые дружеские.

— Есть свежая партия! — приветствует его Перейра.

Бесслер, конечно, понимает, о чем речь, но, смущенный моим присутстви-

ем, явно предпочитает уклониться от разговора на эту тему.

— Меня это уже не интересует! — растерянно отмахивается он. — Мне уже не нужно, я больше не буду брать...

Однажды утром Перейра пригласил меня к себе, чтобы показать свой товар, «свежую партию», как он выразился. В одном из помещений его квартиры стоит сундук; когда хозяин приподнял крышку, я увидел там больше двух десятков человеческих голов, стоящих на дне в несколько рядов. Пышные пряди черных волос заполнили полсундука.

При виде этой кошмарной коллекции у меня начинается головокружение. Немного нужно воображения, чтобы представить себе, сколько заключено в ней человеческого горя. Дон Мигель, однако, бросает на содержимое сундука восторженные взгляды, словно лаская каждую голову, и, когда я замечаю это, меня охватывает ужас.

На одной из голов волосы короче; внимательно взглядевшись, я обнаруживаю, что кожа на ней светлее. Эта голова принадлежала не индейцу!

— Сеньор поражен, не так ли? — спрашивает меня довольный хозяин.

— Кто это?

— Мартинес, один из моих агентов, — отвечает Мигель. — По-видимому, этот Мартинес чем-то досадил хибаро, потому что, когда он возвращался от них по реке Пастасе, они устроили засаду и прикончили его, а голову позднее продали вместе с другими...

— И ее американцы тоже купят?

— Конечно, купят, почему бы и нет? Голова как голова. Ведь это такая сенсация! Они, пожалуй, неплохо за нее заплатят... Правда, из Штатов последние несколько недель что-то ни слуху ни духу. Ни доктор Бесслер, ни я не получаем никаких вестей оттуда...

— Наверное, такой товар трудно вывозить из Перу? Торговля им строго запрещена?

— А, что там! Запрещена, конечно, но это все пустяки. Доллар, всемогущий чародей, плевал на все запреты и границы...

Плевать-то плевал, однако я замечаю, что Перейра с каждым днем выглядит все более озабоченным. Что-то терзает его, временами он впадает в черную меланхолию либо же, наоборот, становится раздражительным. Причины его беспокойства понятны: он всадил в эту «коллекцию», в эту «свежую партию», все свои наличные, и надеялся, что сразу же с выгодой сбудет этот товар с рук, как это бывало до сих пор. Но случилось так, что неожиданно, словно по мановению волшебной палочки, перестали поступать заказы, клиенты из Штатов будто воды в рот набрали и не выполняют соглашений.

— С ума можно сойти! — стонет Перейра.

— А может... — осторожно поддеваю его, — может, там, в Штатах, в конце концов спохватились, поняли скандальную аморальность этой затеи...

— Не понимаю, что вы имеете в виду.

— Но, дон Мигель, вдумайтесь же во все это! В середине XX века спокойно приказывать первобытным племенам истреблять друг друга для того, чтобы зарабатывать на этом доллары и ублажать чьи-то идиотские причуды — разве это не верх цинизма? По-видимому, в Штатах раскусили эту грязную аферу, в ваших клиентах заговорила совесть, и они решили умыть руки...

Перейра очень любит доллары, но, как и все латиноамериканцы, не выно-

сит янки. Он вскакивает, словно его ужалила пчела.

— Заговорила совесть? — иронически фыркает он. — Чепуха!

У Перейры плохое настроение. Мы завтракаем с ним сегодня в том же ресторанчике близ пристани. Ни ясное небо, изумительно голубое в эту пору дня, ни приятная прохлада, веющая от реки, ни сочная зелень деревьев на противоположной стороне улицы, усыпанных розовыми цветами, ни снующие по тротуару прелестные сеньориты — ничто сейчас дона Мигеля не интересует. Его не интересует и то, из-за каких дурацких причин прервалась торговля головами. Достаточно того, что она прервалась. Для Перейры это тяжелый удар. Он разорен. Его красивые черные глаза полны печали. Я замечаю, что этот франт уже два дня не бреется.

Спустя три или четыре дня я встречаю его на улице. Он направляется в скобяную лавку. Его глаза искрятся радостью, на свежесбритом лице играет широкая улыбка.

— Что произошло? — кричу я, изумленный.

— Победа, — радостно восклицает он. — Все сбыл, всю партию!

— Голов? — спрашиваю его тихо.

— Голов.

Он хватает меня за рукав и показывает в сторону Амазонки. Там, вдалеке, около лесопилки в Нанди, стоит на якоре большой пароход.

— Наконец-то я его дождался! — удовлетворенно заявляет Перейра.

— Черт побери, кого? Парохода?

— Ну да, парохода. Американский. Грузит доски на лесопилке. Матросы скупили у меня все головы!..

Но его радость вызвана не только этим. Дон Мигель вытаскивает из кармана свернутый трубочкой лист бумаги.

— Как из рога изобилия! — ликует он. — Вот что я еще получил! Читайте!

Телеграмма из Чикаго. «Заказываю тридцать орхидей точка оплата как обычно Смит».

— Понимаете, орхидеи, — доверительно подмигивает мне Перейра. — Это те, с пучками длинных черных волос...

— Заказывает целых тридцать штук?

— Si, senhor, тридцать! — отвечает он с гордостью. — Поработать придется немало.

Дон Мигель продал американским матросам весь свой запас голов, всю свою «свежую партию», и сейчас идет в скобяную лавку, чтобы купить за наличные десять пистонных ружей, заряжающихся по старинке с дула. В Европе их изготавливают специально для лесных индейцев.

— На берегах Пастасы, — радостно заявляет Перейра, — скоро начнется война!

Договорившись о покупке ружей, бравый кабальеро отправляется сзывать своих агентов на «военный совет».

Икитос



Еще каких-нибудь сто лет назад вблизи того места, где в Амазонку впадает река Итайя, в глухой чаще стояли шалаши индейцев икитос. Около 1860 года здесь появились миссионеры, которые принялись обращать язычников в христианскую веру и насаждать среди них цивилизацию. По следам миссионеров сюда потянулись многочисленные авантюристы, которые принялись убивать язычников и насилловать язычниц. Вскоре тут возникло селение, названное «в честь» истребленных индейцев Икитос.

Благодаря своему удобному положению на Амазонке — всего лишь в одном дне пути ниже устья большой реки Укаяли — Икитос быстро рос. Годы, когда цены на каучук все время повышались, были для города периодом расцвета и обогащения. Но затем Икитос, так же как его собрат в Бразилии — Манаус, стал постепенно приходить в упадок.

Однако, хотя сегодня дикие попугаи пролетают над Икитосом с той же бесцеремонностью, как и во времена, когда здесь были раскинуты шалаши несчастных икитос, нынешнее значение города не следует приуменьшать. В экономическом отношении Икитос — единственное место, где находит выход продукция, вырабатываемая во всем восточном Перу с его огромными площадями ценных лесов, большими, чем территория Польши. В политическом же отношении это мощный форпост Перу, противостоящий трем его соседям: Колумбии, Бразилии и Эквадору.

Европейцу может показаться совершенно невероятным, что Икитос, этот оживленный город с двадцатью тысячами жителей, центр обширного департамента, не связан с другими областями страны ни одной шоссейной дорогой. Если вы попытаетесь углубиться в лес, подступающий прямо к городу, вам вскоре придется остановиться: дорожка или тропинка обрывается сразу же за крайними домами предместья, и дальше нельзя сделать ни шагу. В непролазных дебрях человек неминуемо погибнет от голода или завязнет в трясине, а во время дождей — утонет в лесном омуте.

Икитос — это только порт, и ничего больше, причем порт перворазрядный, можно сказать, даже морской, хотя он и удален от океана почти на четыре с половиной тысячи километров. В 1930 году накануне мирового кризиса по Амазонке до Икитоса регулярно ходили большие трансатлантические суда.

Когда полиция в Икитосе разыскивает преступника (что, кстати, случается очень редко), она устанавливает дежурства своих агентов только в порту, зная, что лишь оттуда он может пытаться бежать. Бегство в лес было бы просто самоубийством.

Река определяет жизнь этого города. Все помыслы человека прикованы здесь к Амазонке: по ней приходят сюда вести из большого мира, по ней завозят продовольствие и все необходимые товары, без нее существование Икито-

са было бы невозможно. Я уже говорил, что Икитос — это сердце огромной территории, превосходящей размерами Польшу; но, говоря о жизни этого края, надо иметь в виду не всю Ла-Монтанью, а только покрывающую ее разветвленную сеть водных путей. Реки, большие и малые, являются жизненными артериями края, и только на их берегах здесь живут люди. Пространство же между реками покрыто сплошными массивами леса, беспорядочно и хищнически эксплуатируемого.

На высоком икитосском берегу, называемом Малеконем, стоят над Амазонкой, глядясь в ее воды, здания крупных иностранных торговых фирм. Правда, все они одноэтажные, и вообще их не больше двух десятков, однако именно они подлинны хозяева Ла-Монтаньи. Здесь представлены Англия, Франция, Бельгия, Испания, Соединенные Штаты. Здесь торгуют всем. Ввозят дешевые безделушки и империалистические методы грабежа, вывозят золото, хлопок, каучук, ценную древесину и кокаин. Малекон — это международный капитал, это иностранные консулы, это так называемые сливки общества, это жесткие условия, это решения, которые имеют серьезные последствия, это пушки и угрозы.

Незначительная прослойка белого коренного населения, с гордостью именующая себя истинными перуанцами, состоит из немногочисленной интеллигенции, более многочисленных дельцов вроде моего Мигеля Перейры и еще большего количества государственных чиновников, служащих во всевозможных — и невозможных — учреждениях. Икитосцы — люди необычайно вежливые, отличающиеся безукоризненными манерами, и, как правило, красивые. Когда в воскресенье утром толпа выходит из кафедрального собора — сколько в ней прекрасных женщин и интересных мужчин!

Увы, когда я ближе знакоюсь с здешней жизнью, то обнаруживаю поразительный факт: перуанцы, собственно, не являются хозяевами своей страны; они, если можно так выразиться, всего лишь ее привратники: впускают в свою страну иностранный капитал и получают за это чаевые, за которые грызутся друг с другом. А иностранцы, представляющие иностранный же капитал, вывозят из страны ее богатства и за это снова швыряют перуанцам подачки.

Десять десятых населения Икитоса — метисы, или, как их здесь называют, чоло, родившиеся от браков индейцев с белыми; в них преобладает индейская кровь. Сложены они неплохо, кожа у них приятного каштанового цвета; зато уровень их развития чрезвычайно низок. Причина такой отсталости заключается отнюдь не в пагубном влиянии жаркого климата — пришлые дельцы проявляют здесь весьма большую активность. Просто икитосские чоло — жертва господствующих здесь поистине колониальных отношений: для столичных властей Икитос — это проклятый город, затерявшийся среди непроходимого леса в далеком захолустье, что-то вроде места ссылки; для иностранных капиталов — это такое место, где можно нагреть руки, где применимы любые методы эксплуатации. Равнодушие одних и алчность других сжимают народ в тисках, душат его, как кошмар, не оставляют ему никакого проблеска надежды. Народ здесь сознательно держат в темноте и невежестве.

Вдоль нижнего течения Амазонки, там, где она катит свои воды по территории Бразилии, интересы рабочих защищают профессиональные союзы. Особенно это относится к крупному порту Пара. Но здесь, у перуанских подножий

Анд, живительные прогрессивные веяния пока только зарождаются.

Икитос лежит почти на экваторе, и там всегда очень жарко. Лишь вечером становится немного прохладнее. Тогда я отправляюсь на берег Амазонки, заставляю себя забыть всех Перейр, консулов и чоло и наблюдаю за резвящимися среди волн дельфинами — этими великолепными созданиями. Я все больше поддаюсь очарованию огромной реки, над которой проносится сейчас свежий вечерний ветерок, напоенный благоуханием далеких орхидей.

Англичане в Икитосе



Их трое — Мэсси, Шарп и О’Коннор.

Мистер Дж. В. Мэсси — британский консул в Икитосе. Кроме того, он некоронированный король восточного Перу, первое лицо на Мараньоне.

Англичанам удалось создать на Амазонке такое соотношение сил, что в течение многих лет они были здесь хозяевами положения. Например, такой гигант, как «Норддойтчер Ллойд», не выдержал их конкуренции и был вынужден убраться с реки. Англичане также сдерживают здесь — вернее, сдерживали до сих пор — и динамичный американский капитал, которому пришлось удовлетвориться лишь некоторыми отраслями экономики.

Бесцеремонно, с вызывающей наглостью ведет себя здесь иностранный капитал. Когда он обосновывался в Польше, Румынии или Чехословакии[194], он старался делать это незаметно, предусмотрительно прикрываясь местной вывеской. Здесь он держит себя иначе, заявляет о себе без обиняков, словно Перу или Бразилия — это какие-нибудь колонии. Повсюду бросаются в глаза высокомерные надписи: «The Para Electric Railways and Lighting Company» или что-нибудь в этом роде; порты называются по-английски: Port of Para, Manaus Harbour, а бразильцы и перуанцы ездят по Амазонке на пароходах, принадлежащих «The Amazon River Steam Navigation Company». Очевидно, иностранный капитал уверенно сидит здесь в седле, раз он отваживается на такие открытые демонстрации, ущемляющие национальную гордость местного населения.

Консул Мэсси — всего лишь руководитель филиала «Бус Лайн» в Икитосе, не больше. «Бус Лайн» — это та пароводная компания, которая обслуживает связи Европы с Амазонкой и суда которой ходят в Пара и Манаус. У компании монополия только на эту линию; ее пароходы не поднимаются выше Манауса и не доходят до Икитоса. В Икитос ходят суда другой компании — «River Steam Navigation Company», которая формально принадлежит бразильскому правительству и экипажи пароходов которой действительно укомплектованы одними бразильцами. Но — о чудо! — в Икитосе билеты на пароходы «Amazon River» продает не бразильский консул, а английский, мистер Мэсси, который командует на реке всем по собственному усмотрению: например, он велит

бедным полякам из ликвидируемой колонии в Кумарии ехать в первом классе, а не в значительно более дешевом третьем.

Очевидно, этого требуют государственные интересы Англии.

Отец консула тоже был служащий «Бус Лайн». Посылая своего сына в контору, он знал, что дает компании человека, обладающего двумя выдающимися качествами, свойственными исключительно англичанам: добросовестностью и фанатической преданностью английским интересам. Эти достоинства помогли молодому Мэсси выдвинуться. Поэтому, когда он превратился в двухметрового верзилу с тяжелой челюстью и внушительным животом, решительного, упрямого и надменного (качества, характерные для многих англичан), дирекция «Бус Лайн» решила, что ему можно поручить ответственную должность, и послала его в Икитос.

Мэсси — настоящий англичанин, энергичный и высокомерный. Разумеется, он считает англичан первой нацией в мире. Он получает самое большое жалованье в Икитосе и придерживается самого худшего среди всех жителей этого города мнения о Южной Америке. Восемь месяцев в году он трудится в знойной Амазонке, остальное время проводит в Англии. Прожив здесь немало лет, он так и не научился как следует говорить по-испански, но все здесь прекрасно его понимают и очень охотно слушают. Сам он считает, что ему достаточно и английского. Когда мистер Мэсси стоит в икитосском порту и следит за отплывающим пароходом линии «Amazon River» (принадлежащим вроде бы бразильцам), то все знают, что это стоит хозяин великой реки на всем ее протяжении — от Икитоса до самого устья.

Мистер Шарп, второй англичанин, был в свое время банковским служащим в Боготе. Однажды он получил от своего лондонского начальства приказ отправиться в Икитос и спасти там от краха заколебавшуюся фирму «Израэль». Мистер Шарп прибыл в Икитос, осуществил при помощи английского капитала оздоровление «Израэля» и остался там постоянно руководить фирмой.

А что такое «Израэль»? Это основной плацдарм английского капитала в Ла-Монтанье, это экспорт и импорт в широких масштабах, это несколько пароходов, обслуживающих все реки выше Икитоса — до самых подножий Кордильер: Укаяли с ее притоком Пачитеа и Мараньон с Уальягой.

Мистер Шарп женился на прекрасной перуанке; так же как и Мэсси, он недоволен Икитосом и так же не научился правильно говорить по-испански. Он вежлив, отзывчив и очень набожен: каждый день ходит в церковь. Мистер Шарп — не английский консул, но он друг консула. Они поделили власть. Мэсси властвует на Амазонке ниже Икитоса, Шарп — на реках выше Икитоса. Других дорог в этом краю нет.

У подножий Кордильер растут буйные леса и густые кустарники. Лесные жители собирают там какие-то листья, сушат их, растирают в порошок, упаковывают и отправляют в ближайшие порты. С пароходов «Израэля» ящики перегружают на пароходы «Амазон Ривер», с пароходов «Амазон Ривер» — на пароходы «Бус Лайн», пока в конце концов их не выгрузят в Ливерпуле. И тогда кокаинисты Европы радуются внезапному изобилию этого порошка. Но ни Мэсси, ни Шарп вроде бы ничего об этом не знают. Официально.

Третий только считается англичанином; на самом деле это ирландец Патрик О'Коннор. У него нет ни пароходов, ни денег. Что у него всегда есть, так

это желание напиться. Пьет он здорово и при этом иногда буйнит. Жители Икитоса любят его и когда находят утром лежащим без чувств на мостовой, то поднимают и заботливо доставляют домой. А любят этого ирландца и за то, что он не отказывается выпить, и за то, что он превосходно исполняет лирические песенки, и за то, что его окружает ореол романтичности.

Вот вехи его жизненного пути. Ему около пятидесяти лет, родился он на гibrалтарском утесе, отец его был английским военным врачом. Католический колледж, бегство оттуда. Среднюю школу окончил в Англии. Ссора с отцом, пять лет в Иностранном легионе. Париж, Сорбонна, философский факультет. Учился пению. Театр «Ла Скала» в Милане. Актер и певец итальянских и английских театров. Первая мировая война, окопы. Чин сержанта: не захотел стать офицером, потому что тогда он не смог бы пить столько, сколько хочется. После войны — глубинные районы Африки, коммерческие предприятия, желтая лихорадка, отпуск. Переводчик у Кука[195] в Лондоне. Сказочные полгода в Средиземном море на яхте богатого янки. Все, что зарабатывал, тотчас же пропивал. Индия, Сингапур, репортер в Лондоне, «гувернер» собачек какой-то престарелой леди. Путешествие на паруснике к берегам Аляски вокруг мыса Горн в должности штурмана. В конце концов судьба забросила О'Коннора в глубь южноамериканского материка: он поселился в Икитосе.

Кроме английского он прекрасно владеет испанским, французским и итальянским языками, несколькими африканскими наречиями, а в жаркие беспокойные ночи бормочет что-то во сне по-берберийски. Напивается в стельку, но, когда отоспится, поражает своим живым умом и удивительной образованностью. Он знает массу всевозможных вещей, много читает, до тонкостей знаком с историей Южной Америки. В бытность мою в Икитосе О'Коннор зарабатывал себе на выпивку уроками английского языка или переводами на испанский специальных военных трудов; он вел бухгалтерские книги у китайских купцов, давал уроки фехтования перуанским офицерам и уроки бокса морякам. Понятно, что его обожают весь Икитос, и тем более понятно, что его не любит мистер Мэсси, английский консул.

Я знаколюсь со всеми тремя. Двое первых — Мэсси и Шарп — любезны со мной. Они считают меня джентльменом и оказывают мне содействие. Поэтому и перуанские власти не чинят мне никаких препятствий. Консул Мэсси продает мне билеты, когда я отправляюсь куда-нибудь по реке, а мистер Шарп улаживает мои денежные дела, когда я получаю переводы из Польши. С Патриком же О'Коннором, этим великолепным пьяницей, у меня завязывается сердечная дружба.

Мы с ним живем под одной крышей. О'Коннор — само воплощение отзывчивости. Он охотно исполняет все мои просьбы, переводит статьи, которые я пишу для здешних журналов, и проекты организации в Икитосе естественно-научного музея, которые я предлагаю перуанскому правительству, а также знакомит меня — он сведущ и в этом — с любопытным икитосским фольклором.



Однажды в субботний вечер мы отправились с ним в предместье Белем, где

в тростниковых хижинах на высоких сваях живут индейцы. Входим в какой-то дансинг, украшенный гирляндами из пальмовых листьев и битком набитый танцующими матросами и девушками. Душный воздух наполнен гомом, громкой музыкой, запахом пота; в зале атмосфера безудержного веселья. Матросы речной военной флотилии, зачинщики и участники всех драк и скандалов в Икитосе, держат своих девушек сильными узловатыми руками. О'Коннор подталкивает меня и спрашивает:

— Какая из девушек тебе больше всего нравится?

Есть такая, которая мне больше всего нравится, и я показываю на нее. Когда танец кончается, О'Коннор подходит к матросу, похлопывает его по плечу и что-то ему шепчет. Матрос возражает и вспыхивает; О'Коннор успокаивает его, сжимая его локоть и приводя какие-то веские аргументы. Минуту спустя оба направляются ко мне, ведя между собой девушку.

— Ты интересовался фольклором — вот он! — смеясь, заявляет О'Коннор. — Матрос уступает ее тебе на сегодня: танцуй с ней и целуй ее!

Консул Мэсси и мистер Шарп держат в своих руках Амазонку и ее притоки. В руке О'Коннора — локоть матроса, еще одного приятеля ирландца. О'Коннор пьет, а ночью, встретив позднюю парочку, поет влюбленным французскую песенку:

Pour un peu d'amour[196].

Есть в Икитосе американцы, евангелисты и адвентисты, которые пытаются обращать людей на путь истинный, редко смеются и совсем не пьют водки. Несмотря на такое богобоязненное поведение, они почему-то не пользуются здесь особым уважением.

Есть ирландец О'Коннор, который никого не обращает, пьет как лошадь и которого не любит мистер Мэсси, консул его величества английского короля. Его уважают все. Мистер Мэсси также уважаем в Икитосе; он преуспевает, но вряд ли это можно объяснить его личными заслугами.

Много шуму из-за Летисии



Дон Филипо Моррей — выдающийся перуанец. Когда-то он заработал на качучке миллионы и сумел их сохранить. Сегодня он самый богатый человек в Икитосе и, пожалуй, во всей перуанской Ла-Монтанье. За свою бурную жизнь дон Филипо наплодил немало детей; его потомство, рассеянное по всей верхней Амазонке, сведущие люди определяют в шестьсот душ. Это по существу влиятельное племя, гораздо более многочисленное, чем многие индейские племена; у его представителей самые различные оттенки кожи, но всех их объединяет гордость за такого замечательного предка.

Одну из своих законных дочерей дон Филипо Моррей выдал замуж за икитосского врача, доктора Александро Вигиля. На деньги, полученные в приданое, энергичный зять построил в небольшой рыбацкой деревушке на берегу Амазонки, неподалеку от перуанско-бразильской границы, лесопилку и сахароваренный заводик. Деревушка, в которой было всего десятка два жалких хижин из бамбука и сотни полторы жителей, называлась Летисия. Там жили также — о чудо! — несколько белых; дело в том, что в свое время англичане соорудили в Летисии радиостанцию, которая должна была обеспечивать связь между Атлантическим и Тихим океанами. Мысль основать здесь лесопилку и сахароварню оказалась недурной. Пила разделявала ежедневно четыре ствола махагони, два десятка индейцев давили сок из стеблей сахарного тростника. Дон Александро Вигиль стал понемногу богатеть и, идя по стопам своего знаменитого тестя, начал чаще думать о женщинах, как это и подобает уважающему себя гражданину Ла-Монтаньи.

Как известно, латиноамериканские страны навещают время от времени две напасти: одна — это воинственный зуд, связанный с желанием расширить свою территорию, вторая — отсутствие денег в казне. Если две соседние страны томятся одним и тем же желанием расширить свою территорию, начинается война. Если же жажда захватов мучает лишь одного соседа, а другой в это время страдает от недостатка средств, то может случиться то, что произошло в 1922 году между Колумбией и Перу и нашло свое отражение в так называемом Саломон-Лозаннском договоре. Колумбия получила от Перу огромный, но ничего не стоящий кусок пуши над рекой Путумайо и узкую болотистую полосу, протянувшуюся до самой Амазонки, за что обещала выплатить перуанскому правительству несколько миллионов долларов.

— *Esplendido*[197]! — кричали в Боготе возбужденные мальчишки. — Великая наша Колумбия теперь простирается от моря до самой Амазонки, где у нас есть крупный порт Летисия.

— *Esplendido!* — радовался в Лиме перуанский президент, открывая счет на свое имя в одном из нью-йоркских банков.

Не радовался только дон Александро Вигиль. Его лесопилка и сахароварня

в Летисии находились теперь в Колумбии и, зажатые между перуанской и бразильской границей, перестали приносить доход. Это ужасно огорчило Александро Вигиля. Он стал раздражительным и совершенно утратил интерес к лесопилкам, сахароварням и даже (на какое-то время) к женщинам.

Он предложил правительству Колумбии купить у него предприятия и землю. Правительство задумалось. Уступая национальному тщеславию, оно охотно расширило территорию страны и приобрело Летисию, но, однако, оно ясно сознавало, что эта жалкая рыбацкая деревушка, отделенная от собственно Колумбии непроходимыми лесами, не представляет почти никакой ценности и не стоит того, чтобы делать туда какие-либо вложения. Поэтому колумбийское правительство в конце концов отказалось. Тогда дон Александро Вигиль взорвался. Он созвал свою челядь и разоружил колумбийский гарнизон, насчитывавший всего десяток солдат. Затем крикнул ветру, пролетавшему над рекой, что он взбешен, и сделал несколько выстрелов в воздух. Это произошло в 1932 году.

Заурядное событие, часто случающееся на далеких границах латиноамериканских стран. Обычно такие местные конфликты через несколько недель улаживает сама жизнь. Но на этот раз дело произошло в Летисии, где как раз находился радист англичанин, изнывавший от безделья и скуки. Услышав выстрелы, он немедленно послал в эфир длинную телеграмму, в которой сообщал о бунте Вигиля.

Восстание в Летисии наэлектризовало Европу. «Грубое нарушение территориальных прав Колумбии!» — сообщалось миру на следующий день. «Война между Колумбией и Перу! Война!» — гремело в эфире на третий день.

Англичанин разошелся вовсю. Радио у него было свое, и, кроме того, он любил спорт. Он поднял на ноги Европу и Америку. Лишь кружным путем, через Соединенные Штаты, дошло до пребывающих в неведении правительств в Боте и Лиме известие о том, что между ними такой серьезный конфликт. Главы правительств растерянно покачивали головами.

Узнал об этом и доктор Вигиль, но этот не стал покачивать головой. Раззадоренный шумихой, он задрал нос. Недаром ведь его тесть был миллионером и имел около шестисот потомков.

Жителей перуанской Амазонки охватил воинственный зуд; началось формирование отрядов добровольцев для войны с Колумбией. Оба правительства постепенно смирились с мыслью, что война неизбежна; стали вспоминать все старые распри.

На пограничной реке Путумайо отряды перуанских и колумбийских солдат безуспешно разыскивали друг друга. Попробуйте найти противника в такой густой чаще! Но люди все равно гибли как мухи — от различных болезней, главным образом от бери-бери, так как не хватало витаминов. Но до стычек никак не доходило, и лишь спустя несколько недель первый перуанский солдат пал от неприятельской пули. После этого на фронте военных действий наступило затишье.

Своими телеграммами англичанин из Летисии заварил такую кашу, что в серьезность конфликта поверили не только в Европе, но и в обеих странах, интересы которых были при этом затронуты, — Перу и Колумбии. Они просили Лигу наций в Женеве уладить дело. Оттуда в Летисию была послана международная комиссия. В самой Женеве работа тоже закипела. Множество заседа-

ний, продолжительные дискуссии, комиссии и подкомиссии, целые тома протоколов, усилия самых крупных политических умов — все было напрасно. Кусок болотистой земли над Путумайо оказался слишком твердым орешком. После двадцати месяцев упорных дебатов Лига наций заявила, что она не в состоянии решить вопрос о жалкой рыбацкой деревушке на Амазонке.

С запада Перу омывается Тихим океаном, на котором оно владеет несколькими десятками островов и островков. На этих островах обитает бесчисленное множество морских птиц; они опоражнивают свои желудки прямо на скалы, создавая гуано, природное богатство Перу.

В свое время гуано заинтересовалась Япония: ей требовалось много удобрений. Она платила за них наличными, и платила хорошо. Однако вскоре оказалось, что она проявляет интерес не только к гуано, но и к скалам под ним.

В начале 1933 года Япония предложила правительству Перу заключить секретное соглашение. Она хотела получить в аренду один из островов, где собиралась организовать торговую базу, и предлагала взамен столько военного снаряжения и кредитов, что Перу могло бы с легкостью разгромить всех своих соседей. Перуанскому правительству это предложение пришлось по вкусу.

Однако о проекте «секретного соглашения» тут же стало известно в Белом доме, где понимали, чем пахнет существование японской базы на американском континенте, недалеко от Панамы. Тотчас же в Колумбию потекли американские доллары, полетели самолеты со специальным персоналом и всевозможное вооружение. Следовало быстро и любой ценой помешать осуществлению планов Перу; решающую роль в этом должна была сыграть Колумбия.

Одновременно, почувствовав, что пахнет жареным, предложил свои услуги дяде Сэму и Эквадор: у него нашлась уйма несведенных счетов с Перу. Щедрый американский дядюшка отвалил оружия и Эквадору, выговорив себе за это новые концессии на его территории. Так стержень конфликта был перенесен из болот Летисии на скалы Тихого океана.

Неожиданно ситуация стала очень напряженной; над Южной Америкой за клубились тучи, готовые разразиться грозой. Дело переросло рамки конфликта между Перу и Колумбией.

В начале 1934 года пушки, доставленные из Японии, были уже на Амазонке, и перуанские солдаты близ Икитоса обстреливали плывущие по широкой реке мишени. Мы наблюдали за этими приготовлениями и понимали, что, если японские пушки дойдут до Путумайо, может легко вспыхнуть пожар, который охватит все берега Тихого океана.

Тем временем в Женеве все еще бились над разрешением вопроса о Летисии и ломали головы над тем, как выкарабкаться из этой каши и кого признать правым.

Японские пушки, однако, так и не дошли до берегов Путумайо. Пожару не дали вспыхнуть. Правда, для этого Лондону, Вашингтону и Токио пришлось обменяться весьма резкими и решительными словами. Япония уступила и отказалась от своих планов в Перу. Гуано ее уже не интересовало. Ее больше интересовала Маньчжурия.

И вот однажды перуанскому правительству сообщили из Токио, что кредитов больше не будет. Затем, две недели спустя, изумленной и возмущенной Лиге наций было сообщено, что больше мудрствовать не стоит: конфликта

уже нет. В Рио-де-Жанейро представитель Перу подал представителю Колумбии руку в знак примирения, и обе страны пообещали друг другу вечную дружбу. Спорный вопрос был решен необычайно просто. Летисия досталась Колумбии, которая обязалась выплатить перуанскому правительству какое-то вознаграждение. Доктор Вигиль утешился надеждой, что за его лесопилку и сахароварню ему тоже кое-что перепадет.

Когда телеграф разнес радостную весть о заключенном в Рио мире, я как раз находился в Икитосе. На одной из улиц я встретил Александро Вигиля. Он вышагивал, как павлин, гордость распирала его грудь. Еще бы: когда Колумбия с ним не посчиталась, за него вступились мировые державы. И, шагая по мостовой, дон Александро с удовлетворением смотрел в будущее и с вожделем — на проходящих мимо женщин.

Американцы



Среди американцев, которых я знаю, доктор Гарвей Бесслер составляет приятное исключение: ему совсем не присуща свойственная им развязность, он говорит спокойным голосом и далек от того, чтобы класть ноги на стол — даже в переносном смысле. Ученый — геолог и этнолог, — он обладает обширными познаниями во всех естественных науках и при этом на редкость человечен, отзывчив, обаятелен и деликатен. Почти все перуанцы восхищаются этим безукоризненным кабальеро, представляющим собой тип идеального джентльмена. То, что этот ученый очень богат и в то же время исключительно прост в обхождении, то, что в его огромном доме в Икитосе хранится этнографическая коллекция, которой мог бы позавидовать Британский музей, то, что он обладает одним из самых крупных в мире собраний научных книг о Южной Америке (более тридцати тысяч томов!) — все это придает ему в глазах перуанцев неизъяснимое очарование.

Доктор Бесслер живет в Перу уже много лет. За это время он организовал большое количество дорогостоящих экспедиций и побывал во всех уголках Ла-Монтаньи: нет ни одного индейского племени, с жизнью которого он не познакомился и которое не описал в своих обстоятельных записках. На основе этих исчерпывающих источников исследователи — Гюнтер Тессман и другие — публикуют превосходные, высоко ценимые в научных кругах труды об индейцах северо-восточного Перу. И однако доктор Бесслер, этот неутомимый естествоиспытатель, забирается в самые дикие углы Ла-Монтаньи не только для того, чтобы выяснить, какие племена сплющивают головы детям, а какие — нет; дело в том, что он еще и опытный геолог, которого интересуют... залежи нефти. И вот, в то время как в университетах всего мира восхищаются результатами его этнологических исследований, в «Стандард ойл компани» поступают от него подробные отчеты, не предназначенные для оглашения, а подчас и строго секретные.

Экономический шпионаж? Фи, к чему эти неприятные слова! Доктор Бесслер вовсе не скрывает своей деятельности, он все делает с ведома и согласия перуанских властей. Правда, он не обо всем ставит их в известность. Власти надеются, что, когда «Стандард ойл» захочет добывать в этой части Перу нефть, она обратится к ним и заплатит за концессию. Они стараются облегчить доктору Бесслеру его геологические изыскания, так как верят, что могучая компания принесет в страну процветание и даст кое-кому возможность хорошо нагреть руки. Они тем охотней верят в это, видя, какой чарующий человек представитель компании и как щедро он сыплет вокруг себя доллары. Меня уверяли, что из его рук на перуанцев уже пролился золотой дождь на сумму двенадцать миллионов долларов.

В 1931 году на нефтяных полях «Стандард ойл компани» в других областях Перу загремели выстрелы. Забастовали рабочие, требуя повышения заработной платы, которой едва хватало, чтобы не умереть с голоду. Власти, возмущенные такой бестактностью по отношению к почтенной компании, решили не щадить «бунтовщиков». Сто шестьдесят человек было убито, несколько сот ранено. Хотя это случилось далеко от Икитоса, доктор Бесслер решительно выразил свое сожаление и осудил кровопролитие. Этот гуманный поступок американца привлек к нему множество сердец на Амазонке.

Только один человек в Икитосе смотрел на милого доктора Бесслера косо — английский консул Мэсси. Известно, что американские компании щедрее, чем английские, тратят деньги на подкупы и взятки; мир уже привык к этому. Но того, что какой-то янки побивает англичан и своим личным обаянием, консул Мэсси не может вынести.

Консулу вспоминается война между Боливией и Парагваем за Гран-Чако, которая длилась с 1932 по 1938 год. По существу это была война между американской компанией «Стандард ойл», которой принадлежала концессия на нефтяные поля в Боливии, и английской «Роял Датч Шелл», озабоченной тем, чтобы Парагвай не пропускал через свою территорию нефть конкурентов на мировой рынок. Но вывозить нефть можно было только таким путем, поэтому Боливии пришлось начать войну. Защищая интересы нефтяных концернов, погибли семьдесят тысяч боливийцев и пятьдесят тысяч парагвайцев, но все-таки, с удовлетворением отмечает консул Мэсси, «Стандард ойл» своего не добила...

Обаятельный доктор Бесслер составляет исключение. Другие американцы в Икитосе менее приятны — это самые хищные акулы в Ла-Монтанье. Их главный оплот — фирма «Астория», держащая в своих руках монополию на экспорт махагони; ей принадлежит большая лесопильня в Нанае, рядом с Икитосом. Несколько раз в год туда приходят из Соединенных Штатов специальные суда, которые грузят этот ценный продукт и увозят его в Нью-Йорк.

«Астория» лишь скупает махагониевое дерево, стволы которого, связанные в плоты, сплавляются в Икитос с верховий притоков Амазонки. Она самовластно устанавливает цены, постоянно допуская чудовищные злоупотребления.

В настоящее время махагониевое дерево — основной продукт лесов Ла-Монтаньи, так же как в начале века таковым был каучук. Добыча махагони — чрезвычайно трудное дело: люди, которые занимаются этим, должны быть

смелыми и иметь крепкие нервы, сильные мускулы, железное здоровье. Леса, примыкающие к крупнейшим рекам, давно уже разработаны, и поэтому за махагониевым деревом приходится отправляться в глубь чащи. А чтобы вывезти оттуда стволы, нужно обеспечить себе дешевую рабочую силу (индейцев) и обречь себя на множество опасностей.

Ни один торговец не купит дерева в лесу. Лесоруб должен, дождавшись подъема воды, сам сплавить плот в Икитос, до которого, как правило, тысяча или даже две тысячи километров. В пути его подстерегают капризы коварной реки, водовороты, затонувшие стволы деревьев, неожиданные заторы. И только совершив это тяжкое путешествие и добравшись до Икитоса, он сможет узнать, стоило ли ему браться за этот изнурительный труд. Пользуясь обстоятельствами, агенты «Астории» часто предлагают за махагониевое дерево такие до смешного низкие цены, что для лесоруба это является просто разорением. Все зависит от предложения: когда — как это часто бывает — появляется много плотов одновременно, «Астория» становится полновластной хозяйкой положения. Не объединенным в профсоюзы лесорубам остается только стиснуть зубы и принять предложенные им условия.

Вот и сейчас Тадеуш Виктор, мой гостеприимный хозяин, вернувшись из города, рассказывает, что на берегу Амазонки произошел большой скандал. У Малекона, чуть ниже порта, накануне вечером пристал к берегу большой плот, приплывший сюда с Укаяли. Спор возник из-за издевательски низкой цены, предложенной агентами фирмы за большие первосортные стволы; агенты утверждали, что эти махагоны низшего сорта. Владелец плота в отчаянии; но он и не помышляет согласиться на грабительские условия.

— Но ведь в конце концов он сдастся, — говорю я.

— Пожалуй, сдастся, — соглашается Виктор, — ведь у него нет другого выхода. До Манауса, следующего порта на Амазонке, где можно продать лес, — две с половиной тысячи километров; кроме того, это уже граница. Не поведет же он плот туда... Но пока он непреклонен и не собирается уступить.

Заинтересованный этим, я отправляюсь к реке. Уже издали вижу толпу из нескольких десятков зевак, следящих за тем, как развернутся события. Я успеваю как раз к финалу или, пожалуй, к кульминационному моменту. Два агента фирмы, метисы, одетые по-европейски, презрительно пожимают плечами, покидают плот и соскакивают на берег. По-видимому, они сказали последнее слово.

Какое-то мгновение хозяин плота следит за ними блуждающим взглядом; лицо у него багровое от возмущения. Потом он срывается с места, захлебываясь ругательствами, хватается за топор и в несколько прыжков настигает агентов. Ударом обуха по голове он кладет одного из них на месте, другому, промазав, разбивает скулу.

Одним прыжком он возвращается на плот и, охваченный необузданной яростью, перерубает канаты, которыми бревна привязаны к берегу. Потом, как сумасшедший, начинает рубить трос, скрепляющий бревна. Плот, подхваченный течением, отходит от берега и одновременно распадается на части. Отделяющиеся от него бревна плывут поодиночке или по нескольку штук вместе. А безумец продолжает буйствовать. Сосредоточенный, молчаливый, мрачный, как демон, он прыгает с бревна на бревно, размахивая топором, и рубит все, что попадает под руку. Ярость придает ему нечеловеческую силу.

Мы не успеваем опомниться, как все уже кончено. Рассыпавшийся плот перестает существовать. Бревна махагони, рассеянные по реке, уносит течением. Вдруг безумец издает громкий крик, взмахивая топором в сторону берега, словно в последний раз грозя кому-то, и прыгает в воду. Он камнем идет ко дну. До берега более ста метров. Все это происходит так внезапно, что люди, стоящие на берегу словно в каком-то оцепенении, не успевают прийти в себя.

Распавшийся на части плот, мрачный свидетель разыгравшейся драмы, течение относит все дальше и дальше. Через четверть часа бревна махагони проплывут мимо лесопильни в Нанай, принадлежащей фирме «Астория».

В пятидесяти шагах от границы между двумя мирами



«Синчи Рока» — речной пароходик водоизмещением сорок восемь тонн. Каждые полтора месяца он отправляется из Икитоса вверх по Амазонке, поднимается по Укаяли почти до самых ее истоков, после чего возвращается обратно. Маленькая посудина, но здесь достаточно и такой; сорока восьми тонн вполне хватает, чтобы удовлетворить все потребности этого уголка земного шара. Вместе с двумя другими такими же пароходиками «Синчи Рока» доставляет жителям двухтысячекилометровой полосы вдоль Амазонки и Укаяли все, что им необходимо для жизни: ткани, соль, керосин, различные инструменты и орудия, а также перевозит пассажиров.

Владельцем парохода и одновременно его капитаном является некий Ларсен, норвежец из Осло, вот уже тридцать лет плавающий по рекам Ла-Монтаньи. В пучинах Укаяли он потерял все свои пароходы, кроме «Синчи Рока», и часть своей семьи. Он утверждает, что ему самому суждено умереть презренной смертью — естественной. Раз в полтора месяца он пристаёт чуть ли не у каждой хижины, продает, покупает, навязывает цены, грабит, а в свободное от этих занятий время охотно беседует о высоких материях. Однажды я застал его в капитанской каюте — после яростной стычки с каким-то метисом — погруженным в чтение «Эдды»[198].

Нашу ланчию — так называют небольшие пароходики на Амазонке и ее притоках — водят два лоцмана из Пунханы. Пунхана — это деревушка под Икитосом, все население которой — лоцманы и их семьи, выходцы из различных индейских племен. Капризы всех здешних рек знакомы им лучше, чем капризы собственных жен; молва утверждает, что они могут жить в воде вместе с рыбами.

Один из лоцманов — веселый толстяк с приплюснутым лбом (у некоторых индейских племен принято деформировать детям черепа); он фотогеничен и напоминает мне почему-то инкского евнуха. Другой, худой и мрачный, выглядит так, словно всегда замышляет что-то недоброе, хотя это, разумеется, чепуха. Глаза, которые так грозно смотрят на меня, прекрасно видят все водовороты и коряги, и он уверенно ведет пароход по предательскому фарватеру.

На «Синчи Рока» две палубы — верхняя и нижняя. На верхней находятся штурвальная рубка и каюты первого класса; там едут люди, на ногах у которых башмаки: креолы и метисы с большими претензиями. На нижней палубе помещаются машинное отделение и третий класс; пассажиры там ходят босиком — это индейцы и бедные метисы чоло.

Вместе с другими пассажирами первого класса из Икитоса в Масисеа едет и сеньорита Роза де Борда, весьма примечательная девица: у нее трое детей, красивое живое лицо метиски и несколько увядшие формы. В первом классе едет и сеньор Хуан Пинто, молодой человек с бледным прыщеватым лицом и черными прилизанными волосами. Они познакомились здесь, на ланчии, и сейчас бросают друг на друга пылкие взгляды, а капитан Ларсен во всеуслышание заявляет, что от этих взглядов у сеньориты появится четвертый ребенок. В этой знойной стране природа щедро плодит и растения, и рыб, и детей...

Как и во время плавания по Амазонке, так и здесь, на Укаяли, нас неустанно сопровождает лес. И на правом, и на левом берегу лес — пароксизм зелени, буйство миллиардов деревьев! В конце концов начинаешь задавать себе вопрос: нет ли в этом неистовом разгуле какого-нибудь скрытого смысла? Может быть, зеленый покров, наброшенный на этот низинный край, скрывает какую-нибудь огромную неведомую тайну? Разумеется, это всего лишь наивные домыслы; трудно не поддаться таким мыслям при виде необузданного океана зелени.

Сейчас, в феврале, уровень реки поднялся на семь метров выше обычного. Скоро паводок дойдет уже до своей высшей отметки — десяти метров. Но и сейчас в бассейне реки затоплены огромные пространства леса, лишь местами из воды торчат островки суши. Некоторые из них имеют всего несколько десятков шагов в поперечнике, другие — несколько сот. На этих лесных островках в жалких хижинах из тростника *cania brava* в постоянной сырости, отрезанный от остального мира, окруженный лишь небом, дебрями и водой, живет человек.

Троекратным ревом сирены «Синча Рока» сообщает жителям леса о своем прибытии. Торжественная минута, которую обитатель хижины ждал больше месяца. С парохода перебрасывают на берег узкий мостик. По нему неуверенной походкой на палубу поднимается человек. Оборванный, изможденный, оробевший, с тупой улыбкой на лице, он пытается принять непринужденный вид. Если это белый, который когда-то жил в городе, то при виде «Синчи Рока» у него пробуждаются смутные воспоминания о лучших временах; если это лесной житель — метис или индеец, то «Синчи Рока» являет ему мир ошеломляющих грез. Но враждебное богатство парохода равно опасно и для белого, и для индейца.

На палубу ланчии человек всегда поднимается с надеждой, что за мешок собранной им фасоли он получит равноценное количество другого товара: керосина, мыла, тканей (о продаже за деньги не может быть и речи). И Ларсен действительно даст жителю леса все, что тот потребует, но вдвое меньше, чем полагалось бы. Ибо Ларсен — владелец парохода, он беспощаден и спешит разбогатеть, бедняк же — всего лишь забитый и больной человек, у которого нет парохода. У него есть только маленькое каноэ, а до Икитоса пятьсот, а то и ты-

сяча километров.

Ограбив бедного чакреро, капитан велит убрать сходни; «Синчи Рока» дает два гудка и отчаливает. Еще минуту назад укаяльский житель вместе со своей хижинкой и небольшим участком земли был вовлечен в орбиту интересов большого мира, принадлежал к этому миру и подчинялся его порядкам. Сейчас, когда сходни убраны, с большим миром его уже ничто не связывает, он опять принадлежит только лесу. Понурой походкой возвращается он в свою хижину, к своей повседневной жизни — нищенской, безнадежной, бессмысленной.

На берегах Укаяли прозябают несколько небольших городишек — Рекена, Орельяна, Контамана, Масисеа, но я сомневаюсь, найдется ли на всех берегах реки протяжением в две тысячи километров хотя бы две тысячи человек, приобщенных к цивилизации. Для таких «Синчи Рока» везет четырнадцать писем и три — да, да, три! — газеты: одну в Контаману, вторую в Масисеа, а третью доктору Шимоньскому из ликвидируемой польской колонии в Кумарии. Прочие местные жители, по-видимому, ничего не читают и ничего не желают знать об остальном мире.

Но, оказывается, не все. Во время одной из стоянок нас навещает какая-то личность в заплатах рубашки и чистых штанах; глядя на его темное лицо, трудно определить, кто он: солнце и климат делают здесь всех людей похожими друг на друга, уничтожают их индивидуальность.

Выясняется, что это испанец, более сорока лет проживший на Укаяли. Узнав, что я прибыл сюда прямо из Европы, он подходит ко мне и после многих любезных извинений спрашивает:

— Носят ли еще в Европе цилиндры и в каких случаях? Ah Dios[199] вздыхает он, — как бы я был счастлив, если бы смог еще раз надеть на голову цилиндр!..

Места, мимо которых плывет «Синчи Рока», изумляют богатством своей природы. Над рекой возносятся могучие деревья с такими раскидистыми кронами, что каждая из них могла бы покрыть своей тенью половину хорошей деревни. К небу тянутся стройные пальмы со стреловидными листьями длиной более десяти метров. Воздух звенит и дрожит от криков множества птиц. Незабываемое впечатление оставляют пролетающие над нами стаи из двадцати арапов; у этих птиц внизу перья аксамитные, а сверху ярко-голубые. С глинистого берега сползают в реку кайманы, из воды выскакивают рыбы-чудовища, в лесу роится множество диковинных насекомых. Здесь, недалеко от подножий Кордильер, природа еще богаче и щедрее, чем в устье Амазонки. Повсюду клокочет бурная плодовитость, все вокруг непрерывно размножается и живет, живет!

Только человеку тут приходится нелегко. Он страдает от всевозможных тропических болезней, прежде всего от малокровия. От истощенных лиц веет печалью. Паразиты пожирают внутренности людей. Всевозможные глисты и микробы поселяются в тонких и толстых кишках, в печени, почках, мочевом пузыре, крови; они живут за счет человека и гасят на его лице улыбку радости. Несмотря на большую рождаемость, прирост населения здесь незначителен: дети мрут как мухи.

Так как дон Хуан Пинто и донна Роза де Борда уже признались друг другу в

любви, они прогуливаются, опечаленные, по пароходу, а все вокруг втихомолку злорадствуют: невозможно найти укромное место для флирта на ланчии длиной в двадцать пять и шириной в пять метров, по которой всюду снуют люди. Но однажды в звездный вечер, когда несметные тучи комаров загоняют пассажиров в каюты, какой-то матрос ловит их с поличным на самой крыше парохода. Туда загнала их страсть.

— Ну вот! — злорадно усмехается капитан Ларсен. — Теперь появится!

— Кто появится? — спрашивает какой-то недогадливый пассажир.

— Четвертый ребенок...

Когда «Синчи Рока» причаливает, я схожу на берег и отправляюсь к чакре. Романтичный, хотя и убогий шалаш, небольшой участок, засаженный бананами и залитый белыми лучами экваториального солнца, цветы и причудливые яркие бабочки в душистом воздухе — все это образует идиллически сладостную картину счастья. Однако я прохожу еще пятьдесят шагов, и бананы исчезают: начинается чаща — огромный зловещий мир деревьев, на границе которого вместе с тропинкой обрывается всякий след цивилизации.

Сны на Укаяли



Нигде я не видел таких чудных вечеров, как на Укаяли, когда плыл по ней на «Синчи Рока». Ежедневно с поразительной регулярностью за час до захода солнца на западе, над Андами, начинают стягиваться живописные перистые облака, переливающиеся всеми цветами радуги. От них на поверхность воды падает багровый отсвет — река кажется залитой потоками крови. В кристально чистом воздухе (еще утром все было затянуто легкой дымкой) берега словно приближаются к нам; среди ветвей хорошо видны птицы и стада резвящихся обезьян.

Около шести часов вечера заходит солнце; сумерки длятся примерно три четверти часа. То, что в тропиках день будто бы почти мгновенно сменяется ночью, — неправда. На горизонте вспыхивают молнии: февраль — пора дождей. Тропические ливни следуют один за другим. Однажды над нашими головами разразилось что-то ужасное. Тысячи молний сливались в один сплошной световой поток, озарив лес огнями призрачной иллюминации. Такое зрелище не только не забывается — даже трудно поверить, что все это происходит на самом деле.

В дождливые ночи мы все прекрасно спим и утром встаем свежие и в прекрасном настроении. Если же ночи тихие и ясные, то нам ужасно докучают комары. Эти злобные бестии — во сто крат более страшные, чем наши невинные польские комары, — агрессивны, бесстрашны и жалят через белье и постель. В каютах без сетки невозможно сомкнуть глаза; ночь проходит как в горячечном бреду, и весь следующий день мы чувствуем себя измученными и

сонными.

На пятый день после отъезда из Икитоса мы достигаем области, заселенной индейцами чама. Это первые индейцы, которых за все время моей поездки мне удалось увидеть в естественной обстановке. Правда, я уже видел однажды на Амазонке индейцев, о которых мне говорили, что их жизнь не очень нарушена влиянием «цивилизации», но они проплывали на своих каноэ мимо нашего парохода быстро и молча, словно чувствовали себя чужими на этой реке и старались быстрее удалиться.

На Укаяли все иначе. Чама здесь если не хозяйева реки, то, во всяком случае, равноправные граждане. Хотя они и не избегают общения с белыми, им все же удалось сохранить независимость своего племени и его единство, которое поддерживается пусть примитивными, но собственными традициями.

Останавливаемся в Понтабелло. Берег здесь выше, чем в других местах. На большой поляне стоит хижина белого чакреро. На лесной опушке показываются десятка два мужчин и женщин чама, привлеченных прибытием парохода. Я различаю их лица, раскрашенные черными и красными полосами; густые челки, закрывающие лоб до бровей; одежды из грубого домотканого холста, так называемые кузьмы; серебряные колечки в носках у женщин. Чама не подходят ближе к пароходу и следят за нами издали. Очевидно, они хорошо изучили белых и знают, что им нельзя чересчур доверять. В их движениях как бы настороженное любопытство диких зверей, готовых по любому поводу сорваться с места и бежать.

Я побывал в их поселении, расположенном неподалеку. Это просто несколько навесов из пальмовых листьев, без стен. Группа мужчин как раз ужинает. Они сидят на корточках вокруг горшка, из которого извлекают пальцами какую-то желтоватую массу, и едят. На одном из них кузьма разрисована красными и черными ломаными линиями — шедевр примитивного искусства. Дальше, под навесом, полунагая старая индианка лепит из глины горшок. Вдруг со всех сторон послышались громкие крики и дикий визгливый смех. Это оказалось выражением радости по поводу того, что один из чама привез на своем каноэ большую рыбу, подстреленную им из лука. Все бегут к реке, чтобы полюбоваться добычей.

Такие взрывы необузданной радости чужды и непривычны цивилизованным людям, они — словно исступленно-восторженный голос самой природы. Невольно меня охватывает волнение: а разве две тысячи лет назад наши предки не приветствовали возвращение удачливого охотника таким же образом?

Пароходная сирена велит мне возвращаться. Несколько десятков шагов — и я оказываюсь в другом мире, а спустя две минуты принимаюсь за обильный ужин, сидя за столом, покрытым белоснежной, свежесвыглаженной скатертью. Один лишь вид тарелки, ножа и вилки волнует меня. Неожиданное соприкосновение этих двух миров поразительно.

Вскоре мы снова отправляемся в путь. Этой ночью мне снятся дорогие образы моей юности: Соколиный Глаз, Виннетоу, Ситтинг Буль, Прерии и Скалистые Горы.

Я просыпаюсь от ужасного шума. Еще не проснувшись как следует, я замечаю, что мы опять стоим у берега и какие-то люди, вооруженные дубинами,

штурмуют наш пароход. «Нападение индейцев?» — пронизывает меня, как током. Я срываюсь с койки, протираю глаза и только тогда обнаруживаю, что ошибся: это индейцы из команды нашего парохода. Они таскают на палубу бревна — топливо для судовых котлов. В свете прожектора на фоне растопыренных листьев хлебного дерева их нагие потные тела отливают фантастическим блеском.

По мере продвижения вверх по Укаяли течение становится все сильнее, берега все выше, а воронки на излучинах реки — все глубже. Не раз наш пароходик с трудом выбирался из огромных водоворотов, грозивших не выпустить его и увлечь в глубину. В одном из таких водоворотов два года тому назад затонул пароход «Укаяли», принадлежавший, как и «Синчи Рока», Ларсену.

По ночам водовороты снова преследуют нас в кошмарных сновидениях. Мы просыпаемся в холодном поту, с бешено колотящимся сердцем и судорожно хватаемся за край койки.

Как-то ночью я снова внезапно пробуждаюсь от глубокого сна. Машины парохода не работают. В крошечной мгле слышится громкий треск ломающегося дерева. Я успокаиваю себя тем, что это очередной сон о кораблекрушении. Но вдруг раздается протяжный пронзительный вой сирены. Сигнал тревоги! В одно мгновение я оказываюсь на ногах. Не может быть, чтоб это был лишь сон! Сомнения нет — я слышу топот бегающих по палубе людей и какой-то удар, от которого трещат стены моей каюты.

— Зажечь свет! — слышу я резкий крик Ларсена.

На носу парохода вспыхивает прожектор, выхватив из мрака могучие ветви огромного дерева, стоящего на берегу. Наше судно наскочило на него и едва не перевернулось.

— Что случилось, черт побери?! — слышится в темноте голос Ларсена. Затем он набрасывается на лоцмана, который, словно слепой, направил судно прямо на дерево. В ответ лоцман бурчит себе под нос что-то невразумительное.

— Зачем ты, мерзавец, держал прямо на берег? — захлебывается Ларсен. — Отвечай, красная собака!

— В реке бревна, — бормочет лоцман.

— Лжешь, хам, нет там никаких бревен!

— Туман, — продолжает оправдываться лоцман.

— Лжешь, нет никакого тумана! Ты что, пьян?

Ларсен разошелся вовсю и замахивается на лоцмана, но тут замечает мое приближение и берет себя в руки. По-видимому, это стоит ему немалых усилий.

— Вы видите туман на реке? — раздраженно шипит он.

Тумана на реке действительно нет, с этим трудно не согласиться. Я внимательно разглядываю лоцмана. Это тот самый индеец со странным взглядом. Равнодушный к угрозам Ларсена, угрюмый и апатичный, он съежился на скамье и не обращает никакого внимания на поднятых со сна людей. Трудно его понять. Несколько часов он сидит неподвижно, в каком-то оцепенении, и никто не знает, что за мысли бродят у него в голове. К утру он приходит в себя и снова становится у штурвала, сменяя своего товарища. Теперь он, как и прежде, добросовестно исполняет свои обязанности.

Вот какие сны мучают нас по ночам на Укаяли. А днем? Когда наступает шестой час пополудни, волшебный час захода солнца — самое прекрасное время дня в тропиках — и на небе начинают полыхать пурпурные облака, иногда тоже бывает трудно поверить, что это явь, а не сон. А может быть, действительно все это только сон — индейцы и колибри, радужные облака и странные лоцманы, огромная река и знойный лес, в котором заблудился путешественник из Польши?

Пауки



Капитан Ларсен устроил на своем парходике «Синчи Рока» электрическое освещение и этим, несомненно, побивает своих конкурентов — владельцев судов «Либертад» и «Либерал». Два с лишним десятка ламп, освещающих ночью палубу, вызывают огромную сенсацию по всей Укаяли. Сияние тысячи свечей придает лесу какой-то фантастический вид, вызывает переполох и суматоху на берегу, пробуждает все живое ото сна и ослепляет, нарушая покой природы.

И, разумеется, привлекает на палубу обитателей леса. Бесчисленные рои насекомых летят на свет и садятся вокруг ламп, ошалелые и беззащитные. Свет пьянит их. В это время их легко ловить и опускать в банку со спиртом.

Баснословно богат насекомыми этот лес, и мои коллекции быстро растут. Однако есть у меня здесь на пароходе сильные соперники: пауки. Это профессиональные охотники, настойчивые, беспощадные и свирепые.

Над столом, за которым мы едим, висит самая яркая на пароходе лампа, и к ней слетается больше всего насекомых. Однажды из какой-то щели в потолке пулей выскочил мохнатый паук *Mygale* — настоящий великан среди пауков — и выхватил у меня прямо из рук редкий экземпляр бабочки-шелкопряда, прилетевшей на свет. *Mygale* весьма небезопасный сосед для человека, и капитан Ларсен устраивает на него облаву. Увы, «Синчи Рока» — это старый ящик, и щели в его крыше глубокие. Поймать паука не удастся, и в конце концов приходится смириться с фактом его пребывания на судне.

Mygale оказывается весьма тактичным грабителем: как и всякого действительно могучего и сильного воина, его отличают скромность и неназойливость. Показывается он лишь раз в сутки, примерно через час после захода солнца: молниеносно выскакивает из укрытия, выбирает себе среди насекомых самую вкусную жертву — чаще всего это какая-нибудь большая ночная бабочка — и, схватив ее, скрывается вместе с ней в своем убежище. После этого он больше не появляется, предоставляя охотничье угодье мне. Теперь я могу спокойно, ничего не опасаясь, ловить насекомых, прилетевших на свет лампы. Лишь через несколько дней удастся поймать самого *Mygale*.

У всех других ламп на «Синчи Рока» охотятся пауки из семейства *Licosidae*. Это маленькие прожорливые бестии, юркие и нахальные, подлинные волки

среди пауков. У каждой лампочки их шныряет двое или трое, а их жертвами бывают чаще всего мухи, хотя ликозиды не брезгают и более крупными насекомыми: бабочками, саранчой или жуками. Нападают они так же, как и их старший брат *Mygale*, неожиданно бросаясь из укрытия на свою жертву. Прожорливость их необычайна. Схватив насекомое, они яростно теребят его и тут же на месте начинают с судорожной поспешностью высасывать у него внутренности. Одной жертвы им мало. Они охотятся без перерыва всю ночь, подгоняемые своей ненасытной жадностью, снедаемые жаждой уничтожения. Случается, что, едва начав пожирать какую-нибудь муху, они бросают ее и нападают на другую, но спустя мгновение оставляют и эту и хватают приглянувшуюся им бабочку. Тем временем на полу под лампой образуется целое кладбище остатков этого пира, и утром там можно найти множество издыхающих насекомых с искалеченными туловищами или распоротыми брюшками.

А тропический лес на берегах реки, обуянный безудержной щедростью, посылает на заклятие новые и новые рои насекомых, привлеченных светом и ослепленных...

В небольшой каюте в центре судна находится сердце парохода, самая большая ценность капитана Ларсена. Там разместился склад товаров, предназначенных для продажи жителям селений на Укаяли. Вдоль всех четырех стен каюты — от пола до потолка — полки; они завалены всевозможными товарами, привезенными из цивилизованного мира и необходимыми для жизни в девственном лесу. Здесь есть все, начиная с иголок, керосина, шерстяных тканей и холста и кончая ружьями и консервами. Четыре лампы, по сто свечей каждая, заливают склад потоками яркого света и совершают чудо: каюта превращается в царство мечты, в средоточие бурных желаний и могучих потрясений. На Укаяли нет ни одного человека, который смог бы воспротивиться соблазнам этой каюты.

За столом в ней сидит капитан. У него холодные голубые глаза. У людей же с Укаяли глаза черные и пылкие. Ларсен щелкает костяшками, а у покупателей пылают щеки: затуманенными взорами пожирают они сокровища, привезенные из далекого мира.

Индеец из племени кампа принес четыре шкуры дикой свиньи пекари и хочет получить за них большой нож — мачете. Шкуры хорошие и старательно выделанные; они стоят не одного, а двух мачете. Ослепленный ярким светом, индеец озирается по сторонам, и глаза его блестят при виде стольких чудес. Он растерян.

— Мачете не получишь! — спокойно заявляет Ларсен. — Он стоит шесть шкур, а у тебя только четыре. За четыре шкуры можешь получить лишь ткань на платье для своей жены и на штаны для тебя.

— Мне ткань не нужна, — объясняет обеспокоенный индеец и, грустно улыбаясь, просит: — Мне нужен мачете.

— Мачете дать не могу! — звучит решительный ответ Ларсена.

Сталь мачете соблазнительно блестит в сиянии четырехсот свечей.

Ларсен приказывает дать сигнал о скором отплытии. Он не знает жалости, отчаяние кампа его не трогает. Индеец приносит еще две шкуры — последнее, что есть у него, и получает мачете, за который переплатил втрое.

Вдоль палубы тянутся поручни, предохраняющие пассажиров от падения за борт. Все насекомые, привлеченные огнями «Синчи Рока», обязательно должны пролететь между поручнями и краем навеса над палубой.

Этим обстоятельством пользуются предприимчивые пауки. Как только наступают сумерки, они лихорадочно принимаются за дело: ткнут паутину, протягивая ее между краем крыши и поручнями. Вскоре там уже висят предательские сети, которые в течение всей ночи выполняют свое мрачное назначение. Пауки собирают обильный урожай. Лишь некоторые крупные бабочки рвут эти сети, но пауки тут же исправляют повреждения.

Каждое утро корабельный юнга сметает метлой паутину и уничтожает следы ночной охоты. Но каждый вечер пауки начинают свою работу заново и плетут такие же сети, как и накануне. По-видимому, овчинка стоит выделки...

Однажды за ужином, когда все мы — двенадцать пассажиров и капитан Ларсен — сидим за столом, кто-то из присутствующих замечает:

— Ужасная гадость эти пауки.

— Что, что? Почему гадость? — возражает удивленный Ларсен и добавляет с язвительной усмешкой:

— Они такие же пассажиры, как и всякие другие, как каждый из вас, господа!

Он, по-видимому, доволен этим сравнением и продолжает с нескрываемым сарказмом:

— Эти пассажиры лучше многих людей: в них по крайней мере чувствуется характер!

Такой комплимент заставляет улыбнуться одного из собеседников:

— Какой характер? Бандитский, что ли?

Ларсен не выносит у своих пассажиров иронического тона. С его лица сразу сбегает усмешка, глаза ощупывают присутствующих хмурым, почти враждебным взглядом, и капитан бросает, словно оскорбление:

— Это насекомые, которые все могут, это сверхнасекомые!

— Пауки, — скромно замечаю я, вмешиваясь в разговор, — это, собственно, не насекомые...

Наступает минута тишины. Ларсен с трудом сдерживается, чтобы не взорваться. Я чувствую, что он с удовольствием испепелил бы всех нас.

Когда час спустя я навещаю капитана в его каюте, то застаю его в лирическом настроении. Он с увлечением читает книгу английского писателя Стивенсона «Доктор Джекиль и мистер Хайд», герой которой воплощает в себе двух людей: хорошего — доктора Джекиля и плохого — мистера Хайда. Капитан рассыпается в любезностях и пытается загладить впечатление от недавнего столкновения. Я пользуюсь случаем и позволяю себе колкую шутку — указывая на Ларсена пальцем, я говорю:

— Вот ангел доктор Джекиль и в то же время дьявол мистер Хайд.

— Нет, — задумчиво качает головой капитан и не без гордости заявляет: — Только мистер Хайд.

Он говорит это серьезно, без тени улыбки.

Вот уже несколько дней я наблюдаю за пауком из семейства *Gasteracantha*, выделяющимся своим видом и расцветкой. Это великолепное создание окра-

шено в лазурный цвет, причем голубой фон испестрен ярко-красными крапинками. Бросается в глаза его гротескный вид: из его брюшка торчат желтые дугообразные шипы, которые в несколько раз длиннее самого паука и напоминают какой-то диковинный хвост. В отличие от ликозид этот красавец паук — гордый, напыщенный — всегда передвигается не спеша, словно сознавая, что среди своих бесцветных собратьев он настоящий павлин.

Паучий Адонис принимается за работу раньше других пауков; уже на закате он тклет свою концентрическую паутину. Закончив работу, он прячется в укрытие и ждет. Нити его сетей очень прочные, их не могут порвать ни большие бабочки, ни саранча. Этот паук отличается поразительным терпением и выходит из засады только тогда, когда в паутине завязнет несколько насекомых. Он обходит их по очереди — флегматично, не спеша — и подносит к трепещущим пленникам свою голову, словно целуя. Это роковой поцелуй. Он длится всего несколько секунд, но за это время паук успевает высосать из несчастной жертвы все жизненные соки. Затем он выбрасывает останки из паутины и, тщательно осмотрев ее, с достоинством возвращается в свое укрытие, где терпеливо выжидает, пока в сеть не угодят новые жертвы.

Проходит еще несколько дней, и я кладу конец его кровожадности. Красивый паук сам становится добычей и попадает в мою коллекцию.

После того как мы миновали Пукальпу, капитан Ларсен сообщил мне, что вскоре мы увидим одного поселенца — большого чудака, скандалиста и вконец опустившегося человека. Он эстонец, много лет назад прибыл из Европы на Укаяли и осел здесь. Потеряв все свое состояние, он завяз в долгах и ведет нищенскую жизнь. В словах Ларсена явно чувствуется неприязнь к этому поселенцу.

Вечером следующего дня я знакоюсь с эстонцем. На палубе появляется жалкий тощий человечек с изможденным лицом и запавшими глазами. Он хочет купить коробочку ампул хинина. У него последняя стадия малярии, и только уколы могут помочь.

— Сколько стоит хинин?

— Четыре соле! — отвечает Ларсен.

— У меня только три соле, — с тоской в голосе говорит больной.

— Значит, я не могу продать тебе хинин. Хотя... — Ларсен издевательски усмехается, глядя в ввалившиеся глаза эстонца, — попроси, чтобы чоло и индейцы устроили для тебя в третьем классе складчину...

Эстонец не выдерживает издевки и впадает в бешенство: в адрес Ларсена, сохраняющего поразительное спокойствие, летят самые ужасные ругательства. Когда он смолкает, капитан приказывает матросам вышвырнуть его с палубы.

— Я заплачу за него, — говорю я Ларсену, желая прервать эту неприятную сцену.

Капитан окидывает меня испепеляющим взглядом.

— Смотрите лучше за собой, — шипит он, — и не вмешивайтесь в чужие дела.

Обезумевший поселенец даже на берегу не перестает браниться. Пока мы медленно отплываем от берега, он продолжает осыпать проклятиями судно и его капитана. В густых кустах на берегу эстонца не видно, и почему-то кажет-

ся, что это сам лес шлет проклятия Ларсену, пароходу и всем лекарствам.

Ларсен с нескрываемым удовольствием прислушивается к крикам с берега; потом начинает смеяться. Смеется долго, зло.

Спектакль окончен; я направляюсь к своей каюте и по дороге снова замечаю пауков, плетущих свои сети.

Кумария



Однажды на рассвете пароходный юнга врывается в мою маленькую каюту и будит меня криком:

— Вставайте! Приближаемся к Кумарии!

Это слово — как звук горна, как призыв — конечный пункт моей перуанской экспедиции: она находится в верховьях Укаяли, в тысяче восьмистах километрах от Икитоса.

Что же такое Кумария? Это берег высотой в несколько десятков метров, большая поляна на месте выжженного леса, на поляне десятков-два хижин из дикого сахарного тростника и один невысокий, но просторный каменный дом. Это асьенда итальянца Дольчи, на которой работают индейцы из племени кампа. Дольчи хорошо обращается с пеонами, но факт остается фактом: я впервые сталкиваюсь с замаскированной — и то не слишком — формой рабства. С трех сторон поляну обступил девственный лес, с четвертой — река, широкая, бурная, вся в водоворотах.

Кумария — это кладбище недавних[200] польских надежд. Привлеченные заманчивыми обещаниями безответственных энтузиастов, колонисты из Польши прибыли сюда, мечтая о лучшем будущем, но потерпели постыдное поражение, потеряли все и бежали отсюда. Виной всему была плохая организация и то, что переселенцы не были подготовлены к тем тяготам, на которые обрекала их жизнь во враждебном девственном лесу. Лишь несколько человек еще остаются здесь.

Кумария — это кипящий жизнью непроходимый лес, особенно буйный здесь, у подножия Анд, изобилующий искрящимися бабочками, ядовитыми насекомыми, прекрасными орхидеями, причудливыми млекопитающими, ленивцами, змеями. Это сплошной клубок зелени. Это тот самый рай, о котором грезят в своих снах натуралисты. Именно здесь я проникну наконец в глубь леса и услышу, как бьется его сердце.

Я нахожусь на юго-западной окраине величайшего в мире тропического девственного леса. Если полететь отсюда на восток, то до Пара пришлось бы нестись три тысячи километров над сплошным лесным массивом; если полететь на север к степям Венесуэлы, то пришлось бы мчаться около полутора тысяч километров над непроходимыми чащами, и лишь на западе граница леса проходит сравнительно близко, всего в двухстах-трехстах километрах отсюда, у высокогорных лугов Анд.

На «Синчи Рока» останавливают машины. Матрос-индеец бросает трап. Медленно, почти торжественно мы сходим на берег.

У самой реки стоит одинокое дерево, покрытое фиолетовыми цветами. На дереве сидит какая-то диковинная птица. Это черный тукан с огромным оранжевым клювом, почти таким же большим, как и сама птица. Когда мы появляемся на берегу, это крылатое диво громко каркает, так же, как наши вороны, и неохотно улетает в лес.

Улетает носатое чудище, яркий представитель причудливой фауны Амазонки, предвестник диковинок, которые мне предстоит увидеть в этом ошалевшем лесу.

Мы охотимся на Бинуе



— На реке туман! — этими словами будит меня мой препаратор и охотник, моя правая рука — Педро Чухутажи. Он метис, его мать индианка из племени кечуа.

— Валентин пришел? — спрашиваю я, одеваясь.

— Нет еще этого чоло! — отвечает он с оттенком пренебрежения, хотя сам он тоже чоло, то есть метис.

Педро прибыл вместе со мной из Икитоса. За те несколько месяцев, что мы работаем вместе, я успел полюбить его. Он сообразителен, прилежен, хотя и несколько замкнут. Мы привязаны друг к другу как настоящие друзья.

Когда две недели назад мы приехали в Кумарию, решив осесть здесь надолго, работы по сбору коллекций оказалось так много, что я взял нам в помощь Валентина, молодого метиса из племени кампа.

Ночью уровень реки еще повысился (когда же наконец вода в Укаяли перестанет прибывать, ведь и так уже потоп!), и наше каноэ затонуло. Пока мы вытаскиваем челнок из ила, начинает светать — уже половина шестого. Появляется заспанный Валентин, и мы отправляемся: я сижу с ружьем в середине, мои спутники на веслах на носу и корме.

Туман заволакивает не только противоположный берег, отдаленный от нас почти на километр, но и деревья на нашем берегу. И только неподалеку от нас в молочной пелене вырисовывается пальма агуаче, прекрасная пушистая пальма, стоящая здесь словно величавый страж экзотического рая. Говорят, что в этом дереве, пожалуй, самом красивом из всех деревьев, какие только растут в Перу, воплощено очарование одной принцессы инков, которую злые чары превратили в пальму. Это поверье чем-то напоминает один из греческих мифов, однако на Укаяли нет и не было ни влюбчивого Аполлона, ни прелестной Дафны. Влюбчив здесь только наш Валентин, краснокожий джентльмен из Кумарии, а не с Олимпа.

В густом кустарнике просыпаются первые птицы. Уже отчетливо слышится чириканье каких-то птичек из семейства воробьиных, время от времени раз-

даются крики попугаев. А оттуда, где в Укаяли впадает небольшая речушка Бинуя, то и дело доносится громкое сопение: это резвятся в воде два полутораметровых речных дельфина, которых здесь называют буфео. Каждые несколько секунд они всплывают на поверхность, чтобы набрать воздуха, и в тот момент, когда их блестящие тела наполовину высовываются из воды, издают глубокие вздохи.

Дельфинов в водах Амазонки и ее притоков поразительно много. Эти великолепные животные, пожалуй, наиболее характерны для здешних рек. Их многочисленность объясняется, возможно, тем, что со стороны человека им ничто не грозит: здесь считают, что убийство буфео приносит несчастье, а употребление его мяса в пищу приводит к заболеванию проказой. Я же считаю, что дело обстоит куда прозаичней — просто мясо дельфинов невкусное. Когда мы проплываем мимо них всего в нескольких шагах, Валентин неожиданно просит меня:

— Застрелите вот этого, который ближе всех!

Удивившись, я поворачиваюсь к нему; мне кажется, он шутит. Но по его лицу видно, что это не шутка. Я вопрошающе посматриваю на Педро.

— У Валентина есть невеста, которая ему изменяет! — поясняет кечуа, сдерживая презрительную усмешку. Я же ничего не понимаю. При чем тут невеста?

Валентин хочет возразить, но в этот момент наше внимание привлекают две цапли, сидящие невдалеке на дереве. Это так называемые королевские цапли — совершенно белые птицы с желтыми клювами и черными ногами. Такая добыча более доступна мне, чем буфео, который, будучи ранен, ныряет и уходит в глубину.

Но цапли птицы пугливые и держатся осторожно. Мы еще далеко, а они уже срываются с места и летят вдоль Бинуи. Потом описывают над ней несколько больших кругов и поворачивают в сторону Укаяли. В величавом полете они проносятся прямо над нами. Неосторожные! Грохот выстрела всполошил чащу; одна цапля камнем падает в воду.

— Хороший выстрел! — слышу я спереди и сзади от моих приятелей.

О буфео и невесте Валентина мы уже забыли. Лишь несколько дней спустя мне удалось выяснить, в чем тут дело. Оказывается, суеверные люди с берегов Укаяли твердо убеждены, что кожа, вырезанная из влагалища самки буфео, служит вернейшим приворотным средством; достаточно надеть на руку браслет из такой кожи и прикоснуться на мгновение к желанной женщине — результат немедленно скажется: возлюбленная тоже начнет стогать от любви, сходить с ума от желания.

Сейчас мы плывем по Бинуе. Глубина здесь большая, однако река неширокая, и мы можем обстреливать с лодки оба берега. Из-за того что уровень воды в Укаяли все время повышается, Бинуя сейчас течет вспять, от устья к истокам.

Неожиданно мы становимся свидетелями того, как в воздухе происходит чудесное превращение: клубы тумана, которые до сих пор стлались низко над землей, поднимаются над лесом и начинают сиять интенсивным розовым свечением. Кажется, что над нами вознесся огромный купол из миллионов светящихся роз. Вскоре туман рассеивается, и на верхушки деревьев падают первые лучи солнца. Еще минуту назад было так же прохладно, как ранним

июльским утром в Польше, и вот уже стоит тропическая жара, по лицу стекают капли пота.

На болотистой отмели лежит какая-то колода. Это притаился двухметровый кайман. Мы думали, что он спит, но стоило приблизиться к нему метров на двадцать, как кайман поднял голову и стал лениво сползать в воду. Кажется поразительным, что в такой небольшой речке (она вдвое уже, чем Варта под Познанью) водятся такие огромные чудовища. Я не стреляю в каймана, меня интересуют только птицы.

А птиц здесь множество. Недалеко от того места, где лежал гад, между стеблями речных растений снуют в поисках корма несколько прелестных водяных курочек жасана, ничего не подозревающих о грозящей им опасности. Эти юркие птицы яркого коричневого цвета с желтыми снизу крыльями кажутся воплощением изящества и подвижности. Природа снабдила их карикатурно длинными пальцами, благодаря которым птицы могут удерживаться на плавающих на воде листьях. Жасаны, которых мы сейчас видим, резво перебегают с листа на лист, почти не обращая внимания на наше присутствие. Лишь когда Педро стреляет, они срываются с места, но вскоре снова садятся в ста шагах от нас. Неужели такая странная беспечность свойственна всем живым существам в этом обманчивом раю?

Мы бросаем убитую курочку в каноэ. Я еще готовлюсь к следующему выстрелу, когда над нами проносится огромный, как ястреб, зимородок *Martin pescador*. Он садится на ветку неподалеку от курочек.

А где-то поблизости раздается «тук, тук, тук», словно стучат молотком по дереву. Это желтый дятел, самая ценная из здешних птиц, и мы плывем к нему.

Вцепившись в ствол дерева, дятел ожесточенно долбит кору, но как только я поднимаю ружье, он улетает в глубь леса и садится на другое дерево. Мы следуем за ним.

Направляем лодку между деревьями и вдруг попадаем в какой-то совершенно необычный мир. В затопленном водой лесу царит зеленоватый полумрак. Куда ни взглянешь, всюду из воды торчат деревья. Наверху, среди ветвей, полно света и птичьих голосов, а здесь, внизу, недвижная вода словно сковала все деревья и кустарники своей мертвенной гладью. В болезненном воображении какого-нибудь средневекового художника такой, вероятно, рисовалась зловещая картина потопа в день Страшного суда. Деревья тут кажутся нереальными, словно они существуют вне времени и пространства. В вечной тишине этого леса разлита враждебность, словно готовится какая-то коварная ловушка. Ловушка — кому, кто ее готовит? Я говорю себе, что это лишь игра расстроенного воображения, однако через минуту оказывается, что мои ощущения не лишены оснований.

Лодка протискивается между мокрыми стволами, иногда путь нам преграждает густой подлесок. Но мы все-таки продвигаемся вперед. Мы могли бы плыть так в одном направлении по крайней мере десять дней: лес затоплен на протяжении нескольких десятков километров, а может быть, и больше.

Дятел, перелетая с дерева на дерево, увлекает нас все дальше в глубь леса. Мы подплываем к небольшому островку. Там в зарослях укрылся дятел и стучит себе. Причаливаем. Педро хватает мое ружье и прыгает на берет. Через минуту раздается выстрел.

— Готово! — восклицает метис, но вслед за этим неожиданно раздаётся крик ужаса. Мы слышим, как Педро в панике бежит к воде. С позеленевшим от страха лицом он выскакивает из зарослей, прыгает в лодку, резко сталкивает ее с отмели и кричит:

— Чушупи! Она гонится за мной!

За спиной у него слышатся какой-то шорох и треск, ветки на земле шевелятся. Змея. Она мелькает в траве, делая большие пружинистые скачки, словно продолжая преследовать Педро. Я узнаю ее по расцветке: это чушупи, светло-коричневый ужас укайльских лесов, очень ядовитая змея — единственная, которая никогда не упускает случая напасть на человека.

Чушупи! Мне сразу припоминается поразительный случай, о котором рассказывал как-то мой теперешний хозяин поселенец Барановский. Однажды, когда около его дома проходил какой-то молодой метис, из куста выскочила огромная трехметровая чушупи и бросилась прямо на него. Тот едва увернулся. Сделав несколько отчаянных прыжков, он вбежал в дом Барановского. Чушупи за ним. В доме никого не было. Метис выскочил через другую дверь, хлопнул ее за собой и закричал, поднимая тревогу. Невдалеке работали люди. Они побежали на крик; у двоих из них были ружья, заряженные дробью. Разъяренная змея выползла из дома и устремилась к людям, словно намереваясь напасть. К счастью, охотники не растерялись; меткими выстрелами с расстояния в несколько шагов они уложили гадину на месте.

Пока эти воспоминания вихрем проносятся в моей голове, я вырываю из рук Педро двустволку. Неужели змея в самом деле собирается напасть на нас? Она уже близко — продирается сквозь кусты, стоящие в воде. Стреляю не целясь. Водяные брызги разлетаются по сторонам, что-то плещется в зарослях, затем наступает зловещая тишина. Если бы не пузыри на поверхности воды, ничто бы не указывало на то, что здесь только что произошла смертельная схватка, которая на несколько минут нарушила мрачное спокойствие этого леса.

Педро судорожно гребет, стараясь быстрее покинуть страшное место. А Валентин, неподвижно сидевший на корме, вдруг начинает смеяться каким-то нечеловеческим плачущим смехом. Педро кричит на Валентина, заставляя его грести, но тот не реагирует, продолжая смеяться так, что лодка вот-вот перевернется. Оглядываюсь, обеспокоенный. Парень бьется в истерике, в его глазах проглядывает безумие.

— Замолчи, черт бы тебя побрал! — кричу изо всех сил.

Это действует. Валентин замолкает и послушно берет за весло. Его зубы выбивают дробь.

Мы уже выплываем из затопленного леса, и перед нами открывается зеркальная гладь реки, как вдруг Педро неожиданно бросает грести и, съездившись на носу лодки, застывает без движения.

— Алло, Педро! — кричу я ему.

В ответ раздаётся приглушенный стон. Метис замер, словно в каталепсии.

— Педро, гребни!

Он пробует повернуть голову в мою сторону, но напрасно. Неожиданно он начинает трястись как осиновый лист. Все сильнее содрогается его тело, и он, очевидно, не может побороть эту дрожь. Одновременно у меня за спиной Валентин снова начинает громко рыдать, судорожно вздрагивая. Я вырываю из

его рук весло и неожиданно с ужасом чувствую, что и у меня руки трясутся и что я не могу совладать с собой. С трудом заставляю себя грести: страх закрался и в мое сердце и парализует мои движения.

К счастью, я не окончательно потерял контроль над собой. «Неужели это массовая истерия?» — спрашиваю я себя с удивлением и неуверенно улыбаюсь.

Нет, не массовая. Я уже опомнился. Мне помогли мой здравый смысл, мое чувство юмора. Они, как освежающее дуновение, прогнали страх, навеянный тропическим лесом, и помогли мне обрести душевное равновесие. Мои руки перестают дрожать, и я снова могу грести.

Вскоре я вывожу лодку из леса на широкий речной плес и пристаю к ближайшему островку, чтобы отдышаться и размять затекшие члены. Яркое солнце и речной ветерок оказываются для моих спутников таким же действенным лекарством, каким несколько минут назад явился для меня мой здравый смысл. Спустя четверть часа они полностью приходят в себя.

— Чушупи, — взволнованно объясняет мне Педро, к которому вернулся прежний цвет лица, — чушупи — это страшная змея. Вы сами видели, что ее яд подействовал на нас даже на расстоянии.

— Ага! — говорю я, признавая его правоту.

Жестокость



В 1531 году испанский авантюрист Франсиско Писарро со ста восьмьюдесятью пятью головорезами и тридцатью восьмью лошадьми отправился завоевывать Перу, огромное индейское государство с высокой культурой, несметными богатствами и неплохой военной организацией. Высадившись на берег, он, использовав распри между двумя братьями, претендовавшими на престол, встретился в Кахамарке с верховным инкой Атауальпой, окруженным многочисленной свитой и тридцатитысячным войском. Писарро, не затрудняя себя такими церемониями, как объявление войны, перерезал придворных и разбил войско, а верховного инку, сына бога Солнца, взял в плен.

— Золота! — требовали испанцы.

Атауальпа предложил за свое освобождение такое количество золота, какое могло поместиться в комнате, в которой они находились, до высоты поднятой руки стоящего человека. Размеры комнаты были пять на семь метров. Писарро согласился, но, получив золото, и не подумал сдержать слово. Запечных дел мастера, испанские конкистадоры, для которых пытать людей, отрубать им руки и выкалывать глаза было привычным делом, приговорили верховного инку к мучительной смерти — сожжению на костре. Однако перед самой казнью — цинизм их был поистине непревзойденным! — за то, что Атауальпа согласился принять христианство, они решили «смягчить» наказание: сожжение на костре заменили повешением.

Так испанская корона приобрела сразу две вещи: страну сказочных богатств и лавры сомнительной славы.

В отряде, который затем отправился покорять столицу Куско, был один молодой поручик с горящими глазами и пламенным сердцем. Однажды он получил приказ казнить пленников индейцев, но не выполнил его, потому что увидел на опушке леса белый цветок невообразимой красоты и, замороженный им, забыл обо всем, опустился на колени и начал пылко молиться. Заметив это, начальник отряда Альмагро подошел к нему, выругался, цветок сорвал и растоптал, пленников приказал немедленно казнить, а поручика предал военному суду. Юношу приговорили к смерти, но белый цветок не был забыт. Испанцы часто встречали его на своем пути. А так как он был похож на белого голубя и красота его наполняла их сердца верой в победу, то они называли его «цветком святого духа» и... во славу его истребляли поголовно всех жителей завоеванной страны. (Эту изящную, но трагическую орхидею ботаники — разумеется, значительно позднее — назвали *Peristeria elata*.)

Слухи о легендарных сокровищах в долине Амазонки долгие годы не давали покоя испанским конкистадорам. Плавание Орельяны по великой реке, его приключения вблизи устья Риу-Негру и его таинственная гибель настолько разожгли их воображение, что в 1560 году вице-король Лимы Мендоса послал в равнинные леса новую экспедицию для завоевания страны Эльдорадо.

Начальником экспедиции был назначен благородный рыцарь Педро де Урсуа, а насчитывала она триста испанцев, среди которых были самые отчаянные забияки, ступавшие когда-либо по американской земле. По реке Уальяге они добрались до Амазонки. Сначала все шло хорошо, но проходили недели и месяцы, а путешественники по-прежнему вместо золота встречали только грозный топкий лес, которому не было конца. Их охватило бешенство. Интриги и преступления не прекращались, словно в кучке висельников, окруженной враждебным миром суровой природы, воплотилась вся преступность испанской колонизации.

Злым гением экспедиции был Франсиско Лопес Агирре, выродец, одержимый жаждой убийства, который вскоре проявил себя как кровожадное чудовище. Встав во главе нескольких отъявленных головорезов, он запугал остальных испанцев, арестовал Урсуа и приказал убить его; подписывая смертный приговор, он с присущим ему цинизмом вывел: Агирре-предатель. Вместо убитого он назначил начальником экспедиции Фернандо де Гусмана, своего сторонника.

Они плыли вниз по Амазонке, сея ужас, убивая индейцев, сжигая и грабя селения; как стая бешеных волков, они рвали на куски не только тех, кто встречался им на пути, но и друг друга. Когда несколько более здравомыслящих офицеров организовали заговор против жестокого тирана, он приказал убить их. Агирре умертвил и красавицу Инес, потому что она была подругой казненного Урсуа. В марте 1651 года, находясь в глубине тропического девственного леса на Амазонке близ устья Риу-Негру, этот безумец торжественным актом ни больше ни меньше как лишил испанского короля Филиппа II прав на его владения в Америке и назначил Гусмана «владельцем» Перу. Но вскоре он приказал зарезать новоиспеченного «императора» и сам занял его место.

К этому времени всех оставшихся в живых участников этой чудовищной

экспедиции охватило безумие. Агирре приказал построить на Амазонке корабли, чтобы завоевать всю Америку и прогнать королевских губернаторов. Сначала ему необычайно везло. Расправляясь время от времени то с одним, то с другим своим спутником, он доплыл до Атлантического океана, поплыл на север, захватил остров Маргарита — важный в те времена пункт на Карибском море, взял в плен губернатора острова и отправился на материк. В беспримерной дерзости Агирре была такая притягательная сила, что под его знамена стали стекаться толпы авантюристов, иногда даже весьма высокопоставленных! Чтобы не раздражать его, сам губернатор Новой Андалузии счел более благоразумным уйти в отставку.

Но недолго светила звезда самозванца. Сила, опиравшаяся на безумие, не могла продержаться долго. Спутники этого сумасшедшего, ни днем, ни ночью не уверенные в своей судьбе, начали освобождаться из-под его влияния. Губернатор в Каракасе обещал им амнистию, если они покончат со своим главарем. Так они и сделали. Агирре погиб от их рук, но, прежде чем это случилось, он ухитрился еще убить свою дочь, «чтобы ее не упрекали в том, что ее отец — предатель».

Что это было? Единичный случай сумасшествия? Необычная история какой-то одной горстки разочаровавшихся искателей сокровищ, обезумевших в девственном лесу? Но разве все конкистадоры с первых же дней покорения Америки не проявляли постоянно признаков помешательства, которое выражалось в бесчеловечных поступках и постоянных мятежах, в неутолимой жажде уничтожения, в болезненных грезах о золоте и власти, в чудовищной жестокости?

Отец Педро де Агадо в своем труде «История Венесуэлы», законченном в 1581 году, описывает приключения испанского капитана Гаскуны и его отряда. Это описание подтверждается и авторами других хроник того времени.

Узнав, что у индейцев, живущих на побережье залива Маракайбо, есть золото, испанские и немецкие конкистадоры организовали туда экспедицию. Набег был отмечен множеством жестоких убийств и огромным количеством захваченного золота.

На обратном пути часть конкистадоров под командованием капитана Гаскуны заблудилась в лесу. Над ними нависла угроза голодной смерти. Истощенные пленники не могли уже нести золото, и его зарыли в землю. Когда попытки достать продовольствие провалились, испанцы стали убивать пленников, среди которых были также женщины, и есть их. Вскоре все индейцы были съедены. Тогда конкистадоры разделились на несколько групп, надеясь, что так будет легче добыть пищу.

С капитаном Гаскуной отправились четыре испанца. Им повезло. Выйдя к реке, они встретили приветливых индейцев, плывших на плоту с большим запасом овощей и кукурузы. Кончились страдания: добродушные индейцы дали испанцам столько продовольствия, что его могло хватить им до конца пути.

И тут случилось необычайное, чудовищное. Спасенные от голода благородные идальго кроме кукурузы хотели и мяса, но у индейцев мяса не было. Тогда они схватили одного из своих благодетелей, зарезали его и принялись жарить.

«Часть они съели, — сообщает обстоятельный летописец, — а остальное оставили на завтра...»

Однажды, охотясь на птиц в лесу близ Кумарии, я заметил рядом с тропинкой на ветке молодого дерева сетки крупного богомола. Я уже собрался посадить его в банку с ядом, когда увидел на этой же ветке еще одно насекомое: жука-единорога из семейства династидов. Тут же оцениваю ситуацию: богомол, одно из самых хищных насекомых, отрезал у единорога путь к отступлению и сейчас готовится напасть на него.

Жук спокойно мог бы улететь, но не сделал это; наоборот, он принял воинственный вид и угрожающе наставил на богомола свой длинный острый рог. Шансы у них примерно одинаковы — хищности богомола противостоит твердый хитиновый панцирь единорога.

Несколько минут я наблюдаю за ними, но ничего не происходит. Насекомые не сводят друг с друга глаз и не трогаются с места.

Я решаю еще немного поохотиться, а когда через час опять возвращаюсь сюда, то, к своему удивлению, застаю их в той же позе. Угрожающе поднятые длинные передние ноги богомола, чем-то напоминающие клещи, недвижны; можно подумать, что он молится перед тем, как наброситься на противника и растерзать его. Какой глубокой должна быть злоба и ненависть этих двух насекомых, если она заставляет их больше часа следить друг за другом в непрерывном возбуждении. Их разделяет всего несколько сантиметров!

Но когда я возвратился сюда через два часа, драма на ветке сетки подошла к кульминационному пункту. Я застаю их в таком положении: жук проткнул своим рогом туловище богомола навыворот, из распоротого брюшка вываливаются зеленоватые внутренности. Внимательно взглядевшись, я обнаруживаю, что и единорог тоже обречен: богомол отыскал между панцирем и туловищем противника незащищенное место, прогрыз там дыру, всунул в нее голову и пожирает его внутренности.

Но наиболее любопытно и поразительно то, что насекомые, уже нанеся друг другу смертельные раны, не прекращают борьбу. Ненависть, заставившая их броситься друг на друга, еще живет в их изувеченных телах. Размеренными, непрерывными движениями челюстей богомол вгрызается в брюшко жука и пожирает его внутренности, которые тотчас же вываливаются через зияющую рану, пробитую могучим рогом. А в это время жук тщетно старается схватить туловище богомола своими челюстями; это ему не удается, и он довольствуется ногами противника, которые начинает обгрызать.

Час за часом, до самой ночи они продолжают пожирать друг друга. На следующее утро от сражавшихся насекомых не остается ничего, если не считать панциря единорога. Все остальное послужило пищей другим обитателям тропического леса.

Ожесточенная борьба



Восставали ли индейцы против чужеземных владык, пробовали ли они освободиться от испанского гнета?

Все мы знаем о героической борьбе североамериканских индейцев с английскими колонистами, но лишь немного известно о том, как обстояло дело в Перу и Мексике, то есть в тех странах, где до появления белых жили многочисленные индейские племена, отличавшиеся высоким уровнем культуры. Предвзятые историки, неблагожелательные к «туземцам», пытались уверить мир, что эти индейцы, после того как было сломлено их первое сопротивление испанским конкистадорам, раз и навсегда покорились судьбе и смирились с рабством, словно испуганное стадо кротких, покорных овец. Это отъявленная ложь.

В действительности же с первых дней чужеземного владычества и по нынешние дни брожение среди индейцев не прекращалось. То тут, то там восставали угнетенные, и, хотя испанцы с поразительной жестокостью расправлялись с восставшими, опустошая целые области, проходило пять, десять, пятнадцать лет, и индейцы опять брались за оружие — оружие несравнимо более примитивное, чем мечи карателей, — и опять терпели поражение.

В 1571 году некий Тупак Амару, один из потомков верховного инки, возглавил восстание перуанских крестьян, чтобы освободить отчизну от притеснителей и восстановить прежние порядки. Испанцы, которые чувствовали себя в завоеванной стране, принадлежавшей им уже около сорока лет, весьма уверенно, неожиданно оказались в очень тяжелом положении. И лишь прибегнув к своему испытанному методу — гнусному вероломству, они смогли сломить сопротивление повстанцев. Предложив Тупаку Амару заключить договор о мире, они пригласили его на совет, схватили, как когда-то Франсиско Писарро схватил Атауальпу, и отрубили ему голову. Такое вероломство было для индейцев чем-то непостижимым; как когда-то смерть Атауальпы, оно надломило их волю. Теперь уже испанцам было нетрудно окончательно подавить восстание.

Не только недовольство тяжелым принудительным трудом на плантациях и в рудниках, но и злоупотребления властью со стороны чиновников часто заставляли индейцев подниматься с оружием в руках. Немало кровавых восстаний было вызвано протестом против пресловутых *repartimientos* — принудительной продажи индейцам дорогих товаров префектами и безжалостных наказаний в случае отказа покупать эти товары.

В 1742 году весь край был охвачен заревом пожаров; особенно бушевали они на восточных склонах Анд, прилегающих к низинным лесам бассейна Амазонки. Там горели также миссии францисканцев, так как индейцы уже убедились, что миссионеры действовали заодно с палачами. На территории,

населенной индейцами чунчо, миссионерские поселения были уничтожены все до единого.

Спустя сорок лет, доведенные до отчаяния жестокими репартиментос, индейцы снова подняли восстание, пожалуй, самое большое и кровавое в истории Америки. Доведенные до крайности, крестьяне департаментов Чайанта и Тинта набросились на своих угнетателей. Это произошло в 1780 году. После того как во главе индейцев встал энергичный потомок инков, носивший то же имя, что и вождь восставших двести лет назад, — Тупак Амару II, прекрасный организатор и храбрый воин, восстание быстро распространилось почти на все Перу. Более шестидесяти тысяч индейцев, главным образом из окрестностей Куско, древней столицы инков, взялись за оружие. Это была сила, с которой перуанские испанцы не были в состоянии справиться. Крупные подкрепления, спешно вызванные из Сантьяго и даже из далекого Буэнос-Айреса, также встретили непреодолимое сопротивление. Краснокожие воины сражались с небывалым мужеством и упорством. С обеих сторон потери были огромны; ряды испанцев редели, земля горела у них под ногами.

Убедившись, что подавить восстание силой не так легко, испанцы предложили повстанцам сложить оружие, обещая всеобщую амнистию. В этой беспощадной войне индейцы понесли громадные потери, потому что их враги убивали всех, кто попадался им в руки; хотя и непобежденные, но измотанные в боях, повстанцы стремились к миру. Поэтому они не отклонили руки, протянутой им, как считалось, в знак дружбы. Они забыли уроки прошлого и так же пали жертвой предательства, как их предки за двести лет до этого. Как только Тупак Амару II вместе с сопровождавшими его вождями появился в стане врага, вероломные испанцы, даже не думая о данном слове, немедленно схватили их.

Заимствовав методы свирепствовавшей в те времена инквизиции, испанцы устроили на Пласа Централь в Куско кровавое представление. Они согнали туда тысячи индейцев, которые должны были увидеть, какого наказания заслуживает бунтовщик, выступающий против испанских властей. Народ так боготворил своего вождя, что, несмотря на суровый запрет, все пали пред ним на колени, когда палачи повели его к месту казни. Пытаясь сломить мужественного индейца, сначала задушили у него на глазах жену, детей и ближайших родственников. Потом у него вырвали язык, после чего инку привязали к четырем лошадям и разорвали на части, а останки предали огню.

Смерть Тупака Амару II произвела эффект, которого испанцы не ожидали. Они надеялись, что, как и двести лет тому назад, индейцы проникнутся ужасом и их сопротивление будет сломлено. Но этого не произошло. За долгие годы рабства народ хорошо узнал своих владык и закалился для борьбы с ними. Новые отряды вступили в борьбу с угнетателями. Война длилась два года с переменным успехом. Три с половиной месяца повстанцы осаждали город-крепость Ла-Пас. Тем временем испанцы ждали подкреплений из Европы и собирались с силами. Со всех концов колонии к ним на помощь спешили вооруженные отряды. Несмотря на поразительную стойкость и героизм, индейцы в конце концов были разгромлены и опять оказались под жестоким гнетом.

Чтобы обезопасить себя на будущее от подобных взрывов народного возмущения, победители решили лишить индейцев вождей. Для этого они схватили всех потомков инков, каких только могли разыскать, и вывезли их в Испа-

нию. Там эти последние представители когда-то великого народа погибли в тюремных камерах.

Когда в начале XIX века Латинская Америка неудержимо шла к великой освободительной революции, направленной против европейских метрополий — Испании и Португалии, руководство движением захватили креолы — белые, родившиеся в Новом Свете. Однако основной силой его были народные массы, угнетаемые креолами так же безжалостно, как и заморскими владыками. Индейцы и негры верили, что освобождение от ярма европейских хозяев повлечет за собой улучшения условий их жизни. Латинская Америка по праву гордится революционным движением, возглавлявшимся Боливаром и Сан-Мартинем, однако не следует забывать и того важнейшего обстоятельства, что в Перу первыми поднялись против могущества Испании не креолы, а индейцы.

Это были нестигаемые граждане прославленного Куско, вошедшего в историю как очаг многих индейских восстаний; в 1814 году, убежденные, что для Перу настал час освобождения, они поднялись против испанских владык, надеясь, что перуанские креолы поддержат их. Не поддержали. Креолы здесь еще не были подготовлены или, быть может, как в Мексике, просто испугались урагана народного гнева. Сорок тысяч индейцев, возглавляемых вождем Помакагуи, отважно сражались с превосходящими их силами испанцев, и, хотя боливийские крестьяне тоже взяли за оружие, регулярной армии все же удалось задушить восстание. Но во многих других местах южноамериканский континент был уже охвачен огнем.

Основанная в 1824 году республика Перу не оправдала надежд широких народных масс. Их судьба продолжала ухудшаться от поколения к поколению; они находились в тисках между двумя ненасытными чудовищами, которым принадлежала власть: помещиками, захватившими почти всю землю, и иностранными капиталистами, беззастенчиво грабившими природные богатства страны.

В Кумарии я часто вглядывался в противоположный западный берег Укаяли. Там, на востоке Перу, у подножия Анд, берут начало величайшие реки мира, достигает наибольшей мощи и пышности девственный лес Амазонки, обильнее всего размножаются звери и птицы — там даже бури, разбивающиеся о стену Кордильер, самые свирепые. Пожалуй, нет больше такой области на земле, где природа была бы так щедра и исполнена пафоса. Все здесь словно эффектная декорация к драме титанов, и на этом фоне человек разыграл подлинно великую драму и все еще продолжает разыгрывать ее.

Здесь, в Кумарии, воздух мглист и жарок. Но иногда, в послеполуденные часы, весьма редкие, впрочем, он бывает так чист и прозрачен, что далеко на западе видна горная цепь со своими вершинами; неужели это Анды, удаленные от нас, как я полагаю, километров на сто пятьдесят — двести? Я не знаю, а жители Кумарии тоже не могут дать мне точный ответ. Вид этих гор необычайно волнует: ведь там находилась колыбель их бывшего величия. И сразу возникает вопрос: неужели это величие утрачено навсегда, как этого хотят враги красной расы?

Цветы, восхитившие англичан



Рассказывают, что когда Рабиндранату Тагору было двенадцать лет, его спросили в школе: что достойного упоминания сделали англичане за последнее столетие. Маленький индус ответил: поработили Индию, открыли силу пара и полюбили орхидеи. Распространенное представление об англичанине как о флегматичном, неразговорчивом, самоуверенном человеке в клетчатых гольфах, с трубкой в вечно стиснутых зубах неверно или, во всяком случае, преувеличено. Эти черты вовсе не характерны для большинства англичан, они присущи лишь представителям определенных слоев общества, преимущественно высших и средних классов.

Как известно, эпоха королевы Виктории в XIX веке была временем неслыханного обогащения Англии. Успешные войны, расцвет свободной торговли, установление прочных связей со всем миром, все более усиливающаяся эксплуатация народов других стран и собственного рабочего класса, а также бурный ошеломляющий рост английской промышленности — одним словом, головокружительное развитие капитализма в Англии привело к появлению прослойки богатых людей, с гордостью называвших себя *leisured classes* — праздными классами. Эти «*leisured classes*» просто не знали, что им делать со своими деньгами и каким еще чудачествам предаться. Кругосветные путешествия, охота на львов в Африке и на тигров в Азии, комфортабельные яхты и всевозможные спортивные состязания — все это уже не в состоянии было развеять их скуку и сплин. Нужно было что-нибудь еще более эксцентричное — появилась болезненная страсть к орхидеям.

Трудно сказать, чем была эта страсть: культом, спортом, психозом или причудой. Вспыхнула она более ста лет назад, а в середине XIX века разгорелась ослепительным пламенем, которое не погасло и до сих пор. Тот, кто будет исследовать историю правящих классов Англии за последние сто пятьдесят лет, не сможет не обратить внимания на это необычное увлечение. Завоевав Индию и разгромив Наполеона, практичный купеческий народ вдруг поддался очарованию прелестных *Cattleyi*, *Odontoglossum* и *Oneidium*.

Но и независимо от странного увлечения англичан орхидеи занимают в растительном царстве исключительное место. Не только потому, что это прекрасные цветы фантастических расцветок — от самых ярких и вызывающих до самых нежных; не только потому, что они источают тысячи запахов — от аромата фиалок и тубероз до зловония гниющего мяса; не только потому, что они нередко обладают невероятно причудливой формой; не только потому, что прикосновение их сочных цветков к пальцам вызывает какое-то необыкновенное чувственное ощущение; раскрытая чашечка цветка чем-то напоминает губы, жаждущие поцелуя (а иногда и получающие его — поцелуй колибри или мотылька): орхидеи таят в себе какие-то неуловимые чары, свойствен-

ные, пожалуй, только живому существу. Роза — один из самых красивых цветов, но человек лишил ее очарования простоты, сделав претенциозным символом. К орхидее же он относится как к одухотворенному и живому существу, встреча с ней — всегда какое-то переживание или приключение, которое неизвестно как кончится, какие оставит следы.

Во время наших охотничьих скитаний по окрестностям Кумарии я почти каждый день обнаруживал новые для меня виды орхидей. У многих из них очень скромные цветы — серые или желтоватые. Но иногда совершенно неожиданно замечаешь вдруг какой-нибудь чудесный экземпляр, от которого трудно отвести взгляд. Цветок завораживает, его дикая красота волнует.

Биология орхидеи изучена сравнительно недавно. Каждый цветок дает огромное множество крошечных семян — число их достигает двухсот тысяч. Но когда из этих семян попытались вырастить орхидеи, натолкнулись на неожиданные трудности: проросшие семена почему-то погибали. Кропотливые исследования помогли установить причину неудач. Оказалось, что орхидеи живут в симбиозе с одним микроскопическим грибочком, который служит им кормом в первые дни жизни. Без этих грибочков-«кормилиц» они развиваться не могут. Когда это было обнаружено, в семена стали добавлять соответствующую подкормку, и они оказались благодарным объектом для выращивания. Тогда-то и возник культ орхидей.

В начале XIX века было известно лишь около ста видов орхидей, сегодня их более пятнадцати тысяч. Число это с каждым годом все возрастает, так как наряду со множеством удивительных особенностей орхидеи обладают еще и тем свойством, что разные их виды можно легко скрещивать между собой и получать таким образом все новые и новые виды.

Почти все дикорастущие виды орхидей уже известны науке. Но сколько для этого затрачено усилий, сколько человеческих жизней посвящено этому, сколько охотников за орхидеями погибло среди скал в Андах и Гималаях!

Когда-то громкой славой пользовались аукционы орхидей, проводимые известной английской фирмой «Протероу энд Моррис» в Чипсайде. Туда съезжались покупатели из многих стран, появлялись там и члены королевской семьи — словом, там собирался весь «цвет» английского общества, чтобы оказать надлежащие почести «царице цветов». И эти люди, перед которыми в те времена трепетал весь мир, сами начинали дрожать от волнения при виде нового вида орхидей, найденного где-нибудь в глухих лесах Ориноко. За один новый экземпляр нередко платили такие головокружительные суммы, о которых и сегодня еще ходят легенды, суммы, нередко превышавшие десятилетний заработок уэльсского шахтера.

Особо редкие виды орхидей имеют свою историю, часто необычную, романтическую и полную приключений.

Вот одна из таких историй. Прекрасная розовая орхидея *Cattleya labiata*, ныне очень распространенная, была найдена в начале XIX века при необычных обстоятельствах. Некто Свенсон посылал профессору ботаники в Глазго Джек-сону Хукеру собранные в окрестностях Рио-де-Жанейро бразильские мхи. Однажды он переложил кустики мха стеблями какого-то сорняка, который, к радости профессора, оказался неизвестным видом орхидеи.

Она была выращена, размножена и названа *Cattleya labiata*. Но когда некоторое время спустя крупные торговцы орхидеями, такие, как Сандер и Проте-

роу, послали в Рио-де-Жанейро своих агентов с поручением найти дикорастущую *Cattleya*, те возвратились ни с чем: никто не смог найти место, где росла эта таинственная орхидея; Свенсон же к этому времени пропал где-то в Новой Зеландии. Так и по сей день никто не знает, где родина этого чудесного цветка, миллионы экземпляров которого украшают все оранжереи мира.

В 1862 году фирма «Протероу энд Моррис» заинтриговала всех любителей орхидей сенсационным сообщением. Она обещала им неизвестную до сих пор орхидею, самую прекрасную из всех, какие когда-либо были найдены. Так как эта фирма считалась весьма солидной, к обещанию все отнеслись серьезно. Говорили даже, что из-за этого лорд Стенхоуп отложил свою поездку в Индию. В день аукциона в зале собрались любители орхидей со всей Англии. Наступила торжественная минута: ярко-пурпурный, с золотисто-желтыми прожилками, цветок был просто изумителен. Его привез из Колумбии ботаник Акре.

Молодой лорд Сассекс не смог сдержать себя и первым предложил пятьсот гиней. Назывались все большие и большие суммы. Один лишь Стенхоуп не принимал участия в аукционе: он сидел в углу, нахмурясь, и о чем-то думал. Вдруг он попросил собравшихся отложить на один час аукцион и покинул зал. Он опоздал на десять минут, и аукцион возобновился в его отсутствие. Когда он возвратился, лорд Сассекс, купивший орхидею, выписывал чек.

— Сколько ты заплатил? — спросил его Стенхоуп.

— Тысячу! — с триумфом ответил Сассекс.

— На девятьсот девяносто гиней больше, чем она стоит, — лаконично заметил Стенхоуп; потом он объяснил, в чем дело.

Лет за пятнадцать до этого аукциона он получил от одного натуралиста из Колумбии письмо, которое сейчас держит в руках. В этом письме натуралист сообщал об открытии нового вида орхидеи из семейства *Cattleya*. Описание полностью соответствует орхидее, которая была продана сегодня. Поскольку энтузиазм, которым было проникнуто письмо, показался тогда Стенхоупу преувеличенным, он заподозрил натуралиста в обмане и ничего ему не ответил. Сейчас обнаружилось, что он допустил тогда ошибку и что пятнадцать лет тому назад действительно была открыта и описана чудесная орхидея. Ему неприятно, что он оскорбил джентльмена своим неверием, и он просит присутствующих быть свидетелями, что он возвращает честь открытия натуралисту, которого зовут Юзеф (тут Стенхоуп на миг запнулся, не зная, как это выговорить) Варшевич; он, кажется, поляк.

А как раз в это время Юзеф Варшевич, открывший и эту чудесную *Cattleya dowiana*, и много других орхидей, умирал в нищете в одной из долин в Кордильерах. Всю свою бурную и плодотворную жизнь ему приходилось бороться с нуждой.

Индеец из племени кампа ведет меня лесной тропинкой. Мы возвращаемся к своему дому на берегу Укаяли. Не знаю, сколько нам еще идти, а между тем солнце, просвечивающее сквозь ветви деревьев, лианы и огромные колючие бромелии, опускается все ниже и ниже. Неожиданно я останавливаюсь как вкопанный, не обращая внимания на тучи комаров. Среди запахов прелой листвы, ванили, хвои, камфары и вони какой-то черепашки я внезапно ощущаю новый запах, невероятный, чувственный аромат, пронзивший меня насквозь. Трудно передать, что это такое: можно лишь сказать, что он необыкновенен.

Индеец показывает вверх, на дерево, и говорит:

— Огненный цветок.

В нескольких метрах от земли, среди древесных ветвей, приютилась целая семья орхидей с огромными оранжевыми цветами, разрисованными лиловыми полосами. Кажется, что это не то притаившиеся в ветвях тигрята, не то какие-то сказочные существа. При виде такой ослепительной красоты в этом гнетуще мрачном лесу захватывает дух.

Однако надо торопиться; наступают сумерки. Мы идем дальше, а кампа обещает мне нарвать и принести в Кумарию целый букет этих «огненных цветов».

Старые добрые друзья



В 1928 году я организовал свою первую бразильскую экспедицию, подобную нынешней; среди ряда других экспонатов я привез из нее около двадцати различных животных. Об этих симпатичных существах написал потом книгу «Бихос, мои бразильские друзья». В эту книгу я вложил всю свою душу и посвятил ее, разумеется, своей дочурке Басе.

Сейчас, когда судьба опять привела меня в тропические леса Южной Америки, я, как и прежде, не упускаю возможности заполучить различных животных. Они живут у меня на высоком берегу Укаяли, откуда их возня и гомон разносятся далеко и слышны даже на середине этой большой реки. Шум, поднимаемый ими, особенно в послеполуденные часы, должно быть, необычаен, потому что проплывающие мимо индейцы из племени чама, заинтересовавшись, причаливают к берегу и поднимаются вверх. Они с удивлением вглядываются в каждую пасть и каждый клюв и, прислушиваясь к оглушительным крикам животных, поощрительно говорят:

— Славные звуки, красивая музыка!..

И тут же, спустившись с заоблачных сфер на грешную землю, добавляют:

— И полакомиться можно будет. Столько мяса!..

Выразив свое восхищение, они усаживаются в лодки, одобрительно покачивая головами. Шестьдесят животных — это ведь целый зоологический сад, и слава о нем разносится на пятьсот километров вверх и вниз по реке.

Еще в Икитосе я купил молоденькую водосвинку капибару — забавного грызуна, действительно похожего на свинью; вместе со мной она совершила продолжительное путешествие до Кумарии. Это похоже на поездку в лес со своими дровами. Моя капибара любит зеленые бананы, свободу и грязь. В первый же день я привязываю ее хитроумным узлом, однако ночью она каким-то образом освобождается, но не убегает, хотя и может это сделать. Она очень доверяет мне, и я, в свою очередь, стараюсь по мере возможностей не ущемлять ее стремлений.

Капибара очень быстро разбаловалась окончательно. Я уже не в состоянии

сладить с ней. Любые путы и узлы соскальзывают с ее толстенького тельца, и тогда ее свободолюбие торжествует. Она часто исчезает в безграничных кумарийских топях (тех самых, на которых несчастные польские колонисты хотели построить счастливую жизнь) и возвращается лишь для того, чтобы наесться бананов. Я утешаюсь тем, что она все-таки возвращается.

Хуже другое: она, несомненно, портит вторую, более молодую капибару и совсем еще маленького тапира. Этот тапирик — наш общий любимец. Я залечил ужасные раны, нанесенные ему собаками, и он относится ко мне как к родной матери (его маму убили люди).

Я и капибара-искусительница постоянно соперничаем друг с другом: предмет нашего соперничества — сердце этого слоноподобного увальня. Капибара соблазняет его свободой, лесными дебрями и вольным житьем на лоне природы, я же стараюсь привлечь его добрым человеческим словом и датским сгущенным молоком. Тапир в растерянности. Он уходит вслед за капибарой в лес, но когда я, обеспокоенный их долгим отсутствием, тоже бегу в лес и свищу изо всех сил, он отзывается откуда-то из чащи, бросает свою искусительницу и, подбежав ко мне, трется о мои ноги, после чего мы в самом добром согласии возвращаемся домой.

Я подметил, что утром капибара имеет на него большее влияние, по вечерам он безраздельно принадлежит мне. Как бы я ни гнал его от себя, с наступлением сумерек тапирчик забирается под стол, принимает участие — пассивное, разумеется, — во всех разговорах, ведущихся за ужином, и нет такой силы, которая выгнала бы его отсюда.

Наш тапирчик — самочка, то есть девица, по отношению к которой доктор Жабиньский, милейший директор зоологического сада в Варшаве, и я выступаем в роли сватов. Путем переписки между Польшей и Перу мы договариваемся, что я привожу «девицу» в Польшу и мы выдаем ее «замуж» за тапира-самца, тоскующего в одиночестве в варшавском зверинце. По-моему, из них должна получиться славная пара.

Туканы — самые большие озорники среди птиц. У меня их несколько; это не птицы, а черти. Всюду лазают, вечно суются не в свои дела, запускают в суп свои чудовищные клювы, затем хватают этими клювами человека за нос, держат за волосы, а когда он их отгоняет, усаживаются ему на плечи. Когда они скачут с места на место, а человек оказывается у них на пути, они нахально требуют, чтобы им уступили дорогу. По части еды они не признают шуток и, вечно голодные, пожирают и собственные порции, и порции других, более слабых животных. Короче говоря, они терроризируют половину моего зверинца, не исключая даже белого ястреба, который, правда, сильнее их, но еще молод и глуп и поэтому покоряется им.

Единственное, к чему туканы относятся с почтением, — это клювы араар, сказочно ярких матрон, восседающих на самых верхних ярусах — как птичьей иерархии, так и вольеров. Кроме араар туканы как огня боятся двух тромпетеров. Это мрачные черные птицы с черными же крыльями, принадлежащие к семейству бородачей. Тромпетеры издают какие-то глухие звуки, словно исходящие из глубины земли, и благодаря своему воинственному виду держат в рамках даже назойливое племя домашних кур. Держа в страхе животных, тромпетеры необычайно доверчивы к людям. Один из них любит, когда я держу его за голову и пальцами поглаживаю вокруг прищуренных от удовольствия

ствия глаз; другой просто влюблен в одного десятилетнего мальчика чама. Увидев маленького индейца, он несется к нему, описывает круг и, распластав крылья, ложится у его ног.

«Много шуму из ничего» производят тридцать маленьких, величиной с кулачок ребенка, нахальных зеленых попугайчиков. В моем зверинце их голоса заглушают все остальные. Я убежден, что если в пальмовой оранжерее в Познани поместить хотя бы трех таких попугайчиков, она наполнилась бы голосами тропического леса. Но тридцать крикунов — это уже адский гам, действующий на нервы их четвероногих и двуногих соседей.

Самый дикий из моих зверей — ирара, называемая в Перу манко, которую поймали на противоположном берегу реки. Это непоседливое животное, принадлежащее к семейству куньих, во время своей непродолжительной неволи постоянно что-нибудь грызло. Грызло что попало. Ирара превращала в стружку прутья своей кедровой клетки, грызла железный намордник, который мы пробовали надеть на нее, перегрызала палки, которыми Педро загонял ее в клетку. Двое людей постоянно стерегут ее, отталкивая любыми способами от прутьев клетки, но этот неутомимый зверек, словно безумный, наперекор всякой логике не прекращает своих попыток освободиться. В конце концов — невероятно! — он побеждает: прорывается между четырьмя руками, вооруженными палками, и убегает в лес — отважный, неустрашимый борец за свободу. Он дает нам прекрасный урок: безграничная отвага и настойчивость побеждают даже в самом трудном положении.

Совсем другая история произошла у нас со змеей анакондой. Ее нашли спящей на одной из расположенных поблизости плантаций сахарного тростника, набросили на нее петлю и привезли мне на чем-то вроде саней. Чудовище это имеет примерно пять метров в длину и весит около двух центнеров. Решив привезти анаконду в Польшу живой, я поместил ее в специальную клетку и дал ей на съедение цыпленка. Но тут случилось нечто неожиданное и даже забавное: цыпленок подружился со своим извечным врагом. Ложится спать между огромными кольцами змеи, нахально поклевывает ее и буквально ходит у нее по голове. А свирепая анаконда и не собирается есть его.

После двух недель такой идиллии мы решаем, что анаконда, вероятно, больна, и решаем умертвить ее. Но сначала я хочу сфотографироваться с ней — очень уж фотогенична эта бестия. Вдруг змея взвизгивает и своей страшной пастью хватает мою руку. Но прежде чем ей удастся обвиться вокруг моего туловища и начать ломать мне ребра, мои товарищи успевают воткнуть ей в пасть палку, разжать ее челюсти и освободить мою обильно кровоточащую руку. Эта отчаянная выходка не помогла анаконде: ее убили и вытопили из нее жир для каких-то таинственных лекарств. Цыпленок же постигла обычная участь: он угодил в котел и был съеден людьми.

В первых числах апреля ко мне пришла старая индианка чама, жившая на одном из островов, расположенных выше Кумарии, и спросила, не куплю ли я обезьянку. Куплю, ответил я, если она здорова. В ответ на это индианка развернула какие-то лохмотья, откуда выглянули большие испуганные глаза и показались черный хохолок и трогательно вытянутые в трубочку губы обезьянки капуцина. При виде этой старой приятельницы, знакомой мне еще со времен моей первой бразильской экспедиции, у меня забило сердце и к гор-

лу подступил ком. Ведь это же точь-в-точь Микусь, с которым так сердечно подружилась когда-то моя бедная Бася. Сколько тогда было радости, смеха и детских шалостей!

Индианка спрашивает, знакомы ли мне эти обезьяны. Я отвечаю утвердительно и показываю ей фотографию Баси с Микусем из моей книги «Бихос».

Индианка узнает обезьяну и очень довольна. Потом спрашивает меня, где сейчас эта девочка. Я молчу. Как объяснить этой краснокожей даме с узорами на щеках и большим кольцом в носу, что как раз год тому назад Баси не стало? И как скрыть от этой старухи слезы, которые наполняют глаза путешественника? Удивительно человеческое сердце: белое солнце экватора не может выжечь в нем память о прошлом, тропические ливни не в состоянии остудить его, огромный суровый лес не дает ему забвения.

Симпатичный тапирик спасает положение. Он подбегает ко мне и тянет меня за рубашку, выпрашивая сгущенное молоко. Хорошо, хорошо, сорванец, сейчас дам тебе молока!

Черный поток, несущий смерть



Охотясь как-то в чаще недалеко от реки Кумарии, я вдруг обнаруживаю, что все живые существа вокруг меня пребывают в каком-то непонятном возбуждении. Птицы, кажется, сошли с ума и, обезумев, прыгают с ветки на ветку, взволнованно крича. Какой-то броненосец, очевидно только что пробудившийся ото сна, с шумом мчится сквозь кустарник, не разбирая пути. Множество жуков, кобылок и других насекомых носится в воздухе, шелестя крыльями и жужжа; некоторые из них, обессилев, садятся на листья, но отдыхают недолго и снова пускаются в путь.

Все это мчится в одном направлении. А когда мимо меня пробегает испуганный паук-птицеед из семейства *Mygale*, величиной с ладонь человека — хищник, которого, кажется, ничто не может испугать и перед которым все дрожит, — я начинаю догадываться, что там, в чаще, произошла какая-то катастрофа, ужаснувшая всех обитателей леса.

Я крепче сжимаю ружье и, укрывшись за деревом, с любопытством ожидаю, что будет дальше. Беспокорные крики птиц и суматоха среди насекомых заставляют волноваться и меня. Сердце мое начинает биться чаще. Самое ужасное в лесу — ожидание неведомой опасности. На всякий случай я перезаряжаю ружье: вынимаю патроны с мелкой дробью и заряжаю один ствол картечью, а другой — пулей на крупного зверя.

Спустя некоторое время насекомых в воздухе уже не видно, зато до моих ушей доносится какой-то приглушенный неумолчный шелест, напоминающий звук разрываемой бумаги. Трудно определить, откуда идет этот таинственный шум. Одновременно я ощущаю в воздухе острый кисловатый запах и что-то вроде запаха гнилого мяса.

Наконец я начинаю понимать, в чем дело. В нескольких шагах от меня среди густой растительности ползет по земле широкий поток черной лавы — муравьи.

Это шествие хищных муравьев эцитонов, несущих гибель всем живым существам, которые попадутся им на пути. Ничто не может устоять перед их натиском — ни человек, ни зверь, ни насекомое. Все, кто не в состоянии убежать, гибнут, разорванные на куски этими хищниками.

Несколько болезненных укусов в ноги напоминают мне, что нужно бежать отсюда. Десятка два муравьев уже успели взобраться на меня. Я бросаюсь в сторону, но тут же понимаю, что уйти нелегко. В густых зарослях невозможно перепрыгнуть через сплошной метровый поток этих ужасных насекомых. Муравьи чем-то рассержены и немедленно впиваются мне в ноги. Я бегу в противоположную сторону — там то же самое: струится тот же черный поток. Тем временем к дереву, под которым я только что стоял, приближается третья могучая колонна эцитонов, и мое положение еще более ухудшается. Я окружен с трех сторон.

Поспешно отыскиваю место, где их сравнительно меньше, и прорываюсь сквозь их кордон. Бегство удастся, но, пока я метался в кустах, на меня вскарабкалось еще несколько десятков муравьев. Некоторые из них проникли под рубашку, впилась своими челюстями в тело, и теперь от них невозможно освободиться. Разорванные пополам, они продолжают вгрызаться в мои ноги; чтобы от них избавиться, нужно рвать их на кусочки. Места укусов очень болят и вспухают — вероятно, муравьи выделяют какой-то яд. Я стискиваю зубы и стараюсь сосредоточить свое внимание на том, что происходит вокруг меня.

Муравьиная процессия растянулась в длину шагов на восемьдесят; она состоит из нескольких параллельных колонн, напоминающих армию на марше. Трудно сказать, сколько здесь особей. Может быть, миллион, а может быть, и все десять. Колонны состоят из сплошной массы муравьев, каждая шириной в несколько десятков сантиметров. Двигутся они со скоростью четыре-пять шагов в минуту и такой плотной массой, что можно стоять рядом с ними, на очень близком расстоянии, не рискуя быть укушенным.

Передвигается, судя по всему, целый муравейник, так как я вижу здесь муравьев разных размеров: маленьких, средних и больших. Самые большие — полуторасантиметровые солдаты; они держатся по бокам колонн, бегая взад и вперед, словно охрана, устанавливающая порядок. Это исключительно подвижные и шустрые существа, исследующие все вокруг. Некоторые из них отделяются от колонны, влезают на все придорожные деревья и кусты (но не выше чем на два метра), после чего возвращаются обратно в строй.

В середине колонн, словно сознавая, что это самое безопасное место, множество муравьев тащит потомство муравейника — белые личинки и куколки.

Эта голодная, непобедимая, отчаянная и страшная армия не щадит никого. Несколько зеленых гусениц величиной с указательный палец вели идиллический образ жизни на одной из веток растущего неподалеку от меня куста. Но вот их обнаружил муравей-разведчик и сообщил об этом своим приятелям. Около сотни их устремляется за добычей. Без долгих церемоний рвут они гусениц на части, которые тут же утаскивают на землю. Не более чем в пятнадцать секунд с гусеницами покончено.

Труднее оказалось одолеть паука. Будучи раз в тридцать больше любого из

муравьев, он тем не менее трусливо бежит от них на самый конец ветки. Но муравьи настигают его и там. Паук хватает двух муравьев своими челюстями, еще одного он давит лапой. Но остальные уже впились в него, и вот уже отделяют ему брюшко, разрывают на части туловище и голову, и все это тут же уносят вниз, не забыв даже о лапах несчастной жертвы.

А вот истлевший пенёк поваленного бурей дерева; здесь муравьев ожидает богатая добыча: в этом пне гнездятся несколько десятков больших жирных личинок майского жука. Муравьи вытаскивают их на свет божий и в мгновение ока разрывают на мелкие части. При этом они почему-то возбуждены и яростно вырывают друг у друга добычу, словно торопясь скорее прикончить личинок.

Но есть и такие насекомые, которые живут в мире с муравьями и даже пользуются расположением этих черных разбойников. Со своего наблюдательного пункта, расположенного вблизи места, где проходит одна из колонн, я хорошо вижу, что творится в гуще муравьев. Время от времени я замечаю в середине колонны красных жучков, принадлежащих к совсем другому семейству насекомых, нежели муравьи, и, однако, дружно марширующих вместе с ними. Жучки находятся на положении пленников, и муравьи ревностно стерегут их; это коровы муравейника, доставляющие своим хозяевам ароматное, вкусное масло.

Из любопытства я подхватываю веточкой одного такого жучка и опускаю его на землю в полутора метрах от колонны. Это вызывает неопиcуемый переполох в муравьином царстве. Немедленно во все стороны разбегаются многочисленные патрули. Три муравья хватают беглеца за ноги и волокут к колонне, причем один из муравьев в пылу схватки отгрызает у него ногу. Может быть, это наказание за побег? Прежде чем жучок почувствовал себя свободным (хотя сомневаюсь, способен ли он на это), его втокнули в колонну, и снова его со всех сторон прикрыл черный поток неумолимых насекомых. Эцитоны все делают быстро, решительно, без сомнений и колебаний, с большой целеустремленностью.

Однако в этом государстве не все благополучно. В черной массе муравьев я замечаю каких-то белых насекомых, движущихся вместе с ними. Взяв одно из них, я обнаруживаю, что это всего лишь личинка мухи, которая несет на себе, словно колпак, выеденную изнутри пустую муравьиную голову. Поразительное явление становится мне понятным, когда я замечаю, что над муравейником летают рои каких-то маленьких мушек. Это мухи-паразиты; они постоянно сопровождают муравьев в походах, во время которых выбирают удобный момент и незаметно откладывают свои яйца прямо на тела свирепых насекомых. Через несколько дней из яйца вылупляется личинка, которая тут же начинает пожирать муравья; она ест и растет и в конце концов добирается до муравьиной головы. Выев ее изнутри, личинка скрывается под нею и дерзко шагает вместе с муравьиной колонной до той поры, когда наступает время превращаться в куколку.

Среди эцитонов я вижу множество таких личинок. Это какой-то трагический парадокс: хищные муравьи безжалостно пожирающие все живое, безропотно переносят присутствие в своем стане жалких личинок, которые в свою очередь поедают их. Они не обращают никакого внимания на шагающую рядом с ними опасность. Известны даже случаи, когда этот «внутренний враг»

уничтожал целые муравейники.

Эцитоны служат пищей и птицам. Множество их сопровождает муравьиную процессию, и среди них специалисты по муравьям — коричневые муравьеловы. Крики птиц разносятся по всему лесу.

На ветке над самой землей висит осиное гнездо величиной с футбольный мяч. Десятка два солдат замечают его и тотчас же набрасываются на его серую оболочку. Для их острых челюстей это пустяк: они рвут ее, как бумагу. Но в воздухе уже полно ос. Со злобным жужжанием бросаются они на разбойников и в мгновение ока очищают от них гнездо. Они просто уносят муравьев в воздух; я затрудняюсь сказать, что они там с ними делают. Через минуту в гнезде снова воцаряется спокойствие.

Но ненадолго. В колонне узнали о существовании гнезда от уцелевших разведчиков. В черной массе возникает нервное замешательство — и вот уже наиболее воинственные муравьи карабкаются на куст. Осы опять бросаются в атаку, не подпуская их к гнезду. Среди ветвей вспыхивает ожесточенное сражение. Каждая из ос во много раз больше и сильнее своего противника, кроме того, со своими крыльями они значительно подвижнее — смерть густо косит ряды муравьев; их разодранные тела сыплются на землю. На место погибших по ветвям взбираются все более многочисленные полчища муравьев, но и разгневанных ос становится словно вдвое и втрое больше. В конце концов в суматохе, которая возникла, мне становится трудно следить за всеми перипетиями битвы. Несколько сот ос, пронзительно жужжа, беснуются в воздухе, защищая гнездо; а муравьев — тысячи.

Я предусмотрительно отхожу на несколько шагов в сторону, опасаясь, как бы и мне не досталось от расшвиравших насекомых. Что-то тревожное произошло в самом гнезде. По-видимому, муравьям удалось ворваться внутрь. Из разорванной оболочки гнезда неожиданно начинают сыпаться белые личинки, сначала по одной, потом все чаще и чаще. Это потомство ос. Среди личинок я вижу и осу: облепленная муравьями, она почти не обороняется; жить ей, по-видимому, осталось недолго. За ней падают вниз и другие осы. В то же время я вижу много мертвых ос и среди ветвей, где происходят самые яростные схватки и где все усыпано бесчисленными трупами муравьев.

Тем временем многочисленные отряды эцитонов, не принимавших еще участия в битве, вскарабкались на соседние кусты и оттуда, сверху, атакуют гнездо. Они падают на его серую оболочку, разрывают ее и проникают внутрь. Осы обороняются изо всех сил, но их становится все меньше и меньше.

И вот наступает момент, когда чаша весов решительно склоняется на сторону муравьев. Слишком много их вторглось в гнездо, которое они сейчас раздирают в клочья. Градом сыплются оттуда белые личинки, муравьи и осы — все это беспорядочно перемешанное, вцепившееся друг в друга, полуживое, но все еще ожесточенное и сражающееся. На земле муравьи добивают уцелевших ос, которые защищаются до конца, не желая спастись бегством. И вот уже ряды муравьев смыкаются, и колонна, унося с собой добычу, движется дальше. Осиное гнездо больше не существует — оно пало под натиском столь многочисленного противника.

А в это время в ста шагах от нас разведчики соседней колонны вспугнули огромную, длиной почти в метр ящерицу теху, которая, убегая от них, прячется неподалеку в какую-то нору в земле. Тысячи эцитонов устремляются за ней.

Невидимая битва длится недолго; спустя некоторое время тега появляется на поверхности, черная от облепивших ее муравьев. Муравьи уже успели выесть ей глаза — ее глазные впадины кишат насекомыми. Ослабевшее пресмыкающееся проползает лишь несколько метров. Потом ящерица неожиданно замирает на месте, словно парализованная, и только широко разевает пасть, вооруженную огромным количеством зубов! Но, пока она яростно скалится, пытаясь утратить невидимого врага, сотни муравьев заползают ей в рот. Ящерица отчаянно мотает головой, пасть у нее по-прежнему раскрыта, словно насильно, а тем временем эцитоны поспешно вырывают из нее кусочки живого тела и тащат их в колонну. Я не в состоянии видеть страдания животного и выстрелом из ружья добиваю ее. К этому моменту муравьи уже растаскивают ее внутренности.

Когда минут через пятнадцать мимо этого места проходит арьергард колонны, муравьям уже нечего здесь делать. От ящерицы осталась лишь бесформенная груда костей и чешуек. Муравьи следуют дальше.

Черный кошмар исчезает в лесной чаще, стихают крики птиц-муравьелов. Над лесом по-прежнему висит жаркое солнце; кое-где его лучи пробиваются до самой земли.

Откуда-то прилетает веселая бабочка *helikonius* — на редкость красивая, с желтыми пятнами и красными полосами на черных крыльях — и начинает старательно откладывать яйца на листьях куста, неподалеку от останков ящерицы. Сколько любви и заботы о будущем потомстве вкладывает она в это занятие! Из этих яиц через два месяца вылупятся зеленые гусеницы, которые станут вести безмятежную жизнь под горячим солнцем экватора.

Известный в Англии очеркист Ли Хант писал как-то: «Краски — это улыбки природы. Когда она улыбается от души, ее улыбки воплощаются в цветах или бабочках».

Если природа тропического леса когда-либо улыбается, то, пожалуй, лучше всего эту улыбку можно увидеть в бойкой, яркой, беззаботной бабочке геликоне. Это приветливая, веселая улыбка, всем черным потокам назло.

Но кое-кто — причем не обязательно брюзга или циник — мог бы сказать, что иногда эта улыбка бывает зловещей.

Безумствующая природа



Однажды мы отмерили шагами один квадратный километр леса, тут же за нашей хижинкой; я поручил Педро выбрать по одному дереву каждого вида, растущего там (толщиной не более двадцати сантиметров), и принести их срезы. Поработав неделю, Педро сделал срезы более ста видов, но работа еще не была закончена.

У нас, в Центральной Европе, на площади, равной примерно двум миллионам квадратных километров, растет около сорока видов деревьев; здесь же, на берегу Укаяли, на площади в один квадратный километр неопытный метис насчитал их более сотни. Разница внушительная...

Как-то раз, когда мы прогуливались по улицам Икитоса, мой приятель Тадеуш Виктор споткнулся о какую-то сухую палочку — кусочек ветки, занесенной откуда-то издалека, — грязную, изломанную, без листьев и, вероятно, мертвую. Он хотел откинуть ее ногой, но, посмотрев внимательней, поднял с земли, унес домой, посадил у себя в саду и полил водой. Я посмеивался над ним. Через три месяца я перестал смеяться: на конце невзрачного засохшего прута появился пучок листьев, а среди них — чудесный огромный белый цветок, похожий на лилию. Из цветка уже выглядывало множество пестиков и тычинок, готовых к стократному размножению.

В зоопарке в Пара я увидел у входа огромное дерево сумауба, верхушка которого упиралась прямо в небо. Этому дереву, как следовало из надписи, было всего тридцать семь лет, однако у земли оно уже достигло четырех метров в обхвате. Потом я не раз встречал в лесу гигантские сумаубы обхватом в двадцать-тридцать метров. От ствола над землей отходят могучие ответвления, как бы подпирающие его, что еще больше подчеркивает несокрушимую мощь, диковинную красоту и необычность этого лесного великана.

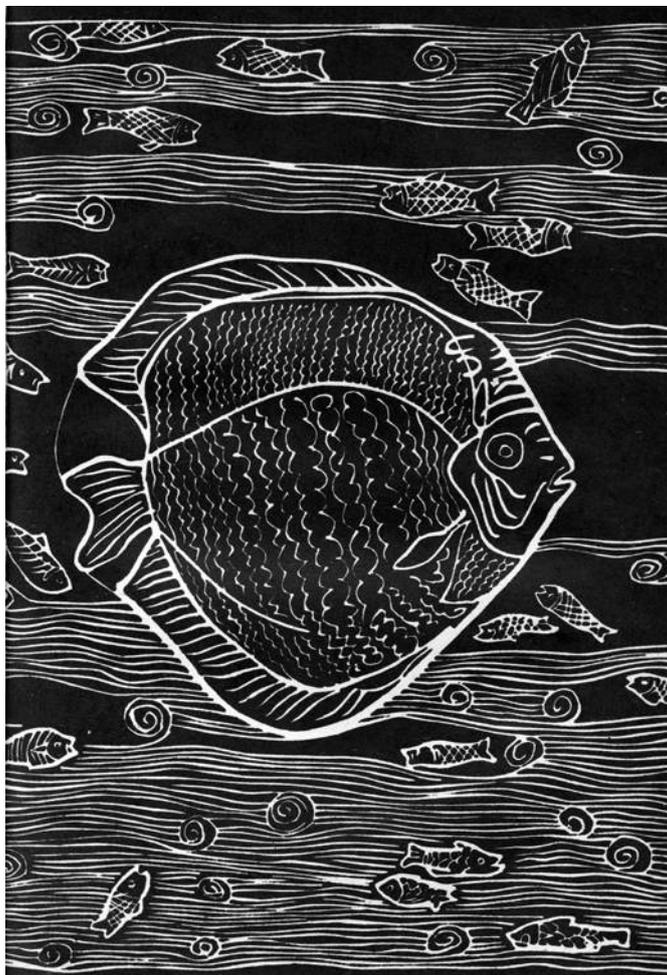
Если посадить семя мамона, то уже через несколько месяцев растение достигает высоты более четырех метров и приносит плоды величиной с ананас. Кто-то остроумно заметил, что если воткнуть в землю Амазонии зонтик, то через два месяца на нем вырастет второй зонтик.

Не знаю, можно ли верить этому безоговорочно, но вот тому, что в лесу над Амазонкой таятся ужас и безумие, я верю. Не раз случалось, что опытные путешественники и исследователи возвращались оттуда неизлечимо больными или вообще не возвращались. Они пропадали бесследно. Лес ревниво стережет свои тайны, и немало людей, даже из числа индейцев, становится его жертвами.

Индейцы считают, что самая ужасная смерть выпадает на долю того, кто заблудится в этом лесу. Поэтому, отправляясь в чащу, они всегда оставляют за собой зарубки на деревьях — эту нить Ариадны. Без таких мер предосторожности неизвестно, что ожидало бы человека в лесу. В обычных условиях — ни-

чего плохого: инстинкт ориентировки сам приведет его обратно домой. Но в том-то и дело, что в этом лесу условия всегда необычны: какой-нибудь укус крошечной мушки или случайное прикосновение ядовитого растения могут замутить сознание. Девственный лес готовит человеку тысячи неожиданностей; это отпугивает и в то же время неотразимо влечет тех, кто познал и полюбил дрожь азарта.

В сообщениях путешественников часто можно встретить рассказы о блужданиях по лесу и описания невыразимого ужаса, который охватывает даже людей с крепкими нервами и здоровой психикой. Сам я дважды испытал подобные ощущения: первый раз на берегу реки Иваи, притока Параны, во второй раз здесь, в Кумарии. В обоих случаях я сошел с тропинки, преследуя животное, однако, наслышавшись о возможных опасностях, я был начеку и, углубляясь в лес, старался запомнить расположение и вид окружавших меня деревьев, хотя эти места были менее дикими, чем обычно. Кроме того, я ни на миг не забывал, в какой стороне от меня тропинка. Удалившись от нее на какую-то сотню шагов, я счел благоразумным отказаться от продолжения погони и повернул назад.



Отсчитал сто шагов — тропы нет; еще пятьдесят — то же самое. Оглянулся по сторонам: все вокруг незнакомое. Повернул назад, чтобы по своим следам пойти до места, откуда я начал поиски тропинки. Но не нашел этого места и, что еще хуже, обнаружил, что иду среди совершенно незнакомых мне групп деревьев. Хорошо еще у меня нашлось достаточно здравого смысла, чтобы не побрести куда глаза глядят. Я остановился. Знаю, что спасительная тропинка может находиться лишь в одной стороне; отправившись в любую из трех других, человек будет только все больше углубляться в бесконечные дебри; оши-



биться в выборе пути — значит погибнуть. По моему лицу струился холодный пот, взгляд туманился.

В обоих случаях поблизости были мои товарищи. Заметив мое слишком долгое отсутствие, они вернулись на то место, где видели меня в последний раз. Услышав их крики, я отозвался, и мы легко отыскали друг друга. Оказывается, я удалился от тропинки не больше чем на двести шагов. Солнце в те дни было закрыто тучами, и, если бы не мои друзья, приключение могло бы кончиться для меня печально.

Индейцы на Амазонке с незапамятных времен верят в существование лесного духа Курупире. Это двуногое существо, причем одна нога у него как у человека, другая как у ягуара. Он бродит по лесу и в своей безграничной злобе приносит несчастья и гибель всем живым существам, которых встречает. Это он издает таинственные пугающие звуки, какие часто слышатся в лесу. Все беды от него, и так как этот злобный дух таскается повсюду — во всех лесах Амазонии вас подстерегает опасность. Самое большое наслаждение испытывает Курупира тогда, когда ему удастся замутить разум людям, заблудившимся в лесу: дико хохоча, он наблюдает за тем, как они гибнут от страха.

Первую крупную научную экспедицию в неизведанные районы бассейна Амазонки организовал в 1743–1744 годах француз Шарль де ла Кондамин. С ней связана одна из самых ужасных трагедий, какие только разыгрывались в этом девственном лесу.

Одним из спутников Кондамина был Годен де Одоне, приехавший в Южную Америку вместе с женой и детьми. Оставив семью под опекой друзей в Кито, Годен отправился на несколько месяцев на Гуаинию. Экспедиция затянулась более чем на год. Отсутствие каких-либо известий беспокоило жену Го-

дена. До нее доходили только противоречивые слухи о невзгодах, обрушившихся на путешественников, даже о их гибели. Спустя год кто-то сообщил ей якобы достоверные сведения о том, что ее мужа видели на верхней Амазонке, сравнительно недалеко от Кито — в каких-нибудь пятистах километрах по прямой. Отважная женщина, не желая больше ждать, отправилась через девственный лес к своему мужу. Ее сопровождали зять, дети, француз-врач и несколько преданных слуг. Люди, знающие, что такое девственный лес, старались отговорить ее от безумного намерения, но безуспешно: она верила в свои силы и в свою звезду.

За несколько недель дерзкие путешественники пересекли Кордильеры, пройдя теми же самыми перевалами, по которым двести лет назад шагал незадачливый Гонсало Писарро, отправившись на поиски Золотого короля. Благополучно одолев горы, экспедиция спустилась на влажную низменность, где повернула на юг и вскоре достигла реки Пастасы, притока Амазонки. Раздобыв здесь лодку и наняв индейцев-гребцов, путешественники через несколько недель доплыли до небольшого миссионерского поселения в низовьях Пастасы. Увы, они не застали в нем ни одной живой души: всех жителей поселения унесла эпидемия оспы. Ужасная картина так поразила гребцов и проводников, что все они сбежали, опасаясь мести Курупире.

Несчастья посыпались на путешественников одно за другим. Управляемая неумелой рукой лодка зачерпнула воды и затонула; люди едва спаслись. Кругом был лес — дикий и враждебный, а плот построить не сумели. Голод заглядывал им в глаза. Врач и слуга негр отправились в заросли, чтобы добыть съестного, и пропали. Остальные, подгоняемые отчаянием, продолжали пробиваться через лес. Каждый день кто-нибудь умирал: этого укусила ядовитая змея, того затянула бездонная топь, некоторые сходили с ума или умирали от истощения.

Мадам Годен, лучше других переносившая невзгоды, одного за другим хоронила своих спутников. Она похоронила всех: зятя, слуг и собственных детей. Ей было суждено видеть, как все они умирают мучительной смертью, но сама она выжила. Случай вывел ее к берегу реки, и тут ее, лежавшую без сил, заметили плывшие мимо индейцы. Благодаря их помощи она в конце концов добралась до Пара, где встретила со своим мужем.

Девственный лес Амазонии показал ей свое страшное обличье. И хотя эта необыкновенная женщина избежала смерти, разум ее был поврежден.

Европеец, который не видел амазонского леса, имеет обычно неверное представление о нем. Как же выглядит этот знаменитый лес? Прежде всего в нем относительно светло. Общий характер растительности здесь таков, что огромные тенистые деревья редко растут сплошными массивами; они разбросаны на некотором расстоянии друг от друга. Благодаря этому солнечные лучи могут освещать и нижние ярусы, проникая до самой земли. Торжественный полумрак, царящий в наших буковых лесах, встречается здесь редко; но в тех случаях, когда он встречается, в лесу бывает совершенно темно. Но это уже исключение.

У амазонских деревьев могучие стволы, но относительно небольшие кроны. Разочарованный пришелец убеждается, что у большей части здешних растений листья небольшие и непримечательные, вроде листьев нашей сливы. Жесткие, блестящие и плотные, такие листья лучше всего защищены от паля-

щих лучей солнца и проливных дождей. Огромные листья, как у бананов, нехарактерны для тропического леса. Бананы — это живописное украшение здешнего ландшафта вблизи людских поселений.

Поражает также кажущееся отсутствие цветов. У нас цветы встречаются преимущественно весной и летом и всегда лишь в лугах и на лесных полянах; в тропическом же лесу нет определенной поры цветения: они цветут круглый год, но теряются в сплошной массе зелени. Больше всего цветов бывает на верхушках деревьев.

В тропическом лесу, собственно, два леса: один, обычный, на земле, — это деревья, густые заросли кустарника, бамбука и трав; другой растет над землей, на деревьях и кустарниках — это эпифиты.

Именно они — наиболее колоритный элемент тропического леса; их обилие, причудливые формы и, иногда, какой-нибудь несказанно красивый цветок придают ему неотразимое очарование. К ним принадлежат яркие орхидеи, кое-где покрывающие сплошь стволы деревьев: бромелиевые, или ананасные, расцветающие на ветвях дерева-хозяина как огромные сказочные розы; причудливо свисающие кудри «авессаломовой бороды».

Лианы! По-видимому, деревья в этом лесу пытались буйствовать, и тогда кто-то смирил их, опутав канатами, петлями и сетями из лиан. Их плети стелются по земле, взбираются на древесные стволы, перебрасываются с ветки на ветку, с одного дерева на другое, опять спускаются на землю и исчезают в зарослях. В сплетении множества растений невозможно отыскать ни начала, ни конца.

Причудливые гирлянды и фестоны тысячелетиями ждали какого-нибудь сказочного принца; они все еще ждут его, но, увы, напрасно. Фантазия индейцев не заселила эти дебри ни сказочными принцами, ни очаровательными нимфами, ни фавнами, играющими на флейте. Здесь, в путанице лиан, лишь злобный Курупира хохочет вслед заблудившемуся путнику, бродит ночной призрак — Хурупару, скулит карлик — упырь Мату-Тапере.

С раскидистого дерева кумала свисает несколько десятков лиан, словно порванные жилы великана; зрелище это производит угнетающее впечатление. Предательские лианы иногда заключают стволы в такие сильные объятия, что деревья задыхаются и гибнут, а на их трупах буйно разрастаются лианы, которые затем сами превращаются в деревья — фикусы.

Леса на Амазонке — это страна лиан. Некоторые лианы тонкие, как нити, толщина других не уступает толщине человеческого туловища. Здесь на каждом шагу сталкиваемся и соприкасаемся с ними.

Ты хочешь, дерзкий, добыть для своей коллекции несколько птиц, голоса которых раздаются в глубине чащи? Ну что же, возьми ружье и нож — мачете, прорубай дорогу в зарослях и иди.

Осторожно, видишь дерево с содранной корой, из которого сочатся капли белой смолы? Это ассаку. Если тебе в глаз попадет хотя бы одна капля этой смолы, ты навсегда потеряешь зрение.

Что-то угрожающе прощуршало на земле и скрылось. Змея? Нет, огромная ящерица.

Пальма пашиуба расставила пирамиду своих диковинных ходульных корней, утыканных грозными длинными шипами. После уколов таких шипов образуются болезненные ранки, не заживающие неделями.

Какое-то растение распространяет аромат, мгновенно вызывающий головную боль и рвоту. Но через минуту неприятный запах пропадает и голова перестает болеть.

Поблизости раздается детский плач. Самый настоящий безутешный плач голодных ребятешек. Это, по-видимому, лягушки.

Издали доносится шум приближающегося поезда. Иллюзия такая полная, что различаешь даже шипение пара, выпускаемого через клапаны. Непонятно, что вызывает эти звуки — ведь до ближайшей железной дороги тысячи километров, — и ты, изумленный, стараешься разглядеть, что скрывается в окружающих тебя зарослях.

Поваленное бурей дерево преграждает тебе путь. Ты ступаешь на него и оказываешься по пояс в древесной трухе. Из нее выбегают длинные сколопендры, ядовитые твари. Вдруг на сколопендру набрасываются муравьи *insule*, великаны, достигающие в длину свыше двух сантиметров, и на твоих глазах разыгрывается ожесточенная битва. Беги: в пылу схватки противники набросятся и на тебя, от яда же сколопендры можно провалиться в постели несколько недель, а от укуса *insule* пять дней тебя будет трепать лихорадка.

Убегая, ты запутываешься в колючем кустарнике и падаешь. А над тобой пролетает похожая на огромный изумруд прелестная сверкающая бабочка морфо.

Впереди полоса затхлой черной воды: это одна из миллиона так называемых амазонских таламп — болотистых низин шириной всего лишь в несколько метров, но бесконечно длинных. Глубока ли она, нет ли там какой-нибудь твари, которая ударит тебя электрическим током? Ступаешь осторожно-осторожно. Перебравшись, облегченно вздыхаешь: водоем оказался неглубоким, и лишь несколько пиявок присосалось к твоим сапогам. Стряхивая их, ты бросаешь последний взгляд на талампу — и цепенеешь. В мутной воде что-то таинственно и зловеще колышется. Какое-то страшилище пробирается там по твоим следам. Ты хватаешься за какую-то ветку и взбираешься на берег.

Несчастный! На твоей ладони тут же появляются жгучие волдыри, а к тому времени, когда ты вернешься домой, опухнет вся рука.

Ад это или рай — трудно сказать. Скорее средоточие буйной, неистовствующей плодовитости и исступленной жажды жизни, бурлящий водоворот, в котором все живое неумолимо размножается и жадно пожирает друг друга. Выходишь из этого леса растерянный, утомленный обилием впечатлений, подавленный враждебностью среды. А в глубине чащи все еще слышатся манящие голоса редких птиц, на которых ты собирался поохотиться.

Вырываешься из леса, чтобы попасть в светлый мир, к человеческим существам, чтобы отдохнуть в их братском окружении. Но таково уж очарование тропического леса, что, отдохнув, ты чувствуешь, как он по-прежнему влечет тебя, натуралиста, обилием необычного, неразгаданного, которое выступает то под личиной хищной ярости и злобы, то в образе сказочно прекрасном и чарующем.

Среди гибельных болот и ядовитых кустов на берегах Укаяли встречается чудесный красный цветок. Индейцы называют его ситули. На стебле висит два ряда чаш величиной с ладонь, напоминающих по форме сплюснутые сердца. Эти сердца пурпурного цвета, такого яркого и густого, что, кажется, в сумраке леса они светятся. При виде этого чуда ты останавливаешься, поражен-

ный, и начинаешь понимать, что стоит приехать сюда, на край света, хотя бы для того, чтобы увидеть цветок ситули.

Индейцы, презирующие белых и обезьян



Некоторые европейские нации все еще гордятся тем, что покорили мир высокой культурой, твердым характером и более совершенным общественным устройством; тем, что создали сложные философские системы и дальнобойные орудия. Правда, они отвешивают любезный поклон философии индусских браминов и древней культуре Китая, но на этом все кончается. Индию они всегда считали лишь драгоценной «жемчужиной» британской короны, китайцам навязывали опиумные войны, а вступление других народов на путь цивилизации благословляли и продолжают благословлять пулеметами.

Но вот белый человек приезжает на Укаяли, где живут индейцы племени чама. Эти почтенные пожиратели укальской рыбы весьма невысокого мнения об умственных способностях белого человека. Они полагают, что белая раса недоразвита, а белый человек — просто растяпа.

— Почему ты считаешь, что я глупее тебя? — спрашивает полунагого чама задетый за живое белый.

— Причин столько, сколько рыб в реке. Например, ты не умеешь как следует грести, — отвечает индеец.

— Это правда, я не могу грести так, как ты, но зато мы умеем строить пароходы.

Чама пренебрежительно улыбается:

— Скажи, часто ли приходят сюда пароходы?

— Примерно раз в месяц.

— Ну вот, а грести тебе приходится три раза в день. Что же важнее?

И действительно, в амазонских джунглях весло важнее.

Еще более чувствительные удары наносят белому встречи с женщинами чама. Привыкнув повсюду легко побеждать женщин, он встречает со стороны индианок чама глубокое презрение и терпит неудачу. Это тем удивительнее, что у женщин племени кампа, обитающего по соседству с чама, он имеет успех.

— Почему ты не хочешь отдать мне свою дочь в компаньеры? — спрашивает белый человек у чама.

Индеец, глава семьи, предпочитает не отвечать.

— Мне не хотелось бы обидеть тебя... — пробует он увильнуть.

— Говори смело, я не обижусь! — уверяет его белый.

— Ну что же, приятель, тогда я скажу. Мы знаем, что если наша девушка отдастся белому, то от этого родится глупый и ни к чему не пригодный ребенок. Кровь белого человека — нечистая. Но есть еще одна причина. Наши женщины вас не хотят, потому что от вас исходит дурной запах. Извини, приятель,

но вы скверно пахнете...

И индеец еще плотнее закутывается в свою кузьму — эту разновидность самодельного мешка из хлопчатобумажной ткани, — так как укаяльские комары едят немилосердно. Кузьму соткала для него лет двадцать назад его мать, с тех пор он носит ее, не снимая и никогда не стирая. К чему стирать ее? Когда-то кузьма была белая, сейчас она грязная, серая. Лет через пять, когда она еще больше пропотеет, он окунет ее в отвар коры махагониевого дерева, и кузьма станет темно-коричневой. Такую кузьму индеец проносит до конца своих дней, ни разу не выстирав. Как видите, «чистота» и «запах» понятия очень относительные.

В верховьях Укаяли я постоянно соприкасаюсь с индейцами чама. Я знакомлюсь со многими из них, узнаю некоторые их обычаи. Они живут исключительно рыбной ловлей и обитают только по берегам Укаяли в верхнем и среднем ее течении. Ни в лесах, ни на берегах притоков Укаяли их не встретишь. В лесах охотятся индейцы кампа, воинственное племя, в страхе перед которым чама вынуждены прибегать к покровительству белых. Нынешние чама — не воины; еще больше, чем белых нахалов, они не любят войну.

Чама — низкого роста, коренастые, плотные, мускулистые. Черты лица у них явно монгольские, что может показаться подтверждением гипотезы ряда антропологов об азиатском происхождении некоторых индейских племен. Питаются чама преимущественно рыбой и бананами; из того и другого они готовят самые различные блюда. Так называемая патарашка, рыба, запеченная в пальмовых листьях, показалась бы лакомством и самому привередливому гурману. И утром, и в обед, и вечером они едят в огромных количествах чиапу — что-то вроде супа из бананов, размятых руками и сваренных. Очень любят водку из сахарного тростника, когда же ее нет, пьют масату — перебродивший сок юкки, которую женщины предварительно разжевывают.

Очевидно, рыба и бананы идут им впрок, так как чама почти не знают болезней и всегда пребывают в хорошем настроении. Это их отличительная особенность: всегда смеются, всегда веселы. Особенно интересно то, что они смеются даже тогда, когда с ними случается какое-нибудь несчастье. На белого это производит весьма странное впечатление; как на сумасшедшего, смотрит он на индейца, который больно поранил себе руку и хохочет. Их смех не похож на наш; он напоминает скорее ржание коня или хохот и мне кажется, что чаще всего — это иронический смех над самим собой. Чама — веселые индейцы.

Хотя чама живут среди белых и почти каждый день общаются с ними, они сумели китайской стеной отгородиться от влияния их культуры и цивилизации. Может быть, поэтому племя не вымирает; наоборот, чама становится все больше и больше. Кроме того, они мало восприимчивы к различным болезням и недомоганиям, которые здесь, на Укаяли, для белых и метисов являются сущим бичом.

Чама приняли христианство, но чисто формально. Они по-прежнему соблюдают свои языческие обряды, а о боге христиан у них самое смутное представление. «Люди без бога» — так называется единственная, кажется, монография о чама, принадлежащая перу выдающегося их знатока — Тессманна. Колдовство играет в их жизни весьма важную роль. Некоторые из них умеют считать на пальцах обеих рук, а некогда был известен курака, или вождь, кото-

рый считал так до десяти тысяч. Чама не имеют никакого представления о деньгах, а может быть, и не хотят иметь. Вообще они не знают цены вещам, но зато хорошо знают цену капризам и, счастливые, руководствуются этим. Случается, что чама понравится нож его соседа; тогда он готов охотно отдать за него свою эскопету, или индейское ружье, которая стоит раз в двадцать дороже, чем нож. Чама не приходится бороться за свое существование. В реке полно рыбы, а на берегу — бананов, так что можно жить, повинувшись своим детским капризам и минутным настроениям.

Здесь миссионеры и владельцы асьенд жалуются, что нигде на свете не сыскать таких упрямцев, как чама, и вообще самого плохого мнения о них. Отец Хосе Гумилья писал о них: «Страх и трусость злобу порождает: чама всюду подозревают обман и надувательство, поэтому никогда не говорят правду; лгать они мастера».

Они и действительно такие, но тот, кто попытается найти этому объяснение, без труда придет к выводу, что виноваты в этом не чама, а жестокие конкистадоры и их потомки. Преследования, которым они подвергали индейцев, не только изуродовали характер чама, но и затормозили их развитие; угнетенные, они отождествили цивилизацию с рабством, жестокостью, нечеловеческой эксплуатацией. Стоит ли удивляться, что они отвергают ее как нечто омерзительное и отгораживаются от нее свою жизнь.

Среди других племен чама выделяются художественными склонностями. С оговоркой: этими способностями обладают лишь женщины чама. Они искусно лепят из глины сосуды разнообразной формы и украшают их характерными росписями: красными и темно-коричневыми полосками, изломанными под прямым углом и образующими на плоскости какой-то непонятный своеобразный узор. Росписи эти до некоторой степени напоминают геометрические фигуры, но иногда в них можно обнаружить стилизованные изображения животных или людей, настолько условные, что и они превращаются в геометрические фигуры. Так как все чама пользуются одними и теми же узорами, можно предположить, что эти узоры являются отзвуком забытой письменности, напоминающей иероглифическую. Такими же узорами женщины чама украшают кузумы, а также женские платки и набедренные повязки.

Как и у большинства первобытных народов, так и у чама, женщины — в отличие от бездельников мужчин — работают с утра до вечера. Правда, мужчины сажают маниок, но это все, что они делают. Собирают маниок уже женщины, они же сажают все другие растения и ухаживают за ними.

У мужчин чама всегда только одна жена. Девочки рано становятся взрослыми; в восемь-десять лет они уже невесты. Мужа они выбирают сами, хотя отец должен дать свое согласие. Но брак заключают лишь тогда, когда девушка научится делать все работы по хозяйству и познакомится с обязанностями женщины. Часто бывает, что девочка с ранних лет воспитывается в семье будущего мужа; когда она подрастает, тот берет ее в жены.

Чама, наверное, самые ревнивые мужья на свете. Они не спускают глаз со своих жен, и если какому-нибудь из них случается куда-нибудь уехать, жену он берет с собой.

Супружеской ревностью вызван и любопытный обычай ношения усиаты. Усиата — это маленький пятисантиметровый ножик, изогнутый в виде серпа. Им можно нанести страшные раны, но трудно убить. Так вот обычай велит,

чтобы все мужья постоянно носили на шее усиату. Если жена наставит мужу рога, тот не только вправе, но даже обязан вырезать на голове соперника столько кожи, сколько сумеет, чтобы получить удовлетворение за нанесенную ему обиду. Это совершается обычно во время так называемого праздника примирения, который устраивается ежегодно. Самое занятное то, что соперник, вызываясь смеясь, не уклоняется от ударов усиатой, а, наоборот, насмешками и издевками старается довести супруга до белого каления: чем больше у него на голове шрамов, тем больше его слава донжуана. Есть и такие, которые, совратив чужую жену, тут же рассказывают все мужу и подставляют ему голову.

Хотя чама и находят мясо обезьян съедобным, но они считают предсудительным употреблять его в пищу, так как люди похожи на обезьян и имеют такие же круглые головы. Поэтому они зажимают новорожденным головы спереди и сзади двумя дощечками, которые за несколько месяцев сплющивают ее. Такая деформированная голова становится впоследствии предметом гордости ее владельца и повышает в нем чувство собственного достоинства. Волосы на теле (кроме тех, что растут на голове) тоже напоминают об обезьяне, поэтому их тщательно выщипывают. Следует избегать как общения с белыми людьми, так и сходства с обезьянами. И то и другое равно унижительно.

Белому человеку нелегко, а порой даже невозможно проникнуть во внутренний мир чама. Чама скрывают от белых свои мысли, а также свои верования и обычаи. Они хотят жить рядом с белыми, но не хотят с ними сблизиться. Это мудрое веселое племя хочет жить только по-своему.

Если тебе, белый человек, докучают навязчивые друзья и расстроенные нервы, может статься, что тебе захочется пожить здесь, вдали от шума, в благословенной тиши, на лоне самой щедрой на свете природы, под сенью пальм, на берегу большой, изобилующей рыбой реки, среди скромных приветливых людей, которые не хотят знать, что такое деньги. Захочется вместе с ними по-детски смеяться, грести, метать гарпун в крупную рыбу, есть чиапу и восхищаться их примитивным искусством. Словом, захочется прийти к чама, живущим на Укаяли, и попросить у них позволения жить в их шалашах и дружить с ними.

Тогда, увы, тебя постигнет горькое разочарование. Озабоченный курака, вождь чама, будет долго почесывать затылок, а потом участливо посоветует тебе, вместо того чтобы быть их другом, стать их владыкой и покровителем. И чтобы ты построил себе большую отдельную хижину подальше от их жилищ.

Колибри



Долорес — дочь сборщика каучука Эутинио Аречаго, живущего в километре от меня. Ей двенадцать лет, у нее смуглая кожа, влажные губы и живые глаза, а под кофточкой уже вырисовываются женские формы. Долорес родилась на границе девственного леса и цивилизованного мира, она типичный продукт этих мест, где представления о многих вещах так запутаны, как струи воды в водоворотах на Укаяли. Хотя Долорес дочь метиса и чистокровной индианки из племени кампа, она в течение трех лет посещала школу, где научилась читать и писать по-испански. Девочка еще принадлежит лесу, который крепко держит ее в своих объятиях, но мир цивилизации уже пробудил в ней огромное любопытство и манящую грусть. Индейцы здесь, как правило, неграмотные, чуждый им мир белого человека их не интересует, а их глаза грустны и безразличны. У Долорес же глаза смелые и лучистые.

Как-то утром она прибегает ко мне и кричит:

— Сеньор, идите к нам! Около нашей хижины собралось множество птиц!

Я беру ружье и следую за Долорес.

Аречаго расчистил от леса небольшой участок вокруг своей хижины. Потом это место заросло кустарником, который сейчас покрылся желтыми цветами. Эти цветы и привлекли сюда сказочных птиц — колибри. «Тррр», — слышится энергичный рокот, словно где-то далеко летит самолет, и неожиданно менее чем в двух шагах от нас в воздухе неподвижно повисает... птица не птица, а скорее изумруд, превращающийся вдруг в сверкающий рубин, а затем — в блестящее золото. В следующий миг колибри вообще исчезает из виду.

Что-то промелькнуло молниеносно, прожужжало, и вот спустя мгновение колибри уже висит шагах в тридцати от нас над другим желтым цветком, погрузив в его чашу длинный острый клювик.

«Тррр». Рядом с нами пролетает второй колибри, за ним третий и четвертый. Они мелькают среди цветов и исчезают. Три других с шумом рассекают воздух, потом мы видим вокруг себя целую стайку этих живописных птичек.

Любуясь поразительным зрелищем, я вдруг понимаю, что моим глазам открывается волнующее явление природы: колибри слетаются к желтым цветам на кустах.

Колибри! Если щедрая природа Южной Америки создала многие чудеса красоты, то колибри, несомненно, принадлежат к числу ее самых совершенных шедевров.

Эта птица, будучи самой маленькой на свете, сумела вызвать у человека больший интерес к себе, чем любое другое крылатое создание. И хотя уважаемый Корнель Макушиньский в какой-то из своих юморесок, характеризуя одну даму, сказал, что ее мозг не больше мозга колибри, тем не менее в пред-

ставлении всех людей колибри — воплощение всех чудес южноамериканской природы, гораздо более богатой, чем природа остальных частей света.

Почти все, кто путешествовали по Южной Америке, считают своим долгом отдать дань восхищения «крылатым драгоценностям» и восславить их. Я беру первую попавшую под руку книгу о Бразилии «Пальмовые рощи и колибри» английского художника Кита Гендерсона (Palm Groves and Hummings Birds. London, 1924), открываю ее и читаю: «Люблю тебя, о крохотный колибри, за твою храбрость и за твою восхитительную красоту. Склоняю перед тобой голову, дивный чародей, которого некогда почитали за бога!». Правда, Гендерсон художник, очень чувствительный к красоте, но точно так же восхищались колибри и самые закоренелые снобы.

И в самом деле, эти птички заслуживают такого исключительного отношения. Пожалуй, это самые милые пернатые. Некоторые виды их чуть больше нашего шершня. Нас поражает ослепительный наряд колибри, отливающий металлическим блеском; нас изумляет — пожалуй, это самое подходящее слово — их очаровательная живость и стремительный призрачный полет, их удивительная ловкость, задор и дерзость. В их крошечных тельцах — стальные мускулы.

Эти птицы всегда появляются неожиданно, словно по мановению волшебной палочки, и повисают в воздухе над каким-нибудь цветком. При этом они так быстро машут крылышками, что вместо крыльев видна лишь неясная дымка. Не садясь на цветок, они выклевывают из его чаши маленьких жучков и выбирают нектар. Для того чтобы жить, этим изумрудам и рубинам, наделенным крыльями, цветы так же необходимы, как и бабочкам.

Два воинственных маленьких самца ведут ожесточенный бой. Пронзительно пища, они описывают в воздухе стремительные круги, взлетая все выше и выше. Потом разлетаются в разные стороны, не причинив друг другу особого вреда. Один из забияк стрелой несется к нам и садится на сухую ветку куста.

Оглушительный грохот выстрела из моего ружья разрывает воздух. Колибри камнем падает на землю. Мы бросаемся к нему. Ищем добычу в густой траве, ищем долго, но безуспешно.

— Он упал здесь! — говорит Долорес дрожащим голосом.

Упасть упал, но исчез, словно в воду канул. Мы так и не находим его.

Так начинается моя охота на самую мелкую дичь. Сердце у меня буквально разрывается, когда я стреляю в колибри, но ничего не поделаешь: я должен привезти коллекцию для варшавского музея.

Среди кустов то и дело гремят выстрелы, то и дело падают на землю колибри. Долорес, чудесная девчонка, охваченная охотничьим азартом, неотступно следует за мной. Она, как серна, носится среди зарослей, отыскивает подстреленных птиц, светится радостью и бросает пылающие взгляды на колибри, на мое ружье и, иногда, на меня. Она оказывает мне огромную помощь. Когда я каждый день утром, через час после восхода солнца, появляюсь на участке Аречаго, она уже ждет меня и приветствует радостной улыбкой.

Странные создания эти колибри: они совсем не боятся человека и подлетают иногда так близко, что невозможно выстрелить. В первый же день я за каких-то два часа подстрелил двадцать пичужек, но, увы, некоторые из них были совершенно изрешечены дробью. Ко всем животным приходится подкрадываться на расстояние выстрела; охотясь на колибри, нужно удаляться от

них на расстояние выстрела.

На третий день охоты мы становимся свидетелями захватывающего зрелища. Над поляной описывает круги большой сокол, в поисках жертвы он спускается все ниже и ниже. Колибри замечают опасность и мгновенно куда-то скрываются. Но не все. Один неустрашимый малыш начинает бой с великаном и, воинственно попискивая, бросается прямо на него.

В воздухе разыгрывается небывалая сцена — ожесточенная схватка двух противников со столь неравными силами: ведь, казалось бы, достаточно одного взмаха громадного соколиного крыла, чтобы уничтожить лилипута. И все же в конце концов побеждает колибри. Его стремительный полет, невероятная увертливость и беспрерывные атаки (кажется, что крошка пытается выклевать своему противнику глаза) выводят хищника из себя. Измученный сокол отказывается от борьбы и улетает, поле боя остается за колибри.

Долорес вне себя от радости и громко аплодирует отважному малышу.

Победив в поединке, колибри не улетает; он спускается к земле и усаживается на ветке неподалеку от нас. Это какой-то другой вид, на головке у него пышный хохолок. В моей коллекции такого нет — я вижу его впервые. Он кажется мне исключительно ценным экземпляром, но я все-таки колеблюсь. Потом машинально подношу приклад к плечу, хотя и не стреляю. Меня мучают сомнения. Бесстрашный маленький рыцарь восхитил нас, и у меня не хватает решимости убить его.

— Стреляй! — слышу рядом взволнованный шепот. — Стреляй, а то улетит!

Долорес вся кипит от нетерпения.

Как раз в эту минуту колибри срывается с ветки и улетает. Однако недалеко. Пролетев несколько метров, он снова повисает над цветком.

— Стреляй! — кричит девочка.

Передо мной лишь редкий экземпляр, который вот-вот исчезнет, быть может навсегда. Гремит выстрел. Колибри падает, сраженный.

Долорес приносит его мне. Малыш еще жив. Глаза его широко раскрыты, головка бедняги подрагивает, словно он пытается что-то проглотить...

— Знаешь ли ты, Долорес, как называется эта птичка?

— Колибри.

— А как называют ее индейцы?

— Конечно, знаю...

— «Живой солнечный луч», — говорю я.

— Оо!

Долорес поражена. Этого она не знала. Она восхищена. Название ей очень нравится. Но вдруг в ней просыпается девичье упрямство:

— Луч солнца? Живой луч? Странное название. Луч нельзя убить, а мы ведь убили колибри? Значит, индейцы назвали птицу неправильно.

— Почему же луч нельзя убить?

— Как почему? Очень просто — ведь луч неживой! — упорствует Долорес.

— А эти лучи живые! Подожди-ка, Долорес! Ты уверена, что солнечные лучи неживые?

Подлетают несколько колибри, и вот мы уже снова заняты охотой. Разговаривать некогда. Девочка становится серьезной. И только час спустя, когда мы собираемся возвращаться, она говорит мне:

— Сеньор, я была неправа! Конечно, луч можно убить. Многие вещи умира-

ют. Когда солнце заходит, умирает день. Когда у матери умирает ребенок, замирает ее сердце. Я глупая!

— Ты не глупая, Долорес! — сделав серьезное лицо, говорю я ей. — Ты просто упрямая...

Как-то раз над кустами появляется необычный экземпляр колибри. Я стреляю по нему раз, другой, третий, а он спокойно продолжает висеть над желтым цветком. Наконец, после четвертого выстрела, он падает на землю, и только тогда мы видим, что это совсем не птица, а бабочка из семейства дневных бражников. Их полет и манера повисать над цветком необычайно напоминают колибри. Энтомологи называют эту бабочку *Macroglossa titan*.

Однажды я засиделся за работой допоздна и на следующее утро поднялся позже, чем обычно. Разбудило меня ласковое поглаживание по щеке. Я открываю глаза и, удивленный, вижу Долорес.

— Вставай, пойдем! Сегодня на цветах полно птиц.

— А знаешь ли ты, дерзкая девчонка, — спрашиваю я с напускной строгостью, — что это мой дом?

Глаза Долорес особенно хороши, когда она пытается настоять на своем. Она говорит:

— А знаешь ли ты, что я твоя прилежная помощница?

Несколько дней подряд колибри прилетают в таком большом количестве, что мы ежедневно видим их сотни по полторы. За каких-нибудь два часа мы добываем десять-двенадцать экземпляров. Этого достаточно для того, чтобы потом всю оставшуюся часть дня заниматься сниманием и препарированием шкурок. Но через неделю наплыв птиц ослабевает; с каждым днем прилетает все меньше и меньше колибри. И тогда происходит явление, столь типичное для южноамериканской природы, изобилующей различными формами мимикрии: место колибри занимают их наследницы бабочки, которые подражают им во всем.

Лес в окрестностях буквально кишит одним видом бабочек из семейства *Papilionidae* — черных с белыми и красными пятнами, украшенных двумя хвостами, еще более длинными, чем у нашего махаона. Эти бабочки вылетают сейчас на поляну, чего прежде не делали, и густо облепляют желтые цветы на кустах. Безошибочный инстинкт подсказал им, должно быть, что поляна, еще недавно безраздельно принадлежавшая колибри, сегодня самое безопасное для них место, так как воинственные птички прогнали отсюда всех врагов.

Но мало этого — бабочки старательно подражают движениям колибри. В лесу они парили в воздухе, изредка взмахивая крыльями; сейчас, подлетая к кустам, они машут ими быстро и часто, совсем так, как это делали колибри.

Разума у бабочек нет, они обладают лишь инстинктом. Инстинкту же нужны тысячелетия, прежде чем он сделает какой-либо новый логический вывод. Какой разумный дух, повелевающий законами этого странного леса, выманил бабочек на поляну? И где тот таинственный источник, откуда они почерпнули такой остроумный и удачный способ самозащиты?

В последнее время колибри показываются так редко, что нет смысла охотиться за ними, и однажды я решаю остаться дома. Появляется огорченная Долорес.

— Почему вы не пришли сегодня?

— Потому что колибри уже нет.

— Колибри нет, но за нашей хижиной масса других птиц...

Долорес очаровательна, и трудно отказать ей, когда она упрасивает нежным голосом:

— Приходите завтра к нам охотиться...

Юмор кабокло



Третий день на Укаяли идет дождь. Вода проникает и в мою хижину через прогнившую крышу из листьев пальмы жарина. Я сижу, съезжившись, в прорезиненном плаще. Мои товарищи забились в угол, сидят там молча, сгорбившись. Уровень воды в реке продолжает прибывать, и нам очень грустно. Меланхолию преодолеваем при помощи горячего ароматного кофе и крепкого кашаша — водки из сахарного тростника.

Я вспоминаю другую реку — южнобразильскую Иваи, на которой я побывал пять лет назад. Там было солнце (о тамошних дождях я, разумеется, уже забыл!), сновали веселые люди, и дождем — да, да, дождем! — сыпались острофы бразильских кабокло. На Укаяли же идут дожди. А когда все вокруг пропиталось сыростью и не слышно шуток, тогда остается только пить кашаш и вспоминать о веселых людях, которые сейчас далеко.

Основная масса населения Бразилии сосредоточена в узкой приморской полосе, здесь же сосредоточена культурная, экономическая и политическая жизнь страны.

В то же время обширные площади во внутренних областях страны, сплошь покрытые лесами, заселены очень редко. Но зато люди, которые живут там, необычайно самобытны; у них исключительно своеобразный характер и довольно неясное происхождение, хотя они и говорят по-португальски. Это кабокло. О себе они говорят с гордостью, что лишь они — настоящие бразильцы, так как в их жилах течет не только кровь белых, но также кровь индейцев и негров. Живя в глуши, они мало что знают об остальном мире, да он их и не очень интересует. Они гостеприимны, до смешного церемонны в вопросах чести, вспыльчивы, задиристы и проникнуты какой-то старомодной романтикой.

Кабокло, несмотря на всю их невежественность, являются важным фактором цивилизации: это они протаптывают в непроходимых дебрях тропинки, по которым пойдут колонисты, чтобы основать поселение, торговец и землемер.

Кабокло бедны, как церковные мыши, но зато горды своей независимостью. Жизнь в лесу и вдали от людей обрекает их на различные тяготы и неудобства, лишает всего, к чему привыкли цивилизованные люди. И все-таки они предпочитают влачить убогое существование, чем идти батрачить в крупные поместья, расположенные в густонаселенных районах, близ городов и моря. Они знают, что там царит бесстыдная эксплуатация, что на некоторых

плантациях их ждет участь, немногим отличающаяся от участи рабов.

Наиболее передовые кабокло, попивая у костров горячий шимарон, отвар мате — парагвайского чая, с уважением произносят имя Луиса Престеса. Они хорошо знают этого нестигаемого борца за права бразильского народа, многие из них участвовали в его знаменитом революционном походе через Бразилию [201]. Но, после того как сильные мира сего разгромили движение Престеса и вынудили его скрываться в лесных дебрях, настали плохие времена; теперь кабокло предпочитают сидеть в своей глуши и ждать, когда их снова призовет Рыцарь Надежды, как называют этого нестигаемого борца.

На берегах Иваи я жил среди бразильских кабокло и не раз прибегал к их гостеприимству и помощи. Я убедился, что все они очень милые люди, но чрезвычайно простодушные, и поэтому о них рассказывают множество анекдотов. Некоторые из этих историй рассказывали мне сами кабокло, которые любят посмеяться над собою.

Почтенный Лукаш Гурницкий в своем «Польском придворном» рассказывает забавную побасенку о том, как путников, возвращавшихся домой с ярмарки, застигла ночь, и они были вынуждены переночевать на дереве. Утром они стали слезать с дерева немного необычным способом: самый сильный из них уцепился за ветку и повис в воздухе, другой повис, ухватившись за ноги первого, третий — за ноги второго, и так образовалась живая лестница, по которой остальные спустились на землю. Тем временем у первого, того, который держался за ветку, стали затекать руки; по совету своих товарищей он решил поплевать на ладони и отпустил ветку. Разумеется, все полетели вниз.

Так повествовал Лукаш Гурницкий почти четыреста лет назад. Эта фабула, преодолев века и моря, попала в Бразилию, и я встретил ее здесь, в лесной глуши; правда, тут она приняла менее неправдоподобную и наивную форму и была приспособлена к здешней обстановке.

В лесах Бразилии растет множество лиан, свисающих с деревьев, словно могучие многометровые канаты. Их употребляют для вязания плотов, а также для различных других целей. Однажды двое кабокло отправились в лес, чтобы нарезать лиан. Один из них вскарабкался по лиане, как по канату, а взобравшись наверх, вытащил нож и отрезал ее от дерева. Разумеется, он упал вместе с ней на землю.

— Эх ты, дурень! — засмеялся над ним его товарищ. — Все делаешь шиворот-навыворот. Смотри, как это надо делать.

Он полез по другой лиане и, очутившись наверху, перерезал ее ниже того места, где висел сам, лишив себя тем самым возможности спуститься по ней. Пришлось и ему лететь вниз.

Самой популярной в бразильской глуши историей, которую я в течение месяца слышал по меньшей мере десятков раз и которая — что самое интересное — неизменно вызывает смех у кабокло, является рассказ о саракуре и бужиу. Это типично бразильская побасенка; вне Бразилии ее трудно было бы понять, но здесь, в лесу, слыша ее в сотый раз, бразильцы смеются так же неподдельно, как будто слышат ее впервые. Когда вспоминают этот анекдот, прекращаются все ссоры, дождь, льющий как из ведра, уже не нагоняет мрачных мыслей, даже комары не так уж докучают.

Саракура — это широко распространенная в Бразилии птица из семейства бородачей, которая обычно подает свой голос перед тем, как должен пойти

дождь. Обезьяна бужиу, или ревун, тоже предвещает своими криками дождь. Таким образом, и птица саракура, и обезьяна бужиу играют здесь роль барометров, причем к предсказаниям бужиу, как более надежной ворожеи, кабокло относятся с большим доверием.

Анекдот краток. Двое кабокло сидят у костра. Из зарослей слышится крик саракуры. Первый кабокло говорит:

— Слышишь? Саракура кричит. Будет дождь!

Но другой скептически отвечает, что не верит саракуре: лучше всего предсказывает дождь обезьяна бужиу. Выражает он это следующими словами:

— *Saracura nao e Deus, bugiu — si!* — что буквально означает: «Саракура не бог, а бужиу — бог!»

И вся Бразилия смеется над кабокло, который не смог выразить свою мысль иначе, как сравнив обезьяну бужиу с господом богом.

В более заселенных местах в лесу, особенно там, где сходятся несколько троп, стоят корчмы, или венды, в которых можно приобрести любую вещь, необходимую для жизни в глуши: ружье, порох, инструменты, ткани, водку и т. д. Хозяин венды умеет немного читать и писать; поэтому среди кабокло он слывет ловкачом и мошенником.

Перед вендой одного такого ловкача росло дерево *paó de ferro*, или железное дерево; железным оно называется потому, что древесина его почти такая же твердая, как железо. Для хитрого хозяина это дерево было источником дохода. Как только в венде появлялся какой-нибудь кабокло, имевший при себе топор или что-нибудь похожее, хозяин подзадоривал его и предлагал пари на выпивку для всех присутствующих, что тому не удастся срубить твердое пао де ферро. Кабокло охотно соглашался и, конечно, проигрывал. Пораженный тем, что лезвие топора зазубрилось или вообще сломалось, а дерево стоит, как стояло, он признавал наконец себя побежденным и покупал для всех водку. Хозяин же извлекал из этого двойную выгоду: кабокло покупал у него не только водку, но и новый топор.

Забава с железным деревом окончилась трагически: какой-то вспыльчивый кабокло, ударив по стволу дерева сто раз без всякого результата, вышел из себя и сто первый, гораздо более удачный, удар нанес хозяину венды, раскроив ему череп.

По крыше хижины над Укаяли барабанит дождь. Настроение у всех подавленное...

Когда во время моей первой южноамериканской экспедиции я собирал образцы бразильской фауны в штате Парана, со мной произошел один любопытный случай, по-моему, довольно характерный. Однажды, охотясь в чаще на берегу Ивай, я повстречался с нищим. Босой и в лохмотьях, он ехал на великолепном коне, а к его голым ногам были привязаны огромные серебряные шпоры; вид у него был невероятно гордый и воинственный. Держа в руке ружье, он попросил у меня подавания. Хотя я тоже не был безоружен, эта встреча меня встревожила. Я знал, что в окрестностях шатается несколько сорвиголов, которых считали тут опасными *valentaoes*[202]. Стараясь выйти из затруднительного положения, я спросил, указывая на его ружье:

— Вы хорошо стреляете?

Удивившись, нищий скорчил скромную мину и ответил с легкой иронией в голосе:

— С расстояния в сто шагов я попаду сеньору прямо в глаз.

Это меня весьма обрадовало, и я спросил его, чем он вообще занимается и есть ли у него свободное время.

— Я волен, как птица, — ответил он, — ни от кого не завишу.

— Так это же прекрасно! — воскликнул я. — Как раз такого человека я ищу. Буду весьма рад, если такой меткий стрелок, как сеньор, присоединится к моей экспедиции в качестве моего друга и защитника.

Мое предложение застало бродягу врасплох; он был восхищен им и с радостью согласился. И вот Октавио — так его звали — стал работать у меня.

У него был свой собственный, весьма своеобразный кодекс чести. Иногда он относился ко мне как к другу, был старателен, любезен и приносил мне в дар множество птиц, хотя я и порывался заплатить за них. Иногда же, вспомнив, что он просто работник, нанятый мною, Октавио становился невыносимым, приносил мало птиц, но зато много торговался и обманывал меня на каждом шагу.

С самого начала мы условились с ним, что за новых, неизвестных птиц я буду платить ему значительно больше, чем за птиц, широко распространенных.

Как-то раз мы добыли нескольких тангаров — великолепных птиц с красными головками и красными же клювами. Некоторое время спустя Октавио принес мне еще одного тангара и заявил, что это необычный экземпляр.

— Необычный! — подчеркнул он с торжествующей улыбкой на своей плутовской физиономии.

Я недоумеваю: передо мной обычный тангар, и в то же время не тангар. Головка у него красная, но клюв не красный, а черный. Только взяв лупу и внимательно осмотрев его, я понял, в чем дело. Мошенник мастерски покрасил клюв, надеясь получить хорошие деньги за «новый» экземпляр.

— Обманщик! — говорю я полушутя, чтобы не обидеть его (а обидеть его очень легко).

— Нет, сеньор! — говорит он, гордо подбоченясь. — Ваши слова оскорбляют меня; они лишены и проблеска справедливости. Разве я не сказал вам ясно, что это «необычный» экземпляр?

— Но ведь ты хотел обмануть меня, признайся!

— О святой Иосиф! Намерения у меня были самые благородные и дружественные по отношению к вам. Мною руководило только похвальное стремление сделать приятное нам обоим — сеньору и мне. Но если нет, так нет!

И все-таки я был обижен и прочитал Октавио целую проповедь о том, что такое дружба. Прослушав ее, раскаявшийся грешник торжественно пообещал мне исправиться и великодушно заявил, что дарит мне тангара. Потом он скромно попросил, чтобы я вытащил у птицы из хвоста перья; оказывается, бездельник и там «исправил» природу, вклеив в хвост тангара перья другой птицы.

Рядовой читатель не может даже представить себе, насколько распространены в Южной Америке коррупция и взяточничество — особенно там, где к

власти прорываются фашистские клики, — причем коррупция неприкрытая. Там у государственного служащего спрашивают не о том, какое у него жалование, а какой доход приносит ему служба, имея в виду побочный доход. «Революции» в этой части света часто объясняются не борьбой идей, а драками из-за места у кормушки.

Во время моего пребывания в Бразилии мне довелось несколько раз услышать одну историю, которая, как меня уверяли, не была вымышленной.

В Куритибе стоял пехотный полк, в Понта-Гросе тоже. Дисциплина среди офицеров и солдат обоих полков падала: начальство объясняло это тем, что они чересчур долго находились в одном и том же месте. Командование предписало этим полкам поменяться местами, в которых они были расквартированы, и выделило с этой целью соответствующие суммы. Что же сделали командиры полков? Оставив полки на старых местах, они сменили их номера и названия и сами поменялись местами друг с другом, после чего послали командованию рапорты о том, что приказ выполнен. Разумеется, сумму, выделенную на переезд, они поделили между собой.

Тогда же со мной произошел следующий случай. Я ехал из Куритибы в Понта-Гросу по железной дороге, и так как у меня было много вещей, я решил сдать их в багаж. Чиновник на вокзале в Куритибе взвесил их, однако, начав выписывать квитанцию, о чем-то задумался и в конце концов предложил мне такую аферу. Багаж весит триста килограммов, и его транспортировка обойдется мне примерно в сто мильрейсов. Он напишет на квитанции, что багаж весит только шестьдесят килограммов; это обойдется мне лишь в двадцать мильрейсов, а разницу, то есть восемьдесят мильрейсов, мы честно поделим пополам. Таким образом, вместо ста мильрейсов я уплачу только шестьдесят. Это предложение отнюдь не восхитило меня, тем более что при этом присутствовало четверо свидетелей: двое моих спутников и двое носильщиков из Куритибы. Я уже собрался отказаться, но один из моих спутников, хорошо знакомый со здешними обычаями, шепнул мне, что у меня есть только один выход — согласиться, иначе багаж просто пропадет в дороге или же возникнут какие-нибудь другие неприятности. Мне пришлось согласиться. Багаж действительно благополучно прибыл к месту назначения, и по дороге ничего не пропало.

Когда впоследствии я рассказывал об этом случае моим знакомым в Куритибе, они были удивлены, что все кончилось хорошо и что в Понта-Гросе мне не пришлось столкнуться ни с какими неожиданностями. Дело в том, что чиновник из Куритибы мог позвонить по телефону своему коллеге в Понта-Гросе и посоветовать ему еще раз взвесить мой багаж и взыскать с меня разницу в восемьдесят мильрейсов, которую они поделили бы между собой. Однако он этого не сделал; как мне сказали, я встретился с исключительно честным чиновником.

В Южной Америке по поводу бесчисленных переворотов и «революций» бытует такое же бесчисленное множество анекдотов; некоторые из них чертовски правдивы и остроумны. Вот один из них.

Некий генерал, посылая на помощь своему коллеге, попавшему в переделку, свое лучшее подразделение, роту добровольцев, отправил и письмо, в котором писал: «Посылаю в твое распоряжение сотню храбрых волонтеров. Буду

безмерно благодарен тебе за незамедлительное возвращение наручников...»

Наконец дождь перестает. Над противоположным берегом Укаяли в облаках появляется просвет. Давно пора, потому что у нас уже кончился кашаш, единственное — кроме воспоминаний — лекарство от тоски, которую наводит дождь на Укаяли.

Вода, вода, вода...



Рядом с безграничным, жестоким и ненасытным девственным лесом существует в бассейне Амазонки стихия еще более ненасытная и жестокая, мир еще более необъятный: вода.

Здесь протекают самые могучие в мире реки, заливающие в половодье необозримые пространства; в этих реках живут самые большие в мире пресноводные рыбы. Водяные пары густой пеленой поднимаются с поверхности этих рек в разогретый воздух. Именно воде обязан своим существованием изумительный бескрайний девственный лес.

Укаяли — один из многих притоков Амазонки. Я живу в Кумарии, недалеко от того места, где Укаяли берет свое начало. Даже здесь, почти у подножия Анд, эта река достигает в ширину около километра. Однажды я решил измерить ее глубину напротив моей хижины. У меня был восьмиметровый шнур с грузилом. Уже в пяти метрах от берега я не смог достать дна, глубина превышала восемь метров.

У Икитоса Амазонка так глубока, что прежде, в годы лучшей конъюнктуры, сюда заходили большие океанские суда. Во время моего пребывания в Икитосе меня поразили маневры перуанской военной флотилии, которые производились так свободно, словно все это происходило в большом морском заливе.

Около Табатинги, близ границы между Перу и Бразилией и еще сравнительно недалеко от Кордильер, Амазонка уже несет в два раза больше воды, чем крупнейшая река Европы Волга. А в устье эта речная лавина вливает в океан столько воды, сколько могли бы дать двенадцать Волг.

Однажды в марте мы пережили на Укаяли настоящее светопреставление. Ночью неожиданно разыгралась тропическая буря, которая с каждым часом все усиливалась и до рассвета не давала нам сомкнуть глаз. Утром мы не узнали реки. За ночь уровень ее поднялся на четыре метра, то есть в ней прибавилось примерно столько воды, сколько выносит в море Рейн. Это уже была не река, а какое-то воплощение буйства. Она металась, брызгала пеной, яростно клочкотала, кидалась вспять, образуя внезапно бездонные воронки и чудовищные водовороты. Целые деревья — богатыри леса, и какие-то сваи неслись с верховий вздувшейся реки; они с грохотом налетали друг на друга, усиливая адский хаос.

Во время паводка река несет так много деревьев, что кое-где, сцепившись

ветвями, они образуют целые острова. Над такими сплетениями, чудовищными, словно видения из Дантова ада, вздымаются покореженные сучья — воздетые к небу искалеченные руки лесных исполинов, взывающих о помощи. Плышет целый лес — не счесть в нем деревьев; река днем и ночью несет куда-то несметные богатства. И снова поражаешься непостижимой щедрости здешней природы: река по-прежнему ограждена сплошной стеной растительности, и ущерб, который потерпел лес в результате паводка, совсем неощутим.

На три дня была прервана всякая связь с противоположным берегом Укаяли. Люди, которых внезапный подъем воды застал на чужом берегу, не могли возвратиться домой. Лишь на четвертый день взбесившаяся река начала понемногу успокаиваться.

Чуть выше Кумарии выдавшаяся в реку скала образует мыс; у этого мыса неистовствует водоворот, который здесь называют Поссо-де-Чикоса. Именно здесь погубил спяна свой великолепный пароход и погиб сам брат нынешнего капитана «Синчи Рока» Ларсен. Весной 1932 года вода в Укаяли прибывала так быстро, что, глядя вверх по течению, можно было отчетливо увидеть разницу уровней и волны, возникавшие прямо на глазах. Подвыпивший Ларсен пренебрег опасностью и решил плыть напрямик, через водоворот. Река не позволила — она швырнула пароход на скалу, смяла его, как спичечную коробку, и проглотила. Много людей погибло в тот раз.

Воды Амазонки внушают местным жителям суеверный ужас. Несмотря на то что их предки издавна жили здесь, они видят в реке лишь безрассудную, таинственную и враждебную силу. На Уальяге и верхнем Мараньоне есть много «заколдованных» мест, проплывая мимо которых плотовщики боятся проронить хоть слово. Они убеждены, что, если кто-нибудь из них заговорит или, упаси боже, крикнет, на реке немедленно появится водоворот, который разобьет плот. Невежественные индейцы и метисы приписывают такие водовороты козням злых духов или колдовству, люди более образованные высказывают мнение, что эти опасные места — результат действия каких-то непознанных сил природы.

Однажды, когда Тадеуш Виктор искал золото в одном из горных ущелий в Эквадоре, он выстрелил из карабина и... едва не утонул. Как только прогремел выстрел, в ущелье за клубились черные тучи и в блеске молний хлынул такой ужасный ливень, что уровень воды в ручье, протекавшем на дне ущелья, мгновенно поднялся на несколько метров.

В Кумарии время от времени слышатся какие-то загадочные глухие раскаты. Сначала я думал, что это где-нибудь вдали гремит гром. Но когда однажды от такого громохання задрожала наша хижина, мне объяснили, что это барранко — поединок реки с лесом. В половодье течение подмывает прибрежные деревья; когда же вода спадает, деревья, потеряв опору, с ужасным грохотом валятся в реку. Горе тогда гребцам в каноэ! Нависшие над водой деревья создают для них постоянную угрозу. Люди на Укаяли испытывают панический ужас перед барранко.

Невероятно богатство фауны этих могучих рек. В одной лишь Амазонке, без ее притоков, обнаружено свыше одной трети всех видов пресноводных рыб, какие только существуют на нашей планете. Это в шесть раз больше, чем во всей Европе от Нордкапа до Гибралтара. Рыбы Амазонки — это огромный фан-

тастический мир, поражающий внушительными размерами некоторых его обитателей, пестротой их окраски, их причудливыми формами, но больше всего — их поразительной хищностью. Воды эти так богаты рыбой, что в голове возникают туманные картины рая, в котором жизнь бьет ключом; но это проклятый рай пожирающих друг друга существ. Рыбы Амазонки составляют главную пищу местных жителей; одновременно они вселяют в них необъяснимый ужас.

В селении Орельяна на Укаяли мне показали одного юношу, которого три года назад искушали страшные рыбы. Прежде это был отчаянный паренек — он не боялся даже воды. Ни один благоразумный человек не станет купаться в реках Амазонки, если не хочет расстаться с жизнью, а этот паренек стал купаться в Укаяли. Вдруг он начал пронзительно кричать. На его счастье, поблизости оказалась лодка с людьми, которые тут же вытащили его из воды. Однако за несколько секунд напавшие на него рыбы успели вырвать из его тела во многих местах довольно большие куски мяса.

Это были пирайи, ужас здешних вод, тупорылые, слегка сплюснутые с боков рыбы, по величине не превосходящие наиболее крупных из наших плотниц, но кровожадностью превосходящие акул. Они нападают огромными стаями и могут за несколько минут объесть человека до костей. Немало людей и животных гибнет от их зубов в южноамериканских реках. У этих сравнительно маленьких рыб невероятно сильные челюсти и острые зубы; даже вытасценные из воды, они пытаются кусаться и могут отхватить палец.

Искусанный ими паренек несколько месяцев находился между жизнью и смертью. Затем раны зажили. Однако рассудок его поврежден, и он часто плачет без причины.

Подобно медведю гризли в Северной Америке, пирайи являются здесь традиционными героями большинства сенсационных историй. Каждый уважающий себя путешественник по Амазонке чувствует неодолимое желание посвятить этим бестиям хотя бы несколько строк и рассказать или о каком-нибудь собственном — леденящем кровь в жилах — приключении, или о преувеличенном, по его мнению, страхе, который испытывают перед пирайями местные жители, страхе, над которым он иронизирует. Именно этот второй путь избрал английский писатель Питер Флеминг, автор остроумной и живо написанной книги «Бразильское приключение». Что касается меня, то мне не удалось установить личный контакт с кровожадными рыбками — к счастью или к несчастью; опасное искушение миновало меня.

И в Амазонке, и в Укаяли вода желтая и мутная, такая мутная, что в ней совсем ничего не видно. Все, что творится в глубинах, покрыто непроницаемой тайной. На поверхности можно увидеть лишь огромных дельфинов и рыб пираруку, выпрыгивающих из воды. Зато, сталкивая в воду лодку, часто можно легко наступить на зарывшегося в ил большого ската, который воткнет вам в пятку свой ядовитый шип. Иногда под вечер из глубины доносятся какие-то необычные звуки, напоминающие колокольный звон. Это поют в Укаяли какие-то усатые рыбы с телом цилиндрической формы, похожие на наших сомов.

Впервые я услышал их как-то под вечер, около нашей хижины. После грозового дня закат был особенно ярок и живописен. В воздухе и на реке стояла абсолютная тишина — и вдруг я отчетливо услышал доносившийся из-под воды

звон. Вскоре к этим звукам стали присоединяться другие, похожие, сначала в одном месте, потом почти по всей реке. Это были звуки разных тональностей, высокие и низкие; казалось, что звонят колокола различных размеров, а также маленькие звонки и даже детские бубенчики. Некоторые звуки неслись издалека, другие раздавались где-то совсем близко; один колокол слышался прямо из-под лодки, стоявшей у берега.

— Что это? — не веря собственным ушам спрашиваю я Педро и Валентина. — Неужели рыбы?

— Si, senhor, рыбы, — отвечает Педро.

— Вы знаете их?

— Знаем. Это корвины.

— Это еще неизвестно! — резко протестует Валентин.

Педро не скрывает насмешливой ухмылки, вызванной сомнениями товарища.

— Он, — Педро указывает пальцем на Валентина, — он умнее других. Это ему передалось от прабабушки. От нее он узнал, откуда эти голоса...

Валентин вспыхивает, однако Педро, иронически поглядывая на него, продолжает:

— Вы же видели, какой храбрый наш Валентин! Как он шарахнулся от берега, услышав эти звуки?

— Ну и что же? — развеселившись, спрашиваю я.

— Прабабушка вбила в его умную голову, что это голоса духов. А все, что от прабабушки, для него свято...

Юноша пытается сказать что-то в свою защиту, но я прерываю спор и прошу их замолчать. Мне хочется послушать звуки, несущиеся из воды.

Пение рыб так своеобразно и гармонично, притом само это явление такое ошеломляющее, что спустя некоторое время меня невольно охватывает волнение, какое я иногда ощущаю в концертном зале. Я забываю о комарах, о закате. Я вслушиваюсь, зачарованный, и снова поражаюсь тому, сколько чудеса таит этот неповторимый девственный лес. Как и пение рыб, вся природа здесь эксцентрична и необычайна. Она раскрывает перед человеком манящий омут необузданности.

Комары, которые с каждой минутой становятся все более докучливыми, возвращают меня к действительности, и я тороплюсь укрыться от них в хижине.

Ихтиологи относят поющих рыб к роду умбрина. Различные их виды обитают и в реках, и морях; для них характерно более сложное строение плавательного пузыря, чем у большинства рыб. Он состоит у них из нескольких отделений: воздух, переходя из одного отделения в другое, вызывает вибрацию стенок пузыря. Так возникают звуки.



От девяти до десяти месяцев в году в бассейне Амазонки идут дожди: уро-

вень воды в реках повышается тогда до пятнадцати метров. Дважды в год Амазонка вздувается и дважды в год спадает; река словно грудь исполина, которая мерно вздымается. Что-нибудь в мае, когда уровень воды в реке достигает своей высшей точки, наводнение превращается в потоп; тогда вся Амазония представляет кошмарное зрелище: вода заливает огромные пространства амазонских лесов на сотни километров по обе стороны от реки. Это знаменитое игапо — ад на земле! В тех же местах, куда не доходит разлив, дожди образуют множество болот и озер; и там деревья нередко стоят в воде, глубина которой достигает нескольких метров. Люди не покидают своих хижин, которые они предусмотрительно поставили на высоких сваях.

В сентябре все меняется. Дожди перестают, правда ненадолго, вода спадает, на реке обнажаются белые отмели, отовсюду слетаются шумные птицы, все оживает в лучах солнца. Кругом вдоволь пищи; во время нереста рыба идет такой лавиной, что ее слышно издали. Не нужно утруждать себя и ловить рыбу, местами ее можно просто черпать корзинами. На речных отмелях появляются огромные черепахи и откладывают яйца. Черепашьи яйца — любимое лакомство прибрежных жителей; по ночам они целыми семьями отправляются на их поиски.

Идиллия на Амазонке — если только слово «идиллия» вообще применимо к жизни в этом лесу — длится два-три месяца, до ноября. Затем снова начинаются ливни. Вода снова прибывает. Вместе с тучами к человеку возвращаются трудности и заботы.

А в сердце усиливается страх — неодолимый страх гребца, знающего, что он плывет на утлом каноэ по огромной, капризной и враждебной реке, полной тайн и неожиданностей.

Рабство на Укаяли



Когда я плыл на пароходе «Синчи Рока» из Икитоса в Кумарию, в Контамане на палубу поднялась какая-то анемичная дама, перуанка; с нею были ее сын, тоже очень бледный, с глуповатой физиономией, и еще один мальчик, индеец, их слуга. У того была миловидная пухленькая мордашка, светящиеся умом глаза и тугой животик. Бледному сыну перуанки он чистил обувь, за ней самой он выносил ночной горшок.

Я подружился с этим симпатичным мальчуганом. Мы молча улыбались друг другу. Дама заметила это и однажды заговорила со мной:

— Хороший мальчишка, не правда ли? Здоровый, прилежный.

— Прилежный? Разве он ходит в школу? — спросил я, прикидываясь наивным.

Она слегка смешалась:

— Нет, зачем же... Он прилежен в работе. Нравится он вам?

— Очень. Сколько ему лет?

— Десять. Это кампа, и если вы хотите, я могу недорого продать его...

Я уже кое-что знал о нравах на Укаяли, поэтому такое предложение не поразило меня как пресловутый гром с ясного неба. Наоборот, я даже спросил ее деловито:

— Сколько?

— Сто соле.

Это цена мужского костюма, не так уж дорого за такого славного мальчишку. Оставалось еще узнать, какие права по отношению к нему я приобретаю.

— Какие права? Любые! — ответила дама. — Он станет вашей собственностью, такой же, как и всякая другая ваша вещь, как одежда, как ружье или часы. Существует лишь одно ограничение, — добавила она, лукаво улыбаясь, — закон не разрешает убить его просто так, без причины.

— А разве закон не возбраняет иметь раба?

— Закон не возбраняет «усыновить» мальчишку.

В то время как эта женщина уговаривала меня купить мальчика, он стоял невдалеке и, как обычно, улыбаясь, смотрел на меня своими умными черными глазами. Он не догадывался, что решается его судьба.

В ту ночь я спал очень беспокойно. Нет, не комары докучали мне, просто из головы не выходил разговор с дамой. Он глубоко взволновал меня, нужно было что-то предпринять. Но что? Купить мальчика и считать его своей собственностью? Какой вздор! В сомнительной роли владельца «живого товара» я был бы как та баба, что, не имея хлопот, купила себе поросенка. Чтобы как-то решить эту проблему, я попытался представить себе, как поступил бы на моем месте обычный интеллигентный европеец, скажем, житель Праги или Оксфорда. Несомненно, он выкупил бы мальчика и бескорыстно предоставил

бы ему свободу. Я решил сделать то же самое.

На следующий день за завтраком я открыл свои намерения капитану Ларсену и попросил у него совета. Ларсен, ошеломленный, вытаращил глаза и, глядя на меня как на человека, у которого не все дома, сказал:

— Понимаю, вы хотите купить мальчика. Понимаю, вам его жалко, бывает... Но потом, что вы будете делать потом? Дадите ему свободу? А как вы это себе представляете?

— На ближайшей пристани отдам его на попечение местных властей.

— На попечение властей?! — прыснул капитан и залился издевательским хохотом.

— Или вверю его какому-нибудь честному гражданину! — добавил я.

— Честному гражданину! — повторил Ларсен, продолжая смеяться.

Позднее несколько пассажиров «Синчи Рока» объяснили мне, в чем дело. Оказывается, если бы я поручил мальчика кому-либо — все равно кому! — на одной из пристаней, опекун счел бы мальчика своей собственностью и после моего отъезда заставил бы его работать на себя как невольника или же продал бы его на асьенду или какому-нибудь пассажиру с парохода, идущего в Икитос. Маленькому кампа ничем нельзя было помочь. На берегах Укаяли все было враждебно ему, отовсюду тянулись к нему хищные лапы.

Пассажиры на пароходе заволновались. Они пришли к убеждению, что я сентиментальный филантроп (читай дурак), у которого, судя во всему, много денег и которого нужно оципать. Многие из них стали лихорадочно обдумывать, как бы выцыганить мальчика себе. Каждый пытался оплести меня как умел: лестью, хитростью, велеречивой ложью или обезоруживающей искренностью, как это сделал достохвальный дон Хуан Пинто, кабальеро с затуманенным взором и сердцем, отданным донне Розе де Борда. Этот сердцеед с тихой учтивой кротостью попросил купить ему мальчика, которого он хочет подарить избраннице своего сердца.

— Но ведь у нее уже есть трое ребят! — удивился я.

— Вот именно! — вздохнул задушевно Хуан. — Поэтому ей и нужен четвертый — слуга...

В конце концов скрепя сердце я был вынужден отказаться от всяких попыток осуществить свои планы. Мои попутчики, так же как и я сам, были разочарованы таким исходом дела. Несмотря на самые лучшие намерения, мне так и не удалось освободить маленького невольника.

Верхняя Укаяли — это, пожалуй, наиболее обособленный от цивилизации уголок земного шара. Этот край издавна привлекал искателей наживы различных национальностей, закладывавших плантации кофе, хлопка и сахарного тростника. Для работы на плантациях нужны были рабочие руки. Сюда потянулись испанцы, итальянцы, немцы, даже поляки. Однако европейцы не выдерживали суровых условий жизни, их не устраивали слишком низкая заработная плата и полное отсутствие цивилизации; они бунтовали и бежали. А тем временем асьенды требовали много рабочих рук, как можно больше рабочих рук, дешевых и покорных.

В Кумарии я ежедневно люблюсь голубой цепью гор, вздымающихся на западном краю небосклона. За этой горной цепью, совсем недалеко от Кумарии, простерлась до самых подножий Высоких Кордильер таинственная, малоис-

следованная страна Гран-Пахонал — белое пятно на картах. Там обитает охотничье племя кампа — независимые, рослые, сильные индейцы. Кампа ведут кочевой образ жизни, живут они главным образом охотой. Они хорошо приспособлены к здешнему климату, прекрасно знают лесные дебри, любят свободу и, словно прокаженных, избегают белых. У них крепкие руки. Эти руки нужны асьендам.

Асьендадо — владельцы асьенд — снаряжают на ловлю кампа экспедиции, которые действуют по установившемуся плану. Хорошо вооруженные пеоны окружают ночью шалаши индейцев, пускают в крыши горящие стрелы, а когда начинается пожар, убивают пытающихся сопротивляться мужчин, а остальных — охотнее всего детей и молодежь — увозят с собой как добычу. Укаяльские асьендадо получают рабочие руки.

На верхней Укаяли много людей, основное занятие которых — ловля и продажа индейцев. В своих целях они используют ненависть между различными племенами, а иногда и сами разжигают ее. Ведь кроме кампа и чама, там живут индейцы мачигенга, пиро, кашибо, амауака, агуаруна. И здесь, как и на севере, где живут хибаро — мастера препарирования человеческих голов, белые разжигают вражду между жителями леса, чтобы извлекать выгоду из их страданий и проливаемой ими крови.

Знает ли об этом правительство Перу? Конечно, знает, но смотрит на все сквозь пальцы. Немало государственных чиновников сами торгуют индейцами. К тому же правительство не имеет здесь никакой власти, ибо, как я уже говорил, Гран-Пахонал — белое пятно на картах. А белые пятна не подчиняются никому. Кроме того, в Перу еще не искоренены традиции и нравы конкистадоров.

Самым матерым среди охотников за людьми слывет здесь некий Панчо Варгас, владелец асьенд на Тамбо и Урубамбе, человек жестокий и неразборчивый в средствах. Не сотни, а, пожалуй, тысячи индейцев переловил он в Гран-Пахонале, опустошив огромные пространства края. «Легкая рука» и у Тригосо, мирового судьи и хозяина асьенды «Вайнилья» неподалеку от Кумарии, человека изворотливого, обходительного, которого я знал лично.

Всегда мило улыбающийся толстячок Грегорио Дельгадо, воспитывавшийся в Женеве, доставляет живой товар в Икитос на своем пароходике «Либертад»!^[203]

Дальнейшая судьба похищенного ребенка складывается в рамках законности. Асьендадо, или патрон, «усыновляет» его и «принимает» в лоно своей семьи. Теперь ребенок обязан работать на него даром, а в случае побега власти преследуют его и ловят как «неблагодарного сына». У такого «сына» только сыновьи обязанности, без всяких прав; само собой разумеется, что он не может унаследовать имущество своего патрона. Когда патрон захочет уступить ребенка кому-либо, он делает это за определенное вознаграждение, которое, однако, называется не продажной ценой, а возмещением расходов на воспитание и образование ребенка. Покупатель получает все права патрона и может в свою очередь продать индейца, как продают какую-нибудь вещь или домашнее животное.

Когда ребенок становится взрослым, его положение почти не улучшается. Патрон определяет ему какую-нибудь девушку в жены, «продает» ему клочок земли вблизи асьенды, большой нож — мачете, немного семян и велит хозяй-

ничать самому. Все это продается, конечно, не за наличные, потому что у индейца денег нет да он в них и не разбирается, а в счет будущих урожаев и отработок на асьенде. Вот тут-то и зарыта собака. Индеец должен отработать на асьенде свой долг, однако асьендадо ведет расчеты так, что индеец постоянно остается должен ему, и бывает так, что за полученный от патрона кусок тика на одежду он целый год должен работать в поле, охотиться в лесу, ловить рыбу, рубить деревья. Из этого заколдованного круга ему уже никогда не выбраться.

Если индеец, желая освободиться, бежит, власти преследуют его, ловят и возвращают патрону как «бесчестного должника» — точно так же, как прежде, когда он был еще мальчишкой, его ловили и возвращали как «неблагодарного сына». Сначала отработай свой долг, потом сможешь получить свободу; патрон же позаботится о том, чтобы краснокожий бедняк, отработывая одни долги, запутался в других.

Впрочем, побеги случаются редко. Асьендадо умеет так задурить индейца и так привязать его к асьенде, что горемыка еще благодарен хозяину, что не умирает с голоду и что тот «заботится» о нем. В противоположность индейцам, живущим в глубине леса, где очень мало белых и почти нет асьенд, чама, кампа и большинство других индейцев на Укаяли — невольники своих патронов.

Немногим лучше положение метисов, работающих на асьендах. Не так сильно проникнутые суевериями, как индейцы, они столь же необразованны, не умеют ни читать, ни писать, ни считать и фактически тоже являются собственностью асьендадо. Часто их жизнь еще более беспросветна, чем жизнь индейцев: те хоть могут, если они не в силах сносить бесчеловечное обращение, пытаться бежать в лес и искать там убежища у своих соплеменников, в то время как метисам бежать некуда, и они всецело зависят от милости и гнева своего патрона.

Иногда асьендадо удается заполучать невольников без насилия и кровопролития. Нередко сами индейцы, особенно из племени кампа, добровольно продают своих детей — бедняжек, которых колдуны почему-либо объявляют способными навлечь беду на все племя и обрекают на уничтожение или изгнание из племени. В бытность мою в Кумарии на таких детей была установлена твердая цена. За каждого ребенка родители получают одно индейское пистонное ружье с запасом пороха и дроби, мачете, материю на брюки и рубашку для отца и платье для матери; все это, вместе взятое, стоит примерно семьдесят соле, или около девяти долларов, причем за мальчика иногда платят несколько больше, чем за девочку. Но зато девушка в возрасте пятнадцати-восемнадцати лет, умеющая готовить, стирать и гладить, стоит около двухсот соле. За двадцать пять долларов здесь можно приобрести человека до конца его дней.

В 1930 году, в первые месяцы существования польской колонии, в Кумарии произошел один характерный случай, неплохо иллюстрирующий положение на Укаяли. Один из пеонов, метис, убежал с асьенды Панчо Варгаса и добрался по реке до Кумарии. Польские колонисты, взволнованные его рассказом, решили помочь ему и укрыли в одном из своих барачков. Местная полиция неоднократно требовала выдать пеона хозяину, но поляки упорствовали. Ссылаясь на конституцию, они заявляли, что не потерпят рабства в Кумарии. Тогда Пан-

чо Варгас послал в колонию нескольких надсмотрщиков со своей асьенды, которые, воспользовавшись отсутствием колонистов, выкрали несчастного пеона и затащили в лодку. Как только об этом стало известно, несколько поляков во главе с энергичным Юзефом Домбским схватили оружие и сели на пароходик, который случайно проходил в это время мимо колонии, а свою лодку привязали к корме. Вскоре они перегнали людей Варгаса и, спрыгнув в лодку, преградили им путь. Поляки были настроены решительно, и надсмотрщики не отважились оказать им сопротивление. Пеона, избитого и связанного, обнаружили на дне лодки, освободили и отвезли обратно в Кумарию. Там его отдали под опеку полиции, пригрозив стражам порядка большими неприятностями, в случае если с метисом что-нибудь произойдет.

Польские колонисты знали и раньше о порядках на асьендах, но лишь этот случай открыл им глаза на то, как относятся к этим отвратительным явлениям местные власти.

Положение индейцев на Укаяли должно стать предметом обсуждения; оно недопустимо в государстве, которое желает принадлежать, да, пожалуй, и принадлежит, к семье цивилизованных стран. Попустительство преступлениям таких, как Панчо Варгас, это преступление против человечности, и наибольший вред и ущерб оно наносит самому правительству в Лиме.

На берегах другой перуанской реки, Путумайо, протекающей в северо-восточной части страны, в начале двадцатых годов английская комиссия вскрыла и расследовала целую систему жестокостей, совершенных в отношении индейцев, вплоть до многочисленных убийств. И даже то, что подобные преступления были тогда же вскрыты и в других странах, как, например, во Французской Экваториальной Африке или в Конго, не снимает вину с перуанского правительства.

На Путумайо, северном притоке Амазонки, свирепствовали каучуковые компании; не останавливаясь ни перед чем, они терроризировали целые индейские племена. Палачи-надсмотрщики захватывали как заложников жен и детей индейцев, и если последние не приносили достаточного количества каучука, случалось, что за это «преступление» у них на глазах расстреливали их семьи. Очевидно, эта процедура вообще пользовалась популярностью среди культуртрегеров XX века, так как подобная же система применялась бельгийскими каучуковыми компаниями в Конго. Часто бывало и так, что «провинившегося» привязывали к дереву вблизи муравейника и оставляли на съедение этим прожорливым насекомым.

Вызвавший в свое время немало шума отчет упомянутой английской комиссии, касающийся злоупотреблений на Путумайо, появился, как утверждают хорошо информированные люди, благодаря острой конкурентной борьбе между несколькими крупными финансовыми группами; его целью была компрометация соперников.

Так уж случилось, что я возвращаюсь из Кумарии в Икитос на пароходе «Либертад», принадлежащем тучному сеньору Дельгадо. Я везу несколько десятков живых зверей, Дельгадо — одну молодую индианку, коренастую, толстую и для женщины кампа довольно некрасивую. Никто о ней как будто не заботится; девушка спит на палубе где придется. На ее лице все время блуждает вялая бессмысленная улыбка, хорошо знакомая мне, — улыбка индейцев,

увезенных из леса и растерявшихся при столкновении с враждебной цивилизацией.

Индианка подружилась с моими животными, чему я весьма рад, так как она помогает мне кормить их и ухаживать за ними. Она охотно возится у клеток с животными, словно понимая, что у них с нею общая судьба.

Вечером после ужина мы с капитаном пьем кофе и курим сигареты. Дельгадо на сносном французском делится со мной своими мечтами о возвращении в Европу, в Женеву, где он провел лучшие годы своей жизни.

— А вас не беспокоит, — говорю я, — что в Европе есть Лига защиты прав человека, от которой можно ждать неприятностей?

В ответ на это Дельгадо снисходительно улыбается, пренебрежительно машет рукой и произносит лишь:

— Oh mon Dieu!..[204]

В этой фразе все его мировоззрение.

Изнанка укаяльской романтики



Укаяли начинается менее чем в двухстах километрах от Кумарии, в том месте, где сливаются две глубокие своенравные реки — Урубамба и Тамбо, текущие с далекого юга, со склонов заоблачных Кордильер.

У их слияния лежит асьенда «Ла Гуаира», принадлежащая человеку такому же необузданному, как и бурные реки, на берегах которых он живет. Панчо Варгас, прозванный некогда королем верхней Укаяли и Урубамбы, держит в своем кулаке этот дикий край; его влияние распространяется даже за пределы страны, на соседние области Боливии и Бразилии.

Эта лесная страна на редкость богата гевеей. Во времена каучуковой лихорадки леса по берегам верхней Укаяли, Тамбо, Урубамбы, Мадре-де-Дьос и Бени славились обильными сборами каучука. Пренебрегая огромной удаленностью этих мест от рынков сбыта (более двух тысяч километров до Икитоса и три тысячи до Манауса по реке Мадейре), сюда начали стекаться привлеченные заманчивыми перспективами многочисленные авантюристы, отчаянные из отчаянных, жаждавшие быстро разбогатеть. Винчестером устанавливали они законы, револьвером стогнали индейцев на работы, а также частенько расправлялись друг с другом. В эти лесные дебри, еще недавно считавшиеся недоступными, в этот край ягуаров, тапиров и кочующих племен хлынули огромные богатства, рекой потекли деньги; широкую известность приобрели разгульные оргии: предприимчивым торговцам было выгодно завозить в эту глушь ящики с шампанским и самыми дорогими винами: они ценились здесь на вес золота. Появились каучуковые магнаты, среди которых выделялся своим богатством, жестокостью и разнузданностью Панчо Варгас.

До «Ла Гуаиры» и дальше, до самых верховий Урубамбы, добирались многочисленные пароходики, скупавшие каучук. Капитаны стремились в верховья

рек, как безумные, желая раньше других достичь мест, богатых ценным сырьем. Чтобы подставить ножку конкуренту, не брезговали ничем, шли даже на преступление. Применялся, например, такой «тактический прием»: скупали все запасы древесного топлива для котлов и выбрасывали их в реку, чтобы лишить дров пароходы, плывущие следом, и заставить их повернуть обратно.

Еще большей неразборчивостью в средствах отличались «короли» каучука. Они вели между собой настоящие кровавые войны, причем не только за территории, богатые каучуком. Могущество этих магнатов основывалось на том, что на них не покладая рук работали огромные массы индейцев, которых то заманивали в лес водкой или посулами, то стогняли силой. Больше всего зарабатывал тот, у кого было больше рабочих рук, поэтому каждый из лесных «царьков» старался отбить индейцев у конкурентов и переманить к себе. Когда посулы и интриги не действовали, людей просто угоняли силой, а если и это не удавалось, то их убивали безо всяких, стремясь лишить конкурента рабочей силы. Вместе с золотом и шампанским сюда доставляли большие партии оружия. Каждый индеец получал в руки винчестер; рабочие бригады были одновременно вооруженными до зубов бандами.

Пароходы, спешившие за лесными сокровищами, часто тонули в водоворотах, индейцы гибли как мухи, но все бреши быстро заделывались: каучуковая лихорадка влекла сюда другие суда, бросала в эту пучину все новые и новые людские полчища. Среди каучуковых магнатов наряду с Панчо Варгасом выделялись Карл Шарф и Фитцкарральд. Каждый из них распоряжался огромными ресурсами рабочей силы — до нескольких тысяч индейцев. Эти три касика вели между собой жесточайшую конкурентную борьбу. Она была такой упорной, что могла окончиться лишь поражением и смертью двоих из них. Тем третьим, кто победил, оказался Панчо Варгас.

Фитцкарральд, плывя на пароходе по Урубамбе, решил устроить пирушку в кругу своих приятелей; едва они уселись за стол, как пароход неожиданно попал в водоворот и так быстро затонул, что почти все находившиеся на палубе люди погибли, в их числе сам Фитцкарральд.

Карл Шарф плыл как-то по реке Мишагуа, на берегах которой находились пункты по скупке каучука, к Урубамбе. В первый же вечер он и его немногочисленная свита раскинули лагерь на берегу реки; ночью к лагерю подкралась целая вооруженная банда и напала на него. Шарф и большинство его спутников были убиты, двум или трем из них удалось спастись; с трудом добравшись до устья Мишагуа, они сообщили всем о резне. Весть о смерти Шарфа неожиданно вызвала в лесу переполох. Его индейцы — а их было около трех тысяч, — охваченные ужасом, бросили работу и разбежались по таким дебрям, что все попытки надсмотрщиков Варгаса разыскать их были безуспешными.

Убийство Шарфа ничего не дало Варгасу: у каждого из каучуковых магнатов были преданные друзья и влиятельные сообщники не только в лесах, но и в Икитосе и даже в Лиме. Были такие и у Шарфа; узнав о его смерти, они поклялись отомстить Варгасу. Поняв, что это не пустая угроза, касик из «Ла Гуаиры», король верхней Укаяли, счел разумным надолго исчезнуть с горизонта. Он скрывался в тамбах — хижинах преданных ему индейцев племени пира, из которых преимущественно состояли испытанные подразделения его армии.

К тому времени когда он осмелился вновь показаться на свет божий, в мире, да и в самой чаще на Укаяли, многое изменилось. Каучуковая лихорадка прошла. Победное шествие каучука прекратилось, в портовых городах его брали неохотно. И тогда неутомный Панчо Варгас переключился на другой промысел: охоту на людей и торговлю невольниками.

Преданные ему индейцы враждовали с кампа, которые, как известно, всегда были желанным «товаром» на асьендах. Варгас понял, какую выгоду можно извлечь из этой вражды, постарался разжечь ее еще больше и использовал в своих целях. Его люди превосходили противника не только вооружением — ими командовали опытные головорезы, которых на службе у Варгаса всегда было вдоволь. Они действовали успешно и захватывали богатую добычу: детей и молодых женщин. Во время своих варварских набегов — *correrias* — бандиты, опасаясь возмездия, истребляли в захваченных селениях всех мужчин.

В настоящее время трудно установить численность индейцев кампа. Они заселяют обширные территории к западу от Укаяли; больше всего их на степной возвышенности Гран-Пахонал. Самые непокорные из них, сохранившие первобытный уклад жизни, живут у подножий Кордильер, в областях, почти недоступных для пришельцев.

Кампа считаются более старательными и толковыми работниками, чем чампа. Многие из них живут на берегах Укаяли и работают на асьендах по собственной воле, если только асьендадо относится к ним «по-человечески». Одним из таких асьендадо является Дольчи, владелец Кумарии. У него служит группа кампа во главе с куракой Карлосом, выполняющим функции управляющего и эконома. Работают они здесь действительно неплохо, но если одного из них охватывает тоска по лесу, он, никого не предупреждая, на несколько дней исчезает в чаще.

Сам я питаю к индейцам Дольчи огромную симпатию, потому что эти природные охотники здорово помогают мне: они ловят для меня лесных животных. Именно им обязан я многими ценными экземплярами из моей коллекции. Они знают в чаще места, изобилующие дичью, и приносят оттуда редких птиц. Они охотятся с луками, стрелы которых снабжены деревянными наконечниками, благодаря чему на шкурках добытых ими птиц нет разрывов. В Перу кампа славятся как самые меткие лучники; мне не раз приходилось быть очевидцем их поразительного искусства. Например, некоторые из них стреляют не прямо в цель, а вверх, и стрела, снабженная исключительно тяжелым наконечником, описав в воздухе дугу, поражает животное сверху. При этом они почти не делают промахов. Мне кажется, что в чаще, где всегда приходится стрелять с близкого расстояния, лук больше подходит для охоты на мелкого и среднего зверя, чем ружье с его грохотом.

Некогда кампа были могучим и многочисленным народом. Они мужественно сопротивлялись испанским завоевателям. Много упоминаний о них встречается в хрониках XVII века, из которых следует, что народ этот заселял прежде гораздо большую территорию, чем сейчас, доходя до девственных лесов близ Куско.

Многие современные историки и антропологи считают их потомками древних инков или, во всяком случае, выводят их происхождение от непосредственных подданных инков, которые после завоевания Перу отрядом Писарро скрылись в лесах и одичали. Этим объясняется и исключительная стой-

кость кампа перед всеми посягательствами испанцев.

Уже в XVII веке непокорное племя порядком досаждало завоевателям, а в 1742 году, когда произошло крупное восстание перуанских крестьян, кампа, более известные тогда как чунчос (chunchos), во главе с Хуаном Сантосом Атауальпой, потомком инков, вырезали на своих землях и в широкой полосе вокруг них всех белых владык поголовно.

Еще в середине XIX века Дамиан Шюц-Хольцгаузен, добросовестный исследователь бассейна Амазонки, описывая в своей книге различные индейские племена, характеризовал кампа как самое воинственное племя в Перу, успешно противостоящее натиску белых.

Оно противостояло натиску белых и позднее; более того, некоторые группы кампа не прекратили сопротивления и по сей день — возможно, в этом одна из причин поразительного благодушия, с каким перуанское правительство в середине XX века смотрит на преступления Панчо Варгаса и ему подобных.

В 1915 году капитан Хулио Дельгадо не смог добраться на своем пароходе «Либертад» до истоков Укаяли. Достигнув Чикосы, которую кампа сожгли дотла, он попытался оказать помощь пострадавшим, но сам был ранен и решил, спасая себя и судно, повернуть обратно. Пароход несся на всех парах вниз по реке, а сирена выла непрерывно днем и ночью. Проплывая мимо асьенд, Дельгадо кричал всем, кого видел на берегу:

— Бегите! Индейцы нападают! Бегите!

Индейцы наступали. Во главе со своим вождем Тасулинчи они двинулись с Гран-Пахонала, чтобы отомстить за все обиды и притеснения. Собравшись над рекой Унуини, впадающей в Укаяли немного выше Чикосы, они объявили войну белым. Двигаясь вниз по Укаяли, они нападали на все асьенды. Первой запылала Чикоса и были убиты пятьдесят ее жителей. Обитатели асьенд, расположенных ниже Чикосы, были уже предупреждены и бежали в низовья реки, но кое-где кампа настигали их: мужчин убивали, а молодых женщин забирали в плен. Вооруженные маканами — мечами из твердого дерева, луками и ружьями, индейцы в течение нескольких дней истребили и разогнали всех белых в верховьях Укаяли на протяжении двухсот километров. Только в Кумарии кампа столкнулись с организованной обороной белых; тогда они прекратили военные действия и скрылись в лесу.

Несколько лет после этого в верховьях Укаяли не было ни одной асьенды. А потом сюда снова начали понемногу стекаться искатели счастья, которые, как и их предшественники, стали возделывать здесь хлопок, сахарный тростник и барбаско, а также искать дешевые рабочие руки.

И долго еще где-то в дебрях Гран-Пахонала белые женщины рожали детей краснокожим воинам. Как-то одну из них, жену вождя, встретили в лесу люди с асьенды и решили взять ее с собой. Она, не колеблясь ни секунды, отказалась вернуться на Укаяли.

До сегодняшнего дня не сломлено непокорное племя. Время от времени до асьендадо доходят слухи о приближении индейцев-мстителей; тогда они белеют от страха. Беспокойные вести несутся с асьенды на асьенду, как лавина. И не всегда они высосаны из пальца.

Так, например, в октябре 1931 года белое население в верховьях Укаяли за-

волновалось. В Кумарию, где тогда еще оставалось немало польских колонистов, отовсюду начали стекаться в поисках защиты перепуганные белые со своими семьями. Индейцы выступили из Гран-Пахонала, но объявили, что будут мстить только тем, кто их притеснял. Дольчи, прекрасно знакомый с нравами кампа и располагавший точными сведениями, полученными от верного ему кураки Карлоса, утверждал, что опасность действительно грозит лишь тем, с кем у индейцев были старые счеты. Паника и общее замешательство говорили о том, что большинство белых на Укаяли имели основания опасаться мести индейцев.

На этот раз, однако, индейцы не выполнили своих угроз. Они подошли было к асьенде «Вайнилья» близ Кумарии, принадлежащей мировому судье Тригосо (незадолго до этого он ранил из ружья одного кампа, уговаривавшего своих соплеменников уйти с асьенды), но ограничились лишь этой демонстрацией, которая нагнала столько страха на белое население.

Опять идут дожди



Как известно, зимой солнце отправляется на юг. Тогда оно всю заливает своими лучами Южную Америку, старательно поджаривая весь этот континент. Разогретый воздух над сушей расширяется, образуя область пониженного давления. Атлантический океан спешит воспользоваться этим и посылает в глубь материка огромные массы насыщенного влагой воздуха. Достигнув стены Анд, воздух охлаждается, влага в нем конденсируется, и на землю обрушиваются проливные дожди, которые идут здесь девять месяцев в году. Отсюда великолепный девственный лес в бассейне Амазонки, и отсюда черная меланхолия человека, сидящего в размокшей хижине на берегу Укаяли.

Дожди здесь ужасно докучливые и какие-то странные. Вода падает не сверху, как это должно бы быть, а откуда-то сбоку, почти горизонтально, швыряемая сильными порывами ветра. Крыша над головой почти не защищает от дождевых струй, потому что вода брызжет внутрь хижины сбоку, сквозь бамбуковые стены. Это приводит человека в отчаяние.

В хижине сушатся ценные экспонаты моих коллекций: препарированные шкурки укаяльских птиц, бабочки, жуки и другие насекомые — плоды напряженного труда в течение нескольких месяцев. Они должны высохнуть как можно быстрее, если я собираюсь привезти их в Варшаву в удовлетворительном состоянии. Однако все это не только не сохнет, а, наоборот, лишь больше пропитывается влагой и покрывается плесенью. Ничего нет более неприятного и сложного, чем борьба с плесенью здесь, на Укаяли.

— Посмотрите-ка! — восклицает Долорес, и ее смеющиеся глаза радостно поблескивают. — Какие чудесные краски! Ах, что за краски!

Это краски отвратительной плесени, покрывшей перья на брюшке отпрепарированной мною неделю тому назад кукушки. Плесень сияет всеми цвета-

ми радуги, отливая каким-то фосфорическим блеском. Если завтра солнце не появится хотя бы на несколько часов и не высушит шкурку, плесень окончательно уничтожит мою самую лучшую птицу, редкую кукушку.

— Глупая! — раздраженно ворчу я на Долорес. — Ничего ты не понимаешь.

Долорес понимает, что сырость — вещь очень неприятная. Но она метиска и родилась под шум дождя на Укаяли. Дождь ей не мешает. Девочка по-прежнему полна задора и весело смеется. А со времени совместной охоты на колибри мы подружились, и она обращается ко мне на «ты».

Зато на меня эти дожди действуют угнетающе. Познакомившись с осенним ненастьем на норвежских фьельдах[205] в Намдалене, я полагал, что ничего более грустного мне уже не встретить. Здесь, на Укаяли, еще хуже. Когда идут дожди, буйный мир здешней растительности становится неузнаваем — он превращается в какое-то необычайно мрачное кладбище. Пальмы агуаче, растущие неподалеку от хижины, самые прекрасные из всех перуанских пальм, сейчас, под дождем, кажутся такими некрасивыми и неприятными, что вызывают отвращение. Сумрак и слякоть накладывают на все вокруг печать трагической безнадежности; струйка воды, падающая на пол из щели в крыше хижины, кажется стружкой яда, дождь — каким-то чудовищем, небо — обнаженной раной. Терпение мое иссякает. Перспектива потерять коллекции, полная оторванность от мира, сознание собственной беспомощности, никогда не высыхающая одежда, вынужденное бездействие, отсутствие книг и собеседников — все это усиливает мои страдания.

Да еще эта Долорес. Она весело хлопочет под дождем, напевает что-то, суется помочь мне, когда я ее не прошу об этом, и вообще действует мне на нервы. В то время как я, европеец, терзаюсь, у метиски Долорес превосходное настроение.

За хижинкой на месте прежних лужаек независимо от подъема воды на реке образовались целые озера, наполненные дождевой водой. Это знаменитые талампы. Много их и в глубине леса. На протяжении многих месяцев талампы наглухо закрывают доступ в девственный лес. В сухое время года вода из них впитывается в землю, и они исчезают. Но не все — кое-где на их месте остаются опасные обширные топи.

Прямо перед входом в хижину образовалась лужа, через которую приходится перепрыгивать. Лужа небольшая, шириной метра в полтора, но однажды неутомимая Долорес обнаруживает в ней несколько маленьких рыбок. Те весело гоняются друг за другом и охотятся на еще более крохотных головастиков, которые тоже появились откуда-то в этой лужице. Долорес поражена:

— Крошечные живые рыбки! Настоящие рыбки, с плавниками! Но как они сюда попали? Может быть, это дело рук нечистого?

— Э, Долорес, неужели ты такая суеверная?

— Я совсем не суеверная! Хорошо, значит, просто случилось чудо! А может, ты и в чудеса не веришь? — задиристо спрашивает девочка.

— О, верю, верю... Но только не с такими крохотными, незаметными рыбками.

— Это правда! — вздыхает Долорес. — Чудеса случаются только в серьезных делах, а не в пустяках.

— Ты мудра, как Соломон, Долорес!

Девочка с недоверием всматривается в мое лицо. Она не сдается и продолжает нападать на меня:

— Если это не чудо, как ты говоришь, то откуда же взялись здесь эти рыбки? Знаешь ты это или не знаешь?

— Не знаю.

— Может быть, из воздуха? — острит Долорес.

— Не исключено, что из воздуха: икру могли перенести на своих крыльях дикие утки...

Девочка улыбается мне — насмехаясь, сомневаясь, торжествуя:

— Значит, все-таки было чудо? Вышло по-моему!

Потом мы забываем о рыбках: на следующий день погода налаживается, и лужа высыхает. На третий день снова идет дождь. Лужа опять наполняется водой и — о чудо! — опять появляются те же самые рыбки. Теперь уже и я поражен: по-видимому, хитроумные рыбки попросту зарывались в землю, когда лужа высыхала, и ждали дождя. Радуйся этому открытию, Долорес! Это не простые рыбы: это умные сорванцы, которые превосходно сумели приспособиться к жизни, несмотря на то, что весь их мир — эта маленькая лужица перед нашей хижинкой.

Иногда солнце выбивается из-за туч, и тогда сразу становится очень жарко и очень светло — так светло, что глазам больно. Только что шел дождь, термометр показывал всего лишь двадцать градусов тепла, и мы дрожали от холода. И вот вдруг мир вокруг нас чудесно изменился. Лес, от земли до верхушек деревьев пропитанный, словно губка, водой, искрится на солнце миллиардами бриллиантов, сверкает миллионами радуг. Проголодавшиеся птицы устремляются на поиски пищи. С листьев поднимается пар. Становится так душно, что трудно дышать. В воздухе слышатся крики и пение, со всех сторон доносятся таинственные звуки журчащей воды. Всюду вокруг очень шумно и оживленно и неестественно светло от тысячекратно отраженных лучей. Все вдруг зашевелилось; жизнь в лесу бурлит так лихорадочно, словно хочет порвать все путы, разрушить все преграды. Какой-то вдохновенный гимн солнцу! Но вдруг опять появляются тучи, и все прекращается: снова идет дождь.

Я отправляюсь поохотиться в лес, но внезапно мне преграждает путь могучая река, несущая свои бурные воды между деревьями. Еще вчера я проходил по этой тропе, не замочив ног. А сегодня здесь пенится дикий поток, который шумит, бурлит и сотрясает огромные стволы деревьев, создавая множество водоворотов. Новая река черпает свои воды отнюдь не из Укаяли или его притоков — Бинуи и Кумарии. Она течет прямо из глубины леса. Но куда? Как она возникла, где прорвала естественные преграды, какие стихии сплотились для того, чтобы здесь, в густом лесу, катил свои бушующие волны этот поток? А вода все прибывает. Нужно спешно возвращаться, иначе какое-нибудь ответвление новой реки отрежет мне обратный путь. В этом мокром лесу таятся неисчерпаемые запасы воды, постоянно угрожая людям опасностями, рождая у них неуверенность в завтрашнем дне.

Опять идут дожди. Меня гнетет все более мрачное отчаяние и глохнет самый мучительный недуг путешественника — тягостное сознание своего одиночества и бессилия. Стена дождя заслоняет от меня не только мир укаяльского леса, но и тот, из которого я прибыл, — мой мир. Он кажется мне сейчас таким далеким, что в моем усталом мозгу рождается вопрос, увижу ли я его еще

когда-нибудь. Все, что меня сейчас окружает, кажется мне чуждым и отталкивающим, и это чувство трудно преодолеть. Во всем — непреодолимая отчужденность; в крыше надо мной из листьев пальмы жарина, в стенах хижины из стеблей бамбука *kania brawa*, в земле с ее резким запахом и даже в Долорес с ее испанским щебетанием.

В минуту наибольшей безысходности я вспоминаю, что, прощаясь со мной в Икитосе, Тадеуш Виктор дал мне в дорогу несколько номеров «Святовиды». Я достаю их со дна чемодана и принимаюсь разглядывать. Не спеша, все более внимательно перелистываю страницу за страницей и замечаю, что моя рука дрожит.

Я вижу высокие каменные дома, прямые улицы, асфальт, одетых по-городскому людей, пейзажи с тополями и так много белых женщин, что это кажется мне неправдоподобным.

— Почему ты так улыбаешься? — спрашивает меня заинтригованная Долорес. — Что у тебя там?

— Картинки моей родины! — отвечаю я с трудом, так как что-то сжимает мне горло.

Есть даже новости из моего «прихода». О них сообщает известный скульптор Людвик Пугет. Этот великий чародей и достойный представитель богемы рассказывает в своем остроумном фельетоне интересные подробности о «Розовой Кукушке» — артистическом кабаре в Познани, о польских художниках, об их картинах — словом, о близких моему сердцу вещах. Пишет он также о каком-то бале в Школе прикладного искусства, о том, как веселая братия гуляла там до утра. Когда человек сидит в хижине на берегу Укаяли, а рыбы выползают прямо из-под земли, — то удивительно большое значение приобретает далекий бал в Школе прикладного искусства и танцующие до утра люди. (Я пытаюсь сообразить, сколько месяцев не видел на мужчине галстука!)

А Долорес потрясена. Впервые в жизни она разглядывает иллюстрированный журнал и видит портреты кинозвезд. При виде Греты Гарбо, Марии Богды и Джоан Крауфорд ее охватывает восторг. В головке бедной маленькой индианки просто не укладывается, что где-то далеко мир так прекрасен и в нем живет столько очаровательных женщин.

— Откуда у них такие великолепные платья? — спрашивает она.

По сто раз рассматривает она каждую иллюстрацию и поочередно влюбляется во всех киноактеров.

Спустя несколько дней Долорес успокаивается, но ее глаза по-прежнему лихорадочно блестят, а щеки горят. За эти несколько дней она как-то повзрослела, похорошела; она уже не смеется так непринужденно, как раньше, и просит меня взять ее с собой в Европу. Если я ее как следует одену, она будет так же хороша, как и те артистки.

Я только улыбаюсь, но Долорес вскакивает на ящик и принимает позу, которая лучше всего подчеркивает ее прелести (маленькая шельма заимствовала ее из иллюстраций в журналах).

— Я красивая? — спрашивает она.

— Ты так же красива, как те, может быть, даже еще красивее! — отвечаю я. — Но с чем ты намерена отправиться в мир? Ты ведь ничего не умеешь делать!

— Я научусь препарировать птиц! — задорно восклицает она.

Бедное дитя! Этот задор быстро гаснет. Остается лишь большая мучительная тоска по далекому прекрасному миру. Такая большая тоска, что даже рыбки уже не забавляют Долорес.

А я все чаще присаживаюсь над лужицей перед нашей хижиной и все с большим любопытством наблюдаю за рыбками.

Когда мы плывем к Клаудио...



У меня не идет из головы мысль об одной необычной обезьяне. Я встретил ее неподалеку от Кумарии во время прогулки по лесу. Идя по тропинке, я вышел к небольшой чакре — подготовленному под посев участку, расчищенному от леса, — и увидел, что на противоположном конце поляны показались трое индейцев кампа: мужчина, женщина и мальчик. Рядом с ними, словно собачонка, бежала обезьяна коата, потешное создание, у которого все части тела чрезмерно удлинены и вместе с тем слишком тонкие. Длинные ноги и руки, длинные шея и даже туловище, маленькая головка. Английские зоологи имели все основания назвать ее spider-monkey — обезьяна-паук.

Зверек, по-видимому, совсем ручной; пораженный моим появлением, он не убежал в лес, а подбежал к индианке и спрятался в складках ее платья. Всех это позабавило; мы подошли друг к другу, и я направился к обезьянке. Величиной она с небольшую собаку; стоит себе на двух лапах и жметя к индианке. Ее мордочка поразительно напоминает физиономию маленького человечка, а несомненные проблески разума в испуганных глазах еще больше усиливают это впечатление.

— Не привыкла к чужим, — объяснил на ломаном испанском индеец.

Его зовут Клаудио, он кампа из асьенды Дольчи, но живет в нескольких километрах ниже Кумарии, на берегу Укаяли.

— Не продашь ли мне эту обезьянку? — спросил я.

Клаудио посоветовался с женщиной и, как это принято у здешних индейцев, вполголоса пробормотал что-то: не то — да, не то — нет.

— Подумай. Я охотно куплю ее...

Когда во время этого разговора я подошел ближе, чтобы приласкать обезьяну, она презабавно заголосила. Не ошалела от страха, не завопила во всю глотку, а, приложив руки к щекам, начала качать головой вправо и влево и издавать жалобные стоны, словно оскорбленная моим приближением. В ее отчаянии было что-то необычайно трогательное. Эта коата показалась мне на редкость впечатлительной.

Я договорился с Клаудио, что дома он подумает и через два дня приплывет ко мне, чтобы сообщить о своем решении. Увы, он не сдержал слова: ни через два дня, ни в следующие несколько дней он так и не появился, и тогда я решил сам навестить его.

Ранним утром я спускаюсь к лодке с Валентином и молодым индейцем Ху-

лио, которого я выпросил у Дольчи. Вот уже несколько дней, как река успокоилась: вода спала, исчезли вереницы древесных стволов. Зато у берегов из воды то здесь, то там высовываются покрытые илом ветки и колоды.

Мы плывем вниз по реке; каноэ быстро несется по течению. К тому времени, когда лучи восходящего солнца озаряют верхушки деревьев, мы проплываем уже половину пути.

Неожиданно Хулио прерывает молчание; он совещается о чем-то с Валентином на наречии кампа, после чего выводит лодку на середину реки.

— Зачем? — спрашиваю я.

На середине реки опасно, там легко можно попасть в водоворот. Близ берега человек чувствует себя увереннее.

— Барранко, — отвечает индеец, показывая перед собой.

Берег, возвышающийся над водой на три-четыре метра, в этом месте сильно подмыт. Под деревьями образовались глубокие гроты; виднеются обнаженные корни, напоминающие клубки чудовищных змей. Несколько деревьев, стоящих на самом краю, заметно наклонились к реке. Они могут рухнуть в любую минуту; их удерживают лишь толстые лианы, натянутые, как струны, между ними и другими деревьями.

Бросается в глаза отчаянная солидарность растений перед общим врагом. Прожорливая река уже высмотрела себе в лесу жертву, но еще не в состоянии поглотить ее: сородичи обреченных деревьев удерживают их лианами, словно десятками дружеских рук. Ожесточенная борьба между рекой и лесом драматична и полна напряжения.

Подмытые деревья, неестественно склонившиеся над рекой, выглядят грозно; кажется, что они приготовились к схватке. Но это только кажется. Обреченные на гибель, они вскоре рухнут в воду. Они уже никому не грозят, разве что проплывающим мимо лодкам.

А ненасытная река, оказывается, собирается поглотить не только эти прибрежные деревья: ей достанется гораздо большая добыча — целый участок леса. Ответвление реки глубоко врезалось в сушу и размывает ее во многих местах, создавая остров. Я видел такие острова, сорванные с места и, увлекаемые течением. Мне говорили, что одно селение на Укаяли, кажется Контамана, уже окружено со всех сторон рекой и в один прекрасный день исчезнет в пучине. Укаяли неукротима; здесь она подмывает и разрушает берега, там — откладывает наносы и образует острова.

Мы проплываем мимо барранко на почтительном расстоянии: когда рушится берег, поднимаются такие высокие волны, которые переворачивают лодки, словно скорлупки.

Неожиданно я замечаю в ветвях деревьев, приговоренных к смерти, какое-то движение. Я велю ребятам перестать грести и присматриваюсь к берегу.

— Обезьяны! — сообщает Валентин.

Их там целое стадо. С такого расстояния трудно определить, какой это вид. Кажется, ревуны. Они не спеша перебираются с дерева на дерево, двигаясь вдоль берега. Их ведет большой бородатый самец, не сводящий с нас зорких глаз. Некоторые самки тащат на плечах своих детенышей; малыши, по-видимому, изо всех сил вцепились в материнскую шерсть, так как, несмотря на головокружительные прыжки с ветки на ветку, они все-таки держатся.

Глядя на это шествие обезьян, я поражаюсь удивительной силе стадного инстинкта, который проявляется и в осторожности самца, и в материнских чувствах самок, но одновременно недоумеваю по поводу непонятного отсутствия у них другого инстинкта, предупреждающего животных об опасности: ведь обезьяны находятся на деревьях, которые в любой момент могут обрушиться в реку и погубить все стадо.

Но мои ребята объясняют все это иначе.

— Обезьяны! — радостно кричат они и сильными взмахами весел направляют лодку прямо на барранко.

— Вы уже не боитесь? — спрашиваю я, обеспокоенный их непонятным поведением.

— Нет! — отвечает Валентин. — Барранко не страшен!

— Откуда ты знаешь?

— Обезьяны говорят это... Обезьяны знают, когда барранко упадет в воду. Обезьяны никогда не ошибаются...

Как это можно было предвидеть, стадо, заметив приближающуюся лодку, мгновенно скрывается из виду. Мы полагаемся на звериный инстинкт и плывем рядом с подмытыми деревьями. Будь у ребят больше опыта, они знали бы, как иногда может подвести этот инстинкт. Но я молчу, не желая показаться им трусом.

Плывем дальше. Передо мной на носу лодки гребет Хулио. Индеец молод, ему не больше восемнадцати. Я внимательно приглядываюсь к нему. Кожа у него во многих местах покрыта нарывчиками, на которые неприятно смотреть; на спине две гноящиеся язвы. Я окликаю Валентина и спрашиваю, что это за болезнь.

— Это не болезнь, — объясняет он. — Это gusanos.

Гусанос означает буквально — личинки, гусеницы. Молодой индеец страдает от паразитов, поселившихся у него под кожей. Какие-то дьявольские мушки отложили у него на спине яйца, из которых вылупились личинки. Пока они не вырастут, на что понадобится еще недели две, бедняга вынужден терпеливо переносить зуд и боль. Говорят, что если выковырять гусанос прежде времени, то возникнут опасные осложнения.

Интерес, проявленный мной к болезни Хулио, развязывает моим спутникам языки. Они начинают безудержно болтать; перебивая друг друга, перечисляют все виды паразитов, донимающих местных жителей. Хулио не говорит по-испански, и поэтому Валентин вынужден переводить. Отвратительные подробности доводят меня, гринго, до того, что волосы у меня становятся дыбом. Какая несчастная страна!

Впрочем, они зря стараются, я и без них слишком хорошо знаю это. Земляных блох здесь, правда, мало, значительно меньше, чем в Бразилии; очевидно, им не подходит влажный климат. Но всякой другой дряни — ого-го! Например, комаров: в некоторые годы их бывает столько, что люди сходят с ума.

— Бывает ли их еще больше, чем в этом году?

— Спросите об этом сеньора Дольчи (Дольчи в Кумарии — непререкаемый авторитет!), и он вам скажет, что в этом году комаров почти нет.

«Комаров почти нет», а в то же время ежедневно под вечер бесчисленные тучи их появляются в воздухе, своими укусами и гудением выводя из себя людей, хотя те давно уже к ним привыкли. Утром их тоже полно, иногда они по-

являются сразу после полудня.

Есть и другие напасти.

Манта бланка — крохотная мушка, докучающая в течение всего дня. Она забирается в волосы на голове и безжалостно кусает.

Пиум — другая маленькая мушка. Она пребольно кусается; после укусов на коже несколько дней сохраняются темные пятнышки, которые нестерпимо зудят.

Исанге — клещи, кишачие во множестве на стеблях сорняков вблизи каждой здешней хижины. Достаточно один раз пройти мимо такого сорняка или слегка коснуться его, и вот уже исанге попадают на человека и впиваются в него. Они ярко-красные, но такие крошечные, что невооруженным глазом их как следует и не рассмотришь; зуд же вызывают такой, что ночью человек не может спать. Если натереть кожу спиртом, они гибнут, но жгучая боль не проходит еще несколько дней. Эти крошки буквально отравляют жизнь в Кумарии. Хижина Барановского, в которой я живу, прямо-таки оцеплена ими.

— А видели вы рыбку канеро? — не оставляет меня в покое Валентин.

Это бич купающихся в реке; впрочем, здесь мало кто отваживается купаться. Рыбка эта — не длиннее пальца и не толще маленького карандаша — весьма распространена в здешних реках; она проникает глубоко в отверстия на теле человека или животного, откуда ее трудно извлечь, потому что жабры у нее снабжены чем-то вроде острых крючков, загнутых назад. Часто канеро является причиной смертных случаев. Каждый год в окрестностях Кумарии от этих рыбок погибает несколько голов скота.

Ребята осыпают меня дождем страшных историй; я не желаю оставаться у них в долгу, тем более что мне есть чем «похвастаться». Я поднимаю штанины и показываю им места, которые подверглись нападению клещей исанге. Большинство их умерщвлено, но еще остались болезненные следы. Ниже колен у меня образовались гноящиеся раны.

— О! — почтительно восклицает Валентин. — Сеньору тоже досталось!

— Досталось, досталось! — подтверждаю я с наигранным раздражением.

Надоедливые исанге попадают на меня неизвестно когда и как. Ночью я часто не могу заснуть от боли, а днем чувствую себя разбитым. Чертенята особенно полюбили мои коленные суставы: правда, под левым коленом мне без труда удалось ликвидировать всех клещей, зато под правым они обосновались прочно; борьба продолжается, и я не знаю, каков будет ее исход. (Через несколько недель мне удалось выжить клещей и из-под правого колена, но следы их пребывания там сохраняются еще на много лет.)

Вскоре мы добираемся до шалаша Клаудио. Увы, нам не везет: дома никого нет. Клаудио со своей семьей бродит где-то в зарослях. Еще совсем рано, и мы решаем часок подождать. Взяв двустволку, я отправляюсь в лес попытать счастья и поохотиться на птиц.

Я держусь тропинки, протоптанной в чаще. Пройдя сотню шагов, я наталкиваюсь на великолепный экземпляр пальмы пачиуба. Это подлинное чудо фортификационного искусства, объект, защищенный от врагов так продуманно и эффективно, что вид этой пальмы всякий раз вызывает во мне искреннее восхищение. Вот и сейчас я любуюсь ею. Корни пачиубы выступают над землей на два метра и лишь там соединяются вместе, образуя ствол дерева. Они прямые, как прутья, но густо усеяны острыми, длинными и необычайно твер-

дыми шипами, так что к дереву нельзя подступиться. Зато ствол пальмы совершенно гладкий, словно полированный, и, кажется, древесина у нее мягкая. Сколько же пришлось вытерпеть этой пальме от всевозможных четвероногих любителей вкусной коры, прежде чем она так оцетинилась!

Это дерево — яркий пример приспособляемости в борьбе за существование. И куда ни бросить взгляд с того места на тропинке, где я стою, всюду разыгрывается ожесточенная борьба не на жизнь, а на смерть. Это не только борьба за место под солнцем, за свет; растения травят друг друга, давят, душат. «Это не лес, а поле битвы; в нем нет ничего лиричного, как в уютных лесах Европы, один лишь суровый и жестокий эпос, страшная драма растений», — писал крупный знаток этих лесов немецкий ученый Р. А. Берман.

Внезапно со стороны хижины доносятся громкие отрывистые крики. Это Валентин и Хулио; наверное, что-то случилось. Я бегу туда что есть духу. Очувшись на краю леса, я вижу, как они лихорадочно суетятся возле нашей лодки, потом вскакивают в нее и, ожесточенно взмахивая веслами, направляются к небольшому заливу неподалеку.

— Рыба! — кричат они, заметив меня.

Теперь и я вижу. Залив, вдающийся в берег метров на двадцать-тридцать, бурлит и кипит. В него зашел такой густой косяк рыбы, что там не хватает места. Весь залив серебрится от чешуйчатых тел, вытесняющих друг друга из воды.

Ребята торопливо подплывают и изо всех сил принимаются за работу. Они с силой ударяют веслами по воде и швыряют в лодку оглушенных рыб; в суматохе рыбы мечутся, выпрыгивают из воды и иногда сами падают в лодку. Если бы я не видел этого собственными глазами, я никогда бы не поверил, что такая сумасшедшая рыбная ловля возможна. Косяк состоит из сплошной массы примерно двухкилограммовых паломет, как назвал их Валентин. Через несколько минут лов прекращается, а палометы покидают залив. Нос нашей лодки завален добычей — несколькими десятками рыбин. Взмокшие парни тяжело дышат, радостно улыбаясь друг другу и мне.

Еще через несколько минут от косяка в заливе не остается и следа. Поверхность воды становится спокойной, как прежде. Рыбная лавина ушла дальше, к другим местам нереста.

Наша добыча скоропортящаяся, и мы торопимся домой. Сейчас мы гребем все трое, чтобы быстрее плыть против сильного течения.

Когда мы проходим мимо опасного барранко, между моими спутниками разгорается спор о погоде. Небо по-прежнему чистое, но Валентин утверждает, что вот-вот хлынет дождь, тогда как Хулио придерживается противоположной точки зрения: погода останется хорошей. Дело в том, что каждый из них по-разному объясняет полет каней.

В воздухе носится больше двух десятков этих изумительных птиц. Они совсем не похожи на хищников, а напоминают наших ласточек, увеличенных до огромных размеров. У них изящные длинные крылья и развилистый хвост; их захватывающий полет напоминает полет ласточек: легкий, полный редкого очарования и молниеносных пируэтов. Слово стремясь выделить этих птиц во всех отношениях, природа одарила их поразительным нарядом: кани белы как снег, но крылья и хвост у них иссиня-черные. На фоне тропического пейзажа они представляют восхитительное зрелище.

Кани питаются любой живностью; как и ласточки, они хватают на лету насекомых, но не отказываются и от змей, ящериц или лягушек, за которыми охотятся на земле. Иногда они взмывают на невероятную высоту — это значит, что погода должна перемениться к лучшему. Когда же кани сидят на деревьях или носятся над самой землей, лучше не выходить из хижины, потому что дело идет к дождю. Кани, которых мы встречаем неподалеку от барранко, летают не слишком высоко, не слишком низко; они кружатся в нескольких десятках метров над верхушками деревьев. Будет дождь или не будет дождя — бабушка надвое сказала, однако мои молодцы продолжают ожесточенно спорить; каждый отстаивает свою точку зрения.

Эти красивые птицы производят сильное впечатление. А ведь я вижу их не впервые. Природа здесь действует на человека угнетающе; он, жалкое создание, ползает лишь по краю леса и редко встречает что-нибудь радующее взор. Все, что сопровождало нас во время этой поездки к Клаудио, очень характерно для жестокого укаяльского леса: дикая река, злое барранко, разговор о паразитах, свирепые шипы пальмы пашиуба, безжалостная борьба повсюду; даже в плотном косяке рыб — печать чудовищной необузданности, что-то судорожное. И вдруг такая невыразимая красота, как хоровод этих прелестных жизнерадостных птиц на фоне голубого неба. Трудно сдержать восхищение. От них исходит столько радости, что невольно забываешь все заботы и неприятности.

Наша поездка оказалась неудачной. Клаудио мы не застали дома. Но я не жалею о потерянном времени. Как уже не раз случалось в этом лесу, я возвращаюсь переполненный впечатлениями. Безмерно щедрая укаяльская природа оделила человека крохами своих несметных богатств.

Бабочки



Бабочки и дети в чем-то похожи друг на друга. Бабочки так же беззаботны, как и дети, они так же любят солнце, сласти и игры на поляне. Дети любят бабочек.

Меня научил любить бабочек мой отец.

Это был необыкновенный человек. Страстный романтик, великолепный знаток природы, добрый и умный, он учил меня любить многое из того, мимо чего другие проходили равнодушно. Когда мне было семь-восемь лет, он водил меня гулять в лес, на речку, в луга. Двое друзей — большой и маленький — открывали там для себя целый мир, в котором важными персонажами были лимонницы, павлиний глаз, капустницы и переливчатые жуки-красотелы.

По вечерам, возвратившись с прогулок, мы вместе мечтали. Отец рассказывал мне о жарком солнце, о далеких буйных лесах с лианами и древовидными папоротниками, об огромной реке и больших, чудесных, сверкающих бабочках. Мы всесторонне обсуждали подробный план нашей будущей экспедиции.

— Когда ты вырастешь, — говорил мне отец, — мы поедем с тобой на Амазонку.

Увы, смерть перечеркнула все наши планы; отец умер, и я остался один со своими грезами.

Потом я вырос, женился, и у меня родилась дочь Бася. Когда ей было шесть-семь лет, я брал ее с собой на цветущие луга над Вартой. Сколько было смеха, радостных открытий и веселой возни. Мы дружили со всеми бабочками. В соответствии с извечными законами жизни происходило то же самое, что и за двадцать пять лет до этого: в юном сердце пробуждалось большое радостное любопытство, и двое друзей открывали для себя целый мир.

Когда мы возвращались домой, я рассказывал Басе о еще более пышных лугах и буйных лесах, о самой могучей реке и великолепных сверкающих экзотических бабочках.

— Когда ты вырастешь, Бася, — говорил я, — мы поедем вместе на Амазонку.

В ответ Бася крепко сжимала мне руку: радость переполняла ее. Я знал, что у меня будет товарищ, на которого можно положиться.

Увы, смерть и на этот раз разрушила наши планы. В один ясный весенний день маленькое сердечко Баси перестало биться, и я снова остался один.

Мне пришлось поехать на Амазонку одному. Я отправился туда для того, чтобы собирать в богатом девственном лесу образцы фауны; я должен был привезти в польский музей коллекции, главным образом птиц и бабочек. Работа, которую иногда приходилось выполнять в тяжелых условиях, требовала выдержки, силы воли и выносливости. Но когда я оказывался лицом к лицу с

миром бабочек, я вдруг терял свою выдержку. Да и как можно сохранить хладнокровие коллекционера, когда где-то в глубине души оживает прошлое, когда вспоминается все то, о чем мечтал мой отец?

Смелыми и дерзкими были мои детские мечты, но действительность оказалась еще более дерзкой, еще более смелой. Попав на Амазонку, человек смотрит на все, онемев от изумления, не в состоянии объять разумом буйную оргию природы. В конце концов он перестает понимать, где в этом девственном лесу кончается явь и начинается сон. Прекрасной сказкой кажутся рои бабочек над Амазонкой, такие красочные и такие многочисленные!

Два дня висит над головой раскаленное солнце. Вода в реке спала, у берега обнажилась песчаная отмель. Около полудня, в самую жаркую пору дня, всю отмель покрывает несметное множество бабочек. Они сидят вплотную друг к другу, а отмель эта протянулась почти на сто метров в длину и на пятьдесят в ширину. Сколько же тут бабочек — сто тысяч, полмиллиона? Все они преимущественно желтой окраски; это различные виды двух больших семейств — парусников и белянок. Среди них выделяется несколько крупных экземпляров бабочек *Katopsilia*; они ярко-оранжевого цвета и издали напоминают великолепные спелые апельсины.

Бабочки высасывают из влажного песка живительную влагу — явление необычайно характерное для Южной Америки. Если пройти по отмели и спугнуть утоляющих жажду насекомых, в воздух поднимется густое желтое облако. Это фантастическое зрелище!

Как-то раз, очутившись в таком облаке, я взмахнул два раза сачком... и обнаружил в нем более ста пятидесяти бабочек двадцати различных видов. В Европе мне бы не удалось наловить столько и за целый июльский день.

Лужица на тропинке привлекает не меньше сотни бабочек каликоре. Они нежатся в солнечных лучах и пьют болотистую воду. Это небольшие, но поразительно красивые бабочки с зеленоватым или голубоватым металлическим блеском. У всех видов этого семейства на верхней стороне крыльев есть узор, напоминающий две более или менее отчетливые восьмерки. Поэтому наши колонисты называют этих бабочек «восемьдесят восемь».

Вдруг все каликоре срываются с места и окружают мою голову живым сверкающим венцом; они хотят очаровать меня. И действительно, необыкновенная красота этого зрелища очаровывает.

Вдруг в воздухе слышится громкий треск, словно кто-то изо всех сил щелкает пальцами. Это бабочки, принадлежащие к роду *Ageronia*. Обычно они сидят на стволах деревьев, почти сливаясь с древесной корой; это, пожалуй, самые большие хитрецы и проказники среди насекомых. Вот уже несколько десятков лет они водят за нос крупнейших естествоиспытателей и энтомологов мира, не желая раскрыть тайну издаваемого ими треска. Такие известные ученые, как Ханель, Годман и Сэлвин, отдали изучению этих насекомых много лет. Напрасный труд! «Механизм треска», помещающийся в туловище, не превосходящем три сложенные вместе спички, так и не найден. А агеронии потрескивают себе лукаво — «трак-рак-рак» — на всем пространстве от Мексики до границ Аргентины и, насколько мне известно, по сей день издеваются над человеческой пытливостью, микроскопами и пинцетами.

А вот геликонида. Она принадлежит к многочисленному, широко распро-

страненному племени, насчитывающему более четырехсот видов. Все обитатели леса прекрасно знают, что геликонида несъедобна — она горькая, неприятно пахнет. Птицы тоже знают об этом и ни за что не тронут эту изящную бабочку. Сознавая свою неприкосновенность, геликонида летает медленно, у всех врагов на виду, вызывая помахивая своими продолговатыми крыльями, раскрашенными необыкновенно яркими красками: коричневой, желтой, черной и красной.

И вот какие происходят чудеса: у геликонид нашлись подражатели. Обратив внимание на то, что у них нет врагов, некоторые другие бабочки, до тех пор совершенно беззащитные, стали постепенно менять расцветку и форму своих крыльев, пока те не оказались точь-в-точь такими, как крылья геликонид. Различные виды белянок и данаид, отрекаясь от своих предков, переоделись в одежды геликонид, так что порой их почти невозможно различить. В этом поразительном лесу на каждом шагу можно встретить самые невообразимые формы мимикрии.

У страха глаза велики, но и большие глаза тоже наводят страх. Поэтому у многих бабочек, особенно из семейства *Saturnidae*, на крыльях нарисованы пугающие глаза, назначение которых устрашать насекомоядных птиц. Вершин мимикрии достигла бабочка калиго: на верхней стороне ее крыльев изображена голова совы с парой выпученных глаз, острым клювом и четким рисунком перьев. Следует отметить, что бабочки калиго летают в сумерках, тогда, когда пробуждаются от дневного сна настоящие совы.

Я уже стрелял однажды в бабочку, подражающую полету колибри, так как принял ее за птицу. Подобный же случай произошел у меня с другой бабочкой, пожалуй, самой большой в мире. Правда, на этот раз я вовремя обнаружил ошибку и стрелять не стал.

Как-то раз вместе с польским колонистом Цесляком я пробирался по заброшенной тропе через густой подлесок. Вдруг из кустарника выпорхнула какая-то птица. Окраской она напоминала нашу куропатку и была тех же размеров, только медленнее взмахивала крыльями и летела почти бесшумно. Птиц с бесшумным полетом и медленными движениями крыльев в этом лесу немало. Поэтому я, не раздумывая, сорвал двустволку с плеча и приготовился стрелять, но мой спутник остановил меня:

— Это же бабочка!

Я опустил ружье. Теперь я уже сам видел, что ошибся. Действительно, это была бабочка совка. Энтомологи называют ее *Thysania agrippina*. Люди, живущие в лесу, уже рассказывали мне о ней, и тем не менее, узрев этого великана, я остолбенел, как всегда, когда я сталкиваюсь с безумным размахом здешней природы.

Схватив сачок, я погнался за совкой, но поймать ее мне не удалось. Она уселась было на ствол дерева неподалеку от нас, но, услышав, что я продираюсь сквозь кусты, снова замелькала среди деревьев. Вскоре это фантастическое создание лихорадящего леса навсегда исчезло в хаосе зелени. Я все-таки пожалел, что не выстрелил в нее.

Самые чудесные бабочки в мире это, несомненно, морфиды. Их крылья вобрали в себя всю голубизну океанов, всю небесную лазурь. От них исходит волшебное сияние, они ослепительно переливаются всеми оттенками синего цвета. Все путешественники, бывавшие в Южной Америке, признают, что вид

летающей бабочки морфо каждый раз оказывался для них радостным откровением.

Часто случалось, что я возвращался с охоты вконец обессиленный жарой и ужасной духотой, едва волоча ноги. Но когда в такие минуты среди деревьев появлялась бабочка морфо, сверкающая в солнечных лучах, как голубая звезда, я отчетливо ощущал, как проходит моя усталость и меня обволакивает благодатная прохлада, словно с далекого моря повеяло легким ветерком. И я бодро шагал дальше. Южноамериканская природа, сотворив бабочку морфо, создала самое великолепное из насекомых, обитающих в тропиках.

Вот уже несколько дней я налаживаю приятельские отношения с одной изумительной бабочкой. Я встречаю ее ежедневно на одном и том же месте у лесной тропинки. Когда я подхожу, она взлетает, описывает надо мной несколько кругов и улетает в лес. Со временем между нами устанавливается определенная близость. Теперь бабочка уже не так пуглива, как раньше, и позволяет мне подходить совсем близко. Это невероятно красочная представительница рода *Katonefele*. На бархатисто-черном фоне ее крыльев вырисовываются две оранжево-желтые полосы. Два сочных цвета, черный и желтый, поразительно гармонично сочетаются друг с другом.

Бабочка эта становится дорога мне, потому что напоминает о Басе. Когда-то, гуляя с дочкой по рогалинским лугам над Вартой, мы так же подружились с одной бабочкой, только то была лимонница. Вот почему моя крылатая приятельница так дорога мне здесь, на Укаяли. Всякий раз, когда я приближаюсь к месту нашей встречи, сердце мое начинает взволнованно биться и одновременно наполняется беспокойством за жизнь моей любимицы. В девственном лесу этой крошке грозит множество опасностей.

Но есть и еще одна причина моей симпатии. Некогда я был знаком в Ливерпуле с одной молодой англичанкой. Я прекрасно помню, как она была восхитительна в платье из черного бархата, отделанном золотисто-оранжевой лентой. И вот, любуясь этой бабочкой, я вижу то же сочетание цветов. Словом, у меня есть основания относиться к прелестной катонелефе с большой теплотой.

Однажды на охоту меня сопровождает Долорес. Как и всегда, она берет с собой сачок. При виде катонелефе — этой великолепной бабочки — у Долорес сразу же вспыхивает охотничий азарт. Она во что бы то ни стало хочет поймать ее. Я силой удерживаю ее, спасая бабочке жизнь.

— Почему ты не дал мне поймать ее? — удивляется Долорес.

Если Долорес спрашивает, надо отвечать. Все равно она будет приставать и не отстанет, пока не добьется своего. Я объясняю ей как могу, хотя в данном случае объяснить что-либо очень трудно. Долорес понимает меня по-своему, и в конце концов ей становится ясным только одно: бабочка напоминает мне какую-то женщину, к которой я продолжаю питать необыкновенные чувства.

Утром следующего дня, перед тем как отправиться на охоту, мне приходится пережить очень неприятную минуту. Придя ко мне, Долорес бросает на стол мертвую бабочку, мою черно-желтую любимицу. К тому же, чтобы у меня не оставалось никаких сомнений относительно мотивов, которые побудили ее поступить так, она разрывает бабочку в клочья.

Мне кажется, что Долорес перестает быть ребенком, хотя ей всего лишь двенадцать лет: ведь дети любят бабочек.

«Новая Польша» на Укаяли



Польская колония на Укаяли — точнее говоря, пародия на колонию — это, несомненно, самая жалкая попытка из всех начинаний такого рода в Южной Америке. Наряду с обычными безалаберностью и преступным легкомыслием, с какими действовали в этом вопросе спесивые руководители и чиновники польских эмиграционных учреждений, поражает еще цинизм, с которым они обманывали людей, растрачивали чужие деньги, пускались на мерзкие махинации, словом, с которым они совершали всевозможные мошенничества и подлости, в то время как польские государственные чиновники равнодушно смотрели на все сквозь пальцы.

Небольшая группа польских землевладельцев, узнав о больших возможностях колонизации Перу и будучи обеспокоена предполагавшейся земельной реформой в Польше, решила подумать о будущем и с этой целью основала Польско-Американский Синдикат по делам колонизации. За короткое время пайщики собрали значительные суммы, и правление Синдиката начало подготовительные работы в больших масштабах.

Заручившись опытом и поддержкой Казимежа Вархаловского, крупного деятеля «бразильской Польши», делегация Синдиката в 1928 году прибыла в Перу, присмотрела массивы плодородных земель на берегах Урубамбы, а затем направилась в Лиму. В пути представители Синдиката поссорились с Вархаловским, который отказался продолжать сотрудничать с ними и решил добиваться у правительства Перу других концессий только для себя.

В те времена поляки пользовались в Перу большим уважением. Перуанцы с гордостью произносили имена таких людей, как инженер Малиновский, строитель самой высокой в мире железной дороги в Андах, профессор Политехнического института Габих, инженеры Тарнавецкий, Папроцкий и другие, скотовод Павликовский, который смог заставить своих коров давать молоко в Икитосе. Поэтому людям, которые прибыли в Лиму договариваться об организации польской колонии, не пришлось преодолевать какие-либо трудности. Представители Синдиката получили желанную концессию на земли по берегам Урубамбы, а Вархаловский — концессию на еще более обширные земельные массивы на верхней и средней Укаяли. Делегация землевладельцев, по видимому, настолько пришлась по душе правительству президента Легия, что оно щедрой рукой выплатило ей аванс в несколько десятков тысяч долларов на расходы по переезду будущих польских колонистов на берега Урубамбы.

Колонистов, которые так и не приехали. Смелые размахистые планы никогда не удалось осуществить, а деньги организаторы растратили на другие цели — на финансирование комиссий «по изучению», на оплату жалованья директорам в Перу и Польше, на различные неудачные замыслы, на обставленные с большим комфортом инспекционные поездки, а также на устрой-

ство в ЦП — Центральном пункте концессии на Урубамбе — огромной асьенды, словно предназначенной не для обычных крестьян переселенцев, а для крупных землевладельцев беженцев.

Большие суммы, которые требовали в Польше от желающих переселиться, отпугивали даже наиболее зажиточных крестьян, а других кандидатов не было. Но лишь скандал с девятью ремесленниками, посланными в Перу, открыл всем глаза на мошеннические проделки правления Синдиката.

Эти квалифицированные ремесленники выехали на Урубамбу исключительно для работы по специальности на основе годичных контрактов, заключенных с Синдикатом и официально утвержденных Эмиграционным управлением в Варшаве. Но едва они прибыли в ЦП, как дирекция по распоряжению правления в Польше односторонне аннулировала контракты и предложила ремесленникам подписать новые, согласно которым они должны были неопределенное время использоваться на полевых работах. Очевидно, дело было в том, чтобы пустить пыль в глаза правительству в Лиме. Ремесленники на это не согласились. На последние деньги они вернулись в Икитос, где подали на Синдикат в суд. Грязь стала всплывать на поверхность.

Директоров, присылаемых на Урубамбу из Польши, сменяли чуть ли не каждый месяц, зато администратор ЦП, перуанец Уррести, неизменно оставался на своем посту. Человек необычайно энергичный и безгранично тщеславный, он вскоре стал там хозяином положения. Переселенцы из Польши не появлялись. Дело в том, что Синдикат обманывал не только перуанское правительство, но и растранижил деньги польских пайщиков; теперь он все меньше и меньше интересовался землями над Урубамбой и не выполнял даже своих обязательств по отношению к Уррести, задолженность которому возрастала с каждым месяцем, так что в конце концов он смог прибрать асьенду к рукам и стал ее хозяином. В домах, построенных на польские деньги, поселились индейцы из племени пира, работающие на асьенде. Так Синдикат, обманув всех, потерял право на выделенные ему земли, принеся сомнительную славу Польше.

С концессией Вархаловского дело приняло еще более плачевный оборот. Польская пресса захлебывалась от восхищения, сообщая о богатых и плодородных землях на Укаяли. В 1928 году из Польши в Перу выехала официальная комиссия, состоявшая из тузов нашей эмиграционной политики и представителей ряда министерств. В ее работе принял участие и Вархаловский, вернувшийся из Лимы. Комиссия, располагавшая прямо-таки сказочными средствами — из Польши для нее была доставлена даже роскошная яхта, которая на Амазонке оказалась совершенно непригодной, — с комфортом проплыла по всей Укаяли, нигде не останавливаясь больше чем на несколько часов, если не считать ночлегов. Осмотрев все сквозь розовые очки, она составила такой отчет, какой от нее ожидали — полный похвал. Сразу же в Варшаве было организовано акционерное общество «Польская колония». Официальные лица благословили новое общество, а Вархаловский уступил «Польской колонии» — на весьма выгодных для себя условиях — половину своей концессии на верхней Укаяли, причем ему было поручено также и руководство польскими поселениями в Перу.

Начиная с 1930 года, когда на Укаяли выехала первая партия переселенцев из Польши, в течение двух лет там справляли шабаш глупость и невежество; в

этом хаосе на каждом шагу приходилось сталкиваться с денежными злоупотреблениями и мошенническими проделками руководства. Когда первая партия эмигрантов прибыла в Перу, там еще не знали как следует, куда ее направить, так как ничего не было подготовлено. Ее послали на авось в Кумарию, где в то время пустовал барак, принадлежавший владельцу тамошней асьенды и явившийся первым временным приютом переселенцев.

Польская общественность была жестоко обманута прессой, восторженно сообщившей, что концессия «Польской колонии», гордо названная «Новой Польшей на Укаяли», — это нечто огромное, великолепное, равное по площади нескольким польским воеводствам. Вздор! Из этих земель можно было использовать лишь ничтожную часть, все остальное большую часть года было затоплено водой. Может быть, это звучит неправдоподобно, но для того, чтобы разместить полторы сотни первых поселенцев в Кумарии, директор Вархаловский купил у итальянца Дольчи тысячу гектаров земли! Вместо того чтобы сразу же послать поселенцев готовить землю под посев, их почти на пять месяцев задержали в кумарийском бараке, заставив монтировать лесопилку для каких-то французов и работать на ней за вознаграждение, которое они так и не получили. Когда же наконец им выделили землю на берегах речки Кумарии и они принялись было корчевать лес, строить дома и засеять поля, то вскоре оказалось, что все это было напрасно: земля эта во время наводнения заливалась водой, и оттуда надо было уходить. Разочарование колонистов достигло высшей точки, когда обнаружилось, что у администрации нет денег даже на самые необходимые вещи; в глаза людям уже заглядывал голод, а тем временем в Кумарию продолжали прибывать новые партии эмигрантов — и каких эмигрантов!

Перуанское правительство выдало Вархаловскому концессию с условием, что каждый год из Польши на Укаяли будет переселяться не менее ста пятидесяти семей; за это правительство обещало выделять ежегодно пятьдесят тысяч гектаров земли, которая перейдет в вечную собственность концессионеров. Вархаловский предложил те же условия «Польской колонии», с той, однако, разницей, что львиная доля этих пятидесяти тысяч гектаров — весьма приличное поместье! — должна была предназначаться ему, а не «Польской колонии». Тем временем в Польше, несмотря на широковещательную рекламу, находилось мало желающих отправиться в Перу, так как лишь немногим были под силу расходы, связанные с переездом туда. Тогда правление «Польской колонии» принялось вербовать кого попало, лишь бы достичь предусмотренной цифры: сто пятьдесят семей. Вот почему лишь немногие из переселенцев имели хоть какое-нибудь отношение к сельскому хозяйству; большую же их часть составляли городские рабочие, интеллигенты, искатели приключений и деклассированные элементы или, наконец, просто преступники, освобожденные из тюрем. Более того, некоторым из этих «колонистов» варшавское правление давало деньги на переезд в Перу из собственных фондов, несмотря на постоянный дефицит в кассе.

Колония на Укаяли превращалась в ад. Люди, которым в Варшаве обещали, что в Перу они увидят молочные реки и кисельные берега, обнаруживали обман и начинали скандалить. Они затрудняли деятельность администрации, и без того неспособной навести в Кумарии порядок, и отравляли жизнь тем колонистам, которые, несмотря на нераспорядительность руководства, тянулись

к работе на полях. Многие из недовольных сразу же возвращались в Икитос и поливали там грязью «Польскую колонию», восстанавливая против нее перуанцев.

Между тем Варшава с тупым упорством посылала на Укаяли новые партии переселенцев — всего их было семь, — прибытие которых еще больше увеличивало неразбериху. Многие из вновь прибывших узнавали об обмане еще в Икитосе и оставались там, отказываясь плыть в Кумарию. Преступные элементы из их числа организовали в Икитосе что-то вроде мафии: терроризируя местные власти, они перехватывали на почте всю корреспонденцию, идущую в Кумарию, в том числе частные письма и денежные переводы. Конец этим постыдным делам удалось положить лишь польскому советнику по эмиграционным делам, прибывшему из Буэнос-Айреса, который раскошелился и оплатил расходы по переезду членов «икитосской мафии» в Бразилию.

Между тем в Кумарии все еще продолжала оставаться горстка настойчивых колонистов, людей с крестьянской жилкой. Увы, некомпетентное и беспомощное руководство, а главное подозрительные махинации директора Вархаловского гасили их энтузиазм, заставляя относиться ко всему с недоверием. Вархаловского обвиняли в том, что он, преступно игнорируя интересы «Польской колонии», поступал нечестно: переписал, например, на свое имя ту самую тысячу гектаров в Кумарии, купленную на средства колонии, то же сделал и с яхтой (сделки с французами, владельцами лесопилки, также служили его личным целям); бесцеремонно присваивал себе денежные переводы, посылаемые колонистам, и использовал их для уплаты долгов, сумма которых все время увеличивалась. Его упрекали в том, что он почти не показывался в Кумарии, живя преимущественно в Икитосе. Когда недовольство им дошло до предела, из Польши был прислан новый директор, человек еще более сомнительных достоинств. С его приездом брожение умов усилилось. Это был тот самый человек, который в Варшаве официально обещал эмигрантам образцовые участки с выкорчеванным лесом и построенными на них домами и вообще сулил золотые горы на Укаяли. Если Вархаловский насаждал хаос и беспорядок, то этот окончательно развалил колонию.

Поэтому правление в Варшаве в конце концов приняло решение ликвидировать акционерное общество и умыть руки; оно не могло существовать дальше: слишком уж много людей было обмануто, разорено и доведено до отчаяния.

Хотя небольшая горстка колонистов и одолела первоначальные трудности, она была чересчур немногочисленна для того, чтобы самостоятельно существовать в кумарийской глуши. Подло брошенные дельцами, заманившими их в эти леса, они видели сейчас свое единственное спасение в том, чтобы перебраться в Бразилию, где им могли бы помочь обосновавшиеся там поляки.

Жара



Уже четыре дня светит огромное белое солнце, и жара с каждым днем все сильнее терзает нас. Страдают все — и люди, и животные. Зной тяжелым камнем давит на мозг и мускулы. Хочется целыми днями лежать, не двигаясь. Все эти дни я встаю позже, чем обычно, и настроение у меня все более угнетенное.

В пятый день жары я сплю так долго, что меня будит лишь приход Долорес. Ужасно болит голова, настроение самое подавленное. Я окидываю Долорес недовольным взглядом, в душе посылая ее ко всем чертям. Однако она не уходит, а тихим, решительным голосом напоминает мне:

— Уже поздно, солнце высоко в небе.

— Который час? — бурчу я.

— Уже седьмой.

— Черт побери, почему ты так поздно пришла? — набрасываюсь на девочку, давая выход своему раздражению.

Она спокойно объясняет, что ей далеко идти, что сегодня ужасная духота и что она видела в лесу огромное множество птиц.

Пока я одеваюсь, она следит за мной с наивным любопытством, словно присутствует при важной церемонии. Увидев, как я чищу зубы, она приходит в возбуждение:

— Слушай! — просит она. — Мне тоже нужна такая щетка для зубов...

Ее просьба веселит меня. Не знаю, чистит ли Долорес свои зубы, во всяком случае, они у нее белые как снег. Когда она улыбается, ее мелкие зубки блестят, как у дикого зверька.

Во время завтрака у меня перестает болеть голова, и я прихожу в себя. Смотрю на часы: полдевятого. Поздновато. Мне не очень хочется сегодня приниматься за работу. Спрашиваю Долорес, стоит ли еще идти на охоту. Конечно, стоит, отвечает она с энтузиазмом, который мне в ней так нравится. Ну что же, идем. Я беру ружье, она — сачок для бабочек.

Едва мы выходим из хижины, на нас сразу же наваливается ужасная жара. Сегодня еще жарче, чем вчера!

Между хижинкой и лесом простирается несколько десятков метров сплошного кустарника, в котором прорублена тропинка. У поворота этой тропинки я неожиданно сталкиваюсь носом к носу с ящерицей длиной примерно метр с четвертью. Она грелась на солнце. Неожиданная встреча поразила ее куда больше, чем нас с Долорес. Пресмыкающееся срывается с места и, несмотря на короткие ноги, быстро убегает по тропинке, делая прыжки, достойные хорошего аргамака. После десятка прыжков ящерица останавливается и с любопытством оглядывается назад. На свою погибель.

Почти одновременно с грохотом выстрела ящерица подпрыгивает вверх и падает на землю, корчась в предсмертных судорогах. Она разевает свою пасть,

вооруженную двумя рядами очень острых зубов, и пытается схватить меня, но силы ее покидают. Это прекрасный экземпляр ящерицы *Tupinambis tegutxin*. Кожа ее покрыта чешуей голубовато-оловянного цвета с четким светлым рисунком.

Мы подвешиваем добычу к кусту в тени дерева, решив забрать ее на обратном пути. Входим в лес. Отовсюду слышатся птичьи голоса. На толстом стволе дерева я замечаю черного дятла величиной с ворону. Он самозабвенно долбит клювом кору и так увлечен этим занятием, что даже не замечает нас. Не мешало бы иметь в коллекции и его. Я стреляю. Птица перестает барабанить по стволу и замирает неподвижно, вцепившись в дерево. Лишь спустя несколько секунд она, затрепетав, камнем падает на землю и издает громкий пронзительный предсмертный крик, такой громкий, что он напоминает воинственный клич.

Впрочем, их действительно трудно отличить один от другого: в лесу над Укаяли смерть и жизнь тесно переплетены между собой.

Убитую птицу мы привязываем к пруту и, неся ее с собой, шагаем дальше в лес. Солнце поднимается все выше и выше. От земли, кустов, древесных стволов, сверху и снизу пышет нестерпимым жаром. Раскаленный воздух становится все более тяжелым и липким.

Моя одежда, мокрая от пота, прилипает к телу, как пластырь. Забавная вещь: стоит мне взмахнуть один-два раза руками, как из меня буквально начинают брызгать крупные капли пота.

Долорес потеет не меньше, чем я. Ее полотняное платье плотно облегает тело. Но это несколько не стесняет девочку — она неумоимо гоняется за бабочками.

С моими легкими что-то неладно. Становится трудно дышать. Мне хочется глубоко вдохнуть, но какая-то непреодолимая сила сжимает мою грудную клетку, и я наполняю легкие едва наполовину. В висках стучит, глаза застилает пелена. Мы все сильнее ощущаем упадок сил, чаще отдыхаем.

Здесь растут преимущественно деревья с мелкими листьями, дающие мало тени, да и вообще лес здесь не очень густой. Солнечные лучи падают на землю пятнами, образуя ослепительные островки света; особенно много их вдоль тропинки. Пройти по такому открытому месту даже несколько шагов — это сущая пытка. В этом раскаленном лесу лучи солнца словно острые стрелы; я чувствую сквозь рубашку их болезненные покалывания.

Птицы уже попрятались. Еще час назад лес был наполнен их гомоном; теперь они смолкли, погруженные в полуденный сон.

Но жизнь в лесу не остановилась; мы видим, как пробуждается мир насекомых. словно по мановению волшебной палочки, в течение какой-то четверти часа вокруг нас появляются сотни и тысячи насекомых. Жуки, кобылки, лесные клопы, паучки, бабочки — целое воинство, которое чем-то взбудоражено и с каждой минутой становится все более многочисленным. Насекомые беспокойно снуют в траве и по кустам, торопясь, карабкаются по веткам, носятся как очумелые по тропинке, мелькают в воздухе. Все они охвачены каким-то возбуждением.

— Пресвятая дева из Гваделупы, смотри! Как легко их ловить! — восклицает преисполненная удивления Долорес, и ее глаза блестят. Она хватается насекомых, оказавшихся поблизости, и поспешно засовывает их в банку с хлорофор-

мом.

Она права. Безумие охватило всех насекомых и выгнало из укрытий. В лесу, должно быть, творится что-то необычное. Может быть, из-за ужасной жары по лесу прокатилась волна такого необузданного возбуждения, граничащего с сумасшествием? Она всколыхнула мир насекомых и неожиданно зажгла в них инстинкт продолжения рода.

Подобной вспышки я никогда не наблюдал ни до этого, ни после. Вокруг нас — неистовствующая, бурлящая масса мечущихся насекомых. Грозный с виду жук-носорог наскакивает на пузатого навозника, принадлежащего к совсем другому семейству, но тут же замечает ошибку и мчится дальше. Рядом пламенеет огромная цикада: полупрозрачные крылья насекомого отливают всеми цветами радуги. Это самец; он пронзительно стрекочет. Его страстный призыв звучит как отчаянный крик утопающего о помощи. А неподалеку, на этом же кусте, несколько беспокойных кобылок прыжками переносятся с ветки на ветку и озабоченно шевелят дрожащими усиками.

Всюду трепещущие крылышки и тела, которые разыскивают друг друга. Некоторые насекомые уже нашли себе пару; соединившись в судорожном объятии, они надолго застыли без движения. Таких пар я вижу все больше и больше. Ими буквально усыпаны листья и ветви кустов. В воздухе носятся спаренные бабочки морфо; эта легкая и ценная добыча чаще всего попадает в сачок Долорес.

Своеобразно ведет себя большая самка богомола, сидящая на ветке. Равномерно, каждые две секунды она раскидывает свои зеленые крылья, похожие на листья, и затем снова опускает их. Под ними можно увидеть широкое плоское туловище, которое судорожно выгибается кверху.

Я осторожно подношу к ней на травинке муху. Однако эта хищница, всегда такая прожорливая, сейчас даже не замечает лакомства. Сейчас муха ей не нужна. Самое удивительное, что она так же настойчиво продолжает распрямлять крылья и выгибать туловище, когда мы помещаем ее в банку с ядом. Даже приближающаяся смерть не может унять ее страсть. В конце концов цианистый калий делает свое дело: движения самки богомола становятся все более медленными, и все же, охваченная неумным желанием, она по-прежнему манит кого-то, до самой смерти послушная какой-то таинственной силе. Она умирает, неестественно изогнувшись.

Зрелище этих оргий потрясает нас. Мы становимся свидетелями редкого явления природы. Прежде всего я обращаю внимание на то, что насекомые, появившиеся в таком количестве и охваченные такой повальной жаждой соединения, завладели всем лесом. В эти минуты они его единственные хозяева. Они задают здесь тон, и лес принадлежит сейчас только им, а не птицам, не млекопитающим и уж, конечно, не человеку с его учащенным пульсом и затрудненным дыханием.

Но вдруг насекомые начинают быстро прятаться. Солнце скрывается за черной тучей, наступает полумрак, на нас надвигается ревущая стена дождя. Ему не удастся захватить нас врасплох. Невдалеке стоит раскидистое дерево седро, под которым мы и прячемся.

Долорес обеими руками хватает мою руку и прижимается ко мне, чтобы укрыться от дождевых капель; ее глаза фосфоресцируют, напоминая кошачьи. Сразу становится прохладно.

Вскоре ливень слабеет, и небо начинает проясняться.

— Очень мало птиц мы убили! — говорит Долорес.

— Ничего удивительного, если так поздно отправились на охоту, — отвечаю я.

— Ты долго спишь! Надо раньше вставать.

Дождь уже кончился, небо окончательно прояснилось. Через минуту выглядывает солнце, и мгновенно сверху обрушивается зной, пожалуй еще более тяжкий и невыносимый, чем прежде, потому что воздух сейчас перенасыщен водяными парами. Прохлада баловала нас недолго. Насекомые больше не появляются, и мы возвращаемся домой.

Подойдя к месту, где три часа назад мы подвесили к ветке мертвую ящерицу, неожиданно останавливаемся как вкопанные. Казавшееся мертвым пресмыкающееся пришло в себя и сползло на тропинку. Чудище грозно скалит зубы и, шипя, сверлит нас глазами. Пораженный такой необычайной живучестью, я стреляю еще раз; наконец-то ящерица успокаивается навсегда.

Этой ночью мне снится кошмарный сон. Я вижу знойный лес с его чудовищными оргиями, полный необузданной чувственности и свирепой враждебности. Потом обезумевшая ящерица проводит языком по моему лицу и грызет его, а я никак не могу ее убить.

Да, нелегко здесь натуралисту!

Зеленые попугаи и пурпурные арары



На рассвете, когда солнце восходит над Южной Америкой, но его диск еще скрыт за стеной леса, воздух прорезают резкие пронзительные крики. Как бы крепко ни спал человек, живущий в этом лесу, где бы это ни происходило — над Амазонкой или над Параной, — он тотчас же просыпается и цедит сквозь зубы:

— *Paragaios desgraciados!* — Проклятые попугаи!

Это попугаи разбудили его. И с этой минуты, до тех пор пока не наступят сумерки, исключая, быть может, только самые жаркие полуденные часы, по лесу беспрестанно разносятся крики летящих попугаев — самых характерных представителей животного мира экваториальных лесов.

Летящие попугаи! Когда смотришь на эти юркие зеленые комочки, рассекающие пространство со скоростью стрелы, трудно поверить, что это те самые птицы, которых мы видим у себя в неволе, — немощные, неповоротливые, вялые, служащие утехой старых тетушек. Здесь, на свободе, они совсем другие; их стремительный полет и громкие крики очень оживляют тропический лес, а сами они, бесспорно, украшают его.

Поражает их огромное количество. На Укаяли попугаи встречаются буквально на каждом шагу. Они страшные непоседы и весь день шныряют с места на место. Стоит лишь задержаться где-нибудь в лесу и прислушаться, как

ухо наверняка уловит крик попугаев, пролетающих где-то над верхушками деревьев.

Эти характерные пронзительные крики попугаи издают во время полета. Зная, что именно тогда они хорошо видны и подвергаются наибольшей опасности, попугаи пытаются отпугнуть криками ястребов и других своих врагов.

У американских попугаев оперение преимущественно зеленого цвета, который помогает им скрываться от врагов в океане растительности. Но всегда ли попугаи были зелеными? По-видимому, нет. В зеленый цвет у них окрашены только наружные перья, видимые постороннему глазу, тогда как перья, скрытые зеленым маскировочным покровом, переливаются самыми красивыми и яркими красками: красной, голубой, оранжевой. Поскольку природа создает такие краски для того, чтобы они бросались в глаза, можно предположить, что некогда окраска попугаев была вызывающе яркой. Позднее же, когда у них появились многочисленные враги, мудрая и заботливая мать-природа скрыла кричащие цвета оперения под защитным зеленым плащом; люди, одевая солдат в мундиры цвета хаки, поступают точно так же.

Исключение, которое среди попугаев составляют арары, лишь подтверждает наше предположение. Окраска арар и по сей день великолепна и необычайно многоцветна, но эти птицы вполне могут позволить себе такую роскошь: арары — самые большие и сильные из всех попугаев, и они бесстрашно вступают в борьбу с ястребами и другими пернатыми разбойниками.

Чем лучше я узнаю попугаев, тем больше уважения испытываю к этим симпатичным существам, обладающим прямо-таки исключительными качествами, которые выдвигают их на первое место среди других птиц. Назвав орла царем пернатых, человек, вообще говоря, сплеховал, потому что этим самым он невольно признал, что, по его понятиям, царем всегда должен быть самый крупный хищник. Если же придавать значение таким качествам, как сообразительность, преданность, неустрашимая отвага и склонность к возвышенной дружбе, то первенство следует без оговорок признать за попугаями. В неволе эти птицы часто оказываются злобными или наделенными другими недостатками. Но здесь, в джунглях, это замечательная, благородная и весьма любопытная братия.

Супружеская верность попугаев, хранимая до самой смерти, вошла в разговорку. И действительно, когда попугаи целыми стайками пролетают над головой, можно отличить отдельные пары, которые всегда держатся вместе.

Однажды я наблюдал за одной такой парой; птицы сидели на ветке и осыпали друг друга нежными ласками. Их поведение было так трогательно, что я не смог выстрелить. Нежные ласки можно встретить у животных довольно часто, но лишь как проявление полового влечения. Попугаи же, за которыми я наблюдал, ласкали друг друга просто так, в порыве чистого и бескорыстного чувства, в знак большой дружбы. А это редко бывает даже у людей.

В южной Бразилии, над рекой Иваи, со мной произошел такой случай. Несколько стай попугаев, которых там называют байтака, имели обыкновение каждый вечер возвращаться к месту своего постоянного ночлега одним и тем же путем, пролетая обязательно над лесной тропинкой, на которой я часто охотился. В один из вечеров, когда байтака летели довольно низко, я подстрелил одного из них. Спустя несколько дней, проходя примерно в то же время по той же тропинке, я еще издали увидел первых попугаев, летевших по

своему обычному маршруту. Попугаи также заметили меня и, что самое любопытное, опознали во мне того самого охотника, который стрелял в них. Летевшие впереди птицы немедленно повернули назад, пронзительными криками предупреждая остальных об опасности. Тем временем приблизилась еще одна стая, которая тоже была остановлена; попугаи в замешательстве носились по воздуху. После краткого совещания птицы продолжали полет в прежнем направлении, предусмотрительно облетев меня на безопасном расстоянии. Так же сделали все байтака, которые пролетали вслед за первыми двумя стаями.

Последняя стая, состоявшая из десяти попугаев, где-то задержалась дольше других и появилась над тропинкой с получасовым опозданием. Разумеется, она уже не могла иметь никакой зрительной связи с попугаями, которые пролетели мимо меня раньше и уже попрятались на ночлег. Каково же было мое изумление, когда и эти копуши по той же точно дуге обогнули место, где я находился в укрытии, хотя они и не могли меня видеть. Такая великолепная служба оповещения восхитила меня; она свидетельствует как о сообразительности, так и о необычайной солидарности попугаев.

В другой раз я подкрался в зарослях к большой стае попугаев маракан и выстрелом с близкого расстояния сбил двух птиц. Остальные испуганно сорвались с места, но, видя, что их сородичи лежат без движения, вернулись с намерением отомстить. Подняв страшный галдеж, они стали описывать над моей головой угрожающие круги. Я без труда мог бы пострелять их всех, но отвага этих птиц сильнее страха перед смертью. При виде их отчаяния я почувствовал угрызения совести и мысленно пообещал себе никогда больше не стрелять в этих зеленых смельчаков: уж очень бесстрашные у них сердца. А мараканы продолжали атаки и долго еще преследовали меня, не отставая ни на шаг.

Слова своего я, увы, не сдержал. Жизнь в девственном лесу — не идиллия, и суровая необходимость часто вынуждает меня и моих товарищей убивать попугаев, потому что у них вкусное мясо.

Знойная долина Амазонки — родина самых красивых попугаев араара. Это изумительные величавые создания, а их кричащие краски — лазурь, золото, огненный багрянец — особенно резко бросаются в глаза на фоне зеленого леса. Когда араары, распластав свои крылья почти на полтора метра, пролетают, величаво паря, от одного берега Амазонки к другому, вид этих огромных живых драгоценностей глубоко волнует. Нет, это не птицы летят в поднебесье, это пригрезился мне наяву чудесный, дивный сон. Незабываемое переживание!

Быть может, это звучит как преувеличение, но даже такие сухие люди, как агенты пароходной компании «Бус Лайн» в Ливерпуле, рекламируя путешествие по Амазонке, уверяют, что летящие араары — одно из чудес этой сказочной страны.

Самый большой враг попугаев человек. Он любит охотиться на них, безжалостно их истребляет, отчаянно ругая этих *desgraciados*, когда они устраивают набеги на его поля и делятся с ним дарами природы. А этого человек не выносит.

Однажды мне пришлось побывать в колонии Кандидо-ди-Абреу, в бразильском штате Парана. Жители всей округи с захватывающим интересом следили за войной, которую вел с попугаями на своем кукурузном поле один посе-

ленец. Это был старый немец, переселившийся в Бразилию лет тридцать назад из Поволжья, чудаковатый сумасброд. Многочисленные стаи попугаев слетались на его поле, а он ничего не мог с ними поделать. Отчаявшийся старик ставил пугала, отпугивал птиц шумом — все было напрасно. Обнаглевшие попугаи довели его в конце концов до тихого помешательства. Бедняга совсем рехнулся и уже ни о чем другом, кроме попугаев, не мог говорить. Новости, которыми он делился с колонистами, звучали как сообщения с театра военных действий; всех ужасно волновало: кто же победит в этой войне — человек или попугаи?

Как-то он торжественно объявил нам, что одержал таки победу: за целый день на его поле не показался ни один попугай. Но когда мы захотели удостовериться в этом, то оказалось, что попугаи не прилетали больше потому, что на опустошенном поле уже не осталось ни одного початка, ни единого зернышка, которое могло бы служить приманкой.

Во время моей первой экспедиции в Бразилию благородный ранчero Мануэль де Ласерда подарил мне самку попугая, которую я взял с собой в Польшу. Птица была прекрасно воспитана. Мне сообщили, что она отличается большой сообразительностью, обладает даром речи и множеством других ценных качеств. Действительно, пейта роса (так называются в Бразилии эти попугаи) часто восклицала: «Корра!», что означает «пошел вон!», и могла тявкать, как злая собачонка. Но, увы, этим исчерпывались и ее словарный запас и ее достоинства. Кора — так звали птицу — была пятидесятилетней старухой.

Тогда же я привез прелестную обезьянку капуцина. Это был молодой самец. И знаете, что случилось? Несмотря на холодный климат Европы, весной в жилах попугаихи забурлила кровь. Почтенная, брюзгливая птица воспыла «материнской» любовью и все свое чувство отдала очаровательной обезьянке. Привязанность Кору к лохматому «сыночку» была безграничной, а ее чувства — не лишеными комизма. Увидев обезьянку, неповоротливая старушка преобразалась, легкими прыжками устремлялась к предмету своей любви и осыпала его своими птичьими ласками.

Обезьянка с большим недоумением относилась к этим странным ухаживаниям, не зная, как себя вести с такой поклонницей. Признаюсь, что я тоже не знал, что предпринять. Подобные отклонения чувств у попугаев встречаются нередко. Успокоилась Кора только после смерти обезьянки.

Пусть жители бразильского леса клянут попугаев, пусть австралийские колонисты будоражат весь мир сообщениями о разбойничьих набегах этих птиц на возделанные поля — облик и душу природы не так легко изменить: попугаи по-прежнему остаются лучшим украшением тропических стран, прекрасным символом знойного девственного леса. Среди птиц они всегда будут выделяться как благородное племя избранных, достойное — да, да достойное — пера большого поэта и вдохновенного естествоиспытателя.

Необыкновенная дружба



Я все еще помню неудачную поездку к Клаудио за прелестной обезьянкой коатой. Я должен заполучить эту обезьянку.

Узнав от людей, только что прибывших с низовьев реки, что Клаудио видели у его хижины, я торопливо сзываю своих парней, Валентина и Хулио, и вот мы на том же каноэ снова плывем туда. Я взял с собой несколько кусков самых лучших тканей для меновой торговли и связку самых сладких бананов для забавного животного.

Гребя изо всех сил, мы плывем вниз по течению. Когда спустя час на берегу показывается знакомая хижина, я с радостью обнаруживаю, что на этот раз хозяева дома.

Клаудио, немного смущенный, встречает нас. Верно, у него есть обезьянка, она вполне здорова, но... Но индеец не очень-то хочет продать ее. Он заявляет, что его жена сильно привязалась к зверьку и ни за что не хочет расставаться со своим любимцем. Жена подходит к нам и подтверждает его слова; даже вид соблазнительных тканей не производит на нее никакого впечатления.

Мы стоим на берегу реки неподалеку от хижины. Коаты нигде не видно. Я спрашиваю, где обезьяна. Индейцы оглядываются по сторонам, затем, смеясь, показывают в сторону хижины: из-за ее угла выглядывают коричневый чубчик и испуганные глаза, следящие за нами с напряженным вниманием. Прямо над коатой так же таращит на нас глаза другая обезьяна, высунувшая из-за угла свою черную круглую голову, несколько бóльшую, чем у первой. Ни дать, ни взять двое ребятишек, испуганных прибытием незнакомых людей, но неспособных преодолеть свое любопытство.

Индейцы подзывают обезьян к себе, но те сначала не трогаются с места, будто оглохли. Затем черная, та, что побольше, переборов страх, медленно выходит из-за хижины.

Мне уже приходилось встречаться с такими обезьянами. Это красивый экземпляр из рода *Lagothrix*, называемый здесь барригудо или толстопуз. Это самые крупные обезьяны Южной Америки; в противоположность изящным беспокойным коатам они степенны и отличаются массивным телосложением. Во всех их поступках сквозит чувство необыкновенного достоинства; создается впечатление, что они не делают ничего непродуманного. Шерсть этих обезьян пушистая, темная, часто почти черная.

Барригудо послушно выходит из-за угла и направляется к нам, правда неуверенно. На половине пути останавливается, поднимается на задние лапы и поворачивает голову в сторону хижины, где остался его приятель; спокойным широким движением «руки» пытается подбодрить его и приглашает подойти к нам. В этом призыве, столь напоминающем жест человека, заключен невыразимый комизм: именно так актер после окончания спектакля пригла-

шает свою партнершу выйти из-за кулис, чтобы получить свою долю аплодисментов.

Мы маним обезьян ласковыми словами и взмахами рук, но те признают только реальные ценности: нам удастся добиться своего лишь тогда, когда я бросаю к их ногам два золотистых банана. Коата, нерешительно оставив свое укрытие, подскакивает к барригудо, и, держась вместе, они подходят к нам. Каждая принимается за свой банан: коата жадно и торопливо, барригудо — не спеша, флегматично. Какое поразительное различие темпераментов!

Плоды быстро исчезают у них за щеками. По-видимому, понравилось, потому что зверьки вроде бы не прочь получить еще.

У коренастого барригудо низкий лоб, развитые надбровные дуги; кожа на лице черная и морщинистая. Движениями рук, выражающими озабоченность, сосредоточенностью, с которой он подносит ко рту банан, и вообще тем, как он реагирует на все явления окружающего мира, барригудо еще больше, чем коата, напоминает человека. Я убежден, что в его черной голове мелькают те же мысли, что у людей. У него спокойный, необыкновенно открытый взгляд, в котором с трогательной выразительностью отражаются все его переживания.

Держа в протянутой руке банан, я подхожу к обезьянам. Коата, охваченная беспокойством, быстро пятится назад — обычный испуганный дикий зверек. Барригудо же, пристально всматриваясь в меня, остается на месте. На его выразительном лице я читаю все чувства, которые его обуревают: беспокойство, доверчивость, страх, любопытство. Вижу, с каким напряжением воли он удерживает себя от того, чтобы не последовать примеру коаты и не убежать. Бессознательно он подносит руку к затылку и приглаживает свои волосы, как человек, старающийся сосредоточиться.

Я протягиваю ему банан. Он осторожно берет его кончиками пальцев и деликатно кладет в рот. В этот момент коата, внезапно охваченная завистью, подскакивает к нему и вырывает у него банан прямо изо рта. Барригудо не пытается воспротивиться этому и не устремляется за похитителем. Он с изумлением смотрит на убегающую коату, потом поворачивает ко мне свои озабоченные глаза и красноречивым взглядом просит дать ему еще. Получает новый банан. И тогда я буквально столбенею, так как происходит нечто такое, подобного чему мне не приходилось видеть ни разу за все то время, в течение которого я имел дело с животными.

У животных тропических лесов жадность — характерная, более того, жизненно необходимая черта. Все звери, с какими мне приходилось встречаться, были прожорливы и эгоистичны; в лучшем случае они не вырывали еду у других. Но барригудо, получив от меня банан, не ест его; он относит лакомство приятельнице и, решившись на акт величайшего самопожертвования, протягивает ей банан таким жестом, словно хочет сказать:

«Раз уж ты такая прожорливая, то вот тебе еще!»

Вот это жест! Какая необыкновенная щедрость, какая необыкновенная дружба!

Барригудо возвращается ко мне и снова просит. Я даю ему еще один банан. В то время как он с наслаждением уплетает плод, я прикасаюсь к его голове, чему он вовсе не противится. Потом я протягиваю ему руку. Он сжимает ее крепко, с благодарностью и продолжает держать в своей руке.

Морщины на его лице производят впечатление старческих, но, по-видимому, это просто такая особенность, потому что барригудо находится в расцвете сил. Что меня больше всего в нем поражает, так это выражение необычайного добродушия в сочетании с редкой даже для обезьян живостью ума. Можно ли удивляться тому, что симпатичный толстопуз очаровал и покори́л меня? Насколько же он милее коаты, этой неотесанной дикарки. Неужели Клаудио не уступит мне и его?

Индейцы с огромным любопытством следят за тем, как я завязываю дружбу с барригудо. Потом они подходят ближе, и Клаудио, откашлявшись, говорит, показывая на обезьяну:

— Хорошее мясо...

Я не понимаю, что он имеет в виду, но Валентин объясняет мне, что мясо барригудо считается лучшим лакомством; лесные жители усердно охотятся за этими обезьянами. Поэтому, хотя в глухой чаще их довольно много, вблизи человеческих поселений они встречаются редко: индейцы истребили их всех.

— А этого, — спрашиваю я, возмущенный, — ты держишь у себя на мясо?

Как обычно, Клаудио не дает ясного ответа; из его слов следует, что он может съесть обезьяну, а может и не есть. Индеец и его жена бросают все более жадные взгляды на два ярких куска ткани, которые я разложил накануне на пне около хижины как плату за коату. Клаудио подводит меня к ним и, прикоснувшись ладонью к куску красной материи, испытующе смотрит на меня.

— Дашь это? — бормочет он неуверенным голосом.

— За что? — спрашиваю я.

— За него, — показывает он глазами на барригудо.

— Дам тебе оба куска! — поспешно восклицаю я, сдерживая переполнившую меня радость.

На минуту Клаудио немеет, думая, что я шучу над ним. Затем он в свою очередь поспешно соглашается и велит жене тотчас же отнести материю в хижину: а вдруг я пожалею о своей щедрости и откажусь от своих слов.

На обратном пути мои парни упрекают меня в том, что я переплатил, что зверь столько не стоит, что куски материи были уж очень хороши. Я узнаю, почему обезьяна такая ручная: долгое время ее держал у себя один из соседей Клаудио, который затем отдал ему ее на мясо.

Потом Хулио тщательно со знанием дела ощупывает насупившегося барригудо и говорит Валентину:

— Мясa в нем много... Знаешь, пожалуй, гринго не так уж переплатил за него?

По прибытии в Кумарию дело о съедении обезьяны продолжает обсуждаться. Педро, осмотрев животное, вполне серьезно советует мне забирать его на ночь в хижину и стеречь: кто знает, не захочет ли кто-либо из людей с асьенды полакомиться упитанным барригудо и не уведет ли его.

Так вот я приобрел барригудо и завязал дружбу с милейшим существом, которое я когда-либо встречал; дружба эта была такой глубокой, какой только может быть дружба между животным и человеком. Когда я вспоминаю о нем, мне на ум приходят теплые нежные слова, идущие из глубины души. Трудно определить, что в нем особенно привлекало меня, в чем заключалось его исключительное обаяние: в необычайной покладистости и доброте характера или в уравновешенности и сдержанности, столь характерных для него, в мяг-

кости и приветливости, хочется сказать даже: в изысканности манер, или в поразительной сообразительности и способности к самым тонким чувствам.

Отношения, существующие между мною и им, совершенно не такие, какие складываются у меня с другими моими животными. Что-то в них несомненно от атавизма, от наследия древних, давно минувших эпох, когда людей и животных соединяли более тесные родственные узы, чем сейчас. В наших отношениях нет ничего сентиментального; я не люблю чрезмерных излиятий (может быть, поэтому я часто произвожу впечатление человека черствого), барригудо также не любит их.

Почти такую же привязанность, как ко мне, он проявлял ко всем окружающим: к моему хозяину Барановскому, к Педро, Валентину, Долорес. Правда, он несколько сторонился Хулио; впоследствии, узнав как следует проникательность барригудо, я готов был присягнуть, что умное животное догадалось, с какой целью Хулио ощупывал его тогда, когда мы возвращались от Клаудио, и, по-видимому, не может забыть этого.

Через три дня после того, как барригудо оказался у меня, я разрезаю связывавшие его путы и предоставляю ему свободу. Не убегает. Целыми днями он возится вблизи хижины, радушно приветствуя всех, кто проходит мимо, а вечером укладывается спать в моей комнате. Он охотно, хотя и с достоинством, играет с другими животными, особенно с обезьянами, проказы которых переносит с забавной снисходительностью. В противоположность этим шумным созданиям он всегда молчит.

Судя по его крепкой коренастой фигуре и медлительности движений, я полагал вначале, что он неповоротлив и неуклюж. Ничего подобного! При желании он может совершать самые неправдоподобные прыжки, а на верхушки деревьев взбирается с ловкостью, которой позавидовали бы длинноногие коаты. При этом он помогает себе длинным цепким хвостом, которым он подвешивается к веткам; в таком положении, повиснув вниз головой, он потешно раскачивается и поедает сласти с той же непринужденностью, что и в нормальном положении.

Когда я начал готовиться к отъезду из Кумарии, возникло первое осложнение.

— Вы хотите увезти его с собой в Польшу? — любопытно спросил Барановский.

— Конечно.

— Эти обезьяны, кажется,дохнут на море...

Опытные в этих делах перуанцы предостерегают меня еще настойчивее. Они утверждают, что барригудо редко доплывает даже до Пара, подыхая еще во время плавания по средней Амазонке, где-нибудь около Манауса.

И все-таки я продолжаю обдумывать отчаянную затею. Убедившись в хорошем состоянии здоровья нескольких десятков моих животных, я решаю испытать судьбу и попытаться отвезти в Польшу не только барригудо, но и весь мой зверинец. Какой интерес, говорил я себе, вызовут в наших зоопарках пойманные мною попугаи, туканы, цапли, змеи, лягушки величиной с большую тарелку, всевозможные обезьяны, муравьеды, молодой тапир и масса других любопытных созданий!

Старательно упаковав коллекции, предназначенные для музеев, и сколотив несколько десятков клеток, я погружаю однажды все свое имущество на

пароход и, словно укаяльский Ной, плыву вниз по реке. Хотя на маленьком судне тесно, первый этап путешествия, который заканчивается в Икитосе, обходится благополучно, без потерь.

Хуже приходится на втором этапе, между Икитосом и Пара. На этот раз пароход гораздо вместительнее, что позволяет выпускать животных из клеток и держать их привязанными на палубе. Несмотря на это, многие из них чувствуют себя неважно. Я страшно нервничаю: все отчетливее видна бессмысленность и безнадежность предприятия, на которое я решился. С каждым днем все сильнее мучает меня сознание моей вины перед несчастными животными. Ведь я увез их из родного леса и обрек на скорую гибель. Уже вблизи Табатинги, на границе Перу и Бразилии, смерть уносит первые жертвы.

Я держу зверей за загородкой на нижней палубе. Пассажиры и матросы могут подходить туда в любое время дня и ночи. Охваченные доброжелательным любопытством, люди часто заглядывают к ним.

Однажды рано утром, спустившись к моим подопечным, чтобы накормить их, я замечаю отсутствие молодого тапира. По-видимому, ночью развязалась веревка. Напрасно я ищу животное на палубе. Исчезновение любимца наполняет меня грустью. Неужели он спрыгнул с неогороженной палубы в воду и пропал? Заметив, что я рассматриваю веревку, которой был привязан тапир, барригудо подходит ко мне и, схватив за руку, крепко и долго трясет ее. Никогда он этого не делал. Глаза его, обычно такие спокойные, сейчас взволнованно блестят и пристально смотрят на меня, словно обезьяна хочет что-то сказать мне.

Барригудо все трясет и трясет мою руку; я решаю отвязать его. Он словно только и ждал этого. Срывается с места и увлекает меня вдоль палубы туда, где громоздится гора ящичков. Останавливается рядом с одним из них, тело его напряжено, лицо выражает испуг, зубы оскалены. С ужасом обнаруживаю я за ящичком часть шкуры, содранной с моего тапира.

Я догадываюсь, что случилось. Ночью кто-то увел тапира и убил его. Тапиры, как и барригудо, — излюбленное лакомство местных жителей.

После этого случая я целыми днями не отхожу от своего зверинца, а на ночь забираю барригудо с собой в каюту. Происшествие с тапиром глубоко взволновало меня. Я все сильнее ругаю себя, все больше ненавижу веревки и клетки, все с большим трудом сдерживаю себя.

Еще слава богу, что барригудо на редкость хорошо переносит путешествие по реке. Это здоровый и выносливый самец. Тяготы этих дней еще больше сближают нас друг с другом.

Когда утром мы вместе спускаемся на нижнюю палубу, проголодавшиеся за ночь животные замечают нас издали и приветствуют ужасным шумом и возней. Особенно стараются обезьяны, привязанные все в одном углу; веревки, которые их держат, так переплетаются между собой, что потом трудно их распутать, тем более что в это время обезьяны скачут вокруг меня как одержимые, а я ничего не могу с ними поделать. Тогда на помощь мне приходит барригудо. Он становится рядом со мной и, словно строгий наставник, наказывает непосlušную братию, раздавая оплеухи или кусаясь. Его старания помочь мне очень трогательны.

Мы уже проплыли половину пути по Амазонке. Животные гибнут все ча-

ще. Отчаявшись, я уже подумываю о том, не выпустить ли на одной из стоянок весь мой зверинец на свободу, но до этого не доходит.

Барригудо по-прежнему чувствует себя превосходно. Однако его пребывание на пароходе ставит меня перед сложной проблемой. Именно потому, что мы так сблизились, что в его лице я приобрел такого преданного друга, мне не хочется, чтобы с ним случилось несчастье. С каждым днем меня все больше гнетет беспокойство за него. Мысль о том, чтобы освободить его — и в то же время освободить себя от ответственности за него, — все сильнее овладевает мной, неотвязно преследует меня.

Во время стоянки в каком-то небольшом порту на нижней Амазонке (мы уже миновали к этому времени Сантарен) я отправляюсь с барригудо на прогулку в лес. Километрах в двух от берега, воспользовавшись тем, что обезьяна забралась в заросли и скрылась из виду, я удираю от нее. Прибавив шагу, я возвращаюсь на пристань один. Гудком сирены пароход предупреждает о скором отплытии. Вот уже убирают сходни, как вдруг все замечают, что к нам сломя голову несется какой-то живой клубок. Матросы узнают барригудо и опять спускают сходни, по которым запыхавшийся зверь вбегает на палубу. Я никогда не забуду полных упрека взглядов, которые он бросает на меня в течение всего дня.

Третий этап нашего путешествия — по морю из Пара в Рио-де-Жанейро — представляет собой сущий кошмар; это крушение моей затеи. Мы плывем вдоль берегов Бразилии, а в снастях свистит холодный ветер; мои звери мерзнут на палубе. Когда я прошу разрешения поместить их в закрытое помещение, капитан возражает; к тому же он требует такой высокой платы за провоз животных, которая превосходит мои финансовые возможности. Волей-неволей мне приходится раздать животных пассажирам и команде парохода, оставив себе только барригудо и нескольких птиц. От всего укаяльского великолепия сохранились крохи. К моему удивлению, барригудо по-прежнему не жалуется на здоровье.

В Рио, на берегу, можно вздохнуть свободнее. В теплых лучах солнца мы быстро приходим в себя. Нет, хватит с меня дурацкой игры во владельца зверинца, истязателя животных. Ни за что на свете не решусь я взять барригудо с собой в Польшу и быть свидетелем его быстрого неизбежного угасания.

К счастью, я нахожу в Рио добрых людей. Профессор Тадеуш Грабовский берет барригудо в свой дом с прекрасным садом, а его милейшая супруга обещает окружить животное самой заботливой опекой.

В утро моего отъезда из Рио я отправляюсь проститься со своим другом. Нахожу его в саду привязанным на длинной веревке. Наделенный необыкновенной пронизательностью, он сразу же догадывается, в чем дело. Судорожно схватив меня за руку, он не отпускает ее; я вынужден протащить его несколько метров. Лишь когда веревка натягивается до предела, я с трудом высвобождаюсь из его объятий. Он с такой силой рвется ко мне, что петля у него на шее глубоко врезается в тело — ужасный символ, который никогда не изгладится из моей памяти.

Когда я отхожу от него на несколько шагов, происходит нечто необыкновенное. Барригудо никогда прежде не издавал никаких звуков, был совсем немой. Сейчас же, под влиянием горя, из его стянутого веревкой горла впервые вырывается звук, похожий на горькое рыдание:

— Чааа!..

Возвращаясь в Европу один, я думал, что буду свободен от угрызений совести. Увы! Вместе со мной через океан плыли ужасные видения клеток и пут — укаяльские кошмары. Я все яснее сознавал, как плохо поступил с барригудо. Нужно было вернуть ему свободу и вернуть его лесу, вернуть, чего бы это ни стоило. Проклятая веревка, сжавшая ему горло в день нашей разлуки, снится мне по ночам.

Через два месяца после возвращения в Польшу я получил письмо из Рио-де-Жанейро от прелестной опекуни барригудо. В этом письме она просила меня не сердиться на нее за то, что произошло, и пыталась объясниться. После моего отъезда барригудо очень переменился. Он помрачнел, стал нелюдимым, проявлял растущую со дня на день дикость, пытался кусать людей, приближавшихся к нему. В одну из ночей ему удалось сбросить с шеи веревку и убежать. В течение нескольких дней его встречали на поросшей лесом горе Пан д'Асукар, но поймать его не удалось. Потом он пропал — очевидно, убежал из окрестностей города подальше от людей...

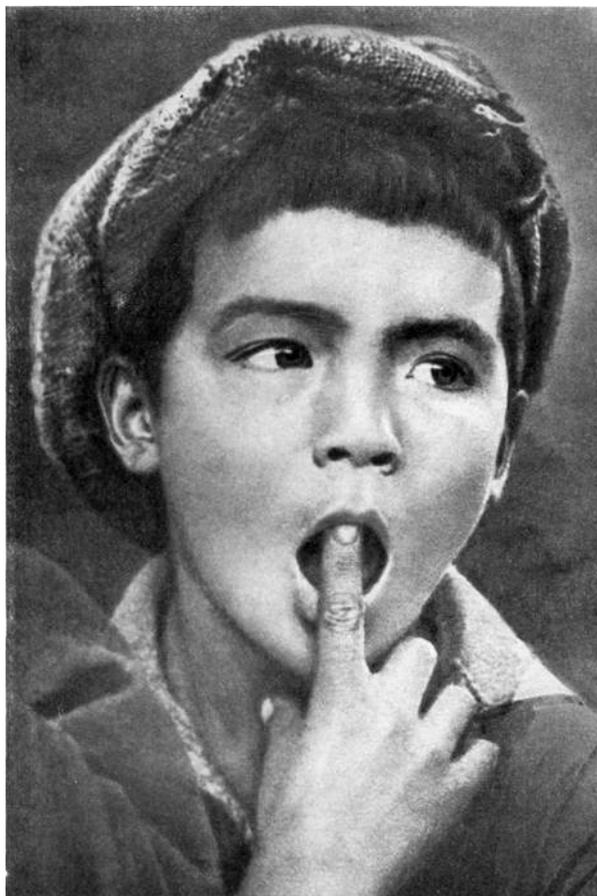
Вечером того дня, когда я получил это письмо, мои друзья были просто поражены: они никогда не видели меня таким веселым и счастливым.

Иллюстрации

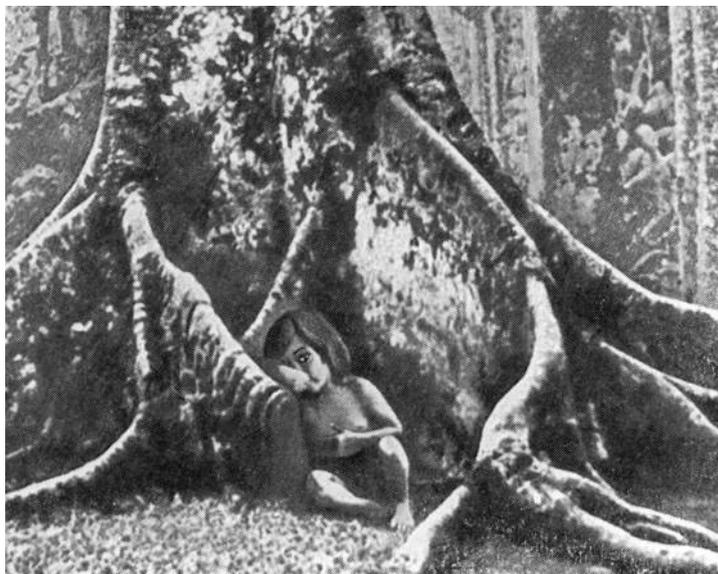


Пальмы асаи вознеслись высоко-высоко над лесом

Маленький Чикиньо



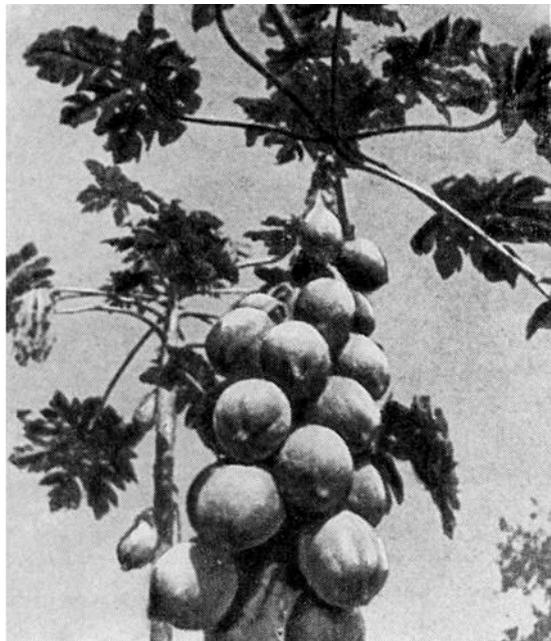
**Лес над Укаяли пароксизм зелени, буйство миллиардов деревьев
Вот они, великаны амазонского леса!**



Оперный театр в Манаусе — подлинный курьез Амазонии



**Смуглый бродяга Эмилиано — идальго и оборванец в одном лице
Подсочка каучукового дерева**



Мамона за несколько месяцев достигает более четырех метров и приносит плоды величиной с ананас

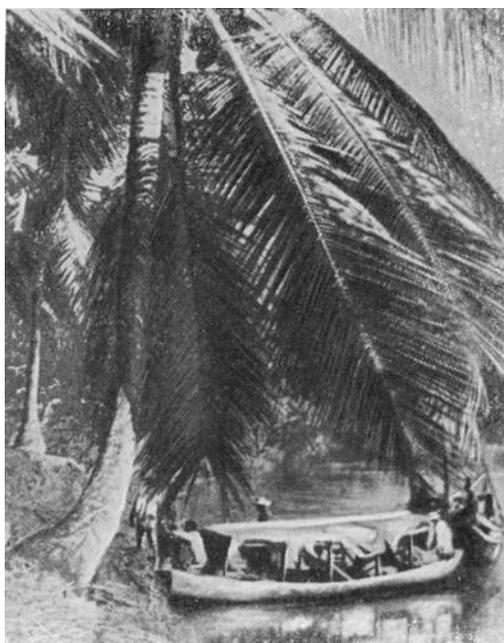


Среди древесных ветвей приютилась целая семья орхидей с огромными оранжевыми цветами, разрисованными лиловыми полосами

Во время дождей люди не покидают своих хижин, которые они предусмотрительно поставили на высоких сваях

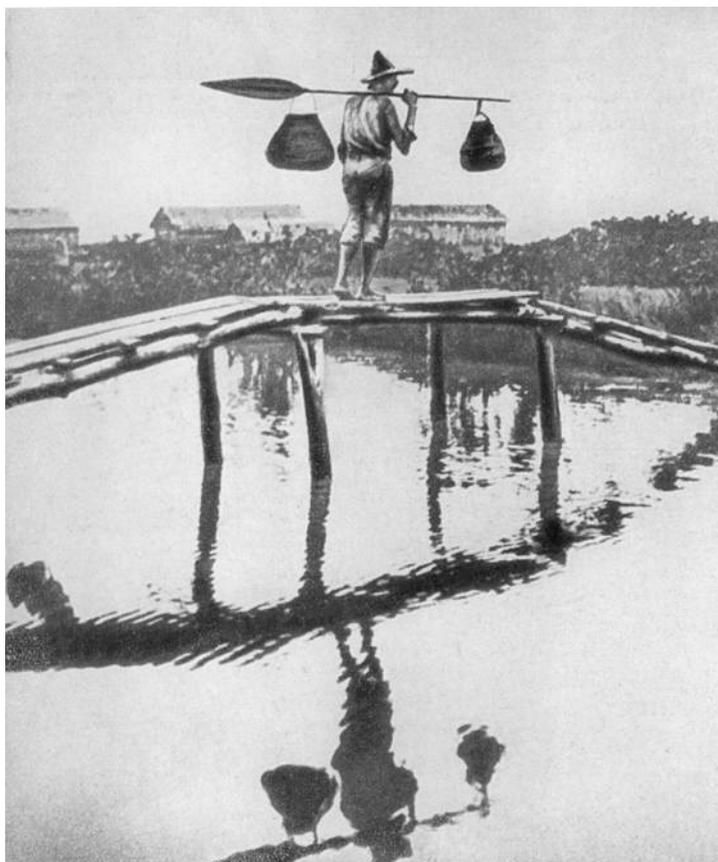


В мае уровень воды в Амазонке достигает высшей точки — наводнение превращается в потоп



Идиллия на берегах Укаяли

В шалаше на плоту человек чувствует себя в большей безопасности, чем в хижине на берегу



Понурой походкой возвращается чакеро в свою хижину, к своей повседневной жизни — нищенской, безнадежной...



Женщины чама лепят из глины разнообразные сосуды и украшают их своеобразными узорами



Девочки чама рано становятся взрослыми; в восемь-десять лет они уже невесты

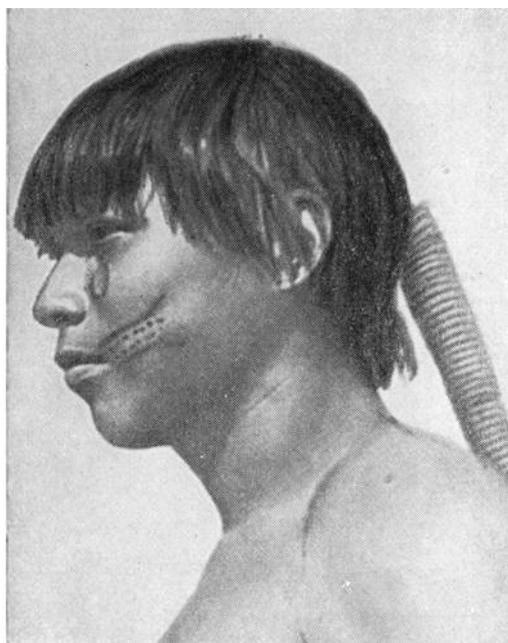


Чтобы человек не напоминал обезьяну, чама сжимают головы младенцев дощечками

Долорес двенадцать лет; у нее смуглая кожа, влажные губы и живые глаза



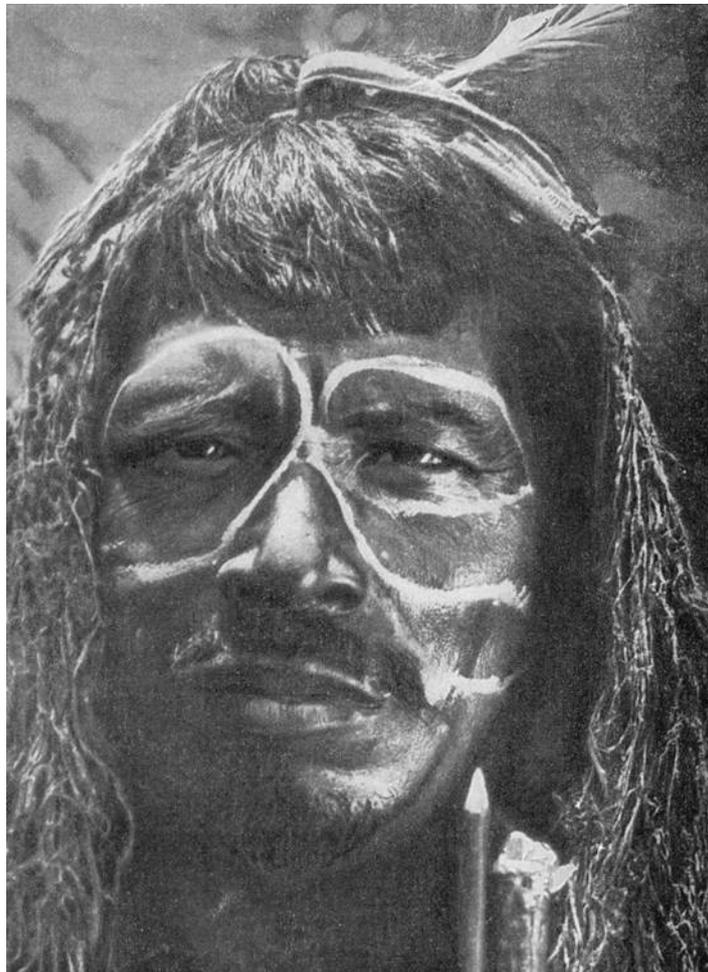
Один из лоцманов — веселый толстяк, напоминающий инкского евнуха



Индейцы кампа прирожденные охотники — рослые, сильные, свободолюбивые

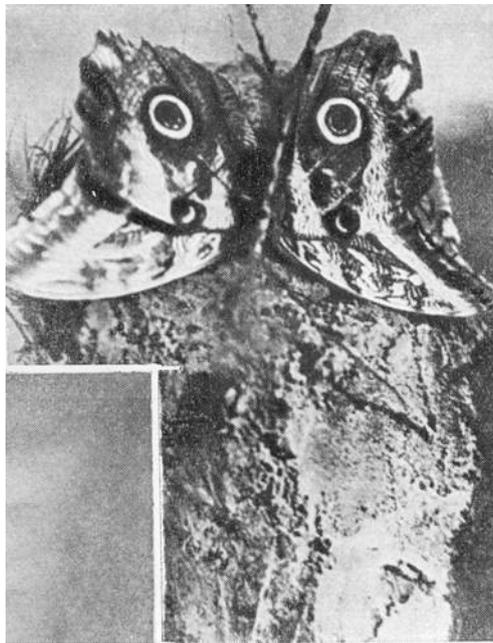
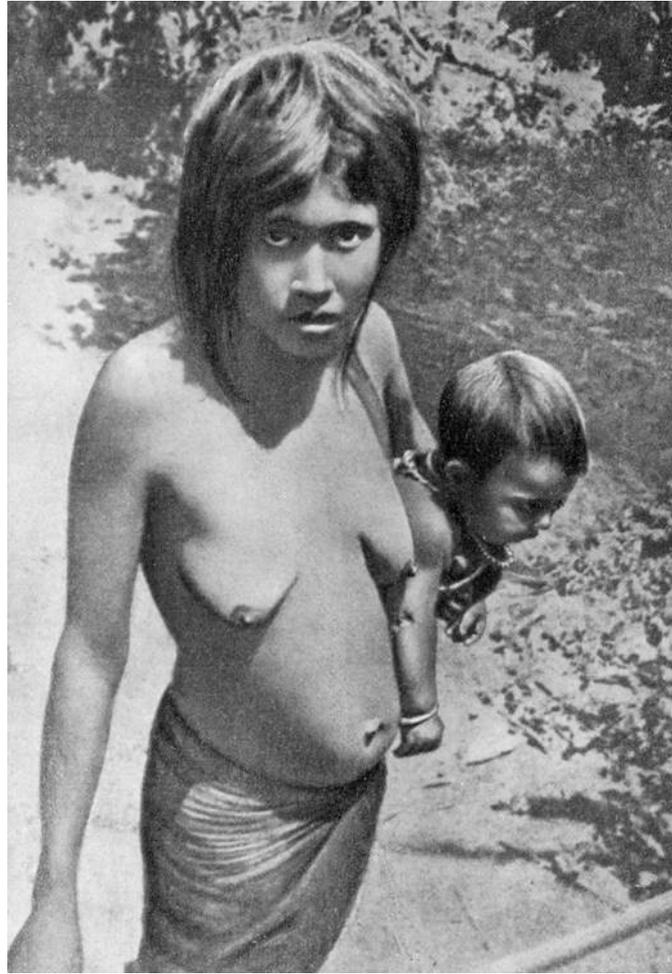


Молодая индианка чама глубоко задумалась

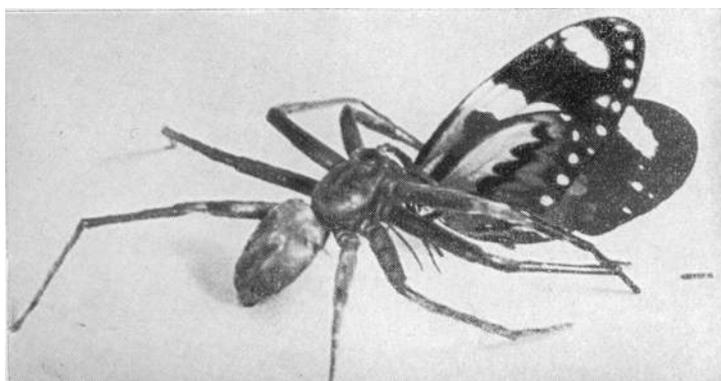
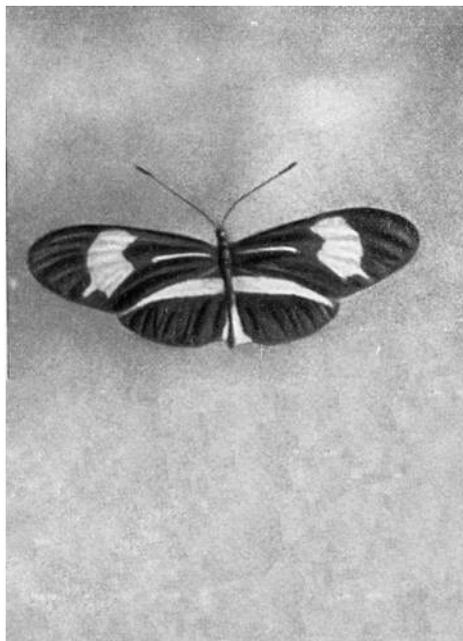


Индейцы хибаро оказали яростное сопротивление испанским завоевателям

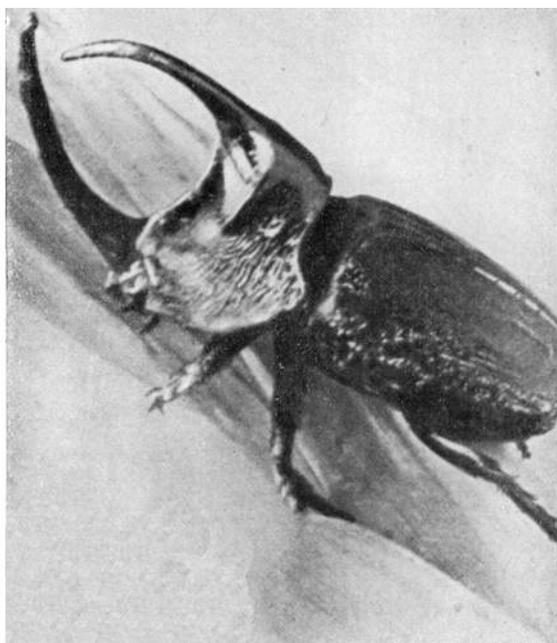
Во взгляде индианки — настороженное любопытство



Назначение «глаз», нарисованных на крыльях бабочки калиго, — устрашать насекомоядных птиц
Геликонида летает медленно, вызывая помахивая яркими продолговатыми крыльями

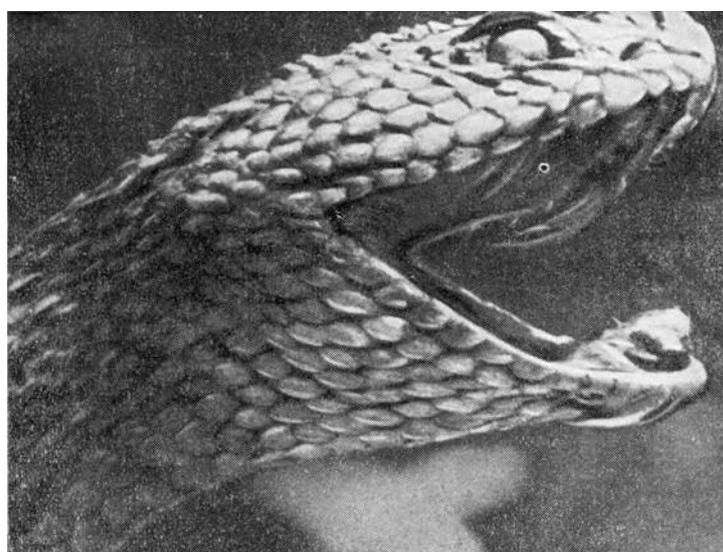
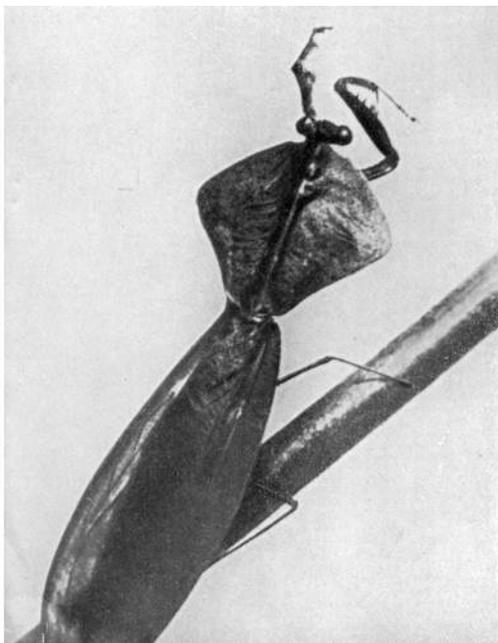


Схватив насекомое, паук яростно тербит его и тут же, на месте, начинает высасывать у него внутренности



Жук-единорог угрожающе наставил на богомола свой длинный острый рог

Передние ноги богомола, чем-то напоминающие клещи, недвижны; можно подумать, что он молится перед тем, как наброситься на противника

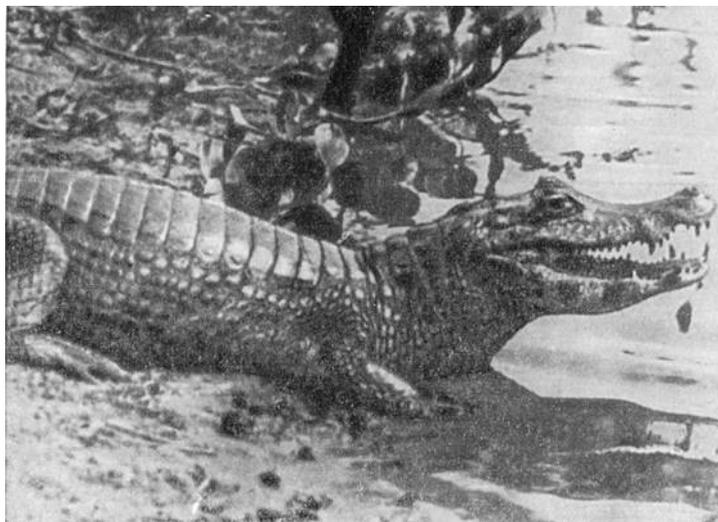


Одна из многих неожиданностей, которые таятся в лесах над Укаяли

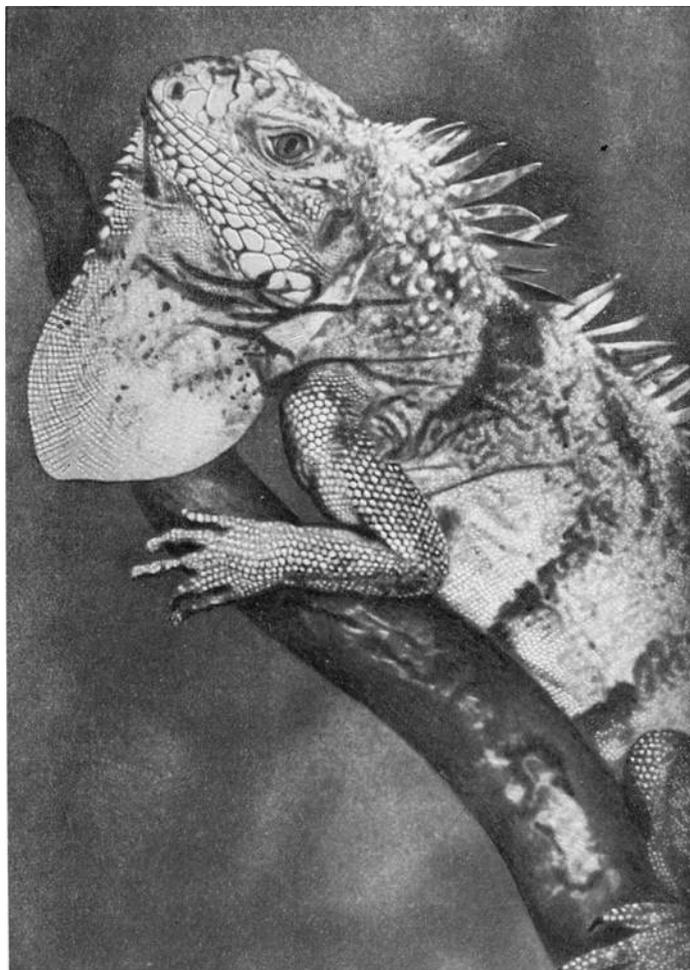


Длина этой анаконды всего лишь около пяти метров, вес — около двух центнеров

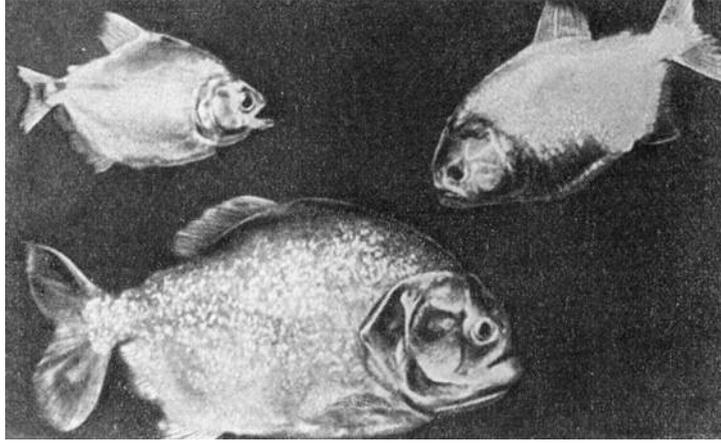
Кайман лениво соскальзывает в воду



На острове Маражо обитают тысячи отвратительных кайманов



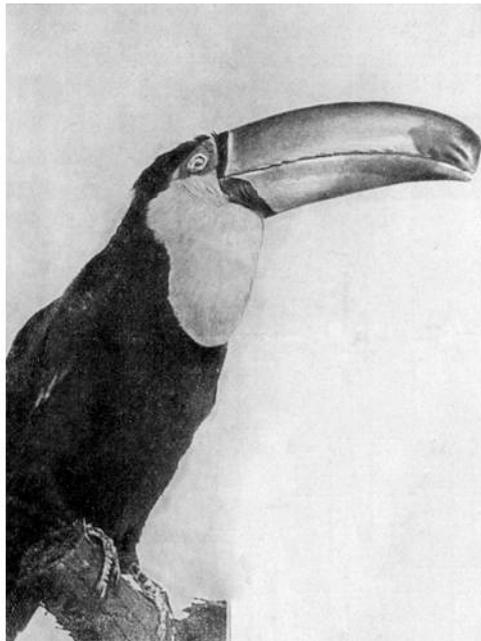
Обнаружив на дереве ящерицу легуану длиной почти в метр, я чувствую себя потрясенным



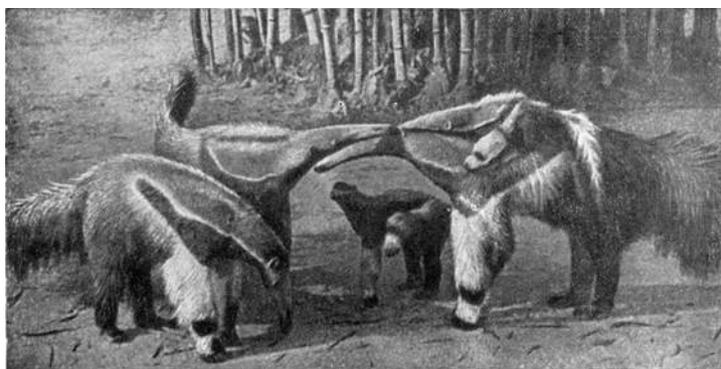
Пирайи кровожадностью превосходят акул



Колибри — одно из чудес Южной Америки



Тукан — самый большой озорник среди птиц
Арара — лучшее украшение амазонского леса



Муравьеды — одни из самых древних млекопитающих



**Мясо тапира — излюбленное лакомство индейцев
Капибара любит зеленые бананы, свободу и грязь**



Обезьянка капуцин, с которой так дружила моя Бася

Новое приключение: Гвинея

Предисловие

Советских читателей, интересующихся Африкой, можно поздравить с выходом в свет одной из самых интересных работ популярного у нас жанра путевых впечатлений.

Автором этой работы является известный польский натуралист, путешественник и писатель Аркадий Фидлер, книги которого пользуются широкой и заслуженной популярностью не только на его родине, но и далеко за ее пределами. Несколько книг А. Фидлера уже издавались в переводе на русский язык и получили высокую оценку у советского читателя[206].

«Новое приключение: Гвинея» — это увлекательный и вместе с тем глубоко содержательный рассказ о поездке автора в Гвинейскую Республику. С первых же страниц книги читателя захватывает и покоряет живая, динамичная и вместе с тем удивительно человечная манера изложения, в которой без труда угадывается настоящее мастерство автора. Достоинством книги является точное следование объективным фактам, стремление отразить жизнь африканского общества такой, какова она есть, со всеми выигрышными и невыигрышными моментами. Читая книгу Фидлера, ощущаешь преданность ученого-исследователя его материалу и вместе с тем удивительную наблюдательность автора, который почти с фотографической точностью и огромной любовью этнографа и естествоиспытателя к своей «натуре» фиксирует малейшие детали социальных и природных условий одной из африканских стран. Может быть, именно поэтому Фидлеру удалось то, что не всегда удается другим авторам, — создать у читателя впечатление присутствия в стране.

Очень скрупулезно, остроумно, с мягкой и доброй улыбкой рассказывает автор о Гвинее, об успехах и трудностях этого государства, о заботах и проблемах, которые его волнуют.

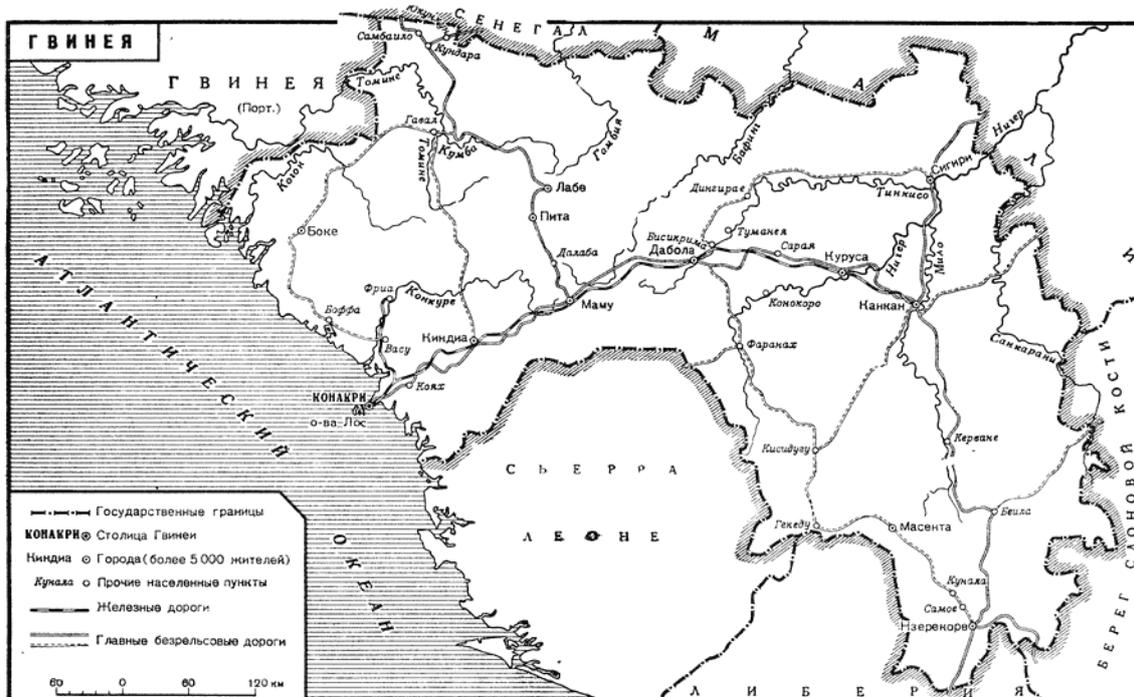
Однако далеко не со всем из того, что пишет А. Фидлер, можно безоговорочно согласиться. Многие суждения автора носят поверхностно-субъективистский характер. Это неизбежное следствие того обстоятельства, что А. Фидлер часто базирует свои выводы исключительно на личных впечатлениях. Некоторые встречающиеся в книге саркастические замечания об африканцах объясняются, по-видимому, либо желанием автора придать своему изложению сатирико-юмористическую окраску, либо некоторой склонностью абсолютизировать личный опыт. Но в то же время нельзя не отметить искреннего сочувствия и любви автора к простому африканцу, которого он называет «человеком в высшей степени приятным». Фидлер с неподдельным восхищением отзывается о «врожденной африканской вежливости, отзывчивости — черте приветливого характера», «быстроте ума» и «ярко выраженном интеллекте» африканцев (стр. 26).

«Такую же стремительность ума, — пишет автор, — я встречал повсюду в глубине страны, среди различных слоев населения, в том числе и у тех простых деревенских жителей, с которыми, если они знали французский, я мог разговаривать. Их здравый ум и способность к ассоциативному мышлению явственно проявлялись в бесчисленных поговорках, которые свидетельство-

вали о незаурядной наблюдательности» (стр. 27). Особенно привлекло внимание Фидлера чувство коллективизма африканцев. Так, например, по его словам, «среди водителей на дорогах Африки процветало такое чувство братства, о каком на других континентах не имеют понятия... Эти борцы за новую Африку были товарищами по оружию, связанными общим фронтом, своего рода джентльменами, творящими современное понятие рыцарства. И это не только в Гвинее. Несколько месяцев спустя я нашел подтверждение этому в Гане. По сравнению с тем пренебрежением (очень хочется сказать — хамством), с которым нередко приходится встречаться на дорогах Европы, в частности Польши, обходительность африканских водителей могла показаться просто ошеломляющей. Это была вежливость абсолютная, безусловная, не знающая исключений» (стр. 97).

Автор весьма оптимистически оценивает перспективы развития Гвинейской Республики, которая, по его словам, является уже «не мотыльком-однодневкой, а настоящей бабочкой с ножками и крылышками» (стр. 28).

С большой теплотой написаны страницы книги, посвященные красоте и изяществу гвинейских женщин. В то же время царящая в этой стране суровость нравов отнюдь не относится к числу тех черт гвинейской жизни, которые вызвали восхищение Фидлера. А сколько прелестного юмора и искрящегося остроумия в блестяще написанной сценке с рыночными торговцами, проявляющими «философскую непритязательность терпеливых рыболовов» (стр. 53). Великолепна также сценка, описывающая французов — посетителей ресторана «Парадиз» — и их реакцию на появление в зале двух гвинеек (стр. 60). Эти и многие другие исполненные тонкого и ненавязчивого юмора и свежего остроумия главы невольно вызывают ассоциации с произведениями О. Генри, И. Ильфа и Е. Петрова и других лучших мастеров юмористического жанра.



Большой познавательный и научный интерес представляют этнографические зарисовки автора, описания быта, нравов и обычаев фульбе, малинке, кониаги и других народов Гвинеи, а также обстоятельный рассказ о социальных отношениях в современной гвинейской деревне.

С большим знанием дела и с тщательностью влюбленного в свою профес-

сию естествоиспытателя рисует автор причудливую флору и фауну африканской «страны чудес». Описания природы, встречающиеся в книге, показывают, что А. Фидлер — художник редкого и строгого вкуса, хорошо знающий тропическую природу и умеющий наслаждаться ее экзотическим очарованием.

Весьма любопытны то и дело встречающиеся в книге Фидлера обстоятельные экскурсии в историю народов, населяющих Гвинею, — результат добросовестных и скрупулезных исследований. А. Фидлер не ограничился описанием того, что он видел и что лежит на поверхности. Блестящий писатель и серьезный ученый, А. Фидлер, прежде чем опубликовать свою книгу, не только полагал по гвинейским джунглям и саваннам, но и провел не один час за письменным столом, изучая старинные манускрипты. Особенно интересно изобилующее малоизвестными подробностями эссе о выдающемся государственном деятеле и полководце Самори, создавшем в 1870–1875 гг. независимое африканское государство Уассулу, долгое время успешно противостоявшее натиску французских колонизаторов.

К сожалению, А. Фидлер относительно меньше внимания уделяет описанию политической организации и экономической структуры современной Гвинеи. Собственно говоря, этого мы и не вправе требовать от автора, который ставит перед собой задачу дать некоторые зарисовки, основанные главным образом на личных впечатлениях о пребывании в стране.

Поэтому для лучшего понимания путевых впечатлений А. Фидлера мы считаем целесообразным дать хотя бы самые общие сведения о Республике Гвинея, с тем чтобы ввести читателя в круг вопросов, без знания которых трудно будет ориентироваться в книге.

Гвинейская Республика находится в Западной Африке, на побережье Гвинейского залива. Ее территория составляет 246 тыс. кв. км, население — более 3 млн. человек. Основные народности, населяющие страну: фульбе, малинке, сусу, кисеи, герзе. Кроме того, там проживает также около 10 тыс. европейцев. Государственный язык — французский. 80 % населения исповедуют ислам. Столица — Конакри. Крупнейшие города: Канкан, Киндиа, Лабе, Сигири, Кисидугу.

Гвинейская Республика появилась на карте Африки 2 октября 1958 года. До этого в течение долгих десятилетий народы Гвинеи испытывали гнет французских колонизаторов. Завоевание не зависимости было плодом длительной и упорной борьбы гвинейцев за свержение колониального господства. Эту борьбу возглавила Демократическая партия Гвинеи, которая возникла в 1947 г. (тогда она называлась гвинейской секцией Демократического объединения Африки). Демократическая партия Гвинеи с самого начала провозглашала своей целью уничтожение колониализма, для чего она призывала к объединению всех этнических групп и слоев населения страны.

Под нажимом освободительного движения в африканских колониях французское правительство вынуждено было пойти на уступки. Оно ввело новое законодательство, которое внесло некоторые изменения в структуру управления колониями. Была выработана новая французская конституция, упразднившая старое название французской колониальной империи — Французский союз — и введено в обиход новое название — Французское сообщество. Делая вид, будто вопрос о принадлежности к сообществу будет решаться самими народами колоний, французское правительство 28 сентября 1958 г. прове-

ло в колониях так называемый референдум по поводу новой французской конституции. В отличие от других колоний в Гвинее большинство избирателей (95 %) проголосовали за выход из сообщества. Эта победа была обусловлена тем огромным авторитетом, который к этому времени завоевала Демократическая Партия Гвинеи. Еще до референдума эта партия сумела добиться от Территориальной ассамблеи проведения важных реформ, результатом которых было снижение налогов с крестьян, повышение заработной платы рабочим, уничтожение института вождей, ликвидация родо-племенной верхушки, сотрудничавшей с колонизаторами.

2 октября 1958 г. Территориальная ассамблея провозгласила Гвинею независимой республикой. Первым президентом Гвинеи стал лидер Демократической партии Секу Туре.

Высшим законодательным органом страны является Национальная ассамблея, избираемая всеобщим голосованием сроком на пять лет. Исполнительная власть осуществляется правительством, которое возглавляет президент, наделенный широкими правами и избираемый на семь лет.

Правящей и единственной партией в стране является Демократическая партия Гвинеи (ДГ1Г), которая объединяет народ Гвинеи и играет руководящую роль во всех сферах жизни гвинейского общества.

ДПГ поддерживает дружественные контакты с КПСС. Делегации ДПГ присутствовали на XXII и XXIII съездах КПСС.

Гвинеи́ская Республика проводит миролюбивую внешнюю политику. Она активно выступает против колониализма, за единство африканских народов и государств, за дружбу и сотрудничество со всеми странами на основе взаимного равенства и уважения.

Демократическая партия и правительство Гвинеи выбрали некапиталистический путь развития и ставят своей задачей создание общества без эксплуатации человека человеком.

Однако с самого начала правительству молодой республики пришлось столкнуться с большими трудностями, создаваемыми действиями империалистов. Французское правительство делало все для того, чтобы помешать Гвинеи́ской Республике встать на ноги. Оно предприняло попытку организовать политическую и экономическую блокаду республики. Сразу же после референдума оно объявило о своем отказе предоставлять экономическую помощь Гвинее, а также о своем решении отозвать в течение двух месяцев французских чиновников, работавших в стране.

Однако все эти провокации и интриги колонизаторов не принесли желаемого результата. На помощь гвинейскому народу, подвергшемуся грубому нажиму со стороны империалистов, пришли социалистические и братские африканские страны. 5 октября 1958 г. независимую Гвинею признал Советский Союз. Большую помощь Гвинеи́ской Республике оказала Гана, которая предоставила ей кредит в сумме 10 млн. ганских фунтов. В декабре 1958 г. Гвинея была принята в Организацию Объединенных Наций, что укрепило ее международное положение. Таким образом, планы империалистов изолировать Гвинею и задуть ее с помощью экономической блокады потерпели полный крах. «Гвинея не изолирована, — говорил Секу Туре, выступая 26 октября 1958 г. в Конакри, — Гвинея и не будет в изоляции, можете быть уверены в этом. В любом случае, каков бы ни был избранный ею путь, Гвинея больше не

будет колонией; каким бы путем она ни пошла, Гвинея сохранит свою независимость и свое достоинство»[207].

Гвинейское правительство в то же время провело целый ряд мероприятий, которые позволили упрочить внутривнутриполитическое положение страны. В марте 1960 г. Гвинея вышла из зоны франка. Была введена национальная валюта — гвинейский франк, создан Национальный банк, что значительно подорвало позиции французских монополий в стране. Не менее сильным ударом по французскому капиталу явилась национализация иностранных банков, страховых, транспортных и некоторых горнодобывающих компаний, энергосистемы и водопровода. Серьезной перестройке подверглось сельское хозяйство. Наиболее многочисленный класс гвинейского общества — крестьянство — был переведен на рельсы сельскохозяйственной кооперации. Уже к 1963 г. имелось около 500 производственных сельскохозяйственных кооперативов. Были предприняты шаги по созданию первых национальных промышленных предприятий. Создание и развитие государственно-кооперативного сектора составляют важнейшую черту гвинейской экономики. Другая ее существенная особенность заключается во внедрении принципа планирования. В 1960 г. народ Гвинеи смог приступить к осуществлению своего первого трехлетнего плана развития народного хозяйства. Основное место в этом плане уделялось развитию сельского хозяйства. В результате претворения в жизнь трехлетнего плана в стране было создано несколько сот сельскохозяйственных кооперативов, которые получили от государства новейшую технику, семена, удобрения и т. д.

В настоящее время Гвинея осуществляет новый семилетний план развития (1964–1971 гг.). Согласно этому плану, в стране должно быть создано 500 так называемых автономных производственных единиц — хозяйств, оснащенных современной агротехникой, собственными больницами, школами, магазинами и т. д. Семилетним планом предусматривается увеличение производства продовольственных культур, в первую очередь риса — основы питания населения, а также экспортных культур: бананов (до 100 млн. т), ананасов (до 20 тыс. т), кофе (до 43 тыс. т) и т. д. Планируется также создание плантаций хлопка, сахарного тростника, табака, чая, какао, каучука. Намечается проведение ряда мероприятий по подъему животноводства. Серьезные меры принимаются по созданию государственного сектора и государственному регулированию в области торговли. Внешняя торговля объявлена монополией государства.

Во внутренней торговле позиции частного капитала пока сравнительно сильны. Государство, не располагая достаточными средствами и кадрами специалистов, не может еще национализировать всю торговлю. Но оно принимает меры к пресечению всякого рода злоупотреблений со стороны частных торговцев. Контрабандная торговля карается тюремным заключением сроком до 20 лет, за спекуляцию валютой и незаконный вывоз ее за границу полагаются еще более суровые наказания, вплоть до смертной казни.

Семилетний план предусматривает преимущественное развитие промышленности по сравнению с другими отраслями хозяйства. Планируется создание текстильной, консервной, строительной, химической промышленности. Намечается строительство автосборочного, алюминиевого заводов и кожевенной фабрики.

Нехватка собственных средств вынуждает правительство привлекать иностранный капитал. В этих целях практикуется создание смешанных обществ с участием национального и иностранного капиталов. Одной из крупных компаний такого рода является созданная в 1964 г. смешанная гвинейско-американская компания по добыче бокситов «Боксит дю Гине».

Серьезнейшие преобразования проводятся в области просвещения и культуры. В период французского колониального господства просвещению почти не уделялось внимания. Французские власти сознательно старались держать африканские массы в темноте и невежестве. На 1 января 1960 г. в Гвинее существовали 171 государственная и 53 частные начальные школы, в которых обучались в общей сложности 33 726 детей. Школ второй ступени было всего шесть, и в них обучались только 1200 учащихся. Теперь обучение стало всеобщим и бесплатным. Правительство и Демократическая партия стремятся сделать просвещение не только общедоступным, но и освободить его от пагубного влияния католической церкви. С этой целью правительство приняло решение об унификации программ всех школ и ликвидации частных и церковно-приходских школ.

Выработана письменность для отдельных народностей страны, с 1965 года преподавание в школах ведется на местных африканских языках, а не на французском, как это было при колониальном режиме.

Большую помощь в подготовке национальных кадров Гвинее оказывает Советский Союз СССР согласился содействовать Гвинее в создании Политехнического института, строительство которого уже завершено. Инженерно-строительный, механический, геологический и сельскохозяйственный факультеты этого первого высшего учебного заведения Гвинее готовят национальные кадры для различных отраслей народного хозяйства. С помощью советских специалистов в Конакри построена новая радиостанция «Голос революции».

В 1959–1961 гг. Гвинея заключила соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве с СССР, Чехословакией, Венгрией, Польшей, КНР, Югославией, ГДР, Болгарией. Бескорыстная помощь, оказываемая Гвинее Советским Союзом и другими социалистическими странами, высоко оценивается гвинейскими руководителями. 7 сентября 1960 г., во время визита в Советский Союз, выступая на завтраке, устроенном в его честь в Большом кремлевском дворце, Секу Туре заявил: «Позвольте мне сказать, что та помощь, которую социалистические страны оказывают сейчас Африке, бесконечно ценна сейчас... Я хочу со всей искренностью поблагодарить за ту помощь, которая оказывается нам, за ту помощь, которая оказывается всем слаборазвитым странам. Мы хотим заверить вас, что эта помощь политически и исторически оправдывает себя. Мы можем подчеркнуть ее значение сейчас, когда молодые африканские страны вступили в новую фазу своего развития» [208].

Советские люди с большой любовью и симпатией следят за мужественной борьбой гвинейского народа против остатков колониального прошлого, за укрепление политической и экономической независимости. Они проявляют все растущий интерес к жизни гвинейского народа. Этот интерес в значительной степени поможет удовлетворить книга Аркадия Фидлера «Новое приключение: Гвинея», которая, несомненно, привлечет внимание советских читателей.

Лоцманы

Я внезапно проснулся в своей каюте на корме. Минуту спустя я понял причину: корабельный винт под каютой перестал вращаться. Наступила глухая тишина. Мы достигли цели. Началось новое приключение: Африка.

Я соскочил с койки и посмотрел в иллюминатор: за стеклом была непроглядная тьма. Часы показывали пять сорок пять. Африка еще пряталась от нас.

Как обычно по утрам, я старательно побрился, не спеша оделся. Грохот якорной цепи свидетельствовал о том, что наш дизель-электроход «Щецин» остановился на рейде.

В шесть небо уже не такое темное, оно синее, хотя все еще продолжает искриться множеством звезд, чем-то непохожих на наши. Они — словно лихорадочно горящие глаза, высматривающие рассвет.

Когда я перешел с кормы в центральную часть корабля и очутился на капитанском мостике, небо на востоке окрасила близкая заря, в ржавом свете которой стали меркнуть самые крупные звезды, а мелкие совсем пропали, быстро, словно танцовщицы со сцены, исчезнув с неба.

И вот во всей своей красе вспыхнуло тропическое утро. Неуловимо быстро небо начало светлеть, переливаться перламутром — из светло-зеленого в фиолетовый, из фиолетового в розовый. Но поразительна была не быстрота смены красок на небе, а та удивительная тишина, среди которой происходили эти перемены.

Мы стоим на пороге материка, сотрясаемого конвульсиями пробуждения, о котором еще несколько лет назад мало кто смел мечтать. От Дакара до Басутоленда черный человек поднял голову. Он не хотел уже быть рабом — он хотел сам распоряжаться собой. И заявил об этом с такой силой, с такой зрелостью ума, что наконец разбил свои оковы.

Огромные пространства вскипели гневом многочисленных народов, и никакие силы не могли усмирить их бунта. То, что произошло на этом континенте, было одним из величайших переломов в истории человечества.

И, стоя у порога бурлящего материка, путешественник невольно по каким-то необъяснимым ассоциациям ожидает беспокойства и в природе. Ничего подобного. Этим утром не было даже тучки на небе, идеально чистом от края до края, а море лежало как зеркало; в воздухе ни малейшего движения. Вокруг пастельные тона, мягкость и тишина. А когда на горизонте перед нами возникла из мрака длинная, тонкая полоса белеющих домиков, похожих издали на игрушечные, кто бы мог подумать, что это Конакри, гордая столица свободных гвинейцев, которые нанесли удар колониализму и сейчас в тяжком труде строят жизнь в молодой республике.

Потом из-за моря вышло солнце. Из-за моря потому, что на восток от нас простирался огромный залив. И солнце было необычное: такое бледное, что совсем не резало глаза. На него даже можно было спокойно смотреть. Какой-то сонный, бесцветный кружок на небе. Тогда я понял, что это из-за толстых слоев висящей в воздухе пыли, принесенной харматтаном[209] из Сахары. Казалось, что даже солнце изменило самому себе, чтобы выглядеть более ласковым.

Признаюсь, в этом своеобразном контрасте между идиллическим пейза-

жем и бурей, сотрясавшей Африку, была какая-то чарующая порочность.

Рассвет быстро превращался в светлый день, солнце поднималось вверх, но Конакри, казалось, все еще дремал. Из порта никто к нам не явился. Напрасно вызывали мы лоцмана. И наш офицер-радист, и второй офицер, молодая женщина, одинаково обаятельная и энергичная, — очаровательный уникум всего нашего торгового флота — с момента прибытия на рейд непрерывно посылали в порт световые сигналы, но порт был глух. Солнце уже вышло из слоя пыли и начало припекать нормально, по-африкански, а из порта никто так и не высунул носа.

Я поинтересовался, какого лоцмана мы ждем.

— Это будет белый лоцман? — спросил я моряков, находившихся на капитанском мостике.

— Белый! — ответили они. — Белый... разумеется!..

Моряки знали, что профессия лоцмана трудная и ответственная, требующая многих лет работы на море. В колониях или в бывших колониях везде до сих пор служили исключительно белые лоцманы.

Наконец, почти через два часа после восхода солнца, мы заметили в бинокли какое-то движение в порту. Появилась моторка. Она направлялась в нашу сторону и действительно везла нам лоцмана и его помощника.

На корабле возникло небольшое замешательство: и тот и другой — чистокровные африканцы.

— Кое-что изменилось в этой Африке! — сказал мне с улыбкой первый офицер.

— Кажется, да!

Поздно проснулись черные лоцманы — пожалуй, как весь этот континент, — но в конце концов все же прибыли и совершенно точно, без всяких осложнений стали вводить корабль в порт.

Вскоре один из них вышел на мостик, где я стоял. Мы приветствовали друг друга рукопожатием, причем я сказал, как обычно:

— Bonjour[210].

— Merci[211],— ответил он, к моему удивлению.

Французским языком он владел прекрасно.

Когда минутой позже его товарищ точно так же поблагодарил меня за «bonjour», мне стало немного неприятно: показалось, что это своего рода раболепство, оставшееся от колониальных времен. И только значительно позже, на континенте, узнав обычаи африканцев, я убедился, что сами гвинейцы точно так же благодарят друг друга и это ни в коей мере не было проявлением раболепства. Напротив, вполне естественно выражать свою благодарность тому, кто желает доброго дня. Это имело свой смысл. В этом была своя логика.

Ниспровержение

Кто же не помнит многочисленных портретов этих суровых людей XIX в., пионеров тропических стран, этих бесстрашных первооткрывателей, охотников, естествоведов, миссионеров — заслуженных, властных, мужественных, великолепных героев в пробковых шлемах? Эти гумбольдты, Ливингстоны, стэнли, мунго парки, эмин-паши, а также и польские водзицкие или рогозинские никогда не смотрели на нас с гравюр или дагерротипов иначе, как бросая свой надменный взор из-под тропического шлема. Известно, что их жизни угрожали не только девственные пущи и хищные звери, не только людоеды и тысячи неизвестных болезней, но больше всех опасностей им угрожал сильнейший враг — убийственный жар солнца. В Африке, как уверяли опытные путешественники, белому человеку было достаточно встать в полдень на солнцепеке с открытой головой, чтобы неизбежно погибнуть в течение часа.

Итак, шлем был непременным реквизитом тропиков, без шлема нельзя было себе представить жизни, шлем покрывал головы всех без исключения путешественников по Африке — шлем, вдохновение нашей молодости и молодости наших отцов, символ истинного мужества и фантастических приключений. (О дети мои! Разве не внушительно выглядел я на фотографии из Мадагаскара, когда хмуро и гордо смотрел из-под шлема в неизведанную даль?)

Признанные авторитеты не жалели типографской краски, чтобы в бесчисленных научных трактатах доказать убийственную силу тропического солнца, приписывая ее ультрафиолетовым или другим, неизвестным и еще более вредоносным лучам. В подтверждение они приводили множество примеров гибели от солнечного удара из своей повседневной практики. Когда в 1926 году британская принцесса Мария-Людовига написала неплохую книгу о своем путешествии по тогдашнему Золотому Берегу, она тоже не могла отказать себе в удовольствии — правда, сдержанно, одним намеком — подчеркнуть свое мужество, утверждая, что «солнечные лучи имеют свойство убивать» и поэтому в Африке непременно надо носить шлем.

Бразилия после получения в XIX в. независимости объявила войну тропическому шлему, считая его символом колониального правления. Она могла отказаться от шлема без ущерба, потому что сразу же заменила его соломенным сомбреро, надежно защитившим головы ее жителей от солнца. А солнце как до тех пор, так и сейчас оставалось здесь средством уничтожения.

Однако еще более грозным оно казалось в Африке, на материке пышущих жаром саванн и ослепительного света. Шлем, надежный пробковый шлем, считался здесь единственным спасением для человека. Еще в августе 1959 года это подтвердил обаятельный докладчик, бывший путешественник по Африке, когда в Клубе международной прессы и книги в Сопоте он изобразил перед застывшей аудиторией поразительную картину страшной силы солнца и назвал единственное, буквально единственное средство защиты от него — пробковый шлем. Вдох облегчения и благодарности к жизненно спасительному головному убору вырвался тогда у взволнованных слушателей.

В этот полдень, по мере того как наш пароход «Щецин» подходил к порту Конакри, жестокий зной все усиливался. На море было еще сносно, но в порт мы входили, как в ад. Я начал беспокоиться не на шутку, чем защитить свою бедную головушку, которая как ни говори, а столько лет неплохо мне служи-

ла. Шлема у меня не было, может, взять берет? Смешно! Это ведь все равно что сунуть голову в печь. Может, надеть белую полотняную фуражку с красной полоской, которая была у меня с собой? А вдруг африканское солнце прожжет ее насквозь? Однако, как говорится, на безрыбье и рак рыба, поэтому я (была не была!) нацепил на голову белую фуражку и стал геройски ждать, что принесут мне следующие четверть часа.

Корабль медленно подходил к берегу. Там крутилось множество людей, преимущественно африканцев, портовых рабочих в шортах и легких блузах. Наш корабль ожидало также несколько европейцев. Из-за жары они, разумеется, были легко одеты и, расстегнув ворота рубашек, спокойно и терпеливо стояли на берегу под палящим солнцем.

Вдруг — что же это, черт возьми! — я вытаращил глаза от удивления. Сумасшедшие? Самоубийцы? Ни у одного из европейцев не было на голове шлема, более того, у них вообще ничего на голове не было. Обнаженные европейские черепа они беспечно выставили на жаркое африканское солнце. А оно стояло почти в зените.

На минуту мне пришла в голову забавная мысль: может быть, африканцы, придя к власти, подвергли здесь белых особому наказанию. Шутка шуткой, но картина, которую я видел перед собой, представилась мне совершенно ужасающей, а эти белые — безумцами. Между тем они вели себя вполне нормально, непринужденно разговаривали между собой, не проявляли никаких признаков сумасшествия и мозг у них, по всей видимости, не плавился. Они просто не боялись солнца. Может быть, солнце не действовало на них или лучи его не обладали пресловутой убийственной силой?

Они и правда не убивали.

Тропических шлемов уже не носили в Африке. Почти все европейцы ходили здесь под палящим солнцем с обнаженной головой, и, о чудо, никто не погибал от солнечного удара. Так уже в течение нескольких лет белые живут в Гвинее, в Гане и даже в Габоне, на самом экваторе, куда несколькими месяцами позже забросила меня судьба.

Шлем исчез из Африки, как призрак прошлого. Оказалось, что раньше не солнце убивало европейцев, а их ошибочное убеждение, губительный страх перед карающим светилом.

Я, пожалуй, впал бы в горькие размышления над природой человеческих страхов, но пришлось задуматься над другой проблемой, более близкой, родной: пришло время великолепному мадагаскарскому снимку отправиться в чулан, чтобы здесь, во мраке, скромненько почтить в самом конце строя усатых мужей в замшелых головных уборах минувшей эпохи.

Конакри

Если смотреть на город с моря, он выглядит как дремучий лес, в котором лишь кое-где проглядывают белые пятна домов — столько там зелени и такое засилье могучих деревьев.

Даже самые ярые сторонники британской системы управления должны признать одно: города они строили в колониях безобразные. Достаточно сказать, что это были миниатюрные копии Лондона или лондонского Сити, запутанные, бесплановые, тесные, неудобные. Напротив, как ни поноси французских колониалистов, надо признать, что они строили прекрасные города, своего рода маленькие Парижи. Прекрасен Ханой, прелестен Сайгон, Абиджан или Дакар, и так же очарователен Конакри.

Город не так уж молод. Он возник в конце XIX века, но наибольшего расцвета достиг лишь недавно, после второй мировой войны. Расположенный на самом краю полуострова Тумбо, напоминающего чуть утолщенный конец цветочного стебля, он со всех сторон окружен морем и овеваем освежающим ветром. Диву даешься при виде его карты: это шахматная доска из пересекающихся под прямым углом улиц; одни, авеню, ведут с запада на восток, другие, бульвары, — с севера на юг. Центральная авеню как бы позвоночный столб: самая широкая, главная, она рассекает город на две половины и заканчивается на западе дворцом губернатора. Ничто в этом городе не было случайным, непродуманным — урбанистика, достойная лучших архитекторов. Ну, и, конечно, деревья. Божественные, благословенные деревья манго, тысячи тенистых манго! Все без исключения бульвары — в Конакри они протянулись более чем на пятнадцать километров — обсажены с каждой стороны улицы тесным рядом деревьев манго, а так как эти деревья имеют листву очень обильную и густую, под ними постоянно царят приятная тень и прохлада. Когда я в первый раз отправился знойным полднем в город, моя прогулка по авеню и бульварам превратилась в забавную игру в «горячо — холодно», в «неприятное и приятное»: авеню в противоположность бульварам, откуда веяло приятной прохладой, были совсем голые и изнывали от зноя.

Но манго на бульварах — это еще не все. Вокруг всего города, по берегу моря шла автострада, вдоль которой фантастически разрослись кокосовые пальмы, истинные «мисс тропической красоты», а рядом с ними — другие знаменитости, деревья франгипани, флабиобянты и эвкалипты. Это они казались с моря густой пущей. Мало того, на некоторых перекрестках и крошечных площадях, которые урбанисты сочли за наиболее достойные, была посажена какая-то разновидность баобабов. Теперь эти чудовища разрослись и превратились в деревья-мамонты с причудливыми очертаниями. Они были величественные и узловатые, а из всех стволов росли, как огромные сухожилия, толстые подпорки, которые переходили в корни. Эти колоссы могли соперничать с известным баобабом в Маджунге на Мадагаскаре.

Вся западная часть города вокруг дворца губернатора была застроена сохраняющими прохладу зданиями, в которых помещались центральные учреждения Гвинеи. Там же утопали в зеленых рощах современные бунгало из стекла и пластика, занятые до недавнего времени элитой колониальной администрации. На границе этого района, как бы завершая всю композицию, возник несколько лет назад роскошный «Отель де Франс», краса французской Аф-

рики, с восхитительным видом на море и недалекие острова Лос.

Бродя в приподнятом настроении в этот первый день по городу, удивляясь то тому, то другому, я был вынужден, однако, откровенно осудить одну вещь — тротуары. Все проезжие части авеню, бульваров и площадей были заасфальтированы, прекрасно, даже комфортабельно отделаны, в то время как почти все тротуары оставались в совершенном запустении. Видно, именно здесь иссяк размах французских урбанистов, вдохновение отказало им. Прохожий на тротуаре то увязал в сырой матери-земле, то утопал ногами в песке по самую щиколотку, то спотыкался в выбоинах и ямах. Хорошо по крайней мере, что для него оставили хоть узкую полосочку для ходьбы. На первый взгляд — пустяк, а как наглядно отражает суть системы. Французы имели машины, местные жители — только собственные ноги. Французам не нужны были тротуары, так зачем же с ними возиться и вкладывать в них деньги?

Самая широкая центральная авеню имела около полутора километров длины и некогда называлась авеню губернатора Баллея. Если посмотреть вдоль улицы на запад, в конце ее виден белый, благородный в своей простоте дворец губернатора, а раньше, то есть до 1958 года, перед дворцом стоял памятник упомянутому Баллею. Баллей был первым губернатором Гвинеи. В конце XIX века, в период его многолетнего правления, французы полностью завершили с помощью оружия покорение колонии, то есть в течение долгих лет топили в крови всякое сопротивление населения. Как гласила надпись на цоколе, памятник поставили поклонники и друзья губернатора, чтобы увековечить память о его заслугах и героическом периоде истории Гвинеи. Ни этот «героизм», ни реки крови не отображены в скульптуре, зато Баллей представлен как почтенный папаша. Добряк одной рукой держит трехцветное знамя, другой — с отцовской нежностью обнимает маленького голого негритенка, а негритенок обращает к белому господину сладостный взор, полный благодарности и уважения.

В референдуме 28 сентября 1958 года гвинейцы высказались против союза с Францией и тем самым получили полную независимость, но памятник тогда не снесли. Лишь в последующие недели, когда провокации уходящей французской администрации задели население за живое, жители Конакри сорвали свой гнев на Баллея. Они просто свалили памятник с пьедестала, но не уничтожили его совсем, не разбили. Он лежал много дней на земле, лишенный власти губернатор, и, поверженный, все еще цепко обнимал негритенка, словно и теперь не хотел выпустить его из-под своей власти. Он лежал у ступеней дворца, который заняло теперь правительство Гвинеи во главе с Секу туре.

Несколько позже памятник убрали с площади. Его отвезли в этнографический музей на берегу моря. Музей был небольшой, и губернатора поместили во дворе позади здания, даже поставили как полагается, только уже прямо на землю, без пьедестала. И вот теперь он стоит в сторонке, со знаменем, печально склоненным в сторону моря, и все еще с негритенком, кротко взирающим на него. И, так как в действительности негритенок давно превратился в крепкого парня и перестал смотреть с кротостью, посетители музея улыбаются, глядя на этот замшелый пафос, особенно бессмысленный теперь.

В музее — повторяю, небольшом, так как важнейшие экспонаты сразу отправлялись в Париж, — собрано около сотни масок и образцов резьбы по дереву, представляющих разных божков и демонов гвинейских племен. Среди них

особенно устрашающей казалась маска дьявола с европейскими усами. Это были изображения сил некогда всемогущих, но сейчас пришедших в упадок. К этим свидетельствам старых суеверий и присоединили памятник из латуни.

Многие французы, еще оставшиеся в Гвинее, буквально скрипят из-за этого зубами. Они предпочли бы, чтобы памятник Баллея разбили на куски с варварской яростью. Им было больно видеть, что бывший губернатор, как ненужная рухлядь, нашел себе спокойное место рядом с лесными дьяволами и демонами африканского прошлого.

«Отель де Франс»

По приезде в Конакри надо было срочно, в поте лица закончить в порту формальности с багажом, так как дизель-электроход «Щецин» уходил в тот же день. В городе все мне было чужое, и в первый день я полностью поручил себя заботам моего милейшего земляка, который уже долгое время жил здесь. Наш торговый представитель Юзеф Скверчинский с трудом выхлопотал для меня номер в «Отель де Франс» и привез меня туда к вечеру.

Как только я вошел в холл гостиницы, мне показалось, что из африканской нищеты я чудесным образом перешагнул через тысячи миль в совершенно другой мир, в какой-то голливудский храм американских миллионеров, — такой здесь суперлюкс. Даже люди были другие: никаких африканцев, кроме обслуживающего персонала, одни белые, но и они совсем иные, не такие, как озабоченные французы, которые встречаются на улицах Конакри. У этих, в отеле, лица были важные, взгляд властный, движения уверенные.

Черный бой в ливрее, отлично вышколенный джентльмен, вез меня в лифте на третий этаж. Ах, этот лифт! Он плыл вверх беззвучно и мягко, как во сне, не было ни грохота, ни шума, ни шороха, как в лифтах моего любимого города на далеком севере, не было ни знакомого дребезжания и скрежета на каждом этаже, ни резких остановок. Лифт в «Отель де Франс» замедлял ход, перед тем как остановиться, а потом тихонечко и мягко замирал без движения.

— *Troisième étage!*[212] — произнес серьезно бой и открыл мне дверь.

Нет, я не мог вытерпеть и, состроив веселую рожу, спросил:

— Когда вы чинили этот лифт в последний раз?

Бой взглянул на меня, удивленный. Он не понимал, зачем я задаю такой глупый вопрос, потому что лифт никогда не ломался. Слегка шокированный, он не собирался ввязываться в неуместные разговоры и, не отвечая, вежливо указал на дверь.

— *Troisième étage!* — повторил он очень официально.

Я получил номер 312 — чудо. Пластик сверху донизу, многометровая гладь окна, вода, разумеется и горячая и холодная, душ, клозет как ангельский брелок, безукоризненная чистота, все невообразимо эстетичное, самое лучшее, самое дорогое. Как и цена за комнату. Но я подавил внезапный страх и утешился мыслью, что пробуду здесь только одну ночь и ни минуты больше.

Этот храм роскоши французы возвели несколько лет назад, когда еще не замечали туч, сгущавшихся над Африкой. Техническое развитие колоний, особенно в области добычи полезных ископаемых, сулило весьма радужное будущее. Они возвели отель во славу себе, для своей финансовой элиты, для парижских промышленных тузов, банкиров, директоров трестов, чтобы,

проснувшись в фатальный сентябрь 1958 года, с грустью убедиться, что все это пошло прахом. Отель все еще оставался частной собственностью и успешно функционировал, хотя уже не было здесь прежней элиты.

Я раскрыл окно-гигант, достигающее потолка. Отсюда открывался вид, который мог бы ослепить даже чистейшего сноба, вид такой же чарующий, как и сам отель. Почти подо мной, разбиваясь о камни, шумел морской прибой, вдали романтические острова Лос заливало пламенем заходящее солнце. А ближе к отелю, на самом берегу моря зеленели великолепные деревья, столь необыкновенно красивые и столь сказочные, словно они вышли из диснеевской «Фантазии». Это были кокосовые пальмы, пушистое дерево манго, а около него — баобаб, бутристый и безлистный в это время года.

Зато вполне реальными были птицы. Стая воронов и два сипа.

После всей этой чуждой мне причудливой роскоши я приветствовал их с облегчением, как близких друзей. Они по крайней мере были естественны, не надувались от важности и собственного великолепия.

Вороны выглядели невыразимо потешно: жирные, как наши, и черные, как наши, с белоснежными шейками и грудью, как будто заботливая природа повязала им вокруг шеи чистую салфетку. В противоположность нашим, одиноким бродягам европейских дебрей, африканские вороны нахальные и очень компанейские, особенно на побережье: всюду, в деревнях и городах, они держались возможно ближе к людям, чуть не наступали им на пятки и пожирали что попало, всякую грязь и отходы с кухни. Поэтому их уважали наравне с сипами как санитарную инспекцию. Но когда я лучше узнал их разбойничьи души и дурные манеры, то убедился, что каналы гнусно издевались над человеческим легковерием и уважением: когда никто не видел, цыпленочек быстро исчезал со двора.

Пять или шесть воронов беспокойно носились поблизости, как обычно перед ночным отдыхом. Они взмывали в воздух — и мгновенно спускались на деревья, потом снова взлетали, очень привередливо отыскивая место для ночлега. Стая каркала при этом совсем как у нас, только более пронзительно, так что в памяти всплывало зловещее предсказание: «И расклюют вас вороны и коршуны». Как видно, стая облюбовала себе место по соседству с отелем, так же, впрочем, как два сипа, которые кружились над нами, высматривая какую-нибудь падаль. И как же легко и просто напрашивалось сравнение этих прожорливых птиц с гиенами финансового мира, которые до недавнего времени свирепствовали в роскошном отеле.

— Вы опоздали! Конец! — рассмеялся я над птицами. — Вы вызываете устаревшие ассоциации!

Вскоре знакомые привели меня в ночной бар на шестом этаже отеля, где было особенно приятно сидеть на прохладном ветерке, постоянно дующем с моря. Как и каждую ночь, здесь было полно посетителей: преимущественно мужчин — постояльцев отеля, причем только белых. Впрочем, нет: за одним-единственным столиком в углу я увидел троих гвинейцев. Они приткнулись здесь, одинокие и оробевшие, так, словно непрошенные ввалились в чужую квартиру.

Пока мы так сидели в ультрасовременных креслицах, поблескивающих металлом, я с интересом огляделся вокруг. Здесь собрался настоящий интернационал. Были, конечно, и французы, наверняка директора крупных торговых

компаний, еще действующих в Гвинее. Но в общем говоре слышались преимущественно другие языки: английский, возможно, голландский, однако чаще всего — немецкий и различные славянские. Возникновение независимой республики, которая внезапно оказалась экономически оторванной от Франции, привлекло сюда с разных концов света представителей многих стран, но на этот раз противников колониализма, демократов, жаждущих помочь молодому государству.

И вот они сидели, удобно развалившись в креслах, некоторые курили сигары на манер Черчилля. Но чем дольше я на них смотрел, тем больше удивлялся. Я был готов подумать, что это фантастический сон, что я смотрю на странные сказочные фигуры, которые возникли в ту, предшествующую колониальную эпоху и как бы чудом вдруг явились сюда. Почти все они были какие-то надутые и важные, их властные взгляды и лица, полные спокойного превосходства, излучали самодовольство и самоуверенность.

Можно было лопнуть со смеху: ведь почти все они преследовали честные намерения и вовсе не собирались доить Африку, а между тем держались странно. Очутившись в этом дворце золотого идола, они встали — по закону бессознательного подражания — в позу неоконквистадоров. Неужели, войдя в это роскошное воронье гнездо, им надо было каркать по-вороньи? Разумеется, на самом деле это было не так, но зрелище было странное.

Тогда мне пришли на ум вороны перед отелом, и я с иронией подумал, что надо бы их извинить: может, канальи не без причины каркали так хищно, глядя на спесивые лица людей?

Гвинейцы

Конакри насчитывает предположительно около шестидесяти тысяч жителей. Здесь собрались выходцы со всех концов Гвинеи, представители почти всех гвинейских народностей и племен. Чаще всего встречались в столице люди из народности сусу[213], населяющие прибрежный район, статные, с кожей не черной, а темно-коричневой. Фульбе[214] с гор Фута-Джаллон были темнее, имели более грубую внешность, так как пришли некогда из дальних восточных районов. Подвижные и предприимчивые мандинго[215], черные, как эбеновое дерево, происходили из восточных районов Гвинеи, где река Нигер омывает присуданские саванны. Люди из-под Нзерекоре, окруженного на границе с Либерией тропической чащей, принадлежали к немногочисленным в Гвинее приверженцам анимизма и неохотно высывали носы из своих дубрей, хотя выращивали важную для экспорта культуру — кофе — и имели деньги.

Средний житель Конакри независимо от того, какую народность он представлял, был человеком в высшей степени приятным. К кому бы я ни обращался, мне всегда отвечали быстро и очень охотно, часто предлагали даже проводить куда требовалось.

Это делалось не из подобострастия: ведь я мог быть и французом, а французов гвинейцы очень не любили. Из желания получить на чай — случалось, но очень редко. Просто это была врожденная африканская вежливость, отзывчивость — черта приветливого характера. Все гвинейцы, которых я встречал, отличались одной общей особенностью: они хотели быть счастливыми и, казалось мне, умели быть счастливыми, поэтому они легко раздражались смехом,

что часто резало слух европейцев, менее, чем они, довольных жизнью.

Другой очаровательной чертой гвинейцев была быстрота ума, ярко выраженный интеллект.

Незадолго до отъезда из Польши я разговаривал с одним начитанным и образованным знакомым, который, так же как миллионы других европейцев и американцев, решительно утверждал, что африканцы мало развиты в умственном отношении и не способны к управлению современным государством. Это, несомненно, было отражение (бессознательное, поскольку речь идет о моем знакомом) того страшного морального ущерба, который нанесла одна раса другой. Белые в течение многих веков не только вели торговлю африканскими невольниками, доводя людей и весь континент до страшной, неправдоподобной нищеты, не только расхватывали петом Африку по кускам, но, кроме того, желая оправдать свои преступления, клеветали на целую расу так систематически и так лицемерно, что мир поверил в ее неполноценность и неспособность к самостоятельному существованию.

Я хотел бы, чтобы мой знакомый оказался со мной в Африке и встретился, как я, с разными людьми. Диоп Альсано, министр информации, человек чуть старше тридцати лет, обладал легкой и точной манерой выражения, редко встречающейся среди европейской интеллигенции. Уже на втором-третьем слове своего собеседника он подхватывал всю его мысль и тотчас отвечал с величайшей точностью и исключительным обаянием. Он был полон здорового воодушевления, и ему мог бы позавидовать не один министр наших широт.

Его правая рука Фовлер при столь же живом уме был великолепным организатором, и, где бы я ни появлялся в гвинейском бруссе[216], даже совсем далеко от центра, местные власти, согласно нашей договоренности, были подробно осведомлены о моем приезде и толково помогали мне (как в Гвинее, так позже и в Гане). Третий гвинеец, с которым я часто беседовал в Конакри, — Раи Отра из Государственного института исследований и документации, стремительный, усталый, нервный. До чего же он напоминал своей нервозностью некоторых интеллектуалов Европы! Таковую же стремительность ума я встречал повсюду в глубине страны, среди различных слоев населения, в том числе и у тех простых деревенских жителей, с которыми, если они знали французский, я мог разговаривать. Их здравый ум и способность к ассоциативному мышлению особенно проявлялись в бесчисленных поговорках, которые свидетельствовали о незаурядной наблюдательности.

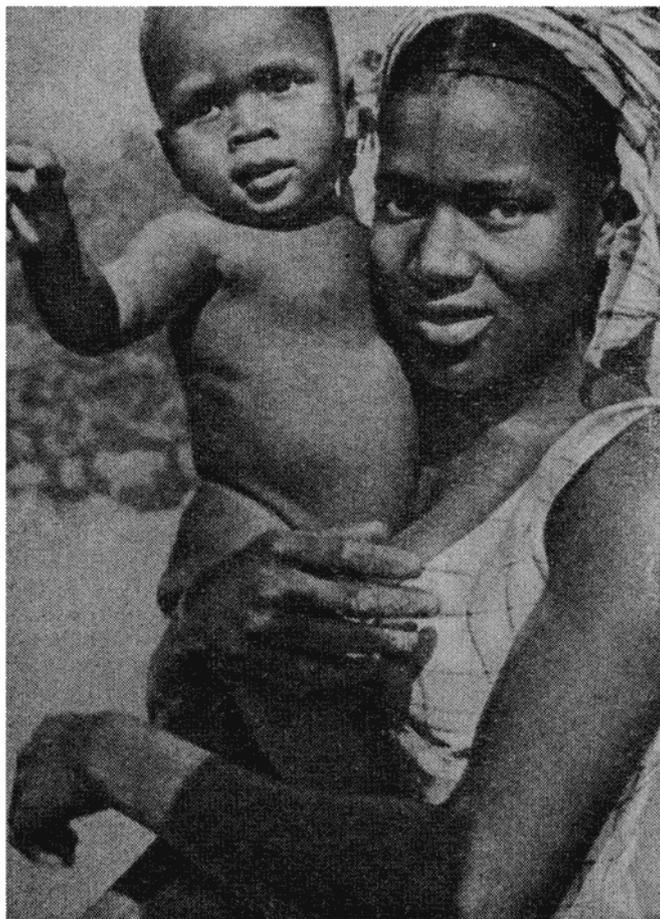
подавляющая часть европейцев, которые с давних пор осели в Африке, пожалуй, не разделят моего мнения. Да это и понятно: нужно немало усилий и просто упорства, чтобы сбросить с себя массу предрассудков, накопленных в Европе за несколько веков. А многие белые, чтобы убедить меня, привели бы в пример своих боев, законченных болванов. Возможно, что на эту службу шли самые глупые, но не исключено, что и самые ленивые люди, выдающие себя за глупцов для собственного удобства. Но считать недоумками либо растапами тех африканцев, которых я узнал, было бы абсурдом.

Уже после краткого пребывания в Гвинее я убедился, что молодое государство прочно опиралось на творческую интеллигенцию правящих кругов, сильную партию, обеспечивающую прогресс, дисциплину и единство этой этнической мозаики, а также на неистребимо живое воодушевление широчайших масс. Если к этому присоединить значительную и бескорыстную матери-

альную помощь стран социалистического лагеря, можно смело утверждать, что эта очень молодая республика была не мотыльком-однодневкой, а настоящей бабочкой с ножками и крылышками. С чувством глубокого удовлетворения воспримет эти слова мой просвещенный и начитанный знакомый в Польше, как вынуждены были принять их с чувствами гораздо менее определенными некоторые встревоженные круги на Западе.

Гвинейки

Африканки в противоположность африканцам всегда были у европейцев на хорошем счету, и их репутация с незапамятных времен оставалась безупречной. Я сказал бы, что отношение здесь примерно такое же, как к полькам: иностранцы всегда отзывались о польках весьма одобрительно, совсем не так, как о поляках. Во Французской Западной Африке африканки всегда оценивались исключительно с точки зрения чувственности, потому и нравились они французам безумно, когда были молоды, соблазнительны и «падки на грех». К этому милому предмету частенько обращались как в жизни, так и в литературе, обращались с беззаботной готовностью, облеченной в чувственную поэтичность не обязательно высшего класса.



Юная мать

Мне припомнились забавные перипетии некоего Луи Жаколлио, который в 1871 году прошел на корабле вдоль всего побережья Западной Африки и потом издал книгу о своих приключениях. Однажды он получил в подарок от одного прибрежного царька двух четырнадцатилетних невольниц. Путешественник описал прелести этих «скульптур, олицетворяющих юность», так заманчиво, что даже у англичанина потекли бы слюнки, но потом у бедняги по-

убавилось боевого пылу, и он не знал, что ему делать с соблазнительными невольницами. Француз, а не знал! Он хотел отослать их на берег, но это обидело бы царька и привело бы к гибели девушек. К счастью, его избавил от хлопот корабельный кок, бравый мулат, который согласился принять их в дар и знал, что с ними делать.

Через несколько дней другой царек поверг Жаколлио в те же заботы, пригласив к нему на корабль еще более очаровательную деву. Ей было тринадцать лет, но это была вполне зрелая женщина, совершенно нагая в знак того, что получивший этот дар должен немедленно им воспользоваться. После захватывающего описания ее красоты наш плут снова вывернулся и опять отдал молодку коку. Однако на этот раз пришлось прибавить солидную выпивку, чтобы склонить его принять жертву. Но несколько дальше, где-то у Берега Слоновой Кости, хват, рожденный в рубашке, попал в ловушку: приглашенный вместе с капитаном корабля к богатому вождю на пир, он остался ночевать на берегу и вынужден был выбрать себе на ночь среди жен правителя лучшую женщину и при этом непременно воспользоваться ее услугами. Однако и на этот раз добродетель восторжествовала и хитрец подкупил женщину, с тем чтобы она не выдала его своему господину. Вскоре вождь заключил с Францией дружественный союз.

Книга Жаколлио имела во Франции огромный успех и пробудила у тысяч молодых французов желание двинуться к южным рекам в поисках приключений и богатств. А возбуждающая читателей «растерянность» превосходного шутника представляется сейчас, по прошествии нескольких десятилетий, сверхостроумным пропагандистским трюком.

Итак, в основном все путевые очерки об этих краях отдавали щедрую дань достоинствам африканок. Еще в 1959 году Фернанд Жигон в книге о Гвинее, по характеру скорее политической, позволил себе отступление от темы намеком на «узкие бедра и упругие груди» гвинеек, а их «королевскую осанку» — следствие ношения тяжестей на голове — прославлял каждый, кто чувствовал к этому призвание.

Действительно, юные африканки были необыкновенно стройны, высший класс на европейский вкус, но их стройность страшно быстро исчезала: после первого ребенка, как правило, задолго до двадцатого года жизни, молодая мать с гордостью носила свои обвислые груди, так как в глазах ее соотечественников именно это было высшим выражением достоинства, а значит, и красоты.

Королевская осанка — это то, что они действительно сохраняют даже в пожилом возрасте. Но я с сожалением обратил внимание на то, чего, разумеется, не было в гимнах поклонников прекрасного тела, — довольно безобразные ноги подавляющего числа африканок, вероятно несчастное следствие рахита, очень здесь распространенного.

На улицах Конакри можно было видеть также много француженок, работающих в бюро здешних предприятий. Почти все они были хороши, обаятельны, со вкусом одеты, классически стройны, хотя многие и не молоды. Они выглядели так, будто лезли вон из кожи, чтобы затмить своей грацией всех прочих женщин, — и затмевали, тем более что африканки, словно бы в противоположность француженкам, стремились двигаться неловко, широко расставляя ноги и безобразно колыхаясь на ходу.

Теперь волокитство за гвинейками ушло в прошлое. Гвинейка стала неподатлива, замкнулась перед белым. Она уже не смотрела на него, а если и взглядывала случайно, то как на неодушевленный предмет, без тени кокетства. Как и все новые государства с прогрессивными устремлениями, возникшие из бывших колоний, Гвинея вступила в период небывалой суровости нравов. Эпохальные перемены захватили африканку. Она ощутила тягу к социальным проблемам и решила вместе с мужчиной строить новую жизнь.

Если бы Луи Жаколлио воскрес, он был бы просто ошеломлен, не поверил бы своим глазам.

Рене Леклерк, человек лет тридцати, холостяк с черными усиками и буйным темпераментом, переживал, как и другие здешние французы, свой крах; правда, не так остро, как другие, так как имел шансы остаться в Гвинее еще довольно долго и на недурной должности. Несмотря на это, он костил новые порядки на чем свет стоит.

Когда однажды к вечеру мы встретились, как уже не раз, в «Авеню Бар» на главной улице и он полушутя-полусерьезно снова завел привычную песню, я прервал его и, находясь в приятном расположении духа, предложил более интересное развлечение — поглазеть на гвинеек. Мы сидели на террасе, которая, как и во французских кафе, выходила на улицу. Отсюда было удобно рассматривать прохожих.

Леклерк питал слабость к гвинейкам: он любил рассказывать о своей очаровательной подружке, которая однажды завоевала его сердце, но год назад оставила его с носом, так как стала пламенной патриоткой. С тех пор он мечтал найти преемницу, но тщетно: для французов настали плохие времена и в этом отношении.

Я же, оседлав своего конька, доказывал Леклерку за рюмкой аперитива на проходящих мимо живых примерах, насколько француженки более соблазнительны, чем гвинейки. Он смешно морщился и настаивал на том, что это не так, что их нельзя сравнить с гвинейками, но в этом потешном споре я разбил его наголову: какая бы француженка ни прошла мимо — пальчики оближешь; гвинейка же — ни рыба ни мясо, просто взглянуть не на что. Я явно выигрывал спор в этот день, и только такая упрямая дубина, как Леклерк, мог стоять на своем. В нашей веселой стычке Леклерк впал в шутливую запальчивость.

— Спорим на два аперитива, — крикнул он как бы в отчаянии, — что следующая француженка будет страшна как ведьма, а гвинейка — игрушка!

— Идиот несчастный! — рассмеялся я. — Вы уже проиграли, ставьте аперитивы!

Улица в это время дня была довольно пустынна, но вскоре мы увидели в отдалении двух женщин, белую и африканку. Они были молоды и шли вместе. Когда они подошли, я не поверил своим глазам: белая была коротконогая, приземистая и вообще «так себе», гвинейка же была хорошо сложена и изящно переступала стройными ногами. Яркая одежда, напоминающая национальный костюм: длинная, зауженная книзу юбка и коротенькая кофточка с широкими фалдами на бедрах и очень узкая в талии, — прекрасно подчеркивала ее стройность. Ко всему этому у нее было прелестное личико с правильными благородными чертами. Поразительна красота африканки! Леклерк знал этих женщин и сердечно приветствовал издали.



— Моя кузина, — объяснил он тихонько, когда они проходили мимо.

— А эта гвинейка?

— Мое фиаско! — скрипнул Леклерк зубами. — Уговаривал, убеждал — не вышло. Общественница, *sacré nom d'une chienne!*[217] Учится ухаживать за больными и задирает нос, *mâtinne*[218] этакая!

Он долго провожал красотку меланхоличным, голодным взглядом.

Обрадованный тем, что увидел такую красавицу гвинейку, я вдруг расхохотался:

— А я ведь проиграл пари!

— Мы проиграли больше! — рявкнул отверженный любовник.

Дороговизна

Перед моим отъездом из Польши молодая хорошенькая кассирша из Министерства культуры и искусства, вручая мне английские фунты, сказала требовательно:

— По возвращении на родину прошу принести мне отчет.

— ?! — Я изобразил на лице недоумение.

— Мы должны проверить, правильно ли вы расходовали валюту.

— Как... как это понимать: правильно ли? — растерялся я не на шутку.

— Мы должны проверить, не тратили ли вы больше одного фунта одиннадцати шиллингов в день, сокращая тем самым срок своего пребывания в стране.

— Понятно, — сказал я, попрощался и уехал.

По одному фунту одиннадцати шиллингов в день — это пропасть деньжищ, казалось в Польше: почти триста пятьдесят злотых, ого-го!

В Конакри, как уже было сказано, меня поместили на первую ночь в «Отель де Франс». Задохнувшись, весь в поту, я тотчас воспользовался теплым душем и, освеженный, почувствовал такое же блаженство, как принявший ванну литейщик Иван Козырев из стихотворения Маяковского. Затем я внимательно осмотрел номер. Мое внимание привлекла табличка на дверях: цена комнаты за ночь — две тысячи восемьсот африканских франков. Это превышало четыре английских фунта. Правда, у меня была валюта еще и из другого источника, но при таких бешеных ценах любой человеческий расчет летел к чертям! Я схватился за голову и со страхом подумал о молодой хорошенькой кассирше. Потом она снилась мне всю ночь, но как снилась, брр!

На следующее утро я завтракал на знаменитой круглой террасе, откуда открывался прекрасный вид на пальмы, воронов и острова Лос. Завтрак — два вареных яйца, хлеб, немного масла и чашка кофе, но цена солидная: шестьсот франков или один фунт. Ко всему этому — обязательные чаевые. Черт побери, великолепные-то пейзажи дороговаты!

В десять утра ко мне пришел министр информации Гвинеи, обаятельный Диоп Альсано, который, узнав о моих финансовых затруднениях в «Отель де Франс», обещал поместить меня сегодня же в правительственной гостинице даром. Гора свалилась у меня с плеч, и я готов был обнять его. Но ничего не вышло: Диоп Альсано, наверно, забыл об обещании. На последнем пределе сил и нервов, в час Филона, когда уже зашло солнце, а собаки уснули, достиг я, как избавления, третьеразрядного отеля «Парадиз», который, и правда, показался мне раем: номер стоил всего лишь восемьдесят франков или один фунт три с половиной шиллинга. Я вздохнул с облегчением.

Номер был ужасный, омерзительная дыра, стены грязно-кремовые, отвратительно заляпанные белыми пятнами гипса, — олицетворение неряшества и нищеты. Тем не менее в переводе на фунты он стоил дороже, чем изящный, чистенький номер с роскошной ванной, холодной и горячей водой и видом на Балтийское море в «Гранд отеле» Сопота. Сравнить их — небо и земля, точнее, небо и чистилище. Но, повторяю, я вздохнул с облегчением.

Не могу объяснить этой невероятной дороговизны. Перед второй мировой войной Франция и ее колонии принадлежали к числу стран, жизнь в которых была наименее дорога. Зато после войны цены здесь стали самыми высокими

в мире. Произошли ли какие-то фатальные финансовые потрясения, или виной тому дорогостоящие послевоенные авантюры в колониях — довольно того, что Франция выпускала здесь товары непомерно дорогие по сравнению с продукцией других стран. Но еще дороже все стало в новой Гвинее, стране, которая вот уже больше года была начисто отрезана от прежних источников снабжения.

Цены здесь были сумасшедшие: постричься — девять шиллингов, постирать рубашку — четыре шиллинга (а рубашки надо было менять самое меньшее раз в день), средний обед и такой же ужин — по пятнадцати шиллингов. Шофер такси за один километр езды по городу сумел содрать с меня двадцать четыре шиллинга, и то после страшного торга: сначала хотел два фунта. Когда в Кундаре, отдаленной от Гвинеи на шестьсот километров, испортилась наша машина, с нас запросили двести долларов, чтобы довезти ее на самосвале в Конакри, и мне пришлось бы заплатить, если бы отзывчивые представители власти не уступили собственные средства передвижения.

Скромное существование и отель в Гвинее стоили три фунта в день, столько же составляли прочие затраты, а кроме того, случались чрезвычайные и необходимые расходы: например, перелет до Нзерекоре и обратно (тридцать пять фунтов) или из Гвинеи в Гану (сорок пять фунтов).

В тот период, когда я был в Гвинее, она являлась, пожалуй, самым дорогим углом под солнцем, во всяком случае, она оказалась самой дорогой из всех стран, где я побывал.

По возвращении в Польшу я с чистой совестью смогу отчитаться перед всеми: перед издателем, министром, общественностью, но неуверенным шагом, с беспокойством в сердце я приближусь к грозному арбитру — молоденькой хорошенькой кассирше.

Победа

В последующие дни и недели судьба не поскупилась для меня на удивительные и опасные приключения, но, чтобы лучше во всем разобраться — хотя бы в том, за что меня арестовали, или в том, что несколько позже я оказался в весьма необычном положении и были моменты, когда казалось, что до серьезной опасности всего один шаг, — стоит коротко, в общих чертах, набросать контуры событий, происходивших в Гвинее.

Когда в XIX веке Франция стала превращаться в колониальную империю, она — в противоположность Великобритании — с самого начала старалась ассимилировать свои колонии с метрополией до такой степени, чтобы они как можно скорее стали неотъемлемой частью Франции, а их население — цветными французами низшей категории. «Наши предки галлы...» — велено было учить маленьким мальгашам по французскому букварю, до тех пор пока сами французы не отказались от этой чепухи.

Проще говоря, Франция вцепилась в свои колонии много крепче, чем другие колониальные державы, и именно поэтому, когда пробил исторический час, она не смогла этого понять и не хотела ничего уступить.

Тем временем результаты второй мировой войны, то есть банкротство Франции и рост авторитета Советского Союза, разожгли стремление африканских народов к свободе. После войны Франция, готовясь к кампании в Индокитае, вначале не подавляла этих стремлений. Доказательство этому, например, — ее согласие на съезд в Бамако на Нигере в 1946 году. Это был съезд африканских патриотов из всех французских владений в Африке. Однако позже Франция предприняла кровавые военные репрессии и на Африканском континенте, и на Мадагаскаре.

Только поражение в Индокитае, алжирская война, а также возмущавшая французов «уступчивость» Великобритании по отношению к Гане и Нигерии принудили Францию к отступлениям. В силу так называемого loi cadre[219] она признала некоторую автономию отдельных частей французской Африки и, между прочим, — право на создание партий, даже с антиимпериалистическими тенденциями. Ведь она была уверена в том, что легко сможет и дальше держать африканцев в узде, подкупая их лидеров разными способами — личными или почестями. В общем, эти методы имели успех, как об этом свидетельствует пример премьера Уфуа-Буаньи с Берега Слоновой Кости, который из горячего борца за африканскую независимость превратился во французскую марионетку.

Иначе разворачивались события в Гвинее. Это была колония более бедная, чем другие, и более страдающая под гнетом деспотической администрации. Возникшая здесь Демократическая партия Гвинеи образовалась преимущественно из членов профессиональных союзов и придерживалась поэтому более левой и боевой позиции. Во главе ее встал человек незаурядного ума и выдающихся способностей, блестящий организатор Секу Туре. Используя опыт стран социалистического лагеря, Секу Туре овладел сам и обучил своих товарищей организационным методам этих демократических государств. Вскоре его партия завоевала прочные позиции во всей Гвинее. Во всех более или менее крупных деревнях создавались партийные ячейки. Администрация колоний была вынуждена считаться с партией, была вынуждена смириться с вы-

бором Секу Туре бургомистром Конакри, а после решающей победы партии на сельских выборах в начале 1956 года — полностью демократизировать руководство кантонов, которое до этого времени служило орудием угнетения народа.

В сентябре 1958 года состоялся референдум. К удивлению Франции, гвинейский народ почти единогласно, а именно девяносто пятью процентами голосов, проголосовал за независимость своей страны. Демократическая партия Гвинеи уже достаточно окрепла и закалилась (французские государственные деятели пренебрегали этим обстоятельством) и не дала себя ни запугать, ни подкупить.

В отместку разгневанные колониальные власти в течение трех недель лишили Гвинею всего чиновничьего аппарата, армии, полиции, надеясь, что страна падет жертвой анархии. Но они вновь не учли оперативности партии и энтузиазма народа. Жизнь страны быстро вошла в нормальную колею, «орды фульбе», как предполагали колонизаторы, не обрушились с гор, не пришли грабить столицу, и угрозы и зловецкие предсказания не оправдались.

Победа молодой республики, разумеется, не принесла идиллического мира. Французская Африка все еще продолжала бурлить. В странах, соседствующих с Гвинеей, действовали силы, которые тяготели к абсолютному разрыву с Францией. И, напротив, были там силы, поддерживаемые недавней колониальной администрацией и угрожающие независимости Гвинеи. Нельзя было ни выпускать оружия из рук, ни почивать на лаврах. Гвинейцы должны были быть бдительными, и, если их бдительность приобретала иногда уродливые формы, кто — будем справедливыми — мог бы их в этом упрекнуть? Ведь они едва лишь год сами правили страной!

Прорезаются зубы

Однажды после полудня я позвонил из своего отеля Жирару, очень милому французу, агенту польского морского пароходства в Конакри, и пригласил его на аперитив. Жирар вскоре приехал в своем автомобиле, но, так как было только четыре часа пополудни и погода стояла чудесная, он предложил проехаться за город. Прекрасная мысль.

Как я уже упоминал, Конакри построен на самой оконечности полуострова Тумбо. Здесь уже не осталось места для застройки, и она пошла узкой полосой вдоль единственной автострады, ведущей из города в глубь страны. По этой дороге мы и поехали.

Предприятия, магазины, жилые дома и хижины тянулись еще несколько километров, чем дальше, тем все более скромные и редкие, но, даже когда и они перестали попадаться, одно оставалось без изменения: люминесцентные фонари на высоких столбах, которые поднимались над дорогой через каждые пятьдесят метров. Я радостно приветствовал их, как хороших знакомых. Два или три года назад, после какой-то там международной ярмарки, в Познани появились точно такие же лампы. В те времена они казались познанцам, гордым своим приобретением, последним словом техники и прогресса. А здесь фонари уже давно светили жителям предместий Конакри и зверюшкам в начинающемся бросе черного материка. Я посмеялся, вспоминая Познань и ее приобретение.

«Пежо» Жирара без труда достиг бы скорости сто двадцать километров в час на таком асфальте, но, так как это была прогулка, мы не превысили и восьмидесяти километров. Несмотря на это, я чувствовал, что, как говорится, крылья вырастают у меня за плечами; ведь это была моя первая встреча с настоящей Африкой.

Конакри уже через несколько дней по горло хватало тому, кто не имел своей машины, не любил пыли и не располагал достаточным временем, чтобы терпеливо переносить пустопорожние обещания властей. Поэтому теперь я с наслаждением пожирал глазами африканский пейзаж, когда, миновав аэродром, мы въехали в типичную саванну. Это была широкая степь, покрытая высокой и сухой в то время года травой, в которой то там, то тут поднимались группы деревьев, так что издали они казались как бы сплошным парком. Преобладали приземистые купы сочной зелени — манго и оливковые пальмы: манго были похожи на толстых Санчо Пансо, пальмы — на высокие щуплые фигуры безумных рыцарей.

При свете заходящего солнца, всегда выгодном для демонстрации женской красоты и пейзажа, все зарозовело и стало приятным для глаз. И нам было хорошо, потому что мы вырвались из душливой атмосферы Конакри и, как очарованные птицы, летели в огромную Африку, материк нераскрытых тайн. Нас переполняло радостное ощущение свободы.

Так хорошо нам было до самого Кояха.

В Кояхе, маленьком городишке, ничем не примечательном, Жирар остановил машину на площади и выскочил купить папирос. Я тоже вышел и от нечего делать снял с плеча фотоаппарат — хотел что-нибудь сфотографировать. К несчастью, куда бы я ни направил свой объектив, нигде не было ничего интересного — ни домов, ни людей. Поэтому я закрыл аппарат и хотел было

его спрятать.

Вдруг я увидел, как из какого-то дома на площади выскочил возбужденный гвинеец и энергичным шагом направился ко мне. Его суровый взгляд не обещал ничего хорошего. И действительно, подойдя ко мне, он показал на аппарат и резко потребовал:

— Покажите разрешение на фотографирование!

— Excusez-moi![220] — усмехнулся я, удивленный. — Кто вы такой?

Гвинеец был в штатской одежде.

— Полиция! — ответил он коротко.

— У меня нет никакого разрешения, — объяснил я как можно вежливее. — Я не знал, что оно необходимо.

— Без разрешения нельзя фотографировать! Дайте мне пленку, — приказал он.

— Но я же ничего не снимал, — защищался я. — Посмотрите — на счетчике первый кадр!

Он убедился, что на фотоаппарате действительно стоял первый кадр, и потребовал:

— Удостоверение личности.

— Но у меня его нет: я четыре дня назад прибыл на пароходе, и паспорт все еще в Sûreté[221].

— Прошу следовать за мной! — проворчал он и поманил пальцем Жира: — Вы тоже!

Он повернулся к нам спиной и пошел, мы покорно побрели за ним.

С юмором висельника я подумал, что роли переменились и черный человек за вековое унижение брал теперь скромную плату с белого. Мне рассказывали, что недавно полиция недурно потрясла одного француза, когда он не захотел тотчас показать удостоверение личности, а четыре месяца назад чешского киноработника, который путешествовал в глубине страны со всеми необходимыми документами, усердные власти какого-то местечка даже посадили на три дня в холодную, пока дело не выяснилось. Правда, здесь, в полусотне километров от столицы, мне не угрожали такие передряги, но я решил быть начеку.

Когда мы входили в комиссариат, сюда уже сбежалось несколько десятков жителей Кояха; плотной толпой они заплотонили двери и все окна строения, с интересом наблюдая за происходящим спектаклем.

Гвинеец, который нас задержал, был комиссаром полиции. Он немедленно уселся за стол и стал писать протокол. Он потребовал назвать не только мое имя и фамилию, но также имена и фамилии моих родителей, жены и детей. Комиссар поинтересовался, когда я родился, когда женился и откуда родом моя жена. Я охотно и вежливо отвечал на все вопросы. Узнав, что я поляк, он недоверчиво посмотрел на меня, но все его сомнения исчезли, когда я назвал корабль на котором прибыл, — «Щецин». Француз не смог бы выговорить трудного слова так правильно. А когда я объяснил ему вдобавок, что я намерен написать о Гвинее хорошую книгу, так как я писатель, он немного сбавил тон и, к разочарованию жителей, разрешил нам уехать.

Я был все время предупредительно вежлив и внимательно следил за тем, чтобы ничем не задеть его самолюбия. Думаю, что это значительно помогло решить дело в нашу пользу.

Когда мы сели в машину и уже тронулись, за нами выскочил одетый в мундир полицейский, энергично нас остановил и приказал направиться в комиссариат. Пахло издевательством, но и это испытание мы выдержали отлично, без колебания исполнив приказ. Городскую общественность, которая уже расходилась по домам, жестоко обманутая в лучших чаяниях, охватили новые надежды, и вся компания с большим воодушевлением снова понеслась к комиссариату, уверенная, что увидит экзекуцию над белыми преступниками.

В комиссариате мы сели на прежние места, только комиссар допрашивал теперь Жирара, составляя такой же подробный протокол. Закончив, он потребовал назвать номер моего фотоаппарата, после чего разрешил нам уйти, на этот раз уже окончательно.

На прощание мы подали друг другу руки, но, произнося обязательное *au revoir*[222], я засмеялся.

— Нет, больше мы сюда не приедем, разве только с надежным разрешением на фотографирование!

— *C'est ça!*[223] — ответил комиссар официальным тоном.

Жирар сразу за Кояхом набрал скорость не меньше ста километров, словно опасаясь погони, и добрую четверть часа мы угнетенно молчали. Потом, посмотрев друг на друга, одновременно разразились смехом.

— У них режутся зубы, — авторитетно произнес я, — и я прекрасно это понимаю. Это историческая необходимость, так же как и то, что мы немедленно должны выпить аперитив!

Мы выпили его по дороге, на веранде, в баре аэровокзала, и были свидетелями другого проявления исторической необходимости, значительно более серьезного: два больших самолета «Эр Франс» стояли готовые к отправлению, один в Париж, другой в Абиджан. По данному полицией знаку две группы по несколько десятков пассажиров высыпали на поле и заторопились к самолетам. Каждые два-три дня такие группы французов, преимущественно молодых, покидали Гвинею.

Бабочки

Я не успел еще получить никакого известия от семьи или знакомых из Польши, как мне вручили в Конакри необычное письмо. Необычное потому, что оно было послано четыре дня назад из Чеховиц-Дзед-зиц и дошло за исключительно короткое время. Удивительно было и то, что оно вообще дошло до меня. Адрес был такой: «Аркадию Фидлеру, Конакри, Гвинея». Распечатав его, я не мог сдержать волнения. «Наверное, — писал некий Ян Войтицкий из Чехо-вид-Дзедзиц. — пан удивится моему письму, а может быть, и нет, потому что все любят пана за книги, написанные паном. Я натуралист, коллекционирую бабочек и насекомых и страшно завидую возможности пана ловить бабочек. Пан так мало пишет о бабочках, а больше все о птицах и млекопитающих. Я не знаю, дойдет ли это письмо до пана, так как адрес взял из газеты. Если дойдет, то очень прошу прислать в ответ несколько слов и несколько бабочек, а по возвращении пана — милости просим к нам...»

Пан Войтицкий приложил к письму традиционную просвирку к «наступающим праздникам» и закончил просьбой не сердиться за его дерзость.

Я не рассердился; по правде говоря, письмо растрогало меня и ввело в раздумье. Какая это великая, святая страсть — коллекционировать бабочек. Насколько она благороднее, чем обыкновенная охота, которая удовлетворяет атавистическую потребность добывать мясной корм. Напротив, ловля бабочек удовлетворяет высшие порывы, у ее истоков — культ красоты. Даже бездушные коллекционеры поддавались ее магии и время от времени заглядывали в свои коллекции, наслаждаясь великолепием красок.

Просьбу с далекого севера я принял близко к сердцу, но ее трудно было выполнить. Зима в этой части Африки хотя и пышет тяжелым зноем, но приходится на сухое время года, когда за долгие месяцы не выпадает ни капли дождя и с некоторых деревьев опадают листья. Вся растительность теряет животворные соки, впадает в оцепенение, а вместе с ней исчезает и все насекомое племя.

Бабочки не совсем вымерли, они попадались кое-где, но, к сожалению, их было совсем мало.

Бродя по городу, я поглядывал на деревья — то на манговые, то на кокосовые пальмы: бабочек и следа не было, видно, не нравились им деревья и уж наверняка — уличное движение и бензиновый смрад. Ведь достаточно было чуть выйти в пригород, в заросли роц, как становилось веселее и жизни вокруг больше.

В четырех километрах от центра города находилась резиденция нашего торгового представительства, и я часто приходил сюда к гостеприимным хозяевам обедать. Резиденция утопала в саду из декоративного кустарника, где преобладали огненные гибискусы[224], а дальше сад сливался с буйными зарослями африканского предместья.

Идиллический хаос зелени был раем для бабочек, и я представляю себе, сколько великолепных экземпляров порхало здесь в период дождей. Только не сейчас, в декабре. Лишь на третий или четвертый день появилась какая-то бедняжка из заурядной семьи пестрокрылых. Однако это невзрачное насекомое воротило нос от прекрасных цветов. Не задерживаясь, бабочка полетела себе куда глаза глядят, пожалуй на верную гибель, но нам с Петрусем не было

ее жаль.

Петрусь. О, это мировой парень! Сыну торгпреда Скверчинского шел пятый год, но темперамента и ума — значительно больше, чем полагалось по возрасту. В течение нескольких месяцев он покори́л всех темнокожих ровесников в округе, болтал с ними, как с братьями, на языке сусу, а с шофером Кваме подружился не на жизнь, а на смерть. Будучи и моим другом, он воспы́лал интересом к бабочкам. Однако пламя легче было зажечь, чем сохранить. Скупая природа не позаботилась для нас о бабочках или, во всяком случае, создала их не столько, чтобы разжечь наш энтузиазм. Что из того, что однажды влетел в сад изящный парусник, весь черный, с белым пятном, огромным и удивительным (какой-нибудь *Amarius*, наверное), стремительно влетел и сразу исчез, — ну и что? Что из того, что в другой раз высоко над садом, как черно-желтый самолет, пролетел великолепный кавалер, наверное *Papilio demodocus*[225], пугливый и прекрасный, — разве этого было довольно? Довольно — особенно для Петруся? Разве у него не было больших удовольствий?

У него даже была молодая живая антилопа мина, которую французы звали *guib* и которую Кваме достал в деревушке Дабила и привез для Петруся. Прелестный детеныш отличался светло-коричневой шерстью в белую полосу и большими ложками-ушами; о такой игрушке можно было только мечтать. Петрусь мог ухаживать за антилопой, ласкать и кормить ее и — что было для него важнее всего — мог с ней фотографироваться.

С еще большим наслаждением Петрусь забирался вместе с шофером Кваме в машину, усаживался на колени к другу и начинал действовать: заводил мотор, выключал сцепление, включал скорость, вертел руль, а когда машина начинала двигаться, был уверен, что это он, инженер Петрусь, заставил ее тронуться.

Однажды для ловли бабочек открылись более светлые перспективы: унялся дьявольский харматтан, в небе стало меньше пыли и больше бабочек в саду. Бабочки, уже не такие робкие, весело порхали над кустами, а иногда даже сидели на цветах. В обществе Петруся я подстерегал их с сачком (тем самым, который блестящий зоолог Пневский из природоведческого музея в Познани одолжил мне на время поездки в Индокитай), но результаты охоты были более чем скромными: ни бабочки, ни я не проявляли должного терпения.

— А зачем ты ловишь их? — спрашивал Петрусь в минуты сомнений, когда бабочки не прилетали слишком долго. — Зачем, пане?

Ну что тебе ответить, Петрусик? Что я ловлю их для любителя в Польше, хочу доставить ему радость? Что бабочки будят во мне воспоминания о первых пламенных порывах моего детства? Что и ты, малыш, когда немного подрастешь, наверняка поддашься их очарованию? Когда-то я писал, что дети и бабочки принадлежат друг другу. Так как же, Петрусик, будешь ты им принадлежать?

Однажды прилетел кавалер — *Papilio*, такой огромный, что наши сердца сильно забились. Он поразил даже Петруся.

Papilio был черный, с желтыми и коричневыми пятнами, он величественно парил, будто надменный повелитель крылатых. Великан выглядел как спесивая птица. Он намеревался пролететь мимо, но что-то заинтересовало его в нашем саду, и он снизился. Я узнал его. Это был *Papilio antomachus*, ей-богу, знаменитый антомахус! Обычно недоступный и бдительный, неуловимый

как ветер, сейчас он сделал над кустами несколько кругов и уселся на пышном цветке гибискуса — мы не поверили своим глазам: сел, цветок даже пригнулся под ним.

Я весь сжался в хищном порыве и, как зверь, стал крадучись приближаться. Я был уже близко, еще шаг, еще полшага — и тут не выдержал. Сорвался. Я взмахнул сачком, но палка оказалась коротка, я промахнулся. Антомахус молниеносно взлетел и пропал за верхушками деревьев.

Это приключение взволновало меня, и щеки мои еще долго пылали; я охотно рассказал бы кому-нибудь, хотя бы Петрусью, необыкновенную историю бабочки: этот *Papilio* был так поразителен, что даже суровые торговцы невольниками, которые приплывали в XVIII веке к побережьям Западной Африки, обратили на него внимание и уже тогда привезли его описание в Европу. Однако первые экземпляры появились в европейских коллекциях лишь сто лет спустя, и — что самое интересное — это были исключительно самцы. Шли годы, в Европу привозили все больше этих бабочек, но по-прежнему только самцов, ни одной самки, словно их заколдовали. Натуралисты ломали голову над этой тайной — напрасно. Лишь в начале XX века был найден ключ к загадке. Ловкие самочки антомахуса выглядели совершенно иначе. Они совсем отказались от пышного наряда своих самцов и надели другие одежды, значительно более скромные, менее праздничные, зато точь-в-точь повторяющие наряд бабочек другого семейства, *Асгеа*. *Асгеа* были недоступны для врагов: они отвратительно пахли, охраняя и себя и тем самым самок антомахуса!

Кавалер этих ловких дам, пролетая через сад, и вызвал наше искреннее восхищение.

Ну, а что Петрусь? Вот шофер Кваме засигналил на улице, и мальчик как стрела бросился к нему. Он помчался туда, куда звало его сердце. Бабочкам была дана отставка. Петруся очаровал мотор: дух времени оказался сильнее всего.

Немного остыв от впечатлений, я вздохнул с облегчением и обрадовался, что мне не удалось поймать соблазнительную бабочку. Это величественное создание должно жить, а Ян Войтицкий не обидится на меня за это.

Магия

Первобытное сознание анимистов и их путаное, на наш взгляд, понятие вины неплохо отражаются в факте убийства француза Анри Мэтра, совершенного в 1935 году в Южном Индокитае.

Этот энергичный администратор, этнограф и исследователь земель, заселенных племенами мби[226], был не только блестящим их знатоком, но также испытанным другом и опекуном. Работы Мэтра, в которых он описывал жизнь и обычаи мби, принадлежат к наиболее выдающимся в этой области.

В 1935 году Мэтр продолжительное время оставался в их поселениях на границе Камбоджи и Южного Вьетнама. Прекрасно зная обычаи мби, он был достаточно осмотрителен, чтобы не проявить малейшего неуважения к ним. Они также знали о его искренней привязанности к ним и сами были к нему расположены. Несмотря на это, однажды они убили его, когда он случайно и по незнанию преступил какой-то их суровый и тайный запрет. Перед колониальным судом их объяснения звучали чертовски невразумительно для белых судей. Между прочим, они признавали, что Мэтр был их другом и что о запрете ничего не знал, но это еще более отягощало в их мистическом воображении его непростительную вину: именно будучи их другом, он должен был предчувствовать священный запрет, а раз не предчувствовал, значит, он совершил преступление против племени и должен был погибнуть.

Некий француз, Альфред Марш, издал в 1882 году книгу под названием «Три путешествия в Западную Африку». Он описал случай, свидетелем которого оказался; случай, происшедший на реке Огове (на берегу которой знаменитый Альберт Швейцер[227] позже построил свой госпиталь) в Габоне. Две девушки отправились на лодке в город, чтобы закупить соль. Выезжая из деревни, они уговорили трех подружек поехать вместе с ними, и вся веселая пятерка двинулась в путь. Однако, преодолевая пороги, лодка перевернулась, все девы упали в воду, две — те первые — с трудом добрались до берега и спаслись, зато три их подружки утонули.

Обычный несчастный случай; однако, когда спасшиеся девушки вернулись в деревню, жизнь для них стала адом. Это они уговорили подруг ехать вместе, значит, гибель девушек — это их вина, и виноваты они в том, что внутренний голос не подсказал им трагического исхода. Они совершили преступление и понесли заслуженное наказание: деревня продала их пришлым торговцам в неволю.

Приведенные выше случаи личной вины, которая возникала из-за способности предчувствовать события, живо припомнились мне однажды знойным вечером в Конакри. С секретарем нашего торгпредства Мечиславом Эйбелем мы торопились на девятичасовой сеанс в кино «Палас». По дороге Эйбель встретил знакомого гвинейца, которого мы пригласили с собой. Чуть позже девяти я подбежал к кассе у входа в кино. Из глубины зала долетали звуки какой-то музыки, как это обычно бывает перед началом фильма.

Запыхавшись, я попросил три билета, но стоявший навытяжку кассир даже не шелохнулся, только едва заметно качнул головой. Эйбель, который подошел ко мне в эту минуту, показал на висящее рядом объявление, гласившее о необходимости с уважением слушать гвинейский национальный гимн, который исполняется перед сеансами. Звуки, доносившиеся из глубины зала, и бы-

ли национальным гимном, введенным два или три дня назад: я тотчас встал по стойке смирно и стоял так, пока звучала музыка.

Когда гимн окончился, вокруг нас все закипело. Подскочили несколько грозных полицейских в мундирах и несколько агентов в штатском и начали наперегонки арестовывать всех белых, стоящих перед кинотеатром. Усердный комиссар, упитанный и экспансивный, с криком налетел на Эйбеля и на меня: «Вас я тоже арестую!» — в то время как другой полицейский держал нашего товарища гвинейца, хотя тот даже не подошел к кинотеатру. Все это произошло в одно мгновение, в сумасшедшем темпе.

— Но ведь я стоял по стойке смирно, как положено, — объяснял я очень вежливо.

— Слишком поздно встали! — гаркнул комиссар.

— Как только я понял, что это...

— Слишком поздно!! — прорычал он, прервав мою речь. — Не сопротивляться!

— Да я и не сопротивляюсь! — улыбнулся я. — А наш товарищ, гвинеец, стоял далеко от кинотеатра. Он-то уж ничего такого не сделал...

— Молчать! Вас не спрашивают!..

На его черном лице воинственно сверкали белки глаз. Я примолк, потому что и спорить уже было не с кем: нас согнали в одну кучу, около дюжины провинившихся, и окруженных со всех сторон стражей погнали в центральный комиссариат полиции, который находился, к счастью, всего в нескольких сотнях метров от кинотеатра.

По дороге Эйбель, которого вели в трех шагах впереди меня, полуобернулся, чтобы мельком взглянуть, где я. Полицейский тотчас дал ему тумака в бок и грубо толкнул вперед. Все происходило, как в классических фильмах, показывающих колонну пойманных мятежников или рабов.

Приключение и злило меня и в то же время забавляло. Забавляло, ибо мне было совершенно ясно, что мы ничего не сделали и что нас сразу же отпустят как невиновных. В комиссариате нам приказали сесть на скамью подсудимых перед судьей, гвинейцем с нахмуренным лицом. Когда мы услышали, как резко отчитал он первого, арестованного — ливанца, называя его действия преступлением, у нас вытянулись лица. Ливанца осудили на ночь заключения, кроме того, он должен был заплатить штраф — пять тысяч франков, то есть более двадцати долларов. Как мы узнали позже, все остальные, главным образом французы, понесли подобное наказание.

Судья согласился выслушать меня вторым. Нашу невиновность легко было доказать незнанием того, что означали несущиеся издалека звуки, и немедленным выполнением правил, как только стало понятно, что это национальный гимн. К моему удивлению, эти аргументы не убедили судью. С беспокойством старался я прочесть на его хмуром лице: может, ему жаль потерять жирный кусок — штраф? Кто знает, может быть, с элементами социального прогресса в нем уживались остатки мистического духа той самой деревушки на Огове, где осудили девушек за то, что они не предчувствовали катастрофы. Может, моей и Эйбеля виной было то, что мы не ощутили заранее всей значимости звуков, долетавших издалека?

Спасая свою шкуру (и мощну), я выложил судье, что приехал в Гвинею как польский писатель, жаждущий написать о молодой республике дружескую —

именно дружескую! — книгу. Но и это не произвело должного впечатления. Судья, однако, немного задумался и для надежности пожелал получить указание от самого директора полиции. Он пошел позвонить ему и вернулся с кислой миной охотника, у которого добыча выскользнула из рук.

— Можете идти! — буркнул он Эйбелю и мне.

— А наш товарищ, гвинеец? — спросил я.

— Он останется здесь!

— Но он же совсем не виноват. Он...

К нам бросились два или три агента и с профессиональной ловкостью схватили нас за руки.

— С вами кончено! Уходите! Не вмешивайтесь не в свое дело.

Мы ушли.

— Еще одно невинное доказательство того, что у молодого государства режутся зубки! — улыбнулся я Эйбелю, и мы мигом вернулись в кино, надеясь, что хороший фильм поможет забыть неприятное происшествие.

Но и здесь нам не повезло. Мы увидели конец диснеевской «Африки», репортажа из жизни животных в южноафриканском заповеднике. Фильм, цветной, великолепный по форме, был неприятен по сути: какие-то полуручные львы и леопарды непонятно почему нападали на полуручных антилоп, которые безуспешно пытались убежать и становились жертвами полуголодных хищников.

Торговцы

Большинство африканцев и все африканки имеют торговую жилку. Они любят продавать — пожалуй, это самая сильная их страсть — и любят торговаться. Некоторые народности, например хауса, занимаются исключительно торговлей, и их бродячие торговцы обходят всю Западную Африку, добираясь до каждой деревни.

В сравнительно небольшом Конакри было скорее всего не менее десяти тысяч мелких торговков. Их элита блистала до полудня на главном базаре, где продавались продукты земледелия и ремесла. Это были преимущественно матроны, дородные и гордые, и модницы, одетые так красочно, что толпа на базарной площади была похожа на сад фантастических цветов.

Эти состоятельные дамочки свысока смотрели на всех остальных торговков. Кроме них под конец дня на оживленных улицах появлялось множество женщин, которые, терпеливо просиживая до поздней ночи, выставляли на маленьких столиках свой до смешного скромный товар — пять-шесть апельсинов. Конкуренция была так сильна, что многие женщины в полночь приносили домой непроданный товар, чтобы, ничуть не разочаровываясь, повторить на следующий день тот же обряд: сидеть и ждать напрасно. Вынуждала ли их к этому крайняя нужда или это было своеобразное испытание терпения? Пожалуй, ни то ни другое. Скорее всего, так проявлялась их врожденная общительность, наслаждение чувством единства со всем городом. Эти женщины были доброжелательны, скромны, словоохотливы и деликатны.

Когда я сидел на веранде «Авеню Бар», ко мне каждую минуту подходили продавцы папирос. Этим тоже была пропасть, и у каждого — с десятков пачек заграничных папирос, не больше. Приятные молодые люди по сто раз в день слышали один и тот же отказ, но они, так же как торговки апельсинами, про-

являли философскую непритязательность терпеливых рыбаков. Кроткие, доброжелательные и улыбающиеся, они мирились с судьбой.

Поразительный контраст с этими людьми представляла другая категория купцов, запальчивых, беспощадных, алчных, настоящая банда торговцев произведениями искусства. Как не раз в истории человечества, благородное искусство получило здесь низких жрецов. В сравнении с ними Шейлок был святым, Гарпагон — Рокфеллером.

Они всегда толкались на улице недалеко от «Авеню Бар», откуда можно было наблюдать за их махинациями. Все они — примерно человек двадцать — держались вместе у одного длинного крытого прилавка и представляли собой как бы стаю голодных окуней, подстерегающих в укрытии плотву. Чернокожие собраты не интересовали их вовсе, купцы вылавливали только белых. А белые, привлеченные чудесами, летели, как слепни на огонь. Их манили работы по черному и красному дереву и работы из слоновой кости, очаровывали чудовищные маски и прелестные скульптурные женские головки, и сабли в ножнах из красной кожи, и ожерелья из магических орехов или серебра, и всякие безделушки. Чего там только не было!

Шайка настойчивых вымогателей наполняла меня страхом, злостью и отвращением. Сотни раз я зарекался иметь с ними дело, и сотни раз я, ничтожество без твердости и характера, наперекор своей злобе постыдно поддавался искушению. Я боролся, упирался, бунтовал — безрезультатно. Безумец, я в конце концов неудержимо устремлялся к кровопийцам, как к источнику в пустыне.

Подходя к их торжищам, я делал скучное, безразличное лицо и старался ни на что особенно не смотреть. Напрасные попытки. Первый с краю торговец, молодой, но уже опытный в этих делах сенегалец, через какую-нибудь минуту уже читал мои мысли. С торжествующим и насмешливым видом он выбрал из нескольких десятков статуэток как раз ту, которая мне больше всего понравилась, — бюст женщины фульбе.

— Бери! — он силой совал ее мне в руки.

Я не принимал статуэтку, пряча руки за спину.

— Бери ее! — требовал он.

— Сколько?

— Восемь тысяч франков.

Фигурка стоила самое большее тысячу.

— Полоумный! — с жалостью выпалил я и повернулся к следующему торговцу.

Молодой сенегалец набросился на меня, как шакал, и загородил мне дорогу.

— Сколько дашь? — спросил он проникновенно.

В этой компании все говорили друг другу «ты».

— Назначь разумную цену!

— Ну, давай семь с половиной!

Продолжать беседу не было смысла, потому что я доторговался бы едва до половины его первоначальной цены, а это все равно было возмутительно дорого.

— Давай семь тысяч! — страстно крикнул он.

— Нет! — пожал я плечами и уклонился от рук, которые пытались меня за-

держатъ.

Следующий торговец был похож на благодушно настроенную лису. Двусмысленно улыбаясь, он уже поджидал меня со слоном в руках.

Чуть я зазевался — и в руках оказалась тяжелая статуэтка, которая меня совсем не интересовала. Торговец не хотел взять ее назад и не позволял поставить на прилавок.

— Non, merci![228] — решительно сопротивлялся я.

— Бери! — заклинал он меня. — Десять тысяч франков. Бери!

— Слишком дорого! — решительно отказался я.

В его глазах заблестали искры хищной надежды.

— А сколько дашь?

— Триста!

Он был сражен. Этот мгновенный переход от алчной просьбы к безмерному негодованию, которое он великолепно разыграл, был полон комичного пароксизма. Торговец тотчас же наказал меня так, как я этого заслуживал: вырвал из рук статуэтку и повернулся ко мне спиной.

Все это видел и слышал другой сенегалец, но считал, что обладает более надежными средствами заполучить покупателя. Он верил в магию прикосновения, был самонадеян и стремителен, какой-то дикий черный тигр, мастерски приводивший себя в исступление. Ужасная досада! У него была чудесная статуэтка — женская головка, истинное произведение искусства, которое я охотно приобрел бы за настоящую цену. К сожалению, алчность живодера проложила между мной и скульптурой непроходимую пропасть.

— Будь же благоразумен, будь человеком! — убеждал я. Но все мои просьбы оставались гласом вопиющего в пустыне.

Восхищенный работой, я решил взять фигурку в руки, не думая о последствиях. А последствия не замедлили наступить. Сенегалец отказался взять назад статуэтку и впал в транс. Однако его магический танец и чары не помогли: я холодно положил статуэтку на прилавок среди других предметов. Тогда он в возбуждении схватил фигурку и начал подталкивать меня ею.

— Ты что, спятил? — прикрикнул я на него, выведенный из равновесия его странными движениями.

Прикосновения статуэтки должны были магически парализовать мою волю. При этом сенегалец не переставая вопил как безумный: «Сколько дашь?» В ответ я кричал: «Сколько хочешь?»

С такими выкриками мы наскакивали друг на друга. Он в ярости, а я — забавляясь. Правда, несколько нервозно.

Я хотел уйти. Но он судорожно схватил меня за плечо и удержал силой.

— Убери руки! — рявкнул я и вырвался.

У следующего торговца была, кроме всего прочего, сабля из Лабэ, страны отважных фульбе, настоящий шедевр кузнечного и кожевенного ремесла. Я мечтал об этой сабле, при виде ее у меня текли слюнки, и я заплатил бы неплохо, однако у негодя тоже текли слюнки, и он, завидя меня, жаждал содрать с меня последнюю шкуру. А я решил не поддаваться.

Торговец был явным холериком. Видя, что я приближаюсь, он уже издали бросал вполголоса заклинания в мою сторону. Он знал, как хочется мне иметь саблю, и тоже страдал, от того что я не соглашаюсь с его ценой. Он метался и захлебывался, выпучивая на меня глазищи, бегал за мной, соблазнял, разма-

хивал саблей перед моим носом и хрипел: «Шесть тысяч», но упрямо не уступал ни франка. Ну и я упирался.

Весь этот цирк с мошенниками напоминал мне сказки о принцессе, плененной злыми чудовищами. И здесь, как в сказке, жадные чудовища охраняли доступ к очаровательным принцессам, и с этим ничего нельзя было поделать. Торговцы ополчились на меня, наслаждаясь возможностью тянуть из меня жилы. Это был своеобразный вид спорта, пир садистов.

Поняв это, я изменил тактику. Я и близко не подходил и не проявлял ни в чем заинтересованности, но на расстоянии нескольких шагов медленно дефилировал перед мучителями. Чего только не делали обдиралы, чтобы заманить меня к себе. Они проклинали, умоляли, неистовствовали, показывали лучшие статуэтки, кипятились — я только улыбался и шагал дальше. Наконец-то я нашел средство против них. Сейчас мучались они, а не я, торжествующий под маской безразличия. Потешные сирены напрасно искушали Одиссея. Преимущество было на моей стороне.

Но все до поры до времени. Торговцы сговорились и отплатили мне тем же: перестали меня замечать. Я для них больше не существовал. Хуже того, они обменивались впечатлениями: я, по их мнению, нуждаюсь, карманы у меня пусты, я вынужден пытаться их обмануть и т. д. Мое оружие дало осечку.

Однажды я пришел на их сборище. Я выбрал молодого торговца, наиболее приличного и наименее циничного, и спросил его, сколько стоит небольшая маска. Он, конечно, завысил цену, но все-таки она была довольно сносной. Я купил маску, не торгуясь. Когда я платил, любопытный торговец, разумеется, заглянул в мой бумажник. Он остолбенел при виде толстой пачки банкнот, а еще больше были потрясены его приятели, видя, как я ухожу с купленной маской.

Едва я к вечеру следующего дня расположился в «Авеню Бар», как ко мне подбежал холерик с саблей в руке. У него были глаза человека, снедаемого горячкой. Он подбежал ко мне и в возбуждении бросил саблю на стол.

— Бери ее! — прорыдал холерик, подавляя ярость.

Началась обычная игра.

— Сколько хочешь?

— Бери, говорю тебе! — шипел он нетерпеливо. — Сколько дашь, сколько дашь?

— Тысячу франков! — пошутил я с издевкой.

— Хорошо, дай тысячу! — простонал он. — Дай, быстро!

Я внимательно осмотрел саблю — все было в порядке. Когда я расплачивался, у него дрожали руки. Он был рад, что получил тысячу франков, и с облегчением спрятал деньги, как бы избавившись от какого-то гнета. В то же время он оглядывался в сторону близлежащего торговища, полный злорадного удовлетворения, что обскакал своих товарищей. А оттуда уже поспешали два-три торговца, размахивая высоко над головой статуэтками. Махали широко, так, словно это были не статуэтки, а белые флаги капитуляции.

В сущности, так оно и было. Торговцы дрогнули. Более того, они были сломлены.

Французы

В отеле «Парадиз» бывали только французы. Два раза в день, в полдень и вечером, французский оазис наполнялся веселым шумом. Из города на обеды и ужины к патрону Жели приходили его постоянные посетители, всегда разговорчивые, жизнерадостные, подвижные; известно — французы. Вместе с Францией и они потерпели здесь поражение, но еще держались. Это были преимущественно мелкие предприниматели: механики, владельцы каких-то гаражей и ремонтных мастерских, и к Жели они приезжали чаще всего на своих пикапах.

Ресторан отеля «Парадиз» помещался на первом этаже и с одной стороны был полностью открыт для обозрения с улицы. В нем царила удивительно теплая атмосфера, и он вполне оправдывал свое название — «Рай». Хозяин тоже был исключительно заботлив и относился ко всем своим посетителям по обычаю французских патронов сердечно, как патриарх к своей семье. Жели было немногим более пятидесяти, но, имея мягкое сердце и при этом внушительные габариты, он за последние месяцы сильно сдал: поражение французов глубоко его огорчало. Во всяком случае, гораздо больше, чем его более молодых земляков. Эти, каждый вечер собираясь вместе, допоздна оживленно и громко болтали. Наиболее звучные голоса долетали до моего номера над рестораном и перебивали первый сон. Я не обижался на развеселившихся посетителей, с удовольствием прислушиваясь к шуму их голосов. Несомненно, самый мелодичный из всех языков мира — французский; в нем есть что-то от хрусталя и перламутра, он облекает мысли в точные и вместе с тем очаровательные образы. Я любил прислушиваться к отдельным выкрикам людей внизу.

Их пылкий темперамент был для меня загадкой. Они наверняка отдавали себе отчет в том, что являются рудиментом предшествующего правления и что гвинейцы рано или поздно выкурят их из страны, но держались так, как будто ничто не угрожало их успешным делам. А может быть, они только искусно маскировали свое беспокойство или их смятение выразалось в такой форме? Как бы то ни было, они вызывали удивление — и меня иногда подмывало обнаружить у них какой-нибудь изъян. Всегда сильные, веселые, здоровые, неутомимые, они не проявляли никаких признаков надлома, никакой слабости.

Никакой?

Это были преимущественно молодые мужчины, полные сил, заботливо откормленные и напоенные вином патрона Жели. Француженок здесь появлялось мало, других женщин не было вовсе. В колонию приезжали всегда одинокие французы, а теперешняя суровость обычаев нового государства уничтожила всякую возможность фамильярных отношений с гвинеяками. Может быть, великолепные аскеты и на этом поле одержали победу, мужественно высвободаясь от низменных инстинктов?

Однажды вечером, когда я ужинал в «Парадизе», к моему изумлению, в зал вошли две гвинейки. Несмотря на свою молодость, они, должно быть, раньше бывали здесь чаще, потому что дружески поздоровались с Жели, как с добрым знакомым. Они сели за последний свободный столик и заказали скромный ужин. Девушки держались прилично, хотя свободно и смело, с лукавой улыб-

кой осторожно оглядывали общество. Обе были недурны — одна даже совсем ничего.

А что же мои герои аскеты, эти беззаботные, закаленные, нестигаемые мастера душевного равновесия? Что за муха их укусила? При виде этих двух веселеньких девушек вся их выдержка вдруг пропала, лопнула как мыльный пузырь. Своим появлением девушки вызвали всеобщую сенсацию, так что большинство посетителей на минуту онемели, а когда беседа возобновилась, все сразу переменялось: голоса за столиками стали возбужденными, взгляды — взволнованными, лица зарумянились.

Судьба разделила присутствующих на две категории — привилегированных и обделенных. Первые сидели лицом к девушкам, вторые — спиной. Первые могли на них не только смотреть, но и проявлять свою пылкость и предпринимать отчаянные попытки обратить на себя внимание. Вторые видели лишь выражение лица и глаз этих первых и по их усердию судили об очаровании прелестниц. Им, обойденным, оставалось утешаться своей фантазией, они могли лишь пребывать в мечтах, но кто знает, может, им было и лучше, чем тем счастливицам? Во Франции влюбленные целуются при всех. И здесь какое-то любовное томление охватило гостей солидного ресторана патрона Жели.

Это было и возвышенно, и смешно. Ослабли тормоза привычной сдержанности, неумных дамских угодников охватило тихое безумие. Волна вожделевения залила зал, одни явно и нагло бросали убийственные взгляды, делали томные лица, издали заигрывали, другие, более деликатные, только беспокойно вертелись, сверкая обольстительными улыбками. Сцена, право, не лишенная комизма, если бы в то же время оголодавшая братия не вызывала известного сочувствия.

Красавчик с черными усиками за соседним со мной столиком делал вид, что разговаривает со своим товарищем, а на самом деле бросал на девушек горящие взгляды и в конце концов не выдержал: сорвался с места, подошел к их столу и... получил от ворот поворот — вежливый, но решительный. Девушки вскоре расплатились и, улыбаясь, вышли. Двое энтузиастов помчались было за ними, но вскоре, разочарованные, вернулись обратно.

Возбуждение в зале держалось еще довольно долго. Люди заказывали коньяк, дубонэ, анисовую и виски, чтобы сгладить впечатление и сбросить чары. Через какое-то время они совладали с собой, но на обычную громкую, оживленную беседу уже не хватило времени: было десять, и посетители начали разъезжаться по домам.

Новогоднюю ночь всегда и Жели проводили шумно. Вино лилось рекой, шуму было больше, чем обычно, много песен, а после полуночи пение и вовсе не прекращалось. «Madelon» и «It is a long way to Tipperary» [229] пользовались неизменным успехом. Я часто просыпался в эту ночь, слышал снизу веселые возгласы гостей и ломал голову, каких успехов желали они друг другу на Новый год. Они же все-таки реалисты и не могли обманывать себя. Слушая их, можно было подумать, что это самые счастливые люди, которые безмятежно смотрят в будущее.

Безмятежно ли?

Однажды вечером в «Парадиз» пришел пожилой джентльмен, американец, видимо, моряк с корабля, стоявшего в порту, большой болтун и страшный са-

дист. Приглашенный кем-то из французов на ужин, он просидел до поздней ночи и чего только не рассказывал размеренным, флегматичным голосом. Во время рассказа у слушателей все сильнее разгорались глаза. Оказалось, что большинство завсегдатаев заведения Жели знали английский язык и понимали американца.

В этот вечер не было остроумной французской болтовни. За соседними столиками внимательно слушали, в крайнем случае задавали короткие скромные вопросы. А неутомимый болтун не закрывал безжалостного рта и рассказывал им чудеса о Нью-Йорке. О свободе граждан, о вежливой полиции, легкой жизни и высоких заработках, о блестящих видах на будущее — словом, обо всем том, чего так остро ощущали французы в Гвинее. Изверг буквально упивался описанием дешевизны всех товаров в Нью-Йорке, опьяняя себя и слушателей подробностями. Эти сообщения действовали как орудия пытки. Ужин, такой, как сегодня, с вином, стоил в Нью-Йорке всего восемьдесят пять центов, а чудесный галстук модерн — доллар; франкфуртская колбаса с булочкой — пятнадцать центов, а несколько миль езды подземкой — десять.

Французы слушали, затаив дыхание, и видели все это смятым мысленным взором. Здесь они чувствовали себя закованными в кандалы в мрачной тюрьме — там была светлая воля. Здесь их окружало бесплодие пустыни — там текло золото, молоко и мед. Сегодня они чувствовали такую же печаль, как в тот вечер, когда «Парадиз» посетили гвинейки: изголодавшиеся танталы видели соблазнительные плоды, абсолютно недостижимые для них.

Такая уж была их собачья доля, таковы были приступы их тоски.

Помощь

Министр информации Диоп Альсано оказался энтузиастом. С ним было приятно разговаривать. Когда я приехал к нему с визитом в обществе польского торгпреда Юзефа Скверчинского, министр очаровал меня. Он не только полностью одобрил мои намерения посетить Юкункун, Канкан и Нзекоре, но, более того, не скупился на восхваление близлежащего побережья, советовал заглянуть в Боффу и не забыть о Боке. Кроме того, он пламенно заверил меня, что коменданты округов в глубине страны будут к моим услугам, что я буду ездить там на государственных машинах, а сопровождать меня в путешествии и помогать мне будет лично Раи Отра, правая рука министра, способный работник Государственного института исследований и документации. Тут же при нас министр позвонил Раи Отре.

Диоп Альсано в своем благородном порыве тратил много сил на благие намерения, и было бы совсем нетрудно изобразить в злой сатире его щедрые обещания и едко посмеяться над малым дождем из большой тучи. Но это было бы нехорошо. В конце концов, мне кое-что перепало из этого дождя и я встретил в этой стране много отзывчивых и доброжелательных людей; дело в том, что Африка — не простая страна, а Гвинея — государство молодое. Молодое, но богатое такими альсано, полными воодушевления и чарующего обаяния. Они были трогательны и брали за сердце.

От министра я сразу направился к Раи Отре. Государственный институт исследований и документации находился в красивом трехэтажном здании в конце небольшого полуострова, который был продолжением Шестого бульвара. По полуострову надо было идти через прелестную роццу. С левой стороны

шумели волны моря, разбиваясь о скалы. На скале стояли два белых рыбака. Когда я проходил мимо, один из них как раз тащил крупную рыбу, что ему нелегко давалось. На крючке билась полутораметровая морская щука из семейства *Spyraenidae*, тонкая как палка, с причудливо вытянутой верхней челюстью, напоминающей копье. Щука, обладавшая неиссякаемой силой, отчаянно защищалась: она то классически высоко подскакивала в воздух, то снова ныряла в глубину. Борьба продолжалась долго. Человек медленно закручивал катушку спиннинга и упорно, хоть и с трудом, подтягивал рыбу к берегу, но все-таки не совладал с ней: упрямая bestия мощным рывком сорвалась с крючка и была такова.

Под впечатлением этой борьбы я входил в Государственный институт исследований и документации.

Раи Отра работал на третьем этаже, на втором была библиотека, а внизу — этнографический музей с тем самым памятником французскому губернатору Баллею в окружении лесных духов.

Раи Отра приветствовал меня с искренней сердечностью. Он был, как я уже писал раньше, стремителен и нервозен и по обычаю африканских интеллигентов выпаливал слова быстро, как автоматные очереди. Он принадлежал к числу подвижных политических деятелей, несколько лет назад принимал участие в работе какого-то международного съезда в Варшаве и помнил, что там не приходилось жаловаться на отсутствие торжественной атмосферы, хорошей еды и питья и возвышенных речей. Поэтому на карте Гвинеи он тотчас же развернул соблазнительный план нашей, то есть его и моей, поездки в Юкункун, Канкан и Нзерекоре. В порыве безмерного радушия он хотел вернуть также в Керване, на родину национального героя Самори. Что же касается программы на ближайшие дни, то он обязался организовать — по предложению министра Альсано — автомобильную поездку на несколько дней в Боке, расположенный в двухстах восьмидесяти километрах от Конакри.

Раи Отра был очарователен. Приятный разговор разжег наше, а особенно мое воображение и вселил надежду на то, что путешествие в Боке будет интересным. Все казалось близким и достижимым. К сожалению, в последующие дни это ощущение стало пропадать и чем дальше, тем туманнее становились прелестные видения: вот она, непростая Африка. Я заходил в институт каждый день и узнавал, что с машиной трудно. И речь-то шла уже не только о машине, но и о самом Раи Отре. Он был неизменно обаятелен, но с каждым разом становился все более озабоченным, лицо его с каждым днем делалось все более постным, улыбка — все более жалкой. Дело дошло до того, что, замечая меня издали, он быстро хватал телефонную трубку, как орудие самообороны, и с жаром вел разговоры до тех пор, пока я находился поблизости.

Я впал в горькое разочарование, но мое огорчение было недолгим. Я усвоил, что в этой стране надо рассчитывать только на свои силы. Раи Отре не хотелось забираться в глушь. Он был как отважная морская щука. Он защищался, и забавно — эта самозащита человека будила во мне симпатию, так же как отчаянная борьба щуки.

Как хорошо я его понимал! Он принадлежал к правительственным кругам и был одним из немногочисленных в Гвинее деятелей, которые вершили великие дела, которые, начиная с основ, почти с ничего, строили новое государство. Мало того, создавали новое общество, новое мировоззрение и еще более:

раздували пламя освободительной борьбы на целом континенте. Разве можно требовать от него, чтобы он шатался где-то по дремучим лесам, сопровождая иностранного путешественника, причем такого, который явился сюда из Европы набираться впечатлений и описывать их в какой-то книжке? В Гвинее не было еще ни своей печати, ни литературы, не было писателей, поэтов, драматургов, были только гриоты или шуты-скоморохи, а они составляли низшую, презренную касту в африканском обществе. Обладая большим жизненным опытом, Раи Отра, конечно, видел разницу между ними и мной, но, увлеченный великими целями, призванный исполнять историческую миссию, мог ли он растрачивать время впустую?

Этажом ниже, в библиотеке, я столкнулся с удивительным и забавным монстром, француженкой неопределенного возраста, то есть около тридцати пяти, брюнеткой, с внешностью тоже весьма неопределенной. Она заведовала библиотекой или чем-то вроде этого и была яростной, фанатичной сторонницей прогресса. Она любила высказывать радикальные взгляды, поражая слушателей своим деспотизмом и пламенными очами, при этом ковыряя в носу. При первом знакомстве с ней я подумал, что такие глаза были, наверное, у Шарлотты Корде, когда она вонзала нож в сердце Марата.

Как многие фанатики, француженка отличалась мягкими движениями и нежным голосом. Когда я сообщил ей, что собираюсь ехать в Юкункун, чтобы ознакомиться там с примитивным племенем кониаги, она спокойно позволила мне кончить, а потом наставительно заметила:

— Вы ошибаетесь, кониаги не примитивные!

А какие?

— Они голые, это так, но не примитивные!

— И они не анимисты? — удивился я.

— Религия не имеет никакого отношения к делу! — объяснила она с достоинством.

— А вам известны, — пытался я защищаться классическими аргументами, — взгляды Энгельса на народы дикие и народы варварские?

Она медленно подняла глаза и насмешливо оглядела меня.

— Хорошо известит.

Француженка внимательно разглядывала пальцы своей левой руки, которыми минутой раньше ловко и не без грации ковыряла в носу. Немного огорченный, я чувствовал искреннее удивление при мысли о счастье, которое мне выпало: пожалуй, такой эксцентричной бесцеремонности я в жизни своей еще не видел и, наверное, больше уже не увижу.

Несколькими днями позже, накануне отъезда в Юкункун, я заглянул в магазин «Принтания», чтобы купить на дорогу немного бисквитов. В магазине я встретил библиотекаршу, которая живо и вполне серьезно обратилась ко мне:

— Вы, наверное, изучаете здесь колебание рыночных цен?

— Нет. Изучаю, что купить в дорогу.

Она была в хорошем настроении, помогла мне выбрать бисквиты, но решительно осудила саму идею. Не импортированными из Франции бисквитами, а местными орехами надлежало мне питаться в дороге. Там, на севере, в округе Юкункун, объяснила она, выращивают земляные орехи, вкусные и питательные, а купить их можно в любой деревне. Когда я заметил, что не люблю орехов, так как они застревают между зубами, глаза ее вызывающе вспыхнули,

она нахохлилась и начала меня обрабатывать, убеждая, что я должен есть орехи — непременно, безусловно, любой ценой. Эта странная особа страдала манией осчастливить человечество наперекор людям, и, дай ей власть, она, вероятно, не колеблясь подписывала бы приговоры тем, кто имел свое представление о счастье.

Милые, восторженные, возвышенные энтузиасты! В мыслях своих парите вы под облаками, смотрите, как орлы, вдаль, но действенной помощи и совета, как ходить по земле, дать мне не сумели. Я получил эту помощь, и притом самую добросовестную, от Камары Алиуне. Это был тихий, молоденький, скромный работник библиотеки института. Невзрачный гвинеец, Камара Алиуна не принадлежал к элите, не был политическим деятелем, не был излишне тщеславен, не задира л нос, — он был лишь простым членом молодежной организации. Зато он знал, какие книги есть в библиотеке и на каких полках их искать. С мягкой улыбкой он приносил мне на стол работы, которые служили бесценными источниками сведений о стране. Наконец-то я получил настоящую помощь. Другие бросали мне мякину — он приносил полные зерна. Я искренне полюбил его за то, что он не только очень помог мне, но и вселил веру в человека.

Эскапизм[230]

Мы выехали из Конакри около двух часов дня. Нас было трое: секретарь нашего торгпредства Мечислав Эйбель, энергичный водитель Кваме Сума и я. Все шло прекрасно. Ясное небо, замечательное асфальтовое шоссе, отличный «ситроен», виды африканской саванны и, сверх всего, ожидание необычных впечатлений настраивали восторженно. Мы были счастливы, у нас как будто выросли крылья.

Мы пролетели знаменитое своей бдительной полицией местечко Коях и оказались среди холмов. Это были южные отроги обширного массива Фута-Джаллон. Растительность, все более свежая, свидетельствовала о влажности почвы и, особенно в долинах, образовывала густые леса. В этих зарослях, вдали от людей, водился еще промысловый зверь. Здесь находили обильную пищу дикие буйволы, попадались газели и антилопы, свирепствовал леопард, а немного дальше, к границе Сьерра-Леоне, не были редкостью и слоны.

Влажность благоприятствовала произрастанию бананов. Банановые плантации, истинное богатство Гвинеи, обращали на себя внимание ярко-зеленой окраской. Питательные дешевые плоды тысячетонным золотым потоком растекались отсюда по всему миру к радости сотен тысяч счастливых карапузов во Франции, Германии, Северной Америке. Так же просто могли они попасть и в Польшу: ведь достаточно лишь оборудовать на наших кораблях соответствующие холодильные установки, и можно привозить массу самых дешевых в мире плодов, а таможня, наверное, не стала бы брать пошлину двадцать тысяч злотых за тонну бананов, как до сих пор[231]. А сколько радости доставило бы это питательное лакомство нашим детям!

Киндиа, расположенная в ста шестидесяти километрах от Конакри, была привлекательным местечком со станцией Института Пастера поблизости. Французы были безмерно и заслуженно горды этим учреждением. На другом конце города, на северо-западе, возвышались сглаженные пологие горы, покрытые густым лесом. Эмиля Громье, автора популярной работы о фауне Гви-

неи, двадцать лет назад поражало здесь огромное разнообразие и бесчисленное множество диких зверей, особенно обезьян.

Кажется, и до сих пор это укромное место изобилует зверьем. Киндиа — это уже территория Фута-Джаллон, а Фута-Джаллон — это родина знаменитых фульбе. И верно, в дальних деревушках бросались иногда в глаза необычные фигуры. Почтенные старцы стояли перед хижинами в длинных белых одеждах — с гордой внешностью патриархов и седыми экзотическими бородами. Фульбе происходили с востока и были, кажется, хамитами со значительной примесью негроидного элемента[232]. У них была темная, почти черная кожа. У некоторых — длинные арабские носы и тонкие губы. Французы высокопарно называли их аристократией Африки, что не было преувеличением, судя по впечатлению, которое производили фульбе: эти мужи, как бы вышедшие из Библии, как по волшебству переносили созерцающего путешественника в другой мир, отдаленный на тысячи миль и двадцать веков.

На сердце у нас было очень хорошо. Мы улыбались людям, наслаждались живописным пейзажем, и, чтобы еще полнее насытиться его красотой, как бы приправить ее соусом, пускались в воображаемые радужные путешествия. Мы то оказывались у Вислы, то, радостные и взволнованные, попадали в Краков. Мечислав Эйбель, человек высокой культуры, в меру разговорчивый, был прекрасным компаньоном в подобных «путешествиях». В отличном настроении мы влетали вместе с ним в «Михаликову Яму»[233] на младопольский кофе — конечно, с абсентом. Там, за знаменитым круглым столом, у стены одиноко сидел, дожидаясь друзей, рыжеволосый бородатый поэт Выспанский[234] и чертил что-то карандашом на листках бумаги: может быть, строфы о Болеславе Храбром[235], а может, эскиз витража.

Но там, у Михалика, было мрачно и душно — даже в воображении моем и Эйбеля. Зато здесь, в африканской действительности, перед глазами время от времени мелькали забавные конусообразные крыши над маленькими хижинами среди пышных деревьев манго и раскидистых баобабов. Может быть, поэтому так приятно было уноситься в мечтах от стен Кракова к цветущим полям. Нас приводили в восторг Броновице и окрестные деревни, утопающие в кущах привислинских лип и тополей. Было блаженством взглянуть на голубые хаты и уютные крыши и оказаться в кругу влюбленных Тетмайера[236].

Так мы упивались медом воспоминаний. И это не было ни бегством от печальной действительности в страну прекрасных грез, ни бунтом против того, что нас окружало, наоборот: именно потому, что здесь, на этой великолепной гвинейской автостраде, мы чувствовали себя так хорошо, мечта уносила нас далеко, на Вислу.

Едва зашло солнце, мы достигли города Маму, места пересечения дорог и центра страны фульбе. Немного дальше на восток лежал Тимбо, до покорения французами — достойная столица могущественного государства, сейчас — обычная деревня. Путь в триста десять километров от Конакри мы проделали за неполных четыре часа. Неплохо. Восемьдесят лет назад французу Сандервалю потребовалось на это сорок дней.

До сих пор мы ехали приблизительно на восток; в Маму повернули на север. В нескольких километрах от города перед нашими глазами возникла прекрасная картина: с севера летели одна за другой три огромные стаи птиц, которые образовали в своем стройном полете три гигантских клина. Двести или

больше пернатых воздухоплателей, скорее всего африканских журавлей, мерно и одновременно, словно по команде, взмахивали крыльями. Крылатая армия производила огромное впечатление. Она была само величие природы.

Перед Маму мы уже перестали думать о Кракове, но стаи птиц, прилетевших с севера, выглядели почти символично и напомнили нам о недавних мечтах. Об этом с живостью сказал Эйбель:

— А вот и вестники с севера! Что за удивительное совпадение!

— А! — махнул я рукой, шутливо возражая. — Конечно, красиво, но птицы — они птицы и есть!

После захода солнца настала приятная прохлада, опускались сумерки. Дорога и горы круто поднимались вверх. Около семи часов, уже в темноте, мы успели как раз к ужину в отель Далабы, расположенный в наиболее привлекательном в климатическом отношении месте Гвинеи. Этот отель играл примерно ту же полезную роль, что «Гранд отель» в Сопоте в мае и июне: разные важные и неважные делегации съезжались сюда не только для того, чтобы разумно обсуждать дела, но и наслаждаться великолепием окружающей природы.

Милая Далаба: двухкомнатный номер стоил здесь едва пятьсот франков, небывалая дешевизна! После душа мы почувствовали себя как юные боги и, вдыхая бодрящий свежий воздух, ощутив притом волчий аппетит, отправились ужинать. В отеле было пусто, кроме нас в зале ресторана сидела только одна пара, зато интересная: он — молодой француз, она — необычайно красивая молодая девушка. Она не была ни белой, ни черной, ни мулаткой, ни метиской. Кем же она была, черт побери, какой-нибудь евразийкой? Взволнованные искренним интересом к этим двум, мы осторожно поглядывали на них, пока я не понял: она похожа на лаоску с примесью белой крови. Однако как могла очутиться здесь дева из Лаоса, из глубины Азии? Впрочем, бог с ним, с ее происхождением, она была очень хороша, особенно в тот момент, когда, стараясь привлечь внимание своего слегка скупающего приятеля, дарила его улыбкой. Она нам безумно нравилась и напоминала какую-то знакомую. Но кого?

— Знаю, — обрадовался Эйбель, — Лили Бадмаеву[237].

Он был прав: девушка таинственной красоты была похожа на нашу Лили Бадмаеву, признанную, утонченную балерину, родную дочь тибетского врача и польки. Мы оба знали ее лично. И опять нас охватило то же чувство: девушка, похожая на Лили Бадмаеву, разожгла наше воображение, как некоторое время назад воспоминания о Кракове. Обращаясь мыслями к прелестной балерине, мы размышляли о том, где она теперь покоряет сердца: в Риме или в Париже, а может быть, в Афинах? Мы желали ей счастья и пили за ее благополучие. Потом разыгравшееся воображение понесло нас дальше: мы пытались представить себе, как держалась бы Лили, сопровождай она нас по капризу судьбы в этом путешествии и сиди она с нами за столиком в Далабе.

— Она составила бы нам хорошую компанию! — уверял Эйбель.

Я тоже так думал.

И снова надо сказать, что это лирическое отступление в даль времен, к обольстительной балерине, совсем не было бегством от действительности к золотым снам. Напротив, мы призывали в воспоминаниях далекую девушку, чтобы эта, которая была близко, здесь, предстала в еще более ослепительном све-

те и еще больше нам нравилась. Это была сладостная, ужасная, коварная забава: красоту нашей Лили Бадмаевой мы приносили в жертву чужой, экзотической красавице.

Удивительный, милый день, приятный вечер. Мы с благодарностью улыбались молодой паре.

Сабли

Ночь была великолепная, температура упала почти до двадцати градусов тепла. Перед рассветом мы привычно дрожали от лютого холода. Утром, насладившись роскошным завтраком и не менее роскошным видом прелестной лаоски и ее паши, мы двинулись на север.

Благословен массив Фута-Джаллон: в девять было все еще прохладно, и лишь около десяти солнце начало терзать нас, хотя — хорошо еще — вполсилы. На самом солнцепеке было просто страшно, но в тени ласковый ветерок напоминал нам, что мы находимся на высоте более тысячи метров над уровнем моря. Не удивительно, что фульбе пришли в эту страну как в землю обетованную, а поселившись здесь, стали разбредаться во всех направлениях, как расшалившиеся ягнята.

Горы имели сглаженные вершины и казались очень древними, а «библейские» люди и их стада усиливали это ощущение. Однако новая жизнь бурно пробивалась здесь повсюду: деревушек было сравнительно много, везде — многочисленные стада скота. Чаще всего попадались отары овец странной окраски: овцы большей частью были белые, а головы у них черные, или наоборот.

К полудню мы достигли самого сердца страны фульбе. Здесь, между Тимбо, Маму и Лабе, до недавнего времени развертывались великие события, людей швыряли удивительные, запутанные страсти, буйные высокие порывы. Здесь некогда в глазах сверкали кровавые отблески религиозных войн, а сабли молниеносно вырывались из красных ножен и опускались на головы африканских язычников, но еще чаще косили своих собратьев.

На потомков этих героев и рубак мы смотрели теперь из окон машины, но все эти важные события затмевала совсем иная проблема — пыль.

Что за дьявольское невезение! От Маму дорога шла не асфальтированная, а просто утрамбованная. За два с лишним месяца здесь не выпало ни капли дождя. Облако пыли, которое поднимала наша машина, как огненный лисий хвост, тянулось за нами на добрых полкилометра. Трава, кусты и деревья, растущие поблизости от дороги, выглядели необычно под толстым слоем ржавой пыли.

Несмотря на закрытые окна, пыль проникала внутрь машины и оседала везде: на обивке, на одежде, на теле. Черные волосы Сумы стали рыжими, наши тоже. Рыжая пыль, смешиваясь с потом, образовала на лице слой, подобный цементу. Это было неудобно, но забавно. Напротив, гораздо менее забавно выглядела пыль на фотоаппаратах. Я защищал их и прятал как мог, но они все время должны были быть у меня под рукой.

А фотографировать было что! Патриархального вида люди, необязательно пожилые, но весьма примечательные, в длинных голубых бурнуссах, которые здесь называют бубу[238], мужи, словно сошедшие со страниц Библии, — это была фульбейская аристократия. Гордая и властная, исполненная приветливо-

сти и благородства, деликатная и надменная в обращении, при этом обладающая чрезвычайно гибким умом и сравнительно многочисленная, как в древней Польше. Фульбе пришли сюда несколько веков назад. Это были пастухи, и, как правило, пастухами фульбе и остались. Они покорили местные африканские земледельческие племена, а кого не уничтожили, тот должен был, как прежде, обрабатывать землю, только уже в качестве раба. На языке фульбе одно и то же слово означает и «работник» и «невольник». И, хотя французы официально уничтожили барщину, патриархальные обычаи сохранились здесь по сей день.

И вот, проезжая через эту страну, мы внимательно приглядывались к людям; нам было любопытно, сумеем ли мы определить, кто тут был рабом, кто господином и кто ведет происхождение от фульбейского народа. Это была нелегкая задача, в которой все переплелось и запуталось: некоторые неимущие фульбе оседали на земле и ходили за плугом, а более зажиточные кроме четырех жен, дозволенных Кораном, имели кучу легальных одалисок, которых выбирали из покоренных африканских племен. Наложницы охотно рожали им детей, так как в этом случае и матери и детям даровалась свобода. Эта плодотворная практика образовала такой этнический винегрет, что трудно было угадать, где господин, а где слуга. Фульбе — не какой-нибудь никудышный народишко; не были они и тупицами. У меня имелись все основания приглядываться к ним с исключительным интересом. Отличаясь необычной в этих краях энергией, они обладали подвижным умом, но в то же время были так упрямы, что сказанную Уинстоном Черчиллем о некоем другом народе фразу: «Они объединяют в себе все человеческие добродетели и недостатки» — можно полностью отнести и к фульбе. Политическая структура древнего государства фульбе, а также их некогда феноменальная тяга к междоусобицам казались мне чертовски близкими и мысленно переносили в XVIII век, к прелестной реке на мазовецких просторах[239].

А все началось с того, что их вождь Карамоко из рода Альфа, вождь воинственный, хитрый и религиозный, к концу чрезвычайно славного царствования помешался. Будучи пылким последователем Пророка, он объединил своих единоплеменников и воодушевлял их в течение нескольких десятилетий на великие дела под захватывающим лозунгом религиозных войн против язычников-фетишистов. Бить и покорять неверных было заслугой, а кроме того, и прибыльным делом, но, когда однажды, в конце его жизни, неверные случайно нанесли временное поражение фульбе, разум гордого Карамоко не вынес этого: он сошел с ума.

Однако воин Ибрагим из рода Сори[240] вышел на ристалище и избавил фульбе от забот, но этот успех обернулся большим несчастьем: род Сори вскоре оперился и так задрал нос, что с этого времени, то есть со второй половины XVIII века, разгорелось кровавое безудержное соперничество между ним и родом Альфа. Эти два рода разжигали бесчисленные гражданские войны, которые продолжались более ста лет. До сих пор еще люди Сори и Альфа смотрят друг на друга, исподлобья. Однако благодаря высокой жизнеспособности фульбе религиозные войны не угасали, они охватывали все большее число племен. Когда француз Сандерваль в 1880 году посетил Фута-Джаллон, фульбе уже разгромили язычников и гнали их вплоть до самого побережья Атлантики, ведя одновременно несколько яростных междоусобных войн, а также участвуя в

большой войне между альмами[241] в Тимбо и Дин-гирае.

Еще в начале родовой распри, желая раз навсегда — как казалось фульбе — предупредить братское кровопролитие, совет вельмож и старейшин установил закон, по которому каждые два года должен был выбираться новый вождь, раз из рода Альфа, раз из рода Сори. На первый взгляд — соломоново решение. Но вместо того, чтобы объединить народ, оно стало, напротив, источником анархии, заговоров, интриг, подстрекательства и измены.

Едва выбирали какого-нибудь вождя, как мелкие царьки стоваривались подорвать его власть и выйти из-под нее. Когда наступало время новых выборов, богатые собирали своих воинов и во главе их, с большим блеском, в богатых одеждах, надменные, кичливые, задиристые, готовые к бунту, направлялись к столице Тимбо. В этом беспокойном улье брал верх тот, кто имел более многочисленную свиту из забияк, хитрее интриговал или проворнее других обнажал сабли.

У государства фульбе не было по соседству ни Екатерины Великой, ни Фридриха, поэтому, несмотря на смуты, оно существовало неплохо; более того, благодаря размаху и известной дисциплине, к которой фульбе обязывал ислам, они укреплялись и расширяли свою территорию, пока нашествие французов в конце XIX в. не положило этому предел. Завоевателям было легко овладеть разъединенным народом, который приветствовал заморских пришельцев почти как друзей и союзников.

Еще задолго до полудня мы прибыли в Питу, первое значительное местечко после Далабы. Мы хотели проехать его не останавливаясь, но там как раз был большой базар и собралось множество людей. Вокруг было весело, глаза разбегались от ярких красок различных плодов и тканей, облежавших стройные фигуры африканцев. Многие из них приветствовали нас дружескими улыбками. Мы остановились.

— Мы пришли к им по вкусу, — заметил я.

— Они принимают нас за французов! — засмеялся Эйбель.

Во времена колониализма фульбе, разумеется, не очень везло, но французы по крайней мере не касались их патриархального строя.

Мы нырнули в толпу, улыбаясь женщинам и пожимая руки некоторым мужчинам. Женщины фульбе славилась необыкновенной красотой, но особенно красивых на базаре в Пите мы не нашли. Так же тщетно я искал женщин с коками на головах — характерными прическами представительниц лучших родов, напоминающими петушиный гребень: коков не было. Либо женщины фульбе изменили прически под влиянием столичной моды, либо их не было на базаре, а мы видели только деревенских жительниц из покоренных ранее племен.

Гвинея почти совсем освободилась от французского влияния: ни во всей Пите, ни в окрестностях мы не увидели ни одного белого. Не удивительно, что наше появление было большой сенсацией — правда, не такой потрясающей и не такой откровенной, какую вызывает появление африканца на улицах Кракова или Познани. Весть о нас разнеслась молниеносно, и отовсюду начали сбегаться возбужденные мужчины с саблями в руках. Прекрасные и недорогие сабли, до половины вынутые из ножен красной кожи, угрожающе сверкали. Это были те самые сабли, которыми фульбе некогда резово секли головы и язычников, и своих единоплеменников.

Сабель вокруг нас становилось все больше, словно фульбе собирались идти в атаку. Это и была атака — правда, сдержанная и деликатная, — не военная, а меркантильная. Все сабли нам хотели продать. Число их росло, обнаженный металл светился, и светились призывно глаза. Вероятно, время остановилось для фульбейских кузнецов: они все еще жили, как и весь народ, под чарами сабель.

Чудные сабли приобретали значение какого-то дьявольского наваждения. Они были такими же призрачными, как привидения из «Свадьбы» Выспянского. Они были патетикой и гротеском, как копья, ломающиеся о сталь танков.

Птица

«Африка перестала быть континентом для фотографов и любителей экзотики. Африка не хранит уже романтических тайн. Не только Африка Стэнли и Ливингстонов, но и Африка традергорнов и негритянских караванов отошла в прошлое. Сейчас...» Так авторитетно начинаются многие статьи, публикуемые в капиталистической прессе; их с серьезным выражением лица создают самоуверенные авгуры, гордые своей ультрасовременной точкой зрения.

От Питы до Лабэ всего несколько десятков кило-метров, но это своего рода этнографический заповедник — столько фульбе жило в этом округе; по статистике — больше тридцати на квадратный километр. Довольно многочисленные деревни вдоль дороги выглядели как пасеки с огромными ульями, потому что хижинки были круглые, с высокими островерхими крышами, — человеческие ульи. Они были живописны, так и просились на фотографию, однако — внимание! Не забыть бы про опубликованные заявления об исчезновении экзотики в Африке!

В этих круглых хижинах гор Фута-Джаллон обитало больше миллиона фульбе, почти сорок процентов всего населения Гвинеи. Миллион воинственных, стремительных людей, искусных в политике (правда, далекой от современности), сознающих величие своего прошлого и славу религиозных войн, гордых своей национальной обособленностью и патриархальными обычаями. Какие загадки и тайны скрываются здесь? Какие перемены носят в воздухе? На фоне этих загадок и тайн прежние тайны Черного материка могут показаться наивным примитивом.

Современная цивилизация все же проникла сюда: тракт, по которому мы ехали, был ее очевидным признаком. Этим путем можно было со всеми удобствами пересечь всю Западную Африку от Дакара до Абиджана на Береге Слоновой Кости — почти три тысячи километров. Но решишь только предприимчивый путешественник немного свернуть в сторону с этой дороги, как его машина сразу уткнется в брус — и конец.

Сначала, когда наш путь шел по вершинам, вокруг открывались сказочно широкие просторы. Где-то на горизонте промелькнет иногда, как в бинокле, деревушка, утонувшая в саванне, оплетенная незримыми путями древности. Здесь сохранилась старая, почти нетронутая Африка, Африка троп. Жители деревушки редко выходят на дорогу, а попасть к ним можно только пешком, по узкой тропе. Здесь торговцы носят товары на головах, точно так же как во времена знаменитого Традергорна пятьдесят лет назад.

Из Лабэ, оживленного центра фульбейской оппозиции, наш путь лежал на

северо-запад и вскоре привел нас в хаос диких, потрескавшихся, почти безлюдных гор. Здесь тоже хозяйничала оппозиция природы, все еще победоносной природы, восставшей против человека. Густой, насыщенный испарениями лес покрывал обширные долины и, вероятно, изобиловал крупным зверем. Поражало множество веерных пальм *Borassus*, которых совсем не было в населенных округах Лабе и Питы. Это были красивые и в то же время удивительные пальмы: их стволы, заметно утолщенные в центральной части, суживались выше, у кроны, и внизу, у земли. Их большие желтоватые плоды — неплохое лакомство для слонов, многочисленные стада которых, как известно, обитали в этих горах.

И стаи обезьян. Бесчисленные стаи обезьян. Только здесь становилось ясно, что Гвинею не зря называют страной обезьян. Зверьки, нисколько не пугливые, нахальные, почти агрессивные, то и дело перебегали перед самой машиной или позади нее с одной стороны дороги на другую и останавливались сразу на опушке, чтобы понаблюдать за нами острым взглядом. Это были преимущественно кочкоданы, или колобусы. Нам, европейцам, привыкшим к паническому страху всякого зверья перед человеком, подобная неустрашимость лесных зверюшек напоминала туманные представления о библейском рае или, во всяком случае, о полуполюгендарной Африке из описаний первых путешественников. Одно было точно: наглые мартышки чувствовали, что они у себя дома, и смотрели на людей с их четырехколесным зверем как на забавных, но непрощенных гостей. Забавных потому, что здешний человек по каким-то причинам не охотился на обезьян и совсем их не преследовал.



...Термитники — огромные двух- и трехэтажные сооружения из глины, твердой как камень...

В горной стране было меньше термитников, чем до этого в открытой саван-

не, но все-таки они попадались и здесь. Огромные двух- и трехэтажные сооружения из глины, твердой как камень. Гнезда этих насекомых постоянно возбуждают интерес и удивление человека и все еще представляют собой загадку. Человек со всей своей мудростью и научным арсеналом потерпел здесь унижительное поражение, а хрупкие крошки, как и прежде, ревностно охраняют свои тайны. Проблема захватывающая: каким образом эти миниатюрные марсиане создали и сохранили столь сложный и удивительно стройный общественный аппарат без видимого главы, без руководящего центра? Инстинкт? Старая отговорка, теперь ее уже недостаточно.

Человеческий разум, который расширил знание и его аппарат до такой степени, что овладел уже космосом, продолжает топтаться на месте около этих ничтожных существ африканского бруса, бессильный и беспомощный. Термиты водят нас за нос, и это очень смешно.

Когда мы приближались к реке Кумба, дорога, казалось, начала опускаться, горы стали ниже. Я уже не помню, почему Сума остановил машину, важно, что он ее остановил на минуту и мы вышли.

Нас окружал лес, не горный, насыщенный влагой, скорее редковатый, хотя еще дающий тень. По одну сторону дороги лес вскоре обрывался. Здесь, в небольшой просвет между стволами и ветками, через своеобразный туннель, был виден кусочек поляны, белой в ослепительном сиянии солнца. Этот кусочек был как светлая картина в темном обрамлении лесной чащи. В самом центре этой картины была видна птица, неподвижно стоящая на земле.

Птица была большая, может быть гигантская дрофа, может быть марабу или аист-жабиру. При ослепительном свете это было трудно определить, но в сверкающем окошке, как в фокусе линзы, она казалась невиданной, огромной, сверхъестественной, каким-то неземным видением, птицей-гигантом из африканских сказок.

В восторге я не мог отвести глаз от необыкновенного видения. Эйбель был тоже потрясен: гигантская птица, африканский лес и солнце сыграли с нами очаровательную шутку, показали романтическую, волшебную, как в грезде, картину. Черт бы побрал тех жалких мудрецов, которые видят Африку через свои непрозрачные для романтики и фантазии очки!

Гриот

Река Кумба течет в узкой долине, покрытой сочной зеленью. Мы спускались к реке по крутому склону, чтобы переправиться через нее на пароме, а затем выбраться на другой берег. Большой, вероятно пятитонный, грузовик накренился в нашу сторону и, застряв на середине склона, загородил нам подъезд к парому. Оберегая свои нервы, мы приняли божье наказание со стоическим спокойствием, что называется, зажав папиросы в зубах (в переносном смысле, потому что Эйбель не курил, а у меня не было папирос под рукой).

Под грузовиком лежали два или три механика, а более десятка других знатоков пристроились вокруг на дороге, помогая добрыми советами и ободряющими возгласами. Здесь царило чувство коллективизма, так сильно развитое у африканцев. Они любят решать важнейшие дела всем миром, весело, а во время общих полевых работ обычно одни работают, а другие скрашивают им труд пением, танцами и музыкой. Эти барды призваны воодушевлять на трудовые подвиги, и, как правило, это прекрасно удается; наверное, более успешно, чем некоторым авторам европейской художественной литературы на так называемые производственные темы.

Роли вокруг грузовика определились сами собой.

Трое работали, а пятнадцать смотрели, поддерживая их рвение. Сума оказался шестнадцатым. Я подошел к самой воде — темной, глубокой, и, хотя Кумба брала начало в горах недалеко отсюда, она достигала в этом месте уже тридцати метров ширины. Несколько веков назад португальцы считали, что эту реку можно использовать как канал для распространения своего влияния, и дали ей громкое название Рио Гранде, но потом пришли французы, захватили ее верхнее и среднее течение и вернули этой части африканское название. С этих пор лишь отрезок нижнего течения реки в Португальской Гвинее называется Рио Гранде: географические названия часто бывают точным отражением поворотов истории. Интересно, когда история сделает здесь еще один шаг вперед и название Кумба дойдет до устья реки? Пока в португальской колонии тихо[242].

Тишина стояла и над рекой. Кумба изобиловала, по рассказам достойных доверия людей, гиппопотамами и крокодилами, которые, разумеется, жили в укромных местах, отдаленных от деревень. Здесь, у парома, их не было, зато я заметил крупных бабочек. Впервые в Гвинее я наткнулся на такое огромное их количество. Нагретый солнцем влажный берег реки был для них раем. Никаких кавалеров *Papilio* я не увидел, зато целыми роями кружились белянки необыкновенно яркой окраски, противоречащей их названию. То и дело они садились на болотистую почву и всасывали приятную влагу, после чего взмывали в воздух и, полные невыразимого очарования, порхали, как легкие няйки. В игре бабочек было столько наслаждения солнцем, что я, глядя на них, ощущал эту радость бытия. Я был счастлив, оттого что мог все это видеть и чувствовать. Единственное, о чем я жалел, что этой красоты никто здесь не замечал. Зато какое наслаждение испытал бы, например, Ян Войтицкий из Чеховиц-Дзедзиц!

Вдоль дороги по обоим берегам реки торчали хижины; деревня называлась так же, как река, — Кумба.

Когда я стоял у воды, к противоположному берегу подошла женщина с ре-

бенком на спине и начала стирать принесенные тряпки. Стирая, она напевала, вернее, ритмично выкрикивала мелодичным голосом что-то похожее на кантаты. Особенность их заключалась в том, что они лились единым, непрерывным потоком и не были ни ласковой колыбельной песней, ни обычным напевом. Они звучали просто как заклинания или проклятия. Женщина пела явно в расчете на то, чтобы слышно было на другом берегу, куда кроме большого грузовика и нашей машины подъехал еще и самосвал. Суетились шоферы, кричали грузчики. Шумное нашествие, видно, было не по вкусу жителям Кумбы и вызвало протест, отсюда и магические песнопения прачки. Она все больше распалялась и все громче бубнила, бросая нам проклятия без перерыва, без устали, без задержки, — ни на минуту не прерывая стирки. Меня поражала феноменальная выразительность, столь характерная для всех африканцев. Женщина была как бы в трансе, она словно выливалась на нас свое страдание.

Ко мне подошел Сума.

— Elle est folle![243] — сказал он и посоветовал мне отойти от берега.

Сума сильно упрощал дело, приспособляясь к европейским понятиям.

— А может быть, она колдунья? — вставил я.

— Может быть, — сказал он тише и с неопределенной улыбкой метнул взгляд в сторону женщины.

Эйбель подошел поближе.

— Со вчерашнего дня, — вздрогнул я, указывая на прачку, — все мне напоминает Польшу...

— И эта женщина тоже? — удивился он.

— Именно она! Ее заклинания совсем как статьи в «Новой культуре».

— О господи! Каким образом? Неужели она столь прогрессивна? — засмеялся он.

— Нет, но она столь же нудна.

Развеселившийся товарищ покачал головой.

— Но есть существенная разница: женщину никто не слушает, а «Новую культуру» все читают!

— Э! К сожалению, «Новая культура» и в этом отношении поразительно похожа на эту певицу...

— А ты ядовит, однако!

— Нет, только взволнован сельской идиллией...

Шоферы и африканские путешественники, вероятно, привыкли к происшествиям такого рода и не очень обращали внимание на проклятия прачки, зато с некоторым интересом они восприняли появление на арене еще одной фигуры. На вершине крутого холма над дорогой, прямо над нами, появился голый мужчина с узенькой повязкой вокруг бедер и с пестрыми лентами, замысловато вплетенными в волосы. Это был шут, скоморох, который начал весело напевать.

— Гриот! — закричал Сума с оживлением.

— Какая-то музыкальная деревня! — заметил я. — Там эта женщина, теперь гриот...

— О нет, господин, это не одно и то же! Женщина злилась, а гриот веселый...

И правда, прачка уже не надрывалась больше, как бы уступая место более

достойному сопернику.

Гриоты — эти остряки, хроникеры, поэты и пасквилянты в одном лице — представляли в лоне африканских народов и племен довольно многочисленную и замкнутую касту. В обществе, не имеющем собственной письменности, гриоты выполняли миссию литературных деятелей, и было в них что-то не только от Марчинского и Свилярского, но также и от Ивашкевича[244]. Это была братия, подобная странствующим актерам в Европе. Гриотов считали сбродом самой низшей категории, достойными пренебрежения наравне с бродячими ремесленниками, которые обрабатывают дерево, металл и глину. Ими помыкали так же, как знахарями, кузнецами и гончарками (горшки здесь лепят женщины). Простой оборванец, пастух, стерегущий несколько баранов своего хозяина, именно потому, что он пастух, считал себя неизмеримо выше самого остроумного гриота и никогда не отдал бы ему в жены свою дочь. Африканские гриоты немного напоминали неприкасаемых в Индии.

Каждый царек, вождь и вообще уважающий себя состоятельный человек должен был держать среди своих слуг гриота, исполнявшего самые разнообразные функции: гриот пел на всех торжественных праздниках, составлял хвалебные гимны в честь своего господина, иногда поносил его врагов в ядовитой сатире; удрученного властителя утешал веселой песней и не раз давал ему спасительные советы по вопросам правления. Часто гриот был личным другом своего господина, хотя безмерно им презираемым; нередко более состоятельный, чем его господин, он всегда был его верным агентом, принося с базара самые свежие слухи и сплетни о подданных. Гриоты занимались также воспитанием сыновей своего господина и, что самое важное, должны были подробно знать историю его рода по крайней мере в семи поколениях, а также разные другие истории и легенды.

Эти придворные шуты жили обычно как у Христа за пазухой, в то время как народные гриоты, странствующие, вели жалкую, собачью жизнь. Не имея хозяина, они скитались в одиночку по дорогам, как нищие цыгане и попрошайки. Они пели кому попало, охотнее всего — странствующим торговцам, безыскусно восхваляли их. Горе тому, кто поскупился вознаградить их надлежащим образом. Веселые шутники имели страшно злые языки и, если кто-нибудь их задевал, на глазах у толпы и к ее удовольствию превращались из любезных льстецов в язвительных бунтарей.

Вот такой-то гриот и появился на холме при дороге и напевал прямо над нашими головами, весело размахивая руками и корча рожи. Потом он начал спускаться с крутой горы вниз довольно смешным способом, задом наперед, похваляясь своей акробатической ловкостью.

Десятью прыжками спрыгнув на дорогу, он выбрал меня своей целью и, остановившись поблизости, начал петь. На этот раз не на языке фульбе, а на ломаном, но кое-как понятном французском. Его глаза светились дьявольским умом. Это был человек с внешностью записного циника, но выражение лица было жалобно-просительным и одновременно нагловатым. Он сразу взял самый высокий тон и начал превозносить меня до небес в одной лишь превосходной степени: что я прекраснейший, сильнейший, богатейший, умнейший и мое присутствие здесь — честь и слава для страны.

Ей-богу, так и воспевал: «честь и слава», поэтому, когда он на мгновение перевел дух, я грубовато прервал его:

— Эй, браток, не валяй дурака! Перестань, черт возьми!

В растерянности он смотрел на меня со зловещим удивлением.

— Ты ведь гриот, ты поэт, — возмутился я. — И меня, своего коллегу, ты хочешь так провести?

— И ты тоже гриот? — ахнул малый, и лицо его приняло доброжелательное выражение.

— Не гриот, — ответил я, — потому что в моей стране нет странствующих гриотов, зато есть писатели! Я литератор и, значит, твой коллега!

— Ты сочиняешь гимны в честь властителей? — спросил он, ошеломленный.

— Стараюсь, как могу, но у других больше опыта в этом деле...

Я сбил его с толку. Он не ожидал с моей стороны столь энергичного отпора. Он сразу обмяк, поник, циничность его пропала. Он понял, что ничего из меня не вытянет, и по его грустной физиономии было видно, что он смирился с этим фактом. Он совсем скис. Мне стало его искренне жаль.

Тем временем большой грузовик был исправлен и двинулся, открывая путь к парому. Сума уже заводил мотор нашего «ситроена». Прежде чем подойти к парому, я быстро вложил стофранковую бумажку в руку гриота. Шельма так обрадовался этому сюрпризу, что немедленно вспомнил о своих обязанностях и громким голосом запел мне вслед. И я снова услышал, какой я энергичный, на какие великие дела способен, сколько я сделал для человечества, какой я благородный писатель, благословенный талантами, создатель великих произведений, любимец богов, сеющий добро...

Гриот пел и пел. Паром двинулся, а восторженная оценка моей литературной деятельности неслась к нам с берега реки сквозь феерическое скопление порхающих бабочек, над дремлющими под водой гиппопотомами. Мы уже переплыли реку, а эта позитивная критика была слышна и на другом берегу реки. Река уже скрылась за холмом, и песнь добросовестно работающего гриота, приглушенная расстоянием, стала затихать.

Безопасно

К вечеру, в пять часов шестнадцать минут, в нашем «ситроене» раздался вдруг зловещий стук и странный треск. Сума сразу затормозил, свернул в сторону и остановил машину на обочине дороги. За нами на десяток метров тянулась по земле подозрительная дорожка темной жидкости. Шасси уродливо опустилось, словно у машины дрогнули колени и она повесила нос. Когда мы подняли капот и заглянули внутрь, пришла наша очередь вешать нос: порвалась прокладка амортизатора, и стоило завести мотор, как из лопнувшей трубки игриво и резво брызгало масло. Мы застряли, и притом намертво, в полном безлюдье.

Можно было просто лопнуть со злости; поэтому, чтобы не лопнуть, мы тут же выработали правильное отношение к случившемуся: прекрасный ужин и удобные постели миллионеров, которые ждали нас за несколько десятков километров отсюда в отеле города Самбаило, — вздор. У нас было с собой несколько бисквитов, а спать мы могли в машине. Спартанцы на час. Это точно: нет худа без добра. Сума, который немного струхнул, так как был полон старых суеверий, пугал нас обилием львов в окрестностях, но что там львы! В случае чего мы напугали бы их громкими криками, были бы недурные впечатления, и было бы о чем писать, а сбитые с толку бестии непременно удрали бы. Львы в противоположность обезьянам боятся человека. Оружие у нас было такое, что просто смех: общий столовый нож, конечно тупой, у меня — маленький перочинный ножик из Польши, да у Сумы что-то вроде этого.

Позднее я хорошо представил себе, что мы тогда чувствовали, и констатировал, как сильно изменились категории человеческих отношений в последнее время и какое огромное доверие вызывала Африка в сравнении, например, с авантюристической Европой.

Наше спокойствие объяснялось ни молодечеством, ни усталостью, ни тем, что мы отдавали себе отчет в опасностях, которые могли бы нам угрожать. Ведь машина сломалась в дикой глуши, вдали от человеческих поселений.

И, если в этот момент нам ни на минуту не пришло в голову, что мы — безоружные в этом безлюдье — могли пасть жертвой бандитов, то просто потому, что этих бандитов здесь, в глубине Африки, не было. В Африке было несравненно спокойнее, чем в Европе, а африканцы — менее испорчены, менее преступны, более человечны и доброжелательны, чем мы, европейцы.

Конечно, рассуждая здраво, наше положение не исключало появления какого-нибудь льва-людоеда или фанатика фульбе, настроенного против нас хотя бы прачкой из Кумбы. Наконец, ночью могло произойти множество других неприятностей, возможно роковых. Но мы не забивали себе этим голову. До чего же изменился человек. До чего же иной стала для него мера опасностей и изменилась степень их ощущения! То, что двадцать лет назад в джунглях Амазонки или непроходимых дебрях Мадагаскара еще заставляло трепетать от страха, сегодня казалось смешным перед лицом других опасностей, таких, как повышение степени радиации.

Сума пытался заткнуть веточками трубку амортизатора. Но стоило завести мотор, как веточки стремительно и на редкость комично вылетали и масло вновь начинало брызгать. Сума повторял свои бесплодные попытки; Эйбель и я немногим могли здесь ему помочь.

От нечего делать я снова просмотрел несколько французских иллюстрированных еженедельников, захваченных из Конакри. Судя по ним, можно было подумать, что мир был потрясен лишь двумя важнейшими событиями: неожиданной смертью киноактера Жерара Филиппа и решением вопроса, родит ли мальчика красавица Фарах, когда на ней женится шах Ирана, которому срочно нужен наследник престола, — вопроса, который крупные еженедельники обсуждали отнюдь не как тему для веселой оперетки.

На минутку оторвавшись от мира фута-джаллонского бруса, я с особенной отчетливостью ощутил все это смешное безумие разнузданных невропатов, когда вдруг на фоне этой отдаленной суеты меня потрясло новое поразительное явление: тишина вокруг нас.

Павианы

Не было ни малейшего ветерка. Абсолютная, совершенно полная неподвижность воздуха создавала иллюзию, что мы находимся внутри огромного стеклянного колпака, а окружающая природа замерла в летаргическом сне. И ко всему этому странное солнце. Оно еще не зашло, но, закрытое пылью, поднятой харматтаном, было невидимо для глаз, и от этого казалось, что все небо излучает неестественный молочный свет. При этом освещении, при полной неподвижности природы все казалось нереальным.

Под вечер мы слышали диких гвинейских голубей. Звук их приглушенного воркования, казалось, был искажен пространством, как голос в пустом зале. Было трудно определить, в какой стороне сидели птицы и как далеко, — может, в ста метрах, может, в тысяче?

Дорога тянулась в обоих направлениях прямая, как шнур. Один раз вдали промелькнули антилопы. Было видно множество обезьяньих стай, переходящих через дорогу. Обезьяны всегда проявляли к нам интерес. Они останавливались посреди дороги, даже когда появлялись совсем близко, и, только рассмотрев нас, двигались дальше. Как всегда, нас поражало огромное количество этих животных. Удивительно было и другое: несмотря на то что обезьяны двигались, всеобщий покой и тишина в природе совершенно не нарушались; животные возникали, словно на экране, как бы вне реальности, и так же исчезали.

В этих краях саванна была исключительно сухая: чувствовалась близость Сахары. Кое-где еще попадались заросли деревьев, но не слишком обширные и густые. В этой местности преобладали открытые места, изредка поросшие кустарником. Взгляд проникал далеко в глубь бруса, нередко на целые километры.

Так выглядела большая часть Африки, однако именно там, среди этой скудной растительности, было больше всего крупного зверя, больше, чем в буйных тропических джунглях.

Самыми удивительными казались бовали (так назывались небольшие прогалины, почти пустынные). Видимо, на них когда-то росла густая трава, но частые пожары привели к тому, что поверхность земли затвердела от огня как камень и сделалась черной и бесплодной.

Эти бовали, оазисы бесплодия и печали, были в то же время средоточием необычного. Вместо растений здесь вырастали термитники, мазанки, слепленные термитами, — холмики грибовидной формы, около полуметра в высо-

ту и ширину. Где только были бовали, им непременно сопутствовали целые плантации этих фантастических грибов, стоящих сотнями один около другого, как призраки. Какая таинственная причина заставляла термитов строить свои жилища на совершенно бесплодной земле, вдалеке от растительной жизни и всегда в форме таких шапочек?

Один из таких грибов, небольшого размера, я без усилия вырвал из земли. Это был черноватый ком, твердый, как цемент. Термитов в нем не было, видимо, их гнездо находилось глубже в земле, а грибок они сделали просто как наземную надстройку. Метеорологическая вышка? Может быть.

Эйбель сфотографировал меня с грибом, но фотография оказалась неудачной, потому что в человеческих руках гриб, к сожалению, утратил свою выразительность и необычность. Он как бы покорился, стал будничным, сник и опошлился. Оторвавшись от земли, он утратил силы, как античный Антей.

Метрах в трехстах от нас через дорогу переходила стая крупных обезьян. Животные, вдвое сильнее, чем виденные нами до сих пор, имели мощную грудь, довольно высокий лоб и удлиненные морды. Я узнал их по этим мордам и хвостам, у основания задранным вверх, а потом опускающимся к земле. Это были павианы; само собой, они приковали мое внимание. Вооруженный фотоаппаратом и биноклем, я двинулся по дороге в их сторону.

Их было, пожалуй, около тридцати. Они переходили дорогу по двое, по трое, спокойно, обдуманно, не торопясь, очень уверенные в себе, с гордой осанкой. Невозмутимостью и сознанием своей силы они напоминали англичан былых времен. Самки с молодняком не задерживались. Зато все самцы, которых я различал по более плотному сложению, останавливались на дороге, окидывали быстрым взглядом приближающегося человека, после чего серьезно, как бы удовлетворенные наблюдениями, ныряли в придорожные кусты.

В самом конце стаи, наверное меньше чем в двухстах метрах от меня, медленно шагала глава рода, старый самец. Осанистый, хотя и не крупнее других самцов, весь покрытый седой шерстью, он держался деспотически. Как властелин, который, видимо, чувствует себя ответственным за честь и безопасность стаи, он считал, что надо нагнать на меня страху и выразить свое пренебрежение. И вот он нахмурил лоб, построил несколько потешных рож, оскалил на меня огромные клыки и, гортанно проворчав что-то оскорбительное, полный высокомерия, удалился со сцены.

Павианы, как и шимпанзе, — самые крупные обезьяны Западной Африки. Они считаются наиболее агрессивными и смелыми животными страны. Морды у них, как у собак, но зубы истинно волчьи. Правда, необычайную силу своих челюстей они используют только в целях обороны. Наверное, тогда они страшны. Леопарды, питающиеся главным образом обезьяньим мясом, с легкостью расправляются с двумя или тремя павианами, но за нападение на крупную стаю часто расплачиваются жизнью. С львами обезьяны как будто тоже борются до последнего. Люди боятся их, как чертей, и в почтительном страхе обходят некоторые участки лесов, где их водится особенно много. Зато павианы ничуть не боятся людей; случалось, что обезьяны в ярости забрасывали камнями охотника, если он решался охотиться на них и неблагоприятно ранил или убивал какую-нибудь обезьяну из стаи.

Павианы, к которым я осторожно подходил, перебрались через узкую полосу придорожного кустарника и рассыпались по прилегающему пустому бова-

лю. Шаг за шагом они направлялись к лесу, отдаленному примерно метров на сто пятьдесят, но, едва достигнув деревьев, остановились. Все уселись на зады фронтом ко мне и неподвижно застыли. Имея обеспеченный тыл, павианы понимали, что им уже ничего не угрожает со стороны двуногого чудовища без ружья и лука. Вот они и присели тихонько, с интересом следя за моими дальнейшими действиями. Они казались серыми пятнами на серой земле. Я никогда не обнаружил бы их в этой прекрасной защитной одежде, если бы не знал, где они присели.

Я дошел до того места дороги, откуда было ближе всего до обезьян, и остановился. Я видел их как на ладони, и некоторое время мы смотрели друг на друга с напряженным вниманием. Ну, что же будет дальше?

В бовале передо мной тянулся узкий след от высохшего ручейка; там росло одно из этих красивых деревьев, которые Эйбель назвал как-то тюльпановым деревом. Собственно, это лилиодендрон из семейства магнолиевых. Сейчас на нем не было листьев, зато все ветви покрывала густая шапка фантастически красных цветов, очень похожих по форме на великолепные тюльпаны.

Дерево выглядело очаровательно. Оно пламенело на фоне пустынного бовала, как сказочный букет из красной вуали, предназначенный для африканской сказочной принцессы; и потому что оно стояло на половине дороги до павианов, как раз напротив них, так и просилась на язык какая-нибудь метафора, какое-нибудь изощренное сопоставление прелести цветов с отвратительным безобразием обезьян. Но, прежде чем мне что-нибудь пришло в голову, в стае обезьян произошли чрезвычайные события, которые приковали мое внимание.

Маленькой обезьянке, совсем ребенку, надоело это сидение, и она начала беспокойно вертеться. Почтенный самец, вожак стаи, рассерженный непослушанием, подскочил к карапузу и вlepил ему оплеуху, такую звонкую, что звук удара донесся до самой дороги. Детеныш отчаянно ревел, и старик опять хотел его шлепнуть. Но тут подскочил один из взрослых самцов, вероятно отец малыша, и грозно оскалился на разъяренного вожака. Тот застыл и весь взъерошился. Оба самца были одного роста, одинаково плечистые, только один старый, другой молодой. Запахло недурной дракой.

Старый, весь вздыбленный, медленно придвинулся к молодому, но тот не отступил и продолжал угрожать огромными клыками. Больше того, он вдруг сорвался с места и бросился на вожака, чтобы зубами вцепиться ему в горло. Старик молниеносно, с неправдоподобной силой ударил его по морде и стал осыпать градом таких страшных ударов, что сразу взял верх над противником. Тому расхотелось бунтовать. Подвывая, он сначала медленно отступал, а потом взял ноги в руки и обратился в стремительное бегство, спасаясь в чаще леса. На поле боя остался обезьяний вожак, и надо было видеть, как он напыжился и каким властным взором оглядывал других павианов. Цезарь по сравнению с ним был младенцем, балабошкой, пижоном. Это выглядело так комично, что я громко рассмеялся.

Мне стало смешно еще и по другой причине: в памяти всплыл один эпизод прошедших лет.

Года два или три спустя после второй мировой войны мне в руки попала одна довольно популярная в то время детская книжка, изданная в Польше, ни названия которой, ни фамилии автора я, к сожалению, не помню. В книге кра-

сочно, хотя и наивно, описывалась жизнь животных в Татрах, и, между прочим, приключения стада коз. Писательница, совершенно уверенная в том, что новое всегда одерживает победу над старым, сегодняшнее — над вчерашним, что молодое побивает старое, представила в книге эти мудрые истины с немалым воодушевлением. Например, она приказала молодому козленку[245], как она его назвала, начать бунт против власти почтенного вожака и нанести ему поражение крепкими рогами. И вот наш удалец геройски бросился на старого козла, избил его рогами до полусмерти и, проучив, прогнал на все четыре стороны. Потом этот энергичный герой сам захватил власть над стадом и приобрел гарем козочек (об этом, конечно, было сказано в осторожных выражениях, принимая во внимание юный возраст читателей).

Натуралисты, читавшие тогда эту невероятную чушь, подозрительно качали головами, но, будучи приверженцами старых взглядов, они не смели поднять голоса; ведь иначе они наверняка оказались бы неправыми в глазах, излишне усердных реформистов природы.

Я вспоминал об этом, когда на моих глазах старый холерик павиан устроил взбучку молодому детине, а другие здоровенные детины не отважились прийти на помощь неудачнику, — и мне стало смешно. А они непослушные, эти обезьяны, отсталые обыватели! К новым обычаям, которые ввела в среду животных услужливая писательница, они отнеслись бессовестно, с достойным осуждения неуважением и своей обезьяньей недисциплинированностью подорвали авторитет автора.

Самолюбивые обезьяны (а они действительно самолюбивы), однако, не любили человеческого смеха. Я вспугнул их. Когда пять минут спустя я в обществе Эйбеля достиг опушки зарослей, где только что находилась стая, все обезьяны, само собой, уже исчезли в чаще, оставив после себя мерзкий, дьявольский смрад: видно, все они, разглядывая меня, от волнения как следует нагадили.

Возвращаясь на дорогу, я прошел под тюльпановым деревом. И вправду, оно было необыкновенно, какое-то огненное неистовство, все в порыве пурпурного цветения.

Мне припомнилось, что я перед этим хотел остроумно сравнить стаю павианов с красой дерева, но сравнение куда-то исчезло. Настроение пропало. Вспыльчивый самец изменил направление моих мыслей, а потом еще добавилось это зловоние. Тирада о дереве так и не получила своего воплощения,

Благородство

Вскоре после захода солнца подъехал автобус, который шел от самого Дакара до Маму, всего каких-нибудь тысячу сто километров. Водитель, гвинеец, видя, что с нами что-то стряслось, остановил машину, после чего из небольшого кузова высыпалось невероятное множество людей — человек тридцать африканцев обоего пола и один белый.

Это был молодой швейцарец, который ехал из Европы в Конго. Ему стало скучно на корабле, поэтому он сошел в Дакаре, с тем чтобы добраться по суше на автобусах до самой Монровии в Либерии и там снова перехватить свой корабль: две тысячи километров тряски, красной пыли и возможность взглянуть на десяток племен. Он был фантазер, этот замечательный малый.

Не менее замечательным малым оказался водитель автобуса. Он дружески кивнул Суме в знак приветствия и сразу вместе со своими инструментами до половины скрылся под капотом большой машины. Остальные, то есть двадцать девять путешественников, стояли вокруг и, как водится, помогали ему шутливыми советами, веселым остроловием, всячески развлекая его. Я уже знал эту манеру помогать веселой шуткой, обязательной при любой работе африканца, если работа требовала быстроты рук. Однако больше всего меня удивляло добродушие и невозмутимость этих людей: ведь было уже почти темно, а после целого дня езды, наверное, каждый чувствовал голод и усталость. Между тем они были полны воодушевления и радовались, что могут нам помочь. Несколько иначе выглядело бы это в Европе или Америке.

И правда, помогли. Чужому водителю удалось скрепить проклятую трубку амортизатора. Клепцы у него были лучше, чем у Сумы, а может быть, и руки тоже. Довольно того, что масло уже не брызгало; мы могли двинуться дальше. И снова сюрприз: водитель отказался принять плату, хотя промучился добрых полчаса. Чуть не силой я сунул ему в карман двести франков и пачку сигарет.

Когда спасительный автобус уехал, было темно, звезды искрами сверкали на небе. Шум человеческих голосов стих, и голоса природы снова достигли наших ушей. Из чащи доносилось множество загадочных звуков. Сначала мы думали, что это крики птиц. Было слышно стрекотание, бульканье, шипение, хохот. Бог знает что. Мы не имели ни малейшего понятия о том, кто издавал эти звуки. И, бросив всякие догадки, двинулись в путь.

Масло не текло, но амортизатор все-таки был испорчен и шасси низко лежало на осях, как раненая птица в гнезде, поэтому тащились мы медленно и осторожно. Горы были позади. Вероятно, массив Фута-Джаллон кончился и переходил в плоскогорье, которое опускалось к северу и востоку. Дорога тянулась прямо как стрела, но была вся в выбоинах, засыпанных крупным гравием. Каждую минуту металлическая рама с ужасным скрежетом терлась о песчаные насыпи, а там, где гравия было побольше, машина останавливалась как вкопанная. Несколько раз мы выскакивали из нее и подталкивали автомобиль в поте лица; наконец через час езды «ситроен» завяз как следует и его нельзя было двинуть ни взад, ни вперед. Южный Крест романтично сиял в небе, но на душе у нас было вовсе не романтично и не до звезд нам было...

К счастью, неожиданно появился еще один автобус, переполненный людьми, снова на редкость доброжелательными, всегда готовыми прийти на помощь. Во главе с водителем они гурьбой вывалились из машины и окружи-

ли нас. Узнав, в чем дело, они принесли насос (у Сумы насоса не было), мигом подкачали наши камеры, чтобы колеса поднялись повыше, затем вместе, в двадцать пар рук, со смехом вытащили машину на твердый грунт и, довольные тем, что сделали, поехали дальше. Плата? Награда? Ни за что в жизни, об этом не может быть и речи!

Это была паршивая ночь, но было в ней что-то из «Тысячи и одной»...

И вот мы снова двинулись. К несчастью, гнусная дорога, полная завалов из песка, оказалась не по силам нашей развалюхе: через несколько километров мы завязли в одной из осыпей-и на этот раз намертво. Было девять часов. На помощь мы почти не надеялись.

— Запас добрых людей исчерпан! — кисло выдохнул я. — Наверное, здесь и заночуем.

— Ничего другого нам не осталось, — буркнул Эй-бель и через минуту добавил с легкой насмешкой: — И подумать только, что всего двадцать четыре часа назад мы мечтали о Лили Бадмаевой.

— Неправда! — возопил я. — Это было полвека назад...

Из бруса уже не доносилось такого множества звуков, как вскоре после наступления ночи, однако время от времени мы слышали какое-то глухое бормотание: не то стоны, не то ворчание. Это могли быть и жабы, и львы, бес их там знает. Минутой раньше, чем машина остановилась, в свете фар как молния промелькнул пятнистый хищник, пересекавший наш путь. Сума уверял, что это леопард, но для леопарда зверь был слишком мал; наверное, промелькнула циветта[246].

Мы улеглись на сиденьях как можно удобнее, закрыли окна, уверяя себя, что от холода, и, погасив все огни, сразу уснули.

Из беспробудного сна нас вырвал ослепительный свет, ворвавшийся внутрь машины, словно яростный блеск глаз апокалиптического чудовища. Это был еще один автобус. Я посмотрел на часы: ровно полночь. Приехавшие люди думали, что мы мертвы. Их высыпало несколько десятков с оживленным «хэлло!», однако, несмотря на добрые намерения и усилия, они не сумели сдвинуть «ситроен»: он увяз слишком крепко. Тогда их водитель прицепил его к своей колымаге, и это сразу принесло свои плоды: машина, вытянутая из трясины, могла шлепать дальше своими силами. Мы отвели отзывчивого шофера в сторону, упрашивая принять что-нибудь от нас в знак благодарности. Он возмутился и ничего не принял.

— Лучше угостите меня сигареткой! — восторженно воскликнул он.

Но у нас, как назло, не было сигарет, последнюю пачку мы уже отдали.

— Ничего, — добродушно засмеялся он, пассажиры его поддержали, и вся компания с криком, смехом и песнями полезла в автобус.

Испытания этой ночи потрясли меня. Беда, в которую мы попали, открыла природные достоинства африканцев: их удивительную жизнерадостность, отзывчивость, высокое чувство коллективизма. Среди водителей на дорогах Африки процветало такое чувство братства, о каком на других континентах не имеют понятия. Люди, которые оказали нам помощь, не знали, кто мы такие, и, несмотря на это, от всей души, бескорыстно торопились нам помочь. Эти борцы за новую Африку были товарищами по оружию, связанными общим фронтом, своего рода джентльменами, творящими современное понятие рыцарства.

И это не только в Гвинее. Несколько месяцев спустя я нашел подтверждение этому в Гане. По сравнению с тем пренебрежением (очень хочется сказать — хамством), с которым нередко приходится встречаться на дорогах Европы, в частности Польши, обходительность африканских водителей могла показаться просто ошеломляющей. Это была вежливость абсолютная, безусловная, не знающая исключений. Обгоняемая машина не только со всей учтивостью уступала дорогу, но, кроме того, водитель ее всегда — я подчеркиваю: всегда — делал дружеский жест рукой, приглашая проезжать вперед.

Мы снова двинулись, и теперь дело пошло лучше. Сума научился перебираться через песчаные преграды, давая полный газ. В два часа ночи мы счастливо добрались до Кундары, недурного городишка, который еще не спал: этой ночью здесь происходил бал, и из громкоговорителя лились европейские мелодии попеременно с грохотом тамтамов.

На темной улице стоял какой-то господин в черных брюках и белой рубашке с галстуком. Франт оказался старостой административного центра в Кумбиа, а когда он внимательно прочитал бумагу Главного управления Союза польских писателей, которая препоручала меня гвинейским властям как человека, не имеющего дурных намерений, он весь превратился в сердечность и окружил нас заботой, как родной брат. Правда, он не мог предоставить нам ночлега у себя, так как у него было полно гостей, но поместил измученный «ситроен» в Кумбиа, а нас, Эйбеля и меня, отправил на своем грузовичке в Самбаило, за двадцать километров отсюда, где находился европейский отель француза Вильфара для приезжающих на охоту миллионеров. В этом отеле, хотели мы того или не хотели, нам предстояло жить.

Вильфара не было. Администратор отеля мадам Шамбалье, француженка, любезно встала с ложа и проводила новых постояльцев на ночлег в расположенное неподалеку бунгало. Мне ужасно хотелось спать, а Эйбель был не прочь выпить чего-нибудь теплого. Он вежливо спросил, нельзя ли вскипятить немного воды для чая.

Мадам Шамбалье была искренне удивлена.

— Но ведь кухня в это время закрыта! — воскликнула она.

Нам не оставалось ничего другого, как примириться.

— Mon cher ami![247] — сказал я Эйбелю. — Вот мы и снова среди белых людей...

Сераль

Холодный душ ночью, пять часов здорового сна в удобной постели и душ утром чудесным образом поставили нас на ноги. Мы встали в восемь в прекрасном настроении, готовые обнять весь мир. А мир этим утром был исключительно мил и ласков к нам, как будто хотел загладить вчерашние неприятности.

Когда мы открыли бунгало, чтобы выйти на улицу, нас приветствовало у двери самое прелестное животное бруса, красавица антилопа мина. Большие, закругленные, похожие на ложки уши и белые полосы на теле были нам знакомы. Такую же антилопу, только молодую, получил от Сумы маленький Петрусь в Конакри, а это была взрослая, величиной с нашу серну. Антилопа оказалась ручной, но все же избегала прикосновения человеческих рук, что явно свидетельствовало о ее благоразумии: прикосновение руки человека никогда не приносило ничего хорошего лесному зверю. Это была ласковая коза без рогов; скандальный рогатый самец мог бы дать жару постояльцам отеля.

Здесь же все было направлено на то, чтобы ослепить, расположить и очаровать постояльцев, богатых туристов. Бунгало, в котором мы спали, походило на сказочное: оно представляло собой точную, хотя и в несколько раз увеличенную копию здешних круглых хижин с остроконечной крышей и соединяло в себе их экзотическую живописность с комфортабельным, по-европейски изысканным внутренним убранством. Несколько таких прелестных бунгало-ульев окружали центральный павильон с прохладными залами, где подавали еду. Там, на стенах, рядом с пышными охотничьими трофеями и слоновыми бивнями, красовались и приковывали очарованный взгляд великолепные образцы африканского национального искусства: разнообразное оружие, маски, резные украшения, огненные килимы[248].

Так что, когда мы уселись завтракать, нам было на что посмотреть. После вчерашнего поста завтрак казался вкусным, как еще ни разу в Африке: свежий, прекрасно выпеченный хлеб, лучший в мире — французский, застывшее масло из холодильника, крепкий горячий кофе с холодным молоком — вот это были лакомства! От вкусной еды мы разнежались, развеселились, как от старого вина.

Мечислав Эйбель, несравненный рассказчик и мастер создавать приятное настроение, был в ударе. Он жил когда-то на Корсике и имел там много друзей, и вот сейчас начал о них рассказывать. Далекий остров и друзья ожили, оказались здесь, с нами, в волшебном отеле Вильфара. Что за удивительное наслаждение: мы неслись в разыгравшемся воображении к самым берегам скалистого острова, к опаленным солнцем людям — и, насладившись их сердечной улыбкой, возвращались в Самбаило. Здесь в свою очередь мы наполняли флюидами радости таинственные маски лесных чудовищ, скульптурки прекрасных женщин фульбе, вырезанные из эбенового дерева, и даже набитые головы чучел — охотничьих трофеев. Приятная и забавная игра.

Однако самым фантастическим был здесь сад. Он окружал веранду и жилые бунгало каким-то неистовством растительности. Это была оргия зелени и громадных красных цветов, еще более поразительных благодаря тщательному уходу. С раннего утра черные бои выливали в саду гектолитры воды и таким способом создали волшебный оазис в полупустынном краю, даже в сезон

опаленной земли, пыльных туманов и выжженной травы. И хочешь не хочешь, именно в результате этих крайних противоположностей человек чувствовал себя здесь как в раю, как в саду Семирамиды. Все здесь поражало, приводило в восторг, более того, навязывало непреодолимую иллюзию, что переживаешь наяву какую-то необыкновенную сказку. А ведь именно этого хотел достичь волшебник Вильфар и за это считал себя вправе вытягивать доллары из разбогатевших обывателей.

Несмотря на все это великолепие, я старался — хотя бы для приличия — принимать его с некоторым критицизмом. В конце концов, вложив огромные деньги, конечно, можно было развести эту красоту в глуши, искусственно создать сказочные джунгли, собрать коллекции, поставить живописные бунгало, потчевать гостей свежим французским хлебом и виски со льдом, отгородиться от мира высокой стеной, запустить несколько очаровательных антилоп, умильно ласкающихся к гостям, — все это, в конце концов, возможно для человеческого разума. Но Вильфар действительно оказался волшебником. Каким-то образом он сумел привлечь в свой сад великолепнейших бабочек!

На протяжении последних ста километров, с момента переправы через реку Кумба, мы не видели буквально ни одной бабочки, ни дневной, ни ночной, и, наверное, на высохшей саванне вокруг Самбаило их было немного или совсем не было. А тут — такая масса бабочек резвилась в воздухе, словно насекомые собирались здесь специально. Огромный рой бабочек был не менее привлекателен, чем антилопы и красные цветы, а для меня это была наиболее приятная неожиданность.

Задавали тон два вида: энергичный кавалер *Demo-docus* и мягкий, как бы избалованный *Danais chrisippus*, красивый парусник из семейства *Papilis*, вдвое крупнее нашего королевского пажка, только без хвоста. Его считают бродягой, потому что он столь же величественно порхает и в противоположной, восточной стороне Африки. Ба, я любовался великолепным путешественником даже на Мадагаскаре. В Конакри, где я его недавно видел, он был насторожен и пуглив как дикарь, здесь же, в Самбаило, — напротив, смирный барашек, хоть в руки бери. Он никого не боялся, сидел на красивых цветах на расстоянии шага от человека, его можно было фотографировать с близкого расстояния и ловить — если надо — сколько душе угодно.

Одна подробность наверняка огорчила бы энтомолога Яна Войтицкого: все демодокусы были сильно потрепаны, крылья попорчены. Они не годились для коллекций. Видимо, они много месяцев летали по Африке и теперь, наслаждаясь близостью нектара вильфарового сада, не думали расставаться с этой сладкой жизнью.

Другой род, *Danais chrisippus*, здесь также распространен и так же прекрасен, хотя бабочки были не такие крупные, как демодокусы. Крылья у них светло-коричневые, каштановые и очень темные, цвета темного пива, и при этом много белого; все цвета представлялись в таком великолепном и причудливом сочетании, что, когда бабочка летела, она казалась красочным видением, как будто волшебный мотылек посылал миру сигналы, полные приветливости, очарования и надежды.

Итак, Вильфар создал здесь роскошное предприятие для жадных до африканской природы туристов. По ту сторону проходящей неподалеку границы, уже на территории Федерации Мали[249], по соседству с большим заповедни-

ком, у Вильфара был другой такой же отель, который обслуживался вышколенным персоналом. За высокую плату — и платить было за что — здесь выполнялись все пожелания и капризы гостей: кто хочет фотографировать диких зверей, того подводят к ним на несколько десятков шагов; кто хочет убить крупную антилопу, тому отличные загонщики показывают цель поблизости от заповедника; кто хочет поохотиться на льва, того обслуживает сам Вильфар в сопровождении своих наиболее способных охотников.

В Восточной Африке, где белые зарабатывали бешеные деньги на шахтах и плантациях, таких отелей в диком бруссе — бесчисленное множество. Оборудованные с большим, даже чрезмерным комфортом, они способны были удовлетворить любые фантазии, самые сумасбродные желания, пользовались огромным успехом и давали сказочную прибыль. В Гвинее дело обстояло иначе: здесь обосновался только один Вильфар, но из-за перемен в стране и отъезда богатых французов его теперь ожидало неизбежное банкротство. Он рассчитывал только на свой филиал в Мали, где пока еще терпели французов.

Я очень жалел, что Вильфара не было в Самбаило; оборотистый француз очень интересовал меня, поскольку до войны несколько лет пробыл в Польше, кажется, сохранил к ней живое чувство и даже неплохо говорил по-польски. Я бы охотно познакомился с предприимчивым господином, а также с тайнами его волшебства. К сожалению, это не удалось.

После завтрака я пошел в деревню, прилегающую к отелю. Как и большинство африканских деревень, она состояла из типичных круглых хижин с островерхими крышами, была сравнительно велика, но какая царила здесь грязь, нужда, пыль, какими жалкими были низенькие мазанки. Почти никакой зелени, чахлые деревья, всюду серость и запустение. Население жило главным образом работой в отеле, но, как видно, немного крошек перепало с барского стола.

Едва я показался в деревне, как ко мне мигом пристроился бой из гостиницы и сопровождал меня, словно ангел-хранитель. Шамбан — так звали боя — происходил из племени фульбе и был одним из загонщиков Вильфара.

— Кто здесь живет? Кониаги? — спросил я его, указывая на деревню.

Нет, в Самбаило было общество смешанное, из разных племен, больше всего фульбе, несколько сосо и мандинго, но никаких кониаги.

— А где кониаги?

Шамбан объяснил, что кониаги живут повсюду в окрестностях, но больше всего их под Юкункуном, в сорока километрах от Самбаило.

Когда я, несколько удрученный, через час возвращался в отель, трудно было себе представить более разительный, потрясающий контраст: я перешел в совершенно другой мир, как бы на другую планету, из кошмара попал в рай.

Забавная подробность: в саду отеля даже воздух был более прохладным, тогда как рядом опаленная деревня дышала невыносимым жаром.

Тогда я понял, для чего белым хозяевам была необходима невообразимая роскошь этого отеля: все здесь — даже ласковость антилоп, даже прелесть африканских бабочек — лишний раз утверждало хозяев колонии в надменном убеждении, что именно они — избранники судьбы; роскошь отеля давала им уверенность, что они принадлежат к господствующей расе, которой провидение вверило власть и предоставило право опеки над Черным континентом. В этом серале пышности и излишеств, в атмосфере полурайской, по-лусказоч-

ной жизни сильные люди должны были обрести еще большую силу, гордые — возвысить свою гордость, уверенные — укрепить свою уверенность.

Produce of Poland[250]

Я вернулся в отель около одиннадцати, за час до обеда; прошу прощения, здесь это называли более изысканно — вторым завтраком. Свежими впечатлениями о деревне я хотел сразу поделиться с Эйбелем, который не покидал отеля, но из этого ничего не вышло: из Кумбиа уже приехал наш ночной знакомый — симпатичный староста Конде Альсени с каким-то гвинейцем, и оба, хоть были очень учтивы и деликатны, несколько смешали нам карты. Конде привез неприятное известие о нашей машине, которую не удалось отремонтировать в Кумбиа, так как были нужны запасные части, а их можно было привезти лишь из Конакри или Дакара. Это было просто трагическое известие, и, может быть, поэтому я довольно несправедливо записал в блокноте: «Конде явился с утра и морочит нам голову».

Это была неправда. Он и его приятель скромно сидели на высоких стульях в баре отеля, заказав себе какую-то воду. Глядя на это, Эйбель, знаток хороших манер и дипломат, любезно занялся ими и завел беседу. Это был разговор ни о чем, так, болтовня, поэтому я ретировался и, влекомый своей страстью, прокрался с фотоаппаратом в сад.

Здесь, так же как утром, порхало много бабочек, а больше всего — демодокусов. Мне нужен был именно этот плут. Однако я заметил, что было бы легче поймать и заспиртовать десяток других бабочек, чем сфотографировать эту. С виду все казалось просто: ведь кавалер прилетал каждую минуту и садился на красный цветок в двух шагах от человека. К сожалению, почти тотчас, через секунду-две, непоседа срывался как безумный с места и улетал. Лучше всего фотографировать с метрового расстояния, но стоило мне направить объектив на какой-нибудь цветок в метре от меня и застыть в терпеливом ожидании, как негодницы бабочки, пролетев мимо, спокойно садились на соседние цветы. Все это продолжалось добрую четверть часа, прежде чем я сделал три ненадежных снимка, после чего почувствовал, что сыт по горло и развлечением, и адским солнцем. Я вернулся под крышу в тоске по обществу и напиткам.

В холле стояла приятная прохлада, настроение наших собеседников к этому времени заметно улучшилось. Конде Альсени с приятелем составили славную компанию, они были в равной мере симпатичны, неглупы и сметливы, разговор с ними был приятен и шел на должном уровне.

Приятель Конде оказался начальником полиции всего пограничного округа Юкункун, которому в округе подчинялась волость Кумбиа[251]. В Юкункуне как раз получили из Министерства информации Конакри телеграмму, в которой предупреждалось о моем приезде и предписывалось властям окружить меня вниманием и заботой. Вот начальник полиции и заявился лично в Самбаило, чтобы понюхать, что я за личность и каким ветром меня сюда занесло. Когда за милой болтовней я почувствовал его вполне обоснованную заинтересованность, то не стал медлить с объяснениями, сообщив довольно благодушно, что хотел бы ознакомиться с племенем кониаги.

— Ах, кониаги, кониаги! — воскликнул он с деланной досадой. — Чем же они так интересны? Тем, что ходят голые?

Нагота племени кониаги была костью в горле правительственных кругов,

своего рода пунктиком, поэтому я ответил:

— Голые они или не голые, но кониаги некогда упорно сопротивлялись фульбе и французам. Разве это не достаточно интересно?

Начальник был родом с побережья и не принадлежал к фульбе.

— Это правда, — поддержал меня Конде. — Припомни-ка, начальник, недавно здесь была киногруппа, не знаю уж, польская или чешская, она снимала знаменитые танцы племени басари, двоюродных братьев кониаги.

— Они специально оделись для танцев! — стоял на своем начальник.

Он происходил из племени сусу и, несомненно, был на хорошем счету в Конакри, если ему доверили такую ответственную должность именно на этой границе. Здесь надо было особенно бдительно следить за всем, что происходило в соседней Федерации Мали, а также не спускать глаз с собственных гвинейских фульбе.

Конде Альсени, как и президент Секу Туре, был из племени мандинго, родом из окрестностей города Канкан, расположенного в глубине страны. Призванный на курсы высших чиновников администрации, он окончил их с отличными результатами. Конде ожидала блестящая карьера. Вполне естественно: гибкий, ясный ум и милое деликатное обращение великолепно дополняли привлекательную внешность. Конде был красив. У него были не слишком вывернуты губы, нос едва приплюснут; лицо, совсем темное, как у всех мандинго, поражало правильностью черт и благородным выражением. Конде около тридцати лет, он не женат.

— Еще не женат? — искренне удивился я.

— Конде, — объяснил начальник, — много работал, все время учился, у него не было времени думать о личных делах. Кроме того, у Конде... особые мечты... — добавил он с улыбкой.

— Какие мечты? — спросил я, но вопрос остался без ответа, так как разговор перешел на другую тему.

Поскольку приближалось время обеда, а оба гостя не собирались уходить, мы пригласили их пообедать с нами. Они с радостью согласились. В это время Эйбель, понимающе мигнув мне, забрал всех в наше бунгало и здесь достал из чемодана две симпатичные бутылки из Польши: одну с вавельским медом, а другую с зубровкой. Он хотел подарить их гвинейцам, но его вдруг охватили сомнения: это же были мусульмане, беспощадные враги алкоголя. С некоторым смущением и с излишним жаром приступил он к объяснениям, что это только лекарства, что это крепленный мед и экстракт из зубровки, такой травы; я тоже взялся за оружие и, обратившись в фарисея, завел ту же песню, восхваляя укрепляющие эликсиры здоровья.

Наивные опасения, что обиженные гвинейцы отвергнут дары, к счастью, оказались напрасными. Наши усилия были излишни, мы таскали шишки в лес, ломались в открытую дверь. Оба они искренне удивились обилию наших аргументов и покончили с этим делом в мгновение ока: быстренько приняли дьявольские напитки, словно это был небесный нектар, — и баста. Предрассудки не держали их в плену.

Ради такой приятной компании искуситель Эйбель сделал еще шаг и заблаговременно приказал заморозить в холодильнике бутылку экспортной «выбровой». За обедом «эликсир здоровья» пришелся по вкусу поклонникам Пророка и уже после первой рюмки раскрыл наши души и развязал языки.

Это был праздник братства, пир личной дружбы и дружбы наших народов. В порыве искреннего воодушевления я пригласил начальника полиции в Польшу, если судьба забросит его когда-нибудь в Европу, и обещал ему сердечное гостеприимство.

— Ах, Польша, Польша! — вдруг размечтался Конде.

В его голосе откуда ни возьмись прозвучало столько чувства, что мы невольно взглянули на него несколько растерянно.

— Вы хотели бы туда поехать? — спросил я.

— Это верх моих желаний! — пробормотал он с волнением.

— Что так влечет вас в Польшу? — вежливо допытывался я.

— Молодые девушки, — просто ответил он.

Ответ был для нас неожиданным. Мы с Эйбелем остолбенели, взглянули друг на друга, смех распирал нас, но старосте было совсем не весело. Дело вообще оказалось не так смешно и фантастично, как могло показаться в первую минуту. Конде толково все объяснил: пять или шесть лет назад несколько его ровесников, африканцев, принимали участие в большом фестивале молодежи в Варшаве; они вернулись в Африку очарованные обаянием молодых польек. Хорошенькие девушки встретили их без всякого предубеждения и проявляли к африканским юношам даже больше расположения и тепла, чем, например, к шотландцам или американцам.

Конде Альсени долгое время предполагал, что сердечность, проявленная к гостям в Варшаве, была вызвана главным образом общим настроением фестиваля, но недавно изменил свое мнение. Очаровательные польки и дальше сохраняли благосклонность к иностранцам. Он встретил одного француза, который каждый год ездил на международные ярмарки в Польшу, и этот опытный, бывалый малый уверял, что многие прекрасные польки, подружившись с иностранцами, выезжали за границу в качестве жен, невест, даже приятельниц, причем польские власти не чинили им затруднений.

— Я мечтаю о жене-польке! — закончил Конде с блеском в глазах.

На наших лицах начальник, вероятно, прочел известное недоверие к рассказу Конде, так как начал объяснять, что у него тоже светлокожая жена, мулатка из Конакри, и что он с ней счастлив, что в братской Гане дочь английского лорда Криппса вышла замуж за африканца, имеет детей и совсем не тоскует по высшему свету.

— Я мечтаю о жене-польке, — еще раз вздохнул расчувствовавшийся Конде.

Нас разделяла благородная бутылка *Produce of Poland*. Я улыбнулся ей: оказывается, на уровень мировых стандартов поднялась не только польская «выборова», но и польские девушки.

Все течет, все изменяется

Судьба не могла сыграть с нами шутки хуже, чем поломка автомобиля. Разлетелись в прах наши планы добраться до поселений племени кониаги, рассеянных в бресе вдали от проезжих дорог, и даже возвращение в более цивилизованные пределы становилось проблемой: здесь нельзя было нанять легковую машину, автобусы курсировали редко и нерегулярно, а нанять небольшой грузовик стоило баснословных денег: двести— двести пятьдесят долларов. Мы влипли в скверную историю, но, несмотря ни на что, не теряли надежды. Одно не подлежало сомнению: во всем, что касалось средств сообщения, мы были отданы на милость местных властей.

После приятного совместного обеда Конде взялся довести всю компанию на пикапе в Юкункун, чтобы представить нас своему шефу, коменданту административного округа. Ехать надо было через Кундару, где к нам присоединился Барри Секу Диалло, комендант округа Гауал, граничащего на юге с округом Юкункун.

Барри Секу Диалло был молодой красивый фульбе, но тип его красоты несколько иной, чем у мандинго Конде: в то время как лицо Конде выражало мягкость и склонность к задумчивости, Диалло отличался самоуверенностью, свободой обращения и барской надменностью, выражение его лица было заносчивое, дерзкое, а черты — почти арийские, и, если бы не черная кожа, его можно было бы принять за какого-нибудь Кмитича[252].

Необыкновенно быстрый, оперативный, он, кажется, до недавнего времени занимал пост директора департамента в каком-то из министерств в Конакри, но своим неисправимым зазнайством восстановил против себя многих коллег и подчиненных. Назначение его комендантом округа Гауал было чем-то вроде ссылки в северную часть государства.

Диалло имел легковую машину, которую водил сам. Он захватил с собой Эйбея и меня. Конде ехал на своем пикапе. «По дороге мы видели, — записал я в блокноте, — полунагих кониаги, мужчин и женщин, а молодые девушки ходят с обнаженной грудью, чего до сих пор не встречалось на Фута-Джаллон. Пока мы видели обнаженными по пояс лишь достойных матерей. Страна плоская, горы Фута-Джаллон позади».

В одном месте четыре пожилые женщины кониаги сидели в поле поблизости от дороги и чистили земляные орехи, ссыпанные в кучу. Я попросил Диалло остановиться и выскочил с аппаратом. Они что-то буркнули под нос в ответ на мое дружеское bonjour, но в общем держались довольно просто. Если не считать того, что кониаги были почти голыми (лишь вокруг бедер обернут какой-то лоскут в своеобразном стиле бикини), то они немногим отличались от бедных женщин других племен.

Я фотографировал их снова и снова, что они воспринимали пассивно и безразлично, как неизбежную волю божию, зато менее пассивно держался мой фульбе. Наверное, по его мнению, репутация Гвинеи была под угрозой оттого, что я увековечивал наготу достойных дам.

— Assez! Venez![253]— услышал я вдруг нетерпеливый призыв из его машины.

Тон, до такой степени повелительный, непозволителен даже в Европе, тем более странным казался он здесь, в бывшей колонии, где еще два-три года на-

зад господствовал белый человек, приравнивавший себя к богам. Я почувствовал на собственной шкуре, как полетели теперь к чертям и боги и уважение к ним, и поэтому вернулся к машине в отличном настроении. Когда мы двинулись, я позволил себе ехидно заметить;

— Вы, наверное, долго служили в армии?

— Нет, совсем не служил. А что?

— Голос у вас генеральский.

— Генеральский?

— Ну, уж по меньшей мере фельдфебельский...

Я взглянул на него. Он немного надул губы, сощурил глаза, но принял шутку без обиды. Я был восхищен: это был, бесспорно, типичный барин. Черные брюки и черные ботинки, белая нейлоновая рубашка с длинными рукавами, застегнутый воротничок и темный галстук, все было отменно, так же как спесивое выражение дерзкого лица. Молодой фульбейский аристократ не отучился смотреть на людей гордым взглядом — так смотрели его предки на покоренные племена и рабов.

Замечательное явление — время: еще три года назад этот фульбе не посмел бы так бесцеремонно обратиться ко мне, белому, зато семьдесят лет назад белый не посмел бы так шутить с фульбе, не подвергая опасности свою голову.

Невежа

Когда мы приехали в Юкункун, было четыре часа, но для коменданта округа, Барри Махмаду Ури, не кончился еще послеобеденный отдых. В великолепной, унаследованной от французского *chef de cercle*[254] резиденции, где и теперь тщательно поддерживался прежний порядок, нас приветствовала дородная дама, наверное старшая жена коменданта Ури.

С подкупающей простотой она сказала, что муж еще спит, но скоро она его разбудит, и со светской любезностью просила нас располагаться как у себя дома. Она приветливо спросила каждого, какого напитка он желает, после чего такой же чернокожий, как и его госпожа, бой, проворно нас обслужил. На низком инкрустированном столике рядом со мной он поставил стакан со льдом и налил в него виски «Джонни уоркер» столько, сколько я просил, а также содовой воды «Перрье».

Сидя в гигантских кожаных креслах, мы утопали в них, как в глубоких вместилищах роскоши и спеси. Скромный, как всегда, староста Конде всячески старался спрятать под себя ноги, тогда как комендант Диалло, чувствуя себя в своей стихии, небрежно вытянул их далеко вперед, а в кресле развалился, как в постели. Мы находились в прекрасно обставленном просторном холле с домашним баром у одной из стен.

Мы ждали долго, очень долго, полчаса, три четверти часа, а комендант Барри Махмаду Ури не появлялся. Он мог бы уже давно встать и одеться, но, видно, фульбейский этикет предусматривал, чтобы ожидающие гости как следует пообмякли перед встречей с важной персоной. Я почти наслаждался этим испытанием терпеливости, принимая его с полным знанием дела, так как недавно в Конакри читал старую книгу француза Оливье де Сандерваля, который в 1880 году посещал Фута-Джаллон и написал недурной томик о своих приключениях. В книге он больше всего рассуждал о неприятностях, которые доставляли ему интриги и сомнение фульбейских властителей, а особенно

их царька — альмами в Тимбо. Этот надменный тиран вроде бы любил француза и уважал его, однако держал его целыми месяцами узником и лишь спустя долгое время с болью в сердце выпустил из рук, позволив ему покинуть Фута-Джаллон. «Наш хозяин достойный его последователь», подумал я.

— Может быть, комендант болен? — вежливо допытывался я у Диалло.

— Нет, какое там! — махнул он рукой. — Кузен здоров...

Вопрос был для него исчерпан.

— Так вы кузены? — заинтересовался я.

— Да.

— А, понимаю! — успокоился я. — Теперь понимаю.

На большом столе красного дерева, который занимал середину холла, стояли две небольшие, чудные, оригинальные скульптурки из меди, представляющие гротескные, по-донкихотски вытянутые фигуры. Особенно замечательна была группа — человек и крокодил, полная эксцентричного юмора и сверхъестественной выразительности.

— Вы не знаете, откуда они? — спросил я.

Диалло знал: они были из-под Канкана, где их выделывали местные кузнецы.

— Большие мастера, — сказал я. — Нельзя ли мне сфотографировать фигурки?

— Ну конечно, пожалуйста! — сказал Диалло.

Я сфотографировал их на улице, при свете солнца, демонстрируя, что не только пялюсь на голых кони-аги.

Тем временем жена недосыпаемого коменданта старалась сделать наше ожидание более приятным, занимая нас милым разговором ни о чем; улыбающаяся, подвижная, она часто вставала, выходила, возвращалась.

В Соединенных Штатах на коробках с овсяными хлопьями была изображена знаменитая служанка тетушка Джесси, добродушная, пышная, широко улыбающаяся хозяйюшка-негритянка. Жена коменданта была удивительно похожа на безмятежную тетушку Джесси из Америки.

— Я по образованию медицинская сестра! — похвалилась она, и мы с Эйбелем приняли это сообщение с громкими возгласами признания и удивления. То, что она была медсестрой, выделяло ее среди десятков тысяч соотечественниц как личность революционную и прогрессивную и придавало блеск ее савоннику мужу.

Наконец появился и он. Старше, чем Диалло, в возрасте около сорока лет, полный, с одутловатым, скорее заурядным лицом, не такой красивый, как Диалло, но тоже «господин». Двигался комендант с неторопливостью большого вельможи, на лице его светилась любезная улыбка. Одет он был попросту, в пижаму, как бы с нарочитой небрежностью. Негромким голосом комендант произнес вежливую формулу извинения за длительное отсутствие. Вкрадчивым движением приглашая нас сесть, он подтвердил, что телеграмма обо мне из Министерства информации получена, и добавил степенно, но любезно:

— Я постараюсь сделать для вас все, что будет в моей власти...

После этого он ожидающе взглянул на меня.

Я восхвалял себя минут десять: этого должно было быть достаточно, чтобы завоевать его симпатии. Комендант слушал тактично, но бесстрастно, и по его лицу невозможно было угадать, какое впечатление произвели на него мои

слова. Произнося свою речь, я все время ощущал некоторое беспокойство.

Закончил я заявлением, что в этом путешествии меня интересует все: от явлений природы до самых будничных занятий человека, не только обычаи таких малоразвитых племен, как кониаги. Историю великих народов и их выдающихся вождей — вот что я хотел бы изучить здесь. Взять хотя бы знаменитого Самори[255], который разбил французов в конце XIX века и сейчас признан национальным героем Гвинеи...

Стало тихо. Оба фульбе — староста Конде Альсени, как мандинго, здесь не котировался — в хладном спокойствии переваривали мои слова.

— А вы знаете других наших героев? — спросил, продолжая беседу, Диалло. — Вам известны другие аспекты нашей истории?

Упор на другие аспекты был достаточно выразителен.

— Ах! — воскликнул я живо. — Вы, наверное, имеете в виду историю государства фульбе в Фута-Джаллоне и необычайно интересное соперничество двух царских родов Альфа и Сори? Об этом идет речь?

На лицах фульбе появилось выражение явного удивления. До сих пор они, видимо, встречались с гостями, имевшими весьма слабое представление об истории их страны.

— Да, я имел в виду именно это! — ответил довольный Диалло. — В конце XIX века у нас был крупный государственный деятель и знаменитый вождь...

— Альфа Яия, альмами из Лабе? — прервал я его. — Вы о нем говорите?

— Конечно! — подтвердил он, а глаза его на мгновение вспыхнули недоверием. — Вы слышали о нем?

— Читал, — усмехнулся я. — В Конакри о нем не говорят, поэтому и услышать здесь ничего невозможно. Говорят о Самори.

— Несправедливо! — с возмущением сказал молодой фульбе.

— Пожалуй, все же справедливо! — возразил я. — Альфа Яия действительно был незаурядным деятелем, властителем крупного масштаба и, как победоносный вождь, покорял все племена почти до морского побережья — все, за исключением одного, но его миновала великая историческая миссия: он не боролся с французами. Его ровесник Самори боролся, и поэтому имя его прославлено.

— Это не лишено справедливости, — вступил в разговор хозяин, комендант Юкункуна. — Наш дед Альфа Яия действительно стремился к соглашению с Францией.

Таким образом, выяснилось, что оба фульбе происходили из рода Сори и к тому же были внуками лихого рубаки и борца, упомянутого Альфа Яия.

— Не подлежит сомнению, что судьба и история не были милостивы к Альфа Яия и не позволили ему выдвинуться так, как он заслуживал этого по своим способностям, — продолжал я дальше свою мысль. — Но ведь у вас, фульбе, есть другой герой, которым вы можете гордиться. Карамоко Альфа почти из ничего создал в XVIII веке сильное государство в Фута-Джаллоне, придал ему огромную военную мощь, вдохнул творческую мысль во многие поколения людей, но, под конец жизни, на ваше счастье, сошел с ума, предоставив возможность другому роду, вам, Сори, прийти вместе с родом Альфа к власти. Это был великий муж.

С некоторого времени оба фульбе, остолбенев, смотрели на меня как зачарованные. Они растаяли, были покорены, ошалели от удивления. Лед тронул-

ся. Комендант Юкункуна так искренне оживился, что — черт возьми! — уподобился какому-нибудь польскому шляхтичу XVIII века: стал так же размашист, общителен, гостеприимен. Он заявил, что мы — его гости и должны поселиться в его резиденции. Начиная с завтрашнего дня мы по очереди посетим все четыре племени, населяющие его округ. Мы увидим все, что есть у него интересного, а также танцы в нашу честь. Если не удастся исправить наш «ситроен», он прикажет отвезти нас на служебной машине в Лабе, а в Лабе мы получим Другой экипаж. Комендант был готов для нас на все.

Щедро, как из рога изобилия, сыпались обещания милостей, и мы, обрадованные, принимали все благодеяния с одной только оговоркой: сегодняшней вечер и ночь мы проведем еще в отеле и только с завтрашнего дня воспользуемся гостеприимством коменданта. Разумеется, он согласился и приказал отвезти нас в Самбаило.

На обратном пути заходящее солнце светило нам в глаза. Оно было уже совсем не убийственное, не африканское, не жаркое, красное, по-европейски ласковое. Пейзажи африканской саванны не жились в его мягких лучах; так же блаженно погрузились в приятные мысли и мы.

Хижина

Наутро следующего дня, было еще около восьми, в Самбаило прибыл пикап из Кундары, и мы охотно двинулись в Юкункун, оплатив солидный счет в отеле. Он составлял почти сорок долларов за неполные полтора дня — очень неприятный счет. Настроение в резиденции не изменилось: комендант Барри Махмаду Ури сердечно нас приветствовал.

Итиу, самое близкое селение кониаги, было расположено сразу же за городом, в каком-нибудь километре от Юкункуна. Нас отвез туда на своем лимузине красавец Диалло, а кроме того, за ним следовал пикап с четырьмя детинами. Что это, наша охрана? Когда мы вышли из машин посреди деревни, это выглядело как вполне нормальный налет, с тем лишь отличием, что не было заметно оружия. Диалло все еще был в своей парадной рубашке и черных брюках, и все вместе мы имели грозный вид многочисленной комиссии или инспекции.

— Жителей деревни известили о нашем визите? — спросил я у Диалло.

— Видимо, известили.

— Наверное, они безумно рады! — заметил я.

Куда ни взглянешь, ни одной живой души, ни следа какого-нибудь кониаги, жаждущего нас приветствовать.

— Придут! — уверял Диалло, полный вдохновенной веры.

Деревня тянулась в чистом поле больше чем на километр, и хижины были разбросаны далеко друг от друга. Только в одном месте, на окраине деревни, домики, поставленные как по ниточке один за другим, вытянулись в стройный ряд — невероятно длинный и ровненький. Все хижины там были одинаковые, похожие одна на другую как близнецы, выглядели они почти как казармы или как строй сюрреалистических солдат.

Как я узнал минутой спустя, в них жили только молодые люди, которые уже прошли посвящение, но были еще холостыми и пребывали в части селения, которая называлась «тиарег». Посвященные — прошедшие сложные обряды юноши — составляли род тайного ордена, который решал важнейшие дела де-

ревни и племени. Их глава, немба, пожалуй, имел большее влияние и власть, чем официальный вождь.

Итиу — деревня аскетов, живущих по-спартански сурово. Она расположена на песчаной почве, деревьев немного, и совсем мало фруктовых садов, столь характерных для селений других африканских племен. Часть деревни, где живут холостяки, почти лишена зелени, здесь растет лишь одно-единственное дерево. Кругом пески, пыль и мусор, жар, запустение и сушь. Было неуютно, как в военном лагере, а отсутствие растений и хотя бы клочка обработанной земли было тем более удивительно, что кониаги слыли трудолюбивыми земледельцами, которым были известны севооборот и удобрение почвы. Как видно, они обрабатывали свои поля в бресе, вдали от домов, а в деревне жили действительно как в военном лагере, готовые в любой момент оставить его.

Особенно своеобразными нам показались сами хижины. Экзотика в экзотике. Все хижины, которые мы видели до сих пор в африканском бресе, представляли собой мазанки с глиняными стенами, приземистые, похожие по форме на перевернутые колоды, словом, широкие и низкие, как бы придавленные. Напротив, хижины кониаги совсем не такие: в общем тоже круглые, но сплетенные из тростника, при этом очень узкие и относительно высокие, с крышей в форме кокетливой лохматой шапочки. Эти стройные хижины дерзко торчали из земли и были так легки, что один человек мог без труда разобрать их и перенести куда угодно во время стычки или других происшествий, а то и просто по чистой фантазии.

Дома посвященных юношей — эта длинная линия хижин — затронули мое любопытство; к сожалению, там царила глухая враждебная тишина. Как будто все вымерло и никого тут нет. А ведь я знал, что именно здесь находился костяк племени, в этих хижинах рождалась его истинная сила, закалялось сопротивление, о которое разбивались все усилия врагов. Союзы молодых людей, более или менее тайные религиозные союзы, возникали у большинства африканских племен, но, пожалуй, нигде не приобрели столь огромного значения, как у кониаги.

Своеобразное племя занимало шестьдесят пять деревень, и в каждой существовал такой же поселок для посвященных молодых людей, — школа и кузница характеров. Здесь у молодежи выковывались благородная гордость, чувство собственного достоинства и прежде всего боевые качества лучших воинов, которыми только располагала Африка. В доколониальные времена воины кониаги установили своеобразный рекорд: они не понесли ни одного поражения, тогда как сами уничтожали во много раз превосходящие их отряды противника и никогда не знали рабского ярма.

И вот я с надлежащим почтением поглядывал на хижины, которые имели еще одну отличительную особенность: они были неестественно малы. Наиболее солидные из них имели никак не больше двух метров в диаметре, а то и значительно меньше. Кониаги были хорошо сложены, как большинство африканцев, — а это значит, что небольшие размеры хижин принуждали их спать согнувшись. Как видно, закаленное в боях племя с легкостью переносило неудобства, лишь бы сохранить свою подвижность, имея необременительное, легко переносимое с места на место имущество.

— Это достойно удивления! — произнес я с нотой одобрения в голосе. —

Невиданно!

— Что невиданно? — комендант Диалло искоса бросил на меня вопрошительный взгляд.

— Хотя бы то, как они спят в этих хижинах! Это нелегкое искусство!

Диалло со свойственным ему пренебрежением надул губы.

— Никакого искусства! Спят себе, свернувшись по-собачьи...

Достойный фульбе явно не пылал излишней любовью к кониаги.

— Но эти собаки, — отрезал я не без ехидства, — умели царапать и кусать, как львы, о чем Альфа Яия, ваш дедушка, мог бы нам кое-что порассказать, если бы был жив...

Диалло проглотил горькую пилюлю и сжал губы; с гостем спорить не годилось.

— Вы их любите! — заметил он с выражением сочувствия к человеку, у которого плохой вкус.

Он не ошибался: я действительно питал слабость к кониаги. И не только потому, что они были непобедимыми воинами. Они своим примером учили кое-чему большему: умные, дальновидные приемы, которыми пользовались эти простые люди, чтобы воспитать в себе такую твердость и такую воинственность, были поистине потрясающи и заслуживали уважения.

Их принципы повышения своей обороноспособности мог бы перенять (с пользой для себя) любой европейский народ.

Племя кониаги

Солнце палило беспощадно. Мы медленно проходили близ хижин тиарега, поселения молодых людей, как вдруг что-то белое явственно обозначилось вдали. Призрак появился из какой-то отдаленной хижины и проворно приближался к нам. Вокруг столько болтали о пресловутой наготе кониаги, что я вылупил глаза при виде фигуры, закутанной в просторное бубу из белоснежного полотна.

— Ах ты, прах тебя возьми! — вырвалось у меня. — Это кониаги?

— Ну да! — ответил один из сопровождавших нас парней. — Это староста деревни Итиу.

Староста держал руки по швам, как бы по команде «смирно». Он подошел, шелестя своим ослепительным великолепием и оказался чрезвычайно симпатичным и общительным кониаги. Староста выразил готовность проводить нас по всей деревне и показать все самое интересное, заявив при этом, что, наверное, немного будет такого, что могло бы нас заинтересовать.

Он знал французский язык, а должность свою занимал всего год, то есть был новым старостой, тогда как старый, со времен колонии, вышел в бесславную отставку.

— Почему в деревне так пусто? — спросил я его.

— Все... почти все, — поправился он, — в поле, собирают орехи...

Земляные орехи для многих поколений кониаги были главным продуктом производства.

В деревне, однако, оставалось больше жителей, чем нам казалось сначала. Так, когда мы бродили по песку вдоль тиарега, из нескольких хижин вышли четверо молодых людей. Они собрались вместе и не спускали с нас критических взглядов. Мы им не нравились, что сразу было видно по их лицам.

Все четверо были одеты в обычные европейские шорты, кроме того, трое из них — в рубашки; так где же, святой боже, эти пресловутые голые кониаги? Предположим, что они получили приказ не показываться сегодня голышом, но все-таки у этих четырех недовольных было кое-какое барахлишко. Вдали от городов, в глубине бруса кониаги выступали в костюмах Адама, в чем мать родила, только повязка на бедрах и немного украшений — разве это такое уж диво в Африке? Что-то здесь не соответствовало официальной точке зрения на почтенных нудистов.

Староста деревни показал нам место, где в 1902 году воины кониаги под корень вырезали отряд французских солдат вместе с их командиром, поручиком Монкоржем. Воспоминания о поражениях французов высоко ценились теперь в Гвинее и свидетельствовали о благонадежности и патриотизме, но, когда я спросил старосту, знает ли он о других, более давних подвигах своего племени, он, украдкой скользнув взглядом в сторону коменданта Диалло, предпочел ничего не вспоминать.

А история этих мест была необыкновенной, удивительной.

Уже с половины XVIII века из глубины гор Фута-Джаллон начали просачиваться слухи о народе фульбе. Увлекаемые пробудившимся вдруг религиозным фанатизмом, фульбе провозгласили страшный для соседей лозунг: «Бог сотворил неверных и дал им нивы, жен и детей для того, чтобы все они стали рабами и собственностью правоверных» — и огнем и мечом воплощали его в действительность. Обладая лучшим оружием — своими знаменитыми саблями, конница, охваченная фанатизмом, неизменно одерживала победы, а покоренные племена превращали в рабов, которые должны были вдали от страны отцов обрабатывать землю своих господ. Фульбе занимались лишь разведением скота и брезговали копать в земле.

В первой половине XIX века они овладели уже территорией Фута-Джаллон и совершали победоносные набеги все дальше на равнину, непосредственно угрожая племени кониаги. Кониаги грозило уничтожение, как многим мелким народностям до них.

Когда фульбе едва вошли в силу в Фута-Джаллоне и, распираемые умопомрачительной гордостью, решили обратить в рабство языческие народы во имя Пророка, племя кониаги с давних времен населяло здешние края. Оно вело жизнь блаженную и ограниченную, чтило своих идолов, выполняло замысловатые обряды, в период дождей устраивало торжества посвящения молодежи. Народ этот не знал никакого ремесла, даже ткачества. Люди ходили без одежды и не стремились обрабатывать землю, зато отчаянно любили охоту. Бесстрашно охотясь с копьем и луком на слона и буйвола, они приобрели зоркий глаз, ловкость и все качества воина, но, пожалуй, в самой большой мере — безумную любовь к свободе.

Численность кониаги никогда не превышала десяти тысяч, из которых лишь четвертая часть считалась взрослыми охотниками. На примере других племен кониаги хорошо знали, что даже отчаянная храбрость не спасет их от значительно превосходящего противника, который тоже славился храбростью. Кроме того, некоторые фульбе имели даже огнестрельное оружие.

Кониаги были известны ружья. Многочисленные бродячие торговцы привозили их с побережья и предлагали на продажу. Но опытные охотники отвергали ружья с презрением, так как терпеть не могли шума, который распу-

гивал зверя в чаще, а сами они так ловко подкрадывались к зверю, что копье и лук оставались для них лучшим оружием.

Но лучшим оно было для охоты на зверя, но не для отражения врага. Как они осознали это — вещь на первый взгляд такая простая, а в условиях их быта просто сенсационная, — теперь трудно установить. Они четко представляли себе то, чего не могли понять другие племена до них, серьезность своего положения и необходимость действенной обороны, действенной, а не героически самоубийственной. Они нуждались в более надежном оружии, в ружьях. Но на что их купить, если у них не было товаров на обмен, а слоновых бивней было недостаточно?

То, что произошло в этот период в сознании кониаги, можно было бы назвать революцией, беспрецедентной в истории других племен. На подобном уровне — революцией и героизмом. Под давлением суровой необходимости кониаги из прирожденных охотников превратились в земледельцев — явление трудное для понимания, в земледельцев страстных, неутомимых и способных. Торговцы с побережья требовали тогда земляных орехов. И кониаги взялись за разведение земляных орехов.

К несчастью, еще до того, как они в обмен на орехи приобрели ружья, начались набеги фульбе. Сначала племя выручали охотничьи навыки и тщательная разведка, которую проводили молодые воины из тиарегов. Фульбе врываются в пустые селения и попадали в хитроумные засады, откуда раздавался гром выстрелов. Время шло, и выстрелы стали раздаваться все чаще, все большее число фульбе падало с коней.

Непобедимые сабли здесь уступали. Уязвленная гордость фульбе не позволяла им оставить кониаги безнаказанными за свои поражения, но что было делать. Они скрежетали зубами, чуть не лезли вон из кожи: растоптать, истребить наглых дикарей стало их страстным желанием, делом их чести. Время от времени фульбе удавалось задеть друзей свирепых кониаги, племена бассари и бадиаранке, но их самих они ни разу не смогли схватить в свои клещи по-настоящему.

В чем был секрет беспрецедентного сопротивления кониаги? За относительно короткое время, сохраняя и дальше свои обычаи и языческие верования, племя преобразилось в одну сплоченную военную организацию, поразительно упорядоченную для примитивного народа. Приблизительно четверть всех кониаги, то есть юноши и мужчины в расцвете сил, образовали постоянную, профессиональную армию, доходящую по численности до двух с половиной тысяч воинов, которые не выполняли никакой другой работы, кроме обеспечения безопасности племени.

В деревенских тиарегах вооруженные отряды жили, как в казармах, а их разведка была так точна, что знала о передвижении фульбейских орд задолго до их приближения к охотничьим местам племени.

Вскоре добыча ружей стала у кониаги манией, ружье хотел иметь каждый воин, и, что самое интересное, все в конце концов приобрели ружья. Это было их огромное национальное достояние. Они вооружились не менее чем двумя тысячами ружей, в результате чего возник неожиданный парадокс: примитивное племя имело лучшую армию, вооруженную более современным оружием, чем народ относительно более цивилизованных, но упорно цепляющихся за свои сабли фульбе. Еще не было случая, чтобы худшее оружие одер-

жало легкую победу над лучшим, поэтому кониаги удавалось успешно отбивать набеги врага.

Появление такого количества огнестрельного оружия было заслугой остальной части племени, этих семи или восьми тысяч женщин, стариков и детей. Со страстью и неугасающим трудолюбием, также невиданным среди других племен, эти невоеннообязанные взялись за тяжелое дело выращивания земляных орехов. Они знали, что судьба племени зависит от них в той же мере, что и от воинов. Это была работа лихорадочная, но разумная и умелая, и она всегда давала обильные плоды. Островерхие хижины наполнялись ценным продуктом, с побережья прибывали купцы, которые вели оживленный обмен ружей на орехи. Таким образом, изобретательные кониаги с самого начала создали неплохую материальную базу, которая обеспечила им эффективное вооружение.

И они выиграли, защитили себя. Даже грозный Альфа Яия не сладил с ними. Из вылазок против кониаги он возвращался в Лабе с пустыми руками, без добычи, без рабов. Французы пока во всем ему способствовали, предоставили ему полную свободу действий — ничто не помогло, он не покориł этого замечательного племени.

А кониаги? Они, успешно сопротивляясь африканским захватчикам, предполагали также уберечься от европейских агрессоров. Когда около 1900 года французы водворились в Юкункуне, кониаги не признали их господства и отказались платить им подати, а также поставлять бесплатных рабочих для общественных работ. В глазах владельцев колонии это было равносильно бунту, поэтому они послали отряд солдат, чтобы поучить наглецов уму-разуму. Но у кониаги было настоящее оружие, и они перебили в Итиу весь отряд.

Поэтому из Конакри была отправлена новая карательная экспедиция, которая в марте 1904 года достигла владений кониаги и сделала свое дело. Племя боролось отчаянно, с неудержимым мужеством, но снова лучшее оружие взяло верх: артиллерия и скорострельные карабины разгромили кремневые ружья. После двухдневного смертоубийственного сражения остатки сгруппированных в боевые десятки воинов кониаги сдались: уже не было сил и боеприпасов. Кониаги были вынуждены сдать победителям все огнестрельное оружие, и тогда ошеломленные французы насчитали тысячу восемьсот ружей, отобранных у покоренных.

Так племя кониаги попало под иго колонизаторов.

Несокрушимые

Огнестрельное оружие так много значило для кониаги, было гордостью племени и единственной гарантией независимости. Французы, отобрав у них оружие, лишили их творческого стимула и радости жизни. Племя непобедимых до сих пор воинов и непревзойденных охотников пришло в упадок, образно выражаясь, ушло в подполье, и этот уход наверняка спас его от окончательного разгрома. В подполье ушли более или менее тайные союзы молодежи, которыми руководили старшие воины, а также жрецы. Сосредоточиваясь в тиарегах, молодые воины сохраняли и сохраняют жизнеспособность племени и прежде всего — силу сопротивления чуждым влияниям. Во время нашего тяжелого путешествия по пескам деревни Итиу мы видели вдали местечко Юкункун, где сейчас правил комендант фульбе, а немного в стороне, в бруссе, светлело несколько белых строений, как бы обособленный хутор. Здесь давно осели католические миссионеры, белые отцы церкви, чтобы обращать язычников-кониаги в праведную веру, но они не пользовались большим успехом, так же как раньше мусульмане-фульбе, которые старались насаждать здесь свою веру с помощью сабель.

Численность кониаги не увеличивается уже в течение десятков лет. Это обстоятельство крайне интриговало французскую администрацию времен колонии и давало простор самым разнообразным предположениям. Вину сваливали прежде всего на молодых девушек племени, имевших якобы обыкновение избавляться от плода. Они делали это для того, чтобы как можно дольше оставаться на девичьем положении, так как у племени был распространен такой обычай: девушка, родившая здорового ребенка, некоторое время спустя должна была выйти замуж. Может быть, в том, что племя не увеличивалось, и были отчасти виноваты молодые ветреницы, но, пожалуй, не это главное. Истребление цвета молодежи и вообще мужчин в борьбе с французами, а позднее — упадок духа всего племени были еще одной причиной подобного опустошения. Однако основная причина падения рождаемости — это полное отсутствие гигиены.

Вокруг Итиу, куда ни бросишь взгляд, не было ни капли воды. Какая-то речушка, кажется, протекала где-то, но очень далеко от людей. В деревне роилось огромное количество мух. До предела агрессивные, они были настоящим бедствием. Нас все время облепляло несколько десятков несносных насекомых, и не было возможности избавиться от них. Чуть отлетев, они тотчас возвращались и набрасывались на нас с удвоенной яростью, так, словно сидеть на человеческом теле было необходимо для их существования. Может быть, им надо было отложить на нас личинки? Черт их знает, но ясно одно: такое количество болезнетворной мерзости должно было сеять тяжелые болезни среди кониагийской детворы.

Горькие раздумья: несколько десятков лет назад крупная и высококультурная европейская держава покорила независимых до того времени кониаги, но, отняв у племени свободу, что она дала ему взамен? Чему его научила? Как защитила его от болезней и вымирания? Бесславный итог пятидесяти четырех лет господства.

А кониаги за эти годы отнюдь не деградировали и приносили колонии известную пользу. Оставаясь трудолюбивыми земледельцами, они выращивали

больше земляных орехов, чем потребляли сами, и поэтому могли поставлять на колониальный рынок излишек своих запасов, получая за это... бусы. Никаких лекарств, никакой медицинской помощи.

Когда мы на машинах выехали из Итиу в Икунун, другую деревню кониаги, несколькими километрами дальше, по дороге я понял, как глубоко запали мне в душу смысленные кониаги. Какие это были трогательные, замечательные молодцы, что за характеры! Мужественная борьба за свободу и тот способ, которым они добывали огнестрельное оружие, вызывали искреннее уважение и свидетельствовали о том, что у кониаги была голова на плечах. Однако все было против них со времен фульбейских набегов до самого сегодняшнего дня: даже эти расположившиеся вблизи миссионеры, наверное по-своему желающие им добра, не умели или не хотели надлежащим образом помочь им, хотя бы избавить их от убийственного нашествия мух.

Икунун показался мне более веселой деревней, чем Итиу. Здесь можно было заметить какую-то жизнь. Женщины в поле, сидя на земле, очищали от волокон созревшие орехи. Молодая женщина, которую я сфотографировал, могла служить олицетворением здоровья и красоты. Какой-то бойкой девушке я деликатно подарил несколько франков, за что она поблагодарила меня, отнеся поклон и присев на одно колено с такой грацией, что потрясла этим Мечислава Эйбея. По его мнению, столь изящного реверанса не постыдилась бы и фрейлиа при дворе королевы Виктории.

Люди в Икунуне держались с большим достоинством, без страха смотрели в глаза, охотно отвечали на вопросы. Здесь не умерло чувство здоровой гордости. Некоторые, особенно юнцы, держались нарочито дерзко и словно хотели показать выражением лица и всем обликом сопровождавшим нас фульбе, что не боятся их. Это было трогательно. Пока мы разговаривали со старшими, поблизости стоял, скрестив руки на груди, двенадцатилетний сорванец с нахальной рожей. Бедрa его были обернуты сзади и с боков тряпкой, спереди по исчезающему теперь у взрослых мужчин кониаги обычаю торчал надетый на половой орган белый чехол из тростника: в таком наряде в прежние времена, в период военной славы, выступали воины племени.

В другом месте мы заметили юношу постарше. Он был христианином, о чем свидетельствовал медный крестик на груди. Этот франт носил короткие европейские шорты, а на голове — французский берет, наверняка подарки отцов-миссионеров. Но, желая показать, что соприкосновение с чужой верой не убавило в нем добродетелей его племени, молодец опирался правой рукой на целых три лука, а левой держал стрелу и указывал ею вдаль, живо поясняя что-то моим фульбе. Это была великолепная поза притягательной простоты.

Мы уловили момент, когда из бруса возвращались трое кониаги: отец и двое сыновей-подростков. Отец хилый, худой, весь закутан в лохмотья, в руках жердь, на которую он опирался; мальчишки же — молодцы хоть куда — были совсем обнажены, если не считать тряпки, покрывавшей бедра. Они заботились о своем внешнем виде, важничали, на них были серьги и множество украшений гри-гри. Луки в руках и полные стрел колчаны придавали им воинственный вид.

Когда мы дружески кивнули мальчишкам, они послушно остановились, вытянувшись как по команде. С любезной снисходительностью, достойной зрелых воинов, они переносили мои манипуляции с фотоаппаратом и терпе-

ливо позволяли себя снимать. Они знали, что это фотоаппарат и что их изображения увидит свет. Поэтому кониаги постарались соорудить великолепные, грозные рожи, которые просто исходили мальчишеской гордостью. На их лицах можно было прочесть все: что они все время закаляются и полны сил, что их отцы славно боролись с французами, а деды не поддались фульбе. В наивном выражении этой силы было столько трогательности, что так и хватало за сердце.

Во время моего пребывания в Конакри, перед выездом в Юкункун, ходили упорные слухи, которые якобы просочились из правительственных кругов, о том, что вынашивается проект полного уничтожения племени кониаги. Оно будто бы подлежало рассредоточению среди других племен и народностей в наказание за упорство, с каким кониаги придерживаются обычая ходить обнаженными. В Конакри этот обычай почитали за позор, которого не может перенести современное государство.

Так вот, в Итау и Икунуне можно было найти подтверждение очевидной бессмысленности таких обвинений: я фотографировал всех кониаги, которых встречал, и все имели на себе хоть какую-нибудь тряпку: распространенные в африканском брусе набедренные повязки или шорты, а иногда и рубашки. Ходить обнаженными по пояс было принято как у мужчин, так и у женщин даже в предместьях Конакри или Аккры, особенно вблизи уличных водопроводов, а здесь и подавно. Я не видел ни одного кониаги зрелого возраста с тростниковой трубочкой, прикрывающей половой орган, — этот обычай племени сохранился только среди желторотых юнцов. Миф о голых кониаги оказался отъявленным вздором.

В период, когда у молодого государства лишь режутся зубы, могла по недосмотру произойти какая-нибудь трагическая по своим последствиям ошибка, но я не могу себе представить, чтобы правительство Секу Туре не знало о замечательных результатах, достигнутых Советским Союзом в области социальных преобразований у народов Сибири. А ведь эти народы зачастую находились на более низком уровне развития, чем кониаги.

...Ходить обнаженными по пояс было принято как у мужчин, так и у женщин даже в предместьях Конакри...

Северный Вьетнам пошел в этом отношении вслед за Советским Союзом, и это тоже принесло прекрасные плоды, например среди первобытного племени са, которое я в свое время посетил.

Но независимо ни от чего новоиспеченная республика Гвинея была в долгу перед воинами кониаги, в особом долгу за их заслуги: ведь кониаги, защищая свою свободу, оказывали яростное сопротивление захватчикам.

Вот почему я не верю сплетням, не приносящим ничего, кроме вреда, Гвинейской Республике.



Деревня-крепость

Было бы наивно думать, что кониаги примут нас, Эйбеля и меня, с открытой душой, если мы приедем одни, но не было также сомнения в том, что сопровождающие нас фульбе действовали на них, как струя холодной воды. О свободном обмене мнениями не могло быть и речи; отсутствие собственной машины и тем самым зависимость от местных властей просто сводили на нет все наши прекрасные планы относительно кониаги.

Начальство в Юкункуне не слишком одобрительно, как мне казалось, смотрело на все наши попытки найти контакт с дерзким племенем. Оно желало, чтобы мы интересовались чем-нибудь другим; за обедом в резиденции округа, прошедшим в приятной обстановке, комендант Барри Махмаду предложил нам вечернюю программу. Конде Альсени, симпатичный староста Кумбиа, должен был отвезти нас в показательную деревню Камаби, которая вступила на путь прогресса.

— Это, наверное, передовая деревня? — спросил я.

— Да, — подтвердил Барри Махмаду. — Передовая.

И в партийном и в производственном отношении. Вас это интересует?

— Почему нет? Очень интересует! — ответил я, и это был искренний ответ: образцовая деревня в этой глуши была, безусловно, интересным явлением.

— Это деревня племени кониаги? — недоверчиво спросил я.

— Какое там! Там есть фульбе, сараколи, сусу, тукулеры, мандинго. Камаби — большая деревня.

Сусу с фульбе издавна жили как кошка с собакой, другие племена тоже не питали друг к другу симпатии.

— И все дружно живут вместе? — допытывался я.

— Как дети одной матери! — уверил меня комендант.

— Феноменально! — заявил я, и это слово в тот день еще не раз приходило мне в голову.

Мы должны были выехать на пикапе через час после обеда, а пока пытались немного отдохнуть в нашей квартире, замученные утренней беготней по деревням кониаги.

— Интересно, что это за деревня Камаби? — спросил меня Эйбель.

Любопытство его было вполне понятно: после наших утренних наблюдений в деревнях кониаги хозяева задумали ввести нас после обеда в живительную атмосферу государственно-созидательных дел.

К сожалению, всё-началось с канители. Мы поздно двинулись в путь, Конде Альсени сам вел пикап, кроме того, нас сопровождал Дьябола Мустафа, учитель из Юкункуна, по национальности сусу, и еще два или три человека, словом, опять многочисленный отряд, только на этот раз без фульбе. Мы порядочно задержались в Кундаре, которая оказалась на нашем пути, а когда автомобиль набрал наконец скорость на паршивой дороге, ведущей куда-то на запад к границе с Португальской Гвинеей, выяснилось, что до Камаби довольно далеко — километров сорок с лишним от Юкункуна. Солнце опускалось, и освещение для фотографирования становилось все хуже.

Выяснилось, что надо еще заехать в какую-то деревню.

— Это, наверное, не Камаби? — спросил я.

— Нет, сударь! — ответил Конде.

Но это была тоже показательная деревня. В поле рядом с дорогой выстроился отряд молодцов и ждал нас. Когда Конде Альсени вышел, молодой командир отряда отрапортовал ему по всем армейским правилам. Это был отряд Союза гвинейской молодежи — первый в Африке зародыш национальной гвардии. Разумеется, снимки — света оказалось еще достаточно, — и мы двинулись дальше.

Когда мы наконец достигли Камаби, невероятно широко раскинувшейся деревни с многочисленным населением, нас встретил своевременно предупрежденный староста Альгамуду и сразу приказал двум парням бить в барабан, который висел во дворе его усадьбы. Барабан могучим гудением поднял все живое в деревне, весь актив, в то время как я старался сфотографировать в гаснущем свете внушительное приспособление, которое издавало такой властный грохот.

— Этот тип барабана, — объяснил мне Конде Альсени, — ненавистный инструмент, он уже обречен у нас на уничтожение...

— Почему? — удивился я.

— Он слишком напоминает старые, плохие времена, некогда его звук возвещал о жестоких распоряжениях колониальных властей, повергая людей в страх.

— А сейчас снова пугает людей, возвещая о прибытии двух непрошенных гостей, — огорчился я.

Конде, наделенный чувством юмора, рассмеялся, но меня занимал вопрос о барабанах. Ведь они представляли собой главный элемент африканской культуры, так как с их помощью почти все здешние народы разработали остроумную систему связи, которая способна передавать срочные известия на огром-

ные расстояния со скоростью, достойной удивления. В этой области африканцы проявили внушающие уважение ум и находчивость. Что за смысл уничтожать это сейчас, когда далеко не везде есть телеграф?

— А если вы уничтожите барабаны, как же вы будете передавать сообщения?

— Не знаю, наверное, с курьерами...

— Ага, понятно, это прогресс! — весело подхватил я. — Один шаг вперед, двести — назад.

Еще гудели барабаны, еще сходились люди, еще не всем пожали мы руки, а нам уже приказали двигаться в деревню. Многолюдная деревня насчитывала тысячу семьсот жителей и тянулась вдаль. Несмотря на то что утром мы набегались по солнцу в деревнях кониаги, нас тащили по гнусной песчаной дороге больше километра, чтобы показать гордость Камаби — хранилище земляных орехов, а также другое хранилище кукурузы, расположенное несколько дальше. Потом мы осмотрели мечеть в форме круглой африканской хижины, только раз в десять больше по размерам. Когда мы досыта пощелкали языками в знак одобрения и все похвалили, нас повели назад, в усадьбу старосты. По пути нам хотели еще продемонстрировать кузницу, но, по счастью, она осталась в стороне. Шагали мы во главе бесчисленной человеческой лавины.

— Что тут еще интересного? — спросил я у Конде и двадцати наиболее знатных граждан деревни, окружавших нас во время шествия. — Что наиболее характерно?

— Политическая жизнь! — ответил Конде не задумываясь. — Деятельность партии.

Действительно, в партии (то есть в Демократической партии Гвинеи) состояли почти все взрослые жители Камаби, как мужчины, так и женщины. Поскольку деревня была такая большая, а собрания созывались часто, пришлось создать два самостоятельных комитета партийной организации, чтобы наладить общественную работу. Несмотря на то что существовал староста и деревенский совет старшин, партия задавала тон всей деревенской жизни, она решала здесь все, без ее согласия не могло начаться ни одно важное дело.

— И в других деревнях так же? — допытывался я.

— Так же, только здесь, в Камаби, более сильная организация, лучше дисциплина и — что говорить — сознательнее люди, собранные из разных концов страны.

— А почему их собрали именно сюда?

— Граница! — коротко ответил Конде.

Из дальнейшего разговора с Конде я узнал, что деревень, подобных Камаби, в этих краях, на границе Гвинеи и Федерации Мали, существует довольно много: если прежде на границах государств возводились оборонительные укрепления и в них размещались отряды первоклассных, овладевших военным искусством солдат, то теперь прежнее стальное оружие было заменено оружием более современным — политическим. Идейное воспитание и партийная дисциплина противопоставлялись враждебным веяниям, которыми угрожал Гвинейской Республике сосед.

Когда я понял это, моя усталость пропала, ее как рукой сняло, и я уже бодрее двигался навстречу всему, что припасла для нас Камаби.

Дисциплина

Подходя к усадьбе старосты, я случайно оглянулся и буквально онемел не то от восторга, гордости, удивления, не то от ощущения комизма ситуации. Толпа, которая двигалась за нами, разрослась до нескольких сот человек и состояла преимущественно из мужчин и юношей, но были и женщины. Выглядела она невероятно внушительно, как шествие победоносного войска.

Маэстро Форд[256] избежал бы на этот раз растянутости действия и не смог бы лучше отработать сцену, тем более эффектную, что люди действительно были охвачены весельем и несколько возбуждены. Эта широкая людская лавина наступала на нас; мы смело маршировали впереди нее, и я очень жалел тогда, что небеса не наделили меня даром честолюбия: какое было бы наслаждение увидеть себя в этот момент в завидной роли Ягеллы, Батория[257], Ганнибала ante portas[258] или руководителя — о вершина блаженства! — олимпийской команды, выступающего впереди нее на параде.

Дойдя до дома старосты, мы остались во дворе, а сопровождавшие нас люди разместились по обе стороны дороги. Вскоре мы услышали громкое, быстро приближающееся пение. По направлению к нам маршировал отряд из нескольких десятков юношей и девушек, и каждый молодой человек и каждая девушка выступали с выстроганным из дерева карабином на плече. Будущие воины обоего пола проделали перед нами ряд упражнений с оружием по команде начальника, отданной на французском языке — что поразило меня, — после чего отряд снова запел с большим темпераментом.

— Что они поют? — спросил я Конде.

— Ах, — улыбнулся он, — очень популярную песню. Это звучит так:

*Как прекрасна ты, Гвинея.
Мы были рабами под гнетом французов.
Сейчас мы свободны, а Гвинея процветает.
Долго мы в рабстве стонали.
Сейчас, к огорченью французов,
наслаждаемся мы свободой,
и все это партии нашей
благодаря.*

Поразительно, как одни и те же причины вызывают почти одинаковые отклики на разных географических широтах: три года назад я слышал в освобожденном Северном Вьетнаме, в горах Сипсонг Чонтаи, почти дословно такую же песню.

Минуту спустя мимо нас, распевая патриотические песни, продефилировал отряд девушек, также вооруженных деревянными карабинами. Подтянутые, стройные девы, все в одинаковых рубашках, своего рода униформе, маршировали, твердо убежденные в своей миссии, и бросали в нашу сторону взгляды с виду грозные и воинственные, а в действительности искрящиеся кокетливой улыбкой. Это было невыразимо забавно и мило.

Когда амазонки остановились поодаль, Конде Аль-сени взял слово и представил нас как гостей из дружественной Польши, а после неуверенных редких хлопков, выразивших радость присутствующих, Дябола Мустафа, учитель из Юкункуна, произнес традиционную мощную речь по-фульбейски. Фульбейские слова, перемешанные с такими французскими выражениями, как

gouvernement, partie, patriotisme, liberte[259], должны были укреплять сердца, учить благонамеренности, возвещать радость сознания. Если я не ошибаюсь, оратор утверждал, что сейчас они живут хорошо, а будут жить еще лучше. Из уст Дьяболой лился стремительный поток воодушевляющих слов, которые производили поразительное действие на слушателей. В конце концов все опустили головы и с глубоким вниманием обратили взоры к земле.

— Что-то не очень они любят официальные собрания, — шепнул мне Эйбель.

Когда Дьяболой Мустафа кончил говорить, староста Альгамуду пригласил нас к себе. Во дворе, под манговым деревом, мы сели вокруг большого стола. Свет фонаря с трудом разгонял окружающую темноту. Началась художественная часть. Вначале певец, он же барабанщик, здоровался со всеми нами, подавая каждому руку, после чего мимо нас с тем же приветствием продефилировали около двух десятков молодых танцовщиц, — и начались песни и танцы. Барабанщик солировал, выкрикивая первые слова песни, а девушки подхватывали их хором и одновременно делали руками и ногами размеренные движения в такт аккомпанементу.

В их песне часто слышались знакомые слова: «Секу Туре», «partie et gouvernement»[260]. Когда я спросил Конде о содержании песни, он подтвердил мои предположения: пели гимн в честь главы партии, клялись ему в любви, клялись бороться за свободу до последней капли крови и так далее. Меня искренне восхищала последовательная тактика и железный порядок: любая оказия служила высшей цели, и абсолютно не допускалось простоев и брака в идеологической работе.

С большим интересом следил я за танцем девушек — их движения были необычайно сдержанны. Я не заметил в нем ни следа пресловутого экстаза, ни непристойной чувственности негритянских танцев, о которых столько было прочитано и которые можно увидеть иногда в художественных фильмах. Здесь не было ничего подобного: опрятно одетые девушки ступали аккуратными маленькими шажками вперед и назад в ритме звуков барабана, а руками, согнутыми в локтях, производили плавные, хорошо отработанные движения. Здесь было все: и приличие, и простота.

Сдержанный танец, лишенный всякой чувственности, мог казаться искусственным следствием суровости нравов, навязанной правительственными кругами, — так сильно он отличался от избитых представлений об Африке. Однако оказалось, что именно этот танец был типично африканским, распространенным во многих странах. Он был принят среди многих народов Западной Африки как танец официальный, светский, а в прежние времена даже придворный. Несколько месяцев спустя я столкнулся с ним, как со старым знакомым, в Аккре, столице Ганы, в отеле «Свийю», где африканки и африканцы танцевали его на дансинге. Здесь его называли «хай-лайф», но он был так же скромн, как и в отдаленной деревне Камаби. Лишь несколько позже выпитые виски и джины наложили на него отпечаток веселой фамиллярности, как это обычно бывает на всех дансингах мира.

Какой-то ловкий плут, польский журналист, увидев этот «хай-лайф», создал вокруг него сенсацию и щедро накормил своих легковерных читателей жирной уткой, написав о демоническом действии танца на сознание, о руках, без всякого стыда блуждающих по бедрам и груди танцовщиц, о затуманенных

глазах и экстазе танцующих — словом, разогнался на сладострастном скакуне преувеличения и породил в своем произведении какой-то разнузданный шабаш в самом сердце Аккры.

Во всяком случае, этот танец вводил в заблуждение уже не одного путешественника. Даже всегда уравновешенный командир английского корабля Ф. Е. Форбес позволил захватить себя пламенной фантазии, Увидев в середине XIX века при дворе царька Дагомеи танец амазонок — как следует из описания, тот самый, что я видел в деревне Камаби, — Форбес с ужасом усмотрел в мерном движении рук танцовщиц нечто символизирующее отсечение головы врага воинственными амазонками. Танцовщицы в Камаби, пригожие девушки, делали те же движения руками, но были далеки от столь кровожадных помыслов.

По окончании духовного пира староста Альгамуду пригласил нас в дом для восприятия пищи телесной. Расположившись полулежа на плетеной циновке, мы захватывали ложками из общей миски вареный рис, который обмакивали потом в довольно острый соус и поглощали с волчьим аппетитом. Запив его совсем недурным кофе, конечно черным и страшно сладким, и поблагодарив этих энергичных людей за все, чем они потчевали нас, мы пустились в обратный путь в Юкункун.

— Когда бы вы хотели покинуть эти края? — спросил я Эйбеля.

— Хоть завтра утром! — вздохнул он.

— Вы читаете мои мысли, — рассмеялся я.

Однако я был очень доволен посещением Юкунку на и его окрестностей. За короткое время мы узнали здесь много интересного, но отсутствие машины по-прежнему обрекло нас на милость и немилость здешних властей. Ввиду столь ограниченной свободы передвижения лучше было сразу вернуться в Конакри и направиться в другой конец Гвинеи. Когда во время ужина мы сообщили коменданту Барри Махмаду Ури о нашем намерении вернуться в Конакри, он совсем не скрывал, что ему это очень на руку, и обещал нам всяческую помощь.

И помог. На следующий день приехал грузовичок и староста Конде Альсени отвез нас в Лабе, где мы получили другую машину. К вечеру третьего дня я был уже в отеле «Парадиз» в Конакри и с удовольствием вспоминал экскурсию в округ Юкункун.

Автомотриса

Для того чтобы, путешествуя, увидеть побольше интересного, нужно везение; в последующие дни оказалось, что исключительно благосклонные боги не пожалели для меня обещанной машины. Разве не было это особым подарком судьбы, когда совсем неожиданно отзывчивая душа протянула мне незнакомую, но такую дружескую руку, а непреодолимая чаща позволила заглянуть в захватывающие тайны жизни животных? Чего же еще желать при таком сказочном счастье?

По правде сказать, все началось прозаично на исходе одной январской ночи на железнодорожном вокзале в Конакри. В этот раз я один отправился в путешествие на восток до города Канкана, за горами Фута-Джаллон. На вокзале было темновато, холодновато, неуютно, зато кишмя кишел нетерпеливый народ с невероятными узлами. Когда так называемая автомотриса — поезд, состоящий из одного вагона с вторым классом впереди, а первым сзади, — подошла к перрону, вся эта кипящая лава начала штурмовать оба входа, яростно толкаясь. Это зрелище живо напомнило мне Варшаву и чрезвычайно растрогало.

Кроме меня ехали всего три европейца, западные немцы, но у них, счастливыхчиков, был сопровождающий из какого-то министерства, который отлично защитил их от своих соотечественников и посадил в удобные креслица. У меня тоже был билет в первый класс, но, никем не сопровождаемый, я лишь с трудом пробился внутрь вагона. Все места были заняты, а кондуктора не было. Кондуктора, как в конце концов оказалось, вообще не было, что я воспринял с удивлением.

Надо было действовать самому. Я встал в конце купе первого класса и, имея перед глазами всех пассажиров, стал присматриваться к ним по очереди, от лица к лицу, обвиняющим и изучающим взглядом василиска. Лампочки были плохие, царил полумрак — боже, снова трогательное воспоминание: такой же классический полумрак, как в поездах между Пушчиковком и Познанью, — чтобы затруднить пассажирам чтение. На всех лицах застыло выражение великолепного безразличия, на меня смотрели пустые, непонимающие глаза.

Но один все-таки не выдержал — он был сражен моим взглядом. Веки его нервно затрепетали. А когда еще беспокойная улыбка тронула его губы, я уже твердо знал, что делать дальше. Не спуская с него глаз, я медленно, с угрожающим видом двинулся в его направлении. Подойдя, я весело улыбнулся ему, так как он уже встал, уступая мне место.

— Ну, — дружески спросил я, — пассажир второго класса, правда?

— Да, я ошибся! — ответил он, казалось даже довольный тем, что ему не удалось здесь остаться.

— О! — пожалел я его. — Мне очень жаль...

— Нет, нет! — прервал он, добродушно обнажая зубы в улыбке. — Это я должен извиниться за ошибку! Я виноват!..

С взаимно вежливыми уверениями мы дружески расстались. Я сел.

Наконец поезд двинулся, с тем чтобы через два километра, на станции Диксинн, остановиться на целых полчаса. Здесь новая атака шумных пассажиров; вместе с ними явился и кондуктор.

Кондуктор сразу приступил к своим обязанностям. Когда я вручил ему билет, он довольно долго смотрел на него, тщательно читая, а потом, как бы в рассеянности, потянувшись за билетом моего соседа, спрятал в карман мой. Я попросил его вернуть билет. Рассеянный кондуктор быстро сунул руку в карман и вынул — билет второго класса.

Я рассмеялся и энергично затряс головой.

— Это не мой билет!

— Нет?! — он прикинулся удивленным и начал искать с озабоченным лицом.

— Он здесь! — помог я ему и показал на его правый карман.

Кондуктор обнаружил пропажу и с недовольным видом возвратил мне билет. Это привело меня в отличное настроение; я вынашивал в мыслях остроту по поводу того, что в Гвинее надо следить за карманами ближних своих.

Мой спутник — сидевший рядом со мной купец мандинго, который ехал в город Куруса на Нигере, как он сказал мне несколько позже, — ткнул меня в бок и спросил:

— Из какой части Франции вы родом?

— Ни из какой. Я не француз.

— Из Германии?

— Нет, — и я сказал ему, откуда я.

— Ах! — взорвался он и бросил в сторону кондуктора укоризненный взгляд. — Так что же эта смола прилепилась к вам?

Он бросил кондуктору несколько резких слов, вероятно указав ему на ошибку, после чего кондуктор перестал дуться на меня и в автомотрисе наступило полное согласие между народами.

Инцидент с билетами явился последним рифом, который я преодолел. С этого момента путешествие пошло гладко, без неожиданностей. Вскоре яркая заря запылала на востоке и мир и жизнь снова стали привлекательны и прекрасны.

Когда мы двинулись из Конакри, мальчик лет, может быть, десяти, сидевший позади меня, принялся рыдать и всхлипывать. Это и ему подобные зрелища будили во мне всегда одни и те же мысли: если короткое расставание вызвало такую скорбь, сколько же слез и горя было здесь во время торговли рабами и вывоза их за море?

Я дал мальчику несколько конфет, и он перестал плакать, наверное пристыженный тем, что обратил на себя внимание. В ответ на это его мать или тетка принесла мне несколько бананов, а так как я не хотел оставаться в долгу перед ними, то на следующей станции купил им ананасы. Этот дружественный церемониал мы производили в полном молчании, без единого слова, что выглядело как-то странно — как немой фильм.

Места, по которым мы проезжали, не были мне незнакомы: приблизительно здесь мы ехали по автостраде до Маму. Как старых знакомых, приветствовал я пейзажи с горами, оливковыми пальмами и иногда с банановыми плантациями. Начинался день, погожий и приятный, как обычно в это время года, а романтическое разнообразие пейзажа переполняло душу радостью. Наиболее эффектно выглядели, как обычно, тюльпановые деревья. Эти дикорастущие магнолиевые попадались лишь изредка, всегда поодиночке; они все еще стояли в цвету и напоминали чарующие клубы алого пламени. Их можно бы-

ло видеть сотню раз, и в сотый раз они всегда, неизменно, беспрестанно потрясали до глубины души. Пожалуй, это было высшее проявление экстаза тропиков и в то же время почти лунатическая оргия очарования и красоты. Природа умеренных поясов не создала ничего, что хотя бы отдаленно напоминало эту пышную красу: только тропики были способны на такое безумство цвета. Не удивительно, что Гоген, страстный искатель солнечных красок, не мог удовольствоваться Францией; даже Мартиника была слишком бедна для него, и только Таити способствовал расцвету его творчества.

Вид алых деревьев будил во мне еще и другие воспоминания. Они напоминали мне стадо павианов, которое мы встретили по дороге в Юкункун. Я хотел как-то сопоставить обезьян с прекрасным деревом, но мне помешал их деспотичный вожак. Так у меня ничего и не вышло.

Через два-три часа после отъезда из Конакри мы были уже в настоящих, больших горах и ползли, извиваясь, по ущельям Фута-Джаллон, а около полудня прибыли в Маму. Стоянка здесь была продолжительной, и пассажиры вышли на станцию подкрепиться. Наибольший успех имели коробочки с сардинами; все, даже бедняки из второго класса, покупали их у разносчиц и ели знаменитые сардины с французским хлебом. Сардины в коробках — популярный дешевый продукт во всем мире, только — вследствие таинственных комбинаций и странного чародейства — не у нас, в Польше.

На восток от Маму горы становились ниже, а около трех часов дня мы выехали из основного футаджаллонского массива и оказались среди пологих холмов, которые несколько дальше переходили в суданскую равнину. У подножия этих холмов, уже в бассейне Нигера, расположился славный город Дабола, до недавнего времени столица одного из наиболее могущественных фульбейских властителей, альмами, если не ошибаюсь, из рода Альфа.

Я решил остановиться на несколько дней в Даболе. Не для поклонения древним властителям, а потому, что, как меня информировали в Конакри и Юкункуне, кажется, здесь женщины фульбе еще сохранили обычай носить волосы зачесанными в форме петушиного гребня — обычай, исчезнувший в других частях страны. До сих пор я видел удивительную прическу только на скульптурках, которые продавались в Конакри, а так как прическа была очень фотогенична, я хотел теперь поохотиться за ней с аппаратом — ну и, конечно, за прекрасными ее обладательницами.

Сойдя с поезда в Даболе, на вокзале, в суматохе которого было бы нетрудно сломать голову, я узнал от красавца фульбе, что отель далеко, почти в двух километрах от станции. Я воспринял это сообщение недоверчиво, снова почуяв неладное, тем более что на площади не было ни одного такси, да и вообще никакого транспорта. Услужливый фульбе нашел молодого носильщика, который должен был отнести мой чемодан в отель. Когда я предусмотрительно спросил, сколько он возьмет, удивление мое было неопишимо: носильщик запросил только пятьдесят франков.

— А до отеля действительно так далеко? — все еще не верил я.

— Далекое! — подтвердили фульбе и носильщик.

— Километр?

— Значительно больше! — уверял фульбе с вежливым выражением на лице.

Может быть, они были правы.

Я устыдился своей недоверчивости к каждому африканцу. Здесь не было никакого издевательства, меня не хотели обобрать. Может быть, я наконец попал в край идиллических отношений и беспримерной честности?

Я сердечно распрощался с милым фульбе, а потом пошел за носильщиком в отель. Действительно, это было далеко. Отель находился на окраине городка, который пришлось пройти из конца в конец. По пути я видел много женщин, но мне не попалось ни одной с петушиным гребнем на голове.

— А где же дамочки с петушиной прической? — спросил я носильщика.

Он этого не знал, даже не слышал об этом, поэтому я не стал его мучать.

Уже издали отель производил приятное впечатление: его несколько одноэтажных строений были погружены в благословенную тень больших деревьев. Вокруг веяло покоем и уютом, так же мило было и внутри: в главном зале, который служил и рестораном и баром, несколько мужчин — двое белых, остальные африканцы — сидели на высоких стульях в баре и, несомненно, скрашивали жизнь послеобеденным аперитивом. За стойкой бара стояла молодая француженка, очень упитанная, яркая брюнетка с мефистофельски наведенными бровями, жена владельца отеля. Слишком широкие, удлинненные, цвета воронова крыла брови должны были придать ей демонический вид, что совершенно противоречило выражению доброты и сладостной мягкости ее лица и ее пышной полноте.

Я приветствовал присутствующих бодрим: «Вопjour!» Все как один смерили меня удивленным взглядом, точно перед ними появилось привидение. Я был в хорошем настроении, и, желая сразу избежать недоразумений, еще с порога залихватски представился всем сразу:

— Я писатель из Польши. Приехал сюда, чтобы как можно лучше рассказать о Гвинее. Хочу несколько дней прожить здесь. Можно?

Крашенные брови, к которым я обратил свой вопрос, ответили с улыбкой:

— Разумеется! Что за вопрос?

Тогда я обернулся к носильщику и вложил ему в руку сто франков. Носильщик выпучил глаза, словно увидел чудо. Не иначе как я достиг страны неиспорченных людей.

Семь пар глаз все еще продолжали напряженно изучать меня; однако когда я случайно выглянул из широкого окна во двор, то онемел от удивления: я увидел еще одну пару глаз, восьмую. Там сидел на привязи шимпанзе и пожирает меня пламенным взором.

Но почему он так жадно глядел на вновь прибывшего? Чего он хотел? Дружбы? Я так и не мог понять, почему произвел такое впечатление на обезьяну.

Шимпанзе

Пытаясь войти в доверие к шимпанзе, я приближался к нему с бисквитами, привезенными из Конакри, а обезьяна, застыв в неподвижности, словно в неистовой молитве упорно смотрела только мне в глаза. Когда я подошел, шимпанзе протянул мне правую руку в знак приветствия и пожал ее. При этом он стиснул мою руку совсем так, как это делают люди, когда хотят показать кому-либо свое расположение. В то же время его морда — пожалуй, было бы правильнее сказать лицо — расплылась в широкой улыбке и ласковое, прерывистое ворчание так выразительно, так по-человечески понятно возвестило об испытываемом животным удовольствием.

Пока шимпанзе был неподвижен, он оставался только обезьяной; когда же он ожил, зверь вдруг исчез, Столько раз я читал об этом, но, увидев все собственными глазами, был явно потрясен, словно сделал сенсационное открытие. Это и правда было настолько неожиданно, что просто дух захватывало.

«Не совсем человек, но человеческого в нем много», — писал когда-то о шимпанзе знаменитый А. Е. Брем. Сколько же именно этого человеческого можно было увидеть в великолепном экземпляре, с которым я познакомился в Даболе! Разумеется, это был не человек, но он необыкновенно напоминал человека. Это, бесспорно, был какой-то неудачный кузен человека, какой-то потомок общего с человеком праотца, наш близкий родственник, лишь задержавшийся в своем развитии. Не кретин, а какое-то несчастное дитя, с не по возрасту развитой гаммой чувств, поразительно похожих на наши, и с разумом почти человеческим. Поняв это, я не мог овладеть собой: меня охватило что-то вроде паники.

— Comment ça va, Сосо?[261] — назвал я его по имени, которое узнал у хозяйки.

Он ответил дружеским ворчанием, двумя пальцами осторожно взял из моей руки один бисквит и сжал его губами.

— Съешь, Коко, это сладко, вкусно! — уговаривал я его.

В колебании он медленно сгрыз бисквит, из вежливости, не желая доставить мне неприятность: однако он предпочел бы, вероятно, что-нибудь другое, наверное банан, о чем легко было догадаться по неопределенному выражению его лица.

Но банана у меня не было; когда я дал ему второй бисквит, он взял его так же вежливо, однако на этот раз с плаксивым ворчанием. Он тихо жаловался, верхняя губа его горестно обвисла, глаза потухли: выразительность его чувств была просто непостижима, характерный актер не изобразил бы разочарования ярче.

Но вот его глаза заблестели, в них загорелись озорные огоньки: ему в голову пришла какая-то мысль. Некоторое время он беспомощно держал бисквит в правой руке, затем вдруг протянул ко мне левую, схватил за рубашку на груди и молниеносным движением всунул бисквит мне в карман. Потом, бурно радуясь своей удачной шутке (ведь хорошая шутка дорого стоит), шимпанзе начал весело похмыкивать: хо, хо, хо! — бить руками по пню, к которому он был привязан, и перескакивать с ноги на ногу. При этом он строил мне уморительные рожи. Тонкое чувство юмора, свойство исключительно человеческое, пожалуй, неизвестно другим животным, даже обезьянам, но это был именно

человечек, гомункулус.

— Ах ты шельма! — смеялся я вместе с ним.

Он снова подал мне правую руку, словно извиняясь. Шимпанзе, видимо, любил часто подавать руку — по французскому обычаю. Пользуясь случаем, я пригляделся к его лапище. Она была тоже очень похожа на человеческую, с быстрыми цепкими пальцами, только немного более короткими. Когда я повернул руку и увидел ладонь, то даже присвистнул от удивления: все линии, какие пересекают ладонь человека, были и у Коко. Линия жизни была довольно длинная, она предсказывала долгую жизнь; линия головы — заурядная. Коко философом не был и не будет; зато линия сердца — великолепная: феноменальная, глубокая борозда шла через всю ладонь. Коко был создан для сильных чувств, волнений, для великой любви.

А линия судьбы — что за причудливый курьез! Вся перекрученная, изменчивая, запутанная, шальная, она обрывалась как бы дальним трагическим путешествием. Путешествием куда? В неведомые страны, а может быть, в холодную Францию? Эй, Коко, когда твоя хозяйка, выезжая во Францию, захочет взять тебя с собой, ты не соглашайся, беги в лес. Но как же ты убежишь от людей, если у тебя такая глубокая линия сердца?

Шерсть шимпанзе была черная, зато лицо — более светлое и меньше покрыто волосами. Очень большой рот и выдающаяся вперед нижняя челюсть придавали ему добродушный вид; он, и правда, был добродушен.

Когда шимпанзе стоял на ногах, он не достигал метра с четвертью, то есть ему еще немного нехватало до полного роста взрослой обезьяны. Привязанный на длинную цепочку, он целый день находился во дворе. Чаще всего он сидел на высоком пне срубленного дерева и смертельно скучал, будучи по природе компанейским малым. Хозяйка отеля объяснила мне, почему он такой ручной: шимпанзе родился в неволе, и с самого его рождения, в течение нескольких лет, она растила его, как собственного ребенка. Сама она была бездетна.

Коко вежливо разрешал мне разглядывать линии его руки, но в конце концов потерял терпение и приступил к другой игре. Его заинтересовали мои сандалии, которые застегивались на пряжки. Он спрыгнул на землю, уселся поудобнее и начал трудиться над правой пряжкой, стараясь ее расстегнуть. Он делал это с необыкновенной осторожностью, так, словно имел дело с маленьким ребенком. Ни одно резкое движение не нарушало размеренного ритма его работы. Легким, едва ощутимым прикосновением пальцев он прикасался к пряжке, ощупывал, временами тихонько нажимал... Шимпанзе был совсем на правильном пути и тянул за нужный конец ремешка, но слишком слабо, поэтому не расстегнул пряжки и не понял сути дела.

В тщетных поисках разрешения задачи он всю душу, если так можно сказать, вкладывал во взгляд. В его глазах отражалось огромное усилие мысли — так пристально, с разумным волнением впивался его взгляд в предмет, который занимал его. Способность к такому усилию, такой пытливый интерес к сути дела тоже были типично человеческими, и эта черта сближала его с человеком.

Шимпанзе бился целых десять минут, но не нашел ключа к загадке. Однако было видно, что он у цели; его мысль поднялась уже до степени познания, и лишь немного не хватало до понимания сути вещей.

Тогда я на его глазах отстегнул пряжку, показывая ему, что надо тянуть за конец ремешка с большей силой, чем это делал он, и снова застегнул ее. Он даже забулькал от радостного воодушевления. Нетерпеливым движением он оттолкнул мою руку от сандалии и попробовал сам. На этот раз все получилось замечательно. С первой же попытки он с легкостью отстегнул пряжку, а после трех или четырех попыток сумел также ее застегнуть. Мы оба были на седьмом небе от счастья, словно Коко сдал экзамен на аттестат зрелости.

В безумной радости шимпанзе издавал приглушенные торжествующие крики, скалил зубы, улыбался от уха до уха, одновременно протягивая мне руку, как будто поздравлял меня и себя. Потом он начал танцевать, прыгать с ноги на ногу, бить рукой по земле. Он, разбойник, так разошелся, что я с большой охотой принял бы участие в его танце, если бы не опасался, что постояльцы отеля сочтут меня за сумасшедшего.

Шаво

Тем временем к нам подошла хозяйка отеля. Ее дружеская улыбка из-под демонических бровей остудила буйное веселье и мое и шимпанзе. Слово проснувшись, мы вернулись на землю из радужной страны пленительного Брема, когда наших ушей достиг бархатный голос дородной брюнетки:

— У мсье Шаво к вам просьба!

Что за черт? Полиция? Я переполошился; глупо и без причины. Взяв себя в руки, я спросил:

— Кто этот господин? Африканец?

— Нет, француз, здешний, живет в бруссе. Он хотел передать вам через меня свою просьбу.

— Я вас слушаю. Пожалуйста! — вздохнул я свободнее. — Чем могу служить?

— Он хотел бы пригласить вас на некоторое время к себе погостить в его бруссе...

— Но ведь он совсем не знает меня и я его не знаю.

— Он знает вас, он слышал только что, как вы представились. Это очень порядочный человек! — уговаривала меня пышная хозяйка.

Во мне вспыхнуло инстинктивное желание воспротивиться, как будто кто-то чужой вторгся в мою жизнь и насильно хотел оторвать меня от шимпанзе и изящных женщин фульбе с прическами.

— Но я предполагаю на несколько дней остановиться здесь, в Даболе, а потом ехать дальше, в Канкан! — сообщил я.

— Поговорите с ним сами! — просила хозяйка.

Так я и сделал.

Шаво, один из тех европейцев, что сидели за стойкой бара, не проявлял нервной горячности, свойственной французам, что сразу меня к нему расположило. Ему не было еще и сорока, он был полный, но не оплывший, производил впечатление человека здорового и достойного доверия. Со скромной несмелой улыбкой он повторил мне все, что уже говорила хозяйка отеля, но я, не желая расставаться ни с моими фульбе, ни с шимпанзе, вежливо, но решительно отказал ему. Мой отказ очень разочаровал и явно опечалил Шаво. Улыбка и глаза его сделались такими грустными, что мне стало его жаль.

— Может быть, я бы заехал к вам через два-три дня? — старался я смягчить

удар.

Шаво, как оказалось, жил далеко в чаще, поблизости от деревни Сарая, километрах в ста от Даболы. Еще сегодня, самое позднее через час, он должен был возвратиться на своем грузовичке домой и не предполагал вернуться в Даболу раньше чем через четыре-пять дней.

— Но если бы вы сегодня поехали со мной, — говорил он, — и пожелали бы вернуться в Даболу через два или три дня, то, разумеется, я немедленно отвез бы вас.

По выражению его лица чувствовалось, что ему почему-то очень, как-то чрезвычайно было нужно, чтобы я погостил у него. Черт побери! Я сообразил, что, будучи человеком культурным и безнадежно отрезанным от мира в своих дебрях, он жаждал общества гостя, только что прибывшего из большого света, но чтобы так сразу, необдуманно приглашать к себе совершенно постороннего ему человека — это показалось мне каким-то странным сумасбродством.

— А вы совершенно уверены в том, что не обманетесь во мне? — шутливо спросил я его.

— Совершенно уверен! — его глаза весело заблестели. — У меня есть веское подтверждение этому.

— Веское?

— Посмотрите, пожалуйста!

Через большое окно он показал пальцем во двор. Шимпанзе, заметив, что я на него смотрю, начал приглашать меня к себе рукой. Он без конца повторял один и тот же жест: все вытягивал ко мне руку и торопливо отдергивал ее назад, словно стыдился этого приглашения.

— Вы понравились Коко! — сказал Шаво.

— Ему, наверное, одинаково нравятся все постояльцы!

— Ничего подобного! При виде некоторых парней он всегда впадает в ярость и охотно покусал бы их, и это как раз такие типы, которых лучше избегать. У Коко безошибочное чутье...

Шаво обратил внимание еще на одну деталь: шимпанзе, приглашая меня подойти, протягивал к нам открытую ладонь. Людям, которых он не переносил, он показывал кулак. Это было хорошо всем известно.

— Словом, Коко высказывает обо мне хорошее мнение! — расхохотался я.

— Самое лучшее из возможных...

В конце концов, соглашаясь погостить у своеобразного француза, чего я мог опасаться? Что покупаю кота в мешке? Но ведь я искал приключений. Правда, я задержался бы на два-три дня против моего прежнего плана, но такая ли уж это потеря времени? А сам Шаво был для меня очень интересной загадкой, он просто разжег мое любопытство. Несомненно, по каким-то там причинам он жаждал человеческого общества, так почему бы и не помочь ему?

— Так вы привезете меня в Даболу через два-три дня? — еще раз спросил я его.

— Ну конечно, привезу! У вас здесь какие-нибудь дела?

— Я хотел бы сфотографировать женщин фульбе с причудливыми прическами.

Шаво безмерно удивился. И когда я объяснил ему, в чем дело, он сообщил, что уже много лет не видел здесь таких причесок, подобный обычай здесь дав-

но забыт. Это подтвердили все мужчины, которые сидели в баре.

— Конец! — усмехнулся я. — Раз так, то я буду спешить сюда только к Коко!

Сделавшись серьезным, Шаво спросил:

— Вы любите природу?

Когда я ответил утвердительно, он стал уговаривать меня:

— У меня еще можно увидеть последние богатства старой Африки. Есть дикие животные. Даже слоны сохранились. Их пастбища километрах в пятнадцати от моего дома.

Ничего нельзя было поделаться, у меня не было выхода, я позволил себя соблазнить. Шимпанзе мог подождать. Соглашаясь, я поставил лишь одно условие, а именно что в Даболе Шаво будет моим гостем, как в Сарае я буду его, — и вскоре мы сели за ужин.

Я не жалел для нас обоих вина, исключительно вкусного «vin de table»[262], чтобы лед тронулся и развязались языки. Мне хотелось не только понять, что было у француза за душой, но и самому немножко разойтись, настроиться на эту безумную затею.

Шаво не был чудаком. Имея кое-какое образование и обладая хорошими манерами, он мог приятно и остроумно болтать на любую тему. Он любил Африку, дела его шли недурно, так как у него не было слишком высоких запросов; в своем бруссе он выращивал рис, имел также небольшую лесопилку и не думал возвращаться во Францию. Он обожал природу, любил животных, но так, как может их любить человек, живущий в пустыне: во время своих многочисленных поездок на грузовичке по бруссу он всегда имел заряженный карабин и двустволку.

Словом, это был удачный вечер.

За соседним столом ужинали супруги — владельцы отеля в обществе Коко, Шимпанзе сел к столу, как человек, и держался совершенно так же, как человек. Он съел суп ложкой, налил себе четверть стаканчика вина, долил водой доверху и, отпив глоток, выразил свое удовольствие удовлетворенным чмоканьем, как заправский знаток. Потом он положил себе в тарелку мяса, картошки и овощей и стал есть с нескрываемым аппетитом. Он хотел добавить еще, но хозяйка спокойно заметила ему, чтобы он не обжирался, потому что будет еще сладкое. Шимпанзе скорчил унылую рожу, но послушался.

Когда его хозяйка занялась разговором и ему показалось, что на него никто не смотрит, Коко мигом схватил бутылку вина и налил себе целый стакан. Хозяйка, отчитывая его, хотела отобрать у него спиртное, но он проворно увертывался от ее рук. Шимпанзе поднял стакан, обращаясь к нашему столу, как будто пил за нас, и стал с жадностью тянуть вино большими глотками. Он выпил добрую половину, прежде чем у него отняли стакан. Сыгранная им шутка привела шимпанзе в такое хорошее настроение, что он начал строить нам невероятно смешные рожи и торжествуяще махать руками.

Я с удивлением смотрел на него, вновь потрясенный до глубины души. Потрясенный мыслью о том, насколько ничтожна преграда, которая разделяла ум шимпанзе и наш человеческий. Ведь обезьяна обладала не только исключительным даром подражания и умом, который превращал этот дар в разумное мышление, но сверх того таким живым чувством юмора!

Около девяти мы выехали в густую черную ночь. Сначала мы ехали на восток по хорошему шоссе, которое вело в направлении городка Куруссы на Ниге-

ре, но примерно на половине дороги, километрах в восьмидесяти от Даболы, свернули вправо, на запущенную ухабистую дорогу. Брус, который до сих пор держался на почтительном расстоянии от дороги, набрался здесь храбрости. Он наскакивал и напирал на нас, бился ветвями в стекла машины. На бовалях, обширных палах, заросли отступали далеко в стороны. Тогда на бесплодных полянах в свете фар видна была нескончаемая масса грибов-термитников. Они стояли, точно серые гномы в колпачках; контуры их мне были уже знакомы по путешествию в Юкункун.

Мы разговаривали друг с другом немного. Шаво был занят сложной дорогой, я пребывал в полудреме.

Но один раз я мгновенно пришел в себя: мы ехали узким коридором между двумя стенами густой желтой травы, высотой самое меньшее в три человеческих роста. Фантастическая растительность словно перенесла нас в другой, неземной мир или в другую эпоху: такая гигантская трава могла расти в эпоху динозавров и скрывать в своей чаще невиданные чудовища. Пахнуло доисторической Африкой.

— Хорошее укрытие для слонов! — заметил я.

— Нет, — ответил Шаво. — Слоны не любят шелестящей травы, кроме того, здесь нет для них корма. Им нужен лес, деревья.

— А другие животные?

— Могут быть. Леопарды, антилопы, кабаны, всякая мелочь...

Как бы в подтверждение его слов, далеко впереди нас, куда достигал лишь слабый свет фар, в узкой горловине дороги, сгрудились какие-то животные. Шаво дал сильный газ и зашарил правой рукой по днищу кабины, где лежали ружья. Перед нами теснилось такое большое стадо, что я сразу не мог понять, что за животные лезли через дорогу.

— Кобы! — шепнул мой товарищ.

Теперь и я узнал: крупные антилопы с рогами в форме лиры были великолепны. Машина мчалась, приближаясь к животным, мы все яснее различали светлые головы и темные спины. Когда мы оказались шагах в ста от стада, Шаво резко затормозил и выскочил из машины с карабином в руке.

К сожалению, слишком поздно. На дороге уже не было антилоп. Либо пробежало все стадо, либо последние животные, не выходя на дорогу, отпрянули в заросли, испугавшись остановившегося автомобиля.

Мы стояли не шевелясь. Сердце у меня стучало. Горловина дороги, в которой несколько секунд назад кипела жизнь, зияла теперь пустотой. Стебли растрепанной травы, повисшие над дорогой, еще трепетали. Некоторое время мы слышали удаляющийся топот копыт и шелест зарослей, потом все стихло. Только цикады, как обычно, пронизывали воздух вьедливым стрекотанием.

Сколько было антилоп? Сто? Двести? Природа закусил удила фантазии и на мгновение обнаружила перед нами великолепие своего репертуара. Как раз настолько, чтобы околдовать человека, вызвать у него тревожную тоску.

Через несколько километров одинокая антилопа, добрая знакомая мина с громадными ложками-ушами, встала на дороге, взглядываясь в свет наших фар без страха, словно полностью доверяла человеку.

— Мины любят держаться вблизи человеческих поселений, — объяснил Шаво.

— И не боятся человека? — спросил я.

— Меньше, чем леопарда.

— А как человек отвечает на их доверчивость?

— Стреляет, разумеется...

На этот раз, однако, Шаво не собирался стрелять. Мина постояла еще некоторое время, прежде чем скрылась в зарослях, а через несколько сот шагов впереди среди деревьев возник силуэт строения, перед которым стояла машина. Мы были у цели. Часы показывали полночь. Шаво крикнул; из дома вышла заспанная женщина.

— Моя жена! — представил он.

Несмотря на темноту ночи, я заметил, что это была африканка.

Таити

Я не знаю, издают ли антилопы кобы какие-нибудь звуки, но, когда этой ночью я услышал их во сне, мне стало жутко: ни дать ни взять голоса из ада. Животные, которые мне снились, были крупнее, чем в действительности, они носились вокруг меня плотной, беспрестанно движущейся массой, издавали ужасные звуки, так как были напуганы. Они выли, рычали, хрюкали, стонали, как окаянные души. Даже во сне я смутно понимал абсурдное противоречие: по внешности они были воплощением очарования, по голосу — устрашающие чудища. Их голоса были так пронзительны, что, когда я время от времени пробуждался, в полусне словно все еще слышал визг. Странные антилопы.

За завтраком все выяснилось: ночью кричали так жутко не призрачные видения, а живые звери, которые нахально подходили в темноте к самому дому. Хищники рыскали в округе в поисках корма, особенно кухонных отходов, но при случае не пренебрегли бы и живой добычей — собакой, курицей, бараном, коровой, в исключительных случаях — беззащитным человеком. На ночь надо было запирать от них все съедобное. Они были трусливы и обычно убегали от одного человеческого голоса, но, нападавая большой стаей, иногда проявляли безумную дерзость. Человек, ночующий в бресе, опасался не только льва и леопарда, но также наглости гиен, готовых, пока он спит, вытянуть мешок из-под его головы или вырвать кусок живого тела. Они были ужасно прожорливы, а их сильные челюсти легко дробили самую толстую кость.

Я узнавал любопытные вещи о ночных гостях во время завтрака, который проходил на просторной веранде. Мы завтракали вчетвером: Шаво, два его сына — тринадцатилетний Поль и десятилетний Жан-Поль, учтивые маленькие мулаты, — и я. Жена Шаво, худощавая и еще довольно молодая женщина фульбе, молча прислуживала нам вместе с боем, которого звали Мансале Кули.

До чего же приятно было сидеть в этом дружеском кругу, на свежем воздухе, сказочно прохладным утром, слушать Шаво, который рассказывал о неприятностях с гиенами как о рядовом событии повседневной жизни, тешить взгляд трепетной игрой изумрудных теней в роще перед нами и уничтожать вкусный завтрак: отличный кофе в мисочках и какие-то замысловатые африканские блинчики, которые хозяйка пекла тут же рядом на железной печурке.

Дом Шаво необычайно напоминал подворья мелкопоместной шляхты в Полесье. Он был весьма обширен и относительно низок, одноэтажный. Крыша, покрытая толстой соломой, внизу заканчивалась широким навесом, который

отбрасывал тень на белые, оштукатуренные стены. Лишь очень широкий вход и широкие окна были не такие, как в Польше, — тропические. Впечатление скромного уюта еще более усиливалось внутри дома: половину его занимала гостиная, где принимали гостей и больше всего находились днем. Низкий, круглый стол, окруженный кабинетными креслами, был центром помещения и манил возможностью выпить стаканчик аперитива. В одном из углов стоял второй стол, четырехугольный, грубо сколоченный, с простыми лавками; здесь обедали и ужинали. В этой гостиной я ночевал на козетке, застланной для сна.

В другой половине дома помещалась спальня супругов, а также просторная ванная с душем и бассейном, вделанным в пол. Водопровода в доме не было. Сыновья хозяев и бой спали в отдельной круглой мазанке шагах в ста от дома, и там же находилось кухонное помещение. Все дышало опрятностью и свидетельствовало не о стремлении к роскоши, а прежде всего о желании обеспечить себе наибольшие удобства простыми средствами.

В этот день было воскресенье, на лесопилке не работали. Шаво был свободен. Мы могли поболтать. Мы беседовали о чудесах бруса, о чудачествах людей, о шлемоголовых птицах турако, о крупных флажках-козодоях, об орле-скоморохе, которого африканцы называют обезьяной небес — такие штуки он выделяет в воздухе, — о рыжих обезьянах на опушке зарослей, о мандинго и фульбе, хороших, но страшно капризных соседях, о лесопильне и рисовых полях Шаво.

Но больше всего мы говорили о судьбе моего хозяина и его близких, завлеченных в этот красочный мир. Шаво врос в здешнюю землю, как и другие жители, он чувствовал себя в общей сети, которая, несмотря на то что ее невозможно было разорвать, не стала для него враждебными путями, не душила его. Напротив, она давала ему ощущение полноты жизни и такого счастья, какого — уверял он меня — он наверняка не узнал бы ни в другом окружении, ни в другой стране, даже во Франции.

Когда он прервал на минуту свои трогательные признания, я заговорил:

— Несколько лет назад я был на Таити, действительно самом прекрасном из всех островов, несмотря на банальную пропаганду. Люди до сих пор живут там в райской беззаботности среди необычайно щедрой природы, предаются танцам, пению, любви. Многие французы, искатели идиллического счастья, осели на Таити, поселились в хижинах, женились на жительницах острова, жили, ели, одевались, как местное население, даже принимали их обычаи и образ мыслей, хотели быть счастливы так же, как они, но, когда, казалось, достигали вершины счастья, — что-то в них предательски надламывалось. Спустя несколько лет, а чаще всего уже через несколько месяцев искатели идиллии терпели полное поражение — я знал таких множество. Они были по горло сыты так называемым счастьем, им становился противен примитивный образ жизни, у жен-таитянок они открывали безнадежную духовную пустоту и, горько разочарованные, не раз всерьез надломленные, бежали к цивилизации, к своим... Каково?..

Лицо Шаво весело задрожало, глаза его превратились в щелочки, когда он с живостью прервал меня:

— Ах, вы, наверное, хотите спросить, не так ли обстоят дела здесь, в гвинейском бресе, не пахнет ли тем же, что на Таити? Не уготовил ли себе кое-кто

разочарование и печальную судьбу на манер тех любителей идиллий? Вы об этом хотите спросить?

Говоря «кое-кто», Шаво потешно указывал на себя пальцем. Я возражал против такого крайнего сравнения с преувеличенным энтузиазмом, но он, развеселившись, бил кулаком по своей ладони.

— Хотите, я приведу неоспоримое доказательство того, что здесь все совершенно иначе, чем на Таити?

— Пожалуйста, я слушаю.

— Простая вещь: гражданин Шарль Шаво сидит в Гвинее по доброй воле уже больше двадцати лет и, бог даст, просидит здесь еще столько же!

После чего, посерьезнев, он начал выкладывать, в чем заключается разница и почему он здесь счастлив. Поклонники Таити — это прежде всего пустые люди, эротоманы, которые приезжали туда, чтобы осуществлять свои болезненные, разнузданные мечты о любви. Что вносили они в жизнь острова? Желание жить исключительно чувственной жизнью, эгоизм, поверхностные понятия, почерпнутые из сентиментальных фильмов, грубую распущенность. Что давали они острову? Ничего, они хотели только брать — брать все по дешевке. Разве не ясно, что это должно было кончиться скукой, недовольством, полным разочарованием? Потому, что они поклонялись не Таити, а лишь своим низменным страстям.

А Шаво? Он совсем иначе относился к Африке. Возможно, что это звучит возвышенно, но он любил Африку. Сам факт возникновения такого чувства был достаточно необычен, романтичен, может быть, даже фантастичен, но само чувство Шаво оказалось простым, здоровым и практичным. Он любил Африку, усердно трудился и был счастлив, что своими усилиями способствует ее подъему. Он был, можно сказать, горячим патриотом Африки (явление очень редкое среди европейцев), и его патриотизм выражался в искренних, даже, пожалуй, сентиментальных, хотя и вполне мужских чувствах ко всему, что входило в понятие Африка, — к людям, земле, растениям, животным.

Это была его большая любовь, какая-то иррациональная любовь. У меня было такое впечатление, что Шаво, беря в жены девушку фульбе, брал ее не только из-за красоты и личных достоинств, но также и потому, что, по его понятиям, она была олицетворением всего африканского, живым, изящным воплощением Африки.

Я громко выразил свое удивление тем, что Шаво, просидевший больше двадцати лет в бресе, так блестяще сумел охарактеризовать поклонников Таити. Это свидетельствовало о его начитанности. Может быть, у него хорошая библиотека?

— К сожалению, убогая! — ответил он и, так как мы уже давно окончили завтрак, провел меня в дом. В углу гостиной он указал на небольшой стеллаж, уставленный книгами. На столике рядом лежала кipa французских иллюстрированных журналов, относительно свежих.

— Все это я прочел внимательно, с увлечением, — сказал Шаво. — Увы, больше всего в последнее время рассуждают о чреве девицы Фарах — родит она шаху Ирана наследника или нет, — но иногда можно кое-что узнать о незадачливых поклонниках Таити...

Первая с краю книга, которую я взял, сразу меня заинтересовала: доктор Эмиль Громье писал о фауне Гвинеи.

— Не плоха! — заметил Шаво. — Только немного дилетантская, полна про-
белов...

— Я хотел бы ее прочитать!

— Здесь все в вашем распоряжении!..

Тем временем со двора вошел Поль, старший сын хозяина, с минуту он вежливо ждал, когда мы кончим говорить о книгах, потом тихо сообщил отцу:

— Прилетел орел!..

— Ну так пойдете к нему! — обратился ко мне хозяин. — Это старый, недобрый знакомый. Сегодня он рано явился.

Орел-скоморох[263]

Прежде чем мы покинули дом, Шаво приказал сыну принести из спальни двустволку и два патрона с самой крупной дробью. Не дожидаясь, пока принесут оружие, мы оба не спеша вышли во двор и направились в сторону хозяйственных построек, отдаленных от дома, как я уже упоминал, примерно шагов на сто.

Настоящая роща находилась по другую сторону дома, а здесь было больше свободного пространства, росло лишь несколько манговых деревьев на некотором расстоянии друг от друга, виднелись большие куски неба, а чуть дальше, в стороне, светлело уже совершенно открытое пустое место; в период дождей тут, наверное, был огород. За этим небольшим полем начинался дикий брус, из которого ночью подходили к дому голодные скандалисты, гиены.

Во дворе мы обнаружили полное смятение, суший хаос перед судным днем. Куры, которые до этого беззаботно рылись в земле на поле, неслись сломя голову в сторону кухни, подгоняемые хозяйкой. Бой Мансале Кули и Жан-Поль, младший сын Шаво, гнали в укрытие несколько блеющих овец. Две дворняги, словно ошалев со страху, яростно лаяли и в беспамятстве носились по двору, то и дело попадаясь под ноги. Спешащие люди постоянно задирали кверху головы. Словом, Содом и Гоморра.

А вот и виновник беспокойства. Мы заметили его, летящего высоко над кромкой бруса, недалеко от нашего маленького поля. В противоположность тому переполоху, который все усиливался на земле, сам он гордо и неторопливо летел в вышине — истинное воплощение величественного покоя. Настоящий гигант! Сколько метров могло быть в размахе его мощных крыльев? Два с половиной, может быть, три? Он отличался маленьким хвостом и поразительно большой головой. Исключительно сильный, страшный клюв, поражающий даже на таком расстоянии, убедительно свидетельствовал о том, какой это задира.

Орел не кружил над нами по обычаю других хищников, а летел в одном направлении, затем делал большой круг и возвращался тем же путем.

Мы следили за его полетом из-под дерева, укрытые листвой.

— Враг номер один! — заметил Шаво.

В этот момент Поль, выглянув из-за деревьев, принес ружье. Шаво проверил, теми ли патронами оно заряжено.

— Враг номер один! — повторил он. — Всего неделю назад он утащил у нас отличного ягненка. Сейчас он появляется почти каждый день, хоть на несколько минут. Вы видите его клюв?

— Вижу.

— Одним ударом он пробивает череп взрослого барана. Как ореховую скорлупу.

— И может поднять его в воздух?

— Как перепелку.

Поскольку птица летала в основном над полем, мы двинулись в ту сторону, стараясь все время находиться под защитой деревьев. Первым крался Шаво с ружьем, приготовленным для выстрела.

Вдруг я остановился как вкопанный, обескураженный поведением орла. Гигант, который до этой минуты держался с достоинством, как подобало царю птиц, внезапно превратился в циркового клоуна. Ему захотелось подурачиться. Ни с того ни с сего орел сложил вдоль тела одно крыло, не переставая махать другим. В результате, продолжая лететь вперед, он стал переворачиваться вокруг своей оси, словно ввинчивался штопором в воздух. Это в точности напоминало фигуру самолетов-истребителей, которая называется «бочка».

— Однако забавный типчик! — удивился я.

— Мы называем его орлом-скоморохом, и мне кажется, что это и официальное его название, — объяснил Шаво. — Он относится к семейству орлов скорее всего рыбадных, которые обычно селятся у большой воды...

— Но ведь здесь нет такой воды!

— Есть Нигер в тридцати километрах отсюда. Я предполагаю, что он прилетает с Нигера.

Сейчас, когда орел вращался вокруг своей оси, я видел, что он не сплошь черный: поверхность крыльев была у него красивого коричневого цвета.

Через некоторое время ему надоело делать «бочки» и он приступил к следующему номеру. Он попеременно то складывал крылья, камнем падая вниз, то распластывал их, паря по горизонтали; от этого казалось, что он опускается, как по воздушной лестнице. Но мало этого: вскоре он начал кувыркаться, самым настоящим образом кувыркаться, переворачиваясь через голову.

Так он проказничал и дурачился в воздухе, не больше чем в нескольких десятках метров над землей. Мы рванулись вперед, когда он еще продолжал безумствовать и скакать козлом. Но, странное дело, он следил за нами и не подпустил к себе. В какой-то момент он перестал резвиться и тотчас же успокоился. Он снова был достойным владыкой, высматривающим свою жертву. Дьявольски предусмотрительный, он облетел нас стороной, не позволяя подойти к себе.

— Я бы не поверил, — шепнул я Шаво, — если бы не видел все своими глазами. Чем это объяснить? Для чего он это делал?

— Я не знаю! — пожал плечами хозяин. — Я не нахожу разумного объяснения. Просто каприз природы. Животные часто испытывают потребность играть: может быть, орла охватывает желание резвиться — и все.

— И часто это случается?

— Он посещает нас уже две недели, но бесновался только три-четыре раза... В него надо стрелять из маузера. Повторяю: это враг номер один!

Тем временем орел снова величественно летал над нами и, как прежде, вычерчивал в небе зловещие линии. Там, наверху, он выписывал для земли свое «мене-текел-упарсин»[264], предсказывая смерть всем творениям, более слабым, чем он. У слабых был только один способ защиты — спрятаться в укрытие — и одна возможность передышки, когда крылатый владыка отдавался та-

инственной игре.

Вскоре орел убедился, что у нас ему не удастся ничем поживиться. Можно было догадаться, что он собирается улететь.

Между тем он что-то заметил на земле. Паря над зарослями кустарника, которые прилегали к полю, он вдруг сложил крылья, метнулся как молния вниз, в кустарник. Через несколько мгновений орел взмыл в воздух, но на этот раз он держал в когтях что-то бешено извивающееся — большую змею. С этой добычей он пропал из виду, и вправду направившись на юг, в сторону Нигера.

— Не враг, а друг номер один! — закричал я весело, показывая пальцем на улетающую птицу.

— Ну, хорошо! Пусть будет так! — согласился Шаво. — Но все-таки я приговлю для него пулю.

Итак, в ближайшие дни предстояла интересная охота на орла, вернее, слежка за ним. Тем временем Шаво отложил ружье, достал длинный нож и пошел резать одного из подросших ягнят.

Было воскресенье, и был гость в доме.

Мандинго

Довольно поздно после обеда — состоявшего из великолепной печенки и грудинки ягненка — мы выехали на охоту на грузовичке Шаво. К антилопам, как объяснил хозяин, можно было подъехать на машине на двадцать шагов, а если подходить пешком, они убегают, еще издали почуяв человека.

Грузовичок был неоценим. Шесть литров бензина на сто километров, грузоподъемность одна тонна, а собственный вес полтонны — как перышко: обыкновенный смертный, совсем не силач, с легкостью мог поднять заднюю часть автомобиля и занести ее вбок; можно сказать жестянка, но жестянка прочная, как бетон.

Примерно в полукилометре от жилища Шаво мы заметили на его старом рисовом поле двух рыжих обезьян. Это были потешные создания, довольно крупные, с физиономиями арлекинов. Позже, сколько бы раз мы ни приезжали сюда в жаркое время дня, мы всегда заставляли их здесь, в ста метрах от дороги. Они резвились и шалили, разыскивая какой-то корм, наверное насекомых. Каждый раз мы забавлялись, наблюдая проделки рыжих; обезьяны были пунктуальны, как часы, и добросовестны, как надежные чиновники.

Зверь чаще всего попадался на опушках бовалей, там, где палы переходили в чащу, но сегодня нам ничего не попало. Зато мы проехали несколько деревень и Шаво рассказывал мне о жителях. За эти годы он сжился с ними, высоко их ценил и сам был чрезвычайно любим ими. С новыми властями он жил в полном согласии. Когда в одной из деревушек мы увидели вдали от дороги новенькое здание из кирпича, покрытое белой штукатуркой, солидное, хотя и одноэтажное, Шаво объяснил, что это жители сами построили такую прекрасную школу на собственные средства и что работали они добровольно. Использование общественных средств на общественно полезные цели, так называемая инвестиция, — движение в настоящее время очень популярное в Гвинее. Сам Шаво предоставил им доски со своей лесопилки.

Я хотел выйти из машины и подойти к школе, чтобы сфотографировать ее вблизи, но Шаво предупредил, чтобы я этого не делал. У нас могли бы возникнуть неприятности. Жители этой деревни, одержимые сознанием важности

своей современной миссии, даже его выводили из терпения. Сейчас они могут косо посмотреть на фотографирование чужим европейцем нового объекта и задержать его на несколько часов.

— Разве школа — это объект особой важности? — со смехом спросил я.

— Нет, — ответил он, — не совсем так, хотя, может быть, отчасти...

— А может быть, белый человек сглазит их постройку?

— Вот-вот, это уже более вероятно. — Он добродушно улыбнулся. — Недаром в течение нескольких веков белые люди прилагали столько усилий, чтобы снискать себе репутацию злых колдунов...

Я сделал снимок школы лишь издали, украдкой, из остановившегося на минуту автомобиля.

— Школа, — объяснил Шаво, — уже полгода, как готова, но все еще бездействует. Это несчастье Гвинеи: не хватает учителей...

В других деревнях жители относились к нам очень доброжелательно: Шаво, старого знакомого, везде приветствовали дружески, меня тоже. Хорошо сложенные люди, рослые, с открытым быстрым взглядом, очень напоминали красавца Конде Альсени, старосту Кумбиа; он происходил как раз из этого народа — мандинго. В деревнях, которые мы посещали, жили преимущественно мандинго. Здесь начиналась их страна.

Мне хорошо запомнилось, что заносчивый Диалло относился к Конде несколько свысока не только потому, что он сам, футбольский аристократ, считал себя господином, а Конде был из черни, но прежде всего потому, что он принадлежал к гордому народу фульбе, тогда как Конде — лишь к мандинго.

Что за несправедливость, какое незнание истории! Кто вколачивал в фульбе такую вздорную спесь, французы? Я уж обхожу тот факт, что Секу Туре, энергичный президент современной Гвинеи, — мандинго, так же как и Самори, его предок, великий вождь и создатель последнего в этих краях в XIX веке африканского государства. Зачем же забывать о славном далеком прошлом? Ведь наряду с Ганой[265] и Сонгаи[266] одной из трех древних великих африканских держав, и при том самой великолепной, было государство Мали, созданное мандинго и существовавшее по Верхнему и Среднему Нигеру с XI по XVI век. Высокий уровень благосостояния, цивилизации и культуры, чуть ли не более высокий, чем в Европе того времени, с удивлением описывали авторы арабских хроник, посещавшие славное государство. Их описания, подробные и добросовестные, как подтвердили исследования ученых, дают сенсационные свидетельства очевидных способностей мандинго создавать культурные ценности и сложные государственные организации, а доказательством того, что эти способности сохранились по сей день, служит история последнего времени.

Деревни, которые мы проезжали, производили впечатление убогих дыр, потерявшихся в бресе, и нужно было живое воображение, чтобы представить великое прошлое мандинго. Прошлое было действительно великое и бурное, богатое событиями и насыщенное небывалыми страстями.

Из нагромождения удивительных событий, взлетов, патетических образов, невероятных безумств мы выберем хотя бы два эпизода.

Небольшое царство Мали существовало уже два века на верхнем Нигере и, так же как десятки других государств-карликов, попеременно то грызлось, то якшалось с соседями. В XIII веке один из соседей, властитель Сосо, оперив-

шись и набравшись спеси, возмечтал о славе и покорении земель на Нигере. Неспособность тогдашнего царя мандинго к управлению государством усиливала захватнические аппетиты соседа, но у этого царя-недотепы был сильный козырь — целая куча сыновей, числом двенадцать, все отчаянные воины и рубаки, за исключением только одного убогого. Властитель Сосо любил солидную работу: он предательски подослал в Мали убийц, и они уложили одиннадцать царских сыновей, для смеху сохранив, однако, жизнь двенадцатому, калеке, уроду, заморышу, которого ни один разумный человек не принимал в расчет.

Но тут вскоре оказалось, что властитель Сосо все-таки фатально просчитался. Этот двенадцатый, такой заморыш в юные годы, всем на удивление превратился в льва, леопарда, орла и змею. Он поклялся жестоко отомстить убийце братьев и сдержал свою клятву несколько лет спустя. Собрав большую компанию молодцов, он вдохнул в них жажду борьбы и повел на Сосо. Он стер врага в порошок и приказал заколоть гнусного царька.

Воодушевленный победой малийский властитель воспылал желанием показать миру, на что он способен. На юге существовала обширная держава Гана: он набросился на нее, сокрушил, нанеся ей смертельный удар, и включил в состав своего государства. Такая же участь постигла и других соседей, а когда он умирал, созданная им империя Мали была самым большим государством в Африке. Перенесенная на наш континент, она заняла бы всю Западную и Центральную Европу.

Героический завоеватель вошел в историю под именем Сундьята Кейта, и еще сейчас гриоты мандинго поют гимны в его честь. Без сомнения, он был гениальный вождь и великий создатель государства — африканский Наполеон, но смог ли бы он стать таким, если бы не трагические события его юности? Ибо в юности была ему клеймом молва о его беспомощности, всю жизнь он смывал с себя это клеймо, а смывая, совершал великие, исторические деяния.

Благодаря справедливым и умным правителям государство Мали в течение следующего века набирало мощи. Меньше чем через сто лет после Сундьяты Кейта царствовал самый славный из властителей, Канку Муса, прототип пресловутых легендарных правителей из восточных сказок.

А, может быть, Канку Муса сам подражал этим сказкам и своими царственными чудачествами превращал их в быль, позволяя себе восхитительные сумасбродства?

Мандинго уже три столетия назад стали мусульманами — намного веков раньше, чем кичливые в этом отношении фульбе, — и знаменитый Канку Муса решил по тогдашнему обычаю увенчать свою славную жизнь паломничеством в Мекку.

В 1324 году он отправился в путь с помпой и пышностью, затмевавшей все паломничества, известные до того времени. Его свита насчитывала шестьдесят тысяч человек; весь цвет Мали, все самое благородное, самое избранное — достойные вожди, прекрасные женщины, несметные богатства — двигалось вместе с ним. Пятьсот силачей невольников сгибались под тяжестью одних только слитков золота, а сколько было прочих ценностей?

В арабских хрониках поныне сохранилось множество описаний славного паломничества. Так, Тарик ал-Фетах писал об удивительных прихотях властелина: паломники много дней брели по страшной пустыне, все больше страдая

от недостатка воды. Однажды любимая жена Мусы стала жаловаться на то, что она-де вся грязная, покрыта пылью, и с тоской вспоминала прекрасные дни, когда могла купаться в волнах Нигера. Тронутый властелин без колебаний приказал выкопать в песке глубокий и длинный ров и вылить в него тысячу бурдюков воды из последних запасов. Образовалась небольшая река, в которой могла плескаться счастливая избранница и ее многочисленные служанки. «Далеко вокруг, — писал добросовестный автор хроники, — разносились возгласы радости и наслаждения довольных женщин».

Канку Муса, потеряв лишь половину свиты, с остальными путниками счастливо достиг Мекки, щедрою рукою рассыпая золото по пути и у святой цели. После совершения положенных молитв он возвращался через Каир, где у него иссякли деньги. Но слава о богатстве Канку Мусы была такова, что к его свите все-таки лепились тысячи славословов и дармоедов, чтобы испить из потока его щедрости, а великодушный властелин никому не отказывал в дарах. К счастью, в Каире нашлись доверчивые банкиры, которые выложили ему столько денег, сколько он хотел.

Когда он приближался к родным краям над Нигером, у него была лишь горстка голодных путников и совсем пустой кошелек. Однако он возблагодарил аллаха, ниспославшего ему дружбу с поэтом Ибрагимом эс-Сахели, с которым он познакомился в Аравии, полюбил его и взял в Мали. Обаятельный и эксцентричный Канку Муса был в то же время покровителем наук и искусств.

Аллах и вправду был благосклонен: в отсутствие властелина верные ему войска расширили границы государства, присоединив важные города Тимбукту и Гао. А Ибрагим эс-Сахели оказался не только поэтом, но и способным архитектором. Это он ввел в государстве Мали новый стиль мечетей в форме огромного купола.

Такую куполообразную мечеть я видел в деревне Камаби в округе Юкункун, а позже в городе Дингирае.

Страх

За час до захода солнца мы все еще отдалялись от дома, высматривая в бруссе зверя. В небе перед нами возник высокий столб дыма: горел участок леса.

При виде пожара Шаво сделал удивленное лицо. Это показалось мне странным: в последние недели повсюду было столько лесных пожаров — население умышленно поджигало лес, — что я уже привык к этому.

— Вы удивлены? — спросил я Шаво напрямик.

— Немного, — ответил он. — Сегодня третье января, а с первого строго запрещено жечь леса.

— Значит, в этой глуши люди не считаются с запретами властей! — мягко констатировал я. Шаво согласно кивнул головой, и дело, в конечном счете мало нас касающееся, было забыто.

Двигаясь дальше, мы вскоре достигли довольно многолюдной деревни Буну и, так как было уже поздно, решили вернуться.

Посреди деревни я увидел масличную пальму с огромным количеством птичьих гнезд, висящих на ветвях. Это были гнезда ткачей. Я выскочил из грузовичка, поспешил к дереву, сфотографировал гнезда вблизи и через три-четыре минуты уже возвратился к машине.

Тем временем сбежалось великое множество жителей деревни, несколько десятков мужчин и подростков. Они начали с Шаво возбужденный разговор, почти ссору. Француз вышел из машины и стал около дверцы, что-то оживленно объясняя им. Они обступили его тесным кольцом, были раздражены и часто указывали то на машину, то на меня. Что-то им не нравилось. Может быть, то, что я без их согласия сфотографировал безобидную пальму?

Я уже хотел вытащить из портфеля внушительную и безотказно действующую охранную грамоту, разрешение гвинейского Министерства информации на фотографирование, когда, подойдя к машине, узнал, что дело не в этом. На нашей совести были другие прегрешения. Но какие, что мы натворили, в чем заключался наш грех? Шаво с жаром оправдывался. Он говорил, что мы приехали сюда лишь случайно, что у нас, честное слово, не было никакой определенной цели и мы уже собираемся возвращаться домой.

— Почему вы хотели возвращаться именно отсюда, почему не поехали дальше? Говорите правду! — требовали собравшиеся на своем родном языке.

Шаво знал их язык, но предпочитал разговаривать с ними через переводчика, что всегда смягчало остроту спора. Переводчиком был малый лет семнадцати, единственный человек в целом Буну, который немного знал французский.

Этот малый держался странно. Он сильно трясся всем телом, а челюсти его лязгали так, что это очень затрудняло речь. Бедняга страшно заикался. Я обратил на это внимание собравшихся, чтобы как-то отвлечь их от запальчивых намерений.

— Что с тобой? — сочувственно спросил я переводчика. — Почему ты так дрожишь?

Малый оторопел. Он перестал трястись, но лишь на минуту. Он не мог долго сдерживать дрожь: она была сильнее его воли.

— Это, наверное, малярия! — услужливо подсказал Шаво.

— Oui, monsieur, oui![267] — поддакнул малый с воодушевлением. — Я бо-

лен малярией!

Я знал признаки малярии, но это не было похоже на болезнь, а напоминало что-то другое. Страх? Но перед чем? Волнение собравшихся было непонятно. Они производили впечатление людей, охваченных каким-то опасным безумством. Пока переводчик был занят разговором и спорами с ними, я бросил взгляд на Шаво.

— Что им, собственно, надо? — шепнул я.

— Не знаю! — ответил он вполголоса. — Что-то мне кажется, что сегодня в деревне какая-то большая неприятность, поэтому они так вышли из равновесия.

— Преступление?

— Может быть, и преступление. Но я думаю, что дело в этом лесном пожаре. Может, они опасаются жестокого наказания?

— Но мы-то какое к этому имеем отношение?

— О-о, самое непосредственное! Они принимают нас за официальную следственную комиссию, отсюда их враждебность...

— Нас, белых, за комиссию?

— Они не входят в такие тонкости. Они обезумели от страха. От них всего можно ожидать...

— Но не арестуют же они нас, во всяком случае... — пошутил я.

— Нет, но может быть еще хуже!.. — нервно рассмеялся он.

И правда, мы были в дурацком положении. Деревенские жители обступили нас таким тесным кольцом, что мы едва могли двигаться, даже отступление к дверцам машины было отрезано. Одни возбужденно размахивали руками и громко втолковывали переводчику свои соображения, другие стояли со свирепым выражением лиц, бросали на нас мрачные взгляды, а руки держали под просторными бубу, словно укрывали там что-то.

«Удовольствие будет ниже среднего, — подумал я про себя с юмором висельника, — если они вдруг выхватят из-под бубу оружие...».

Тем временем толмач упорно бубнил свое, содрогаясь все сильнее и сильнее:

— Зачем, ну зачем вы приехали в нашу деревню?

— Прогулка, охота...

— Почему именно у нас, а не где-нибудь еще? Почему вы задержались здесь, а не поехали дальше?

— Чтобы сфотографировать пальму с гнездами...

— Разве больше нигде нет пальм?

— Есть, но эта была самая красивая...

— Потому красивая, что растет в нашей деревне, именно в нашей деревне?

И так без конца. Я поражался ангельскому терпению и неизменному такту Шаво.

Особенно свирепо смотрел на меня староста, пожилой мандинго с седой бородкой, в белом, праздничном бубу. Он буквально не спускал с меня хмурого взгляда. Чего только я не делал, чтобы вызвать на его лице хотя бы тень благосклонного выражения. Напрасно. Я посылаю ему самые обворожительные улыбки, но все это были бесплодные мольбы, напрасное кокетство — полный крах.

В конце концов жители деревни сами устали от своей подозрительности,

их ожесточение понемногу улеглось. Вероятно, желая выиграть время, они попросили, чтобы мы пошли в одну из их хижин. Но вежливый отказ Шаво так их разъярил, что положение снова осложнилось и расследование началось сначала.

Один раз Шаво вознамерился приблизиться к дверце грузовичка, но они, как бы невзначай, загородили ему дорогу.

— Какого черта! — воскликнул он. — Вы же меня хорошо знаете?!

— Тебя знаем, а этого, другого, нет! — Они бесцеремонно показывали на меня пальцами.

— Это мой друг из Польши, он приехал сюда охотиться.

— Охотиться? А ружья с собой не взял?

Нет. Но я ему одолжил свое!

— Может быть, он приехал охотиться на пальмы, и притом непременно в нашей деревне?

Кое-кто вместе с Шаво рассмеялся шутке.

Неизвестно, как долго тянулся бы еще допрос, если бы в лагере наших мучителей не вспыхнули раздоры. Как это часто бывает, там возникли какие-то разногласия. Кто в лес, кто по дрова. Недоразумение росло, переходило в ссору. Что было причиной ссоры, Шаво не мог сообразить. Хорошо, что вокруг нас стало посвободнее.

— Удобный момент! — буркнул мой товарищ и подтолкнул меня в сторону машины. — Смываемся.

Спокойно подошли мы к дверцам и сели в машину. Люди вокруг нас видели это, но сейчас они были так захвачены ссорой друг с другом, что совершенно перестали думать о нас.

Неожиданное переключение их внимания немало удивило меня и показалось просто комичным.

— Однако они темпераментные ребята! — рассмеялся я.

— То, что вы видите, характерно для многих африканцев: они способны к необычайно резкой перемене настроений. Какое-то особое свойство характера...

Пока жители деревни были заняты собой, Шаво вывел машину — потихоньку, чтобы никого не задавить, — беспрепятственно развернулся и дал газ. Я оглянулся назад: переводчик уже не трясся, я это явственно заметил. Его испуг прошел.

Весть о нашем приключении разошлась по всей округе, и два дня спустя до нас дошли слухи о воинственных намерениях жителей Буну: в тот момент, пожалуй, они были недалеко от того, чтобы убрать предполагаемую следственную комиссию. И конечно, все дело было в подожженном ими лесе.

Разве не досадно было расстаться с жизнью в такой глуши?

Забавную шутку сыграл с нами страх: они боялись слишком сильно, мы — слишком мало, и те и другие заблуждались.

Томек

Из поездки мы вернулись совсем кислые. Не из-за происшествия в деревне Буну, так как оно было лишь забавным приключением, — мы были огорчены отсутствием зверя. После эффектного ночного зрелища, которое устроили нам антилопы кобы, можно было надеяться, что днем у нас будет еще больше впечатлений и сюрпризов. Так обещал Шаво.

Между тем ничего такого не произошло, мы не увидели никакого зверя. Мы проехали несколько десятков километров бруса, Шаво показывал мне места, где три дня назад паслось стадо коровьих антилоп и недавно пробиралось стадо кабанов и где позавчера стояли кобы, в ста шагах от дороги. Милый хозяин оживлял лесную чащу воспоминаниями о разнообразном и многочисленном звере, встреченном им за последнюю неделю, но сегодня, как назло, в чаще было пусто. Разумеется, если не считать вездесущих обезьян.

В Даболе Шаво обещал, что в его бресе я получу богатейшие впечатления, поэтому он и переживал сегодняшнюю нашу неудачу сильнее, чем она этого заслуживала. Мои заверения, что я отлично знаю причуды природы, не успокаивали его; ему просто не хотелось быть болтуном в моих глазах. Мы говорили об этом на обратном пути и потом, за ужином. Чтобы искупить свою вину, Шаво описал мне население и фауну окрестностей.

Его дом находился километрах в десяти от городишка Сарая, где была станция железной дороги, идущей к западу и востоку, от Конакри и Даболы до Курусы и Канкана. Так вот, железнодорожная линия пересекала этот край на две части, которые различались между собой. На север от линии был брус и, грубо говоря, цивилизация, так как здесь протянулось шоссе от Даболы до Курусы и кое-где были деревни, тогда как к югу от железной дороги раскинулись лишь дикие лесные дебри, рассеченные Нигером, населенные очень редко либо почти безлюдные.

Из вышесказанного следовал простой вывод. На севере, где находился дом Шаво, правда, еще кочевали стада животных, но зверь здесь был, естественно, осторожен и уже поистреблен. Зато на юге зверя было неизмеримо больше: слоны, дикие буйволы, леопарды и самые разнообразные антилопы нередко открыто рыскали в зарослях, а в Нигере плескались гиппопотамы, прятались крокодилы.

— До Нигера недалеко, — говорил Шаво. — Тридцать километров с небольшим.

— А можно доехать на машине?

— Нет, дорог там нет, только тропы. Можно бы на велосипеде...

Мы ужинали впятером. Шаво и я сидели с одной стороны, его жена, Поль и Жан-Поль — с другой. Разговаривали только мы двое, яростно уничтожая баранину с рисом и запивая ее тонким столовым вином. Я вспомнил, что привез из Конакри вкусные французские бисквиты, и, сбегав за своим дорожным мешком, кроме пачки бисквитов извлек из него фляжку с водкой.

Бисквиты я поднес жене Шаво, но она, приняв дар, тотчас передала его сыновьям, которые сразу охотно, хотя и с достойной признания сдержанностью, примялись за лакомство. Они съели по одному или по два бисквита, затем, воспитанные в духе каких-то лесных правил, отдали пачку матери. У всех трех персон, принимавших участие в этой церемонии, лица были преиспол-

нены важностью происходящего.

Между тем на нашей, Шаво и моей, стороне стола было больше жизни. Пластиковая фляжка, в которой у меня хранилась водка, была красива на вид, и я питал к ней идиотскую привязанность, так как она напоминала мне о Камбодже, где я купил ее за доллар на базаре в Пном-Пене. Вместе с тем это была мерзкая, отвратительная дрянь: пластик в течение трех лет бешено вонял химической пакостью и любую жидкость насыщал запахом лизола. Поэтому и от водки несло адским духом, но, чудо, Шаво принял ее мило и охотно, так как жаждал, видно, напиток покрепче. Мы пили, морщились, но пили, крутили носом, но потягивали, смелые, окрыленные и все более веселые.

Шаво не давали покоя кишачие зверем южные районы. Не было сомнений, что зверь был там в изобилии и еще можно было получить представление о настоящей, старой Африке. На Нигере стояла симпатичная деревенька, которую Шаво знал, хотя и не помнил ее названия. До деревни можно было добраться по тропке на велосипедах, остановиться там на три-четыре дня и охотиться поблизости. В Сарае легко одолжить велосипеды, кроме того, оттуда стоило также взять с собой Мамаду Омара, лучшего охотника и загонщика в этих краях. Выехав через два или три дня, можно было бы вернуться через неделю. Потратить несколько лишних дней — а сколько впечатлений, приключений!

Говоря это, Шаво не обещал мне золотых гор, он как огня боялся преувеличений, но именно из его сдержанных слов вырисовывалась богатая и страшно заманчивая картина. В конце концов, времени у меня было достаточно, эти несколько дней немного значили, а возможность представлялась необыкновенно соблазнительная и, может быть, единственная — надо было воспользоваться ею. Увидеть теперь район Нигера таким, каким он был сто или больше лет назад, во времена его первых европейских открывателей, — это ли не сверхпривлекательное приключение!

— Ну так поедem туда! — согласился я.

— Прекрасно! — искренне обрадовался Шаво. — Завтра я отдам обычные распоряжения на лесопильне, и послезавтра мы махнем на Нигер!

Я вышел на минуту из дому. На улице все еще стоял тяжкий зной, хотя уже давно опустилась густая тьма. Цикады стрекотали в роще, и пока был слышен только их металлический стрекот и ничего больше. Позже, ночью, придет прохлада и явятся гиены.

Вернувшись в дом, я извлек из своего мешка плоскую четвертинку венгерской сливовицы, которую получил перед выездом из Польши от одного моего приятеля, Томека.

— Она была у меня на особый случай, чтобы выпить, если придется разделить с кем-нибудь радость! — объяснил я. — Сегодня как раз такой день!

Сливовица, на мой вкус, чересчур отдавала самогоном, но Шаво пришел в нескрываемый восторг, потому что как раз этот напиток напоминал ему какие-то счастливые дни прошлых, юных лет, которые он провел в Шварцвальде в Германии, где наслаждался подобной наливкой. Видя его волнение, я сообщил, что мы уже не будем больше сегодня пить; пусть он спрячет остальное у себя.

— А вот о Томеке стоило бы сказать несколько слов! — не удержался я.

И подобно тому как Шаво несколько минут назад обращался мыслью на юг,

а я спешил за ним, ослепленный зрелищем обильного зверя, так теперь я увлекал его на север и очаровывал радужным призраком незаурядной личности. В чем было исключительное обаяние этого человека?

Когда однажды, преподнося Томеку книгу, я написал в дарственной надписи довольно высокопарно: «Возлюбленному жизнью», это была святая правда: жизнь любила Томека, но и он любил ее более пламенно, чем большинство людей. Являя собой пример удивительного человеческого сплава, он сочетал в себе трезвую практичность с неиссякаемым даром юношеского пыла и увлеченности. Он твердо стоял на брэнной земле, ох как твердо! И это ничуть не мешало ему видеть мир в красках столь привлекательных, что он все снова и снова пленялся им. При этом знаменательно то, что мой друг был не прекраснодушным себялюбом, эстетствующим Петронием, а чем-то вроде радия, неустанно излучающего утешение, доброту, энтузиазм.

Что было самым характерным для него — это бесконечная отзывчивость, какая-то страсть помогать людям и делать им приятное.

Было заметно, что мой рассказ заинтересовал Шава. В этом африканском безлюдье у него, наверное, не было близких сердцу людей, и образ далекого товарища был здесь как капля воды, упавшая на сухой песок. Хотел ли я распалить воображение хозяина?

— Необычный тип, счастливый человек! — признал Шаво и вдруг сделался робким, словно был поражен видением чего-то прекрасного.

Он попросил, чтобы я детальнее описал случаи самопожертвования, привел подробности из жизни Томека. Таких случаев я знал множество, и было трудно выбрать. Я рассказал два эпизода, которые давали о нем некоторое представление: во время гитлеровской оккупации Томек, разумеется, принадлежал к числу поляков, которые, несмотря на то что самим было несладко, с опасностью для жизни помогали преследуемым евреям. Всю войну он укрывал у себя маленькую девочку-еврейку, сироту, и, по сути дела, спас ее от смерти.

Само собой, такой человек, как Томек, обладал сердцем голубя и всю жизнь искал свой идеал. Когда он находил, как ему казалось, достойную любви девушку, независимо от того, заслуживала она этого или нет, он превращался в какого-то жреца самопожертвования, был трогательно заботлив, делал все, чтобы облегчить ей жизнь, жаждал дать ей все, что было в нем самого лучшего. Если ей не хватало образования, он считал делом чести (и в то же время находил в этом удовольствие) обеспечить ей возможность учиться дальше, делал из нее стоящего человека...

— А получал ли он за это надлежащую благодарность? — спросил Шаво, минуту помолчав.

— По-разному бывало, — ответил я. — Но это несущественно! Значительно более важным оказывалось его собственное, человеческое удовлетворение от того, что он был добр к кому-то, что мог что-то давать. И притом давать — подчеркиваю — не от слюнтяйства или прекраснодушия, но с сознанием своей благородной, творческой мужской силы.

— Как слепо вы обожаете его! — воскликнул искренне тронутый Шаво.

— Пожалуй, не слепо, потому что при всех достоинствах Томека я вижу также и его недостатки. Эта впечатлительность иногда играла с ним злые шутки, приводила его, правда редко, в некоторый разлад с самим собой, что

было вполне понятно при его чувствительности. Такие разлады отражались на его близком окружении. Однако это были лишь короткие замыкания; незначительные, редкие, они быстро проходили и мало значили сравнительно с массой его истинных достоинств.

Замолкнув на минуту, мы услышали снаружи отдаленный лай, похожий и в то же время не похожий на собачий.

— Гиены! — сказал Жан-Поль.

Шаво взял со стола бутылку сливовицы и, встряхивая, рассматривал ее содержимое на свет.

— Как красива эта золотистая жидкость! — произнес он с улыбкой. — Сквозь желтый цвет я вижу польского друга... Как бы мне хотелось видеть его наяву!

— Единственная возможность — приехать в Польшу и воспользоваться нашим гостеприимством...

Шаво был так взволнован, что поездка в Польшу не показалась ему невозможной. В это мгновение он забыл о юге и о Нигере, его мысли были заняты севером. Глаза его сияли восторгом. Я отметил это с удовольствием: я отплатил ему добром за добро.

Птица-носорог

На следующий день утром, еще до моего завтрака, Шаво отвез сыновей в школу в Сараю, а возвращаясь, застрелил по дороге крупную дрофу. Я сфотографировал охотника и добычу, после чего бой, Мансале Кули, набрался храбрости и тоже попросил увековечить его.

Я исполнил его желание, а также — аппетит приходит во время еды — и желание жены Шаво. Еще вчера, когда я хотел ее сфотографировать, она энергично трясла головой и сопротивлялась этому дьявольскому искушению, зато сегодня принарядилась в новое платье, яркий тюрбан и надела часы мужа — с такими амулетами она уже не страшилась аппарата.

Потом мы с Шаво поехали на грузовичке на лесопильню. Тем временем солнце успело высушить росу, и на скошенном рисовом поле мы увидели неизменную стайку рыжих обезьян. На их белых физиономиях угрожающе и смешно выделялись черные как уголь брови; это выглядело так, словно актер начал, но не кончил гримироваться под разбойника. Прекрасная погода привела в отличное настроение и меня и обезьян. Расшалившись, обезьяны резвились и забавно хмурили брови, а мне все время хотелось петь плясовую и повторять на разные лады: прекрасный день, чудесный день!

До лесопильни было добрых десять километров; в этот день нам то и дело попадались по пути знаменитые озорные зверюшки — земляные белки. Во всей Гвинее, равно как и в окрестностях Конакри, было их пропасть, и, что удивительно, они имели обыкновение всегда показываться на дорогах. Поэтому их прозвали «странницами». Шустрые озорницы, столь же широко распространенные, как и обезьяны, бросались в глаза всем автомобилистам. Примелькавшиеся, как стертая монета, и повсеместно любимые, они составляли обычно неизменную деталь здешнего пейзажа. Прошу извинить: их любили только французы, тогда как африканцы, владельцы полей арахиса, имели к ним большие претензии и дали им прозвище, пожалуй весьма справедливое, — «воришки земляных орехов».

Эти белочки пользовались у французов такой популярностью и славой, что получили еще одну кличку — «пальмовые крысы» — *Rats palmistes*, но с этим прозвищем сильно переборщили. Как уверяли меня натуралисты, земляные белки никогда не влезали на пальмы, им было достаточно земли. Однако не будем слишком рьяно торжествовать над неученостью других, в то время как у нас самих, да еще в уважаемом официальном печатном органе Союза польских писателей однажды бесцеремонно заставили реку Ориноко тянуться через бразильские дебри.

Земляные белки серые, в остальном же всем своим обликом, и в особенности задранном кверху хвостом, они как две капли воды похожи на наших, европейских. Путешественникам они нравились, так как очень разнообразили дорожные впечатления. У этих белок была своеобразная привычка: когда машина приближается (белка обычно сидит на опушке, укрывшись в зарослях), зверек не спешит спрятаться в чащу, а выскакивает на открытую дорогу и деловито трусит несколько десятков шагов, удирая от автомобиля. Потом непременно приостанавливается на мгновение, чтобы смерить наступающего гиганта испуганным или презрительным взглядом, — и в последний момент ныряет в кусты.

Однажды утром мы увидели не меньше двух десятков белок. Они всегда выскакивали поодиночке. Все переполошенные зверюшки каждый раз проделывали точь-в-точь те же движения, скрупулезно повторяя весь ритуал вплоть до забавного взгляда в заключение. Смешные проказницы.

Лесопильня была небольшая. Ее составляли несколько хибарок и одна хижина получше, круглая, в африканском стиле, которая служила для двух работников спальней и в то же время являлась чем-то вроде бюро. Приспособление для пилки дерева было остроумно собрано из самых различных частей старого трактора, пулемета и вышедшего из строя полевого орудия. Эта кое-как слепленная техника выглядела невероятно убого, но похоже было, что она уже много лет служила вполне исправно и отлично пилила доски.

Нас приветствовали дружным «хэлло!» пятеро молодых, бравых рабочих-мандинго из окрестных деревень. Занятые здесь постоянно, они отлично сработались с Шаво и составляли компанию жизнерадостную и доброжелательную. Будучи механиками, они наверняка зарабатывали больше, чем все земледельцы в округе, и поэтому считали себя современной рабочей аристократией; все они были разбитные парни, особенно их предводитель.

Он сам напросился фотографироваться и был прав. Молодой франт носил экстравагантную американскую куртку из толстого Манчестера; изящную надпись «Кения» можно было видеть на одной стороне груди, а таинственную круглую нашивку с многозначительным названием «Моррисвилль» — на другой; голову молодца украшала широкополая ковбойская шляпа. Всем своим ослепительным видом он вызывал в памяти лучшие фильмы о диком Западе. Фотографировать его было наслаждением.

С помощью своих подчиненных Шаво привел в движение большой трактор и поехал на нем в чащу за лесоматериалами, а помощники гурьбой последовали за ним на велосипедах. На месте нас осталось только двое: я и один из рабочих, который, впрочем, тут же куда-то исчез. После всеобщей суматохи воцарилась наконец торжественная тишина. Я отправился в жилую хижину, чтобы почитать там зоологию Громье. Но приятная прохлада привлекла туда

столько мошек, нахально залезавших в глаза и уши, что читать было невозможно. Не успел я присесть, как меня охватила тоска по солнцу, воздуху и деревьям. Я быстро покинул хижину.

Она стояла несколько вдали от построек лесопильни и была окружена редким лесом, — лишь отдельные деревья полностью сохранили листву. Выйдя из хижины, я обрадовался при виде большой птицы-носорога, которая сидела на верхушке ближайшего дерева. Это было чудище, которое капризная природа наделила как бы двумя клювами, один над другим. В следующий миг птица сорвалась с места и улетела, но недалеко, на вершину другого дерева. Там она уселась с видимым облегчением, так, как измученный старец опускается в кресло. В полете она отчаянно колотила крыльями, — видно, крылья у нее были слишком слабые для такого тяжелого тела.

В этой птице было что-то неестественное. Скорее всего, она представляла собой существо, обреченное на гибель. В прошлом либо этот род задержался по каким-то причинам в своем естественном развитии, не прогрессируя соответственно изменениям условий жизни, либо изменилась не среда, а сама птица как-то выродилась, лишилась жизненных сил. Но почему же это произошло? Почему именно эта птица утрачивала способность жить? Почему природа наделила тысячи других видов живых существ всем, что необходимо для жизни и развития, сделала возможной их эволюцию, а здесь, в тысяча первом случае, ошиблась, словно ей не хватило творческих сил, отказала железная логика, так замечательно применяемая по отношению к другим существам?

Кто откроет причины этого исключения?

Самые великие умы человечества много веков пытаются познать законы природы и покорить ее. И как, однако, мало совершили они до сих пор, сколько еще работы!

Не исключено, что вскоре мы начнем препираться между собой по поводу того, кому посылать консула на Марс. Однако тем временем проблемы нашей старушки Земли, самые важные, наиболее непосредственно связанные с нашим существованием, самые близкие нам, все еще остаются манящей тайной. Вчера непонятным образом исчезли динозавры, сегодня неизвестно почему природа лишает ни в чем не повинных птиц-носорогов полноценных крыльев, а завтра — кому предначертана гибель?

Ошибка

Я махнул рукой на всю эту философию: чудный, золотистый день совсем не подходил для гамлетовских настроений. Птица-чудище, неуклюже полетав между деревьями, пропала из виду. Я закинул за спину неразлучную сумку с фотоаппаратом внутри (ах, время, время! Раньше, в эпоху процветания варварской силы, закидывали за спину ружье!) и пошел прогуляться в сторону видневшегося вдали бовалья.

Где-то ворковали дикие голуби. Я видел их много не только в Гвинее, но и позже в Гане; здесь они были так же обычны, как в Азии, во вьетнамской области Сипсонг Чонтаи. Вот ведь как ни рвется душа затеряться в этом африканском безлюдье, ничего не выходит: знакомое мягкое воркование голубей дразнит человека и напоминает ему — хочет он этого или не хочет — о существовании мира. Это птичье радио.

Глазея по сторонам, я шагал кромкой леса по выжженной земле бовалья. «А где же обезьяны?» — весело спохватился я вдруг. Мне не надо было искать долго: в двухстах шагах впереди меня резвилось несколько проворных обезьянок. Стайка встретила появление человека недовольным ворчанием, давая волю обезьяней досаде, и начала отходить в глубь леса, то и дело останавливаясь. Без паники, но в дурном расположении духа. Скрывшись в чаще, обезьяны тотчас умолкли — как воды в рот набрали.

В этом месте бовалья было много грибов-термитников, как обычно на выжженных прогалинах. Характерные холмики так и просились на пленку. Я достал аппарат и начал фотографировать их и себя на фоне бовалья.

Еще в начале прогулки я заметил сипа-заушника, который выписывал круги высоко в небе — картина довольно обычная в бруссе и саванне. Пока я возился с аппаратом, сип снизился и недвусмысленно заинтересовался моей особой. Я подумал, что это обычное любопытство и птица, убедившись, что падали здесь нет, полетит дальше. Не тут-то было. Сип упал с высоты почти ста метров и продолжал упорно кружить надо мной, не спуская с меня алчных глаз. Кружит и кружит.

Спятил он, что ли? Обычно сипы летают так низко только в том случае, если увидят на земле падаль. Но какой корм углядел негодник здесь? Не меня ли он принял за труп или, может быть, думал, что я — издыхающая птица-носорог и на его глазах протяну ноги? Может, бездельник знал дату моего рождения и в связи с этим у него возникли радужные надежды? Клянусь всеми святыми, я не имел желаний выйти в расчет так рано.

Будучи в отличном настроении, я сфотографировал себя еще раз, чтобы засвидетельствовать документом, похож я на труп или нет. Какого черта! Явно не похож. На снимке, который я позже отпечатал, между термитниками пружиnistым шагом шел живой, здоровый мужчина, а вовсе не какой-нибудь калека или дохляк — пища для пожирателя падали.

Я очень сожалел тогда, что под рукой у меня не было маузера Шаво. Огромный сип медленно кружил надо мной и на такой высоте представлял собой отличную мишень. Он был далее крупнее, чем орел-скоморох, который появился над усадьбой Шаво, и, пожалуй, — вдвое больше, чем мои знакомые южноамериканские сипы урубубу. Настоящий гигант, со светло-серым брюшком, голой головой и шеей, с острым большим клювом и жестоким взглядом,

он казался олицетворением грубой силы и хищности.

Когда я чуть позже упаковал пожитки и двинулся в обратный путь к лесопильне, сип ослабил свою воздушную осаду и взлетел выше. Видно, одумался, понял свою ошибку, оставил меня в покое. Признаюсь, я почувствовал некоторое облегчение: хотя он и безумец, помешанный, но все-таки это было не очень-то приятно, когда он так настойчиво кружил надо мной.

Обезьяны, которых я спугнул перед этим, наверняка все время следили за мной, притаившись в чаще, потому что, когда я отошел на несколько десятков шагов, они подняли мне вслед ужасный гомон. Они буквально зашлись от издевательского крика, злорадствуя, выли какими-то обезьяньими голосами, поливали меня немислимой бранью — наверное, перемыли мне все косточки.

— Ах вы паршивцы! — рявкнул я на них что было силы. — Что я сделал вам плохого?!

Наивный вопрос! Для того чтобы тебя преследовали, совсем не обязательно делать зло.

Обезьяны, испугавшись моего окрика, немного притихли, но только на мгновение. На меня снова посыпался град ругательств, и так продолжалось до тех пор, пока я не отошел достаточно далеко. Что это было — ненависть к человеку или всего лишь озорство обезьян-сорванцов?

До меня явственно донеслось тарахтение трактора. Шаво и его работники возвращались из глубины бруса. Трактор тянул на цепи невероятно толстый и длинный ствол, которого хватит на несколько дней работы в лесопильне. Люди были возбуждены и смеялись, словно притащили из лесу самую лучшую добычу. Ствол означал для них хлеб, рис, острый соус «фонто» и ласки жен. Их радость бытия была так непосредственна, задорна и так заразительна, что все ошибки природы отступали перед ней на задний план, казались куда менее важными.

Омар

К вечеру этого же дня появился на велосипеде вызванный Мамаду Омар, знаменитый охотник и божьей милостью следопыт, готовый отправиться на охоту вместе с нами. Он привел с собой два велосипеда. Омару было за сорок, лицо — умное, тело — жилистое, ружье — жалкое, капсюльное, репутация — в прошлом очень скверная.

Ружье — допотопное, примитивное, убогое, без мушки и прицела — било в цель самое большое с двадцати шагов и всегда было в равной мере опасно как для цели, так и для самого стрелка. Власти в африканских колониях запрещали местному населению хранить и продавать современное огнестрельное оружие. Они разрешали пользоваться лишь жалкой рухлядью и иметь при себе немного обычного черного пороху, чтобы неблагоприятные негодяи не вздумали взорвать континент.

— Почему у Омара была дурная репутация? — спросил я у Шаво.

— Ах, это старая история! — шутливо присвистнул Шаво. — Не стоит морочить себе голову! Сейчас я не знаю более достойного африканца, чем Омар!

— А раньше?

— Раньше — черт знает! Может, это были глупые сплетни. Его подозревали в том, что он отрубал людям головы, — ему нужны были человеческие черепа, чтобы охота была удачной...

— Ах, пес его возьми!

— Мандинго уже несколько веков мусульмане, но старые языческие суеверия у многих из них еще прочны, и, может быть, только теперь благодаря современным школам сюда вольется струя свежего воздуха. Люди, особенно из тех племен, в которых силен дух фетишизма, верят в колдовство и тому подобные штуки, которые мы считаем чепухой, а они — сущностью вещей. Не надо далеко искать: здесь, в нашей Гвинее, управляемой прогрессивной Демократической партией, на юге страны, в районе Нзерекоре, обитают племена фетишистов, такие, как тома, герзе, мано. Они неплохо выращивают кофе, сейчас даже довольно состоятельны, но их главным общественным институтом продолжает оставаться так называемая школа леса. А что это значит? Это средоточие магии, чародейств, демонов, лесных дьяволов, святилище таинственных обрядов, во время которых легко совершались, а может быть, и сейчас совершаются убийства и другие ритуальные преступления.

— А как к этому относится партия?

— Не сразу Рим строился. Партия подавляет из ряда вон выходящие эксцессы, но к религиозным проблемам нужен тонкий подход... не только в Европе, но и в Африке... — добавил Шаво, многозначительно подмигивая.

Тени деревьев в рожице перед нашим домом медленно удлинялись: солнце стояло уже низко. Это было для нас время отдыха. Шаво был не прочь поболтать на тему, всегда захватывающую для европейцев, а именно об африканских обычаях и интеллектуальности.

— Может быть, вам известна история о золоте, которое закопал немец? — спросил он с улыбкой. — Это эксцентричное, но и поучительное происшествие! Ну, и немножко необычное...

— Нет, неизвестна.

Это произошло незадолго до конца первой мировой войны. Войска герман-

ского императора в колонии Того, припертые к стене союзными войсками, были вынуждены сдаться. Один немецкий офицер, не желая допустить, чтобы значительный золотой запас попал в руки противника, решил закопать золото. Он отобрал пятерых крепких носильщиков, нагрузил их ящиками с золотом и отвел в пустынное место в горах. Там он приказал закопать золото и уничтожить все следы. Чтобы не оставить вообще никаких следов, офицер на обратном пути в нескольких километрах от тайника застрелил всех пятерых помощников — практика, нередко применявшаяся в те времена немецкими властями по отношению к нежелательным свидетелям.

Весть о преступлении довольно быстро достигла местных племен, но — чудо из чудес! — лишь у немногих людей вызвала возмущение. Остальные, причем преимущественно африканцы, отнеслись к поступку офицера как к должному, даже с уважением: умный человек поступил разумно! Разумно, так как, убив пятерых носильщиков вблизи от зарытого золота, заставил их души стеречь сокровища. По мнению здешних племен, офицер не мог выбрать себе лучшей охраны, чем эти души.

Офицер действительно «проявил благоразумие» правда несколько иного рода, чем предполагали: он предвидел ход мыслей этих людей и поэтому застрелил несчастных вдали от места, где зарыл золото. Он опасался, как бы какой-нибудь отчаянный человек, который не слишком испугается духов-сторожей, не взялся искать золото там, где лежали убитые, вот и уничтожил их в нескольких километрах от зарытого клада.

— *Se non è vero, è ben trovato*[268], — заметил я.

— Скорее всего *è vero!*[269] — заверил Шаво. — Во всяком случае, если речь идет о верованиях в загробную жизнь у африканцев. Ведь еще совсем недавно был распространен обычай — особенно в поясе тропических лесов — убивать после смерти вождя (или вообще почитаемого человека) его невольников, друзей, жен. Их убивали для того, чтобы души жертв служили своему господину и на том свете, так же как здесь, в этой юдоли.

— А существует ли еще людоедство?

— Разумеется, оно не существует как общепринятый обычай, и мне не хочется верить, что оно существует где-то тайно. Но не подлежит сомнению, что еще есть африканцы, которые в прежние времена познали вкус человеческого мяса...

У Шаво вдруг засверкали глаза, видно, он вспомнил что-то необыкновенное.

— Когда я приехал сюда двадцать лет назад, среди моих соотечественников была популярна очень своеобразная история. Она казалась и смешной и в то же время пугала. Послушайте...

В западной части тропического леса, бывшей французской колонии Берег Слоновой Кости, в джунглях живут довольно примитивные племена, у которых дольше, чем у других, сохранилось людоедство. Лишь в последние годы перед второй мировой войной его удалось искоренить. В это время, точнее, в 1934–1935 годах, один представитель французских колониальных властей совершал инспекционную поездку по этим местам в сопровождении своей жены, француженки. Когда он находился на территории племени горо, то получил приказание немедленно отправиться в другую часть джунглей. Жену он на некоторое время доверил заботам вождя, на которого можно было положить-

ся, а сам отправился в путь.

Надо было случиться такому несчастью, что в его отсутствие жена тяжело заболела не то малярией, не то чем-то еще, взвалив на плечи вождя и всего племени тяжкую заботу. Они опасались, что женщина вот-вот умрет и тем самым нанесет мужу материальный ущерб. Они пришли к выводу, что долго она не протянет, поэтому перерезали ей горло, четвертовали тело и под наблюдением вождя и старейшин за хорошую цену продали куски мяса окрестному населению. Как только француз несколько недель спустя вернулся, вождь тотчас честно отчитался в доходах от продажи мяса и выложил кучу продуктов.

Вождь утратил дар речи, когда вместо благодарности увидел ярость мужа белой женщины. Еще более непонятным было то, что вскоре появились солдаты, заковали в кандалы его и многих других горо и поволокли в тюрьму. Вождь, убежденный в своей честности, на долгие годы был заперт за решетку и совершенно утратил веру в справедливость и здравый смысл белых людей...

— Кошмар, правда? — закончил рассказ Шаво. — Однако такая штука могла еще приключиться в те времена...

— А сейчас?

— Как я уже сказал, исключено, что где-либо в Африке сохранилось людоедство. Ритуальное убийство — совсем другое дело. Редко, правда, но с отдельными случаями сталкиваются до сих пор...

Мы вернулись к первоначальному предмету нашей беседы — охотнику Мамаду Омару.

— Раньше ему здорово везло, когда здесь, на Нигере, было еще много слонов. Не знаю, сколько он их убил в своей жизни, наверняка больше двух десятков...

— Из этого своего пугача?

— Другого ружья у него никогда не было. Но охота на слона для местного населения довольно сложная процедура, стрельба — это лишь один из элементов охоты, важный, но не единственный. Прежде всего надо лишить зверя возможности двигаться; для этого копают большие ямы или подбираются к самому стаду и подрезают у намеченной жертвы вены на задних ногах — и только после этого палят из «пугачей». Перерезать слону вены нелегко; чтобы уберечься от несчастья, охотники вооружаются самыми разнообразными талисманами, гри-гри и тому подобными панацеями, но лучшие охотники, асы, выходя на слона, имеют при себе самый сильнодействующий фетиш, обеспечивающий им власть над этим зверем, — череп человека, убитого только что, перед охотой, специально для того, чтобы охота была успешной.

— И люди не сопротивлялись этому?

— Жертвами, насколько я знаю, обычно были путешественники-чужестранцы, прибывавшие из далеких краев, которые неосмотрительно оказались поблизости от охотника; и гибли они всегда незаметно... Недавно я прочел одну из книг доктора Швейцера, в которой он пишет, что подобная добыча охотничьих фетишей в его краях, в Габоне на реке Огове, еще и сейчас вещь не редкая.

— Так, значит, наш Мамаду Омар и есть такой ас, о котором вы говорите?

— Он был им. Сейчас Омар лишь обыкновенный охотник, и все же отлич-

ный...

Отличный охотник, бывший ас, как раз вышел из хижины-кухни, где жена Шаво щедро накормила его бараниной, и подошел к нам, чтобы обсудить программу на ближайшие дни.

Карабин

В тот же день, еще до наступления темноты к нам примчался посыльный из Курусы с предложением Шаво явиться через три дня к коменданту округа по срочному делу о поставках строительного леса. Француз с чувством выругался, но отказать коменданту было нельзя. Наши чудесные планы путешествия на Нигер разлетелись в прах.

В этот вечер мы ужинали в более широком кругу, чем до сих пор, так как с нами был Мамаду Омар. Охотник, довольно бегло говоривший по-французски, был так же огорчен, как и мы, — ведь рухнули его надежды на комиссионные, — поэтому тут же за ужином он предложил нам выход: мы поедем на Нигер, без мосье Шаво, только он и я; он покажет мне все, что есть интересного, и через четыре-пять дней мы вернемся домой.

Я быстро взглянул на француза. Мы, как заговорщики, обменялись многозначительными, смеющимися взглядами. Ведь мы только что обсуждали прежнюю практику Омара и его чудовищное обыкновение добывать фетиши, отрубая головы чужеземцам.

— Чужеземец есть, но в данном случае отсутствует второе неперемное условие — сохранение тайны! — оценил ситуацию Шаво как бы всерьез, что было довольно загадочно для сидящих за столом. — Поэтому риска нет, я советую ехать!

— Без ружья? — скроил я жалостную рожу.

— Я дам мой карабин и штук двадцать патронов!

Итак, мы порешили на том, что я все-таки поеду на Нигер, хотя с одним Омаром. Карабин мог пригодиться в том случае, если какой-нибудь хищник преградит нам путь. Охотиться на другого зверя у меня не было желания, а кроме того, не имея разрешения из Конакри, я мог бы только накликать на себя беду — немилость местных властей.

Мы выехали на рассвете следующего дня, мощно оснащенные съестными припасами благодаря жене Шаво. Омар все взвалил на свой велосипед и на спину. Он хотел было взять под свою опеку также и карабин, но я решительно воспротивился: карабин был заряжен, хотя и стоял на предохранителе. Но... о слабость духа человеческого! О непостоянство характера! Когда солнце поднялось выше и начало припекать, здоровое самолюбие растаяло и я позволил Омару повесить карабин на плечо. У себя я оставил только бинокль. Охотник был рад, и я тоже.

Переехав железнодорожную линию, мы продолжали двигаться все время на юг. Дорога, вернее тропинка, была трудная, и мы крутили педали не спеша. За железной дорогой миновали две деревни. Во второй деревушке, которую составляло меньше десятка семей, перед хижинкой стояли несколько африканцев. Мы сошли с велосипедов, чтобы минутку отдохнуть. Я велел Омару спросить людей о слонах и другом звере, но охотнику это пришлось не по вкусу.

— Это последние дураки! — Он окинул жителей деревни презрительным

взглядом. — Темные бараньи лбы. Зачем к ним идти? Я не пойду!

Омар смотрел на них свысока, как фанфарон, задавака, как высшее существо. Я не на шутку удивился. Тактичный и уравновешенный до сих пор, он обнаружил какие-то неожиданные черты характера. Он стоял напыщенный, с карабином через плечо и держался обеими руками за ремень от ружья, как за символ власти. Держался судорожно, как будто в нем черпал магическую силу.

Так оно и было. Можно ли удивляться тому, что почтенный Омар упивался, держа в руках оружие, и считал карабин фетишем, обеспечивающим его превосходство, если даже в рафинированной Европе в течение последних нескольких десятков лет наличие оружия не раз переворачивало мозги людям, порождая безумную спесь?

Ради святого покоя я жаждал, чтобы охотник не брал примера с европейцев, поэтому взял карабин из его рук, повесил оружие на плечо и приказал своему спутнику идти вместе со мной к людям.

— Спрашивай, — проворчал я грозно, — где зверь!

Состязание закончилось в мою пользу. Омар был обеспокоен выражением моего лица и моим тоном. Можно было лопнуть со смеху: отобрав у него карабин, я как будто и вправду отобрал у него власть, лишил его тайной силы и принудил к повиновению. Интересно, те, кто ассигнуют миллиарды долларов на разное оружие, тоже испытывают такое же дьявольское наслаждение, как Омар минуту назад?

Капсюльное ружье

Жители деревни, когда мы спросили их, где есть поблизости зверь, мгновенно воодушевились и забросали нас тысячью ценных сведений. Вокруг была пропасть всякого зверя — ого, буйволы, кабаны, антилопы шныряли повсюду, здесь, там, ах, аллах эль аллах, далеко, близко — нет, еще ближе; и совсем недавно, вчера, сегодня, в это утро, неправда — час назад, врешь, кум, — минуту назад, это была не циветта, а леопард, за тем пригорком, нет, вот в этих кустах, клянусь, позади моего дома стояло огромное стадо, а я видел еще большее стадо вот здесь, с этой стороны...

На нас обрушилась настоящая лавина противоречивых сведений. Омар переводил мне словесный поток так долго, как мог, но наконец и он не выдержал. Это была истерическая реклама: люди старались друг перед другом, лезли вон из кожи, клялись, бесновались, впадали в исступление. Несомненно, они рассчитывали на щедрый бакшиш, но еще больше им хотелось поразить нас своим темпераментом и богатством окрестностей. Это были мужи со спортивными наклонностями, игроки, актеры и патриоты своей деревни. Безжалостно и наивно они околдовывали нас, заманивали в свой звериный эдем. Видя, как они напевают, возбужденно крича, размахивают руками, сверкают глазами, перебирают ногами и в конце концов оказываются захваченными сумасшедшим ритмом какого-то бешеного танца, можно было подумать, что это некий счастливый гвинейский альянс современной поэзии с рок-н-роллом. Перед моим взором живо возникли полотна странного мастера Тиама Саны из Конакри.

Вскоре жители деревни несколько выдохлись. Набираясь новых сил, они с уважением и любопытством уставились на мой карабин и люнет[270]. Тогда

Омар приблизился ко мне и, надувая губы, произнес с презрением в голосе:

— Не говорил ли я, что это куча глупцов и кретинов?

— Но они — поэты! — с жаром заявил я.

Омар не знал, что такое поэты, но, видя мой энтузиазм, погасил его, пожав плечами и буркнув:

— Лгуны! Они нас водят за нос! Они все выдумывают, бездельники!

— Мамаду Омар! — торжественно произнес я. — Так именно в этом и состоят привилегии поэтов.

— Ну и что мы имеем от этой болтовни? — фыркнул он, недовольный тем, что я езял окружающих под защиту. — Много крику, много прыжков, тысячи пустых слов, и все напрасно, безрезультатно...

— О великий критик Омар! Точно так же бывает часто и в поэзии!..

Жители деревни после приступа возбуждения быстро остыли. Как бы охваченные легким похмельем, они по-прежнему окружали нас плотным кольцом, но уже были не так стремительны, а утомились, глаза их утасли. В утешение им остался лишь культ моего карабина, вот они и взирали на него, как на божество: их неудержимо влекла его несомненная убойная сила. Если у них самих и было какое-нибудь оружие, то наверняка только «пугачи», вроде ружья Омара.

В толпе любопытных стоял пожилой господин с седой остренькой бородкой, который до сих пор меньше всех навязывался и хвастал. Как оказалось, это был староста, глава и патриарх этого селения. Теперь он приблизился к нам с серьезным выражением лица и, указывая на Омара, обратился ко мне на ломаном французском языке:

— Этот тип называть нас кучей глупцов, и он не ошибаться, но его жена — сука, родить ему паршивого щенка... Вы хотите стрелять зверей?

— Хотите! — с издевкой передразнил Омар.

Патриарх, враг глагольного спряжения, обратился ко мне:

— Я не спрашивать хама, ты отвечать!

— А есть зверь? — спросил я.

— Есть. Близко. Небольшое стадо мин. Четыре...

— Близко-близко! — заржал Омар, до отказа наполненный ехидством. — У них все близко.

— А как близко? — спросил я старца.

— А я получить бакшиш?

— Ну конечно, получите!

— Сколько?

— Сто франков.

Патриарх кивнул в знак согласия и указал на недалекий лесок, расположенный по направлению к Нигеру, то есть на нашем пути.

— За теми деревьями, на бовале.

— Пардон! — вмешался Омар, внося поправку. — Ты получишь сто франков, если, во-первых, покажешь нам мин, во-вторых, если они не будут далеко, в-третьих, если мы подстрелим хоть одну...

— Подстрелить — на это воля Аллаха! — возразил старик.

— Если мы подстрелим хоть одну! — уперся Омар и так глянул на старосту, как будто хотел проглотить его живьем.

Староста заколебался.

— Хорошо! — уступил он, но теперь выставил свое условие. — Подстрелить этим ружьем, а не другим, и подстрелить он сам! — Приведенный в ярость моим товарищем, староста коснулся пальцем моего карабина и моей груди.

Здесь возникли новые трудности, потому что я в свою очередь представил возражения.

— Нет! Мое ружье только для крупных хищников! — объяснил я. — И стрелять буду не я, а он, знаменитый охотник Омар, а бакшиш ты получишь в любом случае!

С враждебным сожалением патриарх оглядел Омара и в конце концов согласился.

На этом закончились напряженные переговоры и торговля, и мы приступили к действиям. Усевшись на велосипеды, мы медленно двинулись в сторону лесочка. У старца были резвые ноги; к нашему удивлению, он не отставал от нас; может быть, опасался, что мы удерем?

На опушке леса мы сложили велосипеды и пожитки под деревом и начали крадучись пробираться сквозь заросли. Через некоторое время староста подал знак, что мы у цели; и правда, через несколько десятков шагов чаща поредела, переходя в боваль, а на другой стороне поляны — черт возьми, глазам не поверишь! — мы действительно увидели в зарослях травы несколько пасущихся антилоп мин. Мы находились в трехстах шагах от них и были хорошо укрыты, а ветер дул благоприятный.

Вот так неожиданность! Я радостно и признательно кивнул патриарху, а он, распираемый самодовольством, уж и не знал, как лучше выразить свое торжество.

Омар подполз ко мне и хотел чуть ли не силой отобрать у меня карабин.

— Дайте мне! — возбужденно выдохнул он.

— Ну нет, браток! Не выйдет!

— Дайте мне! — повторил он умоляюще.

— Отстань! Карабин ты не получишь! — резко осадил я его. — Ты что, на собственное ружье не надеешься?

Омар был задет и что-то пробормотал себе под нос, огрызаясь, но у него не было другого выхода, как подчиниться и покориться судьбе. Он еще раз определил направление ветра и скрылся в зарослях.

Я вручил патриарху заработанные сто франков, после чего он сразу предусмотрительно испарился. Староста предпочитал не ждать результатов охоты и возвращения задиристого охотника.

Довольно долгое время спустя я отыскал в бинокль Омара, который двигался ползком уже по другой стороне боваля, вдоль границы зарослей. Мины продолжали пастись и не чувствовали опасности. Несомненно, Омар был замечательный следопыт и умел подкрадываться к зверю, как редко кто умеет. Я издалека восхищался его ловкостью и мастерством. Он удивительно близко подполз к антилопам — на тридцать, может, на двадцать пять шагов — и только тогда выстрелил.

Поднялась огромная туча дыма, а через мгновение до меня долетел звук выстрела. Какой-то неясный, жалкий, робкий звук. Омар одним прыжком бросился на то место, где стояли мины. Он искал, оглядывался, наклонялся, крутился — напрасно: ни одной убитой антилопы не было.

Когда он вернулся ко мне, его лицо выражало такое искреннее огорчение и

было так испугано, что мне стало его жаль. Вероятно, он боялся, что упадет в моих глазах, что я буду считать его раззявой.

— Наверное, порох в ружье был старый, слежавшийся! — сказал я.

— Правда, правда! — Омар оживился, хватаясь за спасительную соломинку.

— Да еще, — продолжал я, — пуля на лету задела ветку и поэтому отклонилась в сторону!

— Ах, господин, как вы все это увидели?

— Я наблюдал в бинокль!

— Да, верно — бинокль!

— А психологический момент, Мамаду Омар? Разве перед этим вы не обидели старика-старосту и разве не мог он пожелать вам зла?

— Правда, истинная правда: он заколдовал меня, он меня сглазил! — Омар так утешился этим открытием, что схватил меня за руку и тряс ее долго, горячо и искренне.

Нигер

Нас окружал все тот же пейзаж: сухой, не очень густой лес, местами выжженный, заросли кустарника, бовали с твердой землей и небольшие поросшие травой поляны. Но по мере приближения к реке лес густел и разрастался. Стало попадаться больше болот, влажных зарослей, мхов и больше птиц. Аисты, значительно крупнее наших, бродили в трясине. Когда над нами пролетела стая чибисов с гротескно загнутыми книзу клювами, не осталось сомнений в том, что мы приближались к большой воде.

На берег Нигера мы выехали после трех пополудни. Мы увидели реку с невысокого прибрежного пригорка. Велика ли она? А как же, велика, но, несмотря на это, сначала я почувствовал разочарование, потому что Нигер пользовался такой исключительной славой, был окружен ореолом такой таинственности, что я ожидал увидеть бог знает что. А все-таки, если рассудить здраво, уже здесь, у самых истоков Нигера, едва в двухстах километрах от них, ощущалось его величие: река в этом месте напоминала по ширине Вислу в окрестностях Варшавы. Какова же была она ниже по течению, если тянулась еще на четыре тысячи километров, то есть была более чем в три раза длиннее Вислы, а бассейн имела в четырнадцать раз обширнее?

Насколько хватало глаз, перед нами расстилалась, саванна с выгоревшей травой, а среди нее — леса с деревьями без листвы и множество болотистых стариц, где в тростнике было полно водяной птицы. В этом месте река изгибом подходила к подножию нашего пригорка, образуя на другом берегу длинную песчаную отмель.

Там-то я и заметил подозрительную колоду, лежавшую недалеко от воды в песке. Она напоминала мне мои прежние путешествия, особенно по Мадагаскару, и правда, я не ошибся: в бинокль я увидел спящего крокодила средних размеров. Омар толкнул меня и обратил внимание на двух других гадов, которые спали чуть дальше; один из них был редкий гигант более четырех метров в длину с брюхом, раздутым как тюк. От дремлющих на солнце чудовищ веяло допотопной древностью.

— А гиппопотамов здесь нет? спросил я.

— Есть, только, наверное, не в этом месте, потому что деревня слишком близко...

— А где деревня?

— Там, вверх по реке, за той возвышенностью. С километр отсюда...

Вот он несет передо мной быстрые воды, старый, прославленный Нигер, тот, что тысячелетиями интриговал человечество, лишал его покоя своей таинственностью и только сейчас, недавно, буквально минуту назад, пожелал сбросить с себя этот покров. О существовании загадочной реки слышали древние греки. Римляне, которые никогда не видели этой реки, дали ей ее современное имя, совершенно верно назвав Рекой Черных. Потом в средневековую Европу проникали лишь глухие, смутные вести о сказочном богатстве африканских государств, возникших на берегах Нигера. И верно: все ценное, что когда-либо создали африканцы, зародилось здесь. Сложные государственные организмы — Гана, Мали, Сонгаи — здесь выросли в державы, известные своим великолепием, здесь африканские цивилизации и культуры расцветали, как пышные цветы, и гибли, разрушаемые иноземными захватчиками.

Удивительно, что, кроме туманных сказок, никакие сведения об этом блистательном мире не достигали Европы того времени. Удивительно потому, что арабы-то отлично знали, что происходило на Нигере. Но вот султан Марокко в 1590 году послал на Нигер свой иностранный легион, состоящий из четырех тысяч европейцев — подонков из Испании, Франции, Италии, Греции, даже из Англии. Вся эта шайка, вооруженная до зубов, нанесла сокрушительный удар последней средневековой державе африканцев на Нигере, государству Сонгаи, после чего сама осела здесь, — и ничего, никаких сведений об этом не проникло в европейские хроники. Больше того, на берегу Гвинейского залива уже было полно европейских кораблей и крепостей, алчно скупавших черных невольников и золото, а между тем о великой реке, протекающей в глубине материка, до ушей ретивых торговцев либо ничего не доходило, либо доходил какой-то бессмысленный вздор.

Вплоть до середины XVIII века — века просвещения! — все еще предполагали, что Нигер берет начало в восточной части Африки, течет на запад и разветвляется на несколько рукавов, впадая в Атлантический океан, как реки Сенегал, Гамбия и другие. Но даже в конце того же века, когда Маленький Капрал[271] видел сны о покорении мира, никто из европейцев не знал наверняка, где истоки Нигера, в каком направлении идет его течение и в какой океан он впадает.

Лишь в это время начались лихорадочные исследования, такие тяжкие, принесшие столько жертв, как будто Нигер и вправду оборонялся с помощью адских сил и преграждал путь к своим берегам злыми чарами. Все началось в 1788 году. Англичанин Джон Ледьярд, едва добравшись до Каира, умер. Затем немец Хорнеманн, пройдя через Сахару, почти достиг Нигера, но, не увидев реки, погиб. Английский майор Хью-тон пробивался с запада; он не дошел до Тимбукту, убитый фанатиками-мусульманами.

Все пока что гибли в пути. Самым первым европейцем, который в 1795 году увидел Нигер и доказал, что он течет на восток, был шотландец Мунго Парк. Он открыл реку, но ошибочно предполагал, что она впадает в Конго. Он счастливо вернулся в Англию, написал книгу и лишь во время второй экспедиции на Нигер погиб у его порогов, подвергшись нападению аборигенов. В эту экспедицию он отправился во главе отряда из более чем тридцати европейцев. Все они перенесли тяжелые болезни и либо погибли в пути, либо при-

няли смерть на Нигере вместе с Парком.

Одолов Наполеона, в Европе решили наконец покорить и Нигер. Атака, начатая в 1815 году с трех сторон тремя экспедициями, дала позорную осечку. Позже некий Туккей хотел выяснить соотношение Конго и Нигера, но погиб, ничего не выяснив. Между тем с западного побережья в горы Фута-Джаллон вышли в путь двое смельчаков, Пэдди и Кэмпбелл, но первый, не достигнув гор, умер, второй добрался до них и погиб уже в горах, в стране фульбе. В это время Ритчи и Лайн прорывались с севера, от Триполиса, влекомые строптивой рекой; первый окончил свою жизнь в Сахаре, второй вернулся с пути.

В 1825 году Клапертон добрался от порта Лагос до Нигера в районе Бусы и умер от истощения. В том же году майор Лэйнг, этот первый европеец нового времени, вошел в город Тимбукту, но по выходе из него был убит — тот самый Лэйнг, который тремя годами раньше, будучи в Сьерра-Леоне, более или менее правильно определил местонахождение истоков Нигера.

Все эти смельчаки, за исключением одного немца, были британцами* В свою очередь француз Ренэ Кайе, «картинный тип», как его называли, в арабской одежде прорвался через Сьерра-Леоне к верхнему течению Нигера — примерно в тот район, где я сейчас находился, — достиг окрестностей Тимбукту и, что самое главное, вернулся из этой экспедиции живым и здоровым и описал ее. Когда несколько позже, в 1830 году, англичанин Ричард Лендер и его брат открыли устья Нигера (устья — потому что река образует дельту), можно было вздохнуть с облегчением: наконец-то выносливость человека взяла верх над упорной рекой. Таким образом, пока в общих чертах, были определены истоки, течение и устья Нигера.

Ричард Лендер не избежал типичной для исследователей Нигера судьбы. Через год после памятного открытия устьев он снова двинулся к великой реке, но там в стычке с аборигенами был ранен и умер на острове Фернандо-По. Нигер, даже покоренный, продолжал сопротивляться.

Большинство открывателей, направлявшихся в эти края, гибли от рук местного населения, не слишком расположенного к европейским пришельцам. Последующее развитие истории Африки доказало, к сожалению, правоту африканцев, яростно защищавшихся от назойливости белых. У них были основания не доверять европейцам, даже когда те появлялись в качестве безобидных исследователей и первооткрывателей с целями, поначалу как нельзя более мирными.

С тех пор изменилось немного. Взволнованно смотрел я на реку. Ее воды бежали так же, как во времена француза Кайе, даже крокодилы были такие же, как тогда, пейзаж и природа были почти те же. Только до чего же изменились люди! Теперь они уже не отгораживались от влияния извне, сегодня они верили в себя.

С переполненным сердцем, уверенный в хорошем приеме, в предчувствии приятных впечатлений, приближался я к деревне.

Правопорядок

Вскоре мы увидели первые хижины, а потом и всю деревню. Она стояла на бугорке, не заливаемом водой, прямо у реки. Около двух десятков лодок, стоявших у берега, и развешанные сети свидетельствовали о том, что Нигер кормил обитателей деревни.

— Здесь что, живут только рыбаки? — спросил я Омара.

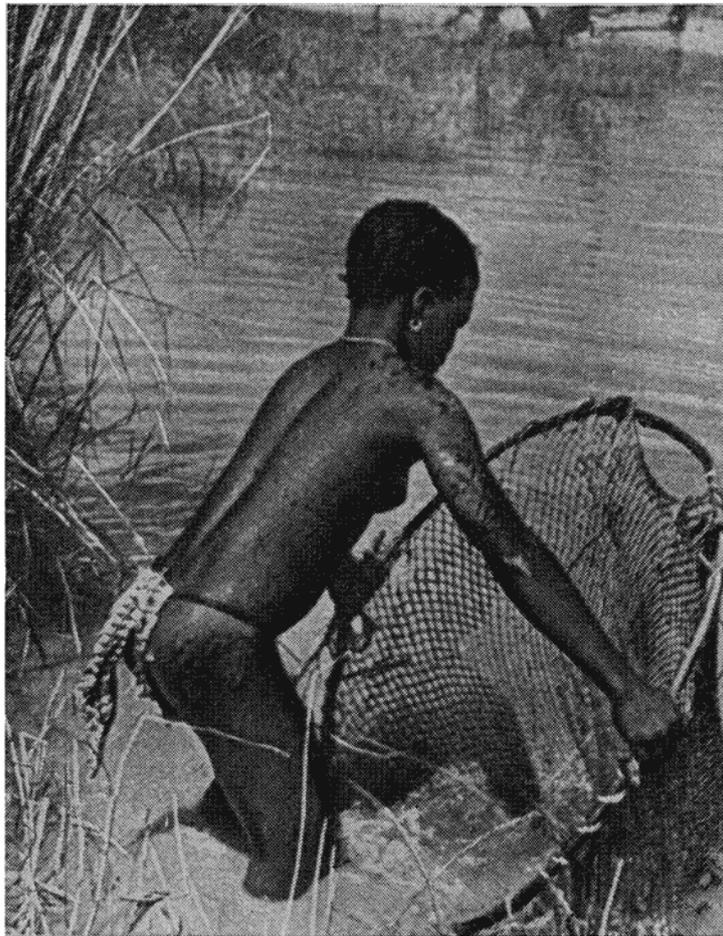
— И-и-и, где там! Два года назад, когда я был здесь, у них на той стороне были свои поля кукурузы и земляных орехов. Однако они нас боятся!

Оживленное восклицание Омара касалось детей, которые, завидев нас, стали удирать в хижины.

— Дикари! — надулся он. — Давно не видели порядочных людей!

— Добавьте: порядочных людей, вооруженных грозными ружьями...

Какая-то женщина шарахнулась в сторону, чтобы не столкнуться с нами, но Омар оставил мне свой велосипед и преградил ей дорогу. Они долго объяснялись, он — оживленно, а она — нехотя и со страхом, пока не подошли еще несколько женщин. Он вернулся ко мне, пожимая плечами, взбешенный.



...Нигер кормил обитателей деревни...

— Я спрашиваю главу деревни, а они — какого? Спрашиваю — разве их много, они — да, двое. Как это, зачем двое, ведь деревня не очень большая? Они — да, небольшая, но главных двое. Один обычный, другой от комитета. Сам черт тут не разберется!..

Мне припомнилась деревня Камаби с ее партийным комитетом, который имел решающее влияние в деревне, и я объяснил Омару, что здесь, без сомнения, происходило то же самое. Он заверил меня, что знает об огромной роли

партии в Гвинею, он сам состоит в ней, но что его удивляет — это существование партийной ячейки в столь отдаленной деревне, в этом вшивом захолустье, на забытом Аллахом пустыре.

— Извините! — комично заявил он, задетый за живое. — Но мне все это кажется просто смешным.

— Смешно или нет, — ответил я, — но согласитесь, что сначала нам надо топтать к председателю комитета и представиться!

— Ой-ой-ой! Согласен, я согласен, потопали туда. Аллах акбар!

Пока мы совещались, вся деревня от одного конца до другого уяснила, что явились чужие. Повсюду раздавались предостерегающие возгласы, женщины и дети забегали в бешеной панике, а мужчины группками со всех сторон осторожно начали подкрадываться к нам, Время от времени Омар на их языке вопрошал громовым голосом, как пройти в комитет.

Мы двинулись пешком в указанном направлении, к середине деревни, ведя велосипеды рядом.

— Как называется эта пугливая деревня? — спросил я товарища.

— Откуда я знаю? Когда-то мне говорили, да я забыл.

— Мы славно их перепугали, правда?

Омар заседал на жителей со своими высокомерными вопросами, но недолго, поскольку деревня в свою очередь перешла в контратаку. Председатель комитета послал к нам нескольких парней с категорическим требованием явиться к нему.

— Деловой старикан! — одобрительно произнес Омар.

Председатель жил и работал в центре деревни и уже ожидал нас. На классический манер прежних властителей он сидел на скамеечке перед хижинкой, гордо выпрямившись и держа руки на коленях. Я бы охотно его сфотографировал, да было невозможно.

Это был муж в расцвете сил, с непроницаемым лицом и с ничего не говорящим в данный момент взглядом. В окружении двух десятков жителей деревни он угрюмо и сосредоточенно слушал гладкую тираду Омара, излагающего на языке мандинго цель нашего прибытия. Когда Омар кончил, председатель приказал принести две скамеечки и широким жестом пригласил нас сесть, после чего не менее красноречиво, чем Омар, приветствовал нас не меньше получаса. Это было какое-то холодное, официальное приветствие, в голосе говорившего я напрасно пытался уловить дружескую нотку. Как видно, председатель хотел не только продемонстрировать и жителям деревни и нам, пришельцам, недюжинные способности произносить длинные речи, но заодно и дать почувствовать всю значительность своего поста.

Когда председатель на мгновение замолчал, я с беспокойством спросил Омара:

— Он хорошо понял, что я приехал сюда как друг и писатель, который намерен написать о стране дружескую книгу?

— Он хорошо понял! — ответил вместо Омара сам председатель почти по-французски.

Эта приятная неожиданность чрезвычайно обрадовала меня, но председатель не хотел разговаривать со мной непосредственно и снова перешел на мандинго. Омар сразу переводил мне его пожелания:

— Председатель понял цель вашего прибытия в Конокоро (так называется

деревня), а именно что вы хотите увидеть здесь диких зверей бруса, и он ничего не имеет против, если вы опишете этих зверей в своей книге. Но председатель желал бы в то же время, чтобы вы написали также о законных властях и о строжайшем порядке в стране, которая до недавнего времени утопала в море анархии.

— Ну разумеется, я очень охотно напишу об этом! — воскликнул я. — Только пусть нам дадут поесть!

— Не спешите, господин, не так прытко! Сначала надо закончить кое-какие формальности. Председатель просит показать ему разрешение.

— Какое разрешение?

— Разрешение на проезд в Конокоро.

— Но у меня его нет. Мне никто его не давал. Я просил Министерство информации в Конакри, чтобы мне дали какую-нибудь бумагу, но там сказали, что не надо, что сами известят коменданта округа в Даболе о моем путешествии.

Это неприятно поразило Камару Кейта (ибо именно так звучало имя председателя), который заявил, что в целях соблюдения порядка он будет вынужден запросить коменданта округа в Курусе, что со мной делать.

— Как это? — Я остолбенел. — Для чего запрашивать? Ведь я приехал в деревню всего на два-три дня и вернусь в Сараю, а потом в Даболу.

— Пусть европейский друг извинит нас, — Камара Кейта пожелал обратиться ко мне, — но деревня Конокоро принадлежит к округу Куруса, а не к Даболе, следовательно, о его прибытии должен получить рапорт округ Куруса и Куруса примет решение о его дальнейшей судьбе.

— Округ Куруса обо мне ничего не знает, он не был извещен Министерством информации о моем приезде!

— Ничего не могу поделать, — ответил председатель совершенно невозмутимо. — Европейский друг подождет у нас, пока мы не получим инструкцию от вышестоящих властей.

— Сколько же это продлится?

— По всей вероятности, не больше четырех-пяти дней. Я попрошу коменданта дать решение как можно быстрее.

— Значит, до этого времени я должен оставаться здесь?

— Не иначе. Тем самым будет соблюден правопорядок.

— А вдруг это протянется дольше, чем пять дней? — воскликнул я.

— Все возможно! Это от нас не зависит.

— Ноу меня нет столько времени! Если вы создаете мне такие трудности, я завтра же утром возвращаюсь в Сараю — и конец!

Усердный председатель мерно и энергично покачал головой в знак отрицания, дав понять, что такой конец его не устраивает, и устало возвестил:

— Неприятные последствия ожидают того, кто противится обязательным предписаниям и без письменного разрешения властей позволяет себе путешествовать по стране так, словно это безлюдная пустыня, дикое место, без законов и правопорядка...

У меня зашумело в голове от ярости: в славную ловушку я попал! Я показал два документа, какие были у меня при себе, а именно паспорт и разрешение Министерства информации на фотографирование. Паспорт, тщательно изученный, произвел на председателя соответствующее впечатление, так как там

была виза полицейского управления в Конакри. Удовлетворенный муж что-то одобрительно пробормотал. Документ Министерства информации обрадовал его еще более, но, к сожалению, на минуту.

— Собираемся фотографировать диких зверей, а? — ехидно заметил он, критически глядя то на документ, то на меня.

— Если подвернется удобный случай — то и диких зверей! — подхватил я шутку и добродушно прибавил: — Но это трудное дело!

— Э-э, не такое уж трудное. Все европейцы знают, что в Гвинее полно диких зверей, даже в предместьях Конакри! Правда? Так давайте же фотографировать львов, носорогов, леопардов, змей, обезьян и... людей.

— Ха! — выпалил я и едва удержался от словечка «аминь».

К сожалению, запас пытливости председателя еще не был исчерпан: с помощью Омара он попросил показать мой охотничий билет, позволяющий отстрел зверя.

— У меня его нет, так как я не собираюсь охотиться, — ответил я.

— А для чего же это прекрасное оружие? — удивился Камара Кейта. — Может быть, для того, чтобы через люнет любоваться дикими зверями?

— Отчасти.

Когда председатель, ко всему прочему, узнал, что я вообще не имею разрешения на ношение оружия, он оцепенел от огорчения, а потом обвел озабоченным взором стоящих вокруг жителей деревни, как бы приглашая их быть свидетелями столь неслыханного нарушения.

Тем временем собралось не менее тридцати человек. Они с интересом наблюдали за ходом необычного дела, но мне показалось, что не все были на стороне председателя. Некоторые относились к его усердствованиям явно скептически и не скрывали своего неудовольствия. Были даже такие, которые начали роптать, когда возник вопрос о карабине.

Камара Кейта решил отобрать у меня оружие и держать его у себя, пока не получит из Курусы решения властей. Возражать было трудно, и я согласился отдать ему ружье, но прежде вынул из него все патроны. Я решительно воспротивился требованию председателя отдать ему также и патроны. В конце концов я настоял на своем, и Камара Кейта уступил, видя мою непреклонность в этом вопросе.

День медленно склонялся к вечеру. Камара Кейта выделил нам помещение для гостей и позволил свободно передвигаться только среди хижин, но не разрешил выходить за пределы деревни. Мы могли свободно покупать себе продукты у кого хотели.

— Я мог бы увидеться с главой деревни? — приказал я спросить еще у председателя.

— С каким главой? — Камара сделал большие глаза.

— Со старостой.

— Ах, с Мамари Диара? Пожалуйста, ничего не имею против.

Вот так второй раз в жизни я попал в кутузку: первый раз несколько дней просидел на знаменитом Эллис Айленд, направляясь в Мексику, когда был проездом в США, а теперь меня задержали в менее известном, но тоже неприглядном Конокоро на Нигере.

Мамаду Омар скрежетал зубами от ярости и досады. Странно, но я не совсем разделял его волнение.

Заговорщики

В конечном счете это было приключение, немного дурацкое, правда, и досадное, но приключение. Когда Омар пошел в деревню, чтобы раздобыть какой-нибудь еды, я бросился на ложе в нашей хижине, чтобы успокоиться. Я утешал себя тем, что посыльный, отправленный в Курусу, наверное, застанет там Шаво и весь инцидент закончится благополучно в самое короткое время. Личность самого председателя партийного комитета, по правде говоря, ставила меня в тупик, и я терялся в догадках, почему этот маньяк взялся допекать меня. До сих пор гвинейские власти всегда шли мне навстречу, а тут вдруг все пошло насмарку, полетело кувырком — я наткнулся на странную враждебность. «В чем дело?» — спрашивал я себя.

Вскоре из деревни вернулся Омар, с пустыми руками, но с радостным огнем в глазах.

— Деревня нам сочувствует! — засмеялся он, сверкая зубами. — Деревня на нашей стороне.

— И поэтому нам ничего и не продали? — буркнул я в ответ.

— И поэтому нас пригласили в деревню на ужин! — торжествующе возвестил Омар.

— Кто пригласил?

— Брат старосты. Надо идти туда сейчас же!

Так же как и Омар, я был рад благоприятному обороту дела, но столь же интересные новости принес охотник о председателе комитета. Этот человек, уроженец здешних мест, уехал отсюда много лет назад, еще во времена господства французов, и кое-чему научился. Когда Гвинея стала независимой, он уже был членом партии, затем, кажется, выполнял какие-то важные функции, но что-то там натворил и несколько месяцев назад был выслан в Конокоро на пост председателя местного комитета. Деревня его не любила, так как, обманувшись в своих честолюбивых надеждах, обозленный своими неудачами, он отыгрывался на жителях и докучал им на каждом шагу. Здешние люди были сыты по горло его деспотическим самоуправством и недавно послали в Курусу петицию с просьбой убрать его из Конокоро.

Сейчас мне стали отчасти понятны причины озлобленности председателя, который, попав в немилость к начальству, срывал свою досаду даже на мне. В то же время я понял всю щекотливость своего положения между молотом и наковальней. Это были их внутренние распри, и я, посторонний гость, не смел совать в них нос.

Я сказал об этом Омару.

— Что?! — перепугался охотник и практически рассудил — Вы что же, не хотите идти на ужин к брату старосты?

Он был прав; мы были голодны и поэтому пошли. На всякий случай мы взяли с собой все наши пожитки, в том числе и велосипеды.

Вечерний мрак уже спустился на деревню. Омар шел впереди. Идти пришлось недалеко, но только теперь в мышцах ног, отвыкших от велосипеда, ощущалось напряжение целого дня езды.

Хижина, в которую мы явились, была просторная, круглая, как все они здесь, скверно освещенная двумя коптилками на рыбьем жире и до отказа наполненная людьми, как бочка сельдями. Их было по меньшей мере двадцать.

На мое оживленное «добрый вечер» — одни приветливо ответили по-французски, другие — на языке мандинго, некоторые поднялись с земляного пола, чтобы пожать нам руку и дать место, а Бамба Сори, упитанный хозяин дома, и его седой брат, староста Мамари Диара, расплывшись в дружеской улыбке, протиснули нас на середину хижины.

Сидящие на земляном полу немного потеснились, на освобожденное место бросили циновку и тотчас внесли пищу для нас двоих: вареный рис, вареную рыбу и острый соус «фонто» в мисках. Кроме того, нам подали две ложки. Было замечательно вкусно, а во время еды мы попривыкли к страшной духоте и полумраку в хижине.

С самого начала я не сомневался, что мы попали на собрание заговорщиков, и мне показалось совершенно естественным, что во время нашей трапезы все что-то страстно говорили. Страстно, но не беспорядочно. Видно, у людей накопилось много злобы, они были раздражены, но свой великий гнев изливали, как опытные ораторы, и совсем не галдели. Ни дать ни взять парламентарии из глухой деревушки на Нигере.

И хотя я ни слова не понимал, мне было приятно слушать, как они один за другим брали слово, один — запальчиво и крикливо, я бы сказал, как наш Путрамент, другой, с лицом греческой маски, — плавно, гладко, как Ивашкевич, третий — хмуро, серьезно, как Кручковский[272]. Каждый выражал свое недовольство в собственной манере.

— Да они ничего не оставят от него! — обратился я к Омару, когда мы кончили есть.

— От кого? — спросил охотник.

— Ну, от председателя.

— Да ведь говорят совсем не о нем!

— Так кого же они так поносят?

— Обезьян.

— Что?!

— Обезьян, киноцефалов! — добавил он по-научному, так как французы иногда называли павианов по-гречески — собакоголовыми.

— Киноцефалов? — потрясенно повторил я и окинул взглядом людей; я был захвачен врасплох абсурдной неожиданностью.

Дело же обстояло совсем просто. Оказалось, что своим главным врагом жители Конокоро считали не Камару Кейта, а обезьян. Наглые павианы стали страшным несчастьем для деревни; это они, сущие дьяволы, наполняли людей желчью, отравляли им жизнь.

Действительно, Конокоро обработала себе в последний год несколько участков под земляные орехи; урожай был неплохой, но теперь, когда пришла пора созревания и сбора, всевозможные обитатели бруса обрели вкус к орехам.

Днем и ночью охраняли жители поля, распугивали вредителей как только можно и действительно разогнали весь сброд, весь, за исключением этого дьявольского отродья павианов.

От этих тварей не было защиты, так как хитрость дурных людей соединялась в них с звериной изворотливостью. Поблизости от деревни обитало несколько больших стай.

— Как велики стаи? — прервал я Омара.

Омар обратился с вопросом к людям, потом ответил мне:

— Самые большие насчитывают свыше пятидесяти штук, другие — около двух десятков...

Их нападения можно было ожидать в любое время дня от восхода до захода солнца, и они были такие хитрые и коварные, что всегда появлялись там, где их меньше всего ожидали. Женщин они совсем не боялись, собак тоже. Нескольких наиболее дерзких собак они загрызли в первые же дни, и теперь все дворняги боялись их панически. Когда мужчины стреляли из ружей, обезьяны пугались по крайней мере шума (из пугачей далеко не выстрелишь), но от человека, вооруженного палкой, непокорные обезьяны убегали лишь на длину палки, самое большое — на расстояние броска.

Омар узнавал настоящие чудеса об изощренной сообразительности воинственных обезьян — и тут же все переводил мне. Например, их излюбленным маневром была замечательная имитация нападения в одном месте, в то время как на самом деле стая наносила удар совершенно в другом. Они делали это так ловко, что всегда надували людей. Когда одураченные люди с криком бросались на это другое место, было уже слишком поздно. Впридачу к разбойничьим ухваткам павианы выработали у себя молниеносную быстроту: напав на поле, они как безумные сгребали орехи и наполняли ими защечные мешочки, в мгновение ока хватали целые охапки стеблей, после чего с полными руками добычи удирали в чащу. Все это занимало несколько секунд.

Обезьяны объявили людям жестокую войну, и, судя по тому, что я слышал, можно было думать, что победу одержит не человек. Мне припомнилась фраза доктора Альберта Швейцера в одной из его книг, что если Европа — это страна людей, то Африка до сегодняшнего дня осталась континентом животных, на котором человек все еще живет как незванный гость, где стада слонов — речь шла о Габоне — еще часто громят деревни местных жителей, где африканец ни за что на свете не войдет в чащу, занятую гориллой, а во многих реках единственными хозяевами являются крокодилы и стада гиппопотамов. Огорченные лица людей в хижине и их мрачные рассказы в известной мере подтверждали слова Швейцера.

— Почему жители деревни не организуют серьезной охоты на обезьян и не прогонят их из окрестностей? — спросил я Омара.

— А чем? У них есть несколько жалких капсюльных ружей, но кончился порох, а в Курусе они не могли достать.

Мы досыта наелись, люди поплакались о своих несчastьях, «путраменты» и «ивашкевичи» добросовестно отвели душу, и наступила некоторая разрядка. Тогда среди собравшихся произошла перегруппировка: более молодые, которые сидели вокруг нас, отодвинулись, а их место заняли старшие во главе со старостой и его братом, окружив нас плотным кольцом. Староста Мамари Диара обратился ко мне с торжественной речью, и из многих слов, которые переводил мне Омар, я понял, что деревня просит меня о помощи.

— Чем же я могу помочь? — бесконечно удивился я.

— У вас хороший карабин с люнетом! — ответил староста. — Мы знаем, что это отличное оружие.

— Где оно у меня? — фыркнул я. — Вы же знаете, как поступил со мной Камара Кейта, ваш уважаемый председатель.

— Камара Кейта будет вынужден покориться под влиянием необходимо-

сти.

— Какая же это необходимость?

— Обезьяны.

— Вы хотите сказать, что из-за обезьян Камара Кейта вернет мне карабин?

— Да, мы заставим его! Клянемся Аллахом, что будет так! Он вернет вам, господин, карабин и вообще перестанет вас допекать, если вы исполните нашу просьбу.

— Какую?

— Небольшую просьбу, которую легко исполнить, — застрелите нам несколько обезьян.

Я невольно вздрогнул, такое отвращение испытывал я к убийству животных. Но я тотчас сообразил, что это была единственная возможность быстро выпутаться из истории, в которую я попал из-за окаянного председателя. Под решительным давлением деревни он, несомненно, должен был бы подчиниться воле большинства: ведь речь шла о спасении урожая. Что же касается проблемы убийства животных, то разве это не был исключительный случай, необходимая защита человека от нападения наглых павианов?

Но здесь осталась еще одна деталь — повышенная подозрительность властей к иностранцам; предположим, что я бы согласился, а Камара Кейта не имел бы ничего против того, чтобы я застрелил нескольких обезьян; не сочтут ли это власти в Курусе или выше пренебрежением к гвинейским законам, преступной охотой без охотничьего билета?

Когда я поверил свои опасения присутствующим в хижине и подал в то же время мысль, что великий охотник Мамаду Омар должен взять на себя честь убить из карабина вредителей, вся хижина страстно воспротивилась этому: как видно, собравшиеся не доверяли способностям Омара. Они просили, чтобы стрелял обязательно я. Староста Мамари Диара заверил, что он и вся деревня выправят мне письменное свидетельство, подтверждающее, что я охотился по прямому желанию старосты и старейшин, а уничтожение обезьян было для деревни крайней необходимостью.

— Крайней и экономической! — по-ученому добавил Бамба Сори, брат старосты.

— Если так, то я подчиняюсь крайней необходимости! — воскликнул я. — Но что на это скажет председатель?

— Не морочь себе этим голову! — заявил Мамари Диара, переходя на радостях на «ты», — Он скажет: хорошо.

Вся компания в хижине впала в бурное веселье, расшумелась, словно у нее камень с души свалился, и как будто уже видела разгром павианов, а тон задавал Омар, самый шумный из всех. Время от времени он объяснял мне, что договаривается о плане завтрашней охоты, но я подозревал кое-что другое: пройдоха торговался с деревней о вознаграждении и, по всей видимости, требовал сполна заплатить за каждого убитого в будущем павиана.

Когда мы возвращались в отведенную нам обитель, охотник был в отличном расположении духа. Он просто сиял от удовольствия, напевал себе под нос и в доказательство своего великодушия не разрешал мне утруждать себя велосипедом: сам вел оба.

Духи

Почти вся ночь в деревне прошла в большом возбуждении. Бесперывно гудели два-три там-тама в различном ритме — и воинственном и кротком, раздавались песни, которые временами звучали, как молитвы и заклинания, то ближе, то дальше слышался топот ног. Деревня не щадила отчаянных усилий, чтобы подкупить добрых духов, напугать злых демонов и набраться сил и уверенности. Она старалась от всей души, но своими стараниями прерывала сон ни в чем не повинного человека с десятков, а то и больше раз.

Вскоре после полуночи Мамаду Омар, мастер магии, сорвался с ложа и, буркнув мне, что он сделает это лучше, чем здешние недотепы, пропал на несколько часов. Он считал себя более квалифицированным заклинателем духов.

После его ухода я почувствовал себя страшно одиноким, на мгновение меня охватила неприятная судорога беспокойства, какого я еще никогда не чувствовал в Африке. С неискренним юмором я представил себе весь клубок прелестей, которыми отличалась Конокоро, и мне пришло в голову, что именно в такой тревоге, в таком смятении ума расставался здесь с жизнью не один европеец еще несколько десятков лет назад. Теперь это было исключено, тем более что в сегодняшнем-предприятии — походе на обезьян — мне была предназначена главная роль, но верно и то, что груз настроений и чувств, приводящих в исступление жителей деревни, сегодня был тот же, что и несколько десятков лет назад.

Под утро деревня утомилась, стало тихо. На рассвете долину Нигера окутал густой туман, а когда немного развиднелось, я был буквально засыпан подарками судьбы и милостями людей. Прежде всего перед хижиной поставили большую миску горячей воды, чтобы я как следует вымылся и гладко выбрился. Затем появился завтрак: дымящийся рис, рыба, «фонто» и сладкий кофе — пальчики оближешь... С лида Омара не сходила благородная торжествующая улыбка, так как он чувствовал себя причастным к тому, что на нас пролился этот ливень благ.

Я еще не окончил пить кофе, когда громовой голос приветливо пожелал нам доброго дня. Кто же это стоял передо мной с лицом, подобным сияющему солнцу, с нежной улыбкой и карабином в протянутых руках? Камара Кейта — председатель местного комитета — своей собственной, сердечно преданной персоной.

— Вот оружие! — обращаясь непосредственно ко мне, сказал он по-французски так радостно, как будто вручал мне букет цветов. — Покажите нам, на что оно способно! Вы сделаете полезное общественное дело! Смерть киноцефалам, врагам национальной экономики!

— Смерть, смерть! — подхватили мы с Омаром.

Затем я с чувством заявил:

— Но пусть председатель прикажет людям пригнать киноцефалов прямо в деревню!

— Как это? Зачем? Прямо в деревню?

— Да, именно к первым хижинам. Ведь мне же нельзя выходить за пределы деревни!

— Ну, что там! Все прежние распоряжения отменены. Гражданин может

свободно передвигаться хоть до самой границы Сьерра-Леоне!

— Благодарю. Однако председателю известно, что у меня нет разрешения ни на охоту, ни на владение оружием...

— Глупости, чепуха! Я подтверждаю письменно, что это было категорическое требование момента, надо было спасать урожай деревни в исключительных обстоятельствах.

— Экономическая необходимость, — гаркнул я.

— Да, да: экономическая! — радостно подхватил Камара Кейта, и мы оба в порыве волнения пожали друг другу руки (кстати говоря, впервые).

Председатель хотел еще узнать, сколько у меня патронов и сколько, на мой взгляд, должно пасть киноцефалов. Но его любопытство привело в сильное раздражение подозрительного Омара, который решил, как видно, вершить дела с деревней единолично, без дележа с каким-либо соперником, и охотник, не дав мне ответить, довольно решительно заявил, что мы пи-кому не можем раскрывать охотничьих тайн, ибо лишь тогда духи будут милостивы, а охота — успешной.

— Кроме того, — угрожающе глянул он исподлобья в сторону председателя, — дело уже решено с жителями деревни. Решено окончательно!

Он произнес это гневным тоном, и Камара Кейта, еще вчера такой надменный и грубый, сразу сник и примолк. Черт возьми! Что же произошло сегодня ночью, почему он стал таким тихим? Может, он испугался духов, которых так усердно вызывали жители деревни? А может, деревенским духам помогли другие, более выразительные доводы?

Иуда

Вскоре явился староста Мамари Диара и принес для меня чалму и бубу, здешнюю одежду из полотна. Я должен был переодеться в них на время охоты, чтобы сообразительные обезьяны преждевременно не признали во мне европейца. Даже карабин было решено обернуть старой тряпкой и открыть его только в самый последний момент.

Из имеющихся в деревне капсюльных ружей Омар выбрал то, что показалось ему наиболее подходящим. Он зарядил его собственным порохом и пулей и решил взять с собой в качестве запасного ружья.

Мы вышли из деревни через два часа после восхода солнца, когда туман начал медленно рассеиваться. Нас сопровождали лишь Бамба Сори, брат старосты, и двое его сыновей. Большая часть жителей отправилась на поля немного раньше нас и там ожидала.

Люди знали привычки павианов как свои пять пальцев, и соответственно обдумали план охоты, в принципе очень простой. Посевы кукурузы и орехов не располагались в одном месте, а были разбросаны отдельными островками среди бруса. Ближайшее поле лежало тут же за усадьбами, другие — немного дальше, а самые дальние — почти в семи километрах от деревни. Обезьяны посещали все участки и грабили даже этот ближайший, простирающийся у стен хижин; но по мере удаления от деревни они вели себя, разумеется, все более дерзко.

Наш план заключался в том, чтобы на всех полях устроить засады из вооруженных дубинками людей, на всех, за исключением самого дальнего участка, который был умышленно оставлен без охраны. Мы надеялись таким образом

обмануть бдительность грабителей и задать им неожиданную трепку.

Вспаханное поле располагались примерно на одной линии, между собой их связывали тропки. Когда мы добрались до четвертого или пятого поля, туман совершенно рассеялся, небо окончательно прояснилось и солнце начало подсушивать росу.

Поле, которое занимало, наверное, гектара два, стерегли около десятка мужчин и женщин да еще несколько собак — охрана что надо. В тот момент, когда показалось солнце, вся компания подняла крик. В этом кошачьем концерте людские голоса, гонги, погремушки и собаки соревновались в усердии и были способны устроить всех дьяволов на свете, а не только обезьян.

— Как только высыхает роса, — велел сообщить мне Бамба Сори, — наступает время обезьян.

— Далеко ли нам еще до цели?

— Нет, близко. Следующее поле. Один километр.

Мы покинули кричащих людей и поспешили дальше. Заросшая тропка свидетельствовала о том, что по ней ходили редко; она то взбиралась на легкие возвышения, то слегка опускалась. Лес, поредевший местами, здесь был мощный, с густым подлеском — прекрасное укрытие для крупного зверя.

— Здесь есть слоны? — спросил я по дороге.

— Попадают.

— Часто?

— Часто.

Бамба Сори был в дурном настроении. Его угнетала более тяжкая забота, чем слоны, — павианы.

На половине пути к поляне — короткая передышка. Я набросил на себя бубу, мне повязали чалму. Мы еще раз проверили оружие, капсюли и ветер — он был благоприятный. Карабин, все еще замаскированный, я взял в руки.

С этого места мы крались на цыпочках, соблюдая полную тишину. Вскоре деревья поредели — впереди виднелась опушка леса. Прежде чем войти в заросли, мы еще раз остановились и прислушались. На ближних деревьях щебетали невидимые птички, дальше в чаще старательно ворковал голубь, совсем рядом с нашими головами жужжали осы, но со стороны поля не доносилось ни одного подозрительного звука.

В молчании мы продвинулись к последним кустам, следя, чтобы и носа не было видно из зарослей. Поле, длинное и узкое, насчитывало, возможно, метров двести в длину. Мы стояли на одном его конце. Открытое, залитое солнцем пространство словно изнемогало от зноя.

Омар вдруг подтолкнул меня локтем и показал глазами на противоположный конец поля. Там что-то двигалось в тени деревьев. Я посмотрел в бинокль: павианы! Четыре, пять, шесть! Они находились на опушке леса и, наверное, как раз собирались выйти на поляну. Удивительно: мы пришли сюда раньше и неплохо укрылись в зарослях, а каналы все-таки нас заметили. Они бросали подозрительные взгляды в нашу сторону и колебались, не зная, что делать. Они были встревожены. Я это ясно видел в бинокль.

— Для выстрела слишком далеко! — сообщил я. — Что будем делать?

Омар и Бамба Сори невооруженным глазом видели все так же хорошо, как я в бинокль. Опытные ребята быстро составили план и тотчас приступили к его осуществлению. Прежде всего, уже не было смысла прятаться. Поэтому

двое сыновей Бамбы Сори свободно вышли из укрытия и начали оживленно суетиться и громко разговаривать, как будто работали в поле. Надо было, чтобы они отвлекли внимание павианов на себя. Тем временем Бамба Сори, Омар и я крадучись выбрались из кустов, сделали крюк в чаще и снова вернулись на опушку поляны, но уже значительно ближе к стае.

К счастью, там лежало на земле дерево, навверное сваленное бурей. Под прикрытием его ствола мы подползли к самой кромке зарослей, а так как над нами возвышался кустарник, мы были совершенно невидимы в его тени.

Павианы все еще находились на том самом месте, что и раньше, на опушке леса; ближайšie — менее чем в ста шагах от нас. В них можно было бы стрелять, но мне были видны не все обезьяны, а так как многие из них неподвижно сидели на задах, трудно было отличить главного самца. Он должен был стать моей основной целью. Гибель вожака, несомненно, вызвала бы растерянность всей стаи и облегчила победу над ней.

Павианы были заняты двумя людьми, которые работали на другом конце поля, и то и дело бросали туда внимательные взгляды. Они не чувствовали ни близкого врага, ни нависшей над ними опасности. На опушке леса было лишь несколько животных; чуть в глубине, в кустах, их мелькало больше.

Так мы ждали с четверть часа. Я не решался даже приложить к глазам бинокль, чтобы не выдать своего присутствия случайным блеском стекол. Но в бинокле и не было необходимости. Что я чувствовал в этот момент? Только охотничий азарт. Во время нашего марша меня еще охватывали слабые сомнения, но я легко подавлял их, говоря себе, что помощь людям необходима. Сейчас я не ощущал ничего, кроме жажды уничтожения. До чего же легко возродить варвара в самом себе!

Обезьяны в конце концов поняли, что со стороны крестьян, которые находятся в отдалении, им ничто не угрожает. Они постепенно начали двигаться и вертеться. Среди них раздались возгласы и гортанный говор, примерно как в группе людей, которые решили выйти на улицу. Несколько павианов мелкими шажками выскочили на поляну, и первый из них, резвясь, начал обрывать орехи.

При этом печальном зрелище Бамба Сори в порыве глубокого горя не мог удержаться от громкого сопения и делал мне отчаянные знаки, чтобы я стрелял в обжору. Но это был небольшой павиан, и Бамба Сори получил от Омара жестокого тумака в бок, после чего успокоился.

Тем временем около двух десятков обезьян сразу выскочили из зарослей, и среди них два экземпляра огромных размеров, гигантские, как волкодавы. Великаны бросались в глаза. Первый, которому я выстрелил в грудь, упал. Близкий гром выстрела буквально парализовал на мгновение всю стаю. Одним рывком затвора сумел я выбросить гильзу из ствола, вложил новый патрон, прицелился в другого гиганта и снова выстрелил, прежде чем стая опомнилась от страха и как безумная ринулась бежать.

Другой павиан тоже упал как подкошенный, но тотчас поднялся и, покачиваясь, тяжело потащился вслед за другими. Бамба Сори не выдержал. Он выскочил из укрытия и в несколько тигриных прыжков достиг зверя. Толстой дубиной он огрел его по голове, но не убил. Павиан рванулся из последних сил и вонзил страшные зубы в ногу человека. Бамба Сори свалился на землю. К счастью, теряющее силы животное не добралось до горла человека, но продол-

жало судорожно сжимать зубами его ногу.

Видя это, Омар выскочил из-за ствола и бросился на помощь. Подбежав, он почти вплотную приставил дуло ружья к голове обезьяны и выстрелил. Павиан осел на землю.

Сцена с раненым зверем разыгралась молниеносно. Тем временем стая кинулась было в лес, но потом, смекнув, что с двумя упавшими павианами случилось что-то ужасное, внезапно остановилась. Более того, она повернула назад и, издавая адский визг и вой, как бы готовилась наброситься на нас. Павианов было больше двадцати штук. Все они — вне себя от ярости; их охватило безумное бешенство. Несмотря на ярость, они не спешили нападать и пока не отваживались подбегать ближе чем на два десятка шагов. Но, разъярясь все сильнее и сильнее, они становились все более дерзкими.

При таких обстоятельствах два следующих выстрела показались мне просто детской забавой; они ловко свалили двух наиболее нахальных. У меня в стволе остался только один, пятый патрон, а потом — лишь приклад для защиты. Но стая не вынесла страшного грохота и такого количества смертей — это было уже слишком. Близкая к победе, она дрогнула. Издавая безумные вопли и стоны, мечась в панике, обезьяны исчезли в кустах. Минутой позже тишина властвовала над полем и лесом, тишина и резкий запах пороха. Во время стрельбы Омар открыл огонь еще и из другого ружья, однако без видимого успеха.

Бамба Сори, несмотря на кровоточащую ногу, радовался и был буквально на седьмом небе. Его пьяные от счастья глаза сверкали, когда он смотрел в сторону обезьяньих трупов и на меня, героя. А между тем герой чувствовал себя нехорошо, он чувствовал себя иудой. Воинственный варвар исчез, улетучился, мне стало не по себе.

Не стыдно ли признаться в том, что было после? Герой перекинул карабин через плечо и, чувствуя тошноту, молчком смылся в лес. Там, под прикрытием зарослей, вдали от превозносящих его свидетелей, он грустно вытащивал остатки деревенского завтрака, отдавая природе Иудин сребреник.

Чудовища

Вторую половину этого дня мы провели в деревне, а вечер запомнился мне тем, что я увидел, наверное, самую странную птицу на свете — так называемого четырехкрылого козодоя. Чудовище, разумеется, обладало не четырьмя крыльями, а двумя, но они были такой формы, что даже самый понурый флегматик и последний разиня, увидев птицу в полете, пораженный, выпучил бы глаза.

Лучшим доказательством склонности человечества к истерии служит его многовековое отношение к козодоям. Так как эти птицы таинственно появляются в пору вечерних сумерек и не боятся людей, древние греки, римляне и другие народы суеверно приписывали им бог знает какие демонические качества и истребляли их как могли. Это странное отношение к ни в чем не повинным козодоям продолжалось и в более поздние века, оно отразилось и в наименовании птицы у разных народов. Погрязшие в средневековых предрассудках англичане называли ее *goatsucker*. Даже немцы, которые всегда были лучшими исследователями природы, совершили ту же самую ошибку со своим *Ziegenmelker*. Мы, разумеется, пошли вслед за немцами и уже просто на честное слово приняли это «козодой».

Арабы ошибочно приписали той разновидности козодоя, которую я видел в Конокоро, четыре крыла, но наука доверчиво приняла это да еще прилепила козодою по латинской номенклатуре ошибочный эпитет «длиннохвостый» — *Longipetinis*. Чтобы не было сомнений в том, что орнитологи — это не какие-нибудь мелочные формалисты и педанты, скажу: у моего козодоя никогда не было длинного хвоста. Правда, что-то у него там позади болталось, только это был не хвост. В конце концов, козодои сами отчасти виноваты в таких неправдоподобных подозрениях. У этих таинственных существ странные, подозрительные манеры. Мне припомнился один знойный вечер в бразильском лагере Парана. Я возвращался с охоты с зоологом Антониом Вишневым. Было уже почти темно, когда примерно в двадцати шагах от нас беззвучно, как дух, что-то сорвалось с дороги и исчезло во тьме. Это что-то пролетело лишь несколько десятков шагов и снова село на дороге. Когда мы приблизились, загадочное существо повторило свой маневр и снова перепорхнуло на небольшое расстояние. Так повторялось несколько раз; птица-привидение — мы были уверены, что это крупная птица, — своим таинственным появлением и исчезновением как бы хотела околдовать нас или как-то странно подшутить над нами. Пугливый человек мог бы подумать, что это призрак, классический упырь. Вишневский выстрелил в птицу. Несмотря на темноту, он попал в нее, и оказалось, что мы получили для Коллекции великолепный Экземпляр южноамериканского козодоя.

В этот вечер я прогуливался с Омаром вдоль берега реки. Тогда-то мы и увидели птицу. Было уже не слишком светло, но, несмотря на это, мы тотчас узнали козодоя по неуверенному, неровному, как бы мягкому полету, так характерному для всего семейства. Но что это — разрази ее гром, — сколько же все-таки там летело птиц, три или одна? Похоже, что три: в середине одна большая, а по бокам, немного сзади, — две маленькие. Они проделывали в точности те же зигзаги и повороты, что и большая птица, и представляли собой ее надежный, неотступный эскорт. Невольно я вспомнил морских рыбок-лоцма-

нов, которые следуют за некоторыми крупными рыбами.

Нет, это была одна птица, прославленный козодой четырехкрылый. Одна кость в каждом его крыле — девятая кость, поверим на слово орнитологам — обезумела и выросла чрезмерно, выступая далеко за крыло в виде голого, как стебель растения, отростка. И лишь на самом конце, почти в полуметре от крыла, этот отросток оброс пышным веером перьев. Он-то и производил впечатление отдельной птички, летящей здесь же, вслед за козодоем, — впечатление тем более обманчивое, что во мраке не было видно тонкого отростка.

Птица, ловя в воздухе насекомых, несколько раз пролетела над нами. Козодой вообще тяжело летают, а «четырёхкрылым» два эксцентрически удлинённых пера еще более затрудняют полет и тем самым добывание корма — мошек.

Это был самец; самки, я знал это, не обладали удлинёнными костями на крыльях. Многие другие птицы-самцы отличаются изысканным щегольским нарядом, но здесь снобизм рода явно переборщил и затруднял самые важные жизненные функции, стесняя свободу движений. До сих пор я думал, что такой снобизм и такое легкомыслие — исключительная привилегия человека.

Какой взлет творческой фантазии! Козодой четырехкрылый достиг того, о чем напрасно мечтает современная живопись: своей странностью он воспламеняет человеческое воображение и возбуждает удивление.

Ужинать нас пригласили, как и накануне, в хижину Бамба Сори; снова собралась целая куча ораторов и советчиков. Был также и Камара Кейта, председатель комитета. И снова пережевывалась та же тема. «Герою» дня объяснили, что деревня решила отпугнуть павианов, вывесив на каждом поле по одному обезьяньему трупу, закрепленному на высоком шесте, чтобы сохранить от ночных хищников.

— А от сипов днем? — спросил я.

— Мы будем сторожить целый день! — успокоили меня.

Но так как деревня имела больше чем четыре поля, ей требовалось больше обезьяньих трупов. Уже был обдуман новый план охоты на следующий день, обещавший столь же хорошие результаты, как сегодня, то есть...

Прежде чем ораторы перешли к изложению подробностей, я охладил их пыл, твердо заявив, что не могу больше убивать обезьян.

— Как это? Почему нет? — Со всех сторон раздалось враждебное ворчание; в меня вперились сверкающие быстрые взгляды, жители Конокоро не могли допустить, что я обману светлые надежды деревни.

— Не могу, — твердо объяснил я, — потому что таков суровый закон, который многие поколения царит в моей семье: мне нельзя преступить число четыре!

— Ах, ах! — отовсюду раздались полные понимания и уважения голоса. Они слишком хорошо знали, что это такое — закон рода.

Тут все стали более пристально поглядывать на Омара и наконец спросили его, не может ли он застрелить несколько павианов.

— Если бы я получил в собственные руки карабин с люнетом — нет ничего легче! — ответил польщенный охотник, гордо выпятив грудь.

Все снова обратили ко мне вопрошающие взгляды. Я был приперт к стене, и мне не оставалось ничего иного, как благосклонно согласиться:

— Я не знаю в Гвинее более знаменитого охотника, чем Мамаду Омар. Я

одолжу ему на завтра карабин с люнетом и дам пять патронов.

— Падет пять киноцефалов! — с благородной скромностью ответил на это Омар.

— Этого будет достаточно! Вполне достаточно! — вскричали собравшиеся с умеренностью, равной скромности Омара.

Был составлен новый план действий на завтра, похожий на сегодняшней, только поле было другое, и мы пошли спать.

На следующий день я чувствовал себя как на каникулах. В то время как больше половины жителей деревни поспешили с Омаром на охоту, я отдыхал, беззаботно шатаюсь по закоулкам селения.

В Конокоро водилась масса веселых ящерок агама, проворных, как мелкие воришки. В тропической Африке обитает множество видов этих ящериц, многие из них имеют красивую окраску и в большинстве своем отличаются ярко-красной головкой. Однако конокорские агамы более скромные и предпочитают, по крайней мере в это время года, ржаво-серые головки. Но в остальном — какой темперамент, словно в них сидит тысяча чертей!

Полезные создания пожирают мух и тому подобную гадость; они шныряют только в самом близком соседстве с людьми, охотнее всего прямо среди хижин. В бресе их нет совершенно. В то же время они так панически убегают от людей, что мне не удалось ни к одной из них подойти ближе чем на три шага. Дальше трех шагов все — дружба, любовь, братство, солидарность, кокетство; меньше трех шагов — мгновенный страх, холодная война и спасайся, кто может: дружеские чувства испаряются, и агамы тоже.

Все без исключения взрослые люди нравятся им, а вот куры и дети — сомневаюсь. Факт остается фактом: агамы любят людей, но рассудительно, на безопасном расстоянии.

Удирая, они обычно молниеносно прячутся на ближайшее дерево. Они скрываются за ствол и высовывают из-за него головку, чтобы не выпускать из виду «друга». Именно в это время они проделывают то, что принесло им громкую славу, если не всеобщую, то наверняка во всем арабском и мусульманском мире: верхней частью тела и головой ящерицы как бы отвешивают поклоны. Это несколько напоминает движения молящихся мусульман, когда они совершают утренний и вечерний намаз.

Ревностные мусульмане многие века не могут простить этого агамам. Они подозревают, что в агамах таится дьявол, который насмехается над набожностью правоверных и приказывает адским ящерицам передразнивать движения молящихся — преступление, которое карается смертью. Но как тут убивать бессовестных агам, если все знают, что при всей своей подлости они успешно уничтожают насекомых в деревнях правоверных? Как тут разграничить их вину и их заслуги? Так невинные ящерицы своими поклонами приносят дополнительные огорчения смятенным душам правоверных, как будто у них нет других забот.

К счастью для гвинейских агам, здешние мусульмане не были фанатиками и не высматривали дьявола на каждом шагу. Агамы в Конокоро шмыгают то и дело и, отбежав в сторону, раскачивают головками. Никто их не преследует. Они очень забавные, легкомысленные, странные, так что и я с некоторых пор, правда наполовину в шутку, стал смотреть на них несколько подозрительно, хотя я и не мусульманин. Не имело ли это беспрестанное покачивание голов-

кой какого-то особого значения? На воре шапка горит: может быть, здесь была символическая связь с вчерашней охотой? Может быть, смысленные агамы качают головками с презрительной жалостью к предателю Иуде?

Разумеется, это были глупости, но, черт возьми, мне было совсем не до смеху, когда незадолго до полудня издали донесся глухой гром ружейного выстрела, словно укор совести. А мгновение спустя прозвучал второй, третий и четвертый. Омар убивал павианов.

Слоны

Омар убил двух павианов. Ненасытной деревне этого было все еще мало, но теперь я взбунтовался. Вежливо, но непреклонно я заявил во время ужина, что на следующий день мы покинем Конокоро, так как возвращаемся в Сараю, — и мы действительно покинули деревню.

Деревня дружески прощалась с нами, даже Камара Кейта был очарователен. Мне хотели выправить обещанное письменное свидетельство об охоте, но так как мы застряли бы при этом на несколько часов, а может быть, и на целый день, я отказался, при условии что деревня даст свидетельство в случае необходимости.

Мы бросили последний взгляд на Нигер с пригорка, откуда несколькими днями раньше я увидел его впервые. Час назад туман растаял, и дневной зной уже заливал землю, а на песчаном берегу на другой стороне реки грелись на солнце несколько крокодилов.

Они лежали, похожие на бревна, словно олицетворение древней Африки: при виде их невольно возникал вопрос: долго ли еще?

— Они приносят вред людям? — спросил я Омара. — Представляют угрозу для них?

— И еще какую! — ответил он.

— Так почему же их не уничтожают? Разве это так трудно?

— Трудно. Люди думают, что это демоны. А кроме того, чем их уничтожать? Пугачами?

Колониальная администрация, которая не допускала распространения современного оружия среди африканского населения, имела в виду прежде всего собственную безопасность; тем самым она способствовала и сохранению диких животных от истребления.

— Любопытно, гиппопотамы живут далеко от деревни?

— Говорят, что за ближайшим поворотом реки вверх по течению. В нескольких километрах от деревни.

— Черт бы побрал эту охоту на павианов! — в сердцах скрипнул я зубами. — Из-за них мы ничего не видели.

— Но мы обогатили свой опыт! — произнес Омар с воодушевлением. По его тону легко можно было догадаться, что он обогатил не только опыт.

Мы отошли от реки и углубились в брус. Как и везде в этих краях, он был очень разнообразен: редкий лес сменялся густыми зарослями, поляны, покрытые кустарником, переходили в голые бовали. Ровная в основном поверхность и хорошо протоптанная тропинка облегчали езду на велосипеде. Людей здесь совсем не было. Две одинокие деревни, которые мы проехали по пути к Нигеру, были расположены поблизости от железной дороги, более чем в тридцати километрах на север отсюда. Перед нами протянулась огромная полоса безлю-

дья.

На краю какого-то бовалья мы увидели издали стадо крупных антилоп. У них были необычные гривы и длинные хвосты. Я без труда узнал антилоп гну. Очень чуткие, они, едва завидев нас, скрылись в кустах.

Примерно через час после того, как мы покинули берег Нигера, мы уже ехали по густому лесу. Здесь росли могучие деревья, покрытые густой листвой, в их тени царил зеленый полумрак. Вдруг Омар, который ехал впереди меня, заметил что-то из ряда вон выходящее. Он резко затормозил, делая мне знак рукой остановиться. Омар очень тихо соскочил с велосипеда, я — за ним.

Омар приложил палец к губам и едва слышно шепнул мне:

— Слоны!

В волнении я стал пристально смотреть в глубь леса, следуя за взглядом Омара. Слава богу — они! Я остолбенел, поняв, что мы оказались среди стада слонов. Серые колоссы окружали нас со всех сторон.

Колоссы! Меньше чем в двадцати шагах от нас вздымалась какая-то огромная серая масса, наполовину скрытая в чаще, не то чья-то туша, не то громадный камень. Это была часть слоновьего зада, сам зверь был закрыт зеленью. Но уже то, что я увидел, показалось мне невероятным, опрокидывало все обычные зрительные представления, нарушало привычные пропорции.

В другом месте, тоже в нескольких шагах, была видна только спина слона. Она почти достигала последних ветвей верхушки дерева, словно спина фантастического чудовища! Может быть, близкое расстояние и густота деревьев так исказили размеры?

Стадо, испуганное нашим появлением, неподвижно замерло, так же как и мы. Наше положение было не из приятных, может быть даже угрожающее. Если разозлится какой-нибудь самец или какая-нибудь мать пожелает защитить своего малыша, думая, что он в опасности, то нам придется туго. Кроме того, что я испытывал вполне понятный страх, я был еще и необычайно поражен величиной животных. Ведь я лицезрел чудища, несоразмерные с современным миром, каких-то страшных властителей заколдованной страны из волшебных сказок, какой-то плод капризной фантазии По, Гофмана или Свифта, только не настоящих животных.

Когда я стоял так, охваченный удивительными впечатлениями, Омар прикоснулся ко мне, приглашая взглянуть в сторону чащи, где мгновение назад виднелся зад слона: животного уже не было. Стадо ускользнуло так тихонько, что, несмотря на близкое расстояние, я не слышал даже легкого шелеста или хруста самой маленькой веточки. Чудесное исчезновение этих толстокожих животных, таких неуклюжих на вид, было для меня еще одной неожиданностью.

Встреча со слонами потрясла меня до глубины души, и во время дальнейшего путешествия я оставался под впечатлением этого приключения, а так как мне не надо было следить за дорогой, поскольку я спокойно ехал вслед за Омаром, я мог уноситься мысленно туда, куда влекло меня мое воображение.

В Германии живет интересный, симпатичный человек, доктор Бернгард Гжимек, зоолог, родом из Силезии, директор зоопарка во Франкфурте-на-Майне, который после второй мировой войны несколько раз посещал Африку и написал несколько книг.

Одна из них, «Нет места для диких животных», приобрела мировую извест-

ность и положила начало кампании по охране диких животных Африки от истребления.

Я не читал этой книги, написанной в годы, когда колониальная система еще казалась нерушимой как железобетон, но на основании того, что я о ней слышал, могу предположить, что она была адресована главным образом европейцам и их колониальным властям. С благородной пылкостью выступает доктор Гжимек против несправедливости по отношению к диким животным и требует их решительной защиты, если они еще совершенно не уничтожены вследствие хищнического отстрела, браконьерства. Это был страстный призыв к великому и справедливому походу, нашедший — повторяю — заслуженный отклик общественности Западной Европы и Америки.

Сейчас, когда человек — другое, терпящее более серьезную несправедливость существо — успешно начал срывать с себя колониальные оковы, еще недавно громогласный призыв к спасению животных звучит более приглушенно. Он утратил первоначальное значение даже в Восточной Африке, которая до сих пор продолжает оставаться раем для охотников, где пока еще удерживающимся у власти европейцам вскоре встанут костью в горле более серьезные проблемы, чем защита животных.

С середины 1960 года в крупных иллюстрированных журналах Запада стали появляться эффектные жалобы по поводу будущей грустной судьбы животных в Африке. Отличающиеся по своему духу от искренних предостережений доктора Гжимека, эти статьи, обычно великолепно иллюстрированные цветными снимками, чуть не до небес возносили слонов, львов, носорогов, буйволов, жирафов и других животных, роняя горячие слезы по поводу их скорого истребления — неизбежного, если допустить к власти вечно голодный негритянский сброд и тем самым позволить непочтительным варварам истребить под корень гордость африканской природы. В статьях предусмотрительно не ставились точки над «и», чтобы читатель сам мог сделать вывод: даже в этом отношении, в вопросе о животных, таком близком сердцу каждого цивилизованного человека, будет нанесен непоправимый вред человечеству, когда управление Африкой попадет не в те руки.

Дни крупных диких животных в Африке, к сожалению, действительно сочтены независимо от того, кто, что и с каких позиций писал об этом или будет писать. Неумолимая судьба постигнет диких животных в результате естественного хода событий, как следствие того, что в настоящее время происходит в Африке. Я со всей ясностью понял это, точно прозрел, когда нас окружили в лесу гигантские слоны.

Захват африканцами власти над своей судьбой и землей уже осуществился или осуществляется во многих странах; он повлечет за собой два последствия: бурный прирост населения и приобретение современного оружия. Вся современная медицинская промышленность и знания о гигиене обрушатся на Африку, как на обетованную землю, и не исключено, что уже на протяжении одного поколения население увеличится вдвое.

А как с современным оружием? Капсюльное ружье было унижительным, навязанным африканцам символом колониализма. Африканец не только отбросит его с чувством отвращения, но, идя семимильными шагами вперед, приобретет, конечно, хорошее ружье, чтобы сохранить свои поля от вредителей. Пожалуй, ничто не доказывает такой необходимости лучше, чем собы-

тия, пережитые нами в Конокоро.

Часами крутя педали, неслись мы по брусу, то пышному и зеленому, то бесплодному и высохшему, и нигде не было и следа человека. В этом пустынном краю познаешь слегка пугающее ощущение, столь знаменательное для Африки, что вот сейчас, впервые от сотворения мира, человек идет по девственной стране. Но так же легко вообразить и то, что это последний день ее девственности.

Судя по африканским темпам, можно реально предположить, что через пятнадцать — двадцать лет теперешние пустоши оживут от присутствия сотен земледельцев. Некоторые из них наверняка будут обладателями хороших ружей. Защищая свои поля, человек перестреляет всех слонов, буйволов и крупных антилоп и сильно истребит более мелкого зверя. И это будет не дикое, варварское уничтожение, жертвой которого пали стада бизонов в Северной Америке, а элементарная самооборона.

Это будет так же неизбежно, как истребление свирепых туров в древней Польше, медведей в Швеции¹ или волков на французской равнине. Правда, в Африке эта драма разыграется более бурно, в лихорадочном напряжении, с неслыханной торопливостью.

Туманея

Я возвращался в Сараю, как в другой мир, к близким мне душам. Шаво только что прибыл из Курусы. Он и вся семья приветствовали меня как дорогого друга.

Два дня спустя Шаво привез меня на своем грузовичке обратно в Даболу. По пути нам надо было посетить два знаменитых места — городок Дингирае и деревню Туманею, находящихся недалеко друг от друга. Они связаны с именами двух выдающихся создателей африканских государств, ал-Хадж Омара (середина XIX века)[273] и вождя Самори (конец того же века), которых французы сумели одолеть лишь после тяжелых войн.

В то время как ал-Хадж Омар происходил из Сенегала и в городе Дингирае, столице своего государства, был чужаком, Самори Туре был урожденным гвинейцем из племени мандинго и, как я уже упоминал, предком теперешнего президента Гвинеи Секу Туре.

В деревне Туманея, которая расположена на левом, западном берегу реки Тинкисо, километрах в пятидесяти на северо-восток от Даболы, жили люди племени диалонке, связанного дальним родством с мандинго. Здесь находилась когда-то самая западная крепость Самори, которая дерзко возвышалась на покоренной территории прямо под носом фульбе. Она была сооружена настолько основательно, что кое-где до сих пор сохранились ее стены, у которых люди строят свои жилища.

Около десяти часов утра мы въехали на большой деревянный мост, переброшенный через Тинкисо, значительно более широкую в этом месте, чем Варта у Познани. На другой стороне мы увидели деревню Туманею, а за ней, у самой воды, — нескольких женщин и девушек, занимающихся ловлей рыбы. Так же как изготовление посуды, этот простой способ ловли рыбы принадлежал к числу женских работ: женщины в фартуках входили в воду на метр или полтора от берега, не теряя под ногами дна, и каждая погружала в воду сачок, вытягивая всякую мелкую рыбешку, которая была так неосторожна, что дава-

ла себя поймать.

— Возможно, что это внушки Самори! — усмехнулся Шаво, указывая на женщин.

Самори, как африканский вождь старого склада, имел бесчисленный гарем. По крайней мере одна дочь каждого покоренного им царька, вождя или просто старейшины опустошенной деревни автоматически становилась одной из его жен; по подсчетам французов, у него было более двухсот сыновей и около сотни дочерей.

Я присмотрелся к женщинам внимательнее: среди них были молоденькие девушки.

— Если это семя Самори, — сказал я, — то в таком случае здесь не только внушки, но и правнучки.

— О'кей, пусть будет так!..

Туманен насчитывала около двадцати хижин. Войти в деревню можно было через ворота, построенные, как туннель, внутри бастиона, когда-то служившего для защиты. Сейчас стена, некогда окружавшая крепость, частично развалилась, но там, где она еще стояла, служила опорой хижинам. В деревню можно было попасть с любой стороны, но мы вступили через ворота и сразу оказались в укромном уголке, где нам открылась мирная картина домашней жизни: на площадке, окруженной шероховатыми стенами старой крепости, приветливо улыбающиеся женщины сидели у нескольких очагов и готовили в горшках пищу.

В деревне Туманен у Шаво была своя хижина, которую он в шутку называл охотничьим домиком; здесь он ночевал, если у него возникало желание (что бывало, правда, редко) поохотиться в округе; тут иногда появлялись стада антилоп гну. Жители деревни приветствовали Шаво как хорошего знакомого. Пройдя немного, мы встретили нескольких мужчин, которые вышли поздороваться с нами. Каждый гордо нес ружье, разумеется капсюльное, словно они хотели показать, что живы еще старые, воинские традиции деревни.

— Интересно, — спросил я Шаво, — они что-нибудь помнят о Самори?

— Сами они не могут помнить, так как слишком молоды! — ответил француз. — Редут построен примерно году в 1885-м, а позже Самори отступил на восток и юг под напором французских отрядов. Зато их родители или деды наверняка знали Самори.

— Спросите, пожалуйста, что они знают о нем?

Шаво обратился к мужчинам на языке мандинго, так как здесь никто не знал французского, и сразу посыпалось столько слов, воинов охватило такое оживление, словно сунули палку в муравейник. Они пылко сообщали важные новости, указывая на себя, их голоса, глаза и жесты выражали страстное возбуждение. Шаво слушал их, почти ослепнев, не скрывая своего удивления, а потом обратился ко мне с лукавым блеском в глазах:

— Я и не предполагал, что акции Самори подскочили в Гвинею так высоко!

— Да ну?

— Они все без исключения клянутся, что состоят в родстве с Самори, один — даже внук по прямой линии, а все остальные — тоже одной с ним крови... Как видно, для внуков Самори появилась хорошая конъюнктура...

— А тем самым и для кузенов президента! — добавил я весело.

Славная деревня Туманен припасла для меня еще один сюрприз. Большин-

ство жителей находились где-то далеко, на полях; покидая хижины, они запирали их на здоровенные висячие замки. Эта мера предосторожности, не виданная мною до сих пор в Гвинее, безмерно удивила меня.

— Да, — подтвердил Шаво, — на такие замки у нас большой спрос. Это импорт из Польши.

— Откуда? — я не верил собственным ушам.

— Из Польши. Они недурны, люди их хвалят.

Сердце мое затрепетало от гордости при мысли о том, что мы в глазах гвинейцев пользуемся славой борцов против воровства. Чехи прислали сюда трактора, мы — висячие замки.

Однако вернемся к Самори.

Самори

Самори Туре родился около 1840 года в Сананкоро, километрах в ста пятидесяти на юг от города Канкан. В молодости, так же как и его отец, Самори был разъезжим купцом. Несмотря на то что вся внутренняя Западная Африка еще долгие годы оставалась вне политической «опеки» европейцев, которые пока еще сидели только на побережьях, их опыт XVII–XVIII веков — торговля невольниками в крупных масштабах — продолжал практиковаться и в XIX веке: каждый властитель и каждый царек считал делом чести поправлять свой бюджет посредством захвата невольников у более слабых соседей, а в оборотистых скупщиках ходового товара никогда не было недостатка от Нигера до границ Аравии. Однажды во время такой облавы головорезы правителя из Канкана напали на родную деревню Самори и увели его мать в рабство.

Когда Самори отправился в Канкан, чтобы выкупить ее, он также был насильно схвачен и включен в число воинов деспота. Способный, полный энергии и творческой фантазии юноша вскоре проявил себя в военных рейдах и стал отличным предводителем в войске властителя Канкана. Возвращаясь однажды после нескольких лет такой службы из дальней экспедиции с большим количеством пленников, он одарил ими своих воинов, а по возвращении в Канкан поднял бунт, правителя умертвил и сам встал у власти. Это был 1874 год.

Честолюбивый вождь, альмами строил великие планы, мечтал о создании новой державы Мали и, несомненно, добился бы цели, будь то другие времена. Но в конце XIX века три европейские державы — Франция, Англия и Германия — стоворились поделить Африку между собой; в этом разделе Судан на верхнем и среднем Нигере достался Франции. Железный кулак Европы опустился на Африку; в течение двадцати четырех лет Самори метался по территории около миллиона квадратных километров, как загнанный зверь, прежде чем сдался.

Это была война жестокая, беспощадная, война, которая обратила в прах и целиком опустошила огромные территории страны. Кого не постигла гибель, тот попадал в рабство. Покорив несколько мелких соседних государств, Самори двинулся на север, к реке Сенегал, но здесь наткнулся на французские отряды, направлявшиеся на Нигер и, разумеется, значительно лучше вооруженные, чем его собственные. Произошло неизбежное столкновение. Самори напал неожиданно и наносил жестокие удары противнику, но и сам нес огромные потери. В конце концов он предпочел заключить с французами мир

и признал границу по Нигеру и Тинкисо: французы оставили за ним территории, расположенные на восток и юг от этих рек, понимая, что это лишь временно.

При заключении мира Самори отдал французам в качестве заложника, как свидетельство доброй воли, своего любимого сына Карамоко. Французы привезли молодого человека в Париж, показали ему свои богатства, ошеломили численностью армии на параде в день 14 июля и вскоре вернули его отцу. Ловкий маневр — кто-то назвал его дьявольским — вполне удался. Слепленный юноша, рассказывая чудеса о мощи Франции, сеял сомнения в рядах мандинго, и отец обрек его на смерть. Государственные соображения взяли верх над отцовскими чувствами.

— Варвар! — провозгласили опекуны Карамоко.

В течение десятков лет Судан был беден, население жило в нужде, единственной ценностью страны, хотя и сомнительной, были люди. Самори, который нуждался в деньгах для закупки современного оружия, чтобы не сдать на милость европейцев, был вынужден стать последним крупнейшим в Африке охотником за рабами. Трагическая, самоубийственная необходимость. Он опустошал Судан, хватал невольников, продавал их фульбе, арабам и либерийцам, а взамен приобретал оружие.

Правитель государства Кенедугу в страхе перед агрессией Самори попросил французов установить над его страной протекторат, на что те поспешно согласились. Это было нарушением мира, заключенного с Самори: Кенедугу лежало на юг от Нигера. Самори, чувствуя свою силу, переправился через Нигер, вторгся на французскую территорию и перенес войну на запад.

— Возмутитель спокойствия! — воскликнули французские полковники, довольные, что зверь сам идет в расставленную для него ловушку. Французы по-прежнему обладали лучшим оружием, полевой артиллерией, а кроме того, были отлично подготовлены. Но, несмотря на то что они не щадили сил, цели они не достигли. Самори, как хитрая лиса, ускользал из всех их ловушек — это было для них непостижимо. Он успешно переправился через Нигер и двинулся на север, чтобы убедиться, что и здесь его ждут. У него осталась единственная возможность — повернуть на юго-восток, к Берегу Слоновой Кости. Там, поблизости от тропических дебрей, он разбил укрепленный лагерь.

Лишь годы спустя выяснилась тайна неуловимости Самори в этой кампании: у него была бесценная разведка. Во все полевые кухни, в которых питались французы, он заслал в качестве ординарцев своих шпионов. Он ловко использовал привычку французов неосмотрительно распускать язык за столом. Офицеры любили благодушно распространяться о своих приказах, а на следующий день, к своему удивлению, наносили удары по пустому месту.

Самори, хоть и вытесненный из Судана, не засел в своем лагере, как в мышиной норе, а высылал во всех направлениях отряды и допекал врага, как сто дьяволов. Когда важный торговый центр Конг, находящийся недалеко от его лагеря, вошел с французами в мирное соглашение, Самори приказал уничтожить весь город вместе с мечетями, а население истребить. Его отряды добивались до самого Золотого Берега, докучая также и англичанам.

В 1897 году Саранкегни Мори, один из сыновей Самори, ликвидировал целый отряд французов. Такого позора нельзя было вынести, и французское командование решило любой ценой раздавить нахала. Ввиду того что с севера и

северо-запада двинулись значительные силы врага, Самори свернул лагерь и, чтобы быть ближе к границе Либерии, откуда он получал оружие, углубился в тропическую чащу, держа путь через дебри на запад.

С ним было еще несколько тысяч воинов и около ста двадцати тысяч мирного населения, потому что, опасаясь мести французов, он вел за собой все свое племя. Перенаселенный лагерь в последние месяцы уже страдал от недостатка продуктов, а когда Самори углубился в чащу, голод стал настоящим бедствием. Люди не держались на ногах от истощения и падали, чтобы уже никогда не подняться. Лагерь все медленнее продвигался к западу, оставляя за собой на каждом привале сотни умирающих призраков. За несколько месяцев мучений Самори потерял больше половины людей, а живые двигались, как тени.

Утром 29 сентября 1898 года на поляну, где разбил лагерь Самори с остатками своего войска, выскочили из чащи двадцать вооруженных людей — белый офицер, несколько унтеров и несколько сенегальцев. Беззвучно, как демоны, неслись они к шатру, минуя окаменевшие от неожиданности многочисленные группы воинов, — вождя они узнали по более богатой одежде. Самори опомнился первый и в панике побежал в сторону зарослей. Французы и сенегальцы бросились за ним, как гончие псы.

— Самори! Стой! Самори! — ревели они то и дело ему вслед.

Самори было шестьдесят лет, им — по двадцать с небольшим. Задохнувшись, он споткнулся и не успел подняться, как французский сержант наступил на него и схватил за шиворот.

— Убей меня! — прохрипел Самори. — Убейте меня!

Подбежавший офицер приказал немедленно тащить Самори назад, в его шатер.

Все это произошло молниеносно, на глазах нескольких сотен воинов мандинго, пораженных страшным событием. Однако воины быстро опомнились и уже приготовились сокрушить до смешного ничтожную горстку нападающих, когда их остановили последующие события. Из чащи в образцовом порядке, строгими боевыми рядами, отбивая шаг, вышел отряд французских солдат, за ним — второй, третий, как бы передовые части крупных вооруженных сил, скрытых в гуще леса. В то же время из шатра донесся громкий голос Самори, который приказывал своим подчиненным отказаться от всякого сопротивления.

Французский офицер держал у его виска револьвер и угрожал, что застрелит, как крысу, если он не отдаст нужного приказа. Зато в награду за повиновение Самори была обещана жизнь. Указав на появившийся из зарослей отряд французских солдат, офицер убедил плененного вождя, что лагерь окружен.

Самори уже не хотел погибать, он жаждал жить. И в испуге исполнил приказание, а его потрясенные воины подчинились. Пораженные происходящим, они были неспособны к бунту и покорно сдались.

Благодаря этой лихой, дерзкой выходке, увенчавшейся таким успехом, капитан Анри Гуро приобрел мировую славу, тот самый Анри Гуро, который много лет спустя в качестве командующего четвертой французской армией способствовал победе союзников в первой мировой войне. Эпизод в африканской глуши был тем более необычаен, что грозный Самори и около двадцати

тысяч его воинов были взяты в плен капитаном Гуро, который стоял во главе... двухсот солдат.

Удивительная и безумная операция оказалась возможной только потому, что шатер Самори был разбит недалеко от зарослей и чаща скрывала до смешного ничтожные силы французов. Если бы воины Самори знали, сколько было французских солдат в действительности, они могли бы даже голыми руками с легкостью передавить их всех. Но они не знали. Чаща скрывала грозную тайну, и целый день мандинго послушно сносили свое оружие и помогали его уничтожать. А уничтожив, измученные и покорные, двинулись на север как пленники. За ними тащилось все их племя.

Когда несколько позже воины Самори сообразили, что пали жертвой столь жалкой горстки врагов, было уже слишком поздно: со всех сторон от французских застав спешно подходили подкрепления, чтобы сообща конвоировать несметные толпы пленников.

Так разбились гордые планы мандинго, которые стремились возродить новое государство Мали. Их вождь, последний великий альмами доколониальной Африки, печально брел навстречу рабству. Он был последним серьезным препятствием на пути захватчиков. Победители никогда не простили ему этого. Они не только одержали над ним военную победу, не только сломили его физически, но и не пожалели труда, чтобы всячески унижить и беспощадно очернить его. Даже такой замечательный солдат, как Гуро, не мог удержаться от соблазна осрамить Самори. В своих записках этого времени капитан приводит случай, который якобы свидетельствует о жестокой бесчеловечности вождя мандинго.

В печальном шествии пленников на север были, как я уже упоминал, и остатки племени, а между ними — многочисленная семья Самори, его жены, дети и внуки. Среди жен была одна молодая и красивая, но неверная. Во время продолжительного похода ветреная красотка увлеклась красавцем Саранкегни Мори, сыном Самори, достойным победителем в не одной стычке с французами. Старый вождь, узнав об этом, пришел в безумную ярость, словно в этот момент у него не было на душе больших забот. Он попросил капитана Гуро, чтобы тот принял его для официальной беседы, и совершенно серьезно потребовал отсечь голову преступному сыну. Гуро, разумеется, отказал.

Несколькими месяцами позже в Каесе на реке Сенегал цивилизованные европейцы организовали демонстративный процесс над «африканским варварством». Самори, Саранкегни Мори и другие вожди были осуждены французским военным трибуналом на пожизненную ссылку на каком-то острове в Габоне. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней: генерал Трентиньян, председатель военного суда, «защитник угнетенной Африки», счел необходимым еще раз унижить Самори перед всем миром:

— ...Больше двадцати лет он расправлялся с неграми, обращался с ними, как дикий зверь, он давно заслужил смертную казнь, но, поскольку отважные французы, которые взяли его в плен, обещали сохранить ему жизнь, мы осуждаем его лишь на ссылку...

В ссылке Самори прожил недолго.

Интересно, что в последующие годы именно семья Самори Туре служила французским колонизаторам классическим доказательством их успешной цивилизаторской миссии и огромной притягательной силы Франции. Род Туре,

несомненно, был предприимчив, это был род воинов. Через несколько лет, когда страсти немного улеглись, многие сыновья Самори охотно вступали во французские войска, чтобы стать профессиональными солдатами и даже добиться золотых нашивок поручика, Шестеро из них погибли на фронте во время первой мировой войны.

— Отец, — кичились тогда многие поборники колониальной системы, — был упорным врагом Франции, а его сыновья сложили головы на полях славы, защищая ту же Францию; французский колониализм оказался великим, добрым волшебником.

Но как в таком случае оценить позицию отважного Секу Туре, который так энергично стряхнул с себя чары волшебства?

Нзерекоре

В Конокоро, в Сарае и в Даболе царила в это время года, в январе, знойная сушь. Воздух был настолько горячий и сухой, что пот не выделялся, а на руках и губах лопалась кожа. Я тосковал по влажной амазонской чаще, где, правда, обливаешься потом, зато не лопаются кожа. Такая же чаща была в Нзерекоре, на юго-востоке Гвинеи.

Я хотел прервать путешествие в Нзерекоре, остановившись на несколько дней в Канкане, первой столице вождя Самори. Однако город так неприветливо встретил меня, что, переночевав там одну ночь, я помчался дальше. Едва я вышел в Канкане из поезда, на меня, единственного белого человека на перроне, яростно, как на преступника, набросился полицейский и потребовал показать документы. Когда я сделал это, он приказал мне зарегистрироваться на следующее утро в комиссариате.

Я приехал в Канкан вечером и сразу приказал отвезти вещи в отель «Селект бар». Здесь, в ресторане, сидели только белые, много белых с претенциозно одетыми европейками. Все они выглядели как типичные авантюристы. Это были преимущественно французы, и пили они преимущественно шампанское. В то время как на вокзале распоряжались гвинейцы, здесь еще процветал старый режим. В этой части Гвинеи находились алмазные рудники, которые до сих пор оставались в руках белых, и подгулявшие дельцы сорили здесь деньгами и заливали вином свой страх перед близким концом.

Я оказался в каких-то чертовски фешенебельных джунглях, и, пожалуй, трудно было подобрать для них лучший символ, чем божок — покровитель воров.

Древнеафриканская деревянная скульптура этого божка стояла на территории отеля «Селект бар», и огромные зубы в широкой пасти символизировали его алчность. Когда на следующее утро я фотографировал божка, притащилась собака, которая жила при отеле, и улеглась тут же рядом. Ее поза выражала настороженное внимание, словно и правда она стерегла подозрительного типа. Может быть, этот пес был стражем общественного порядка?

Бармен, корсиканец, издали наблюдавший эту сцену, был охвачен необыкновенным энтузиазмом.

— *C'est magnifique!*[274] Мосье удалось сделать великолепный снимок: собака, стерегущая черных воров!

— Черных? — притворно удивился я.

Когда час спустя я канителился в комиссариате, регистрируя свое прибы-

тие, то был уже сыт этим Канканом по горло, поэтому сразу же и выписался и двумя часами позже летел самолетом на юг в Нзере-коре.

Здесь, на аэродроме, меня уже приветствовал посыльный полицейского комиссариата, и, прежде чем он успел заполнить регистрационный бланк (грозный насмешник заполнял его подробно, даже с датой моего вступления в брак), спутники-французы давно уехали в отель и заняли все номера, а на мою долю досталось всю ночь испытывать свою волю на стульях. В отеле, как и следовало предполагать, меня снова ожидала процедура заполнения регистрационного бланка.

Нзерекоре — это, в сущности, влажные дебри во всем своем великолепии плюс резкие контрасты и сплошные чудеса. Здесь полно язычников-фетишистов из герзе и других племен. А поскольку местность влажная и прекрасно годится для выращивания высших сортов кофе, французы приказали аборигенам разводить кофе. Теперь здесь современные плантации, а люди буквально сидят на деньгах, имеют банковские счета и продолжают слепо верить в самых страшных лесных дьяволов, в демонов, которым время от времени нужны человеческие жертвы, и в священные леса.

Каждая более или менее крупная общность людей в дебрях имела свой священный лес, обычно здесь же, поблизости от деревни. Сюда под страхом смерти не мог войти ни один непосвященный, в особенности женщины и дети. В этих лесах находились тайные школы молодежи, где юноши обучались реальным наукам и самой реальной в их понятии вещи — магии, где рождались тайные общества и вселяли ужас страшные маски духов и прорицателей. Эти заклинатели — зого — ночью часто перевоплощались в своем понимании в леопардов и крокодилов и поступали при этом с соответствующей жестокостью, а днем обычной работой на своих плантациях кофе впрягались в великий механизм производства мировой продукции. Поразительный парадокс!

Достопримечательность Нзерекоре — пруд у подножия холма, на котором стоял мой отель. Три гектара поэтически сонной воды, прелестные девушки, стирающие белье на песчаном берегу, где даже сейчас, в зимнее время порхают изумительные бабочки и растет кустарник.

Это был священный пруд жителей города, не совсем обычный: еще очень недавно, в колониальные времена, люди-крокодилы каждый год тайно топили в нем девушку.

Это делалось для благополучия города, как раз в том самом месте, где я сфотографировал сегодня улыбающуюся молодую прачку. Когда французскому коменданту наконец опостылел этот неприятный обряд, совершаемый прямо у него под носом, он пригрозил всему населению Нзерекоре самыми страшными карами, если ритуальные убийства в пруду не прекратятся. И население послушалось его: очередную девицу утопили не в пруду, а в ручье, который вытекал из пруда.

На следующий день по прибытии в Нзерекоре, движимый чувством страха или, наоборот, в порыве самоотверженности, я решил, что не стоит обходить логово льва.

И вот с министерским разрешением на фотографирование я отправился прямо к комиссару полиции и спросил его, могу ли я фотографировать здесь все, что захочу. Нзерекорский лев был в восторге от моего визита и воодушевленно ответил, что я могу фотографировать все, за исключением военных ка-

зарм и их окрестностей (казармы были построены французами по соседству с моим отелом), далее — резиденции районных властей и властей окружных, а также жилой резиденции коменданта, ну и, разумеется, за исключением каких-либо публичных торжеств государственно-административного характера, если таковые будут происходить в это время.

— И что еще запрещается? — тревожно спросил я.

— Пожалуй, больше ничего! Кроме этого, мосье может все фотографировать, все! — заключил комиссар с широкой улыбкой. Я вежливо поблагодарил его. Мораль ясна: не обходить логова льва.

Несомненно, самой интересной личностью и достопримечательностью Нзерекоре был датчанин Ольсен. Много лет назад он приехал сюда с женой, способной писательницей и автором интересной книги об их путешествии по Либерии. Однако Ольсен заболел в Африке «любовной лихорадкой» — его влекло разнообразие оттенков кожи, поэтому его жена вернулась в Данию одна, а он, уже навсегда, остался в Нзерекоре. Страстный природовед, Ольсен собирал необычных насекомых, отличающихся своеобразной формой или величиной, закупоривал их в коробочки со стеклом и сбывал белым чиновникам, недурно на этом зарабатывая.

Помимо всего, Ольсен был обаятельный человек, редкий теперь тип цивилизованного цыгана, полиглот, знающий французский, английский, немецкий языки, и блестящий знаток не только семейств бабочек, но и здешних племен. Он знал, в каких деревнях еще верят в дьявола и где можно увидеть интересные обряды и пережить захватывающие приключения. Я охотно взял бы его в путешествие, но у него не было времени, так как он жил в нужде. Поэтому мне оставалось лишь приглашать его в отель на ужин и божественные беседы.

В двенадцати километрах к востоку от Нзерекоре находилась деревня Карана, населенная людьми племени мано. Деревня славилась своими акробатическими танцами в исполнении молоденьких танцовщиц и мощных атлетов: сильный мужчина подбрасывал девочку высоко в воздух и готовился принять ее на острия ножей, которые держал в обеих руках. Падающая девушка, казалось, неизбежно должна была напороться на острия ножей, но в самый последний момент мужчина в мгновение ока чуть-чуть подавал ножи вперед и подхватывал ее на предплечье, в сантиметре от ножей и на волосок от смерти.

По каким-то мотивам ритуального характера такая девушка, кажется, была заранее обречена на смерть, предназначалась в жертву духам, о чем, однако, ни она, ни ее родители не знали до самого момента жертвоприношения.

Год назад Ольсен привез в Карану двоих приезжих австрийцев, и жители деревни за три тысячи фунтов устроили танец с ножами. Австрийцы были так потрясены, что назвали это зрелище самым поразительным в своей жизни. Ольсен показал мне несколько фотографий упомянутой акробатики с ножами: они и вправду выглядели жутко.

— Если вам пригодятся эти фотографии, я могу уступить, — сказал он.

— Нет, спасибо. Я сам поеду в Карану.

— О, это самое лучшее!

Я поехал туда на автобусе в обществе юноши Фас-су, который был боем Ольсена. Но, когда мы приехали в деревню, оказалось, что с прошлого года

многое изменилось: Гвинея меняется молниеносно. В деревне был новый староста, существовал местный комитет партии, жители сначала было согласились показать танец с ножами — три тысячи франков не шутка! — но потом категорически отказались, так что из нашей затеи ничего не вышло. Еще до полудня мы возвратились в город, расстроенные, разочарованные. Фассу был явно огорчен: у него из-под носа ускользнул обещанный бакшиш.

— Надо будет зайти за фотографиями Ольсена, — буркнул я.

Но Фассу, неутомимый комбинатор, уже строил новые планы, и, едва автобус достиг Нзерекоре, он открылся мне: в деревне Кунала по дороге в Масенту за небольшую плату можно было увидеть и сфотографировать настоящего лесного дьявола. Он, Фассу, знал это наверное, так как сам жил недалеко от этой деревни. Если он сейчас поедет туда на велосипеде и договорится с дьяволом на завтра, то дьявол нас не подведет.

— А в Кунале есть партийный комитет? — меланхолически спросил я.

— Есть, но он нам не помешает! — убеждал Фассу с такой горячей верой, что и меня охватила надежда.

— Дьявольское дело... — заколебался я. — Я спрошу господина Ольсена, что он об этом думает.

Ольсен думал, что ехать стоит, и Фассу мигом укатил на велосипеде. К вечеру он вернулся победителем.

— Будет дьявол!

Триумфальное шествие

Как всякий мудрый поляк, я, обжегшись в Каране на молоке, старательно дул на воду и, как только усердный Фассу уехал в Куналу, отправился к коменданту округа и очень решительно и еще более вежливо попросил секретаря организовать мне не терпящую отлагательства беседу с начальником. Я просил решительно потому, что до сих пор местный глава и хозяин жизни, а может быть, и смерти, чуя носом, что хлопот со мной будет много, не допускал меня до своей особы.

Но на этот раз допустил. У коменданта было предписание центральных властей в Конакри оказывать мне помощь, а кроме того, он уже знал о моей самовольной поездке в Карану и о намерении встретиться завтра с лесным дьяволом в Кунале. Пройдоха Фассу, возможно, не так уж преувеличивал, вознося до небес влияние этого дьявола: комендант, вместо того чтобы поднять меня на смех, как я ожидал, отнесся к этому мероприятию совсем по-деловому и как будто серьезно. Он понял, что в Куналу я поеду любой ценой, и поэтому хотел, чтобы я поехал туда под присмотром властей. Он обещал дать мне грузовичок и проводника и еще какого-то полуофициального ассистента для обеспечения безопасности. Я был очень обрадован всем этим.

На следующее утро я пунктуально прибыл к комендатуре округа строго в назначенное время. Остальные тоже оказались довольно пунктуальными — они опоздали лишь на час. Сопровождавший нас в качестве моего личного адъютанта Фассу явился при параде: к шортам цвета хаки он надел длинные, белые, шерстяные, нарядные гольфы, какие носили только отчаянные франты из европейцев. Своими гольфами он уложил всех нас на обе лопатки.

Моим проводником был упитанный, охотно улыбающийся господин с веселым лицом, директор школы в Нзерекоре, Жан Гоззага. Он был герзе, родом

как раз из Куналы, один из немногочисленных представителей этого племени, которые пошли по пути европейского просвещения, — правда, дорога не была очень длинной и широкой, но все-таки вывела его из дикой чащи. Я опасался, что мои спутники окажутся скучными ворчунами, которых обязали отбыть неприятную службу. Ничего подобного — какая неожиданность! Они ехали бодро, как на массовку, готовые повеселиться. В машине царила веселая, дружеская атмосфера. Всем было любопытно, как нас встретят в деревне.

— Куналу известили о нашем приезде? — спросил я.

— Ну конечно! — улыбнулся Гоззага, — И не только Куналу, но и старост других деревень на нашем пути — тоже.

— Там, может быть, приготовлены флаги и речи? — съязвил я.

— Не знаю. Но не исключено, что будут и флаги, и речи, и песни, и барабаны...

— И танцы обнаженных девушек и юношей! — продолжал я в том же тоне.

— Ой, нет, это нет, это нет! — посерьезнел Гоззага, словно я коснулся больного места. — Обнаженных девушек не будет. Этого уже нельзя показывать, особенно, — он лукаво взглянул на меня, — уважаемым гостям из Европы!

— Почему это? — я засмеялся, но почувствовал себя задетым. — Я видел в Конакри замечательную книгу о Западной Африке «Люди танца» — «Les homines de danse», она издана в 1954 году и полна снимков прекрасных нагих танцовщиц...

— Ее издали, наверное, наши враги!

— Может быть, и враги, — заметил я не без ехидства, — но ваш министр Кейта Фодоба написал к ней восторженное предисловие...

Гоззага на минуту умолк, как видно, задумавшись над тем, сколь несовершенно наше представление о человеческих ценностях. Примолк и я, какой-то назойливый бесенок грустно шептал мне на ухо:

— Adieu, лесные дьяволы! Пока, осколки старой Африки! Привет, старье, обреченное на смерть!

Я украдкой взглянул на Фассу, который слышал весь разговор, но по выражению его лица понял, что он истово верил и надеялся. Своей мимикой он как будто заверял меня в том, что дьявол будет, что он еще жив, что эти тут знают свое, а лес — свое...

Сразу за последними хижинами Нзерекоре начался густой влажный лес, который уже ничем больше не прерывался. Природа тотчас взяла самый высокий тон: нас окружало такое же насыщенное испарениями буйное царство зелени, как на Амазонке, как в устье Ориноко или на восточном берегу Мадагаскара.

После десяти или более километров езды по сносной дороге чаща впереди нас поредела, мы приближались к деревне с многочисленным населением. Отличная церковь среди хижин сразу бросалась в глаза, но здесь же, на опушке, приковывало внимание кое-что более интересное — вход в священный лес. Вдоль дороги на протяжении нескольких десятков метров поднималась сплетенная их сухой травы стена, высотой метра в два. Входа не было видно. Вероятно, ритуал предписывал укрывать его от взглядов непосвященных, хотя сам факт существования травяной стены свидетельствовал о том, что вход в священный лес был именно где-то здесь.

Языческое святилище занимало в чаще примерно три километра в длину и

столько же в ширину. Оно было не только школой, где готовили юношей для посвящения в жизнь племени, и не только оплотом тайных союзов и своего рода святыней, но также и мозгом племени. Здесь обсуждались все важнейшие проблемы жизни вообще и проблемы жизни близлежащей деревни в частности.

Священный лес был прежде всего опорой реакции.

С неслыханным упорством, с фанатической яростью он защищал все старое, все, чем жили предки. Лес был окружен таинственностью, здесь процветали мистика, магия и колдовство. Он ограждал свое племя от влияния чуждого мира всеми средствами, какими только мог: духи, демоны, фетиши, танцы, чудовищные маски, тайные ритуальные убийства — все служило одной цели. Отсталость и сопротивление языческих племен новым веяниям объяснялись главным образом властью священного леса над африканцами.

Я приказал остановить машину, и мы с Гоззагой вышли на дорогу. Мы остановились перед травяной стеной на расстоянии примерно десяти шагов от нее, чтобы не нарушить какого-нибудь запрета. Здесь царила полная тишина и неподвижность, ничто не свидетельствовало о близком присутствии людей. Стена была в отличном состоянии, видимо, ее совсем недавно сплели. Было заметно, что о ней постоянно заботятся и почитают как святыню.

— Раньше люди верили, что мальчиков, которые уходят на несколько лет в священный лес для посвящения, проглатывает какой-нибудь дух или лесной дьявол, а потом снова выплевывает и отпускает. Это поверье сохранилось? — спросил я Гоззагу.

— Сохранилось, а как же! — оживленно ответил мой спутник. Но сразу же, словно смутившись, счел нужным пояснить:

— Я — католик!

Я посмотрел на виднеющуюся неподалеку церковь.

— А это что? — спросил я.

— Хорошая церковь! — засмеялся Гоззага. — Богатейшая, каменная, величественная, доблестная, стойкая...

— Так что же здесь сильнее — церковь или священный лес?

— Конечно, священный лес.

— Значит, церковь проигрывает?

— Пока проигрывает. Она хотела с налета, силой овладеть душами наших язычников, но люди из священного леса оказались более ловкими.

Гоззага, католик, но все-таки герзе, не мог не обнаружить своего удовольствия.

Фассу увековечил Гоззагу и меня на фоне травяной стены, и мы двинулись дальше. Теперь, когда я узнал о том, какую роль продолжали играть священные леса у герзе, во мне вновь ожила надежда увидеть лесного дьявола в Кунале, хотя я ни на минуту не забывал о всевластной правительственной партии в Гвинее. Партия была грозным противником обскурантизма, более грозным, чем католическая церковь со своим непрошеным вмешательством. Мои непрестанные сомнения — будет дьявол или не будет? — были очень смешны.

Проехав еще несколько километров, мы увидели у дороги, в тени гигантских деревьев шеренгу мужчин (их было около двадцати) с ружьями в руках. Когда мы подъехали, они подняли ружья и начали торжественно палить, приветствуя меня. Машина уже останавливалась. Выскочив на землю, как из пра-

щи, я во всю глотку крикнул стреляющим:

— Подождите! Не стреляйте!

И сразу же устыдился своей бестактности: мой голос оказался сильнее, чем их жалкая, хоть и поднятая из добрых чувств пальба.

Они остолбенели от неожиданной выходки почетного гостя и со страху перестали палить, но, когда я подлетел к ним с фотоаппаратом в руках и попросил, чтобы они открыли огонь по моей команде, просияли. Те, у которых еще были заряжены ружья, быстро построились передо мной в ряд. По моему знаку они выстрелили, я сфотографировал их, после чего всунул в лапищу первому стрелку сто франков, второму — пятьдесят, третьему и четвертому — по двадцать, а остальные не получили ничего. Остальными и были как раз самые усердные, которые без промедления шарахнули первыми, — такова уж несправедливость этой жизни!

Благодаря манифестантов, я заявил, что эхо их выстрелов долго будет звучать в моем сердце. Гоззага, переводя мои слова, сказал в пять раз больше. Затем мы отправились дальше.

Мы приближались к деревне Гуэла; вскоре нам снова пришлось выйти из машины. На этот раз меня приветствовала делегация женщин. Их было больше десяти, все празднично одетые и все солидные матроны. Они пели, двигаясь в ритме танца. Две из них, которые пели громче всех, получили по сто франков (снова превратности судьбы).



...Барабанщик, высоко задрав голову, самозабвенно отбивал ритм...

В самой Гуэле все население деревни во главе со старостой высыпало на дорогу и приветствовало нас грохотом барабанов, стуком погремушек, радостными возгласами, жестами, выражающими желание танцевать. Среди собрав-

шихся было много молодежи обоего пола. Некоторые красотки еще только заканчивали причесываться. Все одетые, ни одного голого. Староста Мориба Уабиу Нуга, герзе огромного, роста, был тут каким-то гвинейским Радзивиллом. Его отец основал деревню, таким образом, Мориба получил от него в наследство людей, сан и деревню и жил под боком у комитета партии, как удельный князек. Он пригласил нас на пальмовое вино, и мы обещали зайти на обратном пути.

В веселой толпе бросался в глаза страстный музыкант, барабанщик, который, высоко задрав голову, самозабвенно отбивал ритм, ничего не видя вокруг. Он так и просился на пленку. Получив сотню франков за сеанс, он так обрадовался, что тотчас пришел в себя и сделался совершенно неинтересен.

Жители деревни Гуэла искренне веселились, несмотря на то что это был спектакль, организованный по желанию начальства. Когда мы уехали из чудесной деревни, у меня почти не осталось сомнений относительно лесного дьявола. Акции этой нечистой силы скакали то вверх, то вниз, как бумаги на бирже во время самого ужасного кризиса. Меня угнетало сознание того, что при такой тщательной режиссуре из программы деревни Кунала будут исключены все дьявольские номера.

Будет!

К моему удивлению, Кунала, деревня богатая и многолюдная, не встречала нас ни отрядами стрелков, ни делегациями матрон, ни даже звуками барабана. Когда мы оказались среди первых хижин, вокруг стояла почти пугающая тишина. Даже Жан Гоззага ощутил легкое беспокойство.

Мы остановились на обширной площади посреди деревни, перед одной из наиболее крупных хижин, из которой тотчас вышел староста деревни Кунала, Теодор Марибо, мужчина лет сорока, из племени герзе. Он тепло приветствовал нас и пригласил в большое помещение для гостей, где стояли кабинетные кресла — наследство, оставшееся от какого-то француза.

Все объяснилось: вчера Кунала была извещена о моем намерении посетить ее сегодня, но час приезда не был указан. Деревня находится в состоянии готовности, сию секунду все соберутся и окажут мне достойный прием.

— Что же интересного вы мне покажете? — умильно улыбнулся я хозяину.

— Будет весь актив деревни, — ответил Марибо с нескрываемой гордостью.

— Актив?

— Да, будут члены партии, союз молодежи и женский союз.

— Но ради бога! — воскликнул я, воздевая руки в знак протеста. — Я же не какой-нибудь сановник!

— Зато европейский писатель! — польстил мне шеф.

— А это значительно больше, чем какой-нибудь сановник! — добавил Гоззага, желая показать, что и он кое-что смыслит в этом деле.

— Вы необыкновенно любезные хозяева, — дружески изливался я, — но мне жаль, что я доставляю вам столько беспокойства. Так скажите же мне, что я здесь увижу? — заходил я и так и этак.

— Наш прогресс! — ответил Марибо коротко и ясно.

Не подлежало сомнению, что старосты деревень Гуэла и Кунала получили из комендатуры округа определенные и ясные указания, что делать. Это была официальная линия. Мой адъютант, пройдоха Фассу, по необходимости из-

брал другой путь, неофициальный и, по существу, нелегальный. Я слушал двух ревностных чиновников, которые дали мне возможность глубоко почувствовать влияние правящей партии в этих краях, а образ лесного дьявола съезживался в моем воображении, печально таял, пока наконец не превратился, как в классических произведениях искусства, в легкий дымок и не исчез.

Тогда в дверях появился Фассу и сделал мне знак, чтобы я вышел на улицу.

— Дьявол будет! — произнес он с интонацией ловкого импресарио.

— Как? — остолбенел я. — Будет? Правда будет? Когда?

— Сейчас! Может быть, через четверть часа!

— Где он? Прячется в лесу?

— Не в лесу!

— В какой-нибудь хижине на окраине деревни?

— Нет, нет! — решительно уверял меня Фассу. — Здесь, на площади, посреди деревни. Он придет сюда и будет танцевать! Только надо сколько-нибудь заплатить!

— Разумеется! Я заплачу!.. Но, Фассу, — я еще не верил, — это будет дьявол в настоящей маске?

— В самой настоящей! Никакого жульничества!..

Фассу, радуясь тому, что все так хорошо складывается, опять побежал к своим, а я вернулся в хижину.

— Радостное известие, господа! — торжественно, с удовольствием провозгласил я. — Я увижу здесь танец лесного дьявола!

Я опасался, что это известие произведет на моих спутников неприятное впечатление. Однако этого не произошло, они приняли весть весьма спокойно. Гоззага был немного удивлен; вероятно, слухи о закулисных действиях Фассу в Нзерекоре до сих пор не достигли его ушей (а осведомленный о моих планах комендант округа ничего ему не сказал). Зато староста Марибо отозвался со снисходительной улыбкой:

— Европейцы это любят, для них это экзотика... Я знаю, знаю об этом. Мне доверительно сообщили вчера, что они хотят показать этого своего дьявола. Его властители — это самые отсталые реакционеры, у нас с ними много забот...

— Властители дьявола?

— Да. Это темные люди, колдуны, заядлые защитники всего того, что пахнет суеверием. Они бесятся, что почва уходит у них из-под ног. Они хотят удержать Африку на месте. А этот танцующий дьявол — их материальный символ, это как бы знамя их заговоров и махинаций.

— Но очень колоритное знамя! — заметил я.

— Верно, колоритное и древнее. Однако мы тоже покажем сегодня танцы, песни...

Я был недоволен собой. Эти два гвинейца отнеслись ко мне с исключительным доброжелательством, честно, как к другу, а чем я плачу им? За их спиной я вступаю в сговор с их врагом, с темной реакцией.

— Я предлагаю, — заявил я, — отменить весь спектакль с лесным дьяволом. Я не хочу его видеть.

Они приняли мои слова с благодарностью, это было видно по их лицам, но ничего не ответили. Они взглянули друг на друга, как бы советуясь, а через мгновение Марибо произнес с неопределенной улыбкой:

— Нет, пусть лучше дьявол покажется!

«Может быть, и они боятся дьявола, — подумал я. — А если не самого дьявола, то людей, стоящих за ним? Разве силы реакции были здесь настолько значительны, что с ними надо было в такой мере считаться?» События, которые вскоре разыгрались на площади Куналы, частично подтвердили мои догадки.

Торговля

Так как мне надоело ждать в хижине, я спросил старосту Марибо, нельзя ли мне прогуляться по деревне. Разумеется, он ничего не имел против. Поэтому я вышел на улицу, а наш шофер — приятный и предупредительный молодой человек — присоединился ко мне. Я нигде не мог доискаться непоседливого Фассу.

Площадь уже не была так пуста, как раньше. Здесь и там небольшими группами собирались люди, как это обычно бывает перед большими торжествами. На боковых улицах также царило оживление: видимо, приближалось время манифестации. Жители Куналы занимались разведением кофе, отсюда известный общий достаток. По мере удаления от центральной площади я все чаще видел кофе, которое сушили на солнце. Зерна лежали прямо на земле между хижинами.

Мы уже почти достигли окраины деревни, когда наше внимание привлекло необычное движение впереди: собравшаяся детвора, крича, в панике бросилась бежать в нашу сторону, так, словно со стороны леса приближалась опасность. Минуту спустя мы увидели то, что было причиной их страха, — лесного дьявола.

Под одеждой и маской не было видно человека. Маска черная, деревянная, с узкими щелями для глаз, вокруг которых — гротескные белые ресницы. Над маской торчал плюмаж из длинной белой шерсти, наверняка обезьяньей. Ноги скрывал широкий кринолин из сухой травы, а верхнюю часть тела, до самой маски, — нечто вроде просторной темной пелерины, охваченной на уровне шеи ожерельем из мелких ракушек каури. Страшилище и вправду выглядело довольно внушительно, даже жутковато. Следом за ним шел нормально одетый мужчина со слоновьим хвостом или чем-то похожим в руках. Этой метелкой он размахивал в воздухе вокруг дьявола, как бы отгоняя что-то, наверное враждебных духов.

Раньше такой дьявол обычно появлялся в деревне ночью в качестве вестника тайного союза, и страх перед ним был небезоснователен. Демон жестоко избивал попадавших к нему людей — особенно доставалось женщинам и детям, — и не раз предвещал он смерть облюбленной тайным союзом жертве. Дети, которые в страхе бросились бежать от дьявола в Кунале, не притворялись: страх — естественное наследство старых времен — был у них в крови.

Дьявол бегом миновал нас в нескольких десятках шагов, и, хотя он был далеко, я все-таки сфотографировал его. Он колесил только по боковым улицам, не сворачивая на главную площадь, появлялся то тут, то там и снова пропадал из виду, чтобы через мгновение промчатся с другой стороны, сея смятение среди детей. Потом он словно сквозь землю провалился.

В этот момент я увидел Фассу, который спешил ко мне. За ним шли трое немолодых мужчин, не скрывавших своего недовольства. Я как раз сидел на пороге одной из хижин и перекручивал пленку в аппарате. Фассу был взвол-

нован, как и те трое, и, подойдя ко мне, раздраженно выкрикнул:



...В своем великолепном просторном бубу Марибо выглядел, как феникс, как орел, как павлин, как зебра в бело-голубую полосу...

— Ты видел лесного дьявола?

В возбуждении он говорил мне «ты».

— Видел! — ответил я, сбитый с толку его неожиданной горячностью и враждебным блеском глаз тех троих.

— Они обвиняют тебя в том, что ты фотографировал дьявола без их согласия!

— А что это за противные типы, эти трое?

— Это властители дьявола! Не смей говорить о них плохо!

— А почему они так на меня уставились?

— Потому что ты фотографировал дьявола без их согласия!

Как видно, трое старых неудачников считали меня преступником и обманщиком, так как я осмелился фотографировать их дьявола, предварительно не заплатив. Вот они и куражились и корчили рожи передо мной, точно их муха укусила. Тем временем я, сохраняя полное спокойствие, заряжал фотоаппарат и, лишь кончив, с угрозой поднял глаза на Фассу и троих чудаков.

— Что им от меня надо, сто тысяч чертей?! — крикнул я. — У меня голова болит от их визга!

— Они хотят, чтобы ты заплатил!

— Заплачу, если смогу сделать хорошие снимки дьявола. Сколько они хотят?

— Они говорят: пять тысяч франков.

В соответствии с принятым обычаем я должен был немедленно впасть в бе-

шенство, потерять самообладание, вскочить как ошпаренный и вопить. Но было около одиннадцати часов, небо источало жестокий зной, мне еще предстоял утомительный день, так что я не завопил. Напротив, я проворчал вполне мирно:

— Скажи им, Фассу, что они спятили! Скажи этим сумасшедшим, что кое-где в Гвинее я видел значительно лучшие и более страшные маски, чем эта игрушка для наивных детей. Скажи беднякам, что тюрьмы в Конакри еще не переполнены.

Они поинтересовались, сколько бы я дал.

— Пятьсот франков и ни сантимата больше, — сообщил я.

Тут их охватил приступ безумия, вернее, они отлично разыграли сцену бешенства. Один из них начал осыпать меня проклятиями и, чтобы придать им большую силу, стал отбивать такт на небольшом барабанчике. Тем временем двое его приятелей потихоньку поносили меня и пронизывали убийственными взглядами, от которых при других обстоятельствах у меня, наверное, побежали бы мурашки по коже.

Через некоторое время они исчерпали свой репертуар, заклинания не оказали должного действия. Поднимаясь с места, я пригласил их на главную площадь посмотреть танцы и песни, организованные старостой Марибо. Они поняли, что я не обмякну и не уступлю.

— Ну, давай пятьсот франков! — вдруг покорно согласились они. — За один час!

— И дьявол целый час будет танцевать? — спросил я для верности.

— Будет танцевать...

Так я купил гвинейского дьявола за пятьсот франков. Когда властители дьявола уходили, Фассу признался мне:

— Дьявол все равно танцевал бы, даже без ваших денег!

— Что ты болтаешь!

— Он будет танцевать назло Марибо...

Дьявол

В это время с главной площади донеслись все учащающиеся удары барабана, и причем не одного, а нескольких сразу. Каждый отбивал свой ритм. Одновременно несколько групп запели на разные лады. На площади мы увидели массу людей. Не оставалось сомнений, что здесь собралось все население Куналы, люди выстроились вдоль всех четырех сторон площади, как на военном параде, оставляя середину сравнительно свободной.



...Женщины чуть-чуть напевали — кокетливо, несмело, с растерянными улыбками...

Ту сторону площади, которая примыкала к хижине главы деревни и считалась наиболее почетной, занимали несколько десятков членов партии. Они стояли с достойным видом, построившись в длинную шеренгу, над которой величественно развевалось трехцветное знамя Гвинеи. На шумной площади лишь они были сплоченным, исполненным ощущения власти монолитом. Среди этих празднично одетых людей поистине царским одеянием выделялся Марибо. В своем великолепном просторном бубу, называемом здесь гбауи, он выглядел, как феникс, как орел, как павлин, как зебра в бело-голубую полосу.

Сбоку, справа от членов партии, стоял союз женщин. Ярко одетые женщины делали какие-то невыразительные, неопределенные танцевальные движения: они слегка притоптывали, жестикулировали, чуть-чуть напевали — все это кокетливо, несмело, с растерянными улыбками.

Представители Союза молодежи стояли по другую сторону от партийной шеренги, застыв, как в почетном карауле. Эти не могли придумать, как представить себя соответствующим образом. Девушки из союза несколько раз на-

чинали петь, но их голоса трепетали мгновение, как раненые птицы, и тотчас грустно умолкали. Зато юноши всю свою энергию вкладывали в игру на барабанах. Отбивая ритм, изо всех сил действуя пальцами, молодые люди пытались заглушить посторонние звуки, бросая гневные и настороженные взгляды в ту сторону, откуда доносились враждебные мотивы.

По ту сторону четырехугольника кипела бурная жизнь. Там царило веселье, было шумно, разгорались страсти, раздавались задорные песни и топот ног. Там хозяйничала оппозиция и реакция, хорохорились сторонники лесного дьявола, важничали почитатели старых обрядов и суеверий. Там было болеелюдно, чем где-либо, а женщины, так же ярко одетые, как и представительницы союза, танцевали более оживленно, кричали громче, даже в барабаны, казалось, били усерднее.

Когда дьявол трусцой выбежал на площадь, барабаны его друзей приветствовали его безумным ритмом, однако и союз молодежи стряхнул наконец с себя сонливость и выразил свой протест громовым пением. Надрывались главным образом юноши.

Дьявол между тем вел себя нахально и, пробегая мимо членов партии, демонстративно поворачивался к ним спиной. Он подбежал к нашему грузовику, бросил в его сторону заклинание и вернулся на середину площади.

Я был поражен его выносливостью. Под маской, в такой одежде парню должно было быть страшно жарко. Тем не менее он носился без усталости, кружился, словно в танце, а проходя мимо меня, смешно вертел головой, как опытная кокетка. Потом мы вместе сфотографировались.

— Эй, браток! — весело обратился я к нему. — Не хватит дурака валять?

Неожиданно оказалось, что хватит: дьявол так устал, что был вынужден сесть на землю, чтобы отдохнуть. От его грозного вида почти ничего не осталось.

Как только дьявол уморился, у его пособников как-то сразу пропал весь задор. Их самоуверенность точно испарилась, а веселье, которое царило здесь до сих пор, как бы перешло на сторону противника. Из-за шеренги членов партии на середину площади внезапно выскочили два танцора. На них были сплетенные из сухой травы юбочки, в руках они держали палки. Подпрыгивая в танце, они начали лупить палками по земле там, где только что откалывал свои номера лесной дьявол. Все понимали, что так они изгоняют нечистую силу.

Тут зашевелился и союз молодежи. Барабаны перешли на другой ритм, и тотчас люди образовали танцевальный круг, такой типичный для африканцев. Танцующие двигались по кругу медленно, один за другим, все в одном направлении, делая маленькие шажки в такт музыки. Вскоре круг увеличился до нескольких десятков танцоров и танцовщиц. Это было классическое африканское зрелище. В памяти всплывали многочисленные иллюстрации, виденные в книгах, и кадры из фильмов. Отличие было только в одежде. Здесь, в Кунале, в соответствии с пуританскими устремлениями молодой республики все тщательно прикрыли тела одеждой, чтобы, не дай бог, не виднелась грудь или кусочек тела не выглянул на свет божий, тогда как на этих недавних снимках и в фильмах в кругу танцевали только обнаженные люди, а нагие женщины были изображены и в памятной книге с предисловием министра Кейты Фодебы.

Хоровод союза молодежи вдохновил его противников на новые усилия. Лесной дьявол поднялся с земли и снова начал метаться по площади, повторяя свою программу. Женщины из его лагеря снова распались и танцевали как одержимые, пели что было мочи, лезли вон из кожи, а рядом с ними неистовствовали обезумевшие барабаны. Буря безудержной страсти разразилась над площадью. Но что это? Лучшая организация взяла верх. Все сейчас лило воду на мельницу руководства; незыблемый круг танцующих все рос и ширился, становился более плотным; на фоне всеобщего неистовства явно выигрывали приверженцы нового, а не их противники.

Тем временем матроны из союза женщин так разохотились, что образовали свой круг, закружившийся дьяволу на погибель. Одну наиболее ретивую даму из их числа охватило особое вдохновение. Она стянула с себя блузку и одна на всей площади плясала с обнаженной грудью. У нее были обвисшие груди многодетной матери. Танцуя, она движениями рук хвастливо показывала мне, что они будут еще длиннее, и заверяла в своей песне, как мне объяснили позже, что родит для родины еще не одного сына. В ней было что-то трогательное и патетическое.

Вот так на площади в Кунале разыгрывались странные события. Здесь я собственными глазами увидел, какое необычайно важное значение для африканцев имеет танец. Танец вошел в их быт как основная форма самовыражения, и кто знает, не является ли он таким же средством общения, как и язык. В движениях тела люди проявляли свой гнев, доказывали свою правоту, вели борьбу.

А борьба была не пустяковая: две силы — реакция и прогресс, Африка старая и Африка новая — столкнулись друг с другом. Одни стремились сохранить старину и остановиться на месте, другие хотели двигаться вперед. И вот метались тела, огнем горели глаза, гремели песни. Жители Куналы танцевали, бранились и кричали, ссорились, насмехались друг над другом, давая выход своим страстям, желаниям, обидам.

Только одна группа не принимала участия в общей суматохе, хотя внимательно наблюдала за всем, что происходило вокруг. Это члены партии. Они продолжали стоять в строю, дисциплинированные, сдержанные, верящие в победу. Если не для себя, то для своих сыновей. Мальчуганы выстроились впереди старших и жадными глазами следили за столкновением на площади. Это было столкновение двух Африк.

Горячее селение Амбинанитело



Побережье Мадагаскара

Мароанцетра расположена на восточном берегу северной части Мадагаскара, в глубине обширной бухты Антонжиль, там, где в 1774 году высадился Маурицы Бенёвский и построил крепость Луисберг. Он мечтал основать здесь государство и стать главой мальгашских племен.

Добираться в Мароанцетру сегодня, пожалуй, так же трудно, как и в те времена. Никакого точного пути к портовому городку, закрытому со стороны суши хаосом гор и густым тропическим лесом, нет. Попасть в Мароанцетру можно только двумя путями: от порта Таматаве пешком или в носилках-филанзани вдоль морского пляжа, либо по морю на береговом французском суденышке, ежемесячно совершающем рейс.

Мы выбрали второй путь. И вот однажды знойным январским утром мы очутились на палубе судна и через час отчалили от таматавского мола. Значительно позже мы поняли, что такое отъезд из Таматаве: это путешествие в другой мир. И какой мир! Позади осталась бурная жизнь французской колонии, лихорадочный танец вокруг золотого тельца, позади остались многочисленные доки Таматаве и фешенебельные европейские кварталы Тананариве, железные дороги и поезда, гостиницы, французские вина и французские администраторы.

Как только наше судно покинуло Таматаве, колониальный шум оборвался. С наступлением тишины мир застыл в сказочном оцепенении. Тропическая сонливость овладела всеми: людьми, судном, небом.

Индийский океан сейчас похож на озеро — он небывало спокоен. В воздухе от нестерпимой жары клубится белый пар. Кажется, он проникает даже в человеческий мозг и подавляет всякую мысль. В этом мире стираются события и жизнь утрачивает черты действительности.

Я с моим попутчиком из Польши Богданом Кречмером стою на палубе, облокотясь на перила. В полудремоте смотрим на затуманенные расстоянием горы восточного побережья.

— Сегодня ночью будет шторм, — говорит кто-то по-французски за моей спиной.

— Может быть, будет, — отвечаю нехотя, не двигаясь с места.

— Вы тоже в Мароанцетру?

— Да.

— Вы из колониальной администрации?

— Нет.

— Торговля?

— Нет.

— Эксплуатация?

— Да.

— Чего? Леса?

— Нет. Червей.

Мои слова показались незнакомцу неуместной шуткой, и я услышал тихое ворчание. Оглядываюсь. Сзади стоит огромный индус с великолепной черной бородой, одет в белый шелковый костюм. По всему видно, человек состоятельный, умеет пользоваться жизнью. Типичный восточный властелин из кинобоевиков.

— Червей? — недоверчиво переспросил он, и в голосе его послышалось недовольство, а в таких же черных, как и борода, глазах блеснула неприязнь.

— Мы собираем насекомых для музеев. Мы — естествоиспытатели, — поясню я более учтиво.

— Господа не французы?

— Нет.

— Немцы?

— Нет. Поляки.

— Ах, поляки! — повторяет индус с таким выражением, точно это для него радостная новость. — И вы собираете насекомых? А это выгодно? И почему вы едете в эту часть света? И, вероятно, в самую глубину тропического леса?

— Нет, не в глубину. В бассейне Мароанцетры есть такая деревня — Амбинанитело, расположена над рекой Антанамбалана.

— Bien, знаю ее прекрасно. Там у меня филиал, склад тканей. Я — Амод, купец из Мароанцетры.

— А я думал... полицейский агент: очень уж вы любопытны.

— Нет, благодарю! — поежился индус.

Мое ироническое замечание, видимо, не доставило ему удовольствия, но любопытства не укротило.

— Амбинанитело — деревня большая, это верно, и там много красивых девушек — рамату, но зачем вам, черт возьми, лезть в такую захудалую дыру?

— Мы надеемся найти там две вещи: редких насекомых и следы Бенёвского.

— Бенёвского? Кто такой Бенёвский? Пропавший соотечественник?

— Да, что-то в этом роде.

Индус вытирает шелковым платком лицо и вздыхает:

— Пожалуй, ночью разразится буря...

Он иссяк, пропала охота разговаривать. У нас тоже.

Уходя, он сказал:

— До свиданья, господа. Встретимся за обедом.

Не встретились. Он ехал первым классом. Мы — вторым.

К вечеру мы причалили к пристани в Фульпуэнте. Во второй половине XVIII века здесь властвовал король Хиави, союзник и почитатель Бенёвского. Теперь здесь властвуют белые владельцы кофейных плантаций. В течение часовой стоянки в порту на наше судно погрузили сотни мешков этих ценных зерен. Таскали их на спинах полунагие мальгаши. Грузчики принадлежат к племени бецимизараков, живущем на большей части восточного побережья острова. Согнувшись, обливаясь потом, они бегут на пароход.

Индус Амод и упитанный француз Тинер, торговец лесом в Мароанцетре, тоже пассажир первого класса, сошли, как и мы, на берег и прогуливаются по пристани, чтобы глотнуть немного воздуха. Я прошу их объяснить мне одно непонятное противоречие. Почему портовые грузчики, которых колонизаторы считают отъявленными лентяями, так хорошо работают.

— Противоречие? — восклицает Тинер. — Здесь нет никакого противоречия! Вас правильно информировали эти мошенники, — Тинер презрительно кивнул в сторону рабочих, — эти мошенники — самый гнусный сброд под луной. Лень этих ничтожеств не поддается описанию...

— И поэтому они так бегают с мешками, — замечаю я.

— Ну, то, что они так бегают с мешками, — невозможно продолжает купец, — совсем другое дело. Это результат гениальной экономической двигательной силы нашей колониальной администрации. Знаете ли вы, господа, что такое подушный налог? Это чудо, это современное заклинание. Он обладает такой силой, что заставил работать даже этих закоренелых бездельников. На нашем большом острове господствовали различные формы рабства, но результаты заставляли желать много лучшего, прибыли оставались слишком низки. В 1895 году мы уничтожили последние следы прежней бездарной системы. Был введен подушный налог, мера совершенная и куда более выгодная для властей, чем все обанкротившиеся прежние формы.

— Смело вы говорите об этом и даже с каким-то особенным энтузиазмом!

— А как же иначе? Взгляните на этих молодых раколов, царов, расафов, сиддицов, и как там их еще! Лентяи, изголодавшиеся бродяги, разве им когда-нибудь приходило в голову взяться за настоящую работу? А теперь — обязаны. Обязаны потому, что на Мадагаскаре каждый без исключения мальгаш старше восемнадцати лет должен платить солидный подушный налог. Не беда, что большая часть туземцев ничего не имеет, кроме лохмотьев на теле, и хроническая нищета заставляет их голодать. Каждый из этих подонков ежегодно должен вносить дань.

— И сколько?

— Примерно столько, сколько составляет ежемесячное жалованье низшего административного чиновника.

— Но ведь это же бессмыслица! Если человек беден и гол, как он будет платить налоги? Всякому известно: из пустого сосуда ничего не нальешь.

— Ничего подобного! На Мадагаскаре нальешь! — зло смеется Тинер. — Колониальные власти указывают мальгашу правильный путь: иди к белому колонисту на рудники или плантации, прими все его условия — и заработаешь необходимые для уплаты налога деньги!

— И мальгаш идет? Не упрямится?

— Пусть попробует! Если он не внесет налога — тяжело поплатится за свое упрямство. Колониальный закон приговорит его к тюремному заключению на год, а то и больше, и там он будет работать принудительно и без всякой оплаты. Благословенные последствия реформы вы сами видите здесь в Фульпуэнте: грузчики усердно таскают на пароход мешки с кофе, чтобы заработать на уплату налога.

— И что же, у мальгашей нет выхода из этого заколдованного круга?

— К счастью, нет! В том-то и дело, что нет. Найдись он, колония обанкротилась бы. Без притока прибылей от подушного налога колония не может суще-

ствовать. Этот налог — основной доход в бюджете администрации колонии, другие прибыли по сравнению с ним ничтожны. Даже те налоги, которые вынуждены платить мы, купцы, хотя для нас они очень чувствительны.

— Правда! — подтверждает индус Амод. — Но коллега забыл, что подушный налог имеет еще одну хорошую сторону: он заставляет туземцев работать у колонистов. Без их труда белые плантаторы и владельцы рудников прогорели бы, а вместе с ними и мы, купцы.

— Мальгаши, — подчеркивает с достоинством Тинер, — должны пройти такую жесткую школу труда, прежде чем сумеют принять нашу цивилизацию.

— Жесткая школа труда, — замечаю я, — это значит работать и ничего взамен не получать?

Тинер делает рукой резкое, недовольное движение:

— Ничего не получать? А разве налоги не обращаются в добро прежде всего для самих мальгашей? Ведь их жизненный уровень повышается соразмерно с общим развитием колоний! Для их благосостояния созданы железные дороги, автострады и автобусы; для них строятся многочисленные школы, для них организуется все более густая сеть охраны здоровья. Просто невысказано перечислить все выгоды для туземцев.

И Тинер, богатый оптовый торговец из Мароанцетры, горячий поклонник Мадагаскара, с гордостью наблюдает за работой туземцев в Фульпуэнте.

Среди грузчиков появился Ракото. Он только что уложил мешок с кофе в бункер судна и мчится за новым. Ракото девятнадцать лет, у него лицо веселого сорванца, он любит пошутить. Мы останавливаем его:

— Эй, Ракото, стой! Возьми папиросу!

Ракото послушно останавливается, он рад угощению. Папиросу прячет за ухо.

— Ты когда-нибудь ездил в автобусе?

Нет, Ракото еще не ездил в автобусе.

— А в гостинице Фумароли был?

Ракото, разумеется, никогда не был в большой гостинице в Тананариве и ни в какой другой гостинице острова. Хотя гостиницы построены на деньги с его налогов, но в них живут колонизаторы, а мальгаши только прислуживают им. Ракото не принадлежит и к тем привилегированным обслуживающим мальгашам.

— Читать умеешь?

Нет, Ракото не умеет читать, он хохочет от одной мысли об этом. В местности, где он живет, нет школы. Коричневый грузчик с беспокойством поглядывает на стоящий неподалеку большой деревянный склад с окошком. Он порывается бежать. Показывает на склад:

— Вазаха смотрит!

Вазаха — это белый человек. Мы втискиваем в потную ладонь его целую пачку папирос «Голуа».

— Стой еще секунду, стой! Скажи, родные у тебя есть?

У Ракото есть семья, жена.

— А дети?

Был ребенок, шестимесячный. Но умер недавно.

— Отчего?

Известно, малярия.

— А что, лекарства не помогли?

Не было лекарств, не получал он никаких лекарств.

Ракото убегает от нас, охваченный паникой. Причиной внезапного страха был не вазаха, дежуривший на складе, а мы сами: Ракото испугался неожиданного подарка — целой пачки папирос. Суеверный мальгаш не понимает такой щедрости. Он подозревает опасное колдовство. Быть может, чужие вазахи хотят опутать его душу? Быть может, белые — мпамосавы, злые чародеи, навязали ему такой щедрый подарок, чтобы покрепче усыпить его бдительность? О, Ракото не даст себя одурачить! Ракото осторожен, проницателен, бдителен! Он бросает на нас враждебный взгляд и со сдавленным стоном на устах и с пачкой папирос в кулаке убегает что есть мочи. Он бдителен!

Невольно напрашивается вопрос: когда же Ракото прозреет и бдительность свою направит по верному пути — на настоящих врагов? Пока что благодаря современному чуду, по выражению купца Тинера, в виде подушного налога ободранный, нищий Ракото совершает огромный, непосильный подвиг. Деньги, которые он отдает, приводят в движение громадную колониальную машину, а дешевый труд его рук обеспечивает благополучие не только чиновников, но и колонизаторов. Ракото — известный лентяй!

* * *

Индус Амод был не прав. Ночью буря не нарушила тишины. Мы плаваем в собственном поту на мокрых простынях. На следующий день Индийский океан был так же спокоен и гладок, как и до сих пор. В этот день мы вошли в порт острова Сент-Мари. Остров оваян запахом гвоздики, деревья которой здесь растут повсюду, и воспоминаниями об одной из самых бурных страниц в истории человечества.

Сент-Мари был в течение XVII и в начале XVIII века островом европейских пиратов. Изгоняемые из американских вод, они переносили свой промысел в Индийский океан. В 1700 году морские пираты достигли огромного могущества, и богатые флотилии восточно-индийских компаний всецело зависели от их милости. Жертвами пиратов были не только европейские суда, ведущие торговлю с Индией и архипелагом коренных островов, — разбойники так же рьяно действовали у выходов Красного моря и Персидского залива. Здесь они охотились за арабскими, персидскими и индусскими купцами, а вблизи Мадагаскара захватывали много рабов для продажи в других частях света.

После кровавых набегов пираты возвращались на остров Сент-Мари отдыхать и кутить. Здесь создавалась какая-то дьявольская республика разбойничьей братии, которая придерживалась нескольких строгих правил своеобразного *savoir vivre* (уметь жить). В иные годы на острове находили приют до тысячи пиратов всех морских национальностей, но главенствовали англичане. Бесшабашные пьянки часто кончались повальной резней. Единственное в своем роде скопище существовало примерно до 1720 года, пока объединенная экспедиция военных кораблей европейских государств не положила конец могуществу вырожденцев. Многих уничтожили, иных прогнали.

Такое огромное сборище пиратов на острове не могло не повлиять на судьбы Мадагаскара. Когда разбойников окончательно прогнали с Сент-Мари, часть беглецов двинулась на большой остров. Здесь у мальгашей уже укрывалось много бандитов, пресытившихся награбленным добром. Они вступали с туземцами в родственные связи, деспотически вводили свои порядки и созда-

вали династии своеобразных царьков. Все жестокие обычаи своего прежнего существования пираты насаждали теперь среди мальгашей.

Даже через столетия пираты играли немаловажную роль в жизни Мадагаскара. Бенёвский заключал союзы с их потомками, так называемыми «зана малата». Селились они главным образом на восточном побережье острова, и этим можно объяснить довольно светлый цвет кожи у многих мальгашей племени бецимизараков.

Давно отшумевшие бури! Сегодня островок Сент-Мари приветствует пришельца пряным запахом гвоздики с туземных плантаций; а коричневые лица отпрысков племени бецимизараков озаряет кроткая улыбка.

На четвертый или пятый день путешествия мы высадились в Мароанцетре. Маленький сонный городок, резиденция шефа дистрикта,[275] дремлет под сенью раскидистых манговых деревьев. Городок расположен в устье реки Антанамбалана, у залива Антонжиль. Несколько десятков деревянных лавчонок принадлежат индийцам и китайцам. Несколько десятков купцов-оптовиков — французы и креолы из Рениона. Остальные жители — мальгаши племени бецимизараков. Городок лежит в болотистой долине, и все население болеет малярией.

* * *

Я поступил неосмотрительно, рассказав индусу Амоду о своем намерении искать следы Бенёвского. Французы в Мароанцетре — народец подозрительный и склонны к преувеличениям. Они решили, что мы затеваем какие-то козни против французской колонии. Вбили себе в голову, что нас интересует деятельность Бенёвского потому, что Польша хочет заявить права на Мадагаскар как на свою колонию. Какая чепуха! Но когда мы стали готовиться к экспедиции в глубь острова, нас на каждом шагу в Мароанцетре подстерегали всевозможные препятствия. Даже повара-мальгаша, необходимого в таком путешествии, мы не могли найти. Пребывание здесь Бенёвского не оставило никаких следов. Однажды мы с Богданом Кречмером отправились за город. Прошли несколько километров к устью на диво могучей реки Антанамбаланы. В старых географических картах указано, что на этом месте некогда находилось селение и форт Луисберг. Сегодня волны Индийского океана глухо бьются о песчаный пляж, такой пустынный, словно здесь никогда не ступала нога человека, и извечный ветер тихо шумит в иглах одиноких деревьев казуарины.

Когда мы возвращались обратно, я невольно вспомнил Ракото, молодого грузчика из Фульпуэнте. Вот идет ремонт плотины. Полтора десятка заключенных работают под наблюдением стражника с ружьем. Можно предложить ему папиросу и поговорить с узниками? Стражник разрешает. Большинство осуждено за неуплату налогов, остальные — за всякие мелкие прегрешения. Врожденного юмора они не потеряли. Смеясь, намекают, что тоже не прочь покурить.

Мы нашли, наконец, повара, пожилого мальгаша по имени Марово. Предприимчивый креол из Мароанцетры взялся за солидную плату довести нас на своем небольшом грузовике до Амбинанитело. Туда ведет единственная дорога, порядочно заболоченная на всем тридцатикилометровом пути.

В день отъезда к нам явился некий бецимизарака с просьбой подвезти его.

Он — учитель Рамасо[276] из Амбинанитело. Оказывается, там есть маленькая школа. Мы, конечно, охотно соглашаемся, хотя грузовик порядочно перегружен. Рамасо немногим больше тридцати лет. Одет он тщательнее других соотечественников. У него очень темная коричневая кожа и выразительный взгляд. Глаза черные, как у всех мальгашей, спокойные, интеллигентные, вызывающие доверие. Рамасо необычайно вежлив, но без тени угодливости.

— Я не займу много места, — говорит он с улыбкой, показывая на свою небольшую фигуру, — я легкий.

Рамасо щеделушен и худ. Чувствуется, что в его доме не густо. Однако он пользуется почетом. Провожают его трое мальгашей с торжественным видом. Прощаясь, они выказывают ему всяческое уважение.

— Это, вероятно, ваши родственники, — говорю я, когда мы двинулись.

— Нет, не родственники.

И тут же, боясь показаться неучтивым, объясняет:

— Это мои товарищи.

Необычное в устах мальгаша слово заставляет быть любопытным:

— Какие товарищи?

— Товарищи... общих убеждений.

Я стараюсь разгадать выражение его лица, но он устремил неподвижный взгляд вдаль и смотрит на дорогу.

— Вазаха естествоиспытатель? — спрашивает он немного погодя, желая, вероятно, перевести разговор на другую тему.

Мы едем по раскинувшейся жаркой долине, орошаемой частыми дождями. Природа блещет райским великолепием; среди зелени апельсиновых рощ, хлебных деревьев и папай — дынных деревьев мелькают тростниковые хижины на сваях. Утренний воздух наполнен гомоном птиц.

В той части долины, которую мы проезжаем через час, происходила первая битва, решившая участь Бенёвского в борьбе за власть. Сафиробаи — многочисленное племя, заселявшее в то время эти места, отклонили все условия выгодного союза и объявили Бенёвскому войну не на жизнь, а на смерть. В половине пути до Амбинанитело расположена деревня Маниина. Вероятно, неподалеку от этого места Бенёвский переправил свои отряды через реку, ударил с трех сторон на укрепленный лагерь вождя Махертомпа и нанес ему чувствительный удар. Последующие стычки, происходившие в верховьях реки Антанамбалана, заставили туземцев бежать на северную часть острова. Рисовые поля вблизи Луисберга достались самбаривам, верным союзникам белых. Когда впоследствии раскаявшиеся сафиробаи запросили мира и вернулись, Бенёвский отдал прежним владельцам рисовые поля, простиравшиеся на правом берегу реки.

— Приближаемся! — прервал мое раздумье Рамасо.

Мы проехали большую часть приморской долины; виднеющиеся на горизонте горы придвинулись ближе. Перед нами появилась внушительная крутая возвышенность, соединенная боковой цепью вершин с отдаленными высокими горами. Дорога вьется между подножием горы и рекой. За следующим поворотом перед нашими глазами открылся великолепный вид на новую плодородную долину, со всех сторон окруженную горами, с деревней посреди рисовых полей.

— Амбинанитело, — показывает Рамасо.

— Долина Здоровья Бенёвского, — говорю я, пытаюсь скрыть волнение.



Учитель Рамасо



*Туземцы несут белого человека,
читающего книгу. Так мальгаиский
скульптор представляет себе
белого колонизатора*



Скульптура матери с ребенком, сделана неизвестным художником из племени антадрав на юге Мадагаскара

Старый Джинаривело

Есть в жарком поясе нашей планеты уединенные уголки, где, кажется, всегда царит весна и вечно юная улыбка никогда не покидает людей и природу. Красота этих радостных мест — неизгладимая, неувядаемая. Восхищение ими никогда не ослабевает.

Бенёвский открыл над рекой Антанамбалана долину Здоровья. Красоты долины поразили его, и он на некоторое время остался там жить. Все, кто ни побывал в долине Амбинанитело, как зачарованные восхищаются ею. И по сей день она считается самым красивым уголком на земном шаре.

Большие синие бабочки гордо парят в воздухе, и в их сверкающих крыльях отражается сияние неба. В других местах люди науки назвали их оризабус, но здесь сверкающие воздухоплаватели не имеют никакого мудреного прозвища. Туземцы считают их важными, добрыми духами лоло, стерегущими благополучие и счастье долины.

Две другие могучие, непобедимые и божественные силы сковывают очаровательную долину и держат в руках ее судьбу, то благословляя, то накликавая бедствия.

Первая — огромная, пересекающая долину, капризная река Антанамбалана, прошлое которой славно, а берега живописны. Вторая — дикие горы. Они опоясывают со всех сторон долину и покрыты тропическим лесом. Горы дерзкие, великолепные, непроходимые, безлюдные, таящие всякие диковины. Как зловещие призраки, стоят они вокруг и ревниво охраняют долину от остального мира.

В долине ведут полусонную жизнь около тысячи мальгашей племени беци-мизараков. У них есть небольшие рисовые поля, расположенные вокруг селения, и множество духов предков, которых они глубоко чтут. Люди они скромные и кроткие. К морю в Мароанцетру ходят редко. Существованию своему в долине они обязаны, вероятно, Бенёвскому. Во время войны он привел сюда и поселил их предков, а своих союзников — самбаривов.

В долине Амбинанитело свыше тысячи гектаров плодороднейшей земли.

Однако она не привлекает европейцев. Амбинанитело расположена слишком далеко от великих магистралей мира. История рассказывает, что только однажды и ненадолго прибыла сюда большая группа европейцев. Это было тогда, когда Бенёвский построил здесь крепость Августа и лагерь для отдыха.

Теперешние жители долины не привыкли к белым людям и сторонятся их. Они пляшут при лунном свете, чтут своих предков, верят в злых духов, регулярно выплачивают французам налоги и не любят белых. Когда белый человек появляется в деревне, он вызывает шумное оживление среди молодежи и тихое беспокойство у стариков. Собаки жалобно скулят.

— Вы привезли с собой много вещей! — в грустном раздумье говорит Джинаривело, коричневый старик с печальными глазами и привлекательным лицом.

— Да! — отвечаю я с самой непринужденной улыбкой. — Я приехал к вам надолго. Вы мне должны рассказать все, что знаете о Бенёвском.

Но старик смущенно смотрит на меня: он не понимает, чего я хочу; он ничего не знает о Бенёвском, он не помнит такого вазаху.

— Как это не знаешь? Во времена дедушки твоего дедушки он прибыл сюда к вам как вождь-победитель, и вы избрали его своим ампансакабе — великим королем. Главный его лагерь был в Мароанцетре, но здесь, в долине Амбинанитело, он тоже жил.

Нет, старик Джинаривело ничего не знает об этом человеке и никто в долине не знает. Джинаривело хочет увильнуть от неприятного разговора. Напряженно смотрит вдаль, на широкую реку, как бы взывая к ней о помощи.

— Река!.. — смеюсь, не уступаю я. — Прежде чем подружиться с Бенёвским, вы пытались уничтожить его, сбрасывая в реку целые деревья страшного тангуина; его плодами вы хотели отравить воду.

Нет, Джинаривело ничего этого не помнит. Он, видно, и в самом деле не знает истории Бенёвского. К тому же ему надоел разговор со мной. Он пропускает мимо ушей горячие заверения, что я прибыл сюда как искренний друг и хочу подружиться со всеми жителями долины. Джинаривело не нужна моя дружба, он хочет только покоя, хочет отдохнуть в своей хижине. Он беспомощно улыбается, но в его улыбке чувствуется презрительное превосходство.

Мы медленно шагаем по удивительному лугу у самого берега реки. Вместо травы луг устилает густой ковер необычайно чувствительной невысокой мимозы. От малейшего прикосновения ноги перистые листочки судорожно свертываются, веточки резко сгибаются и даже кусты, встревоженные прикосновением, припадают к земле как подкошенные. За нами остается широкая полоса омертвевших, как бы присевших на корточки мимоз. Растения инстинктивно защищаются от чужого враждебного прикосновения.

Джинаривело сосредоточил все свое внимание на мимозах. Самозащита этих растений от ноги человека подсказывает ему желанное сравнение. И вот Джинаривело уподобляется притаившейся мимозе, он хочет чувствовать себя растением, хочет проникнуть в его душу. Сознание родства прибавляет ему сил, увеличивает упрямство. Против чужого нахала рождается союз туземца с похожим на него растением. Джинаривело поднимает голову и становится надменным.

Энергичным движением я срываю несколько веток мимозы и приношу в хижину, отведенную мне под жилье Мимозу ставлю в стакан с водой, а стакан

ставлю на стол.

Минуту спустя вода проникает в клетки растения и сламывает его упорство. Ветки снова ожили, поднялись, стали упругими; листья широко и дружно развернулись.

Джинаривело видит, как растение поддается, и не может оторвать взгляда от странного явления. И действительно, странно: мимозы похожи сейчас на ручных зверенышей. Они послушны и готовы принимать пищу из рук белого человека в его собственной хижине. А ведь только что они были замкнутыми и отталкивающими.

Джинаривело оттаял. Он потерял в растении союзника и впервые взглянул на меня дружелюбней.



Старик Джинаривело

Отравленный петух

Деревня Амбинанитело большая, богатая, чистая, стоит на белом, хорошем песке. Она расположена в центре долины, окружена рекой и рисовыми полями. В самой деревне растут кокосовые пальмы. Пальм множество, пальмы всюду. Деревня, собственно, сплошное зеленое урочище, большая роща этих чудесных деревьев — друзей человека, красивых и полезных. Они не задерживают целиком горячее солнце, а пропускают вниз такое количество лучей, какое необходимо для здоровья и счастья людей. Весь день с растущих высоко листьев падает на землю тень — таинственные знаки с неба. Они как бы олицетворяют жизненные пути людей, находящихся под покровительством пальм. Пути эти всегда светлы и находятся под счастливой звездой.

Мальгаши живут в хижинах, построенных из бамбука, тростника и пальм. Хижины эти высоко подняты на сваях и продуваются свежим воздухом. В Амбинанитело нет каменных домов, здесь в них не нуждаются. Жилища расположены довольно далеко друг от друга согласно извечному мудрому мальгашскому обычаю: сосед соседу не должен заглядывать внутрь хижины, но может перекинуться с ним словом и пожелать издали доброго утра. На расстоянии отношения всегда искренни и хорошие пожелания всегда сбываются.

Но сегодня из хижины в хижину передаются нехорошие предчувствия, звучат тревожные слова. Приехал чужой, белый человек, хочет жить поблизости, в деревне. Чем это грозит? Чужой вазаха уверяет в своей дружбе, но можно ли ему доверять? А если и можно, не вызовет ли присутствие иноземцев неудовольствие духов и не навлечет ли беды на долину? В таких исключительных случаях только скрытые силы могут дать исчерпывающий ответ.

Итак, вскоре после приезда в Амбинанитело у нашей хижины собралась вся деревня. Женщины ритмически хлопают в ладоши и что-то поют, а какой-то пожилой туземец произносит торжественную речь, в которой часто повторяется слово вазаха. Сначала мы думали, что они дружески приветствуют нас, гостей, тем более что настроение собравшихся показалось нам хорошим. Детишки радовались и носились, а молодые девушки то тут, то там разражались звонким смехом.

Все это происходит на наших глазах, тут же на дворе, между нашей хижинкой и домом старосты, шефа кантона.[277] Увы, старосты нет дома, он объезжает свой район. Мы стоим на веранде, со всех сторон окружающей нашу хижину, и с любопытством наблюдаем за зрелищем. Однако через некоторое время мы поняли, что это совсем не дружеское приветствие.

— Ого, что это? — шепчет Кречмер, толкнув меня в бок. — Смотрите, какими серьезными стали их лица.

— Как жаль, что мы не знаем языка, — сокрушаюсь я.

— Может быть, позвать повара Марово, он нам объяснит.

— А где он?

Он неподалеку, в кухоньке, построенной из тростника тут же за нашей хижинкой. Приведенный Богданом, Марово становится рядом, смотрит, слушает.

— Скажи, что они поют?

Лицо Марово тупеет, словно он не умеет сосчитать до трех.

— Не знаю, не понимаю, — бормочет он. И хотя он неплохо владеет французским языком, сейчас язык ему не повинуется. — Ничего не лезет в голову.

Не понимаю.

— Они поют на наречии бецимизараков?

— Не знаю... Я плохо слышу... Кажется, поют...

— Но что поют?

— Откуда я знаю!

— Почему ты говоришь неправду, Марово? Ты что-то скрываешь.

Ничего нельзя выжать из повара. Бессмысленная улыбка плотно отгородила его от нас.

— Новая разновидность мимозы, — кисло говорю Богдану.

— Внимание! — шепчет мой товарищ.

Картина во дворе меняется. Среди медленно танцующих людей образовался небольшой круг. Туда впустили петуха. Перепуганная шумом птица бросилась наутек. Но куда бы она ни сунулась, тут же людская стена преграждала ей путь. Тогда петух попытался взлететь, но толпа поймала его и снова потащила в круг. Удирать было некуда.

— Боюсь, здесь что-то неладно! — говорю я Кречмеру. — Эта возня не нравится мне. Петух явно похож на какой-то символ.

— А именно?

— Если я не ошибаюсь, они готовят что-то вроде суда над нами.

— Суда?

— Да, божьего суда.

— Вот так история была бы! — радуется Кречмер.

— Я не разделяю вашего восторга, Богдан! Мы ведь должны с ними жить в полнейшем согласии. А такие божьи суды не способствуют сердечным отношениям.

— Да это же мимолетные капризы!

— Разумеется, мимолетные... Интересно, куда делся учитель Рамасо? Попрощался с нами у въезда в деревню и исчез. Сейчас бы он весьма пригодился! Что будет, если божий суд обернется против нас? А наверняка так и будет!

— Головы нам не снимут.

— Нет. У них есть лучшие способы отделаться от нас. В этой стране тысячи ядовитых растений и очень легко что-нибудь подсыпать в рис. Вот, например, несколько волосков бирманского бамбука...

На Мадагаскаре существует жестокий и верный способ избавиться от неугодных людей. Почти невидимые волоски обыкновенного бамбука, предательски подброшенного в пищу и проглоченные, не перевариваются, а всасываются в стенки желудка, и со временем там образуются гнойные язвы. Через несколько месяцев отравленный умирает в страшных муках. Ясное дело, после такого продолжительного срока обнаружить убийцу невозможно.

— Надеюсь, — недоверчиво улыбается Богдан, — времена старой мегеры королевы Ранавалоны миновали. Ведь она первая, кажется, заставила жителей целых селений принимать яд тангуина.

— Да, тогда тысячи жертв отправились к праотцам.

— Но судов божьих над людьми не было здесь, пожалуй, почти сто лет.

— Официально не было. Но неофициально и в другой, более мягкой форме они существуют по сей день. Да, я не ошибся! Смотрите, что делает этот старик!

Прежний оратор заговорил снова. В руке он мял шарик вареного риса и по-

сыпал его каким-то серым порошком. Теперь я знаю, они хотят отравить петуха тангуином и по его поведению судить о наших замыслах. В голове у меня мелькнуло несколько сногшибательных проектов, как помешать им, но ничего путного я не придумал.

Петух голоден. Набрасывается, как дурак, на рис и с аппетитом клюет на свою и нашу гибель. Вдруг он останавливается и замирает, будто в глубоком раздумье. Потом срывается, быстро пробегает несколько шагов, отчаянно бьет крыльями, из его горла вырывается несколько хриплых звуков, и петух, точно пьяный, падает на землю. Он вздрагивает все реже и затихает. Издох. Яд подействовал мгновенно. Тайные силы высказались не в нашу пользу. Старик тронул птицу палкой и загробным голосом произнес:

— Маты... Неживой!

Я стараюсь все обернуть в шутку и с мнимым возмущением кричу тому, кто готовил рис:

— Куйон! Ты всех нас обманул! Этой порции яда хватило бы для вола.

Но он далек от шуток. Показывает на небо, точно не он, а высшие силы решили исход. И вся деревня, кажется, ему поверила: люди избегают наших взглядов и расходятся очень серьезными.

Петух еще дергался, когда я послал нашего повара к учителю Рамасо с просьбой немедленно прийти. Рамасо пришел, но, увы, поздно. Жители деревни уже разошлись. Остались только мы и петух. Впрочем, он знает, что произошло. Я обращаюсь к нему со всей серьезностью:

— Нельзя ли объяснить жителям Амбинанитело, что мы приехали сюда с наилучшими намерениями? Мы ведь хотим жить с ними в дружбе, хотим, чтобы они считали нас благожелательными гостями, никому не хотим мешать, напротив.

Рамасо, задумавшись, выпячивает губы и шумно втягивает воздух.

— Я могу объяснить, но смогу ли убедить их — неизвестно, — говорит он.

— А авторитет учителя?

Рамасо показывает губами на петуха:

— Вот наивысший авторитет: они все еще слепо верят в силу злых духов.

— Петух получил слишком большую порцию тангуина, — вот тайна их духов.

— Несомненно. Но они объясняют это иначе...

Меня интересует, что в эту минуту думает о нас Рамасо. Может быть, и он настроен к нам неблагоприятно? Учился он в местной школе, затем в лицее Le Mure de Vilers, стало быть для мальгашских условий человек он образованный. Но все же, может быть, и у него есть причины не доверять нам?

Я спросил его:

— А вы сами, Рамасо, верите нашему честному желанию дружить?

Он озадачен таким вопросом. На лице его появилась незаметная, растерянная улыбка.

— Я вам верю, — ответил он глухим голосом. И тут же добавил: — Верю безусловно.

— И считаете, что мы должны здесь остаться и работать?

— Пожалуй, нет, — говорит он искренне.

— Нет? — повторяю удивленно.

— Пожалуй, нет.

Наступает неловкое молчание. Немного погодя Рамасо прерывает его, объясняя:

— Зачем подвергать себя неприятностям?..

— Неужели, — выпаливает Кречмер, — нас могут отравить?

— Вы сразу готовы употребить самые сильные выражения, — слегка подсмеивается Рамасо.

Нет, я не собираюсь отступить. Высказываю непоколебимое намерение остаться здесь, пока жители деревни не признают нас. Я прошу учителя в этом помочь. Рамасо охотно соглашается и тут же зовет Марово. Он велит повару усиленно следить за нашей едой. Уходя, Рамасо задержался у лежащего петуха и покачал головой:

— Вот в чем сила духов. Они явно высказались против вас. Удастся ли вам преодолеть их влияние... Это уже не простое тело петуха, а священное.

Когда мы остались одни, Богдан нетерпеливо замахал руками:

— С ума можно сойти! Ситуация из какой-то нелепой оперетты. Еще понятно отношение к нам примитивных туземцев, но почему такой образованный человек, как Рамасо, хочет вытурить нас отсюда, — этого я понять не в состоянии.

— Я тоже.

— Здесь скрывается какая-то тайна.

Призрачный страж в виде мертвого петуха, лежащий перед хижинкой, начинает действовать на нервы. Мы задумались, как организовать оборону.

— А что, если бы этот прохвост воскрес! — замечаю я.

Богдан удивленно смотрит на меня, не понимая, в чем дело.

— Ну, просто сделать из него чучело. Символ против символа.

Мой товарищ с энтузиазмом подхватывает эту идею и немедленно приступает к ее реализации. У Богдана страсть врожденного естествоиспытателя, поэтому он и поехал со мной на Мадагаскар. Руки у него чудодейственные, и он проник во все тайны препарирования шкурки. Мы никогда не предполагали, что честную способность его рук когда-нибудь используем для борьбы с божьим судом. Богдан достает из чемодана инструменты, берет мертвого петуха и после часовой работы показывает, клянусь, самого что ни на есть живого петуха. Грудь гордо выставлена, в стеклянных глазах сверкает воинственный блеск. Петух ожил.

Наступил полдень. Я прикрепил петуха проволокой к забору около нашей хижинки, рядом с главной дорогой, чтобы все жители могли его видеть. Увидели. Останавливаются, удивляются, рассуждают.

Знают, в чем дело. Знают, что вазаха набил птицу. Но логические доводы для них не так важны. Главное, то, что непосредственно возбуждает их фантазию, что говорит им само явление. А явление вполне понятное: птица была мертва; по воле духов валялся дохлый, никудышный петух; и вот теперь стоит как живой, точно проснулся: тело пружинит, голова задрана, глаза блестят. Чего доброго, еще запоет. А может, он показывает чужую мощь, неведомую жителям долины? Деревня уже не так уверена в себе и в приговоре духов.

В полдень адски палит солнце, дороги опустели, все живое спряталось в тень. Только петух остался на солнцепеке, и это ему сильно повредило. Кожа его стала быстро сохнуть и внутри что-то позорно испортилось. Петух утратил

свою гордость и стал отчаянно плутоватым. Шея его кокетливо изогнулась. А во втором часу дня она вдруг вытянулась и затем согнулась в дугу; петух явно паясничал. Первые же прохожие, выглянувшие после полудня, не смогли удержаться от смеха.

В три часа петух взбесился: он вылупил в толпу один пьяный глаз и широко раскрыл клюв, будто в безумном и дьявольском хохоте. Это уже не петух: это какой-то повеса, насмешник. Он смеется над всеми невидимыми силами мира, глумится над всем святым, издевается своим раскрытым клювом над всеми приговорами и отравленным рисом. Он издевается над Мадагаскаром, над Европой.

Он увлекает жителей деревни. В Амбинанитело все дрожит от хохота. Люди надрываются от смеха. Смеются все коричневые, смеются двое белых. При таком страшном порыве веселья и безумном замешательстве злой приговор божьего суда бессилен, сходит на нет. Развеялись чары, которые должны были прогнать нас из деревни.



Хижины построены на определенном расстоянии друг от друга согласно мудрому мальгашскому обычаю



Среди танцующих образовался круг

Насекомые в плену

В борьбе за существование сильный побеждает слабого, но слабый не обязательно должен погибнуть. Газель не безоружна. Чутье у нее острее и ноги резвее, чем у льва. Газель может удрать. Больше того, газель должна удрать. Предусмотрительная природа дала всем без исключения созданиям могучее и безотказное оружие: инстинкт самозащиты.

И все-таки однажды природа совершила ошибку: нарушила железный закон, отобрала инстинкт. Природа наделила некоторых насекомых трагической тягой к свету. Это ее капризная выходка, какое-то безумие. Стихийное стремление ночных насекомых к свету — точно сумасшедший порыв, он совсем не нужен для их существования; он призрачен и упоителен, неудержим, ненормален, губителен.

В первый вечер нашей жизни в Амбинанитело мы повесили на наружной стене хижины, в которой мы поселились, большую простыню. Перед ней поместили громадный заколдованный глаз — блестящую трехсотсвечовую бензиновую лампу. А напротив — черная пропасть леса, непроглядная ночь, буйная, волнующая, душная. Мы ничего не видим, только светлый круг от лампы, но нас зато видит вся долина. Яркий свет лампы видят рисовые поля, плодоносящие рощи, болота, но прежде всего — лесная чаща. Ее края и середина амфитеатром взбираются на склоны гор и находятся под магическим воздействием света.

И вот летят ночные бабочки, прялки, землемеры, жуки, кузнечики, лесные клопы и множество других насекомых, всевозможный ночной сброд. Сначала десятки насекомых, затем сотни, тысячи, а потом уже нашествие, тучи.

Некоторые насекомые как будто еще ведут с собой борьбу: они беспокойно кружатся вокруг лампы, желая избежать ее колдовства. Напрасно: в конце концов усядутся на простыню. Уже сидя, они еще трепещут крылышками. Напрасно — не улетят. Других уже издали опутал свет. Летят из темноты прямо на белую материю, тут же садятся, точно отуманенные наркотиком, и уже не двигаются. Простыня превращается в зоологический атлас. Это смотр ночных насекомых, населяющих соседний лес. Смотр внушительный.

Только теперь нам стало понятно все тропическое богатство фауны Мадагаскара. В Европе невозможно получить и десятой доли такого улова. Богдан — страстный и беспокойный зоолог. Он носится как угорелый. Щеки его горят. Это его великий день, до нас здесь никто не собирал насекомых. Три четверги добычи — новые виды, до сих пор никому не известные.

Богдан — жрец естественных наук и кровожадного божества, он без конца убивает, но притом сам так же зачарован, как и его жертвы. Его пленяет мысль, что далеко-далеко, туда, где течет холодная Висла, он отвезет щедрые дары этой ночи.

В какой-то момент хлынули на лампу несколько десятков тысяч комаров. Они буквально заполнили воздух, но нас не трогают: это самцы, среди них нет ни одной злобной кусающей самки. Какой же инстинкт объединил эту однополую тучу и вытолкнул в пространство? Нет времени для размышлений. Наше внимание приковывает новое явление. Пауки не поддаются влиянию света, эти подлые разбойники пользуются слабостью других. Недалеко от лампы, в полумраке, они протянули свои сети. Вот стремящаяся к свету ночная бабоч-

ка попала в паутину и не может выбраться. Паук не набрасывается на нее сразу. Он старается быстро опутать ее новыми сетями. Ночная бабочка в отчаянии собирает силы и в последний миг освобождается.

Но тут происходит странная вещь. Спасшаяся бабочка не улетает испуганно, не проявляет никакого страха. Она взлетает и тут же садится на белую простыню. Она стала нечувствительной к ужасу смерти. Чары света сильнее и значительнее гибели.

Откуда-то из глубины леса объявилось одно из чудес природы: выроилось гнездо термитов. Все больше их прилетает к нам. Мы различаем крупных самок и более мелких самцов. Их тоже привлек свет. Но он не отуманил их, не приковал. Термиты беспокойно носятся по простыне и чего-то ищут, тревожные, подвижные, удрученные. Вот именно — удрученные самым буйным законом своей жизни, инстинктом размножения. И даже свет их не сдерживает. На наших глазах у них отпадают крылышки, брачный наряд готов.

Вблизи слышен приглушенный шепот и виден блеск многих глаз. Наша лампа привлекла жителей деревни.

Из мрака показалась девочка, не больше девяти лет. Она шла медленно, несмело, нерешительно, пока не подошла совсем близко. В ее больших, красивых, широко раскрытых глазах невиданное изумление. Девочка дрожит от волнения. Она поддалась чарам света так же, как насекомые.

Другие двинулись по ее следу, подошли к самой веранде, стали в двух шагах от манящей лампы. Мужчины, женщины, даже маленькие дети, которых приподымают старшие, чтобы они могли увидеть колдовство белого человека. Блестят глаза, сверкают зубы. Стихийный прилет насекомых вызвал страшное любопытство. Они внимательно пожирают глазами каждое движение Богдана. Когда он собирает насекомых в банку с ядом и умерщвляет их, следуют возбужденные замечания и недовольство. Шепот часто вздымается, как бурная волна, и доносятся слова погромче, затем ненадолго наступает внезапная тишина, как будто вся толпа поражена.

Мы чувствуем себя как актеры на сцене перед зрительным залом.

— Что это за слово, которое они так часто повторяют? — спрашиваю у Богдана.

— Не мпакафу ли?

— Правильно, мпакафу. Что оно может означать?

— Может быть, колдун? — догадывается с некоторым беспокойством мой товарищ.

— Снова не хватает нам учителя.

— Ангел-хранитель Рамасо должен поселиться вместе с нами, — пошутил Богдан.

Вдруг какое-то мощное насекомое с громким шумом закружилось в воздухе и затем село. Богомолтисма — один из самых внушительных видов этого типа и один из самых чудовищных хищников. Садясь, богомол встряхивает всю простыню.

Тисма всегда и везде пожирает других насекомых. Но сейчас — глазам не верится — сплошная идиллия: богомол уселся рядом с аппетитной прялкой, почти касаясь ее, — и ничего. Самое невероятное приключение этой ночи, самое непонятное и таинственное явление природы: богомол не схватил сидящую рядом жертву.

Он поднял над головой длинные передние лапы, ошетилившиеся смертоносными шипами, и движение это не лживо — богомол действительно молится. Неподвижный, с поднятой головой, он вперил жадные глаза в лампу и, обессиленный, ослепленный ее блеском, как бы отдает почтительную дань могучему божеству — свету.

Вдруг — что это? Мы затаили дыхание и прислушались. Из ближайшего леса доносится мрачный вой. В темноте слышатся протяжные громкие звуки. Они заполняют всю долину. Заполняют не то тоскливой жалобой, не то просьбой о помиловании.

Это воют лемуры. Воют на наш свет. Свет разбудил их на горных склонах соседнего леса.

Прервав на минуту ночную охоту, я вошел в кухню, где наш повар Марово мыл посуду после ужина.

— Марово, — обращаюсь к нему, — что означает слово мпакафу?

Внезапный ужас появился в его глазах. Он весь помертвел и долго не может опомниться от страха.

— Ну, скажи! — настаиваю дружелюбно.

— Не знаю, я ничего не знаю, — бормочет он дрожащим голосом.

— Марово, не бойся! Не будь ребенком! Скажи, что оно значит.

Но повар твердил одно и то же, что ничего не знает, потом он замкнулся в мрачном молчании и не стал отвечать ни на один вопрос.

На следующий день рано утром он принес нам вкусный завтрак: яичницу, сухарики, привезенные из Тананариве, масло, джем, пучок сладких бананов, ароматный кофе. После завтрака он старательно прибрал нашу хижину, состоящую из одной большой комнаты, смахнул крошки с нашей незатейливой мебели — стола и нескольких грубо сколоченных стульев; затем надел чистую рубаху, стал передо мной и торжественно попросил отпустить его немедленно.

— Вот так сюрприз! — восклицаю я. — Почему так внезапно?

Марово отвечает, что у него страшно болит голова, что в Мароанцетре у него беременная жена, что заболели дети, что ночью ему приснился тесть и звал его и он должен пойти к тестю...

Разумеется, я не соглашаюсь. Кречмер что есть духу мчится к учителю Рамасо и вскоре возвращается с ним. Учитель взывает к совести повара, и это дает желаемые результаты. Марово, все еще с мрачным лицом, соглашается остаться и работать дальше. Для поднятия духа я прибавил ему жалованье.

Теперь туча рассеялась. Только с лица Марово долго не сходила упрямая забота, и на следующий день наше меню уже не отличалось ни вкусом, ни разнообразием, ни изобретательностью.

— Так что означает в конце концов мпакафу? — спрашиваю учителя.

— Не тревожьтесь! — утешает Рамасо. — Это нехорошее слово. Означает — пожиратель сердец.

— Звучит очень романтично!

— Романтично только в вашем европейском понимании. Здесь это воспринимается буквально. Пожиратель сердец — это значит белый колдун, который действительно вырывает сердца и поедает их.

Кроткий, страшный демон

В Амбинанитело мы познакомились с особым миром духов; жители деревни неосмотрительно разместили их повсюду вокруг и тем самым причинили себе немало хлопот.

Всевозможные духи в общем-то не отличаются привлекательностью. Они обитают в животных, деревьях, скалах, в дбрях лесов, но больше всего их кружится в воздухе. Главным образом это духи предков. Настроение у них весьма изменчивое, к людям они редко относятся с приязнью, чаще враждебно; но с ними можно поговорить и поторговаться. Казалось бы, жизнь коричневых людей, питающихся рисом, молоком кокосовых пальм и блеском солнечных лучей, должна быть простой и беззаботной. Нет! Жизнь их сложна, запутана и много трудней, чем жизнь белых людей.

Вот хамелеон. Честнейшее создание в мире. Святая душа, невозможнейший растяпа, невинный пожиратель мушек. Он родственник ящериц, но куда ему до их проворства! Словно в жилах его течет не кровь, а столярный клей: передвигается он медленнее, чем муха, завязшая в меду. Испанская пословица гласит: замеченный хамелеон считается погибшим. Удирать он не умеет. И все же природа снабдила это беспомощное создание самыми необходимыми для жизни органами, чтобы оно не вымерло без остатка. В вознаграждение за малоподвижные лапы хамелеон получил весьма длинный язык, которым он ловит насекомых, не приближаясь к ним. Если насекомые не садятся поблизости, хамелеон постыдно голодает или предпринимает утомительное путешествие на соседнюю ветку. Что и говорить, хлеб достается ему тяжело.

У хамелеона вкусное мясо, поэтому у него много врагов. Он вынужден приспособливаться к окружающей природе. Цвет кожи у него преимущественно зеленоватый. Всем известно: хамелеон меняет цвет; иногда он это делает для того, чтобы надежнее укрыться, но чаще, чтобы выразить свои чувства. Хамелеон чувствует, как художник, и настроения свои передает расцветками собственной кожи.

Беспомощность любит облекаться в личину храбрости, и у хамелеона тоже вид грозный и воинственный. Такое впечатление производит его огромная голова с громадным ртом, который скорее напоминает пасть прожорливой бестии. На голове у него расположены какие-то странные шлемы, фантастические колпаки, торчат шишки, похожие на рога, — все это для устрашения врагов. Однако хищные птицы вскоре обнаружили весь обман и смеются над пугалом. Но страх совсем неожиданно обуял другие существа — людей.

В лесах, окружающих Амбинанитело, живет рангутру. Этот хамелеон, говорят, не больше обычных мадагаскарских хамелеонов, но обладает он якобы страшной, сверхъестественной силой. Демон, вселившийся в рангутру, убивает все живые существа, неосторожно приблизившиеся к его укрытию. С необоримой силой притягивает он летящих в воздухе птиц и пожирает их; заблудившиеся в лесной глуши звери не могут противостоять его могуществу и сами попадают в пасть. Горе человеку, очутившемуся вблизи рангутру! Тайная сила притянет и умертвит его. Рангутру никогда не трогается с места, но нагроможденные под деревом кости его жертв обнаруживают мрачное обиталище.

Вера в рангутру так сильна, что приобрела реальные формы и живет в Ам-

бинанитело, как живут дети и взрослые, как стоят их хижины, как растут бананы, как течет река Антанамбалана. Тропинки, по которым люди пробираются в глубь леса, далеко обходят опасные места. Влияние рантутру проникло даже в селение и навлекло беду на несчастного жителя Амбинанитело — Бетрару.

Мадагаскар — родина более тридцати видов хамелеонов, и путешественник рано или поздно наткнется на эти чудища. Мой хамелеон — великан. Длина его вместе с хвостом около полуметра. Украшают его два ряда светлых пятен на боках, а на носу у него два смешных продолговатых отростка. Я привез его с собой из Мароанцетры и уже в пути полюбил это тихое, несмелое, кроткое животное. Он был хорошим попутчиком.

Земли он не выносит. Когда я положил его на песок, он попытался убежать — помчался со скоростью улитки, пока не достиг куста, затем вскарабкался на ветку и вот уже много дней терпеливо не трогается с места. Когда я перестаю писать и отрываю взгляд от бумаги, глаза наши встречаются, вернее оба моих глаза с его одним; второй глаз независимо от первого самостоятельно обозревает окрестность, с грустью созерцая пляску слишком далеко находящихся насекомых.

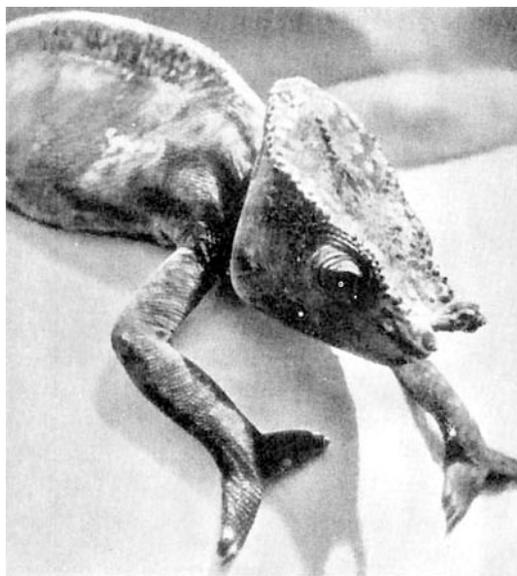
Хочу проникнуть в ощущения жителей Амбинанитело, хочу почувствовать их ужас. Не получается: слишком крепко сидит во мне естествоиспытатель. Не вижу в хамелеоне демона рантутру, не хватает фантазии. Пожалуйста, я могу представить, что предком его мог быть какой-нибудь гигантский ихтиозавр; но мой теперешний хамелеон всего лишь горбатый растяпа, которого можно только пожалеть. Он смирный, удивительно дряхлый, полуокаменевший, может быть даже страдающий и голодный — все, что хотите, но только не страшный.

Как-то утром наступил важный момент: перед хамелеоном уселась муха. Я напряг все внимание и преисполнился доброжелательностью до такой степени, что даже сердце заколотилось. Муха все еще сидит, но хамелеон медлит. Забыл, что ли, сонная тетеря, что у него язык во рту?

Нет, не забыл! Вдруг, точно молния, выскакивает из пасти длинная розовая глиста и так же молниеносно прячется. В мгновение ока мухи не стало: липкий язык уволок ее в пропасть.

Удивительная, непостижимая ловкость! И любопытно, хамелеон продолжал так же неподвижно сидеть, как и сидел. Ничем, ни движением век, ни судорожным глотком он не выдал своего успеха, не проявил интереса к мушиной драме.

Я начинаю постигать. В самом деле, невероятная двойственность уживается в натуре хамелеона. В неподвижном, беспомощном теле внезапный, молниеносный хищный язык — какая-то западня, небывалая, исключительная хитрость, подстроенная природой, предательство почти сатанинское.



*Беспомощность любит облекаться
в личину храбрости. У хамелеона вид
грозный и воинственный*

Яркая смерть хамелеона

Каждое утро на рассвете, когда на горных вершинах сияет уже солнце, а на склонах висит еще густое кольцо ночных облаков, старик Бетрара срывается и совершает свою ежедневную пробежку. Он мчится как безумный через все селение Амбинанитело, чтобы согреть озябшее за ночь тело и выгнать из него хворь. Вот уже тридцать лет он каждый день старается согреть свое тело, но болезни изгнать не может: в нем сидит сам демон рангутру.

Возле моей хижины Бетрара на минуту останавливается, и тогда я вижу, как он страдает Бетрара весь дрожит, дрожит непрерывно ночью и днем.

Сны в долине Амбинанитело имеют силу божественного прорицания. И вот тридцать лет назад Бетраре во сне был дан наказ добыть зуб рангутру. Он не смел ослушаться. Поборов страх, он отправился в лес и действительно увидел на ветке рангутру в образе хамелеона. Как правило, демон рангутру убивает все существа, приблизившиеся к нему. Но на этот раз он не убил человека. Бетрара стащил его на землю, задушил, но, потеряв от волнения силы, тут же заснул. Проснувшись на следующий день, он снова увидел сидящего на прежнем месте живого рангутру. Бетрара в ужасе убежал в селение.

Сны упрямы. Бетрару опять приснился зуб, и на следующий день все повторилось снова: он пошел в лес, задушил хамелеона вторично и без памяти свалился под деревом. Но что поделаешь, упорное животное ожило вместе с Бетрарой. Тогда обезумевший от ужаса человек стал в отчаянии рубить ножом демона. Разрубил его в клочья и на беду себе раздробил в порошок его зубы.

Рангутру убит, но сон не сбился: несчастный безумец зуба не добыл, а только навлек на себя страшную месть духов. С той поры вот уже тридцать лет он непрерывно трясется и без конца взмахивает руками, точно кромсает рангутру. Поглупевший, высохший, как щепка, в лихорадке мчится он через селение, чтобы уйти от наваждения. Бетрара — жертва мести мрачных сил, объект презрения здоровых соседей, пугало для детей.

Он виновник печальной судьбы хамелеона, тихого друга, сидящего скромно на ветке куста возле моей хижины. Однажды Бетрара заметил его и совсем

обезумел. Подскочил и в бешенстве ударил прутом. Я помчался на выручку. Но кулак слишком поздно опустился на буйнопомешанного: он уберег хамелеона от второго удара, но первый оказался смертельным. Хамелеон зашипел от боли, и тело его стало изгибаться. Вероятно, был перешиблен позвоночник. Минуту спустя он как ни в чем не бывало выпрямился, но кожа его, до этого светло-зеленая, быстро стала темнеть и в конце концов совсем почернела. На ветке сидел уже не мой хамелеон, а странный, черный, бросающийся всем в глаза большой кусок угля. Хамелеону уже не нужна защитная окраска: смерть приблизилась в густой черноте.

Оказывается, это был еще не конец. Хамелеон зашевелился, и во мне проснулась надежда. Вскоре он сошел, вернее бессильно сполз с куста, приник к земле и так застыл; это самый скверный признак. Здоровый хамелеон не выносит земли, он удрал бы на ветку. Прошел час без всяких перемен. Затем наступило странное явление. Хамелеон из черного стал розовым, прекрасного розового цвета, как заря, как пышущая здоровьем щека ребенка. Началось с передней части морды, затем перешло на всю голову, потом медленно, незаметно, но неуклонно стало продвигаться все дальше — на затылок, передние конечности. Когда розовый цвет дошел до хребта, голова снова изменила цвет. Она начала краснеть все больше и больше, пока не вспыхнула пурпурным пламенем. На теле умирающего хамелеона розовая волна сменилась пурпурной.

Удивительное, невероятное создание. У него необычной формы тело, странные повадки, о нем среди людей ходят невероятные легенды, он вызывает таинственные болезни и вот даже умирает необычно: умирает пламенно-красного цвета, цвета, который везде олицетворяет бурную жизнь, пламя... Здесь же — смерть.

Смотрю на хамелеона как зачарованный. Проходящие мимо жители деревни смотрят не на него, а на меня. Я для них более любопытный зверь: может, наступила злая година для белого человека и демон рантутру опутал его? А может, вазаха сошел с ума? Все посматривают на меня тревожно, выжидающе, исподлобья.

Перед заходом солнца хамелеон умирает совсем. Нет сомнения, что он кончается. С головы до ног он великолепного красного цвета и таким останется после смерти. Безумный вид смерти: это скорее победная песнь или могучий гимн. Какой-то величественный апофеоз, а не смерть!

Под вечер я пригласил нескольких соседей-мальгашей на стаканчик рому и устроил поминки. Велел им смело пить и веселиться так, как веселюсь я. Пьют, но компании не получается. Пьют мрачно и опасаются подвоха.

— Подвоха нет! — кричу им. — Пьем за красивую смерть хамелеона в красках.

Это совсем непонятно, тревожно и тем более подозрительно. Соседи пьют и молчат. Им хочется знать подлинную причину моего веселья. Наконец старый Джинаривело — тот самый, который несколько дней тому назад на берегу реки заключил враждебный для меня союз с мимозами, спрашивает:

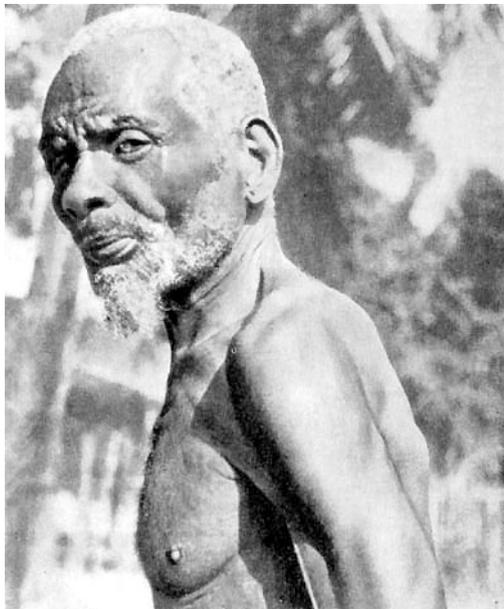
— А на твоей родине хамелеоны никогда не умирают пурпурными?

— Не умирают, потому что у нас их нет, — объясняю я с улыбкой. — Это только у вас, у ваших хамелеонов смерть окрашена в такие яркие цвета.

Ого, для них это уже слишком! В хижине явно пахнет опасным подвохом,

чарами грозными, поскольку они никому не известны. Они не знают, откуда грянет беда, и предпочитают вовремя исчезнуть. Неужели белый человек победил демона рангутру и поэтому теперь такой веселый? Они поспешно допивают ром и один за другим исчезают.

Вслед за ними выхожу и я во двор. Полная луна. Хамелеон по-прежнему лежит на земле. И все еще невообразимо ярка его окраска. Свет луны приглушил цвет, но если осветить хамелеона электрическим фонариком, тело его засветится, как густое красное пятно.



Старик Бетрара, в нем сидит демон Рангутру

Бенёвский, невластвовавший король Мадагаскара

Жители деревни косятся на нас. Но работа идет как должно, без помех. Ловим насекомых, охотимся за птицами, препарлируем шкурки. Помогают нам несколько предприимчивых парнишек, не побоявшихся угроз старших.

Продолжаю также поиски следов Бенёвского, но, увы, пока безрезультатно. В небольшой библиотечке, которую я захватил с собой, есть несколько французских книжек о нем. Часто их перелистываю. При этом испытываю какое-то особенное удовольствие, когда, читая необыкновенные приключения необыкновенного завоевателя, поднимаю глаза и прямо перед собой, в нескольких сотнях метров, вижу гору, на вершине которой герой повествования заложил форт Августа.

В свое время — во второй половине XVIII века — Бенёвский был далеко не заурядной личностью. Гуманная деятельность его резко отличалась от поведения тогдашних завоевателей, которым чужды были человеческие чувства. Они стремились лишь к наживе и славе. На Бенёвского оказали большое влияние прогрессивные веяния эпохи просвещения.

Бенёвский, поляк по происхождению, жил в Венгрии. Дед его, родовитый поляк, выехал в Венгрию и поселился там вместе с семьей. Маурици, внук эмигранта, родился в 1741 году. В молодости он поступил в австрийскую армию. Когда Польше стала угрожать опасность, Бенёвский поспешил на родину. В чине полковника Барской Конфедерации он сражался против царской России. Попал в плен и был сослан на Камчатку. Здесь он поднял бунт среди

заклученных, захватил с их помощью русское судно и бежал в открытое море. После одиссеи вокруг Юго-Восточной Азии Бенёвский высадился на Иль-де-Франсе, французском острове в Индийском океане (нынешнее название острова Маурициус[278]). Остров расположен всего в нескольких сотнях километров от восточного побережья Мадагаскара. Здесь, можно сказать, была завершена сибирская эпопея, и Бенёвский затеял новую, еще более удивительную: заинтересовавшись таинственным Мадагаскаром, он решил покорить его. В то время большой остров был разделен на множество враждующих между собой карликовых княжеств. Никакое европейское государство не завладело еще этим островом. Пробовали это сделать купцы и колонизаторы четырех государств: очень осторожно — португальцы и голландцы, настойчивее — англичане и упорнее всех — французы. Но ужасный климат и сопротивление туземцев сделали тщетными их усилия.

Наиболее выносливые и настойчивые французы пытались время от времени организовать на Мадагаскаре торговые пункты и даже колонии, как это делал, например, Модав. Его экспедиция продолжалась два года и закончилась в 1770 году, незадолго до прибытия Бенёвского на Иль-де-Франс. Завистливые французские администраторы и купцы Иль-де-Франса, хотя он и был французской колонией, не хотели допускать конкурентов к местным богатствам — скоту и рису, а также к рабам на Мадагаскаре. Позже та же участь постигла экспедицию Бенёвского.

Ознакомившись подробно с положением на Иль-де-Франсе, Бенёвский отправился в Париж и предложил французам свой план завоевания для них Мадагаскара. Камчатский герой был обаятельной личностью. Французский двор поручил ему это трудное дело и послал во главе отряда «волонтеров Бенёвского» на далекий остров. Такое предприятие заранее было обречено на провал из-за саботажа со стороны завидных соперников на Иль-де-Франсе. К сожалению, от них зависело снаряжение экспедиции. К тому же преимущества монопольной торговли на Мадагаскаре, по королевскому декрету, переходили от предпринимателей к Бенёвскому. Бешенство губернаторов и купцов на Иль-де-Франсе не поддавалось описанию.

Несмотря на трудности, успех на Мадагаскаре все же сопутствовал Бенёвскому. Как известно, свое селение Луисберг он основал в устье реки Антанамбалана, в заливе Антонжиль. К мальгашам относился гуманно. Туземцев считал равными себе и всячески доказывал им свое хорошее отношение. Этим и объясняется то, что он быстро нашел с ними общий язык. «Взгляды Бенёвского опередили его эпоху, а обращение с мальгашами было справедливее и лучше, чем обращение других европейцев, прибывающих на этот остров», — писал знаток истории Мадагаскара англичанин У. Эллис в своем труде «Три путешествия на Мадагаскар», опубликованном в 1859 году.

Не обошлось и без вооруженных стычек. Губернаторы на Иль-де-Франсе подстрекали население Мадагаскара против Бенёвского. Кроме того, мощное племя сакалавов, живущее в западной части острова, видело в Бенёвском противника, который может помешать их захватническим планам в отношении других племен. Но у Бенёвского не было недостатка и в преданных союзниках, которые искали у него защиты от набегов сакалавов. В течение двух лет он провел две оборонительные кампании, окончившиеся победой. Первая разыгралась в районе долины Здоровья, на которой сейчас расположено селение

Амбинанитело, и отразила нападение сафиробаев, подстрекаемых губернаторами с Иль-де-Франса и сакалавами. Вторая кампания велась дальше, на северо-западе, и была решающей в грозном походе сакалавов против Бенёвского. Победитель не преследовал побежденных, а стремился прежде всего завязать дружбу и торговые отношения.

Выдающейся датой в жизни Бенёвского был день 10 октября 1776 года, когда мальгаши с восточной и северной части острова признали его своим великим королем — ампансакабе. Поступили они так потому, что Франция в результате интриг губернаторов острова Иль-де-Франс решила отозвать Бенёвского, а дело его предать забвению. Провозглашение Бенёвского великим королем Мадагаскара нанесло французской колониальной политике существенный удар. Настолько существенный, что он даже был причиной смерти Бенёвского. А память об этом дне была вычеркнута из истории. Политика колониальных государств в таких случаях беспощадна: убирает свидетелей, уничтожает их следы, клеветает, высмеивает или покрывает все убийственным молчанием.

Желая во что бы то ни стало осуществить свою идею, Бенёвский решился на отчаянный шаг. Он поехал во Францию лично доложить французскому правительству, как обстоит дело, и бороться за судьбу своей экспедиции.

Несмотря на отрицательный ответ французских властей, Бенёвский не переставал думать о возвращении. Но прошло немало лет, пока он снова попал на Мадагаскар, и то по поручению англо-американской компании. В июне 1785 года Бенёвский с двумя десятками друзей снова прибыл на Мадагаскар.

Восстанавливая после почти десятилетнего отсутствия дружеские отношения с мальгашами, Бенёвский принялся кропотливо создавать основы своего государства. Прежде всего он построил над морем вблизи Ангонцы и залива Антонжиль укрепленное селение. Правителям Иль-де-Франса он послал официальное сообщение о своем прибытии с уверением, что готов сотрудничать с французской колонией и предоставляет ей преимущественное право поставки продуктов на остров. Французы не пожелали такой расстановки сил. Они выслали против Бенёвского вооруженный отряд под командой капитана Ларшера. Поход его был удачен. Если на Мадагаскаре так и не образовалось государство под управлением Бенёвского, то в этом целиком повинен непредвиденный случай. Французская пуля сразила его в самом начале стычки. Это был удивительный каприз судьбы. Никто не погиб, кроме него, невластвовавшего короля Мадагаскара.

Вопреки бешеной клеветнической кампании, которая велась против него в течение полутора веков шовинистическими кругами Франции, доброе имя и слава Бенёвского победили. Большую услугу оказали его дневники. В конце восемнадцатого столетия они были переведены на многие европейские языки и были очень популярны. Немало поэтов, писателей, драматургов всех стран брали темы для своих произведений из жизни Бенёвского.

Однако во всем этом есть какая-то нелепая, тревожная загадка. Нынешние мальгаши совершенно не помнят истории Бенёвского, не знают ни легенд, ни былин о нем. Я пытался разузнать о нем в Мароанцетре — ничего; расспрашивал здесь, в Амбинанитело — никаких следов.

В нескольких сотнях метров от нашей хижины высится гора, на которой со-

гласно подробному описанию современников стоял построенный Бенёвским форт Августа и где некоторое время жил он сам. Ныне, понятно, там непроходимый лес, а на склонах — мальгашские плантации гвоздики, — это все. Ничто не напоминает о Бенёвском.

Как-то я пригласил учителя Рамасо на чай. В разговоре спросил, что он знает о Бенёвском. И Рамасо выложил всю его историю, как по книге, да и в самом деле по книге: историю Бенёвского он изучил в школе по французским учебникам. Других источников — местных — он не знает. Гора Бенёвского хранит молчание.

— Это действительно непонятно! — говорит Рамасо и, подумав, излагает объяснение, странное, но не лишенное правдоподобия.

— Племя бецимизараков, — говорит он, — так же как и другие племена на Мадагаскаре, все еще очень отсталое. Мальгаша не знают истории в европейском значении этого слова. События они воспринимают в рамках собственной семьи или рода, и то в виде религиозного культа предков.

— Правильно! — прерываю я. — Припоминаю факт, который значительно способствовал укреплению влияния Бенёвского среди мальгашей. Его мальгашские друзья распустили слух, будто Бенёвский — потомок влиятельного на Мадагаскаре королевского рода рамини. Будто он был внуком последнего короля, дочь которого некогда была похищена и привезена на Иль-де-Франс и родила там сына. Вот этим сыном и был якобы Бенёвский. Дружественные племена быстро подхватили эту весть (разумеется, сам герой не очень опровергал эти слухи), и, таким образом, культ предков был использован для укрепления дружбы мальгашей с Бенёвским.

— Вот именно, — оживленно подтверждает Рамасо, — бецимизараки знают точно, что делал даже самый отдаленный предок, зато они совсем равнодушны к делам чужих. Бенёвский не создал мальгашской семьи, здесь у него нет наследников по крови, поэтому можно предполагать, что память о нем предана забвению. Нет потомков, которые обязаны были бы напоминать о его деятельности.

Лес Сблизил Нас

Лес пел мне детские песенки, когда отец водил меня еще за руку. Потом был лес над Ивахой в Паране. Потом он учил любить грозу на Укаяли. Потом издавал душистый запах смолы в Канаде. Лес для меня больше, чем друг: он вошел в мою жизнь благожелательным, мудрым советником и руководит моей судьбой. Мои пути идут сквозь лес.

Лес, окружающий нас в Амбинанитело, покрывает горы, спускается к самой долине и задерживается только у края болотистых рисовых полей. Лесная чаща, живая, душная, воинственная, насыщена зеленью алчных растений и звуками звериных голосов; ежедневно при восходе солнца в нашей хижине слышен хор лемурув, под вечер — хор лесных птиц, ночью — таинственные крики я загадочный гул. Лес мы видим в разное время дня и ночью при звездах, но совершенно исчезает он в час дня. Ежедневно, точно в это время, на долину обрушивается знойный ураганный ливень. После дождя появляются радуги.

Я не хожу пока в лес, выручает Богдан Кречмер, мой товарищ — зоолог. У меня много работы дома — пишу. К тому же все внимание поглощает деревня, которая объявила нам тихую, упорную войну. Но все же с лесом знакомлюсь: многое оттуда попадает в мою хижину.

Богдан приносит новости о своих многочисленных открытиях. В полдень, во время обеда, отчитывается в утренних походах, а так как мы душой и сердцем связаны друг с другом, не требуется много слов. Я переживаю его лесные приключения, в которых участвуют задиристые насекомые, редкие птицы, папоротники величиной с дерево, диковинные пальмы, кишачие жизнью лужи, — словом, весь созидательный, пленительный и возбуждающий мир естествоиспытателя.

К вечеру — это вошло в привычку — заходят ко мне на чай с сухарями несколько соседей-мальгашей. Они приносят с собой дыхание леса, но как этот лес не похож на лес Кречмера! В их рассказах лесная чаща мрачная, злая, предательская, кишачая злыми духами. Так могут говорить о лесе люди, выросшие в долине, привязанные к рисовым полям, а может быть, враждебно настроенные к чужим, пришельцам. Может быть, хотят нас запугать?

Удастся ли это? Я достаю свои старые книги о лесе и вооружаюсь. Война с деревней бессмысленна и утомительна, а вид амазонских дебрей вселяет бодрость. Старик Джинаривело прав: с растениями можно заключать союз. Однажды Джинаривело зашел ко мне невзначай покурить и поболтать. Случайно взглянув на мою укаяльскую книгу, он внезапно оживился. На иллюстрации изображены были собиратели каучука возле дерева с надрезанной корой. Он спросил, что означает эта иллюстрация. Я рассказал ему трагическую историю бразильских собирателей каучука, которые из нищих становились миллионерами, а потом — снова нищими. Я не узнаю Джинаривело: он весь просиял и тут же объяснил, в чем дело. Отец его тоже был искателем каучука, и он, будучи еще мальчишкой, часто сопровождал его. Это были хорошие времена, он очень любил ходить в лес...

— А лесные духи не приставали к тебе? — спрашиваю удивленно.

— Лесные духи всегда были ко мне благосклонны, — отвечает.

— Значит, ты странный бецимизарака! — признаюсь я.

— Почему странный?

— Потому что не боишься леса.

Нет, леса он не боится. Напротив.

— Ах! — вздохнул он и тут же устыдился своего вздоха. Схватил соломенную шляпу и смущенный ушел.

Но час спустя он возвращается. Успокоенный. Он хочет знать, что я думаю о лесе. Я решил не рассказывать, а показать репродукции фотографий из моих книг. Тропический лес на Укаяли вызывает восхищение его, а пейзаж в книге «Канада пахнет смолой» просто ослепляет. В торжественном молчании впитывает он в себя красоту группы канадских елей. По его мнению, это предел лесной красоты. Он смотрит как зачарованный. Впервые житель Амбинанитело с дружеским вниманием слушает мои слова, воспринимает мои мысли без предубеждения и подозрения.

— Ты долго там был? — спрашивает Джинаривело, показывая на канадский пейзаж.

— Я был там много месяцев, пока не познакомился со страной, людьми и животными.

— А жители тебя любили?

Показываю ему фотографию, на которой я изображен в обществе улыбающихся индейцев.

— Честные люди во всем мире, — объясняю ему, — всегда благосклонны, если к ним приходят с открытой душой и доброй волей.

— И они не боялись тебя?

— Почему должны были бояться? Напротив, наша дружба укрепляла их силы и придавала бодрость.

Старик Джинаривело понял упрек. Он перелистывает книгу и возвращается к пейзажу с елями. Он не может наглядеться на него.

— На Мадагаскаре есть дерево, — говорю, — красивее, пожалуй, елей и уж наверняка диковинней.

— Какое же это дерево? — старик с сомнением поднимает голову.

— Пальма равенала.

— Это правда, — признает он с улыбкой. — Пальма равенала особенная и необычайная, но красивее ли?

— Жаль, что она не растет в вашей долине.

— Растет, и даже недалеко отсюда. Если хочешь, я провожу тебя к ней.

— Проводи.

Мы идем к горе Бенёвского, которую Джинаривело называет Амбихиминцинго, что означает «отсюда все видно». У ее подножия мы поворачиваем направо. Здесь в гору врезается широкое ущелье. В глубине оно покрыто величественным лесом, а по краям, ближе к выходу, видны несколько пальм равенал.

Эти деревья поражают своей диковинной формой. На верхушке стройного ствола растут листья длиной в несколько метров, но не во все стороны, как обычно у пальм, а в виде громадного веера; причем листья, точно спицы колеса, образуют плоский полукруг. Ветерок, дующий с реки, постоянно шевелит их, вызывая тихий шорох; и это еще больше усиливает их диковинность. Ничего мало-мальски похожего не найдешь ни на Мадагаскаре, ни в другом ме-

сте. Природа создала зеленый монументальный веер, при виде которого человек застывает пораженный, не веря глазам своим.

Пальма равенала растет во всем влажном поясе восточного побережья острова. Ее мальгашское название — равенала — означает «лист леса», потому что ее листья — самая отличительная черта леса, в котором она растет. Европейцы называют ее «деревом путешественника». В углублениях у основания ее листьев всегда есть свежая вода; жаждущий путешественник может пробить лист копьем, собрать воду в сосуд и утолить жажду. Название пальмы несколько произвольно: всюду, где растет равенала, воды хоть отбавляй, и жаждущему путешественнику вовсе не требуется добывать воду таким сложным путем. Зато больше подошло бы ей название строительной пальмы — ее мощными листьями бецимизараки покрывают крыши своих хижин.

— Ты говоришь, — обращается ко мне Джинаривело, — что она красивее деревьев в твоей книге?

— Так мне кажется.

— А мне нет.

Удивительные пальмы, а еще удивительней Джинаривело. Оказывается, простодушному жителю отрезанной от всего мира мальгашской деревни не чужда область эстетического восприятия.

Насыщенные впечатлениями от созерцания чарующих равенал, мы возвращаемся в хижину и снова садимся на прежнее место с канадской книгой в руках.

— А ты знаешь людей племени антананево? — неожиданно спрашивает мой гость.

Разумеется, не знаю. Джинаривело рассказывает тихим голосом:

— Некогда, во времена ховов, господство людей этого племени было суровым и жестоким. Многие бежали в леса и оставались там навсегда. Они превращались в лесных жителей, не таких, как мы. Это были не люди, не звери, не духи. Зла они никому не причиняли. У них были жены и дети. Их потомки по сей день блуждают в чаще, ни с кем не роднятся, никогда не покидают зарослей, и они счастливы. Да, счастливы! Однажды, много лет назад, отец Джинаривело увидел в глубине чащи такого человека и подслушал, как он поет. Пение было удивительное, очень звонкое и славило счастливую жизнь в лесу. Но когда лесной человек почувствовал запах чужого, он замолчал и скрылся. Они всегда скрываются от людей. Тот антананево пел о своей жизни: он ест жирных угрей, ходит по лесу, как по мягкой циновке, деревья улыбаются ему, он знает все вкусные корешки, может всегда петь солнцу, луне и тучам.

Я смотрю на Джинаривело с возрастающим любопытством. С ломаного французского языка он переходит на родной мальгашский и начинает петь. Джинаривело, житель деревни, ненавидящей лес, поет славу лесу! Сломались в нем какие-то таинственные преграды, широко полились сдерживаемые чувства. Джинаривело мечтает. Эти мечты, пожалуй, очень причудливые, самые неожиданные, и на ум приходит странное сопоставление: житель примитивной мальгашской деревни мечтает о жизни еще более примитивной, мечтает о первобытной идиллии.

Джинаривело продолжает петь. И пение сближает нас. Вопреки капризам деревни, он заключает дружбу с человеком, которого увлекла такая же лю-

бовь к лесу. Сейчас он мой друг, но меня тревожит мысль, как поступит Джинаривело, когда перестанет теть и опомнится. А вдруг сорвется и умчится, пристыженный, охваченный тревогой?

Пение оборвалось; он не убежал. Лес победил. Джинаривело еще раз смотрит на канадские ели, потом улыбается и говорит, что в его роду существует обычай дарить своим друзьям плоды. Он обещает сейчас же прислать плод хлебного дерева и просит, чтобы я принял все, что он пришлет.

— Все, — повторяет он значительно и уходит.

Долго я остаюсь один. Потом слышу у хижины девичий голос:

— Хаоды? Можно войти?

— Мандрасоа рамату! — откликаюсь я. Это означает, как меня учили, что девушка может войти.

Гостья легкими шагами поднимается по ступенькам (моя хижина, как и все другие, стоит на сваях), и, к моему удивлению, в дверях показывается Беначихина. Эту красивую восемнадцатилетнюю девушку с озорной улыбкой на устах я уже видел несколько раз. От неожиданности я вскочил со стула.

— Беначихина?

Девушка ставит на землю корзину с плодами, которую она принесла. На этот раз лицо у нее серьезное, глаза опущены и нет озорной улыбки.

— Я принесла это для тебя от моего дедушки Джинаривело, — говорит она на ломаном французском языке.

— Джинаривело — твой дедушка?! — спрашиваю удивленно.

— Да, он мой дедушка. — Беначихина смущенно смотрит на меня и не понимает, чему я так рад.

Я подхожу к корзине и делаю вид, что рассматриваю плоды. Полушутя спрашиваю:

— Это все, что послал мне твой дед?

В ее глазах блеснули вызывающие огоньки. Улыбнувшись, она показала великолепные сверкающие зубы.

— Нет, не все, — отвечает, упорно глядя мне в глаза.

— Что же еще?

Беначихина с минуту потешается над моим любопытством, потом отворачивается и показывает на двор.

— Вместе со мной, — говорит она насмешливо, — дедушка прислал мою младшую сестру Веломоди.

В самом деле, у моей хижины, облокотившись о перила, стоит молоденькая девушка. Смотрит на нас и нерешительно улыбается.

— Авиа! Иди сюда! — зовет Беначихина.

Но та не отвечает, покачивает головой и не двигается с места.

Она немного моложе Беначихины, может быть на год, самое большее на два. В отличие от старшей сестры, самоуверенной и сознающей свое обаяние, Веломоди кажется скромным подростком. У нее приятная внешность, но робость производит впечатление какой-то беспомощности.

Беначихина внимательно следит за моим лицом и, вероятно, замечает тень невольного разочарования.

— Смотри! — певуче говорит она, протягивая руки к хлебным плодам. — Две девушки принесли тебе подарок от своего деда — вкусные плоды. Их

столько, что будешь пять дней пировать, а ты все еще недоволен!

— А где ты научилась так тонко язвить, рамату? — спрашиваю.

— Не у тебя, великий вазаха!

И, сразу став серьезной, сказала потеплевшим голосом:

— А чего ты хочешь еще?

— Дедушка сказал, что я должен взять все, что он пришлет.

— Тогда бери все!

Случайное движение рукой испугало Беначихину, она одним прыжком очутилась на ступеньках и, как серна, помчалась по двору, разразившись веселым, задорным смехом.

Хочу отблагодарить Джинаривело за его подарок и велю повару Марово положить в корзину сухарей. Задумываюсь, что бы подарить девушкам. Вспоминаю, что в чемодане у меня есть несколько небольших зеркалец. Я вынул два: одно побольше, квадратное, для старшей сестры, другое поменьше, круглое, для младшей. Но, увидев, что Беначихина продолжает стоять посреди двора, а Веломоди тут же, около ступенек, вознаграждаю ее доверие ко мне большим зеркальцем. Второе прошу передать Беначихине.

— Мизаотро! Спасибо! — мелодично говорит Веломоди.

На секунду ее коричневое лицо расцвело нежной улыбкой радости. А в глазах подкупающее тепло, которого трудно было ожидать в таком скромном подростке.

Но довольно о девушках. Они быстро забываются. Меня обрадовало другое. В прочной стене оборонительных рубежей деревни образовалась брешь. У меня появился союзник по ту сторону баррикад. Дорогой, искренний союзник — Джинаривело. Мы с Богданом теперь не одиноки.

Я с благодарностью смотрю на дикие горы, опоясывающие долину, и на чащу, раскинувшуюся на их склонах. Лес еще раз оказался верным другом.

Рисовое поле

Общественное устройство в Амбинанитело необычайно простое. Все население занимается исключительно сельским хозяйством, кроме четверых людей, прибывших сюда из других мест. Это учитель Рамасо, староста Района (с которым мы еще не познакомились, так как он постоянно находится в разъездах по своему участку — кантону) и два купца — китаец и индус.

Все мальгашские семьи имеют в долине собственные небольшие, более или менее одинаковые поля. Каждая семья обрабатывает их собственными руками. В этом благословенном уголке нет споров, нарушающих спокойствие, как в других частях Мадагаскара, где на плантациях гвоздики, ванили или кофе происходят острые стычки, характерные для колониальных стран. Стычки между плантатором и эксплуатируемым. Непремененно эксплуатируемым рабочим-туземцем.

В Амбинанитело этого нет. Нет хотя бы потому, что здесь отсутствуют плантаторы, а горы, окружающие долину и поросшие необитаемым лесом, всегда готовый резерв земли. В долине преимущественно выращивают рис — основное питание всех мальгашей. Когда семья чересчур разрастается, молодые отпрыски стараются не делить наследства. Они выкорчевывают деревья на близлежащих склонах и сажают кофе, дающий больший доход, чем рис, или ваниль и гвоздику, еще более выгодные, чем кофе. Этот простой, почти архаический способ позволяет сохранить общественное и хозяйственное равновесие и обеспечить все население в Амбинанитело едой и, самое главное, в равном количестве.

— Кроме сельского хозяйства, вы ничем другим не занимаетесь? — спрашиваю Джинаривело однажды утром во время прогулки по берегу реки. В обществе старика я отправился с ружьем, чтобы пострелять птиц для нашей коллекции.

— Каждый из нас выполняет еще всякую другую работу, — отвечает он, — которую требует жизнь в долине. Например, мы строим дома. Это исключительно обязанность мужчин. А женщины ткут из волокон рафии и других растений рабаны — циновки для постелей или полов. Из них также можно делать простую одежду. Но теперь мы все больше покупаем готовые полотняные ткани у индуса Амоды.

— А молодежь тоже идет по стопам отцов?

— Девушки да, юноши не всегда. Им уже тесно в долине. Многих манит жизнь в городах, и они отправляются туда. Они уходят через горы на восток в Анталаху. Там они работают на ванильных плантациях у вазахов и, кажется, не плохо зарабатывают. Мой внук Разафы тоже там.

Хуже оставшимся, не только молодежи, но и людям более зрелого возраста. По несколько месяцев в году их заставляют трудиться на принудительных работах и ничего за это не платят.

— Ты говоришь о штрафе за неуплату подушного налога?

— Ну, что вы? Каждый мужчина должен отбывать определенную принудительную работу, которая длится обычно три месяца.

— А я слышал, что всего полтора-два десятка дней в году.

— Да, на бумаге. А чиновники, которые ведают этим, так злоупотребляют, что в конце концов получается не меньше двух, а чаще всего три месяца. Жа-

лобы к высшим властям редко достигают цели. Осмелившийся протестовать бедняга скорее накличет беду на свою голову со стороны местных чиновников.

Так вот, после подушного налога это вторая тяжесть, которую колониальные власти возложили на туземцев. Жестокая машина эксплуатации действует исправно. Принудительные работы высасывают у мальгашей максимум рабочей силы, нужной колонизаторам для их благополучия. Что же удивительного, если туземцы считают работу проклятием: ведь ее плоды пожинают не они, а чужие, вазахи.

Охота в обществе Джинаривело не особенно удачна. Мы больше разговариваем, чем следим за птицами на деревьях. На обратном пути проходим мимо рисовых полей. На некоторых рис уже созрел и похож на овес. Кое-где собирают урожай. Работают только женщины, срезают стебли риса ножами и складывают в маленькие снопы для просушки. Я обращаю внимание Джинаривело, что на поле не видно ни одного мужчины.

— Это женское дело! — объясняет старик. — Земля родит так же, как родят женщины. Поэтому срезать рис и вообще убирать урожай должны женщины, они и земля — одно и то же.

— А мужчины совсем не работают в поле?

— Работают, но только вначале, когда нужно подготовить почву. Обработывая поле, они целыми днями гоняют по участку скот до тех пор, пока под копытами не образуется глубокая, болотистая жижа. Иногда мужчины помогают женщинам сеять, а потом пересаживать молодые побеги, но никогда не вмешиваются в уборку урожая.

До полудня остается два часа, а солнце печет вовсю. Женщины работают медленно, спокойно, будто совершают торжественный обряд. Жара и опыт многих поколений выработали у них мудрость размеренных движений. Для жниц важнее не уронить ни одного колоска, чем быстро все сделать.

На соседнем поле трудится около десятка женщин. Когда мы проходим мимо, узнаю среди них Беначихину и Веломоди. Девушки, заметив меня, о чем-то оживленно заговорили, но тут же снова принялись жать — хозяйственные, трудолюбивые, внимательные. Джинаривело с нескрываемой гордостью осматривает поле и говорит:

— Это земля и женщины нашего рода заникавуку. Прежде это было большое и богатое племя, у него было много рисовых полей. Жило оно главным образом на вершине Амбихимицинго, твоей горе Бенёвского.

— Сегодня на этой горе уже никого нет!

— Конечно, нет! Всех до единого там уничтожили.

Мы молча шагаем дальше. Мне очень интересно, что происходило на этой горе, но не хочу быть назойливым и боюсь спугнуть старика.

У подножья горы Бенёвского также раскинулось рисовое поле, но совсем другое, не похожее на те, что встречались до сих пор обширное, без межей, без оросительных канавок, таких многочисленных на других полях долины, и поросшее мелким, несозревшим рисом, посаженным, по-видимому, с большим опозданием.

— Это проклятое поле! — содрогаются Джинаривело, когда мы проходим у подножья горы. — Я не могу смотреть на него.

— Потому что здесь так плохо растет рис?

— Плохо растет потому, что земля здесь проклята!

— Звучит как-то страшно... Расскажи мне!

Джинаривело охотно рассказывает, хотя ограниченное знание французского языка изрядно ему мешает.

Давно — по некоторым подробностям догадываюсь, что происходила эта история около середины XIX столетия — часть племени заникавуку жила на горе Амбихимицинго, а рисовые поля находились в долине под горой. В течение многих лет заникавуку враждовали с родом цияндру. Однажды ночью цияндру напали на жителей горы и всех уничтожили, в том числе и их вождя. Цияндру захватили рисовое поле у подножия горы, а чтобы своей победе придать больше веса, отрезали голову погибшего вождя и воткнули ее на кол посреди рисового поля. Оставшиеся в живых из племени заникавуку хотели отомстить за смерть своих близких, но другие жители Амбинанитело вмешались, заставили помириться обе стороны и предотвратили дальнейшее кровопролитие.

С тех пор между заникавуку и цияндру отношения натянутые. Одни для других — фади, что значит запрет. Они не завязывают никаких сердечных отношений, а тем более не заключают браков. Рисовое же поле считается у всего рода заникавуку зловещим и проклятым. Проклятие это распространилось даже на цияндру. Хотя они и не выпустили из своих рук поле, но пользы оно им не приносит, хуже — вызывает в их роду распри и ненависть. Отдельные семьи жестоко ссорятся из-за отдельных участков несчастного поля.

Когда много дней тому назад я приехал из Мароанцетры и впервые увидел Амбинанитело, она показалось мне оазисом спокойной, счастливой жизни. В лучах утреннего солнца очаровательное селение дремало в тени кокосовых пальм, окруженное буйными рощами бананов, кофейного и хлебного деревьев. Когда потом деревня объявила нам скрытую войну, прибегая к различному оружию — чувствительности мимозы, приговору божьего суда, грозному слову мпакафу, — жители деревни казались непоколебимой, монолитной скалой, сила которой была в единстве против нас. И вот Джинаривело приоткрывает передо мной завесу: не единодушны они, их терзают противоречивые страсти. А доброго старика уже не устраивает только излить душу передо мной. Он требует от меня определенно высказаться, на чьей я стороне.

— Я считаю себя гостем всех жителей Амбинанитело, а не только одного племени, — защищаюсь я.

— Не получится, вазаха! Ты находишься здесь, а наша пословица говорит: кто сопровождает рыбака, возвращается измазанный рыбьей чешуей. Рыбьей чешуи тебе не миновать.

— Это ваши внутренние распри, я здесь чужой...

— Сказать тебе другую пословицу? Кто садится близко к горшку — вымажется сажей. Ты сидишь близко, вазаха, и должен выбирать!

— Ну, разумеется, ты всегда будешь мне ближе, чем другие!

— Спасибо тебе! Мне это и нужно было знать!

Бездна жестокости

В долине Амбинанитело водится чудовищное количество пауков и богомолов. Почему именно здесь так размножились эти хищники — не знаю. Они притаились везде: на кофейных деревьях, в дуплах пальм, на листьях бататов, в простенках хижин. Даже на москитной сетке у моей кровати постоянно сидят два паука нептилия и охотятся на комаров. По всей долине, во всех уголках, ночью и днем происходит безжалостная борьба насекомых, всеобщее пожирание.

Но самый отчаянный бой ведется между двумя разбойниками. Где бы они ни встретились, начинается война не на живот, а на смерть. Никогда не известно, кто кого сожрет, паук богомола или богомол паука, но всегда известно, что одна сторона должна быть покорена и уничтожена. Вероятно, они очень вкусны друг для друга.

Однажды я заметил черного паука, когда он готовился наброситься на пчелу, доверчиво сидевшую на цветке банана. Разбойник весь насторожился, готовый к окончательному прыжку, как вдруг из-под листа высунулись две невидимые до сих пор непомерно длинные лапы, обошли пчелу и острыми шипами обхватили за талию паука: богомол. У богомола передние лапы утыканы страшнейшими шипами. Легкое, изящное движение одной такой лапой, точно движение смычком, — и ошеломленный паук срывается с места и удирает что есть мочи в листовенный лабиринт, чтобы там укрыться. Но жить ему осталось недолго. Богомол успел отрезать ему брюшко и тут же с аппетитом принялся за него. Через мгновение туловище паука исчезло в челюстях богомола, а его собственное туловище заметно раздулось.

Обычная история в природе и обыкновенный случай, но поражает одна деталь: богомол пренебрег близкой к нему пчелой и схватил находившегося дальше паука. Паук вкуснее.

Во время ночной охоты Богдана на насекомых при свете лампы также появляются пауки. Они расставляют вблизи лампы свои сети и охотятся за той же дичью, что и мы. Однажды ночью разыгралось любопытное зрелище.

В паутину, протянутую перед нашей хижинкой, влетел богомол. Он бешено заметался, пытаясь вырваться, но не смог. Из укрытия выскочил паук, чтобы кинуться на свою жертву, и вдруг остановился: богомол, запутавшийся задними лапами в паутине, угрожающе поднял вверх передние и направил в сторону налетчика, — он готов к жестокой обороне. Паук следил за ним, боясь приблизиться, но потом закружился и приготовился ударить сзади. Однако богомол начеку. Не спуская глаз с паука и угрожая колючими лапами, он поворачивается одновременно с противником.

Борьба, а скорее вступление к ней, обостряется. Два маленьких создания забывают обо всем на свете, одержимые жаждой жизни и вместе с тем жаждой уничтожения. На паутине возникло два очага напряженной воли, направленные друг против друга с непонятной жестокостью.

Паук, пользуясь свободой передвижения на своей паутине, наскакивает на богомола со всех сторон, точно свирепый пес. Рассчитывает, вероятно, на ослабление бдительности противника. Но богомол не дает сбить себя с толку и зорко следит за пауком. Движения у него резкие, короткие, точные, а лапы направлены в сторону преследователя. К тому же этот экземпляр богомола

большой, он сильнее паука.

Наконец паук устал и отступил в свой угол. И тогда в его крошечном мозгу рождается гениальная идея. Он взвесил положение, понял, что ему не справиться, и решил не тратить времени зря. И вот паук вцепился в каком-то узловом месте в паутину и стал трясти ее что есть мочи. Нити ослабли, и паук последним, резким броском вышвырнул богомола из сети. Богомол сорвался и улетел в темноту. Благоразумие восторжествовало над разбушевавшейся жестокостью. Паук вовремя осознал бесполезность борьбы и сумел отказаться от добычи.

Ужинаем мы с Богданом обычно в хижине, дверь широко открыта, на столе ярко горит бензиновая лампа. На свет слетается множество насекомых. Не всегда это приятно, особенно когда их слишком много попадает в тарелки.

Однажды вечером я пригласил к нам поужинать учителя Рамасо. Я люблю его общество, учитель охотно объясняет мне некоторые сложные отношения мальгашей и их обряды. Мы разговорились с ним об образности мальгашского языка. Река, например, называется ренирано, что означает мать воды, солнце — масаондро — глаз дня. Вдруг раздается звонкий, хорошо нам знакомый шум летящей тисмы. В открытых дверях появляется громадный богомол. Он влетает в комнату и кружится над нашими головами царственным полетом истинного владыки насекомых.

— А знаете, как мы его окрестили? — спрашивает Рамасо. — Фамакилоха.

— Что это значит?

— Пожиратель голов.

— Поразительно точная наблюдательность, — замечаю я. — Богомолы всегда хватают свою жертву за голову и пожирать начинают тоже с головы.

Влетевший богомол садится под пальмовой крышей нашей хижины. Но тут же срывается как ошпаренный. Только что его полет был легким, нормальным; теперь он с усилием добрался до противоположной стены, потом оттолкнулся от нее, проделал несколько кругов все ниже и ниже и в конце концов сел на пол. Мы бросились, чтобы положить его в банку с ядом, и тут же обнаружили причину странного поведения: большой косматый паук мигале судорожно вцепился ему в грудь. По-видимому, паук кинулся на богомола в тот момент, когда тот уселся под крышей, и уже не выпускал его, проделав вместе с ним воздушное путешествие.

Нас удивило, что богомол, сильное насекомое, совершенно не защищается. Только крылья его чуть-чуть вздрагивают, а лапы с шипами беспомощно вытянуты далеко вперед. Внимательней приглядевшись, мы поняли, в чем дело: паук схватил богомола так хитро, что тот не в силах был двинуться. Свои ноги он продел под мышки передних лап богомола и таким двойным нельсоном обезвредил самое грозное оружие насекомого. Другими ногами он вцепился в туловище богомола, а челюсти сомкнул на шее. Гениальная хватка!

Богомол едва подает признаки жизни, к тому же, вероятно, он получил порцию яда. Мы решили освободить богомола и вспугнуть паука. Но не тут-то было. У паука четыре пары ног. На двух парах он бодро удирает, другими, точно железными клещами, держит добычу и тащит в свое укрытие. Вот так хватка! Вот так объятие! Мастерское, единственное в своем роде, страшное, великолепное, грозное объятие, в котором отразился не только паучий инстинкт, но

и прихоть судьбы, неведомая и жестокая. По воле случая могучий хищник погибает без борьбы, без надежды на победу.

Хотя Рамасо не естествоиспытатель, но он следит за исходом борьбы с таким же интересом, как Богдан и я.

— Это зрелище любопытно не только для нас, естественников, — говорит Богдан, — всякий содрогнется, не правда ли?

— Меня это особенно интересует! — заявляет учитель.

— Почему?

— Потому что я хочу знать все, что связано с поражением и смертью хищников.

— Вы говорите о проблемах справедливости в природе? — спрашиваю его.

— Вот именно, именно об этом!

— Но в данном случае где вы заметили справедливость? — возражает Богдан. — Один хищник схватил за горло другого. Вот и все! Обыкновенная деталь в биологическом процессе, их в природе тысячи, на каждом шагу. Один пожирает другого, чтобы сохранить свой род.

— Да, — говорит Рамасо, — но в природе все кажется простым и обыкновенным, а в человеческом обществе все выглядит иначе.

— Не понимаю.

— Вы говорите: хищник пожирает хищника. В историческом процессе развития общества это называется, — Рамасо понижает голос, будто говорит о чем-то запретном, — называется «период империализма».

В глухой долине, укрывшейся в мадагаскарских лесах, такое смелое суждение о мировых проблемах в устах деревенского учителя племени бецимизарков обрушивается на нас так же неожиданно, как если бы в хижину влетел богомол величиной с летучую мышь.

В природе долины Амбинанитело скрещиваются водороты жестокости и хищничества. Они захватывают все. Однако люди долины не поддались им: они не жестоки. Что с того, если когда-то, в прошлом веке, они дрались за гору Амбихимицинго и проливали кровь? После взрыва ненависти они быстро успокоились, снова погрузились в идиллический покой, уподобились растениям.

Они выращивают рис, злак, который никогда не подводит; едят рис, пишу мягкую, и сами отличаются мягкостью. Они благоразумно отказались от стремления к злу: злобой и мстительностью они наградили своих духов и демонов и волну жестокости направили в их сторону. Поведение туземцев подсказано здоровым инстинктом первобытных людей.

А белый человек? С ним не так-то просто. Он не выращивает рис, он не обладает кротостью растений, он лишен благоразумия первобытных людей.

Четыре часа пополудни

В долине это час разрядки и отдыха. Солнце покидает зенит и клонится к западу. Мучительная жара спадает. Мягкое дыхание все более и более бодрящего воздуха проносится вокруг хижины, и человек с облегчением начинает дышать. Окраска предметов, померкнувших при блеске полуденного солнца, снова приобретает яркость. Среди листвы весело расшумелись проснувшиеся птицы.

Почти ежедневно в это приятное время я приглашаю нескольких соседей посидеть и поболтать. Угощаю их крепким сладким чаем и сухарями, к великому огорчению повара Марово, возмущенного моим расточительством. Замкнутость гостей преодолеваю стаканчиком рома. С приходом учителя Рамасо, который хорошо переводит с французского на мальгашский и наоборот, разговор оживляется.

Больше всего меня интересуют мальгашские нравы. Гости охотно и подробно рассуждают на эту тему, но не часто могут объяснить то или иное явление. Основное в их религии не вера в наивысшее существо — бога-создателя, о котором они имеют весьма смутное представление, а культ предков, развитый здесь не меньше, чем у китайцев. Умершие становятся духами лоло; некоторые духи воплощаются в живых зверей, другие в ночных бабочек, но все они, невидимые, находятся вблизи людей и следят за их поведением. Вся без исключения общественная жизнь мальгашей подчинена духам. Они якобы издают тысячи правил и фади, то есть запретов, которые руководят каждым поступком человека, в особенности его поведением. Правила и фади окружают мальгаша со всех сторон, от рождения до самой смерти, и горе тому, кто вольно или невольно воспротивится им: духи предков отомстят провинившемуся, на его голову падут все несчастья. Только искреннее раскаяние, только настойчивая мольба — фадитра могут смягчить гнев духов. Фади для жителей Мадагаскара то же, что табу для полинезийцев.

— А фади для всех мальгашей одинаково?

— Нет, — каждое племя имеет собственное фади, распространяемое на членов этой общины. Но роды, семьи и даже отдельные люди имеют еще свои собственные фади, отличные от других. Рисовое поле у подножия горы Амбихимицинго — фади только для рода заникавуку.

— А кто устанавливает фади? Как они возникают? Где их источник?

Вопрос щекотливый, и большинство моих гостей считает, что фади ввели духи предков.

В истории рисового поля, о котором рассказывалось выше, вопрос ясен, — всем известно, как возникло фади. Но другие?

— Источники?.. — говорит кто-то из стариков. — Источники, откуда черпается мудрость племени, трудно обнаружить, они ушли в глубину прошлого. Ты видишь, вазаха, большую реку Антанамбалану? Течет огромная масса воды, но ведь образовалась она в горах из тысячи мелких, неизвестных источников. Нет человека, который сосчитал бы их и изведал. Как не изведена эта река, так не изведено наше фади...

В разговор вступает учитель Рамасо и рассказывает о значении фокон'олонны. Фокон'олонна — административный совет деревни. Все взрослое население деревни выбирает старшину, который занимается всеми общественными де-

лами и благосостоянием односельчан. В старину фокон'олона была важной общественной организацией у мальгашей. Французы, завоевав Мадагаскар, отменили ее. Но сейчас французские власти снова восстановили фокон'олону как самое низшее и основное звено колониальной администрации. В древние времена, когда фокон'олона в первую очередь защищала интересы всей деревни и имела громадный опыт в бытовых делах, она, несомненно, создавала правила и запреты, которые со временем приобретали божественные свойства и важность теперешних фади.

Конечно, в Амбинанитело тоже есть фокон'олона. Возглавляет ее староста — мпиадиды, что буквально значит «стерегущий подчинение законам».

— А кто ваш мпиадиды? — спрашиваю.

— Безаза, — отвечает Рамасо.

— Жаль, что он ко мне не заходит. Нужно будет его пригласить.

— Безаза, — шепчет мне на ухо Джинаривело, — теперь глава рода цияндру.

— А, тогда другое дело...

Гостям надоело слушать о мальгашских делах, и, когда учитель закончил рассказ а значении фокон'олоны, они попросили меня рассказать о Европе. Их постоянное удивление вызывает магический белый пух — снег.

Жители Амбинанитело никогда не видели и не увидят снега. Здесь круглый год стоит тропическая жара, достигающая тридцати градусов в тени, и только иногда, в более холодные ночи, она спадает до двадцати пяти. Рассказ о зимнем пейзаже в Польше вызывает у моих гостей трепет восторга и ужаса. Они не могут представить поля, покрытые слоем снега, обнаженные деревья, кусты, сгибающиеся под снежным покровом.

Так же им непонятно, что такое лед. Ведь это невероятно, чтобы река превратилась в твердую глыбу, по которой можно ходить, как по земле, и что при этом ужасно холодно.

— Вы подумайте! — воскликнул один из гостей. — На реке Антанамбалана — лед, и мы можем переходить по ней на другую сторону, в Рантаватобе, как по суше.

Да это же сказка! Вымысел! Неплохая шутка!..

Все хохочут, но склонны признать, что в далекой Европе действительно свирепствует такой удивительный климат.

А учителя Рамасо больше всего интересуют политические и общественные взаимоотношения в Европе. Какие государства сейчас в дружбе или ссоре, как живут рабочие, действительно ли сейчас столько безработных, как об этом доходят слухи? Но и он, видевший только город Тананариве с населением в сто тысяч человек, не может понять, что есть многомиллионные города и люди там не умирают с голоду, даже если происходит заминка в доставке продовольствия.

— Многие там голодают, но только по другой причине.

Рамасо внимательно посмотрел на меня и, подумав, спросил:

— А вы были в Советском Союзе?

— Нет.

Один из гостей, Манахицара, относится ко мне дружески. У него густая шевелюра и поэтическая душа. Если Джинаривело поклонник леса, то Манахицара весь во власти легенд о лесах и лесных обитателях. Он знает их столько,

что мог бы выкладывать целыми днями. Сейчас он пытается рассказать сказку о смерти крокодила, но другие мешают ему, они предпочитают узнать о Европе. В водах Мадагаскара водится такое множество крокодилов, что они стали истинным бедствием для населения. Многочисленные рассказы о них поучительны и дают представление об интеллекте местного жителя. Я заступаюсь за Манахицару и прошу начать рассказ. Дважды просить его не приходится.

Один крокодил был королем реки, а все другие звери в воде и на суше должны были платить ему дань. Никогда не было известно, кто из подданных достоин очередной чести быть сожранным своим владыкой, чья жизнь будет принесена в жертву королю. Но однажды крокодил испустил дух. Повсюду, на реке и на земле, слышались вопли, как это всегда бывает, когда умирает король. Все живое сбежалось, чтобы поплакать над мертвым телом и устроить достойные королевского величества похороны. И только жаба не явилась. Не захотела плакать. Звери, возмущенные таким неуважением к праху, послали делегацию с требованием немедленно прибыть к месту, где находятся останки. «Пожалуй, я приду, — ответила жаба, — но только на похороны». В день погребения собралась громадная толпа. Все звери подходили к покойнику, били челом и провозглашали славу крокодилу. Настала очередь жабы. Она приблизилась и смело крикнула: «О, какую огромную тушу мы выкормили, э-э-э! О, какой мощный хвост нас хлестал! О, какие длинные зубы пожирали нас, э-э-э! Теперь уже ничего нам не сделает мерзкий обжора! Теперь нам ничто не страшно!» Услышав такие дерзкие слова, звери задрожали от страха и что есть силы бросились удирать. Все ждали, что дух крокодила вот-вот лишит жизни богохульную жабу, но ничего не случилось. Это она, независимая душа, была настоящей королевой реки. Могущество умершего крокодила было создано страхом других животных.

Рассказ Манахицары всем понравился, он задел близкие их чувствам струны. С незапамятных времен Мадагаскар был ареной многочисленных набегов. Иноземные завоеватели поработали туземцев. Господство захватчиков было деспотичным и славилось кровавыми расправами. Сюда наезжали арабы, йеменские евреи, персы, индусы, позже португальцы, голландцы, англичане, французы, пираты многих европейских наций и даже американские пираты. Последние врывались с запада и занимались главным образом омерзительным промыслом — охотой на рабов. В конце концов прочное место на Мадагаскаре заняли французы и навязали Мадагаскару свою колониальную систему. Но до того, как остров стал колонией, основное племя ховов создало в XIX веке королевство Мадагаскар, в котором господствующая верхушка властвовала над собственным народом и другими побежденными племенами с не меньшей жестокостью, чем иноземные захватчики.

Поэтому легенда Манахицары о тиране-крокодиле нашла живой отклик в душах моих гостей, а речь дерзкой жабы доставила им истинное удовольствие. Сказка полна мудрой аналогии с их настоящей жизнью.

— Смелая жаба! — воскликнул учитель Рамасо. — Правильно поступила, разоблачив хищного крокодила. Но сказка не должна на этом кончаться. В ней не хватает главного.

— Чего? — любопытствовал мальгаш.

— В реке появится новый крокодил и станет пожирать зверей так же, как его предшественник.

— Ну, тут уж ничего не поделаешь, — говорит Манахицара.

— Крокодил крокодилом и останется, — бросает другой мальгаш.

— Неправда! Вы слышали, что могущество крокодила длилось ровно столько, сколько страх заставлял других животных быть беспомощными. Рассказ должен иметь продолжение: крокодил пожирал одну за другой свои жертвы, потому что звери шли в одиночку, не помогали друг другу. Жаба должна научить, что, только объединившись, они будут непобедимы. Жаба должна объединить все живое, и когда появится новый крокодил, его встретит боевое содружество прежних жертв. Такое должно быть продолжение сказки о короле-крокодиле.

Наступило выразительное молчание.

— В том, что сказал Рамасо, есть правда, — промолвил Джинаривело.

Грозное фади

На следующий день после этого разговора я навестил учителя в его хижине, которая стояла в центре деревни против обширного школьного здания. Рамасо я не застал, но его вади, жена, приветливо пригласила меня зайти и подождать мужа: его позвали к внезапно заболевшей женщине, но он, наверно, скоро вернется. Я вошел и сел на стул, стоявший у стены. Тем временем вади куда-то вышла. В хижине две комнатки, стены которых, так же как и в нашей хижине, сооружены из густо сплетенных волокон растения фалафа. Среди более чем скромной обстановки выделялись стол, покрытый бумагой, и над ним полка. Полка для этих мест несколько необычная. Это скорее шкафчик с дверцей, запирающейся на ключ. Дверца сейчас приоткрыта, и видны книги.

Меня одолело любопытство. Я подошел и взял первую попавшуюся книгу. «Тартарен из Тараскона», — прочел я французское название на обложке и с нежностью взглянул на старую знакомую, забредшую в столь отдаленные места. Книга тонковата. Вероятно, популярное сокращенное издание. Перелистываю страницы, сразу видно, что текст изменен и как будто переделан. Но что это? Читаю подчеркнутую, вероятно, самим Рамасо фразу:

«В той же мере, в какой будет уничтожена эксплуатация одного индивидуума другим, уничтожена будет и эксплуатация одной нации другой.»

«Вместе с антагонизмом классов внутри наций падут и враждебные отношения наций между собой.»

Это «Тартарен из Тараскона»? Станный Тартарен! Листаю дальше, снова подчеркнутое карандашом место.

«Так же как деревню она сделала зависимой от города, так варварские и полуварварские страны она поставила в зависимость от стран цивилизованных, крестьянские народы — от буржуазных народов, Восток — от Запада.»

В высшей степени заинтригованный, заглядываю в начало книги и здесь нахожу отгадку: за обманчивой обложкой «Тартарена из Тараскона» скрывается титульный лист подлинной брошюры: К. Маркс и Ф. Энгельс, «Коммуни-

стический манифест».

Так вот оно что! Значит, бурное историческое течение добралось и до этого затерявшегося мадагаскарского селения, пребывавшего, как мне до сих пор ошибочно казалось, в вековом безнадежном омертвлении среди рисовых полей и безлюдных гор. Житель колонии, читающий «Коммунистический манифест», и читающий, как это видно из подчеркнутых мест, с увлечением, — личность по-настоящему опасная для колонизаторов. Теперь мне стало понятно, почему Рамасо с такой неприязнью отнесся к нашему появлению в Амбинанитело. Он опасался белых людей, связанных в его представлении с колониальным режимом.

Я положил книгу на место и задумался: хорошо ли быть чрезмерно любопытным и вторгаться в чужую тайну? Но искушение было слишком велико. Я заглянул в другую книгу с обернутой в бумагу обложкой. На многих страницах пометки, сделанные красным карандашом. Книга озаглавлена: «О праве наций на самоопределение». Автор — Ленин.

Беру с полки следующий том. И здесь читателем сделано много пометок. Одной фразе Рамасо, по-видимому, придавал особое значение — она была несколько раз жирно подчеркнута в конце одной страницы и в начале другой.

«Великое мировое значение Октябрьского переворота в том, главным образом, и состоит, что он:

1) расширил рамки национального вопроса, превратив его из частного вопроса о борьбе с национальным гнетом в Европе в общий вопрос об освобождении угнетенных народов, колоний и полуколоний от империализма...»

Это слова Иосифа Сталина. В следующей брошюре, «Международный характер Октябрьской революции», тоже принадлежащей перу Сталина, Рамасо сделал многочисленные пометки — увы, на мальгашском языке — с тремя восклицательными знаками в конце. Подчеркнутое рядом с пометками место в брошюре звучит так:

«...Октябрьская революция открыла новую эпоху, эпоху колониальных революций, проводимых в угнетенных странах мира в союзе с пролетариатом, под руководством пролетариата».

Необычная в хижине мальгаша библиотека и все подчеркнутые в книгах места, относящиеся к проблемам колониальных народов, не оставляли сомнений в духовном облике учителя Рамасо: это борец за освобождение своего народа от ига колониализма. Пути освобождения он видит в идеях, выдвинутых Октябрьской революцией.

Я сидел задумавшись, держа в руке последнюю брошюру, и не заметил, как кто-то вошел в хижину. Рамасо. Слишком поздно положить книжку на место. Впрочем, к чему? Рамасо мгновенно понял, что произошло. Ужас мелькнул в его глазах. Он остановился посреди хижины, ошеломленный, онемевший, почти без сознания.

Хочу его подбодрить и смотрю на него как можно доброжелательней. Брошюру заботливо устанавливаю на полку.

— Я посмотрел вашего «Тартарена из Тараскона»... — говорю, шутливо подмигнув глазом.

Но он прерывает меня и умоляюще произносит:

— Скажите, вазаха, ведь вы честный человек, не правда ли?

— Да.

— В таком случае прошу сказать откровенно, что вы намерены предпринять?

У Рамасо суровое и выжидающее выражение лица.

— Прежде всего я намерен, — стараюсь говорить совсем непринужденно, — намерен просить вас, Рамасо, улыбнуться. К чему такое мрачное лицо?

Учитель делает мягкий жест рукой, как бы желая превозмочь овладевшее им напряжение, и берет себя в руки.

— Простите, — говорит он сдавленным полусшепотом.

— Нет, — перебиваю я. — Это вы меня простите за то, что я вторгся в вашу тайну. Но я не так уж виноват. Ваша вади велела мне дожидаться вас здесь, шкафчик был открыт, и я ничего дурного не имел в виду, заглянув в ваши книги...

— Так вы не донесете на меня колониальным властям? — спрашивает Рамасо, пристально глядя на меня.

— Нет, — улыбнулся я. — Я не доносчик, и к тому же слишком ценю вас и ваши взгляды... Неужели вы думаете, Рамасо, что каждый европеец, приехавший к вам, обязательно должен быть приспешником колониализма и империализма?

— До сих пор так это и было.

— Значит, я исключение. Впрочем, должен напомнить, что я не француз, а совсем другой национальности.

— Знаю.

— И я принадлежу к народу, лучшие сыны которого обычно шли рука об руку с теми, кто сражался за свободу.

Рамасо кивком головы согласился. В хижине воцарилось молчание. Меня очень интересует, каким образом эти книги попали к учителю. Осторожно, чтобы не вызвать недоверия, прошу его ответить на этот вопрос.

— Подробностей я никому не могу открыть, даже собственной жене, — говорит Рамасо. — Во всяком случае могу вас заверить, на Мадагаскаре я не одинок и всюду на важнейших участках находятся мои товарищи. А как эти книги попали на остров? Многие матросы французских судов, которые приходят на Мадагаскар, состоят в партии. И вот, понимаете...

Затем, перейдя на другую тему, Рамасо предостерегающим голосом напоминает:

— В скором времени, может быть завтра, может быть послезавтра, возвращается в Амбинанитело шеф кантона Раяона.

— Раяона происходит из племени ховов? — спрашиваю я.

— Да. Он чужой нам и как человек другого племени и как чиновник колониальной администрации.

— Не беспокойтесь. Никому, кроме моего товарища Богдана, я не скажу ни слова, а за Богдана я ручаюсь.

— Благодарю вас.

Мне тут же припомнился аналогичный случай. Несколько дней назад старый Джинаривело рассказал мне о раздорах между родами заникавуку и циандру. Тогда я, так же как и сегодня, должен был торжественно клясться и уверять в своей лояльности. Когда же изменится положение и к нам с доверием и

дружбой будет относиться вся деревня, а не горстка жителей?

Рамасо запирает на ключ шкафчик с книгами и ключ кладет в карман.

— Динамит, — с улыбкой говорит он, показывая глазами на полку, — который в свое время взорвет всю колониальную систему.

— Однако пока это только грозное фади, — добавляю я.

— Но фади, — говорит с усмешкой Рамасо, — грозное для администраторов, а не для мальгашей.

Раяона, шеф кантона

В деревню возвратился из объезда шеф кантона — староста и приступил к своим обязанностям в большом доме рядом с нами. Во дворе дома теперь полно людей. Жители долины с обоих берегов реки приходят платить налоги.

Староста, молодой человек из главного племени ховов, давних владык Мадагаскара, прибыл сюда из самой Тананариве. Как и всякий хова, он горд и всегда приятно улыбается. Фигура у него щуплая, лицо некрасивое, кожа светлая, как у японцев. У него есть жена, красивая темная девушка из местного племени бецимизараков. Племя подарило ему девушку в качестве выкупа и действенного талисмана для смягчения налогов. Шеф кантона — единственный представитель французских властей в долине Амбинанитело — сила и хозяин. Он окончил в столице административное отделение школы La Muge de Vilers. У него пронизательные живые глаза, он хорошо говорит по-французски, а думает по-ховски; вьется и сгибается под тяжестью невероятного честолюбия. Хочет быть образцом европейской цивилизации. Он многого достиг, но в голове у него сплошная путаница.

Под вечер он приходит ко мне с визитом, попивает ром и незаметно изучает мое лицо. Он знает все — знает, что я ищу следы Бенёвского, а Богдан — птиц и насекомых. Обо всем доложили ему наши соседи.

После второй рюмки он доверительно рассказывает о своей миссии в долине: внедрять цивилизацию среди бецимизараков, на которых, разумеется, смотрит несколько свысока и старается им привить добропорядочные нравы.

— Какие именно? — допытываюсь со всей благожелательностью.

Раяона немного озадачен моим вопросом и, задумавшись, теревит рукой губу.

— Какие? — повторяет. — Ну, хотя бы добросовестно работать, ведь они невозможные лентяи. Совершенно не хотят понять, какие материальные и моральные блага дает труд.

Чувствую, шеф кантона пропитан философией белых наставников.

— Как же вы внедряете хорошие нравы? — пытаюсь добраться до сути.

— Разными способами. Отличная школа для них — общественные работы, так называемые трестации, потом...

— Подушный налог, — подсказываю.

Раяона слишком сообразителен, чтобы не понять скрытой иронии.

— Пожалуй, — подхватывает храбро, — и подушный налог тоже. Что поделаешь, на таких мероприятиях покоится структура всякого государства; без них наступила бы анархия... Возвращаясь же к нашим бецимизаракам, должен сказать: прежде всего я борюсь с их пороком — пьянством.

В этом шеф кантона прав. Алкоголь, привитый европейцами четыреста лет назад людям племени бецимизараков, стал для них истинным бедствием. Тор-

говые суда чаще всего приставали к восточному побережью Мадагаскара, и спиртные напитки были основным товаром, завозимым сюда.

— Да вы апостол-трезвенник?! — шутливо говорю, глядя на его рюмку с ромом.

Вдруг Района охватывает какая-то стыдливая робость. Он все сказал, и больше уже ничего не приходит ему в голову.

— Остальное доскажет вам учитель Рамасо.

Я внимательно посмотрел на шефа, пытаюсь отгадать его мысли. Но маска равнодушия на его лице не дает возможности добраться до сути. На мой вопросительный взгляд хова ответил:

— Учитель прививает им добропорядочность, учит читать, писать, считать, обучает французскому языку и при помощи молодежи влияет на родителей.

Интересно, догадывается ли шеф кантона, какие политические взгляды исповедует учитель? Мне кажется, что нет. Района молча выпивает третью рюмку. После четвертой замечает на столе пачку польских газет. Его лицо внезапно проясняется, и он учтиво просит дать ему все газеты.

— Все?

— Да, все-все, как можно больше! — горячо просит он.

Я даю ему те, что уже прочитал от корки до корки; другие храню как бесценное сокровище. Пятую рюмку я по-дружески не советую пить, но он, упрямый и честолюбивый, должен выпить. Выпивает и... не выдерживает. Ему нехорошо. Мутит. Ослабевшего, почти без памяти отвожу гостя домой.

На следующий день рано утром, чуть ли не на рассвете, доносится громкий голос старосты. Он что-то приказывает домашним и своему заместителю. Его отрывистый голос звучит внушительно; деревня должна знать, что шеф кантона трезв, как никогда, и с утра на ногах. К завтраку он присылает мне письмо, отпечатанное на машинке, — извиняется за вчерашнее. Потом заводит граммофон и ставит пластинки самого торжественного и религиозного содержания. Граммофон замаливает его грехи.

В течение дня выяснилось, почему Района воспылал такой любовью к моим газетам, — цивилизация и гигиена. В стороне стоит уборная. Раньше можно было пользоваться листьями или вообще ничем не пользоваться. Но теперь Районе нужна бумага. А чтобы церемонии придать более солидный вид, он каждый раз прибегает к целехонькой газете — двум развернутым листам. Района знает, что прогресс цивилизации определяется количеством использованной бумаги.

На другой день я не на шутку рассердился: жертвой цивилизации стали «Ведомости литератке» — богатый номер, посвященный Японии, я не успел досмотреть его. Объем и глянцева бумага, вероятно, были чересчур сильным соблазном для шефа. Исчезновение я заметил слишком поздно, когда газета уже была использована.

Через неделю «цивилизация» снова напомнила о себе.

Из Амбохибола, деревни на другой стороне реки, один туземец принес мне любопытного, хотя и обыкновенного зверька — танрека. Это еж, весь усеянный щетинистыми шипами, самый большой из семейства ежей и даже из всего рода насекомоядных. Вид этот, между прочим, хранит великую тайну: ближайший родственник танрека живет по ту сторону земли, на острове Куба. Как он туда попал, одни боги ведают. Тайну хранят мрачные космические ка-

тастрофы и неразгаданная история зверька.

Я уже давно хотел иметь живого танрека и очень обрадовался, когда его принесли, но тут же вздрогнул от возмущения. Какая жестокость! Мальгаш привязал танрека за нижние зубы и тащит полузадушенное животное с чуть ли не вырванной челюстью. Пропащий инвалид.

К тому же мальгаш разоделся, как на маскарад. На нем немыслимые штаны, шелковая рубаша, дорогая шляпа и осеннее французское пальто из плотного материала, ужасно смешное в тропическую жару. Все осматривали пришельца с подлинным изумлением.

— Пять франков! — крикнул напыщенный франт и бросил танрека к моим ногам.

Пять франков за танрека — цена так же высока и нелепа, как и осеннее пальто. Этот человек потерял ощущение действительности.

Вокруг нас собирается толпа зевак. Среди них бедняк, на котором только набедренная повязка. Бедный, но, вероятно, хороший человек подошел к танреку, освободил его от пут и нежно стал гладить. Обессиленный зверек даже не пытался удирать.

Я фотографирую бедняка с танреком и даю ему за это пять франков — неслыханный дар. А владельцу зверька предлагаю только один франк. Бедняк, услышав это, заливается громким смехом, извивается, приседает, не может сдержать бешеного восторга. Другие жители деревни присоединяются к нему и тоже хохочут до упаду. И только хозяин несчастного танрека сжимает в бессильном гневе кулаки и, возмущенный, летит к старосте жаловаться.

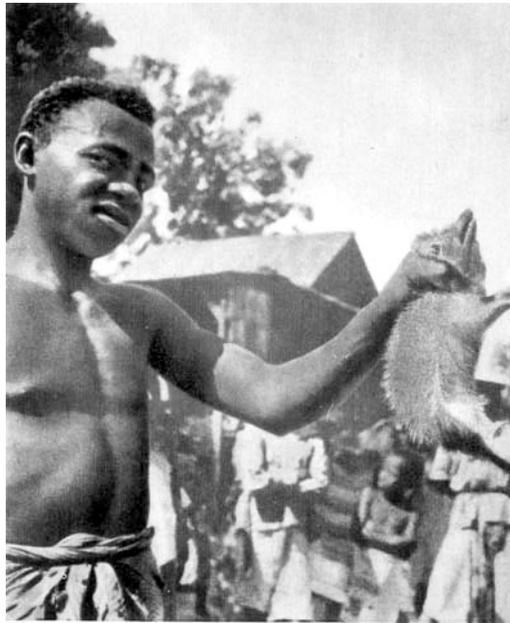
— Это неправильно! — говорит спокойно и с достоинством Района. — Где же пропорция, где смысл? — И объясняет мне, что голыш — прощельга и бродяга, а хозяин танрека — богатый и солидный человек, ему причитается соответствующая плата, он человек цивилизованный...

Плохо, что я не надел шлема и стоял с непокрытой головой на солнцепеке. Неожиданно во мне закипает бешенство, и я взрываюсь:

— Цивилизация — это прежде всего доброе сердце!..

И внезапно обрываю. Не могу говорить дальше. Я хотел прочесть нотацию двум коричневым людям, хотел их пристыдить — и не могу: пафос улетучился. Я слишком высоко забрался.

В самом деле, что-то не так. Лучше надеть шлем на голову, улыбнуться и принять неизбежный ход событий. Посмеяться над забавной карикатурой и порадоваться, что «цивилизация» в Амбинанитело приходит именно в такой форме, а не в другой, более опасной.



Туземец с танреком

Пираты и любовь

Буйная природа Амбинанитело подчинена железным законам извечной борьбы нового со старым. Ветви растений тянутся к солнцу и с безудержной силой и яростью сталкивают в тень все, что росло здесь вчера; давят, убивают, стирают в порошок. Уничтожающая мощь природы все сметает на своем пути, не щадит ничего ни в мире растений, ни в сознании людей. Давние события, которые некогда потрясали целые племена, удивительно быстро исчезают в волнах забвения.

Иногда лишь в каком-то обрывке разговора случайно, на мгновение приоткрывается клочок тайны. След, затерянный поколениями в дебрях запутанных легенд и непонятных фади, внезапно, на секунду, становится реальным фактом.

Где-то на дереве вблизи моей хижины послышался голос мальгашского дронго — дронго.

— Он — фади! — предостерегает меня Джинаривело, показывая на птицу. — Никогда не стреляй в дронго.

Оказывается, дронго некогда спас жителей долины от смерти или рабства. Своим криком он направил преследователей по ложному следу.

— Каких преследователей? Откуда они явились?

— Легенда говорит, что жили они у моря, в устье нашей реки Антанамбалана. Это были плохие люди, они постоянно совершали набеги, хватали наших предков и продавали их в рабство...

— Это были белые пираты?

— Легенда так говорит.

Еще несколько подробностей, и история ясна, след найден. Фади, связанное с милой птицей, безошибочно приводит к периоду пиратского владычества в начале XVIII века, к событиям, которые в истории захватнических войн считаются самыми удивительными.

Преступный выродок пират Плантен благодаря исключительной наглости, соединенной с какой-то кошмарной романтикой и безумным зверством, со-

вершил незаурядные подвиги. То, чего полвека спустя не смог достигнуть Бенёвский, а только через полтора века ценой невероятных усилий и громадных людских потерь добились французы, проделал Плантен. С оружием в руках он завоевал Мадагаскар и стал его владыкой.

Это кажется сказкой из «Тысячи и одной ночи», какой-то карикатурой, повторившей на Мадагаскаре троянскую войну.

И хотя французские и, разумеется, английские летописи стыдливо замалчивают эту авантюру, достоверные описания свидетелей подтверждают удивительные приключения. Стоит напомнить о них хотя бы потому, что столица владыки-пирата находилась совсем близко от нашей долины.

Англичанин Джон Плантен родился на острове Ямайке во второй половине XVII века. Не получив никакого образования, он не умел ни читать, ни писать. Единственное, чему он научился в родительском доме, это извергать потоки отборнейшей брани. Когда ему минуло двадцать лет, он сговорился с английскими пиратами, разбойничавшими в американских водах, и присоединился к ним.

В то время Индийский океан был истинным Эльдорадо для всякого рода грабителей. Корабль, на котором плавал Плантен, отправился на восток. В обществе грубых авантюристов этот герой славился беспощадностью и жестокостью, к тому же он был удачлив и быстро поднимался к вершинам пиратского искусства. Грабя европейские и азиатские торговые суда, Плантен составил громадное состояние.

Мечтой каждого корсара было вернуться после солидного улова в родные края и провести там остаток жизни. Увы, такой счастливый конец в последнее время не всегда удавался: Восточно-Индийская компания терпела колоссальные убытки, причиняемые пиратами, и объявила им войну не только на море, но и в самой Англии. Те, кому удалось пробраться на родину контрабандой, безжалостно преследовались. К тому же английское правительство великодушно и обманчиво обещало амнистию, а когда заблудшие овечки объявлялись, их чаще всего отправляли на виселицу.

Создавшееся положение заставило пиратов толпами ринуться на Мадагаскар, к берегам которого они не раз причаливали и на его больших просторах находили пристанище. Мадагаскар тогда был разделен на несколько десятков миниатюрных мальгашских государств, начальники которых громко именовали себя королями. Они всю жизнь пользовались жизнью и неустанно вели междоусобные войны. Короли приглашали пиратов, этих кровавых дел мастеров, в союзники. Однако такие союзы быстро распадались: пираты, где только могли, захватывали власть в свои руки, держали население в страхе и создавали собственные государства.

Такое государство основал в долине реки Антанамбалана Джон Плантен и объявил себя королем залива. Он привез с собой несметные сокровища и банду головорезов и с их помощью тиранил местное население. Он воздвиг огромную крепость-замок и, используя межплеменные распри, сколотил личное войско, состоящее из тысячи мальгашских воинов. В своем «дворце» он завел многочисленный гарем, богато одевал жен-мальгашек в шелка и увешивал их драгоценностями. Для поднятия престижа у Платена были два вассала, которые провозгласили его верховным владыкой. Речь идет о шотландце Джеймсе Адере и датчанине Хансе Бургене, таких же пиратах, как он. Вассалы

основали по соседству свои маленькие государства, и все трое помогали друг другу.

Жизнь проходила по усыпанному розами пути и перемежалась набегами в глубь острова для захвата рабов. Тогда-то, вероятно, в долине Амбинанитело родилось фадии птицы дронго. Вдруг до Плантена докатился слух, что на Мадагаскаре живет невиданной красоты девушка королевской крови. Тут началась кровавая мелодрама Мадагаскара, размеры которой превзошли, пожалуй, троянскую битву.

Чудо-дева была внучкой мальгашского короля государства Масселеге, которого англичане прозвали «кинг Дик» (в то время англичане любили давать английские клички всем живущим на Мадагаскаре). Звали ее Элеонора Браун, по фамилии отца-англичанина, который когда-то жил на острове и давно отсюда уехал.

Слух об очаровательной полуевропейке Элеоноре воспламенил воображение Плантена, и он послал к королю Дику послов с просьбой отдать внучку в жены. Король Дик ничего не имел против, но при его дворе в Масселеге кормилась целая стая англичан, в прошлом тоже пиратов. Они были враждебно настроены к донжуану и уговорили своего шефа отвергнуть предложение Плантена.

Получив отказ, властелин залива затрясся от ярости и настроил новое послание, в котором пригрозил королю, что если тот не отдаст внучку добровольно, он, Плантен, двинет войско, отберет девушку насильно, а ее деда сожжет на медленном огне. Возмущенный наглым тоном, король Дик вторично отказал пирату и велел передать, что встретит наглеца со своим войском на полпути. Следует добавить, что расстояние между владениями было в тысячу километров.

Плантен шуток не любил и со всей тщательностью подготовился к походу. Командующий его войсками метис Том завербовал на острове Сент-Мари несколько сот мальгашей, с давних пор верных пиратам. Кроме того, к нему присоединилась часть мадагаскарских корольков, и среди них король Келли из Маннагое, который привел с собой тысячу головорезов. Но в сражении Келли не участвовал. Он предал Плантена и со своим войском перешел на сторону противника. Предательство Келли не остановило Плантена. Он построил войско в боевом порядке, разместив на флангах отряды вассалов — шотландца и датчанина. Ротами мальгашей командовали офицеры, бывшие пираты. Над войском развевались английские, шотландские и датские государственные флаги, не совсем обычные опекуны пиратского нашествия. В первой стычке Плантен победил, обратив неприятеля в бегство, и захватил много пленных. Однако через несколько дней снова закипел кровавый бой. Король Келли подкрепил отступающие отряды Дика свежими силами, и противники схватились снова. Но и на этот раз король Дик потерпел поражение и вынужден был отступить до самого Масселеге. Келли же умчался обратно в свои владения. Упорство обеих сторон было велико, и во всех сражениях обильно лилась мальгашская кровь. Но когда Плантен окончательно разбил противника, захватил в плен короля Дика, его столицу превратил в прах и, наконец, добился красавицы Элеоноры, — оказалось, что у нее уже был ребенок. Огорченный и взбешенный Плантен приказал предать огню короля Дика и всех его английских союзников, как это было обещано раньше. Но прекрасная пленница все

же покорила сердце победителя. Пират влюбился по уши. Однако наслаждения медового месяца не заглушили желания отомстить мальгашскому предателю Келли. Плантен обрушился на его государство и разрушил дотла, но сам Келли снова ускользнул. Он удрал на южную оконечность острова к своему брату, начальнику форта Допен.

Остервеневший Плантен хотел помчаться за ним в погоню, но его удержали грозные вести с севера: в отсутствие Плантена местные мальгаши восстали против тирании короля залива и окружили его столицу в устье реки Антанамбалана. Форсированным маршем Плантен поспешил на помощь и прибыл вовремя, чтобы пролить немало крови восставших. Возможно, именно в то время карательные отряды снова навели на деревню Амбинанитело.

Жестокие набеги не мешали Плантену наслаждаться супружеским счастьем. Влюблявшийся все сильнее, он между двумя кровавыми расправами не мог наглядеться в прекрасные глаза Элеоноры. Он ловил из ее уст сладкие слова десяти божьих заветов. Отец Элеоноры, религиозный англичанин Браун, в далеком детстве обучил ее крохам религии, и теперь закоренелый пират впервые в жизни слушал эти премудрости, кроткий (на мгновение), как ягненок.

На этом, собственно, могла закончиться история любовных и военных походов на Мадагаскаре, если бы не страшная жажда мести у Плантена. Где-то, далеко на юге, существовал Келли, посмеявшийся когда-то предать его. Никакая любовь не помешает свести счеты. Этот мальгаш не имел права жить на свете. И вот Плантен объявляет войну, сзывает со всех сторон европейских и туземных союзников и отправляется в поход за тысячу сто километров, на другой конец Мадагаскара. Его неукротимой ненависти ничто не могло противиться. Злобный атаман предавал смерти сомневающимся или уставшим в походе солдат. Во время стычек он потерял двоих товарищей по оружию — шотландца Адера и датчанина Бургена, но сам благополучно добрался до форта Допен, не утратив его пушек, захватил крепость, а короля Келли с его братом и английскими советниками замучил медленной смертью.

После этого Плантен быстро собрался в обратный путь к заливу Антонжиль, гонимый тоской по прекрасной Элеоноре и новой заботой: огромная туча мадагаскарского войска снова напала на его государство. Он примчался, задал бунтовщикам трепку, погнал их через весь Мадагаскар, захватил тысячи невольников, продал их в заливе Святого Августина (на западном берегу Мадагаскара) на корабли из Бристоля, после чего навязал мальгашским государствам преданных себе корольков — подлинный владыка всего острова — и вернулся в объятия своей возлюбленной.

И воцарилось спокойствие на много лет. Улеглись, наконец, разбушевавшиеся страсти. Элеонора подарила Плантену многочисленное потомство. Ничто не омрачало их счастья. Даже то, что пришлось застрелить, как собаку, англичанина Лислея: молодчик, кажется, чересчур заглядывался на его жену. Когда позже климат Мадагаскара надоел его семье, Плантен согнал подчиненных и велел построить корабль. В один прекрасный день он махнул рукой на свое мадагаскарское королевство и вместе с семьей и группой товарищей-пиратов отправился на восток и поступил на службу к Англии, князьку малабарских корсаров. С тех пор о нем никто ничего не слышал.

Карьера мадагаскарского главы пиратов, так же как и вековой период гос-

подства корсаров в Индийском океане, может показаться злой насмешкой истории, каким-то диким капризом. А, в сущности, это был закономерный, хотя и отравленный продукт колониальной эры, нарождающейся в этих странах. Вначале был гнойник: тирания пиратов сродни неприкрытой алчности европейских торговых компаний. На следующем этапе когти колониальных хищников скрылись под лживой маской цивилизации и христианства, чтобы сегодня, на завершающем этапе, снова цинично появиться на свет в облике явной экономической экспансии, получившей права гражданства по колониальным законам. Следующий этап развития, несомненно, поведет события по другому руслу: поднимут голос многие Рамасо вместе с угнетенными народами, сознание которых пробуждается.

Уход с Мадагаскара Плантена и его шайки освободил мальгашей залива Антонжиль от кошмара. Быстро и основательно они забыли о жестоком владыке и его господстве, как забывают тяжелый, мучительный сон. Буйная растительность и забывчивость людей стерли все следы безумного человека, который совершил столько наглых дел, пролил столько крови, вызвал столько слез из невинных глаз. После него не осталось ничего, кроме незаметного, случайного сувенира: тихой, скромной любви к маленькой птице, ставшей для жителей Амбинанитело фади.

Птица с озорным хохолком

Прилетел дронго и поселился на верхушке фигового дерева, вблизи моей хижины. Как и все дрозды мира, он черный, с темно-синим оттенком. Однако это не обыкновенный дрозд: у него красивый, как у ласточки, хвост, на голове озорной хохол. Жители деревни говорят о нем: «Хорошая птица!» Любят, и даже больше — называют королем птиц.

Однажды утром я стоял во дворе и насвистывал песенку о собаке, которая мчалась по полю и виляла хвостом, как вдруг я услышал, что кто-то на фиговом дереве аккомпанирует мне и тоже велит собаке мчаться по полю, правда свистит немного коряво и неуверенно, но мелодия все-таки звучит. Смотрю вверх. Дронго склонил черную головку набок, как бы дожидаясь следующих тактов, и не спускает с меня лукавых глазенок.

— Алло! — весело приветствую его.

— Алло-о! — отвечает птица сверху и исчезает в листве.

До сих пор мне казалось, что фиговое дерево навещали разные птицы: зеленые голуби, сойки, попугаи. Я всех их слышал. Но теперь я знаю: там была только одна птица — дронго. Он копировал всех. И это он, озорник, высоко на дереве воспроизводил звуки, как женщина толчет рис, — в то время для меня сверхзагадочное явление. Теперь я знаю, дронго — остроумный весельчак, забавный болтун, мастер на шутки и проказы, любитель легкой музыки и беспечной жизни.

— Не убивай дронго! — предостерегает Джинаривело и смотрит с явной тревогой на мое ружье. Так же просят и предостерегают другие жители деревни, и трудно поверить, что это те самые люди, которые спокойно могут замучить хамелеона или жестоко поступить с безвредным ежом — танреком. А птице они посылают нежные взгляды и твердят.

— Дронго — фади, дронго — неприкосновенный и святой!

И охотно рассказывают, в который уже раз, старую историю.

— Давным-давно, когда на деревню Амбинанитело обрушивались набегами морские пираты и угоняли жителей в рабство, бороться с ними было очень трудно. Только лес мог спасти от гибели. Однажды в деревне заметили приближение разбойников. Все население бросилось в лес. Увы, женщины с маленькими детьми не могли успеть за убежавшими. В конце концов они в отчаянии вынуждены были укрыться в зарослях, надеясь, что преследователи не заметят их. К несчастью, какой-то младенец громко заплакал, и погоня моментально ринулась по правильному следу. Казалось, ничто не спасет несчастных, хотя ребенок замолчал.

Вдруг совершенно неожиданно высоко, на соседнем дереве послышался детский плач: дронго. Когда захватчики услышали голос знакомой птицы, подражающей плачу ребенка, то подумали, что дронго обманывал их все время. Они прекратили погоню и повернули обратно.

Вот как дронго спас от неминуемой гибели женщин и детей. С тех пор все потомки, все население Амбинанитело почитает его как благодетеля и птицу-хранителя. Любовь к дронго передается из поколения в поколение.

На верхушке фигового дерева у моей хижины торчит сухая ветка. Дронго облюбовал ее для постройки своего жилища. Он любит широкие горизонты. Отсюда обозреваются все окрестности, можно следить за поведением людей, впитывать звуки деревни. Но самое большое внимание дронго уделяет воздушным просторам. Караулит. Время от времени он срывается с места, делает ловкий поворот, какой-то головоломный вираж, от которого земля и небо приходят в изумление, и снова возвращается к себе на ветку. В клюве он держит добычу — осу. Иногда муху или стрекозу.

Дронго — крикун, хохотун и насмешник — обладает необыкновенным для крикунов достоинством — храбростью. Безумной, неустрашимой храбростью. Молнией обрушивается он на врага, а врагом он считает любую птицу, которая вторгнется в дронгово царство, впрочем не такое уж обширное: несколько десятков шагов от кокосовой пальмы у дома старосты Районы до банановых зарослей у амбара купца-китайца. Пусть попробует нарушить границу любой забияка, — будь он хоть самой большой птицей, дронго становится воинственной фурией. Он сражается, как герой, и побеждает; нарушитель улепетывает.

Кукушки глупы, упрямы и бессовестны. Кукушка в Амбинанитело необычайно наглая, возможно потому, что необыкновенно хороша: голубая. Ежедневно после полудня она отправляется на прогулку по деревне, расчищает кусты и поедает гусениц; охотно ворует птичьи яйца и птенцов. Аккуратно к четырем часам она появляется около моей хижины, и тогда наступает страшный птичий скандал. В банановых зарослях с криком и визгом тормозят и раздрают друг друга две птицы: одна большая, голубая, другая поменьше, черная. Наконец появляется растрепанная кукушка и пятится задом. Желая, вероятно, сгладить впечатление от своего поражения, она что есть мочи ругается. Дронго не остается в долгу и тоже орет изо всех сил. Кричат они до тех пор, пока не разойдутся. Тогда наступает тишина и покой на двадцать четыре часа: кукушка упряма.

Говорят, с таким же мужеством дронго набрасывается на самую большую в нашей местности хищную птицу — канью папанга, и так дерзко наступает, что в конце концов принуждает великана к бегству. Мальгаши в восторге от

этого зрелища. Они говорят, что дронго сильнее папанга и поэтому с гордостью называют его королем птиц.

Я живу в чужом, очень чужом, почти враждебном окружении. Здесь люди и климат, растения и звери стерегут каждый шаг пришельца. Выработка внутреннего равновесия становится здесь неотъемлемой частью существования. Для равновесия заключаются союзы, ищется опора. Иногда это закат солнца, иногда обильный обед, случайно найденное в книге слово, взрыв гнева, неожиданный цветок или волнение и нежность при виде дронго. Черный маленький рыцарь с озорным хохолком на голове, неустрашимый защитник своего маленького государства, вырастает почти в какой-то символ. Он может служить примером мужества, образцом справедливого гнева. Я смотрю на него и восхищаюсь.

И вот дронго не стало. Нет его несколько часов, полдня. Нет его день, другой. Я хожу расстроенный и его исчезновение воспринимаю как личную неприятность. словно кто-то близкий вдруг покинул меня без предупреждения, не попрощавшись, и все вокруг опустело. Подозреваю, что его сожрала кошка, и не могу прийти в себя от угнетенного состояния.

Но на третий день, рано утром, меня разбудил веселый, громкий птичий гомон. Я выскочил, посмотрел на верхушку фигового дерева: он! Не верю собственным глазам: он! Неукротимый, радостный. И не один. Привел с собой другого дронго, самочку. Влюблен в нее по уши, пляшет вокруг нее танец счастья и поет о пламенной любви. Он опьянен и разгорячен. Он как огненная лава, как вспыхнувшее пламя. Кто устоит перед таким огромным чувством?

Дронго похитил сразу два сердца, вскружил две головы: сердечко и головку маленькой самочки на дереве и большое сердце и большую голову двуногого существа на земле.

Среди листьев банана

В банановых зарослях вблизи моей хижины я обнаружил необыкновенного кузнечика. Такого красивого кузнечика я еще не встречал. Туловище у него голубое, как небо, а крылья красные, как живая кровь. Природа поступила донельзя расточительно и неблагоразумно: франтоватое насекомое одето крайне вызывающе, бросается всем в глаза и, чтобы не погибнуть, должно постоянно прятаться. Кузнечик тщательно скрывается и весь день сидит, забившись в щель между двумя банановыми листьями.

Самый диковинный каприз природы в нем — два тонких, фантастически длинных уса. Они раз в шесть больше самого насекомого; длина их не менее двадцати пяти сантиметров. Изобретательная природа, вероятно, решила таким способом исправить свою ошибку — чересчур расточительное украшательство: красивый узник получил как бы великолепные антенны, которые можно протягивать далеко за пределы укрытия и вылавливать ими вести из мира.

Вести — это значит другие насекомые; красавец кузнечик — кровожадный разбойник. Он питается исключительно мясом своих сородичей; укрытие его, собственно, предательская ловушка, а неподвижность — упорная настороженность. После нескольких дней наблюдений меня невольно охватил легкий ужас: кузнечик не знает никаких радостей жизни, ему чужды страсти насекомых, веселое порхание, жажда солнца. Его существование — только притаившаяся злоба, непрерывная цепь убийств и пожирание своих жертв. Поднятые кверху усики прижаты к листу и сообщают о приближении дичи. Вот они даже не дрогнули: пробежал муравей. Муравьи — проныры и любят совать нос во все щели. Пагубное любопытство. Внезапно в нужный момент из бездны высовываются жадные челюсти и хватают испуганную жертву.

Когда же на лист садится жучок, усы, наоборот, беспокойно двигаются и время от времени трогают гостя. Вдруг они сильно толкают его, жучок теряет равновесие и катится по гладкому листу в пропасть, прямо к кузнечику. Живым он не выберется. Длинные усики вначале казались мне капризной выходкой природы, на самом же деле они верные помощники убийцы.

Однажды на лист села пчела. Усы не двигаются, точно безжизненные; боятся, вероятно, спугнуть крылатого пришельца. Но зато происходит нечто другое, страшно коварное. Из укрытия осторожно, до половины, высовывается его яркое тело и неподвижно замирает; можно поклясться — на листе расцвел какой-то красно-голубой соблазнительный цветок. Самый настоящий. Пчела подумала то же самое и, привлеченная им, стала приближаться. Но вдруг остановилась на полпути, почуяв недоброе. У кузнечика нервы не в порядке, он не выдержал и зашевелился. Это спасло пчелу: вовремя предупрежденная, она, жужжа, удирает как безумная. На этот раз великолепно разыгранная хитрость не удалась. Но кто ее придумал? Противоречивая природа при всем разнообразии жизненных форм создала в этом случае до предела коварную форму: цветок, чарующее орудие любви и размножения растений, она использовала как предательское оружие для уничтожения жизни. Злые шутки иногда играет природа.

Немного о женщинах

У главной дороги на другом конце деревни растет около двух десятков деревьев ыланг-ылангу. Сейчас они в цвету. Буйные кисти цветов свисают с веток и щедро расточают вокруг упоительный аромат, ставший тайной самых ценных духов во Франции.

В этом царстве запахов пристал ко мне пьяный Ци́ла. Ци́ла — внук Джинаривело и родственник Беначихины, значит он дружески ко мне настроен. Он выпил здешней водки беца-беца, изготовленной из сахарного тростника, и, хотя глаза у него мутные, старается крепко держаться на ногах. Увидев перед собой такое экзотическое создание, как я, он радостно здоровается и уже не отпускает меня. Но сердечен он только в первую минуту. Потом разочарованно смотрит на меня, и недовольная морщинка пересекает его лоб. Рассказывает, какой он хороший охотник, неделю назад убил в лесу дикого кабана, а вот я ломаного гроша не стою.

— Да, вазаха, да, не стоишь! — повторяет он с пьяным упорством.

— Это почему же? — спрашиваю развеселившись.

— В деревне смеются над тобой. Говорят, что ты растяпа.

Странно, очень странно. Ци́ла соболезнующе смотрит и осуждающе говорит:

— Все удивляются, что ты, вазаха, живешь один, без женщины. Беден ты, что ли?

Час ранний, на дороге то тут, то там хлопчут жители деревни. Мимо нас проходит девушка, на голове по местному обычаю она несет корзину с какими-то плодами и потому держится очень прямо.

— Расоа! — повелительным тоном зовет Ци́ла. — Поди сюда немедленно!..

Девушка остановилась, но, увидев, что Ци́ла налился, смеется на расстоянии.

Он же, одержимый желанием сосватать вазаху, продолжает задевать каждую девушку по очереди. Потом, внезапно утомившись, тускнеет, угасает, грустит. Нижняя губа отвисла. Он качает головой.

— Иди спать, Ци́ла! — прошу его.

— Пойду спать, — соглашается он, как послушный ребенок.

Мы пожимаем руки и расходимся в разные стороны.

Когда на следующий день соседи приходят ко мне на обычную беседу, я заговариваю разговор о мальгашских женщинах. Я знал, что женщины здесь вообще пользуются уважением, особенно в тех местностях, где племена главным образом обрабатывают землю, а не разводят скот. Плодородие почвы мистически отождествляется с плодородием женщин. Лучшим доказательством уважения, каким окружены мальгашки, было владычество в прошлом женщин-королев во многих племенах. Веками защищалось положение женщин в общинах мальгашских племен. Всевозможные фадии ограждали беременных женщин и молодых матерей. Мальгашка — хозяйка домашнего очага.

— Муж, не уважающий жену, в наказание часто превращается в лемура, — уверяет Манахицара.

Многие смеются, говорят, что это сказки, но сказки, близкие к истине, так как отражают отношения мужа и жены.

Многоженство в старину было очень распространено, особенно среди господствующих классов. Теперь его почти не существует. Здесь большую роль сыграли христианские миссионеры. Их влияние отразилось на нескольких поколениях большинства племен. Зато развестись легко, причем частым поводом к разводу бывает отсутствие детей. Чувство семейных отношений сильно развито, но скорее между родственниками, чем супругами.

Мальгаши очень любят своих детей. В значительной степени это объясняется религиозными веяниями. Культ предков влечет за собой культ детей, так как они продолжатели рода. Когда дети подрастут, они должны будут тоже почитать предков, то есть своих родителей. Старый, бесчеловечный обычай убивать детей, рожденных в несчастливые дни, исчез совершенно. Много их гибло из-за этого нелепого суеверия. Некоторые этнологи пытались объяснить его борьбой с перенаселенностью, другие — террором господствующих классов.

Многочисленные фадии в отношении детей носят воспитательный характер. Дети не должны видеть, как убивают животных, чтобы самим не стать убийцами; не смотреть, как варят рис, потому что могут сделаться обжорами; нельзя есть лягушек — будешь глупым; если съешь рака — не научишься говорить; не смотри в зеркало — заболеешь; оторвешь у мухи крылышки — загноятся глаза; есть из тарелки отца — значит проявить неуважение, что влечет за собой смерть; если дети будут сажать чужеземные деревья — разрушится некогда установленный порядок.

— Какие чужеземные деревья вы сажали в молодости? — обращаюсь с улыбкой к Рамасо.

Некоторые из гостей посвящены, вероятно, в тайну, понимают скрытое значение моих слов и тихо смеются. Староста Раяона, не догадываясь о причине их веселья, подтверждает:

— Да, это правда. Школа разрушает прежние суеверия.

У мальгашей существует несколько видов браков. Брак на пробу, воламбите, распространен там, где влияние миссионеров не вытравило еще старых обычаев. Пробный брак дает возможность установить, подходят ли молодые друг другу, причем рождение ребенка влечет за собой упрочение отношений и их легализацию. Существуют браки, заключенные на определенное время. Они преследуют ту же цель, что и пробные браки. Временные разводы, саодранто, предотвращают возможные конфликты. К примеру, развод берется, когда муж уезжает на длительное время в далекое торговое путешествие или, как это было раньше, на войну. Когда муж возвращается, происходит торжественное возобновление брака и никто из супругов не должен интересоваться тем, что происходило во время разлуки.

— Этот обычай, — объясняет Раяона, — возник, наверно, в связи с давно укоренившимся среди ховов суеверием. Если муж ушел на войну, а неразведенная жена нарушит верность, то измена вызовет гибель супруга.

У мальгашей бытует много легенд о возникновении женщины. Одна из них рассказывает: боги создали из глины мужчину, и он грустил в одиночестве. Тогда дана была ему женщина. Появилась она в виде опавшего розового лепестка, который постепенно превратился в женщину. В этом предании проскальзывают, несомненно, христианские мотивы, так же как и в другом предании, как бы пропитанном английским пуританизмом. В нем женщина по-

явилась на свет из топкого болота. А вот совсем поэтическое дыхание. Древней Грецией веет от легенды, представляющей женщину как плод любви бога Солнца с богиней Луной. Солнце постоянно бежало впереди Луны, говорит легенда, и они не могли догнать друг друга. Но однажды Солнце, скрывшись за горизонтом, бросило последний луч, который отразился в воде. Богиня Луна приблизилась и бросила на это место в воде серебряный блеск своих испуганных глаз. Так они соединились. Из этого союза родилась женщина, дочь «ока дня» и «сияния ночи».

Равноправие женщин и мужчин, пожалуй, больше всего проявляется в брачных отношениях. Обычай признает за девушками такие же права, какие на Мадагаскаре имеет мужская молодежь. В принципе девушка может полностью распоряжаться собой и своими чувствами — разумеется, за исключением тех кругов, особенно в городах, которые находятся под влиянием чужих европейских обычаев, и за исключением нескольких условных фад.

Ценность женщины, ее значение, уважение к ней определяет одно — способность ее стать матерью.

Нравы эти так отличны от понятий морали в Европе, что вызывали всегда печальные недоразумения и ошибочные, неправильные суждения. Европейец, приехавший на Мадагаскар с чувством собственного достоинства и высокими принципами, в слепоте своей меряющий все своей европейской меркой, познавал нравы туземцев через кривое зеркало. Он искренне возмущался, когда узнавал, что незамужние мальгашки не только пользуются абсолютной свободой, но даже законы и родители поощряют их близость с молодыми мужчинами и — о ужас! — благожелательно относятся к появившемуся потомству. Он не понимал, лицемер, что в глазах мальгашей способность рожать — самое высокое достоинство, а девушки с детьми — именно потому, что имеют детей, — считаются желанными невестами. Они легко находят хороших мужей: они доказали, что умеют рожать.

Беседа с соседями прибавила много подробностей к тому, что я знал раньше. Как и всегда, при таких мужских встречах появляется некоторая фамильярность, и люди склонны к дружеским исповедам и высказываниям семейных забот.

Джинаривело говорит, что в их семье возникли неприятности по поводу брачного фад.

— Какого фад? — спрашиваю я.

— Я говорил уже когда-то, что между нашим родом заникавуку и родом цияндру существует вековая вражда, к ней обязывает определенное фад. Нам нельзя жениться и даже иметь мимолетную связь с девушкой цияндру. Это навлечет бедствие не только на виновников, но и на всех членов семьи. Так вот Беначихина — помнишь ее, вазаха?

— Разумеется, помню, — отвечаю.

— Беначихина в основном хорошая девушка, только непослушная и легкомысленная. Стала, глупая, водиться с Зарабе, сыном старосты Безазы, главы рода цияндру. Наша семья делала все, что могла, чтобы вразумить ее, но она становится все непокорнее...

— А не время ли, — говорит учитель Рамасо, — похоронить смехотворные родовые распри? Ведь это же ребячество!

— Рамасо, — вмешивается Манахицара, — человек образованный, он, наверно, прав. Но образование он получил в Тананариве, а здесь, в Амбинанитело, отказаться от родовых фадди очень трудно.

Джинаривело такого же мнения и верит, что когда-нибудь фадди против рода цияндру угаснет, но теперь, пока оно в силе, Беначихина ведет себя нехорошо. Потом, обращаясь ко мне, говорит:

— Цила был пьян в тот раз, но то, что он говорил тебе, имело здравый смысл. Скажи, вазаха, наши девушки нравятся тебе?

— Ну конечно, нравятся!

— Ты говоришь серьезно?

— Я ведь не слепой и не дурак! — уверяю.

— Это правда! Ты не слепой! — учтиво подтверждает Манахицара.

— А Беначихина тебе нравится? — спрашивает Джинаривело.

— Нравится!

— Понимаешь, важно отвадить ее от Зарабе. Не согласишься ли ты взять Беначихину в жены?

Нет сомнения, что Беначихина красивая и обаятельная девушка, но решать с кондачка как-никак щекотливый вопрос что-то не хочется. Рамасо сетует на ветреность девушек Амбинанитело, в том числе и Беначихины. Ему больше нравится младшая, Веломоди, которая сама захотела обучаться у него французскому языку.

— Веломоди? Кто это? — спрашиваю.

— Это младшая сестра Беначихины.

Теперь я вспомнил. Это та скромная, милая девушка, которая вместе с Беначихиной приносила хлебные плоды от Джинаривело. Я подарил ей тогда зеркальце.

— Зачем ей понадобился французский язык? — удивляется староста Раяона.

— Говорит, что пойдет работать в Мароанцетру.

— Фью! — свистит под нос Раяона, не переставая удивляться.

Народ ховы

Староста Раяона из племени ховов и учитель Рамасо из племени бецимизараков часто заглядывают в нашу хижину. Два мальгашских интеллигента изучали одни и те же науки в школе Le Myre de Vilers в Тананариве. Оба мальгаши; оба унаследовали почти одни и те же обычаи и верования; оба говорят на одном и том же местном наречии, и все же какая между ними разница: у ховы кожа светло-коричневая, у бецимизараки — темно-коричневая. У ховы типично южноазиатские черты лица с выдающимися скулами и быстрыми глазами; он властен, самовлюблен и обидчив. Бецимизарака по виду типичный житель Зондских островов или даже Меланезии. У него кроткое, почти нежное выражение лица, поступки скорее робкие. Наружность этих двух туземцев невольно наталкивает на мысль о нераскрытой до сих пор тайне происхождения мальгашей и даже больше — о возникновении самого Мадагаскара и его необыкновенной природы.

Геологи предполагают, что некогда в южном полушарии существовал единый континент. Нынешнюю Бразилию и Австралию соединяли Африка, Мадагаскар, южная Азия и Индонезия. С течением времени часть Гондваны, как назывался этот отрезок суши, стал погружаться в воду, образовав Индийский океан и южную часть Атлантического. Один из самых первых проливов, нынешний Мозамбикский пролив, возник до того, как Африка подверглась великому нашествию громадных млекопитающих из лесов и азиатских степей. Этим и объясняется, что на Мадагаскаре нет таких типичных для Африки животных, как слоны, львы, антилопы, газели, жирафы и др.

Оставшийся индо-мадагаскарский отрезок суши, названный Лемурией, позже тоже начал разрушаться и погружаться в Индийский океан. Так образовался остров Мадагаскар. В результате космических преобразований на Мадагаскаре появился своеобразный мир животных и растений. Три четверти флоры и фауны — эндемичные, то есть присущие только данному острову. Мадагаскар как бы небольшой обособленный континент. В животном мире поражает большое количество разновидностей семейства лемуринов и хамелеонов, далекие и немногочисленные предки которых обитают в Южной Азии и на Зондских островах.

Полагают, что первоначально Мадагаскар был необитаем, а нынешние мальгаши — потомки мореплавателей, которые в разное время прибывали сюда с востока. Оттуда дуют сильные ветры и приходят морские течения. Мадагаскар — последний выдвинутый на запад форпост, заселенный индоокеанскими племенами.

Мореплаватели были, несомненно, малайцы и меланезийцы. Они прибывали на большой остров с разных сторон, и хотя они принадлежали к разным племенам и говорили на разных языках, в настоящее время — и это загадка для этнологов — на Мадагаскаре господствует один основной язык с различными диалектами. Только племя сакалавов, поселившееся на западном побережье острова, смешалось с африканскими неграми, но и они говорят на мальгашском языке.

Появлялись на острове и захватчики — индийцы, персы, арабы. Они стремились навязать свое господство, но их было немного, и со временем они сли-

лись с туземцами. Так образовались мальгашские племена, которых в наше время насчитывается около двух десятков. В конце XVIII и начале XIX века свыше полумиллиона мальгашей образовали племя бецимизараков. Несомненно, наиболее интересными пришельцами были малайцы. Они, вероятно, появились на острове незадолго до первых европейцев, то есть в последний период средних веков нашей эры, и оказали на туземцев наибольшее влияние. Недолго пробыв в приморских низинах, малайцы вторглись в глубину острова и поселились на рисовых полях вокруг нынешней столицы Тананариве. Трудолюбивые и честолюбивые, они изгоняли соседей и создавали свои карликовые родовые общины. Подлинный расцвет малайцев начался в конце XVIII века, когда король Андрианампоинимерина образовал из отдельных родов единое государство. Это был человек незаурядного ума и неистощимой энергии. Он ввел такие мудрые законы, что их потом, сто лет спустя, частично заимствовали французы. В течение века государство его росло и развивалось и оказывало влияние на большую часть Мадагаскара.

Это было государство с типичным деспотическим управлением, опирающееся, с одной стороны, на покоренные ховами другие племена, а с другой — на эксплуатацию всего туземного населения, в том числе и собственного племени. Весь народ был разделен на три основные группы: андрианов — дворян, ховов — вольных людей и андево — рабов. Поскольку ховы составляли большинство, в обычай вошло весь народ называть ховами.

Мадагаскар в XIX веке был ареной бешеного соперничества между английскими и французскими империалистами. И те и другие старались опутать своим влиянием Мадагаскар и кружились вокруг лакомого куска, огрызаясь, как псы. Этим воспользовались мальгашские дипломаты и удерживали их на расстоянии столько времени, сколько соперники дрались между собой.

Помощь ховы чаще принимали от Англии, так как Франция представляла большую опасность для независимости Мадагаскара. Английское оружие и военные инструкторы дали им возможность подчинять другие племена. Английские миссионеры составили мальгашский алфавит, построили школы, обучали всякому ремеслу и, разумеется, насаждали свою религию. Миссионеры проявляли исключительную «заботу» и добились своего: в 1868 году в Тананариве протестантство было объявлено государственной религией. Если бы Англия в то время действовала напористее, Мадагаскар стал бы ее добычей. Но международное положение не благоприятствовало Британской империи, и в 1890 году ей пришлось уступить арену борьбы Франции, к великому ужасу ховов, веривших вот уже восемьдесят лет в нерушимую дружбу и добрую волю англичан.

Через шесть лет после тяжелого и стоившего очень дорого военного похода Мадагаскар стал французской колонией.

Королевство Мадагаскара пало в результате бездарного управления могущественных андрианов. Прогнивший строй опирался на сановников, грабивших и тиранивших своих подданных. Небольшой налет цивилизации, приобретенный последними двумя-тремя поколениями, спокойно уживался с невероятной самонадеянностью, бахвальством и полным отсутствием патриотизма.

У мальгашей было достаточно оружия и числилась — на бумаге — большая армия, но сражаться они не хотели: отступали после первых выстрелов фран-

цузских солдат. Туземцы рассчитывали на чудо, надеялись, что французов уничтожит «генерал Тазо». Тазо — малярия. Уничтожала. Но достаточно было нескольким изнуренным отрядам захватчиков доползти до холмов, на которых расположена была Тананариве, дать несколько пушечных залпов по королевскому дворцу, и вся воображаемая мощь андрианов разлетелась в пух и прах.

Прошло несколько месяцев, и народ восстал против захватчиков, но было поздно. Французы воздвигли по всей стране укрепления и потопили восстание в потоках крови. Трудолюбивый, честный народ ховов попал в тиски колониального рабства.

Франция, покорив Мадагаскар, тотчас же приступила к экономической эксплуатации острова. Французские банки предоставляли многочисленные займы и брали ростовщические проценты. Различные торговые компании с жадностью набросились на остров и грабительски расхищали природные богатства. На остров обрушилась стая колонизаторов. Возникли капиталистические плантации кофе, ванили, гвоздики и других ценных культур; появились рудники для добычи золота, графита, слюды и полублагородных камней. Поставленная на широкую ногу эксплуатация шла на пользу только иностранному капиталу и захватчикам, а настоящие хозяева земли и ее богатств не только ничего не получали, но должны были поставлять своим господам рабочую силу.

Чтобы грабительская машина могла исправно действовать, колониальная администрация не могла обойтись без мальгашских помощников. Их тоже поставлял способный народ ховов. Для них-то главным образом и были открыты в Тананариве школы, которые готовили мелких административных служащих, а также мальгашских врачей, дантистов, учителей, бухгалтеров, чиновников на плантациях и различных ремесленников.

В то время как другие племена, погруженные в первобытную темноту, прогрессировали очень незначительно (например, на пятьдесят пять крестьянских хозяйств был только один плуг), в главном племени ховов французы создали группу интеллигенции и полуинтеллигенции, вышедших, как и в других колониальных и зависимых странах, из местной буржуазии. Захватчики воспитали ее исключительно в своих интересах. Так продолжается и по сей день. Колонизаторы твердо знают, что группа интеллигенции обязана им своим привилегированным положением, и верят в ее преданность.

Вот шеф кантона Раяона. Может быть, он развеет некоторые мои сомнения? Он ведь хова и обязан колониальной администрации своим образованием и положением. Администрация прислала его в отдаленный Антанамбаланский край, и он, хова, может использовать в кантоне почти неограниченную власть над племенем бецимизараков. Какова же степень его верности французам? Раяона часто заглядывает в нашу хижину, и между нами установилась некоторая близость; стараюсь у него кое-что выведать. Но Раяона осторожен. Отделяется обтекаемыми фразами о благодарности и прогрессе, а когда я слегка припираю его к стене, набирает в рот воды.

Хитрец приводит к нам Безазу. Он бецимизарака и глава рода цияндру. В Амбинанитело занимает пост мпиадиды — сотского. Оба пичкают меня разными подробностями о своей работе, о сборе налога, о посылке людей на при-

нудительные работы, но их личное отношение к политическим вопросам остается тайной.

Когда во время беседы возникла опасность, что я могу слишком подружиться с Безазой, хитрый Района просит меня показать фотографии, которые я снимал здесь, на Мадагаскаре. Района уже видел их. Все им нравится, но одна страница альбома вызывает испуг у Безазы. На снимке изображен хамелеон с уродливой, как бы одетой в бронированный колпак головой.

— Он, кажется, похож на рантутру, — медленно, небрежным тоном говорит Района.

Всем известно, что рантутру — страшный лесной демон, принявший облик хамелеона, гроза жителей Амбинанитело. На суеверного Безазу даже фотография наводит ужас. Сотский покидает хижину более подозрительным, чем был до прихода.

Француз Грандидье, автор многотомного труда о Мадагаскаре, сообщил о ховах следующее:

«Они вежливы и предупредительны, интеллигентны, трудолюбивы и экономны, но эгоистичны, лживы и жестоки».

Грандидье писал это тогда, когда французы считали главным препятствием к захвату Мадагаскара государство ховов.

Гора Бенёвского

В Амбинанитело, так же как и в других деревнях Мадагаскара, да, пожалуй, и во всех деревнях земного шара, долго ничего особенного не происходит. Сонная жизнь лениво течет среди рисовых полей и тростниковых хижин под палящими лучами солнца. И вот однажды из одной хижины раздаются дикие, душераздирающие вопли, сотрясающие долину. Я подумал, что кого-то убивают, и помчался на помощь.

Уже две недели старик Тамасу (родом с Коморских островов, расположенных между Мадагаскаром и Африкой) очень болен и лежит без памяти. А теперь его грубо поднял с постели и нагло над ним издевается расвирепевший макоа Берандро (потомок прежних рабов-африканцев). Хотя Тамасу и Берандро чужестранцы, но жители Амбинанитело давно уже считают их своими. Они относились к нам хорошо и (приходили на дружеские беседы.

Сейчас я не узнаю обычно солидного и разумного Берандро. Он ошалел. Волочит больного Тамасу за ноги по земле, бранит последними словами, щиплет, топчет ногами и издевательски хохочет. Я также не узнаю кротких жителей деревни: все смотрят на жуткую сцену с тупым спокойствием, почти радуясь. Никто не заступается, никто не защищает. Мальгашская деревня снова озадачила меня загадочным явлением.

— Куда ты его тащишь, Берандро? Пстой! — кричу я возмущенный.

Но тут неожиданно вступает за тирана сам пострадавший. Тамасу умоляет меня прерывающимся голосом:

— О вазаха, не мешай ему! Пусти нас, пусти!

И присутствующие при этом жители деревни тоже знаками дают понять, чтобы я не вмешивался. Разозлившийся Берандро тащит лихорадочного больного к реке и бросает его в воду. Деревня воспринимает это зрелище с облегчением, больше — с удовольствием. Берандро посылает больному вслед ка-

кие-то изоощренные ругательства и уходит довольный, с чувством выполненного долга. Постепенно шум стихает, люди успокаиваются, а родственники больного вытаскивают его из воды. Странное происшествие закончилось совсем неожиданно: Тамасу, вопреки моим предположениям, не умирает, а наоборот — быстро поправляется, и уже через несколько дней я встречаю его разгуливающим по селению. Чары, что ли? Чары не чары, но невероятная вера в старое, необычное предание. Его рассказал мне позднее сам Берандро, снова, как прежде, спокойный, милый, рассудительный житель тихой деревни.

С незапамятных времен живут на Коморских островах, кроме арабов, два племени: коморцы, напоминающие мадагаскарских мальгашей, и макоа, негры африканского происхождения. Темнокожие макоа отличались проворством и снискали себе славу колдунов и заклинателей. И вот, когда многочисленные и жестокие пираты стали налетать с моря и грабить коморцев, последние решили искать защиты у колдунов макоа. Колдовство макоа произвело ошеломляющее действие: всевозможные болезни подкосили налетчиков, а жестокие штормы в щепы разнесли их лодки. Увы, такое колдовство — дорогое удовольствие, и чародеев нужно было щедро вознаградить. Но обедневшим коморцам нечем было расплатиться. Тогда с племенем макоа был заключен торжественный, действующий на века договор: всегда, во всех поколениях любой макоа, когда только захочет, может забрать у первого попавшегося коморца часть его добра: курицу, свинью, корову, даже ребенка; может бранить его какими угодно словами и бить. Много времени прошло, но коморцы до сих пор с большим уважением относятся к давнишнему уговору даже здесь, на Мадагаскаре. Они уверены, что в святой воле отцов таится скрытая сила: если туземец из племени макоа изобьет больного коморца, последний обязательно выздоровеет.

— Теперь ты понимаешь, вазаха, — кончает свой рассказ Берандро, — Тамасу — из рода коморцев, а я — макоа. Я издевался над больным Тамасу, и это было как сильнодействующее лекарство: Тамасу выздоровел. Мы почитаем волю отцов и стараемся запомнить каждую подробность из их жизни...

— А ты знаешь, — неожиданно спрашиваю Берандро, — какие враги в свое время так жестоко расправлялись на ваших Коморских островах?

Берандро насупился: нет, он не знает.

— Ты говорил, что штормы разбили лодки разбойников.

— Так рассказывал мой прадед, когда я был еще мальчишкой.

— Значит, это были лодки, а не большие суда. И, наверно, было много лодок.

— Не иначе.

— И ты действительно не знаешь, кто так часто нападал на Коморы?

Берандро — живая летопись, но этого он не знает. Не знает этого и мой старый друг Джинаривело, знаток истории племени бецимизараков. А он-то должен был бы знать; хищные набеги на Коморские острова совершали его собственные предки, воины бецимизараки. Происходило это в конце XVIII века вплоть до 1816 года. Почти ежегодно выходили в море мальгашские пироги. Всюду по пути, начиная с Таматаве, собирали они воинов и отправлялись

вдоль побережья Мадагаскара, сначала на север, а потом к западному берегу. Оттуда при попутном ветре перебрасывались на Коморы. Это были дерзкие походы, полные удали. Воины захватывали большую добычу, терпели поражения, испытывали штормы и мор, но их набеги были прекращены только объединенными силами трех владык: Англии, султана Занзибара и короля Радамы в Тананариве.

— Откуда ты все это знаешь? — спрашивают изумленные Берандро и Джинаривело.

— Я все узнал из книг в Тананариве. В этих книгах я нашел более интересные вещи: не было бы дерзких походов бецимизараков, не было бы бед коморцев, удивительного договора между коморцами и макоа, твоего магического лечения, Берандро, если бы не один великий человек и воин, тот самый, о котором вы так позорно забыли и который вон на той горе построил свой форт Августа. Одним словом, всего этого не произошло бы, не будь творца всех этих приключений Бенёвского.

Трудно передать, с каким напряженным вниманием слушали мои слова, которые я умышленно произносил торжественным тоном, двое моих коричневых друзей. Впервые они обеспокоены тем, что не знают как следует истории своего народа и могут потерять авторитет сограждан.

— Расскажи нам подробнее о Бенёвском! — просят они.

— Когда Бенёвский вторично приехал на Мадагаскар, на этот раз уже как ампансакабе, король мальгашей, он высадился со своими товарищами на северо-западном побережье острова. Но в ту же ночь его постыдно предали: капитан корабля тайком поднял якорь и бежал на запад, в сторону Коморов. Бенёвский срочно отправил на пирогах двоих белых товарищей и около двадцати мальгашей к своему другу, султану Анжуану на Коморах, с просьбой задержать беглеца, но погоня опоздала — корабль уже ушел. Мальгаши, принимавшие участие в погоне, впервые познакомились с богатствами Коморских островов. Когда они вернулись на Мадагаскар и рассказали обо всем виденном, туземцы взволновались, и их обуяла жажда наживы. Таким образом, Бенёвский, помимо своей воли, указал мальгашам путь на Коморы. Вскоре и начались прославленные набеги, длившиеся тридцать лет. Не будь Бенёвского, не было бы никаких набегов и легенд, связанных с ним.

Оба старика слушают меня с нарастающим волнением. Прошое, их родное, важное мальгашское прошое, чудесно раскрывается перед ними. Из мрака, рядом с их собственными предками, возникает вдруг образ сильного человека, уже не чужого, если его влияние сильно по сей день и проникает в быт и обычаи. Они уже не равнодушны к нему.

— Ты говоришь, вазаха, что он был нашим ампансакабе и построил крепость на этой горе?

Ночью меня разбудил стук в дверь моей хижины. Пришли Джинаривело и Берандро, а за ними стояли Манахицара и Тамасу. С таинственным видом они хотят сообщить мне важное известие. Требуют, чтобы я внимательней присмотрелся к горе Амбихимицинго, которую я называю горой Бенёвского. Я смотрю, но ничего особенного не замечаю; темная, высокая глыба, как и каждую ночь, выступает из тумана, и при блеске звезд видны черные пятна деревьев.

— Там на вершине мы видим дух Бенёвского! — шепчут они взволнованными голосами.

Смотрю внимательно на моих друзей, не издеваются ли они.

— Я вижу только туман и красивую плантацию гвоздики.

Кажется, не то сказал. Стало не по себе от суровых взглядов, недоуменного пожатия плеч и недовольного ворчания.

— Господин, не смейся над нашими духами!

Над вашими духами? Над вашими?! Нет, я уже не смеюсь. И вдруг начинаю понимать всю серьезность этой минуты, значительной и для нас, двух пришельцев, и для Амбинанитело.

Кто поймет таинственные хитросплетения судьбы? Стоны больного Тама-су, странности древних обычаев и запутанный узел старинных мальгашских легенд — все это неожиданно привлекло в уединенную долину Амбинанитело кого-то живого, нарушившего ваш покой, но дружески настроенного — дух Бенёвского.



Гора Бенёвского

«Нет, покоя здесь нет!»

На этих днях в Амбинанитело появилось новое беспокойное и беспокоящее существо, но не дух, а человек: врач Ранакомбе. Ему тридцать два года. Живой, энергичный хова, невысокий, хорошо сложенный, круглолицый. Кожа у него коричневая, намного темнее, чем у бледно-оливкового Раяоны, но зато лицо его привлекательнее и живее, чем у его уродливого земляка. Это красивый, разговорчивый и обаятельный мальгаш. Служит он в колониальных органах здравоохранения и в нашу деревню заглянул в качестве санитарного инспектора.

Так же, как староста Раяона и учитель Рамасо, он посещал школу Le Muge de Vilers в Тананариве, недавно окончил медицинский факультет, на котором изучал общую гигиену и курс лечения простых болезней на Мадагаскаре.

Ранакомбе поселился у Раяоны, школьного товарища и друга. Оба приходят ко мне с визитом, и между нами, разумеется, завязывается оживленная беседа за рюмкой рома. Раяоны просит, чтобы я показал его другу альбом с мадагаскарскими фотографиями.

— Охотно, — отвечаю и, значительно посмотрев на Раяону, добавляю: — только, дорогой шеф кантона, попрошу без всяких фокусов.

— Каких фокусов? — разыгрывая дурачка, спрашивает Раяоны.

— А этих, с хамелеоном и Безазой.

Увидев смущение Раяоны, я обращаю все в шутку, но староста уверяет:

— Ранакомбе не суеверный Безаза.

— Но в альбоме вы можете отыскать еще какого-нибудь демона, который напугает вас.

Шутки шутками, а все-таки они нашли кое-что неуважительное.

Среди фотографий мальгашских типов была молодая девушка ховка с чувственным лицом и кокетливой улыбкой. Я не должен был снимать их землячку с таким неприличным, вызывающим выражением лица.

— Будете потом разглашать по свету, что мы распутники и бесстыдники, — укоряют меня.

— Зачем так думать?! Вы щепетильны до предела! — журю я их по-дружески. — Вы сами даете повод для насмешек, и это, как известно, ваш злейший враг.

Они соглашаются, и знакомство с альбомом продолжается без происшествий.

У Ранакомбе глубокий и ясный ум; он не так сдержан, как Раяоны. У него порывистый темперамент национального радикала, ограниченный рамками мальгашской осторожности. Молодой врач знает, что я путешественник, а значит, в основном человек безвредный, и не скрывает от меня своих взглядов и своей страсти к политике.

— А что, итальянцы все еще хотят купить Мадагаскар у французов? — спрашивает он.

Я ничего не слышал об этом, и Ранакомбе объясняет: английский еженедельник «Санди экспресс» со всей серьезностью напечатал в 1935 году сообщение, что якобы Франция хочет продать Италии Мадагаскар за семьдесят пять миллионов фунтов.

— Сумма не плохая! — говорю.

— Да и «утка» неплохая, — добавляет Ранакомбе.

Врач довольно подробно знает о том, что некоторые круги буржуазной Польши заинтересованы в Мадагаскаре,[279] знает и о сумасбродных планах послать на остров большое количество переселенцев.[280]

Единодушно соглашаемся, что это дикий бред. Слова эти услышал вошедший учитель Рамасо, которого я тоже пригласил к себе.

— Вы говорите: бред? — переспросил он. — То, что сперва кажется глупым и наивным бредом, чаще всего отдает скрытой подлостью империалистов...

Меня очень интересует эта тройка, особенно врач Ранакомбе. Что он думает о будущем Мадагаскара и как относится к нынешним колониальным властям? Тема опасная, потому что даже разговорчивый Ранакомбе старается держать язык за зубами и отвечает только историческими аналогиями:

— Как мы относимся к колониальным властям? А каково было отношение поляков к своим захватчикам, поделившим Польшу в девятнадцатом веке?

— Каково? Мы ежедневно высказывали свои взгляды на страницах печати, в разговорах, в демонстрациях, каждое поколение поднимало вооруженное восстание... А у вас здесь тишина.

— Тишина?! — протяжным возгласом отзываются вдруг Района и Ранакомбе. Они загорелись, разволновались. Врач поднялся и стал ходить взад и вперед по хижине.

— Если я не ошибаюсь, — заговорил староста Района, — вы, вазаха, хорошо знаете историю государства ховов в девятнадцатом веке. А ведь отличительной чертой того времени была отчаянная защита нашей независимости от иностранного вторжения. Соппротивление вошло в плоть и кровь, стало нашей манией. Дважды мы оказали вооруженное сопротивление захватчикам: в 1830 году мы нанесли поражение французам, а в 1845 году — даже объединенным франко-английским силам, которые высадились в Таматаве. Этого так просто не забудешь.

— А полвека спустя, в решительный момент, вы почти без единого выстрела сдаетесь французам?

— Правильно! — соглашается староста. — Это черное пятно в нашей истории. Королевство Мадагаскара было изнурено. Управление дворян-андрианов привело его в упадок.

— С падением королевства, — вмешивается Ранакомбе, — окончилась раз и навсегда историческая роль андрианов. Французы уничтожили их и все, что было с ними связано. С той поры в нашем обществе нарождается и с каждым годом набирает силы новое сословие — среднее, современное, патриотическое — интеллигенция, опирающаяся на демократию. Мы — его представители...

— А вот теперь, в настоящее время, не идете ли вы, ховские интеллигенты, целиком на поводу у колониальной администрации?

Мой вызывающий тон смутил их. Наступает молчание. Оба они чиновники одной и той же администрации и в уме взвешивают, что им ответить.

— Вы во многом правы, вазаха! — говорит Ранакомбе. — Мы должны идти на поводу, потому что иначе у нас не будет никакого доступа к просвещению и развитию. Мы, колониальные народы, отрезаны от всего мира и во всем зависим от колониальных государств.

— Даже совесть и угоднические политические взгляды завянут? — спраши-

ваю с нескрываемой иронией.

— Простите, вазаха, но вы не знаете, какие взгляды могут быть скрыты от иностранцев под внешней оболочкой.

— Какие взгляды? — недоверчиво переспрашиваю.

Но Ранакомбе не успел ответить. Староста Района вдруг резко срывается с места и бежит к двери.

— Бабакуты появились! — говорит он, подняв руку и прислушиваясь. — Слышите?

С окраины леса, начинающегося всего в тысяче шагов, слышится протяжный, жалобный вой лемурув. В неподвижном предвечернем воздухе этот вой резко разносится по всей долине и рисовым полям.

— Они часто воют в это время, — говорю, не придавая значения словам старосты.

Района хочет оправдать внезапный перерыв в беседе и объясняет:

— Бабакуты в наших легендах занимают большое место. Вы обязательно должны использовать рассказы о них в своих записях.

— Охотно запишу, но в другой раз, — отмахиваюсь от него и стараюсь не замечать предостерегающих взглядов, которые Района украдкой бросает на врача.

Однако хитрому старосте не удается направить разговор по другому руслу. Мы возвращаемся к прежней теме. Ранакомбе, хотя и предупрежден, не сдаётся и с увлечением продолжает:

— Вы говорите, у нас тишина? Так разрешите, вазаха, познакомить вас с некоторыми фактами из нашей истории, опровергающими эту мнимую тишину.

— Факты из последнего периода, колониального?

— Вот именно.

— Очень интересно.

— Так слушайте: прошло несколько месяцев после бесславной капитуляции в 1895 году, и тысячи ховов восстали против французских войск. Партизаны, их звали — фахавало, которых французы, разумеется, считали бандитами, были искренними патриотами, и захватчикам доставалось от них как следует. Французские войска с трудом подавили восстание и жестоко расправились с патриотами. Было сожжено более трехсот деревень. Триста деревень для населения, насчитывающего не полный миллион, — вот вам убедительное доказательство сопротивления ховов.

Ранакомбе закуривает папиросу, и руки его слегка дрожат.

— А через несколько лет, — продолжает он, — в первые годы нашего века, восстал весь юг Мадагаскара. Объединились все южные племена, до тех пор враждовавшие между собой: танала, бара, антаносы, антандрой, махафалы. Годами продолжалась борьба, пока французам удалось овладеть положением, причем снова самыми возмутительными приемами, не щадя жизни детей и женщин.

— Но это были не ховы.

— Не ховы, но все равно мальгаши. Знаменательно, что и они на юге восстали против иноземного господства. Но продолжаю дальше. Во время мировой войны[281] среди ховов возник тайный союз «Вы-Вато-Сакелила», что значит «закаленные, как железо и скала». Участвовали тысячи заговорщиков,

главным образом интеллигенция: учителя, пасторы, врачи, колониальные чиновники и даже школьники. Цель была — уничтожить или прогнать с острова всех колонизаторов. Но в последнюю минуту перед восстанием кто-то донес французам, и заговор был раскрыт. На этот раз патриотов не уничтожали, мировая война продолжалась, и Франции нужны были мальгашские рекруты. Несколько десятков руководителей восстания были приговорены к многолетнему или пожизненному заключению, а несколько сот повстанцев высланы за пределы острова.

Еще одно событие: в мае 1929 года три тысячи ховов организовали в Тананариве демонстрацию под лозунгом «Прочь, вазахи!». Демонстранты ворвались во дворец генерал-губернатора и в течение нескольких часов занимали здание, пока подроспевшая полиция и войска не изгнали их оттуда. А что делается сейчас, в настоящее время? Несколько месяцев назад генерал-губернатор Кайла произнес знаменательную речь на заседании хозяйственных представителей колонии. Кайла ни больше ни меньше как объявил с беспокойством, что среди мальгашей происходит сильное брожение, какого Мадагаскар много лет уже не испытывал. Оно проявляется в виде пассивного сопротивления всем распоряжениям колониальных властей, особенно хозяйственным. Между прочим, во время последнего сбора гвоздики на европейских плантациях мальгашаи отказались работать, и владельцы плантаций потерпели катастрофические убытки. Нет, вазаха, что бы вы ни думали о нашем острове, но покоя, о котором вы говорили, здесь не найдете.

— Ранакомбе прав, — подает голос учитель Рамасо, — я это могу подтвердить. На днях я узнал из достоверных источников, что в округе Анталаха, в каких-нибудь ста километрах от нас, на плантациях ванили начались волнения. Столкновения между рабочими и французскими плантаторами привели уже ко многим арестам, и это еще больше возбуждает население.

— Нет! — взволнованно повторяет Ранакомбе. — Покоя здесь нет!

Все говорит о том, что ховский врач не ошибается. Несмотря на официальные заверения французского правительства, что на Мадагаскаре все в порядке, по разным признакам чувствуется, что в этом порядке появились уже трещины. Национально-освободительное движение, охватившее все южные рубежи Азии, проникает уже и на Мадагаскар. Медленно, с неизбежностью исторического приговора, на колонизаторов надвигаются события. Какой они примут характер и как сложится история острова? Мне бы очень хотелось узнать, что об этом думают трое моих гостей, но вопрос опять щекотливый, а они не очень любят откровенничать.

— Я не представляю себе развития событий, — подсказываю им, — без того, что Мадагаскар отойдет от Франции в будущем, когда вопрос созреет.

У осторожных Раяоны и Ранакомбе неясный, обеспокоенный взгляд. Помолчав, врач говорит:

— Это не такое простое дело. Не исключено, что в далеком будущем произойдет и это. Но людей, думающих о таких конечных результатах, у нас немного. Опыт двух последних поколений научил нас трезво оценивать события. Мы знаем, что завоевать подлинную независимость при нынешней расстановке сил совершенно невозможно, но зато все больше мальгашей желало бы достигнуть широкой автономии в рамках французского империализма.

— Или вроде доминионов английской короны? — спрашиваю.

— Да, многим мальгашам, умеющим политически мыслить, это кажется реальным и достижимым решением: Мадагаскар, получив хозяйственную и политическую автономию в рамках французского империализма, станет мальгашским.

— А такие мысли приобрели уже какую-нибудь реальную форму?

— Нет еще. Пока это только не созревшие идеи. Но рано или поздно должна появиться политическая партия, которая эти идеи воплотит в жизнь.[282]

«Создать нечто прочное»

Из беседы со старостой Раяной, врачом Ранакомбе и учителем Рамасо я узнаю любопытные вещи. Такие любопытные и важные, что они превратились чуть ли не в политическое интервью. Возле моей хижины проходят несколько девушек, несущих на головах пучки зеленых овощей с полей. Их приглушенное веселое щебетание доходит до нас, как песенка. Это похоже на живую картину из ветхого завета, в которую мощным потоком вливается предвечерний шум толчения риса в больших деревянных ступах. Архаическая картинка и шумы с незапамятных времен связаны с жизнью мальгашской деревни и кажутся перенесенными из другого мира и другой эпохи, так она далека от темы нашего разговора. И все же какая зависимость друг от друга! От того, какие бури всколыхнут Европу, какие идеи победят в Париже, кто в Тананариве возьмет власть в свои руки, — от всего этого будет зависеть в Амбинанитело судьба этих девушек с пучками зелени на головах и женщин, готовящих рис для семейного ужина.

В доводах обоих ховов некоторые вопросы для меня неясны, и я прошу Ранакомбе объяснить их:

— Вы представляете план политической автономии так, как будто на Мадагаскаре живет только один народ. А ведь здесь насчитывается около двадцати различных племен. Как вы думаете решить такой вопрос?

— Пустяки. Ведь у нас общий язык, и антагонизм между племенами легко преодолим.

— Вы тоже такого мнения, Рамасо? — поворачиваюсь к учителю.

— Нет!

Рамасо сидит в стороне. С напряженным вниманием прислушивается к разговору, не спуская с нас глаз.

— Почему? — спрашивает изумленный Ранакомбе.

Учитель глубоко набрал воздуху в легкие, как бы желая этим придать больше веса своим словам:

— Потому что антагонизм между племенами существует и избавиться от него теми способами, какие предлагает Ранакомбе, не удастся. Прежде всего антагонизм есть между главным племенем ховов и всеми другими народностями Мадагаскара как следствие деспотического управления ховов в прошлом веке. Вы согласны с этим, Ранакомбе?

— Только с оговоркой. Ведь феодальный деспотизм андрианов ушел в далекое прошлое.

— Да, но укоренившееся недоверие все еще существует.

— Со времени французского нашествия, — доказывает Ранакомбе, — недоверие это не имеет основания и постепенно исчезнет само собой. Все без исключения мальгашские племена находятся в настоящее время на положении

подневольных, и у них один владыка.

Рамасо смотрит на врача с насмешливой улыбкой:

— Дорогой доктор, вы кому хотите затуманить мозги — вазахе? Или, может быть, мне? Именно со времени французского нашествия увеличились разногласия между ховами и другими более или менее отсталыми племенами. У вас появилось, как вы выражаетесь, среднее сословие, у других племен этого нет, там только одни крестьяне. Посмотрите на себя: мы живем на окраине страны бецимизараков, более пятисот километров нас отделяет от ховов, однако местная власть в руках представителя ховского народа. А разве не убедительно то, что в этой хижине из троих мальгашей, имеющих образование, двое — ховы! Представим себе, что в этот момент кончилось господство французов и власть на Мадагаскаре переходит к мальгашам. В чьи руки? Конечно, в руки нескольких тысяч представителей буржуазии — ховов, и повторилось бы то же, что было до нашествия французов: один класс одного племени господствовал бы безраздельно и — кто знает — деспотически над народом своего племени и всех других племен острова.

— А демократического движения вы не учитываете? — напоминает Ранакомбе.

— Нет! Не в этих условиях.

— Наверно, были бы созданы условия для поднятия уровня отсталых племен.

— Не верю! Буржуазии так же присущ деспотизм, как и прежним андрианам. Буржуазия отличается тем, что ревниво оберегает свои привилегии и опирается на эксплуатацию и насилие над другими.

— В таком случае, — говорит Ранакомбе, зло сощурив глаза, — в таком случае вы не видите возможности добиться независимости Мадагаскара?

— О-о, вижу! — отвечает пылко Рамасо. — Но только подлинной независимости!

Я с беспокойством смотрю на него. Если он откроет свои карты старосте и врачу — наверняка потеряет должность учителя. Оба хова подозрительно наострили уши. Я хочу предостеречь и удержать Рамасо, но не знаю, как это сделать.

— А что вы называете подлинной независимостью? — шипит староста Раяна.

Рамасо непринужденно улыбается:

— Вы не сердитесь на меня за откровенный разговор. Но вы, я думаю, согласитесь со мной. Я ни на минуту не сомневаюсь в искренности вашего мальгашского патриотизма. Однако наша будущая политическая жизнь не может опираться на относительно небольшую группу, даже если бы у нее были самые выдающиеся заслуги. Наше основное население — крестьяне; крестьянин-землероб и крестьянин-скотовод, землероб-хова и землероб-бецимизарака, скотовод-бара и всякий другой мальгашский крестьянин находятся в более или менее равных условиях, и поэтому они быстрее договорятся между собой. Только при единомыслии народных масс можно создать у нас нечто прочное и справедливое. Только власть народа может обеспечить на Мадагаскаре равную для всех жизнь.

Когда учитель кончил свою речь, наступило гробовое молчание. Затем оба ховы почти одновременно испуганно восклицают:

— Это же большевизм!

А врач Ранакombe добавляет, уже развеселившись:

— И утопия!

Я не даю учителю ответить. Возможно, он был бы осторожен, но я предпочел не подвергать его опасному испытанию. И чтобы покончить со спорами, вскакиваю с места, хватаю рюмку рома и произношу тост за благополучие мальгашей:

— Разногласия во взглядах относятся к будущим и, можно сказать, внутренним делам. Пока они наступят, нужно преодолеть более близкие и более актуальные преграды. Вы согласны со мной?

Соглашаются, и я говорю дальше, чтобы смягчить обстановку:

— Я ценю и люблю всех мальгашей независимо от того, к какому племени они принадлежат и какой у них оттенок кожи. Поэтому позвольте выпить за братство и дружбу всей мальгашской семьи!

Гостям понравился тост. Взволнованный врач обнимает меня и восклицает:

— А я пью за братство мальгашей с вазахами, нашими настоящими друзьями!

— Это кто же? Богдан и я?

— Да, вазаха, да! Это вы! — подтверждают все трое.

Вскоре гости покидают хижину, я провожаю их. Солнце уже коснулось горных вершин, и воздух стал свежее. После жаркой беседы приятно вдохнуть чистый воздух. Кокосовые пальмы, растущие в изобилии вокруг нас и во всей деревне, золотятся в багряном зареве уходящего солнца и кажутся еще прекраснее.

— Очаровательна ваша страна! — говорю, любуясь закатом.

Они прощаются со мной довольные. Последним протягивает руку Рамасо. Его рукопожатие крепче и продолжительнее; он как бы благодарит меня.

Необузданное богатство природы

Ничто не помогает: ни дружба со старым Джинаривело, ни частые беседы с соседями, ни дух Бенёвского, недавно поселившийся на соседней горе, — деревня нам не доверяет, а моего добросовестного друга Богдана Кречмера просто считает самым опасным колдуном — мпакафу, то есть пожирателем сердец.

Белому человеку можно здесь беспрепятственно сдирать свирепые налоги, оглашать несправедливые приговоры, проявлять удивительные капризы, насиловать мальгашских девушек, — пожалуйста, это его неоспоримое право. Но белый человек, набивающий птичьи чучела, извлекающий из грязных луж чудовищных насекомых и завлекающий на свет лампы злых ночных бабочек, — такой вазаха хуже преступника. Это мрачная тайна.

Когда Богдан возвращается усталый с охоты в ближайшем лесу и его доброе лицо светится хорошей улыбкой, коричневые люди пугаются. Я громко браню их за трусость и издеваюсь над ними открыто, среди белого дня:

— Смотрите, идет ваш мпакафу!

Но они не хотят слышать страшного слова и при солнечном свете прячутся в темные уголки и шепчутся.

В деревенских лужах живут громадные, величиной с детский кулак, хищные водяные клопы — тингалле. Гроза людей и скота. Говорят, тингалле может убить во время водопоя сильного вола. Но семилетний Бецихахина, наш большой приятель и охотник, не знает страха. Он внук Джинаривело и брат Беначихины. Мальчик голыми руками ловко достает насекомых и приносит нам. Даже мы поражаемся, и нас охватывает страх.

— Околдовали нашего Бецихахину! — шепчут возмущенные люди и смотрят на парнишку с большим удивлением, подозревая, что он получает солидное вознаграждение за свои труды.

Однажды какая-то девушка захотела войти в мою хижину, но, увидав несколько десятков дьявольских банок, пробирок и чашек, страшно испугалась и с криком бросилась наутек. Тогда я решил снять колдовство со своей хижины, и жертвой, разумеется, стал бедный виновник всех бед Богдан. По моей просьбе деревня предоставила ему отдельную хижину, оставшуюся после больного Бетрары, заколдованного некогда другим чародеем — страшным хамелеоном рантутру.

В этот же день я предложил своему другу для душевного спокойствия прекратить на некоторое время сбор экспонатов, а банки с препаратами спрятать поглубже в чемодан.

— Прекратить собирать экспонаты?! — возмущается в Богдане неистовый естествоиспытатель. — Отказаться от сказочного богатства долины? Никогда!

И как бы в подтверждение его возгласа бросается нам в глаза поразительный палочник, медленно выползающий из-под куста: это настоящая длинная веточка, вооруженная грозными шипами, вдруг ожившая; редкий экземпляр, дразнящий, все еще не разгаданный случай мимикрии в природе.

Сказочны богатства долины! Вот уже несколько дней за час до заката солнца Богданом овладевает возбуждение. В это время дня на лугу, в укромном местечке, на пространстве всего в полтора десятка шагов, из земли появляется

многотысячная, миллионная армия крошечных зеленых прыгунов. Всего несколько минут роятся они и потом испаряются, как камфара, — прячутся в землю. Эта редкая разновидность насекомых неизвестна науке, до сих пор мы не встречали их нигде на Мадагаскаре, только здесь, на этом крошечном участке. Пространство ограничено, но явление очень уж волнующее. Ежедневно на этом клочке земли взвивается вулкан насекомых.

Моя хижина, как и все другие хижины в деревне, стоит на сваях, и, если как следует согнуться, можно пролезть под домом. Но кто решится на это? Там инкубатор хищных сколопендр. Однажды мы с усилием, достойным ловли самых диких зверей, поймали такую двадцатисантиметровую тварь и привязали ее, как собаку. Сколопендра бросается во все стороны и вдруг натывается на нашего зеленого попугайчика, мгновенно обвивается вокруг его тельца и кусает ядовитыми челюстями. Нам с трудом удается оторвать бешеное создание и втолкнуть в банку с ядом.

Попугай не погиб. По каким-то таинственным причинам яд сколопендры на попугаев не действует, и наш зеленыш после пятиминутного обморока снова в веселом настроении. Человек на его месте выл бы от боли и страдал несколько недель.

Невозможно не поддаться восторгу и вместе с тем ужасу, когда смотришь в болотистые лужицы, каких полно во влажной долине. Под дремлющей поверхностью теплой воды кишит живой клубок, томится туча обезумевших насекомых, раскрывается вечная драма каких-то смутных, осужденных душ. Это тропические гладыши, гребляки и всякое другое — водяная толпа, удивительное скопище, как бы снедаемое вечной лихорадкой. В маленьком мире крошечных существ явственно отражается волнующее богатство природы!

Порой я долго присматриваюсь к лужам и ищу в воде жизненные проявления, доступные человеческому разуму. И не нахожу! Человек не увидит там ни радости бытия, ни — что хуже — страха смерти.

Водяной жучок, маленький, живой шарик, забавно кружится и мчится невесть куда, точно потерявший рассудок путник, никогда не знающий отдыха. Бред непрерывного движения, а потом одна только, всегда одна и та же непреодолимая трагедия. Только раз останавливается паучок: когда его схватит хищный гребляк и тут же сожрет.

Богдан взмахом маленького сачка ловит тысячи существ, но потом, бросив их в таз с водой, торопливо умерщвляет. Если он этого не сделает, то через час останется только половина насекомых, так быстро они пожирают друг друга. И хотя, погибая, они кажутся бесчувственными к смерти, ужас невольно охватывает людей: беспокойными ночами наши тревожные сны заполняют кошмарные насекомые.

Не все в Амбинанитело верят в злое колдовство Богдана. Несколько храбрых ребят, мальчики и девочки, ровесники нашего друга Бецихахины, не знают страха. Их уговорил учитель Рамасо, и они упорно ловят для нас бабочек, жуков и приносят солидную добычу. На молодую гвардию мы возлагаем большие надежды.

Как-то мальчишки принесли несколько десятков красивых улиток, но когда Богдан просит положить их в банки, ребята вдруг ужасно пугаются. Ни за что на свете не желают они притрагиваться к невинным улиткам, хотя сами только что принесли их. Богдан собственноручно показывает, как это делает-

ся, но получается неожиданный результат: дети от испуга разразились истерическим смехом. Перед нами раскрылась новая духовная бездна, таинственная, как лужи.

Однажды Богдан радостно влетает в мою хижину и приносит таз с водой, зачерпнутой в какой-то луже. В ней тысячи живых существ. Он с гордостью говорит, что не только в Укаяли поют рыбы: вот какой-то неизвестный гребляк, меньше рисового зерна, поет в тазу, как птица.

— Здорово поет, подлец! — радуется Богдан.

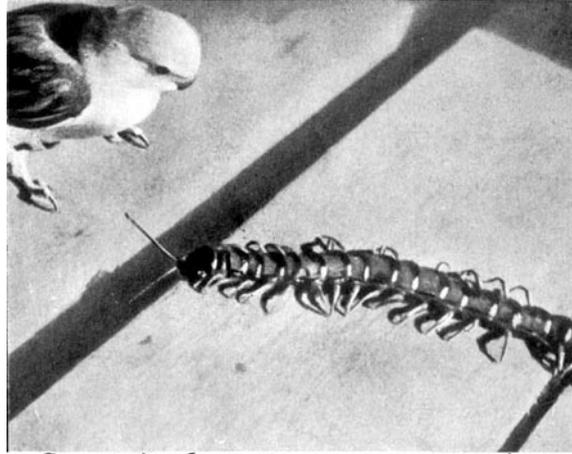
И в самом деле: когда вода в тазу устоялась, мы услышали чистые, звучные тона и хижину наполнило как бы птичье щебетание. Просто дух захватило: близкое, очень близкое щебетание, сердечное, родное; какие-то звуки из наших северных сосновых лесов.

— Да это же пение нашей свистунки! — говорит Богдан, с трудом скрывая волнение.

Наряду с истерическим смехом и мучительными подозрениями в злом колдовстве, наряду со снами, заполненными насекомыми, вдруг в долине Амбинанитело слышится чистое щебетание, похожее на пение нашей милой свистунки. Звуки случайные и искусственные, но все же в такую минуту, в таком мире они действуют как заклинание. Они затрагивают самые сокровенные струны человеческой души, и долину внезапно заливают радостный солнечный свет, в сиянии которого исчезают все ужасы, тускнеют злые сны; веришь, что пропадет колдовство и ребячий смех станет здоровым.



Бецхихине всего семь лет.



Сколупендра бросается во все стороны и вдруг натывается на нашего зеленого попугайчика

Бабочки, лемур и девушка

Несмотря на то, что многие жители Амбинанитело относятся к нам враждебно, деревня все больше нас восхищает. Прозрачные аллеи кокосовых пальм, пышные рощи бананов, кофе, ыланг-ылангу, запущенные урочища дикорастущих цветов, заполняющие некоторые уголки деревни оргией красок, — все это создает великолепный фон, на котором разыгрываются события с необыкновенными людьми. Недоверие этих людей к нам доказывает, возможно, их прозорливость и побуждает меня к еще большим усилиям сломить лед отчуждения между нами.

Верным, преданным другом остается, как всегда, старик Джинаривело. Иногда мы ходим вместе на прогулки, которые всякий раз превращаются в настоящие экспедиции, открывающие все более заманчивые уголки и новые богатства природы. Путешествия наши ведутся как бы на грани сказочной мечты. Да и сама деревня Амбинанитело похожа на большой тропический сад, в чаще которого рядом с настоящими цветами возносятся хижины на сваях, тоже похожие на большие, коричневые, странные цветы.

На краю деревни, там, где начинаются рисовые поля, растет несколько бирманских бамбуков, еще более усиливающих впечатление сказочности: эти гигантские кусты травы вытянулись на двадцатиметровую высоту. Здесь роятся самые красивые в мире бабочки *urania sloana*. На их крыльях чарующая палитра всевозможных расцветок, пурпурные, лазурные, смарагдовые, коричневые, черные, белые оттенки и даже металлический блеск. А нижние крылья украшают несколько великолепных хвостов.

Очень трудно поймать такую бабочку, хотя здесь их множество: они парят высоко, от верхушки к верхушке бамбука; мы смотрим на них как зачарованные и ревниво следим за гордым полетом.

— Лоло валорамбо, — объясняет Джинаривело, что значит: бабочка с восемью хвостами.

— Ховы называют их иначе: андриандоло, то есть королевская бабочка.

— Хорошее название, — соглашается старик.

— Увы, — киваю головой, — эти лоло валорамбо очень напоминают жителей Амбинанитело: они так же недоступны для меня, как эти манящие бабочки.

Неосторожными словами я невольно огорчил своего друга. Он понимает,

что наша дружба отчасти вызывает неприязненное отношение ко мне, так как многие жители деревни — из враждебного рода цияндру и его приверженцев.

Одна урания снизилась и парит над нашими головами. С восторгом любим ее раскраской и изяществом. Перед такой красотой тускнеют все пустячные заботы деревни и сердца наполняются надеждой.

Мы дружески прощаемся и расходимся в разные стороны, каждый к своей хижине.

По пути домой я прохожу мимо одной из боковых улочек и на повороте, недалеко от хижины, остаиваюсь как вкопанный. Посреди дороги, прямо передо мной, сидит на задних лапах лемур вари и, вытянув передние лапки, греется на солнышке с блаженным видом на простодушной мордочке. Был у меня несколько месяцев назад, когда я путешествовал по центральному взгорью острова, лемур, похожий на этого. Красивый зверек, ростом с нашу лисицу, полусобака по форме мордочки, полуобезьяна по ловкости рук и ног. У него был красивый черно-белый мех и кроткий нрав. Привязан он был ко мне, как преданная собака. Жалко было таскать лемура с собой, и я, к обоюдному огорчению, оставил его в достойной мальгашской семье. Местные жители называют лемура «бабакутом».

И вот точно такой лемур сидит на дороге. Заметив меня, он не двигается с места, только в глазах отразилось огромное изумление, а потом страх. Страх, что вдруг перед ним появилось неизвестное и непонятное создание — белый человек. Страх так сковал зверька, что он забыл опустить лапки, хотя о солнце и тепле уже не думает.

Я медленно подхожу к нему. Только в трех шагах лемур понял грозящую опасность, опустил, наконец, лапки и с криком помчался к соседней группе кокосовых пальм, где возилось несколько человек. Они громко рассмеялись. Бросили работу и смотрят на меня и лемура. Они собирают кокосовые орехи. Двое парнишек вскарабкались высоко на верхушку пальмы и сбрасывают на землю плоды. Несколько девушек, стоя внизу, топориком скалывают с орехов зеленую толстую скорлупу.

Бабакут прижался к ногам одной из девушек. Мягко освободившись из его объятий, девушка берет его за переднюю лапу и ведет ко мне, как ребенка. Лемур упирается и скулит, но молодая рамата старается успокоить его нежными словами. Я узнаю ее. Это Веломоди, внучка Джинаривело, младшая сестра Беначихины.

— Bon jour, monsieur! Добрый день, господин! — здоровается она, робко протягивая руку.

— Добрый день, Веломоди! Это твой бабакут?

— Oui, monsieur! Да, господин!

— Красивый, только немножко дикий.

Я замечаю, что у Веломоди необыкновенно длинные ресницы. Они бросают тень на ее черные глаза и подчеркивают их глубину. Девушка одета в симбу, кусок ткани, плотно облегающий тело от груди до колен, в то время как верхняя часть груди и плечи открыты. Веломоди с усилием подыскивает французские слова и говорит:

— Нет, он не дикий! Это ты, наверно, дикий! — и шаловливо показывает на меня пальцем.

— У меня тоже был такой бабакут, — говорю. — Удивительно милый. Путешествовал со мной по всей стране. А ты своего очень любишь?

— Очень.

— Не продашь ли его мне?

Веломоди секунду смотрит на меня с таким упреком, что я невольно смущаюсь.

— Это мой большой друг! Grand ami, grand ami, — повторяет она, и все ее лицо выражает возмущение против тех, кто предает своих друзей.

Я не ожидал от Веломоди такого бурного протеста.

— Ну, уступи мне его, по крайней мере на время моего пребывания в Амбинанитело, — прошу.

— Не могу, вазаха!

— Я дам тебе большой подарок!

— Нет, вазаха! Мы не можем разлучаться, бабакут и я.

— Чудесно! — восклицаю я с преувеличенным энтузиазмом. — В таком случае я заберу вас обоих в свою хижину!

Но Веломоди не склонна шутить.

— Нельзя! — с достоинством отвечает она, серьезно покачивая головой.

— Почему нельзя?

— Потому что ты любишь Беначихину.

Вот не было печали, так черти накачали. Я изобразил на лице возмущение, громко потянул носом воздух и загудел:

— Что за дьявол!.. Да что вы мне так навязываете Беначихину? Глупые сплетни, высосанные из пальца!

Во время нашего разговора двое парней сползают на землю и вместе с девушками, которые трудились над орехами, подходят к нам. Веселая ватага располагается полукругом и тоже хочет поговорить с вазахой.

— Давно ты изучаешь французский язык? — спрашиваю Веломоди.

— Я училась в школе, — слегка пожав плечами, отделяется она.

— Но теперь, говорят, ты берешь специальные уроки?

— Да? — удивляется девушка. — Откуда ты знаешь?

— Так говорят. И еще говорят, что ты хочешь отправиться в Мароанцетру работать. Правда?

В группе окружающей нас молодежи слышались легкие смешки и едкие замечания на мальгашском языке. Веломоди сильно смущается. Коричневое лицо принимает темно-красный оттенок, глаза увлажняются, а на ноздрях выступают жемчужинки пота.

— Правда, что ты хочешь покинуть деревню? — повторяю я свой вопрос, когда молчание девушки слишком затянулось.

Веломоди забавно гримасничает, хочет что-то ответить, колеблется и беспомощно улыбается. Выручает ее один из парней, ее ровесник, семнадцатилетний юноша. Он обращается ко мне с жуликоватым видом:

— Я скажу тебе, вазаха! А дашь мне подарок?

— Дам.

Веломоди с веселым визгом набрасывается на парнишку, чтобы сдержать его болтовню. Парень увертывается и издали говорит:

— Она учит французский, чтобы говорить тебе: Oui, monsieur!

Веломоди прекращает погоню и, запыхавшись, возвращается ко мне.

— Он врёт! — уверяет и тут же добавляет: — Подождешь минутку?

Веломоди бежит к пальмам, выбирает большой кокосовый орех, пробивает в нем отверстие и подает мне таким надменным жестом, точно это королевский дар.

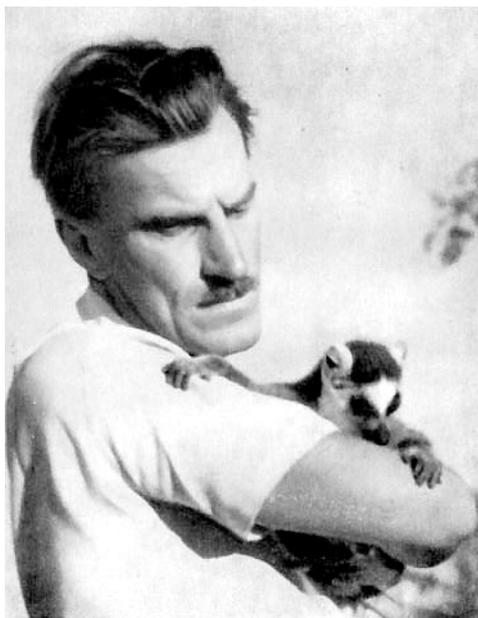
— Выпей! — предлагает.

Я прикладываю орех ко рту. Великолепная жидкость: холодная, ароматная, сладкая. Напившись, отдаю орех девушке, и она мягко спрашивает:

— Вкусно?

— Изумительно!

Она тоже пьет из этого же ореха, затем вместе с подругами возвращается работать под пальмами. Ручной бабакут жметя к ее ногам.



Автор с лемуром на руках



Мы, бабакут и я, не можем разлучиться.

Ночное пение

Вечер в Амбинанитело начинается воплями лягушек на рисовом поле, орущих точно взволнованная толпа людей, потом пронзительно верещат сверчки, причмокивают ночные птицы, гудят проснувшиеся насекомые. Но громче всех кричит молодежь. Она собирается по ночам на краю деревни, под бешеный ритм барабана непрерывно танцует и оглушительно поет. По старинному мальгашскому обычаю лунные ночи принадлежат молодежи.

Я боюсь этих криков. Они длятся всю ночь, если только светит луна, и часто будят меня, несмотря на крепкий сон. Среди непонятных слов песни я узнаю тревожное слово «вазаха».

На следующий день коричневые парни смотрят на нас, белых людей, с усмешкой, а девушки просто избегают взгляда. В ночном пении кроется какая-то враждебная тайна.

— Они поют о нас? — спрашиваю хороших знакомых в деревне.

Но прямого ответа не получаю. Староста Района прикидывается лисой — он ничего не знает. Макоа Берандро пожимает плечами, а старик Джинаривело, мой друг, в самом деле знает немного. Он видит только свой любимый лес, взгляд его устремлен туда.

Остается учитель Рамасо. И он ничего определенного сказать не может. Но он, доброжелательный и услужливый, хочет помочь мне. Он знает, что часть жителей относится к нам недружелюбно, и считает, что это скорее каприз, а не настоящая вражда.

— Почти все юноши плохо к нам относятся. Чем это объяснить?

— Очень просто! — улыбается учитель. — Вы прилетели к нам, как принцы из ваших европейских сказок, и, конечно, интересуете всех молодых рамату. Есть только одно средство завоевать благосклонность парней.

— А именно?

— Выбрать себе девушку, взять ее в качестве вади и временно на ней жениться.

— Вы тоже сватаете мне Беначихину?

— У нас здесь много других рамату! Вопрос гораздо серьезнее, чем вам кажется. Дело не только в личных мотивах. Имея здешнюю вади, вы в некотором роде войдете в нашу мальгашскую семью, и тогда вся деревня вас признает своим. Вы Расоу знаете?

— Да, видел ее.

— Она не замужем.

— Хорошо, оставим это!

— Я все же хотел бы знать, что они поют о вас по ночам.

— Пойдем послушаем.

Сегодня луна восходит в десять часов вечера, и вскоре начинается обычное пение. Мы идем на окраину деревни и застаем уже танцы в полном разгаре. Танцуют человек тридцать. Два сомкнутых широких ряда, в одном — юноши, в другом — девушки, ритмически наступают друг на друга, то наскокивая, то отступая: извечный символ кокетства. Поют хором по очереди: то девушки, то парни.

Между двумя рядами увивается крепыш-солист. Когда хоры умолкают, он выкрикивает:

*Страус — птица из породы великанов, слушайте!..
 Когда он встает на ноги — головой подпирает небо.
 А когда ложится — когтями буравит скалу.
 Страус съедает зараз семь гор, покрытых деревьями.
 И двадцати пяти китов на ужин ему мало.
 Когда он смыкает веки — страшная темнота наступает.
 И двое влюбленных восемь лет не могут найти друг друга.*

Вдруг барабанная дробь заглушает его слова, и хор девушек отвечает:

*Мы хотим видеть наших парней,
 Не прячьте парней, э-э-э-й!..*

Певец, услышав признание девушек, фантазирует дальше:

*Когда страус вздохнет — ураган поднимается,
 С кур перья срывает, а с женщин — платья.
 Если страус голову в море окунет —
 Все суда мира остановит,
 А на клюве его могут плясать
 Девять пар лучших танцоров.
 Когда одно перо уронит он в Париже —
 Эхо раздается в Мароанцетре.
 И тогда рушится Индия, а Китай раскалывается...*

Рамасо шепотом переводит слова и добавляет с улыбкой:

— Эти ночные песни и танцы называются здесь «циамунана», что значит «игра, в которой говорить надо только правду».

— Как зовут этого певца? — спрашиваю.

— Натрико.

— Фантазия у него богатая.

Мы стоим недалеко на открытой поляне, и при свете луны молодежь нас видит, но внешне не обращает ни малейшего внимания. Среди танцующих узнаю Беначихину и приветливо машу ей рукой. Но вдруг из рядов выскакивает новый певец и мощным голосом покрывает хор:

*Я клянусь рассказать ужасную правду, э-э-э-й!..
 Я видел девушку в Таматаве с искусанными губами.
 Губы ей искусал вазаха, белый возлюбленный.*

У танцующих исчезло веселое настроение, вызванное прежней песней о страусе. Юноши издают мелодичный вой возмущения, девушки хором выражают страх. А воинственный певец продолжает:

*А знаете, зачем у вазахи золотой зуб?
 Собаки лают, когда хотят кусать,
 Вазаха кусает золотым зубом,
 Когда полюбит...
 Теленок сосет молоко у коровы,
 Вазаха сосет кровь из девичьих губ.
 Верите ли мне, э-э-э-й?..*

Нет сомнения, что песня обо мне.

— Кто этот жестокий болтун? — спрашиваю.

— Зарабе.

— Ах, вот оно что!

Зарабе, сын сотского Безазы, — приятель Беначихины. Пытаюсь при свете луны разглядеть его получше. Он не так уж молод, ему далеко за двадцать, лицо красотой не отличается. Другие плясуны кажутся мне много интереснее.

Бред ревнивого Зарабе рассмешил меня и вместе с тем встревожил. Встревожил потому, что отравленные стрелы, пущенные в группу возбужденной молодежи, опасны. Против них нет щита, нет сдерживающего тормоза; на этом ночном сборище никто меня не защитит.

На следующий день приглашаю к себе Натрико, автора песенки о страусе, и в присутствии учителя Рамасо расхваливаю его остроумие и талант, предлагаю дружбу и кое-что еще: за каждую восхваляющую меня песенку обязуюсь выдавать солидный гонорар — десять франков.

У юноши заблестели глаза, но его удерживают сомнения. В конце концов он смущенно выкладывает:

— А вазаха действительно... ест губы у девушек?

— Да что ты! — отвечаю решительно. — У меня есть еда получше: сухари!

— Сухари вазахи во сто раз вкуснее губ девушек! — подтверждает Рамасо и окончательно убеждает молодого певца.

Через два дня, в полночь, Зарабе снова издевается над моим золотым зубом, кусающим губы всех девушек в мире, как вдруг чей-то голос вплелся в его пение и не дает возможности молодежи отвечать хором. Это его соперник Натрико. Натрико ринулся в бой и запел:

*Изумительный золотой зуб у вазахи, эй!
А знаете, девушки, что это значит? Эй!
Вазаха родился с золотым зубом,
И у его отца тоже был золотой зуб,
И его дети родятся с золотым зубом...*

Я толкаю учителя и шепчу возмущенно:

— Натрико очумел!

— Нет, не очумел! Красиво поет! — восхищается Рамасо.

Ничего не понимаю. А Натрико продолжает:

*Когда вазаха чихнет в Амбинанитело —
Губернатор в страхе дрожит в Тананариве,
А река Антанамбалана течет вспять.
И все девушки чувствуют себя матерями,
За исключением кривоногих.
Кто ест сладкие сухари и имеет золотые зубы,
Тому не нужны девичьи губы, эй!
У вазахи огромный острый нос,
И у его детей будут красивые большие носы!..*

Натрико безумствует, он упивается моим носом и заражает остальных. Соперник Зарабе пытается всеми силами уничтожить выдающийся нос и воспекает искусанные девичьи губы, омерзительность золотого зуба, — напрасно: проиграл. Нос победил — властный, красивый и огромный-преогромный. В конце концов даже Натрико умолкает, зачарованный невиданным носом.

Вдруг короткую тишину прерывает дрожащий голосок. Самая молодая девушка, может быть двенадцатилетний подросток, запела где-то в конце ряда:

Я хочу родить ребенка с большим носом, эй!

Остальные девушки громко смеются, и вдруг, точно буря, грянул хор, разбудив всю долину:

*Желаем детей с золотым зубом, э-э-э-й!
Хороши дети с золотым зубом, э-э-э-й!..*

Я стараюсь отыскать среди танцующих Веломоди. Наверно, пляшет где-то, но я не вижу ее.

Потом наступил голубой рассвет и пришел день, светлый, трезвый, жаркий и обезоруживающий. В такой день крошечные птички суи, напоминающие колибри, сверкают на солнце, словно зеленые молнии, но людские дела протекают тяжело, точно застывшая вода.

Борьба продолжается. Песни Зарабе направлены против меня. Но Натрико тоже поет. И с каждой ночью поет все лучше и лучше и все уверенней берет верх. Я спокоен за него. Боец познал новый, неисчерпаемый источник вдохновения: мои сухари.



Молодежь собирается на окраине деревни.



Песни Зарабе направлены против меня.



А Натонко поет все громче.

Змея анкома

Изумляет бурная реакция жителей Амбинанитело на некоторые явления природы и на некоторых зверей. Появление в деревне абсолютно невинного создания вызывает иногда неопишное замешательство, выводит жизнь из обычной колеи, сеет тревогу. Не стоящие внимания события вырастают иногда до гигантских размеров. Вот пример: в деревне появилась обыкновенная змея и вызвала две бури — одну в человеческой душе, а другую, настоящую, в природе.

Тото, туземец из соседней деревни на другом берегу реки, принес живую змею, которую он поймал в лесу. Тото храбрец и ничего не боится. Он высокого роста, но тварь еще больше. Тото держит змею за шею в поднятой высоко руке; ее мощное тело свисает книзу, а длинный хвост волочится по земле. Великолепный экземпляр, его едва можно обхватить обеими руками.

Такую змею называют здесь анкома. Принадлежит она к благородному семейству боа. Жертву свою они душат, а не отравляют ядом. И победителя Тото распирает гордость. Он затевает с пленницей опасную игру: спускает ее на землю между хижиной старосты Районы и моей. Змея тотчас величественно поползла к зарослям. Вокруг поднялся невероятный шум. Лает испуганный пес, детвора в страхе бросается наутек. Но Тото невозмутим. Тото играет, Тото забавляется, Тото властвует.

Такой же величественный, как и змея, он в нужный момент срывается с места, точно дикий зверь фосса, догоняет анкому, веткой, наподобие вилы, прижимает шею, связывает змею и бодро тащит к своим ногам. Получает солидное вознаграждение и возвращается в свою деревню. Он уходит, как герой, с гордо поднятой головой, вызывая восхищение всех женщин.

Змея стального цвета, но искусная рука лесного демона разукрасила ее бока темными таинственными знаками, всевозможными геометрическими фигурами. Зачем они, кто их разгадает? Люди? Коричневые люди приходят посмотреть на нее. Они задумчивы, их тревожит какое-то предчувствие. Влюбленный в лес старик Джинаривело приветствует анкому, лесного посланника,

но вдруг становится серьезным и, показывая на змею, говорит:

— Будет буря!

Я смотрю на него с улыбкой: тоже пророк! Сейчас период дождей, и еще не одна буря навестит нас!

— Сегодня в полночь будет буря, — настаивает Джинаривело.

Старик — мой друг, неудобно высмеивать его. Смотрю на небо. Послеполуденное солнце светит как обычно, и ничто не предвещает ненастья.

Потом приходит макоа Берандро, обладающий магическим свойством исцелять болезни, внимательно смотрит на змею, кивает головой и заявляет без обиняков:

— Тото подлец!

— Потому что принес мне красивую змею? — спрашиваю вызывающим тоном.

— Да, потому что принес именно эту змею, анкому...

— Преувеличиваешь, Берандро!

Но Берандро настаивает на своем и, очевидно, знает, что говорит. Речь идет об очень важных, о важнейших делах.

— Каких? — задаю вопрос.

— Убей анкому, пока не поздно! — настаивает Берандро.

С меня довольно мальгашских чудес и капризов, я больше не желаю поддаваться.

— Змею убивать не стану! — заявляю резко и категорически.

Настолько резко, что потом становится жаль хорошего человека, и я приглашаю его на стаканчик рома. Второй стакан раскрывает Берандро рот.

Лет пятьдесят назад в Рантабе жил один почтенный старик из племени цияндру. Однажды старик пошел в лес, там напала на него громадная змея анкома и задушила. С тех пор анкома стала врагом всего рода цияндру, и какой бы цияндру ни увидел анкому, он обязан немедленно убить ее под страхом самого тяжкого проклятия. Теперь глава этого рода — Безаза, наш сотский, он и обязан убить мою анкому.

Я никак не ожидал, что придется так быстро и при таких неожиданных обстоятельствах столкнуться с Безазой. Все знают, что его хижина — тайная кузница враждебных актов против меня, а его сын Зарабе лунными ночами поет омерзительную клевету.

— Анкома будет жить! — непреклонно заявляю еще раз.

Берандро взволнован. Анкома и ром вывели его из равновесия, обильный пот катится по его лицу. Он говорит, что вся долина уважает великое фади Безазы, все знают отношение сотского к анкоме. И Тото тоже знает. Поэтому Тото законченный негодяй. Он знал, что вся деревня всполошится, если появится анкома. Вертопрах мстит Безазе, с которым вся его семья в ссоре.

— Все же Тото смелый юноша! — упрямлюсь я и, чтобы поставить на своем и взять быка за рога, приглашаю Безазу к себе.

Всегда надменный, сотский сегодня неузнаваем. Он болен и едва держится на ногах. Лицо почернело, как уголь, а отвисшая челюсть дрожит, когда его взгляд встречается со взглядом змеи. Странно, могущественно влияние животных на здешних людей! Но я знаю, Безаза не бросится на анкому, как некогда обезумевший Бетрара напустился на моего хамелеона. Безаза солидный и

ответственный представитель общины. Со всей серьезностью заявляю:

— Я гость твоей деревни, и это моя змея! Она имеет для меня большое значение.

Сегодня вечер опускается на долину не так, как обычно. Закат багровее, чем всегда; лягушки разорались на час раньше; из лесу доносятся крики незнакомых нам зверей, и деревня, обычно такая шумная в этот час, сегодня замирает в зловещей тишине. Не слышно даже смеха женщин, и на фоне замолкших хижин далекий плач ребенка кажется грозным криком.

Перед ужином ко мне заходит Раяона и рассказывает, что у Безазы лихорадка и в бреду он бормочет что-то непонятное. Люди толкуют, что это демоны высказывают свои пожелания.

Позже, когда наступила ночь, я заглянул к змее и проверил пути. Анкома лежала на веранде, свернувшись в клубок; глаза ее закрыты, и кажется, что она спит. Электрическим фонариком освещаю ее голову: спит, воплощение силы, спокойствия и достоинства. Я дотронулся до ее пасти. Змея медленно приоткрыла глаза. Они очень малы для такой огромной туши. Сквозь щелки век змея вперила в меня холодный, упорный взгляд. И я вдруг почувствовал, как по спине у меня поползли мурашки. Неужели и меня мальгаши заразили чувством страха? Нервы!

Ночь еще душнее, чем обычно. Сверчки стрекочут еще пронзительнее и громче. Тревожит отсутствие привычных ночных голосов: молодежь сегодня молчит, не слышно пения и танцев. Но что это: луны на небе нет, а над восточной цепью гор клубится черный, густой вал. Медленно надвигается страшная туча. Лежу в постели и не сплю. Решил этой ночью бодрствовать. Однако неожиданно меня сморил непреодолимый сон. Остатками сознания я подумал о поваре Марово; вероятно, он подсыпал в пищу какое-то снотворное. Хочу вскочить и мчаться к Богдану, живущему в другой хижине. Не могу! Не могу оторвать тяжелой головы от подушки. Глаза плотно закрываются, и я погружаюсь в сон.

Разбудил меня грохот и треск. Где-то близко ударил гром. По крыше хижины барабанит ливень. Началась страшная буря. Раздаются непрерывные раскаты грома. Я зажигаю свет. Два часа. Значит, предсказание Джинаривело сбылось, правда с опозданием на два часа.

А змея? Одного взгляда достаточно: дурные предчувствия подтвердились. Анкома вытянулась в неестественной позе во всю длину веранды. Так и есть — мертва, горло перерезано ножом. Фади Безазы оказалось сильнее всего. Прекрасный экземпляр змеи погиб. Для меня это действительно большая потеря, но вместе с тем лишний козырь против деревни, нарушившей святой закон гостеприимства.

Утром после бури приходят с официальным визитом староста Раяона и сотский Безаза. Безаза снова здоров. Он хочет загладить вину и приносит подарок, который, он считает, заменит мне утрату анкомы: две змеи поменьше, другой разновидности, красивой светло-коричневой окраски. К тому же Безаза добавляет:

— Зарабе больше не будет петть... В деревне его больше не будет... Я удалил его...

Вот первые плоды победы. Хорошая, очень хорошая новость.

Горе победителю

Капризы жителей Амбинанитело и раздражающая сложность их характеров измучили нас и все настоятельней требуют развязки, какой бы то ни было развязки. Где-то в тайниках первобытной души бьется источник вражды к двум чужим, пришельцам. Но как обнаружить его и как до него добраться? Мы знаем, что местные жители считают себя магически связанными с лесными зверями.

Инстинкт исследователя, а также инстинкт самозащиты все сильнее толкают меня к грозным насекомым — богомолам. Богдан Кречмер приносит их из леса живыми, мальчишки тоже таскают.

На руку мне забрался большой богомол тисма. Пальцем другой руки я вожу вокруг него, и он поворачивает голову вслед за пальцем; богомол — единственное насекомое с подвижной шеей. Не раз он выбрасывал хищные лапы вверх и хватал меня за палец. Хватка так сильна, что освободиться от хищника невозможно, разве только разодрать его на куски. Хватка не на живот, а на смерть. Некоторое время небольшое насекомое какой-то колдовской силой держит в плену взрослого человека. Наконец мне удается освободить палец. Капли крови брызжут из проколотых шипами мест. Я слизываю кровь и чувствую себя разбитым. Точно ранил меня враждебный дух долины.

Я хочу узнать, до какого же предела дойдет хищничество богомолов, и помещаю их в небольшие коробки. Туда же впускаю на съедение пауков, медведок, кузнечиков. Никто из них не может совладать с богомолами, и интересно: ядовитые пауки, даже большие экземпляры, мрут как мухи. Богомол на ограниченном пространстве сражается, как росамаха, осажденная собаками; он ложится на бок и непрерывно выбрасывает все шесть длинных лап. Пробраться сквозь такое ограждение немислимо. Зато ему самому очень удобно после на редкость короткой борьбы зацепить шипами передних лап паука — и жертве конец.

Медведки в долине Амбинанитело большие, толстые, вооружены огромными когтями для неутомимой работы в земле. Такими когтями они могли бы в ключья разодрать любого богомола, если бы знали об этом. Увы, не знают. Погибают все. Зло иногда берет, когда видишь, как громадную, но мирную медведку побеждает организованное хищничество богомола. Медведки, схваченные стальными клещами богомола, смешно болтают в воздухе тяжелыми когтями. И кончается это всегда смертью жертвы.

И вот, когда сравниваешь грубоватых медведок с богомолем, замечаешь удивительное явление — богомолы нелепо красивы. Очень хороши самочки, самцы — много хуже. К тому же они трусы. Я невольно начинаю восхищаться богомолами. Ничего не поделаешь: преклонение перед красотой. Длинные, стройные ноги, изящное туловище, раскрытые крылья напоминают кружева балерины. Но самое замечательное — движения: гордые, изысканные, почти театральные. Все это однажды бросилось мне в глаза, и я с удивлением замечаю, что мое первоначальное впечатление ужаса исчезает и я смотрю на них по-иному: богомолы-самки — амазонки. Бессердечные, но великолепные; жестокие, но очаровательные; кровожадные, но привлекательные.

Самые интересные бои происходят у богомолов между собой. Они никогда не кончаются вничью, результат всегда одинаков: победа одного и смерть дру-

гого. Правила жестокого сражения необычны и соблюдаются в строгой последовательности. Это в буквальном смысле состязание. Борцы не кусаются, а стремятся обхватить друг друга. Побеждает тот, кто первый захватит передними лапами голову или шею противника. Попавший в объятия теряет силы, и победитель пожирает его живьем.

Когда борьба ведется между богомолами одинаковой величины, трудно предвидеть, кто победит; решает случай. Но если только один чуточку больше — борьба становится неравной. Преимущество всегда на стороне большего, и больший всегда побеждает. Здесь нет исключений, случайностей не бывает. Тисма — самый большой из всех богомол в Амбинанитело. Властвует он на вершине хищнической иерархии, удерживает первенство жестокости, всегда пожирает других богомол. Всегда? Я долго наблюдал за ними и открыл удивительную особенность, управляющую миром ужасов. Оказывается, хищник-победитель должен сам погибнуть. Даже больше: он должен погибнуть именно потому, что стал победителем. Вот уже несколько дней я слежу за насекомыми, забыв о деревне и обо всем на свете. Исследую, проверяю и сам себе не верю. Но как не верить опытам? А все они точно доказывают, что даже в этом пекле хищных инстинктов существует своя закономерность. Богомолы обладают особым свойством: победив врага, они должны сожрать его целиком, без остатка. Это биологическое, деспотическое насилие впоследствии оказывается губительным для них же самих.

Вот идет бой. Мощная тисма с крыльями рыжеватого цвета сражается с богомолком поменьше, зеленого цвета. Судьба зеленого предрешена. После короткой разведки тисма крепко обхватывает шею своего противника и, не обращая внимания на резкие движения лап, разделяется с ним. Пожирает, как обычно, все по очереди: голову, туловище, брюшко. Прodelывает это быстро, злобно, точно борьба все еще продолжается. Никакой силой не остановить богомола, пока от жертвы не останутся только рожки да ножки.

Богомол жесток, но еще более жесток закон, заставляющий глотать добычу за один раз. Несчастный триумфатор не в силах прервать трапезу, он обжирается до отвала, ужасно раздувается и, обессиленный, падает. Я пускаю в коробку другого богомола, зеленого. Зеленый боится рыжего чудовища. Но сейчас чудовище странно ведет себя: не наступает, не защищается и даже больше — он неподвижен. Зеленый осмелел, ринулся в бой и сразил рыжего. Тисма, несколько минут назад непобедимое страшилище, позорно погибает. Ее тоже сжирают дотла. Вот так погибают хищные тисмы, жертвы собственного обжорства.

Я искал у богомол закон, которые помогли бы мне лучше распознать извилистые тропинки жизни в Амбинанитело, а осознал великий закон природы, дерзкий, потрясающий, радостный и окрыляющий самой большой надеждой: жестокий хищник должен погибнуть!

Великое кабари

Свершилось: я, наконец, взбунтовал! Надоели хитрые, якобы доброжелательные нашептывания, обманчивые, скользкие взгляды и предсказания всяческих бед. Я хочу идти прямым путем: прижму к стенке недружелюбно настроенных жителей Амбинанитело и заставлю их посмотреть прямо в глаза. Деревня разделилась на два лагеря, которые относятся к нам, белым людям, по-разному. В одном — несколько верных и искренних друзей: учитель Рамасо, степенный Джинаривело, Берандро, Тамасу и Манахицара, знаток старинных легенд. В другом — по-прежнему недоброжелательный сотский Безаза и многие его сородичи племени цияндру. Правда, Безаза сдержал обещание и отправил своего сына Зарабе на отдаленные рисовые поля, но война из-за угла нисколько не утихла. Иногда нам кажется, что злобная волна захлестывает всю деревню и проникает даже в семьи преданных друзей, вызывая недоверие в сердцах их жен, детей и внуков.

В течение нескольких дней я одурманивал себя жестокостью богомоллов. Вероятно, опыты пошли на пользу: я стал зол, как оса, и готов перевернуть небо и землю, а прежде всего Амбинанитело. Решаю поставить вопрос ребром.

Китайскому булочнику в Мароанцетре велю приготовить два мешка сладких сухарей, у другого китайца заказываю несколько бутылок отменного рома и в один прекрасный день собираю у себя великое кабари. Кабари — значит общественное собрание. Слежу, чтобы пришли не только друзья, но и сотский Безаза и другие важные лица из рода цияндру, молодые и старые.

Приглашаю, разумеется, старосту Раяону. Раяона хочет показать себя хитрым дипломатом и рядится в шкуру лисы. Собственно, относится он ко мне не плохо, но я все время чувствую себя с ним как-то неуверенно. Жаль, что не будет врача Ранакомбе — он уже уехал. Смелый и искренний хова, наверно, поддержал бы меня.

Раяона, заметив серьезные приготовления, старается выведать, что я затеваю.

— Хочу со всей остротой поставить вопрос об отношении деревни к нам! — раскрываю свои намерения.

— И вы готовите большую речь?

— Да.

— Я с удовольствием буду вашим переводчиком.

— Благодарю, охотно воспользуюсь вашей помощью... Правда, я уже просил об этом Рамасо, но двое еще лучше.

Деревня догадывается о надвигающейся грозе. На меня смотрят еще подозрительнее. Жители Амбинанитело решают обезоружить меня. В назначенный день кабари ко мне с утра стали приносить дары природы: кокосовые орехи, рис, плоды хлебного дерева, бананы, овощи, кур, яйца, сахарный тростник. Громадная гора снеди высится на веранде моей хижины, но я не даю сбить себя с толку. Хочу довести дело до конца.

Гости стали собираться тотчас после обеда. Первыми пришли учитель Рамасо и староста Раяона. Вскоре уже не хватало скамеек и табуреток, и вновь прибывшие стали располагаться где попало, прямо на циновках. Повар Марово с помощью Богдана ловко обслуживает гостей, каждому подает рюмку рома

и несколько сухарей. Всем очень интересно, что произойдет; слегка обеспокоены ожиданием, почти не разговаривают.

Приход сотского Безазы вносит оживление. Кабари еще не открываем, ждем нескольких запоздавших, а пока Безаза рассказывает последние новости: в приморском районе Анталахе на ванильных плантациях произошли стычки между мальгашскими рабочими и белыми хозяевами, многих туземцев арестовали.

— А правда, что моего внука Разафы тоже забрали? — спрашивает Джинаривело.

Разафы уже несколько месяцев работал на побережье.

— Да, я слышал об этом, — отвечает Безаза.

При этом сотский взглянул на старика с глубоким уважением, и в его взгляде мелькнуло сочувствие. Помедлив, Безаза протянул руку Джинаривело и сказал:

— В нашей семье тоже есть пострадавшие.

Рукопожатие взволновало присутствующих. Все удивленно смотрят на них, словно протянутые руки прекращают давнишнюю вражду между родами заникавуку и цияндру.

— Говорят, одного из наших убили, — восклицает кто-то, сидящий у стены.

— Нет, это болтовня! — заверяет староста Раяона.

— Но ведь стреляли!..

— Правильно, стреляли, но в воздух, для устрашения.

Воспользовавшись молчанием, спрашиваю, что, собственно, случилось. Рамасо объясняет вполголоса.

Километрах в ста к северо-востоку от Амбинанитело, на восточном берегу острова, расположен порт Анталаха. Там на прибрежных склонах прекрасно созревает ваниль. Благородное и ценное растение из семейства гиацинтов, напоминающее лианы, очень прибыльно, но требует тщательного ухода — искусственного опыления цветов и сложной обработки созревающих стручков. Богатые французские компании и отдельные белые предприниматели владеют в Анталахе плантациями, на которых трудится много местных рабочих. Права рабочих защищают трудовые договоры и уставы колоний. Они хороши на бумаге, но на каждом шагу беспощадно попираются эксплуататорами.

Несколько месяцев назад плантаторы самовольно снизили заработную плату и наполовину уменьшили дневную порцию риса, предусмотренную договором. Когда пострадавшие взбунтовались и прекратили работу, местные власти, вопреки существующим законам, объявили всех мобилизованными на принудительные работы на плантациях, и теперь уже за сущие гроши.

— Но ведь к принудительному труду относятся только общественно полезные работы, а не частные плантации, не правда ли? — говорю я.

— Конечно... по закону. Но власти в Анталахе дудят с плантаторами в одну дудку; это одна шайка! Им наплевать на закон.

— А вышестоящие власти, например в Тананариве, никаких мер не принимают?

— Да поймите вы, вазаха, подлинную сущность колониализма: защищать интересы только хозяев. Ну, если насилие над туземцами достигнет таких размеров, когда могут пострадать интересы колонизаторов, например в случае вооруженного восстания, только тогда вмешиваются власти. Рабочие, вынуж-

денные насильно работать на плантациях в Анталахе, продолжали бунтовать и избивали некоторых слишком ретивых надсмотрщиков. Тогда были призваны на помощь войска и произведены дальнейшие аресты. Предполагалось изъять руководителей сопротивления. Дело дошло до террора и пыток над некоторыми заключенными. В настоящее время в Анталахе внешне как будто спокойно, но население взбудоражено, множество людей заключено в тюрьмы и обстановка весьма накалена...

— Как вы считаете, Рамасо, чем это кончится?

— Чем кончится? Тем, чем всегда. У плантаторов — деньги и помощь властей, рабочие же еле перебиваются и плохо организованы. Конечно, проиграют. Будут радоваться, если арестованных выпустят из тюрьмы, и станут работать на еще худших условиях. Но одно несомненно: сознание обиды растет.

В то время, когда Рамасо рассказывает эту грустную историю, приходят опоздавшие гости. И тут у меня возникают мучительные сомнения. Ведь у племени бецимизараков сейчас тяжелые заботы в связи с событиями в Анталахе. Удобно ли в такое время навязывать жителям Амбинанитело свои заботы? Мои волнения по сравнению с делами туземцев кажутся ничтожными и эгоистичными. Не лучше ли отказаться от кабари и отложить его на более подходящее время?

Говорю обо всем Рамасо. Но он другого мнения. Кабари должен состояться, это не только мое личное дело. Речь идет о моральном облике всей деревни. Люди должны доказать, что умеют уважать доброжелательно настроенных, хотя и чужих людей, приехавших сюда в качестве друзей. Именно сейчас подходящий момент заклеить темноту и суеверие.

— Только не давайте обмануть себя, — предостерегает Рамасо, — подарками. Ведь вам нужны другие проявления гостеприимства!

Кажется, наступает время начать собрание. Но меня опережает Безаза. Он гладит рукой курчавые волосы, нервно трет подбородок, покрытый редкой растительностью, наконец, торжественно встает и обращается ко мне. В очень длинной и туманной речи, изобилующей цветистыми оборотами и медовыми словечками, он просит, чтобы я отведал все, что принесла деревня, и признал ее дружбу. Слова, слова, слова...

— Попробую даже твой мед, Безаза, и утолю голод. Но гостеприимство разве на этом кончается? Нет, бананы и кокосовые орехи не одурманят меня своим душистым запахом. Довольно играть в кошки и мышки.

Чувствую, гости озадачены. Они научили меня своим приемам: призываю на помощь соседнюю гору Амбихимицинго, гору Бенёвского. В жизнь коричневого человека постоянно вплетается природа: птицы, хамелеоны, лемуры, деревья, горы, реки. И вот теперь гора Бенёвского вошла в хижину и зачаровывает собравшихся мальгашей.

— Дух Бенёвского, — говорю им, — по сей день обитает не только на этой горе, о чем прекрасно знают Берандро и Джинаривело, но и на севере, на моей далекой родине. Бенёвский сперва боролся за наше дело, а потом за ваше, он стал вашим великим королем — ампансакабе и оставил потомкам завещание — книгу. В этой книге он рассказывает о своих друзьях, ваших предках, и особенно расхваливает их гостеприимство. Мой народ очень интересуется вашей историей и послал меня сюда, чтобы я мог рассказать, все ли еще жизнь бецимизараков так достойна, как во времена Бенёвского. Что я должен им

сказать о вашем гостеприимстве? Я приехал к вам с дружески настроенным сердцем и карманами, наполненными подарками. А с чем вы меня принимаете? Сегодня, через столько недель знакомства, вы предлагаете мне рис, кур, бананы, то есть то, что можно всегда достать за деньги. И это все, что может дать ваша дружба? А где же ваш древний, святой мальгашский обычай?!

Слова, которые переводит Района с французского на мальгашский, обрушиваются на них как удары и затрагивают самые чувствительные струны мальгашской души. Старейшины озабоченно молчат. Только один Безаза осторожно спрашивает:

— Скажи нам, чего же ты хочешь?

Взгляды всех напряженно устремляются в мою сторону.

— Убедительного доказательства, — отвечаю, — что вы нас обоих считаете настоящими друзьями. Нужны поступки, а не слова, даже если они приправлены сладчайшим медом или украшены цветами.

Но Безаза с невинным видом упрямо повторяет тот же вопрос:

— Скажи ясно, какие поступки тебе нужны?

Хитрец думает втянуть меня в западню!..

Если я открыто выложу сейчас свои желания — совершу огромную бестактность и нарушу этикет. И я молча перевожу вызывающий взгляд с одного на другого.

— Разрешите мне, — подает голос Рамасо, — выяснить некоторые вопросы. Вазаха приехал в нашу деревню несколько недель назад, и мы все ежедневно видим его. Никто не может теперь сомневаться, что вазаха наш настоящий друг. И именно сегодня, когда на наше племя свалились беды, его дружба для нас тем ценнее, что он как писатель может защищать наше дело во всем мире. Разве в этом кто-нибудь сомневается?

Все молчат, никто не возражает.

— И неумным кажется, — продолжает Рамасо, — недружелюбие тех из нас, кто хмуро смотрит на него.

— А имеются ли доказательства такого недружелюбия? — спрашивает Безаза.

— Да, вот хотя бы такое: хижина вазахи все еще пустует, до сих пор у него нет подруги...

— Может быть, ему не нравятся наши рамату? — замечает какой-то шутник, однако никто не желает слушать насмешника, и все громко протестуют.

— Ты, Рамбоа, лучше всех знаешь, где собака зарыта! — восклицает Рамасо. — Ты и твои дружки распеваете по ночам всякий вздор, а девушки верят вашим бредням и боятся вазахи.

Не знаю, хорошо ли поступил Рамасо, подняв вопрос о девушках. Я немного смутился. Правда, несколько дней назад учитель мне втолковывал, что необходимо заключить временный союз, воламбите, с какой-нибудь девушкой: мол, это укрепит связь с деревней, но говорить об этом теперь, на таком многочисленном собрании, мне казалось неуместным.

Рамасо замолчал, и все уставились на меня, словно требуя объяснения. Я, как полагается по хорошему тону, обращаюсь к истории и отвечаю аллегорией:

— Прежде в вашей реке Антанамбалана не было совсем крокодилов, и только полтора века назад король Рабе привез из Анталахи первого живого

крокодила. Вам известно, как король Рабе высоко расценивал гостеприимство: даже такое страшное чудовище он считал своим гостем и отдавал дань святому обычаю, ежегодно торжественно дарил ему девушку...

Люди долины Амбинанитело знакомы с удивительной историей короля Рабе и крокодила. Знают ее и охотно слушают снова, а некоторые признательно кивают головой. Слушать старинные легенды коричневым людям нравится всегда не менее, чем вкушать сладкий плод манго.

Помолчав немного, добавляю с улыбкой:

— А мы, двое белых людей, ваши гости. Мы не крокодилы и, вопреки пению глупого Зарабе, девушек пожирать не собираемся.

Тут встает старик Джинаривело, мой добрый друг, который знает, что такое труд писателя и что значит книга. Ведь в моей книге его некогда поразили фотографии деревьев в канадских лесах, и он изрекает властным голосом:

— Ты наш друг! И на своей родине ты должен хорошо написать о нас.

Наклоном головы благодарю его, но пожимаю плечами и показываю глазами на угол хижины, где сидит группа мужчин с осовелыми лицами, родственники Безазы. Они тоже пьют ром, но угрюмо молчат и, притворяясь задумчивыми, упорно не отрывают глаз от пола. Видно, строптивые противники. Если они не поднимут глаз и не примут участия в общей беседе, сегодняшние труды пропадут даром. Богдан не спускает с них глаз и все подливает ром. Но ничто не помогает: сидят нахмурившись.

— Смотрите, смотрите, гора! — кричит мой приятель Берандро и как безумный бросается во двор. Солнце садилось за горами. В долине протянулись вечерние тени, ближайшая гора Амбихимицинго, которая стоит против моей хижины, охвачена последними лучами солнца и горит красным пламенем словно зачарованная. На склонах ярко сверкают деревья гвоздичных плантаций, на вершине золотится старый лес. Всю природу вокруг, даже цепь ближайших, более низких вершин, покрыл спокойный фиолетовый полумрак; тем призрачней пылает только одна гора.

Великолепное зрелище, которое повторяется почти ежедневно в это же время, сегодня, после моих слов и возгласа Берандро, приобретает новое, таинственное значение. Гора кажется мальгашам ожившим призраком. Им чудится, что она бросает кому-то грозный вызов, подает таинственные знаки.

— Гора Бенёвского! — взволнованно восклицает Берандро.

Не уловка ли это доброжелательного мальгаша?

И вдруг мои гости, возбужденные и будто разгадавшие таинственные знаки горы, громко выражают свои чувства, некоторые даже кричат. Все возбуждены, у всех блестят глаза. Района и Рамасо не могут перевести ни слова; все говорят одновременно. Даже родственники Безазы сорвались с места, смотрят на гору как безумные и высказывают свои догадки. Какой-то массовый психоз. Он прошел так же быстро, как и вспыхнул. Все успокаиваются, замолкают и, немного смущенные, садятся на свои места.

После короткого, негромкого разговора между собой мальгаша приходят к какому-то решению и старик Джинаривело говорит:

— Деревня Амбинанитело признает и любит своих белых гостей и в честь древних обычаев и в знак прочной и искренней дружбы желает дать тебе в жены мальгашскую девушку. Ты согласен, вазаха?

— Если таков ваш обычай и таково доказательство дружбы, я, разумеется,

согласен.

— А есть ли у тебя, вазаха, определенное желание в отношении вади?

Я подумал об одной милой девушке, но, боясь свершить бестактность, не говорю о ней, а только шутливо объясняю.

— Я хотел бы иметь вади молодую, красивую, веселую, здоровую, благородную...

Возврат к мирским делам приносит явное облегчение. Обильный поток качеств моей будущей вади вызывает ясную улыбку на всех лицах.

Джинаривело спрашивает:

— Моя внучка Беначихина подойдет?

Он уверен в моей согласии и, не дожидаясь ответа, посылает одного из младших родственников за девушкой.

— Пойдите! — Я хочу удержать их, но мой голос тонет в общем шуме.

Тут же всех поражает новость: возвратившийся посланец сообщает, что Беначихины в деревне нет. Ушла вместе с Зарабе на отдаленные рисовые поля.

— Позор на нашу голову! — Джинаривело искренне огорчен, это видно по его глазам.

Я кусаю губы, чтобы не расхохотаться.

— Прикажу вернуть ее силой! — негодует дед.

— Оставь Беначихину в покое! Не надо ее! — восклицаю я и обращаюсь к посланцу: — А Веломоди в деревне?

— Да.

— Поди спроси, хочет ли она стать моей вади!

Мои слова снова поражают присутствующих. Через минуту все узнают: Веломоди согласна стать моей вади.

К Джинаривело быстро возвращается хорошее настроение, и он радостно говорит:

— Это хорошо! Сегодня вечером семья приведет ее к тебе.

День проходил, и солнце клонилось к закату под знаком злых предчувствий, закипавшей в душах бури и сплошной неизвестности. Теперь все ясно: наступает тихий вечер. Гора Бенёвского, наконец, присмирела, погасла и засыпает во мраке, как и все другие горы.

Моя вади

С наступлением темноты в хижину приводят Веломоди. Гурьбой вваливается вся родня, не только дедушка Джинаривело и мать, но и многочисленные дяди, тети, племянники и другие родственники. Вежливые, хорошие люди. Вся компания ест, пьет и веселится.

Среди приглашенных гостей, конечно, присутствуют Рамасо и Района. Сидят на почетных местах вместе с Джинаривело и моей тещей — рафузуко. У всех прекрасное настроение, все развлекаются, произносят подходящие к случаю приветствия.

— И чтобы сын твой, — поднимает рюмку Района, его слегка затуманенные глаза смеются, — чтобы сын твой, вазаха, стал знаменитым вором скота.

Известное и излюбленное мальгашское напутствие, направленное в мой адрес, вызывает у присутствующих бурю восторга, тем более, что произносит его шеф кантона, блюститель законов.

Гости наклоняются к Веломоди, сидящей тихо и скромно у стенки в тени. За весь вечер она не проронила ни слова. Одной из старших теток, сестре моей тещи, не нравится молчание Веломоди, и она с лицом сердитого лемура говорит:

— К ней трудно применить нашу поговорку: не уподобляйся сверчку, голос которого наполняет весь лес, хотя сам он крошечный... Голос Веломоди что-то не заполняет хижины. А ты, вазаха, знаешь подходящие поговорки?

— Знаю.

Все с большим любопытством смотрят на меня.

— Я знаю много растений, — повторяю услышанную когда-то мудрость, — но только сахарный тростник мне по вкусу.

Другими словами: много девушек существует на белом свете, но только одна мне нравится.

Гостям по душе такая учтивая аллегория.

На прощание молодая еще теща обнимает мою голову и крепко целует в щеку; это вызывает сильное удивление семьи. Прежде они совсем не знали поцелуев, да и теперь не слишком увлекаются ими.

Потом теща совершает обряд, который всем, кроме Рамасо и Районы, кажется существенным дополнением к торжеству. Рафузуко приносит из кухни горящие головни и выбрасывает их из обеих дверей хижины далеко во двор. Головни описывают дугу, рассыпается фонтан ярких искр.

— Зачем это? — спрашиваю.

— Чтобы отогнать злых духов, кружащихся вокруг хижины, — объясняет теща.

— Около моей хижины духов нет, — успокаиваю я ее.

— О, вазаха, откуда ты знаешь? Духи есть везде!

— Не беспокойся. Я защищу Веломоди.

Около полуночи семья попрощалась, и хижина опустела. Вскоре я проводил последнего гостя — Богдана.

Вернувшись в хижину, я застал Веломоди на том же месте — в темном углу у стены. Она просидела там весь вечер, тихая, как мышонок, и скромная, как овца. Теперь она смотрит на меня, и я вижу только ее глаза, вернее два ярко горящих уголька, пронзающих меня из мрака.

Я понял, как удачно складываются события: Веломоди в роли моей вади — старый обычай гостеприимства в Амбинанитело, проявление искренней доброжелательности, подлинная живая связь между мной и жителями деревни.

Злая река

Цапли вурумпуцы — белые, нарядные, парящие высоко в небе птицы. Их всегда восемь. Ежедневно, вероятно с незапамятных времен, подчиняясь извечному инстинкту, они в одно и то же время появляются над долиной: за полчаса до захода солнца. И всегда летят над рекой, словно связаны с нею. А когда проносятся над деревней, их бесшумный белый полет напоминает мелькание светлых мыслей. Цапли — прекрасные существа. Мальгаши любят их. Птицы с достоинством шагают по рисовым полям, точно хозяева. Белые цапли на полях так же неотделимы от мадагаскарского пейзажа, как крылатые хищники кани, которых здесь называют папанго. Высоко в небе они вычерчивают над каждой мальгашской деревней круги и высматривают цыплят. Цапли охотно ютятся вблизи скота: вероятно, ловят больших клещей и мух, лакомящихся теплой кровью животных. Но основная их еда — лягушки или маленькие рыбки, обитающие в болотах на рисовых полях.

Появление над рекой восьми цапель означает, что день в Амбинанитело пришел к концу. Я прекращаю писать, закрываю тетрадь и иду к реке Антанамбалане. Здесь я ежедневно люблюсь одной и той же картиной: поразительной мощностью горной реки. Свое начало она берет недалеко в горах, но уже здесь река огромна, не менее Вислы в низовьях. Откуда в этом горном хаосе столько воды?

Белые цапли вурумпуцы полетели к истокам реки; мои мысли вплелись в птичий полет и устремились за ними. Тайна истоков всегда манит человека, он тянется к ним, как цапли.

Но сумерки густеют, лес на склоне гор темнеет, вершины все острее сверлят небо. И вот тут фантазия мальгашей пробуждается: река уже не река, это зверь. Дикий, страшный, точно вырвавшийся из клетки бешеный пес. Она рвется из клубящих гор и живет, как живут крокодилы, змеи, белые цапли. Чем ночь глубже, тем зверь грознее.

И тогда Веломоди, моя вади, толкает меня. Ей страшно, пора возвращаться домой. Когда мы шли к реке, Веломоди, как и пристало хорошо воспитанной мальгашке, шагала позади меня. Вечером же она боится реки и ее духов и осторожно ступает впереди, так близко, что ее спина касается моей груди. Моя близость придает ей уверенности. Такое простое доказательство доверия доставляет мне радость и наполняет гордостью: девушка признает непобедимую силу белого человека, который сумеет защитить ее от грозных мальгашских бед. Весь обратный путь мы молчим и чувствуем, что нас обоих связывает крепкий узел мальгашского союза.

На рисовых полях громко квакают лягушки. Как-то Богдан сказал, что мадагаскарские лягушки по внешнему виду мало чем отличаются от наших, европейских, но голоса совсем не похожи.

Это верно. Лягушки, которых мы слышим каждый вечер, орут, как многотысячная, разбушевавшаяся толпа людей. Сходство настолько велико, что на ум приходят неожиданные сравнения. Сейчас мне мерещится какой-то бурный митинг в большом городе.

— Тысяча людей говорит! — смеясь, обращаюсь я к Веломоди.

— Это не люди, это духи разговаривают. — скромно поправила меня девушка и тут же добавила: — Хорошие духи!

Веломоди с облегчением вздохнула — хижина рядом и квакают лягушки. Теперь она уже совсем успокоилась: со всех концов деревни доносится лягушачий хор, напоминающий все тот же многоголосый человеческий гул. Наступила ночь, добрые духи окружили селение плотным кольцом голосов и будут так митинговать до рассвета, охраняя покой людей.

К утру эти лягушки умолкают, но зато вступают другие, еще более удивительные. Они скрипят, точно несмазанная телега. И снова обман так велик, что можно поклясться: вокруг деревни кружит обоз скрипящих телег. Скрипят они долго, до утра, пока не выглянут первые лучи солнца, тогда телеги умолкают.

Однажды утром меня разбудил фальшивый крик, неслыханная какофония. Взбесились лягушки, подражающие людским голосам; орут громче, чем обычно, хотя уже белый день. И немазаные телеги — другая разновидность лягушек — тоже разбушевались не на шутку, и телеги мчатся сломя голову. Шум невозможный. Со двора вошла Веломоди, от волнения с трудом говорит:

— Река...

Я вышел из хижины, и глазам предстала грозная картина. Вода залила всю долину Амбинанитело, все рисовые поля. Должно быть, где-то в горах разверлись водные хляби. За ночь река поднялась на несколько метров и затопила все вокруг. Вода повсюду. На сплошном безбрежном озере уцелел только один песчаный островок — наш холм, на котором стоит селение, отрезанное от всего мира.

Большая вода изменила всю жизнь. Трудно узнать прежнее Амбинанитело. Растения стали другими и звери тоже. Лягушки на радостях разорались что есть мочи, птицы жалобно щебечут, лемуры воют, даже люди стали какие-то странные. Не узнаю Веломоди. Глаза широко раскрыты, рассеянна, не слушает меня. Когда я хочу подойти к воде за нашей хижинкой, девушка вдруг пугается и требует, чтобы я вернулся домой.

— Вода сегодня злая!.. — повторяет она. — Река злая!..

Позже Веломоди пошла в деревню и привела дедушку Джинаривело. Обычно он бывает в хорошем настроении, но сегодня у старика измученное лицо и он так неразговорчив и рассеян, словно прислушивается к чему-то. Вероятно, Веломоди говорила ему обо мне, потому что старый друг, уходя, предостерегает:

— Не подходи к воде, вазаха! Смотри!.. Река сегодня голодная!..

— Крокодилы, что ли? — спрашиваю недоверчиво.

— Нет, нет, нет!.. — шепчет Джинаривело, и лицо его выражает нечто более грозное.

Я киваю головой.

Деревня погружена в необычное состояние. Около полудня я вышел прогуляться между хижинами, и всюду замечал угнетенных чем-то людей. Овладевшая ими печаль мне непонятна. Все чего-то ждут и чего-то боятся.

Однако грозная опасность миновала. Во второй половине дня вода начала спадать. Люди видят это, но по-прежнему прячутся в хижинах и по-прежнему

молчат. Мне даже кажется, что беспокойство их возросло, — они чего-то мучительно ждут; еще мгновение, и что-то должно свершиться: грянет гром, обрушится удар...

Мне знакомо такое напряжение. Мальгашские души часто цепенеют в непонятной муке. Настроение их чувствуется даже в моей хижине. Вероятно, присутствие Веломоди подействовало на меня, и я сам возбужден. Вздрагиваю, как от удара, и вдруг слышу отдаленные крики людей и приглушенные голоса. Потом наступает мертвая тишина, но все в Амбинанитело уже знают, догадались: случилось несчастье.

Несчастье действительно случилось. Утонул ребенок. Здоровый трехлетний мальчик. Выскочил из хижины и побежал. Мать кричала ему, но он бежал, как во сне, точно его кто-то звал. Мать помчалась вдогонку, но было уже поздно. Когда река опадает, берега становятся скользкими. Мальчик оступился и свалился в воду. Долго боролся — крепкий был. Люди стояли вокруг и видели все. Потом ребенок ослаб. Вода поглотила его. Утонул.

— И никто не спасал? — кричу на жителей деревни, которые рассказывали мне об этом, — я не мог скрыть возмущения.

— Нет!.. — отвечают они и удивляются моему вопросу.

Когда тайные силы требуют жертв, с ними нельзя бороться, спасения нет.

Я видел несчастную мать. Она не убита горем, лицо ее равнодушно, и она, как всегда, толчет рис для своей семьи. На ее долю выпала тяжкая неизбежность — гибелью ребенка она оплатила таинственный долг деревни. И теперь спокойна.

А вода продолжала быстро спадать. Лемуры умолкли, рисовые поля показались из воды, и снова на них закипела жизнь, бедствие прошло, наступила разрядка. Люди в хижинах, избавившись от кошмара, весело беседуют, смеются и шутят. Солнце еще высоко стоит в небе, а река совершенно успокоилась и вошла в свои берега. Была голодна и зла, схватила свою добычу, — что же тут удивительного? Естественное право каждого дикого зверя. Похищает, но когда насытится — честно уходит. И люди радуются, что река утихла и зверь удалился. Солнце клонится к западу, и, как всегда, вечером пролетают мои крылатые знакомые, — цапли вурумпуцы. Их восемь. Сегодня я смотрю на них с большим, чем до сих пор, облегчением и дружбой. Над изменчивой судьбой людей и случайностями долины летят цапли, всегда чистые, благородные, спокойные, постоянные белые символы мудрости небес.

А у людей на земле большая радость. Река оставила щедрый дар — ил. Наводнение покрыло поля жирным слоем удобрения. И люди радуются, потому что будет хороший урожай риса, будет достаток, придут веселые танцы и появятся новые дети. Люди уже танцуют. Рядом с забытой смертью ребенка рождается надежда новой, плодоносной жизни. В этом, пожалуй, мудрость земли.

Амод, сын Амода

У главной дороги против моей хижины возвышается солидное деревянное строение китайца, торговца продовольственными товарами. Он привозит товары из Мароанцетры и вывозит туда большинство сельскохозяйственных продуктов долины. Немного поодаль, в глубине деревни, у той же дороги, стоит лавка другого купца, индуса Амода, торгующего текстильными товарами. Китаец, тихий и скромный человек, всегда честно и по-дружески относится к мальгашам. А индус стал вести себя прилично только после жестокого единоборства, которое он несколько лет назад затеял с жителями Амбинанитело и проиграл. Индус полагал, что раз монополия в его руках, то он может драть шкуру, но мальгашаи принудили купца опустить нос и снизить цены. Они приобрели велосипед и сами стали закупать нужные товары в Мароанцетре.

Китаец живет здесь постоянно, Амод же обосновался в Мароанцетре, там у него другие, более крупные дела; сюда же он частенько приезжает и задерживается дня на два. И тогда, в хорошую погоду, он садится вечерами у своей лавки на стул, широкоплечий, брюхатый, важный, и, неподвижно уставившись на далекие вершины гор, отдыхает. Большая черная борода делает его похожим на восточного владыку, обдумывающего великие походы. В действительности же он обмозговывает свои мелкие делишки. Разительный контраст составляет его жирная туша и непомерное честолюбие с мальгашами, не имеющими ни того, ни другого.

Когда Амод в первый раз увидел меня в Амбинанитело, он тотчас вспомнил наше совместное путешествие из Таматаве в Мароанцетру и приветствовал меня как хорошего старого знакомого.

— Вы все-таки забрались в эту ужасную дыру? — воскликнул он.

— Куда купец просунет свой нос, туда попадет и естествоиспытатель.

Амод схватился за бока и в шутку стал меня корить:

— Я с вами должен посчитаться, вы сбиваете с пути сорванца моего сына!

— Да неужели?

— У него свихнулись мозги: вместо того чтобы стать настоящим купцом, он мечтает сделаться великим натуралистом.

— Не волнуйтесь, купеческой жилки он не потеряет.

— Вы меня успокоили. А как он работает?

— Необыкновенно!

Амод подозрительно смотрит на меня.

— А вы им довольны?

— Ужасно!

— Это слово можно понимать и так и сяк.

— Именно!

Сын Амода, четырнадцатилетний мальчишка, тоже Амод, постоянно живет в Амбинанитело. После окончания местной школы он должен был помогать отцу в лавке, но вместо этого бьет баклуши. В его черных, похожих на мальгашские, глазах искрится острая любознательность. Глаза красивые, пламенные, алчные.

Наш приезд в Амбинанитело вызвал у молодого Амода повышенный интерес, и он первый стал помогать нам. После нескольких испытательных часов я принял его на постоянную работу и назначил высокое вознаграждение. Ни-

когда еще во время экспедиций мне не приходилось встречать такого способного ученика. Он все схватывал на лету, все понимал с первого взгляда, угадывал наши мысли, проявлял старание. На третий день он уже умел препарировать шкурки млекопитающих, а на шестой — птиц. На седьмой день он попросил повысить заработную плату в пять раз.

— Во сколько? — спросил я, остолбенев.

Когда мальчик повторил, я подсчитал, что сумма будет в два раза больше, чем получает на своем ответственном посту шефа кантона местный сановник Раяона.

— Амод, ты сошел с ума! — процедил я сквозь зубы негромко, но выразительно.

Молодой индус посмотрел на меня каким-то далеким, мечтательным взором и только потом стал приходить в себя, точно пробудясь ото сна. Отказ принял спокойно, как нечто неизбежное, и продолжал трудиться с прежним рвением.

Работал он быстро и ловко. Иногда только заглядится на препарированный экземпляр красивой птицы и стоит, словно восхищенный ее красотой. Позже мы узнали причину его задумчивости. Он подсчитывал. Подсчитывал, сколько прибыли в франках, долларах и фунтах даст эта птица на мировом рынке. В такие минуты Амод становился мечтателем, который с болезненным увлечением погружался в немыслимые расчеты и витал в фантастической стране безумных цифр.

Мальчики принесли мне бабочку уранию. Как известно, это одна из самых красивых бабочек в мире, истинное чудо по своей расцветке. Слово неизменяемый, Амод не мог оторвать от бабочки горящих глаз и чуть ли не пожирал ее взором.

— Пятьсот франков... пятьсот... — шепчет он.

Бабочка *urania orientalis* великолепна, ничего не скажешь, но она не такая уж редкость на Мадагаскаре, поэтому я объясняю Амоду по-деловому: в Париже за нее дали бы самое большее пять франков.

— Неправда! — восклицает мальчишка, и его злая усмешка выражает нескрываемое презрение, которое питают к человеку, неловко маскирующему свои делишки.

На Мадагаскаре очень распространена птица кардинал. Оперение самцов, особенно в брачную пору, сверкает огненным пурпуром. В районе Амбинанитело их не так много, но все же нам удалось добыть два хороших экземпляра, из которых один немного побит дробью. Богдан пытался привести его в порядок, но, недовольный результатом, отложил препарированную птицу в сторону.

— А что, эта птица не нужна? — спрашивает Амод глухим от волнения голосом.

— Не нужна, — отвечает Богдан, не поднимая головы от работы.

— Так... я могу ее взять?

— Возьми, — пробурчал Богдан.

Амод решил, вероятно, что это рассеянность или глупость Богдана, схватил кардинала и тотчас унес домой. Домашним он заявил, что получил вещь стоимостью в пять тысяч франков.

Хотя мадагаскарский кардинал отличается великолепным оперением, но,

так же как и бабочка урания, стоит немного.

Амодом овладела денежная лихорадка. Он считает себя богачом, которому работать незачем. И действительно, дни проходят, а молодой индус не появляется. Раструбил по всей деревне, что нашел неисчерпаемый источник огромного богатства, а меня с Богданом называет обманщиками, фокусниками и хитрецами. У жителей Амбинанитело это вызвало раздражение, отголоски которого быстро дошли до ушей учителя. Встревоженный Рамасо пришел к нам с озабоченным видом и спрашивает, сколько правды в болтовне Амоды.

— Нисколько, — заявляем.

Учитель, человек сведущий, быстро разобрался в подлинной продажной и музейной стоимости обычной птицы.

— Надеру Амоду уши, — возмущается Рамасо, — и расскажу тем, кто легко поверил в его бредни. Хорошо, что он ушел от вас. Причинил бы немало хлопот.

Я согласен с ним, но когда через несколько дней пришедший в себя и покорный Амод снова постучался в нашу хижину, я не смог отказать плуту и снова принял его.

Хороший и милый в обычное время, парень делается невозможным, когда его охватывает мания подсчетов. А она нет-нет да и появляется. И в этом неистовстве цифр есть какая-то абсурдная логика: в молодом Амоды растет дух типичного капиталиста. Наша экспедиция разожгла в нем хищнические инстинкты, и Амод, охваченный ими, не находит себе места. Когда его требование повысить жалованье в пятикратном размере провалилось, Амод выложил новый проект: создать компанию в составе его, Богдана и меня по монополевой эксплуатации флоры и фауны долины Амбинанитело. Рынок сбыта — Нью-Йорк.

— Но мы собираем экспонаты для Варшавы, а не для Нью-Йорка! — высмеиваем мы его предложение.

Наш смех глубоко обижает Амоды. Ведь в его уме созрела мысль, что он, Амод, сын Амоды, подлинный хозяин и единственный правомочный эксплуататор всех зоологических богатств в долине Амбинанитело. И Амод объявил нам войну. Некоторых ребят ему удастся сбить с толку. Восстанавливает молодежь, которая до сих пор ловила для нас млекопитающих, птиц и насекомых. Потеря для нас невелика. Эти три класса животных большей частью хорошо исследованы на Мадагаскаре и не так уж нам нужны. Нас больше интересуют другие, до сих пор малоизвестные существа: мелкая пресноводная фауна, которую Богдан ловит сам в небольших лужах.

Несмотря на всю двуличность Амоды, я все еще не прогнал его. Уж очень он старательный препаратор. К тому же я, невзирая ни на что, люблю мечтательного повесу. Справедливости ради нужно сказать, что, кроме войны, которую он разжигает против нас в деревне, ни в чем другом упрекнуть его нельзя. Он безукоризненно честен — иголка не пропадет.

Амод, как всегда сообразительный, быстро замечает свой промах и готовит нам новый сюрприз, на этот раз очень чувствительный. Однажды Богдан возвращается с утренней охоты не на шутку встревоженный. В луже, где он обычно ловит живые существа, буквально все вымерло, даже ничтожного водомера как не бывало. Заглянул в другую лужу — та же картина: все вымерло. Во второй половине дня мы вместе пошли обследовать лужи. Так и есть. Отрав-

лены все лужи в долине, даже довольно отдаленные. Их отравил наш остроумный Амод, вероятно, плодами страшного тангуина. Это уже настоящее бедствие, и наше терпение лопнуло. Работа в долине нарушена, Богдану нечего здесь больше делать. Подлеца Амода прогоняем с треском.

Удар, так ловко направленный Амодом, только случайно не достиг цели. Прошло три дня после отравления луж, и на деревню обрушилось страшное наводнение. Река Антанамбалана залила всю долину, — это было во время гибели ребенка, — а когда вода спала, появились другие лужи с чистой водой, и в них закипела новая, буйная жизнь крохотной фауны.

Хижина на сваях

Еще не так давно коричневые люди сторонились моей хижины и даже собаки боялись ее. Ни одна собака не желала заходить.

Две дворняги, веселые сорвиголовы, соревновались с ветром наперегонки недалеко от моей хижины, придумывали всевозможные пакости глупым курам, устраивали бурные игры с кем попало, но моей хижины не любили. Я делал все, чтобы завоевать их доверие, бросал на пол самые вкусные косточки. Собаки приближались, заходили даже на веранду, заглядывали внутрь и обнюхивали вкусную приманку. Но вместе с привлекательным запахом слышался чужой, подозрительный. Они становились серьезными и морщились. Они ни разу не переступили порога моей комнаты. Для меня это было моральным поражением. Недоверие собак, собак-барометров, удивительно совпадало с недоверием жителей селения, коричневых людей.

А теперь что за перемена! Те же собаки влетают с невообразимым шумом в хижину, носятся, точно по собственному двору, играют во всех углах, опрокидывают стулья и посуду, становятся наглыми и подлизами. Здесь, ни в каком другом месте, а только здесь они доставляют себе удовольствие выискивать блох. Веломоди гонит их, бранит всевозможными словами, но бесполезно: дворняги любят ее, выгонит в одну дверь, они влетают в другую, а вместе с ними появляется веселье.

А ведь хижина моя та же, что и прежде, только поселился в ней еще один человек; маленькая коричневая девушка Веломоди и ее лохматый друг бабакут.

Прежде каждое утро, когда появлялось солнце, я просыпался от радостного пения дронго, черного дрозда, свившего гнездо на дереве вблизи хижины. Потом дронго улетел в другие места; дерево опустело и никто меня не будил. Я просыпался сам, и чувство одиночества не покидало меня до полудня. Теперь меня будят чудеснейшие звуки — девичий смех.

Я сказал Веломоди, что она может приглашать в нашу хижину своих подружек и угощать всем, что у меня имеется. И вот каждое утро девушка принимает на веранде своих многочисленных ровесниц и родственниц. Многие приходят к ней даже с другого берега реки. Повар Марово готовит цейлонский чай и щедро угощает их сахаром и европейскими сухарями. В полусне, за тростниковой стеной, я слышу девичье воркованье на таком мягком, таком мелодичном языке, что по сравнению с ним все наши европейские языки кажутся варварским бормотаньем и шипеньем. Вдруг кто-то смеется погромче, и я просыпаюсь окончательно. После такого пробуждения человек долго не расстается с улыбкой, она не покидает его весь день. Хижину окружает веранда, защищен-

ная от дождей и солнца широкой пальмовой крышей. С любой стороны веранды открывается непередаваемое великолепие пейзажа и богатство долины. Зеленые рисовые поля, отороченные каймой из красных гибискусов, гора Бенёвского, возвышающаяся над ними, богатейшие плантации кофейных деревьев и склоны других гор, покрытых тропическим лесом, по которому не ступала нога человека; живописные хижины селения и громадные кокосовые пальмы; извивающаяся лента дороги, залитая лучами жаркого солнца с красивыми людьми на ней и большая река, которую мальгаша считают диким зверем, — все это похоже на пленительный сон и напоминает чудесные главы какого-то увлекательного романа, созданного воображением. Никогда и нигде мне не приходилось с такой силой чувствовать, как зрительные ощущения вызывают глубокие волнения души. И за эту великую радость я благодарю пейзаж, хижину и веранду.

На веранде я ежедневно пишу главы моей книги о Мадагаскаре. В полдень потоки света и жара обрушиваются на долину и высушивают сердца и гортани. И тогда неслышной походкой подходит Веломоди (она всегда ходит босиком) и предлагает подкрепиться. Она приносит кокосовый орех, только что сорванный с соседней пальмы, разрубает его топориком, сливает прозрачную жидкость в стакан, белую сердцевину выкладывает на тарелку и подает мне. Жидкость холодна, точно со льда, а сердцевина ароматная, как духи. Плод обладает чудодейственными качествами. Когда поешь его, усталость исчезает совершенно. К душному воздуху на веранде примешивается сладкий запах кокоса; им пахнут мои губы и руки, руки и волосы Веломоди. Она стоит в стороне и кротко улыбается.

После этого писать о Мадагаскаре трудно. Пленительный пейзаж, вкус свежего кокоса и забота Веломоди — вот подлинный Мадагаскар. Но как передать его горячее биение холодными словами человеческого языка и как сделать, чтобы очарование тропиков стало понятно людям, обитающим в умеренном климате? Увы, прелесть здешнего пейзажа, плодов и девушки будет жизненной только в этой долине и неразрывно связана с этой хижинкой и этой верандой.

Когда Веломоди перебралась ко мне, я опасался, что она объявит войну многочисленным ящерицам геконам, живущим в закоулках хижины. К моему великому удовольствию девушка не только не воюет с ними, но даже считает их хорошими и священными созданиями. И геконы по-прежнему живут в моей хижине; днем спокойно спят в своих укрытиях, ночью весело носятся по стенкам и шмыгают под крышей. Геконы темного цвета, приплюснутые и уродливые, но очень быстрые, веселые и полезные. По ночам неумоимо ловят комаров и других вредителей, шуршат в сухом тростнике и часто победно свистят. Без геконов мальгашская хижина не была бы такой привлекательной. В моей хижине много геконов.

Как-то утром мы увидели на полу останки громадной сколопендры, следы ночной драмы. Ядовитая тварь пробралась ночью, вероятно, по сваям в нашу хижину, но ящерица набросилась на нее, поборолась и сожрала. Неизвестная ящерица оказала нам услугу и совершила рыцарский подвиг, оставив нам, людям, незначительные доделки: утром Веломоди осторожно сгребла лапы и клешни сколопендры и выбросила вон. Какое-то трогательное содружество ящерицы с человеком, причем маленькой ящерице достается львиная, самая

существенная доля работы, — она охраняет, хотя и бессознательно, человека.

Однажды родственник Веломоди принес нам карликового лемура, самого маленького представителя почтенной семьи лемуридов. Зверек не больше крысы, но голова у него большая, круглая и громадные глаза. Такие громадные, что когда смотришь на зверька, видишь сначала глаза, а потом уже все туловище. В отличие от других лемуридов малыш невероятно дик, не дает себя погладить и, как бешеный, кусает Веломоди.

Она таскает ему обильное угощение — кузнечиков и заботится о нем, как мать родная, но он страшно испуган и ко всему равнодушен. Даже наш ручной бабакут трогательно пытается приручить зверька, но все напрасно.

У него всегда горящий взгляд, скажу больше: его глаза — два мерцающих в темноте огня, такие фантастически яркие и красочные, вспыхивающие розовато-фиолетовым блеском, что кажутся какими-то сказочными рефлекторами. Они меня наводят на интересные размышления: лемур словно спрашивает о чем-то человека. В рефлекторах отражается страшное любопытство, извечная мука и извечный вопрос. Так смотрит зверь на другого зверя, который ушел и превратился в человека.

По вечерам, а иногда и поздно ночью я сижу и работаю. Веломоди давно уже легла и спит сном здоровых первобытных людей. Со двора врывается мощная мелодия тропической ночи; в хижине, кроме геконов, бодрствуют только двое: карликовый лемур и я.

Когда я сижу неподвижно над книгой, лемур становится доверчивее, вскакивает на мой стол и ест кузнечиков из приготовленной для него мисочки. Это как бы первый шаг к сближению. При этом он смотрит на меня непрерывно, точно стойкий дух, и все с тем же невыразимым вопросом в прекрасных фиолетовых глазах. Я улыбаюсь, но даже улыбка пугает его и лемур одним прыжком забирается высоко под крышу. Оттуда он снова следит за мной.

А в это время Веломоди тихо открыла глаза и, не шелохнувшись, устремила на меня тоже пылающий взгляд. И, зажатый между этими двумя огнями, я оказался в центре какого-то невысказанного очарования.

Если бы я мог совместить их очарование с идеей книги, над которой я работаю в тростниковой мальгашской хижине, получился бы, вероятно, самый прекрасный союз. И тогда я стал бы самым счастливым человеком.



Когда смотришь на карликового лемура, то прежде всего замечаешь его громадные странные глаза

Сердце матери

У зверей нет, пожалуй, более горячего материнского чувства, чем привязанность матери цура к своему детенышу. В зарослях долины бродят переполненные нежностью цуры, и всем жителям Амбинанитело известно, что у этих зверьков сердца заколдованы. Это знает и Бецихахина, семилетний братишка Веломоди, знаток природы, любитель тайн, изобретатель и смельчак.

Бецихахина поймал у реки двух цуров, мать и малыша, и приносит их к моей хижине; малыша привязывает за ножки к кольшку, а мать отпускает на волю и велит мне восхищаться. Восхищаюсь. Мать никогда теперь не удерет, хотя она дикий и пугливый зверек. Она будет около привязанного детеныша, несмотря на присутствие страшных людей. Отправляется в заросли за кормом и возвращается, непременно возвращается и даже разрешает дотронуться до себя рукой, разрешает погладить, только бы быть ей со своим малышом... Восхищайся, вазаха!

Цур, зверек, напоминающий небольшого ежа, принадлежит к роду танреков. Близорукое, колючее, чрезвычайно смешное создание с крошечными глазками и длинным, острым носом. Забавный пентюх, а ведь живет в нем великий дух героической любви и безграничной преданности. Я смотрю на него с уважением и волнением, мне кажется, что на моих глазах раскрывается великая тайна души животных.

Я хотел через два-три часа освободить маленького зверька и прекратить неуместное наблюдение, но мне что-то помешало, и я забыл о маленьком узнике. А потом я не смог этого сделать: из ближайших зарослей выползла смерть — змея. В отсутствие матери гад напал на цуренка. Находящиеся поблизости люди примчались на помощь, бьют змею и вырывают из пасти добычу. Истерзанный цурок погиб. С охоты возвратилась мать, обнюхала безжизненное тело, как-то странно ссутулилась и замерла. С тупым взглядом, устремленным на мертвого детеныша, без звука, без крика, она — олицетворение немого горя.

Наивный Бецихахина решил утешить зверька, взял его на руки, стал лас-

кать. Но цур никак не реагирует: издали смотрит на своего детеныша и не может оторвать глаз.

Так прошло несколько часов; цур, не двигаясь с места, нахохлившийся, стережет мертвое тело. А потом свершилось нечто беспрецедентное. Цур подох. Сердце матери не выдержало, не смогло пережить утраты. В Амбинанитело, долине хищных инстинктов в природе, беспощадной борьбы, дикой ловли и пожирания более слабых, в долине, где почти всегда голод сильного является причиной гибели слабого, — этот случай беспрецедентный и захватывающий: смерть от любви.

Нас не покидает грусть и сознание вины. Даже маленький Бецихахина приуныл, впрочем ненадолго. Предприимчивый мальчик нашел спасительное средство:

— Послушай, — бодро говорит он, — завтра принесу тебе двух новых цуров: мать с детенышем.

— Послушай, — отвечаю я, — лучше оставим цуров в покое.

— Нет, я принесу цуров! — упрямится маленький энтузиаст. — Будет у нас опять замечательная игрушка.

— Принеси... улиток! — хитростью стараюсь отвлечь его. — Вот будет игрушка!

Но Бецихахина не одобрил моего предложения. Он разочарован, он презирает и не понимает белого человека, до сих пор такого благоразумного. Бецихахина, пожалуй, может позволить себе это: ведь ему только семь лет.



Из соседних зарослей вытолзла смерть.



Цур как зачарованный не может оторвать глаз от несчастного детеныша.

Веломоди и отважная оса

Я хочу, чтобы коричневая девушка полюбила всех добрых животных так, как люблю их я: бескорыстно. Увы, для мальгашей это очень трудная задача, почти невыполнимая. Когда Веломоди бродит со мной по полям на опушке леса, она радостно, очень радостно встречает дронго, черного дрозда, ведь птица — друг ее племени бецимизараков. Но остальные птицы ее не интересуют, она просто не замечает их. Она довольна, когда носит мое снаряжение для ловли насекомых, улыбается великолепным бабочкам оризабус, они ведь добрые духи долины. Никогда не убивает их. Но других бабочек не признает; а если какая-нибудь попадетсся ей, она брезгливо морщится и ломает ей крылья. Ос давит палочкой, кузнечикам отрывает головы. Ей чужд мир душевных волнений в природе.

Но однажды она воспрянула духом: как-то на тропинке девушка наткнулась на маленькую осу и... влюбилась в нее. Влюбилась так безрассудно, что утратила даже мальгашскую сдержанность и громко стала доказывать, что это ее сестра.

Оса свила на ветке куста гнездо, похожее на бочонок, в котором лежала куколка, ребенок осы. Мать окружила свое детище самой трогательной заботой и сторожила его, усевшись поблизости. Горе всем, кто приблизится! Оса громко зажужжит, сорвется и как бешеная будет носиться вокруг кого бы то ни было — лемура, дронго или человека.

Ярость отважной матери ослепила девушку и открыла ей глаза. Оса стала ее духовным другом, символом сражающейся матери, существом священным, фади.

И я склоняю голову перед бурной стихией материнской любви — героической, яростной, уважаемой маленькой матери осы.

Полушутя, полусерьезно я отчитываю коричневых мужчин и говорю им в глаза, что они настоящие лентяи. Почти всю работу взвалили на слабые плечи женщин, а сами ничего не делают. Ведь это несправедливо. Женщина заня-

та на самых тяжелых работах в поле, женщины сажают и убирают рис, тащат его домой, варят. С утра до вечера, везде и всюду женщины. Правильно ли это? Мои друзья, старик Джинаривело, Тамасу и Берандро слушают меня, широко раскрыв глаза и рты. На потом они хохочут — вазаха придумывает забавные шутки! И Джинаривело добродушно объясняет, что женщины созданы для всего этого. Так было всегда и так будет, бог так велел. Впрочем, почему я не вспомнил, что мужчины готовят поля для посадки риса, целыми днями гоня на них скот?

— А кто смог бы заменить женщину в поле? — спрашивает Берандро.

— Как кто? Мужчины! — отвечаю. — В Европе только мужчины пахут, сеют, косят...

— Может быть, в Европе и детей рожают мужчины?

То, что рассказывает вазаха, удивительно и неправдоподобно.

Всем известно, что женщина должна рожать. Ей предназначено быть матерью. Земля тоже родит, она тоже мать, и между ними никакой существенной разницы нет. А разве не знают белые люди, что душа женщины тоже берет начало в земле, а если природа доверила женщинам труд рожать детей, то должна была доверить и труд выращивать плоды земли?..

Мои друзья разошлись. В их представлении о возникновении жизни есть ясность и мудрость.

В горячей, пышной долине, а также в сознании мальгашей укоренилась великая сила — материнская любовь. Одно чувство охватывает всех матерей, в один хоровод сплелись плодородие земли, счастье женщин, тайна насекомых и даже волнение бойкой маленькой осы. Хоровод радостный, победоносный, великий... А ведь половины населения он не охватывает. Не принимает в нем участия мужчина — фигура серая, никчемная, трутень. Мышцы у него сильные, но здесь он только пешка.



С утра до вечера везде и всюду работают женщины.



Девушка должна полюбить всех добрых животных.

Лолопаты — предвестник смерти

— Мы правильно идем? — спрашиваю Веломоди.
— Да, вазаха, — отвечает она тихо, скорее взглядом лучистых глаз, чем голосом.

— Ты хорошо знаешь дорогу?

— Хорошо.

— Скоро мы придем?

— Скорее, чем сварить рис.

«Сварить рис» — это мальгашская мера времени, приблизительно четверть часа.

Мы уже давно миновали поля возле Амбинанитело. Остались позади голо-са деревни. Нас со всех сторон окружил лес. Косые лучи послеполуденного солнца еле пробиваются сквозь густую листву. Тропинка ведет вдоль берега Антанамбаланы, вверх по течению реки; воды не видно, но ее близость чувствуется, земля всюду влажная.

Мы в густом лесу. Даже на Амазонке немного было таких глухих мест и такого засилия растительности. Три созидательные силы — постоянная влага, постоянная жара и плодородие почвы — создали непроходимую чащу деревьев, лиан, кустов и трав. Стволы и ветви деревьев большей частью покрыты ковром всевозможных наростов, среди них замечаю известные уже сорта орхидей. Мощные стволы папоротников-деревьев вздымаются, как призраки. Змеевидные лианы опутывают стволы великанов и душат их. Другие вьющиеся растения свисают с веток наподобие фестонов и занавесей; их так много, что порою лес кажется существом, которого поймали в сети и жестоко впрягли в ярмо. Ничего нет удивительного, что мальгаша боятся чащи и считают ее жилищем мстительных духов.

Все еще жарко. Словно пламя льется с неба и полыхает в кустах. В этот послеполуденный час птицы уже проснулись, а насекомые еще не умолкли. И вокруг нас клубится неисчерпаемое богатство звериной жизни. Ее не столько видно, сколько слышно. Жужжание, стрекотание, свист, шуршание — миллионы летающих, ползающих, дрожащих насекомых; громкое кваканье, щебета-

ние, всевозможное пение, хлопки, мяуканье, звук пилы, удары бубна и даже человеческий смех — это птицы. Протяжный вой — пожалуй, лемуры. Я захватил с собой ружье, но не стреляю; Веломоди несет сетку для ловли бабочек, но не ловит. Мы сегодня нацелились на особенную дичь.

Малозаметная тропинка становится все более запущенной и все менее проходимой. Мы продираемся сквозь заросли и лианы и часто перепрыгиваем через сгнившие пни. Не будь Веломоди со мной, я бы давно запутался в этом зеленом хаосе.

Миновали часть леса с густо переплетенными верхушками деревьев и вечным полумраком. Здесь пахнет корицей, медом и перцем. Характерный для этого леса раздражающий запах, острый, но приятный.

Вдруг Веломоди, идущая впереди меня, испуганно вскрикивает и пятится, судорожно хватая меня за плечо и тревожно смотрит вдаль.

— Лулпат! — шепчет она, и я чувствую, как дрожит ее рука.

Лолопаты — произносится лулпат — дословно означает: бабочка смерти. Это довольно большая темно-коричневая с черными зигзагами на крыльях ночная бабочка. Ее часто можно видеть вблизи человеческих жилищ. Несколько таких бабочек — их латинское название *Patula walkeri* — Богдан поймал во время ночной охоты при лампе. Ему пришлось следить, чтобы ни один мальгаш не увидел этого, так как они считают, что в каждой бабочке лолопаты находится душа умершего чародея. На всем Мадагаскаре лолопаты считается печальным предвестником смерти, самым грозным фади. Даже один взгляд на нее, а не только ее прикосновение, приносит несчастье.

Я слежу за взглядом Веломоди и замечаю летящую в полумраке среди кустов бабочку, которую, по-видимому, что-то разбудило раньше времени. Хватаю сетку из рук моей спутницы и бросаюсь за лолопаты.

— Стой, вазаха! — кричит Веломоди на мальгашском языке, в волнении забыв французский.

Несмотря на заросли, я догнал бабочку и удачно поймал ее. Она забилась в сетке, словно маленькая черная птичка. Ко мне подлетела Веломоди, схватила за руки и резко дергает их. На лице ее написан ужас.

— Пусти, вазаха! — кричит. — Несчастье!.. Ужасное несчастье!

Я никогда не слушался ее, когда речь шла о нелепых мальгашских суевериях, которые я авторитетом вазахи мог побороть, но тут я поколебался. Страх и отчаяние в ее глазах были настолько сильны, что я побоялся перетянуть струну.

— Не убивай ее, не убивай! — умоляет Веломоди.

Обычно она спокойна, и такое внезапное возбуждение доказывает, какое большое значение она придает всему происходящему.

— Хорошо, Веломоди, успокойся.

Я отпускаю бабочку на волю и улыбаюсь, заметив, с каким облегчением Веломоди следит за улетающей бабочкой.

— Очень уж они опасны, — оправдывается она.

— Думаю, только для тебя! — говорю шутливо. — Я — вазаха.

Веломоди быстро обрела прежнее спокойствие. Говорит не торопясь, только движение век выдает скрытую насмешку:

— А что, вазахи никогда не умирают?

— Но не от какого-то лулпата, — отрезал я.

— А ведь опасность была рядом с нами и рядом с тобой, — коротко и серьезно утверждает Веломоди, и мы шагаем дальше.

Цель сегодняшнего похода — другая бабочка, которую мальчишки несколько дней тому назад поймали и принесли нам. Хотя они изрядно ее и помяли, но у нас с Богданом при виде ее чуть не выскочили глаза от удивления. Это была самая большая бабочка в мире из семейства *Xanthopan morgani praedicta*, голиаф, по величине напоминающая скорее ласточку, чем бабочку. Она коричневая с розовым брюшком. Мы очень обрадовались, когда узнали, что в Амбинанитело есть такая редкая бабочка, и стали расспрашивать жителей деревни о другой диковинке Мадагаскара, биологически тесно связанной с ксантопаной, об орхидее *Arigraecum sesquipedale*, славившейся тем, что ее цветок имеет очень длинный отросток.

Необычайная орхидея известна европейцам более двух веков и всегда вызвала удивление и любопытство. С какой целью природа снабдила ее таким удивительным отростком? И вот недавно была открыта бабочка ксантопана, и вопрос стал ясен. Длинный хоботок бабочки соответствует ненормально длинному отростку орхидеи. И действительно, в тех местах на Мадагаскаре, где растет этот красивый необычный цветок, обитает бабочка-великан и прилетает к нему собирать нектар.

Обнаружив бабочку, мы стали интересоваться цветком и выяснили, что местные жители знали его. Теперь Веломоди ведет меня в отдаленное место, где, по слухам, видели орхидею.

— Мы уже близко, — говорит моя проводница.

Впереди блеснула вода. Это не река, а широкий рукав ее, вроде залива.

Здесь, как и всюду, заросли подходят к самой воде. Веломоди отводит меня на несколько десятков шагов от тропинки. Недалеко от берега залива торчат несколько свалившихся деревьев, а на их полусгнивших стволах белеют — да, это они! — цветы, которые я ищу. Мгновенно узнаю белые цветы с шестью лепестками и длинными отростками. Цветов более двадцати. На фоне зеленой чащи они сверкают, как сказочные звезды. Мы укрылись поблизости, держа наготове сетку. Я не уверен, что бабочка скоро появится, остался один час до заката солнца, кроме того, эта бабочка не так уж часто появляется. Может быть, еще не один раз долго и терпеливо придется дожидаться здесь. Сегодня только репетиция.

Ожидание нельзя назвать приятным. Комары кусают, как драконы, а предохранительных сеток мы не захватили. И все же любоваться окружающей природой — наслаждение. Мы остановились в полутора десятках шагов от залива, видны его берега. Стоячая, илистая вода дает, вероятно, дополнительные источники тепла и влаги, потому что пышность растений здесь феноменальная. В других местах цветов в лесу мало. Здесь же, неподалеку от залива, растут цветы, каких до сих пор я не встречал. Деревья с раскидистыми ветвями и огромными листьями высятся у самой воды, с их веток свисают розовые шарообразные цветы, огромные, величиной в два кулака. Они привлекают внимание яркой расцветкой.

— Вискоза, — называет деревья Веломоди, заметив, с каким восхищением я смотрю на них.

«Вискоза» по-мальгашски означает что-то вроде «удара» или «молнии».

Поднялся предвечерний ветерок и неожиданно донес омерзительный за-

пах гниющего мяса. Недалеко от нашего укрытия растет в воде причудливое растение арум. Над метровыми листьями возвышается стебель с прекрасным громадным цветком. Из мясистого футляра снежной белизны торчит пурпурный столбик. Маленькие мушки опыляют громадный цветок, и для того, чтобы привлечь их, арум издает этот отвратительный запах. Внешность величественная, но запах отвратительный.

У трудолюбивой природы нет ни минуты покоя.

Веломоди к чему-то прислушивается и подает рукой знак. Под ближайшим кустом послышался глухой писк. Птица или насекомое — трудно разобрать.

— погоди! — воскликнула девушка, схватила валявшуюся на земле палочку, подбежала к кусту и быстро начала разгребать траву.

Нашла. Поднимает на палочке что-то длинное, тонкое, медленно извивающееся, как змея. Оказывается, вовсе не змея. С трудом поверил глазам: дождевой червь длиной в метр, толщиной с палец. К тому же червь издает писклявые звуки.

— Ну, сегодня нам попадают оплошные великаны и чудища! — смеюсь я, пряча редкую добычу в банку.

Со стороны залива послышался тихий, размеренный всплеск весел. Чья-то лодка подплыла к тому месту, где тропинка подходит к заливу. Сначала мы услышали, как лодка причалила и люди выскочили на берег, потом мы увидели их. Четверо молодых мальгашей быстрым шагом идут по тропинке и приближаются к нам. Меня удивило, что двое из них держат в руках копья с острыми железными наконечниками. Такое оружие имеют далеко на юге острова мужчины племени антандрой. Здесь такого обычая нет.

— Это антандрой? — спрашиваю девушку.

— Нет, — качает головой Веломоди.

— Бецимизараки?

— Да.

— Ты их знаешь?

— Нет, первый раз вижу.

— А почему они так вооружены? — смеюсь, показывая на воинственное оружие.

Пришельцы молоды. Самому старшему не больше двадцати двух — двадцати трех лет. Они заметно возбуждены. Беспокойно оглядываются и рассматривают все вокруг; нас, разумеется, обнаружили сразу. Увидев меня, они смутились. Тот, что заметил меня раньше всех, остановился как вкопанный и, выпучив глаза, испуганно закричал, предостерегая товарищей:

— Вазаха!!!

Все четверо быстро пятятся и раздраженно совещаются, не зная, что предпринять. Они с трудом скрывают волнение. Их испуг показался мне странным и непонятным. На Мадагаскаре нет мальгашей, которые не знали бы белых людей.

Немного погодя пришельцы подходят к нам, видимо о чем-то договорившись. Их улыбки неестественны.

— Смотри, вазаха! — предупреждает вполголоса встревоженная Веломоди. — Они неискренни!

Я не разрешаю подойти ближе чем на пятнадцать шагов.

— Стойте! — кричу. — Ни шагу дальше! Что вам нужно?

— Ничего, — отвечает старший из них.

В то время как его товарищи остановились, он спокойно продолжает путь. В руке сжимает копьё. Я поднимаю ружье.

— Стой, буду стрелять! — чеканю я. — Ружье заряжено.

Мальгаш останавливается.

— Незачем так угрожать, — говорит с упреком.

— Кто вы такие? — спрашиваю.

— Жители деревни с того берега.

— Какой деревни?

— Рантаватобе.

Эта деревня расположена несколько выше Амбинанитело.

— Он врет, вазаха! — шепчет Веломоди. — Он не оттуда.

Хорошенькая история! Не могу понять, что, собственно, нужно четверым пришельцам и почему они так разволновались, увидя меня. Во всяком случае, следует быть начеку и как можно скорее выпутаться из этой непонятной истории. Я было хотел попросить Веломоди объяснить, кто я, но даст ли это желаемый результат? А если они преступники?

Вдруг со стороны залива снова слышались голоса. Подошла вторая лодка, и на берег высадилось несколько новых гребцов. Мальгаш, с которым я только что разговаривал, вступил с ними в оживленную беседу на мальгашском языке.

— Бежим! — шепчет Веломоди. — Они хотят тебя забрать. Теперь их много...

Держа ружье на изготовку, я стал удаляться. Ближайший мальгаш заметил это и, не двигаясь с места, приказывает:

— Вазаха, не уходить!

— Имей в виду, — отвечаю ему грозно, — у меня оба ствола заряжены. Первых двоих уложу на месте. Пока другие сумеют подойти, ружье снова будет заряжено... А вообще что вам нужно?!

Не ожидая ответа, пытаюсь все же уйти. Но события развиваются с такой молниеносной быстротой, что я не успеваю отойти даже на десять шагов.

Вновь прибывшие обошли нас и пытаются отрезать обратный путь. Вдруг Веломоди выскочила вперед и помчалась в сторону тех, кто нас окружал.

«Неужели изменила?» — пронзает идиотская мысль.

— Веломоди!! — зову ее.

Девушка, не обращая на меня внимания, останавливается и зовет одного из прибывших:

— Разафы!

Разафы отвечает ей удивленным возгласом. Бежит к Веломоди, и оба не скрывают своей радости. Юноша хватает девушку за плечи и в избытке чувств крепко трясет ее. Остальные мальгаши смотрят на эту сцену с не меньшим удивлением, чем я.

Веломоди поворачивается лицом ко мне и, сияющая, показывает на юношу:

— Это Разафы.

А заметив, что я не знаю, кто такой Разафы, весело добавляет:

— Ну, мой брат.

Теперь я понял. Разафы — внук Джинаривело, рабочий на европейских

плантациях в Анталахе, о котором прошел слух, что он арестован.

Короткое объяснение брата с сестрой, и прежнее враждебное настроение как рукой сняло. Мальгаша улыбаются мне, на этот раз совершенно искренне. Старший из них, разговаривавший со мной, руководитель группы, со всей откровенностью рассказывает, что произошло.

Все они — их девять человек — попали в тюрьму. Их обвинили в тяжких вымышленных преступлениях за то, что они возглавили забастовку на плантациях. Три дня назад в Анталахе снова вспыхнули волнения, во время которых рабочие ворвались в тюрьму и освободили товарищей. Освобожденным удалось удрать из города, благо горы и леса близко. Пробрались сквозь тропический лес и благополучно попали сюда, к реке Антанамбалана.

— Что же дальше? — спрашиваю я, искренне взволнованный их судьбой.

Молодой мальгаш пожимает плечами и беспомощно глядит вдаль. Только теперь заметна его усталость. После короткого возбуждения он совершенно сник.

— Не знаю, что будем делать, — отвечает, — может быть, останемся здесь, в Амбинанитело.

— А погони не боитесь?

— Нет. Они не знают, в какую сторону мы бежали.

— Вы в этом уверены?

Рабочие не уверены. Они знают, что нужно быть начеку. Боятся Районы, шефа кантона в Амбинанитело. Впрочем, не теряют бодрости духа. Благодарны за то, что я отнесся к ним дружелюбно. Прощаясь, каждый протягивает руку, и все уходит в лес. Разафы старше Веломоди на три-четыре года, красивый парень, очень похож на свою сестру Беначихину.

Я остаюсь с Веломоди. Наступает вечер, лучшая пора для ловли бабочек. Но сегодня уже не хочется заниматься охотой. Мы отправляемся в обратный путь. Вызывающие искорки блеснули в ее глазах.

— Ты что? — спрашиваю дружелюбно, научившись уже читать в ее глазах.

— Опасность была очень близка, — напоминает она.

— Да, была, — признаюсь.

— Лулпат предсказал это! — заявляет она серьезно.

Веломоди благородна, сдержанна и не воспользовалась победой, а я не закупаю опора. Меня победило стечение обстоятельств.

Рассказ о бабакутах

На следующий день, вскоре после восхода солнца, я собрался позавтракать. Рядом играл лемуру-бабакут, с которым мы уже давно подружились. Веломоди приносит нам из кухни еду. Со двора доносится крик голодных птиц, свивших гнезда на верхушках кокосовых пальм, кудахтанье кур из огородов и звуки толчения риса.

Но вот осторожно приоткрывается дверь, и к нам заглядывает учитель Рамасо. Увидев, что я завтракаю, он быстро вошел в хижину, поздоровался за руку и сел у стены.

— Так быстро? — обрадовался я его возвращению.

— Я пришел к вам по одному вопросу... — начал он тихим голосом.

— Догадываюсь! — прерываю его.

Несмотря на хмурое лицо, он улыбнулся:

— Именно потому и пришел, чтобы вы ни о чем не догадывались. Прошу вас, вычеркните из памяти некоторые события и сведения. Просто их не было.

— Я понимаю. Ожидаются преследователи?

— Скорее нет. Но все возможно.

Он закурил папиросу. Я предложил кофе.

— Следует быть очень осторожным с вашим ближайшим соседом, — предупреждает учитель, показывая движением головы в сторону хижины старосты Раяоны.

— Правильно.

Рамасо смотрит на меня долгим, испытующим взглядом.

— Боюсь, — говорит, — что вас может ожидать тяжелое испытание.

— Какое?

— Испытание совести. Если погоня явится сюда, непременно будут расспрашивать вас. Я знаю, вы не так уж сильно любите плантаторов, но вы пришелец в этой колонии и, наверно, у вас есть обязательства перед французскими властями. Что вы им скажете в данном случае?

— Обязательства по отношению к властям это одно, а главное то, что я не люблю врать. Но не беспокойтесь, как-нибудь справлюсь.

— Помните, что правда на стороне рабочих. Их нужно защищать.

— Разумеется.

Беглецов стало больше. Богдан обнаружил во время утренней охоты группу молодых мальгашей, явно нездешних, которые скрывались в укромном уголке. Деревня живет прежней жизнью, только на дорогах теперь много жителей спешат куда-то. Встречные останавливаются, сообщают друг другу какие-то новости и быстро исчезают. В воздухе висит тревога.

В таком состоянии люди льнут друг к другу, и даже я испытал это на себе. Сегодня на послеполуденную беседу пришло гораздо больше соседей, чем обычно, и среди них был редкий гость, сотский Безаза. Общая забота сгладила размолвку между родами заникавуку и цияндру. Люди чувствуют потребность пожать друг другу руки и обменяться мнениями. Свое беспокойство они стараются чем-нибудь заглушить, хотя бы разговорами о духах. С кажущимся рвением они хватаются за эту тему.

Большинство мальгашей верит, что души непогребенных мертвецов вселя-

ются в диких кошек, сов и летучих мышей. Та же участь ожидает души преступников, особенно колдунов. Следует избегать этих зловещих животных. В крокодилах тоже часто сидят души предков, хороших предков. Но такие крокодилы хорошо относятся только к людям из своего племени, других они пожирают.

— У вас, — укоряю шутливо, — большинство лесных животных враждебно настроено. Даже добряка хамелеона вы сделали грозным демоном рантутру!

— О нет, вазаха! — возражает старик Джинаривело. — Не все животные. А птицы дронго?

— А лемуры? — подсказывает Манахицара, исследователь и знаток легенд. — Лемуры всегда дружелюбны к нам.

В жарких лесах восточного побережья Мадагаскара, особенно вокруг залива Антонжиль, живет редкая порода ночных лемуров, называемых «аые-аые». Раньше они возбуждали большое любопытство европейских исследователей и путешественников не только тем, что у них большой палец на верхней конечности очень тонкий и удлинённый (приспособлен для вытаскивания насекомых, забравшихся в глубокие дупла), но и тем, что мальгаши очень почитают их и оберегают как важных фади. Европейцы не могли их раздобыть — местные жители всячески противились этому.

— А здесь поблизости есть лемуры аые-аые? — спрашиваю гостей.

— Есть, — отвечает Джинаривело, — но их трудно встретить: корм они добывают себе только по ночам, и, кроме того, их немного.

— А ты видел их когда-нибудь?

— Только раз видел одного, спящего в лесу на дереве.

Никто из присутствующих, кроме Джинаривело, не видел аые-аые. Этот лемур настолько значительное фади, что мои гости неохотно говорят о нем и переводят разговор на других животных.

— Манахицара, — воскликнул кто-то, — расскажи вазахе о наших бабакутах!

Бабакуты хорошие, сердечные лемуры. Они ласковые, чуткие, и жители Амбинанитело относятся к ним с большой теплотой. Бабакут моей Веломоди уселся между нами; зверек потешно гримасничает и любезничает со всеми. Некоторые бабакуты прежде тоже были людьми, но потом преобразились в лемуров, но не потому, что были нехорошими и их заколдовали.

— Расскажи, Манахицара! — настаивают гости.

— А ты знаешь, вазаха, почему бабакуты фади? — обращается ко мне Манахицара. — Не знаешь? Ну вот, послушай. Большинство бабакутов происходит от людей. Прежде люди были очень злые, часто дрались и убивали друг друга. Те, кто хотел жить спокойно, покидали селения, уходили в глубокие леса и там оставались. Из поколения в поколение люди жили в зарослях, покрылись шерстью, неохотно спускались с деревьев на землю, отучились говорить, объяснялись между собой жестами и возгласами. Люди все больше становились похожими на теперешних бабакутов...

— Рассказ чуть-чуть расходится с теорией Дарвина, — шепчет мне на ухо учитель Рамасо.

— ...Люди-бабакуты в то время были очень счастливы, да и теперь не жалуются. В лесу вдоволь хватает плодов, и им не приходится, как нам, заботиться о еде. Некоторые мальгашские племена называют лемуров дедушками, а на-

звание бабакото (мы произносим бабакут) состоит из двух слов: баба — отец и кото — ребенок. Слова эти показывают, с какой нежностью относятся люди к этим животным.

В конце рассказа Манахицары вошел староста Района, молча подал мне руку и сел рядом. Гости украдкой бросают на него испытующие взгляды, но лицо старосты, как всегда, замкнуто и непроницаемо. Трудно догадаться, знает он о сбежавших узниках или нет. Все присутствующие в заговоре против него, но никто не выдал своих мыслей и чувств; у мальгашей поразительная способность скрывать свои настроения. Даже у рассказчика Манахицары не дрогнул ни один мускул. Поражаюсь, как может он так великолепно импровизировать легенду о бабакутах и одновременно лихорадочно думать о происходящих событиях, внимательно наблюдая за лицом Районы.

Когда Манахицара окончил рассказ, Джинаривело попросил выслушать его и поведал историю несчастной женщины, которая должна была родить. Ребенок вот-вот появится, но ленивые родственники, вопреки установившемуся обычаю, пренебрегают своими обязанностями и не дают положенных по обряду лекарств. Отчаявшаяся женщина ушла в лес, и там добрые духи смилостились над нею и превратили ее в бабакута. Предчувствуя недоброе, родные женщины кинулись на розыски и обнаружили ее в образе лемура, лицо которого было поразительно похоже на лицо пропавшей родственницы. И тут они поняли, какое большое зло причинили женщине, но, увы, было уже поздно, изменить ничего они не могли. С тех пор люди стали лучше.

Рассказ Джинаривело вызвал у Рамасо сомнения.

— И ты веришь, Джинаривело, что так было в действительности?

Старик пожал плечами:

— Многие верят этому.

— Я верю! — восклицает Манахицара.

— Ведь никто не видел, как женщина превращалась в бабакута, — говорит Рамасо, — а то, что бабакут похож был на нее, — неубедительное доказательство. У людей очень богатая фантазия.

Разговор иссяк, наступило неловкое молчание. Трудно непринужденно беседовать, когда тревожат мысли, которые в присутствии Районы нельзя высказать вслух. Я хочу разрядить гнетущую обстановку и предлагаю чаю с сухарями.

Вдруг Джинаривело осмелел и непринужденно спрашивает:

— Что нового у тебя?

Староста с минуту смотрит на старика и медленно отвечает:

— Если у вас нет ничего нового, то у меня и по-прежнему.

Он сделал ударение на словах «у вас». Это звучит двусмысленно, и создается впечатление, что Района знает, где собака зарыта. Гости заметно встревожены.

— В Таматаве я слышал историю о лемурах, — возвращается Рамасо к прежней теме, — немного похожую на ту, что нам рассказал Джинаривело. Это было еще до нашествия французов. В Таматаве стоял тогда крупный гарнизон ховского войска. Однажды отряд солдат вел по улице молодого бецимизараку, приговоренного к смерти за какую-то провинность. Воспользовавшись тем, что стражники отвлеклись, узник вырвался из их рук и помчался к лесу. Ховы за ним. Но это был здоровый и быстроногий юноша, и ему удалось намного

опередить своих преследователей, а в лесу очень легко исчезнуть. Его искали долго и упорно. Солдаты знали: если они вернуться в Таматаве без пленника, то понесут за это суровое наказание. После многих часов напрасных поисков они стали подозревать, не помогли ли узнику нечистые силы. И вдруг вскрикнули от радости: нашли! Они заметили его на дереве. Он превратился в большого лемура. Тогда они выстрелили в него из ружья и свалили на землю. Потом его притащили в город и поклялись своему начальнику, что лемур — заколдованный преступник. А что им оставалось делать? Ловкие солдаты боялись наказания и воспользовались легендой о лемурах. Наивные люди поверили, а солдаты спасли себя от неприятностей.

Снова молчание. Сказав несколько незначительных слов, Района встал и попрощался со мной.

— Что, уходите? — спрашиваю.

— Нужно подготовиться к отъезду, — отвечает староста. — Завтра чуть свет отправляюсь в объезд по своему округу.

— Надолго уезжаете?

— На несколько дней.

После его ухода у моих гостей точно камень свалился с плеч. Все вздохнули свободней, хотя подозревают, что срочный отъезд Районы чем-то связан с появлением беглецов. Но чем? Мнения разделились.

— Говорю вам, — уверяет Манахицара, — ждите самого худшего! Района поедет в Мароанцетру и донесет на нас местным властям!

— Не верю! — отрицает Безаза.

— Ты такой же, как и он, поэтому защищаешь его! — возмутился Манахицара. — Одним миром мазаны!

— Тихо! Не ссориться! — строго сказал учитель.

— Когда червь точит зуб, единственное спасение удалить больной зуб! — приводит Манахицара мальгашскую поговорку.

— У кого червь в зубе? Что ты плетешь? Разве вы не догадываетесь, почему Района хочет уехать?

— Если знаешь, Рамасо, объясни!

— Я не могу сказать наверняка, но все говорит о том, что Района не хочет быть в Амбинанитело, когда сюда нагрянет погоня. Он не желает впутываться в это дело.

— Это неплохо характеризует его!

— А почему должно быть иначе? Разве шеф кантона так уж плохо обращается с вами? К чему сразу предполагать самое худшее?

— Он не может быть другом наших родственников рабочих!

Гости покидают хижину. Последним уходит Рамасо. Он отводит меня в сторону и делится своими сомнениями:

— Района хитрая штучка. Для меня ясно, почему он не хочет быть замешанным в эту историю. Дрожит за свою шкуру. Для него одинаково невыгодно вооружать против себя жителей Амбинанитело или колониальные власти, поэтому он предпочел исчезнуть...

— А вы не думаете, что он поедет в Мароанцетру и доложит своему начальству, шефу дистрикта?

— Об этом мы узнаем завтра. Пошлю людей проследить за ним.

На следующий день, вскоре после восхода солнца, влетел ко мне встревоженный учитель:

— Поехал в сторону Мароанцетры!

— Все-таки в Мароанцетру!

— Да. Но я все еще не теряю веры в него. Впрочем, все средства предосторожности соблюдены.

— А беглецы все еще в деревне?

— Что вы! Я им велел немедленно укрыться в лесу, в таком месте, где их сам черт не разыщет. Надежные люди носят туда еду.

— У вас есть голова на плечах, Рамасо! — говорю с одобрением.

Прощаясь, учитель вдруг вспоминает что-то:

— А вы ничего подозрительного не заметили в поведении Марово?

— Марово? — спрашиваю удивленно. — Моего повара?

— Да.

— Почему вы задаете такой вопрос?

— Оказывается, повар — доверенное лицо шефа дистрикта в Мароанцетре. К тому же мои ребята заметили, что он подслушивал наши разговоры.

— Вот это мило! Надо вспомнить все, о чем мы говорили.

— Да в общем ничего особенного. Один только раз, помните, когда приезжал врач Ранакombe, у нас была интересная беседа о будущем Мадагаскара.

— И Марово подслушал?

— Думаю, да. Но не обращайтесь на это внимания. Найдем способ заставить его молчать.

— Террор?

— Зачем! Поговорим с ним так, что он наверняка образумится.

— Почему же вы раньше не предупредили? — вырвалось у меня.

— Только в последние дни мы убедились в этом. Пока все пусть будет по-прежнему, повар должен у вас работать.

Когда я остался один, мною овладели приходившие уже раньше мысли: события втягивают меня во все более узкий и сложный круг дел деревни, той деревни, жизнь которой казалась мне в начале приезда сонной, идиллической, невинной и лишенной волнений.

Вооруженное нашествие

Прошло не больше двух часов после нашего разговора, и в девять часов утра примерно мы услышали приглушенный шум моторов на главной дороге. Два грузовика, нагруженные солдатами и местной полицией — *garde indigene*, — въехали во двор между хижин Раяоны и моей. Машины еще не остановились, а приехавшие уже соскочили на ходу, держа винтовки на изготовку. Небольшими группами они разбежались по всей деревне, словно по намеченному заранее плану. Операцией руководит молодой, порывистый подпоручик, француз с продолговатым лицом и тонкими черными усиками. Он — сердитый, властный и все время подпрыгивает.

Вместе с солдатами вернулся Раяона. Вскоре стало известно, что с ним произошло. Утром староста отправился в сторону Мароанцетры, но за местностью Анкофа встретился с отрядом, мчавшимся в Амбинанитело. Подпоручик, узнав, кто он такой, велел Раяоне пересесть на грузовик и ехать вместе с ними. Теперь он держит шефа кантона при себе и требует сведений о жителях и о расположении деревни.

Оказывается, солдаты, приехавшие на грузовиках, только часть отряда. Другие сошли, не доезжая Амбинанитело, и осторожно, чтобы никто из жителей не увидел их, побежали вдоль опушки леса. Здесь они заняли удобные позиции и окружили со всех сторон рисовые поля и деревню, расположенную в центре. Деревня взята в широкое плотное кольцо, и никто из Амбинанитело не может выбраться. Селение и не заметило, как оказалось в западне.

Двор старосты заполняется жителями деревни. Все мужчины и юноши свыше шестнадцати лет должны дать показания; женщинам не разрешено покидать своих хижин. Солдаты ужасно грубы с населением. Подгоняют прикладами, пинками, орут на них без всякого повода. Отряд состоит из сенегальцев, командует им тоже сенегалец, громадный капрал, правая рука подпоручика. Он — олицетворение животной грубости. Постоянно придумывает, чем бы досадить людям, и бросается на всех, как дикий зверь.

Подпоручик занял дом старосты и оттуда командует. Я пока не выхожу из своей хижины, чтобы не напороться на неприятности со стороны расшвырявших солдат. Богдан тоже сидит у себя. Веломоди приносит вести, что делается у старосты и в деревне. Ей, как и всем остальным женщинам, не разрешено выходить из хижины, но на нашем дворе полно мальгашей, и Веломоди вполголоса разговаривает с ними.

Деревню обвиняют в том, что она укрывает бежавших из тюрьмы в Анталахе рабочих. Поэтому всех мужчин собрали во дворе старосты, и в присутствии офицера и шефа кантона они должны удостоверить свою личность. Допрошенным не разрешается покидать двор. И они, подавленные, терпеливо стоят на солнцепеке. Со всех сторон торчат штыки направленных на них винтовок.

Одновременно солдаты перетряхивают каждую хижину и прочесывают все роци в поисках беглецов.

Вдруг со двора доносится громкий, грубый окрик:

— Эй, там, в хижине!

Выглядываю. Капрал-сенегалец стоит внизу, у ступенек. Увидев меня, делает повелительный жест рукой в сторону канцелярии и кричит:

— К поручику! Немедленно!

Он так уверен в послушании, что, не дожидаясь результатов окрика, повернулся и зашагал обратно. Вызывающе гордо несет он свою громадную фигуру гладиатора. Находящихся неподалеку мальгашей очень удивляет такая неучтивость по отношению к вазaxe.

Еще при появлении отряда в деревне я дал себе слово избегать всего, что могло бы спровоцировать солдат. Но грубость капрала перешла всякие границы, и я решил ради своей же защиты и чтобы не стать посмешищем, не слушать его приказаний.

Прошло несколько минут, и я снова услышал шаги, теперь на ступеньках. Капрал громко постучал и тут же резко открыл дверь.

— Ты что, не слыхал меня? — грозно загремел он.

— Слыхал, — отвечаю спокойно.

Он не ожидал такого ответа и немного сбит с толку.

— Немедленно отправляйся к поручику! — рычит он, взбешенный.

Подходит ко мне и хочет схватить за плечо. С таким насилием ничего не поделаешь.

— Отойдите! — кричу я, повысив голос, и срываюсь с места. — Сам пойду!

Издевательская улыбка скривила его противную рожу.

— Наконец-то одумался! — хрипит.

Канцелярия старосты битком набита людьми. С трудом пробираюсь к столу, за которым сидит подпоручик. Рядом стоят Раяона, Рамасо и Безаза. Все трое смотрят на меня с беспокойством.

— Вас что, по два раза нужно звать? — раздраженно обращается ко мне офицер.

И, не ожидая объяснений:

— Я хочу вас допросить, — говорит он, нервно перебирая карандаш в руке. — Вы давно в Амбинанитело?

Я молчу, собираясь с мыслями. В хижине воцарилась мертвая тишина.

— Прежде чем ответить, — говорю, взвешивая каждое слово, — я должен заявить следующее: я, как иностранец, временно пребывающий в этой стране и имеющий заграничный паспорт с официальной визой, категорически протестую против оскорбительного для меня поведения вашего подчиненного.

— Было ли поведение капрала Али оскорбительным потому, что он вынужден был вызывать вас два раза? — офицер сварливо оскалил зубы.

— Ирония не меняет существа дела. Грубость и скандальный тон капрала были настолько нетерпимы, что начальник обязан его наказать, а не пренебрегать моим протестом.

— Прошу меня не учить. Я сам знаю, что нужно делать.

— Я в этом уверен. Но разрешите, господин поручик, предупредить. Вы собираетесь допрашивать меня, не предъявив мандата. Мы, правда, находимся в канцелярии шефа кантона, но, насколько мне известно, вы не являетесь шефом кантона и только сегодня впервые здесь появились. И если бы у вас даже было письменное разрешение, то неизвестно еще, имеете ли вы право допрашивать меня, иностранца. Вы прибыли сюда по делу, касающемуся споров между властью и здешними людьми. Почему в таком случае должно быть замешано постороннее лицо?

В подпоручике закипает злоба, и я догадываюсь, в чем ее причина. Молодой офицер влетел в Амбинанитело с полным сознанием неограниченной

власти, которую в таких случаях имеет начальник сильного военного отряда над туземцами отдаленных уголков колонии. Он наверняка собирался вволю поиздеваться над жителями долины. А тут на пути его величества появляется какой-то иностранец да еще читает ему нотации.

По его глазам видно, что надо мной собираются грозные тучи. Офицер задумался, как получше отомстить. Возможно, он даже кое в чем согласен со мной, но тем хуже для меня. Он прибыл сюда не для того, чтобы выслушивать чьи-то рассуждения. Он разыскивает виновных мальгашей, он должен наказать людей, подрывающих существующий в колонии порядок. С ним солдаты и заряженные винтовки, которые смогут преодолеть все преграды; может быть, он хочет меня арестовать? А может быть, «потерять» где-нибудь в лесу? И разыграется ли скандал по этому поводу? Ерунда. Здесь легко спрятать концы да еще взвалить вину на пострадавшего.

После продолжительного молчания подпоручик что-то придумал и резко, но внешне учтиво сказал:

— Предъявите, пожалуйста, ваш паспорт!

Подаю его. Он внимательно просматривает его, пытаюсь найти малейшую неправильность для придирки.

— У меня есть еще один документ, — говорю.

И подаю удостоверение, которое мне выдал генерал-губернатор Мадагаскара Кайла. Вот его содержание:

*«Прошу всех администраторов районов и шефов дистриктов благожелательно отнестись к польскому писателю г. Аркадию Фидлеру, путешествующему по колонии с целью собрать материал для книжки о Мадагаскаре, и оказать ему всякую помощь.
Генерал-губернатор Кайла».*

Генерал-губернатор выдал мне удостоверение как проявление формальной вежливости во время официального визита. Но подпоручик не знает этого и не знает, какие у меня связи в Тананариве. Он прочел удостоверение несколько раз и решил, что со мной лучше не связываться. Отдал мне паспорт и заявил официальным тоном:

— Хорошо. Благодарю. Вы пока свободны.

— А удостоверение генерал-губернатора? — спрашиваю, подняв кверху брови.

Офицер читает еще раз. Безусловно, ему хочется оставить удостоверение у себя. Я делаю вызывающее, суровое лицо и готов к решительной борьбе.

Подпоручик сдался. Поколебавшись, отдал удостоверение.

Уходя, я заметил, как лицо Рамасо на мгновение осветилось радостью.

Смерть Манахицары

Мужчины Амбинанитело, согнанные во двор старосты, все еще ждут чего-то, сидя либо лежа на земле. Многие спрятались в тени кокосовых пальм, но для всех не хватило места, и остальные страдают на солнцепеке.

В деревне время от времени раздаются окрики солдат, перетряхивающих хижину.

К моему столу неслышно подошла Веломоди и, нежно тронув меня, шепчет:

— Вазаха! Червяк!

В ее голосе, хотя и приглушенном, слышится возбуждение.

— Что с тобой? — спрашиваю, встревоженный.

— Червяк появился! — отвечает девушка.

Рядом стоит ее братишка Бецихахина, мой старательный охотник за цурами и другими привлекательными созданиями; нашествие солдат застало его в моей хижине. Раздраженный неокладным объяснением сестры, мальчик слегка ее отталкивает и говорит:

— Бабочка появилась! Из той большой куколки, помнишь! Пойдем покажу тебе.

Идем на солнечную сторону веранды, где две недели назад мы прикрепили веточку с громадным коконом; мальчик нашел его на опушке леса. И вот из кокона вылупилась бабочка. Крыльев еще нет, пока только какие-то некрасивые култышки, но зато мощное туловище. Пройдет час-два, и вырастут крылья; какие они будут?

Трое сердец забились сильнее. На время тайна природы отвлекла нас от мирских горестей этого дня. Но, увы, только на время.

Люди во дворе чем-то сильно взволнованы, послышался шепот беспокойства.

— Манахицара! — слышу со всех сторон, точно бьют в набат. — Манахицара!

— Что там такое? Что с ними? — спрашиваю Веломоди.

— Что-то нехорошее, — отвечает она, как всегда с трудом подбирая слова. — Манахицара... Манахицара остался в деревне.

— Он не пришел сюда с другими мужчинами?

— Нет. Это плохо.

Ох, плохо, плохо... Что ты наделал, Манахицара, дорогой друг! Разве ты не хотел жить, ты — скромный сочинитель легенд, сокровищница неисчерпаемых рассказов, певец мифических бабакутов?

Манахицара знал сотни всевозможных историй и умел, как никто другой, красиво рассказывать их. В любую минуту он готов был одарить каждого своими неисчерпаемыми познаниями. Сколько раз просил меня послушать его и записать. Сознывая ценность этих умных сказаний, я записывал только некоторые, остальное откладывал, зная, что пока я в Амбинанитело, Манахицара всегда охотно поможет. Я ошибся. Сокровища милого безумца погибли навсегда.

Сорок лет жил Манахицара среди мирных рисовых полей, боялся духов, увлекался своими легендами. Уважал власть, избегал опасностей, не искал

приключений, не был заносчивым.

У него был двадцатилетний сын. Он работал в Анталахе, бежал вместе с другими из тюрьмы и оказался в Амбинанитело. Появление сына вывело Манахицару из равновесия, нарушило весь распорядок жизни. Никто из соседей не мог понять, почему он не послушал разумного совета учителя Рамасо и не отправил сына вместе со всеми беглецами в лес; Манахицара укрыл его в роще за своей хижинкой. Он также нарушил беспрекословный приказ офицера и не явился со всеми мужчинами во двор старосты и остался в своей хижине.

Вдруг в селении грянули винтовочные выстрелы. Все во дворе и в хижинах с ужасом повскакали с мест. Из дома старосты выбежал подпоручик. Выстрелы все еще гремят, иногда одиночные, иногда по два и даже по три сразу — враждебные, смертоносные голоса, направленные против кого-то из жителей деревни. Но против кого?

— Что творится? — дрожат во дворе мальгаши с застывшими душами и свинцовыми лицами. — Что творится?

— Капрал Али! — резкий крик офицера пронзает воздух.

Но капрала Али нет поблизости.

К подпоручику подбегает солдат из караула и докладывает, что капрал Али в деревне.

Али там, откуда раздаются выстрелы.

Так что же случилось? Несколько минут назад солдаты обнаружили в хижине упорствующего Манахицару и разыскали ненадежно спрятанного сына, который пытался бежать сквозь заросли бананов.

— Огонь! Стрелять! — закричал капрал Али, находившийся рядом.

Несмотря на стрельбу сенегальцев, сын Манахицары продолжал бежать, солдаты за ним.

Тогда Манахицара выскочил из хижинки на помощь сыну. Широко расставил руки, стараясь преградить преследователям дорогу. Ближе всех был Али. Не задумываясь, он выстрелил из револьвера. Смертельно раненный в голову, мальгаш с тихим стоном опустился на землю. А сын все мчался сквозь рощи и сады к лесу. Солдаты неслись за ним и стреляли. Не попали.

Он был впереди солдат метров на сто, влетел в лес и там искусно укрылся; погоня потеряла его след, искали его полчаса, но не нашли.

Расвирепевший от неудачи капрал Али велел поджечь хижинку Манахицары, а его труп притащить во двор старосты. Когда капрал докладывал подпоручику о случившемся, черный столб дыма, вознесшийся к небу, возвестил о свершившейся каре.

— Бездельники! — громил подпоручик капрала и его людей. — Держали его почти в руках и упустили! Бездари!

Он приказывает возобновить погоню и посылает на розыски почти всех солдат. Но дебри Амбинанитело покровительствуют беглецам. Многие века добрый лес помогает жителям долины, которые обращаются к нему за помощью. Сенегальцы напрасно безумствовали в зарослях. Даже бешенство Али не помогло.

А во дворе лежит мертвый Манахицара. Лицо его так же спокойно, как и при жизни, смерть только немного искривила сжатые губы. Его красивые глаза всегда пылали огнем. Они и сейчас полуоткрыты, и в них застыло такое

краткое выражение, точно они увидали новую легенду о бабакутах.

Кровь из раны на лбу разлилась вокруг и присохла. Большие, с металлическим блеском мухи роятся над трупом. Брат Манахицары сидит рядом и отгоняет их.

Неприятный обед

Учитель Рамасо великолепно все устроил, за исключением прискорбного и непредвиденного случая с Манахицарой. Облава не дала никаких результатов. Ничего подозрительного солдаты не обнаружили, никто из допрошенных не видел беглецов.

Миновал полдень, допрос продолжается. Хижина Манахицары сторела дотла, и дым развеялся. Так как хижины в Амбинанитело стоят на расстоянии примерно сорока шагов друг от друга, пожар не перекинулся на другие строения. Но офицер, обозленный неудачей, грозит сжечь всю деревню.

В какой-то момент влетает в мою хижину учитель Рамасо.

— У меня к вам большая просьба, — говорит он торопливо.

— Я слушаю!

— Нужно что-то сделать с офицером.

— А именно?

— Он еще не ел. Пригласите его к себе на обед.

— О, благодарю за такое общество!

— Прошу вас, не отказывайтесь, сделайте добро деревне! Его нужно накормить и напоить. Умоляю вас!

Рамасо прав.

Я не должен уклоняться от неприятного долга. Положение, которое я занимаю в Амбинанитело, обязывает меня пригласить начальника отряда. Не знаю только, что повар Марово приготовил к обеду. Зовем его.

Все в порядке: курица, рис, овощи, кофе, сухари, джем и свежие фрукты.

— А что есть из напитков? — спрашивает Рамасо.

— Ром и перно.

— Прекрасно. Напоите его как следует.

Учитель хочет убежать. Я задерживаю его.

— Я приглашу офицера при одном условии: если вы и Раяона пообедаете вместе с нами.

Рамасо качает головой.

— Неизвестно, — отвечает с озабоченной улыбкой, — захочет ли он сидеть за одним столом с туземцами.

— Плевать я хотел на его желания!

— Но не мы! Ведь все дело в том, чтобы его не раздражать. Наоборот. Хорошо, я нашел выход: мы придем, но посидим у стены, будто уже пообедали. Хорошо?

— Ладно!

— Еще одно, к вашему сведению, — шепчет Рамасо. — В отношении Марово не беспокойтесь.

— Как это понимать?

— Он предупрежден: если скажет хоть одно слово, распрощается с жизнью.

— А не придаете ли вы ему слишком большое значение? Ведь он страшный тупица!

— Тупица не тупица, а навредить может.

В конце разговора с учителем в дверях появились возбужденные Бецихахина и Веломоди, подают какие-то веселые знаки. Мальчик поднимает руки в уровень с лицом, держит их на определенном друг от друга расстоянии, хочет показать что-то большое, больше, чем кокосовый орех. Меня раздражают их смешки. Сейчас не время для веселых развлечений.

Когда Рамасо ушел, Бецихахина подбегает ко мне, снова поднимает маленькие ручонки и хвастливо говорит:

— Вот такой!

— Что — такой? — гаркнул я, рассердившись не на шутку.

— Поди, вазаха, посмотри! — просит он и тянет меня за рукав.

Я резко, почти грубо вырываюсь из его рук и кричу:

— Оставь меня в покое! Некогда сейчас!

Слишком резкий голос, слишком резкое движение! У обоих мгновенно исчезла улыбка. Бецихахина мрачно опустил голову, Веломоди грустно поникла.

Я зол на себя и беру себя в руки. Как я мог поступить так нехорошо с преданными существами! Хочу исправить ошибку.

— Пойдем, покажешь мне! — говорю извиняющимся тоном.

Они ведут меня на веранду. Догадываюсь, что речь идет о бабочке, которая сегодня утром вылупилась из куколки. Бабочка действительно превратилась в великолепный, громадный, яркий экземпляр. Я смотрю на нее ослепленный: здесь совсем другой мир, он не похож на тот, в котором молокосос-офицер — хозяин жизни и в котором убивают скромного певца легенд и даже после смерти мстят ему, сжигая его дом.

Какая красота! С восхищением смотрю на бабочку.

В приливе чувств целую Бецихахину в коричневую щечку и обнимаю Веломоди: мы счастливы.

— А теперь оставьте меня! — говорю, прося, и тороплюсь вернуться к своим обязанностям. — А ты, Веломоди, помоги мне!

Велю повару немедленно накрывать на стол. В это время приходит староста Района и сообщает, что подпоручик благодарит за приглашение и вскоре прибудет. Потом шеф кантона торжественным полусшепотом спрашивает:

— Помните, вазаха, тот день, когда мы разговаривали у вас на политические темы?

— Мы не раз говорили об этом.

— Правильно. Но я имею в виду беседу, когда был врач Ранакombe и учитель Рамасо провозглашал свой план будущего строя на Мадагаскаре?

— А, тогда!

— Вы припоминаете?

Района впивается в меня горящим взглядом и, видно, безумно хочет, чтобы я вспомнил подробности.

— Вы помните, как Рамасо говорил о разрушении существующего строя и передаче власти в руки крестьян? Как враждебно высказался о так называемой мальгашской буржуазии? Как выкладывал свои революционные, большевистские взгляды?

— Вы к чему клоните, Района?

— Но ведь вы не опровергаете того, что он действительно так говорил?

— К чему вы клоните?! — повторяю.

— Я хочу вас представить властям как свидетеля, который слышал, что Рамасо говорил все это.

— Ра-я-о-на!!! — прошипел я возмущенно. — Вы что, сошли с ума?

Повар Марово вносит тарелки. Района подает мне знаки, что при нем не хочет говорить. Когда мы снова остались одни, шеф кантона продолжает не то с покорной, не то с хитрой улыбкой:

— Не удивляйтесь, вазаха! Своя шкура ближе всего, а здесь дело касается шкуры.

— Слишком сгущаете краски!

— Нет! Ваш повар — доносчик, это все знают. Он вынюхивает и сообщает или хочет сообщить шефу дистрикта все, что услышит. Для собственной безопасности я должен заявить властям о большевистских взглядах учителя.

— А почему вы говорите мне все это?

— Как почему? Вы, вазаха, должны сыграть здесь важную роль. Я прошу, когда вас вызовут власти, повторить им всю правду о том, что говорил тогда Рамасо.

Меня точно обухом по голове ударило. На секунду от возмущения у меня отнялся голос. Я окинул старосту кипящим от ярости взглядом.

— Всю правду, ни больше ни меньше? — медленно цежу каждое слово.

— Да, да, вазаха!

— А вы не помните, какое впечатление создалось у Ранакомбе от болтовни учителя? «Утопия»! Так ведь он сказал?

— Верно, верно!

— Он назвал это утопией. Но то, что я во время этой беседы услышал от вас и из уст Ранакомбе, отнюдь не было утопией, наоборот, вы высказали вполне реальный план, как из Мадагаскара, окажем прямо, выгнать французов.

Района изумленно качает головой и хочет возразить. Я не даю ему заговорить.

— Не искажайте факты! Это было так! Вы хотите, чтобы я сказал правду властям? Хорошо, я расскажу, но только всю правду, и тогда неизвестно, кому будет хуже: вам или Рамасо. Вы хотите потопить учителя, чтобы выгородить себя. Не выйдет, я не допущу такой несправедливости...

Я так взволнован и говорю так убедительно, что Района заколебался. Он живо представил грозящую ему опасность: попасть в яму, которую он приготовил для другого. Заметив его колебания, я хочу окончательно покончить с этим вопросом.

— Послушайте, Района, я считаю вас в глубине души порядочным человеком и не желаю никому бед, в том числе и вам. Сделаем так: вычеркнем тот разговор совершенно из памяти, просто его не было, но и сегодняшнего разговора тоже не было. Хорошо?

Района неуверенно посматривает в сторону выхода, где находится кухня.

— Но Марово... Он расскажет и предаст нас.

— Не беспокойтесь! Если не донес до сих пор, теперь уже наверняка не донесет.

Района кивком головы соглашается и протягивает руку.

Во дворе слышались приближающиеся шаги и обрывки разговора. Входит подпоручик и учитель Рамасо. Вслед за ними появляется Богдан.

— Вот и я! — оживленно восклицает подпоручик и, желая, видимо, загладить впечатление от первой встречи, шутливо добавляет: — Меня два раза звать не приходится!

— Совершенно верно, — подлаживаюсь под его тон. — Ведь я послал за вами культурного человека. В этом вся разница!

— Да, — соглашается офицер, — капрал Али учтивостью не отличается.

— Я думал о том, нужен ли вам, то есть армии и администрации колонии, такой тип. Он, наверно, приносит больше вреда, чем пользы.

— Нужен! А иногда просто необходим! Нам очень часто требуется тяжелая рука! Ведь мы в колонии!

Делаю жест, точно хочу что-то отогнать от себя.

— Не будем касаться таких тем! Лучше примем что-нибудь для успокоения души.

Вид двух бутылок на столе вызывает громкое восхищение подпоручика.

— О, перно! — восклицает. — Обожаю перно!

Разливаю напиток в стаканчики и разбавляю водой. Офицер с удовольствием следит, как прозрачная жидкость становится молочно-белой. Поднимаем стаканы.

— За что пьем? — спрашиваю я.

— За благополучие... — Он минуту подумал, чтобы провозгласить надлежащий тост, — пожалуй, за благополучие Мадагаскара!

Веломоди, по обычаю мальгашских женщин, помогает повару. Подпоручик заметил, как она ловко возится у стола, и догадался, что это моя вади. Не спуская с нее пристального взгляда, он воскликнул:

— Нет, предлагаю другой тост: выпьем за то, чем по праву может гордиться Мадагаскар, — за его женщин, и за дело Франции.

Выпиваем, офицер одним глотком опустошает весь стакан.

— Великолепный перно! — похвалил он.

— Только тост немножко хромает, — замечаю смеясь. — Неужели вы хотели сказать, что дело Франции может так же быстро состариться, как женщины?

— Молодых мальгашек всегда будет вдоволь на Мадагаскаре!

— Это правда! — подтверждаем все.

Рассаживаемся, как договорились: офицер, Богдан и я за столом, учитель и староста у стены.

— У меня волчий аппетит! — сознается офицер.

— Ничего удивительного при такой работе, — невнятно бросает Богдан.

Подпоручик внимательно смотрит на него, не насмешка ли это.

— Работа, работа! — пыхтит он. — Черт бы ее побрал вместе с жителями этой гиблой деревни!

— Что, возвращаемся к политике? — фыркаю шутливо.

— Нет, предпочитаю выпить.

— Я тоже. Здесь у нас общая точка зрения.

Разговор завязался вокруг нашей, моей и Богдана, работы в Амбинанитело. Сбор экспонатов здешней фауны вызывает любопытство у гостя, и он подробно расспрашивает, как мы это делаем. Охотно отвечаем на все вопросы. Когда он узнал, что Богдан охотится в глубине леса, его осенила новая идея, глаза разгорелись, и, обращаясь к Богдану, он говорит:

— А вы далеко забираетесь?

— Иногда очень далеко.

— И вы хорошо знаете местные леса?

— Довольно хорошо.

— И, наверно, укромные уголки, где могли бы укрыться беглецы, тоже?

Наивный вопрос. Таких мест в долине Амбинанитело сколько угодно. Вероятно, перно уже подействовал на него.

— Ах! — отвечает Богдан, загадочно вздохнув.

— Что означает это «ах»? — холодно говорит офицер, высоко подняв черные брови.

— Я столько знаю укромных мест, что тысяча не только людей, но и слонов могла бы укрыться там до скончания века.

У подпоручика созрело решение. Он пронзает Богдана властным взглядом и, точно своему солдату, приказывает:

— Я вас беру с собою в лес! Вы будете моим разведчиком.

Я хочу выручить Богдана.

— Снова, — хватаю увлекшегося офицера за плечо, — снова возвращаемся к бурным волнам политики! Что же касается Кречмера, то, с вашего разрешения, он пока находится в моем подчинении. И умоляю вас, поручик, не делайте из хорошего зоолога гончей собаки.

Наливаю в его стакан рому.

— Под курочку, которой нас угощает Марово, разрешите! Этот благородный напиток из Рениона!

Офицер выпил, забыв на время Богдана. Но неудача, которую он потерпел, наполняет его злобной горечью. Он просит еще один стакан рому, сам себе наливает и сразу выпивает.

Наступило молчание. Я ищу подходящую тему, чтобы перевести разговор на безопасный путь.

И вдруг ни с того ни с сего подпоручик закипает гневом. Лицо его безобразно искажается, глаза мечут молнии.

— Сволочи!!! — громко рычит он и шумно выпускает воздух из гортани.

По его глазам, обращенным в сторону двора, догадываюсь, что это относится к жителям деревни. Им овладело бешенство. Он не стал есть, резко отодвинул от себя тарелку.

— Сволочи!!! — шипит снова сквозь стиснутые зубы.

— Скажите, поручик, почему вы так сердиты на них? Ведь это вы убили у них человека, а не они у вас.

Говорю спокойно, желая продолжить беседу по-деловому. Но мое спокойствие оказывает обратное действие. Еще больше рассердившись, он презрительно кидает:

— Да что с вами говорить?! Что вы о них знаете, вы, писаки и естественники?.. Какие это коварные змеи!.. Какие подлые бестии!.. Лживые, хитрые, злые!

Он захлебывается. На лице написано омерзение. Чувствую, что он перегнул палку. С трудом удерживаюсь, чтобы не потерять терпения. Молодой колониальный офицер, возомнивший себя божеством, способен на все.

— Их нужно истребить, всех до единого! Уничтожить весь этот навоз!

— А разве теперь это так легко сделать? — выпалил Богдан.

Бросаю на него предостерегающие взгляды: не надо, мол, впутываться, но сам не выдерживаю и говорю с иронической серьезностью:

— Вы говорите, поручик, что их нужно уничтожить? Но кто же тогда будет работать на ваших плантациях?

— Наберем людей в Индо-Китае, не беспокойтесь! — фыркает он.

— А в Индо-Китае вас любят? И так уж торопятся сюда?

Он не слушает. Его ничего не интересует. Он не владеет собой. Непреклонное сопротивление деревни доводит его до исступления. Им овладело только одно желание.

— Сжечь гнездо бунтовщиков, уничтожить деревню дотла! — Его душит злорадия. — Расстрелять всех до единого, никого не пощадить!

— Поручик, ешьте, пожалуйста! — говорю кротко.

Он не обращает внимания на мои слова.

— Подлые, скрытные гадины! Никому из туземцев нельзя доверять, все предатели!..

— Преувеличиваете, — бормочет Богдан.

— А вы думаете, — язвительно говорит офицер, показывая пальцем на Раюну и Рамасо, сидевших у стены, — вы думаете, им можно доверять?

Настало время призвать его к порядку.

— Господин поручик!! — крикнул я резким голосом.

Я демонстративно отложил в сторону нож и вилку и выпрямился. Богдан делает то же самое. Наступает напряженная тишина. Смотрим на него твердо и решительно.

Он приходит в себя. Возбужденное лицо успокаивается. Офицер буркнул под нос что-то вроде «извините» и потянулся к тарелке. Одновременно протянул руку за бутылкой с ромом, глазами спрашивая разрешения.

Я отрицательно покачал головой и, пытаясь учтиво улыбнуться, говорю:

— Если можно, прошу вас, не пейте больше. Сейчас подадут кофе...

Гость послушался, убрал руку. Успокоился.

Обед продолжается.

Капрал Али извивается от боли

Обед похож на игру с динамитом. Каждая секунда грозит взрывом. Сидим за столом, как на угольях, с нетерпением ждем конца трапезы.

Пока все идет довольно гладко. В веселом настроении принимаемся за кофе.

Солдаты в это время варят рис во дворе старосты. Ничего не ели только мальгаши, согнанные во двор. Оттуда доносится негромкий говор.

И вдруг во дворе, вернее в хижине старосты, раздался пронзительный крик; мы оборвали разговор на полуслове и сорвались с места. Потрясенные прислушиваемся. Раздаются новые нечеловеческие вопли. Мы вопросительно смотрим друг на друга.

Крики, сначала прерывистые, переходят в протяжный вой и хрип.

Офицер вскакивает с места как ошпаренный.

— Да это же Али!

— Капрал Али? — спрашиваю, подозревая самое худшее.

— Он!

Мои гости в таком же ужасе, как и я: звуки, которые доносятся со двора, дают основание предполагать, что мальгаши в припадке отчаяния набросились на капрала и истязают его.

Вылетаем из хижины и, изумленные, останавливаемся. Люди во дворе, как и прежде, сидят спокойно, только все напряженно смотрят в сторону хижины старосты. Оттуда доносится хрип Али.

Мы бросились туда. Там на полу лежит Али, корчась от боли. Глаза закатились, лицо какое-то зеленое, цвета плесени. На губах пена.

— Ой-ой-ой-ой-ой-ой! — стонет он и рвет руками живот. Судороги сводят его громадную тушу.

— Он кончается, — с ужасом говорит подпоручик и приказывает стоящим вокруг солдатам: — Дайте ему воды!

— Осторожно с водой! — предупреждаю. — Ему это может еще хуже повредить.

Али стонет, точно его рвут на части. Исчезла обычная наглость и надменность. Внезапная болезнь сделала его похожим на беспомощного ребенка.

Мальгаши во дворе затянули какую-то странную, монотонную песню. Звучит она потрясающе, точно ворчит зверь, запертый в подземной пещере. Несколько без конца повторяемых тонов похожи не то на жалобу, не то на угрозу. Каждый из мальгашей поет тихо, но все голоса вместе сливаются в мощную волну, оставляющую неизгладимое впечатление.

— Что это? — возмущается офицер.

— Погребальное пение, посвященное Али, — поясняет Рамасо.

— Разве нельзя им запретить?

— Можно, поручик... В ваших руках власть и солдаты.

Офицер подавил в себе готовое вырваться проклятие и обращается к присутствующим солдатам:

— Что он ел?

— Капрал Али ел рис, господин поручик!

— Какой рис?

— Тот же, что и мы. Мы сами готовили.

- И ели из одного котла?
- Да, господин поручик.
- У вас тоже боли в желудке?
- Нет, господин поручик.
- А до этого Али ел что-нибудь?

Этого солдаты не знают. Если ел, то где-то случайно, когда был в деревне. Никто не видел. Когда спросили самого Али, он ничего не ответил. Все стонал в полузабытьи.

Офицер вызывает во двор старосту, учителя и меня. Люди запели тише, но пения не прекратили.

- Тихо!!! — гаркнул офицер.

Тишина продолжалась только несколько мгновений. В самом отдаленном углу кто-то подал ноту, и снова раздался прежний, упорный гул.

— Для меня, — говорит офицер, обращаясь к нам, — нет сомнения: капрал Али отравлен здесь, в деревне. Вы не находите этого, господа?

— Признаки болезни наводят на размышления, — говорю я, — но заявлять об этом определенно нельзя. Впрочем, у меня нет опыта в таких делах.

— В нашей стране, — говорит Рамасо, — часто бывают такие заболевания, от которых люди умирают. Это не обязательно отравление.

— Это отравление, даю голову на отсечение! — упрямится офицер и нетерпеливо топает ногой. — Где-нибудь поблизости есть врач?

- Нет, — отвечает Раяона.

Пение мальгашей и в самом деле действует на нервы. Это какой-то пассивный протест против обид, которые им приходится терпеть. Мы с учителем стоим в стороне, я спрашиваю его:

- Они произносят определенные слова?

Рамасо кивает головой.

- Поют, — объясняет, — примерно следующее:

*К злему человеку
Идет злая смерть, э-эй!
Духи справедливые,
Духи отомстили, э-эй!*

- Духи, — говорю, — это, вероятно, тангуин?
- Признаков отравления тангуином нет.
- Значит, чем-то другим?
- Пожалуй, да. — Учитель незаметно прищурил глаза.

Из поющей толпы мальгашей вышел Джинаривело и медленно подходит ко мне.

— Передайте молодому офицеру, — говорит он, остановившись рядом с нами, — что капрал умрет, если ему не будет оказана быстрая помощь.

— Почему, — заорал подпоручик, набросившись на старика, — почему ты не обращаешься ко мне, если я здесь стою? Зачем посредники?

- Он мой искренний друг! — беру Джинаривело под защиту.

- Почему он не обратился к старосте или учителю?

— Но, поручик! — сдерживаю его ярость. — Вас волнуют нарушения правил этикета, а не капрал, жизнь которого висит на волоске. Я очень хорошо знаю своего друга и думаю, что он хочет сообщить нам что-то важное. Правда? —

обращаюсь к Джинаривело.

— Да, правда, — отвечает старик. — Капрала нужно спасать.

— Спасать, как?! — злится офицер.

— Нам известны фанофоды, которые помогут ему.

— Какие фанофоды?

— Лекарственные растения.

— Принеси их!

Джинаривело выжидающе смотрит на офицера и молчит.

— Иди в лес и принеси их! — приказывает подпоручик.

— Не так-то легко, господин поручик. Это редкие растения, и неизвестно, сможет ли их отыскать один человек, а если и отыщет, то не будет ли слишком поздно. Искать их должны многие, все должны!

Последние слова Джинаривело говорит с особым нажимом, и рука его очертила большой круг: он показывает на всех мальгашей, собравшихся во дворе.

— Ах, вот что тебе нужно? — насмешливо вскрикнул офицер.

— Да, это мне нужно! — сдержанно подчеркивает каждое слово старик и смотрит подпоручику прямо в глаза.

— Хотите удрать в лес и не вернуться! — кипятится офицер.

— Здесь наши хижины! — с достоинством отвечает Джинаривело. — Зачем нам удирать? Мы никакой вины за собой не чувствуем.

Офицер понял, что попал в западню, и не знает, как быть. Бросает на нас вопросительный взгляд.

— Простите, господин поручик, — выкладываю ему, — что вмешиваюсь не в свои дела. Допрос жителей уже закончен?

— Собственно, да! Ничего нового от этих твердолобых скотин я уже не узнаю.

— Так зачем вы их держите?

— Надо их проучить!

— Проучить ценой жизни вашего капрала? Но, может быть, вы, господин поручик, посмотрите на эти дела с другой точки зрения — с точки зрения вашей ответственности?

— Мне наплевать, что в Тананариве напишут обо мне писаки в глупых газетах!

Но, вероятно, ему это не совсем безразлично. Чем слабее становятся мрачные стоны капрала, тем сильнее напрягаются нервы молодого начальника. Смерть капрала приближается, а ведь Джинаривело предложил единственный способ спасти его. Остатки здравого смысла подсказывают решение. Джинаривело он оставляет заложником, а всех других отпускает, приказав сотскому Безазе присмотреть за порядком.

Оборвалось похоронное пение мальгашей. Все бегом бросились со двора, многие устремились прямо в лес. В деревне и на рисовых полях полно людей, разбегающихся в разные стороны. Этот бурлящий котел стал для солдат недосягаемым: согнать всех жителей сейчас было бы невысказано.

Прошло немного времени, и нужные лекарственные растения из леса принесены. Джинаривело сам отобрал их, сварил и приготовил. С помощью Безазы и других земляков он влил варево в рот капрала. Результат оказался почти мгновенно. Больного сильно вырвало, а через несколько минут он почувство-

вал себя лучше и впал в забытие. Хрип прекратился. Прошел час, и капрал настолько поправился, что смог встать и пройти несколько шагов.

Он рассказал, что съел в деревне два банана. Это произошло, когда сторела хижина Манахицары. Он увидел на дороге маленькую девочку, которая держала в руке несколько бананов. Он вырвал два банана и съел. Лица девочки не запомнил. Ничего другого не ел.

Вопрос, отравлен он был или нет, остался без ответа и, пожалуй, уже неразрешим.

Дикая злоба больше не одолевает капрала Али. Он сидит мрачный и ворчливый — устал от тяжелых переживаний. Неприятное происшествие угнетает и других солдат: они понимают, что находятся во власти случая, который может навлечь на них несчастье в любой момент. Даже сам подпоручик, прежде такой воинственный, под конец задумался и уже менее самоуверен.

К вечеру он решил, что его миссия в Амбинанитело закончена, и приказал солдатам садиться в машины. Немногого он сумел добиться. Прощается с нами, надутый и кислый.

Когда рокот моторов затих за поворотом, постоянные вечерние звуки деревни вступили в свои права: слышно, как в ступах толкут рис. Мальгашская деревня готовится к ужину, никакой враг не угрожает ее спокойствию.

Рождение громадной бабочки

У малыша Бецихахины зоркие глаза и легкая рука. Две недели назад на опушке леса он заметил большой необыкновенный кокон. Белая, отливающая серебром, пряжа куколки приклеена к листве куста. Мальчик сорвал ветку и осторожно, чтобы кокон не свалился, притащил в мою хижину и прикрепил на веранде.

Кокон был огромный, неизвестный и очень интересный. Много дней висел он на стене без малейшего движения, без всяких перемен, точно неодушевленный предмет. Мы знали, что настанет минута, жизнь забьется в нем и появится новое чудо в мире насекомых: гигантская оса или бушующий шмель, а может быть, бабочка. Но когда это свершится? А пока кокон, хотя и погружен в летаргический сон, уже не дает нам покоя: возбуждает любопытство, вызывает радостные домыслы. Кокон, точно живой зверек, вносит оживление в нашу хижину.

В тот памятный день, когда на Амбинанитело обрушилось нашествие солдат, в моей хижине царило понятное оживление. Веломоди и Бецихахина взволнованно сообщили, что «червяк появился».

Наконец появилась бабочка! Пробила пряжу и выглянула на свет божий. Слабая, дрожащая, с трудом цепляется ножками за стенки кокона. Она беспомощна и будто оглушена яркостью мира. У нее нет еще крыльев. Две ничтожные култышки заменяют их. Червяк!

Бабочка быстро развивается. Еще не наступил полдень, а култышки стали похожи на тряпочки. Некрасивые, сморщенные, скрюченные, ничем не напоминающие крылья, но уже живые.

День прибавляется, и крылья увеличиваются, словно тайный союз соединяет бабочку и солнце. И действительно, соединяет: бабочки — дети тепла. Чем выше поднимается солнце, тем заметнее хорошеет бабочка. Приближается полдень, крылья широко раскрылись. Они почти готовы.

Какой прекрасный экземпляр! Крылья огромные — в две мужские ладони, цвет желтоватый, напоминает старую слоновую кость; постепенно желтизна переходит в бледно-розовый тон. Одета она в неземной красоты наряд. Если его придумал какой-то неизвестный художник, он обладал самым тонким чувством красоты. В центре каждого из четырех крыльев он нарисовал коричневый полумесяц и этим включил бабочку-прялку в семейство павлиноглазок.

По сравнению с насыщенным звуками утром и шумным вечером полдень в долине Амбинанитело всегда какой-то безжизненный, притаившийся.

С рисовых полей поднимается пар, в затуманенных влагой глазах природа теряет четкие контуры, соседняя роща полна таинственных неожиданностей.

Но сегодня мы ничего не замечали. Трагические события деревни приковали наше внимание. И все же во время приготовлений к обеду — к тому самому «неприятному обеду» — Веломоди и ее брат влетели ко мне с новыми вестями о бабочке и на минуту оторвали от грустных событий этого дня.

Бабочка, несмотря на, казалось бы, законченный внешний вид и большие крылья, не прекратила развития. Вот у нижних крыльев снизу выросли два хвоста, по одному хвосту у каждого крыла. Они продолжают расти, становятся все длиннее и длиннее. Они уже больше туловища, больше нижних крыльев, больше даже нижних и верхних, вместе взятых; хвосты — непонятные, фантастические отростки. Странная выходка буйной природы. Красота соединилась с карикатурой. Райская птица, которая здесь, на Мадагаскаре, воплотилась в бабочку. Райскую бабочку. Даже люди науки пленились ее красотой и назвали бабочкой-кометой.

Я очарован, как и все, но для меня она не комета. Гораздо больше. Я не могу оторвать глаз от этого феномена.

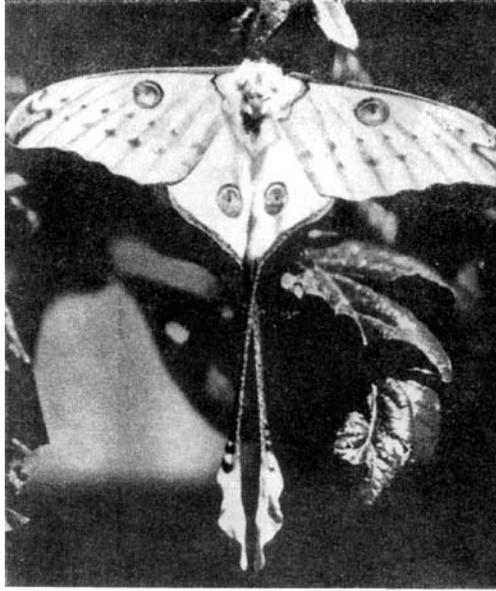
Здесьняя богатая природа капризно разбросала бурлящий избыток своих сил в виде разных диких видов.

В рамках биологического процесса ведется жестокая борьба за существование.

Но здесь природа создала иной мир — бурный, фантастический, как бы лишенный логики и разума. Все существует и действует, как в сказке, и все же это будничная действительность.

Итак, лес здесь ошалел от щедрости; животные решают судьбы людей; люди живут жизнью растений и благородных животных; реки и горы — хищные чудовища или благожелательные духи. Все, что нас здесь окружает, похоже на эту бабочку: действительность и вымысел, явь и сон, солнце и туман.

Жизнь побеждает смерть. Но в долине притаился ужас смерти, более жестокий, чем где бы то ни было. А там, где рождается такая бабочка, вероятно, нет ужаса; жестокость укрощена, смерть высмеяна. Господство жизни все-таки сильно. Оно опровергает древние законы борьбы за существование и презирает все опасности. Великолепие мечтает и мечты свои облачает в реальные формы. Невзирая на врагов, великолепие навязывает природе пляску беспечной красоты и совершает сказочные безумства. Безумство природы: бабочка, которая кажется существом из иного мира, и могла бы жить только в дерзкой сказке. Она прикрепила к крыльям громадный шлейф.



Безумство природы: бабочке, которая кажется существом из другого мира, природа прицепила к крыльям громадный шлейф.

Пути легендарных людей

В долине Амбинанитело легенды растут так же пышно, как растения. Человеческая душа так же податлива к восприятию мифов, как почва к восприятию риса. Недалеко от моей хижины разрослась роща громадных бамбуков, устремившихся ввысь. Они свидетельствуют о безудержной плодовитости здешней природы. Воображение коричневых людей наполнено такой же безудержной фантазией.

Река Антанамбалана не просто река и не только дикий зверь; она еще живая легенда о красивой девушке, которую отравила испорченной водой ревнивая ведьма.

В соседних горах властвуют неукротимые духи. Они требуют от пришельцев приношений в виде скота. Эта легенда связана с одним событием, приключившимся в старину. В соседнем лесу живут кроткие лемуры-бабакуты, потомки, как известно, несчастной женщины, изгнанной некогда злыми людьми. За моей хижинкой, у подножия горы Амбихимицинго, — рисовое поле. Не для всех жителей села оно хорошее, для некоторых оно страшное и враждебное.

Последняя легенда в этой местности достигла ближайшей горы и оживила ее духом Бенёвского. Маленькая искорка, некогда брошенная мною, внезапно разгорелась ярким пламенем и разожгла умы. Она существует, крепнет и распространяется. Легенда перекинулась на другую сторону реки, проникла в соседние долины. Имя белого вождя врывается в жизнь все более отдаленных селений.

Ко мне пришел сотский из деревни Амбохибола и сказал, что его люди обнаружили в поле рвы и валы странной формы, следы старой крепости, «крепости Бенёвского». Другая делегация из деревни Сантаха принесла весть о существовании там руин, остатков прежнего городища, воздвигнутого по преданию белым бароном — «бароном Бенёвским». Руин и валов нет, их создала фантазия человека.

Сияние этой легенды озаряет прежде всего нас, двух белых людей и, поми-

мо нашей воли, выдвигает нас на первый план, будто мы стражи мальгашской веры. Коричневые люди знают, что Бенёвский был поляк, но его принадлежность к их племени вырастает уже до многозначительной тайны.

В Амбинанитело наступила пора благополучных и спокойных дней. Солдаты больше не показываются. Да если бы и появились, ничего подозрительного не нашли бы ни в деревне, ни в соседних лесах: беглецы из Анталахи исчезли из окрестностей залива Антонжиль. Умный Рамасо послал их на юг и разместил вдоль побережья до самой Таматаве. Там они затерялись среди сотен похожих на них товарищей. Угасает также вражда между родами заникавуку и цияндру. События, затронувшие в равной мере и тех и других, открыли им глаза.

Мой счастливый брак с Веломоди удивляет и меня и всех жителей Амбинанитело. Девушка всем говорит, что я хороший человек. Люди относятся ко мне со все растущим доверием. Даже мужская молодежь, прежде враждебно настроенная против меня, все чаще заходит в мою хижину дружелюбно побеседовать. Старик Джинаривело доволен.

— Ты счастлив здесь? — спрашивает он однажды.

— Да, я счастлив! — отвечаю.

— Будет ли тебе лучше в другом месте?

— Пожалуй, нет.

— Значит, останешься у нас навсегда?

Щекотливый вопрос. Я смущенно улыбаюсь. Джинаривело догадлив, понял все без слов. Нам стало грустно.

Но Джинаривело мальгаш, он выдержан и честолобив. Он не может сдерживать пробудившейся фантазии. Он должен мечтать, он надумал планы будущего. Он охотно создал бы новую легенду. Как-то Джинаривело приходит ко мне и с торжественным видом говорит:

— Если бы ты был потомком Бенёвского, ты стал бы для нас больше, чем другом, — вождем. Ты выполнил бы здесь призвание своей жизни, и твоим детям мы оказывали бы надлежащие почести. Скажи, ты потомок Бенёвского?

— Нет!

Джинаривело нетерпеливо хватается за плечо и просит:

— Скажи лучше «да»...

Я весело рассмеялся.

— Ты требуешь, чтобы я рядился в чужие перья?

Дни уходят, а Джинаривело настаивает все сердечней, все упорней. Он уже не требует родства с Бенёвским; он просто хочет, чтобы я остался у них навсегда. Благородный старик умен и знает мои склонности. Он отдает должное узам, связывающим меня с миром белых людей, и не хочет, чтобы я разорвал их. Он считает, что, живя в Амбинанитело, я могу продолжать черпать важные сведения, напечатанные на бумаге; но здесь я мог бы познать живое мальгашское слово, менее важное, но более теплое.

— Ты стоишь на распутье! — говорит он. — Умно выбирай, вазаха, умно!..

Выбрать, казалось бы, нетрудно: здесь счастливый уголок с благословенным небом, чудесная долина с обильными плодами, дружественно настроенные люди с красивыми душами и небольшими заботами. Там мир белых людей, отравленный спешкой, нервами, железом и сердцем из железа.

— Значит, ты выбрал! — восклицает радостный Джинаривело. — Оста-

нешься у нас?!

Как мне ему объяснить?!

До сих пор я как будто одерживал верх над коричневыми друзьями, углубляясь в их сложные обычаи и суеверия. А вот оказалось, что и у меня душа не свободна, что сидят во мне мощные тормозы, держащие меня в оковах еще крепче, чем суеверия и фадиды держат коричневого человека. По-разному называются таинственные силы, руководящие белым человеком, но самая большая и самая беспощадная именуется долгом.

Как объяснить старику, что я не могу здесь остаться? Что ради долга я наперекор чувствам, сердцу и разуму обязан покинуть этот счастливый уголок красоты и плодородия.

— Уеду!

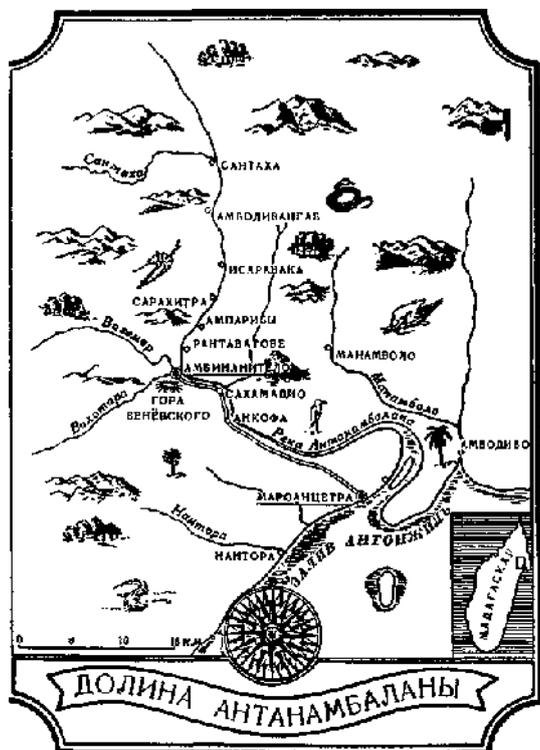
Я должен уехать.

Покину тростниковую хижину и солнечную долину, ее танреков, хамелеонов, лемунов, бабочек. Покину Веломоди, которая на прощание, стойко поборов слезы, благородно заверит меня, что в жизни каждый хороший день кончается закатом и темнотой. Покину доброго друга Джинаривело. Искренним долгим пожатием руки и глубоким взглядом попрощаюсь с храбрым борцом за лучшее будущее Мадагаскара учителем Рамасо, человеком новой эпохи.

Именно он не дает мне забыть о неустанном долге борьбы. Мне нельзя утопать в безмятежном блаженстве, каким меня награждает Амбинанитело. Моя обязанность быть там, где запутаны дороги, отравленные человеческим хищничеством, и внести свою лепту в строительство нового, простого и справедливого пути.



В Амбинанитело наступили благополучные и спокойные дни.



Там, где рыбы странствуют по суше



Сокращенный перевод с польского

Последний период нашей экспедиции по югу Бразилии, проведенный на изобильной приморской низменности близ Морретес, останется в памяти как неизгладимое, чудесное видение.

Близился конец мая, когда в южном полушарии солнце начинает клониться к северу. На паранском нагорье не было уже прежнего палящего зноя, а по ночам стал даже донимать холод — природа словно почувствовала упадок сил. Неуютно стало и нам под пронизывающими ветрами на равнинном плоскогорье у западного подножия Серра-ду-Мар.

И вот мы решили перенести свой лагерь под Морретес. Слово иной мир открылся перед нами. Мир волшебный и удивительный! Самые дерзкие фантазии о великолепии тропической природы, какие только могли родиться под серым небом нашего Севера, здесь обретали реальную чарующую форму.

Едва мы перевалили через гряду Серра-ду-Мар, стихли, как по волшебству, докучливые ветры. Здесь, на приморской низине, между горами и морем, было царство такой пышной, а главное, столь неопишимо прекрасной растительности, что человеческий глаз не знал, чему изумляться, и упивался пьянящей зеленью. Это не были непроходимые джунгли, заросли которых клубились по горным склонам и ущельям совсем рядом, но в которые мы так и не смогли пробраться. Зато на морретанской низменности мы, охотясь, проникали в поистине божественные леса. Кругом царственно высились всевозмож-

нейшие пальмы, тут и там шелестели манящие рожицы бамбука, а травы местами достигали высоты дома, в котором мы жили.

И всюду пламенели цветы, половодье цветов. Красные амариллисы создавали изумительные по красоте россыпи.

Мы прибыли сюда втроем: Антони Вишневецкий, юный Михаил Будаши и я. Обосновались в пустовавшем доме нашего земляка-колониста, который в то время перебрался в город. Одновременно с нами перелетели с паранского плоскогорья сюда, к теплу и неистощимым запасам корма, тучи птиц. Было их здесь несметное множество. Отовсюду неслись их задорные крики и щебет. Играли волшебными красками радужные танагры, яркими вспышками проносились колибри, высоко в небе с клекотом кружили ястребы и соколы.

Серра-ду-Мар! Горы вздымались на западе и юге, изрезанные пропастями ущелий, покрытые непроходимыми зарослями — обитель ягуаров и пышных орхидей. О каждой вершине ходили страшные легенды. Горы, что ни час, меняли свой вид, а на закате играли неистовым многоцветьем красок. С властительных вершин очарование низвергалось в долину, приводя в изумление.

Люди жили в долине разобщенно, и было их немного. Бродя с ружьем, мы натыкались порой на убогую хижину, укрытую в зарослях на берегу ручья. Где-нибудь неподалеку виднелся крохотный клочок возделанного поля. Скромные эти люди, кроткие и приветливые кабоккло[283], в Моррстес навевались редко. Забившись в лесную глушь, они вели крайне убогое существование.

Прежде население долины, видимо, было многочисленнее. Но судьба не благоприятствовала жизни здесь и изгнала людей в иные края. Тропы кабоккло поросли капоеирой[284], их хижины, поглощенные зарослями, рушились без следа. И тем не менее здесь сохранялось несомненное свидетельство их пребывания: посаженные плодовые деревья не исчезли. В течение десятков лет они давали плоды, и вот теперь повсюду, в самых глухих уголках долины, мы натыкались на обширные сады. Деревья гнулись под тяжестью фруктов. Вот из-под широких листьев золотятся гроздья спелых бананов, там сладкие апельсины усеяли все дерево, а неподалеку землю устлали одичавшие, но вкусные ананасы.

Порой мы с Вишневецким пробирались сквозь нескончаемые, раскинувшиеся на многие километры, заброшенные сады. И тогда сама собой разыгрывалась фантазия, а мысли обращались к судьбам людей, которые здесь жили, а уйдя, оставили такое изобилие плодов; приходили мысли об умопомрачительном плодородии здешней земли. Но потом мы погружались в молчание. В изумлении озирались по сторонам, и нам начинало вдруг казаться, что вокруг не морретанская долина, а какой-то уголок библейского рая. Обилие плодов поражаало воображение.

— Того и жди, расступятся кусты и появится сказочная царевна! — проговорил как-то, улыбаясь, Вишневецкий.

Трудно передать наше изумление, когда после этих слов неподалеку в зарослях мелькнула какая-то фигура не то человека, не то зверя. У нас едва не разорвались сердца, ибо казалось, что в неземной этой долине возможно все. Но нет, это была не царевна, а темнолицый, обросший кабоккло. Он вышел из чащи, застыл от неожиданности при виде двух вооруженных детей, потом узнал нас, невероятно смутился, вежливо поздоровался и, улыбаясь, исчез

там, откуда появился.

В одно прекрасное утро я один отправился на охоту. По пути обнаружил не замеченную нами ранее рощу чудесных пальм ассан, и на душе у меня стало радостно и светло. Потом я наслаждался ароматными плодами гуаябы, по форме напоминающими наши яблоки папировку, но с розовой нежной мякотью и вкусными, словно пицца богов. Потом я вышел из зарослей и остановился на краю обширной лужайки, зачарованный пейзажем. Меня охватило как это нередко с нами здесь случалось, какое-то странное состояние, будто я вот-вот увижу спящую царевну.

Вдруг неподалеку в невысокой траве я заметил какого-то копошащегося зверька. По дну неглубокой канавы он медленно, мелкими скачками продвигался вперед и тогда на мгновение появлялся в поле моего зрения. Может быть, это была большая мышь или лесная крыса, вероятно экземпляр, нужный для нашей коллекции. Однако, упоенный идиллическим окружением, я не хотел убивать зверька и даже ружья не снял с плеча.

Когда минуту спустя я снова взглянул в том направлении, зверек отдалился всего на несколько шагов, совершая время от времени свои неуклюжие скачки. Крыса во сто крат была бы проворнее. Что же это за существо, черт побери, играло со мной в прятки? Желая разгадать загадку, я взял в руки ружье и стал осторожно подкрадываться. Приблизившись на расстояние пяти-шести шагов, я заметил, как зверек опять неловко подпрыгнул и, упав чуть поодаль в сухую траву, которая лишь зашелестела, снова скрылся из глаз. Станный зверек. Не то млекопитающее, не то птица, скорее всего какая-то неуклюжая черная ящерица без хвоста. Я подошел ближе. Маленькое существо снова дернулось в траве и выпрыгнуло на голую землю. И тут я буквально остолбенел.

Трудно было поверить, но сомнений не оставалось: это была рыба! Самая настоящая рыба, кажется сомик, длиной в поллоктя[285]. На сухой земле, вдали от какой-либо воды, но совершенно здоровая, резвая, живая рыба!

Пораженный, я закрыл глаза. Долина невероятных неожиданностей! Не помутился ли у меня рассудок, не снится ли мне эта долина, где даже рыбы странствуют по сухой поляне?

Нет, это был не сон. Когда я открыл глаза, сомик отдалился на полшага. Я осторожно поднял это диво и рассмотрел вблизи. Все правильно: широкая голова, усы, маленькие глазки, и только жабры были плотно закрыты, видимо, чтобы не высохли на воздухе, а боковые плавники, превратившиеся в прочные шипы, природа, бесспорно, приспособила для передвижения по суше.

Я положил сомика в карман и отправился домой. В кармане я нес его не менее часа, но, когда пустил дома в таз с водой, он весело поплыл, не выказывая ни малейшей усталости или слабости.

Вот так я столкнулся с одной из странностей южноамериканской природы. Кое-что я слышал о существовании странствующих по суше рыб из семейства Doras, однако не предполагал, что обитательницы бассейна Амазонки живут так далеко на юге. Апрель на морретанской низменности — это пора высыхания болот и речушек, вот предусмотрительная рыба и вышла на сушу, чтобы заблаговременно перебраться в более глубокий водоем. Порой, говорят, Doras странствуют целыми косяками, а если не находят воды, зарываются на дне в ил на несколько месяцев, до поры, пока не пройдут обильные дожди и не вернут снова к жизни речушки и болотца.

Позднее мы встречали на морретанских полянах еще нескольких сомиков-пилигримов. Хотя теперь уже они не вызывали столь бурных эмоций, однако всякий раз заставляли изумляться неисчерпаемой фантазии природы.

Здесь, в этой плодородной долине, реальная действительность прихотливо меняла свои привычные формы и мы словно попадали в какую-то очаровательную сказку.

Носухи



Глава из книги «Звери девственного леса»

Вместе с попугаями, ястребом, обезьянкой, змеями, тайрами и саламандрой мы вывезли из лесных дебрей на реке Иван живую носуху. У этого зверька с совершенно неопределенной физиономией (в фас морда его похожа на рыло свиньи, а в профиль — на голову лисы) движения были медвежьи, аппетит волчий, голос птенца, и вдобавок ко всему он обладал прямо-таки болезненной манией обнюхивать все, что было поблизости. Глаза маленькие, не умеющие смотреть прямо, зато лукавые и шаловливые. Это был самец, а гордостью его был огромный хвост, который в минуты угнетенного состояния печально волочился по земле, в моменты же хорошего настроения гордо вздымался вверх и изгибался пышной дугой. Эта но-суха, как, пожалуй, никакой другой зверь, обладала искусством покорять людские сердца.

В Куритибе я оставил свои коллекции, а также живых зверей в польском консульстве, а сам вместе с Вишневым отправился в Морретес охотиться на тамошних птиц. Через каждые несколько дней я возвращался в Куритибу и с удовольствием убеждался, что мои звери, особенно носуха, завоевывали симпатии всего консульства.

Особый интерес к носухе проявлял Август Кавецкий, человек, немало повидавший на своем веку, большой знаток паранских джунглей и всяческих их обитателей. Он-то и встретил меня однажды радостным известием:

— Я приобрел для вас вторую носуху, самку! Славная получится пара!

И правда, пара из них получилась славная. Самец наш относился к новой подружке трогательно и выказывал всяческие знаки своей симпатии. Он похорошел, можно даже сказать, покрасивел, весело посвистывал, стал настоящим сорванцом. Когда я в следующий раз появился в Куритибе, Кавецкий с триумфом мне сообщил:

— У нашей пары, как видно, будет прекрасное потомство!

Действительно, это была интересная новость. Мы лишь опасались, как бы детеныши не появились слишком рано, еще по пути в Польшу: тогда неудобства путешествия грозили бы им верной гибелью. Провожаемые добрыми напутствиями наших паранских друзей, мы вскоре отплыли из Бразилии на родину.

В пути самец стал вести себя крайне нахально. Свое физическое превосходство — а он был несколько крупнее — использовал он самым недостойным образом, не подпуская свою подружку к миске с едой. Тогда она грустно опускала голову, и в этом смиреннии было столько печали и покорности, что нам казалось: вот-вот из ее благородных глаз закапают слезы. Бедняга терпеливо дожидалась, пока супруг насытится и наступит ее черед. Когда это заметила хозяйка гостиницы в Сантусе, где мы остановились на несколько дней, она

страшно рассердилась и заявила, что все это похоже на многих мужчин.

На пароходе «Кергелен» линии «Шаргёр Реюнн» я отвоевал для наших зверей удобное место на корме, где обычно собиралась команда в свободные от работы минуты. Здесь носухи могли побегать, привязанные на длинных цепочках.

За эти дни они стали совсем ручными и вместе с нами валялись, греясь на солнце, или весело резвились. Тут я заметил одну любопытную вещь: казалось, в глазах их постоянно таилась усмешка не то плутоватая, не то лукавая, а порой словно бы ехидная.

Члены корабельной команды часто приносили носухам лакомства, и животные дарили их искренней дружбой, невзирая на то, был ли это друг белый, черный или желтый. С меньшей симпатией относились они к женщинам, которые приходили порой на корму посмотреть на наш зверинец. А при виде собак носухи впадали в неистовое бешенство.

Когда мы пересекали экватор, ко мне прибежал Вишневецкий. До крайности возбужденный, он сообщил, что сделал прелюбопытное открытие: потомства не будет. Мы пали жертвой позорной ошибки: носухи никакая не пара, а оба самцы...

Я бросился на корму, схватил одну носуху и убедился — самец, схватил вторую — то же самое. Изумление наше трудно описать. Спустя минуту мы разразились таким хохотом, что пассажиры с других палуб стали поглядывать на нас с тревогой.

Вот так окопачили нас наши милые зверюшки. Я смеялся и над докой Кавецким, и над нашей преждевременной радостью по поводу несостоявшегося потомства, и над нашими напрасными опасениями, а более всего повергали меня в смех эти лукавые плуты, в глазах которых таилась ехидная усмешка и которые не умели смотреть прямо.

И уж не знаю отчего, то ли напуганные нашим смехом, то ли пристыженные разоблачением их обмана, но носухи понурили головы с явно сконфуженным видом, словно и вправду чувствовали себя виноватыми.

По мере удаления от берегов Южной Америки стало, к сожалению, ухудшаться их здоровье. Глаза их потускнели, движения стали медленными, у них пропал аппетит и настроение. Не приходился им по вкусу даже французский хлеб, не съедали они теперь и обычной дневной порции сырого мяса. Они стали безразличными ко всему окружающему. По опыту я знал — это приближение смерти. Им мстили неродное небо и чужая пища.

Среди зверей, которых мы везли, была и небольшая саламандра. Я любил ее за то, что она умела с безграничным доверием прильнуть к человеческой руке, не выказывая никакого страха. Неожиданно в один из дней, как раз когда заболели носухи, она, к нашему огорчению, погибла, и мне ничего не оставалось делать, как бросить ее носухам. И вдруг звери, словно пробудившись от летаргического сна, вскочили как сумасшедшие, глаза их хищно сверкнули. В мгновение ока они разорвали саламандру и проглотили ее с блаженным чавканьем. С этого момента они оживились, снова стали нормально принимать корм. Мне стало ясно, что несчастная саламандра, найдя свою смерть, вернула к жизни носух, поскольку в переломный момент дала им то, в чем они больше всего нуждались, — воспоминание о родных лесах.

В Польше носухи снова проявили себя прежними веселыми проказниками

и сумели завоевать сердца людей. По утрам эти лакомки получали по два свежих яйца. Яйца пришлись им весьма по вкусу, носухи потолстели и прекрасно зажили в Познани.

Скалистые горы и долины



Глава из книги «И вновь манящая Канада»

Рис. А. Соколова

Банф

Национальный парк в Банфе поражает своей могущественной природой и до некоторой степени также и индейцами. Но прежде всего — природой! Это красивейший парк не только в Канаде, но, вероятно, во всем мире. Название «парк» не должно вводить в заблуждение: девять десятых его территории — это более дикая и безлюдная глушь, чем наша Беловежская пуца, и в несколько десятков раз обширнее пуцы. Зато на оставшейся одной десятой части к вашим услугам все блага цивилизации и комфорта.

Современный улыбающийся городок Банф — это прелестная, чистенькая, сверкающая горная жемчужина. Банф можно было бы назвать летней столицей Канады, подобно тому как Закопане гордится наименованием зимней столицы Польши. Несколько тысяч его жителей из кожи вон лезут, чтобы сделать приятной жизнь ста тысячам гостей. И совершают чудо: обеспечивают удобным ночлегом, вкусно и без очередей кормят — и все это дешевле и любезнее, чем где-либо в другом месте Канады.

Эту местность, привлекающую ныне толпы восторженных туристов, белый человек увидел впервые лишь в 1841 году, когда директор Компании Гудзонова Залива и властитель Западной Канады Джордж Симпсон пешком и на лодке пересек страну до побережья Тихого океана. Но сей трезвый шотландец, поглощенный торговлей бобровыми шкурками, не заметил красоты пейзажа.

Сорок лет спустя, в 1883 году, инженеры, строившие здесь Трансканадскую железную дорогу, открыли не поразительное величие природы, но горячие серные источники на склонах одной из гор вблизи нынешнего городка Банф. Для охраны источников они добились в Оттаве признания небольшого участка земли — десять квадратных миль — национальной собственностью.

И только позднее проезжающие по железной дороге путешественники, очарованные открывавшейся из окон вагонов необыкновенной панорамой вершин и долин этой части Скалистых гор, осознали их прелесть и истинную ценность. Они подняли шум и добились создания Национального парка, ставшего теперь законной гордостью каждого канадца от океана до океана.

Поражает редкостное сочетание всего, что есть в природе чарующего и ошеломляющего: сказочных гор, долин, каньонов, девственных лесов, озер, водопадов, бальзамической свежести воздуха; создав все это, природа добилась здесь высшего совершенства. Другая же, не меньшая достопримечательность парка — дикие звери. Впрочем, какие там к черту дикие! Несколько де-

сятков лет их не отстреливали, не истребляли, не спугивали, и они привыкли считать человека своим сородичем, смирным двуногим зверьком, а поэтому доверчиво и дружелюбно подходят к нему, как подходит олень к лосю, лось — к горной козе.

Тот простой факт, что здесь перестали хозяйничать смертоносные пули, изменил поведение зверей настолько основательно, что некоторые зоологические законы утратили свою силу. Прежде всего смягчились повадки и темперамент самых грозных зверей. Даже такой кровожадный хищник, как дикий властелин чащобы гризли, сейчас и не думает нападать на людей, когда те по неосторожности оказываются на его пути.

При виде такой идиллии возникает озорная мысль: прислать бы сюда советников по разоружению из Женевы, чтобы они воочию убедились в удивительных результатах разоружения!

Забавные звери, так доверчиво подходящие к своим двуногим братьям, приобретают в Глазах людей дополнительную прелесть: любой обыватель из Соединенных Штатов или канадский горожанин начинает чувствовать себя здесь возвышенным существом, подлинное благородство которого постигают инстинктивно лишь дикие звери. Я настолько светлая личность, думает он, что даже звери от меня не убегают. До чего приятно фотографироваться в этом ореоле с разными лесными созданиями. Признаюсь, что путешественники из Польши не составили исключения. Несомненно, когда смазливая мисс позирует для снимка, стоя рядом с настоящей прекрасной ланью, на ней отражается красота животного и девушка приобретает черты Дианы, по крайней мере в глазах своего *boy friend'a*[286].

Другая приятная сторона жизни зверей в Банфе — это отсутствие вражды между ними и угрозы со стороны человека. Здесь все живет в мире, словно в библейском раю. Полно диковинных зверей, бродящих так же невинно, как в детских грезах человека. Медведи, обычно грозные животные, стоят здесь на задних лапах и ластятся к людям ради кусочка сладкого печенья, чему их никто специально не учил, — мохнатые чудовища с парадоксальной благовоспитанностью ангелов. Все это выглядит сказочно и нереально. Как же охотно люди отрываются здесь от повседневной действительности, утомляющей своей обыденностью!

Чтобы усилить эффект, предусмотрительные отцы города Банф всем улицам, за исключением главной — Банф-авеню, присвоили названия окрестных зверей. Так, недалеко от реки Лучной — *Wow River* — протянулись улицы Рысья и Бизонов, параллельно им улицы Карибу, Волчья, Хорьков и Лосиная, есть, конечно, и Медвежья, и Гризли, и улица Горных Баранов, Бобровая, Выдровая, Росомашья, и так более тридцати улиц. Не обошли ни одного из любимых животных, и даже белкам, кроликам, ласкам и суркам воздали должное.

Все эти звери в большом количестве околачиваются тут же за городом, часто шныряют между домами и избегают лишь центральных, более людных улиц днем. Автомобилей они не боятся. Только стадо бизонов ввиду их исключительной ценности заключено в огромном заповеднике, где они живут в естественных условиях. Остальные ходят по белу свету, где и как им вздумается. Например, в районе Пурпурных озер — *Vermilion*, расположенных в полумиле от города и лежащих у подножия могучего массива Норквей (8275 футов над уровнем моря), утром и вечером можно подойти к лосям, пасущимся на

Индейские дни

В середине июля в Банфе поднялась радостная суматоха, засуетились тысячи туристов. «Индейские дни в Банфе» (Banff Indian Daus) — это не шуточный магнит. В эти дни сюда съезжается около тысячи индейцев из трех близлежащих племен: ассинибойнов, кри и черных стоп, чтобы организовать свои игры и покорить толпы туристов.

Веселые съезды прерийных племен в середине лета не являются чем-то новым. С незапамятных времен, еще задолго до появления белого человека, они относились к главным ежегодным обрядам. Прежде всего во время исполнения Танца Солнца — важнейшего обряда индейцев прерий — происходило торжественное посвящение юношей в воинов. Когда белые захватили прерии и заключили индейцев в резервации, они настрого запретили им исполнение Танца Солнца и всякие собрания племен, считая их подозрительными. Этим и подобными грубыми приказами они, как известно, нанесли индейцам тяжелую моральную и физическую травму.

В таких условиях учреждение около трех четвертей века назад Индейских дней в Банфе оказалось спасительной отдушиной для близлежащих племен и внесло немного радости в их жизнь. Эти дни напоминали индейцам давние вольные времена, воодушевляли их, хотя не было уже Танца Солнца. Любопытнее всего, что белые сами вызвали индейцев на ежегодные съезды и игры, хотя и не с филантропическими целями. Белых, как обычно, интересовали собственные развлечения и бизнес.

Идея Индейских дней возникла совершенно случайно. Летом 1889 года в Скалистых горах прошли проливные дожди, которые размыли полотно канадской Тихоокеанской железной дороги и прервали на несколько дней движение поездов. Многочисленных путников пришлось разместить в Спрингс Отеле в Банфе. Они всячески бранились из-за вынужденной задержки, и администратор отеля старался изо всех сил, чтобы как-то их убоготворить. Он попросил о помощи своего приятеля, агента индейцев в близлежащих резервациях, а этот весельчак выкинул неплохую шутку: ночью он прислал в Банф несколько десятков индейских семей с палатками, конями и всем дорожным скарбом. Наутро, когда постояльцы отеля проснулись, они пришли в панику. Однако после кратковременного испуга и недоумения их охватил восторг при виде живописного лагеря, разбитого рядом с отелем.

Так как это происшествие совпало с периодом летних съездов индейцев, то многие из них щеголяли в праздничных нарядах, оставшихся от былых времен. Мало того, индейцы принялись за свои излюбленные обряды, и белые гости с восхищением наблюдали их состязания, скачки, укрощение диких мустангов, стрельбу из луков, племенные танцы и другие чудеса. Открыв этот доходный источник аттракционов для туристов, белые уже не зевали. Так вошли в обычай ежегодные Индейские дни в Банфе, знаменитые по всей Канаде и привлекающие множество гостей из Соединенных Штатов. Веселые, увлекательные цирковые конные упражнения с каждым разом все больше нравились публике. Индейцы их особенно любят. Хотя эти упражнения повторяются в течение многих лет, они никому не наскучили и продолжают привлекать толпы приезжих.

Небывалое очарование нисходит в эти дни на восхитительный городок

Банф. Время словно отступает на целое столетие, индейцы снова становятся здесь хозяевами, они задают тон всему, заполняют долину веселым шумом и колоритной красочностью своих нарядов, а белые только смотрят, жадно впитывая экзотические впечатления. В праздничные дни весь Банф живет как бы в приятном опьянении.

В атмосфере веселых чудачеств все становится возможным: и то, что на неприкосновенном гольфовом поле близ Спрингс Отеля играют индейцы (кстати, совсем неплохо), и то, что индейские вожди в качестве арбитров красоты белых дев измеряют их бюсты и бедра, выбирая Мисс Банф.

Чтобы окончательно перевернуть вверх ногами все понятия и довести шутку до предела, писатель из Польши разрешил грозному воину в индейском музее нацелить лук прямо в польскую грудь: воин, к счастью, был фигурой из воска.

Но черт возьми, разве не кажутся здесь порой и многие другие вещи нереальными, словно вылепленными из воска?

Медведи

В течение последних двадцати шести лет, то есть со времени моего последнего посещения Канады, ничто не изменилось так основательно, как отношение человека к медведям. Прежде всего я имею в виду белого человека. И наоборот: до чего же изменился подход многих медведей к людям! Четверть века назад медведь был опасной, таинственной силой канадской тайги, силой, вызывающей суеверный страх и почтение. Он был грозным символом лесных дебрей, а потому вожделенным трофеем для мужественных охотников.

Индейцы почитали медведя как магическое воплощение лесных духов, у которых, убивая их, нужно просить прощения. Правда, уже тогда кое-где в национальных парках Скалистых гор медведи выходили на дороги и, падкие на сладкое печенье и немного прирученные, позволяли фотографировать себя с близкого расстояния. Но то были сенсационные случаи. По всей Канаде медведь считался мрачным детищем диких сил природы, что наполняло канадцев некой гордостью. Тогдашние воззрения я описал в двух разделах моей «Канады, пахнущей смолой»: «Опасные медвежата» и «Медведица».

А нынче — как все изменилось! Мохнатый зверь перестал казаться дьяволом, легенда о страшном чудовище развеялась, и человек видит в нем почти забавную диковинку, живого гротескового медвежонка — Тедди. И некогда грозный хищник — о чудо! — стал действительно забавным. Это не значит, что люди его специально охраняют: сейчас в связи с размножением диких зверей наверняка больше медведей гибнет от пуль охотников, чем прежде, но там, где их не хотят убивать, родилась комичная, трогательная, я бы сказал, странная дружба между человеком и диким медведем. То же самое происходит и за пределами национальных парков.

В многочисленных поселках лесорубов и сплавщиков леса, разбросанных на лесных пространствах, выработался своеобразный кодекс чести, к неписаным правилам которого принадлежит, между прочим, неприкосновенность медведей. Тех и других связывает как бы ощущение общественной солидарности существ, живущих совместно в лесу и благодаря лесу. Сообразительные мишки быстро оценили благоприятную конъюнктуру и, признав лесорубов

своими друзьями, охотно посещают их поселки. Они знают, что им перепадет из кухни не один вкусный кусок. Примеры такого рода дружбы настолько многочисленны, что стали прямо-таки типичным явлением для канадских лесов, и эпизод в семье Ломбаров не относится к числу редких.

Ломбары — смелая, дружелюбная к людям и зверям семья, родом из-под Сандомира. — Старый Ломбара, отец, приехал в Канаду в 1927 году и, кое-что скопив, в 1961 году семидесяти двух лет от роду возвратился в Польшу. За несколько лет до своего возвращения он вызвал в Канаду из Польши трех сыновей, живущих сейчас в Онтарио.

И вот один из них, Ян Ломбара, работавший в поселке лесорубов невдалеке от железнодорожной станции Хемло, примерно в двадцати милях к востоку от станции Маратон, весной сплавливал по реке стволы срубленных деревьев, а его жена Мария тем временем в поселке возилась на кухне. Медведи, достаточно многочисленные в той местности, скоро убедились, что она женщина сердечная и голодному не откажет.



Однажды приковылял этаким черным подросток, совсем еще молокосос, хотя весом килограммов в сто, и получил корм. Он полюбил милую благодетельницу, ибо на следующий день вставал на задние лапы и ел из рук. На третий день он вежливо лизал ее ладонь, как бы благодаря за щедрость. На четвертый этот симпатяга уже не думал возвращаться в лес, а завалился в сених, терпеливо ожидая очередного кормления. Разлегся на самом проходе, и людям трудно было его не задеть, он же каждый раз галантно приподнимался и любезно пропускал проходящих.

Через неделю явился другой медведь, постарше, и прогнал первого. Это был бессовестный нахал, он никому не понравился. Желая его отогнать, Ян Ломбара прострелил ему конец уха. Испуганный мишка сделал несколько прыжков в сторону, однако быстро вернулся, чтобы доесть содержимое покинутой миски. Только после этого он сбежал в чащу и больше не возвращался. Как видно, не понравилась стрельба.

Симпатичный же бутуз приходил снова и снова, получал вкусную еду, но, к сожалению, недолго. Заявилась медведица с двумя малышами, бесцеремонно выставила молодого мишку и полностью овладела кухней, сердцем Марии Ломбара и чуть ли не всех жителей поселка. Неотесанная и не слишком доверчивая, старая пройдоха сама держалась в стороне, но малышкой своих охотно подпускала к людям. Чудесные, игривые карапузы покорили людей и получали столько корма, сколько в них влезало.

Дружба, основанная на наслаждениях обжорства и щедрости кухарки, длилась до тех пор, пока Ломбары были в поселке. После их отъезда здесь поселилось экономное на еду и даже скуповатое ирландское семейство. Когда у мед-

ведей кончились лакомства, они гневным ворчанием выразили свою обиду, но скандала не учинили. Отгоняемые палками, звери в конце концов примирились с печальной действительностью и ушли в лес, чтобы через несколько дней пробраться ночью в кладовку с запасами продовольствия и произвести там немалые опустошения. Ирландцы хотели устроить охоту и перебить медведей, но этому воспротивились остальные лесорубы. Вскоре обиженные звери покинули эту местность.

Афффект

Кормление диких зверей в лесу — рискованная забава, которую нельзя внезапно прервать. Если вдруг перестать кормить зверя, обнаглевший мишка способен утратить хорошее настроение и, неожиданно разозлившись, обрушить на человека свою страшную силу. Медведя, если бы он даже не пускал в ход клыки и когти, без оружия не одолеть и десятку атлетов.

В национальных парках в Скалистых горах не разрешается кормить медведей, но — редкий в Канаде случай недисциплинированности — никто и не думает о запрете. Люди бросают мохнатым попрошайкам пищу из автомобилей, а наиболее смелые выходят на дорогу, чтобы фотографировать их вблизи. Медведи на дорогах придают особое очарование национальным паркам и, если бы непослушные туристы перестали их кормить и звери исчезли с автострад, парки много бы потеряли.

Каждому, кто въезжает на автомобиле в какой-либо из парков, полиция вручает на границе отпечатанное серьезное предупреждение. «Медведи, — гласит совершенно справедливая памятка, — это дикие звери. Каждый из них вблизи может стать опасным. Он может броситься на тебя внезапно и без видимой причины. Для твоей безопасности правила парка запрещают кормление медведей. Не рискуй!»

Однако люди рискуют, ибо все немного помешались на канадских медведях и воспылали к ним неодолимой страстью. Попросту — такова мода! Люди прощают медведям, когда те в отсутствие охотников или рыболовов врываются в лагерь, разрушают палатки и пожирают запасы продовольствия. Какое интересное приключение! Чудесные проказники! На них не сердились (по крайней мере те, кто не пострадал) даже тогда, когда эти «шалуны», чтобы добраться до коробки с лакомствами, разнесли оставленный ненадолго кадиллак стоимостью в шесть тысяч долларов.

Бывают и страшные трагедии. Летом 1959 года женщина, жившая в кемпинговом бунгало в Джаспер Парке, потеряла дочурку. Трехлетняя девочка играла перед домом, как вдруг появился медведь, схватил ребенка — случай, какого много лет не бывало в парках, — и спокойно направился к лесу. На крик ребенка мать выбежала из дому, схватила палку и догнала хищника. Она стукнула его по голове и носу, но этим только довела зверя до бешенства. Он оттолкнул женщину, а ребенка через несколько сот шагов растерзал насмерть и бросил.

Случай убийства стал большой сенсацией. Два года спустя нам все еще рассказывали о нем. Но в каком удивительном освещении! Медведь был убийцей, этого нельзя было отрицать, но всему виной, оказывается, была мать, ибо она раздражила зверя.

Вот это снисходительность! Любовь, как поется в песенке, все прощает, да-

же любовь к мохнатым разбойникам.

Супергризли

Осенью 1955 года старая индеанка из племени кри, живущая в районе Малого Невольничьего озера в провинции Альберта, отправилась в лес к югу от озера, вооруженная лишь легким малокалиберным карабином. Каждый год в это время она охотилась на белок. Это была необыкновенная женщина и великолепный стрелок — она попадала мелким зверькам точно в глаз, не портя шкурки.

В чаще леса, у подножия гор, носящих название Swan, Hills (Лебединые горы), она наткнулась на необычного зверя. Это был медведь, каких она прежде никогда не видела. Рассерженный внезапным появлением женщины, зверь хотел кинуться на нее, но смелая индеанка не утратила хладнокровия. Два выстрела грянули один за другим, и могучий зверь, пораженный в глаза маленькими пульками, пошатнулся, упал и, хрипя, испустил дух.

Только тогда индеанку охватили изумление и страх, ибо перед ней был зверь, совершенно не похожий на известных ей медведей: огромный, могучий, невероятного роста серый гигант, чуть ли не вдвое больше своих нормальных черных сородичей. У женщины на мгновение помутилось в голове — ей показалось, что она убила легендарного демона, лесное чудище из сказок старых воинов, настолько этот колосс отличался размером от прочих зверей.

Когда весть об этом медведе вырвалась из лесов, она произвела большое впечатление не только в Альберте, но и во всей Канаде. Число известных до тех пор канадских медведей обогатилось новым видом. Это был низинный, пре-рийный гризли, еще более могучий, чем гризли Скалистых гор, зверь, открытие которого отдалось эхом в прессе и наполнило всю Канаду патриотическим шумом. Обладание таким супергризли было первоклассной сенсацией. Натуралисты, ломая голову над загадкой гиганта, обратились к документам прошлого, и по запискам давних путешественников и охотников обнаружили, что это не был новый вид медведя, а вид некогда известный и ныне поднятый из забвения, как бы воскресший из мертвых. Выяснилось, что еще до второй половины XIX века по прериям рыскали низинные гризли, плотоядные гиганты, питавшиеся мясом бизонов, на которых они охотились в прериях. Когда около 1880 года в прериях были истреблены последние бизоны, исчезли и низинные гризли, лишенные прежнего корма.

Теперь стало ясно, что не все животные погибли в ту пору. Очевидно, немногие оставшиеся в живых гризли подобно небольшой части бизонов бежали на север и забились в канадские лесные дебри. Они запрятались там так успешно, что в течение трех четвертей века этот вид считался исчезнувшим, и лишь случай со старой индеанкой опроверг такое мнение.

В 1956 году, вскоре после описанной встречи с низинным гризли, в лесную чащу отправилось несколько научных экспедиций. Они искали редкостного медведя в районе гор Суон Хиллс. Через некоторое время мир узнал об успешных результатах поисков: низинные гризли существовали! Правда, в небольшом количестве, обусловленном их необычайной прожорливостью, однако достаточном, чтобы обеспечить дальнейшее существование этому виду.

Канадское правительство немедленно выделило огромную территорию

площадью около десяти тысяч квадратных миль под медвежий заповедник, где зверей запрещается убивать. В этом была большая заслуга молодого натуралиста Эль Эмига, обладавшего собственным парком диких зверей под Эдмонтоном, в Альберте. Этот энтузиаст прославился в качестве защитнику родной фауны, так же как некогда Грей Оул (Серая Сова) достопамятный заступник бобров.



Вот таким образом великолепное создание природы — низинный гризли, гигант ростом более трех метров, спасся от гибели в то время, когда толпы варваров, создававших в конце XIX века почву для американской цивилизации, истребляли в прериях зверей.

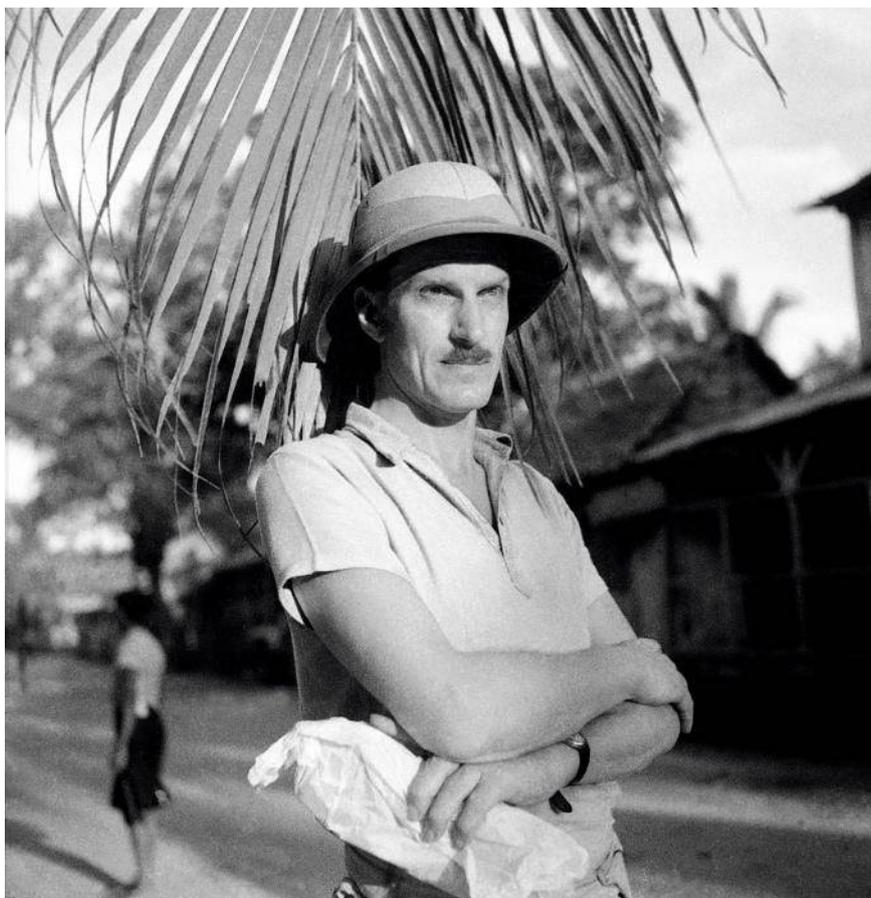
Этот эпизод возвратил мою память к тем далеким временам, когда я, подросток с пылающими щеками, зачитывался описанием путешествия Сенкевича по Америке. До сих пор перед моими глазами стоит картина: «...большой серый медведь гризли, который бродил слишком близко от станции Чейн и был убит, точнее, расстрелян из всех винтовок, какие только нашлись». Станция Чейн лежит как раз на границе прерий и Скалистых гор, а дальнейшие заметки Сенкевича о размерах этого чудовища наводят на мысль, что это, вероятно, был низинный гризли, хозяин прерий 70-х годов прошлого века.

И еще одна любопытная и выразительная деталь. Где, собственно говоря, находятся эти Лебединые горы, которые в течение стольких десятилетий сохраняли в тайне и уберегали от человеческого глаза огромных хищников? Можно подумать, что они расположены далеко на севере, в беспредельности снежной пустыни. Нет, вовсе нет! Эта медвежья чащоба начинается чуть ли не под боком у Эдмонтона, столицы провинции Альберта, в каких-нибудь ста километрах к северо-западу от города. Она раскинулась на пространстве между рекой Атабаска и Малым Невольничьим озером, а заканчивается несколько дальше к западу от этого озера, на границе нового густо заселенного района, где расположен сельскохозяйственный округ реки Пис.

Таким образом, посредине между двумя многолюдными центрами развитой американской цивилизации — каждый центр с широкой сетью автострад, с десятками тысяч автомобилей и телевизоров — сохранилось более десяти тысяч квадратных миль совершенно безлюдного, дикого, нетронутого до недавнего времени девственного леса, без единой мили шоссе, зато с необыкновенным медведем, о существовании которого никто не имел понятия — и все это, повторяю, под боком у Эдмонтона, города с третью миллиона жителей.

Вот аромат Канады и ее девственных лесов!

Об авторе



«Я принадлежу к той категории мечтателей, которые, однажды ухватившись за мысль, стремятся с неутомимой выдержкой, а может быть и упорством бороться за нее так долго, пока не осуществят своих чаяний», — так характеризует свою деятельность путешественника и натуралиста один из крупнейших современных исследователей дальних стран, польский писатель Аркадий Фидлер.

Труден был путь писателя, которого влекли к себе жажда познания мира и людей. Благодаря своей «неутомимой выдержке, а может быть и упорству» Аркадий Фидлер сумел успешно окончить философский факультет Краковского и факультет естественных наук Познанского университетов. Затем последовали годы тяжелой борьбы за существование в условиях буржуазно-помещичьей Польши, и лишь в двадцатых годах Фидлеру удалось приступить к осуществлению своих давних сокровенных мечтаний — он отправился в первое путешествие. Это была довольно скромная поездка — охота на северного зверя в Норвегии. Но постепенно пути начинают удлиняться, задачи становятся шире и сложнее: в конце двадцатых годов А. Фидлер едет в большую экспедицию по странам Южной Америки. Более года странствует он по Бразилии, исследуя флору и фауну бассейна реки Амазонки, а затем предпринимает поездку по Эквадору и Перу. В начале тридцатых годов следует длительная экспедиция в Канаду, а после нее — поездка на остров Мадагаскар, на остров Таити и в другие уголки земного шара. Вторая мировая война застает писателя на Таити. Фидлер немедленно перебирается во Францию и активно включается в борьбу против фашизма. Он плавает на военных и торговых кораблях, пишет статьи, становится неофициальным историографом польских воинов, сражав-

шихся в рядах союзных армий против гитлеровской Германии. Правдивые и волнующие книги Фидлера, написанные в этот период, — «Дивизион 303» и «Благодарю тебя, капитан!» нашли читателей не только в Польше — они изда ны также на английском, французском, португальском и голландском языках.

Вскоре после войны Фидлер побывал в Мексике, собрав там обильный ма териал для изучения истории страны.

В 1951–1952 гг. в составе делегации польских писателей Фидлер посетил Со ветский Союз. Результатом явилась коллективная книга, носившая знамена тельное название: «Среди друзей». Фидлер так рассказывает о пребывании в нашей стране: «...я завязывал личную дружбу с людьми многих народов и пле мен. Но одно могу утверждать с чистой совестью: нигде я не ощутил столько и такой искренней человеческой дружбы, как в Советском Союзе». Третья боль шая поездка Фидлера — из числа послевоенных — в Индокитай. Писатель по бывал в самых глухих и отдаленных уголках Вьетнама, Лаоса и Камбоджи и собрал исключительно ценные и интересные материалы.

* * *

За сорок лет своих странствий по свету Фидлер написал восемнадцать книг. Лучшие его книги: «Рыбы поют в Укаяли», «Рио де Оро», «Канада, пахну щая смолой», «Горячее селение Амбинанитело» и «Маленький Бизон», неодно кратно издавались в Англии, Франции, Швеции, Швейцарии, ГДР, Чехослова кии, Голландии, странах Южной Америки. Советские читатели тоже знакомы с лучшими произведениями А. Фидлера, отрывки из которых публиковались в журналах: «Рыбы поют в Укаяли» («Пионер» № 6 и 7, 1956 г.); «Рио де Оро» (Там же, № 10, 1955 г.); «Горячее селение Амбинанитело» («Вокруг света», № 1, 1957 г.). Готовится к изданию на русском языке повесть «Маленький Бизон».

За свою литературную и исследовательскую деятельность А. Фидлер на гражден несколькими орденами и серебряным лавровым венком Академии литературы Польской Народной Республики.

Я. Немчинский

Примечания

1

Каперство (с середины XVII в. вплоть до 2-й половины XIX в.) — узаконенные государством военные действия частных судов против неприятельских судов, а также судов нейтральных стран, занимающихся перевозкой грузов для неприятельского государства; морской разбой.

[^^^]

2

Речь идет, вероятно, о туканах — типичных обитателях Южной и Центральной Америки (*здесь и далее прим. пер.*)

[^^^]

3

Эти птицы, довольно распространенные в Южной Америке, охотно живут вблизи человеческого жилья. Индейцы называют их «ани». Название это, распространенное и среди португальцев в Бразилии, перешло в официальную терминологию орнитологии. Латинское их название *Crotophaga ani*.

[^^^]

4

Это, бесспорно, была красная носуха (*Nasua rufa*) — зверек из семейства енотовых, широко распространенный в лесах Южной и Центральной Америки.

[^^^]

5

Из описания можно предположить, что это были известные в Южной Америке грызуны — агуты (*Dasiprocta aguti*).

[^^^]

6

Не вызывает сомнения, что это были капибары, известные также под названием водосвинки (*Hydrochoerus carubara*).

[^^^]

7

Льянос — (от исп. *llano* — равнина) — тип саванны на северо-востоке Южной Америки.

[^^^]

8

Апия (на языке араваков) — ламантины (*manatidae*) — семейство млекопитающих отряда сирен. У берегов Центральной и Южной Америки распространено три их вида.

[^^^]

9

Речь идет о рыбах пирайя, отличающихся крайней хищностью и обитающих в реках Южной Америки.

[^^^]

10

Трембладор (исп.), буквально «потрясающий», — электрический угорь.

[^^^]

11

Речь идет о попугаях ара, или ара, два вида которых — красные и синие, обитают в лесах Южной Америки. Это самые крупные попугаи — общая длина их достигает 1 метра, в том числе длина хвоста — 58 сантиметров.

[^^^]

12

Мангровые леса — растут на затопляемых приливом морских побережьях в вязком илистом грунте: деревья имеют сильно разветвленные, полупогруженные в ил, так называемые ходульные корни.

[^^^]

13

Мальборо, Джон Черчилл (1650–1722) — английский генерал и дипломат.

[^^^]

14

Дрейк, Френсис (1540–1596) — английский мореплаватель, вице-адмирал, участник англо-испанской колониальной войны 1566 года.

[^^^]

15

Я сожалею (*англ.*).

[^^^]

16

Проклятье! (англ.)

[^^^]

17

Индейское подтверждение: «Я сказал!»

[^^^]

18

Здесь: «Ладно!» (англ.)

[^^^]

19

Проклятье! (*англ.*)

[^^^]

20

Эй, старина! (англ.)

[^^^]

21

Замечательно! (англ.)

[^^^]

22

«Ах, конь!» (индейск.) — здесь: властитель табуна.

[^^^]

23

Саскатун — название растения, ягоды которого индейцы употребляли в пищу.

[^^^]

24

Местное название пинии, или итальянской сосны.

[^^^]

25

По-португальски «капирао». Так во многих местах Бразилии именуют начальников индейских лагерей, состоящих обычно из 5-30 семей. В разговорной речи «капирао» означает «вождь». Капитон всегда индеец в отличие от «директора индейцев», который преимущественно бывает белым правительственным чиновником. — *Прим. автора.*

[^^^]

26

Приятель, кум (*португ.*).

[^^^]

27

Добрый вечер (*португ.*).

[^^^]

28

Добрый день (португ.).

[^^^]

29

Да (португ.).

[^^^]

30

Денежная единица Бразилии, замененная в 1942 г. крусейро.

[^^^]

31

Кустарниковое растение из семейства молочайных, клубневидные корни которого употребляются в пищу.

[^^^]

32

Растение из семейства вьюнковых. Его клубни (так называемый сладкий картофель) употребляют в пищу.

[^^^]

33

Постоялый двор, корчма (*исп.*). Здесь: лавка и кабачок одновременно.

[^^^]

34

Вид мелких попугаев.

[^^^]

35

Нет (нормыг.).

[^^^]

Перелесок.

[^^^]

37

Хорошо (*португ.*).

[^^^]

Проклятие (португ.).

[^^^]

39

Владелец большого участка земли (*португ.*).

[^^^]

40

Нарезное ружье (нем.).

[^^^]

41

Оптический прицел на ружье.

[^^^]

42

Длинный нож-тесак с широким лезвием.

[^^^]

43

Здесь: Покурим (*португ.*).

[^^^]

44

Здесь: Выпьем водочки? (португ.).

[^^^]

45

Достаточно (португ.).

[^^^]

46

Недостаточно (*португ.*).

[^^^]

47

Лесная дорога (*португ.*).

[^^^]

48

Житейская мудрость (франц.).

[^^^]

49

Соединенные Штаты Бразилии (*португ.*).

[^^^]

50

Мелкая монета, равнявшаяся 1/1000 мильрейса и имевшая хождение до замены последнего крусейро.

[^^^]

51

Старинное гладкоствольное ружье.

[^^^]

52

Прощай (*индейск.*).

[^^^]

53

Автор имеет в виду сильные приливные волны в устье Амазонки высотой до 5 метров, разрушающие берега. — примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.

[^^^]

54

Кордильеры — горный пояс в западной части Северной и Южной Америки. Кордильеры Южной Америки называют Андами. — примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.

[^^^]

55

Об этом подробно написано в главе «Эльдорадо». - примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.

[^^^]

56

Пара — южный устьевой рукав Амазонки. — примеч. канд. географич. наук
Е. Н. Лукашовой.

[^^^]

57

Укаяли — правый исток Амазонки; от слияния Мараньона с Укаяли начинается собственно Амазонка. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

58

Дословно — варварство (*португ.*), выражение удивления.

[^^^]

59

Почему бы и нет? (*португ.*)

[^^^]

60

Герой романа Г. Сенкевича «Камо грядеши». Силач, который в древнем Риме на цирковой арене единоборствовал с хищными зверями. (*Прим. перев.*)

[^^^]

61

Парана — крупная река в Южной Америке. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

62

Идальго (исп.) — титул мелкого дворянина в Испании.

[^^^]

63

Из плодов пальмы *асаи* (или эвтерпа — *Euterpe oleracea*) получают масло, а молодые побеги пальмито, по вкусу напоминающие спаржу, употребляются в Бразилии в качестве овощей. Из мякоти плодов приготавливают освежающий и возбуждающий напиток. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

64

Штаты на востоке Бразилии. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

65

Во всей книге терминами «*тропический лес*», «*дебри*», «*чаща*», «*пуща*» автор обозначает влажно-тропические, точнее влажно-экваториальные леса, названные А. Гумбольдтом гилеями. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

66

Маниока (*Manihot utilissima*) — одна из важнейших культур тропиков, родина — Восточная Амазония. Богатые крахмалом (до 40 %) клубни кустов маниоки достигают веса 5 килограммов и употребляются в пищу в отваренном или поджаренном виде; из них же готовится мука (тапиока) для лепешек, супов и приправ. Сырые клубни маниоки ядовиты. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

67

Кастанья ду Пара — крупные плоды дерева бертолеции (*Bertolletia excelsa*). Внутри твердой скорлупы содержится от 12 до 24 вкусных семечек, очень богатых белками и маслом. Под названием «американский» или «бразильский» орех экспортируются из Бразилии (до 20 тысяч тонн в год). - *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

68

Игуана — крупная американская ящерица. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

69

Арара — точнее ара. — примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.

[^^^]

70

Анаконда, или водяной удав (семейство боа), — распространенная в бассейне Амазонки самая длинная на земле змея, достигающая 11 метров. — примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.

[^^^]

71

Пекари — обитающие только в Америке представители группы свинообразных (подотряд парнокопытных), похожи на мелких свиней. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

72

Точнее, танагры. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

73

Кайманы — род американских крокодилов, у которых панцирем покрыта не только спина, но и брюхо. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

74

Средние глубины главных устьевых рукавов Амазонки 20–40 метров. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

75

Арапаима достигает длины 4,5 м и веса 200 кг. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

76

Х. В. Бейтс (Бэтс) (1825–1892) — выдающийся английский натуралист, исследовавший бассейн Амазонки в 1848–1859 гг. (см. Х. Бэтс, «Натуралист на Амазонке», 1865 г.). - *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

77

Александр Гумбольдт (1769–1859) — знаменитый немецкий ученый и путешественник, изучавший природу ряда стран Центральной и Южной Америки (см. Сафонов В. А., «А. Гумбольдт», М., 1936 г.). - примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.

[^^^]

78

Эпифиты — растения, живущие на других растениях (не паразиты); к ним принадлежит большинство орхидей. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^ ^^]

79

А. Р. Уоллес (1823–1913) — крупный английский естествоиспытатель, исследователь тропиков, совместно с Х. Бейтсом изучавший бассейны Амазонки и Ориноко в 1848–1852 гг. — примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.

[^^^]

80

Серингейрой в Бразилии называют каучуковое дерево. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

81

Тапир — представитель непарнокопытных, обитающий в болотистых густых лесах, питается растениями; мясо его вкусно. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

82

Урубу — хищные птицы из семейства грифов. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

83

Шингу — правый приток нижней Амазонки, *Арагуая* — приток реки Токантинс, имеющей общее устье с рекой Пара; обе стекают с Бразильского нагорья на север. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

84

Не сдержал. Сам Уинтон тоже бесследно исчез.

[^^^]

85

Река Жавари — правый приток верхней Амазонки; на значительном протяжении по ней проходит граница между Перу и Бразилией. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^ ^^]

86

Тефе — территория между правыми притоками Амазонки Журуа и Пурус; в устье реки Тефе на Амазонке стоит селение Тефе. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

87

Тапажос — приток Амазонки, течет на север с Бразильского нагорья. — примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.

[^^^]

88

Сан-Паулу-ди-Оливенса — городок на правом берегу Амазонки ниже впадения реки Жавари. — примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.

[^^^]

89

Табатинга — бразильское селение на левом берегу Амазонки на границе с Перу у впадения реки Жавари. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

90

Veto — не разрешаю (лат.).

[^^^]

91

Нано — левый приток верхней Амазонки; берет начало в Андах Эквадора, впадает немного ниже Икитоса. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

92

Вампиры — американские летучие мыши из семейства листоносов. — *примеч.*
канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.

[^^^]

93

Термиты относятся к отряду прямокрылых, а муравьи — перепончатокрылых. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

94

Итая — мелкий левый приток реки Мараньон, впадающий у Икитоса. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

95

Наркотик кокаин получают из листьев кустарника кока (*Erythroxylon coca*), культивируемого на плантациях; родина кока горные леса Анд Перу и Боливии. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

96

Средние месячные температуры в Икитосе от +23,4° до +25,8°. - *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

97

Сантьяго, Пастаса и Морона — левые притоки реки Мараньон, главного истока Амазонки, впадающие вблизи выхода его из Анд. — примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.

[^ ^^]

98

Кумария — селение на правом берегу верхней Укаяли. — примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.

[^^^]

99

«Эдда» — сборник мифов древних скандинавских стран.

[^^^]

100

Туловище земляного паука-птицееда (*Mugale*) достигает 5 см длины; помимо насекомых, паук-птицеед питается также мелкими птицами. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^ ^^]

101

Отряд пауков принадлежит к классу паукообразных, входящих, как и класс насекомых, в подтип членистоногих. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

102

Ленивцы (отряд неполнозубых) живут в лесах Южной Америки, почти не спускаясь на землю; очень медленно передвигаются по деревьям или висят на ветвях спиной вниз, за что и получили свое название. Питаются листьями и плодами. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

103

Пуны — полупустынные межгорные плато в Андах Перу и Боливии. — *примеч.*
канд. географич. наук *Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

104

Пеоны — так называют в Южной Америке батраков, находящихся в долговой зависимости от помещика. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

105

Бромелии (или ананасные) — характерные только для Южной Америки растения, большей частью эпифиты; к семейству бромелиевых принадлежит и вошедший в культуру ананас (*Ananas sativus*). - *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

106

Ваниль (*Vanilla planifolia*) — лиана из семейства орхидных; ее стручкообразные, высушенные незрелыми плоды известны как «палочки» ванили. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^ ^^]

107

Седро (*Gedrela odorata*, семейство мелиевых) обладает ценной душистой древесиной. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

108

Запах камфары издают многие вечнозеленые растения семейства лавровых, губоцветных и др. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

109

Богомол — представитель прямокрылых, семейство мантид. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

110

Сумаума, или сейба (Ceiba pentandra), как и многие другие деревья влажно-тропических лесов, имеет досковидные корни, подпирающие и удерживающие ствол. — примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.

[^^^]

111

Мамон — дынное дерево (*Carica papaya*), дающее крупные вкусные плоды, напоминающие дыню. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

112

Пашиуба (*Jriartea exorrhiza*) имеет высокие ходульные корни, поддерживающие ствол во время разливов рек. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^ ^^]

113

СколOPENдры принадлежат к классу многоножек. — примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.

[^^^]

114

Капибара — водосвинка (семейство полукопытных) — самый крупный грызун, достигающий в длину 120 см. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

115

Мимикрия — непроизвольное защитное приспособление растений и животных, выражающееся в сходстве с другими организмами или предметами окружающей среды. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

116

Юкка, или айпин, — неядовитый вид маниоки (см. примеч. 10) — *Manihot aipi*. - примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.

[^^^]

117

Средний сток Амазонки 3160 куб. км в год, Волги — 255 куб. км в год. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

118

*Ихтиологи — зоологи, изучающие рыб. — примеч. канд. географич. наук
Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

119

Асьендадо — владедец асьенды. — примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.

[^^^]

120

Реку Укаяли образуют реки Апуримак и Урубамба, место слияния которых и считается началом Укаяли. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

121

— О боже мой!.. (*франц.*)

[^^^]

122

Барический минимум — область низкого давления атмосферы. — *примеч.*
канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.

[^^^]

123

Намдален — область в центральной части Норвегии. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

124

«Святовид» — старый журнал, издававшийся в буржуазной Польше. (Прим. перев.)

[^^^]

125

Энтомологи — биологи, изучающие насекомых. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

126

Иваи — левый приток реки Параны. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

127

Гринго — чужестранец. — примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.

[^^^]

128

Пан д'Асукар — «сахарная голова» — коническая вершина высотой 390 м при входе в залив Гуанабара, на берегу которого расположен Рио-де-Жанейро. — *примеч. канд. географич. наук Е. Н. Лукашовой.*

[^^^]

129

Августовские озера — система озер (крупнейшие Нецко, Бяле, Сайно) вблизи города Августов в Белостокском воеводстве в Польше, — Прим. ред.

[^^^]

130

Party (англ.) — прием гостей, вечеринка.

[^^^]

131

Sweetheart (англ.) — возлюбленная.

[^^^]

132

Coueurs des bois (франц.) — лесные скитальцы.

[^^^]

133

Злобным это попустительство было потому, что правительство Соединенных Штатов, проводившее тогда беспощадную войну с индейскими племенами в прериях, было заинтересовано в истреблении бизонов — основного источника питания индейцев. — *Прим. перев.*

[^^^]

134

Darling (англ.) — дорогая.

[^^^]

135

Sjpristi! (франц.) — Проклятье!

[^^^]

136

Made in Japan (англ.) — сделано в Японии.

[^^^]

137

Old fashionable England (англ.) — старой аристократической Англией.

[^^^]

138

Sic transit gloria mundi (лат.) — так проходит земная слава.

[^^^]

139

Gouin Rezerwuar (англ.) — водохранилище Гуэн.

[^^^]

140

Iroquois chute (франц.) — Ирокезский падун.

[^^^]

141

«*Hudson's Bay Company*» (англ.) — «Компания Гудзонова залива».

[^^^]

142

Muskrate (англ.) — мускусная крыса, ондатра,

[^^^]

143

Blue jays (англ.) — голубые сойки.

[^^^]

Huskies (англ.) — лайки.

[^^^]

145

Портаж (английское *portage*) — волок.

[^^^]

146

Well (англ.) — ладно.

[^^^]

147

«*Siscoe Syndicate*» (англ.) — «Синдикат Шишка».

[^^^]

148

Far West (англ.) — Дальний Запад.

[^^^]

149

Far North (англ.) — Дальний Север.

[^^^]

150

Happy end (англ.) — счастливый конец.

[^^^]

151

Сокращенное «Hudson's Bay Company».

[^^^]

152

Герой одноименной новеллы Г. Сенкевича.

[^^^]

153

All right (англ.) — хорошо, олл райт.

[^^^]

154

«*Nothing but tracks!*» (англ.) — «Ничего, кроме следов!»

[^^^]

155

Кашубы — западнославянская народность; живут в Польской Народной Республике, по языку и культуре чрезвычайно близки к полякам. До 1918 г. подвергались усиленному, но безуспешному онемечиванию. — *Прим. ред.*

[^^^]

156

Cow (англ.) — самка.

[^^^]

157

Le bienvenu (франц.) — желанный гость.

[^^^]

158

North-West Mounted Police (англ.) — Северо-западная конная полиция.

[^^^]

159

Big Bear (англ.) — Большой Медведь.

[^^^]

160

Иоахим Лелевель (1785–1861) — выдающийся польский историк; в период восстания 1830–1831 гг. — председатель буржуазно-демократического «Патриотического клуба». Карл Маркс высоко ценил заслуги Лелевеля-историка. — Прим. ред.

[^^^]

161

Маврикий Мохнацкий (1804–1834) — польский политический деятель, публицист и литературный критик; один из организаторов восстания 1830–1831 гг. — *Прим. ред.*

[^^^]

162

Meat bird (англ.) — мясная птица.

[^^^]

163

«*Never more*» (англ.) — «Никогда больше».

[^^^]

164

Гмина — низшая сельская административно-территориальная единица в Польше; до 1918 г. — низший административный орган под начальством войта. — *Прим. ред.*

[^^^]

165

«*Goddam you!*» (англ.) — «Проклятье!»

[^^^]

166

Лейшойни — второй по значению порт Португалии, аванпорт Оporto. —
Прим. ред.

[^^^]

167

Шеф-стюард — старший официант на пассажирском морском судне. — *Прим. ред.*

[^^^]

168

Oh les femmes, les femmes! (франц.) — О женщины, женщины!

[^^^]

169

Пара — прежнее название города Белена. — *Прим. ред.*

[^^^]

170

Каррамба! (исп.) — Черт побери!

[^^^]

171

Пернамбуку — прежнее название города Ресифи. — *Прим. ред.*

[^^^]

172

To the right man in the right place (англ.) — человеку, подходящему для данного дела.

[^^^]

173

Parole d'honneur (франц.) — честное слово.

[^^^]

174

Константинополь — прежнее название города Стамбула в Турции. — *Прим. ред.*

[^^^]

175

«*Adieu, du mein Gardeoffizier*» (нем.) — «Прощай, мой гвардеец».

[^^^]

176

Сеара — прежнее название города Форталеза. — *Прим. ред.*

[^^^]

177

Лоуренс Томас Эдуард (1888–1935) — английский разведчик, известный своей диверсионной и закулисной дипломатической деятельностью в странах Ближнего и Среднего Востока, направленной на закабаление этих стран английскими империалистами. Погиб в Англии в автомобильной катастрофе. — *Прим. ред.*

[^^^]

178

Карл Гагенбек (1844–1913) — известный немецкий звероторговец, основатель крупнейшего Гамбургского зоопарка. — *Прим. ред.*

[^^^]

179

Урсус — силач, персонаж романа Г. Сенкевича «Камо грядеши». — *Прим. перев.*

[^^^]

180

Мату-Гросу — штат на западе Бразилии, один из наиболее труднодоступных и отсталых районов страны. — *Прим. ред.*

[^^^]

181

Si, senhor! (португ.) — Так, сеньор!

[^^^]

182

Фазендейро (португ.) — плантатор, владелец крупного поместья (фазенды). —
Прим. ред.

[^^^]

183

Gente de razao (португ.) — благородный.

[^^^]

184

Бейтс Генри Уолтер (1825–1892) — английский натуралист и путешественник; провел одиннадцать лет в Бразилии. — *Прим. ред.*

[^^^]

185

Гумбольдт Александр-Фридрих-Вильгельм (1769–1859) — выдающийся немецкий естествоиспытатель и путешественник; в 1799–1803 гг. вместе с французским ботаником Эме Бонпланом совершил путешествие по Южной Америке. — *Прим. ред.*

[^^^]

186

Уоллес Альфред Рассел (1823–1913) — английский натуралист, создавший одновременно с Дарвином теорию естественного отбора; вместе с Г. У. Бейтсом путешествовал по Южной Америке. — *Прим. ред.*

[^^^]

187

Жамунда — искаженное название реки Ньямунда. — *Прим. ред.*

[^^^]

188

Как сообщает испанский историк Гонсало Фернандес де Овьедо-и-Вальдес (1478–1557), нескольким спутникам Орельяны удалось вернуться в укрепление и рассказать о смерти Орельяны. — *Прим. ред.*

[^^^]

189

Не сдержал. Уинтон тоже пропал без вести.

[^^^]

190

Касики — в некоторых странах Латинской Америки так называют влиятельных лиц, сосредоточивающих в своих руках фактическую власть в определенной местности и сохраняющих ее при сменах местных административных властей; с конца XIX века касиками именуют также политических заправил, боссов. — *Прим. ред.*

[^^^]

191

Грета Гарбо (настоящая фамилия Густавсон), род. в 1906 г. — знаменитая кинозвезда межвоенного двадцатилетия. — *Прим. ред.*

[^^^]

192

Сальварсан — противосифилитический лекарственный препарат. — *Прим. ред.*

[^^^]

193

В результате победы в национально-освободительной борьбе против голландских колонизаторов Индонезия получила независимость в 1945 г. В 1957 г. получила независимость и Малайская федерация.

В Индонезии все голландские плантации в декабре 1957 г. перешли под контроль правительства; в сельском хозяйстве Малайи английский капитал до настоящего времени занимает господствующее положение. — *Прим. ред.*

[^^^]

194

Автор имеет в виду период между первой и второй мировыми войнами. —
Прим. ред.

[^^^]

195

«Кук и сын» — английское бюро путешествий. — *Прим. ред.*

[^^^]

196

Pour un peu d'amour (франц.) — За миг любви.

[^^^]

197

Esplendido (испан.) — великолепно.

[^^^]

198

«Эдда» — древнеисландский сборник мифологических и героических песен VII–XIII вв., открытый в 1643 г. Брюнъйольфом Свейнсоном. Песни «Эдды», представляющие большую художественную ценность, были не раз использованы в мировой литературе и искусстве. — *Прим. ред.*

[^^^]

199

Dios! (испан.) — Боже!

[^^^]

200

Речь идет о конце 20-х — начале 30-х годов XX века. — *Прим. ред.*

[^^^]

201

Престес Луис Карлос — видный деятель бразильского и международного рабочего движения, генеральный секретарь Коммунистической партии Бразилии. В 1924 г. возглавил восстание гарнизонов на юге страны против реакционного правительства Бразилии. Руководил походом повстанческих частей — «колонны Престеса» — с юга на север через всю Бразилию (1924–1927). — *Прим. ред.*

[^^^]

202

Valentões (португ.) — здесь в значении «проходимцы».

[^^^]

203

Либертад — по-испански свобода.

[^^^]

204

Oh mon Dieu! (франц.) — О господи!

[^^^]

205

Фьельды — платообразные верхние части массивов Скандинавских гор, кое-где покрытые ледниками. — *Прим. ред.*

[^^^]

206

См. книги А. Фидлера: *Горячее сердце Лмбинанитело*, М., 1959; *Канада, пахнувшая смолой*, М., 1961; *Рыбы поют в Укаяли*, М., 1963; *Тайна Рио бе Оро*, М., 1958.

[^^^]

207

Секу Туре, *Независимая Гвинея. Статьи и речи*, М., 1960, стр. 90.

[^^^]

«Правда», 8.IX.1960.

[^^^]

209

Харматтан — сильный северный или северо-восточный ветер, который приносит из Сахары в Гвинею тучи пыли (*прим, пер.*).

[^^^]

210

Добрый день (франц.),

[^^^]

211

Благодарю (*франц.*).

[^^^]

212

Третий этаж! (франц.)

[^^^]

213

Сусу — третья крупная народность Гвинеи (после фульбе и малинке). Насчитывает около 250 тыс. человек. Сусу населяют прибрежные районы и составляют основную массу населения столицы Гвинеи Конакри. Основное занятие сусу — земледелие (*прим. ред.*).

[^^^]

214

Фульбе — народность в Западной Африке. В Гвинее проживает фута-джаллонская ветвь фульбе — свыше 1 млн. человек. Основное занятие — отгонное скотоводство и земледелие (*прим. ред.*).

[^^^]

215

Мандинго — группа африканских народностей (к ним относятся малинке, бамбара и диула). В Гвинее живут главным образом малинке которых насчитывается свыше полумиллиона. Занимаются земледелием и торговлей. Говоря о мандинго, автор, вероятно, имеет в виду малинке (*прим. ред.*).

[^^^]

216

Брус — саванновые леса (прим, ред.).

[^^^]

217

Крепкий орешек (*франц.*),

[^^^]

218

Грубое ругательство.

[^^^]

219

«Закон-рамка» (франц.). Опубликован 23 июня 1956 г. французским правительством; содержал некоторые политические и экономические реформы, касавшиеся колоний (прим. ред.).

[^^^]

Извините (франц.).

[^^^]

221

Сыскная полиция (*франц.*).

[^^^]

222

До свидания (франц

[^^^]

223

Хорошо (*франц.*).

[^^^]

224

Гибискусы — род растений семейства мальвовых (*прим. пер.*).

[^^^]

225

Бабочки семейства *Papilionidae* (парусники, кавалеры). Крупные, яркие и красивые бабочки (ок. 700 видов); особенно богато представлены в тропиках (*прим. пер.*).

[^^^]

226

Мóи — собирательное название племен Индокитая, населяющих главным образом горные районы Вьетнама. Классовое расслоение у *мóи* не завершено (прим. пер.).

[^^^]

227

Альберт Швейцер (1875–1966) — немецкий философ и врач-просветитель. С 1913 г. и до конца жизни жил в тропических лесах Габона, в местечке Ламбарене на реке Огове, где создал большой госпиталь. В ряде работ Швейцера о культуре и этике разработана проблема мира и гуманизма, которые он считает необходимым условием жизни всего человечества и своеобразной религией современности. В 1953 г. А. Швейцеру была присуждена Нобелевская премия мира (*прим. ред.*).

[^^^]

Нет, спасибо! (*франц.*).

[^^^]

229

«Мадлон» и «Долог путь до Типперери» — популярные в 50-х годах на Западе песни.

[^^^]

230

Уход от действительности (англ.).

[^^^]

231

С меня взяли пошлину из этого расчета в апреле 1960 г. (*прим. авт.*).

[^^^]

232

Происхождение фульбе до сих пор недостаточно ясно. Большинство ученых считают, что они являются представителями средиземноморской расы, хотя язык их относится к языкам бантоидного типа (*прим. ред.*).

[^ ^^]

233

Артистическое кафе в Кракове, очень популярное в начале XX в., где собирались крупнейшие представители литературы и искусства (*прим. пер.*).

[^^^]

234

Выпянский Станислав (1869–1907) — польский драматург и живописец. Начало творчества характеризуется чертами декаданса (*прим. ред.*).

[^^^]

235

Болеслав Храбрый (992—1025) — польский князь. Один из любимых героев польской поэзии и исторического романа (*прим. пер.*).

[^^^]

236

Тетмайер Казимир (1865–1940) — польский писатель (*прим, пер.*),

[^^^]

237

Лили Бадмаева — балерина Варшавского театра оперы и балета, после 1945 г. выехала за границу (*прим. ред.*).

[^^^]

238

Бубу — национальное платье африканцев Шьется из сложенного вдвое куска ткани, в котором делают отверстие для головы, По бокам ткань сшивают, оставляя прорезы для рук (*прим, ред.*).

[^^^]

239

Автор имеет в виду Вислу. Польшу в XVIII в. раздирали междоусобицы, приведшие к ее разделу (*прим. ред.*).

[^^^]

240

Ибрагим Иоро Пате — второй после Карамоко Альфа выдающийся деятель времен «джихада» — войны против неверных. Обычно давал сигнал к началу сражений по утрам, за что получил прозвище Ибрагим Сори (Ибрагим-утро) (*прим. ред.*).

[^^^]

241

Альмами — местные вожди (*прим, ред.*).

[^^^]

242

Имеется в виду колония «португальская» Гвинея, в которой, когда писалась эта книга, было действительно «тихо». Но в 1963 г, здесь началось освободительное движение, добившееся больших успехов (*прим. ред.*).

[^^^]

243

Она сумасшедшая (*франц.*).

[^^^]

244

А. Марчинский, А. Свилярский, Я. Ивашкевич — современные польские писатели и публицисты (прим. пер.).

[^^^]

245

Непереводимая игра слов: польск. *sar*, *sariogek* — козел, баран, козленок, барашек, но и болван, дурак (*прим. пер.*).

[^^^]

246

Циветта — хищное млекопитающее из семейства виверровых, величиной с небольшую собаку; ведет ночной образ жизни (*прим, пер.*).

[^^^]

247

Мой дорогой друг! (*франц.*).

[^^^]

248

Килим — ковер ручной работы (прим. пер.).

[^^^]

249

В 1959 г. страны бывшей Французской Западной Африки приняли решение о создании федеративного объединения — Федерации Мали. В июне 1960 г. Федерация Мали (в составе Судана и Сенегала) получила независимость в рамках Французского сообщества. Однако вскоре Сенегал заявил о своем выходе из Федерации. В сентябре 1960 г. Судан провозгласил себя независимым государством — Республикой Мали, — свободным от всяких обязательств в отношении Франции. В то время, когда А. Фидлер путешествовал по Африке, еще существовала Федерация Мали (*прим. ред.*).

[^^^]

250

Сделано в Польше (англ.).

[^^^]

251

Я употребляю названия «волость», «староста» довольно условно. Считаю, что выражение «староста» приблизительно соответствует должности, которую занимал Конде Альсени, — *chef de poste administratif de Koundara* (*прим, автора*).

[^^^]

252

Кмитич — герой романа Сенкевича, гордый, заносчивый, воинственный шляхтич, имя которого стало неким символом для выражения шляхетского духа средневековой Польши (*прим. пер.*).

[^^^]

253

Довольно! Возвращайтесь! (*франц.*).

[^^^]

254

Шеф, комендант округа (*франц.*).

[^^^]

255

Самори (род. ок. 1840 — ум. 1900) — выдающийся африканский государственный деятель и военачальник. Под его руководством в 1870–1875 гг. было образовано государство малинке Уассулу, занимавшее обширную территорию в бассейне Верхнего Нигера. Столицей Уассулу и резиденцией Самори была Биссандугу — небольшое селение на реке Мило. Самори сумел организовать армию, которая успешно сопротивлялась французским войскам в течение 18 лет. Самори удалось нанести французам ряд тяжелых поражений. Но к концу XIX в. сопротивление войск Самори стало ослабевать вследствие военного превосходства французов и проводившейся ими политики натравливания одного народа на другой. В 1898 г. Самори был взят в плен французами и сослан в Габон, где и умер через два года (*прим. ред.*).

[^^^]

256

Форд — американский кинопродюсер (*прим. ред.*).

[^^^]

257

Ягелло (1348–1434) — великий князь литовский с 1377 г. и польский король с 1386 г. Родоначальник династии Ягеллонов.

Баторий Стефан (1533–1586) — польский король в 1576–1586 гг. (*прим, пер.*).

[^^^]

258

Hannibal ante portas (Ганнибал у ворот) — так извещалось население города, подвергнувшегося нападению грозного полководца (*прим. пер.*).

[^^^]

259

Правительство, партия, патриотизм, свобода (*франц.*).

[^^^]

260

Партия и правительство (*франц.*).

[^^^]

261

Как поживаешь, Коко (*франц.*).

[^^^]

Столовое вино (франц.).

[^^^]

263

Орел-скоморох, или фигляр (*Terathopus ecaudatus*), — хищная птица семейства ястребиных (прим. пер.).

[^^^]

264

По библейскому преданию, такая надпись, напечатанная таинственной рукой, появилась на стене чертога царя Валтасара. В ту же ночь, как сказано в Библии, он был убит (*прим. пер.*).

[^^^]

265

Гана — средневековое государство в Западном Судане. Его образование относят к концу IV в., а гибель — к концу XII — началу XIII в. Создателями государства были предки народа соннике. Цари Ганы держали в своих руках торговые пути в Западную Африку из стран Средиземноморья и получали большие доходы от торговли золотом, солью и рабами. В одной из областей Ганы — Бамбуке — велась добыча золога.

В 1076 г. столица Ганы Кумби, была захвачена и разгромлена войсками кочевых берберских племен. После этого могущество Ганы быстро пошло на убыль, и в XIII в. цари Ганы стали вассалами новой державы — Мали (*прим. ред.*).

[^^^]

266

Сонгаи — средневековое государство в Западном Судане (1465–1595). В XV–XVI вв. Сонгайская держава являлась господствующей политической силой в Западном Судане. Власть сонгайских царей («ши») признавали города Северной Нигерии; сонгайские войска доходили до плоскогорья Фута-Джаллон. В стране существовала централизованная администрация и сложное законодательство. Межфеодальные раздоры и восстание рабов подорвали мощь Сонгайской державы, и в конце XVI в. она рухнула под натиском марокканских завоевателей (*прим. ред.*).

[^^^]

267

Да, господин, да (*франц.*).

[^^^]

268

Даже если это неправда — это неплохо (*итал.*).

[^^^]

269

Правда (*итал.*).

[^^^]

270

Оптический придел на винтовке (*прим ред.*).

[^^^]

271

Имеется в виду Наполеон Бонапарт (*прим. ред.*).

[^^^]

272

Путрамент, Ивашкевич, Кручковский — польские писатели (прим. ред.).

[^^^]

273

Ал-Хадж Омар (род. ок. 1797 — ум. 1864) — крупный африканский государственный деятель. После паломничества в Мекку, где он получил звание хаджи, Омар основал на территории Фута-Джаллонского государства братство «завийя» (военнорелигиозную общину). В 1850 г. Хадж Омар обосновался в построенной им крепости Дингирае, ставшей столицей созданного им государства. Омар пытался объединить под своим, руководством небольшие государства Западной Африки, но эти попытки были безрезультатными, так как многие вожди в борьбе с ним обратились за помощью к французам. Ал-Хадж Омар погиб в столкновении с восставшими мусульманами-фульбе из Масины (*прим. ред.*).

[^^^]

274

Это великолепно! (*франц.*).

[^^^]

275

Дистрикт — единица административного деления. (Прим. ред.)

[^^^]

276

По понятным причинам я изменил некоторые фамилии.(Прим. автора.)

[^^^]

277

Кантон — единица административного деления. Несколько кантонов — *дистрикт*. (Прим. автора.)

[^^^]

278

На русских картах — о. Маврикий. (*Прим. ред.*)

[^^^]

279

А. Фидлер жил на Мадагаскаре в 1937–1938 годах. *(Прим. ред.)*

[^^^]

280

Площадь Мадагаскара около 600 тысяч квадратных километров, а население составляет всего три и три четверти миллиона человек. Значит, на один квадратный километр приходится немногим больше шести жителей. Но только два процента всей площади острова обрабатывается, девяносто восемь процентов — бесплодная земля и частично лес. Девять десятых поверхности острова покрыто латеритом. Это красноватого цвета почва, непригодная для обработки и неурожайная. За исключением некоторых заливных долин, вся лучшая урожайная, намытая водой земля Мадагаскара заселена мальгашами. Некоторые районы даже перенаселены.

Правительственные круги в Европе в злобном упорстве не хотели найти правильного решения жгучих вопросов о земле и хлебе и распускали по свету бредни о блестящих перспективах переселения европейцев на Мадагаскар. (Прим. автора.)

[^^^]

281

Речь идет о первой мировой войне. (Прим. автора.)

[^^^]

Такая партия возникла в 1946 году и называется «Демократическое движение Мальгашского Возрождения», сокращенно — ДДМВ.

Независимо от деятельности этой партии недовольство туземного населения колониальным управлением увеличивается из месяца в месяц. Когда на Мадагаскар прибыл новый генерал-губернатор Коппе, народ в столице Тананариве встретил его криками:

«Долой Францию! Французы, возвращайтесь во Францию!»

В том же 1946 году французское правительство, желая предотвратить послевоенный распад колониальной системы, предоставило своим подданным, в том числе и мальгашам, гражданские права. Как эти права осуществлялись в колониях, вскоре выявилось на примере Мадагаскара. Партия ДДМВ, представляющая интересы буржуазных кругов, была совершенно легальной, и к своей цели — обрести автономию Мадагаскара в рамках так называемой французской унии — стремилась открытым путем. Ее руководство, вполне понятно, находилось в руках ховов. Но быстрое распространение влияния партии так обеспокоило колонизаторов, что они поспешили создать другую, профранцузскую мальгашскую партию, в задачи которой входило разрушить единство мальгашей. Когда натравливание мальгашей друг на друга не принесло ожидаемых результатов, в конце марта 1947 года была организована позорная провокация в отношении партии ДДМВ. Волнения, возникшие таинственным образом на Мораманга и восточном побережье острова, послужили предлогом для таких кровавых расправ, каких было мало даже в мрачной колониальной истории. Всех членов партии ДДМВ признали активными повстанцами и преступниками. Белое гражданское население острова получило оружие и вместе с военными отрядами уничтожало подозрительных мальгашей с невероятной злобой. Мальгаши совершенно не были готовы к защите, и погибли не только члены партии, но и те, кто имел хотя бы малейшее отношение к политике, и даже люди, державшиеся совершенно в стороне. По официальным данным, число убитых дошло до девяноста тысяч человек — ужасающий процент от неполных четырех миллионов мальгашей. Например, в самом Мораманга всех известных жителей, в том числе врачей, педагогов, купцов, заперли в железнодорожные вагоны и до единого уничтожили артиллерийским огнем.

Уцелевших политических деятелей в Тананариве арестовали и состреляли судебный процесс. На этом пародийном процессе со всем цинизмом было показано, как можно не считаться с самыми элементарными законами справедливости. Пытки и расстрел неудобных свидетелей считались обычным делом. Многих выдающихся мальгашей, даже делегатов законодательных французских палат, приговорили к смертной казни. Приговоры частично приводили в исполнение, частично откладывали, чтобы крепче держать мальгашский народ в постоянном страхе. Время от времени с Мадагаскара приходили вести об исполнении приговоров. Например, в Фианаранцоа расстреляли трех мальгашских патриотов в апреле 1951 года, значит, через три года после главного тананаривского процесса. Пресса французской метрополии осуждала жестокость методов, применяемых на Мадагаскаре. «Юманите» писала:

«Политбюро Французской компартии клеймит этот процесс как машинацию, цель которой удержать народ в ярме вопреки всем основам конституции. Каждый честный гражданин Франции, республиканец или демократ, должен сегодня громогласно протестовать».

Даже правая пресса вынуждена была присоединиться к суровому осуждению событий в колонии. Например, «Попюлер» писала:

«Мадагаскарский процесс — это преступление против прав человека».

«АКСЬОН»:

*«Это ненависть распоясавшихся колонизаторов против демократического движения мальгашского возрождения, это желание сломить движение при помощи компроматации его руководителей в восстании, спровоцированном самими колонизаторами». «Франс тирер»:
«Приговор суда в Тананариве опирается в равной степени на фальшивые показания и провокации».*

«Се Суар»:

«Пародия процесса в Тананариве является преступлением против народа Мадагаскара и против Франции». «Фигаро»: «Требовать сурового запрещения применять следственные методы, позорящие весь наш народ, а если запрещение не поможет, требовать неумолимого уничтожения таких методов».

«Батай социалист»:

«Мы со всей страстью протестуем и выражаем все наше возмущение этим скандальным актом нарушения основ конституции».

После событий 1947 года и их последствий не может быть и речи хотя бы о мнимом примирении мальгашей с колонизаторами и их системой управления. Разрыв будет увеличиваться с каждым годом, пока справедливость не восторжествует. (Прим. автора.)

[^^^]

283

Кабокло — бразильские поселенцы португальского происхождения.

[^^^]

284

Капоеира — подлесок из перепутанных трав и кустарника.

[^^^]

285

Локоть — старинная мера длины, около пятидесяти сантиметров.

[^^^]

286

Boy friend — друг (англ.).

[^^^]